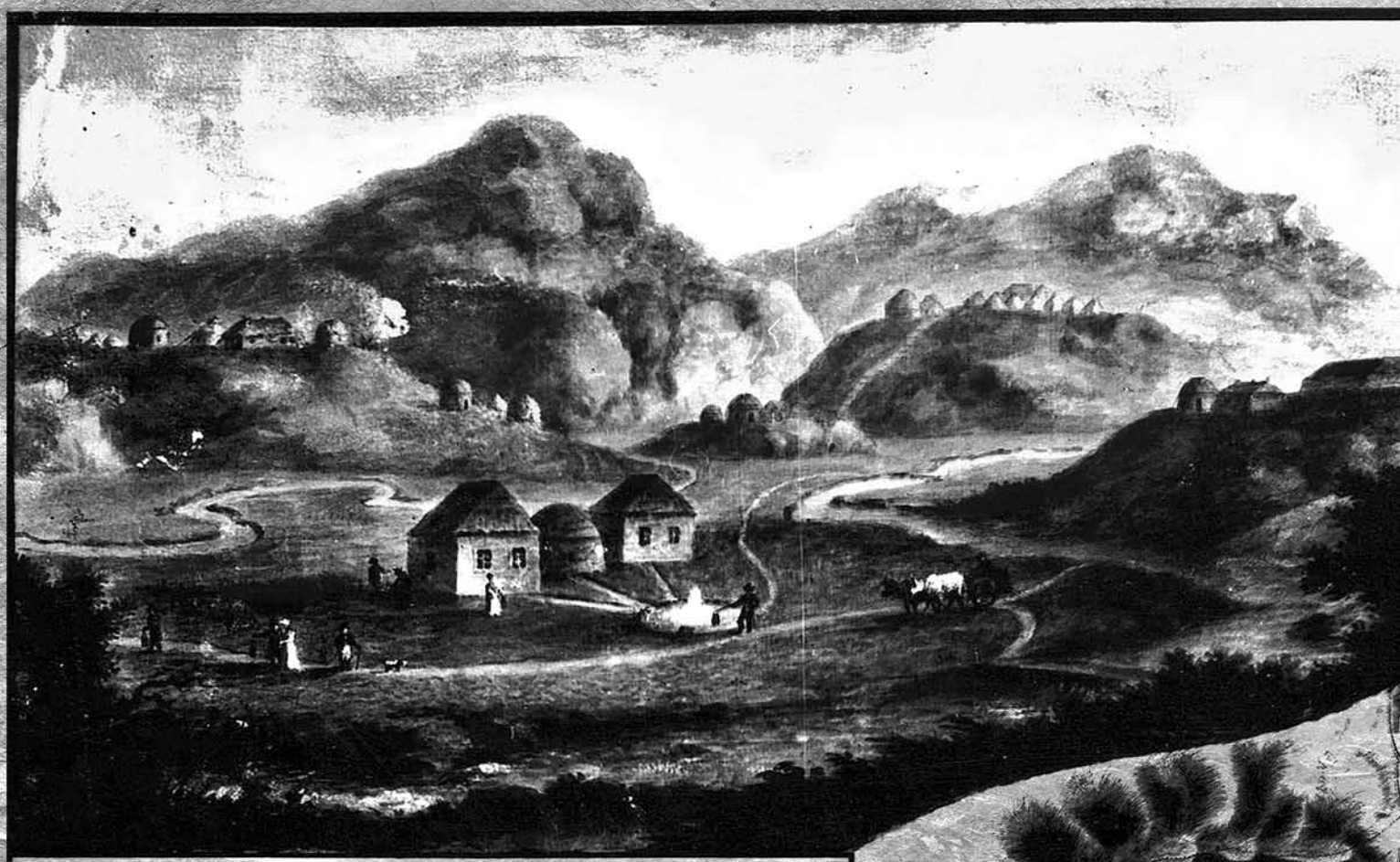
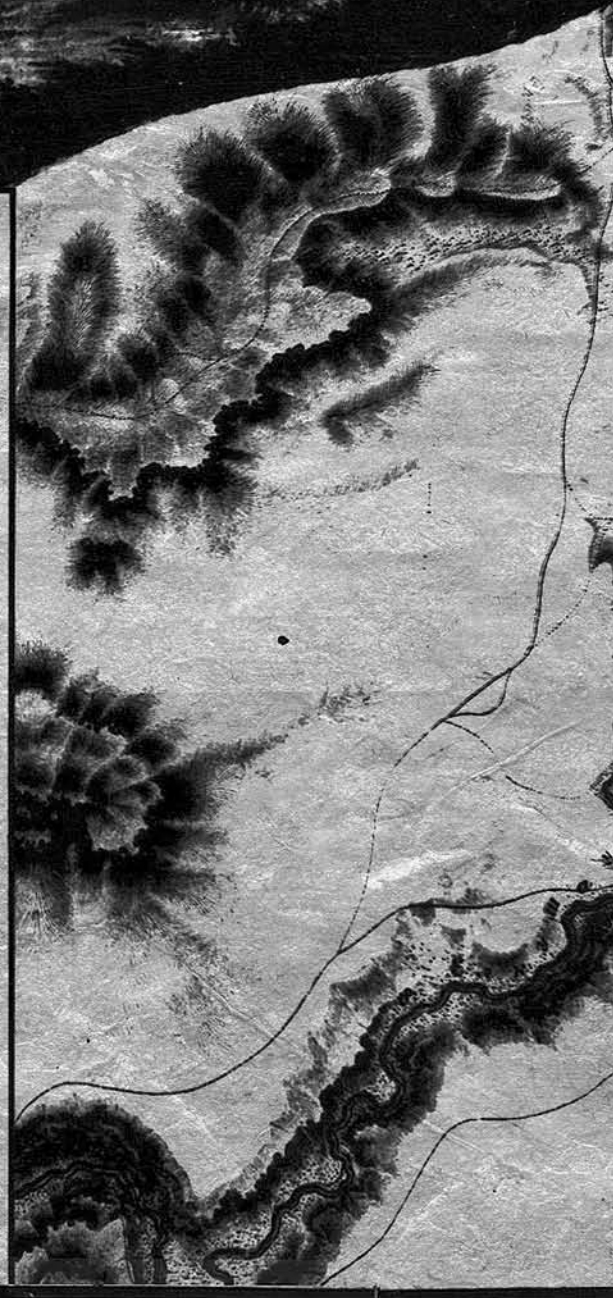
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ КНИГА СГУ

2010



Планъ
Кислому Колодезу
при
Кисловодской Крѣпости
Снятой
Свиты Его Императорскаго
Величества
По Квартирмейстерской части
Подполковникомъ Буцковскимъ.



ИЗДАТЕЛЬСТВО
Ставропольского
государственного
университета

2010

Опальные русские писатели открывают Кавказ

Под редакцией
доктора социологических наук профессора
Владимира Александровича Шаповалова,
доктора филологических наук профессора
Клары Эрновны Штайн

В ТРЕХ ТОМАХ

ТОМ 1

УДК 882.091
ББК 84.83.3 (2Рос=Рус)
О-60

Опальные: Русские писатели открывают Кавказ. Антология: В 3 т. / Под ред. д-ра социол. наук проф. В.А. Шаповалова, д-ра филол. наук проф. К.Э. Штайн. — Ставрополь: Изд-во СГУ, 2010. — Т. 1. — 880 с.

ISBN 978-5-88648-712-1

В трехтомной антологии публикуются произведения писателей, публицистов, деятелей культуры: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.И. Одоевского, А.А. Бестужева-Марлинского, В.И. Соколовского, И.В. Бентковского, Я.В. Абрамова, С.В. Фарфоровского, Н.И. Воронова, К.Л. Хетагурова, Г.Н. Прозрителева, Г.А. Лопатина, — в разное время живших на Северном Кавказе, в Ставрополе, подвергшихся ссылке на Кавказ или гонениям со стороны властей, а также исследования Н.А. Котляревского, Л.П. Семенова, И.П. Лейберова, Н.В. Маркелова и др. о них и об их творчестве. Произведения «опальных» связаны с нашим краем, Северным Кавказом. Русские писатели проложили пути к взаимопониманию народов России, их произведения способствуют строительству мира в многонациональном регионе. В первом томе печатаются произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.И. Одоевского, А.А. Бестужева-Марлинского, а также работы о них.

Книга снабжена справочным материалом.

Руководитель проекта «Филологическая книга СГУ»:
ректор Ставропольского государственного университета, доктор социологических наук профессор В.А. Шаповалов

Научные редакторы: доктор социологических наук профессор В.А. Шаповалов, доктор филологических наук профессор К.Э. Штайн

Составители: К.Э. Штайн, Д.И. Петренко

Подготовка текста: К.Э. Штайн, Д.И. Петренко, Е.Н. Золоторева, Э.В. Пиванова, В.П. Ходус, Т.С. Шевченко (ответственная за подготовку текста), Ю.В. Пономарева, А.И. Темирболатова

Корректор: Б.Я. Альтус

Дизайн, обложка: С.Ф. Бобылев

Верстка: Е.Н. Золоторева, Д.И. Петренко

Издание подготовлено в проблемной научно-исследовательской лаборатории «Текст как явление культуры» Ставропольского государственного университета

ISBN 978-5-88648-712-1

© Издательство Ставропольского государственного университета, 2010
© К.Э. Штайн, Д.И. Петренко, составление, 2010
© С.Ф. Бобылев, дизайн, обложка, 2010

Уважаемые читатели!

Новый проект серии «Филологическая книга СГУ», в которой выпущено уже несколько десятков книг, открывающих неизвестные страницы в познании языка, литературы, истории, в том числе и истории нашего края, знакомит нас с произведениями русских писателей, очеркистов, которые волей судьбы были заброшены на Кавказ в разные периоды времени — с XIX по XX век. Это целое столетие плодотворного труда писателей и культурных деятелей, сосланных в царской России по политическим мотивам в «теплую Сибирь» — на Кавказ.

Кавказ — благословенная страна с мягким климатом, великолепным ландшафтом, богатой и разнообразной культурой. Не случайно и до сих пор здесь располагаются лучшие курорты России, прекрасные места для отдыха. Русские писатели, интеллигенция, ученые прилагали и прилагают много сил, с тем чтобы наладить диалог между многочисленными народами Кавказа и России и в XIX, и в XX веке. Успехи здесь налицо: совместными усилиями были изучены языки народов Кавказа, созданы алфавиты для бесписьменных народов, в XX веке произошел значительный подъем литературы, искусства, науки на Северном Кавказе.

Беспримерным подвигом всегда были и остаются произведения русских писателей, которые первыми «открыли» для всего мира самобытную культуру народов Кавказа, живущих в экзотическом горном крае. В произведениях А.С. Пушкина, А.А. Бестужева-Марлинского, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого были запечатлены яркие картины Кавказа и его обитателей — смелых и свободолюбивых горцев, воссозданы их быт, ментальность, характер, нравы, народная философия и этика. Произведения русских писателей — лучшие путеводители, учебники и энциклопедии Северного Кавказа, которые были когда-либо созданы.

Сейчас мы переживаем важный исторический момент: правительство России вновь и вновь обращает серьезнейшее внимание на ситуацию в нашем регионе, создан Северо-Кавказский федеральный округ, в котором Ставропольский край призван сыграть важную роль в упрочении диалога между народами, живущими на Кавказе. Как нельзя более актуальными становятся произведения русских писателей о Кавказе, позволяющие учесть исторический опыт взаимодействия наших народов в новых условиях жизни в многонациональном регионе.

Мы представляем читателям большую трехтомную антологию «Опальные: Русские писатели открывают Кавказ», тем самым отдавая дань памяти русских писателей, в том числе и тех, которые связали всю жизнь с Северным Кавказом и нашим краем, неутомимо трудились над изучением языков, истории, культуры, географии, этнографии и т.д. Эти книги, аккумулирующие опыт столетия, являются по-настоящему патриотическими, учат терпимости, раскрывают богатство диалога между народами Кавказа для ума, души, сердца наших современников.

О Кавказе, и в частности о нашем крае, написано много, но эти сведения разрозненны, многие книги практически вышли из научного обихода. Всегда было такое чувство, что мы обязаны выявить лучшие произведения о Северном Кавказе. Ученые нашего университета собрали множество рукописей, редких книг, перевели в новую орфографию старые, практически недоступные издания. В результате собраны уникальные сведения о Северо-Кавказском регионе, которые аккумулируют опыт прошлого и могут быть использованы как основа для разработки инновационных проектов будущего.

Антология строится по следующему принципу. Мы печатаем произведения русских писателей, которые отбывали наказание на Кавказе, в особенности на Северном Кавказе и в нашем крае, трудились здесь, дополняем их работами, написанными об этих авторах, их произведениях в разное время. В первом томе печатаются книги русских классиков: А.С. Пушкина, А.А. Бестужева-Марлинского, М.Ю. Лермонтова, — а также исследования о них. Во втором томе — произведения известных и малоизвестных писателей, поэтов, публицистов В.И. Соколовского, Н.И. Воронова, И.В. Бентковского, К.Л. Хетагурова, не только сосланных, но и впоследствии проживавших, служивших в нашем крае. В третьем томе собраны сочинения, а также работы о творчестве Я.В. Абрамова, С.В. Фарфоровского, Г.Н. Прозрителева, Г.А. Лопатина, живших в нашем крае, внесших огромный вклад в культуру. Некоторые писатели и публицисты, такие как С.В. Фарфоровский, Н.И. Воронов, Я.В. Абрамов, Г.А. Лопатин, практически забыты, но в их произведениях много ценных исторических, этнографических сведений, художественных подробностей о Северном Кавказе, о Ставрополье.

Сила классического университета — в фундаментальном знании, имеющем инновационные перспективы. Мы понимаем, что невозможно строить будущее без глубокого познания прошлого, без обращения к опыту, накопленному нашими писателями, публицистами. Демократия учит нас формам совместной жизни, когда главное условие развития личности — способность активно создавать собственное понимание мира и одновременно конструктивно откликаться на идеи, выдвигаемые социумом, принимать чужую точку зрения как иную, требующую понимания. В этом у нас есть ценный исторический опыт русских писателей, который мы стремимся осмыслить.

Ректор Ставропольского государственного университета,
доктор социологических наук профессор В.А. Шаповалов

Содержание

В.А. Шаповалов. Предисловие 7
К.Э. Штайн, Д.И. Петренко. «Под небом места много всем…» 11

А.И. Одоевский

Стихотворения о Кавказе

«Струн вещих пламенные звуки…» 23
Умирающий художник 23
Последняя надежда 23
Узница Востока 24
Элегия на смерть А.С. Грибоедова 24
Два духа 24
«Из детских всех воспоминаний…» 25
«Как я давно поэзию оставил!..» 25
«Как недвижимы волны гор…» 26
«Куда несетесь вы, крылатые станицы?..» 27
Соловей и роза 27
Моя Пери 27
Брак Грузии с Русским царством 27
«Я разлучился с колыбели…» 27

А.А. Бестужев-Марлинский

Подвиг Овечкина и Щербины за Кавказом 29
Вечер на Кавказских водах в 1824 году 31
Аммалат-бек 55
Письма из Дагестана 109
Путь до города Кубы 133
Горная дорога из Дагестана в Ширван через Кунакенты 144
Последняя станция к Старой Шамахе 147
Переезд от с. Топчи в Куткаши 151
Дорога от станции Алмалы до поста Мугансы 154
Мулла-Нур 159

Исследования, посвященные декабристам

Н.А. Котляревский. Князь А.И. Одоевский и А.А. Бестужев-Марлинский. Их жизнь и литературная деятельность 221
Т.А. Булыгина. Декабристы на Кавказе 377
Т.А. Булыгина. Образ «другого» в текстах «кавказцев» XIX века. Опыт сравнения 381
Т.А. Булыгина, Г.В. Косов. Ставрополье и декабристы в контексте «новой локальной истории» 385
Т.А. Булыгина. Александр Иванович Одоевский 391

А.С. Пушкин

Стихотворения и поэмы о Кавказе

Кавказский пленник. Повесть **394**
«Не пой, красавица, при мне...» **401**
Монастырь на Казбеке **401**
Кавказ **401**
«На холмах Грузии лежит ночная мгла...» **401**
Обвал **401**
Делибаш **402**

Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года **404**

Исследования, посвященные А.С. Пушкину

Е.Г. Вейденбаум. Примечания и объяснения к «Путешествию в Арзрум» **422**
Е.Г. Вейденбаум. Хронологическая канва к кавказскому путешествию А.С. Пушкина в 1829 году **429**
Е.Г. Вейденбаум. О пребывании А.С. Пушкина на Кавказе в 1829 году **431**
Евгений Густавович Вейденбаум. К 150-летию со дня рождения **441**
Перечень работ Е.Г. Вейденбаума и работы о нем **442**
Н.В. Маркелов. Пушкин и Северный Кавказ **444**
К.Э. Штайн, Д.И. Петренко. О праздновании столетия со дня рождения А.С. Пушкина на Северном Кавказе (материалы газеты «Северный Кавказ», 1899) **551**
Т.Ю. Ковалева. Об одном из наиболее ярких изданий к столетнему юбилею А.С. Пушкина на Кавказе. (Кавказская поминка о Пушкине. 26 мая 1799 — 26 мая 1899. — Тифлис, 1899) **574**
Ф.И. Джаубаева. 150 лет со дня рождения А.С. Пушкина: празднование юбилея в Карачаево-Черкесии (по материалам газеты «Красная Черкесия», 1949) **577**
М.А. Ахметов. Рассказ о рассказе (история о том, как великий поэт подарил свое кольцо бесленевским чабанам) **580**
В.П. Ходус. Празднование пушкинских юбилеев в Ставропольском государственном университете **583**

М.Ю. Лермонтов

Стихотворения о Кавказе

«Люблю я цепи синих гор...» **589**
«Спеша на север из далека...» **589**
Кинжал **590**
Поэт **590**
Дары Терека **590**
Памяти А.И. О<доевского> **591**
Казачья колыбельная песня **592**
Тучи **592**
Валерик **592**
«Тебе, Кавказ, суровый царь земли» <I> **594**
«Тебе, Кавказ, суровый царь земли» <II> **595**
«Прощай, немытая Россия...» **595**
Спор **595**
Тамара **596**
Листок **596**
Свиданье **597**
«Выхожу один я на дорогу...» **598**
Сон **598**
«Синие горы Кавказа, приветствую вас...» **598**

Поэмы, посвященные Кавказу

Черкесы **599**
Кавказский пленник **601**
Каллы. Черкесская повесть **607**
Измаил-Бей. Восточная повесть **608**
Аул Бастунджи **629**
Хаджи Абрек **635**
Мцыри **639**
Демон. Восточная повесть **646**

Герой нашего времени **669**
Кавказец **730**

Исследования, посвященные М.Ю. Лермонтову

Л.П. Семенов. Лермонтов на Кавказе **732**
Штайн К.Э., Петренко Д.И. Особенности метапоэтики М.Ю. Лермонтова **826**
Штайн К.Э., Петренко Д.И. «Певец железа» **843**

Ф.И. Джаубаева. Русские писатели и Кавказ **851**
М.С. Коршунов. «Теплая Сибирь». Русские писатели в ссылке на Ставрополье **863**

«Под небом места много всем...»

В «Путешествии в Арзрум» (1829) А.С. Пушкин рассказывает о встрече в городе Арзрум с турецким пашой: «Один из пашей, сухощавый старичок, ужасный хлопотун, с живостию говорил нашим генералам. Увидев меня во фраке, он спросил, кто я таков. Пущин дал мне титул поэта. Паша сложил руки на грудь и поклонился мне, сказав через переводчика: «Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт брат дервишу. Он не имеет ни отечества, ни благ земных; и между тем как мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли и ему поклоняются» (12, с. 691). Мудрый человек верно сказал о писателе: обитание его идей шире Отечества, благ земных он, как правило, не имеет, зато идеи большого художника властвуют как вне времени и пространства, так и во времени и пространстве, определяя, наряду с научными достижениями, тот высший «третий мир» «глубоких истин», которые составляют объективное знание, «превосходящее своих создателей» (К.Р. Поппер).

«Роль феномена Кавказа в русском общественном и культурном сознании XIX века была значительно выше, чем мы это себе представляем, — пишет Я.А. Гордин в работе «Русский человек и Кавказ» (2006). — И это делало для русского офицера органичной идею включения кавказского мира в общероссийский мир как исторически и культурно необходимый фрагмент империи, а не просто как колонизированное пространство» (5, с. 131). Попав на Кавказ приблизительно в одно и то же время, в первой половине XIX века, русские писатели А.И. Одоевский, А.С. Пушкин, А.А. Бестужев-Марлинский, М.Ю. Лермонтов бесконечно много трудились над тем, чтобы познать многочисленные народы Кавказа, их историю, быт, языки, культуру, с тем чтобы именно через диалог культур способствовать налаживанию мира на Кавказе, которого так чаяли гении литературы, а также для того, чтобы ввести в обиход русской культуры достижения многонационального, сложного, во многом внутренне конфликтного опыта кавказских народов.

Не надо напоминать, что русские писатели, служившие на Кавказе, были «опальными». Опала — еще с допетровской России — гнев, немилость царя к провинившемуся боярину, вельможе, а также наказание, налагавшееся на него. А.С. Пушкин был сослан на Юг России в 1820 году. В 1829 году, интересуясь внешней политикой Русского государства, А.С. Пушкин отправился на Кавказ, где шла война с Турцией. Во время этой поездки А.С. Пушкин вел дневник, переработанный позже в «Путешествие в Арзрум». А.А. Бестужев-Марлинский, сосланный в 1827 году в Якутск за участие в восстании декабристов, в 1829 году был переведен рядовым на Кавказ. М.Ю. Лермонтов дважды подвергался ссылке на Кавказ: за стихотворение «Смерть поэта» (1837) и за участие в дуэли с Э. де Барантом (1840), служил в пехотном полку в звании поручика.

Выполняя «трудную работу», свой воинский долг, участвуя в опаснейших военных операциях, русские писатели, как энциклопедические личности, стремились познать экзотический край Кавказа, исторически осмыслить события Кавказской войны, описать нравы, быт, язык, культуру народов Кавказа.

Их мировоззрение выражает не только взгляды людей, воспитанных на русской истории, культуре, по своему мировоззрению это «люди мира» с внутренним ощущением свободы: «Речь шла о внутреннем самоощущении, которое давал принципиально иной мир, которое давало соприкосновение с носителями особой свободы — отнюдь не только хищной, которой обладали горцы, — свободы абсолютного самоуважения, осознания своей внутренней независимости, которая органично сливалась с независимостью внешней. Свобода как независимость. <...> Горец — человек иного уровня, иного характера самооценки, чем русский дворянин. Он непонятен в своей гордыне, презрении к смерти, он существо иного мира — как правило, враждебного на примитивном военно-политическом уровне, но притягательного своей контрастностью по отношению к русскому миру, сулящему неясные, но заманчивые возможности» (5, с. 123—124, 126).

М.Ю. Лермонтов был, по-видимому, одним из тех, кто еще в первой половине XIX века отказался от «европоцентризма», и не только на основе каких-либо эмоциональных переживаний. Он понимал, что «культурная среда, низко стоящая в одних отраслях культуры, может оказаться, и сплошь и рядом оказывается, высоко стоящей в отраслях других» (13, с. 105). Во вступлении к поэме «Хаджи-Абрек» (1833) М.Ю. Лермонтов выражает точку зрения «джематского удальца»:

Велик, богат аул Джемат,
Он никому не платит дани;
Его стена — ручной булат;
Его мечеть — на поле брани.
Его свободные сыны
В огнях войны закалены;
Дела их громки по Кавказу,
В народах дальних и чужих,
И сердца русского ни разу
Не миновала пуля их.

Поэт восхищался людьми Кавказа потому, что эти малые народы героически отстаивали свою свободу, независимость, несмотря на то, что сам М.Ю. Лермонтов воевал на другой стороне. Исторически сопротивление горцев в годы Кавказской войны было неизбежным. Осознавая самобытность народов Кавказа, в частности и ту опасность, которая шла от них, М.Ю. Лермонтов понимает и другое: это особая культурная среда, ее знание обогащает русского человека. В ходе Кавказской войны осуществлялась колонизация народов Кавказа, они становились частью России. В отличие от столичной светской среды, которая в душе М.Ю. Лермонтова всегда порождала трагические ощущения, на Кавказе он находит живые, подлинные чувства: отвагу, смелость, искренность, любовь к свободе, честность, крепкую дружбу. Здесь трудно переоценить культуротворческую миссию писателя. Он знакомит русского читателя с Кавказом, обычаями, нравами, языками народов. Литература — способ познания. Произведения М.Ю. Лермонтова, помимо их художественных достоинств, имеют этнографическую, географическую, историческую ценность.

В одном из самых ранних произведений «Кавказ» (1830) М.Ю. Лермонтов признается:

Хотя я судьбой на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:
Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ.

В младенческих летах я мать потерял.
Но мнилось, что в розовый вечера час
Та степь повторяла мне памятный глас.
За это люблю я вершины тех скал,
Люблю я Кавказ.

Я счастлив был с вами, ущелия гор;
Пять лет пронеслось: всё тоскую по вас.
Там видел я пару божественных глаз;
И сердце лепечет, воспомня тот взор:
Люблю я Кавказ!..

С Кавказом было связано пробуждение поэтического сознания будущего поэта. Строка «Как сладкую песню отчизны моей, // Люблю я Кавказ» сближает Кавказ с мыслимой поэтической родиной М.Ю. Лермонтова — Шотландией. Значения здесь настолько сложны, мерцательны, что возможно подразумевать и Россию, тем более что далее следуют воспоминания о матери, которые проносятся через «степи». Поэтической родиной была для М.Ю. Лермонтова, конечно же, Россия. В этом пространстве запечатлевается еще один биографически значимый образ: «Там видел я пару божественных глаз». Четыре образа поразительно сближены через остраненную память, как это бывает во сне: «отчизна», «Кавказ», «мать», «божественные глаза». Этот ряд, включающий образ Кавказа, связан с наиболее значимыми и проникновенными образами памяти поэта. Не случайно В.Г. Белинский писал: «Картины природы обличают кисть великого мастера: они дышат грандиозностью и роскошным блеском фантастического Кавказа. Кавказ взял полную дань с музы нашего поэта... <...> ...Кавказ делается его поэтической родиной, пламенно любимой им; на недоступных вершинах Кавказа, венчанных вечными снегами, находит он свой Парнас, в его свирепом Тереке, в его горных потоках, в его целебных источниках находит он свой Кастальский ключ, свою Ипокрену» (1, с. 201).

В записке М.Ю. Лермонтова (8 июля 1830 года) читаем: «Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея десять лет от роду? <...> Мы были большим семейством на водах Кавказских: бабушка, тетушки, кузины. — К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет 9. Я ее видел там. <...> Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденность — нет; с тех пор я ничего подобного не видал, или это мне кажется, потому что я никогда так не любил, как в тот раз. Горы кавказские для меня священны... И так рано! в 10 лет... о эта загадка, этот потерянный рай до могилы будут терзать мой ум!..» (9, с. 525—527). Л. Келли, английский исследователь биографии М.Ю. Лермонтова, так комментирует эту записку: «Странно ли, что этот идеал «потерянного рая» непременно окажется в горах? Недоступность, загадочность, целомудренность и неоскверненность — вот те понятия, которыми пиит наделит два образа — и девочки, и Кавказа; остаток жизни он проведет в их поиске» (6, с. 35).

Наиболее значимое прямое метапоэтическое высказывание о том, что Кавказ — поэтическая родина М.Ю. Лермонтова, содержится в стихотворении «Посвящение» (1830):

Мой гений сплел себе венок
В ущелинах кавказских скал.
Одним высоким увлечен

Он только жертвует любви:
Принесть тебе лишь может он
Любимые труды свои.

«Гений» здесь может иметь два значения. Гений означает 'большой талант', Гений, как мы помним, — это и божество в римской мифологии, дух-покровитель рода, семьи, гражданской общины. Мы видим, что М.Ю. Лермонтов использует в стихах о Кавказе термины родства: «мать», «сын», косвенно «гений», — что подчеркивает генетическую связь поэта с Кавказом, в пространстве которого оживает и память о «родных» шотландских горах.

В поэтическом сознании М.Ю. Лермонтова Кавказ — «суровый царь земли», центр его поэтического мира. Юные годы, когда М.Ю. Лермонтов познакомился с Кавказом, становятся определяющими его биографической и поэтической судьбы. «Стих» — «сын», «юные годы», «всегда и всюду твой» — это временные и пространственные показатели инверсионной отнесенности лермонтовской судьбы, поэтической биографии: не от Кавказа к центру России («полуночный край»), а наоборот: из глубин России к Кавказу. В стихотворении «Тебе, Кавказ, суровый царь земли...» в связи с такой сложной в пространственном отношении геопоэтикой пробуждается тема полета, которая характерна для творчества М.Ю. Лермонтова: «Я в гости к ним летал мечтой послушной // И сердцем был — товарищ их воздушный». Во многих стихотворениях впоследствии, в том числе и в одном из наиболее проникновенных «Ангел» (1831), этот мотив находит воплощение.

Тебе, Кавказ, суровый царь земли,
Я посвящаю снова стих небрежный.
Как сына ты его благослови
И осени вершиной белоснежной;
От юных лет к тебе мечты мои
Прикованы судьбою неизбежной,
На севере — в стране тебе чужой
Я сердцем твой — всегда и всюду твой.

В связи с Кавказом М.Ю. Лермонтов часто говорит о своей поэтической биографии, вспоминает детство. Горы Кавказа «приучают к небу». Барочные панорамы: «Престолы природы, с которых как дым улетают громовые тучи...» — трансформируются в космическом сознании, осуществляя связь между поэтом и Творцом: «Синие горы Кавказа, приветствую вас! вы взлелеяли детство мое; вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня приучили, и я с той поры всё мечтаю об вас да о небе. Престолы природы, с которых как дым улетают громовые тучи, кто раз лишь на ваших вершинах Творцу помолился, тот жизнь презирает, хотя в то мгновенье гордился он ею!..» (8, с. 353).

Сквозь величественные картины, нарисованные художником, прорывается мотив вражды между людьми, который тем не менее не может помешать апологии Кавказа. Последняя часть стихотворения в прозе «Синие горы Кавказа, приветствую вас!» (1832) говорит о приятии поэтом не только мира природы, но и мира людей Кавказа. Поэт ценит в них вольность, храбрость, трудолюбие, их душу, пылкую, свободную: «Воздух там чист, как молитва ребенка. И люди, как вольные птицы, живут беззаботно; война их стихия; и в смуглых чертах их душа говорит, в дымной сакле, землей иль сухим тростником покровенной, таятся их жены и девы и чистят оружье, и шьют серебром — в тишине увядая душою — желающей, южной, с цепями судьбы незнакомой» (там же, с. 354).

В стихотворении «Черкешенка» (1829) поэт создал портрет горянки, взор которой «приковал» его сердце. Несмотря на бедствия и тяготы войны и труда, М.Ю. Лермонтов воспринимает народ Кавказа как «народ счастливый» с нравами «тихой простоты»:

Я видел вас: холмы и нивы,
Разнообразных гор кусты,
Природы дикой красоты,
Степей глухих народ счастливый
И нравы тихой простоты!

Но там, где Терек протекает,
Черкешенку я увидал, —
Взор девы сердце приковал;
И мысль невольно улетает
Бродить средь милых, дальных скал...

Так дух раскаяния, звуки
Послышав райские, летит
Узреть еще небесный вид:
Так стон любви, страстей и муки
До гроба в памяти звучит.

Именно Кавказ, его красоты приводят душу поэта в состояние гармонии, он испытывает моменты трансценденции, связанные с узрением «небесного вида». В работе «Лермонтов на Кавказе» (1939) Л.П. Семенов называет Кавказ «второй родиной» поэта: «Такие замечательные по содержанию и художественному мастерству произведения, как поэмы «Аул Бастунджи», «Измаил-Бей», «Мцыри», «Демон», лирические стихотворения «Дары Терека», «Казачья колыбельная песня», «Кинжал», «Дубовый листок», «Тамара», «Валерик», «Спеша на север из далека», «Свидание», роман «Герой нашего времени» – ставят Лермонтова, как певца Кавказа, на первое место в мировой литературе. <…> Никто из русских классиков не посетил Кавказ в таком раннем возрасте и не полюбил его так глубоко, как Лермонтов. <…> Многие поэты, посещавшие Кавказ, говорили о нем, как любознательные путешественники; для Лермонтова это как бы вторая родина» (14, с. 162, 166, 168).

М.Ю. Лермонтов далек от того, чтобы воспевать свою поэтическую родину идиллически. Иногда он вспоминает о ней как о далекой стране, в которой, хотя и присутствует гармония («жилище вольности простой»), но в то же время она «несчастьями полна // И окровавлена войной!..»:

Кавказ! далекая страна!
Жилище вольности простой!
И ты несчастьями полна
И окровавлена войной!..
Ужель пещеры и скалы
Под дикой пеленою мглы
Услышат также крик страстей,
Звон славы, злата и цепей?..
Нет! прошлых лет не ожидай,
Черкес, в отечество свое:
Свободе прежде милый край
Приметно гибнет для нее.
Кавказу. 1830

В стихах о Кавказе как о поэтической родине поэта всегда присутствует мотив огромных просторов, которые связывают Россию и Кавказ как что-то единое, цельное и неразрывное. По крайней мере, в поэтическом воображаемом мире художника это неразрывное пространство, отсылающее еще и к другим пределам. Небо Кавказа (Востока) и небо России едины для людей. В стихотворении «Валерик» (1840) М.Ю. Лермонтов говорит о своем восприятии восточного сознания, о том, как повлияло на него, его судьбу «ученье их пророка». Постоянный тяжелый труд, простая кочевая жизнь сближают русских людей с людьми Востока.

Я жизнь постиг;
Судьбе как турок иль татарин
За всё я ровно благодарен;
У бога счастья не прошу
И молча зло переношу.
Быть может, небеса востока
Меня с ученьем их пророка
Невольно сблизили. Притом
И жизнь всечасно кочевая,
Труды, заботы ночь и днем,
Всё, размышлению мешая,
Приводит в первобытный вид
Больную душу: сердце спит…

Н.С. Трубецкой, говоря о проникновении черт «туранской психики» в сознание православного человека, акцентирует складывающиеся общие черты религиозной психологии тюрков и русских: «…и там и здесь догмат веры рассматривается как данное, как основной фон душевной жизни и внешнего быта, а не как предмет философской спекуляции; и там и здесь религиозное мышление отличается отсутствием гибкости, пренебрежением к абстрактности и стремлением к конкретизации, к воплощению религиозных переживаний и идей в формах внешнего быта и культуры» (15, с. 73).

Важно и то, что поэт открыт для восприятия восточного человека, его обычаев. Здесь можно говорить о высочайшей культуре, той чаемой толерантности, о которой мы сейчас так мечтаем:

И вижу я неподалеку
У речки, следуя пророку,
Мирной татарин свой намаз
Творит, не подымая глаз;
А вот кружком сидят другие.
Люблю я цвет их желтых лиц,
Подобный цвету наговиц,
Их шапки, рукава худые,
Их темный и лукавый взор
И их гортанный разговор.

В восприятии поэта небо одно, а значит один и Творец. Он роднит все народы, а враждующий человек в этом мире гармонии действительно жалок:

Тянулись горы — и Казбек
Сверкал главой остроконечной.
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?

В «Валерике» рядом с лирическим героем оказывается чеченец Галуб — «кунак», что значит друг.

Галуб прервал мое мечтанье,
Ударив по плечу; он был
Кунак мой: я его спросил,
Как месту этому названье?
Он отвечал мне: Валерик,
А перевесть на ваш язык,
Так будет речка смерти: верно,
Дано старинными людьми.
— А сколько их дралось примерно
Сегодня? — Тысяч до семи.
— А много горцы потеряли?
— Как знать? — зачем вы не считали!
Да! будет, кто-то тут сказал,
Им в память этот день кровавый!
Чеченец посмотрел лукаво
И головою покачал.

М.Ю. Лермонтов намекает на разницу в сознании враждующих («посмотрел лукаво»), но в ситуации, когда в душах поселяются «тревоги дикие войны», «тяжелые думы о конце», когда вблизи видят, «как умирают», — это естественно, так как обостряются все самые крайние чувства.

«Валерик» — изумительное по духовной проникновенности произведение, в котором М.Ю. Лермонтов проявляет себя как подлинно цивилизованный человек. Мысля категориями высокими, общечеловеческими, он не забывает и о боли человека, связанной с самым противоестественным, что может быть на земле — враждой между людьми, войной.

Мотивы восприятия пространства жизни М.Ю. Лермонтовым здесь отчасти напоминают те, что потом, уже в начале XX века, оформятся как евразийские. В то же самое время нужно отметить, что в философско-публицистическом обличии идея связи России и Востока прозвучала в «Философических письмах» (1836) П.Я. Чаадаева. «Основную мысль этого письма Герцен резюмировал так: прошедшее Руси пусто, настоящее невыносимо, а будущего для нее вовсе нет. Однако, как это ни парадоксально, в своем приговоре России Чаадаев исходил именно из предположения о том высоком месте, какое она должна была бы (но так и не смогла) занять в мировом историческом процессе в соответствии со своим положением» (10, с. 5). В первом письме П.Я. Чаадаев пишет: «...раскинувшись между двух великих делений мира, между Востоком и Западом, опираясь одним локтем на Китай, другим на Германию, мы бы должны были сочетать в себе две великие основы

духовной природы — воображение и разум, и объединить в своем просвещении исторические судьбы всего земного шара. Не эту роль представило нам провидение. Напротив, оно как будто совсем не занималось нашей судьбой» (17, с. 16).

Один из теоретиков евразийства П.Н. Савицкий так определяет евразийское пространство: «Можно сказать по праву: восточноевропейская, «беломорско-кавказская», как называют ее евразийцы, равнина по географической природе гораздо ближе к равнинам западносибирской и туркестанской, лежащим к востоку от нее, нежели к Западной Европе. Названные три равнины, вместе с возвышенностями, отделяющими их друг от друга (Уральские горы и так называемый «Арало-Иртышский» водораздел) и окаймляющими их с востока, юго-востока и юга (горы русского Дальнего Востока, Восточной Сибири, Средней Азии, Персии, Кавказа, Малой Азии), представляют собой особый мир, единый в себе и географически отличный как от стран, лежащих к западу, так и от стран, лежащих к юго-востоку и югу от него. И если к первым приурочить имя «Европы», а ко вторым — имя «Азии», то названному только что миру, как срединному и посредствующему будет приличествовать имя «Евразии»...» (13, с. 100).

К.Н. Леонтьев отмечал, что «Россия — не просто государство; Россия, взятая во всецелости со всеми своими азиатскими владениями, это целый мир особой жизни, особый государственный мир, не нашедший еще себе своеобразного стиля культурной государственности. <...> Это более широкое и по мысли независимое должно быть не чем иным, как развитием своей собственной, оригинальной славяно-азиатской цивилизации, от европейской (или романо-германской) настолько же отличной, насколько были отличны: эллино-римская от предшествовавших ей египетской, халдейской и персомидийской; византийская (распространявшая свое влияние до IX, X и XI веков и на западные страны) от предшествовавшей ей эллино-римской, или, наконец, настолько, насколько была отлична новая, последняя романо-германская цивилизация от предшествовавших ей и отчасти поглощенных и претворенных ею органически цивилизаций эллино-римской и византийской» (7, с. 208).

Особенно близки к лермонтовскому пониманию взаимоотношений России и Кавказа мысли теоретиков евразийства о «братании» между народами Евразии. Об этом пишет Н.С. Трубецкой в работе «Общеевразийский национализм» (1927): «Между народами Евразии постоянно существовали и легко устанавливаются отношения некоторого братания, предполагающие существование подсознательных притяжений и симпатий (обратные случаи, то есть случаи подсознательного отталкивания и антипатии между двумя народами в Евразии очень редки). Одних этих подсознательных чувств, разумеется, недостаточно. Нужно, чтобы братство народов Евразии стало фактом сознания, и притом существенным фактом. Нужно, чтобы каждый из народов Евразии, сознавая самого себя, сознавал себя именно прежде всего как члена этого братства, занимающего в этом братстве определенное место. И нужно, чтобы это сознание своей принадлежности именно к евразийскому братству народов стало для каждого из этих народов сильнее и ярче, чем сознание его принадлежности к какой бы то ни было другой группе народов» (16, с. 97).

Близки М.Ю. Лермонтову и понятия территории, объединяющей Россию и Кавказ, взаимопонимания народов. Это действительно некая неповторимая историческая и географическая индивидуальность (П.Н. Савицкий). Впоследствии Л.Н. Гумилев разработал учение о «кормящем ландшафте», «вмещающем ландшафте» — разном, но всегда родном для данного этноса. Л.Н. Гумилев применил термин «месторазвитие», который отстаивал и П.Н. Савицкий. В лермонтовских текстах есть ощущение единства территории, и в «кормящем ландшафте» Кавказа русские люди воспринимают обычаи его народов. М.Ю. Лермонтову принадлежит интереснейшее наблюдение, связанное с формированием типа людей, которых он называет «кавказцами». К «кавказцам» относится и один из рассказчиков романа «Герой нашего времени» — Максим Максимыч: «Кавказец есть существо полурусское, полуазиатское, наклонность к обычаям восточным берет над ним перевес, но он стыдится ее при посторонних, то есть при заезжих из России. <...> Он понял вполне нравы и обычаи горцев, узнал по именам их богатырей, запомнил родословные главных семейств. Знает, какой князь надежный и какой плут; кто с кем в дружбе и между кем и кем есть кровь. Он легонько маракует по-татарски; у него завелась шашка, настоящая гурда, кинжал — старый базалай, пистолет закубанской отделки, отличная крымская винтовка, которую он сам смазывает, лошадь — чистый шаллох и весь костюм черкесский, который надевается только в важных случаях и сшит ему в подарок какой-нибудь дикой княгиней. <...> Он равно в жар и в холод носит под сюртуком ахалук на вате и на голове баранью шапку; у него сильное предубежденье против шинели в пользу бурки; бурка его тога, он в нее драпируется; дождь льет за воротник, ветер ее раздувает — ничего! бурка, прославленная Пушкиным, Марлинским и портретом Ермолова, не сходит с его плеча, он спит на ней и покрывает ею лошадь; он пускается на разные хитрости и пронырства, чтобы достать настоящую андийскую бурку, особенно белую с черной каймой внизу, и тогда уже смотрит на других с некоторым презрением...» (9, с. 475—479).

Здесь с особой прозорливостью поэт подмечает способность русского человека приспосабливаться к кавказским обычаям, умение ценить и уважать чуждую для него культуру. У М.Ю. Лермонтова много стихов о Кавказе, им написаны замечательные поэмы, действие самого знаменитого его

романа происходит на Кавказе. Все это не только замечательный художественный опыт освоения культуры Кавказа, не только рассказ о ней, но и большой культурный труд восприятия и признания ее в то время, когда на Кавказе шла война. Русские писатели, в первую очередь, М.Ю. Лермонтов, показали нам подлинный пример диалога культур, который, возможно, является единственным способом преодоления вражды. Мало того, поэт создал замечательное художественное пространство, в котором по принципу дополнительности в едином «месторазвитии» горы Каказа, степи, леса России существуют в гармонии, принадлежа гармонии вселенной — «неба», которое объединяет всех. Величественные картины природы Кавказа, его грандиозные пейзажи способствуют синтезу стилевых тенденций М.Ю. Лермонтова, соединяя реализм, романтизм, ампирные тенденции в единый грандиозный стиль — барокко, что способствует воплощению глобальных пространственных параметров — Божественного и земного.

А.С. Пушкин отмечал особенность сознания русского поэта на Кавказе, которое можно охарактеризовать как близкое к евразийскому — восприятие России и Кавказа как единого, органически связанного пространства. Поэт понимает свое творчество как естественно воспринявшее, ассимилировавшее исторический опыт и культуру Кавказа:

Так Муза, легкой друг Мечты,
К пределам Азии летала
И для венка себе срывала
Кавказа дикие цветы.
Ее пленял наряд суровый
Племен, возросших на войне,
И часто в сей одежде новой
Волшебница являлась мне;
Вокруг аулов опустелых
Одна бродила по скалам,
И к песням дев осиротелых
Она прислушивалась там;
Любила бранные станицы,
Тревоги смелых казаков,
Курганы, тихие гробницы,
И шум, и ржанье табунов.

Кавказский пленник. 1820—1821

Хотя исследователями отмечается некоторая утопичность сознания русских писателей о Кавказе (см.: 5), тем не менее они многосторонне осмысляли людей Кавказа, в особенности их воинственный нрав. Понятно, что это были события первой половины XIX века — время войны на Кавказе. А.С. Пушкин со свойственной ему честностью, стремлением к художественной правде часто нелицеприятно писал о той и другой враждующей стороне. В «Путешествии в Арзрум» поэт предупреждает: «Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены. Они час от часу далее углубляются в горы и оттуда направляют свои набеги. Дружба мирных черкесов ненадежна: они всегда готовы помочь буйным своим единоплеменникам. Дух дикого их рыцарства заметно упал. Они редко нападают в равном числе на казаков, никогда на пехоту и бегут, завидя пушку. Зато никогда не пропустят случая напасть на слабый отряд или на беззащитного. Здешняя сторона полна молвой о их злодействах. Почти нет никакого способа их усмирить, пока их не обезоружат, как обезоружили крымских татар, что чрезвычайно трудно исполнить, по причине господствующих между ими наследственных распрей и мщения крови. Кинжал и шашка суть члены их тела, и младенец начинает владеть ими прежде, нежели лепетать. У них убийство — простое телодвижение. Пленников они сохраняют в надежде на выкуп, но обходятся с ними с ужасным бесчеловечием, заставляют работать сверх сил, кормят сырым тестом, бьют, когда вздумается, и приставляют к ним для стражи своих мальчишек, которые за одно слово вправе их изрубить своими детскими шашками. Недавно поймали мирного черкеса, выстрелившего в солдата. Он оправдывался тем, что ружье его слишком долго было заряжено. Что делать с таковым народом? Должно, однако ж, надеяться, что приобретение восточного края Черного моря, отрезав черкесов от торговли с Турцией, принудит их с нами сблизиться. Влияние роскоши может благоприятствовать их укрощению: самовар был бы важным нововведением. Есть средство более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением нашего века: проповедание Евангелия. Черкесы очень недавно приняли магометанскую веру. Они были увлечены деятельным фанатизмом апостолов Корана, между коими отличался Мансур, человек необыкновенный, долго возмущавший Кавказ противу русского владычества, наконец схваченный нами и умерший в Соловецком монастыре. Кавказ ожидает христианских миссионеров. Но легче для нашей лености в замену слова живого выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоты» (12, с. 647—649).

Здесь представлена подлинная анатомия войны, нелицеприятная для обеих сторон. Война делает воинственные, в силу исторических причин, кавказские народы еще более воинственными, рождает жестокость даже в детях, что впоследствии помножит бедствия. В то же самое время «живое слово», по мнению великого поэта, может способствовать пробуждению человечности. Но христианская миссия на Кавказе — трудный путь в налаживании мира — заменяется ожесточенными военными действиями, о которых А.С. Пушкин говорит иносказательно: «Но легче для нашей лености в замену слова живого выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоты». Обычно говорят «выливать пули», а посылать «немые книги», по-видимому, — открывать взору противника зрелища разоренных аулов, убитых собратьев.

О Котляревский, бич Кавказа!
Куда ни мчался ты грозой —
Твой ход, как черная зараза,
Губил, ничтожил племена…

Кавказский пленник. 1820—1821

Речь идет о генерале П.С. Котляревском (1782—1852), который служил на Кавказе с 1796 года.

В «Кавказском пленнике» (1820—1821) А.С. Пушкин рассказывает о Кавказской войне, включая ее в цепь исторически сложившихся непрерывных внутренних войн на Кавказе:

Сыны Кавказа говорят
О бранных, гибельных тревогах,
О красоте своих коней,
О наслажденьях дикой неги;
Воспоминают прежних дней
Неотразимые набеги,
Обманы хитрых узденей,
Удары шашек их жестоких,
И меткость неизбежных стрел,
И пепел разоренных сел,
И ласки пленниц чернооких.
Текут беседы в тишине;
Луна плывет в ночном тумане;
И вдруг пред ними на коне
Черкес. Он быстро на аркане
Младого пленника влачил.
«Вот русский!» — хищник возопил.
Аул на крик его сбежался
Ожесточенною толпой;
Но пленник хладный и немой,
С обезображенной главой,
Как труп, недвижим оставался.

А.С. Пушкин еще в «Кавказском пленнике» выразил общечеловеческий идеал взаимоотношений между людьми разных национальностей как идеал любви:

«Беги, — сказала дева гор, —
Нигде черкес тебя не встретит.
Спеши; не трать ночных часов;
Возьми кинжал: твоих следов
Никто во мраке не заметит».

Политическими деятелями разрабатывались стратегии войны на Кавказе, а поэтами — стратегии гуманизма и мира. В повести «Аммалат-бек» (1831) А.А. Бестужев-Марлинский разворачивает тяжелую процедуру принятия решения о судьбе татарского бека (дворянина) генералом А.П. Ермоловым, деятельность которого на Кавказе вызывает до сих пор противоречивые оценки: от главного вдохновителя колониального завоевания, использовавшего крайне жесткие меры против непокорных горцев, до инициативного и талантливого государственного мужа, отстаивавшего интересы России в этом регионе. Возрастающая среди войск популярность «проконсула Кавказа» вызывала опасения со стороны правительственных кругов, и в разгар русско-персидской войны 1826—1827 годов Ермолов был отстранен от командования в 1827 году и заменен любимцем императора Николая I И.Ф. Паскевичем.

В повести «Аммалат-бек» А.А. Бестужев-Марлинский показывает, как главнокомандующий А.П. Ермолов приходит к выводу о необходимости простить пленного Аммалата в ходе критического монологического диалога с полковником Верховским: «Участь прекрасного юноши тронула всех. Все шептались о нем, все его жалели, тем более что не было средств его спасти. Каждый очень хорошо знал и необходимость наказания за двукратную измену и неизменную волю Алексея Петровича в делах такой гласности, а потому никто не осмеливался просить за несчастного» (2, с. 476).

А.А. Бестужев-Марлинский запечатлевает А.П. Ермолова в глубокой рефлексии над собственными делами командира Отдельного кавказского корпуса: «Я знаю, что про меня идет слава, будто жизнь людей для меня игрушка, кровь их — вода. Самые жестокие завоеватели скрывали под личиной милосердия кровожадность свою. Они боялись ненавистной молвы, совершая ненавистные дела; но я — я умышленно создал себе такую славу, нарочно облек себя ужасом. Хочу и должен, чтобы имя мое стерегло страхом границы наши крепче цепей и крепостей, чтобы слово мое было для азиатцев верней, неизбежнее смерти. Европейца можно убедить, усовестить, тронуть кротостию, привязать прощением, закабалить благодеяниями; но все это для азиатца несомненный знак слабости… <…> на глазах моих не видят слезинки, когда я подписываю смертные приговоры, но сердце у меня обливается кровию! <…> Никогда со всем тем не была столь тяжка для меня обязанность наказывать, как сегодня» (там же, с. 476—477).

Полковник Верховский здесь взывает к чувствам генерала: «Великодушное сердце — лучший вдохновитель разума, — сказал я» (там же, с. 477).

Анатомируя сложную психологическую ситуацию, А.А. Бестужев-Марлинский показывает, как А.П. Ермолов, мудрый полководец, взвешивает все «за» и «против» в смелом решении: «Сердце должностного человека, любезный друг, должно быть навытяжку перед умом. Конечно, я могу простить Аммалата, но я должен казнить его. Дагестан еще кипит врагами русских, несмотря на поклоны и уверения в преданности; самые Тарки готовы подняться при первом ветре с гор; надобно пересечь эти ковы казнию и показать татарам, что никакая порода не спасет преступника, что все равны перед лицом русского закона. Прости же я Аммалата, как раз все родственники наказанных прежде станут славить, что Ермолов побоялся шамхала» (там же, с. 477).

Главным аргументом Верховского остается гуманизм по отношению к противнику: «Заставьте меня служить за троих, — говорил я, — не отпускайте этот год в отпуск, только помилуйте этого юношу. Он молод, и Россия может найти в нем верного слугу. Великодушие никогда не падает напрасно» (там же, с. 478).

Решение «быть добрым» подчас требует большего мужества, чем быть непреклонным в бою. А.А. Бестужев-Марлинский выводит модель поведения военачальника по отношению к пленному противнику: А.П. Ермолов смог подняться над обстоятельствами и проявить высшую мудрость — мудрость человеколюбия: «Я уже сделал много неблагодарных, — сказал он, — впрочем, так и быть: я его прощаю, — и не вполовину: это не моя манера. Спасибо тебе, что ты помог мне решиться быть добрым, чтобы не сказать слабым» (там же, с. 478).

В этой модели поведения важен еще один гуманистический шаг русского человека — полковника Верховского, который смог подставить плечо нетвердому в своих убеждениях Аммалату. Восприятие противника как друга, а не как врага, доверие к нему оказалось самым сильным оружием:

«— Предлагаю тебе одно условие: поживи со мной, покуда перепадет молва о твоем похождении. Ты будешь у меня как друг, как брат родной.

Это изумило азиатца. Слезы брызнули у него из глаз.

— Русские меня победили! — вскричал он. — Простите, полковник, что я думал худо обо всех вас. С этой поры я верный слуга русскому царю, верный друг русским, душой и саблею. Сабля моя, сабля! — примолвил он, разглядывая драгоценный клинок свой, — пускай эти слезы смоют с тебя русскую кровь и татарскую нефть! Когда и чем могу заслужить и за жизнь, за волю!» (там же, с. 478—479).

Гуманистическая программа декабриста А.А. Бестужева-Марлинского реализуется в действии героев: «Вот уже мы три дня в Дербенте. Аммалат живет со мною. Молчит, грустит, дичится, но страх занимателен, несмотря на это. Он хорошо говорит по-русски; я заставил его учиться грамоте. Понятливости необычайной; со временем я надеюсь сделать из него премилого татарина. <…> …я… начал перевоспитывать душу Аммалата. Выказываю, доказываю ему, что есть дурного в их обычаях, что хорошего в наших; толкую истины всеместные и всевечные. Читаю с ним, приохочиваю к письму и с радостию вижу, что он пристрастился к чтению и к сочинению. Говорю пристрастился, потому что каждое его желание, прихоть, воля есть страсть пылкая, нетерпеливая. Трудно вообразить, еще труднее попять европейцу вспыльчивость необузданных или, лучше сказать, разнузданных страстей азиатца, у которого с самого младенчества одна воля была границею желаний» (там же, с. 479—480).

А.А. Бестужев-Марлинский не идеализирует Аммалат-бека, прекрасно зная особенности ментальности, психологии горцев, в то же время он понимал, что вражде должен наступить конец, нужно научиться жить прежде враждующим людям в совместном пространстве, и это возможно только на основе приятия обеими сторонами истин «всеместных и всевечных». Писатель знал, что

взаимопонимание и толерантность — это огромная работа, требующая большого участия друг в друге обеих противоборствующих сторон, длительного времени, терпения и постоянного стремления к познанию друг друга, просвещения.

Финал этого диалога закономерно оказался не столь многообещающе счастливым: глубинные пружины вечной вражды неминуемо дают о себе знать. Сюжет строится автором в обратном, алогичном гуманистическому пафосу героев направлении: Аммалат, жертва коварства горских князей, оболгавших полковника Верховского, убивает своего спасителя, сам же, став изгоем и в среде русских, и в среде горцев, погибает в бою. А.А. Бестужев-Марлинский, не раз находившийся в самых страшных сражениях, показывает прозрение Аммалата в последние минуты жизни, в момент обретения истины. Горец познал и благородство и предательство: «Кровь... — сказал он, разглядывая свою руку, — все кровь! Зачем на меня надели его кровавую рубашку?.. Я и без того плаваю в крови... Зачем же не тону в ней?.. Как холодна сегодня она... Бывало, она жгла меня... да и это не легче. На свете было так душно... в могиле так холодно!.. Страшно быть мертвецом!.. Глупец я! Искал смерти... О, дайте мне воротиться на свет!.. Дайте пожить, еще хоть денек, хоть часок пожить!.. Что такое? Что! Зачем я спрятал в могилу другого? шепчешь ты... Узнай сам, каково в ней! Узнай, каково умирать!..» (там же, с. 545—546). Может быть, это одно из самых проникновенных прозрений человека, вовлеченного во вражду, выросшего на войне, ценой смерти познавшего высшую ценность на земле — ценность жизни.

А.А. Бестужев-Марлинский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, впоследствии Л.Н. Толстой создали энциклопедию жизни кавказских народов в первой половине — середине XIX века. Вот, например, портрет одного из дагестанских народов — аварцев, который дает А.А. Бестужев-Марлинский: «Аварцы — народ свободный. Они не знают и не терпят над собой никакой власти. Каждый аварец называет себя узденем, и если имеет есыря (пленного), то считает себя важным барином. Бедны, следственно, и храбры до чрезвычайности; меткие стрелки из винтовок, славно действуют пешком; верхом отправляются только в набеги, и то весьма немногие. Лошади их мелки, но крепки невероятно; язык дробится на множество наречий, но в основе лезгинский, ибо и сами аварцы племени лезгинского. Помнят христианскую веру, ибо не более ста двадцати лет поклонились Магомету, но до сих нор плохие магометане: пьют водку, пьют бузу, нередко виноградное вино, но всего чаще вино вареное, называемое у них джапа. Верность аварского слова в горах обратилась в пословицу. Дома тихи, гостеприимны, радушны, не прячут ни жен, ни дочерей; за гостя готовы умереть и мстить до конца поколений. Месть для них — святыня, разбой — слава. Впрочем, нередко принуждены бывают к тому необходимостию. Выходя по вершине Аталы и Тхезерук, чрез хребет Турнитау в Кахетию, за реку Алазань, для сельских работ, из очень скудной платы, они нередко остаются дня по два и по три без дела, и потом, сговорившись, как голодные волки, бросаются ночью на ближние селения и, если удастся, угоняют стада, похищают женщин, захватывают пленников, но всего чаще слагают свои головы в неравном бою. В русские границы впадения их затихли с тех пор, как укротили акушинцев, и Аслан-хан Кумыкский стережет через его владения лежащий выход из Аварии. Но селение Хунзах, или Авар, лежащее на восточном краю Аварии, искони составляет наследие ханов, и власть их там закон. Впрочем, имея право велеть своим нукерам изрубить кинжалами любого жителя Хунзаха, даже любого проезжего, хан не смеет наложить никакой подати, никакой пошлины на пород и должен довольствоваться доходами со стад и с полей своих, обрабатываемых каравашами (рабами) и есырями (пленниками). Не бравши, однако ж, прямых налогов, ханы не отказываются от требования повинностей, освященных более силою, чем обычаем. Взять во двор мальчика или девку, нарядить подводы па волах или буйволах для собственной перевозки или работы, послать гонца и тому подобное — суть вещи ежедневные. Жители Хунзаха живут, однако же, богаче всех своих одноземцев; дома их чисты и почти все в два яруса; мужчины стройны, женщины красивы, тем более что между ними множество грузинок, захваченных в плен. В Аварии много занимаются арабским языком и потому слог людей грамотных очень цветен. Тарам ханский всегда полой гостями и нередко просителями, которые, по азиатскому обычаю, не смеют показать глаз без пешкеша (подарка), хотя бы то был пяток яиц... Нукеры ханские, на числе и отважности коих опирается власть его, с утра до вечера толкаются во дворах и в комнатах хана, всегда с заряженными пистолетами за поясом и с кинжалом на брюхе. Любимые уздени и приезжие гости из чеченцев или из татар обыкновенно каждый день являлись поутру на поклон к хану, оттуда всей гурьбой отправлялись к ханше и нередко целый день оставались пировать в особых комнатах, угощаемые и в отсутствие хана изобильно» (там же, с. 450—451).

В этом портрете народа, который мы назвали бы сейчас семиотическим, так как в нем используются наиболее значимые (знаковые) признаки, характеристики народа, писатель определяет социальный строй, ментальность, язык, религию, обычаи, уклад, культуру, образование и т.д. И все это в связной форме идей, характеризующихся доброжелательным интересом, мирной познавательной деятельностью писателя.

Будучи энциклопедическими личностями, русские писатели изучали языки народов Северного Кавказа, широко вводили экзотическую лексику в свои произведения, с тем чтобы познакомить чи-

тателей с жизнью, бытом, культурой горцев. Языки — русский и кавказские — становятся самыми важными посредниками в сложной коммуникации русских писателей на Кавказе. Произведения наших писателей пронизаны комментариями, обширными примечаниями, авторскими дефинициями лексики, непонятной русскоязычному читателю. До сих пор они самое подлинное свидетельство жизни горцев в XIX веке.

Произведения русских писателей, характеризующиеся романтическими тенденциями, отличаются восторженным приятием природы Кавказа. Читая Кавказ как великую книгу природы, они воспринимали его в контексте понимания Востока, древних священных книг: «Все звенья природы, начиная от мыслящего существа до бесчувственного камня, звучали какою-то младенческою, библейскою простотою. Только здесь, только на Востоке, поймете вы картины и обычаи книг Ветхого завета. Иероглиф станет для вас буквою, загадка — живым словом», — пишет А.А. Бестужев-Марлинский о Дагестане (4, с. 210).

Именно на Кавказе русские художники испытали великое чувство единения земного и небесного, вселенской гармонии: «Взгляните на восток: там, вдали, в глубине, между синью неба и дали, видите ли вы, как яснеет полоса оживленного серебра? Это Каспийское море. Но кто скажет, где граница гор с морем? где кончится море и начинается небо? Вот она — эта гармония, слышимая одной душе, сливающая в один лад, в один блеск и земное и небесное. Вот радуга прекрасного, возникающая как мост между миром и Богом» (3, с. 203).

Для нас, живущих на Северном Кавказе, для тех, кто бывает здесь, проникновенной является каждая деталь, каждое упоминание о Ставрополе, нашем крае, о Кавказских Минеральных Водах, о Северном Кавказе, где все дышит памятью и о великих событиях, и об обыденной жизни, и о наших выдающихся художниках, запечатлевших их. И вне этого большого кавказского текста вряд ли возможно понимание всего, что происходит в нашей жизни сейчас. И если мы не можем разобраться в происходящем в современной России, значит, мы мало обращаемся к опыту наших великих учителей — русских писателей, без страха и упрека служивших делу мира на Кавказе.

«Опальные: Русские писатели открывают Кавказ» — трехтомная антология, в которой собраны произведения писателей и поэтов, в разное время сосланных в «теплую Сибирь» — на Северный Кавказ, и открывших его для себя и русскоязычных читателей. Это был первый опыт систематического описания жизни горских народов, познания их истории, культуры, языков. Миссия русских писателей, несмотря на то, что они сами были участниками военных событий, оказалась миротворческой — они до сих пор дают нам непревзойденный по нравственной глубине пример гуманистического поведения человека, оказавшегося внутри бесчеловечной бойни.

Прошло уже много времени, творчество А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.А. Бестужева-Марлинского оказалось хорошо изученным, имена некоторых писателей и поэтов мы только начинаем открывать. Нам хотелось объединить произведения, написанные опальными русскими художниками, в большой антологии, с тем чтобы продолжить изучение их творчества в особом ракурсе. Важно понять, как мыслили и действовали на Кавказе критически настроенные по отношению к официальной политике царской России художники в сложное время, в сложных обстоятельствах Кавказской войны, а также в мирное время. Русские писатели отличались критическим мышлением. Оно, по мнению выдающегося философа К.Р. Поппера, является результатом высших функций языка, приводит к формированию нашей человеческой природы, нашего разума, и рост знания в мире возможен посредством устранения ошибок, систематической рациональной критики. Вслед за писателями нашим историкам, литературоведам, лингвистам, а также политикам, государственным деятелям предстоит изучить достижения прошлого, разобраться в ошибках, чтобы не повторять их в будущем.

В то же время мы попытались собрать и систематизировать исследования, написанные о самих писателях, их произведениях. Опирались мы в основном на малоизвестные работы, а также на те, которые ушли из научного обихода, но по-прежнему являются значимыми. Нам хотелось также познакомить читателей с исследованиями, написанными в нашем крае, на Северном Кавказе — там, где происходили события, описанные русскими писателями.

В первом томе антологии печатаются произведения А.И. Одоевского, А.С. Пушкина, А.А. Бестужева-Марлинского, М.Ю. Лермонтова и исследования о них. Мы печатаем малоизвестную работу Н.А. Котляревского «Декабристы: Князь А.И. Одоевский и А.А. Бестужев-Марлинский. Их жизнь и литературная деятельность» (1907). Она интересна тем, что в ней представлена точка зрения дореволюционного исследователя на проблему декабристов и их деятельности. Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова сопровождаются исследованиями Н.В. Маркелова «Пушкин и Северный Кавказ» (2004) и Л.П. Семенова «Лермонтов на Кавказе» (1939). Интересны малоизвестные работы Е.Г. Вейденбаума, посвященные творчеству А.С. Пушкина, а также его комментарии к «Путешествию в Арзрум». Собраны многочисленные сведения, связанные с русскими поэтами и писателями, открывшими Северный Кавказ для читателей. Подчас интересны некоторые обзоры, например, событий, которые происходили в нашем крае в процессе подготовки к празднованию столетнего юбилея А.С. Пушкина.

Во втором томе будут напечатаны произведения известных и малоизвестных писателей, поэтов, публицистов: В.И. Соколовского, Н.И. Воронова, И.В. Бентковского, К.Л. Хетагурова, — не только сосланных, но и впоследствии проживавших, служивших в нашем крае.

В третьем томе собраны сочинения писателей Я.В. Абрамова, С.В. Фарфоровского, Г.Н. Прозрителева, Г.А. Лопатина, живших в нашем крае, внесших огромный вклад в его культуру, а также работы об их творчестве.

Кавказский текст — один из самых сложных для познания в нашей истории и культуре. Для того чтобы осмыслить все происходившее и происходящее здесь, надо воспользоваться опытом тех деятелей литературы и культуры, которые сами принимали участие в военных действиях на Кавказе, в создании своеобразной культуры, которой отличается наш многонациональный, уникальный по своему многоязычию край.

История сейчас рассматривается как дискурс, в котором слышно множество голосов. Лингвисты, историки интересуются нарративами (повествованием), рассматривают их как текстовое целое, воспринимая историческую реальность через призму романов, повестей, рассказов, их язык. Философы, историки, лингвисты задумываются сейчас о том, что такое опыт, в частности исторический опыт, каким образом мы приобретаем опыт реальности, в том числе и через лингвистическую форму опыта — мышление, говорение, писание. Опыт сейчас становится центральной категорией истории, философии, литературы. Таким образом, в научном контексте данная антология — это собрание «опытов» писателей, которые могут способствовать осмыслению всего, что происходило и происходит на Северном Кавказе. В контексте повседневной жизни это также «опыты» жизни, энциклопедия быта, культуры Северного Кавказа, войны и мира, непрерывно сменяющих друг друга. Возможно, произведения русских писателей — одно из самых подлинных руководств и к осмыслению проблем, и к реальной деятельности по строительству мира и упрочению взаимопонимания на Северном Кавказе.

Литература

1. Белинский В.Г. Стихотворения М. Лермонтова // Белинский В.Г. М.Ю. Лермонтов: Статьи и рецензии. — Л.: ОГИЗ, 1941. — С. 132–205.
2. Бестужев-Марлинский А.А. Аммалат-бек // Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения: В 2 т. Т. 1. Повести. Рассказы. Очерки. — М.: ГИХЛ, 1958. — С. 423—547.
3. Бестужев-Марлинский А.А. Горная дорога из Дагестана в Ширван через Кунакенты // Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения: В 2 т. Т. 2. Повести. Рассказы. Очерки. Стихотворения. Статьи. Письма. — М.: ГИХЛ, 1958. — С. 202—208.
4. Бестужев-Марлинский А.А. Последняя станция к старой Шемахе // Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения: В 2 т. Т. 2. Повести. Рассказы. Очерки. Стихотворения. Статьи. Письма. — М.: ГИХЛ, 1958. — С. 209—217.
5. Гордин А.Я. Русский человек и Кавказ // Культура и общество. Альманах Фонда им. Д.С. Лихачева. — СПб., 2006. — Вып. 2—3. — С. 112—131.
6. Келли Л. Лермонтов: Трагедия на Кавказе. — М.: SPSL — Русская панорама, 2006.
7. Леонтьев К.Н. Храм и церковь. — М.: АСТ, 2003.
8. Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1. Стихотворения 1828–1841 годов. — М.–Л.: Академия наук СССР, 1958.
9. Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4. Проза. Письма. — М.–Л.: Академия наук СССР, 1959.
10. Новикова Л.И., Сиземская И.Н. Введение // Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. Антология. — М.: Наука, 1993. — С. 3–23.
11. Поппер К.Р. Объективное знание. Эволюционный подход. — М.: УРСС, 2002.
12. Пушкин А.С. Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. 6. Художественная проза. — М.: Наука, 1964. — С. 637—701.
13. Савицкий П.Н. Евразийство // Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. Антология. — М.: Наука, 1993. — С. 100–113.
14. Семенов Л.П. Лермонтов на Кавказе // Лермонтовский текст: Ставропольские исследователи о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова. Антология: В 2 т. — Ставрополь: СГУ, 2007. — Т. 1. — С. 162–223.
15. Трубецкой Н.С. О туранском элементе в русской культуре // Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. Антология. — М.: Наука, 1993. — С. 59–76.
16. Трубецкой Н.С. Общеевразийский национализм // Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. Антология. — М.: Наука, 1993. — С. 90–99.
17. Чаадаев П.Я. Философические письма // Классика геополитики. XIX век. — М.: АСТ, 2003. — С. 7–52.

К.Э. Штайн, Д.И. Петренко

А.И.Одоевский

СТИХОТВОРЕНИЯ О КАВКАЗЕ

* * *

Струн вещих пламенные звуки
До слуха нашего дошли,
К мечам рванулись наши руки,
И — лишь оковы обрели.

Но будь покоен, бард! — цепями,
Своей судьбой гордимся мы,
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями.

Наш скорбный труд не пропадет,
Из искры возгорится пламя,
И просвещенный наш народ
Сберется под святое знамя.

Мечи скуем мы из цепей
И пламя вновь зажжем свободы!
Она нагрянет на царей,
И радостно вздохнут народы!

Конец 1828 или начало 1829 (?),
Читинский острог

Умирающий художник

На смерть Д.В.Веневитинова[1]

Все впечатленья в звук и цвет
И слово стройное теснились,
И музы юношей гордились
И говорили: «Он поэт!..»
Но нет, — едва лучи денницы
Моей коснулися зеницы —
И свет во взорах потемнел;
Плод жизни свеян недоспелый!
Нет! Снов небесных кистью смелой
Одушевить я не успел;
Глас песни, мною недопетой,
Не дозвучит в земных струнах,
И я — в нетление одетый —
Ее дослышу в небесах.
Но на земле, где в чистый пламень
Огня души я не излил,
Я умер весь... И грубый камень,
Обычный кров немых могил,
На череп мой остывший ляжет
И соплеменнику не скажет
Что рано выпала из рук
Едва настроенная лира,
И не успел я в стройный звук
Излить красу и стройность мира.

1828, Чита

Последняя надежда

Промелькнул за годом год,
И за цепью дней минувших
Улетел надежд блеснувших
Лучезарный хоровод.
Лишь одна из дев воздушных
Запоздала. Сладкий взор,
Легкий шепот уст радушных,
Твой небесный разговор
Внятны мне. Тебе охотно
Я вверяюсь всей душой!
Тихо плавай надо мной,
Плавай, друг мой неотлетный!
Все исчезли. Ты одна
Наяву, во время сна
Навеваешь утешенье.
Ты в залог осталась мне,
Заверяя, что оне
Не случайное виденье,
Что приснятся и другим
И зажгут лучом своим
Дум высоких вдохновенье!

1829, Чита

Узница Востока

Как много сильных впечатлений
Еще душе недостает!
В тюрьме минула жизнь мгновений,
И медлен, и тяжел полет
Души моей, не обновленной
Явлений новых красотой
И дней темничных чередой,
Без снов любимых, усыпленной.
Прошли мгновенья бытия
И на земле настала вечность.
Однообразна жизнь моя,
Как океана бесконечность.
Но он кипит… свои главы
Подъемлет он на вызов бури,
То отражает свод лазури
Бездонным сводом синевы,
Пылает в заревах, кровавый
Он брани пожирает след,
Шумя в ответ на громы славы
И клики радостных побед,
Но мысль моя — едва живая —
Течет, в себе не отражая
Великих мира перемен;
Все прежний мир она объемлет,
И за оградой душных стен —
Востока узница — не внемлет
Восторгам западных племен.

1829, Чита

Элегия на смерть А.С. Грибоедова

Где он? Кого о нем спросить?
Где дух? Где прах?.. В краю далеком!
О, дайте горьких слез потоком
Его могилу оросить,
Ее согреть моим дыханьем;
Я с ненасытимым страданьем
Вопьюсь очами в прах его,
Исполнюсь весь моей утратой,
И горсть земли, с могилы взятой,
Прижму — как друга моего!
Как друга!.. Он смешался с нею,
И вся она родная мне.
Я там один с тоской моею,
В ненарушимой тишине,
Предамся всей порывной силе
Моей любви, любви святой,
И прирасту к его могиле,
Могилы памятник живой…

Но под иными небесами
Он и погиб, и погребен;
А я — в темнице! Из-за стен
Напрасно рвуся я мечтами:
Они меня не унесут,
И капли слез с горячей вежды
К нему на дерн не упадут.
Я в узах был; — но тень надежды
Взглянуть на взор его очей,
Взглянуть, сжать руку, звук речей
Услышать на одно мгновенье —
Живило грудь, как вдохновенье,
Восторгом полнило меня!
Не изменилось заточенье;
Но от надежд, как от огня,
Остались только — дым и тленье;
Они — мне огнь: уже давно
Все жгут, к чему ни прикоснутся;
Что год, что день, то связи рвутся,
И мне, мне даже не дано
В темнице призраки лелеять,
Забыться миг веселым сном
И грусть сердечную развеять
Мечтанья радужным крылом.

1829, Чита

Два духа

Стоит престол на крыльях: серафимы,
Склоня чело, пылают перед ним;
И океан горит неугасимый —
Бесплотный сонм пред господом своим.
Все духи в дух сливаются единый,
И, как из уст единого певца,
Исходит песнь из солнечной пучины,
Звучит хвалу всемирного творца.
Но где средь волн сияет свет предвечный,
Уже в ответ звучнеют голоса
И, внемля им, стихают небеса,
Как струнный трепет арфы бесконечной…
«Вы созданы без меры и числа
Предвечных уст божественным дыханьем.
И бездна вас с любовью приняла,
Украсилась нетлеющим созданьем.
На чудный труд всевышний вас призвал:
Вам дал он мир, всю будущую вечность —
Но вещества, всю мира бесконечность —
На вечное строенье даровал.
Дольется ваша творческая сила!..
Блудящие нестройные светила
Вводите в путь, как стройный мир земной,
Как Землю. Духа вышнего строенье
Исполните изменчивые тленья
Своею неизменной красотой».
Замолкла песнь. Два духа светлым станом
Блеснули над бесплотным океаном;
Им божий перст на пропасть указал.
Под ними за мелькающей Землею
То тихо, то с порывной быстротою
Два мира, как за валом темный вал,
В бездонной мгле, светилами блестящей,
В теченьи, в вихре солнечных кругов
Катились средь бесчисленных миров,
Бежали — в бесконечности летящей.

Склоняя взор пылающих очей,
Два ангела крылами зашумели,
Низринулись и в бездну полетели,
Светлее звезд, быстрее их лучей.
Минули мир за миром; непрерывно,
Как за волной волна падучих вод,
Всходил пред ними звездный хоровод;

И, наконец, в красе, от века дивной,
Явилась им Земля, как райский сон,
И одного из ангелов пленила.
Над нею долго… тихо… плавал он,
И видел, как божественная сила
Весь мир земной еще животворила.
Везде — черта божественных следов:
Во глубине бушующих валов,
На теме гор, встающих над горами.
Венчанные алмазными венцами,
Они метают пламя из снегов,
Сквозь радуги свергают водопады,
То, вея тихо крыльями прохлады
Из лона сенелиственных лесов,
Теряются в долинах благовонных,
И грозно вновь исходят из валов,
Из-под морей, безбрежных и бездонных.
Душистой пылью, негой всех цветов
И всех стихий величьем и красою,
Летая, ангел крылья отягчил,
И медленно поднялся над Землею,
И в бездну, сквозь златую цепь светил,
Летящий мир очами проводил.
Еще в себе храня очарованье,
Исполненный всех отцветов земных,
Всех образов недвижных и живых,
Он прилетел… и начал мирозданье…
Мир вдвое был обширнее Земли.
По нем живые воды не текли,
Весь мрачный шар был смесью безобразной.
Дух влагу свел и поднял цепи гор,
Вкруг темя их провел венец алмазный,
И на долины кинул ясный взор,
И, вея светозарными крылами,
Усеял их и лесом и цветами.
И Землю вновь, казалось, дух узрел.
Все образы земные вновь предстали,
Его опять собой очаровали, —
Другой же дух еще высоких дел
Не кончил. Он летал. Его дыханье,
Нетленных уст весь животворный жар
Пылал… живил… огромный, мертвый шар.
Изринулись стихии… Мирозданье
Вздрогнуло… Трепет в недрах пробежал…
Все гласы бурь завыли; но покойно
В борьбе стихий, над перстию нестройной
Дух творческий и плавал и летал…
Покрылся мир палящей лавой; льдины,
Громады льдов растаяли в огне,
Распались на шумящие пучины,
И огнь потух в их мрачной глубине;
Взошли леса, в ответ им зашумели.
Но вкруг лесов, высоких и густых,
Еще остатки пепельные тлели,
Огромные, как цепи гор земных.
Окончил дух… устроил мир обширный…
Взвился… очами обнял целый труд,
И воспарил. Пред непреложный суд
Два ангела предстали. Дух всемирный
С престола встал… Свой бесконечный взор
С высот небес сквозь бездну он простер…
Катится мир, но мир, вблизи прекрасный,
Нестроен был. Все чуждое цвело,
Но образов и мера, и число
С объемом мира были несогласны.
Узрел господь, и манием перста
Расстроил мир. Земная красота,
Все чуждое слетело и помчалось,
Сквозь цепь миров с Землею сочеталось.
Другой же мир, как зданье божьих рук,
Юнел. В красе явился он суровой,
Но в бездне он, — ответный звукам звук —
Сияет век одеждой вечно новой,
Чарует вечно юной красотой;
И, облит света горнего лучами,
Бесплотный Зодчий слышал глас святой,
Внимал словам, воспетым небесами:
«Ты к высшему стремился образцу,
И строил труд на вечном основаньи,
И не творенью, но творцу
Ты подражал в своем созданьи».

1831 или 1832 (?)

* * *

Из детских всех воспоминаний[2]
Одно во мне свежее всех,
Я в нем ищу в часы страданий
Душе младенческих утех.

Я помню липу, нераздельно
Я с нею жил; и листьев шум
Мне веял песней колыбельной,
Всей негой первых детских дум.

Как ветви сладостно шептали!
Как отвечал им лепет мой!
Мы будто вместе песнь слагали
С любовью, с радостью одной.

Давно я с липой разлучился;
Она как прежде зелена,
А я? Как стар! Как изменился!
Не молодит меня весна!

Увижу ль липу я родную?
Там мог бы сердце я согреть
И песнь младенчески простую
С тобой, мой добрый друг, запеть.

Ты стар, но листья молодеют,
А люди, люди! Что мне в них?
Чем старей — больше все черствеют
И чувств стыдятся молодых!

Между 1832 и 1835 (?)

* * *

Как я давно поэзию оставил!
Я так ее любил! Я черпал в ней
Все радости, усладу скорбных дней,
Когда в снегах пустынных мир я славил,
Его красу и стройность вечных дел,
Господних дел, грядущих к высшей цели
На небе, где мне звезды не яснели,

И на земле, где в узах я коснел,
Я тихо пел пути живого бога
И всей душой его благодарил,
Как ни темна была моя дорога,
Как ни терял я свежесть юных сил…
В поэзии, в глаголах провиденья,
Всепреданный, искал я утешенья —
Живой воды источник я нашел!
Поэзия! — не божий ли глагол,
И пеньем птиц, и бурями воспетый,
То в радугу, то в молнию одетый,
И в цвет полей, и в звездный хоровод,
В порывы туч, и в глубь бездонных вод,
Единый ввек и вечно разнозвучный!
О друг, со мной в печалях неразлучный,
Поэзия! слети и мне повей
Опять твоим божественным дыханьем!
Мой верный друг! когда одним страданьем
Я мерил дни, считал часы ночей, —
Бывало, кто приникнет к изголовью
И шепчет мне, целит меня любовью
И сладостью возвышенных речей?
Слетала ты, мой ангел-утешитель!
Пусть друг сует, столиц животный житель,
Глотая пыль и прозу мостовой,
Небесная, смеется над тобой!
Пусть наш Протей Сенковский[3], твой гонитель,
Пути ума усыпав остротой,
Катается по прозе вечно гладкой
И сеет слух, что век проходит твой!
Не знает он поэзии святой,
Поэзии страдательной и сладкой!
В дни черные не нежил твой напев
Его души; его понятен гнев:
Твой райский цвет с его дыханьем вянет,
И на тебя ль одну? — на все, на всех
Он с горя мечет судорожный смех —
Кроит живых, у мертвых жилы тянет.
Он не росу небес, но яд земли —
Злословье льет, как демон, от бессилья;
Не в небесах следит он орли крылья,
Но только тень их ловит он в пыли,
И только прах несет нам в дар коварный —
Святой Руси приемыш благодарной![4]
Но нет! в пылу заносчивых страстей
Не убедит причудливый Протей,
Что час пробил свершать по музам тризны,
Что песнь души — игрушка для детей,
И царствует одна лишь проза жизни.
Но в жизни есть минуты, где от мук
Сожмется грудь, и сердцу не до прозы,
Теснится вздох в могучий, чудный звук,
И дрожь бежит, и градом льются слезы…
Мучительный, небесный миг! Поэт
В свой тесный стих вдыхает жизнь и вечность,
Как сам господь вдохнул в свой божий свет —
В конечный мир — всю духа бесконечность.

Когда, шутя, наш Менцель[5] лепит воск
И под ногой свой идеал находит,
Бальзака враг, его же лживый лоск
На чуждый нам, наборный слог наводит, —
Поэт горит! из глубины горнил
Текут стихи, — их плавит вдохновенье;
В них дышит мысль, порыв бессмертных сил —
Души творца невольное творенье!

Конец 1836 или начало 1837 (?)

* * *

Как недвижимы волны гор[6],
Обнявших тесно мой обзор
Непроницаемою гранью!
За ними — полный жизни мир,
А здесь — я одинок и сир,
Отдал всю жизнь воспоминанью.

Всю жизнь, остаток прежних сил,
Теперь в одно я чувство слил,
В любовь к тебе, отец мой нежный,
Чье сердце так еще тепло,
Хотя печальное чело
Давно покрылось тучей снежной.

Проснется ль темный свод небес,
Заговорит ли дальний лес
Иль золотой зашепчет колос —
В луне, в туманной выси гор,
Везде мне видится твой взор,
Везде мне слышится твой голос.

Когда ж об отчий твой порог
Пыль чуждую с иссохших ног
Стрясет твой первенец-изгнанник,
Войдет, растает весь в любовь,
И небо в душу примет вновь,
И на земле не будет странник?

Нет, не входить мне в отчий дом
И не молиться мне с отцом
Перед домашнею иконой;
Не утешать его седин,
Не быть мне от забот, кручин
Его младенцев обороной!

Меня чужбины вихрь умчал
И бросил на девятый вал
Мой челн, скользивший без кормила;
Очнулся я в степи глухой,
Где мне не кровною рукой,
Но вьюгой вырыта могила.

С тех пор, займется ли заря,
Молю я солнышко-царя
И нашу светлую царицу:
Меня, о солнце, воскреси,
И дай мне на святой Руси
Увидеть хоть одну денницу!

Взнеси опять мой бедный челн,
Игралище безумных волн,
На океан твоей державы,
С небес мне кроткий луч пролей
И грешной юности моей
Не помяни ты в царстве славы!

14 апреля 1836, Елань

* * *

Куда несетесь вы, крылатые станицы?[7]
В страну ль, где на горах шумит лавровый лес,
Где реют радостно могучие орлицы
И тонут в синеве пылающих небес?
И мы — на Юг! Туда, где яхонт неба рдеет
И где гнездо из роз себе природа вьет,
И нас, и нас далекий путь влечет…
Но солнце там души не отогреет
И свежий мирт[8] чела не обовьет.

Пора отдать себя и смерти и забвенью!
Но тем ли, после бурь, нам будет смерть красна,
Что нас не Севера угрюмая сосна,
А южный кипарис своей покроет тенью?
И что не мерзлый ров, не снеговой увал
Нас мирно подарят последним новосельем;
Но кровью жаркою обрызганный чакал[9]
Гостей бездомный прах разбросит по ущельям.

Октябрь-декабрь (?) 1837

Соловей и роза[10]

— Зачем склонилась так печально,
Что не глядишь ты на меня?
Давно пою и славлю розу,
А ты не слушаешь меня!

— Зачем мне слушать? Слишком громко
Поешь ты про свою любовь.
Мне грустно: ты меня не любишь,
Поешь не для меня одной.

— Но ты, как дева Франкистана,[11]
Не расточай души своей:
Мне одному отдай всю душу!
Тогда я тихо запою.

Конец 1837, Тифлис

Моя Пери

Взгляни, утешь меня усладой мирных дум,
Степных небес заманчивая Пери![12]
Во мне грусть тихая сменила бурный шум,
Остался дым от пламенных поверий.
Теперь, томлю ли грусть в волнении людей,
Меня смешит их суетная радость;
Ищу я думою подернутых очей;
Люблю речей задумчивую сладость.
Меня тревожит смех дряхлеющих детей,
С усмешкою гляжу на них угрюмой.
Но жизнь моя цветет улыбкою твоей,
Твой ясный взор с моей сроднился думой.
О Пери! улети со мною в небеса,
В твою отчизну, где все негой веет,
Где тихо и светло, и времени коса
Пред цветом жизни цепенеет.
Как облако плывет в иной, прекрасный мир
И тает, просияв вечернею зарею,
Так полечу и я, растаю весь в эфир
И обовью тебя воздушной пеленою.

Февраль 1838, Карагач

Брак Грузии с Русским царством[13]

Дева черноглазая! Дева чернобровая!
Грузия! дочь и зари, и огня!
Страсть и нега томная, прелесть вечно новая
Дышат в тебе, сожигая меня!

Не томит тебя кручина
Прежних, пасмурных годов!
Много было женихов,
Ты избрала — Исполина!

Вот он идет: по могучим плечам
Пышно бегут светло-русые волны;
Взоры подобны небесным звездам,
Весь он и жизни и крепости полный,
Гордо идет, без щита и меча;
Только с левого плеча,
Зыблясь, падает порфира;
Светл он, как снег; грудь, что степь, широка,
А железная рука
Твердо правит осью мира.

Вышла невеста навстречу; любовь
Зноем полудня зажгла ее кровь;
И, откинув покрывало
От стыдливого чела,
В даль все глядела, всем звукам внимала,
Там, под Казбеком, в ущелье Дарьяла,
Жениха она ждала.

В сладостном восторге с ним повстречалась
И перстнями поменялась;
В пене Терека к нему
Бросилась бурно в объятья, припала
Нежно на грудь жениху своему.
Приняла думу, и вся — просияла.
Прошлых веков не тревожься печалью,
Вечно к России любовью гори, —
Слитая с нею, как с бранною сталью
Пурпур зари.

12 апреля 1838, Тифлис

* * *

Я разлучился с колыбели[14]
С отцом и матерью моей,
И люди грустно песнь запели
О бесприютности моей.

Но жалость их — огонь бесплодный,
Жжет укоризненной слезой;
Лишь дева, ангел земнородный,
Простерла крылья надо мной.

Мне, сирому, ты заменила
Отца и мать, вдали от них,
И вполовину облегчила
Печаль родителей моих.

С отцом и матерью родною
Теперь увиделся я вновь,
Чтоб ввек меж ними и тобою
Делить сыновнюю любовь.

22 июня 1838, Пятигорск

Примечания

1. Веневитинов Д.В. (1805—1827) — поэт, принадлежавший к так называемому кружку «любомудров». Безвременная смерть оборвала творческую деятельность одаренного юноши.

2. Впервые опубликовано в «Русской старине», 1870, № 2 (1-е изд.), под заглавием: «Липа».

3. Протей (греч. миф.) — морское божество, обладавшее даром перевоплощения, в данном случае — человек, выступающий под разными личинами. Именно таким был критик, беллетрист и редактор «Библиотеки для чтения» Сенковский Осип Иванович (1800—1858).

4. Святой Руси приемыш благодарной! — Смысл выражения в том, что Сенковский был поляк и начинал свою литературную карьеру как польский писатель и ученый.

5. Вольфганг Менцель (1788—1873) — немецкий поэт, критик, журналист, публицист, был крайне субъективен и консервативен в своих критических оценках.

6. Впервые опубликовано в «Отечественных записках», 1841, № 7, с подписью А.-ий, под заглавием: «Отцу». Вполне возможно, что это стихотворение и хлопоты влиятельных родственников способствовали переводу Одоевского рядовым в Кавказский корпус.

7. Впервые опубликовано в «Русской беседе», 1857, № 6, под заглавием: «С севера на юг», без последних четырех строк, за подписью: А. Одоевский. По всей видимости, это первое стихотворение, увидевшее свет за полной подписью поэта. «Это стихотворение сказал Одоевский при виде станицы журавлей, летевших на юг, — писал М.А. Назимов, — когда он ехал со мной в одном экипаже из Сибири на Кавказ в октябре 1837 года. Стихотворение это тогда же было записано мною на ближайшей станции со слов моего друга Одоевского».

8. Мирт — южное растение, в древнегреческой поэзии — символ любви.

9. Чакал, или шакал — животное из семейства собак.

10. Впервые опубликовано в «Отечественных записках», 1841, № 7, за подписью: А.-ий. Стихотворение переводилось на грузинский язык тестем А.С. Грибоедова князем А. Чавчавадзе, поэтами С. Размадзе, Л. Исарлишвили и было очень популярно в среде грузинской интеллигенции.

11. Франкистан — так на Востоке называли Европу.

12. Пери (перс. миф.) — летающие божественные существа, здесь: добрые феи, музы.

13. Впервые опубликовано в изд. А.Е. Розена, 1883. Сам издатель называл это стихотворение: «Сочетание Грузии с Россией». Идейный смысл этого произведения очень широк. И прав, на наш взгляд, современный исследователь В.С. Шадури, видя в стихотворении выраженную в символической форме идею неразрывной дружбы русского и грузинского народов. (Грузия — черноглазая красавица невеста, Россия — светло-русый витязь-жених.) «Присоединение истерзанной восточными захватчиками Грузии к северному «исполину» расценивается Одоевским как прогрессивный акт, поскольку на этом кончалась для многострадальной Грузии «кручина прежних пасмурных годов» (В.С. Шадури. Декабристская литература и грузинская общественность. Тбилиси, 1958, с. 336).

14. Впервые опубликовано в изд. А.Е. Розена, 1883, под заглавием: «Песня, спетая Евгением [старшим сыном Розена] в Пятигорске, 23-го июля 1838 года, в день ангела тетки его, Марьи Васильевны Вольховской, рожденной Малиновской, которая до замужества и после оного заменила ему мать, уехавшую к мужу в Читинский острог, когда сыну ее было четыре года от роду, на голос «Вот, едет тройка».

Тексты стихотворений и примечания печатаются по источникам:

Мысль, вооруженная рифмами. Изд. 2-е. Поэтическая антология по истории русского стиха / Составитель В.Е. Холшевников. — Ленинград: Ленинградский государственный университет, 1967.

Одоевский А.И. Полное собрание стихотворений. Библиотека поэта. Большая серия. Изд. 2-е. — Ленинград: Советский писатель, 1958.

Воздух детства и отчего дома... — Москва: Молодая гвардия, 1987.

Русские поэты. Антология русской поэзии: В 6 т. — Москва: Детская литература, 1996.

Одоевский А.И. Стихотворения. Поэтическая Россия. — Москва: Советская Россия, 1982.

А.А.Бестужев-Марлинский

ПОДВИГ ОВЕЧКИНА И ЩЕРБИНЫ ЗА КАВКАЗОМ

За непрестанные набеги и разбой Сурхай-хана Казикумыкского русские, чтобы положить сему преграды, завладели частью подвластных ему гор в 1820 году, в январе, когда г. Ермолов громил возмутившихся акушинцев. Сурхай-хан скликал к себе своих воинственных кумыков, аварскую вольницу и с десятитысячным полчищем хлынул к крепостце Чирахской[1], охраняемой ротою Апшеронского пехотного полка, не сомневаясь, что он возьмет ее, уничтожит другие и очистит от русских ханства Куринское и Казикумыкское.

Штабс-капитан Овечкин, которому вверено было это передовое укрепление, наступившее пятой на громады Кавказа от востока, видел мятежное волнение в самом селении, сведал о восстании окрестных и собрал роту свою в крепостцу, грозящую с утеса Чираху. Надобно сказать, что селение Чирах сгромождено по скатам гор, на берегах двух буйных, ревучих речек, которые, сливаясь в средине оного, образуют поток Чирах-чай. Вблизи крутыми валами летают холмы, кругом уходят за облака нагие хребты, изрытые ущелиями.

Чуть зимняя заря облила своей воздушной кровью снежные темена гор, будто вестника крови, готовой пролиться, — толпы лезгин с диким воплем со всех сторон окружили крепость… Сажен пятьдесят ниже ее, на обрыве скалы, облепленной домами, стояла мечеть с минаретом, обращенная в хлебный магазин, и тридцать человек апшеронцев, защищавшие этот магазин, первые приняли на себя огонь врагов и первые пали от их безумной злости, отстреливаясь до последней минуты, защищаясь штыками до последнего вздоха. Мечеть была взята приступом, и с вершины минарета посыпался убийственный град пуль — внутрь крепостцы. Но кара была уже готова. Поручик Щербина, посланный на вылазку, по трупам открыл себе дорогу сквозь толпы врагов, ворвался в мечеть и вырезал засевших там лезгин до одного. Завладев снова минаретом, стрелки Щербины били сверху его любого, но зато десятки пуль проникали в малейшие скважины, и число храбрых редело, а толпы лезгин густели с каждым часом. Видя неминуемую гибель товарищей, бесстрашный Овечкин сделал две вылазки, чтоб выручить их из засады. Но Щербина кричал ему:

— Возвратись! Береги людей для охраны крепости: они нужнее меня отечеству. Я обрек себя на смерть, но умру недаром, и если не станет свинцу, то своим падением задавлю неприятеля!

Наконец рассвирепевшие горцы отбили двери, ворвались внутрь, резались там кинжалами и, растерзав всех, по узкой лестнице устремились кверху; но там ждал их Щербина, человека за человеком, и каждая голова, которая показывалась из-под пола, слетала на окровавленную площадку от удара его сабли. Потеряв лучших игидов, лезгины отказались от приступа — а не от мщенья. Два дня держался Щербина, не сдаваясь, без капли воды, посреди умирающих и убитых, но на третий минарет, разжигаемый сухим хворостом, обратился в печь; Щербина задыхался от дыма и жара, и ожесточенные горцы стащили его, полумертвого, полуизжаренного, сверху, подрезали ему пятки, вытянули жилы и, в глазах осажденных, замучили до смерти. Так кончил жизнь свою образец и жертва храбрости Щербина, юноша, своим образованием, умом и твердостью духа подававший блестящие надежды! Но кровь его пролилась за отечество — недаром; она вписала красную строку в летопись военной славы народа русского.

---

[1] Она отстоит от Кубы и Дербента верст около ста двадцати к западу. (*Прим. автора.*)

Осажденная крепостца Чирах состояла из небольшого квадрата, с круглыми по углам бастионами, с высоким бруствером над амбразурами, от нечаянного нападения. Под убийственным картечным огнем приблизились, однако же, горцы к крепости и залегли под самыми ее стенами. Завязалась стрельба из ружей, но, чтобы убивать неприятелей, должно было стрелять стоя, с гребня бруствера, и храбрые воины наши посылали и принимали верную смерть. Не раз пытались лезгины на приступ, но всегда были опрокидываемы с большим уроном себе, с значительным для осажденных. Бесстрашные, но напрасные вылазки, где неимоверная отвага уступала верной силе, уменьшали число их еще более. Остался жив только заслуженный штабс-капитан Овечкин; при нем человек сто, из коих более половины раненых, а он сам с пробитою ногою. Положение гарнизона становилось час от часу ужаснее. Осада длилась уже три дня, а у них ни капли воды, чтобы омыть раны, чтобы отмочить жаждою запекшиеся уста! Снег был истоптан в грязь и залит кровью. Правда, несколько удальцов, спускаясь ночью со стен, прокрадывались до источника; но не многим удавалось воротиться, и великодушные воины платили кровью за воду, почерпнутую для спасения братий. Солдаты грызли пули, глотали порох, думая освежить себя, напрасно — усталость и бессонница множили их страдания; они уже последними пулями посылали месть за павших. Между тем лезгины снова кричали о сдаче, сколько раз предложенной, столько же раз отвергнутой с презрением, и изнеможенные солдаты стали уже переглядываться между собою.

— Товарищи! — сказал тогда им Овечкин: — Я делил с вами труды и славу, заслужил с вами все раны, не однажды водил вас вперед и никогда не видал в побеге… Не дайте же при конце жизни моей увидеть вас, как трусов, без оружия, а себя в постыдном плену. Уж коли решились вы опозорить имя русское, то прежде пристрелите меня, и тогда делайте, что хотите, если не можете делать, что должно. Вы не слушаетесь приказа, убейте начальника, когда не хотите бить врагов!

Говорил русский и русским; сказанное с жаром было принято с восторгом. Забыто все — и одушевленные солдаты, поклявшись на сабле умереть, не сдаваясь, снова кинулись на стены и снова загремел ружейный и пушечный огонь.

Прошло еще несколько часов четвертого дня, и герой Овечкин, исходя кровью, изнемогая от судорог, впал в смертное оцепенение. Тогда фельдфебель одной из рот обратился к солдатам с предложением сдаться.

— Надежды на помощь никакой нет, — говорил он им, — подумайте, где мы и где наши! Помощи ждать невозможно, порох на исходе, а мы сами, как тени, от жажды, от ран, от истомы! Если не сдадимся теперь, то через час лезгины без выстрела возьмут крепость и нас переберут, как мерзлых мух, — руками. Слышите ли, как обещают они честный плен или участь Щербины! Сдадимся, братцы! Нас никто не укорит, что не сделали своего дела перед богом и государем!

При этих словах жизнь вспыхнула негодованием в сердце Овечкина. Он вспрянул неожиданно, подозвал фельдфебеля к себе и ударом руки поверг его на землю.

— Свяжите, бросьте этого бездельника! — вскричал он. — Я застрелю первого, кто помянет о сдаче. Поднимите, принесите меня к пушке!

Надобно знать, что амбразуры орудий заслонялись там досками, чтобы при заряжении не било артиллеристов. Дрожащею рукою схватил он фитиль, скомандовал: «Отнимай доску!» — и пушка грянула. Но сотни пуль влетели в открытое отверстие, и он, простреленный двумя, в бок и в ухо, покатился долой с платформы. Воспламененные солдаты дрались с ожесточением и умирали без ропота.

Упал вечор; тяжкая, роковая, безнадежная ночь протянулась за ним как вечность. Лезгины готовились на приступ; гибель храбрых защитников крепости была неизбежна. Не много осталось вживе русских, и те, израненные, ждали с первым лучом солнца неизбежной мучительной гибели.

Крики угроз и шум всю ночь раздавались в стане лезгин, — они готовились на последний приступ.

К рассвету все стихло, густой туман клубился кругом, и, наконец, медленно снялся он с окрестности, — все было пусто… Неприятель бежал… Куда? От кого? Никто не знал, никто не угадывал.

Слезы, молитвы избавленных чудом русских пролились безмолвно на кровь собратий. Скоро загадка объяснилась: Ермолов одним ударом сокрушил полчища акушинцев, и гром его отгрянул в сердцах мятежных воинов Сурхай-хана; они рассеялись этой вестью как ураганом, страшась мести, спеша защитить домы свои, но неизбежная месть достигла их…

Пусть живет сей высокий подвиг Овечкина в памяти русских, в благодарности отечества, в пример грядущим его защитникам. Государь император наградил штабс-капитана Овечкина чином капитана и орденом св. равноапостольного князя Владимира с бантом. Георгиевские кресты, присланные в батальон, немногих застали в жилых! Мир праху, слава их имени!

Через четыре месяца Овечкин был уже в строю и в деле. Главнокомандующий Кавказскою армией, генерал Ермолов, назначил его, в награду, в передовые на приступ Хойзрека. Крепость была взята, и капитан Овечкин доказал, что награда была ему по сердцу и что он стоил доверия главнокомандующего.

Текст печатается по источнику:

Бестужев-Марлинский А.А. Подвиг Овечкина и Щербины за Кавказом // Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения в двух томах. — М.: ГИХЛ, 1958. — Том 1. — С. 93–97.

ВЕЧЕР НА КАВКАЗСКИХ ВОДАХ В 1824 ГОДУ

*Посвящается Николаю Ивановичу Гречу**

— Зачем от нас могил ужасный клад
Видения и страхи сторожат?

— Вот Эльбрус, — сказал мне казак-извозчик, указывая плетью налево, когда приближался я к Кисловодску; и в самом деле, Кавказ, дотоле задернутый завесою туманов, открылся передо мною во всей дикой красоте, в грозном своем величии.

Сначала трудно было распознать снега его с грядою белых облаков, на нем лежащих; но вдруг дунул ветер — тучи сдвинулись, склубились и полетели, расторгаясь о зубчатые верхи. Солнце западало. Розовый, неизъяснимо прелестный румянец таял на голубоватых и словно прозрачных льдах горного гребня, и мимолетные пары, расцвеченные всеми отливами радуги, оживляя их игрою теней, придавали еще более очаровательности картине. Я не мог наглядеться, не мог налюбоваться Кавказом; я душой понял тогда, что горы есть *поэзия природы*. Чувства мои стали чище, думы яснее. Я мог словами поэта сказать тогда:

Там горести, там страсти яд немеет,
Там юностью невянущею веет,
Забвение целительной рукой
На сердце льет усладу и покой;
Душа слита с возвышенной природой,
И дышит грудь бессмертною свободой!

Но заря догорала. Одни за другими гасли вершины гор; только двуглавый Эльборус сиял двумя звездами над океаном туч… наконец и он утоп во мраке. Изредка перепадали крупные капли дождя; ветер вздувал по степи пыльные столбы, и телега моя неслась будто наперегонку с ними.

— Далеко ли? — спросил я извозчика.

— Полверсты, — отвечал он.

В тот же миг сверкнула молния и озарила передо мной новую станицу линейских казаков* и дальше домы и домики для приезжих на воды. Спешить мне было не для чего, и я решился провести в Кисловодске день и другой, чтобы удовлетворить любопытству: посмотреть общество и увидеться с знакомыми.

Зоревой барабан гремел и раздавался в окрестности, когда вошел я в залу гостиницы, где за ужинным столом нашел двух добрых моих приятелей. Поменявшись новостями и перебрав по зернышку старину, мне досужнее стало прислушиваться к общему разговору. Ужин кончился, но человек десять романтиков насчет покорности к предписаниям эскулапа не думали покидать стола, и по числу опустошенных бутылок я заключил, что кавказская вода имела для них чудесное свойство — возбуждать жажду к вину.

— Ну что наши московские красавицы? — сказал молодой человек в венгерке, значительно поглядывая на капитана Нижегородского драгунского полка* и капитана гвардии, между которыми сидел он. Приятель мой, склонявший мне имена и качества каждого, шепнул, что это матушкин сынок, приехавший сюда из белокаменной лечиться от застоя в карманах.

— Милы, как всегда, — отвечал гвардеец, равнодушно покачиваясь на стуле.

— Скажите — божественны! — с жаром воскликнул усатый драгунский капитан. — Можно ли так сухо говорить о красавицах? Эй, мальчик, — шампанского!

— Позвольте сказать мне по-дружески, любезный капитан, — возразил гвардеец, — вам не мудрено восхищаться ими, после долгих лет, проведенных на бессменной страже или в перестрелках и наездах. Видя женщин, как луну, только на телескопическом расстоянии, всякий примет первую образованную даму, с которою встретится он лицом к лицу, за идеал совершенства; но причина этому не в ней, а в нем. Вы горите сами и воображаете, что они сияют.

— Тут есть много истины, капитан, но между *много* и *все* — целое море. Я не говорю о кавказских татарках, из которых самая красивейшая, по рабским привычкам своим, достойна только закуривать трубки, ни о грузинках, в которых одна глупость может сравняться с красотою. Черкешенки вовсе иное дело — да мы осуждены любоваться ими, как недоступными вершинами Кавказа, и видим их едва ль не реже солнечного затмения. Но я сам жил и служил в столицах; видел свет не в подворотню, и образованная женщина хотя здесь для меня и редкость, но никогда не может быть диковинкою.

— Не по хорошу мил, а по милу хорош, — сказал толстый рязанский помещик, улыбаясь, как воображал он, очень лукаво.

— Эта пословица мне не соседка, — отвечал усач. — Я говорю беспристрастно и утверждаю, что на этот раз обе московские красавицы милее здешних петербургских умниц в блузах, с вечными рассказами о погоде да поправками адрес-календаря, милее помещиц в капотах, которые всякого мужчину принимают, кажется, за амбар для складки отчетов о вине и льне, и ячмене, о садоводстве и скотоводстве, в котором не мудрено им успеть, обращаясь часто со своими супругами! Господа! Здоровье двух прекрасных московок!

Видя, что рыцарь разгорячился, собеседники, уважая добрый его нрав, не сочли за благо подстрекать его еще более противоречиями. Все напенили бокалы и выпили в лад.

— Здоровье прекрасных посетительниц кавказских вод, на берегах Москвы расцветших! — воскликнул нежный сотрудник дамского журнала, повторяя по-своему предложенное здоровье.

— Этот же тост, в переводе г. Свирелкина с моего бивачного языка на язык светский, — возразил драгун, — кто не пьет — не товарищ!

(Пьют и чокаются.)

— Между нами, капитан, — сказал ему гвардеец, — белокурая или черноволосая сестра вам более нравится?

— Этот же самый вопрос я делаю самому себе двадцать четыре раза в сутки и до сих пор не добьюсь у своего сердца толку: оно уверяет, что и утренняя и вечерняя заря прелестны. В полдень, любуясь нежными, небесными глазами и пленительною томностью лица блондинки, я бы готов был влезть в ее соломою оплетенный стакан, чтобы коснуться ее розовых губок и потом растаять в кислой воде; но при свечах или при лунном сиянии пронзительные взоры и пылкий румянец брюнетки зажигают меня, как гранату, и я рад кинуться на чеченские шашки, чтобы до нее прорубиться.

— Полноте вздыхать, господин адъютант! Чокнемся лучше да выпьем за здоровье прелестного румянца нашей богини.

Адъютант закраснелся и выпил.

— Именным бы указом запретил красавицам, у которых в лице играет румянец, ездить на воды, — сказал чахоточный прокурор, поправляя в ухе хлопчатую бумагу, — они делают больными здоровых и мешают больным выздоравливать.

— Что так строго, господин прокурор? — возразил артиллерийский ремонтер* обвинителю. — Я уверен, что не любовь, а деловые экстракты причины ваших недугов.

— То есть уксус, который выжимали вы из справок, — прибавил москвич.

— Настоящий vinaigre de quatre voleurs![1] — наддал еще драгунский капитан, недавно проигравший тяжбу и сердитый за то на все канцелярское семя. — Излишнее рвение повредило ваше здоровье...

— Вам бы надобно было довольствоваться только запахом, а вы хотели выпить все до дна, — прибавил гвардеец.

— Господа! — отвечал прокурор, поглядывая то направо, то налево, в нерешимости, рассердиться ему или принять град насмешек за шутку; наконец он рассчитал, что последнее выгоднее. — Господа! — повторил он: — Конечно, мне бы следовало довольствоваться одним запахом, но тогда я не имел чести иметь вас высоким примером скромности — вас, которые так счастливы в любви одним гляденьем.

— Браво! Браво! — воскликнули многие голоса сквозь смех. — Здоровье больной юстиции!

И бокалы засверкали донышками.

В это время молодой человек, прекрасной наружности, закутанный шалью, который задумчиво сидел против меня и часто с беспокойством поглядывал на часы, встал и подошел к окну. Выразительно было бледное лицо его, и впалые черные очи, казалось, хотели пронзить темноту и дальность.

— Облака заволакивают месяц, — сказал он вслух, но более обращаясь к самому себе, чем к обществу, — ветер воет, и дождь крапает в окна... Как-то будет добраться до дому? Когда вихорь разносит пары, то при блеске лунном порою белеет Эльборус, спящий в лоне туч перед грозою.

— Покойной ему ночи, — сказал сосед мой, отставной полковник. — Ты, господин доктор трансцендентальной философии, наверно не будешь встречать так равнодушно бурю, как он в грозном колпаке своем.

— Конечно нет, любезный дядюшка, — отвечал молодой человек, — потому что я не камень. Кавказу полгоря носить ледяной шлем на гранитном своем черепе — у него вся адская кухня греет внутренности, и, может статься, природа обложила голову его льдом нарочно для умерения внутренней горячки с землетрясениями; но если бы вздумалось повторить такой опыт надо мною даже и в припадке безумия — я бы, конечно, отправился в Елисейские поля. Выкупаться в туманах, не только быть промочену дождем, — значит испортить весь курс лечения, а мне, право, не хочется начинать его в третий раз.

Сказав это, молодой человек учтиво поклонился собранию, завернулся в плащ и вышел.

— Вот каковы нынешние молодчики! — сказал полковник, провожая его глазами. — Не понимаю, как можно в двадцать пять лет так нежить себя! Прекрасный малый, а пречудак племянник мой. Порою бегает по целым часам нараспашку или, как угорь, вьется по утренней росе; но когда ему вообразится, что он болен, то чего не накутает на себя для прогулки в самый полдень! Треух на голову,

калоши на следки, фланель для поддержания испарений, замшу от сквозного ветра, жилет для приличия, сюртук для красы, шинель для всякого случая сверху, — а сверх шинели — *всю природу*. Недаром один шутник назвал его египетскою мумиею, набальзамированною романтизмом и испещренною иероглифами странностей, которых не разберет, думаю, ни сам старый черт, не только Шампольон-младший!* Простудиться! Человеку в двадцать пять лет и гренадерских статей простудиться! Я бы заставил его сломать похода два-три зимой, на холодной воде, вприкуску с гнилыми сухарями. Сегодня по пояс в снегу, завтра по колено в грязи и потом, промокши до самого сердца, просушиваться под картечным огнем неприятельским. В цепи или в разъезде вместо отдыха; то преследуя побежденных, то утекая, разбитый и, в довершение удовольствий, нося более ран на теле, чем петель на мундире!.. Там забыл бы он, за недосугом, и настоящие болезни, не то что воображаемые.

— Впрочем, кто из нас, — сказал на это гвардейский капитан, чистя перышком зубы, — кто из нас отказывался, после дымных биваков, попировать в богатом замке, покружиться усталыми от похода ногами с милыми чужеземками и заснуть на мягком пуховике? *Наслаждайся, покуда можно*, — есть девиз русского; но когда приходит время лишений, нужды и опасностей, он так же мало заботится и жалеет о выгодах жизни, как о завтрашнем дне, и под мокрою буркою, в грязи засыпает не хуже праведника, поужинав горстью недоваренного ячменя, устав от боя и похода!

— И то правда! — отвечал полковник, перебирая по четкам памяти все подобное, изведанное собственным опытом.

— Племянник ваш, может быть, имеет другие причины опасения возвращаться домой так поздно, — молвил человек небольшого роста, в зеленом сюртуке, коего таинственная наружность весьма походила на сосуд, в который царь Соломон запечатал множество духов. — Он, приехав позже всех на воды, принужден был нанять домик за кладбищем.

— Вот это мило! — возразил полковник. — Молодой человек девятнадцатого столетия и, в придачу того, магистр Дерптского университета, станет бояться пройти чрез кладбище! Да нынче дамы нередко назначают там свидания.

— Неужели вы думаете, — насмешливо присовокупил гвардеец, — что племянник полковника боится наступить на ногу какому-нибудь заносчивому покойнику и тот потребует от него благородного удовлетворения?

— Не шутите над мертвыми, капитан, — произнес торжественным голосом человек в зеленом сюртуке. — В природе есть вещи страшные, неразгаданные! Племянник ваш еще не утешился о потере друга, которого схоронил он здесь в прошлом году.

— Военный или рябчик был друг его? — небрежно спросил драгун.

— Никто наверно не знал ни его звания, ни его отчизны, хотя в паспорте он назван был венгерским дворянином. Сказывают, он был странное и непонятное существо. Выговор ни на каком языке не изменял ему — он на всех европейских говорил как нельзя чище. Жил весьма скромно и между тем сыпал золото бедным. Одевался просто, но одни солитеры* его перстней стоили десятков тысяч. Вообще он был нелюдим и молчалив, ни с кем не сближаясь и никому не кланяясь. Однако же некоторые знатные особы говорили всегда с ним и о нем с величайшим уважением. Одним словом, — продолжал таинственный человек, понизив голос, — многие считали его одним из двенадцати кадожей.

— А что это за зверь? — спросил толстый помещик, который, скучая молчанием, как ловчий, стоял настороже с борзыми вопросами, ожидая по себе предмета; но, видя, что ожидания его напрасны, спустил их со смычка в чужую угонку.

— Кадожи? — отвечал сфинкс, опустив нос свой в стакан, как пьющая синица. — Кадожи, как говорят, суть главные блюстители масонских лож*, из которых, как я думаю, известно, шотландская считается за старшую. Не будучи великими магистрами, они важнее всех магистров, потому что лишь им открыта главная общая цель братства. Они могут находиться во всех степенях, но всегда скрытно, всегда никем не знаемы и, сохраняя в руках своих главные средства, путешествуют по свету для наблюдений, для дел и успехов вольных каменщиков.

— Так бы вы и сказали, — примолвил рязанский помещик. — Попросту сказать, он был атеист, то есть фармазон и отчасти волтерианец. Сосед мой прошлого году наслал мне от Макарья* целую кипу книг об их вере; поклоняются моське, батюшка!

Никто не мог удержаться от смеху, слыша такое определение масонства. Наконец затихли и отголоски этого выстрела веселости.

— Но каким же образом вы спроведали о кадожах? — подозрительно спросил капитан гвардии.

Сфинкс в зеленом сюртуке побледнел, боязливо взглянул на прокурора, потом на дверь, которая скрипела и не отворялась, потом покраснел он, потом щелкнул по серебряной табакерке указательным перстом, отворил ее, нюхнул, что называется, вслух и, ободрившись, отвечал:

— Вы можете быть уверены, капитан, что если б я когда-нибудь принадлежал к обществу масонов, то, конечно бы, не стал рассказывать об их распорядках. Впрочем, я уже известил вас, что и сами масоны не имеют о кадожах верного понятия, и ежели венгерца считали одним из них, то это по одним догадкам, по соображениям и вероятностям. Таинственность его речей, скрытность поступков, его обширный ум, его богатство и связи, уважение к нему людей почетных — вот что служило к тому поводом.

— Удивительная архитектура догадок, — возразил насмешливо гвардеец, — точь-в-точь пирамида, у которой острие служит основанием. Каким же образом эти странствующие привидения, эти всемирные блюстители узнают друг друга внове?

— Говорят, — тихо отвечал рассказчик, — впрочем, я уверять не могу и отрицать не смею, что между ними главным опознательным знаком служит особого вида кольцо.

— Видно, эти осторожные по превосходству люди хранят в решете свои таинства, — заметил гвардеец, — когда они доступны всякому встречному и поперечному.

— Всякому? Нет, капитан! — возразил сфинкс, несколько обидясь. — Немногим, очень немногим дается дар проникать в глубочайшие тайны, в сокровеннейшие изгибы души человеческой и по нескольким точкам начертывать целые картины.

— Перед вами, перед вами все эти достоинства! — нетерпеливо вскричал усатый кавалерист. — Но скажите, ради бога, какое сношение имеет кладбище с племянником полковника?

— Кладбище — дорога на тот свет, — отвечал человек, у которого голова, как покинутая башня, населена была привидениями, между тем как вид его доказывал, что он чувствует уже свою важность, возбудив любопытство.

— И в рай, — произнес сомнительно чахоточный прокурор, у которого сердце пищало, как орех в клещах, при мысли о смерти.

— И в ад, — прибавил сосед мой, полковник, брякнув стаканом по столу, будто вызывая всех бесов в доказательство, что ему нечего их трусить.

— Да, и в ад! — повторил с глубоким вздохом прокурор, опуская от губ нетронутую рюмку: ему показалось, будто вино пахнет серою.

— Продолжайте, почтеннейший! — сказал рассказчику любопытный артиллерист. — Зачем же этот венгерец приехал на воды?

— Зачем мы все здесь? — отвечал тот. — Сделайте подобный вопрос каждому из нас, и все скажут: лечиться, но, кроме этого, есть побочные или главные цели у многих. Одни приезжают рассеяться любовными связями; другие — остепениться женитьбой; третьи — поправить картами несправедливость фортуны; иные — чтоб не упустить из виду умирающего богача-родственника; очень многие для удовольствия про…

— Ради самого Пифагора, избавьте нас от подобных выкладок! Сочтите, будто мы знаем все, что можете высказать впредь на этот случай, — и поскорее к делу! — воскликнул гвардейский капитан.

Таинственник продолжал так:

— Теперь, милостивые государи, надобно вам объяснить, что в первых веках христианства греческие купцы из Византии, привлекаемые знатными выгодами, презирали тысячи опасностей от худых и пустынных дорог и варварских нравов, заезжали сюда или проезжали чрез этот край из Персии, чтобы менять восточные товары на поморьях Каспия и Черного моря и потом торговать с славянами за Доном или по Днепру, и возвращались потом с драгоценными мехами домой как могли. Караван одного из них с несметными богатствами в жемчуге и золоте, в парчах и цветных каменьях был настигнут и окружен свирепыми горцами, ночью, поблизости этих ключей. Видя неизбежную гибель, купец спешил зарыть все драгоценнейшее в землю, чтобы скрыть от разбойников и потомства обожаемое им золото, для которого не щадил он ни поту, ни крови и потом утратил жизнь и душу. Все это, как водилось в те времена, сопровождаемо было чарами и заклятиями. Караваны тогда не ходили без прикрытия; вот, сударь, и тут отчаянная стража дралась насмерть и почти вся была изрублена варварами. Сам хозяин лег мертвый на скрытые свои сокровища, как будто желая охранять их и по кончине. Один только раненый вожатый верблюда был увлечен в плен, в горы, провел горькие годы в жестоком невольничестве и, перепроданный несколько раз, бежал к Черному морю и достиг до своего отечества. Известие обо всем этом, от него, чрез многие руки и многие столетия перешло во время крестовых походов в руки тамплиеров*, с верными подробностями. Не знаю, старались ли они извлечь из недр земли эти сокровища и какова была удача попыток, если старались; только венгерец прибыл сюда, как полагали, с тайным поручением ложи — поверить на месте предания и, если можно, вырыть из земли под вековым прахом погребенный клад.

— Клад! — умильно воскликнул помещик, у которого охота к охоте спровадила в заклад почти все имение.

— Клад! — произнес, облизываясь и потирая руки прокурор: — Об этом следовало уведомить местное начальство.

— Особенно, если там найдутся старинные монеты, оружие, утвари, чудные украшения или древние идолы, — примолвил в первый раз какой-то археолог с готическим носом, у которого слова были, кажется, так же редки, как медали с изображением царей Кавказа.

— Со всем тем, — продолжал таинственный человек, — венгерец, по-видимому, не имел охоты делиться с местным начальством, ни угождать господам искателям древностей, потому что меры его были чрезвычайно скрытны и осторожны. Один только чудный случай и странное стечение обстоятельств ненамеренным образом открыли часть его тайн одному из друзей моих, который в прошлом году жил рядом с его комнатою. Он рассказывал про этого непонятного человека много таких вещей, от коих поднялись бы волосы дыбом у самого неверующего вольнодумца.

— Этому трудновато быть с моею головою, — сказал толстый помещик, поглаживая по своей лысине и отодвинувшись от стола после этой шутки, как откатывается пушка после выстрела. Однако ж, боясь, чтобы лукавый не отплатил ему за насмешку, он потихоньку перекрестил грудь против третьей пуговицы и снова навострил ухо к рассказу.

Человек в зеленом сюртуке пожал плечами и улыбнулся почти презрительно, что на мимическом языке значило: какая жалкая шутка! Стоит ли для нее прерывать занимательное повествование! И он, по кратком молчании, начал вновь:

— По ночам, рассказывал друг мой, венгерец долго и пристально сиживал за какими-то книгами и тщательно запирал их в другое время. Потом он то медленными, то быстрыми шагами ходил по своей комнате, то вдруг останавливался на одном месте, как будто окамененный каким видением или мыслию. Порой неясные звуки вырывались из груди его; даже во сне тяжело стонал он, словно совесть его подавлена была каким-нибудь преступлением, и его всегдашняя физиономия, могильная синева лица его, его впалые, почти неподвижные очи, речь прерывистая и рассеянная обличали гораздо более страдания души, чем разрушение телесное. Со всем этим он бывал порой чрезвычайно занимателен: он везде странствовал, все видел, все постиг. О всех веках, о всех народах говорил он с достоверностию самовидца и с беспристрастием потомства. Все важные лица последнего столетия были знакомы ему коротко, если не по свету, то по настоящим их характерам. В это время, полковник, сдружился он с племянником вашим. Склонность молодого человека к мечтательности и уединению, его чистый, возвышенный нрав и вместе кроткая, но пылкая душа пленили доверие венгерца. Казалось, он предчувствовал близкий конец свой и спешил передать свои познания и тайны достойному смертному. «Я не довольно чист душою для такого дела», — подслушал однажды друг мой слова венгерца к юноше. Они были неразлучны: вместе на ночных прогулках до самого Подкумка, не страшась чеченских хищников, и всегда в местах диких и непосещаемых; вместе за чудными письменами до белой зари; вместе при свете солнца и при мерцании месяца. Чаще всего бродили они на здешнем кладбище, в глухую полночь, с железною тростью и телескопом в руках, то пронзая землю, то углубляясь в небо.

«Скоро, скоро свершится в мире мое странствование, — сказал однажды, прощаясь с молодым своим другом, венгерец, — я уже чувствую на сердце ледяную руку смерти. Но завтра стечение созвездий будет таково точно, как в роковую ночь, поглотившую сокровища греческого гостя. Когда ударит двенадцать — луна бросит тень от *того* пригорка прямо по направлению, где скрыто оно, и там, где черта сия сойдется с тенью...». Друг мой не мог расслушать более. Утро застало венгерца на одре кончины...

— Он умер! — вскричал с досадою прокурор, воображая, что клад ускользнул уже от его химического процесса.

— Дайте ему умереть своею смертью! — гневно возразил артиллерийский ремонтер. — Итак, на одре кончины, сказали вы?

— Больной был безнадежен: у него лопнула одна из кровеносных жил, и сердце его заливалось, тонуло в крови. С трудом мог он произносить слова, и молодой друг, пораженный ужасом и сожалением, подавлен тоской разлуки вечной, незаменяемой, ни на миг не покидал умирающего. От лекарей отказался венгерец, говоря, что не хочет обманывать себя пустыми надеждами, а священника не принял под предлогом различия вер. Настала ночь... и ему стало тяжело... Смертный час, видимо, близился — и ужасна казалась кончина умирающему. Тьма зияла перед ним, как вечность, блуждающие зрачки его то искали, то избегали чего-то в пространстве. Каждое дыхание его было вздохом тоски неизъяснимой, и хриплые стенания вырывались из уст. Наконец он дал знак, и все удалились, кроме юного друга его. Сначала разговор их был тих, но постепенно голос больного возникал выше и выше и снова стихал, как замерзающий ключ. Уже ни одной живой души, кроме их, не осталось в домике и все спало в окрестности и вблизи. Только друг мой, движимый любопытством соучастия, сидел у двери общего коридора, прислушиваясь к каждому шороху. В комнате венгерца слышался лишь ропот невнятного разговора — и вот все притихло, все, кроме последнего дыхания отходящего... Но вдруг клик ужаса раздался там: он был пронзителен и страшен; сам друг мой вчуже оцепенел, не постигая тому причины. Слушает... нет, это не обман воображения, — третий, незнакомый голос, голос могильный, голос нездешнего мира произносил там звуки укора, и тяжкие стенания страдальца служили им страшным отголоском.

Все слушали с напряженным вниманием. Полковник, опершись головой об руку, безмолвно следовал за рассказом, поверяя, кажется, слышанное с известным ему прежде... Только дождь, бьющий в окна, прерывал тишину залы.

— Значение слов убегало, однако же, от уха моего приятеля, — продолжал человек в зеленом сюртуке, — испуганного тем более, что он был уверен, как сам в себе, что никто не мог пройти в комнату больного, не быв замечен им сквозь замочную скважину. Дорого бы заплатил он тогда, если б можно было превратить стену, разделяющую их комнаты, в стеклянную. Наконец явственно услышал он страшный, последний стон венгерца, стон души, вырывающейся из тела... И потом долго длилось молчание, и потом шаги двух — не говорю людей, — но существ по комнате... С треском растворились двери, свет фонаря сверкнул в коридоре — и он увидел...

В это самое время быстрый топот ног послышался на лестнице, и дверь залы, сорванная ударом с крюка, расскочилась настежь обеими половинками. Гвардейский герой изменился в лице, артиллерист схватился за стакан, как за талисман против всякого наваждения; драгунский капитан сжал ручку черкесского кинжала, по обычаю всех кавказцев носимого на поясе; чахоточный прокурор обомлел на стуле своем, а толстый барин, с восклицанием: «С нами крестная сила!», так внезапно прикатил свое туловище к столу, что рюмки и стаканы зазвенели друг о друга. Все прочие с робостию, более или менее заметною, устремили глаза на дверь.

Это был, однако же, не иной кто, как племянник полковника. С черного плаща его катились крупные капли дождя; шляпа надвинута была на самые брови, и он, не сняв ее, торопливо вбежал в залу. Мутные глаза его бродили, на бледном лице выражался испуг, речь исчезала на дрожащих губах. Тяжкими и долгими порывами дышал он и наконец бросился, или, лучше сказать, упал, в кресла, беспокойно озираясь кругом, будто боясь преследования. Бесчисленные вопросы посыпались на него со всех сторон; но он ничего не слушал, никому не отвечал. Потом быстро вскочил он, схватил за руку дядю и увлек его на другой конец залы, чтобы изъясниться наедине. Все шепотом и знаками выражали свое изумление, не спуская глаз с молодого человека. Он говорил тихо, но с жаром. Полковник слушал внимательно, но недоверчиво; скоро, однако ж, улыбка сомнения слетела с его лица — оно померкало постепенно и, наконец, побледнело, как полотно… Безмолвно стояли они потом, глядя друг на друга, в течение нескольких минут. Наконец полковник угрюмо сжал руку племянника, опоясал саблю, засветил маленький фонарик свой, и оба вышли вон, не удостоив ни словом, ни даже поклоном собрание.

— Они пошли на кладбище, — сказал таинственный человек, прильнувши к окну, — я вижу свет их фонаря, он мелькает вдали, подобно блуждающему огоньку над болотом.

— Это странно! — произнесли многие в один голос.

— Это удивительно! — сказал гвардейский капитан. — Я всегда знал полковника за человека, не верующего ни в какие сказки, а теперь, судя по его лицу и поступкам, он разделил испуг своего племянника, которому почудилось что-нибудь сверхъестественное.

— Заметили ли вы, — прибавил артиллерист, — что на плаще его виден отпечаток пяти пыльных перстов?

— Если б их было шесть, это было бы немного поудивительнее, — возразил гвардеец. — Что мудреного? Молодой человек споткнулся, оперся на пыльную могилу рукою и, поправляя плащ, отпечатал ее на мокром сукне.

— Гм, гм! — произнес сомнительно артиллерист: — Но направление этой кисти не могло естественным образом принадлежать владельцу плаща: оно было вовсе наизворот.

Гвардеец молчал.

— Я вам говорил, — произнес тогда с торжествующим видом человек в зеленом сюртуке, — что в истории венгерца есть вещи, о которых, по словам Шекспира, и во сне не грезила ваша философия. Я должен прибавить вам, что ровно год тому назад, в этот самый час, его не стало. И что бы вы сказали, капитан, если б тень его, оставя прах могилы, встретила вас на кладбище в такую ночь?

— Я бы сказал, что это сущие басни, — отвечал капитан. — Как могут жители того света возвращаться на землю, когда все их органы истлели? Как могут они ходить, говорить, иметь вид человеческий?

— Я не отвергаю, чего не постигаю, — сказал артиллерист.

— А я так верю всему, чего не понимаю, — простодушно признался рязанский толстяк.

— Не боюсь, хотя и не понимаю! — грозно воскликнул усатый кавалерист. — Не боюсь ни черта в человеческом образе, ни людей, начиненных всякою чертовщиною.

— Это можно испытать, — хладнокровно возразил таинственный человек. — В дальнем углу кладбища, направо, я видел сегодня мертвую голову, конечно, вымытую дождем или выкопанную волками; тот, кто из всех нас бесстрашнее, пойдет и принесет этот череп сюда.

— Я готов! — сказал драгунский капитан и наклонился вперед, как птица, которая хочет слететь; однако ж не тронулся с места.

— Я иду! — произнес еще решительнее гвардеец, оперся о ручки кресла, чтоб встать… и положил ногу на ногу.

— Я бы пошел очень охотно, если бы погода была получше, — проговорил антикварий с готическим носом, — а то в слякоть и в дождь — слуга покорный. Хорошо, если б это было еще за черепом какого-нибудь героя древности, — а то, я думаю, за пустой головою какого-нибудь кубанского казака или чахлого водолея из России.

— Ни для живых, ни для мертвых! — возгласил толстяк, поглядывая на донышко стакана, как будто это мудрое изречение написано было на нем заглавными литерами. — Гей, малый! Донского — полынкового.

— Эй, шампанского! — вскричал гвардеец, желая смыть и след прежнего разговора струями Эперне*. — Как можно, сосед, так много пить донского? Оно очень землисто.

— Родимая земля, родимая земля, — возразил толстяк помещик, разливая в стаканы благодатную влагу, и в это время он точь-в-точь похож был на погребковую вывеску, на которой Бахус*, оседлав бочку, распенивает вино в кубки.

Но человек в зеленом сюртуке не дал им так дешево отделаться от испытания храбрости.

— Итак, никто не хочет идти за мертвою головою? — спросил он укорительным голосом и вместе с лукавою гримасою.

— Сам не хожу и других не прошу, — отвечал рязанский помещик. — Куда будет весело, если мертвецу вздумается пожаловать к нам за своею головою.

— Не бойтесь этого посещения, — возразил артиллерист, — теперь уже минула мода прогуливаться без головы, по крайней мере для покойников.

— Почему знать? — сказал сосед мой, адъютант, освежая усы в шампанской пене. — В этом случае только первый шаг труден.

— Проклятая рана! — произнес драгунский капитан, поправляя перевязку и морщась, будто от боли. — Если б не она, я принес бы этот череп на забаву компании. Кладбище со всеми своими мертвыми головами для меня не страшнее бахчи с арбузами.

— Что касается до меня, — примолвил гвардеец, шаркая под столом ногами и задобривая всех бокалами, — мне не хочется покинуть столь приятного общества... особенно не дослушав до конца занимательный рассказ ваш о венгерце, — прибавил он, учтиво обращаясь к зеленому сфинксу.

— Окончание моего занимательного рассказа зависит от судьбы, — очень сухо отвечал повествователь.

— Неужели же вы не знаете, что увидел друг ваш в коридоре? — спросил с беспокойством нетерпения артиллерийский ремонтер.

— По крайней мере вы этого не узнаете, — хладнокровно отвечал таинственный человек.

— Но куда же делся тогда племянник полковника с привидением? — торопливо спросил тощий прокурор. — С таким вожатым он наверное добрался до клада.

— Вырытый клад? Привидение? Вы, видно, знаете более моего. Я ни слова не говорил о привидении, — отвечал сфинкс.

— Но, боже мой, что сталось по крайней мере с венгерским кадожем в час смерти? — вскричал москвич с видом отчаянного любопытства.

— Не мне разглашать исповедь кончины и похищать тайны могил, — ответствовал важно человек в зеленом сюртуке. — Племянник полковника живой человек, — он знает все лучше моего; спрашивайте — я пожелаю вам полного успеха.

Жужжанье неудовольствия, как пылание сухого бурьяна, послышалось кругом всего стола. Возбужденное любопытство требовало какой-нибудь жертвы, и драгунский капитан решился удовлетворить его аппетиту рассказом.

— Я плохой краснобай, — сказал он, — тем более что в последние годы службы на Кавказе чаще слышу выстрелы и лучше понимаю конское ржание, чем людской говор; однако ж если господам не скучно будет выслушать приключение подобного же рода, с родным моим братом бывшее, то я чем богат, тем и рад.

Разумеется, приглашения и просьбы посыпались на него, как пудра. Пыхнув последний раз трубкою, он начал так, сквозь облако табачного дыма:

— Надобно предуведомить вас, господа, что брат мой человек прямой, благородный и без всяких предрассудков от природы и воспитания. Каждое слово его между всеми знакомыми ходило вернее билета на Амстердамский банк*; и до сих пор не могу я разгадать этого случая, но сомневаться в рассказе брата не имею никакого повода. Он вырос и стал отчаянным моряком на палубе английского корабля, потому что в его время русские гардемарины посылались на британский флот учиться мореплаванию и порядку. По этой причине, быв уже впоследствии старым нашим лейтенантом, он имел многих знакомцев и друзей между англичанами, с которыми делил мичманские шалости на воде и на суше. Пять лет тому назад случилось фрегату, на котором брат мой командовал первою вахтою, сойтись с английскою корвентой в одном из больших норвежских портов. В числе экипажа этого практического судна, какой-то особенной постройки, нашел он кой-кого из *баковых* своих приятелей, и, по обычаю, для поновления дружества, они съехали на берег, заказали славный обед в трактире, которым ограничиваются обыкновенно топографические исследования моряков, и бутылки пошли ходить кругом стола, между тем как бесконечные тосты в three times и three time three, то есть с троекратным ура, передавали все краски вин носам и лицам собеседников. Брат мой был удалой весельчак и непобедимый питух — два достоинства, не оцененные в глазах каждого свободного англичанина. Прибавьте к этому, что он говаривал: «S'blood God damn my Soul»[2] или «stab my vitals!»[3] не хуже кембриджского профессора изящной словесности, и вы не удивитесь, что британцы были от него в восхищении. После тысячи и одного рассказа о кораблекрушениях, абордажах, призах и опасных плаваниях то под экватором, то среди ледяных гор полюсов моряки наши удостоили ступить на землю, и вот пошли вести о вечной войне флотских с таможнею, о славных трактирах и чудных красавицах, с описанием боевого крейсерства между подводными камнями этих архипелагов. Точно так же, как мы, беззаботно стучали они стаканами, точно так же, как у нас, упал и у них разговор на выходцев с того света. Все сознавались, что предрассудки младенчества, которые всасываем мы с молоком и воздухом, оставляют в нас едва ли не навсегда невольную боязнь,

если не тайное верование к этим существам. Но одни, особенно шотландцы, уверяли и доказывали, что страх этот есть врожденное сознание в возможности таких явлений, чему приводили множество достоверных примеров и собственных опытов, между тем как другие утверждали, что все это или обман чувств, или бредни, достойные старух и ребят. Брат мой подвизался на стороне последних и шумел, как во время бури, не забывая заряжать себя мадерою и осыпая картечью клятв логику противников, — маневр, который почитается и между нашей братьи убедительнее сухих доводов.

«Во всяком случае, — говорил он, — смешно верить и еще стыднее бояться того, чего нет. Я вызываю на заклад каждого из вас испытать собственное мое мужество!»

«Держу против пятидесяти фунтов стерлингов!» — закричал лейтенант корвенты.

«Держу против пятидесяти фунтов!» — прибавил другой.

Англичане не любят пятиться, но русские идут всегда вперед:

«Я держу за себя сто фунтов, — сказал брат мой, — а предлагайте опыт сейчас же!»

Капитан судна ударил в руку, и две тысячи пятьсот рублей назначены были наградой доказанного бесстрашия в отношении к мертвецам или наказанием самохвальства живого в противном случае.

Решили, чтобы моему брату идти за город на лобное место, где они, прогуливаясь, видели труп вчера повешенного разбойника. Он должен был взять его за руку и поучтивее попросить сделать ему честь пожаловать в трактир и попировать с ними до петухов, после которых, как известно, всех чертей требуют на перекличку. В доказательство же исполнения условий навязать висельнику на левую руку золотой шнурок, который один из англичан сорвал со шляпы своей.

Как ни странно, как ни причудливо, чтобы не сказать — как ни глупо, было это условие, — брат мой готов был на все. Англичане с сомнительным видом пожелали ему успеха, и он, завернувшись в клетчатый шотландский плащ, смело посвистывая, пустился по пустым улицам городка. Ночь была холодновата, путь не близок; голова и сердце его начали простывать, особенно когда очутился он в пустыре за городом, — ему показалось даже, что ветер дует так пронзительно, как будто настоен январскими морозами Якутска. В это время луна выкатилась из-за облака и озарила всю окрестность, страшная виселица чернелась вдалеке — и на ней качался роковой плод ее. Брат мой вздрогнул и остановился невольно; выправил маленький запутанный цепочками кортик свой, который азиатец почел бы зубочисткою; потом оглянулся назад и стал считать в кошельке своем червонцы: худое начало для закладчика.

Однако же брат скоро ободрился… Все было так тихо и мирно кругом. Позади его, темнея, лежал сонный город с блистающими церковными шпицами; впереди — горизонт сливался с грядою холмов, на коих, как привидения великанов, стояли мельницы с неподвижными их крылами; вправо и влево перелески и поля с мелькающими вдали домиками. Нигде человеческого голоса, ни даже лая собаки. Брату стало стыдно самого себя. Ему казалось, что месяц дразнит его языком, а вся окрестность укоряет в робости; он распахнул плащ, который прижимал к себе так плотно, будто он составлял часть его кожи, и смелыми шагами пошел к виселице. Через десять минут он стоял уже под нею.

Неприятно и днем, не только ночью, видеть отвратительную картину нравственного и физического разрушения, какую представляют нам казни. Один только граф М-р нашел в палаче лицо, утешительное для человечества, как в представителе божеского правосудия на земле. Брат мой, правда, не читал о том ни строчки, но и прочитав, покорный голосу природы, не поверил бы этой коварной логике Торквемады*, где высокие причины смешаны с унизительными орудиями. С тайным ужасом глядел он на повешенного; луч месяца прямо бил в посинелое лицо, инде уже исщипанное птицами. Последняя минута тоски, видимо, замерла в обезображенных чертах и в стекловидных глазах его, в коих отразились все муки души преступной и отчаянная борьба жизни с насильственною смертью. Волосы стояли дыбом, персты сведены судорогами. На нем надет был род белого фланелевого савана с наножниками и рукавами, и он при каждом дуновении ветра то качался взад и вперед, как маятник, то обращался влево и вправо, подобно компасной стрелке, между тем как веревка держала голову его вниз, будто недостойного смотреть на небо, загражденное ему собственными злодействами. Долго, долго смотрел брат мой на труп, и глубже, глубже входило в сердце его холодное лезвие ужаса, смешанного с отвращением. Наконец он вспомнил о своем закладе, и, как ни мало расположен был в ту минуту к шуткам, однако же, для честного слова благородные люди делают гораздо хуже, чем глупости, и он, вытащив из кармана шнурок, повязал его висельнику на кисть, потом снял шляпу и поклонился так ловко, что это сделало бы честь всякому флотскому, который учился менуэту на кубрике, беспрестанно сгибаясь для сохранения лба от низкой палубы и беспрестанно оглядываясь, чтобы не слететь в люки. За поклоном следовала пригласительная речь по данной формуле, и потом брат мой снял перчатку, прикоснулся к руке мертвеца, — должно признаться, однако ж, с такою осторожностию, как доктор, который хочет пощупать пульс у зараженного чумою. В то самое мгновение, когда он обнял своими перстами ледяную руку висельника, зазвучали городские часы полночь, и заунывный гул их, наносимый ветром, показался брату печальнее погребального колокола; с этим вместе он почувствовал, что мертвец сжал и по-дружески потряс его руку.

Я вам сказал уже, господа, что брат мой был бесстрашный офицер по природе и по привычке: он, не бледнея, встречал внезапный тифон* из-под ветра, и рупор его ревел под картечными вы-

стрелами громче тридцатишестифунтовых карронад*... Но тут было дело иного рода. Он признавался мне, что хотя мозг его и плавал до тех пор в разгоряченных парах вина, но от этого пожатия вдруг превратился в порцию мороженого пунша... вся философия исчезла, холод змеей прополз по костям, и он с изумлением страха увидел, что с первого удара часов мертвец начал потряхиваться, побрякивать своими закованными ногами и подпрыгивать то вниз, то вверх, наподобие рулетки, — так разобрала его охота поплясать под звук полночной музыки. Наконец часы протяжно добили двенадцать, и последний удар стих в окрестности. Вместе с боем кончились и адские антраша; зато невнятный голос мертвеца поразил слух моего брата, который и без того ни жив ни мертв стоял, желая не верить собственным чувствам. Мертвец не шевелил губами, но голос его, вырываясь из груди, то слышался глубоко под землею, то вдали, то прямо над ухом брата, и никогда в жизни не слыхивал брат столь ужасных звуков, столь потрясающего голоса.

— Он был, верно, чревовещатель, — заметил человек с готическим носом, — в самой глубокой древности мы насчитываем тому примеры.

— Не знаю, — продолжал капитан, — бывали ли в древности мертвые чревовестники на треножнике оракульском, только едва ли не первому моему брату удалось открыть это качество на глаголе*. Он, как я уже имел честь сказать вам, стоял ни жив ни мертв, и звуки с того света лились на него, как холодный дождь на прозябшего путника. Первая мысль, которая ему представилась, была — удалиться, но он не мог тронуться с места: каблуки его будто пустили корни в землю; волею и неволею надо было покориться адской силе, и он, опустя руки по швам, стоял перед повешенным, как виноватый солдат перед ротным своим командиром.

«Слушай, иноземец, что я скажу тебе! — медленно произнес разбойник. — Ты пришел насмехаться над мертвым, но вспомни, что после смерти перестает суд человеческий и наступает суд божий! С той минуты, что я перестал жить как разбойник, ты должен был пожалеть обо мне, как о собрате своем. Впрочем, ты честный человек, и твое сердце лучше твоей головы; небо допускает грешника загладить через тебя одно из вопиющих преступлений, записанных кровью в книге осуждения. Недавно, убив отца одной иностранной девушки, я ограбил все ее достояние, но, что всего важнее, с золотом похитил я и бумаги, без которых она должна скитаться безыменною нищею в чужбине и стать жертвой порока. Все это закопано на том же месте, где совершено убийство, в ближайшем отсюда леске, под деревом, на котором зарублены два креста; оно девятое по тропинке от входа, и ты легко узнаешь его. Возьми этот заступ, приготовленный для позорной могилы моей, и рой землю на север от пня, в трех шагах расстояния. Но не озирайся назад, что бы тебе ни чудилось, — там найдешь ты роковое сокровище, — и если дорога тебе душа твоя, вручи его несчастной жертве. Завтра в самый полдень жди ее на набережной, и первая женщина, которая встретит тебя с последним ударом часов, — будет она. Дай руку и честное слово на исполнение!»

Тут висельник протянул ему ладонь свою, будто уверенный в согласии.

— Хорошо сказано для разбойника! — произнес москвич.

— А на каком языке говорил он с вашим братцем? — спросил гвардеец, у которого каждая фраза, как скорпионов хвост, непременно загибалась вопросительным крючком.

— Да, в нем говорил нечистый дух, — уверительно примолвил толстый рязанский помещик.

— А черт отличный филолог, — заметил антикварий, — и если б он взялся сочинить всеобщую грамматику, то заставил бы краснеть все академии в свете.

— Я совсем противного мнения, — возразил таинственный человек, — враг человеческого рода не может ни делать, ни желать добра; а этот висельник, напротив, требовал очень доброго дела.

— Но кто вам поручился, что это не искушение, не адская западня? — вскричал артиллерист.

— Я почти уверен, что злые духи разорвут на части почтенного братца господина капитана, — молвил рязанец.

— А я так думаю, что он женится или по крайней мере влюбится в облагодетельствованную им девушку, — сказал догадливый сотрудник дамского журнала.

— Если вы, господа, станете беспрестанно перерывать рассказ, то помешаете брату моему и жениться и быть разорвану в клочки! — вскричал рассказчик с нетерпением. — Он, то есть брат мой, стоял в нерешимости — дать или не дать ему слово на такое запутанное дело. Как ни перемешаны были мысли его сверхъестественным этим явлением, однако ж он ясно видел, что возврат золота и документов мог навлечь на него подозрение об участии в злодействе. Юстиция не принимает никаких чудесных откровений после смерти, и свет скорее мог счесть этот поступок уликою совести, чем случаем или чертой благородной решительности. Сердце, однако же, перемогло рассудок.

«Пусть один бог будет моим свидетелем, — сказал он, — что бы со мной ни случилось, я сделаю все для несчастной сироты», — и протянул руку к покойнику.

«Благородный человек», — произнес тот, пожимая руку брата, и в этот раз она показалась ему не столь холодна, как прежде.

Он схватил на плечо заступ и быстрыми шагами пошел к лесу... Вступая в опушку, он оглянулся, и ему почудилось, будто мертвец спрыгнул с виселицы и бежит вслед за ним; но облако налетело на луну, и брат ничего не мог различить более. Скрепив сердце, шел он по роковой тропинке,

и скоро дерево, свидетель убийства и страж добычи, предстало перед глаза его. Мысль, что здесь раздавались напрасные крики о помощи, напрасные мольбы о пощаде и последние стенания зарезанного, мысль, что он попирает стопой место, где злодейски пролилась кровь неповинная, снова взволновала его душу. Воображение рисовало очам ужасную картину… Ему в самом деле мечтались вопли и угрозы борьбы, стон и хрипение смерти. В этом расположении духа принялся он за работу. Холодный пот капал с лица, сердце билось высоко — и вот адский хохот, дикие свисты и плесканье в ладоши раздались за плечами его. Синие огни вспыхивали там и сям; дерево сыпало на голову брата блеклые листья, и большие камни падали кругом — он рыл, не оглядываясь. Однако отважность его слабела, разум мутился, голова пошла кругом — ужас оледенил чувства. Наконец заступ его ударил во что-то твердое — и в тот же миг с утроенным топотом, криками и плесками нечто тяжелое рухнуло на него внезапно, и он пал бесчувствен в яму, вырытую его руками.

Что с ним сталось после, он не помнит. На одно мгновение, будто сквозь удушающий сон, мечталось ему ржание коней, стук колес, говор людей — и только. Долго, долго после, по крайней мере через сутки, казалось брату, очнулся он. Была ночь, — но при каком-то слабом свете; щупая и озираясь кругом и припоминая прошлое, с несказанным удивлением уверился он, что лежит на диване, в той же самой комнате норвежского трактира, в которой пировал он с англичанами. За столом, однако, не было уже никого; один огарок едва озарял предметы и дремал, подобно всей природе. Только маятник старинных часов, повторяя свои однозвучные *чик-чик*, еще заметнее делал безмолвие ночи. Стрелка показывала четверть пятого.

«Хозяин!» — закричал брат мой.

Никто не откликался.

«Хозяин!» — повторил он так громко, что зазвенели окошки, и толстая фигура с зевающим ртом и полуслепленными глазами ввалилась в двери в шлафроке.

«Где англичане?» — был первый вопрос моего брата, и вместо ответа хозяин полез рыться в огромном дедовском комоде, в котором каждый ящик мог бы вмещать по нескольку человек гарнизона; вынул что-то оттуда, хладнокровно снял со свечи, поднес ее к носу моего брата и, сняв колпак, подал ему письмо. Брат мой был человек аккуратный, и, как ни егозило любопытство в глазах и пальцах, он раза два оборотил письмо направо и налево, прочел адрес, весьма подробно написанный, потом взглянул на печать, в гербе которой изображен был ползущий лев — верная эмблема воина придворного, и две подковы — знак твердости, хотя вещь давно изгнанная с паркета. Наконец он вскрыл письмо; в нем написано было: «Сир! Мы проиграли заклад; вы не только храбрейший, но и достойнейший человек! Вестовая пушка грянула, корвента снимается с якоря и не дает нам ни минуты для объяснений. Прощайте! Будьте счастливы и не забывайте людей, которые считают честью быть вашими друзьями».

Внизу была подпись всех собеседников того вечера.

— Понимаю, — сказал человек в зеленом сюртуке, значительно нюхнув табаку, — понимаю.

— Этого нельзя и не понять, — прибавил гвардеец, — братец ваш всю эту историю, или, лучше сказать, всю эту басню, видел во сне.

— Во сне! Неужели во сне? — вскричал таинственный человек, обращаясь с вопросом к рассказчику и боясь, чтобы эта прекрасная повесть о мертвецах не превратилась во что-нибудь естественное.

— Брат мой сначала думал то же самое, — возразил драгунский капитан, — покуда между сгибом письма не нашел банкового билета в сто фунтов стерлингов. Вы, я думаю, согласитесь, господин капитан, что хотя в сновидениях нередко даются нам золотые горы, только они разлетаются в дым от одного мига ресниц; но этот сонный клад преспокойно остался у него в кармане.

— Английская штука, — сказал тогда сосед мой, адъютант, — некоторые из моряков легко могли заскакать вперед и сыграть эту драму; воображение дополнило остальное.

— Милостивый государь, — возразил драгун-наездник, нахмурясь и грозно расправляя усы, — брат мой не говорил мне ничего подобного, и я не думаю, чтобы вы имели причину сомневаться в словах моих.

Нечего было спорить против такой убедительной логики — и все прикусили язычки, готовые уже на разные замечания, не желая из-за мертвых ссориться с живыми.

— Господа! — сказал артиллерист, закуривая трубку: — Мне кажется, справедливо бы каждому рассказать какую-нибудь историю, какой-нибудь анекдот из своей или чужой жизни, — это бы помогло нам коротать другие вечера и заключить сегодняшний.

— И еще справедливее, чтобы вы скрепили этот благой совет своим примером, — возразил гвардеец. — Артиллерия должна издали открыть огонь; мы, пехотинцы, будем прикрывать ее. Капитан, как отличный наездник, завязал дело и навел неприятеля на орудия — теперь ваша очередь.

— Помилуйте, господа, — отвечал артиллерист, отговариваясь от приглашений, — я, право, не приготовился и принужден буду стрелять холостыми зарядами.

— Тем лучше, что не готовились, — сказал прокурор, — по первым показаниям и по горячим следам скорей доберешься толку.

— Только что-нибудь необыкновенное, — примолвил человек, похожий на запечатанный соломонов сосуд.

— В таком случае, господа, — произнес артиллерийский ремонтер, окидывая глазами собрание, между тем как грустная улыбка воспоминания изобразилась на его устах, — я расскажу вам истинное приключение моего дяди в Польше, при начале войны конфедератов*. Оно так сильно подействовало на его ум, что он постригся в монахи и умер в Белозерском монастыре.

Таинственный человек вытянулся в нитку; все придвинули стулья.

— Думаю, каждый из вас, господа, — начал артиллерист, — слышал рассказы екатерининских служивых об ужасной варшавской заутрене*. Тысячи русских были вырезаны тогда, сонные и безоружные, в домах, которые они полагали дружескими. Заговор веден был с чрезвычайною скрытностию. Тихо, как вода, разливалась враждебная конфедерация около доверчивых земляков наших. Ксендзы тайно проповедовали кровопролитие, но в глаза льстили русским. Вельможные паны вербовали в майонтках* своих буйную шляхту, а в городе пили венгерское за здоровье Станислава*, которого мы поддерживали на троне. Хозяева точили ножи, — но угощали беспечных гостей, что называется, на убой; одним словом, все, начиная от командующего корпусом генерала Игельстрома* до последнего денщика, дремали в гибельной оплошности. Знаком убийства долженствовал быть звон колоколов, призывающих к заутрене на светлое Христово воскресение. В полночь раздались они — и кровь русских полилась рекою. Вооруженная чернь, под предводительством шляхтичей, собиралась в толпы и с грозными кликами устремлялась всюду, где знали и чаяли москалей. Захваченные врасплох, рассеянно, иные в постелях, другие в сборах к празднику, иные на пути к костелам, они не могли ни защищаться, ни бежать и падали под бесславными ударами, проклиная судьбу, что умирают без мести. Некоторые, однако ж, успели схватить ружья и, запершись в комнатах, в амбарах, на чердаках, отстреливались отчаянно; очень редкие успели скрыться. Счастливцами назваться могли попавшие в плен. По всему городу, из конца в конец, раздавался глухой вопль Посполитого Рушенья, заглушаемый набатом и выстрелами, между коими гремели тревожные перекаты русских барабанов и замолкали вновь, подавленные криком народным. Резня длилась; смерть в разных образах сторожила русских — и никому не было пощады. Я знал одного отставного солдата, который в ту пору с пятью товарищами мылся в бане; поляки окружили ее, зажгли, заперли и со свирепою радостию слушали их отчаянные крики. К счастью его, обрушился потолок; он вспрыгнул по пылающим стропилам кверху и, полусожженный, кинулся в Вислу, на берегу которой стояла баня. Другой… Но теперь дело не о других. Дядя мой, кирасирский поручик, находился в этом же корпусе бессменным ординарцем при одном из генералов, — и я прошу позволения познакомить вас с моим дядею покороче. Он имел неоцененное счастие родиться в золотой, патриархальный век русского дворянства в степных деревнях Тамбовской губернии. Строгие понуждения Петра Великого, чтобы недоросли учились и служили с малолетства, грянули там громом, — но давно уже минули, подобно страшному сну, и они безбоязненно катались в невежестве, как сыр в масле. Едва мальчик рождался на свет, целое вече родных и соседок собиралось к родильнице, и каждый и каждая, отпустив ей по нескольку приветов один другого старее, один другого глупее, клали под подушку по золотой монете *на зубок* новорожденному. Затем мамка выносила его самого на подушке, красного как рак, и все с важным видом обступали младенца, щупали, обдували, рассматривали его с большим вниманием и, обыкновенно по старшинству или по звонкости женских голосов, решали: будет ли у него руно или перья? В первом случае, когда младенец мог уже ходить на четвереньках, как прилично столбовому дворянину, — его пускали между телятами и барашками научиться кротости и благонравию. В другом — дожидались времени, когда он мог стоять на двух собственных ножках, и тогда круг его воспитания начинался на птичьем дворе с курами и гусями. Этот род домашнего воспитания, столь близкого к простоте природы, с очень неважными переменами, продолжался обыкновенно до тех пор, покуда несколько неугомонных ревнивых мужей, крестьян, не приходили с жалобами на молодого барчонка. Тогда нежная матушка заключала, хотя и весьма неохотно, что ребенку пора учиться, и давай слать гонцов в Москву за азбукою, а в Петербург за патентом на чин гвардии сержанта. Ни дать ни взять, этот же порядок происшествий соблюден был и с возлюбленным моим дядюшкою. Совет чепчиков решил, что в нем орлиная природа, и, вследствие таких примет, пернатое племя было товарищем его детства, и юность его услаждалась дракою с индейскими петухами. Но у ребенка пробился ус, и вот Амур со стрелой своей, цирюльник с бритвою и приходский дьячок с указкою явились к нему вдруг — рушители покоя и беспечности. Книга показалась дяде моему медведем, и это впечатление на юные нервы осталось в нем едва ли не на всю жизнь: от книг он вечно бегал, как бес от ладана, — и мать его уверяла, что одна азбука стоила ей целого воза вяземских пряников для утешения испуганного дитяти. Дитя, однако же, одарено было особенною понятливостию, и в два года прошло до четверных складов; но *по верхам*, вероятно от застенчивости, и на третьем читал он плоховато. Зато уж письмо далось ему на диво. По линейкам, начерченным обыкновенно углом гребешка, бегло писал он по палочкам, и, не хвастовски сказать могу, слова его походили на фрунт немножко хмельных солдат; по в позднейшие времена, в службе, он еще более наметал руку, и каждая буква его подписи разгульными своими кудрями походила на завитую в семик березку.

В двадцать два года отец впервые назвал его *добрым молодцем*, а мать с плачем стала собирать на службу. Как ни хотелось дяде моему посмотреть света, но горьки показались ему слезы разлуки.

Мать просила его беречь здоровье, отец велел беречь денежки, и оба крепко-накрепко наказывали поздравлять с праздниками петербургских своих роденек, разумеется, чиновных. Покорный сын влез в повозку с твердым намерением не следовать ни одному совету и, в сотовариществе со степным и степенным дядькою, покатил в столицу. Прибытие его в полк, его сержантские подвиги при равносиянии финского солнца и при мерцании фонарей, которые нередко бивал он, и, наконец, перевод поручиком в один армейский кирасирский полк не принадлежат к нашей истории, и потому я скажу только, что дядя мой стал молодцом в полном смысле слова. По росту и дородству вы бы могли счесть его потомком Сухаревой башни*, а сила соразмерна была огромности туловища, — словом, он был достойный богатырь времен суворовских. Вообразите себе, что в одном сражении с турками конь его на ретираде был контужен в передние ноги. Он любил коня, как брата, и не хотел, имея надежду вылечить, оставить его в добычу неприятеля.

«Бедняжка! — сказал он: — Ты не раз вывозил меня из беды неминучей, теперь за мной череда послужить тебе», — и с этим словом, подхватя четвероногого товарища под передние лопатки, поволок на себе, между тем как тот переступал задними ногами.

Таким центавром* прибыл он ко фронту, и когда офицеры стали удивляться его усилию, он извинялся тем, что протащил не более полуверсты. Впрочем, дядя мой, славный уже рубака на войне, был лихой товарищ и в обществе. Охотник пошутить и посмеяться, он не был лишним ни за бутылкой, ни подле женщин. Природа не обидела его даром слова, а столица весьма и весьма округлила в обращении. Вероятно, эти качества доставили ему место бессменного ординарца, и, кажется, ни генерал, ни генеральша не имели причин в том раскаиваться. Варшава, со своим венгерским вином и милыми польками, показалась ему настоящим земным раем: его жизнь плавала там в океане меду, — но гроза невидимо собиралась над русскими и грянула ужасно. Судьба сулила, однако ж, дяде моему погибнуть не в Варшаве. Он, на Страстной неделе, отправлен был с важными депешами в Литву и, удачно выполнив свое поручение, повольно возвращался в главную квартиру, ничего не зная, не ведая. На другой день светлого праздника он уже находился верстах в полутораста от Варшавы, поспешая навстречу погибели. У худых вестей долгие ноги, и если б дядя мой был более догадлив или менее доверчив, то легко мог бы заметить, что в народе происходит необыкновенное волнение. Но он, по обычаю всех русских курьеров, просыпался только побраниться на станции, выпить рюмку старой водки у жида и снова залечь в плетеную бричку, лишь по временам покрикивая: «Пошел!» и пересыпая это увещание перцем весьма выразительных русских междометий, разнообразие которых неоспоримо доказывает древность и богатство нашего языка, хотя их нельзя отыскать в академическом словаре. На облучок с ним садился вахмистр того же кирасирского полка, Иван Зарубаев, удалец не хуже моего дяди. Он был у него квартермистр, казначей, камердинер и телохранитель в одном лице; и сомнение ли поляков об удаче варшавской заутрени или робость при виде двух великанов, вооруженных с ног до пояса, — только, несмотря на косые взгляды и проклятия, процеженные сквозь зубы, им до сих пор везде давали лошадей, и нагайка Зарубаева, гуляющая без лицеприятия по спинам четвероногих и двуногих служителей почт, доставляла путникам очень скорую езду. Зарубаев, однако, видя необычайное столпление шляхты, которая, заломив шапки и засунув руки за пояс, гордо волочила за собой ржавые сабли, явно браня русских и с хвастливым видом угрожая искрошить их на табак, счел за нужное отрапортовать о том поручику.

«Ваше благородие, — сказал он, вытянувшись сколько мог, половиною тела, на облучке, — поляки затевают что-то недоброе, они грызутся на нас, как волки на собак. Во многих деревнях я видел, насаживают косы на ратовища и привязывают флюгарки к вилам; шляхта чистит дробовики и сабли, — вон, изволите ли видеть, нам перескакали дорогу человек пять с пиками? Это неспроста!»

«В самом деле, Зарубаев, — отвечал мой дядя, — я и сам заметил, что поляки стали с нами горды, как трехбунчужные паши, и вместо прежнего *падам до ног* готовы взлезть на шею, — далеко, брат, кулику до Петрова дня! А что, есть ли у нас, Иван, адамовы слезы?»

«Как не быть, ваше благородие! — отвечал вахмистр, открывая пробку оплетенной фляги, которая висела у него через плечо. — Я всякий день насыпаю на полку свежего пороху».

«Так не о чем и горевать, — сказал мой дядя, потягивая душеспасительный травник, — покуда у русского солдата есть чарка в голове, сахар в кармане и железо в руках, — ему нечего бояться. Пошел!»

В этих миролюбивых мыслях прикатили они к следующей станции.

Шумный круг теснился у крыльца почтового дома; с него сухощавый поляк, — вероятно, эконом фольварка*, весьма похожий на тощую фараонову корову*, которая проглотила тучную, не став оттого сытее, — что-то с жаром проповедовал, и грозные клики: «Вырзнонць, вырзнонць!»[4] вместе с шапками летели на воздух.

«Лошадей!» — закричал Зарубаев, между тем как ропот: «Москаль, москаль!» раздавался кругом.

«Тройку из курьерских, по указу ее императорского величества», — сказал мой дядя, швырнув подорожную в нос эконома.

«*Тым горжей*,[5] — гордо возразил тот, — коней нема».

«Как нема? Для курьера нема? Хоть роди, да подай! – вскричал, вспыхнув, мой дядя. — Или я тебя самого впрягу в хомут, тюленья харя!»

Между тем поляки сжимали круг ближе и ближе, и с каждой минутой угрозы их становились дерзостнее, поступки бесчиннее.

«Схватить их, связать их!» — кричали одни.

«Убить, убить! — ревели другие. — Им одним скучно будет в Польше, отправьте их гонцами к свату их, сатане!» — и тому подобные любезности.

«Не пустить ли, ваше благородие, шутиху в зубы этой челяди? — спросил Зарубаев у дяди. — Пистолеты у меня заряжены картечью; или по крайней мере позвольте поработать палашом — ему, бедняге, душно в ножнах».

Но дядя мой имел благоразумие запретить вахмистру наступательные действия и дал знак держать только оружие наготове.

«Завладей сперва бричкою этого шляхтича», — потихоньку сказал он Зарубаеву, и тот вмиг исполнил фланговое движение к бричке. Тогда дядя мой решился — медлить было нечего. Толпа готовилась задавить их множеством; самые хвастливые из шляхтичей обнажили уже клинки свои и, гарцуя над головою дяди, то подносили концы их к носу его, заставляя нюхать старопольскую славу, то втыкали их в землю, то потачивали на колесе. Это вывело его из терпения; он сверкнул глазами и палашом скомандовал Зарубаеву: укороти поводья! — схватил за ворот сухощавого поляка и, между тем как тот кричал: «Злапайце того дурня!»[6] — бросил его под мышку, как зонтик, и потащил, задушая, к бричке. Вскочить в нее, втащить за собой пленника и крикнуть Зарубаеву: «Катай по всем!» было дело двух мигов. Зарубаев, который, выставя из-за края брички, как из-за бруствера, пару седельных пистолетов, грозился на каждую пулю пронизать по крайней мере по три души, не дожидался повторения, и бич свистнул над конями.

«Слушай, пане экономе! — сказал дядя пленнику, сжимая ворот его при каждой запятой. — Объяви этой сволочи, что если хоть один кинет в меня камнем, или выстрелит, или станет преследовать, то я не иначе явлюсь в пекле, как верхом на тебе!»

При окончании этого родительского увещания он так давнул бедного шляхтича, что тот заревел, как фаларидов бык*, и ради всех святых стал умолять бегущую сзади громаду не трогать русских, щадя его. Долго еще им слышались брань и проклятия раздраженной черни, у которой ускользнула из рук верная добыча; но повозка летела, и треть дороги была уже за ними, когда звук набата в селе, впереди на дороге лежащем, принудил их остановиться. Ехать назад было им безрассудно, вперед еще опаснее, — что тут прикажете делать? Дядя призадумался, спросил адамовых слез, которые были у него вроде карманного вдохновения во всех чрезвычайных случаях жизни... Потом приложил палец ко лбу, как будто для извлечения электрической искры ума, и снова ухватил шляхтича за ворот.

«Слушай, ты, вавилонская лихорадка, — сказал он ему, — веди меня окольными дорогами не слишком близко к большой дороге и недалеко забираясь в сторону. Если же ты задумаешь бежать или, чего боже сохрани, завести меня в западню, то я впущу тебе в брюхо такую ягоду, что она не сварится в нем до Страшного суда, хотя бы желудок твой был крепче, нежели у страуса. Зарубаев! Отдай ему вожжи да держи за кушак, и чуть он покривит душой или зашевелит усами, спусти гончую собаку. Понимаешь?»

И трепещущий поляк понял это весьма хорошо, взлез на козлы, своротил вправо, и путники наши скоро выехали на какую-то проселочную дорогу.

Мы не удивимся поведению дяди в таком необходимом случае, где он действовал уже в отместку за обиду и по чувству самосохранения; но, впрочем, он, подобно всем военным того времени, без всякой нужды готов был на подобные выходки. Их век был веком, в который люди угнетали других людей во всей невинности сердца; тогдашний дворянин крепко веровал, что бог создал для него только девять заповедей, а десятую отдал ему в бенефис, что крестьяне суть животные и что спины их необходимо требуют побоев, лбы рогов, а карманы просевки, и если ропщут, то, верно, по глупости или от непривычки. Солдат в свою очередь почитал себя тоже привилегированным существом. Следуя примеру старших, он приходил на квартиру, как в завоеванный приступом город, — и мужик, вчерашний товарищ его, бог знает почему, становился его вассалом. В целой деревне мальчики прятались за углы и собаки, поджав хвост, влезали в подворотню, когда старый служивый совершал по улице свое торжественное шествие из кружала, и он, свертывая голову курице или паля краденого поросенка, бывало, приговаривал: «За матушку за царицу, за святую Русь», в полной уверенности, что этому не должно быть иначе. Мы еще застали образчики солдатского молодечества на постоях, но это была уже одна тень золотого века, о котором вздыхают отставные усачи, говоря: «То-то было времечко! Пришел ли на квартиры, все твое — и куры и жены; офицеры пьют да бьют исправников, а мы свозим стога сена и щиплем бороды неугомонным; ведро вина для квитанции, и — все шито да крыто... Что за ябеда на слуг государевых? Бывало, что день — то масленица. На Руси кантуй, как в земле неприятельской, а у союзников — как на Руси!». Мудрено ли же, правду сказать, что с такою политикою между нашими гренадерами поляки не слишком рады были незваным гостям?

Между тем, господа, бричка катилась, солнце садилось, и дядя мой, стягивая патронташ с пистолетами, очень умильно поглядывал в обе стороны, не увидит ли где деревушку для взыскания с нее контрибуций в пользу тощего своего желудка. Вместо деревни, однако же, увидел он столб пыли на дороге, которая тихо вилась к ним навстречу. Они расслышали хлопанье бича и дребезжание досочек, и винтов, и цепей какой-то повозки — и вот пыль расступилась: целый цуг коней в высоких хомутах с веющими по ним флюгерами, кистями и бляхами тащил старинную низкоходую карету. Верх у ней был сквозной, и кожаные завесы, заменяющие наши стекла, подвязаны к столбикам. Внутри, на горе из подушек и всякий рухляди, лежал, преважно растянувшись, какой-то вельможный пан, покручивая усы для препровождения времени.

«Долой с дороги!» — кричал Зарубаев.

«Вправо или стопчу!» — был ответ польского кучера, и между тем оба катили прямо друг на друга, не уступая места, как добрые дипломаты.

«Кеды москаль гицель не звруци з дроги, — паль го в леб з бича!»[7] — закричал вознице своему гордый пан, которому и самая степь киргиз-кайсаков показалась бы узка при встрече; но кони уже сгрянулись, дышла затрещали, колесо пополам, и обе повозки полетели вверх копылками. Между тем как ездовые хлестались и кони храпели под тяжестию кузова или запутанные в упряжь, дядя мой, который выходил из себя от одного грубого слова, бежал к пану в бешенстве от обидных слов, обнажив свой шестипядный палашище и обещая сделать из него двуглавого орла. Но пан уже успел выбиться из-под перин и ящиков и с саблей в руке ожидал нападения. Разумеется, ни один из них не скупился на удары, и между тем как искры сыпались с клинков, брань летела с языков и удвояла запальчивость обоих. Дядя мой кричал, что он допытается, чем подбита польская кожа, а пан ревел, что он отрубит русский нос на завтрак своему пуделю; и в самом деле противник был лихой рубака и дважды уже задел его по локтю, между тем как дядя мой косил направо и налево без всякого разбора. Счастье, однако, лучше уменья — и дядя мой, рубнув с плеча, раздробил саблю, которая была уже на дороге короткого знакомства с его носом, и так стукнул противника в лоб рукояткою, что он рухнул в крови, не успев ахнуть. Нажив новую беду на руки, любезный дядюшка мой спешил ретироваться, покуда слуги суетились около вельможного. На беду пленный шляхтич, пользуясь замешательством, ударил до старого замка, то есть до лесу, а Зарубаев, потирая бока, докладывал, что он не знает дороги.

«Ступай куда глаза глядят!» — был приказ, и нагайка опять извилась над бегунами.

Скоро потеряли они из виду место побоища, и солнце юркнуло за горизонт, будто только и ждало конца славных подвигов. Среди врагов, в местах незнакомых, в темную ночь — не слишком весело хоть какому рыцарю; но, что хуже всего, дядя мой чувствовал тогда страсть, ужаснейшую всех прочих, ибо она не знает забвения, ни примирения и убивает в три дня, — страсть, которую в просторечии называют голодом! Вообразите же себе его радость, когда, обогнув лесок, он увидел невдалеке перед собою старинный польский замок и в окошках его освещение, достойное святой недели, которая в Польше есть настоящий праздник гостеприимства. Подъезжая ближе, он с изумлением заметил, что просека, ведущая ко въезду, заросла уже мелким березняком. Ограда во многих местах была осыпана, гнилые ворота лежали у верей в крапиве, весь двор заглох дикими растениями, и самый палац разрушен по оконечностям; одним словом, все доказывало давнее запустение и необитаемость. Это поразило Зарубаева, и он сдержал коней.

«Ваше благородие! — сказал он, крестясь, — тут нечисто! В этих брошенных палатах могут стоять на постое только злые духи. По всему заметно, что здесь лет сорок не бывало живой души, а теперь в них говор, шум и пенье. Если б сюда съехались крещеные люди, так были бы кони и повозки, — ведь одни киевские ведьмы летают на помеле. Не лучше ли, ваше благородие, переночевать в поле, а то не вынесем мы отсюда своих косточек!»

«Пошел хоть к самому сатане! — сердито закричал мой дядя. — Крестом или пестом у чертей и у людей можно всего добыть, и я так голоден, что готов вырвать ужин из пасти у медведя!»

Мигом перекатили они широкий двор, и дядя мой, в сопровождении Зарубаева, который ни за что в свете не хотел остаться один, пустился ощупью отыскивать вход в залу, откуда неслись громкие голоса. Взбежав по полуразвалившейся лестнице во второй этаж, не без опасности сломить себе шею, в передней, наскоро превращенной в буфет, встретил он толпу суетливых слуг. Все они были в охотничьих платьях и, споря наперехват, кто услужит хуже, готовились нести ужин. Несколько свор и смычков собак лежали и прогуливались попарно, в ожидании добычи или подачки, и дядя заметил одного лакея, который тер блюдо хвостом борзой, между тем как она, ворча, грызла заячью косточку. Запах кушанья заставил его удвоить шаги — и вот он посреди залы, между множеством польских панов и дам, и в недоумении, к кому обратить слово.

Появление русского латника исполинского роста, косой сажени в плечах, вооруженного с головы до шпор, в перчатках с раструбами по локоть, в сапожищах с крагами до полубедра и в суперверсе[8] на груди с огромным орлом, что делало его весьма похожим на странствующий пограничный столб Московской губернии, а далее за ним, на благородном расстоянии, точно такая же фигура, ласкающая рукой эфес палаша, — изумили и даже испугали собрание. С беспокойством поглядывали

поляки, нейдут ли вслед за этим передовым корпусом другие с примкнутыми штыками, затем, что время и место их сбора недаром могли казаться подозрительными. Наконец дядя мой, выбрав пана, у которого гордее всех была осанка, длиннее прочих усы и богаче пояс, изъяснился, как мог, что он русский курьер, сбился с дороги и, зная польское гостеприимство, просит теперь хлеба-соли для себя и потом коней для службы государевой. К этому он придал глупость самого большого калибра: назвался племянником главнокомандующего — ложь, которая бывала ему доселе очень удачна для получения подвод, хороших ночлегов и угождений, и угощений.

«А-а! — сказал вельможный, потирая руки, — милости просим! Мы весьма рады пану племяннику главнокомандующего».

Эта новость обтекла в одно мгновение ока вокруг залы, и все, наиболее дамы, столпились около дяди моего, измеряя его глазами, как страсбургскую колокольню*.

«Но позвольте спросить, где ваша подорожная?» — спросил ласково хозяин.

«Вот здесь», — отвечал дядя мой, опустив руку в лосиные панталоны, вытаскивая трехпечатный лист.

Взглянув на него, поляки успокоились, веселость возвратилась, и, рады не рады нежданному гостю, усадили, однако ж, его за стол рядом с очень милою дамою, и все беды, все страхи исчезли из головы моего дяди точно так же, как яства с его тарелки, а вино из серебряной стопы, в которую лукавый сосед не уставал подливать беспрестанно. Успокоив первые вопли желудка, дядя пустил глаза на волю. В самом деле, все, что ни окружало его, вовсе не походило на вещи здешнего мира: огромная зала, расписанная плесенью al fresco,[9] грозила падением, потолок был выпучен волнами, карнизы, украшенные паутиной, начинали обваливаться, и выбитые окна на этот вечер завешены были коврами, попонами, даже плащами охотников. Только на столе стояло несколько подсвечников, но по стенам воткнуты были охотничьи ножи и на них пылали факелы. На одной из стен висел ряд фамильных портретов, мужчин и женщин попеременно: это безмолвная летопись ничтожности человеческой. Краснощекие красавицы, перетянутые, как муравей, и обвешанные рядами кружев, на высоких золоченых каблуках, нежно косили глазки на букет чудесных цветов с серебряными листиками, наверно подарок женихов, потому что в старину девушки принимали подарки только от женихов. Усатые, бритоголовые паны с длинным чубом на маковке, иные в латах, грозно держась за саблю, другие в расшитых кафтанах и кунтушах, миролюбиво размещая пальцы по квартирам между алмазных пуговиц, беспечною своею физиономиею и двойным подбородком невольно возбуждали аппетит, и дядя очень остроумно заметил, что старики не без намерения вешали портреты свои в столовых: любя попировать в жизни, они и по смерти давали потомкам охоту к тому же. В мебелях представлялись остовы многих веков от самого потопа. Там широкие кресла протягивали одну ручку, будто прося милостыни, между тем как на вышитой спинке трепетались лоскутки прежнего величия. Там долговязый точеный стул качался на трех ножках, потеряв остальную в каком-нибудь домашнем сражении, и все они разного роста, цвета и вида, на утиных и кривых собачьих ножках, с высокими и низкими задниками, под блеклой позолотой или из дуба, источенного червями, казалось, сбежались туда со всех чердаков, как на толкучий рынок или в инвалидный дом заслуженных утварей. Сбор гостей был не менее чудесен: они казались живыми списками висящих по стенам портретов, и все покрои платьев, начиная от короля Ляшка Белого*, имели на них свое место. Многие молодые люди носили, однако ж, завитые волосы, и французские шитые жилеты сверкали из-под их двурукавных кунтушей. Хозяин, видя, что дядя мой изумляется, окидывая глазами гостей, и комнату, и уборы, поспешил успокоить на этот счет его любопытство.

«Не дивитесь, любезный ротмистр, — сказал он (поляки любят производить в чины), — что видите нас в этих развалившихся стенах. Травя сегодня с соседами медведя, я избрал этот давно уже покинутый палац местом отдыха после охоты, по близости его к лесу, где мы полевали. Не дивитесь и тому, что прекрасное это здание заброшено в пользу нетопырей; я расскажу вам о том историю.

Надобно вам сказать, что полвека тому назад дом этот сиял, как алмаз, и был, как полная чаша. Им владел тогда граф Фелициан Глемба, родственник мой по женской линии, человек страх богатый деньгами, но еще более прихотями и страстями. Он был женат на единственной наследнице дома Тарлов*, женщине очень умной и прекрасной, но, по обычаю всех славянских жен, чрезвычайно своенравной и повелительной. Чтобы рассеяться немножко от домашнего благополучия, он уехал за границу, обрыскал всю Европу, дурачился везде как нельзя более, влюблялся по пяти раз на день, дрался на поединках без счету и, наконец, истощив наличные деньги и здоровье, воротился домой с новыми долгами и застарелыми пороками. Несколько лет после того протекло довольно тихо, потому что жена была ревнива — равно к его сердцу и карману — и держала молодца, что называется, в ежовых перчатках, — он же в свою очередь боялся ее больше всего на свете.

Вот, в одну осеннюю ночь какой-то всадник прискакал на вороном коне к воротам замка и просил ночлега, уверяя, что он имеет сообщить графу весьма важные вещи. Разумеется, велено просить гостя к ужину, и граф с удивлением заметил в чертах незнакомца что-то очень знакомое; но как путешествия и связи его были обширны, то он никак не мог припомнить, где он его видел. Неизвестный ел мало, говорил еще менее, поглядывал на графа исподлобья так мрачно, что у него

сжималось сердце, и, наконец, для открытия тайны, просил особого свидания. Ему назначили для ночлега дубовую комнату, и через полчаса явился туда и Глемба. Нельзя описать внезапный страх его, когда вместо незнакомого мужчины он нашел слишком знакомую ему женщину, синьору Бианку Менотти, которую обольстил он, увез от отца, тайно женился на ней и потом бросил и забыл в каком-то немецком городке. Она, как водится, плакала, укоряла и, наконец, объявила, что если он не признает ее за жену свою, то, не могши утешаться его любовью, она найдет отраду в мести, что она итальянка и знает средство обнародовать его вероломные и беззаконные поступки, что она не пожалеет даже пролить кровь или отравить изменника, для которого забыла она невинность, дом отеческий, родину и родных и долгие лета разлуки скиталась в чужбине без имени и пристанища. Граф притворился, будто разнежился до слез, и, трепеща, чтобы его не подслушали, дал иудин поцелуй примирения обманутой итальянке. Все, все обещал он: развестись с первою женою, признать ее, любить верно и горячо, и между тем как Бианка всему верила (влюбленное сердце так доверчиво), он вращал в голове кровавые замыслы: сжить с рук опасного свидетеля и увядшую, постылую любовницу. Медлить было невозможно; он страшился ревности настоящей супруги более ада — и скоро созрел губительный умысел в душе порочной. Ласками усыпил он легковерную; потихоньку оторвал от оконного переплета листок свинцу, растопил его на свече в серебряной ложке и приблизился к сонной жертве своей. Руки его дрожали, совесть громко вопияла: «Удержись!» — но страх позора, но боязнь преследований итальянки и вечных укоров жены перемогли все: кипящий свинец канул в ухо Бианки, и жизнь ее прервалась одним вздохом.

Совершив злодеяние, граф позвал ловчего, всегдашнего поверенного его проказ; вместе с ним выбросили труп за окно и зарыли тут же под деревом. На другой день он сказал жене, что это был обманщик, хотевший выманить у него денег, и, получив отказ, он убрался до свету. Никто и не думал заботиться о человеке, который так же скрытно уехал, как прибыл; одним словом, все, кажется, было улажено — и концы в воду; но кровь не смывается ничем. Каждую полночь стали мечтаться графу привидения; бессонница высосала у него здоровье; совесть преследовала повсюду. Уверяли, впрочем, будто и всем домашним чудилась женщина в белом платье, с распущенными волосами: она медленно выходила из дубовой комнаты, пробегала весь замок и, встретив графа, грозила ему перстом, указывая на небо, и потом исчезала. Гонимый раскаянием, терзаемый призраками, Глемба вдруг покинул дом этот, вскоре заболел горячкою, высказал в бреду ужасные подробности преступления — и умер.

С той поры на замок легла печать отвержения. Село, бывшее вблизи, рассеялось, дороги поросли кустарником, и доселе так еще сильно поверье, будто здесь живут духи и прогуливаются мертвецы, что дровосек, не ждя вечера, выезжает домой из окрестностей и охотник, хотя бы ему попался пестрый зубр, не погонится за ним под ночь в соседние кущи. Мы, однако же, надеясь на учтивость привидений, решились попировать здесь после подвигов травли и повторяем, пане ротмистже, весьма рады случаю, что вы вместо пустых стен нашли здесь сытный стол, вместо бледных покойников — краснощеких весельчаков, готовых пить и любить... от пана до пана!».

Между собеседниками пошли разные толки: кто улыбался, кто морщился, однако все стали поговаривать, что пора ехать. Но заздравные кубки кружилися, и все тайны всплывали на верх вина, как масло, мало-помалу. Дядя мой плохо понимал по-польски и вовсе не разумел по-латыни, но и он заметил нечто неприязненное к имени русских. Толковали о всеобщем восстании в Варшаве, о том, что везде исполняется то же. Взоры гостей сверкали, восклицания становились шумнее, воинственнее; наконец тост: «Pereat Stanislav, pereat Moscovia!»[10] загремел так, что дрогнули стены. Многие вскочили, другие пили, стуча саблями о стол, хрусталь летел на пол — и дядя мой, не понимая ни крошки, подтянул хору и, во всей чистоте души, осушил стопу свою.

В промежутках между чарами он не забывал, однако ж, своей соседки: смешил ее, ломая польский язык без милости, забавляя рассказами о России, льстил, как умел, — и ему казалось, что ему отвечают. Вкусы у женщин причудливы, и недурной мужчина двух аршин и двенадцати вершков роста имеет свои достоинства, будь он латыш, не только русский; политические же распри не входят в расчет женских склонностей — на этом пункте они истинные космополиты — и пана племянника главнокомандующего нашли бардзо пршиемным! Ободренный огневыми взорами милой польки и переполненный через край любовью и венгерским, дядя мой решился на объяснение. Должно полагать, что его речь была подобие цицероновой* «Pro Milone»[11]; он сам был очень растроган, ибо первый почувствовал силу собственного красноречия и в самой средине изъяснения, желая вздохнуть, — зевнул до ушей, нежно взглянул на прекрасную вполглаза — и заснул богатырским сном.

Судя по высоте месяца, было за полночь, когда он пробудился; в ушах его звенел еще говор ужина — но, открыв глаза, он чрезвычайно удивился, видя, что сидит один-одинехонек. Все было кругом в мертвом молчании; гости исчезли, и никакого следа пирушки, кроме обнаженного стола и опрокинутых стульев! Дядя мой не раз протирал глаза, щупая себя за желудок и щипля за ухо, чтобы увериться, точно ли он испытал все это во сне. И все-таки сомнение не покидало его. Зачем поляки были здесь и куда девались, не разбудив его? Люди были это или злые духи изволили забавляться над ним? И ежели злые духи, подумал дядя, то неужели разлетелись они от пения жареного петуха, которого не успел он почать? Предполагать же петухов живых никак нельзя было в окрест-

ности. Полный месяц ясно светил в полые окна, и морозный ветерок, чтобы не сказать — дума о мертвецах, русалках и домовых, которыми набожно набивали его голову с малолетства, заставили героя пожаться: ему вовсе не было охоты провести ночь в этом чертовом решете. Мурашки бегали по ретивому, да и портреты поляков, которые за час он находил так миловидными, хмурили брови, сторожили его страшными глазами и, колеблемые ветром, казалось, хотели выпрыгнуть из рам и разделаться с незваным посетителем по-свойски.

Найдя свой плащ в углу и завертываясь в него, он заметил, что при нем нет уже ни палаша, ни пистолетов. Эта потеря поразила его как гром; без оружия он вовсе опустил крылья и опрометью кинулся к выходу, трепеща звука собственных шпор. Первый шаг за дверь — и дядя мой был уже на полу, запнувшись за какое-то мертвое тело, — но ужас его дошел до неимоверной степени, когда в нем он узнал Зарубаева, исколотого и плавающего в крови. Верный служивый был еще жив; он распознал своего поручика, собрал последние силы, приподнялся на локоть и через два слова в третье рассказал ему, что он не покидал во все время ужина своего поста у дверей, видел, как заснул дядя мой, слышал, как поляки хотели связать и с торжеством везти в Варшаву племянника главнокомандующего; но хозяин настаивал, что он берет его к себе на поруки и что стыдно платить унижением человеку, пришедшему просить гостеприимства. На беду прискакал шляхтич с вестью к одному из вельможных, что родной брат его умирает, раненный в пути русским курьером, и, узнав их обоих, указал как на убийц и разбойников. Тогда хмельные паны разъярились, и, несмотря на все увещания доброго хозяина, сабли засверкали над головою сонного дяди. Зарубаев кинулся защищать его, спустил курок по одному и саблей сбил еще двоих, но был в минуту изрублен сотнею клинков и, падая, видел, как распахнулись на другом конце залы заколоченные двери — и вышла женщина в белом платье, бледная как смерть… Завидя ее, поляки стихли, сабли опустились, и все кинулись вон, давя друг друга, побросались на коней и ускакали, восклицая: «Фантом, фантом!»*. После этого он потерял память.

«И теперь умираю молодцом, — прибавил Зарубаев, силясь перекреститься, — солдату всегда пора умереть, а тому и подавно кстати, кто выкупил свою душу парою вражеских; у меня же ни роду, ни племени! Велите, ваше благородие, отслужить только по мне панихиду, и пусть товарищи выпьют за мою грешную душу на поминках — деньги в артели!»

С этим словом он упал, вытянулся в последний раз по-солдатски — и баста. Дядя ждал, не очнется ли добрый товарищ, но труп холодел постепенно; и он, уронив пару слез на убитого, удалился искать себе приюта и безопасности. Смущен сердцем и не видя ничего в темноте, он никак не мог найти выходу: из коридора попал он в комнату, из ряда комнат в сени, оттуда на лестницу, там на другую — это его утомило. Он бросился в первую встречную горницу и, найдя там древнюю запыленную кровать, растянулся на ней, жмуря глаза, с твердою решимостию заснуть до света; но сон бежал от глаз дяди: труп Зарубаева и рассказы о белом привидении неотступно ходили кругом. Для развлечения он стал рассматривать комнату чудного своего ночлега.

Она вся убрана была дубом под тяжелою резьбою; высокие панели и широкие наличники, на коих хитро сплетались фантастические головы зверей, птиц и людей, долго занимали его. Казалось, под каждой рамкой скрывался шарнир, готовый повернуться и выпустить из-за себя какое-нибудь привидение или по крайней мере убийцу. Разбитое зеркало, тусклое от дождей, будто манило мертвецов поглядеться в себя. Старая дверь скрипела так жалобно, так заунывно, словно оплакивала своего жильца, и лестница, едва озаренная луною, казалось, вела прямо в преисподнюю. К этому же сырые стены пахли могилой, и флюгер, качаясь на ржавом стержне, царапал дядю по сердцу; ему стало жарко и холодно, когда он вспомнил, что это должна быть роковая дубовая комната и на кровати, на которой лежал он, умерла несчастная Бианка! При этой мысли он вздернул плащ себе на голову, но обнажил ноги; потом, желая обернуть ноги, обнажил плечи и, наконец, после многих перемен одного и того же, проклиная портных и домовых, он свернулся в крендель под епанчою и, таким образом, герметически закупоренный от влияния духов, заснул, потея, как губка.

Вино и молодость, подобно пружине, уступают на миг силе, но потом разыгрываются по-прежнему. Вино и молодость забушевали опять в сердце моего дяди, хотя он находился в тех же тисках. Ему снилось, будто он еще за столом и прелестная соседка шепчет ему: «В дубовой комнате, в полночь!» — и палец таинственно сомкнул милые уста… И вот он на пыльной кровати, ждет-пождет красавицу… Ему дремлется — тяжкий сон клонит к подушке. Но вот скрипнули половицы под легкою ножкою… Кто-то смотрит ему в очи; жаркое прерывное дыхание горит на его щеке, с биением сердца простирает он руки… и тут проснулся в самом деле. И в самом деле, рядом с ним лежала прекрасная полька и при закрытой туманом луне спала крепким сном. Голова пошла вальсировать у моего дяди, сердце вскипело, как неудержимая пена шампанского, — он не взвидел света от восторга!..

Когда рассеялся чад упоения, облако сбежало с месяца и он, как день, озарил всю комнату. Красавица лежала в томном забытье; дядя мой снова взглянул на нее, и волосы его стали дыбом, мороз проник в самое сердце костей — это была женщина-мертвец!

Могильная бледность заменяла на щеках ее румянец жизни, кровь не двигалась в жилах, дыханье не вздымало груди, и страшны были синеющие глаза ее без зрачков, так по крайней мере предполагал дядя, потому что они были закрыты. Он уверял даже, что собственным своим носом

чувствовал, как от нее пахло гробовой доскою, — и я верю ему тем более, что он клялся только за картами. Как бы то ни было, господа, я сам согласился бы скорее жарить ручные гранаты наместо каштанов, чем разделять ложе с выходцем того света! И бедный дядя мой, молясь всем угодникам, желал бы спрятаться тогда в свой карман, если бы это было возможно.

Но вот скелет поднялся с кровати; говорю — скелет, потому что дядя мой очень явственно слышал бряканье косточек, вероятно собранных на проволоке, а на месяце белое платье ее сквозило, будто надетое на вешалку. Женщина-скелет подошла к окну, закрыла себе лицо рукою, будто стыдясь чего-то, потом потерла себя по лбу, словно рассуждая, из чего мой дядя заключил, что у жителей могил точно такие же телодвижения, как и по сию сторону гроба. Потом она приблизилась к дяде, и тот, воображая, что она начнет его грызть для препровождения времени, закрыл глаза и предался на божию волю. Привидение удовольствовалось, однако ж, одним поцелуем — и дядя клялся, что с той поры щека эта стала у него отмерзать при самом обыкновенном холоде. Потом она дала знак рукою за нею следовать, и, как осужденный, побрел он вслед за белым привидением. Сошли с лестницы, прошли темный переход, и ему мнилось уж, что оборотень заведет его в какой-нибудь погреб и оставит в глубине на съедение мышам, как польского короля Попела*. Долго не мог он отвести души, вышедши и на свежий воздух; однако же ободрился, увидя, что вожатая вовсе не хотела ему зла; он готов уже был с нею раскланяться, когда она стала говорить ему гробовым голосом. Дядя мой не знал, по несчастью, никакого чернокнижного наречия и потому стоял перед нею выпуча глаза. Видя, что он ничего не понимает, она указала ему дорожку влево, послала прощальный поцелуй рукою и исчезла в воздухе, оставя после себя серный запах, как ракета. Дядя отдохнул, перекрестился обеими руками и побрел далее, мыкать горе, не зная где пройти и куда выйти. Не удалился еще он двухсот шагов от замка, как ему послышались крики и потом погоня, и скоро заблистали огни по окнам. В ту же самую минуту человек дикого вида, в зеленой куртке, с огромным ножом на поясе, с двухствольным ружьем на плече и с легавою собакою у ног, заступил ему дорогу.

«Кто ты? — спросил изумившийся дядя. — Друг или недруг?»

«Доверься мне, и ты узнаешь, — отвечал угрюмый незнакомец. — Взгляни туда — тебя ищут, назади верная гибель; впереди — сомнительная опасность. Следуй за мною!»

И, не дожидаясь ответа, врезался в обнаженную от листьев чащу.

Дядя мой шел следом, собака бегала кругом, заменяя патрули и ведеты. Давно уже закатился месяц, и кирасир наш, в тяжелых ботфортах, перелезая через пни, бродясь через речки, едва тащил ноги свои и пыхтел, как волынка. Незнакомец отрывисто отвечал на вопросы и скоро шел далее и далее. Наконец собака залаяла... Лес стал редеть — и вот увидели они на поляне потухающие огни биваков. Но русские то или поляки? — вот задача!.. Встретиться с последними — значило попасть из огня в полымя... а провожатый что-то очень подозрителен!..

«Кто идет?» — раздалось в цепи, и человек в зеленой куртке, сжав по-дружески руку спасенному им дяде, скрылся в лесу, не слушая никаких благодарений.

«Кто идет? Говори или убью!» — закричал часовой вторично, и слышно было, как он ударил ружьем в руку, прицеливаясь.

«Русский, ей-богу русский!» — отвечал дядя мой, и казачий объезд наскакал на него, воображая, что поляки покушаются на ночную атаку.

Можете вообразить себе радость, когда увиделся он с земляками и со знакомыми! Отрядом командовал подполковник Тучков*. Великодушие полек спасло жизнь многим русским офицерам; любовь спасла артиллерийскую роту Тучкова. Одна шляхтянка любила страстно фейерверкера этой роты, известила его об опасности, тот кинулся к начальнику. Тучков в ту же минуту ударил сбор и, присоединяя к себе рассеянные побоищем кучки, успел уйти из окрестностей Варшавы, беспрестанно сражаясь и беспрестанно отстреливаясь. Тут, господа, кончатся похождения моего дяди; случаи войны не принадлежат к нему, да и без них рассказ мой имеет в себе слишком много северной долготы.

— И дядюшка ваш так был поражен этим, что пошел в монастырь? — спросил сфинкс в зеленом сюртуке.

— В монастырь, — отвечал артиллерист, снова закуривая трубку, — только ровно тридцать лет спустя, когда он имел несчастие потерять имение и зубы.

— Но неужели он не был довольно любопытен, чтобы расспросить у человека с двухствольным ружьем или хоть у двуногой его собаки, почему он спасает его ни дай ни вынеси и так удачно, кстати? — спросил гвардейский капитан.

— Прошу извинить, капитан, — возразил артиллерист, — дядя мой не забыл этого, и добрый вожатый вкратце, но ясно разгадал ему все. Он был киевлянин, то есть полуполяк-полурусский, женился в Риге на немке из любви, не имея ни гроша за душой и ни пяди земли в подсолнечной. Но, будучи лихим стрелком, он воспользовался слухами о привидениях в замке и поселился там с женою, охотясь в окрестности и продавая дичь в ближнем местечке. Боясь, чтобы смелость польских панов, которые съехались туда на совещание об истреблении русских, не была примером для других, он с женою согласился пугнуть их порядком: она набелилась, надела белое платье и, видя,

что дядю моего хотят изрубить сонного, вбежала с ужасающим криком в залу, в самую минуту свалки. Паны разбежались от страха. Желая спасти его от преследований, которые не замедлили бы, конечно, когда образумятся беглецы, она упросила мужа проводить его к русским, о приближении которых носились слухи. Прочее вы можете, господа, разгадать сами.

— Это слишком обыкновенная развязка, — сказал таинственный человек со вздохом.

— В другой раз я вас угощу такою страшною повестию, — отвечал артиллерист с ироническою усмешкой, — что не только ведьма станет творить молитву, сидя на трубе, по словам баллады, но даже нерожденные младенцы перекрестятся во чреве матернем и все нянюшки вздрогнут спросонок.

— Теперь ваша очередь что-нибудь рассказать, — сказал драгунский капитан соседу своему, молодому гусарскому офицеру, который, завернув носик в меховой воротник ментика, из лени или от слабости, во все это время не вымолвил ни слова и потому не обращал на себя внимания, — гусарская ташка — арсенал любовных писем и чудных или забавных выдумок и приключений.

— Не лучше ли идти спать? — возразил гусар. — Вам, наверное, во сне приснится более занимательного, чем вы можете услышать от меня.

Разумеется, возражения задождили отовсюду.

— Сон своим чередом, — говорили одни.

— Завтра ни мое, ни ваше, — толковали другие.

— Хоть лепту в казну общего удовольствия, — возглашали все хором.

Гусар сдался.

— Господа! — сказал он: — Я расскажу вам случай, который имеет только два достоинства: во-первых, он не выдумка, во-вторых, он краток. Ему-то благодаря я принужден был приехать сюда лечиться. Прошу прослушать.

Три года тому назад полк наш переходил на новые квартиры в Гродненскую губернию. Это было в августе месяце, то есть в самую веселую пору для сельских жителей. Поляки везде встречали нас радушно, и каждая дневка наверно знаменовалась балом или обедом у которого-нибудь из панов окрестных. Всякий военный сознается, что нигде нельзя найти большего удовольствия, как в польском обществе. Гостеприимство мужчин, остроумие женщин, непринужденная веселость и эта светская образованность или по крайней мере товарищеские приемы во всех невольно вас очаровывают, и вы довольны с самыми малыми средствами. Прибавьте к этому тысячи развлечений: охоту, стрельбу, катанье, гулянье, танцы и любовь — стихию польских дам, — и вы не удивитесь, что русские воздыхают об этом крае обетованном для юношей. Я сам не любил терять времени за картами или за трубкою, и каждый часок, на который мог урваться от службы, конечно, посвящен был прекрасному полу. Бывало, устав от похода, скачешь за несколько миль, чтобы рассидеть вечерок или отгрянуть мазурку с милою дамою, которую видишь в первый, а может быть, и в последний раз. Чуть завидя на балконе вьющиеся ленты, перья или платья — сейчас кивер зверски набекрень*, бурку наопашь, и скачешь во весь опор к крыльцу, молодецки осаживаешь коня с лансады, и прежде чем хвост ляжет на землю, я уже на третьей ступени. Входишь, бывало, котом — что когтей не слыхать, раскланиваешься, представляешь самого себя хозяевам, режешь по-польски, не краснея, — и пошла потеха! Гитара настраивается, фортепьяно звучит — и вместо флейты аккомпанемент из нежных вздохов. В промежутках толкую с матерью о хозяйстве, рассказываю дочерям новый роман Вальтер Скотта, не забывая главы из собственного, хвалю и цитирую молодым людям польские напечатанные стихи и восхищаюсь с отцом славою Косцюшки. Добрый старик со слезами патриотизма говорит об отчизне своей, ищет сабли, не может забыть наполеонова гения, любезности французов и вкуса венгерского вина, от которого у него осталась в ногах подагра, а парижские союзники в погребе его оставили одни черепки. Но все веселы, все довольны, и время летит на крыльях забавы.

Однажды, подходя к одной мызе, меня встретил наш эскадронный квартиргер, по обыкновению на маленькой обывательской лошадке, так что издали казалось, будто у нее шесть ног.

«Знатная квартира, ваше благородие, — сказал он мне, снимая фуражку, — конюшня чище горницы, речка у ворот для водопою, и соломы в пояс».

«Есть ли паненки?»

«Целых три, ваше благородие».

«И хороши?»

«Что твой месяц, ваше благородие, кровь с молоком! Одна другой чище, одна другой дороднее, так что глаза разбегаются. Одна беда: они собираются ехать верст за десять к дядюшке на именины».

Признаться, вкус и похвалы квартиргера мне были весьма сомнительны, и, зашедши на минуту к хозяину, я уверился, что предчувствия мои не напрасны: три дюжие панны, разряженные в пух и перья, мне вовсе не понравились; в формах тела, как и в поэзии, я люблю что-то неопределенное, воздушное, и я очень охотно принял предложение ехать с ними в гости, поискать инде счастия. Переодевшись, я поскакал вслед за болтливою их линейкою, и через час мы были уже у пана Листвинского, доброго старосветского поляка, куда съехалось довольно соседей и соседок. Между последними я встретил одну даму, знакомую мне еще в Вильне, которая имела все потребные качества, чтобы свести с ума самого хладнокровного человека: каждая шутка ее была мила и колка, подобно

розе, а взгляды — настоящий греческий огонь. Подле нее за столом, преследуя ее в саду, безотвязен в танцах, я ничего не видел, кроме приманчивой знакомки своей, и не заметил, как минул день и вечер. Перед ужином, по моде, многие разъехались; по обычаю, многие остались ночевать. Меня все уговаривали последовать благому примеру — а пуще всех сердце; но, зная, что завтра достанется мне в дежурство, я не мог и не хотел согласиться. К виленской красавице каждые полчаса приходили с докладом, что сбираются тучи, что будет гроза, что крапает дождик... Я понимал, что это значит, — она упрашивала остаться, но я скрепил сердце и был непреклонен. Упрямство нравится женщинам, и эта выходка пригодилась бы мне вперед. Она уверяла меня, что я промокну, простужусь, могу заблудиться или попасть в реку; что лес, через который мне должно ехать, теперь небезопасен от беглых, ставших разбойниками. Я возражал, что простуда будет спасительна пылкому сердцу; что купанье в реке может излечить меня, как пучина Левкада*; что все разбойники в свете мне менее страшны, чем жестокая женщина; наконец, что долг службы и самое благоразумие требуют моего удаления, — а завтра, может быть, я буду не в состоянии оторваться от ног ее. Станется, в этих словах было немного и правды, но все шло за шутку; она смеялась, я был грустен и радостен в одно время, и, наконец, зловещая кукушка выпрыгнула с шумом из дверец стенных часов, прокуковала двенадцать и скрылась. Душа во мне замерла; я стал прощаться.

«Ветер ужасный, дождь идет ливмя», — сказали мне.

«И все-таки я еду!»

«Но темнота, но звери, но разбойники?»

«Русский ничего не боится! Коня!» — и с этим словом я уж был на крыльце. Все вышли провожать меня, упрекая в упрямстве; я отдал поклоны кому следовало, бросил значащий взор красавице моей — и ногу в стремя, и шпоры в бок, и через четверть часа уже был в дремучем лесу.

Я долго мыкался по белому свету, много странствовал в чужбине и в отечестве, но нигде, даже в самой Сибири, не видал таких густых лесов, как в Литве. Бывало, охотясь за дичью, зайдешь в такую чащу и глубь, куда от века не проникал солнечный луч, ни крыло ветра. Во многих местах растаявшие снега образуют глубокие болота и огромные деревья кажутся водяными растениями. В других сосны тлеют на корне, не имея простора упасть. Толстые пни лежат под мохом и травою, как трупы великанов, и мертвое молчание нарушается только стуком дятла по дуплистому дубу или гробовым карканьем ворона, которого тень налетает на вас и наводит невольный трепет. В таком точно лесу ехал я. Буря уже затихла; один мелкий дождь роптал, пробираясь по листьям, и звук подков, бьющих о корни елей, которые змеями перевивались через тропинку, далеко раздавался по бору. Мне казалось днем, что я хорошо заметил дорогу, но, судя по времени, давно бы уже следовало быть дома; ехал, ехал, а селения нет как нет! Передо мной едва светлела узкая тропа, а над головой низко склонялся свод неба, отягченный тучами. Наконец заметил я, что лес редеет, и скоро почувствовал, что конь мой бежит по траве, потом по вязкой почве, потом вовсе по болоту. Удивленный тем, я слез долой и уверился, что битая дорога потеряна. Куда идти? Позади чернел бор, впереди слышалось журчанье речки, и я побрел к ней по затопленному лугу, таща в поводу коня своего. Достигнув берега, мне показалось, на той стороне разбросана деревня; как теперь гляжу — заборы, кровли и трубы обрисовывались во мраке; в одном окне виднелся огонек, и под ним стоял патронный ящик — верный признак квартиры эскадронного командира. Мне чудилось даже, будто я различаю, как подле ящика расхаживает часовой, как возникает на ветре ночной переклик его *слушай!* — а потом сливается с безмолвием ночи.

Несколько раз кричал я часовому, но все было тихо. Прислушиваюсь: только паденье дождя, только шумок лопающих в речке пузырьков и журчанье быстрины, пробивающейся сквозь рыболовную заколь, отвечали мне. Воображая, что голос мой не достигает ни до часового, ни до селения, погруженного в мертвый сон, я решился переправиться через реку во что бы ни стало. Сон и усталость одолевали меня, и, кроме того, я был промочен с ног и с плеч. Так наша братия, дорожа подчас жизнию в случаях важнейших, где нередко выгоды и слава ожидают отважного, иногда готовы рисковать ею за один час успокоения, из одной нетерпеливости или прихоти. Речка была не широка, но глубока, и я решился перебресть ее по шаткому плетню заколи. Пудель мой переплыл первый и визгом звал на другую сторону; зато я насилу мог согнать в воду коня: он храпел и упирался и бился даже на плаву; между тем как я осторожно переступал по сучьям, беспрестанно изменяющим ноге, он уздой тащил меня то вперед, то в сторону. На самой середине, где вода кипела через плетень, обманутый тенью, я оступился и ухнул в воду выше колена. К счастию, другая нога удержала меня, я кое-как справился и, хватаясь за верхи кольев, торчащих из воды, добрался до другого берега, хоть мокр, но жив. Едва ступил я на суходол — создания мечты моей рассеялись: нет ни селения, ни зарядного ящика, ни часового; все дичь, и лес, и пустыня кругом; но огонек точно мелькал между ветвями и согрел во мне надежду найти какую-нибудь избушку для приюта.

Спешу туда, приближаюсь — и что же? То была ветхая униатская часовня с деревянным крестом наверху, и из ее-то маленького окошечка едва лилось слабое сияние лампады.

Я привязал коня за угол и толкнул железом кованые двери; они растворились — и глазам моим представился гроб и в нем покойник, покрытый саваном.

Как ни был я чужд предрассудков, но такая нежданная встреча неприятно изумила меня. Сама природа вложила в нас таинственный ужас при виде разрушения себе подобных, и нас самих ожидающего. Но так как в свете нет вещей, к которым не привыкло бы воображение, особенно подкрепленное неизбежностию, то, раздумав хорошенько, что ночевать под кровлею все-таки лучше, нежели мокнуть в грязи, что находка моя нисколько не чудесна, потому что и у нас, русских, и у литвинов-униатов выносят всегда покойников из деревень в церковь или в часовню, и, наконец, что мертвое тело есть не более как глыба земли и, конечно, не побеспокоит меня своим соседством, — я стоически бросил свою мокрую бурку в угол и улегся как мог, закрыв плечи сухим углом ее, и положил в голову пуделя, верного товарища в трудах и забавах. К удовольствию моему, почувствовал я, что небольшая печка, сложенная, вероятно, для разжигания углей в кадило, была топлена и разливала кругом приятную теплоту. Одно показалось мне странно — из нее пахло жарким, а покойники, сколько мне было известно, не ужинают! Но чтец и караульщик могли, поминая покойного, не забыть и свое человечество; так мудрено ли, что вздумали наутро упитать наемную печаль свою куском баранины? В этих мыслях начал я засыпать… Воображение гуляло бог знает где; мысли путались и бледнели; как вдруг пудель мой заворчал, и очень сердито. Я взглянул вполглаза на гроб, и мне показалось, будто мертвец приподнимает голову; долго и пристально смотрел я, но теперь он был вновь неподвижен, и полотно, закрывавшее лицо его, лежало спокойно, не волнуясь даже от ветра. Лампада перед образом меркла и тускнела, почти погасла — и мрак, обступая меня, стал проливать какой-то неведомый страх в сердце. Привидения всегда заводятся в темноте, как червячки в лимбургском сыре; это испытал, я думаю, всякий, и человеческая храбрость в этом отношении едва ли не закатывается вместе с солнцем на другое полушарие. Иной молодец, насмехаясь над сказками и причудами, в полдень грозится поймать черта за хвост, если бы он дерзнул к нему явиться, а в полночь за версту обходит кладбище и сердце у него бьет тревогу от полета летучей мыши. Признаюсь откровенно, что необыкновенная охота покойника заглянуть мне в лицо, а может быть, и откусить мне голову, как маковку, сначала весьма меня встревожила. Вся эта сцена была точь-в-точь, как в «Светлане» Жуковского, но я не видал вблизи голубка-хранителя, который мог бы защитить меня от зубов кровопийцы. Однако же мало-помалу уверенность возвратилась.

Что до мертвых, что до гроба?
Мертвых дом — земли утроба, —

сказал я самому себе и обернулся к стене. От прелестных стихов Жуковского, где месяц светит и мертвец едет, мысль моя на астольфовом гиппогрифе* залетела на луну, на которой, говорят, живут люди, которые пьют воздух и строят стены от ветра, как китайцы от просвещения. Отдохнув в этой *гостинице земли*, как сказано в отчете о луне, с нее сквозь гершелев телескоп* и чрез Петербургскую обсерваторию спрыгнул я на материк подле биржи. Биржа напомнила мне свежие устрицы; от них перешел я к патриотическому желанию, чтобы у нас удабривали поля устричными раковинами, для экономии; потом вздумал о превосходстве многопольной методы; потом о капусте вообще и о свекловице в особенности; с этим связалась идея континентальной системы; потом идея о скале св. Елены; потом о супе из костей графа Румфорда*, сваренном на дыму чужой трубы; потом о курении вина в деревянных чанах; потом о просвещении в России; далее о карманной паровой машине, хозяйственно приспособленной к действию зубочистки; далее, по странному сцеплению мыслей, о поездке на пароходе в Кронштадт* с прелестною англичанкою; с него прыгнул я в Ост-Индию, взглянул на прядильные машины, которыми британцы тянут целый свет в свою нитку; потом подумал о коварной их политике, о сдаче Праги, бомбардировании Копенгагена*, о греческом восстании, о лорде Байроне; потом о скаковых лошадях, до которых все великие поэты были страстные охотники, — потом, господа, все это вместе могло бы составить заглавный листок «Телеграфа» и, верно, усыпило бы вас так же, как усыпило оно меня. Очень помню, что последний образ, с которым окунулся я в сонную Лету, был милая виленская дама, — и только.

Должно полагать, пестрая моя дума крепко и глубоко усыпила меня, потому что хотя я и не однажды слышал ворчанье и громкий лай собаки, лежащей у меня вместо подушки, но никак не мог открыть глаз. Наконец пудель с визгом выпрыгнул из-под головы моей, и я, испуганный, вскочил на ноги. Вообразите, какая картина была передо мною; мертвец злобного лица, со сверкающими очами и с ножом в руке, порывался ко мне, между тем как пудель грыз его, ухватя за горло. Кровь ручьем бежала по савану, и он с проклятиями и глухим стоном боли боролся с остервенившимся животным, а оно, хотя два раза было поражено ножом, не покидало своего противника. В то же самое время я увидел за печью бородатое лицо другого разбойника, который целил в меня из ружья; и еще двое, подняв доску подполья, готовились вылезать на помощь к товарищам… Еще миг — и было бы поздно! Раздумывать некогда, а защищаться нечем: я имел неосторожность в одном доломане, без сабли, выехать из дому.

К счастию, в руке моей был плетеный хлыст с тяжелою бронзовой рукояткой, и ею-то со всего размаху ударил я в голову одетого в саван злодея; он зашатался, упал, и я через него кинулся к двери.

Выстрел и другой полетели вслед, но оба ударились в притолоку. Спрыгнул опрометью со схода — и к лошади… За повод — он затянут узлом; тороплюсь — и путаю крепче; рву — не рвется! Убийцы за мной — но отчаяние двоит мои силы, повод пополам, я перекидываюсь через седло, вскрикиваю — и борзый конь уносит меня, как вихорь, куда ему хочется. Грязь брызжет, ветви хлещут в лицо — лечу стремглав по берегу речки, влево, на старый мост, который, гремя, качается под скоком, гнилое бревно хрупает — и конь мой со всех ног падает на скользкий помост. Больно ушибленный, силюсь я встать, слышу топот погони, конь бьется и скользит — гибель неизбежная!

Удачная попытка подняла, однако ж, бегуна моего, и я снова помчался во весь опор. Разбойники между тем настигали меня, гаркая и угрожая.

«Не уйдешь от нас!» — кричали они.

«Бей его, режь!» — звенело в ушах моих.

Еще выстрел просвистал мимо — но он подстрекнул моего коня; однако ж это усилие было лишь на несколько шагов. Погоня не переставала, а бегун мой хрипел, качаясь на скаку, как вдруг я увидел вблизи крестьянскую избу, и огонь в окнах ее, и будто мелькающие тени людей. С напряженным биением сердца, задыхаясь, с холодным потом на лице, направлял я к ней побег мой — доскакал, бросил коня непривязанного и с криком: «Спасите, спасите!» вбежал в двери.

Первое, что представилось мне, был гроб и тусклое сияние свечей в дыму ладана. Я не взвидел свету… Природа не выдержала более… Сердце мое закатилось — я без чувств рухнул на пол!

Я опамятовался уже на другой день, в доме пана Листвинского. Издыхающий пудель мой лежал подле кровати, пробитый ножом местах в пяти, и кровью своею заверял, что происшествие ночи не был сон горячки, меня палившей. Бедное верное животное с радостию лизало мою руку, и я тронут был до слез его преданностию и вдвое потом его смертию. К стыду людей, должен я сказать, что эта собака была моим лучшим другом: она своею жизнию искупила мою!

Взаимные объяснения не замедлили. Хозяин рассказал мне, что я упал в обморок в его деревне, в избе одного крестьянина, у которого накануне умерла мать, и по ней совершали тогда панихиду. Мой рассказ удивил его более. В ту же минуту, с пособием исправника, послан был обыск в роковую часовню — но в ней не застали уже разбойников. Там нашли только лоскутья добычи, изломанное оружие и несомненные следы их пребывания. Вероятно, они избрали часовню своим притоном по уединенному ее положению, а вздумали играть комедию мертвеца, чтобы удалить любопытных и заманить на верную гибель отважных. Расшитый золотом доломан соблазнил их, и я, конечно, исчез бы с лица земли, ежели бы сторожкий пудель мой не был со мною.

Скоро минул для меня светлый час присутствия разума. Нервная горячка, следствие испуга и простуды, повергла меня на шесть недель в беспамятство. Я оправился на тот раз, но потрясение было жестоко; с той поры здоровье мое, видимо, стало склоняться к западу, и, наконец, доктора присоветовали мне для исцеления кавказские воды. Здесь я в самом деле чувствую себя гораздо лучше, но половиною моего выздоровления, господа, я, конечно, обязан удовольствию знакомства с вами.

— Благодарим за честь приветствия и занимательность рассказа, — произнес гвардеец, благодаря гусара от лица всего собрания, — премилая повесть!

— Тем более что она с романтическою завязкою соединяет историческую достоверность, — прибавил драгунский капитан.

— А всего более потому, что она последняя, — возразил гусар, улыбаясь. — Господа, уже два часа ночи!

Стулья загремели, и все схватились за разбор шляп, калош и шинелей.

— Часы люди выдумали, — сказал таинственный человек, ожидая, что на скрепу заседания кто-нибудь расскажет повесть, в которой явился бы сам лукавый au naturel[12].

— И мы не боги, — возразил артиллерист, — и потому должны жертвовать сну волей и неволей.

Видя, что все выходят, зеленый сфинкс поспешил последовать общему движению и забился в середину толпы, чтобы, в случае нападения горцев, быть в безопасности по крайней мере от выстрелов, — и для этого он избрал своим мантелетом* рязанского толстяка. Дорогою успел он насказать о зверстве и дерзости чеченцев тьму ужасов: как два года тому назад они увезли отсюда двух дам с дочерьми, и еще очень недавно убили часового на редуте, и проч., и проч., и проч.

— Но что сталось с племянником полковника? — любопытно спрашивали многие друг друга. — Что заставило самого полковника, бледнея, покинуть залу?

— Я бы дал отрезать себе левое ухо, чтобы услышать первым окончание повести о венгерце, — сказал сфинкс.

— Может быть, господа, — сказал я, — ваш покорный слуга будет вам полезен в этом случае; полковник мне приятель, и если тут нет домашних тайн, он объяснит нам все. Утро вечера мудренее.

— Итак, до приятного свидания, милостивый государь! Доброго сна, господа! Покойной ночи, господин читатель!

Примечания автора

1. Уксус из четырех воров (*франц.*).
2. Пусть бог проклянет мою душу (*англ.*).
3. Пусть мне проколят брюхо (*англ.*).
4. Вырезать их, вырезать! (*Пер. автора.*)
5. Тем хуже. (*Пер. автора.*)
6. Схватите этого сумасброда! (*Пер. автора.*)
7. Если русский не своротит с дороги, то катай его бичом в лоб! (*Пер. автора.*)
8. При императрице Екатерине II гвардейские кирасиры носили, во внутренний караул, суконное подобие кираса, с золотым шитым орлом; это-то называлось суперверсом. Во время рыцарства он надевался на латы, как чехол.
9. В манере фрески (*итал.*).
10. Да сгинет Станислав, да сгинет Москва! (*лат.*)
11. «В защиту Милона» (*лат.*).
12. В натуральном виде (*франц.*).

Примечания

Впервые — в «Сыне отечества и Северном архиве», 1830 год, №№ 37, 38, 39, 40, 41, за подписью: А. М., с пометкой: Дагестан, 1830 (продолжение обещано).

Стр. 31. *Греч* Николай Иванович (1787—1867) — русский журналист и писатель, издатель журнала «Сын отечества» (с 1812 по 1838).

Линейские казаки — казаки, поселенные на Кавказской линии (по Тереку, верхнему и среднему течению Кубани).

Нижегородский драгунский полк — один из старейших русских полков (сформирован в 1707 г.), с конца XVIII века был направлен на Кубань. В описываемое в повести время он нес службу по охране Кавказской линии.

Стр. 32. *Ремонтер* — офицер, занимающийся закупкою лошадей для полка.

Стр. 33. *Шампольон* Жан-Франсуа младший (1790—1832) — французский ученый, положивший начало расшифровке египетской иероглифической письменности.

Солитер — крупный бриллиант.

Масонские ложи — масонство — религиозно-этическое учение, возникшее в начале XVIII века в Англии и затем распространившееся в других странах. Организационная форма масонства была заимствована из обихода средневековых цеховых объединений каменщиков (отсюда название: масоны, франк-масоны, «вольные каменщики»). Масонские организации в целях конспирации использовались будущими декабристами. В 1822 году были запрещены правительством.

...от Макарья... — Имеется в виду знаменитая русская ярмарка на р. Унже. В 1817 году была перенесена в Нижний Новгород, но сохранила прежнее название.

Стр. 34. *Тамплиеры* (храмовники) — члены духовно-рыцарского ордена, основанного в 1119 году во время крестовых походов.

Стр. 36. *...струями Эперне.* — Эперне — местность и городок во Франции в районе р. Марны, центр производства шампанских вин.

Бахус — в античной мифологии бог вина и плодородия.

Стр. 37. *Амстердамский банк* — крупнейший в то время банк (основан в 1609 г.), с устойчивым курсом валюты.

Стр. 38. *Торквемада* Томас (1420—1498) —испанский инквизитор, доминиканский монах; осудил на сожжение более десяти тысяч «еретиков».

Тифон — сильный ветер, резко меняющий свое направление; смерч.

Стр. 39. *Карронады* — чугунные пушки большого калибра, производившие очень сильные пробоины. Впервые были изготовлены в 1779 году литейным заводом Каррон в Шотландии. Предназначались исключительно для флота.

Глагол — здесь: виселица.

Стр. 41. *...при начале войны конфедератов.* — Имеется в виду освободительное польское восстание 1794 года, направленное против реакционного магнатства, захватившего власть в 1792 году, и интервенции царской России и Пруссии. Восстание было подготовлено прогрессивными шляхетско-буржуазными элементами во главе с Тадеушем Костюшко (1746—1817).

...об ужасной варшавской заутрене. — Восстание в Варшаве вспыхнуло 17 апреля 1794 года в три часа ночи. Занимавший город восьмитысячный отряд русских солдат потерял более половины людей и оставил город. Варшава была взята царскими войсками только в ноябре 1794 года.

Майонтка (польск.) — владенье, поместье.

Станислав Август Понятовский (1732—1798) — последний польский король (с 1764 по 1795 г.), ставленник крупных магнатов. Во время восстания 1794 года, опасаясь расправы со стороны народа, заявлял о сочувствии освободительной борьбе, но в действительности вел предательскую политику. В 1795 году после третьего раздела Польши отрекся от престола.

Игельстром О.А. (ум. в 1817 г.) — русский генерал, в 1792 году был назначен главным начальником над русскими войсками в Польше.

Стр. 42. *Сухарева башня* — готическое трехъярусное здание высотою 30 сажен, находившееся в Москве. Построена Петром I в 1692 году в честь Сухаревского стрелецкого полка, единственного оставшегося верным Петру во время бунта 1689 года.

Центавры, или кентавры, — в греческой мифологии дикое племя, якобы населявшее Фессалию; изображались в виде полулюдей-полуконей.

Фольварк — отдельное поселение, усадьба, хутор.

Фараонова корова — выражение из Библии, где рассказывается, что однажды египетский фараон увидел во сне, как семь тощих коров съели семь тучных, но не стали оттого тучными.

Стр. 43. *Фаларидов бык* — медный бык агригентского тирана Фаларида (2-я половина VII в. до н.э.), отличавшегося неимоверной жестокостью. В быке он медленно жарил ненавистных ему людей.

Стр. 45. *Страсбургская колокольня* — колокольня знаменитого Страсбургского собора, в архитектуре которого отразились все стадии средневекового зодчества, от раннего романского до позднего готического стиля.

Ляшка Белый — Лешек Белый (ок. 1186—1227), польский князь, сын Казимира Справедливого, князя Краковского и Сандомирского, и русской княжны Елены.

...дома Тарлов. — Речь идет об известном польском дворянском роде, восходящем к началу XV века. Ко второй половине XVIII века он утратил свое значение.

Стр. 46. *Цицерон* Марк Туллий (106—43 до н. э.) — выдающийся оратор, адвокат, писатель и политический деятель Древнего Рима.

Стр. 47. *Фантом* — призрак, видение.

Стр. 48. *Попель* — полулегендарный польский король; отравил, по преданию, всех своих родственников, а сам был съеден мышами. Династия Попелей кончилась около 860 года.

...подполковник Тучков. — Речь идет о Николае Алексеевиче Тучкове (1761—1812), участнике войн со Швецией (1788—1790) и Польшей (1792—1794). Убит в Бородинском сражении.

Стр. 49. *...кивер зверски набекрень...* — Строка из стихотворения Д. Давыдова «Песня старого гусара». Давыдов Денис Васильевич (1784—1839) – поэт, герой Отечественной войны 1812 года, был близок к кругам декабристов.

Стр. 50. *...как пучина Левкада...* — В древней Греции с Левкадийской скалы ежегодно сбрасывали в море одного преступника для искупления грехов всего населения. Ему не давали утонуть, но он должен был навсегда покинуть страну.

Стр. 51. *Астольфов гиппогриф* — образ сказочной лошади из поэмы итальянского поэта Л. Ариосто (1474—1533) «Неистовый Роланд».

Гершелев телескоп. — Гершель Вильям (1738—1822) — выдающийся английский астроном, открывший планету Уран и два ее спутника. В 1790 году, с помощью гигантского телескопа (12 м длины), открыл два новых спутника Сатурна.

...о супе из костей графа Румфорда... — Румфорд-Томпсон Бенджамин (1753—1814) — английский физик. Покровительствовал бедным и предложил приготовлять для них суп из костей, крови и других дешевых питательных веществ, который получил впоследствии название «румфордов суп».

...о поездке на пароходе в Кронштадт... — В России первый пароход «Елизавета» был построен в Петербурге в 1815 году и курсировал на линии Петербург—Кронштадт.

...бомбардировании Копенгагена... — Копенгаген в 1807 году сильно пострадал от бомбардировки англичан.

Стр. 52. *Мантелет* — особый щит, применявшийся для защиты от пуль при осадных работах.

Текст и примечания печатаются по источнику:

Бестужев-Марлинский А.А. Вечер на Кавказских водах в 1824 году / Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения в двух томах. — Т. 1. — М.: Государственное издательство художественной литературы, 1958. — С. 234—290; 611—614.

АММАЛАТ-БЕК

*Кавказская быль, посвященная Николаю Алексеевичу Полевому**

Будь медлен на обиду — к мщенью скор!
Надпись дагестанского кинжала

Глава I

Была джума[1]. Близ Буйнаков, обширного селения в Северном Дагестане, татарская молодежь съехалась на скачку и джигитовку, то есть на ристанье, со всеми опытами удальства. Буйнаки лежат в два уступа на крутом обрыве горы. Влево от дороги, ведущей из Дербента к Таркам, возвышается над ними гребень Кавказа, оперенный лесом; вправо берег, понижаясь неприметно, раскидывается лугом, на который плещет вечно ропотное, как само человечество, Каспийское море. Вешний день клонился к вечеру, и все жители, вызванные свежестью воздуха еще более, чем любопытством, покидали сакли свои и толпами собирались по обеим сторонам дороги. Женщины без покрывал, в цветных платках, свернутых чалмою на голове, в длинных шелковых сорочках, стянутых короткими архалуками (тюника), и в широких туманах[2] садились рядами, между тем как вереницы ребят резвились перед ними. Мужчины, собравшись в кружки, стоя, или сидя на коленях[3], или по двое и по трое, прохаживались медленно кругом; старики курили табак из маленьких деревянных трубок; веселый говор разносился кругом, и порой возвышался над ним звон подков и крик: «Качь, качь (посторонись)!» от всадников, приготовляющихся к скачке.

Дагестанская природа прелестна в мае месяце. Миллионы роз обливают утесы румянцем своим, подобно заре; воздух струится их ароматом; соловьи не умолкают в зеленых сумерках рощи. Миндальные деревья, точно куполы пагодов, стоят в серебре цветов своих, и между них высокие раины, то увитые листьями, как винтом, то, возникая стройными столпами, кажутся мусульманскими минаретами. Широкоплечие дубы, словно старые ратники, стоят на часах там, инде, между тем как тополи и чинары, собравшись купами и окруженные кустарниками, как детьми, кажется, готовы откочевать в гору, убегая от летних жаров. Игривые стада баранов, испещренных розовыми пятнами; буйволы, упрямо погрязающие в болоте при фонтанах или по целым часам лениво бодающие друг друга рогами; да там и сям по горе статные кони, которые, разбросав на ветер гриву, гордой рысью бегают по холмам, — вот рамы каждого мусульманского селения. Можно себе вообразить, что в день этой джумы окрестности Буйнаков еще более оживлены были живописною пестротою народа. Солнце лило свое золото на мрачные стены саклей с плоскими кровлями и, облекая их в разнообразные тени, придавало им приятную наружность… Вдали тянулись в гору скрипучие арбы, мелькая между могильными камнями кладбища… Перед ними несся всадник, взвевая пыль по дороге… Горный хребет и безграничное море придавали всей картине величие, вся природа дышала теплою жизнию.

— Едет, едет! — раздалось из толпы, и все зашевелились.

Всадники, которые доселе разговаривали с знакомыми, ступив на землю, или нестройно разъезжали в поле, вскочили на коней и понеслись навстречу поезда, спускающегося с горы: то был Аммалат-бек, племянник тарковского шамхала[4] со своею свитою. Он был одет в черную персидскую чуху*, обложенную галунами; висячие рукава закидывались за плеча. Турецкая шаль обвивала под исподом надетый архалук из букетовой термаламы*. Красные шальвары скрывались в верховые желтые сапоги с высокими каблуками. Ружье, кинжал и пистолет его блистали серебром и золотою насечкою. Ручка сабли осыпана была дорогими каменьями. Сей владетель Тарков был высокий, статный юноша, открытого лица; черные зильфляры (кудри) вились за ухом из-под шапки… легкие усы оттеняли верхнюю губу… очи сверкали гордою приветливостию. Он сидел на червонном коне, и тот крутился под ним, как вихорь. Против обыкновения, не было на коне персидского круглого, расшитого шелками чепрака, но легкое черкесское седло с серебром под чернетью, с расписанными потебнями и со стременами черного хорасанского булата* под золотою насечкою. Двадцать нукеров[5] на лихих скакунах, в чухах, блестящих галунами, сдвинув шапки набекрень, скакали, избочась, сзади. Народ почтительно вставал перед своим беком и склонялся, прижимая правую руку к правому колену. Ропот и шепот одобрения разливался вслед ему между женщин.

Подъехав к южному концу ристалища, Аммалат остановился. Почетные люди, старики, опираясь на палки, и старшины Буйнаков обстали его кругом, стараясь вызвать на себя приветливое слово бека, но Аммалат ни на кого не обращал особенного внимания и с холодною учтивостью отвечал односложными словами на лесть и поклоны своих подручников. Он махнул рукой: это был знак начинать скачку.

Без очереди, без всякого порядка кинулись человек двадцать самых горячих ездоков скакать взад и вперед, гарцуя, перегоняя друг друга. То перерезывали они друг другу дорогу и вдруг сдерживали коней, то вновь пускали их во всю прыть с места. После этого все взяли небольшие палки, называемые

джигидами, и начали на скаку метать вслед и встречу противников, то ловя их на лету, то подхватывая с земли. Иные падали долой из седла от сильных ударов, и тогда раздавался громкий смех зрителей побежденному, громкие клики привета победителю, иногда кони спотыкались, и всадники редко не падали через голову, выброшенные двойною силою коротких стремян. Затем началась стрельба.

Аммалат-бек все это время стоял поодаль, любуясь. Нукеры его одни по одному вмешивались в толпу джигитующих, так что под конец при нем осталось только двое. Сначала он стоял неподвижен и равнодушным взором следил подобие азиатской битвы, но мало-помалу участие стало разыгрываться в нем сильнее и сильнее… Он уже с большим вниманием смотрел на удальцов, стал ободрять их голосом и движением руки, вставать выше на стременах, и, наконец, наездническая кровь закипела в нем, когда любимый его нукер не попал на всем скаку в брошенную перед ним шапку; он выхватил у своего оруженосца ружье и стрелой полетел вперед, увиваясь между стрелками.

— Раздайся, раздайся! — послышалось кругом, и все, как дождь, рассыпались по сторонам, дав место Аммалат-беку.

На расстоянии одной версты стояло десять шестов с повешенными на них шапками. Аммалат проскакал в один конец, крутя ружье над головою; но едва миновал крайний столб смелым поворотом, он встал на стременах, приложился назад, паф — и шапка упала наземь; не умеряя бега, он зарядил ружье, с брошенными поводами, сбил шапку с другого, с третьего — и так со всех десяти… Говор похвал раздался со всех сторон, но Аммалат, не останавливаясь, бросил ружье в руки нукера, выхватил из-за пояса пистолет и выстрелом из него отбил подкову с задней ноги своего скакуна; подкова взвилась и, свистя, упала далеко назади; тогда он снова подхватил заряженное нукером ружье и велел ему скакать перед собою…

Быстрее мысли понеслись оба. На полдороге нукер вынул из кармана серебряный рубль и высоко взбросил его на воздух; Аммалат приложился вверх, не ожидая падения, но в то же самое мгновение конь его споткнулся со всех четырех ног и, бороздя пыль мордою, покатился вперед, с размаху. Все ахнули, но ловкий всадник, стоявший стоймя на стременах, не тряхнулся, не подался вперед, как будто не слышал падения, — выстрел сверкнул, и вслед за выстрелом серебряный рубль улетел далеко в народ. Толпа заревела от удовольствия! «Игид! Игид (удалец)! Алла, Вал-ла-га!». Но Аммалат-бек скромно отъехал в сторону, сошел с коня и, бросив повода в руки джиладара, то есть конюшего, велел сейчас же подковать коня. Скачка и стрельба продолжались.

В это время подъехал к Аммалату эмджек[6] его, Сафир-Али, сын одного из небогатых беков буйнакских, молодой человек, приятной наружности и простого, веселого нрава. Он вырос вместе с Аммалатом и потому очень коротко обходился с ним. Он спрыгнул с коня и, кивнув головою, сказал:

— Нукер Мемет-Расуль измучил твоего старика безгривого жеребца[7], заставляет его скакать через ров шириною шагов семи.

— И он не прыгает? — вскричал нетерпеливый Аммалат. — Сейчас, сей же миг привести его ко мне.

Он встретил коня на полдороге, не ступая в стремя, вспрыгнул в седло и полетел к утесистой рытвине, доскакал, стиснул колена, но усталый конь, не надеясь на свои силы, вдруг повернул направо на самом краю, и Аммалат должен был сделать еще круг.

Во второй раз конь, подстрекаемый плетью, взвился на дыбы, чтобы перепрянуть через ров, но замялся, заартачился и уперся передними ногами.

Аммалат вспыхнул.

Напрасно упрашивал его Сафир-Али, чтобы он не мучил бегуна, утратившего в боях и разъездах упругость членов; Аммалат не внимал ничему и понуждал его криком, ударами обнаженной сабли. И в третий раз подскакал он к рытвине, и когда в третий раз стал с размаху старый конь, не смея прыгать, он так сильно ударил его рукоятью сабли в голову, что конь грянулся наземь без дыхания.

— Так вот награда за верную службу! — сказал Сафир-Али, с сожалением глядя на издохшего бегуна.

— Вот награда за ослушанье! — возразил Аммалат, сверкая очами.

Видя гнев бека, все умолкли и отсторонились. Всадники джигитовали.

И вдруг загремели русские барабаны, и штыки русских солдат засверкали из-за холма. То была рота Куринского пехотного полка, отправленная из отряда, ходившего тогда в Акушу, возмущенную Ших-Али-ханом, изгнанным владетелем Дербента. Рота сия должна была конвоировать обоз с продовольствием из Дербента, куда и шла горною дорогою. Ротный командир, капитан ***, и с ним один офицер ехали впереди. Не доходя до ристалища, ударили отбой, и рота стала, сбросила ранцы и составила в козлы ружья, расположась на привал, но не разводя огней.

Прибытие русского отряда не могло быть новостью для дагестанцев в 1819 году; но оно и до сих пор не делает им удовольствия. Изуверство заставляет их смотреть на русских как на вечных врагов, но врагов сильных, умных, и потому вредить им они решаются не иначе как втайне, скрывая неприязнь под личиною доброхотства.

Ропот разлился в народе при появлении русских; женщины окольными тропинками потянулись в селение, не упуская, однако ж, случая взглянуть украдкою на пришлецов. Мужчины, напротив,

поглядывали на них искоса, через плечи, и стали сходиться кучками, разумеется, потолковать, каким бы средством отделаться от постоя, от подвод и тому подобного. Множество зевак и мальчишек окружили, однако, русских, отдыхающих на травке. Несколько кекхудов (старост) и чаушей (десятников), назначенных русским правительством, поспешили к капитану и, сняв шапки, после обычных приветов: хош гяльды (милости просим) и яхшимусен, тазамусен сен-немаму-сен (как живешь-можешь), добрались и до неизбежного при встрече с азиатцами вопроса: «Что нового? На хабер?»

— Нового у меня только то, что конь мой расковался и оттого, бедняга, захромал, — отвечал им капитан довольно чисто по-татарски. — Да вот, кстати, и кузнец, — продолжал он, обращаясь к широкоплечему татарину, который опиливал уже копыто вновь подкованного Аммалатова бегуна. — Кунак, подкуй мне коня!.. Подковы есть готовые; стоит брякнуть молотком, а дело кончено в минуту!

Кузнец, у которого лицо загорело от горна и от солнца, угрюмо взглянул на капитана исподлобья, поправил широкий ус, падающий на давно не бритую бороду, которая бы щетинами своими сделала честь любому борову, подвинул на голове аракчин (ермолку) и хладнокровно продолжал укладывать в мешок свои орудия.

— Понимаешь ли ты меня, волчье племя? — сказал капитан.

— Очень понимаю! — отвечал кузнец. — Тебе надобно подковать свою лошадь.

— И ты сам должен подковать ее, — отвечал капитан, заметя в татарине охоту шутить словами.

— Сегодня праздник: я не стану работать.

— Я заплачу тебе за труды что хочешь; но знай, что волей и неволей ты у меня сделаешь что я хочу.

— Прежде всех наших идет воля аллаха, а он не велел работать в джуму. Довольно грешим мы из выгоды и в простые дни... так в праздник не хочу я себе покупать за серебро уголья.

— Да ведь ты работал же сейчас, упрямая башка? Разве не равны кони? Притом же мой настоящий мусульманин. Взгляни-ка тавро: кровный карабахский...

— Кони все равны, да не равны те, кто на них ездит. Аммалат-бек мой ага (господин).

— То есть, если бы вздумал отнекиваться, он бы велел обрезать тебе уши; а для меня ты не хочешь работать в надежде, что я не смею сделать того же? Хорошо, приятель: я точно не обрежу тебе ушей, но знай и верь, что я в твою православную спину влеплю двести самых горячих нагаек, если ты не перестанешь дурачиться. Слышал?

— Слышал, и все-таки буду отвечать по-прежнему: не кую, потому что я добрый мусульманин.

— А я заставлю тебя ковать, потому что я добрый солдат. Когда ты работал для прихоти своего бека, ты будешь работать для необходимости русского офицера: без этого я не могу выступить. Ефрейторы, сюда!

Между тем кружок любопытных около упрямого кузнеца расширялся, подобно кругу на воде от брошенного камня. В толпе иные уже ссорились за передние места, не зная, что смотреть бегут они, и, наконец, раздалось: «Этого не надо, этому не бывать, сегодня праздник, сегодня грех работать!»

Некоторые смельчаки, надеясь на число, надвинули шапки на глаза и, держась за рукоятки кинжалов, подле самого капитана стали кричать: «Не куй, Алекпер, не делай ему ничего... Вот тебе новости! Что нам за пророки эти немытые русские!»

Капитан был отважен и знал очень коротко азиатцев.

— Прочь, бездельники! — закричал он гневно, положа руку на ручку пистолета. — Молчать, или я первому, кто осмелится выпустить брань из-за зубов, запечатаю рот свинцовою печатью!

Это увещание, подкрепленное штыками нескольких солдат, подействовало мгновенно: кто был поробче — давай бог ноги, кто посмелее — прикусил язык. Сам набожный кузнец, видя, что дело идет не на шутку, поглядел на все стороны, проворчал: «Неджелеим (что ж мне делать)?», засучил рукава, вытащил из мешка клещи и молот и начал подковывать русскую лошадь, приговаривая сквозь зубы: «Валла билла битмы эддым» (а это значит наравне с польским: дали буг, не позволям).

Надобно знать, что все это происходило за глазами Аммалата: он едва завидел русских, то, избегая неприятной для себя встречи, сел на новоподкованного коня и поскакал в дом свой, над Буйнаками стоящий.

Между тем как это происходило на одном конце ристалища, ко фронту отдыхающей роты подъехал всадник среднего роста, но атлетического сложения; он был в кольчуге, в шлеме, в полном боевом вооружении; за ним следом тянулось пять нукеров. По запыленной их одежде, по коням в поту и пене виделось, что они совершили скорый и дальний переезд. Первый всадник, рассматривая солдат, тихим шагом проезжал вдоль составленных в козлы ружей, задел и опрокинул две пирамиды. Нукеры, следуя за господином, вместо того чтоб своротить в сторону, дерзко топтали упавшее оружие. Часовой, который еще издали кричал, чтоб они не приближались, схватил под уздцы коня панцирника, между тем как множество солдат, раздраженных таким презрением от мусульман, окружили поезд с бранью.

— Стой, кто ты? — было восклицание и вместе вопрос часового.

— Ты, видно, рекрут, когда не узнал Султан-Ахмет-хана Аварского*[8], — хладнокровно отвечал панцирник, отрывая руку часового от поводьев. — Кажется, в прошлом году я задал русским в

Башлах[9] по себе славную поминку. Переведи ему это, — сказал он одному из своих нукеров. Аварец повторил его слова по-русски довольно понятно.

— Это Ахмет-хан! Ахмет-хан… — раздалось между солдатами. — Лови его, держите его! Тащите его на расплату за башлинское дело… Бездельники в куски изрубили наших раненых!

— Прочь, грубиян! — вскричал Султан-Ахмет-хан по-русски рядовому, который снова схватил коня за узду. — Я русский генерал!

— Русский изменник! — зашумело множество голосов. — Ведите его к капитану, потащим его в Дербент, к полковнику Верховскому!

— Только в ад пойду я с такими проводниками, — сказал Ахмет-хан с презрительною улыбкою и в то же мгновение поднял коня на дыбы, бросил его влево, вправо и вдруг, повернув на воздухе кругом, ударил нагайкою и был таков. Нукеры не сводили глаз с хана и с гиком кинулись за ним следом, опрокинули некоторых солдат и открыли себе дорогу. Отскакав не более как шагов на сто, хан снова поехал шагом, не оглядываясь назад, не изменяясь в лице и хладнокровно поигрывая уздечкою. Толпа татар, собравшаяся около кузнеца, привлекла его внимание.

— Что у вас за споры, приятели? — спросил у ближних Ахмет-хан, сдержав коня.

Все с уважением приложили руки ко лбу при поклоне, завидев хана. Те, которые были поробче или посмирнее, очень смутились от этой встречи: того и гляди попадешь в беду от русских, зачем не взяли врага их, или под месть хана, если ему не уважишь. Зато все головорезы, все бездельники и все, которые с досадой смотрели на владычество русское, окружили его веселою толпою. Ему в один миг рассказали, в чем дело.

— И вы, как буйволы, смотрите, когда вашего брата запрягают в ярмо, — громко сказал хан окружающим, — когда вам в глаза смеются над вашими обычаями, топчут под ноги вашу веру! И вы плачете, как старые бабы, вместо того чтобы мстить, как прилично мужам! Трусы! Трусы!

— Что мы сделаем! — возразили ему многие голоса. — У русских есть пушки! Есть штыки!..

— А у вас разве нет ружей, нет кинжалов? Не русские страшны, а вы робки! Позор мусульманам: дагестанская сабля дрожит перед русскою нагайкою. Вы боитесь пушечного грома, а не боитесь укоров. Ферман* русского пристава для вас святее главы из курана. Сибирь пугает вас пуще ада… Так ли поступали деды ваши, так ли думали отцы?.. Они не считали врагов и не рассчитывали, выгодно или невыгодно сопротивляться насилию, а храбро бились и славно умирали. Да и чего бояться? Разве чугунные у русских бока? Разве у их пушек нет заду? Ведь скорпионов ловят за хвост!

Речь эта возмутила толпу. Татарское самолюбие было тронуто заживо.

— Что смотреть на них? Что позволять им хозяйничать у нас, будто в своем кармане? — послышалось отовсюду. — Освободим кузнеца от работы, освободим! — закричали все и стеснили кружок около русских солдат, посреди коих Алекпер ковал капитанскую лошадь.

Смятение росло.

Довольный возбуждением мятежа, Султан-Ахмет-хан не желал, однако ж, замешиваться в ничтожную схватку и выехал из толпы, оставя там двух нукеров для поддерживания духа запальчивости между татар, и с двумя остальными быстро поскакал в утах[10] Аммалата.

— Будь победитель! — сказал Султан-Ахмет-хан Аммалат-беку, который встретил его на пороге.

Это обыкновенное на черкесском языке приветствие было произнесено им с таким значительным видом, что Аммалат, поцеловавшись с ним, спросил:

— Насмешка это или предсказание, дорогой гость мой?

— Зависит от тебя, — отвечал пришелец. — Настоящему наследнику шамхальства[11] стоит только вынуть из ножен саблю, чтобы…

— Чтобы никогда не вкладывать, хан? Незавидная участь: все-таки лучше владеть Буйнаками, нежели с пустым титулом прятаться в горах, как шакалу.

— Как льву, прядать с гор, Аммалат, и во дворце твоих предков опочить от славных подвигов.

— Не лучше ль не пробуждаться от сна вовсе?

— Чтобы и во сне не видать, чем должен ты владеть наяву? Русские недаром потчуют тебя маком и убаюкивают сказками, между тем как другой рвет золотые цветы[12] из твоего сада.

— Что могу я предпринять с моими силами?

— Силы — в душе, Аммалат!.. Осмелься, и все преклонится перед тобою… Слышишь ли? — промолвил Султан-Ахмет-хан, когда раздались в городе выстрелы. — Это голос победы.

Сафир-Али вбежал в комнату со встревоженным лицом.

— Буйнаки возмутились, — произнес он торопливо, — толпа буянов осыпала роту и завела перестрелку из-за камней…

— Бездельники! — вскричал Аммалат, взбрасывая на плечо ружье свое. — Как смели они шуметь без меня? Беги вперед, Сафир-Али, грози моим именем, убей первого ослушника.

— Я уже унимал их, — возразил Сафир-Али, — да меня никто не слушает, потому что нукеры Султан-Ахмет-хана поджигают их, говорят, что он советовал и велел бить русских.

— В самом деле мои нукеры это говорили? — спросил хан.

— Не только говорили, да и примером ободряли, — сказал Сафир-Али.

— В таком случае я очень ими доволен, — молвил Султан-Ахмет-хан, — это по-молодецки.

— Что ты сделал, хан? — вскричал с огорчением Аммалат.

— То, что бы тебе давно следовало делать.

— Как оправдаюсь я перед русскими?

— Свинцом и железом… Пальба загорелась, судьба за тебя работает. Сабли наголо, и пойдем искать русских…

— Они здесь! — возгласил капитан, который с десятью человеками пробился сквозь нестройные ряды татар в дом владетеля.

Смущен неожиданным бунтом, в котором его могли счесть участником, Аммалат приветливо встретил разгневанного гостя.

— Приди на радость, — сказал он ему по-татарски.

— Не забочусь, на радость ли пришел я к тебе, — отвечал капитан, — но знаю и испытываю, что меня встречают в Буйнаках не по-дружески. Твои татары, Аммалат-бек, осмелились стрелять в солдат моего, твоего, общего нашего царя!

— В самом деле, это очень дурно, что они стреляли в русских… — сказал хан, презрительно разлетаясь на подушках, — когда им бы должно было убивать их.

— Вот причина всему злу, Аммалат, — сказал с гневом капитан, указывая на хана. — Без этого дерзкого мятежника ни один курок не брякнул бы в Буйнаках! Но хорош и ты, Аммалат-бек… Зовешься другом русских и принимаешь врага их как гостя, укрываешь как товарища, честишь как друга. Аммалат-бек! Именем главнокомандующего требую: выдай его.

— Капитан, — отвечал Аммалат, — у нас гость — святыня. Выдача его навлекла бы на мою душу грех, на голову — позор неокупимый; уважьте мою просьбу, уважьте наши обычаи.

— Я скажу тебе в свою очередь: вспомни русские законы, вспомни долг свой; ты присягал русскому государю, а присяга велит не жалеть родного, если он преступник.

— Скорее брата выдам, чем гостя, господин капитан! Не ваше дело судить, что и как обещал я выполнять. В моей вине мне диван (суд) аллах и падишах!.. Пускай в поле бережет хана судьба, но за моим порогом, под моею кровлею я обязан быть его защитником, и буду им!

— И будешь в ответе за этого изменника!

Хан безмолвно лежал во время этого спора, гордо пуская дым из трубки, но при слове *изменник* кровь его вспыхнула; он вскочил и с негодованием побежал к капитану.

— Изменник я, говоришь ты? — сказал он. — Скажи лучше, что я не хотел быть изменником тем, кому обязан верностию. Русский падишах дал мне чин, сардарь* ласкал меня, и я был верен, покуда от меня не потребовали невозможного или унизительного. И вдруг захотели, чтоб я впустил в Аварию войска, чтобы позволил выстроить там крепости; но какого имени достоин бы я стал, если б продал кровь и пот аварцев, братьев моих! Да если бы я покусился на это, то неужели думаете вы, что мог бы это исполнить? Тысячи вольных кинжалов и неподкупных пуль устремились бы в сердце предателя, самые скалы рухнули бы на голову сына отцепродавца. Я отказался от дружбы русских, но еще не был врагом их, и что ж было наградой за мое доброжелательство, за добрые советы? Я был лично, кровно обижен письмом одного вашего генерала*, когда предостерегал его… Ему дорого стоила в Башлах дерзость… Реку крови пролил я за несколько капель бранчивых чернил, и эта река делит меня навечно с вами.

— Эта кровь зовет месть! — вскричал капитан сердито. — И ты не уйдешь от нее, разбойник!

— А ты от меня, — возразил вспыльчивый хан, вонзая кинжал в живот капитана, когда тот занес руку, чтобы схватить его за ворот.

Тяжело раненный капитан, простонав, упал на ковер.

— Ты погубил меня, — произнес Аммалат, всплеснув руками, — он русский и гость мой.

— Есть обиды, которых не покрывает кровля, — возразил мрачно хан. — Кости судьбы выпали; колебаться не время; запирай ворота, скличь своих и ударим на неприятелей.

— За час еще я не имел их… Теперь нечем их отражать… У меня нет в запасе ни пуль, ни пороху; люди в разброде…

— Народ разбежался! — в отчаянии вскричал Сафир-Али. — Русские идут в гору скорым шагом. Они уж близко!

— Если так, то поезжай со мною, Аммалат, — молвил хан. — Я ехал в Чечню, чтобы поднять ее на линию… Что будет, бог весть, но и в горах хлеб есть!.. Согласен ты?

— Едем!.. — решительно сказал Аммалат. — Теперь мне одно спасение в бегстве… Не время теперь ни споров, ни укоров.

— Гей, коня, и шесть нукеров за мною!

— И я с тобой, — произнес со слезой в оке Сафир-Али, — с тобой в волю и в неволю.

— Нет, добрый мой Сафир-Али, нет! Ты останешься здесь похозяйничать, чтобы свои и чужие не растащили всего дома. Снеси от меня привет жене и проводи ее к тестю, шамхалу. Не забудь меня, — и до свиданья!

Едва успели они выскакать в одни ворота, как русские вторглись в другие.

Глава II

Вешний полдень сиял над высью Кавказа, и громкие крики мулл звали жителей Чечни к молитве. Постепенно возникали они от мечети до незримой за гребнями мечети, и одинокие звуки их, на миг пробуждая отголосок утесов, затихали в неподвижном воздухе.

Мулла Гаджи-Сулейман, набожный турок, один из ежегодно насылаемых в горы стамбульским диваном* для распространения и укрепления православия, а с тем вместе и ненависти к русским, отдыхал на кровле мечети, совершив обычный призыв, омовение и молитву. Он был еще недавно принят муллою в чеченском селении Игали, и потому, погруженный в глубокомысленное созерцание своей седой бороды и кружков дыма, летящих с его трубки, порою он поглядывал с любопытным удовольствием и на горы и на ущелие, лежащее к северу, прямо под его глазами. Влево возникали стремнины хребта, отделяющего Чечню от Аварии, далее сверкали снега Кавказа. Сакли, неправильно разбросанные по обрыву, уступами сходили до полугоры, и только узкие тропинки вели к этой крепости, созданной природою и выисканной горскими хищниками для обороны воли своей, для охраны добычи. Все было тихо в селении и по горам окрестным; на дорогах и улицах ни души… Стада овец лежали в тени скал, буйволы теснились в грязном водоеме у ключа, выставляя одни морды из болота. Лишь жужжание насекомых, лишь однозвучная песня кузнечика были голосом жизни среди пустынного безмолвия гор, и Гаджи-Сулейман, залегши под куполом, вполне наслаждался тишью и бездействием природы, столь сходными с ленивою неподвижностью турецкого характера. Тихо поводил он глазами, в которых погас свой огонь и потуск свет солнца, и, наконец, взоры его встретили двух всадников, медленно взбирающихся вверх но противоположной стороне ущелия.

— Нефтали! — закричал наш мулла, обратившись к ближней сакле, у дверей которой стоял оседланный конь.

И вот стройный чеченец с подстриженною бородкою, в мохнатой шапке, закрывающей поллица, выбежал на улицу.

— Я вижу двух вершников, — продолжал мулла, — они объезжают селение!

— Верно, жиды, либо армяне, — отвечал Нефтали, — им, конечно, не хочется нанимать проводника; да они сломят себе шею на объездной тропинке. Там и дикие козы и наши первые удальцы скачут оглядываясь.

— Нет, брат Нефтали, я два раза ходил в Мекку[13] и навидался армян и жидов во всех сторонах… Только эти всадники не тем глядят, чтобы им торговать по-жидовски, — разве на перекрестке менять железо на золото! С ними нет и вьюков. Взгляни-ка сам сверху, твои глаза вернее моих; мои отжили и отглядели свое. Бывало, за версту я мог считать пуговицы на кафтане русского солдата и винтовка моя не знала промаха по неверным, а теперь я и дареного барана вдали не распознаю.

Между тем Нефтали стоял уже подле муллы и орлиным взором своим следил проезжих.

— Полдень жарок и путь тяжел, — примолвил Сулейман, — пригласи путников освежить себя и коней; может, не знают ли чего новенького, да и принимать странника крепко-накрепко заповедано кураном.

— У нас в горах и раньше курана ни один путник не выходил из деревни голоден или грустен, никогда не прощался без чурека, без благословения и без провожатого в напутье; только эти люди мне подозрительны: зачем им обегать добрых людей и по околицам, с опасностью жизни, миновать деревню нашу?

— Кажется, они земляки твои, — сказал Сулейман, осенив глаза рукою, чтобы пристальнее вглядеться. — На них чеченское платье. Может быть, они возвращаются из набега, куда и твой отец помчался с сотнею других соседов; или, может быть, едут братья мстить кровью за кровь.

— Нет, Сулейман, это не по-нашему. Утерпело ли бы сердце горское не заехать к своим похвалиться молодечеством в бою с русскими, пощеголять добычей? Это и не кровоместники, и не абреки: лица их не закрыты башлыками; впрочем, одежда обманчива, и кто порука, что это не русские беглецы? Недавно из Гумбет-аула ушел казак, убив узденя хозяина, у которого жил, и завладев его конем, его оружием… Черт силен!

— На тех, у кого слаба вера, Нефтали… Однако, если я не ошибаюсь, у заднего всадника из-под шапки вьются волосы!

— Пускай я рассыплюсь прахом, если не правда! Это или русский, или еще и того хуже, шагид-татарин[14]. Постой, приятель, я расчешу тебе твои зильфляры (кудри); через полчаса я возвращусь, Сулейман, или с ними, или кто-нибудь из нас троих упитает горных беркутов.

Нефтали стремглав сбежал с лестницы, накинув на плечо ружье, прыгнул в седло и помчался с горы кубарем, не разбирая ни рытвин, ни камней. Только пыль взвивалась и камни катились следом за бесстрашным наездником.

— Алла акбер! — преважно сказал Сулейман и закурил трубку.

Нефтали скоро догнал всадников. Усталые кони их, покрытые пеною, кропили потом узкую, стремнистую стезю, по которой взбирались они в гору. Передний был в кольчуге, задний — в черкесском платке; только персидская сабля вместо шашки ангела на позументовом поясе. Левая рука его была окровавлена, перевязана платком и висела на темляке. Лиц обоих не мог он видеть. Долго

ехал он сзади по скользкой тропе, висящей над пропастью, но при первой площадке заскакал вперед и поворотил коня навстречу.

— Селам алейкюм, — сказал он, преграждая путь на едва пробитую в скале стезю и выправляя оружие.

Передовой всадник поднял бурку на лице, так что лишь одни нахмуренные брови его остались видимы.

— Алейкюм селам! — отвечал он, взводя курок ружья и укрепляясь в стременах.

— Дай бог доброго пути, — молвил Нефтали, повторяя обыкновенный привет встречи и между тем готовясь при первом неприязненном движении застрелить незнакомца.

— Дай тебе бог ума, чтобы не мешать путникам! — возразил нетерпеливо противник. — Чего ты хочешь от нас, кунак?

— Предлагаю покой и братскую трапезу вам, ячмень и стойло коням вашим. Порог мой искони цветет гостеприимством. Благодаренье путников множит стада и закаляет оружие доброго хозяина… Не кладите же клейма упрека на все наше селение, чтоб не сказали: «Они видели путников в полдневный жар и не освежили, не угостили их!».

— Благодарим за участие, приятель. Мы не привыкли на своре ходить в гости… да и быстрота для нас нужнее покоя.

— Вы едете навстречу погибели, не взявши провожатого.

— Провожатого! — воскликнул путник. — Да я знаю все туриные стежки на Кавказе, не только ваши конные проезды. И бывал там, куда не ползали змеи, не взбирались тигры, не летали орлы ваши… Отсторонись, товарищ… На божьей дороге нет твоего порога; мне некогда точить с тобою вздоры.

— Я не уступлю шагу, покуда не узнаю, кто ты и откудова.

— Дерзкий мальчишка! Прочь с дороги… иль через миг твоя мать будет вымаливать у чакалов и ветров твои раздробленные кости! Благодари судьбу, Нефтали, что я водил хлеб-соль с отцом твоим и не раз о бок с ним пускал коня в сечу. Недостойный сын! Ты бродишь по дорогам и готов нападать на мирных путников, а тело отца твоего тлеет теперь на полях русских, и жены казаков продают на станичном базаре ого оружие! Нефтали! Отец твой убит вчерась за Тереком: узнай меня!

— Султан-Ахмет-хан! — вскричал чеченец, пораженный нечаянным, пронзающим взором хана и страшною вестию; голос его замер; он упал на гриву коня в тоске невыразимой.

— Да, я Султан-Ахмет-хан! Но врежь в память, Нефтали, что, если ты скажешь кому-нибудь: «Я видел аварского хана», месть моя переживет поколения!

Странники проехали мимо.

Хан безмолвствовал, погруженный, как видно, в неприятные воспоминания; Аммалат-бек (это был он) — в черные думы. У обоих платье носило следы недавнего боя, усы были опалены вспышками полки, и брызги чужой крови засохли на лицах. Но гордый взор первого вызывал, казалось, на бой судьбу и природу; мрачная улыбка досады, смешанная с презрением, сжимала уста. Напротив, истома была написана на бледном лице Аммалата. Он едва поводил полузакрытыми глазами, и порою стон вырывался от боли в раненой руке его: неровный ход татарского, непривычного к горным дорогам коня еще более разбережал рану. Он первый прервал молчание.

— Почему ты отказался от предложения этих добрых людей? Заехали бы отдохнуть часочек-другой и по росе помчались бы далее.

— Ты думаешь, потому что ты чувствуешь, как юноша, любезный Аммалат. Привык ты повелевать своими татарами, как рабами, и полагаешь, что так же легко обходиться с вольными горцами! Рука судьбы отяготела над ними: мы разбиты и прогнаны, сотни храбрых горцев, твои и мои нукеры легли в битве с русскими… и показать чеченцам побежденное лицо Султан-Ахмет-хана, которое привыкли они видеть звездой победы, явиться посреди их беглецом, быть вестником своего позора, принять нищенское угощение, может быть, слышать укоры за гибель мужей и сынов, увлеченных мною в дерзкий набег, — значит навсегда потерять их доверие. Пройдет время, слезы высохнут, жажда мести заменит тоску по убитым, и тогда снова увидят они Султан-Ахмета, пророка добыч и крови; тогда снова раздастся в этих горах призыв к бою, и снова поведу я летучие толпы мстителей в русские границы. Приди я теперь, и в пылу огорчения чеченцы не рассудят, что аллах дает и отнимает победу… Они могут, пожалуй, обидеть меня дерзким словом, а мои обиды неискупимы, и личная месть может заградить широкую дорогу на русских. Зачем же накликать себе ссору с храбрым народом и сокрушать идола собственной славы, на который привыкли они глядеть с изумлением? Человек никогда не кажется обыкновеннее, как в бессилии, когда всякий безбоязненно может померять с ним плечо. Притом, тебе нужен искусный лекарь, а нигде не найдешь ты лучшего, как у меня. Завтра мы будем дома; потерпи до тех пор.

Аммалат-бек с признательностью приложил руку к сердцу и ко лбу: он чувствовал вполне справедливость речей хана, но слабость одолевала его с каждым часом.

Избегая селений, они провели ночь между утесами, питаясь горстью пшена вареного с медом, без которого горцы редко отправляются в дорогу. Переправясь через Койсу, по мосту близ Аширте, они давно уже оставили за собой северный рукав ее, и Анде, и землю койсубулинцев, и голый хребет Салатау. Непроторенный путь их лежал по лесам, по крутизнам, ужасающим взор и дух; и вот

стали они взбираться на последний хребет, разделяющий их с севера от Хунзаха, или Авара, — столицы ханов. Исчез и лес и кустарник на кремнистой пустыне гор, по которой кочуют лишь облака и вьюги. Чтобы достичь гребня, принуждены были наши путники ехать то вправо, то влево реями: так стремниста была круть утесов. Привычный конь хана осторожно и верно ступал с камня на камень, пытал копытом, не катятся ли они, и на хвосте сползал в обрывы; но гордый, пылкий жеребец Аммалата, питомец холмов дагестанских, горячился, прядал и оступался. Набалованный холею, он не мог выдержать двухдневного побега на зное солнца и холоде вершин, по острым скалам, едва подкрепленный скудною травою в расселинах. Тяжело храпел он, взбираясь выше и выше; пот струею бежал с нагрудника; широкие ноздри пышали огнем, и пена кипела на удилах.

— Аллах-Берекет! — воскликнул Аммалат, достигнув до вершины, с которой открылся ему вид на Аварию, но в ту же минуту изнемогший конь грянулся под ним на землю, кровь хлынула из оскаленного рта, и последний вздох его порвал седельную подпругу.

Хан поспешил помочь беку выбиться из стремян. Он со страхом заметил, что усилия сдвинули перевязку с раны Аммалатовой, и кровь пробилась снова. Молодой человек, казалось, был нечувствителен к боли: слезы его катились о павшем бегуне… Так одна капля не наполняет, но переполняет чашу.

— Ты уж не будешь носить меня как пух по ветру, — говорил он, — ни в пыльном облаке на скачке, слыша за собой досадные клики соперников и восклицания народа, ни в пламя битвы; уже не вынесешь еще однажды из-под чугунного дождя русских пушек. С тобой добыл я славу наездника; зачем же мне переживать и ее и тебя?!

Он склонил лицо в колена и долго безмолвствовал, между тем как хан заботливо перевязывал раненую его руку. Наконец Аммалат поднял голову.

— Оставь меня, Султан-Ахмет-хан, — сказал он решительно, — оставь несчастливца собственной участи. Путь далек, а я изнемогаю. Оставшись со мной, ты даром погибнешь. Взгляни, как вьется над нами орел: он чует, что мое сердце скоро замрет в когтях его… И слава богу. Лучше найти воздушный гроб в хищной птице, чем отдать свой прах под ногу христианина. Прощай, не медли.

— Не стыдно ли тебе, Аммалат, падать, запнувшись за соломинку?.. Велика беда, что ты ранен, что конь твой пал! Рана заживет до свадьбы, коня найдем лучше прежнего, и впереди у аллаха не одни беды приготовлены. В цвете лет и в мужестве ума грешно отчаиваться. Садись на моего коня: я поведу его под уздцы, и к ночи мы дома. Время дорого!

— Для меня уже нет времени, Султан-Ахмет-хан… Благодарю от сердца за твою братскую заботливость, но я не пользуюсь ею; тебе самому не вынести пешеходного пути после такой усталости. Повторяю: оставь меня на произвол судьбы. Здесь, на неприступных высотах, умру я волен и доволен… Да и чем может манить меня жизнь! Родители мои лежат в земле, жена лишилась зрения, дядя и тесть шамхал ползают в Тарках перед русскими; в родине, в наследии моем пируют гяуры, и теперь сам я изгнанник из дому, беглец из боя. Я не хочу и не должен жить!

— Не должен бы говорить такого вздора, любезный Аммалат, и одна только лихорадка извиняет тебя. Мы созданы для того, чтоб жить долее отцов наших; жен ты можешь найти еще три, если одна не наскучила; если нелюб тебе шамхал, а любо твое кровное наследство, так для этого самого и надо тебе жить: потому что для мертвеца не нужна власть и невозможна победа. Мстить русским — святой долг: оживи хоть для него; а что мы разбиты, это не новость для воина; сегодня выпадает удача им, завтра выпадет нам. Аллах дает счастье, но человек создает себе славу не счастьем, а твердостию… Ободрись, друг Аммалат… Ты ранен и слаб, я крепок привычкою и не утомлен бегом; садись на коня, и мы еще побьем не раз русских!

Лицо Аммалата вспыхнуло…

— Да, я буду жить для мести им! — вскричал он: — Для мести тайной и явной. Верь, Султан-Ахмет-хан, лишь для этого я принимаю твое великодушие!.. Отныне я твой… клянусь гробом отца: я твой! Руководи моими шагами, направляй удары моей руки, и, если я, потонув в неге, забуду клятву свою, напомни мне эту минуту, эту вершину: Аммалат-бек пробудится, и кинжал его будет молния!

Хан обнял, поднимая на седло, воспламененного юношу.

— Теперь я узнаю в тебе чистую кровь эмиров, — сказал он, — кровь пламенную детей гор, которая, как сера, течет в жилах наших и в недре утесов и порой, вспыхивая, потрясает и рушит громады.

Поддерживая одною рукою в седле раненого, хан осторожно стал спускаться с обнаженного черепа. Случалось, камни с шумом катились из-под ног или конь скользил вниз по гладкому граниту, а потому они очень рады были, добравшись до мшистой полосы. Мало-помалу кудрявые растения начали свою зеленую пелену, то вея из трещин опахалами, то спускаясь с крутин длинными плетеницами наподобие лент и флагов. Наконец они въехали в густой лес орешников, потом дуба, черешни и еще ниже чинара и чиндара. Разнообразие, богатство растений и величавое безмолвие сенистых дубрав вселяло какое-то невольное благоговение к дикой силе природы. Порой из ночного мрака ветвей, как утро, рассветала поляна, украшенная благоуханным ковром цветов, не мятых стопою человека. Тропинка то скрывалась в чаще, то выходила на край утеса, и под ним в глубине шумел и сверкал ручей, то пенясь между каменьями, то дремля на каменном дне водоема, под тенью барбариса и шиповника. Фазаны, сверкая радужными хвостами, перелетывали в кустарниках; стада

диких голубей вились над скалами то стеной, то столбом, восходящими к небу, и закат разливал на них воздушный пурпур свой, и тонкие туманы тихо подымались в ущелиях; все дышало вечернею прохладою, незнакомою жильцам полей.

Уже путники наши были близки к селению Акох, лежащему за небольшой горой от Хунзаха. Невысокий гребень разделял их с этим селением, когда ружейный выстрел раздался в горах и, как зловещий знак, повторился отголоском утесов. Путники остановились в недоумении: перекаты постепенно затихли.

— Это наши охотники, — сказал Султан-Ахмет-хан, отирая пот с лица. — Они не ждут меня и не чают встретить в таком положении. Много радостных, много и горестных слез принесу я в Хунзах!

Непритворная горесть изобразилась на грозном лице Ахмет-хана: все нежные и все злобные чувства так легко играют душой азиатца!

Другой выстрел, однако ж, развлек его внимание… Удар и удар еще… Выстрелы отвечали выстрелам и, наконец, слились в жаркую перепалку.

— Там русские! — вскричал Аммалат, выхватывая из ножен саблю, и сжал каблуками коня, как будто одним прыжком хотел перепрыгнуть за гребень, но мгновенные силы его оставили, и клинок, звуча, покатился из опавшей руки. — Хан, — сказал он, ступая на землю, — спеши на помощь своим землякам: твое лицо будет для них дороже сотни воинов.

Хан не слышал слов его: он прислушивался к полету пуль, как будто желая различить русские от аварских.

— Ужели с легкостью коз заняли они и крылья у орлов Казбека! И откуда они могли пройти на наши неприступные твердыни? — говорил он, весь склонясь над седлом, со вложенною в стремя ногою. Прощай, Аммалат! — вскричал он наконец, послышав, как загорелась сильная пальба. Я еду погибнуть на развалинах, разразясь, как перун, ударом!

В это время пуля, жужжа, упала к ногам его; он наклонился, поднял ее, и лицо его просияло улыбкою. Спокойно вынул он ногу из стремени и обратился к Аммалату.

— Садись верхом, — сказал он ему, — скоро ты своими глазами разгадаешь эту загадку… У русских свинцовые пули, а это медная, аварская[15], моя милая землячка. Притом же она прилетела с южной стороны, откуда никак не могут прийти русские.

Они въехали на вершину гребня, и взорам их открылись две деревни, лежащие на двух противоположных краях глубокой рытвины; и из них-то производилась перестрелка. Жители, залегши за камнями, за оградами, палили друг в друга. Между ними беспрестанно бегали женщины, с воплем и плачем, когда какой-нибудь удалец, приблизясь к самому краю пропасти, падал раненый. Они носили каменья и заботливо и бесстрашно под свистом пуль складывали перед ним род щита. Радостные крики раздавались на той или другой стороне, когда видели, что выносят из дела раненого противника. Печальные стоны оглашали воздух, когда падал кто-нибудь из родных или товарищей. Аммалат долго и с удивлением смотрел на битву эту, в которой было более грому, чем вреда. Наконец он обратил вопрошающий взор к хану.

— У нас это обыкновенная вещь, — отвечал тот, любуясь каждым удачным выстрелом. Такие сшибки поддерживают между нами воинственный дух и боевой навык. У вас частные ссоры кончаются несколькими ударами кинжала; у нас они становятся общим делом целых селений, и самая безделица может дать к тому повод. Я чай, и теперь дерутся за какую-нибудь украденную корову, которую не хотели отдать. У нас не стыдно воровать в чужом селении; стыдно только быть уличену в том. Полюбуйся на смелость наших женщин, пули, как мухи, жужжат, а им горя мало! Достойные матери и жены богатырей!.. Конечно, в великий стыд вменится тому, кто ранит женщину; да ведь за пулю нельзя поручиться. Острый глаз направляет ее, но слепая судьба несет в цель. Однако темнота льется с неба и разлучает минутных врагов. Поспешим к родным моим.

Одна привычка хана могла спасти наших путников от частых падений по крутому спуску к реке Узени. Аммалат почти ничего не видал перед собою: двойная завеса ночи и слабости задергивала его очи; голова его кружилась; будто сквозь сон, взглянул он, поднявшись снова на высоту, на ворота дома ханского, на сторожевую башню. Неверной ногой ступил он на землю середи двора, середи восклицаний нукеров и челядинцев, и, едва перешагнул за решетчатый порог гарама, дух его занялся, смертная бледность бросила снег свой на лицо раненого, и юный бек, истощенный кровью, утомленный путем, голодом и душевною тоскою, без чувств упал на узорные ковры.

Глава III

Аммалат пришел в память на заре.

Медленно, поодиночке сходились в ум его мысли, и те мелькали, будто в тумане, от чрезвычайного расслабления. Он вовсе не ощущал боли в теле своем, и это состояние было даже приятно ему: оно отнимало у жизни горе, у смерти — ужас, и в эту пору он услышал бы весть о выздоровлении так же беспечно, как весть о неизбежной кончине. Ему не хотелось молвить слова, пошевелить

пальцем. Это полуусыпление было, однако ж, непродолжительно. В самый полдень, после посещения лекаря, когда прислужники разошлись исполнять обряды полуденной молитвы, когда стих усыпляющий говор их и только крик муллы раздавался вдали, Аммалат послышал тихие, осторожные шаги по коврам спальни. Он приподнял тяжелые веки, и сквозь сеть ресниц показалось ему, что прелестная черноокая девушка, в оранжевой сорочке, в глазетовом архалуке с двумя рядами эмалевых пуговок, с длинными косами, распущенными по плечам, тихо приблизилась к его ложу и так заботливо обвеяла его чело, так сострадательно взглянула на рану, что в нем затрепетались все жилки. Потом осторожно налила она лекарства в чашечку и… больше не мог он рассмотреть: веки его опали, как свинец; он только ловил слухом шелест ее шелкового платья, будто шум крыльев улетающего ангела, и снова все стихло. И каждый раз потом, когда нетвердый еще разум его хотел разгадать ее появление, оно сливалось с неясными грезами горячки, так что первым вздохом, первым словом его, когда он очнулся, было: «Это сон!». Но это не был сон.

Прелестная эта девушка была шестнадцатилетняя дочь Султан-Ахмет-хана. У всех горцев вообще незамужние пользуются большою свободою обращения с мужчинами, несмотря на закон Магомета. Тем более независима была любимая дочь хана. Подле ней только отдыхал он от забот и досад; подле ней только лицо его находило улыбку, а сердце — шутки. В кругу ли аварских старшин и узденей рассуждал он о делах горской политики, или давал суд правым и виноватым, между домашними ли слушал рассказы о прежних удальствах, или замышлял новые набеги, она прилетала, как ласточка, и приносила ему весну душевную. Счастье было того виноватого, на чье осуждение являлась она при отце. Взмахнутый кинжал остановлялся на воздухе, и часто, взглянув на нее, хан отлагал кровавые замыслы, чтобы не разлучаться с милою дочерью. Все было ей позволено, все доступно. Запретить ей что-либо не подумал бы Ахмет-хан ни для каких обычаев, ни для каких пересудов; а подозрение в чем-нибудь, недостойном ее пола или ее сана, было так же далеко от его мыслей, как от ее сердца. Да и кто мог ей внушить неявные чувства из окружающих хана? Склонить свои мысли, унизить свои чувства до человека, низшего ее родом, было бы неслыханным позором для дочери последнего узденя; тем выше ханская дочь: от самой колыбели напитывалась гордынею предков, и она, как ледяное забрало, отделяла сердце ее от всего видимого общества. Доселе ни один гость не был равен с нею родом; по крайней мере ни про одного не спросило о том сердце. Вероятно, что и беспечный и бесстрастный возраст ее был тому виною, может быть, но теперь час любви пробил, и сердце встрепенулось в груди неопытной красавицы. Она спешила заключить в объятия отца и со страхом увидала прекрасного юношу, падающего, как мертвец, к ногам ее… Первое ее чувство был ужас; но когда отец рассказал, как и почему Аммалат гость его, когда сельский лекарь объявил, что рана неопасна, нежное соучастие к раненому проникло все ее существо. Целую ночь напролет мечтался ей окровавленный гость, и она встретила зарю впервые не так румяная, как заря; в первый раз прибегла она к хитрости, чтобы взглянуть на приезжего, вошла в комнату его, чтобы поздороваться с отцом, и потом вкралась туда в полдень. Непостижимое, неодолимое любопытство влекло ее посмотреть на глаза Аммалата. Никогда в детстве не желала она так сильно игрушки, никогда в настоящем возрасте не манило ее так неодолимо новое, богатое платье или блестящее украшение, как страстно хотелось ей встретить глаза гостя; и, наконец, ввечеру она встретила томный, но выразительный, беспламенный, но светлый взор его. Она не могла отвести очей с черных очей Аммалата, прилепленных к ней. Казалось, они говорили: «Не скрывайся, звезда души моей!», поглощали исцеление и отраду из ее взоров. Она не знала, что с нею делается, не чувствовала, на земле ли была она или в воздухе носилась; летучие краски сменялись на лице ее. Наконец она решилась дрожащим голосом спросить его о здоровье…

Надо быть татарином, который считает за грех и обиду сказать слово чужой женщине, который ничего женского не видит, кроме покрывала и бровей, чтобы вообразить, как глубоко возмущен был пылкий бек взором и словом прелестной девушки, столь близко и столь нежно на него брошенным. Сладкий огонь пробежал по сердцу его, несмотря на слабость.

— О, мне очень хорошо теперь, — отвечал он, стараясь приподняться, — так хорошо, что я бы готов был умереть, Селтанета.

— Алла сахла-сын (бог да сохранит тебя), — возразила она. — Живи, живи долго!.. Неужели не жаль тебе жизни?

— В сладкие минуты сладка и смерть, Селтанета. А если б я прожил еще сто лет, краше настоящей не нашел бы!

Селтанета не поняла слов гостя, но она поняла взор его, поняла выражение его голоса. Она закраснелась еще более и, сделав рукою знак, чтоб он успокоился, упорхнула из комнаты.

Между горцами есть весьма искусные лекаря, особенно для всех переломов и ран; но Аммалата исцеляло лучше всех трав и пластырей присутствие милой горянки. С приятною надеждою засыпал он, уверенный, что увидит ее во сне, и радостен просыпался, зная, что наяву с нею встретится… Силы его возвращались быстро, и с силами росла привязанность к Селтанете. Аммалат был женат, но, как водится на Востоке, для одних расчетов. Он никогда не видал до свадьбы невесты своей и после ничего не нашел в ней привлекательного, ничего такого, что бы могло пробудить его спящее сердце. Впоследствии жена его ослепла, и это обстоятельство еще более охладило связь, основан-

ную на азиатской чувственности. Семейная неприязнь к тестю и дяде шамхалу еще более разделяла молодых супругов, до того, что они очень редко бывали вместе. Мудрено ли ж после этого, что юноша, пылкий по природе, своевластный по привычке, загорелся новою для него любовью! Быть с нею было для него самым высоким счастьем, ждать ее появления — приятнейшим занятием. Бывало, он вздрогнет, чуть заслышит ее голос; каждый звук, будто луч солнца, проникал в душу, и ощущение его походило на боль, но боль так восхитительную, что он желал бы навеки продлить ее. Мало-помалу знакомство с молодыми людьми скрепилось в дружбу… Они почти беспрестанно бывали вместе. Хан часто уезжал внутрь Аварии по делам хозяйства, по расправам, по военным распоряжениям, оставляя гостя на попечение жены своей, тихой, молчаливой женщины. Он очень видел склонность Аммалата к дочери своей и втайне тому радовался; это оживляло его честолюбивые и воинственные виды: родство с беком, имеющим право на шамхальство, предавало ему в руки тысячу поводов и средств вредить русским. Ханша, занимаясь урядом домашним, оставляла нередко по целым часам Аммалата в покоях своих, как родного, и Селтанета, с двумя или тремя своими приближенными девушками, сидя на подушке за рукодельем, не видела, как летит время, то разговаривая с гостем, то внимая его рассказам. Бывало и то, что долго, долго сиживал Аммалат, склонясь у ног своей Селтанеты, не вымолвив слова, то глядясь в черные, поглощающие глаза ее, то любуясь с ней горными видами из окна ее, обращенного к северу, и крутыми берегами и крутыми изворотами гремучей Узени, над которою висит замок ханский. Подле этого детски невинного существа забывал Аммалат желания, которых она еще не знала, и, тая в неизвестном, непонятном для него наслаждении, он не думал ни о прошедшем, ни о будущем; он не думал ни о чем, он только мог чувствовать и беззаботно, не отнимая у чаши уст, пил блаженство каплю по капле.

Так протекло лето.

Аварцы — народ свободный. Они не знают и не терпят над собой никакой власти. Каждый аварец называет себя узденем, и если имеет есыря (пленного), то считает себя важным барином. Бедны, следственно, и храбры до чрезвычайности; меткие стрелки из винтовок, славно действуют пешком; верхом отправляются только в набеги, и то весьма немногие. Лошади их мелки, но крепки невероятно; язык дробится на множество наречий, но в основе лезгинский, ибо и сами аварцы племени лезгинского. Помнят христианскую веру, ибо не более ста двадцати лет поклонились Магомету, но до сих пор плохие магометане: пьют водку, пьют бузу, нередко виноградное вино, но всего чаще вино вареное, называемое у них джапа. Верность аварского слова в горах обратилась в пословицу. Дома тихи, гостеприимны, радушны, не прячут ни жен, ни дочерей; за гостя готовы умереть и мстить до конца поколений. Месть для них — святыня, разбой — слава. Впрочем, нередко принуждены бывают к тому необходимостию. Выходя по вершине Аталы и Тхезерук, чрез хребет Турнитау в Кахетию, за реку Алазань, для сельских работ, из очень скудной платы, они нередко остаются дня по два и по три без дела, и потом, сговорившись, как голодные волки, бросаются ночью на ближние селения и, если удастся, угоняют стада, похищают женщин, захватывают пленников, но всего чаще слагают свои головы в неравном бою. В русские границы впадения их затихли с тех пор, как укротили акушинцев, и Аслан-хан Кумыкский стережет через его владения лежащий выход из Аварии. Но селение Хунзах, или Авар, лежащее на восточном краю Аварии, искони составляет наследие ханов, и власть их там закон. Впрочем, имея право велеть своим нукерам изрубить кинжалами любого жителя Хунзаха, даже любого проезжего, хан не смеет наложить никакой подати, никакой пошлины на народ и должен довольствоваться доходами со стад и с полей своих, обрабатываемых каравашами (рабами) и есырями (пленниками). Не бравши, однако ж, прямых налогов, ханы не отказываются от требования повинностей, освященных более силою, чем обычаем. Взять во двор мальчика или девку, нарядить подводы на волах или буйволах для собственной перевозки или работы, послать гонца и тому подобное — суть вещи ежедневные. Жители Хунзаха живут, однако же, богаче всех своих одноземцев; дома их чисты и почти все в два яруса; мужчины стройны, женщины красивы, тем более что между ними множество грузинок, захваченных в плен. В Аварии много занимаются арабским языком, и потому слог людей грамотных очень цветен. Гарам ханский всегда полон гостями и нередко просителями, которые, по азиатскому обычаю, не смеют показать глаз без пешкеша (подарка), хотя бы то был пяток яиц… Нукеры ханские, на числе и отважности коих опирается власть его, с утра до вечера толкаются во дворах и в комнатах хана, всегда с заряженными пистолетами за поясом и с кинжалом на брюхе[16]. Любимые уздени и приезжие гости из чеченцев или из татар обыкновенно каждый день являлись поутру на поклон к хану, оттуда всей гурьбой отправлялись к ханше и нередко целый день оставались пировать в особых комнатах, угощаемые и в отсутствие хана изобильно.

Однажды приходит в беседу уздень аварский и за новость рассказывает, что невдалеке появился огромный тигр и что двое отличнейших стрелков легли жертвою его лютости. Это так напугало наших охотников, что никто не решается в третий раз отведать удачи.

— Я отведаю счастья! — вскричал Аммалат, горя нетерпением выказать удальство свое перед горцами. — Пусть только наведут меня на след зверя.

Широкоплечий аварец измерил взором с ног до головы дерзостного бека и, улыбнувшись, молвил:

— Тигр не чета дагестанскому кабану, Аммалат! Его след нередко ведет к смерти!

— Неужели ты думаешь, — возразил тот гордо, — что на этой скользкой дорожке у меня закружится голова или дрогнет рука? Не зову тебя помогать, зову посмотреть моего боя с тигром. Я надеюсь, ты поверишь тогда, что если сердце аварца твердо, как гранит его гор, то сердце дагестанца закалено, как славный булат их. Согласен?

Аварец был пойман.

Отказаться было бы постыдно, и он протянул руку, развеселил лицо…

— Охотно иду с тобою, — отвечал он. — Отлагать нечего; совершим клятву в мечети, и в путь и в бой неразлучно. Аллах судит: нам ли взять его кожу на чапрак или ему скушать нас.

Не в азиатском нраве, еще менее в азиатском обычае, прощаться с женщинами, отправляясь даже надолго, навсегда. Это принадлежит одним родным, и разве случаем выпадет гостю. Аммалат-бек со вздохом, однако ж, взглянул на окна Селтанеты и тихими шагами прошел к мечети. Там уже ожидали его старшины селения и толпа любопытной молодежи.

По старинному аварскому обыкновению, ловцы должны были поклясться на куране, что не выдадут друг друга ни в битве со зверем, ни в преследовании; не покинут раненого, если судьба допустит, что зверь сломает его; будут защищать друг друга, лягут рядом, не щадя жизни, и во всяком случае без шкуры зверя не воротятся назад; или тот, кто преступит завет сей, да будет сброшен со скалы, как трус, как изменник.

Товарищи после присяги обнялись, мулла надел на них оружие, и они отправились в путь при громких кликах всей толпы.

— Или оба, или ни одного! — кричали все вслед.

— Убьем или умрем! — отвечали охотники.

Минул день. Укатил другой за хребты ледяные. Старики притомили глаза, глядя с кровель на дорогу. Мальчики далеко выбегали на окрестные холмы, чтобы встретить охотников: все их нет как нет. В целом Хунзахе, едва ль не у каждого очага, кто от безделья, кто от участия, толковали об этом, но всех более горевала Селтанета. Крикнут ли на дворе, зашумит ли кто на лестнице, вся кровь у нее вспыхнет, как на огне можжевельник, и сердце запрыгает от ожидания; вскочит, бывало, бедняжка и побежит к окну или дверям и, двадцатый раз обманутая, потупив очи, тихо пойдет за рукоделье, которое впервые показалось ей скучно и бесконечно. Наконец, за сомнением, и страх наложил свою ледяную руку на сердце красавицы. Она спрашивала у отца, у братьев, у гостей, каков зверь тигр на рану, далеко ли, близко ли ходит он к селениям? И всякий раз, рассчитав время, она, сплеснув руками, говорила сама себе: «Они погибли!» и тихо клонила голову к неровно волнуемой груди, и крупные слезы катились по ее прелестному лицу.

На третий день оказалось, что опасения всех не были напрасны. Уздень, товарищ Аммалата в ловитве, насилу привлекся один до Хунзаха. Кафтан его был изодран когтями звериными, сам он бледен как смерть и в изнеможении от голода и устали. С изумлением, с любопытством обстали его и стар и мал, и вот что рассказывал он, подкрепив себя чашкою молока и куском чурека.

— В тот же день, как вышли отсюда, выследили мы тигра. Мы нашли его спящим между таким каменником и чащею, что аллах упаси. По жеребью досталось первому стрелять мне: я подкрался и наметил очень ловко; стрельнул… ан на беду зверь спал, закрыв морду лапою, и пуля, пробив ее, угодила в шею. Пробужден громом и болью, тигр взревел и в два прыжка прямо ринулся на меня, так что я не успел выхватить и кинжала; с размаху он сбил меня с ног, смял задними ногами, и только помню я, что в миг этого промежутка раздался крик и выстрел Аммалата и затем оглушающее, ужасное рыкание. Раздавленный, я потерял память и дыхание и, долго ли я лежал в обмороке, не ведаю.

Когда открыл я глаза, все было тихо кругом меня; мелкий дождь сеялся из густого тумана; был ли то вечер, было ли то утро? Мое ружье, подернутое ржавчиной, лежало подле; ружье Аммалата, переломленное пополам, невдалеке; там и сям обрызганы были камни кровью, только чьею кровью: тигровой ли, Аммалатовой ли, как дознаться? Выломленные кустарники лежали кругом: верно, зверь выторгнул их упорными прыжками. Я кликал, сколько было голосу, товарища; нет ответа. Посижу-посижу да еще покличу; напрасно! Ни зверя, ни птицы перелетной. Много раз пытался я идти, искать по следу Аммалата, или найти его, или умереть на его теле… хоть бы отомстить зверю за смерть удалого: силы нет. Взяло меня горе; я всплакался горько: зачем погибаю и телом и доброю славою! Решился было ждать смертного часа в пустыне, только голод одолел меня. Дай, подумал я, повещу в Хунзахе, что Аммалат пропал без вести, и хоть умру между своими. Вот я и приполз сюда, как раздавленный змей. Братья! Голова моя пред вами: судите как положит аллах на сердце. Приговорите ли мне жить — буду жить, поминаючи вашу правду; приговорите умереть — и то воля ваша! — умру невинен. Аллах свидетель; я сделал что мог!

Ропот рассыпался по народу, когда выслушали пришельца. Одни правили, другие винили его, хотя и все жалели.

— Всякий себя охраняет, — говорили некоторые из обвинителей. — Кто порука, что он не бежал с поля? На нем нет раны, нет и свидетельства; а что он выдал товарища, это почти без сомнения! Не только выдал, может и нарочно предал, — толковали другие: они неладно между собою говаривали!

Ханские нукеры пошли еще далее; они подозревали, что узденъ убил Аммалата из ревности. Он слишком умильно поглядывал на дочь ханскую, а ханская дочь не ему чету нашла в Аммалате.

Султан-Ахмет-хан, сведав, для чего собрался народ на улице, прискакал и сам на сходку.

— Трус! — сказал он вместе с гневом и огорчением узденю. — Ты пустил позор на имя аварское. Теперь может всякий татарин укорить нас, что мы зверям скормили гостя, не умея защитить его! По крайней мере мы сумеем за него отмстить: ты клялся на куране по старине аварской не покидать в беде товарища и, если он падет, не ворочаться домой без шкуры зверя; ты изменил клятве, но мы не переступим завета: гибни! Даю три дня срок душе твоей, но потом, если Аммалат не найдется, тебя сбросят с утеса! Вы головами отвечаете мне за его голову! — примолвил он, обращаясь к своим нукерам, надвинул шапку на брови и поворотил к своему дому коня.

Тридцать горцев помчались из Хунзаха во все стороны проведывать хоть об остатках буйнакского бека. У горцев священною обязанностью считается с честью похоронить своего родственника или товарища, и они часто, как омировские герои*, кидаются в пыл битвы, чтобы выхватить из рук русских убитого собрата, и порой десятками падают на тело, которого не мнят выдать.

Несчастного узденя повлекли на конюшню ханскую — место, заменяющее обыкновенно тюрьму. Народ, рассуждая о происшедшем, угрюм, но безропотен разошелся по домам, ибо приговор ханский был согласен с правдою их обычаев.

Печальная весть скоро проникла до Селтанеты; и, как ни желали смягчить ее, она жестоко поразила девушку, столь много любящую. Со всем тем она против ожидания казалась спокойною: не плакала, не жаловалась, но зато и не улыбалась более, не молвила слова. Ей говорила мать, она не слышала. Искры из трубки отца прожигали ее платье, она не замечала. Холодный ветер веял на грудь ее, она не чувствовала. Все ее чувства сжались в сердце на муку его; но это сердце глубоко лежало от взоров, и ничего не отражалось на гордом лице ее. Ханская дочь боролась с шестнадцатилетнею Селтанетою; можно было предсказать, кто падет прежде.

Но эта скрытая тоска удушала Селтанету; ей хотелось убежать от людских глаз и на свободе выплакать горе.

«Боже мой! — думала она: — Зачем, потеряв друга, не имею права плакать о нем! Все так и смотрят на меня, чтобы посмеяться после; так и стерегут каждую слезку, чтобы поймать ее на злословный язык свой. Чужое горе им потеха».

— Секине! — молвила она своей прислужнице: — Пойдем гулять по берегу Узени!

На треть агача[17] расстояния от Хунзаха к западу есть развалины старинного христианского монастыря, уединенного памятника забытой веры туземцев. Рука времени, будто из благоговения, не коснулась самой церкви, и далее изуверство пощадило святыню предков. Она стояла цела между разрушенных келий и павшей ограды. Глава ее с остроконечною каменною кровлею уже почернела от дыхания веков; плющ заплел сеткою узкие окна, и в трещинах стен росли деревья. Внутри мягкий мох разостлал ковер свой, и в зной влажная свежесть дышала там, питаемая горным ключом, который, промыв стену, прислоненную к утесу, падал через каменный алтарь и распрядался в серебристые, вечно звучные струны чистой воды, и потом, сочась в спаи плитного пола, вился ниже и ниже. Одинокий луч солнца, закравшись сквозь окно, мелькал и переливался сквозь зыбкую зелень по угрюмой стене, как резвый младенец на коленях столетнего деда. Туда-то направила Селтанета свою прогулку; там-то отдохнула она от взоров и вопросов, тяготивших ее. Все было так мирно, так прелестно, так счастливо около нее, и все это тем более множило печаль — первую печаль ее. Переливный свет на стене, лепетание ласточек и журчанье ключа растопило в слезы свинец, лежавший у нее на сердце, и горесть ее разлилась жалобами. Секине убежала нарвать груш, растущих в изобилии около церкви, и Селтанета тем беззаветнее предалась природе, требующей облегчения.

И вдруг, подняв голову, она вскрикнула от испуга: перед нею стоял стройный аварец, забрызганный грязью и кровью. Кожа тигра падала наземь с плеч его.

Ужели твое сердце, твои глаза, Селтанета, не узнали своего любимца? Нет, с другого взора она узнала Аммалата и, забыв все на свете, кинулась на шею, обвила ее руками своими и долго, долго вглядывалась в истомленное, но всегда милое лицо, и, наконец, огонь уверения, огонь восторга заблистал сквозь необсохшие еще слезы печали. Мог ли тогда удержать пылкий Аммалат радость свою? Он прильнул, как пчела, к розовым губкам Селтанеты. Он довольно слышал за минуту для своего счастия; теперь он был на верху блаженства. Еще ни слова не вымолвили любовники о любви своей, но они уже поняли друг друга.

— И ты, ангел, любишь меня? — произнес, наконец, Аммалат, когда Селтанета, застыдясь поцелуя, уклонилась из его объятий. — И ты меня любишь?

— Сохрани, алла! — отвечала невинная девушка, опустя ресницы, но не очи. — Любишь! Это страшное слово. С год тому назад, проходя по улице, я увидела, как побивали каменьями девушку; с ужасом убежала я домой, но нигде не могла спрятаться. Кровавая грешница везде стояла передо мною, и стон ее еще до сих пор отзывается в ушах моих. Когда я спросила, за что так бесчеловечно казнили эту несчастную, мне отвечали: она любила одного юношу!

— Нет, милая, не за то, что она любила, а за то, что любила не одного, за то, что изменила, быть может, обоим, ее убили!

— Что значит *изменила*, Аммалат? Я не понимаю этого!

— О, дай бог, чтоб ты никогда не испытала, никогда не выучилась изменять, чтобы ты никогда не забыла меня для другого.

— Ах, Аммалат, в эти четыре дня я узнала, как тяжела для меня с тобой разлука! Бывало, долго не вижу братьев, Нуцала и Сурхая, и рада с ними свидеться, но без них не тоскую; без тебя же на свете жить не хочется!

— Для тебя я готов умереть, звезда моя утренняя, за тебя положу свою душу, не только жизнь, милая!

Шелест шагов прервал речи любящихся: то была прислужница Селтанеты.

Втроем они поспешили обрадовать хана, и хан был рад, был утешен непритворно.

Аммалат в коротких словах рассказал, как было с ним дело.

— Чуть завидел я падшего товарища впереди меня, я встретил зверя на лету пулею: она разбила ему челюсть. Чудовище с ужасным ревом кинулось кружиться, прыгать, метаться, несколько раз порывалось ко мне и снова, развлекаемо болью, бросалось в сторону. В это-то время, ударив его прикладом по черепу, изломал я ружье. Я долго гнался за ним, когда он пошел на уход, то на виду, то по кровавому следу; между тем день вечерел, и когда я вонзил кинжал в горло павшего тигра, темная ночь падала на землю. Волей и неволею принужден я был ночевать, имея палатами утесы, а собеседниками — волков и чакалов. Утро было дождливо и туманно; облака, задевая меня за голову, выжимали, как губки, на мне свою воду. В десяти шагах перед носом ничего нельзя было видеть. Не видя солнца, не зная места, напрасно бродил я вокруг да около: дорога убегала меня, усталость и голод томили. Застреленная из пистолета куропатка подкрепила на время силы, но все-таки не мог я найти выхода из этого каменного гроба. Только шум вод, ниспадающих с крутин, только шум крыльев пролетающих в туче орлов слышались мне вечером, а ночью дерзкие чакалы в трех шагах от меня заводили свою плачевную песню. Сегодняшним утром красно встало солнце, и сам я встал бодрее, направил бег к востоку и скоро послышал крик и выстрелы: это были твои посланцы. Утомлен жаром, зашел я напиться чистой ключевой воды в старую мечеть и там нашел Селтанету. Благодарность тебе, слава богу!

— Слава богу, хвала и тебе! — сказал, обнимая его, хан. — Но удальство твое чуть-чуть не стоило жизни твоей и вместе твоего товарища. Промедли ты день, он бы отправился плясать лезгинку на воздухе. Кстати явился ты. Джембулат, известный наездник Малой Кабарды, присылал звать тебя в набег на русских: вот достойное тебе поле. Вместо того чтоб дразнить судьбу, гоняясь за тиграми, лучше гонять русских. Тебе же надо выкупить свою славу, плененную в прошлом бегстве. Время не терпит; завтра чем свет тебе должно отправиться.

Как ни досадна была такая весть Аммалату, но он, скрепя сердце, отвечал, что едет охотно. Он очень чувствовал, что громкое имя наездника есть порука будущих успехов.

Но Селтанета поблекла, склонилась, как цветок, головою, услышав о новой, грознейшей разлуке; взор ее, остановленный на Аммалате, выражал тоску опасения, боль предчувствия беды.

— Алла! — произнесла она с горестию: — Опять набеги, опять убийство! Когда-то перестанет литься кровь на угориях?

— Когда горные потоки потекут молоком и сахарный тростник заколышется на снежных вершинах, — сказал хан с усмешкою.

Глава IV

Дико-прекрасен гремучий Терек в Дарьяльском ущелии. Там, как гений, черпая силы из небес, борется он с природой. Инде светел и прям, как меч, рассекший гранитную стену, сверкает он между утесами. Инде, чернея от гнева, ревет и роется, как лютый зверь, под вековые громады: отрывает, рушит, катит вдаль их обломки. В бурную ночь, когда запоздалый всадник, завернувшись в косматую бурку, озираясь, едет по забережью, висящему над пучиною Терека, все ужасы, какие только породить может досужее воображение, ничто в сравнении с истинными, его одолевающими. С глухим шумом крутятся дождевые потоки под ногами, падают на голову со скал, нахмуренных над нею и каждый миг грозящих подавлением. Вдруг, как лава, прорывается молния, и вы с ужасом видите только черную, расторгнутую тучу над собою, а под собой зияющую бездну, утесы по сторонам, и навстречу вам с крутизны ревущий, прыщущий Терек, осыпанный огненной пеною. На один миг видите вы, как мутные, буйные волны его, словно адские духи, скачут, прядают, мечутся в бездну со стоном, пораженные мечом архангелов. Вслед им с грохотом катятся огромные камни. И вдруг, после ослепительного озарения молниею, вы опять погружены в черное море ночи; и вдруг за тем раздается выстрел грома, зыблющий основание скал, будто тысячи гор рушатся друг на друга: так вторят отголоски удару небес. Потом долгий, протяжный гул, будто стон оторванных

с корней дубов, или звук сокрушенных скал, или вой раздавленных в бездне великанов, сливается с шумом ветра, и ветер превращается в ураган, и дождь низвергается ливнем. И снова молния слепит вас, и снова гром, на который отвечает вдали рокот облаков, оглушает… камни сыплются мимо и звучно падают в воду… Испуганный конь упирается, садится назад, фыркает, трепещет, грива его хлещет в глаза всадника, и всадник творит невольную молитву…

Но зато как приветливо заглядывает утро в ущелие, на дне которого бьет, и кипит, и плещет Терек! Облака, будто раздернутый полог, клубятся от ветра, и сквозь них являются и опять исчезают ледяные вершины. Точно резные из золота, лучи солнца рисуют зубчатые силуэты вершин восточных на противоположной стене гор. Скалы блестят, еще высеребренные дождевою влагою. Ключи и горные потоки пышны пеною, летят сквозь туман с крутин, и самые туманы инде катятся вниз по ущелию, подобны потоку, инде вьются улиткой с ключа, будто дымок с хижины, инде обвивают, как чалмой, одинокую, древнюю на утесе башню, а мрачный Терек прядает по каменьям и кружится, будто ищет места успокоиться.

Должно признаться, однако ж, что на Кавказе нет вод, в кои бы достойно могли глядеться горы — исполины творения. Нет на нем рек плавных, нет огромных озер, и Терек между громадами, его теснящими, кажется ручейком. Под Владикавказом, вырвавшись на долину, он, кажется, рад вольному раздолью: ходит по ней широкими кругами, разбрасывая похищенные в горах валуны. Дальше, уклоняясь к северо-западу, он все еще быстр, но менее шумен, будто усталый, после трудного подвига. Наконец, охватив крутым поворотом мыс Малой Кабарды, он, как мусульманин, набожно обращается к востоку и, мирно напояя враждующие берега, несется то по грядам камней, то по глинистым отмелям упасть за Кизляром в чашу Каспия. Тут уже он терпит на себе челны и, как работник, ворочает огромные колеса плавучих мельниц. По правому берегу его, между холмами и перелесками, рассеяны аулы кабардинцев, которых мы смешиваем в одно название черкесов, живущих за Кубанью, или чеченцев, обитающих гораздо ниже к морю. Побережные аулы сии мирны только по имени, но в самом деле они притоны разбойников, которые пользуются и выгодами русского правления, как подданные России, и барышами грабежей, производимых горцами в наших пределах. Имея всюду свободный вход, они извещают единоверцев и единомышленников о движении войск и состоянии укреплений; скрывают их у себя, когда те сбираются в набег; делят и перекупают добычу при возврате, снабжают их солью и порохом русскими и нередко участвуют лично в тайных и явных набегах. Самое дурное, что, под видом этих горцев, враждующие нам народы безбоязненно переплывают Терек человека по два, по три, по пяти и среди белого дня отправляются на разбой, никем не преследуемые, ибо одежда их ничем не отлична. Наоборот, сами мирные, пользуясь этою отговоркою, нападают, когда в силах, открыто на проезжих, или похищают скот и людей украдкою, рубят без пощады, или перепродают в плен далеко.

Правду сказать, местное положение их между двумя сильными соседями поневоле заставляет так коварствовать. Зная, что русские не поспеют из-за реки защитить их от мести горцев, налетающих как снег, они по необходимости, равно как по привычке, дружат однокровным, но в то же время лисят перед русскими, которых боятся.

Конечно, между ними есть несколько человек истинно преданных русским, но большая часть даже и своим изменяет из награды, и то лишь при верном успехе, и то лишь до тех пор, покуда видит в том свою пользу. Вообще, нравственность этих мирных самая испорченная; они потеряли все доблести независимого народа и уже переняли все пороки полуобразованности. Клятва для них игрушка, обман — похвальба, самое гостеприимство — промысел. Едва ли не каждый из них готов наняться поутру к русскому в кунаки, а ночью в проводники к хищнику, чтобы ограбить нового друга.

Левый берег Терека унизан богатыми станицами линейских казаков, потомков славных запорожцев. Между ними кое-где есть крестьянские деревни. Казаки эти отличаются от горцев только небритою головою: оружие, одежда, сбруя, ухватки — все горское. Мило видеть их в деле с горцами: это не бой, а поединок, где каждый на славу хочет доказать превосходство силы, храбрости, искусства. Двое казаков не струсят четверых наездников — в равном числе всегда победители. Почти все они говорят по-татарски, водят с горцами дружбу, даже родство по похищенным взаимно женам, но в поле враги неумолимые. Как ни запрещено переезжать на горную сторону Терека, но удальцы отправляются туда вплавь, на охоту разного рода. В свою очередь горские хищники бродятся за Терек ночью или переплывают его на бурдюках (мехах), залегают в камыши иль под навес берега, потом перелесками пробираются к дороге, чтобы увлечь в плен беспечного путника или захватить женщин на гребле сена. Случается, что самые отчаянные проводят дня по два в виноградниках при деревне, выжидая удобного случая напасть врасплох, и оттого линейский казак не ступит на порог без кинжала, не выедет в поле без ружья за спиной: он косит и пашет вооруженный.

В последнее время большими толпами горцы стали нападать только на крестьянские деревни, ибо в станицах отпор становился им очень дорого. Для угонки табунов они смело и глубоко впадают в границы наши, но в таком случае редко обходится без битвы. Самые лихие уздени стараются попасть в подобные наезды, чтобы снискать себе имя, которое ценят они выше всякой добычи.

Осенью, в 1819 году, кабардинцы и чеченцы, ободренные отсутствием главнокомандующего, собрались в числе полутора тысяч человек сделать нападение на какую-нибудь деревню за Тереком, ограбить ее, увезти пленников, угнать табун.

Предводителем был кабардинский князек Джембулат. Аммалат-бек, приехавший к нему с письмом от Султан-Ахмет-хана, был принят с радостию. Правду сказать, ему не дали никакого отряда, но это оттого, что у них нет никакого строя, ни порядка в войске; борзый конь и собственная запальчивость указывают каждому место в битве. Сначала сдумают, как завязать дело, как завлечь неприятеля, но потом нет ни повиновения, ни повеления, и случай доканчивает сражение. Обославшись с соседними узденями и наездниками, Джембулат назначил сборное место, и вдруг, по условному знаку, во всех ущелиях раздался крик: «Гарай! Гарай (тревога)!», и в один час слетелись со всех сторон наездники чеченские и кабардинские. Во избежание измены никто не знал, кроме вождей, где будет ночлег, где переправа. Разделясь на небольшие кучки, пошли они по едва видным тропам в мирный аул, где должно было скрыться до ночи. В сумерках все отряды уже сошлись туда. Разумеется, мирные встретили своих земляков с распростертыми объятиями, но Джембулат, не доверяя этому, оцепил селение часовыми и объявил жителям, что если кто покусится уйти к русским, будет изрублен в куски. Большая часть узденей разошлась по саклям кунаков или родственников, но сам Джембулат с Аммалатом и лучшими наездниками остался на чистом воздухе, подле разведенного огня, покуда освежались усталые их кони. Джембулат, простершись на бурке, опершись рукою об руку, раздумывал распорядок набега; но далека была мысль Аммалата от поля битвы; она орленком носилась над горами Аварии, и тяжко-тяжко ныло сердце разлукою. Звук металлических струн горской балалайки (комус), сопровождаемый протяжным напевом, извлек его из задумчивости: то кабардинец пел песню старинную.

На Казбек слетелись тучи,
Словно горные орлы…
Им навстречу, на скалы
Узденей отряд летучий,
Выше, выше, круче, круче,
Скачет, русскими разбит:
След их кровию кипит!

На хвостах полки погони;
Занесен и штык и меч;
Смертью сеется картечь..
Нет спасенья в силе, в броне…
«Бегу, бегу, кони, кони!»
Пали вы, — а далека
Крепость горного леска[18].

Сердце нашим русским мета…
На колени пал мулла —
И молитва, как стрела,
До пророка Магомета,
В море света, в небо света,
Полетела, понеслась:
«Иль-алла, не выдай нас».

Нет спасенья ниоткуда!
Вдруг, по манию небес,
Зашумел далекий лес:
Веет, плещет, катит грудой
Ниже, ближе, чудо, чудо!..
Мусульмане спасены
Средь лесистой крутизны!

— Так бывало в старину, — сказал с улыбкою Джембулат, — когда наши старики больше верили молитве, а бог чаще их слушал; но теперь, друзья, лучшая надежда — своя храбрость. Наши чудеса в ножнах шушки (сабли), и нам точно должно показать их, чтобы не осрамиться. Послушай, Аммалат, — примолвил он, крутя ус свой, — не скрою от тебя, что дело может быть жаркое. Я сейчас проведал, что полковник Коцарев собрал отряд свой, но где он, но сколько у него войска, этого никто не знает.

— Чем больше будет русских, тем лучше, — отвечал Аммалат спокойно, — тем менее будет промахов.

— Зато труднее добыча!

— По мне хоть бы век ее не было: я хочу мести, ищу славы.

— Хороша лишь та слава, которая несет золотые яйца, а то, с пустыми тороками воротясь домой, стыдно жене глаза показывать. Близка зима: надобно запастись хозяйством на русский счет, чтобы угощать друзей и приятелей. Выбирай себе место, Аммалат-бек: хочешь, ступай в передовые, заскакать стадо; хочешь, останься со мной назади. Я с абреками шаг за шаг буду удерживать погоню!

— Разумеется, я буду там, где больше опасности. Но что такое абреки, Джембулат?

— Это нелегко тебе растолковать. Вот видишь, многие из самых удалых наездников иногда дают зарок года на два, на три, на сколько вздумается, не участвовать ни в играх, ни в веселиях, не жалеть своей жизни в набегах, не щадить врагов в битве, не спущать ни малейшей обиды ни другу, ни брату родному, ни знать завету на чужое, не боясь преследований или мести; одним словом, быть неприятелем каждого, чужим в семье своей, которого каждый может, если сможет, убить. В ауле они опасные соседи, потому что, встречаясь с ними, надо всегда держать курок на взводе. Зато в деле на них первая надежда[19].

— Для какой же выгоды, для какой причины берут на себя уздени такую обузу?

— Одни просто из молодечества, другие от бедности, третьи с какого-нибудь горя. Вон этот, например, высокий кабардинец поклялся пять лет быть абреком, после того, как любовница его умерла от оспы. С тех пор лучше водить дружбу с тиграми, чем с ним. Он уж три раза ранен в оплату за кровь, а все неймется.

— Чудный обычай! Как же воротится абрек в мирную жизнь после такой жизни?

— Что тут мудреного: старое, как с гуся вода. Соседы будут радехоньки, что срок ему кончился разбойничать; а он, скинув с себя абречество, будто змеиную шкурку, станет смирнее овна. У нас одни кровоместники помнят вчерашнее. Однако ночь стемнела; туман стелется над Тереком: пора за дело.

Джембулат свистнул, и свист его повторился во всех концах стана: вмиг собралась вся шайка. К ней присоединились многие уздени из окрестных мирных деревень. Потолковав с ними, где лучше переправиться, отряд в тишине двинулся к берегу. Аммалат-бек не мог надивиться молчаливости не только всадников, но и самих коней: ни один из них не ржал, не храпел и, будто остерегаясь, ставил копыто на землю. Отряд несся неслышным облаком; скоро добрались до берега Терека, который излучиною образовал в том месте мыс, и от него к противоположному берегу тянулась каменистая коса. Вода в то время была невысока и брод возможен; несмотря на это, часть отряда потянулась выше, для переправы вплавь, чтобы оттянуть казаков от главной переправы и прикрыть ее, ежели бы дали отпор. Те, которые надеялись на коней своих, прыгали прямо с берега. Другие подвязывали под передние лопатки по паре небольших мехов, надутых, как пузыри. Быстрина сносила и разносила их, и каждый выходил на сушу, где находил удобное место, чтобы вскарабкаться коню. Непроницаемая завеса тумана скрывала все движение.

Надобно знать, что по всей горской прибрежной линии тянется маячная и сторожевая цепь. По всем курганам и возвышенностям стоят конные пикеты. Проезжая мимо днем, вы видите на каждом холме высокий шест с бочонком наверху: он полон смолой и соломою и готов вспыхнуть при первой тревоге. При этом шесте обыкновенно привязана казацкая лошадь, и подле нее лежит часовой. В ночь часовые удваиваются. Но, несмотря на такую предосторожность, черкесы, под буркой мрака и тумана, нередко малыми шайками протекают сквозь цепь, будто вода сквозь сито. Точно то же случилось и теперь: зная совершенно местность, белады (проводники) из мирных вели каждую партию и тихомолком миновали курганы. В двух только местах хищники, чтобы прервать линию маяков, могущих изменить им, решились снять часовых. На один пост отправился сам Джембулат, а нашему беку велел ползком выбраться на берег, обогнуть пикет сзади, сосчитать сто и потом ударить несколько раз в огниво. Сказано — сделано. Чуть подняв голову с забережья, весьма крутого, Джембулат высмотрел казака, дремлющего над фитилем, держа в поводу лошадь. Послышав шорох, часовой встрепенулся и устремил беспокойные взоры на реку. Боясь, чтобы тот не заметил его, Джембулат метнул вверх шапку и припал за кряж.

— Проклятая утица! — сказал донец. — Им и ночью масленица: плещутся да летают, словно ведьмы киевские.

Но в это время искры, мелькнувшие в другой стороне, привлекли его внимание.

«Неужто волки? — подумал он. — Бывает, они крепко сверкают глазами».

Но искры посыпались снова, и он обомлел, вспомнив рассказы, что чеченцы дают такие сигналы, управляя ходом своих товарищей. Этот миг изумления и раздумья был мигом его погибели; кинжал, ринутый сильною рукою, свистнул, и пронзенный казак без стона упал на землю. Товарищ его был изрублен сонный, а вырванный шест с бочонком кинули в воду.

Быстро соединился весь отряд по данному знаку и разом устремился на деревню, на которую заранее предположено было напасть. Набег совершен был очень удачно, то есть совершенно неожиданно. Все крестьяне, которые успели вооружиться, были перебиты после отчаянного сопротивления; другие

спрятались или разбежались. Кроме добычи, множество пленных и пленниц было наградой отваги. Кабардинцы вторгались в дома, уносили что поценнее или что второпях попадало под руку, но не жгли домов, не топтали умышленно нив, не ломали виноградников. «Зачем трогать дар божий и труд человека», — говорили они, и это правило горского разбойника, не ужасающегося никаким злодейством, есть доблесть, которою бы могли гордиться народы самые образованные, если бы они ее имели. В час все было кончено для жителей, но не для грабителей: тревога распространилась уже по всей линии. Как утренние звезды, засверкали сквозь туман маяки, и призыв к оружию раздавался во всех сторонах.

Между тем несколько человек опытных наездников обскакали большой табун, далеко в степи ходивший. Пастух был захвачен сразу. С криком и выстрелами бросились они потом на коней с полевой стороны; кони шарахнулись, взбросили гривы и хвосты на ветер и стремглав кинулись вслед за черкесом, которого на лихом скакуне нарочно оставили на речной стороне, чтобы он был водаком испуганного стада. Как добрый кормчий, зная и в туманах наизусть все опасности этого степного моря, черкес летел впереди прядающих коней, вился между постами и, наконец, избрав самое крутое место берега, спрыгнул в Терек со всего расскака. Весь табун за ним следом: только прыскала шумная пена от падения.

Занялась заря, расступились туманы и открыли картину вместе пышную и ужасную. Главная толпа наездников влачила с собою пленных, кого при стремени, кого за седлом, со связанными руками. Плач и стон и вопль отчаяния заглушались угрозами и неистовым криком победной радости. Отягощенные добычей, замедляемые в ходу стадами рогатого скота, они медленно подвигались к Тереку. Князья и лучшие наездники в кольчугах и шлемах, блистающих, переливающихся как вода, увивались около поезда, словно молнии из сизой тучи. Вдали со всех сторон скакали линейские казаки, залегали за дубы, за кустарники и скоро завязали перепалку с высланными против них удальцами. Там и сям сверкали, гремели выстрелы; порой падал черкес с коня. Между этим передовые успели переплавить часть стада, когда пыльное облако и топот коней возвестили, что на них несется гроза. Сот шесть горцев, предводимых Джембулатом и Аммалатом, оборотили коней, чтоб отразить нападение и дать время своим убраться за реку. Без всякого порядка, с гиком и криком пустились они навстречу казакам, но ни одно ружье не было вынуто из нагалища* за спиною, ни одна шашка не сверкала в руках: черкес до последнего мгновения не обнажает оружия. И точно, доскакав лишь на двадцать шагов, они выхватили ружья свои, выстрелили на всем скаку, забросили ружья за левую руку и ударили в шашки. Но линейские казаки, ответив им залпом, понеслись прочь, и, разгоряченные преследованием, горцы дались в обман, столь часто самими употребляемый. Казаки навели их на скрытых в опушке егерей храброго 43-го полка. Будто из земли выросли небольшие кареи, штыки склонились, и беглый огонь посыпался наперекрест. Напрасно, спешась, хотели горцы занять лески и с тыла ударить на наших, подоспевшая артиллерия решила дело. Опытный полковник Коцарев, гроза чеченцев, человек, которого они равно боялись храбрости и уважали праводушие, бескорыстие, распоряжал действиями войск, и успех не мог быть сомнителен. Пушки развеяли толпы хищников, и картечь прыснула в бегущих. Поражение было ужасно. Две пушки заскакали на мыс, невдали от которого черкесы кидались вплавь с берега, и пронизывали вдоль всю реку. С ревом прыгала картечь по вспененным волнам, и за каждым выстрелом несколько лошадей обращались вверх ногами, утопляя своих всадников. Жалко было видеть, как раненые цеплялись за хвосты и узды чужих коней, погружали их и не спасали себя; как бились усталые у крутого берега, желая выползть, обрывались, и несытая пучина уносила, поглощала их. Трупы убитых неслись между полуживыми, и кровавые полосы змеями вились по белой пене, дым катился по Тереку, и вдали снеговые вершины Кавказа, нахмуренные туманами, грозно замыкали поле боя.

Джембулат и Аммалат-бек дрались, как отчаянные: двадцать раз опрокинуты и двадцать раз нападая, утомлены, но не побеждены, с сотнею удальцов переплыли они за реку, спешились, сбатовали коней[20] и завели жаркую перестрелку с другого берега, чтобы прикрыть остальных спутников. Занятые этим, они поздно заметили, что выше их плавятся за реку линейские казаки наперерез им. С радостным криком перескакивали, окружали их русские. Гибель им неизбежна.

— Ну, Джембулат! — сказал бек кабардинцу: — Судьба наша кончилась! Делай сам как хочешь, но я не отдамся в плен живой. Лучше умереть от пули, чем от позорной веревки.

— Не подумаешь ли ты, — возразил Джембулат, — что мои руки сделаны для цепей? Сохрани меня алла от такого поношения! Русские могут полонить мое тело, но душу — никогда, никак. Братцы, товарищи! — крикнул он к остальным: — Нам изменило счастье, но булат не изменит: продадим дорого жизнь свою гяурам! Не тот победитель, за кем поле: тот, за кем слава, а слава тому, кто ценит смерть выше плену!

— Умрем! Умрем! Только славно умрем! — закричали все, вонзая кинжалы в ребра коней своих, чтобы они не достались врагам в добычу, и потом, сдвинув из них завал, залегли за него, приготовляясь встретить нападающих свинцом и булатом.

Зная, какое упорное сопротивление встретят, казаки остановились, сбираясь, готовясь на удар. Ядра с противоположного берега иногда ложились в круг бесстрашных горцев; порой разрывало между них гранату, осыпая их землей и осколками, но они не смущались, не прятались и, по обычаю, запели грозно унылым голосом смертные песни, отвечая по очереди куплетом на куплет.

Смертные песни

Хор
Слава нам, смерть врагу,
Алла-га, алла-гу!

Полухор
Плачьте, красавицы, в горном ауле,
Правьте поминки по нас:
Вслед за последнею меткою пулей
Мы покидаем Кавказ.

Здесь не цевница* к ночному покою,
Нас убаюкает гром;
Очи не милая черной косою —
Ворон закроет крылом!
Дети, забудьте отцовский обычай:
Он не потешит вас русской добычей!

Второй полухор
Девы, не плачьте; ваши сестрицы,
Гурии, светлой толпой,
К смелым склоняя солнцы-зеницы,
В рай увлекут за собой.

Братья, вы нас поминайте за чашей:
Вольная смерть нам бесславия краше!

Первый полухор
Шумен, но краток вешний ключ!
Светел, но где он — зарницы луч?
Мать моя, звезда души,
Спать ложись, огонь туши!

Не томи напрасно ока,
У порога не сиди,
Издалека, издалека
Сына ужинать не жди.

Не ищи его, родная,
По скалам и по долам:
Спит он… ложе — пыль степная.
Меч и сердце пополам!

Второй полухор
Не плачь, о мать! Твоей любовью
Мне билось сердце высоко,
И в нем кипело львиной кровью
Родимой груди молоко;
И никогда нагорной воле
Удалый сын не изменял:
Он в грозной битве, в чуждом поле,
Постигнут Азраилом, пал.
Но кровь моя на радость краю
Нетленным цветом будет цвесть,
Я детям славу завещаю
А братьям — гибельную месть!

Хор
О братья! Творите молитву;
С кинжалами ринемся и в битву!

Ломай их о русскую грудь…
По трупам бесстрашного путь!
Слава нам, смерть врагу,
Алла-га, алла-гу!

Поражены каким-то невольным благоговением, егеря и казаки безмолвно внимали страшным звукам их песен, но, наконец, громкое *ура* раздалось с обеих сторон[21].

Черкесы вскочили с воплем, выстрелили в последний раз из ружей и, разбив их о камни, кинулись на русских с кинжалами. Абреки, чтоб не разорваться в натиске, связались друг с другом поясками и так бросились в сечу. Она была беспощадна; все пало под штыками русских.

— Вперед, за мной, Аммалат-бек! — вскричал неистовый Джембулат, кидаясь в последнюю для него схватку. — Вперед! Для нас смерть — свобода.

Но Аммалат уже не слышал призыва: удар сзади прикладом по голове поверг его на земь, усеянную убитыми, залитую кровью.

Глава V.
Письмо полковника Верховского к его невесте. Из Дербента в Смоленск. 1819 года в октябре

Два месяца — легко сказать! — два века ползло до меня, бесценная Мария, письмо твое! В это время луна дважды совершила свое путешествие около земли. Не поверишь, милая, как грустно мне жить без настоящего, даже в самой переписке. За воротами встречаешь казака, с трепетом сердца ломаешь печать, с восхищением целуешь строки, написанные милою ручкою, внушенные чистым сердцем твоим, с жадною радостью пожираешь очами письмо… В то время я счастлив, я вне себя. Но едва закрою письмо, беспокойные мысли уж тут как тут… Все это прекрасно, думается, но все это было, а я хочу знать, что есть. Здорова ль, любит ли она меня теперь по-прежнему?.. О, скоро ль, скоро ль придет блаженное время, когда ни время, ни пространство не будет разлучать нас! Когда выражения любви нашей не будут простывать на почте иль, наоборот, когда не станут письма пылать любовию, может быть, теперь уже остывшею! Прости, прости меня, бесценная! Все такие черные думы — припадки разлуки. Сердце близ сердца — жених всему верит, в удалении — во всем сомневается.

Ты велишь мне, то есть ты желаешь, чтобы я описывал жизнь свою день за днем, час за часом… О, какая бы грустная, скучная летопись была, если б я на то решился! Ты очень хорошо знаешь, злая женщина, что я не живу без тебя; зачем же морить меня дважды и один раз несносною разлукою? Мое бытие — след цепи на бесплодном песке. Одна служба, утомляя, если не развлекая меня, пособляет коротать время. Брошен в климат, убийственный для здоровья, в общество, удушающее душу, я не нахожу в товарищах людей, которые бы могли понять мои мысли, не нахожу в азиатцах, кто бы разделил мои чувства. Все окружающее меня так дико или так ограниченно, что берет тоска и досада. Скорей добудешь огня, ударяя лед о камень, чем занимательность из здешнего быта. Но мне святыня — твое желание, и я хоть в перечне представлю прозябение последней моей недели: она еще более разнообразна, чем другие.

Помнится, я уже писал, что мы возвращаемся с главнокомандующим из похода в Акушу. Мы свое справили: Шах-Али-хан бежал в Персию; мы сожгли множество деревень; спалили сена, хлеб, покушали мятежнических баранов, и, наконец, когда снег согнал непокорных с вершин недоступных, они поклонились головою, дали заложников, и вот мы поднялись в Бурную крепость. Оттуда отряд должен был разойтись по зимним стоянкам, в том числе и мой полк в свою штаб-квартиру Дербент. Назавтра главнокомандующий хотел распрощаться с нами, отправляясь в другой поход на линию, и потому народу собралось к обожаемому начальнику более обыкновенного. Алексей Петрович вышел к нам из палатки, к чаю. Кто не знает его лица, по портрету? Но тот вовсе не знает Ермолова, кто станет судить о нем по мертвому портрету. Мне кажется, ни одно лицо не одарено такою беглостию выражения, как его! Глядя на эти черты, вылитые в исполинскую форму старины, невольно переносишься ко временам римского величия; про него недаром сказал поэт:

Беги, чеченец, — блещет меч
Карателя Кубани;
Его дыханье — град картечь,
Глагол — перуны брани!
Окрест угрюмого чела
Толпятся роки боя…
Взглянул — и гибель протекла
За манием героя!

Надобно видеть его хладнокровие в час битвы. Надо любоваться им в день приемов, то осыпающего восточными цветами азиатцев, то смущающего их козни замечанием (напрасно прячут они свои коварные замыслы в самые сокровенные складки сердца; его глаз преследует, разрывает их, как червей, и за двадцать лет вперед угадывает их мысли и дела), то дружески открыто приветствующего храбрых офицеров своих, то с величавой осанкою пробегающего ряды гражданских чиновников, приехавших в Грузию на ловлю чинов или барышей. Забавно глядеть, как все, у которых нечиста совесть, мнутся, краснеют, бледнеют, когда он вперит в них пронзительный, медленный взор свой, — вы, кажется, видите, как перед глазами у виноватого проходят взяточные рубли, а в памяти — все его бездельничества; видите, какие картины ареста, следствия, суда, осуждения и наказания рисует им воображение, забегая в будущее. Зато как он умеет отличить достоинство одним взором, одною улыбкою, наградить отвагу словом, которое идет прямо от сердца и прямо к сердцу, — ну, право, дай бог век жить и служить с таким начальником!

Но если любопытно видеть его на службе, как приятно быть с ним запросто в беседе, куда каждый из людей, отличных чином, храбростию или умом, имеет свободный доступ; там нет чинов, нет завета: всяк говори и делай что хочешь, потому что только те, которые думают и делают как *должно*, составляют общество. Алексей Петрович шутит со всеми, как товарищ, учит, как отец: он не боится, что его увидят вблизи.

По обыкновению, во время чаю один из адъютантов его читал в этот раз вслух записки наполеоновского похода в Италию — эту поэму военного искусства, как называет ее главнокомандующий. Дивились, рассуждали, спорили. Замечания Алексея Петровича были светозарны, поразительны истиною. Потом пошли гимнастические игры: беганье, прыганье через огонь, пытанье силы разными образами. Вид и вечер были прелестнейшие: лагерь раскинут был обок Тарков. Над ними висит крепость Бурная, за которую склонялось солнце; под скалою — дом шамхала, потом по крутому склону — город, объемлющий лагерь, и к востоку — необозримая степь Каспийского моря. Татарские беки, черкесские князья, казаки с разных рек необъятной Руси, аманаты* с разных гор мелькали между офицерами. Мундиры, чухи, кольчуги перемешаны были живописно; песельники, музыка гремели посреди стана, и солдаты, гордо заломив шапки набекрень, толпами гуляли вдали. Все пленило пестротою, изумляло разнообразием, радовало свежестью, силою боевой жизни.

Капитан Бекович похвалился, что он отсечет кинжалом[22] голову буйволу, и сейчас привели две пары этих нескладных животных. Держали заклады, спорили, сомневались; капитан улыбался, взмахнул левою рукою огромный кинжал — и рогатая голова покатилась к ногам удивленных зрителей. Но за удивлением родилось желание сделать то же: давай рубить — все напрасно. В свите Алексея Петровича было много силачей и удальцов из русских и азиатцев, — но для этого нужна была не одна сила.

— Дети вы дети, — сказал главнокомандующий и встал, велел принести свою саблю, свой меч, не ударяющий дважды, как говаривал он. Притащили огромную тяжелую саблю, и Алексей Петрович, как ни был уверен в силе своей, но, подобен Улиссу в «Одиссее», намазывающему елеем лук свой, которого никто не мог натянуть, сперва попытал лезвие, раза три махнул саблей в воздухе и потом уже приступил к делу. Закладчики не успели ударить по рукам, как голова буйвола вонзилась рогами в землю*. Удар был так быстр и верен, что туловище несколько минут стояло на ногах и потом тихо, тихо рухнуло. Крик изумления вырвался у всех. Алексей Петрович хладнокровно посмотрел, не изубрилась ли сабля, стоящая несколько тысяч, а подарил ее в знак памяти капитану Бековичу.

Мы еще жужжали между собою, когда к главнокомандующему явился офицер линейских казаков с донесением от полковника Коцарева, который оставался на линии.

Прочитав рапорт, Алексей Петрович разгладил чело.

— Коцарев славно пощипал горцев, — сказал он нам. — Бездельники эти сделали набег за Терек, далеко прорвались за линию, пограбили одну деревню, но не только потеряли обратно полон, но все легли жертвою безрассудного молодечества.

Расспросив подробно есаула, как было дело, он велел привести пленников, которых нашли ранеными и оживили. Пятерых привели перед главнокомандующего.

Туча налетела на его чело, когда он их увидел; брови сошлись, очи сверкнули.

— Мерзавцы! — сказал он узденям. — Вы три раза присягали не разбойничать и три раза нарушали присягу. Чего недостает вам? Лугов ли? Стад ли? Защиты ли того и другого? Так нет, вы хотите брать с русских награды за имя мирных и добычу, наводя черкесов на наши деревни, разбойничая с ними вместе! Повесить их! — сказал он грозно. — Повесить на собственных воровских арканах. Пусть только бросят жеребий: четвертому воля, — велеть ему рассказать своим товарищам, что я приду научить их держать слово и *замирить* по-своему. Узденей вывели.

Остался один татарский бек, и мы лишь тогда обратили на него внимание. Это был молодой человек, лет двадцати трех, красоты необыкновенной, строен, как Аполлон Бельведерский. Он слегка поклонился главнокомандующему, когда тот подошел к нему, приподнял шапку и снова принял свою гордую, хладнокровную осанку; на лице его была написана непоколебимая покорность к судьбе своей.

Главнокомандующий смотрел ему в очи грозными очами, но тот не изменился в лице, не опустил ресниц.

— Аммалат-бек, — сказал наконец ему Алексей Петрович, — помнишь ли ты, что ты русский подданный? Что над тобой стоят русские законы?

— Мне нельзя было забыть этого, — отвечал бек, — если б в них я нашел защиту прав моих, теперь бы не стоял перед вами виновником.

— Неблагодарный мальчик! — возразил главнокомандующий. — Отец твой, ты сам враждовал против русских. Будь это при персидском владении, семьи твоей не осталось бы праха, но наш государь был так великодушен, что вместо казни даровал тебе владение. И чем заплатил ты за милость? Тайным ропотом и явным возмущением! Этого мало: ты принял и скрыл у себя заклятого врага России, ты позволил ему при своих глазах предательски изрубить русского офицера! Со всем тем, если бы ты принес покорную голову, я бы простил тебе за твою молодость, для обычаев ваших. Но ты бежал в горы и вместе с Султан-Ахмет-ханом злодействовал в границах русских, был разбит и снова сделал набег с Джембулатом. Ты должен знать, какая судьба ждет тебя.

— Знаю, — отвечал Аммалат-бек хладнокровно. — Меня расстреляют.

— Нет, пуля — слишком благородная смерть для разбойника, — произнес разгневанный генерал. — Арбу вверх оглоблями и узду на шею — вот тебе достойная награда.

— Все равно как ни умереть, только бы умереть скоро, — возразил Аммалат, — я прошу одной милости, не терзать меня судом, это тройная смерть.

— Ты стоишь сотни смертей, дерзкий! Но я обещаю тебе, так и быть, что завтра же тебя не станет. Нарядить военный суд, — сказал главнокомандующий, обращаясь к начальнику своего штаба. — Дело ясное, улики налицо, и потому кончить все в одно заседание к моему отъезду.

Он махнул рукой, и осужденного вывели.

Участь прекрасного юноши тронула всех. Все шептались о нем, все его жалели, тем более что не было средств его спасти. Каждый очень хорошо знал и необходимость наказания за двукратную измену, и неизменную волю Алексея Петровича в делах такой гласности, а потому никто не осмеливался просить за несчастного. Главнокомандующий был необыкновенно угрюм во весь остаток вечера; гости разошлись рано. Я решился замолвить за него слово, — авось, думаю, выпрошу какое-нибудь облегчение. Я отдернул полу внутренней палатки и потихоньку вошел к Алексею Петровичу. Он сидел один, подпершись обеими руками о стол, на котором лежало недописанное им прямо набело донесение к государю. Алексей Петрович знал меня еще свитским офицером; мы знакомы с ним с Кульмского поля. Здесь он был всегда ко мне очень хорош, и потому посещение мое не могло для него быть новостию. Значительно улыбнувшись, он сказал:

— Вижу, вижу, Евстафий Иванович, ты придешься под мое сердце! Обыкновенно ты входишь ко мне как на батарею, а теперь чуть ступаешь на цыпочках, — это недаром: я уверен, что с просьбой за Аммалата!

— Вы угадали, — отвечал я Алексею Петровичу, не зная, с чего начать.

— Садись же и потолкуем о том, — произнес он; потом, помолчав минуты две, дружески сказал мне: — Я знаю, что про меня идет слава, будто жизнь людей для меня игрушка, кровь их — вода. Самые жестокие завоеватели скрывали под личиной милосердия кровожадность свою. Они боялись ненавистной молвы, совершая ненавистные дела; но я — я умышленно создал себе такую славу, нарочно облек себя ужасом. Хочу и должен, чтобы имя мое стерегло страхом границы наши крепче цепей и крепостей, чтобы слово мое было для азиатцев верней, неизбежнее смерти. Европейца можно убедить, усовестить, тронуть кротостию, привязать прощением, закабалить благодеяниями; но все это для азиатца несомненный знак слабости, и с ними я, прямо из человеколюбия, бываю жесток неумолимо. Одна казнь сохранит сотни русских от гибели и тысячи мусульман от измены. Евстафий Иванович! Многие могут не верить словам моим, потому что всякий скрывает природную злость и личную месть под отговорками в необходимости, всякий с чувствительною ужимкою говорит: «Право, я бы сердечно хотел простить, но рассудите сами: могу ли я? Что после этого законы? Где общая польза?». Я никогда не говорю этого; на глазах моих не видят слезинки, когда я подписываю смертные приговоры, но сердце у меня обливается кровию!

Алексей Петрович был тронут; в волнении он прошелся несколько раз по палатке, потом сел и продолжал:

— Никогда со всем тем не была столь тяжка для меня обязанность наказывать, как сегодня. Кто, подобно мне, потерся между азиатцами, тот, конечно, перестал верить Лафатеру* и прекрасному лицу верит не более как рекомендательному письму; но взгляд, но поступь и осанка этого Аммалата произвели на меня необыкновенное впечатление: мне стало жаль его.

— Великодушное сердце — лучший вдохновитель разума, — сказал я.

— Сердце должностного человека, любезный друг, должно быть навытяжку перед умом. Конечно, я *могу* простить Аммалата, но я *должен* казнить его. Дагестан еще кипит врагами русских, несмотря на поклоны и уверения в преданности; самые Тарки готовы подняться при первом ветре с гор; надобно пересечь эти ковы казнию и показать татарам, что никакая порода не спасет преступ-

ника, что все равны перед лицом русского закона. Прости же я Аммалата, как раз все родственники наказанных прежде станут славить, что Ермолов побоялся шамхала.

Я заметил, что уважение к обширному родству его будет иметь доброе влияние на край. Особенно шамхал…

— Шамхал — азиатец, — прервал меня Алексей Петрович, — он будет радехонек, что этот претендент на шамхальство отправится в Елисейские. Впрочем, я столь же мало забочусь угадывать или угождать желаниям его родственников…

Видя, что главнокомандующий поколебался, я стал его упрашивать убедительнее.

— Заставьте меня служить за троих, — говорил я, — не отпускайте этот год в отпуск, только помилуйте этого юношу. Он молод, и Россия может найти в нем верного слугу. Великодушие никогда не падает напрасно.

Алексей Петрович качал головою.

— Я уже сделал много неблагодарных, — сказал он, — впрочем, так и быть: я его прощаю, — и не вполовину: это не моя манера. Спасибо тебе, что ты помог мне решиться быть добрым, чтобы не сказать слабым. Только помни мое слово: ты хочешь взять его к себе, — не доверяйся же ему, не отогревай змеи на сердце.

Я был так рад успехом, что, поблагодаря наскоро главнокомандующего, побежал в палатку, в которой содержался Аммалат-бек. Трое часовых окружали ее, в средине горел фонарь. Вхожу, пленник лежит на бурке; на лице сверкают слезы. Он не слышал моего прихода: так глубоко погружен был в думу, — кому весело расстаться с жизнию! Я был счастлив, что мог обрадовать его в такую горькую минуту.

— Аммалат! — сказал я. — Аллах велик, а сардар милостив, — он дарует тебе жизнь!

Восхищенный осужденник вскочил, хотел было говорить, но дух занялся в груди его, и вдруг за тем тень сомнения покрыла его лицо.

— Жизнь! — произнес он. — Я понимаю это великодушие. Истомить человека в душной тюрьме без света и воздуха или заслать его в вечную зиму, в нерассветающую ночь; погребсти его заживо в утробе земли и в самой могиле мучить каторгою, отнять у него не только волю действовать, не только удобства жить, но даже средства говорить с родными о печальной судьбе своей; запрещать ему не только жалобу, но даже ропот на ветер, — и это называете вы жизнию, и этою-то бесконечною пыткою хвалитесь как неслыханным великодушием! Скажите генералу, что я не хочу такой жизни, что я презираю такую жизнь.

— Ты ошибаешься, Аммалат, — возразил я, — ты прощен вполне; останешься тем же, чем был прежде, господин своим поместьям и поступкам, — вот твоя сабля. Главнокомандующий уверен, что ты отныне будешь обнажать ее только за русских. Предлагаю тебе одно условие: поживи со мной, покуда перепадет молва о твоем похождении. Ты будешь у меня как друг, как брат родной.

Это изумило азиатца. Слезы брызнули у него из глаз.

— Русские меня победили! — вскричал он. — Простите, полковник, что я думал худо обо всех вас. С этой поры я верный слуга русскому царю, верный друг русским, душой и саблею. Сабля моя, сабля! — примолвил он, разглядывая драгоценный клинок свой: — Пускай эти слезы смоют с тебя русскую кровь и татарскую нефть![23] Когда и чем могу заслужить я за жизнь, за волю!

Я уверен, милая Мария, ты сохранишь для меня за это дело один из самых сладостных поцелуев своих. Всегда, всегда поступая, чувствуя великодушно, я утешал себя мыслию: Мария меня похвалит за это! Но когда ж это будет, бесценная? Судьба нам мачеха. Твой траур длится, а мне главнокомандующий решительно отказал в отпуске, и я не сержусь, хоть очень досадую. Полк мой расстроен как только можно вообразить; к тому ж мне поручены постройки новых казарм и поселение женатых рот. Уезжай я на месяц, и все пойдет вверх дном. Остаюсь; но что стоит эта жертва моему сердцу!

Вот уже мы три дня в Дербенте. Аммалат живет со мною. Молчит, грустит, дичится, но страх занимателен, несмотря на это. Он хорошо говорит по-русски; я заставил его учиться грамоте. Понятливости необычайной; со временем я надеюсь сделать из него премилого татарина.

(Окончание письма не касается нашего предмета.)

Отрывок из другого письма полковника Верховского к его невесте, полгода спустя. Из Дербента в Смоленск

…Любимец твой Аммалат, милая Мария, скоро совсем обрусеет. Татарские беки первою степенью образования считают обыкновенно беззарочное употребление вина и свинины: я, напротив, начал перевоспитывать душу Аммалата. Выказываю, доказываю ему, что есть дурного в их обычаях, что хорошего в наших; толкую истины всеместные и всевечные. Читаю с ним, приохочиваю к письму и с радостию вижу, что он пристрастился к чтению и к сочинению. Говорю *пристрастился*, потому что каждое его желание, прихоть, воля есть страсть пылкая, нетерпеливая. Трудно вообра-

зить, еще труднее понять европейцу вспыльчивость необузданных или, лучше сказать, разнузданных страстей азиатца, у которого с самого младенчества одна воля была границею желаний. Наши страсти — домашние животные или хоть и дикие звери, но ручные, смирные, выученные плясать по веревке приличий, с кольцом в носу, с обстриженными когтями; на востоке они вольны, как тигры и львы. Любопытно взглянуть на лицо Аммалата, каким заревом загорается оно при первом противоречии, каким огнем загораются очи при каждом споре; но зато, едва почувствует он свою ошибку, он краснеет, бледнеет, готов плакать. «Я виноват, — говорит он, — прости меня, тахсырумдан гичь (уничтожь вину), забудь, что я виноват и что ты простил меня!» Он имеет предоброе сердце, но сердце, готовое вспыхнуть и от солнечного луча и от адской искры. Природа на зубок подарила ему все, чтобы быть человеком в нравственном и физическом смысле, но предрассудки народные и небрежность воспитания сделали все, чтоб изурочить, изувечить эти дары природы. Ум его — чудное смешение всяких несообразностей, мыслей самых нелепых и понятий самых здравых. Иногда он чрезвычайно быстро схватывает предметы отвлеченные, когда их просто излагают ему, и нередко упорно противится самым близким, самым очевидным истинам, оттого, что первые для него вовсе новы, а другие заслонены уже от него прежними верованиями и впечатлениями. Начинаю верить, что гораздо легче строить вновь, чем перестраивать старое.

Но отчего грустен и рассеян Аммалат наш? Он делает большие успехи во всем, что не требует последовательного размышления, постепенного развития; но когда дело коснется до далеких выводов, ум его походит на короткое ружье, которое бьет метко и сильно, только недалеко. Но полно, ум ли его виноват в том? Не поглощено ли его внимание чем-нибудь другим?.. Для двадцать третьего года возраста легко можно сказать, что такое это другое. Иногда он, кажется, внимательно слушает мои рассказы, — спрошу ответа, а он будто с облаков падает; иногда застаю, что слезы градом катятся у него по лицу, говорю ему, не видит и не слышит. В прошлую ночь, наконец, он метался в беспокойном сне, и слово *Селтанет*, *Селтанет (власть, власть)!* вырывалось часто из уст его. Ужели властолюбие может так мучить юное сердце? Нет, нет, иная страсть волнует душу, возмущает ум Аммалата... Мне ли сомневаться в признаках божественной болезни — любви! Он влюблен; он страстно влюблен: но в кого? О, я узнаю это!.. Дружба любопытна, как женщина.

Глава VI.
Выдержки из записок Аммалат-бека.
(Перевод с татарского)

...Спал ли я до сих пор или теперь во сне мечтаю?.. Так этот-то новый мир называется *мыслию*!.. Прекрасный мир! Ты долго был для меня мутен и слитен, как Млечный Путь, который, говорят, составлен из тысячи тысяч сверкающих звезд! Мне кажется, я всхожу на гору познания из мрака и тумана... Каждый шаг открывает мне зрение шире и далее... Грудь моя дышит свободнее, я гляжу в очи солнцу... гляжу вниз — облака шумят под ногами!.. Досадные облака! С земли вы мешаете видеть небо, с неба — разглядывать землю!

Дивлюсь, как самые простые вопросы: *отчего* и *как* не западали мне в голову прежде? Весь божий свет, со всем, что в нем есть худого и хорошего, виден был в душе моей, будто в море; только я знал о том столько же, как море или как зеркало. На памяти, правда, сохранялось многое, но к чему мне служило это? Понимает ли сокол, для чего ему надевают на глаза шапочку? Понимает ли конь, для чего куют его? Понимал ли я, почему в одном месте необходимы горы, а в другом степи, там вечные снега, а там океаны песков? Для чего нужны бури и трепетания земли? И ты, всего чуднейший человек! Мне и на мысль не вспадало, чтобы следить тебя от колыбели твоей, повешенной на кочевом вьюке, до города пышного, какого я не видал, но каким, по слухам, восхищен!.. Сознаюсь, что я пленен уже одною оболочкою книги, не постигая смысла таинственных букв... Но Верховский не только манит меня к познанию, но дает и средства присвоить их. С ним, как с матерью молодая ласточка, пытаю новые крылья... Даль и вышина еще дивят меня, но не ужасают. Придет пора, и я облечу поднебесье!..

...Однако счастливей ли я с тех пор, как Верховский и его книги учат меня мыслить? Бывало, борзый конь, дорогая сабля, меткое ружье радовали меня, как ребенка... Теперь, познав преимущества ума над телом, для меня смешна, чуть не жалка прежняя моя похвальба стрельбой и скачкою. Стоит ли посвящать себя ремеслу, в котором последний широкоплечий нукер может победить меня?.. Стоит ли полагать славу и счастье в удальстве, которого может лишить первая рана, первый неловкий скачок? У меня вырвали эту гремушку; но чем заменили ее?.. Новыми нуждами, новыми желаниями, коих не может ни утомить, ни утолить сам алла. Я считал себя важным человеком; я убедился теперь в своем ничтожестве. Прежде за памятью моего деда или прадеда начиналась для меня ночь прошлого, со своими сказками и грезами преданий... Кавказ запирал свет мой, но я спокойно спал в этой ночи.

Я полагал: быть известным в Дагестане — вершина знаменитости, — и что же? История населила прежнюю пустыню мою народами, крушившими друг друга со славою, героями, изумлявшими народы доблестию, до которой никогда нам не удастся возвыситься. И где они? Полузабыты, стлели во прахе веков. И что ж? Описание земель показало мне, что татары занимают уголок света, что они жалкие дикари в сравнении с европейскими народами и что о целом составе их, не только об их наездниках, никто не думает, не знает, да и знать не хочет! Стоит ли же труда быть светляком между червями? Стоило ли напрягать ум, чтобы убедиться в такой горькой истине?

Что мне пользы в познании сил природы, когда я не могу переменить души своей, повелевать своему сердцу! Меня учат заграждать море, а я не могу удержать слезы!.. Отвожу молнию от кровли, а не могу стряхнуть кручины! Не довольно ли я был несчастлив одними чувствами, чтобы накликать мыслей, как ястребов! Много ли выигрывает больной, узнав, что болезнь его неисцелима!.. Мучения безнадежной любви моей стали тонее, острее, разнообразнее с тех пор, как прояснел мой разум.

Нет, я несправедлив. Чтение сокращает мне долгие, как зимняя ночь, часы разлуки. Приучив меня ловить на бумагу перелетные мысли, Верховский дал мне отраду сердечную. Когда-нибудь свижусь я с Селтанетою и покажу ей эти страницы, на которых имя ее чаще, нежели имя аллы в куране… «Вот летопись моего сердца… — скажу я ей. — Погляди сюда: в такой-то день я то-то о тебе думал, в такую-то ночь я вот как видел тебя во сне! По этим листкам, как по четкам алмазным, ты можешь счесть мои воздыхания, мои по тебе слезы. О милая, милая! Ты не раз улыбнешься моим причудливым мечтам; они дадут надолго пищу разговорам нашим!.. Но возмогу ли я вспоминать прошлое, подле тебя, очаровательница?.. Нет, нет… все исчезнет тогда предо мною и вокруг меня, кроме настоящего блаженства: быть с тобою! О, как жарка и светла будет душа моя! Растопленное солнце потечет мне, я сам буду плавать в небе, как солнце! Забвение подле тебя сладостнее самой высокой мудрости!»

Читаю рассказы о любви, о прелестях женщин, об изменах мужчин, и ни одна из них не приблизится к моей Селтанете красотою души и тела, ни на одного из них не похож сам я. Завидую любезности, уму любовников книжных, но зато как вяла, как холодна любовь их! Это луч месяца, играющий по льду! Откуда набрались европейцы фарсийского пустословия*, этого пения базарных соловьев, этих цветов, вареных в сахаре? Не могу верить, чтобы люди могли пылко любить и плодовито причитать о любви своей, словно наемная плакальщица по умерших. Расточитель раскидывает сокровище на ветер горстями; любитель хранит, лелеет его, зарывает в сердце кладом!

Я молод — и спрашиваю: что такое дружба? Имею друга в Верховском, друга нежного, искреннего, предупредительного, — и не есмь друг! Чувствую, упрекаю себя, что не ответствую ему как должно, как он заслуживает; но в моей ли это воле?.. В душе нет места никому, кроме Селтанеты; в сердце нет иного чувства, кроме любви.

…Нет, не могу читать, не могу понимать, что толкует мне полковник!.. Я обманывал себя, воображая, что мне доступна лестница наук… Я утомлен на первых ступенях, теряюсь на первом затруднении, путаю нити, вместо того чтобы развивать их, дергаю, рву — и добыча моя ограничивается немногими обрывками. Обнадеживание полковника принял я за собственные успехи… Но кто, но что мешает этим успехам?.. То, что составляет счастие и несчастие моей жизни: любовь. Во всем, везде вижу и слышу Селтанету, и часто одну только Селтанету. Устранить ее от мысли моей почел бы я святотатством; да если б я захотел, то не мог бы исполнить этой решимости. Могу ли я видеть без света? Могу ли дышать без воздуха? А Селтанета мой свет, мой воздух, жизнь моя, душа моя!

…Рука моя дрожит, сердце рыщет в груди… Если бы я писал кровью моею, она бы сожгла бумагу. Селтанета! Образ твой преследует меня во сне и наяву! Воображение твоих прелестей опаснее для меня их близости! Дума, что я никогда не буду владеть ими, касаться их, может быть, видеть их, бросает меня в страстную тоску: я вместе таю и неистовствую!.. Припоминаю себе каждую милую черту твоего лица, каждое положение твоего стройного стана… и эту ножку — печать любви, и эту грудь — гранату блаженства!.. Память о твоем голосе заставляет дрожать душу, как струну, готовую порваться от высокого звука… И поцелуй твой! Поцелуй, в котором я выпил твою душу!.. Он сыплет розы и уголья на одинокое ложе мое… Я сгораю; жаркие уста томятся жаждою лобзания; рука хочет обвить стан твой, коснуться твоего колена!.. О, приди… прилети… чтобы я умер от наслаждения, как теперь умираю от скуки!..

Полковник Верховский, желая всеми способами рассеять печаль Аммалата, вздумал потешить его охотою на кабанов, любимым занятием дагестанских беков.

На зов съехалось их человек двадцать, каждый со своими нукерами, каждый желая попытать счастья, прогарцевать на поле, похвалиться удальством.

Седой декабрь осыпал уже верх окрестных гор порошею. По улицам Дербента кое-где лежал ледяной череп, но сверх его густыми волнами катилась грязь по зубристой мостовой. Лениво пле-

скало море в затопленные башни сходящих в воду стен. Сквозь туман свистели крыльями стада стрепетов и дудаков; вереницы гусей с жалобным криком мелькали над валами, — все было мрачно и угрюмо; даже глупо-несносный рев ослов, навьюченных хворостом на продажу, походил на плач по красной погоде. Присмирелые татары сидели на базарах, завертывая носы свои в шубы.

Но такая-то погода и мила охотникам.

Едва городские муллы прокричали молитву, полковник с несколькими из своих офицеров, с городскими беками и Аммалатом ехал, или, лучше сказать, плыл, верхом по грязи.

Поворотив к северу, все они выехали за город в главные ворота (Кырхлар-Капи), убитые железными пластами. Дорога, ведущая к Таркам, бедна видами: кое-где вправо и влево гряды марены, потом обширные кладбища и только к морю редкие виноградники. Зато виды сего предместия гораздо величавее южных. Влево, на скалах, виднелись Кейфары, казармы Куринского полка, а по обеим сторонам дороги лежали в живописном беспорядке огромные камни, скаченные, сброшенные и оторванные силой вод с высот нагорных.

Лес, осыпанный инеем, густел по мере приближения к Велликенту, и на каждой версте свита Верховского возрастала прибывающими беглярами и агаларами[24].

Облава была закинута влево, и скоро послышали крик гаяльщиков, собранных с окрестных деревень. Охотники растянули цепь, кто на коне, кто спешась; скоро показались и кабаны.

Тенистые леса Дагестана, изобилующие дубами, искони служат притоном многочисленным стадам вепрей, и хотя татары, как мусульмане, считают грехом прикоснуться к нечистому животному, не только есть его мясо, но истреблять их почитают они делом достойным, по крайней мере они учатся на них стрелянью и с тем вместе показывают свое удальство, ибо преследование вепрей сопряжено с большими опасностями, требует искусства и твердости духа.

Растянутая цепь ловцов занимала большое пространство. Самые бесстрашные стрелки выбирали места самые уединенные, чтобы ни с кем не делить славы удачи и для того, что на безлюдье вернее бежит зверь.

Полковник Верховский, надеясь на свои исполинские силы и меткий глаз, забрался далеко в чащу и остановился на полянке, на которой сходилось много кабаньих следов. Один-одинехонек, прислонясь к суку обрушенного дуба, нажидал он добычи. То вправо, то влево от него раздавались выстрелы; порой мелькал вдали кабан за деревьями; наконец послышался треск валежника, и скоро потом показался необыкновенной величины вепрь, который несся через поляну, как из пушки пущенное ядро.

Полковник приложился; пуля свистнула, и раненый вепрь вдруг остановился, как будто от изумления; но это было на миг; он с остервенением кинулся на выстрел; с оскаленных клыков его дымилась пена, глаза горели кровию, и он с визгом близился к неприятелю. Но Верховский не смутился, нажидая его ближе; в другой раз брякнул курок… осечка! Отсыревший порох не вспыхнул. Что оставалось делать охотнику? У него не было даже кинжала на поясе. Бегство было бы напрасно; вблизи, как нарочно, ни одного толстого дерева; только один сухой сук возвышался от лежачего подле него дуба, и Верховский бросился на него как единственное средство спасти себя от гибели. Едва успел он взобраться аршина на полтора от земли, рассвирепелый кабан ударил в сук клыком своим; затрещал сук от удара и от тяжести, на нем висящей… Напрасно Верховский порывался вскарабкаться выше по обледенелой коре: руки его скользили, он сползал, а зверь не отходил от дерева, грыз его, поражал его своими острыми клыками, четвертью ниже ног охотника… С каждым мгновением ожидал Верховский, что он падет в жертву, и голос его умирал в пустой окружности напрасно…

Нет, не напрасно!

Конский топот раздался вблизи, и Аммалат-бек прискакал как исступленный, с поднятою шашкою. Завидя нового врага, вепрь обратился к нему навстречу, но прыжок коня в сторону решил бой; удар Аммалата поверг его на землю.

Избавленный Верховский спешил обнять своего друга, но тот в запальчивости еще рубил, терзал убитого зверя.

— Я не принимаю незаслуженной благодарности! — отвечал он наконец, уклоняясь от объятий полковника.— Этот самый кабан, в глазах моих, растерзал одного табасаранского бека, моего приятеля, когда он, промахнувшись по нем, занес ногу в стремя. Я загорелся гневом, увидя кровь товарища, и пустился в погоню за кабаном. Чаща помешала мне насесть на него по следу; я было совсем потерял его, и вот бог привел меня достичь это проклятое животное, когда оно готово было поразить еще благороднейшую жертву — вас, моего благодетеля.

— Теперь мы квиты, любезный Аммалат! Не поминай про старое. Сегодня же отомстим мы зубами этому клыкастому врагу за страх свой. Я надеюсь, ты не откажешься прикушать запрещенного мясца, Аммалат?

— И даже запить его шампанским, полковник. Не во гнев Магомету, я лучше люблю закаливать душу в пене вина, чем в правоверной водице.

Облава обратилась в другую сторону: вдали слышались гай и крик и бубны гонящих татар; в другой стороне по временам раздавались выстрелы. Полковнику подвели коня, и он, любуясь надвое рассеченным кабаном, потрепал по плечу Аммалата, примолвив: «Молодецкий удар!».

— В нем разразилась месть моя, — возразил тот, — а месть азиатца тяжка!

— Ты видел, ты испытал, Аммалат, — сказал ласково полковник, — как мстят за зло русские, то есть христиане, будь же это не в упрек, а в урок тебе!

И оба поскакали к цепи.

Аммалат-бек был чрезвычайно рассеян: он то не отвечал, то невпопад отвечал на вопросы Верховского, подле которого ехал, поглядывая во все стороны… Тот, думая, что он, как горячий охотник, занят поисками, оставил его и поехал далее. Наконец Аммалат увидел, кого ждал так нетерпеливо: к нему навстречу несся эмджек его, Сафир-Али, весь забрызган грязью, на дымящейся лошади. С восклицаниями *алейкюм-селам*, оба они спрыгнули с коней и сжали друг друга в объятиях.

— Итак, ты был там, ты видел ее, ты говорил с нею?! — вскричал Аммалат, снимая с себя кафтан и задыхаясь от торопливости. — По лицу вижу, что ты привез добрые вести, и вот тебе моя новая чуха за это[25]. Живы ли, здоровы ли, любят ли меня по-прежнему?

— Дай образумиться, — возразил Сафир-Али. — Дай хоть дух перевести. Ты насыпал столько расспросов и сам я везу столько поручений, что они столпились, как бабы у дверей мечети, и растеряли свои башмаки. Во-первых, по твоему желанью, а по моему летанью, я был в Хунзахе. Пробрался так тихо, что не спугнул ни одного дрозда с дороги. Султан-Ахмет-хан здоров и дома. Он расспрашивал о тебе, преважно качал головою и спросил, не нужно ли тебе веретена рассучивать дербентский шелк. Ханша посылает чох селаммум (много приветствий) и столько же сладких пирожков. Я выбросил их на первом привале: все изломались, проклятые. Сурхай-хан, Нуцал-хан…

— Черт их побери одним разом!.. Что же Селтанета?

— Ага, наконец дотронулся до сердечной мозоли. Селтанета, милый мой, хороша, как небо с звездами; только на этом небе я видел зарницу лишь тогда, как о тебе разговаривал. Она чуть не кинулась мне на шею, когда наедине я открыл ей причину моего приезда. Я насказал ей верблюжий вьюк от тебя приветствий, уверил, что ты с любви к ней чуть жив, бедняга… а она так и заливается слезами!

— Милая, добрая душа!! Что же велела мне сказать она?

— Спроси лучше, чего не велела! Говорит, что, с тех пор как ты уехал, она и во сне не радовалась, что зимний снег выпал на ее сердце и одно только свидание с милым, как вешнее солнце, может растопить его… Впрочем, если б мне дождаться конца ее наказов, а тебе — моих пересказов, то мы оба приехали бы в Дербент с седыми бородами. Со всем тем, она чуть не выгнала меня, торопя: ей хотелось, чтобы ты ни минуты не сомневался в ее любви!

— Бесценная девушка!.. Не знаешь ты, да и сам я не умею высказать, какое блаженство мне быть с тобой, какое мученье быть в разлуке, не видеть тебя.

— То-то и есть, Аммалат; она крепко скучает, что не может наглядеться на ненаглядного; говорит: «Неужели он не может приехать хоть на денек, хоть на часок, хоть на минуточку?».

— Взглянуть на нее и потом умереть готов бы я!

— Ой, жить захочется, когда на нее взглянешь! Присмирела она против прежнего, а все еще такой живчик, что взглянет — так кровь заиграет.

— Рассказал ли ты ей, почему нельзя мне выполнить ее воли и своего страстного желания?

— Насказал таких небылиц, что ты бы подумал, будто я стихотворец персидского шаха. Расплакалась Селтанета, словно горный ключ после дождя. Рюмит, да и все тут.

— Зачем же приводить ее в отчаяние! Нельзя теперь — не значит еще: навек невозможно. Знаешь женское сердце, Сафир-Али: конец надежде — для них конец любви!

— Сеешь слова на ветер, джаным (душа моя). Надежда у влюбленных — бесконечный клубок. С холодной кровью и глазам не верится, а полюбишь — так и чудесам станешь верить. Я думаю, Селтанета надеялась бы, что ты из гроба прискачешь к ней, не то что из Дербента.

— Чем лучше гроба для меня этот Дербент? Не тем ли, что сердце чувствует нетление и не может избежать его? Здесь один труп мой: душа далеко, далеко!

— Кажется, и ум у тебя нередко изволит гулять невесть где, любезный Аммалат! Чем тебе не житье у Верховского! Волен и доволен: любим как брат меньшой, лелеем, словно невеста. Пусть так: мила твоя Селтанета; да ведь и Верховских немного. Разве нельзя принести в жертву дружбе хоть частичку любви?

— Разве я этого не делаю, Сафир-Али? Но, если б ты знал, чего мне это стоит: все равно если б я рвал на клочки сердце свое. Дружба — прекрасное дело, но она не заменит любви.

— По крайней мере она может утешить ее, может быть, помочь ей. Говорил ли ты об этом с полковником?

— Никак не решусь. Слова замирают на губах, когда вздумаю завести речь о любви своей. Он так рассудителен, что мне совестно скучать ему своим безумием; он так добр, что я не смею употребить во зло его терпения. Правду молвить, он своею откровенностию вызывает, ободряет мою. Вообрази себе, что он влюблен от самого младенчества в женщину, с которою вырос, и, верно бы, женился на ней, если б по ошибке его не поставили в списке убитых во время войны с фиренгами*. Невеста его поплакала, и, разумеется, ее выдали замуж. Вот он летит на родину и находит свою милую женою другого. Что же бы ты думал, что бы я сделал в таком случае? Вонзил кинжал в грудь похитителя сокровища… увез бы ее на край света, чтобы хоть час, хоть миг повладеть ею… или хоть

в мести насладиться за отнятое счастие! Ничего не бывало. Он узнал, что соперник его предобрый и предостойный человек. Он имел хладнокровие подружиться с ним, имел терпенье быть часто с прежнею невестою и ни словом, ни делом не изменить новому другу со старою подругою!

— Редкий человек, если это не сказка, — молвил Сафир-Али с чувством, бросив повода, — твердый друг!

— Зато какой ледяной любовник! Этого мало. Чтоб избавить от толков обоих супругов, он уехал сюда на службу. Недавно, к счастию ли, к несчастию ли его, умер его приятель-соперник*. И что ж? Ты думаешь, он бросился скакать в Россию? Нет, служба удержала его. Главнокомандующий сказал ему несколько слов, уверил, что он необходим здесь еще на год, и он остался, питая любовь свою бумагою. Может ли такой человек, со всей своей добротою, понять страсть мою!.. Притом, между нами столько разницы в летах, в понятиях! Он убивает меня своим недоступным достоинством; и все это холодит мою дружбу, вяжет искренность.

— Ты большой чудак, Аммалат: за то не любишь Верховского, что он всех более достоин любви и откровенности!

— Кто сказал тебе, что я не люблю его?.. Мне не любить его, моего воспитателя, моего благодетеля? Да и могу ли кого-нибудь не любить с тех пор, как люблю Селтанету? Я люблю весь свет, всех людей!

— Не помногу же достанется на брата, — сказал Сафир-Али.

— Стало бы ее не только напоить, но утопить весь мир! — возразил, улыбаясь, Аммалат.

— Ага! Вот что значит видеть красавиц без покрывала и потом ничего не видеть, кроме покрывал и бровей. Видно, тебе, как урмийскому соловью[26], надобна для песен клетка.

Так разговаривая, друзья скрылись в чаще леса.

Глава VII.
Отрывок из письма полковника Верховского к невесте. Дербент. Апрель

Прилети ко мне, сердце моего сердца, милая Мария! Полюбуйся на прелестную вешнюю ночь Дагестана. Тих лежит подо мною Дербент, подобен черной полосе лавы, упавшей с Кавказа и в море застылой. Ветерок навевает мне благоухание цветущих миндальных деревьев, соловьи перекликаются в ущелье, сзади крепости; все дышит жизнию и любовью, и стыдливая природа, полная сим чувством, как невеста, задернулась дымкой туманов. И как дивно разлилось их море над морем Каспийским! Нижнее колышется, как вороненая кольчуга, верхнее ходит серебряной зыбью, озаренное полною луною, которая катится по небу, словно золотая чаша, а звезды блещут кругом нее, как разбрызганные капли. Каждый миг отражение лучей луны в парах ночи изменяет картины, упреждая самое воображение, то изумляя чудесностию, то поражая новостию. Иногда кажется, будто видишь скалы дикого берега и об них в пену разбитый прибой... Валы катятся в битву, буруны крутятся, всплески летят высоко; но безмолвно, медленно опадает волнение, и серебряные пальмы возникают из лона потопа, ветер движет их стебли, играет их долгими листьями, — и вот они распахнулись парусами корабля, скользящего по воздушному океану! Видишь, как он качается: брызги дождят на грудь его, волны скользят вдоль ребер, и где он?.. Где сам я?..

Не поверишь, бесценная, какое сладостно-грустное чувство наводит на меня шум и вид моря. С ним неразлучна во мне мысль о вечности, о бесконечности, о любви нашей. Видно, сама она безгранична, как вечность. Чувствую, душа моя будто разливается и объемлет мир, подобно океану, светлыми волнами любви; она во мне и окрест меня, она единственное, великое, бессмертное во мне чувство. Искра его греет и озаряет меня в зиму горестей, в ночи сомнений. Тогда я так беззаветно люблю, так тепло верю и верую!!! Ты улыбаешься моей мечтательности, друг и подруга души моей! Ты изумляешься этому туманному наречию!.. Не вини меня. Дух мой, как жилец иного света, не может противостоять призывному мерцанию месячного луча... отрясает могильный прах, разыгрывается и, как луч месяца, обрисовывает все предметы тускло, неопределенно. Впрочем, ты знаешь, что к одной тебе пишу я все, что ни вспадет на стекло моего волшебного фонаря-сердца, уверенный, что сердцем, а не привязчивым умом будешь ты разгадывать сказанное. Притом, в августе месяце счастливый жених твой будет лично пояснять все темные места в своих письмах. Не могу вздумать без восхищения о минуте встречи нашей!.. Я считаю песчинки часов, разлучающие нас, считаю версты, между нами лежащие. Итак, в половине июня ты будешь на кавказских водах? Итак, лишь одна ледяная цепь Кавказа останется между двумя пылкими сердцами... Как близко и как еще неизмеримо далеко будем мы друг от друга! О, сколько бы лет жизни отдал я, чтобы приблизить час свидания! Души наши обручены так давно... для чего ж разлучены доселе?..

Аммалат мой скрытен и недоверчив. Я не виню. Я знаю, как трудно переломить привычки, всосанные с матерним молоком и с воздухом родины. Варварский деспотизм Персии, столь долго

владевший Адербиджаном, воспитал в кавказских татарах самые низкие страсти, ввел в честь самые презрительные происки. Да могло ли быть иначе в правлении, основанном на размене крупного деспотизма на мелкий, где и самая справедливость суда поражает украдкою, где хищение есть преимущество власти?.. Делай со мною, что хочешь, но позволь мне делать с нижними, что я хочу, — вот азиатское управление, честолюбие и нравственность. От этого каждый, находясь между двумя врагами, привыкал прятать свои мысли, как свои деньги. От этого каждый старался лукавить перед сильным, чтобы добыть через него силу, и перед богатым, чтобы выжать из него взятку угнетением или доносом. От этого здешний татарин не скажет слова, не ступит шага даром, не подарит огурца без надежды получить за него отдарка. Грубый до дерзости с каждым, кто не облечен властию, он плашмя перед чином, перед полным карманом. Горстями сыплет лесть, отдает вам дом, детей, душу свою, для того чтобы словами уклонить от себя дело, и если делает услугу, то верно по расчету. В делах денежных (это самая слабая сторона татар) червонец есть камень преткновения: трудно вообразить, до какой степени падки они до выгод! Армяне тысячу раз ниже их в характере, но едва ли они уступят им в продажности, в корыстолюбии... Et c'est tout dire[27]. Мудрено ли же, что, с младенчества видя такие примеры, Аммалат хотя и сохранил в себе свойственное благородной крови отвращение ко всему низкому, но принял скрытность как необходимое оборонительное оружие против явных злодеев своих и тайных недоброхотов? Священные узы родства почти не существуют для азиатца. У них сын — раб своего отца, брат — его соперник. Нет доверия к ближнему, потому что нет верности ни в ком. Ревность к женам и подозрение в подысках задушают братство и дружество. Ребенок, воспитанный матерью-невольницею, не знающий ласки отца и потом задушенный арабскою грамотою, скрывается в самом себе даже и от товарищей; с первых ногтей заботится только о себе. С первым пухом на бороде для него закрыты все двери и все сердца: мужья смотрят на него искоса, женщины бегут, как от зверя, и первые, самые невинные движения его сердца, первый голос человечества, первое стремление природы — суть уже преступления перед изуверским магометанством. Он не смеет открыть их родному, доверить приятелю... Он должен даже плакать тайно от других.

Все это говорю я, милая Мария, в извинение Аммалату: полтора года живет он у меня и до сих пор не открылся мне, кого любит, хотя очень мог видеть, что не из пустого любопытства, а из душевного участия хотел я вызнать тайны его сердца. Наконец он рассказал мне все, и вот как это случилось.

Вчера я выехал с Аммалатом прогуляться за город. Мы поднялись по ущелию в гору, на запад; далее и далее, выше и выше, мы незаметно очутились подле деревни Кемек, рядом с которою видна уже стена*, защищавшая некогда Персию от набегов кочевых народов закавказских степей, часто громивших ее границы. Дербентская летопись (Дербент-наме*) приписывает, но неверно, ее незапамятную постройку какому-то Исфендиару; вот начало молвы, передавшей сей труд Искендару, то есть Александру Великому, никогда в этих краях не бывавшему. Царь Нуширван* отрыл, возобновил ее, поселил при ней стражу. Не раз впоследствии была она поправляема и снова падала в прах, зарастала, как теперь, вековыми деревьями. Осталось поверье, будто стена эта от Каспия шла до Черного меря[28], пересекая весь Кавказ, имея крайними *железными воротами* Дербент*, а средними Дарьял; но это более чем сомнительно вообще, хотя несомненно в частном. Следы ее, видимые далеко в горах, прерываются только обрывами и ущелиями до военной дороги, но оттуда к Черному морю, кажется, по Мингрелии, нет никаких признаков продолжения.

Я с любопытством рассматривал эту огромную стену, укрепленную частыми башнями, дивясь величию древних, даже в самых безумных прихотях деспотизма, величию, до которого достигнуть не дерзают и мыслию, не только исполнением, нынешние женоподобные властители Востока. Чудеса Вавилона, Меридово озеро*, пирамиды фараонов, бесконечная ограда Китая и эта стена, проведенная в местах диких, безлюдных, по высям хребтов, по безднам ущелий, — свидетели железной, исполинской воли и необъятной власти прежних царей. Ни время, ни землетрясения не могли совершенно разрушить трудов тленного человека, и пята тысячелетий не совсем раздавила, не совсем втоптала в землю остатки древности незапамятной. Места эти возбуждали во мне еще благоговейные думы... Я бродил по следам великого Петра*, я воображал его, основателя, преобразователя юного царства, на сих развалинах дряхлеющих царств Азии, из среды коих вырвал он Русь и мочной десницею вкатил в Европу. Какой огонь сверкал тогда в орлином взоре его, брошенном с выси Кавказа! Какие гениальные думы звездились в уме, какие святые чувства вздымали геройскую грудь! Великая судьба отечества развивалась перед его очами, вместе с горизонтом; в зеркале Каспия зрелась ему картина будущего благоденствия России, им посеянного, окропленного кровавым его потом. Не пустые завоевания, но победа над варварством, но благо человечества были его целию. Дербент, Бака, Астрабат — вот звенья цепи, которою хотел он опутать Кавказ и связать торговлю Индии с русскою. Полубог севера! Ты, которого создала природа, чтобы польстить гордости человека и привести в отчаяние недоступным величием! Твоя тень возникла передо мной, огромна и лучезарна, и водопад веков, казалось, рассыпался в пену у твоих стоп[29]. Задумчив и безмолвен ехал я далее.

Кавказская стена одета с севера тесаными плитами, чисто и крепко на извести сложенными. Многие зубцы еще целы, но слабые семена, запавшие в трещины, в спаи, раздирают камни корнями деревьев, из них произросших, и в союзе с дождями низвергают долу громады, и по развалинам

всходят, будто на приступ, раины, дубы, гранаты. Орел невозмутимо вьет гнездо в башне, когда-то полной воинами, и на очаге, внутри ее, холодном уже несколько веков, лежат свежие кости диких коз, натасканные туда чакалами. Инде исчезал вовсе след развалин, и потом отрывки стены возникали снова из-под травы и леса. Так проехав версты три вдоль, достигли мы до ворот и проехали на южную сторону, сквозь свод, подернутый мохом и заросший кустарником. Не успели мы сделать двадцать шагов, как вдруг, за огромною и высокою башнею, наткнулись на шестерых вооруженных горцев, по всем приметам принадлежащих к разбойничьим шайкам вольных табасаранцев. Они лежали в тени, близ пасущихся коней своих. Я обомлел. Я тогда только раздумал, как безрассудно поступил, заехав так далеко от Дербента без конвоя. Скакать назад было невозможно по кустам и каменьям; драться с шестерыми удальцами было бы отчаянно; со всем тем я схватился за седельный пистолет; но Аммалат-бек, увидев дело, опередил меня, сказав тихо: «Не беритесь за оружие, или мы погибли».

Разбойники, заметив нас, вскочили и выправили ружья; только один широкоплечий, видный, с самым зверским лицом лезгин остался лежащим на земле; он хладнокровно приподнял голову, посмотрел на нас и махнул своим рукою. В одну минуту мы очутились в кругу их, между тем как узкая тропа вперед заграждена осталась атаманом.

— Прошу долой с коней, милые гости, — произнес он, улыбаясь; но видно было, что вторым приглашением будет пуля. Я мешкал, но Аммалат-бек проворно соскочил с коня и прямо пошел к атаману.

— Здорово, — сказал он ему, — здорово, сорвиголова! Не чаял я тебя видеть; я думал, из тебя уж давно черти лапшу сделали.

— Скоро ездишь, Аммалат-бек, — отвечал тот. — Я надеюсь еще выкормить здешних орлов телами русских и вашей братьи татар, у которых киса больше, чем сердце.

— Ну что, какова ловля, Шемардан? — спросил небрежно Аммалат-бек.

— Было плохо. Русские сторожки, и разве с лезвия случалось угнать полковой табун или продать в горы человек двух солдат. С мареной и шелком громоздко возиться, а персидских тканей стали мало возить на арбах. Приходилось и сегодня порыскать и повыть даром по-волчьи, да, спасибо, аллах смилостивился: в руки дал богатого бека и русского полковника!

У меня замерло сердце, когда я услышал эти слова.

— Не продавай сокола в небе, — возразил Аммалат, — продавай, когда посадишь его на перчатку.

Разбойник сел, схватился за курок ружья и устремил на нас проницательные взоры.

— Послушай, Аммалат, — сказал он. — Неужели вы думаете убежать от меня? Неужели дерзнете защищаться?

— Будь покоен, — возразил Аммалат. — Что мы за глупцы — идти двум на шестерых? Любо нам золото, однако душа дороже. Попались, так нечего делать; лишь бы ты не заломил беспутной цены за выкуп. У меня, сам ты знаешь, ни отца, ни матери, а у полковника и подавно ни роду, ни племени.

— Нет отца, так есть наследство от отца. Ведь мне с тобою не роднею считаться. Впрочем, я человек совестливый: нет червонцев, так я возьму и баранами; а про полковника ты не пой мне песен: я знаю, что за него отдадут все солдаты последнюю пуговицу с мундира. Уж коли за Швецова дали выкупу* десять тысяч рублевиков, за этого дадут и больше. Впрочем, увидим, увидим! Коли будете смирны... Я ведь не джеуд (жид) какой, не людоед, первиадер (всевышний) прости.

— Ну, то-то же, приятель, корми да пои нас хорошенько, так присягу даю и честью моей заверяю, мы не задумаем ни бить тебя, ни бежать от тебя.

— Верю, верю! Люблю, что без шуму дело сладили. Какой ты молодец стал, Аммалат: конь не конь, ружье не ружье, загляденье, да и только! Покажи-ка, друг, кинжал свой? Верно, кубачинская насечка на ножнах?

— Нет, кизлярская, — отвечал Аммалат, покойно растягивая поясок кинжала. — Да клинок-то посмотри: диво! Гвоздь пополам, словно свечку. На этой стороне имя мастера; на, хоть сам читай: Али-уста Казанищский.

И между тем он повертывал обнаженным клинком перед глазами жадного лезгина, который хотел показать, что знает грамоте, и со вниманием разбирал связную надпись...

Но вдруг кинжал сверкнул как молния: Аммалат, улуча миг, рубнул Шемардана по голове со всего размаху, и удар был столь жесток, что кинжал остановился в зубах нижней челюсти. Труп рухнул на траву. Не сводя глаз с Аммалата, я последовал его примеру и положил из пистолета ближнего ко мне разбойника, державшего за узду моего коня. Это было знаком к бегству остальных бездельников, как будто со смертью атамана расторгся узел своры, на которую были они привязаны.

Между тем как Аммалат, по азиатскому обычаю, снимал с убитых оружие и связывал вместе повода оставленных коней, я выговаривал ему за его притворство и клятвы перед разбойником. Он с удивлением поднял голову:

— Чудный вы человек, полковник, — возразил он мне. — Этот злодей наделал исподтишка русским тьму вреда, то пожигая стоги сена, то уводя в плен одиноких солдат-дровосеков! Знаете ли, что он бы замучил, истиранил нас, для того чтобы мы пожалобнее писали к своим и тем более дали выкупу.

— Все это так, Аммалат, — сказал я, — но лгать, но клясться не должно ни в шутке, ни в беде. Разве не могли мы прямо кинуться на разбойников и начать тем, чем кончили?

— Нет, полковник, не могли. Если б я не заговорил атамана, нас бы при первом движении пронзили пулями. Притом, я знаю эту сволочь весьма хорошо: они храбры только в глазах атамана, и с него надобно было начать расправу.

Я качал головою. Азиатское коварство хотя и спасло меня, но не могло мне понравиться. Какую веру могу я иметь к людям, привыкшим играть честью и душою.

Мы собрались было садиться на коней, когда услышали стон раненного мною горца. Он очнулся, приподнялся и жалобно умолял нас не покидать его на съеденье зверям лесным. Мы оба кинулись помогать несчастному, и каково было удивление Аммалата, когда он узнал в нем одного из нукеров Султан-Ахмет-хана Аварского. На вопрос, как он попал в шайку разбойников, он отвечал:

— Шайтан соблазнил меня. Хан послал меня в соседнюю деревню Кемек, с письмом к славному гакиму (доктору) Ибрагиму, за какой-то травой, что, говорят, всякую болесть как рукой снимает. На беду повстречал меня на дороге Шемардан! Пристал: поедем да поедем со мной наездничать, из Кубы едет армянин с деньгами. Не утерпело сердце молодецкое... Ох, алла, гиль алла! Вынул он из меня душу.

— Тебя послали за лекарством, говоришь ты? — спросил Аммалат. — Да кто же у вас болен?

— Наша ханум Селтанета при смерти; вот и писанье к лекарю про болезнь ее.

При этом слове он отдал Аммалату серебряную трубочку, в которую вложена была свитая бумажка.

Аммалат побледнел как смерть; руки его дрожали, очи скрылись под бровями, когда пробегал он записку... Прерывающимся голосом повторял он несвязные слова:

— Не ест, не спит уже три ночи... бредит! Жизнь ее в опасности, спасите! Боже правды! А я здесь веселюсь, праздничаю, в то время как душа души моей готова покинуть землю и оставить меня тлеющим трупом! О, да падут на голову мою все ее болезни[30], да лягу я в гроб, если этим искупится ее здоровье! Милая, прелестная девушка! Ты вянешь, роза Аварии, и на тебя простерла судьба свои железные когти!.. Полковник! — вскричал он, наконец, схватив меня за руку. — Исполните мою единственную священную просьбу: позвольте мне хоть еще однажды взглянуть на нее...

— На кого, друг мой?

— На мою бесценную Селтанету, на дочь хана Аварского, которую люблю более, чем жизнь, чем душу свою... Она больна, она умирает, может быть уже умерла теперь, когда я теряю слова даром! И не я принял в сердце последний взор, последний вздох ее, не я отер ледяную слезу кончины. О, зачем угли разрушенного солнца не падут на мою голову, зачем не погребет меня земля в своих развалинах?

Он упал на грудь мою и, задушенный тоскою, рыдал без слез, не могши промолвить слова.

Не время было упрекать его в недоверчивости, еще менее представлять причины, по которым ему бы неприлично было ехать ко врагу русских. Есть обстоятельства, перед которыми рассыпаются в прах все приличия, и я чувствовал, что Аммалат находился в подобных. На свой страх решился я отпустить его. Кто обязывает от чистого сердца и скоро, тот обязывает дважды, — моя любимая пословица и твердое правило. Я сжал в объятиях тоскующего татарина, и слезы наши смешались.

— Друг Аммалат! — сказал я: — Спеши, куда зовет тебя сердце. Дай бог, чтобы ты привез туда выздоровление, а оттуда покой душевный... Счастливый путь!

— Прощайте, благодетель мой! — произнес он, тронутый. — И, может быть, навек. Я не ворочусь к жизни, если алла отнимет у меня Селтанету. Бог да хранит вас!

Мы завезли раненого аварца к гакиму Ибрагиму, взяли у него по рецепту ханскому травы целительной, и через час Аммалат-бек с четырьмя нукерами выехал уже из Дербента.

Итак, загадка разгадалась: он любит. Это плохо, а еще того хуже, что он любим взаимно. Я вижу, милая, я слышу твое изумление. «Может ли то быть несчастием для другого, чего ждешь ты для себя как благополучия?..» — спрашиваешь ты. Одно зернышко терпения, ангел души моей! Хан, отец Селтанеты, — непримиримый враг России, тем более что, будучи взыскан царскими милостями, он изменил оным; следственно, брак возможен только в таком случае, если Аммалат изменит русским или хан смирится перед ними и будет прощен; обе вещи малосбыточные. Я сам испытал горе, безнадежное в любви; я много пролил слез на уединенное изголовье мое, и сколько раз жаждал могильной тени, чтобы простудить в ней бедное сердце! Могу ли же не жалеть юноши, которого люблю бескорыстно, который любит безнадежно! Но это не намостит моста к счастью, и потому думаю, что если б он не имел несчастья быть любимым взаимно, он бы понемногу забыл ее.

«Однако, — говоришь ты (и мне кажется, я слышу твой серебристый голос, любуюсь твоей ангельскою улыбкою), — однако обстоятельства могут перемениться для них, как они переменились для нас. Неужели одно несчастие имеет привилегию быть вечным на свете?..» Не спорю, милая, но со вздохом признаюсь: сомневаюсь... даже боюсь и за них и за нас. Судьба улыбается нам, надежда поет сладкие песни, но судьба — море, надежда — сирена морская; опасна тишина первого, гибельны обеты второй. Все, кажется, споспешествует нашему соединению, но вместе ли мы? Не понимаю, отчего, милая Мария, холод вникает в грудь вместе с самыми жаркими мечтами о будущем блаженстве и мысль о свидании потеряла свою определенность. Но это все момент, все обратится в наслаждение, когда я прижму твою ручку к устам своим, твое сердце к своему сердцу! Ярче сверкает радуга на черном поле туч, и самые счастливейшие мгновения суть междометия горести.

Глава VIII

Аммалат загнал двух коней и бросил на дороге нукеров своих; зато к концу другого дня был уже невдалеке от Хунзаха. С каждым шагом росло его нетерпение, и с каждым шагом увеличивался страх не застать в живых свою милую. Он затрепетал, когда показались ему из утесов верхи башен ханского дома… В глазах померкло. «Жизнь или смерть встречу я там!» — молвил он в самом себе и, скрепя сердце, удвоил бег коня.

Он настиг всадника, вооруженного с головы до ног; другой всадник ехал из Хунзаха ему навстречу, и едва завидели и разглядели они друг друга, пустили коней вскачь, съехались, соскочили на землю и вдруг, обнажив сабли, с ожесточением кинулись друг на друга, не вымолвя ни одного слова, как будто бы удары были обычным дорожным приветствием.

Аммалат-бек, которому они заградили узкую тропинку между скал, с изумлением смотрел на бой двух противников; он был короток. Попутный всадник упал на камни, обливая их кровью из разверстого черепа; победитель, хладнокровно отирая полосу, обратил слово к Аммалату.

— Кстати приход твой! Я рад, что судьба привела тебя в свидетели нашего поединка. Бог, а не я, убил обидчика, и теперь родные его не скажут, что я умертвил врага украдкою из-за камня, не подымут на мою голову мести крови.

— За что встала ссора у тебя с ним? — спросил Аммалат. — За что заключил ты ее такой ужасною местью?

— Этот харам-зада*, — отвечал всадник, — не поладил со мной за подел грабленых баранов, в досаде мы всех их перерезали: не доставайся же никому… И он дерзнул выбранить жену мою. Пускай бы он лучше опозорил гроб отца и доброе имя матери, нежели тронул славу жены! Я было кинулся на него с кинжалом, да нас разняли; мы стакнулись при первой встрече рубиться, и вот аллах рассудил нас. Бек, верно, едет в Хунзах, верно, в гости к хану? — примолвил всадник.

Аммалат, заставляя своего коня перепрыгнуть через труп, лежащий поперек дороги, отвечал утвердительно.

— Не в пору едешь, бек, очень не в пору!

Вся кровь кинулась в голову Аммалата.

— Разве в доме хана случилось какое несчастье? — спросил он, удерживая коня, которого за миг прежде ударил плетью, чтобы скорей домчаться до Хунзаха.

— Не то чтобы несчастье: у него крепко была больна дочь Селтанета, и теперь…

— Умерла? — вскричал Аммалат, бледнея.

— Может быть, и умерла; по крайней мере умирает. Когда я проезжал мимо ханских ворот, на дворе поднялась такая беготня и плач и вой женщин, будто русские берут Хунзах приступом… Заезжай, сделай милость…

Но Аммалат уже не слышал ничего более; он стремглав ускакал от удивленного узденя, только пыль катилась дымом с дороги, словно зажженной искрами, сыплющимися из-под копыт. Быстро прогремел он по извилистым улицам, взлетел на гору, спрыгнул с коня среди двора ханского и, задыхаясь, пробежал по переходам до комнаты Селтанеты, опрокидывая, расталкивая нукеров и прислужниц, и, наконец, не приметив ни хана, ни жены его, прорвался до самого ложа больной и почти без памяти упал при нем на колени.

Внезапный, шумный приход Аммалата возмутил печальное общество присутствующих.

Селтанета, в которой кончина пересиливала уже бытие, будто проснулась из томительного забытья горячки; щеки ее горели обманчивым румянцем, как осенний лист перед паденьем, в туманных глазах догорали последние искры души; уже несколько часов была она в совершенном изнеможении, безгласна, неподвижна, отчаянна. Ропот неудовольствия в окружающих и громкие восклицания исступленного Аммалата, казалось, воротили отлетающий дух больной… Она вспрянула… Глаза ее заблистали…

— Ты ли это, ты ли?! — вскричала она, простирая к нему руки. — Аллах берекет*!.. Теперь я довольна! Я счастлива, — промолвила она, опускаясь на подушки.

Улыбка сомкнула уста ее, ресницы упали, и она снова погрузилась в прежнее беспамятство.

Отчаянный Аммалат не внимал ни вопросам хана, ни выговорам ханши; никто, ничто не отвлекало его внимания от Селтанеты, не исторгало из скорби глубокой. Его насилу могли вывести из комнаты больной. Прильнув к ее порогу, он рыдал неутешно, то умоляя небо спасти Селтанету, то обвиняя, укоряя его в ее болезни. Трогательна и страшна была тоска пылкого азиатца.

Между тем появление Аммалата произвело на больную спасительное влияние. То, чего не могли или не умели сделать горные врачи, произошло от случая. Надобно было пробудить онемевшую жизненную деятельность сильным колебанием — без этого она погибла бы, не от болезни, уже затихшей, но от изнеможения, как лампа, гаснущая не от ветра, но от недостатка воздуха. Наконец молодость взяла верх; после перелома жизнь опять разыгралась в сердце умиравшей. После долгого, кроткого сна она пробудилась с обыкновенными силами, с свежими чувствами.

— Мне так легко, матушка, — сказала она ханше, весело озираясь, — будто я вся из воздуха. Ах, как сладостно отдохнуть от болезни; кажется, и стены мне улыбаются. Да, я была очень боль-

на, долго больна; я много вытерпела; теперь, слава аллаху, я только слаба, это пройдет скоро; я чувствую, что здоровье, как жемчуг, катится у меня по жилам. Все прошлое представляется мне в каком-то мутном сне. Мне виделось, будто я погружаюсь в холодное море и сгораю жаждою; вдали носились, будто во мраке и в тумане, две звездочки; тьма густела и густела; я погрязала ниже и ниже. И вдруг показалось мне, что кто-то назвал меня по имени и могучею рукою выдернул из леденеющего, безбрежного моря… Лицо Аммалата мелькнуло передо мной, словно наяву, звездочки вспыхнули молниею, и она змеей ударила мне в сердце; больше не помню…

На другой день Аммалату позволили видеть выздоравливающую.

Султан-Ахмет-хан, видя, что от него не добиться путного ответа, покуда сомнение не стихнет в душе, кипучей страстью, склонился на его неотступные просьбы.

— Пускай все радуются, когда я радуюсь, — сказал он и ввел гостя в комнату дочери.

Селтанету предупредили, но со всем тем волнение в ней было чрезвычайно, когда очи ее встретились с очами Аммалата, столь много любимого, столь долго и напрасно ожидаемого. Оба любовника не могли вымолвить слова, но пламенная речь взоров изъяснила длинную повесть, начертанную жгучими письменами на скрижалях сердца. На бледных щеках друг друга прочитали они следы тяжких дум и слез разлуки, следы бессонницы и кручины, страхов и ревности. Пленительна цветущая краса любимой женщины; но ее бледность, ее болезненная томность — очаровательны, восхитительны, победны! Какое чугунное сердце не растает от полного слез взора ее, который без упрека, нежно говорит вам: «Я счастлива, я страдала от тебя и для тебя!».

Слезы брызнули из глаз Аммалата, но, вспомнив наконец, что он тут не один, он оправился, поднял голову, но голос отказывался вылиться словом, и он насилу мог сказать:

— Мы очень давно не видались, Селтанета!

— И едва не расстались навечно, — отвечала Селтанета.

— Навечно? — произнес Аммалат полуукорительным голосом. — И ты могла думать это, верить этому? Разве нет иной жизни, жизни, в которой не ведомо горе, ни разлука с родными и с милыми? Если бы я потерял талисман своего счастия, с каким бы презрением сбросил я с себя ржавые, тяжкие латы бытия! Для чего бы мне тогда сражаться с роком?

— Жаль, что я не умерла, коли так, — возразила Селтанета шутя, — ты так заманчиво описываешь замогильную сторону, что хочется поскорее перепрыгнуть в нее.

— О нет, живи, живи долго, для счастия, для… — *любви,* — хотел примолвить Аммалат, но покраснел и умолкнул.

Мало-помалу розы здоровья опять раскинулись на щеках довольной присутствием милого девушки. Все опять пошло обычной чередою.

Хан не уставал расспрашивать Аммалата про битвы и походы и устройство войск русских; ханша скучала ему спросами о платьях и обычаях женщин их и не могла пропустить без воззвания к аллаху ни одного раза, слыша, что они ходят без туманов*. Зато с Селтанетой находил он разговоры и рассказы прямо по сердцу. Малейшая безделка, друг до друга касающаяся, не была опущена без подробного описания, повторения и восклицания. Любовь, как Мидас, претворяет все*, до чего ни коснется, в золото и ах! часто гибнет, как Мидас, не находя ничего вещественного для пищи.

Но с крепнущими силами, с расцветающим здоровьем Селтанеты на чело Аммалата чаще и чаще стали набегать тени печали. Иногда вдруг среди оживленного разговора он останавливался внезапно, склонял голову, и прекрасные глаза его подергивались слезною пеленою, и тяжкие вздохи, казалось, расторгали грудь; то вдруг он вскакивал, очи сверкали гневом, он с злобной улыбкою хватался за рукоять кинжала и после того, будто пораженный невидимою рукою, впадал в глубокую задумчивость, из которой не могли извлечь его даже ласки обожаемой Селтанеты.

Однажды, в такую минуту, любовники были глаз на глаз. С участьем склонясь на его плечо, Селтанета молвила:

— Азиз (милый), ты грустишь, ты скучаешь со мной?

— Ах, не клевещи на того, кто любит тебя более неба, — отвечал Аммалат, — но я испытал ад разлуки и могу ли без тоски вздумать о ней. Легче, во сто раз легче мне расстаться с жизнию, чем с тобою, черноокая!

— Ты думаешь об этом… стало быть, желаешь этого.

— Не отравляй моей раны сомнением, Селтанета. До сих пор ты знала только цвести, подобно розе, порхать, подобно бабочке; до сих пор твоя воля была единственною твоею обязанностью. Но я мужчина, я друг; судьба сковала на меня цепь неразрешимую, цепь благодарности за добро; она влечет меня к Дербенту.

— Долг! Обязанность! Благодарность! — произнесла Селтанета, печально качая головою. — Сколько золотошвейных слов изобрел ты, чтобы ими, как шалью, прикрыть свою неохоту остаться здесь. Разве не прежде ты отдал душу свою любви, нежели дружбе?.. Ты не имел права отдавать чужое! О, забудь своего Верховского, забудь русских друзей и дербентских красавиц!.. Забудь войну и славу, добытую убийствами. Я ненавижу с тех пор кровь, как увидела тебя, ею облитого. Не могу без содрогания вздумать, что каждая капля ее стоит неосушимых слез сестре, или матери, или милой невесте. Чего недостает тебе, чтобы жить мирно, покойно в горах наших? Сюда никто

не придет возмутить оружием счастия душевного. Кровля наша не каплет, плов у нас не купленого пшена, у отца моего много коней и оружия, много казны драгоценной; у меня в душе много любви к тебе. Не правда ли, милый, ты не едешь, ты останешься с нами?

— Нет, Селтанета, я не могу, я не должен здесь остаться! С тобою одной провести жизнь, для тебя кончить ее — вот моя первая мольба, мое последнее желанье; но исполнение обоих зависит от отца твоего. Священный союз связывает меня с русскими, и, покуда хан не примирится с ними, явный брак с тобою мне невозможен… и не от русских, но от хана…

— Ты знаешь отца моего, — грустно сказала Селтанета, — с некоторого времени ненависть к неверным усилилась в нем до того, что он не пожалеет принести ей в жертву и дочь и друга. Особенно он сердит на полковника за то, что убил его любимого нукера, посланного за лекарством к гакиму Ибрагиму.

— Я уже не раз заводил речь с Ахмет-ханом о моих надеждах, и всегдашним ответом его было: поклянись быть врагом русских, и тогда я выслушаю тебя.

— Стало быть, надобно сказать *прости* надежде?

— Зачем же надежде, Селтанета! Зачем не сказать только *прости, Авария*!

Селтанета устремила на него свои выразительные очи.

— Я не понимаю тебя, — произнесла она.

— Полюби меня выше всего на свете: выше отца и матери и милой родины, и тогда ты поймешь меня. Селтанета! Жить без тебя я не могу, а жить с тобою не дают мне… Если ты любишь меня, бежим отсюда!..

— Бежать, дочери ханской бежать, как пленнице, как преступнице!.. Это ужасно!.. Это неслыханно!

— Не говори мне этого… Если необыкновенна жертва, то необыкновенна и любовь моя. Вели мне отдать тысячу раз жизнь свою, и я кину ее с усмешкою, будто медную пулу[31]; брошу в ад душу свою за тебя, не только жизнь. Ты напоминаешь мне, что ты дочь хана; вспомни, что и мой дед носил, что мой дядя носит корону шамхальскую!.. Но не по этому сану, а по этому сердцу я чувствую, что достоин тебя, и если есть позор быть счастливым вопреки злобы людей и прихотей рока, то он весь падет на мою, не на твою голову.

— Но ты забыл месть отца моего!

— Придет пора, и он сам забудет ее. Видя, что дело свершено, он отбросит неумолимость; сердце его не камень; да если б было и камень, то слезы повинные пробьют его, наши ласки его тронут!.. Счастие приголубит тогда нас крылами, и мы с гордостью скажем: «Мы сами поймали его».

— Милый мой! Я мало живу на свете, а что-то в сердце говорит, что неправдой не изловить счастья!.. Подождем, посмотрим, что аллах даст. Может, и без этого средства совершится союз наш.

— Селтанета! Аллах дал мне эту мысль… Вот его воля!.. Умоляю тебя: сжалься надо мною… Бежим, если ты не хочешь, чтобы час брака пробил над моею могилою. Я дал честное слово возвратиться в Дербент и должен сдержать его, сдержать скоро; но уехать без надежды увидать тебя и с опасением узнать тебя женою другого — это ужасно, это нестерпимо! Не из любви, так из сожаления раздели судьбу мою, не лишай меня рая, не доводи меня до безумства. Ты не знаешь, до какой степени может увлечь обманутая страсть: я могу забыть и гостеприимство и родство, разорвав все связи человеческие, попрать ногами святыню, смешать кровь мою с драгоценною мне кровью, заставить злодеев содрогаться от ужаса при моем имени и ангелов плакать от моих дел… Селтанета! Спаси меня от чужих проклятий, от своего презрения, спаси меня от самого меня!.. Нукеры мои бесстрашны, кони — ветер, ночь темна; бежим в благодатную Россию, покуда перейдет гроза. В последний раз умоляю тебя; жизнь и смерть, слава и душа моя в одном слове твоем: да или нет?

Обуреваемая то страхом девическим и уважением к обычаям предков, то любовью и красноречием любовника, неопытная Селтанета, как легкая пробка, летала по мятежным бурунам противоположных страстей. Наконец она встала, с гордым, решительным видом отерла слезы, сверкавшие на ресницах, как янтарная смола на иглах лиственницы, и сказала:

— Аммалат! Не обольщай меня: огонь любви не ослепит, дым ее не задушит во мне совести; я всегда буду знать, что хорошо и что худо, и очень ведаю, как стыдно, как неблагодарно покинуть дом отеческий, огорчить любимых, любящих меня родителей; знаю, и теперь измерь же цену моей жертвы: я бегу с тобою… я твоя! Не язык твой убедил, а сердце твое победило меня. Аллах судил мне встретить и полюбить тебя — пусть же будут связаны сердца наши вечно и крепко, хотя бы терновым венком! Теперь все кончено: твоя судьба — моя судьба!

Если бы небо обняло Аммалата необъятными своими крыльями, прижав к сердцу мира, солнцу, и тогда бы восторг его был не сильнее, как в эту божественную минуту. Он излился в нестройных словах и восклицаниях благодарности. Когда стихли первые порывы, любовники условились во всех подробностях побега. Селтанета согласилась спуститься на простынях из спальни своей на крутой берег Узени. Аммалат выедет вечером из Хунзаха со своими нукерами, будто на дальнюю соколиную охоту, и окольными путями воротится к ханскому дому, когда ночь падет на землю; он на руки свои примет милую спутницу. Потом они тихомолком доберутся до коней, и тогда враги прочь с дороги!

Поцелуй запечатлел обеты, и счастливцы расстались со страхом и надеждою в сердцах.

Аммалат-бек, изготовя к побегу и бою удалых нукеров своих, с нетерпением смотрел на солнце, которое, будто ревнуя, не хотело сойти с теплого неба в холодные кавказские ледники. Как жених, жаждал он ночи и, как докучного гостя, провожал он глазами светило дня. Сколь медленно шло, ползло оно к закату! Еще целый век пути оставался между желаньем и счастьем.

Безрассудный юноша! Что порука тебе за удачу? Кто уверит тебя, что твои шаги не сочтены, твои слова не пойманы на лету? Может быть, с солнцем, которое ты бранишь, закатится твоя надежда!

Часу в четвертом за полдень, в обычное время мусульманского обеда, Султан-Ахмет-хан был обыкновенно дик и мрачен. Глаза его недоверчиво блистали из-под нахмуренных бровей; долго останавливал он их то на дочери, то на молодом госте своем; иногда черты лица его принимали насмешливое выражение, но оно исчезало в румянце гнева; вопросы его были колки, разговор отрывист — и все это пробуждало в душе Селтанеты раскаяние, в сердце Аммалата — опасенье. Зато ханша-мать, словно предчувствуя разлуку с милой дочерью, была так ласкова и предупредительна, что эта незаслуженная нежность исторгала слезы у доброй Селтанеты, и взор, брошенный украдкою Аммалату, был ему пронзительным укором.

Едва совершили после обеда обычное умовенье рук, хан вызвал на широкий двор Аммалата; там ждали их оседланные кони и толпа нукеров сидела уже верхом.

— Поедем попытать удали новых моих соколов, — сказал хан Аммалату, — вечер славный, зной опал, и мы успеем еще до сумерек заполевать птичку-другую!

С соколом на руке безмолвно ехал хан рядом с беком; влево, по крутой скале, лепился аварец, забрасывая железные когти, на шесте прикрепленные, в трещины, и потом, на гвозде опершись, подымался выше и выше. На поясе у него привязана была шапка с семенами пшеницы; длинная винтовка висела за плечами. Хан остановился, указал на него Аммалату и значительно сказал:

— Посмотри на этого старика, Аммалат-бек. Он в опасности жизни ищет стопы земли на голом утесе, чтобы посеять на ней горсть пшеницы. С кровавым потом он жнет ее и часто кровью своею платит за охрану стада от людей и зверей. Бедна его родина; но спроси, за что любит он эту родину, зачем не променяет ее на ваши тучные нивы, на ваши роскошные паствы? Он скажет: «Здесь я делаю что хочу, здесь я никому не кланяюсь; эти снега, эти гольцы берегут мою волю». И эту-то волю хотят отнять у него русские, как отняли у вас, и этим-то русским стал ты рабом, Аммалат!

— Хан! Ты знаешь, что не русская храбрость, а русское великодушие победило меня: не раб я, а товарищ их.

— Тем во сто раз хуже и постыднее для тебя! Наследник шамхалов ищет серебряного темляка, хвалится тем, что он застольник полковника!

— Умерь слова свои, Султан-Ахмет! Верховскому обязан я более чем жизнию: союз дружбы связал нас.

— Может ли существовать какая-нибудь священная связь с гяурами? Вредить им, истреблять их, когда можно, обманывать, когда нельзя, суть заповеди курана и долг всякого правоверного.

— Хан! Перестанем играть костями Магомета и грозить тем другому, чему сами не верим. Ты не мулла, я не факир* и имею свои понятия о долге честного человека.

— В самом деле, Аммалат-бек? Не худо, однако ж, если бы ты чаще держал это на сердце, чем на языке. В последний раз позволь спросить тебя: хочешь ли послушать советов друга, которого меняешь ты на гяура? Хочешь ли остаться с нами навсегда?

— Жизнь бы свою отдал я за счастье, которое предлагаешь ты мне так щедро, но я дал обет воротиться и сдержу его.

— Это решительно?

— Непременно.

— Итак, чем скорее, тем лучше. Я узнал тебя, ты меня знаешь издавна; обиняки и лесть между нами некстати. Не скрою, что я всегда желал видеть тебя зятем своим; я радовался, что тебе полюбилась Селтанета. Плен твой на время удалил мои замыслы; твое долгое отсутствие, слухи о твоем превращении огорчали меня. Наконец ты явился к нам и все нашел по-прежнему; но ты не привез к нам прежнего сердца. Я надеялся, ты опять нападешь на прежний путь, и обманулся, горько обманулся! Жаль, но делать нечего: я не хочу иметь зятем слугу русских…

— Ахмет-хан! Я однажды…

— Дай мне кончить. Твой шумный приезд, твое исступление у порога больной Селтанеты открыли всем и твою привязанность и наши взаимные намерения. Во всех горах прославили тебя женихом моей дочери… но теперь, когда разорван союз, пора рассеять и слухи. Для доброй славы моего семейства, для спокойствия моей дочери тебе должно оставить нас, и теперь же. Это необходимо, это неизменно. Аммалат! Мы расстанемся добрыми друзьями; но *здесь* увидимся только родными, не иначе. Да обратит алла твое сердце и приведет к нам нераздельным другом… До тех пор прости!

С этим словом хан поворотил коня и поскакал во весь опор, вправо к своему поезду.

Если б на сонного Аммалата упал гром небесный, и тогда он не был бы так изумлен, испуган, как этим неожиданным объяснением. Уже давно и пыль легла на след хана, но Аммалат все еще стоял неподвижен на том же холме, чернея в зареве заката.

Глава IX

Для укрощения мятежных дагестанцев полковник Верховский с полком своим стоял в селении Кяфир-Кумык лагерем. Палатка Аммалат-бека разбита была рядом с его палаткою, и в ней Сафир-Али, развалившись небрежно на ковре, потягивал донское, несмотря на запрещение пророка. Аммалат-бек, худой, бледный, задумчивый, лежал, склонив голову на валек, и курил трубку. Уже три месяца прошли с той поры, как он, изгнанник рая, скитался с отрядом в виду гор, куда летело его сердце и не смела ступить нога. Тоска источила его, досада пролила желчь на его прежде радушный нрав. Он принес жертву своей привязанности к русским и, казалось, упрекал в ней каждого русского. Неудовольствие пробивалось в каждом его слове, в каждом взгляде.

— Прекрасная вещь — вино! — приговаривал Сафир-Али, преисправно осушая стаканы. — Верно, Магомету попались на аравитском солнце прокислые подонки, когда он запретил виноградный сок правоверным. Ну право, эти капли так сладки, будто сами ангелы с радости наплакали своих слез в бутылки. Эй, выпей еще хоть стаканчик, Аммалат-бек. Сердце твое всплывет на вине легче пузырька. Знаешь, что пел про него Гафиз?..

— А ты знаешь? Не докучай, добро, Сафир-Али, мне своим вздором, ни даже под именем Саади* и Гафиза*.

— Эка беда! Ну да хоть бы этот вздор был мой доморощенный, он не серьга, в ухе не повиснет. Небось когда заведешь сказку про свою царицу Селтанету, я гляжу тебе в рот, как тому искуснику, который ел огонь и мотал из-за щек бесконечные ленты. Тебя заставляет говорить чепуху любовь, а меня донское; вот мы и квиты!.. Ну-тка, за здравие русских!

— Что полюбились тебе эти русские?

— Скажи лучше, отчего разлюбил ты их?

— Оттого, что разглядел поближе. Право, ничем не лучше наших татар. Так же падки на выгоды, так же охочи пересуживать, и не для того, чтобы исправить ближнего, а чтобы извинить себя; а про лень их и говорить нечего. Долго они властвуют здесь, а что сделали доброго, какие постановили твердые законы, какие ввели полезные обычаи, чему нас выучили, что устроили они порядочного! Верховский открыл мне глаза на недостатки моих одноземцев, но с этим вместе я увидел и недостатки русских, которые тем больше непростительны, что они знают полезное, выросли на добрых примерах, и здесь, будто забыв свое назначение, свою деятельную природу, понемногу утопают в животном ничтожестве.

— Надеюсь, ты не включаешь в это число Верховского?

— Не только его, и других наберем в особый круг; зато многих ли их?

— Ангелы и в небе на перечете, Аммалат-бек, а Верховскому, право, хоть молиться можно за его правду, за его доброту. Есть ли хоть один татарин, который бы сказал про него худо?.. Есть ли солдат, что не отдаст за него души?.. Абдул-Гамид! Еще вина! Ну-тка, за здоровье Верховского!

— Избавь! Я не стану теперь пить за самого Магомета!

— Если у тебя сердце не так черно, как глаза Селтанеты, ты неотменно выпьешь за Верховского, хоть бы это было при краснобородых яхунтах[32] дербентских шагидов, хотя бы все имамы и шихи[33] не только облизывались, но огрызались на тебя за такое святотатство.

— Не выпью, — говорю я тебе.

— Послушай, Аммалат! Я готов за тебя напоить допьяна черта своей кровью, а ты не хочешь для меня выпить вина!

— То есть в этот раз не стану пить; а не стану потому, что не хочу, а не хочу потому, что кровь и без вина бродит во мне, как молодая буза.

— Пустые отговорки! Не в первый раз мы пьем, не впервые у нас кровь кипит… Скажи лучше прямо: ты сердит на полковника?

— Очень сердит!

— Можно ли узнать за что?

— За многое. Давно уже стал подливать он каплю по капле яду в мед дружбы своей… Теперь эти капли переполнили и пролили чашу. Терпеть не могу таких полутеплых друзей! Щедр он на советы, не скуп и на поучение, то есть на все, что не стоит ему никакого труда, никакого риска.

— Понимаю, понимаю. Верно, он не пустил тебя в Аварию?

— Если бы ты носил в груди мое сердце, ты бы понял, каково было мне услышать такой отказ. Как давно манил он меня этим и вдруг отринул самые неявные просьбы, разбил в пыль, как хрустальный кальян, самые лестные ожидания… Ахмет-хан, верно, смягчился, когда присылал сказать, что желает видеть меня, и я не могу спешить к нему, лететь к Селтанете!

— Поставь-ка, брат, себя на его месте и потом скажи, не так ли же бы поступил ты сам?

— Нет, не так. Я бы просто сказал с самого начала: «Аммалат! Не жди от меня никакой помощи!». Я и теперь не прошу от него помощи, прошу только, чтобы он не мешал мне, так нет: он, заграждая от меня солнце всех радостей, уверяет, что делает это из участия, что это впереди принесет мне счастие!.. Не значит ли это отравлять в сонном питье?

— Нет, друг. Если оно и в самом деле так, то сонное питье дают тебе, как человеку, у которого хотят что-нибудь вырезывать для исцеления. Ты думаешь об одной любви своей, Верховскому же надобно хранить без пятна и твою и свою честь, а вы оба окружены недоброхотами. Поверь, что так или иначе, только он вылечит тебя.

— Кто просит его лечить меня? Эта божественная болезнь, любовь, — моя единственная отрада! И лишить меня ее — все равно что вырвать из меня сердце за то, что оно не умеет биться по барабану…

В это время вошел в ставку незнакомый татарин, подозрительно осмотрелся кругом и с низким наклонением головы поставил перед Аммалатом туфли свои. По азиатскому обычаю это значило, что он просит тайного разговора. Аммалат понял его, кивнул головою, и оба вышли на воздух. Ночь была темна, огни погасли, и цепь часовых раскинута далеко впереди.

— Здесь мы одни, — сказал Аммалат-бек татарину. — Кто ты и что тебе надобно?

— Мое имя Самит. Я дербентский житель, секты сунни, и теперь служу в отряде, в числе мусульманских всадников. Порученье мое важнее для тебя, чем для меня… *Орел любит горы*!

Аммалат вздрогнул и недоверчиво взглянул на посланца: то была условная поговорка, которой ключ написал ему Султан-Ахмет заранее.

— Как не любить гор! — отвечал он. — В горах много ягнят для орла, *много серебра для человека*.

— *И булата для витязей (игидов)*.

Аммалат схватил посланца за руку.

— Здоров ли Султан-Ахмет-хан? — спросил он торопливо. — Какие вести принес ты от него? Давно ли видел его семью?..

— Не отвечать, а спросить я прислан. Хочешь ли ты за мною следовать?

— Куда? Зачем?

— Ты знаешь, кто прислал меня, — этого довольно; если не веришь ему, не верь и мне, — в том твоя воля и моя выгода. Чем лезть в петлю ночью, я и завтра успею известить хана, что Аммалат не смеет выехать из лагеря!

Татарин попал в цель. Щекотливый Аммалат вспыхнул.

— Сафир-Али! — вскричал он громко. Сафир-Али встрепенулся и выбежал из палатки.

— Вели подвесть себе и мне хоть неоседланных коней и с тем вместе сказать полковнику, что я поехал осмотреть поле за цепью: не крадется ли какой бездельник под часового. Ружье и шашку, да мигом!

Коней подвели. Татарин вскочил на своего, привязанного неподалеку, и все трое понеслись к цепи. Сказали пароль и отзыв и мимо секретов понеслись влево по берегу быстрой Узени.

Сафир-Али, который очень неохотно расстался с бутылкою, ворчал на темноту, на кусты и овраги и очень сердито покрякивал подле Аммалата, но видя, что никто не начинает разговора, решился сам завести его.

— Прах на голову этого проводника, — сказал он. — Черт знает, куда ведет и куда заведет он нас. Пожалуй, еще продаст лезгинам ради богатого выкупа… Не верю я этим косым.

— Я и прямоглазым мало верю, — отвечал Аммалат. — Но этот косой прислан от друга. Он не изменит нам.

— А чуть надумает что-нибудь похожее, так при первом движении я распластаю его, как дыню. — Эй, приятель, — закричал Сафир-Али проводнику, — ради самого царя джинниев (духов), ты, кажется, сговорился с терновником оборвать с чухи моей галуны. Неужто не нашел ты попросторнее дороги? Я, право, не фазан и не лисица.

Проводник остановился.

— Правду сказать, я слишком далеко завел такого неженку, как ты, — возразил он. — Оставайся здесь постеречь коней, покуда мы с Аммалат-беком сходим, куда следует.

— Неужели ты пойдешь в лес без меня с этой разбойничьей харею? — шепнул Сафир-Али Аммалату.

— То есть ты боишься остаться здесь *без меня*? — возразил Аммалат, слезая с коня и отдавая ему повод. — Не поскучай, милый. Я оставлю тебя в прелюбезной беседе волков и чакалов. Слышишь, как они распевают?

— Дай бог, чтобы мне не пришлось выручать твои кости от этих певчих, — сказал Сафир-Али.

Они расстались.

Самит повел Аммалата между кустами над рекою и, прошедши с полверсты между каменьями, начал спускаться книзу. С большою опасностию лезли они по обрыву, хватаясь за корни шиповника, и, наконец, после трудного пути, спустились до узкого жерла небольшой пещеры, вровень с водою. Она была вымыта потоком, когда-то быстрым, но теперь иссякшим. Известковые, трубчатые капельники и селитряные кристаллы сверкали от огня, разложенного посредине. В глуби лежал Султан-Ахмет-хан на бурке и, казалось, нетерпеливо ожидал, чтобы Аммалат огляделся в густом

дыме, клубившемся в пещере. Ружье со взведенным курком лежало у него на коленях; космы его шапки играли на ветре, который дул из расселины. Он приподнялся приветливо, когда Аммалат-бек кинулся к нему с приветом.

— Я рад тебя видеть, — сказал он, сжимая руку гостя, — рад и не скрываю чувства, которого не должно бы мне хранить. Впрочем, я не для пустого свидания ступил ногою в кляпцы и потревожил тебя. Садись, Аммалат, и посудим о важном деле.

— Для меня, Султан-Ахмет-хан?

— Для нас обоих. С отцом твоим водил я хлеб-соль; было время, когда и тебя считал я своим другом…

— Только считал?..

— Нет, ты и был им и навсегда бы остался им, если б между нами не прошел лукавец Верховский.

— Хан, ты не знаешь его.

— Не только я, скоро ты сам его узнаешь!.. Но начнем с того, что касается до Селтанеты. Аммалат, тебе известно, ей нельзя век сидеть в девках. Это был бы зазор моему дому, и я откровенно скажу тебе, что за нее уже сватаются.

Сердце будто оторвалось в Аммалате; долго не мог он собраться с духом. Наконец, оправясь, он дрожащим голосом спросил:

— Кто этот смельчак жених?

— Второй сын шамхала, Абдул-Мусселим. После тебя, по высокой крови своей, он больше других горских князей имеет права на Селтанету.

— После меня? после меня? — вскричал вспыльчивый бек, закипая гневом. — Разве меня хоронили? Разве и память моя погибла между друзьями?

— Ни память, ни сама дружба не умерла, по крайней мере, в моем сердце. Но будь справедлив, Аммалат, столько же, как я откровенен. Забудь, что ты судья в своем деле, и реши: что должно нам делать? Ты не хочешь расстаться с русскими, а я не могу с ними помириться.

— О, только пожелай этого, только скажи слово, и все забыто, все прощено тебе. В этом ручаюсь я тебе головою и честью Верховского, который не раз мне обещал свое ходатайство. Для собственного блага, для спокойствия аварцев, для счастия твоей дочери и моего блаженства умоляю тебя: склонись к примирению, и все будет забыто, все прежнее возвращено тебе!

— Как смело ручаешься ты, доверчивый юноша, за чужую пощаду, за чужую жизнь!.. Уверен ли ты в своей собственной жизни, в собственной свободе?

— Кому нужна моя бедная жизнь! Кому дорога воля, которой не ценю я сам?

— Кому? Дитя, дитя! Неужели ты думаешь, что у шамхала не вертится под головой подушка, когда в голову забирается дума, что ты, настоящий наследник шамхальства тарковского, в милости у русского правительства?

— Я никогда не надеялся на его приязнь и никогда не побоюсь его вражды.

— Не бойся, но и не презирай ее. Знаешь ли, что гонец, посланный к Ермолову, минутою опоздал приехать и упросить его: не давать пощады, казнить тебя, как изменника. Он и прежде готов бывал убить тебя поцелуем, если б мог, а теперь, когда ты отослал к нему слепую дочь его, он не скрывает к тебе своей ненависти.

— Кто посмеет тронуть меня под защитой Верховского?

— Послушай, Аммалат, я скажу тебе побасенку: баран ушел на поварню от волков, и радовался своему счастью, и хвалился ласками приспешников. Через три дня он был в котле. Аммалат, это твоя история! Пора открыть тебе глаза. Человек, которого считал ты своим первым другом, первый предал тебя. Ты окружен, опутан изменою. Главное желание мое свидеться с тобою было долгом предупредить тебя. Сватая Селтанету, мне дали от шамхала почувствовать, что через него я вернее могу примириться с русскими, нежели через безвластного Аммалата, что тебя скоро удалят так или сяк, безвозвратно, следственно, нечего бояться твоего совместничества. Я подозревал еще более, и узнал более, чем подозревал. Сегодня перехватил я шамхальского нукера, которому поручены были переговоры с Верховским, и пыткою выведал от него, что шамхал дает пять тысяч червонцев, чтобы извести тебя… Верховский колеблется и хочет послать только в Сибирь навечно. Дело еще не решено, но завтра отряд идет по домам, и они согласились съехаться в твоем доме, в Буйнаках, торговаться о крови или кровавом поте твоем: будут составлять ложные доносы и обвинения, будут отравлять тебя за твоим же хлебом и ковать в чугунные цепи, суля золотые горы.

Жалко было видеть Аммалата во время этой ужасной речи. Каждое слово, как раскаленное железо, вторгалось в сердце его. Все, что доселе таилось в нем утешительного, благородного, высокого, вспыхнуло вдруг и превратилось в пепел. Все, во что он веровал так охотно и так долго, рушилось, распадалось в пожаре негодования. Несколько раз порывался он говорить, но слова умирали в каком-то болезненном стоне, и, наконец, дикий зверь, которого держал в усыплении Аммалат, сорвался с цепи: поток проклятий и угроз пролился из уст разъяренного бека.

— Месть, месть! — восклицал он. — Неумолимая месть, и горе лицемерам!

— Вот первое достойное тебя слово, — сказал хан, скрывая радость удачи. — Довольно ползал ты змеем, подставляя голову под пяту русских; пора взвиться орлом под облака, чтобы сверху блюсти врага, недосягаемого стрелами. Отражай измену изменою, смерть смертью!

— Так, смерть и гибель шамхалу, хищнику моей свободы; гибель Абдул-Мусселиму, который дерзнул простереть руку на мое сокровище!

— Шамхал? Сын его, семья его? Стоят ли они первых подвигов? Их всех мало любят тарковцы, и если мы пойдем на шамхала войною, нам все его семейство выдадут в руки. Нет, Аммалат, ты должен сперва нанести удар подле себя, сверзить своего главного врага: ты должен убить Верховского.

— Верховского! — произнес Аммалат, отступая. — Да!.. Он враг мой, но он был моим другом, он избавил меня от позорной смерти!

— И вновь продал на позорную жизнь!.. Хорош друг! Притом же ты сам избавил его от кабаньих клыков, достойной смерти свиноеду! Первый долг заплачен; остается заплатить за второй — за участь, которую он готовит тебе так коварно…

— Чувствую… это должно… Но что скажут добрые люди? Что будет вопиять совесть моя?

— Мужу ли трепетать перед бабьими сказками и плаксивым ребенком совестью, когда идет дело о чести и мести? Я вижу, Аммалат, что без меня ты ни на что не решишься, не решишься даже жениться на Селтанете. Слушай: если ты хочешь быть достойным зятем моим, первое условие — смерть Верховского. Его голова будет калым за невесту, которую ты любишь, которая любит тебя. Не одна месть, но и сама здравая расчетливость требует смерти полковника. Без него весь Дагестан останется без головы и оцепенеет на несколько дней от ужаса. В это время налетим мы на рассеявшихся по квартирам русских. Я сажусь на коня с двадцатью тысячами аварцев и акушинцев, и мы падем с горы на Тарки, словно снежная туча. Тогда Аммалат — шамхал дагестанский обнимет меня как друга, как тестя. Вот мои замыслы, вот судьба твоя! Выбирай любое: или вечную ссылку, или смелый удар, который сулит тебе силу и счастье. Думай, решайся; но знай, что в следующий раз мы встретимся или родными, или врагами непримиримыми!

Хан исчез.

Долго стоял Аммалат, обуреваемый, пожираемый новыми, ужасными чувствами. Наконец Самит напомнил ему, что время возвратиться в лагерь. Не зная сам, как и где, взобрался он вслед за своим таинственным провожатым на берег, нашел коня и, не отвечая ни слова на тысячи вопросов Сафир-Али, примчался в свою палатку. Там все муки душевного ада ожидали его. Тяжка первая ночь бедствия, но еще ужаснее первая ночь кровавых дум злодейства.

Глава X

— Замолчишь ли ты, змееныш? — говорила татарка внуку своему, который, проснувшись перед светом, плакал от безделья. — Умолкни, говорю, или я выгоню тебя на улицу.

Старуха эта была мамка Аммалата. Сакля, в которой жила она, стояла вблизи палат бекских и подарена ей была ее воспитанником. Она состояла из двух чистенько выбеленных комнаток. Пол в обеих устлан циновками (гасиль); в частых нишах, без окон, стояли сундуки, обитые жестью, и на них наложены перины, одеяла и вся рухлядь. По карнизам, на половине высоты стены, расставлены были фаянсовые чашки для плову, с жестяными на них, в виде шлемов, колпаками, и повешены ребром на проволоке тарелочки, в коих просверленные скважины доказывали, что они служат не для употребления, а для красы. Лицо старухи покрыто было морщинами и выражало какую-то злую досаду, обыкновенное следствие одинокой, безрадостной жизни всех мусульманок. Как достойная представительница своих ровесниц и землячек, она ни на одну минуту не переставала ворчать про себя и вслух бранить внука из-под стеганого своего одеяла.

— Кесь (молчи)! — вскричала наконец она еще сердитее: — Кесь! Или я отдам тебя гоулям (чертям)! Слышишь, как они царапаются по кровле и стучатся за тобой в двери?

Ночь была ненастна, и крупный дождь по плоской кровле, составляющей вместе потолок, и стон ветра в трубе вторили ее хриплому голосу. Мальчик притих и, выпуча глаза, со страхом прислушивался. В самом деле послышалось, будто кто-то стучит в двери. Старуха перепугалась в свою очередь. Всегдашняя ее собеседница, лохматая собака подняла спросоньев морду и залаяла прежалобным голосом.

Но между тем удары в дверь усилились, и незнакомый голос проревел за нею:

— Ачь капины, ахырын ахырыси (отвори дверь, на конец концов)!

Старуха побледнела.

— Аллах бисмаллах!.. — произнесла она, то обращаясь к небу, то грозя собаке, то унимая плачущего ребенка. — Цыц, проклятая! Молчи, говорю я тебе, харамзада (бездельник, сын позора)! Кто там? Какой добрый человек пойдет ни свет ни заря в дом к бедной старухе! Если ты шайтан, ступай к соседке Кичкине: ей давно пора в ад показать дорогу! Если чоуш (десятник), что, правду сказать, немножко похуже шайтана, так убирайся прочь. Зятя нет дома, он в нукерах при Аммалат-беке, да меня же бек давным-давно освободил от постоя, а на угощенье приезжих дармоедов не жди от меня ни яйца, не то чтобы утенка. Разве я даром выкормила грудью Аммалата?

— Да отворишь ли ты, чертово веретено? — с нетерпением вскричал голос. — Или я из этой двери не оставлю тебе на гроб дощечки!

Хилые затворы затрещали на петлях своих.

— Милости просим, милости просим! — сказала старуха, дрожащей рукой отстегивая закладку.

Дверь распахнулась, и вошел человек среднего роста, прекрасной, но угрюмой наружности.

Он был в черкесском платье; с башлыка его и белой бурки струилась вода; он без всяких обиняков сбросил ее на перину и начал развязывать лопасти башлыка, которые закрывали ему лицо до половины. Фатьма, вздув в это время свечу, стояла перед ним со страхом и трепетом; усастая собака, прижав хвостик, съежилась в углу, а мальчик с испугу залез в камелек, который для красы никогда не был топлен.

— Ну, Фатьма, спесива стала, — сказал незнакомец, — не узнаешь ныне старых знакомцев…

Фатьма вгляделась в черты пришельца, и у ней отлегло от сердца: она узнала Султан-Ахмет-хана, который от Кяфир-Кумыка примчался в одну ночь в Буйнаки.

— Пусть песок засыплет глаза, которые не узнали своего старого господина! — произнесла она, почтительно сложив руки на груди. — Правду молвить, потухли они в слезах по своей родине, по Аварии. Прости, хан, старухе.

— Что твои за лета, Фатьма! Я тебя помню маленькою девочкою в Хунзахе, когда сам я насилу мог доставать воронят из гнезда.

— Чужая сторона хоть кого старит, хан! В родимых горах я бы по сих пор была свежа как яблочко, а здесь так словно снежный ком, с горы упавший на долину. Прошу сюда, хан, здесь покойнее. Да чем мне потчевать дорогого гостя? Не угодно ли чего душе ханской?

— Душе ханской угодно, чтоб ты его попотчевала своей доброй волею.

— Я в твоей воле, хан. Говори, приказывай.

— Слушай, Фатьма, мне некогда терять ни слов, ни часов. Вот зачем я приехал сюда. Сослужи мне службу языком, так будет чем потешить твои старые зубы. Я подарю тебе десять баранов и одену в шелк с головы до башмаков.

— Десять баранов и платье, шелковое платье! О, милостивый ага! О, добрый мой хан! Не видывала я здесь таких господ с тех пор, как увезли меня эти проклятые татары и выдали за немилого… Все готова сделать, хан, хоть ухо режь.

— Резать незачем, надобно только востро держать его. Вот в чем дело: к вам сегодня приедет Аммалат с полковником, приедет и шамхал тарковский. Полковник этот приколдовал к себе молодого твоего бека и, научив есть свинину, хочет окрестить его христианином, от чего да сохранит его Магомет.

Старуха оплевывалась, возводя очи к небу.

— Чтобы спасти Аммалата, надо поссорить его с полковником. Для этого ты приди к нему, кинься в ноги, расплачься, как на похоронах, ведь слез тебе не занимать ходить к соседкам; разбожись, как дербентский лавочник, вспомня, что каждую клятву твою повезет дюжий баран, и, наконец, скажи ему, что ты подслушала разговор полковника с шамхалом, что шамхал жаловался за отсылку дочери, что он ненавидит его из боязни, чтобы он не завладел шамхальством, что он умолял полковника позволить убить его из засады или отравить в кушанье, а тот соглашался только заслать его в Сибирь за тридевять гор. Одним словом, выдумай и распиши все покраснее. Ты искони славилась сказками; не съешь же теперь грязи и пуще всего упирайся на то, что полковник, едучи в отпуск, возьмет его с собою в Георгиевск, чтобы разлучить с родными и преданными нукерами и оттоле скованного отправить к черту.

Султан-Ахмет прибавил к сему все нужные подробности для придания этой сказке самой правдоподобной наружности и раза два учил старуху, как ловче ввернуть их в речь.

— Ну, помни же все хорошенько, Фатьма, — сказал он, надевая бурку. — Не забудь и того, с кем имеешь дело.

— Валла, билла! Пусть будет мне пепел вместо соли, пусть нищенский чурок закроет мне глаза, пусть…

— Не корми шайтанов своими клятвами, а услужи мне речами. Я знаю, что Аммалат верит тебе крепко, и если ты для пользы же его хорошо сладишь дело, он уедет ко мне и тебя привезет туда же. Заживешь под моим крылышком припеваючи. Но повторяю тебе: если ты нечаянно или нарочно изменишь мне или помешаешь своею болтовнею, то я из твоего старого мяса напеку шайтанам кебаба[34].

— Будь покоен, хан: им нечего делать ни за меня, ни со мною. Я буду хранить тайну, как могила, а на Аммалата надену сорочку свою[35].

— Ну то-то же, старуха. Вот тебе золотая печать на губы; постарайся!

— Башуста, гез-уста![36] — вскричала старуха, с жадностию схватив червонец и целуя руки хана за этот подарок.

Султан-Ахмет-хан с презрением взглянул на это ползающее существо, выходя из сакли.

— Гадина, — проворчал он, — за барана, за кусок парчи готова бы ты продать и тело дочери, и душу сына, и счастие воспитанника!

Он не подумал, какое имя заслуживал он сам, опутывая друга коварством и нанимая для низкой клеветы, для злодейских намерений подобных существ.

Отрывок из письма полковника Верховского к его невесте. Лагерь близ селения Кяфир-Кумык. Август

…Аммалат любит, но как любит! Никогда, и в самом пылу моей юности, не доходила любовь моя до такого исступления. Я горел, как кадило, зажженное лучом солнца, он пышит, как запаленный молниею корабль на бурном море. С тобою, Мария, мы не раз читали Шекспирова «Отелло», и только неистовый Отелло может дать идею о тропической страсти Аммалата. Он часто и долго любит говорить о своей Селтанете, и я сам люблю внимать его огнедышащему красноречию. Порой это мутный водопад, извергнутый глубокою пещерою; порой это пламенный ключ нефти бакинской. Какие звезды сыплют тогда его очи, какой зарницею играют щеки, как он прекрасен бывает тогда! В нем нет ничего идеального, но зато земное величаво, пленительно. Увлеченный, тронутый сам, я принимаю на грудь свою изнемогшего от восторга юношу, и он долго, медленными вздохами дышит и потом, склонив очи, опустив голову, будто стыдясь глядеть на свет, не только на меня, сжимает мне руку и неверною стопою уходит прочь, а после того целый день не выманишь у него слова.

Со времени возврата своего из Хунзаха он стал еще мрачнее прежнего; особенно в последние дни. Он так старательно кроет самое высокое, самое благородное чувство, сближающее человека с божеством, как будто оно позорная слабость или ужасное преступление. Он убедительно просился съездить еще раз в Хунзах повздыхать на свою красавицу, и я отказал ему, отказал для его же пользы. Я уже давно писал к Алексею Петровичу о моем баловне, и он велел привезти его с собой на воды, где будет сам. Он хочет дать ему поручения к Султан-Ахмет-хану, которые принесут несомненные выгоды и России и Аммалату… О, как счастлив буду я его счастием! Мне, мне будет обязан он блаженством жизни, не только пустою жизнию. Я заставлю его стать перед тобой на колени и скажу: *боготвори ее*! Если бы сердце мое не было проникнуто любовью к Марии, ты не овладел бы Селтанетой.

Вчера получил я летучку от главнокомандующего; великодушный человек! Он дает крылья счастливым вестям. Все кончено, милая, бесценная. Я еду к тебе на воды! Только доведу полк до Дербента — и в седло. Не буду знать устали днем, ни дремоты ночью, покуда не отдохну в твоих объятиях. О, кто мне даст крылья на перелет! Кто даст сил вынести мое, *наше* благополучие!.. Я в сладком страхе сжимал грудь, чтобы не выпорхнуло сердце. Долго не мог я уснуть: воображение рисовало мне встречу в тысяче видах, и в промежутках мелькали самые вздорные, но приятные заботы о свадебных безделках, подарках, уборах; ты будешь в моем любимом зеленом цвете… не правда ли, душа моя?.. Мечты мешали мне заснуть, как сильное благоухание роз. Зато тем сладостнее, тем светлее был сон. Я видел тебя в сиянии зари, и раз за разом иначе, и каждый раз прелестнее, чем сперва. Сновидения вились цветочною вязью… иль нет, между ними не было никакой связи; то были чудные образы, выпадающие в калейдоскопе, столь же пестрые, столь же неуловимые. Со всем тем я проснулся сегодня грустен; пробуждение отняло у младенческой души моей любимую игрушку. Я зашел в палатку к Аммалату… Он еще спал, лицо его было бледно и сердито. Пускай сердится на меня; я предвкушаю уже благодарность бурного юноши. Я, как судьба, втайне создаю ему наслаждение…

Сегодня я прощался с здешними горами, надолго, желал бы навсегда. Я очень рад, что покидаю Азию, эту колыбель рода человеческого, в которой ум доселе остался в пеленках. Изумительна неподвижность азиатского быта в течение стольких веков. Об Азию расшиблись все попытки улучшения и образования; она решительно принадлежит не времени, а месту. Индийский брамин, китайский мандарин, персидский бек, горский уздень неизменны, те же, что были за две тысячи лет. Печальная истина! Они изображают собою однообразную, хотя и пеструю, живую, но бездушную природу. Мечи и бичи покорителей не оставили на них, как на воде, никаких рубцов; книги и примеры миссионеров не произвели ни малейшего влияния. Иногда меняли они еще пороки, но никогда не приобрели чужих познаний или доблестей. Я покидаю землю плода, чтобы перенестись в землю труда, этого великого изобретателя всего полезного, одушевителя всего великого, этого будильника души человеческой, заснувшей здесь негою, на персях прелестницы природы. И в самом деле, как прелестна здесь природа! Вскакав на высокую гору влево от Кяфир-Кумыка, я любовался на рассветающие вершины Кавказа. Глядел и не нагляделся на них! Что за дивная прелесть облекает их венцом своим. Еще тонкая завеса, сотканная из света и сумрака, лежит над нижними холмами, но далекие льды уже теплились в небе, и небо, словно ласковая мать, припав к ним необъятным лоном, поило их млеком облаков, заботливо повивая туманною пеленою, освежая ветром тиховейным! О, так бы летом и полетела туда душа моя, туда, где священный холод простерся границею между земным и небесным! Сердце просит и жаждет вздохнуть воздухом небожителей. Хочется побродить по снегам, на которых не печатлел человек кровавых стоп своих, коих не омрачала никогда тень орла, до коих не долетали перуны и на вечно юном темени которых время — след вечности — не оставило следов своих!

Время? Мне пришла в голову странная мысль. Сколько дробных названий изобрел щепетильный человек для деления бесконечно малого отрезка времени от бесконечно великого круга вечности. Годы, месяцы, дни, часы, минуты… У бога нет ничего этого, нет даже ни вчера, ни завтра; у него все это слилось в одно вечное *ныне*!.. Увидим ли мы когда-нибудь этот океан, в котором тонем досе-

ле? Но вопрос: к чему послужит это человеку? Неужели для удовлетворения пустого любопытства? Нет, познания истины, то есть всеразумной благости жаждет душа человека мыслящего. Она хочет полною чашею черпать из источника света, который падает на нее изредка мелкими росинками!..

И я буду черпать его... Тайный страх смерти тает, как снег, перед лучом такой надежды!.. Я буду черпать из него... Чистая любовь моя к ближнему тому залогом; свинцовые путы заблуждений распадутся от немногих слез раскаяния, и повергну сердце свое, как жертву очистительную, перед судом, для меня не страшным!

Чудная вещь, моя милая! Едва взгляну я на горы, на море, на небо... какое-то грустное и вместе невыразимо сладостное чувство гнетет и расширяет сердце. Мысль о тебе сливается с ним, и, будто во сне, убегает от меня твой образ. Предвкушение ли это земного блаженства, которое знал я лишь по имени, или предчувствие... веч..?

О, бесценная, добрая, ангельская душа! Один взор твой — и я исцелен от мечтательности! Как счастлив я, что могу теперь с уверенностию сказать: *до свиданья*.

Глава XI

Яд клеветы пожигал внутренность Аммалата.

По наущению хана, кормилица его Фатьма со всеми признаками преданности и бескорыстной искренности передала ему условленную заранее сказку в тот же самый вечер, как он с Верховским приехал в Буйнаки, где встретил их шамхал, из учтивости и уважения к полковнику. Отравленная стрела вонзилась глубоко... Теперь сомнение было бы отрадою Аммалату, но убеждение, казалось, озарило все прежние дружественные и родственные связи его светом ярким, хотя и погребальным. В порыве ярости он хотел в ту же минуту утолить месть свою в крови обоих изменников, но уважение к святыне гостеприимства преодолело кровожадность. Он отложил на время убийство. Но мог ли забыть о нем? Каждый миг отсрочки, как разожженная медь, капал на его сердце. Воспоминания, доказательства, ревность, любовь вырывали оное друг у друга, и это положение было для него так ново, так странно, так страшно, что он впадал в безумие, тем более тяжкое, что должен был скрывать внутреннюю борьбу от своего прежнего друга. Так протекли целые сутки. Отряд остановился лагерем близ селения Бугдень*, в котором ворота, построенные в ущелии, служащем дорогою в Акушу, замыкают оную по произволу жителей бугденских. Вот что писал Аммалат, желая хоть чем-нибудь облегчить тоску души, готовящейся на черное злодеяние...

Полночь

...Зачем бросил ты, Султан-Ахмет-хан, молнию в грудь мою? Братская дружба и братопредательство, братоубийство... Какие ужасные крайности? И между ними только один шаг, одно мгновение...

Я не могу спать, не могу думать о другом, я прикован к этой мысли, как преступник к колоде своей.

Кровавое море ходит, плещет, бушует кругом меня, и над ним сверкают только молнии вместо звезд!.. Душа моя подобна теперь голой скале, на которую слетаются одни хищные птицы и злые духи делить добычу или готовить гибель. Верховский, Верховский! Что сделал я тебе? За что хочешь ты сорвать с неба звезду моей свободы? Не за то ль, что я так нежно любил тебя! И почему ты подкрадываешься, как вор, клевещешь, коварствуешь, лицемеришь? Сказал бы просто: «Мне нужна жизнь твоя», и я бы отдал ее безропотно... лег жертвою, как сын Ибрагима (Авраама); я бы простил тебя, если б ты посягал только на жизнь мою, но продать мою свободу, похитить у меня, заживо погребенного, Селтанету! Злодей! И ты еще дышишь!..

Но повременно, как опаленный голубь среди пожарного дыма, является мне образ твой, Селтанета!.. Отчего ж я не радостен, мечтая о тебе, как, бывало, прежде?.. Нас хотят разлучить, милая, отдать тебя другому, женить меня на могильной плите... но я пойду до тебя по кровавому ковру, я исполню страшный завет, чтобы овладеть тобою. Не одних подруг зови на свадебный пир наш; зови коршунов и воронов... Всех угощу я досыта! Я заплачу богатое вено (калым)... В изголовье невесты положу я сердце, которое недавно еще ценил я дороже тронной подушки персидского падишаха[37].

...Чудная судьба!.. Невинная девушка, ты будешь виною неслыханного злодейства. Добрейшее создание, за тебя друзья станут терзать друг друга с зверскою лютостию. Для тебя?.. За тебя?.. В самом ли деле за одну тебя?.. С лютостию? С одной ли лютостию? Верховский говорил, что убить неприятеля украдкою, врасплох — подло, низко; но если я не могу иначе сделать этого?.. Но можно ли ему верить? Хитрец хотел заранее опутать, не только руку, но даже и совесть мою!.. Напрасно.

...Я зарядил теперь винтовку мою... Какой славный витой ствол, что за чудесная насечка! Винтовка досталась мне от отца, отцу — от прадеда. Мне рассказывали про множество знаменитых из нее выстрелов, и ни один, ни один не был пущен украдкою... всегда в бою, всегда в глазах целого войска бросала она смерть; а теперь?.. Но обида, но измена, но ты, Селтанета!.. О, рука моя не дрогнет нанести удар тому, которого имя и написать она трепещет. Один заряд, один удар — и все кончено!

Заряд!.. Как он легок… Но как тяжко, может быть, станет каждое зернышко пороху на весах аллы!.. Как далеко, как невообразимо далеко забросит этот заряд душу человека!.. О, да будет проклят тот, кто изобрел тебя, серая пыль, продающая героя во власть последнего труса, поражающего издали врага, который бы одним взором обезоружил поднятую на него руку! Так, этот удар расторгнет все прежние связи мои, но он проложит мне дорогу к новым. В прохладе Кавказа, на груди Селтанеты освежится вновь мое увялое сердце. Как ласточка, я совью себе гнездо на чужбине, как для ласточки, весна будет моим отечеством, я сброшу с себя все печали, как старые перья…

…Но линяют ли угрызения совести?.. Последний лезгин, завидя в бою того, с кем делил хлеб-соль, отворачивает коня в сторону и стреляет мимо, а я протку сердце, на котором отдыхал как брат родной! Конечно, он обманывал своей дружбою, но разве оттого менее был я счастлив? О, если бы этими слезами я мог выплакать гнев свой, залить ими жажду мщения, купить на них Селтанету!

Что же медлит заря! Пускай выходит она… Я, не краснея, взгляну на солнце, не бледнея, в очи Верховскому. Сердце мое закалено против сострадания… измена зовет измену… Я решился… Скорей, скорей!

Так беспорядочно, бессвязно писал Аммалат, чтобы обмануть время и развлечь душу; так старался он обмануть самого себя, подстрекая себя местию, когда истинная вина его кровожадности, то есть желание владеть Селтанетою, пробивалась в каждом слове. Чтобы придать себе дерзости на злодеяние, он выпил много вина и, опьянелый, с ружьем кинулся к палатке полковника; но, увидя часовых у входа, раздумал: врожденное в азиатце чувство самохранения не погасло и в самом безумии. Аммалат отложил до утра совершение убийства, но спать не мог он, но разгулять тоски своей не мог он… и, войдя снова в палатку свою, он схватил за грудь крепко спящего Сафир-Али и сильно потряс его.

— Вставай, соня! — вскричал он ему. — Уже заря. — Сафир-Али приподнялся с недовольным видом и, зевая, отвечал:

— Я вижу только винное зарево на твоих щеках. Спокойной ночи, Аммалат!

— Вставай, говорю я тебе! Мертвые должны покинуть гробы навстречу нового пришельца, которого обещал я им для беседы!

— Помилуй, братец, разве я мертвый?.. Пускай себе встают хоть сорок имамов[38] с дербентского кладбища, а я хочу спать.

— Но ты любишь пить, гяур, и ты должен пить со мною.

— Это иное дело… Наливай полнее… *Алла верды*![39] Я всегда готов пить и любить.

— И врага убить!.. Ну, еще… за здоровье черта, который друзей оборачивает смертельными врагами.

— Так и быть!.. Катай за здоровье черта! Бедняжке нужно здоровье; мы вгоним его в чахотку с досады, что не удастся нас поссорить.

— Правда, правда, люди не нуждаются в нем для злобы… С Верховским и со мной он бросил бы карты… Но и ты не отстанешь, надеюсь, от меня?..

— Аммалат, я не только вино из одной бутылки, да и молоко сосал из одной груди с тобою. Я твой, если даже тебе вздумается, словно коршуну, свить себе гнездо на скале Хунзаха… Впрочем, мой бы совет…

— Никаких советов, Сафир-Али… никаких возражений!.. Теперь уже не время.

— И в самом деле, они перетонут, как мухи в вине; теперь пора спать…

— Спать, говоришь ты? Мне спать? Нет, я сказал прости сну… Мне пора пробудиться. Осмотрел ли ты ружье, Сафир-Али? Хорош ли кремень? Не отсырел ли от крови порох на полке?

— Что с тобою, Аммалат? Что у тебя за свинцовая тайна на сердце? Лицо твое страшно, речи еще страшнее…

— А дела будут еще ужаснее! Не правда ли, Сафир-Али, моя Селтанета прекрасна! Заметь это: моя Селтанета… Неужели это свадебные песни, Сафир-Али?.. Да, да, да, понимаю… это чакалы просят добычи!.. Духи и звери! Погодите немного, я насыщу вас. Гей! Подайте вина, еще вина, еще крови… говорю я вам!

Аммалат упал в беспамятстве опьянения на постель; пена била клубом с его уст, судорожные движения волновали все тело; он произносил со стоном невнятные слова.

Сафир-Али заботливо раздел его, уложил, укутал и просидел остаток ночи над молочным братом своим, напрасно приискивая в уме разрешения загадочным для него речам и поведению Аммалата.

Глава XII

Поутру, перед выступлением, дежурный по отряду капитан пришел к полковнику Верховскому с рапортом и за новыми приказаниями. После обычного размена слов по службе, он со встревоженным видом сказал:

— Полковник! Я обязан сообщить вам важную вещь. Вчерашний вестовой ваш, рядовой моей роты Хамитов, подслушал разговор Аммалат-бека с его кормилицею в Буйнаках. Он казанский

татарин и порядочно понимает здешнее наречие. Сколько мог он разобрать и расслушать, старуха уверяла его, что вы с шамхалом собираетесь отправить его на каторгу. Аммалат бесился, бранился, говорил, что все это знает он от хана Аварского, и клялся погубить вас своею рукою. Не доверяя, однако ж, своему слуху, вестовой не решился ничего объявить, а стал присматривать за всеми его шагами. Вчера ввечеру, говорит он, Аммалат разговаривал с каким-то издалека приехавшим всадником; на прощанье сказал он: «Скажи хану, что завтра, чуть встанет солнце, все будет кончено. Пусть готовится он сам, я с ним скоро увижусь!»

— И только, г-н капитал? — спросил Верховский.

— Более ничего не имею я сказать, но очень многое могу думать. Я измыкал свой век между татарами и удостоверился, полковник, что безрассудно доверяться самому лучшему из них. Родной брат не безопасен, отдыхая на руке брата.

— Тому вина зависть, капитан; Каин передал ее в вечное и потомственное владение всем людям, но преимущественно соседам Арарата. Нам же с Аммалатом нечего делить; притом же я ничего не сделал ему, кроме добра, ничего не хочу делать, кроме благодеяний. Будьте покойны, капитан; я очень верю усердию вестового, но мало — его знанию татарского языка. Несколько сходных звуков ввели его в заблуждение; а уж раз создал он в уме умысел, все прочее казалось ему доказательствами. Право, я не такой важный человек, чтобы ханы и беки делали заговоры на жизнь мою. Я очень хорошо знаю Аммалата; он вспыльчив, но доброго сердца, и не мог бы двух часов потаить злодейского умысла.

— Не ошибитесь, полковник! Аммалат все-таки азиатец, а это слово — аттестат. Здесь не как у нас, здесь слово скрывает мысль, а лицо — душу. На иного взглянешь, ну, кажется, сама невинность, а попытайте иметь с ним дело: это бездна подлости, коварства и лютости.

— Вы имеете полное право так думать, любезный капитан, по опыту. Султан-Ахмет-хан дал вам памятную поминку в Буйнаках, в доме Аммалата. Но я, я не имею никакого повода подозревать в чем-либо ужасном Аммалата. Да и какую выгоду найдет он убить меня? Во мне все его блага, все надежды. Он сумасброд, но не сумасшедший; притом же, как видите, солнце высоко, а я жив и здоров. Сердечно благодарю вас, капитан, за участие, но прошу вас: не сомневайтесь в Аммалате и, видя, как ценю я старую дружбу, будьте уверены, что я буду высоко ценить и новую. Прикажите бить подъем.

Капитан вышел, сомнительно качая головою. Барабаны загремели, и выстроенный в боевой порядок отряд двинулся с ночлега далее. Утро было свежо и ясно; путь вился по зеленым валам предгорий кавказских, где, инде увенчанных лесом или кустарником. Строй был подобен стальному потоку, то катящемуся с гор, то востекающему на холмы. Туманы еще лежали в удолиях, и Верховский, въезжая на вершины, каждый раз оглядывался, чтобы полюбоваться чудною игрою зрения. Спускаясь с крутизны, строй точно будто тонул в дымной реке, подобно войску фараона*, и, наконец, с глухим шумом вновь сверкали штыки из волн тумана, потом являлись головы, плечи, люди росли, вырастали, взбегали на высь и снова окутывались в туманы другого ущелия.

Аммалат ехал бледен и угрюм, подле самого взвода застрельщиков. Казалось, он желал, чтобы грохот барабанов заглушил в нем голос совести. Полковник подозвал его к себе и очень ласково сказал:

— Тебя надобно пожурить, Аммалат: чересчур ты начал следовать урокам Гафиза. Вспомни, что вино хороший слуга, но злой барин. Впрочем, головная боль и желчь, разлитая по твоему лицу, верно подействуют на тебя гораздо лучше слов. Ты провел буйную ночь, Аммалат?

— Бурную, мучительную ночь, полковник! Дай бог, чтобы такая ночь была последнею… Мне снились страшные сны.

— Ага, дружок! Вот каково преступать завет Магомета: правоверная совесть тебя мучила, как степь.

— Хорошо, у кого совесть спорит с одним вином.

— Какова совесть, любезный! По несчастию, она так же подвержена предрассудкам, как и сам рассудок. У каждого века, у каждого народа была своя совесть, и голос вечной, неизменной истины умолкал перед самозванкою. Так было, так есть. Что вчера почитал иной грехом смертным, тому завтра молится; что считают правым и славным на этом берегу, за речкой доводит до виселицы.

— Однако ж, я думаю, лицемерие и измена никогда и нигде не считались добродетелями.

— Не скажу и этого. Мы живем в таком веке, где лишь удача решит, хороши или нет были средства ее достигнуть, где люди самые совестные изобрели для себя очень покойное правило, что цель освящает средства.

Аммалат-бек в раздумье повторил эти слова, потому что их оправдывал. Яд эгоизма снова начинал в нем разыгрываться, и слова Верховского, которые считал он коварством, лились, как масло на пламя.

«Лицемер! — говорил он про себя: — Час твой близок!»

И между тем Верховский, как жертва, ничего не подозревающая, ехал рядом с своим палачом. Не доезжая верст восьми до Киекепта, с горы открылось перед ними Каспийское море, и думы Верховского понеслись над ним, как лебедь.

— Зеркало вечности… — произнес он, впадая в мечтания. — Отчего не радует сегодня меня лицо твое? Как прежде, играет на тебе солнце, словно божья улыбка, и лоно твое так же величаво дышит вечною жизнию, но это жизнь не здешнего мира! Ты кажешься мне сегодня печальною степью: ни

лодки, ни корабельного паруса, никакого признака бытия человеческого… Все пусто! Да, Аммалат! — примолвил он, — мне наскучило ваше почти всегда сердитое, пустое море, ваш край, населенный болезнями и людьми, которые хуже всех болезней в свете; мне наскучила самая война с незримыми врагами, самая служба с недружными товарищами. Этого мало, что мне мешали в деле, портили, что приказывал делать… но порочили то, что я думал делать, и клеветали на сделанное. Верой и правдой служил я государю, бескорыстно отечеству и здешнему краю; отказался я, добровольный изгнанник, ото всех удобств жизни, ото всех радостей общества, осудил свой ум на неподвижность, без книг; похоронил сердце в одиночестве, без милой… И что было мне наградою? О, скоро ль настанет минута, когда я брошусь в объятия моей невесты, когда я, усталый от службы, отдохну под сенью родной хижины на злачном берегу Днепра… когда, мирный селянин и нежный отец семейства, в кругу родных и добрых крестьян моих, буду бояться только града небесного за жатву, сражаться только с дикими зверями за стадо! Сердце поет по этом часе! Отпуск у меня в кармане, отставка обещана… так бы летом летел к невесте… И через пять дней я непременно буду в Георгиевске, а все кажется, будто пески Ливии, будто ледяное море, будто целая вечность могилы разлучают нас!..

Верховский умолк; по щекам его катились слезы; конь его, почуяв брошенные повода, ускорил ход, и, таким образом, вдвоем с Аммалатом они далеко опередили отряд… Казалось, сама судьба предавала полковника в руки злодея.

Но жалость проникла в душу неистового, вином пылающего Аммалата, подобно лучу солнечному, упавшему в разбойничью пещеру. Он увидел тоску и слезы человека, которого столь долго считал другом своим, и поколебался… «Нет, — думал он сам с собою, — до такой степени невозможно притворяться!..»

В эту минуту Верховский очнулся, поднял голову и сказал Аммалату:

— Приготовься, ты едешь со мною.

Несчастные слова! Все доброе, все благородное, возникавшее вновь в груди азиатца, в один миг было подавлено ими; мысль о предательстве, о ссылке огненным потоком протекла по всему его существу.

— С вами? — возразил он с злобною усмешкою. — С вами в Россию? О, без сомнения, если вы сами поедете!

И в порыве гнева он пустил вскачь коня своего, чтобы иметь время справиться с оружием, и вдруг обратился навстречу полковнику, пронесся мимо и стал давать быстрые круги около. С каждым скоком сильней разгоралось в нем пламя бешенства. Ему казалось, что свистящий мимо ушей воздух жужжал ему: «Убей, убей! Это враг твой! Вспомни Селтанету…». Он схватил из-за плеча меткое ружье свое, взвел курок и, ободряя себя криком, поскакал с кровожадною решительностью к обреченной жертве.

Между тем Верховский, не питая ни малейшего подозрения, спокойно смотрел на скачку Аммалата, воображая, что он, по напутному обычаю азиатцев, хочет поджигитовать.

— Стреляй в цель, Аммалат-бек! — закричал он несущемуся на него убийце.

— Какая цель лучше груди врага! — отвечал Аммалат-бек, наскакивая, и в десяти шагах спустил курок!.. Выстрел грянул… и молча, медленно свалился полковник с седла. Испуганный конь его, вздув ноздри, ощетинив гриву, обнюхивал всадника, в руке которого замерли доселе повелительные поводья, а конь Аммалата стал вдруг перед телом, упершись передними ногами. Аммалат соскочил с него и, опершись на дымящееся ружье, несколько мгновений пристально смотрел на лицо убитого, как будто желая доказать самому себе, что он не страшится этого неподвижного взора, потухающих очей, этой холодеющей крови… Трудно было узнать, невозможно передать того, что крутилось вихрем в груди. Сафир-Али прискакал стремглав и кинулся на колени подле полковника… Приложил ухо к устам его: не дышит! Ощупал сердце: не бьется!

— Он мертв! — произнес Сафир-Али отчаянным голосом.

— Мертв? Совсем мертв? Тем лучше: мое счастие свершено! — произнес Аммалат, будто пробуждаясь от сна.

— Для тебя счастие! Для тебя, братоубийцы!.. Если ты найдешь его, свет станет молиться шайтану, вместо аллы.

— Сафир-Али! Вспомни, что ты не судья мне! — грозно сказал Аммалат, ступая в стремя. — Следуй за мною.

— Пускай одно раскаяние преследует тебя, как тень; отныне я не товарищ твой!

Пронзенный до глубины души нежданным укором от человека, с которым связан был дружеством от младенчества, Аммалат не вымолвил слова, указал своим изумленным нукерам на ущелие и, видя погоню, как стрела ринулся в горы.

Тревога распространилась по фронту; передовые офицеры и донские казаки кинулись на выстрел, но они поздно прискакали туда; они не могли ни воспрепятствовать злодейству, ни достичь убегающего злодея. Через пять минут окровавленный труп изменнически убитого полковника окружен был толпами солдат и офицеров. Недоумение, негодование, жалость были написаны на всех лицах. Гренадеры, опершись на штыки, плакали навзрыд; и нельстивые слезы текли у них градом по храбром любимом начальнике.

Глава XIII

Трое суток скитался Аммалат по горам Дагестана. Как мусульманин, он и в деревнях, покорных русскому владычеству, между людьми, для коих воровство, разбой и бегство — доблесть, безопасен был от всякого преследования; но мог ли уйти от сознания в собственном преступлении? Ни ум, ни сердце его не оправдывали кровавого поступка, и образ падающего с коня Верховского неотступно возникал даже перед закрытыми очами. Это еще более ожесточало, раздражало его. Азиатец, совратись однажды с пути, быстро пробегает поприще злодейства. Завет хана, чтоб не являться перед него без головы Верховского, звенел в ушах его. Не смея открыть такого намерения нукерам своим, еще менее надеясь на их отвагу, он решился ехать к Дербенту один-одинехонек, целиком, через горы и долы.

Глухая, темная ночь раскинула уже креповые крылья свои над приморскими хребтами Кавказа, когда Аммалат переехал ущелие, лежащее сзади крепости Нарынь-Кале, служащее цитаделью Дербенту. Он поднялся к развалинам башни, замыкавшей некогда кавказскую стену, поперек гор тянувшуюся, и привязал коня своего у подножия того кургана, с которою Ермолов громил Дербент*, бывши еще артиллерийским поручиком. Зная, где хоронят чиновников, он прямо вышел на верхнее русское кладбище. Но как найти ему свежую могилу Верховского во тьме ночи? В небе ни звездочки; облака налегли на горы; горный ветер, как ночная птица, хлопал по лесу крыльями; невольный трепет проник Аммалата посреди края мертвецов, коих покой дерзал он нарушить. Прислушивается. Море бушует, напирая и отшибаясь от подводных плит. Протяжное *слушай*! часовых обтекало стены города, и вслед за ним раздавался вой чакалов, и, наконец, все стихло, сливаясь с шумом ветра. Сколько раз вместе с Верховским бодрствовал он в подобные ночи, — и где теперь он? И кто низвергнул его в могилу? И его убийца пришел теперь обезглавить труп недавнего друга, надругаться над его останками; как вор гробокопный, пришел похитить достояние могилы, спорить с чакалами о добыче.

— Чувства человеческие! — произнес Аммалат, отирая холодный пот с чела: — Зачем посещаете вы сердце, которое отверглось человечества? Прочь, прочь! Мне ли бояться отнять голову у мертвеца, у которого похитил я жизнь? Ему это не потеря, а мне — сокровище… Прах бесчувственен!

Аммалат дрожащей рукой высек огня, раздул его на сухом бурьяне и пошел с ним искать новой могилы. Рыхлая земля и большой крест указали ему последнее жилище полковника. Он выдернул крест и начал разгребать им холмик; разбил еще неокреплый кирпичный свод и, наконец, сорвал крышку с гроба. Бурьян, вспыхивая, проливал неровный крово-синий блеск на предметы. Склонясь над покойником, убийца, бледнее самого покойника, глядел на труп неподвижно. Он забыл, зачем пришел туда, голова его кружилась от запаха тления, сердце в нем обратилось при виде кровоглавых червей, которые вились уже из-под платья. Прервав свою страшную работу, они, испуганные светом, расползались, сбирались, прятались друг под друга! Наконец, ожесточась, он несколько раз взмахивал кинжалом, и всякий раз немеющая рука его падала мимо. Ни месть, ни честолюбие, ни любовь — словом, ни одна страсть, подвигшая его на убийство, не ободряли теперь на безымянное неистовство. Отворотив голову, в каком-то забытье стал он рубить Верховского по шее… На пятом ударе голова отделилась от туловища. С отвращением бросил он ее в приготовленный мешок и спешил вылезть из могилы. До сих пор он еще побеждал себя; но когда с страшным кладом своим карабкался вверх, когда камни с шумом обрушились под его ногами и он, осыпанный песком, снова упал на труп Верховского, присутствие духа оставило святотатца: ему казалось, что пламя охватило его, что адские духи, плеща и хохоча, взвились окрест его… С тяжким стоном вырвался, выполз он без памяти из душной могилы и бросился бежать, страшась оглянуться. Вскочив на коня, он погнал его, не разбирая утесов и оврагов, и каждый цепляющийся за платье куст казался ему рукою мертвеца, и каждый шелест ветки и стон чакала — голосом дважды зарезанного друга.

Везде, где ни проезжал Аммалат, встречал он вооруженные толпы акушлинцев и аварлы, приезжих чеченцев и тайных хищников из татарских деревень, подвластных России. Все они спешили на сборные места, ближе к границе, между тем как беки, уздени и князьки съезжались в Хунзах, для совета с Султан-Ахмет-ханом, под предводительством и по приглашению которого собирались они ударить на Тарки. Время к тому было самое благоприятное: хлеб в амбарах, сено в стогах, и русские, взяв аманатов, в совершенной беспечности расположились на зимние стоянки. Весть об убийстве Верховского разлетелась по всем горам и весьма ободрила горцев. Весело сходились они отовсюду, везде слышались их песни о будущих битвах, а тот, за кого шли сражаться они, проезжал между ними, как беглец и преступник, скрывая лицо от солнца, не смея взглянуть никому прямо в глаза. Все, что случилось с ним, все, что видел он, теперь представлялось ему будто в удушливом сне… Он не смел сомневаться в том и не мог верить…

На третий день к вечеру доехал он до Хунзаха. Трепеща от нетерпения, спрыгнул он с коня, измученного бегом, и взял из тороков роковой мешок. Передние комнаты были полны воинами. Наездники в кольчугах расхаживали или вдоль стен лежали на коврах, шепотом разговаривая между

собою… но повисшие брови их, но угрюмые лица доказывали, что в Хунзахе получены, верно, худые вести. Нукеры бегали взад и вперед торопливо, и никто не спросил, никто не проводил Аммалата, никто не обратил на него внимания. У самых дверей спальни ханской сидел Сурхай-Хан-Джинка, то есть побочный сын Султан-Ахмета, и горько плакал.

— Что это значит? — с беспокойством спросил его Аммалат. — Ты, у которого и в младенчестве не добивались слез, ты плачешь?..

Сурхай безмолвно указал на двери, и Аммалат с изумлением переступил за решительный порог.

Сердце раздирающее зрелище представилось глазам пришельца. Посреди комнаты на тюфяке лежал хан, обезображенный быстрою болезнию. Незримая, но уже неотразимая кончина носилась над ним, и погасающий взор встречал ее с ужасом. Грудь вздымалась высоко и потом тяжело опадала; дыхание шипело в гортани, жилы рук напрягались и снова исчезали; в нем совершалось последнее борение жизни с разрушением… Пружина бытия уже лопнула, но колеса еще двигались неровным ходом, задевая друг за друга. Едва искры памяти мелькали в нем, как падучие звезды сквозь ночь, густеющую над душою, и отражались на мертвеющем лице. Жена и дочь рыдали на коленях у его ложа; старший его сын Нуцал в безмолвном отчаянии стоял в ногах, склонив чело на сжатую руку. Несколько женщин и нукеров плакали тихо поодаль.

Все это, однако ж, не поразило, не образумило Аммалата, преисполненного одною мыслию. Он твердою поступью приблизился к хану и громко сказал ему:

— Здравствуй, хан! Я привез тебе подарок, от которого бы оживился мертвец. Готовь свадьбу; вот мой выкуп за Селтанету! Вот голова Верховского! — С этим словом он бросил ее к ногам хана.

Знакомый голос пробудил на миг Султан-Ахмета от последнего сна; он поднялся с усилием, чтобы взглянуть на подарок, и трепет волной пробежал по его телу, когда он увидел мертвую голову.

— Пускай съест свое сердце тот, кто потчует умирающего такой ужасною яствою! — произнес он едва внятно. — Мне надо помириться с врагами, а не… Ах, горю! Дайте воды, воды… Зачем вы напоили меня горячею нефтью? Аммалат! Я проклинаю тебя!..

Усилие истратило последние капли жизни в хане: он упал бездушным трупом на изголовье. Ханша с негодованием смотрела на кровавый, неуместный подарок Аммалата; но когда увидела она, что это ускорило смерть ее мужа, вся тоска ее вспыхнула огнем гнева.

— Посол ада! — вскричала она, сверкая взором. — Любуйся: вот твои подвиги! Если б не ты, муж мой не задумал бы подымать на русских Аварлу и теперь здоров и покоен сидел бы дома; но для тебя, посещая узденей, он упал с крутизны и слег в постелю… И ты, кровопийца, вместо того чтоб утешить больного кроткими словами, чтобы молитвою и милостыней помирить его с аллахом, принес, как людоеду, мертвую голову, и чью голову? Твоего благодетеля, защитника и друга.

— На то была воля хана, — угрюмо возразил Аммалат.

— Не клевещи на мертвого, не марай его памяти лишнею кровью! — воскликнула ханша. — Недовольный тем, что изменнически зарезал ты человека, ты с его головою приехал сватать дочь мою у смертного одра отца, и ты надеялся получить награду от людей, заслужив месть от бога? Безбожник, бездушник! Нет, гробом предков и саблями сыновей клянусь: ты никогда не будешь зятем моим, знакомцем, гостем моим. Удались из моего дома, изменник! У меня есть сыновья, которых можешь ты зарезать, обнимая, у меня есть дочь, которую можешь ты зачаровать, отравить змеиными своими взорами. Ступай скитаться в ущельях гор, учи тигров терзать друг друга и отбивай падаль у волков. Ступай и ведай, что дверь моя не отворяется для братоубийцы.

Аммалат стоял как опаленный молниею.

Все, что роптала невнятно его совесть, высказано было ему вдруг и так неожиданно, так жестоко. Он не знал, куда девать очи свои. Там лежала голова Верховского с обвинительною кровью, там виделось укорительное чело хана с печатью мучительной кончины, там встречал он грозные очи ханши… Лишь плачущие очи Селтанеты казались ему приветными звездочками сквозь дождевую тучу. К ней-то решился приблизиться он, робко произнеся:

— Селтанета! Для тебя совершил я то, за что тебя теряю… Судьба хочет этого да будет! Одно скажи мне: неужели и ты разлюбила меня, ужели и ты ненавидишь?

Знакомый милый голос проник ее сердце. Селтанета подняла свои ресницы, блистающие слезами, свои глаза, полные тоскою; но, увидев страшное, кровью забрызганное лицо Аммалата, закрыла опять их рукою. Она указала перстом на труп отца, на голову Верховского и твердо сказала:

— Прощай, Аммалат; я жалею тебя, но не могу быть твоею.

Сказав слова сии, она пала без чувств на тело отца.

Вся природная гордость вместе с кровью прилила к сердцу Аммалата. Дух его вспыхнул негодованием.

— Так-то принимают меня здесь! — молвил он, бросая презрительный взгляд на обеих женщин. — Так-то исполняют здесь обеты. Я рад, что глаза мои прояснели. Я был слишком прост, когда ценил переходчивую любовь ветреной девушки, слишком терпелив, слушая бредни старой женщины. Вижу, что с Султаном-Ахмет-ханом умерли здесь честь и гостеприимство.

Он вышел гордо.

Он дерзко заглядывал в глаза узденей, сжав рукоять кинжала, как будто вызывая их на бой. Все, однако ж, уступали ему дорогу, но, кажется, более избегая его, чем уважая; никто не приветствовал его ни словом, ни знаком. Он вышел на двор, кликнул нукеров своих, безмолвен сел в седло и тихими шагами поехал по пустым улицам Хунзаха.

С дороги в последний раз оглянулся он на ханский дом, чернеющий в высоте и мраке, между тем как решетчатые двери блистали огнями. Сердце его облилось кровью, оскорбленное самолюбие вонзило в него железные когти свои, а напрасное злодеяние и любовь, отныне презренная, безнадежная, пролили отраву на раны. С тоскою, с гневом, с сожалением бросил он прощальный взор на гарам, в котором узнал и потерял все радости земные.

— И ты, и ты, Селтанета! — более не мог произнести он. Свинцовая гора лежала на груди; совесть его уже чувствовала страшную руку, на ней тяготеющую; минувшее его ужасало, будущее приводило в трепет… Куда приклонит он свою оцененную голову? Какая земля упокоит кости изменника? Не о любви, не о дружбе, не о счастии отныне будет его забота, но о скудной жизни, о скитальческом хлебе… Аммалат хотел плакать; глаза его горели… И, как богач, кипящий в огне, сердце его молило об одной капле, об одной слезинке: залить нестерпимую жажду… Он силился плакать и не мог. Провидение отказало в этой отраде злодеям.

И куда скрылся убийца Верховского? Где влачил он жалкое свое бытие? Никто наверно не знал этого. По Дагестану ходили слухи, что он скитался между чеченцами и койсубулинцами, утратив красоту и здоровье и даже самую отвагу; но кто же мог сказать про то утвердительно? Мало-помалу запала и молва об Аммалате, хотя злодейская измена его до сих пор свежа на памяти русских и мусульман, обитателей Дагестана; до сих пор имя его никем не произносится без укора.

Глава XIV

Анапа, эта оружейница горских разбойников, этот базар, на котором продавались слезы, и пот, и кровь христианских невольников, этот пламенник мятежей для Кавказа, Анапа, говорю, в 1828 году обложена была русскими войсками с моря и от угорья. Канонерские лодки, бомбарды* и все суда, которые могли подходить близко к берегу, громили приморские укрепления. Сухопутные войска переправились через реку, которая впадает в Черное море под северною стеною Анапы и расплывается кругом всего города топкими болотами. Потом повели они бревенчатые траншеи, вырубая для того окрестный лес. С каждою ночью возникали новые бойницы ближе и ближе к стенам города. Внутри дома пылали от бомб, наружные стены рушились ядрами, но турецкий гарнизон, усиленный горцами, дрался отчаянно, делал смелые вылазки и на все предложения о сдаче отвечал пушечными выстрелами. Между тем осаждающие беспрестанно обеспокоиваемы были кабардинскими наездниками и пешими стрелками абазехов, шапсугов, натухайцев и других свирепых горцев Черноморья, сбежавшихся, подобно чакалам, искать добычи и крови. Против них должно было строить обратные реданты, а эта двойная работа, производимая под пушечными выстрелами с крепости и ружейными из леса, в почве неровной и болотистой, очень замедляла покорение города.

Наконец накануне взятия Анапы, на единственном суходоле с юго-восточной стороны, русские открыли брешь-батарею. Действие ее было ужасно. По пятой очереди зубцы и бруствер были опрокинуты, орудия обнажены и сбиты. Ядра, ударяясь в каменную одежду, вспыхивали молниею, и потом, в черной туче пыли, взлетали куски расторгнутых камней. Стена сыпалась, распадалась, но крепость, но толщина оной долго противостояли разрушительной силе чугуна, и крутым обвалом осыпанная стена не представляла еще возможности к штурму.

Для разгоревшихся орудий и долгою стрельбою утомленных артиллеристов необходим был отдых. Мало-помалу пальба стихла на всех батареях суши и моря. Густые облака дыма катились с берега и расстилались по волнам, то скрывая, то открывая опять флотилию. Изредка срывался клуб дымный с орудий крепости, и вслед за раскатами пушечного грома, отзывающегося в далеких горах, несколько пуль свистали кой-откуда… И вот все умолкло кругом, все притаилось внутри Анапы и траншей; ни одной чалмы между зубцами, ни одного граненого штыка в завалах. Только турецкие знамена по башням и русские флаги на судах гордо играли в воздухе, не омраченном ни одною струйкою дыма; только звучный голос муэдзинов раздавался далеко, призывая мусульман к полдневной молитве.

В это время с пролома, против самой брешь-батареи, спустился, или, лучше сказать, скатился, всадник на белом коне, поддерживаемый веревками, перескочил через полузасыпанный ров и как стрела ударил влево между батарей, перепорхнул через завалы, через дремлющих за ними солдат, которые не ждали и не гадали ничего подобного, и, преследуемый торопливыми их выстрелами, скрылся в лесу. Никто из всадников не успел его рассмотреть, не только за ним гнаться; все только ахали от удивления и досады и скоро забыли про удальца в тревоге, поднятой пальбою с крепости, заведенною нарочно, чтобы дать время бесстрашному вестнику убраться в горы.

К вечеру брешь-батарея, гремевшая неумолчно, почти совершила свое дело разрушения: опрокинутая стена легла мостом для осаждающих, а они с нетерпением отваги готовились к приступу, как вдруг неожиданное нападение черкесов, снявших наши ведеты и цепь, заставило обратить огонь редантов против неистовых, дерзких горцев. Громовое *алла, гиль алла*! понеслось навстречу им со стен Анапы. Пушечная и ружейная пальба закипела с них вдвое сильнее, но русская картечь остановила, смешала, рассеяла толпы всадников и пеших черкесов, готовых ударить на орудия в шашки, и они с грозными перекликами *гяур гяурлар* обратились назад, покидая за собой усталых. В один миг все поле было усеяно их трупами, их ранеными, которые пытались уползти, карабкались и падали снова, пораженные пулями и картечью, между тем как ядра посекали лес, а гранаты, лопаясь в нем, довершали истребление.

Но с самого начала дела до тех пор, покуда ни одного неприятеля не осталось вблизи, русские с изумлением видели перед собою статного черкеса на белом коне, который тихим шагом проезжался взад и вперед мимо наших редантов. Все узнали в нем того самого всадника, что перескочил через траншеи в полдень, вероятно для подговора черкесов напасть на русских сзади, в то время, как они хотели выпустить из ворот неудавшуюся теперь вылазку. Брызжа и урча, прыгали около него картечи. Конь его рвался на поводах, но сам он, хладнокровно поглядывая на батареи, ехал вдоль их, будто с них осыпали его цветами. Артиллеристы грызли зубы с досады, видя ненаказанную дерзость этого наездника; выстрел за выстрелом рвали воздух и землю, но он оставался невредим, как очарованный.

— Посылай ядро! — сказал фейерверкеру молодой артиллерийский офицер, только что выпущенный из корпуса, раздосадованный более всех неудачею. — Я готов зарядить пушку своею головою: так хочется мне убить этого хвастуна. Картечью не стоит стрелять по одному: картечь — *авось*; ядро сыщет виноватого.

Так говоря, он подвинчивал клип и наводил сквозь диоптр орудие и, верно рассчитав, в какое мгновение всадник наедет на черту прицела, встал с хобота и скомандовал роковое *пли*!

На несколько мгновений дым одел батарею мраком… Его разнесло… Испуганный конь мчал окровавленное тело всадника, запутавшегося ногами в стременах.

— Попал, убил! — закричали со всех траншей, и молодой артиллерист, набожно сняв фуражку, перекрестился и с веселым лицом спрыгнул с батареи, чтобы поймать заслуженную добычу. Ему скоро удалось схватить за поводья коня поверженного в прах черкеса, потому что он кружился, влача его сбоку. Несчастному оторвало руку близ плеча, но он еще дышал, еще стонал и бился. Жалость взяла доброго юношу: он кликнул солдат и заботливо велел перенести раненого в траншею, послал за лекарем и при своих глазах дождался конца операции.

Ночью, когда уже все утихло, артиллерист сидел над полумертвым своим пленником, с участием рассматривая его при тусклом свете фонаря. Змеиный след тоски, проторенный на щеках слезами, глубокие морщины лба, нарезанные не летами, но страстями, и кровавые царапины обезображивали его прекрасное лицо, и на нем выражалось что-то мучительнее боли, что-то страшнее кончины. …Артиллерист не мог удержать невольного содрогания. Пленник вздохнул тяжело и, с усилием подняв руку до лба, открыл ею свои отяжелевшие веки, произнося про себя неясные звуки, несвязные слова…

— Кровь… — сказал он, разглядывая свою руку, — все кровь! Зачем на меня надели *его* кровавую рубашку?.. Я и без того плаваю в крови… Зачем же не тону в ней?..

Как холодна сегодня она… Бывало, она жгла меня… да и это не легче. На свете было так душно… в могиле так холодно!.. Страшно быть мертвецом!.. Глупец я! Искал смерти… О, дайте мне воротиться на свет!.. Дайте пожить, еще хоть денек, хоть часок пожить!.. Что такое? Что! Зачем я спрятал в могилу другого? *Шепчешь ты*… Узнай сам, каково в ней! Узнай, каково умирать!..

Судорожное движение прервало бред его; невыразимо страшный стон вырвался из груди страдальца, и он впал в томительное забытье, в котором одна душа живет еще, чтобы страдать.

Артиллерист, тронутый до глубины сердца, приподнял голову несчастного, спрыснул ему лицо холодною водою и тер спиртом виски, чтобы привести его в чувство. Медленно открыл он очи, несколько раз потряс головою, будто желая отряхнуть с ресниц туман, и пристально устремил зрачки на лицо артиллериста, бледно озаренного мерцанием свечи. И вдруг с пронзительным криком, будто магическою силою, приподнялся он с ложа… Волосы его стали дыбом, все тело дрожало лихорадочной дрожью, руки искали что-то оттолкнуть от себя… Неописанный ужас изобразился на его лице…

— Твое имя? — вскричал он наконец, обращаясь к артиллеристу. — Кто ты, пришлец из гроба?

— Я Верховский, — отвечал молодой артиллерист. Это был выстрел прямо в сердце пленнику; лигатура на главной артерии лопнула от прилива, и кровь хлынула сквозь перевивки!.. Еще несколько трепетаний, несколько хрипений, и ледяная рука смерти задушила в груди раненого последний вздох, сохранила на челе печать последней тоски, собирающей медленность целых лет раскаяния в один быстрый миг, в который душа, отрываясь от тела, чувствует равно муки жизни и ничтожества, чувствует вдруг все угрызения минувшего и все страхи будущего. Страшно было видеть обезображенное лицо этого мертвеца.

— Он, верно, был большой грешник! — тихо сказал Верховский стоявшему подле него генеральскому переводчику, содрогаясь невольно.

— Большой злодей, — примолвил переводчик. — Мне кажется, он был русский беглец. Мне не случалось слышать, чтобы какой-нибудь горец говорил так чисто по-русски, как этот пленник. Дайте-ка мне посмотреть его оружие, не найдем ли на нем каких примет.

Говоря так, он с любопытством обнажил кинжал, снятый с убитого, и, приблизив его к фонарю, разобрал и перевел следующую надпись:

«Будь медлен на обиду — к отмщенью скор!»

— Самое разбойничье правило! — сказал Верховский. — Бедный брат мой Евстафий! Ты пал жертвою подобного изуверства.

Глаза доброго юноши наполнились слезами…

— Нет ли чего еще? — спросил он.

— Вот, кажется, имя убитого, — отвечал переводчик. — Оно: Аммалат-бек!

Примечания автора

1. Джума соответствует нашей неделе, то есть воскресенью. Вот имена прочих дней магометанской недели: шамби (наша суббота), ихшамба (воскресенье), душамба (понедельник), сешамба (вторник), чершамба (середа), пханшамба (четверг), джума (пятница).

2. Хотя, в существе, нет никакой разницы между мужскими шальварами и женскими туманами (панталонами), но для мужчины будет обидно, если вы скажете, что он носит туманы, и наоборот.

3. Обыкновенный образ сиденья у азиатцев на улице или перед старшим. А потому Н.М. Карамзин очень ошибся, переводя слова Волынского летописца: «Зле те, Романе, на коленех пред ханом седиши» — «худо тебе, Роман, на коленях стоишь перед ханом». Конечно, сидеть на корточках было невесело для галицкого князя, но не так унизительно, как думает историк.

4. Первые шамхалы были родственники и наместники халифов дамасских. Последний шамхал умер, возвращаясь из России, и с ним кончилось это бесполезное достоинство. Сын его, Сулейман-паша, владеет наследством просто как частным имением.

5. Нукер — общее имя для прислужников; но, собственно, это то же самое, что у древних шотландцев Henchman (прибедренник). Он всегда и везде находится при господине, служит за столом, режет и рвет руками жаркое и так далее.

6. Эмджек — грудной, молочный брат; от слова эмджек — сосец. У кавказских народов это родство священнее природного; за своего эмджека каждый положит голову. Матери стараются заранее связать таким узлом надежные семьи. Мальчика приносят к чужой матери, та кормит его грудью, и обряд кончен, и неразрывное братство начато.

7. Славная в Персии порода трухмонских лошадей, называемая теке.

8. Он был родной брат Гассан-хана Джемутайского, а сделался ханом аварским, женясь на вдове хана, единственной его наследнице.

9. Тогда отряд наш, состоявший из трех тысяч человек, окружен был шестьюдесятью тысячами горцев. Там был Уцмий Каракайдахский, аварцы, койсубулинцы и другие. Русские пробились ночью — и с уроном.

10. Дом по-татарски евь; утах — значит палаты, а сарай — вообще здание. Гарам-Хане — женское отделение (от этого происходит русское слово *хоромы*). В смысле *дворца* употребляют иногда слово *игарат*. Русские все это смешивают в одно название — сакли, что по-черкесски значит дом.

11. Отец Аммалата был старший в семействе и потому настоящий наследник шамхальства; но русские, завладев Дагестаном и не надеясь на его доброхотство, отдали власть меньшему брату.

12. Игра слов, до которой азиатцы большие охотники: кызыль-гюллар, собственно, значит розы, но хан намекает на кызыль — червонец.

13. Гаджи, собственно, значит путешественник, но придается вроде титула тем, кои были в Мекке. Они имеют право носить белую витую чалму; шагиды редко, однако ж, ее носят.

14. Все горцы плохие мусульмане, но держатся секты сунни; напротив, большая часть дагестанцев шагиды, как и персияне… Обе секты сии ненавидят друг друга от чистого сердца.

15. Не имея собственного свинца, аварцы большею частью стреляют медными пулями, ибо у них есть медные руды.

16. Азиатцы носят кинжал не на боку, а впереди.

17. Агач — семь верст. Он называется конным. Пешеходный — четыре версты.

18. Редко случались примеры, чтобы мы стрелками своими могли выжить горцев из лесу, и потому лес считают они лучшею крепостью. Вся песня переведена почти слово в слово.

19. Это настоящие берсеркеры* древних нордманов, которые, приходя в неистовство, рубили даже товарищей. Примеры такой безумной храбрости нередки между азиатцами.

20. Русской коннице не худо бы перенять горский образ батовать (связывать при спешивании) коней. Мы батуем, продевая повод в повод, но для этого нужно много сторожей, и лошади имеют слишком много места беситься. Черкесы, напротив, ворочают чрез одну лошадь головой к хвосту, продевают повод сквозь пахви соседней и потом уже петляют в узду третьей. От этого кони не могут шевельнуться, так что можно их оставлять без надзора.

21. Ур, ура — значит бей по-татарски. Нет сомнения, что этот крик вошел у нас в употребление со времени владычества монголов, а не со времени Петра, будто бы занявшего hurra у англичан.

22. Очень забавно неверие европейцев к тому, что кинжалом можно отрубить голову; стоит пожить неделю в Азии для убеждения в противном. Кинжал в опытной руке стоит и топора, и штыка, и сабли.

23. Для черноты и предохранения от ржавчины клинки коптят и мажут нефтью.

24. Лар есть множественное число всех существительных в татарском языке, а потому бегляр значит беки, агалар — аги. Русские по незнанию употребляют иногда и в единственном так же.

25. У татар непременное обыкновение отдавать вестнику чего-нибудь приятного свою верхнюю, с плеча, одежду.

26. Урмийская долина есть сад печальной, каменистой Персии. Весною это царство роз, осенью — винограда.

27. И этим все сказано (*франц.*).

28. Я убежден, что Кавказские ворота древних, железные ворота русских историков, находились не в Дербенте, а в Дарьяле (Дал-юл — узкая дорога, теснина). Что восточные историки называли иногда Дербент Темир-капи, это не доказательство: они и двадцать других городов величали тем же именем; а ныне, вопреки рассказам иных вторящих одно и то же путешественников, в целой Азии никто не знает Дербента под названием железных ворот. Плиний* описывает Дарьял очень подробно. Прокопий* называет оный Каспийскими воротами, но, видимо, разумеет Дарьял, а не Дербент. И, наконец, хан половецкий, разбитый Мономахом, ушел в абазинскую землю за Железные ворота, следственно, за Дарьял, а не Дербент, ибо через сей последний нет средства пробраться в Абхазию. Грузинские летописи приписывают построение Дарьяльского замка Мирвану, царю своему; Прокопий отдает эту честь Александру, сыну Филиппа.

29. Татары с уважением вспоминают Петра. Угловая комната, в которой жил он в ханском доме в крепости Дербента, сохранялась как она была при нем. Русские все переделали: не пощадили даже окна, из которого любовался он морем. Петр оставил здесь майора Туркула, родом венгерца, который усовершенствовал виноделие; теперь нет в Дербенте даже порядочного уксусу!

30. Это самое нежное выражение татарских песен и самый обязательный привет женщине.

31. Пул — вообще деньги. Карапул — наша денежка, или полушка, которая произошла вовсе не от *пол-ушка*, а от татарского *пул*. Да и слово *рубль* происходит, по мнению моему, не от *рубки*, а от арабского слова *руп* (четверть) и перешло к нам от кочевых азиатцев древности. Ногат значит точка.

32. Тарковцы секты сунни. Яхунт — старший мулла.

33. Имам — святой; ших — пророк.

34. Кусочки жареного мяса на вертеле (шашлык).

35. То есть передаст ему свои чувства; татарское выражение.

36. Охотно, позвольте! Слово в слово значит: на мою голову, на мои очи!

37. Подушка сия, унизанная дорогими камнями и жемчугом, не имеет цены.

38. Мусульмане верят, что в часовне, на северном кладбище Дербента, положены сорок первых правоверных, замученных язычниками; русские суеверы подозревают, что тут схоронены сорок мучеников.

39. Приглашая пить, говорят: «бог дал», то есть на здоровье.

Примечания

Впервые — в «Московском телеграфе», 1832 год, №№1, 2, 3, 4, за подписью: Александр Марлинский, с пометкой: 1831. Дагестан. Оригинал хранится в Государственной Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.

А. Марлинский работал над повестью необычными для него медленными темпами. Впервые узнаем о работе писателя над «Аммалат-беком» из письма к матери от 20 мая 1830 года. Более чем через год было написано всего четыре главы из четырнадцати (письмо Н.А. Полевому от 9 июля 1831 года). В начале августа 1831 года он послал для «Московского телеграфа» еще пять глав и 26 сентября — окончание повести.

В основе повести — местное предание о драматической истории, разыгравшейся в Дагестане в 1823 году. 13 августа 1831 года Марлинский писал Н.А. Полевому о повести: «Это истинное происшествие, и я от себя прибавил только подробности; дело кончится тем, что Аммалат убьет своего благодетеля» («Русский вестник», 1861, т. 32, март, стр. 305).

Известный французский романист А. Дюма, путешествуя по Кавказу в 1857 году, услышал уже литературную версию трагической истории Аммалата, и она даже вдохновила его написать об этом роман. А. Дюма записал в своем дневнике, что он был очарован красотой и живописностью расположения татарского кладбища близ Дербента. «Вот могила Селтанеты», — сказал он (спутник писателя). «Я стыжусь за свое невежество, — отвечал я, — но кто эта Селтанета?..» — «Есть предание, легенда; даже лучше — целая история; вам расскажут ее в Дербенте. Это самое романтическое происшествие». — «Хорошо, я напишу из этого целую книгу», — отвечал я. «Вы напишете четыре, шесть, восемь, сколько хотите. Но неужели вы думаете, что ваши парижские читатели будут интересоваться любовью аварской ханши и татарского бека, хотя он и потомок персидских халифов?.. Аммалат-бек, любовник Селтанеты, убивший полковника Верховского, который спас его от виселицы, вырывший труп его из земли, чтобы отрубить голову, и принесший эту голову Ахмет-хану, своему тестю, который за эту цену отдал ему руку своей дочери, навряд ли будет понят графинями Сенжерменского предместья, банкирами Монбланской улицы и княгинями улицы Бреда». — «Это будет ново, любезный князь, а я рассчитываю на это» («Кавказское путешествие Александра Дюма». Тифлис, 1861, вып. 1, стр. 235—238).

Ниже приводится примечание автора к «Аммалат-беку». В постскриптуме этого примечания Марлинский писал: «Чтобы не разрушать занимательности романической, примечание можно поместить номером после». Редактор «Московского телеграфа» так и поступил. В Собраниях сочинений, вышедших при жизни автора, это примечание не печаталось.

«Примечание: Описанное выше происшествие не выдумка. Имена и характеры лиц сохранены в точности: автору повести остается только сказать несколько слов насчет изменения истины в некоторых подробностях.

Аммалат-бек, участвовавший в нескольких набегах на русские владения, был выдан головою приведенными в покорность акушинцами самому главнокомандующему Кавказским корпусом генералу от инфантерии Ермолову, в бытность его в Акуше, 1819 года. Автор заставил его сделать впадение с чеченцами за Терек, чтобы вставить картину горского набега.

Полковник Верховский, находившийся тогда в качестве свитского офицера при главнокомандующем, упросил его помиловать Аммалат-бека и взял с собою в Тифлис, учил его, воспитал его, любил его как брата. С ним, после многих походов, приехал Аммалат в 1822 году и в Дербент, когда по смерти полковника Швецова Верховского назначили командиром Куринского пехотного полка. Убил он своего благодетеля в 1823 году точно так, как описано. Читатель заметит, что автор, не желая растянуть повесть на четыре года, сжал происшествие в два года. Просим у хронологов извинения.

Что касается до завязки повести, она целиком досталась автору из рук молвы, и он не счел за необходимое объявлять на иные главы своего сомнения. Пылкие страсти здесь вовсе не редкость, а мщение — святыня для каждого мусульманина: это канва. Досужая рука могла вышивать на ней какие угодно арабески: исполать ей, если они сохранили восточную свежесть. Впрочем, мне многие очевидцы говорили, что они не однажды слышали, как Верховский описывал знойную страсть Аммалата к Селтанете, которая славилась в горах красотою. Да и что мудреного, что молодой бек, скитаясь по горам Аварии, влюбился в прекрасное личико дочери аварского хана, хотя ей, по строгой моей выкладке, не могло в 1819 году быть более 14 лет: девушки созревают на Кавказе неимоверно рано. Молва повествует, что сам аварский хан требовал от Аммалата головы Верховского вместо кабыну (вено) за дочь. Автор сохранил народное предание, но поместил и уверение мамки, истинно бывшее и наиболее убедившее бека.

Смерть Султан-Ахмет-хана случилась точно вскорости после убийства Верховского. Автор ускорил ее для большей игры страстей. Отказ, как говорят, последовал от ханши, ибо Аммалат не застал уже Султан-Ахмета в живых. Что же касается до зверского гробокопства Аммалата, и в этом не отступил автор от рассказов ни на шаг. После похорон на другую ночь могила полковника Швецова, за год умершего, была разрыта по ошибке: ее приняли за могилу Верховского, труп вытащили и отрубили у него голову и руку. Об этом до сих пор с негодованием вспоминают все солдаты.

Аммалат скитался долго в горах, преследуем совестью. Потом ушел в Турцию, был в Истамбуле, в 1828 году дрался в Браилове против русских; оттуда перед взятием города бежал в Анапу и там умер в том же году. Автор разговаривал с товарищем почти всех его странствий, одним каракайдахским беком.

В заключение сказать должно, что он был красавец собой и с счастливейшими способностями — все анекдоты об его удальстве в стрельбе и скачке, описанные в 1-й главе, до сих пор ходят в Дагестане; одним словом, ему недоставало для счастия только твердого характера и откровенного сердца. Селтанета до сих пор прелестна собою и, живучи в Бурной крепости с мужем своим Абдул-Мусселином, свела с ума не одного русского. В утешение тех, которые будут жаловаться, что автор переморил всех героев повести, он почтеннейше извещает, что Селтанета находится теперь в цветущем здоровье и живет после погрома Тарков русскими войсками у матери своей в Аварии.

Сентябрь 1831 года. Дагестан».

Стр. 55. *Полевой* Николай Алексеевич (1796—1848) — писатель, издатель журнала «Московский телеграф» (с 1825 по 1834 г.).

Чуха, или чоха — верхняя мужская одежда с широкими откидывающимися рукавами.

Термалама — плотная шелковая или полушелковая ткань.

...хорасанского булата... — Хорасан — северо-восточная иранская провинция; славилась производством оружия, ковров и шалей.

Стр. 57. *Султан Ахмет-хан Аварский* (ум. в 1823 г.)—числился генералом русской службы, но вместе со своим братом Гассан-ханом (убит в 1819 г.) вел изменническую политику, не раз выступал против русских войск на Кавказе.

Стр. 58. *Ферман* (фирман) — письменное повеление, приказ.

Стр. 59. *Сардарь* — министр двора; здесь: главнокомандующий, то есть Ермолов.

...обижен письмом... генерала... — Речь идет об ответе Ермолова на письма аварского хана в 1818 году. Главнокомандующий разгадал двуличную политику хана и предложил ему сделать выбор: быть подданным России или ее неприятелем.

Стр. 60. *Стамбульский диван* — в Турции совещательное собрание сановников при султане.

Стр. 67. *Омировские герои* — гомеровские.

Стр. 72. *Нагалище* — ружейный чехол.

Стр. 73. *Цевница* — свирель.

Стр. 75. *Аманаты* — заложники.

Стр. 75. *...голова буйвола вонзилась рогами в землю.* — Н. Берг в своих воспоминаниях рассказывает, что однажды он спросил Ермолова: правда ли, что он ссекал голову быку? «Нет, неправда, — отвечал Ермолов, — я никогда не пробовал этого делать; даже, сказать откровенно, едва ли бы мне это удалось. Тут нужна особая сноровка и навык, без навыка никакое богатырство не поможет. А силен я был, это точно, ужас, как был силен» («Русская старина», 1872, т. 1, стр. 989).

Стр. 76. *Лафатер* Иоганн Каспар (1741—1801) — немецкий писатель и богослов, автор «Физиономики», где утверждается, что по чертам лица можно определить характер человека.

Стр. 79. *...фарсийского пустословия...* — восточного.

Стр. 81. *...во время войны с фиренгами* — здесь: французами.

Стр. 82. *...умер его приятель-соперник.* — Полковник Пузыревский в 1820 году был назначен Ермоловым правителем Имеретии. Однако вскоре он был убит во время одной карательной экспедиции.

Стр. 83. *...видна уже стена.* — К западу от Дербента на протяжении 80 верст видны развалины стен и башен, сооружение которых приписывалось Александру Македонскому, завоевавшему Персию в IV веке до новой эры.

Дербант-наме — сочинение по истории Дербента; было переведено на русский язык по приказанию Петра I.

Царь Нуширван Справедливый, из династии сассанидов, царствовал с 530 по 578 год. Ему приписывается окончательная постройка стен и крепости Дербента, основанного в конце V или начале VI века.

...имея... железными воротами Дербент... — Слово Дербент — персидское (дер — дверь, бенд — преграда, застава); у арабов Дербент назывался Баб-уль-абваб, то есть главные ворота, или Баб-уль-хадид — железные ворота.

Меридово озеро — знаменитое озеро в Древнем Египте. Оно соединялось с Нилом, и с помощью шлюзов регулировался его разлив.

Я бродил по следам великого Петра... — Имеется в виду персидский поход Петра I, предпринятый им в 1722 году с целью расширения торговых связей России с Востоком. В результате похода ряд прикаспийских районов Дагестана и Азербайджана был присоединен к России. Местные жители, стремясь освободиться от персидского ига, с радостью принимали русских. В письме, обращенном к сенату, Петр писал: «Сии люди не лицемерно любовно приняли и так нам рады, как бы своих из осады выручили». В 1736 году завоеванные области были возвращены Персии.

Стр. 84. *...за Швецова дали выкупу...* — В феврале 1816 года был захвачен чеченцами на дороге из Дербента в Кизляр Грузинского гренадерского полка майор Швецов. В плену он томился более года, закованный в тяжелые цепи и находясь в глубокой яме. Чеченцы требовали выкуп 250 тысяч рублей. Сумма эта благодаря ряду мер, предпринятых Ермоловым, была снижена до 8155 рублей. Впоследствии Швецов был командиром Куринского полка. В 1822 году он умер от желчной горячки.

Стр. 86. *Харам-зада* — жулик, обманщик.

Аллах берекет! — слава богу (бог милостивый).

Стр. 87. *Туманы* — женские шаровары.

Любовь, как Мидас, претворяет все... — По греческой мифологии, Мидас, фракийский царь, имел свойство все, к чему он прикасался, обращать в золото.

Стр. 89. *Факир* — здесь мусульманский аскет, давший обет нищенства.

Стр. 90. *Саади* Ширази (между 1203 и 1208—1291) — великий таджико-персидский поэт, автор дидактической поэмы «Бустан» (1257), сборника коротких рассказов и поэтических афоризмов «Гулистан» (1258).

Гафиз или Хафиз (1300—1389) — великий таджико-персидский поэт-лирик. Большую часть поэтического наследия Хафиза составляют газели (около 500).

Стр. 96. *...близ селения Бугдень* (Губдень). — Отряд Верховского останавливался здесь с 18 на 19 июля 1823 года.

Стр. 98. *...подобно войску фараона.* — Имеется в виду библейский рассказ о гибели войска фараона, бросившегося в погоню за израильтянами, выведенными Моисеем из Египта, и погибшего в сомкнувшихся волнах Чермного (Красного) моря.

Стр. 100. *...Ермолов громил Дербент...* — А.П. Ермолов принимал участие в персидском походе гр. Вал. Зубова. За штурм и взятие Дербента в мае 1796 года он был награжден орденом св. Владимира четвертой степени.

Стр. 102. *Бомбарда* — корабль, предназначенный для бомбардирования крепостей с моря.

Стр. 104. *Бирсеркеры* — в скандинавской мифологии воины, обладавшие сверхчеловеческой силой и бешеною яростью в битвах.

Стр. 105. *Плиний* Старший Гай Секунд (23—79) — видный римский ученый и писатель. Здесь имеется в виду его энциклопедическое сочинение «Естественная история».

Стр. 105. *Прокопий* Кесарийский (р. в конце V в. — ум. ок. 562 г.) — крупнейший византийский историк, автор «Истории войн Юстиниана с персами, вандалами и готами», в которой содержатся весьма ценные сведения о древних славянах и народах Кавказа.

Текст и примечания печатаются по источнику:

Бестужев-Марлинский А.А. Аммалат-бек // Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения в двух томах. — Т. 1. — М.: Государственное издательство художественной литературы, 1958. — С. 423—547, 622—628.

ПИСЬМА ИЗ ДАГЕСТАНА

I

Дербент, 1 сентября 1831 года.

Куда вы больно затейливы, любезные мои приятели: пиши вам и часто и много, описывай всю подноготную, и где, и как, и почему. Да что я вам за Саллюстиус*, что за Жомини*! Мое дело сказать вам: вот что я видел, вот что мне известно… Но много ли увижу я чрез ствол моей стальной зрительной трубки, много ли узнаю в цепи стрелков на пикете, в *секрете*? Я могу довольно верно изобразить вам уголок картины, у которой пороховой дым служит горизонтом и рамами, но не спрашивайте у меня целой панорамы, еще менее — планов сражений и походов. На это не станет у меня ни средств, ни уменья, ни досуга.

Но ведь надобно же и вас потешить; надобно же хоть сколько-нибудь познакомить вас с театром дагестанской войны. Итак, разогните карту Кавказа. Реки Самбур (по-русски Самура) и Койсу (при устье разделяющаяся на рукава Аграхан и Сулак), разбегаясь с хребта, первая на юго-восток, другая на северо-запад, образуют огромный неправильный треугольник, пересеченный параллельно берегу Каспия хребтом Салатав и его продолжением. Верх этого треугольника заселен лезгинскими племенами, известными под общим именем тавлинцев (от тав — гора); трапеция же, омываемая морем, занята кумыками, дженгутайцами, каракайтахцами, табасаранцами. На самом хребте с юга живут вольные табасаранцы, за ними акушинцы, внутрь гор аварцы, за ними по прямой линии очень близок и Тифлис. Ныне, для управления, к Дагестанскому округу присоединен и Бакинский округ, так что граница Дагестана, то есть *страны гор*, касается теперь Ширвани. Города Тарки, Дербент, Куба — вот три оси, около которых должны вертеться колеса нашего рассказа… Покатимся.

Помня Ермолова, горские народы не смели подняться на русских и в смутное время 1826 и 1827 годов, когда войска Аббас-Мирзы* проникли до самой Самбуры и все Засамурье поднялось с ними заодно. Этому, правда, способствовало разноверие. Персияне следуют секте Шаги, а все горцы сунниты, и ненавидят друг друга насмерть. Впоследствии, глядя на удачные разбои своих соседов, чеченцев и черкес, пробудились лезгины, около Кахетии живущие. Постройка крепости Закатал в сердце гор стоила многих трудов и крови. Мало-помалу дух мятежа, грозимого карою, проник и в край давно покоренный, в Дагестан. Появление дерзкого проповедника Кази-муллы* сосредоточило, дало религиозный характер мятежу, хотя настоящие тому причины давно тлелись под пеплом страсти к хищничеству. Стоит сказать слово об этом необыкновенном человеке, занимающем все базары Кавказа вестями о своих делах или замыслах, про которого поют женщины, качая ребенка, и ребята пугают друг друга.

Кази-Мугаммед родом койсубулинец, из селения Унсукуль. Говорят, будто дед его был беглый русский солдат. Ребячество свое провел он в Гимри, в селении, лежащем на южном обрыве Салатава, прямо против Эрпилей. Бедняк, подобно всем своим соотечественникам, возил на осле виноград в шамхальские деревни, для промена его на пшеницу. Эта кочующая жизнь дала ему подробное познание местностей, и он мастерски пользуется им против нас. Впоследствии он отдан был учиться грамоте к одному мулле в с. Бирикей (оно лежит при устье Бугама). Мулла этот, заметив в Кази-Мугаммеде необыкновенное прилежание и смышленость, послал его к известному ученостью кадию Мугаммеду, во владение Аслан-хана Казикумыкского. У него-то, изучив арабский язык, натерся он духом мусульманского изуверства и нетерпимости. Скоро, почитая или выдавая себя за вдохновенного свыше, Кази начал проповедовать ненависть и восстание на неверных. Аслан-хану, человеку равно властолюбивому, как далекому фанатизма, не понравилось это хозяйничанье в его владении; он выгнал оттуда с бою и учителя и ученика, говоря, что мусульманам за глаза довольно одного Мугаммеда. Это случилось в 1821 году; с той поры Кази притих, и в нем самом затихли, кажется, надежды на известность. Обстоятельства отрастили им крылья.

В 1830 году западные горцы начали производить свои набеги. Друг перед другом рвались они отличиться; но в Дагестане, в котором Кази-Мугаммед начал уже действовать через письма, воззвания, подговоры и обеты, ничего важного не произошло… Река роптала, вздымалась, но еще не выступила из берегов. Над дагестанцами висел, как туча, сильный корпус, сначала под командою генерал-лейтенанта князя Эристова*, потом генерал-лейтенанта барона Розена 2-го*. Только жители Темир-Хан-Шуры, подвластные шамхалу, ушли из домов своих и порой ночью тревожили перестрелкою лагерь, близ деревни их расположенный. Войска сделали только рекогносцировку на Гимринскую гору, ночевали в снегу, полюбовались на рассеянные в Койсубулинском ущелье деревни; стрелки променяли несколько пуль с сторожевыми горцами; артиллерия для опыта бросила несколько гранат; они все лопнули на воздухе, ибо круть и глубина обрыва делают прямые выстрелы невозможными. Войска возвратились в лагерь к Шуре; осенью 14-я дивизия возвратилась

на место, а куринцы и апшеронцы разошлись по своим штаб-квартирам[1]. Зиму все было спокойно: почты ходили очень верно от Кубы до самого Кизляра; путники ездили поодиночке; но с появлением подножного корма, этого элемента наездников, все жители поморья начали уклоняться от своих обязанностей. Там и сям совершались убийства… волнение стало заметнее; наконец Навруз-бек, один из старинных дагестанских наездников, долго бывший дружителем русских и находившийся под следствием за дурное управление вверенных ему деревень, бежал из Дербента с удалыми сыновьями своими, набрал шайку, напал на рассеянных в лесу косцов Куринского полка и вырезал многих изменнически. В скором времени поднялись и каракайтахцы, ибо жители многих деревень были участниками сего разбоя. Кази-мулла почти тогда же явился в Дагестане с сильным войском тавлинцев и чеченцев; владения шамхала подняли оружие.

Не трудно себе вообразить, как легко взбунтовать азиатцев! Самые нелепые слухи, самые невероятные надежды, самые несбыточные обеты идут у них за чистое золото. И что мудреного! Люди, для которых нет ни *вчера*, ни *завтра* и оттого ни опытности за минувшее, ни расчета на будущее; люди, которые не видят и в настоящем того, что есть и как оно есть, а того менее, как оно быть должно; люди, которым бог дал довольно ума, но обстоятельства не развернули нисколько разума, — очень легко меняют верное на неверное, более любят ружье, чем заступ, и охотнее переносят нужду, чем труд. Правду сказать, азиатцу немного терять. Сакля его без потолка; он кроет ее тростником. Половина хлебов и лугов его вытоптана; он продает втридорога остальное — и сыт и прав. Напевая себе боевую песенку, он чистит винтовку в глазах русского постояльца. Притом в каждом азиатце неугасим какой-то инстинкт разрушительности: для него нужнее враг, чем друг, и он повсюду ищет первых. Не то чтоб он ненавидел именно русских; он находит только, что русских выгоднее ему ненавидеть, чем соседа, а для этого все предлоги кажутся ему дельными. Разумеется, умные мятежники пользуются всегда такою наклонностию и умеют знаменем святыни покрывать и связывать мелочные страсти. Надо примолвить, что война с поляками* отозвалась и в горах, дав горцам если не надежду на успех, то поруку в долгой бескарности. Кавказ зашевелился: ему вздумалось стряхнуть с хребта своего наших великанов… Не горячись, голубчик! В 1831 году скопища Кази-муллы принимали вид более и более грозный. Небольшой отряд русских, дважды выступая из лагеря под Кяфир-Кумыком, успел разбить шайки возмутившихся жителей. В половине мая генерал-майор Таубе* проник в ущелье к д. Атлы-буйны[2], имел жаркое дело с Кази-муллою, но возвратился без успеха на линию. Тогда, как горные потоки, хлынули к Таркам лезгины и залили всю окрестность. Несколько сотен храбрых защищали огромную крепость Бурную, висящую над Тарками; но они были отрезаны от моря и от гор… Отряд генерала Коханова* громил в то время деревни изменников, но между им и Тарками шумели волны измены. Сношения были невозможны.

Тарковские жители клялись, как обыкновенно, быть верными власти законной и, как обыкновенно, стоптали свою клятву. В ночи на 26 мая Кази-мулла с своими войсками вступил в город тихомолком; на рассвете жители, под предлогом бегства от приближающегося врага, подкатили арбы с нагорной стороны близко к крепости, под защитою оных кинулись к стенам первые, несмотря на пальбу с блокгаузов, и в один миг заняли стрельницы. Вложив в каждую стрельницу ружей по пяти, они поражали каждого, кто хотел приблизиться… отвечали ударами кинжалов на удары штыков и нередко вырывали друг у друга ружья. Надобно сказать, что в самой крепости нет родников, и потому воду взвозят в нее волами по крутой дороге, иссеченной в утесе. Дорога эта прикрыта стенкою с зубцами; две небольшие башни служат ей для боковой обороны. Немного выше, на повороте дороги, стоял пороховой погреб; на него-то устремились мятежники густыми толпами, чтобы одним ударом лишить гарнизон и воды и снарядов. Предприятие их увенчалось успехом. Закрытые самою стенкою от выстрелов пушечных, они разломали оную, отбили двери погреба и с криками победы ворвались туда на дележ патронов; другие, упоенные удачею, поползли, как змеи, выше, — участь Бурной висела на волоске… Но вдруг граната, решительно брошенная с крепости, лопнула в самых дверях погреба… Этот миг был ужасен!.. Утес дрогнул как лист, гром разорвал ухо, и черный столб, рассеченный пламенем, взвился под облака… Камни и трупы вращались в дымном вихре, страшно чернея на зареве, и вдруг этот столб разветвился широко и, подобно адскому водомету, брызнул на землю изорванные, опаленные останки взрыва. И все еще трепетало, шумело, звучало кругом; камни катались сами собою, стекла рассыпались в пыль, затворы скрежетали, и пепельный дождь, перемешанный кровавыми членами, летел из воздуха.

Ужас, объявший всех, для русских длился минуту. Майор Федосеев, комендант и воинский начальник в Бурной, предпринимал и пред сим две смелые, хотя гибельные вылазки, чтобы отбить воду. Он выслал третью, когда еще не опал дым взрыва. Солдаты наши, врезавшись между оглушенных врагов, кололи их беспощадно, кровь лилась на кровь; но обезумелые горцы кидались вперед и гибли то на штыках, то на острых камнях, сброшенные с крутизны. Это происшествие ободрило осажденных, усмирило на время осаждающих. Ночь пала, но она не прекратила перестрелки. Горцы, выжитые продольными выстрелами из-под стен, заняли высоты, владеющие крепостью, и били по бойницам на выбор. Пули летали даже внутрь домов; раненые не были безопасны в постелях.

Между тем недостаток воды поджигал жажду. Плач женщин и жалобный рев четвероногих наводили тоску на самое бесстрашное сердце. Бубны и клики угроз и повременные выстрелы раздавались

кругом крепости, будто в насмешку уныния, в ней царствующего. Комендант был неусыпен, гарнизон отважен; но что могла сделать горсть людей против тысяч, беспрестанно возрастающих? Русских едва доставало на пятую часть бойниц. Жажда возрастала, а отряд бог весть где. К счастию, один татарин, из числа преданных шамхалу, скрывшемуся в крепости, взялся доставить весть об осаде генералу Коханову. Поутру он, показывая вид, будто бежит из Бурной, спрыгнул со стены; по нем открыли холостую пальбу; он удалялся, отстреливаясь, и наконец скрылся в кустарниках, в рядах вражеских. Сердце у каждого солдата билось страхом и ожиданием. Пройдет ли он? Дойдет ли он? Не изменит ли сам? Поверят ли ему?.. День минул в перестрелке. Сон не смыкал очей осажденных.

На третье утро с крепости увидели, что горцы, раздраженные безумолчным огнем башни, стоящей внизу на водяной дороге и совершенно отлученной от всякой помощи, набросали на потолок ее дров, обложили вокруг хворостом и собираются сжечь и сжарить заживо заключившихся там двенадцать человек солдат, которые решились погибнуть скорее, чем сдаться. Участь, ожидавшая этих бесстрашных, была ужасна. Товарищи видели их бедствие и не могли помочь им!.. Несколько головней, брошенных на кровлю, закурились... Зверские крики радости огласились в толпах осаждающих — но железные двери распахнулись внезапно, и маленький гарнизон ринулся по дороге вниз к водяной башне, где другая кучка храбрых отсиделась от беспрестанных нападений, хотя и потеряла своего офицера. Один убитый и трое раненых заплатили за это счастливое переселение; но остальные спаслись от страдальческой смерти, тем вернейшей, что у них не было уже ни зерна пороху.

Если б Кази-мулла был опытнее и воины его решительнее, Бурная не могла бы устоять, несмотря на львиную храбрость гарнизона. С нагорных сторон стены так низки, что враги могли бы штурмовать их с плеч товарищей, и так обширны, что если бы повели атаку со всех фасов, малочисленный гарнизон не знал бы, куда кинуться для отпора. Но блокгаузы ли, заменяющие бастионы, пугали горцев, или вели они нападение с востока оттого, что им ближе было ходить из города, только они будто на смех напирали на самую неприступную сторону; несколько раз порывались отбить ворота и всегда бывали отражаемы с уроном и провожаемы в напутье пулями и картечью. Но солнце клонилось к западу, и с ним западала надежда осажденных. Нет как нет отряда! Нет как нет спасения! Переметчики принесли весть, что к утру Кази-мулла назначил решительный приступ, что лезгины вяжут фашины и лестницы. Русские готовились умереть, не выдав оружия, и в этот миг услышали звук перестрелки, вторимый эхом гор. Можно ли представить себе, не только описать другим, этот переход от отчаяния к радости! Была уже ночь, когда русская граната рассыпалась звездой спасения, — гром пушек и ура приветствовали братий. Враги и други наши ночевали на оружии! Судьба потрясала жребиями боя и смерти в таинственной урне. Солнце встало кроваво, как боевое знамя; все видели восход его; но сколь многим не суждено было видеть его заката! Я уже описал вам тарковское сражение; вы сами можете вообразить чувства, волновавшие осажденных, когда увидели они малочисленный отряд, идущий в неровный, сомнительный бой с неприятелем, скрытым в стенах, впятеро сильнейшим. Но чего, но кого не одолеют русские? Разбитый Кази-мулла бежал, ночью, пеший. Но он не уныл духом... Скоро узнали мы, что он в течение восьми дней осаждал в Чечне крепость Внезапную и, верно бы, взял ее, истомив жаждою, если б не подоспел генерал Бекович на выручку. 19 июня генерал Коханов разбил вблизи Тарков еще раз мятежников. Горцы вздумали напасть на русских среди бела дня и почти на открытом месте. Их, как водится, обошли, подпустили на полкартечный выстрел и развеяли в прах. Вот уже правда, что они от дыхания пушек летят, как «пух от уст Эола»*. Больше всех досталось тут мехтулинцам, подручникам Ахмет-хана, которые еще в тарковском деле дрались с нами заодно и потом пристали к мятежникам.

22 августа было дело в Казанищах. Вы его знаете из моих писем. В промежутках отряд жег деревни; впоследствии он стал лагерем близ селения Губдень; это лучшая наблюдательная точка; тут ворота гор, и оттуда равное расстояние до Тарков и Дербента, по два усиленных перехода в каждое. В это время я был в Дербенте.

Между тем искры мятежа, раздуваемые Кази-муллою, вспыхнули пламенем в вольной Табасарани. Вслед за ними взволновались и владения Ибрагим-бека Карчахского, наследника майсумов (князей) Табасарани, человека издавна преданного русским. Это принудило генерал-адъютанта Панкратьева*, главноуправляющего Закавказским краем, по отбытии графа Паскевича-Эриванского в столицу, отрядить для усмирения Табасарани два батальона 42-го егерского полка, с несколькими сотнями ширванской конницы. Отряд этот поручен был храброму полковнику Миклашевскому*, тому самому, который в 1828 году с цепью стрелков сбил турок с Топдагского кладбища, втоптал их в ворота Карса, ворвался с ними вместе внутрь и был главным виновником внезапного взятия этой крепости. Он промчался грозой по Табасарани, по непроходимым лесам и крутизнам, имел сражение на горе Гарбакурани, при Каруль-Гуа, при Нетарин-Гирве, спалил девять селений, покорил новый магал, заставил присягнуть старшин прочих — но, вдруг отозванный в Ширвань, ушел из Дагестана[3]. Экспедиция его продолжалась пятнадцать дней; но долго будут помнить в горах Карополковника (то есть черного), как называют его горцы.

В это самое время слухи о намерении Кази-муллы напасть на Дербент возросли до вероятия. По вечерам татары теснились в кружки по перекресткам и базарам; женщины, встречаясь на ули-

цах, восклицали: «Ваксей джан джюван! На вар, на олур (Ахти, молодушка! Что слышно, что-то будет)?» и нередко, присевши на корточки, забывали закрывать лица от прохожих. Мальчишки, прыгая на одной ноге, напевали: «Кази-мулла геляды (идет)!». Взад и вперед возили пушки, снаряды. Русские кумушки тащили, как муравьи, свою рухлядь в крепость… В городе кипела какая-то мрачная деятельность. Мне все это казалось очень забавно. «Стоит ли жизнь таких хлопот?» — думал я и преспокойно закуривал фитилем трубку.

Желая, однако ж, узнать мнения дербентцев, преданности которых, признаться, мало верил, я нередко, нахлобучив папах на брови, закутан в татарскую чуху, вмешивался в толпу и прислушивался к народным толкам.

— Ему ли, собачьему сыну, прийти сюда! — говорили иные старики, поглаживая с гордостью красные бороды. — Не ему чета был русский сардарь Кызыль-аях[4], да простоял же под Дербентом целую зиму. С той стороны батареи, как начнут жарить, так, бывало, у земли лихорадка делается, а бомбы-то, бомбы! Как ударится одна о другую в воздухе, да и упадут наземь; в большой мечети штук пять нашли сплющенных, словно блюда. Да и то, если б *мы сами* не захотели выгнать хана, ничего бы не взяли русские. Про старинное нечего и поминать: сколько раз подступали сюда и горцы, и индейцы, и крымцы — да грязь съели!

— Сожгу я гроб отцов да и прадедов этого Омарова отродья!* — говорил другой. — Видишь, что задумал *он*! Всем, кто постарее — голова долой, кто помоложе — в плен, а женщин наших по рукам разобрать!.. Говорят, уж приказ дал своим все золото с женских монист ему принести, когда будут грабить Дербент, а другое прочее что кому попало[5]. Проклятый недоверок, да еще нас же не считает мусульманами; они, говорит, хуже гяуров!..

— Плюю на бороду этого Тази-муллы[6], и друзей его, и разбойников его! — восклицал третий, выставляя ручку кинжала в оправе, с блестящей насечкою. Пусть только лопатники лезгины покажут сюда нос, так мы им дадим себя знать!

Но между этой хвастни возникал и голос сомнения, чтоб не сказать, страха. Купцы, которые под миродатным владычеством русских давным-давно отвыкли от оружия, оглядывались назад и поговаривали, что русских здесь чересчур мало, что микелляры[7] городские в сношениях с Кази-муллою, что они, пожалуй, впустят его ночью, что городские стены кругом шесть верст, а в городе нет народа на осьмую часть этой длины и у половины взрослых нет ружей! Иные толковали даже, что конницею можно вбрести в море, объехать стены и ударить с открытой стороны…

— Все горы опрокинутся на нас! — говорили самые робкие. — Абдурзах-кади, Исса-бек, Шамардан-бек и другие окрестные владельцы давно таят измену, давно звали сюда Кази-муллу и теперь уже явно пристали к нему. От генерала Коханова мы отрезаны. Кара-полковник ушел в Ширвань, а того и смотри, что Аслан-хан нагрянет заодно с нашими врагами. Говорят же, что и Акуша и Авария подымаются!

В этих речах было много правды.

II

Наконец 19 августа, верст за пятнадцать от города, наездники Кази-муллы завязали перестрелку с дербентскими разъездами через речку. Неприятель напирал — дербентцы свились назад. К вечеру 3-й батальон Куринского пехотного полка оставил свои казармы, за две версты от города, выстроенные на высотах Кефары, вступил с барабанным боем в Дербент и расположился на приморских стенах. Крепость Нарынь-Кале занята была батальоном Грузинским линейным №10-го, под командою майора Пирятинского. Стены города во всем их пространстве вверены были защите жителей.

Исправляющий должность дербентского коменданта сделал заранее все нужные распоряжения. Места по фасам были расписаны для действия — точки сбора на случай приступа. Полуразрушенные стены увенчаны наскоро грудною обороною из досок, из корзин с землею, из хвороста. Ночь прошла в ожидании.

И вот утром 20 августа закурился дым по дороге Тарковской — это горели стоги сена. Вестники скакали взад и вперед, взвивая пыль по полю; кровли осыпаны были зрителями; женщины, разбросив по ветру чадры, с криком бегали из дома в дом; везде сверкали штыки и сабли; на углах крепости виднелись в высоте артиллеристы, заряжающие орудия. Барабаны гремели. Город, не видавший в течение тридцати лет ничего воинственного, превратился вдруг в боевой стан. В семь часов запылали куринские казармы в Кефарах, и клубы черного дыма, как перья великанского шишака*, осенили противолежащую гору. Первый подскакал к башне (когда-то сторожевой, на углу этой горы стоящей) статный черкес, мелькнул на черном поле дыма и будто улетел с ним… За ним другой, третий… Дербентская конница, как стадо свиристелей, шумя, влетела в ворота — и вот рассеянные толпы неприятельской пехоты показывались по всем дорогам и садам, вея белыми значками. Пушка заревела с крепости — ядро запрыгало между врагами, и клики вражды с обеих сторон огласили воздух. Надобно сказать, что Дербент северным боком стоит над ущельем, которое охватывает с запада крепость оного, Нарынь-Кале, и потом простирается в гору. Крутой берег этого

ущелья увенчан двумя башнями, когда-то сторожевыми, но теперь покинутыми. Эти башни были в тот же миг заняты мятежниками, и из-за них-то завели они перестрелку по стенам, по улицам, в окна домов и начали складывать из камней завалы (tranchée). Меня удивили и потешили четверо дербентских жителей; залегши на горе за камнями, они одни-одинехоньки, на пистолетный выстрел от врагов, оставались три битых часа и не давали высунуть носа из-за гребня холма своими меткими выстрелами; вот что значит решительность! Но между тем завалы росли. Лезгины, как муравьи, таскали по камню, сейчас ложились за ними и посылали к нам брань и пули.

В несколько часов обе башни были соединены стенкою, и в бока разведены были крылья (épaulements). Пальба не умолкала. Жители сгоряча не жалели пороху; всякий хотел доказать свое удальство или усердие… Пушечные выстрелы держали такт в этой увертюре… Вид был единственный.

Под вечер, вслед за одним капитаном, я сел на коня и поскакал к морю проведать, что там делается. Виноградные сады, перерезанные канавками и терновыми оградами, подходят там почти вплоть к стенам города. Пользуясь этим, неприятельские стрелки пытались подползать шагов на тридцать. Всхожу на стену подле Кизлярских ворот — такая пальба, что небу жарко!.. Несколько человек лезгин хотят унести своего раненого; на раненого упал убитый, на убитого третий. Горцы хотят выручить тела товарищей — все напрасно. Бедняга раненый бился под трупами, выбрался, пополз, порвался перелезть через плетень и, вновь пробитый многими пулями, повис поперек, как орден Златого Руна*. Вперед, вперед!.. Чего жалеть! Вот несут и русского раненого.

На основании разрушенной приморской башни поставлено было легкое орудие. Глядим: кучка неприятельских всадников приехала купаться в море. Ах вы, разбойники! Вам надо кровавое омовение за эту дерзость. Фейерверкер! Хватит ли туда ядро? Фейерверкер уверяет, что не хватит. А вот пустим на божью волю! Капитан, с которым я приехал, присел на лафет, подвинтил по диоптру подушку. *Пли*! Ядро всплескалось, как утка по отмели; прыжок, другой, и как раз в сторону толпы!.. Любо стало видеть, как разбрызнуло оно купальников… Ага, дружки! Каково наше чугунное мыло? Наводим трубку: тащат троих — и все прочь, и все вроссыпь. Готова ли? Пли! — и снова прощальное ядро взвило пыль по полю; одного молодца угодило в полконя, и он вместе с буцефалом своим мельницею закрутился в воздухе. Между тем близ нижнего базара вывезли два единорога*, чтобы пронизывать во фланг прибашенные завалы. Гранаты лопались на горе, вздымая прах и дым на зареве заката. Дикий рев радости наших азиатцев провожал каждый удачный выстрел; напротив, клики укора раздавались в скрытых толпах осаждающих, если удар миновал цель. Реже и реже летели навстречу угрозы и пули. Наконец вечерний намаз* укротил перепалку. В течение этого дня неприятель обходил город, с горской стороны занимая гребни холмов, а с кубинской — сады.

Мне впервые удалось быть в осажденном городе, и потому я с большим любопытством обегал стены. Картина ночи была великолепна. Огни вражеских биваков, разложенные за холмами, обрисовывали зубчатые гребни их то черными, то багровыми чертами. Вдали и вблизи ярко пылали солдатские избушки, сараи, запасные дрова. Видно было, как зажигатели перебегали, махая головнями. Стрельба не уставала, ибо лезгины подползали к самым стенам, то желая отрезать воду, то зажечь ворота, подбрасывая под них хворост. Самый город чернелся, глубоко потопленный в тени, за древними стенами; но зато крепость, озаренная пожаром, высоко и грозно вздымала белое чело свое. Казалось, по временам она вспыхивала румянцем гнева; медные уста гремели, и эхо гор с ропотом вторило глаголу смерти, между тем как зловещий свист ядра порывался сквозь мрачный воздух. Дикий хор бодрствующих дербентцев: «Хабардар, оий хабардар (остерегайся)!» и, будто в ответ ему, вечная песня последователей Кази-муллы: «Ля нилля гилль алла!» раздавались часто. На взморье змеился отблеск двух костров… Так прошла первая ночь.

Встало солнце, и неприятель разыгрался. Конница и пехота потянулись к морю, вероятно, пытаясь ворваться в город с открытой стороны. Орудия заговорили и с крепости и с двух новых барбетов, устроенных ночью на дряхлых стенах города. Вот всходит к нам на стену Ибрагим, бек Карчахский, держит речь к дербентцам — зовет их на вылазку подкрепить его нукеров. Идем, идем. Двое русских, тут бывших (один штабс-капитан и я), не дожидаясь, покуда отомкнут ворота, спускаемся со стены. Сорок удалых нукеров Ибрагима кидаются вперед; град пуль встречает нас с сторожевых башен, град пуль осыпает в бок из завалов, на локте ущелья заложенных. «Югюрь, югюрь (бегом)!» — кричат со стены татары. Мы бежим, спускаемся в рытвину, прядаем на камни, взбегаем по крутизне на гору, — ядра ревут через нас предтечей гибели. «Хоччаклар (молодцы)! — кричу я татарам. — Кто выстрелит больше разу из ружья, алагын дюшан-лы (тот враг божий). Сигерма клынч гиррек (ударим лучше с обнаженными саблями)», — и с этим словом, после немногих выстрелов, кидаемся на завал с обнаженными кинжалами. Ура! Наша взяла, пули чрез голову, смятый враг бежит, башни наши, знамя наше — пошла резня. Нукеры Ибрагима, по обычаю, режут головы; мы преследуем неприятеля, который, перестреливаясь, рассыпается по садам, по горам, по стремнинам; отбиваем коней, берем пленных. Но неприятель с Кефаров обращается на нас превосходными силами. Толпы лезгин с воплем стремятся навстречу, и мы отступаем тихо, гордо, оставляя по следам кровь и трупы, разбрасывая завалы вражеские. Замечу одно: с азиатцами можно надежно идти вперед, но зато отступать с ними беда! Они бегают по горам, как серны, и не любят оглядываться назад. Кто не легок на ногу, тому накладно быть с ними в деле.

22 числа еще раз ходили на вылазку с татарами с кубинской стороны. Усердие жителей росло с каждою удачею. Комендантские ворота осаждены были толпами дербентцев, желавших вооружиться. Бывало, римская чернь кричала перед сенатом: «зрелищ и хлеба!» — здешняя просила ружей и пороху. Им розданы были все залишние ружья 10-го линейного батальона. Стар и мал вооружились, кто чем мог. Везде точили кинжалы, везде ковали копья для отражения со стен в случае приступа. 23-го с утра была русская вылазка в приморские сады: выбили неприятеля из предместья, которое он покушался зажигать. Часу в шестом вечера дремал я на стене, утомленный долгою бессонницею, как вдруг крики пробуждают меня… Неужели приступ? Смотрю: татары и русская рота делают вылазку с моря и из Кизлярских ворот, против кладбища Кырхлар, на котором усилились мятежники, сбираясь туда молиться на гробе очень уважаемых, хотя очень мало знаемых суннитами сорока мучеников. Знамя Кази-муллы целый уже день веяло на одной из надгробных часовен и словно дразнило русских. Идут, близятся!.. Ретивое во мне так и вспыхнуло: ну лётом бы полетел туда! Прикован долгом к своему месту, я принужден был в этот раз остаться только зрителем боя, который совершался перед глазами, как на ладони. Татары, под начальством Фергат-бека, ползли из садов; русские, человек около сотни, шли из Кизлярских ворот; с левой стороны им на помощь выходила из главных еще кучка дербентских жителей.

Между тем с горы беспрестанно спускались лезгины на подкрепление своих, перебегая поле под ядрами и картечью. Пальба закипела будто в котле, когда русские пошли в штыки; но ряды стоячих надгробных камней сломали строй; убийственный огонь из двух часовен и длинной мечети остановил сперва дербентцев, потом и русских… Первые обратились назад, вторые замялись… Минута колебания была ужасна для зрителей. Стоило видеть тогда стены и кровли Дербента, усыпанные множеством людей обоего пола и всех возрастов, несмотря на опасность. Крики удовольствия и одобрения гремели вслед нашим, но когда волна отхлынула, мертвое молчание воцарилось на стенах… И дербентцы и лезгины вскочили из-за брустверов, но никто не стрелял друг по другу: взоры и души всех прикованы были к судьбе стычки — она решилась. Видно было, как выскочил вперед капитан, командовавший ротою, махнул саблей; пушка, подвезенная ближе, брызнула картечью, пальба удвоилась с кладбища, но русское *ура* заглушило ее. Куринцы бросились против камней, оживленных огнем, в штыки — и неприятель дрогнул, побежал. Лезгины прыгали из окон мечети и гибли на штыках. Ядра пожинали беглецов в поле. Бой примолк, но еще белое знамя раздувалось на куполе; несколько отчаянных защищали узкую лесенку в стене часовни, но мы видели, как один солдат пробился наверх, как он заколол последнего врага, сбросил его вниз и сорвал знамя. Мы, как гомеровские троянцы, рукоплескали со стен победителям.

Но скучно было бы, друзья мои, волочить вас по всем вылазкам и день за днем описывать происшествия блокады. Скажу только, что 24 числа неприятель, руководимый терхеменскими знахарями местностей, отвел воду, отчего только два самородка остались в целом городе, что несколько раз осаждающие густыми толпами стремились к стенам и, отраженные, ограничивались одной перестрелкой. Гарнизон был неутомим и неусыпен. Усталые от пальбы днем, солдаты поправляли ночью стены, насыпали брустверы, устраивали траверзы; начальники подавали собою пример отваги и деятельности. Мусульмане соревновали русским. Между тем мятежники, привлеченные жаждой добычи, за недостатком ее вымещали свою досаду разрушением. Все, что могло гибнуть от огня и железа, — гибло. Винные заводы, загородные домики пылали. Фруктовые деревья падали под топором, виноградники посекались или исторгались с корнем. Сам Кази-мулла обрекал места на истребление. Пленники рассказывали про него тьму чудес: как он летает после намаза в Мекку на бурке своей; как он с одним нукером невидимкою подходил к стенам Дербента и от него разбежалась куча людей. «Он непременно возьмет ваш город, — говорили они… — Не далее как сего дня поутру он ездил молиться на море, и аллах велел ему подождать еще три дня приступом, за наши грехи, а потом наверно отдаст нам победу». Такую-то теплую веру успел вселить Кази-мулла к своей святости! Дельного из подобных рассказов извлекли мы очень немного. Кази-мулла среднего роста, некрасив, по лицу рябинки, борода редкая, глаза серые, но светлы и проницательны. Говорит мало, но выразительно; угрюм, много пишет и часто молится. В битве не участвует мечом, но ободряет своих мужеством и увещаниями. К себе не допускает никого близко и никогда ночью. Если приближается к нему какой бы ни было пришлец, двое стражей держат ружья на взводе и многие сабли наголо готовы изрубить в куски всякого по малейшему мановению вождя, — маневр, который господин Кази-Мугаммед нередко изволит проделывать, к немалому назиданию и удовольствию горской публики. Кажется, действуя убеждениями на умы легковерные, он не презирает и суеверными средствами. Вообразите, какую шутку хотел было он выкинуть во время осады. В садах попались ему в плен несколько мальчиков, которые тайком ульнули за виноградом. Он приласкал из них некоторых, дал им прокламации к жителям, коих приглашал соединиться с мусульманами, его последователями, на истребление гяуров, и отослал в город. Эти листы велел он им потихоньку рассовать по карманам взрослых дербентцев в то время, когда народ толпится ввечеру у фонтана за водою, чтобы суеверные подумали: «Сам Мугаммед положил мне в карман это послание!». Вопреки его желанию, чудо не сбылось. Ребята рассказали наказ Кази-муллы родственникам, те донесли коменданту, и дело разгла-

силось. Этого мало: в пятый день осады, к ночи подъехал к воротам один всадник со связанными руками. Узнали в нем дербентского жителя, ездившего в Кубу. Он уверял, что Кази-мулла не велел его грабить и послал в Дербент; но полное на нем вооружение и много денег в карманах дали подозрение. Давай обыскивать пристальнее, и находят в куране множество ярлыков с печатью Кази-муллы. Потянули к допросу; он сбился, смешался и, наконец, признался, что эти ярлыки даны ему для вручения тем, кто бы согласился действовать заодно с осаждающими. Они бы служили пропуском сквозь войско Кази-муллы и охраною в случае грабежа. К счастью, таких злонамеренных людей, по крайней мере явно, не оказалось. Но жители верили, что они есть, что они готовят измену. Прошло пять, прошло шесть дней, а ниоткуда ни весточки. Комендант, для ободрения духа горожан, не раз распускал слухи, что идет то отряд Миклашевского, то отряд генерала Коханова; но это действовало ненадолго. Меня очень любят татары, за то, что я не чуждаюсь их обычаев, говорю их языком, и потому каждый раз, когда я выходил на стены подразнить и побранить врагов, прогуливаясь с трубкою в зубах, куча дербентцев окружала меня… Я всегда приносил им полные карманы кремней и патронов и еще втрое более новостей; городишь им турусы на колесах, и они спокойны на несколько часов, а там опять новые рассказы и новые надежды. И то и другое стало, однако ж, иссякать по прошествии недели. В городе было мало хлеба и нисколько сена; рогатый скот начал падать; кони голодали; жители утомлялись бессменною стражею, а известия, что Кази-мулла готовит лестницы и фашины к скорому приступу, стали несомненны. Поговаривали, будто в темные ночи осаждающие в некоторых местах подползли к подошве стен, сделали несколько лазеек в город, если не для нападения, то для сообщения с единомышленниками, в числе коих обвиняли суннитов. Надобно было увериться в этом осмотром. Я просился произвести его, спустившись по веревке за стену, под выстрелами неприятельскими. Наутро 27 августа должен я был совершить свое опасное путешествие, но рассвет оказал бегство Кази-муллы и всего его войска. «Качты, качты (бежал)!» — раздалось со стен. Коня, коня! Я вспрыгнул в седло и выскакал в едва растворенные ворота. Сладко подышать вольным воздухом, радостно порыскать по полю после невольного затворничества. Пускаю коня во всю прыть на гору. Костры гаснут во вражеских завалах. Здесь недавняя кровь, там свежие могилы, кости пиршества на пепле пожара, потерянные чуреки по дороге, разбросанные мешки, изломанные арбы, подбитые кони, усталые быки и быстрые следы горских башмаков на прахе — вот все, что осталось от многочисленных полчищ смелого Кази-муллы. Он исчез, как ветер. Я заскакал далеко в гору целиком. Оглядываюсь — за мной и в виду ни души, а тут каждый куст, каждый камень мог скрывать врага. Возвращаюсь… прислушиваюсь… что это, не гром ли? Нет, это вестовые выстрелы в отряде генерала Коханова. Слава богу! Осада кончена.

Поход в Дагестан генерал-адъютанта Панкратьева в 1831 году

Лагерь близ с. Джимикент, 15 окт. 1831.

Между тем как избавленные от осады дербентцы топили печки штурмовыми лестницами и фашинами, готовленными Кази-муллою для приступа, беглец Кази-мулла отправился, словно победитель, праздновать свою свадьбу с Кюрек, с дочерью своего наставника, муллы Мугаммеда. Не слишком, видно, надеясь на гурий зеленого цвета в раю правоверных, он взял в задаток будущего блаженства краснощекую горянку — но ни жирный плов пиршества, ни свежие ласки молодой супруги не утомили деятельности изувера. Каждый день, под предлогом шариата, то есть толкования курана, проповедовал он ненависть к русским и независимость от всех властей. Воззвания его, исполненные блестящих парадоксов, летели как искры во все стороны и зажигали соломенные умы горцев. В это время мы стояли под стенами Дербента и, как водится, от безделья досадовали на бездействие.

Ничего нет забавнее урядов и пересудов нашей братьи, подчиненных. Все бы мы стояли там, где сытно да весело; все бы ходили, когда в небе тишь, а на земле гладь. Если ж дойдет дело до военных распоряжений, то сам Наполеон не годился бы перед нами в барабанщики. Тут бы сделать так, там этак!.. К счастью русского оружия, от нас требуют только повиновения, а не советов, и удачный конец дает делу венец. То же самое было и теперь.

Генерал-адъютант Панкратьев, оставшись по отбытии графа Паскевича-Эриванского командующим войсками за Кавказом, заблаговременно сосредоточил значительный отряд под Шамахою, для укрощения мятежа в Дагестане; но шаткая политика персидская и распространение слухов о вторжении персиян в наши пределы препятствовали удалить от оных войска. Когда ж на бумаге и на деле он удостоверился в миролюбии персидского правительства, войска от Шамахи двинуты были в Дагестан и к концу сентября соединились с отрядом генерала Коханова. Вот состав этого соединенного отряда: два батальона Эриванского карабинерного, шесть рот Куринского, два батальона Апшеронского и два батальона 42-го егерского полков, при девятнадцати орудиях и четырех горных единорогах. Конница состояла из донского казачьего Басова полка, из трех полков конно-мусульманских и одного конно-волонтерного, да сотни две куринской и бакинской конницы; всего пехоты около 3500 человек,

а кавалерии до 3000. Наконец мы ожили. Муж боя и совета прибыл в Дербент 30 сентября. Добрая слава задолго предлетела ему в Дагестан. Его приезд ободрил новых подчиненных надеждою, а прежних сослуживцев — уверенностью в успехе. Солдаты зашевелились, и, несмотря на слякоть, кружки около огней росли. «Когда же? Скоро ли в дело?» — слышалось повсюду; но болезнь держала вождя нашего на ложе, а ненастье — отряд на месте. Между тем командующий войсками не терял времени. Не щадя себя на пользу отечества, он, борясь с болезнью, неутомимо занимался делами края и, прежде чем прибегнуть к трехгранным доказательствам, пытал все средства убеждения, — а он владеет им в совершенстве. Прокламации его, написанные цветистым слогом Востока, рассеивались в ущелья, где таились мятежники. Глядим: мало-помалу старшины окружных селений потянулись в Дербент с повинною и жители сползались из нор на прежние пепелища. Скоро вся Теркемень закипела народом, и отряд перестал нуждаться продовольствием. Ласковые сношения с Нуцал-ханом Аварским и его матерью Паху-Бехи обеспечили фланг наш. Они обязались на границах своих выставить войско и не впускать в Аварию мятежников. В тиши и в тайне готовились важные события.

И вот, на ночь 2 октября, вовсе неожиданно упали палки на барабан… Зовут фельдфебелей к адъютантам: приказ выступить налегке. Куда? зачем? — никто не знает, не ведает. Но тайное тогда — теперь уж не тайна. Командующий нами сделал мастерское распоряжение. Зная, что табасаранцы решились защищаться до крайности и готовы собраться в один миг в то место, куда направлено будет нападение, он разделил войско на три отряда, чтобы развлечь их силы, обманув их ожидания. Полковник Басов должен был сделать диверсию вправо на Маджалис; полковник князь Дадиан — влево в Кучни; главный, то есть средний отряд, назначенный действовать прямо от Великента на Дювек, поручен был храброму полковнику Миклашевскому, и с ним-то в одиннадцать часов мы двинулись вперед, с двумя батальонами его полка, 42-го егерей, 1-м Куринского, с 1-м и 2-м конно-мусульманскими полками, при четырех орудиях.

Ночь была темна, как судейская совесть. Скупое небо погасило все огоньки свои. Мы брели по колено в грязи, цепляясь за терновники, запутавшие окрестный лес непроницаемою оградою, и каждый миг в опасности слететь в речку Дарбах, по крутому берегу которой шли. Вы бы сказали, что идет армия мертвецов, покинувших свои могилы, — так безмолвно, так неслышимо двинулись мы вперед по излучистому яру, в двойном мраке ночи и тени леса, под нами склепом склоненного. Колеса не стучали, подковы не брякали по болоту; нигде ни голоса, ни искры. Лишь изредка раздавался по бору удар бича или звук пушечной цепи. С невероятным трудом вытаскивали мы на людях орудия… Наконец не только под ними, но и под артельными повозками кони пристали, выбились из сил… Арьергард оттянулся… Полковник Миклашевский налетел соколом: «Руби колеса, жги повозки, жги артиллерийские дроги! Стоит ли эта дрянь, чтобы из-за нее опаздывать! Истребляй: я за все отвечаю!». Велено — сделано. В пять минут дорога была чиста — вещи разобрали по рукам… коней пристегнули под пушки; прибавили к ним и офицерских верховых… Покатились, пошли быстро, легко, весело. Миклашевского слово ободряло солдат лучше двойной чарки. С неимоверною скоростью перелетели мы тридцать пять верст, и часу в девятом утра послышали впереди жаркую перестрелку: это дралась наша татарская конница. Шомпола зазвучали. Гренадеры!.. Ходу!.. Скорым шагом, беглым шагом!.. Выстрелы из лесу начинают нас пронизывать — насилу-то догадались. Если б неприятели заранее заняли чащу, многие бы из нас не донесли своих голов до Дювека, — да вот и он — легок на помине… вот Дювек, который считается неприступною твердынею Табасарани. *Неприступная* — забавное выражение! Его нет, слава богу, в словаре русского солдата. Вперед, вперед!.. Дело загорелось. Селение Дювек стоит в развале ущелья на скате большой горы. Над ним на полтора пушечных выстрела лепится выше деревня Хустыль. Речка Дарбах, извиваясь в крутом, но широком русле, образует перед Дювеком колено. Правый ее берег против селения от множества ключей, не имеющих истока, затоплен вязким болотом; дремучий лес обнимает всю окрестность. Егеря 42-го полка пошли вправо чрез топь, мы — влево чрез крутой овраг, на дно которого текущий ручей, впадая в Дарбах, образует пред Дювеком букву *v*, — все под убийственным огнем из лесу, из домов, из завалов. Перед нами еще ходили на приступ наши спешенные мусульмане; но когда Мамат-ага, бесстрашный помощник полкового командира, был убит, когда они потеряли лучших стрелков своих, куринцы их опередили — слезли в овраг, стали подниматься на противоположную круть… Густей, густей гранаты полетели над нашими застрельщиками… Ура, штыки! А уж дело решенное, что против русского штыка ничто устоять не может; завалы были отбиты, неприятель стоптан, но, ожесточенный поражением, засел в домах, стрелялся, резался; ему было жаль богатых пожитков, свезенных в Дювек из всех окрестных возмутившихся деревень, как в твердыню, которой не мог взять и сам ужасный шах Надир*, куда не проникал даже Ермолов, которого слава ярче Искендеровой* и шах-Надировой за Кавказом. Пришлось штурмовать камень за камнем, шаг за шагом. Кровь лилась — огонь очищал от ней землю. Наконец, после шестичасовой битвы, вся деревня впала в руки наши; но из лесу, из-за плетней, из-за плит кладбища враги не переставали стрелять в победителей, и лишь картечь присмиряла их на время. Грабеж и пожар, как два ангела-истребителя, протекали Дювек из конца в конец… Ночь пала.

Чудно-прелестен был вид этой ночи. Пламя катилось волнами и змеем пробивалось сквозь высокие кровли домов, большею частью двухъярусных… Вся гора была озарена, и по ней вверху

видны были лица, слышны крики женщин, ожидавших приступа к Хустылю. Между дымом и огнем чернелись остеклевшие развалины — и из этого-то ада солдаты и мусульманские всадники тащили, везли добычу, заслуженную кровью, выносили раненых. Поодаль несколько человек рыли общую могилу падшим своим товарищам. Коротка солдатская молитва и за свою жизнь и за душу земляка! Ни одной слезы, ни одного слова не уронил никто по убитым; но зато как выразительны были лица окружающих в зареве пожара, то прислоненные к штыкам, то поднятые к небу!.. Все кинули по горсти земли, чужой земли, на очи собратий... «Sit vobis terra levis (да будет легка над вами земля)», — сказал я про себя. Каждый из вас лег как усталый часовой по смене... Когда же настанет и моя смена? Повременные выстрелы гремели requiem[8].

С убитыми и ранеными потеряли мы в этом деле четырех офицеров и до девяноста нижних чинов, включая в то число и мусульман, дравшихся отлично, особенно полка князя Баратова, которому досталось обскакать Дювек слева по лесу. Лошадей легло более шестидесяти.

Деревня стала потухать. Развалины, углясь, дымили. Тогда полковник Миклашевский приказал развести огромные костры перед отдыхавшим на поле строем по эту сторону Дарбаха... И вдруг без боя, без шума снялись мы, послав наперед татарскую конницу. Кони их гнулись и кряхтели под тяжестью добычи. Повозки были нагружены ею донельзя. Солдаты были утомлены и боем, и походом, и бессонницею... но шли скоро, весело — победа оперяет хоть кого, притом каждый чувствовал, что, если неприятель станет напирать на нас в теснине, где каждый куст, каждый пень ему стена, потеря будет значительна. Но, к счастью, дювекцы, ожидавшие, что мы наутро пойдем штурмовать верхнюю деревню, были обмануты и поздно спохватились нас преследовать. Мы с легкою перепалкою прошли дифилею и наутро очутились опять в своем лагере под Великентом, совершив в тридцать пять часов два перехода и битву. Это чисто по-орлиному: налетел, ударил, схватил, исчез.

То-то пошел пир горой по возврате! Солдаты валяются на цветных коврах, продают дорогие конские сбруи, золотые женские уборы, оружие, блестящее серебром и насечкою; покупщиков наехало видимо-невидимо. Песни, веселье — гуляй, душа! Все не нахвалятся Миклашевским; и точно за дело. Без его решительности и быстроты, без его храбрости, не знающей зарока, благоразумный план генерала Панкратьева мог остаться напрасен. Он знал, кому доверить важнейшее дело, — Миклашевский умел оправдать это доверие.

В это самое время полковник Басов с казачьим своим полком, с двумя батальонами апшеронцев и двумя ротами куринцев при шести орудиях выступил на селение Маджалис, чтобы помешать каракайтахцам подать руку помощи вольной Табасарани. Перед селением на угорье он встречен был выстрелами, но от быстрого натиска не готовый к нападению неприятель бежал, и старшины Маджалиса вышли просить пощады, представляя доказательства, что стреляли не они, а башлинцы. Между тем полковник Басов, слыша жаркую пальбу под Дювеком, решился идти туда прямо чрез гору, чтобы в случае надобности усилить отряд Миклашевского; но, вышедши на Дювекскую дорогу, он застал только зарево пожара и возвратный след наш. Подвиг был кончен.

С своей стороны полковник князь Дадьян, с двумя батальонами Эриванского карабинерного, четырьмя орудиями и пятью горными единорогами, да с 3-м и волонтерным конно-мусульманскими полками, врезался в непроходимые доселе ущелья Табасарани. По стремнинам, по дебрям, по которым от века не слышался скрип колеса, проходил он с пушками, сражаясь на каждом шагу, поражая на каждой встрече. Двенадцать деревень легло пеплом на след русских; из них в важнейших, Кучни и Гюммеди (гнездо изменника Абдурзах-кадия), захвачена была значительная добыча и много пленных. 8 октября все эти экспедиции были кончены. 11-го тронулись мы далее, к с. Башлам. Уж давным-давно грызем мы зубы на это многомятежное скопище. Говорят, что башлинцы очень храбры и отличные стрелки, — тем лучше; я уж дал солдатам задатку за башлинскую винтовку. Теперь мы стоим под с. Джимикентом. Дождь ливмя; над головой облака, словно грецкая губка, а под нами земля будто растаяла... еще хуже: она превратилась в грязь, в эту пятую стихию, открытую Наполеоном в Литве. Палатки наши плавают, как стада чаек по болоту. Журавли перекликаются ночью с часовыми; лягушки квакают кругом. Холод, сырость, слякоть! Дрова не горят, огонь не греет; лежишь кренделем, боясь приткнуться носом к полотну, чтобы вода не пролилась потоком, а к довершению забав полевые мыши, на которых, видно, за грехи наслан потоп, спасаются на бурке моей от мокрой смерти, так что карманы мои обратились в невольные мышеловки. Прощайте до первого красного дня, друзья мои! Под этакую погоду разве-разве можно писать статью «Об удовольствиях походной жизни!».

Лагерь при с. Темир-Хан-Шура. 25 окт. 1831.

Видали ль вы когда-нибудь войско на привале? Это очень живописно, особенно как теперь, глубокою осенью. Между рядами в козлы составленных ружей лежат кружками и кучами солдаты; кто спит, прикорнув над телячьим ранцем, кто размачивает в манерке сухарь. Иные, набрав хвороста или бурьяна, заботливо раздувают минутные огоньки, и уже наверно подле каждого явится какой-нибудь шутник-рассказчик, от прибауток которого вся рота привыкла смеяться за полверсты.

Офицеры завтракают у начальников или у того из товарищей, кто позаживнее. Казаки, воткнув в землю пики, отдыхают в стороне. Пестрые толпы азиатских всадников снуют взад и вперед — им не посидится на месте. Кони обоза, сдвинутого вместе, кушают в упряжи сенцо, подброшенное им расчетливою рукою. Удивиться можно, как огромны обозы в Кавказском корпусе; идет, скрипит, тянется — и конца не видать! Но когда узнаешь, что закавказские полки кочуют из края в край всю свою службу и потому в необходимости таскать все свое хозяйство с собою, что они ходят в неприязненной земле, лишенной всех средств продовольствия, не только удобств жизни, что нередко они принуждены возить с собой даже дрова для топки, — то убеждение заступает место удивления. И вот, палки звучат по барабану — все зашевелилось: кони ржут, прядут ушами, фурмана суетятся около повозок, канонеры укладывают вьюки сена на орудия. По возам! По возам! Солдаты строятся, денщики подтягивают подпруги... Даже курочки и петушки, послушные дисциплине, бегут к своим вьюкам и, клохча, взбираются на беспокойный нашест, где они учатся верховой езде и проделывают эквилибрические штуки, привязанные за одну лапку. Новый бой — это подъем. На плечо! Справа отделениями — марш! Пошли, тронулись, барабан рассыпается частой дробью, идем... Но куда идем? Быть не может, чтобы в Башлы. Башлинские старшины приезжали с повинною головою, а повинную голову и меч не сечет. Генерал Панкратьев, зная, как важна пощада в пору, помиловал покорных именем государя императора, — где краше имя царское, как не в помиловании. Округи Башлы и Кубечи и весь Каракайтах дали вновь присягу на верность. Сильное общество акушинское тоже. Раскаявшимся табасаранцам даровано помилование, с условием, чтобы они изгнали от себя изменника Абдурзах-кадия, избрав на его место другого. После перуна кары, грянувшего в сердце гор, блеснула горцам и радуга надежды на прощение. Это благоразумная политика командующего нами — кстати погрозить, кстати приласкать, чтобы не ожесточить заблужденных, — имела самые выгодные следствия для русских, самые благодетельные для покорившихся. Но впереди мятежные владения шамхальские не внимали еще ни грозе, ни милости, и мятежники готовились отразить силу силою; их-то развеять двинулись мы, и 22 октября стали лагерем за Темир-Хан-Шурою. Решено. Завтра пойдем в дело, штурмовать с. Эрпили, заслоненное оврагами и крутизнами, защищенное десятью тысячами горцев, которые ждут нас с крепкими завалами и засеками. Мятежниками повелевает Уммалат-бей — храбрый сподвижник Кази-муллы, который произвел его в шамхалы. Уж спрыснем мы по-молодецки этого самозванца. В ожидании будущих благ мы прохрапели ночь во славу божию, и заревые рожки едва меня добудились.

Поздно рассвело над Шурой осеннее утро. Непроницаемый туман тяготел на всей окрестности, и в нем глухо гремели барабаны. Войска пошли тремя колоннами. В голове первой, назначенной обойти Эрпили справа по Каранайской дороге, неслись Басова казаки, бакинская и куринская конница, два батальона егерей 42-го полка и семь рот Эриванского карабинерного при восьми орудиях. Колонну эту вел полковник Миклашевский. Второю командовал генерал-майор Коханов; она состояла из двух батальонов Апшеронского и одного батальона Куринского при семи орудиях; за нею следовал резерв из трех конно-мусульманских полков, под командою генерал-майора Калбалай-хана. Все тяжести оставлены были в лагерях, под прикрытием двух рот куринцев с шестью орудиями и двумя сотнями всадников. Мы шли полем сквозь густой туман: в самом близком расстоянии невозможно было различить предметов; но благодаря верной карте и зоркому глазу г. Панкратьева отряд двигался вперед, не уклоняясь ни шагу от данного направления. Вы бы сказали — это корабль, рассекающий волны и туманы по мановению опытного кормщика. Вот раздалась команда влево, и полки, каждый особою колонною, равняясь головами, вытянули строй с большими промежутками. По обыкновению, я был в стрелках, раскинутых впереди. Иногда повев ветра разряжал туман, и тогда соседние колонны чернелись и ружья мерцали на минуту; потом все задергивалось непроницаемою завесою. Сардарь[9] наш носился между нас на лихом коне, окруженный штабом своим. Турецкая гайта (конница), ширванские и дагестанские беки, линейные и донские казаки скакали следом пестрою толпою. Поезд его являлся и исчезал, подобно радуге средь тучи, готовой уже ринуть молнию. Близка, близка встреча; заряжай ружья! Ветер как нарочно пахнул сильнее, туман приподнял махровые полы своей мантии, и впереди нас открылся слева крутой овраг, за которым вздымалась лесистая гора, прямо — длинный бугор, вооруженный засеками из деревьев и копаными завалами. Далее по холмам колебалось что-то, как редкий лес от ветра. «Это деревья», — говорили одни. «Это всадники», — утверждали другие. Гранаты решили спор наш. Грохот пошел по горам, когда заговорила батарея, выскакавшая вперед... В самом деле, то была конница. Она слилась, взвилась — и след простыл. Куда не жалуют азиатцы гранат! В это время наши мусульманские удальцы стали доезжать до самых завалов. Тах, тах... вся их линия расцветилась пальбою, и справа егеря с эриванцами пошли на них без выстрела в штыки. Полковник Миклашевский на белом коне вздымался в гору впереди обеих колонн — шинель играла на нем по ветру... Ура! Ура! Апшеронские стрелки тогда же бесстрашно кинулись через овраг... Левее их забирали в гору Басова казаки. Мы подбежали на полвыстрела под средину — но стали, ожидая приказания. Пальба закипела... Беглый огонь мелькал сквозь пары, как фейерверк. Крики угроз с обеих сторон, бой барабанов, стон земли от пушечных выстрелов, отражаемых от-

голосками хребта, — ну право, сердце не нарадовалось! Гранаты, прерывая туман, гремели, будто катаясь по ступеням, свист пуль производил эффект чудесный; могу вас уверить, что эта фуга стоила всех чертовских нот из Фрейщица*.

Я большой охотник наблюдать, какое действие, какое впечатление производит на солдат опасность. Любопытно пробежать тогда по фронту, вглядываясь в глаза и лица. На этот раз я не заметил, однако ж, ни очень долгих, ни очень бледных. В молодых солдатах виделось более любопытства, чем беспокойства. Иные, правда, слишком заботливо осматривали кремни свои, иные даже кланялись пулям, которые жужжали мимо как шмели, — но над такими смеялись. «Видно, знакомая пролетела?», «Эй ты, саратовец... что ты словно перед попом раскланялся? Что бережешь свою шапку? Батюшка царь богат, другую даст! Лови, лови за хвостик!» и тому подобные остроты слышались по цепи. Сколько мне удалось заметить, так самые храбрые в деле бывают или рекруты, или старые солдаты. Первые потому, что не понимают опасности, другие потому, что с ней свыклись... Средина ни то ни се. Но все русские солдаты, хоть и не слишком богомольны, зато в душе набожны. «Крестись, крестись, ребята!» — говорили они, когда мы подвинулись ближе под выстрелы, — и все крестились, и всякий взглянул на север, вздумал о родных своих. Только подле меня один старый солдат, прокопченный порохом, для которого кровь и вино стали равно обыкновенными вещами, не крестился; он был очень шутлив и весел, в зубах его курилась коротенькая трубка. «Вот еще креститься!.. — ворчал он, поправляя одною рукою табак, а в другой держа ружье наперевесе. — У меня руки заняты!». Все с негодованием взглянули на вольнодумца; не прошли пяти шагов — он падает на землю убитый. «По делам покарал бог!» — шептали товарищи. Ура! Вперед!.. Нам досталось бежать по мокрому скату, изрытому стадом диких кабанов. Иной бы подумал — это пахоть; ноги уходили вглубь, клейкая грязь лепилась на них по полпуду, но это был миг. Уж под завалами — и все еще не видим врагов, так густ туман; наконец сошлись в упор... дуло в грудь, штыки в спину, прядаем на завалы, продираемся сквозь засеки, и неприятель бежит, оставляя трупы, кровь и плен по следу. Счастье наше, что пары мешали мятежникам цельно бить в нас с такого выгодного места. Счастье их, что пары препятствовали нам их преследовать; они рассеялись, разбежались по камням, по кустарникам, по оврагам. Дело решилось в два часа. Обойдены справа и слева по крутизнам, которые считали они неприступными, поражены в центре, который мечтали неодолимым, по тройной ограде укреплений, враги отхлынули, скрылись со стыдом, оставя более ста пятидесяти тел на месте. Славный распорядок битвою г. Панкратьева и быстрота, с которою он исполнен, были причиною, что потеря наша ничтожна: ранено двое офицеров (один из них смертельно), нижних чинов убито и ранено сорок, лошадей легло пятьдесят одна.

Пользуясь изумлением неприятеля, г. Панкратьев послал по большой Эрпилинской дороге 3-й мусульманский полк и 1-й батальон апшеронцев с двумя орудиями, чтобы занять деревню. Сгоряча не чувствуя усталости, пробежали мы верст семь с горы на гору, по овражистому берегу реки, по которому пролегает дорога. Изредка свистали пули, пущенные из противолежащего леса, и, наконец, Эрпили открылись нам длинною чертою. Пройти в них должно было через утлый мостик и потом через узкую гать мельницы... Это было дело одной минуты... В три натиска штыками Эрпили стали чисты. Басова казаки подоспели слева, егеря втеснились туда справа вместе с роями мусульманских всадников полков 2-го и волонтерного, командуемого гв. капитаном Юферовым, адъютантом г. Панкратьева. Сам командующий войсками, вливая мужество в своих подчиненных, с первыми был уже в Эрпилях. Барабаны гремят, знамена веют, будто крылья победы. «Слава, слава оружию *Николая*! Хвала и честь вождям его!» Еще перепалка играла по лесу, прилежащему к деревне, а дело грабежа и разрушения уже началось. Добыча в вещах, в деньгах, в рогатом скоте была огромна. Мятежники всех окрестных деревень свезли и, так сказать, согнали туда все свое имущество, надеясь на твердыню местоположения и еще более на множество, на отвагу защитников эрпилинских, — они горько ошиблись. Солдаты, татары, турки вытаскивали ковры, паласы (тонкий, особый род ковров), вонзали штыки в землю и в стены, ища кладов, рыли, добывали, находили их, выносили серебро, украшения, богатые кольчуги, бросали одно для другого, ловили скот, били, кололи засевших в саклях мятежников. Один лезгин, видя беду, решился было дать стречка и как тут навернулся на кучу солдат. Окруженный ими, он хотел спастись хитростью, уверяя, что он послан к сардарю с письмом. Я видел издали, как бедняга выворачивал карман за карманом, рылся за пазухою — нет как нет бумаги! «Что с ним толковать!» — закричали вышедшие из терпения солдаты и подняли его на штыки.

Густела ночь, когда мы начали отступать. Г. Панкратьев не велел предавать Эрпилей пламени, по просьбе шамхала, предвидя, что эта милость обратит эрпилинцев на сторону русских, — и не ошибся.

Огромные костры пылают до сих пор в лагере, и все, что имеет две руки, варит и жарит — правда, и есть из чего: более десяти тысяч голов рогатого скота досталось победителям. Медом и маслом хоть пруд пруди... ветер взвивает муку вместо пыли. Вот тут-то подивитесь вы вместимости или тягучести русского желудка! С ночи до утра, с зари до вечера солдаты не отходят от котлов... спят подле. Каждый впросонках запускает лапу в котел, вытаскивает кусок и дремлет над ним с сладкою улыбкой.

Живописный беспорядком и разнообразием шатров, стан конницы превратился в базар и в толкучий рынок. Татары, казаки, солдаты валяются на узорчатых коврах, наваленных кучами, носят,

продают, меняют богатое оружие, женские платья, парчи, попоны. Медная посуда, звуча, катается по мерзлой земле. Дорогое идет за бесценок, тяжелое отдают чуть не даром… Но толпы продавцов всего более теснятся около духанщиков, то есть маркитантов, — потому что порой чарка солдату дороже алмаза. О, вы еще не знаете, какую важную роль играет духан за Кавказом! Я вам особым письмом опишу ее, друзья мои; это будет что-то вроде… между Теньером и Измайловым*.

Лагерь под с. Галембек-аулом. 28 окт. 1831.

Отдыхаю. Быстрей, чем взор, пробегающий по следам пера моего, свершили мы новую победу вслед достойного нашего вождя! Зато и разбит я от трудов, будто меня ковали молотом, а душу от дождя хоть выжми. Впрочем, воспоминание о чиркейском деле освежает, греет каждого в нашем отряде, и я посылаю этот рассказ вам в гостинец — пишу себе на удовольствие.

Эрпилинская победа навела ужас на окрестных горцев — надо было пользоваться таким *впечатлением* русского оружия, и 25 октября командующий войсками двинул отряд[10] к местечку Чиркею, лежащему за Сулаком. Сведав из рассказов, что на Сулаке есть деревянный мост перед самым селением, сардарь решился захватить его врасплох и для того опередил нас с одною татарскою конницею и четырьмя орудиями. Чап, чап! То есть марш, марш — и соколами перелетели тридцать верст, разделяющих Сулак от лагеря. Чиркейцы, однако ж, были настороже — разъезды их скитались повсюду, и военачальника нашего встретили враги за версту, со всеми почестями, не жалея ни свинцу ни пороху. Рассыпав спешенных татар, напрасно хотел он заманить их в перестрелку и отрезать от берега — чиркейцы не дались в западню. Засев в каменные завалы вдоль здешнего берега, они в числе пятисот открыли злой огонь по наступающим, но мусульмане наши, предводимые бесстрашным Нусал-агою, сыном хана Казикумыкского, который, выхватив знамя из рук падающего своего бейдахдара (знаменщика), пошел на завалы, выбили их вон. Аскер-Али-бек и командующие мусульманскими полками, майор Мещеряков и гвардии штабс-капитан Юферов, втоптали неприятеля в ущелье, по которому вилась дорога к Чиркею. Гвардии капитан Всеволожский, адъютант командующего, посланный им для ободрения стрелков наших, отличился особенною храбростью, кидаясь с ними неоднократно на завалы. Нусал-ага и Ибрагим-бек Карчахский, посекая бегущих, подскакали к самому мосту под градом пуль — но мост уже был полуразобран; и как разрушение его было готово заранее, то в несколько минут остальные мостницы были сорваны, и чиркейцы, покровительствуемые перекрестным огнем из завалов, начали рубить переклады. Отвага стала бесполезна — наши отступили в отбитые завалы.

В это время подоспела артиллерия, и две пушки с правого холма, два единорога против селения пробудили громовое эхо Кавказа, посылая смерть и разрушенье. Неумолкающая перестрелка кипела с обеих сторон Сулака. Пули перелетали через голову сардаря и ложились у ног его. Удальцы, одушевленные его словом, не раз пытались завладеть предмостьем и перебежать на другую сторону по перекладам — но человек не птица: невозможное осталось невозможным.

Издали послышали мы перекаты пушечной пальбы и ускорили ход. Мы подымались в гору по теснине, по дороге, изрытой дождевыми потоками. Всадник за всадником неслись к нам навстречу! Скорей, скорей, сдвой шаг! Почти бежим, пот градом — и вот поднялись на хребет, заслонявший нам вид Чиркея. Глядим — это очарование! Покуда пушки наши вздымались по крутизне на канатах, я не мог отвести очей от картины, которая гигантскою панорамою вкладывалась кругом меня. Влево чернел хребет Салатав, разрубленный Сулаком надвое. Прорыв сей, отвесный сверху донизу, обращался далее к югу, и западающее солнце, золотя северную стену его, одевало глубокою тенью наш берег; огневые облака тихо катились по гребню Салатава и будто падали в расселину, померкали, гасли. Левый берег Сулака вздымался крутою горою, подернутою мрачным кустарником. По ней робко теснились бесчисленные стада баранов, которых смушками славен и богат Чиркей издавна. Прямо перед очами, в обрывистой, мрачной впадине, селение Чиркей сходило с крутизны красивыми уступами, расширяясь кверху. С правой стороны его, будто на опрокинутой чаше, восходила до туч огромная скала усеченным конусом; волнистые хребты тянулись друг над другом с обеих сторон. Русло Сулака терялось между их случайностями — самой реки не было видно за крутизнами. Как дика, и величава, и грозна являлась там природа, но еще грозней стала она от вражды человека! Вся гора курилась дымом пороха, подобно волкану; отовсюду мелькали убийственные выстрелы, и повременно сверкал перун орудий, заглушая ревом своим перестрелку. Какое чудное эхо отвечало ему из глубины ущелий, — казалось, то были отрывистые вздохи раненого исполина, и потом оно рассыпалось, грохоча, будто скала, разбитая вдребезги. Горцы перекликались дикими воплями, и только изредка показывались над завалами их шапки и винтовки. Сталь русских штыков, медь русских пушек горела пурпуром заката. Мы строились на горе, готовые хлынуть к берегу. Впереди на высоком холме рисовалась живописная купа всадников — то был командующий наш со своею свитою… гонцы скакали от него и к нему; очи всех были устремлены на его мановение… Он дал его.

Приветный клич: «Куринцы вперед! Стрелки вперед!» вызвал меня из созерцания картины, которою любовался я, не скажу — как художник, не скажу — как поэт (перо и кисть мне плохо

даются и удаются), по крайней мере более, нежели как солдат. Бегом спустились мы с горы, окаченные пулями из пятирядных завалов, высеченных, сложенных в камне один над другим и сосредоточенных против дороги. Крутой овраг пересекал эту дорогу; через него брошен был мостик, гибельный для многих, — то был настоящий мост Эль-Сыррат, острый как сабля, висящий над бездною Мугаммедова ада. Казалось, мимо ушей неслась саранча — так часто сыпались пули. Некогда было оглядываться на раненых; они летели вниз, когда мы бежали вперед. И вот мимо, через груды побитых коней наших всадников, мы вбегаем в завалы.

— Селам алейкюм Нусал-ага: алла-сахла-сын Ибрагим-бек!

— Хошь гялун, хошь гяльдун, хошь (милости просим)!

Они сидят под своими знаменами, уже исстреленными, окровавленными.

— Ну, что нового? Что хорошего?

— Чиркейцы изломали мост, остались только переклады.

— Прощайте же: теперь наша очередь попытать счастья, — вперед, ребята!

Мы перебегаем вдоль завалов и спускаемся в теснину, по дну которой вьется узкая тропа и у подошвы скалы, круто поворотя влево, идет, или, лучше сказать, висит, над Сулаком, на пистолетный выстрел от противолежащего берега. Чиркейцы очень хорошо знали важность этой точки и не дали нам показать носа из ущелины: каждый, кто только ставил вперед ногу, был ранен. Полковник Гофман вслед за нами привел батальон своего полка — лошадь под ним была убита, шинель прострелена. Немного погодя, пришло человек двести охотников эриванского карабинерного, но все, видя физическую невозможность до ночи приблизиться к мосту, принуждены были ограничиться перестрелкою. Между тем войско стало по горе стенами. Штыки, сверкая, подобились щетине какого-то необъятного чудовища. Сардарь наш носился из края в край и под свистом пуль сам назначал места под батареи, — скоро загремела поставленная против самого Чиркея. Любо и страшно было смотреть, как чугун бил и рушил все в сердце многолюдного селения. Каждый удар видимо ниспровергал утлые домы. Гранаты, чертя померкшее небо как падучие звезды, лопались, вспыхивали молниями, и второй выстрел будто отвечал на первый, его ринувший, и за ними долго, долго катились отрывистые отголоски по ущелинам. Порой за пылью и дымом вырывалось пламя пожара. Крики и плач вдали сливались в какое-то дивное роптанье, будто кипение котла, будто вой ветра в пещере. Смерклось. Перепалка редела… Барабаны и рожки зазвучали зорю. Как невыразимо величественна военная музыка среди битвы! Как гордо и торжественно звучала она в горах Кавказа! Горцы перестали стрелять — им дивны были русские песни. Эхо Чиркея впервые откликнулось на боевые наши барабаны. Все стихло. Лишь изредка брызгали огненные фонтаны ружей оттуда и отсюда; лишь рев и плеск быстрого Сулака, кипящего в глубине каменного русла, нарушали безмолвие ночи. Иногда переклики врагов, стекающихся в завалы, возникали за рекой, мерное *слушай* часовых в цепях, раскинутых по хребтам окрестным, раздавалось на нашем берегу. Солдаты весело балагурили в низменных шанцах*; я лежал, прислушиваясь к их разговорам. Ночной холод проницал меня насквозь. Голод и жажда воевали в желудке — а где найти воды? Где достать сухаря? Солдаты пошли в дело без ранцев. Я не пан Твардовский* и не продал бы души за бочку вина, ни за бочонок золота — но кошелек с золотом (правду сказать, весьма ветротленный) охотно бы отдал тогда за стакан воды — *простой воды*! За кусок хлеба — черного хлеба! В эти грустные минуты, когда ум переселяется в желудок и сердце воспоминает о прелестях ужина, слышу, вызывают охотника осмотреть мост… Я уверен, что голодный менее сытого дорожит жизнью, — вероятно, потому все великие полководцы нарочно мало заботились кормить свои войска. Я вскочил гоголем; протираюсь между множеством солдат, коими начинено было путевое ущелье, завертываюсь в шинель, оборачиваю ружье погоном вперед, чтобы оно не блестело, и, лепясь под скалою, тихомолком выбираюсь на дорогу — шириной немного более сажени. Чернея, вставали, хмурились передо мною утесы обоих берегов. На каждом шагу обломки плит изменяли звуком моему ходу, и, признаюсь, ретивое забилось, когда незваные выстрелы озарили меня. Стою как камень между камнями — а не замечен! Я насчитал восемьдесят семь шагов от поворота до предмостья. Ползу, как змея, к закраине берега, присматриваюсь: лежит один переклад сажени в четыре, но и тот сдвинут в сторону и едва-едва держится. Внизу, в глубине сажен десяти, крутился и пенился мятежный Сулак, и над ним склонялись головами обе скалы подножий моста; ну, с берега на берег, казалось, рукой подать! Мост замыкался воротами, висящими на каменных вереях. Влево, где Сулак образовал колено, белелись одна над другою три сакли, которые могли пронизывать мост сбоку, от самых ворот и над самыми воротами, тянулись по горе в несколько рядов завалы. Все это в темноте не мог я рассмотреть сразу. Я был так близок от врагов, что слышал тихий говор, видел, как они носили каменья, заваливая ворота, возвышая завалы, — и вдруг, на беду мою, меня почуяли за рекой собаки. Лай их раздался зловещим по горам отголоском, и пули зачинали около меня по каменьям. Припав к земле, словно медный грош, я счастливо отлежался. Собаки смолкли, огонь прекратился, и я назад, назад. В ущелье встретился я с инженер-штабс-капитаном Горбачевским*, с саперным поручиком Вильде* и артиллерии штабс-капитаном Дейтрихом — они собрались на осмотр, с которого я возвратился. Желая поверить все своим опытом, храбрые офицеры эти в солдатских шинелях, с ружьями от-

правились к мосту — я с ними. Рассмотрев, где и как удобнее строить новый мост, они решили построить напротив моста батарею, чтобы разбить сакли и прикрыть переправу. Рабочих сюда! Долой белую амуницию — живо, тихо! Потащили бревна, привезенные с собою, и счастливо сложили их у предмостья. Потом отправились выбирать место под батарею, между завалами и краем берега. Ходим, разглядываем — нелегкая принесла туда пастушьих собак, не успевших ретироваться в Чиркей. Четвероногие стражи ходячей баранины изволили притаиться в каменьях и, потревоженные нами, подняли такой гвалт, что боже упаси! Это бы все ничего; но солдаты, не предуведомленные о нашей экспедиции, воображая, что подкрадывается из засады неприятель, открыли огонь. Ответные выстрелы полетели от чиркейцев; свои и чужие принялись строчить нас наперекрест…

…Было жарко, правду сказать, — но темнота мешала цельности; мы припали к земле и докричались своим, чтоб они не стреляли. Все стихло. Выбрали место. Заложили цепь стрелков впереди; означили камешками направление фасов и амбразур эполемента; потребовали инструментов и рабочих. Начали выводить стену, разбирая камни завала. Солдаты работали тихо, безмолвно, как муравьи, — но они были неопытны в этом деле; мало было рассказывать, пришлось показывать и самому, как и что выполнить; я ворочал плиты, укладывая их в связях мерлонов*, ибо малейшее замедление или неосторожность могли стоить жизни многим. Прежняя наука пригодилась мне теперь (вы знаете, что я готовил себя когда-то в инженеры или артиллеристы)! Мне поручили выстроить левую половину укрепления — и работа росла, кипела. Каждый слой камня перекладывали мы землею, чтоб камни не брякали и плотнее ложились, одевали их снаружи, чтобы не белелись. Скоро мы вывели стену в сажень вышиною, для прикрытия артиллеристов от навесных выстрелов с крутин, владеющих нашим берегом. В сторону развели крылья, для помещения. Потом надо было расчистить дорогу для провоза пушек — это заняло довольно времени. Часу в пятом перед светом ввезли и надвинули орудия, а неприятель? Занятый и сам поправкою завалов, ничего о том не знал и не ведал. Ну-тка попробуем, как низко возьмут орудия!

Перун блеснул — ядро ударилось в каменный череп и дважды осыпало окрестность искрами, — грохот пошел по горам… Изумленные горцы с криком пустили град пуль на огонь пушки. Другое ядро направлено было на дальний огонек, видно, разложенный под котлом в глубоком завале… Оно как раз легло в средину теней, и они рассеялись, пламя погасло… Видно, русский чугун не очень удобоварим… плохая он приправа горскому плову! Умолкли все: все ждали утра; оно уже серело по высям гор; зубцы их обозначались; громады, сдвинутые около Чиркея неодолимою твердынею, рассветали постепенно. Туман клубился из оврагов, будто рвов, изрытых природою в оборону этому гнезду храбрых разбойников, стекшихся из Чечни и салатавских деревень на помощь ближним. Первый луч солнца, сверкнувший на теме Кавказа, казалось, зажег снова огонь вражды и громы пушек. Батарея из десяти орудий, устроенная по приказу командующего против самого Чиркея, произнесла глагол смерти. Две пушки нашей батареи, перевозимые то вправо, то влево в запасные амбразуры, прыснули картечью по завалам, устроенным в садах, лестницей друг над другом, ядрами по саклям предмостия. Каменные осколки летели во все стороны, деревья ложились, будто пожатые ураганом. Ружейная пальба загорелась с новою силою… Дым густыми клубами катился по горе и потом медленно сливался с облаками, задевающими за головы скал. Картина была великолепна!

Позабавившись стрельбою из ружья по головам горцев, отваживавшихся перебегать из разрушаемых саклей к воротам, я дивился меткости горских выстрелов. Выставленные на штыках перчатки в один миг поражались несколькими пулями. Всякий, кто отваживался перейти с батареи в завалы, был неминуемо ранен; кто протягивал ногу, платил за это удобство дорого. Я бы счел за сказку, что свинец пробивает железо, — но убедился в том, увидя пять ружей, простреленных сквозь ствол; у некоторых, сверх того, пули, пробив обе стенки, сломали стальные шомпола. Толстые железные листы, покрывающие кровлю зарядных ящиков, превратились на нашей батарее в решето. Множество штыков было сломано пулями. Правду сказать, мы очень близко были от неприятелей, а их винтовки берут невероятно далеко. Я устал, я был истощен трудами и бессонницею, ибо и запрошлую ночь пролежал в секрете. Солнце припекло меня, и, когда я сел на пушечное ведро, невольная, неодолимая дремота наложила щипцовую печать на мои веки. Несколько раненых лежали подле, стеная. Ноги мои упирались в убитого — ни тех, ни другого нельзя было вынести с батареи: она, как остров, возвышалась на скате, открытом даже пистолетным выстрелам врагов. На меня нашел какой-то жалобный стих… Свист ядер с большой батареи слышался мне стоном вдов и сирот. «Для чего люди терзают друг друга беспощадно?» — подумал я… но не успел додумать: я заснул богатырским сном… Ни гром пушек рядом со мною, ни свист пуль мимо не пробудили меня; через полчаса, полагаю, меня разбудил бомбардир, которому нужно стало окунуть в ведро банник. Озираюсь — бой еще горит во всей силе.

Между тем командующий войсками, обозревая орлиным оком возможности, послал Басова казаков отыскивать брод, гораздо выше Чиркея; а против самого Чиркея, усилив огонь большой батареи, приказал попытать броду или переправы вплавь. Слово любимого вождя одушевило русских беспримерною отвагою. Мусульманские всадники, линейские казаки из конвоя командующего, ринулись с крутизны на конях в реку, да и кто под глазами его не пошел бы в огонь и в воду! Егеря

42-го полка, батальона майора Кандаурова, исполнили это в полном смысле слова. Предводимые штабс-капитаном Баратовым и поручиком Хвостиковым, они, не задумавшись, кинулись в бурный поток кипучий, летящий стрелой с крутого ложа… но что могли сделать люди против всемогущей природы? Бесстрашные были сбиты, разнесены, увлечены быстриною, — с большим трудом могли спасти их. Но неприятель с удивлением и с ужасом увидел, что русским нет препон; приготовление к постройке моста, для чего из ущелья начали уже набрасывать доски и фашины, поразило их еще более… Эти попытки показали им меру нашей храбрости, — они смутились, оробели… стали переговариваться с наступающими, кричать «Аман (пощада)», махать шапками и наконец, несмотря на жаркий картечный огонь, выслали старшин на берег для условий. Командующий, видя, что он может достигнуть цели, не теряя людей, велел прекратить пальбу… Помалу она умолкла обоюду.

Приятна минута перемирия после боя, как тень в пылу дня, как перемежка болезни. Все вдруг поднялись из завалов, будто выросли из земли. Гора покрылась неприятелями, унизанная ими как многорядными бусами, — и с каким любопытством меряли, считали мы их очами!.. Их было более четырех тысяч. Опершись на ружья или гордо взбрасывая их за плечо, стояли горцы, угрюмо поглядывая на нас из-под мохнатых шапок своих… Живописные группы столпились у спуска к реке, чтобы напиться или освежить лицо (из завалов прогулка за водою стоила бы жизни). Припав к реке, они жадно глотали мимолетную влагу, черпали рукой, купали головы. Вдали выносили их раненых, убитых. Сгорая нетерпением рассмотреть все поближе, я спрыгнул с амбразуры и прямо спустился к мосту, лепясь за уступы скалы. Старшины селения, окруженные разноплеменными горцами, видными старыми людьми, приближались к разрушенному мосту; между ними мелькали белые чалмы приверженцев Кази-муллы. Мне хотелось променять с чиркейцами несколько слов, и я обратил речь к молодому человеку: юность менее недоверчива и менее осторожна.

— Алейкюм селам, хоччах (молодец)!

— Саг-ол, саг-ол (благодарю)!

— Зачем вы сражаетесь с нами! — сказал я. — Добрые люди должны быть друзьями!

— Зачем же вы идете к нам, если вы добрые?

— Вы сами начали ссору: вы приходили грабить шамхальцев — были под Тарками, под Дербентом, в Эрпилях.

— У нас каждому воля идти куда хочешь. Везде есть добрые люди, есть и разбойники!

— Пусть так. Зачем же вы принимаете и скрываете нашего врага, Кази-муллу?.. Семейство его до сих пор между вами.

— Нет. Он давно от нас уехал, а жена его вчерась бежала в горы… Ступайте же назад!

— Нет, приятель! Русские не отступают без удовлетворения. Вы видите, что нельзя перелететь за реку! Вы видели, что мы едва-едва не перешли за нее. Простоим еще неделю, месяц, и построим мост, запрудим Сулак ваш, и хоть потеряем половину солдат, а непременно возьмем Чиркей. Тогда не ждите пощады.

Горец нахмурился и молчал; другие сердито шептались между собою. Я продолжал:

— Вы славно дрались, а бой не проходит даром. Я, чай, много у вас ранено, убито?

Лица гордой померкли вдруг, будто тяжелою мыслью: иные потупили очи, иные отворотились.

— Не спрашивай нас об этом… — отвечали они. — На жизнь и смерть божия воля.

Впоследствии от самих старшин сведали, что у них потери более трехсот человек. Одна граната, пробив стену, лопнула подле столба, поддерживавшего потолок; он пал, потолок рухнул и подавил шестьдесят человек вдруг. Эта граната была Сампсон в миниатюре* между горскими филистимлянами.

С нашей стороны командующий войсками прислал для переговоров майора Аббас-Кули-Баки-Ханова*, мусульманина, известного своею ученостью, достойного преданностью. Со стороны чиркейцев договаривался именитый между них человек, Джеммал. После многих споров и возражений чиркейцы предались великодушию русского правительства на следующих условиях.

1-е. Местечко Чиркей покоряется отныне престолу его императорского величества и обязывается исполнять все приказания русского начальства.

2-е. Чиркейцы обещаются не принимать к себе ни Кази-муллы, ни его сообщников.

3-е. Они должны возвратить орудие, взятое Кази-муллою у отряда генерала от кавалерии Эммануэля.

Итак, в один день совершено покорение одного из неприступнейших селений Кавказа, которое оградил он в лоне своем и крутью гор и быстрым потоком! Люди, не признававшие от века никаких властей, склонились пред оружием русского царя. Что ж может противостать его воле, уму его вождей, отваге его воинов, когда здесь самую природу победили силы человека!..

Между тем мы бродили кругом, высматривали, глазомерничали, забыв, что очень небезопасно полагаться на честь азиатца, не знающего, не уважающего никаких прав и правил военных, соблюдаемых европейцами. Заметив наше любопытство, многие стали взводить курки, а когда увидели, что топограф чертит что-то карандашом, несколько ружей склонились на прицел, с явными угрозами. Эта осторожность пришла поздненько. Все, что нужно было знать и снять, было узнано и снято.

К вечеру сменили нас из шанцев, и как сладко и как крепко уснул я под открытым небом, на голом камне у огонька! В двадцати шагах от меня стояли палатки с ранеными, но я не слыхал их стона, несмотря на то, что им делали операции. Убитыми и ранеными потеряли мы в этом деле до восьмидесяти человек. Коням тоже досталось порядочно; их положили до семидесяти пяти.

Еще звезды сверкали, трепетали в небе и холодные лучи их сыпались на лица спящих инеем, а уж барабаны гремели, призывая к походу. От звука их, будто от дыхания бури, легли палатки стана. Сперва тронулись тяжести: лазарет, артиллерия, обоз; в замке и мы, но уж было светло, когда пошли мы. Дождевые облака, подобные серному дыму, клубились в ущелиях, будто из жерл адских. На горах уже низвергался дождь, и вздутый им водопад, с левой стороны Чиркея, пенясь, клубился по уступам горным. Казалось, он падал прямо из туч, гонимых, расшибаемых о ребра гигантского утеса. Смирен и печален лежал покоренный Чиркей и будто со стыда прятался в ущелье. Жерло Сулака в вышине упивалось парами, которые катились, неслись, падали с хребта Салатафского, будто снежные обвалы. Я все оборачивался назад, все любовался этим ненаглядным зрелищем, но скоро гряда холмов и дождевая завеса заградили горизонт мой.

Ну уж погода, ну уж переходец, прости господи!.. Шли, шли, как журавль по болоту, — одну ногу высвободишь, а другая вязнет. Ливень целый день преследовал нас, как ревнивый муж, ветер проницал в самые сокровенные складки души. Насилу-то дотащились до Галем-бек-аула. Пришли, стали — вода по колено, а уж грязь-то, грязь такая, что сделала бы честь любому азиатскому городку. Палатки наши — ни дать ни взять чертог русалок. Разложили огромные костры, хотели посушиться — куда тебе! С одной стороны жгло и пар валил клубами, с другой в это же время платье втрое мокло от дождя. Устав вертеться даром перед огнем, я решился, мокрый как мышь, лечь на мокрый ковер, постланный на грязи, то есть на пуховике, который провидение всегда держит наготове для нашего брата воина. Зная, однако ж, экспериментальную физику, я, для поддержания животной теплоты, хватил добрую чарку водки и скоро согрелся так, что с меня пошел пар, будто с парохода. Постепенно погружался я в воду и в забытье и, наконец, заснул, как бобр выставя только нос на воздух.

С. Гилли, 6 декабря 1831.

Какой русский не веселится сегодня, празднуя тезоименитство великого нашего монарха! Но между тем как шампанское шумит и льется и пьется за его драгоценное здоровье у вас в столице, я посвящу эти часы славе его победного оружия.

30 октября была у нас торжественная присяга. От мятежных селений Дагестана, от Чиркея и Гумбета, от Салатавского округа и общества койсубулинцев съехались старшины и посланцы. Привезено было и требованное из Чиркея орудие, которое хранили они на высокой горе за селением. Войска стояли в строю; знамена развевались ветром Кавказа, смиренного русским оружием. Командующий сказал горцам речь, полную простоты и силы: упомянул о низком происхождении Кази-муллы, возмутителя их; о том, как он, выдающий себя за посланника неба и очистителя веры, продавал в молодости водку и вино магометанам; о том, что сей злодей умертвил своего отца самым ужасным образом, влив ему в горло кипящее масло; доказал его поступками, что он лишь себялюбец, жаждущий власти и золота, что они видят примером, какие кары накликал он бесполезными мятежами на головы им обманутых, что стыдно долее верить, грешно дружить сему избранному злого духа, что монарх наш милует заблужденных, щадит покорных, но умеет открывать лицемерие и казнить мятеж. Старшины клялись свято сохранять верность и покорность, положив руку на куран и лобзая его. Завет спокойствия Дагестана был заключен. Но чтобы упрочить оный, командующий разместил войска в с. Карабудах-Кенте, в Гиллях, в Буйнаке, в Уйтамише. То была живая цепь, наложенная на Табасарань, в которой умы еще волновались. Сардарь наш ведал, что присутствие Абдурзах-кадия и других беков, ревностнейших поборников Кази-муллы, было закваскою мятежей в среде буйных табасаранцев, и для того послал к изменникам доверенных людей от имени почетных дербентских жителей, уговорить их предаться великодушию русских, прося пощады. Это удалось. Абдурзах-кадий, Айдамир, Муртазали и другие мятежные беки явились к дербентскому коменданту. Командующий, известясь о том в крепости Бурной, которую тогда осматривал, поспешил прибыть в Дербент и отослал главнейших под надзором в Баку. Между тем табасаранские беки, по его приглашению, избрали себе в главу, то есть в кадии, Исай-бея, известного своим усердием к русскому правительству. Ибрагим, бек Карчахский, наследник владений майсумов, привел в покорность возмутившихся своих подданных. Джаммал-бек, сын последнего уцмия*, принял обеты верности каракайтахцев. Одних устрашили быстрые успехи русского оружия, других укротило великодушие командующего, — Дагестан смирился.

Дивлюсь я и до сих пор постичь не умею, каким колдовством солдаты всех скорее узнают далекие новости, нередко важные тайны! Будет ли поход, решено ли дать сражение, идет ли к нам какое войско, где движется и что замышляет неприятель… им все известно, обо всем они говорят задолго прежде, сперва шепотом в палатках, потом около огней, а потом уже открыто, — и хоть

вести их не всегда бывают связаны в подробностях, но почти всегда верны вообще. Стоя на часах у начальников, ходя на вести в канцелярию, толкуя с денщиками и писарями, они проникают везде как воздух, так же незаметно и так же перелетно. Близкие и беспрестанные сношения их с народом, даже в земле неприятельской, дают им средства скорее других вызнавать слухи и замыслы. Но, что всего страннее, случалось, они рассказами предупреждали события — что ни говорите, а иногда глас народа есть глас божий. Так было и недавно. Между солдатами давно уже ходил слух, будто Кази-мулла, заняв генерала Вельяминова сражением на Сунже, сам ночью с одной конницею ударил вниз по Тереку, перебродился за него, и врасплох вторгся в Кизляр, ограбил часть города, три церкви[11], и с пленными ушел в горы. Сначала весть эту считали несбыточною; но невероятное обратилось скоро в верноподобное и, наконец, подтвердилось официально. Набег сей совершен был Кази-муллою 1 ноября. 5-го он уже был под Чиркеем. Гордый удачею, падежный на золото, он хотел остаться там; но чиркейцы крепко держали присягу, потому что крепко помнили русские гостинцы, и не приняли разбойника. Желая своею деятельностью выиграть во мнении дагестанцев, дабы подвигнуть их к новому мятежу, он, в ночи на 8 ноября, напал на селение Каранай; но каранайцы и эрпилинцы совокупно ударили на его скопища, вытеснили, погнали, — он засел в неприступном ущелии, по дороге к Гимри. Стало явно, что уважение к лжепророку упало, — самые горячие его приверженцы на него восстали; меры боя и мира командующего произрастили желанные плоды.

Кази-мулла, после этой неудачной попытки, бежал в Гимри, селение, лежащее на Койсубулинском обрыве Салатава, в пропасти, недосягаемой взором, не только оружием. Лишь узкие тропинки, пролегающие над стремнинами, ведут туда. Там находилась одна жена и часть семейства Кази-муллы, и там же хотел перезимовать он сам, защищенный многочисленными единомышленниками. Желая удалить возмутителя из соседства Северного Дагестана, генерал-адъютант Панкратьев отправил подарки к почетным гимринцам от имени шамхала, уговаривая их изгнать из среды своей Кази-муллу; но между тем он хотел подкрепить свое требование оружием. Генерал Коханов получил приказание занять Каранай и Эрпили и тем пресечь ему единственные дороги в шамхальские владения. Сам командующий прибыл к отряду 13 числа в Карабудах-Кент, распуская слух, что пойдет атаковать Гимри. 16-го батальону куринцев, в сопровождении трех тысяч пеших шамхальцев, приказано было выступить из Эрпилей на гору. Слышать — значит повиноваться. Велено — и для русского нет невозможного. С рассветом мы двинулись на крутой хребет Салатава, давно уже покрытый снегом… Идем!

Давно — кажется, с байбуртского сражения — не уставал я так, как устал, взбираясь по обледенелой крутизне Салатава. Ноги раскатывались, скользили; невозможно было идти, не упираясь штыком в снег. Зато я щедро награжден за усталость прелестным видом, когда ветер распахнул позади нас туманы. Прошедши две трети, то есть верст пять в гору, мы были остановлены, и я имел полный досуг вздохнуть, дать разгул очам своим. Я уже стоял за границей растения, на крутом гольце. Утро было морозно, солнце катилось по синеве, пылко и лучезарно. Девственный снег, не запятнанный следом человека, горел как покрывало, сотканное из алмазов по радужной основе. Огромные деревья леса опушены были кристаллами, в тысячу раз прелестнейшими зелени… Это было что-то идеально-очаровательное; звезды роились по ним вместо листьев, солнцы в замену плодов. Но что виделось под стопами внизу, под очами вдали: и склоны и обрывы гор, расписанные тенями, и яркие хребты застывшего океана, вспененного туманами, и все, все, что можно было обнять взором и воображением, — этого не выразит никакое слово, не даст подобия никакая кисть. Сколько жизни разлито было по этим горам, несмотря на зиму, символ безжизненности! Я исчезал в созерцании — Адам падал с плеч моих… я был так далек от земли, и земля сквозь мысль мою казалась мне так чистою, сам я в эту минуту был так близок к небу, словно достоин его!.. Луч солнца играл, как поцелуй ангела, на лице моем, будто никогда не кропленном ни каплею пота, ни каплею слез, ни каплею крови! Тогда я мог сказать, как Фауст: «Возвышенный дух! Ты дал мне, дал мне все, о чем молил я. Ты отдал мне в царство пышную природу, даровал силу ее чувствовать, ею наслаждаться! Не к одному хладнодивящемуся изысканию ты допустил меня, нет! Ты дозволил мне заглядывать в глубокое ее лоно, как в сердце друга».

Мы не пошли в Гимри, ибо командующий войсками очень хорошо знал невозможность спуститься в эту пропасть в такое суровое время года. Но демонстрация его имела полный успех. Его на дороге встретили посланные от койсубулинцев с уверениями, что желание русских будет совершено. На другой день явились гимринцы от старшины селения Давуд-Мугаммеда с известием, что Кази-мулла, изгнанный ими, удалился со своими клевретами в Иргены, где присоединился к нему Гамзат-бек Аварский, дважды помилованный и дважды изменивший русским.

Видя укрепляющееся доверие к русским и ненависть к лжепророку между дагестанцами, генерал-адъютант Панкратьев, дабы усилить оные, лично роздал несколько медалей и денежных награждений мусульманам, отличившимся в деле 8 ноября. Между тем зима установилась. Густые снега завалили сугробами ущелья. Горные дороги стали непроходимы, и сардарь наш отправил часть войск, истомленных беспрестанными походами, в свои штаб-квартиры. Для опоры же спокойствия пять рот Куринского полка и шесть рот Апшеронского расположились первые в Карабудах-Кенте, вторые в Дженгутае.

В это время получено известие, что Кази-мулла хотел было водвориться в с. Иргены, но, видно, счастье его пошло на отлив: ему и там не дозволили скрываться. Навербовав по горам отчаянную шайку, человек до пятисот, он с Гамзат-беком, достойным его сподвижником, перевалился за Салатав и засел в почти неприступном урочище Чумкессен, в двенадцати верстах от Казанищ, разглашая, что хочет карать отпавших своих сообщников, и между тем похищая баранов у соседних деревень. Генерал-майор Коханов выступил против разбойника с двумя батальонами, подкрепленными шамхальскою пехотою при четырех орудиях, 26 ноября, обошел овраг и атаковал неприятеля. Но непроницаемый туман воспрепятствовал успеху. Не видя далее пяти шагов перед собою, — а уже осенний день навечере, — русские должны были отступить. Горцы дерзостно кинулись из завалов своих, перешли через глубокий овраг и напали на передовые войска наши, но были рассеяны пушечными выстрелами. Дерзость их возрастала с каждым шагом отступления — это обычная азиатская сноровка. Раз пять порывались они отбить заднее орудие на узкой лесистой дороге, но артиллерийский офицер без страха снимал его с передков, обдавал горцев картечью и снова на передки, — это был тигр, которого каждый оборот стоит жизни собакам… Одна минута, однако ж, была истинно роковая. Худо ли был проколот картуз или не догнан до места, только скорострельная трубка вспыхнула — и нет выстрела; ставят другую — вспышка! Третью — не палит! А горцы почти на колесе и с дикими воплями кидаются в шашки, — но апшеронцы лихо отстояли орудие, стрелялись в упор, резались врукопашь. Глубокий снег и чрезвычайно суровая погода принудили нас возвратиться в самые Казанищи.

В ночи на 26 число Кази-мулла отрядил триста человек для нападения на Эрпили, но там сторожил их отважный Улу-бей. С рассветом началась сеча. Улу-бей со своими вытеснил их из края селения, ими занятого, преследовал далеко, многих убил, десять человек взял пленными. В Эрпилях в этот набег свершилось дело, достойное памяти. Мать Улу-бея, пылая гневом и местью на виновников бед ее, родных и одноземцев, кинулась на них с топором в руках, поразила нескольких и сама приняла геройскую смерть. Кази притаился в Чумкессене; но могли ли, но должны ли были русские терпеть непримиримого врага в двенадцати верстах от себя? Это бы значило потоптать свои лавры, даром потерять плоды победы. Командующий войсками взвесил, какое влияние эта дерзость может сделать на умы дагестанцев и горцев, даже на войска наши, и решил: непременно взять Чумкессен. Дело это поручено полковнику Миклашевскому, который незадолго, по болезни бригадного генерала, принял начальство над отрядом.

Отряд этот собрался в Казанищи 30 ноября. Назавтра назначен был бой, и все знали, что он будет упорен, ибо все слышали, что Чумкессен едва доступен, что там есть крепостца, что она защищается тысячью отчаянных удальцов племен лезгино-аварских; но солдаты любили Миклашевского как душу и так твердо веровали в беззаветную храбрость, в благоразумие его распоряжений, что готовились в дело весело, беззаботно. В палатках раздавались шутки, вкруг огней песни, — о, сколь для многих были они последними! Судьба уже отмечала лица жертв железным перстом своим. Скажите, какая нить связывает два мира, две судьбы, две жизни? Скажите, отчего, готовясь расторгнуться, она почти всегда дает ощутить себя, то грустью предчувствия, то зловещими снами? «Какой предрассудок!» — скажете вы, засмеетесь или, что еще хуже, улыбнетесь с сожалением. Пусть так. Я сам очень хорошо умею толковать о вздорности этого и между тем не могу дать себе отчета, отчего и когда делаю исключения, — и не раз близость беды, как близость грозы, томила меня тоскою задолго прежде. Не говорю уже о многих умнейших людях, покорных предчувствию, — я знал людей, не имевших веры, кроме этого суеверия, и это суеверие редко их обманывало. Кто видел жатву смерти около себя в многоразличных образах, тот, конечно, более домоседа имел случай видеть тому примеры. Расскажу один.

Накануне 1 декабря Миклашевский ужинал с немногими близкими к нему. Он казался веселым, но едва ли был им. Невольная дума мрачила его лицо.

— Ну, господа! — сказал он. — Надо славно заключить славный поход. Я должник государю за многие милости, особенно за позволение ехать в отпуск, и сделаю все, что могу. Отработаем дело молодецки, и я летом полечу на родину. Воображаю, как будет рад мне старик, отец мой! Про себя и говорить нечего — я русский, я сын, я жених! Лестно мне, что генерал Панкратьев выбрал меня приложить кровавую печать к странице истории, на которой блестит его имя, но, подивитесь — я бы почти был рад, если б Кази-мулла бежал заране. Мне снился в прошлую ночь странный сон. Чудилось мне, что в мою палатку вбегает прекрасная женщина, в слезах, с растрепанными волосами, жалуется, что она кем-то покинута. Прошла минута, и она уже лежала в моих объятьях и как ангел ко мне ласкается, но я чувствовал, что поцелуи ее — лед, грудь холодна, как зима… Она холодела на руках моих — мне стало страшно, я зяб, я застывал, я замерзал, сердце переставало биться… Просыпаюсь!.. Одеяло у ног, и холодный ветер играет полами шатра. Разумеется, это вздор… Будучи отрядным начальником, я менее чем когда-нибудь подвержен буду личной опасности… Но успех сражения? но участь сражающихся?.. — Разговор о деле замял и мысль о грезах.

На всходе солнца мы двинулись из Казанищ в гору к Чумкессену. Надобно сказать, что Чумкессен выходит с хребта мысом, ограниченным с юга оврагом, а с севера крутым обрывом, вся окрест-

ность его обнята густым лесом; дорога на этот мыс идет по правой стороне оврага и, огибая оный, спускается рытвинами. Почти на углу Чумкессена стеснено несколько землянок и саклей, в коих скрывались семьи мятежников во время лета. Полковник Миклашевский, оставя против тропинки, туда ведущей, роту куринцев с одним орудием, прочие войска послал в обход. Шамхал и Ахмет-хан стали с людьми своими на дороге от Казанищ. Улу-бей с эрпилинцами занял дорогу к Гимрам и, заметя, что к Чумкессену идет на выручку толпа аварцев, пересек им путь, разбил их, взял в плен двенадцать человек. Рекогносцировка оказала, что через овраг невозможно перевезти пушку и что обходная дорога заграждена засеками и перекопами, следственно, требует долгого времени для расчистки — а велик ли зимний день?.. Миклашевский решился сделать натиск одною пехотою. Перекрестились — пошли... Пули уже заиграли. Восемь орудий остались бить по видным завалам перед селением; но когда мы обежали его, пушки умолкли, настала жатва свинцом и железом. Апшеронцы и егеря на славу атаковали неприятеля, разом выбили его из завалов, из саклей и, беспощадно коля встречного и бегущего, по следам их кинулись с двух сторон к укреплению Агач-Кале, которое, будучи скрыто в ложбине от пушечных выстрелов, только тогда открылось глазам нападающих. Это Агач-Кале было трехстенное укрепление, воздвигнутое на краю утеса. Наружные углы его обстреливались саклями, сложенными вроде башен. Оно скатано было из огромных деревьев в несколько венцов и накрыто суковатыми пнями (chevaux de frise). Между бревнами вложены были по концам палочки, отчего во всю их длину образовались весьма удобные стрельницы — из них-то летел смертоносный огонь на наступающих. Скрытые за непроницаемою оградою, горцы били на выбор; солдаты наши, несмотря на это, бесстрашно кинулись вперед; но когда град пуль срезал целые ряды храбрейших, когда несколько офицеров легли на окровавленный снег, натиск превратился в перестрелку жестокую, убийственную, ибо расстояние между крепостцою и рассеянными купами дерев не превышало восьмидесяти шагов. Кучки бесстрашных егерей, предводимых достойными своими офицерами, кидались несколько раз к стенам укрепления, срывали окровавленные знамена, пытались взлезть наверх — иным удалось и это, но суковатая кровля была непроницаема; герои падали, пробитые десятками пуль. Осажденные оказали отчаянное сопротивление, — иные, увлеченные бешеною храбростью, вылезали из укрепления и с шашкой в руке гибли на штыках. Выстрелы их были метки и непрерывны; упорство, месть, ожесточение росли с обеих сторон; подошва Агач-Кале завалена была трупами коней и людей... Никогда в жизни не видал я столько крови и столько храбрости на столь малом пространстве!..

Миклашевский нетерпеливо ждал решения боя за оврагом; но когда прискакал к нему офицер и сказал что-то на ухо, он вспыхнул: «Коня!» И в тот же миг велел двум ротам куринцев следовать за собою, спустился с крутизны вскачь и вскачь поднялся на противоположный утес, по такой крутизне, что и пешком взлезть трудно. Судьба несла его, говорили солдаты. Он спрыгнул с коня, обнажил шашку и крикнул:

— Вперед, друзья! Теперь наша очередь показать себя молодцами!

— Ура! ура! — заревели солдаты. — Ура, вперед! С нами отец наш!

Все ожило, все хлынуло к Агач-Кале. Он пошел на приступ впереди всех*, между ротою куринцев и егерей... подбежал к бойнице и в запальчивости хотел заколоть сквозь нее горца; но злодейские выстрелы сыпались, кипели, и роковая пуля пронзила его грудь, пробила сердце и легкие; он успел только сказать: «Возьмите!», ступил назад и пал. Вслед же за ним смертельно ранен майор Кандауров, тяжело подполковник Михайлов, пять обер-офицеров и множество нижних чинов.

Но смерть храброго полковника не могла остаться без мести, завет его — без исполнения. Ожесточенные солдаты руками рвали сруб, лезли наверх, ломали кровлю и вломились, наконец, в укрепление, падали друг на друга; друзья и недруги — все смешалось... Когда ударили отбой, лишь одни трупы злодеев остались в Агач-Кале: там не было ни пленных, ни раненых. Темнота укрыла многих мятежников от гибели; они катком спустились с обрыва. На месте сражения осталось более ста пятидесяти тел и семьдесят лошадей. В числе убитых узнали татары лучших наездников и товарищей Кази-муллы. Взято два почетных знамени и одно Гамзат-бея; добыча в вещах и деньгах, в том числе в богатейших уборах кони Кази-муллы и Гамзата. Кази-мулла бежал так неожиданно и торопливо, что в пещерке, в которой он во время дела молился, нашли его куран и другие духовные книги. Ковер, на котором сидел он, был залит кровью. Его полагали тогда раненым.

Мы стали почти на *костях*, как выражались наши предки. Дóрога, но знаменита была победа. Мы потеряли более трехсот убитыми и ранеными, зато стяжали славу русскому оружию. Ни помощь природы, ни силы огражденного неприступностью человека не устояли перед храбростью русских — а выгоды этого мнения в очах дикарей неоценимы. Перед нами, на окровавленном плаще, лежал труп убитого полковника, и как гордо, как прекрасно было его чело!.. Офицеры и солдаты рыдали. Татары плакали горькими слезами... Но воину ли жалеть о такой завидной смерти? Нам должно желать ее! Миклашевский пал, как жил, — героем! Наутро огонь и железо истребили гнездо злодеев. Окружный лес упал под топорами. Мы возвратились в свои квартиры и скоро разошлись на зимовки. Дагестанский поход кончился.

Свершив, кинем взор на свершенное.

Покорив Дагестан, умирить его, упрочить его спокойствие было дело одного месяца. Не легкость дела, а здравость мер генерал-адъютанта Панкратьева была тому виною. Убеждениями своими произвел он то, что Кази-мулла, доселе всемогущий над умами горцев, превратился в разбойника, скитающегося в ущелиях Кавказа без приюта. Прежние последователи проклинают его, самые пылкие приверженцы с ним сражаются. Нелицеприятная справедливость с азиатцами и сохранение в русских войсках строгого порядка укрепили вновь доверие к русскому слову, привязанность к русскому правительству. Не одна гроза, не одно оружие укротили силу, нет! Великодушие более еще победило сердец — и по тому самому должно надеяться в Дагестане долгой, ненарушимой тишины.

В военном отношении можно ли было сделать более вреда неприятелю, добыть более славы русским с столь малыми средствами? Войска наши, всегда обеспеченные продовольствием, несмотря на осеннюю грязь, на зимние вьюги и снега глубокие, двигались с невероятною быстротою, поражали многочисленного неприятеля на каждой встрече. Счастливое соображение дювекского дела, где генерал-адъютант Панкратьев тройным нападением раздробил, извлек и по частям разбил табасаранцев, достойно изучения. Решительное до дерзости, но оправданное блестящим успехом, нападение на Эрпили, где битва решена, так сказать, одним взмахом меча, останется надолго в памяти горцев. Они были изумлены и устрашены стройным развитием колонн, которые вдруг обошли, охватили, сняли их. Искусное расположение батарей под Чиркеем, покоренным русскому царю так быстро, так славно, и, наконец, взятие Чумкессена, богатое политическими последствиями, — все это отличает дагестанский поход в числе знаменитых событий царствования Николая! Он будет внесен в летописи военные яркими буквами; он поставит генерала Панкратьева в ряд лучших вождей и правителей нашего времени.

Отрывок письма из отряда, действующего в Дагестане

Г. Тарки, 1831 г., мая 30.

...Крепость Бурная, возвышающаяся на отвесном утесе над Тарками, внезапно осаждена была войсками изувера Кази-муллы на рассвете 26 мая. Измена тарковских жителей, которые накануне клялись действовать заодно с русскими и просили защиты под пушками крепости, проложила мятежникам путь до самых стен, так что с самого начала они заняли ружейные бойницы со стороны города, сквозь них завели резню и стрельбу с гарнизоном. В тот же день к вечеру единственный фонтан, вне крепости находящийся, и стена, прикрывающая к нему спуск, впали в руки осаждающих. Проломав ее, они кинулись на соседний пороховой погреб и толпами ворвались в него на дележ зарядов, как вдруг граната, брошенная с крепости, взорвала погреб на воздухе. Гибель более трехсот горцев убавила у остальных дерзости; но положение гарнизона было тем не менее ужасно.

Неприятель с высот бил в крепость на выбор и несколько раз пытался на приступ. Кроме того, в Бурной оставалось мало снарядов, нисколько воды и никакого средства подать весть генералу Коханову, командующему нашим отрядом. Двое удальцов, взявшихся за это, были убиты, но дух гарнизона не упадал; день и ночь велась перестрелка, отражались приступы... Русские решились умереть не сдаваясь. Но бессонница и жажда могли победить их силы прежде, чем силы их души.

В это время, ничего не зная, не ведая, мы жгли деревни возмутившихся дагестанцев, прервавших около нас все сообщения. Ночью под селением Мусалим-аул вдруг пробудил нас грохот барабанов. Что такое? Бьют генерал-марш вместо зори... По возам, подъем; встрепенулись, двинулись. Генерал получил из Бурной записку, принесенную к нему в стволе винтовки. Вот она: «Крепость два дня в осаде, вода отбита, пороховой погреб взорван, с часу на час ждем решительного приступа». Чертовский лаконизм! Мы не шли, а лезли на выручку братий в гору, с горы, по ущелиям, отбиваясь от преследователей, нажидая новых встреч. Но обоз замедлял нас, и генерал, видя, что не поспеть с отрядом к ночи в Тарки, решился, несмотря на опасность быть отрезанным, взять два взвода пехоты, ста три мусульманской конницы и налегке спешить к крепости, чтобы ободрить своим нежданным появлением гарнизон и отвлечь от стен неприятеля, который, по новым известиям, должен был взять наутро Бурную. Я был с ним. Смеркалось. Бегом спустились мы с горы, врезались между садами, и пушки наши загремели противу домов, занятых неприятелями. Радостные клики и выстрелы отвечали нам с крепости. В тот же миг толпы мятежников стали спускаться с крутизны и осыпали нас градом пуль. Генерал не смешался: велел взять на передки и повел нас вперед по дороге. С перекрестка еще бросили мы две гранаты в город и, поворотя вправо, благополучно дошли до сборного места на берегу моря, посреди неприятеля, который никак не мог поверить такой дерзости. Отряд прибыл ночью, встреченный пальбою с завалов. Надобно сказать, что Тарки раскинуты по крутизнам оврага, сходящего уступами от Бурной к морю, шириною с полверсты, длиною полторы. Пройти к нему нельзя иначе, как через сады, перерезанные частыми ровиками и завалами, увенчанными плетнем из терновника или когтистого сабаки-дерева. Кроме того, многие

дома имели нарочно пробитые стрельницы, все улицы перекопаны были завалами. Этот-то город, занятый до исступления храбрым неприятелем в семь раз многочисленнее нашего отряда, решился генерал взять штурмом, ибо от этого зависело спасение крепости. С рассветом дня, оставя две роты в прикрытие обоза, мы перекрестились и пошли вперед, как на праздник.

У самого бесстрашного зрителя замерло бы сердце, видя, как три горсти русских с трех сторон двинулись против огромного города, встреченные убийственною пальбою. Первая цепь стрелков молодецки выбила неприятеля из засад в центре города и потом, опрокидывая его из завалов в завалы, с громкими *ура* втеснила в домы и начала штурмовать их один за одним. Рота, назначенная вправо деблокировать крепость штыками, проложила себе дорогу на вершину горы и отбросила неприятеля к селению Кяхулай-Торкали. К ней навстречу выбежали умирающие от жажды жители и женщины крепости и, с радостными слезами объемля своих избавителей, кинулись к фонтану. Натиск этой роты был столь быстр, что кумыки оставили на огне свои котлы с пловом и бараниной, и командир роты, раскинув стрелков, чтобы очистить соседние домы, прехладнокровно велел перехватить своим солдатам вражескою трапезою, прикрывая в это время воду, и потом, когда набрали ее довольно для крепости, он снова ударил сверху вниз навстречу другим ротам, идущим снизу вверх. Между тем упорная битва не переставала; более десяти раз ожесточенные кумыки и чеченцы кидались в шашки, а ничто не может быть ужаснее удара людей, поклявшихся умереть; но здесь нашла коса на камень: бесстрашие сокрушилось о бесстрашие, панцирники умирали на штыках, не отступая; солдаты наши, кучками по семь и по десять человек, бросались в завалы, занятые двадцатью и тридцатью врагами, и опрокидывали их. В центре было самое убийственное дело. Орудие, которое громило там стены домов, пробивало для неприятелей стрельницы, из которых в тот же миг выставлялись ружья и меткими выстрелами бросали смерть за смерть. Командир Куринского полка, подполковник фон Дистерло 2-й, посланный генералом на правый фланг, чтобы занять под батарею курган, командующий обеими половинами города, исполнил это с успехом и приехал в центр, где наши стрелки брали приступом дом за домом. Увлеченный отвагою, он повел их сам в штыки, выбил из одного завала и, держа в руке отбитое им знамя, с восклицанием: «Ребята! Вперед! Ура!» кинулся против дома; но роковая пуля в грудь повергла мертвым бесстрашного. Разъяренные солдаты, взяв дом, из коего вылетел выстрел, свершили кровавую тризну за смерть любимого начальника. После этого невозможно было уговорить их брать пленных.

Наконец с разных сторон зажженный город вспыхнул, и черный дым пожара, сливаясь с белым пушечным дымом, повис над Тарками, как громовая туча, сквозь которую молниями сверкали выстрелы с крепости, действующей в сторону против обратившихся к городу мятежников, встреченных вылазкою. Картина была вместе прелестная и ужасная; каково ж было самое дело?.. Одно только смелое или счастливое соображение генерала, одна только беспримерная храбрость куринцев могли восторжествовать над столькими препонами и столькими врагами; все, начиная от штаб-офицера до последнего мусульманского стрелка, сражались наперерыв друг перед другом; раненые дрались как львы; некоторые офицеры, получив три раны, не покидали боя; один фельдфебель врезался в толпу панцирников, повалил двоих и, не бросив ружья, получил три ружейные и четыре сабельные раны. Лекарь, спасая жизнь раненых, кои могли истечь кровью, перевязывал их под градом пуль, так, что он удивился, кончив над одним операцию, когда заметил, что пациент его убит. Артиллерийский офицер, сильно оконтуженный, так хладнокровно наводил орудие под ружейными выстрелами, как на домашнем ученье. Самое орудие сохранило знаки отваги: лафет его испещрен пулями, а мушка и диоптр сбиты; одним словом, Куринский полк в Тарках создал себе новую славу и умножил ею старую славу русского оружия.

Солнце скрылось, но битва еще кипела; главные силы врагов бежали, но еще три знамени веяли на крепком доме, в коем, как сказывают, сидел сам Кази-мулла с сотнею своих отборнейших воинов, воспламенив их храбрость фанатизмом. Генерал, щадя жизнь усталых солдат и зная опасность сражаться ночью, приказал ударить отбой. Мило было смотреть, как солдаты наши шли из битвы с ружьями, почерневшими от стрельбы, штыками, обрызганными кровью, и с опаленными усами. Гордо поглядывали они назад, где еще оставалось небольшое число неприятелей. Мусульмане возвращались, похваляясь добычным оружием; в трофеи нам досталось двадцать значков и три почетные знамени. Окружив цепью город, мы после двенадцатичасового сражения отдохнули на берегу моря, при потухающем зареве пожара. Стоны и ропот слышались в городе.

Утро 30 мая открыло нам ужасную картину истребления, и мы, предводимые генералом, пошли к крепости сквозь развалины Тарков. Это была могила: домы курились, и во многих лежали обгорелые трупы горцев, которые погибли в пламени. Улицы были непроездимы от убитых: в саклях и завалах они лежали грядами (их насчитали до тысячи пятисот). Везде виделись следы разрушения, нанесенного чугуном, следы убийства свинцом и железом. Достойная казнь измены! Но сердце отдохнуло от этих ужасов, когда мы обняли спасенных братий своих. Надобно было видеть, с каким чувством благодарности приветствовали они избавителя своего, достойного нашего генерала! С какою радостию встречали нас, которых отчаялись видеть! Все взоры, все сердца летели к небу, и очи всех сверкали слезами умиления, когда громкое ура потрясало скалы Кавказа.

Селение Губдень, августа 25, 1831.

...Ты спрашиваешь, не отдыхаем ли мы на лаврах после тарковской победы? Нет, милый! Горные лавры имеют шипы, как ваши розы, и пули здесь столь же обыкновенная ягода, как миндаль. Мы потчевали еще раз войска Кази-муллы 19 июня и теперь делаем чувствительное путешествие в горы, поколачивая мятежников при каждой встрече, и производя в их гнездах карантинную окурку порохом, и разбивая их по камешку для проветривания. Для образчика опишу тебе последнее дело: оно замечательно своею оригинальностию.

22 августа, то есть в самый день коронации государя императора, приблизились мы к селению Казанищи, которое давно уже заслуживало казнь за многократную измену русским и ревностное содействие изуверским приверженцам лжепророка Кази-муллы. Мы уже заранее через лазутчиков узнали, что жители вывезли своих жен и имущество в неприступные горы; но часть их, подкрепленная отрядом других дагестанских мятежников, решилась дать отпор в селении. Кто не был в горах кавказских, тот не может вообразить, сколько выгод дает усеянное скалами и оврагами местоположение, равно как неправильная постройка татарская, засевшему там неприятелю. Каждый сад с своими рвами и плетнями, каждое кладбище с своими стоячими надгробными плитами представляют тысячи средств драться шаг за шагом и отступать всегда под прикрытием. Но что неприступно для русских, для закавказцев? Царские пистолеты[12] грянули... несколько гранат возвестили в Казанищах о нашем прибытии, и вмиг удалые стрелки окинули цепью северный вход. Перестрелка закипела. Барабаны и потом ура за ура отдавались все далее, и, наконец, апшеронцы, которые были на очереди, ворвались в селение — и пошла потеха.

Сражение продолжалось несколько часов. Генерал Коханов, распоряжаясь как опытный вождь, подвергал себя опасностям как рядовой, и ободренные его храбростью солдаты выбивали неприятеля из завалов, опрокидывали из дома в дом; Казанищи запылали со всех концов. Лезгины, видя, что им не удержаться, пошли на уход в горы... Селение было очищено, дело кончилось, и только лишь крайняя цепь стрелков изредка перепаливалась с неприятелем, ползущим по кустарнику. Был час обеда, и генерал наш пригласил штаб свой и господ офицеров, возвратившихся из сражения, пообедать налегке. Можешь судить, как все были веселы и одушевлены! С холма, у ног которого разлеталось селение, открывался нам прелестнейший вид; движение войск, перестрелка, и вдали бегущий неприятель, вслед которого гарцевали наши донцы и мусульманские всадники, оживляли его. Но всего более восхищало нас, что в тот день, в который радостная Россия возложила венец Мономаха на голову достойнейшего из царей, победа свила новый венок на его оружие! Когда мы высоко подняли шампанским напененные бокалы за здравие его императорского величества, неприятель, который доселе крылся в каменьях и кустарниках, побежал по противоположному скату, и, по приказанию генерала, заздравный салют разразился между них гранатами, между тем как победное ура отвечало хором на наше душевное многолетие! Такие минуты, друг мой, заставляют забывать все труды, все опасности и все болезни здешнего климата!

Примечания автора

1. Один батальон Куринского полка зимовал в с. Казанищи.
2. Атлы-буйны напрямик верст тридцать от Тарков.
3. Тому причиной были сборища турецких войск на границе.
4. Золотая Нога — так называют дагестанцы графа Валериана Зубова. Они никак не верят, что политические перемены в России, вследствие чего Зубов был отозван в столицу, а вовсе не храбрость дербентцев, были причиною зимовки русских в двадцати верстах от города. Весною город сдался, едва построили первые батареи. Это было в 1796 году.
5. Это истина. Такими-то обещаниями наиболее прельстились горцы.
6. Тази — собака. Игра слов, вместо Кази.
7. Так зовут саннитов дербентских. Шагиды, по ненависти, клеветали на них.
8. Реквием (*лат.*).
9. Сардарь — по-персидски главнокомандующий. Запросто мы всегда употребляем это слово: оно просто и звучно.
10. Оный состоял из 2500 человек пехоты и 1500 кавалерии, при двенадцати орудиях. Вагенбург остался под селением Кяфир-Кумыком, прикрытый батальоном апшеронцев, двумя ротами куринцев и одиннадцатью орудиями.
11. Там случилось странное событие, доказывающее уважение черкесов к св. Николаю. Ограбив русскую церковь дочиста, они оставили только богатый образ сего святого неприкосновенным.
12. Падишах-тапенджи — так называют татары пушки.

Примечания

Впервые — в «Северной пчеле», 1832 год, №№142—148 и 169—178, за подписью: А. М.

В 1831 году в составе отряда генерал-адъютанта Панкратьева Марлинский участвовал в походе в Дагестан. Он был зачислен в Куринский пехотный полк в качестве рядового. К этому времени тяжелой походной жизни относится характерное признание Марлинского в письме к Н.А. Полевому: «Чтобы узнать добрый, смышленый народ наш, надо жизнь прожить с ним, надо его языком заставить его разговориться... О! сколько раз проклинал я бесплодное мое воображение за то, что из стольких материалов, под рукою моею рассыпанных, не мог я сострочить ничего доселе. Дай бог, чтобы время починило дырявые мои карманы, а то все занимательное высыпается из них, словно орехи у школьника. Я был бы так счастлив (или, пожалуй, так несчастлив), что вблизи разглядел народ наш и, кажется, много угадал в нем» («Русский вестник», 1861, апрель, стр. 319).

Стр. 109. *Саллюстиус* — Саллюстяй Гай Крипе (86—35 до н.э.) — римский историк и политический деятель. Его произведения «О заговоре Катилины» и «Югуртинская война» дошли до нас полностью. Наиболее значительный его труд «История» (5 книг), охватывающий период 78—67 гг. до н.э., сохранился в отрывках.

Жомини Анри (1779—1869) — военный писатель и теоретик. Родился в Швейцарии. С 1813 года находился на русской службе.

Аббас-Мирза (1783—1833) — персидский принц, наместник Тавриза и Азербайджана. Вел с Россией войны в 1811 и 1826 годах. Последняя война закончилась Туркманчайским мирным договором.

Кази-мулла, или Гази-Мухаммед (1785—1832) — мусульманский религиозно-политический деятель, первый имам (высшее духовное лицо) Чечни и Дагестана, предшественник Шамиля. Он выступил проповедником мюридизма (истребления всех немусульман) в наиболее воинственной форме газавата — «священной войны» против «неверных». В 1830 году, после избрания имамом, Кази-мулла повел отряды мюридов (послушников) против русских войск и мусульман, не желающих присоединиться к газавату. В мае 1831 года вместе с Шамилем он организовал поход в шамхальство Тарковское, бывшее в тесном союзе с Россией. Затем овладел Кизляром и осадил Дербент. Весной 1832 года он организовал поход на Чечню, откуда был вытеснен. Осенью 1832 года был убит в бою под Ахалкухумом.

Князь Эристов — генерал-лейтенант, начальник 21-й пехотной дивизии. 27 мая 1830 года был назначен Паскевичем командующим войсками в Дагестане. В июле того же года был отозван в Петербург.

Барон Розен — Розен Роман (Роберт) Федорович (1782—1848), генерал от инфантерии, участник Отечественной войны 1812 года и русско-турецкой войны 1829 года. После отъезда князя Эристова был назначен на должность начальника 21-й пехотной дивизии, а в 1831 году временно (с 5 июля по 23 ноября) — командующим войсками в Грузии и на Кавказе.

Стр. 110. *...война с поляками..* — Имеется в виду польское освободительное восстание 1830—1831 годов.

Таубе Максим Максимович (1782—1849) — генерал. Служил на Кавказе с 1825 по 1831 год.

Коханов — Каханов Семен Васильевич (1785—1857), генерал-майор. С конца мая 1831 года — военно-окружной начальник войск в Дагестане.

Стр. 111. *...как «пух от уст Эола».* — Из «Евгения Онегина» (глава I, строфа XX) А.С. Пушкина. *Эол* — в римской мифологии бог, защитник границы.

Панкратьев Никита Петрович (1788—1838) —генерал, начальник штаба Кавказского корпуса; 28 апреля 1831 года был назначен командующим войсками в Закавказье и в Дагестане, ввиду отъезда Паскевича в Польшу.

Миклашевский А.М. — командир 42-го егерского полка. В 1826 году, как «причастный к делу о злоумышленных обществах», был переведен на Кавказ.

Стр. 112. *...Омарова отродья!* — Омар Ибн-Хаттаб (ок. 580 — ум. 644) — арабский халиф (с 634 по 644 г.). Вначале был ярым врагом ислама, потом уверовал в пророка и стал его ревностным защитником. Память Омара чтится суннитами; шииты, напротив, проклинают его.

Шишак — металлический шлем (солдатская шапка) с острием, вершина которого увенчивалась небольшой шишкой.

Стр. 113. *Орден Златого руна.* — Рыцарский орден, учрежденный герцогом бургундским Филиппом Добрым (1429). В орденский знак входило изображение повисшей на дереве шкуры золоторунного барана.

Единорог — старинное артиллерийское орудие.

Намаз — ритуальная мусульманская молитва.

Стр. 116. *Надир-шах* (1688—1747) — персидский завоеватель, отличавшийся крайней жестокостью. В 1740 году он совершил поход в Дагестан против лезгинов.

Искандер — Александр Македонский.

Стр. 119. *...нот из Фрейшица.* — Фрейшиц («Freischütz») — «Волшебный стрелок», опера немецкого композитора Карла Вебера (1786—1826), впервые поставлена в 1821 году.

Стр. 120. *Это будет что-то вроде... между Теньером или Измайловым.* — Отличительной особенностью фламандского живописца Теньера было изображение фламандской простонародной жизни, деревенских праздников, крестьянских свадеб, пирушек и сборищ в сельских кабачках, солдатских караулен и т.д. Он зорко изучал предметы быта и воспроизводил их с чрезвычайной тщательностью.

Измайлов Александр Ефимович (1779—1831) — русский баснописец и журналист. За склонность к изображению в баснях быта городских низов современные критики назвали его в шутку российским Теньером.

Стр. 121. *Шанцы* — здесь окопы, редут, небольшое укрепление.

Пан Твардовский — герой польской народной легенды. Желая приобрести сверхъестественные познания и пожить в свое удовольствие, он продал душу дьяволу. Легенда о пане Твардовском является польской версией легенды о Фаусте. Эта тема многократно обрабатывалась польскими поэтами.

Горбачевский Николай Иванович (ум. в 1839 г.) — брат декабриста И.И. Горбачевского, офицер инженерных частей Кавказского отдельного корпуса.

Вильде Е.Е. (ум. в 1847 г.) — саперный офицер, с 1827 по 1846 год служил на Кавказе.

Стр. 122. *Мерлон* — часть бруствера между амбразурами.

Стр. 123. *Эта граната была Сампсон в миниатюре.* — Самсон — библейский мифический герой, которому приписывалась сверхъестественная физическая сила. По преданию, филистимлянка Далила, выведав тайну непреодолимой силы Самсона, заключавшейся в семи прядях волос, остригла его во время сна и выдала соотечественникам, которые заключили его в подземелье храма. Когда у Самсона отросли волосы, он разрушил храм, под развалинами которого погибли его враги и он сам.

Аббас-Кули Баки-Ханов — Бакиханов Аббас-Кули (1794—1847), крупный азербайджанский историк и литератор. В 1819 году был приглашен Ермоловым в качестве переводчика. По своим взглядам являлся сторонником сближения Азербайджана с Россией.

Стр. 124. *Уцмий* — титул феодального владетеля Каракайтага в Южном Дагестане в XIV — начале XIX века.

Стр. 127. *Он пошел на приступ впереди всех...* — Сохранившиеся донесения генерал-адъютанту Панкратьеву о сражении у Чумкес-кента (у Марлинского — Чумкессен) показывают, что А. Марлинский очень точно воспроизводит как отдельные эпизоды боя, так и героический подвиг командира 42-го егерского полка А.М. Миклашевского.

Текст и примечания печатаются по источнику:

Бестужев-Марлинский А.А. Письма из Дагестана // Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения в двух томах. — Т. 2. — М.: Государственное издательство художественной литературы, 1958. — С. 5—60, 679—682.

ПУТЬ ДО ГОРОДА КУБЫ

Laffemas
Tu chantes faux a rende envieuse une orfraie,
Tais-toi!

Le Gracieux
Le chant est faux, mais la chanson est vraie.
V. Hugo[1]

...Самур* еще не разгулялся, однако многие промели, делящие его на рукава, исчезали под разливом, когда мне пришлось его переезжать. Молочный брат со всеми дагестанскими реками, на своем коне я бы перебродился за эту, не вынимая из зубов трубки; но, сидя на тощей почтовой кляче, признаюсь, не без опасения спрыгнул я в кипучие волны Самура. Всем путешественникам обыкновенно советуют не глядеть при переезде на воду, чтобы уменьшить головокружение и боязнь; вопреки этому я всегда люблю вперять взоры в самую быстрину, чтобы каким-нибудь развлечением выкупить опасность. И в самом деле, это, кроме важной выгоды избрания пути между огромными камнями, дает вам чудное, невиданное зрелище в игре воды и света. Быстрина горных рек увлекает собою мириады валунов, и обманутому взору кажется, будто все дно течет мимо ног коня. Но белые валуны, скользя и прыгая по обросшим мхом каменьям ложа, вместе с пеною волн и вьюнов, вместе с отражением солнечных лучей производят пестроту и блеск, нестерпимый для глаза. Конь мой чем далее, тем глубже ложился на правый бок, инстинктом угадывая, что острый угол надежнее выдержит напор течения, так, что правая нога моя была уже вся в воде, а левой едва замочен был следок; наконец все седло окунулось в воду. Шумные всплески подмывали меня; конь качался от усилий; был миг, что вынул ноги из стремян и взглянул вниз реки, куда б выплыть, хотя выплыть в полном вооружении из такого ада плохая была надежда. У самого берега беда удвоилась: Самур оборвал покатость взъезда, и конь мой, раз пять пытаясь выскочить на круть, скользил, падал, чуть не опрокинулся, а река, хлеща прибоем в берег, шипела, разевала пасть, будто голодный шарк* — и даром: я благополучно выбрался на сушу.

Описываю этот ничтожный случай потому только, что за мной следом ехал мой толстый спутник, гражданский чиновник, и когда я, отливая воду из-за сапогов, оглянулся на него, то меня взял истинно гомеровский смех. Надобно признаться, что вся наша европейская одежда не имеет в себе ничего эстетического, еще того менее живописного, особенно в горах, на очной ставке с величавою, дикою природою, в толпе азиатцев, в картинной, развевающейся, ловкой одежде их. Короткополый, ощипанный фрак на расшитом чепраке, на коне персидской породы, представляет невообразимо жалкую аномалию, самую колкую эпиграмму на безвкусие и несообразность нашего платья. Прибавьте к этому, что такой фрак надет на шесть футов человечества, которое обтягивает он в упор, дожидаясь первого случая лопнуть; что это человечество сидит, подкорчив ножки и схватясь обеими руками за седельную луку; что оно бранит изобретателя верховой езды и проклинает свою охоту преобразовать Грузию посредством своего высокоблагородного чина; что оно, наконец, трусит буйства реки, вскрикивает и ежится, окуныва́ясь в воду, — и все еще вы не вообразите сотой части смешного, которое было тогда у меня под глазами. И вот передний проводник с помощию повода, а задний с помощию плети успели вытащить коня, усталого под громадою, на берег. Спутник мой бросил протяжный отрадный *ух*! — потом, по всегдашнему своему обычаю, закричал: «Эй, малый! развяжи лапку!». Лапку развязали[2]. Густое дербентское вино было наточено в ковш и выпито с канцелярскою точностью; потом господин коллежский асессор, вытирая с умилением губы, сказал:

— Благословенная влага вино: я уверен, что тот, кто выдумал вино, был великий поэт и выдумал его в припадке вдохновения. Что до меня касается, то оно стало моей природою: я долее проживу под воздушным колоколом без воздуха, чем без виноградного сока. Воды я терпеть не мог и с малолетства; а с тех пор, как меня чуть в ней не утопили, один взгляд на нее наводит ужас.

— Как это было? — спросил я от нечего делать.

— Я служил по таможенной части в А—е и, заметив в один ненастный осенний вечер, что из Двины проскользнула в море расшива навстречу к идущему в порт иностранному кораблю, выждал ее возврата с контрабандою и на объездном катере как раз захлопал ее близ таможенного островка М—а. Туда, сюда, — отговариваться нечего, — пойманы с поличным. Товар был дорогой, люди богатые: им крепко не хотелось потерять его и еще платить на него огромный штраф; взмолились мне — отпусти; дают тысячи, сулят золотые горы... Разумеется, я отказал наотрез. Но мои объездчики думали иначе. По прежней штемпельной совести они привыкли к полюбовным сделкам с контрабандистами, и моя неуместная строгость давно уже их раздражала. Приступили ко мне с просьбами, я взбесился; стали грозить: я схватил румпель и давай крестить бездельников; но как их было восемь человек, а я один, сила перемогла. Страх наказания и приманка богатой добычи решили

мою участь. Разбойники раскачали меня, как песельники на офицерской пирушке, прокричали: «Уж нет у нас такого молодца, как С—та, в свет как П—ча!» и бросили в воду прохолодить мой жар к открытиям.

«Авось утонет», — подумал я.

— Однако ж назло им я не утонул. Я плаваю как бочонок, — примолвил он, поглаживая по своему экватору, — и счастливо добрался до отмели, а по ней, по образу пешего хождения, на таможенный остров. С тех пор я возненавидел коварную стихию: одни рыбы могут купаться в ней и пить ее, не чувствуя лихорадки. Я сменил водяное царство на виноградное и не каюсь.

А я глубоко вздохнул по своем водяном царстве. Я бы отдал все грозды в мире за кисть рябины, склонившейся над зеркальным потоком моей родины! Однако ж пора в путь в дорогу.

— Ну, любезный С—т П—ч, — сказал я, — готовьтесь из воды в полымя: перед нами лес, притон табасаранских разбойников. Они спускаются по берегу Самура с гор, на грабеж наших приморских ватаг, откуда уводят с собою пленных; или на грабеж караванов и путников, в чьих карманах устраивают они свою жемчужную ловлю и свой монетный двор. Застали вы в Дербенте офицера корпуса топографов, Тим—ва?

— Я его встретил на дороге.

— Этого офицера, два месяца назад, захватили здесь разбойники, вот в этой самой рытвине. С ним был один донской казак и два нукера. Началось с того, что какой-то истощенный бедный лезгин, кланяясь в землю, упросил его позволить сесть ему сзади казака, чтоб переехать за реку. Он сжалился и позволил. Не проехал он пятидесяти шагов, как человек десять разбойников выскочили внезапно из-за пней с криком, схватили за повода его коня, сорвали шашку, прежде чем он опомнился, между тем как лезгин, сидевший за казаком, охватил ему руки и уронил наземь, а проводники, как это всегда водится, побросали оружие. Под остриями кинжалов оттащили его с дороги, раздели донага. Разделив коней и платье пленников, атаман бросил на него несколько лоскутков, по которым, конечно, ни один археолог не доискался бы, к какому роду одежды они принадлежали в старину. Впрочем, атаман, которого окружающие величали беком, очень ласков, утешал его, уверял, что ему нечего бояться, прикрыл на время буркою, потчевал чуреком. «Только раза три, — рассказывал офицер, — я был на волосок от смерти. Сквозь обнаженный лес замелькали штыки, и все разбойники бросились ко мне с кинжалами, чтоб в случае нападения схоронить концы в воду. Один даже ударил меня прикладом, но атаман грозно вступился за меня, спорил, горячился: его худо слушались. К счастию, штыки исчезли и все успокоилось. Но каждый скрип колеса, каждый удар бича на дороге возобновлял требования моей смерти; и в таком смертном страхе провел я целый зимний день. Когда смерклось, атаман вывел меня на дорогу, указал на деревню, и все умчались прочь. Я, говорит, бегом прибежал со своими спутниками к старшине селения, и долго не верилось мне, что голова у меня на плечах». Всего замечательнее в этом происшествии то, что этот офицер — хороший рисовщик и по приезде в Дербент нарисовал портреты человек пяти из разбойников, особенно поразивших его внимание; татары называли каждого по имени. В атамане узнали какого-то беглого кубанского бека.

— И уж их, наверно, переловили, осудили?

— О, да; только прежде казни они, вероятно, ожидают случая засвидетельствовать вам свое почтение лично, — отвечал я, осматривая пистоны двухствольного ружья.

Я положил себе за правило никуда не ездить в Азии без исправного оружия и не имел причин в том раскаиваться. В России говорят: «Не клади плохо, не вводи вора в грех»; за Кавказом надо говорить: «Не езди плохо». В самом деле, готовое оружие и смелый вид производят необыкновенное впечатление на всех горцев. Вообще надобно убедиться, что они вовсе не охотники умирать и решаются на явное нападение лишь в таком случае, когда число или превосходство оружия ручается им за верный успех. Но поверьте, что редкий из них кинется на человека, у которого три огня под рукою и решимость послать их по адресу на самом близком расстоянии. Вот почему оружие необходимо в горах гораздо более, как предупредительное средство против искушения встречных, нежели как средство обороны от разбоя. Во всяком случае, если вы заметили вдалеке подозрительных людей, едущих вам вслед или навстречу, не показывайте никакого признака беспокойства, выправьте оружие, но не хватайтесь за него, не снимайте с плеча до тех пор, покуда они не сделают этого первые: иначе, вместо того чтоб удалить неприязненные действия, вы их вызовете. Но если всадники едут с ружьями поперек седла, это предполагает врагов, и вы имеете полное право сделать то же; если они останавливаются, совещаются, разъезжаются в стороны, это неминуемый знак нападения; и тогда, спросясь своего сердца — быть убитым или быть в плену? — решайтесь на сдачу или на смертный бой. В последнем случае надо вспомнить пословицу, что храбрым владеет бог и что нигде так не справедлива эта пословица, как в Азии. Тогда, перекрестясь, прыгайте на землю, ищите какого-нибудь дерева, камня, бугорка, за которым бы вы могли удобнее действовать. Если ничего нет, стреляйте через седло; когда убьют коня, ложитесь за него; всего более берегите заряд в дуле: ваше спасенье в терпении. Я знаю много примеров, что отважные отсиживались вдвоем, втроем, в одиночку даже, от целой шайки, не бросая на ветер ни одной пули.

Трудно вообразить, чтоб дагестанцы, да еще разбойники, ударили в сабли[3]: у них на это не станет душонки; но если б это и случилось, не может быть, чтоб разом решилось более четырех человек. Тогда, выждав их на десять шагов, если вы одного убьете, против вас останется только один, ибо, по всегдашнему, священному у мусульман обычаю, товарищи должны унести труп убитого. Вот уж трое вон, а четвертый смущен как нельзя более, и если еще не улепетнул, так это оттого, что ему во всех сторонах мерещатся ружья. Кто бывал часто в горах, кто преломил не только хлеб, но и копье с горцами, тот, конечно, не станет спорить со мной, что осторожность на каждом шагу, отвага при каждой опасности и хорошее оружие всегда наготове — самые надежные телохранители и лучшие проводники для странника по Азии.

Спутник мой был вовсе не трус на сухом пути, и мы спокойно проехали сквозь selva selvaggia (дикий лес). Весна дышала на сердце отрадой; первинки благоухания видимо струились в воздухе с молодой зелени трав, с чуть оперившихся деревьев; земля звучала, как Эолова арфа*, тысячью водных струн. Голубки ворковали на цветистых ветках черешни; фазаны, распустив летучей радугой хвост, с шумом перепархивали через дорогу; спереди открывалась очаровательная долина, обрамленная слева сверкающим сквозь лес морем, справа — предгорьями снегового Шах-дага, прямо яркою синевою южного небосклона, по которому катились и падали наливчатые серебряные яблоки легких облаков. Но кто бы захотел путешествовать, если б живописец и поэт могли перевесть на холст или бумагу всю прелесть природы далеких стран, выразить новое чувство, прекрасное дитя чувств, пораженных ее разнообразием? Смешон человек, когда он строит вавилонский столп, чтобы убежать от природы; вдвое смешон, когда хочет поймать ее на палитру или уместить в чернильницу. Великое дело мысль, великое дело чувство, но это два океана — их не вычерпать черепом человеческим, тем безнадежнее, что зачерпнутое должно хранить в решете выражения: нет у нас другого сосуда, другого орудия передачи.

Но, скажут мне, мысль безгранична и неизмерима, как сама природа: на первой может отразиться вторая, вся будто в зеркале.

Положим, что я согласен на это: но как скоро вы захотите осуществить эту мысль, когда вознамеритесь превратить это зеркало в картину, вы принуждены будете занимать у природы средства написать и одушевить ее; эти средства — части природы, а части никогда не обоймут целого.

Глаз есть совершеннейший орган нашего тела, но и он может схватить только треть горизонта лучами взора. Кроме того, его устройство и расстройство показывает нередко предметы иначе, нежели они в самом деле, и потому напрасно говорят: «вид моря, снятый таким-то»; «вид Кавказа, срисованный с природы таким-то». Должно говорить: «перевод с глаз такого-то, при отражении в них моря, Кавказа» — никак не более. Что сказано о зрении, относится и к воображению. Человек может вам картиною, барельефом, звуком, книгой передать только свое понятие о вещи, а не самую вещь, свой взгляд на нее, а не точный ее вид. Вот почему нелепо требовать от поэта портретного сходства местностей: он перестанет быть поэтом, если возьмется не за свое дело. Его циркуль — ум, его палитра — сердце, его кисть — фантазия. Напрасно с его страницами в руке станете вы поверять Колизей, собор триумфальных ворот, нагроможденных тысячами на победные вороты; или Венецию, водяную лилию морей; или дымный ад альпийских ущелий. Вы скажете — описание вовсе не сходно с истиною, и скажете неправду. Вы глядите на свой Колизей*, а Байрон видел свой, и та ночь слилась давно с ночью вечности, в которую он так его видел. Вычтите из этого, что он, вероятно, не мог выразить всего, что чувствовал, а мы — понять того, что он выразил. Это не Колизей, не океан, не гяур*, это душа Байрона в разных ее изгибах; это не мадонна, это вера Рафаэля; это не любовница, а самая любовь Тициана; это не Абруццы*, а мрачное воображение Сальватора Розы. Один бог может творить в лоне своем, один человек — все пересоздавать в горне мысли. Правда, человек усваивает[4] все непроизвольно, без сознания, без отчета — потому что качество и степень приимчивости даны ему свыше, и он может только развить, изострить, вылощить, но не добыть и не переменить их. Зато каждый человек усваивает все особенным образом: мудрено ли же, что вечно неизменная природа, разделенная на миллионы преходящих я, будет отражена в каждой грани разнообразно и в разные времена в той же самой грани различно. Человечество — живая волна океана: ветер свивает и чеканит ее в причудливые кристаллы по произволу. Природа — гора исландского хрусталя. В обеих сверкает божество, но в первом видны лишь бегучие, перелетные искры, в другой — постоянные лучи[5].

Со всем тем валы морские величественнее скал прибрежных; и величие, прелесть их заключены в жизни, в движимости, в разнообразии. Вот почему.

The proper study of mankind is man.
Приличнейшая наука для человечества есть человек.

Вот почему в обратном порядке можно изучать человечество в людях разных веков.

Но знаменитые представители, образчики каждого века, знакомы нам из повествования современников или потомков (за исключением Кощея Бессмертного, я не думаю, чтобы кто-

нибудь из нас служил подпрапорщиком у Ксенофонта* или ел трипотанум на пиру Каракаллы*); и современники, по личностям, по предубеждениям или из выгод, могли исказить характеры, подменить или умолчать обстоятельства знаменитых исторических лиц и переворотов. Например, со всем уважением к ликторским пукам* и крученым фразам Цицерона*, многие не без причины думают, что злодеяния Катилины* преувеличены. Свидетельство человека, каков Саллюстий*, слишком пахнет стачкою. Саллюстий был всегда поклонником тех, кто давал ему средства грабить и наживаться. Желаю также знать, что бы подумали наши внуки о состоянии Франции и Англии, если б до них дошли одни оппозиционные памфлеты или одни журналы ultra и nec plus ultra[6].

С другой стороны, потомки, чуждые современных страстей и знамен, наитствуются духом века. Они судят хладнокровно, но меряют все на свой аршин, подводят все под насущные правила. Люди и дела являются в новом свете — но в настоящем ли свете? Пусть разногласие господ историков решит этот вопрос. Одни обращают историю в героическую поэму или в урок нравственности, другие — в философическую систему, третьи — в народную драму. Изо всего этого следует, что истинной истории не было, да, вероятно, и быть не может.

До сих пор мы находили роман в истории. Вальтер Скотт ухитрился одеть историю в роман. Удивляюсь, почему зовут исторический роман незаконным сыном вымысла с истиною! Разве у него иное родство, иное кумовство, чем у старшей его сестрицы? Мало правды в исторических лицах Вальтера Скотта — но разве ее более в портретах Плутарха*? Я полагаю, домашнего человека легче угадать, чем политического! Да пускай себе Тацит*, Шиллер, Юм*, Карамзин ошибались во многих и во многом: судьбы человечества, очевидные по делу, а не по слову, не могли ускользнуть от читателя мыслящего. В каждой книге самое занимательное есть именно то, чего в ней нет, но об чем она заставит вас подумать; а роман имеет это достоинство наравне с летописью. Я так же мало забочусь, каким уксусом расторг Аннибал* хребет Альпов, как из чего были сделаны кляпцы* около дворца Людовика XI*. Однако обе сказки, у историка как и у романиста, основанные на преданьях народных, дают мне мерку обоих исторических деятелей. Но главный рудник лежит в самых авторах, какого бы рода словесности они ни были. Читая Квинта Курция*, Анну Комнену*, Фроассара*, нашего Нестора, точно так же как Тиртея*, Аристофана, Виргилия, Проперция*, Корнеля*, Кантемира*, Державина, Попа*, Газлитта*, Байрона, Гете, я угадываю их столетия, их современников, их земляков, хотя бы и сомневался в подлинности их рассказов или в изяществе их вымыслов. Один язык, независимо от достоинства исторического или поэтического, есть неисчерпаемый ключ открытий. По его походке можно угадать ход просвещения и хват идей (la portée des idées) каждого народа, ровесника подсудимому сочинителю; по приемам слога — касту и характер автора. Пускай что ни говорят, а книга и сочинитель — одно и то же лицо, только в разных переплетах. Стало быть, как бы сочинитель ни вытерт был подражанием, как бы ни хотел он скрываться умышленно, настоящий цвет его кожи пробьет где-нибудь сквозь заемные белила: где-нибудь он промолвится наречием души. Ловите же его в такие проблески искренности — и с ним вместе вы поймаете целый невод его современников, с ракушками и растениями его родины, его поры. Может быть, он вам наговорит с три короба чепухи о том, что было до него и при нем; умейте же из его слов извлечь признание, исповедь, завет того века, того народа. Беда, право, невелика, если вы прикинете лишнюю горсть сыпучего песку похвал к подножию статуи Мария* на счет подножия Суллы*; не беда, если вы обоих забрызгаете грязью: человечество ничего не проиграет в них. Теперь свирепствует мода считать мифами все древнее — почему ж не счесть за басню некоторых доблестей или чудовищных пороков древних? Почему я поверю, что Юлий Цезарь сам писал и диктовал еще трем секретарям вдруг, в колеснице, скача во весь опор по неделанным дорогам, когда не верю ни Немвроду*, ни Ромулу*? Дело в том, чтобы выследить развитие гражданственности у разных народов, и... и... Куда это завезла меня верховая метафизика?

Господа читатели, тысячу извинений! Я хотел только доказать, что во всех описаниях и живописаниях зритель и слушатель видит только уменье художника изображать предметы, а не слепок, не отражение предметов; и вследствие этого примолвить, что если кто воображает по моим очеркам познакомиться с Кавказом, а не со мною, тот горько ошибется. Еще более ошибется тот, кто станет искать на нем красот, мною виденных: может быть, эти прекрасные цветы были заветные цветы — только для меня распустились, а вслед за мной облетели, как одуванчики. Может быть, мой небосклон полинял теперь и солнце, которое мне светило, погасло в дождевом облаке! Я бы дал вам в заем своих глаз, своих дум: научите только, где отыскать мне их? Сегодня я уже не тот, чем был вчера; вчера от меня далеко на столько же, на сколько день моего рождения и день рождения первой моей мысли; все вчерашнее уже схоронено в желудке прожоры Сатурна. Глядь-поглядь — от нитки до иголки дошился было я до историко-романического узора. Виноват, господа, не люблю тормозить своей откровенности; да и на кой черт стал бы я тормозить ее, когда никого не приглашаю с собою? Suivra qui voundra[7]. В моих записках — я не в чужих санях, и беззаботно отдаюсь влечению пера, а перо, как вам известно, вещь очень легкая: малейшее дуновение фантазии несет его в тридесятое поднебесье.

Впрочем, милостивые государи, если кто-нибудь из вас почтет мою велемудрую выходку за мистификацию — в творящем и творимом ее качествах, — я готов тому дать благородное удовлетворение: готов стреляться через стол, хоть двустишными эпиграммами, из которых одна будет холостая, а другая заряжена перцем и солью донельзя. Бросим жребьи, кому пасть! Разделаться можем мы на просторе в архиве северного ветра, подалее от пошлой рыночной молвы, подальше от будочников-наблюдателей на курьих ножках. Секундантом моим, извольте видать, беру я моего печатного приятеля, того, вы знаете, что с деревяшкой вместо головы. За ним, правду сказать, водится маленький недостаточек: он привык бранить встречного и поперечного так, как я бы не позволил браниться моему пуделю; впрочем, предобрый и препростой малый — за рюмку шипучего. Я уверен, что он не откажет, он очень будет рад найти человека, который бы хоть ex officio[8] дослушал его военный анекдот. Советую только, если он вздумает подать вам руку, пожать ее не иначе как щипцами и сжечь благовонный листик, когда он раскланяется: приятель мой не отличается чистотою и до того в пятнах, что издали его можно принять за леопарда. Итак-с, до приятного свиданья! Это дело решенное.

Спутник мой, вероятно за какой-нибудь тяжкий грех, осужден был говорить без умолку; но я, не находя за собой достаточной вины, часто увольнял свои уши от тягостной барщины внимания и всякий раз, как он обращался ко мне с извинением: «Скажите, пожалуйста, откровенно, не мешаю ли я вам мечтать своими рассказами?» — готов был сказать: «Нет-с, продолжайте, сделайте милость: ведь я вас не слушаю!». Но я не мог не слышать его жалоб и проклятий на дагестанские седла. Они ли были сделаны не впору по его грузовой ватерлинии или природа худо разочлась размером его туловища в отношении к верховой езде? Дело в том, что бедняк был решительно не в своей тарелке, хотя седло его величиной с очень укладистое блюдо. Коварная передняя лука беспощадно буравила гастрономический департамент его высокоблагородия, кажется, в отместку за то, что его необычайная круглота мешала ей выглянуть на белый свет; между тем как с другой стороны край седла не поддерживал и половины основания. Наконец он не выдержал наседельной пытки: он рассчитал с обычным себе остроумием, что существовать гораздо приятнее на колесах, чем верхом, и нанял довезти свою особу до Кубы первую нагайскую арбу, какую мы настигли. На нее взвалили огромный двухспальный пуховик, который возится неразлучно с моим спутником для удобства, а на пуховик, с немалыми, правда, трудами, взобрался он сам. Я оставил всех телохранителей хранить разбитое тело С—та П—ча; послал прощальный привет на высокую колесницу и сам-третей пустился по знакомой дороге вперед.

Недаром говорят: дорога лучше женитьбы открывает характеры! Как ни забавен бывал подчас мой спутник, я не жаловался на разлуку. Надобно иметь необыкновенное сходство чувств, если не мыслей, для товарищества напутного. Я, если не могу опрокинуть сердца вполне, бываю обыкновенно очень молчалив и углублен внутрь себя. Желание насладиться видами и впечатлеть их в память делает меня невнимательным ко всему близкому. Минутный гость чужих сторон, я их приветствую и прощаюсь с ними каждым взором; их чудные образы проходят по моему сердцу в бледном озарении мечты, сменяются, исчезают как сон!.. Грустно, о как грустно глядеть не званному на роскошный пир природы и ехать мимо, все ехать, все странствовать бездомному на чужбине!.. Любоваться ею и думать об отечестве, которое носит он в сердце! Быть Танталом на каждом шагу, при каждой встрече! Хотеть забыть свое вчерась, не имея завтра!..

Да! Грустное чувство дает мне путешествие по прекрасным долинам Кавказа, по угрюмым скалам его; зато в этом чувстве нет горечи, нет яда. Оно кладет свою мирительную руку на грудь мою, и мне кажется, на ней лежит нежная ручка любимой женщины. Оно роняет на все кругом дымчатое покрывало свое; зато под ним не видны терния. Благодетельное впечатление производят на меня красоты природы... Видя их и вспоминая об них, я становлюсь добрее, чище, любовнее: душа горит тогда, не заплывая страстью; разум расправляет крылья, пытает взлететь за облака, проглянуть бездны земли и моря. Это не радость, но и не тоска, не покой и не треволнение — это зыбь, которая хранит в себе следы бури и начатки тишины. Словом, я был доволен обновлением своего одиночества; мне хотелось почувствовать на свободе, мне это было нужно, необходимо; я лучше люблю, чтобы вешний ветер, нежели осенний взор, стер мою слезу с ресницы, чтобы лесное эхо, а не болтливый язык повторил слова, вырывающиеся у меня в рассеянности. Люди милы в городе, занимательны книги зимою, но природу люблю я всегда искреннее, чем людей, и громады гор более, чем громады книг; особенно в провесень, когда никакое неприятное чувство не мешает сливаться с природой, вдыхать ее всеми порами без инея и раскаленной пыли, не сквозь шубу или струю пота. Вешний воздух действует на меня как музыка: он навевает мне тихую грусть, которая готова при малейшей случайности растаять в слезы, хоть я очень далек от сансиблеризма* и, конечно, не разжалоблюсь над палевыми сливками, разлитыми из разбитого горшка, ни даже над кровью товарища, раненного в битве. Слезы — выражение раздражительности, а не доказательство чувствительности. Но всего странней, что вы не найдете двух особ, которые бы доступны были этой раздражительности с одинаковой стороны. Один плачет от страха, другой от гнева, многие, но различно, от печали. Иной слушает с сухими глазами панихиду по отце и потом льет горькие

слезы по своей лошади. Тот с бранью выталкивает из присутствия бедную сироту, умоляющую о правосудии, а вечером разливается слезами в театре над мнимыми несчастиями. Я видел одну чувствительную даму, которая чуть не оторвала мальчику ухо за то, что он не успел выхватить муху, попавшую в сеть паука; знал другую, которая отдала в солдаты своего кучера, зачем, он, на катанье по Невскому, затоптал санями голубя. Добрая душа говорила, что совесть ей рисовала и во сне смерть сизокрылого, которой она была невинною участницею... Совесть ей ни разу не представила осиротевшую семью кучера! Та плакала о мухе, отравленной ядом шестипалого чудовища, эта — о раздавленном голубке, и обе не притворялись. Источник слез их был чист, хоть очень дурно направлен. Тут вина не сердца, а ума, залепленного и искаженного воспитанием или тесного от природы. Да! Повторяю: источник слез чист, покуда он искренен: это — мгновенное пробуждение вечной совести, это — поминка неба на земле. Но презрительны и смешны слезы, проливаемые для порочных обольщений или по ребяческим прихотям моды. Чье сердце не таяло под крокодильными слезами прекрасной обманщицы? Кто не увлекался заготовленною слезою жестокого судьи? Кто не слыхал о том нежном времени, когда каждая порядочная дама считала необходимым долгом выплакать в день по крайней мере баночку духов в батистовый платок свой? Каждый автор разливался чернильными слезами по бумаге, и все говорили не иначе как со вздохами вместо запятых! Что ж из этого? Неужели мы устыдимся слезы истинного умиления, истинного раскаяния, потому что она была приманкою простоты или шутихою жеманства? Модные слезы брошены как мушки: дай бог, чтоб и коварные употреблялись как возможно реже; но чувство души не прихоть: его не задуешь, как свечу, не купишь, как новую шляпу. И потому, если я, по остатку ложного стыда, и покраснею, когда кто застанет слезу на моих ресницах, но, не краснея, готов сказать, что все великое наставляет на глаза мои навертываться слезы, — а что величественнее природы? Зато, кроме умиления, никакая печаль не выпросит у меня росинки. Почему это? Не знаю. Я говорю что есть.

Так мечтая и рассуждая, приближался я к Кубе и между тем любовался на вечереющее солнце. Отчего, объясните мне, пожалуйста, мы любим видеть солнце на востоке или на западе более, чем на высоте полудня? Механическая ли удобность для глаз или гордая мысль, что светило мира наравне с нами, придает столько прелести утру и вечеру? В самом деле, наступив на зенит, солнце льет на землю море невыносимого света, лишает земные предметы лучшего их украшения — тени, уничтожает человека своею знойною, яркою славою. Зато прелестно оно, когда по розам денницы восходит из моря с обетом благ жизни, и еще запросто, без лучезарного венца, приветливо глядит на нас, и нехотя покидает украину сумрака, и будто говорит: «Я тоже принадлежу половиною земле, половиною небу!». Очаровательно оно и в час расставания с землею, когда в пышном венке из облаков отходит благотворить брату нашего полушария. Мы задумчиво провожаем благотворного гостя и думаем, качая головой: «Увидимся ли мы? Будет ли завтра для тебя, искры, и для меня, пылинки, перед лицом бога? Пускай! Хотя бы нерассветаемая ночь падала на меня этим сумраком и наступила вечность вместо завтра, я засну тем не меньше спокойно; засну, как дитя в колыбели. Разве не пеленка саван, не люлька нам гроб, и еще для лучшего, для чистейшего, для нового бытия? Черна здешняя сторона могильной двери; но та сторона — светлое зеркало, и в нем отражено вечереющее солнце правды и благости — лик божий».

Подъезд к пригороду Кубе (у меня не подымается язык назвать ее городом) очень живописен. Лесистое угорье вдруг спадает рытвиною, и Куба, как островок, возникает вдали на противоположном ее берегу. Впрочем, это — милое предисловие к самой нелепой книге. Если вы не новичок в Азии и ездили по ней не в чемодане, то, конечно, разочарования для вас — привычка; со всем тем ни один город по званию своему, если не по виду, не обманывает вас злее Кубы. Подъезжаете — грязная речка встречает вас у ворот дрянной, из сырцу сложенной стенки, там и сям обвалившейся, там и сям повенчанной терновником. Въезжаете — болото в грудь коня; по нем прыгают татары и солдаты, плавают собаки и ребятишки, а неуклюжие сакли сидят кучками кругом и печально ждут своей очереди потонуть в грязи, которая здесь уже не пятая, а единственная стихия. Улицы... Дай бог памяти, есть ли, полно, там улицы? По крайней мере дыры, сквозь которые лазит православный и правоверный народ, воистину достойны изучения, хотя изучение их во сто крат отчаяннее татарских деепричастий. Все плоско, все черно, все одинаково безобразно; ни одного купола мечети, нигде высокого здания, которое могло бы служить маяком. Идешь, идешь — стена!.. Полезай в какую-то заслонку через чужой двор, на страх оставить одну полу на зубцах забора, а другую в зубах собак. Идешь, идешь — мое почтение!.. Курятник среди дороги: выбежал, верно, поглазеть на прохожих, да заслонил, разбойник, проход. Я уверен, что Критский лабиринт* начинался именно здесь, но как, по несчастию, не нашлось ни одной Ариадны в красных шароварах, которая бы подарила мне клубок зауряд проводника, то я двадцать раз в день терял дорогу и кружил около своей квартиры: не дается, будто клад! Впрочем, говоря географическим слогом, «сей нарочито великий город северного Дагестана» пользуется необыкновенною выгодою свежести: в нем никогда нет пыли; и хотя в одном теле заключает он до пяти тысяч душ, однако ж не душен. Климат здесь гибелен только для новичков, но впоследствии очень сносен. Окружающие Кубу леса поглощают

вредные испарения и охлаждают знойную атмосферу лета. В этом, конечно, пособляют ей и снеговые горы; зато горы беспрестанно насылают слякоть; облака этой области, изволите видеть, не знают за собой другого ремесла, кроме дождя. Куба славится своими коврами: их ткут по окрестным деревням; впрочем, добротою они далеко уступают персидским. Генерал Ермолов дал здешним мастерам прекрасные европейские рисунки, и точно, до сих пор по заказу можно иметь здешние ковры на европейский образец, и недорого. Зато вместо ковра вы купите убеждение, как трудно переделать Азию. Невообразимо, что за рококо выходит под татарскою рукою из наших рисунков! Шерсть, крашенная урывками и клочками, изменяет оттенки на каждой четверти. Там синяя роза красуется на малиновых листьях; здесь половина акантового развода желтая, а другая фиолетовая. Потеха да и только! Правду сказать, им нет износа; но какая грубость, тяжесть, какое неприятное безвкусие! По-моему, кубинская капуста, которою снабжает она Баку и Дербент, гораздо лучше кубинских ковров.

До сих пор здесь была штаб-квартира Апшеронского пехотного полка и бригады, в которой он считается. Здесь же и место управления Дагестана. Полк расположен был в так называемой Новой Кубе, в двенадцати верстах от Старой, ближе к морю, на берегу речки Гусари. Местоположение — прелесть, плодовые леса шумят кругом. Виноградники плохо принимаются, и оттого нет сносного вина; а воды почти пить невозможно — так она мутна и нездорова.

Общество? В Закавказье не надо спрашивать и толковать о обществе, потому что оно зависит от случая. Два-три порядочные дома столкнутся на миг и потом раскочуют навечно. Сегодня здесь весело, мирно; завтра переведут почтенного чиновника в другое место — и прощай дружеские беседы, прогулки, танцы. Упал заклепный камень свода, и весь свод врознь. Кроме того, редко случается, чтобы семейные люди, с разных краев света, разных состояний и образований, сходились в один кружок или, встретясь, могли долго ужиться вместе, особенно когда отношения службы разрознивают их. Можете вообразить, что такое общество, чуть только замешаются в игру женщины, настоящий котел сплетней и пересудов! Русское злословие в этом климате плодовитее кроликов, так что если вы в минуту доверчивости примете за правду хоть сотую долю рассказов возлюбленных земляков и землячек друг о друге, вы, конечно, получите не слишком выгодное об них мнение. Впрочем, попадаются и между поддельными деньгами настоящие — только я ведь не обер-пробирер.

Теперь достойное семейство генерала К***, правителя Дагестана, провидением кубинского общества, разумеется, очень маленького. Согласие и хороший тон, редкие гости Закавказья, сказывают, там не диковинка. С шуткой пополам набирается дам на французскую кадриль. Ловкость и танцевальное искусство хотя не удел боевых офицеров нашего вечно воинствующего корпуса, но в числе добрых, умных малых, которых стрелковые привычки разлучают с гостиною, есть, однако же, всегда несколько человек, которые не оставили светскости на тернах и остриях Кавказа и могут ходить по паркету не скользя. Впрочем, если не случится ловких и красивых, есть молодые, а это чего-нибудь да стоит. Молодость — обещанье всего хорошего.

В Кубе счастливый случай дал мне увидеть второе за Кавказом семейство, о котором воспоминание — гостинец сердцу. Гостеприимство, радушие, образованность для чужих, кротость и неусыпное внимание к детям — словом, все достоинства общежительности и домашнего быта вместе. И какие милые умные дети, как умеют они понимать и ценить каждое слово, каждый взгляд матери, каждую ласку отца! Право, глядя на них, приходит охота опять стать десятилетним мальчиком или нажить им подобных.

Но эту странную идею*,
Признаться, я ласкать не смею![9]

8 апреля.

День почты — для меня день лихорадки: жду не дождусь ее прихода, а чуть в ворота города — уж я в конторе, и давай докучать почтмейстеру. И вот, между дюжинами адресов один другого курьезнее, как, например: *в Грузию, в Дербент, на остров Кубу, что в Персии, на Кавказской линии*, и тому подобных, как звезда блистает красный гриф: *Петербург, Москва, А.А. М-у*. «Мне-с это, мне!» — «Да еще-с книги!» — «Очень рад!» — «И посылочка в вывороченной клеенке. Эх, жалко, что подмочена!.. Видно, реки шалят не на шутку!» — «Слава богу, я давно ждал ее!». Расписываюсь в получении, бегу с добычею на квартиру и с опасностию носа, спотыкаясь на каждых пяти шагах, пробегаю нетерпеливо письма. Читаю, перечитываю, улыбаюсь, хмурюсь. Потом начинаю перелистывать газеты, не забывая заглядывать в журналы. В этот день у меня сгорает лишняя свечка, потому что этот день мне праздник. Потом, проглотив целое извержение почти с невероятною быстротою, я, потягиваясь, бросаю в тишину ночи многосложный зевок и с простодушием девушки говорю: «Ce n'ect que ça»[10]. Потом, вы по опыту можете судить, крепко ли я засыпаю.

На этот раз, однако ж, я лег спать, не поужинавши ни одною книгою. «Библиотека для чтения», на которую более других журналов точил зубы, приехала в Кубу крещеная во всех встречных речках и до того слепилась листами, что, без комплиментов, составляла нечто целое. Я с томлением лакомки, мимо которого несут бутылки с надписью: «Clos Vougeau, St.-Péray»[11], прочел на загнутом уголке переплета заглавные имена нашей словесности: Жуковский, Пушкин, Загоск… Кукол… Ерш… Пушкин? И только на три куша? Mais vous dérogez, mon cher![12] Играя в славу, нечего резониться. Va banque[13], по-старинному; и банк в кармане. Публика бьет только *темных*; но ее сердечная сторона отдана любимому поэту. Бойкий понтер всегда будет играть в ней по бархату.

Мне здесь прожужжали уши про Мулла-Нура; и, сколько я могу судить из рассказов, разбойник этот очень хорошо постиг свое ремесло. Если б он вздумал убивать или обирать купцов и проезжих, тянущихся из Кубы в Шамаху, он бы отпугнул, отучил их от этой дороги и лишился бы хоть небольшой, но верной пошлины. Теперь каждый, пускаясь в путь через ущелие, говорит себе: «Очень вероятно, я не встречу Мулла-Нура, а если и встречу, беда невелика. Он возьмет с меня рубля два, много червонец, между тем как окольная дорога на Алты-агач будет стоить вдвое серебром и втрое временем. И все едут без опасения; и никто не ропщет крепко на встречу, потому что честность его вошла в пословицу. Удивительно до непонятности, что татарин, и к тому ж разбойник, в силах победить искушение при виде золота и дорогих товаров, довольствоваться малым, когда может взять все! Это уже относится более к природному бескорыстию, чем к дальновидному расчету. Еще замечательнее особенная благосклонность его к русским. Он не только никогда не грабит их, но ласкает, провожает сквозь буйную реку, охраняет в опасных местах от наезжих разбойников; при расставании даст яблоко или гранату; скажет: «Помни Мулла-Нура!» — и был таков. Особенно принял он в любовь полкового священника Апшеронского полка, который по требам церковным часто обязан ездить в Шамаху: встретит и проводит его, ведет за уздцы лошадь по скользкому броду Тенги и говорит: «Не благодари, я должен служить тебе, потому что ты мулла по сердцу, а я только по имени, потому что я тебя уважаю. Бог един в тысячах! Ступай!». Однажды слуга священника заленился и далеко отстал от него. Мулла-Нур, встретив виноватого на возврате, дал ему ременный выговор, приговаривая: «Не бросай господина в таких местах, где он может пропасть без вести и без помощи, от воды, и от камней, и от злых людей!». Во время голода он брал рахтар* зерном со всех вьюков с пшеницей, перевозимых из Ширвани, не потерпевшей от засухи, и раздавал ее по горным деревням самым бедным людям. Зато привязанность к нему окрестных жителей доселе устояла против денег и страха наказания. Мулла-Нур везде найдет приют; извещен всегда в пору, если на него готовится тайный наезд, и обыкновенно всадники, посланные схватить его, возвращаются в Кубу без успеха и без подков, между тем как удалой разбойник смеется такой попытке с вершины какой-нибудь неприступной скалы. Впрочем, не раз доходило до бою; но Мулла-Нур, покровительствуемый местностью, пробивался и уходил со своею шайкою, не без урона, зато без погони, потому что где он проедет на коне, там непривычному не проехать и на бесе. С полгода назад вызвался поймать его кубинский плац-адъютант. Один кубинец, доверенный Мулла-Нура, должен был указать дом в деревне, в котором почивал он у родственника. На рассвете сотня лихих всадников и есаулов приближалась к логовищу барса, — а он еще спал. Но часовой открыл тревогу, и вмиг ружье Мулла-Нура приветило наступающих. Он и его товарищи дрались как отчаянные; дом, прислоненный к скале, давал к тому все выгоды. Офицер был ранен, и разбойники, пользуясь минутным замешательством, ушли в гору. Ловить их в ущелье было бы все равно, что ловить ветер в поле. Экспедиция воротилась.

На другой день вечером Мулла-Нур вошел в комнату своего предателя и молча сел у огня. Несчастный обомлел, узнав грозные черты горца. Уйти было некуда: двери замкнулись дулом пистолета.

— Помнишь ли, Багир, — промолвил, наконец, Мулла-Нур, — сколько передавал я тебе золота, сколько раз избавлял от беды? Не то, что ты в довольстве живешь, но и то, что ты жив, — мое дело. Так ли?

Голос замер на губах Багира.

— Впрочем, подлец бы я был, если б упрекнул тебя такими ничтожными дарами. Что такое жизнь, что такое золото, если жизнь — горе, а золото — позор, если нельзя их обоих истратить честно и весело? Но я спас твое доброе имя, Багир, я дал тебе средство и вперед сохранить его без укора. Скажи, правду ли я говорю или нет?

Багир упал на колена.

— И ты точно так же, как теперь, упал тогда передо мною на колена, призывал бога в свидетели своей благодарности, положил руку на святой коран и клялся дружить мне, не изменять мне!.. Было ли это, или я видел это во сне? Отвечай.

— Помилуй! — восклицал Багир, ломая руки с отчаяния.

— И ты без всякой нужды явился на торг продавать мою голову, весил в одной горсти мою кровь, а в другой за нее плату? Ты не знаешь расчету, Багир: тебе выгоднее было продавать мне русский порох, тем русский свинец. Сколько обещали тебе за кровавое посредничество? Червонцев двадцать, тридцать?

— Десять, — прошептал обвиненный.

— Только десять? Если меня оценили не дороже, значит, что тебя ценили они в настоящую цену — ни во что. И ты получил уже плату и подарочки, бир доннух, бир муштуллух, за свой прекрасный поступок?[14]

— Нет; мне обещано все, только в таком случае, когда я приведу тебя в Кубу.

Глаза Мулла-Нура сверкнули гневом.

— Я в Кубе, — молвил он, вскакивая. — Ты заслужил свое золото; ты получишь его сполна!

Соседи нашли Багира, застреленного червонцами в самое сердце. После этой золотой казни нет еще охотников предавать Мулла-Нура, и он так же крепко, как и прежде, носит на плечах свою оцененную преступную голову. Любопытство мое разыгралось.

— Желал бы я увидеть этого зверька! — сказал я.

— Это не так-то безопасно, — возразил один офицер.

— Это не так легко, — промолвил другой. — Я искал его нарочно: звал, кликал, нет как нет!

— Это почти неизбежно, если вы поедете через Тенгинское ущелье: я вовсе не желал видеть Мулла-Нура, и встретил неожиданно, — сказал мне третий.

Поеду через Тенгинское ущелие.

И вот передо мной абарат*, на русском и татарском языках.

«Чинить такому-то свободный пропуск от Кубы до Шамахи, по дороге, лежащей через Кунакент, давать за указные прогоны столько-то коней под верх и, по мере опасности, вооруженных проводников». С этим ковром-самолетом я как раз перемахну за хребет в Ширван. Комендант отговаривал меня ехать по ближней дороге: в ущельях вздулись реки, на хребтах не протаяли снега; опасностей кучи от многого и от многих! Причиной более избрать эту дорогу. Довольно и того, что меня не пустили целиком по снежному хребту прямо в Нуху, в которой бы я очутился через два дня, а я было подговорил уж и проводника, такого удальца, что полезет на дно моря и на спину облака, только бросьте туда червонец.

— Полковник, — сказал я коменданту, — ваши раны доказывают, что вы не разбирали несомненных опасностей, так мне стыдно было б думать о мнимых.

— Любезнейший, — возразил комендант, — я ранен на службе царской, и если бы на этих хребтах росла какая-нибудь польза, я бы не только не удерживал, а сам повел бы вас туда. Но кому будет польза, смею спросить, если вы познакомитесь с этими пропастями? Кому?

— Поэзии, — отвечал я.

— В самом деле? Виноват, я и забыл было, что вы принадлежите к числу людей, которым заоблачные страны принадлежат по праву и которые могут ломать себе шеи самым живописным образом. Ну, с богом! Я не мешаю. Только, право, сделали бы вы гораздо благоразумнее, если б ездили на горы, в подражание ваших товарищей сочинителей, верхом на пере.

— Зато и горы моих товарищей сочинителей походят на чердаки, полковник; а мне хочется прочесть их в оригинале. Много благодарен.

Печать приложена, и кони у крыльца. Прощай, душа Кубушка. Очень мила ты; но если тебе не вздумается пожаловать ко мне в гости — в гости к тебе я уж, конечно, не приеду.

Примечания автора

1. Лаффемас
   Ты поешь настолько фальшиво, что тебе не может позавидовать даже хищная птица.
   Замолчи!
   Грасье
   Исполнение фальшиво, но песня правдива.
   В. Гюго (*франц.*)
2. У бурдюков, то есть кожаных мехов, обыкновенно одна из четырех лапок служит краном.
3. Что я говорю о дагестанцах, не относится ни к чеченцам, ни к черкесам. У каждого народца на Кавказе свой образ войны и разбоя, свой нрав, свои обычаи, особенные ухватки и причуды.
4. Так приспособляю я к мысленному миру физиологический термин assimilatio.
5. Надеюсь, что мои риторические фигуры не будут судимы как философические выводы. Конечно, сила ветра и вращение волны подвержены гидростатическим законам, равно как нет неподвижности и безжизненности даже в самых камнях, но мы по необходимости принимаем иногда условное и относительное за положительность.
6. Крайние и предельно крайние (*лат.*).

7. Последует тот, кто захочет (*франц.*).
8. По долгу службы (*лат.*).
9. Из Вельтмана.
10. Вот и все! (*франц.*).
11.«Кло Вужо, Сен-Пере» (*франц.*).
12. Но вы нарушаете условия, мой дорогой! (*франц.*).
13. Ва-банк (*франц.*).
14. Доннух — жалованье, чем бы оно ни выдавалось. Муштуллух — отдарок за приятную весть, сукном, конем, оружием.

Примечания

Впервые — в «Библиотеке для чтения», 1836 год, т. XVII, в серии «Кавказские очерки», за подписью: Александр Марлинский.

Стр. 133. Эпиграф взят из драмы В. Гюго «Марион Делорм» (1829).

Самур — река в Дагестане, берущая свое начало на северо-восточных склонах Главного Кавказского хребта и впадающая в Каспийское море.

Шарк, или шарка — вид акулы.

Стр. 135. *Эолова арфа* — особый музыкальный инструмент, струны которого мелодично звучат от действия ветра; в греческой мифологии арфа бога ветров Эола.

Вы глядите на свой Колизей, а Байрон видел свой. — Колизей — грандиозный амфитеатр в Риме, построенный в I в. н. э. Здесь имеется в виду его описание в поэме Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда» (песнь 4).

Гяур — поэма Байрона (1813).

Абруцца — средняя часть Италии.

Стр. 136. *Ксенофонт* (ок. 430 — ок. 354 до н. э.) — греческий историк. Участвовал в войне с персами и руководил с большим умением отступлением десятитысячного отряда греков через вражескую землю.

Каракалла (186—217) — прозвище Марка Аврелия Антонина, римского императора (с 211 г.).

Ликторские пуки — пучок розог (фасций) с секирой внутри — отличительный знак власти ликторов, почетных стражей при высших должностных лицах у древних римлян.

Цицерон Марк Туллий (106—43 до н.э.) — выдающийся оратор, адвокат, писатель и политический деятель древнего Рима.

Катилина Луций Сергий (108—62 до н.э.) — политический деятель Древнего Рима, стремившийся к захвату власти и установлению диктатуры.

Саллюстий — Саллюстий Гай Крипе (86—35 до н.э.) — римский историк и политический деятель. Его произведения «О заговоре Катилины» и «Югуртинская война» дошли до нас полностью. Наиболее значительный его труд «История» (5 книг), охватывающий период 78—67 гг. до н.э., сохранился в отрывках.

Плутарх (ок. 46—126) — древнегреческий писатель-моралист. Здесь идет речь о «Сравнительных жизнеописаниях» выдающихся греческих и римских деятелей, содержащих ценный исторический материал (особенно в биографиях Солона, Агиса, Клеомена и некоторых других).

Тацит Публий Корнелий (ок. 55 — ок. 120) — древнеримский историк-моралист, оратор и политический деятель.

Юм Давид (1711—1776) — английский буржуазный философ, экономист и историк.

Аннибал — Ганнибал (ок. 247—183 до н. э.) — выдающийся карфагенский полководец. Весной 218 года до н. э. он совершил переход со 100-тысячным войском из Испании в Италию, через Пиренеи и Альпы.

Кляпцы — капкан, ловушка.

Людовик XI (1423—1483) — французский король. С 1461 года вел борьбу с феодальной знатью в целях укрепления королевской власти и объединения Франции. Подозрительный даже к своей семье, он поселился в неприступном замке Плесси ле Тур, где и умер в уединении. Жизнь Людовика XI описана Вальтером Скоттом в романе «Квентин Дорвард».

Квинт Курций Руф (I в. н. э.) — римский историк, автор «Истории Александра Великого, Македонского».

Анна Комнен, или Комнин (1083—1148) — дочь византийского императора Алексея I Комнина (1048—1118), автор «Алексиады» — истории царствования Алексея Комнина.

Фроассар — Фруассар Жан (1337 — ок. 1405) — французский хронист и поэт, представитель дворянской историографии.

Тиртей — древнегреческий поэт VII—VI веков до н. э. Жил в Спарте.

Проперций Секст (ок. 49—15 до н. э.) — римский поэт-лирик.

Корнель Пьер (1606—1684) — французский драматург, один из основоположников классицизма во французской литературе.

Кантемир Антиох Дмитриевич (1708—1744) — русский поэт-сатирик и дипломат.

Поп Александр (1688—1744) — английский поэт, представитель просветительского классицизма.

Газлитт — Хэзлит Уильям (1778—1830) — английский писатель и историк литературы.

Марий Гай (156—86 до н. э.) — римский полководец и политический деятель. Вопреки обычаю, неоднократно переизбирался консулом. В конце жизни вел ожесточенную борьбу с Суллою за верховную власть в республике.

Сулла Луций Корнелий (138—78 до н. э.) — римский полководец и государственный деятель. Первый неограниченный диктатор. Защитник интересов рабовладельческой аристократии.

Немврод — по библейской легенде, основатель Вавилонского царства и городов Вавилона, Эреха, Аккада и Калне. В библии он охарактеризован как отважный охотник.

Ромул — по римскому преданию, основатель Рима и первый римский царь.

Стр. 137. *Сансиблеризм* (франц. — sensiblerie) — притворная чувствительность.

Стр. 138. *Критский лабиринт* — по греческой мифологии, лабиринт на северном берегу острова Крита, постройка которого приписывалась легендарному ваятелю и зодчему Дедалу. Здесь царь Минос содержал Минотавра (полубыка-получеловека). Афинский герой Тезей, убив это чудовище, выбрался из лабиринта с помощью клубка ниток, которым снабдила его дочь Миноса Ариадна.

Стр. 139. *«Но эту странную идею...»* — цитата из романа в прозе и в стихах А.Ф. Вельтмана «Странник» (1831). Вторая строка у Вельтмана читается иначе: «Ласкать надеждой я не смею».

Стр. 140. *Рахтар* — дань, пошлина.

Стр. 141. *Абарат* — подорожная.

Текст и примечания печатаются по источнику:

Бестужев-Марлинский А.А. Путь до города Кубы // Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения в двух томах. — Т. 2. — М.: Государственное издательство художественной литературы, 1958. — С. 179—201, 691—694.

ГОРНАЯ ДОРОГА ИЗ ДАГЕСТАНА В ШИРВАН* ЧЕРЕЗ КУНАКЕНТЫ

11 апреля, 1834. Шамаха.

Долой с коня! Нет возможности держаться в седле по такой крути. Иду, и кованые каблуки мои скользят по камням, грудь хочет разорваться от напряжения — да мне это не первинка! Завиваю хвост коня около руки, и конь почти волоком взносит меня в гору; нечего сказать: премилое средство совершать живописные путешествия! Пригласил бы я с собой какого-нибудь петербургского щеголя протанцевать галопад по этим острым кремням: перед лицом — подковы лошади; справа — утес, которого так и подмывает рухнуть вам на голову; слева — обрыв до дна ада; назади — крутая, витая, скользкая лестница, построенная водопадами под руководством кавказских чертей, — и если он не разлетится в курительный порошок от здешних вихрей иль не изорвется в папильотки на шипах скал и терновников до полудороги, то, наверно, ему на полжизни станет рассказов и на всю жизнь раскаяния. Зато что за дивные виды на каждом шагу, при каждом повороте ущелия! Проложите сюда чугунную дорогу, осветите газом пещеры — логовища барсов, нажарьте из них котлетов на парах и постройте гостиницы там, где блестит теперь винтовка горского разбойника, так будьте уверены, что английские милорды и набобы не пожалеют тысяч фунтов стерлингов за виды, которыми пользуюсь я теперь за восемь копеек на версту[1].

Редеет лес, и я без сожаления раскланиваюсь с ним; он наг, он не оделся еще в общий мундир весны — в зелень. Он не дает ни приюту от дождя, ни тени от солнца. Немногие заржавленные непогодою пни провожают меня до границы лесорастения и машут, как ведьмы, длинными сухими космами плюща. Теперь уж около меня одни купы кустарников вылезли из расселин, будто кочующие семьи цыган, и греются на солнышке; а вот эти два терна вцепились друг другу в волосы — ни дать ни взять наши русские мужички на ярмарке; а вот уж только чахлый вереск качает головою, словно не верит, дожить ли ему до завтра, и потихоньку кашляет от ветра. Вот один мох краснеет по скалам, точно румяна по щекам старушки. Это уже последняя борьба органической жизни с неорганическою природою: далее природа спит беспробудным, каменным сном, завернувшись в саван вечного снега; далее уже растут одни знаки восклицания и водятся только ветры, вьюги и восторги чувствительных путешественников.

Как ни расположен я был шутить всем и надо всеми, но когда достиг до вершины хребта, отделяющего Кубинскую область от Шамахинской, когда оглянулся кругом, я обомлел от наслаждения, как будто неожиданно встретив глаз на глаз ее — душу моей души, как будто ангел принес мне весть прощения. Здесь, да, здесь, где больше неба, чем земли, человек должен с досадою бросить кисть и резец, забыть свой бледный, бедный, нищенский язык. Нет силы выразить, нет средства удержать в себе чувства удивления, которое заставляет перекипать сердце через край, которое зажигает душу и рассыпает ее врозь лучами…

Взгляните на восток: там, вдали, в глубине, между синью неба и дали, видите ли вы, как яснеет полоса оживленного серебра? Это Каспийское море. Но кто скажет, где граница гор с морем? Где кончится море и начинается небо? Вот она — эта гармония, слышимая одной душе, сливающая в один лад, в один блеск и земное и небесное. Вот радуга прекрасного, возникающая как мост между миром и богом.

Любуюсь вновь и вновь… Прекрасно! До того прекрасно, что невольные слезы навертываются на глазах. Солнце вровень со мною, словно горящий корабль, плывет в яхонтовом океане воздуха, прыщет, пышет лучами, льет позолоту света, наводит чернеть теней на далекие волнистые хребты. Из-за них кой-где пробивается молодая зелень полей, а по ней узорно вьются ручьи и речки, и вся эта картина улыбается вам из мрачных рам ущелия, жива, ярка, блестяща, как вешний сон юноши, недоступна и далека, как потерянный край Эдема. Лучами и кругами расходятся от меня горы, выникают, выглядывают друг из-за друга; то иззубренные дождями, то пробитые навылет трещинами, инде чернея дремучим лесом, там красуясь полосами снегов или рассыпаясь в холмы, которые, как эмиры в зеленых чалмах, сидят под тению палат падишаха мира.

А между тем облака тянутся над хребтами, как вереницы перелетных гусей; или взбираются по ребрам утесов, подобные стадам горских овинов, оставляя пряди волны своей на острых, как терния, гребнях; или отдыхают, как верблюжий караван, богатый грузом дождей, у башни керван-сарая. Вот одна туча, расширив крылья словно белый орел, зыблется над пропастью, хочет пасть и засыпать ее… Другая уж пала и замерзла на теме Шах-дага, но не теперь, нет, — в день творения! Такая ж туча и под ногами моими: снег ее так чист, что грех пятнать его следом своим. Боишься дохнуть, чтоб не затмить паром этого светлого неба, чтоб не заразить тлетворным дыханием человека тонкий нагорный воздух. И кажется, право, здесь никогда еще не был человек: так все дико, пустынно и девственно кругом!

Нигде не видать ни замка, ни города, ни селенья; нигде ни борозды, ни дороги. По крутизнам чуть заметны кой-где черные следы молний да стежки, проторенные вешними потоками; и одни лишь потоки говорят с окрестностью, свергаясь по камням или низвергая их долу; да ропщет лес, да ветер свищет порою. Не слышно подковы путника или топора селянина: здесь царствует природа, а не люди.

Но придет время, люди найдут на тебя, и ты упьешься их потом, как теперь росою небес, и они заселят твои заветные ущелия и теснины, запылят тебя высевками общественной жизни, загрязнят, притопчут до самой маковки; истопчат твое сердце рудниками и каменоломнями, извлекут наружу твои внутренности; выворотят, исказят, обстригут тебя; увещают побрякушками своего ничтожества, заставят работать на свою жадность, сделают тебя наемником своих прихотей; научат ветры гор свистать свои жалкие песни, принудят водопады твои молоть кофе и в девственных снегах твоих станут холодить мороженое. Конечно, человек выиграет, но поэт проиграет в эту перемену. Он не найдет тогда ни одного пустынного уголка, где бы спрятать от света сердце свое, где бы мог он наедине вдохнуть в себя природу и на свободе выплакать душу звуками. Мелочные люди выживут даже шакалов из пещер, отнимут гнезда у орлов и подложат в них кукушкины пестрые яйца, — одним словом и наконец удобство убьет величие равно в области мысли, как в области общежития. Ты будешь красивее, Кавказ, — но будешь ли ты прекраснее? Ты можешь стать лучше — но лучше так, как есть!

Мне так отрадно и легко — так легко, что кажется, будто из плеч моих развиваются, расцветают крылья; кажется, стоит ударить пятой в этот порог небожителей — и улететь за взорами в небо, умчаться домой, к звездам-сестрам! О, великую, божественную мысль зарыла природа в сердце гор, этих каменных исполинов земли, чистою радостью увенчала их темя! Здесь поникаешь перед нею с благоговением, потому что достигаешь сюда с опасностию, потому что отсюда легче разгадываешь ее промысел. Снизу, глядя на эту громаду гор, изумление поражает человека, но сверху уже удивление, то есть сознание прекрасного, овладевает вами — сознание гордое и независимое, потому что оно склоняется пред тем, что лучше нас. Прекрасное есть заря истинного, а истинное — луч божества, преломленный о вечность. Вот почему это чувство возникает в душе, как воспоминание былого! Оно знакомо, оно родственно ей. Гляжу на Кавказ — и кажется, я не впервые здесь; кажется, колыбель моя качалась волнами вон того водопада и ветры гор убаюкивали меня в сон; кажется, я бродил по этим хребтам во дни моего ребячества, когда божий мир был моим ровесником!

И кто ж сказал, что я не был ровесником миру? Разве пылинки, составляющие мое тело, не современны ему? Разве душа моя не жила довечно в лоне провидения?..

Спускаюсь к Ширвани, стране солнца, самой богатой хлебом в Кавказской области. Передо мной развивается изумрудное море холмов, пересеченное черными хребтами и задвинутое от севера заснеженными горами Лезгистана, Кази-Кумыка и Ели-су, от запада — стеною Карабахских гор. Конь мой скользит на хвосте или метко перепрядывает с обломка скалы на другой обломок, заваливающий узенькую тропинку, по которой и через которую с шумом несутся ручьи тающих снегов. Иногда, огибая угол утеса, он храпит и пятится назад от испуга, не находя опоры для копыт, — а пропасть ущелия зияет и рычит внизу, как пасть чудовища, как гортань неизмеримого удава, которого обаятельное дыхание непреодолимо влечет к себе жертву из глуби леса и может высосать жаворонка даже из выси небес. Брось повода, отдай свою душу богу, а тело коню; не пускай своего взора слететь с края пропасти, в которую боится заглянуть само солнце, не пускай, или он увлечет за собою и сердце твое.

— Чапар-хан[2], где же Шайтан-кюприси, чертов мост, которым меня столько пугали? Где он? Или сбежал, как сам его строитель, в отчаянии от хитрости и смелости человека?

— Мы уж давно его переехали, — отвечает погонщик. Так бывает со всеми нашими страхами: ждешь их лицом к лицу — глядь, уж они за нами!

— Однако ж, — говорит словоохотный чапар, очень довольный, что я завел с ним речь, — однако ж, ага, черту в самом деле не стало житья от нашего брата человека. С вашего приказа сказать, жил он сперва при дворе персидского падишаха, но так как он не сумел хвостом своим выводить такие же выкрутасы, как выводят мирзы на ферманах, и спина его не смогла сгибаться в двадцать пять перевертов, как у всякого придворного, так его, беднягу, отдубасили однажды по пятам и вытолкнули за высокий порог шегин-шаха[3]. С разбитым носом и поджавши хвостик, удрал, убежал он в город[4]. «Дай-ка, — подумал он, — пущусь я в торговлю. Горожане народ глупый: я видал, как придворная сволочь надувает их и на сладкие слова удит червончики из их карманов». Вот продал он ножовщику рога свои на черенки, вместо оленьих. Рад черт абазам* — а не знает того, что они оловянные. Поймали, схватили его чауши* с поддельными деньгами — никто не берет черта на поруки — давай фелакку[5], валяй его по пятам. Насилу вырвался; бежит, миляга, без оглядки в поле. Гадает, думает, умом-разумом раскидывает. «Заживу, говорит, с поселянами. Поселяне — люди простые, черные, темные: обмануть их — безделка, их разве ленивый не обманывает!». Вот и попадается ему навстречу мужичок.

«Селям алейкюм!»

«Алейкум селам!»

«Куда идешь, добрый человек?»

«Вдоль по дороге».

«Славная погода!»

«Да, лучше нельзя выдумать для того, кто хочет утопиться!»

«А-а, — подумал черт, — фазан сам летит на ястреба; не уйдет моих когтей его душенька. Надо поживиться хоть чухой его[6], покуда он вживе. — А с чего тебе припала охота топиться?» — спрашивает черт селянина.

«Да есть нечего!.. Так хоть напиться вдоволь».

«Хорошо, брат, и это: а если я помогу тебе?»

«О, так навечно я раб твой! Ты мой будешь хан, господин, отец родной, валлах, биллах, таллах!»

«Послушай, мужичок, вот что мы сделаем: купим семян да засеем поле; это твое дело; только три четверти урожаю мне, а четверть тебе. Согласен ли ты?»

У мужичка сыплются искры из глаз от радости, а сердце словно медом обливается.

«Не только три четверти, а все, что взойдет сверх земли, тебе отдаю: с меня довольно и корней».

По сказанному, как по писанному, — ударили по рукам. Черт заложил одному факиру шубу свою за два томана*. Накупил мужичок семян петрушки и редьки, моркови и репки, засеял огород в три переклика; а черт мой ночей не спит, днем не присядет, таскает воду, отпугивает воробьев и без кожи дрожит; все барышей дожидается. Поспело все, сняли все на огороде. Мужик, человек совестный, отдал всю траву черту сполна, себе взял одни коренья. Диво да и только черту — мужик разъелся и разжился, а его травы и на базар не пускают. «Постой, рассуждает он, — теперь меня не проведешь. Я в один раз на два раза умнее стал». Опять идет к мужичку, опят дает ему семян.

«Только, приятель, говорят, не осуди; в это лето бери себе стебель, а корень-то изволь отдать мне».

Мужик ударил рукой в руку.

«И то дело! — говорит он. — Надо квит на квит навести».

Сеет он; только сеет не овощи, а жита. Взошло все, как изумруд, налилось, как золото: жнет мужичок в полный серп да посмеивается, а черт дивится пуще прежнего: его корешков даже ослы не едят! Догадался, однако, он, и хоть поздно, а вложил палец в рот.

«Ах вы, проклятые людишки! — вскричал бес, хвостом вытирая слезы: — Меня перехитрили во всем, а я же у вас за все про все виноват; на меня вы все-таки вьючите небылицы да напраслины. Живите себе одни: я между вами лишний!»

Ударился в землю, и с тех пор у нас про него ни слуху ни духу. Из чертовой кожи, что осталась в закладе у факира, тот сшил себе шубу, и говорят, болтают соседи, будто перепродал ее нашему кадию.

Примечания автора

1. За Кавказом поверстная плата на лошадь и версту 2 коп. серебром, равно по большим и проселочным дорогам.

2. Чапар — гонец, извозчик, погонщик, Чапар-хане — почтовый двор.

3. Государя государей.

4. Восточные народы беспрестанно употребляют плеоназмы: гюр, бах (гляди, смотри), ишляды, куртарды (сделал, кончил) и т.п. вы услышете десять раз в минуту.

5. Фелакка — доска с двумя скважинами, в которые проделывают ноги виновного: вздергивают пяты вверх и бьют палками.

6. Чуха — кафтан.

Примечания

Впервые — в «Библиотеке для чтения», 1834 год, т. VI, в серии «Кавказские очерки».

Стр. 144. *Ширван* — Ширванское ханство с главным городом Шемахой. Присоединено к России в 1805 году. В 1820 году ханское управление в Ширване было уничтожено.

Стр. 145. *Абаз,* или абас — персидская монета.

Чауши — рассыльные, выполняющие и полицейские обязанности.

Стр. 146. *Томан,* или туман — персидская золотая монета.

Текст и примечания печатаются по источнику:

Бестужев-Марлинский А.А. Горная дорога из Дагестана в Ширван через Кунакенты // Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения в двух томах. — Т. 2. — М.: Государственное издательство художественной литературы, 1958. — С. 202–208, 694.

ПОСЛЕДНЯЯ СТАНЦИЯ К СТАРОЙ ШАМАХЕ

Чертовская дорога — божественные виды! Я уплачен с лихвой за все труды и опасности.

Перед закатом солнца примчался я в небольшую деревушку, — имя ее стерлось, — последний мензиль[1] к Шамахе. Нигде до сих пор не встречал я таких бедных мазанок и землянок: ни деревца подле дома, ни садика кругом деревни; должно быть, жители в летние жары откочевывают в горы. Впрочем, в Азии не то, что в России: близость больших городов не обогащает, а нищит селения. Надо гонцу коня? — взять из подгородной. Надо беку или назиру курочку или барашка? — послать в подгородную. Надумали вместе погулять на свежем воздухе? — едем в подгородную. Окружные селенья платили дань и гневу и радости правителя области. Никто не смел сказать: «Я завтра на своей арбе еду в лес за дровами» или: «Дочь моя сегодня будет твоей женою». У селянина не было ничего верного, кроме палок и податей; но зато уже палки и подати падали на него без счета и без завета. И между тем кавказцы вздыхают по старине! «То-то было золотое времечко!» — говорят они. О люди, люди! Когда и где уживетесь, помиритесь вы с настоящим?..

Ущелье расходится здесь долиною. По ней увертывается от взоров речонка. Окружные горы уже не обрывисты, как слог Державина, а закруглены, как стихи Языкова. Много яркой зелени — и нигде ни дуба, ни скалы. Лишь кое-где пролетные облака случайно бросают поэзию на какую-нибудь вершину. О, я теперь избалован природою, как счастливый любовник, причудлив, как знатный барин: я и глядеть не хочу на обыкновенное.

Стада, с блеянием и ржанием, возвращались с паствы. Народ в кружку спорил и шумел за очередь; я, раскинувшись на бурке, спокойно курил трубку и попеременно затягивался то сладким дымом Америки, то чистым вечерним воздухом Азии. Почти нагие ребятишки прыгали около меня; подалее, ворча с недоверчивостью, огромные собаки обнюхивали пришельца; еще далее женщины черпали большими кувшинами воду и возвращались, поставя их на голову. Все звенья природы, начиная от мыслящего существа до бесчувственного камня, звучали какою-то младенческою, библейскою простотою. Только здесь, только на Востоке поймете вы картины и обычаи книг Ветхого Завета. Иероглиф станет для вас буквою, загадка — живым словом.

В четверть часа все было готово: кони оседланы и обовьючены.

— Далеко ли в город?

— Два агача, биюгюм.

— Полно! Не слишком ли?

— А может, и слишком: кто мерял!

Глядь на часы — почти семь. Дай-то бог к ночи поспеть в шелковое царство, в город, столь знаменитый в наших песнях и сказках, что ни царь-царевич, ни король-королевич, ни Иван — купецкий сын не смели сесть на коня без «седелечка черкасского и уздечки шелку шемаханского».

Подводят добрых коней — добрых потому только, что не кусаются. Ногу в стремя, нагайку в руку — и был таков! Поднимаюсь на крутой-прекрутой подъем высокой-превысокой горы. Достиг вершины, топчу тающий снег, спешу поклониться западающему солнцу за черные горы Карабаха. Оно уходило, как паша в неприступные ворота своей крепости, в толпе янычар-облаков, блестящих золотом и багрецом. О, нельзя вообразить не видя, нельзя описать увидевши всю прелесть здешних сумерек! Какой-то нежный, прозрачный, фиолетовый туман задергивает своею дымкою горы. Как сизый голубь слетает с вышины на родную кровлю, так слетает на землю дух сумерек, и вы, кажется, слышите веяние крыл его, чувствуете на лице росу, им отрясенную с благоуханных перьев. И все молчит, все, от говора природы до страстей человека, будто склоненных в благоговейное безмолвие молитвы, которую небо встречает благословением. Да, горы недаром были древле первыми храмами, благодарение — единственною молитвою. Мою душу по крайней мере, как цвет не-тронь-меня, всегда сжимала рука несчастия, и только в тишине покоя развертывалась она с фимиамом мольбы. Когда лев смерти рыкал вблизи, когда молнии за молниями разбивали мое сердце, я, признаюсь, считал робостью вымаливать у всевышнего пощады, я думал оскорбить вечную справедливость мыслию, чтобы позднее раскаяние или безвременная молитва могли изменить судьбы промысла. Я преклонял тогда голову и говорил: «Да будет твоя воля!» Но когда бог отгонял своим дыханием волны моря и они, расхлынув, стеной стояли вдали, алчные, но бессильные пожрать меня; когда мне дарил он редкие — о! как редкие минуты! — зато некупленные, чистые, святые минуты радости, — тогда я молился бескорыстною молитвою; и благодарность, эхо благотворительности, извлекала из очей сладкие слезы умиления — слезы, которых не могло бедствие из них высечь. Путь жизни моей провела судьба по тернам и камням, сквозь ночь и облака; но и мне порой светили звезды, и я умел благословлять каждый луч, до меня достигший. И чаще всего и чище слетали на меня искры благодати, когда я скитался по вершинам гор: я душой постиг тогда хвалебный гимн — «Слава богу в вышних и на земли мир!..»

Съезжаю и опять вздымаюсь на хребты. Земля дремлет в объятиях неба. Как прекрасно небо! Гляжу и не могу наглядеться, — да и можно ли взором выпить бесконечность! Можно ли пресытить сердце красотою вечной и неподражаемой! Вечер неслышным крилом своим стирает румянец с лица запада. Облака играют по небосклону и что миг меняют свои дивные образы, утопая в юном мраке. Ну право, небо мечтает теперь! Облака его походят теперь на видения засыпающего праведника! Они принадлежат равно земле и небу, той и другой жизни! Вот и ночь: она щедро осыпала звездами свод неба, и ярко и таинственно сверкают они под голубым черепом: это ведь мысли вселенной, вечно светлые, вечно неизменные; это буквы, из коих мы едва угадываем одно целое слово — и это слово — *бог!*

Едем, едем: нет конца дороги. Шамаха раза два выглянула было из волн тумана, да и захлебнулась им. Утонула, бедненькая! Я, впрочем, и не один раз утонул было в болотах, в каждой ложбинке, образованных тающими снегами: лошадь вдруг увязала по грудь, и вытащить ее стоило всякий раз по крайней мере десяти ударов плетью и двадцати проклятий татарских и русских вперемешку. Хоть бы месяц взошел! Легок на помине, он как раз прыгнул на небо. Идет нейдет, светит не светит; то с облаками в гулючки играет, то за звездочками гоняется, — а ведь нет чтобы путем посветить доброму человеку! Эй, месяц, не забывай своей службы, не ссорься со мною: но то я выведу тебя на чистую прозу!

Начинается разбор ясному месяцу!

Во-первых, возраст этого старого франтика очень двусмысленный. Одни говорят: он может годиться в дедушки земле. Служил будто в старинные времена кометою; шатался, как Вечный жид*, по целой вселенной и менял мимоходом системы миров, как мы системы философии; потом будто затянула его центровлекущая страсть земли, и с тех пор он остепенился, произведен — не в пример прочим — в планеты-спутники и доселе волочится за землей, вмешивается в ее приливы и сумасшедшие домы, пышет на нее своими платоническими вулканами да изредка задобривает посылками аэролитов и болитов[2]. Уверяют, что пятна, которые поэтам кажутся глазами, и носом, и ртом месяца, а простолюдинам — нашим изображением Каина, осужденного будто бы носить век труп убитого им брата, есть тень огромных лунных гор и дно рытвин, не озаренных солнцем. Но всего вернее, что эти пятна — морщины старика месяца. Известно, что мягкость и жидкость — несомненные признаки, или, лучше сказать, неотъемлемые качества молодости; а он иссох, как остов, зачерствел, как артельный хлеб, и, верно, растрескался и сморщился, как сморчок.

Другие, и между прочими доктор Велланский*, утверждают, что месяц между планетами не старее любого пажа; что у него не прорезалась еще на бороде растительная жизнь; но что все периоды органической природы придут к нему жидким путем своей чередою; что он превратится в комету, сорвется с своего двадцативосьмидневного пути и в какой-нибудь прекрасный вечер мы узнаем, что он улетел за тридевять небес, путешествовать для образования ума и сердца. Вот тебе и поминай как звали! Разоренье тогда поэтам и будочникам: на чем тогда будут первые печь свои послания, чем посыпать свои поэмы? На что надеясь, воровать будет последним постное масло из фонарей? Многим жаль будет месяца, а мне, право, не жаль. Давно бы пора согнать этого лысача с неба! Таскается себе с фонарем, словно частный пристав, и во все закоулки заглядывает. Благодаря его милости я раза два чуть-чуть не попался ревнивцу: ну да это дело прошлое, а кто старое помянет, тому глаз вон!

Правду сказать, за месяцем водятся и добрые качества: например, учтив, злодей, как нельзя более; придворный земли, он сроду не оборачивался к ней задом; ухаживает за ней, вертится около, а все глаз с нее не сводит, вечно ей улыбается. Я, однако ж, думаю, что он, как испанский гидальго Ранудо де Колибрадос*, потому только не показывает спины, что она у него еще хуже лица. Впрочем, это одна догадка, основанная на том, что месяц любит искони блистать на чужой счет и в долг без отдачи пользуется лучами солнца, как будто он был член вечного цеха русских сочинителей, которые тебя обкрадывают да тебя же бранят, а когда не стало чужбинки, так вырезывают из своей спины лоскуты и подновляют ими брюхо.

Какой-то немец — немцы хитрый народ! — наглядел в телескоп, будто в луне есть крепости, построенные в виде звезды, есть дороги и огромная стена поперек всего их света: «Вероятно, от пассатного ветра, который там свирепствует вечно в одну сторону», — замечает преважно Иван Иваныч. Чудная вещь, непонятная вещь! Ну пускай уж на месяце люди, как саламандры, могут пить пламень вместо воды; да от чего ж, прости господи, могут быть там вечные ветры, когда нет воздуха?

Однако ж как ни бесплоден, как ни безлюден месяц, а Александр Македонский, которому мало стало одного отца и одного света, страх жалел, что нет дороги в эту прекрасную землицу. Он хотел завоевать его и построить там бивак для своей фаланги. Я хоть и не Македонский, но тем не менее Александр и, грешный человек, имею сам страстишку к завоеваниям. Вот почему объявляю я в Ллойдовом кофейном доме*, что беру луну за себя, а в ожидании случая на паролете съездить туда лично для вступления во владенье по законам делаю *оную* колониею моих мечтаний, загородным домом наслаждений моих. Да, признаться сказать, и прежде этого объявления лучшие романы моего воображения совершались на плоскости месяца, как лучшие повести моей действительности — на его свете. Я помню ночь, свежую благоуханную ночь севера — светлую ночь Петербурга весною. Это было еще в ту пору жизни, когда юность растет и живет не на счет земли, а на счет воздуха, подобно цветку в первую пору его взбега. Нева колыхалась вдали, облечена в сотканье сумрака и света; над голо-

вой лепетали кленовые листья; *она*, первеница моей любви, склонялась головою на грудь мою. Мои объятия обвивали ее стан, как пояс; ее кудри окружали перстнями руки мои; она переливала вздохи мои в мои уста; мое сердце билось отголоском ее сердца, как будто оно слилось воедино… То была не минута страсти, но минута упоения — долгая, безмятежная, сладостная минута, в которую два существа и весь окружный мир исчезают, сливаясь в гармонии и радости. Она подняла томные очи, и с негой глядела на меня, и с обольстительным укором роптала: «Зачем ты полюбил меня?» — «Спроси у месяца, зачем он светит, милая!..» — было моим ответом. Слова, которые теперь возбуждают во мне насмешливую улыбку — эти простые слова были выражением чистого, юного чувства; вырвались без думы из души и проникли в душу… Новый жаркий поцелуй запечатлел…

О юность, юность! Самые пороки твои нередко бывают внушеньем природы, а не пряной привычки, не разврата, умышленно подогретого кислотами. А между прочим, что ни говори, будто теплоты в месячном свете не заметно по самому чувствительному термометру — я этому не верю. Луч месяца может расплавить женское сердце или по крайней мере разогреть его до взаимности и до неверности, разумеется, если самое близкое к ней сердце имеет с ее сердцем химическое сродство. Надо только подбавить к ним несколько сладких слов, рукопожатий и объятий да раздуть хорошенько вздохами. Все-таки главное разлагающее начало тут месяц; за что ж, ради самого Меркурия, за что ж называют луну девственною и целомудренною? За что ее отдали в вечное и потомственное владение звероловице Диане? Мне до сих пор не удавалось видеть ночной охоты, по крайней мере за зверьми. Ну да пусть так: Диана была охотница не до одних оленей и только днем травила собаками дерзких Актеонов* за то, что они заставали ее без корсета; а тихомолком ночной порой каталась с неба целовать красавчика Эндимиона*. Пускай уж не было правды в языческом небе; да за что ж на крещеной земле ее не будет? Я формально протестую против платонических титулов месяца и докажу, что он был виновником или участником тысячи тысяч падений. Заметьте, милостивые государи и милостивейшие государыни, — это до вас касается, — заметьте par un beau clair de lune[3], как хитро стелет он дорожки света, заманивает в непроницаемые тени свои любящихся; как замысловато пугает, превращая далекие предметы в страшилищ, для того чтоб сблизить любовников; и потом как льстиво украшает лица их, как искусно скрадывает недостатки: под его лучом все прелестно, все очаровательно! А между тем он льет в вас свежее пламя, как мороженый пунш, брызжет на вас росинками, будто кузнец на уголья, чтоб сильнее разгорелись. Будь у меня красавица жена или дочь, ни за что не пущу гулять их по месяцу, ни за что не пущу месяца в их комнаты.

Да и одним ли любовникам помогает рогатый и рогоносный месяц? Прочтите Базиля Галя*, этого Делиля*, просоленного в морской воде. Капитана Базиля Галля, которым спят и бредят английские и французские журналы, и вы увидите, что месяц плутует нередко заодно с контрабандистами и покровительствует морским разбойникам, а про земных разбойников, про горцев, спросите у меня: я расскажу вам много любопытного про этих рыцарей месяца, хотя они никогда не были кавалерами ордена месяца.

— Кстати, чапар, не водятся ли здесь разбойники?

— Разбойники? Теперь? — отвечает он. — Теперь не слышно! Вот уж больше месяца не убили ни одного человека. Грабить-то грабят порой… Все молодежь тешится; ну да это безделица, пуч зат! А вот в старину…

— Arrière[4], Гарун! Назад! Тубо! Не слушает, бестия! Прочь, говорю я. Ну что ж в старину, чапар?.. Лает себе, да и только! Верно, на зверя напал.

Лягавая собака моя так и заливалась и, роя землю лапами, махая ушами, то наскакивала, то отпрядывала опять. Уже не разбойник ли, чего доброго?.. Я взвел курок пистолета, ударил усталого коня и вскакал на курган, над бурьяном которого лаял Гарун приступом. Месяц бил прямо на его вершину, и на ней…

Во всех горах Кавказа есть обычай воздвигать род беседок над могилами шейхов, или пиров, то есть людей, угодивших аллаху мусульманским благочестием. Нередко их ставят в память умерших в Мекке или убитых на войне в чужбине. Каждый проезжий отрывает кусочек от одежды, вяжет его на ветки, нарочно там воткнутые, молится за душу покойника и просит у неба счастливого пути. На кургане, на который вскакал я, не было часовни, но лежала необтесанная плита, и на ней человеческий череп, и в зубах этого черепа сверкала какая-то серебряная монета. Я содрогнулся, глядя на этот бездушный остаток человека. Он был необыкновенно страшен; глаза его будто чернелись, зубы скалились; он, казалось, поворачивался и огрызался от собаки…

На зов мой чапар приехал туда же, взглянул и побледнел как саван.

— Аллах, аллах! На какое проклятое место мы заехали!.. Я держался нарочно вдаль от этого кургана, и смотрите, заехал к нему. Ага, это недаром! Ага, оторвем в жертву по лоскутку — и прочь! Аллах да сохранит нас!

И чапар, бросив жертву, был уж далеко. Ужас написан был на его лице, когда я догнал его. Он оглядывался, погоняя коня.

— Кто схоронен в этой могиле, чапар? Зачем против правоверного обычая валяется череп на гробовой доске?

— Великий грешник зарыт там; великое проклятье тяготеет над этим местом…

Мы ехали тихо, и чапар долго рассказывал мне тайную повесть о злодее, которого души не принял сам ад, которого голову извергла земля. Я передам вам ее:

Череп-часовой

……

— Кто идет? — закричал часовой у въезда в Шамаху. Я протирал с изумлением глаза: как быстро упал я из минувшего к воротам Шамахи и как некстати! Однако делать нечего. Я отвечал:

— Солдат.

— Да кто именно-с? — прибавил часовой, увидя, что я проезжий.

— Александр Марлинский.

— Пожалуйте открытый лист!

Примечания автора

1. Мензиль, собственно, значит ям, гостиница, станция, но татары употребляют это слово за переезд и за самое расстояние. Они говорят: туфенк-мензиле (перестрел) и хош-мензил (выгодный ям).

2. Всегдашняя безоблачность месяца доказывает, что там нет воды и даже атмосферы, подобной нашей. Вот почему вероятно, что лунные вулканы могут взбросить сквозь редкую среду камни до невероятной высоты, так, что иные из них попадут на луч земной центровлекущей силы.

3. При ясном свете луны (*франц.*).

4. Назад (*франц.*).

Примечания

Впервые — в «Библиотеке для чтения», 1834 год, т. VI, в серии «Кавказские очерки».

Стр. 148. *…шатался, как Вечный жид.* — Имеется в виду легенда, в которой рассказывается, что Агасфер, сапожник в Иерусалиме, прогнал отдыхавшего у его дома Иисуса Христа. «Я отдохну, — сказал ему тогда Иисус, — но ты будешь ходить, пока я не возвращусь». С тех пор Агасфер странствует по свету, не находя себе ни покоя, ни смерти.

Велланский Данило Михайлович (1774—1847) — профессор физиологии Медико-хирургической академии, философ-идеалист, последователь натурфилософии Шеллинга, автор книги «Опытная, наблюдательная и умозрительная физика…» (1831).

Ранудо де Колибрадос — герой одноименной комедии выдающегося норвежско-датского драматурга и историка Людвига Гольберга (1684—1754). В ней высмеивается надменный дворянин, не имеющий ни гроша в кармане. Комедия дважды переводилась на русский язык. В 1833 году П.А. Каратыгин на ее основе написал пользовавшийся широким успехом водевиль «Дон Ранудо ди Калибрадос, или Что за честь, коли нечего есть».

…в *Ллойдовом кофейном доме…* — знаменитое страховое и пароходное общество в Англии, основанное в конце XVII века. Свое название получило от имени Эдуарда Ллойда, содержавшего в лондонском Сити кофейню. Общество было тесно связано с английским банком и с рядом других стран, издавало газету, а также заключало сделки на постройку различных судов силами своих специалистов. До сих пор объединение Ллойда является одной из важнейших английских монополий.

Стр. 149. *Актеон* — в греческой мифологии — юноша-охотник. Однажды он застал Диану купающейся с нимфами; разгневанная богиня превратила юношу в оленя, которого разорвали его же собаки.

Эндимион — в греческой мифологии — красавец юноша, которого богиня луны Селена (позднее отождествленная с Артемидой) погрузила в вечный сон, чтобы целовать его спящего.

Галль Базиль (1788—1844) — английский путешественник, исследовал и первый описал берега Кореи и острова Лиу-Киу, затем путешествовал вдоль западных берегов Южной Америки и дал интересные описания Чили, Перу и Мексики.

Делиль Гийом (1675—1726) — французский ученый-картограф. В 1700—1714 годах издал всемирный атлас.

Текст и примечания печатаются по источнику:

Бестужев-Марлинский А.А. Последняя станция к Старой Шамахе // Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения в двух томах. — Т. 2. — М.: Государственное издательство художественной литературы, 1958. — С. 209–217, 694–695.

ПЕРЕЕЗД ОТ С. ТОПЧИ В КУТКАШИ

14 апреля 1834.

Колыбельною иноходью шла моя лошадь, и сердце вздремало, зыблясь на вешних звуках и ароматах. Глазами я бродил кругом, но память летала над минувшим; память занесла меня в дебри Сибири, на дикий берег Лены.

Я поднял голову: надо мной склонялось шатром унылое полярное небо; передо мной тянулась цепь Кангаласского Камня, возникали его хребты, щетинясь кедрами и сосной, как стада огромных дикобразов. С ружьем за плечами, задумавшись, стоял я верхом на берегу одного из пустынных озер, дремлющих вечно у подножия якутских предгорий, стоял очарованный дикою поэзиею северной природы. То было в сентябре месяце, но уже при начатках зимы. Лист пал или падал, с жалобным шорохом отрываемый ветром от родных веток. Нагие березы и тальники дрожали, казалось, от холода и теснились в частые купы. В облаках, чуть видимы, неслись клиновидные вереницы запоздалых, усталых гусей, летящих к новому лету юга, — неслись, роняя на ветер печальные крики. Далекий город за густой занавесой тумана то возникал со своими башнями и колокольнями, то испарялся, будто мечтание сна. Слева из одной пади вился дымок белою струйкою — верно, с юрты бедного якута, — и он был единственным признаком человека в пустыре, где дорогу никогда не резало колесо, а землю — орало; все, кроме этого дыма, было мертво и пусто кругом; вопрос остался бы там без ответа, клик — без отголоска.

И вот облака стали падать клубами ниже и ниже, будто серые волки, отряхая дождь с мохнатой шубы. Он сеялся мелкими зернами, и тихо, тихохонько падал туманом, не возмущая поверхности озера, не колебля сухого листа, который обнизывал он изморозью. Вдруг пахнул ветерок из ущелия, и там, где за миг волновались полупрозрачные пары, летал и плавал уже белый снежок, легкий, чистый, блестящий, будто пух прямо с крыльев ангела, не померклый еще от прикосновения к земле. Он порхал, он кружил, он вился и вздымался опять, будто не решаясь расстаться с воздухом, будто не хотя упасть на болото. Еще повев ветерка, еще взор; и все изменило вид, все засияло: косвенные лучи солнца пронзили облако и зажгли снежный туман яркими полосами. Казалось, Млечный Путь со своими мириадами звезд просыпался с неба или солнце вылилось из него цветами северного сияния! Кристаллы инея, перемешанные с каплями дождя, то сверкали золотом и пурпуром в оранжевой струе света, то померкали яхонтами в фиолетовой полосе; и вновь загорались и опять гасли. Каждое дыхание холода из пасти ущелия заставляло бледнеть этот поток замерзающего воздуха и оживляющего света; каждый прилив лучей растоплял снег в алмазные искры, между тем как золотые нити от облаков до земли сновались и перевивались. Наконец начало оцепенения перемогло: мгла задушила небосклон, все померкло. Снег уже падал хлопьями, опушая вместо листьев деревья и прибрежный тростник озера, тусклого как свинец. Вот две дикие утки, свистя крыльями, пали на него. Я осторожно снял с плеча ружье, нацелил и бац с седла… Выстрел сверкнул и грянул глухо, на середине озерка, взрытого дробью, трепетались несчастные пташки… — «Пиль, Нептун!»

Я очнулся.

И не леденеющая, не безжизненная природа полюса, но оживающая, но живая, воскресшая природа Востока красовалась передо мною; свежая прелестию весны, полна желаний и обетов, как невеста. Она блещет, цветет, поет жаворонком, воркует горлицею, вздыхает негою наслаждения в ветерке, кипит ключом. Влюбленное солнце пьет ее ароматическое дыхание, нежит ее теплотою, целует лучами и с каждым поцелуем печатлеет новые красоты на ее смеющемся личике. О моя душечка, ты обворожительна теперь! Со всем уважением к чужой собственности, я готов кинуться на грудь твою с седла и обнять тебя, расцеловать тебя. Да! Электрический огонь восточной весны льет кипяток юности в грудь, бросает изменнические искры причуд в зарядный ящик воображения. В воздухе слышите чей-то милый голос, атласный шелест какого-то платья, благоуханный повев прерывного дыхания. Сердце замирает, дух занимается: оглянулся — едешь в скучном сотовариществе собственной тени!.. Мое почтение.

Я очнулся оттого, что прямо в лицо мне рубил крупный дождик, хоть солнце пекло и сияло; вы бы сказали: воздух тает каплями неги, и эти капли едва касались деревьям и лугу; на лету превращались в зеленые листики, в белые, в розовые, в лиловые цветы; раскидывались веером, вспыхивали букетами, обвивались гроздами; трепетали крылышками, как бабочки; распущались перьями колибри. Казалось, летучая радуга разбилась вдребезги и, приняв цветочное тело, улеглась, раскинулась на земле. В один миг точь-в-точь театральная декорация: чуть зеленеющий лес плодовых деревьев, вспрыснутый дождем, развернул свою яркую зелень, убрался в венок цветенья, радостно замахал в воздухе своими кудрями и руками. Без всякой метафоры, цветы распускались под стопами и приветно помахивали головками навстречу. Жаворонки, небесные колокольчики, звонили в вышине, по холмам весело блеяли стада баранов; пахарь дал вздохнуть быкам своим и, сняв шапку, с благодарным умилением глядел на небо, и благодатная влага смывала с лица его капли едкого пота. То был праздник природы. То была радость человеку. Земля сверкала и благоухала, как жертвенник!..

В горах Лезгистана промчался гром.

Я оглянулся окрест: вся Шекинская долина, цветущая будто украина рая, потоплена была в волнах света. Я взглянул направо, на стену гор, делящую Шеку от Аварии: там хмурилась черная ночь. Грозовые тучи с рокотом катились по зубчатому гребню хребта и стремглав свергались в Куткашинское ущелие, заливая его мутным водопадом ливня. Из средины их виделось, будто чья-то огромная рука бросается молниями, а сквозь разорванные тучи мелькает кровавый горизонт другого мира. Вот со скал на скалу, через зев теснины перекинулась воздушным мостом радуга. Смело стояла она в вышине, ярко играла своими отливами на сизом поле туч. Картина была восхитительна; никогда от рожденья не видал я и, может быть, никогда вперед не увижу, в таком близком горизонте, дождя при ясном солнце, радуги над молниею, грозы рядом с ведром!

И я долго любовался этим дивным сочетанием — любовался тем более, что в нем отражалась, как в зеркале, душа моя!.. Над бурей судьбы, над мраком отчаяния возникала радуга надежды, озаряя минувшее утешением, а будущее опытом. А там, в недоступной вышине, всходили к небу ничем не омрачаемые, ничем не возмущаемые ледники — последняя ступень земли к небу, символ чистоты и мира души, цель и награда мудрого.

Баловни счастья, поклонники суеты светской, есть ли в ваших галереях такие картины, в ваших дворцах такие сокровища, в вашем быту такие наслаждения? Жалкие самохвалы, вы убили наслаждения, желая собрать или усилить их; вы задушили природу, стараясь подражать ей; вы исказили ее, украшая! Могут ли краски, вымученные из земли, передать холстине красоты земные? Могут ли благовония, вываренные из мертвых цветов, быть сладостнее аромата живых? Для притупленных чувств ваших нужны бульоны, эссенции, потрясающие звуки, пестрые букеты. Но какой букет, скажите мне, выразит всю прелесть луга, где каждая семья цветов живет в своем кругу растений, каждая травка есть необходимое звено для стройности целого, необходимый оттенок вечной мысли провидения, связывающей полезное с прекрасным!

О, придите, приезжайте сюда, полюбуйтесь на эти горы, упейтесь воздухом этих долин, отведайте хоть раз природы, и вы признаетесь тогда, как смешны и ничтожны погремушки, за которые вы ссорились хуже ребят. Ужели ваша мишура лучше радуги; ужели ваш хрусталь милее звезды или венки ваши светлее венца божия? Придите! Этот прекрасный, новый для вас мир отдан вам; эти сокровища рассыпаны перед вами: они чисты и девственны, как в первый час из купели потопа. Наслаждения эти не куплены раскаянием; они не унижают, а высят душу, не гнетут лицо человека поклоном к земле, а умилением вздымают его к небесам. Вот вам серебро водопадов: на нем нет зеленой ржавчины предательства Иуды; вот вам золото в перьях фазана: оно не звучит укором; вот вам багрянец зари: это не кровь; вот алмазы дождя: они ведь не охрусталевшие слезы!

Нет! Напрасен призыв: люди любят свои оковы и неохотно покидают уютные раззолоченные гробы, выстроенные ими душе своей. Да и зачем бы они пришли сюда сквозь тысячу опасностей, трудов и неудобств, зачем? Могли ли бы их пресыщенные чувственностию или окостеневшие в бесчувствии сердца перелететь за очарованный круг наслаждения природою?.. Они принесли бы сюда вместо искреннего, истинного удивления поддельные похвалы, лицемерную скуку, надутые восторги, которые начинаются восклицаниями, а кончатся зевками. Или, что хуже того, неспособные ощущать величие, они бы стали унижать его карикатурами, кощунствовать над ним с презрением невежества, наводить смех толпы на людей, которые предаются созерцанию, и остро подтрунивать над тем, чего они не в состоянии постичь или чему подражать нет у них душонки либо воли. И толпа будет рукоплескать им: ей странное нравится больше, нежели прекрасное, новое больше, нежели вечное; притом же ей страх весело, когда их обрызгивают грязью, из которой она создана, когда валят все высокое в болото, в котором она квакает.

Несчастные души! Может ли что изящное отразиться или произрасти на них?

Усталая буря ушла в пещеры Лезгистана; чуть слышно было, как она ворчит за горами. Облегченные от груза облака улеглись по вершинам, а вершины гасли без зари, потому что солнце исчезло в туманном западе без прощанья. И вот изгороды стали чаще, сады гуще, кой-где проглядывали высокие, соломой крытые кровли домов из зеленого потопа плодовых и шелковичных дерев. Вся дорога перерыта была деревянными водопроводными желобами. Вода сочилась, струилась, журчала везде. Наконец у стопы огромной, зеленью подернутой горы, на повороте в теснину, по обеим сторонам небольшой речки, открылось мне местечко Куткаши. Так как всякий дом окружен особым садом для шелководства, то селение растянуто и разбросано на несколько верст, без всякого порядка, без улиц, кроме проезжей дороги. Переехав по мостику речку, я должен был, несмотря на усталость, добраться до самого конца местечка, чтобы, по заведенному здесь обычаю, предстать пред светлые очи бека, одного из наличных владетельных князей Куткашинского магала. Дом его, кроме величины, ничем не отличался от обывательских; зато обнесен был каменною стеною, и у ворот возвышалась небольшая из плит с перилами площадка. Фонтан кипел с нею рядом. Спрыгнув с коня и отдав подержать ружье, потому что представляться с ружьем за плечами считается в Азии неучтивостью, я вошел на ступеньки эстрады, на которой сидел со своими приближенными бек, наслаждаясь прохладою вечера и вечным наследием восточных владетелей — бездельем. По месту, в середине полумесяца, мне нельзя было ошибиться, к кому обратить обычное приветствие. Все встали, и молодой, едва ли двадцатилетний бек, очень красивой наружности, очень учтиво, но довольно холодно отвечал на мой селям. Заметно было, что он не устал

еще разыгрывать важность горского князька, хоть это худо мирилось с нагольною овчинною шубою, накинутою на плеча. Впрочем, не думайте, что нагольная шуба, окрашенная сверху копотью ольхи, может служить предосуждением богатству или знатности. Нимало. Горские власти неприхотливы, и грозный хан охотно завертывается в тулуп из косматых овчин наравне со своим нукером. Амирам-бек, — кажется, так его назвали, — пригласил меня садиться и мигнул, чтобы подали трубку, но я отказался от того и другого: мне крепко хотелось на боковую.

— Прошу одной кровли на ночь и трех лошадей на заре, — сказал я беку, — кроме этого, душа моя не имеет нужды ни в чем — только в вашей благосклонности.

Бек, перебирая янтарные четки, отвечал, что все, что я изволю приказать, будет исполнено как фирман. Спросил в заключение, нет ли еще какой ему «службы» на мою пользу, — и, на отрицательный ответ мой, мы раскланялись, разменявшись приветами, из которых, само собою разумеется, не поверили друг другу ни в одном слове.

И недаром. Юз-баши*, которому приказано было отвести мне квартиру, задумал сбыть меня с рук на половину, принадлежащую другому беку, находящемуся на службе в России, двоюродному брату Амирама. Повели меня по мытарствам. Насилу нашли старосту другой половины Куткашей, но убедить принять меня не могли. «Не наша очередь, — говорил тот. — Да ведь бек, кроме того, принял этого господина: он ваш гость, а не наш». Юз-баши спорил; и другой кричал; я, наконец, вышел из терпения и так грозно зашевелил своей нагайкою, как лев, готовый броситься на добычу, шевелит хвостом своим. Это немое красноречие подействовало лучше всех доводов. Проводник мой пошел далее, заклинаясь, что юз-баши другой половины великий плут, между тем как я уверен был, что он — того втрое плутоватее. За пустым деревянным базаром на площади указал он мне дом.

— Извольте снимать вьюки, — сказал мне юз-баши, — знатная квартира, ага; валлах, биллах, лучше этой нет в целом городе! Все проезжие генералы в ней останавливаются. Вам будет здесь привольно, как рыбе в воде. Хозяин богат и стар как черт, а между тем у него две молодые женки.

Ведь на беду ж моей голове замешались тут молодые женки! Сердце у меня юкнуло, когда юз-баши сказал мне про них. Думаю, не быть добру: так и есть. Запыхавшись, прибежал белобородый, беззубый старичишка, загнал всех своих женщин в анбар, бранясь — зачем они берутся не за свое дело, выносить из одной комнаты перины да сундуки да глазеть на проезжих, не закрыв даже лица чадрою. Хитрянки неохотно повиновались, лукаво улыбались через плечо и, я думаю, не хуже европейских женщин восклицали внутренно против укора старого мужа, будто не их дело *глазеть* на прохожих, и варварского зарока закрывать *даже* лицо. Господи боже мой, да что ж после этого останется показывать?

Заперши на замок верность своих сожительниц, ревнивец подошел к нам, измерил меня глазами, привел два аршина с половиною моего роста в татарскую меру на локти, вгляделся, не подкрашены ли у меня усы; закинул даже числительный испытующий взгляд в самый рот, чтоб удостовериться, все ли у меня зубы; потом сделал верную посылку тройного обратного правила — «чем старее, тем несноснее» — и со страху, чтоб это не обратилось в правило товарищества, столь гибельного для лбов мужей, давай браниться с юз-башею, зачем он без кругу, без очереди ставит к нему на постой! Вот всего не более полугода назад стоял у него полковник, да и тот, слава аллаху, был старик стариком и едва передвигал ноги от лихорадки. Когда я заговорил с ним по-татарски, и без того серое лицо ревнивца стало серым в яблоках: у него упали руки при мысли, что я могу без толмача насказать его женам вздоров с три короба.

— Агам, гезюм, дженым! — мычал он, увиваясь около меня. — Господин мой, глаз мой, душа моя, возьми другую квартиру!.. Я пришлю всего, чего захочешь; приму, пожалуй, твоих спутников; буду холить твою собачку; только, для общего бога, не оставайся у меня сам!

Я расхохотался искренности и приветливости мусульманского супруга; но, ценя свой сон, не хотел нарушить чужого. Я пожелал домашнего мира старику и велел указать себе иной ночлег. Там, с просьбою взять в свое владение дом и в свое покровительство всю семью, меня было упрятали в чулан, и если б я собственною особою не сделал нового дележа владений, то мне пришлось бы ночевать в огромном кувшине с пшеном, под страхом видеть свой нос отъеденным крысами.

Я скоро заснул у камелька под шумом чайника, под ропот моего человека на то, что хозяин не давал дров. А хозяин говорил, что дров велено принести другому; а воды нет потому, что еще не нарядили очередного кувшина. «Сказано, что Азия: так Азия и есть!» — ворчал мой Щербаков.

Я спал как убитый.

Примечания

Впервые — в «Библиотеке для чтения», 1834 год, т. VI, в серии «Кавказские очерки».

Стр. 153. *Юз-баши* — сотник, сельский старшина.

Текст и примечания печатаются по источнику:

Бестужев-Марлинский А.А. Переезд от с. Топчи в Куткаши // Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения в двух томах. — Т. 2. — М.: ГИХЛ, 1958. — С. 218—225, 695.

ДОРОГА ОТ СТАНЦИИ АЛМАЛЫ ДО ПОСТА МУГАНСЫ

Апрель 1834 года.

Казалось, холмы несли меня вперед своей зеленою зыбью; принесли — и отхлынули с берега валом. Наконец и вдруг увидел я поток Алазани* — увидел ожиданно и внезапно. Никогда не забуду тебя, видопись[1] Алазанской долины; никогда не вспомню без умиления! Далеко, далеко вправо, сливаясь с синетою, или, лучше сказать, изливаясь из синеты отдаления, сверкала вдохновенная горными снегами река, и ярче, все ярче, и разливнее, и быстрей катилась она ко мне и наконец увлекла, закружила очи мои быстриною, будто колеса мельницы. Она разгоралась на бегу, краснела жаром, накалялась, таяла, рдела, и уже мимо текла расплавленною медью, брызжа лучами, парами кипя — столь мутна песком и столь румяна зарею была она. И вот в сотне шагов влево, обогнув острым локтем скалу, — Алазан, как стыдливая, но вместе пылкая невеста, кидалась в объятия крутых берегов и в них исчезала. На мысу под деревьями, ожидая очереди на паром, отдыхали в живописных купах конные ширванские керваны[2], бакинские арбы с огромными, но легкими колесами и тяжкие, неуклюжие грузинские арбы. Волы, кони и верблюды паслись вблизи, гремя колокольчиками. Погонщики, христиане и мусульмане, все с огромными кинжалами на поясе, с винтовками за плечом, кто в желтых дагестанских сапогах, кто в узких замшанных ноговицах и в лапчинах с круторогими носками[3], лениво управлялись со вьюками или неподвижно лежали на бурках, и только струйки дыма с их трубок доказывали, что они дышат. Дикие голуби кружились, кувыркались, хлопали крыльями в воздухе. Разбитые на их сизых крыльях лучи словно сыпались врознь яхонтами, изумрудами, рубинами, и вдруг эти жильцы воздуха, как градины витою чертой, низревались долу и, доверчиво и приветно воркуя, клевали крошки хлеба у самых стоп путников. Суровый азиатец, с улыбкою во взоре, потихоньку бросал эти крошки, чтобы не испугать робких пташек взмахом руки, и я, лакомый европеец, забыл о голоде и ружье своем, любуясь на эту картину. Какая-то неизъяснимая теплая доброта разлита была в воздухе; она дышала из земли; она проницала и упояла чувства тихим светом заката; она освежала их крылом ветерка и слышалась в плескании вод. Казалось мне, никакое враждебное чувство не могло зародиться или проснуться ни в одном живом существе в такие минуты, ни одна злая или нечистая мысль не могла всползти на сердце человеческое. Я стоял очарованный — как Адам в земном раю в первый вечер своего бытия, предвкушая сладостный покой сна, — одним солнцем после предвечной ночи ничтожества. Солнце потонуло в изумрудных волнах Кахетинских гор, и заря, прекрасный завет умершего светила, облила океаном розовой воды землю и небо; небо лилось на землю; земля погружалась в нем — и возникала чистая, как младенец из купели.

Я очнулся! Паром тихо всходил на течение бечевою. Лезгины робко сторонились от всплесков; кони храпели пугливо и копытом скребли помост. Кони и всадники Лезгистана, отчего так изменились вы менее нежели в полвека? В старину вы не спрашивали брода, не ожидали плотов, чтобы вторгнуться бурным набегом в Грузию. Вплавь с крутизны бросались ваши неукротимые дружины, и горные кони выносили их на желанный берег, не страшась ни крути, ни быстрины. Мы свершили омовенье на Алазани, а намаз на Куре[4] — пели предки ваши, любуясь черноокими пленницами, похищенными из сердца Грузии. Теперь не то — и слава богу! Теперь вы, трепеща русского штыка, стережете ваши заветные ущелия, свои не раз русским пламенем сожженные деревни; только шайки ночных разбойников дерзают переплывать струи, чтобы выкрасть из сада усталого селянина или угнать пару запоздавших на ниве быков. И вам, как ветер неуловимые глуходары[5], и вам скоро пробьет роковой час покоя смерти или покоя бездействия! Огненный меч выходит уже из ножен; медные пасти разверзают зев свой; скоро взыграет гибель по хребтам ваших гор и пламя войны иссушит потоки Кар-сырта[6]. Много, но недолго литься на Кавказе дождю кровавому, гроза расцветает тишью, железо бранное будет поражать только грудь земли — и цепные мосты повиснут через пропасти, над которыми страшно было видеть и радугу, и валдайский колокольчик загудит по крутизнам, где теперь свистят только пули.

Дайте Кавказу мир и не ищите земного рая на Евфрате: it is this, it is this! — он здесь, он здесь![7]

Но ангел смерти — брат ангелу мира, и старший брат. Крепко стоят дома на могильном склепе; богатые жатвы исходят на поле битвы. Я видел скалу, разбитую молниею: из трещины брызнул ключ целительной воды, — вот Азия. В ней, и в ней одной, справедлива пословица, украденная у судьбы: «Не щади человека для человечества!».

Здесь ум возник геркулесовскими столбами и задвигает путь просвещению кремнистой грядою неприемлемости и неподвижности. Горд, что перерос головою животных, он выучился только написать: «Не далее!» — и стоит стражем у этой бессмыслицы. Дерзкий, жалкий безумец! Разве не слышишь ты отголосков русского *ура*, потрясающих твои родимые утесы? Это глагол судьбы; это безотчетное выражение Европы; это перевод слов: далее и вперед, все вперед. Уступи или гибни!

Он не уступит.

Раскинь же на ветер коршуновы крылья твои, дух войны; повеселись, сердце богатырское; разгуляйся, ретивый конь! Весело удалому топтать подковою ледяной венец гор, давать им новую денницу пожаром, крушить скалы своею молниею. Творить — божественно, но и разрушать тоже божественно. Разрушение — тук для новой, лучшей жизни. Разгорается молот, поражая наковальню, — как же не разгораться нам, живым, мыслящим орудиям провидения, перековывающего земной шар в благо? «Первая!» — или: «Третья!» — или: «Гренадеры, шагу! На руку! Беглым шагом!», «*Николай* и победа!», «Ура!..». Завал взят, враги пали, — все наше!

Мечта, мечта, дитя воспоминания и предчувствия, куда ты умчала меня! Все тихо и мирно кругом. Здесь никто не думает о битве: набожный бек, провожатый мой, сбросил с плеч свое ружье, постлал чуху к ногам коня и, омыв руки по локоть, ноги по колена, преклонил их для намаза. Мерно возникали и стихали в его голосе звуки молитвы вдохновенного араба. Молился бек, и с ним, вы бы сказали, молилась, вся окрестность — в такую благоговейную тишь одета была она; так все обращено было к небесам, все, от молодых листиков тополей до хребтов Лезгистана. И точно, ступенями в чертог аллаха всходили они друг из-за друга, и чем выше, чем далее от земли, тем более, тем ярче, тем небеснее становились, и, наконец, опаловидные вершины их, оживленные облаками, распустились, закипели головками херувимов: их была громада, водопад, целый мир, с голубыми, с розовыми, с золотистыми крылушками; они стекали, они лились, они волновались, зарились и погасали, словно капли дождя в радуге. И вот все улеглись под крыло сумрака. Безгласная гармоника перестала. На распахнутое небо пал занавес ночи. Сквозь него чуть мерцала уже серебряная полоса снегов, будто фосфорный след пролетного метеора.

Душа воротилась в свою раковину. Паром причалил. Гайда![8]

И тихо ехал я вдоль реки, по благоуханной Алазанской долине, и тихо вставал месяц надо мною, и тихо было в душе моей: на меня канул час самозабвения, в который наслаждаешься созерцанием природы сквозь дрему и покоем сна без мечтаний. Тогда я не слышал на себе тела, не чувствовал в груди биения сердца; кажется, я составлял тогда одно с природою, — сладостное, безотчетное бытие — бытие, которого нельзя ни определить словом, ни измерить часами, потому что граница и мера суть уже отрицательные частицы вечности и пространства, которым одна только мысль может ссужать условную цену. Можно ли измерить неизмеримость взмахом маятника или погоном сажени?

И не знаю, долго, коротко ли длился этот час самозабвения, которым так неожиданно подарил меня бог. Была ночь, прелестная южная ночь, когда произошло разлучение *я* от *не-я*. Месяц, как усталый пловец, пробивался сквозь буруны облаков, а они, расшибаясь о грудь его, озарялись на миг бледным пламенем, точно фосфороносные всплески моря. Выбравшись снова на раздолье, он гордо и покойно плыл в синей бездне; и снова плескал таинственным светом на купы гор, на букеты дерев, еще не залитых в туманы; и снова набрасывал обманчивые мосты теней через обрывы и ущелья в мире духов и мечтаний.

И дивны были песни этих духов, пленительны хороводы этих мечтаний!.. Но я не перескажу их, не опишу их людям. Я заглянул в очарование того мира, подслушал поэзию его; но в этом мире нет красок, нет струн для выражения небес. Нет у меня луча солнечного вместо кисти, нет звезд вместо слов.

Но были у меня и земные мечты, пышные, свежие, душистые, вспрыснутые росой надежды — мечты, от которых прыгает сердце, как благородный конь при звуке боевой трубы. Были — но и тех не отдам я свету. Не даровые и не продажные они, а заветные. О, не спрашивай меня, красавица, — что завету? Огнем очей своих ты привыкла уже топить в измену клятвы, данные другим; но ты прежде сожжешь в пепел мое сердце, чем даром похитишь из него тайну. Я мягче воска принимаю впечатления; зато я крепче стали храню их, и они чуднее, драгоценнее печати Соломоновой. Многое дам, многое потребую, красавица! Подумай. Я не возьму от тебя алмазной серьги, не возьму венца золотого, не хочу цветного пояса; я шепну тебе слово на ухо — и, кроме этого слова, тяжелы тебе станут все серьги в свете; я вложу тебе в голову мысли, которые пробьются на чело звездистыми лучами; я обовью тебя новым чувством, сотканным из прелести и радости, и потом ты не потерпишь иного пояса на сердце. За твою улыбку готов я отдать жизнь, за поцелуй — счастие жизни; но и за это не отдам я тебе заветных своих мечтаний... Еще ли хочешь знать — что завету!

Т-р-р-р!.. Трах!..

— Бурадан, ага!.. Сер-гисаб, ага! Вот здесь! Осторожнее, сударь! — кричит мой проводник.

Вот тебе и раз — осторожнее! Конь мой провалился сквозь кровлю землянки, вырытой в скате горы! Треск, шум, крик подо мною.

— Кого это черт принес? Али у вас головы в тороках? Али вы звезды считали? — пищал из-под земли хриплый голос.

Последнее обвинение, однако ж, было напрасно — если б я и хотел считать звезды, то не мог бы: месяц уже закатился, а небо подернулось тучами; не мог и ничего видеть под ногами — такая темнота потопила землю. В остальном виноват: занят сердечным торгом, я не заметил, что проводник объехал вправо, и я — бух задними ногами коня в плетеную крышу казачьего поста.

Впрочем, когда дело зайдет о взаимности красавиц, я, не по рассеянию, а нарочно, готов спрыгнуть в огонь и в воду… Вы сомневаетесь, сударыня? Испытайте!

К счастию, пробив глыбу земли, конь мой зацепился за перекладину и, ободренный двумя ударами плети, удачно выскочил на твердую землю. Ну, приехали!

Очень весело, что приехали! Хоть бы этот дрянной пост еще ушел на версту в землю, я бы не подосадовал; а то черт надоумил его сунуться ко мне под ноги, когда моя поэтическая мена шла к такой счастливой развязке. И вот судьба всего земного! После шампанского — головная боль. После поцелуя свидания — слеза разлуки. После каждого наслаждения, тем более сладкого, чем оно заветнее, — сожаление или раскаяние. После роскошной природы и обаятельных живчиков — мечтаний моих, — грязная землянка, хмельные казаки, сверчки и мыши!

И вот ощупью, как воробей на огонь, попал я в почтовую хату. Если когда-нибудь воображал я себе браминский страннoприимный дом для всякой гадины, — то он представлялся мне не иначе как в виде закавказского казачьего поста. Вообразите себе яму, накрытую суковатыми пнями, на которые, сверх черствых веток, навалена груда земли; вот вам наш караван-сарай, без насмешки. Свет вместе с ветром, как нищий, стучится в наземное оконце, заклеенное промасленным рапортом. Люди чуть не ползком пробираются в кошачью лазейку, из лести называемую дверью. И уж эта мне дверь! Ворчит, ворчит проклятая, словно брюзгливая старуха; не то заведет непрошеную песню, да и давай прихлопывать да прищелкивать рассохшимися досками: того и гляди пойдет вприсядку. Совершив невольное челобитье притолоке, вы, наконец, входите в приказную хату с шишкою на лбу и, при свете искор, которые еще сыплются у вас из глаз, замечаете направо и налево нетесаные нары, которые обещают взборонить вам бока своими сучьями — и, верно, сдержат слово. Между них стол, хромой и кривоногий от рождения, изувеченный и разбитый от похождений, но, несмотря на свою скрипучую хилость, такой злой, что готов укусить вас за пальцы оскаленными трещинами. Слоеная грязь покрывает лицо его разноцветным жиром — и тут-то, как на сковороде блин, преет паспортная книга в сдобном переплете. На одном виске стола помадная банка, и в ней перо, промокшее до хвостика, впивается, словно пескарь, в чернильную тину. На другом — растоптанная, из бумаги сложенная коробочка, наполненная веществом, над которым призадумался бы самый лихой минералог. Не надо подсказывать, что это чернильница и песочница: вы легко угадаете должность первой по застарелой коросте, покрывающей ее черною чешуею, а назначение второй — по струям золы, дресвы и всякой дряни, изверженных из этой пылью дышащей сопки. Посреди их, в кочерыжке зауряд подсвечника, оплывает огрызенная крысами свеча, и хоть очень плохо светит, зато уж трещит на славу— будто хвастает соседкам своим, что она еще не спит. Теперь не угодно ли вслед за этой резвою мышкой погулять взорами по стенам? Стены землянки могли бы стать золотым рудником для Бальзака. Что в них за роскошь неопрятности, что за разнообразие грязи, смазанной, недомазанной, торчащей, отпавшей; то в промежутках тростника и хвороста, то в трещинах уродливой, кривобокой печки, которая, кажется, кашляет трубою и что-то шепчет над горшочком с сальною ваксою, назначенною для смазки узд, лядунок и седел, — хоть они, вечно впрозелень от сырости, качаются кругом на стопках. Там же, нанизанные как грибы на нитку, шевелятся листки предписаний кордонных начальников постовым — лавровый и терновый венок казачьей службы. С потолка, соперничая с ними, спускаются, веются, переплетаются, пашут тесьмы и кружева паутины, мохнатой пылью, изорванной ветром в лоскутки. И такая их там пропасть, что невольно подумаешь: хитрый народ эти донцы! Хотят, верно, подорвать замысловатого французика — сами заводят фабрику шелковых пауков! Посидите под таким занавесом четверть часа: каждый удар дверью будет насылать на вас целую метель сору, пыли и паутины, так что вы не успеете отчихиваться, отряхиваться и протирать глаза.

И надо примолвить, как вся эта пещера смотрит кисло, чахло, сгорбленно, старо, как все пахнет развалиною, хотя не время, а лень дала ей морщины и плесень. Щетинистый мох проседает везде — точь-в-точь небритая борода у будочника. Грязный пот каплет и сочится сквозь все поры, будто с лица пьянюшки. Какой-то прелый запах — смесь предбанника с казармою — поражает ольфактивые нервы чиханьем и долго после преследует вас едкостью своею, выпаряясь из платья. И по всем углам кучи сору, прозорливо и хозяйственно сметенные, чтобы в случае праздничного падения с койки служили изголовьем хмельному товарищу и спасали от носокрушения всех путешествующих по изрытому богатырскими каблуками дну землянки. Вот краткий очерк поста за Кавказом. Но скольких тут недостает теней и подробностей!

И, ни дать ни взять, такого разбора землянка приветливо расстегнула мне свои двери. Меня встретила какая-то веселая фигура в офицерской шинели, наброшенной сверх необходимостей, еще не удостоенных называться одеждою.

— Сюда-с! Милости просим, сюда, — бормотала она, сбрасывая рукой с головы комки глины. — Ну, батюшка, напугали же вы нас! Мы думали, небо рушится. Да и вас еще бог помиловал: а то, черт возьми, чуть-чуть не брякнулись вы прямо в ендову сквозь кровлю!

Ендова в самом деле чинно стояла на столике, и посреди ее возникал новозданный островок, обломок кометы, сорванный подковою моего коня с потолка: только кахетинское это озеро обмелело, по всем приметам, гораздо ранее землетрясения.

— Да оно и не мудрено-с, впрочем, так сказать! Тьма такая, что крот хвоста своего не увидит. Заедешь в гору, а попадешь в нору. Снимайте-ко оружие, да не угодно ли прилечь? — Я извинялся и благодарил, а между тем глазами нырял и плавал вокруг и в глубину, прощупывая одним взглядом и устрицу и скалу, к которой она приросла. Недаром сказано: «на ловца и зверь бежит»! Донцы эти — чудаки хоть куда.

На одной койке сидел усатый урядник, уже испивший до дна чару гнева божия: он едва подергивал отяжелевшими веками и, мерно качаясь над ендовою, сбирался, кажется, удить из ней рыбу носом. Напротив, хорунжий — так он отрекомендовался мне — был еще только навеселе, маячил беспрестанно по землянке и говорил без умолку. Он был человек лет тридцати и маленький, тщедушный и до того бесплотный, что монастырский кот мог бы его съесть в пятницу, не оскоромившись. Его рыжие волосы, обсахаренные известкой и паутиной, торчали артишоком. Бледное лицо, на котором веснушки и рябины дрались за каждую точку, украшено было зато красным носом, куда весь румянец его существа перебрался для совместного служения с родимым пятном сургучного цвета, так что издали его физиономия очень походила на запечатанный пакет с надписью: «о нужном». Глаза у него светились и катались, как два серебряные пятачка, а усы, явная эпиграмма на щетки, передергивались с необыкновенною выразительностью. Разглядывая пристальнее эти рыжие усы, я мог повторять уроки геологии и воссоздать за целые три дня историю обедов господина хорунжего, потому что, играя наверняка в половине с зубами, его усы намывкою и осадкою сохранили в себе остатки всего, что он изволил кушать, начиная с белужьей косточки до зерен гречневой каши, — что, слеплено будучи дрожжами красного вина, составило очень любопытный конгломерат.

Не успел еще я вкусить китайского нектара из фузы* какого-нибудь Цу Кин-цына, а хорунжий наговорил уже мне с три погибели. Волею и неволею узнал я, что его резиденция Закаталы, русская крепость Джарской области, и что он, по крайней мере в собственном мнении, знаменитая особа, так что генерал посылает его только по самым важным делам.

— Вот и теперь я прибыл сюда, — говорил он, гордо охорашиваясь, — по экстренному случаю…

— Уж нет ли где возмущения? — спросил я.

— Да-с! По случаю возмущения воды в Алазани и раннего разлива генерал поручил мне высмолить канаты для парома. Скачу-с сломя голову; приезжаю, — и что ж бы вы думали? Вот уж две недели дожидаюсь инструментов для осмолки: вода утекает, а паром течет!

— Каких же это инструментов?

— Смолы и котлов-с. Здесь, кроме этого котелка, никакого не оказалось… Не угодно ли нашей похлебочки-с отведать? Дело походное-с.

Дрожь меня взяла, когда я взглянул в мутную влагу, где под жирными звездами грозно выглядывал белужий глаз и мелькали утопленные сухари.

— Благодарю, — возразил я. — Я никогда не ем на ночь горячего. Мне сейчас подадут фазана, подстреленного за Алазанью.

Между многим множеством чепухи этот хорунжий рассказал мне один забавный анекдот. Казацкий полк ***… в последнюю войну против польских мятежников, в деле под ***.., был сбит сильным натиском кавалерии. Полковой писарь улепетывал в числе прочих; но, видя, что истомленная лошаденка его пристала, а неприятель на хвосте, молодецки крикнул: «Стой, товарищ, стой! Вспомните, что у меня сумка с вашим жалованьем и фуражными, а я не тронусь с места!». Эта весть как электрическая искра пробежала по сердцам бегущих, и они лавою ударили назад, смяли поляков и, увлеченные вновь отвагою, далеко их преследовали и кучу перерубили. Конечно, это не стоит жезла маршала Вилларса*, брошенного в схватку, чтобы заставить своих идти вперед, ни догадки Суворова, который, видя бегущих своих гренадеров, кричал им: «Славно, братцы! лихо! Заманивай их, заманивай! Ну, теперь стой! В штыки!.. Помилуй бог! Вперед!» — и, разумеется, преследователи были стоптаны. Но это доказывает, от каких ничтожных вещей зависит иногда победа.

Кстати о писарях: от многих встреч с донцами, не исключая последней, в меня вселяется горькое убеждение, что чернильная ржавчина грызет булат, когда-то страшный туркам и французам. Легче достигая до эполет пером, нежели пикою, донцы привыкают теперь хвалиться более крючкотворством, чем удальством. И мой рыжеволосый герой измучил меня похвальбою о своем всезнании канцелярского порядка.

— Да, батюшка! Я недаром служил четырнадцать лет писарем: все заголовки у меня в голове, каждый сам по себе. Вот, например, письмо так письмо: «Милостивый государь, или милостивейший государь», — а иному так и «государь мой» завернуть, да и пошел валять. Ну, а просьбам просьба: по титуле — просит такой-то, имярек, а о чем, тому следуют пункты. Пункт первый: «Имея ревностное желание…».

Я подсунул оратору вновь наполненную мною ендову, и чернила слились с красным вином. Я заснул на ковре своем при плеске купающихся в ендове пунктов, при чахотном кашле печки, которая кажется, подавилась кирпичом, служащим из одной чести за вьюшку, и под шепот стен, которые пыхтели на меня изо всех щелей и, к великому моему удовольствию, задули, наконец, свечку.

Румяная заря, прокравшись в землянку на цыпочках и не тревожа замка, сквозь расселину двери, давно уж хозяйничала и егозила вокруг моей кровати, а я еще брал на храпок у Морфея утренние маки. Наконец я почувствовал на своих щеках свежий поцелуй богини и весело встрепенулся. За ней — она в поле, играет, резвится, веет своею газовою мантильею, брызжет душистою росою; потом поманила вдаль розовою перчаткою и взвилась в поднебесье жаворонком.

— Коня, коня! Полцарства за коня![9]

И борзый конь взвился подо мною.

Примечания автора

1. Волею или неволею, а должны принять господа уставщики кавык мое слово *видопись* вместо *пейзаж*, по крайней мере зауряд до изобретения лучшего.

2. Караваны.

3. Полусапожки лезгин и грузин на высоких каблуках нередко имеют острый носок в четверть длины, как во время Карла VII у французов (poulins).

4. Этот стих, необыкновенно верно изображающий скорость набега, взят из одной аварской песни. Я слышал ее на буйной вечеринке у Аслана, хана Кази-кумыкского, на границе Аварии, — и со временем передам ее моим читателям вполне. Но чтобы сделать приведенный стих понятным для всякого, я должен еще заметить, что омовение совершается мусульманами непосредственно перед зачатием намаза, или молитвы.

5. Глуходарами называют в Лезгии всех бездомных удальцов, живущих на счет ближнего для славы или необходимости, то есть всех беглых от кровомщения, от русских, из охоты понаездничать. Это все равно что за Тереком и Кубанью абреки, и напрасно думают иные, указывая на их многочисленность в Белокани, будто глуходары особый народ, когда они не что иное, как инсургенты, если действуют открыто, и бандиты, когда разбойничают небольшими шайками.

6. Кар-сырты — снеговые хребты, но кара-сырт и кара-даг значит черный хребет, черная гора.

7. Томас Мур.

8. Я думаю, почти все читатели знают, что турецкое, или, если угодно, татарское, восклицание *гайда*, *гай-да*, значит ну! ну же! ступай! Те, кому это неизвестно, могут вспомнить, что сами они часто употребляют его, восклицая, например: «*айда*, молодец!». А из этого следует, что они, себе неведомо, прекрасно говорят и пишут по-татарски.

9. A horse, a horse, a kingdom for a horse! («Richard the III») [«Ричард III»].

Примечания

Впервые — в «Библиотеке для чтения», 1835 год, т. XII, в серии «Кавказские очерки».

Стр. 226. *Алазань* — река в Грузинской и Азербайджанской ССР (с частью течения по общей границе обеих республик), левый приток Куры.

Стр. 235. *Фуза* — китайский торговый дом, фирма.

Стр. 236. *Вилларс* Гектор (1653—1734) — французский полководец. Оставил интересные мемуары, которые были изданы после его смерти.

Текст и примечания печатаются по источнику:

Бестужев-Марлинский А.А. Дорога от станции Алмалы до поста Мугансы / Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения в двух томах. — Т. 2. — М.: Государственное издательство художественной литературы, 1958. — С. 226–237, 695–696.

МУЛЛА-НУР[1]

Быль

О вахта эдыки, Гиндустан падишахи эглешиб, меджили-сында
аали зияфат варыды; нече шахзаделяр, нече пегливанляр,
нече везириляр, нече улемаляр, дести раст дести растдан,
дести чап дести чапдан, эглешиб, мешкулядыляр.

В ту пору случилось индийскому царю сидеть в беседе; было у него пированье,
великий пир. Сколько царевичей, сколько богатырей, сколько везирей,
сколько улем*, от правой руки к левой, от левой руки к правой, усевшись,
промеж собой перемолвливали!

I

Чах дашы, чакмах дашы,
Аллах версын ягышы!

Кремешки и камешки,
дай бог вам дождя, умыться!
Припев

Грустно раздастся намаз, будто поминка по ясном дне, отлетевшем в вечность.

— Жарко, душно в Дербенте! Взойди-ка на кровлю, Касим; посмотри, как падает за горы солнышко: не краснеет ли запад, не сбираются ли тучи на небе?

— Нет, ами (дядя)! Запад голубее глаз моей сестрицы. Солнце упало ярко, словно «золотой цвет» на ее груди.[2] Ни один взор его не гаснет в тумане.

Ночь распахнула звездистый веер свой. Темно.

— Взойди-ка на кровлю, Касим; присмотрись, не канет ли капель росы с молодого рога майсяца, не прячется ли он в ночную радугу, как жемчужина в перламутровую раковину.

— Нет, ами! В чистой синеве плывет месяц; не слезы, а стрелы сыплет он на море! Кровли сухи, как степь Мугана*; по ним весело бегают скорпионы: вещуют зной и на завтра!

— Беда без дождя! — говорит старик дядя, засыпая; а город уже спит.

Только переклик часовых обвивает дряхлые стены звеньями звука, да море мерного зыбью ходит по берегу… Вы бы сказали — это души покойников беседуют с вечностью: так все другом сходно с кладбищем!

Край моря сквозит пожаром. Ласточки опередили своим приветным щебетаньем клич муллы над мечетью; но и мулла не поздняя птичка; он уж поет, ходя вокруг купола,[3] склонив голову на ладонь: «Проснитесь, правоверные! Встаньте! Потому что молитва лучше сна».

— Взбеги на кровлю, Касим; погляди, не катится ли туман с гор Лезгистана. Не чернеет ли море, не скачет ли белогривый прибой через камни?

— Нет, ами! Горы облиты божьей позолотой; море сверкает будто зеркало. Флаг на крепости Нарын-Кале обнял древко, как обнимает чадра стан красавицы. Ни одна волна не рассыплется жемчугом на берег; ни малейший ветерок не завьет в кудри пыли по дороге. Смирно все на море, тихо все на земле, ясно на небе!

Старик дядя закручинился. Совершив омовенье, он вышел для молитвы на плоскую кровлю, разостлал ковер по мягкому кыру,[4] стал на колени и, когда кончил молитву из памяти, горячо молился еще из сердца.

— Бисмил'льляхи'р-рахмани'р-рахим! — произнес он, обводя печальным взором окрестность. — Во имя бога всемилосердого и всеблагого, будет слово мое. Облака вешние, дети нашего моря! Зачем вы стадитесь по хребтам и прячетесь в ущелья? Или вы, как разбойники лезгины, любите рыскать по утесам и дремать на острие вершин? Зачем же вы, забрав с наших лугов в добычу всю влажность, расточаете ее безумно на голые камни, распрыскиваете свой жемчуг на кудри лесов, недоступных человеку, и поите до бешенства горные потоки, которые врываются в наши долины для того, чтоб унести или залить берега или засыпать их осколками, будто обглоданными костями своих жертв. Дети неблагодарные! Посмотрите, как мать ваша, земля, раскрыла тысячи уст своих… она сгорает от жажды, она просит напиться! Посмотрите, как меньшие братья ваши, колоски, дрожат, бедняжки, без ветра, ломаются под кузнечиком, вытягивают головки, думают высосать из воздуха влагу и встречают луч, который подсекает их словно раскаленною косою. Засуха выпила водово-

ды, в них уже перепел вьет гнездо, а паутина заплела все бороздки. Жаркий ветер безвременно и насильно отнял у цветов благоухание и разбросал по степи листья. Дерева блекнут, трава горит, марена чахнет. Буйволы бодают друг друга за лужу; голодные кони роют копытом нагую землю; мальчики дерутся у фонтана за оскудевшую струю… Первиядер (всевышний), что будет с нами! Засуха — мать голода, а голод — отец болезней, брат разбоев! Ветер горный, ветер свежий! принеси нам на крыльях своих благодать божию. Облака, сосцы жизни! пролейте небесное молоко на землю, разразитесь грозой, но смойте с лица земли загар, свейте укор в бесплодии. Бросьте стрелы свои на грешных, но обрадуйте невинных… ведь не все грешники на свете, и в лоне вашем не одни молнии: есть и дождь освежающий; есть не только страх, но и надежда. Сизые тучи, крылья ангелов! повейте нам прохладой, отряхните с себя росу. О, летите же, спешите! Милости просим.

Нейдут тучи, не слушают приглашений. Жарко, душно в Дербенте. Засуха томит окрестность.

И это было в мае месяце, в ту пору, когда ладожский лед грозит петербургским мостам по три раза на день, затирает в своих холодных объятиях пестренькие ялботы и навевает на столичную атмосферу прохладу и насморки; в ту пору, когда красавицы большого света выходят толпами на Невский проспект *пользоваться свежею пылью*, округляя прелестные формы своих капотов ватою, без всякого нарекания; в ту пору, когда Северная Пальмира не знает еще других цветов, кроме распускающихся под творческою рукою Лапиной, других благоуханий, кроме высиженных в баночке, — одним словом, в ту прекрасную пору, когда тающая белая зима уступает свое место зеленой зиме; когда северный зефир, питомец Лапландии, еще переносит румянец щек на кончик носа и камелек, это русское солнце, отогревает любезность, дрожащую от прогулки, или остроумие, съеженное разводом. Да, в Дербенте заботились о жатве, когда в Петербурге еще толкуют о дороговизне дров.

Вот уже пять недель не кануло капли дождя на поля южного Дагестана, а засуха есть величайшее из бед в жарком климате, особенно если она падет весеннею порою. Она лишает тогда все дышащее настоящего и будущего пропитания, пожигая пажити и жатвы. В краю, где перевоз хлеба из других областей или очень затруднителен или вовсе невозможен, голод есть неминуемый наследник неурожая. Азиатец искони живет день до вечера, не вспоминая, что было третьего дня, не заботясь, что случится послезавтра; живет именно спустя рукава, потому что лень и беспечность — его лучшие наслаждения. Но когда бедствие, которое он полагал за тридесять невозможностей от себя, вдруг расступается под его ногами, когда «завтра» становится «сегодня», он пробуждается опрометью, начинает плакаться, что нет средств, или роптать, что не дают ему средств, вместо того чтобы искать их; шумит, когда надобно действовать, и увеличивает опасность испугом в той же мере, как он уменьшал ее неверием. Можете теперь вообразить, каково было уныние в Дербенте, когда ранние жары своим палящим дыханием стали пепелить надежды купца и земледельца, а почти нее жители Дербента, вместе земледельцы и купцы, распахивают свои участки наполовину под пшеницу, наполов вину под марену.

Да и правду сказать, им на этот раз было много законных причин к страху. Окрестные дагестанцы, со времени Кази-муллы*, были достойно казнены голодом за; мятеж свой. В пору посева они сеяли пули; в пору жатвы пожали месть: конь и огонь опустошили их нивы, или ветер осени развеял неснятые хлеба, оттого что горцы лето и осень бегали за знаменами изувера или прятались от русских в глубине пещер. Тогда лишь коса смерти гуляла в поле.

Следствия угадать было нетрудно. На другое лето озими были съедены не в зерне, а в колосе. Все, что пощадила война, как-то: медная посуда, дорогое оружие, хорошие ковры, продавалось на городских базарах за бесцен, для купли необыкновенно вздорожавшей муки. У кого и этого не было, доедали стада свои, ушедшие от зубов друзей и неприятелей. Наконец толпами стали сходиться нищие с гор просить в городах милостыни. Попечительное начальство приняло все меры для отвращения голода и монополии перекупщиков. Корабли пришли с мукой из Астрахани; богатые были приглашены пожертвовать избытками для спасения бедных, и на время народ успокоился. Урожай мог все поправить.

Дербентцы только что отпраздновали тогда хатыль, религиозно-театральное воспоминание о судьбе Шах-Гусейна*, первого мученика-халифа секты Алиевой. Предавшись с ребяческим простодушием мелочным заботам и обрядам этого праздника, единственного развлечения народного в круглый год, они в свежести ночей, посвященных представлениям, вовсе забыли о жатве и о зное. Чего забыли! Они радовались не раз, что дождь не мешает их диким забавам.

Но когда утих шум празднества и они из минувшего воротились в действительность, когда, хорошо выспавшись, взглянули они за ворота городские, сожженный вид полей обдал их варом. Страх голода или — что для корыстолюбца гораздо хуже голода — страх убытка подкрался к ним на цыпочках, со стклянкой розовой воды в руке, под звук бубнов да песен, и тем ужаснее показалась всем его бледная образина, чем неожиданнее она оскалилась перед ними. Посмотрели бы вы тогда, как зашевелились все черные и красные бороды, как пошли стучать все деревянные и янтарные четки Дербента. Все лица вытянулись восклицательными знаками; на всех ртах бродили междометия. На базарах в караван-сараях, по углам улиц — везде, где только лежало несколько бревен или камней, наверно уж сидела кучка татар на корточках, толкуя о погоде, а толки о погоде, которые у европейских горожан беспрестанно повторяются и никем не слушаются, ложились свинчатками на сердца дербентцев. Шутка ли, в самом деле, потерять от засухи марену, единственный

источник их благосостояния, или платить за пшеницу на вес серебра? Бедные трепетали за жизнь свою, богатые — за кошелек. Одним грозила нищета, другим — невольная благотворительность. Желудки и карманы ежились при одной мысли о дороговизне; все ахало и охало, «а как скоро, — говорит Монтань*, — кто заражен страхом болезни, тот уже заражен болезнию страха».[5] Тут мечта превращается в действительность и здоровое настоящее заранее мучится будущим, которое, может быть, совсем не придет или придет совершенно иное.

Вспомним про недавнюю холеру; вспомним, каким разрушительным ужасом нахлынула на Русь весть о набеге этого индийского чудовища, этой причудливой заразы, которую не могли оковать цепи, не могли умолить молодость и здоровье, которая без разбору поражала осторожного и невоздержного, бесстрашного и труса. Сначала мысль о холере отравила самый воздух, не только радости, но мало-помалу человек свыкся с разрушением, которое он видел кругом и впереди. Плач был короток тогда; с ним рядом слышался порою смех, и если под конец люди не пели и не плясали, так это потому только, что самый страх смерти не отучил их лицемерить.

Как бы то ни было, а страх неурожая одолел дербентцами. Мусульмане давай молиться в мечетях: нейдет дождь! Давай потом молиться в чистом поле, в надежде, что аллаху сквозь открытое небо слышнее будут их мольбы, чем сквозь плитные своды: ни капли! Пождут, поглядят, — небо словно медное, так и тает лучами, а раскаленная земля рассыпается под ногою в окалины и жадно пьет капли пота, падающие с лица богомольцев. Что делать?.. Принялись за языческие поверья. Мальчики расстилали платки на перекрестках и сбирали с проходящих деньги на воск да розовую воду; и потом, обвязав ветвями хорошенького как ангел мальчика, обвесив, разукрасив этот пук цветами и лентами, пробегали по улицам, напевая в лад песни в честь Гюдуля, вероятно когда-то бога рос и дождей. Говорю — вероятно, потому что я не мог собрать об нем никаких положительных сведений. Призывание дождя заключалось обыкновенно припевом:

Гюдуль, Гюдуль, хош гяльды!
Ардындан ягыш гяльды!
Гялин, аяга дур-сан-а,
Чюмчанын[6] долдур-сан-а!

Гюдуль, Гюдуль, добро пожаловать!
Вослед тебя дождик идет!
Встань, красавица, на ноги,
Поди пополнить свой ковш.

Молодежь, плеща руками, плясала и пела кругом веселым хороводом с самоуверенностью простодушия, и — глядите! — в самом деле влажные облака загасили солнце… Небо нахмурилось, как скупец при расстаньях с деньгами, тень, как чужая собака, убежала прочь, поджавши хвостик; окрестность померкла; зато глаза всех заблистали и со слезами радости обратились навстречу живой воде… Стал капать дождик. «Аллах! аллах!» — раздалось в воздухе, и клики торжества, шипя как ракеты, крестились над Дербентом. Напрасные, преждевременные клики! Подул ветер из Персии, жаркий словно лисья шуба, и спахнул долой перелетное облачко. Солнце вдруг засверкало ярче прежнего, и пуще прежнего запечалился народ.

Минул еще день. Вот еще день, как усталый путник по знойной степи, жарко дыша, прошел за горы. Все молят, все ждет дождя…

Нейдет!

II

Халх — народ.
Бербад — чепуха.
Татарский словарь

Когда вы поедете через Дербент, непременно зайдите посмотреть главную месджид, — а то вам, право, нечего будет про этот богоспасаемый город, иже на Хвалынском море, рассказывать или вспоминать. Мечеть эта, — так станете вы разглагольствовать, пощелкивая указательным пальцем по табакерке или прижимая им табак в трубке своей, — мечеть эта, по всей вероятности, была в старину христианскою церковью* (не запинайтесь: я все приму на себя), потому что она лицом стоит на восток, а магометанские мечети обыкновенно обращены входом к северо-востоку, чтобы молиться на Мекку и Медину, то есть на юго-запад. Во-вторых, следы, теперь сломанного, алтаря очевидны, и хотя татары утверждают, будто она построена в первом веке гиджры (около тысячи двухсот лет назад), но мы, опираясь на исчисление греческих епархий, в котором дербентская

упомянута очень правильно, можем полагать поосновательнее, что древность этого храма гораздо глубже. Широкий, четвероугольный двор, помещенный плитою, осененный огромными чинарами, с водоемом посереди, расстилается будто ковер гостеприимства перед мечетью. Трое ворот, всегда отверстых, призывают правоверных от мирских забот в затишье думы о небе. Восточная сторона занята рядом келий, северная — высоким навесом айван, убежищем молельщиков от летнего зноя. На запад возвышается древняя, мхом прозеленевшая стена мечети, во всю длину двора; ее подпирают плечом дебелые устои. Над срединою здания восходит к небу, как молитва, заостренный купол, и маковка его рассыпается лучами звезды.[7] Стих из корана горит над главными дверями. Входите — и вдруг какой-то влажный сумрак объемлет вас, невольное безмолвие уважения покоряет (вылитый Шатобриан*!). Долой туфли, прочь мысли-смутницы! Не вносите в дом аллаха грязи улиц ваших, грязи ваших помыслов. Преклоните к земле колени, а сердце вознесите к небу… Считайте по четкам не барыши, а грехи свои. Ля иляге, илль аллах, ве Мухаммеду ресулю'льлах! (здесь для эффекту вы можете чихнуть). Нет божества, кроме бога, а Мухаммед посол бога! Тихо журчит молитва правоверных; сидя на коленях или припав челом к ковру, они погружены в благоговение; и ни слух, ни взор не вызывает их внимания на окружные предметы. Направо и налево по два ряда аркад со стрельчатыми сводами, переплетая на помосте тени столбов своих, уходят в сумрак. Там и сям купы молящихся чуть озарены бледным лучом, заронившимся во мглу сквозь небольшие окна сверху. Ласточки реют под куполом и вылетают в поднебесье, будто слова моления; все дышит отсутствием настоящего (это хоть бы в исторический роман годилось) и навевает прохладно-отрадные чувства усталому сердцу. Память перебирает струны давно минувшего и мыслит — где же вы, христиане, зиждители этого храма? где о вас поминки? Вы забыты, даже в баснословной истории Дербента, в Дербент-наме, и кровожадные стихи корана раздаются там, где звучали некогда священные песни благовестил!

Двор мечети у мусульман Дагестана и всех горцев есть вечевая площадь. Туда сбираются они толковать о раскладке повинностей и для ябеднических сделок против начальников. Там притон пересудов и суд мнения, ристалище происков и суеверий, и все это у порога правды и веры, — странное проявление дерзости и лицемерия человека, который, вместо того чтоб трепетать соседства святыни, говоря или совершая зло, старается укрыться под тень ее и ее именем скрепить свои замыслы!

Так и во время бездождия двор главной дербентской мечети кипел народом. Вкруг иссохшего водоема под тенью чинаров, на галерее, еще блестящей зеркалами, парчами, золотошвейными занавесками, знаменами с надписью из корана, толпы притекали и утекали. Красноглаголивые мюэммины (то есть крепковерные) составляли средоточия многих кружков. Около них дружною цепью теснились биюк-сакаллы (долгобородые), то есть вся косматая премудрость мусульман, потому что у них ум но иначе свивает гнездо как в бороде, вещь чрезвычайно удобная для статистических обозрений: вам стоит только подвесть итоги ко всем бородам, и вы будете иметь меру татарского ума в английских футах или в аршинах; можете безошибочно сказать тогда, что в такой-то мусульманской провинции умственные способности народа, вытянутые в волосок, равняются, например, сотне верст длиннику, приняв, разумеется, в уважение число выбывающих бород по случаю смерти к числу бород, отпускаемых вновь.[8] Очень жаль, что Мальтебрюн* или Мальтус* — да почему же и не оба! — не вздумали и не выдумали найти точного соотношения между двумя знаменателями европейского и азиатского умов, бородою и пером. Если когда-нибудь эта гениальная догадка пойдет в дело и подобная перепись произведется на *сем основании*, я непременно потребую патента на изобретение.

Промежду длинными бородами из второго круга, и то с великим подобострастием, осмеливались просовывать носы свои тюкли, то есть полубородые, молодые люди ужо с усами, но еще без речей, потому что в Азии уста, не вооруженные волосами, не смеют на совете отверзаться, разве для того только, чтоб зевнуть. Тюксюсы (или безбородые), отроки или юноши от десяти до семнадцати лет, бродили поодаль, не имея права мешаться не только в важные дела, но даже просто в разговоры со старшими. Там-то виделось первобытное общество в простейшем своем выражении — с тремя ступенями прав, которых стихийное начало есть борода.

Однако ж из бород всех величин и всех цветов радуги, бород, раскрашенных хною и природою, дербентские мудрецы не могли выжать ни капли дождя, ни выдумки чем бы заменить его. Говорили много, спорили еще более, так, что на потоке из пусторечья можно бы выстроить мельницу о четырех поставах, тем лучше кстати, что старые мельницы за безводьем не мололи уже неделю. Все рассуждения, однако ж, оканчивались отчаянным вопросом неджелеих (что ж будем делать)? А затем на миг воцарялось молчание; а затем взлетала на воздух стая охов вздохов. Плечи подымались до ушей, брови до шапок ропот сливался в умолительное восклицание: «аман, аман (пощади, помилуй)!». Вот, наконец, возвысил речь один агамир,[9] муж, святой по наследству, ибо он был родственник Магомета, а родственники Магомета, как известно и доказано, получили от него с зелеными чалмами дух святости в вечное и потомственное владение. Набравшись вдохновения свыше и дыму из кальяна, он изронил золотое слово из уст своих, смешанное с благоуханием ширазского табаку.

«Аман, аман!» — взываете вы к аллаху. А! Дербентцы принялись небось просить пощады у бога, и тузить себя в грудь, и с горя щипать себе бороду! И вы думаете, что аллах будет так прост, что за одно слово простит вас? что поверит на слово вашему раскаянию? Хейр, юлдашляр, хейр (нет, товарищи, нет)! Наевшись грязи, корана не целуют! Бога не обманешь поклонами да жалобным голосом, как русского коменданта: знает он вас давно! Сердца ваши исписаны грехами чернее, чем книга седжиль, в которую заносит ангел Джебраил злодеяния человеческие, а вы и не думаете вымыть сердец своих в молитве и посте. Придет ли ураза (пост великий), в который днем набожной душе страшно хлебнуть даже дыму трубки,[10] а вы, смотришь, где-нибудь за углом чурек грызете, либо у свиноедов чаек распиваете, будто вам мало ночи наедаться раза по три, до того, что кушак рвется! И вот вам за то адское дерево закум* проросло на землю. Кушайте же его горькие плоды, плоды — головки змеины. Охотники вы пить тайком жидкий грех, смертный грех — водку, да ведь от аллаха не запрешь ворот на запор, не уверишь его, что это делается нехотя, болезни ради, дерман еринда[11] (вместо лекарства)! Он стережет за вами оком солнца в день и тысячами тысяч глаз-звездочек ночью. Он знает по имени каждую мысль в вашей голове, слышит малейший шепот сердец ваших. Как же не знать всеведущему ему, когда я не кала-бек,[12] а знаю, что вы не только на водку, да и на вино посягаете своими многогрешными устами! «Кто на земле пьет вино безумия, того не напою я из потока радости, текущего вином в дженнете*!» —сказал аллах пророку нашему. Не надейтесь же вы, винопийцы, испить в раю вина блаженства, обещанного пророком, затем что вы сосете проклятие из бутылок, слепленных неверными руками на вашу пагубу! Не надейтесь и дождя на ваши нивы, за то, что вы иссушили до дна терпение божие огнем порочных желаний ваших! Это вам задаток той мучительной жажды, которою накажетесь в джегеннеме*. И растрескаются ваши уста, прося капли воды, как растрескалась теперь земля, и ни росинка не падет им в освежение. Аллах велик! Вы сами накликали себе на голову проклятие…

Но за что, прости господи, терпим за вас мы, в чьих жилах течет чистая кровь пророка, в чьих головах пересыпаются, как жемчуг, святые правила корана? Вай, вай! Подкопали грехи стену эль-Араф, делившую праведных от неправедных, и она падает всем на голову, давит и того, который ни разу не ел с гяурами баранины, убитой и очищенной не по закону, и того, который ест пилав не пальцами, а богопротивною ложкой, сидя… о времена, о нравы!.. сидя на стуле, а не как бог показал, на пятах! И тех…

Всеобщий плач и восклики: «шах Гусейн, вай Гусейн» заглушили проповедника: ведь слезы на Востоке нипочем. Я подозреваю впрочем, что все эти проделки печали и набожности клонились к тому, чтоб замять поименную перекличку грехов, а может быть, и грешников: на воре и шапка горит, говорит пословица, — как же не гореть щекам? Мусульманин на своем ковре заткнет за пояс любого из европейских развратников, зато вне дома он важен и степенен, не сделает неприличного движения, не обмолвится скоромным словом, и лучше пырните его по-дружески кинжалом в бок, чем рассказывать на майдане (площади) про его задверные проказы. Наперекор европейцам базары мусульман — самая нравственная часть их городов, а пороги — самая нравственная часть домов их, и то я разумею половинку, глядящую на улицу: это не моя тайна!

Видя, что речь задела слушателей за живое, бородатый цветоедов приосанился, торжественно крякнул и раскинув взоры по всем углам двора, возвел их, наконец, к небу с тихим восклицанием: «Эль хамдули'ллах!». Правая рука его в то время грозно сжимала красную его бороду, так что он страх походил на Юпитера, готового бросить пук молний. И, правду сказать, лихой был «низатель бисера»[13] этот Мир-Гаджи-Фетхали-Исмаил-оглы! Бывало, как пустит дробь языком — ну соловей, точно соловей! Каждое слово как сахарный ногуль,[14] катится, будто розовая вода на душу льется; да и столько он набьет вам в уши фарсийских и арабских речений, что руки врознь; двух человек в целом Дагестане не найдешь, кто бы его понял, хоть вполовину, — а в Дагестане, благодаря аллаху, живут не собаки. Случалось, что даже комендантский мирза, человек, который съел всех стихотворцев Фарсистана*, как примется переводить ага-мира — да и язык проглотит. Куда ему!

Хорошо сказал наш сафия[15] свое поучение, и самому стало хорошо. Вокруг него все жужжали как пчелы: «Дюрюст сюз (правое слово)! Герчек диды (истину говорит)! Аллах, иншаллах!». И все, как пчелы, кормили его медом похвал. Облизнувшись очень умильно, крепковерный сказал своему кружку: «Кулаг ас, кардашляр (развесьте уши, братия)!» — и уже поласковее начал:

— Что делать, однако ж, товарищи! Кто не виноват аллаху! До третьего неба выросли грехи наши, но еще четыре неба осталось божией милости. Наказывает он правых вместе с виноватыми, зато за одного праведника милует целые народы нечестивых. У грешных и безгрешных желудок просит есть одинаково, и мы все молились о дожде одинаково. Видно, не взошла на небо молитва наша, забрызганная грязью помыслов! Нет успеха! Скажу, братья, одно слово: не знаю, придется ли оно вам по душе, а слово это будто ангел обронил из своей думы. Отцы и деды наши в истому засухи выбирали, как сами вы слышали, сами своими глазами видели, чистого душой и телом юношу и посылали его со своей молитвой к аллаху ближе, на высь гор. И он должен бывал набрать снегу с темени Шах-дага в кувшин, и молиться за своих ближних с теплою верою, и принести этот кувшин, не ставя его на землю, в Дербент, и вылить растаявший снег в море. Аллах велик! Море закипало, и тучи слетались откуда невидимо, и благодатный ливень напоял, живил мертвую землю!

«Правда!! Аллах акбер! Я, мы, все видели, — загремела тысяча голосов, — восемь лет, десять лет тому назад! Я сам тут был! Мой брат нес воду! Чудо чудное! Вода в море стала сладка, как молоко… капли дождя были с яйцо куриное». Наконец вся дребедень невнятных восклицаний слилась в явственный крик: «Выбрать юношу, послать его на Шах-даг!».

— На Шах-даг! — заревел весь Дербент.

— На Шах-даг! — повторило эхо мечети. Казалось, это слово разрешило загадку, которая у всех свинцом лежала на сердце; это слово пронизало всех одною уверенностью. Бородачи были рады средству, которое не стоит ни копейки. Молодежь с гордостью думала: «Выбирать-то ведь станут из нас!». Даже мальчишки веселей прыгали на одной ножке и как сороки щебетали: «На Шах-даг!». Стоит только выбрать молодца, толковали все, и через три дня каждая нива у нас оборотится озером. Дербентцы сводили счет без хозяина: многостоящим оказалось — *стоит послать*. Найти невинность — безделица? Невинность в горожанине, в юноше и азиатце? Помилуйте, да такого клада в наш век, если и на святой Руси поискать, так пары три железных чоботов стопчешь! А в жарком климате и подавно.

Если наш ледяной истукан целомудрия подтаивает от дыхания страстей, питающихся имзеновым шоколадом на исландском мху, то в какую тень спрятаться можно от азиатских желаний, стреляющих калеными ядрами? Слова нет, наше северное игривое воображение, протопленное романами и вальсом, становится для нас безвременно жарким климатом: пороки у нас — подснежники, взбегают необыкновенно рано, а зреют гораздо ранее огурцов; но, господа, взгляните на термометр Реомюра, прочтите над… над тридцатью тремя градусами тепла — *Жар крови*, и сознайтесь, что климат, который развивает не толы ранние страсти, да еще ранние для них силы, что-нибудь да значит в животной экономии. Такие страсти не требуют теплиц, орошения вином и прививки чужих прихотей; нет, они взбегают без подпор и крепнут на воздухе, или, лучше сказать, воздухом, который заряжен двойным патроном электричества, который дышит, веет, окачивает негой и бросает в ваше сердце столь причудливые мечты наяву, что вы под русским небом и во сне таких не видывали. Чтоб судить и осуждать Восток, надо сбросить с себя все европейское: понятия, привычки, предрассудки и решительно сказать самому себе: «Я сегодня родился». Но к этому надо привезть на Восток и тело гибкое, восприимчивое и душу с непорванными еще струнами; и потом отдаться безусловно расплавке знойной атмосферы, впечатлению всех внешних предметов, не процеживая их сквозь ветошь книжных поверий, не мешая туда собственных предубеждений. Предположив, что это хоть приблизительно возможно, вы помиритесь со всем и со всеми, что окружает вас. Вы сердцем убедитесь тогда, что природа и ее формы, люди и нравы их составляют там неделимый гармонический аккорд, или, еще того лучше, вы будете жить и делать как соседи, не спрашивая и не заботясь — почему?

Да-с, растительность Востока, которому Дагестан служил переднею, быстра до невероятия и роскошна до мотовства, а жизнь азиатца — полурастение, полуживотность. Мудрено ли ж после этого, или с этим вместе, что дербентцы крепко затруднились, когда дело дошло до выбора? В самом деле, найти юношу, чистого как снег, который должен собрать он, как луч, который растопит этот снег; найти человека, которого уста не знали бы сладости заветного поцелуя, ни вкуса поросенка под хреном, — черт возьми, это не шутка под тенью виноградников и персиковых дерев, и в таких коротких связях с русскими! Пошли толки и пересуды; все расцветающие репутации оборваны были по листику; и к концу счета оставались те же пять голых пальцев. Этот слишком молод, чтоб мог назваться невинным; этот чересчур смышлен, чтобы невинным быть. У того нет пуху на щеках, а у того «пушок на рыльце есть». Беда, да и только: старый за малого хоронится. Никто не хочет принять на себя славы тамис тамислярдан (чистого из чистых). Не находят достойного, или, кого находят таким, сам отпирается. Спор и перебор этот делал мало чести невинности дербентцев, по крайней мере много чести их совести. «Взять бы Сафар-Кули, — говорили иные. — Он стыдлив, словно красная девушка, да та беда, что недавно обесчестили у него коня, отрубил какой-то разбойник хвост, и это, верно, недаром! (А почему недаром, спросите у барона Брамбеуса*: он жил с мусульманами долго и, верно, растолкует вам эту притчу. Я не растолкую; я имею на то свои причины.) «Не то Мурад-Амина?» Он живет тихо, как цветок цветет; да сказывают, недавно был в гостях в саду у этого старого грешника Алескер-бека и распевал такие песни, что даже черти уши затыкали. Нельзя! «Или Мехмед-Расуля?» Про него нечего сказать худого, а подумать можно. У них в доме живет премиленькая лезгинка. Купил он ее во время голода у отца за двадцать рублей серебром, а теперь не продаст и за сотню; человек ведь? инсан дегильми? Сабля — сталь, а и та без ножен ржавеет.

Про того много говорят; другой сам много говорит, — ищут не сыщут достойного. Повесили дербентцы свои буйные головы… Опять прежнее горе!

— А Искендер-бек? — сказал кто-то в толпе.

— В самом деле! — подхватили многие голоса. — А Искендер-бек-то на что? Да как это мы его забыли, как пропустили розу между цветами, сокола между птицами? Аллах, аллах! Или у нас жар-то весь мозг из головы вытопил? Это странно! Это непостижимо! Это удивительно!

Я так ни крошки не нахожу тут удивительного. Не то что у татар, у нас, православных, не знаю, как это делается, только достойнейших всегда вспоминают напоследок; хорошо, если еще вспоминают. Это, должно полагать, от худого механизма нашей памяти!

— Ну, слава аллаху, нашли! Чего ж даром зубы студить: Искендера так Искендера! Скорее звать, просить, тащить его! Ступай, беги к нему! Дай бог удачи нашему Искендер-беку, он выручит, он спасет нас! Он не ест, не пьет и дружбы не водит с гяурами. Не помнит кто, чтоб он хоть раз ночевал с садах; никто не видывал, чтобы о поднял глаза на чадру (женское покрывало). Не поют ему песен наши молодцы и дарить цветов не смеют: он живо ясен и одинок, как месяц в ночи.

— Да, да, ступай к Искендер-беку, — возразили кое-кто.

— Нет, брат, к нему не во всякий час суйся. Порою бывает такой крутой, что на козе не подъедешь; а горд всегда, всегда, и дома и на улице, в разгуле и спросонья. Посмотрите-ка на него: идет нейдет, башмаки волочит, рассядется — что твой кала-бек*! Слово у него по целковому, а улыбка — хоть ты колесом катайся, не выманишь: такой дутик! К нему идти, надо два раза подумать да один раз хорошо выдумать!

Сгадали, сдумали, сложили совет: идти послом от всего дербентского народа Гаджи-Фетхали-Исмаил-оглы, тому самому витии, что говорил последнюю проповедь.

— Ты нам вложил в сердце выбрать из среды нашей молодца, ты же и бей челом, баш урсын, Искендер-беку. Пусть он на наше горе смилуется, на нашу просьбу сдастся! Как хочешь, Гаджи-Фетхали: кроме тебя, некому уговорить его, кроме тебя, некому нас выручить.

Отнекивался, отнекивался Мир-Гаджи-Фетхали, — и он имел на то законные причины, — однако ж честолюбие перемогло: уступил. В придачу к нему послали еще двух почетных беков, толстяка Гусейна и сухопарого Ферзали: то были два прилагательных, без которых как модные русские, так и модные фарсийские существительные имена не выезжают. Разумеется, и здесь употреблены были они вовсе не для смыслу, а для парада, для поддакиванья. Депутация отправилась.

— Уговорит, как ему не уговорить? — раздавалось в толпе. — Фетхали, если прибеднится, так у нищего полбороды выканючит... Самого шайтана перехитрит!.. Змею на хвосте заставит плясать! Преумнейшая бестия! Препочтенный плутяга! Тебя же обманет, с тебя ж за то придачи возьмет, да ты же ему и накланяешься. А как примется говорить, господи, твоя воля, как он говорит!

Кажется, язык у него не во рту, а в сердце; так цветы и сыплет: успевай только загребать ушами.

— Эле дюр, точно так, — прибавил другой, — как станет Фетхали уговаривать пожертвовать на мечеть либо на Кербелу,[16] так не только мы, да и кисы наши рот разевают.[17] Недаром он хвалится, что «облегчает» нас!

Эта игра слов развеселила всех кругстоящих, подстрекнула всех на злословие, и бедному Фетхали вышили спину в узор шелками шемаханскими. Охотники татары «умывать чужие глаза розовою водою», то есть льстить без милосердия; зато, чуть отвернись, распестрят они вас вдоль и около. У них, как и у нас, безделье замешано на пересудах, на кайбет. Люди везде люди!

III

Эмюрум-баши гитты, яры, сен-сюс
Без тебя, милая, вянет весна моей жизни.
Из песни

Достопочтенный Мир-Гаджи-Фетхали-Исмаил-оглы тихо ступал с камня на камень, подымаясь от мечети в гору по узкой и кривой улице. Полы его чухи, против обыкновения не подобранные, мели пыль; огромные каблуки его туфель беспрестанно подвертывались на клыкастой, неровной мостовой Дербента, хотя Фетхали глядел так пристально себе под ноги, будто выбирал хорошенький булыжник для перстня. То Гусейн, то Ферзали, почтенные его сопутники, один пыхтя, другой кашляя, справа и слева закидывали ему вопросы; он не отвечал, не слышал их; о до того был рассеян, что брызги его плевков летели на черную бороду Гусейна и на розовую Ферзали без извинения; они оба осерчали.

— На адам-дюр бу? — сказал первый, отирая поло лицо. — Что это за человек? Ему говоришь, а он плюет Из какого фарсийского поэта украл он такую рифму, чертов племянник!

— Пох онын башына (грязи бы ему в голову)! — воскликнул другой, стряхивая бородку. — Недаром сказано: если хозяин дома, так одной клички довольно, сейчас отопрет двери; а коли дома нет, и палкой не достучишься. Что даром и толковать, Фетхали, когда здесь пусто!

Но у Фетхали не было тут пусто. Напротив, голова его была полна таких забияк гостей, что за шумом он не мог; расслушать даже голоса разума. В ушах его звенели еще, крики толпы: «он уговорит, как ему не уговорить», а сердце шептало: «Едва ли! Вспомни, Фетхали, как обидел; ты Искендер-бека, и как недавно обидел!». Я расскажу ним, господа, за что и почему между ими стало нелюбие: только, чур, никому ни слова. А то, пожалуй, эти мерзавцы прославят меня решетом: налгут на меня, будто мне нельзя ничего поверить за тайну; а вы сами знаете, что я скромнее мусульманской могилы,[18] — про наши не говорю: они болтают такой вздор эпитафиями, проговариваются так неосторожно, что краснеешь за них. Смотрите ж, господа: между нами!

Искендер-бек, прекрасный, нравственный юноша, родился уже во время владычества русских над Дагестаном, но он всосал к ним ненависть с молоком матери и с речами отца. Отец его был любимцем изгнанного Фетх-Али хана* и упорно сохранял к прежнему владетелю горячую привязанность, доказал свою преданность на словах и на деле, по всей справедливости за многократные возмущения был лишен поместьев и дотлевал в забвении, в опале. Он умер в 1826 году, убитый известием, что персиане, которых нетерпеливо ждал он в Дербент, прогнаны из Кубы; но, умирая, завещал сыну — не служить русским и не дружить дербентцам.

На дербентцев был он зол особенно за то, что они согласились дважды выдать своих ханов в руки врагов. «Потешились мы с Фетх-Али ханом, когда после краткого изгнания воротились с властию и грозою в Дербент,[19] — говаривал он. — Не осталось ни одного хорошенького мальчика, который бы не взят был во дворец, ни одной красавицы, которая бы миновала его ложа или нашего ковра.[20] Наши стали все лавки, наши все сундуки изменников. Бывало, едешь по улице, так все до своего колена лбом кланяются да целуют стремя; а теперь они растолстели, мерзавцы, и хребет у них не сгибается, как у свиньи! Говорил я Фетх-Али хану: «Вырви с корнем это купеческое семя, обруби головы этим торговцам души»; нет, поскупился он, не послушали меня, — и вот за то награда! Сам ест чужой хлеб, пересоленный упреками, а мы, его верные слуги, умираем без куска хлеба».

И он умер, но его поверья, его пристрастия и предрассудки ожили в сыне. Искендер-бек почерпнул их из гораздо чистейшего источника — из сыновней любви, а не из собачьей привычки; из уважения, совершенно бескорыстного, к порядку вещей, давно разрушенному, а не из платы за поддержание настоящих беспорядков; со всем тем его мечты и сожаления о самовластии ханов, о разгульной жизни подвластных им беков, об удалых набегах на соседние земли, — одним словом, о рыцарских временах, когда меткое ружье, лихой конь и отвага могли доставить человеку все, чего жаждала душа его, были чересчур дики. Не зная черной стороны прежнего правления, он не видел хорошей нового. Золото, не боясь более грабежа от спутников хана, пошло в оборот, разрослось сторицею и, наконец, разлило довольство во все классы народа. Русский орел широко покрыл своими крыльями округ Дербента, — и садовник и пахарь, без прежнего страха быть изрубленным горцами у самых ворот, далеко в горы и поле выдвинули свои виноградники и нивы. Безопасная торговля с Русью и с Персиею принесла дешевизну и сделала доступным для самых бедняков те предметы роскоши, что добывались прежде за редкость богачами. Сперва не было у семи домов одного медного котла; теперь у каждой семьи не только посуда и кувшины, но даже мангалы из меди. Сперва для торжественных дней брака во всем городе был один богатый кафтан тонкого сукна, и женихи брали его напрокат, теперь Дербент славится щегольством одежды и почти каждый облит галунами, а собольи шубы не диво. Но всего этого не видал Искендер-бек или не хотел верить, что прежде было иначе. Исключительная гордость его страдала равенством перед законами; возвышение в чины из недворян, по заслугам, а не по роду, считал он личною обидою и, разлученный, таким образом, от русских и татар двумя враждами, заперся в одиночестве добровольно, в небольшом наследственном доме, довольствуясь небольшими доходами с лоскута земли, — и не скучал: он был молод.

Молодость, молодость! Волшебный край жизни! Прелестен ты, когда лежишь впереди, необозримый как надежда, а не назади, как воспоминание; когда развиваешься очам как панорама, а не как обнаженная карта. Зачем не дано человеку способности, как сурку, засыпать на всю зиму настоящего горя, чтобы хоть во сне дышать твоим вешним воздухом, перевкушать прежние радости и, прежним, крепким еще сердцем, выносить бури твои? Напрасно! Ничем не обновить юности, и никогда ее но забыть, и всегда сожалеть — удел наш! Где взять теперь твоей; плавкости характера, твоей неистощимой готовности к слезам и смеху, твоего мимолетного гнева, исчезающего без досады и мести? Огорченный безделкою, утешенный вздором, счастлив до исступления от одного взгляда, одного слова, юноша предается доверчиво, и ему так же предаются доверчиво, так же скоро. Везде находит он отголосок своей любви и дружбе, но, бросая той и другой беззаботно жизнь свою в жертву как перчатку или как платок, он не отдает им счастия жизни. Потеря друга, измена любовницы оглушают его, но гроза рассыпается дождем, и завтра уже его рука трепещет в руке нового друга, кипит бокал за здоровье нового заветного имени. Его связи не вросли еще в сердце и, расторгаясь, не рвут сердца пополам; мысли — ему не думы, и самые думы ему — мечты. Плененный их красотою или величием, он не предчувствует, что эти великаны острят на его сердце топор, сбираясь безжалостно казнить собственных детей или задушить, как Отелло, веру в высокое пуховой подушкою клеветы.

Горсть пшена, чашку воды, немного света и много, много воздуха — вот что нужно было юноше Искендер-беку. Весной, когда весь свет превращался в любовь и в поэзию, он снимал со стены свою длинную драгоценную винтовку, работы славного Гаджи-Мустафы, седлал лихого карабахского коня, сажал на левую руку золотого ястреба, кызыл куш, и скакал по горам и по долам; скакал до усталости, если жажду неги можно назвать усталостью. И потом он бросался в тень на берегу какого-нибудь горного ручья и, под опахалом благоуханного ветра, дремал под его журчанье, покрытое порой звонкою трелью соловья. Музыка ли природы струилась для него мечтами, или мечты осуществлялись ему в цветах и звуках? Не знаю я. Не знаю и того, мечтал ли он или размышлял; но он жил, жил всем своим существом; чего же более?

Зимою же, когда резкий ветер приносил с севера в его решетчатое окно хлопья снегу, он любил прислушиваться к заунывному вою каминной трубы; разлегшись у мангала, любил глядеть на игру раскаленных в нем углей или па причудливый дым своей трубки, в котором мелькали ему и крылья ангелов и рожи злых духов. А между тем воображение сказывало бесконечную свою сказку, величая его героем этой тысячи второй ночи. Он жил в каком-то дивном, безыменном царстве; сражался, дружился с кем-то неведомым, грабил сокровища, увозил красавиц, любил и был любим, тонул в опасностях и в наслажденьях; и потом, когда ночь задергивала над ним брачный свой полог, он не знал наутро, видел ли он все это во сне или мечтал с открытыми глазами. Порой он читал также тетрадку со стихами из лучших фарсийских поэтов и досказывал сердцем непонятный смысл этих сладкозвучных песен. Порой он призывал наемного нукера своего из лезгин и тот напевал ему дикие песни гор под звук бубна, славил набеги своих предков, удальство своих братьев в битве и в охоте, и сердце азиатца разгоралось на кровь, на истребление. Он сверкал очами, он пробовал лезвие кинжала, он восклицал: «Скоро ль удастся мне сразиться?».

И ему скоро удалось это. Кази-мулла осадил Дербент: отважным раздолье открылось кидаться на вылазки. Я каждый раз ходил с татарами, и каждый раз видел Искендер-бека впереди: догнать его было можно, обогнать — никогда. Он, как серна, прыгал между гробовых стоячих плит, — всегдашним полем стычек были кладбища, опоясывающие Дербент, — метко метал смерть из своей винтовки и потом с диким воплем кидался на врагов, махая кинжалом, — и мы, как пожигающая лава, гнали бегущих. Как теперь помню встречу с ним на последней нашей вылазке на кубинскую сторону. Выбив неприятеля из виноградников, мы отступали с успехом, но в беспорядке, как водится у азиатцев. Две срубленные головы воткнуты были на отнятое знамя, одна над другою, и, дербентцы с криками торжества скакали около кровавого трофея. Толпа провалила уже в ворота, но я с немногими, прикрывая отступление, остался у фонтана освежить запекшиеся от зноя, и пыли, и пороху уста. Ядра ревели над нами вслед врагам; их пули чикали о плиты водоема. Я поднял голову: передо мной стоял тезка мой Искендер-бек в одном архалуке, с засученными рукавами, опершись, на винтовку; он был живописен, он был гневно-прекрасен тогда. Уста его роптали укоризны, взгляд с презрением следил дербентцев.

— На кого ты сердишься, Искендер? — спросил я.

— Бездельники, заячьи души, — отвечал он, — они умеют только вперед идти шагом, а чуть назад, то бегут опрометью. Мы там оставили Нефтали.

— Какого Нефтали, Искендер? Не того ли красивого мальчика с крашеными зюльфами, который просил у меня патронов при начале схватки?

— Того самого! Из целого Дербента одного его любил я... Прекрасная душа!.. И он погиб!

— Взят в плен?

— Лег на месте. Храбрый, лучше взрослого, он был безрассуден, как дитя. Погнался за кистью винограда и заплатил за нее головою. В глазах наших лезгины резали ему шею, и я не мог прогнать, не мог умолить товарищей ударить на выручку его тела... Мы бросили его на поругание! Еще раз, последний раз зову! — крикнул он, обращаясь к нескольким татарам. — В ком есть вера и у кого душа не потаскушка, пойдем, отобьем труп товарища, снимем с себя позор предательства!

— Пойдем, — сказал я.

— Пойдем! — сказали еще двое, увлеченных примером.

Пошли.

И мы вышли без боя, хотя убитый лежал далеко в виноградниках, вне крепостных выстрелов. Лезгины никак не надеялись подобной дерзости. Мы тихо вынесли, на плечах своих, обезглавленный, обнаженный труп несчастного и положили у ворот. С воплем, раздирающим душу, упала на него мать; шепот сожаления пробежал по толпе. Искендер-бек стоял, сдвинув брови, но слезы против воли заливали ему глаза. Я подал руку и сказал:

— Жаль, что ты не русский! Он сжал ее и отвечал:

— Я поздравляю тебя только с тем, что ты не татарин. Искендер-бек не годится в придворные шегин-шаха. В пору соловьев, бюльбюль заманы, минуло двадцать лет Искендеру, и тогда только пробились у него усы; и тогда только стал беспокоен сон его, а наяву посетили юношу пламенные грезы. Давно уже замечено, что первые усы, признак мужества, всегда ровесники первым приступам любви. Искендер-бек испытал истину этого на самом себе. С каждым тонким, нежным волоском на верхней губе рождалось в сердце его новое желание — темное, безотчетное, но тем не менее сладостное, носящее цвет и плод на одной ветке, подобно бразильским апельсинам. Мудрено ли же, что усы так нравятся женщинам, когда они вылиты из одной стихии с любовью, когда они вьются от жара неги! Будь я дама, — мне страх бы хотелось побыть дамою, — как могла бы я хладнокровно глядеть на юношу, у которого персиковая кожица на щеках явно доказывает, что его усы только что произведены из пуху, завиты сейчас розовыми пальчиками природы и так резво глядят во все стороны, будто просят: «Пригладьте нас поцелуем!». Да-с, молодые усы — живой мост между двух коралловых ротиков, с молодыми усиками не нужно подписывать внизу письма: «Всегда готовый к услугам»; это будет плеоназм. Не чета они нашим заслуженным усам, подстриженным как наши

надежды и колким, будто эпиграммы Пушкина, обожженным порохом и вином, измятым страстями. Вовсе не чета! Я по крайней мере никогда не дерзаю входить в состязание с такими усиками и, опустивши свои, убираюсь за добра-ума.

В пору соловьев, по нашему стилю — в апреле месяце, Искендер-бек выехал однажды пополевать на перепелов с ястребом. День был прекрасный — настоящий праздник южной весны; жаркий, но без зноя, свежий, но без сырости. Воздух, казалось, напоен был дыханием цветов и пением птичек; он струился вдали, как живой сафир. Яркая зелень волнами лилась и переливалась с холма на холм, а по ним плыли, как расцвеченные флагами яхточки, гранатники с огненными, миндальные деревья с белыми, персиковые с розовыми цветами. Искендер-бек лавировал по этому морю зелени, между этих миленьких созданий, и каждое осыпало его дождем цветочным, будто лаская, будто заманивая в тень. И долго так ездил Искендер из ущелия в ущелие, носился, как безумный, во всю прыть, то на круть горы, то на берег моря, и все чего-то ему недоставало: и мало было ему воздуха целого света, и в первый еще день волновалась грудь его, как покрывало женщины, чуть завидя женщину в покрывале. Бывало, проезжая по узким улицам города, он не подымет глаз на чадру, хоть распахнись она до пояса; а теперь каждый носик и глазок, лукаво проглядывающий из-под складок, бросал его в лед и в уголья. Он сроду не слушал лекций сравнительной анатомии, но с чрезвычайной быстротою уже воссоздавал всю женщину без исключений, а может быть, и без ошибок, по маленькому следку в персидском шалевом чулке, выказывающуюся из-под красных туманов,[21] отороченных позументом. Не знаю, право, удачна ли была в тот день его охота, только ни одна сколько-нибудь статная татарка, на возврате из садов, не ускользнула от его взора: вероятно, он почитал их перепелками. Он пускал чап-чап, то есть марш-марш, своего карабахца, и вдруг осаживал его близ испуганных, и тихо проезжал вперед. Лукавец уж выучился рассматривать всю подноготную, не обращая глаз, чтобы не испугать робости или стыдливости девушек. Но, увы, все лица были закрыты для него, подобно книге семи печатей! Мусульманки страх боятся показывать себя одноземцам, а восемнадцатилетнее воображение с едва пробивающимися усиками любопытнее самой усатой женщины: оно не довольствуется парою ножек, даже самых пророческих… Желания Искендер-бека, не находя образа, в который бы могли уютиться, разлетались в воздух; он пригорюнился и оборотил коня к дому.

Никогда я не миную придорожного фонтана в мусульманских краях без умиления и благодарности. Они выстроены с большими издержками, с немалыми трудами, в безлюдных степях или на безводных распутьях для утоления и омовения прохожих, и выстроены не казною, не обществом частных людей, но всегда кем-нибудь одним для общей пользы — «на помин души», или «по обету», как видно из надписей, врезанных на мраморной доске над бронзовыми трубами. И в ключе свода горит обыкновенно заветный стих корана: «Благотвори и по смерти!». И несколько вековых дерев, посаженных тут рукою веры, как дань раскаяния за злое дело или залог надежды за доброе, расстилают свою прохладную тень усталому путнику. Правда, мусульманин живет для себя, зато он умеет безропотно умирать за веру и, умирая, не думать о себе; не заказывает сорочин и свечей по три пуда, — нет, он завещает часть имения бедным или на вклад в казну училища, всего чаще на постройку водопровода или водоема, потому что вода в жарком климате есть первая необходимость и лучший напиток. В обгорелой от зноя пустыне, на окаленной дороге, вы издали видите гостеприимный памятник, осененный тополями, и спешите к нему с отрадой, и с наслаждением пьете чистую струю, и с признательностью думаете, глядя на эту осязаемую идею примирения с богом и с людьми посредством общей пользы: «Мир праху твоему, блаженство твоей душе, добрый человек! Ты сочетал здесь дань всевышнему и дар твоим ближним!»

У подобного-то фонтана, верстах в двух от города, спустился Искендер на дорогу, и вдруг, — то не была уже мечта, но что-то столько же прелестное, как мечта, кроме ее воздушности, — то была девушка лет шестнадцати, для которой слово *милая*, азиз, казалось, только что вырвалось из юного сердца, а не стариною выдумано. Она умывала лицо, разогревшееся от движения, то плескалась струйкою, то любовалась собою в зеркале водоема, — и ничего не слыхала.

Черные как смоль косы порой закрывали ей все лицо; порой распадались на полуоткрытой груди, которую напрасно замыкала ревнивая цепь золотыми монистами и бляхами; она выглядывала сквозь разрез розовой сорочки из тафты, рвалась проколоть парчу архалука, впившегося, как любовник, в стройный стан. Вообразите ж себе юношу, раскаленного впервые мечтою о женщине и почти не видавшего женщин, а потом судите, что сталось с ним, когда он увидал нечаянно это прелестное личико, озаренное лучом души, и два эти снежные холма, будто две зари, разделенные таинственным сумраком; когда он заметил, как мятежно возникали и опадали они… А между тем золотая смородина пуговиц, унизанных по распашным рукавам, звучала, ударяясь о край водоема; а между тем тонкая белая ткань ее покрывала прельстительно играла около, роскошными складками, то обрисовывая формы тела, то раздуваясь широко. У Искендера занялся дух: он горел и таял как амбра, благоухая; свет улетел из-под ног его; он до того сосредоточился весь в зрение, что не слыхал, как разгоряченный бегун его бросился к водопойке, — ошибка, непростительная кавалеристу: долго ли запалить коня! Главное в том, что всадник, дав поводья невоздержности четвероногого, лишил сам себя рая. Красавица с ужасом увидела жаркую морду и, с криком: «Ай, Искендер-бек!», набросила на лицо покрывало и упорхнула.

Искендер-бек почувствовал всю неприличность своего поведения в отношении к вере и нравам (дербентские красавицы пляшут перед мужчинами и ездят по ночам за город с нукерами только в русской словесности: в действительности — никогда), но почувствовал не ранее как потеряв из виду незнакомку. Она, правда, раза три останавливалась, будто поджидая старуху служанку, которая с ней была, но Искендер не смел повторить своей невинной дерзости и не тронулся с места. Между тем как сердце его, пытая первые крыленки, провожало красавицу, в молодой голове поднялись тревожные мысли… «Аллах, аллах, что скажут про меня и про нее, если нас видели? А как мила!.. Беда ей будет от отца и от матери!.. Чудо что за глазки!.. Пойдут сплетни!.. Как хорошо, что она не румянится: она бы не мылась, если б была намазана. А шейка-то, шейка, что за милочка! Ох уж мне эти дербентцы! Да еще знает меня по имени: верно, ей недаром захотелось узнать мое имя… Так и есть, это две женщины: плакали на могиле и, верно, все видели… А эти два полушара, нежные, белые, полупрозрачные! Я бы очень желал… знать, за что они поссорились; а вдвое того — помирить их поцелуем».

За что они поссорились!..

«Ну, за что ж?»

Вы слишком любопытны, господа. Если вы знаете это, вам напрасно рассказывать, а если не угадываете за что, я отниму у вас прелесть изведания при опыте. Я уверен, что пословица: «много будешь знать, скоро состареешься» выдумана по любовному департаменту. Довольно с вас, что Искендер-бек поехал домой влюбленный вровень с краями и ехал впервые как вор, оглядываясь и трепеща каждого взгляда, каждого слова, брошенного прохожими невзначай. Вы напрасно, впрочем, подумаете, что это было раскаяние: у новопожалованного любовника кипела совсем другая забота. «Если это пройдет без следов — я могу найти случай опять с нею встретиться, — думал он, — если ж неравно встреча моя пойдет в огласку, ее запрячут и закутают так, что в три года не дороешься!». И бедненький новичок трепетал и таял. Недаром наказывал ему отец: «Искендер, помни, что у розана цвет на час, а шипы навечно. Ласкай женщин, но не люби их, если не хочешь из властелина сделаться рабом. Поверь мне, любовь сладка только в песнях; в правде начало ее — страх, средина — грех, а конец — раскаяние. Смотри не заглядывайся на чужих жен и не слушай свою собственную!».

С тех пор как изобретены советы, конечно, этот был в роде своем не последний; зато — надобно отдать честь Искендер-беку — и позабыл он его не ранее как через четверть часа, хотя признано всеми подверженными советам, что весьма полезно пускать их мимо ушей и только в случае неудачи помнить одну минуту. Молодой татарин любил и боялся, и никак не замечал, что над ним совершается отцовское предсказание.

Днем моложе, как покойно спал наш юноша! Ночь для него была кратка и освежающа, словно глоток шербета. А теперь? Посмотрите на него теперь: он мечется, он бредит, он грызет пуховую подушку; прозрачная бязь[22] душит его хуже савана, ему кажется, будто целый эскадрон черных гусар скачет по нем, хотя я заподлинно знаю, что, несмотря на необычайную производительность дагестанского климата, по телу Искендер-бека прыгали тогда вовсе не подозрительные животные, а просто жгучие искры желаний. Ночь эта, по самому верному его счислению, продолжалась ровно семь ночей с полночью, и он, истомленный снами и бессонницею, с радостью протянул руку первому лучу, запавшему в его окно, как руке давно невиданного друга. И отчего все это? Оттого, что шалуну случаю угодно было показать ему одно прелестное личико и потом забросить это личико в неизвестность, в тайну, в запрещение; оттого, что природе забавно вселять в нас страсть ко всему неясному, таинственному и заветному; одним словом и наконец оттого, что он был *он*, а она *она*. Но кто ж она? Искендер вскочил уколотый в сердце этим вопросом. *Она*? Какое дурное слово *она*! Любовь не любит местоимений, по крайней мере дагестанская любовь: ей нужна существительность и собственность, ей нужно обладание выше всего. Искендер-бек в тот же миг увенчал свою возлюбленную завоевательным местоимением и временным именем. «Я узнаю, как зовут *мою* Лейлу*, — сказал он, опоясывая кинжал, — хоть умру, да узнаю!». Миг после он стоял на перекрестке.

Бог построил горы, человек — города: так по крайней мере я думал, сравнивая щепетильность нашего зодчества с неподражаемым величием зодчества природы. Дербентцы судят свой город с гораздо большею справедливостью: они говорят, что их город построен чертом. Геркулес персидского баснословия, Рустем*, так отзубрил однажды бока своему завистнику, шайтану, что тот запросил: «Аман, Аман!». К Рустему за час перед этим поступило прошение от поселян несчастной деревнишки, где сидит теперь Дербент, защитить их от горных набегов. Рустем был великан, не только телом, но и душою, и готовый загребать жар чужими руками для всякого бедняка — блистательная черта героев, великодушных от безделья и щедрых на все, что ничего им не стоит. «Кстати, — сказал Рустем черту, — ведь мне на тебе не ездить; смотри ж, собачий сын, чтобы к утру ты мне выстроил тут город со стенами и с башнями. Да станет Дербент!»

И стал Дербент. Черт строил впотемках и торопливо; месил в своих лапах камни, дробил их, плевал на них, бросал дома один на другой, отбивал улицы по хвосту; к рассвету Дербент поднялся на ноги, но заря ахнула от изумления, взглянувши на него впервые: это был поток камней и грязи с трещинами вместо улиц, которых сам почтенный строитель не распутал бы среди белого дня. Все

дома родились слепыми, все их черепы были расплюснуты адскою пятою, все они пищали от тесноты, ущемленные между двух высоких, длинных-предлинных стен. Все вместе походило, одним словом, на огромного удава, который под чешуею домов растянулся с горы на солнышке и поднял свою зубчатую голову крепостью Нарын,[23] а хвостом играет в Каспийском море. Затейник хотел и тут увековечить образ животного своего герба — змея-искусителя. Надул первую чету и до сих пор этим хвалится. «От людей, — говорит он, — от охотников и охотниц соблазняться нет отбоя: да у кого ж из этих бедняков есть рай в промен за яблоко?.. Ей-ей, разоримся, если за нынешних людей платить и наличною клюквой! Грехи и грешники ужасно подешевели».

Но, должно быть, лукавый что-нибудь да оставил в Дербенте из своей прельстительности. Сколько раз и сколько завоевателей дрались за него! Сколько молодцов положили там свои души за его красавиц или золото! Обольстил этот змей и Искендер-бека. Ходит он, бродит по его излучистым закоулкам; заглядывает во все ворота, чуть зевнут они; хочет пробуравить глазами грязные стены домов, сорвать взглядами чадру с каждой прохожей. Напрасно! Татары говорят: «девушка в окне все равно что яблоня у мельницы» и закладывают камнями даже кошачьи лазейки. Коран твердит: «недобро мужчине смотреть на женское лицо: взгляды — семена греха!»; и завистливое покрывало скрывает каждую, от головы до самых пят. *Ее* так же трудно узнать в тысяче белых покрывал, как мелькнувшую волну между синих волн Каспия. От кого узнать ее имя? Кто покажет дом ее? Томимый любопытством сердца, он вмешался в толпу, влекомую на площадь барабанам; но там вместо бесценной своей узнал только цену мяса. Долго прислушивался к крику перепродавца ветошей на базаре: «Купите, купите, господа!.. Славная чуха! Узорочные женские шалвары! Десять абазов и три бисты (гроша)! Три бисты с десятью абазами; кто больше? Право, за отъездом в Кабиристан (в страну гробов) продаются они... Возьмите, ага, шалвары!»

— Бош зат (пустая вещь)! — сказал Искендер-бек и пошел далее.

Искендер-бек терпеть не мог пустых вещей.

В рассеянности подошел он к армянину, торгующему балыком, а Лейла неотступно танцевала перед его глазами... «Как зовут?» — спросил он, нежно схвативши за хвостик одну рыбку: он думал, что сжимает ножку красавицы.

— Шамая,[24] — отвечал хладнокровный армянин.

Без мыслей блуждал он по базару, грязному даже среди лета, но и среди лета прохладному. Солнце едва проникало туда, и купцы, сидя на откидной двери своих лавочек, набитых всякою дрянью и всякою роскошью, однозвучно бросали ему в оба уха свое *что угодно вашей душе*? «Ах, если б вы знали, чего хочет моя душа! — думал Искендер-бек. — Если б могли продать или подарить мне то! Я бы отдал все, что имею, и закабалил себя на вечную службу вместо кабына (вена); да счастье не дарят и не покупают». И он пришел в открытые ряды, где, по восточному обычаю, каждая лавка — вместе и рукодельня, где поет тетива шерстобоя, визжит пила оружейника, играет шило чеботаря и рядом с ткацким станом бренчит молоточек кубичинца,[25] насекающего дивные арабески на кинжалах. Искендер-бек остановился у прилавка золотых дел мастера, старика Джафара.

— Аллах версын кемак (бог да поможет тебе)! — сказал он ему.

— Бог да заплатит тебе счастьем! — отвечал тот, не переставая что-то кропать обломком пилочки; и бог заплатил ему счастьем нежданно. В чашечке перед стариком, в куче переломанных украшений, лежала серьга незнакомки — та самая серьга, которая обличила ему вчера премиленькое, премаленькое ушко. В этом не сомневался он и не ошибался: он бы узнал ее в целом четверике драгоценностей... Сердце его билось, будто он прочел начальную букву заветного имени, будто увидал розовую, манящую его ручку. Он долго не смел сказать слова, долго не умел с чего начать, — так дрожал ого голос, так перемешаны были все мысли. Любовь, наконец, подсказала ему военную хитрость: он будто без внимания просыпал сквозь пальцы пуговки и колечки роковой чаши и вынул ненароком серьгу незнакомки, поиграл ею на свет возле самого носа Джафара и вдруг обронил на мостовую. Она давно уже щекотала хитреца за рукавом, а он все шарил но полу, наконец поклонился и жалобным голосом произнес:

— Потерял!

Огромные очки спрыгнули долой с носа Джафара, — так сильно вздуло опасение его ноздри.

— Аллах! я аллах! — вскричал он. — Что ты наделал, Искендер-бек? Да теперь старая лиса Мир-Гаджи-Фетхали меня из белого света в три шеи вытолкает! Шутка ли, эмалевую серьгу!

— Душа моя, Джафар, не смейся ты над моими усами: статочное ли дело, чтобы такой степенный человек, как Мир-Гаджи-Фетхали, носил в ухе женскую серьгу с подвесками!

— Да кто тебе говорит, что он сам ее носит? Нет и жены у старого скряги; он находит, что самая дешевая жена не стоит своей цены: такой товар и есть и одеться просит, и наскучит — с рук не сбудешь и на стенку не повесишь, как комуз,[26] сыгравши песню. Да у него ведь под опекой есть невеста-племянница. Брат его, Шафи, уж лет десять тому бежал в Персию и оставил больную жену с дочерью на божью волю... Кичкене едва ли было тогда лет шесть... Хурды-мурды,[27] правда, немало осталось...

— Так ее до сих пор зовут Кичкене?[28] — спросил Искендер-бек, усмехаясь.

А между тем имя Кичкене показывалось ему во сто раз сладкозвучнее Лейлы. Надо признаться, татары плохие знатоки эвфонии.

— Я думаю, однако ж, эта малютка теперь порядочно подросла?

— Сам ты знаешь нашу землю, Искендер-бек: годовой ребенок двух лет становится, пятилетний десятилетним глядит. А девушки — что твоя виноградная лоза! Не успеет с земли подняться, чуть привили, смотришь — гроздок налился. Такая, говорит дядя, стала Кичкене красавица да резвушка, что аллах упаси! Вчера одну серьгу ни с того ни с этого из уха вырвала; да и ты на беду…

Искендер-бек опустил в руку словоохотного Джафара серьгу Кичкене — и был таков. Чего было ему слушать более? Теперь он узнал все, что хотел узнать, — род и племя своей красавицы, имя и жилище ее… Он побежал опрометью осмотреть клетку райской пери, или, лучше сказать, сундук, в котором заперто было его сокровище: сундук этот стоял, прислонившись к городской стене; на улицу выпустил он только надворную стенку да чернавку трубу чурешни,[29] — и те царапались своими угловатыми камнями и гвоздистыми воротами. Не голос милой услыхал Искендер-бек изнутри, а сердитое ворчанье собаки; он грустно прошел мимо и с досадою бросился дома на ковер. В голове его ходил жернов, а в сердце разгорался пожар, в котором, как на всех пожарах в свете, спасалась дрянь, а драгоценное летело в огонь. Впрочем, одиночество, в котором жил наш юноша, если не дало ему лоску общежительных приличий, зато сохранило душу от разврата общества. Предвечная совесть начертала свои законы на юном сердце симпатическими чернилами: чем сильнее разогревалось оно страстью, тем явственнее горели заветы. Кончилось тем, что все его проселочные желания вышли на большую дорогу, взялись за руки и побежали вперед. Коран велит, а сердце упрашивает жениться как можно ранее. Искендер-бек решился жениться; и почему же нет? Чем бы он не жених какой угодно ханум? Он посмотрелся в зеркальце — и улыбнулся; он высыпал на изголовье заветную кубышку — и ободрился… Он уж видел в каждой монете взор своей Кичкене, разменивал каждый червонец на жаркие поцелуи. Он целовал их, прижимал их к сердцу. «Деньги — все!» — думал он. Неопытный! Он еще не знал, что на золото в нравственной торговле можно купить только мишуру, заглавие вещи, а не самую вещь, личину, а не лицо. Юноша, он считал все легким и возможным; он думал, что и в людях, как в нем самом, все враждебные чувства расступятся для приязни; что старость так же забывчива на старое, как молодость беззаботна о будущем. «Кичкене, ты будешь моя, непременно моя! —восклицал он. — С какою радостью отдам за тебя все, что добывал с такими трудами! С каким восторгом кинусь в первый раз тебе на шейку, вздохну на твоей груди!.. И ты будешь любить меня, Кичкене. Не правда ли, милочка, ты будешь? Я стану наряжать, лелеять, нежить тебя; отдам душу за твою душечку!..»

Искендер-бек безумствовал. Он хотел получить в свою власть Кичкене; страстно, как мусульманин, который в любви не знает прелюдий; хотел получить скоро, как юноша; а ведь одни только юноши имеют дар все делать скоро и хорошо, и если б Искендерово счастие зависело от женщин, дело бы решилось вмиг в его пользу. Женщины так любят порывы страсти, ими внушенной! Любят гораздо большие глупости, для них сделанные, нежели преумные вещи, об них написанные или им сказанные. Это естественно: чувство для них, созданий раздражительных, сильнее, выше, увлекательнее мысли. Жар на них более имеет влияния, чем свет. Будь юноша пылок хоть па минуту, его подерут за ушко, поставят на колени, скажут: «какой вы дитя!» и все простят, все позволят. И вот из этого премилого «дитяти» выходит преизбалованное дитя; разберите, кто виноват: маменьки или воспитанницы? И в первый раз почувствовал Искендер необходимость в связях; а он был отбитое звено в обществе, в которое кинула его судьба. Кстати, он вспомнил, что у него есть какая-то старушка тетка, — я уверен, что все тетушки земного мира выдуманы и назначены самой природою в свахи и вестоноши, — она могла бы пособить его горю, посоветовать ему на успех. Он запасся куском клетчатой дораи[30] на чадру, двумя часами терпения на случай пеней и отправился к доброй старухе. Он воротился от ней чуть не лётом от радости: тетушка обещала ему употребить все невинные хитрости, позволенные мусульманскими нравами, для сближения свадьбы. «Приходи ко мне завтра за час до азана,[31] — сказала она, провожая племянничка до дверей, — я зазову к себе Кичкене красить ресницы; ведь лучше меня никто в целом Дербенте не смешает краски и ровней не выведет кружков. Я тебя, шалуна, спрячу за этою занавескою в простенок. Смотри ж только будь умен: но дохни, не шевелись, и потом никому даже глазком не мигни — был не был».

Не верьте, пожалуйста, господам путешественникам по Востоку, будто все женитьбы мусульман совершаются так, что будущие супруги не видят и не знают друг друга. Это справедливо только в отношении к ханам, богатым купцам, людям власти или роскоши, которые на слух сватают или покупают себе жен. Средний класс народа и бедняки живут слишком тесно друг с другом, чтобы не знать взаимных отношений и даже соседних лиц. Крепко заперты их ворота, но плоские кровли открыты для прохожих, и в городах, где все женщины проводят жизнь на двориках или под навесом, а домы, сходя ступенями вниз, заглядывают друг другу в сердце, конечно, можно найти извинительный случай поглядеть на красавиц. Слова нет, это считается великою обидою, большим стыдом, но любопытство хитро на выдумки, и бывают часы, в которые даже мусульмане и мусульманки забывают о кинжале. Девушки до одиннадцати лет ходят с открытым лицом, и потому предусмотрительные женихи могут замечать будущих невест по колосу. Потом, есть всегда услужливые бабушки и тетушки, которые украдкою покажут «желаемую особу» желателю. И он скажет потом: «Чудо, а не девушка!

Бела как хлопчатая бумага, стройна как серна. Голос — песня соловьиная; пойдет — пава, да и только!». О душе он не заботится: в Несомненной книге сказано, что у женщин нет души. Об уме еще меньше: ум мусульманки состоит в шитье и в стряпанье. Если она умеет разнообразить пловы, альмы-дольмы[32] и все супружеские сладости, начиная с пирожков до ласканий, она жемчужина всех жен и может надеяться, что муж долго позволит ей угождать без смены. Многоженство, впрочем, кроме самых богачей, редко до невероятности. «Я аллах! и одной жены слишком!» — сказал мне Аслан-хан. «О, конечно, — возразил я, — но любовницы?» Он засмеялся.

И дело любви кончено. Начинается дело расчетов. Тесть просит много кабину за честь... Зять сбавляет, думая про себя о красоте. Наконец торг кончился: бьют по рукам. Часть кабину по условию отдают вперед, и на эти деньги снаряжают приданое; остается сводить невесту с торжеством в баню, и на другой день к вечеру, когда все пожитки ее перенесены с музыкою в дом жениха, ее сажают на осла (пророческая выдумка) и под пологом везут в новое жилище, с кликами, с бубнами, с пальбою из ружей. Назавтра она уже супруга. Нет ни обручанья, ни венчанья. Мулла прочел молитву над условием брака: остальное в воле аллаха и мужа.

Вся эта перспектива будущего блаженства спилась Искендер-беку в очаровательных цветах с местными подробностями. Еще на темной заре поднялся он, а за два часа ранее полудня сидел уже у тетки за сундуком. При малейшем шорохе его бросало в лихорадку. И, наконец, послышался лепет башмаков по плитам дворика: две девушки, хохоча между собою, взбежали на айван, бросили обувь у ковра и с приветами подсели против дверей к старухе, Адже-Ханум. То была Кичкене с одною из своих подруг. Покрывала обеих упали долой.

Не знаю, по каким законам акустики каждый звук голоса Кичкене отдавался в сердце Искендер-бека, только оно во все время посещения не переставало звенеть словно колокольчик. Когда же тетка его вывела тонкую сурмяную черту по ресницам красавицы и большие черные глаза ее засверкали на воле, ему показалось, что два пистолетных дула брызнули в грудь его молнию. Сама старуха опустила кисть и долго любовалась своею гостьею; потом поцеловала ее в стыдливо опущенные очи и сказала:

— Скоро ли, моя милая Кичкене, я разрисую тебя под песни подружек, в бане? У тебя такие миленькие глазки: дай бог, чтобы они каждый вечер замыкались поцелуем и ни в одно утро не отворялись слезами!

Кичкене с негою во взоре обняла старушку: Искендер-беку послышалось, что она даже вздохнула; я не слыхал, я не уверю в этом.

— Дядюшка Фетхали говорит, что я еще слишком молода, — примолвила она почти грустно.

— А что говорит твое сердечко, малютка моя? — возразила смеючись Аджа-Ханум.

Кичкене резко схватила бубен, висевший на стене, и, колебля его звонки между расцвеченными хной пальчиками, вместо ответа пропела известную песню — «Пенд-жарая гюн тюшты»:

Для чего ты, луч востока,
Рано в сень мою запал?
Для чего ты стрелы ока
В грудь мне, юноша, послал?

Светит взор твой — не дремлю я;
Луч блеснул — и сон мой прочь.
Так, сгорая и тоскуя,
Провожу я день и ночь!

У меня ли бархат — ложе,
Изголовье — белый пух,
Сердце — жар; и для кого же,
Для кого, бесценный друг?

И она покраснела до плеч, будто промолвилась тайною задушевною, потом захохотала как дитя, уронила бубен, прижатый доселе накрест сложенными на груди руками и упала в объятия своей подруги. Потом обе они смеялись от души, но об чем? Я думаю, о том именно, что тут нечему было смеяться; может быть, тому, что каждая из них думала о разном и каждая видела ошибку подруги.

Но старушка была догадлива и хотела кой для кого превратить эту догадку в уверенность.

— О, ты мой гюл ииси (ты мой запах розы)! — сказала она, играя кольцами на мизинце Кичкени. — Если б мой племянник Искендер-бек услыхал хоть за стеной твою песню, он бы разбил стену грудью, чтобы увидать певицу; а если б увидал, то похитил бы тебя, как лев серну.

Хрустальный кувшин с розовою водою слетел в этот миг с сундука и разбился вдребезги. Хозяйка и гостья побледнели, обе от страха, обе от разного страха.

— Бу надан хабер-дюр (откуда этот слух)? — спросила Кичкене трепетным голосом.

— Упал сверху, — отвечала старуха, притворяясь, будто не понимает вопроса. — Уж эта мне черная кошка!

— А я и пестрых кошек терпеть не могу, — сказала Кичкене с сердцем, — они везде со своим хвостом суются да мяукают по всем кровлям на худое.[33] Саг олсун (будь невредима), Аджа-Ханум! Пойдем, милая Аспет. Маменька меня на часок отпустила, а вот уж мулла кричит.

Кичкене холодно поцеловала хозяйку, но та, провожая гостей до ворот, шепнула на ухо:

— Ты напрасно сердишься, Кичкене: не беды, а цветы я хочу тебе на голову. Для меня дорого твое счастье, как золотая нитка, а есть человек, который бы свил душу свою с этою ниткою, и только я да аллах вдвоем про то знаем!

Кичкене раскрыла очи от изумления, от любопытства, но дверь захлопнулась таинственно, и только гром засова был ей ответом.

Искендер-бек чуть не задушил добрую тетку в объятиях, когда та журила его, что не мог он высидеть смирно в своей обсерватории.

— Насыпал бы пеплу на мою бедную головушку, если б они догадались, отчего разбился и разлился кувшин!

— Мог ли я не вздрогнуть, когда у меня сердце чуть не расторглось, чуть не пролилось речью, когда я увидел эти лилии и розы на щеках Кичкени при моем имени? Я хотел сорвать их устами: кто сеет, тому должно и пожинать.

— То-то и беда наша, что мы в черном саду сеем.

— Купи же мне этот сад, Аджа-Ханум: не дай умереть, как соловью, на шипах этой розы. Высватай мне Кичкеню, и ты узнаешь, что я не только влюблен, но и благодарен. Я куплю тебе лучшую буйволицу изо всего Дагестана.

На другой день Искендер-бек получил ответ от опекуна Кичкени, Мир-Гаджи-Фетхали-Исмаил-оглы: он был полный господин ее судьбины, потому что больная мать не имела никакой воли. «Скажите от меня Искендер-беку, — наказывал он Адже-Ханум, — что я живо помню отца ого, помню и то, что долги отца платят дети до третьего колона. Старик был буйный человек и назвал меня однажды сыном позора в глазах всего народа. Я не успел взять с него крови за это, потому что русская власть придавила тогда наши обычаи широкой полой своей; я не схоронил с ним вместе моей обиды, не жег его гроба. Но разве я собака, чтобы ластиться к тому, кто бьет меня? Да, правду сказать, хоть бы между нами не было не только лезвия, даже соломинки, что за находка мне, ага-миру, потомку пророка, залезать в родню к этому беку? В Дербенте семьдесят беков, ага-миров только пять, и я, конечно, из них не последний. И что поешь ты мне о кабине? На кабин его станет; а потом чем будет он жить с моею племянницею? Где у него родня, которая бы могла помочь ему в нужде, через которую и мне бы везде дали почетное место? Сколько вороньих яиц получает он доходу с дома? Много ли продает крапивы с поля? Голыш он, голыш науличный! Скажи ты ему наотрез — нет, и сто раз — нет. Я не принимаю к себе в родство молокососов, у которых голова и киса так пусты, что дунь — улетят. Саг олсун!».

Предоставляю судить всякому, какое бешенство обуяло Искендер-бека, когда ему слово в слово был передан насмешливый отказ. Наконец пена ярости скипела, и он затаил глубоко в сердце обманутую страсть свою и голодную ненависть. Он был татарин.

IV

Янан ерден, чихар тютюн.
С места, где горит, всегда дым подымается.

Пословица

Теперь вы знаете отношения Мир-Гаджи-Фетхали к Искендер-беку и не подивитесь, конечно, что он с большою неохотою, не сказать ли — с робостью, принялся стучать в его дубовые ворота. Это не был наглый стук заимодавца, не частые повелительные удары палкою комендантского есаула,[34] или чауша, вестника приказа явиться в диван или наряда ехать гонцом куда-нибудь. Не походил он на бранчивый стук ревнивого мужа по возврате с базара или гордые колотушки отца, не ожидающие ни замедления ни прекословия; одним словом, на все звуки, имеющие свойство разрывтравы, от которых замки распадаются, как соль, и половинки раскидываются настежь; нет, это был стук, средний между гордостью и лестью, между извинением и просьбою, учтивый мягкостью тона, и многозначительный от расстановки.

Искендер-бек был не женат и не богат, и потому двери его растворялись очень скоро, без обычных мусульманских вопросов — кто там, что надобно; и растворялись наотпашь, а не чуть-чуть, из страха, чтобы гость не увидал его жены или сундука. Искендер-бек принимал гостей не на улице, как это большею частию водится у людей семейных, а прямо в доме, и просто в заветной своей комнате. Ему нечем было соблазнять воров сердец и воров денег; замки и подушки его не боялись чужого прикосновения.

— Буюрун, эфендиляр (милости просим, господа)! — раздалось из дому, и двери распахнулись приветно.

Искендер-бек сидел на пороге и покуривал коротенькую трубочку. Он наблюдал, как холил лезгин, нукер, его коня. Не встал, а вскочил он, завидя Мир-Гаджи-Фетхали в голове гостей своих… Молодая кровь хлынула в лицо. Но он быстро подавил и негодование и любопытство свое; он учтиво положил руку на сердце и, с легким склонением головы, просил пришедших в комнаты. Когда они уселись на ковры по родам, оправили чинно полы платья над поджатыми калачиком ногами, огладили бороды с восточною важностью и разменялись селямами да вопросами о здоровье родных и домашних, о состоянии благовонных мозгов и о прочем, начались сперва вздорные разговоры, околичнословия и предисловия, первые размахи пращи, назначенной ринуть камень. Дагестанские горожане, народ необыкновенно церемонный и красноглаголивый, — достойные подражатели персиян, которых именем и родством они очень гордятся. Там всякая глиняная голова величает себя золотою, кызиль-баш. Бегать они умеют только от неприятеля и по любят ветрености ни в речах, ни в приемах: я упорен, что для этого не хотят они строить и ветряных мельниц. Наконец Мир-Гаджи-Фетхали расступился речью о бедствиях, грозящих жатвам дербентцев. Не раз обращался он к свидетельству своих товарищей, которые в самом деле составляли приличный пролог и эпилог его картинам, — толстый и румяный Гусейн как настоящее довольство, сухопарый Ферзали как будущий голод. Видно было, однако ж, что засуха подействовала и на красноречие оратора: слова сыпались из его рта как из переспелого колоса, по завялые семена падали на каменную почву. Искендер-бек был, или казался, равнодушным, и только порой столбом вырывающийся из ноздрей его дым доказывал, не в пользу оратора, что в груди его что-то кипело. Мир-Гаджи-Фетхали заключил восклицаньем к пейгамбару Али, «пророку» шиитов: «Горе, горе Дербенту!».

— Маалюм-дюр (конечно)! — произнес Искендер-бек.

— Хальбетте-дюр (непременно), — подхватил Гусейн.

— Шекк-сюс-дюр (без сомнения)! — прохрипел Ферзали.

И потом минута молчания.

И потом Искендер-бек с холодною учтивостью спросил, какую связь имеет засуха с его недостойною особою.

Он не мог дослушать до конца изложения, приглашения и назначения своего на подвиг водоноса.

— Мехтель зат (удивительная вещь)! — произнес он сердито. — Дербентцы не удостоивали меня до сих пор поклоном, не только добрым словом, и вдруг навешивают на меня заслугу, которой я не стою и не желаю. Зачем бы я, позвольте узнать, просил у аллаха дождя? Я очень рад, напротив, что моя кровля не течет теперь, что на небе нет туманов, а на улицах грязи. Вы смеялись, что я не сажаю своей марены: с чего же я стану плакать о вашей? Вы доносили, клеветали на отца моего; обобрали, гнали его, порочили и презирали меня, а теперь хотите, чтобы я служил вам, трудился за вас, пытал для вас милосердие божие, может быть на позор моей доброй славы. Ну есть ли какая-нибудь справедливость требовать этого? Есть ли какое право ожидать? Да и не в насмешку ли мне выбрали вы почтенного и высокостепенного Мир-Гаджи-Фетхали-Исмаил-оглы векилем, поверенным ваших озарительно мудрых выдумок? Впрочем, верблюда не вьючат, когда он на ногах; вьючат, когда поставят на колена: у меня с Мир-Гаджи-Фетхали особенные счеты; извините, господа, мы выйдем на минуту потолковать с ним, к сторонке!

И он дал рукою пригласительный знак Мир-Гаджи-Фетхали; и Мир-Гаджи-Фетхали, у которого лицо вытянулось длиннее осенней ночи, встал с такою улыбкою, будто она хотела укусить; оба вышли на галерею.

Должно думать, язык у старой лисы был точно обмакнут в мед или волшебство, в джадуллух, потому что, не прошло получаса, оба недруга вошли в комнату лучезарные и миловидные, ни дать ни взять как персидский орден Льва и Солнца, тем сходнее, что тегеранские живописцы изображают обыкновенно льва бородатым козлом, а солнце — червонцем.

— Эфендиляр! — произнес Искендер-бек, обращаясь к посланцам, — я имел свои причины не соглашаться на выбор дербентских жителей, но почтенный Мир-Гаджи-Фетхали, да сохранит его аллах в своей милости, разжалобил меня над бедами скудного народа, убедил, упросил испытать последнего, верного, священного средства, которое вы предлагаете, — принести снегу с Шах-дага и вылить его в море. Конечно, все в воле аллаха и в заступлении пророка, но, если теплая, чистая молитва может смягчить сердце всевышнего, я дерзаю думать, что облака развернут сжатую руку свою и дождь прольется. Молитесь, я буду трудиться. Я еду в эту же ночь: время дорого.

Приветы благодарности посыпались, туфли зашаркали. Искендер-бек остался один, глаз на глаз с своею душою. «Право, мне пришлось краснеть, — думал он, — перед этим Мир-Гаджи-Фетхали: я знаю, что он терпеть не может меня, а для общей пользы помирился со мной, выдает за меня свою племянницу… Абур адам (честнейший человек)!»

— Не человек — душа этот Искендер, — говорили промеж собой беки, — крепко сердит и на дербентцев и на Фетхали, а как брызнули на него слезами бедных — растаял!

Народ, обрадованный вестью о согласии молодого бека, запел и заплясал. Мир-Гаджи-Фетхали чуть не закинули с благодарности на небо. Похвалам добродетели Искендера не было конца.

А Фетхали смеялся в рукав. «Слово не заклад, — говорил он сам себе, — за полу не потянет. Машаллах, я не дурак! Валлахи'ль-азим, билляхи'ль-керим, не дурак! Я бы захлебнулся позором, если б

Искендер-бек отказал мне. Сказали бы — он мыльный пузырь на весах уважения, он переломленного гроша не стоит! Что ж делать! Съел грязи — ударил рукой в руку этому гарам-заде (бездельнику); зато и завернул же я ему словцо в условие: *если счастливо кончишь поход свой*... Поглядим, посмотрим!»

А Искендер-бек с радости целовал своего коня, приговаривая:

— Дураки они, дураки, воображают, что я для их пшеницы отдаю йот свой! За такую красоточку я не пожалел бы и крови. Эй, Ибрагим, задавай ячмень гнедому!

Скольких людей заклеймили бы мы стыдом, вместо того чтоб наряжать в похвалы, если б узнали, на какой закваске пекут они свои добрые дела! Но провидение — великий химик: оно кипятит и очищает в горниле своем все частные замыслы, все расчеты, для того чтобы отлить из них общее благо в прекрасную форму.

V

Насиб олсун!
Да свершится судьба!
Надпись на сабле

Куда, подумаешь, прекрасная вещица — нос! Да и преполезная какая! А ведь никто до сих пор не вздумал поднести ему ни похвальной оды, ни стихов поздравительных, ни даже какой-нибудь журнальной статейки хоть бы инвалидною прозою*! Чего-то люди не выдумали для глаз! И песни-то, и комплименты, и очки, и калейдоскопы, и картины-то, и гармонику из цветов. Уши они увесили серьгами, угощают Гайденовым хаосом, Робертом Дьяволом*, Фра-Дьяволом* и всеми сладкозвучными чертенятами музыки. Про лакомку-рот и говорить нечего: люди готовы бы жарить для него не только райских птиц, да самих чертей; скормить ему земной шар с подливкою знаменитого Карема*. А что выдумали они для носа, позвольте спросить, для почтеннейшего носа? Ничего! Положительно ничего, кроме розового масла и нюхательного табаку, которыми развращают они носовую нравственность многих и казнят обоняние остальных. Неблагодарно это, господа, как вы хотите: неблагодарно! Он ли не служит вам верою и правдою? Глаза спят, рот смыкается иногда прежде пробития зори, а нос бессменный часовой: он всегда хранит ваш покой или ваше здоровье. Он вечно в авангарде. Испортятся глаза — его седлают очками. Нашалили руки — ему достаются щелчки. Ноги споткнулись, а он разбит! Господи, воля твоя... за все про все бедный нос в ответе, и он все переносит с христианским терпением; разве осмелится иногда храпнуть: роптать и не подумает.

Ну, да забудем мы, что его преискусно изобрела природа, как бы разговорную трубу, для усиления нашего голоса, для придания ему разнозвучия и приятности. Умолчим, что этот духовой инструмент служит также и орудием всасывания благоуханий природы, проводником и докладчиком души цветов душе нашей. Откинем пользу его, возьмем одну эстетическую сторону, красоту, — и кто против носа, кто против величия поенного? Кедр ливанский, он попирает стопою мураву усов и гордо раскидывается бровями. Под ним и окрест его цветут улыбки, на нем сидит орел, — дума. И как величаво вздымается он к облакам, как бесстрашно кидается вперед, как пророчески помавает ноздрями — будто вдыхает уже ветер бессмертия. Нет, не верю, чтоб нос предназначен был судьбой только для табакерки или стклянoчки с духами... Не хочу, не могу верить!.. Я убежден, что, при всеобщей скачке к усовершенствованию, нос никак не будет назади!.. Для него найдут обширнее круг деятельности, благороднее нынешней роли.

И если вы хотите полюбоваться на носы, во всей силе их растительности, в полном цвету их красоты, возьмите скорей подорожную с чином коллежского асессора и поезжайте в Грузию. Но я предсказываю тяжкий удар вашему самолюбию, если вы из Европы, из страны выродившихся людей, задумаете привезти в Грузию нос на славу, на диковину. Пускай объявите вы у тифлисского шлагбаума, в числе ваших примет, нос Шиллера или Каракаллы*: суета сует! На первой площадке вы убедитесь уже, что все римские и немецкие носы должны, при встрече с грузинскими, закопаться со стыда в землю. И что там за носы в самом деле, что за чудесные носы! Осанистые, высокие, колесом, а сами так и сияют, так и рдеют; ну, вот кажется, пальцем тронь — брызнут кахетинским. Надо вам сказать, что в Грузии, по закону царя Вахтанга VI*, все материи меряются не аршинами и не локтями, а носами со штемпелем. Там говорят: «я купила бархату семь носов и три четверти», или: «куда как вздорожал канаус, за нос просят два абаза». Многие дамы находят, что эта мера гораздо выгоднее европейской.

Да и в Дагестане, нечего бога гневить, хоть редко, а попадаются такие носы, что ни один европейский nasifex, или ринопласт, то есть носостроитель, не посмеет без стропил выкроить. Не дальше искать, у дербентского бека Гаджи-Юсуфа, да укрепит аллах его плечи, такой ветрорез, что, конечно, сделал бы честь любому носорогу. Нельзя мимо пройти без страха и умиления; так, кажется, и рухнет этот эрратический[35] утес на ноги! Зато под его тенью могли бы спать три человека. Должно полагать такой нос был в большом уважении между всеми правоверными носами, потому что дербентцы вы-

брали хозяина его в проводники Искендер-бека; других достоинств, по крайней мере мною, за ним не замечено. Правду сказать, Юсуф, побывав при каком-то своем родственнике в Мекке, столько рассказывал чудес про все, что видел и делал, что между ротозеями, на базаре, слыл по крайней мере за льва пустыни. «Билян адам-дюр, гаджи хавай де-гюль (опытный человек, недаром путешествовал)», — говорили усы и бородки, когда тот без милосердия рубил языком головы кровопийцам, железоедам, разбойникам, кан-ичан, дамир-еян, гарамиляры; как однажды заблудился он в таких горах, что по хребту идешь, звезды, как репейник, в шапку цепляются; как питался он там две недели яичницею из орлиных яиц; как ночевал в пещерах, в которых такое сильное эхо, что чихни — оно «аллах сахласын (здравия желаю)!» — отвечает.[36] И пальцы слушателей невольно прыгали в рот от удивления, и восклицания: «машаллах, иншаллах» раздавались кругом. Понабрался бы у него Бальби* топографических и статистических сведений! Говорит — не задумывается, а скажет — так задумаешься. Господи, твоя воля, каких-то птиц, каких зверей не ловил он! Сам Кювье* в допотопном мире подобных и не выкапывал. А людей-то, что за людей видал! Черти, да и только! У тех две головы и одна нога; у других вовсе нет головы, а думают брюхом. Эти питаются одними облаками, те глотают скорпионов не поморщившись, а скорпионы там с буйвола. Ну уж рассказчик был этот Гаджи-Юсуф! Да как примется клясться и божиться, даже пророк за бороду хватается. Я подозреваю, что он сам назвался в товарищи Искендер-бека, затем что россказни его очень поизносились; несмотря на множество заплат, которыми он их подновлял, надо было нарвать пучок свеженьких на Шах-даге. Как бы то ни было, миг спустя после намаза Гаджи-Юсуф, в полном вооружении и на коне, стоял у ворот Искендер-бека и кликал его на всю улицу. Все соседние щенки и ребятишки сбежались полаять и подивиться на пегливана (на богатыря).[37] И точно он был, говоря словами волынского летописца, «дивлению подобен». На папах свой, по праву молельщика, навертел он в чалму целую простыню; ржавая кольчуга и стальные поручни выглядывали из-под чухи, испещренной галунами. На боку бренчала сабля; огромный кинжал рисовал на брюхе эклиптику. За поясом торчал пистолет; с пояса висели сумки и сумочки, накременники и пороховые рожки; сзади ружье, на которое заброшены были откидные рукава; на луках висели ковш, плеть и карманчики, — с чем, не знаю, — да и черт знает чего у него не было. Желтые сапоги с высокими каблуками довершали наряд: ратник наш насилу шевелился под своей военной сбруей. Граненый нос его сверкал последним румянцем зари и вовсе не мусульманскою краснотою. Молодец, кажется, на дорогу хватил заветного.

Искендер-бек выехал.

И оба они, миновав чешуйчатые ворота Дербента и осыпанные напутными благословениями народа, сидящего у ворот, пустили вскачь копой своих по Кубинской дорого: как не показаться, но поджигитовать перед толпою! Разумеется, что молодец Искендер несся впереди на лихом своем карабахце; за ним Юсуф; потом какая-то собачонка, которая из одного усердия провожала с лаем каждого коня; потом пыль, потом…? Потом ничего. Путники исчезли.

Но не вдруг исчез Дербент для путников. Доскакавши до холма Даш-кесен, они остановились, чтобы послать прощальный взгляд городу. Вид был прелестный: слева крепость Нарын-Кале ярко отделялась своими белыми зданиями и красноватыми башнями на зелени предгорий, а яркая зелень обнимала холмы, как фата грудь красавицы. Сквозь нее там и сям пробивались каменные сосцы. Справа играло море, как оживленное серебро или глазетовая дымка, чуть струимая ветерком. Жемчужная бахрома прибоя то обнажала, то покрывала опять взморье; два брига, как спящие киты, тихо зыбились на влажном поле. Городская стена, спадающая ступенями, тянулась, чернея, поперек, и, будто дряхлый старик, подпершись башнями, казалось, дышала открытыми воротами; буйволы, неподвижные как на картине, стояли сбоднувшись; вереница ослов, с медными кувшинами на спине и с мальчиками, сидящими у них на хвостах, завивалась около фонтана. Подвижные группы идущих и сидящих татар, но холмам и близ стен, сновались живописно, и между них порой мелькали две-три белоснежные чадры, пролетали будто лебеди по черной туче, и пасть ворот поглощала их. Зоревой барабан, последний приказ дня, смолк, флаг упал, ворота сомкнулись тихо за толпами жителей, все опустело, все померкло… Грустно стало Искендер-беку, неизъяснимо грустно. Ему казалось он позабыл душу в Дербенте. Уверенность в успехе его оставила, даль и сомнения раскинулись впереди безбрежною степью. Она на севере, — а надо ехать к югу, разорвать надвое сердце, раскинуть половинки бог весть куда, бог весть надолго ли!.. О, если вы были когда-нибудь молоды душою, любили душою и в первый раз удалялись от того места, где живет она, вы поймете тоску Искендер-бека! Если вы хотите, это глупость — воображать, что, дыша одним воздухом, мы мечтаем одну мечту; что, взглянувши десять раз на окно, даем десять воспоминаний; но это утешительная глупость! Это дарит нам самим мечты и воспоминания, правда одинокие, зато чистые, зато яркие, зато умирающие девственными. Воображение наше всегда роскошнее действительности; воображение — поэзия: оно порхает птичкою, на его крыльях нет ни бальной, ни подорожной пыли. Действительность — проза: она роется в подробностях словно крот, она зевает за бостоном с матушкою и в восторге от своей невесты разглядывает, не поддельный ли жемчуг у нее на шее; или ухаживает за мерзавцем мужем, подкупает служанок, шляндает по задворьям, чтобы пробраться в рай; в обетованной земле может хотеть египетского чесноку, то есть ужина; и… и… Со всем тем я

бы отдал целый поток чистейших мечтаний за одну струйку одеколона, брызнутую на меня кстати: добивайтесь вы толку у людей!

— Поедем! — сказал Гаджи-Юсуф. — Коли не остались в городе с живыми, нечего медлить за городом с мертвецами, — сожгу я их гробы! улларын кабириляры яндырам! Посмотри, Искендер; гробовые плиты по кладбищам будто шевелятся, будто обходят нас; да и проклятая виселица у третьих ворот вытягивает вслед за нами свою черную лапу.

— Это она по тебе вздыхает, Гаджи-Юсуф-бек; боится, чтобы ты не изменил ей, не убежал от нее, — возразил Искендер шутя.

— Плюю в бороду ее отца! Всякий раз, что пройду мимо, кажется, она так и хватает за ворот. По правде тебе сказать, Искендер-бек, не будь над нами этих гяуров, не усидели бы *мы*, молодцы, за стенами. Ружье за плечи, ногу в стремя, и чуть улитка-месяц покажет рожки свои — берегись караваны! Уж задал бы я себя знать и этим табасаранцам: парча-парча эйлярдым, в куски, в лепестки бы рубил!

— Ну, брат Юсуф, ты, видно, из совиного яйца проклюнулся, что ночью такой храбрый становишься. Во время осады Кази-муллою видел я тебя днем в схватке, или, лучше сказать, не видал я тебя ни разу в схватке. Не орлиное, кажется, у тебя сердце.

— Душечка, жертвочка ты моя, джаным, курбаным, Искендер-бек! Что ты вечно шутишь надо мной? Не при тебе ли я снес голову бейрахчи (знаменщику), когда ходили на вылазку на Кейфарскую гору? Гарам-заде так был зол на это, что голова его уж на полу укусила меня за ногу! Неужто ты не видал этого?

— Не хочу хвастать, не допустил аллах!

— Да и разве люди эти лезгины! Лезги ганда, гюзги ганда! Аи ганда, дораи ганда (куда лезгину глядеться в зеркало! куда медведю одеваться в тафту)! Стоит ли их глупым, необтесанным пулям подставлять свой образованный лоб? Убей лезгина — одною лопатою меньше;[38] а ведь если меня убьют, сам аллах призадумается, кем заступить мое опустелое место на дербентской шахматнице. Зато уж валял же я их из пушки! Топчи-баши, бывало, так меня за полу и держит: «Наведи, говорит, Юсуф, ты мастер целить». Что делать, наводишь; иногда и нехотя: гьозим усти! башим усти! изволь! ради моего глаза! ради моей головы! Да как грянешь из падишах тапенджасындан (из царского пистолета), так, где кучка лезгин была, одни крошки летят! Посмотришь — воробьи расклевали! Ну уж потешил я свою душеньку: и все даром отличался! Забыли начальники, так же как и тебя, Искендер. Обоим нам фук дали!

«Шайтан апарсын (черт возьми)! — подумал Искендер-бек. — Сперва я рад был, что меня не наградили наравне с некоторыми трусами, а теперь и в числе недовольных вместе с Юсуфом быть стыдно».

— Однако не слыхал ли ты чего, Искендер?

— Чего здесь услыхать, кроме шелеста ветра по лесу да чакальего плача!

— Анасыны, бабасыны, атасынын эвельдакиляры батаим (и мать, и отца, и предков отца этих чакалов утоплю я)!.. Что это они распелись словно тавлинские* девки на чикмасане (на вечеринке) Улу-бея?

— Верно, чуют себе ужин из свежих трупов, так заранее радуются. Да и правду сказать, если твой нос достанется им в добычу, есть чему! Дербентские беки сделались нынче такие сидни, что самим чертям их мясо в диковинку; чакалкам и подавно!

— Не пугай понапрасну, душа моя Искендер! Худое слово кличет худое дело. Долго ли до беды! Теперь что ни самая-то пора для разбойников, теперь они рыщут по дорогам, как голодные тигры: ведь недаром говорят, когда в горах зерно не родится и сам-друг, порох родится самсот. Если Мулла-Нур?..

— А кто такой этот Мулла-Нур?..

— Тише ради Гусейна и Алия! Тише, Искендер! Не дожить мне с тобой до завтрашней бороды! У этого проклятого Мулла-Нура уши на всех деревах вместо ягод растут, паутины его раскинуты везде. Не думаешь, не гадаешь, а он, откуда ни возьмется, давай строчить из ружей, покуда аман не закричишь.

— А потом?

— А потом, разумеется, к расчету: Мулла-Нур большой шутник; если заметит, у кого душа вынимается вместе с червонцами, оберет до нитки; с иного, напротив, если ему взгляд по душе придет, не возьмет и рубля. У того потребует золота весом на две на три пули: у другого — серебряных монет сколько уложится на кинжал. «Я, — говорит он, — сам купец, торгую свинцом да булатом». Порой, бывает, только два на сто с товара возьмет. «Ведь платите же вы рахтар[39] на всякой переправе, в каждом городишке. А чем я хуже шамхала?» И все платят, да еще похваливают, что без прижимок и проволочек пропускает.

— Да разве у этих купцов одни трубки вместо огненного оружья? Разве этот разбойник из чугуна вылит?

— Не то из чугуна — из кованой стали! Сказывают, никакая нуля его не берет. Аллах акбер (бог велик)!

— Если тебе верить, Юсуф, так он шайтан, не менее: потому что без чертовской помощи как мог бы один человек останавливать и грабить целые караваны!

— Видно, душа моя Искендер, что ты в сундуке рос и кроме домашнего петуха песен не слыхал. Да кто тебе говорит — у Мулла-Нура нет товарищей? Кому несеяный хлеб наскучит? Взойди здесь на первую горку: «кто ко мне, кто со мной, стрельцы, удальцы, бездомные молодцы?» — от всех сторон, с поморья и с угодья, на это слово слетятся головорезы, все, у кого имение укладывается в ножны, все, кому ружейный заряд души дороже. Примером сказать, не будь у меня сбоку родных да впереди наследства и этого стоглазого коменданта над головою… я бы сам… друг мой Искендер… Ой, Искендер-бек, куда ты удрал? Этакой иноходью как раз въедешь в пасть шайтана! Недаром говорят, что темнота — чертов мост; а теперь так темно, зюльмат кими (точно в преисподней)! Что же не отвечаешь, Искендер?.. О чем ты задумался?

— Я думаю, что ты был бы плохой наездник, Гаджи-Юсуф.

— Я — плохой наездник? Я? Есть ли у тебя стыд, Утан-мазми-сын, Искендер! Баллах, биллях! Жаль, что ты не видал, как под самым Шамом (Дамаском) отработал я разбойников. Не хвастовски сказать могу, весь караван молельщиков у меня в ногах валялся. Правду сказать, и было за что. Дуз чурек кой гозляры тутсун (пусть мне хлеб-соль очи залепит), если я лгу! Ружье у меня раскалилось докрасна, так, что само стреляло, а сабля — чистый мисир, с золотою струйкою, — она у меня до сих пор как свидетель у стенки стоит, — сабля гребнем вызубрилась: да и расчесал же я этим гребнем арабские бороды, анасыны, бабасыны! А что за бороды у них, Искендер! Черкес япунджа кими (словно черкесская бурка) на плечи закинуты. Кончилось тем, что ровно семерых я до смерти убил, а двух, алин аллиннан баглииб, эгер-устине чекиб (рука с рукою связавши, на седло потянувши) в тороках до ночлега привез. На другой день шамский паша, при нас же, всех трех этих разбойников сжег: словно бурьян горели, бездельники, — так и трещат. Куда сухой народ эти арабы!

— И чернолицый, я думаю?

— Аллах упаси, какой чернолицый! Ни дать ни взять, сапог русских офицеров. Бывало, не пощупавши рукой, никак не узнаешь, где у них рожа, где затылок.

— И не краснеют они?

— Заводу нет краснеть! Я пробовал: даже пощечинами краски не добьешься.

— Вот бы тебе оттуда вывезти пару таких щек, Гаджи-Юсуф! А то, не ровен случай, родимые, хоть и желтый сафьян, все могут иногда полинять от подобных россказней. Ружье твое, на что железо, а и то имело больше тебя совести: покраснело-таки!

— И ведомо, покраснело от накала: спроси хоть у Сафар-Кули!.. Жаль, умер он недавно; что бы ему подождать, мошеннику, до сегодня! А то перед тобой хоть весь в клятвы рассыпься — не поверишь. Такая, видно, в тебе кровь, что ни с водой, ни с маслом смешать нельзя: след в след по отцу пошел! Да что же ты в самом деле трусом, что ли, в уме держишь меня? Подавай мне сейчас дюжину самых лютых людоедов: разобью я их путь и пору, иолины, динины кесем! Проглочу; и на семь лет без вести пропадут! Покажи мне их! только покажи ты мне их! Пхе!.. Ну-тка, умудрись мне их показать теперь? Чего, брат, я не вижу, того знать не хочу! Заглазно и коня не покупают; а я тебе стану без глаз драться? Нашел дурака! Я люблю, чтобы солнце любовалось на мою отвагу, чтобы сам я видел, куда метить; я ведь человек расчетливый, никуда не бью врага, кроме правого глаза. Чем он будет целиться, когда правого нет, а левый прищурен? Заневолю ружье бросит!

— Я повода бросил, Гаджи-Юсуф! У меня оба указательные пальца во рту от удивления. Машаллах!.. Иншаллах, как бы нам поскорее свету дождаться да, бог даст, встретить хоть десяток разбойников на закуску… Я отступаюсь от своей доли, я их всех тебе отдаю. Я не обнажу не только кинжала, даже вилки из кинжала,[40] валлах, биллях, не обнажу!

— Не божись даром, Искендер: черт меня унеси, это предурная привычка! Здесь и без исканья много разбойников, а ты к ним на встречу напрашиваешься. Видишь, какой здесь край воровской: шайтан утащил с неба месяц, а ночь у нас и дорогу из-под ног вытаскивает… Ай, ай, ай, Искендер!

— Что с тобой сталось, Юсуф? Кто тебя?

— Ох, ох, перепугал проклятый!.. Я поймал кого-то, Искендер. Ким сен, гардан-сен (кто ты, откуда ты)?

— Тащи его сюда, бездельника!

— Упирается, нейдет!

— Так брось его, да в сторону: я буду стрелять!

— То-то и беда, что не пускает: вцепился, мошенник, точно ястреб в фазана… Ой, ой, до костей когти запускает…

— Ты, видно, забыл, что на тебе кольчуга, Юсуф, что у тебя пистолеты за поясом!

— Забудешь, что и голова на плечах!.. Ой, выручи, Искендер-бек, ради самого пророка выручи!

Искендер-бек не спешил; он знал, что у страха глаза велики. Он подъехал шагом, ощупал кругом Юсуфа и сказал вполсмеха и с полудосадою:

— Так и есть! В него терновый куст вцепился! Ах ты, дали-баш, дали-баш, горемыка,[41] возил бы ты лучше на осле воду из фонтана, чем ездить на коне в горы за снегом! А еще разбойничать собирается!

— На худой конец разбойников колотить мое дело, — произнес ободренный Юсуф. — Задал же я ему тумака, бездельнику… Лови, лови, Искендер; вон он под кустом шелестит словно ящерица… Слышишь?

— Слышу, как на тебе колечки дрожат!

— Дрожали, брат, и у этого лезгина косточки, когда я его тузил! Сжег я бороду его отца, да и его собственной бороде спуску не дал. Теперь он черту в чубукчи годится: пощупай-ка, сколько волос я у него из усов выщипал!

И Гаджи-Юсуф рванул целый клок из правого зильфа своего (локона сзади уха) и насильно втиснул его в руку Искендер-бека. Между хвастунами есть свои ханжи и свои мученики. У Юсуфа текли слезы от боли.

И вдруг он схватил за поводья коня Искендерова.

— Посмотри, погляди вперед, — произнес он трепетным голосом, — видишь ли, как сыплются искры? Это с полки срывает… Там засада!

— Там Дарбас, — отвечал спокойно Искендер, — неужели ты не видишь и не слышишь, как сверкает и шумит река?.. Худые же приказчики твои уши и глаза, Юсуф: надувают тебя на всяком шагу в половине со страхом! Право, я бы тебе советовал выбрать в проводники свой нос и ехать лучше ощупью.

— Лучше совсем не ехать, Искендер! Река?.. Безделица! Бешеная река!.. Шутка! Да теперь сам шайтан нарочно, я думаю, кипятит снега и камни в горах, чтобы в мутной воде утопленников ловить; он не разбирает, есть ли, нет ли чешуя на этой рыбе.[42] Искендер-бек, душечка ты мой, Искендер, не езди! Пожалуйста! Миннет эйлярам! тавакой эйлярам сана! У меня конь так и спотыкается. Пустим коней покормиться, а сами переждем здесь ночь… Не слушает! Уф, уф, так на седло и плещет! Напьешься после, разбестия. Да какая же холодная вода!.. Что ж ты стал среди реки, гарам-заде? Ух, кто-то тянет меня за полу!.. Ой, падаю, ой, тону!

К счастию, Юсуф удержался в седле, и конь, выскочив на берег, зафыркал, затрусился, заржал. Переправа была в самом деле опасна, и молодой бек, выехав ранее на другой берег, то хохотал, то трепетал, слыша жалобные восклицания своего хвастливого спутника. По крайней мере Юсуф, почти выкупавшись, выудил в реке достаточную причину сваливать на лихорадку страх свой. Перед рассветом наши путники доехали до Самбура, а тот ревел и кипел, разлившись широко. В мутных волнах прядали, гремели, мелькали каменья; глухой гул стоял над потоком. Они стреножили коней и пустили их щипать мураву, а сами легли отдохнуть под бурками. Юсуф и тут не перестал бояться, не перестал хвастать; Искендер мечтал, засыпая. Один рассказывал про то, чего никогда не было; другой наслаждался в мыслях тем, что, может быть, никогда не сбудется. Наконец разговор, составленный из вздохов Искендера и зевков Юсуфа, редел, редел и прекратился. Впрочем, пугливый герой спал вполглаза, и вполуха: он раз десять окликал собственный свой нос, воображая, что кто-то крадется задушить его, что кто-то, трубит в рог, — а это он сам храпел. Он бредил, но и сквозь бред пробивались клятвы и обломки хвастовства…

Разгадайте мне, пожалуйста, отчего трусы всех возрастов и всех стран на одну стать. Природа или расчет — в них хвастовство? Так или этак, но меня не обманывала примета: кто обнажает саблю, не видя неприятеля, или много рассказывает про себя после дела, тот, верно, не из храброго десятка. Истинное мужество немногоречиво: ему так мало стоит показать себя, что самое геройство оно считает за долг, не за подвиг; а кто рассказывает про свои долга? Трусость, напротив, бесстыдно скрываясь перед неприятелями, бесстыдно поднимает нос перед приятелями и сочиняет наглые небылицы. Чем же, вы думаете, это кончается? Очевидцы хохочут, а слушатели привыкают верить, особенно люди, в которых более чести, чем прозорливости. Смотришь, хвастун награжден вдвое; и не мудрено: у строевого меча одно острие, а язык — меч двуострый. Дело уходит в область минувшего без возврата, слово повторяется по произволу; оно живет, оно живит.

По-моему, шпага есть прекрасная эмблема истинной храбрости, одетой в скромность: она всегда в ножнах во время мира, она не бренчит и не сверкает как болтливые шпоры.

Впрочем, пусть не ропщут на меня охотники пенить свою водицу: хвастовство — природа человека, потому что человек горд от природы. Послушайте-ка, что говорит он: «свой ум — царь в голове, а с умом я — царь природы». Дом его провалился сквозь землю, нос упал на землю, сам он умирает оттого, что холодный ветер дохнул ему в лицо — а он даже на исповеди не кается, что называл себя царем природы. Обманывая себя, привыкают обманывать других. И в самом деле, что такое воспоминание, что такое надежда? Хвастовство минувшего и будущего! То и другая надувают, хотя не наполняют нашего настоящего. Настоящее — миг пробуждения между двумя снами, но — миг забот и страхов, миг голода желаний и жажды ума, миг, помноженный на страдания и наслаждения души и тела попеременно. Только в этом мы страх близоруки: все, что еще вдали или уже далеко, нам кажется величавым и пленительным. Все, что нам заветно или недоступно, рождает неутомимую охоту овладеть им.

Вот почему хвастун и завистник, две стороны одной и той же поддельной монеты, сами на себя доказывают, что дела или достоинства, которыми они хвалятся или которые они унижают, им невозможны.

VI

Сычан гюранда, пелянга охшатан пишик, ослан гюранда, сычана дюнды!
Кошка, завидя мышь, тигром надулась, а перед львом сама прикинулась мышкою!

Присказка

Сладостно пробудиться от первого луча солнца, когда он, как резвун попугай, прокрадывается сквозь занавес в спальню и золотым клювом своим сбрасывает одеяло мрака с милого лица жены, покоящейся будто роза на листике. Сладостно, едва ли не сладостнее, открыть очи после краткого сна на свежей мураве, под пологом неба; открыть — и прямо, уста к устам, увидеть, ощутить лицо природы. Невеста всегда милей жены, еще не своей, — а природа вечно невеста! Искендер-бек потянулся с негою, медленно поднял веки, еще полные сновидений, и перед мим как их продолжение открылась пышная картина утра. Кругом дремал лес, облитый, перевитый южною зеленью; перед очами в вышине горел и дымился снежный Шах-даг, как серебряное кадило; перед очами внизу катился бешеный Самбур, то разбрызгивая влажным вихрем, то судорожно свивая в кольца волны свои точно змей, ущемленный между скалами. Соловей повременно покрывал своею песнею рычанье потока…

И глубоко отозвались в душе Искендера эти прерванные звуки. Казалось, ими разрешалась недосказанная загадка души; казалось, в них обретал он собственные выражения, язык любви, его томящей… Он был весь внимание… Но в самый тот миг, когда певец лесов рассыпался звездами блистательных звуков, Юсуф захрапел, как лопнувший барабан. Искендер-бек потерял терпение и в досаде ткнул закрученным носком своего сапога выставленный из-под бурки нос его… Юсуф вскочил!

— Что там?.. Шайтан тебя унеси, Искендер-бек: наступил мне на нос, а у меня, слава аллаху, нос не горошина, у тебя глаза не на затылке.

— Однако ж и не на каблуках. Извини, брат Юсуф, пожалуйста.

— Какой леший учил тебя плясать по моему носу? В плясуны по канату, что ли, ты собираешься или хочешь заранее привыкнуть к переходу через Эль-сырат?..[43] Стряхну я в ад твою душу! Валлага, билляге!

— Из каких пустяков, право, ты разгневался! Ведь нос твой не из фарфора литой, не из Стамбула привезен! Видишь, я топнул ногой с досады на соловья: помешал мне, крылатая свистулька, слушать, как ты храпишь.

— Чтобы вам обоим питаться весь век одним запахом роз; чтобы шипы их были для вас колючи, как носок твоего сапога; чтобы!..

— Полно, полно, Юсуф, не корми чертей этими пряниками! Слышишь, что поет мулла в Зеафурах?[44] «Молитва лучше сна!». А я добавлю — «и лучше клятвы!».

Совершив омовение и молитву, путники наши решились бродиться за реку. Вода, от растопленных дневным жаром снегов, за ночь немного стекла; но кто знает горные реки летом, кто знает Самбур в особенности, тот скажет вам, что переправа через эту реку в разливе во сто раз опаснее боя. Если конь ваш споткнулся, вас не спасет ничто и никто. В один миг череп разлетится о камни, а быстрина увлечет в море. Со всем тем привычка и необходимость обращают этот подвиг в самое обыкновенное дело, хотя ни та, ни другая не мешают проезжим тонуть весьма нередко. Предчувствуя беду, конь упирается, мочит ноздри в пену, озирается во все стороны, дрожит; но удар по крутым бедрам — и он бросается в воду, задними ногами скользя с крутого берега. Чтобы противустать быстрине, он ложится навстречу ей: седло погружено, волны прядают через луку, брызги летят в глаза, часто камни, ударившись один о другой, крутятся мимо… Кажется, конь клонится, падает, грузнет; и точно, будто не трогается с места, — так стремительно несется река, так блещет и кружится перед глазами ртутная влага!.. Горе тому, у кого несилен конь; вдвое горе, у кого сдаст голова или сердце в роковую минуту поворота посередине реки. Обыкновенно сперва съезжают вниз по течению, и потом, описав острый угол, едут против быстрины на въезд. Да сохранит же вас бог вспоминать тогда правила кавалерийской езды, чтобы, посадив лошадь на задние ноги, вдруг повернуть ее пируэтом! Масса воды, ударившись в широкую площадь бока, непременно собьет лошадь, не имеющую опоры. Напротив, заставьте коня лечь на перед и отдайте потом все его тело силе течения, — оно само поворотится на оси и конь, уже твердо стоя на каменном дне, грудью пойдет в разрез валов.[45] Говорю об этом вместо маяка для тех, кого судьба приведет на Кавказ… Я потерял одного товарища моего детства, оттого что он не умел управить конем в ничтожной речонке: он был измолот!

Оба бека, благодаря сноровке и привычности коней, счастливо совершили переезд через оба рукава Самбура. Юсуф, который во все время это не вымолвил слова, — потому что у него занялся дух, — едва выскочил на берег, снова принялся браниться и клясться; он откашливался проклятиями, как будто бы они от этого невольного воздержания набились у него в горле.

— Выпей черт эту реку! Утоплю я в ней свинью!.. Пускай водятся в ней одни бесенята вместо рыбы!.. Слыханное ли дело — надулась до того, что вода под самое сердце хватает? Иссохни же

так, чтобы лягушке нечем было вымыть лапок перед намазом! Захлебнись твое дно грязью! Оборотись оно большою дорогою собакам!..

Да то ли еще говорил Гаджи-Юсуф! Так ли он величал беднягу Самбур по всем восходящим и нисходящим поколениям! Щедр был он на это, нечего сказать, да и разнообразен, куда разнообразен: что ни брань, то обновка. Только все эти обновки обшивал он старинною бахромою — анасыны, и прочая, агзуа, и прочая, из которых во время владычества татар мы кое-что для домашнего обихода «переделали на русские нравы». Говорю — во время владычества татар потому, что ранее ни в одних летописях *таковых* не встречается, следовательно в русском языке *оных* дотоле и не существовало: это ясно как червонец.

— Ну, к кому же заедем покормить ячменем коней и пообедать сами?[46] — сказал Искендер-бек. — У меня в Зеафурах нет ни души знакомой.

— Да и незнакомой души не найдешь в целой этой деревне. Сожгу я бороды этих двуногих собак! Без абарата[47] здесь и лбом ни одной двери не отворишь. Хоть умри на улице, никто не поднимет, как зачумленного.

— Видно, зеафурцы учились у наших горожан гостеприимству? По крайней мере у нас есть базары.

— А вот попытаем и здесь, не выманим ли какую душонку на абаз, как скорпиона на свечку. Поглядывай по дворам, не увидишь ли серой бородки, Искендер... Серые бороды добрей и сговорчивее прочих. Белая борода — верно старшина, то есть верно плут; красная борода — без сомнения, человек зажиточный; у него и серебрецо водится и женка покрасивее; не пустит из одной ревности. А кто дожил до серой бороды, у того, конечно, есть домишко и желание купить хенны, чтобы перекрасить себя. Эй, приятель! селям алейкюм! Не позволишь ли нам у тебя отдохнуть часок да отведать хлеба-соли?

— Алейкюм солям! — отвечал высокий угрюмый татарин, глядя через колючий забор. — Вы по службе, что ли?

— Нет, по дружбе, добрый человек!

— Абарат есть?

— Фитат есть,[48] и больше ничего. Ну, шевелись, товарищ, отворяй-ка вороты!

— Милости просим! Хош гяльды! У меня часто керван-сагибляры[49] ночлегуют; и ни конь, ни человек на Аграима не пожалуется.

Запор упал. Странники въехали во двор, попустили подпруг коням, насыпали им на бурку ячменю. Надо вам сказать, что дагестанские поселяне живут очень опрятно; домы почти всегда в два яруса; построены где из нежженого кирпича, где из плетеной мазанки, но выбелены снаружи и внутри. У одной стены — камин, выходящий углом; кругом комнаты в рост человека — лепной карниз, уставленный посудою; на полу если не паласы,[50] то очень чистые циновки, гасиль. Окон почти никогда нет, потому что все работы и беседы происходят на открытом воздухе, даже зимой. Мусульманин заботится не о том, чтобы видеть, но чтобы не быть видимым: это — основное правило не только его архитектуры, но и всей жизни. Аграим просил гостей в верхние комнаты. Поставив оружие в углу передней, они вошли в хозяйскую спальню и очень удивились, не встретя прежде никаких примет самки, что посередине стоймя стояли женские туманы. Вопросы вообще для азиатцев — самая щекотливая струна, но вопросы о женщинах они просто считают неприличностью, о жене — обидою. У Гаджи-Юсуфа очень чесался язык но крайней мере потрунить над заветною мебелью, но он боялся навести хулу на свою городскую учтивость.

— Не попотчуешь ли нас пловом, хозяин? — спросил он.

— Сам пророк не едал такого плова, какой готовила у меня жена! Аллах, аллах! Бывало, все гости пальцы обкусают; так весь в жиру и купается! А уж белый-то какой, рассыпчатый, да с изюмом, с шафраном!

— Это, кажется, Дербент-наме[51] повесть, — шепнул Искендер-бек товарищу.

— Это Дербент-дары,[52] — прибавил Юсуф, укусивши чурек с пендырем (сыром из овечьего молока) как предисловие обеда. — Кажется, этот смурый грешник хочет угостить нас только жениными туманами!

— А почему нет! — возразил Искендер. — Хозяйка не пожалела на них масла. А что, если б твои домашние,[53] приятель, сложились в одну душу, бир джан олуб, да состряпали нам хотя хынкалу?[54] — обратил он речь к хозяину.

— Хынкал? Где ж у меня хынкал! Кази-мулла съел баранов, земля проглотила посев. Домашние! Вай, вай! Кто ж у меня теперь домашние, кроме этого кота? Умерла моя молоденькая, пригоженькая Уми... С ней закопал я свои последние пятьдесят серебряных рублей в могилу! Плачу не наплачусь досыта над ее туманами!

И он зарюмил.

— Чудесный памятник! — шепнул Юсуф.

— Придется и нам поплакать, — молвил Искендер.

— Дай нам хоть кислого молока, хозяин.

— Кислого молока, джаным? То-то, бывало, моя Уми превкусно его готовила… Да на это ли одно была она мастерица!.. А теперь…

— Теперь тебе стоит поглядеть в пресное, так мигом свернется, — вскричал Юсуф, почти выталкивая Аграима за дверь, — поди принеси какого-нибудь, ты увидишь, что я говорю правду. Продам я твою мать за две луковицы, кислая харя, анасыны сатаим! У меня в желудке петухи поют, а он рассказывает сказки; сам он хоть грязь ест, а нас даже дымом не потчевает, ит оглы (сын собаки) ! Эй, хозяин! Кой черт ты любуешься на наши ружья да с проезжими, словно шемаханская плясунья, шепчешься? Мы так голодны, что съели бы кита, на котором свет стоит; подавай нам чего-нибудь поскорей!

— Бу сагатта, бу сагатта (сейчас, сейчас), — отвечал тот и принес, наконец, чашку молока да пучок луку.

Нечего было делать, пришлось довольствоваться и этим. Хозяин между тем оплакивал свою Уми. Юсуф ел и бранился, Искендер смеялся и ел. Пообедавши вкратце, Юсуф метнул полтинник в чалую бороду Аграима, дал пинка туманам, так, что с этого монумента полетели заплатки, и они вышли, при угрозах хозяина, что он будет жаловаться на наглецов за бесчестье, нанесенное шалварам его жены. Скоро Зеафуры остались далеко за ними; они ударились вправо на горы.

— Посмотри назад, — робко сказал Юсуф Искен-деру, — тот самый бездельник, что разговаривал с хозяином, следит нас, замечает, куда мы поедем.

В самом деле, какой-то лезгин стоял вдали на холме, вложив ногу в стремя и припавши на седло своего коня; два мгновения после его уже не было, словно он утонул в земле.

— Тебе каждый пастух кажется разбойником, — возразил Искендер-бек, улыбаясь.

— Да разве здешние пастухи честные люди? Пхе! Мало ты знаешь здешние обычаи! Кюринцы — всегдашние половинщики разбойников из Кази-кумык и вольных табасаранцев, а Посамбурье — всегдашняя для горцев дорога. Горцы ограбят караван или проезжего, а пастухи долин их кормят, скрывают добычу; без стад они не могли бы недели прозабавиться тут. Вся шайка Мулла-Нура собрана из горцев, как рассказывают.

— Ну, что твой Мулла-Нур, что твои горцы? Разве не такие же люди, как все мы?

— Люди такие же, да места, где они грабят, иные, чем на долинах. В горах, брат, и ослиное копыто искру дает.[55]

— Аллах ишитсын (бог да услышит меня)! Я бы дорого дал, чтобы стать лицом к лицу с твоими хвалеными! Посмотрел бы я, кто б из нас кому дал дорогу. Пускай я сосал позор, а не молоко из груди матери.

— Опять ты принялся клясться да просить у аллаха, чего и от шайтана остерегаться надобно! Не грех ли тебе это, душечка Искендер? Разве ты пес, или гяур какой, или тебе тяжело носить душу в теле, а голову на плечах? Перекуси черт пополам мой нос, если не лучше повстречать голодного льва, чем этого, не вслух будь сказано, Мулла-Нура!

— Вот то-то, Юсуф, если б ты поменьше хвастал да поменьше трусил, ты бы лучше знал или видел дорогу: а то, взгляни-тка, в какую трущобу завел ты меня? Здесь сам черт без фонаря обломает голову.

В самом деле, тропка, по которой они ехали, давно спряталась в какую-то лисью нору. Скалы, обросшие многовечными деревами, пробивались сквозь лесную зелень все острее и обнаженнее, точно кости сквозь кожу старика. Наконец каменный порог, сажен сто в отвесе, преградил им ход совершенно. Огромные дубы, вырванные бурею из расщелин, лежали, истлевая у подножия. Великанские орешники, склонившись над ними, одевали их ночною тенью, а широкие перевязи плюща, то перекидываясь по локтистым сучьям, то падая на землю, оплетали живыми кружевами подол этого плаща, будто сброшенного с плеч утеса. В одном только месте, расторгнутый надвое, он давал исток горному водопаду, когда-то могучему, теперь едва струящемуся по скату плитных обломков. Вода, сверкая по каменной чешуе, заставляла волноваться растения, подернувшие дно ее: казалось, катится каскадом зелени, а там вверху, где высокий уступ задвинул ущелье, через него низвергался луч потока, разлетавшийся в глубине в дым и в пену, будто газовый шарф, затканный в узор битью и шелками по кайме своей. Дивная игра природы дала все цвета призмы порослям, детям влаги, оживляющим скалу, так, что ручей, играя светом солнца, переливался как прозрачная радуга накрест другой окаменелой радуги. Вверху его струйки, прядая через порог, белелись и веялись, будто страусовое перо, и, распрыскиваясь о камни, играли снопами павлинных перьев. Искендер-бек долго любовался этим восхитительным зрелищем и, не сводя с него глаз, зачал взбираться по крутому ложу. Валуны катились из-под ног до самого дна, конь нередко съезжал назад и дышал вразрыв подпруги. Юсуф, по всегдашнему своему обычаю, клялся, что он ни за какие радости в свете не ступит шагу далее, и, по всегдашнему обычаю, следовал за передним. Подъехавши почти под самый водопад, путники наши увидели вправо и влево две расселины, обнимающие столп, с которого он кидался в воздух. Расточенные водой, усыпанные валунами, расселины эти обещали, хотя стремнистую, однако возможную стезю до самого верху. Только необходимо было совершать это полувоздушное путешествие на хвосте лошади. Нос Юсуфа нимало не пострадал, волочась по кремнистому ложу, и когда оба странника очутились на площадке, негодование его рассыпалось гроздами брани.

— Разгрызи черт эту гору! Пусть все кабаны Дагестана совьют в ней гнездо свое! Пускай затрясет ее лихорадка землетрясений, пускай она лопнет, опившись дождями, проклятая!

— Сам виноват, а бранишь горы, — сказал ему Искендер. — Не ты ли уверял, что знаешь дорогу на Шах-даг как на базар, что скалы его тебе знакомы как пять пальцев?

— Разве я солгал? Анасыны, бабасыны! Как пять пальцев? Да кто же лазил на гору Пяти пальцев,[56] не имея когтей черта? С Новруз-беком, он не даст мне соврать, мы обнизали подковами всю эту гору: да тогда как-то она была совсем иначе, была глаже ладони; видно, эти бородавки наросли на нее после, либо она обернулась к солнцу спиной, погреть старые кости, промороженные севером.

Почти всегда, как замечено геологами, южные стороны гор бывают обрывисты, потому что они подвержены частым обвалам и размывке тающих снегов от зноя солнца; напротив, северные склоны, покрытые тенью почти весь день, отлоги и богаты лесом, муравою, всяким растением. В том же отношении, только с меньшею резкостью, находится восток к западу. Но природа часто подсмеивается над системами и задает господам систематикам такие задачи, что они со всею своей премудростью становятся в тупик. Природа действует по неизменным законам, но свод ее законов напечатан в целой вселенной и без оглавления. Можно ли нам, обитателям одной точки пространства, одного мига времени, прочесть вполне смысл творения, разбросанный по тысячам миров? Можно ли отпереть тайны, от которых ключи в руке бога? Так и здесь: северный обрыв Шах-дага возникал стеною, в улику господ геологов, и только голова его была убелена снегами; на крутизне груди не могли держаться они, как беды на высокой душе. Странники наши увидали свою ошибку; убедились, что приступ с этой стороны невозможен, и принуждены были опоясать Шах-даг, попытать взойти на него с востока. Впрочем, вздумать это было гораздо легче, нежели исполнить. Еще растительная черта была выше их, но она змеилась уже не краем зеленого покрывала, а подобно городкам ковра, изорванного по каменьям. Громады скучивались над громадами, точно кристаллы аметиста, видимые сквозь микроскоп, увеличивающий до ста невероятий. Там и сям, на гранях скал, проседали цветные мхи или из трещины протягивало руку чахлое деревцо, будто узник из оконца тюрьмы. Все было дико, угрюмо, грозно в окрестности. Тишину пронзали одни клики орлов, негодующих на человека за набег на их область — пустыню. Изредка слышалась тихая жалоба какого-нибудь ключа, падение слезы его на бесчувственный камень, не пускающий бедняжку слиться на воле с милой рекою. Искендер-бек остановился, устремил бродивший около взор на Юсуфа, и укоризненный взор этот выговорил: «Ну что?».

— Две тысячи проклятий на голову этого Шах-дага! Насыплю я праху на его снежное темя! Видишь, как он вражески принимает гостей! Заперся в стены и все лесенки убрал внутрь; да еще скалит свои каменные зубы, старая собака! Куда теперь нам деться? В гору? Надо лезть вверх ногами! А под гору — лететь вниз головой! Как хочешь, Искендер-бек, — примолвил Юсуф, снимая саквы с седла, — а я посоветуюсь с моей фляжкой: преудивительная вещь эта водка! Валлага, билляге, преудивительная! Шепнет тебе буль-буль-буль — смотришь, всю беду отговорит; в голове ум будто звезда взойдет, а сердце в груди розаном распустится.

— Ах ты, немытый грешник! Мало тебе православных грехов, так ты, как блудливая кошка, из чужих отведываешь! Разве не знаешь, зачем пророк запретил вино?

— И очень знаю, жертвочка ты моя, Искендер-бек! Очень хорошо знаю: он запретил его для того, чтобы подсластить; про это и Гафиз* сказал:

Пейте: самых лет весна
Упоенье без вина!
Что заветно, то и слаще.
Пей, но лучшее да чаще!
Будешь гяуром вдвойне
Проклят на плохом вине.

— Прекрасные у тебя заповеди, Юсуф! Амма, но с ними, я думаю, легче искать дорогу в преисподнюю, чем к небу!

— Кто тебе это сказал, душа моя Искендер? Черт меня возьми, если от вина не растут крылья! Так кажется, лётом летишь, носом облако бороздишь. Погляди-ка на меня теперь, когда я хватил души винограда! Я, наверно, подрос на ханский аршин! Я прежде ни одной дорожки не видал, а теперь передо мною их целая дюжина егозит.

— Я у тебя ни одной и в долг не возьму, Юсуф: я поеду по своей дороге, куда бы она меня ни вывела. Ты ступай влево, а я попытаю прямо подняться. Если кто из нас найдет удобный подъем, тот должен воротиться сюда и кликнуть товарища или дождаться его. Далее получаса не отъезжать на поиск. Худа гафиз (до свиданья)!

Гаджи-Юсуф так нахрабрил себя, что на этот раз не сделал ни одного возражения и отважно пустился один в дорогу, или, правильнее сказать, на ловлю дороги. Искендер, ведя лошадь в поводу, полез по трещинам почти на отвесный утес. Солнце давно перекатилось за полдень.

Прямо над местом разлучения наших странников, на границе между облаков и снегов, возникала огромная скала, как наковальня перуна. Казалось, летучее копыто дикой козы не нашло бы опоры на гладких боках ее, и между тем на самой ее вершине, срезанной площадкою, нашли себе приют кони и люди. Человек шесть татар и лезгин лежали около огонька, разложенного под котлом. Столько же бегунов жевали траву, накошенную кинжалами и брошенную им расчетливою рукою. В числе прочих, но поодаль от прочих, под тенью бурки, развешенной на коне, превращенном в живой щит от солнца, на небольшом ковре сидел, подливши ноги, мужчина лет под сорок, приятной наружности. Проста была его чуха с откидными рукавами, но оружие блистало серебром и чистотою — верный признак не городского избытка, но боевой власти. Он курил трубку и с нежностью смотрел на молодого человека, спящего у него на коленях. Порой он играл шелковистыми кудрями зильфа, падающего на плечо юноши; порой, склонившись над прекрасным его лицом, которое, как снег Шах-дага, не могло осмуглить жаркое солнце, а только подернуло зарею, прислушивался к его дыханию, затаив свое, и только из страха разбудить не срывал поцелуем улыбки, полурасцветшей на устах. Иногда он грустно качал головою и вздыхал тяжело, и потом взоры его, как два сокола, стремились с подзорной башни, построенной природою перед замком Шах-дага; как два сокола, играли сперва в поднебесье и потом, широкими кругами, низревались на долину, жадные охоты и добычи.

Это был Мулла-Нур, гроза Дагестана; разбойник Мулла-Нур со своею шайкою.

И он увидал внизу Гаджи-Юсуфа, пробирающегося по каменьям. Тот казался не более ящерицы и, как пестрая ящерица, полз на коне своем. Мулла-Нур улыбнулся лукаво и, склонившись над ухом юноши, сказал: «Проснись, Гюль-шад!»[57]. Юноша открыл очи.

— Гюль-шад, — примолвил Мулла-Нур, — хочешь ли ты, чтобы я поклонился тебе в ноги?

— Хочу, — произнес юноша с видом избалованного дитяти, — очень хочу! Для меня будет диковинкой видеть тебя, гордеца, у своих ног.

— Аста, аста (потише, потише), Гюль-шад! Тебе недаром достанется эта потеха: у пчел есть жало прежде меду. Взгляни под скалу: там едет путник, и я знаю имя, знаю сердце этого путника; он бесстрашен как барс, он стреляет метко. Ступай обезоружь, свяжи его. Если ты исполнишь это и приведешь его сюда пленным, я твой слуга (куллухчи) на целый вечер; я поклонюсь тебе при всех товарищах. Разымисын (соглашаешься ли)?

— Разы-эм (согласен)! — отвечал Гюль-шад; взнуздал коня, вскочил в седло и смело бросился вниз по стремнистой тропинке; только звон сорванных копытами плит означил путь его, самого не было уж видно.

Все товарищи Мулла-Нура, припав к земле, любопытно смотрели через край скалы, что будет; сам атаман заботливо посылал свои взоры вниз: казалось, он раскаивался, что подверг опасности молодого собрата, может быть брата своего, и когда оба противника были друг от друга на полвыстрела, трубка в зубах и улыбка на лице его погасли.

Если б трус мог вполне сознаться в своей трусости, он бы не посмел быть им или по крайней море никогда бы не решился искать опасности, чтобы выказывать себя наголо. Но в том-то и беда, что никто, за глаза опасности, не считает себя робким, а Гаджи-Юсуф, сверх того, принадлежал к полку тщеславных, к полку людей, которые, для того чтобы иметь право рассказывать про битвы, про чудесные встречи, готовы прискакать на миг в пыл схватки, вызваться на трудное предприятие, потом, проклиная свою неуместную храбрость, дрожать от страху или выдумывать тысячи лжей, чтобы ульнуть от беды. Гаджи-Юсуф сам-друг с вином уверял себя, и почти уж верил, что он храбрее самого Рустема.

— Разве даром написано на моем ружье: «Трепещи, враг, я дышу пламенем!». Опалю ж я бороду первому разбойнику или первому барсу, который вздумает добраться до моего добра! Да и кой черт мне бояться чего-нибудь? Кольчуги моей не возьмут ни пуля, ни когти; ружье мое одно посылай в драку, так убьет неприятеля. Где ж эти разбойники? Запрятались небось в норы, только завидели меня, мерзавцы, трусишки, аджизляр! Терпеть не могу таких трусов: изрублю я дорогу и веру таких трусов!..

И вдруг, при повороте за угол его скалы, грозное: «Стой, долой с коня» прострелило его уши; но когда, подняв испуганные глаза, он увидел в десяти шагах от себя блестящий ствол, нацеленный прямо в грудь его, бедный Юсуф обомлел; сердце его будто упало в муравейник.

— Аттан тюш (долой с коня)! — раздалось снова. — И не смей тронуть ружья, ни рукояти сабли! Если ты вздумаешь бежать или защищаться, я спущу курок! Снимай оружие!

У Гаджи-Юсуфа помутилось в глазах: не замечая, что против него стоял безусый мальчик, он видел только роковой ствол, один ствол и более ничего, и ему казалось, что дуло его растет, разевает огромную пасть, ревет огнем; он чувствовал уже весь свинец заряда в своей голове и повалился на землю с кликами пощады, с просьбою не бить, не стрелять его:

— Не только оружие, душу отдам тебе, эффенди-разбойник, гарамиляр-беги (глава разбойников здешних гор). Ты добрый человек, а я смирный человек, не губи меня, душечка, жертвочка ты моя! Возьми лучше к себе в нукеры: я буду разувать тебя, холить твоего коня!

И он снимал и бросал одно за другим все свои оружия, всю одежду; выворачивал карманы, выщипал половину своих усов, запутавшихся в кольца панциря, а между тем клялся, как ведьма на экзамене у сатаны.

— Отрежу я твой язык и выброшу его собакам, нестерпимый пустомеля! — сказал Гюль-шад. — Молчи, или я тебя навек молчанью выучу!

— Не пикну, если твоей душе этого угодно.

— Молчи, говорят!

— Слушаю и повинуюсь!

Наконец выразительная хватка Гюль-шада за пистолет замкнула рот испуганного Юсуфа. Ему связали руки поясом, притянули их к стремени и повели раба божьего в гору. Через четверть часа, после трудного ходу, бледный, перецарапанный о кремни, стал он перед грозными очами Мулла-Нура, среди зверских лиц его товарищей. Куда ни обращал он глаза, везде встречал злобную усмешку или беспощадный, но безмолвный приговор. Все молчали. Гюль-шад положил к ногам атамана оружие пленника, и атаман три раза ударил челом о землю перед Гюль-шадом, назвал его удальцом, поцеловал в лоб. Потом обратил он слово к Юсуфу:

— Знаешь ли, кто обезоружил тебя, Юсуф-бек?

Юсуф вздрогнул от этого голоса, будто кто провел терпугом по его телу.

— Храбрый из храбрых, меным биюгум (мой повелитель), — отвечал он, трепеща, — сильный из сильнейших! Что мог сделать против него я, когда лев против него щенок, а Исфендияр* — мальчишка!

Все захохотали кругом.

— Знай же этого богатыря, против которого храбростью Исфендияр — мальчишка, а силою лев — щенок! — сказал Мулла-Нур и снял шапку с головы Гюль-шада.

Волной хлынули из-под нее черные волосы и роскошно рассыпались по плечам. Как маков цвет покраснела красавица — тогда уж нельзя было сомневаться в противном — и упала на грудь Мулла-Нура…

— Это моя жена! — промолвил он.

Залп буйного смеха оглушил Юсуфа; его щеки сгорели бы в уголь от стыда, если б страх не заморозил гораздо прежде в нем всей крови. Однако ж он ободрился немного; он спешил посеять в миг общей веселости словцо за свое избавление.

— Помилуй, властитель мой, — жалобно зарюмил он, — не сгуби меня, не продавай в горы: за меня дадут тебе славный выкуп!

Брови Мулла-Нура сошлись как две тучи: быть грому!

— Знаешь ли, кому предложил ты выкуп, заячья шкурка? Достойный сын Дербента, ты вообразил уже, что всякую душу можно спечь на червонце и съесть, поклявшись вашим Алием! Разуверься в этом. Я благодаря аллаху не шаги,[58] и моей воли не обуздать ни серебряною, ни золотою уздою. Выкуп? За тебя выкуп? Неужели ж ты смел думать, что я, как дербентский лавочник, стану продавать гниль за свежину и черно-совестно требовать за тебя персидского золота, когда ты не стоишь свинцовой дробинки, бир сечма дегмезсын. Ах ты, бесхвостая собака! Да и зачем я продам тебя в горы? Сказки там не считаются работою, а заставь тебя хоть носом лук копать, ты и того не сумеешь. Зачем я возвращу тебя домой? Чтобы ты женился и наплодил целое поколение трусов? Да сохранит от такой мысли аллах! В Дербенте и без тебя зайцев много. Ну, Юсуф! Ты видишь, что я тебя знаю, и знаешь теперь, что льстить я не люблю. Скажи мне, что ты думаешь обо мне самом? Я Мулла-Нур!

Как зарывает ноздри в песок верблюд, почуяв гибельный налет самума, так пал ниц Гаджи-Юсуф от повева этого имени; пал, расплющенный страхом тоньше турецкого шаура.[59]

— Аллах, аллах! Мне ли, который за счастие бы почел умыться пылью твоих ног, наложить суд на твою голову! Наузуби Гусейн Али-да (пусть удержат меня от того Гусейн и Али)! Что я знаю? Я ничего не знаю!.. Я желаю только, чтоб твоя рука всегда была мне шапкою!

— Послушай, Юсуф, — грозно молвил Мулла-Нур, — давно я ведаю, что ты большой охотник перенимать и повторять фарсийские нелепости. Но я простой человек: где мне понимать твой ибарат, твой высокий слог! Без всяких обиняков скажи мне, что обо мне думаешь?

— Что я думаю? Пусть шайтан разгрызет, как орех, мою голову — ничего я не думаю, да никогда и не думал; валлага, билляга, не думал! Смел ли я поднять на тебя свою мысль! Что я за зверь? Прах, ничто, пучзат!..

— Юсуф, я не шучу! Я выжму из твоего мозга то, что хочу слышать, или вырву мозг из черепа! Ну!..

— Не сердись, высокостепенный, звездами питающийся эффенди Мулла-Нур! Не жги меня в пепел своим гневом! Твои повеления родили жемчужины в глупой моей голове, но все-таки эти жемчужины — стеклярус в сравнении с твоими достоинствами. Я думаю, ум твой — ружье с золотою насечкою, заряженное премудростью доверху, стреляющее правдой и никогда не минующее цели. Я думаю, сердце твое — кувшин с розовым маслом, льет через край щедроты. Я думаю, рука твоя всегда отворена сыпать добро для чужого, готова помогать всякому. Я думаю, язык твой —стебель, на котором распускаются цветки справедливости, великодушия, бескорыстия, милости… Я уж вижу между них один, полный росою слов: «Ступай себе домой, добрый человек Гаджи-Юсуф, да поминай добром Мулла-Нура!». Хорошо я сказал?

— Нечего сказать, хорош ты рассказчик, Юсуф, только плохой угадчик. А чтобы доказать, что ты лгал с начала до конца, вот приговор мой: за то, что ты, будучи беком, то есть воином по роду, позволил без выстрела обезоружить, связать себя слабой женщине, за то, что ты до бесстыдства трусил и унижался перед подобным себе человеком…

— Смерть разве человек? — хныкая, заметил Юсуф.

— Дай мне кончить, а там недалек и твой конец. Кто так сильно боится смерти, тот не достоин жизни: ты умрешь! Завтра ты увидишь последний рассвет свой, а если вздумаешь говорить, то сей же миг кинжал пересечет тебе слово пополам в самом горле. Отведите его в пещеру и свяжите хорошенько: пускай там клянется и молится на просторе до рокового утра!

Мулла-Нур махнул, и беднягу уволокли, как мешок с просом.

— Он умрет со страху прежде смерти, — сказала Гюль-шад мужу, — не пугай его так жестоко, душа моя!

— Ничего! — отвечал Мулла-Нур, улыбаясь. — Это будет ему уроком, что робость не спасенье. Трус умирает сто раз, храбрый — однажды, и то не скоро. Ну, ребята, я на часок оставлю вас: по всей дороге не видать ни одного верблюда, никакого проезжего. Впрочем, если что встретится, моя Гюль-шад поведет вас, и горе тому, кто на один волос уклонится от ее приказа. Прощай, Гюль-шад; мне предстоит встреча немножко важнее твоей. Давно желал я померять плечо с Искендер-беком, и, спасибо Мешеди-Багиру, я его выследил. Если не ворочусь к восходу месяца, ищите моего тела по следу. Ранее, какой бы крик, какую бы стрельбу ни заслышали вы, ни один не тронься с места! И не роптать на то: я еду не на добычу, а на охоту.

Он забросил за спину винтовку и был таков.

Искендер-бек между тем взобрался на каменный пояс, по которому, хотя с большою опасностью, можно было ехать. Направо под ними синела пропасть; налево вставали скалы над скалами, там инде изгрызенные молниями. В иных расселинах еще лежал снег, недосягаемый лучам солнца, и дробные струйки, как стеклянная бахрома, вились через плиты, на которых он медленно таял. Ине было возврата дерзкому путнику, узкий, как острие меча, прилеп не представлял места для поворота коня; неволею должно было ехать вперед, и он ехал, ехал, ехал… Он уперся, наконец, в край треснувшего утеса. В трещине этой, не более шагов десяти шириною, упавшие с вершин лавины образовали гибельный мост, под которым, невидим, ревел и гулил поток, глубоко внизу. На миг сжалось сердце юноши; но мысль о Кичкене опять согрела его. Он еще более ободрился, заметив одинокие следы подков на рыхлом снегу, и быстрою рысью пустился в гортань ущелия, зная, что один миг остановки мог раздавить случайный свод снегу, по которому скользил он, если не разделять точек опоры скоростью. Страшно хрустел и трещал под копытами снег. Не раз оседал он за ним целыми глыбами, оставляя на закраине утеса белую ленту. Конь потел от ужаса и вот-вот, кажется, пробил насквозь пласт, вот рухнут! Но Искендер вздохнул отраднее: за углом, как заря, рассветала яркая полоса, обет выезда, и вдруг, как будто упавший на луче, всадник стал перед ним внезапно. Озаренный в тыл западающим солнцем, он чернел на снежной белизне, как вылитый из чугуна памятник: он был огромен и неподвижен, как памятник.

— Стой! — загремело навстречу Искендер-беку.

— Стой и брось оружие, или ты погиб: я Мулла-Нур!

Изумленный сверхъестественным видением, Искендер сдержал было своего коня, но, услышав заманчивое имя противника, он удвоил бег.

— Береги свое, Мулла-Нур, — закричал он, взводя курок, — и прочь с дороги!

— Пускай же судьба решит, кому проехать этою дорогою, — возразил Мулла-Нур, поднимая пистолет в уровень с грудью Искендера, остановившегося в десяти шагах. — Стреляй!

— Стреляй ты! — сказал Искендер. — Я не прячусь за коня.

Они с минуту стояли друг против друга с нацеленным оружием, выжидая первого выстрела, — это обыкновенная формула разбойничьих приветствий Дагестана; потом оба опустили стволы.

— Ты — решид (удалец), Искендер-бек! — молвил Мулла-Нур. — Я не хочу разлучать тебя с оружием. Отдай мне коня и ступай куда хочешь!

— Возьми оружие, возьмешь и коня; но покуда есть заряд в дуле, а душа в теле, рука позора не тронет ни этого замка, ни этой узды!

Мулла-Нур улыбнулся.

— Не надо мне твоего ружья, твоего коня, — сказал он, — надобна твоя покорность. Не из добычи — из прихоти своей разбойничает Мулла-Нур; и беда тому, кто станет поперек его прихоти. Я слышал про тебя не раз, Искендер-бек, и теперь сам уверился, что ты игит. Но я недаром искал встречи с тобою: мы не разойдемся, не сложив рук или сабель. Ахырымджи сюз диим (вот мое последнее слово): поклонись мне, скажи: «будь другом» — и дорога твоя!

— Вот мой последний ответ, наглый хвастун! — кликнул Искендер, прицеливаясь, и спустил курок.

Далеко брызнули искры из дула, но, к удивлению Искендера, выстрела не последовало… Только огненный фонтан кипел долго. Он с гневом бросил ружье за левую руку и выстрелил из писто-

лета; слабо раздался удар, пуля упала к ногам Мулла-Нура, а Мулла-Нур, сложа руки, глядел на бешенство Искендера и, будто надежный на очарование, насмешливо улыбался.

— Не спасут тебя ни чары, ни латы, — вскричал Искендер. И тут уже сверкнули сабли обоих противников, и тут уже ярость вспыхнула в обоих сердцах, и они оба ринули коней на роковую схватку, — грудь с грудью сгрянулись бегуны, сабля свиснула над головой Мулла-Нура, удар пал как божий гнев.

Но с глухим треском расселась под копытами сразившихся лавина: она не смогла выдержать тяжести двух всадников. Конь Искендер-бека встал на дыбы в самый тот миг, когда сабля, описав полкруга, падала на Мулла-Нура и не достигла его; он обрушился. Искендер-бек опрокинулся назад и только этим был задержан в падении. Но оторванная от ущелин глыба садилась, уступала и, трескаясь, клонилась в бездну. Притоптанный своим конем в снегу, Искендер судорожно выбивался, с ужасом прислушивался к гулу падения несчастного Мулла-Нура, к шороху катящихся льдинок, сорванных с утеса, к зловещему лопанию глыбы, на которой сам он висел над гибелью. Наконец все стихло кругом. Только бездна глухо рычала, точно тигр, когда он пожрал свою жертву, и щелкает языком, зарясь на новую, и лижет еще окровавленную морду. Жалость проникла в сердце Искендера; он ползком добрался до края провала и взглянул вниз: у него захватило дух и померкло в глазах от ужаса.

Летя с конем в глубину по крайней мере полверсты, Мулла-Нур пробил два снежные помоста, вдалеке друг от друга образовавшиеся от падающих лавин. Эти проломы широко разевали пасти свои; но далее, в самой глуби, невозможно было ничего разглядеть: все сливалось в мутный дым, в синеватый мрак, сквозь который временем мерцало что-то, будто глаза какого-нибудь чудовища. И со дна вставал какой-то страшный ропот, будто хрипение умирающего… Искендер отвратил очи и осторожно подполз к коню своему; но желание спасти, или по крайней мере увериться в судьбе Мулла-Нура, не замлело в нем. Он скоро выехал из гибельного ущелия, проскакал но каменному поясу и спустился вниз, отыскивая исток ручья, текущего по дну теснины, в которую обрушился Мулла-Нур. Ему нетрудно было найти его: гора в этом месте раскололась почти до корня, и белая полоса снегу, залепившего трещину, издали отбивалась на буром поле утесов. Искендер сошел с коня и пешком, ползком почти, решился войти под свод, из которого вырывался быстрый, но мелководный поток. Чем далее — свод этот возвышался и, наконец, сомкнулся высоко над головою, так, что смелый бек мог вольно идти под ним. Свод этот, от паров мерзнущей воды, подернулся ледяною корою; ледяные сосульки гребешками низались по плитняку. Там царствовал мрак и холод могилы. Там гробовой саван снегу задушил, или грозил задушить, все живое; и самый ручей, притаившись на донышке, спешил вырваться на вольный свет, покуда мертвенность не сковала его вовсе. Мороз страха пробежал по всему телу Искендера и сосредоточился на сердце, когда он огляделся, когда оценил всю опасность пути. Но великодушие перемогло чувство самосохранения: он бегом пустился по дну потока кверху и скоро, путеводимый просветом, достиг до того места, где должен был упасть Мулла-Нур сквозь два пробитые им помоста из снегу. Первое, что поразило взоры юноши, была размозженная голова коня, избитого падением, издохшего под грузом лавин. Одна рука и лицо Мулла-Нура выказывались из-под снегу; остальное было погребено в нем. Смертная бледность лежала на лице павшего, глаза были закрыты, уста не зыблемы дыханием. С неизъяснимою тоскою, с торопливостью отчаяния принялся Искендер отрывать его, тереть полою виски и сердце. Казалось, ни одного члена не было изломано, ни одной раны по телу, только одежда там и сям была изорвана острыми каменьями. И, наконец, грудь Мулла-Нура ответила вздохом на призвания жизни! Он открыл тусклые очи, он хотел говорить, но звуки замирали на губах, не связанные в слово. Искендер-бек волоком вынес его из ледяной пасти, и только на чистом воздухе совершенно очнулся Мулла-Нур. Со слезами на глазах сжал он руку великодушному врагу своему.

— После бога тебе первому благодарность, — сказал он, — тебе *одному* вечная приязнь моя! Не за свою жизнь благодарю я тебя, Искендер-бек, а за твою, которою ты жертвовал для моего спасения. Люди обидели меня: я платил им с лихвою. Спасибо тебе, я помирюсь хоть с одним человеком. Много злых качеств дала мне судьба, еще более взвалили их на меня враги мои; но и самые враги не скажут: «Мулла-Нур неблагодарен!». Послушай, Искендер-бек: беда ходит по всем головам без разбора; если она ступит и на твою — мое сердце, моя рука к твоим услугам; а это сердце, эта рука не дрогнут ни от чего в свете. Пусть аллах будет по мне поручителем: я продам за золото, отдам железу свою голову, чтобы выкупить и выручить тебя из беды! Я сказал, я докажу это.

И оба медленно стали всходить на гору: Мулла-Нур хотя чувствовал себя разбитым, однако не согласился сесть на коня Искендерова. Он указал ему незаметную тропинку, которая скоро привела путников к утесу, служившему подзорной башнею разбойников. Закат уже осыпал последними искрами грани Шах-дага, когда они достигли до площадки.

— Вот мой старший брат, — сказал Мулла-Нур своим товарищам, любопытно столпившимся около пришельца. — Ему почет, ему все услуги ваши, при всякой встрече. Кто поможет ему в пустом или в заветном деле, тому я должен до смерти. Кто сделает ему вред, тому я мститель, как за кровь… того не схоронит от моего гнева ни могильная доска, ни волна морская! Пью клятву,[60] и пусть она сожжет ядом мою грудь, если не исполню этого!

И Мулла-Нур предложил гостю скромный ужин, за которым лилась веселость вместо вина. Гюль-шад скромно стояла в сторонке, и хотя Искендер-бек узнал уже, что она жена хозяина, однако ж и не подумал просить ее сесть вместе на ковер, поужинать; в каждом краю свои обычаи. Между тем молодой месяц всплыл золотою рыбкою над голубым океаном неба и плескал бледным светом своим в лицо заснувшей красавицы земли, полуодетой сотканием теней и туманов. О, какая тихая, прелестная ночь растекалась тогда по Дагестану! Тихая, как чистая совесть; прелестная, как самая молодость, томящаяся в таинственном огне своих желаний, в радужных парах мечты своей! На востоке, перед очами Искендера, море, подобно хрустальной стене, возникало гранью небосклона с золотой трещиною посередине. Внизу, будто по дну моря, видимого сквозь прозрачную влагу, расстилалась Кубинская долина и побережья Самбура, чуть-чуть потопленные зыбью туманов. Влево тянулись, толпились, мерцали, чернели зубчатые, волнистые верхи Кара-сырта и кюринских, табасаранских, кара-кайтахских гор. Они были безмолвны и чудны, как сонные грезы, облегшие ложе Дива — Шахдага, погруженного в очарованный сон на снеговых подушках своих. И тихо разливался аромат лугов по охладевшим слоям горного воздуха, и усладою журчал невдалеке горный ключ, летя падучею, но не гаснущей звездою с утеса; и все в небе и на земле было очарование, повторенное зеркалом души, не только взора, слышное не только тимпану уха, но и сердца; очарование в воздухе, в камне, в тишине ночи, в сладкозвучной песне природы. О, какое бы юное, любящее сердце не распустилось негою, как ночной цветок, под свежим дыханием южной ночи и не отдало ей своего благоухания в замену капель росы? За дружные советы Мулла-Нура Искендер отдарил полною откровенностью. С юношеским самоверием он рассказывал о любви своей, о своих надеждах и замыслах.

— О, если б я мог птичкою перелететь через месяц вперед, я бы привез мою Кичкене на эту гору, я бы показал ей все, на что глядеть мне совестно одному, — так оно хорошо; я бы наслаждался ее восхищением, и когда б у нее из уст вырвалось восклицание: «Прекрасно!» — я бы сжал ее на груди и прошептал: «Ты еще прекраснее!». Посмотри, Мулла-Нур, как мило земля, озаренная месяцем, засыпает в тысяче улыбок; но, я верю, милей человеку засыпать под тысячею поцелуев. Счастливец ты: волен как ветер, как орел не знаешь пут, как ему тебе подругой орлица. Не дивлюсь я, а завидую судьбе твоей!

В краю, где война есть не что иное, как разбой, а торговля — воровство, разбойник в общем мнении гораздо почтеннее купца, потому что добыча первого куплена удальством, трудами и опасностями, а добыча второго одной ловкостью в обмане и в обмене. Рыцарство не умерло на Востоке, но восточный паладин, наездник, игит, выезжает погулять не для избавления красавиц от чародеев, а для похищения их себе, не для возмездия притеснителям, а для грабежа встречного и поперечного. Очень часто кидается он в опасность очертя голову, без всякой надежды на выгоды, — из одной неодолимой охоты побуйствовать, истратить на ком-нибудь избыток жизненной деятельности, — чтобы принести домой осколок отбитого оружия или рану на теле и потом весело охать под шумом поздравительных песен соседей. Разбойник — самое занимательное лицо азиатских сказок и поэм, неизбежное лицо напутных анекдотов, и вообще весь быт его так плотно вкраплен в характер народа, его слава так заманчива, а неприступность гор и покровительство жителей, даже ханов, дает столько способов удачно и безнаказанно быть им, что разбои в подвластном нам Закавказье, несмотря на все старания правительства, очень нередки. Непокорные горцы хищничают, вкрадываясь под личиною мирных; мирные делают то же под именем непокорных, — и разве сотый виновник впадает в руки правосудия. Не дивитесь же, меряя Азию европейским аршином, что Искендер-бек от глубины чувства позавидовал разбойнической жизни Мулла-Нура.

Но грустно качал головою Мулла-Нур, слушая неопытного юношу.

— У всякого есть своя звезда, — возразил он, — не завидуй мне, не ходи по моему следу; опасно жить с людьми, но и без них скучно. Дружба их — безумящий или усыпительный терьяк;[61] зато и вражда к ним горче полыни. Не охотой, а судьбой выброшен я из их круга, Искендер: нас делит струя крови, и не в моей силе перешагнуть за нее назад. Прекрасен вольный свет: но разве нельзя наслаждаться им, не быв изгнанником? Раздолье в глуши человеку; но пустыня всегда пустыня: никакие думы не населят ее, никакие чародейства не оборотят камни в товарищей. Было время, я ненавидел людей; было время, я презирал их; теперь устала душа от того и другого. На один год станет забавы для гордого внушать своим именем страх и недоверчивость; но страх — игрушка, подобная всем другим игрушкам: она скоро опостылеет. Потом наступает злая охота унижать людей, насмехаться над всем, чем они хвастают, обнажая на деле их гнусности, топча под ноги все, чем дорожат они более души… Жалкая потеха! Она забавляет на миг, а дает желчи на месяц, потому что как ни дурен человек, а все-таки он брат нам. На конец концов, отрадно ли, подобясь коршуну, в каждом живом существо видеть только добычу, оставлять в каждом встречном нового врага? При молитве думать о проклятиях, посылаемых заочно на мою голову; засыпать и ждать измены самых близких; пугать собою, не доверять никому?.. И посмотри кругом, Искендер: неизмеримо широки угорья Дагестана, богаты они дарами своими; но в целом свете, не только здесь, нет деревца, которое бы покрыло меня своей тенью и сказало: «Спи спокойно, здесь не тронет тебя вражеская пуля, здесь тебя не выследят, как дикого зверя». Многолюдны ваши города, богач и бедняк теснятся там, но каждый имеет свой

угол, каждый укрыт от непогод зимних; а у меня бурка — единственная кровля, а мне город не даст ни для дома покоя в стенах своих, ни даже горсти земли на кладбище закрыть погаснувшие очи. Да, Искендер, да! Печаль, как ханская жена, умеет ходить по бархатным коврам и, как серна, прядать на утесы. Ты видишь: я и в пустыне не ушел от нее!

— Ты многое претерпел, Мулла-Нур? — спросил Искендер-бек с живым участием.

— Не говори, не поминай об этом! Когда поедешь мимо треснувшей скалы, не допытывайся, разбита ли она молниею или разорвана морозом, но проезжай скорей мимо: она может рухнуть на твою голову. В саду садят цветы, а не зарывают умерших; не хочу отравлять твоей юности повестями о моем прошлом. Что было — было: оно не стлеет и не изменится. Что будет — не минует нас: его не отведешь рукою, не отмолишь слезами. Добрый сон тебе, и дай аллах, чтобы никогда не приснилось никому во сне, что, случилось со мной наяву! Завтра я укажу тебе самую краткую дорогу к снегам Шах-дага на свершение твоего подвига. Прощай!

И он завернулся в бурку. Прочие давно спали.

Искендер долго думал о происшествиях дня, о судьбе Мулла-Нура, и когда заснул, странные мечты не раз пробуждали его: то ему казалось, выстрел взрывает грудь, то конь сорвался в бездну — и он летит бездыханен по острым кремням сквозь мрак и холод, — и нет конца паденью! Грезы наши — отголосок настоящей жизни и прежнего хаоса. Крепкий сон — казовый конец смерти.

VII

Тепелярдан ель кими, дерилярдан селль кими;
Баш ястуга коймииб; гюз юхуя вермииб.
Он мчался, как ветер по хребтам, как водопад по ущелиям,
Не приклоняя головы на подушку, не предавая очей сну.

Из повести

Одна за одной облетали с неба звездочки, как поблеклые блестки с темно-голубой чадры ночи. Просветлело небо, как взор девственницы, и вот закипел восточный край моря, подобно заздравному кубку; солнце брызнуло лучами на горы. Проснулись все около Мулла-Нура и, отдав молитвою селям новому сыну вечности, весело принялись холить коней, чистить оружие, готовить завтрак.

— Товарищ твой провел худую ночь, — сказал, смеючись, Мулла-Нур гостю своему. — И знаешь ли где? В пятидесяти шагах отсюда. Ты еще вчерась просил меня послать за ним в поиск, но я пустил это мимо ушей, но хотел беспокоить тебя вестью, какое наказание готовится хвастливому Юсуфу. Возьми его с собой и делай что хочешь… А между прочим, эй, молодцы, снесите-ка поесть нашему пленнику! Я знаю, что для него, как для янычара, котел — святыня.[62] Накормите и скажите, что Мулла-Нур не хочет голодным отправлять его в бесконечное путешествие: пусть он ест плотнее, чтобы мог дождаться второй трубы ангела страшного суда.[63]

Тут Мулла-Нур рассказал Искендеру, как жена его перепугала Юсуфа и как, в возмездие его лести и трусости, он послал его связанного ждать до утра казни. Искендер-бек хохотал до слез. Когда новые друзья позавтракали, Мулла-Нур прижал руку гостя к сердцу и потом к челу.

— Ты у меня здесь и здесь, — сказал он, — я не отведу от тебя глаза, не отниму руки. Теперь ты знаешь дорогу к верху и к подошве горы: спеши быть полезным для своих земляков! Я еду в другую сторону и на иное дело: кто поборет судьбу! Она бросает одного в свет абазом, другого пулею: моего свинца не перечеканить в монету. Прощай, друг, помни Мулла-Нура!

Вереницей диких голубей, обгоняя друг друга, понеслась шайка разбойников к Тенгинскому ущелью. Скала опустела. Искендер-бек свел в поводу коня до пещерки, в которой наперед указали ему Юсуфа, лежащего ниц с завязанными руками и глазами.

— Встань и приготовься умереть! — произнес Искендер густым басом: ему захотелось продлить комедию, начатую Мулла-Нуром. Гаджи-Юсуф, трепетный как тополевый лист, поднялся сперва на четвереньки, а потом на колени: ничего в мире нельзя было выдумать уморительнее его тогдашней образины. Вся краска его лица взобралась на кончик носа, как будто спасаясь в самом неприступном месте. Огромные усы, висящие словно крылья огромного носа, были растрепаны и перепачканы глиною; бритая, но не выбритая борода, проседая в отчаянном беспорядке по впалым щекам, еще более обличала их бледность. И весь он был расстегнут и распоясан, будто на карантинный осмотр. И он умильно протягивал к небу у кистей связанные лапки свои; и так жалобно упрашивал помиловать себя, что надо было опоясаться тройным поясом: простой бы лопнул от смеха.

— Ангел Азраил! — восклицал он, — пощади мою голову; она еще не созрела для смерти. И чем я обидел тебя? В чем я виноват перед тобою?

— Не моя воля, приказ Мулла-Нура казнить тебя. Он говорит: этот недоверок Гаджи-Юсуф, как свирепый тигр, дрался с моим другом, Кази-Магамма,[64] и я должен отомстить кровь моих товарищей, зарезанных им во время вылазок из Дербента!

— Кто? Я дрался с воинами Кази-муллы? Я? Осрамлю гробы отцов и дедов того, кто наговорил на меня такие небылицы! Я зарезал многих лезгин на вылазке, я? Аллах, аллах! Чего не выдумают клеветники! Нет, джаным, курбаным, не таковской я человек, чтобы стал воевать против правоверных. Бывало, во время осады, юс-башы кличет: «На стену, на стену!». А я шмыг на базар. Мне очередь в караул,[65] а я себе храплю всю ночь напролет во славу пророка. Из ружья, правду сказать, согрешил раза три, да и то когда неприятели были верст за пять; а сабли не вынимал, валлаги'ль-азим, билляги'ль-керим, не вынимал! Отведай сам, можно ли ее вынять: она еще при отце моем срослась с ножнами; и я соглашусь охотно, чтоб ею отрубили мне голову… долголетен я буду на земли! Да и за что стал бы я драться с Кази-муллою? Прекрасный он был человек; святой он был человек. Не руби он голов за трубки да за чарки, я бы сам пристал к нему!

— Еще, говорит Мулла-Нур, он такой отчаянный шаги, что с нашим братом суннитом из одного ковша воды пить не станет! А Мулла-Нур поклялся истреблять всех, которые в молитвах своих поминают Али, в упрек Омару!

— Ощиплю я бороду этому Али, ему, да и двенадцати халифам, которых муллы наши зовут имамами (угодниками аллаха). Что они мне? Пхе! вздор, пыль, пуч-зат! Какой я шаги? С какого конца я шаги? Молюсь я только тогда, как некуда деваться; затыкаю уши разве для того, чтобы не слышать имени Алия,[66] а в ус себе никогда не дую: черт меня унеси, не дую! Да и рук не опускаю по швам, а, будто поправляя кушак, то и дело складываю их по-вашему, по-суннитски. Воды не пью, не хочу лгать; ни с кем не пью; у меня природная болезнь — водобоязнь. Зато поднеси мне водки не только ваш брат горец, а просто солдатский поросенок — посмотрел бы ты, кто кого перепьет! Спроси об этом у нашего Фергат-бека: он у нас почетный человек, достоверный человек, да и питух такой, что между русскими поискать ему равного, — а, верно, сознается, что я его при всякой попойке спать укладываю. Баллах, биллях, я не шаги! Я сунни: снутри и снаружи. Разве люди эти шаги! Пхе! Утоплю я в армянском бурдюке (в мехе с вином) души этих недоверков шаги!

— А главная вина, за что велел убить тебя Мулла-Нур, — твоя дружба с Искендер-беком, его заклятым врагом. «Еще вздумал этот Гаджи-Юсуф, — говорит он, — провожать на Шах-даг, в мое владение, без спросу, для какого-то шагийского колдовства, этого мальчишку Искендера! Обрадовался невидальщине: по всему свету трубит, что он товарищ самому, чистому, самому благонравному, самому достойному юноше из всего Дербента!» Плачь, Юсуф! Голова твоего приятеля слетела уже прежде твоей.

— Слетела? Туда и дорога… Голова была самая лишняя вещь у этого трусишки. А кому спасибо за то, что он попался в руки Мулла-Нура? Разве не мне, скажи: разве не мне? Я нарочно привел его в западню! Друг? Откуда это известие? Нашли вы мне прекрасного дружка, нечего сказать! Продам я его за полпряника да еще пряник дам придачи! И кто это, признайтесь пожалуйста, выдумал, будто Искендер — самый благонравный у нас юноша? Припечь бы калеными щипцами язык у такого враля. Искендер — такой гуляка, что аллах упаси! Кто первый поздравляет новое винцо в Армянской слободке?.. Искендер-бек! Кто у русских офицеров ест да похваливает богопротивную свинину? Опять Искендер-бек! Кто выплясывает лезгинку на чьей хочешь бурке, не говорю уже — на ковре; кто спит в саду на бубне вместо изголовья? Все-таки Искендер-бек! У нас разве ленивый не целует Искендера, а вы зовете его чистым юношею! Сожгу я бороду его матери!

— Ах ты, лгун, собачья голова! Мало тебе чернить Искендера, так ты принялся и за мать его? Да уж хоть без обмолвок бы бранил ты, кого хочешь без совести разбранить; а то нет в твоих россказнях ни складу, ни ладу. Ну разве могла быть у Искендеровой матери борода?

— Ей-богу, была б длиннее Фетх-Али-шаховой,[67] если б она ее не брила. Сколько бритв перезубрила у меня покойница, это известно только моему брусу, больше никому: я не люблю хвастать добрыми делами. Нет, не срамите, но вините вы меня дружбою к Искендеру; отрекаюсь и от него, от его рода и племени. Как может он быть добрым человеком, когда отец его был грабитель, мать глупа, а дядя сапожник!

— Устал я слушать тебя, бесстыдный враль. Протягивай голову: кинжал готов!

— Ох, пощади меня; раба твоего, твою верную собаку! По крайней мере дай мне посмотреть на смерть свою.

— Смотри на свой позор! — произнес Искендер и сдернул с глаз повязку.

Весельчак был этот Юсуф, а умирать не любил: можете же вообразить его изумление, когда, вместо палача, он увидел перед собой смеющееся лицо Искендер-бека, когда вместо свиста кинжала, он услыхал только упреки его.

— Что ты смотришь на меня, будто на моем лбу хочешь прочесть сотое имя аллаха,[68] ты, кабан, начиненный небылицами, бурдюк лжи, грязный перекресток грехов, базарная лавка всех глупостей? Повтори-ка, смей повторить, проклятый отступник веры, мне в глаза, что отец мой был грабитель, дядя шил сапоги, а сам я пляшу на бурке и на бубне сплю!

Что ж вы думаете, Юсуф сгорел со стыда, смутился, замешкался?.. Напротив, он хохотал, обнимая Искендера.

— Ай да я! — говорил он. — Успел-таки рассердить моего Искендера: умел отплатить насмешкой за насмешку. Что, брат, обжегся? Вперед не ешь чужой грязи, не наскакивай на терно-

вый куст. Ставил силок на сокола, да и поймал ворону! Нашел простака надувать своими затеями! Да я узнал тебя по голосу с первого слова: я различу твой голос, если б ты даже вздумал лаять или мяукать промеж тысячи кошек и собак!

— Ах ты, ртуть бегучая! В тебя и в ступе пестом не попадешь. Ну, пускай ты узнал меня, пускай я поверю, что ты успел меня одурачить: да с чего же ты, беззаконный трус, отдал свое оружие жене Мулла-Нура? Как допустил раздеть себя бессильной женщине?

— Не хочешь ли ты, чтоб я застегивался на все пуговки перед красавицами? Чье же дело раздевать молодца, как не женское?.. А что, разве не правду я говорю? Мудрено очень, что я растаял, завидевши такую милочку, что я отдал ей все, начиная с чухи до сердца!.. Посмотрел бы я, что бы ты сделал, встретясь с ней, гиоз-би-гиоз оланда, глаз на глаз? Ведь ходит она — галуны меряет, говорит — червонцами дарит. Два глаза и носик ее точно буквы джим, алиф и нун, рядком поставленные, с двумя точками внутри.[69] Ротик так мал, как скважина жемчужины, а пояс мог бы служить мне вместо перстня.

— Особенно если б руки твои были одного размера с твоим носом! Ну, долыгай, Юсуф, поскорее; мне, право, некогда... Так ты из любви дал связать руки?

— Душа ты моя, Искендер, что ж мне делать, что у меня такое мягкое сердце! Не то ремнем — волоском привяжи она меня, так я пошел бы за ней на край света. Да как пристал к ней мужской наряд! У самого падишаха, я чай, нет таких нукеров!

— Ну, ну, надевай, добро, свое оружие! Мулла-Нур велел его выбросить, чтоб оно не заразило трусостью оружия его товарищей. Я уверен, что ты по крайней мере при мне не станешь рассказывать про свой ночлег в этой пещерке. В утешение тебе, однако ж, скажу, что встреча с нами была приготовлена вперед. Нас предал зеафурец, у которого мы завтракали; известил Мулла-Нура и налил воды в ружья наши. Мулла-Нур схватился было со мною, да оборвался в ущелие.

— А что, уехал он?

— Теперь уж далеко.

— Оборвался? А ведь черт не сломил ему шеи! Зачем не провалился он сквозь землю! Наплюю я когда-нибудь в дуло этого разбойника, заставлю ходить иноходью. Не будь у меня мокры заряды, я бы и вчерась дал ему знать, из каких букв слово *хараб* (гибель) складывается.

— Если ты будешь его бить по-вчерашнему, похвальными речами, так он скорее умрет от смеху, а ты с испугу, чем от твоих ударов.

— С испугу? Я умру с испугу! Да есть ли что в целом свете, чего бы испугался я?! Баллах, биллях, таллах, я разве самого себя испугаюсь!

И между тем оба бека взбирались по указанной Мулла-Нуром тропинке. Никакой глаз не отличил бы ее снизу, никакое воображение не создало бы возможности взобраться на столь крутую скалу, но опыт оказывал противное: коленчатые, незаметные уступцы выводили реями до самого венца.

Так многое считают неприступным, недостижным; но когда необходимость или крепкая воля увлекает нас, мы находим, что невозможное есть только трудное, только опасное. *Хочу* — половина *могу*.

Достигши вблиз снегов Шах-дага, Искендер-бек отдал держать своего коня Гаджи-Юсуфу, а сам с медным кувшином, бардаком, полез на круть. Солнечные лучи, протаяв верхний слой снега, образовали почти ледяную кору. На ладонь ниже под рыхлым снегом лежала такая же кора; глубже — еще и еще, в подобном порядке, так, что промывающийся под ногами путника слоеный наст очень затруднял подъем. Ослепительное отражение солнца, пылавшего во всей красе, кружило голову Искендера. Перед очами его, по снегу, вспыхивали алые пятна и тысячи радуг пересекались на каждом шагу. К счастию, хребет Шаг-дага не сахарной головой, а крутым порогом проникает в область холода и снежная черта его, во время лета, неглубоко вьется от вершины. Задыхаясь от усталости, пал, наконец, Искендер на снег, не топтанный от века никем, кроме ангелов; но он пал на самом темени.

Слишком чист, нестерпимо чист для человека воздух неба; ослепительно ярок луч солнца. Сыну земли необходимы испаренья земли для дыхания. Ему нужно раздробить или переломить свет, чтобы он мог наслаждаться им. Он ничего не может пить из родника, даже самой истины; родник поражает его холодом или пламенем невыносимым. Так и бек Искендер изнемог на вершине Шаг-дага: грудь его расторгалась от родины воздуха, очи залиты были волнами света. Но если небо замкнуто было для взоров ого лучезарным замком солнца, земля раскрывалась внизу том прекраснее. Зрение, замененное в сеть оптики, не знало, куда обратиться и что покинуть. Прямо передним, на север, гряда за грядой вставали хребты, идущие от моря до Аварии, дающие ложа рекам Самбуру, Гюльгери, Дарбасу и другим меньшим.[70] Они смыкались между собою множеством ветвей и, пробив параллельною морю каменного волною Кара-Кайтах, изливались хребтом Салатафа в синюю даль. Влево, вблизи, изумрудные холмы ханства Кюринского роскошно купали в воздухе кудри своих плодовых лесов, то взбрасывая на опененные скалами волны флот деревень, то почти поглощая его в глубину зелени. Далее между хребтов, там и сям убеленных снегами, черною полосой тянулись ущелия ханства Кази-Кумык, осажденные враждебными крутизнами вольных обществ Алты-пара, Докус-пара, Ахти, Сиргили, Акуши, Табасарани и, наконец, замурованные в облачном отдалении скалистым берегом

Кой-су, под прямым углом, кидающимся с запада на север. А там — горы Султанов Ели-су, рядом с горами Джарскими, крепостью свирепых Глуходаров. А там Шекинская и Шамахинская области, тонущие во мраке гор Карабахских. И все это смешение света и теней, зелени и буризны камня, переливающихся дивными узорами и кое-где затканных золотой ниткою вод, волновалось перед очами, как покрывало, накинутое рукою аллаха на тайны земли. На востоке, будто стальной, повороненный щит, окованный горизонтом, сверкало море под огневой насечкою лучей. И все было тихо, безмолвно кругом; с высоты снегов не было видно никого, ничего не слышно: туда не долетал обаятельный лепет жизни! И вот мир заснул в груди Искендеровой — мир, который носит человек с собой неотлучно, и в пустыню дикую и в святыню молитвы. Привлеченный на темя этой горы своекорыстным желанием овладеть любимою женщиною, он почувствовал, проникнутый благостью небесного воздуха, как недостойны были народного доверия его замыслы. Несчастия беднякам от засухи обступили, стеснили в нем сердце. Сомнение, которое мелькало в нем порой к щедроте божеской, перешло в сомнение к самому себе. «В чистом сосуде подобает зажигать аллаху курение молитвы за братий, а я?..» Он пал на колени и с примирительными слезами раскаяния молился за себя, с слезами умиления — за Дагестан. Наконец безотчетное, темное чувство веры умастило его душу. Он набрал снегу в кувшин, обвязал его чистым полотном и с набожною осторожностью стал спускаться долу. Обратная дорога была гораздо труднее восхода: стопы скользили по насту, крутизна увлекала. Но, даже скатываясь несколько раз, Искендер сохранил в своих объятиях не коснувшийся почвы сосуд надежды, долженствующий увлажить жадные поля. Так по крайней мере думалось суеверным дербентцам; так верил сам Искендер. Соединившись с Юсуфом, он не отвечал шутками на шутки его и дурачества: он уже был исполнен важных дум, и благоговение к своему подвигу, проницая наружу, давало его осанке какое-то гордое благородство. Гаджи-Юсуф не мог надивиться такой перемене.

— Уж не наелся ли он там солнца, — говорил проказник бек сам с собою, — что боится выпустить его из-за зубов вместе с речами! Или не сыграл ли в шахматы с ангелами, что так загордился! Да посею я в его бороду соль, пусть только она вырастет! Какое мне дело, что он стал угрюм, как голодный кади в пост: какая в этом убыль мне? Ведь если он и приморозил себе язык, так ушей, верно, не отморозил. Я все-таки буду говорить; посмотрел бы я, как он запретит мне говорить, а себе слушать?

В Юсуфе тоже, видно, произошло что-то необыкновенное: он сдержал свое слово.

Как ни спешили наши всадники, но была глубокая ночь, когда они домчались до запертых ворот Дербента. Сильно билось сердце Искендера: если б насадить его на бревно тарана, оно бы само пробило стену. Страх, сомнение, надежда то вздували, то стискивали его. Повесив роковой кувшин на дерево, Искендер с тоскою смотрел то на черную стену, грозно и таинственно сомкнутую надо всем, что ему мило, то на мрачное небо: он от всех предметов пытал ответа — будет ли, не будет ли удачи? Он с отрадою увидал наконец, что легкие облачка неслись по небу и, подобно стаду диких коней, прядали через огонь месяца.

— Видишь ли? — сказал он, толкнув засыпающего Юсуфа. — Взгляни на его рога!

— Чего глядеть, — бормотал тот впросонках, — резать его да жарить, возьми мой шомпол и стряпай скорее шишлик.

— Я говорю тебе про месяц, Юсуф!

— А я думал — про барана!.. Страх есть хочется. Месяц? Какой черт месяц! Я, кажется, круглый год не проглотил зернышка.

— У тебя только еда на уме, долгоносый аист; а небось не порадуешься со мною, что по небу ходят облака!

— А ты, каменное сердце, небось не погрустишь со мною, что по брюху у меня ходят мурашки! Облака? Вишь, нашел невидаль: кушай себе их на здоровье; ты ведь с неба воротился. Я бы гораздо больше был рад, если б по небу летали жареные фазаны. Не мешай мне, пожалуйста, хоть во сне обед увидать!

— Постой, постой, Гаджи-Юсуф. Не чувствуешь ли ты в земле сырости?

— Я только чувствую засуху в желудке. Такую засуху, что там, я чай, паук сети раскинул. Юхун яхши олсун (да будет сладок твой сон)!

И он зевнул; и он заснул.

Раным-рано весть о счастливом прибытии кувшина с священною водою из шахдагского снегу электрическою искрою промчалась по сердцам в Дербенте. Все, что могло не только говорить — лепетать, зашумело. Все, что могло ползать, если не ходить, задвигалось. На дворе мечети ужасная была давка, суматоха неописанная; ожидание хода томило всех. И вот, после моления в мечети, все муллы и почетные жители города, с знаменами, исписанными текстом корана, потянулись в голове бесчисленной толпы народа к морю. Искендер скромно нес кувшин; зато Гаджи-Юсуф, выбритый наново, в новой чухе, расправляя свои усы за ухо и закидывая за плеча рукава, к великому соблазну людей степенных, выступал преважно с ним рядом и хозяйничал, будто на своих похоронах. То семенил он впереди шествия, то равнял толпы мальчишек, то, забравшись в середину зевак, разглагольствовал про чудеса, встреченные им на Шах-даге. Одним говорил — он так близко был к небу,

что слышал, как чихают гурии. Других уверял, что привез с собой уши Мулла-Нура. Пуще всего, по его словам, претерпели они от медведей и змей. Шкуру с самого большого, убитого им в рукопашном бою, хотел он привезти домой, да разбойник конь никак не посмел запрячься его тащить. А из змей на Шах-даге в одном месте сплелась рогожка, так, что они принуждены были мостить из камней мост через эту змеиную полосу. Он перестал врать только за недостатком слушателей, потому что все бросились смотреть, как будут выливать воду в море.

С самого утра дул горный ветер: небо подернуто было туманною пеленою, но дождевых облаков не виделось нигде. Когда, после долгой слезной молитвы, главный мулла готовился опрокинуть роковой сосуд в волны Каспия, Искендер-бек с приметным волнением сказал Мир-Гаджи-Фетхали:

— Ага, вспомни свое обещание!

— Вспомни свое условие, — отвечал тот с насмешливою улыбкою. — Судьба твоя не в кувшине этом, а в дождевой туче. Ты угоден мне, если угоден аллаху!

И, говорят, прыснуло море о камни, когда благословенная вода пролилась в его лоно. Прыснуло и зашумело глухо. И черные тучи покатились с гор Табасаранских, как будто в раздумье налегли на край Дербентского угория; но вдруг, широко взмахнув крылами, быстро помчались врознь по небу, словно спугнутые с утеса выстрелом бури. Грянул далекий гром, горное эхо проснулось из мертвого сна, окрестность загудела под вихрем. Листья весело отряхали с себя пыль; мусульманки со смехом выказывали свои личики на совесть ветра, срывающего долой их покрывала; все руки, все очи поднялись навстречу дождя, столь искренно молимого, столь давно ожидаемого, — и дождь проливной зашумел, напояя обильными струями исчахнувшую землю, освежая раскаленный зноем воздух. Невозможно описать, ни оживописать радостной толпы в тот торжественный миг. Шапки летели в воздух и воду! Восклицаниям и молитвам не было конца! Все обнимали, все поздравляли друг друга; всех, однако ж, более был рад Искендер-бек: ему упала с дождем премиленькая невеста.

Предоставляю судить господам философам и естествознателям, явилась ли в этом призванном дожде счастливая игра случая или колдовство. Я просто рассказываю дело, которому был очевидцем.

VIII

Гечме намерд кюрпинсиндан: кой апарсын чай оны!
Ятма тюлкю далдасында: кой джирсын аслан аны!
Не ходи через мост лукавца: пусть лучше быстрина унесет;
Не ложись в тень лисицы:[71] пусть лучше лев растерзает!

Стих-пословица

Что за юность без любви, что за любовь без юности? Ярко светит свеча в чистом воздухе: а какой воздух чище весеннего? И не греть огню без воздуха, не прожить юному сердцу без страсти, где бы то ни было. Правда, высоки стены дворов мусульманских, крепки затворы; но ветер проницает и туда! Глубоко лежат сердца их красавиц, замкнутые за тридесять предрассудков, закованные в тысячу приличий, но любовь, как воздух, находит и к ним дорогу. Кичкене уж любила, не смея самой себе в том признаться. Искендер-бек стал любимою ее мечтой в день, приятнейшим сновидением ночи. Вышивая золотом; сафьянный накременник или подсокольную перчатку для своего незнаемого будущего, она думала: «Что, если б это было для Искендера — карагюздара (черноглазого)!». Какова ж была ее радость, когда суровый дядя с досадою, но решительно объявил ей, что она невеста Искендер-бека! Вспыхнули ее щеки, затрепеталось ее сердце, словно голубь, пущенный на волю. Итак, сбылись ее тайные желания, ее безымянные надежды облеклись в законное имя! Теперь уж она гордо может принимать цветы и поздравления от своих подружек и, сидя с ними за шитьем приданого, хохотать и толковать о своем будущем муже сколько душе угодно. Теперь уж никто не запретит ей примерять хоть сто раз в день свадебное платье и повторять обычные проделки первого свидания; золотить воображением то, что знакомо ей в быту супружеском, и множить на миллионы наслаждений все, что неизвестно. Ну право, если есть счастливцы на земле, так это женихи и невесты. Что поете вы мне о сладости медового месяца? Медовый месяц, как и все его братцы, родится с рожками и пророчески обмывается в непогоде. Притом, или нынешние пчелы разучились делать мед, или вкус наш испорчен сахаром, только я знаю многих новобрачных, которые уверяют, что медовое варенье, даже розовое, приторно. Иное дело — пора между помолвкой и свадьбою; это приход голодного в столовую; пышный обед развивается перед ним, уже не вдалеке, а на хват руки. Вкус его изощрен аппетитом, взор и обоняние ласкают и манят плоды, перевитые цветами, блюда, жарко дышащие благоуханным паром. Слух обольщен приветным бряцанием рюмки о рюмку или падением серебряной вилки на фарфор. Каждое мгновение множит его нетерпеливость, зато близит к верному наслаждению. Он грызет пустоту, он глотает воздух, зато чародей воображение обращает ему каждого петуха в золотого фазана, предсказывает шамбертен* под каждою длинною пробкою, уверяет, что он может съесть полмира и запить его пол-океаном. И как милыми, как остроумными

кажутся люди женихам перед свадьбою и гастрономам в виду обеда. Не скажу, чтоб они казались также милыми и остроумными людям, но все-таки пресчастливое состояние жениха, и если в обеих наших столицах увидите вы кучу невест и женихов вечного цеха, это явный признак утонченности нравов: они вытягивают в канитель эстетическое наслаждение между помолвкой и размолвкой; они каплей по капле пьют амброзию, которой полный глоток отяготил бы всякий благовоспитанный желудок. Но, перед всеми частными и всесветными женихами, тебе пальма, достославный Л.! Только ты вполне постиг сладость предбрачного состояния, которому посвятил три четверти жизни. Скажи, какая красавица в Петербурге не была твоей невестою? Укажи хоть одну звезду бульвара, которая бы не считала тебя женихом? Мне сказывали за диво, будто и тебя попутал Гименей*. Тебе же хуже, если — *да*! Ты сам узнаешь зевоту, которую безданно доселе внушал.

Мусульманину вовсе не следовало бы чересчур радоваться женитьбе, потому что он, по закону, может играть вдруг четыре, не включая в то число утешительной перспективы замещения после развода; потому что он каждый угол своего дома украсить может живою статуйкою, купив ее точно так же, как покупаем мы у носячего алебастровых Диан и Психей. Но Искендер-бек, вероятно, знал, а быть может, предчувствовал, что редкий мусульманин дочитывает и первый том четырехтомного романа брака, и потому спешил насладиться всеми радостями первинки. Он не слышал под собою земли, бегая по лавкам; он измучил свою тетку закупками; и, в награду себе за невозможность пройтись даже близко дома своей невесты, — этого требовал строгий обычай, — не переставал о ней думать наедине. «На этом новом коврике будет она сидеть за работою, на балконе у решетчатой двери! В этой узорной чаше станет зерно по зерну выбирать пшено для моего плова! Перед этим зеркалом моя Кичкене в первый раз увидит свое милое личико вместе с лицом мужчины; из этого посеребренного рукомойника освежит свои пылающие щечки; под этим атласным одеялом…». Но, впрочем, для таких мечтаний вовсе не нужно обручального кольца: вы можете, не платя свадебных прогонов, съездить в эту заветную сторону и на собственном воображении, воля ваша, — я не отдаю в извоз своего. А между тем спальня женатого — презанимательная вещь, по крайней мере для холостых.

Но на вешнем льду строил Искендер замок своего счастия: в то время, когда он готовился увенчать его золотою маковкою, судьба простирала на разрушенье свою огромную, неотразимую десницу.

В наши закавказские области вероисповедания Али нередко приезжают из Тебриза или Исфагани странствующие проповедники, муллы. Толкуют коран, рассказывают легенды про чудеса своих имамов и нередко вздорными россказнями питают вражду к русским нововведениям. Самая обильная пора на этих ораторов, сказочников и плясунов бывает в месяц мухаррем, который в тридцать три года обходит все месяцы нашего солнечного года. В этот месяц, начиная с первого его дня, шииты празднуют, как я где-то описал, поминки по Гусейну*, сыне Алия, который после гибели отца своего восстал на Езида, сына Моаввии, за халифат, но, встреченный в теснине Кербела, на походе из Медины в Куфу, был разбит наголову воеводою Езида, Обейд-Аллахом, и потерял там жизнь в 10 день мухаррема, 61 года гиджры*. Все это происшествие, драматически изложенное, представляют шииты с большим великолепием, а нередко и с чувством, но ночам, при блеске тысячи светильников. Повесть наша началась по окончании этой религиозной трагедии. Гусейн с детьми своими был уже изрублен в куски по всем правилам военного искусства и по всем правам восточной политики. Остальное семейство его бежало, а голова его отправилась как трофей за седлом гонца в Мекку перед светлые очи торжествующего халифа Езида. Но этим еще не кончается спектакль. Через две недели обыкновенно, на которой-нибудь из площадей, представляют в подробности судьбу бегствующих Гусейнидов и приношение головы Гусейна перед трон злобного халифа. Для устройства этого праздника, со всеми затеями, приезжий из Тебриза мулла Садек остался в Дербенте целый месяц, склонясь на неотступную просьбу почетных граждан и того более на невозразимый звон серебра. Мулла Садек был человек лет сорока пяти, но глядел степенно и ходил с расстановкою, будто семидесятилетний старик; его разговор и молчание равно вышиты были именами аллаха и Алия, вели-аллах (святого божия); четки перебирал он даже во сне, и вообще от него сияло святостью и пахло розовым маслом на двадцать шагов в окружности. Впрочем, Садек, разрабатывая ниву небесную, не забывал округлять и свои земные делишки. Дружбу водил он с немногими, а деньги брал он от всех: истинно был добродетельный человек, — не обидит отказом благосклонного дателя; да, кроме частных подарков, еще согласился (благородная душа!) принять по окончании Хатыля, за весь пот ума и тела, одну сотнягу серебряных рублей, из расходов мечети. Не довольствуясь этим, он хотел прочнее устроить свое житье-бытье каким-нибудь брачным родством; и, поразведав стороной, куда бы выгоднее забросить крючок, наживленный красным словом, решил обратиться к Мир-Гаджи-Фетхали, за племянницей которого, как единственной наследницей, прочуял он изрядное именье.

Вкравшись в доверенность Фетхали похвалами его уму и познаниям, его учености и красноречию, бранью русских за то, что они не умеют отличать такие высокие достоинства, и что, по их милости, потомки истинных имамов стали равны с простолюдинами, и что даже — я аллах! — Алием проклятые сунни сидят с ними рядом, а если служат России, стране раздора и неверия, то нередко распоряжаются мирами как обыкновенными людьми.

— Ай вай! — восклицал он, — пришли последние годы. Суд судов зреет над головою! Скоро, скоро встрепенется рыба Хут, на которой стоит свет, и сбросит с себя долой это гнездо змеиное, этот котел греховный! Правоверные гордятся крестами, и темляк для них стал почетнее бороды!.. Не знаю, право, что сталось бы с колесом Дербента,[72] если бы ты, Мир-Гаджи-Фетхали, не служил ему осью веры и мудрости. Почтенный ты человек! Святой ты человек, истинный Гусейн! Не садишься в диване с немытыми армянами и с неверующими свиноедами, донгус еян кафирляр; не хочешь чернить свози души ни чернилами, ни порохом на их службе. Твоя тагия (политика) — сливки благоразумия! Только одного не мог я уложить в свою голову, одному поверить не хотел, свидетели газрети Алие (святые потомки Алия): глупая чернь, кара халх, толкует, будто ты выдаешь свою племянницу за какого-то безбородого бечонка? «Наузу биллях (убежище мое у бога)! — сказал я самому себе на ухо, — этого не может быть; такой благочестивый человек, как Мир-Гаджи-Фетхали, не бросит в лужу перлу пророка, не отдаст простому человеку дочери брата своего, не смешает с грязью крови сеида*. Вель хамду ли'ллях, ве ля иляге илля гуэ! Сбыточное ли дело, чтоб такой кельби Али (такой пес Алия)[73] допустил съесть бесхвостому котенку райскую птичку? Ее же аллах ему отдал под призор! Хейр (нет)! Это хош таплых (это шутка); бир фикир-ды (какая-то выдумка); она родилась в пустом арбузе и разнесена вертучим ветром по базару. Даром бросают такую пыль в бороду Фетхали. Не верю я тому, чего быть не может!»

— А между тем, это правда, — сказал Фетхали с таким лицом, будто его застали в чужом винограднике.

И он рассказал мулле Садеку, каким образом и почему принужден был дать на этот брак свое согласие. Притом же, замечал он, в Дербенте нет пары его племяннице из числа немногих миров. Все они такое старье или такая голь, что если за иного выдать, так свадьбу придется играть на перекрестке, а новобрачным спать на своих башмаках, прогуливаясь.

Мулла Садек два раза погладил свою бороду, два раза пропустил девяносто девять зерен своих четок между пальцев и сказал:

— Все исходит от аллаха, все к нему возвратится. Разве нет достойных Гусейна в стране Ирана, в Персии, в благословенном краю наследников Сефи*? Солнце два раза в день восходит и западает в виляете (владении) шегиншаха (государя государей): так оно неужели не светит в глаза ни одному жениху твоей племянницы? Вели пейгамбар, ваазы пейгамбари (о святой пророк, о завет пророческий)! Если ты хочешь женить светлый месяц на звезде утренней, я пришлю сюда моего двоюродного брата по матери, Мир-Фрейзуллаха-Тебризи, — указательный перст учености, изумруд красоты: борода его считается третьего после шаховой; богат он так, что индеек кормит жемчугом, и со всем тем скромен, как изголовье. Клад, а не человек, валлаги, билляги! Когда он в нашем городе идет по базару, даже те, у которых глаза выколоты, кричат ему: «Гьозим усти»,[74] а купцы бьют челом кто пряником, кто изюмом, кто горстью табаку; ни один не сунется без пешкеша (подарочка). Если твоя племянница за него выйдет, так ей даже в бане все ханум и бегум (все ханши и бекши) станут давать почетное место, — а Тебриз не вашему глиняному Дербенту чета!

Это предложение польстило и гордости Фетхали, потому что он знал, каким уважением пользуются в Персии миры, и ненависти его к Искендеру. Однако ж в нем еще были искры совести. Он возразил мулле Садеку препятствиями со стороны матери Кичкени и со стороны строгого коменданта, который, вероятно, не позволит переселения из русской области. Притом, «что скажут» горожане? На диаляр — важная вещь и на Востоке. Le ce qu'en dira-t-on держит в узде парижанина и петербуржца, обитателя Пекина и Шамахи. Это почти совесть людей бессовестных.

— Что скажут? — с насмешкою отвечал Садек. — Скажут, что ты умный человек. Простительно делать ошибки, но исправлять их похвально. И что, в самом деле, за услугу оказал тебе Искендер? Будто бы до него аллах дождя не выдумал? Он тебя поймал в западню: оставь же лучше в западне свой хвост, как лисица, и уйди от него, чем целый век кланяться немилому человеку. Да я научу тебя, как, с помощию пророка, выбраться из обещания, не запятнав своей чести. Откажи Искендеру и расславь по городу, что твоя сестра — при смерти и дала обещание, если выздоровеет, выдать свою дочь не иначе как за потомка пророка, за имама. Этому в Дербенте не один пример. Сестра твоя не выходит из дому; да и дома почти нема как рыба: так на нее, для пользы внуков Алия, можно все взваливать; а слушать ее бредней — будет позор на твою голову. Разве не знаешь, как плотно поколотил Эйюб, алейги'с селям, Иов (мир с ним!), свою жену за то, что она советовала ему поклониться шайтану? А разве мать Кичкене — твоя жена? Разве ты купил ее? Что она тебе? Только сестра; а это четвертью меньше, нежели ничто. Плюнь ты на ее волю!

— А комендант? — со вздохом спросил Фетхали.

— А комендант что за помеха? Разве невесты — запрещенный товар к вывозу? Да пускай себе и запрещенный: можно надуть коменданта, попросить билет в Персию для свидания с родственниками, да и пошел, покатил себе. Обмануть гяура — все равно что приложить кусочек к сердцу Али: три греха с души долой. Тебе же более славы, если ты на черте привезешь дар Каабе*, Меккскому храму, за неимением белого верблюда.

Два лукавца ударили по рукам.

Наутро Искендеру отослана была половина кабына, то есть откупа за невесту, обращаемого обыкновенно на приданое. Искендер-бек чуть не оторвал себе ушей, чтобы увериться, не обманывают ли они его! Нет; весть эта была слишком несомнительна. Возвращенный мешок с рублями лежал перед ним неотвергаемым доказательством; тетка его Аджа-Ханум бранилась так искренно, что слов ее нельзя было принять за шутку. Сначала, оглушенный неожиданным отказом, он сидел бледный, безмолвный, с неподвижными очами, как тело, только что охладелое в труп. Но скоро юная кровь зажглась негодованием, и оно вырвалось наружу буйным потоком угроз и проклятий. Быть столь близким к счастию, подносить уже к устам заветную чашу — и вдруг вместо желанного, драгоценного питья выпить горькую обиду, облиться несмываемым позором! О, это заставило бы вспыхнуть самое ледяное сердце, закипеть самую ползучую кровь! Никогда любовница не кажется нам так прелестною, так любимою, как похищенная изменой или судьбой. Тогда любовь нарастает на весь ужас разлуки, а бешенство за разлуку раскипается всем пламенем страсти. Искендер-бек неистовствовал: разбил вдребезги хрустальный кальян свой, выбросил за окно зеркало, изорвал в клочки свою круглую подушку, вытолкал в шею нукера, который явился было с неуместными услугами. Он упал от изнеможения, но злость не потухла вместе с силами: он грыз подушку и плакал. Наконец рассудок взял верх, но если гнев, если безнадежная любовь покинула голову, они тем не менее терзали его сердце. Два дня и три ночи, обманутый в самых законных своих надеждах, юноша не мог спать, не хотел есть. Но потом азиатская природа передвоила все бурные чувства в тихий, медленный яд желания и мести. Он перебирал и отвергал все средства отмстить вероломному Фетхали, не подвергая себя опасности от русского правительства. О, если б это было при ханах, — удар ему кинжалом в бок, и все кончено! И Кичкене стала бы его собственностью, после месячного бегства! Теперь иное!.. Теперь надо!.. Искендер углубился в размышление, как это надо? А перед ним давно уже стоял Гаджи-Юсуф. Право, за вычетом хвастовства и трусости, этот Гаджи-Юсуф был предоброе создание. Горесть товарища тронула его: если б умел, он бы заплакал, глядя на безмолвную задумчивость Искендера. Он тихо коснулся плеча хозяина и, хотя разодет был как свежепривозный кашенг, франт из Тебриза, однако сказал свой селям самым степенным голосом.

— На хабер (что нового)? — спросил очнувшийся Искендер.

— Пришло три корабля с хлебом: народ веселится.

— Если б пришли три корабля с мышьяком на отраву всем дербентцам, я бы радовался один более, чем теперь они все вместе.

— Помилуй, Искендер, за что такая опала! Не хочешь ли ты подражать Эгри-Абу-Талебу,[75] который еще в люльке на кого-то рассердился и до сих пор косится на целый свет? Пришло — пройдет!

— Ты слышал, Юсуф? Верно, уж слышал! Ну, рассказывай, что про меня шепчут в Дербенте?

— Ничего не шепчут, на всех базарах и перекрестках только в бубны бьют, что тебе отказала мать Кичкени.

— Мать? Мерзавец этот Фетхали!.. Убью его и уйду, скроюсь в горы!

— А что, разве тебе Кара-даг дядя?[76] Видно, ты еще не лакомился просяными чуреками, душечка Искендер. Велика хитрость убить да уйти, и потом по конец жизни облизываться на дым родного города! Анасыны, бабасыны… Гораздо лучше побить порядком этого Фетхали — и гайда в Баку! Там, если тебя оседлала такая охота жениться, ты можешь на пробу купить себе жену на два, на три месяца. Прекрасное это заведение — метеги,[77] для удобства путешественников, черт меня покарай, прелюбезное! Я сам женился на четыре месяца; да, слава аллаху, бежал до срока от моей красавицы. Рад, что ноги унес! Бывало, сплю и боюсь — откусит она мне нос из нежности. Так-то, Искендер-бек! Отведай сам, правду ли я говорю, и, воротясь, — об заклад побьюсь, — ты за спасибо пешкеш* привезешь Фетхали, что он не отдал тебе племянницы.

Искендер-бек был угрюм и безмолвен.

— Душечка, цветок ты, Искендер-бек! Ты ничего не слышишь, будто уши по воду послал; а печален так, словно сердце твое забили в фелаку (лещотку) и отдубасили по пятам. Экая невидаль — невеста! Брось только горсть червонцев на улицу да закричи: «Гель, гель, гель!» — набежат свахи словно куры. Надоедят тебе жены, вспомни меня, надоедят!

Искендер не внимал ничему.

— Да и об чем ты так грустишь, Искендер? Что за звезда твоя невеста! Что за красавица такая! Глаза у ней один больше другого, а сама так смугла, что ты разоришься на одни белила; да к тому ж, кажется, немножко кривобока. Видел, брат, я ее не раз!

Искендер-бек схватил Юсуфа за ворот.

— Ты ее видел? Где ты видел ее? Как ты дерзнул поднять на нее свои пьяные глаза? Говори же, бездельник, когда и как ты ел ее своими глазами?

— Ради аллаха, пусти Искендер-бек!.. Разве не видишь ты, что я шучу?! Ты знаешь, что я глаза ношу всегда в кармане, а карманы мои все в дырах. Где мне видеть ее! Да и на кой черт стану я заглядывать на эти двуногие жемчужины! Пропадай они, право: я не пахарь таких нив! Я умильнее погляжу на свиной бурдюк с кизлярским чихирем, нежели на женщину. Эй, не женись, душечка Искендер-бек! Беда тебе — жениться: ты такой ревнивец, что аллах упаси!

В соседстве с русскими молодцами тебе придется стоять всю ночь на карауле и целый день, как рахтарщику*, осматривать и щупать, кто входит и что вносят в твой дом. Ну уж что за люди эти русские. Только поставят их постоем — смотришь-глядишь, они уж приятели с нашими молодушками! Подкатится яблоком, рассыплется бисером, а там... Знаешь ли ты Муллу-Касима, того сухопарого зверка, про которого говорят, что с него снята была кожа для таинственной книги Джефр.[78] Ну, мой ага, этот Мулла-Касим, старый ревнивец, купил себе беду под белою чадрою и не спускал с нее глаз. Что ж вышло? Он по три раза в неделю отворял ворота одной подружке хорошенькой женки своей и сидит, бывало, у ворот, чтоб не дать жене на проводах выглянуть па улицу; а эта подружка и был русский офицер в женском платье!

Оба приятеля схватились за бока от смеху.

— Мужчина? Под чадрою? Это прелесть! Это единственно! Спасибо тебе, Юсуф; разутешил ты меня этим рассказом.

И бек Искендер чуть не задушил гостя в объятиях.

— Ну да прощай, душа моя! Мне теперь хлопот целое стадо. Я сегодня ночью представлять буду фиренг эльчиси (франкского посла) при дворе Езида: так надо заранее умудриться, как мне влезть в узкие шальвары! Пусть выкроит шайтан себе подметки из кожи этих гяуров за адскую выдумку тесных мундиров и панталон: в них так же ловко двигаться, как в железных тисках. Недаром, право, носят они на шее удавки: запалю я гробы их отцов да сам и огонь залью! Не попадайся мне теперь ни один русский петух: разом ощиплю весь хвост на султан для треугольного папаха! Я уж задал жгучей травы[79] комендантскому павлину; перестанет он хвастать своим ли веером. Да и русской водке достанется: какой я буду кяфир, если не вытяну стакана четыре? Яхши олсун, Искендер-бек, яхши олсун! Увидишь, я таким выйду на Хатыль полным франком, что солдаты будут говорить мне: «Здравия желаю, ваше благородие!».

— Советую только переменить тебе имя Юсуфа на Аллах-верды![80]

— И, разумеется! Аллах-верды — прекрасное слово. «Бог дал» вино, так черт не отымет. Ох, служба, служба! Горька она и в нашем правоверном платье, а в кургузом и того втрое. А еще говорят, будто я мало служу. Неблагодарные!..

Юсуф удалился, разговаривая сам с собою про безумие Искендера:

— Рехнулся бедняга; без сомнения, рехнулся! То он несносен, как пустая бутылка, то хохочет, будто исфаганского нагильчи (сказочника) слушает, то бранит меня, словно капитан, то обнимает ни за что ни про что. Жаль!

И, молодецки закинув рукава за плечо, он пошел, переваливаясь, по улице и напевая стихи в честь Гусейнова побоища при Кербеле:

Неджа кан агламассын даш бугюн!
Кеселибты етмиш-еки баш бугюн!

Как сегодня не прослезиться тебе, камень, кровью?
Сегодня отрублено семьдесят две головы!

Зато Искендер вовсе не думал об отрубленных головах; ему Юсуф приставил новую своим рассказом. Яркая мысль — пробраться к своей милой под чадрою — озарила его сердце. «Я шел законною дорогою, — говорил он себе, — и она привела меня к пропасти. Теперь я, во что бы то ни стало, дойду до своего окольными тропинками. Теперь все связи мои разорваны, и не мною. Пусть же узнает Фетхали, что значит разбудить барса и потом дразнить его. Бесславием, похищением — всем готов теперь я добывать вырванную у меня Кичкене. Да! Я оденусь женщиною, но докажу, что я не мальчик: сегодняшний ночной праздник сблизит меня с бесценною, — пускай дорога к ней помещена остриями кинжалов! Неслыханную между мусульманами дерзость сделаю я; но разве не такова моя обида, моя любовь?» Так рассуждая, или, верней, безрассудствуя, Искендер обшивал сам свои шальвары кружевным позументом, как носят мусульманки; примерял купленное для будущей невесты покрывало, учился подбирать его по подолу и около рта, ходить смиренно, говорить тоненьким голосом. К сумеркам он мог бы представлять на Хатыле сестру Гусейна, верно, лучше своих собратий. «Сурьма по бровям и темнота ночи скроют остальное», — думал он; однако боясь болтливости своего нукера в таком деле, где бросал на ставку свою голову, он услал его пасти коней на траву. С трепетом сердца ждал он ночи; но день не хотел умирать, как богатый дядя. Наконец-то, наконец заревой барабан сказал его сердцу отрадную весточку. Пламенники, напитанные нефтью, замелькали по улицам и вот слились в одном месте в багровый дым зарева... Скоро придет время.

Пустяки говорят, будто мы только в первый раз любим крепко и пламенно. Одно верно, что мы только в первый раз любим сладостно; потому что тогда все в любви нам ново, потому что мы верим тогда неизменности любви и взаимному для ней геройству. Проходят лета, и незваный гость опять стучится в сердце: он подает очки свои, которые разлагают все мечты, показывают все цветы, всех бабочек, в настоящем их виде, и говорит: «Это линючая краска, бесполезное насекомое. Черт

возьми твой микроскоп, опытность! Я хочу роз, а ты подаешь мне скляночку с духами. Скажи мне, счастливее ли я стал, узнав, из чего составлена слеза и какой нерв движет улыбку? Счастливее ли, умеряя сильные чувства, чтоб не нажить аневризма? Счастливее ли, что, завидя в ком-нибудь, даже в самом себе, вспышку прекрасного чувства, я говорю: «Знаю, чем это кончится!» Холод и пустыня тем ужаснейшие, что опять дают угадчивость уму, а не избавляют от страстей, от чувства».

Искендер плавал в безызвестном для него океане любви, искал Нового Света счастия, который, новому Колумбу, живописался на воображении полным сокровищ и восхитительным новизною. Но если б вы спросили его, какие он имеет к успеху залоги и для чего выбрал эту дорогу, для чего хочет он видеться с Кичкене? Он бы не умел дать отчета и самому себе. Счеты изобретены, конечно, не влюбленными. Все, что он мог бы отвечать вам, состояло в словах: «Я так решил! Я на это решился!» С богом!

Начернив огромную бровь, которая, по последней моде, должна была соединять, как мост, оба уха, и налепив на щеки две золотые звездочки, Искендер заткнул за пояс, стягивающий атласный дун (род бешмета), пистолет, обвил голову маленьким тюрбаном, закутался весь до ног в белую чадру с каймою и робко пошел к нижнему магалу. Спрятавшись подле дома Кичкене в ворота, он выждал, покуда она вышла с двумя подругами, и, не теряя ее из виду, чтоб после не утратить вовсе меж тысячи покрывал, отправился по пятам ее до самого места представления. Площадь, улицы кипели пешими и конными зрителями; кровли домов покрыты были купами и рядами женщин, живописно рисующихся в белых и цветных чадрах. Драма еще не начиналась; на возвышении, приготовленном для Езида, говорил пролог мулла Садек, а два других стояли на ступенях, крытых ковром, махальными чувствительности, и при каждом трогательном описании громко кричали народу: «Что ж вы не плачете? Плачьте!». В ответ на это раздавалось обыкновенно вверху и внизу оглушающее хныканье; потом поток красноречия снова пробивался сквозь жужжанье. Почти в лихорадочном жару взбежал Искендер за Кичкене по крутой лестнице чужого дома, беспрестанно прикасаясь к женщинам, на плоскую кровлю. На ней уже было до сотни мусульманок, сидящих, стоящих, бегающих взад и вперед и более или менее озаренных блеском множества мангалов, поднятых на шесты. Женщины встречались, целовались, болтали без умолку, смеялись без удержу. Все они одеты были в лучшие платья, увешаны золотыми звездами и монистами; и все это не забывали они выказывать при встрече с знакомыми, широко распахивая чадры.

Тот, кто не знает азиаток, не знает и половины азиатца, хотя бы он жил с ним сто десять лет запанибрата. Вместе с туфлями мусульманин надевает непроницаемую личину, и вне гарема не покажет родному брату своему ни дна души, ни дна кошелька; притом же, страсть хвалить нравы и обычаи своего народа, свойственная всем народам младенчествующим, обладает им вполне. Послушать каждого из них, так вы подумаете, что это целое поколение праведников, что у них все мужья и жены ходят между строчек корана и никогда не помыслят вильнуть в сторону. Только в семье смеет мусульманин быть самим собою, потому что жена и дети для него вещи, которым не обязан он ни малейшим отчетом. В отместку ему жена бывает собою всегда, кроме его присутствия. Покорная, предупредительная, почти безответная раба мужу, который для нее свет, публика, власть — все, она вознаграждает себя за домашнее принуждение на гулянье, в садах, в бане со своими соседками. Вы скажете, что подруги ей домашние, а домашние — чужие. Они откровенны между собою, ибо между ними нет иной ревности, кроме за наряды. От этого выходит двойственный мир, совсем отличный от европейского, — мир, более недоступный для мужчин, чем для женщин, потому что муж перед женой разоблачается вполне, она перед ним — вполовину. Теперь вообразите, что вы каким-нибудь счастливым случаем вкрались в доверенность мусульманки или подслушали ее болтовню с подругою, заглянули в гарем хана vue d'oiseau,[81] и вы, конечно, узнаете больше, нежели мусульманин захочет вам сказать, больше, нежели может сказать. Вообразите и то, как загадочно изумлен был ничего не знающий юноша Искендер, брошенный в середину женских нескромностей, в середину женщин, большею частию прехорошеньких, он, который сроду не говорил ни с одной, кроме старух; он, который если и видел их личики, так это в почтительном отдалении, и то на миг. Он пожирал их глазами, напрягал слух и ум, чтобы уловить и понять долетающие до него отрывчатые фразы. Напрасно! Они оставались для него, как останутся, вероятно, для многих моих читателей, загадками.

«Ах, душечка, молодица моя! Эй, джан, джюван! Какая у тебя прелестная баги (головное украшение). А мой скупец был в Зинзилях да в гостинец привез только шелковый треног: правда, затканный золотом, да что мне в этом пользы? Его не наденешь ни в мечеть, ни в баню». — «Нет, мой муж, хоть и прихотлив, а ничего для меня не жалеет; грех на это жаловаться. Надарил мне кугу вещей за то, что я до жаров не спорю за летний обычай». — «Слышала ли ты, Фатме-Ханум, что мой старый черт в Баке взял другую жену? Я в слезы; а он мне: «Разве мне там без плову жить!». Муж только до семи гор обязан жене верностью. Шах-Сейн, вай-Сейн! Да разве, когда он переедет за семь, от меня до него будет только шесть? Отплачу я ему за это! Берет другую жену, а сам даже джума-ахшамы (кануна недели) не справляет: такой беззаконник!» — «Наверное ли?» — «Как, моя жертвочка, не наверное! В русской земле вышел указ, чтобы все женщины носили туманы по-нашему. Я сама видела, что и здешние начальницы перестали гневить аллаха, надели-таки

беленькие шальвары... Да и пора была! Бывало, по горе идут, при ветре...» — «Чудесный дала ты мне ваджибет, Шекер-Ханум; тысячу раз тебе за него спасибо: тело от него точно персик становится». — «Не умеет Аспет-Ханум готовить долмы*, вовсе не умеет: хоть бы на свадьбе такой есть, не только на похоронах, так горек покажется». — «Умерла? Сама виновата! Умела с чужим любовь водить, умей концы хоронить; а то муж только со двора — она в гости, да еще с фонарем». — «Так он до смерти ее заколол?» — «Насквозь, джаным! Тут же и душу Азраилу отдала».— «Надоели мне мои ребятишки, баджи (сестрица); хоть бы подросли поскорее, а то такие крикуны, что голову разломит!» — «Ох, сестра, от маленьких детей болит голова, от больших — сердце! Пристал ко мне мой Мешгеди: купи да купи ему жену, а ведь жена не свистулька... дорог стал этот товар: откуда я возьму денег!» — «Ай вай, какой стыд! С армянином, с переводчиком! Разве мусульман или русских ей недостало?.. Любой армянин с придачей двух кусков зерр-бафта и четверти греха не стоит!» — «Прелесть манер, чох испаи тегер, душечка! И прелегенький! Он называет его тегеранским; наподобие буквы джим; да, кажется, такими узорами переберу я всю азбуку. Преученый человек муж мой!» — «Ох, не поминай, сестрица! Вот точь-в-точь такой затейник был покойный муж мой; бывало, как начнет учить мою малютку, так она шепчет, шепчет... Аллах веку ему не продлил, а то бы читать ее выучил...»

Восклицания: «Башлады, башлады (началось, началось)» прервали все россказни. Все кинулись смотреть на драму. Езид, в красном кафтане, в зеленой чалме, сидел уже на троне; по левую его руку, немного ниже, бог весть по какому преданию, сидел европейский посол, в фантастическом мундире русского покроя, в треугольной шляпе с огромным султаном, при европейской сабле и шпорах. Приближенные Езиду и шейхи арабских племен в белых чалмах обнимали трон полумесяцем. Европейского посланника играл Гаджи-Юсуф, но он, затянутый в непривычном наряде, беспрестанно путаясь в портупее и шпорах, беспрестанно поправляя шляпу, которая прогуливалась по бритой его голове, был так уморителен, что наверное не заманил никого быть европейцем. Огромный нос его и еще того огромнейший султан из петушьих и павлиньих перьев дали повод к жаркому спору между женщинами.

— Шах-Гусейн! вай Гусейн! Сестрицы, посмотрите-ка, что за зверь сидит по левую руку проклятого Езида? — закричала одна хатынь, госпожа.

— Это лев, — пресериозно отвечала ей соседка. — При мучителях, османских халифах, всегда дежурил какой-нибудь лютый зверь: чуть не понравится кто-нибудь, сейчас того отдавали на завтрак.

— Лев-то лев, — возразила другая, — только он тот самый, что плакал над гробом Гусейна, а не в службе у Езида; плутяги чауши (десятские) подсмотрели, что он жалеет нашего имама, да и взяли под караул. Слышите ли, Езид говорит ему: «Прийми мою веру»; а он только сморкается: это значит — не хочет.

— Какой лев? — насмешливо произнесла другая. — Это птица!

— Как же, птица! — возразила та. — Разве у птиц хвост на голове? Это грива; так, грива и есть.

— Совсем не грива, а хохол попугая: должно быть, этот попугай был у Езида мирзою (секретарем); видишь, как халиф ласкает его, а тот воркует не по-человечески!

— Племянница ты попугая, душа моя!

— Львиная ты мордочка, сестра моя!

Спор сделался общим. Одни говорили — птица, другие утверждали — зверь. Однако ж сторона, восставшая за попугая, перемогла: женщины всех стран отменно любят попугаев. Надобно сказать, что красный нос Гаджи-Юсуфа всего более способствовал этому мнению; только и в нем возникли расколы. Иные думали, что нос у этой птицы природный, иные спорили, что он накладной. Все это доказывало, что каждая из почтенных мусульманок, там сидевших, могла бы выдержать профессорский экзамен в невежестве истории естественной и сверхъестественной, о которой шло дело; а дело шло своим чередом. Бедный Юсуф, никак не воображая, что подлинность его носа и его человечества подвержена такому сомнению, говорил приветственную речь Езиду. «Государь мой, повелитель Френгистана (таков был смысл ее), заслышав о твоих победах, прислал меня просить о дружбе и союзе с тобою». Езид отвечал, что покуда ему нет досуга управиться со свиноедами, что он дарует им мир и время покаяться, но если они не примут шекксиз китаб (несомненной книги) законом, так он объявит им джигад (войну за веру) и начнет систему обрезания с голов. В это время радостная весть о разбитии воеводой халифа враждебного ему Гусейна приходит вместе с трофеями. Пуки стрел, сабель, кольчуг, мешки с добычею рассыпаны к ногам Езида; подносят на блюде голову Гусейна. «Вот участь всех, кто мне противится! — гордо говорит посланнику халиф, и сброшенная его ногой голова катится по ступеням. — А этот человек был родственник Магомета, хотел быть халифом; многие звали его пророком, заступником молитв, имамом; и что теперь он? Прах!» Фиренк-Эльчи осмеливается спросить, неужели у них мода так обходиться с пророками. «Со лжепророками», — гневно отвечает Езид. «В таком случае легко можно убедиться, ложный был он или настоящий, — продолжает франк. — Голова Гусейна! — примолвил он, обращаясь к голове, уже воткнутой на копье, — если ты истинно пользовалась откровением бога мусульман и если вера, тобой проповеданная, не обман, скажи мне символ ее,

и я, христианин, клянусь обратиться в мусульманство!» И голова отверзает мертвые уста; молитва «ла иляге илль аллаху, эшгеду, энна Мухаммеда ресулю'ллах», как труба, раздается в воздухе. Пораженный, убежденный чудом, европеец падает ниц, восклицая: «Мусульманам, шагиям (я мусульманин, я шиит)!» — «Ты глупец, — говорит ему Езид, раздраженный примером дерзости для своих последователей, — ты стоишь казни. Отрубить ему голову!»

Гаджи-Юсуф, которому так же ловко было сидеть на стуле, как на копье, особенно с грузом винных паров в голове, не дожидаясь удара, покатился на пол. Эта потеря равновесия, приписанная ужасу, произвела необыкновенный эффект. Павшего франка утащили, подменили куклою, и срубленная голова его запела стихи в честь Гусейна.

Под шумок между тем Искендер подсел рядом к Кичкене: дух у него занимался от радости, сердце обливалось невыразимо сладким пламенем. Он был подле нее, касался ее, чувствовал жар ее щек, аромат ее дыхания; и он был мусульманин, и ему только что минуло двадцать лет! Он не мог выдержать искушения, когда Кичкене, привстав, чтобы лучше взглянуть вниз, оперлась рукой на его колено.

— Кичкене, — произнес он тихо, — встань; мне нужно сказать тебе два слова, — и он крепко сжал ее руку, подымаясь.

Мысли задумчивой Кичкене были полны Искендером: его искала она в потоке лиц, озаренных факелами, его взор надеялась встретить между тысячами взоров. Не Езид привлек ее на представление, не Езид занимал теперь. Уверенность поглядеть хоть еще разик на жениха, которым ее поманили и которого отняли потом без причины, поглотила все ее внимание; каково же было ее изумление, ее страх, когда голос, которого эхо было сердечное воспоминание, прозвучал ей на ухо! Крик замер у нее на устах, она не имела силы, ни жестокости сопротивляться. Искендер-бек увлек ее на самый темный угол кровли; зрительницы так заняты были Езидом и Эльчи, что их внимания нечего было страшиться.

— Я люблю тебя, Кичкене, — сказал он испуганной красавице, — горячо люблю! Ты видишь, на что я решился, для того только, чтобы поглядеть на тебя, сблизиться с тобою; можешь угадать, на что решусь, если ты скажешь: «Искендер-бек, я тебя не люблю»... *Да* или *нет*, милая?

Глаза его пылали, жгли; правая рука сжимала пистолет. Бедная девушка трепетала, робко озираясь. Казалось, она бы рада была, если б кто ее выручил; казалось, она прокляла бы того, кто помешал бы ей слушать эти страшные и вместе чарующие слова.

— Искендер! — наконец произнесла она, послышав резкий взвод курка, — я твоя жертва; только не сгуби себя, не обесчести меня... Позволь мне уйти!.. Я бы рада обнять тебя, как пояс сабли... но ты знаешь, какой человек мой дядя!

Звонкий поцелуй раздался, и звук этот тихо сошел на *нет*, не прерываясь. Краткий миг дан любви на Востоке, но она, как сновидение, умеет умещать в него тысячи оттенков, тысячи происшествий, всю долговременную борьбу европейской страсти.

— О, не говори мне про утреннюю зарю, азизым! Как можешь ты любить свою завистницу?.. Так ты соглашаешься, не правда ли? Ты соглашаешься, бесценная, кыматсиз! Мы увидимся завтра ночью!

Никто не слыхал, что сказала Кичкене, но на лице Искендера отразилось — «завтра». Мнимые подруги расстались.

Не знаю, как провела ночь после такой поучительной встречи милая Кичкене; но Искендер-бек заснул сладко и скоро: есть грехи, после которых спится лучше, нежели после доброго дела. Если б вы увидали тогда его прелестное лицо, покоящееся под улыбкою неги, вы бы сказали, что сами видите гирлянду мечтаний, обвивающую беззаботное чело юноши.

IX

М. Т.
Эпиграф из алкорана[82]

На послезавтра от окончания празднества тризны по Гусейне в крепости Нарын-Кале у комендантского дома был большой съезд беков, по случаю какого-то царского дня. Нукеры и уздени[83] в блестящем вооружении водили и держали коней под попонами, расшитыми шелком с бахромою из кистей. Живописные купы табасаранских, каракайтахских и дербентских владельцев разговаривали между собою у фонтана или на площадках лестниц, беспрестанно пересекающихся как на театральной декорации. Вверху обсаженная тополями караульня венчала эту картину своими белыми аркадами и сверкающими иглами штыков.

Зала была полна почетных гостей и граждан. У дверей комендантский переводчик что-то рассказывал с жаром: его слушали и расспрашивали со вниманием. Везде шептались; старики пожимали плечами; видно было, что произошло недавно что-то необыкновенное.

— Да, — продолжал дильмачь, — разбойники разломали потихоньку простенок и влезли в спальню Сулейман-бека; он проснулся тогда только, когда один из них стал снимать оружие над его

постелью. Разумеется, он выхватил из-под подушки пистолет и выстрелил наугад, но, видно, дал промаха. В это время двое других, которые успели в соседней комнате связать жену его, и в сенях работника, подоспели на помощь двум возившимся около Сулеймана: темнота мешала видеть друг друга, и потому он успел нанести несколько ран наступавшим, прежде чем был сам ранен. Наконец многие удары по голове кинжалом оглушили его; он упал замертво. Между тем выстрел и крик растревожили соседей, и покуда они зажгли фонари, сбежались и разломали ворота, разбойники разбили сундуки, очистили их и ушли, убежали, так что следу нет.

— И неужели ни одного не могли поймать или отыскать по приметам? — спросил кто-то из приезжих.

— Поймали вблизи одного их товарища: он, видно, поставлен был на карауле. У него около тела обвита была веревка, конечно для того, чтоб спустить молодцов через городскую стену. За поясом нашли заряженный пистолет и кинжал. Ну да кинжал, правда, он имел право всегда носить по званию бека!

— Бек? Не может быть, чтобы какой-нибудь бек захотел участвовать в разбое! — вскричали многие.

— А почему бы и не так, — возразил мирза, насмешливо посматривая на некоторых. — Есть беки, которые вздыхают по ханском правлении. Молодежь любит погулять, не то чтобы из добычи, а для удальства.

— Да-с, пойманный вчера с поличным был бек из лучшей фамилии. Вы удивитесь, когда я скажу, кто он! Он Искендер-бек-кальфаси-оглы! Комендант рассматривает теперь донесение кала-бека и дежурного по караулам, а Искендера вы сейчас увидите: его велено привести с гауптвахты.

Все, кому было это новостью, вскрикнули от удивления и сожаления. Как! Тот юноша, которого поведение признано было в один голос целым городом за примерное, попался участником в уголовном преступлении, в воровстве и ночном разбое?..

Впрочем, нашлись люди добрые, которые говорили, что им это нисколько не удивительно, что Искендер-бек был всегда скрытен, что пороки не ждут возраста, что они всходят несеянные, нелеяныые. Людей обыкновенных всегда увлекает наружность, особенно в худом, потому что для них лестнее предполагать в каждом, наравне с собою, три четверти худого, чем три четверти хорошего, — а наружность обвиняла Искендер-бека кругом. Выход коменданта прервал жужжанье суда и осуждения.

Он был из того небольшого числа людей, которые постигают азиатский характер в тонкости. Ласков с разбором, для того чтоб привет его ценился выше подарка: строг без грубости, которая отравляет самую справедливость. Он не подражал тем начальникам, что воображают пленить азиатцев братаньем, пожатием рук, объятиями на оба плеча, доверием в оба уха, и кончают тем, что становятся игрушкою и притчей всех себе подвластных. Не принадлежал он и к разряду тех, что думают вселить к себе почтение острасткою и заменить прозорливость шумом, зато, кроткий и важный в своих сношениях с мусульманами в домашнем быту, он был непреклонен в решениях; но, достойный представитель русского правительства, он приучал любить его за справедливость и уважать за силу. Невообразимо трудно править областью, составленною из многих разнородных стихий, совершенно противоположных сущностью и наружностью нравам и понятиям европейским. То, что у нас считается преступлением, у них нередко похвально; что у нас терпимо, у них рождает кровавую месть; и на равнине — так, в горах — совсем иначе. Притом же, по необходимости допущенное тройственное судопроизводство, то есть русское, ханское и третейское, по старинным обычаям, шариат*, затрудняет равно следствие и решение. Тут мало быть законоведом и беспристрастным: тут надо быть сердцеведцем этого народа. Горцы вообще прямодушнее, зато непокорнее; горожане — плашмя перед властью, зато вы не найдете в свете людей, умеющих лучше ее обежать или провести. Лукавцы и кляузники, они с удивительною сметливостью угадывают и разрабатывают в свою пользу слабости тех, кто ими правит. Не находя в этом коменданте пищи для своих козней, и того менее им пощады, они сначала крепко невзлюбили его, поперечили ему, клеветали на него потихоньку. Тот все шел и, наконец, увлек их прямой дорогой. Он явился в залу в полном мундире.

Положив правую руку на сердце и потом при поклоне сжимая ею свое правое колено, ряды беков и граждан жужжали приветы начальнику, деланья счастия всему дому падишаха. Комендант кланялся всем, говорил немногим о делах: иного журил за невысылку подвод или обвиненных, других благодарил за успешное поручение; подал руку двум или трем владельцам, отличным своею преданностью России; пригласил некоторых к обеду.

— Благодарю вас, агаляр, — наконец сказал он собранию, — что вы навестили меня в праздник, радостный для всех подданных русского императора: сегодня мы празднуем память рождения одного из царских сыновей. У нас — один бог, один падишах, и мы каждый по-своему помолимся богу, чтобы он сохранил здоровье нашего падишаха для общего нашего счастия. Господа окружные беки! Вы слышали, я думаю, о грабеже, случившемся здесь прошлою ночью. Я имею все доказательства, что он совершен не жителями Дербента, а прихожими горцами. Прошу вас поэтому употребить все средства, открыть и представить ко мне виновных; с моей стороны будут посланы доверенные беки

разведать об участниках и укрывателях. Здесь уже делаются обыски и допросы. Ну что, — сказал он, обращаясь к мирзе, — увещевал ли мулла Искендера признаться, и что говорит он сам?

Мирза отвечал, что Искендер стоит в своей невинности по грабежу. Что ж касается до прочего, он признает себя неправым, хотя без всяких преступных намерений. Веревку взял он, по его словам, чтобы спуститься с городской стены в поле погулять; ему стало душно внутри города: а кто ж пойдет за город без оружия ночью, когда и днем всякий вооружается?

— Неуместные прогулки! — заметил комендант. — Тут что-то кроется, хотя я никак не могу согласить с этим грабежом всегдашнего доброго поведения Искендер-бека. Введите его сюда.

Искендер-бек, по общему обычаю, вошел в шапке, но без туфлей, почтительно поклонился коменданту, гордо собранию и скромно стал на указанное место.

Комендант вперил проницательные очи в обвиненного; юноша покраснел от мысли, что его подозревают, но взгляд его был ясен и неробок.

— Никогда не ожидал я, — произнес, наконец, комендант, — видеть тебя перед собою, Искендер-бек, как преступника!

— Не преступление, а судьба привела меня перед суд, — отвечал тронутый Искендер.

— Знаешь ли ты важность вины, в которой обвинен ты?

— Я узнал только здесь, в чем меня обвиняют. Сознаюсь в своей ветрености; чувствую — все обвиняет меня: но я непричастен к этому делу, видит бог!

— Люди должны уступать явным доказательствам, и потому, покуда сомнения на тебя не рассеются, ты должен быть арестован. Впрочем, если найдешь из почетных гостей моих законного поручителя, я избавлю тебя от заключения.

Комендант знал, что в беду падают, как в пропасть, вдруг, но в преступление сходят по ступеням, и не хотел ожесточить суровостью неволи, может быть, невинного молодого человека, тем менее, что он имел все средства надзора за его сношениями. Искендер-бек окинул глазами собрание, как бы спрашивая взором: «Кто за меня будет порукой?». Но беда, как зараза, удаляла от него всех. Все потупляли очи, поглаживали бороду и молчали.

— Что ж, никто? — сказал комендант.

— Сизин ахтиарын! — отвечали все кланяясь, — ваша воля!

— Я ручаюсь! — произнес Гаджи-Юсуф, протолкавшись из-за долгобородых вперед.

Комендант улыбнулся: разумеется, гости чуть-чуть не засмеялись. Он нахмурился: и у всех вытянулись лица до пояса.

— Для меня странно, господа почетные граждане Дербента, что вы, беспокоя меня просьбами выпускать на поруки ваших отъявленных мошенников и не раз ручаясь за таких людей, которые, презрев порукой, бежали в горы, не хотите успокоить молодого бека, которого неделю назад признали за самого достойного, которого я, по вашим же свидетельствам, представил к награде, в числе пропущенных отличившихся во время осады города Кази-муллою. От суда не скроется его преступление, если он виновен, и оно примет полную меру наказания; но покуда он не судим, но осужден, он ваш товарищ и его примерная прежняя жизнь стоит какого-нибудь внимания. Впрочем, порука — дело добровольное. Искендер-бек, отправляйся домой: я сам за тебя порукой.

Комендант раскланялся, чтоб ехать на церковный парад.

Слезы, сладкие слезы благодарности брызнули из очей растроганного юноши. Никогда не ожидал он от русского, от начальника, такого великодушия, и тем сильнее оно на него подействовало. Он готов был пасть на колена перед комендантом, поцеловать его руку как у отца, рассказать тайну любви своей, которую из него не исторгла бы пытка, — тайну, которая и теперь вела его в вечную ссылку, с тяжким именем преступника.

Между тем татарская знать отхлынула из залы коменданта. Самые завзятые честолюбцы, не успев своими частыми поклонами выработать у начальника пары слов, оставались назади и, пережидая друг друга, чтоб выйти последними, готовы были выдержать по нескольку пинков от мирзы, только бы успеть остаться минутку за дверями, — потом важно надеть у порога туфли и, с значительно гордым видом, расталкивая завистливую толпу, за тайну молвить кое-кому: «Ну, уж замучил меня комендант расспросами да поручениями!». Есть свои, есть и общие коньки у всех народов, а татаро-персияне, как известно, народ конный по превосходству.

Жаркое утро золотило каменный помост большой дербентской мечети, но свежая тень келий с востока, зыбкий шатер огромных чинаров посреди и прохладная галерея, висящая на воздухе у северной стены, давали приют целому народу премиленьких татарчат, распевающих перед муллами свои уроки.[84] Подобно жужжанию пчелиного роя, струились в воздухе голоса их и, казалось, перекликались с приветным шумом фонтана, плещущего, сверкающего в глубоком водоеме. Около него резвилось несколько мальчиков и девочек, черпая воду звонкими кувшинами. У открытых дверей мечети сидели старики, грея солнцем и рассказами о бывалом свои холодеющие сердца. Два-три всегдашних или случайных нищих теснились под сводом ворот. В углу, на брошенной бурке, отдыхал какой-то путник: вся жизнь, все случайности мусульманской жизни виделись тут в лицах. Надежды и воспоминания, заботы гражданства и краткий отдых боевого пути сошлись, по обычаю, под мирную сень святыни, простертую равно для богача и бездомного, для довольного и несчастливца.

Невдалеке от путника разостлал свой коврик мулла Садек. Святой муж готовился назавтра выехать из Дербента и потому сводил свои счеты, выкладывал барыши и, мурлыча про себя похвалы собственному уменью обтачивать свои дела, с счастливым лицом макал тонкие лаваши[85] в чашку кислого молока с чесноком — лакомство татар; то макал тростинку в медную чернильницу, заткнутую у него за поясом в виде кинжала, и что-то записывал на листке лощеной бумаги, наперед заботливо отгоняя мух, чтобы они нескромною лишнею точкою не переиначили смысла рукописи.[86] Умилительно было глядеть на него, как он жевал с душевным наслаждением свой завтрак и потом еще с большим восторгом считал на ладони карманные деньги. Он так был погружен в созерцание серебряных созвездий, с таким вниманием разбирал стертые подписи на русских четвертаках и персидских двуабазниках, что вы бы могли его почесть придворным астрологом шаха или одним из членов Академии Надписей. Он не слыхал и не видал, что перед ним минут пять стоит и канючит бедный лезгин, у которого давно уже дербентская грязь служила вместо подошв, а дагестанское небо вместо бурки; у которого сквозь лохмотья видно было все тело, а сквозь тело, наверно, можно бы увидать желудок, если б нашелся человек, чтоб его в этом подозревать. Бедняк так жалобно просил милостыни, бир аллах учюн (ради единого для всех бога), так жадно глядел на завтрак муллы Садека, что не грех было побожиться: он не ел ни крошки хлеба с последнего новолуния. Грех было не тронуться его положением, но черствое сердце сребролюбца не размягчит сострадание, и совесть напрасно изломает над ним зубы. Мулла Садек поднял глаза на нищего, надвинул на брови папах и принялся считать эхад, ашурат, мият, альфат (единицы, десятки, сотни, тысячи)...

— Я три дня не ел, мой ага, мой эфенди, мой пир![87] — говорил несчастный, протягивая руку.

— Эхад, ашурат, мият, — повторял мулла Садек.

— Один грош спасет меня от голодной смерти хоть на день, а тебе отворит ворота райские навек.

— Ашурат, мият, альфат, — твердил Садек.

— Ты мулла: вспомни, чему учишь всех из куръ-ан-и-алишан (из высокостепенного корана); не первый ли долг мусульманина — милостыня?

Мулла Садек потерял счет и терпение:

— Убирайся ты к черту, суннитский недоверок! — вскричал он с сердцем. — Разве для таких, как вы, мошенников выдумал аллах милостыню? Для вас есть трава в поле и палки в городе: вот все! Есть сила, так вы разбойничаете; нет силы, выманиваете у правоверных шаги родные денежки да после над ними смеетесь. Нет тебе от меня ни куска чурека, ни гроша; сам я дорожный человек, да и последнее отнял у меня проклятый земляк ваш, Мулла-Нур, когда я ехал сюда: облупил, словно каштан, разбойник.

Путник, безмолвно до сих пор лежавший в углу, приподнялся на руку, разгладил свое угрюмое лицо и учтиво спросил раздраженного рассказом муллу.

— Неужели Мулла-Нур был так безжалостлив и бессовестен, что пустил такого почтенного, святого человека, как он, нищим? Я слыхал, — прибавил он, — будто Мулла-Нур грабит очень учтиво, очень полюбовно и редко берет с головы более двух рублей серебром.

— Двух рублей? Аллах я аллах! Это такой жид, что не задумается вынуть у вас последние два глаза! Да низвергнет его имам Али в джегеннем и сварит в том золото, которое у меня он отнял! Даже на мой верблюжий плащ позарился, волчья душа!

— Суннет-герчек (обрезанная правда)! — сказали человек пять дербентцев. — Мулла Садек приехал к нам, будто из Ноевого потопа выплыл: мы складывались, чтобы одеть, снарядить, вознаградить его. Да будет проклят этот разбойник Мулла-Нур!

Путник встал на ноги, улыбаясь; слышно было, как брякали его стальные поручи о кольчугу; он достал из кармана червонец и, показывая бедному лезгину, сказал:

— Прокляни Мулла-Нура, и он твой!

Лезгин быстро протянул было за ним руку, но потом остановился в раздумье.

— Мулла-Нур помог деньгами в нужде моему брату и многих земляков моих выручал из беды. Я не знаю его в лицо, но по сердцу знаю: возьми назад свое золото; я не продаю проклятий.

Странник с удивлением поглядел на изнемогающего от голода бедняка, с укором — на богатого муллу. Богач бросил проклятие вместо милостыни в суму нищего. Нищий не хотел проклясть за глаза незнакомого разбойника за спасение жизни! Странник всунул пять червонцев в руку удивленного лезгина, ударил по плечу муллу Садека, сказал обоим:

— Есть бог правды в небе, есть добрые люди на земле! — и скрылся.

У ворот мечети был привязан конь его; он сел на коня и тихо стал спускаться по искривленной улице к базару. Миновав шумный базар, он въехал в переулок, на котором стоит дом калабека, то есть полицмейстера дербентского. Там, под широким навесом ворот, сидел обыкновенно кала-бек, окруженный просителями и чаушами, творя суд и расправу. Он был уже старик, но славно чернил свою бороду, носил чуху, испещренную бафтами, галуном, и в знак памяти по удалой молодости держал четырех жен да трех наложниц; опорожнял каждый вечер à huis clos, за запертыми дверями, по нескольку бутылок шипучего, и если б не носил огромных зеленых очков на носу, морщин на лбу и дебелого пуза в кушаке, вы бы могли его почесть молодым че-

ловеком. В этот день кала-бек был не в духе. Небогатые жители жаловались ему, что, платя наравне с богатыми за орошение полей с мареною, они имеют менее их воды на полосу. Упрямцы эти никак не могли вдолбить себе в голову, что по законам азиатской гидростатики неотменно разливается вдвое больше воды на полоску того, у кого вдвое более земли. Уж он, уставши кричать, сбирался было писать выкладку этой задачи на пятах непонятливых слушателей, когда таинственный путник соскочил перед ним с лошади.

— Селям алейкюм, Мугаррам-бек*! — произнес он.

Мугаррам-бек вздрогнул, будто скорпион кольнул его ниже кушака. Восклицание замерло на губах; пальцы и рот разинулись от удивления. Положив руку на пистолет, путник наклонился над ухом кала-бека.

— Послушай, Мугаррам, не тронь старого знакомца. Я приехал сюда не для своей, а для твоей пользы. Я сослужу тебе славную службу; пойдем только в твои покои. Там я скажу тебе такую тайну, за которую ты мне, а весь Дербент тебе вечное спасибо! Впрочем — если ты заикнешься или мигнешь своим, чтобы схватить меня, так знай, что в этом пистолете пуля да шесть картечей, и — сейчас с базара кремень. А когда твой желудок переварит все это, то двенадцать молодцов отомстят за мою гибель. Ты знаешь, что я не люблю хвастать. Пойдем!

И весело, как будто он предложил кала-беку удалую гулянку, пошел незнакомец по лестнице. За ним, кряхтя, можно сказать скрипя, потащился испуганный кала-бек. Что и о чем толковали они битые полчаса, не мог я дознаться даже от болтливого чауша, имевшего похвальную привычку подслушивать у дверей. Знаю только, что незнакомец преспокойно сел на коня, которого с почтением подвели ему. Бросил полтинник нукеру, поддержавшему ему стремя, и, озираясь на все стороны, выехал из городских ворот. Дня через два рассказывали, будто это был знаменитый Мулла-Нур, будто кала-бек послал догонять его дюжину нукеров, но что он показал им только подковы своего скакуна. Кажется, это сказка.

А между тем бедный юноша изнывал в стенах своего дома. Злобный случай привел его вблизи того места, где совершилось злодеяние, и он вместо сладостного поцелуя свидания на уста получил тяжкий удар обвинения в самое сердце; но он лучше хотел отдать поруганию собственную честь, нежели запятнать доброе имя невинной девушки. Разлука томила его, но неизвестность терзала еще более; медленность суда — ад для всех жителей Азии; они охотнее перенесут неправую казнь, чем справедливую проволочку. И не думайте, что это привычка: нет, это природа Востока. Мгновенное решение паши или джемаата меслаата,[88] шериата, каково бы оно ни было, чего бы ни стоило для жителя Востока, всего милее подробного, беспристрастного, милосердного приговора европейского суда. Азиатец живет только в настоящем, потому что *сегодня* его так прекрасно, а *завтра* так неверно. Завтра дунет ветер с юга и навеет гнилую горячку, холеру. Завтра он купит себе чуму в тюке хлопчатой бумаги. Завтра он поедет в путь и оборвется с утеса, будет измолот буйною рекою, растерзан тигром, кроющимся в камышах, застрелен из-за куста разбойником или кровоместником. Перемените природу Востока, дайте его жизни европейские условия, перелейте в нашу форму нравы его обществ и тогда требуйте от восточных терпеливости в ожидании неумытного суда, твердости в неволе; но покуда над ним дышит тлетворный, хотя прелестный климат, покуда он окружен опасностями на каждом часу и каждом шагу, он не перестанет быть фаталистом и ценить настоящий миг выше всего в обеих жизнях. «О! — восклицал нетерпеливый Искендер, — скорей бы смерть или вечные оковы на снегах Сибири, чем это ядовитое подозрение русских, которые научили себя любить, и насмешки земляков моих, которых ненавижу более, чем прежде. Лучше умереть от сабли, чем умирать от пилы!» И он, запертый замком честного слова, прыгал, как тигр в своей клетке, рвал с досады рукава платья, плакал, как дитя.

В сумерки, в тот час, когда мусульманские улицы пустеют, а дома оживляются голосом и светом, когда отовсюду несется звук чаш и подносов, повсюду разливается благоухание плова, упитанного пряностями, в сумерки, когда семейный мусульманин отдыхает душою, а одинокий горюет вдвое у пустынного своего огонька, — Искендер-бек послышал, что в его окно что-то прожужжало и упало на пол. То была привязанная к камню записка. «Мулла-Нур — Искендер-беку привет! Лучше быть невинному в неволе, чем виноватому на свободе: верь этому! Я все знаю и все делаю для выручки тебя из беды; аллах да устроит остальное! Терпи, надейся: оправдание недалеко!»

И в самом дело, на другой день Искендера потребовали к коменданту, но он не успел еще дойти до него, и его уж двадцать голосов поздравили с счастливою развязкою. «Шюкюр аллах! Аллага шюкюр! — раздавалось навстречу и по следам его. — Разбойники пойманы. Они собрались к Бахтиару делить добычу и были захвачены все вдруг: четверо из них лезгины, двое горожан, в том числе сам хозяин. У этого бездельника нашли двойную стену, за которою заложенные воровские вещи несколько раз избегали обысков. Теперь воровское гнездо разорено, и честные люди могут спать спокойно. Допросы оправдали Искендер-бека, так что имя его стало белее и слаще сахару!»

Неблагодарность не была пороком Искендер-бека: он так мало занял у своих земляков! Тронутый, пристыженный великодушием начальника, он открыл глаза на достоинства русских, и убеждения, долго огреваемые, толпой втеснились в его сердце. Великое дело вера! Она воскрешает все

воспоминания, убитые равнодушием, и облекает их в юношескую красоту, в силу непобедимую. Веря, мы рассыпаем доблести одного человека на целый народ или, смотря на него сквозь призму любимой нами доблести, видим все его поступки добродетелями. Одна идея тогда закрашивает, поглощает все другие и, сердцем переплавленная в чувство, загорается нередко сокрушительною страстью. Будь это фанатизм, будь это приязнь, будь это любовь — это всегда будет достойно уважения, потому что оно искренно, потому что исток его чист. Искендер-бек так же пылко привязался к русским, как прежде не любил их от глубины сердца. Он рассказал все коменданту, и похождения своей любви и превращения своей ненависти; он просил одной только возможности доказать службою свою привязанность. Его пожурили за нарушение обычаев; его похвалили за доброе намерение. Комендант заключил словами: «Искендер-бек, ты сам испытал, до чего могла довести тебя непозволенная склонность! Ни бог, ни люди не прощают преступления своих заветов: ты обвинен был напрасно в одном деле, но спроси у своей совести — был ли ты прав в другом? Разве одна лишь кража вещей позорна?.. Смирись же перед судьбой своей и знай, что неправдой не загладить неправды, не купить счастья; знай и то, что добрый человек ничего не делает втайне: ночь и тайна — одежда разбойников и обманщиков. Будущее счастье твое в твоем сердце, твоем усердии. Русские умеют отличать и награждать достойных».

Искендер-бек избавился от неминучей беды, но избавление есть отрицательное благо; оно радует на миг и притом не приливает капли счастия в кубок жизни. Тяжко было юноше расстаться с мечтой — сестрой его сердцу, с мыслию обладания, которую он привык звать кровным правом своим. Поцелуй, полуданный-полусорванный с уст Кичкене, как роскошное эхо тысячу раз повторялся в его сердце, пожигал жаждою его уста. Он припоминал все подробности последней счастливой встречи с милою: душа замирала в нем от ее голоса, слышимого эфирным ухом воображения. Он с сладким трепетом смыкал очи от незримых искр, брошенных неотступным видением; простирал руки, чтобы обвить их около стройного стана красавицы, так сладострастно перехваченного извивом парчового архалука. Он кидался как безумный с ковра, желая зубами сорвать золотую пуговку,[89] замыкающую от дерзкого взора целый мир очарования, и приходил в ярость, встречая воздух вместо своей невесты. «Нет! — восклицал он, — вздор писал ко мне Мулла-Нур; я готов преступлением купить себе Кичкене и уверен, что с ней буду счастлив на голой земле, под кровлей света! Волею или неволею заставлю ее бежать со мною в горы. Окунуть хоть на час свое сердце в блаженство, — и потом я готов съесть его медленно».

И милая Кичкене грустила в одиночестве: и она узнала счет в часах разлуки, в долгих безрадостных часах. «Роза прижалась к груди моей и пролепетала: «Взгляни на меня: я весна!» Соловей пропел мне свою заветную песню: я назвала его радостью. Искендер-бек взглянул на меня и поцеловал меня: я в нем узнала любовь! Но где же роза, где соловей, где Искендер мой? Куда улетело мое счастье?»

X

Биримис екимис олды;
Екимис биримис олды.
Шарада в лицах

Буйно клубится Тенга, спертая в узком ущелий, но не тяжкая сила огромных озер пробила насквозь огромный хребет, чтобы излиться ниже; не под бременем веков треснул он; нет, он раскололся до сердца ада в раннюю пору мироздания, когда растопленный гранит кипел еще под самою пятою его и кора земли, остывая, расторгалась легко от взрыва паров. Бури многих столетий не смыли со стен Тенгинского ущелия черного клейма огня. Серные и селитряные полосы и пятна видны повсюду, где текло его бурное дыхание. Целые скалы, брошенные землетрясениями с вершин, нахмуренных над бездною, завалили низ трещины и стали дном быстрого потока. По ним, как по ступеням, катится он, гневный и шумный; злобно грызет волнами ложе свое, как бешеный зверь мечется на стены, хлещет пенною гривою, ревет громом и наконец, разбив грудью свою темницу, весело скачет по Рустамской долине, мелькает между деревьями леса, исчезает в холмах, не пойманный ни в одно колесо мельницы. Угрюмы и дики окрестности тенгинской пасти; ужасен самый зев ее. Правый берег далеко на долину бросает тень своих отвесных утесов; левый, уклоняясь немного в сторону, вгоняет в воду конную тропинку, бегущую сквозь клиновидную рощицу. Далее нет иного пути, кроме ложа водострема; волею и неволею путник должен въезжать навстречу быстрине и, положа свое спасение на крепость ног коня, пробиваться выше и выше. Бока этой пропасти, надвигая свои громады над громадами до самых облаков, грозят раздавить его; рев потока оглушает, клич орлов наводит зловещий страх на сердце, вечный сумрак и холод бросают трепет на тело. Беда неопытному всаднику, если он, без проводника, решится на борьбу с этим текущим адом в час дождевой ростепели или в пору таяния снегов! Беда, если судьба приведет его встретить здесь разбойников; а это место любимо разбойниками, потому что бегство и защита в нем невозможны, потому что крутые повороты и узкость проезда

продают в их руки каждого проезжего, поодиночке. Здесь-то Мулла-Нур, с двенадцатью человеками, остановил три полка карабахских и ширванских всадников, возвращавшихся с богатою добычею из похода генерала Панкратьева* восвояси. При самом спуске в реку он предстал им, вооруженный с головы до ног, на лихом бегуне; бросил на землю бурку и сказал: «Приветствую вас, товарищи; да будет высок ваш порог, как высоко вздымалась ваша рука над врагами. Аллах даровал вам победу и добычу: мубарек ольсун (поздравляю с этим)! Сделайте ж и меня участником вашей радости; не требую, не прошу: дайте мне, из чести, от доброты своей, каждый что захочет. Подумайте, братья: вы несете дары своим домашним, вы теперь богаты, — я беден, и у меня нет крова, и за минутный покой я должен платить золотом. Впрочем, знайте, братья, — люди у меня отняли все неправдою, но правдивый аллах оставил мне храбрость, щедрый аллах отдал мне в удел пропасти и голые утесы, презренные вами. Я властелин их, и никто без моей воли не перейдет через мои заповедные теснины. Вас много, вы храбры, однако если вздумаете пробиться силою, много потеряете крови, еще больше времени, прежде чем я и удальцы мои ляжем трупом: за меня будет драться каждый камень, каждый орел этого ущелия, я сам, до последнего зерна пороху, до остальной капли крови. Решайтесь: вам много терять, мне нечего. Я называюсь Свет, Нур, но жизнь моя хуже тьмы».

Ропот пробежал по толпе карабахских всадников; многие негодовали: «Мы стопчем Мулла-Нура подковами, — говорили они, — посмотрите, сколько нас и сколько их. Вперед, вперед на разбойников!». Но никто не хотел быть первым; отвага уступила место расчету. Согласились не на дань, а на дар. «Мы добровольно уделяем тебе, сколько кому вздумается, — говорили всадники и, морщась, бросали на бурку Мулла-Нура мелкие монетки. — Силою ты бы у нас не взял гвоздя из конской подковы!» — и поодиночке проезжали мимо. Мулла-Нур кланялся, лукаво улыбаясь. «Мудрено ли стричь дагестанских баранов, — говорил он после, — когда я снял волну с карабахских волков! И напрасно жалуются на неурожай в этом году: мои камни дают хорошую жатву; надо уметь только взяться за дело, так не только с каждого вьюка — с каждого дула можно снять по арбузу».

Но в начале того лета, в которое развилась наша повесть, нигде ничего не было слышно про Мулла-Нура: он будто в воду канул. Удалился ли он в Шекинскую область, бежал ли в Персию, убит ли кем в глуши гор, — не знал, не ведал никто. А между тем керваны тянулись за керванами из Кубы в Шамаху, по самой ближней дороге через Тенгинское ущелие, не встречая обычного взимателя пошлины. Перекат людей и денег совершался свободно; никто не был остановлен Мулла-Нуром. И хотя известная честность и умеренность его никогда не отпугивали от горной дороги через Кунакенты купцов и путников, однако ж все были очень рады кончать путешествие бесплатно и безостановочно.

Выехав из Кубы с рассветом, достопочтенный мулла Садек к полудню достиг уже того места, где река Тенга вырывается на волю из тисков ущелия. Скупой до высшей степени, он никак не решился нанять проводника, чтоб не разрознить своего любезного семейства червонцев и рублевиков, нажитого в Дербенте. Уверенный в Кубе всеми насчет безопасности дорог, он более всего надеялся на два серые предыдущие дня, которые не могли много растопить снегов, и потому русло Тенги полагал проездимым. Но день его выезда из Кубы был ясен и жарок. Июньское солнце пекло нестерпимо, так, что странствующий мулла несколько раз перебрасывал с плеча на плечо разгоревшееся свое ружье: оно жгло его набожную спину. Он рад был, добравшись в тень леска и утесов прибрежных, но очень не рад, увидя вздутую реку. Тенга кипела, бушевала, росла. Как ни велико было его желание поспеть к празднику курбан-байрама (жертвоприношения) в Шамаху, где надеялся получить порядочную плату за свои проповеди, потому что свет новомесячья имеет магическое свойство расплавлять сердца мусульман в щедрость, — только страх погибели заглушал в мулле Садеке зуд корыстолюбия. Кровь охолодела в нем, когда он взглянул на громады, висящие над его головою, на влагу, ревущую под ногами. «Черт возьми! — подумал он, — если б эта река текла жидким серебром по яхонтам, я бы и тогда не решился кинуться в нее без товарища. Ну, не настоящий ли я был осел, что не нанял в Рустах проводников? Пожалел червонца, когда мне каждый час дороже двух!» И он с тоскою обвел взорами окрестность: она была пуста и безмолвна. Одно эхо, осужденное на вечную каторгу пения, вторило грозному шуму мятежных вод. Однако ж, приглядываясь пристальнее, он заметил в лесу пасущуюся лошадь под седлом, которому баранья шкура служила вместо чапрака; и немного далее — среднего роста, доброго с виду татарина в простой серой чухе без всякого оружия, кроме кинжала. Мука, обелявшая бороду, шапку и платье этого человека, доказывала его ремесло. Мулла Садек ободрился.

— Эй, приятель! — закричал он незнакомцу, — ты, верно, здешний, верно, знаешь все броды этой безумной реки?

— Здешний, — отвечал тот, работая над черствым чуреком. — Как мне не знать всего житья-бытья Тенги, когда она течет сюда сквозь мое решето; и с моего позволения! Эта речка — моя рабыня: она у меня ходит в колесе выше ущелия; толчет и мелет без отдыха.

— Кстати же ты мне попался, добрый человек! Да благословит тебя аллах, если ты сослужишь мне службу, проведешь сквозь это ущелие.

— Погоди до ночи, — хладнокровно возразил мельник, — вода стечет, конь мой насытится, я сам отдохну от дальней дороги, и тогда в четверть часа мы проедем до этой живой дороге. Теперь опасно.

— О, ради самого аллаха, ради святых Алия и Гусейна, ради молитвы моей (я ведь мулла), проведи меня без замедления, теперь же, сейчас, в этот же миг!

— А, да ты шаги! — с презрением произнес мельник. — На кой же черт мне твои молитвы и благословения! Разве для пророка в джаганнем? Для нашего брата сунни призадумался я бы в такое полноводье пускаться в проводники, а для недоверка шаги и в засуху не поеду.

— Полно, полно упрямиться, душа ты моя, череп ты мой, меным таджисарым! Аллах прольет на тебя щедроты свои за то, что ты сделаешь добро мулле.

— Будь ты муллой хоть над всеми собаками, моим муллой не будешь! Аллах утопит меня середи реки, если я проведу этот конный грех к людям.

— Куда брюзгливая у тебя совесть, молодец ты мой! Проведи безопасно: я заплачу тебе.

Лицо мельника зашевелилось улыбкой.

— А что ты мне дашь за мой пот? — спросил он, почесывая бородку.

— Если ты умудришься вспотеть по такому холоду, я дам тебе два абаза.

— Не возьму двух рублей серебром. Баллах, таллах, менее червонца не поеду! Твоими абазами не подкуешь коня, если он сорвет подковы по этому дну. Да, правду сказать, и червонца вместо головы не приставишь: а тут не мудрено сломать ее!

Пошли переторжки. Мулла Садек, которого корысть сделала почти храбрецом, настаивал ехать. Мельник упрямился в цене и поставил-таки на своем. Мулла Садек согласился.

Вручив проводнику повод коня, мулла совершенно предался его воле, его опытности, и недаром. Проводник беспрестанно переезжал от одной стены к другой, избегая глубины или водопадов; то направлялся в самый бой быстрины, то, обогнув камень, возвращался почти на прежний след. Каждый шаг открывал и поглощал новые виды, но мулла Садек был не из тех людей, что находят прелесть в ужасе; он вздрагивал при каждом всплеске, летящем через седло; тень утесов лилась на него холодом страха; страшную песню напевали ему клубящиеся около валы. Когда конь скользил по гладкой, подобно зеркалу, плите и, несмотря на отчаянные усилия, съезжал в глубь кипучую, он проклинал свою дерзость, свое корыстолюбие, он молился громко, желая заглушить молитвою сознание грехов. Впрочем, мятежница совесть слышна бывает людям только в неминучей беде или в тяжкой болезни; а чуть миновало, чуть отдало — сейчас на замок эту крикунью, долой голову петуху, который нас будит так рано! Щипли его, жарь его, подноси на блюде своему сластолюбию! После воздержания — двойной аппетит: смотришь, ото всех обещаний и намерений исправления не осталось даже косточек. Мулла Садек, в тисках опасности, почувствовал необыкновенную нежность к святой, безупречной жизни и, надавав Алию девяносто девять заветов не кривить душой для стяжания золота и хорошеньких жен, — стал прежним скупцом и сластолюбцем, едва ущелие расступилось долиною. Золотой, веселый луч солнца просыпался на него как червонцы, которых ждал он в Шамахе. Зелень манила его, как покрывало красавицы, которую купит он на эти червонцы. Он вздохнул отрадно и оглянулся на пасть теснины, как на страшный, на зловещий, но вздорный сон; он уже гордо закричал проводнику своему: «Пошел скорее, гарам-заде! Тэз гит, тэз!».

Но рано, слишком рано ободрился наш странствующий мулла. Широкая река, поглощаясь вдруг жерлом ущелия, прядая внезапно через зубчатый порог, кипела тут ужаснее чем где-нибудь. Отшибенные волны ниспадали навстречу набегающим вновь и, споря, сливались в шумный водобой. Проводник остановился в самом снопе быстрины, где огромные лучи влаги распрыскивались друг о друга, и оборотил коня своего.

— Ну, мулла Садек, — сказал он, протягивая руку, — берег в десяти шагах, пора к расплате. Ты видишь, что я недаром заслужил червонец!

— Червонец? Есть ли в тебе душа, приятель? Шутишь ты, что ли? Разве не знаешь, что в червонце три монеты,[90] то есть пятнадцать абазов! Этак за каждый шаг по полуабазнику придется! Что я тебе, серебром мост разве мостить стану! Пхе! Велика важность — проехать сквозь эту лужу: тут курица без башмаков ноги не промочит, а рыба пешком взойдет. Полно брат; с тебя будет и двух абазов: возьми-тка их, да с богом!

— А уговор? — сердито сказал мельник.

— Вынужденный уговор, любезный мой, пустяк; это и в коране сказано. Где мне, горемычному путнику, заплатить тебе такую пропасть денег! Меня уж и то обобрали здесь мошенники до кожи, так, что я, даром мулла, а беднее всякого фагера стал.[91] Не хочешь брать? Твоя воля! Вот же тебе мое благословение вместо платы. Что ж ты не едешь?

— Я не тронусь с места, покуда не сведу с тобой счета, — грозно возразил проводник, — а счет мой не за один сегодняшний проезд будет. У тебя нет совести, мулла Садек, но есть память. Ты расславил в Дербенте, для того чтоб выманить у легковерных горожан лишнюю дюжину червонцев, будто Мулла-Нур ограбил тебя, пустил почти нагого: скажи теперь, бесстыдный лжец, где и как это было?

— Никогда не говорил я этого! Пусть покарает меня аллах, не говорил! Пусть не Азраил, а шайтан примет мою душу; пусть я в этой жизни не найду воды для омовения, ни огня закурить трубку!

— Набивай грех на грех, венчай обман ложью, топи в проклятиях черную душу свою! Помнишь ли двор мечети, Садек? Помнишь ли, что ты сказал нищему, что рассказывал путнику, лежавшему на бурке? Разве не ты был тогда передо мною, разве не я видел тебя лицом к лицу?

Мулла Садек расширил испуганные очи; страшное сомнение закралось в его сердце. Черты лица мельника, омытые водою, совершенно изменили свое выражение; густая черная бородка, проглянув из-под мучной пыли, орамила смуглое лицо. Из-под сдвинутых бровей засверкали грозные очи. Однако ж, не видя на нем никакого оружия, мулла Садек почувствовал выгоды свои и схватился за винтовку; но прежде чем он успел оборотить ее, дуло пистолета уперлось в его грудь.

— Шевельни усами, не только пальцем, красноголовая баба, и ты отправишься вниз головою по реке проповедовать рыбам, чтобы они не пили водки! Брось ружье, сними долой саблю! Аллах не для персиян выдумал железо. Твое дело обмеривать народ в лавке, обманывать его на кафедре,[92] лгать везде; только не твое дело битва, не твое добро отвага. Не шевелись, говорю я тебе, сын собаки; мне не надо на тебя тратить даже пороху: стоит пустить повод твоего коня — и ты труп!

Бледный как воск, трепетный как плат на ветре, стоял мулла Садек, схватившись обеими руками за гриву коня, следя обоими глазами малейшее движение пистолета, направленного ему в сердце. Бедою прыскал и шумел под ним прибой; смерть зияла из руки разбойника; он вовсе потерялся между двумя гибелями; он невнятно роптал:

— Помилуй, я мулла!

Я сам мулла, — возразил разбойник, — более чем мулла, хотя не муфти, не муштаид:[93] я — Мулла-Нур!

Со стоном упал Садек на шею лошади, закрыв одной рукою свою шею, — будто роковой кинжал замахнут уже был над его головою. Долго, злобно смеялся Мулла-Нур испугу Садека, но, наконец, велел ему подняться и сказал:

— Ты обесчестил меня рассказом своим перед дербентцами, ты уверил всех, что я отнял у тебя последнюю копейку, последнюю рубашку, я, который отдаю нищему кровью купленный кусок хлеба, я, который ни с одного купца не взял более червонца в жизнь мою, и то не для себя — для товарищей моих; а мои товарищи, если б не висела над ними моя рука, грабили и резали бы встречного и поперечного бессовестно, беспощадно. Мало этого: ты хотел обмануть в условной плате проводника за опасный труд, оттого только, что считал его беззащитным бедняком; готов был пулею заплатить ничтожный долг свой… убить меня!..

— Сжалься, помилуй! — вопиял Садек.

— Пожалел ли ты нищего, умирающего с голода? Пощадил ли бы ты меня, если б я не предупредил твоего выстрела? Бездушный, корыстолюбец, злой грешник!.. Толкователь святыни, ты чеканил деньги из каждой буквы корана, и, проповедник мира, ты для выгод своих смущал семейства, разлучал сердца. Я знал тебя и дал спокойно проехать мимо; ты не знал меня и оклеветал. В первый раз и добровольно ты стал предсказателем своей судьбы, собственным судьею. Да будет! Завтра ты без обмана можешь рассказывать в Шамахе, что я тебя ограбил. Вынимай все деньги, которые выподличал в проезд свой!

Тяжко было расставаться скупцу с родною деньгою, но с жизнию еще страшнее. С жалобным стоном, будто из него щипцами вырывали душу по кусочку, вынимал он из переметных сум серебро и бросал в полу Мулла-Нура, сжимая крепко в руке каждый рубль, будто в надежде, что серебряное масло останется на пальцах.

— Все, — наконец произнес он, вздыхая.

— Ты, я думаю, и в могиле червей обманывать станешь, Садек! Если не хочешь узнать, сколько в моем пистолете картечей, то вернее считай, сколько у тебя в кармане червонцев. Ты отдал мне сто двадцать рублей серебром, но у тебя есть еще золото и мелочь — и мне известно количество каждого!

Прослезился мой Садек, бросив последнее в кису Мулла-Нура, как плачем мы, бросая горсть земли в могилу родимого брата! А между тем буйная река кипела и ревела кругом; а между тем пистолет разбойника все еще грозил груди ограбленного муллы. Вытащив его на берег, Мулла-Нур сошел с коня и велел ему сделать то же, У бедняги сердце так сжалось, что его можно бы уложить в грецкий орех.

— Еще дело не кончено, — произнес Мулла-Нур. — Ты разбил свадьбу Искендер-бека, ты же должен уладить се по-прежнему. Чернильница у тебя за поясом: пиши к Мар-Гаджи-Фетхали отказ за своего брата. Скажи, что он не хочет, не может жениться на его племяннице, что он уехал в Мекку, заболел со скуки, умер от безделья. Выдумай что хочешь, только бы Искендер-бек непременно стал мужем своей прежней невесты: не то я прежде срока женю тебя на всех гуриях! Пиши, то есть лги: лишняя ложь не разорит тебя!

— Никогда! — вскричал отчаянный мулла Садек. — Этого никогда не будет! Ты отнял у меня все, что имел я; но что могу я иметь, отнимешь вместе с душой.

— В самом деле? — произнес Мулла-Нур и ударил в ладоши: двенадцать разбойников, один другого рослее, один другого страшнее, возникли на этот звук будто из земли и обстали муллу Садека, пронзая его свирепыми взглядами.

— Почтенный мулла хочет писать, — сказал им Мулла-Нур, — приготовить все, чего пожелает его присутствие!

Один лезгин почтительно вытащил кинжаловидную чернильницу из-за кушака Садекова; другой подал ему листок бумаги, вылощенный, с золотыми рамками; третий обдул тростинку, очиненную на восточный лад… Между тем Садек шептал:

— Не хочу, не стану писать! — но, окинув робким взглядом долины и убедившись, что в таком пустыре напрасно ждать избавителей, со вздохом принялся за дело. Сначала, однако ж, оно шло очень плохо:

Он восемь раз перо в чернильнице купал,
И восемь раз в нее, со страху, не попал.[94]

Потом губка, намоченная чернилами, показалась ему так тверда, что он долго не мог выдавить из нее ни капли; потом мозг его зачерствел хуже самой губки.

— Пиши хоть своею кровью, думай хоть шапкою! — вскричал сердито Мулла-Нур, заметив, что Садек возится с пером и трет пальцем лоб свой, — но пиши скорее, не то я поставлю у тебя над бровями такой дюзир,[95] что один разве бес догадается, на какую букву походил нос твой.

Как скоро послание Мир-Гаджи-Фетхали было готово, и печать *Абдулу мулла Садек-ибн-Ахмед*, то есть раба божьего муллы Садека, сына Ахметова, приложена краскою подобно замочку последней строки, Мулла-Нур высыпал на голову чуть живого проповедника все деньги, прежде у него отнятые.

— Вот твое золото, Садек: возьми его назад и скажи, кто из нас двух корыстолюбец, кто вор?.. Впрочем, это не дар, а плата: ты должен за нее позолотить мое имя в Шамахе, зачерненное тобою в Дербенте, и сказать в тамошней мечети мне похвальное слово. Ступай, но помни завет мой; и если ни благодарность, ни страх не заставят тебя исполнить его, то знай наперед, что моя пуля найдет тебя и на тайной дороге и на шумном базаре, в объятиях твоей жены в гарем-хане и на крыльце тебризской мечети. Ты испытал, что я все знаю: я докажу тебе, что все могу!

Обрадованный мулла Садек только тогда поверил, что его избавление — не сон, когда счел до последнего абаза свои милые денежки. Страх, чтобы Мулла-Нур не раздумал, вытеснил удовлетворенное сребролюбие, и он, бросившись на коня, понесся вперед без оглядки.

Через два дня мулла Садек, к немалому удивлению шамахинцев, разлился красною рекою похвал — умеренности, великодушию и бескорыстию Мулла-Нура, которого назвал он не разбойником, а покровителем дорог, львом с сердцем голубя. Каждый раз, что какой-нибудь из слушателей клал руку на кинжал или под полой коварно шевелилась ручка воображаемого пистолета, он бледнел, он заикался, — и потом опутывал бесконечною цепью сравнений Мулла-Нура, нанизывая на него звезды и цветы, наряжая его в кожу всех вельмож зверинца. Народ шептал промеж собою, что достопочтенный мулла, наверное, хватил лишнюю полдюжинку пилюль терьяка.

Вероятно, что письмо, доставленное к Мир-Гаджи-Фетхали от приятеля Садека, с приличным увещанием со стороны Мулла-Нура, возымело полное действие. Через неделю после встречи в Тенгинском ущелий ночная тишина Дербента смущена была скрипом зурн, сопелок, ударами в бубны, кликами и песнями толпы; летучее зарево от множества пламенников, подобно огненному змею, забагровело из тесных улиц: то везли невесту в дом Искендер-бека из дома родительского. Пешие и конные, мужчины и женщины окружали шатер, под которым, как луна в облаке, скрыта была красавица Кичкене. Приветы и восклицания рвали воздух, вслед и с кровель раздавались ружейные выстрелы: и ни одного из них не было вниз;[96] казалось, весь Дербент ожил любовью и радостью счастливца Искендера.

А Искендер-бек чах от нетерпения, страстная лихорадка пробегала по нем то ледяною, то пламенною щеткою… Заслышав гром поезда, он двадцать раз подбегал к воротам, не слушая выговоров тетки своей, строгой почитательницы причудливых, важных обрядов свадебной встречи. И вот, едва он выставил в двадцатый раз свою голову в чуть отворенную дверь, какой-то всадник протянул к нему стальной перчаткою одетую руку.

— Аллах версын тале, Искендер! — произнес он, — бог пусть дарует тебе счастье!

И, крепко пожав руку изумленного бека, поворотил коня и как раз носом к носу столкнулся с Гаджи-Юсуфом, который и тут нашел средство втереться в число поезжан и хозяйничал в голове брачных проводов. Гаджи-Юсуф так был поражен этим неожиданным явлением, что бросил поводья и в ужасе вскрикнул:

— Мулла-Нур! Пощади!

Смутился поезд. Крики: «Мулла-Нур! Здесь Мулла-Нур! Держите, ловите разбойника!» раздались по всем переулкам. Конные родственники и друзья дома невесты кинулись вслед за ним, но он летел как стрела по извилистым, кривым, неровным улицам Дербента, сыпля искры на мостовую. Впрочем, так как ворота городские были давно заперты, уйти ему было невозможно, а скрыться от преследователей некуда; его держали на виду, в него стреляли. Доскакав до моря, замкнутого с обеих сторон стенами, входящими в воду, он остановился. Буйно плескал и крутился перед ним прибой; враги настигали… Но вдруг нагайка его мелькнула сквозь мрак, и он исчез в пенящихся и ревущих валах Каспия.

Долго, пристально смотрели прискакавшие на берег всадники в глубь ночи… Только белелись и сверкали там брызгами буруны, расшибаясь о подводные гряды.

— Он утонул! Он погиб! — наконец закричали они в один голос.

Громкий смех и пронзительный свист отвечал им за стеною.

Плотно сомкнуты двери Искендер-бека. Тишина в его спальне. Веселость ищет шуму и толпы, счастие любит уединение и безмолвие: не станем же смущать блаженства новобрачных. Я только, раскланиваясь с читателями, удостоившими милую Кичкене проводить до самого полога, переведу им первую половину татарского эпиграфа моей последней главы: это значит —

Каждый из нас стал двойной…

Остальное потрудитесь отгадать.

Заключение

Оджах-дан чихар дюшман.[97]
Из родного племени возникают враги.
Пословица

Меркло. Тучи плескались, как волны, по небу — грозили залить ледяной остров Шах-даг. Только одно его темя блистало еще снегом, пылало огнем солнца, как душа поэта, как жерло вулкана. Другие хребты слева, справа, отовсюду вздымались великанскими головами один над другим, один за другим все выше, и синее, и мрачнее, подобно чудовищным валам, вздутым божиим гневом в страшный день потопа.

Под кипучею пеной облаков, казалось, они идут, идут грозные, крутятся, падают горами, расступаются безднами; прыщут и воют! Ливень бичует, хлещет, гонит их, догоняет нас. Дорога шумит и несется водопадом… проливается небо, земля тонет!.. Это уже не обман зрения!

— Скорее, скорее, чапархан*, скачем в гору! Еще миг — и нам не выбиться из этого внезапного озера!

Слава богу, долина за нами! Мы едем уже по суходолу. Кони храпят и дымятся; дайте вздохнуть коням! Люблю встретить бурю лицом к лицу; любуюсь ее гневом, как гневом красавицы, и радостно крещусь, приветствуя первый гром. Привольно, весело мне, свежо на сердце. С наслаждением глотаю капли дождя — эти ягоды полей воздушных. Полной грудью вдыхаю вихрь… О, в буре есть что-то родственное человеку! Дремлет чайка в затишье, но чуть взыграло море — она встрепенется, раскинет крылья на высь, с радостным криком взрежет ветер, смело поцелуется с бурунами. Таков и дух мой! С самого младенчества я любил грозы. Гром для меня всегда был милее песни, молния — краше радуги. Бывало, когда все бежали под кровлю, я под дождем бродил по целым часам, прислушиваясь к говору и реву туч, или стоял, томясь желанием уловить памятью дивный узор, которым перун вышивал черный плащ бури.

Ах, посмотрите сюда, взгляните сюда, ради бога! Небо прорвалось на западе, и разделенные лучи его просыпались, как огненные стрелы из колчана архангелов. А там, а кругом еще клубятся сизые тучи; распадаются, разматываются прядями ливня, и ветер то волнует, то разбрызгивает их своим крылом. Вдруг все затихло, дождь перестал, ветер пал ниц, будто со страха, и недаром… ужасный удар перуна разразился над головою, упав в двадцати шагах впереди. Все кони сели назад, как убитые в лоб! Оглушенный, я схватился рукой за глаза, мне показалось, они сожжены молниею! Открываю их, озираюсь: все целы, только разбитый дуб курится вблизи каким-то серным дымом да земля дрожит еще, гудит еще робким ответом на грозный зов грома.

Львиной страстью любит небо землю нашу: поцелуй его — всепронзающая молния; его ласки развевают в прах утесы, плавят металлы, как воск. Но разве не такова любовь всего великого, всего сильного на земле? Земная скудель не выдерживает небесного пламени; алмаз тает в лучах солнца. И все равно, вырывается ли она из сердца или приемлется другим сердцем, — погибнут оба. Молния расторгает и облако, в котором родилось, и скалу, на которую пала. Пепел и развалины след ее.

Но кто, дерзкий, осмелится сказать, что гроза бесполезна, что природа разрушает не для того, чтобы творить? Ответствуй за нее, разлив Нила и пожар Москвы.

Пусть даже на целый век осудит природа какой-нибудь край на пустыню или кого-нибудь на гибель в страшный час своих переворотов… это лишь жертва очистительная, это урок смертным. Не беспокойтесь о погибшем! У нас одна жизнь, у бога две для нас. У нас один свет, у бога вселенная, у бога вечность в запасе. Думаете ль вы, что напрасно для мира, что случайно открыт был из-под лавы столетний труп Геркуланума*, этот город-мумия?

Порочны люди, окруженные всеми угрозами законов и стихий: можно судить, что бы из них было, если б океан не грозил залить их, а землетрясение — поглотить каждый миг, если б они ходили не под топором и не по могиле. Как ни привычны мы к напоминаниям о смерти голосом природы, но я не верю, чтобы самый закоренелый злодей не вздрогнул, когда труба Страшного суда воет раскаленною лавою иль когда перст необычайной бури пишет молнией по ночи зловещий приговор Вальтазара*.

Если б грозы и не очищали воздуха, не приносили никакой вещественной пользы для земли, то уже одно нравственное впечатление на умы людей ставит их в число величайших явлений природы. Семена божьего страха глубоко западают в сердца, размягченные перуном, и если хоть одно раскаяние зазеленеет на них добрым намерением, заколосится добрым делом — человечество больше выиграло, чем напоением целой нивы.

Стихает… Изредка светлые капли дождя носятся, перепадают по воздуху, как изорванные знамена после боя веют тучи. Гром, будто рокот бегущих с гор колесниц, гудя, исчезает в отдалении. Ущелье вторит последнему храпению умирающего там ветра. Вот и пелена новорожденного солнца — радуга; вот и само солнце, дитя бури, — но где же буря? Не говорил ли я, что все прекрасное гибельно лону, в котором оно зачато! Посмотрите! Этот чинар расколол корнем гору, а она лелеяла его, когда он был ничтожным желудем и нежным стеблем. Рождение Цезаря стало смертным приговором его матери.

Чтобы дать жизнь — надобно отдать жизнь. Мысль убивает блеском своим, чувство — жаром, и тем скорее, чем сильнее оба.

Но тот, кто оставил после себя хоть одну светлую, новую мысль, хоть один полезный для человечества подвиг, не умер бездетен. Воспоминание — тоже потомство.

— Куда ты ведешь меня? — закричал я проводнику, заметив, что он своротил вправо.

— В гору, — отвечал тот, не вынимая изо рта своей трубки. — Река теперь от дождей непроездима! Лучше дать агача* два крюку по хребту, чем сидеть у берега и ожидать, покуда стечет вода.

— Я не буду сидеть и не буду ждать: поезжай на Тенгинское ущелье… Ну!

Татарин поглядел на меня с головы до ног, пожал плечами и, проворчав: «Сенын ахтиарын (твоя воля)», поехал влево.

Скоро сквозь обнаженный еще лес приблизились мы к берегу, издали встреченные шумом спертых каменными воротами вод. Потом влажный холод повеял в лицо с отвесных скал противоположного берега, наконец я въехал в тень самого ущелья.

Гляжу вверх и роняю шапку, прежде чем глаз мой досягает до гребня стен, построенных природою; гляжу под ноги, и сердце замирает, прежде чем ступить в разъяренный поток. Страшно тяготеют надо мной эти громады, мнится, хотят упасть, уже зыблются, уж рушатся!.. Страшно кипит, и плещет, и воет Тенга, огрызаясь волнами на плиты, замедляющие бег ее. Сыро, душно, темно в теснине, она глядит полуразверстою могилою, но есть и у могилы, как у всякой бездны, свое обаяние… что-то невольное манит, тянет туда броситься… я брошусь, туда!..

— Чапар, ступай впереди, показывай брод! День вечереет, а мне пора!

— Нет, ага, — хладнокровно отвечал проводник, — наш староста при тебе мне наказывал не ездить по реке, я не смею ослушаться. Ты утонешь, тебе ничего, а с меня ведь спросят ответа, зачем я ввел тебя в беду. Да, правду сказать, в такую полноводь я и сам к молодой жене ехать не решился бы.

Я показал ему червонец.

— Дай хоть пулю, не только монету, и тогда не поеду, Мне своя голова еще не надоела. Посмотри на скалы, черной полосы нигде не видать, значит: вода все идет на прибыль.

— Послушай, приятель, — сказал я ему, — если ты не поедешь впереди, то посмотрел бы я, как ты поедешь за мною.

И с этим словом поскакал я к берегу, но подъехать к нему было гораздо легче, нежели с него съехать. Проклятое четвероногое, на котором сидел я, видно, тоже помнило наказ рустамского[98] старосты и никак не хотело купаться в мутных волнах Тенги. Однако ж несколько ударов нагайки придали ему достаточное количество бодрости, чтоб спрыгнуть в воду, но никак не более. Упершись по грудь в воде, оно с стоическим хладнокровием выносило град ударов острыми турецкими стременами в бока да семихвостой персидской плети по крестцу, не включая в то число браней на всех готических и семитических языках. Эта борьба не могла длиться, я принужден был поднять коня на дыбы — и в этот миг ринуть его вперед силою всех подстреканий; он пошел нехотя, но пошел. За мной с кислыми, длинными лицами готовились съезжать гуськом один за одним двое русских и татарин-проводник, споря, кому последнему.

Не успел я проехать пяти шагов против течения, вдруг какой-то всадник, вооруженный с головы до ног, схватил за уздцы моего коня. До сих пор не могу объяснить себе, откуда он взялся и отчего я так внезапно его увидел? Вывернулся ли он из-за утеса, обогнал ли он меня или встретил? — ничего не знаю. Знаю только, что когда я поднял на него изумленные взоры, он стоял передо мной смело, на сильном коне. Эриванский папах, закинутый назад, вполне открывал его загорелое, но приятное лицо, опушенное короткою черною бородою. Он был среднего роста, широкоплеч, строен. Из-под чухи с откидными рукавами сверкала кольчуга с бляхами, насеченными золотом. Кроме ружья, за спиной его, на крюке, прицеплен был коротенький мушкатон, какие носят одни турки. В петле пояса, над кинжалом, выглядывал пистолет, два подобных висели в сквозных кобурах седла.

— Ахалсиз-ми-сен? — сказал он мне, не отнимая от поводов руки, одетой стальным налокотником и кольчатого поручью. — Разве ты безумен?

Железное кольцо правой руки моей невольно упало, на курок пистолета[99]. Я стал на стременах, чтобы измерить дерзкого, гнев у меня отнял слова. Я не скоро нахожусь в нежданных порывах гнева.

Впрочем, этот всадник очень мало заботился о моем пистолете и негодовании. Он преспокойно оборотил моего коня и, можно сказать, вытащил меня на берег. Потом слез с седла, отдал подержать своего жеребца проводнику и, подошедши ко мне, учтиво молвил:

— Не сердитесь, ага, на мой поступок. Это было не только для пользы — для спасения вашего[100]. Река бушует необычайно от снеговых и дождевых потоков, до того, что проезд по ней в этот час просто невозможен. Я жилец этих скал; конь мой знает это ущелье лучше, нежели свою торбу, но я разве от смерти решился бы отважиться на нем проехать по Тенге за хребет. Переждите час, много два, я сам провожу вас, пусть только на пядь стечет вода!

Спутники мои, хваля доброго человека, уже треножили коней. Мне самому, смешно стало сидеть, надувшись, верхом и держаться за курок, когда никто не грозит нападением или обидою. Я спрыгнул на землю, сбросил с плеча бурку и, пригласив знаком руки незнакомца сесть рядом, сказал, складывая под себя ноги:

— Делать нечего. Волею и неволею остаюсь здесь. Я никак не думал, что Тенга ест гостей своих и что у ней есть приятели, которые встречают этих гостей не очень ласково.

Незнакомец мрачно улыбнулся.

— Я горец, ага, — возразил он, — я всегда считал лучшим вытащить из воды человека хоть за бороду, чем утопить его за ноги. Персияне золотят для жен своих миндаль, зато золотят на них и кинжалы. Горец подает не крашеную,[101] но верную руку на приязнь и не кланяется врагу, подбираясь ловчей поразить его в сердце. Впрочем, если я неприветливо помешал вам утонуть, тахсырумдан кеч (извините меня)! Я мало жил с русскими и давно забыл то, что знал!

Горячая мысль промелькнула у меня в голове: эта встреча, эти приемы, эти речи…

— Твое имя? — спросил я быстро и неожиданно. Незнакомец в это время высекал огонь на трубку.

— Мое имя? — ответил он. — Я еще не сделал его.[102] А я бы хотел, чтобы мое имя могло смущать и страшить целые дружины, как пушка тревоги; чтобы каждый злодей бледнел, слыша его, как внемля шелесту крыл ангела смерти. Не воли, а силы недостало такому желанию, и меня теперь вместо блистательный, щедрый, правдивый победитель Мулла-Нур зовут очень креста — разбойником Мулла-Нуром!

— Ты — Мулла-Нур? — вскричал я, вскочив с бурки и хватаясь за шашку.

В моей голове закрестили разные мысли… схватить, убить его… он был один, а нас четверо; с другой стороны, думал я, кто дал мне право убить беззащитного, а взять его открытою силою, живьем нечего было и думать. Притом: за что бы я стал преследовать человека, который оказал мне услугу?..

Мулла-Нур хладнокровно, однако ж пристально глядел на меня и, как будто угадав мое колебание, положил трубку на землю и дважды хлопнул в ладоши. Следуя взором за его взорами, я взглянул вверх, — более десяти ружей из-за камней на утесах, из-за пней деревьев наведены были прямо мне в голову… Спутники мои уже спали, закрывшись бурками… Я вздрогнул.

— Это, — сказал он, улыбаясь, — для того, чтоб доказать тебе, что мне нечего бояться! — Он хлопнул… стволы исчезли. — А это, чтоб показать тебе, что при мне ты безопасен. Людская честность не совсем еще для меня изверилась, однако ж я нахожу: кольчуга — самая прочная рубашка, а пистолет — самое мягкое изголовье, и всегда держусь правила: верь немногим, а берегись всех! Если я когда-нибудь погибну изменою, то, конечно, не в западне доверчивости. Это не касается до тебя… я не знал тебя в лицо, не помню твоего имени; но я знаю твою душу и помню все, что про тебя мне рассказывали. Вчера я был в Кубе и сведал: ты скоро должен отправиться в Шамаху, стало быть, я ждал тебя. Ты гость мой и дорогой, хотя невольный гость.

Он хлопнул три раза, и через две минуты стал перед нами, сбежав с утеса, молодой татарин, щегольски одетый. Шубка его была подбита хорьковым мехом, чуха обложена широкими галунами, и пряжки на перевязях патронницы и рога, надетых накрест, сверкали золотою насечкою. Мулла-Нур ласково глядел на него, когда он разостлал маленькую скатерть, положил на нее чурек, сыр и несколько яблоков.

— Буюр, ага,[103] — сказал он мне, предлагая вечерю. — Не чуждайся ничьего хлеба, это дар аллаха, а не человека, и, переломив его со мной, ты не обяжешься мне приязнию. Этим же самым кинжалом, которым отрежешь ты кусок, можешь пробить мое сердце, когда служба твоя того потребует, и я не обвиню тебя. Аллах, аллах! Люди сосут одну грудь и потом отравляют друг друга, а я стану ждать дружбы от пришлеца за то только, что он вкусил от одного со мной хлеба!

— Яхши олсун! — примолвил я, ломая чурек. — Да будет во благо!

С каждым мгновением любопытство мое узнать этого человека покороче возрастало. Изучить дикий ум, сбросивший с себя все условные путы общества, вглядеться в игру страстей, отданных собственной воле, — да это находка, которая не всякому дается или по крайней мере не всяким ловится!

— Знаешь ли, Мулла-Нур, — сказал я ему, — что я очень хотел, даже искал тебя увидеть и очень рад, что неожиданный случай свел нас.

— Только увидеть, только поглядеть на меня, как на ручного тигра, желал ты, наравне со многими своими земляками? Да, вот судьба моя: одни бегут меня из страха, другие следят из любопытства!

Никто не придет пожалеть, утешить меня! Впрочем, сожаление и утешение сносны только из уст друга. Не прошу их, не хочу их! Извини меня… в одиночестве бог знает откуда берутся чудные прихоти, странные мысли: они сыплются невольно на голову первого встречного, как осенние листы с дерева.

Видно было, что Мулла-Нур тронут; он поник головою, потом весело взглянул и примолвил, желая переменить разговор:

— Ты глядишь наездником… у тебя, верно, хорошее оружие? — и в рассеянности протянул он руку к моему пистолету, заткнутому за поясом.

Ружья у обоих нас были уже сняты и дружно висели на одном сучке: этого требовал азиатский этикет. Следственно и очевидно, что, отдавая свой пистолет Мулла-Нуру, я безусловно предавался его власти. Кроме очень двусмысленной славы, ничто не ручалось мне за честь разбойника, а богатая оправа под золотом и чернетью дорогого венецианского ствола еще более умножала искушение. Я очень хорошо знал, что самый бескорыстный азиатец растает при виде отличного оружия, неподкупный прежде ничем… знал, что за оружие на Кавказе нередко льются реки крови, продаются деревни и целые стада; но показать недоверчивость значило бы признаться в робости… Все эти мысли вместились в один миг; я вынул пистолет из чехла и подал Мулла-Нуру.

Я уверен, что он без всякой думы попросил посмотреть мое оружие, но потом взвесил важность своей выходки и уже с намерением длил опыт. Несколько раз взводил и опускал он курок, уставя на меня дуло, а между тем взглядывал на меня исподлобья. Но будь он в десять раз проницательнее, он и тогда бы не увидал на лице моем тени того, что происходило внутри: я спокойно курил трубку. Никто в свете не ценит лучше азиатцев полного доверия и отваги. Я заметил уже, что Мулла-Нур был сам не свой от удовольствия. Когда он отдал мне пистолет, глаза его сверкали.

— Чудная вещь, — сказал он, — железо и оправа стоят друг друга, а в твоей руке стоят, верно, двух!

— Ты еще не заметил в нем лучшего, — молвил я, — это полка с пружиною, новой кубачинской выдумки: пожми огниво — из него отпадет на полку золоченая покрышка, чтобы порох не развеялся и не отсырел, а при выстреле она сама входит в прежнее место. — Я показал ему секрет этой выдумки, он очень занимался ею, вскрывал, закрывал: азиатец ребенок, когда дадут ему в руки оружие. Он дивился также пистонному ружью моему: выстрел без кремня был для него непонятным чудом. Впрочем, ему гораздо более понравилось мое азиатское с золочеными кольцами ружье.

— Вот это иное дело, — говорил он, — легко, ловко на коне, не то что твое фиренское, с лопатою вместо приклада.

Спустив на ноготь лезвие моего кинжала и щелкнув в него раза два над ухом, с видом знатока, он с нежностию вертел его в руках.

— Настоящий Базалай* — отец Базалай, — сказал он. — Знаешь ли, какую штуку выкинул он в Дербенте с поддельными под его имя клинками? Раз толкается он на базаре, а носящий кричит: «Кинжалы, базалаевские кинжалы!». Покупщики кинулись к нему на пробой; подходит и сам мастер, а его никто не знал в лицо. Досада взяла его, что всякий кузнец подрывает его славу, он вынул свой кинжал и пересек им более дюжины самозванцев-клинков легче свечек и бросил их пристыженному обманщику в лицо. Конечно, у него был заветный клинок, однако и твой хорош, он мне очень, очень нравится.

Не надобно долго жить с азиатцем, чтобы понять этот намек. Я отстегнул с пояса ножны и, приложив правую руку к сердцу, поднес левою кинжал Мулла-Нуру.

— Пешкеш сана, — сказал я. — Прошу принять.

Он рассыпался в благодарениях.

— Это будет мне всегдашний памятник по тебе; в замену, ты позволишь, ага, предложить тебе мой. Он, правда, не так красив, на нем не написано золотом молитвы, зато никакая молитва не спасет, никакая кольчуга не удержит от его удара!

И Мулла-Нур положил серебряный рубль на пень, взмахнул кинжалом и две половины упали наземь.

Я, конечно, не потерял в промене. Кроме внутреннего достоинства, странность его получения от знаменитого разбойника наверно чего-нибудь да стоит. Я буду хранить его всегда.

— А вот, — сказал он с глубоким вздохом, снимая с сучка свою винтовку, — вот причина всех моих бед, всех грехов моих! Она мне досталась от отца, как семейная святыня, и я сберег ее как святыню!

Он одушевлялся, глядя на свое сокровище, бросая его на приклад, лаская рукой блестящий, серебруйный ствол. На другой стороне реки, на высоком белом камне, бегала маленькая серенькая птичка: Мулла-Нур приложился по ней, выстрелил, и птичка без головы упала на месте. С самодовольным видом взглянул он на меня; потом, заряжая снова, примолвил медленно:

— Да, это ружье дороже крови, за него пролитой! Многим оно стоило жизни; мне более чем жизни — счастья, более нежели счастья — родины!

Я с участием глядел на Мулла-Нура. Тяжкая тоска отзывалась в последних словах его, тоска, глухо ревущая из сердца, как лев, замкнутый в пещере, обрушенной скалою. Бурные чувства вздымали грудь его, зажигали взор, струились по лицу.

— Это тайна? — спросил я Мулла-Нура.

— Что на свете есть тайного, кроме нашего сердца? Рассветает ночь, крывшая злодейство; дремучий лес находит голос на обвинение; расступается хлябь моря и выдает утопленное хищниками добро. Могилы, самые могилы не скрывают во мраке своем преступлений, и с червями зарождаются в ней мстители. Я видел: русские узнавали по внутренностям жертв прошлое, как идолопоклонники, предки наши, угадывали по ним будущее. А когда можно заставить говорить мертвецов, кто заставит молчать живых?.. Тайное скоро становится явным, и базарная молва нередко трубит о том, что было шепотом сказано между двоими. Нет, моя жизнь не тайна, мои похождения может рассказать тебе последний мальчик в Кубе. Он убил своего дядю и бежал в горы! Вот вся повесть обо мне, и она не ложь, но полна ли она? Но справедливо ли осудит меня по этим словам всякий, кто их услышит? На это могу отвечать только я. Пусть отрубят мне голову: что ж найдет в этой голове судья для объяснения моего преступления? Пусть вырежут сердце: как отгадает в нем врач пружины, которые двинули на убийство?.. А в этом вся важность для меня! Только это зову я на суд совести, все остальное — дело случая, все остальное пусть как хотят судят в людском диване. Тяжело мне думать об этом! еще тяжелее рассказывать, и между тем оно меня душит... Мучительно вырывать зубчатую стрелу из раны, но и оставлять в ней нестерпимо...

Мулла-Нур опустил голову на грудь и трудно дышал... С безмолвным участием глядел я на него, не желая неуместными вопросами пенить желчи, и без того кипучей.

И вот он будто пробудился из глубокого сна, повел взорами окрест, покачал головою и потом, устремив своя черные, выразительные очи на меня, молвил:

— Я положу свое сердце на ладонь твою и расскажу тебе все.

И он рассказал главные случаи своей жизни; но только сначала обращался он ко мне; потом, разгораясь на бегу подобно колеснице, рассказ его превратился в какую-то жалобу, в какую-то прерывчатую исповедь, в чудный разговор с самим собою!.. Казалось, он вовсе забыл, что тут есть слушатель. Была ли то необходимость облегчить сердце, сбросив с него накипь страстей; была ли то жажда оправдания: безотчетное, но святое чувство уважения — дань мнению, равно общее и невинно страждущим и отъявленным злодеям? — не знаю. Не смею уверять, что я записал рассказ Мулла-Нура вполне, еще менее — во всей силе... Я многого мог не понять, многое забыть. Притом, как передам я обаяние истины чувств, не выраженных, а вырвавшихся из возмущенной души? Чем заменю ужасно живописную природу, перед лицом которой была встреча эта? Холодным ли чернилам блеснуть горючей слезою? Враны ли буквы, на белом поле безжизненной бумаги, нарисуют в воображении эти громады гор, проливающих на нас влажные гробовые тени свои, и Тенгу, вырывающуюся из удушающих объятий великанов-утесов?

Река стекала, грозно перекликались над головою орлы. Мулла-Нур с жаром рассказывал мне свою повесть, и речь его походила на бушеванье горного потока, на крик пустынного орла при добыче.

Примечания автора

1. Мулла не только священник, по всякий грамотный, ученый; нередко имя собственное. Нур значит свет и встречается очень часто в сложности мусульманских имен, например Дарья-Нур. Море света — прозвище лучшего алмаза персидского шаха, Нур-джан — Свет души, Нур-эд-дин — Свет веры, Нур-магаль — Свет области, а не свет гарема, как назвал ошибочно Томас Мур героиню прелестной поэмы своей «Light of the Haram» [«Светоч гарема» (англ.)].

2. Кызыл-гюль — золотая с камнями бляха, женский убор. Собственно, Кызыл-гюль значит красная роза.

3. Заметьте, что мусульмане-шииты не строят минаретов у мечетей, тогда как у суннитов минарет есть необходимость.

4. Кыр — нефть, смешанная с песком; им обливают плоские кровли домов, сверх земли.

5. Бомарше в числе других острот, занятых у Монтаня, вложил эту в уста Фигаро.

6. Некоторые наши писатели напрасно думают, будто чюм, чюм-ча значит мех, oûtre, а не ковш. Слово это сохранилось в адербаеджанском наречии доселе и присвоено деревянному ковшу. Металлический ковш, всегда возимый на седле, называют они джам. Чюм-ча (ча и джа прибавляют татары ко многим словам для образования уменьшительного), очевидно, мать русской «чумички».

7. Замечательно, что шииты не украшают полумесяцем своих мечетей: на них или рука, или звезда, или просто яблоко.

8. В Европе имеют совершенно ложное понятие о неприкосновенности бород у мусульман: воображают, что у них считается смертельным грехом брить бороду, между тем как по крайней мере две трети молодых людей, лет тридцати, не запускают себе бороды, а франты и до сорока лет бреются, особенно в Турции. Вот почему султан не встретил противодействия за бороды при образовании регулярного войска, как это было при Петре Великом на Руси. Правда, когда му-

сульманин раз запустит бороду, он считает грехом сбрить ее, но он может без нареканий не запускать бороды до старости. Желая остепениться, мусульманин сзывает родных и знакомых на пирушку и объявляет им торжественно, что он отпускает себе бороду. Этот праздник называется у них Сакал-коян зиафети.

9. То есть ага-эмир, господин князь; иногда называют их сеидами. Ага-эмиры пользуются до сих пор большим уважением между мусульманами, и особа их считается неприкосновенною. Не получив власти в удел себе в Персии и полагая унизительным заниматься чем-нибудь поприбыточнее ханжества, они составляют самый бедный и тунеядный класс народа. Гордые и заносчивые, они горько упрекают тех из собратий своих, которые решаются служить русскому правительству. Надобно заметить, что ага-миры секты шии не носят зеленой чалмы, как турецкие эмиры, и ничем не отличаются в одежде. У них редко и гаджи (пилигримы, путешественники в Мекку) обвивают папах белой чалмою, между тем как сунниты почитают это долгом.

10. Азиятцы говорят «пить табак» или «тянуть трубку»: тютюн ичмак, люлля чекмак. Тютюн, собственно, значит дым.

11. Водка позволена правоверным только в случае недуга, требующего спиртных лекарств, и то в крайности.

12. Полицеймейстер в мусульманских городах.

13. Оратор, поэт, краснослов.

14. Конфеты из обсахаренных орехов.

15. Красноречивый человек.

16. Кербела — место могилы Гусейна, в Ираке, близ Багдада. Мусульмане секты шии ежегодно отправляются туда караванами, точно так же, как в Мекку. Для этого делают сбор со всех правоверных на молитву.

17. Очень недавно случилось мне прочесть чудесное толкование на татарское слово *киса*, кошелек, занятое нами у монгольских татар, а татарами у персиян, а персиянами у аравитян. «Кошельки, — говорит господин этимолог, — делались в старину (???) из *кошек* (не знаю, где видел и начитал он такую редкость), а от ласкательного уменьшительного *кисочка* произошло *киса*». Бедная татарская киса никогда не думала попасть в такое четвероногое родство. Я бы спросил однако ж, отчего происходит библейское слово *кошница*? Неужели хлеб и рыб носили иудеи в кошачьих шкурах? А кошель, кошелек и кошница, без сомнения, росли на одном корне. Все они родились от старинного *кош*, корзина.

18. Коран запрещает выставлять имена и достоинства на гробовой плите. «Недостойно правоверного это тщеславие, — говорит Магомет. — Прохожий в свет эдема, не пиши своего имени на грязных стенах караван-сарая, для потехи любопытным. К чему тебе имя теперь? Тело твое прах, а прах безымянен. Душу кликнет аллах на суд не по званию, а по делам». Какая высокая философия! И точно, вы не встретите мусульманских гробниц с формальным списком. Простые трогательные слова украшают их. «Молитесь за душу раба божия Омара» или «Нур-али»; потом стих из Корана, и более ничего.

19. Первый раз взят был Дербент Зубовым в 1801 году и вскоре оставлен. Второй — в 1804-м.

20. Дербентцы с ужасом вспоминают это время. Заслышав о таком наборе в наложницы, они платили приданое (вещь неслыханная) за дочерями; отдавали их за нукеров, только бы окрутить в час.

21. Женские шаровары.

22. Бумажная материя, которая добротою понижается от кисеи до парусины.

23. Нарын-Кале, если перевесть слово в слово, значит нежная крепость; но старинное ей имя — Нарындж-Калеси, крепость померанцев. Есть предание, что в ней росли огромные померанцевые деревья.

24. Необыкновенно жирная рыба, род сельди; ловится только у кизлярских берегов Каспия.

25. Кубичи — большое селение вольного Кара-Кайтаха, в девяноста верстах от Дербента, славное в горах оружием, осадкою оружий и особенно насечкою по железу. Кубичинцы уверяют, что предки их были франки, — ничем не подтвержденная басня.

26. Комуз, или кобуз, — род балалайки с тремя металлическими струнами.

27. Мелкие пожитки.

28. Кичкене значит малютка. Искендер-бек играет здесь словами.

29. Хлебные лепешки, то есть чуреки, пекут на Востоке в открытой наподобие котла, из глины сбитой печи. Ее разжигают хворостом и потом прилепляют тесто к бокам: в минуту хлеб зреет и отпадает сам.

30. Дорая — крепкая тафта всех цветов. Шамахинское произведение.

31. Азан — призыв к молитве, слово, присвоенное более к полуденному молению. Вечернее чаще называют намаз.

32. Альма-дольма — яблоко, начиненное мясным фаршем.

33. Чтобы понять всю едкость этого упрека, надо знать, что старухи мусульманки носят по большей части пестрые покрывала, и полем их сплетней с соседками служат обыкновенно кровли домов. Там, присевши на корточки, злословят они или бранятся между собою.

34. Есаулы — остатки ханского порядка, гонцы вестовые и охрана коменаданта, народ видный, смелый, смышленый и хорошо вооруженный. Чауши — десятские.

35. Заносный издалека водоворотами или землетрясениями; огромный обломок, чуждый составом почве, на которой лежит. Геологический термин.

36. Татары при чиханье здравствуются, точно так же как русские.

37. Пегливанами называют также прыгунов по канату, которые показывают вместе и чудеса силы и ловкости.

38. Лезгины нанимаются всегда копать марену у дербентцев и их обыкновенно называют лопатниками, кюрекли.

39. Пошлина. В мусульманских провинциях не только провоз товаров через каждый город обложен ею, но, по старым правам, многие ханы взимают пошлину за переезд через свои владения. Это чрезвычайно стесняет тамошнюю торговлю.

40. На исподней стороне ножен приделывается обыкновенно место для ножичка, бичах, и шила, биз. Хотя последнее и похоже на однозубую вилку, но как мусульмане едят все руками, то она предназначена для провертывания путлищ.

41. Дали, или дали-баш, собственно значит безумная, удалая голова, храбрец; но у турок дели-баши — особенный род кавалерии. Они носят высокий черный колпак, с рукавом, с него веющим, и первые кидаются в ряды неприятельские.

42. Закон запрещает мусульманам есть бесчешуйную рыбу, и оттого рыболовство у них почти неизвестно.

43. Через пламя джегеннема (ада) для перехода в рай лежит, как лезвие сабли острый, мост Эль-сырат. — Алкоран.

44. Зеафуры — селение по правую сторону Самбура.

45. Почти все черкесские лошади ворочаются на передних ногах, а зад заносят. Это для нас, европейцев, очень неприятно; но туземцы гоняются не за красой, а за пользою.

46. Мусульмане плотно завтракают часов около семи утра, а ужинают при закате солнца, — в полдень никогда не едят и считают это вредным.

47. Абарат — необходимая вещь для путешественников по Азии: это предписание начальника округа или хана, чтобы вам давали ночлег, пищу и коней.

48. Самое чистое серебро.

49. Керван-сагиби — хозяин каравана; ляр — окончание множественного числа в татарском языке.

50. Род ковров без ворсы.

51. Дербент-наме — повествование о Дербенте, смесь нелепых басен с историческими истинами: полупоэма, полусказка, очень старинная и весьма уважаемая.

52. Городская стена Дербента. А славная огромностью своею стена, идущая через горы, зовется Даг-бары — горная стена.

53. Заметьте, он не говорит — твои жены, но — твои домашние, эвдакиляр.

54. Род супу с чесноком и с лапшою.

55. В горах часто куют не только ослов, но быков и буйволов.

56. Беш-Бармак — приморская гора в Кубинской провинции.

57. Гюль-шад — имя; значит — роза веселая.

58. Почти все горцы и часть горожан дагестанских держатся секты Омаровой, то есть сунни; дербентцы и бакинцы, напротив, — секты Алиевой, то есть шии, как здесь говорят — шаги, и взаимно ненавидят друг друга.

59. Монета в тридцать пар, около тридцати наших копеек, из весьма дурного серебра.

60. Татары говорят вместо «присягаю» — «пью клятву». Известно, что это выражение относится к старинному, языческому обряду племен Монгольской плоской возвышенности, у которых присягающие выпускали друг у друга несколько капель крови и пили ее; при этом они еще надевали себе на голову, как утверждает один персидский писатель, юбку старой бабы и произносили: «пусть сделаюсь презреннее этой исподницы, ежели не сдержу моего обещания!»

61. Опиум, приготовленный шариками с душистою смолою. Употребление его не обще, но велико между азиатцами.

62. В каждой оде (роте) янычар котел заменял знамя. Ода, потерявшая в бою котел, разбивалась по другим. Обращение котлов вверх дном всегда бывало у них знаком мятежа.

63. Между первым и вторым звуком трубы ангела смерти протечет сорок лет. — Алкоран.

64. Так зовут горцы славного мятежника дагестанского — Кази-муллу.

65. В утешение господ, посылаемых в караул без очереди, я честь имею доложить, что в слове караул нет ничего христианского. Оно татарское по родословной книге и записано в статье о выходцах из Орды.

66. Надо сказать, шииты, шаги, имеют кучу вздорных обрядов при молитвах. Здешние сунниты их отвергают. Между прочим, шииты в начале моления вкладывают большие пальцы в уши и дуют на стороны. Руки они кладут на колени; напротив, здешние сунниты складывают их под грудью.

67. Борода Фетх-Али-шаха, недавно умершего, славилась по всей Персии; она доставала у него до пояса.

68. Девяносто девять прозвищ аллаха передал Магомет правоверным, но сотого невозможно узнать человеку в этой жизни: известно только духам-небожителям. Искание этого сотого имени — философский камень для мусульман.

69. Есть куплет на старинном турецком языке, в котором эта мысль развита с поэтическими подробностями. Азиатцы находят ее злодейски остроумною. Для уразумения этой восточной красоты вот начертание трехбуквенного лица Гюльшады: Ж. Я уверен, что ни один европейский ум не подозревал столько прелестей в лаконическом *живете*.

70. Чай на турецком языке значит река, и потому смешно писать: река Арпа-Чай, река Гюльгори-Чай. Это такой же илеоназм, как понтонный мост и тому подобное.

71. То есть не ищи покровительства хитреца.

72. Кстати, об имени Дербента. Дербент есть слово персидское, часто встречаемое в географии Востока, и значит застава, крепость, замыкающая ущелие или узкий проход. Оно сложено из двух персидских слов, дер — дверь, и бенд — связка, замычка, скоба. Под именем Демир-капы, железных ворот, его никогда закавказцы не знали. Аравитяне называли Кавказский Дербент — Баб эль-абуаб, ворота из ворот, главные ворота, главная застава.

73. Впрочем, кельби Али, в просторечии Кельбалай, есть мусульманское собственное имя. Один ширванский хан, генерал-майор нашей службы, его носит, и оно вовсе не доказывает, как думают многие, особенной преданности к Алию.

74. В Персии множество нищих с выколотыми глазами, жертв каждой политической смуты. Гьозим усти, собственно, значит на мой глаз, но это междометие должно принимать в смысле: клянусь я своими глазами в твоих повелениях!

75. Эгри — косой.

76. Кара-даг — Черногоры.

77. Метеги, мути — временный брак, позволенный у шиитов, но не везде употребительный. Впрочем, и сунниты Северного Дагестана допускают его из корысти, даже с русскими. Он облечен всею законностью, но только низший класс народа занимается такою торговлею.

78. Написанная иероглифами, будто бы Алием, обо всем, что было и будет до конца света. Поверье шиитов.

79. Истаут, так зовут татары перец.

80. Аллах-верды — бог дал, обыкновенное восклицание того, кто пьет; кто подносит, говорит: «сизин кейфиниса (на здоровье вам)» или просто: «яхши олсун (да будет благо)». Искендер смеется над пьянством Юсуфа: впрочем, Аллахверды (Богдан) — обыкновенное собственное имя.

81. Мимолетно (*франц.*).

82. На некоторых главах Корана вместо обычного заголовка, бисмеле, Магомет ставит какие-нибудь две буквы арабской азбуки. Смысл их, говорил он, известен одному аллаху, со слов которого Джебраил* писал эту книгу.

83. Уздень, üzden, слово татарское, сложенное из двух, üz и den, сам и от, то есть от себя (зависящий), сам собою (живущий). Оно известно только в Лезгистане и напрасно присвоено русским черкасам. Это род наших инородцев. Они обязаны ханам только службою во время войны да разъездами в гонцы: другой подати не платят. Живут иногда особыми селениями; чаще рассеяны между рабами ханов, кулами, происходят первоначально от воинов, покорителей туземцев; умножены вольноотпущенными. Чем глубже в горы, тем они воинственнее, независимее и многочисленнее.

84. Замечательно, что у татар читать и петь выражается одним и тем же глаголом, охумах.

85. Лаваши — в лист бумаги сухие блины. Их подают при обедах вместо закуски и салфеток.

86. Известно, что татарское письмо опускает гласные, а точки служат титлами для различения подобных букв, связи и движения речи.

87. Пир — человек, угодный богу делами или страданиями. У суннитов.

88. Собрание старшин у кавказских народов, совет, суд по корану или по преданию.

89. Восточные женщины-мусульманки вовсе не употребляют поясов: исключения чрезвычайно редки.

90. В наших закавказских областях так зовут рубль серебра.

91. Фагер, собственно, значит бедняк, нищий (факир), но нередко присваивают это имя, по обещанию, странствующим в веригах дервишам (род монахов). Фагеры эти — великие обманщики и тунеядцы. За Кавказом они пришельцы и редкие гости.

92. Муллы не составляют исключительного класса и нередко занимаются торговлею, ходят на бой, водят караваны.

93. Муфти — духовный глава суннитских мулл, муштаид, правильнее муджтегид, — то же самое для духовных Алиева исповедания.

94. Стихи Петрова*.

95. Титло в виде двоеточия.

96. Если невеста за ветреность подвергалась нареканию, то насмешники, при проезде мимо ее, стреляют вниз, а не вверх, как обыкновенно. Такие шутки, однако ж, редко проходят даром, и за холостой заряд подобные зоилы рискуют получить в бок заряд с приложением свинцу. Мусульманин будет хладнокровно слушать, если вы браните его мать и деда, гроб отца и его собственную колыбель; но за брань жены он держит ответ не за зубами, а за кушаком.

97. Оджах — наш очаг, пепелище, камин (âtre); в переносном смысле: семья, род, племя. У нас есть пара к этой татарской пословице: «не вспоя, не вскормя, ворога не сыщешь».

98. Деревня Русты лежит верст на восемнадцать от Кубы, в долине между хребтом и ею. Там я переменил лошадей.

99. По дагестанской привычке, я ношу на большом пальце железное кольцо, для удобнейшего взвода тугих курков азиатского оружия.

100. Хотя местоимение *ты* не считается у татар неучтивостью, но люди образованные предпочитают в разговорах с равными и высшими местоимение *вы*, *сиз*.

101. Прошу вспомнить моих почтенных читателей, что на всем Востоке мода красить концы пальцев хенною, или, как там ее зовут, тагарахною.

102. Надобно пояснить, что *имя* и *слава* однозначащи на татарском языке и оба выражаются одним словом *ад*.

103. Буюр значит прикажите, благоволите, но угодно ли, а иногда так же, как слово *бали* (*так*), значит; чего изволите?

Примечания

Впервые — в «Библиотеке для чтения», 1836 год, т. XVII, в серии «Кавказские очерки», за подписью: Александр Марлинский. Заключительная часть повести — в альманахе «Сто русских литераторов», СПб., 1839, с пометой: 9 апреля. Кукинский Кунакент. Ночь.

На основании многочисленных исторических материалов и документов можно считать установленной реальность личности Мулла-Нура. «В то время в тех местах на больших пространствах славился известный разбойник Мулла-Нур; смелость его и неустрашимость были ведомы всякому, и его боялись все». — «Рассказ лезгинца Асака о похождениях своих. (Писано со слов рассказчика.)» — Полное собрание сочинений Вл. Даля (Казака Луганского), т. II, СПб., изд. М.О. Вольфа, 1897, стр. 169. А. Бестужев встречался с Мулла-Нуром на Кавказе (об этой встрече писатель рассказал в заключении повести «Мулла-Нур») и записал его автобиографический рассказ. Автограф этой записи сохранился в «Архиве Бестужевых» в Институте русской литературы Академии наук СССР. «Отец мой, — рассказывал качаг, — видите ли, хотел — пусть я стану муллою, и на этой надежде, как на мягком изголовье, заснул он сном смерти. Русские вошли к нам без боя и без грабежа... Офицеры особенно ласкали меня, и скоро я свыкся с русскими, несмотря на то, что наши старики и взрослые, в своей семье дома или в своем кружку на майдане, бранили их и дичились их явно, улыбались исподтишка. Не за что мне было ненавидеть их за себя, а по чужим речам и подавно». После ограбления родственниками дома, оставшегося после смерти отца, Мулла-Нур уходит в горы.

Стр. 159. *Улем* (арабск. алим — ученый) — представитель высшего сословия мусульманских законоведов и богословов. В их руках находились все религиозные учреждения, судопроизводство и школы.

Степь Мугана — на юго-востоке Азербайджанской ССР и за ее пределами, в Иране.

Стр. 160. *Кази-мулла,* или Гази-Мухаммед (1785—1832) — мусульманский религиозно-политический деятель, первый имам (высшее духовное лицо) Чечни и Дагестана, предшественник Шамиля. Он выступил проповедником мюридизма (истребления всех немусульман) в наиболее воинственной форме газавата — «священной войны» против «неверных». В 1830 году, после избрания имамом, Кази-мулла повел отряды мюридов (послушников) против русских войск и мусульман, не желающих присоединиться к газавату. В мае 1831 года вместе с Шамилем он организовал поход в шамхальство Тарковское, бывшее в тесном союзе с Россией. Затем овладел Кизляром и осадил Дербент. Весной 1832 года он организовал поход на Чечню, откуда был вытеснен. Осенью 1832 года был убит в бою под Ахалкухумом.

Шах-Гусейна, первого мученика-халифа секты Алиевой. — Гусейн (правильнее — Хусейн) — второй сын халифа Али и Фатимы, дочери Мухаммеда (571—632). Пытался оспаривать у халифа Иезида права на халифат, но потерпел поражение и был убит 10 октября 680 года (10 мухоррема 61 года хиджры) у г. Кербелы (Ирак). Хусейн, как и Али, обоготворяется шиитами. В память его устраиваются траурные представления — теазие и шествие, которые нередко сопровождаются ри-

туальными самоистязаниями. Интересное описание праздника в честь Хусейна дано в книге С. Гмелина «Путешествие по России для исследования всех трех царств в природе» (СПб., 1785, ч. III, стр. 464). Этот праздник описан А. Марлинским в очерке «Шах Гусейн». Али — последователь пророка Мухаммеда. Был четвертым халифом после Абубекра (632—634), Омара (634—644) и Османа (644—656). Убит в городе Куфе в 661 году.

Стр. 161. *Монтань* — Монтень, Мишель де (1533—1592), французский философ периода Возрождения, автор «Опытов» (1580).

...мечеть эта, по всей вероятности, была в старину христианскою церковью... — Это мнение, основанное на местном предании, оспаривается русским ориенталистом И.Н. Березиным (1819—1895). «Расположение дербентской мечети, — пишет он, — не согласно с строением христианских храмов, а из того, что в числе греческих епархий стояла когда-то дербентская, не следует, что сборная дербентская мечеть переделана из христианского храма. Точно такая же мечеть существует в Мосуле, и точно так же христиане приписывают ее себе» (И. Березин. Путешествие по Дагестану и Закавказью, ч. II, изд. 2, Казань, 1850, стр. 37).

Стр. 162. *Шатобриан* Франсуа-Рене (1768—1848) — французский писатель и государственный деятель, представитель реакционного романтизма.

Мальтебрюн Конрад (1775—1826) — французский географ и публицист, родом датчанин.

Мальтус Томас Роберт (1766—1834) — английский реакционный буржуазный экономист, автор «Опыта о «законе населения» (1798).

Стр. 163. *Закум* — растение в Аравии. Отличается ужасным зловонием. По корану, закум — пища грешников в аду.

Дженнет — сад утех, одно из десяти названий мусульманского рая.

Джегеннем — гееннский пламень, одно из шести отделений ада по корану.

...стихотворцев Фарсистана... — Фарсистан (Фарс) — провинция в южной Персии с главным городом Шираз, в прошлом — крупным экономическим и культурным центром Ирана. Здесь жили и творили Саади Ширази и Хафиз.

Стр. 164. *Барон Брамбеус* — Сенковский Осип (Юлиан) Иванович (1800—1858), русский ученый-востоковед и писатель. Повести различного характера: бытовые, сатирические и восточные, печатал под псевдонимом «Барон Брамбеус» в журнале «Библиотека для чтения», который он издавал с 1834 года.

Стр. 165. *Кала-бек* — городничий.

Стр. 166. *Отец его был любимцем изгнанного Фетх-Али хана...* — Здесь у Марлинского неточность. Речь не может идти о кубинском Фетх-Али хане, завоевавшем Дербент в 1760 и умершем в 1789 году. Последним дербентским ханом был его сын Шейх-Али хан, вступивший в управление в 1795 году. Дербент был взят графом Зубовым не в 1801, как указывается в примечании автора, а в 1796 году; вторично, после измены Шейх-Али хана, он был взят русскими войсками в 1806 году.

Стр. 169. *Лейла* — имя героини восточной легенды, ставшее символом верной любви. В XII веке на основе этой легенды великий азербайджанский писатель Низами (ок. 1141 — ок. 1203) создал поэму «Лейли и Меджнун».

Геркулес персидского баснословия, Рустем... — Рустам — герой всемирно известной эпопеи «Шахнаме» («Книга о царях») классика таджикской и персидской литератур Фирдоуси (р. между 934 и 941 — ум. ок. 1020).

Стр. 175. *...журнальной статейки хоть бы инвалидною прозою!* — Имеются в виду литературные приложения и прибавления (1822—1839) к газете «Русский инвалид» (основана в 1803 г.). В статье «Взгляд на русскую словесность в течение 1823 года» Марлинский писал: «Инвалид» (изд. г. Воейков, в С.-Петербурге) принадлежит к словесности только своими «прибавлениями», в коих, если он беднее других прозою, то богаче всех хорошими стихами».

«Роберт-Дьявол» — опера композитора Мейербера (1791—1864). Написана в 1830 году, поставлена в Париже в 1831 году.

«Фра-Дьяволо» (1830) — комическая опера французского композитора Обера (1782—1871).

Карем Мари-Антуан (1784—1833) — знаменитый французский повар, служивший у Талейрана, Георга IV, Ротшильда и других.

Стр. 358. *Каракалла* (186—217) — прозвище Марка Аврелия Антонина, римского императора (с 211 г.).

Вахтанг VI Законодатель (1675—1737) — грузинский царь (1705—1724), писатель и историк. С его именем связано составление нового свода законов — кодекса феодального права Грузии XVIII и первой половины XIX веков. Этот свод был переведен на русский язык и издан сенатом в 1828 году.

Стр. 176. *Бальби* Адриано (1782—1848) — итальянский ученый, известный своими трудами по географии и статистике.

Кювье Жорж (1769—1832) — французский естествоиспытатель, известный своими трудами в области сравнительной анатомии, палеонтологии и систематики животных.

Стр. 177. *Тавлинцы* — жители гор. Часто под этим наименованием подразумевают жителей в верхних частях Андийского и Аварского Койсу.

Стр. 183. *Гафиз* (Хафиз) (1300—1389) — великий таджико-персидский поэт-лирик. Большую часть поэтического наследия Хафиза составляют газели (около 500).

Стр. 185. *Исфендияр* — знаменитый персидский герой, воспетый Фирдоуси в «Шахнаме». Он был убит Рустамом.

Стр. 193. *Шамбертен* — сорт виноградного вина (по названию французской деревни в департаменте Кот-д'Ор, славившейся выделкою бургунского вина).

Стр. 194. *Гименей* — в греческой мифологии бог брака.

Шииты празднуют, как я где-то писал, поминки по Гусейну. — Гуссейн (правильнее Хусейн) — второй сын халифа Али и Фатимы, дочери Мухаммеда (571—632). Хусейн, как и Али, обоготворяется шиитами. В память его устраиваются траурные представления — теазие и шествие, которые нередко сопровождаются ритуальными самоистязаниями.

...61 года гиджры. — Гиджра (хиджра) — переселение Мухаммеда и первых мусульман из Мекки в Медину в 622 году. По повелению халифа Омара год хиджра был принят за начало летосчисления у мусульман; первый день первого месяца мусульманского лунного года — мухаррема соответствует 16 июля 622 года.

Стр. 195. *Сеиды* — потомки пророка Мухаммеда.

...наследников Сефи? — Сефеиды — династия шахов, правивших в Персии, Азербайджане, Афганистане и части Армении в 1502—1736 годах. При Сефеидах государственной религией Персии был шиизм.

Кааба — мечеть в Мекке (Саудовская Аравия). В одном из углов мечети замурован большой черный камень, оправленный в серебро. Этот камень является самым священным из всех предметов поклонения для мусульман-суннитов.

Стр. 196. *Пешкеш* — подарок, гостинец.

Стр. 197. *Рахтарщик* — сборщик дани, пошлины.

Стр. 199. *Долма* — блюдо из фаршированных овощей, распространенное у дагестанских горцев кушанье.

Стр. 201. *Шариат* — правовая система ислама.

Стр. 204. *Мугаррам-бек,* или Мухаррем-бек — дербентский городничий в 20—30 годах XIX века. По словам И.Н. Березина, он оставил у жителей города добрую о себе память устройством мельниц-колотушек и проведением воды в окрестные поля. Касаясь эпизода посещения городничего Мулла-Нуром, ученый путешественник пишет: «...автор «Русских повестей и рассказов» нисколько не украсил характера Мулла-Нура, и в Дербенте действительно до сих пор утверждают, что этот храбрец средь бела дня приезжал к бывшему городничему и благодетелю Дербента Мухаррем-беку, взял у него взаймы денег — и был таков!» (см. И. Березин. Путешествие по Дагестану и Закавказью, ч. II, изд. 2, Казань, 1850, стр. 43 и 126).

Стр. 206. *...из похода генерала Панкратьева...* — Панкратьев Никита Петрович (1788—1836) — генерал, начальник штаба Кавказского корпуса; 28 апреля 1831 года был назначен командующим войсками в Закавказье и Дагестане, ввиду отъезда Паскевича в Польшу.

Стр. 210. *Чапархан* — проводник, всадник разъездной команды.

Геркуланум — древний город в Италии. Вместе с Помпеей был разрушен и засыпан пеплом при извержении Везувия. Раскопки Геркуланума начались в 1738 году.

...зловещий приговор Валтазара — Валтасар — последний халдейский царь, имя которого упоминается в библейском рассказе о падении Вавилона (книга пророка Даниила, гл. V, 1—30). Несмотря на осаду города, предпринятую персидским царем Киром, он беспечно предавался пиршеству, не прекратил его и тогда, когда на стене появились слова, предвещавшие ему гибель.

Стр. 211. *Агач* — мера пути в Закавказье; пеший агач — четыре версты, конный — семь.

Стр. 213. *Базалий* — прославленный оружейный мастер в Дагестане. Особенно ценились изготовленные им кинжальные клинки. Работы его сына, также весьма ценившиеся, уступали отцовским в крепости и чистоте отделки.

Стр. 217. *Джебраил* — архангел Гавриил, который будто бы передавал Мухаммеду с седьмого неба в виде откровения божественную книгу — коран, предвечно написанную на небесной скрижали и вечно сохраняющуюся на небесах ангелами под престолом аллаха.

Стр. 218. *Петров* Василий Петрович (1736—1799) — поэт, автор торжественных од, восхвалявших Екатерину II и ее фаворитов.

Текст и примечания печатаются по источнику:

Бестужев-Марлинский А.А. Дорога от станции Алмалы до поста Мугансы // Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения в двух томах. — Т. 2. — М.: Государственное издательство художественной литературы, 1958. — С. 226—237, 700—705.

Исследования, посвященные декабристам

Н.А. Котляревский

Декабристы: Князь А.И. Одоевский и А.А. Бестужев-Марлинский. Их жизнь и литературная деятельность

День 14 декабря 1825 года – скорбный день в летописях нашей словесности. Из немногочисленной литературной семьи того времени вспышка политической страсти вырвала сразу несколько молодых даровитых писателей. На долгие годы затерялись они в толпе своих товарищей по несчастью – каторжных, поселенцев и солдат.

В кружке декабристов поэзия и поэтическое творчество были, как известно, в большом почете. Политика не мешала, а способствовала культу искусства. Но истинных новаторов в творчестве среди этих политических деятелей не было: были люди лишь с более или менее крупным дарованием.

История нашего литературного развития сохранит на своих страницах имена К.Ф. Рылеева, А.А. Бестужева, князя А.И. Одоевского и В.К. Кюхельбекера.

Их жизнеописанию и литературным трудам посвящены эти очерки.

Теперь настало время, когда на могиле этих писателей можно поставить достойный их памятник, и автор смотрел на свою работу как на первый шаг к выполнению этого долга.

Люди, о которых он хотел напомнить читателю, имели в жизни своей две святыни: гуманный идеал, проясненный политической мыслью, за которую они пострадали, и художественную мечту, которая радовала их в дни свободы и утешала в дни несчастья. В очерках, посвященных их памяти, должно быть уделено одинаковое внимание и политическим их мыслям, и поэтическим их грезам.

Автор руководствовался этим соображением. Он стремился достигнуть наибольшей полноты в подборе фактов, относящихся к биографии упомянутых писателей, и в подборе сведений об их политической деятельности. Возможно большую точность и полноту хотел соблюсти он и в обзоре их литературных трудов, не считаясь с тем, что эти труды от времени сильно пострадали.

Князь Александр Иванович Одоевский

Стихотворения князя Александра Ивановича Одоевского[1] почти совсем забыты; и даже имя его в перечне наших поэтов двадцатых и тридцатых годов упоминается редко.

Причины такого забвения более чем понятны. Александр Иванович родился поэтом, и очень искренним поэтом, но он таил свои стихи от чужого глаза и редко кому позволял их подслушать[2]. Почти все его стихотворения были записаны его друзьями, иногда по памяти, и он сам, вероятно, менее чем кто-либо мог думать, что эти импровизации, эти слова, сказанные в утешение самому себе или товарищам, составят современный сборник, который не позволит забыть о нем как о поэте. Было ли это скромностью или гордыней художника, который считает «ложью» всякое «изреченное» слово, бессильное передать глубину мысли и чувства, его породивших, было ли это просто беспечностью с его стороны[3] – но только Одоевский составлял исключение в семье художников; и, глубоко верующий в бессмертие своей души, совсем не желал бессмертия для тех звуков, какими она откликалась на мимолетные впечатления жизни. Он сам торопил для себя наступление минуты забвения.

Она должна была наступить быстро и в силу внешних обстоятельств. Одоевскому было 22 года, когда его сослали на каторгу, и его стихи были, как он сам выражался, «песнями из гроба». Это верно также и в том смысле, что все его стихотворения, кроме одного, появились в печати уже после его кончины. Само собою разумеется, что под ними первое время не могло стоять имени автора. Но даже если бы это имя и стояло, стихи Одоевского, взятые порознь, едва ли могли произвести большое впечатление и остаться надолго в памяти: они – как те цветы, которые издают сильный аромат лишь тогда, когда собраны и связаны в целом букете.

В истории русской лирики двадцатых и тридцатых годов поэзия Одоевского может занять свое место в ряду тех непринужденно-искренних, пережитых и прочувствованных, сильных своей простотой и почти совсем неэффектных лирических стихотворений, которые подписывались в те годы Пушкиным и его друзьями. Песня Одоевского той же высокой пробы, что и лирика этой плеяды. В ней поражает та же тщательная отделка стиха, редкое гармоничное сочетание формы с содержанием при отсутствии в этой форме излишне узорного или недосказанного, неясного, та же способность менять и тон, и ритм, та же способность одинаково просто выражать весьма разнообразные настроения и чувства. Стихи Одоевского, изданные в свое время, то есть в конце тридцатых годов, завершили бы собой тот цикл художественной лирики, которая в Пушкине нашла себе лучшего выразителя и в которую затем Полежаев, Лермонтов и Огарев внесли новую резкую ноту душевной тревоги и эффектного, иногда вычурного самолюбования. Песня Одоевского могла бы быть одной из последних песен, в которых выразилось уже отходившее в прошлое религиозно-сентиментальное, в общем оптимистическое миросозерцание, не позволявшее человеку слишком болезненно ощущать разлад мечты и жизни.

И действительно, Александр Иванович, который более чем кто-либо имел основание быть в обиде на жизнь и людей, избегал подчеркивать то противоречие, в каком его личность, умственно и нравственно высокая, стояла к окружающей его обстановке и к историческому моменту, свидетелем которого он явился. В его миросозерцании было много религиозного идеалистического элемента[4], который не мешал поэту жить страстями, но как-то не позволял этим страстям обращать все душевные порывы, все набегающие мысли в предлог для непримиримо враждебного отношения к жизни вообще и к людям в частности. Знакомясь с духовной жизнью нашего писателя, насколько, конечно, эта полная смысла жизнь отражается в его случайных поэтических заметках, видишь, что первой житейской мудрости он учился у того сентиментального либерализма, который, несмотря на все предостережения, был так силен во все царствование Александра I, и что поэту не остались чужды те оптимистические взгляды на мир и судьбу человека, к которым вообще имели пристрастие люди его времени, серьезно воспитанные на идеалистической философии Запада или только усвоившие себе ее конечные выводы.

Этот религиозный склад ума Одоевского и спокойствие его духа подтверждаются не только его стихами, но и тем впечатлением, которое он производил на людей, способных оценить эти редкие, не бросающиеся в глаза душевные качества. Если Огарев, который встретил Одоевского в конце тридцатых годов солдатом на Кавказе, был не только поражен, но и умилен его личностью, то это понятно: сам Огарев в эти годы искал в религии разгадки смысла жизни. Но любопытно, что такое же глубокое впечатление Одоевский произвел на натуру, совсем с ним не сходную, на Лермонтова, с которым тот же случай свел его на Кавказе. Для понимания Одоевского Лермонтов был по своему темпераменту и по своим взглядам мало подготовлен, но и он преклонился перед «гордой верой Одоевского в людей и жизнь иную», хотя и придал его облику оттенок горделивой замкнутости и разлада со «светом» и «толпой» – эти, ему самому, Лермонтову, столь привычные ощущения.

Когда затем Лермонтов говорил, обращаясь к Одоевскому:

…Дела твои и мненья,
И думы – все исчезло без следов,
Как легкий пар вечерних облаков:
Едва блеснут: их ветер вновь уносит –
Куда они? зачем? откуда? – кто их спросит.., –

он был не совсем прав. Если бы он знал эти думы, как знаем их мы, он не задал бы им вопроса, зачем они и откуда; он признал бы в них, как и в поступках поэта, – проявление цельного миросозерцания, оптимистического, с большой дозой благодушия, доверчивого к судьбе и к людям, либерального и полного религиозной веры сначала в близкое, а затем в конечное торжество своего гуманного идеала.

Лермонтов, типичный представитель разочарованного протеста, скептик и сын николаевской эпохи, мог видеть в Одоевском живой пример старшего поколения. Перед ним был также один из протестовавших, но примирившийся с проигрышем идеалист, человек, которого никакие житейские невзгоды не заставили усомниться в том, во что он верил, каторжник со «звонким детским смехом и живой речью, постоянно бодрый и веселый, снисходительный к слабостям своих ближних, христианин, сердце которого

было обильнейшим источником чистейшей любви, гражданин, страстно любящий родину, свой народ и свободу в высоком смысле общего блага и порядка»[5].

Таким либералом и сентименталистом александровской формации умер этот человек случайно в 1839 году, накануне эпохи, когда после десятилетней растерянности и долгого выжидания стал слагаться новый тип певца, более сердитого, желчного, недоверчивого, скептически относящегося ко многим прежним иллюзиям, а потому порой и большого пессимиста.

А как много оснований имел Александр Иванович стать пессимистом!

I

О жизни Одоевского сохранилось немного сведений, да и само слово «жизнь» как-то не подходит к тому, что с ним в жизни случилось.

Родился он в 1802 году, вместе с годами великих обещаний александровского царствования, в одной из самых родовитых и старых дворянских семей России. Семья была большая, богатая, патриархальная по нравам, и жила она очень дружно. Александр Иванович был окружен в ней любовью и лаской.

Особенно нежное чувство любви привязывало его к матери, которую он потерял рано и память о которой стала одним из самых дорогих и поэтичных образов его фантазии.

Вся сокровенная сущность его нежной и сентиментальной души открывается нам в его словах и воспоминаниях об этой женщине. «Я воспитывался, – говорил он своим судьям, – дома моею матерью, которая не спускала с меня глаз по самую свою кончину. Ее неусыпное попечение о моем воспитании, 18 лет ее жизни, совершенно посвященные на оное, – все это может подать некоторое понятие о правилах, мне внушенных. Мать моя была моею постоянною и почти единственною наставницею в нравственности»[6]. Он называл ее в письмах к друзьям «вторым своим Богом»; он не мог думать о ней, этой «ангельской матушке», без глубокого волнения лет шестнадцать спустя после ее смерти[7].

А в первую минуту разлуки с ней он был совсем подавлен. Он писал тогда: «Жестокая потеря унесла с собой лучшую часть моих чувств и мыслей. Я был как шальной. Я грустен был, я был весел, как не бываю ни весел, ни грустен. Самая тонкая и лучшая струна лопнула в моем сердце»[8].

«Я лишился ее и еще наслаждаюсь жизнью! Конечно, уж это одно испытание доказывает некоторую твердость или расслабление моего воображения, которое не в силах представить мне всего моего злосчастия. Я слаб, слабее, нежели самый слабый младенец, и потому кажусь твердым. Я перенес все от слабости!»

«Она была для меня матерью, наставником, другом, божеством моим. Я лишился ее, когда сердце уже могло вполне чувствовать ее потерю; – вот что судьба определила мне в самые радостные минуты зари нашей жизни»[9].

Через год после смерти матери (1820) поступил он на службу в конногвардейский полк[10] и «пять лет был неизменно хорошего поведения»[11], – как он сам себя аттестует.

Жилось ему весело: от матери он получил достаточное наследство в 1000 душ и один управлял ими. Он был «богат, счастлив, любим и уважаем всеми. Никогда никакого не имел неудовольствия ни по службе, ни в прочих отношениях его жизни». «И чего было мне желать?» – восклицал он с грустью в одном из своих показаний.

Служба была, конечно, легкая, если не считать разных походов и стоянок в западном крае, где его полку случалось бывать на маневрах. Но Одоевский был так жизнерадостен, что и после таких утомительных и невеселых прогулок чувствовал в себе какую-то жажду наслаждения жизнью. «Другой воздух, другая жизнь в моих жилах, – писал он однажды после такой экспедиции. – Я в отечестве! Я в России! Лица русские человеческие. Молодцы, русские, исподлобья, как жиды, не смотрят, русские девушки нас не убегают, как беловолосые униатки! Я почувствовал, что я человек, в тот самый миг, как мы перешли за роковой столб, отделяющий Белоруссию от нашей милой отчизны. Я отягчен полнотою жизни! Я пламенею восторгом, каким-то чувством вожделения, жаждой наслаждений»[12].

Жизнерадостность, которую подмечали в нем его товарищи и в тяжелые годы несчастия, была основной чертой его характера. Если вчитаться в его юношеские письма, то рядом с неизбежной и обязательной для того времени сентиментальной грустью находишь целую струю веселого, бодрого, порой юмористического настроения. Он упоен жизнью и надеждами. Он о себе и своем уме высокого мнения. Он знает цену своего отзывчивого и нежного сердца. Он боится излишних умствований, излишней серьезности во взгляде на жизнь, он хочет быть идеалистом без тревожных раздумий и страданий.

«Задача наша, – рассуждал он в те юные годы, – испытать радость жизни, но сохраняя полноту и остроту чувств:

Rien ne me révolte plus que la froideur surtout dans un jeune homme… A la vérité j'ai entendu dire souvent que pour etre heureux, il faut être insensible; mais nommerai je le bonheur la privation des plaisir de la vie?.. Un être impossible ne vit pas, il végète. La sensibilité est la fleur de notre existence, et si c'est une fleur qui se

fane, au moins laisse-t-elle après elle un parfum qui embaume le dernier de nos jours et ne s'éxhale qu'avec le dernier soupir. Et s'il est une autre vie, les souvenirs d'un homme sensible sont la volupté de l'éden»[13].

Сам Александр Иванович тогда о «кончине дней своих» и о «последнем вздохе» думал, однако, мало. Мало думал он и о так называемой «философии», которая грозит человеку испортить непосредственный и здоровый вкус к жизни.

Его двоюродный брат, тогда тоже еще мальчик – Владимир Федорович Одоевский, с которым Александр Иванович находился в очень интимной переписке, – делал тщетные усилия направить ум своего брата на серьезные отвлеченные вопросы. Всем своим увлечением немецкой философией, к которой В.Ф. Одоевский с детства привязался, он находил в письмах своего друга решительный отпор, и ему было, вероятно, очень неприятно читать такие строки: «Я заметил, – писал ему Александр Иванович, – что ты не только философ на словах, но и на самом деле, ибо первое правило человеческой премудрости быть счастливым, довольствуясь малым. Ну, не мудрец ли ты, когда ты довольствуешься одними словами, а что касается до смысла, то, по доброте своего сердца, просишь у Шеллинга – едва-едва только малую толику? Ты, право, философ на самом деле! Желаю тебе дальнейших успехов в практическом любомудрии. Мой жребий теперь, мое дело быть весьма довольным новым состоянием своим и обстоятельствами. И я философ! – Я смотрю на свои эполеты, и вся охота к опровержению твоих суждений исчезла у меня. Мне, право, не до того. Верю всему, что ты пишешь; верю честному твоему слову, а сам беру шляпу с белым султаном и спешу на Невский проспект»[14].

Его корреспондент мог тем более рассердиться, что за два года перед этим Александр Иванович давал ему понять, и совсем серьезно, что он в себе чувствует некоторое родство с гениями. «Я весел, – писал ему тогда Александр Иванович, – по совсем другой причине, нежели мой Жан-Жак бывал веселым. Он радовался свободе, а я – неволе. Я надел бы на себя не только кирасу, но даже – вериги, для того только, чтобы посмотреть в зеркало, какую я делаю рожу: ибо – le génie aime les entraves. Я не почитаю себя гением, в этом ты уверен, но признаюсь, что дух мой имеет что-то общее avec le génie. Я люблю побеждать себя, люблю покоряться, ибо знаю, что испытания ожидают меня в жизни сей, испытания, которые, верно, будут требовать еще большего напряжения моего духа, нежели все, что ни случилось со мною до сих пор»[15].

Наблюдая, однако, в продолжение некоторого времени за поведением своего двоюродного брата, В.Ф. Одоевский мог убедиться, что он ведет жизнь, совсем не подобающую «гениальной натуре». Он, кажется, и сделал ему по этому поводу довольно откровенный выговор. Писем Владимира Федоровича мы не имеем, но ответы Александра Ивановича сохранились. И он, очевидно, был также рассержен тоном этой переписки, потому что наговорил своему брату-философу много колкостей; а в письмах, кстати сказать, он умел быть и остроумным, и желчным[16].

«Восклицание за восклицанием! – начинает вышучивать Александр Иванович своего брата. – Но если бы пламень горел в душе твоей, то и не пробивая совершенно твердых сводов твоего черепа, нашел бы он хотя скважину, чтоб выбросить искру. Где она? Видно, ты на огне Шеллинга жаришься, а не горишь...

Я скажу все, как вижу из-под козырька моей каски, который, однако, не мешает всматриваться в тебя; потому что не нужно для этого (с вашим дозволением) считать на небе звезды. Ты еще пока в людской коже, как и ни лезешь из нее.

Корифей мыслит, а в смысле его – лепечут! Отличишь ли ты плевелы? Если нет, то хороша пища! Заболит желудок. Но весь философский лепет не столь опасен, как журнальный бред и круг писак товарищей полуавторов и цельных студентов.

Худо перенятое мудрствование отражается в твоих вечных восклицаниях и доказывает, что кафтан не по тебе. Вместо того чтобы дышать внешними парами, не худо было бы заняться внутренним своим созерцанием и взвесить себя.

Ты желаешь душой своей разлиться по целому и, как дитя принимает горькое лекарство, так ты через силу вливаешь в себя все понятия, которые находишь в теории, полезной, прекрасной (все, что хочешь), но не заменяющей самостоятельности.

Истинно возвышенная душа, то есть творческая, сама себя удовлетворяющая, и потому всегда независимая, даруется свыше благословенным. Такая душа превращает и чужое в личное свое достояние, ибо архетип всего прекрасного лежит в ее глубине. Внешняя сила становится для нее одной только случайной причиной. Она везде берет свою собственность. Возвышенный ум за нею следует, но как завоеватель! Для него нужны труды высокие и поприще благородное! Иначе все, что он ни присвоит, будет казаться пристройкой лачужки к великолепному храму.

В сей высшей сфере нельзя брать взаем; и иногда почти невозможно постигать размышлением то, что постигается чувством.

Учись мыслить, но не говори, что ты достиг цели, стоящей вне круга моей жизни. Ты еще ничего не достиг. Ты едва ли еще на пути, хотя ищешь его, как кажется. Откуда же взялась такая смешная самонадеянность? *Ты старше летами,* но я — перегнал, я *старше* – чем? – душой. Но где душа? Ты как будто ищешь ее вне себя, в философии Шеллинга; а я – ее не искал.

Сойди в глубину своего ума – признайся, что набросать слова звучные, нанизать несколько ниток фальшивого жемчуга и потом, сев на курульские кресла с важностью римского сенатора, судить человека совсем незнакомого – весьма легко! Да! незнакомого… Я не совсем оправился, но, однако, начинаю ступать с некоторою доверенностью к себе. Как-то мыслю, как-то чувствую – иду; но не считаю, как ты, шагов моих; и не мерю себя вершками! У всякого свой обряд. У меня есть что-то – пусть идеал – но без меры и без счету. Шагаю себе, может быть, лечу, но сам не знаю, как; и вместе с тем в некоторые мгновения наслаждаюсь истинно возвышенною жизнью, всегда независимой, и которая кипит во мне, как полная чаша Оденова меду.

Чем же ты меня так перещеголял? Внутренним бытием? Ты моего не знаешь. Печатным бытием? – я его презираю»[17].

Последние слова очень характерны: Александр Иванович на всю жизнь сохранил это презрение к печати, и если бы его друзья не записывали за ним его стихотворений, то все они так навсегда бы и пропали.

А писать стихи он стал очень рано. «В крылатые часы отдохновения, – как он выражался в одном неизданном стихотворении 1821 года, – питал в себе огонь воображения и мнил себя поэтом»[18], и кажется, что плоды этой мечты были очень обильны. По крайней мере, когда его брат просил у него стихов для «Мнемозины», которую он издавал, то Александр Иванович в выборе затруднен не был: «Стихи пишу и весьма много бумагу мараю, – отвечал он брату… – Люблю писать стихи, но не отдавать в печать; но, чуждый журнального словостяжения, прислал бы десяток од, столько же посланий, пять или шесть элегий – и начала двух поэм, которые лежат под столом, полуразодранные и полусожженные»[19].

Хотя Александр Иванович и не любил типографского станка, но к словесности он питал страсть очень нежную, равно как и к русскому языку, которым владел в совершенстве[20]. К этой страсти он был подготовлен и тем начальным образованием, которое получил в детстве и юношестве. Это образование было преимущественно литературное[21].

На вопрос судей: «В каких предметах старались вы наиболее усовершенствоваться?» – он отвечал, что в словесности и математике. «Юридическими науками, – утверждал он, – я никогда не занимался, или политическими какими-либо творениями. Не только ни одного лоскутка бумаги не найдете, который мог бы служить против меня доказательством, но даже ни единой книги, относящейся до политики или новейшей философии. Я занимался словесностью, службою; жизнь моя цвела». И Одоевский говорил правду. Если в юности его и прельщали какие лавры, то разве только лавры писательские; и он позволял себе иногда в частной переписке задуматься над вопросом: а нет ли в нем сходства с Торквато Тассо или со Стерном[22].

Любовь к словесности заставляла Одоевского, конечно, искать знакомства и дружбы литераторов. Широких литературных связей у него не было, но в молодой литераторской компании он был принят как свой. Рылеева и А. Бестужева[23] он любил прежде всего как писателей и затем уже подпал под их влияние как политиков. Есть указание, что он был знаком с Хомяковым, с которым вступал в политические споры[24]. Но наиболее тесная дружба соединяла его с Грибоедовым. При каких условиях завязалась эта дружба – неизвестно, но Одоевский был постоянным спутником Грибоедова в домах знакомых и в театрах[26], а в 1824 году во время наводнения рисковал жизнью, спасая своего друга.

В начале 1825 года они даже жили вместе на одной квартире. Знал ли Грибоедов о политических замыслах Одоевского – определить трудно; из письма, которое он писал ему в крепость, видно, что не знал[27], и потому можно предположить, что их дружба была дружбой личной и завязалась, вероятно, также на почве литературных интересов.

Литературные друзья и приняли Александра Ивановича в члены тайного общества.

II

«Заимствовал я сей нелепый противозаконный и на одних безмозглых мечтаниях основанный образ мыслей от сообщества Бестужева и Рылеева не более как с год. Родители же мои дали мне воспитание, приличное дворянину русскому, устраняя от меня как либеральные, так вообще и всякие противные нравственности сочинения. Единственно Бестужев и Рылеев (а более последний) совратили меня с прямого пути. До их знакомства я гнушался сими мыслями», – так писал Александр Иванович в тюрьме в первые дни своего ареста, ошеломленный катастрофой, испуганный насмерть, и под угрозой приступа настоящего душевного расстройства.

Одоевский познакомился с Бестужевым в конце 1824 года[29]. «Я любил, – рассказывает он, – заниматься словесными науками; это нас свело. Месяцев через пять после первого нашего свиданья в приятельском разговоре мы говорили между прочим о России, рассуждали о пользе твердых неизменных законов. «Доставление со временем нашему отечеству незыблемого устава, – сказал он мне, – должно быть целью мыслящего человека. К этой цели мы стремимся; Бог знает, достигнем ли когда? Нас несколько людей просвещенных. Единомыслие нас соединяет. Иного ничего не нужно. Ты так же мыслишь, как я, стало быть, ты – наш». Вот и все. После разговора моего с Бестужевым он долго ничего не сказывал мне о чем-либо подобном. Когда приехал Рылеев, то он познакомил меня с ним. С Рылеевым я также коротко познакомил-

ся и часто рассуждал о законах, о словесности и прочем. Слова его о будущем усовершенствовании рода человеческого принимал я по большей части за мечтания, но сам мечтал с ним[30]. В этом не запираюсь, ибо воображение иногда заносится».

Одоевский говорил чистейшую правду: он действительно всего больше «заносился мечтой», – чем, кажется, и заслужил неудовольствие своих товарищей. «Рылеев и Бестужев, – признавался он, – которые, право, только безумные, извините за выражение, а люди добрые, добрые – говорили мне: «Что ты не работаешь?» – хотя и не давали мне права принятия. Они мне немного надоели (особенно Рылеев), и я их обманывал. Говорил им: "я работаю", а между тем почти ничего не делал».

«Делал» он очень мало, чтобы не сказать ничего. Из достоверно установленных фактов видно, что он принял в члены общества корнета лейб-гвардии конного полка Рынкевича (в июле 1825), что 14 декабря утром после присяги он приехал к Сутгофу и упрекал его в том, что он изменил своему слову и не идет на площадь[31]; что с поручиком Ливеном заводил несколько раз либеральный разговор в неясных и неопределенных словах; что он принял Плещеева, которому говорил, что цель общества была просить Его Императорское Величество дать конституцию; не объясняя ему (Плещееву), каким образом; наконец, «Рылеев полагал, что Одоевский принял в Общество Грибоедова[32]. Одоевскому ставили в вину также, что он высказывал радость по поводу того, что наступило время действовать[33], обвиняли его также в том, что на одном из собраний у Рылеева он восторженно говорил: «Мы умрем! ах! как славно мы умрем!»[34].

По этим отрывочным данным нельзя ставить себе никакого представления о политических взглядах Одоевского. Да и были ли они у него? Если верить ему, то к политической мысли он был совсем не подготовлен; он мог быть политически *настроен*, и в такое настроение, по всей вероятности, выливалось все его политиканство. Из показаний на суде видно, например, что он даже плохо знал устав общества, потому что думал, что существует конституция, написанная Рылеевым и Оболенским. Сам он ни устно, ни письменно по политическим вопросам не высказывался. Известно только, что он вместе с Бестужевым и Рылеевым останавливал Якубовича от цареубийства; Рынкевич, кроме того, показывал, что Одоевский в разговорах был умерен и говорил, что Россия не в таком положении, чтобы иметь конституцию. В своих собственных показаниях Одоевский неоднократно говорил, что все это дело считал шалостью и ребячеством. «Оно в самом деле иначе не могло казаться, ибо 30 или 40 человек, по большей части ребят, и пять или шесть мечтателей не могут произвести перемены; это очевидно»[35]. Так мог Одоевский думать в тюрьме, но перед катастрофой думал, вероятно, несколько иначе. Признать себя перед судом открыто членом общества он не хотел; утверждал, вопреки очевидности, что никого не принимал в члены, так как самого себя никогда не почитал таковым; говорил, что решительно не может назвать себя членом, так как не действовал и считал существование самого общества испарением разгоряченного мозга Рылеева; отрицал, что он *принят* в общество, а признавал только, что он *увлечен*, так как на слова Бестужева «Ты наш?» он отвечал ни да ни нет, потому что почитал общество ребячеством и одним мечтанием; наконец, говорил, что хвастался из движения самолюбия (не христианского и не рассудительного), желая показать, что имеет некоторый вес в этом обществе – одним словом, Одоевский путался в показаниях, желая задним числом оттенить ту мораль, которая ему пришла в голову в тюрьме и на которой он надеялся построить свою защиту.

Хотел он также убедить судей в том, что и главная цель общества была ему неизвестна. Это ему, однако, не удалось, так как товарищи единогласно показали, что о конституции он говорил неоднократно. Так, например, вместе с Рынкевичем он желал представительного правления[36], но не надеялся дожить до него; графа Ливена наводил он на мысли о том же словами: «поговаривают о конституции»; Плещееву второму он сообщил, что общество хочет *просить* царя о конституции; князю Голицыну он говорил, что есть общество, желающее распространить либеральные мысли, дабы искоренить деспотизм и переменить правительство, и говорил он это, по словам Голицына, «свойственным ему языком неосновательности рассуждений». Наконец, Никита Муравьев утверждал, что перед отъездом своим из Петербурга осенью 1825 года он дал Одоевскому копию со своей конституции[37].

Против таких улик бороться было трудно, и Одоевский в конце концов согласился, что он был принят в общество, стремящееся к достижению конституции, но что все-таки это общество почитал шалостью и ребячеством.

Из всего этого ясно, что конечная цель пропаганды была известна Одоевскому, но в какой форме он рисовал себе конституцию – это неизвестно, и легко может быть, что он прошел совсем мимо этого вопроса.

III

В конце 1825 года Одоевский взял отпуск во Владимирскую губернию в деревню к отцу, с которым давно не видался. Между членами общества было условлено, что в случае предстоящего какого-нибудь важного происшествия каждый из них, где бы он ни был, явится в Петербург. Узнав в Москве о смерти Императора Александра Павловича, Одоевский 8 декабря 1825 года вернулся в столицу[38]. Для членов тайного общества наступили суетливые и тревожные дни.

2 декабря Одоевский говорил Рынкевичу: «Я чувствую что-то, что скоро умру, что-то страшное такое меня, кажется, ожидает».

На заседании 13 декабря у Рылеева Одоевского не было, так как утром того числа он вступил в караул в Зимнем дворце, откуда мог смениться только утром 14 декабря. Но 12 числа вечером, после собрания у Рылеева, он еще побывал у князя Оболенского, куда собрались офицеры разных полков за последними инструкциями касательно будущих действий[39].

14 декабря утром Одоевский стоял еще во внутреннем карауле. Уже после, когда открылось его участие, вспомнили, что он беспрестанно обращался к придворным служителям с расспросами о всем происходившем – обстоятельство, которое в то время приписывали одному любопытству[40]. Присягнув новому императору, Одоевский пошел к Рылееву, который «сказал ему дожидаться на площади доколе придут войска». «Я пришел на площадь, – показывает Одоевский, не найдя на ней никого, пошел домой и у ворот встретил Рынкевича, коего взял сани, поехал через Исаакиевский мост в Финляндский полк, дабы узнать, приняли ли присягу. Здесь встретил я квартирмейстерского офицера, которого видал у Рылеева и который известил меня, что Гренадерский полк не подымается, и звал меня ехать к оному. Прибыв туда, нашел некоторых офицеров на галерее, от коих узнал, что полк присягнул, но что Кожевников арестован, о чем мы соболезновали. Приехав назад на Исаакиевскую площадь, нашел уже толпу московского полка и некоторых из моих друзей, к коим я пристал. С ними кричал я: ура! Константин!»[41]

Как только Одоевский прибыл на площадь, ему сейчас дали в команду взвод для пикета, во главе которого он и стал с пистолетом в руках[42]. Поставил его на этот пост князь Оболенский, но Одоевский не долго оставался во главе пикета и возвратился в каре. Ни одного командного слова он не произносил.

На площадь Одоевский пришел в большом возбуждении и все время находился, как он сам говорил, в полусознании. «Я простоял, – писал он царю, – 24 часа во внутреннем карауле, не смыкал глаз, утомился: кровь бросилась в голову, как со мной часто случается; услышал: «ура!» – крики толпы, и в совершенном беспамятстве присоединился к ней».

«Я весь ослабел, здоровья же я вообще слабого, потому что от лошадей грудь разбита и голова; кровь беспрестанно кидалась в голову; я весь был в изнеможении. Двадцать раз я хотел уйти; то тот, то другой заговорят[43]; конногвардия окружила; тут я совсем потерялся, не знал куда деться; снял султан: у меня его взяли, надевали мою шубу[44]. Щепин вывел меня на показ конной гвардии: «Ведь это ваш?» В другой раз я вышел и удержал московских солдат от залпа и спас, может быть, жизнь многих».

«На площади, – показывал В. Кюхельбекер[45], – я с Одоевским снова увиделся. Находился он неотлучно при московцах; удалял чернь из боязни напрасного кровопролития (когда она приближалась к рядам), не только не поощрял, но унимал солдат, стрелявших без спросу, а при ожидаемом на нас нападении конницы увещевал их метить не в людей, а лошадям в морды; караульному же офицеру, который грозился велеть выстрелить по нам обоим, подошедшим слишком близко к сенатской гауптвахте, он отвечал: «Monsieur! on ne meurt qu'une fois». Наконец, увидел я Одоевского, теснимого толпою мимо него бегущих солдат гвардейского экипажа, и заметил, как он снимал султан со своей шляпы».

Суматоха на площади, как видим, была большая, и среди этой суматохи роль Одоевского была ничтожна. Собственно никакой вины за ним, кроме самого присутствия на площади, и не было. Были даже заслуги. «В самом деле, – писал он царю, – в чем моя вина? Ни одной капли крови, никакого злого замысла нет на душе у меня. Я кричал, как и прочие; кричал "ура!" Но состояние беспамятства может послужить мне оправданием. Если бы у меня малейший был бы замысел, то я не присоединился бы один, а остался бы в своем полку»[46].

На площади с Одоевским, действительно, начинался тот длинный пароксизм беспамятства, который разрешился острым душевным кризисом в тюрьме.

«В колонне остался я, — пишет Одоевский, — доколе оная была расстроена и разогнана картечью. Тогда пошел я Галерной и через переулок на Неву, перешел через лед на Васильевский остров к Чебышеву[47]. Оттуда возвратился в город и заехал к Жандру[48], живущему на Мойке. Здесь дал мне сей последний фрак, всю одежду и 700 руб. денег. Я пошел в Екатерингоф, где купил тулуп и шапку, и прошел к Красному Селу. Наконец, вчера возвратился в Петербург, где и прибыл к дяде Д.С. Ланскому, который отвел меня к Шульгину (полицмейстеру)».

О том, как Одоевский вернулся в дом своего дяди Ланского, существует несколько рассказов, с истиной едва ли вполне согласных.

Рассказывали, что он пешком пошел по Парголовскому шоссе; но у дачи дяди его Мордвинова (?) люди узнали его, а Мордвинов вернул его в Петербург и представил куда следует[49].

Один современник утверждал, что гусары, казаки и драгуны делали ночью обход, чтобы ловить преступников, и Одоевский, спасаясь от них, провел ночь под дугой какого-то моста, но затем, окоченев от холода, спасся к Ланскому[51].

Другой современник рассказывает, что 14 декабря вечером Одоевский исчез. На другой день около взморья один унтер-офицер наткнулся на прорубь, которая начала уже замерзать, и увидал, что около проруби лежит шпага, пистолет, военная шинель и фуражка конногвардейского полка. Шинель вырубили изо

льда и начали поиски тела. Вещи были доставлены на квартиру Одоевского, которого искали. Прислуга признала их, и решили, что Одоевский утонул; а он через несколько дней в простом полушубке, как мужик, пришел к Ланскому. Ланской обещал будто бы его спрятать, отвел его в дальнюю комнату, запер в ней, а сам поскакал с докладом во дворец[52].

Рассказывали, наконец, что Ланской не дал Одоевскому ни отдохнуть, ни перекусить, а прямо повез его во дворец[53].

17 декабря в 2 $^1/_2$ часа дня Одоевский и Пущин были доставлены в Петропавловскую крепость с запиской от Императора, в которой он писал: «Присылаемых при сем Пущина и Одоевского посадить в Алексеевский равелин».

IV

В равелине Одоевский сидел рядом с Н. Бестужевым. «Одоевский, – рассказывает М.А. Бестужев, – был молодой пылкий человек и поэт в душе. Мысли его витали в областях фантазии, а спустившись на землю, он не знал, как угомонить потребность деятельности его кипучей жизни. Он бегал как запертый львенок в своей клетке, скакал через кровать или стул, говорил громко стихи и пел романсы. Одним словом, творил такие чудеса, от которых у стражей волосы поднимались дыбом; что ему ни говорили, как ни стращали – все напрасно. Он продолжал свое, и кончилось тем, что его оставили. Этот-то пыл физической деятельности и был причиною, что даже терпение брата Николая разбилось при попытках передать ему нашу азбуку. Едва брат начинал стучать ему азбуку, он тотчас отвечал таким неистовым набатом, колотя руками и ногами в стену, что брат в страхе отскакивал, чтоб не обнаружить нашего намерения»[54].

Такое поведение Одоевского в тюрьме неоднократно обращало на себя внимание его биографов, и все приписывали эти странности его пылкому темпераменту. Теперь, когда показания его перед нами, поведение его объясняется иначе: он был психически болен, расстроен до потери сознания. На него напал панический страх, и ужас его положения притупил в нем все другие чувства, лишая его иногда даже связной речи. И понятно, что такое расстройство могло овладеть его духом. Слишком был он не подготовлен к испытанию, слишком не увлечен своим делом, чтобы не пасть духом. Слишком был он молод, богат, красив, умен, талантлив, полон надежд, чтобы не ужаснуться грядущего. А это грядущее рисовалось ему как нечто невообразимо страшное и беспросветное.

Он словно угадывал свою судьбу и отбивался от ее призрака.

И много лишних заклинаний произнес он, отбиваясь от него.

Ход первого допроса в присутствии самого царя оставил слабый след в его расстроенной памяти. «При первом допросе, – пишет он, – пройдя через ряд комнат дворца, совершенно обруганный, я был весьма естественно в совершенном замешательстве, какого еще отродясь не испытывал». Одоевский просил поэтому не засчитывать ему в обвинение те показания, которые на первом допросе записаны рукой генерала Левашова.

Ему вскоре была предоставлена возможность самому письменно отвечать на вопросы.

Сначала он отвечает витиевато и красноречиво, не теряя самообладания. «Смею испросить, – пишет он, – у Высочайше учрежденного комитета несколько минут терпеливого внимания, хотя бы оный и нашел в моих ответах подробное повторение показаний, уже мною учиненных на духу[55]. Я был совершенно чист в продолжение 23 лет: я говорю это без самолюбия, ибо едва ли какое-либо самолюбивое побуждение мне дозволяется в теперешнем моем состоянии. Я потому говорю о моем прежнем поведении, что в таком деле, где одна минута безумия всю участь мою решила, все приемлется в уважение – и мои чувства, и образ моих мыслей, и прежнее мое поведение. Я строго исполнял свои обязанности и был совершенно непорочен до 14 декабря. Это самое покорнейше прошу поставить на вид Государю Императору, ибо как его правосудию, так равно и его человеколюбию необходимо все знать и взвесить на весах своих и жизнь, и честь мою. Кто знает? Неисповедима воля Господня и, может быть, неисчерпаемы и кротость, и милосердие Государя. Еще я не погиб, но ежели мне суждено погибнуть, да исполнится воля царя. Если же единым своим животворящим словом воскресит он меня, то я уверен в себе, что моею беспредельною благодарностью и искренним раскаянием и целою жизнью изглажу я свою вину. Раскаяние – все перед Богом. Я уверен, что оно – много перед Государем. Да простят мне мое отступление. В последние минуты моей жизни (!) утешительно и необходимо было мне изложить мои чувства перед людьми почтенными, которых мнением истинно должен дорожить и которых, быть может, одних остается мне видеть на земле»[56]. Как видим, тон речи Одоевского, хоть и очень смиренный, но в общем спокойный. «Последние минуты жизни» представляются ему пока еще не столько реальностью, сколько хорошим поэтическим оборотом. Одоевский, кроме того, озабочен, как бы его первые показания, записанные не его рукой, ему не повредили. Он принимает меры предосторожности и заявляет прямо в письме к царю от 21 декабря, что тогда, когда он давал эти показания, он «по трехдневном голоде и бессоннице был в совершенном расстройстве и душевных, и телесных сил». «Несвойственно было бы твоему правосудию, Государь, – пишет он, – принять

за доказательства против меня слова человека, ума лишенного. К сожалению, должен я признаться, что с самого времени смутных обстоятельств я чувствую беспорядок в моих мыслях: иначе не умею истолковать всех моих действий. Я скрылся не знаю зачем, ходил Бог знает где и, наконец, сам, по собственному побуждению, возвратился в город и явился к тебе, Государь. Теперь начинаю я опамятоваться и не могу доверить себе: я ли это? Я был в горячке. Внутреннего сознания в благородстве моих чувств я не утратил и никогда не утрачу, но внешнее посрамление, которым ты уже наказал меня, Государь, сильно врезалось мне в сердце. Я хотел скрыться под землю, под лед[57], чтобы избавиться от стыда и поношения и, не доезжая крепости, бросился с моста (??)[58]. Люди из любопытства всматривались в меня, как враны заглядывают в глаза умирающего, будущей их добычи (?!)... При вступлении твоем на престол само Провидение даровало тебе способ оказать себя благостным перед всем миром и одним всемогущим словом привязать к себе сердца тысячи тысяч людей, и таковой первый опыт твоей благости увенчает тебя вечным сиянием. Прости заблужденных, а меня единого казни, если найдешь сие необходимым, но не лишай меня доброго имени. Я готов твои колена облить не слезами, а кровью своею. Внемли моему молению. Я и теперь еще чувствую расстройство в себе: оно было всему причиною»...

Уже в этом письме заметна тревога и некоторая растерянность мысли. Через месяц Одоевский пишет второе письмо царю: страх за свою участь начинает в нем проступать совсем ясно, разброд мыслей увеличивается, и тон становится неприятен.

«Чем более думаешь об этих злодеяниях, – пишет Одоевский, – тем более желаешь, чтобы корень зла был совершенно исторгнут из России. Но Вы, Всемилостивейший Государь, при начале Вашего царствования сие и совершите. Желание же каждого подданного, который имеет совесть, споспешествовать по возможности сему священному делу: это долг его ради утверждения государства и для спасения честных людей, ибо когда корень зла пустил ветви, то не трудно запутаться в них и самому честному». Одоевский доносит затем царю, «Ему единому», о существовании второго, Южного общества, в сравнении с которым Северное общество – шалость. Он называет царю Пестеля как главу общества и полагает, что ангельская кротость царя будет спасительна для них, а мудрость и твердость положат преграды их намерениям и разлитию яда». Наговорив много льстивых слов по адресу августейшей семьи, Одоевский продолжает: «Как начнешь размышлять, – говорит он, – где государи кротче? Как не быть приверженным всею душою и благодарным всею душою Всеавгустейшей Фамилии? Все благословляют Вас и все довольны, а если есть неудовольствия, то рассеиваются они обществами. Чего они хотят? Железной розги. Но эти проклятые игрушки нашего века будут, слава Богу, наконец, растоптаны Вашими стопами. Если я сам, хотя слепое, безумное орудие и безвредное, а не участник их, должен погибнуть, то все, все радуюсь всем сердцем для других, и для того я и осмелился донести Вам, Государь, о том обществе. Зародыш зла всего опаснее, от него молодые благородные душою люди, которые могли бы быть самыми усерднейшими слугами своего Государя и украшением своих семейств и жить всегда и в счастии, и в чести – лишаются всего, что есть священного и любезного на свете, и яд этих обществ тем опаснее, что разливается нечувствительно»...

«Также приятно мне и в моем несчастии подумать, что, не причинив в продолжение моей жизни никому вреда, кроме себя, я мог услужить, принести хотя малую пользу моему кроткому и милосердному Императору и нашему порфироносному ангелу, будущему Александру Второму. О, если бы мое счастие было первым его благодеянием! Его черты так кротки, что если бы он узнал о моей мольбе к нему, он умилостивил бы Вас; и с какою любовью, с какою приверженностью благословлял бы я Его во всю жизнь, называя моим ангелом-избавителем. Вы всего меня знаете. Я все сказал...» – и Одоевский вновь пересказывает всю историю своего завлечения и кончает письмо такими новыми подробностями из последнего дня своей жизни на свободе: «Я хотел броситься Вам в ноги. Пришел я к Жандру: старуха одна, которая меня очень любит, его родственница, завыла «спасайтесь!». Кинула мне деньги. Я пуще потерял голову. Пошел куда глаза глядят. На канаве, переходя ее, попал в прорубь; два раза едва не утонул (!), стал замерзать (!), смерть уже чувствовал, наконец высвободился, но совсем ума лишенный; через сутки опамятовался; явился к Вам. О, Государь! Какие мучения! Те, которые готовит Ваше милосердное правосудие, едва ли жесточе! Но если бы Вы спасли меня! О, Государь Всемилостивейший, Боже!»

Письмо, как видим, становится настоящим воплем отчаяния и страх диктует все эти речи, столь мало соответствующие общему складу души несчастного юноши.

Спустя две недели после этого письма к Государю Одоевский пишет совершенно полоумное письмо Г.А.Татищеву: «Благодать Господа Бога сошла на меня, – говорит он, – дух бодр, ум свеж, душа спокойна, сердце так же, как и прежде, чисто и молодо, а все от совершенно чистого раскаяния и благодати Божией... Допустите меня сегодня в комитет, Ваше Превосходительство! Дело закипит. Душа моя молода, доверчива. Как не быть ей таковою? Она порывается к Вам. Я жду с нетерпением минуты явиться перед Вами. Я надумался; все в уме собрал. Вы найдете корень. Дело закипит. Я уже имел честь донести Вашему Высокопревосходительству, что я наведу на корень: это мне приятно. Но прежде я колебался от слабоумия, а теперь – с убеждением... Дозвольте прийти мне поранее, ибо дела будет много. Я постараюсь всеми силами. Вы увидите. Жаль, что давно сего не исполнил, но Вы изволите знать, что я был слаб, был в уме расстроен. Теперь же в полном разуме и все придумал. Молюсь с радостью и убеждением в добром деле».

Через четыре дня он пишет тому же лицу: «Если когда будет свободная минута, то прикажите опять мне явиться. Я донесу систематически: 1) о известных мне выбывших членах; 2) о тех, коих подозреваю в большом их круге; 3) о принадлежащих ко 2 армии; 4) разберу по полкам; ни одного не утаю из мне известных, даже таких назову, которых ни Рылеев, ни Бестужев не могут знать»...

Одоевский, когда писал эти строки, забыл, что во всех своих показаниях он упорно утверждал, что к обществу не принадлежит и дел общества не знает. Впрочем, он все забыл и только дрожал от страха... Действительно, только паническим страхом можно объяснить в том же письме к Татищеву такие, например, строки, почти лишенные смысла: «Одно меня только мучает все эти дни: не погубил ли я священника? Он, право, не виноват в том, что я узнал о Кюхельбекере (то есть что он пойман), я виноват; я стал первый говорить, что зачем Кюхельбекер убежал, что он всех невиннее, ибо он принадлежал обществу дней с восемь, что его же схватят, что в России не уйдешь, а священник кивнул головою. Я и заключил, что он (Кюхельбекер) здесь. Спасите священника. Эта мысль меня очень мучит, что я погубил его. Боже, Боже мой! Какой я несчастный! Спасите, сделайте милость, спасите его. Он, кажется, человек почтенный»... Характерны в этом письме и последние строки, которые ясно показывают, что Одоевский совсем не сознавал того, что он говорил и делал. «Что касается до моего показания о членах, – пишет он, – то у меня, знаете ли, Ваше Высокопревосходительство, какое было еще опасение, кроме страха запутать и погубить новые лица? – опасение прослыть в тайнике души Вашей и всех господ членов за доносчика. Вы бы, как судьи, воспользовались моими объявлениями, но могли бы подумать: «Как неблагороден этот молодой человек. Для своего спасения губит людей». Но теперь мне кажется, что Вы проникли до глубины души моей, что нет иной побудительной причины моих показаний, как совершенно чистое раскаяние, как убеждение в добром деле. Наконец, еще причина моих показаний: желание, самое пламенное желание отвратить незаслуженное подозрение Правительства от невинных лиц и от всей России, ибо я подозреваю, что главные лица оставляют Вас в неизвестности, дабы подозрение летало над невинными головами, а ничего нет ужаснее для сердца, как подозрение кроткого правительства. Вот мои чувства... Русский человек – все русский человек: мужик ли, дворянин ли, несмотря на разность воспитания, все то же. Пока древние наши нравы, всасываемые с молоком (особенно при почтенных родителях), пока вера в Христа и верность Государю его одушевляют, то он храбр, как шпага, тверд, как кремень; он опирается о плечи 50 миллионов людей; единомыслие 50 миллионов его поддерживает, но если он сбился с законной колеи, то у него душа как тряпка. Я это испытал. Я от природы не робок. Военного времени не было, то лишнего нечего говорить; но мне и другим казалось, что я в душе солдат; был всегда отважным мальчиком: грудь, голова, ноги, руки – все избито (?). Но теперь, Боже мой! Я не узнаю себя или, лучше сказать, узнаю, ибо в теперешнем моем состоянии точно так должно чувствовать, как я чувствую. У меня, глядя на почтенных людей, душа замирает. Мне все кажется, не Государь ли Император из-за Вас на меня смотрит? Ибо он Вам поручил свою волю. Все боюсь я, нет ли на лицах Ваших презрения ко мне?[59] Но теперь я покойнее. Вы в самом деле проникли до глубины души моей. Слава, слава Господу Богу, Иисусу Христу, моему Спасителю, ибо Он спасает меня в Ваших сердцах».

Неизвестно, как судьи отнеслись к этому бреду, но тот факт, что после всех этих писем и, очевидно, после тайных допросов, они вновь стали присылать Одоевскому дополнительные вопросные пункты, и при том самые точные, показывает нам, что насчет психического состояния подсудимого они не заблуждались. И мы теперь, читая эти показания, не должны из них делать вывода слишком невыгодного для Одоевского. Он был нервно или, вернее, душевно болен; он был измучен до последней крайности, сбит совершенно с толку; он был, кроме того, доверчив и думал о людях лучше, чем они этого заслуживали; наконец, он сознавал себя несчастным в полном смысле слова, так как дело, за которое он погибал, было не его делом, и он до известной степени был прав, когда говорил, что был *увлечен* в это общество, а не принят в него. Он почти ничего не знал, а должен был отвечать, как будто бы все творилось с его ведома.

Все это, конечно, не снимает с него вины за тон его речей, но эта настоящая вина бледнеет перед той карой, какую он понес за вину совсем ничтожную. Иным словом и нельзя назвать те обвинительные пункты, которые против него были установлены комиссией о разрядах. В его донесении сказано: «Корнет гвардии конного полка князь Александр Одоевский, 25 лет. По собственному признанию: по второму пункту (бунт) участвовал в умысле распространения тайного общества принятием одного члена. По мятежу: лично действовал в мятеже без возбуждения других, но с пистолетом в руках»[60].

13 июля 1826 года над головой Александра Ивановича сломали его шпагу, сняли с него мундир и сожгли его, надели на него лазаретный халат и отвели опять в крепость.

Окончание дела вернуло Одоевскому спокойствие духа. «Против нас, – рассказывает Басаргин[61], – сидел князь Одоевский, очень молодой и пылкий юноша-поэт. Он, будучи веселого, простосердечного характера, оживлял нашу беседу (в каземате, после окончания дела), и нередко мы проговаривали по целым ночам».

1 февраля 1827 года Одоевского, Нарышкина и двух Беляевых увезли в Сибирь. «Комендант Сукин, – рассказывает А. Беляев, – заявил нам, что имеет высочайшее повеление, заковав нас в цепи, отправить по назначению. При этом он дал знак, по которому появились сторожа с оковами; нас посадили, заковали

ноги и дали веревочку в руки для их поддерживания. Оковы были не очень тяжелы, но оказались не совсем удобными для движения. С грохотом мы двинулись за фельдъегерем, которому нас передали. У крыльца стояло несколько троек. Нас посадили по одному в каждые сани с жандармом, которых было четверо, столько же, сколько и нас, и лошади тихо и таинственно тронулись. Городом мы проехали мимо дома Кочубея, великолепно освещенного, где стояли жандармы и пропасть карет. Взглянув на этот бал, Одоевский написал потом свою думу, озаглавленную «Бал мертвецов»[62].

V

По разряду наказаний Одоевский попал в четвертую группу и был приговорен к 15-летней каторге. Конфирмацией Императора этот срок был сокращен до 12 лет.

В Нерчинские рудники Одоевский поступил 20 марта 1827 года.

О жизни декабристов в Сибири сохранилось много рассказов[63].

Вначале положение их было очень тяжелое. «Власть делала много стеснений, производила обыски, относилась к заключенным с большой подозрительностью и придирчиво. Действия власти имели вид иногда чисто одного недоброжелательства и личной неприязни, так как они не оправдывались уже никакими даже и ошибочными политическими опасениями»[64].

Каторжная работа была, впрочем, не так страшна.

«Нас поместили, – рассказывает А. Беляев, – в одну из боковых довольно большую комнату, где были сделаны нары для ночлега и сиденья. В углу между печью и окном могли поместиться трое и эти трое были: Н.И. Лорер, Нарышкин и М.А. Фонвизин. На больших же нарах вдоль стен помещались мы с братом, Одоевский, Шишков и еще кто – не помню. (В углу стояла знакомая парашка). На ночь нас запирали. Выходить за двери могли не иначе, как с конвоем; выходить не куда-нибудь из тюрьмы, а в самой тюрьме. Гулять дозволялось по двору, обставленному высоким частоколом. Весной нам дозволили заняться устройством на дворе маленького сада. Эти работы мы делали в свободное от казенных работ время и в праздники. Казенные же работы производились при постройке большого каземата, где должно было поместиться потом все общество и куда нас к зиме и перевели. Мы копали канавы для фундамента, а так как земля еще была мерзлая, то прорубали лед кирками. Но каземат этот не мог поспеть ранее зимы. Летом работали плотники, а нас водили на конец этого маленького селения зарывать овраг. Около этого оврага росло несколько роскошных бальзамических тополей, под тенью которых мы отдыхали. Тут обыкновенно читали, беседовали, играли в шахматы, и, возвращаясь домой к обеду, обыкновенно пели, и по большей части: Allons, enfants de la patrie, так как эта песня действительно подходила к нам, разумеется, только этими начальными словами, хотя остальными вовсе не подходила уже к мирному настроению большей части товарищей»[65].

В этом же духе рассказывает и Д. Завалишин про их работу. «Вот выходят, – пишет он, – и кто берет лопату для забавы, а кто нет. Неразобранные лопаты несут сторожа или везут на казематском быке. Офицер идет впереди, с боков и сзади идут солдаты с ружьями. Кто-нибудь из нас запевает песню, под такт которой слышится мерное бряцание цепей. Очень часто пели итальянскую арию «Un pescator del onda fidelin»... Но чаще всего раздавалась революционная песня «Отечество наше страдает под игом твоим». И вот и офицеры, и солдаты спокойно слушают ее и шагают под такт ей, как будто так и следует быть. Место работы превращается в клуб; кто читает газеты, кто играет в шахматы; там и сям кто-нибудь для забавы насыпает тачку и с хохотом опрокинет землю с тачкою в овраг, туда же летят и носилки вместе с землею; и вот присутствующие при работе зрители, чующие поживу, большею частью мальчишки, а иногда и кто-нибудь из караульных, отправляются доставать изо рва за пятак тачку или носилки. Солдаты поставят ружья в козлы, кроме двух-трех человек, и залягут спать; офицер или надзиратель за работой угощаются остатками нашего завтрака или чая, и только, завидя издали где-нибудь начальника, для церемонии вскакивает со стереотипным возгласом: «Да что ж это вы, господа, не работаете?» Часовые вскакивают и хватаются за ружья; но начальник прошел (он и сам старается ничего не видеть), и все возвращается в обычное нормальное-ненормальное положение»[66].

Это «нормальное» положение было вначале очень скучным: за частоколами, в тесноте[67], но затем община заключенных организовалась[69].

Они «получали газеты, даже запрещенные, в которые завертывались посылки. Каземат выписывал одних газет и журналов на разных языках на несколько тысяч рублей».

Заключенные «занимались взаимным обучением. Так, например, Лукин и Оболенский учились у Завалишина по-гречески, Барятинский, Басаргин и другие высшей математике у него же, Беляев, Одоевский и другие у него по-английски».

Между товарищами было много хороших музыкантов и знатоков пения[70]. У них часто бывали вокальные и инструментальные концерты. «Одних фортепиано было восемь, как ни дорого стоила в то время при-

сылка громоздких инструментов. Детей также обучали и музыке, и пению, и обучение церковному пению подало предлог к учреждению школы[71]. «Вскоре мы устроили общие поучительные беседы, – рассказывает Басаргин. – В воскресенье утром читали вслух что-нибудь религиозное, например, собственные переводы знаменитых иностранных проповедников, английских, немецких, французских, проповеди известных духовных особ русской церкви и кончали чтением нескольких глав из Евангелия, Деяний Апостолов или Посланий[72]. Два раза в неделю собирались мы также и на литературные беседы. Тут каждый читал что-нибудь собственное или переводное из предмета, им избранного: истории, географии, философии, политической экономии, словесности, поэзии и так далее. Бывали и концерты или вечера музыкальные. Звучные и прекрасные стихи Одоевского, относящиеся к нашему положению, согласные с нашими мнениями, с нашей любовью к отечеству, нередко пелись хором, под звуки музыки собственного сочинения кого-либо из наших товарищей-музыкантов[74]. Занятия политическими, юридическими и экономическими науками были общие, и по этим предметам написано было много статей».

«Для обсуждения всех новых произведений были устроены правильные собрания, которые называли в шутку "академией". Очень развита была также легкая сатирическая литература; для некоторых стихотворений была сочинена и музыка (например, для пьесы Одоевского "Славянские девы" на мотив "Стояла старица"), чем преимущественно занимался Вадковский»[75].

«Между нами, – рассказывает другой участник академии Лорер, – были отличные музыканты, как-то: Ивашев, Юшневский, Витковский, оба брата Крюковы; они в совершенстве владели разными инструментами. Явились вскоре рояли, скрипки, виолончели, составились оркестры, а один из товарищей, Свистунов, зная отлично вокальную музыку, составил из нас превосходный хор и дирижировал им. Бывало, народ обступит частокол нашей тюрьмы и слушает со вниманием гимны и церковное пение... Строгие правила инструкции мало-помалу забывались, да и невозможно было за всем уследить. Например, у нас отобрали серебряные ложки и хранили их у коменданта, а из Петербурга нам прислали столовые приборы из слоновой кости, гораздо ценнее самого серебра. Устроив мало-помалу свое материальное довольство, мы не забыли и умственного. Стоило появиться в печати какой-нибудь примечательной книге, и феи наши уже имели ее у себя для нас. Газеты, журналы выписывались многими, а Никита Муравьев даже перевез в Сибирь всю богатую библиотеку своего отца для общего употребления. Между нами устроилась академия, и условием ее было: все написанное нашими читать в собрании для обсуждения. Так, при открытии нашей каторжной академии Николай Бестужев, брат Марлинского, прочитал нам историю русского флота, брат его Михаил прочел две повести, Торсон – плавание свое вокруг света и систему наших финансов, опровергая запретительную систему Канкрина и доказывая ее гибельное влияние на Россию. Розен в одно из заседаний прочел нам перевод "Stunden der Andacht" (часы молитвы). Александр Одоевский, славный наш поэт, прочитал стихи, посвященные Никите Муравьеву, как президенту Северного общества. Он читал отлично и растрогал нас до слез. Дамы наши прислали ему венок. Корнилович прочел нам разыскание о русской старине; Бобрищев-Пушкин тешил нас своими прекрасными баснями...»[76]

«В долгие зимние вечера, – говорит барон Розен, – для развлечения и поучения несколько товарищей-специалистов согласились читать лекции: Никита Муравьев – стратегии и тактики, Ф.Б. Вольф – химии и физики, П.С. Бобрищев-Пушкин – прикладной и высшей математики, А.О. Корнилович и П.А. Муханов – русской истории, К.П. Торсон – астрономии и А.И. Одоевский – русской словесности»[77].

«А.И. Одоевскому, – говорит Розен, – в очередной день следовало читать о русской литературе: он сел в углу с тетрадью в руках, начал с разбора песни о походе Игоря, продолжал несколько вечеров и довел лекции до состояния русской словесности в 1825 году. Окончив последнюю лекцию, он бросил тетрадь на кровать, и мы увидели, что она была белая, без заметок, без чисел хронологических, и что он все читал на память. Упоминаю об этом обстоятельстве не как о подвиге или о желании выказаться, но, напротив того, как о доказательстве, до какой степени Одоевский избегал всяких писаний; может быть, он держал пустую тетрадь в руках для контенанса; в первую лекцию, воспламенившись вдохновением, он изредка краснел, как бывало с ним при сочинении рифмованных экспромтов[78, 79]».

VI

В 1831 году Одоевский вместе с другими товарищами был переведен из читинского острога в Петровскую тюрьму (за Байкалом), при балагинском железном заводе[83].

«Работы наши, – рассказывает Розен, – продолжались как по-прежнему в Чите, летом на дорогах, в огороде, зимою мололи на ручных мельницах; в досужное время каждый занимался по своей охоте; в книгах не было недостатка, для учения было более удобств. Александр Иванович Одоевский дважды в неделю работал со мною»[84].

Совсем в веселом тоне говорит об этой петровской жизни и А. Беляев. «Работы наши и здесь продолжались также на мельнице, точно в таком же порядке, как и в Чите; только, так как нас здесь было более

числом, то выходили на работу поочередно и по партиям, а не все каждый день. Из всего этого видно, что заключение было весьма человеколюбивое и великодушное; мы лишены были свободы, но, кроме свободы, мы не были ни в чем стеснены и имели все, что только образованный, развитой человек мог желать для себя. К тому еще если прибавить, что в этом замке или остроге были собраны люди действительно высокой нравственности, добродетели и самоотвержения, и что тут было так много пищи для ума и сердца, то можно сказать, что заключение это было не только отрадно, но и служило истинной школой мудрости и добра»[85].

В конце 1832 года, по случаю рождения великого князя Михаила Николаевича, убавили по несколько лет каторжной работы тому разряду, в котором находился Одоевский, и срок его каторги кончился. Он выехал из Петровской тюрьмы на поселение в начале 1833 года[86].

VII

Одоевский был поселен в селении Еланском, Иркутской губернии[87], где он прожил три года. Нужды он не терпел[89], но жизнь была очень скучная. Он жил в собственном деревянном домике, который он себе купил за 400 рублей, и обзавелся кое-каким хозяйством[90].

С судьбой поселенца Одоевский мирился туго. По крайней мере, в первый же год жизни в Елани он писал царю письмо, в котором обращался с просьбой о прощении ему его вины. Он говорил, что вполне заслужил кару, но что чем больше убеждается в вине своей, тем сильнее тяготеет над ним имя преступника. Он просил дать ему возможность утешить скорбного и нежного отца, усладить преклонные лета его и принять его прощальный взор и последнее отеческое целование. Он обещал, что сердечная преданность Государю будет направлять отныне все стези его жизни, и что он посвятит на оправдание своих слов все силы, «сколько осталось их от возрастающего грудного изнеможения»[91].

О переводе Одоевского в другое место из «дикой Елани, где климат так суров и где леса горят от беглых», начал в то же время хлопоты и его отец – князь Иван Одоевский. Он писал частые и длинные письма генерал-адъютанту Бенкендорфу, прося его исходатайствовать сыну облегчение его участи. Старик просил сначала определить сына в солдаты и разрешить ему отдохнуть в его имении, но так как думать об исполнении этой просьбы он не смел, то просил перевести сына хоть в Курган, где находились барон Розен и Нарышкин. Если нельзя в Курган[92], то хоть в Ишим. Старик мотивировал свою просьбу тем, что климат Елани вреден для его сына[93].

На опасения отца о здоровье сына исправляющий должность генерал-губернатора Восточной Сибири писал, что Александр Одоевский «здоров, не жалуется и ведет себя хорошо».

23 мая 1836 года царь разрешил наконец перевести Одоевского из Елани в Ишим. В июле 1836 года Одоевский был отправлен в Тобольск под надзором одного казака, которому выдано 1.000 рублей, принадлежащих Одоевскому, для расходования их по мере надобности. В конце августа он был в Ишиме.

С этого же времени старик стал хлопотать о свидании с сыном.

«Ah! combien je suis heureux de vous savoir plus prés de moi, – писал он сыну, – en pensant que par le premier trâinage je pourrai venir vous presser contre mon coeur, et vous couvrir de tendres baisers. *L'ideé seule* que mes yeux pourront voir les votres, que je pourrai me jeter dans vos bras – fait toute ma félicité».

Это письмо сделалось известным генерал-губернатору П.Д. Горчакову, который, усматривая в нем как бы выражаемое желание князем Одоевским навестить своего сына на новом месте поселения, счел необходимым просить графа Бенкендорфа дать ему указания к руководству на будущее время о том, возможно ли допускать свидания родственников с поселенцами из государственных преступников.

Переписка была длинная, пока, наконец, в 1836 году 25 ноября Бенкендорф не уведомил Горчакова, что родственникам находящихся в Сибири государственных преступников не может быть дозволяемо приезжать в Сибирь для свиданий и что «буде кто-либо из родственников означенных преступников отправится в тот край, не испросив предварительно на сие дозволения, то местное начальство обязано немедленно его выслать»[94].

В январе 1837 года старик князь Иван Одоевский через императрицу возобновил свое ходатайство о поселении сына в своем имении во Владимирской губернии, но согласия на это ходатайство и на этот раз не последовало.

Александр Иванович с своей стороны ходатайствовал перед Бенкендорфом о разрешении вступить рядовым в армию, действовавшую на Кавказе. Это прошение было уважено царем 19 июня 1837 года. Рассказывают, что царь уступил главным образом под впечатлением, какое на него произвело стихотворение Одоевского «Послание к отцу», переданное царю Бенкендорфом вместе с ходатайством Одоевского.

До Казани Александр Иванович шел этапным путем, а затем на собственный счет покатил на почтовых с жандармом, торопясь не опоздать в экспедицию против горцев.

В Казани состоялось наконец его свидание с отцом, который выехал ему навстречу. Н.И. Лорер так рассказывает в своих записках про эту трогательную встречу: «70-летний князь Одоевский также приехал двумя днями ранее нас, чтоб обнять на пути своего сына, и остановился у губернатора Стрекалова, своего

давнишнего знакомого. В день нашего въезда в Казань, узнав, что его любимое детище, Александр Одоевский, уже в городе, старик хотел бежать к сыну, но его не допустили, а послали за юношей. Сгорая весьма понятным нетерпением, дряхлый князь не выдержал и при входе своего сына все-таки побежал к нему навстречу по лестнице; но тут силы ему изменили, и он, обнимая сына, упал, увлекши и его с собою. Старика подняли, привели в чувство, и оба счастливца плакали и смеялись от избытка чувств. После первых восторгов князь-отец заметил сыну: «Да ты, брат, Саша, как будто и не с каторги, у тебя розы на щеках». И, действительно, Александр Одоевский в 35 лет был красивейшим мужчиной, каких я когда-нибудь знал. Стрекалов оставил обоих Одоевских у себя обедать, а вечером все вместе провели очень весело время.

28 августа мы оставили Казань. Старый Одоевский провожал сына до третьей станции, где дороги делятся, одна идет на Кавказ, другая на Москву. При перемене лошадей, готовясь через несколько минут проститься с своим Сашей, бедный отец грустно сидел на крылечке почтового дома и почти машинально спросил проходившего ямщика: «Дружище, а далеко будет отсюда поворот на Кавказ?» «Поворот не с этой станции, – отвечал ямщик, – а с будущей»... Старик князь даже подпрыгнул от неожиданной радости: еще 22 версты глядеть, обнимать своего сына!... И он подарил ямщику 25 рублей, что очень удивило последнего. Однако, рано или поздно, расставанье должно было осуществиться. Чувствовал ли старик, обнимая сына, что в последний раз лобзает его?»[95]

VIII

Одоевский ехал в новый, неизвестный ему край, «от 40 градусов мороза к 40 градусам жары». Как бывший кавалерист, он был определен в Нижегородский драгунский полк, который стоял тогда в урочище Кара-Агач близ Царских Колодцев, верстах в 100 от Тифлиса.

О пребывании Одоевского на Кавказе сохранилось много, хотя и отрывочных, сведений в воспоминаниях современников. Сопоставим эти сведения, и мы получим довольно полную картину последних лет жизни поэта.

Первая его стоянка была в Ставрополе, где он застал многих из своих товарищей.

«Осенью 1837 года, – рассказывает Н. Сатин, – в Ставрополь привезли декабристов Нарышкина, Лорера, Розена, Лихарева и Одоевского. Несмотря на 12 лет Сибири, все они сохранили много жизни, много либерализма и мистически-религиозное направление, свойственное царствованию Александра I. Но из всех веселостью, открытой физиономией и игривым умом отличался Александр Одоевский. Это был действительно «мой милый Саша», как его прозвал Лермонтов. Ему было тогда 34 года, но он казался гораздо моложе, несмотря на то, что был лысый. Улыбка, не сходившая почти с его губ, придавала лицу его этот вид юности».

«Я и Майер отправились провожать наших новых знакомых до гостиницы, в которой они остановились, – продолжает Сатин. – Между тем, пошел сильный дождь, и они не хотели отпустить нас. Велели подать шампанского, и пошли разные либеральные тосты и разные рассказы о 14 декабря и обстоятельствах, сопровождавших его. Можете представить, как это волновало тогда наши еще юные сердца, и какими глазами смотрели мы на этих людей, из которых каждый казался нам или героем, или жертвой грубого деспотизма!

Как нарочно, в эту самую ночь в Ставрополь должен был приехать Государь. Наступила темная осенняя ночь, дождь лил ливмя, хотя на улице были зажжены плошки, но, заливаемые дождем, они трещали и гасли и доставляли более вони, чем света.

Наконец, около полуночи прискакал фельдъегерь, и послышалось отдаленное «ура». Мы вышли на балкон; вдали, окруженная горящими (смоляными) факелами, двигалась темная масса.

Действительно, в этой картине было что-то мрачное.

– Господа! – закричал Одоевский. – Смотрите, ведь это похоже на похороны! Ах! если бы мы подоспели!..

И, выпивая залпом бокал, прокричал по-латыни: .....[96].

– Сумасшедший! – сказали мы все, увлекая его в комнату, – что вы делаете? Ведь вас могут услыхать, и тогда беда!

– У нас в России полиция еще не училась по-латыни, – отвечал он, добродушно смеясь»[97].

В Ставрополе товарищам вообще жилось весело. «У командира Моздокского казачьего полка Баранчеева собирались декабристы Кривцов, Палицын, Лихачев, Черкасов, Одоевский, Нарышкин и Коновницын и целый кружок офицеров. Углублялись не в политику и не в философию (?), которые надоели и измучили их. Коротали долгие вечера бостоном, копеечным бостоном и доигрывались до изнеможения сил, пока карты из рук не падали», – так рассказывает один из участников этих веселых вечеров[98].

Мы встречаем затем Одоевского в Тифлисе. «Одоевского застал я в Тифлисе, – рассказывает А. Розен, – где он находился временно, по болезни. Часто он хаживал на могилу своего друга Грибоедова, вос-

пел его память, воспел Грузию звучными стихами, но все по-прежнему пренебрегал своим дарованием. Всегда беспечный, всегда довольный и веселый, как истый русский, он легко переносил свою участь; был самым приятным собеседником, заставлял много смеяться других, и сам хохотал от всего сердца. В том же году я еще два раза съехался с ним в Пятигорске и в Железноводске. Просил и умолял его дорожить временем и трудиться по призванию – мое предчувствие говорило мне, что не долго ему жить; я просил совершить труд на славу России»[99].

В 1839 году летом Одоевский был в Пятигорске, где с ним встретился Н.П. Огарев. В своих воспоминаниях Огарев сохранил нам мастерский портрет своего друга[100]: «Одоевский был, – пишет Огарев, – без сомнения, самый замечательный из декабристов, бывших в то время на Кавказе. Лермонтов писал его с натуры. Да, «этот блеск лазурных глаз, и звонкий детский смех, и речь живую» не забудет никто из знавших его».

В этих глазах выражалось спокойствие духа, скорбь не о своих страданиях, а о страданиях человека, в них выражалось милосердие. Может быть, эта сторона, самая поэтическая сторона христианства, всего более увлекла Одоевского. Он весь принадлежал к числу личностей христоподобных. Он носил свою солдатскую шинель с тем спокойствием, с каким выносил каторгу и Сибирь и с тою же любовью к товарищам, с той же преданностью своей истине, с тем же равнодушием к своему страданию. Может быть, он даже любил свое страдание; это совершенно в христианском духе... да не только в христианском духе, но в духе всякой преданности общему делу, делу убеждения, в духе всякого страдания, которое не вертится около своей личности, около неудач какого-нибудь мелкого самолюбия. Отрицание самолюбия Одоевский развил в себе до крайности. Он никогда не только не печатал, но и не записывал своих многочисленных стихотворений, не полагая в них никакого общего значения. Он сочинял их наизусть и читал наизусть людям близким. В голосе его была такая искренность и звучность, что его можно было заслушаться. Он обыкновенно отклонял всякое записывание своих стихов. Хотел ли он пройти в свете «без шума, но с твердостью», пренебрегая всякой славой... что бы ни было, но

дела его и мненья,
И думы – все исчезло без следов.
Как легкий пар вечерних облаков... –

и у меня в памяти осталась музыка его голоса – и только. Мне кажется, я сделал преступление, ничего не записывая... Встреча с Одоевским и декабристами возбудила все мои симпатии до состояния какой-то восторженности. Я стоял лицом к лицу с нашими мучениками, я – идущий по их дороге, я – обрекающий себя на ту же участь... Это чувство меня не покидало. Я написал в этом смысле стихи, которые, вероятно, были плохи по форме, потому что я тогда писал много и чересчур плохо, но которые по содержанию, наверно, были искренни до святости, потому что иначе не могло быть. Эти стихи я писал к Одоевскому после долгих колебаний истинного чувства любви к *ним* и самолюбивой застенчивости. Часа через два я сам пошел к нему. Он стоял середь комнаты; мои стихи лежали перед ним на стуле. Он посмотрел на меня с глубоким добрым участием и раскрыл объятия; я бросился к нему на шею и заплакал как ребенок. Нет! и теперь не стыжусь я этих слез: в самом деле, это не были слезы пустого самолюбия. В эту минуту я слишком любил его и их всех, слишком чисто был предан общему делу, чтоб какое-нибудь маленькое чувство могло иметь доступ до сердца. Они были чисты, эти минуты, как редко бывает в жизни. Дело было не в моих стихах, а в отношении к начавшему, к распятому поколению – поколения, принявшего завет, продолжающего задачу.

С этой минуты мы стали близки друг к другу. Он – как учитель, я – как ученик. Между нами было с лишком десять лет разницы; моя мысль была еще не устоявшаяся; он выработал себе целость убеждений, с которыми я могу теперь быть не согласен, но в которых все было истинно и величаво. Я смотрел на него с религиозным восторгом. Он быль мой критик.

Но гораздо большее влияние он имел на меня в теоретическом направлении, и на моей хорошо подготовленной романтической почве быстро вырастил христианский цветок – бледный, унылый, с наклоненной головою, у которого самая чистая роса похожа на слезы. Вскоре я мог с умилением читать Фому Кемпийского, стоять часы на коленях перед распятием и молиться о ниспослании страдальческого венца... за русскую свободу. От этого первоначального стремления, основного помысла ни он никогда не мог оторваться, ни я; и к нему, как к единой окончательной цели, примыкало наше религиозное настроение, с тою разницею, что он уже носил страдальческий венец, а я его жаждал.

Был ли Одоевский католик (?) или православный... не знаю. Припоминая время, в два десятка лет уже так много побледневшее в памяти, мне кажется, я должен прийти к отрицанию того и другого. Он был просто христианин, философ или, скорее, поэт христианской мысли, вне всякой церкви. Он в христианстве искал не церковного единства, как Чаадаев, а исключительно самоотречения, чувства преданности и забвения своей личности; к этому вели его и обстоятельства жизни с самой первой юности, и самый склад мозга;

это настроение было для него естественно. Но от этого самого он не мог быть и православным; церковный формализм был ему чуждым. Вообще церковь была ему не нужна; ему только было нужно подчинить себя идеалу человеческой чистоты, которая для него осуществилась в Христе.

«...Мечты, которой никогда
Он не вверял заботам дружбы нежной...» –

то есть мечты какого-нибудь личного счастия он не вверял, потому что ее у него не было. Его мечта была только самоотвержение. Ссылка, невольное удаление от гражданской деятельности, привязала его к религиозному самоотвержению, потому что иначе ему своей преданности некуда было девать. Но, может быть, и при других обстоятельствах он был бы только поэтом гражданской деятельности; чисто к практическому поприщу едва ли была способна его музыкальная мысль. Что в нем отразилось направление славянства, об этом свидетельствует песнь славянских дев, набросанная им в Сибири, случайно, вследствие разговоров и для музыки, и, конечно, принадлежащая к числу его неудачных, а не его настоящих, с ним похороненных стихотворений. Она важна для нас как памятник, как свидетельство того, как в этих людях глубоко лежали все зародыши народных стремлений; но и в этой песне выразились только заунывный напев русского сердца и тайная вера в общую племенную будущность, а о православии нет и помину.

В августе мы поехали в Железноводск. Одоевский переселился туда же. Жизнь шла мирно в кругу так для меня близком.

Я помню в особенности одну ночь. Н., Одоевский и я, мы пошли в лес, по дорожке к источнику. Деревья по всей дорожке дико сплетаются в крытую аллею. Месяц просвечивал сквозь темную зелень. Ночь была чудесна. Мы сели на скамью, и Одоевский говорил свои стихи. Я слушал, склоня голову. Это был рассказ о видении какого-то светлого женского образа, который перед ним явился в прозрачной мгле и медленно скрылся,

«Долго следил я эфирную поступь»...

Он кончил, а этот стих и его голос все звучали у меня в ушах. Стих остался в памяти. Самый образ Одоевского с его звучным голосом в поздней тишине леса мне теперь кажется тоже каким-то видением, возникшим и исчезнувшим в лунном сиянии Кавказской ночи»[101].

IX

Походная жизнь на первых порах, кажется, не очень тяготила Одоевского: он даже увлекся ее удалью.

«Каким знали мы его в тюрьме, – рассказывает А. Белев, – таким точно и остался он до конца: всегда или серьезный, задумчивый, во что-то углубленный, или живой, веселый, хохочущий до исступления. Он имел порядочную дозу самолюбия, а как здесь он увидел во всем блеске удальство линейных казаков, их ловкость на коне, поднятие монет на всем скаку, то захотел непременно достигнуть того же, беспрестанно упражнялся и, конечно, не раз летал с лошади»[102].

На бивуаках жилось Одоевскому тоже и весело, и привольно, если верить Н.И. Лореру. «У Одоевского, – говорит он, – был собственный шатер, и он предложил мне поселиться с ним, на что я с удовольствием, конечно, согласился, любя его искренно и приобретая в нем приятного собеседника. Ко всем приятностям собеседничества у Одоевского присоединялся отличный повар, и мы с ним согласились дать обед. Для этой цели накупили у маркитанта всего необходимого вдоволь и составили пригласительный список. Приглашенных набралось до 20 человек, и в Иванов день, 24 июня, в трех соединенных палатках, с разнокалиберными приборами, занятыми у званых же, все мы собрались. Капитан Маслович был именинник, и мы пили радушно его здоровье и веселились на славу. После обеда Пушкина, знавшего наизусть все стихи своего брата и отлично читавшего вообще, мы заставили декламировать, и он прочел нам «Цыган»[103].

Настроение духа Одоевского изменилось резко в июле месяце 1839 года, когда до него дошла весть о кончине его отца. «Мой милый друг, – писал он своему товарищу по несчастию М.А. Назимову, – я потерял моего отца: ты его знал. Я не знаю, как я был в состоянии перенести этот удар – кажется, последний; другой, какой бы ни был, слишком будет слаб по сравнению. Все кончено для меня. Впрочем, я очень, очень спокоен. Мой добрый, мой нежный отец попросил перед кончиной мой портрет. Ему подали сделанный Волковым. «Нет, не тот», – сказал он слабым голосом. Тот портрет, который ты подарил ему, он попросил положить ему на грудь, прижал его обеими руками и – умер. Портрет сошел с ним в могилу... Я спокоен. Говорить – говорю, как и другие; но когда я один перед собою или пишу к друзьям, способным разделить мою горесть, то чувствую, что не принадлежу к этому миру»[104].

«Одоевский, получивший недели две тому назад горестное известие о кончине своего отца, – продолжает Лорер, – совершенно изменился и душевно, и физически. Не стало слышно его звонкого смеха; он грустил не

на шутку, по целым дням не выходил из палатки и решительно отказался ехать с нами в Керчь. «Je reste ici comme victime expiatoire», – были его последние слова на берегу. Чтобы отсрочить хоть несколько горестную минуту разлуки, Одоевский сел с нами в лодку и пожелал довезти нас до парохода. Там он сделался веселее, шутил и смеялся. «Ведь еще успеют перевезти твои вещи: едем вместе», – уговаривал я его. – «Нет, любезный друг, я остаюсь». Лодка с Одоевским отвалила от парохода, я долго следил за его белой фуражкой, мы махали фуражками и платками, и пароход наш, пыхтя и шумя колесами, скоро повернул за мыс, и мы расстались с нашим добрым, милым товарищем. Думал ли я, что это было последнее с ним свидание в здешнем мире?»[105]

Одоевский действительно смотрел на себя, как на искупительную жертву и стал напрашиваться на опасность. Г.И. Филипсон имел случай наблюдать его в этом возбужденном состоянии. «Я пошел навестить князя Одоевского, – рассказывает он, – который был прикомандирован к четвертому батальону Тенгинского полка. Я нашел его в горе: он только что получил известие о смерти своего отца, которого горячо любил. Он говорил, что порвалась последняя связь его с жизнью; а когда узнал о готовящейся серьезной экспедиции, обрадовался и сказал решительно, что живой оттуда не воротится, что это перст Божий, указывающий ему развязку с постылой жизнью. Он был в таком положении, что утешать его или спорить с ним было бы безрассудно. Поэтому, пришед к себе, я тотчас изменил диспозицию: четвертый батальон Тенгинского полка оставил в лагере, а в словесном приказании поставил частным начальникам в обязанность, под строгою ответственностью, не допускать прикомандирования офицеров и нижних чинов из одной части в другую для участвования в предстоящем движении. Но и это не помогло. Вечером я узнал, что князь Одоевский упросил своего полкового командира перевести его задним числом в третий батальон, назначенный в дело. Я решился на последнее средство: пошел к Н.Н. Раевскому и просил его призвать к себе князя Одоевского и лично строго запретить ему на другой день участвовать в действии. Я рассказал ему причину моей просьбы, и, казалось, встретил с его стороны участие. Призванный князь Одоевский вошел в кибитку Раевского и, оставаясь у входа, сказал на его холодное приветствие солдатскую формулу: “Здравия желаю Вашему Пр-ву”. Раевский сказал ему: “Вы желаете участвовать в завтрашнем движении – я вам это дозволяю”. Одоевский вышел, а я не верил ушам своим, не мог понять, насмешка ли это надо мною или следствие их прежних отношений? Наконец, такого тона на Кавказе не принимал ни один генерал с декабристами. Оказалось, что все это произошло просто от рассеянности Раевского, которому показалось, что я именно прошу его позволения Одоевскому участвовать в движении. Так, по крайней мере, он меня уверял. Я побежал к князю Одоевскому и объяснил ему ошибку. Вероятно, я говорил не хладнокровно. Это его тронуло; мы обнялись, и он дал мне слово беречь свою жизнь. Это глупое недоразумение нас еще более сблизило, и я с особенным удовольствием вспоминаю часы, проведенные в беседе с этою светлою, поэтическою и крайне симпатичною личностью. Этих часов было немного»[106].

Желание Одоевского исполнилось скоро, но не совсем так, как он надеялся. Умер он не на поле брани, а пал случайной жертвой изнурительной горячки, которая свирепствовала на восточном берегу Черного моря, в Лазаревском форту, где Одоевский жил на позициях.

«Через месяц, когда мы были уже в Псезуапе, – продолжает Филипсон, – я должен был ехать с Раевским на пароходе по линии и зашел к Одоевскому проститься. Я нашел его на кровати, в лихорадочном жару. В отряде было множество больных лихорадкою; жара стояла тропическая. Одоевский приписывал свою болезнь тому, что накануне он начитался Шиллера в подлиннике на сквозном ветру чрез поднятые полы палатки»[107].

«5 августа, – по словам Розена, – Одоевский был у всенощной в полковой церкви. Товарищ его Зогорецкий встревожился, увидев лицо его необыкновенно раскрасневшимся, и считал это дурным признаком. На другой день, 6 августа, Одоевский слег. В недостроенной казарме приготовили для него помещение в одной комнате: до этого пролежал он три дня в походной палатке, но не переставал быть веселым и разговорчивым и нисколько не сознавал опасности своего положения, читал импровизованные стихи насчет молодого неопытного лекаря. В день Успения, 15 августа, в 3 часа пополудни, прислуга отлучилась; Зогорецкий остался один с больным, которому понадобилось присесть на кровать. Зогорецкий помог ему, придерживая его; вдруг он, как сноп, свалился на подушку, так что, при всей своей силе, Зогорецкий не мог удержать его; призвали лекаря и фельдшера; они решили, что больной скончался... Так отдал он Богу последний вздох беспредельной любви».[108]

«Когда я возвратился из своей поездки, – рассказывает Филипсон, – недели через две, Одоевского уже не было, и я нашел только его могилу с большим деревянным крестом, выкрашенным красною масляною краскою. При последних его минутах был наш добрый Сальстет, которого покойный любил за его детскую доброту и искренность.

Но для Одоевского еще не все кончилось смертью. Через час после его кончины Сальстет увидел, что у него на лбу выступил пот крупными каплями, а тело было совсем теплое. Все бросились за лекарями; их прибежало шесть или семь, но все меры к оживлению оказались бесполезными: смерть не отдала своей жертвы. Много друзей проводило покойного в его последнее жилище. Отряд ушел, кончив укрепление, а зимой последнее было взято горцами. Когда в 1840 году мы снова заняли Псезуапе, я пошел навестить дорогую могилу. Она была разрыта горцами, и красный крест опрокинут в могилу. И костям бедного Одоевского не суждено было успокоиться в этой второй стране изгнания!»[109]

Правдивость этого рассказа подтверждена и Н.И. Лорером.

«Болезнь Одоевского, – пишет он, – не уступала всем стараниям медиков. Раевский с первого дня его болезни предложил товарищам больного перенести его в одну из комнат в новоустроенном форте, и добрые люди на своих руках это сделали. Ему два раза пускали кровь, но надежды к спасению не было. Весь отряд и даже солдаты приходили справляться о его положении; а когда он скончался, то все штаб- и обер-офицеры отряда пришли в полной форме отдать ему последний долг с почестями, и даже солдаты нарядились в мундиры. Говорят, что когда Одоевский лежал уже на столе, на лице его вдруг выступил пот... Все возымели еще луч надежды, но скоро и он отлетел! До могилы его несли офицеры. За новопостроенным фортом, у самого обрыва Черного моря, одинокая могила с большим крестом; но и этот вещественный знак памяти недолго стоял над прахом того, кого все любили. Горцы сняли этот символ христианский»[110].

«Касательно могилы Одоевского, – пишет Розен, – есть разногласные мнения: одни уверяют, что весною 1840 года горцы овладели фортами, достроенными на восточном черноморском берегу, где эпидемия значительно уменьшила личный состав гарнизона. Неприятель не только перерезал в фортах весь гарнизон, но и вырыл из земли мертвые тела и бросил их на съедение шакалам. Другое предание гласит, что между этими дикими горцами был начальником офицер, бывший прежде в русской службе и знавший лично Одоевского; он удержал неистовых врагов, которые почтили могилу Одоевского, когда услышали, чей прах в ней покоится»[111].

X

Таковы сведения о жизни этого несчастного человека...

Все, с кем случай его сталкивал, остались под обаянием его личности, «красивой, кроткой, доброй и пылкой»[112]. «Кроме истории или повествования о великих событиях, – говорил один из его товарищей, всего ближе к нему стоявший, – есть история сердца, достигающая широких размеров в самой тесной темнице, а сердце Одоевского было обильнейшим источником чистейшей любви; оттого он всегда и везде сохранял дух бодрый, веселый и снисходительный к слабостям своих ближних»[113]. «Этот злополучный юноша скорее собою пожертвует другому, чем спасется гибелью невинного», – говорил про него другой приятель[114], и не нашлось ни одного человека, который сказал бы про него дурное слово, кроме его самого: «Я от природы беспечен, немного ветрен и ленив», – говорил он своим судьям; и, действительно, помимо этих прегрешений, едва ли кто мог бы указать на иные в его характере.

Был момент в его жизни, когда, под тяжестью обрушившейся, как ему казалось, непоправимой беды, он в полусознании бормотал бессвязные речи и в страхе был слишком откровенен – но кто решится осудить его за это? Надо простить этот невольный грех, тем более, что он вытек из одного лишь чистосердечия и сентиментальной доверчивости к начальству, в котором он видел прежде всего людей, а потом уже судей. Пусть был грех, но было и искупление. И в этом искуплении Одоевский проявил большую твердость духа...

Но лучшим оправданием ему служит та теплота и нежность, какой он согревал всех, с кем делил чашу жизни. Он остался в памяти людей как поэтичный образ кроткого страдания, нежной дружбы и любви к людям. Таким перешел он и в потомство, которое, как многие надеялись и хотели, должно было забыть его, но не забыло.

Еще при его жизни одна из его знакомых В.С. Миклашевич хотела спасти его образ от забвения и посвятила вымышленному описанию его жизни целый роман «Село Михайловское»[115]. Герой этого романа Александр Заринский, призванный спасать всех угнетенных, – и есть наш скромный Александр Иванович. «Он был необыкновенно приятной наружности. Бел, нежен; выступающий на щеках его румянец, обнаруживая сильные чувства, часто нескромностью своей изменял его тайнам. Нос у него был довольно правильный; брови и ресницы почти черные; большие синие глаза, всегда несколько прищуренные, что придавало им очаровательную прелесть; улыбка на розовых устах, открывая прекрасные белые зубы, выражала презрение ко всему низкому. Кто не умел понять его души, тот считал его гордецом и "философом", считал его даже опасным человеком, умеющим наизусть цитировать Вольтера. Но Заринский был только масон, и никогда еще в истинном рыцаре не было столько христианского смирения, благочестия и доброты. Он был ангел-хранитель и защитник простого народа; он защищал его в деревнях от помещиков, в судах от судей, в кабинете губернатора от чиновников, и народ боготворил его. Конечно, в награду за свои добродетели он получил нежную любящую супругу и все блага тихой счастливой семейной жизни»[118].

Бедный Александр Иванович за свои добродетели вознагражден в сей жизни не был, и портрет его в этом романе, конечно, сильно идеализирован. Но надобно было иметь много доброты и тепла в своей душе, чтобы послужить оригиналом для столь рыцарски-благородного портрета.

Лермонтов глубже проник в душу Одоевского, когда писал:

Он был рожден для них, для тех надежд
Поэзии и счастья… Но безумный –
Из детских рано вырвался одежд
И сердце бросил в море жизни шумной
И свет не пощадил, и Бог не спас!
Но до конца среди волнений трудных,
В толпе людской и средь пустынь безлюдных
В нем тихий пламень чувства не угас:
Он сохранил и блеск лазурных глаз,
И звонкий детский смех, и речь живую,
И веру гордую в людей и жизнь иную.
Но он погиб далеко от друзей…
Мир сердцу твоему, мой милый Саша!
Покрытое землей чужих полей,
Пусть тихо спит оно, как дружба наша,
В немом кладбище памяти моей.
Ты умер, как и многие, без шума,
Но с твердостью. Таинственная дума
Еще блуждала на челе твоем,
Когда глаза сомкнулись вечным сном;
И то, что ты сказал перед кончиной,
Из слушавших не понял ни единый.
И было ль то привет стране родной,
Названье ли оставленного друга,
Или тоска по жизни молодой,
Иль просто крик последнего недуга, –
Кто скажет нам? Твоих последних слов
Глубокое и горькое значенье
Потеряно. Дела твои и мненья,
И думы – все исчезло без следов,
Как легкий пар вечерних облаков:
Едва блеснут: их ветер вновь уносит –
Куда они? зачем? откуда? – кто их спросит…
И после них на небе нет следа
Как от любви ребенка безнадежной,
Как от мечты, которой никогда
Он не вверял заботам дружбы нежной…
Что за нужда? Пускай забудет свет
Столь чуждое ему существованье:
Зачем тебе венцы его вниманья
И терния пустых его клевет?
Ты не служил ему. Ты с юных лет
Кровавые его отвергнул цепи…

К счастью, следы от дум Одоевского, вопреки его собственной воле, остались. Друзья не дали затеряться его стихотворениям, и в них сохранен для нас настоящий смысл его страдальческой жизни, – жизни в мечтах и в раздумье. Это была жизнь очень интимная, ряд бесед с самим собою, в которых воспоминания задвигали собой все надежды и упования, и раздумье брало верх над непосредственным ощущением действительности.

XI

Современники ценили высоко поэтический отголосок этой интимной жизни. Товарищи считали Одоевского способным «свершить поэтический труд на славу России»[119], они утверждали, что лира его «всегда была настроена, что он имел большое дарование и дар импровизации»[120]. Один из них говорил, что «Одоевский великий поэт и что если бы явлены были свету его многие тысячи (?) стихов, то литература наша отвела бы ему место рядом с Пушкиным, Лермонтовым и другими первоклассными поэтами»[121]. Конечно, все эти похвалы – преувеличение, но людей, готовых преувеличить его силы как поэта, было среди его

современников много. В 1839 году графиня Ростопчина писала в одном частном письме В.Ф. Одоевскому: «Сюда на днях должен прибыть ваш двоюродный брат, и я горю нетерпением с ним познакомиться. В детстве моем семейство Ренкевичевых представляло мне его идеалом ума и души... Говорят, что он много написал в последние года и что дарование его обещает заменить Пушкина, и говорят это люди умные и дельные, могущие судить о поэзии»[122].

Но вернее, чем его поклонники, свои силы оценивал сам Александр Иванович.

В Чите в 1827 году он отозвался на смерть Веневитинова[123] таким глубоко прочувствованным стихотворением:

Все впечатленья в звук и цвет
И слово стройное теснились;
И Музы юношей гордились
И говорили: «Он поэт!».
Но нет; едва лучи денницы
Моей коснулися зеницы, –
И свет во взорах потемнел;
Плод жизни свеян недоспелый!
Нет! Снов небесных кистью смелой
Одушевить я не успел;
Глас песни, мною недопетой
Не дозвучит в земных струнах,
И я – в нетление одетый...
Ее дослышу в небесах.
Но на земле, где чистый пламень
Огня души я не излил,
Я умер весь... И грубый камень,
Обычный кров немых могил,
На череп мой остывший ляжет
И соплеменнику не скажет,
Что рано выпала из рук
Едва настроенная лира,
И не успел я в стройный звук
Излить красу и стройность мира.

«Умирающий художник»

В Веневитинове Одоевский отпевал самого себя.

XII

Литературное наследство Одоевского не равного достоинства. Одоевский-лирик, поэт личных чувств и настроений, несравненно выше Одоевского-литератора, защитника и проводника известного литературного направления в нашей словесности.

А князь Одоевский, несмотря на свои юношеские годы, еще на свободе успел себя приписать к определенному литературному лагерю, успел даже тиснуть две статейки, в которых попробовал свои силы как критик и журнальный наездник[124]. Он выступал в них, как все его поколение, поборником «романтической» поэзии и тесно связанной с ней «народности». Как большинство его соратников в этом деле, он едва ли мог теоретически вывести формулу пресловутого «романтизма», не запутавшись в противоречиях; да он, впрочем, и не пытался выводить ее, а просто заявлял при случае о своем недовольстве приемами старого классического искусства и тем несоответствием этого искусства с «природой», какое он подмечал в старых образцах. В своей критической статейке «О трагедии Ротру "Венцеслав"» он, после многих колкостей по адресу старины, призывал наших поэтов не бояться нововведений, «когда таковые, не касаясь законов природы и искусства, клонятся к избавлению от излишних уз».

При такой любви к новизне в искусстве Одоевский имел, однако, большое пристрастие к старине народной. Он был патриот в искусстве и хотел, чтобы народный сюжет и по возможности народная форма проникли в нашу поэзию.

Эта любовь к самобытной русской литературе заставила его еще в самые юные годы заняться изучением нашей словесности со времен самых древних.

Ролью историка литературы Одоевский, однако, не ограничился: ему хотелось иллюстрировать свои исторические знания собственными поэтическими произведениями с более или менее широким общим замыслом.

До нас дошли две таких попытки, за которыми остается известное историко-литературное значение, хотя их художественная стоимость более чем скромная. Упомянуть о них, однако, необходимо, чтобы указать на внешнюю связь поэзии Одоевского с господствующим в те времена стремлением к «народности» и «романтизму».

Насколько в своих лирических стихотворениях наш поэт самобытен и оригинален, настолько в этих опытах в «романтическом» и «народном» стиле он раб установившегося литературного шаблона. Таким является он, например, в своей неоконченной романтической поэме «Чалма», которая не что иное, как вариация на старую тему борьбы свободного, страстного и наивного женского сердца с утонченно-цивилизованным эгоизмом сердца мужского. Эту тему еще в двадцатых годах разрабатывал Пушкин, ее повторял затем Марлинский. Под пером Лермонтова она, как известно, была исчерпана, дополнена богатыми мотивами с резкой социальной и этической тенденцией и стала очень удобным предлогом для обличения различных извращений и недочетов нашей культуры. Одоевскому такое обличение было совсем несвойственно, и в поэзии его было слишком мало страстности, чтобы удачно овладеть хотя бы только самой романической завязкой этой темы, как, например, овладел ею Пушкин в своем «Кавказском пленнике». «Чалма» вышла каким-то недоноском: вместо настоящего пыла страсти получилось лишь нагромождение довольно откровенных картин и не совсем скромных образов; вместо яркого восточного колорита дана была лишь мозаика из некоторых общеупотребительных восточных слов, и, наконец, рассказ был начат в таком тоне, что трудно было понять, чем он должен был кончиться – драмой или комедией. Первый опыт в романтическом стиле оказался промахом; Одоевский понял это и от дальнейшей работы над поэмой отказался.

Несравненно более удачна была другая попытка Одоевского выйти из сферы стихотворений чисто личного характера. Это была длинная, в четырех песнях, историческая поэма об ослеплении князя Василька[125]. Одоевский работал над ней, кажется, около трех лет (1827–1830). Труд был не из малых, как может подтвердить любой лирик, которого обязали бы написать на одну тему 150 строф по 8 строк каждая. Одоевский предпринял этот подвиг умышленно, в интересах словесности «народной и самобытной».

Опыт этот показал, прежде всего, что еще до ссылки поэт успел запастись весьма солидными историческими и археологическими сведениями. Их хватило не на какую-нибудь балладу или песню, а на целую бытовую картину далеких туманных времен.

Таких поэм, как «Василько», писалось в те времена немало. Они были весьма популярны как первые попытки использовать народный сюжет для литературных и, главным образом, патриотических целей и при том использовать его на новый лад, в стиле западноевропейского романтизма. Читая поэму Одоевского, можно действительно подумать, что она – переложение на русские нравы какой-нибудь рифмованной повести Вальтера Скотта. Даже «чудесное», которое Одоевский особенно тщательно старался выдержать в русском стиле, смахивает на простое подражание столь распространенному тогда на западе фантастико-мистическому символизму.

Содержание поэмы умышленно запутанное. Краткий летописный рассказ об ослеплении Василька давал мало пищи для вдохновения. Автору пришлось разбавлять рассказ собственным вымыслом. Этот вымысел мало оригинален: автор либо повторяет общеевропейские мотивы романтики, рисует соответствующие мрачным деяниям мрачные ночные пейзажи, описывает таинственные появления и исчезновения действующих лиц, рассказывает о тайных собраниях и свиданиях, изображает ужас темниц и подземелий и так далее, либо он повторяет опять-таки условные, в изобилии тогда встречавшиеся, но уже русские народные мотивы: описывает какую-нибудь отеческую беседу князя с народом, в которой князь обнаруживает всю свою патриархальную душевную благость, а народ – свойственную ему покорность и сметливость; рассказывает о княгине, которая льет горючие слезы и полна страха ввиду зловещего сна или гадания; описывает красоты престольного Киева-града, съезд князей и обед, который по сему случаю был предложен и боярам, и нищим; рассказывает, как на этот княжий пир является неизбежный Баян – совсем как трубадур или менестрель в рыцарский замок…

Поет этот Баян хвалу киевскому князю Святополку за его гостеприимство, но примешивает к своей хвале зловещее пророчество об ослеплении Василька, и, пользуясь правом, которое ему на сей случай пожелал дать Одоевский, говорит с укоризной пирующим князьям о слезах родного «убогого» народа:

Видел я мира сильных князей,
Видел царей пированья;
Но на пиру, но в сонме гостей
Братий Христовых не видел.
Слезы убогих искрами бьют
В чашах шипучего меда.
Гости смеются, весело пьют
Слезы родного народа.
Слава тебе! Ты любишь народ,
Чествуешь бедных и старцев.

Слава из рода в будущий род,
Солнышку нашему слава!
Ты с Мономахом Русь умирил
Кроткой, могучей десницей;
Тучи развея, ты озарил
Русское небо денницей.
Слава князьям! Но в стае орлов
Слышите, грает и ворон.
Он напитался туком гробов;
Лоснятся перья от крови:
Очи – красу молодого чела –
Очи, подобны деннице,
Он расклевал – и кровью орла
Рдеется в орлей станице.

Баяна сменяет опять традиционное лицо злодея, который вступает в союз с темными силами, чтобы погубить свою несчастную жертву. Вокруг Василька сплетается целая адская интрига, впрочем, не вполне нам ясная, так как третья часть поэмы утрачена. В последней части описывается, и при том весьма реально, вся омерзительная сцена ослепления.

Нетрудно догадаться, что именно заставило Одоевского остановиться на этой совсем неблагодарной теме. Для него в ней крылся символический смысл. Несчастный князь Василько, низвергнутый нежданно с высоты своего положения в такую пучину несчастия и смирившийся духом – был историческим призраком, в который Одоевский облек свое собственное настроение – то преклонение перед высшей волей, которой он сам свою несчастную судьбу доверил.

Религиозная тенденция поэмы, действительно, выступает наружу очень ясно. Автор, вопреки истории, перенес умышленно в эпоху, когда жил Василько, ту резкую борьбу христианства и язычества, которая отмечала собой первые годы христианского просвещения России. Все чудесное и фантастическое в поэме пригнано к этому мотиву борьбы двух религиозных начал! Как в исторических романах из жизни императорского Рима, – перед нами два русских Киева, один надземный – христианский, другой языческий – подземный, и этот подземный, пожалуй, красивее правоверного. Одоевский с особой тщательностью украшал его разными фантастическими и археологическими подробностями, желая быть по возможности «самобытным». Чтобы дать образец этой «самобытности», конечно, поддельной, приведем несколько строф из той славянской «Вальпургиевой ночи», которую поэт вклеил в свою поэму. Она, несмотря на всю фальшь, – самый образный и поэтический эпизод его рассказа.

Автор рассказывает, как князь Давид, главный виновник погубления Василька, шел совещаться с подземными силами в пещеру около Киева, где по ночам совершались жертвоприношения уже давно поверженному Перуну.

Рассказ длинный, с подробным описанием пещеры и привидений, которые ограждают к ней доступ, с описанием какой-то страшной девы с мечом и светочем в руке, не то прорицательницы, не то фурии, – одним словом, с богатым инвентарем романтических ужасов. Упоминаются, конечно, и все истинные и мнимые божества русской мифологии – Перун, Стрибог, Велес, Купала, Коляда, Ладо и Дажбог. В присутствии всех этих зловещих призраков разыгрывается сцена заклинания и проклятия христианского Киева. И вот какие мелодичные стихи попадаются в этой сцене:

Хор жрецов
Грудных младенцев, непричастных
  Греху отцов,
Несите, ведьмы и русалки,
  Пред лик богов!
Мы на костре сожжем начатки
  От их волос.
Чтоб сын славян богам славянским
  Во славу рос.

Три ведьмы
Мы змеею зашипели
И как вихорь понеслись;
С визгом в теремы влетели
И детей из колыбели
Мы схватили и взвились.

Все ведьмы
Цепки у ведьмы медвежьи лапы,
Легок наш конь, помело,
Свищем и скачем, пока на востоке
Не рассвело.

Русалки
Неслышной стопою
Касаясь земли,
Мы руку с рукою,
Как ветви, сплели.
Мы песнь напевали
И в лунных лучах,
Как тени, мелькали
На Лысых горах.
Мы дев заманили
На песенный глас,
Вкруг липы водили,
И с каждой из нас,
Смеясь, целовались
Они сквозь венок
И с нами сплетались
В русальный кружок.
Вот сходим. Как птицы
Поем и летим,
Со смехом в светлицы
Порхнем к молодым;
То шепотом сладко
Над люлькой поем,
Поем и украдкой
Дитя унесем, etc.

Всем этим бесовским призракам Одоевский готовил в конце своей поэмы полное посрамление. Свершить злое дело им удалось, но все их чары были бессильны над духом праведника. Ослепленный Василько утратил способность зреть внешний свет; но тем ярче продолжал ему светить свет внутренний.

И нигде религиозная идея всей поэмы не выражена так ясно, как в заключительных словах, которыми священник поясняет всем присутствующим значение совершавшегося пред их лицом преступления:

Пред Спасом не винове Василько,
И пред людьми страдалец не виновен:
Пройдут князья, пройдет и суд князей;
Но истина на небе и в потомстве,
Как солнце, просияет!

С известным правом эти слова можно отнести и к самому автору.

И для него, которому перестала святить «денница жизни», которому «целый мир стал темницей», – и ему продолжал светить тот внутренний свет, в котором и заключался весь смысл и все движение его земной жизни.

Какой облик приняла духовная сторона этой жизни под лучами такого света – нам покажут сейчас стихотворения, писанные им для себя, в свое утешение и свою защиту, а не для обороны чего-либо постороннего, хотя бы и столь дорогого писателю, как «самобытная» литература его родины.

XIII

В одном стихотворении, посвященном памяти отлетевших от него милых образов, Одоевский очень картинно и верно назвал всю свою духовную жизнь «воспоминанием о красоте мира сквозь сон». Действительно, он жил только воспоминаниями, и в них ему всегда светила красота недоступного для него мира. Жизнь успела подарить Одоевскому только первую свою улыбку – именно в те ранние годы, когда человек смотрит

на такую улыбку, как на залог грядущего долгого счастья, как на намек возможного в мире блаженства; и наш поэт, в силу особых условий его блестящей и счастливой юности, мог быть легче, чем кто-нибудь, прельщен таким ранним приветом жизни. Когда он готовился проверить ее обещания, когда он ей задал первый серьезный вопрос и поставил первое свое требование – он, в один день и навсегда, потерял сразу все, что люди теряют постепенно и к чему они, ввиду такой медленной утраты, становятся мало-помалу равнодушны. Одоевский очутился в совсем особом положении; он не знал медленного угасания надежд, не испытал, как одна за одной гаснут путеводные звезды, его сразу окутала тьма, и он продолжал любить, безумно любить жизнь, создавая в мечтах ее пленительный образ по тем мимолетным воспоминаниям, которые сохранил о ней.

При всем печальном колорите его стихотворений – печальном потому, что правдивом, – в его стихах нет и тени пессимизма. Как бы он ни скорбел о себе – он был далек от всякой скорби о жизни; он приветствовал ее где только мог, и каждый, самый мимолетный веселый луч ее, случайно падавший в его темницу, он встречал с благодарностью и радостью.

Эта веселая благодарность была приветом той жизни, которая, с ее светом и движением, как неизвестный заповедный рай, начиналась за оградой его собственного существования.

Мир мечты не мог быть для Одоевского тем, чем он был для многих других, которые, идя свободно своей дорогой, пресытясь обманами жизни, говорили, что все, кроме мечты, – суета и разочарование, что красота и блаженство не в сближении с миром, а в отдалении от него, что счастие – в мечтах, а не на земле. Для Одоевского такое утешение в мечтах существовало лишь наполовину. Его мечта была лишь «воспоминанием о красоте *жизни*», которая не обманула его, не надоела ему, а наоборот, прельщала его.

Мечта, поэтическое творчество и тот веселый «мир», красоту которого он силился припомнить, слились в его представлении в одно неразрывное целое. Одоевский верил, что если все материальные его связи с этим миром порваны, то все-таки в его мечте осталась одна связь, неуловимо тонкая, но вместе с тем самая крепкая, которая пока цела и не даст ему погибнуть в одиночестве. Провожая последний «лучезарный хоровод блеснувших надежд», он молил эту воздушную деву-мечту запоздать своим отлетом; ее одну, «неотлетного друга», просил он побыть с ним в залог того, что всякая мечта не есть случайное видение, что в ней дано общение с другими людьми, что она может присниться и другому и на ту же высоту вознести думы ближнего:

Промелькнул за годом год,
И за цепью дней минувших
Улетел надежд блеснувших,
Лучезарный хоровод.
Лишь одна из дев воздушных
Запоздала. Сладкий взор,
Легкий шепот уст послушных,
Твой небесный разговор
Внятны мне. Тебе охотно
Я вверяюсь всей душой…
Тихо плавай надо мной,
Плавай, друг мой неотлетный!
Все исчезли. Ты одна
Наяву, во время сна,
Навеваешь утешенье.
Ты в залог осталась мне,
Заверяя, что оне
Не случайное виденье,
Что приснятся и другим
И зажгут лучом своим
Дум высоких вдохновенье!

«Последняя надежда», 1829.
Е.А. Баратынскому

Мечта не как убежище для скорбящего и оскорбленного духа, а как живая связь с другими людьми – вот какой являлась Одоевскому эта богиня-фантазия, с которой большинство его современников любили встречаться не иначе как вдвоем, в тишине, в уединении и вдали от людей и по возможности о них не думая.

«Как я давно поэзию оставил!» – говорил однажды Одоевский –
Я так ее любил: я черпал в ней
Все радости, усладу скорбных дней,
Когда в снегах пустынных мир я славил,

Его красу и стройность вечных дел,
Господних дел, грядущих к высшей цели
На небе, где мне звезды не яснели,
И на земле, где в узах я коснел…
Я тихо пел пути живого Бога,
И всей душой Его благодарил,
Как ни темна была моя дорога,
Как ни терял я свежесть юных сил…
В поэзии, – в глаголах Провиденья,
Всепреданный, искал я утешенья –
Живой воды источник я нашел!
О, друг, со мной в печалях неразлучный,
Поэзия! Слети и мне повей
Опять твоим божественным дыханьем!
Мой верный друг! когда одним страданьем
Я мерил дни, считал часы ночей –
Бывало, кто приникнет к изголовью
И шепчет мне, целит меня любовью
И сладостью возвышенных речей?
Слетала ты, мой ангел-утешитель!

«Поэзия», 1837–1839

И за что же поэт так превозносил эту гостью? Не за то, что она ему давала забвение и под своим узорным покровом стремилась скрыть от него все мрачные стороны бытия, не за то, что она убаюкивала его мысль и смиряла тревогу сердца, – наоборот, лишь за то, что – высшее проявление жизни – она учила его любить эту жизнь и в конечном мире чуять бесконечность духа. Она была – Божьим глаголом, вдыхающим жизнь и вечность в Божий свет, и отнюдь не призывом к забвению того, что на этом свете творится.

Поэт
В свой тесный стих вдыхает жизнь и вечность,
Как сам Господь вдохнул в свой Божий свет –
В конечный мир всю духа бесконечность.

«Поэзия», 1837–1839

Чем же был мил Одоевскому этот Божий свет, и о какой его красоте мог наш двадцатилетний узник вспомнить? Так мало было прожито, что само слово «воспоминание» звучит как-то странно; можно было бы подумать, что оно по ошибке поставлено вместо слова «надежда», если бы мы не знали, что для себя лично Одоевский навсегда от всяких надежд отказался.

Но он, действительно, любил мир, и любил его не эгоистично, не для себя, и знал, за что любил.

Его ровное и ясное миросозерцание опиралось и на общие размышления о красоте и цене жизни, и на память о тех ранних впечатлениях бытия, в которых для него было столько намеков на возможное в мире блаженство.

XIV

Первое, что в глазах Одоевского придавало миру его высокую цену и что одевало его в особую красоту, было Божие присутствие в нем, религиозный смысл всего бытия. Одоевский, как большинство людей его времени, был искренне верующим человеком и притом христианином. Для него тайна искупления и тайна воскресения были двумя актами непосредственного Божьего вмешательства в дела мира – два дара, в которых залог не только возможности спастись за гробом, но и залог того, что и здесь, на земле, часть обетованного блаженства станет истиной.

Воскресение не для неба, а для земли – вот один из лучей веры, который вспыхнул ярко в душе поэта в первые же дни его несчастья. В каземате Петропавловской крепости в пасхальную ночь 1826 года он писал:

Я, на коленях стоя, пел;
С любовью к небесам свободный взор летел…
И серафимов тьмы внезапно запылали
В надзвездной вышине;

Их песни слышалися мне.
С их гласом все миры гармонию сливали.
Средь горних сил воскресший Бог стоял,
И день, блестящий день сиял
Над сумраками ночи;
Стоял Он радостный средь волн небесных сил
И полные любви, божественные очи
На мир спасенный низводил.
И славу Вышнего, и на земле спасенье
Я тихим гласом воспевал,
И мой, мой также глас к Воскресшему взлетал:
Из гроба пел я воскресенье.

«Полночь», 1826

Когда в другом стихотворении («Река Усьма») поэт говорил, что «цель всей жизни нашей – отрадный Спасов Крест», – он всегда разумел торжество этого Креста здесь, среди нас, и никогда не отчаивался в своей заветной мысли о «спасении на земле» и о воскресении из гроба не для бессмертия, а для жизни.

В Господе предел
Путей земных и всех благих деяний –

говорил он, и весь земной путь, проходимый человечеством, был в его глазах таким благим путем к благой цели. Он, как сын своего поколения, воспитавшийся в эпоху религиозно-сентиментального просветления духа, – верил в прогресс и в торжество «гуманизма». Сквозь туман веков ему было видимо это торжество, как видимы были и все трудности и опасности земной дороги.

Человек все-таки смертный пришлец великого бессмертного мира, –думал поэт. Не все в этом мире создано для него и не все создание его рук.

Высится пышный дворец, горит он блеском алмазов, белеет под ним снежный фундамент и мрачный лес лежит у его ног. Это – Глетчер. Дивным резцом изваяны его стены, блестит и горит он своим убранством. Вокруг него стоят алтари из снега и чистые лежат на них приношения. Кто ваятель этого дворца и кто его житель? Ваятель – Век, отрасль вечности – мысль Творца, а житель его – царь роковой смерти. Человеку нет в этом дворце места. Сюда не взойдет он; для него, если уж он решился подняться на высоту – есть иное жилище. Там, у подножия дворца, стелется темный лес, необозримый для слабого человеческого зрения, частый, густой и дикий лес. В нем, если захочет, пусть живет человек и с высоты смотрит долу. Сирый жилец мира фантазии, пусть он тихо смотрит по сторонам и поддерживает пылкий дух своих мечтаний. Несчастный! в мире повсюду он зрит суету, зрит нищету чистых стремлений... Взглянет он ввысь – перед ним недоступная холодная вершина, посмотрит он долу – под ним сельская жизнь в своей вековой неподвижности (Стихотворение «Глетчер», 1838).

В таких символических образах рисовалась Одоевскому земная жизнь человека, поставленного среди не им созданной и непобедимой природы, безразличной и холодной во всей ее божественной красоте. Выйти из инертной сельской жизни, из первобытного своего состояния – человек должен. Пылкий дух заставляет его идти вперед, влечет его на высоту, и мирная жизнь сменяется для него блужданием в непроглядном лесу, у подножия таинственного храма природы, созданной вечностью и творческой мыслью Бога. Состязаться с Богом в таком творчестве он – смертный пришлец – не может, но он не может также и остаться в долине: она тесна для него и таинственная высь его манит.

Необуздан бывает человек в своих стремлениях, мыслях и чувствах. Велик и ничтожен он в своих порывах. Он как – лавина.

Рванулась она и катится по скату крутогора... для трепетного взора она кажется орудием неба; гром ее гремит по полянам. Для нее нет препятствий. Утес дрожит под ее ударом, и лес ложится на землю. Жестока бывает она в своем страшном, свирепом боренье: гибнут стада, гибнут люди. Все поглощает она и стремглав несется к озеру. И вот, когда она, полная ярости, в вихре снега и пара, мнит, что уничтожит и это препятствие... она сама гибнет. На нее падает луч солнца, и грозный шар, тая, обращается в воду («Лавина»).

Опять ряд символов: велик и грозен бывает человек, когда дает простор своей силе – хочет сказать поэт. Все, что становится поперек дороги этой силе, может погибнуть, и страшная жестокость сопровождает иногда ее проявление. Но есть и для этой разрушительной силы нежданная могила и – что важнее – есть в мире солнце, есть свет духа, который обращает грубую и опасную снеговую глыбу в мирные и ясные воды.

Много в жизни человеческой и загадочно-страшного, и жестоко-несправедливого, но как бы ни был труден путь земной, он все-таки есть движение от худшего к лучшему.

Этот непостижимый путь волнует нас своей мучительной тайной. Как скудно наслаждение сердца в этой жизни, как смешаны на этом похоронном пире скорбь с радостью! Иногда все кажется тенью, и весь мир – как бы обширная гробница –

Но вечен род! Едва слетят
Потомков новых поколенья,
Иные звенья заменят
Из цепи выпавшие звенья;
Младенцы снова расцветут,
Вновь закипит младое племя,
И до могилы жизни бремя,
Как дар без цели донесут
И сбросят путники земные…
Без цели! Кто мне даст ответ?
Но в нас порывы есть святые,
И чувства жар и мыслей свет,
Высоких мыслей достоянье!
В лазурь небес восходит зданье:
Оно незримо, каждый день,
Трудами возрастает века;
И со ступени на ступень
Века возводят человека.

«Элегия», 1830

И возведут они его, наконец, на ту высоту, с которой он, в сознании своей нравственной победы, сможет спокойно обозреть пройденный им страдальческий путь разочарований, ошибок и преступлений.

За этот-то глубокий смысл, вложенный самим Богом в жизнь человека, смысл, освященный тайной искупления и символически выраженный в тайне воскресения, Одоевский любил жизнь.

Итак, он любил ее прежде всего за ее духовную красоту, за то, что она была ареной для нравственных подвигов человечества, ареной торжества, обещанного человеку и дарованного ему Богом.

XV

Кроме этой духовной красоты, поэт любил в мире и его красоту внешнюю. Это была его вторая любовь – живая и сильная – в его поэтической душе. Много великолепных поэтических образов, взятых из жизни природы, рассыпал Одоевский в своих случайных стихотворениях. Он не мог пройти мимо этой внешней красоты, не почувствовав прилива любви к творенью и наплыва религиозных чувств.

Поэзия – не Божий ли глагол,
И пеньем птиц, и бурями воспетый?
То в радугу, то в молнию одетый,
И в цвет полей, и в звездный хоровод,
В порывы туч, и в глубь бездонных вод,
Единый ввек и вечно разнозвучный? – спрашивал он.

«Поэзия», 1837–1839

Свою песню он нередко делал отзвуком этой таинственной речи Создателя, но всегда в его описаниях и сравнениях зерном мысли и родником чувства оставался человек – созерцатель и сожитель этой немой величаво-красивой природы.

Не затем, чтобы забыть о людях, присматривался и прислушивался Одоевский к природе, а лишь затем, чтобы найти соответствие между ней и человеком. Мы встречали уже несколько таких описаний в его символических картинах природы, мы встретим их много и в его чисто лирических стихотворениях. Всегда в его пейзажах заключен скрытый или явный намек на какое-нибудь чисто человеческое чувство. Рисует ли поэт зеленое море родных полей, рощи холмов и пышную сень лесов, вдоль которых бежит простая русская речка, «одетая, как невеста, в небесную лазурь» («Река Усьма», 1837), – мы чувствуем, что эта картинка набросана изгнанником в первую минуту свидания с отчизной: так много в ней игривой радости, так эта речка бросается в объятия к склоненному над ней влюбленному лесу, так она шалит; и радуется, как ребенок, так, резвясь, она разгульными струями бежит вдоль рощи полей…

Рисует ли Одоевский дикий горный пейзаж, изображает ли он «великанов в ледяных шлемах, за плечами которых гремят колчаны, полные молний, туманы, которые, как пояс, облегают их стан, сорвавшуюся вблизи них шумную лавину», – он приурочивает эти грозные и мрачные картины к прославлению какого-нибудь великого акта человеческой воли, как, например, к переходу через Альпы Наполеона, вслед за которым, по тому же пути, пройдет и сын той страны, где «в полночной мгле, среди снегов высится на своем пьедестале конь и его медный всадник» («Сен-Бернар», 1831).

И часто Одоевский пояснял красоту человеческих помыслов, чувств и деяний такими картинами, в которых изображалась красота столь им любимой природы. И сам он на фоне этой вечной красоты, сначала в снегах Сибири, а затем в горах Кавказа, был каким-то поэтическим видением.

Любил ты моря шум, молчанье синей степи, –
говорил, прощаясь с ним, Лермонтов, –
И мрачных гор зубчатые хребты.
И в круг твоей могилы неизвестной
Все, чем при жизни радовался ты,
Судьба соединила так чудесно:
Немая степь синеет, и венцом
Серебряным Кавказ ее объемлет:
Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет,
Как великан, склонившись над щитом,
Рассказам волн кочующих внимая.
А море Черное шумит не умолкая.

После Бога, о котором Лермонтов вспоминал редко, и после людей, о которых он вспоминал в большинстве случаев недружелюбно, ему оставалось говорить только о природе, если он действительно хотел упомянуть о том, чем этот мир был дорог его другу.

XVI

У Одоевского была, впрочем, и еще одна привязанность, чисто земная. Он был большим патриотом. Судьбы России были для него предметом особого культа. Он верил в великое призванье своей отчизны и мечтал об ее всеславянской миссии, и, как некоторые из его современников, он упреждал в данном случае славянофилов.

Патриотические думы Одоевского дошли до нас, конечно, в весьма неполном виде. В своих стихах он говорил о родине часто, говорил возвышенно и хвалебно – и в большинстве случаев без всякой тени критического отношения к ее настоящему.

Но такое критическое отношение не умирало в душе Одоевского. Как бы молод он ни был, и как бы ни были шатки его политические взгляды, в основе своей его патриотизм был далеко не из самодовольно-миролюбивых.

Несмотря на то покаянное настроение, которое охватило поэта в тюрьме и выразилось, как мы помним, в полном отречении от всяких «заблуждений», Одоевский и в каземате ощущал иногда прилив боевого пыла и писал:

Таится звук в безмолвной лире,
Как искра в темных облаках;
И песнь, незнаемую в мире,
Я вылью в огненных словах.
В темнице есть певец народный;
Он не поет для суеты:
Скрывает он душой свободной
Небес бессмертные цветы;
Но похвалой не обольщенный,
Не ищет раннего венца. –
Почтите сон его священный,
Как пред борьбою сон борца.

«Сон поэта», 1836

Поэт ценил, мы видим, свою песнь как песню «народную», и она была ему нужна для «борьбы», от которой он, по-видимому, не думал отказываться, – по крайней мере, в рифмованных мечтах, которые никто не мог подслушать.

Мысли о родине сохранили свой боевой характер и во второй год испытания. На приветственные стихи Пушкина –

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье:
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут – и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут –

Одоевский отвечал известным стихотворением «А.С. Пушкину в ответ на его послание «В Сибирь»:

Струн вещих пламенные звуки
До слуха нашего дошли!
К мечам рванулись наши руки,
Но лишь оковы обрели.
Но будь покоен, бард: цепями,
Своей судьбой гордимся мы,
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над ...
Наш скорбный труд не пропадет:
Из искры возгорится пламя –
И православный наш народ
Сберется под святое знамя.
Мечи скуем мы из цепей
И вновь зажжем огонь свободы,
И с нею грянем на ... –
И радостно вздохнут народы.[126]
1827

К числу боевых нужно отнести и стихотворение «При известии о польской революции», если только оно принадлежит Одоевскому.

Оно было написано в 1831 году под свежим впечатлением июльского переворота. «Можно сказать наверное, – рассказывает Д. Завалишин, – что мрачное состояние духа имело бы очень вредное влияние на многих и дурные последствия при вступлении в такую мрачную жизнь, какова была в Петровском каземате сначала, если бы тут не подоспело кстати известие о французской революции, возбудившее надежды в другом отношении и увлекшее снова все мысли и желания в политическую и умственную сферу, чем и отвлекло нас от мрачного настоящего положения и не давало вполне предаваться ощущению тягости его. Полученные газеты изменили разом общее настроение. Все оживилось интересом самих известий, независимо даже от неосновательных надежд, возбужденных у многих событиями в Европе. Все занялись чтением, пошли разговоры, суждения; даже на самого коменданта явно подействовали нежданные известия. Он впал в раздумье, что и отразилось на смягчении многих бесполезных строгостей»[127].

Возможно, что известие о французской революции поэтически отозвалось в сердце Одоевского, но полонофильские строки стихотворения «При известии» позволяют усомниться в том, что оно принадлежит перу Одоевского, который, при всем своем либерализме, был большим патриотом[128].

Этими стихотворениями исчерпываются все политические мотивы в поэзии Одоевского. Воинствующий либерализм исчезает вместе с годами его молодости, уступая место уравновешенному и созерцательному взгляду на жизнь, смягчающему всякую резкость чувства.

Ни от одного из тех гуманных убеждений, за которые пришлось пострадать, Одоевский не отрекся, и только о способе проведения этих убеждений в жизнь он теперь хранил молчание. Оставляя за собой право критически относиться к некоторым сторонам русской жизни и, вероятно, критикуя их в частных беседах, поэт в своих стихах говорил лишь о тех явлениях русской действительности, которые не вызывали в нем иного чувства, кроме радости, и иных пожеланий, кроме самых восторженных.

Вот почему в его стихах так часто превозносится внешний блеск русской державы и ее международное призвание. Одоевский в данном случае не составлял исключения, так как в начале царствования Императора Николая I патриотическая восторженная речь о могуществе России была обычным явлением в устах даже очень умных и осторожных людей.

Военная слава России нашла себе в Одоевском певца очень искреннего, а под конец его жизни, когда он солдатом служил на Кавказе, и одного из своих терпеливых и выносливых слуг, умеющих умирать безгласно.

Оригинальной красотой и силой патриотические стихотворения Одоевского, однако, не блещут.

Подвиги старых князей киевских и новгородских, восхваление князей-собирателей земли русской, подвиг Ермака, гражданская доблесть Минина и Пожарского, затем Великий Петр и его победы, затем Суворов, пылающая Москва и нашествие галлов, наконец, победы нашего оружия на востоке, «брак русского царства с Грузией», – все эти кровавые страницы родной истории приходили часто на память нашему мирному поэту, и так же часто поэзия и вымысел занимали в его речах место исторической правды. Иногда, впрочем, он позволял себе помечтать и о грядущем, и тогда его стихотворение выходило столь типично славянским, что под ним охотно подписался бы любой из членов кружка Хомякова. Таково, например, его стихотворение «Славянские девы».

В образе дев рисуется Одоевскому вся великая славянская семья. Быстры и нежны напевы дев ляшских, просты и дики песни дев сербских; дышат любовью и славой песни чешских дев – отчего же все эти девы не поют согласно святые песни минувших времен и не сольют всех своих голосов в единый голос? И отчего так грустны песни старшей дочери в славянском семействе, почему она проводит свои дни, как ночи, в тереме, почему заплаканы ее очи? «Отчего ты не выйдешь в чистое поле, – спрашивает поэт старшую сестру, – отчего не разгуляешь своей грусти? Спеши в поле навстречу меньшим сестрам, веди за собой их хоровод и, дружно сплетя свои руки с их руками, запой песню свободы!»

Боже! Когда же сольются потоки
В реку одну, как источник один!
Да потечет сей поток исполин,
Ясный, как день, как море широкий,
И, увлажая полмира собой,
Землю украсит могучей красой.

«Славянские Девы»

В стихах, в которых Одоевский говорил о России, ему приходилось неоднократно вспоминать о том лице, против которого он некогда поднял оружие. За исключением тех ранних стихов, на которые уже указано, Одоевский во всех своих словах о царе выдерживал тон восторженного почтения. Этот тон не был ему насильно навязан обстоятельствами, так как никто не заставлял его говорить об Императоре, и если бы он питал к нему прежние враждебные чувства – он мог молчать. Нельзя видеть в этих словах также и умышленной лести – в словах, которые были сказаны в тесном кругу, написаны для себя и не посланы по адресу.

Впрочем, одно стихотворение Одоевского было написано с прямым умыслом и надеждой на то, что оно дойдет по адресу. Это известное стихотворение «Послание к отцу»[130].

Одни укоряли Одоевского за это стихотворение[132], другие извиняли его тем, что поэту все дозволяется: и кадить, и льстить, и проклинать, и благословлять, – лишь бы он делал это отборными музыкальными стихами. Сам же поэт смотрел на эти стихи как на единственную пилу, которою он мог перепилить железную решетку своей темницы и выйти на волю[133]. Дело в том, что это послание кончалось таким обращением к Императору:

Займется ли заря,
Молю я солнышко-царя,
И вот к нему мое моленье:
Меня, о, солнце, воскреси
И дай мне на святой Руси
Побыть, вздохнуть одно мгновенье!
Взнеси опять мой бедный челн,
Игралище безумных волн,
На океан твоей державы,
С небес мне кроткий луч пролей
И грешной юности моей
Не помяни ты в царстве славы!

– и ходили слухи, что Император, растроганный стихотворением, услышал просьбу Одоевского и разрешил ему перевод из Сибири на Кавказ[134].

Если этот слух был верен, то все-таки не должно забывать, что у Одоевского были и другие стихотворения, в которых он говорил о царе в тех же выражениях и которые шефу жандармов не были переданы. Заподозрить эти стихи в льстивой тенденции нет основания, да и написаны они к тому же с большой искренностью.

Остается предположить – и в этом не будет никакой натяжки – что у Одоевского, как и у многих других его товарищей, очень скоро после катастрофы исчезло неприязненное чувство к тому лицу, которое их так

жестоко покарало. И это понятно. Они были врагами не какого-либо лица, а известной системы, известного государственного порядка. Этот порядок не мог в их представлении соединяться с личностью молодого Императора Николая Павловича, которого они мало знали; они были свидетелями только единственного и притом самого тревожного дня его царствования; государственная тенденция этого нового царствования определилась позднее, в те годы, когда декабристы не имели уже возможности пристально следить за ее развитием. Таким образом, они могли на первых порах лишь с известной натяжкой перенести свою нелюбовь к Императору Александру на его брата. Кроме того, при их религиозно-сентиментальном мировоззрении и при их житейской неопытности они могли питать надежду на то, что новое царствование не пожелает повторить или усугубить ошибок прошлого. Наконец, нельзя забывать и того, что известным залогом этой надежды им могли служить те частичные льготы, которыми правительство изредка смягчало непомерно тяжелые условия их жизни.

В 1837 году наследник Александр Николаевич совершил свое путешествие по Сибири. Для Одоевского это событие было предлогом целого ряда патриотических стихотворений («На проезд Наследника Престола» и четыре стихотворения «На приезд в Сибирь Наследника Цесаревича»). Одоевский приветствовал наследника от имени забытой и в опале находящейся Сибири. Если в своих обращениях к Императору поэт держался патетически возвышенного тона, то в приветствиях его сыну он этот тон еще более повысил. Его стихи были торжественным гимном в честь гостя, которого Сибирь встречала как исполнителя своих заветных мечтаний о том, чтобы «пришел, наконец, владыко и извел для великого света всех сидящих в узах темноты».

Когда Одоевский писал эти строфы, предчувствовал ли он, какое в них заключалось пророчество? Угадывал ли он, что с именем юноши, приезд которого он благословлял, будет связана память о падении тех «уз темноты», за борьбу против которых погибал он и его товарищи?

Во всяком случае, поэт был преисполнен чувств и надежд самых радостных.

XVII

Мир, как воплощение Божьей мысли и воли и как арена для нравственного подвига человека, мир, как воплощение красоты вечной и, наконец, среди этого мира Россия с ее настоящей и грядущей славой – вот мысли, которые вдохновляли поэта, и вот источник той любви к жизни, которую не могли заглушить в нем печали его личного существования.

Что же дала ему жизнь, ему самому, как человеку, чтобы «воспоминание об ее красоте» могло скрасить его настоящее?

Отметим прежде всего, что вся личная жизнь поэта исчерпывалась, действительно, одними воспоминаниями.

Как недвижимы волны гор,
Обнявших тесно мой обзор
Непроницаемою гранью!
За ними – полный жизни мир,
А здесь я одинок и сир
Отдал всю жизнь воспоминанью –

«Послание к отцу», 1836

признавался он тому человеку, которого любил больше всего на свете.

Стихи, в которых он вел эти одинокие беседы со своим прошлым, должны были носить, конечно, характер самый интимный.

В одном грациозном по замыслу стихотворении «Роза и соловей» поэт заставляет соловья жаловаться на то, что роза, склонив печально свою голову, не глядит на него и его не слушает. «Зачем мне слушать тебя?» – отвечает роза, – «ты про свою любовь поешь слишком громко, и мне грустно: если ты поешь не для меня одной, то значит, ты меня не любишь». «Отдай мне всю твою душу, – говорит ей в ответ соловей, – не расточай ее другим, и тогда я буду петь тихо».

Песнь Одоевского о своем прошлом была именно такой тихой песнью любви, при которой и певец, и то, к чему он обращался, принадлежали неразрывно друг другу и в своих беседах не желали иметь свидетелей. «Скромный, пустынный цвет, цветущий над могилой певца», – вот как сам поэт называл эти свои заветные думы. Но хоть эти цветы и росли над могилой и говорили о смерти, в них тем не менее было затаено глубокое и сильное очарование жизнью.

Само собою ясно, что о медленном увядании и смерти поэту приходилось думать и говорить очень часто. Еще в Петропавловской тюрьме он писал:

Как много сильных впечатлений
Еще душе недостает!
В тюрьме минула жизнь мгновений,
И медлен, и тяжел полет
Души моей необновленной
Явлений новых красотой....
Однообразна жизнь моя,
Как океана бесконечность
Но он кипит... свои главы
Подъемлет он на вызов бури,
То отражает свет лазури
Бездонным сводом синевы,
Пылает в заревах, кровавый
Он брани пожирает след;
Шумит в ответ на громы славы
И клики радостных побед.
Но мысль моя – едва живая –
Течет, в себе не отражая
Великих мира перемен.
Все прежний мир она объемлет,
И за оградой душных стен –
Востока узница – не внемлет
Восторгам западных племен.

«Дума узника», 1827

Тюрьма сменилась каторгой, и мысль о настоящем стала еще мрачнее. Одоевский узнал о смерти Грибоедова и писал:

О, дайте горьких слез потоком
Его могилу оросить,
Ее согреть моим дыханьем!
Я с ненасытимым страданьем
Вопьюсь очами в прах его,
Исполнюсь весь моей утратой
И горсть земли, с могилы взятой,
Прижму, как друга моего.
Как друга!.. Он смешался с нею,
И вся она родная мне.
Я там один с тоской моею,
В ненарушимой тишине,
Предамся всей порывной силе
Моей любви, любви святой
И приросту к его могиле,
Могилы памятник живой.
Но под иными небесами
Он и погиб, и погребен;
А я – в темнице! Из-за стен
Напрасно рвуся я мечтами:
Оне меня не донесут,
И капли слез с горячей вежды
К нему на дерн не упадут,
Я в узах был; но нет надежды
Взглянуть на взор его очей.
Взглянуть, сжать руку, звук речей
Услышать на одно мгновенье...
Не изменилось заточенье;
Но от надежд, как от огня,
Остались только дым и тленье.

Он – мне огнь; уже давно
Все жгут, к чему ни прикоснутся;
Что год, что день, то связи рвутся;
И мне, мне даже не дано
В темнице призраки лелеять,
Забыться миг веселым сном
И грусть сердечную развеять
Мечтанья радужным крылом.

«Дума на смерть А.С. Грибоедова», 1829

Так текли годы, и мысль о близкой смерти все настойчивее и настойчивее тревожила фантазию поэта. Одоевский писал отцу:

Меня чужбины вихрь умчал
И бросил на девятый вал
Мой челн, скользивший без кормила;
Очнулся я в степи глухой,
Где мне не кровною рукой,
Но вьюгой вырыта могила.

«Послание к отцу», 1836

Но вот каторга сменилась поселением; окончились и годы поселения: Одоевский ехал на Кавказ. На пути, за несколько верст до Ставрополя, он и его товарищ М.А. Назимов, сидевший с ним в одной повозке, увидели стаю журавлей, летевших к югу. «Приветствуй их!» – сказал Назимов своему товарищу, и Одоевский ответил на этот вызов стихами, в которых опять прозвучало приветствие смерти:

Куда несетесь вы, крылатые станицы?
В страну ль, где на горах шумит лавровый лес,
Где реют радостно могучие орлицы
И тонут в синеве пылающих небес?
И мы – на юг! туда, где яхонт неба рдеет,
И где гнездо из роз себе природа вьет;
И нас, и нас далекий путь влечет…
Но солнце там души не отогреет,
И свежий мирт чела не обовьет.
Пора отдать себя и смерти, и забвенью!
Но тем ли, после бурь, нам будет смерть красна,
Что нас не севера угрюмая сосна,
А южный кипарис своей покроет тенью?[136]

«Экспромт», 1838

И чем ближе подходил поэт к 1839 году, последнему в его жизни, тем все явственнее слышался ему этот призыв смерти. Среди его стихотворений есть одно, очень сильное и мрачное, написанное неизвестно по какому случаю и обращенное к какому-то женскому образу, если под этим образом не разуметь души самого поэта. Это очень яркое изображение предсмертной агонии:

Зачем ночная тишина
Не принесет живительного сна
Тебе, страдалица младая?
Уже давно заснули небеса;
Как усыпительна их сонная краса
И дремлющих полей недвижимость ночная!
Спустился мирный сон, но сон не освежит
Тебя, страдалица младая!
Опять недуг порывом набежит,
И жизнь твоя, как лист пред бурей, задрожит.
Он жилы нежные, как струны напрягая,
Идет, бежит, по ним ударит, и в ответ

Ты вся звучишь и страхом и страданьем,
Он жжет тебя, мертвит своим дыханьем,
И по листу срывает жизни цвет…
И каждый миг усиливая муку,
Он в грудь твою впился, он царствует в тебе.
Ты вся изнемогла в мучительной борьбе;
На шею с трепетом ты наложила руку;
Ты вскрикнула, огнь брызнул из очей,
И на одре без радостных ночей
Привстала, бедная: в очах горит мученье,
Страдальческим огнем блестит безумный взор,
Блуждает жалобный и молит облегченья…
Еще проходит миг; вновь тянутся мгновенья
И рвется из груди чуть слышимый укор:
«Нет жалости у вас! Постойте! вы так больно,
Так часто мучите меня,
Минуты нет покойной. Нет! Довольно
Страдала я в сей жизни; силы нет…»

Приведенные стихотворения говорят достаточно ясно о том, какое безотрадное настроение охватывало поэта всякий раз, когда он начинал размышлять о своем настоящем.

Особенно печально был он настроен в самые последние годы своей жизни. Его предсмертная тоска всего яснее отразилась на его стихотворении «Моя Пери», которое он сочинил в Карагаче, в Грузии, в 1838 году, то есть за год до кончины. Это единственное из всех его произведений, в котором он изменил своей любви к людям и жизни, почувствовал полное свое одиночество и с радостью готов был променять земную жизнь на любую воздушную отчизну. В сборнике его стихотворений эти мрачные строки – одни из самых грациозных.

Взгляни, утешь меня усладой мирных дум,
Степных небес заманчивая Пери;
Во мне грусть тихая сменила бурный шум,
Остался дым от пламенных поверий…
Теперь, топлю ли грусть в волнении людей,
Меня смешит их суетная радость;
Ищу я думою подернутых очей.
Люблю речей задумчивую сладость.
Меня тревожит смех дряхлеющих детей,
С усмешкою гляжу на них угрюмый;
Но жизнь моя цветет улыбкою твоей,
Твой ясный взор с моей сроднился думой.
О, Пери! улети со мною в небеса
В твою отчизну, где все негой веет,
Где тихо и светло, и времени коса
Пред цветом жизни цепенеет.
Как облако плывет в иной, прекрасный мир
И тает, просияв вечернею зарею,
Так полечу и я, растаю весь в эфир
И обовью тебя воздушной пеленою.

XVIII

Была и еще область чувств и ощущений, куда поэт спасался всякий раз, когда тягота действительности давала себя слишком чувствовать. Это были его личные воспоминания. Они в нем были так свежи, что перед ними бледнело настоящее.

Так много ценного, светлого и радостного было в этих воспоминаниях, что жизнь, которая хоть на мгновение могла дать человеку такую радость и такой свет, была в глазах поэта навсегда оправдана.

Одоевскому даровано было радостное безоблачное утро, и мы знаем, как оно было согрето материнской любовью. Любовь к покойнице, столь рано отлетевшей, Одоевский сочетал со своей любовью к людям:

Тебя уж нет, но я тобою
Еще дышу;
Туда, в лазурь, я за тобою
Спешу, спешу!
Когда же ласточкой взовьюсь я
В тот лучший мир,
Растаю и с тобой сольюсь я
В один эфир –
Чтоб с неба пасть росой жемчужной,
Алмазом слез
На бедный мир, где крест я дружно
С тобою нес.
Но на земле блеснув слезами,
Взовьюся вновь
Туда, где вечными зорями
Блестит любовь.

«К отлетевшей», 1828

Такое же глубокое чувство питал он и к своему отцу, которого, к счастью для себя, пережил, хотя всего лишь несколькими месяцами. Трудно найти более нежное стихотворение, чем то, с каким он обращался к отцу в 1836 году. Он писал ему:

Всю жизнь, остаток прежних сил,
Теперь в одно я чувство слил,
В любовь к тебе, отец мой нежный,
Чье сердце так еще тепло,
Хотя печальное чело
Давно покрылось тучей снежной.
Проснется ль тайный свод небес,
Заговорит ли дальний лес,
Иль золотой зашепчет колос –
В луне, в туманной выси гор
Всегда мне видится твой взор,
Везде мне слышится твой голос.
Когда ж об отчий твой порог
Пыль чуждую с иссохших ног
Стряхнет твой первенец – изгнанник!
Войдет – растает весь в любовь,
И небо в душу примет вновь,
И на земле не будет странник?
Нет, не входить мне в отчий дом
И не молиться мне с отцом
Перед домашнею иконой;
Не утешать его седин,
Не быть мне от забот, кручин
Его младенцев обороной!

«Послание к отцу», 1836

В раздумье над своей судьбой Одоевский спрашивал однажды Провиденье:

Зачем земли он путник был,
И ангел смерти и забвенья,
Крылом сметая поколенья,
Его коснуться позабыл?
Зачем мучительною тайной
Непостижимый жизни путь
Волнует трепетную грудь?
Как званый гость, или случайный,

Пришел он в этот чуждый мир,
Где скудно сердца наслажденье
И скорби с радостью смешенье
Томит как похоронный пир?
«Элегия», 1830

На этом похоронном пиру он имел, однако, друзей, которых любил искренно.

Дружба, мы знаем, не изменяла ему ни разу во всю его жизнь. Он был любимцем своих товарищей, Вениамином в их семье; и сколько счастливых минут эта дружба принесла ему! Когда один из товарищей привез ему привет от курганских ссыльных, он, чувствуя, какую волну до самозабвения радостных воспоминаний этот привет поднял в его сердце, писал им:

Так путники идут на богомолье
Сквозь огненно-песчаный океан,
И пальмы тень, студеных вод приволье
Манят их в даль... лишь сладостный обман
Чарует их; но их бодреют силы,
И далее проходит караван,
Забыв про зной пылающей могилы.
«А.М. Янушкевичу»[139], 1836

Кажется, что и любовь, в тесном смысле этого слова, была одной из тех красот мира, которыми Одоевский успел насладиться. Нам, впрочем, ничего не известно об его сердечных привязанностях, но в двух стихотворениях есть несомненный их отблеск, есть намек на счастье, которое могло бы осуществиться, если бы поэт нечаянно не умер заживо. Оба стихотворения написаны в очень минорном тоне, но в этих грустных словах заключена радость очарованья:

Еще твой образ светлоокий
Стоит и дышит предо мной;
Как в душу он запал глубоко!
Тревожит он ее покой.
Я помню грустную разлуку:
Ты мне на мой далекий путь,
Как старый друг, пожала руку
И мне сказала: «не забудь»!
Тебя я встретил на мгновенье,
На век расстался я с тобой!
И все – как сон! Ужель виденье –
Мечта души моей больной?
Но если только сновиденье
Играет бедною душой,
Кто даст мне сон без пробужденья?
Нет, лучше смерть и образ твой!
«Мой непробудный сон», 1827

Как носятся тучи за ветром осенним,
Я мыслью ношусь за тобою;
А встречусь – забьется в груди ретивое,
Как лист запоздалый на ветке.
Хотел бы – как небо в глубь синего моря –
Смотреть и смотреть тебе в очи!
Приветливой речи, как песни родимой
В изгнанье хотел бы послушать:
Но света в пространстве падучей звездою
Мелькнешь, ненаглядная, мимо –
И снова не видно, и снова тоскую,
Усталой душой сиротея.
«К **»

Но ощущение сиротства не могло поколебать веры поэта в святость и силу любви: ему стоило только оглянуться, чтобы иметь перед глазами пример такой самоотверженной и ни перед чем не отступающей привязанности; и Одоевский преклонился перед подвигом тех жен и невест, которые последовали в Сибирь за своими избранными и мужьями. Об этих «ласточках», которые прилетели в их тюрьму, этих «ангелах, низлетевших с лазури, небесных духах, видениях, одевших прозрачные земные пелены», об этих «благих вестниках Провиденья», которые каждый день садились у ограды их тюрьмы и умиротворяли их печали, поэт вспоминал с истинным умилением («Далекий путь», 1831)[141], («В альбом М.Н. Волконской», 1829).

Одоевский мог вспомнить также с благодарностью и о чисто внешнем блеске жизни, который тешил его во дни его свободы. И из этого круга светского веселья он также не вынес ни одного неприятного воспоминания. Обычного, очень распространенного тогда глумления над пустотой и бессердечностью этого светского круга мы не находим в его стихах; мы встречаем, наоборот, редкую способность смотреть с высоты на внешние прикрасы жизни, смотреть на них философски, не гоняясь за ними, и не тоскуя о них, как тосковали нередко многие самые злые их обличители…

Вот в каких словах прощался поэт с этим вихрем веселья[142]:

Открылся бал. Кружась, летели
Чета младая за четой;
Одежды роскошью блестели,
А лица – свежей красотой.
Усталый, из толпы я скрылся,
И жаркую склоня главу,
К окну в раздумьи прислонился
И загляделся на Неву.
Она покоилась, дремала,
В своих гранитных берегах,
И в тихих, сребрянных водах
Луна, купаясь, трепетала.
Стоял я долго; зал гремел…
Вдруг без размера полетел
За звуком звук. Я оглянулся;
Мороз по телу пробежал.
В душе мыслит красна девица:
«Свет он мне в могильной тьме…
Встань, неси меня, метелица,
Занеси в его тюрьму!
Пусть, как птичка домовитая,
Прилечу и я к нему,
Притаюсь, людьми забытая».

Свет меркнул… Весь огромный зал
Был полон остовов… четами
Сплетясь, толпясь, друг друга мча,
Обнявшись желтыми костями
Кружася, по полу стуча,
Они зал быстро облетали.
Лиц прелесть, станов красота,
С костей их все покровы спали;
Одно осталось: их уста,
Как прежде, все еще смеялись,
Но одинаков был у всех
Широких уст безгласный смех.
Глаза мои в толпе терялись:
Я никого не видел в ней:
Все были сходны, все смешались:
Плясало сборище костей.

«Бал», 1827

В этой пляске смертей нас не может не поразить ее философское спокойствие. В отличие от всех danses macabres в ней нет ни сатиры, ни злорадства: ясный, трезвый взгляд на тленность всего мирского, среди

которого человек счастлив, если может сохранить улыбку. Этот безгласный смех пляшущих остовов – не насмешка над весельем мира, а как бы оправдание улыбки среди неизбежного крушения.

Когда живешь, окруженный могилами, как жил Одоевский, остается либо пожелать самому лечь скорее в землю – чего Одоевский никогда не желал, либо стремиться почерпнуть в этих гробах новые силы для подвига жизни – что наш поэт всегда и делал.

В одном очень интимном стихотворении («Два Образа», 1832) поэт сам говорит вполне откровенно о том, чем для него в жизни были могилы.

В ранней юности, говорит он, предстали мне два образа, вечно ясные, слились они в созвездие над моим сумрачным путем; я возносился к ним с благодарной молитвой, следил их мирный свет и жаждал их огня; и каждая черта их светозарной красы западала мне в душу. В отливе их сияния передо мной открылся мир чудес, он цвел их лучами –

И жаждал я на все пролить их вдохновенье,
Блестящий ими путь сквозь бури провести…
Я в море бросился и бурное волненье
Пловца умчало вдаль по шумному пути.
Светились две звезды: я видел их сквозь тучи;
Я ими взор поил; но встал девятый вал,
На влажную главу подъял меня могучий,
Меня недвижного понес он и примчал –
И с пеной выбросил в могильную пустыню;
Что шаг – то гроб, на жизнь – ответной жизни нет;
Но я еще хранил души моей святыню,
Заветных образов небесный огнь и свет.

Но, наконец, померкло мое небо и обе звезды упали на камни двух могил. Они рассыпались и смешались с прахом, и слить их в живую полноту я теперь бессилен –

И только в памяти, как на плитах могилы,
Два имени горят: когда я их прочту,
Как струны задрожат все жизненные силы,
И вспомню я сквозь сон всю мира красоту.

То, что в этих стихах сказано о каких-то образах, земное имя которых от нас скрыто, можно отнести ко всем впечатлениям и образам, с которыми Одоевскому пришлось столкнуться в короткие дни его счастливой и вольной жизни. Все его воспоминания были кладбищем, и все светлые и радостные чувства и ощущения – могильными плитами, говорившими о прошлом, но зато о таком хорошем и красивом прошлом, что поэт ни разу не пожалел о том, что остается среди живых и что ему приходится скрашивать свои будни созерцанием раскинувшегося перед ним кладбища.

XIX

Можно спросить, однако, неужели декабрьского дня было недостаточно для того, чтобы отнять у этого человека всякую любовь к жизни и всякую охоту миролюбиво ею восхищаться? Неужели этот день, день страшного разочарования, не мог навсегда оставить в сердце человека осадок горечи и злости, достаточный, чтобы вызвать в нем не только осуждение переживаемой минуты, но вообще отрицательное отношение к самому процессу жизни, к ее радостям, благам и идеалам?

А между тем пессимистический взгляд на жизнь, на судьбу человека и на его нравственную стоимость был чужд всем декабристам, даже наиболее пострадавшим из них, конечно, за исключением тех, на которых несчастие так сильно подействовало, что их душевное равновесие было навсегда поколеблено. Как бы ни было тяжело их несчастие, они не переносили своей печали с почвы личных ощущений на почву историко-философских обобщений.

Такая устойчивость в миросозерцании вытекала из непоколебимой веры в правоту тех основных гуманных взглядов и тех общественных идеалов, которые заставили их стать в ряды недовольных; и история оправдала эту веру тем, что в шестидесятых годах выполнила часть намеченной ими программы, а в наши дни обещает выполнить и остальную. Катастрофа 14 декабря была в их глазах крушением боевого плана, но не отрицанием самого мотива борьбы, и этот роковой день не отозвался в их сердце ни колебанием уверенности в правоте их убеждений, ни подрывом доверия к нравственным силам человека вообще.

XX

Кто был рожден для вдохновений
И мир в себе очаровал,
Но с юных лет пил желчь мучений
И в гробе заживо лежал;
Кто ядом облит был холодным
И с разрушительной тоской
Еще пылал огнем бесплодным
И порывался в мир душой,
Но порывался из могилы…
Тот жил! Он духом был борец:
Он, искусив все жизни силы,
Стяжал страдальческий венец.

«Элегия», 1830

– писал Одоевский в одной из своих элегий.

Эти слова – его эпитафия: так сжато и полно выражена в них вся сущность его внутренней жизни – а иной он не имел.

Поэтическое вдохновенье, как дар природы… любовь к миру и к людям… очарование красотой этого мира… пыл душевного огня, презирающий опасность… мимолетная улыбка свободы и счастья… живая могила… разрушительная тоска, и все-таки жизнь, жизнь, полная духовной борьбы… и над всем этим венец страдания…

Примечания

1. «Полное собрание стихотворений князя А.И. Одоевского» собрал барон А.Е. Розен. – СПб., 1883. «Сочинения князя А.И. Одоевского с биографическим очерком и примечаниями, составленными М.Н. Мазаевым. Ежемесячное приложение к журналу “Север” за июль 1893». «Собрание стихотворений декабристов». – Лейпциг, 1862, с. 7–44. Кроме кратких упоминаний в некоторых общих обзорах русской словесности А.И. Одоевскому посвящена статья А.Н. Сиротинина «Князь А.И. Одоевский. Биографический очерк» // «Исторический вестник», 1883, май. См. также: В.А. Тимирязев. «Пионеры просвещения в западной Сибири» // «Исторический вестник», 1896, том LXIV, с. 638–639.

2. Барон Розен ошибается, утверждая, что некоторые мелкие стихотворения Одоевского были напечатаны Пушкиным в «Литературной газете». (А. Розен «В ссылку. Записки декабриста». – М., 1900, с. 210). Единственное при жизни автора напечатанное стихотворение было «Сен Бернар», которое Плетнев поместил в «Современнике» 1838 года, (т. X, отд. III, с. 167).

3. Ср. М. Мазаев, XI.

4. Это был христианский идеализм, который выразился у Одоевского наиболее симпатичным образом. А. Пыпин «Общественное движение в России при Александре I». – СПб., 1885, с. 456–457.

5. А. Розен «Стихотворения кн. А.И. Одоевского». – СПб., 1883, с. 9, 10.

6. «Государственный архив» I. В., № 347. Дополнительные сведения об Одоевском имеются в нижеследующих делах этого архива: №№ 62, 113, 192, 208, 217, 222 и 229.

7. Письмо к тетке (1836) из Иркутска // «Русский архив», 1885, I, с. 130.

8. Из неизданных писем к В.Ф. Одоевскому, хранящихся в Имп. публичной библиотеке.

9. «Из переписки В.Ф. Одоевского», 1821, 2/х. 1823, 23/хп. // «Русская старина», 1904, февраль, с. 372, 377.

10. 1821 г. 10 октября – юнкер. 1822 г. 1 мая – эстандарт-юнкер. 1823 г. 23 февраля – корнет.

11. В корнеты он был произведен 23 февраля 1823 г.

12. Из неизданного письма 1822 г. $3/_{VI}$ из Великих Лук (Имп. публичная библиотека).

13. Из неизданного письма к В.Ф. Одоевскому, 1821, $24/_{VIII}$ (Имп. публичная библиотека).

14. «Из переписки В.Ф. Одоевского», 1823, $2/_{III}$ // «Русская старина», 1904, февраль, с. 376.

15. «Из переписки В.Ф. Одоевского», 1821, $2/_{X}$ // «Русская старина», 1904, февраль, с. 372.

16. В его письмах попадаются иногда очень милые остроты:

Лежачих не бьют, а особливо ослов; ты их тем заставишь только встать, чтобы снова лягаться.

Береги свою желчь, ибо и ее можно употребить на что-нибудь путное в сей странной жизни.

17. Из неизданного письма 1824 г. (Имп. публичная библиотека). Смысл этих писем не совсем соответствует словам барона А. Розена, который говорит, что Одоевский был христианин с «философическими воззрениями Канта и Фихте» («Полное собрание стихотворений А.И. Одоевского». – СПб., 1883, с. 10). Одоевский был в значительной степени равнодушен к философии.

18. Вот это неизданное стихотворение: оно не из сильных («Из переписки В.Ф. Одоевского», 1821, 5/х. // «Русская старина», 1904, февраль, с. 373–374:

…сбросив бремя светских уз,
В крылатые часы отдохновенья,
С беспечностью любимца муз,
Питаю огнь воображенья
Мечтами лестными, цветами заблужденья.
Мечтаю иногда, что я поэт,
И лавра требую за плод забавы,
И дерзостным орлом лечу, куда зовет
Упрямая богиня славы:
Без заблужденья – счастья нет.
За мотыльком бежит дитя во след,
А я душой парю за призраком волшебным,
Но вдруг существенность жезлом враждебным
Разрушила мечты – и я уж не поэт!
Я не поэт! – и тщетные желанья
Дух юный отягчили мой!
Надежда робкая и грустны вспоминанья
Гостьми нежданными явились предо мной.

19. Генерал Раевский, под началом которого он служил на Кавказе, продиктовав свои реляции, присылал их обыкновенно рядовому Одоевскому для просмотра и поправок[20].

20. Из неизданного письма 1824 г. 19/$_{III}$ (Имп. публичная библиотека).

21. «Воспитывался у моих родителей, – писал он в одном показании, – учители мои были: российского языка и словесности д. с. с. непременный секретарь Императорской российской академии Соколов; французского: Геро, Шопен; немецкого: Катерфельд; английского: Дайлинг; латинского: Белюстин, а потом Диц; греческого: Попов; истории и статистики: Арсеньев; (короткое время) и Диц; чистой математики Темясен; фортификации: Полевой и долговременной: Фарантов; физики: профессор Делош; законоучители: протоиереи Каменский и Мансветов».

22. Из записок Н.И. Лорера // «Русский архив», 1874, II, с. 646–647.

23. В письмах к В.Ф. Одоевскому // «Русская старина», 1904, февраль, с. 371–378.

24. Хомяков уверял Одоевского, что он (Одоевский) вовсе не либерал, а только предпочитает единодержавию тиранство вооруженного меньшинства[25].

25. Prince de mon âme – называл его А. Бестужев.

26. В. Лясковский «А.С. Хомяков». – М., 1897, с. 12.

27. Письмо было писано, впрочем, при таких условиях, что принимать его всецело на веру невозможно. Каковы бы ни были, однако, эти условия, письмо могло бы быть мягче. «Брат Александр! – писал ему Грибоедов, – подкрепи тебя Бог! Я сюда прибыл на самое короткое время. Государь наградил меня щедро за мою службу. Бедный друг и брат! зачем ты так несчастлив?.. Осмелюсь ли предложить тебе утешение в нынешней судьбе твоей! Но есть оно для людей с умом и чувством. И в страдании заслуженном можно сделаться страдальцем почтенным. Есть внутренняя жизнь, нравственная и высокая, независимая от внешней. Утвердиться размышлением в правилах неизменных, сделаться в узах и в заточении лучшим, нежели в самой свободе, – вот подвиг, который тебе предлагаю… Кто завлек тебя в эту гибель? Ты был хотя моложе, но основательнее прочих. Не тебе бы к ним причитаться, а им у тебя уму и доброте сердца позаимствовать[28].

28. Он удерживал Грибоедова от излишнего увлечения закулисными Цирцеями. «А.С. Грибоедов» // «Русская старина», 1874, том X, с. 276, а также «Русский архив», 1874, I, с. 1537.

29. Бестужев одно время жил в квартире Одоевского, и к нему же на квартиру скоро приехал Кюхельбекер; это подало повод Каховскому сказать на допросе, что иногда для совещаний заговорщики собирались у Одоевского.

30. «Одоевский по пылкости своей сошелся более с Рылеевым и очень ревностно взялся за дело», – показывал А. Бестужев.

31. В своих показаниях Одоевский отрицал этот факт.

32. Чего не было.

33. Одоевский отвергал это показание Бестужева.

34. Одоевский в произнесении этих слов также сначала не сознался и утверждал, вопреки истине, что он *никогда* не бывал на совещаниях общества; затем он признал, что слова действительно произносил, но настаивал на том, что на совещаниях никогда не был.

35. «Все же принятие в чем состоит? “Наш ли ты?” – “Ваш!” – шалость, конечно, противозаконная преступная сделалась по милости Рылеева ужасною».

36. Цель общества, как Одоевский говорил Рынкевичу, было достижение представительного правления посредством распространения просвещения (?).

37. Несмотря на очную ставку Одоевский показывал, что не получал этой копии и не читал конституции.

38. А. Розен «Полное собрание стихотворений кн. А.И. Одоевского». – СПб., 1883, с. 187 – 188.

39. «14 декабря» И. Пущина // «Всемирный вестник», 1903, VI–VII, с. 229. Ср. Д. Завалишин «Записки». – Мюнхен, 1904, I, с. 309.

40. «Собрание стихотворений декабристов». – Лейпциг, 1862, с. 14–15.

41. М. Корф «Восшествие на престол Императора Николая I». – СПб., 1857, с. 116.

42. У Одоевского при себе было два пистолета; один он уступил В. Кюхельбекеру. Одоевский должен был признать этот факт, хотя сначала отрицал его. Есть указание, что в пистолет, который он дал Кюхельбекеру, он насыпал песку, зная шальной нрав своего товарища.

43. Другое показание: «Я двадцать раз хотел уйти, но тут меня обнимали, целовали и, чтобы не показаться трусом, я остался, из дружбы также, сам не знаю отчего».

44. Ср. «14 декабря» И. Пущина // «Всемирный вестник», 1903, VI–VII, с. 235–237.

45. Шинель Одоевского, действительно, кто-то с него снял и затем в ней парадировал.

46. Н. Гастфрейнд «Кюхельбекер и Пущин в день 14 декабря 1825». – СПб., 1901, с. 10, 14, 18.

47. Свою растерянность и отсутствие всякого замысла Одоевский пояснял в своих показаниях иногда умышленной и, вероятно, ложной бравадой. «Сменившись с дворцового караула, – писал он, – и присягнув, я возвратился домой, разделся и, надев сюртук, сначала я поехал в конфетную лавку, а потом зашел к Рылееву для того, чтобы посмеяться над его мечтаниями, ибо все было тихо, и я полагал, что уже все предположения его, все его надежды рушились. Он отвечал мне: «иди на Исаакиевскую площадь, посмотри еще: может быть, что и будет». Я повторю, что в полки я поехал единственно из любопытства. Это должно быть согласно не только со всеми прочими показаниями, но оно явствует из самого дела. Если были какие-либо на кого возложены обязанности, то конечно не на меня, ибо *они* не могли на меня ни надеяться, ни полагаться».

48. «Чебышев – человек достаточный, – пишет Одоевский в другом показании, – добрый, с которым я уже знаком года два; что я зашел к нему, то это по весьма естественному случаю. Когда начали толпу разгонять, я пошел по Галерной улице и поворотил в переулок. Потом, зная, что все окружено войсками, некуда было мне идти более, как через Неву. Я перешел ее, увидел, что отряд конной гвардии идет по Васильевской набережной. Чтобы не встретиться с ним, пошел я налево вдоль домов по тротуару; конная гвардия была уже очень близка. Я очутился близко от дома Чебышева и зашел к нему. Сперва стоял я в сенях и думал: идти ли мне или нет? Наконец, решился. Сперва я увидел одних его племянниц, которые были в большом страхе и расспрашивали меня. Я сел и почти ничего не отвечал. Потом вошел и сам Чебышев. «Ты откуда?» Я скрепился духом, отвел его в другую комнату и сказал ему, что я замешан в этом безумном и преступном возмущении. Я употребил слово тогда «шалости», но теперь не смею и повторить такое непристойное слово, когда дело идет о злодеяниях. «Тебе делать ничего иного, как идти отдать шпагу и просить прощения у Государя». Я худо, очень худо сделал, что тотчас же не последовал совету этого доброго человека, но я был почти без памяти».

49. Писатель А.А. Жандр, «родственницу которого Одоевский спас, вытащив ее из воды». Рассказывали, что Жандр не выдал Одоевского явившимся к нему в дом сыщикам[50].

50. «Русская старина», 1874, том X, с. 157.

51. И. Данилов. «Забытая писательница» // «Исторический вестник», 1900, июль, с. 198. Мордвинов здесь, очевидно, спутан с Ланским.

52. Schnitzler. «Histoire intime de la Russie», I, с. 248.

53. «Декабристы в рассказе помощника квартального». – Берлин, 1903, с. 20–26. Рассказ этот перепечатан под заглавием «Из воспоминаний петербургского старожила» в «Историческом вестнике», 1904, январь.

54. «Записки князя Трубецкого». – Лейпциг, 1874, с. 22.

55. «Записки М. Бестужева» // «Русская старина», 1870, I, с. 274 (II издание).

56. Очень характерно, что такие показания он предполагал известными. Когда его потом спрашивали, кто убийца Милорадовича, то он высказал свои подозрения и готов был также повторить их на духу.

57. После этих слов вступления начинаются самые показания, с которыми мы уже знакомы.

58. Ср. рассказ о проруби.

59. Неподтвержденный факт. Слова, вероятно, продиктованы расстроенным воображением.

60. «И как увижу, – пишет он в другом показании, – Вашу снисходительность, то весь от чувств расстроюсь и половину забуду».

61. Донесение комиссии о разрядах, с. 35.

62. Н. Басаргин «Записки», с. 56.

63. А. Беляев «Воспоминания декабриста», с. 204.

64. Жизнь декабристов в Чите и в Петровском заводе подробно рассказана по этим сведениям С. Максимовым «Сибирь и каторга», III, гл. 2. Много архивных сведений дано в книге Дмитриева-Мамонова «Декабристы в Западной Сибири».

65. Д. Завалишин «Записки», II, с. 80–81, 164.

66. А. Беляев «Воспоминания декабриста», с. 212–213.

67. Д. Завалишин «Записки», II, с. 86–87.

68. «К частоколу в разных местах виднелись дорожки, протоптанные стопами наших незабвенных добрых дам, – пишет Беляев. – Каждый день по несколько раз подходили они к скважинам, образуемым кривизнами частокола, чтобы поговорить с мужьями, пожать им руки, может быть, погрустить вместе, а может быть, и ободрить друг друга в перенесении наложенного тяжелого креста. Сколько горячих поцелуев любви, преданности, благодарности безграничной уносили эти ручки, протянутые сквозь частокол! Сколько, может быть, слез упало из прекрасных глаз этих юных страдалиц на протоптанную тропинку. Всю прелесть, всю поэзию этих посещений мы все чувствовали сердцем; а наш милый поэт Ал. Иванович Одоевский воспел их чуднозвучными и полными чувства стихами»[69].

69. А. Беляев «Воспоминания декабриста», с. 231.

70. Существовала целая комиссия для выработки устава внутреннего управления этой «общиной». В комиссии принимал участие и Одоевский[71].

71. Д. Завалишин «Записки», II, с. 225.

72. Одоевский был очень хороший музыкант.

73. Д. Завалишин «Записки», II, с. 94, 95, 97.

74. Среди декабристов в Чите образовалось целое религиозное общество, которое называлось «конгрегация». О нем, вероятно, и идет речь у Басаргина[75].

75. Ср. А Сиротинин. «Князь А.И. Одоевский» // «Исторический вестник», 1883, май, с. 400.

76. Н. Басаргин «Записки», с. 86.

77. Д. Завалишин «Записки», II, с. 103.

78. «Из записок Н.И. Лорера» // «Русское богатство», 1904, VII, с. 78–79.

79. Сам барон Розен пояснял своим товарищам личное освобождение крестьян Прибалтийских губерний из крепостной зависимости без наделов земли, без всяких выкупных договоров, но с общим правом приобретения земельной собственности по обоюдным соглашениям.

80. А. Розен «Полное собрание стихотворений А.И. Одоевского», с. 10–12.

81. Одоевский сочинил в каземате даже целую грамматику русского языка[82], и Розен хранил у себя основные правила этой грамматики, записанной рукой Одоевского[83]. К собранию сочинений Одоевского Розен приложил письмо Александра Ивановича (очевидно, к князю Вяземскому, как утверждает Розен), из которого видно, что декабристы имели намерение издавать альманах «Зарница» в пользу невольно заключенных и просили у столичных литераторов содействия[84]. Письмо подписано Z.Z. но, судя по стилю и тону, едва ли принадлежит Одоевскому.

82. А. Беляев «Воспоминания декабриста», с. 241.

83. А. Розен «Записки». – Лейпциг, 1874, с. 230.

84. А. Розен. Стихотворения кн. А.И. Одоевского, с. 189.

85. А. Розен. Стихотворения кн. А.И. Одоевского, с. 7.

86. А. Розен «Записки», с. 255.

87. А. Беляев «Записки декабриста», с. 242.

88. Н. Басаргин «Записки», с. 127.

89. Сведения о сибирской жизни Одоевского и переписка его отца с властями по вопросу о перемещении сына в разные города Сибири и о свидании с ним хранятся в Архиве III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии[90].

90. I экспедиция, № 61, часть 86.

91. Он располагал суммой в 1000 рублей ежегодно.

В 1833 году Одоевский пожелал помочь из своих денег трем товарищам, которые были выпущены на поселение и очень нуждались. Он просил своего дядю Ланского высылать ему ежегодно 6000 рублей и хотел 3000 рублей из этой суммы уделить товарищам. Дело о разрешении этой присылки дошло до Государя, который отказал в просьбе. Одоевскому было выставлено на вид, что по своему положению он имеет право получать лишь 1000 рублей ежегодно.

92. Инвентарь этого хозяйства сохранился по описи Волостного Головы, который ее составил, когда Одоевский покидал Елань и передавал барону Штейнгелю свое имущество. Опись довольно любопытна. Вот она, с сохранением орфографии оригинала.

Наименование имуществу.

Земли самим расчищенной – $1^1/_2$ дес.

Земли нанятой у крестьян на разные сроки от 4 до 20 лет – $16^1/_2$ дес.
Из них засеянных разным хлебом – 13 дес.
Дом деревянный с пристроенною горницею, отщекоторенную внутри – 1.
При нем амбар.
Скотников с поветами – 2.
Огород.
В горнице благословение Божие образ святителя Инокентия без оклада.
Мебели: картина масляными красками писанная в золотых рамах.
Другая гравированная в черных рамах с прозолот. по краям.
Столярной работы из березового дерева шкаф со стеклами.
Книжных шкафов – 2, ширмы, диван, кровать, бараметр.
Форто-пьяна (оставлена с тем чтобы зимою переслать).

Разных вещей: ложек серебренных – разливальная; хлебальных больших – 2, чайных – 2, поднос лаковый, чайник фарфоровый, чашек фарфоровых – 3 пары, скатерть, салфеток – 2, кофейная мельница, графин хрустальный, рюмок – 3, стакан, миска фаянцовая, тарелок глубоких – 2, тарелок мелких – 2. Блюдо.

Кухонной посуды: кастрюль больших – 1, малых – 1, сковород – 2, нож поварской, ухват, сковородник.

При доме: лошадей – 4, корова – 1, свиней – 4, из коих две прапали и одну убили. Коробок с 4 камнями уборными, телег – 3, сани – 1, дровень – 2, дрогов – 6, сох – 4, борон железных – 3, деревянная – 1, хомутов наборных – 1, простых – 6, шлей – 5, недоуздков – 3, узд – 5, дуг – 2, топоров узких – 2, широких – 1, долот – 2, седелка железная – 1, серпов новых – 6, старых – 3, кос новых – 4, старых – 3, горбуш – 2.

93. Иркутский генерал-губернатор подтверждал искренность раскаяния Одоевского и действительность его недуга. Письмо Одоевского было оставлено, однако, без производства.

94. Где князь Иван Одоевский бывал сам, когда командовал драгунским полком в Сибири.

95. Тяжело читать эти письма. Желая задобрить Бенкендорфа, князь Иван Одоевский не скупится на бранные слова по адресу товарищей своего сына, этих «мерзавцев», которые его увлекли: он говорит, что стыдится сына и что и его следовало повесить, как тех «монстров». Он восторженно отзывается об Императоре Николае, пишет, как он боялся, чтобы царь и Бенкендорф не простудились на смотру, выражает свой неописуемый восторг по поводу подавления польского восстания, поздравляет восторженно Бенкендорфа с графским титулом – и все это затем, чтобы в конце каждого письма напомнить о сыне и просить за него.

96. Дмитриев-Мамонов «Декабристы в Западной Сибири», с. 135–136.

97. «Из записок Н.И. Лорера» // «Русский архив», 1874, I, с. 366–368.

98. Латинские слова в воспоминаниях Сатина опущены.

99. «Из воспоминаний Н.М. Сатина» // «Почин». – М., 1895, 243–244.

100.«Из автобиографических рассказов бывшего кавказского офицера» // «Русский архив», 1881, II, с. 231.

101. А. Розен «В ссылку». – М., 1900, с. 208–209.

102. «Полярная звезда», 1861, VI, с. 338 и след. Статья «Кавказские воды».

103. Огарев и в стихах вспоминал своего друга:
«Кого я глубоко любил,
Он – муж по твердости и нежный как ребенок,
Чей взор был милосерд и полон кротких сил,
Чей стих мне был как песнь серебряная звонок, –
В свои объятия меня он заключил,
И память мне хранит сердечное лобзанье,
Как брата старшего святое завещанье».

104. А. Беляев «Записки декабриста», с. 413.

105. «Из записок Н.И. Лорера» // «Русский архив», 1874, II, с. 646–647.

106. А. Розен «Стихотворения кн. А.И. Одоевского», с. 192–193.

107. «Из записок Н.И. Лорера» // «Русский архив», 1874, II, с. 649–650.

108. «Воспоминания Г.И. Филипсона». – М., 1885, с. 202–204.

109. «Воспоминания Г.И. Филипсона». – М., 1885. 202–204.

110. А. Розен «Стихотворения кн. А.И. Одоевского», с. 17, 18.

111. «Воспоминания Г.И. Филипсона», с. 202–204.

112. «Из записок Н.И. Лорера» // «Русский архив», 1874, II, с. 651.

113. А. Розен «Стихотворения кн. А.И. Одоевского», с. 19, 20.

114. П. Каратыгин «Воспоминания» // «Русская старина», 1875, том XII, с. 736.

115. А. Розен «Стихотворения кн. А.И. Одоевского», с. 9.

116. Н. Гастфрейнд «Кюхельбекер и Пущин», с. 36.

117. Роман «Село Михайловское или помещик XVIII столетия» был написан в 1828–1836 годах, но по цензурным условиям увидел свет лишь в 1866 году. Три главных действующих лица этого романа: За-

ринский, Ильменев и Рузин списаны – как утверждают близкие знакомые автора – с князя Одоевского, Рылеева и Грибоедова. Действие рассказа происходит в XVIII веке, в кругу старой помещичьей жизни и вертится главным образом вокруг разных любовных интриг, описанных и развитых в стиле старых романов «с приключениями». Автор подражал, очевидно, Вальтер Скотту, но не вполне удачно. Рассказ страшно растянут (4 тома) и полон совсем невероятных драматических положений. Роман имеет, впрочем, и свои достоинства (которые заставили Пушкина похвалить его, когда он прочел первые главы в рукописи). Несмотря на все невероятности интриги (даже мертвые воскресают), рассказ в некоторых своих частях правдив и реален. Хороши, например, описания быта духовенства высшего и низшего (в литературе 30-х годов нет этим описаниям параллели – в чем их большая ценность) и очень правдивы рассказы о разных помещичьих насилиях над крестьянами (эти страницы и сделали невозможным появление романа в печати). Нужно отметить, что во всем ходе рассказа нет решительно ничего схожего с историей декабрьского происшествия или с историей жизни того или другого декабриста[118].

118. И. Данилов. «Забытая писательница» // «Исторический Вестник», II, 1900, июль, с. 193–205.

119. «Село Михайловское». – СПб., 186 51, 53, 55, 57, 60, 65, 207, 208, 227, II, 134, 213, III, 4, 7, 10, 213, 223.

120. А. Розен «Записки», 1870. – Лейпциг, с. 364.

121. А. Розен «Записки», с. 260.

122. А. Беляев «Воспоминания декабриста», с. 206.

123. Из Пятигорска // «Русская старина», 1904, июль, с. 161.

124. С Д.В. Веневитиновым Одоевский первый и единственный раз встретился в 1824 году на балу у графа Апраксина. Веневитинов произвел на Одоевского глубокое впечатление своей «меланхолией, полной грусти улыбкой и иронией». Стихи Веневитинова Одоевский ценил высоко за их «глубокое чувство, столь редко встречающееся в русских стихотворениях».

125. «О трагедии Венцеслава, сочинение Ротру, переделанной г. Жандром» // «Сын отечества», 1825, т. XCIX и «Перечень из писем к издателям “Сына отечества” из Москвы» // «Сын отечества», 1825, т. CII.

126. Первая, вторая и четвертая части поэмы сохранились: третью потерял Беляев. В ней был заговор Давида о погублении Василька, вступление Василька с дружиной в Киев, посещение ими храма, раздача милостыни, наконец, явление Василька во дворец к Святополку, его арест и отправление за город // «Русская старина», 1882, XXXIV, с. 564.

127. «Собрание стихотворений декабристов». – Лейпциг, 1862, с. 32.

128. Д. Завалишин «Записки», II, с. 145, 149.

129. Вот это стихотворение:

Недвижимы, как мертвые в гробах,
Невольно мы в болезненных сердцах
Хороним чувств привычные порывы;
Но их объял еще не вечный сон,
Еще струна издаст бывалый звон –
Она дрожит – еще мы живы!
Едва дошел с далеких берегов
Небесный звук спадающих оков
И вздрогнули в сердцах живые струны –
Все чувства вдруг в созвучие слились…
Нет, струны в них еще не порвались!
Еще, друзья, мы сердцем юны!
И в ком оно от чувств не задрожит?
Вы слышите: на Висле брань кипит! –
Там с Русью лях воюет за свободу
И в шуме битв поет за упокой
Несчастных жертв, проливших луч святой
В спасенье русскому народу.
Мы братья их! Святые имена
Еще горят в душе: она полна
Их образов, и мыслей, и страданий.
В их имени таится чудный звук:
В нас будит он всю грусть минувших мук,
Всю цепь возвышенных мечтаний.
Нет, в нас еще не гаснут их мечты!
У нас в сердца их врезаны черты,
Как имена в надгробный камень.

Лишь вспыхнет огнь во глубине сердец,
Пять жертв встают пред нами; как венец,
Вкруг выи вьется синий пламень…
Сей огнь пожжет чело их палачей,
Когда пред суд властителя царей
И палачи и жертвы станут рядом…
Да судит Бог!.. А нас, мои друзья,
Пускай утешит мирная кутья
Своим таинственным обрядом[130].
1831

130. «Собрание стихотворений декабристов». – Лейпциг, 1862, с. 35–36.

131. Оно ходило по рукам в массе списков[132].

132. Один список был прислан в редакцию «Русской старины» крестьянином Самсоновым // «Русская старина», 1875, IX, с. 47.

133. В особенности Завалишин, который говорил, что Одоевский раньше наделял царское семейство язвительными эпитетами, а затем написал это стихотворение. Д. Завалишин «Декабристы» // «Русский Вестник», 1884, II, с. 856–857.

134. А. Розен «Записки». – Лейпциг, с. 364.

135. «Следует заметить, – справедливо указывает Н. Мазаев, – что эта милость коснулась не одного Одоевского, а одновременно и других декабристов, находившихся с ним в одном разряде»[136].

136. М. Мазаев «"Стихотворения" кн. А.И. Одоевского», IX.

137. Перечитывая через год это стихотворение в списке барона Розена, Одоевский прибавил следующие строки:

«И что не мерзлый ров, не снеговой увал
Нас мирно подарят последним новосельем,
Но кровью жаркою обрызганный чакал
Гостей бездомных прах разбросит по ущельям?[138]

138. М. Мазаев «Стихотворения» кн. А.И. Одоевского», 71.

139. С А.М. Янушкевичем Одоевский познакомился в Ишиме. Янушкевич, польский патриот, человек очень образованный и много путешествовавший, был сослан в Сибирь за антиправительственную агитацию. С Одоевским в Ишиме он поделился той кипарисной веткой, которую сорвал в Италии на могиле Лауры, и Одоевский отблагодарил его в трогательном стихотворении «А.М. Янушкевичу, разделившему со мною ветку с могилы Лауры»[140].

140. «Из записок Н.И. Лорера» // «Русский архив», 1874, I, с. 363–364.

141. «С другом любо и в тюрьме!»
В душе мыслит красна девица
«Свет он мне в могильной тьме…
Встань, неси меня, метелица,
Занеси в его тюрьму!
Пусть, как птичка домовитая,
Прилечу и я к нему,
Притаюсь, людьми забытая».

142. Он сложил это стихотворение, когда ночью на пути в Сибирь он проезжал мимо дома князя Кочубея, где в тот вечер был блестящий бал.

Александр Александрович Бестужев

«Многие ценят слишком высоко мои сказки, никто – меня самого, никто – моей печальной истории», – писал однажды Александр Бестужев в одном частном письме.

Действительно, в богатом собрании повестей этого, некогда столь популярного романиста недостает одной, быть может, самой интересной, это – повести об его жизни. Рассказ о ней мог бы скрасить все собрание – так своеобразен был психический мир этого художника, так богата приключениями была эта жизнь, печальная и бурная жизнь агитатора, поселенца и лихого солдата.

Личность Бестужева – одна из самых ярких личностей той эпохи. На различных поприщах проявляла она свою силу в тогдашнем обществе: ее можно было встретить в светских, литературных и политических кружках, и она в них никогда не оставалась в тени, а стояла на первом плане; с ней можно было столкнуться на страницах журнала, в отделе критики, где она задорно и резко полемизировала и выделялась новизной своих критических взглядов и приемов; наконец, она же проглядывала так ясно в целом ряде повестей и рассказов, всегда занимательная, оригинальная, с умными мыслями, бурными чувствами, хотя, правда, с несколько однообразным настроением. Нельзя было пройти мимо нее, ее не заметив.

I

Семья, в которой Бестужев (родился в 1797 году) вырос, была одной из самых образованных семей своего времени. Глава семьи – отец троих декабристов, Александра, Николая и Михаила Бестужевых, – Александр Федосеевич был не только человек очень просвещенный, но и писатель с талантом. Имя его в истории русской мысли тесно связано с судьбой одного старого либерального журнала («С.-Петербургский журнал», 1798), издававшегося в самое нелиберальное время. А.Ф. Бестужев был его редактором вместе с другим известным деятелем того времени – И.П. Пниным. Журнал, не чуждый вопросов политических и социальных, был, конечно, недолговечен и скоро скончался, но литературная деятельность его редактора не изменила своего направления; он оставался по-прежнему верен своему просвещенному и либеральному образу мыслей, и в царствование Александра I стал известен как педагог и публицист. Написанные им книги, посвященные главным образом вопросу о воспитании военного юношества, проповедовали педагогику и мораль самую гуманную. Старый либерал основывал свою программу воспитания на взаимном доверии, на развитии естественных склонностей ребенка, на возбуждении в нем симпатии к ниже его стоящим, на эстетическом образовании души, на полном отказе от наказаний телесных, на чувстве солидарности, и вообще на всех благородных человеческих инстинктах и взглядах.

Нет сомнения, что отец придерживался всех этих правил в воспитании, какое давал своим собственным детям (их было у него пять сыновей и три дочери); по крайней мере, все, что нам известно о детстве его сына Александра, подтверждает все параграфы этой педагогической системы.

С «прилежным Сашей», любимцем своего родителя, мы знакомимся впервые в отцовской библиотеке, когда он, с огромной книгой в руках, сидит, маленький, в больших вольтеровских креслах и забавляет своих братьев рассказами о быте разных инородцев, калмыков, самоедов и алеутов, почему-то очень его интересовавших. Впрочем, чем только этот ребенок тогда не интересовался! В кабинете отца помещался целый музей минералов, камней, древностей и всяких редкостей... стояли шкафы с книгами и висели картины знаменитых художников, эстампы граверов, модели пушек, крепостей и архитектурных зданий. Все это возбуждало детское любопытство ребенка; но больше всего оно было возбуждено книжными шкафами, ключи от которых отец доверял своему любимцу. Мальчик перетаскал немало книг из этих шкафов, и его брат запомнил заглавия наиболее любимых. Это были «Видение в прирейнском замке», «Ринальдо Ринальдини», «Тысяча и одна ночь» и тому подобные страшные и причудливые рассказы.

Чтение, возбуждавшее фантазию ребенка, дополнялось беседами, которые образовывали его ум. В доме отца, который тогда служил при Академии художеств, собиралось избранное общество ученых и артистов, и ребенок мог «всасывать всеми порами тела благотворные элементы окружающих его стихий», – как выражался, подделываясь под стиль своего брата, Михаил Бестужев в своих записках.

Во всяком случае, это было счастливое детство. «Дружеские беседы без принуждения, где веселость сменялась дельными рассуждениями, споры без желчи; поучительные рассказы без претензии на ученость, нежная любовь родителей, их доступность и ласки без баловства и без потворства к проступкам; полная свобода действий с заветом не переступать черту запрещенного» – таковы были первые впечатления и правила, которыми жизнь ответила на чуткую любознательность и впечатлительность ребенка.

На десятом году Александр Бестужев был отдан в Горный корпус. Специальное заведение, вероятно по контрасту, повысило в нем его пристрастие к словесности. С первого дня поступления в Корпус мальчик принялся за дневник, где дал большую волю своему юмору и сентиментальности, своей саркастической речи и пылкому воображению. Дневник этот, кажется, сожженный в 1825 году, был украшен очень

стильным эпиграфом: «рука дерзкого откроет; другу я сам покажу», и тот друг, которому мальчик показал его, рассказывает, что сентиментальные страницы этих детских признаний были все испещрены художественно исполненными карикатурами: недаром нашему кадету и его старшему брату Николаю лучшие профессора живописи давали уроки рисования.

Прирожденные Бестужеву сарказм и насмешка и речь «с пеной и брызчиком шампанского», как выражался его брат Михаил, проявились, как видим, очень рано.

Рано стала сказываться в Бестужеве и та черта характера, которая потом развилась в нем с особенной силой, и, действительно, как брызги шампанского, придавала особую игру его стилю, именно – экзальтация чувства. Еще кадетом пародировал он не то Карла Моора, не то Ринальдо, изображал начальника шайки разбойников и готов был даже рисковать жизнью своей и своих товарищей в разных довольно опасных экспедициях на воде и суше. Все это были, конечно, шалости, но в них-то темперамент человека прежде всего и обнаруживается.

Мальчик вносил эту экзальтацию и в свои школьные занятия. «Желание первенствовать, отличаться во всем и над всеми было уже в те лета преобладающим элементом его характера, – рассказывает его брат Михаил, – и потому он очень болезненно воспринимал всякий учебный неуспех в классе. Он брал штурмом хорошую отметку, но это он делал, кажется, больше для насыщения своего самолюбия, чем утоления своей жажды знания. Специалистом горного дела он никогда бы не стал, тем более что ненавидел математику и по-прежнему продолжал любить литературу».

Бестужева очень занимала тогда разработка одного литературного сюжета, которому он подобрал романтическое заглавие: «Очарованный лес». «В этом «лесу» автор уже являлся перед публикой не замарашкой, как в дневнике, – говорит его брат, – а в костюме мальчика, выехавшего впервые на гулянье». «Очарованный лес» была довольно большая пьеса, в пять актов, составленная для кукольного театра, который кадеты устроили общими силами. Все, что Бестужев только мог заметить особенного в «Днепровской русалке», «Князе-невидимке», «Волшебной флейте» или «Тысяче и одной ночи», – все было пересоздано и помещено в этой пьесе. Тут был и храбрый князь, и очарованная княжна, волшебницы, русалки и черти. Язык действующих лиц был очень хорошо приноровлен к характерам, хоры охотников и русалок были написаны стихами, а речи подземных обитателей мерною прозой.

Этот «лес», кажется, также погорел в роковом 1825 году.

Простая случайность прервала совсем неожиданно течение школьной жизни Бестужева в Корпусе. Его старший брат Николай был назначен в крейсерство с гардемаринами и взял к себе на фрегат нашего кадета. Два месяца проплавал он на этом фрегате и заявил, что в недра земли спускаться больше не желает, что предпочитает своим шахтам свободу и раздолье на море. Он чрезвычайно быстро приноровился к новой обстановке моряка, с которой вообще так трудно новички сживаются. Его брат дивился быстрому перелому в его вкусах и интересах, сначала обуздывал его пыл и не позволял ему жить жизнью настоящего матроса, но потом уступил, и наш кадет бросился в матросский омут очертя голову. У офицера замирало сердце, когда он видел, как его брат из молодчества бежал, не держась, по рее, или спускался вниз головою по одной веревке с самого верха мачты, или, катаясь на шлюпке в крепкий ветер, нес такие паруса, что бортом черпал воду. Мальчик живьем проглотил матросское мастерство, матросскую терминологию вооружения и командные слова.

Результатом этой морской прогулки были опять-таки прежде всего литературные планы. Бестужев решил написать роман или драму из жизни моряков, в герои которой выбрал своего родителя. Он в данном случае не навязывал своему отцу никакой романтической роли. Александр Федосеевич, действительно, в молодости своей служил во флоте и участвовал в битве близ острова Сескара, где с корабля «Всеволод» палил из пушек и был тяжело ранен обломком доски, оторванной от борта шведским ядром. Его сочли убитым, и ему предстояло быть выброшенным за борт; но нижние чины команды, которые его очень любили, упросили начальство сберечь его тело для христианских похорон на берегу. По окончании сражения при обмывании тела обнаружилось, что он жив[1]: ему отворотило только нижнюю челюсть.

Вот эту быль и хотел пересказать Бестужев, всецело охваченный впечатлениями своей морской прогулки. Ради этого романа забросил он и свой театр, вместо которого явилась теперь модель фрегата – новый предмет его увлечения. С редким умением и терпеньем приготовлял и приспособлял он разные микроскопические принадлежности к вооружению этой модели. Попеременно он переходил к разнообразным техническим занятиям: он то кроил и шил паруса, то скручивал оснастку, то работал ножом, долотом или стругом, то отливал оловянные пушки, то раззолочивал кормовую резьбу или резал носовую фигуру, то красил рангоут и корпус фрегата.

Даже игры его приняли теперь совсем морской оттенок. К самым высоким деревьям прикреплялись веревочные лестницы, Бестужев с братьями взбегал и подымался на веревках на самые вершины; устраивали они на них площадки, переговаривались с дерева на дерево сигнальными флагами, и когда сильный ветер нагонял грозу, они спешили на свои мачты, и там, при сильных размахах и скрипе тонкой вершины дерева, воображали себя в бурю на корабле. Внешняя красота и тревога морской жизни были, таким образом, не только изведаны, но даже искусственно воспроизведены, и мальчик под властью этих внешних впечатлений думал, что истинное его призвание – военная морская служба.

Он решил покинуть Горный корпус; отца уже не было в живых, а убедить мать было нетрудно. Сняв горную амуницию, Бестужев принялся с обычным ему рвением за приготовление к экзамену в гардемарины. «Но по мере того как его корабль, оставляя берег, приближался к этим заветным мирам, он с грустью замечал, что доступ к ним постоянно замкнут рифами дифференциальных и интегральных формул, о которые разбивалось его терпение: он слабел духом, его воздушные замки распадались по частям, и, наконец, пришлось отказаться от надежды стать моряком в настоящем смысле этого слова»...

Юноша переживал, вероятно, трудные минуты, пока не остановился на мысли утилизировать свои накопленные знания для нового дела: он решил, по примеру отца, стать артиллеристом... и опять игры стали перемешиваться с работой. Часы отдыха были посвящены постройке миниатюрных укреплений, которые он с братом разбивал стрельбою из маленьких пушек и мортир, взрыву мин и занятиям по лабораторной части; результатом их получились очень милые фейерверки со щитами и фонтанами.

Неизвестно, чем бы окончилась эта вторая военная игра, если бы генерал Чичерин, друг семьи Бестужева, не убедил неусидчивого молодого человека взглянуть на задачу жизни попроще: не требовать от дела занимательности в ущерб его практическому смыслу. Генерал рассуждал правильно, что надо отбыть неизбежное и позаботиться прежде всего об обер-офицерских эполетах. Он предложил Бестужеву вступить юнкером в лейб-драгунский полк, которым он командовал, чтобы через полгода, протянув солдатскую лямку, он мог стать офицером. Бестужев так и сделал, и в 1816 году надел юнкерский мундир, который, однако, «до боли тер его раздражительное самолюбие». Но дни бежали, и скоро закончился срок испытания. Бестужев отбыл его с благородной гордостью и необыкновенным терпением; и в 1817 году, наконец, был произведен в офицеры. Лейб-драгунский полк стоял тогда в Петергофе, Бестужев жил в Марли и здесь родился «Марлинский»[2].

II

Молодой и блестящий офицер не терял своего времени даром. Оно было разделено между обязанностями службы и занятиями литературными, которые в очень короткие сроки выдвинули Александра Александровича в первые ряды тогдашних литераторов. Успехи служебные и успехи светские, завидная роль блестящего кавалера, производящего раваж в женских сердцах, веселая жизнь с дуэлями из-за карикатурных рисунков, из-за острого словца или, наконец, даже из-за танцев[3], конечно, тешили Бестужева, лаская его самолюбие, тщеславие и гордость. Но в вихре разных увлечений он не терял интереса к серьезной стороне жизни, оставаясь типичным представителем либеральной военной молодежи, которая в те годы так умела сочетать военную выправку с дисциплиной ума и сердца.

Бестужеву эта дисциплина давалась легко, так как от природы он был одарен сильным умом, живой фантазией и сердцем очень добрым и мягким, несмотря на внешнее бравурство своего поведения.

Интерес Бестужева к умственному течению тех годов, равно как и его участие в политическом движении декабристов придают особое значение этому периоду его вольной и беспечной офицерской жизни. Сама по себе она мало интересна, да и сведений о ней сохранилось немного. В 1820 году он был произведен в поручики, участвовал в разных маневрах и учебных экспедициях, кочевал с полком по Псковской и Минской губерниям, где время проводил очень весело, на постоях у польских панов, волочась за красавицами, почитывая с ними польские книги и играя на фортепиано. «Vogue la galère» было тогда его любимым изречением: «Пьянствую, – писал он, – и отрезвляюсь шампанским. Цимбалы гремят, девки бранятся, чудо!..»[4]. Этот рассеянный образ жизни не мешал ему, однако, собирать легенды и поверия, изучая старину тех городов, где приходилось веселиться; не мешал ему также пописывать коротенькие рассказы и даже сочинить целую остроумную книгу на манер довольно распространенных тогда путешествий»[5].

В 1822 году он был назначен адъютантом при главноуправляющем путями сообщения, инженере Бетанкуре, затем в чине штабс-капитана гвардии состоял с 1823 года в той же должности при герцоге Александре Виртембергском – брате императрицы Марии Федоровны, который заступил место Бетанкура. Положение, как видим, было блестящее, обещавшее многое в будущем и полное блеска и веселья в настоящем. Бестужеву улыбалась даже надежда стать зятем своего начальника Бетанкура и счастливым супругом очень красивой девицы, но генерал-инженер посмотрел на это сватовство косо, и оно расстроилось. Этот неудачный роман был, кажется, единственной налетевшей тучей, бросившей некоторую тень на эту беззаботную жизнь, которая неслась среди смотров, учений, дежурств, балов, салонных разговоров, театральных зрелищ, обедов, уединенных занятий, а также и шумных бесед о вопросах и делах, которые сами же спорящие называли «тайными».

Александр Александрович приобрел довольно быстро громкую известность в тогдашних литературных кружках[6]. С ним считались и как с автором повестей, которые он и тогда уже печатал, и как с критиком, членом литературных обществ, спорщиком на литературных беседах, театральным рецензентом в серьезном смысле этого слова и, наконец, как с издателем самого популярного в то время альманаха «Полярная звезда».

Само собою разумеется, что Александр Александрович был знаком со всеми кружками литературной молодежи, и, кажется, преимущественно молодежи, так как, не в пример большинству своих сверстников, он

не искал сближения с литераторами старшего поколения, даже с такими, как, например, Карамзин и Жуковский. Правда, он не иначе говорил об их литературной деятельности, как с глубоким признанием их заслуг, но от них самих он сторонился, и они его не любили.

Так, в переписке Бестужева о Жуковском нет упоминаний, а в переписке Жуковского с А.И. Тургеневым о Бестужеве говорится следующее: «Какая сволочь! (то есть участники заговора. – *Н. К.*) Чего хотела эта шайка разбойников? Вот имена этого сброда. Главные и умнейшие Якубович и Оболенский; все прочее *мелкая дрянь: Бестужевы,* Одоевский, Панов и т.д.»[8]. Что же касается Карамзина, то Бестужев сам избегал с ним встречи. «Я знал Карамзина хорошо, но, несмотря на заботы его поклонников, решительно отказался от знакомства с ним. Двуличность в писателе его достоинства казалась мне отвратительной»[9]. «Никогда не любил я бабушку Карамзина, человека без всякой философии, который писал свою историю страницу за страницей, не думая о будущей и не справляясь с предыдущею. Он был пустозвон красноречивый, трудолюбивый, мелочный, скрывавший под шумихою сентенций чужих свою собственную ничтожность», – писал Бестужев в интимном письме своей матери[10]. Был ли он прав или нет, но только такое смелое и критическое отношение к кумиру, за которым все ухаживали, – очень характерно[11].

Из молодых писателей Александр Александрович дружил с Грибоедовым. Существует рассказ самого Бестужева об их знакомстве[12]. Бестужев рассказывает, что он был предубежден против Грибоедова, считая его виновником одной печальной дуэли, и не хотел с ним знакомиться. Но в августе 1824 года они случайно встретились у одного знакомого. Приветливая и умная внешность Александра Сергеевича поразила Бестужева. Он завязал с ним литературный спор, который заставил его тотчас же оценить всю широту кругозора его собеседника. Затем в конце 1824 года Бестужеву случилось ознакомиться с отрывками из «Горя от ума»; он был побежден и обворожен; он проглотил эти отрывки, трижды перечитал их и решил, что тот, кто написал эти строки, не может не быть благородным человеком. Он отправился сам к Грибоедову и после часа разговора союз дружбы был заключен. Бестужев сохранил память об этой дружбе на всю жизнь. «В их доме в Москве я был как родной», – писал он братьям из Якутска, когда узнал о смерти своего друга. «Молния не свергается на мураву, – говорил он по поводу этой смерти, – но на высоту башен и на главы гор. Высь души, кажется, манит к себе удар жребия». И горько плакал он много лет спустя, когда в Тифлисе служил на могиле Грибоедова панихиду под свежим впечатлением известия о смерти Пушкина. Но еще раньше, в 1829 году, тотчас после приезда на Кавказ, посетил он эту могилу и, стоя над ней, рыдал как ребенок. «Что этот человек хотел сделать для меня! – писал он Булгарину. – Он умер, и все пошло прахом»[13]. Бестужев намекал в данном случае на собственноручную записку Грибоедова, которую он видел и в которой Грибоедов брал с Паскевича слово благодетельствовать Бестужеву и даже выпросить его у Государя из Сибири…[14] «Я стоил его дружбы и горжусь этим», – повторял часто Александр Александрович, и если все эти сведения верны, то можно предположить, что и Грибоедов считал Бестужева в числе своих друзей, хотя из биографии Грибоедова и из его переписки мы ничего не узнаем об их отношениях[15].

С Пушкиным у Бестужева отношения были не из близких, хотя они и говорили друг другу «ты» и обменивались нередко письмами – правда, чисто литературного содержания. Знакомство их состоялось, вероятно, еще до 1820 года[17], но Пушкин вскоре был выслан, а когда он вернулся, был сослан Бестужев. Условия для дружбы были неблагоприятны. Таковой и не было, а было лишь взаимное уважение, которое не исключало довольно придирчивой, иногда и несправедливой пикировки в вопросах литературных.

Довольно близкие и дружественные связи были у Александра Александровича с Булгариным и Гречем. Это не должно удивлять нас, если мы вспомним, что и тот, и другой, плывя тогда по ветру, либеральничали и, кроме того, занимали очень выгодное положение в литературном мире как издатели и редакторы при собственном журнале. Они нуждались в молодых силах и могли им давать ход. В их кабинете, действительно, собиралась тогда пишущая молодежь и литературное образование, например, Греча могло в известной степени даже импонировать. Надо помнить также, что до 1825 года нравственная и литературная физиономия Булгарина и Греча не определилась настолько, чтобы заставить сотрудников их журналов усомниться в их искренности, их литературной и гражданской чистоплотности. Михаил Александрович Бестужев говорит об отношениях своих и своего брата к Булгарину и Гречу очень определенно, но едва ли верно и справедливо. «Знакомство с Гречем, – пишет он, – началось у брата Александра в 1817 году на корабле “Не тронь меня” и поддерживалось в продолжение всего времени церемонно холодно, потому что с Гречем, как величайшим эгоистом, сближение дружеское было невозможно. Мы, все братья, посещали его дом как фокус наших литературных талантов, любили умную болтовню хозяина, временем горячую полемику гостей, и при прощании, переступив порог, не оставляли за ним ничего заветного. О Булгарине и говорить нечего: это был в глазах наших балаганный фигляр, приманивающий люд в свою комедь кривляниями и площадными прибаутками. Брат Александр его посещал довольно часто, но уж вовсе не ради его милых глазок»[18]. Память в данном случае изменила Михаилу Бестужеву, или он задним числом дал оценку своего отношения к старым знакомым. Александр Александрович говорил о них иначе и писал в одном письме: «Гречу я много обязан нравственно, ибо в его доме развился мой ум от столкновения с другими. Греч первый оценил меня и дал ход. Греч первый после моего потопа предложил мне сотрудничество – это было благородным геройством по времени[19]. В другом письме он говорил:

«Греч, так сказать, выносил меня под мышкой из яйца: первый ободрил меня и первый оценил. Ему обязан я грамматическим знанием языка, и если реже прежнего ошибаюсь и в ятях – тому виной опять он же. Нравственным образом одолжен я им неоплатно, за прежнюю приязнь и добрые советы»[20].

Что касается Булгарина, то еще в самом начале 20-х годов Бестужев писал ему дружеские письма, говорил ему о том, как его любит, отдавал отчет в своих занятиях древностями, извещал, как успешно идет его изучение польского языка, как он читает Нарушевича, Немцевича, Красицкого, писал ему, что он учится по-польски, для него, Булгарина, как Булгарин учился итальянскому для Альфьери, называл его «милый» и приписывал в конце писем всякие нежности по-польски[21]. «У Булгарина я обыкновенно проводил время», – говорил Бестужев своим судьям[22].

Пять лет спустя после катастрофы Бестужеву пришлось обратиться к старому другу с деловым письмом из Дербента по поводу помещения в его журнале одной своей повести. Он писал ему уже на «вы», думал, что он забыт Булгариным, скромно напоминал ему о себе, присыпал даже лести в свое письмо, назвав «Выжигина» и «Дмитрия Самозванца» памятниками всесветной литературы... и получил от Булгарина в ответ письмо самое теплое и дружеское. Бестужев был в восторге, что старый знакомый его вспомнил в несчастии: «Я было отпел тебя из немногого числа своих приятелей, – писал он ему, – но старина ожила, и спасибо тебе». «Я не разлюбил тебя», – говорил он ему же в одном из последних своих писем, и это была правда, хотя Бестужев и не был ослеплен насчет некоторых сторон характера своего доброго знакомого. «С Гречем и Булгариным я был приятелем, – рассказывал он К. Полевому, – но если бы Вы знали, как я резал их (продажность)![23] Это был вечный припев моих шуток, особенно над Булгариным, – и он точно был с этой стороны смешон (!) до комического!» «Я не сомневаюсь, что Булгарин любит меня, – говорил Бестужев в другом письме тому же Полевому, – ибо я ничего не сделал такого противного, за что бы он имел право меня разлюбить; но что он любит более всего деньги, в этом трудно усомниться. Впрочем, я не потерял к нему приязни; в основе он добрый малый; но худые примеры и советы увлекли его характер-самокат». Отзыв не из лестных, как видим, но все-таки дружественный, толкующий в лучшем смысле те факты, над которыми Бестужев не мог не задуматься. На расстоянии, конечно, эта дружеская связь должна была терять в теплоте и искренности.

Этого нельзя сказать об отношениях Бестужева к братьям Полевым: их дружба на расстоянии выиграла, или, вернее сказать, она выросла из письменного обмена мнений.

Бестужев жил летом 1825 года довольно долго в Москве, бывал у Полевых, но был с ними холоден[24]. В оценке литературной деятельности редактора «Телеграфа» и в суждениях о самом журнале (который Бестужев впоследствии ставил очень высоко) он держался тогда насмешливо-критического тона, сводя с Полевыми какие-то литературно-личные счеты. Затем, уже в 1831 году, завязалась у них переписка. Она длилась до самой смерти Бестужева, и сердечное отношение корреспондентов возрастало с каждым письмом. Бестужев доверял этим письмам свои самые затаенные мысли и ни с кем не беседовал так нараспашку, как с Полевыми.

Таков был круг людей, с которыми у Александра Александровича были более или менее близкие связи. Как видим, все эти отношения не совсем подходят под понятие настоящей сердечной дружбы. Такое душевное, с обеих сторон разделяемое чувство соединяло Бестужева разве только с его братьями, Николаем и Михаилом, с Кондратием Федоровичем Рылеевым.

С Рылеевым делил Бестужев свои думы, свои литературные успехи и опасности политической пропаганды. Имена этих двух «образцов чести», как называл их Булгарин в одном письме к Пушкину[25], неразлучны в истории нашей литературы и в истории нашего политического движения 20-х годов.

«До последней искры памяти не забуду я дружбы Рылеева», – писал Бестужев уже из Якутска, доверяя эти опасные слова бумаге. И действительно, с именем Рылеева было для Александра Александровича связано воспоминание о всех счастливых годах его жизни, о той поре, когда, выражаясь его словами, «юность растет и живет не на счет земли, а на счет воздуха, подобно цветку в первую пору его бега».

III

В сочинениях и переписке Бестужева до декабрьских событий нет никаких намеков даже на самый общий либерализм, не говоря уже о политическом. Никаких проектов государственного устройства он не составлял и по вопросам этого устройства письменно не высказывался. Вигель в своих записках отмечает, что насчет своих мнений Бестужев был всегда очень скромен[26]. Если принять во внимание, что сам Вигель в своих суждениях о русских либералах скромен не был, то ему в данном случае приходится поверить.

Так же скромен был Бестужев во всем, что писал после катастрофы. Нельзя, конечно, ожидать, чтобы человек в его положении, при строгости тогдашней цензуры, мог решиться проводить в своих повестях какие-нибудь «идеи», более или менее опасные; Бестужев принужден был говорить лишь о самом невинном. Нельзя ожидать также, чтобы Бестужев был откровенен в своей переписке, которая подлежала строжайшему контролю. Вполне понятно, что в его письмах не могло быть речи о политике, и мы поймем его, когда он своим корреспондентам рекомендует крайнюю осторожность, прося их ограничиться в переписке с ним одной лишь словесностью, «не

оскорбляя общественной нравственности», как он выражался. Отсутствие политических и общественных тем в его повестях и письмах не говорит, таким образом, ни за, ни против его интереса к этим вопросам.

Но в письмах существуют иные указания, гораздо более ясные, которые прямо свидетельствуют о том, что Бестужев отгонял от себя мысль о всех тех вопросах, за кратковременное увлечение которыми заплатил так дорого. Он при случае всегда говорит о своем прошлом с нескрываемым сожалением и почти что раскаянием, и часто подчеркивает свой верноподданнический патриотизм, и все это очень искренно. Уже в 1832 году он пишет, что давно излечился от химер «преобразовать мир с веником в руках», что его искреннее желание теперь предаться словесности, жить мирно, уединенно, знаться более с книгами, чем с книжниками, и заглядывать в свет для того только, чтобы переводить его на бумагу. «Я не убит судьбою, – говорил он, – ибо, увидев неправду своих политических начинаний, отступился от них, и с тех пор совесть моя чиста против Бога и царя»[27]. Иной раз он находил для своего прошлого и более мягкое, хотя не менее печальное слово. 14 декабря 1832 года он писал: «Сегодня день моей смерти. В молчании и сокрушении правлю я тризну за упокой своей души, и когда найду я этот упокой? Воспоминания лежат в моем сердце как трупы – но как трупы-*мощи*».

Все это указывает на то, что в лице Бестужева мы вовсе не имеем человека, для которого политическая мысль была бы необходимой умственной потребностью и политическая деятельность – потребностью темперамента[28].

Тем не менее в 1823 году В. Туманский называл Бестужева «столпом русского коренного либерализма»[29].

Это должно понимать в том смысле, что Александр Александрович хоть и не был политиком по призванию, но любил словесно политиканить, и притом очень громко.

Книги политического и публицистического характера интересовали его с молодых лет и входили в программу его широких умственных интересов[30]. О знакомстве своем с литературой свободомыслящей он сам так говорил в своих показаниях[31]: «По званию своему следил военные науки, для забавы занимался литературою, по наклонности века наиболее прилежал к истории и политике[32]. Впрочем, смело сказать могу, что я не оставил ни одной ветви наук без теоретического или практического изучения, и ни одно новое мнение в науках умозрительных, ни одно открытие в химии или механике от меня не уходило. Случай, равно как и желание дали мне сведения о статистическом состояния России с разных сторон. После школы принялся за науки и занимался один, считая свой рассудок лучшим руководителем. Свободный образ мыслей заимствовал из книг наиболее и, восходя постепенно от мнения к другому, пристрастился к чтению публицистов французских и английских до того, что речи в палате депутатов и haus of commons занимали меня, как француза или англичанина. Из новых историков более всех делал на меня влияние Герен, из публицистов Бентам, что же касается до рукописных русских сочинений, они слишком маловажны и ничтожны для произведения какого-либо впечатления. Мне же не случилось читать из них ничего, кроме о необходимости законов (покойного Фонвизина), двух писем Михаила Орлова к Бутурлину и некоторых блесток А. Пушкина стихами.

В укоренении сего образа мыслей никого обвинять не хочу – я сам искал таких знакомств, впрочем, хотя и не в оправдание себе, скажу, что едва ли не треть русского дворянства мыслила почти подобно нам, хотя была нас осторожнее».

Таким образом, объяснять либеральный образ мыслей Бестужева, как объяснял его Греч[33], неудовлетворенным тщеславием, или фанфаронством благородства, или унынием и исканием развлечения – значило бы унижать Бестужева, но, с другой стороны, нет данных, чтобы считать его либерализм глубоким выстраданным убеждением. Он, как увидим сейчас, смотрел довольно легко на свою политическую агитацию[34].

Первый, кто мог подготовить его к этой агитации, был его старший брат Николай, которого он очень уважал и любил; в чем, однако, это влияние сказывалось и как далеко простиралось, мы не знаем; хотя есть указание, что Рылеев до принятия Бестужева в тайное общество старался повлиять на него именно через его брата Николая[35]. О том, как он был принят в тайное общество, Бестужев так рассказывал своим судьям:

«С 19 лет стал я читать либеральные книги, и это вскружило мне голову. Впрочем, не имея никакого положительного понятия, я, как и все молодые люди, кричал на ветер без всякого намерения. В 22-м году, когда был назначен я адъютантом к генералу Бетанкуру, свел знакомство с господином Рылеевым, и как мы иногда возвращались вместе из общества Соревнователей просвещения и благотворительности, то и мечтали вместе, и он пылким своим воображением увлекал меня еще более. Так грезы эти оставались грезами до 1824 года, в который он сказал мне, что есть тайное общество, в которое он уже принят и принимает меня. Первым условием было честное слово не открывать, что поверено будет, вторым – не любопытствовать узнать, кто члены, в-третьих, повиноваться безусловно принявшему. Цель сего общества была распространять понятие о правах людей и со временем восстановить их в России. Кончина Императора Александра Павловича назначена была знаком к началу действия, если позволят силы, но это говорено было только вначале; потом, когда сочлен привыкал уже к этой мысли, ему открывали, что, если общество будет довольно сильно, надобно действовать и при жизни его – поднять народ, войско, и если это удастся, то принудить Императора подписать конституцию.

В апреле 1825 года Бестужева выбрали в верхний круг, то есть в разряд убежденных, которые имели право поверять действия членов думы и требовать от них отчета. Это повышение Бестужев принял, однако, весьма равнодушно.

«Между тем, становясь опытнее, – рассказывает он, – стал охладевать к этому обществу. Невозможность что-либо сделать и недоверие к людям, которых я увидел покороче, меня убедили в сумасбродстве такого предприятия. С ними, однако ж, я был по-прежнему, ибо не хотел нести их упреков, тем безопаснее, чем дальше казалось дело. Наконец в апреле, кажется, месяце Рылеев сказал мне, что меня выбрали в верхнюю думу. Я принял это очень равнодушно и до сентября месяца ни разу не был с членами ее, покуда в один вечер не позвали меня к Оболенскому слушать часть конституции Ник. Муравьева о земской управе. Вот только однажды, когда был я собственно в так называемой думе, и тут-то уже убедился, что общество это ничтожно, решился тянуть с ними знакомство как игрушку, а между тем, как у меня и прежде было желание ехать на зиму в Москву, там найти себе выгодную партию и тогда с сим предлогом устраниться от общества и уехать года на 2 попутешествовать. Но судьба судила иначе».

«Совершенное мое недоверие к средствам общества, когда я увидел верхнюю думу, было причиною беззаботности моей насчет ее подробностей и моего неведения о многих вещах, о которых меня спрашивали. Мне все уже казалось не стоящим внимания, и Рылеев и Оболенский не раз ссорились со мной, что я шутил и делал каламбуры, как они говорили, из важных вещей»[36].

«Они называли меня фанфароном и не раз говорили, что за флигель-адъютантский аксельбант я готов отдать был все конституции. Я же говорил им, что они мечтатели, а я солдат и гожусь не рассуждать, а действовать. Еще нередко бранились мы за споры, я нарочно спорил и pour и contre, чтобы заставить их разбиться в мнениях и тем замедлить их предположения».

Бестужев страшно обрадовался, когда вдруг мелькнула надежда, что все их «дело» будет года на два отложено.

«26 числа, – показывал он, – то есть накануне получения известия о кончине Государя, приехал ко мне ввечеру Оболенский и сказал, что слух есть, что Государь Император опасно болен. Так потолковавши с ним и с Рылеевым и не совсем этому доверяя, мы ничего не знали до 1 часа утра. Пришел Якубович с подтверждением того же, но мы никак не ожидали, чтобы болезнь так скоро сразила Императора. Якубович вышел и через пять минут вбежал опять, говоря: "Государь умер. Во дворце присягают Константину Павловичу – впрочем, еще это неверно; говорят, Николаю Павловичу по завещанию следует", – и выбежал. Это поразило нас как громом, я надел мундир и встретился в дверях с братом Николаем: «Что уехать? Я поеду узнать в какой-нибудь полк, кому присягают», далее, право, не знаю. Я и поехал в Измайловский, спрашиваю. Один говорит Константину, другой Николаю, третий Елисавете. Я поехал к его высочеству герцогу, но уже встретил его, едущего на дороге у дворца, куда я вошел и присягнул в глазах Его Величества Государя Николая Павловича. Воротясь домой, я нашел Рылеева, который сказал, что это доказывает, как мы ошибались, думая, что солдаты забыли Константина Павловича, и что теперь должно ждать. Так мы и успокоились. Я поехал к герцогу и напрашивался ехать курьером к е.в. Константину Павловичу (это можно узнать от полковника Баренцева), но послали другого. Рылеев очень заболел – и тут-то стали к нему стекаться лица, которых прежде я никогда не видывал, как то: гвардейского экипажа лейтенант Арбузов, Сутгов (л. гр.), Репин и другие, и князь Трубецкой стал ходить чаще. После разных толков решили, чтобы всякое дело отложить, по крайней мере, на 2 года, а там – что покажут обстоятельства. Надежды мои ожили. Я с малолетства любил великого князя Константина Павловича. Служил в его полку и надеялся у него выйти, что называется, в люди. Я недурно езжу верхом; хотел также поднести ему книжку о верховой езде, которой у меня вчерне написано было с три четверти... одним словом, я надеялся при нем выбиться на путь, который труден бы мне был без знатной породы и богатства при другом Государе. Все стихло, как вдруг стали доноситься слухи, что он отказывается: что Польша с Литвой и Подолией отойдет от России, дабы не обделить экс-императора... тогда, признаюсь, закипела во мне кровь, и неуместный патриотизм возмутил рассудок»...

Легко может быть, что этот патриотизм, действительно, возбудил его энергию, которая очень слабо откликалась на чисто политические споры.

IV

В этих политических спорах никакой определенной и убежденной мысли Бестужев не обнаружил. Он был конституционалист и не одобрял «южных инстигаций и преступных намерений ввести в России республику», а между тем, вторя другим, соглашался «огласить на Руси республику»[38].

В щекотливом вопросе об устранении царствующей фамилии он также обнаружил большую неустойчивость взглядов.

Когда на одном собрании при нем стали говорить о грабеже и кровопролитии, он сказал: «можно и во дворец забраться» (показание князя Трубецкого); когда Рылеев и Оболенский упоминали о погублении всей императорской фамилии, он пристал к сему мнению, но утверждал, что пристал притворно и настаивал вместе с Якубовичем, что на это нужно не менее 10 убийц, в надежде, что нельзя будет найти такого числа отчаянных извергов и тем устранится удар от главы священной». «Я был крикун, а не злодей, – писал он в

своих показаниях, – хотя предлагал себя для совершения ненавистного дела, ибо знал, что меня Рылеев не употребит»; Каховский признал, что Александр Бестужев наедине уговаривал его не исполнять поручения, данного ему Рылеевым 13 декабря (поручение заключалось в убийстве Императора); на одном собрании Александр Бестужев и Каховский показывали себя пламенными террористами, готовыми на ужаснейшие злодейства; Бестужев признался, что сказал: «переступаю за Рубикон; а руби-кон значит руби все, что попало»; однако же клялся, что сие было лишь бравадою, пустою игрою слов; когда покушения на жизнь Императора Николая Павловича требовали как необходимости князь Оболенский, Александр Бестужев и князь Трубецкой, их диктатор, когда некоторые члены советовали удовольствоваться арестом Императора и всей августейшей семьи; и когда Рылеев кончил спор словами: «обстоятельства покажут, что делать должно» и просил достать карту Петербурга и план Зимнего дворца, Бестужев говорил со смехом: «Царская фамилия не иголка, не спрячется, когда дело дойдет до ареста».

Все эти бравурные остроты и резкие выходки указывают и на совсем несерьезное отношение к делу.

Тем не менее в самый день 14 декабря Бестужев проявил редкую расторопность и стойкость. У современников имя его осталось в памяти. Греч говорил, что он был главным действующим лицом на площади[39]. «Александр Александрович Бестужев (сумасбродный критик, наглец в обществе, писатель не без дарования, но гоняющийся за умом, тогда как ум никогда почти не давал ему поймать себя), – писал другой современник[40], – выдал себя за адъютанта великого князя Константина Павловича, клялся солдатам, что цесаревич схвачен на дороге, что Михаил Павлович в оковах, изранил частного пристава Александрова, исколол квартального надзирателя и велел провозглашать «да здравствует конституция!».

«Мятежники были в ужасном исступлении, – рассказывал и еще один современник, адъютант герцога Вертембергского. – Бестужев бегал между ними с белой повязкой на руке, вооруженный кинжалом и пистолетом»[41].

На самом деле поведение Бестужева на площади было хотя решительное, но далеко не такое кровожадное и театральное.

Любопытно, что за три дня до 14 декабря он писал своей матери письмо в деревню, в котором говорил ей очень спокойно о том, как Петербург принял весть о смерти Александра I. Он извещал ее, что царствовать надлежит Николаю Павловичу, что в городе как будто ничего не бывало. «Николай Павлович распоряжается всем и не показывает отчаяния, – писал он. – Все приняли это хладнокровно; полки присягают, не зная кому, но все обходится тихо»[42].

Хотел ли Бестужев успокоить свою мать (но тогда зачем было вообще писать об этом) или он сам за три дня думал, что все обойдется мирно?

V

14 декабря утром, если верить Бестужеву, он и все его товарищи шли на площадь «уверенные, что они *успеют* или *умрут,* и потому ни малейших сговоров на случай неудачи не сделали».

Направился Бестужев в казармы Московского полка, где и началось возмущение.

«Князь Щепин-Ростовский, Михаил и Александр Бестужевы и еще два офицера того же полка, – утверждало обвинение, – ходили по ротам шестой, пятой, третьей и второй, уговаривая рядовых не присягать Николаю Павловичу, и говорили: “Все обман, нас заставляют присягать, а Константин Павлович не отказывался; он в цепях; Михаил Павлович также в цепях”. Александр Бестужев прибавлял, что он прислан из Варшавы с повелением не допускать полки до присяги[43].

Генерал-майору Фридрихсу, который наскочил на него, Бестужев пригрозил пистолетом, которым его снабдил князь Щепин в казармах, когда они выходили на двор. Грозя генералу, Бестужев, однако, завернул назад курок пистолета и ни в кого не стрелял.

Генералу Фридрихсу он сказал только: «Отойдите прочь, генерал»; и как раз в этот момент Щепин ударил Фридрихса саблей. Генерал упал, а Бестужев отвратился от этого кровавого зрелища и вышел из ворот. Вместе со Щепиным он вывел полк из казарм и повел на Сенатскую площадь. Выходя на берег Фонтанки, Щепин сказал Бестужеву: «Что?! Ведь к черту конституция!», – и Бестужев отвечал ему: «Разумеется, к черту!»[44]

С Московским полком прибыл Бестужев на площадь, где, «построив каре, отвращал вместе со своим братом (Николаем) все сделанные начальством предложения, удерживая людей от стрельбы, и находился с оными, доколе картечью они не были разогнаны». Насилий он никаких не творил, даже свою «черкесскую шашку он отдал солдату и надел ее только тогда, когда конная гвардия пошла на них в атаку. До этой минуты на нем была только форменная сабля, тонкая, как жесть». Только удерживая от стрельбы людей, он чуть не изрубил одного гренадера, который первый выпалил в атакующих. Спас он и генерала Левашова от верного поранения, оттолкнув какого-то неизвестного, который в него целился[45].

Сам Бестужев с большой печалью говорил в своих показаниях об этих минутах. «Пришедши на площадь и не находя начальников, – рассказывает он, – мы потеряли головы. Ожидание, страх, раскаяние, атаки – все

это представляет мне несчастный день этот, как в чаду, страшным сном. Я не знал, что делать, но лично не повинен ни в одной капле крови. Меня утешает хоть то, что я удалил генерала Нейгарда и спас от черни какого-то невысокого роста Павловского капитана; вот все, что помню я – но да не причтется мне в преступление, если что-либо ускользнуло тут. Угрызения совести прервали нить моих воспоминаний, при том же я тороплюсь облегчить свою душу признанием. Когда я шел в Московский полк, то прежде молился Богу с горячими слезами: «Если дело наше право – помоги нам, – думал я, – если же нет, да будет Твоя воля». Я признал теперь Его волю, – но Божий перст и царский гнев на мне тяготеют… я чувствую теперь, что во зло употребил свои дарования, что я мог бы саблею или пером принести честь своему отечеству – жить с пользой и умереть честно за Государя! Но Царь есть залог Божества на земле, а Бог милует кающихся… Если случаем бумага сия дойдет до Высочайших рук, то пусть увидят на ней следы железа заслуженного наказания и слезу искреннего раскаяния».

«Особенно я ожидал, – говорил он при другом случае, – что кончу жизнь на штыках, не выходя из полка, ибо мало на московцев надеялся и для того избрал это место, как нужнейшее. На площади под конец я увидел, что мы погибли, но не хотел взять на себя крови солдат, если б повели их в атаку на пушки, и потому молчал, слушая рассуждения других, что бы делать, ибо видел, что все бесполезно. Я искал смерти во время пальбы. Картечь пробила мне шляпу на волос от головы, но Бог сохранил меня для раскаяния».

Когда, наконец, засвистела картечь, Бестужев побежал через Галерную[48]. «Забежав на первый попавшийся двор, он постучал направо в какие-то двери, где нашел несколько женщин, попросил у них переждать немного и через час вышел на Неву, перешел через лед и скитался часов до 12 вечера, потом ходил еще целую ночь и целое утро по церквам, наконец, решился пасть к стопам Всемилостивейшего Государя и просить помилования».

Бестужев как умный человек понял, что бороться дальше значило окончательно потопить все дело и что только истинное и правдивое освещение его способно сохранить за этим делом ореол глубокого смысла и известного величия. Проиграв дело, нужно было иметь смелость сказать открыто, в чем оно заключалось – дабы проигрыш не усложнился его умалением. Это соображение, вероятно, и побудило Бестужева явиться во дворец.

В какой момент Бестужев исчез с площади – неизвестно. Греч рассказывает, что, когда мятежники разбежались, Бестужев успел уйти и где-то скрыться. На другой день, услышав, что забирают людей невинных, что главные зачинщики стараются слагать вину на других, он явился вечером на гауптвахту Зимнего дворца и сказал дежурному по караульням полковнику:

– Я Александр Бестужев. Узнав, что меня ищут, явился сам.

«Это было произнесено спокойно, просто, – говорит Греч. – Увидев моего брата, бывшего в карауле, он сделал вид, будто его не знает.

– Вяжите его, – сказал солдатам один унтер-офицер.

– Не троньте его, – возразил Василий Алексеевич Перовский, только что назначенный в флигель-адъютанты, – он не взят, а сам явился, – и повел его к Государю[50]».

Бестужев просто, откровенно и правдиво изложил перед Государем все как было и умел заслужить внимание прямодушного Николая. Слова Бестужева принимаемы были без малейшего сомнения[52].

После полного крушения дела Бестужев хотел воспользоваться последним случаем, чтобы с глазу на глаз сказать царю кое-какую правду, которая, как он мог опасаться, не дошла бы до царя обычным порядком через комиссию. О чем и как он говорил с Императором – мы не знаем, но ходил рассказ, что, допросив лично его брата Николая, Император будто бы сказал, что он никогда не слыхал столько правды[53].

В этом рассказе очевидная неточность: дело идет не о Николае Бестужеве, а об Александре, что подтверждается известной запиской «о ходе свободомыслия в России», посланной Александром Александровичем из тюрьмы на имя Императора.

А.Д. Боровков рассказывает, что Александр Бестужев еще до допроса прислал в комитет исповедь своих действий, изложил цель и планы общества, не называя, однако, своих соумышленников[54].

Эта докладная записка и разговор с Императором оказали, бесспорно, свое влияние на дальнейшую судьбу Бестужева.

В донесении «комиссии, избранной для основания разрядов», конечный вывод о виновности братьев Бестужевых сформулирован так:

Штабс-капитан лейб-драгунского полка Александр Бестужев, 27 лет:

По собственному признанию: умышлял на цареубийство и истребление императорской фамилии; возбуждал к тому других; соглашался также и на лишение свободы императорской фамилии. Участвовал в умысле бунта привлечением товарищей[55] и сочинением возмутительных стихов и песен. Лично действовал в мятеже и возбуждал к оному нижних чинов. *Примечание.* Удерживал Каховского от совершения цареубийства, хотя прежде оное и одобрял: на площади удерживал солдат от стрельбы. На другой день явился сам к стопам Государя Императора, с самого начала признался чистосердечно и первый сделал важное открытие о тайном обществе.

Капитан-лейтенант 8 экипажа Николай Бестужев, 34 года:

Участвовал в умысле бунта принятием членов. Лично действовал в мятеже, возбуждал нижних чинов и сам был на площади.

Штабс-капитан лейб-гвардии Московского полка Михаил Бестужев, 26 лет:

Принадлежал к тайному обществу с знанием цели оного. Лично действовал в мятеже, возбуждал нижних чинов и привел на площадь роту[57].

Николай и Михаил Бестужевы были сосланы на каторгу. Александр ее избежал и после короткого срока заключения в крепостях был сослан на поселение.

VI

Тюремное заключение Бестужев переносил нелегко. «Чувствую, – писал он в одном показании, – что не только память, но и ум мой мутится». Однако если внимательно прочитать его показания, то нельзя не удивиться выдержке и ясности его мыслей. На задаваемые ему вопросы он отвечал охотно и пространно – скорее как свидетель, чем как обвиняемый. Иногда эти ответы разрастались до объема настоящей докладной записки и получали уже не личное, а общеисторическое значение[58].

К числу таких записок должно быть отнесено и длинное письмо Бестужева к Государю, целый трактат о ходе свободомыслия в России. Письмо это не нуждается в комментариях. Важный исторический памятник своей эпохи, оно вместе с тем показатель ума и начитанности писавшего. Откуда и когда мог Бестужев собрать столько сведений? Вот этот документ полностью:

«Ваше Императорское Величество!

Уверенный, что Вы, Государь, любите истину, я беру дерзновение изложить перед Вами исторический ход свободомыслия в России, и вообще многих понятий, составляющих нравственную и политическую часть предприятия 14 декабря. Я буду говорить с полною откровенностью, не скрывая худого, не смягчая даже выражений, ибо долг подданного есть говорить правду Монарху без прикрас.

Приступаю. Начало царствования Императора Александра I было ознаменовано самыми блестящими надеждами для благосостояния России. Дворянство отдохнуло, купечество не жаловалось на кредит, войска служили без труда, ученые учились чему хотели: все говорили что думали, и все по многому хорошему ждали еще лучшего.

К несчастью, обстоятельства того не допустили, и надежды состарились без исполнения. Неудачная война 1807 года и другие многостоящие расстроили финансы, но того еще не замечали в приготовлениях к войне Отечественной. Наконец, Наполеон вторгся в Россию, и тогда-то народ русский впервые ощутил свою силу; тогда-то пробудилось во всех сердцах чувство независимости, сперва политической, а впоследствии и народной. Вот начало свободомыслия в России. Правительство само произнесло слова: «Свобода, освобождение». Само рассеивало сочинения о злоупотреблении неограниченной власти Наполеона, и клик Русского Монарха огласил берега Рейна и Сены. Еще война длилась, когда ратники, возвратясь в дом, первые разнесли ропот в классе народа. «Мы проливали кровь, – говорили они, – а нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас вновь тиранят господа». Войска от генералов до солдат, пришедши назад, только и толковали, как хорошо в чужих землях. Сравнение с своим естественно произвело вопрос, почему же не так у нас? Сначала, покуда говорили о том беспрепятственно, это расходилось на ветер, ибо ум, как порох, опасен только сжатый. Луч надежды, что Государь Император даст конституцию, как он то упомянул при открытии сейма в Варшаве, и попытка некоторых генералов освободить рабов своих еще ласкали многих. Но с 1817 года все переменилось. Люди, видевшие худое или желавшие лучшего, от множества шпионов принуждены стали говорить скрытно – и вот начало тайных обществ. Притеснение начальством заслуженных офицеров разгорячало умы. Предпочтение немецких фамилий перед русскими обижало народную гордость. Тогда-то стали говорить военные: «И для того ли освободили мы Европу, чтобы наложить ее цепи на себя? Для того ли дали конституцию Франции, чтобы не сметь говорить о ней, и купили кровью первенство между народами, чтобы нас унижали дома?»

Уничтожение нормальных школ и гонение на просвещение заставило думать в безнадежности о важнейших мерах. А как ропот народа, от истощения и злоупотребления земских и гражданских властей происшедший, грозил кровавою революцией, то общества вознамерились отвратить меньшим злом большее и начать свои действия при первом удобном случае. Теперь я опишу положение, в каком видели мы Россию.

Войска Наполеона, как саранча, оставили за собой надолго семена разрушения. Многие губернии обнищали, и Правительство медлительными мерами или скудным пособием дало им вовсе погибнуть. Дожди и засухи голодили другие края. Устройство непрочных дорог занимало руки трети России, а хлеб гнил на корню. Злоупотребления исправников стали заметнее обедневшим крестьянам[59], а угнетения дворян чувствительнее, потому что они стали понимать права людей[60]. Запрещение винокурения отняло во многих губерниях все средства к сбыту семян, а размножение питейных домов испортило нравственность и разорило крестьянский быт. Населения парализовали не только умы, но и все промыслы тех мест, где устроились и навели ужас на остальных. Частые переходы полков безмерно тяготили напутных жителей: редкость денег привела крестьян в неоплатные долги – одним словом, все они вздыхали о прежних годах, все роптали на

настоящее, все жаждали лучшего до того, что пустой слух, будто даются места на Амур-Дарье, влек тысячи жителей Украйны, куда – не знали сами. Целые селения снимались и бродили наугад, и многочисленные возмущения и барщин ознаменовали три последних года царствования Александра.

Мещане, класс почтенный и значительный во других государствах, у нас ничтожен, беден, обременен повинностями, лишен средств к пропитанию. В других нациях они населяют города, у нас же, как рода существуют только на карте[61] и вольность ремесл стесняют в них цели, то кочуют, как цыгане, занимаясь щепетильною перепродажею. Упадок торговли отразился на них сильнее по их бедности, ибо они зависят от купцов, как мелкие торгаши или как работники на фабриках.

Купечество, стесненное гильдиями и затрудненное в путях доставки, потерпело важный урон в 1812 году. Многие колоссальные фортуны погибли, другие расстроились. Дела с казною разорили множество купцов и подрядчиков, а с ними и их клиентов и верителей затяжкою в уплате, учетами и неправыми прижимками в приеме. Лихоимство проникло всюду. Разврат мнения дал силу потачки вексельному уставу[62]. Злостные банкроты умножились, и доверие упало. Шаткость тарифа привела многих фабрикантов в нищету и испугала других и вывела правительство наше из веры, равно у своих, как у чужеземных негоциантов. Следствием сего был еще больший упадок нашего курса (то есть внешнего кредита), от государственных долгов происшедший, и всеобщая жалоба, что нет наличных. Запретительная система, обогащая контрабандистов, не поднимала цены на наши изделия и, следуя моде, все платили втридорога за так называемые конфискованные товары.

Наконец, указ, чтобы мещане и мелкие торговцы или записывались в гильдии или платили бы налог, нанес бы решительный удар торговле, и удержание исполнения не удержало их от ропота. Впрочем, и без того упадок торговли был столь велик, что на главных ярмарках и в портах мена и отпуск за границу уменьшились третью. Купцы еще справедливо жаловались на иностранцев, особенно на англичан, которые, вопреки уставу[63], имеют по селам своих агентов и, скупая в первые руки сырые произведения для вывоза за границу, лишают там мелких торговцев промысла, а государство обращения капиталов.

Дворянство было тоже недовольно за худой сбыт своих произведений, дороговизну предметов роскоши и долготою судопроизводства. Оно разделяется на 3 разряда: просвещенных, из коих большая часть составляет знать; на грамотных, которые или мучат других, как судьи, или сами таскаются по тяжбам; и, наконец, на невежд, которые живут по деревням, служат церковными старостами или уже в отставке, послужив Бог знает как в полевых. Из них-то мелкопоместные составляют язву России; всегда виновные и всегда ропщущие и, желая жить не по достатку, а по претензиям своим, мучат бедных крестьян своих нещадно. Прочие разоряются на охоту, на капелы, на столичную жизнь или от тяжб. Наибольшая часть лучшего дворянства, служа в военной службе или в столицах, требующих роскоши, доверяют хозяйство наемникам, которые обирают крестьян, обманывают господ, и таким образом $^{9}/_{10}$ имений в России расстроено и в закладе.

Духовенство сельское в жалком состоянии. Не имея никакого оклада, оно вовсе предано милости крестьян и оттого принуждено угождать им, впадало само в пороки, для удаления коих учреждено. Между тем как сельское нищенствовало в неуважении, указ об одеждах жен священнических привел в волнение и неудовольствие богатое городское духовенство.

Солдаты роптали на истому ученьями, чисткою, караулами; офицеры на скудость жалованья и непомерную строгость; матросы на черную работу, удвоенную по злоупотреблению[64]; морские офицеры на бездействие. Люди с дарованиями жаловались, что им заграждают дорогу по службе, требуя лишь безмолвной покорности; ученые на то, что им не дают учить, молодежь на препятствия в ученье. Словом, во всех углах виделись недовольные лица; на улицах пожимали плечами, везде шептались, все говорили, к чему это приведет; все элементы были в брожении. Одно лишь правительство беззаботно дремало над вулканом; одни служебные места блаженствовали, ибо только для них Россия была обетованною землею. Лихоимство их взошло до неслыханной степени бесстыдства. Писаря заводили лошадей, повытчики покупали деревни, и только возвышение цены взяток отличало высшие места, так что в столице под глазами блюстителей производился явный торг правосудием. Хорошо еще платить бы за дело, а то брали, водили и ничего не делали.

Вашему Императорскому Величеству, вероятно, известны теперь сии злоупотребления, но их крыли от покойного императора. Прибыльные места продавались по таксе и были обложены оброком. Центральность судебных мест, привлекая каждую безделицу к верху, способствовала апелляциям, справкам, пересудам, и десятки лет проходили прежде решения, то есть разорения обеих сторон. Одним словом, в казне, в судах, в комиссариатах, у Губернаторов, у Генерал-губернаторов, везде, где замешался интерес, кто мог, тот грабил, кто не смел, тот крал.

Везде честные люди страдали, а ябедники и плуты радовались.

Вам, Государь, уже ведомо, как, воспламененные таким положением России и видя все элементы, готовые к перемене, решились мы произвести переворот. Теперь осмелюсь изложить перед Вашим Величеством, что мы, делая сие, думали основываться вообще на правах народных и в особенности на затерянных русских. Но, кроме того, Батенков и я говорили, что мы имеем в это время (то есть около 14 дек.) на то политическое право, как чистое междуцарствие. Ибо Ваше Величество отреклись от короны, а мы знали, что

отречение Государя Цесаревича уже здесь[65]. При том же Вы, Государь, ожидая признания от Совета и Сената, некоторым образом признавали верховность народа, ибо Правительство без самодержца есть не иное, как верхняя оного часть. Следственно, мы, действуя в лице народа, шли не противу Вашего Величества, но только для воспрепятствования Сенату и Совету признавать иное, а не наше назначение. Отрицая же право народа во время междуцарствия избирать себе правителя или правительство, приводилось бы в сомнение самое возведение царствующей династии на престол России. Далее, Правительница Анна, опершись на желание народа, изорвала свое обязательство. Великая Екатерина повела гвардию и толпу, ее возгласившую, противу Петра III. Они обе на челе народа шли противу правительства; неужели же право бывает только на стороне удачи? Политика, устраняя лица, смотрит только на факты. Мы же от одной присяги были уволены, а другой не принимали.

Вашему Величеству легко будет усмотреть шаткость сего предположения, но в то же время я был уверен в правоте оного и действовал в том убеждении. Вот мечты наши о будущем. Мы думали учредить Сенат из старейших и умнейших голов русских, в который надеялись привлечь всех важнейших людей нынешнего правления, ибо полагали, что власть и честолюбие всегда имели бы свою приманку. Палату же представителей составить по выбору народа из всех состояний. Как неоспоримо, что общего мнения установить или ему силу нельзя дать иначе, как связав оное с интересом каждого, то на сем правиле основывали мы бескорыстие судей. Каждая инстанция имела бы у нас свой беспереносный круг действия, притом тяжущиеся могли бы избирать по произволу из известного числа судей любого, так что честь и выгода заставили бы их друг перед другом быть правдивее, а публичность судопроизводства, ограничение срока оного и свобода книгопечатания обличали бы нерадивых и криводушных. Для просвещения нижних классов народа хотели повсеместно завести ланкастерские школы. А чтобы поправить его нравственность, то возвысить белое духовенство, дав оному способы к жизни. Увольнение почти от всех земских повинностей, свобода винокурения и улучшение казенными средствами дорог между бедными и богатыми хлебом местами; поощрение земледелия и вообще покровительство промышленности привело бы в довольство крестьян. Обеспечение и постоянство прав привлекло бы в Россию множество производительных иноземцев. Фабрики бы умножились с возрастанием запроса на искусственные произведения, а соревнование поощрило бы их усовершенствование, которое возвышается наравне с благосостоянием народа, ибо нужды на предметы довольства жизни и роскоши беспрестанные. Капиталы, застоявшиеся в Англии, заверенные в несомненности прибытка на многие годы вперед, полились бы в Россию, ибо в сем новом, неразработанном мире они выгоднее могли бы быть употреблены, чем в Ост-Индии или в Америке. Устранение или, по крайней мере, ограничение запретительной системы и устройство путей сообщения не там, где легче (как было прежде), а там, где необходимее[66], равно как заведение казенного купеческого флота, дабы не платить чужеземцам фрахта за свои произведения и обратить транзитную торговлю в русские руки, дало бы цвести торговле, сей, так сказать, мышце силы Государственной. Финансы же поправить уменьшением в треть армии и вообще всех платных, но не нужных чиновников. Что же касается до внешней политики, то действовать открыто, жить со всеми в мире, не мешаясь в чужие дела и не позволяя вступаться в свои, не слушать толков, не бояться угроз, ибо Россия самобытна и может обойтись на случай разрыва без пособия постороннего. В ней заключается целый мир; да и торговые выгоды других наций никогда не допустили бы ее в чем-либо нуждаться. Я умалчиваю о прочем, уже известном Вашему Величеству или из конституции Никиты Муравьева, которая, однако же, была не что иное, как опыт, или из показаний прочих членов. Что же касается собственно до меня, то, быв на словах ультра-либералом, и дабы выиграть доверие товарищей, я внутренне склонялся к монархии, аристократиею умеренной. Желая блага отечеству, признаюсь, не был я чужд честолюбия. И вот почему соглашался я на мнение Батенкова, что хорошо было бы возвести на престол Александра Николаевича[67]. Льстя мне, Батенков говорил, что как исторический дворянин и как человек, участвовавший в перевороте, я могу надеяться попасть в правительную аристократию, которая при малолетнем царе произведет постепенное освобождение России. Но как мы оба видели препятствие в особе Вашего Величества – истребить же Вас, Государь, по чести, никогда не входило мне в голову, – то в решительные минуты обратился я мыслью к Государю Цесаревичу, считая это легчайшим средством к примирению всех партий, и делом, более ласкавшим мое самолюбие, ибо я считал себя, конечно, не хуже Орловых времен Екатерины. В прения думы почти не вступался, ибо знал, что дело сильнее пустых споров, и признаюсь Вашему Величеству, что, если бы присоединился к нам Измайловский полк, я бы принял команду и решился на попытку атаки, которой в голове моей уже вертелся план. Впрочем, если бы не роковое 14 число, я бы пристал к совету Батенкова (человека из всех нас с здравейшею головою), чтобы идти впереди, став на важные места в правлении, понемногу производить перемену или властью, заимствованною от престола, или своими мнениями, в других вперенными. Мы уже и хотели это сделать в отношении к Государю Цесаревичу, разговаривая о сем предмете у Его Королевского Величества, герцога Виртембергского.

Да будет еще, Ваше Императорское Величество, доказательством уважения, которое имею к великодушию Вашему, признание в том понятии, что мы имели о личном характере Вашем прежде. Нам известны были дарования, коими наградила Вас природа; мы знали, что Вы, Государь, занимаетесь делами Правления и много

читаете. Видно было и по Измайловскому полку, что солдатство, в котором Вас укоряли, была только дань политике. Притом же занятия дивизии, Вам вверенной, на маневрах настоящим солдатским делом доказывали противное. Но анекдоты, носившиеся о суровости Вашего Величества, устрашали многих, а в том числе и нас. Признаюсь, я не раз говорил, что Император Николай с Его умом и суровостью будет деспотом, тем опаснейшим, что Его проницательность грозит гонением всем умным и благонамеренным людям; что он, будучи сам просвещен, нанесет меткие удары просвещению; что участь наша решена с минуты его восшествия, а потому нам все равно гибнуть сегодня или завтра. Но опыт открыл мне мое заблуждение, раскаяние омыло душу, и мне отрадно теперь верить благости путей Провидения... Я не сомневаюсь, по некоторым признакам, проникнувшим в темницу мою, что Ваше Императорское Величество посланы Им залечить беды России, успокоить, направить на благо брожение умов и возвеличить отечество. Я уверен, что небо даровало в Вас другого Петра Великого... более чем Петра, ибо в наш век и с Вашими способностями, Государь, быть им – мало. Эта мысль порой смягчает мои страдания за себя и за братьев и мольбы о счастии отечества, неразлучном с прямою славою Вашего Величества, летят к престолу Всевышнего.

Вашего Императорского Величества
всеподданнейший слуга
Александр Бестужев[68]».

VII

По окончании дела, в августе 1826 года, Бестужев был вместе с некоторыми из товарищей отправлен в Финляндию, в крепость «Форт-Слава».

После тюрьмы поездка по Финляндии до места нового заключения была освежающей и довольно веселой прогулкой. И.Д. Якушкин, который в своих записках[69] оставил нам сведения об этих годах жизни Бестужева, рассказывает, как на станциях ожидали их родственники, как после долгой разлуки одна уже возможность поговорить друг с другом была для товарищей большим облегчением. Говорили они свободно, говорили даже о 14 декабря, и на какой-то станции в присутствии провожатого Якушкин доказывал Бестужеву, что они со всем этим делом поторопились, и что проиграли его потому, что захотели сами пожать плоды от дел своих, тогда как назначение их было не вылезать наружу, а быть лишь подземным основанием дела, ни для кого не заметным.

Прогулка кончилась, однако, скоро, и Бестужев, Муравьев, Арбузов, Тютчев и Якушкин были поселены в Финляндии в «Форте-Слава». Жилось им здесь плохо. Их начальник был человек странный: то попускал, то запрещал. Иной раз распивал со своими узниками чай и повествовал им о своей жизни, иной раз позволял им быть вместе, а в дурную минуту запирал их на ключ по одиночке и даже днем не выпускал на воздух. Любезное чаепитие не мешало ему также кормить их тухлой солониной, от которой они болели, и так топить печи, что они угорали, как это случилось с Бестужевым, который от угара однажды чуть-чуть не умер.

Тяжелее, впрочем, чем эти неудобства, давал себя чувствовать голод духовный: у заключенных не было книг, и им пришлось пробавляться случайными находками.

Бестужев с тоски, кажется, приналег на поэзию. Стихов он писал вообще очень мало, а здесь, в форте, надумал сочинить целую поэму. Героем ее он избрал князя Андрея Переяславского, но чем был знаменит этот Андрей, мы не знаем, так как поэма осталась неоконченной. «Писалась она в Финляндии, – рассказывал сам Бестужев, – где у меня не было ни одной книги; написана она была жестяным обломком, на котором я зубами сделал расщеп, и на табачной обвертке по ночам. Чернилами служил толченый уголь. Можете судить об отделке и вдохновении!»[70]

Когда без его ведома поэма потом была напечатана его друзьями, Бестужев очень рассердился.

«Лица в моем сочинении были замысловаты не по своему веку, – оправдывался он, – речи пышны не по людям, одним словом: я обул в русские лапти немецкую философию». Следов немецкой философии в поэме, однако, не обретается. В ней остался один только след гуманных и либеральных воззрений самого автора. Можно, конечно, рассердиться на князя Андрея за то, что он с разным полузверьем половецким и русским разговаривает, как с людьми разумными, но нельзя не полюбить его за такие, например, речи:

Я не умру в бездонной мгле,
Но сединой веков юнея,
Раскинусь благом по земле,
Воспламеняя и светлея!
И прокатясь ключом с горы,
Под сенью славы безымянной,
Столь отдаленной и желанной,
Достигну радостной поры,

Когда, познав закон природы,
Заветный плод во мгле времен
Людьми посеянных семян
Пожнут счастливые народы.
Когда на землю снидут вновь
Покой и братская любовь,
И свяжет радуга завета
В один народ весь смертный род,
И вера все пределы света
Волной живительной сольет,
Как море благости и света!
В надежде сей познай
Мою сладчайшую отраду,
Мою мечту, мою награду,
Мое бессмертие и рай!

В 1827 году сменили коменданта форта. Новый начальник не внес ничего нового в жизнь узников, если не считать того обстоятельства, что приехал с полувзрослой дочерью. Ее присутствие отозвалось довольно странным образом на заключенных. Если верить Якушкину, то Бестужев, Арбузов и Тютчев из чувства соревнования выщипали себе бороды, которых им не брили, а Бестужев, кроме того, стал повязывать себе голову красным шарфом в виде чалмы. Наводить на себя красоту Бестужеву пришлось, однако, недолго, так как в конце октября 1827 года его увезли из форта.

Покидал он Финляндию в необычайно шутливом, «отличном» расположении духа[71].

Проездом через Петербург он имел свидание с графом Дибичем, который ему объявил, что от каторжных работ он освобожден и что ему даже позволено писать и печатать «с условием, однако, не писать никакого вздору».

Спустя несколько дней фельдъегерь увозил Бестужева в Якутск. Спутником его был Матвей Иванович Муравьев-Апостол.

Вот что он рассказывает в своих воспоминаниях[72] об этом перегоне их этапной жизни: «Фельдъегерь вез нас через Ярославль, Вятку, Пермь и Екатеринбург. Тут остановились мы у почтмейстера, принявшего нас с особенным радушием. После краткого отдыха в зале открылись настежь двери в столовую, где роскошно накрыт был обеденный стол. Собралось все семейство хозяина, и мы, после двухлетнего тяжкого и скорбного заточения отвыкшие уже от всех удобств жизни и усталые от томительной дороги, очутились негаданно посреди гостеприимных хозяев, осыпавших нас ласками и угощавших с непритворным радушием. Осушались бокалы за наше здоровье, и хотя положение наше не предвещало нам радостей, но мы забыли на час свое горе и от всей души заявили признательность свою за необъяснимое для нас радушие приема».

Путешественники нашли дружеский прием и у чиновников более высокопоставленных: тобольский губернатор Д.Н. Бантыш-Каменский и красноярский губернатор Бегичев – оба писатели – встретили своих собратьев по перу не как преступников, а как добрых знакомых.

«По дороге из Тобольска, – рассказывает Муравьев, – нас все время смущало неисполненное желание догнать ехавших перед нами товарищей наших, в числе коих находились двое братьев Бестужевых, Николай и Михаил. Нетерпение Марлинского видеться с ними оборвалось на мне. Наш официальный спутник, приняв в соображение особое ко мне расположение тобольского губернатора, обращался почтительно ко мне на всякой станции с вопросом: желаю ли я отдохнуть, или приказать закладывать лошадей? Из этого Александр Бестужев заключил, что от меня бы зависело уговорить квартального доставить нам возможность повидаться с его братьями, но, узнав от нашего пестуна, что ему строжайше предписано не съезжаться на станциях с опередившим нас поездом, и жалея его, я не решился вводить его в искушение. Разногласие это не раз возбуждало между нами горячие прения, не расстроившие, впрочем, нисколько наших дружеских отношений. При его впечатлительности и страстной натуре, Александр Бестужев одарен был любящим сердцем с редкою уживчивостью.

В конце ноября мы прибыли в Иркутск поздно вечером и остановились у крыльца губернаторского дома, где нас объяло звуками бального оркестра. Мы тут долго ожидали распоряжения начальника губернии; наконец, выскочил на крыльцо какой-то вспотевший от танцев чиновник и приказал вести нас в острог. Отворилась дверь внутреннего арестантского помещения, и я, не переступая порога, успел только заметить, что там нас ждут А.П. Юшневский и Спиридов, как вдруг чувствую, что меня кто-то обнял и лобызает; это был не кто иной, как часовой, стоявший под ружьем у дверей. Я признал в нем рядового Андреева, переведенного из старого Семеновского полка на службу в Сибирь вследствие разгрома, постигшего этот славный полк.

Не без утешения бывает и самая горькая доля! На другой день подоспели к нам двое Бестужевых, Николай и Михаил, Якушкин, Арбузов и Тютчев. Пожаловал к нам и губернатор и после краткого приветствия

извинился перед А. Бестужевым и мною, что нас заключили в острог по ошибке, так как мы избавлены от работ и, хотя мы просили не разлучать нас с товарищами, он, ссылаясь на какой-то закон, приказал поместить нас на квартиру. Горько показалось нам неуместное смягчение участи нашей[73].

После трехдневного пребывания в Иркутске мы с А. Бестужевым отправились, в сопровождении молодого казачьего урядника, к месту своего назначения…»

24 декабря, накануне Рождества, добрались они до Якутска, и здесь Муравьев с Бестужевым простился. Муравьев ехал в ссылку в Вилюйск, а Бестужев остался на поселении в Якутске.

VIII

О новых условиях жизни, в какие попал теперь Александр Александрович, и о новых ощущениях, какие эти условия вызвали в его душе, нам дают довольно подробный отчет письма, которые он писал в Читу к своим братьям Николаю и Михаилу – «к кровным и картечным братьям», как он называл их. Письма эти сохранились[74], хотя, конечно, не все: и надо удивляться, что они вообще уцелели, так как, чтобы попасть из Якутска в Читу, они должны были прежде побывать в Петербурге в жандармском управлении. В этих интимных письмах собран очень интересный материал: и биографический, и литературный, и даже этнографический.

Жизнь Александра Александровича на дальнем Севере, «где кровь мерзнет, и даже винный спирт прячется в шарик», была не из веселых, но нельзя назвать ее и жизнью лишений и горя: она была скучная и томительная жизнь.

Ссыльный не находил себе места в окружающем обществе. Можно было, конечно, интересоваться жизнью и бытом якутов, приглядываться к их лени и нечистоте, к разным их лукавствам, чтобы вывести, наконец, заключение, что «они имеют приятное качество соединять в себе приобретение всех пороков образования с потерею всех доблестей простоты». Эти наблюдения могли дать кое-какую пищу остроумию и иронии; можно было также тратить все свободное время (а оно, к сожалению, все было свободно) на охоту, чтобы промерзать зимой до костей, а летом убеждаться, что дичь неучтива, леса безмолвны, как могила, и стрелять некого. Эти прогулки могли развлечь, заставить подчас сострить и сказать отборной французской речью: Le gibier dans les environs de Petersburg a plus d'urbanité et se laisse plomber avac meilleure grace, – но все это, конечно, быстро приедалось. А в окружающем городском обществе едва ли можно было найти что-нибудь, что отвлекло бы интерес от якутов и неразысканной дичи[75]. «Я мало верил доселе трактатам господ физиологов о влиянии климата на темперамент, ибо в северной Пальмире своей встречал все страсти Италии хоть редко, но несомненно, – писал Бестужев, – зато здесь неверие мое склонилось подобно магнитной стрелке: при каждом философском взоре более и более убеждаешься в этой истине. Здесь ум и чувства людей в какой-то спячке: движения их неловки и тяжелы, речь однозвучна и протяжна: сидеть есть величайшее их удовольствие, и молчать – не труд, даже женщинам. Здесь движутся только желчные страсти: корысть, зависть, тщеславие. Все это течет с кровью мерзло и безжизненно». Эти слова, как можно заключить из общего контекста, сказаны Бестужевым о простом народе, – но и о том, что называется «обществом», он был не лучшего мнения. «У здешних жителей, – пишет он, – нет ни добродушия, ни одной благородной черты в характере, и делать зло, чтобы показать, что они могут что-нибудь делать, есть их первое наслаждение. Можете себе представить, что я не избег их злословия или за то, что сам не кланяюсь, или за то, что мне иные кланяются. Но я, как и всегда, мало о том забочусь… Истинное гостеприимство обледенело в этом отечестве сорокаградусных морозов: тут только выставка. Я не посещаю собраний и знаком только с двумя домами. Иногда меня навещают и наводят на меня скуку; видел я у себя даже хорошеньких дам. Но да будет тому стыдно, кто превратно истолкует мои слова».

К дамам Александр Александрович был всегда неравнодушен; и позднее, как мы увидим, они вносили большое разнообразие и даже большую тревогу и печаль в его походную жизнь. Но в Якутске – насколько видно из его писем – однообразное течение этой жизни их вторжением не прерывалось, и Бестужев влачил свои дни, хотя – не без мысли о дамах, – и изображал собой, как он сам говорил, «модную картинку». Сердце «просило практики», но кажется, что в Якутске этой практики не было…

Жизнь вообще была очень скучная, если не считать тех редких моментов, когда судьба заносила на север какого-нибудь нежданного гостя; но, конечно, и с этими гостями отношения были далеки от сердечности и притом не по вине Бестужева. Единственный человек, с которым Бестужев мог поделиться если не чувством, то хоть мыслями, был проезжий немецкий ученый, доктор философии Эрман, с которым у Бестужева завязалась потом ученая переписка[77].

«Жизнь моя весьма однообразна, – писал он братьям. – Одолеваем ленью, но только вовсе не «сладкой», я порой лежу по целым дням, подняв ноги на стену и вперив глаза в потолок… иногда брожу один, иногда с Захаром (то есть с его товарищем по поселению графом Захаром Чернышевым. – *Н. К.*) по полям и болотам с ружьем. Иногда выезжаю в гору на лошади, которую нанял я здесь, и там, при жужжании комаров и шуме тальника, мечтаю о том о сем, а пуще ни о чем. Просыпаюсь рано, но как мое первейшее наслажде-

ние лежать в постели, то нередко Захар стаскивает меня к чаю. Около часа обедаем, иногда за чашкой кофе заводим полугрустный разговор о Чите, иногда переживаем снова петербургские вечера, в 6 пьем чай, потом гуляем, вместе или порознь, как случится, около 11-ти ужинаем и обыкновенно тут питаемся мечтами вместо десерта. Потом то же, что вчера».

Скоро пришлось Бестужеву расстаться и с Чернышевым. «Он, мой compagnon des larmes, non d'armes, уехал так поспешно, что едва успел выговорить adieu, так что последнее Dieu относилось более к путешественнику, нежели ко мне... – писал Бестужев в марте 1829 года. – Я не предаюсь, однако, плаксивым жалобам, я в ровном расположении духа». Что, впрочем, означало это слово «ровное»? «Моя жизнь хуже, чем ничто, – говорил он вскоре после отъезда товарища. – Обычные слова часовых при сменах "все обстоит благополучно" могут служить ей эпиграфом. Такое классическое однообразие опротивело мне... попиваю чай и покуриваю трубку; от времени до времени примешиваются несколько вздохов, которых никто не может разделить, и зевота, которую никакой сон не в состоянии унять»...

Так протекли полтора года (декабрь 1827 – июль 1829). Настроение духа Бестужева оставалось ровным: ни вспышек надежд, ни вспышек отчаяния. «Невымышленные горести подостойнее тех, которые имели честь беспокоить меня на раздолье», – говорил он и терпеливо «переживал» свою участь... Иной раз сам себя уверял, что скучать не должно, что сердце полно важнейших чувств и в селезенке нет места для сплину... в другую, более печальную минуту, не мог не сказать себе правды в глаза и признаться, что вчера для него обнажено от воспоминаний, а завтра – от надежд, что все чувства, которые роятся около сердца, и мысли, которые около ума сверкают, – роятся и сверкают даром; иногда его начинала пугать мысль о том, что Якутск конечный этап его жизни; и он рядил эту мысль в иронию, говоря, что не рискует после смерти промочить ноги в оледенелой земле Якутска, и что кости его когда-нибудь будут найдены вместе со скелетом мамонта...

Но тяжелей всего ложилась ему на душу мысль о братьях Михаиле и Николае. Чита с ее острогом и каторгой грезились ему и отравляли ему редкие минуты не радости – ее не было – а просто покоя: «Боже мой, Боже мой! – говорил он. – Зачем вы не со мною? Как часто я думаю, принимаясь за ложку: я бы был счастлив, если бы они делили скромный обед мой; думаю, и обед мой стынет неприкосновен». Бестужев любил, глубоко любил этих братьев, жизнь которых была «безответна как могила»...

Свою собственную жизнь Александр Александрович стремился, впрочем, несколько разнообразить литературной работой. В книгах недостатка не было; его мать наслала ему целую гору... Его товарищ Чернышев снабжал его также иностранными классиками в оригиналах. Читал Бестужев много, преимущественно по-немецки. Он, как сам выражался, плотно принялся за германизм, – сразу сел за труднейших авторов, осиливал «Валленштейна» Шиллера, и ломал голову над «Фаустом» Гете, и стал разбирать Данте в подлиннике. Труд был не напрасный, потому что спустя месяц упорного чтения он мог понимать этих авторов без посторонней помощи. Чтобы лишить себя всякого развлечения, он даже обрил себе голову, и благодаря этой энергической мере «мог черпать с жадностью из сокровищницы наслаждений»... Читал он много и по-английски: услаждал себя Томасом Муром, который сумел так «объитальянить» неблагородный английский язык, и чувства которого были «знойны и томны, как климат Петрарки»... читал запоем Байрона и исподволь малыми порциями воспринимал красоты Гомера, который «подавлял его своим величием и заставлял изнемогать его разум под тяжестью возбуждаемых им мыслей»...

В своей ученой книге «Reise um die Erde» Эрман, встретивший Бестужева в Якутске, вспомнил о своем мимолетном знакомом и набросал довольно живую картинку его жизни в Якутске.

«Однажды вечером, – рассказывает Эрман, – когда в присутствии многих якутов я производил мои астрономические наблюдения, меня в темноте поразили французские слова и вопрос одного человека, который спросил меня, пожелаю ли я повидать его, хотя он и зовется Бестужевым? Я рассеял его сомнение, ответив ему казацкой поговоркой «гора с горой не сходится, а человек с человеком», и затем в моем одиноком жилище я имел возможность насладиться очень занимательным разговором. В человеке, который звуками цепей и в тюрьме был пробужден ото сна свободы, который затем, ожидая позорной смерти, как благодеяние принял изгнание – в таком человеке я мог бы ожидать встретить известную черствость или стоическое равнодушие. Здесь же был предо мной человек, который в чертах лица, словах и фигуре сохранил всю свежесть юности и блеск благородного таланта. Он признался мне, что веселость настроения в нем против воли всегда заново зарождается; что тяжесть прошлого и безнадежного будущего должна была бы естественно давить его, но что в нем все-таки достаточно любви к настоящему и смелости, чтобы им пользоваться.

Александр Бестужев вступил в круг заговорщиков задолго до взрыва революции. Убежденный в даровитости русского народа, он принадлежал к числу тех, которые хотели сразу пробудить его из крепостного рабства к жизни законной и свободной (zu einer freien Verfassung).

Это освобождение было их главной целью, когда они решились на крайнее, и они надеялись, что одержат верх над некоторыми их сотоварищами по заговору, которые были им подозрительны вследствие их корыстного честолюбия (?).

Бурными речами, какие подсказало ему мгновение, Бестужев воспламенил сердца солдат. Никто из офицеров полка не изменил своей присяге и все-таки 5 рот солдат захватили в арсенале полка ружья и па-

троны. Они двинулись в строю, с развевающимися знаменами к площади Исаакия, и во главе их шел только один их оратор Бестужев, который нашел для них чисто русские слова. А между тем почти все они видели его в первый раз, и на нем был мундир для них чуждый.

Известно, как Император своим рыцарским презрением к смерти вызвал в вожаках раскаяние, а в массах – покорность. Все, казалось, были покорены нравственной силой его победы. Думать о пощаде нельзя было, но тем не менее никто не воспользовался возможностью бежать, хотя эта возможность и представлялась в минуты первой тревоги. Бестужев в течение этого дня избежал всех преследований, но ночью возвратился из отдаленного предместья и прошел незамеченным сквозь сторожевые артиллерийские посты, которые стояли при горящем огне около орудий. Он отправился в Императорский дворец, где его с ужасом встретил один из его знакомых, который был в карауле. Цепи, которые он носил сначала в Петропавловской крепости, а затем в одной финляндской цитадели, и смерть его друзей, умерших рядом с ним на эшафоте от руки палача, не смогли в изгнаннике потушить память об одном моменте той первой страдальческой ночи. Он еще и теперь с потрясением рассказывает, как Император один вышел ему навстречу в большой и почти темной комнате дворца и с непокоримой силой во взгляде (Hoheit des Blickes) говорил ему о верноподданных чувствах его отца генерала Бестужева и о вырождении (Entartung) его сыновей…

Здесь в Якутске Бестужев, сам о том не стараясь, расположил к себе все сердца живостью своего ума, красотой, энергичным лицом и фигурой. В доме губернатора каждый сожалел, что только редко можно видеть этого самого интересного из жителей Якутска. Сибиряки и якуты, для которых все европейские события проходят бесследно, – и они не стеснялись выказывать свою симпатию этому новому их согражданину. Они ему давали лошадей, чтобы он мог ездить на охоту или в соседние леса к близлежащим юртам. Эта доля свободы была предоставлена ссыльному, которому в случае его бегства грозила бы участь несравненно более тяжкая, чем та, в которой он обретался…

Бестужев только что, за несколько недель, расстался со своим товарищем по несчастию, которого помиловали и которого я встретил в Иркутске. В наследство от него ему осталась та хижина, в которой они вдвоем жили и которую украсили странной смесью якутской утвари и некоторыми остатками европейской обстановки. Здесь находилось также несколько книг, которые разрешено было посылать ссыльным. Среди них я нашел экземпляр «Фауста» Гете, вероятно, первый экземпляр в стране, столь же холодной, как Северный полюс.

Бестужев утешал себя также наблюдением и той удивительной обстановки, в которой он очутился. Многие нравы якутов он записал и изобразил в рисунках и помышлял конец своей жизни посвятить изучению языка якутов и тем этнографическим вопросам, которые с их бытом связаны»[78].

IX

Писал Бестужев в Якутске очень мало, и это его тревожило; он все отыскивал причину такого «зла» – и думал, что она в лени, которая разрослась в нем, как добрая крапива… Но он напрасно мучил себя этими мыслями: его талант не шел на убыль, а наоборот, как будто собирался с силами, чтобы сразу развернуться. Правда, ничего крупного и цельного Бестужев за время своей жизни в Якутске не создал; ему как-то совсем не писалось прозой, но за то челнок его воображения, как он говорил, запутался в нитях рифм. Он писал стихи, и писал их много. «Его ртутная фантазия, как летучая рыбка, кидалась в разные элементы, не проникая их», и плодом этих полетов были все стихотворные мелочи, которым сам автор не набивал особенно цены, судя по тому, что закуривал ими иногда свою трубку.

За длинные и серьезные темы он не брался, предпочитая лирическую песнь, описательное стихотворение или балладу. В хорошем балладном стиле разработал он, например, Якутскую легенду о неверной жене «Саатырь». Много местных красок в описании якутских похорон и верований о шаманах перемешано в этой балладе с обычными красками западного романтизма… Много чувства и живости воображения в описании водопада Шебутуй, который наводил Бестужева на грустные мысли:

Тебе подобно, гордый, шумный,
От высоты родимых скал,
Влекомый страстию безумной,
Я в бездну гибели упал.
Зачем же моего паденья,
Как твоего паденья дым,
Дуга небесного прощенья,
Не озарит лучом своим!

Попадаются в его тетрадках как бы «байронические» мотивы на тему о черепах и Наполеоновой колеснице; есть и переводы из Гете в тоне очень мажорном…

Встречаются пейзажи, полные поэтического настроения:

Тяжко ходят волны хладные,
Буйно ветр шумит крылом,
Только вьются чайки жадные,
На помории пустом.
Только блещет за туманами,
Как созвездие морей,
Над зыбучими полянами
Стая поздних лебедей.
Только с хищностью упорною
Их медлительный отлет
Над твердынею подзорною,
Дикий беркут стережет…
Как осеннее дыхание,
Красоту с ее чела,
Так с души моей сияние,
Длань судьбины сорвала…
Вей же песней усыпительной
Перелетная метель,
Хлад забвения мирительный
Сердца тлеющего цель…
Хоть порой улыбка нежная
Озарит мои черты, –
Это радуга наснежная
На могильные цветы.

Иногда настроение менялось, и удивительно жизнерадостный «тост» посылал тогда Бестужев своим братьям в их беспросветную тюрьму:

Вы со мной – и лед сомненья
Растопил отрадный луч,
И невольно песнопенья
Из души пробился ключ!
Раздавайся ж клик заздравный:
Благоденствие – живи,
На Руси перводержавной
В лоне правды и любви!
И слезами винограда
Из чистейшего сребра,
Да прольется ей услада
Просвещенья и добра!

Но после такого подъема печаль вновь заволакивала его сердце:

Давно ль меня
С родимого порога,
Сманила жизнь на пышный пир?
И как безгранная дорога
Передо мной открылся мир!
И случай, преклоняя темя,
Держал мне золотое стремя,
И гордо бросив повода,
Я поскакал туда, туда!..
……
Очнулся я от страшной грезы,
Но все душа тоски полна,
И мнилось, гнут меня железы
К веслу убогого челна…

На чуждом небе тьма ночная;
Как сон бежит далекий брег
И шуму жизни чуть внимая
Стремлю туда невольный бег,
Где вечен лед, и вечны тучи,
И вечно-сеемая мгла,
Где жизнь, зачахнув, умерла,
Среди пустынь и тундр зыбучих…
Забвенья ток меня лелеет,
Мечта уснула над веслом,
И время в тихий парус веет
Своим мирительным крылом.
Все мертво у меня кругом,
И близко бездна океана,
Белеет саваном тумана[79].

X

Бестужев скучал, и 10 февраля 1829 года решился попытать счастья. Он написал графу Дибичу письмо, в котором говорил между прочим: «великодушная снисходительность Вашего Сиятельства, которую имел я счастие испытать, осмеливает меня вознести до взора вашего просьбу равно покорную и пламенную: о предстательстве Вашим Сиятельством пред Особою милостивейшего Монарха о дозволении вступить мне рядовым под знамена, коим вы указываете след к победам. Высокой душе, воспитанной в битвах, понятны страдания военного, осужденного тлеть в праздности, когда слава русского оружия гремит над колыбелью древнего мира и над гробом Магометовым. Но, испрашивая сию милость, ищу не выгод и отличий – ищу только случая пролить кровь мою за славу Государя и с честью кончить жизнь, им дарованную, чтобы на прахе моем не тяготело имя преступника».

Письмо было писано в надежде, что оно попадет в те руки, для которых собственно было предназначено. И оно попало. Оно было доложено Императору, и 13 апреля 1829 года состоялось повеление: Александра Бестужева определить рядовым в действующие полки Кавказского корпуса, с тем чтобы и за отличие не представлять к повышению, но доносить только, какое именно отличие им сделано»[81].

Через два месяца Бестужев был уже в Иркутске, а затем, спустя еще месяц, на Кавказе[82].

«Бог один знает, что перенес я в эти 5 лет, – писал он, вспоминая прожитое время. – Строгое испытание ждало меня и здесь, но крыло Провидения веяло надо мною, и я не упал духом; казалось, он закалился в туче страданий. Я совлекся многих заблуждений, развил и нашел много новых идей, укрепился опытом, и вера в Провидение, зиждущее из частных бед общее благо человечества, и любовь к этому слепому человечеству греют, одушевляют меня посреди зимы моей участи. Даже воображение мое, паж-чародей, порою приподнимает цепь судьбы, как хвост знатной дамы, и я не слышу тогда ее тяжести»[83].

Бестужев покидал Якутск с легким сердцем, в самом веселом настроении и всю дорогу не переставал быть весел. Она занимала его своими опасностями и красотами. «Дорога моя, – рассказывает он[84], – была живописное путешествие. Вся сибирская природа тогда оживала наравне с моими надеждами. Дикий, пустынный берег Лены, по которому скакал я верхом, на каждом повороте представлял новые, прелестные виды. Я должен был ехать по гребню гор и весьма часто по краю отвесного берега, и самая опасность прибавляла наслаждения. Нередко также приходилось спускаться на затопленный берег и ехать по пояс в воде, не зная, что за шаг – обрыв или яма – встретит тебя, и потом объезжать с самой реки скалу, заступившую дорогу. Переправа через широкие реки могла бы одна потребовать тома: иногда вброд по гребню камней водопада, ревущего под ногами, иногда в берестяном челне, плывя сзади коней, готовых его опрокинуть, иногда на срубленной сосне, иногда вплавь… Случалось не раз, что мы принуждены бывали класть жерди с сучка до сучка потопленных дерев и по ним переправляться через болотистую речку, перенося на плечах чемоданы и балансируя над пучиной. Случалось, въезжая к верховью поперечных рек для прииска броду, прорубать себе дорогу в чаще, в которой от века не была стопа человеческая. Наконец, во многих случаях опасных, встречаясь раза два с медведями, носом к носу, я прибыл в Иркутск».

В Иркутске стоянка была недолгая, всего лишь неделю. 4 июля Бестужев вместе с Толстым, одним из своих «картечных» братьев, отправились в покойном экипаже дальше. Они скоро оставили за собой волнистые долины Иркутской губернии; скоро Обь и Енисей зашумели за ними, и они, напутствуемые во всю дорогу зноем, въехали в печальную тундру Барабинской степи. Стоячие болота заражали воздух; кони в деревнях валились тысячами, и язва перешла на людей. Они проезжали с опасностью сквозь и около зараженных деревень и нередко впрягали жеребят в повозки, имея на козлах привидение вместо кучера. Наконец,

через две недели они покинули Сибирь и въехал в Россию, оставив за собой Уральский хребет и богатые, прелестные его уголки и деревни. Через Екатеринбург скакали они, не ночуя, нигде не останавливаясь, до самого Симбирска. Там пересели в телеги и ровно через месяц увидали снежные верхи Кавказа.

Путь их лежал прямо на Тифлис, по теперешней Военно-Грузинской дороге. Она привела Бестужева в восхищение. Наш любитель эффектов не мог вдоволь насмотреться на гряды льдов, озаренных лучами солнца. «Все это стоит кисти Сальватора», – говорил он, вполне верно определяя характер раскинувшегося перед ним пейзажа.

В Тифлисе Бестужев оставался недолго; он спешил к действующей армии и через восемь дней был в Эрзеруме, где и встретился со своими братьями Павлом и Петром, с которыми неоднократно потом приходилось ему, на радость и на горе, встречаться и жить вместе.

Из Эрзерума Бестужев, сгорая нетерпением принять участие в «деле», направился дальше, но кампания уже кончалась, и ему пришлось участвовать лишь в штурме Байбурта. В этом первом деле он обнаружил впервые ту геройскую храбрость и выдержку, которыми так славился потом на Кавказе.

«Завладев высотами, мы кинулись в город, – рассказывает он, – ворвались туда через засеки, прошли его насквозь, преследуя бегущих и, наконец, верст пять далее вступили в дело с лазами, сбили их с горы, и пошла рукопашная. Я был ужасно утомлен усилиями карабкаться по каменистой крутой горе, пересеченной оврагами, в полной амуниции и в шинели. Но вся добыча, которую я себе позволил, состояла в кисти винограда и в турецком молитвеннике: хозяин заплатил за это жизнью. Возвращаясь по полю, усеянному мертвыми телами, разумеется, обнаженными, и видя иных еще дышащими, с запекшеюся кровью на устах и лице, видя всюду грабеж, насилие, пожар – словом, все ужасы, сопровождающие приступ и битву, я удивлялся, не чувствуя в себе содрогания; казалось, как будто я вырос в этом, как будто это должно было так быть; как скоро привыкает человек к этим картинам! Сознание, что ты не в состоянии помочь, ни отвратить, делает тебя почти равнодушным. Ввечеру зрелище было ужасно великолепно. Город пылал, и кровавое зарево отражалось на купах утесов, на высоких тополях и в гремучих струях Чароха. Невнятный гул раздавался в середине города, отданного на разграбление; песни и выстрелы из взятых ружей раздавались в стане. Солдаты, сгибаясь под ношею, тащили всякую всячину, меняли, продавали; золоченые рамы, пестрые шкафы трещали в кострах бивачных, на которых жарили, варили и пекли с маслом и медом. Радость и веселье одушевляли всех. Я сел на коня и поехал посмотреть Байбурт. Он походил на печь: огонь и дым стлался поверху; по улицам бродили толпы солдат, доискивая остатков, ломая все, что ломается, разбивая об угол даже глиняные горшки. Дома, большею частью с навешенным этажом, рухали вдруг всею массою. Несколько армянских семейств глядели на пожар издали и плакали тихо. Там рыдала турчанка-старуха над телом сына... Там... Но я опускаю завесу»...

После этих бурных дней наступили для Бестужева опять долгие годы совсем неожиданного затишья. Байбурт был взят, армия с главнокомандующим ушла на квартиры, оставив лишь несколько отрядов на границе, и Бестужев, побродив по развалинам царства Армянского, повидав печальную страну завоеванной Персии, потоптав подножие Арарата, побывав в Сардарабазе, в зачумленной Эривани, – больной очутился в Тифлисе. Мечты его не исполнились, надежды на бурную военную жизнь и возможность отличиться не оправдались; штрафной рядовой ничего не выиграл, и только фантазия поэта обогатилась новыми впечатлениями, да сердце – встречею с братьями и с товарищами.

Случай чуть-чуть не свел его в это время с Пушкиным. «Скажите, что нет судьбы, – писал он К. Полевому. – Я сломя голову скакал по утесам Кавказа, встретив его (то есть Пушкина. – *Н. К.*) повозку. Мне сказали, что он у Бориса Чиляева, моего старого однокашника. Спешу, приезжаю – где он? Сейчас лишь уехал, и как нарочно ему дали провожатого по новой околесной дороге, так что он со мной и не встретился. Я рвал на себе волосы с досады – сколько вещей я бы ему высказал, сколько узнал бы от него, – и случай развел нас на долгие, может быть, на бесконечные годы».

В Тифлисе зимой 1830 года Бестужеву жилось довольно весело[85].

«В зиму 1830 года, – рассказывает Гангеблов, – декабристы проживали в Тифлисе под разными законными и незаконными предлогами. Бестужев тогда только что выздоровел. В настроении духа декабристов нисколько не замечалось, чтобы они приуныли, чтоб выражали сожаление о том, что жизненные надежды каждого из них изменили. Где ни встречались, где ни сходились они, начиная с Арзрума, всегда они казались веселыми, приветливыми как между собой, так и с другими»[86].

Душой этих бесед был Александр Александрович. Любопытный портрет его сохранился в записках одного современника, в ту пору проживавшего в Тифлисе. «Я имел случай встречать его часто у его брата Павла, – рассказывает этот современник[87]. – Как человек, он отличался благородством души, был слегка тщеславен, в обыкновенном светском разговоре ослеплял беглым огнем острот и каламбуров, при обсуждении же серьезных вопросов путался в софизмах, обладая более блестящим, чем основательным умом. Он был красивый мужчина и нравился женщинам не только как писатель, о чем в мое время кое-что поговаривали в Тифлисе».

Это последнее замечание оттеняет одну черту в характере нашего писателя, которая теперь начнет проступать все яснее и яснее наружу, а именно – его волокитство. Частью по врожденной склонности к

донжуанству, склонности, которой он славился еще в Петербурге, частью от скуки он стал усиленно разнообразить свою жизнь всевозможными подвигами любви. Началось это с Тифлиса. Впрочем, здесь ему не пришлось отдыхать долго.

Доносы, которые писались куда следует[88] и в которых говорилось о той опасности, какая может возникнуть от сближения молодых офицеров с людьми, осужденными законом за политические преступления, сделали быстро свое дело[90], и веселых друзей, собравшихся так неожиданно в Тифлисе, разослали по разным местам. «Их разослали с жандармами, – рассказывает Гангеблов. – Дело вышло из-за Бестужева, которого обвинили в том, что он будто бы подбивал на ослушание офицеров, которые пренебрегали своими служебными обязанностями, и жил неизвестно по какому праву в Тифлисе. Но Бестужев был ни при чем, и офицерские собрания, в которых он участвовал, были самого невинного свойства»[91].

Бестужева перевели в Дербентский гарнизонный батальон в 1-ю роту, и ему пришлось проскучать и прострадать в Дербенте целых четыре года (1830–1834)[92].

Разочарование Александра Александровича было полное. Он ехал на Кавказ с большими надеждами: ему хотелось служить, служить в первых рядах нашей армии, он жаждал подвигов и отличия, а на долю его выпала теперь скучная, тяжелая, бесцельная гарнизонная служба. Ему сначала не верилось, что судьба с ним так зло поступила, и он на первых порах даже попытался бороться с нею. Он умолял свою мать написать А.Х. Бенкендорфу «о предстательстве его перед троном за несчастливца, желающего быть переведенным в какой-либо армейский полк, для того только, чтоб участвовать в открывающейся кампании против горцев». «Истлевая в гарнизоне, – писал он, – могу ли я загладить минувшее? А я полумертвый готов был бы отправиться в поход, так сильно во мне желание заслужить кровью прежний проступок перед Государем Императором, которого уважаю, как великодушного Монарха, и уважаю, как великого человека».

Бестужев все прислушивался к военному шуму, который издали до него доносился, он все спрашивал, не будет ли что с Персией или с Дагестаном, чтобы туда ринуться, но ему пришлось сидеть спокойно на месте и рядовым отбывать бесполезную службу в крепости. «Мы вьем из песку веревку, – писал он с иронией своим братьям в Сибирь, – труд бесконечный, но чрезвычайно полезный»; и, не будучи в состоянии идти врагам навстречу, превозмогая свою «хорьковую дремоту», он сидел и ждал, когда они сами придут к нему.

Столь ожидаемая им буря, наконец, налетела осенью 1831 года. Знаменитый кавказский герой Кази-Мулла подступил к самым стенам Дербента и восемь дней держал в осаде город. Каждый день под стенами были у наших «гомеровские стычки» с неприятелем, при которых не упускал случая порыскать и Бестужев. Горцы готовились штурмовать город, настроили огромных лестниц, и неизвестно, чем бы дело кончилось, если бы на выручку не приспел генерал Коханов. Горцы бежали, и гарнизон из оборонительного положения перешел в наступательное. «Я дышал эту осень своей атмосферой, – писал Бестужев своим братьям в их Петровское кладбище, – я дышал дымом пороха, туманом гор. Я топтал снега Кавказа, я дрался с сынами его – достойные враги! Какие куклы перед ними персы и турки, как искусно умеют они сражаться, как геройски решаются умирать! Имя русское здесь только в одном месте из целого света не наводит трепета. Я был в нескольких жарких делах всегда впереди, в стрелках; не раз был в местах очень опасных; но Бог, который выводил меня из челюстей львиных и прежде, не дал укусить ни одной свинцовой мухе. А они, впрочем, крепко до меня добирались: шинель моя пробита в двух местах, и (это чуть не чудо) ружье мое прострелено сквозь обе стенки, так что пуля изломала шомпол: таких случаев, впрочем, в одном деле я видел пять».

Так бравурно писал Бестужев, и в каждой строке чувствовалось довольство собой и делом. Но это были единственные дни подъема духа за всю его дербентскую жизнь. Помимо скуки, дербентская жизнь была и в ином смысле жизнью тяжелой. Начальник Бестужева – батальонный командир – был человек грубый и злой: он вымещал на Бестужеве свое умственное и нравственное ничтожество, заставлял его нести солдатскую службу со всей ее тяготой и выжидал только минуты, чтобы ослушанье дало ему право по-солдатски расправиться с этим штрафованным гвардейским офицером[93]. Бестужев понимал это и потому беспрекословно повиновался грубой силе.

Не находил он себе поддержки и в обществе офицеров, обыкновенно доброжелательно относящихся к своим штрафным товарищам. Это была не грубая, но очень пустая среда; с ними, как говорил Бестужев, надо было или пить, или терпеть от них: первое для Александра Александровича было бы, конечно, весьма нетрудным делом, если бы петербургская компания не научила его мешать вино с сердечностью, умом и остроумием, а этих-то прикрас веселой пирушки и не было в Дербенте. Исключением среди всех этих лиц был только один дербентский комендант Шнитников, в семействе которого Бестужев встречал и ласку, и внимание: за то ему и приходилось, по приказанию батальонного командира, всего чаще отстаивать на часах именно перед комендантским домом.

«Как бы то ни было, – писал Бестужев братьям, – но в воображении я еще живу, хотя по сущности бытие мое Бог знает что такое: смертью назвать грешно, а жизнью совестно. Русский, для которого водка не есть элемент, как вода для рыбы, есть здешний Робинзон на необитаемом острове: с желанием узнать что-нибудь, он не выменяет ни одной человеческой, не только европейской идеи»[96].

Думы и сны Александра Александровича летели от этой скучной стороны к далекому, далекому прошлому; часто вспоминалась ему его туманная родина – его север, где он цвел ребенком, где жил юношей, где страдал и погиб… там, казалось ему, схоронено его сердце, а здесь блуждает лишь его лживый призрак.

«Неужели кровь моя стынет? – спрашивал он себя со страхом. – Зачем же кипит еще мое сердце! Зачем сны наяву волнуют его, а оно не оживляет моих сновидений по-прежнему? Да, в эту ночь я видел себя ребенком, видел отца моего, доброго, благородного, умного отца; видел, будто мы ждем его к обеду от графа Александра Сергеевича Строганова, который бывал именинник в один день с нами… И все заботы хозяйства, раскладка вареньев на блюдечки, раскупорка бочонка с виноградом, и стол, блестящий снегом скатерти, льдом хрусталя, и миндальный пирог с сахарным амуром посредине, и себя в новой курточке расхаживающего между огромными подсвечниками, в которые ввертывают восковые свечи, и все это виделось мне точь-в-точь как бывало. Но кругом было сумрачно, внутри меня холодно – я был уже зритель, не действовал на этом празднике. Я проснулся с досадою… И так луч мороза судьбы проникает даже в воображение, даже в сон – горькое открытие, горькое сознание!»[98]

На эти думы о прошлом, о родине и о тех, кто остался жить там, на севере, в мирной и теперь опустевшей печальной усадьбе – наводили Бестужева его братья Павел и Петр, которые изредка у него гостили. Это были радостные встречи и вместе с тем очень печальные. Бестужев любил этих братьев не менее, чем других двух, схороненных в Сибири. Особенным его любимцем был брат Павел, любовь к которому была у Александра Александровича смешана с чувством некоторой своей виновности перед ним. Он не мог забыть, что этот брат был сослан на Кавказ только потому, что носил фамилию Бестужева[99]; и хоть присутствие брата и грело его сердце, хоть он расцветал и духом и телом, когда тот сидел с ним рядом, но Александр Александрович безумно обрадовался, когда узнал, что брату разрешено вернуться на родину, обрадовался, несмотря на какое-то тайное предчувствие, которое говорило ему, что он с ним более не увидится. Но мысль о том, что брат спасен для матери, для сестер, для вольной жизни, одна эта мысль искупала чувство скуки и тяготу одиночества, от которых так страдал Бестужев, когда подле себя не имел «Ваплика», как он звал своего любимца. И действительно, только он один служил ему утешением, а мысль о других была всегда источником страдания. «И где твой дар, – писал он брату Николаю, – где твои таланты, твое сердце, которому не найти пары в подлунной, – схоронено, зарыто, тлеет, как виноград на корню; Боже мой, Боже! Луч солнца утоплен в омуте, звезда, упавшая с неба, гаснет во мраках ада!» «Тебе, брат, – говорил он, обращаясь к другому брату, Михаилу, – тебе я отдаю терновый венок терпения, ты весело несешь свой крест и, как забытый цветок на этом сенокосе всех радостей, веселишь сердца родных, души знакомых. О! да сохранит Провидение неизменным этот высокий в тебе характер, эту покорность к воле небесной… Со слезами говорю далекое прощай вам, недооплаканные живые мертвецы. Потомство бы рыдало, если б прочло эти строки»… Еще ужаснее, чем эти мысли о далеком Петровске, отзывались в душе Бестужева страдания его брата Петра… Рассудок этого несчастного человека медленно угасал на глазах у Александра Александровича. Сначала какой-то сплин стал заволакивать его душу: «Все черные мечты машут около него своими перепончатыми крыльями», – писал о нем с тревогой его брат; потом эта меланхолия стала медленно переходить в манию преследования; больной перестал есть и однажды просидел семь суток впроголодь. Бестужев выхлопотал ему разрешение погостить в Дербенте, но это свидание братьев не принесло ни облегчения больному, ни утешения здоровому. Больной не выходил из палатки, свои мечты принимал за существенность; ему везде слышались голоса, везде виделось чудо, то жуки с человеческими глазами, то мыши во образе кого-нибудь. Он говорил, что его судят какие-то существа, что собаки ему поклоняются, что он высокое создание, обреченное на гибель; толковал он что-то и об Аракчееве… наконец, стал подозревать и своего брата в том, что он хочет завладеть его способностями, что он ему завидует, что он посредством магии собирает собак и терзает его слух… Бестужев страдал невыносимо, пока, наконец, не получено было разрешение отправить больного к матери в деревню; но мысль о старухе, на руках которой теперь очутился сумасшедший, не могла же назваться облегчением.

Так испытывала судьба Бестужева, который надеялся, «что пять лет страданий дадут ему некоторое право на надежду лучшего». Но это лучшее не наступало, и вся дербентская жизнь Бестужева была почти сплошным терзанием и духа, и плоти[100]. Случалось, впрочем, – но это было так редко, – что он покидал Дербент и уезжал в горы: там отдыхал он среди горцев, которые, как он сам признавался, были все от него без ума и с которыми он позволял себе иной раз довольно шумное веселье. Среди дикой природы, которую он так любил, он чувствовал себя легче. Ни газет, ни вестей, ни даже русского слова не слыхал он; около него каркали лезгины, и сам он болтал только по-татарски; с людьми было скучно, но зато что за воздух, что за природа были здесь! Он по целым часам прислушивался к ропоту горных речек и любовался игрой света на свежей зелени и яркой белизне снегов[102].

Но вот что писал он из этих горных ущелий своим братьям: «Я топтал снежные вершины Кавказа, но и в тот миг, когда, восхищенный, забывал все, в сердце лежало что-то свинцовое: это было чувство одиночества; это был гвоздь, прибивавший меня к земле».

Да, Бестужев был одинок, очень угнетен и печален и, быть может, это минорное настроение духа и было источником того ухарства и бравурства, которые отмечают его поведение с женской половиной дербентских обитателей. Он вел себя в Дербенте как записной ловелас и даже хвастался своими подвигами.

Выпишем несколько строк из его переписки, чтобы показать, чем и как наш приниженный и печальный поэт разнообразил свои скучные и тяжелые дни. Эти признания осветят нам с новой стороны его характер.

Вот эти записи, которые было бы неделикатно перепечатывать, если бы мы не имели дела с исторической личностью, с которыми принято не церемониться.

«Я с нового года (1832), – пишет Бестужев брату, – пустился в волокитство, и очень счастливо: владею лучшею дамочкой из целого города. Elle fait des folies pour moi, и я будто переживаю годы молодости. Впрочем, ты, я думаю, помнишь меня в Арзеруме? Я еще довольно свеж для 33-летнего возраста, а сводить с ума женщин мне не новинка. Итак – vogue la galère. Оттого, правда, мои занятия идут плохо, но зато я живу для себя – а это разве безделица!»

«Я было попался в кляпцы со своими амуреттами, да вывернулся; но теперь глядят за дамой во сто глаз. Пришлось поневоле или по охоте пробовать других». Похождения нашего героя кончались иногда совсем не мирно: героиня отделывалась тумаками, которые получала от своего ревнивого мужа, а Бестужев принимался чистить свои пистолеты. «Всегда рука на ручке кинжала, – писал он, – и ухо – на часах... и переодеванье ее, и прогулки, и визиты ко мне... и удачные забавные обманы аргусов – о! я прелюбопытный роман вроде Фобласа! Я всегда был так счастлив с женщинами, что не постигаю, чем я это заслужил. И что осталось после всего этого? Фейерверк кончился... грязные доски, дым, угар, сожженные платья, растерянные вещи и раскаяние потерянного времени!» Характерная заметка, в которой наш Дон Жуан обнаруживает свое родство с разочарованными типами. Еще характернее другая заметка, которая искупает всю, иной раз циничную, откровенность нашего ловеласа. «Не поверишь, – пишет он брату, – как глубоко трогает меня всякое падение невинности: всякий разврат в других меня оскорбляет, меня, который, конечно, не стоик, но сердце у меня чисто, несмотря на то, что ум XVIII века на этот счет».

В общем, все эти романы были веселыми эпизодами его печальной жизни в Дербенте. В них было много задора, таинственности, маскарадной интриги и много опасности, если принять в расчет, что его соперниками выступали восточные люди или, что еще страшнее, его начальники – подчас очень грубые[104]. Но счастливая звезда как-то Бестужева хранила, и из всех этих опасностей он выходил так же невредим, как из боевой перестрелки с горцами.

Только однажды судьба рассчиталась с ним сразу и жестоко за все его донжуанство и, как всегда бывает при случайностях, она обрушилась на его голову тогда, когда он всего менее был виновен. Случилось это в Дербенте в феврале 1834 года. К нему иногда ходила за шитьем на квартиру одна девушка – унтер-офицерская дочь Ольга Нестерцова. Пришла она к нему 23 февраля часу в девятом вечера и, не нашедши его в комнате, послала за ним денщика. Когда Бестужев пришел, у них завязался какой-то разговор, очень живой и смешной. Бестужев хохотал во все горло. Девица вела себя также очень весело: бросалась на кровать, «резвилась» на ней, как выражается Александр Александрович, прилегала на подушки и вдруг кинулась на них правым плечом, обратясь лицом к стене. Под подушкой у Бестужева всегда лежал заряженный пистолет и кинжал – на всякий случай, ввиду частой резни и грабежа в Дербенте. Когда Нестерцова бросилась на подушку, пистолет, скатившийся дулом вдоль кровати, от сильного ли движения подушек, зацепясь ли собачкою за косму ковра, а может быть, и по иной причине выстрелил и ранил несчастную девушку в плечо, так что пуля прошла внутрь груди. На крик «помогите! прощайте!» Бестужев кинулся к свечке, чтобы посветить и посмотреть, что случилось, но, запнувшись за крюк кровати, уронил свечу и побежал вниз за светом к хозяину своей квартиры. Когда он вернулся, он нашел Ольгу в обмороке. Тотчас же известили коменданта, послали за лекарем, и скоро вокруг несчастной собрались и священник, и наряженные комендантом для следствия секретарь, и один поручик. Когда раненая пришла в себя, она рассказала все, и наедине, и при других, и в бреду подтверждала, что во всем этом несчастии Бестужев виноват не был. Она жила пятьдесят часов и затем в страшных мучениях умерла от излияния крови в легкие.

Так рассказывает этот печальный случай сам Бестужев в своих письмах. Он, довольно откровенно говоривший всегда о своих любовных похождениях, на этот раз клянется и божится, что несчастная Нестерцова никогда не была его любовницей. «Разве не мог я находить удовольствие быть с нею без грубых наслаждений? – спрашивал он брата... – Она любила бывать со мной, как с человеком просвещенным; я желал быть с ней, как с умною и доброю девушкой, вот и все. Надеюсь, что человек, далекий от грубой чувственности, мог провести с девушкой несколько вечеров безвинно». И он очень ревниво оберегал ее честь, словно честь своей невесты, и действительно, когда мать Ольги хотела проклясть ее, уже больную и умирающую, он остановил старуху словами: «Ольга моя невеста»[105].

Случай этот тяжело отозвался на Бестужеве, на всем его нравственном составе – если так можно выразиться. Но это несчастие имело для него и иные последствия. Батальонный командир, к нему столь нерасположенный, пожелал в своих видах воспользоваться смертью Нестерцовой. Он не поверил следствию, которое было ведено комендантом, и нарядил другое. Он и его ближайший помощник поручик Рославцев стремились истолковать эту смерть как результат развратной жизни и буйной ревности штрафного солдата. Они утверждали, что Нестерцова была убита самим Бестужевым. Обвинение было правдоподобно, так как несчастие произошло без свидетелей, и хотя командиру и не удалось доказать и оправдать свои подо-

зрения, он все-таки достиг своего, оставив Бестужева под подозрением и способствуя тем самым росту и быстрому распространению всевозможных сплетен, которые и обратили этот эпизод из жизни Бестужева в целую легенду, для него очень невыгодную[107].

Дело, конечно, темное, но решительно нет никаких оснований не верить Бестужеву и еще меньше оснований не верить самой пострадавшей…

Легенда, однако, росла и летела, и долетела, наконец, куда следует – в Петербург. Незадолго до этого пришло в Петербург другое донесение, представлявшее Бестужева к награде. Он имел все права на эту награду. Храбрость, которую он проявил во всех экспедициях и, главным образом, во время осады Дербента Кази-Муллою, создала ему широкую известность среди военных. Он ею гордился по праву и, конечно, желал отличия, хотя и говорил с грустью: «Знаю, что мне ничего не дадут, хоть бы я взял звезду с неба». И вот в 1832 году за осаду Дербента были присланы в батальон два георгиевских креста. «Как достойнейшего, – писал Бестужев матери, – выбрали меня солдаты, ротные командиры и сам подполковник (его злейший враг Васильев). Но он трус. Вместо того чтобы по общему порядку возложить на меня крест и донести о том, он спрашивает разрешение – возложить ли? Разумеется, это пошло в долгий ящик и, может, даром. Вот как мимо текут все мои награды. Сами все боятся наградить, а представить царю ленятся»… Делу о награждении Бестужева крестом был, однако, дан ход, бумага странствовала долго, дошла, конечно, до высшей инстанции, и в результате получился отказ. Начальство ответило его батальонному командиру, что Бестужеву отказано в кресте, так как из дела увидали, что он живет «роскошно». «Я, я живу роскошно? Боги бессмертные!» – восклицал он. Отговорка была, действительно, странная, и если принять во внимание, что ближайшее начальство (кроме Васильева) было к нему расположено, то надо предположить, что, когда отказ последовал свыше, само начальство не знало, как объяснить его и ухватилось за первый бессмысленный предлог. Слово «роскошно» могло быть, впрочем, понято в смысле «разгульно», и тогда очевидно, что несчастная история с Нестерцовой не осталась без влияния на ход всего этого дела. Во всяком случае, эта история очень навредила Бестужеву и отдалила его прощение. «Когда же могу я вновь заслужить сей крест, трижды заслуженный – и на окопах Байбурта, и под стенами Дербента, и на мосту Чиркея? – спрашивал он. – Какой герой хотел бить лежачего? кто постарался очернить меня?.. Чудно и непостижимо для меня все это, но да будет воля Бога. Несчастие дает силы переносить несчастие; я унижу себя отчаянием, хотя безнадежность будущего разверзается передо мной со всеми ужасами…»

Так тянулась жизнь, бесцельная при жажде дела, скучная при живом темпераменте, полная опасностей и лишений при отсутствии надежды от них избавиться и полная унижений и оскорблений при сознании своего достоинства и преимущества. Так жил человек, который незаметно для самого себя в какие-нибудь пять лет стал литературной знаменитостью – по тому времени чуть ли не первого ранга.

Несмотря на то, что условия для самообразования и чтения были в Дербенте еще менее благоприятны, чем в Якутске[111], Бестужев работал и писал много, как никогда раньше. За эти годы дербентской жизни были написаны им все крупнейшие и лучшие его произведения: «Наезды», «Лейтенант Белозор», «Страшное гаданье», «Аммалат-Бек», «Письма из Дагестана», «Фрегат Надежда».

В 1832 году вышло первое полное собрание его сочинений – правда, без имени автора, даже без его псевдонима, – и симпатии читающей публики были завоеваны быстро. Литературные связи с обеими столицами были установлены прочно, лестного для себя в журналах приходилось читать часто и много – и все это в то время, когда сознание невозможности распоряжаться своею жизнью всего сильней угнетало художника. Литературный успех только увеличивал тяготу жизни, так как резче подчеркивал противоречие между правами и обязанностями. Бестужев не радовался своим литературным победам; по крайней мере, он в письмах не выражал этой радости.

«Меня гнетет какая-то свинцовая лень, – признавался он, – вместо гармонии нахожу я в себе ветер пустынный, шепчущий в развалинах. Под крестом моим, тяжким крестом (и более нравственно, чем вещественно) падал я хоть на час, но не однажды. Дух мой окреп; но это больше окаменение, чем твердость. Две только драгоценности вынес я из потопа: это гордость души и умиление перед всем, что прекрасно. Чуден стал внутренний мир мой; прочтите «The Darkness» Байрона, и вы схватите что-то похожее на него; это океан, «задавленный тяжелою мглой, недвижимый, мрачный и немой, над которым мелькают какие-то неясные образы». Зима судьбы погрузила меня в спячку… о, если бы эта зима сохранила в свежести чувства мои для красных дней! Напрасная мольба… холод сохраняет только мертвецов в своем лоне, он убийца жизни. Слышу упрек совести: «ты погребаешь талант свой», – и на миг хватаюсь за перо. Вот почему не написал я доселе ничего полного, развитого до последней складки. Мои повести – разорванные звенья электрической цепи, вязавшей ум мой с сердцем; но я сам не разберу концов, не сцеплю обрывков. Впрочем, с неохотой принимаясь за дело, я с любовью веду его. Только в чтении, только в сочинении оживаю… Правда, я живу тогда не своею жизнью: плавкое мое воображение принимает все виды: оборотень, оно влезает в кожу, оно, как рукавицу, надевает понятия лиц, созданных мною или другими; я смеюсь и плачу над листком… но это миг… я скоро простываю: слова мне кажутся так узки, перо так медленно, и потом, читатели так далеки, путь к их сердцам нравственно и физически так неверен… и потом, когда вздумаю, что эта игра или страдание

души все-таки поденщина для улучшения своего быта, кисну, холодею, тяну, вяжу узлы как-нибудь. Нет, нет, для полного разлива, для вольного разгула дарования надо простор; нет, я недоволен своими созданиями! Это дети, иногда забавные, иногда милые, порой даже умненькие, но дети, но карлы, а я живу в стороне исполинских гор, в мире исполинов, мечтаний»...

Но в той мере, в какой возрастали силы творчества, убывала в писателе сила физическая: здоровье Александра Александровича шло медленно, но верно на убыль. В Сибири, в трудах, непогодах, в холоде его здоровье было крепче. Правда, он и теперь все еще считал себя «железным» и утверждал, что может на колени быка поставить, но силы угасали, несмотря на строгий режим в еде и питье, которого он придерживался. А такой режим был необходим ввиду повальных свирепствовавших вокруг болезней.

Жизнь его была постоянно в опасности. То оспа, то горячка, то, наконец, чума не переводились, уносили вокруг него массу жертв, и он блуждал в этом царстве смерти, ожидая своей очереди.

Но он выходил как-то невредим изо всех этих опасностей, и его – вероятно, минутами очень искреннее – желание умереть не осуществлялось.

Наконец, в судьбе его произошла перемена. Его перевели из Дербента в Ахалцых. Перевод этот не обещал ему, однако, на первых порах никакой перемены, кроме климата, который в Ахалцыхе был еще более вреден, чем в Дербенте. Служба была опять гарнизонная; и с мечтами о подвигах и выслуге приходилось снова проститься.

Но прощание с Дербентом обещало все-таки нечто новое. Это прощание – если верить одному из рассказчиков – было довольно необычное.

«Бестужев, – рассказывает Я.И. Костенецкий, – знал очень хорошо персидский и татарский языки, на которых говорил совершенно свободно; поэтому он был знаком почти со всем народонаселением Дербента и по своей благотворительности никогда не отказывал в помощи и словом и делом всякому нуждающемуся азиату. С более образованными жителями он находился в самых дружеских отношениях, которые часто его посещали и всегда находили особенное удовольствие в беседе с ним. Раз при мне посетили его четверо или пять знатнейших и ученых персиян, которым он, усадивши на диваны и предложивши им трубки и сладости, начал потом рассказывать какую-то очень занимательную восточную повесть, которую они слушали с большим вниманием и восторгом. Вообще все жители Дербента очень его уважали и любили, и когда он, по производстве в прапорщики, уезжал из Дербента к новому своему месту служения, то почти все городское народонаселение провожало его и верхом и пешком, верст за двадцать от города, до самой реки Самура, стреляя на пути из ружей, пуская ракеты, зажигая факелы; музыканты били в бубны и играли на своих инструментах, другие пели, плясали... и вообще вся толпа старалась всячески выразить свое расположение к любимому своему Искендер-беку»[113].

Быть может, в этом рассказе кое-что и преувеличено; о Бестужеве ходило много легенд, но очевидно, рассказчик был убежден, что Бестужев мог заслужить такие проводы, и мы знаем из собственных писем Александра Александровича, что в Дербенте он, действительно, пользовался среди народа большой популярностью.

Сам он прощался с Дербентом без всякого шума. Он выехал на берег моря и направил разъяренного карабахца прямо в прибой Каспийского моря. «Один миг, и конь мой стал среди валов, изумленный их ревом и плеском, – рассказывает Бестужев. – Как дикие степные кони, разметав гриву на ветер, стадами рыскали, прядали они кругом, набегали, отбегали вдаль; и конь строптиво, недоверчиво поводил своими раскаленными и черными, как уголь, глазами, вздувал дымные ноздри, обнюхивал незнакомых ему товарищей и каждый раз, когда всплески расшибались в пену о грудь его, он злобно отрясал брызги с ушей, бил копытом и, оскалив зубы, готовился грызнуть неуловимых зачинщиков. Буйный северный ветер гнал волны свистящими крылами своими на берег, как гонит орел лебединое стадо. Серо было небо; лучи солнца рассыпались веером сквозь летучие струи облаков и порой зажигали бисерною радугой брызги над валами. Я склонил навстречу этому приветливому дождю лицо свое, и мне чудились говор родных, давно разлученных со мною, голоса друзей, давно погибших для сердца, пение соловьев над Волховом, звон столичного колокола. Мне казалось, он напоен дыханием милой, свежестью снегов, ароматом цветов туманной отчизны моей; он веял, пахал на меня поминками юности, и на клич сердца отозвались все любимые мечты былого: они слетелись, как ласточки, засверкали, как звезды, брызнули из земли, как цветы... Но все исчезло. Только ветер шумит, только бушует море. Негостеприимное, пустынное, печальное море. Я, однако ж, с грустью покидаю тебя. Ты было верным товарищем юных дум, неизменным наперсником чувств моих. В твои горькие воды лились горькие слезы мои, шум твоих непогод заглушал, безмолвил мои душевные бури. Да! я видел не одно море, и полюбил все, которые видел, но тебя, Каспий, но тебя – более других! Ты был моим единственным другом в несчастии, ты хранил и тело, и дух мой от истления. Как обломок кораблекрушения, выброшен был я бурей на пустынный берег природы и одинок, я нелестно узнал ее и научился бескорыстно наслаждаться ею. Но, кроме того, меня влекло к тебе сходство твоей судьбы с моею. Ниже других и горче других твои воды. Заключенное в песчаную тюрьму диких берегов, ты – одинокое, стонешь, не сливая волн твоих ни с кем. Ты не ведаешь ни прилива, ни отлива, и даже в порыве гнева не можешь перебросить буруна моего за черту, ука-

занную тебе перстом довечным. И кто разгадал твои огнедышащие подводные вулканы, рядом с вулканами, извергающими грязь? Не лета, а бури бросают морщины на чело твое, бури – страсти небес. Страшен, мутен, шумен бываешь ты тогда; зато, порой, прозрачный и тихий, ты даешь лучам солнечным и взорам человека купаться в своем лоне и засыпать, играя раковинками приморья, как младенец, напевая лепетом сам себе колыбельную песню! Да! Каспий! Во мне есть много стихий твоих, в тебе много моего, много – кроме воли и познания вещей. Ты не можешь быть иначе, как есть, – а я мог!.. Скажу вместе с Байроном: Терны, мной пожатые, взлелеяны собственной рукой: они грызут меня, кровь брызжет. Пускай! Разве не знал я, каковы плоды должны созреть от подобного семени? Величественен венец из лучей, пленителен из ветвей лавра или дуба, мил из благовонных цветов, но чем же не венок из тернов? Прощай, Каспий – еще раз прощай! Я желал видеть тебя – я увидал нехотя. Неохотно расстаюсь я с тобой, но свидеться опять не хочу... Разве ты постелешь волны свои широким путем на родину?»[114]

В таких эффектных, цветистых, но вместе с тем сердечных словах изливал Бестужев свою несвободную душу перед свободной стихией. Как ни безотрадно было грядущее, он все-таки верил, что оно будет лучше настоящего, и необычайно веселое настроение и подъем духа, который он ощутил в себе, как только выехал из Дербента, поддержали в нем эту веру.

XI

А Бестужев был, действительно, очень весело настроен во все время пути к месту своего нового назначения. Он описал это путешествие в рассказе «Путь до города Кубы»[115].

Это не то рассказ, не то дневник, без определенной завязки, но очень ценный своими лирическими отступлениями, в которых видна ликующая душа на волю вырвавшегося человека. И на самом деле путешествие в Ахалцых, как и прежняя поездка Бестужева из Сибири на Кавказ, были единственными эпохами его невольнической жизни, когда он был освобожден от надзора и со свободой передвижения приобретал полную свободу чувства и мысли. Хоть он и признавался, что он отдал бы все грозди в мире за куст рябины, склонившейся над зеркальным потоком его родины, но никогда красота кавказской природы не возбуждала в нем такого повышенного чувства восторга, как в эти краткие дни вольного скитания по горам. Он выехал из Дербента в начале апреля при расцветающей природе, но из города Кубы, поворотив в горы, опять въехал в зиму. «Дорога была трудна, но так прелестна, – пишет он, – что я помнить ее буду, как самую сладостную прогулку об руку с природой. Этого ни в сказке сказать, ни пером написать, да и как написать, в самом деле, чувство? ибо тогда я весь был чувство, ум и душа, душа и тело. Эти горы в девственном покрывале зимы, эти реки, вздутые тающими снегами, эти бури весны, эти дожди, рассыпающиеся зеленью и цветами, и свежесть гор, и дыхание лугов, и небосклон, обрамленный радугою хребтов и облаков... О! какая кисть подобна персту Божию? Так, только так можно забыть, что в нас подле сердца есть желчь, что около нас горе. Над головой кружились орлы и коршуны, но в голове ни одна хищная мысль не смела шевельнуть крылом: вся жизнь прошлая и будущая сливалась в какую-то сладкую дрему, мир совершился в груди моей без отношений к человеку, без отношений к самому себе; я не шарил в небе, как метафизик, не рылся в земле, как рудокоп, я был рад, что далек от людей, от их истории, спящей во прахе, от их страстишек, достойных праха... я жил, не чувствуя жизни». И под обаянием этих ощущений, под бурей судьбы, над мраком отчаяния возникла теперь радуга надежды, которая озаряла утешением его минувшее и опытом – его будущее. А там, в недоступной вышине, всходили к небу, ничем не омраченные, ничем не возмущаемые ледники, символ чистоты и мира души, и мир нисходил на его истерзанную душу. С фимиамом мольбы развертывалась его душа, и к прежней его любимой молитве «Да будет воля твоя» теперь присоединялось робкое моление о счастии и слова благодарности за спасение...

И в эти же спокойные минуты восторга и примирения в душе странника с особой силой встрепенулось поэтическое чувство. В своем дневнике Бестужев был очень щедр на лирические отступления, и одно из них мы припомним, как образец символической картины, в которой он хотел выразить свое прощание с прошлым и свои надежды на будущее. Это два пейзажа, которые любопытны уже потому, что своей внешней формой – романтической, колоритной и несколько вычурной, – напоминают слегка описания природы у Гоголя.

Бестужев вспоминал свое прошлое:

«Я поднял голову: надо мной склонялось шатром унылое полярное небо; передо мной тянулась цепь кангаласского камня, возникали его хребты, щетинясь кедрами и сосной, как стада огромных дикобразов. С ружьем за плечами, задумавшись, стоял я на берегу одного из пустынных озер, дремлющих вечно у подножия якутских предгорий, стоял, очарованный дикою поэзией северной природы. То было в сентябре месяце, но уже при начатках зимы лист пал или падал с жалобным шорохом, отрываемый ветром от родных веток. Нагие березы и тальники дрожали, казалось, от холода и теснились в частые купы. В облаках, чуть видимы, неслись клиновидные вереницы запоздалых усталых гусей, летящих к новому лету юга – неслись, роняя на ветер печальные крики. И вот облака стали падать клубами ниже и ниже, будто серые волки, отряхая дождь

с мохнатой шубы. Он сеялся мелкими зернами и тихо, тихохонько падал туманом, не возмущая поверхности озера, не колебля сухого листа, который обнизывал он изморозью. Вдруг пахнул ветерок из ущелья, и там, где за миг волновались полупрозрачные пары, летал и плавал уже белый снежок, легкий, чистый, блестящий, будто пух прямо с крыльев ангела, непомерклый еще от прикосновения к земле. Он порхал, он кружил, он вился и взбирался опять, будто не решаясь расстаться с воздухом, будто не хотя упасть на болото. Еще повев ветерка, еще взор, и все изменило вид, все засияло; косвенные лучи солнца пронзили облако и зажгли снежный туман яркими полосами. Казалось, млечный путь со своими мириадами звезд просыпался с неба, или солнце вылилось из него цветами северного сияния: кристаллы инея, перемешанные с каплями дождя, то сверкали золотом и пурпуром в оранжевой струе света, то померкали яхонтами в фиолетовой полосе; и вновь загорались и опять гасли. Каждое дыхание холода из пасти ущелья заставляло бледнеть этот поток замерзающего воздуха и оживляющего света; каждый прилив лучей растоплял снег в алмазные искры, между тем как золотые нити от облаков до земли сновались и переливались. Наконец, начало оцепенения перемогло; мгла задушила небосклон, все померкло. Снег уже падал хлопьями, опушая вместо листьев деревья и прибрежный тростник озера, тусклого, как свинец…

Я очнулся –

И не леденеющая, не безжизненная природа полюса, но оживающая, но живая, воскресшая природа востока красовалась предо мною, свежая прелестью весны, полная желаний и обетов, как невеста. Она блещет, цветет, поет жаворонком, воркует горлицей, вздыхает негой наслаждения в ветерке, кипит ключом. Влюбленное солнце пьет ее ароматическое дыхание, нежит ее теплотой, целует лучами и с каждым поцелуем печатлеет новые красоты на ее смеющемся личике. О, моя душечка, как ты обворожительна теперь! Со всем уважением к чужой собственности я готов кинуться на грудь твою с седла и обнять тебя, расцеловать тебя. Да, электрический огонь восточной весны льет кипяток юности в грудь, бросает изменнические искры причуд в зарядный ящик воображения, в воздухе слышится чей-то милый голос, атласный шелест какого-то платья, благоуханный повев прерывного дыханья. Сердце замирает, дух занимается»[116]…

Как, в самом деле, эти узорные слова искренни и непринужденны! Они подсказаны сердцем, которое после долгих испытаний готово было надеяться и верить и не знало, что оно и на этот раз должно обмануться.

Весной 1834 года Бестужев был в Тифлисе и затем сквозь горы и Боржомское ущелье направился в Ахалцых. Проезжал он опять по страшным, но прелестным местам вдоль бушующей разлившейся Куры, пока, наконец, не прибыл в мае в Ахалцых с карманами, набитыми туго обломками базальта и иных камней, которые он подобрал на дороге, вспоминая отцовский кабинет и его коллекции.

«Климат в Ахалцыхе русский, – писал он, – окрестности наги, но горы красят все. Крепость – куча развалин. Скука, я думаю, не съест меня здесь, я буду отражать ее пером».

Скука его, действительно, здесь не съела, и его опасения, что ему придется сидеть в гарнизоне, также не оправдались: его заветная мечта стала, наконец, осуществляться, и прежняя, ему столь ненавистная сидячая жизнь сменилась жизнью на бивуаках. Но эта жизнь не принесла ему радости и только с необычайной быстротой разрушала его здоровье.

Надо удивляться, как вообще он мог выносить такой образ жизни. За период времени от 1834 года до 1837 (год его смерти) его жизнь уходила вся на походы и постоянные кочевки по разным областям и городам Кавказа. В 1834 году мы встречаем Бестужева в Тифлисе (май), Ахалцыхе (май), Ставрополе (август), на реке Абени (октябрь) и опять в Ставрополе (ноябрь); в 1835 году на Невинном мысе (февраль), в Екатеринодаре (февраль), Пятигорске (июль и август), опять в Екатеринодаре (август), в Закубанье (сентябрь) и в Ивановке в Черномории (ноябрь и декабрь); в 1836 году в Екатеринодаре (февраль), в Геленджике (апрель), в Керчи (июнь), в лагере на Кубани (сентябрь), в Анапе (октябрь), опять на Кубани (ноябрь) и в Тамани (декабрь); в 1837 году в Тифлисе (февраль), Кутаиси (апрель), Цебельде (май), Сухуми (май) и против мыса Адлера (июнь), где он и сложил свою буйную голову. Исключая того времени, которое Бестужев проводил в больших городах (он бывал в них всегда на короткий срок), как, например, в Ставрополе, Екатеринодаре, Тифлисе и Кутаиси, и исключая Пятигорск, где он лечился несколько месяцев, все остальное время было им проведено в походах и набегах при самых ужасающих условиях.

Эти походы начались очень скоро после приезда Бестужева в Ахалцых. Осенью 1834 года мы находим Александра Александровича в лагере на реке Абени, в земле шапсугов – одного из самых воинственных племен Кавказа. «Я видел много горцев, – пишет Бестужев, – но, признаться, лучше шапсугов не видал; они постигли в высшей степени правило вредить нам как можно более, подвергаясь как можно менее вреду». Каждый клок сена и сучок дерева, даже пригоршня мутной воды стоила отряду многих трудов и иногда многих людей. Бестужев дышал дымом пороха и пожаров. Почти каждый день, а часто и ночь, садился он на коня и джигитовал без устали на пистолетный выстрел перед неприятелем. Шли ли стрелки занимать лес, аул, реки – он кидался впереди. Ему было весело, когда пули свистали мимо. «Забава мне стреляться с закубанскими наездниками, – писал он, – и закубанцы, черт меня возьми, такие удальцы, что я готов бы расцеловать иного! Вообразите, что они стоят под картечью и кидаются в шашки на пешую цепь, – прелесть что за народ! Надо самому презирать опасность[117] во всех видах, чтобы оценить это

мужество в дикаре. У меня в числе их есть знакомцы, которые не стреляют ни в кого, кроме меня, выехав поодаль; это род поединка без условий.

Отряд, в котором служил Бестужев, двигался под командой Засса и генерала Вельяминова к крепости Геленджик, лежащей на берегу Черного моря. Отряд должен был идти по совершенно дикой местности, отвоевывая себе каждый шаг. Дело было зимой, и нашим, даже в своих русских границах, приходилось делать переходы ночью. В Закубанье, чрез которое лежал путь, отряду пришлось очень круто. Нужно было пробираться в горы сквозь ужасные ущелья, выдерживать схватки, стоя по колено в снегу. Приходилось делать переходы по шестидесяти верст, и в ту же ночь подкрадываться к аулам... Солдаты дрались за каждую пядь земли, завоевывая дорогу кирками и штыками, наконец, перевалили через охранный хребет со всеми тяжестями и достигли Геленджика; Бестужев выдержал стойко этот поход, ежедневно рисковал жизнью, чуть не свалился в пропасть, но, наконец, «перестал верить, чтобы свинец мог его коснуться, и свист пуль стал для него то же, что свист ветра, даже менее». «Воровской образ этой войны, ночные, невероятно быстрые переходы, в своей и вражеской земле; дневки в балках без говора, без дыма днем, без искры ночью, особые ухватки, чтоб скрыть поход свой, и, наконец, вторжение ночью в непроходимые доселе расселины, чтобы угнать стада или взять аулы, – все это было так ново, так дико, так живо, что я очень рад случаю еще с Зассом отведать бою», – писал он тогда, очевидно, в очень бодром настроении[119].

Но скоро пришлось расплатиться за это напряжение. Александр Александрович заболел неожиданно и очень серьезно: с ним стали делаться припадки, приливы крови к сердцу и голове, он страдал бессонницей, звон в ушах мешал заснуть, и разыгравшееся воображение ожидало с минуты на минуту настоящего удара. Наконец, в одну ночь, в январе, когда он после похода находился в Ставрополе, его хватил если не настоящий удар, то нечто очень на него похожее. Лег он в одиннадцать часов спать с головной болью, заснул и вдруг вскочил, словно сраженный молнией. Голова его кружилась, сердце билось, как будто готово было разорваться, кровь ударяла в голову. Он закричал от ужаса; стал задыхаться, бросился в сени, чтобы захватить свежего воздуха– все было напрасно: он почувствовал холод смерти, пульс исчезал, сердце умолкало, и только голова была ясна по-прежнему. Четыре таких приступа испытал он в одну ночь, но к утру ему стало легче. Это была болезнь сложная, зародыши которой восходили еще к тому времени, когда он в форте «Слава» принужден был питаться тухлой солониной. Затем эта болезнь (tenia) развилась и за отсутствием лечения осложнилась общим истощением организма от кавказских лихорадок и всех лишений походной жизни. Состояние больного потребовало систематического и долгого лечения, разрешение на которое Бестужеву и было выхлопотано.

Летом 1835 года он перекочевал в Пятигорск, и на несколько месяцев в его жизни наступило затишье.

В Пятигорске он узнал, что произведен в унтер-офицеры, и это как будто указывало на то, что о нем были хорошего мнения. На самом деле, однако, за ним зорко следили, и как раз в Пятигорске разыгрался инцидент, который не мог не отозваться тяжело на его настроении. Еще до переезда Бестужева в Пятигорск граф Бенкендорф писал барону Розену, главнокомандующему на Кавказе, что Государь Император получил частным образом сведения о неблагонамеренном расположении Бестужева, которым хотя не дает полной веры, но не менее того Высочайше повелел, дабы внезапным образом осмотреть все вещи и бумаги Бестужева и о последующем донести Его Величеству. Производство этого обыска было возложено на жандармского подполковника Казасси, который вместе с пятигорским комендантом 24 числа июля и учинил в 5 часов утра внезапный осмотр на квартире Бестужева всем бумагам его и вещам. По тщательному рассмотрению отделил он два письма Д. Полевого, при одном из коих отправлена была к Бестужеву серая шляпа, в которой вложены были книги: «Миргород», Записки Данилевского и повести Павлова. Прочие бумаги, не заключающие в себе ничего подозрительного или преступного, перенумеровал, прошнуровал, приложил печать свою, скрепил подписью, потом возвратил Бестужеву, взяв с него подписку, что он сохранит бумаги в целости, и обязав его словом никому не разглашать о сделанном на его квартире осмотре[121]. Донесение об этом барон Розен отослал Бенкендорфу, доложив при этом, что болезнь Бестужева серьезная, осложненная скорбутными ранами. Два месяца спустя тот же Казасси перерыл все вещи Бестужева, оставленные им в Екатеринодаре, в Ставрополе и в Абинском укреплении[123].

Дальнейших последствий это дело не имело[124], но на Бестужеве, конечно, отозвалось тяжело. Еще раньше он стал подозревать, что есть в Петербурге люди, которые задались целью клеветать на него, которые распускали слухи о том, что он спился и развратничает[125] – теперь эти подозрения как будто оправдывались. Бестужев очень тревожился. Впрочем, его походная жизнь скоро пошла опять своим чередом.

При производстве в унтер-офицеры Бестужев был переведен в 3-й Черноморский батальон в уже знакомую нам крепость Геленджик. В эту крепость он попал не сразу и провел всю осень 1835 года опять на Кубани, в Ивановке, в штаб-квартире своего Тенгинского полка. «После пятимесячной болезни, – пишет он, – которая меня держала в пеленах, в люльке, я опять под летучею палаткой, сплю под грохотом барабанов и ржанье коней». Спалось ему, однако, не очень сладко. «Ну, – писал он своему брату Павлу в ноябре 1835, – устал я от последней экспедиции до самого нельзя. Бог ты мой, что за погода! Вообрази себе, что в течение двух недель не имели мы двух часов сухих! Дождь, ливень, град; град, ливень и поток канальский;

проницательный, прозаически мелкий дождик, который сечет до костей, – вот что давало нам небо. Грязь по ступицу, потоки выше груди, волчцы и терния, которые дерут долой кожу, не только одежду, и разувают весьма неучтиво, – вот подарки матушки-земли. Люди потчевали нас шашками и свинцом. Правду сказать, и мы к ним не с добром пожаловали: мы жгли их села, истребляли их хлеба, сено и пометали золу за собой. Никто бы не поверил, увидев меня по возврате из Пятигорска, чтобы я мог выдержать военные труды и при хорошей погоде: до того я был худ, бледен, болезнен, и что ж? Я вынес втрое против здоровых, потому что батальоны чередовались ходить в дело, а я, прикомандирован будучи к черноморским пешим стрелкам для введения у них военного порядка, ходил без отдыха каждый день в цепи с утра до вечера, не зная, что такое сухая одежда... я не чувствовал ни мокроты, ни холода и втянулся в труды, как разбитая почтовая лошадь. Теперь, пришедши вчерашнюю ночь в свою штаб-квартиру, я начинаю чуять усталость и, вероятно, во мне отзовется поход с лихвою... По правде сказать, жизнь без радостей мне наскучила; жизнь, преисполненная горечи, меня тяготит, и Бог не хочет послать мне доброй пули, которая бы меня с ним соединила».

Вся осень 1835 года, проведенная Бестужевым в Черномории, протекла в этой постоянной ежедневной борьбе с врагом и с природой. Природа была, пожалуй, опаснее врага, так как от нее, от этого зноя, холода, беспрестанной мокроты и изнуряющих лихорадок не спасала никакая храбрость и предосторожность. «В костях, в желудке, в голове, может быть, в самом мозгу отзывалось это повседневное напряжение», и силы Бестужева быстро таяли. «Меня так высушила лихорадка, – говорил он, – что меня можно вставить в фонарь вместо стекла».

Геленджик, куда он, наконец, попал весной 1836 года, не обещал ничего хорошего. Это была маленькая крепость на берегу Черного моря, плохо огражденная от нападения неприятеля и еще менее защищенная от разных поветрий. Куча землянок, душных в жар, грязных в дождь, сырых и темных во всякое время, – вот каково было то гнездо, в котором ему пришлось теперь «несть орлиные яйца». Условия жизни были самые плачевные. «Здесь нечего есть, в самом точном значении слова, – писал он. – Питаются поневоле солониной, да изредка рыбой; но как последняя в здешнем климате верный проводник лихорадок, есть ее опасно... Я так всегда бывал тверд в испытаниях, насылаемых на меня судьбой, что, конечно, не упаду ни духом, ни телом от лишений всех родов, не паду назло скорбуту и лихорадкам, которые жнут здесь солдат беспощадно». Смертность в Геленджике достигала, действительно, таких размеров, что прислан был дивизионный доктор произвести о том следствие. Гарнизон буквально вымирал, проживая в землянках, где вода стояла по колено и где при малейшем дожде сапоги на ногах плесневели.

В один из таких дней, когда Бестужев лежал больной в Геленджике в своей сырой землянке, он прочитал в «Инвалиде» о своем производстве в офицеры. Его обуяла неописанная радость, в силе которой сказалась вся тяжесть вынесенных им унижений и оскорблений... «Я едва не испытал на себе, – писал он, – что неожиданная радость может убить скорее, чем нежданная беда... Я мог прочесть в «Инвалиде» только свое имя, не замечая перевода, и в глазах у меня потемнело. Перейти вдруг от безыменной вещи в лицо, имеющее права, от совершенной безнадежности к обетам семейного счастья (!), от унижения, которое мог я встретить от всякого, к неприкосновенности самой чести – о! это была не ребяческая радость моего первого офицерства, когда белый султан и шитый воротник сводили меня с ума, когда я готов был расцеловать первого часового, который отбрякнул мне на караул. Нет, тут открылась для меня частичка мира, хоть не рая, которую выстрадал я и выбил штыком; тут сверкнул луч первой позволенной надежды, может быть, обманчивой, как и прежние, но, все-таки, позволенной надежды[126]. Одним словом, эта весть сделала перелом в моей болезни, и с того дня, хотя медленно и с частыми возвратами лихорадки, я стал на ноги и понемногу поправляюсь... но с грустью вижу, что мое здоровье исчезает быстро»...

Известие о производстве в офицеры сопровождалось, впрочем, новой угрозой. Из Геленджика Бестужева переводили в ужасную по климату Абхазию, в батальон, расположенный в Гагре и Пицунде, в самых гробовых местах черноморского прибрежья. Бестужев знал, куда его назначили, и в его словах о новом своем назначении проглядывает подозрение, что этот перевод есть, в сущности, осуждение на смерть.

«Есть на берегу Черного моря в Абхазии впадина между огромных гор, – писал он своим друзьям в Москву. – Туда не залетает ветер; жар там от раскаленных скал нестерпим, и, к довершению удовольствий, ручей пересыхает и превращается в зловонную лужу. В этом ущелье построена крепостишка, в которую враги бьют со всех высот в окошки; лихорадки там свирепствуют до того, что полтора комплекта в год умирает из гарнизона, а остальные не иначе выходят оттуда, как с смертоносными обструкциями или водяною. Там стоит 5-й Черноморский батальон, который не иначе может сообщаться с другими местами, как морем, и, не имея пяди земли для выгонов, круглый год питается гнилою солониной. Одним словом, имя Гагры, в самой гибельной для русских Грузии, однозначаще со смертным приговором».

Таково было новое место испытания, которое Бестужеву отводилось. Нет сомнения, что, попади он в Гагры, он был бы выведен в расход очень скоро, но эта опасность благополучно его миновала, хотя, как увидим, его жизнь от этого днями не обогатилась. Он не попал в Гагры и всю осень и начало зимы 1836 года провел частью в походах, частью в переездах все в той же Черномории, сначала опять на Кубани, затем в Анапе, в Тамани, в Керчи. Здесь, в Керчи, здоровье его было по-прежнему плохо, но походы и случайности войны

возбуждали его силы, и он, как сам выражался, жил «гальваническою жизнью». Любимой его мыслью было немедленно, при первой возможности, выйти в отставку. Он даже надеялся на довольно благополучное осуществление этого плана; ему мечталось, что ему отведут уголок, где бы он мог поставить свой посох и, служа в статской службе Государю, служить пером русской литературе. «Кому было бы хуже, если б мне было немного лучше?» – спрашивал он простодушно, расстроенный и опечаленный тем, что план его имел мало шансов на успех. Планы эти, действительно, разлетелись, но зато он был избавлен от заключения в Гаграх.

В Керчи с ним встретился граф Воронцов, принял живое участие в его судьбе, и, видя, как гибелен для него кавказский климат, попросил Государя о переводе его на статскую службу в Крым[128]. Сам Бестужев о том же со своей стороны написал графу Бенкендорфу. Хлопоты не увенчались успехом, так как наверху на этот перевод не согласились, но из Гагр Бестужева все-таки перевели в Кутаиси, куда он и должен был ехать к новому 1837 году.

В эти последние два года своей жизни Бестужев стал подумывать о тихом уголке и семейном счастии, которое в принципе стало возможно, как только ему вернули его офицерский чин[130].

«Лета уходят, – писал он, – через два года мне сорок, а где за Кавказом могу я жениться, чтоб кончить дни в семействе, чтоб хоть ненадолго насладиться жизнью! Дорого яичко в Христов день, а моя пасха проходит без разговенья»... Эти жалобы на одиночество, высказываемые в кругу друзей, и заставили, вероятно, кого-то из них присватать ему заочно невесту. Сватовство шло успешно, и намеченная невеста была одна из поклонниц Марлинского – так, по крайней мере, можно думать, судя по одному отрывку из письма Бестужева к брату. «Я писал сватовское письмо в Москву, – пишет он, – хочу жениться на княжне Даше У-ой, воспитаннице матери Валерьяна Г... Очень умная, бойкая, светская девушка. Мила, но нехороша, sera bien dotèe. Не знаю, удастся ли; но если и нет, *то не с ее стороны* будет отказ. Жду на днях ответа». Пусть эти слова и не совсем вяжутся с представлением о романтической страсти, о которой Бестужев так много говорил в своих романах, но ему в данном случае было не до страстей: в своих отношениях к княжне он хотел довольствоваться одним лишь разумом... но ему самому скоро вся эта комедия надоела. Через месяц после отсылки «сватовского письма» он извещает своего брата весело и откровенно, что все его марьяжные планы разлетались как дым, и что он от этого в восхищении, так как узнал недавно, что в смысле денег у его невесты ничего нет, и что это его совсем не устраивает. «Я пока еще не имею никакого ответа, ни положительного, ни отрицательного, но эта задержка дает мне, слава Богу, повод во что бы то ни стало отказаться». Всю эту любовную заочную интригу мы можем смело счесть капризом и забавной шуткой, тем более что Бестужев в самый разгар этой интриги отдавал свое сердце искренно и охотно многим встречным дамам.

Дамы играют вообще довольно видную роль в эти последние годы его жизни. Наш полумертвый и усталый воин находил всегда время подумать о женщинах. Странно как-то читать в его письмах, писанных на бивуаках и в землянке, в этих, как мы видели, скорбных письмах, в которых столько искренних слез, – странно читать в них, как подробно и настойчиво он просит своих корреспондентов выслать ему разные принадлежности женского туалета: то платки, то чулки, то перчатки. Он ловеласничал это время напропалую. «Жил я в Керчи у старого знакомца и товарища по несчастию, Б., – рассказывает Бестужев об этом веселом времени. – У него жена – женщина, каких я не встречал до сих пор: собой и душой – прелесть; монастырка до конца ногтей, женщина до нитей сердца. Вышла замуж по страсти; но, видя охлаждение мужа, сперва из отмщения, потом по страсти кинулась ко мне на шею. Что мне стоило, однако ж, овладеть ею вполне – этого и черт не знает; она провела меня через всю гамму безумства, но, наконец, пала. Не могу выразить, как мне тяжко было расставаться с нею, чтоб ехать в отряд, тем более, что муж стал подозревать и были ужасные сцены. В декабре я поехал опять в Керчь; не найдя катера, я кинулся в дрянную лодку и с одним гребцом целых полтора суток был в опасности жизни, носился по морю, и – вообрази мое счастие: муж в отлучке, и я целый месяц занимал его место... Я был вполне счастлив: c'ètait une femme divine: j'ai manquè d'ailleurs d'avoir deux duels pour elle avec son mari d'abord et un officier depuis. Но то ли готов я был для нее сделать! Я хотел ее развести или увезти, но двое детей помешали: она осталась с мужем, но я люблю ее до сих пор».

Не успел он, однако, уехать из Керчи в Ставрополь, как завязались другие связи, а в Тифлисе, куда он попал на пути в Кутаиси, его ожидала новая победа. Très jolie, coquette et femme auteur – аттестует он даму своего сердца. «Я начал свою кампанию очень удачно, муж только что уехал в экспедицию: elle est charmante. Дней пять я было думал, что влюблен, и глупостей с обеих сторон было довольно. Elle est folle d'amour pour moi»... «Ей-Богу, mon cher, – говорил он брату, – без женщин не стоило бы жить на свете. Сперва к ним писать, а потом о них писать – вот цель моей жизни»...

Такую любовную ретивость придали ему офицерские эполеты... Но как ошибся бы тот, кто на основании этих слов подумал бы, что жажда наслаждения и веселья оттеснила в его душе все серьезные думы и чувства. Никогда не был он так глубоко меланхолически настроен, как в эти последние годы своей жизни. Если он так неистовствовал в своих амурах, то, кто знает, быть может, этот неудержимый порыв любви был последней вспышкой сильного сердца, которое предчувствовало, что скоро угаснет. Яркие следы такого предчувствия остались на одной его повести, последней, которая была им написана. Она

озаглавлена «Он был убит» (1836). Это дневник какого-то офицера, очевидно, самого Бестужева, как можно догадываться по многим очень ясным намекам.

«Облака стадились по хребтам Маркотча, – заносит герой повести в свою записную книжку, – горный ветер кружил иссохшими листьями; грустная дума запала мне в голову – грустная и отрадная вместе была она: мне не долго жить, и зачем, в самом деле, разводить водой безрадостную жизнь мою? Я с раскаянием обращался к прошлому, с мольбою простирал руки к будущему: нет ответа, нет привета. Иногда на прежнее можно купить то, что будет; у меня бездна призывает бездну... кто спросит, кто расскажет про меня? Те, кто бы могли, не захотят, а кто бы желал, не может!.. Я сирота и в грядущем». При мраке в прошлом и в грядущем, при ожидании близкой смерти приманкой жизни для него осталась лишь страшная жажда любви, неистовой, испепеляющей любви да восторг перед силой фантазии и поэтическим подъемом духа. Вся жизнь его свелась к любви и вдохновению. «Хотел бы выразить себя ревом льва, – говорит автор дневника, – песнью вольного ветра, безмолвным укором зеркала, клятвой пожигающего взора, хотел бы пронзить громовою стрелой, увлеченною бурным водопадом, – и чтобы эхо моей тоски роптало, стонало в душах слушателей, – чтобы молния страстей моих раскаляла, плавила, сжигала их сердца, – чтобы они безумствовали моею радостью и замерзали ужасом вместе со мной! Не могу я так выражаться, а иначе не хочу: это бы значило пускаться в бег со скованными ногами»...

«Я пробужден жаждою, неутомимою жаждою неги... я хочу целого юга, целой Африки любви. Не для меня счетные поцелуи. Жажду пить наслаждения через край и до капли – пить и не напиться. О, дайте мне черных, бездонных глаз, которые поглощают сердце в звездистой влаге своей! Дайте уст, которых ароматное дыханье упояет пламенем; дайте вздохов, освежающих лучше ветерка в зной лета; дайте слез восторга, сладких, как роса медвочная, и отрадных, как счастье друга; дайте поцелуев, которые расплавляют кровь в нектар, улетучивают тела в душу, уносят душу к небу!..»

Так безумствовал в своем дневнике молодой мечтатель, и так на деле безумствовал Бестужев, как бы желая остановить бег времени, удержать насильно свою молодость, молодость, «с которой умирает в человеке и все безотчетно-прекрасное в чувствах, в словах, в деле...», – как говорил он.

И в самый разгар такой вакханалии чувств и фантазии в голове этого пылкого мечтателя теснились самые грустные мысли о смерти. «Я бы желал отдать последний вздох тому краю, который внимал моему первому крику, – писал наш незнакомец в своем дневнике. – Как все младенцы, я плакал, когда родился. Отравленный напиток – воздух бытия, но в отчизне, по крайней мере, мы вдыхаем отраву без горечи. В отчизне я бы уложил свои кости рядом с прахом отца моего, – и мягче, и легче была б для меня родная земля! Враг не сорвал бы креста с моей могилы; прохожий помолился бы за грешную душу мою по-русски. Если же паду на чужбине, я бы хотел быть схороненным на берегу моря, у подножия гор, глазами на полдень, – я так любил горы, море и солнце! Пускай и по кончине согревает меня взор Божий; пусть веет мне горный ветерок; пусть кипучие волны прибоя напевают и лелеют вечный сон мой»...

«Дайте же мне скорее волну в изголовье; плотнее задерните полог ночи; пусть даже бессмертные звезды, не только смертные очи, туда не заглядывают. Пусть не будит меня петух раным-рано. Хочу спать долго и крепко, покуда ангел не разбудит меня лобзанием примиренья»[132].

«Теперь посылаю еще “Отрывки из журнала убитого”, – писал Бестужев Полевому, – и если вы не будете плакать, их читая, или вы, или я без сердца». Как видим, этот дневник убитого был на самом деле исповедью умиравшего...

XII

В конце февраля 1837 года Бестужев проживал в Тифлисе на пути в Кутаиси. Здесь получил он известие о том, что Россия потеряла Пушкина. Новость эту ему передала une femme charmante... В молчании ночи и в одиночестве яд печали проник в его сердце; он не смыкал глаз всю ночь и утром на рассвете поднялся на гору, в монастырь св. Давида. Там призвал он священника и заказал ему панихиду на могиле Грибоедова, на могиле, попираемой ногами, могиле без камня и без надписи. Он плакал горючими слезами, плакал о друге и о товарище по оружию, плакал над самим собой. Когда священник провозгласил «за убиенных бояр Александра и Александра», он зарыдал до истерики – так грустно звучали для него эти слова, звучали не только воспоминанием, но и предсказанием. «Да, я чувствую, – писал он брату, рассказывая ему об этой панихиде, – что и моя смерть будет насильственна и необычна; она близка: слишком много горячей крови во мне, которая кипит в моих жилах, годы мои не угомонят ее; об одном прошу только, не умереть на одре болезни, ни на дуэли».

Странное впечатление производить все в целом это письмо Бестужева о смерти Пушкина. Неизбежная femme charmante... при этом клятва убить на дуэли Дантеса при первой же встрече с ним, и затем, сейчас же, разговор о тифлисской погоде, и, наконец, в конце письма сообщение о том, что 18 февраля у барона Розена был блестящий бал на его серебряную свадьбу, что барон был изумительно приветлив, и все шло как

нельзя лучше[133]. Все это подтверждает, что в Пушкине Бестужев терял человека, которого уважал, но едва ли любил сильно. Самое любопытное место в письме это – дума о судьбе Грибоедова, Рылеева и Пушкина. «Вот трое погибло и какою смертью!» – и затем сейчас же мысль о собственном близком конце.

А конец был близок.

Назначение в Кутаиси не принесло с собой ожидаемого отдыха от походов. Бестужев был в Кутаиси в апреле 1837 года, но тотчас же принужден был ехать обратно на берег Черного моря, так как был прикомандирован к грузинскому гренадерскому полку, который должен был действовать в Абхазии, двинуться к мысу Адлеру и очистить его от неприятеля.

Эта экспедиция в мае 1837 года имела стоянку а Цебельде. Командовал ею сам главнокомандующий барон Розен. Покончив с цебельдинцами, отряд возвратился в Сухуми, где он должен был сесть на суда, чтобы отплыть к мысу Адлеру. Здесь, в Сухуми, Бестужеву пришлось последний раз взяться за перо. Он перевел с татарского поэму Мирзы Фетх-Али, в которой этот мусульманин, служивши в русском отряде, оплакивал смерть Пушкина[134]. Второй раз тень Пушкина напоминала Бестужеву о близкой смерти.

7 июня, когда эскадра с отрядом барона Розена бросила якорь против мыса Адлера, Александр Александрович обнаружил совсем для него необычную предосторожность: посылая последнее им написанное письмо к матери, он адресовал его брату и просил задержать письмо до следующего известия, чтобы не дать матери напрасного беспокойства. «Ты знаешь, – писал он брату, – что я любил тебя много. Впрочем, это не эпитафия: я не думаю и не надеюсь умереть скоро, но все-таки, на всякий случай, лучше проститься».

Когда эскадра стала уже в виду мыса Адлера, Бестужев написал – в первый раз в своей жизни – краткое духовное завещание; брату завещал он свои бумаги и деньги, а денщику свое платье.

Он был, однако, бодр духом, и боевая патриотическая песенка, сочиненная им в тот день и подхваченная всем отрядом, показывает, в каком он пребывал воинственном настроении. Однако когда пришлось садиться в лодки, чтобы начать высадку, он на слова одного товарища о завтрашнем дне отвечал задумчиво: «Бог знает, когда наступит мое завтра»[135].

Это вечное завтра наступило очень скоро.

Стрелки подплыли к берегу в шлюпках под градом пуль, которыми их осыпали черкесы из-за окопов, сделанных на самом берегу. Выскочить на берег, броситься на черкесов, засевших в вырытой вдоль берега канаве, вроде шанцев, и прогнать их в лес, росший в пятнадцати или двадцати шагах от берега, наконец, добежать до него было делом одной минуты. Стрелки-егеря врассыпную устремились в чащу леса за уходившими, на этот раз без выстрела, горцами; егеря углубились в лес, шагов на пятьдесят или шестьдесят. В это время явился в лес капитан драгунского Нижегородского полка Альбрант и принял команду над цепью... Не приняв во внимание ни той местности, среди которой он действовал, ни возможности обхода со стороны черкесов, в то время как резерва не было еще видно, Альбрант тотчас скомандовал «вперед!» Шаг за шагом пробирались или, лучше сказать, продирались егеря сквозь страшную колючку, папоротник и разную чащу.

Бестужев находился в этой передовой цепи. Несмотря на предостережения начальников, он сам пожелал примкнуть к ней.

«Само собою разумеется, – рассказывает свидетель дела Давыдов, – что при движении вперед этой цепи не могло быть порядка, так как иногда в двух шагах ничего не было видно, а уж о наблюдениях, что делается впереди, с боков и сзади на большое пространство и говорить нечего.

– Господин офицер! – крикнул Бестужев – Господин офицер!

– Что вам угодно? – отвечал я, оглядываясь и торопясь ответом.

– Куда вы идете? Куда?

– Не знаю.

– Как не знать! Вы ведь офицер! Растолкуйте мне хоть что-нибудь!

– Что ж мне толковать, когда ничего не знаю! А вот направо есть какой-то адъютант с эполетами, а налево начальник цепи, они вами растолкуют.

– Да что же это такое! цепь или что другое?

– Была первая цепь, а теперь что мы такое, не знаю.

Бестужев пожал плечами, махнул рукой и отправился влево, где я ему указал начальника цепи. Бестужев был совершенно один, безо всякого конвоя...

Когда Бестужев, махнув рукой, отправился от меня влево, кажется, менее, нежели через минуту, послышалась сзади нас жаркая перестрелка и в то же время посыпались на нас пули спереди. “Играй!” – закричал я горнисту, и он протрубил сигнал: строить кучки и каре. Увы! это была последняя песнь лебедя; вместе с последнею нотой горнист упал к моим ногам мертвый. Однако ж, дело было сделано, и ко мне начали собираться солдаты-охотники, да вдобавок еще кавказские, а это была не безделица, они умели постоять за себя. Когда прошли первые мгновения как бы нечаянного испуга и когда я, наконец, несколько опомнился, я увидал, что Бестужев стоит, прислонившись к дереву в изнеможении, и что грудь его в крови. В это время бежали мимо него несколько солдат. Я закричал им: “Ей, ребята, взять офицера и тащить!” Два солдата отделились и взяли Бестужева под руки: с помощью их он имел еще силу идти, но помню, что голова его клонилась уже долу, а пули сыпались и сыпались. Черкесы все гикали и гикали.

Мы все отступали и отступали шаг за шагом, крепко огрызаясь, но без всякого разумного сознания, что мы делаем, а так, в одиночку, что кому вздумается, тот то и делал. Но судьбе угодно было, чтобы люди, которые вели Бестужева, отбились от главной толпы, в которой я был вроде командира».

На эту горсть людей набросились черкесы; солдатам пришлось оставить раненого на земле и самим искать спасения. Свидетель этого видел, как над Бестужевым засверкали черкесские шашки. На вопрос Давыдова, не говорил ли чего Бестужев, когда его вели солдаты, они отвечали, что раненый офицер только стонал, но не сказал ни слова.

«На другой день, – рассказывает Давыдов, – был размен телам, взятых у черкесов, на наши, оставшиеся в лесу, и, разумеется, было приложено особенное старание добыть тело Бестужева. Но мы ничего не добились, да и сами черкесы не могли различить его тело от прочих, так как они обдирают убитых и даже раненых начисто; а что Бестужев был обобран, в этом нет ни малейшего сомнения, потому что милиционеры, кажется, гурийской милиции нашли у одного убитого черкеса пистолет и полы сюртука Бестужева. Могло быть еще и то, что тело было поругано черкесами, и они имели настолько совести, или, вернее, страху, чтобы не выдавать его в этом виде»[136].

Спустя несколько дней в «Инвалиде» было опубликовано о награждении Бестужева орденом св. Анны за храбрость.

XIII

Так умер он, и желание его было исполнено: морская волна легла в его изголовье и земля его глаз не засыпала.

Но со смертью Бестужева его жизнь не окончилась: смерти его не хотели верить. Так живо запечатлелся в памяти многих его поэтический образ, любимый образ его повестей и рассказов, что легенда очень скоро начала отождествлять этот образ с личностью самого автора, и были люди, которые верили этой игре фантазии. Кто говорил, что он перешел на сторону горцев, бежал в горы и на белом коне скакал впереди вражеских отрядов, даже рубил наше каре. Кто рассказывал, что он женился и живет с женой в Лезгистане... кто утверждал, что он неизвестно куда девался; нашелся, впрочем, и такой, который утверждал, что видел в спирту его мизинец[137].

И легенда была права; она и нам подсказывает, где мы должны искать материал для полной характеристики нашего писателя. Он дан не только в фактах его грустной удалой жизни, но также и в его мечтах, тех мечтах, которыми он эту жизнь стремился скрасить. Для такого человека, как Бестужев, мечта имела часто больший житейский смысл, чем сама действительность; мечте доверял он многие мысли и чувства, которые не могли найти своего обнаружения в его подневольной жизни.

Перейдем же от этой жизни действительной к той воображаемой, которая развертывается перед нами в повестях и рассказах уже не Бестужева, а Марлинского.

XIV

Александр Александрович был литератор с очень живым и порывистым темпераментом. Во все минуты жизни, когда какая-нибудь мысль стучалась в его голову, или какое-нибудь чувство на него налетало, он поспешно брался за перо и писал быстро, как бы боясь утратить свежесть впечатления. Долго обдумывать что-нибудь, развивать и расчленять мысль в подробностях, чистить и полировать фразу, в которую она должна быть замкнута; долго вынашивать какое-нибудь чувство и одевать его во внешний наряд, наиболее соответствующий его силе и сущности, Марлинский не любил и не мог: он весь был порыв и стремление, и все, что он писал, было непосредственным, быстрым отзвуком либо самой жизни, либо того поэтического представления, какое он имел о ней.

Впечатлительность бойкого ума, тревога души, неустойчивой в своих настроениях и, наконец, быстрый темп речи – свободной, яркой и не скупящейся на метафоры – источник и всех достоинств Марлинского как писателя, и всех его недостатков. Достоинством нужно признать разнообразие идей, замыслов, типов и психологических проблем, каких успел коснуться наш писатель; недостатком должно назвать неумение художника найти подходящую достойную форму всему этому богатству. О чем бы ни говорил Марлинский, он всегда умел выбрать живую тему, он всегда был интересен как наблюдатель, мыслитель и психолог; писал ли он критическую статью – он был оригинален в своих взглядах; набрасывал ли он юмористическую картинку нравов – он был остроумен и чужд всякой банальности; сочинял ли он повесть – он каждому типу умел придать своеобразную рельефность; даже когда он писал стихи, он и в этой, самой неблагодарной и бледной своей роли иногда умел тронуть читателя. И при всех этих достоинствах каждое его создание, скорее – обещание, чем выполнение: талант блестит, он имеет свою игру, но этот талант перед нами без

подходящей оправы и на нем, как на алмазе, иногда неправильная, поспешная грань. Везде чувствуется человек, который спешит; и тот, кто знает жизнь Марлинского, простит ему эту торопливость сначала юноши, храброго офицера, берущего смело литературные барьеры, а затем загнанного человека, который сознавал, что жизнь его тает, как свеча, горящая с двух концов сразу.

От Марлинского не осталось ни одного крупного произведения, которое своей художественной силой могло бы спорить со временем. Остались мелкие критические статьи и обзоры литературных новостей, любопытные по новизне критических приемов, смелости и верности отдельных замечаний, но разрозненные и не сводящие в одно целое всего, что имел сказать автор о законах прекрасного; остались публицистические очерки, очень остроумные, с большой дозой яда, но беглые и случайные; остались этнографические заметки, обнаруживающие хорошие знания сибирского и кавказского быта, но опять-таки заметки, набросанные наскоро; остались стихи, на которые сам автор сердился, когда они попадали в печать и, наконец, осталось несколько десятков повестей и рассказов, которые некогда читались с животрепещущим интересом, но были лишь эскизами в самых разнообразных литературных стилях, из которых ни один не был вполне выдержан. Марлинский, как сентименталист и романтик старой школы, превосходит своих современников силою воображения и блеском речи, но эта старая литературная манера не нашла себе в нем художественного выразителя; точно так же и нарождавшаяся повесть реальная, которая очень многим ему обязана, не нашла себе в нем поэта, который даровал бы ей решительную победу. Наш автор остался талантливым писателем на перепутье двух литературных направлений – мастером, умеющим хорошо писать и в старом, и в новом стиле, без способности создать в том или в другом что-нибудь совершенное. Марлинский, правда, хороший психолог, и созданные им типы нередко жизненны и правдивы – но ни один из них не обладает теми свойствами, которые мы привыкли ценить в типах, созданных большими мастерами: либо психический мир этих людей недостаточно глубок и сложен, либо несложный тип не исчерпан автором вполне. Исключение составляет только одна центральная фигура его повестей, а именно, его собственный портрет – портрет восторженного идеалиста александровской эпохи, борющегося и неунывающего под ударами несчастия.

Любовь читателя далась Марлинскому легко и быстро, несмотря на исключительное его положение. Карающая власть, как известно, позаботилась не только о том, чтобы лишить его возможного общения с живыми людьми, но и о том, чтобы имя его из памяти живых исчезло. Первое собрание его повестей появилось в свет даже без его псевдонима, и когда в альманахе «Сто русских литераторов» был отпечатан его портрет, то портрет этот приказано было вырезать. Тем не менее читатель не переставал любить своего анонимного рассказчика и узнавал повести Марлинского даже без подписи.

Обратимся же к обзору этих повестей, чтобы ознакомиться поближе и с самим автором, и с многочисленными его поклонниками. Прочитать эти повести приятно и в наше время: Марлинский умел рассказывать. Гораздо труднее обозреть эти повести и дать о них понятие тем, кто не имел случая их перелистывать.

Трудность заключается, прежде всего, в необычайном разнообразии сюжетов, часто с очень запутанной интригой. Не меньшую трудность для классификации повестей Марлинского представляет и невыдержанность стиля, в каком они написаны. Наш автор, как мы уже заметили, стоял на распутье двух литературных течений. Он любил повесть старого типа – сентиментальную и романтическую, в которой вымышленная красота и эффектность в типах, описаниях, ведении самой интриги брала верх над правдивым изображением жизни; но вместе с тем он же был одним из первых наших реалистов, и очень часто красивый вымысел заменял житейской правдой, иной раз достаточно серой. Вот почему романтизм в замысле и изложении у него часто соединен с очень реальным описанием обстановки и с реальной обрисовкой типов или, наоборот, в реальный замысел вплетены совсем романтические эпизоды, и в обрисовке характеров действующих лиц допущена условность старого литературного стиля.

Такой произвол не позволяет распределить его рассказы по литературным приемам их выполнения, и потому, чтобы держаться хоть какой-нибудь руководящей нити при их обзоре, остается классифицировать их по содержанию, хотя и такое распределение не может быть вполне выдержано, так как у Марлинского часто в одной и той же повести развиваются сразу несколько совершенно самостоятельных тем, и притом неоднородных; так, например, в бытовую картину вплетается фантастический рассказ, в историческую повесть – жанровые сценки, в описания путешествий и походов – автобиографические знания и так далее. Почти во всех повестях царствует характерный беспорядок, столь соответствующий темпераменту самого писателя. Если, однако, с этим беспорядком не считаться, то повести Марлинского могут быть разделены на следующие группы:

1. Повести сентиментально-романтические по стилю и замыслу, в большинстве случаев исторические, сюжет которых взят либо из далекого прошлого, либо из более близких времен.

2. Повести или очерки с сильным преобладанием этнографического элемента, то есть рассказы из сибирской или из кавказской жизни, частью вымышленные, частью написанные с натуры.

3. Повести бытовые из современной жизни или очень близкой к современности; в них автор рисует либо военную жизнь своего времени, либо по памяти рассказывает о жизни светского круга, в котором он вращался.

Наконец –

4. Автобиографические рассказы с очень интимными страницами – своего рода дневники или листки из записной книги автора. Эта последняя группа – самая ценная и для биографа, и для историка. Руководясь материалом, который она дает, биограф может глубже вникнуть в сложную психику оригинальной личности писателя, а историк найдет в этом материале ответ на вопрос, чем именно Марлинский обязан своей славой и какие мысли и настроения пришлись особенно по душе целому широкому кругу русских читателей тридцатых годов.

XV

Едва только успел Александр Александрович обменять юнкерский мундир на офицерский, как слава литератора затмила в его глазах славу военного. Блестящий светский кавалер, он поступил в ряды анонимных литературных застрельщиков. Во всех лучших журналах двадцатых годов попадались его заметки, критики, антикритики и ответы на антикритику, либо совсем не подписанные, либо помеченные буквами (А. Б. или А. Б-ев), статейки, в которых сквозило очень драчливое настроение.

Всегда интересующийся последней литературной новинкой, всегда остроумный и очень веселый, любящий щегольнуть самыми разнообразными сведениями, выступал этот рыцарь с поднятым или закрытым забралом во имя словесности, к которой питал нежнейшую страсть. Он везде выглядывал ее врагов или недостойных поклонников, и скоро сам решился показать им, как ей служить должно. Не покидая выгодной позиции критика, он одновременно стал сам себя подставлять под удары, как настоящий «сочинитель».

Александр Александрович, назвавшись Марлинским, преобразился; совсем молодой человек, он вместо того, чтобы говорить о настоящем, все сворачивал на старину; развалины предпочитал всякому комфорту, соловья не прочь был выменять на сову, и даже вместо слова «сентябрь» стал писать как бы совсем по-русски «рюэнь». Пылкий молодой человек и к дамам весьма неравнодушный, он со всем жаром своего красноречия стал заступаться за святость семейного очага и за честь мужей, хотя бы и выслуживших все сроки; к выговорам, вероятно, весьма чувствительный, он стал выговаривать и девицам за легкомыслие, и дамам за непостоянство, и молодым людям за недостаток скромности; человек бесспорно общительный, всегда на виду, он обнаружил вдруг любовь к уединению, и дикие камни, обросшие мхом, и обгорелые пни стал предпочитать софе и постели; с ближними весьма обходительный, он свел предосудительное знакомство с разбойниками, которым иной раз отдавал предпочтение перед людьми с исправным паспортом; наконец, человек, бесспорно просвещенный, уверовал в знахарство, колдовство, заклинания, напустил в свои повести ведьм, чертей, мертвецов и таинственных незнакомцев, иногда более коварных, чем сам дьявол, которому они служат.

В своих первых рассказах, написанных им в период его вольной жизни, Александр Александрович был, как видим, чистокровным сентименталистом и романтиком. Вкус к таким сюжетам и к таким приемам творчества не покидал его и позже, когда он из забавного рассказчика обратился в бытописателя; но в юные годы он почти исключительно плавал в вольных морях романтики, мало заботясь о том, что на твердой земле делалось.

В те молодые годы нашей словесности родная старина во всех ее видах была в большой моде. Стариной интересовались из любви к истории, из патриотизма, из религиозных чувств, а также нередко из либерализма; одним словом – старину пристегивали ко всем живым и ходким течениям мысли и настроения александровского царствования. Стариной нерусской занимались также не без современной тенденции. Поэзию древнего мира, с которой расправлялись весьма самовольно, любили потому, что она давала готовые формы для выражения и жизнерадостности всех видов и оттенков, которой было проникнуто тогдашнее поколение, и политического либерализма, тогда сильно распространенного; средневековую старину любили за то, что в ее монашеском и рыцарском духе можно было найти пояснение и выражение собственных религиозных чувств и чувства героизма, в те годы также весьма сильного. Литературная археология александровского царствования была, таким образом, отнюдь не беспристрастна, и можно было жить мечтой в старине, а умом и сердцем в настоящем.

Так жил и Марлинский в первые годы своей литературной деятельности, когда писал свои сказки с сентиментальным, романтическим, историческим и фантастическим содержанием.

Как взор любви, или обеты славы,
Пленительна святая старина,
Прапрадедов деянья величавы
И тихий быт, и грозная война!
Призыв ее чарующий внимая,
Душа гудит, как арфа золотая! –

писал наш автор в предисловии к своей поэме о князе Андрее Переяславском. Он, действительно, искал в старине все больше взоров любви и обетов славы, и потому все его исторические повести сентиментальны по основному мотиву и героичны по настроению. Иногда в них – в особенности в рассказах из русской старины – заметна некоторая либеральная тенденция, но очень слабая. Марлинский и в этот период своей деятельности преимущественно трубадур, при случае русский патриот и большой моралист на весьма несложные нравственные темы.

О самостоятельности в замысле или об оригинальности в приемах разработки таких исторических картин говорить нечего. Наш писатель находился в полной зависимости от господствующего тогда литературного вкуса и стиля, и, кроме того, не мог уберечь себя от подражания образцам западным. След хорошего чтения Вальтера Скотта на его повестях остался; в любовных мотивах слышны отзвуки поэзии Мура, и некоторые герои былых времен в своих сентенциях как будто упредили Байрона. Но такая зависимость не тяготит читателя, потому что Марлинский, действительно, очень искусный рассказчик, а главное, хороший психолог. Если в его исторических повестях есть бесспорное достоинство, помимо верности деталей, то оно в этой правдоподобной мотивировке иногда очень повышенных романтических чувствований. Марлинский не оставляет без пояснения ни одного психического движения, всегда подготовляет к нему читателя, и в этом весь реализм его неистовой иногда романтики. Но и кроме этого, талант Марлинского иногда порывает с романтической традицией и дает волю своему остроумию и своей наблюдательности. Тогда какой-нибудь мнимо-светский разговор давних лет обнаруживает в авторе искусство настоящей салонной болтовни; и какая-нибудь страница, в рассказе почти лишняя, какая-нибудь беседа автора со встречным и поперечным, с крестьянином (а Марлинский с ними в своих повестях всегда охотно беседует), с рыбаком, с солдатом показывает нам в нашем писателе тонкого наблюдателя, умеющего схватывать даже язык своего собеседника – что совсем не удавалось нашим романтикам. Во всяком случае, исторические рассказы и повести Марлинского были лучшими образцами творчества этого литературного рода в двадцатых годах, когда пушкинская историческая повесть прошла для литературы бесследно, а повесть Гоголя еще не появлялась.

Некоторые драматические положения этих ранних повестей Марлинского до сих пор сохранили свою красоту и свой романтический аромат. В свое время они пленяли читателя. Как должен был тогда нравиться, например, задумчивый юноша, когда на берегу озера он сидел на разбитой молнией сосне, и ветер сдувал с его волос крупные капли недавнего дождя. Разорванные тучи разлетались по небу, громоздились на краю небосклона, волны катились на берег, и юноша думал о старине, о псковитянах и крестоносцах, зрел пред собой Александра Невского, исполнялся патриотизма, и невольно мысль его неслась навстречу другому Александру («Листок из дневника гвардейского офицера», 1821–1823). Сколь многим мог нравиться образ девы с отуманенными печалью глазами, девы, похожей на лилию, спрыснутую вешней росой, образ ангела, который нежен и кроток, но находит силы героя, когда нужно защищать свое сердце. Где-нибудь, опять на берегу озера, сидит эта дева… мирно лежат воды в своих берегах, посреди них недвижно плывет лебедь, будто созерцая небосклон, отраженный водами, – подобие чистой души над безмятежным морем дум, в коих светлеет далекое небо истины… («Наезды», 1831).

Тот, кто любил, чтобы страницы рассказа были залиты кровью, мог с восторгом прочитать, например, повесть Марлинского «Гедеон», где наш автор вспоминал своего предка Гедеона Бестужева, грозного громителя ливонских городов и великого патриота, не признавшего Лжедимитрия; он мог прочитать это страшное описание свадьбы дочери Гедеона Евпраксии, когда в палату пиршества ворвался нежданно рыцарь Шрейтерфельд, отца которого зарубил Бестужев, и младенцев сестер и братьев которого дружина Бестужева размозжила на камне. Теперь этот рыцарь, в свою очередь, неистовствовал на пиру своего недруга, переколол его гостей, поджег его хоромы и увел в плен для страшной казни старика Гедеона, его дочь и ее жениха. Старику и жениху удалось бежать, но бедную Евпраксию Шрейтерфельд застрелил в лесу, чтобы потом вместе с подоспевшим на выручку женихом полететь в бездну и оставить несчастного отца над телом дочери… («Гедеон», 1821).

Не меньше ужасов находил читатель и на страницах другой повести «Изменник», где автор рассказывал о соперничестве двух братьев из-за переяславского воеводства и сердца прелестной Елены. Полякам и злым духам продал старший брат свою душу и вместе с полками Лисовского обложил родной город. Во время приступа к стене столкнулся он со своим меньшим братом и убил его. Но он сам пал пронзенный и, умирая победителем, услышал свой приговор: два польских мародера кляли его имя и не пожелали даже снять с него богатого платья, так как оно было обрызгано братнею кровью («Изменник», 1825).

Читатель, которого такие страхи утомляли, мог отдохнуть на других страницах. Он мог с удовольствием перелистать, например, повесть из смутного времени под заглавием «Наезды» – историю жизни и смерти несчастной дворянки Варвары Васильчиковой, которая во время польских наездов на русскую землю была увезена разбойниками и затем уступлена вельможному пану Колонтаю Режицкому. Но в семье этого пана вместо преследований и страданий она нашла любовь и ласку. Рыцарь без страха и упрека, образец дворянского благородства, сын пана Колонтая Лев полюбил ее, и она также потеряла свободу своего сердца. Но это сердце принадлежало не только ей, но и ее родине, по которой она тосковала. Она не могла полюбить как должно поляка, иноземца и иноверца; она ждала своего избавителя – русского. И он явился в лице дру-

га ее детства князя Серебряного, который накрыл шайку разбойников, некогда ее увезших, узнал, где она и, презирая все опасности, под чужим польским именем явился в доме Колонтая. В момент, когда он хотел бежать с пленницей, он был узнан и брошен в тюрьму. Он погиб бы лютой казнью, если бы его не спас его соперник, благородный Лев Колонтай, который подавил в себе и любовь, и ревность и, не пожелав неволить чужого сердца, ночью провел к Серебряному Варвару, а к воротам темницы двух коней. Наши узники бежали благополучно, но на границе попали под перестрелку русских и поляков, и случайная пуля поразила насмерть Варвару.

Марлинский рассказал эту трогательную историю с большим искусством. Ему в особенности удались все сцены из польской жизни, к которой он имел случай присмотреться в годы своих офицерских экспедиций. Он не польстил характеру польских панов, но отдал должное их храбрости и рыцарским чувствам. Пан у себя в домашней обстановке, пан в гостях, в беседе с дамой, пан на балу, пан в разговоре с крестьянином и жидом обрисован нашим автором с большим юмором и правдой, которая лишь кое-где нарушена в угоду патриотизму.

Любовь к отчизне заставляла Марлинского не только говорить колкости по адресу разных наших супостатов, но также не всегда справедливые комплименты нашим предкам. Иногда какой-нибудь новгородский герой, заслуживший своею храбростью и своим страданием руку прелестной девы, которую ему не желала уступить спесивая и богатая ее родня, какой-нибудь молодой русский рыцарь, удалый на «игрушках военных» (то есть на турнирах), иногда он на вече произносит речь, которой мог бы позавидовать любой либерал александровского времени… Он говорит с жаром о самоуправлении церковном и государственном, о разных тонкостях международного права, о необходимом тесном слиянии Руси с западом, «откуда нам текут искусства, рукоделия и все новые изобретения»… он старается подорвать веру во всемогущество Москвы, высказывается против всякой уступки политических прав, признавая, что такая уступка всегда становится чужими правом… («Роман и Ольга», 1823).

Всякий такой психологический и исторический анахронизм мог и должен был тогдашнему читателю нравиться, но он становился, конечно, поперек дороги свободному творчеству автора.

Эти либеральные и благомыслящие наши предки были как художественные образы – фальшивы; неестественными выходили и те скорбные фигуры, которые автор позволял себе иногда рядить в старый костюм. Когда он создавал в стиле общеевропейской романтики задушевный скорбный тип какого-нибудь морского офицера Рональда, влюбленного в адмиральскую дочь, счастливого на корабле и затем потерявшего сердце своей Мэри, унесенной волнами светской жизни и ими загубленной («Ночь на корабле, из записок гвардейского офицера на возвратном пути в Россию после кампании 1814 года», 1822), – когда Марлинский набрасывал такие туманные образы обиженных и страдающих любовников, то он просто копировал какой-нибудь западный оригинал; но он нес всю ответственность перед художественной правдой, когда эту скорбную мину недовольного людьми человека или демоническую улыбку скептика придавал русскими боярам давнего времени. А он это иногда делал, и тогдашний читатель бывал доволен, когда характеристику какого-нибудь героя XVI и XVII века автор заканчивал, например, такими словами: «Кто знает, любовь или гнев волновали его душу, когда лицо его то пылало кровью, то вновь тускнело, как булат? Кто знает, гордость ли воздымала так высоко его брови, презрение ли двигало уста? Высокие ль думы или тяжкое преступление провело морщины на челе? Иногда взор его сверкал огнем, но потухал столь мгновенно, что наблюдатель оставался в сомнении, видел ли он то, или так ему показалось. – Его жизнь, его страсти, его замыслы оставались неразрешенною загадкой».

С большим историческим чутьем, чем такие рассказы из родной старины, написаны Марлинским его повести из истории остзейского рыцарства. Он очень интересовался судьбой этих рыцарей, хорошо знал их историю и потратил немало времени на изучение древностей Прибалтийского края. Еще в самом начале своей литературной деятельности он задумал – вероятно, по примеру Стерна – описать одно свое путешествие в Ревель и написал тогда целую книгу, которую и издал отдельно («Поездка в Ревель», 1820–1821).

Легче указать на то, чего нет в этой книге, чем на ее содержание; беспорядок в ней царит полный, и сам автор просит читателя простить «ветреного кавалериста за то, что он бросал свои невыровненные периоды с пера, очиненного саблею, в быстрые промежутки забав и усталости, даже под холодным крылом сна». Таланта в книге не много, но зато много знания; стерновского остроумия нет, но есть ценный материал для биографа. На разных станциях между Петербургом и Ревелем Марлинский садится писать свой дневник и болтает обо всем, об истории, археологии, этнографии, географии, возвращается часто к вопросам литературным и позволяет себе кое-где чисто личные признания. Из всех этих заметок видно, как хорошо он знал древности тех окраин, по которым путешествовал.

Этими знаниями он и воспользовался для некоторых исторических повестей. Они – лучшее, что им написано в этом роде. Много движения, жизни и красок, например, в рассказе о «Ревельском турнире», который так счастливо кончился для купеческого сына Эдвина, влюбленного в Минну, единственную дочь рыцаря Буртнека. Этого Буртнека изобидел большой забияка рыцарь Унгерн, и обиженный старик решил отдать свою прелестную дочь замуж за того, кто на турнире опрокинет его обидчика. Эдвин как купец не имел права сражаться с рыцарями, но с закрытым забралом все-таки проник за решетку и победил. Его, как победителя, и не

судили. Старик Буртнек, у «которого в гербе не было сердца, но зато было сердце в груди отеческой», покапризничал, но отдал дочь за купца, и дал нашему автору возможность прочитать хорошую мораль, для дворян вообще небесполезную. Мораль и для того времени была не новая; но что было ново, так это – детальная и живая картина рыцарских нравов и жизни в рыцарском замке («Ревельский турнир», 1825).

Марлинский любил реставрировать эти замки, развалины которых попадались ему на глаза во время его стоянок и походов. Так реставрировал он «Замок Венден», «Замок Эйзен» и «Замок Нейгаузен». Это очень мрачные легенды. То это история одного жестокого крестоносца-магистра, который пользуется своей властью для личной прихоти, разоряет своих вассалов, роняет честь своего ордена, готов надругаться над тем, кто решается ему напомнить о правде; история недостойного властителя, который, наконец, погибает от меча оскорбленного им дворянина, ночью проникшего в его неприступный замок («Замок Венден», 1832). То это рассказ о свирепом бароне, мучителе своих крестьян и всех соседей, который на старости лет отнял у племянника невесту и женился на ней… Он бросил этого несчастного Регинальда в тюрьму и хотел сгноить его в подвале, но в его отсутствие племянник бежал и затем при встрече убил его. Все вздохнули свободно, и Регинальд уже стоял у налоя с невестой, которую у него отняли, когда прискакал брать убитого барона и, в свою очередь, убил убийцу и закопал неверную жену живою в землю («Замок Эйзен», 1825).

То, наконец, это история дьявольского коварства одного рыцаря, который, влюбившись в жену своего друга Эвальда, оклеветал ее перед мужем, заставил его поверить, что чистая душой Эмма изменила ему и отдалась новгородцу Всеславу, который, как пленник, жил на правах друга в его замке. Он, бессовестный злодей, оклеветал и самого Эвальда перед страшным тайным судом, бросил его в тюрьму и готовился своими руками зарезать его, чтобы овладеть Эммой, которую успел уже похитить, но в критический момент подоспел новгородец со своей дружиной, и злодей был выброшен из окошка, а Эмма перехвачена и освобождена («Замок Нейгаузен», 1824).

Такие страшные сказки рассказывал Марлинский, придавая им особую ходкость блестящим литературным изложением. Читатель того времени находил в них все по своему вкусу: и запутанную интригу, и нежные романтические чувства, и прелесть грозного и страшного, и, наконец, для сердца радостный патриотизм.

Тот, кто в особенности любил страшное, мог зачитаться повестями нашего автора, так как из всех писателей двадцатых годов, не исключая и Жуковского, Марлинский всего чаще прибегал к этому романтическому эффекту.

Он был, например, очень искусным рассказчиком страшных разбойничьих историй. Разбойник – типичное лицо во многих его повестях. Иногда это простой грабитель и злоумышленник – воплощение бессердечия и кровожадности, перед которым безгласна и женская красота, и невинность ребенка; в такой концепции разбойник – олицетворение изнанки рода человеческого, хороший фон, чтобы на нем лучше выдвинуть человеческую красоту и добродетель («Вечер на Кавказских водах», 1830, «Наезды», 1831, «Еще листок из дневника гвардейского офицера», 1821). Но иногда разбойник, пример душевной красоты и добродетели, является жертвой случайности или социальной неурядицы. Тогда он, при всем антисоциальном образе своей жизни, рыцарь благородства, тонких чувств и самоотверженного патриотизма.

Симпатии автора, конечно, на его стороне, и он русскому мужику позволяет иногда пародировать Карла Моора или падшего ангела, который грустит об утраченном рае («Роман и Ольга», 1823).

«Нынче дамы нередко назначают свидание на кладбище», – шутил однажды Марлинский и, угождая вкусу не только дам, но и весьма солидных мужей того времени, переносил место действия своих рассказов нередко в такие места, которые ночью обходишь.

Таинственное и фантастическое попадается в его повестях очень часто. Иногда такое вторжение сверхчувственного есть лишь одна из форм мнимой народности, столь распространенной в те годы. Колдуны, ведьмы, разные формулы заклинаний и наговоров были излюбленными археологическими деталями любой романтической повести и очень часто теряли всякий аромат таинственности, вырождаясь в совершенно шаблонные вставки и описания. И Марлинский не всегда умел избежать такого шаблона, но из всех наших писателей до Гоголя ему одному удалось дать нам почувствовать действительно «народное», кроющееся в суеверии. Он достиг этого тем, что изображал с большим реализмом именно ту народную среду, в которой такие верования пускают свой корни. Так сделал он, например, в повести «Страшное гаданье».

Фабула рассказа – страшный сон, приснившийся какому-то ловеласу, который ночью скакал на бал, где должен был сделать набег на чужое семейное счастие. Дело было зимой, в деревне. Метель занесла дорогу, и наш пылкий любовник вместо бала попал на сельские посиделки; здесь судьба свела его с каким-то парнем, который предложил ему погадать «страшным гаданьем», закляв нечистого на воловьей коже. Они отправились на кладбище, где и уснули («Страшное гадание», 1831). Самое характерное в повести – это очень живое описание крестьянских посиделок: участники их рассказывают друг другу всякие страхи, то про чертов свадебный поезд, то про черного ангела, про эфиопа, который завсегда у каждого человека за левым плечом стоит, то про мертвеца, который пришел в гости требовать себе отнятый у него саван… и все эти рассказы переданы таким правдоподобным народным языком, и впечатление, произведенное ими на суеверную аудиторию, схвачено так живо, что эти простонародные легенды действуют на читателя

сильнее, чем накопление каких угодно романтических ужасов. Реальное воспроизведение слышанного оказалось в данном случае действительнее расходившегося воображения.

Иногда фантастическое проявляется у Марлинского и не в такой простой народной форме. Наш автор проводит его в повесть иным литературным приемом, которому его обучила западная романтика, а именно, среди действующих лиц появляется вдруг какая-нибудь таинственная личность с неизвестным прошлым и с очень загадочным поведением в настоящем. Замечания этого таинственного лица резки, шутки ядовиты, слова отзываются какой-то насмешкой надо всем, что люди привыкли уважать, злая улыбка презрения ко всему окружающему беспрестанно бродит у него на устах, и когда он поводит свои пронзающие очи, невольный холод пробегает по коже. Веселье гаснет при его приближении, и добрые люди становятся способны на злое... Иногда этот таинственный гость – искуситель и вместе с тем палач своей жертвы[138], иногда же цель его вмешательства в нашу жизнь остается совсем неизвестной, и мы ощущаем только какое-то веяние чудесного, которое очень умело передано автором. В маленьком сборнике страшных рассказов, который автор озаглавил «Вечера на Кавказских водах в 1824 году», появляется такая личность венгерского дворянина Коралли, искателя какого-то таинственного клада. По ночам он долго и пристально сиживал за какими-то книгами и тщательно запирал их в другое время... неясные звуки вырывались из груди его, даже во сне тяжело стонал он, словно совесть его была подавлена каким-то преступлением, и могильная синева лица его, его впалые, почти неподвижные очи, речь прерывистая и рассеянная обличали гораздо более страдание души, чем разрушение телесное. Когда он умирал, в комнате его слышался ропот невнятного разговора, и затем пронзительный и страшный крик ужаса раздался там вместе с незнакомым могильным голосом нездешнего мира, который произносил звуки укора...[139] Этот незнакомец появляется в повести Марлинского как какое-то привидение, и контраст между его мрачной фигурой и веселыми лицами военной молодежи, которая коротает свое время, рассказывая о нем страшные сказки, – контраст очень эффектный.

Таковы в общих очертаниях все романтические типы и приемы в ранних повестях Марлинского. Они, как видим, очень разнообразны, красивы и выдержаны в хорошем романтическом стиле. Для любителя старины, хотя бы и поддельной, для патриота, для поклонника героизма в людях, для ценителя нежных чувств и, наконец, для искателя ощущений таинственного и страшного в сочинениях Марлинского было много приманок. Если прибавить к этому, что наш автор был большим моралистом, что почти каждый его рассказ подтверждал какую-нибудь нравственную истину и доказывал торжество добродетели при всевозможных испытаниях или наказание порока при временном его торжестве, то Марлинский в глазах читателя должен был стать не только занимательным, но и благомыслящим писателем – а «благомыслие» в те сентиментальные годы ценилось очень высоко.

Быстрый рост славы писателя вполне понятен и законен.

И как раз в то время, когда эта слава была им завоевана, его имени пришлось на долгие годы исчезнуть со страниц всех журналов; когда затем, во второй раз, в середине тридцатых годов имя Марлинского прогремело, перед читателем был уже иной автор. Годы поселения и солдатской службы научили его многому: углубили его способность понимать человеческие чувства и мысли и воспроизводить их в образах, расширили круг его наблюдений как бытописателя, дали много новых местных красок для его рассказов, заставили его часто вспоминать о некогда бывшем и – утешая себя – вновь переживать его в мечтах; – и наш романтик, археолог, историк и духовидец стал приближаться как художник к действительности. Он, впрочем, не развился до настоящего поэта этой действительности и остановился на полдороги, то есть не он остановился, а случайная смерть не позволила ему идти дальше.

XVI

В тридцатых годах среди общей массы наших читателей было, вероятно, немало лиц, которые впервые получили правильное понятие о Сибири и о Кавказе из сочинений Марлинского. Рассказы из быта этих окраин попадались иногда в литературе того времени. В поисках за разными «местными красками», которые так высоко ставил тогдашний романтизм, писатель нередко «летел мечтой» в сибирскую тайгу и тундру и в горы Кавказа. Такое путешествие, в особенности в Сибирь, даже в мечтах было сопряжено с большими трудностями, но они не испугали, например, ни И. Дмитриева, ни Хомякова, которые примеривали разные западные костюмы и латы на Ермака и сибирских шаманов, заставив их предварительно пройти целую школу образцовой риторики. Если эта риторика отсутствовала, то она заменялась занимательностью сюжета, то есть опять-таки условной запутанностью рассказа, как, например, в романах из сибирской жизни достаточно известного в старые годы литератора Калашникова. Марлинский был первый, в случайных и беглых заметках которого о Сибири местный колорит был выдержан в согласии с правдой. Он же первый говорил нам о кавказских горцах и пленительных татарках и лезгинках, избегая по возможности ссылок на Байрона и его учеников. Он знал всех этих восточных людей близко, и видел, и слышал их, и при слове «восток» вспоминал не долину Кашемира, а базарную площадь в Якутске или

улицы Дербента, которые, как гласит легенда, строил сам черт, в потемках планируя их по своему хвосту. Если тем не менее Марлинский и подкрашивал и подмалевывал иногда восточные пейзажи и лица, то в них все-таки оставалось правды настолько, чтобы поставить имя нашего писателя наряду с первыми по времени этнографами – учеными покорителями Сибири и Кавказа.

О Сибири Марлинский говорил лишь мимоходом и притом под тяжелым впечатлением недавней ссылки. Вот почему в его сибирских очерках[140] так много говорится о свободных стихиях природы.

«Грязный сын этой вечно юной матери» изображен во всей его наготе и непривлекательности, и видно, что наш цивилизованный европеец совсем не увлечен простотой первобытной культуры, несмотря на все, что о ней могли ему говорить в его юности разные модные книжки.

Но чем скучнее и грубее казался Марлинскому навязанный ему судьбою сибирский сосед – обитатель берегов Лены, – тем сама Лена и вся сибирская природа была ему милее. Он любил говорить о ней, об ее веселии и печали, и его «Отрывки из рассказов о Сибири» – настоящий портфель эскизов странствующего пейзажиста.

На некоторых листках этого портфеля любуешься красотой рисунка.

Рассвет чуть брезжит; красивая полоса зари сквозит на краю горизонта, и густые пары приподнимают свою завесу. Солнце встает, как огненный шар, наравне с землею – и вдруг тысячи радуг играют по снегу, по заледенелым травам болотным и по сучьям кустарников. Алмазные кисти и нити и кружева зыблются, блещут, роняют искры… и все это на миг: солнце запало, и с ним исчезает очарование; снова стелется мертвое поле под саваном снега; снова чахлые кустарники стоят кругом, отягчены инеем. Не видать ни птички, не слышно никакого голоса – это что-то страшнее могилы!

Катится Лена, сердитая Лена, протекая между багровых скал, громоздит льдины на льдины. Как плавучие острова, быстро несутся они по течению и, сокрушаясь, звучат подобно гармонике. В коленах, касаясь берега, они точат, подрывают его, и нередко кремнистые глыбы лежат на хребте голубых прозрачных льдин; настигающий лед лезет выше и выше: река вздувается, бушует, и вдруг прорывается хлябь водопадами, у которых каждый вал – ледяная громада…

Горят леса… далеко встречают путника, плывущего по реке, облака дыма; видны волны пламени, разливающиеся по горе; иной утес кажется драконом с огненною гривою; с треском пожигает пламя валежник, сухой лес и опушку. Высокие кедры и сосны обгорают только до половины… Огонь ползет, вьется по ним, как змея; яркое зарево играет над головою, и путник вплывает под свод его, будто в мрачное жерло ада…

Высятся скалы, которым причудливая игра природы дала образование длинных колоннад, минаретов, колоколен. Река омывает стены какого-то дивного замка и великанских башен его, увенчанных зубцами, поросших мохом и утлыми деревьями. Там необъятной величины голова будто смотрится в пучине; там сверкает ключ в глубине таинственной пещеры. Какая-то святая тишина лежит на девственном творении, и душа сливается с дикою, но величественною природой…

Но вот берега становятся площе и площе. Лес реже и мельче, мох заменяет траву, река течет почти по болоту. Самое взморье наводит тоску на сердце; миллионы бакланов, гусей, журавлей, всяких птиц водных гуляют по плавучему мху, плавают по заводям, перелетают с озера на озеро, плещутся, играют. Стон стоит от их крика на поморье – и это единственный голос жизни. Берег, и море, и небо сливаются в единообразную туманную черту. Взору не на чем отдохнуть в пустом отдалении; ни один цветок не манит руки: все грустно, все дико… Самое солнце, бледное, безлучное солнце незакатимо ходит по небу, как труженик…

Человеку среди этой величественно-печальной природы отведено у Марлинского очень мало места… Сон, или, лучше сказать, спячка в краю, в котором вся зима есть ночь, – необходимо должен заполнять большую часть времени… Энергия у этих молчаливых и унылых сынов севера просыпается лишь в минуту опасности, в борьбе или дружбе со звериным царством; и своенравная сибирская собака, северный олень, белый медведь и даже барс вносят в рассказы Марлинского то оживление, которое никак не могут внести люди… вялые и сонные в городах или обреченные на животное и растительное прозябание на воле, в тундрах и тайге, где приходится иной женщине оледенеть над грудным младенцем, который, не найдя молока в истощенной груди, лежит у нее на коленях мертвый; где иной раз находят человека с ногами на погасшем очаге закоченевшим, грызя ремень обуви, с судорожной тоской на лице и поднятых к небу мертвых глазах…

Но если в ком бьет ключ настоящей жизни – и если в ком видна готовность на всяческую борьбу, так это в самом нашем авторе, который острит даже на сорокаградусном морозе и эпиграфом для своих рассказов из царства мрака, холода и смерти берет жизнерадостный стих Гете:

Dem Schnee, dem Regen,
Dem Wind entgegen,
Im Dampf der Klüfte,
Durch Nebeldüfte,
Immer zu, immer zu!
Ohne Rast und Ruh!

XVII

«Никакой край мира не может быть столь нов для философа, для историка, романтика, как Кавказ», – писал Марлинский в одном из своих кавказских очерков, и эту мысль он стремился подтвердить своими рассказами.

Он в них немало философствовал, пускаясь в подробные психологические очерки страстей и душевных движений, которые подмечал на востоке у самых разнообразных горских племен; как историк, он вплетал в свои повести разные исторические справки, описывал внешний быт, всевозможные обряды религиозные и семейные, пересказывал поверья и легенды; как романтик, он развернул перед нами целый ряд картин из жизни кавказской природы и рассказал много причудливых сказок об ее обитателях.

Александра Александровича сердило, что мы так мало знаем Кавказ, и что сведения о нем текут к нам сквозь иностранное решето. «Все эти иностранцы, писавшие о Кавказе, – говорил он, – были в большинстве случаев ученые ориенталисты и, конечно, любопытно прочитать у них о новооткрытой на Кавказе божьей коровке и о невиданном доселе репейнике, но ведь для человека есть и нечто более важное, есть человек – с его нравами, обычаями и привычками, и о нем-то пока прочитать негде.

Мы, европейцы, всегда с ложной точки смотрим на полудикие племена. То мы их обвиняем в жестокости, в вероломстве, в хищениях, в невежестве, то, кидаясь в другую крайность, восхищаемся их простотой, гостеприимством – и не перечтешь какими добродетелями... То и другое напрасно; как люди и горцы носят в себе циркулярные недостатки и добрые качества, свойственные человечеству, но в оценке этих добродетелей и недостатков нельзя придерживаться нашего этического масштаба. Еще меньше можно руководиться в своей любви к ним какими-нибудь политическими симпатиями. Набивши свою голову школьными видами правлений, мы мечтаем видеть в какой-нибудь Кабарде или Чечне республики; производим черкесского князька в феодального властителя и воображаем, что узденъ – рыцарский барон. Все это вздор. Если среди горских племен встречается утопия Жан-Жака Руссо, то это грязная, ненарумяненная, нагая утопия, естественное состояние, совпадающее с дикостью и звериной жизнью. Все это нужно помнить, когда мы говорим о Кавказе или хотим описывать его. Лучше всего побольше непосредственности в описаниях; пусть будет меньше порядка, но больше живости; менее учености, но больше занимательности... Облеките все в драматические формы, – говорит наш писатель, – ну хоть по примеру Вальтера Скотта, из романов которого выносишь больше знания о Шотландии, чем из самой истории...»

Все эти мысли Марлинского дают нам ключ к пониманию и оценке его очерков из кавказской жизни. Наш автор не следует примеру тех лиц, которые, восхваляя некультурный Кавказ, желали кольнуть современную им цивилизацию или прославить какую-нибудь слащавую идиллию[141]. Для нашего беспристрастного наблюдателя восток – богатая сокровищница всевозможных любопытных сведений и явлений. Вот почему в кавказских повестях Марлинского так много отступлений и вставок, посвященных обрисовке разных мелочей, интересных для этнографа, археолога и историка и малозанятных для простого читателя[142].

Все эти мелочи в его повестях совсем не рассчитаны на эффекты; они, наоборот, тормозят ход действия, но они казались автору необходимыми именно затем, чтобы дать нам возможно верное и полное понятие о «местном колорите», который, как известно, под пером большинства наших романтиков всегда имел одну цель: не поучить, а поразить читателя.

Марлинский, как мы сказали, вовсе не был увлечен прелестями азиатской культуры, о «которой путешественники говорили так много вздоров», и он потому в своих описаниях и рассказах был свободнее многих: он мог не только восхищаться этими сынами свободы, где это было к месту, он мог и смеяться над ними, и острить на их счет, и порицать их. Он так и делал, его повести блещут остроумными выходками человека, дающего чувствовать свое умственное и нравственное превосходство. Он пришел к этим горским племенам не за тем, чтобы чему-нибудь научиться, а за тем, чтобы изречь свой суд над ними и отдать себе отчет в их мыслях и чувствах. В итоге этого отчета получался иногда приговор самый суровый, лишенный всякой поэзии. «Месть за кровь и гостеприимство дома, отчаянная храбрость и цельный выстрел на грабеже – вот итог горских достоинств. Прибавьте к этому бедность с неопрятностью – и вы знакомы с горцами, ожидающими своего Вальтера Скотта», – писал он однажды в недобрую минуту.

Спокойный и беспристрастный наблюдатель быта, Марлинский как писатель попадал в довольно трудное положение, когда ему приходилось изображать горцев не в их статическом, если можно так выразиться, а в их динамическом состоянии. Горец был занимательным психологическим явлением, когда им владела страсть, и верное объяснение этого явления трудно давалось Марлинскому потому, что его собственное сердце было веществом легко воспламеняющимся: он, говоря о страстях, не всегда соблюдал меру, и, действительно, в описаниях психических движений кавказских героев в нашем наблюдателе и критике проглядывает закоренелый романтик. Страсти героев перенапряжены и почти всегда выходят из естественных берегов. Марлинский сам это чувствовал и старался оправдаться. «Если наш ледяной истукан целомудрия, – говорил он, – подтаивает от дыхания страстей, то в какую тень спрятаться можно от азиатских желаний, стреляющих калеными ядрами? Слов нет, наше северное игривое воображение, протопленное романами и

вальсом, становится для нас безвременно жарким климатом; пороки у нас – подснежники, взбегают необыкновенно рано, а зреют гораздо ранее огурцов; но, господа, взгляните на термометр Реомюра, прочтите надпись над 33 градусами тепла – *жар крови* – и сознайтесь, что климат, который развивает не только ранние страсти да еще ранние для них силы, что-нибудь да значит в животной экономии. Такие страсти не требуют теплиц, орошения вином и прививки чужих прихотей; нет, они взбегают без подпор и крепнут на воздухе или, лучше сказать, воздухом, который заражен двойным патроном электричества, который дышит, веет, окачивает негой и бросает в ваше сердце столь причудливые мечты наяву, что вы под русским небом и во сне таких не видывали»...

Присматриваясь к поведению и прислушиваясь к речам некоторых героев Марлинского, действительно, соглашаешься с автором, что сердце их «заряжено двойным патроном электричества», но в оправдание Марлинского должно сказать, что он силился исправить этот подмеченный им самим недостаток. Чтобы приблизиться к правде жизни, он, вместо того, чтобы реально изображать человеческие страсти, противопоставлял в своих рассказах одну повышенную страсть другой, с ней не сходной. Таким образом, например, рядом с храбрецом у него стоит в той же степени отъявленный трус; рядом с благородным рыцарем гор – простой кровожадный разбойник, рядом с пророком религии – религиозный спекулянт и так далее. Иногда в одном и том же лице соединены качества разного нравственного достоинства, и все это среди одного племени и среди одинаковых условий жизни. Если изображение всех этих страстей и романтично, то такое сопоставление все-таки производит впечатление некоторой правдоподобности, и жизнь горцев в ее совокупности является тем соединением света и мрака, высокого и низкого, которое составляет основной закон всякого человеческого существования.

Повестей из кавказской жизни у Марлинского не много – всего четыре: два кратких очерка («Красное покрывало», 1831–1832, «Рассказ офицера, бывшего в плену у горцев», 1834) и два законченных рассказа («Аммалат-Бек», 1831 и «Мулла-Нур», 1835–1836). Во всех царит большой беспорядок, смешение повествовательного элемента с описательным, перетасовка этнографического материала со сказочным и чередование рассуждений автора с описанием виденного или вымышленного. Но среди этого беспорядка нетрудно уловить основные мотивы рассказа. Марлинский хотел изобразить горца преимущественно в тот момент, когда все существо его охвачено теми двумя страстями, к которым сводится все наслаждение дикой жизни, а именно – страстью любви и страстью к свободе. Тема были избитая, если припомнить, как много об этой свободе и любви на востоке тогда говорилось, но в пересказе Марлинского эта старая тема не перестает быть и занимательной, и драматичной.

Наш автор любил разнообразие в чувствах. Взять хотя бы всю шкалу любви, которую он заставил прозвучать перед нами, все эти различные оттенки одного и того же чувства, от любви самой возвышенной и глубокой до любви почти что звериной в ее непосредственности.

На кладбище Арзерума увидал он женщину, стоявшую над могилой. Она казалась надгробным памятником в своей неподвижности. Была ночь, близок был русский лагерь, ревнивы были жители Арзерума: муж, брат или отец могли подумать, что она ушла на свидание, а она все-таки не уходила от дорогой могилы. Гордое отчаяние сверкало в ее бесслезных очах, горькие жалобы таились в ее груди, безмолвное чувство трепетало в каждой жилке красавицы. Она стояла над могилой человека, который был для нее всем – и отцом, и братом, и любовником, и супругом, и он был христианин, русский офицер, которого она полюбила. Не только для него, но для его тени она готова на все страдания. С момента его смерти рука мужчины не смела коснуться ее, она умерла для клеветы соседей и для мести родных... Зачем гордое чувство любви возвысило ее над толпою одноземок, доступных только рабскому страху или презрительному корыстолюбию? Зачем чистый пламень страсти утончил все ее существо; затем ли, чтобы она ощутила в сердце жало разлуки, или затем, чтобы научить ее смерти? А она умерла на глазах у рассказчика, изрубленная каким-то ревнивцем, который настиг ее на кладбище; умерла без борьбы, лишь застонав и припав к дорогой могиле («Красное покрывало»).

И рядом с этой мученицей, которая так глубоко и душевно поняла любовь, сколько у Марлинского встречается образов, для которых это чувство есть лишь молодое кипение крови, бессознательный порыв, скорее отнимающий у человека силы, чем придающий ему энергию. Часто описывает он волнения этой страсти в юных девических сердцах, и мы видим пред собой настоящую восточную женщину, не героиню страсти, способную на подвиг, а существо робкое, загнанное, лишенное всякой инициативы, почти безгласное... Они очень нежны и красивы, эти невесты аулов в повестях Марлинского, но все они так наивны, чтобы не сказать больше, так много в них телесного, что, когда автор заставляет их – против их воли – рассуждать, то кроме самых тривиальных фраз они ничего сказать не в силах, и немудрено, что они, «обуреваемые то страхом девическим, то любовью, летают по мятежным бурунам противоположных страстей, подобно легким пробкам», – как не совсем деликатно выразился однажды автор.

Во всяком случае, мы не найдем у Марлинского столь известной романтической «девы гор», у которой всегда в запасе кинжал для соперницы и пила для скованного любовника. Кавказские девы Марлинского – это милые зверьки, которые кусаться не умеют, и если автору приходит фантазия такую деву преобразить в героиню, как он это сделал с женой разбойника Муллы-Нура, которая в мужском платье сражается и грабит

вместе со своим мужем, то такую вольность он позволяет себе, конечно, вспоминая воинственную Гурдаферид из эпопеи Фирдоуси. Впрочем, он очень редко прибегает к таким заимствованиям и охотнее упрощает женский тип, чем усложняет его.

Один из самых удачных его женских образов – это прелестная Шалиби из повести «Рассказ офицера, бывшего в плену у горцев». Один русский офицер, – рассказывает автор, – был взят в плен горцами и, хоть они его раздели донага, хоть с веревкой на шее ему и пришлось бежать за лошадью своего хозяина, но скоро – научившись быть придворным, как он выражался, – он из раба превратился в друга своего владыки. Этот владыка однажды взял его с собою в экспедицию – не военную, а любовную, в горы, к одному из своих приятелей, который придерживался старинного обычая благодарить друзей за посещение предоставлением им своих супружеских прав. Пришлось ему отблагодарить и офицера, и изъявить эту благодарность он поручил своей шестнадцатилетней дочери – Шалиби. Марлинский очень деликатно развернул перед нами душу этого ребенка, и правдиво изобразил и сразу вспыхнувшее, чисто физическое чувство, и страх перед этим чувством, и упоение им, и способность как-то отделять его от того лица, которое его впервые возбудило. Действительно, к удивлению счастливого офицера, он на другой день к вечеру имел уже двух соперников: двое молодых людей пришли предлагать себя в женихи Шалиби, к великой радости ее родителя, который благодарил офицера за то, что он способствовал славе его дочери. Хоть женихи и опечалили резвую Шалиби своим предложением, но она не отвернулась от них, и когда, вступив из-за обладания ею в единоборство, они оба с утеса полетели в пропасть, она с криком сожаления протянула руки, чтобы удержать их. Она, по всей вероятности, и вышла бы за одного из них замуж, так как первая ее любовь была очень кратковременна: спустя три дня гости уехали, чтобы больше не возвращаться, ретивого горца зарубили на дороге аварцы, а наш офицер благополучно добрался до русских форпостов.

Мужская половина обитателей гор, если верить Марлинскому, в любви такие же дети природы, как и их невесты. Влюбленному горцу наш писатель оставил многие из красивых сторон его характера, как, например, его храбрость, решимость, самопожертвование и др., но зато он отнял у него «романтичность» любовных порывов, усилив ее до неистовства. Герой Марлинского в минуту любовной горячки почти всегда свирепеет, и любовь приближает его не к Богу, а к зверю. Наш писатель, как этнограф и наблюдатель, исправил в данном случае ошибку романтиков и был, конечно, прав. «Только неистовый Отелло может дать идею о тропической страсти Аммалата, – говорил Марлинский про одного из своих героев. – Я люблю внимать его огнедышащему красноречию. Порой это мутный водопад, извергнутый глубокою пещерою; порой это пламенный ключ нефти бакинской: какие звезды сыплют тогда его очи, какою зарницей играют щеки, как он прекрасен бывает тогда! В нем нет ничего идеального, но зато земное величаво, пленительно». «Идеального», действительно, нет в этих героях, но и пленительного мало: любовь кипит в них, как лава, разжигает их на разные подвиги, но очень редко на подвиги благородства: всего чаще она ожесточает их и без того дикий нрав. Эта дикость, впрочем, как-то сразу исчезает в их обращении с женщиной, и, вопреки правде, они становятся вдруг сентиментальны, и даже язык их начинает отдавать литературной изысканностью.

Марлинский часто говорил о героизме горцев, не скупился на описания подвигов их храбрости в борьбе за свободу родины, хотя в этих описаниях он все-таки оставался русским офицером, победителем, и притом несколько раздосадованным тем, что слишком дорого заплатил за победу. Но не этот род героизма привлекал к себе преимущественно его внимание; ему хотелось найти на востоке вообще выдающуюся крупную личность, сильную не одним лишь подъемом патриотического чувства, а иными дарами духа. Воссоздание такой личности в образе оказалось задачей не по силам нашему автору. Он дважды за нее принимался, и портрет героя вышел малоправдоподобным.

Образец сильного и необузданного в своих страстях человека дан в лице татарского бека Аммалата, именем которого названа одна из наиболее крупных по размеру повестей Марлинского. Это очень занимательная история, полная драматизма, иллюстрированная массою бытовых картин и пейзажей, в сущности, история несчастной любви. Аммалат – один из влиятельных татарских князей, живущий в мире с русскими и облагодетельствованный ими, подпал под влияние самого ярого и непримиримого нашего врага – Султан Ахмет-Хана. Он вместе с ним поднял знамя восстания и был взят в плен. Но еще раньше взяла его в плен прелестная дочь Ахмета. Она полонила его душу, и русским досталось только одно его тело. Приговоренный к смерти Ермоловым, он был спасен заступничеством одного русского полковника, который взял его к себе на поруки в надежде перевоспитать его. На первых порах полковнику как будто и удалось это, но любовь Аммалата пересилила в нем все благородные чувства: суровый Ахмет соглашался с радостью отдать за него дочь, если он изменит русским и принесет ему как выкуп за невесту голову своего благодетеля. Аммалат, обманутый несправедливыми наговорами на полковника, действительно убил его, откопал ночью его труп на кладбище и с драгоценной ношей поскакал за невестой. Он застал Ахмета на одре смерти, в страшной болезни, растерзанного и душевно, и телесно, и старик его проклял за неуместный подарок. Невеста от него отвернулась, и убийца бежал, терзаемый ревностью, отчаянием, злобой и страхом перед призраком убитого им друга. Несколько лет спустя мрачный изменник погиб от русского ядра во время осады Анапы.

Много сказочного в этой повести, но есть и правда. Она – в верном изображении и в правильной оценке того перевеса, какой имеет чувство над мыслью во всякой непосредственной полудикой натуре. Аммалат – дитя природы, и повесть о нем – история неудачной попытки его перевоспитания. Как бы гуманно к нему ни отнеслись враги, он не подумает над значением этого явления; под наплывом чувства он поклянется в верности, но продаст и убьет благодетеля, как только в нем будет поколеблено это чувство, а чтобы поколебать его, достаточно простого подозрения или сказки, действующей на его нервы. Если сильное чувство его охватило, то никакие доводы не уменьшат исключительной власти этого чувства над ним. Его воспитатель – доверчивый полковник – пробует воздействовать на его ум книгой, и стоит прочитать любопытнейшие отрывки из дневника этого татарина, чтобы увидать, что исходной точкой его суждений о всех серьезнейших вопросах жизни является его любовная лихорадка. Стоит также присмотреться ко всем его поступкам, и мы будем иметь подтверждение другой истины, а именно, что для этих восточных людей существует одно лишь сегодня, а о том, что будет завтра, они не думают.

Таким образом, при всех романтических странностях повести «Аммалат-Бек» она бесспорно восточная и по колориту, и по верному освещению основной психологической задачи.

Нельзя того же сказать про повесть о разбойнике «Мулла-Нуре», которого наш автор возвел в настоящего романтического героя – в рыцаря правды и чести. В рассказе две параллельно идущие фабулы… Внимание читателя разделено между повестью о любовных приключениях некоего Искандер-бека и жизнеописанием грозного разбойника Мулла-Нура, который своим вмешательством приводит к благополучному концу сватовство Искандера. Рассказ о любви Искандера, этого благородного, целомудренного, храброго и необычайно мягкого в своих чувствах юноши, не представляет особого интереса. Это – поэтичная любовная идиллия с обычными эпизодами тайных свиданий, первых признаний и опасений, всевозможных препятствий, которые нужно преодолеть и, наконец, с самым счастливым концом, к общей радости жениха и невесты. Нового во всем этом очень мало, если не считать тех необычно нежных красок, какими обрисован тип молодого бека. Он – прямая противоположность Аммалату и, кажется, сочинен нашим автором затем, чтобы искупить все преступления своего сурового и дикого соплеменника, искупить их любовью к русским, состраданием к слабому и уменьем хоть сколько-нибудь обуздывать свои порывы. Но все-таки не он герой рассказа. Эта роль выпадает на долю таинственной и вместе с тем исторической личности Мулла-Нура. О жизни этого разбойника в повести говорится мало, но зато очень подробно – об его благородных чувствах и поступках. Один порядок чувств в этом человеке изображен Марлинским согласно с действительностью, другой присочинен им для эффекта. Когда Мулла-Нур является орудием правосудия, когда он защитник угнетенных и гроза сильных, он – исторический разбойник, которого любили и уважали на Кавказе; когда он философ, исповедник мировой скорби, грустный отшельник, он не кто иной, как сам Александр Александрович в минуту дурного настроения духа. Мулла-Нур грабит очень учтиво, очень полюбовно и редко берет с головы более двух рублей серебром… он облагает пошлиной, но только богатых; бедный всегда находит себе в нем защитника; многих земляков своих выручал он из беды, и всегда на благородный помысел откликается его сердце. «Пожалел ли ты нищего? – спрашивает разбойник одного муллу, которого обобрал до нитки. – Пожалел ли ты умирающего с голоду? Бездушный корыстолюбец, злой грешник!.. Толкователь святыни, ты чеканил деньги из каждой буквы Корана и, проповедник мира, ты для выгод своих смущал семейства и разлучал сердца»… И много таких благородных и грозных речей говорит наш самозваный судья и мститель. В этой мести пороку все оправдание его собственного порочного гражданского положения; а он нуждается в таком оправдании и утешении, так как, если не на самом деле, то в повести Марлинского тяготится своей вольной жизнью и своей миссией. «У всякого есть своя звезда, – говорит он Искандеру, которого полюбил за его чистоту сердца и за правдивость, – не завидуй мне, не ходи по моему следу; опасно жить с людьми, но и без них скучно… Дружба их – безумящий и усыпительный опиум, зато и вражда к ним горче полыни. Не охотой, а судьбой выброшен я из их круга. Прекрасен вольный свет, но разве нельзя наслаждаться им, не быв изгнанником? Раздолье в глуши человеку, но пустыня всегда пустыня: никакие думы не веселят ее, никакие чародейства не обратят камней в товарищей. Было время – я ненавидел людей, было время – я презирал их: теперь устала душа от того и другого. На один год станет забавы для гордого внушать своим именем страх и недоверчивость; но страх – игрушка, подобная всем другим игрушкам: она скоро опостылеет. Потом наступает злая охота унижать людей, насмехаться над всем, чем они хвастают, обнажая на деле их гнусности, топча под ноги все, чем дорожат они более души… Жалкая потеха! Она забавляет на миг, а дает желчи на месяц, потому что как ни дурен человек, а все-таки он брат нам. Но, в конце концов, отрадно ли, подобясь коршуну, в каждом живом существе видеть только добычу, оставлять в каждом встречном нового врага? При молитве думать о проклятиях, посылаемых заочно на мою голову? Засыпать и ждать измены самых близких; пугать собою, не доверять никому?»… Признание несколько странное в устах человека, который порвал все связи с людьми, объявил им войну и насквозь видит всю их лукавую и порочную душу… но, конечно, это признание делает не горец-разбойник, а сам Александр Александрович, неисправимый филантроп и идеалист…

Марлинский, действительно, часто позволял себе говорить за своих героев, почему многие из них, имужчины, и женщины поражают нас иногда либо таким умом, на который мы никак не могли рассчитывать, либо такими афоризмами, которые не совсем вяжутся с их характером и умственным складом.

Наш автор не мог забыть себя, беседуя с этими «детьми свободы»; если он когда забывался, и то не вполне, так только в беседе с природой и в созерцании ее красоты.

Этому созерцательному настроению обязаны мы очень красивыми страницами в его кавказских рассказах. Никто до него не умел так «живописать» словами. Теперь, конечно, после успехов пейзажной живописи в нашей литературе, после Гоголя, Тургенева и Толстого пейзажи Марлинского очень побледнели, но на них все-таки видна кисть художника, и настроение его из этих страниц не выдохлось. Все эти картинки природы списаны им с натуры и при том в минуты наиболее счастливые его грустной жизни. Он рисовал их на свободе, когда, покинув Дербент или лагерь, удалялся в горы, по делам ли службы, или на прогулку. Эти наброски он вставлял потом в свои повести, а всего чаще в свои путевые очерки.

Марлинский-пейзажист не особенно гнался за эффектами: и горы, и долины, и бурное море, и тихое имели в его глазах одинаковое достоинство. Это было также одно из преимуществ его перед записными романтиками, которые, чтобы описать землю, прежде всего заволакивали небо тучами. У Марлинского природа живет своей естественной жизнью, сердится, когда хочет, улыбается, если ей это угодно, величественно молчит или говорит всеми своими таинственными голосами.

Встречает нас на границе Кавказа Казбек, на ледяных раменах которого отдыхают облака; вокруг него неоглядная цепь опаловидных гор и голые утесы ущелий... и все кругом так мирно, все, кроме кровожадного человека. Страх, как ангел с пламенным мечом, стерегущий границы рая, сторожит этот край поэзии и любви...

Белеет Шах-Даг своими снегами. По снегу вспыхивают алые пятна и тысячи радуг пересекаются на каждом шагу. Небо замкнуто для взоров лучезарным замком солнца, но зато земля раскрывается внизу тем прекраснее. Весь Кавказ под нами. Все это смешение света и теней, зелени и буризны камня, переливающихся дивными узорами и кое-где затканных золотою ниткой вод волнуется перед очами, как покрывало, накинутое рукою Аллаха на тайны земли. На востоке, будто стальной повороненный щит, окованный горизонтом, сверкает море под огненной насечкой лучей. И все тихо, безмолвно кругом; с высоты снегов не видно никого, ничего не слышно; туда не долетает обаятельный лепет жизни...

Но начнем мы спускаться... перед нами развивается изумрудное море холмов, пересеченное черными хребтами, конь скользит на хвосте или метко перепрядывает с обломка скалы на другой обломок, заваливающий узенькую тропинку, по которой и через которую с шумом несутся ручьи тающих снегов. Иногда, огибая угол утеса, он храпит и пятится назад от испуга, не находя опоры для копыт, а пропасть ущелья зияет и рычит внизу, как пасть чудовища, как гортань неизмеримого удава, которого обаятельное дыхание непреодолимо влечет к себе жертву из глубины леса и может высосать жаворонка даже из выси небес...

Но вот вы спустились и въехали в густой лес орешников, потом дуба, черешни и еще ниже чинара и чиндара. Разнообразие, богатство растений и величавое безмолвие сенистых дубрав вселяет какое-то невольное благоговение к дикой силе природы. Порой из ночного мрака ветвей, как утро, рассветает поляна, украшенная благоуханным ковром цветов, не мятых стопой человека. Тропинка то скрывается в чаще, то выходит на край утеса, и под ним в глубине шумит и сверкает ручей, то пенясь между кореньями, то дремля на каменном дне водоема, под тенью барбариса и шиповника; фазаны, сверкая радужными хвостами, перелетают в кустарниках, стада диких голубей вьются над скалами, то стеной, то столбом восходящими к небу, и закат разливает на них воздушный пурпур свой, и тонкие туманы тихо подымаются в ущельях – все дышит вечерней прохладой...

Счастливы вы, если вам удалось весной взглянуть на эти картины. Миллионы роз обливают утесы своим румянцем, подобно заре; воздух струится их ароматом; соловьи не умолкают в зеленых сумерках рощи. Миндальные деревья, точно купола погод, стоят в серебре цветов своих, и между них высокие раины, то увитые листьями, как винтом, то возникая стройными столпами, кажутся мусульманскими минаретами. Широкоплечие дубы, словно старые ратники, стоят на часах, между тем как тополи и чинары, собравшись купами и окруженные кустарниками, как детьми, кажется, готовы откочевать в гору, убегая от летних жаров. Но вот зарубил крупный дождик, хоть солнце печет и сияет: вы сказали бы, воздух тает каплями неги... Зеленеющий лес плодовых деревьев, вспрыснутый дождем, развертывает свою яркую зелень, радостно машет в воздухе своими кудрями; цветы распускаются под стопами; жаворонки – небесные колокольчики – звенят в вышине, земля сверкает и благоухает, как жертвенник...

Но вот настала зима: зашумели вьюги и замели тропинки снежными сугробами. Утром, когда восток зажигает хрустали ледяных вершин, а синие туманы еще волнуются по ущельям, вам чудится, будто вы летите над приплюснутым океаном, по которому плавают ледяные горы... Тени, играющие вслед солнцу, довершают очарование... Исполинские громады тихо движутся, колеблются, возникают, тонут. Но когда пары, затканные лучами, свиваются, как дымковая фата, на плечах гор, полупрозрачность их, скрадывая обрезы, облекает все неизъяснимою прелестью. В морозный вечер звездочки инея неслышно сыплются с темно-голубого неба, сверкают, вьются, будто зажигаясь на огненной полосе луча, пробившегося сквозь расселину...

Не менее яркими красками и с еще большей любовью описывал Марлинский родственную его сердцу стихию – море. Он не мог говорить о нем спокойно, и морской пейзаж под его пером переходил невольно

в лирическую исповедь. Когда мы будем восстанавливать эту исповедь по отдельным признаниям, рассеянным в его повестях и очерках, море послужит нам красивой иллюстрацией, а пока отметим только общий романтический колорит всех его описаний природы.

Они, конечно, не реальны, в них нет той величавой простоты, которая есть в каждом, даже самом грозном и красивом явлении природы. Везде чувствуется литератор, живописец с большим воображением. Но уже одно обилие красок и разнообразие оттенков приближает живопись Марлинского к самой природе. Эта живопись, несомненно, выше всех условных романтических и сентиментальных пейзажей, с их вечной лаской и улыбкой или гневом и грохотом. Даже вычурность некоторых описаний и сравнений у Марлинского, малоэстетичная фигурность их есть уже шаг вперед сравнительно с установившимся шаблоном.

Вообще, все кавказские повести нашего автора – известное предвещание реализма в искусстве; но только предвещанье. Романтичность завязок и, всего чаще, развязок, слишком большое напряжение чувств, невероятность, почти фантастичность некоторых эпизодов, малоестественная речь – все указывает на тесную связь этих повестей с выше рассмотренными повестями в чисто романтическом стиле, но вместе с тем в этих же повестях даны поправки и иной раз дополнения этого романтизма до настоящего реального воспроизведения действительности. Все бытовые аксессуары, иной раз очень прозаические, все подслушанные восточные обороты речи, все вплетенные в рассказ исторические факты, наконец, грубость и дикость или наивная простота в обрисовке некоторых типов, и мужских, и женских, психологическая мотивировка их поступков могут назваться такими поправками и дополнениями. Правда жизни начинала мало-помалу торжествовать свою победу над литературными симпатиями и субъективным настроением автора.

Эта победа еще резче обозначилась в тех повестях Марлинского, в которых он явился бытописателем хорошо ему знакомых общественных кругов – светского и, в частности, военного.

XVIII

Александру Александровичу принадлежит честь одного важного литературного открытия. Он открыл русского солдата и офицера, того самого, который у всех был на глазах, которым все восхищались и о ком, кроме заученных фраз, не умели сказать ничего путного. В самом деле, когда вспомнишь, какую видную роль в нашей политической и культурной истории начала XIX века играло воинство, удивляешься скудости военных типов в нашей тогдашней литературе. Панегириков было сказано и пропето много, русского воина, одетого в римские и средневековые латы, носили на руках, но никто не решался заглянуть ему в душу. Один Грибоедов показал нам его с самой неприглядной стороны, и мы за фронтовиком, который умел лишь «скалить зубы», забыли совсем всех тех веселых, добродушных, самоотверженных идеалистов, либералов, образованных и гуманных офицеров, которых было так много в рядах нашей армии александровского времени; о солдатах же мы знали только одно, что они христолюбивы и победоносны.

Марлинский был первый[143], который заговорил об этом казенном добре как о предмете одушевленном, и об его начальниках как о людях, которые умели командовать не только строем, но и собственной мыслью и чувством[144]. Конечно, как писатель, избирающий совершенно новую область жизни для наблюдений, Марлинский не достиг полноты в своих картинах из военного быта, и многое в жизни нашего воина прежних лет осталось незатронутым и неосвещенным, частью по вине автора, а частью, может быть, по обстоятельствам, от него не зависевшим. Его собственное положение в обществе, сначала как офицера, затем как штрафного солдата, обязывало его соблюдать большую осторожность.

И все-таки Марлинский совершил немалый литературный подвиг. В своих рассказах он собрал целую галерею военных типов и дополнил ее своими автобиографическими признаниями – исповедью одного из наиболее образованных и просвещенных офицеров того времени.

Военный человек появляется у нашего автора почти во всех повестях, и в ранних, когда Марлинский был правоверным романтиком, и позже, когда он стал бытописателем современной ему жизни. В ранних повестях этот тип набросан довольно небрежно и освещен односторонне. Наш гвардейский светский офицер, участник парадов, маневров и учебных экспедиций, не имел ни времени, ни возможности изучить своего собрата, как подобает психологу и бытописателю, и потому, говоря о нем, он показывал его лишь в одной очень благородной, но малохарактерной роли светского человека или веселого собутыльника.

Позднее, когда Марлинскому пришлось уже в солдатской шинели испытать на себе всю тяжесть походной жизни, картина военной жизни в его рассказах раскинулась шире и оживилась. Тип военного утратил свое однообразие и выиграл в драматизме; кроме того, рядом с офицером появился и солдат, в котором наш автор видел раньше лишь подчиненного, а теперь увидал товарища.

В одном из своих публицистических и юмористических очерков («Будочник-оратор», 1832) Марлинский писал: «Когда подумаешь о терпении и подчиненности нашего солдата, о его бескорыстии, о его храбрости – он защищает отечество снаружи, охраняет его внутри, лезет в огонь очертя голову, – когда вообразишь неутомимость трудов его в походах и осадах, бесстрашие в битвах, – так уму чудно, а сердце радуется.

С пудовым ранцем за плечами прыгает он на стену, как серна, с голодным брюхом дерется, как лев, на приступе! Нет для него гор непроходимых, нет крепостей неодолимых. Кто измерит их завоевания, сосчитает подвиги, оценит славу! – Кто?»

Наш автор не только оценил эту славу – он разделял ее с русским солдатом. Когда ему приходилось в юные годы говорить о солдате, он говорил о нем скорее как литератор, одаренный хорошей фантазией, чем как офицер, видавший солдата в деле; и когда, например, в повести «Латник» (1830) или в своих «Вечерах на бивуаке» (1823) он рассказывал эпизоды из нашей войны с Наполеоном, то только благодаря своему литературному чутью умел он дать нам почувствовать психологию массы, которую не видал на поле битвы. Он умел описать при случае и битву, в которой не участвовал, и тогда получалась искусная декорация с красиво нарисованными на ней действующими лицами. Совсем иное впечатление производит солдат в тех рассказах, которые были Марлинским не только написаны, но и выстраданы, как, например, в его «Письмах из Дагестана» (1831) – в этом живописном очерке дербентской жизни и тех походов, которые гарнизон предпринимал в горы. В этом дневнике солдат – живое лицо с живой речью, и мы не только созерцатели красивой картины, а и участники очень глубокой драмы. Взять хотя бы страшную сцену осады крепости Бурной, обложенной войсками Кази-Муллы, когда немногочисленный гарнизон, отрезанный от всех русских войск, полуизраненный и почти перебитый, ожидал с минуты на минуту смерти, без капли воды в крепости; как в меру патетично и правдиво-страшно изображена автором эта тоска в ожидании гибели, эта смена надежды и отчаяния и эта радость при первых звуках дальней перестрелки, возвещающей приближение русского отряда. Ни одного пышного слова нет у Марлинского в этом описании: все так просто и вместе с тем все так выдвигает вперед главного героя – толпу или, вернее, горсть солдат, которые задержали целые полчища неприятеля. Тот же эффект при самых простых словах достигнут и в описании осады и штурма, который выдержал Дербент, и где Марлинский руководил многими вылазками. Стоит также перелистать описание похода генерала Панкратьева в Дагестан в 1831 году – эти корреспонденции Марлинского из разных городов и местечек стоянок, – и перед нами целая военная эпопея с безымянным героем, перед которым бледнеет имя полководца. Появляется этот безымянный герой и в непроходимых ущельях, и на недоступных вершинах, тонет в снегу, вязнет в болотах, не ест, не пьет по суткам, выводит целые стены под вражескими выстрелами, страдает страшно, но и мстит с остервенением; после кровавого пира шутит и поет он, этот герой-ребенок, не отдающий себе в большинстве случаев отчета, зачем он что делает. Жизнь его перед нами вся как на ладони, от момента, когда он рекрут, который, не понимая опасности, храбр до безумия, и кончая той минутой, когда для него роют общую братскую могилу.

В повестях Марлинского солдат говорит от своего лица редко и мало и не пускается в рассуждения, как у писателей, которые гонялись за «народностью»; и сам автор – так часто многоречивый – совсем не щедр на пышные речи; тем не менее, тип солдата один из самых красноречивых и законченных в его собрании.

То же можно сказать и про типы, взятые автором из интеллигентного круга военных. Они в повестях Марлинского испытали также некоторую перемену. В первых рассказах, выдержанных в сентиментальном и романтическом стиле, они достаточно однообразны, иногда неестественны, как, например, в повести «Латник», где в исторический рассказ из эпохи нашествия Наполеона вплетена зачем-то полуфантастическая легенда одной несчастной любви. Сам латник, отыскивающий во французских рядах одного польского графа, который обманом отнял у него возлюбленную – лицо совершенно нереальное. «Достойный гость между мертвецами», как его называет сам автор, он – носитель какой-то роковой тайны, обреченный на смерть, и совсем не на месте среди обыкновенных ротмистров, аудиторов и простых русских казаков, которые с ним вместе выбивают французов из полуразрушенных польских замков. Впрочем, Марлинский только один этот раз и погрешил против правды; все остальные господа офицеры его первых рассказов – простые смертные и очень милые люди, с которыми автор был, очевидно, коротко знаком в Петербурге, заглядывался на одних красавиц, пил из одного стакана и с которыми вместе кичился своей храбростью.

Этот симпатичный, незатейливый тип русского офицера выводится в самой обыденной обстановке. Автор рассказывает либо военные анекдоты, преимущественно из Отечественной войны двенадцатого года, анекдоты веселые и удалые, в которых его товарищ является счастливым удачником, либо анекдоты светские, где храброму сыну Марса отводится роль в большинстве случаев несчастного любовника или воздыхателя. Молодой смельчак, который, проголодавшись, едет под видом парламентера во вражеский лагерь и, весело поужинав, благополучно возвращается домой; храбрец, которому «великодушная Генриетта» выдает заговор своих соотечественников, и который с горстью людей импонирует целой толпе и у нее под носом вывозит восемь подвод с оружием и фуражом; не менее храбрый, но еще более лукавый воин, умевший в мирное время путем хитрости занять, несмотря на сопротивление родителей, выгодную позицию в карете рядом с «несравненной Александриной»; наконец, длинный ряд менее счастливых рыцарей печального и даже фатального образа, людей, насмерть раненных совсем не страшными легкомысленными девицами, которые неравнодушны то к светскому блеску, то, в особенности, к генеральским эполетам («Вечер на бивуаке», 1823, «Второй вечер на бивуаке», 1823), – таковы не очень интересные герои, о которых в юности, еще не понюхав пороху, любил говорить Марлинский. Насчет умственной стоимости этих милых воздыхателей,

повес и секундантов Марлинский, впрочем, не обманывался. У него для них припасено было много ласковых слов, но много и юмористически-колких, которые и в наше время не утратили своей соли.

Как игриво, например, надгробное слово, которое в одной повести («Испытание», 1830) говорит наш автор над «за столом и под столом уснувшими» своими товарищами по оружию. «Начинаю с тебя, – говорит он, – милый корнет Посвистов, ибо в царстве мертвых последние могут быть первыми. Да покоится твое романтическое воображение, которое, будучи орошено ромом, пылало как плум-пудинг! Тебе недоставало только рифм, чтобы сделаться поэтом, которого бы никто не понял, и грамматики, чтобы быть прозаиком, которого бы никто не читал. Сам Зевес ниспослал на тебя сон в отраду ушей всех ближних!.. Мир и тебе, храбрый ротмистр Ольстредин! Ты никогда не опаздывал на звон сабель и стаканов. Ты, который так затягиваешься, что не можешь сесть, и, натянувшись, не можешь встать! Да покоится же твое туловище, покуда звук трубы не призовет тебя к страшному расчету: "справа по три, и по три направо кругом!.." Мир и твоим усам, наш доморощенный Жомини, у которого армии летали, как журавли, и крепости лопали, как бутылки с кислыми щами! Системы не спасли твоей операционной линии... Ты пал, ты страшно пал, как Люцифер или Наполеон, с верхнего конца в преисподнюю подстолья!.. Долгий покой и тебе, кларнетист бемольной памяти Бренчинский, который даже собаку свою выучил лаять по нотам. Бывало, ты одним духом отдувал любой акт из Фрейшюца, а теперь одна аппликатура V. C. P. со звездочкой низвергла тебя, как прорванную волынку. И тебе, лорд Байрон мазурки, Стрепетов, круживший головы дам неутомимостью ног своих в вальсе так, что ни одна не покидала тебя без сердечного биения – от усталости. Ты вечно был в разладе с музыкой; зато вечно доволен сам собой. Мир сердцу твоему, честолюбец Пятачков! Хотя ты и во сне хочешь перехрапеть своих товарищей, и тебе, друг Сусликов, что глядишь на меня, будто собираешься рассуждать, и, наконец, все вы, о которых так же трудно что-нибудь сказать, как вам что-нибудь выдумать».

Большим добродушием отзываются все слова Марлинского о храбрых воинах такого порядка. Если в его повестях о ком говорится с желчью и некоторым раздражением, так это о салонных кавалерах, во мнении которых военный мундир своего рода красивый футляр для их ничем не оправданного самомнения. Одно из любимых положений в повестях нашего автора – перестрелка или открытое сражение прямодушных, даже несколько грубых военных людей с такими выхоленными и блестящими собратьями по оружию. Ценой победы, конечно, почти всегда – женское сердце.

По всем этим типам и профилям мы, само собою разумеется, не составим себе понятия о том, какой общественной силой было в те годы наше военное сословие. У Марлинского, если не считать его собственных признаний, отсутствует самый интересный тип этого круга, а именно, военный человек, победитель запада и вместе с тем его пленник и ученик во всем, что не касается штыков и пушек. В оправдание Марлинского можно, однако, сказать, что после 1825 года о таком типе говорить было трудно, а нашему автору и совсем невозможно.

С тем большим вниманием остановился Марлинский на типе боевого героя, которого так выдвинули наши кавказские экспедиции. В «Письмах из Дагестана», в повести «Аммалат-Бек» и в кратком рассказе о «Подвигах Овечкина и Щербины за Кавказом» (1834) Марлинский пересказывал правдивую страничку из длинного мартиролога нашей армии на Кавказе. Полковник Верховский – любимец солдат и гроза неприятеля – был очень живо изображен в «Аммалате». Полковник Миклашевский штурмовал на наших глазах Агач-Кале и умирал геройскою смертью («Письма из Дагестана»). Умирал ужасной смертью и поручик Щербина, который с горстью солдат два дня отсиживался в подожженном минарете, пока горцы его не стащили вниз и, полумертвому и полуизжаренному, не подрезали пятки и не вытянули жилы; штабс-капитан Овечкин отстаивал свою крепость против лезгин, один поддерживал бодрость духа в измученных солдатах и, исходя кровью, изнемогая от судорог, уже в предсмертном оцепенении одним ударом сбивал с ног фельдфебеля, который заговорил о сдаче («Подвиг Ивана Овечкина и Щербины за Кавказом», 1834). О многих таких героях, слава которых уже тогда шла незаслуженно на убыль, напоминал Марлинский в своих очерках. Читая их, иной раз думаешь, что читаешь не историю, а сказку – так невероятно смелы люди, о которых идет речь, и так велики их страдания. Но все рассказанное Марлинским – правда.

Незадолго до своей смерти наш автор задумал написать целый роман из своей походной жизни. Повесть должна была называться «Вадимов», и главный герой ее был не кто иной, как сам Александр Александрович. К сожалению, роман остался неоконченным и от него уцелели только отрывки... Это очень ценные страницы и как материал для биографии, и как образцы батальной живописи.

В литературе того времени это была первая удачная попытка развернуть перед читателем детальную картину военной жизни и непосредственно подействовать на его героическое или патриотическое чувство. При всей взвинченности и патетичности речи – двух качеств, от которых нашему автору случалось освобождаться лишь в очень редких случаях – самый ход рассказа веден естественно и правдиво, а все действующие лица полны жизни и движения. Автор был прав, когда в одном отрывке своего недописанного романа («Выстрел») заставил военного человека негодовать на наши лубочные картины из военной жизни. «Ваши батальные живописцы не знают в своем деле аза в глаза, – говорит Марлинский от лица какого-то раскипятившегося полковника. – По мне лучше суздальские лубочные картинки, которые, с тараканами и

паутиной, составляют неизбежные обои наших станций; в них, по крайней мере, увидите вы Русь наголо; и дух, и умение, и просвещение православных мужичков: «Стражения пат Масквой», «в хоть впариш», «взятие славной крепости Карса с помощью флатилии». Глупо, зато смешно, зато на этом лубке не подписано «рисовано с природы». Да, сударь, я повторяю вам, ваши художники или не имеют поэтического чутья выдумать сражение, если его не видали, или не имеют души постичь поэзию битвы, если ее и видели».

Марлинский имел право говорить так, потому что поэзия и, вместе с тем, правда битвы и военной жизни вообще схвачены умело и верно в его предсмертном романе. Конечно, его батальная живопись не совершенство, не то откровение искусства, которого мы дождались только после Севастополя в рассказах Толстого, но для своего времени такие рассказы, как «Осада» и «Выстрел», были настоящим литературным открытием. Все в них живет и движется – и одушевленные предметы, и неодушевленные.

Читая эти страницы, вы почувствуете, как «пленительно-ужасно» поле сражения часов пять после дела, когда дым улетит в небо, когда боевые страсти улягутся в душе зрителя, когда мертвая тишина льется с блеском месяца на эту жатву судьбы, на это безгробное кладбище... Вы почувствуете даже боль от раны – так реально изображает автор все ощущения и впечатления битвы. Военный пыл новичка, нарастание храбрости, замирание души при первом выстреле – все эти тонкие психические движения – передаются читателю, и картины боя превращаются под пером автора в движущуюся панораму.

В истории литературы того времени батальная живопись Марлинского была завоеванием новой области для словесного искусства. Кто читывал тогдашние описания битв и наших походов на восток и запад, тот сумеет оценить картину бородинского боя, вставленную Марлинским в его отрывок «Осада». И религиозное настроение даже «вольнодумцев» в ночь перед битвой, и необычайный задор перед лицом, как казалось, непобедимого врага – становятся понятны по мере того, как наш автор, забывая красоты описания, углубляется в тайники человеческого сердца; он пытается отыскать его даже у неодушевленных предметов: и его пушки, его батареи, действительно, и отдыхают, и просыпаются, и говорят, и сердятся.

На фоне этих реальных картин хорошо выделяются и живые люди – серые люди, но вместе с тем настоящие герои данной минуты. Какой-нибудь командир батареи, который спит, сидя на земле, опустив голову в колена, и не слышит, как ядра гудят в ночном воздухе... но сон его – львиный сон, и пробуждение бывает страшно: тогда на всю батарею гремит его голос, от которого неприятельская стена пустеет и замолкают крепостные орудия – так враги боятся меткости его выстрелов. И спит он перед делом не из бесчувствия, а потому что все у него в исправности, потому что он уверен в успехе... «Широкая кровеносная жила, которая позволяет ему так же легко дышать в пороховом дыму, как на чистом воздухе», сделала из него храбреца, который сам себе не ставит в заслугу своей храбрости. И рядом с этим полковником-прозаиком, который, горько плача и молясь с отчаянием в ночь перед Бородино, не забыл осмотреть все заряды, все скорострельные трубки, всякий винт на лафете – стоит тут же на батарее молодой мечтатель, задумчивый офицер, и мечты его далеки от этого места ужаса; он весь полон одной мечтой, мечтой о *ней*, и все, и задумчивость его, и слова, и даже отвага выдают его тайну... Несколько поодаль от них стоит какой-то высокий худощавый человек лет пятидесяти: он весь погружен в свои думы, взоры его перелетают и за горы, и за моря; они исчезают в пространстве и тонут в будущем. Среди всех он выделяется своим странным костюмом, своим живописно на плечах брошенным черным плащом, подбитым малиновым бархатом... очевидно, волонтер или искатель приключений... и тут же около него молодой, вероятно, только что произведенный офицер, который обижается, когда ему говорят: «посторонитесь, в вас целят», и нарочно поднимает голову над грудной обороной, чтобы тут же упасть мертвым под ударом ядра... И, наконец, на почтительном расстоянии вдали адъютант, который машет фуражкой и кричит, чтобы открывали огонь и готовились к приступу...

Все такие сценки и бегло набросанные типы, конечно, эскизы и этюды, но когда их много, то получается целая картина. Она, как мы видели, далеко не исчерпывает всех характерных оттенков того круга жизни, который она изображает, но этот недостаток вознаграждается тем, что в военных рассказах Марлинского читатель имеет несомненно правдивое и яркое отражение самой жизни. В истории русского реального романа они займут свое место, как первые опыты еще не определившегося вполне таланта, который, любя в жизни романтически-эффектное и необычайное, начинает внимательно приглядываться к тому, что в ней есть характерного и человеческого, хотя бы под самой простой и прозаической оболочкой. Этот поворот нашего романтика к реализму заметен и в тех его повестях, в которых он по памяти восстанавливает хорошо ему известную жизнь светского круга.

XIX

Александр Александрович был довольно строгий обличитель того общественного круга, к которому сам принадлежал, то есть круга светского; и как почти все наши моралисты того времени, он сам был весьма неравнодушен к его приманкам. В юные годы он блистал в нем своим умом и эполетами и любил, чтобы блеск отражался в глазах прелестной собеседницы; он не прощал ей ни старомодного платья или неграциозной

позы, ни мало обдуманной прически… но что он ей прощал наверное, так это – ее кокетство, в поведении и в речах, – единственное оружие, каким она располагала в неравной борьбе с ним, который, быть может, в первый же день знакомства принимался за осаду или готовился к приступу.

Тем не менее в своих повестях Марлинский порицал довольно откровенно все приманки чисто внешней красоты, всю мишуру светских разговоров и не щадил кокетливых душ, с которыми в жизни любил заигрывать. Он в данном случае поступал как почти все наши романтики, которые причисляли себя к проповедникам непринужденности и естественности, вешали на стенку портреты Руссо, даже читали его сочинения и думали, что перепечатывать его мысли значит продолжать его дело.

Ввиду этого обличительная тенденция в светских повестях Марлинского едва ли может быть признана большой общественной заслугой; она заслуга литературная – хороший образец довольно невинного, но игривого юмора. Автор, впрочем, не злоупотреблял этим даром и редко, лишь уместно, вставлял в свой рассказ такие юмористические картинки из царства светских призраков. Он, в общем, предпочитал элегический минорный тон – рассказывал ли он о какой-нибудь несчастной Софи, которая в 17 лет, глядя на часы, думала «как они отстают», и затем в 23 года говорила «не верьте им: они спешат», несчастной Софи с золотыми цепями на руках, углубленной от скуки в чтение «истории герцогов Бургундских», увядающей кокетке, сначала равнодушной к комплиментам, когда они казались ей должной данью, теперь ожидающей их, когда они стали подарком («Часы и зеркало», 1832), или опубликовывал переписку какого-нибудь неистового ревнивца, который из ложного честолюбия, из светской самовлюбленности убил на дуэли благородного, великодушного Эраста за то, что он, не считаясь с его раскаленными взорами, полюбил прелестную Адель, не совсем устойчивую в своих симпатиях («Роман в семи письмах», 1824).

«Обаятельна атмосфера большого света, – признавался Марлинский, – лепет гостиных игрив, как музыка Россини», и, действительно, некоторые страницы в повестях Марлинского напоминают легкие и грациозные мелодии итальянского композитора.

Какой-нибудь салонный разговор на балу перелетает на наших глазах из одного угла залы в другой, веселый и быстрый, со вспышками остроумия, касаясь разных серьезных вопросов, ни одного не решая и по всем скользя – разговор, который в сущности есть словесный турнир, испытание находчивости и остроумия, иногда злоречия двух лиц, и почти всегда кокетства (Отрывок «Месть», 1834–1837).

Случается, что такой салонный разговор бьет больно по самолюбию какого-нибудь мечтателя, который «ищет в освещенных гостиных настоящего света и не замечает, что скользкий паркет вылощен причудливыми условиями и потолок расписан картинками мод», который не предчувствует, что посещения «отнимут у него его мирный уголок, что его любовь будет отравлена догадками, что насмешка отвеет взаимность»… Безжалостен свет ко всем, кто дерзнет в нем заявить о правах своей личности. Сильная личность, которой иногда на словах расточают похвалы, о которой говорят с подобающими восклицаниями, когда хотят воскресить, оживить умолкающий и вялый разговор, она – мишень для клеветы и сплетен; ее соседства не потерпят, если только она чем-нибудь погрешит против свода условных законов светского приличия.

Трагическую судьбу такой сильной личности, борющейся с условным светским мнением, рассказал Марлинский в одном из лучших своих рассказов «Фрегат Надежда» (1832).

«Я чувствую, что в моей чернильнице было мое сердце, – говорил про эту повесть автор в одном частном письме, – любовь и море, две мои любимые стихии, на сцене: я разгулялся». Повесть, действительно, написана в очень ускоренном темпе, и среди всех повестей Марлинского самая бурная. Сюжет ее прост и даже для своего времени достаточно обычен. Это рассказ о любви, бросившей перчатку светским приличиям, – тем самым приличиям, которые умеют подчас маскировать так искусно все свое неприличие. «Бесхарактерный, ледяной свет, в котором под словом не дороешься мысли, как под орденами – сердца; свет, это сборище пустых и самовлюбленных людей – пещер с отголоском, повторяющим сто раз слово «я», это сборище живописных развалин, обломков китайской стены, готических башен, из которых предрассудки выглядывают, как совы… свет, у которого благодаря европейскому просвещению и столичному удобству все репутации так же круглы и белы, как бильярдные шары – по какому бы сукну они ни катились»… этот свет служит в повести Марлинского серым фоном для двух ярких фигур, которые на нем отчетливо выделяются. Одна из них мужская, другая – женская. Обе – выражение протеста против всякой условности. Капитан фрегата Правин, на стороне которого вся симпатия автора, – образец прямодушной смелости в речах и поступках, острого саркастического ума и необычайно пылкого сердца. Он истинный сын свободной стихии, которую он обуздывает своей смелостью и своей любовью. Он сродни ей: как буря бушует в нем страсть, как вихрь порывист он в мыслях, и затихает он как штиль на море перед опасностью и перед решительным шагом. Правин – львиной храбрости; в страшный шторм несется он на своей шлюпке, сам бросается в море, чтобы спасти утопающего матроса. По образу мыслей своих он большой демократ: он желает, чтобы каждому человеку в обществе было отмерено по заслугам, чтобы не было привилегий без соответствующего оправдания; он резкий обличитель посредственности и эгоизма, разгуливающих по паркетным полам; он неприятный собеседник, умеющий и любящий наступать другим на мозоли – когда видит, что они эту мозоль считают особым знаком отличия и преимущества. Правин к тому же просвещенный патриот – «он не выносит тех гостиных, где от

собачки до хозяина дома все нерусское и в наречии и в приемах, где наши баре рассуждают, как была одета любовница Ротшильда на последнем рауте в Лондоне, где они получают телеграфические депеши о привозе свежих устриц, а если их спросить, чем живет Вологодская губерния, отвечают: Je ne saurais vous le dire au juste, у меня нет там поместьев».

Капитан, несмотря на свою мешковатость и неотесанность, был страшен всем таким выхоленным людям: сначала они глумились над ним, затем стали бояться; но нашлось среди них сердце, которое его полюбило. Правда, княгиня Вера, кумир светской молодежи и звезда многих гостиных и зал, не сразу увлеклась нашим героем. «Она противилась, – говорит наш автор, – как порох, смоченный небесною росой, противится искрам огнива: сотни ударов напрасны, но каждый удар сушит зерна пороха, и близок час, когда он вспыхнет»... Он и вспыхнул... и бурный капитан, и нежная княгиня погибли от этой вспышки. Капитан загорелся любовью, как от молнии, предался ей, как дикарь... «Океан взлелеял и сохранил его девственное сердце, как многоцветный перл – и его-то за милый взгляд бросил он, подобно Клеопатре, в уксус страсти. Оно должно было распуститься в нем все, все без остатка». Случилось даже хуже: капитан изменил долгу службы и в критический момент, в минуту опасности, покинул свой фрегат, чтобы ночью в бесстрашной шлюпке уплыть на свидание с княгиней. Они жестоко поплатились за эту ночь упоенья; пред ними как призрак вырос обманутый муж, и Правин даже не мог продолжать на пистолетах прерванного любовного разговора, так как старый князь подавил его презрением и вызова не принял. Старик как будто угадывал, что за него отомстит другое существо, любящее и также оскорбленное – и море отомстило. Оно чуть не потопило невинный фрегат, и когда на рассвете капитан, услышав печальные пушечные выстрелы, бросился спасать свой корабль, он потерял половину матросов, с которыми уплыл накануне, и сам был смертельно ранен, когда его шлюпка разбилась вдребезги о борт фрегата. Он умер, умерла и княгиня Вера после долгих страданий, всеми брошенная жертва светских рассказов пересудов.

Рассказ драматичный, как видим, но не этот драматизм составляет главное достоинство повести. Она при всей романтичности замысла сильна своим реализмом. Сколько живых и типичных лиц из общей серой светской массы заставил автор двигаться и болтать в разных гостиных, залах, ресторанах, пока капитан ухаживал за своей Верой. Большинство из них – военные светского покроя, начиная с храбрых, кончая трусами, с интересных, кончая скучными, начиная с тех, при которых дамы падают в обморок, кончая такими, которых шелест дамского платья из живых и говорливых превращает в бессловесных и неодушевленных от избытка души. «Фрегат Надежда» один из лучших светских романов того времени, и вместе с тем родоначальник целого ряда рассказов и повестей из матросской жизни.

Корабль и море были издавна любимой темой наших романтиков, которые позволяли себе, однако, над свободной стихией большое насилие и смотрели на волны, снасти, паруса и матросов как на фон и детали картины, на которой должна была рельефно выступить одна-единственная центральная фигура – образ самого рассказчика с его мечтами о житейской пучине, бурных страстях, вихре порывов или, наоборот, с мечтою об отмелях жизни, сердечном затишье и безветрии желаний. И Марлинский нередко садился на корабль или приходил на берег моря не столько затем, чтобы любоваться природой, сколько затем, чтобы она им полюбовалась. Но в повести «Фрегат Надежда» он не злоупотребил этим правом романтика, и в плавании от Кронштадта до берегов Девоншира, где погиб капитан Правин, вел себя скромно, рассказывая печальную историю своего начальника. И повесть эта уцелела при общем крушении целой массы романтических рассказов о моряках. Целый ряд разнообразных колоритных страниц из жизни самого моря, которое на наших глазах живет и дышит, спит, улыбается, резвится, предостерегает, сердится и бушует; страницы, полные повседневных заметок и рапортов о состоянии фрегата, с удивительным знанием всей его анатомии и физиологии и с редким умением вложить в неодушевленный предмет очень сложную душу; наконец, целый альбом типов и силуэтов, срисованных с офицеров и солдат, людей очень простодушных, добрых, смелых и откровенных, – все придает «Фрегату Надежде» значение памятника, который может пояснить нам психическую жизнь целого круга людей, а не только душу самого наблюдателя.

Для своего времени эта повесть открывала новый литературный горизонт, оставаясь по своему замыслу сентиментально-дидактической, так как автор, изображая простоту и сердечность людей, плавающих по настоящему морю, имел все-таки в виду кольнуть тех, которые лавируют в разных мелких водах жизни светской.

Впрочем, Марлинский был человек справедливый, и есть у него одна повесть, в которой он сказал и много хорошего о светском круге. Эта повесть озаглавлена «Испытание» (1830)[146]. Сюжет ее необычайно прост. Один бравый офицер, удержанный службой далеко от столицы, поручает своему другу в Петербурге испытать верность дамы своего сердца. Эта дама – породы кошачьей, хотя и не львица. Молодой человек, отправляясь в такую опасную экспедицию, выговаривает, однако, что если он, при этом испытании женской верности, сам утратит свое сердце или нечаянно завоюет сердце прелестной Алины, то его друг не будет иметь права на него сердиться. Предосторожность эта была не лишней: Алина, действительно, не устояла, хотя на этот раз ее искуситель и был человек с довольно скромными потребностями и вкусами, большой любитель деревенской жизни и совсем не паркетный кавалер. Не выдержал своей роли и тот друг, кото-

рый разрешил нашему счастливцу свободный набег на свои – обеспеченные, как он думал – владенья; он воспылал ревностью и счел себя обиженным. Он прилетел в столицу чинить суд и расправу над неверной и над изменником-другом, вел себя буйно, вызвал товарища на дуэль и чуть-чуть не закончил этой веселой истории трагично. Но на самом месте поединка он стоял уже сам насмерть раненный сестрой своего противника. Он покинул эту сестру ребенком, а теперь встретил взрослой девицей, институткой, невинным ангелом, который наивно спрашивал: «Разве петух не брат курицы?», – но тем не менее читал Шиллера и над ним плакал. Когда на место поединка невзначай приехала эта девица, чтобы стать между своим братом и его другом – к которому и она питала не одни лишь христианские чувства, – спорить было уже не о чем. Рассерженный друг был вполне вознагражден за свою утрату, а Алина вышла замуж за своего скромного ухаживателя, который и увез ее в деревню, чтобы там работать на благо и пользу своих крестьян.

Пустой анекдот, но он рассказан Марлинским очень живо. Много тонких психологических наблюдений над душой светского человека, который никак не может помирить условности своих суждений с живым чувством; яркий тип крепостного слуги, по праву любви ставшего членом семьи; очень живой и верный тип институтки; тайники души светской дамы, которая решается покинуть мишурный блеск света ради скромного дела, – таковы ценные детали повести.

Во всех этих светских повестях Марлинский не свободен от моральной тенденции, но она не навязывается читателю и позволяет перелистать эти странички без скуки.

У нашего автора есть, впрочем, одна повесть, которая не нуждается ни в каких оговорках – лучшая из его повестей в смысле выполнения. К сожалению, она не была им окончена, но и в тех клочках, которые от нее остались, видна рука мастера. Она носит романтичное заглавие – «Поволжские разбойники» (1834), хотя, в сущности, она картинка современных нравов.

Действие происходит в 1821 году, и с участниками его, российскими дворянами-помещиками мы знакомимся на короткий миг – в веселый день их псовой охоты. Старинный одноярусный барский дом с неопрятными службами – жилищем бесчисленной дворни, с разбитыми стеклами, залепленными писаной бумагой, в другом месте заткнутыми рубашкой, у которой рукава развеваются по ветру... голубятня, около которой прогуливаются стада чистых и плюмажных, мохнатых и египетских «символов верности», потому что между уездным дворянством искусство гонять голубей непременно входит в состав воспитания недорослей; на шесте флаг с гербом в знак присутствия хозяина; на дворе большое движение; толпа слуг, псарей, доезжачих и кучеров... гончие и борзые собаки, – это крайнее звено дворянской челяди... босоногие мальчишки в одних рубашках и в отцовских шапках, падающих им на плечи... Совсем реальная жанровая картинка, до деталей списанная с натуры. И сам хозяин – живой портрет из старинной фамильной галереи. Настоящий русский помещик старого века, человек, понятия которого заключались его уездом, а честолюбие борзыми собаками, он, отслужив сержантом, заблагорассудил, что ему довольно и капитанского чина для пугания зайцев. Каждый день тучное его туловище прокатывалось четверней в дрожках по работам, о которых он не имел ни малейшего понятия, и каждую порошу садился он на лошадь, чтобы отхлопывать зверьков от своих удалых собак. В остальное время зимы он, вместо музыки слушая ворчанье дражайшей своей половины, пускал табачный дым колечками или играл в шашки с ловчим на воду, заставляя беднягу тянуть эту невинную влагу стаканами не только за каждым проигрышем, но за каждым фуком. Зевал он поутру оттого, что недавно проснулся, а ввечеру оттого, что пора спать...

Но осенью это царство дворянской сонливости просыпалось. Хозяин отправлялся в поход: сети, силки, стрелы и зубы везде сторожили несчастных гостей вод и лесов. К помещику съезжались соседи, составляли наступательные союзы и, соединив свои войска, отправлялись в поход в отъезжее поле – поход, правду сказать, гораздо опаснейший для крестьянских красавиц, для изгороди лесов, чем для самого пушистого племени.

С приготовлениями к такому походу и знакомит нас Марлинский в своей повести. Двумя-тремя штрихами набрасывает он несколько портретов этих старинных воинственных обывателей усадьбы, воюющих со скукой... Он срисовывает их разгоряченные и живые лица, как они рисуются вокруг стола, на котором сверкает серебряный таз, и в нем сахарная голова в волнах зажженного рома. Всем им тесно на собственной земле и очень бы хотелось поохотиться на островах их соседа. Но этот сосед не подошел под их масть. Охоту считал он пустой забавой и для нее не хотел топтать крестьянскую озимь, не хотел травить овец собаками и палить лес от ночлегов... На описании сенсации, которую производит этот чудак-«вольнодумец» среди дворянской братии, и на умысле проучить его какой-нибудь кляузой обрывается рассказ нашего автора, к большой досаде читателя.

Как бы ни был краток отрывок этой повести, он дополняет другие очерки Марлинского и показывает, что наш писатель был у себя дома и в гостиных столичных, и в помещичьей усадьбе. Вообще в своих повестях из светской и дворянской жизни наш автор обнаружил большую сноровку письма, которая его, романтика, приближала к настоящим бытописателям. Светский круг, с его блестящей мишурной стороной и с его бесспорной культурностью, общество столичное и деревенское, статское и военное, мужское и, в особенности, женское было изображено Марлинским без прикрас, хотя и без особенной глубины понимания тех социальных условий, при которых оно выросло и слагалось. Но для тридцатых годов, когда в литературе,

любившей говорить об этих светских кругах, торжествовали в большинстве случаев общие условные типы благородных резонеров, скучающих денди, сварливых старух, молодых кокеток и ветрениц – такие с натуры писанные, хотя бы не дорисованные портреты, какие давал Марлинский, были находкой. В данном случае он был предшественником Лермонтова, которого он опередил и как жанрист, странствующий по Кавказу.

Повести Марлинского предвещали рассвет реального романа нашей литературе.

Когда в сочинениях его встречаешь страницы, с которых на нас смотрят какие-нибудь оригиналы и чудаки («Военный антикварий», 1829), напоминающие нам, однако, наших знакомых, или когда видишь, как этот романтик умеет совершенно естественно говорить и пьяной уличной речью, и столь же типичной речью охранителя порядка («Будочник-оратор», 1832), или когда вместе с ним попадаешь на какой-нибудь Кавказский почтовый тракт и лицом к лицу встречаешься с урядником, который и до сего времени не изменил своей физиономии («Путь до города Кубы», 1832), то жалеешь, что писатель мало имел времени развить в себе это уменье интересоваться серой будничной стороной жизни. Есть у Марлинского, впрочем, две повести, в которых его талант бытописателя достиг значительной зрелости.

Повесть «Мореход Никитин» (1834) пользовалась в свое время широкой известностью, и вполне заслуженно.

Это – рассказ, кажется, не вымышленный, о подвиге одного русского купца Савелия Никитина, который в 1811 году, выехав на простом карбасе по своим торговым делам, захватил в Белом море английский капер и привел его в Архангельск, за что и был награжден военным орденом и – рукой Катерины Петровны, добавляет автор, ради которой, собственно, Никитин и предпринял свое плавание, так как хотел поправить свое финансовое положение, которое его будущему тестю не особенно нравилось.

На море Никитин попал сначала под удар разбушевавшейся стихии, которая чуть не разбила в щепы его карбас, а затем под удары неприятельских английских пушек, которые, действительно, карбас и потопили. Никитин и его товарищи были взяты на капер, и здесь, когда однажды ночью весь экипаж ушел на покой, они перебили дежурных и заклепали спуск в трап, – и англичане очутились их пленниками. С этой неожиданной добычей они и вернулись на родину.

Достоинство рассказа не в изложении самой фабулы, а в передаче настроения и тех сложных чувств, которые волновали участников этого приключения: веселого, сметливого, простодушного и решительного купца и его товарищей – старого моряка, который любил шутить с ураганами, непросоленного новобранца, которого они с собой взяли, и еще одного коренастого морехода с физиономией, «какие отливает природа тысячами для вседневного расхода». Вся эта простецкая компания переживает очень сложную душевную драму сначала во время бури, потом в момент плена и, наконец, в минуту торжества. Обычное для наших сентименталистов стремление преувеличивать русскую удаль или особенно восторженно оттенять веру русского человека в Бога в минуту опасности не внесло никакой фальши в рассказ Марлинского. Неизвестно откуда явилась у него способность говорить естественной простонародной речью, не щеголяя на этот раз своим красноречием, и в этих песнях, рассказах и разговорах мужиков о святых угодниках соловецких и о чудесах и ужасах той стихии, которая охраняет их обитель, восстает перед нами, действительно, миросозерцание русских простых людей, неподдельно благочестивых, суеверных и готовых бороться с любой опасностью, встречающей их на дороге жизни и провожающей их в могилу. Марлинский в этой повести решил для того времени очень трудную задачу: он набросал вполне реальный жанровый этюд с четырьмя простонародными физиономиями, друг от друга отличными, которые к тому же ни малейшего сходства с его собственной не имели.

Большую технику как реалист обнаружил наш автор и в рассказе «Лейтенант Белозор» (1831), единственной повести из нерусского быта, которая поднялась выше общего литературного ординара того времени. Наши старые романисты не страшились избирать героями своих рассказов иностранцев, с жизнью которых они были знакомы только понаслышке; но по речам и по поведению всех этих немецких буршев и чиновников, французских виверов и их подруг, английских степенных банкиров и итальянских художников, которые появлялись в русских повестях, видно было, что они родились где-нибудь на Москве-реке или на Фонтанке. Марлинский тоже не имел случая изучать иностранцев на местах их жительства, но талант его выручил.

«Лейтенант Белозор» – исторический рассказ из нашей войны с Наполеоном. Русский офицер, блокировавший на своем корабле «Не тронь меня» французский флот при Флессингене, стал героем очень любопытных похождений. Желая во время сильной бури оказать помощь экипажу одного утопавшего корабля, бесстрашный лейтенант с маленькой командой исчез на своей шлюпке в брызгах и пене; утопавших он не спас, но сам чуть не погиб, и вместе с товарищами был выброшен на голландский берег, который был занят тогда французами. Здесь в первую же ночь, отыскивая ночлег и убежище от неприятеля, он попал на мельницу, которую грабили французские мародеры. С истинно русской отвагой прогнал он этих негодяев и спас хозяина мельницы – богатейшего голландского купца Саарвайерзена и его милейшую дочку Жанни. В благодарность за освобождение хозяин увез офицера на свою виллу, где была чудесная оранжерея и в ней чудесные цветы, к которым Жанни питала большую страсть; офицер не особенно интересовался

ботаникой, но заходил в оранжерею часто; однажды и он, и Жанни, выйдя оттуда, заявили родителям, что расставаться не желают. Старик, который очень полюбил своего гостя, как практичный человек, сообразил, что жениху все-таки, прежде всего, нужно перейти на легальное положение. Он предложил ему вернуться на свой корабль, тем более, что до французского правительства уже дошли слухи о том, что он, почтенный коммерсант, прикрывает у себя на дому неприятеля. Слухи эти пустил один французский пьяный капитан, который самохвальством и враньем хотел пленить сердце Жанни, но был довольно неучтиво высажен из дому. Лейтенанту пришлось приискивать способ, чтобы поскорей вернуться на корабль, так как приказ об аресте его хозяина был уже подписан. После разных приключений весьма романтического свойства ему удалось, наконец, отчалить ночью на французской лодке, экипаж которой он вместе со своими матросиками перевязал и положил на дно лодки в виде балласта. Так как в эту же ночь и прелестная Жанни очутилась на берегу одна, преследуемая французскими солдатами, то пришлось взять и ее в лодку, и наш лейтенант должен был, совсем для себя неожиданно, предстать перед очами начальства со спутником, присутствие которого законом военного времени не оправдывалось. Плывя с невестой по морю, наш лейтенант мимоходом успел совершить и еще один геройский подвиг. Он хитростью захватил неприятельскую французскую брандвахту, запер ее экипаж в трюме и, как мореход Никитин, вернулся к своим с этой добычей, хотя сам чуть-чуть не был расстрелян, так как брандвахту, на которой он ехал, приняли за неприятельский брандер. Все, впрочем, окончилось к общему благополучию; капитан корабля «Не тронь меня» прочитал подобающую нотацию лейтенанту, но в эту же ночь поставил его и Жанни к брачному аналою. Через несколько дней их на английском берегу встретил Саарвайерзен, и, с удовольствием повторяя свою излюбленную поговорку «два аршина с четвертью», развязал свой кошелек. Спустя несколько лет их встретил и Марлинский, уже в Кронштадте: Жанни была полная дама, с ней был ее сынишка, она встречала фрегат «Амфитриду», на котором возвращался домой ее муж, уже не лейтенант, а капитан второго ранга.

Редкая повесть тех лет читается с таким интересом, как эта, и в свое время она была встречена всеобщими похвалами. Русские типы в ней хороши, в особенности типы солдат, на этот раз очень разговорчивых; но еще лучше – типы голландские. Все страницы рассказа, на которых автор описывает внутреннюю домашнюю жизнь богатой купеческой голландской семьи, жизнь в городе, на заводе, в деревне, жизнь самих господ и их дворни – ряд картин настоящей фламандской или голландской школы. Где Марлинский мог научиться такому письму – неизвестно. Указывают на рассказы его брата Николая Бестужева (который долго жил в Голландии и написал о ней целую книгу) как на источник, откуда Марлинский заимствовал свой сюжет, но, вероятно, все заимствование и заключалось только в самой фабуле, которая, однако, только потому так занимательна, что очень хорошо развита и отделана.

XX

Таковы были сюжеты, которые Марлинский разрабатывал в своих рассказах. Значение их в истории развития русской повести и романа определить нетрудно. Ни романтический стиль письма, ни реальный не доведен в них до совершенства; и все-таки, если скинуть со счетов повести Пушкина – немногочисленные, и при его жизни частью не опубликованные и частью мало оцененные, – то придется признать, что до Гоголя Марлинский был самым талантливым нашим новеллистом, писателем с наиболее колоритным воображением и, вместе с тем, первым по силе из реалистов своего времени.

Марлинский упредил наших романтиков прозаиков, и в романах и повестях Полевого, Загоскина, Лажечникова и других нет ничего, чего не было бы уже в зародыше в повестях нашего автора. Занимательность сюжета, романтичность в его развитии, драматизм страстей, пафос речи – всем этим очень искусно владел Марлинский, прежде чем этим завладели и широко воспользовались другие. Упредил он, как романтик, и Гоголя, в первых повестях которого романтизм как литературная школа достиг своего самого полного и художественного расцвета.

Как реалист, Марлинский был также прямым предшественником Гоголя и Лермонтова. Многие области нашей повседневной жизни были впервые с подобающей яркостью и правдивостью освещены именно им; картины других были подновлены и дополнены новыми деталями. К новому, что читатель находил в его рассказах, должно отнести, например, этнографические очерки из сибирской и кавказской жизни, очерки военной жизни, морской и строевой, столичной и походной, в частности, очерки жизни солдатской.

Как на дополнение к тому, что читателю было уже известно, можно указать на рассказы Марлинского из жизни светской. Много было недочетов в этих реальных картинах, но никто из его современников не обладал в их выполнении такой правдивой, смелой кистью, как Марлинский, в котором, кроме того, была очень сильна юмористическая и саркастическая жилка, ни в ком до Гоголя не проступавшая так игриво…

Марлинский вполне сознательно и вопреки примеру многих современных ему литераторов предпочитал прозу стихам как более удобную форму для проведения реализма в искусстве[148]. В своих произведениях он этот реализм очень ценил и очень скорбел, что ему многое приходится угадывать[149].

Насчет ценности своих повестей Марлинский ослеплен не был: он был ими мало доволен и жаловался на судьбу, которая не позволяет ему распорядиться своим талантом как бы ему хотелось. «О, если бы судьба дала мне, – писал он Полевому, – хоть один не отравленный людскою злобой год, чтоб я мог попробовать крылья свои, не спутанные в цепи! А то, едва я пытнулся было на дельную вещь (роман), судьба одела меня грозовою тучей. Я не имею ясности духа вылить на бумагу, что кипит в душе, но это пройдет, и я пришлю вам отрывок, в коем изображу поэта, гибнущего от чумы... поэта, который сознает свой дар и видит смерть, готовую поглотить его невысказанные поэмы, его исполинские грезы, его причудливые видения горячки. Пусть не поймут меня, но я буду смел в этих безумствах»[151].

Да и успеху своему Марлинский не особенно доверял. «Вы правы, – говорил он тому же Полевому, – что для Руси невозможны еще гении: она не выдержит их; вот вам вместе и разгадка моего успеха. Сознаюсь, что я считаю себя выше Загоскина и Булгарина; но и эта высь по плечо ребенку. Чувствую, что я не недостоин достоинства человека со всеми моими слабостями, но знаю себе цену, и как писатель, знаю и свет, который ценит меня. Сегодня в моде Подолинский, завтра Марлинский, послезавтра какой-нибудь Небылинский, и вот почему меня мало радует ходячесть моя»[152].

Но одну сторону своего дарования Марлинский ценил, и именно ту, которая потом подверглась наибольшим нападкам. Он был доволен своим стилем и своей манерой писать. «Перо мое, – говорил он с гордостью, – смычок самовольный, помело ведьмы, конь наездника. Да: верхом на пере я вольный казак, я могу рыскать по бумаге, без заповеди, куда глаза глядят. Я так и делаю: бросаю повода и не оглядываюсь назад, не рассчитываю, что впереди. Знать не хочу, заметает ли ветер след мой, прям или узорен след мой. Перепрянул через ограду, переплыл за реку, хорошо; не удалось – тоже хорошо. Я доволен уже тем, что наскакался по простору, целиком, до устали. Надоели мне битые указы ваших литературных теорий chaus-s es, ваши вековечные дороги из сосновых отрывков, ваши чугунные ленты и повешенные мосты, ваше катанье на деревянной лошадке или на разбитом коне; ваши мартингалы, шлих-цигели и шпаниш рейтеры... Бешеного, брыкливого коня – сюда! Степи мне – бури! Легок я мечтами – лечу в поднебесье; тяжел думами – ныряю в глубь моря»... («Мореход Никитин»).

«В подражании другим не виноват я, – говорил он. – А что касается блесток, это я живой. Переиначите мой слог, вы ощиплете его, вы окастратите его»[153]. Против «бестужевских капель», как называли тогда обороты его речи и мысли[154], Марлинский ничего не имел, частью потому, что родился со склонностью к такому стилю и, как утверждает его брат Михаил, обладал «не вымышленной, а врожденной цветистостью слога»[155], частью потому, что умышленно воспитывал и развивал в себе эту способность. Будучи от природы остроумным человеком, он нарочно злоупотреблял остротами.

«Сухая ученость, неприправленная шуточками, никак не понравится юному вкусу нашей публики, – говорил он; – словом – вниманье читателей надобно привлекать как электричество – остротами. Если я точно заслуживаю нарекания в желании блеснуть остротами, то, увлеченный природною веселостью, я сам-в-себе не виноват в изысканности» («Поездка в Ревель», «Станция Варгель»).

Литератор опытный, он стилистических своих погрешностей не замечал[156], и расплачиваться за них ему пришлось позднее.

XXI

Марлинский мог и должен был нравиться.

На его долю выпал сразу необычайный успех, превышавший истинную стоимость его произведений. Публика средняя отнеслась к ним восторженно, и мы располагаем весьма многими указаниями современников, которые все сходятся в признании того оглушительного успеха, каким сопровождалось появление в свет чуть ли не каждого рассказа нашего автора. И не только средняя публика, но и очень строгие судьи признавали за Марлинским выдающееся дарование и возлагали на него очень большие надежды.

История приема его сочинений у читателя должна войти в его биографию.

Пушкин был более чем доволен своим другом и предлагал ему соперничать с Вальтером Скоттом[158].

То же соперничество предлагал Марлинскому и Вяземский, прочитав его повесть «Роман и Ольга»[160].

Соль Марлинского нравилась Грибоедову[161].

В. Кюхельбекер находил в повестях Марлинского сходство с Вашингтоном Ирвингом и Гофманом, видел в своем друге «самого глубокого умствователя» и человека высокого таланта, но не одобрял неугомонной ловли каламбуров и натяжек стиля[162].

Мельгунов признавал Марлинского редким самобытным талантом, но говорил, что у него нет психологии, и что он ни одного слова не ставит на своем месте, хотя его язык все-таки внутренне живой язык[164].

Сенковский признавал в нем хорошие мысли и много достойного, хотя говорил, что не ему создать прозу, которую от графини до купца второй гильдии все стали бы читать с одинаковым удовольствием[165, 166].

А.П. Бочков, литератор и большой любитель словесности, по поводу повестей (и то ранних) Марлинского написал целую аллегорическую историю развития русского романа, в которой отвел нашему автору очень почетное место[167].

Литератор П. Каменский так увлекался Марлинским, что перенял его «кудрявый слог»[169]. Н. Полевой называл Марлинского «корифеем» новейшей повести русской»[170].

Критик «Телескопа» утверждал, что у Марлинского иногда «сверкает луч высшего всеобъемлющего прозрения»[172].

Бурачек, признавая, что литература должна быть службой Богу в лице человечества, и недовольный в этом смысле Марлинским, приравнивал его, однако, к Пушкину[173].

Число таких хвалебных отзывов можно было бы увеличить. Редки были люди, которые с ними были не согласны. В кружке Пушкина, например, над Марлинским всегда «хохотал» Нащокин[175]. Никитенко в самый разгар славы Марлинского говорил, что он «выражается варварским наречием и думает, что он удивителен по силе и оригинальности»[176]. Не одобрял его, кажется, и Станкевич»[177].

Злее других огрызался Загоскин, но он ненавидел Марлинского, как «безусловного обожателя запада и всех его мерзостей»[178].

Но эти и подобные им голоса кредита у публики не имели. Марлинский был одно время самым модным писателем, и, кажется, – более других в цене[180].

«Мы все ужасно любили Марлинского, – писал в своих воспоминаниях В.В. Стасов, – за молодцеватых и галантерейных героев, за казавшуюся нам великолепною страстность чувств, наконец, за яркий и крученый язык. Всего больше мы восхищались «Лейтенантом Белозором»... Мы с беспредельным восхищением упивались Марлинским вплоть до самых тех пор, когда начались статьи Белинского в «Отечественных записках»[180].

Действительно, поворот в определении стоимости Марлинского как литератора начался с появления этих статей, в которых, однако, по верному замечанию С.А. Венгерова[181], дана односторонняя и лишенная исторической перспективы оценка.

Не страшась «борьбы с общественным мнением, которое приравняло Марлинского к Бальзаку и только лишь мало-помалу приходит в память от оглушительного удара, произведенного на него полным изданием «Русских повестей и рассказов», – Белинский решился высказать свое мнение.

На безлюдье истинных талантов он признает Марлинского явлением примечательным, писателем, одаренным неподдельным остроумием, владеющим способностью рассказа, умеющим иногда снимать с природы картинки-загляденье, но талант его, говорит критик, чрезвычайно односторонен, претензии на пламень чувства весьма подозрительны, в его созданиях нет никакой глубины, никакой философии, никакого драматизма, все его черты сбиты на одну колодку, он повторяет себя в каждом новом произведении, у него больше фраз, чем мыслей, более риторических возгласов, чем выражений чувства; он пишет много не от избытка творческой деятельности, а от навыка, от привычки писать...

И притом сколько натяжек! Можно сказать, что натяжка у Марлинского такой конек, с которого он редко слезает. Ни одно из действующих лиц его повестей не скажет ни слова просто, но вечно с ужимкой, вечно с эпиграммою или с каламбуром или с подобием; словом, у Марлинского каждая копейка ребром, каждое слово завитком. У него есть талант, но талант не огромный, талант, обессиленный вечным принуждением, избившийся и растрясшийся о пни и колоды выисканного остроумия. «Мне кажется, – говорил Белинский, – что роман не его дело, ибо у него нет никакого знания человеческого сердца, никакого драматического такта. Впрочем, в его повестях встречаются иногда места истинно прекрасные, очерки истинно мастерские».

Всего страннее в Марлинском, что он с удивительною скромностью недавно сознался в таком грехе, в котором он не виноват ни душою, ни телом: в том, что будто он своими повестями отворил двери для народности в русскую литературу: вот что, так уж не правда! Эти повести принадлежат к числу самых неудачных его попыток, в них он народен не больше Карамзина, ибо его Русь жестоко отзывается его заветною, его любимою Ливониею.

Словом, Марлинский писатель не без таланта, и был бы гораздо выше, если б был естественнее и менее натягивался («Литературные мечтания», 1834).

Спустя год Белинский повторяет свое осуждение.

Марлинский был первым нашим повествователем, был творцом, или, лучше сказать, зачинщиком русской повести, – говорил Белинский. Он обладает вдохновением особым, усиленным волею, желанием, целью, расчетом, как будто приемом опию.

Это не *реальная* поэзия – ибо в повестях Марлинского нет истины жизни, нет действительности, такой, как она есть, ибо в них все придумано, все рассчитано по расчетам вероятностей, как это бывает при делании или сочинении машин; ибо в них видны нитки, коими сметано их действие, видны блоки и веревки, коими приводится в движение ход этого действия; словом, это – внутренность театра, в котором искусственное освещение борется с дневным светом и побеждается им. Это не *идеальная* поэзия – ибо в них нет глубокости мысли, пламени чувства, нет лиризма, а если и есть всего этого понемногу, то напряженное

и преувеличенное насильственным усилием, что доказывается даже самою чересчур цветистою фразеологиею, которая никогда не бывает следствием глубокого, страдательного и энергического чувства.

Но если у Марлинского, – продолжал критик, – и не было в повестях истины русской жизни, то все-таки они доставили много пользы русской литературе, были для нее большим шагом вперед.

В повестях Марлинского была новейшая европейская манера и характер: везде был виден ум, образованность, встречались отдельные прекрасные мысли, поражавшие и своею новостью, и своею истиною; прибавьте к этому его слог, оригинальный и блестящий в самых натяжках, в самой фразеологии, – и вы не будете более удивляться его чрезмерному успеху («О русской повести и повестях Гоголя», 1835).

Наконец, в 1840 году Белинский обрушился на Марлинского целой статьей по поводу выхода в свет полного собрания его сочинений. Это были годы, когда наш критик, со страстью относясь к немецкой философии, возненавидел всякую страсть в поэзии и потому был беспощаден ко всем художникам с более или менее неуравновешенным темпераментом. Марлинский оказался важным «отрицательным» деятелем в нашем литературном развитии.

Марлинский, – писал критик, – явился на поприще литературы романтиком; он всеми силами старался приблизиться к действительности и естественности в изобретении и слоге; он силился изображать людей и подслушать живую общественную речь и во имя ее раздвинуть пределы литературного языка… и появление его было ознаменовано блестящим успехом; в нем думали видеть Пушкина прозы, и излишество похвал, несомненно, доказывает, что Марлинский – явление примечательное в литературе. Но его повести принадлежат не к произведениям искусства, а только к произведениям литературы… Основные стихии повестей Марлинского, приписываемые им общим голосом, суть – народность, остроумие и живопись трагических страстей и положений…

Но поэзия этих повестей – поэзия не мысли, а блестящих слов, не чувства, но лихорадочной страсти: это талант, но талант чисто внешний, не из мысли создающий образы, а из материи выделывающий красивые мысли; это вдохновение, но не то внутреннее вдохновение, которое, неожиданное, без воли человека, озаряет его разум внезапным откровением истины, вдохновение тихое и кроткое, широкое и глубокое, как море в ясный и безветренный день, но вдохновение насильственное, мятежное, бурливое, раздражительное, возбужденное волею человека, как бы от приема опиума… Поэт может изображать и страсть, потому что она есть явление действительности; но, изображая страсть, поэт не должен быть в страсти…

Настоящий род таланта Марлинского – это живой, легкий и шутливый рассказец без особенных претензий.

Такие внешние таланты необходимы, полезны, а следовательно, и достойны всякого уважения. Только незаслуженная слава и преувеличенные похвалы вооружают против них, потому что свидетельствуют об испорченности вкуса публики.

Главная заслуга внешних талантов состоит в том, что они отрицательным образом воспитывают и очищают эстетический вкус публики: пресытясь их произведениями, многие обращаются к истинным произведениям искусства и научаются ценить их («Полное собрание сочинений Марлинского», 1840).

Отзыв учеников Белинского был мягче. Аполлон Григорьев, заметив, что Белинский в «Литературных мечтаниях» оценивает талант Марлинского вернее, чем в своей статье о полном собрании его сочинений, называет Марлинского «огромным талантом допотопной формации, прочным характерным нашим романтиком», и всю чепуху, которую несут его герои и героини, ставит на счет «романтизму». Этот романтизм, по имению Григорьева, погубил три великих таланта: Мочалова, Полежаева и Марлинского, этого блестяще даровитого и энергичного Марлинского, которому только недостаток меры и вкуса препятствовал быть одним из замечательнейших писателей[182].

Талант и силу ума отмечает в Марлинском и Чернышевский, жалея только, что в его повестях нет и следов тех принципов, которые были дороги их автору как человеку[182]. Последнее замечание едва ли вполне справедливо, так как, если в повестях Марлинского нет политических мотивов (для того времени недопустимых), то на них, несомненно, остался отпечаток его либерального образа мыслей. Это сжато и верно было отмечено новейшим его критиком, также к нему очень строгим – С.А. Венгеровым.

«Приподнятость Марлинского, – замечает Венгеров, – была протестом против пошлости окружающей среды и подготовила ту выработку свободной личности, презирающей житейскую действительность, которая легла в основу новой русской общественной жизни»[183].

XXII

Писатель с таким нервным темпераментом, с такой бурной душой, с умом, торопливо перелетающим от одной мысли к другой, человек, условиями жизни поставленный в необходимость мечтой заполнять скуку жизни, и к тому же писатель, стоящий на перепутье двух литературных течений, не имел ни способности, ни возможности создать нечто художественно законченное; он обещал больше, чем выполнял. И все-таки

более правы были его поклонники, чем его хулители. Эти поклонники в равной степени были увлечены и сюжетом рассказов, и личностью самого писателя.

Прежде чем говорить об этой оригинальной личности, поскольку она отразилась в повестях, имеющих автобиографическую ценность, мы сделаем большое отступление.

Александр Александрович славился в свое время не только как романист, но и как очень злой критик и остроумный публицист. Нам необходимо пересмотреть эти критики и фельетоны для полноты характеристики Бестужева как писателя.

А. Бестужев печатал свои статьи и заметки во всех самых видных журналах двадцатых годов: в «Соревнователе просвещения», «Литературных листках», «Сыне отечества», «Благонамеренном», и одно время сам стоял во главе целого литературного предприятия – столь известного альманаха «Полярная звезда».

Если выкопать теперь из старого журнального хлама все статьи, написанные Бестужевым, то они окажутся, конечно, весьма не равного достоинства. Но пусть Бестужев писал часто без всякого определенного плана, пользовался иногда самыми ничтожными случаями, чтобы поговорить о том, что взбредет в голову, пусть он тратил свои силы по пустякам, но на всех его, даже самых маленьких, заметках осталась печать его пытливого ума, необычайно разностороннего по своим интересам.

Действительно, о чем только не писал Бестужев! Выступал он как историк, этнограф и археолог, как публицист на общие и частные темы, как рецензент художественных выставок, как сатирик-фельетонист, как рассказчик анекдотов, сказок, как театральный репортер и, наконец, как присяжный критик и обозреватель литературных новинок. Во всех своих летучих статьях и заметках он обнаруживал способности настоящего литературного Протея: из ученого превращался сразу в веселого рассказчика, из общественного сатирика в специалиста, хотя бы, например, по верховой езде.

Но даже и в отдельных сферах деятельности – научной, критической, публицистической – он обнаруживал необычайную разносторонность.

Так, например, занимаясь историей, археологией и этнографией, он делил свой интерес между Марией и Елизаветой Английской, египетскими иероглифами и лифляндскими и эстляндскими крестьянами[184].

Нашел он время написать статью и о деревянных русских постройках[185], статью, в которой советовал как можно скорее приучать наших крестьян строить жилища из кирпича. Он исчислял все выгоды от такой реформы и среди них приводил один очень своеобразный аргумент. «Деревянные дома горят, – говорил он, – и бренность, неверность жилищ, приучая ум к частой перемене, дает характеру русского народа какую-то беспечность. И не в одном только простом народе она заметна, эта беспечность, но и в высшем классе, и все потому, что и в наших городах большинство строений деревянных, которые горят и ежегодно перестраиваются – и мы, недовольные собой, всегда готовы прельщаться другими странами: ибо там, где нет страсти к своему, там скоро явится пристрастие к чужому, а унизительное предпочтение иноземцев, к несчастию, слишком это доказывает» (!!).

Странный и неожиданный скачок в область публицистики! Но пусть он нас не удивляет: публицистическая мысль почти всегда проглядывает в статейках Бестужева, и кажется, что иногда она именно и руководила выбором самого сюжета.

Так, например, когда Бестужев пишет статью, в которой разъясняет, что значили иногда уединение и ссылка для возвышенного и благородного ума[186], или когда он рисует портрет Демосфена и говорит об его власти над слушателями и об его призыве к борьбе за свободу[187], или когда пересказывает речь Чатама в пользу мира с Америкой[188] – он публицист с очень определенной гражданской мыслью.

Эту роль благомыслящего либерала и публициста Бестужеву случалось менять нередко на роль сатирика. Сатира получалась в общем неглубокая, но остроумная, и подчас не без литературных достоинств в портретах и образах.

Целый ряд жанровых сцен дает он, например, в маленькой статейке, в которой рассказывает историю похождений рубля по карманам судей, кокоток, разных франтов, тунеядцев, которые «кочуют на улицах и несут всякий политический вздор, и думают править светом и научать королей», разных скупцов, ростовщиков и расточителей, танцовщиц, у которых «каждый день недели имел свою собственную болезнь», поэтов на чердаке и честных евреев, которые купают деньги в крепкой водке ради опрятности… и, наконец, крестьян, «где не столько уважают, сколько ценят рубли, где рубль служит возмездием трудов, а не наградою порока»[189].

Бестужев был мастер рисовать такие силуэты[190] и сценки, иногда даже из иностранной жизни[191]. Случалось, что сценка превращалась в диалог, и наш автор начинал подделываться под простонародную речь. Выходило это иногда удачно, а иногда и совсем плохо[192].

Наиболее злы и удачны бывали шутки Бестужева над родной ему литературной писательской братией и над обстановкой, среди которой ей жить приходится. Очень удачна вышла, например, характеристика публики – этого существа, не то Полифема, не то Фемиды, существа, живущего только в нашем воображении и которым нас пугают, как ребят привидениями[193]. Очень забавен и остроумен был также тот рекомендательный аттестат, который Бестужев выдал некоему литературному инвалиду Дворняшкину, имущему места застольника при обедах. Никто в свете не был так преследуем неудачами на словесном поприще, как этот

современный литератор. «Пегас выбил его из седла, и он побрел пешком по столбовой дороге журналов, но как после петербургского наводнения мелкой поэзией аршин самых пестрых стихов стал дешевле суздальского ситца, а причудливая публика стала требовать если не мысли, то смысла, он решился удариться на театр, будучи прельщен театральной десятиной; но и на театре наградили его лишь огарками и советом скорее носить калоши, нежели котурны. Что было делать несчастному, в особенности с тех пор, как книгопродавцы познакомились с грамматикой и стали платить чуть не горохом за лубочные переводы Вальтера Скотта с французского, и с тех пор, как страховое общество взаимного хваления совсем вышло из веры? Теперь этот литератор готов на все, что угодно: его можно употреблять вместо колокольчика, чтобы кликать людей; он может быть полезной мебелью в библиотеке, потому что умеет лазить по полкам... он часто смешон, иногда забавен и всегда доволен, лишь бы ему позволили толковать за столом о словесности и романтизме, о котором он смыслит едва ли не короче нашего князя Сидора»[194].

Целые страницы заполнял Бестужев таким легким фельетонным остроумием, и они тогда очень нравились. Можно было, например, от души посмеяться над такими проектами, какие Бестужев предлагал осуществить: изобрести хотя бы орудие вроде астролябии для измерения плоскостей русской словесности и неизмеримых ее пустырей, пустопорожних мест и тому подобного; найти реактив для мгновенной осадки немногих капель мыслей, здравого смысла или остроты (буде она случится) из любой модной поэмы; определить удельный вес оригинальных, подражательных, поддельных и просто выкраденных мыслей (само собою разумеется, что сюда не принадлежат вещи, которые по чрезмерной тонкости своей неосязаемы чувствами или так тяжелы, что неподъемлемы человеческой силой, как, например, русские рассуждения о романтизме). За решение таких и подобных задач можно было бы, говорит Бестужев, назначить премии, как то: выдавать паровые машины для приготовления общих мест к новым историческим романам, поэмам и пьесам; при сей машинке можно было бы кроме обыкновенного валика на манер Вальтера Скотта продавать и другие, на манер д'Арленкура, Павла Кока, Ирвинга, так как русские валики самородного образца, заказанные в Вене и Лондоне, еще не готовы. В премию можно было бы выдать волочильно-плющильный винт для вытягивания в проволоку бити и канители эпитетов, стихотворный калейдоскоп для составления разновидных размеров, ноженки для обстригания ногтей журналистам, карманный будильник для особ, усыпляемых чтением сочинений знатных особ, начальников и вообще людей нам нужных и т.п.[195]

Иногда к такому игривому вымыслу примешивалась и правда: Бестужев собирал разные литературные курьезы, попадавшиеся на страницах русских журналов, и извещал публику, что у него есть уже целая кунсткамера редкостей: татарских и вандальских фраз, гордианских мыслей, философических пузырей, окаменелых сравнений и, словом, всех заметных калек здравого смысла. «Сколько у меня собрано, например, «прыгающих пауков», «кувшинов, вздергивающих нос», «ужей, преклоняющих колена», «голубей и уток с зубами», «пробок, говорящих громко», «кровожадных мухоморов»[196]...», – говорил Бестужев, и ему, конечно, и в голову не приходило, что со временем этот список курьезов может быть при желании пополнен из его собственных сочинений.

Таковы, в общем, наиболее характерные с известной литературной и публицистической тенденцией написанные статейки Бестужева. Но кроме этих, он написал массу других.

Среди них попадаются сентиментальные рассуждения в защиту оптимистического миросозерцания[197], афоризмы из Бэкона[198], переводы сказок с польского и французского[199], остроумное исследование о том, как на почве любви некоего вероломного князя «Препенани» и одной доверчивой царевны возникли наши знаки препинания, служившие любовникам условленным шифром[200], простые шутки водевильного характера[201], анекдоты[202] и шарады[203].

Как видим, все статьи самого разностороннего и весьма незатейливого содержания. В числе них находятся, впрочем, три довольно обстоятельных. Две посвящены вопросу о верховой езде и одна – оценке художественной академической выставки. Все написаны с бесспорным знанием дела.

В своей рецензии на русский перевод «классического» сочинения Гериньера «О значении кавалерии и верховой езды», сочинения, которым автор, как говорит рецензент, «доставил большую услугу берейторам, а себе славу и место между знаменитыми людьми XVIII века»[204], Бестужев ограничился лишь указанием на нелепости самого перевода, но зато в другой статье дал исторический очерк развития верховой езды чуть ли не со времен Александра Македонского до в. к. Константина Павловича[205].

Такая любовь к лошадям нисколько не мешала Бестужеву быть хорошим знатоком картин, что он и доказал в своей статье об академической выставке 1820 года, где рассуждал о Рюисдале, о Доминикино и о Теньере[206]... («Не верю, – восклицал он по поводу последнего, – не верю величию души твоей, гордый Людовик XIV, когда ты мог презирать полезнейший класс народа!»)

Наряду с этими размышлениями и заметками обо всем Александр Александрович находил еще время писать беглые заметки о литературных новинках[207], отчеты о заседаниях литературных обществ[208] и театральные рецензии. К кулисам он был вообще очень неравнодушен, но эта любовь была, кажется, преимущественно литературная.

Театральные его рецензии не представляют большого интереса, и они важны только как показатели его добросовестного отношения к театру. Мелкие рецензии, которые он писал в «Сыне отечества», он не подписывал[209], а те, которые подписаны его именем, действительно, обнаруживают в нем желание всегда говорить по существу. Случается ли ему критиковать посредственный перевод какой-нибудь посредственной комедии, он тратит много труда на сличение оригинала с переводом[210]. Он бывает иногда при этом очень зол и способен больно уколоть своего противника. И должно заметить, что, когда он «разносит», он всегда говорит дело. Так разнес он П. Катенина за его перевод «Эсфири» Расина[211] и Шаховского за его «Липецкие воды»[212], в которых Шаховской так неумело хотел высмеять Жуковского.

Все эти статьи, конечно, только первые опыты, которые показывают, что из Бестужева мог выработаться со временем хороший театральный критик.

XXIII

Любовь к журнальной деятельности заставила Александра Александровича еще в юных годах подумать о том, как бы самому стать хозяином журнала.

В 1814 году он просил о разрешении издавать журнал под заглавием «Зимцерла»[213].

В прошении он говорил, что, будучи занят делами по службе, он не мог еще быть известен публике, кроме двух пьес «Дух бури» из Лагарпа и «О состоянии эстонских и ливонских крестьян». Программа журнала была следующая: иностранная и отечественная литература, переводы в стихах и в прозе, сочинения, до всех отраслей гражданских и военных наук касающиеся, стихотворения всех родов поэзии, библиография, критика и смесь.

С.-Петербургский комитет цензуры в своем ответе указывал на то, что Бестужеву всего 20 лет, а программа журнала обширнейшая, а главное, что, «хотя Бестужев обучался многим наукам, но в писанной им программе комитет не без удивления заметил в десяти, не более, строках три ошибки против правописания, что доказывает, по меньшей мере, невнимательность и небрежность Бестужева. Кроме того, – добавлял комитет, – его статьи не отличаются ни чистотой слога, ни правильностью языка. Наконец, нужно принять во внимание и то обстоятельство, что служба может отвлекать Бестужева, и журнал скоро прекратится, и публика будет обманута».

Попечитель округа С. Уваров полагал, однако, дозволить журнал, так как предварительное его запрещение «было бы стеснением охоты к ученым и может быть очень полезным для публики сего рода занятием».

Главное училищное правление положило, наконец, резолюцию, что издание должно быть еще на несколько времени удержано, когда издатель успеет приобрести трудами своими более известности в ученой публике[214].

Так и кончилась эта первая попытка – для Бестужева не совсем приятно.

Через три года, однако, он был уже редактором прославленной «Полярной звезды»[215]. Вместе с К.Ф. Рылеевым работал он над этим литературным изданием в продолжение трех лет, отдавая ему почти все свое свободное время. При издании имелась в виду не одна забава публики. Издатели хотели, чтобы их альманах, не пугая светских людей ученостью, «пробрался на камины, на столики и, может быть, на дамские туалеты и под изголовья красавиц»[216]. Цель была достигнута. «Звезда блуждала по красавицам и не возвращалась домой», а сотрудники и издатели получили, кроме того, хорошее вознаграждение (Рылеев и Бестужев чистого дохода 2000 ассигнациями).

Но издателям удалось достигнуть и кое-чего большего. Их альманах стал образцом изящного вкуса. Все самые видные литераторы, поэты и романисты приняли в нем участие и дали, по крайней мере, в первую книгу, действительно «образцы» своего творчества. Успех издания был поразительный. Менее нежели в неделю было продано 600 экземпляров[217], а в три недели раскуплено 1500 экземпляров – «единственный пример в русской литературе, ибо, исключая «Историю Государства Российского», ни одна книга и ни один журнал не имели подобного успеха»[218]. «Издатели имели счастье поднести по экземпляру «Звезды» Их Величествам Государыням Императрицам и удостоились Высочайшего внимания. К.Ф. Рылеев получил два бриллиантовых перстня, а А.А. Бестужев золотую прекрасной работы табакерку и бриллиантовый перстень»[219].

Журналы встретили Альманах также очень сочувственно. «Северный архив» поздравил его с прочным существованием не в лавках книгопродавцев, но в библиотеках истинных любителей отечественной литературы[220]. «Литературные листки» Булгарина сказали только одну похвалу[221]. «Русский инвалид» приветствовал «Звезду» в особенности за то, что она пойдет в гостиные и туалеты красавиц, потому что дамы и высший свет мало образованны[222]. Более строго отозвался «Московский телеграф», и этот отзыв в кружке Бестужева был сочтен за злобный[223].

Вообще все остались довольны альманахом, кто его стихами, кто прозой, кто критикой, а некоторые всем вместе. Довольство иных доходило до желания встретить восход этой «Звезды» подобающим стихотворением[224].

Когда в 1825 году она закатилась, о ней искренно жалели[226], а сам издатель унес с собой в ссылку благодарное и грустное о ней воспоминание. «Небо здесь еще бледнее, – писал он из Якутска матери. – Я пользуюсь здесь соседством большой небесной медведицы, старой своей знакомой; в хвосте ее по-прежнему сверкает Полярная звезда, и порой лучи ее сыплются на бумагу»[227].

И звезда эта справедливо могла служить ему и утешением, и одобрением. Она напоминала Бестужеву о большой литературной победе. Под ее знаменем он решился впервые выступить в серьезной и ответственной роли судьи над художественным творчеством своих современников.

XXIV

Роль литературного критика, руководителя и законодателя «изящного вкуса» давно улыбалась Бестужеву. Он был очень высокого мнения о значении этого «вкуса» в деле нравственного и общественного развития. Еще в самом начале своей литературной карьеры он прочел в Собрании вольного общества любителей словесности, наук и художеств реферат на тему «О вкусе». Реферат был пересказом чужих мыслей, но выражал его собственные взгляды[228].

«Образовать и очистить вкус есть важное государственное дело, предлежащее целому народу, – говорил Бестужев, повторяя слова известного тогда эстетика Сульцера. – Вкус, бесспорно, влияет на нравственность, хотя некоторые люди, исполненные вкуса, предаются порокам. Физически прекрасное ведет нас к нравственно прекрасному. Разум, вкус и то, что Шафтсбури и Гутчесон называют моральными чувствами, суть одни и те же способности. Магическая сила музыки и поэзии раскрывает невинные сердца дружеству, состраданию, всем кротким чувствованиям, и вкус есть верный вождь ко всему изящному. Сколь благополучен человек с изящным вкусом! Он при источнике чистейших, невиннейших удовольствий. Вся природа – его наследие. Вкус разливает некоторую лесть на все поступки человека. Истинный вкус украшает нрав человека и делает душу его доступнее к ощущениям всего благого и великого». Эти мысли, тогда очень ходкие, попадаются часто во всех статьях Бестужева, и всегда эстетическое и этическое суждения являются у него тесно друг с другом связанными. Так, например, он охотно соглашается с мнением какого-то англичанина, что поэзия, «наречие страстей или воспламененного воображения, заключенное в известных размерах, нравясь и пленяя, дает наставление и исправляет людей»[229].

Он даже убежден, что «безнравственник может написать прекрасную статью об электричестве, о хозяйстве; но поэма, высокий роман и история личин не знают»[230].

Иногда при разборе текущих явлений литературы Бестужев совсем покидал всякую эстетическую точку зрения и прямо переходил к разбору моральных идей, заключенных в разбираемом произведении. Когда, например, у нас были переведены повести для юношества Коцебу – автора очень тогда популярного, о котором можно было сказать много интересного, – Бестужев обрушился на эти повести, недовольный именно их моралью. «Юношам, – говорил он, – нужно преподносить самую чистую мораль, хотя бы и сухую. А вся мораль Коцебу – утилитарна: “не пренебрегай безделицами, ибо от них в свете зависят важные вещи”. Опасно юношам прививать плевелы человеконенавидения. Не нужно людей показывать черными. Зачем твердить им: мудрецы были чудаки, а великие люди – эгоисты. Кто вырос под туманом подобных мнений, тот никогда не вспыхнет душой при имени правды и отчизны»[231].

Понятно, что при таком публицистическом взгляде на текущие явления словесности и при укоренившемся убеждении, что мораль и вкус теснейшим образом друг с другом связаны, наш автор смотрел на критику как на одно из лучших орудий нравственного воздействия на ближнего.

«Критика – краеугольный камень литературы, литература – выражение господствующего “вкуса” в обществе, а вкус синоним личной и государственной морали», – рассуждал наш моралист, и потому не упускал случая где только было возможно показать свою критическую сноровку. «Как жаль, – говорил он, – что нет критики на все, что выходит из-под печатного станка. Публика – дама: она любит, чтобы ее водили под ручку… Что касается меня, то при каждом нашествии на русский Парнас я буду кричать, как гусь капитолийский, чтобы разбудить Манлиев и Дециев»[232].

И он исполнил свое обещание: он, действительно, кричал иногда, как гусь – громче всех остальных; Манлиев и Дециев он, конечно, не разбудил, но уколол самолюбие многих и обнаруживал подчас очень драчливые аллюры[233].

В выражениях Бестужев не стеснялся: обругать противника «нетопырем, гнездящимся в развалинах вкуса»[235], поднять кого-нибудь на смех игриво, но вместе с тем очень обидно[236], подразнить какого-нибудь автора и затем спокойно смотреть, как он и его близкие начнут петушиться[237], или в притворно серьезной форме рассуждения начать говорить о том, что такое глупцы, насколько степень благоразумия правительства высказывается снисхождением оного к глупцам и бездельникам, что такое дураки и плуты в политическом обществе[238] – на все Бестужев был мастер, и все это производило в то время большое впечатление.

Конечно, для самого критика не было тайной, что он часто тратит свои силы по пустякам. Он понимал, что критика не должна заниматься мелочами и не должна обнаруживать дурного тона, он признавал даже, что для обуздания своевольного языка, который много болтает при своевольстве свободного тиснения – нужна цензура[239], но вместе с тем он знал, что ему самому не обойтись без мелочей и без злоязычия в своих статьях ввиду мелочности самой русской словесности; и не без оснований он думал, что, в общем, и эти пустяки могут оказать на читателя свое хорошее влияние.

В публицистическом очерке «Поездка в Ревель» Бестужев рассказывает, как на одной станции, за чашкой соленого шоколада, он на эту тему беседовал со своим братом.

– Почему, – спрашивал его брат, – ты изощряешь шестое твое чувство, то есть вкус эстетический, на разных мелочах?

– Во-первых, потому, – отвечал ему автор, – что не надеюсь на свои силы... Притом лень, рассеянье и служба; наконец, о лучших писателях мнение публики уже установилось. Когда же я вижу людей, из коих одни хотят пробить дверь славы медным лбом самохвальства, а другие проползти к ней в замочную скважину – кровь моя кипит, и в зеркале критики Мидас любуется своими ушами, которых бы он не увидел иначе. У нас литературное имя можно подчас купить и завтраками, и молодые люди, начинающие писать, могут обольститься ложным блеском, и тогда – прощай образованность. Я знаю, что многие обрекли меня на остракизм, не читавши... благодаря критике, мне часто приписывают честь авторства всех безымянных глупостей Петербурга; наконец, вижу, что многие особы из прекрасного пола понаслышке разделяют мнения о моем мнимом злоязычии... Но я ли виноват, что у нас до сих пор слово «критика» значит одно с бранью?..

– Но зачем облекать разборы свои в шуточную одежду и засевать суждения остротами, часто обидными? – спрашивал его собеседник.

– Что делать, – отвечал он, – сухая ученость, не приправленная шутками, никак не понравится юношескому вкусу нашей публики; внимание читателей надобно привлекать, как электричество – остротами... Но, foi d'un journaliste, я обещаюсь исправиться и не обращать рецензий моих в арсенал игрушек!

– А не лучше ли совсем оставить бесплодное поле критики и не критиковать пустяков?

– А я опять повторяю тебе, что кого бы и как бы ни разбирали, все-таки рано, поздно ли, это принесет пользу. В спорах критических образуется вкус, и правила языка принимают твердость... Если пять человек из сотни читающих рассудят о вещи, как должно – намерение выполнено. Критика, как благотворный Нил, разливом своим истребляет вредных насекомых, освежает атмосферу вкуса и плодотворит юные растения, оставляя на полях словесности золотой песок. Критика была и будет краеугольным камнем литературы[240].

XXV

На этом поприще критики, столь важном в его глазах, Бестужев выступал хоть и без систематической подготовки, но с очень разнообразными знаниями. Он проявлял их нередко, и иногда по вопросам довольно специальным. Приходилось ли критиковать книгу ученого Греча, он ставил автору ряд вопросов по истории языка, народного и книжного, по мифологии и древней литературе[241]. При другом случае он рассуждал о языке Несторовой летописи, сравнивал язык «Русской правды» с языком Библии, спорил с Катениным, можно ли найти элементы белорусского наречия в языке «Слова о полку», и попутно показывал, что он знаком и с английской, и с французской, и с испанской литературой[242].

Не страшился Бестужев при случае рецензировать и философские книги. Из его рецензий видно, что он с французской философской литературой XVIII века был слегка знаком, хотя вообще обнаруживал недоверие к новейшим философам. «Философия есть необходимейший предмет для общественного благосостояния, – говорил он, – но чтобы из выжатого уже лимона философии вытиснуть хоть каплю нового, надобно родиться с гением Лейбница и красноречием Платона, а то большая половина философских систем походит на кафтан Дона Ранудо де Коллибрадоса, зачиненный с лица кусками, из спины вырезанными»[243]. Сам Бестужев, конечно, в эту философию не углублялся, но с эстетическими теориями был знаком и рассуждал о Шлегеле, о Блере и о Буттервеке[244].

Как бы отрывочны, иной раз совсем незначительны, ни были все эти рецензии Бестужева, но в них всегда была если не серьезная мысль, то серьезное побуждение. В свое время они были, кроме того, и самыми остроумными, и вполне самостоятельными отзывами. Это их качество было оценено современниками еще прежде, чем наш автор стал систематизировать свои отзывы в целые «Обозрения словесности».

В 1822 году «Вольное общество любителей российской словесности», издававшее «Соревнователь просвещения и благотворения», избрало Александра Александровича цензором библиографии на 1823 год[245]. В этом же году и «Северный архив» в своем анонсе говорил о Бестужеве как о литераторе, «известном своими остроумными критиками». Позднее, когда в «Полярной звезде» начали появляться его «Обозрения», Бестужев стал в ряду первых критиков, и сам Пушкин не отказывал ему в уважении. «Прелестным» называл Пушкин его дарование, когда первый раз писал ему (21 июня 1822 года). «Ты да Вязем-

ский – вы одни можете разгорячить меня» (13 июня 1823 года). «Твои статьи не могут почесться уложением вкуса, – писал Пушкин при другом случае Бестужеву (21 марта 1825 года), – но ты достоин создать критику» (апрель 1825 года)[246].

Бестужев критики не создал, и по самому характеру своего публицистического темперамента и ума вряд ли бы мог ее создать, но он серьезно воспитывал себя для этой работы и в те годы, когда жил на свободе, и потом, в ссылке.

Ход этой работы можно проследить по его трудам с точностью. Помимо летучих критических заметок общего и частного содержания, о которых уже упомянуто, в литературном наследстве Бестужева сохранились отзывы его о памятниках иностранной словесности – очень характерные для определения его критических суждений; сохранились, затем, три больших обозрения русской литературы за 1823–1825 годы, напечатанные в «Полярной звезде»; масса мелких заметок по текущей словесности попадается и в его письмах, а также иногда и в его романах; наконец, ему же принадлежит опыт обозрения чуть ли не всемирной литературы, напечатанный в 1834 году в «Телеграфе».

Попытаемся на основании этих материалов проследить рост критических приемов и взглядов Бестужева, и, прежде всего, обратимся к тем обозрениям русской словесности, которые последовательно, в продолжение трех лет, появлялись на страницах «Полярной звезды».

Первая статья, появившаяся в 1823 году в этом альманахе, была озаглавлена «Взгляд на старую и новую словесность в России».

XXVI

Статья произвела на читателей странное впечатление необычностью своей формы и невыдержанностью своих суждений. Иначе, впрочем, и быть не могло, так как автор поставил себе задачу почти неразрешимую. Он хотел, во-первых, дать очерк всего развития русской литературы с древнейших времен до 1825 года, и притом на нескольких страницах, вследствие чего неизбежно принужден был делать большие пропуски и ограничиваться самыми общими словами. Он хотел, затем, высказать несколько общих соображений о малых успехах русской словесности, о бедности ее содержание и малой самобытности, и, наконец, он желал, насколько возможно, подчеркнуть достоинства и оттенить характерные черты творчества всех писателей, в которых он замечал хоть искорку таланта. Так как в числе этих писателей было много лиц, с ним дружных, и еще больше лиц, которые были ему нужны как сотрудники, настоящие или будущие, его альманаха, то естественно, что в своих критических суждениях о литературной деятельности этих писателей Бестужев был не свободен: он стремился каждому сказать любезность, а в итоге, по его собственному же расчету, должна была получиться картина упадка и несовершенства той самой литературы, над процветанием которой все эти – обласканные автором – писатели трудились. Противоречия становились неизбежны.

Полного очерка развития русской литературы с древнейших времен Бестужев, конечно, не дал. Упомянув очень глухо об образовании русского языка и об его связи со старославянским, указав на политические препоны, которые замедлили ход просвещения и успехи словесности в России, посвятив два сухих слова летописям и «Русской правде» и несколько цветистых и теплых слов песне о полку Игореве, критик «одним шагом переступает расстояние пяти столетий» и начинает говорить о петровском и об екатерининском времени. Вместо того чтобы дать общую картину литературных течений этого времени, он пытается охарактеризовать творчество отдельных писателей, и, так как характеристика писателей без яркой писательской физиономии дело очень трудное, то он и стремится красивыми оборотами речи заменить точность определений.

«Подобно северному сиянию с берегов Ледовитого моря, гений Ломоносова озарил полночь. Бездарный Тредьяковский пресмыкался, как муравей, и оставил в себе пример трудолюбия и безвкусия… Сумароков был отцом нашего театра, но теперь прежние венки его вянут и облетают… Херасков писал плавными стихами, хотя кудряво и пространно. Богданович, поэт милый и добродушный, разнообразен подобно Протею… В баснях Хемницера гениальная небрежность составляет прелесть, которой нельзя подражать и которой не должно в нем исправлять… Фонвизин в своих комедиях в высочайшей степени умел схватить черты народности и, подобно Сервантесу, привесть в игру мелкие страсти деревенского дворянства… Наконец, к славе народа и века явился Державин. Лирик-философ, он нашел искусство с улыбкою говорить царям истину и открыл тайну возвышать души. Его слог неуловим, как молния, роскошен, как природа. Но часто восторг его упреждал в полете правила языка, и с красотами вырывались ошибки. На закате жизни Державин написал несколько пьес слабых, но и в них мелькают искры гения. Так драгоценный алмаз долго еще горит во тьме, будучи напоен лучом солнечным; так курится под снежной корой трехклиматный Везувий после извержения, и путник в густом дыме его видит предтечу новой бури. Между тем блеснул Карамзин на горизонте прозы, подобно радуге после потопа. Он двинул счастливой новизной ржавые колеса механизма русского языка и дал ему народное лицо. Время рассудит Карамзина как историка (!), но долг правды и благодарности современников венчает сего красноречивого писателя… Бобров изобилен сильными мыслями и

резкими изображениями. Князь Долгорукий отличен свободным рассказом и непринужденною веселостью. Муравьев писал мужественною, чистою, Подшивалов – безыскусственною прозою. Макаров острыми критиками своими оказал значительную услугу словесности... Унылая поэзия Востокова дышит философией и глубоким чувством... Пнин с дарованием соединял высокие чувства поэта... Измайлов избрал для предмета сказок низший класс общества, и со временем будет иметь в своем роде большую цену, как верный историк сего класса народа... Шишков сильно и справедливо восстал против новизны слезлистых полурусских иеремиад... Стихи Шатрова полны резких мыслей и чувств. Князь Шихматов имеет созерцательный дух и плавность в элегических стихотворениях и т. д.

Сборник таких сентенций отнюдь не может назваться критикой; у автора нет никакого критического масштаба; он не различает ни школ, ни направлений в словесности – он лишь кое-где, как, например, в своих отзывах об Измайлове и Фонвизине, верно схватывает основной мотив творчества поэта, но зато тут же, рядом с такими оригинальными писателями ставит совсем бледных и второстепенных, почти не различая степени их силы и своеобразности.

Бестужев, в общем столь чуткий к красоте и столь ценящий самобытность в художнике – как будто в данном случае совсем не пользуется этим своим даром, и легко догадаться, почему. Он хочет быть не столько критиком, сколько историком: он пишет историческое обозрение, а не критическую статью, и, выполняя это обозрение, он стремится сдержать свои личные вкусы. Таким образом, все эти страницы Бестужева, при всей пустоте их содержания, имеют свое значение как первый опыт исторического обозрения нашей словесности.

Эти же критические промахи повторил Бестужев и во второй части своей статьи, где ему пришлось говорить о писателях XIX века, о своих современниках. Ему удалась только характеристика поэзии Крылова и Жуковского; об остальных пришлось ему опять говорить языком, ничего не говорящим.

За басней Крылова Бестужев признал оригинально-классическое достоинство, отметил ее простодушие, народность ее языка и ее русский здравый ум: он пожалел также о том, что Крылов мало писал для театра, так как при своем знании нравов русских он мог бы придать нашей комедии истинно народные черты.

В оценке Жуковского критик проявил большое беспристрастие. Свою нелюбовь к Жуковскому как к человеку он скрыл и старался понять поэта, и то, что он сказал о нем, было потом почти дословно повторено и развито Белинским в его известной характеристике «романтизма».

«Кто не увлекался мечтательной поэзией Жуковского, чарующего столь сладостными звуками? – спрашивал Бестужев. – Есть время в жизни, в которое избыток неизъяснимых чувств волнует грудь нашу; душа жаждет излиться и не находит вещественных знаков для выражения; в стихах Жуковского, будто сквозь сон, мы, как знакомых, встречаем олицетворенными свои призраки, воскресшим былое. Намагниченное железо клонится к безвестному полюсу, его воображение к таинственному идеалу чего-то прекрасного, но неосязаемого, и сия отвлеченность проливает на все его произведения особенную привлекательность. Душа читателя потрясается чувством унылым, но невыразимо приятным. Можно заметить только, что он дал многим из своих творений германский колорит, сходящий иногда в мистику, и вообще наклонность к чудесному; но что значат сии бездельные недостатки во вдохновенном певце 1812 года?»

Эта характеристика единственная более или менее подробная и верная в очерке Бестужева; остальные опять голословны. Поэзия Батюшкова подобна резвому водомету, который то ниспадает мерно, то плещется с ветерком. Тонкая нега и страстное упоение любви попеременно одушевляют его и, как электричество, сообщаются душе читателя. Сами грации натирали краски, эстетический вкус водил пером его... Пушкин – новый Протей – похитил небесный огонь и, обладая оным, своенравно играет сердцами. Каждая пьеса его ознаменована оригинальностью: после чтения каждой остается что-нибудь в памяти или в чувстве. Мысли Пушкина остры, смелы, огнисты; язык светел и правилен... Остроумный князь Вяземский щедро сыплет сравнения и насмешки. Почти каждый стих его может служить пословицей, ибо каждый заключает в себе мысль. Он творит новые, облагораживает народные слова и любит блистать неожиданностью выражений... В Гнедиче виден дух творческий и душа воспламеняемая, доступная всему высокому... В сочинениях Ф. Глинки отсвечивается ясная его душа: стихи его благоухают нравственностью... Амазонская муза Давыдова говорит откровенным наречием воинов, любит беседы вокруг пламени бивуака и с улыбкой рыщет по полю смерти. Баратынский нравится новостью оборотов; его мысли не величественны, но очень милы. Во многих безделках виден развивающийся дар; некоторые из них похищены, как кажется, из альбома граций... Воейков – поэт, вдохновенный умом, а не воображением... Притчи Остолопова оригинальны резкостью и правдою нравоучений... Родзянко, беспечный певец красоты и забавы: он пишет не много, но легко и приятно... В. Пушкин отличен вежливым, тонким вкусом, рассказом природным и плавностью... Стихи Плетнева можно уподобить гармонике... Дельвиг одарен талантом вымысла; но, пристрастясь к германскому эмпиризму (?) и древним формам, нередко вдается в отвлеченность. В безделках его видна ненарумяненная природа... Полуразвернувшиеся розы стихотворений М. Дмитриева обещают в нем образованного поэта... Филимонов вложил много ума и нравственности в свои произведения... Южаков в безделках своих разбросал цветки светской философии... Козлов, поэт-слепец, пишет мило и трогательно; и так далее в таком же роде...

Страницы, посвященные развитию театра и прозы, писаны в этом же стиле с тою только разницей, что критик смотрит весьма нерадостно на эти области русского словесного творчества. Русский театр бесплодное поле, а русская проза – степь. Безлюдье этой степи доказывает младенчество нашего просвещения. У нас множество стихотворцев и почти вовсе нет прозаиков, потому что гремушка занимает детей прежде циркуля: стихи, как лесть слуху, сносимы даже самые посредственные. Для настоящей прозы мы еще не доросли и, обладая неразработанными сокровищами слова, мы, подобно первобытным американцам, меняем золото оного на блестящие заморские безделки…

Суждение Бестужева правильно; но странно после этой общей характеристики читать такие отзывы об отдельных писателях: резким пером Каченовского владеет язык чистый и важный; исторические и критические статьи его дельны, умны и замысловаты… Слог переводов В. Измайлова цветист и правилен. Броневский привлекает внимание разнообразием предметов, слогом цветущим, быстротой рассказа… Греч соединяет в себе остроту и тонкость разума с отличным знанием языка. На пламени его критической лампы не один литературный турнир опалил свои крылья. Русское слово обязано ему новыми грамматическими началами… Булгарин, литератор польский, пишет на языке нашем с особенной занимательностью, он глядит на предметы с совершенно новой стороны, излагает мысли свои с какою-то военной искренностью и правдой, без пестроты, без игры слов; обладая вкусом разборчивым и оригинальным, который не увлекается даже пылкой молодостью чувств, поражая незаимствованными формами слога, он, конечно, станет в ряд светских наших писателей… Прямой неровный слог Головнина имеет большее достоинство… Слог Свиньина небрежен, но выразителен… Нарежный в «Славянских вечерах» своих разбросал дикие цветы северной поэзии. Впрочем, проза его слишком мерна и однозвучна… Д. Княжевич пишет мило, умно и правильно…

Читая все эти почетные дипломы, не понимаешь, как они вяжутся со взглядами автора на отсутствие у нас настоящей прозы, да и вообще, вникая во всю эту статью, уснащенную комплиментами, видишь полное несовпадение ее основной мысли о нашей литературной незрелости с тем, что автор говорит об отдельных работниках на литературной ниве. Автор, по-видимому, не свободный в своей оценке, – сам не пожелал заметить этого противоречия и в заключение своей статьи подчеркнул еще раз свои основные положения: «В сей картине, – говорил он, – читатели увидят, в каком бедном отношении находится число оригинальных писателей к числу пишущих, а число дельных произведений к количеству оных».

Какие же тому причины? – спрашивает он.

Перечень этих причин у Бестужева крайне характерен, до того произвольно они подобраны и сопоставлены: рядом с весьма важными стоят совершенно ничтожные.

«Причина малого процветания словесности, – говорит автор, – необъятность Империи. Эта необъятность препятствует сосредоточиванию мнений и замедляет образование вкуса публики. Университеты, гимназии, лицеи, институты и училища разливают свет наук, но составляют самую малую часть в отношении к многолюдству России. Недостаток хороших учителей, дороговизна книг и малое число журналов не позволяют проницать просвещению в уезды, а в столицах содержать детей не каждый в состоянии. Феодальная умонаклонность многих дворян усугубляет сии препоны… В столицах одни презирают науки, другие не хотят учить своих детей. В столицах рассеяние и страсть к мелочам занимают юношей, никто не посвящает себя безвыгодному и бессеребряному ремеслу писателя, и – к чести военного звания – должно сказать, что молодые офицеры наиболее, в сравнении с другими, основательно учатся… В отношении к писателям должно заметить, что многие из них сотворили себе школы, коих упрямство препятствует усовершенствованию слова; другие не дорожат общим мнением, и на похвалах своих приятелей засыпают беспробудным сном золотой посредственности».

Но главнейшая причина, по мнению Бестужева, есть изгнание родного языка из общества и равнодушие прекрасного пола (?!) ко всему, на оном писанному. «Чего нельзя совершить, дабы заслужить благосклонный взор красавицы? – спрашивает Бестужев, выходя из роли критика и впадая в тон светской болтовни. – Одна улыбка женщины умной и просвещенной награждает все труды и жертвы! У нас почти не существует сего очарования, и вам, прелестные мои соотечественницы, жалуются музы на вас самих».

«Но утешимся, – кончает Бестужев свою статью. – Вкус публики, как подземный ключ, стремится к вышине. Новое поколение людей начинает чувствовать прелесть языка родного и в себе силу образовать его. Время невидимо сеет просвещение, и туман, лежащий теперь на поле русской словесности, хотя мешает побегу, но дает большую твердость колосьям и обещает богатую жатву. («Взгляд на старую и новую словесность в России». – «Полярная звезда», 1823, с. 1–44).

Эта статья Бестужева, которая кажется нам теперь столь незначительной, которая вся – «общие места или перечень писателей без определения их относительного значения», статья, в которой «внешняя форма выражения скрывает внутреннюю пустоту», в свое время произвела жестокие литературные прения и стала «яблоком раздора на Парнасе».

Чтобы увидать, как нетребователен был тогда читатель, достаточно привести несколько отзывов, которыми эта статья была тогда встречена в печати. «Взгляд» Бестужева был принят как весьма серьезная работа. Автору выговаривали, правда, за то, что он увлекся сравнениями, и не соглашались с его решительными

и краткими приговорами. «Бестужев выражается кратко, сильно, – писал один обозреватель, – но неровно. В нем много остроты, которая часто показывается изысканною. Он до пристрастия любит игру слов. В украшениях его слога нередко вырывается что-то слишком молодое и затейливое, – но зато он смотрит на все своими глазами, сам мыслит, и он очень зорок, что доказывается, например, его рассуждениями о причинах упадка нашей литературы»[247].

Почти то же самое говорили и другие. В «Вестнике Европы» к Бестужеву отнеслись всего строже: напали на его слог, указали на некоторые пропуски, но оттенили его остроумную, колкую, иногда бранчивую критику[248]. Особенным нападкам подвергся его слог. Читатель никак не хотел простить Бестужеву, что по его терминологии «язык может быть изломан, светел, разрывчат, плавок, несправедлив, развязан, звонок, решителен, картинен, упрям, вселичный, обжившийся в обществе, кипящий мыслями, а слог – сердечен, тяжел, неуловим, внезапен, замысловат, стихи – стопованы, беглы, заржавлены» и так далее[249].

Всего резче отозвался о статье Бестужева Карамзин. «Обозрение русской литературы, – писал он Дмитриеву, – написано как бы на смех, хотя автор и не без таланта, кажется»[250].

А. Измайлов писал по поводу этой статьи: «Какое пристрастие и неосновательность в суждениях о новейших наших писателях, и каким шутовским языком все это написано под руководством временных заседателей нашего Парнаса!»[251]

Бестужев не остался равнодушен ко всем этим отзывам. В длинной статье он сам пояснил, какие он себе ставил цели, когда сочинял ее. Недоброжелательные отзывы он объяснял себе как продукт раздражения читателей на него за то, что он, в его годы, посмел рассуждать вслух; кое-какие замечания о своем слоге он принял к сведению; «никакому порядку в своей статье я не следовал, – говорил он, – потому что Пантеон не рота и ранжировать поэтов значило бы повторять анекдот капрала, который тесаком выровнял органы под рост». «Меня укоряют в неологизмах, – продолжал он, – но если бы посудили, что я должен был избегать своих повторений и встречи с русскими и чужеземными писателями характеристик, что я разрабатывал тощее однообразное поле и потому редко писал по вдохновению, что я принужден был писать коротко, ново и странно, чтоб быть понятым, – то, конечно, простили бы мне многое», – и Бестужев, слегка рассерженный, прощался с читателем аррогантными словами: «Извините, – говорил он, – что скоро оканчиваю – мне пора на дежурство»[252].

Год спустя после того, как этот «Взгляд» был написан, в «Полярной звезде» на 1824 год Бестужев опять принялся за «перебор всех наших писателей», как выражался Греч[253], и опять впал в те же ошибки.

Свою вторую статью, озаглавленную «Взгляд на русскую словесность в течение 1823 года», критик начинает опять своей излюбленной мыслью о современном оцепенении русской словесности. «У нас был, – говорит он, – период расцвета литературы в великую эпоху 12 года, но политическая буря утихла; укротился и энтузиазм. Отдохновение после сильных ощущений обратилось в ленивую привычку; непостоянная публика приняла вкус ко всему отечественному, как чувство, и бросило его, как моду. Войска возвратились с лаврами на челе, но с французскими фразами на устах, и затаившаяся страсть к галлицизмам захватила вдруг все состояния сильней, чем когда-либо. Следствием этого было совершенное охлаждение лучшей части общества к родному языку и поэтам, начинавшим возникать в это время, и, наконец, совершенное оцепенение словесности в прошедшем году... Так гаснет лампада без течения воздуха; так заглушается дарование без одобрений...»

И вот, после этой вступительной речи приступая к обзору литературных новинок, автор вновь начинает сбивать с толку своего читателя... Оказывается, что в этом «бедном» году Броневский и Муравьев-Апостол написали книги, заслуживающие во всех отношениях внимания европейцев; Булгарин дал свежий и разнообразный, быстрый и новый рассказ об Испании; Мерзляков блистал убеждением, силой и красотой; Греч развернул совершенно новые и ближайшие к природе русского языка начала; Глинка написал «Русскую историю», достойную быть ручной книжкой в семействах; Загоскин сочинил хорошие комедии; Шаховской – даже высокую комедию, не говоря уже о Карамзине, у которого совершенство слога и сила чувств от прекрасного начала шли все выше и выше, как орел, устремляющийся с вершины гор в небо... Впрочем, удивляться нечего, добавлял Бестужев: шагаем мы необычайно быстро. Ученики пишут теперь таким слогом, которого самые гении сперва редко добывали, и, теряя в численности творений, мы выигрываем в чистоте слога.

«Один недостаток: у нас мало творческих мыслей, – заканчивает свою статью Бестужев. – Язык наш можно уподобить прекрасному усыпленному младенцу: он лепечет сквозь сон гармонические звуки или стонет о чем-то, но луч мысли редко блуждает по его лицу. Это младенец, но младенец Алкид, который в колыбели еще удушал змей!»

«В вашей литературной статье много хорошего, – писал князь П.А. Вяземский Бестужеву по поводу этого “Взгляда”, – но опять та же выисканность и какая-то аффектация в выражениях. Вы не свободны и подчиняете себя побочным условиям, околичностям. Кому же не быть независимым, как не нам, которые пишут из побуждений благородного честолюбия, бескорыстной потребности души? Достоинство писателя у нас упадает с каждым днем, и если новому числу избранных не поддержать его, то литература сделается

какою-то казенною службою, полицейским штатом или, и того хуже – каким-то отделением министерства просвещения. Независимость – вот власть, которой должны мы служить верой и правдой. Без нее нет писателю спасения: и ум, и сердце его, и чернила – все без нее заплесневеет»[254].

Этот дружеский, но суровый выговор подействовал. Год спустя в третьей книжке «Полярной звезды» на 1825 год Бестужев решился еще раз попытать свои силы как обозреватель русской словесности. Эта третья статья «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов» была более серьезна, чем предыдущая, и тон ее был более строгий. Но в общем и она говорила о неустойчивости критических вкусов и приемов автора.

Статья начиналась опять с отрицания русской словесности. «У нас нет литературы», – говорил Бестужев; но тотчас же, как добрый патриот, он стал думать, чем бы возместить этот недостаток. «Если нет литературы, – утверждал он, – зато у нас есть критика: мы пресытились, не вкушая, мы в ребячестве стали брюзгливыми стариками. Почему это? Во-первых, потому, что мы воспитаны иноземцами, мы всосали с молоком безнародность и удивление только к чужому. К довершению несчастия, мы выросли на одной французской литературе, вовсе не сходной с нравом русского народа, ни с духом русского языка, и к тому же мы слишком бесстрастны и слишком ленивы и недовольно просвещены, чтобы и в чужих авторах видеть все высокое, оценить все великое; мы выбираем себе авторов по плечу. Мы только начинаем чувствовать и мыслить, но ощупью. Жизнь необходимо требует движения, а развивающийся ум – дела; он хочет шевелиться, когда не может летать, но, не занятый политикой, – весьма естественно, что деятельность его хватается за все, что попадется, а как источники нашего ума очень мелки для занятий важнейших, мудрено ли, что он кинулся в кумовство и пересуды... и критика, единственное, что у нас есть, и она недалеко ушла в основательности и приличии. Она ударилась в сатиру, в частности, и более в забаву, чем в пользу. И как было бы желательно, чтобы критика эта отвергла все личности, все частности, все расчетные виды, чтобы она не корпела над запятыми и имела бы взор более общий, правила более стихийные. Лица и случайности проходят, но народы и стихии остаются вечно...

Но отчего же у нас нет гениев и мало талантов литературных? Говорят, что от недостатка ободрения. Слава Богу, что нет такого ободрения. Истинные таланты в нем не нуждаются. Скорбь есть зародыш мыслей, уединение их горнило, и пусть таланты страдают в жизни. Истинного поэта зовет уединение, душа его просит природы; богатое неисчерпанное лоно старины и мощного свежего языка перед ним расступается: вот стихия поэта, вот колыбель гения. Нет, литературы у нас нет потому, что у нас нет воспитания. Мы учимся припеваючи, и оттого навсегда теряем способность и охоту к дельным, к долгим занятиям. При самых счастливых дарованиях мы едва имеем время на лету схватить отдельные мысли; но связывать, располагать, обдумывать расположенное не было у нас ни в случае, ни в привычке. Сколько людей, которые бы могли прославить делом или словом отечество, гибнут, дремля душой в вихре модного ничтожества, мелькают по земле, как пролетная тень облака? Да и что в прозаическом нашем быту, на безлюдье сильных характеров, может разбудить душу, что заставит себя почувствовать? Наша жизнь – бестенная китайская живопись, наш свет – гроб повапленный! Так ли жили настоящие просветители народов? Не общество увлекло, но они повлекли за собой общества. Римлянин Альфьери, неизмеримый Байрон сбросили с себя золотые цепи фортуны, презрели всеми заманками большого света – зато целый свет под ними и вечный день славы их наследие!

Но, кроме пороков воспитания, кроме затейливого однообразия жизни нашей – нас одолела страсть к подражанию. Было время, что мы невпопад вздыхали по-стерновски, потом любезничали по-французски, теперь залетели в тридевятую даль по-немецки. Когда же попадем мы в свою колею? Когда будем писать прямо по-русски. Творения знаменитых писателей должны быть только мерой достоинства наших творений...

Я мог бы яснее и подробнее исследовать сказанные причины, – заключает свое отрывочное введение автор, – я бы должен был присовокупить к ним и раннее убаюкивание талантов излишними похвалами или чрезмерным самолюбием...»

Всякий согласится, что причины застоя русской литературы указаны в этих кратких словах очень метко. Отсутствие серьезных общественных вопросов в жизни повело к измельчанию литературы, которая поневоле должна была питаться иноземным. Публицист взял в Бестужеве верх над критиком, и если бы он действительно «яснее и подробнее исследовал причины» упадка, его статья много бы выиграла в силе и оригинальности.

Но невозможность ли выразиться яснее или неохота глубже вникнуть в вопрос заставили его от этого краткого введения перейти к разбору самих памятников текущей словесности, и из сурового критика он опять превратился в любезного патриота, хотя уже не столь беспечного в раздаче похвальных листов и дипломов.

Похвалил он очень Карамзина за последние тома его истории, признал повести Нарежного, хотя и со справедливой оговоркой, похвалил правильно несколько ученых сочинений, затем перешел к поэзии, где отметил со смыслом поэтические красоты таких произведений, как «Орлеанская дева» Жуковского, «Бахчисарайский фонтан», «Онегин» и «Цыгане» (которые ему больше всего понравились), благодарил Крылова, Гнедича и Козлова, ругнул какого-то Покровского и Олина, но не удержался и сказал, что в «Ночах на гробах» Шихматова «в облаке отвлеченных понятий заключаются многие красоты поэтические, подобно искрам золота, вкрапленным в темный гранит...»

Русский театр текущего года, в общем, ему не понравился, но все погрешности сцены искуплены рукописной комедией Грибоедова «Горе от ума». Она – «феномен, какого не видали мы от времен «Недоросля». Толпа характеров, обрисованных смело и резко; живая картина московских нравов, душа в чувствованиях, ум и остроумие в речах, невиданная доселе беглость и природа разговорного русского языка в стихах, – все это завлекает, поражает, приковывает внимание. Человек с сердцем не прочтет ее, не смеявшись, не тронувшись до слез. Будущее поставит эту комедию в число первых творений народных».

К альманахам текущего года, к своим конкурентам по «Полярной звезде», Бестужев отнесся также справедливо и строго; он осудил «нетерпеливую наклонность времени не только мало писать, но и мало читать», высказал сожаление, что пример «Полярной звезды» породил столько подражаний и – совсем несправедливо ругнул князя Одоевского за его страсть писать теории, опровергаемые на практике, за его диктаторский тон и опрометчивость в суждениях. Довольно верно и беспристрастно оценил достоинства других альманахов: «Русской Талии» Булгарина, «Русской старины» Корниловича и «Северных цветов» Дельвига. Любопытно, что, говоря о критической статье Плетнева, которая была помещена в «Северных цветах», он, как бы отрекаясь от собственных недавних грехов, ставит критику в вину его чрезмерную снисходительность. «Мне кажется, – говорит он, – что г-н Плетнев не совсем прав, расточая в обозрении полной рукой похвалы всем и уверяя некоторых поэтов, что они не умрут потому только, что живы». Остроумно! Но как подходит это к словам самого Бестужева в его недавних «Взглядах»!

Статья Бестужева кончается обзором периодической печати: тон этих заключительных слов, местами очень мягкий, местами остроумный, показывает желание автора как можно легче задеть наших журналистов. Колкости сказаны только по адресу «Вестника Европы» и «Телеграфа», с которым Бестужев впоследствии был так дружен. «В Москве явился двухнедельный журнал “Телеграф”, издаваемый господином Полевым, – писал в заключение своей статьи Бестужев. – Он заключает в себе все, извещает и судит обо всем, начиная от бесконечно малых в математике до петушьих гребешков в соусе или до бантиков на новомодных башмачках. Неровный слог, самоуверенность в суждениях, резкий тон в приговорах, везде охота учить и частое пристрастие – вот знаки сего телеграфа, а “смелым владеет Бог” – его девиз»[255].

Статья заканчивается, впрочем, комплиментом по адресу русских журналистов, журналы которых вряд ли уступают иностранным, так как во Франции нет ни одного сносного журнала (кроме «Revue Encyclopedique»), а немцы уже давно живут только переводами из журнала господина Ольдекопа (?!)[256].

Таков ход мысли в трех главных критических статьях Бестужева. Недостатки их бросаются в глаза сразу. В них нет ни плана, ни руководящей мысли; в них нет ни признака какого-нибудь определенного эстетического масштаба, не только философского, но даже просто литературного. Автор составляет для публики докладную записку о всех вышедших произведениях русской словесности, стараясь показать товар лицом и набивая иногда непомерно цену самых посредственных произведений.

Но при этих крупных для критика недостатках в статьях Бестужева есть достоинства, и для своего времени даже большие. Во-первых, статьи самостоятельны по мысли; в них нет применения каких-либо извне заимствованных «правил» к текущим новинкам русской словесности: автор мыслит сам; излагает свои мысли несистематично, разбросанно, но все эти мысли – живые мысли. Живо в Бестужеве и эстетическое чувство, которое всегда прорывается наружу, когда автор не связан обязанностью говорить комплименты.

Но главное значение имела публицистическая тенденция, столь сильная в статье Бестужева. Он первый обратил внимание читателя на связь литературы и жизни и причину расцвета или упадка искусства искал в общественных условиях, при которых оно развивалось. Никто до него не говорил так много правды о нашем жалком общественном положении, о малой серьезности нашей интеллигентной жизни, о недостатках общественного воспитания, о малом биении гражданского пульса, об узости классовых интересов – вообще обо всех недочетах той среды, где литература должна расти и крепнуть. Бестужев всеми силами своего сердца любил нашу робкую литературу, только начинавшую пускать первые ростки, любил больше, чем пышную литературу Запада, и он очень скорбел, что эта молодая литература так не соответствует богатству душевных сил, которые он угадывал в родном народе. Эта скорбь приводила его к мысли о необходимости способствовать росту «народности» в литературе, росту народных, самобытных черт, без которых литература не имеет своей физиономии. В этом смысле Бестужев примыкал ко всем своим сверстникам, которые первым условием расцвета искусства ставили его «народность».

XXVII

Мысль о «народности» особенно настойчиво тревожила Бестужева. «Отчего наша литература так бедна? – спрашивал он себя. – Почему в ней так мало «народности»[259], и как бы сделать так, чтобы она не жила на чужой счет?». В зависимости от этой главной мысли находятся и все те суждения, какие Бестужев высказывает при случае о памятниках литературы иностранной и отечественной.

Бестужев не обладал большой начитанностью в памятниках литературы иностранной и всю жизнь, насколько мог, пополнял свое образование. Он знал хорошо французскую словесность, хотя имел осно-

вание на нее сердиться. «Слишком много пострадала от этой словесности наша русская оригинальность, – рассуждал он, – и слишком много слепков парижского мира завелось в России!». «Но нет худа без добра, – утешал он себя. – Мы начали с французской ветрености, но скоро перешли к их просвещению; мы стали мыслить, желая научиться болтать, и чтение, принятое в привычку, как мода, обратилось в нравственную нужду. Познания вкрадывались – и скоро многие русские захотели быть европейцами не по одному имени и поехали в те места учиться, где сражались. Их братцы пустились туда воспитываться, где гуляли их отцы» («Военный антикварий», 1829).

Александр Александрович был, конечно, сторонником молодой французской романтики. Виктор Гюго приводил его в неописанный восторг. Драмами «Le roi s'amuse» и «Lucrèce Borgia» он восхищался; с «жаром удивления и с завистью бессильного соревнования» читал он Гюго. «Перед Гюго я – ниц, – писал он. – Это уже не дар, а гений во весь рост. Он виден только в «Notre Dame», которая – совершенство в моем вкусе[260]. «Han d'Islande» неудачен, «Bug Jargal» – золотая посредственность. «Cromwell» – холоден: из него нужно вырезать куски, как из арбуза. «Le dernier jour d'un condamné» – ужасная прелесть, это вдохнуто темницей, писано слезами, печатано гильотиной. Как счастлива Россия, что у ней нет причин к подобной книге! Да, Гюго – гений, и неподдельный. Его «Notre Dame», его «Marion de Lorme», «Il s'amuse» и «Borgia» – такие произведения, которых страница стоит всех Бальзаков вместе, оттого, что у Гюго под каждым словом скрыта плодовитая мысль»[262].

Бестужев обидел Бальзака так, мимоходом, и скоро поспешил исправить свою ошибку. «Я не устаю перечитывать «Peau de chagrin», – пишет он два года спустя. – Я люблю пытать себя Бальзаком. Мне кажется, я бичую себя, как спартанский отрок. Какая глубина! Какая истина мыслей! Но хотя у Бальзака и много хорошего, я все-таки у него учиться не буду. Он более блестящ, чем ясен, он слишком разъединяет страсти своих лиц: эта исключительность не в природе»[263].

Нравился Бестужеву и Виньи, над которым он плакал.

Не меньше, чем французскую литературу, если не больше, любил Александр Александрович английскую. Он стал ею интересоваться очень рано. «Любовь к возвышенному, романтическому и нравственному» заставила его, как он сам говорил, перевести статью Блера о Мильтоне – самый отчаянный панегирик, который Мильтона ставил наравне, чуть ли не выше, Гомера[264]. В 1825 году Бестужев признается Пушкину, что весь погружен в английскую литературу, и что кроме нее нет спасения[265]. Как глубоко он погрузился в эту словесность – неизвестно, но двух писателей он, действительно, ставил очень высоко. Прежде всего, конечно, Байрона, которого очень любил в оригинале, но не терпел в подражаниях – в особенности русских, и, затем, Вальтера Скотта, в стихах которого он особенно ценил их музыкальность[266].

Почитывал Александр Александровичи итальянские книги, по крайней мере, цитировал Данте[267].

Меньше всего Бестужев знал литературу немецкую – и вообще не любил этот язык[268]. Это был большой пробел в его образовании, который он, кажется, до смерти не пополнил. Помешал ему, вероятно, в этом его предвзятый взгляд на тот вред, какой будто бы немецкая литература принесла нашей словесности. Он даже Жуковскому не прощал его любви к немцам, а другим литераторам – и подавно.

В одной статье, посвященной разбору одного английского перевода из русских поэтов, он обобщает свои взгляды на западное влияние в нашей словесности. Перевод русских поэтов на английский язык его очень радует: «Хорошо, – говорит он, – что теперь на Западе знают, что мы не Мемнонова статуя. Английский язык силою и простотой близко подходит к нашему, но, к сожалению, английская литература на нас не влияла. Кроме Петрова и Муравьева, все прочие были вспоены лимонадом французского Парнаса. Немцы влияли на нас также мало: Жуковский первый ввел у нас аллегорическую и, так сказать, неразгаданную поэзию, а уже вслед за ним все пишущее записало бемольными стихами; хорошо, что Батюшков и Пушкин были против этой манеры. С немецким влиянием можно бы было помириться, если бы у нас были переведены лучшие немецкие памятники, а то мы пробавляемся все больше мелкотравчатыми балладами. Немцы даже терпению нас не выучили; если на что они повлияли, то разве только на политику (!)»[269].

Если собрать воедино все летучие суждения Бестужева об иностранных писателях, то вся их бессистемность и случайность бросится в глаза. Наш критик – за малым материалом, которым располагал – не ставил никаких, ни исторических, ни эстетических вопросов, говорил лишь о своих личных впечатлениях и воодушевлялся лишь только тогда, когда отстаивал самобытность русской словесности и думал о тех опасностях, которые могли грозить ей от литературного преимущества над нами наших соседей.

Вот почему главнейшие литературные вопросы, которые тогда так волновали писателей, остались у Бестужева совсем без решения. Взять хоть бы вопрос о классицизме и романтизме. Слова эти были часто на устах у нашего критика, но все, что он говорил по этому поводу, отличается крайней неопределенностью и туманностью, хоть он и уверял в 1829 году своих братьев, что он «нашел, наконец, проход, разделяющий два материка классиков и романтиков», что он «очень доволен, что распутал этот хаос для своей собственной пользы», что, наконец, его «суждение об этом перестало висеть в воздухе»[270]. Есть у Бестужева, впрочем, одно цветистое сравнение классицизма с романтизмом, в котором заключена довольно интересная мысль, почему это сравнение и следует отметить. Борьба романтизма с классицизмом представлена в виде борьбы воды и огня[271].

«Тихо, мерно творил океан (классицизм) в своем тогда жарком лоне, – пишет наш поэт. – Произведения его крепки, кристаллизованы, с правильными формами, с неизменными углами: иной подумает, что все это сделалось с транспортиром и линейкою. Но вот ворвался новый посол природы – и все оборотил вверх дном. Своими порывами вздул, взволновал еще мягкую кору земли, где не мог прорвать ее; разорвал, где мог, и, стреляя из недр земных гранитными потоками, опрокинул осадочные горы в бездны, сплавил в стекло целые хребты, сжег в лаву и пепел другие, и выдвинул сердца морей под облака. Он смешал в себе обломки всего прежнего, как завоеватель, увлекающий побежденные племена, и, наконец, застыл в огромных формах. В романтизме, как в вулканических произведениях, вкраплены (incrustés) мелкие блестящие кристаллы, яркие слои порфира, останки щепетильные минувшего периода, воплощенные в неизмеримый, мрачный, но величественный период настоящего – и над ними готовится новое развитие жизни».

Последние строки очень характерны; они показывают, что Бестужев считал и романтизм уже вполне сложившимся явлением – литературным направлением, которое должно, и притом скоро, разрешиться в нечто новое. «Мы не можем быть долговечны литературной жизнью, мы мыслим и говорим языком перелома, – писал он в частном письме, – наш период есть куколка хризалиды, обвертка необходимая, но пустая, и будущее сбросит ее в забвение»[272].

Так не станет писать человек, который слепо исповедует одно какое-нибудь литературное учение, и Бестужев-Марлинский, которого считают обыкновенно самым ярым романтиком, предвидел конец романтизма как школы и уже предугадывал реальное направление в искусстве, наступление которого торопил в своих собственных беллетристических произведениях[273]. Он предугадывал его еще в те годы, когда романтизм был в полном цвету, как это видно из одной переводной статьи, которую Бестужев напечатал в 1825 году.

Это была статья Арто «о духе поэзии XIX века». «Пусть и в нашем веке много положительного вкуса, – рассуждает Арто, а за ним и Бестужев, – но бояться нечего: чувство прекрасного не гибнет в природе человека, поэт состоит из дара чувствовать и искусства живописать, а люди не перестанут созерцать внешнюю природу, и отзыв живых ощущений всегда в них будет. Но, кроме того, мы имеем потребность заноситься за грань сущности, религиозную и суеверную способность верить в невидимый мир, в сверхъестественные существа. Эта последняя способность теперь должна исчезнуть, в веке, который все разобрал и взвесил. Но у нас все-таки остается неистощимый вклад страстей и чувств – неисчерпаемый источник красот. Убежищем поэзии делается теперь область нашей нравственной природы. Отсюда неопределенность и задумчивость современной новой школы (то есть романтической). У древних этого не было, и поэзия их не содержала в себе ничего глубокомысленного. У нынешних народов отсутствие публичной жизни и более духовная и душевная религия благоприятствуют развитию нравственных сил. Обращение к самому себе стало в наши дни (после революции и следовавшей за ней реакции) неизбежным: люди хотят отчета в жизни во всех ее обетах и обманах, и отсюда – мечтательность». Арто преклоняется перед такими типами, как Вертер, Рене и герои Байрона, но говорит, что недостаток всех таких разочарованных романов – их однообразие и беспрестанное разглядывание предмета. «Нужно обновление, и словесность, конечно, обновится. Велика в данном случае заслуга Вальтера Скотта, который возвратил жизнь существам человеческим и извлек поэзию из умозрений, в которых она тонула. Он уже не романтик только, а реалист, и *нельзя отрицать, что у нас теперь уже проявилась наклонность к действительному*. Она приводит нас к собственной истории, и всенародный успех ожидает талант, который решится следовать внушению народного духа. («Пора бы и нам, русским, взяться за собственную историю как следует», – восклицает от себя Бестужев). *Нам нужно народное содержание*. У нас народ остается вне литературы, так как литература у нас академическая. Будем же ровесники нашему времени! Будем оригинальны и самобытны и совокупим воедино все точки зрения, вместим в себе все системы»[275], то есть станем реалистами, по возможности, и не будем удаляться от жизни.

Эти здравые мысли Бестужев горячо рекомендует своим читателям. Сам он – романтик с очень зорким взглядом на действительность – всецело на стороне их. Он сам понимает, что время реализма приближается, и ему так приятно, что работу в этом направлении можно освятить патриотическим чувством и сочетать ее с воскрешением народной старины и самобытного духа.

XXVIII

Суждения Бестужева о русской литературе повинуются именно этому патриотическому чувству, и потому иногда поражают своей странностью. Серьезного, самобытного и народного требует он прежде всего от писателя, но в этих справедливых требованиях доходит подчас до педантизма.

В общем Бестужев очень мало доволен ходом русской литературы. «Земля погибнет не от огня и потопа, а от плоскости, – пишет он. – Все возвышенности исчезнут, и люди погибнут от болотной лихорадки. Глядя на литературу, я более и более уверяюсь в этой теории»[276], в особенности, если взглянуть на литера-

туру русскую, «где литературные гении-самотесы также обыкновенны, как сушеные грибы в Великий пост; ведь мы ученее ученых, ибо доведались, что наука – вздор; и пишем мы благонравнее всей Европы, ибо в сочинениях наших никого не убивают, кроме здравого смысла»[277]. А все это потому, что все нам очень легко дается:

Литература наша – сетка
На ловлю иноморских рыб;
Чужих яиц она наседка,
То ранний цвет, то поздний гриб,
Чужой хандры, чужого смеха
Всеповторяющее эхо![278]
О! поэты наши! о Кугушев! Трилунный, Шевырев! и другие –
Печальной музы кавалеры!
Признайтесь: только стопы вы
Обули в новые размеры,
Не убирая головы;
И рады, что нашли возможность,
На разум века не смотря,
Свою распухлую ничтожность
Прикрыть цветами словаря[279].

Впрочем, зачем винить писателей, когда высшие судебные их трибуналы занимаются пустяками? Стоит только взглянуть на нашу журналистику, на «Архив» северного ветра, пошлую рыночную «Молву», будочников «Наблюдателей» на курьих ножках[280], на близорукий «Телескоп»[281] или почитать Брамбеуса, который думает, что русская словесность будет вертеться от того, что он дует в нее в два свистка, Брамбеус, который ничтожен и нагл, который исписался, ибо живет краденым, у которого нет ни души, ни философии[282]. Сносен разве только один «Телеграф». «Хотя в нем слишком много тщеславия и ученического педантизма, и много вздора самого невежественного, но в нем все-таки попадается и много истинно-просвещенного»[283].

Итак, наши критики вообще едва ли чему научить могут; научить может разве только сама жизнь, народная, самобытная жизнь, но редко кто из наших писателей умеет уловить ее характерный образ; народность почти никому не дается. Вот у Вельтмана можно, пожалуй, встретить и поэзию в истинно русском духе; в его романах есть необычайно хорошие подробности, перо его развязное, легкое, и одарен он шутливостью истинно русской[284]; много найдется хорошего и у Луганского в его сказках, и он хорошо бы сделал, если бы собрал свои солдатские сказки, в которых сохранен драгоценный первобытный материал русского языка и отпечаток неподдельный русского духа[285]. Превзошел, однако, в этом отношении всех Полевой: в его «Клятве при гробе Господнем» русский дух совершается воочию перед читателем, и прежняя Русь живет снова по-старому[286]. Полевой вообще человек весьма выдающийся; он один из мыслителей и двигателей нашего просвещения. Мнения его здравее всех, резки, но основательны. Он не без ошибок, но почти без предрассудков; он и настоящий историк с глубокомысленной зоркостью и яркостью изложения[287].

О других сказать мало что приходится. Хваленый Булгарин прямо смешон со своей «народностью», и Загоскин искажает святую старину для того, чтобы она уложилась в золотую табакерку. Что, например, нагородил он в своей «Аскольдовой могиле», где перемывал французское тряпье в Днепре и отбивал у других честь всяких нелепостей?[288]

Великое это зло – подражание; слабых оно губит, да и сильных портит. Козлов, например, корчит из себя «лорда в Жуковского пудре»[289], да и Баратынский совсем исфранцузился[290]. Да и сам Пушкин? Как он калечит свой талант!!

Отзывы Бестужева о Пушкине необычайно характерны. Перед Пушкиным наш критик всего более провинился, и здесь, вероятно, виновата не столько его критическая смекалка, сколько личные отношения, в которых было и много любви, и много чувства соревнования[291]. Впрочем, в тех странных суждениях, с которыми мы сейчас ознакомимся, сквозит все та же неотвязная мысль о вреде подражания.

Для Бестужева Пушкин, конечно, большой человек. «Ты – надежда Руси – не измени ей, не измени своему веку, не топи в луже таланта своего, не спи на лаврах», – говорит Пушкину Бестужев. «Я готов, право, схватить Пушкина за ворот, – пишет он своим друзьям, – поднять его над толпой и сказать ему: стыдись! Тебе ли, как болонке, спать на солнышке перед окном, на пуховой подушке детского успеха? Тебе ли поклоняться золотому тельцу, слитому из женских серег и мужских перстней – тельцу, которого зовут немцы Маммон, а мы, простаки, – свет?!»[293]

Бестужев в своем заточении, конечно, не мог знать, чем Пушкин был занят в 1833 году, и эти слова его, при их неправоте, любопытны только как показатель того высокого мнения, какое Бестужев имел о

своем друге как писателе. Но, несмотря на это преклонение, Бестужев не прощал Пушкину того, что он называл «уклонением от века в общем и от русской народности в частности». Когда он читал легкие лирические стихотворения Пушкина, ему казалось, что Пушкин – писатель, заблудившийся из XVIII века в XIX[294]. Когда Бестужев открывал его поэмы, они казались ему «китайскими тенями», и он недосчитывался в них «чувства» (?). Он позволял себе, например, по адресу своего друга такие кощунственные строки. «Бесхарактерность, – пишет он, – отличительный признак нашей словесности. Но может ли быть иначе, когда Булгарин – знаменщик прозы, а Пушкин – ut, re, mi, fa – поэзии? Второй из них человек с гением, но оба они отличаются шаткостью; они заблудились из XVIII века. Вдохновение увлекает Пушкина в новый мир, но Булгарин не постиг его (нового мира) умом, а Пушкин не проникся его чувством»[295]. «Итак, знаменитый Белкин – Пушкин? – пишет Бестужев тем же приятелям. – Никогда бы не ждал (я повести эти знаю лишь по слуху). Впрочем, и немудрено. В Пушкине нет одного поэтического, это – души, а без нее плохо удается и смиренная проза»[296]. Что хотел Бестужев сказать этими странными словами?

Быть может, под словами «душа и чувство» надо разуметь романтический энтузиазм и возвышенный подъем настроения, а главное – патетичность самого сюжета, которых Пушкин, действительно, избегал. По крайней мере, суждение Бестужева о «Борисе Годунове» наводит на такое толкование его странных отзывов. «Я ожидал большего от Годунова, – пишет Бестужев, – я ожидал чего-то, а прочел нечто. Хоть убей, я не нахожу тут ничего, кроме прекрасных отдельных картин, но без связи, без последствия. Их соединила, кажется, всемогущая игла переплетчика, а не мысль поэта. Избалованный Позами, Теллями и Ричардами Третьими, я, может быть, потерял простоту вкуса и не нахожу прелести в вязиге»[297].

Более последовательно, но не менее ошибочно бранил Бестужев Пушкина и за его мнимое подражание иностранцам. В данном случае в нашем критике говорил обиженный патриот – и за эту обиду пришлось расплачиваться «Онегину».

На все поэмы Пушкина до «Цыган» Бестужев смотрел очень косо. «Цыгане» Пушкина выше всего, что он писал доселе, – говорил он, – тут Пушкин – Пушкин, а не обезьяна»[298]. Но по мере того, как печатался «Онегин», Бестужев стал все больше и больше тревожиться. Сначала ему показалось, что сюжет ничтожен и пуст, и Пушкин по сему поводу прочитал ему нотацию[299].

«Ты не ругай Онегина – дождись», – писал Пушкин в ответ на замечание Бестужева, что в наше время нужна настоящая сатира, а не «пустячки». Бестужев ждал и все-таки остался недоволен. «Пушкин ведет своего «Онегина» чем далее, тем хуже, – говорил он. – В трех последних главах не найти полдюжины поэтических строк. Стихи игривы, но обременены пустяками и нередко небрежны до неопрятности. Характер Евгения просто гадок. Это бесстрастное животное со всеми пороками страстей. Дуэль описана прекрасно, но во всем видна прежняя школа и самая плохая логика. Со всем тем Пушкин поэт, и недюжинный. Недостаток хорошего чтения и излишество дурного весьма вредят ему»[300].

Вот как иногда умным людям бывают не видны истинные размеры таланта своих современников!

XXIX

Такими литературными заметками испещрял Бестужев свои частные письма в годы неволи. Но эти частные беседы его не удовлетворяли, и, когда представилась возможность, он решил вновь открыто выступить в роли критика.

«В моем положении без беды беда писать критики, – признавался он, – а писать похвальные речи перо не подымается. Вот почему бросил я железный стиль рецензента, хотя теперь, думается, я бы владел им немножко потверже, чем в первинки моего словесного поприща, когда одна страсть посмеяться была моим ментором. Чешется, правда, крепко порой чешется рука схватить за вихор иного враля, но вспомнишь золотое правило, что во многоглаголанье нет спасения, и давай стрелять в пустые бутылки из пистолета, хоть на них сбить досаду»[301].

Но, наконец, он все-таки решился изменить свою мишень.

В 1833 году он напечатал в «Телеграфе» длинную критическую статью по поводу романа Полевого «Клятва при гробе Господнем». Бестужев немного покривил душой, когда целую картину литературного развития Европы и России вставил в разбор романа своего друга. «Хочу дать образчик европейской критики, – писал он своим братьям по поводу этой статьи. – К роману Полевого я только придрался, и критика моя à propos des bottes»[302].

К обзору этой критики мы теперь и перейдем, отметив, однако, одно весьма важное обстоятельство: эта критика была немилосердно искажена цензурой. «Вам нельзя судить о целом и связи в моей критике, – писал Бестужев братьям, – потому что лучшего в ней вы не читали». «О ней нельзя судить по скелету, обглоданному цензурой, – писал он также Булгарину. – Половина ее осталась на ножницах, и вышла чепуха. Самые высокие по чувству места, где я доказывал, что Евангелие есть тип романтизма, – уничтожены»[304, 305].

Но и в том виде, в каком эта критика дошла до нас, она явление очень характерное для своего времени.

XXX

Статья начинается игривой увертюрой на тему о возобладании народности в русском романе.

«Французский суп приелся нам с 1812 года, – пишет Бестужев, – немецкий бутерброд под туманом пришелся вовсе не по желудку; в английском ростбифе было чересчур много крови да перцу, даже ячменный хлеб Вальтера Скотта бил оскомину... Русских стихов также никто не стал слушать с тех пор, как все стали их писать, и раздался общий крик: прозы! прозы! воды, простой воды! И действительно, чернильные тучи взошли от поля и от моря: закричали гуси, ощипанные без милосердия, и запищали гусиные перья со всеусердием... Посыпались романы исторические, фантастические, нравоописательные, нравственно-сатирические, сатирико-исторические, и нажили мы не одну дюжину романов, в которых есть все, кроме русского духа, все, кроме русского народа... Публика легковерна, она все раскупила... разбогател и книгопродавец, и сочинитель... А мы все-таки остались бедны, едва ль не нищи оригинальными произведениями... Отчего это? – спрашивает Бестужев, – отчего такой наплыв исторических романов? – Оттого, – отвечает он, – что мы живем в век романтизма.

И, кроме того, мы живем теперь и в веке истории. Теперь мы эту историю видим, слышим, осязаем ежеминутно. Гостинодворец кричит вам: «купите шапку *Эриванку*», портной предлагает вам скроить сюртук *по-варшавски*. Скачет лошадь – это Веллингтон. Взглядываете вы на вывеску – Кутузов манит вас в гостиницу; берете щепотку табаку – он куплен с молотка после Карла X. Запечатываете письмо – сургуч Императора Франца. Вонзаете вилку в сладкий пирог и – его имя Наполеон. Как при таких условиях не писать исторических романов?

А главное – романтизм.

Да что такое, в сущности, романтизм? – спрашивает, наконец, автор. Под именем романтизма, – говорит он очень глухо и неопределенно, – я разумею стремление бесконечного духа человеческого выразиться в конечных формах. По духу и сущности, – продолжает он, вспоминая, быть может, Шлегеля, M-me de Сталь и В. Гюго, – есть только две литературы: это литература до христианства и литература со времен христианства. Первую можно назвать литературой судьбы, вторую – литературой воли; в первой преобладают чувства и вещественные образы; во второй царствует душа, побеждают мысли. Первое – лобное место, где рок – палач, а человек – жертва; вторая – поле битвы, на коем сражаются страсти с волею и над коим порой мелькает тень руки Провидения. Случайно древнюю литературу назвали классической, а новую романтической. Названия, ничего не говорящие – ну, да какое нам дело, нам нужен конь, а не попона».

Высказав это общее определение – как видим, хоть и не оригинальное, но широкое и верное, – критик переходит, наконец, к главнейшей части своей статьи – к беглому обзору всей истории всемирной литературы от народной поэзии диких племен до исторического романа Полевого включительно.

Обзор написан с чужих слов, но умно и красиво. Автор задается вопросом, в какой поэтической форме появилась поэзия впервые в мире. Отвергнув мнение Виктора Гюго, который утверждал, что первобытная поэзия народов была – гимн, славославный и благодарственный, показав, как странно предполагать присутствие таких гимнов у первенцев мира, у этих бедняг, пущенных в лес без шерсти от слепней, от холода, без клыков слона, без когтей тигра, без глаз рыси, без крыльев орла, – автор полагает, что первобытная поэзия у всех народов непременно зависела от климата. У кафра, палимого зноем, и у чукчи, дрожащего от мороза, она, как первая религия, была заклинанием. У скандинава, у кавказского горца, у араба, людей свободных и бесстрашных, она была песнью самовосхваления; гимн мог быть разве только у грека, силы которого были в равновесии с силами природы. Но в Египте и в Индии, в этих странах, столь богатых драгоценностями и заразами всех родов, где человек так запуган природой, поэзия могла быть только молитвой. В многобожной Индии все носит на себе отпечаток религиозный, все, от песен до политического быта, ибо поэзия и вера, вера и власть там – одно. Махабхарата и Рамайана – это последняя битва падшей веры и государства Магеде с победительной верою и властью Будды. Как ни грубы верования индийца, ни бездвижны его касты, как ни причудливы его воображения, вы легко заметите в них попытку души вырваться из темных цепей тела, из-под гнета существенности, из плена природы. Это – романтизм по инстинкту, не по выбору...

Но оставим восточную поэзию, которая не имела никакого влияния на романтическую и классическую, – останавливает сам себя автор. – Помянем сладкозвучного Фирдоуси, который плавил в радугу предания Персии, помянем милого гуляку Гафиза и трогательного мудреца Саади и перейдем к Греции.

Само Провидение избрало Грецию проявить мысль, до какой высоты изящества доступен был древний мир. Как ранний морской цветок, она возникла из океана невежества, быстро созрела семенами всего прекрасного, бросила свое благоухание в семена ветрам – и увяла. Вся поэзия греческая ознаменована недоступною для нас и пленительною для всех красотою. Не один голый перевод с природы, не слепое безжизненное подражание жизни находим мы в поэзии греков. В произведениях искусства мы находим идеал вещественно-прекрасного, то есть тысячи рассеянных красот, гениально слитых воедино. Красот, может, никогда не виданных, но угаданных душою... Романтизм оперялся понемногу...

Произнесите священное, освященное веками имя Омира – и вся Эллада восстает перед вами из праха огромным призраком. Что перед ним все хваленые поэмы мира, начиная с Энеиды, русских «ид», «ад» и «оид», кончая надутой Генриадой, этой выношенной до нитки аллегорией, которой рукоплескал XXIII век до мозолей, зевая под шляпою, и над которой мы даже не зеваем, оттого что спим? Но народ перестал верить сказкам, и эпопея перекинулась в драму. Ужасна была эта античная трагедия, рассекавшая преступника своим огненным мечом пополам, показывая его сердце наголо. Но она избирала героев, удаленных во мрак старины, и оттенила только одну печальную сторону бытия. Шекспир, Шиллер, Виктор Гюго понимали природу шире, и разве их герой – падший ангел-человек, человек-мещанин – менее занимателен? Односторонней была и комедия древних; она имела всегда политическую цель; она колола, смеша: она была прихожею Пирея или Форума, битвой застрельщиков. Наша новая драма, которая, как жизнь наша, смеется и плачет в одном часу – полнее и правдивее античного театра. Она не ждет, чтобы давность увлекла людей на исторический выстрел: она судит их у гроба, терзает их заживо, будто бы она, как орел, не может есть ничего, кроме животрепещущего мяса. Современная литература обогатилась, кроме того, и новой формой искусства – романом. Древние не знали его, ибо роман есть разложение души, история сердца, а им некогда было заниматься подобным анализом. Они так были заняты физическою и политическою деятельностью, что нравственные отвлеченности мало имели у них места…

Но о нас, миллионщиках, в этом отношении, речь впереди, – обрывает себя снова автор, – и заканчивает этот красивый обзор древней словесности такой поэтической картиной. «Тихо готовился в Элладе и в Риме, уже источенных пороками, важный перелом мира вещественного от мира духовного. Мраморные боги шатались, но стояли еще; зато их треножники были холодны без жертв, сердца язычников холодны без веры. Давно уже Сократ толковал о единстве Бога – и выпил цикуту, осужденный за безбожие. Но эта чаша смерти стала заздравной чашей нового учения; проникла даже в сердца его убийц. Школа неоплатоников разрасталась: она была для земли, раздавленной деспотизмом, прелюдией небесною! Души, томимые пустотою, чего-то ждали, чего-то жаждали – и свершилось… Древний мир пал».

Бестужев переходит затем к обзору исторических условий, при которых зародился настоящий романтизм. Изложение становится еще более несистематичным, запутанным и очень кудрявым, но мысли остаются по-прежнему для своего времени очень ценными.

«Для нас необходим фонарь истории, – говорит Бестужев, – чтобы во мраке Средних веков разглядеть между развалин тропинки, по коим романтизм вторгался в Европу с разных сторон и, наконец, укоренился в ней, овладев ею. Пойдем же по этим тропинкам, но только, ради Бога, без костылей и помочей!»

Очень бегло, но картинно характеризует Бестужев последние годы античной образованности, когда она увядала, и на западе, и на востоке, в византийской Греции, где римскому орлу приклеили еще голову, позабыв, что варвары подрезали ему крылья. Какой словесности можно было ожидать в Византии, при таком дворе, в таком выродившемся народе? Надутая лесть для знатного класса, щепетильная схоластика и богословские сплетни в школах – вот что, подобно репейнику, цвело там, где красовались прежде Тиртей, Сафо, Демосфен. Исключение составляли лишь христианские писатели, как, например, Иоанн Златоуст, святой Августин, Григорий Назианзин и другие, но сила их красноречия исчезла вместе с ними.

Античный мир кончился, и началась снова жизнь на западе, на развалинах Рима, которыми завладели варвары; христианская вера быстро разлилась между ними, и возникло неведомое варварам сословие духовенства. Непрестанно и беспредельно возрастающая власть его доказала свету силу слова над совестью, победу духа над грубою силою. Крест стал рукояткой меча; тиара задавила короны, и монастыри – эти надземные гробы – устремили к небу колокольни свои, сложенные из разрушенных замков. Жизнь не текла, а кипела в этот век набожности и любви, век рыцарства и разбоев. Все тогда любили славу и славили любовь. Христианство вывело женщин из-за решеток и покрывал и поставило их наравне с мужчинами. Рыцарство сделало из них идолов. Этот духовный союз душ, это низменное стремление к предмету своей страсти, это чудное свойство: во всей природе чувствовать одно, видеть одно – не есть ли оно практический романтизм, романтизм на деле? Прибавьте к этому установление военно-духовных орденов, тайные судилища, инквизицию, вторжение норманнов во Францию, мавров в Испанию и крестовые походы. Все эти события имели громадное влияние на литературу. Столкновение северного угрюмого темперамента скандинавов с темпераментом легкомысленным и ветреным южан породило неподражаемый юмор – одну из главных стихий романтизма, неподражаемый юмор, который так умеет смеяться в промежутках страданий. Вторжение мавров в Европу привило европейскому романтизму особую роскошь выражений и новость стиля. Крестовые походы отразились также на подъеме фантазии и имели громадное социальное значение. Они пресытили духовенство окладами, возгордили его властью, проистекшею из религиозного направления умов. Духовенство пробудило в сердцах многих народов глухое чувство нетерпения к деспотизму совести, чувство зависти к церковным поместьям, выращенным потом их. Крестовые походы сказались и на повышении культурного уровня: крестоносец из тяжких походов своих принес семена веротерпимости. Науки раздвинулись опытным познанием света. Обогатилась и словесность восточными сказками, столь замысловатыми…

По поводу этих восточных сказок наш критик дает одно очень характерное отступление. «В восточных сказках, – говорит он, – впервые простолюдин стал играть роли наравне с визирями и ханами, и дворяне в первый раз сознались вниманием своим, что и народ может быть очень занимателен, народ, который у себя водили они в ошейниках, будто гончих, и ценили часто ниже гончих». Эта публицистическая заметка заставляет автора несколько отклониться в сторону и посвятить целую страницу «простолюдинам и их поэзии вообще». «Европейские простолюдины, – пишет он, – не имевшие никаких прав, имели свои обычаи, свои забавы, свою поэзию. Составляя часть глыбы земли по закону, по природе, они составляли часть человечества, и хоть ползком, но подвигались вперед; жили, как вещь, но, как живая вещь, любили, ненавидели... они имели и свою поэзию, божественную поэзию, к которой мы теперь только начинаем возвращаться. И слава Богу: лучше потолкаться у гор на масленице, чем зевать в обществе греческих богов или с портретами своих напудренных предков».

Этот неспокойный тон, в котором критик, обрывая исторический обзор, излагает свои публицистические мысли, становится еще более тревожен, когда Бестужев переходит к истории зарождения и роста третьего сословия.

«В Европе возникала и крепла, – пишет он, – совершенно незнаемая в древности стихия гражданственности, стихия, которая впоследствии поглотила все прочие – мещанство, буржуазия. В стенах городов вообще, и вольных в особенности, кипело бодрое, смышленое народонаселение, которое породило так называемое третье сословие: оно дало жизнь писателям всех родов, поэтам всех величин, авторам по нужде и по наряду, по ошибке и по вдохновению. В них замечательно для нас то, что, родясь в эпоху мятежей и распрей, в сословии мещан, в сословии, понимающем себе цену и, между тем, униженном, презираемом аристократией, которая в те блаженные времена считала все позволенным себе в отношении к нижним слоям общества, – авторы воспитали в своей касте и сохранили в своих сочинениях какую-то насмешливую досаду на вельмож и дворян. Они сражались своими сатирами, комедиями и эпиграммами, а, между тем, дух времени работал событиями лучше, нежели все они вместе. Изобретение пороха и книгопечатания добило старинное дворянство. Первое ядро, прожужжавшее в рядах рыцарей, сказало им: опасность равна для вас и для вассалов ваших. Первый печатный лист был уже прокламация победы просвещенных разночинцев над невеждами-дворянчиками. Ковы и семейные тайны знатных стали достоянием каждого. Дух зашевелился везде...

Наступила эпоха реформации, возрождения наук и художеств. Она создала свою литературу. Она принялась подражать до упаду грекам, а пуще того римлянам, которые сами передразнивали греков... Подражание стало повальным. Франция, у которой всякий вкус загорается страстью, – постриглась в монахини и заживо замуровала свой ум в гробовые плиты классицизма. Когда Италия имела уже Данте, Испания Кальдерона, Англия закалила дух Шекспира, – Франция набивала колодки на дар Корнеля и рассыропливала Расина водою Тибра, с оржадом пополам. Французы нарумянили старушку древность красным-красно, облепили ее мушками, затянули в китовые усы, научили танцевать менуэт, приседать по смычку. Малютку природу, которая имела неисправимое несчастие быть не дворянкой, по приговору Академии, выгнали за заставу, как потаскушку. Французы нашли Божий свет слишком простонародным и вздумали украшать природу, облагородить язык, и стали нелепы оттого, что чересчур умничали. Французы, у которых так недавно были войны Лиги, Варфоломеевская ночь, пистолет Витри и нож Равальяка – на театре боялись брызги крови, капли яду, прятали все катастрофы за кулисы. Жалкие мудрецы! и они еще уверены, что вероятность соблюдена у них строго... И все это продолжалось до 1820 года. Франция побыла Республикою, побыла Империею, Революция перекипятила ее до млада в кровавом котле своем, – но старик театр остался тем же стариком...

И не один театр остался в плену. Материализм закабалил философию. Рабле, проницательный ловец слабостей общества, и Монтень, глубочайший исследователь слабостей человека, оба романтика первой степени – были забыты. Мольер и Лафонтен – два гения, которые смели говорить правду – пошли за бесценок. Вольтер стал трибуном своего века. Гордый ползун, льстец и насмешник вместе, скептик по рождению и остроумец по ремеслу, он научил вольнодумство наеднической стрельбе насмешками. Вольтер был Диоген XVIII века, но Диоген-неженка, Диоген с ключом на кармане. Как ни велика была, однако ж, власть Вольтера, даже у нас, где иные до сих пор считают его, жалкого болтуна, величайшим философом, Вольтер не опередил своего века.

Романтизм имел представителя и в эту пору вещественности: то был независимый чудак Руссо. До него, около него в политике, законоведении, в художествах, в поэзии ученые не видали никого выше греков и римлян, – идеал совершенства был у них позади. За утопией рылись они в земле, а не в небе. Напротив, блестящий сон Руссо, увлекательный парадокс Руссо, отверг не только все обычаи общества, но извратил и самую природу человека, создал своего человека, выдумал свое общество. Правда, подобно Платону, он заблудился в облаках; он не достиг истины, главного условия поэзии; но он искал ее; он первый, хотя и в бреду, сказал, что мир может быть улучшен иначе, как есть, иначе, как было... Дон Кихот утопии, он ошибся в приложении, но начала его были верны. Поэт без рифм, мыслитель без педантства, он составил звено между материализмом века и духовностью веков...»

На этой блестящей характеристике Руссо обрываются рассуждения Бестужева об иностранной словесности. Конец их очень скомкан, и видно, что статья сокращена не по воле автора.

Слова Бестужева – как мы могли убедиться из этих длинных выписок – должны были обратить на себя внимание зоркого читателя. Это была не литературная критика, а первый и блестящий образец критики публицистической. Автор, по-видимому, говорил о литературе, но попутно успел набросать целую картину исторического развития человеческой культуры. Он был, конечно, несамостоятелен в своих суждениях; поверхностен, неточен в выражениях, но никто до него не решался на такой смелый обзор мировых событий. И при всех своих ошибках этот обзор в основе был верен. Любопытна была в нем также и либерально-демократическая тенденция автора. Она продиктовала ему те страницы, на которых он говорил о судьбе простолюдина, об его подневольном положении и о жизни «дворянчиков»; она заставила его с такой симпатией говорить о Руссо и так безжалостно и несправедливо обругать Вольтера. В словах нашего автора проглядывал ясно и его романтический темперамент, и его тяготение к идеализму, которое и побудило его обрушиться – опять-таки несправедливо – на просветительную литературу XVIII века во Франции.

Любопытны также суждения Бестужева о «романтизме». Все самобытное, оригинальное, возникшее органически из народной почвы, подводит, по мнению автора, под понятие *романтического*. Для Бестужева и Монтень, и Рабле, и Руссо романтики в одинаковой степени; романтизм нашел он и в Индии и у Шекспира. Он готов везде признать его, где встречается с истинной силой вдохновения. Он суров только со всеми подражателями, хотя бы они и были гении, как, например, Корнель, Расин и Вольтер. Но этим понятием «оригинального» сущность романтизма, по мнению Бестужева, не исчерпывается. Полнота жизни, воплощенная в искусстве, есть тоже романтизм, и чем ближе искусство подходит к жизни, тем оно романтичнее. В этом смысле и Мольер, и Лафонтен романтики, как и Монтень, и Рабле, потому что они верны природе, и коренная ошибка греческого театра в том, что его комедия и трагедия отражали попеременно лишь одну сторону человеческой жизни и не возвысились до такого цельного взгляда на нее, какой был у Шекспира.

Как видим, понятие туманного романтического настроения Бестужев упростил до чрезвычайности, и слова «романтизм» и «истинная поэзия» на его языке стали почти тождественны.

Это произвольное упрощение сказалось еще яснее на тех страницах его критической статьи, которые он посвятил обзору истории развития русской литературы со времени Петра Великого до появления романа Полевого.

Эта беглая оценка успехов русской словесности за целое столетие – очень яркий и смелый литературный наскок талантливого автора.

Отметив основную черту русского барина, который искони отличался необыкновенной уступчивостью своих нравов и приемлемостью чужих, Бестужев характеризует в очень ярких словах нашу подражательную литературу XVIII века. Немцев он, однако, не бранит, но зато он беспощаден к французам, к их литературе, которая завалила матушку-Русь своими обломками, и своими потомками, которая наводнила нас песнями, гравюрами и книгами, постыдными для человечества, гибельными для юношества, выдумками, охлаждающими сердца к доблестям старины; которая убила в цвету лучшие надежды России, ставя целью бытия животные наслаждения, внушая недоверие, или, что еще хуже, равнодушие ко всему благородному в человеке, ко всему священному на земле... Забывая свои обязанности оценщика художественных сторон словесности, Бестужев, как русский патриот, краснея вспоминает про эту эпоху «графинек и князьков», эпоху, в которую городское дворянство наше так же усердно старалось выказывать свою безнравственность, как в другое время ее прячут, эпоху, когда продажность гуляла везде без укора или скрывалась без труда... Кто, однако ж, выследит пути Провидения, кто? – спрашивает наш оптимист. Может быть, оно нарочно дает грязному ручью пробраздить девственную землю, чтобы в его ложе бросить по весне многоводную реку просвещения?

Не объяснив, чем именно французская литература была так грязна, критик, упомянув вскользь о «миндальном молоке» поэзии Эмина, Княжнина, Сумарокова и Хераскова, спешит перейти к огнедышащему Державину, который взбросил до звезд медь и пламя русского слова. Самородный великан этот пошел в бой поэзии по безднам, надвинул огнепернатый шлем, схватив на бедро луч солнца, раздавливая хребты гор пятою, кидая башни за облака. Философ-поэт, он первый положил камень русского романтизма не только по духу, но и по дерзости образов, по новости форм. Однако почему его почитали? Не за его талант, а за то, что он был любимец Екатерины и тайный советник. Все подражали ему, потому что полагали с Парнаса махнуть в следующий класс, получить перстенек или приборец на нижнем конце стола вельможи или хоть позволение потолкаться в его прихожей.

Но поэзия Державина была выше среднего уровня. Публике нужна была словесность для домашнего обихода... И вот Богданович промолвился «Душенькой», Фонвизин «замеденил» для потомства лица своих современников-провинциалов; явился Дмитриев с легким стихом, кое-где с прозеленью народности. Наконец, блеснул и Карамзин, которому дано было внушить русским романтическую мечтательность и заставить их полюбить родную историю. Карамзин привез из-за границы полный запас сердечности, и «Бедная Лиза», его чувствительное путешествие, в котором он так неудачно подражал Стерну, вскружила всем головы. Все завздыхали до обморока, все кинулись ронять алмазные слезы на ландыши, над горшком молока, топиться в

луже. Все заговорили о матери-природе – все, кто видел природу только спросонок из окна кареты. Слова «чувствительность», «несчастная любовь» стали шиболетом, лозунгом для входа во все общества. Это был безвременный, расслащенный вертеризм. Словесность наша пережевывала Мармонтеля и мадам Жанлис. Тогда один лишь Крылов обновлял и ум, и язык русский во всей их народности. Только у него народность была свежа собственным румянцем, удала собственными силами; только у него были природные русские мужички, и счастливы мы, имевшие крестными отцами Крылова и XIX век. Первый научил нас говорить по-русски, второй мыслить по-европейски.

Скоро и Жуковский познакомил нас с последними песнями немецкого вдохновения. Великое поприще для ума и чувства открыто было в соседней с нами Германии. Шиллер усвоил немецкой словесности романтизм Шекспиров. Закипели словесность, история, философия, критика новыми, смелыми, плодородными идеями, объяснившими человечество, раздвинувшими ум человека уже не беглым опытом, но пытливостью воображения. Тогда же блеснул и Гете, который собрал в себе все лучи просвещения Германии, который воплотил, олицетворил в себе Германию, половина которой была в пыли феодализма, а другая в облаках отвлеченностей, Германию, простодушную до смеха и ученую до слез. Все яркое в мире отразилось в творениях Гете, все, кроме чувства патриотизма, и этим-то всего более осуществил он в себе Германию, которая вынула из человека душу и рассматривала ее отдельно от народной жизни. Но Германия, истощенная умственным усилием ее гениев, упала в дремоту и, воротясь из всемирного облета, уселась за частности, за быт запечный; нарядилась в alte deutsche Tracht, заиграла на гудке сельскую песню, зафилософствовала на старый лад с Гегелем, затянула с Уландом про *что-то* и *нечто,* превратилась в лепет засыпающего. Вот в эту-то эпоху и застал ее Жуковский и пересадил ее романтизм в девственную почву словесности. Он пересадил, таким образом, только один цветок ее…

Еще Русь отзывалась грустными напевами Жуковского, когда блеснул А. Пушкин, резвый, дерзкий Пушкин, почти ровесник своему веку и вполне родной своему народу. Сначала причудливый, как Потемкин, он бросал жемчуг свой в каждого встречного и поперечного; но, заплатив дань Лафару и Парни, раскланявшись с Дон Жуаном, Пушкин сбросил долой плащ Байрона и в последних творениях явился горд и самобытен.

Жуковский и Пушкин были истинными двигателями нашей словесности и затаврили своим духом целые табуны подражателей. Жуковский и Пушкин при жизни своей увлекли в свою колею тысячи, но увлекли нечаянно… Тьма бездарных и полударных крадунов певца Минваны сделались вялыми певцами увялой души, утомительными певцами томности, близорукими певцами дали. И потом собачий вой их баллад, страшных одною нелепостью; их бесы, пахнущие кренделями, а не серою; их разбойники, взятые напрокат у Нодье, надоели всем и всякому не хуже нынешней гомеопатической и холерной полемики. С другой стороны, гяуризм и донжуанизм, выкраденный из карманов Пушкина, разменянный на полушки, разбитый в дробь, полетел из всех рук. Житья не стало от толстощекой безнадежности, от самоубийств шампанскими пробками, от злодеев с биноклями, в перчатках glacés; не стало житья от похмельных студентов, воспевающих сальных гетер Фонарного переулка. Но как бы то ни было, мы перестали играть в жмурки с мраморными статуями, и роковое слово *«романтизм»* было, наконец, произнесено.

И закипел бой классиков с романтиками. Должно, однако, признаться, что этот бой был очень смешон. Старики не постигали древних, молодежь толковала о новых писателях понаслышке. Одни задыхались под ржавыми латами, другие не умели владеть своим духовым ружьем. Но все-таки фарфоровый Голиаф должен был брякнуться оземь.

Романтизм победил, идеализм победил, и где ж было воевать пудре с порохом? Но не будем самолюбивы. Не наши силы, не наши познания были виной такой победы – далеко нет! Нас выручило время. Мы не приняли романтизма, но он взял нас с боя, завоевал нас, как татары, так что никто не знал, не ведал, откуда взялись они. Романтизм скитается между нами, как Вечный Жид; он уже строит свои фантастические замки, – а мы все спорим, существует ли он на свете и, вероятно, не ранее поверим, что он получил русское гражданство и княжество, как прочитав это в «Гамбургском корреспонденте». В наш век поэт не может не быть романтиком…

На этом категорическом утверждении Бестужев заканчивает введение своей критической статьи, чтобы перейти к обзору русских исторических романов и, в частности, к разбору романа Полевого.

Как видим, и применительно к русской литературе слово «романтизм» сохранило свое широкое значение. Оно совпало с понятием всего живого, оригинального, сильного в литературе. Романтики – это те, которые оттеснили стариков-подражателей; им принадлежит будущее; но кто они, как художники, какие их приемы мастерства, какое миросозерцание отделяет их от тех, кто не романтики – об этом Бестужев не говорит; для него романтизм есть только литературный боевой клич молодежи, сильно чувствующей и бурно думающей, и эта молодость души и ума и кажется ему эквивалентом любой эстетической теории.

Обзор исторических русских романов, который Бестужев дал в последней части своего критического очерка – обзор беглый, но также не лишенный оригинальных мыслей.

Начинается он с любопытных строк, в которых наш автор определяет свою собственную заслугу перед русским историческим романом. Что редко бывает – он обнаруживает в этой самооценке достойное беспристрастие. «Исторические повести Марлинского, – пишет он, – в которых он сбросил путы книжного языка,

заговорил живым русским наречием, служили дверьми в хоромы полного романа». На похвалы своим конкурентам, за исключением лишь Полевого, Бестужев был, однако, не очень щедр. Много комплиментов сказал он Булгарину, но добавил, что Булгарин не постиг духа русского народа, что он изобразил не Русь, а газетную Русь, что он слишком любил романизировать похождения своих героев, что, наконец, в некоторых его романах историческая часть «вовсе чахоточна». Про Загоскина сказано, что в истине мелких характеров и быта Руси он превзошел Булгарина, но во взгляде на исторические события не опередил его, не говоря уже о том, что чужеземная подделка не спряталась у него под игривостью русского языка. Немного похвального сказал Бестужев и о Калашникове и Масальском; и один лишь Лажечников – несмотря на «прыгучий слог» свой и на двойную путаницу завязки – понравился ему горячей игрой своих характеров…

Всех затмил, по мнению Бестужева, один лишь Полевой, который с таким пылким самоотвержением посвятил себя правде и пользе русского просвещения. Полевой начал блестяще с «Истории русского народа», которая не была «златопернатым рассказом Карамзина», но повествованием, пернатым светлыми идеями. Не из толпы, а с выси гор смотрел в ней автор на торжественный ход веков. Это была история, достойная своего века. Барант, Тьерри, Нибур, Савиньи напутствовали автора, и потому-то современность истории Полевого с ее забиячливою походкою возбудила против себя всю нашу, даже не золотую, посредственность. Зашипели кислые щи пузырные, и все, которых задевал Полевой своею искренностью, расходились на французских дрожжах. Но Полевой довершил свой исторический подвиг, досказав прерванную им русскую историю в романе «Клятва при гробе Господнем». Это была удачная мысль – воскресить в романе наше прошлое, и мысль, достойная большого патриота.

В самом деле, как мы плохо умеем ценить богатства нашей старины! – восклицает Бестужев. – Русь – это нечто самобытное и оригинальное. Чем мы хуже Европы? Разве мы даром прожили века? Русь была отчуждена от Европы, не от человечества, и оно, при подобных европейских обстоятельствах, выражалось подобными же переворотами. За исключением Крестовых походов и Реформации, чего у нас не было, что было в Европе? А сверх того, характеры князей и народа долженствовали у нас быть ярче, самобытнее, решительнее, потому что человек на Руси боролся с природою более жестокою, с врагами более ужасными, чем где-либо. Вглядитесь в черты князей наших, сперва исполинские, потом лишь удалые, потом уже коварные, и скажите, чем хуже они героев Вальтера Скотта или Виктора Гюго для романа? У них, как везде, был свой макиавеллизм для силы и для бессилия, были свои ковы и оковы, и яд под ногтем, и нож под полою. У них были свои льстецы-предатели, свои вельможи-дядьки, свои жены Царь-бабы, свои братья Каины. Да и черный народ наш (кроме рабов), смерды, людины, крестьяне, местичи, без сомненья, долженствовал быть гораздо смышленее сервов средних веков. Он не составлял части земли: он имел свои сходки, он уходил на войну с князьями, чего не было в Европе. Русак не был низок, ибо не терпел унижения наравне с вассалами Европы. Ни рвы, ни башни не делили их между собою. Жалобы селянина доступны были боярину, и быт боярина, простой почти столько же, как быт селянина, не давал повода первому презирать последнего, ни последнему ненавидеть первого. Но оставим эти исторические факты – обратимся к миру вымысла, и мы увидим, как богаты были поэзией и смыслом поэтические воззрения наших предков на природу. Наши сказочные образы – чем они хуже Пука и Ариэля Шекспира, или Трильби Нодье? Да и что за богатое, оригинальное лицо сам черт наш? Он не Демон, не Ариман, не Шайтан, даже не Мефистофель – он просто бес, без всяких претензий на величие. Он гораздо добрее всех их. Он большой балагур, он отчаянный резвец, и порой бывает проще пошехонца… Как хорошо можно эксплуатировать все эти образы для литературных целей! Казак Луганский показал, как занимательны могут быть эти простые цветки русского остроумия, свитые искусною рукою. Чародей Вельтман, который выкупал русскую старину в романтизме, доказал также, до какой обаятельной прелести может доцвесть русская сказка, спрыснутая мыслью, – и, наконец, как много веселья и трезвого ума в таких сказках! Она умела уколоть шуткою и князя, и боярина, и попа… Отличительная черта русского простолюдина в том, что он никогда не был изувером и не смешивал веры со служителями веры; благоговел перед ризою, но не перед рясою, и редкая смешная сказка или песня обходится у нас без попа или чернеца.

И еще есть у нас стихия драгоценная, это – дураки и шуты. С тех пор, как наглую правду выгнали из дворца за бесстыдство, она прикинулась баснею и шуткою, спряталась под ослиное седло, захрюкала, запела кукареку покатилась колесом, заломила набекрень дурацкую шапку и стала ввертывать свои укоры между хохотом и ударами хлопушки… Одним словом, шут-простолюдин, приближенный к князю, был что-то похожее на народного трибуна в карикатуре (!).

Вот какое богатство представляет наша самобытная жизнь для искусства. В нашей жизни, в нашей истории, в произведениях нашего народного творчества так много оригинального, поэтического и красивого! И можно ли исчислить все девственные ключи, которые таятся доселе в кряже русском? Стоит гению топнуть, и они брызнут обильны, искрометны.

И, как наглядное доказательство своей мысли, Бестужев пересказывает содержание романа Полевого «Клятва при гробе Господнем», останавливаясь подробно на характеристике всех действующих лиц. Критических замечаний в этом разборе мало. Критик отмечает неровности в языке романиста, несовершенство

слога, каким написана повесть, но в общем его статья – хвалебный гимн: «Клятва» Полевого – это концерт Бетховена, сыгранный на плохой скрипке.

В данном случае Бестужев, конечно, преувеличил, и его оценка романа Полевого сама по себе цены не имеет. В ней при случае высказанные мысли важнее основных. Такие ценные случайные заметки попадаются и на последних страницах его отзыва.

Для своего времени очень тонкими были, например, заметки Бестужева о реализме в искусстве. «Писатели, – говорил он, – иногда выводят самых ничтожных лиц и ведут самые пустые разговоры и оправдываются словами: это с природы! Помилуйте, господа! разве простота – пошлость! Природа! после этого тот, кто хорошо хрюкает поросенком, величайший из виртуозов, и фельдшер, снявший алебастровую маску с Наполеона, первый ваятель! Искусство не рабски передразнивает природу, а создает свое из ее материалов. Дайте нам не условный мир, но избранный мир, то есть дайте нам типы, а не фотографии, и притом в русском теле, в русском духе…»

Такова в ее главнейших мыслях эта замечательная статья[306]. Она была необычайно смела по замыслу. Автор был прав, когда говорил, что он придрался только к случаю, чтобы изложить свои мысли по самым различным предметам. Статья разрослась, как мы видели, в целый краткий очерк всемирной культуры. Автор хотел блеснуть своими историческими и литературными знаниями. Он приобрел их, конечно, не из первых рук, но он удачно их систематизировал, и благодаря этой историко-литературной панораме, которую цензура не позволила ему, однако, развернуть полностью, статья получала общеобразовательное значение. Русский читатель узнавал из нее массу нового, не говоря уже о том, что автор поддерживал его во все время чтения в очень бодром настроении, в том свежем, романтическом и задорном настроении, которое он так ценил в себе самом. И действительно, несмотря на цензурные штрихи, статья, как мы могли убедиться, сохранила местами свой агрессивный публицистический тон, по существу, либеральный и просвещенный.

Статья была замечена, и семь лет спустя после ее выхода в свет Белинский рекомендовал ее вниманию своих читателей. Отозвавшись с достаточной небрежностью о всей первой части статьи Бестужева, в которой говорилось о западноевропейских литературных течениях, упрекнув автора также в том, что он не имеет ясного понятая о романтизме, что в его глазах все талантливые писатели – романтики, а романтизм – ключ ко всякой мудрости, решение всего и на земле, и под землею, – Белинский с большой похвалой остановился на «светлых и верных мыслях Марлинского, на тех его страницах, которые сияют и блещут живым, увлекательным красноречием, бриллиантовым языком». К таким страницам он относил все те, «на которых автор разбирал русских писателей»… и Белинский делал несколько выписок из статьи, чтобы читатель мог судить, насколько его (Белинского) мысли совпадают с мыслями его предшественника. «Оставляя в стороне ложность или поверхностность многих мыслей, – заканчивал Белинский свой отзыв о Бестужеве как о критике, – пройдя молчанием неудачные и неуместные претензии на остроумие и оригинальность выражения, скажем, что многие светлые мысли, часто обнаруживающие верное чувство изящного, и все это, высказанное живо, пламенно, увлекательно, оригинально и остроумно, составляет неотъемлемую и важную заслугу Бестужева.

Он был первый, сказавший в нашей литературе много нового, так что все писавшееся потом в «Телеграфе» было повторением уже сказанного им в его литературных обозрениях[307]. Лучшим доказательством этого служит его примечательная и – несмотря на отсутствие внутренней связи и последовательности, на неуместность толков о всякой всячине, не идущей к делу, несмотря на множество софизмов и явное пристрастие – прекрасная статья о «Клятве при Гробе Господнем», «Телеграф», во все время своего существования, ни на одну ноту не сказал больше сказанного Марлинским и только разве отстал от него, обратившись к устаревшим мнениям, которые прежде сам преследовал. Да, Марлинский не много действовал, как критик, но много сделал, – его заслуги в этом отношении незабвенны»…

В этих словах – словах писателя, который признает себя должником своего предшественника, указано, хоть и неопределенно, но довольно верно то место, которое занимает Бестужев в истории русской критики. При определении его заслуги как критика не должна, однако, иметь решающего значения его статья о романе Полевого, так как она была написана в годы, когда критическая наша мысль уже достаточно окрепла. Бестужев был ценен для нас, главным образом, как литературный судья 20-х годов, когда критика находилась еще в пеленках.

XXXI

Наша критическая мысль двадцатых и тридцатых годов может быть подведена под два основных типа.

Критик в своих суждениях исходил либо из *теоретических* взглядов, заимствованных или самостоятельных, либо он руководствовался своим *непосредственным эстетическим чувством* и, вместо того, чтобы оправдывать разбором произведения какую-нибудь теорию, он просто обращал внимание читателя на то, что в этом произведении он находил художественным или нехудожественным. До Белинского критика *теоретическая* была представлена Веневитиновым, Киреевским и Надеждиным, а критика, построенная

почти исключительно на *непосредственном чувстве,* – Вяземским, Бестужевым и Полевым. Из всех перечисленных критиков Бестужев с Вяземским были старейшие. Но если принять во внимание, что расцвет критики Вяземского падает после 1825 года, когда Бестужев свою роль как критик уже закончил, то именно его – Бестужева – и нужно признать за пионера серьезной критической мысли в нашей литературе.

Бестужев не был силен ни своими знаниями разных теорий, ни способностью в них углубляться, он брал врожденным эстетическим чутьем и вкусом, который, как мы видели, хотя и делал крупные промахи, но в большинстве случаев попадал верно.

Но, кроме этого, в критике Бестужева была еще и другая, весьма значительная и новая сила; она сказывалась в публицистической тенденции автора, в постоянном его стремлении связать литературу с жизнью современной, в попытках исследовать общественные причины ее роста или увядания[308]. Эта публицистическая тенденция до Бестужева была в литературе почти совсем незаметна. В его время она проскальзывала в очень общей форме у Веневитинова и Киреевского, когда им приходилось касаться их излюбленного вопроса о культурном призвании русской нации и государства; она встречалась у Вяземского, который умел быть иногда острым и деликатным сатириком; попадалась она также в статьях Полевого и Надеждина, в форме более грубой. И только у Бестужева, который раньше их всех выступил со своим словом, эта публицистическая тенденция проступала наружу вполне определенно, как руководящая тенденция, которой автор придавал большое значение[310].

И если Бестужев был предшественником Белинского, как теперь уже признано, то Белинский мог вспомнить о нем не тогда, когда развивал какие-нибудь теории или когда отдавался непосредственному своему эстетическому чувству, а в те минуты, когда благодарил или упрекал искусство за его внимательное или невнимательное отношение к явлениям действительности.

Таковы были работы Марлинского в области критики и публицистики. И на этих работах, как видим, остался отпечаток его личности – нервной, возбужденной и впечатлительной.

Она – эта личность – и была центральной фигурой, которая привлекала к себе общее внимание и пользовалась общей симпатией. В ней кроется и главная причина успеха Марлинского как писателя.

XXXII

Сам Бестужев любил при случае намекнуть на то, что он личность интересная[312].

«Я посвятил себя изучению людей, но себя постичь не могу доселе: настоящий микрокосм[313]... мое нервозное сложение – эолова арфа[314]... я, как Шенье у гильотины, могу сказать, ударяя себя по лбу: тут что-то есть, но это еще связано, темно или, лучше сказать, так ярко, что ум ослеплен и ничего не различает[315]...» – говорил он, несколько любуясь собой. Он вообще не умел и не любил исчезать из поля зрения читателя. Почти во всех своих повестях появлялся он, уступая на время свои чувства и мысли герою или героине, давая советы и пояснения то им, то читателю или, наконец, прерывая нить рассказа своими личными воспоминаниями. Случалось Марлинскому иногда и прямо говорить от своего лица, рассказывать о себе самом[316] – и никогда речь его не была так стремительна, так горяча и богата всевозможными украшениями, как в эти минуты личных признаний. Воспользуемся же этими откровенными беседами и всеми автобиографическими намеками, рассеянными в его повестях, чтобы воссоздать образ самого писателя – образ вдвойне интересный: как материал для истории человеческого сердца и ума вообще и как исторический портрет эпохи александровского царствования.

А Марлинский был, действительно, типичный представитель этого царствования, один из лучших выразителей его гуманных идеалов, писатель, которому суждено было говорить об этих идеалах в эпоху для них очень враждебную. Не о своей лишь разбитой жизни говорил с грустью наш автор, не одну лишь память о себе хотел он в своих повестях спасти от забвения: он боялся, как бы не изгладились из памяти современников те порывы чувств и те мысли, которыми жили он и многие другие не так давно, в годы их юности. И каждый, кто брал повести Марлинского в руки, не мог не чувствовать обаяния этой недавней старины: сквозь все покровы, при всех умолчаниях, сквозь все намеки проглядывала эта недавняя жизнь. Марлинский напоминал о ней, и в этом скромном и глухом напоминании была заключена вся прогрессивная сила его кудрявых слов.

И, действительно, в тридцатых годах его личность, с ее миросозерцанием, настроением и речью должна была приковать к себе внимание: так непохожа была она на всех лиц, с которыми встречалась и говорила. В эпоху, когда страстность, энергия, восторженность чувства и смелость мысли признавались опасными симптомами жизни, во времена очень неблагоприятные для всякого возбуждения, Марлинский был одним из весьма немногих авторов, которые повышали в читателе на несколько градусов теплоту чувства и энергию мысли.

Страстность и порывистая восторженность были главными основными качествами натуры Марлинского, и каждое чувство, настроение, каждая мысль, попадая в эту горячую струю симпатии или антипатии, проявлялись весьма своеобразно.

Марлинский любил и ценил в себе эту горячку ума и сердца. В трудные тоскливые минуты, столь частые в его жизни, он щупал свой пульс и был очень доволен, когда мог сказать себе: «сердце мое шевелится еще, и слишком» или: «душа моя все-таки растет».

«Терпенье – добродетель верблюдов, не людей», – говаривал наш писатель еще в счастливые годы своей свободы, и терпеливо, как вьючное животное, перенося свою участь, он в мечтах и в мыслях всегда протестовал против этой добродетели. «Что ж доброго делалось бы в свете с лед-головами!» – думал он, когда иногда упрекал себя за излишний жар своей головы.., но смирить этот жар он не старался. Его самого тешила невыразимость его чувств, быстрота его мыслей, которые, сверкнув, исчезали, как «исчезает в долине мгновенная тень поднебесного сокола»... Казалось, пусть молния увьет его перо, пусть свет его вспыхнет огненными чертами – то и тогда выражение будет лишь одним призраком его невыразимого чувства. «Исполинские думы и бурные чувства роятся в груди моей, – говорил он. – Гнев, воспоминания, надежды, мечты вливаются, теснятся, рвутся в душу мою вместе и порознь, то услаждая, то терзая ее. Где найду я ноты сердечные, чтобы изобразить все оттенки, все изменения, все звуки ощущений моих?»

Марлинский, впрочем, находил такие звуки: они были несколько резкие, вычурные звуки, но они передавали то настроение, в каком находился наш писатель почти всегда, когда брал перо в руки. Не в пример своим современникам, томным молодым мечтателям, рыцарям луны, и притом туманной, – он любил больше дневной яркий свет и, глядя на романтическую луну, иногда кощунствовал. «Тихая сторона мечтаний! – говорил он. – Для чего так мило сердцу твое мерцание? Как дружеский привет или ласка матери? Прелестна ты, звезда покоя, но земля наша, обиталище бурь, еще прелестнее, и потому не верю я мысли поэтов, что туда суждено умчаться теням нашим. Нет! Ты могла быть колыбелью, отчизной нашего духа; там, может быть, расцвело его младенчество; но не тебе, тихая сторона, быть приютом буйной молодости души человеческой! В полете к усовершенствованию ее доля – еще прекраснейшие миры и еще тягчайшие испытания».

Бури просила его душа, и он любил бурю во всех ее видах: в снежной степи, в горах и ущельях и, в особенности, на море. У Марлинского нет почти ни одной повести, в которой бы природа не бурлила в унисон с человеческим сердцем или по контрасту с ним; и надо отдать справедливость нашему писателю, он умел рисовать гневный лик разбушевавшейся стихии. Крутые частые валы с их пенистым гребнем катились очень красиво на его страницах, ветер свистел пронзительно, гнал их, рыл их и рвал; молния блистала, правда, слишком часто, но зато ярко; иногда показывались смерчи или тромбы; вздымались они, белые, из валов, как дух бурь, описанный Камоэнсом, головы их касались туч, ребра увивались беспрерывными молниями... море с глухим гулом кипело и дымилось котлом около – они вились, вытягивались и распадались с громом, осыпая валы фосфорическими огнями. «Люблю встретить бурю лицом к лицу, – говорил Марлинский, любуясь ее гневом, как гневом красавицы, – и радостно крещусь, приветствуя первый гром. Привольно, весело мне, свежо на сердце, с наслаждением глотаю капли дождя – эти ягоды полей воздушных. Полною грудью вдыхаю вихорь... о! в буре есть что-то родственное человеку! Дремлет чайка в затишье, но чуть взыграло море, она встрепенется, раскинет крылья на высь с радостным криком и взрежет ветер, смело поцелуется с бурунами. Таков и дух мой! С самого младенчества я любил грозы: гром для меня всегда был милее песни, молния краше радуги».

И особый таинственный смысл прочитал Марлинский в этом гневе природы. «Львиной страстью, – говорил он, – любит небо нашу землю: поцелуй его – всепронзающая молния, его ласки развевают в прах утесы, плавят металлы, как воск. Но разве не такова любовь всего великого, всего сильного на земле? Кто дерзкий осмелится сказать, что гроза бесполезна, что природа разрушает не для того, чтобы творить? Ответствуй за нее разлив Нила и пожар Москвы! Если б грозы и не очищали воздуха, не приносили никакой вещественной пользы для земли, то уже одно нравственное впечатление на умы людей ставит их в число величайших явлений природы. Семена Божьего страха глубоко западают в сердца, размягченные Перуном, и если хоть одно раскаяние зазеленеет на них добрым намерением, заколосится добрым делом – человечество больше выиграло, чем напоением целой нивы»...

Да! буря спасительна, думал наш романтик, и вот почему всякий раз, когда ему приходилось описывать, как она замирает, как утихает – какая-то затаенная грусть слышалась в его элегической речи. «Синева бездействия подернула лицо моря, – писал он однажды, – оно дышало уже тяжело, подобно умирающему, и, наконец, душа его излетела туманом, как будто проображая тем, что все великое на земле дышит только бурями и что кончина всего великого повита в саван тумана, непроницаемый равно для деятеля, как для зрителя»...

Человеку с таким темпераментом должно было дышаться трудно и не при таких тяжелых условиях, при каких замирал и утихал сам Марлинский. Чуя грозу в собственном сердце и думая над тем, что он под этой грозой успел сказать и сделать, он впадал в грустное раздумье. «Mon me est du granit, la foudre m me n'y mordra pas», – повторял он знаменитую фразу Наполеона; но если, действительно, удар 1825 года не сокрушил этой гранитной души, – она давала подчас трещины, когда в продолжение долгих лет на нее капали слезы.

Перебирая в памяти все, что им было сказано, Марлинский с грустью замечал, что в его словах «сохранен лишь слабый отблеск и слабый отзвук тех гроз, которые проносились в его уме и сердце». «Полвека бы не стало на высказ того, что крутится вихрями в моем воображении, на перепись дум, насыпанных в

сокровищницу ума, на разработку рудников, таящихся в лоне души», – говорил он устами Вадимова, которому доверил все свои самые интимные думы. «Как выразить то, что не поддается выражению? Великое дело мысль, великое дело чувство, но это два океана – их не вычерпать черепом человеческим, и это тем безнадежнее, что зачерпнутое должно храниться в решете выражения: нет у нас другого сосуда, другого орудия передачи»...

Ни одна из страниц, написанных Марлинским, не передает верно и полно того пафоса, с каким этот возбужденный человек относился к страстям, создающим всю поэзию людской жизни. Разве в какой-нибудь дремоте мог он приблизиться к этой тайне, осилить эту трудность и полуясными словами дать нам понять, что ему знакомы какие-то чувства почти бесформенные. «Какой-то новый мир, вовсе не знакомый, ощутительный, но безвидный обнимал меня, – признавался он однажды, – какие-то чудные существа теснились в душе;... мне казалось, я слышу лепет их крыльев, шум стоп, жар дыханья, невнятный их говор... порой передо мной вились, сверкали, огнились символические их письмена, которые вместе были и буквами и живыми образами; самые звуки принимали на себя какую-то неопределенную форму. Я трепетал, как струна, издающая божественный голос; томный и вместе сладостный ужас пробегал по моим жилам: я хотел постичь его и болезненно сознавался, что природа не дала самой душе органов для вкушения этого безымянного чувства; на меня находила тогда тоска; я походил на человека, который страстно любит музыку и страждет случайной глухотой». Как должны были удивлять такие речи читателя тех годов и как они знакомы нам, пережившим так называемое «декадентское» настроение души человеческой. Для Марлинского они были полны таинственного смысла: именно только такими необычными словами и сравнениями мог он передать тот восторг, ту бурю, которая охватывала его, когда он чувствовал себя поэтом. А такое ощущение он испытывал часто и, писал ли он повесть или частное письмо, он не мог уберечь себя от подъема в настроении и в мысли, подъема, который сейчас же отражался и на его стиле.

Марлинский обоготворял поэта, и это обожествление несколько ласкало его самолюбие, но когда приходилось доверять свой восторг бумаге и потом спокойно взглянуть на то, что написано, художник унывал, понимая всю разницу, какая существует между мечтой, издали манящей, и мечтой, скованной словами.

В своих повестях наш автор часто говорил о поэте и о поэтическом настроении тех, кто осужден страдать от окружающей их прозы. Эту банальную тему, весьма популярную в его время, он дополнил одной, действительно глубоко трагической деталью...

Никто из его современников не умел так дать почувствовать всю муку, которую испытывает поэт не от соседства толпы, а от соседства своей музы, своей богини; как бы ни были жгучи ее ласки, она всегда остается ему чуждой и далекой, и свиданье с ней не есть осуществление того блаженства, о котором мечтает поэт, когда чует ее приближение.

«Воображение поэта всесильно, – говорил Марлинский. – Оно претворяет свечку в звезду утреннюю, кроит радужные крылья ангела из пестрого плаща. Не разрушайте хрустального мира поэта, но и не завидуйте ему. Как Мидас, он превращает в золото все то, к чему ни коснется; зато и гибнет, как Мидас, ломая с голоду зубы на слитке».

«Грустно! – записал Марлинский однажды в своем дневнике. – Листопад не в одной душе моей, но повсюду. Блеклые листья роятся по воздуху и с шорохом падают... Мутная волна уносит их далеко; замечательно, что листья осенью переходят по всем цветам радуги: из зеленого в голубоватый, потом в желтый, в оранжевый, в красный, и облетают. Не таково ль воображение? Мало ему луча небесного: надобно, чтобы он отражался под известным углом».

Отражение небесного луча под известным углом жизни еще удавалось нашему писателю. Но ему этого было мало: ему хотелось уловить этот бесцветный небесный луч, ему хотелось, чтобы общая совокупность всего, что он думал и чувствовал, озарилась бы этим лучом, в котором тонут все оттенки жизни, который один и проникает собою всю вселенную.

Такое желание – а оно сквозит во всех жалобах Марлинского на «неизъяснимость», «невыразимость», «безымянность» его поэтического восторга – заставляло нашего писателя повышать и в себе самом, и в своих героях все чувства, изображать их почти всегда в неспокойном состоянии духа.

Когда ему, уже в предчувствии смерти, пришло желание записать в дневник все свои заветные мысли о Боге, природе, людях и о себе самом, он придумал для этих признаний очень оригинальную форму. Он набросал «Журнал Вадимова». Это был дневник – «зачумленного» человека.

В Ахалцыхе в самый разгар чумы прощается больной Вадимов с жизнью... Он чувствует порой, как раскаляются его легкие, как расторгаются они и стреляют молниями в жилы... он чувствует, как кипит, клокочет кровь его, будто растопленная медь, то прорываясь в жилах потоком, то капля по капле цедясь сквозь суставы. И чудится ему, что он сам растягивается огромной рекой; он дышит тихой зыбью, он пьет свет, он весь – тишина и ясность... И в эти минуты отчаянного, предсмертного, болезненного подъема сил пытается он ответить самому себе на вопрос, что есть жизнь и как он ее прожил. Отвечает он, конечно, иносказательно, туманно; для всех непосвященных в его тайну он – ритор, но, в сущности, он несчастный поэт, который не в силах обуздать свою мысль и фантазию и совладать со своим бешеным вдохновением, не покоряющимся никакому слову.

«Гомер, Данте, Мильтон, Шекспир, Байрон, Гете, яркое созвездие, венчающее человечество! – восклицает умирающий поэт. – Великаны, которым не верит свет! Чувствую, что мои думы могли быть ровесниками вашим; но, если я скажу это своему лекарю, единственному существу, которое посещает меня, он не засмеется только из жалости… он покачает головой, он подумает: «болезнь переходит у него в бред», он назовет меня бедняжкой, меня, раздавленного сокровищами, меня, как Мидаса, умирающего с голоду на горах золота!.. Это мучительно, это невообразимо мучительно!»

«Да! огромную, необъятную поэму замышлял начертить я: «Человечество» было бы имя ее, человечество во всех его возрастах, во всех кризисах. Я бы сплавил в этой поэме небо с землей, поднял бы из праха века, допытался бы от судьбы неразгаданных доселе приговоров ее; зажег бы над мертвецом минувшего погасшие лучи жизни, озарил бы молниями будущее и в облака, в океан, в землю полными руками посеял бы семена неиспытанных, незнаемых звуков, мыслей, ощущений, – зерна столь же сладостные, как райская роса, как улыбка неба!.. Засеял бы полными руками землю звездами неба, засеял бы небо мыслями земли и сплавил бы радугой в одно: небо с землей… Я все, что было, что свершилось на деле, на письме, в душе и в воле, в меди и в мраморе, в звуках и взорах, историю и басню, роман, драму, ученость и заблуждение, веру, суеверие, – все это стопил бы я в необъятном горниле труда, все поглотил, всосал бы, как море, и послал к небу в чистых испарениях или, переработанное, очищенное, сокрыл бы в лоне своем яркими кристаллами».

Конечно, весь этот бессвязный бред никак нельзя считать точным выражением дум и намерений самого Марлинского, но если в этом потоке слов и образов искать не смысла, а настроения, то таковое окажется. Это именно настроение человека, чувствующего страшную тайну жизни, невыразимую ее поэзию, при одном представлении о которой мысль начинает путаться и теряет всякое самообладание. Припоминая те странички из поэмы «Человечество», которые ему удалось кое-как написать, автор говорил: «Как они ничтожны!» Он искренно скорбел о том, как мало он для человечества сделал, он признавался, что в сочинениях его много непрочувствованного, и, наконец, как бы боясь того, что люди сочтут его сочинения за полное отражение его личности, он громогласно заявлял, что литература только «ничтожная страничка его существования».

При такой тревоге духа как было мыслимо успокоение и довольство в труде?

Заставить сердце «пропитаться той энергией, которая движет всем космосом», наполнить его той поэзией, которая разлита во всем мире, одушевленном и неодушевленном, дать «высочайшее счастье в сознании всего высокого и прекрасного» – вот какой победой удовлетворилась бы артистически честолюбивая душа нашего писателя, которому был дан талант бесспорный, но не крупный, ум тревожный и пытливый, но не гениальный и фантазия игривая, но не творческая.

Но и этих даров было достаточно, чтобы разъяснить читателю смысл и передать ему красоту некоторых вечных идей и настроений, какими жило и живет человечество.

XXXIII

Как многие из его сверстников, Марлинский был человек религиозный, хотя, насколько можно судить по его сочинениям, он не связывал своей веры тесно с догмами какого-нибудь определенного вероисповедания.

С религиозным смирением покорялся он высшей воле, но эта покорность не всегда могла осилить в нем его печаль и раздражение. Его душу – как он говорил – всегда сжимала рука несчастия, и только в тишине покоя могла она развернуться с фимиамом мольбы. Он считал робостью в минуту опасности вымаливать у всевышнего пощаду и не хотел поздним раскаянием или безвременной молитвой оскорбить вечную справедливость. «Но когда Бог отгонял своим дыханием волны моря и они, расхлынув, стеной стояли вдали, алчные, но бессильные пожрать его, когда Бог дарил ему минуты радости», – он молился бескорыстной благодатной молитвой.

Ни в письмах его, ни в его сочинениях не сохранилось этих молитв, и потому трудно судить о глубине и искренности его веры; всякий раз, когда Марлинскому приходилось говорить о Боге, его слова были восторженны и красивы, но в них проглядывал скорее певец Божьей славы и поклонник красоты божьего мира, чем смиренно молящийся. Даже в слова о загробной жизни, в которую Марлинский верил, он вкладывал ту тревогу воображения, ту страстность, с какой он говорил обо всем поэтическом в жизни людей и природы. В присутствии Бога в нем просыпался прежде всего поэт.

«Путь жизни моей, – говорил он, – провела судьба по тернам и камням, сквозь ночь и облака; но и мне порой светили звезды, и я умел благословлять каждый луч, до меня достигавший; и чаще всего и чище слетали на меня искры благодати, когда я скитался по вершинам гор; я душой постиг тогда хвалебный гимн: «Слава Богу в вышних и на земли мир»… Вот и ночь; она щедро осыпала звездами свод неба, и ярко, но таинственно, сверкают очи под голубым черепом: это ведь мысли вселенной, вечно светлые, вечно неизменные; это буквы, из которых мы едва угадываем одно целое слово, и это слово – «Бог!»

И мечта увлекала художника, сравнение громоздилось на сравнение, символ на символ, и получалась картина, в которой не было святости, но зато были необычайно смелые колоритные мазки. Бог становился

для поэта одушевленной природой, весь мир – воплощением любви, и любовь была Богом. «Цветок увядает от неги зачатия, – говорил он, – соловей отдает свои поэмы дебрям, кровожадный тигр ластится, металл плавится с металлом ударом электричества, магнитная стрелка сохраняет неизменное постоянство, и пути сфер сгибаются в обручальное кольцо около перста «Предвечного»... Да, созерцая свод неба, мне кажется, грудь моя расширяется, растет и обнимает пространства. Солнцы согревают кровь мою, мириады комет и планет движутся во мне; в сердце кипит жизнь беспредельности, в уме совершается вечность. Не умею высказать этого необъятного чувства, но оно просыпается во мне каждый раз, когда я топлюсь в небе... оно – залог бессмертия, оно – искра Бога! О! я не доискиваюсь тогда, лучше ли называть Его Иегова, Dios или Алла? Не спрашиваю с немецкими философами: Он ли das immerwährende Nichts – или das immerwährende Alles; но я Его чувствую везде, во всем, и тут – в самом себе!»

В этих словах художник обнаружил всю тайну своей религиозной мысли. Она, действительно, религиозна, но она мысль свободного мыслителя, философа-поэта. В сущности, она – религиозный восторг перед природой, ее тайной и красотой.

Красота Божьего мира наводит поэта на рассуждения, с виду как будто глубокомысленные, но на деле представляющие лишь видоизменения одного-единственного восторженного поклонения природе. Судя по ссылкам на Велланского, которые попадаются в сочинениях Марлинского[317], можно думать, что и он в своей юности успел перелистать одну-другую страницу из натурфилософии; и тогда понятна та уверенность, с какой Марлинский излагал перед читателем свои собственные фантазии на тему об одушевленности природы. Он понимал, что не только разгадать эти тайны, но и передать всю внешнюю красоту их человек бессилен, что смешон человек, «когда он строит Вавилонский столп, чтобы убежать от природы», и вдвое смешон, когда хочет поймать ее на палитру или уместить в чернильницу; но уберечься от искушения произвести над ней это насилие Марлинский не мог, в особенности он, для которого природа была единственной собеседницей, не вызывавшей никаких печальных дум и воспоминаний.

Мы бы никогда не кончили, если бы стали выписывать все те нежные и восторженные слова, которыми Марлинский благодарил эту собеседницу за умиротворение его тревожной души. Мы уже знакомы с его образными, иногда очень вычурными пейзажами. Он в них почти всегда – психолог, который свои собственные чувства, настроения и мысли стремился пояснить картинами природы, почему и небеса, синие или серые, облака, прозрачные или свинцовые, туманы и дымки, хребты гор, покрытые снегом или черные своими скалами, ущелья и потоки, леса суровые или ласковые, долины и холмы, и, наконец, море с его симфонией в мажорном или минорном ключе, с его грустным лепетом и свирепой угрозой, – все было одновременно видоизменением и лика Божия, и души самого писателя. Поэт наделял природу своим голосом, своим настроением и потом удивлялся, что она так умело разговаривает с ним от души или всегда так одета по его вкусу.

Засматриваясь на нее, он чувствовал себя, как сам говорил, и добрее, и чище, и любовнее. «Душа его горела, не заплывая страстью, разум расправлял крылья, пытался взлететь за облака, проглянуть бездны земли и моря». «Это была не радость и не тоска, – говорил он, – не покой и не треволнение, это была зыбь (души), которая хранит в себе следы бури и начатки тишины»... И он слышал гармонию, которая сливала в один лад, в один блеск и земное, и небесное. Перед ним возносилась радуга прекрасного, возникающая как мост между миром и Богом. «Прекрасное, – рассуждал он, – есть заря истинного, а истинное – луч Божества, переломленный о вечность... И сам я вечен! кажется, колыбель моя качалась волнами вон того водопада, а ветры гор убаюкивали меня в сон; кажется, я бродил по этим хребтам во дни моего ребячества, когда Божий мир был моим ровесником. Разве пылинки, составляющие мое тело, не современные ему? Разве душа моя не жила довечно в лоне Провидения?»

И, вспоминая старые разговоры, которые ему в юности приходилось, вероятно, вести с кем-нибудь из его друзей, молодых адептов натурфилософии, Марлинский смело начинал философствовать. «Неслышимо природа своею бальзамической рукой стирает с сердца глубокие, ноющие рубцы огорчений, – говорил он, – сердце яснеет, хрусталеет. Вы начинаете тогда разгадывать вероятность мнения, что вещество есть свет, поглощенный тяжестью, а мысль нравственное солнце, духовное око человека, вещество, стремящееся обратиться опять в свет посредством слова. Тогда душа пьет вино полной чашей неба, купается в раздолье океана, и человек превращается весь в чистое, безмятежное, святое чувство самозабвения и мироневедения, как младенец, сейчас вынутый из купели и дремлющий на зыби материнской груди, согретый ее дыханием, лелеянный ее песнью...»

Мог ли не благодарить природу за такие окрыленные чувства и мысли поэт, который, думая о людях, об их действительной жизни, должен был не расправлять крылья своей фантазии, а, наоборот, их складывать?

И грустные мысли приходили иногда Марлинскому в голову, когда он, любуясь на девственную красоту природы, вспоминал о человеке. «Придет время, – говорил он, – люди найдут на тебя, и ты упьешься их потом, как теперь росою небес, и они заселят твои заветные ущелья, теснины, затмят тебя вывесками общественной жизни, загрязнят, притопчут до самой маковки; источат твое сердце рудниками и каменоломнями, извлекут наружу твои внутренности; научат ветры гор свистать свои жалкие песни, принудят водопады твои

молоть кофе и в девственных снегах твоих станут холодить мороженое. Мелочные люди выживут даже шакалов из пещер, отнимут гнезда у орлов и подложат в них кукушкины пестрые яйца»...

Спор между природой и человеком Марлинский разрешал в пользу последнего. «Человечество, – говорил он, – живая волна океана: ветер свивает и чеканит ее в причудливые кристаллы по произволу; природа – гора исландского хрусталя. В обоих сверкает Божество, но в первой видны лишь бегучие, перелетные искры, в другой – постоянные тучи. Со всем тем волны морские величественнее скал прибрежных; и величие, и прелесть их заключены в жизни, в движении, в разнообразии. Вот почему the proper study of mankind – is man. «Приличнейшая наука для человечества есть человек».

Этой наукой Марлинский очень интересовался, и в сочинениях его, и, в особенности, в письмах рассыпано много сентенций, в которых ясно проглядывают его, в общем, очень оптимистические взгляды на человека и его судьбу в мире.

Наш писатель больше, чем кто-либо, имел право смотреть грустно на жизнь, и он купил это право ценой очень тяжелой. Если в молодые годы своей свободы он, повинуясь романтической моде, говорил, что в нем «душевная веселость цветет столь же редко, как цвет на алоэ», тогда как на самом деле она цвела, как свежая роза, то в зрелые годы, годы неволи, он был действительно очень мрачно настроен. Что в эти минуты тоски и печали ему могли приходить в голову самые мрачные мысли, это вполне естественно. Жизнь без настоящего и будущего, с одним лишь светлым прошлым, была полужизнью. Вращаясь со своими мечтами все время в этом заколдованном круге грустных воспоминаний о счастливом прошлом, сожалений о настоящем и страхов о будущем – можно было прийти к полному разочарованию и начать повторять некоторые, тогда очень ходкие пессимистические афоризмы. Можно было пожалеть, что «человеку не дано способности, как сурку, засыпать на всю зиму настоящего горя, чтобы хоть во сне дышать вешним воздухом юности»; можно было «пить отраву воспоминания и чувствовать, как оно кровью капает из сердца, как мутен и слаб источник порождаемого им воображения, которое творит не из настоящего, а течет сквозь могилу»... «Что такое воспоминание и что такое надежда?» – можно было спросить и ответить: «Хвастовство минувшего и будущего! То и другое надувают»... «Да и вообще, что жизнь?» – «Высоко ширяется в поднебесье орел, купает крылья в радуге, хочет закрыть ими солнце, и на земле уже все мое, думает он, – и вдруг, откуда ни возьмись, зашипела стрела – ветка, только что оперившаяся, на которой он отдыхал не далее, как вчера, – и властитель воздуха, пробитый ею, издыхает в грязи, игрушкой ребятишек!» «Что имя, что слава?» – «Павший лист между осенними листьями, волна между волнами океана, флаг тонущего корабля, который на минуту веется над бездной: мелькнул – и нет его! Забвение пожирает память – безымянная могила, свинцовый гроб, ничего не отдающий стихиям». «Что, наконец, вся земля?» – «Кладбище, бездна, ничем не наполняемая и вечно несытая...». Лучше и не думать обо всем этом: мысль вообще тяжелое бремя; с чувством живется легче. «Мысль – брат; чувство – любовница; чувство сладостнее, горячее, нежнее мысли...» А еще лучше забыться и уснуть... «А что, если грусть начнет проникать и в сон?»

Такие мысли обступали иногда Александра Александровича. В них мало характерного, но есть в них два достоинства: во-первых, их искренность, и, затем, полное отсутствие в них злобы. Личные страдания поэта не отзывались на том снисходительном, любовном чувстве, с каким он вообще относился к людям, и собственное несчастье его не озлобило[319].

В письмах и сочинениях Марлинского найдутся, конечно, места, в которых он всею силою своего неистового красноречия обрушивается на людей за многие их пороки и слабости – но за такими резкими выходками следуют у него почти всегда слова примирения и прощения. Трогательно читать в его частных письмах, например, такие слова: «Странная вещь! Никогда менее не было мне причин любить людей, как теперь (1831 – тяжелый год жизни в Дербенте), и никогда любовь к ним не была во мне теплее; я прежде любил их или негодовал на них, как на братьев; теперь я их жалею, как детей». «Знаете ли, что я простил всех врагов своих в сердце, что отныне мне люди могут быть и врагами, и злодеями, но я им – нисколько, я, который столько испытал несправедливостей!» «Одно только во мне постоянно – это любовь к человечеству, по крайней мере, зерно ее, потому что стебель носил цветы разнородные, начиная от чертополоха до лилии». «Да и за что, в сущности, ненавидеть людей? – спрашивал Марлинский. – Все их несчастие от недостатка ума; все злое, порочное, мстительное – глупость в разных видах. Люди не злы, а глупы, они не злодеи, а дураки»[321]. «Одно отрадное чувство, мирительное чувство нашел я в себе, – писал он своим братьям, рассказывая им, как он пережил страшную минуту болезни, когда был близок к смерти, – одно чувство это – совершенное отсутствие ненависти или вражды: я искал их для исповеди и не нашел; я не постигал, как можно быть врагом кому-нибудь, я, который был столько раз жертвою незнакомых мне неприятелей».

Приходится удивляться такому добродушию в человеке, столь много страдавшем. Он от природы был добр и добродушен[325], он – забияка, драчун, вспыльчивый человек и насмешник. Но, помимо природы, над этими добрыми чувствами его сердца поработали и люди. Круг, в котором он вырос, заставил его так высоко думать о человеке, и у нас есть прямое тому доказательство в одном из самых интимных его писем.

Н. Полевому, с которым он был очень откровенен, Марлинский писал однажды: «Несчастны вы, что судьбой брошены в такой огромный круг мерзавцев. Я был счастливее вас, живучи в свете; я знал многих,

у которых самый большой порок был лишь то, что считали себя героями. Я счастливее вас и в этом преддверии ада, в котором маюсь, ибо знаю людей, коих падение стало вознесением. О, какие высокие души, какое ангельское терпение, какая чистота мыслей и поступков! Самая злая, низкая клевета не могла бы в шесть лет искушения найти ни в одном пятнышка, и в какое бы болото ни бывали они брошены, приказное презрение превращалось в невольное уважение. Безупречное поведение творит около них очарованную атмосферу, в которую не смеет вползти никакая гадина. Сколько познаний, дарований погребено вживе! Вы помирились бы с человечеством, если бы познакомились с моим братом Николаем! Такие души искупают тысячи наветов на человека!»

Редко кому удавалось сказать о декабристах столь теплое и правдивое слово.

При таком взгляде на человека, взгляде, насквозь проникнутом прощением и идеализмом самой высшей пробы, можно было быть оптимистом, каким и был Александр Александрович в своих конечных мыслях о судьбах человечества.

Еще в самые юные годы задумал он в драматической форме высказать свое суждение о миропорядке и в неоконченной комедии «Оптимист» он писал:

Не множь собой, мой друг, хулителей число;
Небесной мудрости познай закон священный
И верь, что создано все к лучшему в вселенной.

Были ли эти слова тогда сказаны в шутку или всерьез – но только Марлинский не отступил от них во всю свою жизнь. Конечно, говоря об оптимистическом миросозерцании Марлинского, нужно помнить, что это был оптимизм вовсе не наивный, что это была вера в конечное торжество своих идеалов, не исключавшая страшного негодования на те испытания, которым эти идеалы подвергались, и печали о таких испытаниях. «Не поверите, – говорил наш оптимист, – как глубоко трогает меня всякая низость – не за себя, за человечество: тогда плачу и досадую; я краснею, что ношу Адамов мундир». Но рядом с этим признанием Марлинский сейчас же делал другое. «Гнев, – говорил он, – досада, негодование на миг пролетают сквозь мое сердце, как молния сквозь трубу, и без следа. Я более всего не понимаю мщения».

На проявление зла в мире смотрел наш писатель особенным, философским и очень успокоительным взглядом. «Существует ли в мире хоть одна вещь, – спрашивал он, – не говоря о слове, о мыслях, о чувствах, в которой бы зло не было смешано с добром? Пчела высасывает мед из белладонны, а человек высасывает из нее яд. Вино оживляет тело трезвого и убивает даже душу пьяницы. Бросим же смешную идею исправлять словами людей: это забота Провидения. Приморский житель ужасается вечером, видя гибель корабля, а наутро собирает остатки кораблекрушения, строит из них утлую ладью, сколачивает ее костями братьев и, припеваючи, пускается в бурное море»...

Такие речи можно принять иногда и за иронию, но автор необычайно последователен в развитии их основной мысли. Он готов был назвать близорукими тех, которые жалуются на землетрясения, которые негодуют на то, что у Петра провалился дом, а у Ивана жена. «Пускай себе проваливаются, – говорил он. – От этого тысячам где-нибудь и когда-нибудь будет лучше. Ржавчина разрушения и пепел вулканов нужны для семян нового бытия, без чего они не принялись бы на граненом камне...». «Впрочем, – заканчивает он эту странную мысль, – я надеюсь, что вы не распространите моего сравнения за границы шутки»... Но пусть это и была шутка, что в данном случае весьма вероятно, но и в самых серьезных размышлениях нашего писателя смысл этой шутки повторялся, только в форме патетических возгласов.

Анализируя однажды очень подробно и тонко врожденное человеку желание прославиться, стушевывая все эгоистическое, что присуще такой жажде славы, наш оптимист хотел видеть в ней лишь «потребность любви за гробом». Потребность славы он признавал бескорыстной и справедливой[327] и думал, что живая электрическая связь, соединяющая мир прошлого с миром предыдущего, скуется до самого неба. «Каждый раз, – говорил он, – когда Провидение допускает дальних потомков прибавить несколько колец достойных подвигов или высоких мыслей к этой цепи воспоминания прежних достойных подвигов и прежних светлых открытий – может быть, эфирная часть умерших виновников, зачателей всего этого, где бы ни витала она, чувствует сладостное потрясение, венчающее и на земле райский миг творенья». «Лестная мечта!» – восклицал Марлинский, сам себя ободряя. И в самом деле, как счастлив тот, кто верит, что ни одна крупица добра в мире не пропадает и нанизывается на одну вечную цепь совершенствования, которая «скуется до неба». Конечно, все это мечты, как и раньше, были шутки, но любопытно, что и в мечтах и в шутках одно и то же направление мысли.

В одном частном письме уже совсем серьезно Марлинский писал своему другу Полевому: «Человечество есть великая мысль, принадлежащая собственно нашему веку (то есть мысль о прогрессе, развитие которой, действительно, одна из заслуг XIX столетия). Она утешительна: быть убежденным, что если один народ коснеет в варварстве, если другой отброшен в невежество, зато десять других идут вперед по пути просвещения, и что масса благоденствия растет с каждым днем – это льет бальзам в растерзанную душу

частного человека, утешает гражданина, обиженного обществом. Но все это лишь в отношении к будущему, которое не должно и не может уничтожать настоящих обязанностей»... Эти слова мы и можем принять как конечный итог всех мыслей Марлинского о судьбах человечества.

Таковы основные положения оптимистического миросозерцания нашего автора, насколько о них можно судить по его отрывочным признаниям.

Но мысль не была главным двигателем психической жизни нашего поэта. Сам он признавался, что ему казалось и кажется, что он рожден лучше чувствовать, нежели говорить и более действовать, чем думать; и характеристика его как человека была бы не полна, если бы мы обошли молчанием те бурные романтические чувства, которые помогли гонимому человеку справиться с одной из труднейших задач – с сохранением воли к жизни при условиях самых враждебных и гибельных для этой воли.

XXXIV

С одним из таких чувств – с развитым чувством эстетическим, находящим себе относительное удовлетворение в творчестве, мы уже достаточно знакомы. Мечта была для Марлинского всегда желанной гостьей. С прямым намеком на себя писал он в начале своей неволи:

«Успокойся, путник юный,
Ты разбит и утомлен,
На тебя златые струны
Назвенят глубокий сон.
И, приникнув к изголовью,
Сновидений красота
Обоймет тебя с любовью
Тихокрылая мечта.
Чаровница за собою
Уманит и уведет:
Ступишь легкою стопою
На ковер на самолет;
И заветною долиной
Вдаль за тридевять земель
С быстротою соколиной
Упорхнет душа отсель».

«Андрей Переяславский», 1829

Мечту Марлинского нельзя, конечно, назвать «тихокрылой»; наоборот, она своими крыльями производила шум очень резкий; но она своего достигала: она помогала его душе упорхнуть от скучной жизни.

В эту монотонную жизнь вносило большое разнообразие и другое чувство, сильно развившееся в нашем писателе в годы его кочевой, походной жизни. Это был его военный пыл. «После восторга любви, – говорил он, – я не знаю высшего восторга для телесного человека, как победа, потому что к чувству силы примешано тут чувство славы».

«Раскинь же на ветер коршуновы крылья твои, дух войны, – писал Марлинский в одном из своих походных дневников, – повеселись сердце богатырское; разгуляйся конь! Весело удалому топтать подковой ледяной венец гор, давать им новую денницу пожаром, крушить скалы своею молнией. Творить божественно, но и разрушать тоже божественно. Разрушение – тук для новой лучшей жизни».

Читая такие строки, можно подумать, что перед нами какой-то рыцарь разрушения, в особенности, когда он, увлекаемый своей мечтой, начинает уверять нас, что он закалил до жестокости свое сердце, что ребячески радовался, когда от его пули падал в прах какой-нибудь наездник, что с восхищением он вонзал шашку ближнему в сердце и вытирал кровавую полосу о гриву коня. На самом деле этот военный пыл увлекал Марлинского до самозабвения лишь на первых порах, когда он после «томительной якутской скуки попал сразу на поле сражения под Байбуртом. За все годы своей кавказской жизни он расстрелял, конечно, немало зарядов и рубил направо и налево; но за этим воодушевлением военным по пятам всегда плелась грустная мучительная мысль: «к чему все это?», и нет сомнения, что отвага Марлинского, как он сам неоднократно признавался, была отвагой отчаяния. Он был искренен, когда говорил, что искал смерти, а тот, кто ищет ее для себя, тот не испытывает восторга, нанося ее ближнему.

Иначе и быть не могло; гуманист и филантроп, сжигающий сакли свободных горцев и уводящий в плен их семьи, становился в безысходное противоречие с самим собой. Не он ли, блуждая по горам Кавказа и пользуясь гостеприимством горцев, со словами укоризны обращался к людям, которые любят свои оковы и

уютные раззолоченные гробы. «Песчаные души! пресыщенные чувственностью и окостеневшие в бесчувствии, что могли бы вы принести сюда, в это царство свободы, кроме своей лицемерной скуки?» – спрашивал он их. Это «царство свободы» Марлинский понимал, впрочем, преимущественно как царство свободной величественной природы, и мы знаем, что насчет умственных и нравственных качеств ее диких обитателей он не заблуждался; но не мог же он, все-таки, хладнокровно их резать, не пожалев об их судьбе и о своей собственной? Он и жалел часто. Сколько величавого пафоса и уважения к врагу звучит, например, в той предсмертной песне, которую он вложил в уста затравленным в ущельях и на смерть осужденным горцам:

Слава нам! Смерть врагу!
Алла-га! Алла-гу!
Плачьте красавицы в горном ауле,
Правьте поминки по нас:
Вслед за последнею меткою пулей,
Мы покидаем Кавказ!
Здесь, не цевница к ночному покою,
– Нас убаюкает гром;
Очи не милая черной косою –
Ворон закроет крылом!
Дети! забудьте отцовский обычай:
Он не потешит нас русской добычей!
.....
.....
Не плачь, о, мать! твоей любовью
Мне билось сердце высоко,
И в нем кипело львиной кровью
Родимой груди молоко;
И никогда нагорной воле
Удалый сын не изменял:
Он в грозной битве, в чуждом поле,
Постигнут Азраилом, пал;
Но кровь моя, на радость краю,
Нетленным цветом будет цвесть;
Я детям славу завещаю,
А братьям гибельную месть!
.....
О, братья! творите молитву;
С кинжалами ринемся в битву!
Ломай их о русскую грудь...
По трупам бесстрашного путь!
Слава нам, смерть врагу!
Алла-га, Алла-гу!

«Отчего на этих местах истребления и запустения не могла бы процветать мирная культура?» – спрашивал иногда наш воин... «Ведь русские так великодушны, добродушны и справедливы; только изуверство заставляет горцев смотреть на русских как на вечных врагов; и горцы – они честны и по-своему добры; зачем им вздыхать о старине, которая для них была так кровава и полна притеснений! Отчего им не покинуть свои предрассудки и не стать нашими братьями по просвещению?»

«Опять набеги, опять убийство! – Когда-то перестанет литься кровь на угорьях?»

«Когда горные потоки потекут молоком и сахарный тростник заколышется на снежных вершинах», – отвечает мрачный горец в одной повести Марлинского. Но автор ему не поверил. «Много, но не долго литься на Кавказе дождю кровавому, – уверял он, – гроза расцветет тишью, железо бранное будет поражать только грудь земли, и цепные мосты повиснут через пропасти, под которыми страшно было видеть и радугу. Дайте Кавказу мир, и не ищите земного рая на Евфрате».

Такими пожеланиями и пророчествами спешил Марлинский выпутаться из затруднения, в какое попадал, когда хотел сам для себя осмыслить свою роль на Кавказе.

Ему помогало, впрочем, в данном случае его очень горячее патриотическое чувство. Он любил родину и как офицер дорожил ее военной славой. Увлечение этой славой ожесточало его против ее врагов.

Заставляло оно его также любить того, кому охрана этой славы была доверена; и Александр Александрович, как многие из его сотоварищей по несчастию, примирился с императором на другой же день катастрофы, тем более что в нем никогда особенно и не был силен дух политического протеста...

Когда мы в его частных письмах читаем, как он в Якутске идет «молиться за своего благодетеля и пожелать сердечно, чтобы русские солдаты в светлый день рождения Государя сделали ему достойный подарок в виде турецкой крепости», или когда из одного письма, писанного из Дербента, мы узнаем взгляды Марлинского на польское восстание, которое его огорчило и раздосадовало настолько, что у него самого явилась мысль «променять пули с панами добродзеями, которые не забыли своих своевольных вольностей и хотят быть скорее несчастными по своей прихоти, чем счастливыми по русскому разуму», – когда мы читаем такие строки, то, прежде всего, у нас является подозрение, не писаны ли они для тайных читателей? Но объясняются они гораздо проще: в них сказался тот самый патриот, который и в своих ранних повестях любил говорить о военной славе императора Александра I, против которого ораторствовал в тайном обществе. Что в данном случае говорил не столько раскаявшийся политикан, сколько именно патриот, это доказывается, например, тем, что в том же самом письме, в котором Марлинский порицал польское восстание, он – конечно, весьма осторожно – приветствовал июльскую революцию во Франции, той Франции, «которая, как исполинское знамя, как боевая пушка, дает знак переворотов».

Во всяком случае, если Марлинский – насколько можно судить по опубликованным документам – стал хладнокровно относиться к тем политическим идеям, за которые он пострадал, то сущность его общественной мысли осталась неизменной за всю его жизнь. Писатель мог, передумав свои политические мысли, прийти к выводу, что они слишком опередили русскую жизнь, и он мог от них отказаться, как он и сделал, но едва ли мог он отступиться от тех взглядов, которые в нем укрепились, главным образом, в силу его возмущенного нравственного чувства.

От этих взглядов Марлинский и не отступил; и во всех своих повестях, при каждом удобном случае твердил он о том, что такое общественная порядочность человека и что такое социальная справедливость. Касаясь этой темы, он, конечно, был вынужден повторять многое всем известное и тривиальное. Но не будем его судить строго за такие повторения и не забудем, что в его положении бывало иногда невозможно выйти из общих фраз в обличении общественных пороков.

Тем не менее Марлинский имел смелость об одной из таких общественных язв постоянно напоминать своим читателям.

Марлинский не вникал подробно в вопрос о крестьянстве, проектов никаких не строил, но не упускал случая в самых же первых своих повестях – от действительной жизни очень далеких – направлять на этот вопрос внимание читателя. В своей «Поездке в Ревель» (1821) он говорил о состоянии ливонских крестьян и отмечал, как владельцы, содействуя цели мудрого правительства, улучшают крестьянский быт в нравственном и физическом отношении, как народ отвыкает от пьянства, лени и всех пороков, невежество сопровождающих. Эти сведения он почерпал не из книг, а следуя своему правилу: «слушать богатых людей и заставлять говорить бедных». Впрочем, Марлинский перелистывал и историю того края, по которому путешествовал, и отмечал тяготу налогов и работ, падавших некогда на бедных обитателей, которых владельцы мучили из чистой прихоти. Рассказы о таких мучениях вставлял он в свои повести, когда говорил, например, о грозном владыке «Замка Вендена», жестоком бароне, который вытаптывал конями крестьянский хлеб и немилосердно драл поселян нагайками, или о властителе «Замка Эйзена», духовном рыцаре, который из каприза рубил головы крестьянам, заставлял их выменивать лошадей на его собак и также драл их нещадно.

В повестях из русской жизни, написанных уже в годы неволи, Марлинский не мог так сгущать краски, но продолжал подчеркивать свою гуманную идею. Если ему случалось говорить теперь о разных насилиях помещиков над крестьянами, то виновными оказывались не русские, а польские паны. Они грабят холопа и топчут его в грязь, они отдают щенков выкармливать кормилицам, отнимая у них грудных младенцев («Наезды» и «Латник»)... Русскому мужику, утверждал Марлинский, живется легче, чем польскому крестьянину; русский может хоть сбежать от злого барина. Об этих злых русских барах наш автор, как видим, хранил невольное молчание, позволяя себе иногда лишь поговорить неодобрительно о барской спеси и вообще о нерадении дворян к хозяйству. Марлинский предпочитал говорить о добрых барах и обличать порок, прославляя добродетель. Мы видели, как он хвалил помещика, не разрешившего своим соседям для простой охотничьей забавы топтать крестьянские озими, травить овец собаками и палить лес от ночлегов («Поволжские разбойники»). В повести «Испытание» он не мог налюбоваться гвардейским офицером, который втайне делал пожертвования для улучшения участи своих крестьян, перешедших к нему, как большая часть господских крестьян, полуразоренными и полуиспорченными в нравственности. Этот светский человек понял, что нельзя «чужими руками и наемной головой устроить, просветить, обогатить крестьян своих, и решился уехать в деревню, чтобы упрочить благосостояние нескольких тысяч себе подобных, разоренных барским нерадением, хищностью управителей и собственным невежеством».

Наконец, должно упомянуть и еще об одном порядке чувств и ощущений, которые, быть может, больше, чем какие-либо иные, были выдвинуты на первый план во всех повестях нашего автора. Они, конечно, всего больше способствовали его успеху у средней публики. Это любовная горячка во всех ее видах, начиная от томной теплоты чувства, кончая все испепеляющим пожаром.

На характеристике этой стороны темперамента нашего писателя можно было бы и не останавливаться, тем более что из рассказа об его жизни, а также из разбора его сочинений видно с достаточной ясностью, какую роль играло чувство любви в его настроении. Если мы заговорим о нем, то только затем, чтобы оградить писателя от некоторых нападок на его искренность.

Критики, осуждавшие Марлинского за неискреннюю декламацию и за пристрастие к фразе, указывали всего чаще на те страницы его сочинений, на которых он старался читателю передать силу охватившей его любовной страсти. В погоне за «огненным наречием страсти» Марлинский, действительно, повышал иногда свою речь до комической вычурности. Тут была и «голубица, утомленная полетом в небо», и «кровь, которая лилась в жилах, как густое вино Токая», тут и «молния плавила страсти любовников в одно неделимое», и «мысль как ласточка закрадывалась в дом кролика чувства»; «очарованный круг прелести горел венчиком святыни», «лава прожигала снег», «падучие звезды крестили в глазах» и «громко бились все пульсы», и вообще было много словесной мишуры, которая любому критику представляла очень удобную мишень для ударов. Писатель нередко заговаривался, готов был «потонуть в пламени любви и землекрушения», лепетал бессвязные речи из одних подлежащих без сказуемых или, наоборот, пускался в дебри чисто словесной метафизики, выводил формулы для всемирной любви, и вообще смешил или сердил читателя, оставаясь сам необычайно серьезным.

Но если бы читатель постарался усвоить себе ту серьезность, которую не хотел заметить в авторе, то он мог бы найти иной раз и довольно любопытное содержание в этих кудрявых словах, хотя бы, например, в таком рассуждении: «Пусть кто хочет говорит, что любовь есть безумие; по-моему, в ней таится искра высокой премудрости. В ней мы испытываем по чувству то, к чему приводит нас впоследствии философия по убеждению. Каким благородным доверием, какою чистою добротой бываем мы тогда переполнены! Разница только в том, что философия исторгает человека из общей жизни и как победителя возвышает над природою, а любовь, побеждая его частную свободу, сливает его с природою, которую он, одушевляя, возвышает до себя. Сладостны созерцания и мудреца, и любовника, хотя ощущения последнего живее, а понятия первого явственнее. Любовник, кажется, внемлет сердцем бытию жизни во всем творении, гармонии блага во всем творимом. Перед умственными взорами другого расцветают мрачные бездны, развивается свиток судьбы миров и родов. Только это двоякое созерцание дает человеку вполне насладиться своим совершенством, то в самозабвении, то в забвении всех зол, его окружающих».

Кто имел случай читать Жуффруа, Дежерандо или Кузена, того не удивит такая попытка «оправдания» любви.

Марлинский вообще много думал над этим чувством, которое, как с первого взгляда кажется, владело им бессознательно; и потому его неистовая речь прерывалась нередко очень тонкими психологическими наблюдениями и заметками. Он хорошо знал психологию любви и мог сказать, что любовь была для него не одно сердце, не одна душа, но сам он весь: его мысль, его свет, его жизнь.

В одном частном письме он признавался, что с девятнадцатилетнего возраста любовь была маятником всех его занятий, что она подстрекала и удерживала его на пути познаний. «Сколько времени бросил я на корм своему несчастному сердцу, – говорил он. – Более пылкий, чем постоянный и, может быть, более сладострастный, чем нежный, я губил годы в волокитстве, почти всегда счастливом, но редко дававшем мне счастье. Моя безумная, бешеная страсть палила женщин как солому и нередко так же быстро прогорала. ...Я стыдился моих идолов. На беду мою, из всех тех, которые владели моими мыслями, не было ни одной, которая бы могла оценить мои дарования и потребовать от меня цельного, создать или, так сказать, вылепить из меня что-нибудь гениальное. Любила ли хоть одна из них мой ум более моей особы, мою славу более своего наслаждения?»[329]

Для читателя эта интимная грустная и очень любопытная деталь сердечной жизни Марлинского оставалась, конечно, тайной. Все, кто слушал его говорящим о любви, были увлечены стремительным потоком его «огненной речи» и не улыбались, как улыбаемся теперь мы; и они были правы, потому что, как бы ни была в данном случае вычурна речь Марлинского, она была не набором пышных слов, а лишь несдержанным отзвуком действительно сильного чувства.

И сколько было в те годы молодых людей, которые в минуту душевного подъема отчеркивали на полях сочинений Марлинского все неистовые его тирады, или в минуту грусти перечитывали такие, мало кому теперь известные строки:

Скажите мне, зачем пылают розы
Эфирною душою, по весне,
И мотылька на утренние слезы
Манят, зовут приветливо оне?
Скажите мне!
Скажите мне, не звуки ль поцелуя
Дают свою гармонию волне?
И соловей, пленительно тоскуя,
О чем поет во мгле и тишине?

Скажите мне!
Скажите мне, зачем так сердце бьется,
И чудное мне видится во сне:
То грусть по мне холодная прольется,
То я горю в томительном огне?
Скажите мне!

Или:

Я за морем синим, за синею далью
Сердце свое схоронил,
Я тоской о былом ледовитой печалью,
Словно двойной нерушимою сталью,
Грудь от людей заградил.
И крепок мой сон. Не разбит, не расколот
Щит мой. Но во мраке ночей
Мнится порой, растопился мой холод –
И снова я ожил, и снова я молод
Взглядом прелестных очей.

XXXV

Много смелых мыслей, молодых, сильных и добрых чувств будил в своих читателях Марлинский.

Отводя его сочинениям их скромное место в истории нашей словесности, мы не будем забывать об условиях, в которых они были созданы. Они в своем развитии были так же несвободны, как несвободен был их автор, который к тому же умер в полном цвету своих духовных сил. Сказал ли он все, что мог сказать, и пришла ли смерть к нему вовремя? Если верить ему, то – да. Но можно ли безусловно доверять словам человека, который уставал стоять под пулями, ожидая своей очереди?

В общем разочарованный взгляд на свое творчество, которого придерживался Марлинский, и неоднократно высказанное им желание смерти находят свою поправку в иных словах, сказанных им, быть может, в самые печальные, но более спокойные минуты. Он понимал, что все, что им создано, есть лишь обещание и намек, по которым нельзя судить о затаенных в нем силах.

Он понимал это, но только становилось ли ему легче от такого сознания?

«Печальны все эти образы, повиты крепом и кипарисом. Для меня вчера и завтра – два тяжких жернова, дробящих мое сердце. И скоро, скоро это бедное сердце распадется прахом: я это предчувствую. Заснуть навек, умереть? Так что же! Сейчас приди за мной смерть, и я подам ей руку с приветом… Обнаженная жизнь моя такой же остов, как она сама; живой я свыкся уже с ночью и с сыростью могилы» («Он был убит»).

«Итак, я должен умереть, – умереть неизбежно… в цвете лет, в расцвете надежд моих! Ужасно! И эта рука, для которой тяжкая сабля была легка, как перо – через день не в силах будет сбросить могильного червяка; о, мое сердце! неужели и оно распадется прахом? Неужели пламень, его оживлявший, погаснет в тлении? Неужели гробовой гвоздь может прибить к гробу дух мой, а всесильная могила заклепать навеки мои мысли? Ужели голова моя, это поле-океан, на котором носились они, станет им гробом и свет не услышит высоких песен, звучавших только для моего слуха, и люди не наследуют торжественных глаголов, которые так долго хранил я в себе, и лелеял, и растил невысказанные?.. Никто, ничто не угадает мыслей моих, не повторит их! На земле нет эха моей душе, нет следа! Я умру, весь умру, я поглощен буду смертью, я, который мог мечту воображения, грезу своего сна облечь жизнью!» («Журнал Вадимова»).

Приложение I. Записка А. Бестужева о составе тайного общества

Первый круг состоит из основателей общества и членов, ими избранных. Он составляет думу (или верхнюю думу). Число их неопределенно, смотря по надобности общества и способности годных к тому людей.

Круг сей каждые два года избирает из среды своей двоих *распорядителей,* ежегодно переменяя по одному[330]. На них лежат сношения с отсутствующими членами, сбор и расход денежный и все текущие дела общества. Они сзывают думу, и тогда голос их наряду с прочими. Их дело также ободрять ленивых и искать новых членов.

Каждый член имеет право выбрать только двух адептов[331] и никогда не сводить их вместе; так далее последовательно. Кто принял, советуется со своим преемником и со своими принятыми поодиночке[332]. Следующих, кроме верхней, дум других нет. Члены из первого круга могут выбирать членов более двух. Для приема, заметив человека, член передает его имя принявшему, тот выше и, наконец, в думе решают, стоит или нет такой-то приема – и тогда решение идет вниз, и член принимает другого[334].

Принять в члены значило показать ему механизм общества и позволить избирать самому[335]. О цели и мерах говорили не вдруг, и не все, и не всем одинаково, смотря по степени его характера, образованности и образу мыслей; принявший должен был *обрабатывать* тех, которые не готовы.

Условия: *Честное слово* не открывать, что будет ему сказано[336], не *любопытствовать о* тех, кто еще члены, хотя бы и подозревал кого; и, наконец, *повиновение* безусловно к принявшему.

В случае отъезда на долгое время уезжающий член передает свою ветвь принявшему его и тут впервые знакомит своего приемыша со своим преемником[337]. Для расходов общества, как то: для посылок и других непредвиденных случаев, каждый член, если может, вносит посильно сколько-нибудь денег. Члены ничего не должны писать о делах общества и друг к другу по почте и быть весьма осторожны в словах.

Общество не носит никакого имени, не имеет между членами никаких знаков для опознания и запрещает все наружные, как-то: кольца, булавки и прочее. Также запрещает списки и все письменное, могущее обличить какое-либо намерение.

Правила для приема были следующие. Во-первых, исследовать жизнь того, на кого метят. Все люди, преданные игре, вину и женщинам, исключались без вопроса.

Член должен был быть не запятнан ни одним подлым поступком, дознанного бескорыстия, твердого характера, если можно, храбр (на войне или на поединке) и даже крепкого здоровья, чтобы мог служить обществу, не струсив, и не изменить ему, когда попадется. Чтобы узнать образ мыслей, начинать противоречить, и когда тот разгорячится, то и видеть образ его мыслей. Рассудительных брать со стороны доказательств, а пылких – блестящими картинами будущего. Впрочем, хотя и выбирать людей чистых и первым условием предлагать самоотвержение, чтобы он все нес в жертву отечеству, но как люди – люди, то честолюбивым оставлять надежду, как они будут славны, а людям, требующим руководителей уж с именем, не обманывая – намекать, что тут есть люди... впрочем, вести постепенно и, смотря по усердию, открывать полную цель и намерения общества. Впрочем, о времени и решительных мерах никто не должен был знать, кроме думы, во избежание измены.

Некоторых принимали в члены только для того, чтобы они служили орудиями, когда будет нужно. Тем говорили только, что их дело рубиться. Некоторых неосторожных болтунов и головорезов (cr nes) оставляли на примете до случая, чтобы они своим поведением не ввели бы в бесславие или в опасность общество.

О цели, намерениях и действиях общества я уже изложил в прибавлениях к первым показаниям.

Вот чрез какое общество, за призраком патриотизма и безрассудностью молодости, вовлечен я был в преступление и вовлек с собою несчастных моих братьев.

Я готов дать подробные пояснения насчет сказанного и участия членов, если оные востребуются. Случай выставил меня вперед в дурном поступке, теперь по чувствам души я не останусь назади в раскаянии и признательности к Государю Императору.

1826 года 21 января.

Приложение II. Записка А. Бестужева о членах Северного общества

На запрос от 28 января честь имею ответствовать следующим.

Мне казалось, что я изложил ясно состав тайного общества, и потому покорнейше прошу высочайше учрежденный комитет назначить, именно какие места требуют пояснения, на что ответствовать буду охотно. Теперь же ко всему, в различных вопросах мною показанному, могу только прибавить на счет общества, что оно имело обширные замыслы и ничтожные средства; состояло более из людей молодых с возгораемым воображением, а не с зрелым рассудком. Действия оного доказали его безрассудство, и, к счастью, распространение его захвачено в самом младенчестве. Из конституции Никиты Муравьева можно подробно видеть цель общества; намерения состояли в устранении Царствующей Фамилии или в уничтожении оной, дабы ввести новый порядок вещей; а увлеченье солдат – средства к захвачению власти и удержание в порядке народа. Повторю, что я убежден в той истине, что общество без обстоятельств, которые дали ему силы, десятки лет провело бы в бездействии; но междуцарствие привело в движение все страсти и все надежды и склонило на сторону общества многих, которые думали действовать только в пользу Цесаревича. Что же касается до участия членов, то я изложу ниже, как это было прежде и во время 14 декабря. Только долгом считаю прибавить, что я по характеру своему любил уединение, читал и учился и потому не был знаком со многими, немногих могу и описать. А будучи весьма равнодушен к обществу, не знал и половины имен сочленов. Вследствие сего я изложу теперь действие лиц более замечательных и которые находились у меня на глазах.

Князь Трубецкой, думаю, один из основателей общества. Рылеев мне всегда хвалил его хладнокровие и осторожность. Личного с ним знакомства не имел я до конца ноября 1825 года. Тут мы ознакомились как члены. Он давал известия, что слухи о завещании подтверждаются и какие движения заметны при дворе. Дня за 4 избран начальником, для чего и я через Рылеева дал свой голос. Но когда Рылеев назвал его диктатором, я сказал, что это кукольная комедия. За два дня он говорил, чтобы действовать как можно тише и не лить крови; и тут, и во время известия о смерти проговаривал, что нельзя ли Императрицу Елизавету на трон возвести. Тут же сказал он: «Впрочем, господа, если видите здесь свое малосилие, отпустите меня в Киев, я ручаюсь, что второй корпус не присягнет». В день действия обещал он ждать войск на площади, но отчего там не явился, не знаю. Это имело решительное влияние и на нас, и на солдат, ибо с маленькими эполетами и без имени принять команду никто не решился.

Князь Евгений Оболенский. Ревностный патриот и мечтатель – он набрал, кажется, довольно членов. Он с Рылеевым обыкновенно рассуждал и толковал о конституции, а я езжал к нему больше поспорить о немецкой философии, которую он защищал, а я над ней смеялся. Знаком с ним года с полтора. У него собиралась дума. С 27 числа ноября был у Рылеева почти ежедневно, где и решили мы, что надобно действовать. Тут мы оба говорили, что обществу при Императоре Николае Павловиче не существовать, ибо он имеет чрезвычайно проницательный глаз: от него не скроется наша цель. У него также собирались дня за два по офицеру с полков, на которые надеялись; чтобы условиться, как чему быть. В день происшествия он явился на площадь и командовал одним пикетом. Перед рассеянием нашим он дал мнение, чтобы идти за шинелями в полк – потом я уже его не видал.

Никита Муравьев занимался сочинением конституции, которой некоторые части и написал. Мнение с нами о чистом народном правлении разделял одинаково. Давал он мне однажды часть о земском уложении для замечаний, но я возвратил, ничего не написав, сказавши, что немного в законоведении смыслю. Короток с ним никогда не был. Видел его как члена дважды у Оболенского и раз у Рылеева. Кавалергардский брат его Муравьев со мною, кроме поклонов, знаком не был, но, я думаю, через него приняты были офицеры Кв. полка. Никита был в отпуску и потому участвовать в последних мерах общества не мог. Меньшой же его брат во время болезни Рылеева раз его посетил, но как тут были чужие, то ничего не говорил. В день происшествия я его не видал, равно как и прочих кавалергардов.

Рылеев. Один из самых ревностных членов общества, человек весь в воображении, но, кроме либерализма, составлявшего, так сказать, точку его помешательства – чистейшей нравственности. Он веровал, что если человек действует не для себя, а на пользу ближних и убежден в правоте своего дела, то значит, само Провидение им руководит. Это мнение частью делили с ним многие из нас. Хотя он был лучший мой друг, но для истины не скрою, что он был главною пружиною предприятия; воспламенял всех своим поэтическим воображением и подкреплял своею настойчивостью. Он первый дал мысль, чтобы служить в палатах для показания, что люди облагораживают места и для примера бескорыстия. Ему последовал Пущин, и потом, по переходе сего последнего в Москву в надворный суд, многие молодые люди сделали то же. Он часто укорял меня за леность и равнодушие к обществу – я отзывался, что берегу свою деятельность на дело. Приезд и намерение Якубовича зажгло потухшую искру – начать действие, но как бы то ни было, если замысел Якубовича был непреложен, он более всех содействовал к отклонению удара. В вопросе об уничтожении Царствующей Фамилии он всегда был мнений, чтобы оставить в покое Константина Павловича для того, чтобы новое правление не разделилось на партии, имея грозу на границах. Из этого видно, какие детские были у нас расчеты; да и в преобразовании России, признаюсь, нас более всего прельщало русское платье и русские названия чинов. Со смертью Государя Императора его квартира была сборным местом заговорщиков. Он приглашал к себе новых знакомцев из полков, принимал известия, уговаривал всех. Дня за два у нас было шумное заседание – между прочим, Рылеев думал, что если не удастся, то с поднятыми полками ретироваться на поселения. Я сказал, что для марша надобны деньги – и для этого не худо захватить положенные в Губернском правлении заимообразно. Он очень рассердился за такое мнение и сказал, что это будет грабеж, что собственность должна быть неприкосновенна. Впрочем, прибавил, теперь нечего рассуждать: наше дело будет слушаться приказов начальника. С вечера сделав распорядок, кому где быть и как идти – разошлись. Перед делом я зашел к нему спросить, нет ли каких новых распоряжений, он сказал – «теперь Бог управит остальное». На площади его видел мельком с Гвардейским экипажем и более уже не видал. Первые мои прибавления и показания других усовершит описание его действий.

Иван Пущин. В обществах давно, прежде был весьма рассудителен и говорил, что начинать прежде 10 лет и подумать нельзя; что нет для того ни людей, ни средств. В бытность мою в Москве (в мае) он повторял то же самое. Но, послышав о смерти Государя Императора, тотчас приехал в Петербург и уже говорил наравне с другими, что такого случая упускать не должно. Привез и конно-саперного брата своего, который сказал, что он говорил с вахмистром и эскадрон вывести можно. Но накануне сказал, что люди идут в караул и потому он приведет только человек 40 пеших. В день действия сего последнего не видал; но Иван Пущин был на площади, ободрял солдат, и даже когда никто не принял команды, он взял это на себя, сказав солдатам, что жил в военной службе. В то время, как он говорил, что надобно еще подождать темноты, что

тогда может быть перейдут кой-какие полки на нашу сторону – осыпали нас картечами, народ смял фронт, солдаты рассеялись и, несмотря на наши усилия их остановить, увлекли всех в бегство.

Штейгель. Действиями не помогал, но мнения был того же, что и другие. Не помню, он или Булатов сказал, что если теперь невозможно, то в Москве удобный случай в день коронации будет. Это мнение не имело никаких продолжений, ибо решено было здесь начать, и только показывает, что он неискренне желал начала. В день 14 декабря на площади не был.

Князь Одоевский. Принят мною с прошедшей зимы; по пылкости своей сошелся более с Рылеевым и очень ревностно взялся за дело. Так как осенью ничего не предвиделось, то они уехал на 4 месяца в отпуск, и мы очень удивились, когда он в первых числах декабря явился в Петербург. В это время я видел его раза два мельком, и он очень радовался, что пришло время действовать. Накануне стоял он в карауле и потому не успел передать мне своих офицеров, отчего ни одного из них на площади не было. К каре прискакал он верхом, но слез, и ему сейчас дали в команду взвод для пикета. Стоял он тут с пистолетом, более его не видал.

Каховский. Мне не очень нравился, ибо назначался для нанесенья удара. Я хотел удалить его и, видя, что он надоел Рылееву своими вопросами: «кто тут замечательные люди?», подстрекнул его и довел до того, что Рылеев отказал ему от общества. Но потом как-то они помирились. Он сносился с лейб-гренадерами. В день 14 декабря заезжал ко мне в Московский полк, потом я увидел его на площади без шинели, и он сказал мне, что насилу ушел из гвардейского экипажа. Тут он взял у меня пистолет, потом отдал и взял опять перед приездом графа Милорадовича. После, помнится, он просил у меня патрона. Когда Сутгоф привел роту, он сказал: «каков мой Сутгоф?», потом уже я его потерял из виду.

Сутгоф. Я узнал его в конце ноября. На другой день известия о смерти он сказал, что говорил с ротою и что она на все готова. Он напомнил Рылееву о Булатове, привез его к нему. И требовал, чтобы тот поднял полк. 14 декабря он привел роту, а Панов и полк. Больше о них не знаю.

Булатов. Принят Рылеевым на последних днях перед происшествием. Мне не удалось сказать ему и двадцати слов. Когда я спросил у Рылеева, зачем же он не едет в полк, а хочет его на площади ждать – он ответил: «Нельзя же ото всех всего требовать, довольно того, что он разделяет наше мнение и будет действовать славно». На ночь 14 декабря он заехал проститься и сказал, что благословил своих малюток – у нас навернулись слезы, а он поехал к Якубовичу. У каре не был.

Арбузов. Уверительно не знаю, был ли он принят в общество, но все мнения с нами разделял, и очень горячо, и сказал, что он за свою роту ручается. Накануне мы с Якубовичем были у него и уговорили не присягать *Пущина.* Впрочем, он сделал это нехотя и был немного навеселе. Тут были двое *Беляевых,* и потом *Бодиско.* Из них настоящие намерения знает только Арбузов. Про действия его 14 декабря неизвестен.

Глебов. Что он член, я узнал только на площади; он тут очень суетился. Кажется, у него был пистолет.

Граф Коновницын старший имел поручение вместе с *Искрицким* наблюдать за движениями в полках, чтобы вдруг начать, если где подымется один. Он был на площади, и я послал его к лейб-гренадерам сказать, что мы уже на месте. Искрицкий у каре не был. А меньшой *граф Коновницын* сказал накануне, что он вырвет пальник, если станут приказывать стрелять по нас, сколько я знаю, он членом общества не был.

Я. Ростовцев был членом общества и приятель Оболенского, был раза два у Рылеева, когда многие из наших приезжали. За 3 дня я видел его во дворце и сказал ему, что дело доходит до палашей, и он промолвил, чтобы часовые слышали: да палаши – хороши. В тот же день узнал я, что он писал письмо к ныне царствующему Императору. Сначала он обманул Оболенского, сказав, что будто бы Николай Павлович журил его за какие-то стихи, а потом отдал и письмо, но настоящее ли, мы сомневались, и это еще более придало нам решительности.

Якубович, хотя и не был членом общества, но обо всех мерах его узнал с 27 ноября, и все это время говорил с жаром в нашем смысле и воспламенял колеблющихся. Однако же по странному его поведению в день 14 декабря я имею причину думать, что в нем было более хвастовства, нежели храбрости. Он встретил Московский полк у Красного моста, потом был на площади и, сказав мне, что у него голова болит, исчез. Мы изумились, когда он явился парламентером, и больше его не видали.

Флота лейтенант Завалишин – бойкая особа, но чересчур с заносчивым воображением. Рылеев принял было и его в члены, но узнал, что он писал из Бразилии письмо к Государю Императору, содержания коего не хотел сказать, приостановился открывать ему все и после не встречался ему. Впрочем, мнение о перемене порядка вещей он сам излагал. В октябре уехал в отпуск и потому никаким образом участвовать в предприятии на 14 число не мог.

Николай Бестужев; пусть начальники и товарищи его засвидетельствуют, как служил он и какое доброе имеет сердце! Прежде вступления в круг моего знакомства он вовсе не имел либерального образа мыслей. Но по переходе в Петербург, мало-помалу пример приятелей увлек и его. Чем более, однако ж, узнавал он Рылеева, тем менее стал доверять средствам общества и не раз говорил мне, что все это химера; слушал мечтания Рылеева, не говоря ни слова – и доказывал, что содействие Кронштадта и невозможно, и бесполезно. После известия о смерти он уже действовал по убеждению, что это принесет пользу отечеству; и сказал: «Рассуждайте, как быть – а я сделаю, что мне укажут». Впрочем, он всегда держался кротких мер. Раза два я видел его по утрам у Рылеева, но не в собрании. Накануне ездили уговаривать Моллера. В день 14 декабря был с Гвардейским экипажем. Потом я его видел только при свете выстрела – вдали, в Галерной.

Михаил Бестужев по характеру своему весьма далек от того, чтоб быть заговорщиком, и оттого я даже никогда с ним об обществе не говорил, и Рылеев также. Когда начали уж думать о поднятии полков, я хотел по братской любви устранить его, говоря, что он для этого не годится, ибо не поблажает солдатам, недавно командует ротою и притом душевно любит Великого Князя Михаила Павловича, обязанный ему за перевод в гвардию и ласковое обхождение, но вдруг, за 5 дней, входя к Рылееву, я вижу тут и брата (в первый раз после 27 числа), которого он обнимает, говоря, что мы все в тебе ошибались, ты настоящий патриот. Рылеев уже уговорил его. Тут и я, поцеловав его, наставил, как действовать. Назавтра он привез Щепина, а потом, на другой день, Волкова и князя Кудашева. В заседаниях не был. В ротах ходил со мною и в своей говорил. На дворе был в толпе около знамен, в каре – стоял на Невском углу Сената, следовательно, не мог слышать увещаний генералов. Потом его не видал.

Петр Бестужев. Он так молод, что не знал, что делать; и в этих двух братьях я дам ответ Богу и Государю. Я виноват в их проступках. Он в собраниях наших не был, знал очень немного и немногих, приехал ко мне в полночь на 14 число и поутру я посылал его в экипаж. Потом он заезжал сведать ко мне в Московский полк, и как уже все было готово, я велел сказать в экипаже, что полк выходит. Потом я видел его на площади с гвардейским экипажем. Оружия никакого не имел.

Торсон один из самых отличных и ученых флотских офицеров и самых кротких людей, каких я знаю. В обществе держался по дружбе с его братом и от того, что не предвидел таких последствий. На мнения наши не говорил ни да ни нет; и со дня смерти я видел его у больного Рылеева только однажды. На площади не был.

Этим ограничивается знакомство мое с членами общества. Теперь я изложу участие людей, которые, не быв сочленами, действовали в его видах и которых я видел по смерти Государя Императора у Рылеева или в день происшествия на площади.

Князь Щепин-Ростовский; ему, кажется, всего не сказали – только что хотят Цесаревича с конституциею, в первый раз он очень горячо за это взялся, но на другой у Оболенского, увидев Финляндского полка Розена, который сомневался и сам начал колебаться. Но мы его перед товарищами подстрекнули, и он снова загорелся. *Волков* говорил за другими. В день 14 декабря он кипел и говорил красно и как старший взялся вести полк. Я никак не предвидел, что он так рассвирепеет, тем менее, что я взялся удалить генералов, и, конечно, бы в этом успел грозою и массою. Он построил полк в каре, и потом я только дважды видел его издали. В ротах *Волков и Броке* ничего не говорили, а *Кудашев* еще прежде куда-то уехал.

Репин. Он дал большую надежду на Финляндский полк, но потом спустил тон. Говорил очень горячо о том, что не надобно упускать времени и что России нужна перемена. В день 14 декабря он приехал к каре, но Пущин сказал, чтобы он без солдат и не являлся, – он уехал, обнадеживая, что это будет, – и уже я его не видал. С ним приехал *Цебриков,* которому я назначил место на угол каре к монументу. Другие финляндские офицеры, которые, по словам Репина, хотели приехать одни к нам, не явились.

Кожевников приезжал накануне 14 числа к Рылееву с каким-то измайловским офицером (кажется, с Фоком), где я видел его в первый и в последний раз. Он очень нас обрадовал, сказав, что солдаты готовы не присягать. В этом полку я знал, что будет еще с нашей стороны *Милютин,* но он сделал это по молодости.

Корнилович приехал дня за 3 из Киева и хотел было войти в кабинет Рылеева, где собраны были многие, но я увел его к себе, как не члена, где и сказал он мне то, что я изложил в примечании 27 декабря. В день 14 декабря он встретил полк у Садовой, и потом мельком я видел его на площади. В члены его не выбрали мы для того, что он очень ветрен.

Кроме того, около каре суетились лица, которых я не видывал сроду; да они, кажется, были тут волонтерами и только кричали ура.

Может статься, что со всем желанием быть полным и подробным, я упустил что-нибудь в таком множестве лиц, мнений и происшествий. Я человек, и человек удрученный несчастием, почему и прошу, о чем нужно, спрашивать меня отдельными пунктами, и я охотно исправлю вину моей памяти, но не совести, ибо говорю все искренно.

Сердце обливается кровью, когда я вздумаю, что судьба привела меня быть обличителем друзей и братьев, которых я люблю более себя, но Бог свидетель, что не малодушие водит пером моим. Я ввел многих в погибель, приняв заблуждение за истину: чего же не сделаю для самой истины?

29 января 1825 года.

Примечания

1. Мазаев М. «А.Ф. Бестужев» в «Критико-биографическом словаре русских писателей и ученых» С.А. Венгерова, III, с. 177–178.

2. «Все факты, упомянутые в этой главе, равно как и все строки, заключенные в кавычки, взяты из статьи М.А. Бестужева «Детство и юность А.А. Бестужева (Марлинского), 1797–1818» // «Русское слово», 1860, XII, с. 1–16.

3. «Записки Михаила Александровича Бестужева» // «Русская старина», 1881, ноябрь, с. 622.
4. «Из архива Ф.В. Булгарина» // «Русская старина», 1900, февраль, письма от 28/х 1821 и 14/I 1822.
5. «Путешествие в Ревель» и «Листки из дневника гвардейского офицера», 1821–1822.
6. В Москве в его честь литераторы давали даже праздники.
7. Письмо Каченовского к Булгарину, 1823, 26/III // «Русская старина», 1903, декабрь, с. 606.
8. «Письма В.А. Жуковского к А.И. Тургеневу». – Москва, 1895, с. 209.
9. Письмо к К. Полевому, 1832, 22/IX.
10. «Русский вестник», 1870, VI, письмо 1831, 19/I.
11. Ср.: Бартенев «Пушкин в южной России» // «Русский архив», 1868, с. 1199.
12. «Знакомство А.А. Бестужева с А.С. Грибоедовым, статья Бестужева, сохранившаяся в бумагах Е.А. Бестужевой» // «Отечественные записки», 1860, т. CXXII, октябрь, с. 633–640.
13. «Из архива Ф.В. Булгарина» // «Русская старина», 1900, февраль, с. 392–404, письмо 15/III 1832.
14. «Письма А.А. Бестужева к Н. и К. Полевым», письмо 4/II 1832.
15. Г-жа Саковнина рассказывает, что Грибоедов, зная помыслы декабристов, не советовал одному из своих друзей знакомиться с Бестужевым[16].

Сам Бестужев в своих показаниях говорил так о Грибоедове: «С Грибоедовым, как с человеком свободомыслящим, я нередко мечтал о желании преобразования России. Говорил даже, что есть люди, которые стремятся к этому, но прямо об обществе и его средствах никак не припомню, чтобы упоминал. Да и он, как поэт, желал этого для свободы книгопечатания и русского платья (?). В члены же его не принимал я, во-первых, потому, что он меня и старее, и умнее, а во-вторых, потому, что жалел подвергнуть опасности такой талант, в чем и Рылеев был согласен. Притом же прошедшего 1826 года зимою, в которое время я был знаком с ним, ничего положительного и у меня не было».

16. «Воспоминания о Бегичеве» Е. Саковниной // «Исторический вестник», 1889, т. XXXV, с. 672.
17. Бартенев «Пушкин в южной России» // «Русский архив», 1868, с. 1199.
18. «Записки М.А. Бестужева» // «Русская старина», 1881, ноябрь, с. 610.
19. «Из архива Ф.В. Булгарина» // «Русская старина», 1900, февраль, с. 392–404.
20. Письмо к А. Андрееву, 1831, 9/IV // «Русский архив», 1869, с. 606–607.
21. Там же письма 26/V 1821, 6/IX 1821, 22/X 1821.
22. Показание 14 марта 1826.
23. Слова «продажность» в печатном тексте письма нет. На экземпляре публичной библиотеки оно приписано карандашом с заметкой: «из подлинного письма П. Полевой».
24. «Письма А.А. Бестужева к Н. и К. Полевым», // «Русский вестник», 1861, т. XXXII. Предисловие К. Полевого, с. 285–286.
25. «Русский архив», 1880, III, с. 461.
26. «Записки Ф.Ф. Вигеля». – М., 1892, VI, с. 57.
27. «Из архива Ф.В. Булгарина» // «Русская старина», 1900, февраль, с. 392–409.
28. С этим согласны и биографы. См. А. Пыпин «История русской литературы», IV, с. 408. С. Венгеров «Критико-биографический словарь русских писателей и ученых», III, с. 157.
29. «К литературной и общественной истории 1820–1830 г.» В.Я. Якушкин // «Русская старина», 1888, ноябрь, с. 319.
30. В формулярном списке его образование аттестовано так:

По-российски, французски, латински и немецки читать и писать умеет. Высшей математике, физике, истории, зоологии, ботанике, минералогии, политической экономии, статистике, правам, мифологии, архитектуре, рисованию, фехтованию (обучался) и танцевать знает.

31. Показания хранятся в государственном архиве. Дело I В № 339.
32. Он усердно читал Адама Смита; увлекался чтением Нибура и интересовался трудами Гумбольдта, Паррота и Араго.
33. В. Греч «Записки о моей жизни». – СПб., 1886, с. 391.
34. «Входя в общество по заблуждению молодости и буйного воображения, я думал чрез то принести пользу отечеству в будущем времени, если не делом, то распространением либерализма. Приманка новизны и тайны также немало в том участвовали и мало-помалу завлекли меня в преступные мысли», – говорил Бестужев в одном из своих показаний.
35. «Донесение следственной комиссии», 1826, с. 52.
36. Об его «пустых фразах и родомонтадах» на совещаниях говорит и Д. Завалишин в своих «Записках»[37].
37. Д. Завалишин. «Декабристы» // «Русский вестник», 1884, II, с. 843.
38. «Итак, положено было в день присяги всем фронтовым сочленам по полкам своим говорить противу присяги. Кричать, что Константина Павловича или принудили или обманули, или это недостаточный отказ по письму: пусть хоть манифеста даст, а лучше всего пусть сам приедет и далее, как и было произведено. Начальником войск избран Трубецкой, хотя и думал быть им несколько времени Якубович. Так действуя,

хотели мы (и я вторил за другими), если увлечем своим примером полки, то арестовать царскую фамилию, если же перевес только на нашей стороне, то послать депутацию к Константину Павловичу, с просьбой с некоторыми ограничениями царствовать. Впрочем, дальнейших распоряжений ждать от князя Трубецкого, ибо тут уже он был полномочен и наша совещательная дума уничтожилась. Знаю только, что при удаче хотели принудить сенат узаконить сделанное нами и устранить царствующую фамилию от престола, а на Руси огласить республику», – показание Бестужева.

39. В. Греч «Записки о моей жизни», с. 394.

40. А.Ф. Воейков к княгине Е. Волконской // «Русский архив», 1899, II, с. 294–295.

41. «Вступление на престол Императора Николая I. Из записок генерал-лейтенанта М. Данилевского» // «Русская старина», 1890, ноябрь, с. 502.

42. «Сборник снимков с автографов русских деятелей 1801–1825». – СПб., 1873, с. 7.

43. Показание Бестужева: «Поутру в 7 часов приехал ко мне Якубович сказать, что он, хотя обещал накануне Арбузову приехать в экипаж и идти с ними к измайловцам, но раздумал, а что будет ждать войска на улице. Я в 9 часов поехал в Московский полк, где ждали меня брат мой Михаил, которого прежде я хотел устранить, но Рылеев воспламенил, и князь Щепин, Волков и Броке. Все они были у меня в 1-й раз только за два дня и прежде в обществе не были. Потом пошли мы в роты, как я показал, где со Щепиным и говорили. Только адъютантом Константина Павловича я себя не называл, а говорил, что служил под его командою. Говорил сильно, меня слушали жадно – и двинулись с криком: ура! Константин!»

44. Показание Бестужева: «Замечательно то, что, выходя из казарм, Щепин мне сказал, к черту конституцию? я ответил: разумеется, к черту, – и это было от сердца. С какими бы глазами стал я говорить против Константина Павловича?»

Кажется, что в этот момент экзальтации он готов был помириться с «самодержавием» Императора Константина Павловича.

45. «Он размахивал саблей на площади и кричал впереди увлеченного батальона: Ура! Константин! Долой Николая!»[46].

«Вдоль переднего фаса ходил какой-то неизвестный мне адъютант в мундире и шляпе (едва ли не А. Бестужев) и что-то говорил солдатам»[47].

46. «Отголоски 14 декабря», 1825, с. 34.

47. «Записки кн. Н.С. Голицына» // «Русская старина», 1880, XI, с. 605.

48. На Галерной он вместе с братом Николаем остановил и несколько десятков лейб-гренадер, чтобы защитить отступление[49].

49. «Из записок Н.А. Бестужева». Памяти братьев Бестужевых. – Лейпциг, 1880, с. 29.

50. «Бестужев сам явился во дворец с повинной головою, – рассказывает барон Розен, – он был одет как на бал (?), и когда конвою велели идти с ним, то он сам скомандовал «марш» и пошел с ним в ногу»[51].

51. В. Греч «Записки о моей жизни», с. 394, 395.

52. А. Розен «Записки декабриста». – Лейпциг, 1870, с. 364.

53. Письмо к А.С. Хомякову его отца о событии 14 декабря 1825 г. // «Русский архив», 1893, II, с. 127–128.

54. «А.Д. Боровков и его автобиографические записки» // «Русская старина», 1898, ноябрь, с. 340, 341.

55. Из видных деятелей он принял только Б.С. Батенкова[56].

56. «Донесение» 56. «Г.С. Батенков» // «Русская старина», 1889, август, с. 313, 362. Бестужев, кажется, имел виды и на князя Вяземского. «Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского», IX, с. 107.

57. «Верховному уголовному суду от комиссии, избранной для основания разрядов – Донесение». – СПб., 1826.

58. Такова, например, записка о внутренней организации тайного общества и характеристики всех наиболее выдающихся членов северной группы. Смотри в конце книги приложение I и II.

59. О притеснениях земских чиновников можно написать книгу. Малейший распорядок свыше дает им повод к тысяче насилий и взяток. То сберут крестьян в сенокос или жатву и месяц ничего не делают. То дадут сделать и потом ломают, говоря, что это не по форме. Назначают на работу ближних в даль и наоборот, чтобы взять за увольнение несколько рублей с брата. Да и кроме того, сбирают прибавочные мелочи без всякого вида, так что с души сходит втрое против указных податей и проч.

60. Поведение русских дворян в отношении (крестьян) ужасно. Негры на плантациях счастливее многих помещичьих крестьян. Продавать в розницу семьи, похитить невинность, развратить жен крестьянских считается ни во что и делается явно. Не говорю уже о барщине и оброках, но есть изверги, которые раздают борзых щенков для выкормления грудью крестьянок. К счастью человечества, такие примеры не часты, но к стыду оного, они существуют.

61. Отчего города наши пустеют – решить не трудно. Нижние инстанции не имеют решительно голоса и тяжущиеся едут в столицу; по сей же причине лучшее дворянство уклоняется от неуваженных должностей и за крестами спешит ничего не делать в какой-нибудь министерской канцелярии. На кого же так работать ремесленнику? да и кому? ибо дворянство наше держит доморощенных мастеровых.

62. Устраняя прежнее право на личность банкрота (contrainte par coprs).

63. Им позволено только заниматься оптовою куплею, не вступаясь в мелкие сделки.

64. В Петербургском и Кронштадтском Адмиралтействах положено в 1-м 90 лошадей для таскания бревен, во 2-м не знаю числа. Но дело в том, что ни одна лошадь не работает, а возит по гостям разных чиновников. Вместо же их запрягают несчастных матросов. Брат мой Николай и К.Л. Торсон могут дать подробнейшее сведение о многом множестве злоупотреблений по флоту.

65. Ошибка наша состояла в том, что мы не знали о назначении Вашего Величества наследником престола.

66. Зачем, например, существует северный канал, по которому в год плывет по две лодки? Зачем преднамерен Кубинский? Чем нам торговать с полюсом? Для чего начать Сестринский? ибо удобовозимые гужом предметы роскоши, из Петербурга в Москву посылаемые, не есть главная необходимость жизни.

67. Я не помню, упоминал ли о сем в показаниях комитету, ибо, считая себя виновным без числа, не прибегал к частным извинениям.

68. Хранится в Государственном архиве.

69. «Из записок декабриста Якушкина» // «Русский архив», 1870, с. 1569–1570, 573–577, 1584–1585.

70. Письмо к К. Полевому. – Дербент, 1831, 12/II // «Русский вестник», 1861, том XXXII, с. 293.

71. А. Розен «Записки декабриста». – Лейпциг, 1870, с. 324.

72. «Воспоминания Матвея Ивановича Муравьева-Апостола» // «Русская старина», 1886, сентябрь, с. 525–528.

73. Встреча А. Бестужева с братьями рассказана несколько иначе в записках И.Д. Якушина.

74. Они изданы М. Семевским в статье «Александр Бестужев в Якутске. Неизданные письма к его родным 1827–1829» // «Русский вестник», 1870, V, с. 213–264.

75. Есть, впрочем, сведение, что Бестужев в Якутске давал уроки детям А.П. Злобина – начальника соловаренных заводов в Якутской области[76].

76. А. Розен «Записки декабриста». – Лейпциг, с. 271.

77. Ученое письмо Бестужева из Сибири Эрман не получил и только спустя много лет прочитал его в собрании сочинений Бестужева.

78. A. Erman. Reise um die Erde. – Berlin, 1838, I, 2, 269–271, 274–275.

79. Стихи, как видим, не блещут отделкой. Но в них есть порой и образность, и сила. Любопытны также неологизмы, к которым Бестужев вообще питал пристрастие.

В числе запрещенных стихотворений декабристов помещаются обыкновенно 2 стихотворения («Песня» и дума «Прокаженный»), приписываемые А. Бестужеву. Им ли они написаны и где они сочинены – неизвестно[80].

Одно из них – описание битвы под Белой Церковью, 2 января 1826 года, где сражался восставший батальон Черниговского полка под начальством Сергея Ивановича Муравьева-Апостола.

Песня (на голос: «Уж как пал туман на сине море»)
Что не ветер шумит во сыром бору –
Муравьев идет на кровавый пир
С ним Черниговцы идут грудью стать,
Сложить голову за Россию мать!
И не бурей пал долу крепкий дуб,
А изменник – червь подточил его.
Закатилася воля-солнышко –
Смерти ночь легла в поле бранное…
Как на поле том бранный конь стоит:
На земле пред ним витязь млад лежит.
Конь мой, конь! скачи в святой Киев-град;
Там товарищи, там мой милый брат.
Отнеси ты к ним мой последний вздох,
И скажи: «цепей я нести не мог…
Пережить нельзя мысли горестной,
Что не мог купить кровью вольности!»
1827

Другое стихотворение как будто вариация на тему о «Пророке» с очень гуманной тенденцией:

Прокаженный. Дума
Народ зовет его безумным, прокаженным;
Но ум его покрыт таинственною мглой:
В нем старец опытный с младенцем откровенным,
Граничат в жизни меж собой.

В издранном рубище, как труженик убогий,
Я зрел, как он спешит к играющим птенцам,
Как мрачно он взирал на пышные чертоги,
И радостно на Божий храм.
Он взоры отвращал, встречаяся с преступным,
Как будто б мысль его мгновенно он проник;
И человечеству казался недоступным
Его двусмысленный язык.
На страждущую чернь чего-то содрогаясь,
С тупым вниманием, как часто он глядел,
На хартию судеб как будто опираясь,
Он что-то высказать хотел.
С молитвою в устах, в движеньях исступленных,
Для нищей братии он милостынь молил,
И страждущих сирот, и вдов изнеможенных,
Рукой иссохшею крестил.
И твердый, как скала, против ударов грома,
Безропотно носил страдальчески венец:
Скитаясь по свету без кровных и без дома,
Казалось, был живой мертвец.
Я сам внимал ему, когда он без боязни,
Злодею сильному паденье предрекал;
Я зрел его, как он на страшном месте казни,
За осужденного страдал.
Как жадно он внимал напевам погребальным,
И смерть благословлял, как грань земной борьбы,
Объятья простирал к развалинам печальным,
Он сам – развалина судьбы.
Таинственный глагол, чувств праведных избыток,
Как цепи узника томили старика,
И тщетно перед ним развертывала свиток
Времен маститая рука.
Мир праху твоему! Всевышнего избранник,
Предвидений твоих никто не оценит,
Лишь я, младой певец, родной земли изгнанник,
Твой подвиг думаю почтить.

80. «Собрание стихотворений декабристов». – Лейпциг, 1862, с. 183–185, 225.

81. «Письмо Александра Бестужева – графу Дибичу, 1829» // «Русская старина», 1881, декабрь, с. 886, 887.

82. 18 сентября 1829 он был переведен рядовым в 41 Егерский полк.

8 декабря 1829 назначен в Грузинский линейный батальон № 10.

9 декабря 1833 переведен в Грузинский линейный батальон № 2.

4 июня 1836 произведен в унтер-офицеры и переведен в Черногорский линейный батальон в экспедицию против горцев.

3 мая 1836 за отличие произведен в прапорщики и переведен в Черногорский батальон № 5.

18 октября 1836 переведен в Черногорский батальон № 10.

7 июня 1837 убит.

83. Письмо к Н. Полевому, 1831, 29 января // «Русский вестник», 1861, XXXII, с. 292.

84. Жизнь Бестужева на Кавказе может быть с достаточной полнотой восстановлена по его обширной переписке 1829–1837 годов. Переписка эта напечатана М.И. Семевским и Полевым, см.: М.И. Семевский «А.А. Бестужев на Кавказе» // «Русский вестник», 1870, V, VI и VII; «Письма А.А. Бестужева к Н.А. и К.А. Полевым» // «Русский вестник», 1861, т. XXXII.

85. В Тифлисе он съехался со своими братьями Павлом и Петром.

86. «Воспоминания» Гангеблова, с. 204–205.

87. «Воспоминания о Кавказе и Грузии» // «Русский вестник», 1869, т. 80, апрель, с. 701.

88. Еще при командировании в армию за Бестужевым приказано было иметь тайный бдительный надзор. Следили очень ревностно и строго. Паскевич даже сместил Тифлисского коменданта Бухарина, у которого бывал Бестужев, когда для закупки различных потребностей он вместе с другими нижними чинами приезжал в Тифлис в ноябре 1829 года[89].

89. «Дело» А. Бестужева в Архиве III Отделения Собственной Его Величества Канцелярии.

90. «Воспоминания о Кавказе и Грузии» // «Русский вестник», 1869, т. 80, апрель, с. 701.

91. «Воспоминания А.С. Гангеблова», с. 204–209.

92. Виновником этого заточения был, кажется, Паскевич. «Меня обошли при Байбурте, – писал Бестужев Булгарину. – Бог судья Паскевичу, который положил представление обо мне под сукно и потом преследовал меня как лютый зверь и как лютого зверя».

93. А штрафованный офицер носил солдатскую шинель из тонкого серого сукна, особого, довольно красивого, им самим изобретенного фасона[94]. Я.И. Костенецкий, который тогда с ним встречался, так описывает его наружность. «Ко мне вышел Бестужев в персидском халате и шелковой на голове шапочке. Это был мужчина довольно высокого роста и плотного телосложения, брюнет, с небольшими сверкающими карими глазами и с самым приятным и добродушным выражением лица. Здесь замечу, что все гравированные его портреты, какие мне случалось видеть, нисколько на него не похожи: они изображают его каким-то суровым человеком, тогда как лицо у него было самое доброе и симпатичное[95].

94. Из воспоминаний Я.И. Костенецкого // «Русская старина», 1900, XI, с. 443.

95. Из воспоминаний Я.И. Костенецкого // «Русская старина», 1900, XI, с. 442.

96. «Меня берет досада, что я так удален от европейской образованности: она едва долетает сюда по капле, а я жажду выпить Сену, и Темзу, и Рейн... О! как много души надо на терпение» (Из письма 1832 г.)[97].

97. «Русский вестник», XXXII, с. 326. Письмо к Н. Полевому, 1832, 19/V.

98. «Русский архив», 1874, II, с. 7–8. Письмо к Н. Полевому. Дербент, 1833.

99. «Русская старина», 1886, сентябрь, с. 702.

100. «Пусть бы меня, как Прометея, терзали орлы и коршуны... но сносить ляганье осла!» (Из письма 1832 г.)[101].

101. «Русское обозрение», 1894, X, с. 824. «Письма А. Бестужева к братьям Полевым», письмо 1832, 1/IX.

102. «Дорога была трудна, но так прелестна, что я помнить ее буду как самую сладостную прогулку об руку с природою, – пишет он в одном письме. – Этого ни в сказке сказать, ни пером написать. Да и как написать, в самом деле, чувство? Ибо тогда я весь был чувство, ум и душа, душа и тело. Эти горы в девственном покрывале зимы, реки, вздутые тающими снегами, эти бури весны, эти дожди, рассыпающиеся зеленью и цветами, и свежесть гор, и дыхание лугов, и небосклон, обрамленный радугою хребтов и облаков... О! какая кисть подобна персту Божию? Там, только там можно забыть, что в нас подле сердца есть желчь, что около нас горе. Над головой кружились орлы и коршуны, но в голове ни одна хищная мысль не смела шевельнуть крылом: вся жизнь прошлая и будущая сливалась в какую-то сладкую дрему: мир совершался в груди моей без отношений к человеку, без отношений к самому себе; я не шарил в небе, как метафизик, не рылся в земле, как рудокоп, я был рад, что далек от людей, от их истории, спящей во прахе, от их страстишек, достойных праха... Я жил, не чувствуя жизни. Говор ручьев и листьев наводил на меня мечты без мыслей, усталость дарила сон без грозы. Но кратки промежутки жизненной лихорадки!»[103].

103. Письмо к Н. Полевому из Дербента, 1834, 3 мая.

104. «А.А. Бестужев. Из воспоминаний Я.И. Костенецкого» // «Русская старина», 1900, ноябрь, с. 452–453.

105. Этот романтический эпизод из жизни Бестужева так рассказан в воспоминаниях Я.И. Костенецкого:

«В 8 часов вечера 23 февраля 1833 г. А.А. Бестужев сидел за чаем у штабс-капитана Жукова, который жил с ним в одном доме, этажом выше. В это время в его квартиру вошла девица Ольга Нестерцова и, не заставши его дома, попросила денщика Жукова, Аксена Сысоева, который часто бывал в комнате Бестужева и прислуживал ему, чтобы он попросил Александра Александровича сойти на несколько минут вниз. Нестерцова приходила к Бестужеву часто, знали об этом все, даже ее мать, которую она уверяла, что ходит к Бестужеву, потому что взялась шить ему белье. Бестужев явился на зов и застал Нестерцову сидевшей на его кровати. Спустя четверть часа после входа Бестужева между ним и Нестерцовой завязался разговор, принявший скоро оживленный характер. Собеседники много хохотали, Нестерцова в порыве веселости соскакивала с кровати, прыгала по комнате и потом бросалась опять на кровать. Она «весело резвилась», по ее собственному выражению; но вдруг комната оглушилась выстрелом, и Бестужев услышал отчаянные возгласы: «помогите! умираю!».

Выстрел произошел из пистолета, который постоянно лежал за подушкой; Бестужев клал его туда, чтобы быть постоянно готовым защищаться от разбойников, число которых в то время в Дербенте значительно увеличилось от бывшего голода. Бестужев говорил, что, не страшась опасности в бою, он содрогался при мысли, что может быть исподтишка убит каким-нибудь презренным вором. Пистолет этот лежал обыкновенно между подушками и стеной. Бестужев обращался с ним неосторожно: при малейшем шуме ночью он взводил курок и нередко в таком положении клал его на место. Весьма вероятно, что в таком положении пистолет был и в то время, когда Нестерцова резвилась. Она могла так налечь на подушку, что курок опустился и произошел выстрел. Нестерцова ранила себя в правое плечо, в то место, где плечевая кость соединяется с лопаткой. В испуге Бестужев схватил свечу, но уронил ее, – она погасла; он побежал к хозяину за огнем. Когда он воротился и приблизился к Нестерцовой, то она лежала уже без чувств. Наскоро осмотрев ее и увидевши, в чем дело, Бестужев побежал позвать свидетелей и попросил дать знать о случившемся коменданту крепости майору Шнит-

никову. По зову Бестужева в его комнату очень скоро явились штабс-капитаны Кирсанов и Жуков, доктора Рожественский и Тимофеев, священник Демьянович и другие.

Нестерцова успела уже очнуться и рассказывала, что всему причиной она одна, что выстрел произошел единственно от того, что она «резвилась», прыгала и бросалась на подушки, совсем не подозревая, что за ними лежал пистолет. Затем она рассказывала, что Бестужев стоял от нее поодаль, около печки и при выстреле бросился было к ней, но уронил свечу и убежал из комнаты. Что произошло затем, она не помнила. Все это Нестерцова рассказывала несколько раз и всем совершенно одинаково; даже в бреду, до самой смерти, которая последовала на третий день, она твердила, «что она сама всему виновата и чтобы не обвиняли в ее смерти Бестужева»[106].

106. «Из воспоминаний Я.И. Костенецкого» // «Русская старина», 1900, ноябрь, с. 445–447.

107. Эта легенда жила очень долго и даже проникла в литературу. Ее подхватил Александр Дюма, путешествовавший по Кавказу, и рассказал со свойственной ему развязностью и ухарством. Он даже воспел могилу Нестерцовой, довольно, впрочем, красивыми стихами. Эту же легенду повторил затем В.И. Немирович-Данченко, который положительно утверждал, что Нестерцова была убита Бестужевым в припадке ревности. Свои сведения В.И. Немирович-Данченко почерпнул от некоего Кочергина, дербентского старожила, который читал по подлинным документам все это дело[108]. А. Зиссерман утверждал также на основании положительных сведений, что Бестужев застрелил Нестерцову. Он тоже читал дело о смерти Нестерцовой и говорит, что, по всем данным, смерть ее была умышленным убийством и Бестужев был виновен, но что в нем принимали такое участие (?) все дербентские власти (?), что делу дан был оборот, якобы Нестерцова застрелилась сама нечаянно. Такого же мнения были граф Евдокимов[109]. М.И. Семевский утверждал обратное[110], наконец, Я.И. Костенецкий заявил, что и он читал выписку из следственных дел, хранящихся в архиве Дербентской полиции (№ 839 и № 1232), и что эта выписка подтверждает полную невинность Бестужева.

108. «Русские ведомости», 1888, № 91, VII. «Дербент» В.И. Немировича-Данченко.

109. «Новое время», 1888, № 4349. «Письмо в редакцию» А. Зиссермана.

110. «Бестужев на Кавказе» // «Русский вестник», 1870, VII, с. 48–49.

111. «Кавказ чересчур гранитен для авторства, мне нужен другой верстак», – писал Бестужев в одном частном письме[112].

112. М. Семевский «А.А. Бестужев» // «Отечественные записки», 1860, № 5, с. 159.

113. «Русский вестник», 1861, XXXII, с. 310–311. Письмо к Н. Полевому, 16 декабря, 1831.

114. «А.А. Бестужев. Из воспоминаний Я.И. Костенецкого» // «Русская старина», 1900, ноябрь, с. 455.

115. Второе полное собрание сочинений А. Марлинского. – СПб., 1847, т. X, с. 5–12, «Прощание с Каспием».

116. Сочинения Марлинского, 1847, X, с. 13–83.

117. Бестужев ценил и понимал поэзию опасности и храбрости, хотя и начал уставать очень быстро.

«Природа, – писал он, – не обделила меня животною дерзостью, которую величают храбростью; но я уже не запальчив, как бывало. Слава не заслоняет мне опасностей своими лазоревыми крылышками, и надежда не золотит порохового дыма. Я кидаюсь вперед, но это более по долгу, чем по вдохновению. Труды, и усталость, и непогоду сношу терпеливо: никто не слыхал, чтоб я роптал на что-нибудь: потеряв голову, по бороде не плачут»[118].

118. «Путь до города Кубы» // Сочинения Марлинского, 1847, X, с. 60–62.

119. Бестужев описал поход в Геленджик в особой реляции, которую думал напечатать в «Северной пчеле». Эта реляция была написана увлекательно, живо и в очень повышенном патриотическом тоне. Военная цензура ее, однако, не пропустила, боясь, вероятно, как бы на ее автора не было обращено слишком много внимания[120].

120. «Русский вестник», XXXII, с. 316.

121. Г.И. Филипсон так рассказывает об этом случае:

«В третий год бытности на Кавказе доктор Майер очень сблизился с А. Бестужевым и С. Палицыным – декабристами, которые из каторжной работы были присланы на Кавказ служить рядовыми. Оба они были люди легкомысленные и тщеславные, и во всех отношениях не стоили Майера. Бестужеву Полевой прислал белую пуховую шляпу, которая тогда в Западной Европе служила признаком карбонари. Донос о таком важном событии обратил на себя особенное внимание усердного ничтожества, занимавшего должность губернского жандармского штаб-офицера. При обыске квартиры, в которой жили Майер, Бестужев и Палицын, шляпа найдена в печи, Майер объявил, что она принадлежит ему, основательно соображая, что в противном случае кто-нибудь из его товарищей должен был неминуемо отправиться обратно в Сибирь. За эту дружескую услугу, по распоряжению высшего начальства, Майер выдержал полгода под арестом в Темнолесской крепости[122].

122. «К истории покорения Кавказа. Письмо из отряда, действующего за Кубанью, 24 октября 1894» // «Русский архив», 1877, III, с. 106–109.

123. Хотя Государь еще раз подтвердил свое приказание: «строго смотреть за Бестужевым».

124. «Воспоминания» Г.И. Филипсона. – Москва, 1886, с. 107.

125. «С декабристом Бестужевым-Марлинским, – рассказывает И. Ховен, – я познакомился за обедом у начальника отряда генерал-лейтенанта А.Л. Вельяминова. Бестужев только что был произведен в прапорщики. Я его нашел в столовой юрте, в которой обыкновенно обедали адъютант начальника отряда и состоящие при его штабе офицеры. В новеньком мундире, напомаженный, надушенный, он представлялся в этот день генералу и невольно обратил на себя общее внимание отрядных офицеров, составлявших с ним полный контраст. Он потешал всех своими остротами»[126].

126. А.П. Берже «А.А. Бестужев в Пятигорске в 1835 г.» // «Русская старина», т. XXIX, с. 417–422.

127. На должность чиновника особых поручений при керченском губернаторе. К этому времени относится, кажется, и попытка В.А. Перовского перевести Бестужева на службу в Оренбургский край, «чтобы описать край и ознакомить читателей с кочующими жителями степей». На свое прошение Перовский получил будто бы сверху ответ, что «Бестужева следует послать не туда, где он может быть полезнее, а туда, где может быть безвреднее»[128].

128. Ср.: «Из Архива Ф.В. Булгарина» // «Русская старина», 1901, февраль.

129. «Одна и единственная мольба перед отцом монархом есть: увенчать свои благодеяния дарованием затишья этой бедами и раскаяньем измученной душе», – писал он царю 13 июля 1836 г.[130]

130. И. Ховен «Мое знакомство с декабристами» // «Древняя и новая Россия», 1877, I, с. 221.

131. А. Розен «Записки декабриста». – Лейпциг, 1870, с. 367.

132. В бумагах III Отделения Собственной Его Величества Канцелярии.

133. «Он был убит» // Сочинения Марлинского, 1847, IX, 93, 106, 108, 112, 113, 119, 126, 127, 133.

134. М. Семевский «А.А. Бестужев» // «Отечественные записки», 1860, июль, с. 71–72.

135. «Восточная поэма на смерть Пушкина» // «Русская старина», 1874, сентябрь, с. 76–79.

136. Как, например, в повести «Страшное гадание», где такой неизвестный увлекает героя, правда, во сне, от преступления к преступлению.

137. В повести «Следствие вечера на Кавказских водах» (1830) Марлинский попытался этот таинственный тип приблизить к типу разочарованного нелюдима, пострадавшего от эгоизма общества. Повесть осталась неоконченной.

138. Много этнографического материала, описаний нравов, жизни, характера якутов сохранено в письмах Бестужева к его братьям и знакомым. Описанию особого празднества «начатков-кумыса» посвящена маленькая статейка «Сибирские нравы Исых» (1831). Целый ряд картин природы дан в статье «Отрывки из рассказов о Сибири» (1830–1832).

139. «Поэты сделали из (Кавказа) этого великана в ледяном венце и в ризе бурь какой-то миндальный пирог, по которому текут лимонадные ручьи. Я, как умел, вернее старался изобразить ужасающие красоты кавказской природы и дикие обычаи горцев, этот доселе живой обломок рыцарства, погасшего в целом мире. Описал жажду славы, по их образцу созданной, их страсть к независимости и разбою, их невероятную храбрость, достойную лучшего времени и лучшей цели» («Часы и зеркало», 1832).

140. Почти все свои ученые наблюдения над жизнью кавказских горцев Марлинский втеснил в свои повести. Исключение представляют только две статьи: «Кавказская стена» (1831–1832) – археологическая заметка об остатках старинной стены около Дербента, заметка, написанная необычайно красиво и живо, как бы отчет о прогулке; и «Шах-Гуссеин» (1831) – краткое описание религиозного праздника мусульман Шагидов в Дербенте.

141. До него и одновременно с ним эту сторону нашей жизни пытались осветить Лажечников, Загоскин и Булгарин. Лажечников был слишком сух; Загоскин и Булгарин – приторно тенденциозны. Один лишь Полевой в «Рассказах русского солдата» дал два ярких очерка из солдатской жизни.

142. «Чтобы узнать добрый, смышленый народ наш, надо жизнью пожить с ним, надо его языком заставить его разговориться... быть с ним в розхмель на престольном празднике, ездить с ним в лес на медведя, в озеро за рыбой, тянуться с ним в обозе, драться вместе стена на стену. А солдат наш? Какое оригинальное существо, какое святое существо, и какой чудный, дикий зверь с этим вместе! Как многогранна его деятельность, но как отличны его понятия от тех, под которыми по форме привыкли его рисовать! Этот газетный мундир вовсе ему не впору... Солдат наш не гренадер старой гвардии, но и не Храбров драм Федорова, не то, как описывают его старинные песни, всего менее певун Федора Глинки. Кто видел солдат только на разводе, тот их не знает; кто видел их с фухтелем в руке, тот их и не узнает никогда, хоть бы век прослужил с ними. Надо спать с ними на одной доске в карауле, лежать в морозную ночь в секрете, идти грудь с грудью на завал, на батарею; лежать под пулями в траншеях, под перевязкой в лазарете; да безделица: ко всему этому надо гениальный взор, чтобы отличить перлы в кучах всякого хлама, и потом дар, чтобы снизать из этих перл ожерелье. О! сколько раз проклинал я бесплодное мое воображение за то, что из стольких материалов, под рукою моей рассыпанных, не мог я состроить ничего доселе! Дай Бог, чтобы время починило дырявые мои карманы, а то все занимательное высыпается из них, словно орехи у школьника. Я был так счастлив (или, пожалуй, так несчастлив), что вблизи разглядел народ наш и, кажется, многое угадал в нем; вопрос: удастся ли мне извлечь когда-нибудь из этих дробей знаменателя?.. Хочу и сомневаюсь»[143].

143. «Последние минуты Марлинского» // «Иллюстрация», 1848 г., № 24.

144. По словам Греча, это была первая повесть, которую прислал Бестужев для напечатания. Она была прислана из Дербента, навернутая на деревянную палку, зашитая в холсте без всякого письма. Повесть была переписана писарскою рукою и только на тетради рукою Бестужева сделана была на немецком языке приписка без подписи; он посылал поклон жене Ф. Булгарина, с которою до ссылки был очень дружен и близок. Греч по слогу тотчас узнал, кто автор повести и с особого разрешения, впрочем, без имени и псевдонима автора, напечатал ее в издаваемом им тогда «Сыне отечества»[145].

145. Этот рассказ о смерти Бестужева напечатан в статье М. Семевского «Александр Бестужев на Кавказе» // «Русский вестник», 1870, VII, с. 79–83. Он составлен главным образом на основании воспоминаний К.А. Давыдова («Несколько слов о смерти А.А. Бестужева» // «Московские ведомости», 1861, № 24).

146. «Никогда никакая проза не заменит нам поэзии, но только для выражения мечты, а не действительности. Действительность так разнообразна, что ей не впору никакой размер. Там, где слово должно рифмоваться с мыслью, созвучие ребяческая игрушка» («Он был убит», 1834).

147. «Вообразите себе мое положение, я не могу жить ни со стариной, ни с новизной русскою, я должен угадывать все на все! Можно ли не ошибиться?»[148]

148. В. Савинов «Куда девался Марлинский» // «Семейный круг», 1858–1859, I, с. 1–21.

149. Письмо к Н. Полевому, 1833, 18 марта.

150. «Русский вестник», XXXII, 1861, с. 439.

151. Письмо 1833 г., 18 марта.

152. Так прозвал их Греч.

153. «Отечественные записки», 1860, CXXX, с. 332.

154. Он, кажется, был в полном довольстве от такого, например, определения, которое он разрешил своему «вдохновению», когда вопрос зашел о том, что такое творчество: «Хаос – предтеча творения чего-нибудь истинного, высокого поэтического. Пусть только луч гения пронзит этот мрак; враждующие, равносильные доселе пылинки оживут любовью и гармонией, стекутся к одной сильнейшей, сменятся стройно, улягутся блестящими кристаллами, возникнут горами, разольются морем, и живая сила испишет чело нового мира своими исполинскими иероглифами, как чело нашего мира избраждено ущельями»[155].

155. М. Бестужев «Детство и юность А. Бестужева», с. 10.

156. «Ты – все ты: ты мил, жив, умен. Прощай, мой милый Walter… Да, возьмись за роман. Что тебя держит? У нас ты будешь первый во всех значениях слова: в Европе также получишь свою цену: во-первых, как истинный талант; во-вторых, по новизне предметов, красок etc. Подумай, брат, об этом на досуге… но тебе хочется в ротмистры… Твой «Турнир» напоминает турнир W. Sc. Брось немцев и обратись к нам, православным; да полно тебе писать быстрые повести с романтическими переходами, это хорошо для поэмы романтической. Роман требует болтовни; высказывай все начисто… Возьмись-ка за целый роман, и пиши его со всею свободою разговора или письма, иначе все будет сбиваться на Коцебятину»[157].

157. Письмо к Н. Полевому, 1832, 1 сентября // «Русское обозрение», 1894, X, с. 824.

158. Письма Пушкина к А. Бестужеву, 1824 г., 12 января; 1825, 21 марта; 1826, 30 ноября.

159. Письмо Вяземского к Бестужеву, 1823 г., 23 января // «Русская старина», 1888, XI, с 313.

160. «С большим удовольствием прочел я прекрасную повесть А. М. “Испытание”, – заносит Кюхельбекер в свой дневник. – В ней столько жизни, ума, движения и чувства, что без малейшего сомнения ее должно причислить к лучшим повестям на нашем языке. Автора я, кажется, угадал и сердечно радуюсь, если угадал. Благослови Бог того, кто любезному отечеству нашему сохранил человека с талантом. Sapienti sat.».

«Сегодня прочел я повесть Марлинского «Лейтенант Белозор». В ней изредка автор сбивает на скоромный лад Густава Шиллинга, и это истинно жаль, потому что тут терпит все, даже вкус и прелесть слога. Впрочем, и эта повесть несомненное доказательство истинного, прекрасного таланта Марлинского и его неимоверных успехов. Есть в ней даже места истинно высокие, хотя целое более в прежнем роде Марлинского – легком, шутливом, пенящемся, как шампанское или неустоявшаяся брага».

«Где М. дает разгул не просто шалуну-воображению, а восторгу дум и поэзии, – талант его является в прекрасном, дивном блеске. В повести «Мореход Никитин» есть несколько картин и мыслей таких, за который я готов признать М. самым глубоким из наших умствователей, самым вдохновенным из наших писателей».

«Особенно мне не по нутру это злоупотребление остроты и дарования, эта неугомонная ловля каламбуров, иногда, впрочем, удачных, которою Марлинский в письме к Эрману меня иногда совершенно выводит из терпения».

«Фрегат Надежда» – из лучших сочинений Марлинского. Особенно она мне потому нравится, что тут автор не так расточителен на «Бестужевские капли»; их тут мало и везде кстати. Единственный недостаток этого прелестного творения – морские варваризмы. Марлинский – человек высокого таланта: дай Бог ему обстоятельств благоприятных! У нас мало людей, которые могли бы поспорить с ним о первенстве. Пушкин, он и Кукольник – надежда и подпора нашей словесности»[161].

161. Письма Грибоедова, 1825, 22 ноября // «Русская старина», 1889, с. 322.

162. Дневники В. Кюхельбекера // «Русская старина», XXXIX, 1883, с. 253, 271; 1884, II, с. 340; 1883, с. 263; 1884, II, с. 362.

163. Но именно Марлинского тогда и читала наиболее разношерстная публика.

164. А. Кирпичников «Между славянофилами и западниками» // «Русская старина», 1898, XI, с. 318. Кениг. Очерки русской литературы. – СПб., 1862, с. 150, 151.

165. Аллегория эта стоит того, чтобы ее выписать: «Повести Бестужева – удивленье и загляденье. Хочу представить в иносказании его заслуги нашей словесности. Куча сравнений в моей голове, выбираю наудачу, и мне думается, что оно верно.

Карамзин вывел нас, нашу поэзию и нашу прозу, из густого леса, который в его время начинали уже подстригать по-французски, в сад, им самим возделанный и обработанный. Гладки, ровны были его дорожки, деревца обстрижены и цветки в куртинах; не зная, что его окружает высокая стена, мы за ним вслед. Как понравилось нам гулять и отдыхать в этом чистеньком парке; мало-помалу, забывши о своей отчизне, мы в нем совсем обжились; а выбрести из него и не думали. Так прошло много лет. Старички и выход позабыли, а подрастающей молодежи скучно становилось жить хоть в довольстве, да не на приволье. Стена была закрыта мхом давно принятых мнений и сорокалетнею древностью. Глядь-поглядь повсюду, молодежь догадалась по сказкам и по преданиям, что есть какая-то благословенная страна, хоть не так гладка и ровна, да зато обширная и великолепная и куда с давних времен и тропы не пролегало. Старичок хозяин (Карамзин) также об этом знал и сам хоть иногда за ограду и хаживал и двери за собой не затворял, только за ним худо смотрели, с места не трогались и некоторые даже так приросли к чужой земле, что их теперь не выдернешь, разве с корнем. Особливо под конец Карамзин ходил в этот обетованный край для своей истории, там был для него и воздух чище, и внешний ветерок так и грел грудь старика. Молодцы подрастали и начинали вдаль заглядывать; и (проложили) след; Жуковский, вышедши из французского сада, попал в английский парк и на немецкую аренду и за собой многих сманил. И Пушкин выпрыгнул; зашел было в свою родимую землю, стал ею любоваться, да побоялся совсем потерять дорогу домой, бродил то около своей стены, то около соседних: немецкой и английской. Наконец и Бестужев соскочил молодцом со стены и попал не на окольную, а на прямую дорогу к нашей милой отчизне; удивился ее красоте, хотя еще не обработанной, но могущественно прекрасной. Долго он стоял в онемении; посмотрел на звездочки, чтобы и ночью прямо на север дороги не потерять. «Друзья! товарищи! – возопил он. – Я нашел выход, оставьте стариков сидеть на лавочках и ходить по желтенькому песку; ступайте за мною, дальше и дальше», – а сам пошел напереди. Нужно ли говорить об открытиях, ими сделанных... Вот только беда: теперь, как вожатый пропал, чтобы грехом опять назад не воротились. Помилуй Бог, как это будет худо» (1826)[166].

166. Письмо Сенковского к Пушкину // «Русский архив», 1881, I, с. 444.

167. «Исторический вестник», 1889, VII, с. 116, 117.

168. «Марлинский дитя пламенного воображения и в идеях и в выражении их, яркий колорист страстей, природы и слова, человек впечатлительный, но не самобытный, угадчик, а не исследователь жизни, был корифеем новейшей повести нашей»[169].

169. «Воспоминания М.О. Каменской» // «Исторический вестник», 1894, IV, с. 34.

170. Н. Полевой. Взгляд на русскую литературу 1838 и 1839 годов // «Сын отечества», 1840, I, с. 435.

171. «Марлинский в буквальном смысле романтик – певец современного рыцарства под фирмою удальства и наездничества. Вечно восторженный, текучий, блистательный, волшебник фразы, академик художественного построения повестей, с весьма ординарной философией, еще меньшею религиозностью и еще меньшей народностью – блистательным, недостижимым успехом своим увлек множество молодых и старых подражателей своей неподражаемой фразе.

История литературы вечно будет жалеть, что Марлинский и Пушкин оба в молодости попали на превратное направление, удовольствовались ограниченным просвещением без правильного образования воли. Эти два исполина, разрешившиеся превосходными игрушками, которыми литературные малолетки до сих пор не нарадуются, – высоко бы подняли нашу литературу. Все, что они сделали, сделали природным умом с помощью легкой начитанности»[172].

172. «Телескоп», 1832, № 17, с. 1116.

173. «Маяк», 1832, № 4, 192, 193.

174. Н. Куликов. «А.С. Пушкин и П.В. Нащокин» // «Русская старина», 1881, VIII, с. 599.

175. Дневник А.В. Никитенко, 1834 г.

176. «Не понимаю, писал Загоскин, как мог Бурачек назвать Марлинского колоссом? О, Господи да простится ему этот грех и в сей и в будущей жизни! Что такое был Марлинский? Рассказчик с талантом и воображением. Марлинский, этот, по временам, самый рабский подражатель неистовой французской школы, этот бонмотист, щеголяющий самыми нелепыми сравнениями и остротами, этот умник, который, живя на Кавказе, описывал нравы московского общества по Бальзаку и, вероятно, лучше знал быт дербентских татар, чем русских мужиков; этот исковерканный, вычурный, осыпанный полинялыми французскими блестками Марлинский, который говорит, что *улитка* разговора перешла на другой предмет, и думает, что сказал очень умно; этот *безусловный обожатель запада и всех его мерзостей,* этот Марлинский, который находит, *что между диким чеченцем и русским дворянином менее расстояния, чем между этим последним и какими-нибудь французским маркизом или английским лордом, как будто бы все маркизы и лорды люди*

истинно просвещенные, а все русские дворяне решительно невежды, – Марлинский, у которого во всех сочинениях подобные нелепости рассыпаны тысячами; Марлинский, который коверкал, увечил, ломал, терзал без всякой пощады русский язык; Марлинский, который изредка говорил языком человеческим; никогда не согревал души читателя ни одной высокой религиозной мыслью; наконец, Марлинский, в котором я только потому и признаю истинный талант, что, несмотря на все эти дрязги, он читается с удовольствием, – этот Марлинский – колосс! Что ж после этого тот, кого Бурачек называет пигмеем? Что ж он такое? Инфузорий?»[177].

177. С. Венгеров. Полное собрание сочинений Белинского, I, с. 444.

178. Он утверждал сам, что брал по 1000 рублей ассигнациями за печатный лист с Сенковского. Вернее будет, однако, если мы предположим, что он мечтал о таком гонораре[179].

179. Письмо к издателю «Маска» приведено в статье А. Григорьева «Оппозиция застоя» 1861 г. // Сочинения А. Григорьева I, с. 582.

180. «В это время только что начала издаваться Сенковским знаменитая "Библиотека для чтения". Сенковский в числе литераторов, приглашенных участвовать в этом журнале, поместил Марлинского, не спрося предварительно его на то согласия.

– Такая наглость Сенковского, – говорил Бестужев, – мне очень не понравилась, и когда он потом, в письме своем ко мне, просил присылать статьи мои для помещения в журнале, то, чтобы наказать его, я согласился на это не иначе, как с платою за каждый печатный лист по тысяче рублей ассигнациями, и Сенковский принял это условие.

Так дорого ценились тогда сочинения Марлинского». «Из воспоминаний Костенецкого» // «Русская старина», 1900, XI, с. 448.

181. В.В. Стасов «Училище правоведения» // «Русская старина», 1881, II, с. 409, 410.

182. С. Венгеров «Критико-биографический словарь». – СПб., 1892, III, с. 149.

183. А. Григорьев «Сочинения», I, с. 289, 250, 331, 528, 521.

184. Н. Чернышевский «Очерки гоголевского периода», с. 250.

185. С. Венгеров. Полное собрание сочинений Белинского. – СПб., 1900, I, с. 443, 444.

186. «Характеры Марии Стюарт и Елисаветы» (перевод из Робертсона) // «Соревнователь», 1824, № V, с. 222–229. «К читателям «Сына отечества» // «Сын отечества», 1825, № VII, с. 303–304. «О нынешнем нравственном и физическом состоянии лифляндских и эстляндских крестьян» (из книги де Брея Essai critique sur l'histoire de la Livonie) // «Сын отечества», 1818, № 38, с. 211–254. (В статье дано описание нравов, одежды, древних обычаев, и приведены песни. Много сказано комплиментов по адресу русских крестьян ввиду их нравственных преимуществ над другими.)

187. «О деревянном строении в России», 1825.

188. Письмо попа к епископу Рочестерскому перед его изгнанием» // «Соревнователь», 1824, № III, с. 298–301 (с английского).

189. «Оратор» // «Соревнователь», 1824, № III, с. 302, 303.

190. «Речь Лорда Чатама об американских делах в 1777 году» // «Соревнователь», 1824, № VIII, с. 113–118.

191. «История серебряного рубля», 1820.

192. Удачно вышли, например, портреты красавиц в разные периоды их жизни, от ребенка в фижмах до семидесятилетней старухи в статье: «Портретная галерея» // «Соревнователь», 1824, № VII, с. 40–43.

193. Смотри, например, описание мокрого пасмурного дня в английском трактире в статье «День в трактире английского городка» // «Соревнователь», 1824, № VII, с. 44–49.

194. Так, например, купчик, желающий в трактире спросить у соседа воды, говорит: «Я ведь, впрочем, не для ради чего иного прочего, а так, из компанства, хотел только, утрудив, побеспокоя вас, попросить соблаговоления, чтобы нашему чайнику возыметь соединяемое купносообщение с этим самоваром-с» // «Новый русский язык», 1833.

195. О публике. Письмо к издателю (с французского). // «Благонамеренный», 1820, № XXI, с. 166–171.

196. «Рекомендательное письмо», 1834.

197. «Объявление от общества приспособления точных наук к словесности», 1831.

198. «Письмо к издателю» // «Благонамеренный», 1820, № VI, с. 398–408.

199. «Утешение в несчастиях» (из Вейса) // «Литературные листки», 1824, № XXI, XXII, с. 81–86.

200. «Учение» // «Соревнователь», 1824, № VII, с. 50–52.

201. В одной сказке рассказывается путешествие в подземных фивских гробницах («Соревнователь», 1822, № VIII, с. 163–181). Другая любовная: о дервише и его свиданиях с царевной («Устье Босфора», из путешествия по Востоку I. Сенковского // «Соревнователь», 1822, № VII, с. 39–73). Бестужеву, кажется, принадлежит перевод «Прокаженного города Аосты», напечатанный в «Библиотеке для чтения», 1822–1823, II, с. 1–35.

202. «История знаков препинания», 1821.

203. «Страсть спорит» // «Соревнователь», 1824, № 5, с. 230–235.

204. «Способ объяснения посредством музыки и живописи» (с франц. Бершу) // «Благонамеренный», 1820, № IX, с. 200–202 (пустой анекдот о музыканте, который в трактире спрашивал суп с клецками, итальянские макароны и ничего не мог добиться).

205. Агафон, Арак // «Соревнователь», 1819, № X, с. 87.

206. «Кавалерийская школа», сочинение de la Гериньера // «Сын отечества», 1820, № 26, с. 308–317.

207. «О верховой езде. Введение» // «Соревнователь», 1824. № VII, с. 53–73. Бестужев, как он сам заявляет, намеревался извлечь из лучших учителей основные правила выездки, приспособить их к фронту и составить из этого ручную книжку для употребления в конных полках. Он успел написать только главу «Общие понятия о выездке».

208. «Письмо к издателю» // «Сын отечества», 1820, № XLIV, с. 157–172. Как на удачный образчик его критики можно, например, указать на следующие строки: «Улисс, претерпевший кораблекрушение перед Навзикаей» работы Карла Брюллова показывает богатство воображения в изобретении, но малую опытность в исполнении. Зато «Нарцисс» его прекрасен в полном смысле этого слова. Художник весьма замысловато скрыл лицо его, ибо для изображения идеальной прелести Нарцисса едва ли бы довлело живой кисти Апеллесса. Жаль только, что правая нога не совсем кругла и не сохраняет в колорите общего тона в целом, будучи желтее корпуса. Левый бок в абрисе своем мог бы иметь более игры, поскольку согнут в дугу, но со всем тем талант и вкус молодого артиста заметны в каждой черте».

209. «Критика на Походные записки русского офицера, изд. И. Ложечниковым» // «Соревнователь», 1821, № II, с. 301–302.

210. «Отчет о торжественном заседании Императорской Академии Наук» // «Соревнователь», 1821, № II, с. 305–311. Бестужев, разбирая в этом отчете речь Шишкова «О древности и превосходстве русского языка пред другими в звукоподражательном и логическом отношениях», высказывал несколько опасений и сомнений насчет такого превосходства и указывал на отсутствие, например, у нас языка философского. Эта заметка рассердила читателей и один из них в очень неуклюжей статье («Письмо к издателям «Соревнователя» // «Соревнователь», 1821, № IV, с. 91–102) выговаривал Бестужеву за то, что он, имея мало знаний, стал критиковать Шишкова. Бестужев отвечал на эту заметку статьей («Ответ на письмо к издателям «Соревнователя» // «Соревнователь», 1821, № V, с. 209–219), в которой говорил о том значении, какое имеет писатель как творец языка.

211. На эти мелкие рецензии указывает П. Каратыгин в своих «Записках».

212. «Метромания, или страсть к стихотворству, комедия в 5 действиях в стихах, сочинение Пирона, вольный перевод Н.В. Сушкова» // «Сын отечества», 1821, № VII, с. 307–320.

213. «О сем божестве нам мало известно. По одному только словопроизводству утверждают, что Зимцерла была богиня весны, потому что имя ее, говорят, составлено из слов «зима» и «стереть» (И. Кайсаров. Славянская и российская мифология. – Москва, 1810, с. 86). «Зимцерла – богиня, владычествующая над началом дня, то есть заря». (М. Чулков. Абевега русских суеверий. – Москва, 1786, с. 201). «Зимцерла» или Зимстерла – весна (зиму стерла) (Г. Глинка. Древняя религия славян. – Митава, 1804, с. 13). Сообщено В.И. Саитовым.

214. Этот разбор «Эсфири» («Сын отечества», 1819, ч. LVI, № 3, с. 107–124) чуть-чуть не вовлек Бестужева в дуэль с Катениным (Записки М.А. Бестужева // «Русская старина», 1881, XI, с. 628). Случай этот наделал тогда много шума и повеселил литературную братию. По крайней мере, Пушкин в веселую минуту предлагал Гнедичу опять стравить Бестужева с Катениным (письмо Гнедичу 27 июня 1822). Сам Катенин долго не мог забыть этой критики (письмо Катенина к Пушкину, 24 ноября 1825 // «Русский архив» 1881, I).

215. «Сын отечества», 1819, ч. LI, № 6, с. 252–273.

216. «Русская старина», 1900, VIII, с. 391–395. «Беседы в обществе любителей русской словесности», III, 1871, III, с. 25–27.

217. «Звезда» издавалась регулярно в продолжение 3 лет, в 1823; 1824 и 1825 годах. В 1825 году издатели, тогда занятые усложнившимися делами тайного общества (Записки М.А. Бестужева // «Русская старина», 1881, XI, с. 630), за недосугом решили издать вместо «Звезды» «Звездочку», объемом поменьше. Несколько листов этой «Звездочки» было набрано до 14 декабря, и она затем почти полвека хранилась в кладовой департамента Генерального Штаба («Русский архив», 1869, «Альманах Звездочка», 1826). Все хлопоты по составлению и печатанию «Полярной звезды» лежали на Бестужеве («Отечественные записки», 1860, CXXX, с. 136).

218. «Сын отечества», 1823, № IV, с. 174–175. «Ответ на критику, помещенную в № 4, 5, 6, 7 “Русского инвалида”».

219. «Благонамеренный», 1824, № 1, с. 77.

220. «Литературные листки» Булгарина, 1824, № I, с. 64. Издатели печатно протестовали против «варварского права Корсаров» и запрещали перепечатки («Русский архив», 1871, № 4, 5, 0964).

221. «Литературные листки» Булгарина 1824, № II, с. 64. Едва справедливо известие («Русский архив», 1890, VI, с. 146), что издатели «подкупали» цензора.

222. «Северный архив», 1823, № 4, с. 406–407.

223. «Литературные листки», 1824, № 1, с. 27–29.

224. Скажи мне, звездочка златая,
С какой счастливой стороны –
Полярных льдов от пасмурного края,
Иль с неба вечныя весны
Ты верной гостьей к нам приходишь.
Придешь, прельстишь, опять уходишь,
Чтоб в пору срочную опять
По нашим небесам гулять!
.....
И я люблю довольными очами
По своду темному вслед за тобой блуждать,
Твоей игрой сребристой любоваться,
С тобой в дали неведомой теряться
И мыслию в морях безбрежных утопать,
Где ты, как лебедь горделивый,
Плывешь, свершая путь и светлый и красивый.
Люблю смотреть, как тучи над тобой
Покровы черные сбирают,
Шумят завистницы, затмить тебя мечтают;
Но вдруг сошлись – и отбегают,
Как бы невидимой развеяны рукой[225].

225. «Русский инвалид», 1823, № 4, 5, 6, 7.
226. Д. Р. К. «Четвертое письмо на Кавказ» // «Сын отечества», 1825, № X, с. 202–216.
227. «Сын отечества» (1825, № II, с. 223–225), стихотворение П. Катенина «Знакомая звезда».
228. «Письмо Хомякова о событии 14 декабря» // «Русский архив», 1893, II, с. 127–128.
229. К матери 1829, 25 мая // «Русский вестник», 1870, т. 87, с. 262–263.
230. «О вкусе» из Кюльса // «Благонамеренный», 1820. № XI, с. 315–325.
231. «Определение поэзии» (с английского) // «Соревнователь просвещения», 1824, № III, с. 304–305.
232. Письмо к бр. Полевым, 29 января 1831.
233. Пушкин, признавая «едкость остроты Бестужева», говорил, что «Бестужев драгун» иногда «дает карачун смыслу». Но большинству читателей эта «драгунская полемика»[234] и «партизанская критика», как ее называл Вяземский, нравилась.
234. «Подарок сыновьям моим на новый год». Повести А. Коцебу // «Сын отечества», 1820, № XLVII, с. 21–28.
235. «Письмо к издателю», А. Б. // «Сын отечества», 1824, № XII, с. 244–257.
236. Письмо О. Сомова к Рылееву. П. Ефремов «Сочинения Рылеева», 1875.
237. «Письмо к издателю» // «Сын Отечества», 1821, № XIII.
238. Разбор «Краткого памятника для полевых офицеров». М. Бестужева-Рюмина, Вильманстрандского полка адъютанта // «Сын отечества», 1819, № 15, с. 132–136.
239. Так случилось тогда с небезызвестным писателем Жандром, который на одну строку Бестужева ответил целой статьей («Разговор от «Полярной звезды» // «Сын отечества», 1823, № 9, с. 64–72). В спор ввязался какой-то другой любитель и написал свой ответ Жандру («Письмо к А.А. Бестужеву» // «Сын отечества», 1823, № 12, с. 223–229), на что Жандр опять стал твердить свое («Беда от правды» // «Сын отечества», 1823, № 14, с. 310–312), но получил опять сдачи («Беда от неправды» // «Сын отечества», 1823, № 15, с. 32–35). Жандр не успокоился и поставил вновь какие-то «Вопросы вместо ответа» («Сын отечества», 1823, № 16, с. 83–86), на что неугомонный спорщик отвечал «Ответами на вопросы» («Сын отечества», 1823, № 17, с. 124–128). И долго, вероятно, длилась бы эта перебранка, если бы сам редактор Греч не закричал на своих сотрудников: пора перестать! и не пригрозил им, что дальше этой белиберды печатать не будет («Письма на Кавказ» // «Сын отечества», 1823, № 20, с. 265). И все это из-за двух-трех строк Бестужева.

За этого Жандра сочла нужным заступиться даже сама цензура, которая предложила Бестужеву произвести в его статье кое-какие поправки. Бестужев ответил письменно, что он признает неприкосновенность г-на Жандра наравне со священными цыплятами Капитолия, но печатать свою статью в исправленном цензурой виде не желает (Ср.: В.Е. Якушкин «К литературной и общественной истории 1820–1830 гг.» // «Русская старина», 1888, X, с. 167–168).
240. «Нечто о глупцах» // «Соревнователь просвещения», 1820, № XII, с. 305–307.
241. «Главные периоды датской литературы» (из немецкого журнала) // «Сын отечества», 1822, № LXXIX, с. 145–155.

242. «Поездка в Ревель», 1821, «Станция Варгель».

243. «Почему?» // «Сын отечества», 1822, ч. LXXVII, с. 158–168. В этой же статье он делает Гречу упрек в том, что он при обзоре современной русской литературы обошел молчанием «политические сочинения» Н.И. Тургенева.

244. Замечания на критику, помещенную в № 13 «Сына отечества», касательно опыта краткой истории русской литературы» // «Сын отечества», 1822, ч. LXXVII, с. 253–269.

245. Разбор «Essai sur l'origine du mal par un officier» // «Сын отечества», 1819, ч. LIV, с. 70–75.

246. «О разборе книги: Опыты Василия Перевощикова» // «Сын отечества», 1822, ч. LXXX, с. 108–109. Статья любопытна по восторгу, с каким Бестужев при случае говорит о «благороднейшем» человеке Таците, авторе «Жизни Агриколы», которую должны с благоговением читать все имеющие «сердца».

247. «Соревнователь просвещения», 1823, № II, с. 228–229.

248. Сочинения Пушкина в издании Литературного фонда, VII, с. 32, 50, 70, 116, 128.

249. «Соревнователь», 1823. № 1. Критика, с. 97–116. «Сын Отечества», 1823, № II, с. 111.

250. «Вестник Европы», 1823, № 2, с. 134–136. Несколько замечаний на книгу «Полярная звезда».

251. М. Е. «О взгляде на старую и новую словесность в России» // «Вестник Европы», 1823, № 2, с. 139–147.

252. «Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву». – СПб., 1866, с. 345.

253. «Письма А. Измайлова к И.И. Дмитриеву», январь, 1823. «Русский архив», 1871, с. 975.

254. «Ответ на критику «Полярной звезде», помещенную в 4, 5, 6, 7 номерах «Русского инвалида» 1823 г., «Сын отечества» 1823; № IV, с. 174–190.

255. «Письма на Кавказ» // «Сын отечества», 1823, № I, с. 17–18, 111–113.

256. «Совестно было похвалить "Обозрение", – писал А.И. Тургенев И. Дмитриеву. – И в наших журналах редко встречаешь такую нелепицу. Бестужев перещеголял Мольеровских барынь! И какое наглое бесстыдное самохвальство патриотизма! Мы превзошли немцев и французов журналами! Немцы отнимают суму у Ольдекопа! У французов один журнал сносный»[257].

«Кроме некоторых стихотворений, – писал Измайлов И. Дмитриеву, – я прочел в «Полярной звезде» только «Взгляд» Завирашки на русскую словесность 1824 и 1825 годов, «Взгляд» Завирашки поднял всю мою желчь, хотя истинно я очень хладнокровен. Какой варварский язык! Какой решительный дерзкий тон! Ах!»[258].

257. Письмо кн. И.А. Вяземского к А.А. Бестужеву, 20 января 1824 // «Русская старина», 1888, XI, с. 322–325.

258. «Московский телеграф» отнесся, впрочем, очень благодушно к этому наскоку Бестужева. Рецензент «Телеграфа» назвал статью Бестужева неправильной, ошибочной, несправедливой, но остроумной, резкой и выразительной. Основная мысль, говорил он, положим, ошибочна: у нас много критик, но критиков пока еще нет. Они – на западе, и нам, живущим на чужой счет, не следует ругать иностранные журналы. Бестужев любит софизмы, но они искренни и потому могут быть прочтены с пользой. Бестужев, вообще по слогу, обещает хорошего писателя, но только слогу его нужно перебеситься («Московский телеграф», 1825, № VIII, с. 320–336. Подпись «А»).

259. В стремлении к «народности» Бестужев доходил иногда до смешного, заменяя иностранные слова русскими. Так, пейзаж обратился у него в «видопись», карниз – в «прилеп», антикварий в «старинаря» и т.п.

260. «С наслаждением прочел Гюго «Ceci tuera cela»; он великий мыслитель: другие перебивают мысль из его выжимок. Он звезда – прочие спутники; но и он звезда-комета, звезда-предтеча. О, зачем не доживем мы до обновленного мира, после потопа, уже вздувающегося!»[261]

261. «Письма А.И. Тургенева к И.И. Дмитриеву, 1825» // «Русский архив», 1867, с. 669.

262. «Письма А. Измайлова к И.И. Дмитриеву. 1825» // «Русский архив», 1871, с. 988.

263. Письмо к Полевому, 1883 // «Русский архив», 1874, II, с. 8.

264. Письма к бр. Полевым 9 марта и 8 мая 1833, 16 декабря 1831 и письмо к матери 21 декабря 1833.

265. Письма к бр. Полевым 26 января 1833; к братьям 21 декабря 1833.

266. «О потерянном рае» // «Соревнователь просвещения и благотворения», 1820, № XII, с. 285–293.

267. Бартенев. Бумаги А.С. Пушкина I, с. 148.

268. «Кенильворт». Роман Вальтера Скотта (Edinburg Rewiew) // «Соревнователь просвещения», 1824, № VI, с. 325–330.

269. Правда, не без греха, смотри «Он был убит», 1834.

270. М. Бестужев «Детство А.А. Бестужева».

271. «Русская антология или образчики русских поэтов, Джона Бауринга, ч. II» // «Литературные листки» Булгарина, 1824, № XIX, XX, с. 32–45.

272. Письмо к братьям из Якутска 9 марта 1829.

273. Еще в 1821 году Бестужев поместил в «Соревнователе» переводную статью из Gossip's history «О романтическом характере». В этой статье говорилось, что романтические характеры не имеют довольно здравого рассудка для обращения в свете, для образа жизни; что героическое великодушие, романтическая дружба, рыцарская любовь бледнеют перед христианским учением. Автор статьи выражал писателям-

романтикам порицание за то, что они приучают нас стенать от бедствий собственного вымысла и скучать жизнью прежде, нежели солнце бытия достигнет своего меридиана. «Умерьтесь! – говорил Бестужев со слов автора. – И не забывайте, что блаженство сотворено не для здешнего испытательного мира»[274].

274. «Письмо к Эрману», 1829.

275. Письмо к бр. Полевым, 21 февраля 1831.

276. «Соревнователь», 1821. VI, с. 294–298.

277. «О духе поэзии XIX века». Из Artaud пер. А.Б. // «Сын отечества», 1825, № XV, с. 276–288, № XVI, с. 386–398.

278. «Письмо к Эрману», 1829.

279. «Мореход Никитин», 1834.

280. Письмо к бр. Полевым, 13 августа 1831.

281. Письмо к бр. Полевым, 1 января 1832.

282. «Путь до города Кубы», 1834.

283. Письмо к бр. Полевым, 1 сентября 1832.

284. Письмо к бр. Полевым, 27 июля 1834.

285. Письмо к братьям из Якутска 9 марта 1829 // «Русский вестник», 1870, т. 87, с. 252.

286. Письма к бр. Полевым, 28 мая, 18 августа 1831, 4 января 1833.

287. Письмо к бр. Полевым, 14 декабря 1832.

288. Письмо к бр. Полевым, 25 июня 1832.

289. Об этой «пудре» говорится и в известной эпиграмме Бестужева на Жуковского:

Из савана оделся он в ливрею,
На пудру променял свой лавровый венец,
С указкой втерся во дворец
И там, пред знатными сгибая шею,
Он руку жмет камер-лакею.
Бедный певец!

Эту эпиграмму Бестужев, по словам его брата Михаила, сочинил на одном из «русских завтраков» Рылеева.

290. Письмо к брату Павлу 26 мая 1835 (ср. отзыв о «Телеграфе» выше от 1829 года), письмо к матери 19 января 1831.

291. Иногда отзыв поражает своей несправедливой резкостью, например, следующее место из письма к К. Полевому: «Про Пушкина пожал плечами... ужели и за его душу пора петь панихиду? Я всегда знал его за бесхарактерного человека, едва ли не за безнравственного»[292].

292. Письма к Полевым 1 января 1832 и 4 января 1833.

293. Письмо к Пушкину 9 марта 1825. Бартенев. Бумаги А.С. Пушкина. I, с. 148.

294. Письмо к Полевому, 22 сентября 1832.

295. Письма к бр. Полевым, 26 января и 9 марта 1833.

296. Письмо к матери, 19 января 1831.

297. Письмо к бр. Полевым, 29 января 1831.

298. Письмо к бр. Полевым, 24 мая 1832.

299. Письмо к бр. Полевым, 13 августа 1831.

300. Письмо к В. Туманскому 1825, 15 января // «Киевская старина» 1899, т. 64, № 3, с. 300.

301. Пушкин Бестужеву 25 января 1825. Изд. Лит. Фонда VII, с. 106–107, 116, 117.

302. Белинский в «Литературных мечтаниях» намекал на эту статью, когда говорил об «авторах обозревателях, которые, наскучив своим долговременными скромным молчанием, принатужив свои умственные способности, одним разом высыпают из своих голов весь неистощимый запас своих огромных и разнообразных сведений и умещают его на нескольких страничках приятельского журнала или альманаха». Белинский в своем отзыве был неправ[303].

303. Письмо к братьям, 25 декабря 1828.

304. Письмо к бр. Полевым, 28 июня 1832.

305. Эти выключенные цензурою страницы о Евангелии сохранились в Архиве III Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии как отдельная статья под заглавием «О христианской религии». Статья написана с хорошим и искренним пафосом:

О христианской религии.

Сперва гонимая, терзаемая скиталица христианская вера восторжествовала, наконец, благочестием первых христиан; и не мечом войны, не топором казни покорила она души полумира, нет, но убеждением слова, но истиною правил святого Евангелия.

Из подземных пещер она овладела землею и соединила землю с небом. Боги языческие были порочны, как люди – Апостолы чисты, как Ангелы. Язычник унизил божество до себя, христианин вознес человека до Бога. Философия была верою немногих мудрецов, а христианская вера стала философиею целых на-

родов, практическою мудростью граждан, не только законом, но и наставницей совести. Вникните в сущность Евангелия, прочтите его даже просто как книгу, и вы убедитесь, что оно есть высокая поэма, тем драгоценнейшая, что каждая страница его – действительность, что каждое слово его освящено примером и запечатлено кровью Спасителя мира. Да, я смело утверждаю, что Евангелие было первообразом новой словесности, первым рассадником идеализма. Оно заключало в себе все, что сказалось и свершилось потом и совершается доселе. Каких стихий новой поэзии нет в благовестии, в этом завете неба земле, в завете Бога с человеком? Не стройно ли сохранено в нем одно единство, возможное в природе – единство цели? Не проникнуто ль оно одною смелою, пылкою священною мыслию побратать все народы любовью, обратить любовь в веру, возвысить и усовершить людей этою верою в Бога, который сам себя назвал Любовь, который завещал платить добром за зло, любить врагов своих, который произнес: Месть Мне.

Не только на площадях, палатах и храмах является Спаситель, но и в пустыне, на торжище, в толпах простого народа, в кругу детей и прокаженных, на свадьбе, на погребении, на месте казни. Он беседует с мытарями, Он спасает блудницу; Он с двенадцатью рыбарями бросает живые семена слова в души простолюдинов. Но с какою драматическою занимательностью близится кровавая развязка этой умилительной, ужасной трагедии! Друг продает его врагам за серебро; предает на муки поцелуем. Любимый ученик отрицается его... робкий судья шепчет: он невинен, и дарит его злобной черни, в которой большинство – сановники-иудеи. И вот Спаситель мира гибнет позорною казнью, распятый между двумя разбойниками, молясь за своих злодеев! О, кто ни разу не плакал горькими слезами над Евангелием, тот, конечно, не испытал сам несчастия и не уважал его в других; тот не стоит и отрады, проливаемой в души этою святынею. Какой несчастливец не подымал из праха головы, подумав, что и Он страдал: как утешительно следить борение Божественного духа с земными скорбями, на которые осужден был Христос телом. «Лазарь, брат наш умер!» – восклицает Он и горько плачет. Кровавый пот орошает чело Его, когда Он молит: «Да мимо идет чаша сия», – отравленная чаша судьбы! Он, падая, изнемогает под крестом – Он жаждет пригвожденный на кресте – и Ему на острие копья подают уксус. Это страшно и отрадно вместе. Страшно потому, что в этом символе мы видим свет, каков он был всегда; действительную жизнь, какова она есть доныне – тут нет ни награды добродетели, ни казни пороку.

Не извиняюсь, распространившись так о Евангелии, перед теми, у которых привычка очерствила сердце к красотам его; ни пред теми, которые Его исповедуют языком фарисеев и целуют устами Иуды! Мне необходимо нужно было указать на стихии, которые разовьются потом в нравах, обличаясь в переворотах; проявятся в отшельничестве, в крестовых походах, в освобожденном Иерусалиме, в «Аде», в Вертере, в Чайльд-Гарольде, в Notre Dame de Paris. Я сказал и повторяю, что Евангелие стало знамением новой словесности, как крест стал знамением нового мира, что оно было первою песнью, первым действием той огромной поэмы или драмы, которой история до сих пор не досказана.

306. С. Венгеров. Полное собрание сочинений Белинского, I, с. 314–315.

307. При своей нелюбви к Полевому Белинский, очевидно, преувеличил. Критика «Полярной звезды», как мы помним, была несравненно уже и голословнее всего того, что писалось в «Телеграфе».

308. Эта общественная тенденция в критике Бестужева была в первый раз оценена по достоинству С. Шишковым в 70-х годах. Шишков хвалил Бестужева даже за его суровые отзывы о Пушкине[309].

309. Из архива Ф.В. Булгарина // «Русская старина», 1900, I, с. 392–404.

310. В свое время эта тенденция была отмечена цензурой и «Марлинского отзывы, в “Телеграфе” помещаемые», послужили обвинительными пунктами против Полевого, когда Уваров настоял на закрытии его журнала... В числе таких опасных отзывов и выражений Бестужева были приведены, например, следующие: «русский солдат – животное в самой тяжкой доле», «государственные люди у Булгарина чересчур просты и трусливы; им ли быть главами заговорщиков?», «русский барин раз в мундире, он грудью полез в немцы», «история буянила, разбивала царства, ничтожила народы, выводила в князи из грязи» и т.п.[311].

311. Друзья называли его «Шахерезада».

312. «Московский телеграф», 1833 г., № XV, август, с. 399–420; № XVI, с. 541–555; № XVII, сентябрь, с. 85–107; № XVIII, с. 216–244.

313. С. Шишков «Эпоха Белинского» // «Дело» 1877, I, с. 27–39.

314. М. Сухомлинов «Исследования и статьи», II, СПб., 1889. «Н.А. Полевой и его журнал» // «Московский телеграф», с. 415, 421–422, 425.

315. Как, например, в повестях «Вечера на бивуаке», «Листки из дневника гвардейского офицера», «Выстрел», «Журнал Вадимова», «Месть» «Он был убит», «Прощание с Каспием», «Путь до города Кубы», «Свиданье».

316. «Уж если верить гипотезам, то Велланский, последователь Шеллинга, всех правдоподобнее, хотя закутан в шубу едва понятных эпитетов. Давно бы пора бросить материализм сил природы, но привычка, не хуже зелена вина, так и тянет к матушке-грязи»[317].

317. Письмо к Полевому, 19 мая 1839.

318. «Не думаете ли вы, любезные братья, что я всегда кукую? Право, нет: не могу при мысли о страданиях родных моих запретить себе печали; но вы очень хорошо знаете, что я от природы весьма веселого

характера и самых миролюбивых привычек. Если бы от меня зависело все в свете, то люди плясали бы с утра до вечера»[319].

Марлинский, временами столь воинственный, в статье «Кавказские очерки» высказывался решительно против завоевательной системы и насилия над горцами.

319. «Отечественные записки», № 7, 1860, с. 48.

320. «Для меня, чем дальше я живу, я убеждаюсь, что злые люди – сумасшедшие, и все зло, которое они делают, они делают по недоразумению…»[321].

«Напрасно жалуются на злобу людей: надобно бы обвинять их глупость: слишком много чести называть этих копеечных Геростратов злодеями; они просто дураки. Они или ослы с тигровыми лапами, или хищные орлы с поросячьим рыльцем, и вот почему я никогда не принимал близко к сердцу ни обманов, ни коварства их. "Больше разницы между человеком и человеком, – сказал Монтень, – чем между человеком и скотом": может ли крайнее существо обидеть меня, будь оно хоть с рогом, хоть с зубом, хоть с жалом? Ей Богу, нет! Оно может уязвить, измучить, истерзать меня, но огорчить разве на минуту. Свет есть огромный желтый дом, в котором и лекаря, по несчастию, если не безумнее, то едва ли не глупее прочих. Последуйте мне, и вы увидите, как целебно подействует на вас это убеждение. Это не гордость, не презрение; сохрани Бог, нет, это сожаление, участие к злому мальчишке – человечеству; ибо с мыслью о ребячестве связано желание делать ему добро, даже долг делать его, несмотря на отплату злом: дети всегда бранятся и плачут, когда их моют. Но все ли таковы люди?.. Один лукавый, мог бы отвечать: все»[322].

«Я знал людей и прежде, я не разлюбил человечества и теперь; я был обязан рассекать сердца многих, как насекомое для исследования; видел их ничтожность и оттого мало ошибался, что мало от людей ожидал. Я убедился, что нельзя полагаться на правила, но можно вычислить страсти их, обращать в пользу общего не добродетели, а слабости…»[323]

321. «Русский вестник», 1861, XXXII, с. 430.

322. «Русский вестник», XXXII, с. 330.

323. Письмо к братьям. Дербент, 27 декабря, 1830.

324. «Труженик, труженик, утешься! Не ты один носишь неутоленную жажду в груди своей… Огонь Прометея светит и жжет вместе, или, лучше сказать, пожирает быстрее, чем озаряет. Один только неповитый глупец может быть доволен сам собою… Утешься, если отрадно знать, что и другие страдают наравне с нами: «На людях и смерть красна», говорят русские; но на людях не значит с людьми. Я бы презрел самолюбца, который бы пожелал, чтобы с ним умирали товарищи для компании»[325].

325. «Отечественные записки», № 7, 1860, с. 48.

326. «Я не люблю Наполеона. Он слишком думал о роли своей и слишком мало о долге. Сын прошлого века, он не мог понять нового»[327].

327. «Русский вестник», XXXII, с. 330.

328. Письмо к братьям. Дербент, 27 декабря 1830.

329. Сперва распорядители были бессменны, но Рылеев, вступив в думу, настоял, чтобы их переменяли и вместо Трубецкого выбран был он вместе с оставшимся Оболенским (это было до меня).

330. В этом наше общество совершенно разнилось с бывшим (как я слышал) до сей истории. У нас система двойственная, а у них была десятичная, и каждый десяток составлял ложу или думу.

331. Сие правило не очень строго соблюдалось и многие члены между собою знались. Третьего принять тоже хотя редко позволялось, но смотря по члену.

332. По-настоящему должно бы спрашивать всех членов думы, но решали это обыкновенно распорядители, за тем, что дума редко сходилась.

333. Члену не поставлялось в обязанность непременно выбирать двух, он мог и одного и даже никого не выбрать, если не находил достойных.

334. Это крепко наблюдалось. Я, например, только прошлого лета открылся брату Михаилу.

335. Большею частью сношения были через верных членов, которые по службе или в отпуск ездили. Но в случае надобности посылали и нарочно, как, например, Свистунова в Киев.

336. «Отечественные записки», № 7, 1860, с. 44.

337. Письмо к Н. Полевому, 16 декабря, 1831.

338. Письмо к Н. Полевому, 23 апреля, 1831.

339. Письмо к Н. Полевому, 16 декабря, 1831.

340. Письмо к Н. Полевому, 2 августа, 1834.

341. «Письма Бестужева к Н. и К. Полевым» // «Русское обозрение», 1894. X, с. 821.

Текст и примечания печатаются по источнику:

Котляревский Н.А. Декабристы: Кн. А.И. Одоевский и А.А. Бестужев-Марлинский. Их жизнь и литературная деятельность. – С.-Петербург: Типография М.М. Стасюлевича (Васильевский остров, 5 л., 28), 1907.

Т.А. Булыгина

Декабристы на Кавказе

Согласно данным биографического справочника декабристов*, из более чем 300 указанных в издании фамилий 94 человека, причастных к делу декабристов, так или иначе, посетили Кавказ. Это почти треть осужденных или «прикосновенных» к декабризму. Справочник не исчерпывает всех сведений о декабристах на Кавказе, в нем возможны неточности, но громадная работа, проделанная десятками исследователей и краеведов под руководством академика М.В. Нечкиной, позволяет прояснить некоторые моменты из истории декабризма.

Самая многочисленная партия сосланных на Кавказ декабристов приходится на 1826 (30 человек) и 1827 (20 человек) годы. Тогда приводился в исполнение приказ о разжаловании части декабристов в рядовые и переводе причастных к декабризму тем же чином на Кавказ. В 1837 г. сюда прибыло 10 человек, так как для некоторых перевод рядовыми на Кавказ было прощением, а не наказанием. В 30-е гг. на Кавказ декабристы прибывали почти каждый год, кроме 1830, 1834 и 1835 годов. В 40-е годы поток ссыльных истощился. Только в 1840 г. прибыли 2 человека, а в 1841, 1845 и 1848 прибыли по 1 человеку. Время приезда 3-х выявленных декабристов на Кавказ не установлено.

Предположительно на Кавказе служили 16 членов Северного и 15 Южного обществ, 9 активных участников восстания в Петербурге, формально не состоявших в тайных обществах. 9 человек были членами раннедекабристских обществ, но не вступили ни в Северное, ни в Южное общества. Кроме того, на Кавказе оказались 8 участников выступления Литовского пионерного батальона и члены общества военных друзей. По 2 человека среди декабристов-кавказцев представлены участниками восстания черниговского полка и членами Общества объединенных славян.

Анализ данных справочника позволяет увидеть, что определенная часть будущих декабристов была хорошо знакома с Кавказом еще до событий 1825 г. Пока их выявлено 11 человек, среди которых шестеро после событий были освобождены «с оправдательным аттестатом» или «высочайше повелено оставить без внимания». Это адъютант А.П. Ермолова, штабс-капитан Николай Павлович Воейков, Николай Николаевич Муравьев (Карский), который впервые прибыл на Кавказ в 1816 г., а в 1854 – 1856 гг. был наместником Кавказа. Из пяти обвиненных трое достаточно известные личности. К ним можно отнести Александра Ивановича Якубовича, которого перевели в 1816 г. за участие в дуэли в Нижегородский драгунский полк капитаном. Он участвовал в покорении Казикумыкского ханства в Дагестане в отряде Мадатова. Его знаменитая черная повязка – следствие ранения в голову в 1823 г. в этих кавказских экспедициях. За участие в восстании на Сенатской площади он был осужден по I разряду, отбыл 13 лет каторги и умер на поселении. Он известен историкам тем, что распространял упорные слухи о существовании на Кавказе тайного общества, а также своей дуэлью с А.С. Грибоедовым в Тифлисе.

До восстания побывал на Кавказе и Вильгельм Карлович Кюхельбекер – друг А.С. Пушкина. Он был чиновником для особых поручений у А.П. Ермолова с 1821 до мая 1822 г. Впоследствии также был осужден по I разряду и умер в Сибири. В 1816 г.был разжалован из юнкеров и отправлен на Кавказ Петр Грирорьевич Каховский, который дослужился здесь до поручика и уволен в отставку в 1821 г. Позже он приезжал лечиться на Кавказские Минеральные Воды. На Сенатской площади он должен был стрелять в царя, но смертельно ранил генерала Милорадовича, за что был в числе 5 декабристов, признанных виновными вне разрядов, повешен. Полковник В.К. Тизенгаузен, участник Отечественной войны 1812 г., осужденный по VII разряду как член Южного общества, служил в Мингрельском пехотном полку, с которым участвовал в походах против Персии и Турции в 1810–1811 гг.

После декабристского восстания через Кавказ прошли не только многие из официально осужденных, но и декабристы, формально признанные невиновными. Офицерам, связанным с декабристами, доверия у власти не было. Из приговоренных к разным видам наказаний на Кавказе оказались 10 человек, осужденных Военным судом – 8 участников общества военных друзей в Литовском пионерном батальоне, а также участники восстания в Черниговском полку член Южного общества Е.Е. Лачинов и А.С. Войнилович.

Среди попавших под приговор Верховного суда декабристов по 11 разрядам на Кавказе 7 человек последнего 11-го разряда оказались на Кавказе рядовыми в 1826–1827 годах. Среди них один из 5 братьев Бестужевых, пострадавших от причастности к декабризму, предпоследний брат мичман П.А. Бестужев, активный участник восстания на Сенатской площади Н.Р. Цебриков, член общества Соединенных славян А.В. Веденяпин 2-й. Из них 4 так и были уволены из армии унтер-офицерами, а 3 – прапорщиками. В 1827 году рядовыми на Кавказ прибыли 2 осужденных по 10 разряду декабриста. Это младший брат друга А.С. Пушкина и И.И. Пущина, Михаил Иванович Пущин, который к моменту увольнения в 1831 г. дослужился до поручика, в 1829 году был навылет ранен в грудь, а летом этого же года во Владикавказе встретился с А.С. Пушкиным. Тогда же прибыл в Тифлисский пехотный полк и разжалованный за агитацию против

* Декабристы. Биографический справочник. Москва: Наука, 1988.

присяги Николаю I Н.П. Кожевников, который также встречался на Водах с Пушкиным. В это же время на Кавказ были доставлены двое осужденных по 9 разряду декабристов: член Северного общества П.П. Коновницын 1-й, и Н.Н. Оржицкий. Коновницын тоже летом 1829 г. встречался с А.С. Пушкиным, а в следующем году, дослужившись до чина поручика, он умер в 27-летнем возрасте.

Только один из 3-х декабристов, осужденных по 8 разряду, сразу был отправлен рядовым на Кавказ – лейтенант Гвардейского экипажа, участник восстания в Петербурге Б.А. Бодиско 1-й, прибывший во Владикавказ в 1826 г. и убитый через 2 года в бою с горцами. Несколько позже, в 1829 г., после сибирской ссылки прибыл рядовой В.М. Голицын, бывший князь и титулярный советник, бывший камер-юнкер, член Северного общества. Ссылка в Сибирь. На Кавказ в 1829 г. Участник русско-турецкой войны. После увольнения по болезни в 1837 г. он был зачислен в штат Общего кавказского областного управления в Ставрополе, в котором прослужил до 1839 г. Третьим был М.А. Назимов, который также после ссылки прибыл с группой других декабристов в 1837 г.

Среди 5 декабристов-кавказцев, получивших наказание по 7 разряду, большинство до Кавказа прошли как члены Южного общества 1–2 года каторги и ссылку. Член Общества соединенных славян А.К. Берстель провел более года в крепости. 8 лет прослужил на Кавказе член Южного общества Кривцов С.И., дослужившийся до прапорщика. Отдал службе на Кавказе четверть века В.С. Толстой, начавший рядовым в 1829 г., а завершивший чиновником для особых поручений при кавказских наместниках М.С. Воронцове и Н.Н. Муравьеве. В.Н. Лихарев, убитый на Кавказе, и А.И. Черкасов прибыли из Сибири к месту службы в 1837 г.

На Кавказе служили по одному декабристу, осужденному по 6 и 5 разрядам. Это умерший на Кавказе от малярии также член Южного общества А.О. Корнилович (6 разряд), оставивший воспоминания о движении декабристов, а также активный участник восстания декабристов в столице барон А.Е. Розен (5 разряд), который прибыл из Сибири с группой своих товарищей в 1837 году. В 1838 г. он служил в Пятигорске в 3-м линейном кавказском батальоне.

В краеведческой литературе много написано о группе из 5–6 декабристов, одновременно прибывших на Кавказ в 1837 г. после каторги и поселения в Сибири. Трое из них были осуждены по 4 разряду, а всего служило в нашем регионе 6 декабристов, приговоренных к этому разряду наказаний. В основном это была каторга до 8 лет и поселение. Среди них выделяется личность поэта-декабриста, друга М.В. Лермонтова А.И. Одоевского, а также фигура Н.И. Лорера, который оставил подробные записки о Южном обществе и пребывании декабристов на Кавказе. Через 3 года сюда прибыли осужденные по тому же разряду братья Беляевы.

На Кавказ не попал ни один декабрист, осужденный по 2 и 3 разрядам, зато здесь служили 5 человек, приговоренных к 1 разряду. 3 декабриста были членами Северного общества, а 2 – поляки, ученики Белостокской гимназии, члены местного тайного общества. Эти молодые люди, отсидев в крепости, уже в 1828 г. стали рядовыми Нижегородского драгунского полка. Анджей Яневич прослужил на Кавказе 36 лет и уволился со службы подполковником. Среди первых декабристов, кто прибыл на Кавказ после Сибири, был известный не только историкам декабризма, но и филологам поэт и писатель А.А. Бестужев (Марлинский), второй по старшинству из братьев Бестужевых, погибший в бою у мыса Адлер после 8 лет тяжкой службы. Позже всех осужденных попал на Кавказ в возрасте 47 лет другой член Северного общества, А.Н. Сутгоф (в 1848 г.). Он остался навсегда в этом краю. 9 месяцев, с марта по ноябрь 1859 г., Сутгоф был смотрителем Кисловодских вод и до конца своей жизни в 1872 г. управлял казенным имением и дворцом великого князя Михаила Николаевича в Боржоми.

Из 47 «прикосновенных» к делу декабристов 8 были освобождены с оправдательным аттестатом или высочайшим повелением оставлены без внимания. Это камер-юнкер, сын камергера Никита Всеволожский, участник собраний «Зеленой лампы», который в 1828 году работал в ведомстве Тифлисского военного губернатора. Среди этой группы можно назвать и сына сенатора А.И. Гагарина, который переехал на Кавказ в 1845 г. вместе с М.С. Воронцовым, и участвовал в делах против горцев. В конце 40-х он был градоначальником Дербента, а также военным губернатором Кутаисской губернии, где и погиб в 1857 г. Надо упомянуть и полковника И.П. Шипова, члена Союза спасения и Союза благоденствия, который стал командиром лейб-гвардии Сводного полка, отправленного на Кавказ 21 февраля 1826 года. Наконец, нельзя не сказать о Павле Александровиче Катенине, участнике Союза спасения, поэте и драматурге, о котором А.С. Пушкин писал: «Там наш Катенин возродил Корнеля гений величавый». В 1836 г. он был комендантом крепости Кизляр.

Освобожденный с оправдательным аттестатом член Союза благоденствия, надворный советник, столоначальник в Департаменте внешней торговли А.В. Семенов в 1838–1839 гг. был гражданским губернатором Кавказской области (Ставрополь), став уже действительным статским советником. Сын героя Отечественной войны 1812 г. друг А.С. Пушкина полковник Н.Н. Раевский, подозреваемый в принадлежности к тайному обществу, в 1826 г. был переведен командиром Нижегородского драгунского полка. В 1831 г., хоть уже и имел звание генерал-майора, за близость со ссыльными декабристами он был понижен в должности. С 1839 г. Раевский-младший стал генерал-лейтенантом, начальником Черноморской береговой линии.

Для 22-х причастных к декабризму перевод на кавказскую службу был главным наказанием за знакомство с декабристами, за родство с ними, за недоносительство, за участие в раннедекабристских организациях и проч. Среди них был младший из братьев Бестужевых 17-летний Павел. Был отправлен на Кавказ с замечанием пол-

ковник А.И. Вальц 2-й за то, что не донес властям о существовании тайного общества. Член Союза спасения, Союза благоденствия капитан ген. штаба В.Д. Вальховский, который был переведен на Кавказ при Паскевиче в 1826 г., в 30-е гг. стал обер-квартирмейстером Кавказского корпуса. Он также был и.д. начальника корпуса, замещая Г.В. Розена во время его отсутствия в 1935 г., командиром бригады при занятии мыса Адлер. Особо надо сказать об участнике Отечественной войны 1812 г., члене Союза Благоденствия П.Х. Граббе, который провел 4 месяца в крепости и возвращен в свой полк тем же чином. В 1839 г. генерал-лейтенант Граббе был назначен командующим войсками на Кавказской линии и Черномории, уволен в 1842 году. В 1866 он был избран наказным атаманом войска Донского, членом Государственного совета и написал «Памятные записки».

Член Северного общества подполковник А.М. Миклашевский 1-й служил на Кавказе в 22-м егерском полку еще до восстания. С 1826 года, после месячного заточения в крепости, он оказался опять на Кавказе. Здесь он участвовал в экспедициях Ермолова, Паскевича, Мадатова, а с 1829 г. стал командиром 42-го егерского полка, где служили многие декабристы. Миклашевский был убит, когда во главе полка штурмовал Агач-кале в 1831 г., и похоронен в Шуше.

Служил на Кавказе в 1826–1828 гг. внук А.В. Суворова корнет А.А. Суворов, который как член Северного общества был отправлен на Кавказ. В 1828 г. флигель-адъютант Суворов сопровождал Николая I в части действующей армии, участвовавшие в русско-турецкой войне.

Не менее 25 декабристов, служивших на Кавказе, были участниками русско-персидской (1826 – 1828) и русско-турецкой (1828 – 1829) войн. 21 участник движения декабристов нашли свой последний приют в земле Кавказа от болезней и ран, убиты в бою.

Такой предварительный обзор пребывания декабристов на Кавказе может стать отправной точкой для дальнейшей работы с источниками с тем, чтобы дополнить или исправить эти сведения.

Приложение

I. Прибытие декабристов на Кавказ по годам

1826
1. Арцыбашев Д.А.
2. Бестужев Павел А.
3. Бестужев Петр
4. Богданов А.И.
5. Бодиско 1-й, Б.А.
6. Броке А.А.
7. Вадковский 2-ой А.Ф.
8. Вальц 2-й А.И.
9. Васильчиков Н.А.
10. Веденяпин 2-й А.В
11. Волков В.Ф.
12. Вальховский В.Д.
13. Всеволожский Н.В.
14. Гангеблов (Гангеблидзе) А.С.
15. Гофман П.И.
16. Гудим И.П.
17. Добринский А.А.
18. Кудашев М.Ф.
19. Левенталь Ф.К.
20. Ледоховский Н.К.
21. Лелякин Г.Г.
22. Леман П.М.
23. Малютин М.П.
24. Меллин Н.Р.
25. Миклашевский 1-й А.М.
26. Оржицкий Н.Н.
27. Раевский Н.Н.
28. Семичев Н.Н.
29. Суворов А.А.
30. Шипов И.П.

1827
1. Берстель А.К.
2. Бурцов И.Г.
3. Вадбольский А.П.
4. Вильканец М.Ф.
5. Вишневский Ф.Г.
6. Войнилович А.С.
7. Гвоздев А.Н.
8. Искрицкий 1-й
9. Кожевников Н.П.
10. Кожевников Н.П.
11. Лапа М.Д.
12. Лачинов Е.Е.
13. Коновницын 1-й П.П.
14. Окулов Н.П.
15. Пктровский Э.А.
16. Путята Н.В.?
17. Пущин М.И.
18. Сухоруков В.Д.
19. Фок А.А.
20. Цебриков Н.Р.

1828
1.Воехович П.П.
2. Барковский Ф.К.
3. Яневич Анджей Д.

1829
1. Бестужев (Марлинский) А.А.
2. Голицын В.М.
3. Толстой В.С.

1831
Кривцов С.И.

1832
1. Корнилович А.О.
2. Палицын С.М.

1833
1. Катенин П.А.
2. Майборода А.И

1836
Игельстром К.Г

1837
1. Вегелин А. И.
2. Граббе П.Х.
3.Лихарев В.Н.
4. Лорер Н.И.
5. Назимов М.А.
6. Нарышкин М.М.
7. Одоевский А.И.
8. Ордынский Ф.В.
9. Розен А.Е.
10. Черкасов А.И.

1838
1. Мазгана П.Д.
2. Семенов А.В.

1839
Дивов В.А.

1840
Беляев Александр Петрович
Беляев Петр П.

1841
Скалон А.А.

Текст рукописи предоставлен автором.

1845
Гагарин А.И.

1848
Сутгоф А.Н.

Не установлено точно
1. Сизиневский В.О.
2. Жуков И.П.
3. Хвощинский П.К.

II. Убиты или умерли на Кавказе

1. Берстель А.К. (1830)
2. Бестужев (Марлинский) А.А. (1837)
3. Бодиско 1-й Б.А. (1828)
4. Бурцов И.Г. (1829)
5. Воехович П.П. (1830)
6. Войнилович А.С. (1845)
7. Волков В.Ф. (1828)
8. Гагарин А.И. (1857)
9. Гвоздев А.Н. (1828)
10. Гудим И.П. (1828)
11. Дивов В.А. (1841)
12. Искрицкий 1-й Д.А.(1831)
13. Кожевников Н.П. (1830)
14. Корнилович А.О.(1834)
15. Лихарев В.Н. (1840)
16. Мазгана П.Д. (1843)
17. Миклашевский 1-й А.М. (1831).
18. Одоевский А.И. (1839)
19. Коновницын 1-й П.П. (1830)
20. Семичев Н.Н.
21. Сутгоф А.Н.

Т.А. Булыгина

Образ «другого» в текстах «кавказцев» XIX века. Опыт сравнения

Образ Кавказа в российском общественном сознании первой половины XIX века занимал место «чужого», «другого» в социокультурном пространстве России. Однако, несмотря на общие черты этого образа, каждый текст о Кавказе имел свою специфику, привносимую индивидуальностью автора. Предлагаемые для сравнения источники имеют различные целевые и функциональные характеристики. Этот контекст обусловлен личностями авторов – Сергея Дмитриевича Безобразова и Александра Александровича Бестужева (литературный псевдоним – Марлинский).

По преданию, изложенному в книге ставропольского литературоведа А.В. Попова, летом 1834 года произошло знакомство этих двух «кавказцев поневоле».[1] Вначале карьера молодого кирасира С.Д. Безобразова складывалась блестяще, да и сам он, по описанию декабриста Лорера, был красив, блистал в обществе. Безобразов был вначале адъютантом цесаревича Константина, а затем был назначен в чине штабс-ротмистра флигель-адъютантом Николая I. В это же время этот придворный офицер женился по любви, но оказалось, что молодая жена – фаворитка императора. После громкого скандала Безобразов был отправлен на Кавказ, где участвовал в боях и был тяжело ранен. В 1936 году полковник С.Д. Безобразов уже командовал 44-м Нижегородским полком и Лезгинской линией. Впоследствии Безобразов в чине генерал-майора командовал 2-ой бригадой 14 пехотной дивизии при Отдельном Кавказском корпусе. Именно в это время им была подготовлена записка «Рассуждение и мнение о покорении Кавказа 1842 года» на имя Командующего Отдельным Кавказским корпусом[2].

К моменту встречи с Безобразовым в Ставрополе рядовой Кавказской армии ссыльный декабрист А.А. Бестужев-Марлинский, в прошлом штабс-капитан лейб-драгунского полка, блестящий гвардейский офицер, адъютант генерала Бентанкура, прибывший после каторги и поселения из Якутска на Кавказ в августе 1829 года, уже не раз участвовал в боевых действиях во время русско-турецкой войны. Бестужев-Марлинский был приписан все к тому же 44-му Нижегородскому драгунскому полку. Несмотря на свое положение, он вошел в блестящее тифлисское общество как известный литератор и друг лучших людей России, но в начале 1930 г. был отправлен в Дербент рядовым 1-ой роты Грузинского 10-го батальона, который нес гарнизонную службу. До приезда в Ставрополь декабрист пережил осаду Дербента в 1831 г., участвовал в боевых походах отряда генерал-адъютанта Панкратьева в Северный Дагестан, путешествовал по Азербайджану. К этому времени он опубликовал в «Московском телеграфе», «Северной пчеле» и других столичных журналах немало своих литературных произведений, в числе которых были и кавказские сюжеты – очерк «Письмо к доктору Эрману», повесть «Аммалат–Бек. Кавказская быль», «Письма из Дагестана». Позже, уже после встреч с Безобразовым Бестужевым-Марлинским были написаны «Прощание с Каспием», «Путь до города Кубы», «Горная дорога из Дагестана в Ширван через Кунакенты» и другие – всего 6 очерков о его путешествии из Дагестана в Азербайджан. Последним кавказским сюжетом писателя стала повесть «Мулла-Нур», опубликованная в 1836 г., за год до его гибели у мыса Адлер[3].

Вторая встреча Бестужева с Безобразовым состоялась в феврале 1835 г. в Невинном Мысе, где полковник поправлялся после тяжелого ранения. Марлинскому оставалось жить 2, а Безобразову – 42 года. Первому из фигурантов было 38 лет, второму – 26.

Перед нами тексты двух русских современников на очень популярную в те годы кавказскую тему. Их авторы – представители русского просвещенного общества, игрою судеб заброшенные на Кавказ. При всей общности их взглядов на настоящее и будущее Кавказа как части Российской империи, каждый из текстов обладает уникальностью, связанной с личностью, биографией, жизненным путем их создателей. Естественным приоритетом Безобразова, как человека, посвятившего свою жизнь военной службе на Кавказе и проведшего в военных походах в этом краю 8 лет, было достижение главной военно-политической цели России на Кавказе – усмирение и приведение в полное подданство Империи кавказских народов. Кавказ должен был стать органической частью российской территории и прочным плацдармом в борьбе с южными и восточными соседями.

А.А. Бестужев-Марлинский – государственный преступник, покусившийся на основы этой самой Российской империи, тем не менее, был участником завоевания Кавказа, ощущавшим себя не менее Безобразова гражданином России. Как и Безобразов, он воспринимал Кавказ как «другое», а Россию как «наше». В то же время не столько его бунтарское прошлое, сколько блестящее гуманитарное образование и литературная одаренность провоцировали интерес Бестужева не столько к военной теме в кавказском сюжете, сколько к истории и этнографии. Если он, таким образом, различал «другое» через народные обычаи, местную природу и трансформировал свои впечатления в литературный текст, используя талант художника, то главный угол зрения Безобразова – война. Безобразов также обраща-

ется к этнографии, к описанию горских традиций, но эти сюжеты не были целью автора, как в случае с Бестужевым-Марлинским, а лишь средством для решения военных задач.

Цель писателя – описание жизненного пространства и способа жизни в нем «другого» – «вот что я видел, вот что мне известно». Цель военного – найти средства победоносно для России завершить Кавказскую войну, определить способ «вести войну против горцев». Бестужев знакомит читателя с театром войны, включая сюда не столько дислокацию противных сторон, сколько давая точную характеристику территории проживания народов Дагестана.

Надо отметить, что и гражданские позиции этих двух современников и участников Кавказской войны несколько различаются. Не случайно один из них был замешан в антиправительственном политическом заговоре, а другой, несмотря на превратности личной судьбы, был верным слугой самодержавия, иначе не сделал бы такую военную карьеру. Бестужев с сочувствием относится к борьбе своих литературных героев – горцев за личную свободу. Однако нельзя преувеличивать это обстоятельство. В большей степени такое сочувствие объясняется романтическим стилем писателя. В центре его повествования – прежде всего, романтический бунтарь, мстящий за личные обиды и унижения, как в случае с Аммалат-беком, так и с Мулла-Нуром, а вовсе не борьба за независимость народов Кавказа против российского владычества.

Анализируемые тексты различаются также не только судьбами и психологией их авторов, но и жанрами анализируемых произведений. У С.Д. Безобразова это фактически военное донесение, по крайней мере, проект «покорения Кавказа», подготовленный военным человеком, что сказывается и на стиле текста. А.А. Бестужев-Марлинский – писатель-романтик, его сюжеты вписываются в романтическую прозу 30-х годов. Даже его очерки, богатые этнографическим материалом, не выходят за пределы романтизма.

Вместе с тем, тексты Безобразова и Бестужева роднят понимание «другого» как враждебного и безоговорочная поддержка цивилизаторской миссии России по отношению к Кавказу. Так, у Безобразова восприятие «своего» выражено местоимениями «мы, наше», которые автор в данном контексте на 11 страницах использует более 50 раз. Чаще всего эти слова употребляются в сочетании «наши войска», наши полки», «наши пушки», а также «мы сильнее». Намерения закрепить Кавказ как российскую территорию отражены в понятиях «стоить», «строители», «укреплять(ся)». Словосочетание «мы строители» встречаем в тексте Безобразова более 10, «мы укрепляемся» – более 20 раз. А.А. Бестужев-Марлинский наиболее емко формулирует миссионерство России в отношении к Кавказу, когда надеется, что «елей просвещения смоет кровь с крутин Кавказа»[4].

Для того чтобы приблизить жанры сравниваемых документов, мы остановились в основном на письмах А.А. Бестужева-Марлинского, в которых романтический стиль автора-поэта не замутнен жанровой необходимостью, а отражает внутренние свойства натуры Бестужева. В этих текстах мы находим дискурсы, характерные и для документа Безобразова, однако с иным контекстом. Горец у писателя – тоже «разбойник», но вполне в романтическом духе «разбойник гор», также как «орел – разбойник воздуха». У писателя «разбойник» ассоциируется с «героем», вроде благородных разбойников в романтическом творчестве Европы. Если Безобразов употребляет «вольнодумцы» как синоним «дикарь», то Бестужев отмечает стремление к вольности как положительную черту романтического героя.[5] Не случайно Бестужев замечает, что жизнь горцев ждет «своего Вальтер Скотта». По аналогии с индейцами он говорит о плохих и хороших горских вождях.

В то же время Бестужев, говоря о «волнах дикарей из Азии», сохраняет общую для российской культуры европоцентристскую традицию. «Кровожадность» и воинственность горцев с младенчества, «когда даже ребенок пастух вооружен кинжалом», он противопоставляет чудной природе Кавказа. Знакомый мотив звериной дикости то и дело проступает и на страницах книг поэта-декабриста – «лютость зверей», «железное племя кавказское», которое коснеет в «первобытной дикости», «зверские крики радости». Однако Бестужев, в отличие от Безобразова, ищет оправдания этой жестокости и дикости в самой природе, которая дает уроки жестокости с младенчества. Согласно романтической традиции он уподобляет человека природной стихии. Горцы, «подобно снегам своих гор», «алчут буйной свободы», разбоя. В письмах к брату Павлу Бестужеву в 1833 году он писал, что жители сохранили еще много прежнего зверства, оттого что могут легко укрываться в горы.[6]

Иногда Безобразов для обозначения «своего» использует слово «русские». Как правило, оно означает официальное обозначение «нашего» – «Русские начальники», «русские командиры», русское правительство», «российское управление», встречающиеся в тексте около 20 раз. Этот термин выступает признаком нации, империи. Чаще всего «русские», «наши» имеют позитивный оттенок, отражают гордость за Родину и признание ее могущества. Вместе с тем, честный служака, патриот России в ряде случаев упоминает «наших» в негативном контексте, с болью за «свои» просчеты. Речь здесь идет о злоупотреблениях «наших» чиновников на Кавказе, их мздоимстве, «неумеренном и несправедливом хищничестве», которые изнутри мешают решать главную военную задачу. В связи с этим, автор проявляет политическую наивность, считая, что положение можно исправить, назначив в управление Кавказом «честных» начальников. Безобразов совершенно не задумывается, что «нечестными» начальниками не рождаются – их создает система.

В текстах Бестужева-Марлинского «свой» чаще позиционируется как «русский». В отличие от Безобразова писатель рисует обобщающий портрет «нашего», что обязывает использовать этот термин. В ряде случаев «русские» – это собирательный образ, встроенный в художественный текст. Свое – это «русские штыки», горец «чистит винтовку на глазах русского постояльца», «отряд русских успел разбить шайки возмутившихся жителей», «ужас для русских – минута», «русская граната рассыпалась звездой спасения». Иногда же контекстом «русского», как и у Безобразова, является общенациональное – «миродатное владычество русских». В письмах Бестужев изредка употребляет «наше» в смысле «своего», когда автор становится участником событий Кавказской войны: «против нас мастерски пользуется знанием местности Кази Магомед», «наши великаны», «храбрые защитники крепости Бурной».[7]

В документе Безобразова более 30 раз повторяется слово «покорение», что выдает в авторе военного человека, активно участвующего в Кавказской войне. Это понятие маркирует главное действие, главную задачу, от успеха которой зависит процветание России. Синонимом этого термина является «обуздание». Очевидно, что в проекте военного покорения Кавказа часто употребляются военные термины «защита», «меры кроткие» наряду с «воинственными», «военные действия», «доблестная война». К ним же относятся и слова «набеги», «разбой», «нападения», «захват», «истребление», «смертоубийство», означавшие военные приемы. Даже «хищничество» употребляется Безобразовым неоднозначно. По его мнению, есть хищничество несправедливое и справедливое. Военная терминология характерна и для кавказских произведений Бестужева: «Славная школа войны наш Кавказ», «Ежедневная война с горцами». Даже давая характеристику племенам Кавказа, писатель знакомит читателя с «театром дагестанской войны».

Народы, населяющие непокорный Кавказ, оцениваются С.Д. Безобразовым также с евроцентристских позиций, типичных для российского образованного общества XIX века. Это, по мнению автора, дикие, отсталые племена. Поэтому-то он часто в отношении к ним употребляет глагол «укрощать», что изначально предполагает действие в отношении зверей. «Другой» в данном случае ближе к миру природы, чем к цивилизованному обществу, каковыми являются Европа и Россия. В проекте Безобразова распространенными эпитетами горцев выступают прилагательные «дикие», «буйные», «необузданные», которые встречаются в тексте более 10 раз. В сознании российского военного горские народы маргинальны, асоциальны, что отражено часто употребляемыми понятиями «шайки», «разбойники». Противопоставление «европейца» и «азиата» явственно слышится в эпитете «безнравственный», который в данном контексте означает не соответствие этике европейца.

В то же время, будучи настоящим военным, Безобразов подчеркнуто уважительно оценивает военные способности горцев. Он осознает «другого» как военного противника – «неприятель», «отчаянные враги», «воинственная страна» встречаются в его проекте около 10 раз. Правда, могущество горских племен в войне автор объясняет не их «способностями», а «возможностями», которые дает народам Кавказа местная природа. Безобразов предостерегает от суждения о кавказских народах как о нации. Это «шайка разбойников», способная побеждать массой. Он отказывает горцам в наличии вооруженных сил, так как допускает существование армии только в европейском ее понимании. Кавказ – это дикая природа, а не рукотворное укрепление, «крепость». Иное толкование в представлении автора документа не только унижает военное достоинство России, но и вредит ее борьбе по завоеванию Кавказа.

Один из признаков «европейства» обоих авторов – их принадлежность к христианской цивилизации, которая одновременно является жесткой границей между «своим» и «другим». Вот почему оба обращают внимание на религиозность «другого».Безобразов подчеркивает слабость исламской веры среди горцев, как свойство, важное для оценки их боевых качеств. В ряде случаев Бестужев подтверждает неукорененность мусульманства среди кавказских народов. Как человек религиозный, он в исламе видит причину безнравственности и вероломства: «Магометанство – душевная проказа человечества», «дух мятежа в религиозной оболочке». Любознательность гуманитария и художника заставляет вникнуть его в особенности «магометанства», определяя различия суннитов и шиитов.

Кавказская природа в оценке С.Д. Безобразова является одной из характеристик «другого», который приобрел образ военного противника. Он не столько восхищается «богатой местной природой, орошаемой источниками», сколько рассматривает ее как выгодный для горцев плацдарм – «твердыни» гор, но особенно лесов. Автор практично оценивает богатства кавказской земли, которая имеет «все, что для неприхотливой жизни человека нужно, даже в излишестве». Он изучает местную природу как диспозицию противника, которую надо учитывать при ведении военных действий.

Как и для военного Безобразова, для Бестужева-Марлинского природа этого региона – одна из черт «другого». Однако воспринимается эта «другая» природа поэтом-романтиком без того утилитарного подхода, который характерен для Безобразова: «Кто видел Кавказ в грозу и ведро, тот может умереть, не завидуя Швейцарии». Перед нами – романтическое описание гор, сравниваемых с волнами застывшего океана, «алмазная пена снегов», облака «как стада златорунных овнов», «млечные струи горных потоков», «роскошь» разнообразной растительности[8].

С практических позиций военного дела оценивал Безобразов образ жизни «другого» – «неприхотливость» в быту, «склонность к справедливости», «хищническое рыцарство, которое клонится к героизму – требует маски победоносной в народном отголоске». Автор зорко подметил этический ракурс представлений горцев о разбое и героизме как синонимах, но оценивал эти черты с точки зрения военных задач и европейских традиций.

Военные возможности горцев оценивал и Бестужев. Так, он пишет о шапсугах как лучших воинах – «их дворяне храбры», «у горцев есть артиллерия».[9] Между тем, описание внешности, быта, образа жизни и нравов дается Бестужевым с очевидным вниманием к положительным, с точки зрения европейца, качествам кавказских народов. Он сравнивает наружность горца с фигурами античных героев, восторгается горскими женщинами, гостеприимством, уважительным отношением к врагу. Все это соседствует с бедностью и неопрятностью. Своим художественным чутьем он смог глубже проникнуть в глубины характера «другого». Бестужев чутко уловил циклическое, вневременное восприятие горцами окружающего мира. Для них «нет ни вчера, ни завтра, ни настоящего». Он отмечал, что Бог дал горцам «довольно ума» – подобное замечание раскрывает нам не столько взгляд русского участника Кавказской войны, сколько наблюдательного гуманитария и художника. Замечая, как и Безобразов, присущий горцам «дух разрушительности», Бестужев, в отличие от первого, представляет характер этого «другого» как более многообразный и противоречивый. Эти народы, по мнению писателя, «более любят ружье, нежели заступ, охотнее переносят нужду, нежели труд». Им нужнее враг, нежели друг.

Характерно пренебрежение Безобразова к избыточному, то есть бесполезному в отношении войны знанию о «другом». Например, он знает, что черкесы существуют «в различных наименованиях по племенам», но не считает необходимым их различать. В то же время писатель Бестужев-Марлинский, пользуясь любым случаем, подробно описывает географию кавказских племен на карте Кавказа[10]. Как писал А.С. Пушкин, «описывать мое же дело».

В формировании образа «другого» важную роль играет характеристика взаимоотношений «своего» и «чужого». Безобразов не акцентирует внимания читателя на отношении «нашего» к «другому». Он позиционирует свою точку зрения как «нашу». Отношение же к «нам» соответствует представлениям об отношениях двух враждующих лагерей – это «ненависть», «противостояние», «сопротивление упорное», «недоверие». В то же время война как бы уравняла действия «своего» и «другого». Для них общими понятиями стали «набеги», «хищничество», «война с рвением», «убийство», «поджоги», но с разными акцентами. Если для «наших» это оправданная тактика, то для «другого» это недопустимая «дикость».

В отличие от военного поэт не так прямолинейно оценивает отношения «чужого» к «своему». Он считает, что ненависть горцев рождена не глубоким чувством, а практической выгодой. В данный момент им было выгоднее ненавидеть русских. Что касается отношения «нашего» к «другому», то тут Бестужев ничем не отличается от любого кавказского солдата или офицера. Главный мотив всех его писем – «усмирение» «азиатцев». Вообще у Безобразова отсутствует обобщающий образ Азии, в контексте которой рассматривает Кавказ Бестужев. Неудивительно, ведь в тексте Безобразова все идеи, основания и рассуждения конкретны и подчинены задаче покорения Кавказа. В текстах Марлинского много аналогий, описаний, общих размышлений о судьбе России.

Примечания

1. Попов А.В. Декабристы-литераторы на Кавказе. – Ставрополь, 1963. – С. 95.
2. См.: Безобразов С.Д. Рассуждение и мнение о покорении Кавказа 1842 года // Кавказский сборник. Т. 2. – М., 2005.
3. См.: Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения в двух томах. – Т. 1, 2. – М., 1958.
4. Бестужев-Марлинский А.А. Письмо доктору Эрдману // Бестужев-Марлинский А.А. Соч. в 2-х тт. – Т. 1. – М., 1958. – С. 299.
5. Его же. Письмо доктору Эрдману // Бестужев-Марлинский А.А. Соч. в 2-х тт. – Т. 1. – М., 1958. – С. 299.
6. Его же. Письмо П.А. Бестужеву от 18 июня 1833 г. // Бестужев-Марлинский А.А. Соч. в 2-х тт. – Т. 2. – М., 1958. – С. 644.
7. Его же. Письма из Дагестана. // Бестужев-Марлинский А.А. Соч. в 2-х тт. Т. 2. – М., 1958. – С. 5–60.
8. Бестужев-Марлинский А.А. Письмо доктору Эрдману // Бестужев-Марлинский А.А. Соч. в 2-х тт. – Т. 1. – М., 1958. – С. 298–299.
9. Его же. Письмо М.А. и Н.А. Бестужевым 1 дек. 1935 г. // Бестужев-Марлинский А.А. Соч. в 2-х тт. – Т. 2. – М., 1958. – С. 667.
10. Его же. Письма из Дагестана // Бестужев-Марлинский А.А. Соч. в 2-х тт. – Т. 2. М., 1958. – С. 5–6.

Текст рукописи предоставлен автором.

Т.А. Булыгина, Г.В. Косов

Ставрополье и декабристы в контексте «новой локальной истории»

История декабризма и декабристов, столь хорошо изученная в отечественной историографии как первый этап российского революционно-освободительного движения, принадлежит к научным проблемам, которые требуют нового взгляда, новых методологических подходов. Наступило время пересмотреть исторические мифы о декабристах и одновременно пристальнее присмотреться к контекстам данной темы с позиций полидисциплинарности. Одним из таких контекстов является местная история. С точки зрения «новой локальной истории», гонимые судьбой представители декабризма сталкивались с тем или иным локальным сообществом, качественно отличным от среды, их сформировавшей. Каждое из этих сообществ имело свою специфику, хотя и входило составляющим элементом в российскую цивилизацию. Одновременно местные общества, в которые пришлось вписываться декабристам, имели одно общее качество – окраинность в Российской империи. Среди этих окраин особое место занимает Кавказ, который был посещаемым декабристами регионом и важной составляющей их мировосприятия еще до восстания. Вместе с тем, этот край стал для них, государственных преступников, ссылкой, «теплой Сибирью».

Образ Кавказа в мировосприятии будущих бунтовщиков был одним из путей и способов восстановления в памяти социума своего имени, местом, которое порождало призрачные надежды на возрождение. В период становления декабризма Кавказ представлялся тем локальным пространством, которое способствовало формированию особого типа человека, складыванию специфического человеческого сообщества. Этому благоприятствовали и реальные условия Кавказа – та уникальная общественная атмосфера, рожденная окраинным характером региона, экстремальностью затяжной войны, необычайностью природы и своеобразием социокультурного контекста, особенностями формирования Кавказского корпуса. Туда направлялись политически неблагонадежные, беспокойные для власти люди с элементами вольномыслия и вольнодействия. Все это порождало в сознании части российского общества, к которой принадлежали и декабристы, кавказский миф, реализующий мечты о свободе, которой не было места в России. Поэтому Кавказский корпус в свое время представлялся декабристам источником силы для захвата власти, для насаждения новых порядков[1].

Еще до восстания 14 декабря на Кавказе побывали некоторые из участников тайных обществ. Один из пяти повешенных декабристов П. Каховский в 1816 г. «за разные шалости» был разжалован в рядовые и переведен в армейские полки Кавказского корпуса. В 1818 г. в состав Кавказского корпуса была включена 26-я артиллерийская бригада, переименованная в Грузинскую гренадерскую, и превратности военной службы привели на Кавказ будущих декабристов братьев А.И. и П.И. Борисовых – основателей Общества соединенных славян. По разным мотивам оказались на Кавказе и другие будущие участники декабристского движения. В феврале 1821 года командиром 41-го егерского полка был назначен А.А. Авенариус. Назначенный секретарем канцелярии Главнокомандующего в Грузии, побывал на Кавказе П.М. Устинович в начале 20-х годов. В 1821 г. стараниями декабриста А.И. Тургенева на место чиновника для особых поручений при наместнике Кавказа А.П. Ермолове был назначен В.К. Кюхельбекер. Благодаря этому он избежал более сурового наказания за крамольное стихотворение «Поэты». С 1818 по 1832 г. в Кавказском корпусе служил А.И. Якубович, фигура загадочная и неоднозначная в декабризме. Имя его было окутано легендой. Находился Якубович в отряде генерала Мадатова и участвовал в военных экспедициях в Кабарду, Карачай и Адыгею. Горские князья очень хорошо знали «Якуба», боялись его и, в то же время, искали с ними дружбы. Даже через много лет «вспоминали многие черкесы, и те, которые за, и те, которые против его дрались. Мастер он был пенить боевую пыль», – писал в своих письмах с Кавказа А. Бестужев[2]. Надо отметить, что разнообразные тексты побывавших в те времена в Кавказском крае декабристов: записки, дневники, стихи и очерки, были элементом того образа Кавказа, каким он рисовался критикам российской действительности.

После восстания духовная атмосфера на Кавказе стала меняться. Николай I приложил все усилия для искоренения вольнодумства в этом крае. Н.И. Лорер в «Записках декабриста» вспоминал слова командующего Азово-Черноморской оборонительной линией генерала А. Вельяминова, сказанные приехавшим ссыльным декабристам: «Помните, господа, что на Кавказе есть много людей в красных воротниках, которые следят за вами и за нами». Сам автор «Записок» замечает, что не было общественного места, не было гостиной, куда бы ни вкрались шпионы, даже домашний очаг не был от них избавлен. Повсюду правительство видело либералов или якобинцев. Брали на заметку тех, кто просто с удовольствием читал какой-либо журнал, в особенности иностранный. «И не было границ мелочных притеснений против тех, кто имел бороду и носил длинные волосы или пальто: обе эти вещи признавались наружными знаками либерализма. Грустно!»[3] Однако сам факт беседы генерала с декабристами говорит и о том, что на Кавказе оставались люди, хранившие представления о кавказском товариществе, как сообществе равных свободных и мужественных людей.

Однако не только наступление политической реакции, но и серая повседневность военной службы и глубокой провинции формировала отличный от романтического «кавказского далёка» образ Кавказа. Образ жизни здесь был таким же, как и в других окраинных военных гарнизонах с их скукой и косностью гарнизонного офицерства. Такое восприятие кавказской жизни довольно отчетливо просматривается в частной переписке ссыльных. А. Бестужев-Марлинский, находясь с 1830 по 1834 гг. в Дербенте, сожалел о том, что офицеры гарнизона малокультурны. Его мучило отсутствие людей, с которыми он мог бы разделить свои мысли и чувства, а это давало ему основание считать, что «его мысли не развиваются». В письме к братьям он пишет: «Потомство бы рыдало, если б прочитало эти строки брата-скитальца к братьям-мученикам... Нигде в мире не находил пустее офицеров, чем в кавказском корпусе... Ну, право, руки опускаются с ними говорить». В следующем послании читаем: «Знаю убийственное кавказское общество. Ведь есть же занимательные дураки – а здесь так, кроме злых и скучных, с фонарем не сыщешь»[4].

Это не значило, что прежний романтический образ Кавказа развеялся. Он продолжал жить в душах и облагораживать рутину военной жизни. Кавказское общество постдекабристского периода не было столь серым и безнадежным. Как вспоминал Н.И. Лорер, в центре общественной жизни (Ставрополе, Кавминводах) можно было увидеть «Европу, хоть и в подражании» и в то время «съезды на Кавказские воды были многочисленными, со всех концов России. Кого, бывало, не встретить на водах! Какая смесь одежд, лиц, состояний»[5].

Представления о свободолюбивом духе Кавказа получили новый импульс с прибытием туда ссыльных декабристов. Уже в конце 1826 г. на Кавказ были переведены в порядке исправительного наказания 16 офицеров, признанных «прикосновенными к делу о злоумышленных обществах». В 1827–1828 гг. в отдельный Кавказский корпус были переведены еще 9 офицеров с такой же формулировкой. Достаточно было оказаться родственником или знакомым кого-либо из заговорщиков, чтобы навлечь на себя подозрения в неблагонадежности и попасть в разряд «прикосновенных». Не имея оснований проходить по судебному разбирательству, они подвергались исправительным наказаниям вроде перевода в дальние гарнизоны и действующую армию, где лишались надежды на повышение. Именно таким образом попал на Кавказ рядовым младший из пяти братьев Бестужевых, юный кадет Павел. Власть сама достраивала миф о вольном кавказском обществе, приобщая к нему людей, далеких от революционных страстей.

Военный министр граф Чернышев требовал от местных властей доносить информацию «о всех офицерах, переведенных в Отдельный Кавказский корпус из числа изобличенных в участии в злоумышленных тайных обществах, доводить ежемесячно до сведения Его Величества на счет службы и поведения их»[6]. Недаром командир отдельного Кавказского корпуса генерал Паскевич сообщал Николаю I: «Есть признаки, что дух сообщества существует...»[7]. Барон Дибич от имени царя предупреждал о необходимости максимальной изоляции сосланных декабристов и требовал создания таких условий, которые не позволили бы им «покушаться на какие-либо злые намерения и проводить какие-либо внушения». Он рекомендовал устанавливать над разжалованными в рядовые декабристами «надзор надежным старослужащим унтер-офицерам, которые должны иметь строгое и неусыпное наблюдение за тем, чтобы они не могли распространять между товарищами каких-либо вредных толков»[8].

Однако наряду со стремлением насадить в Кавказских войсках благонадежность и лояльность царь изъявлял «высочайшую милость» и время от времени разрешал даже наиболее известным из «государственных преступников» поселяться в этих местах, не менее, а может быть, и более гибельных, чем Сибирь. Так в 1828–1829 гг. было разрешено отправиться рядовыми в полки Кавказского корпуса отбывшим наказание в сибирской ссылке на каторге А. Бестужеву, З. Чернышеву и еще трем декабристам. Значительно позднее такое же разрешение получили еще 17 находившихся на поселении в Сибири декабристов. Среди них были и автор записок о Кавказе Н.И. Лорер, и А.И. Одоевский, и М.М. Нарышкин, и С.И. Кривцов.

Нам представляется интересным выявить и рассмотреть причины, заставившие декабристов рваться из «тихой» Сибири в «жаркий, кровавый Кавказ». В этом нам поможет контекстное чтение одного из писем А. Бестужева к И. Дибичу, текст которого чрезвычайно специфичен. 2 марта 1829 г. на имя И.И. Дибича из Якутска было направлено письмо с припиской якутского областного начальника: «Бестужев ведет себя скромно и благопристойно и ни в каких предосудительных поступках не замечен». Это письмо фактически было поручительством, которое давало надежду на смягчение участи.

Приведем текст письма декабриста-писателя полностью: «Прошу дозволить вступить мне рядовым под знамена, коим Вы указываете след к победам. Высокой душе, воспитанной в битвах, понятны страдания военного, осужденного жить в праздности, когда слава русского оружия гремит над колыбелью древнего мира и над гробом магометовым. Но, испрашивая эту милость, ищу не выгод и отличий – ищу только случая пролить кровь за славу Государя и с честью кончить жизнь Им дарованную, чтобы на прахе моем не тяготело имя преступника. Помилованный Великодушевным из монархов, я еще больше чувствую великость вины моей, еще более снедаюсь раскаянием, но с тем вместе это сознание открывает мне беспредельность Его благости, и я умоляю Ваше Сиятельство довести до сведения Его Императорского Величества всеподданнейшую просьбу мою. Если он ревнитель судьбы сражений и государств имеет свободную минуту от гражданских подвигов и победных трудов обратить внимание на несчастливца... в единой благости Госу-

даревой моя надежда»[9]. В данном эпистолярном источнике прослеживаются основные мотивы, побуждавшие А. Бестужева-Марлинского хлопотать о переводе на Кавказ. Несмотря на условность официального прошения, желание кровью смыть с себя позор преступника и последствия поступка, обесчестившего его в глазах общества и обрекшего на забвение доброе имя и родовую честь, представляется вполне искренним. Многим из декабристов, вырванных из активной общественной, творческой жизни на благо отечества, Кавказская война представлялась способом реализовать свою «жажду бурливой деятельности» и принести России пользу. Влекла к себе не столько кавказская реальность, сколько мечты о ней. В эту ловушку мифа устремились души поэтические, активные.

Однако далеко не всех участников восстания прельщал Кавказ со своими красотами и беспокойной военной жизнью. Для некоторых декабристов жизненные идеалы отражали иное служение, иные пути самореализации. Выйдя на поселение, они пустили прочные корни: обзавелись семьями, хозяйством. Эти декабристы строили планы благоустройства и просвещения далекого, богатого края русской земли. Направление в Кавказский корпус зачеркивало все эти мечты, ломало сложившийся уклад жизни. Семья и дети, подвижничество малых дел были несовместимы с беспорядочной походной жизнью, с постоянной военной опасностью. Невероятно трудно было проделать далекий путь от Сибири до Кавказа с семьей. Недаром жена декабриста М.М. Нарышкина Елизавета Петровна от известия, что мужа посылают рядовым на Кавказ, слегла в постель. В этом, видимо, и заключался извращенный, унижающий человеческое достоинство смысл бюрократической машины: страшившиеся Кавказа получали туда назначение, а те, кто рвались на Кавказ, если и добивались этого назначения, то ценой собственных унижений и огромных усилий немногих родственников и друзей, не отрекшихся от них.

Вольный Кавказ предстал в образах заштатных городков, совсем не героических рейдов в тыл к горцам, жары, малярии, безделья, который топят в вине и нехитрых развлечениях. Приезжавшие в центральный на этой стороне Кавказа город Ставрополь военные останавливались на квартирах, так как гостиницы в городе не было. На весь город был «один грязный, крытый лубками трактир». Большинство военных, в том числе разжалованных за дело 14 декабря, обедали обычно в доме у командующего. Такой порядок завел сам А.А. Вельяминов.

Задерживавшиеся по той или иной причине в городе имели единственное развлечение – ярмарки. Знакомый декабриста С.И. Кривцова писал из Ставрополя: «Начальство все на водах и мы, горькие, утешаемся ярмаркою»[10]. Весной проводилась Троицкая ярмарка, а осенью Ивановская.

Война, в которой участвовали декабристы, была не той войной, ради которой они рвались на Кавказ, войной во имя героических подвигов и приумножения российской славы. В письме А.А. Бестужева-Марлинского к брату Павлу читаем: «До сих пор я учился воевать, а теперь выучился и разбойничать»[11]. Однако поэтическое воображение брало верх над соображениями практического характера. У читателя некоторых писем А. Бестужева не проходит ощущение того, что война для него – рискованное и захватывающее развлечение. В «Русском вестнике» читаем откровения поэта-декабриста: « Два набега на Кубань, в горные ущелья Кавказа – были для меня занимательны. Воровской образ этой войны, доселе мне худо знакомый – ночные невероятно быстрые переходы в своей и вражеской земле, дневки в балках без говора, без дымы, и наконец – вторжение ночью в непроходимые доселе расселины, чтобы угнать стада или взять аулы – все это так ново, дико, так живо, что я очень рад случаю с Зассом отведать бою»[12].

Болезненным ударом по кавказским иллюзиям декабристов стало осознание того, что они оказались больше несвободны, чем в Сибири, став «рядовыми, принадлежащими царю, войдя в состав армии»[13], более зависимыми от воли и прихоти императора и местных начальников. Они, некогда ведущие прекраснодушные и абстрактные разговоры о народе, только здесь познали образ народной жизни в самом беспросветном его отражении и не смогли его смиренно принять. Солдатская лямка стала уделом многих переведенных и разжалованных. А. Бестужев в письме от 12 мая 1837 года писал: «...И такую жизнь осужден я вести в течение 20 лет. Чувствую, что я мог быть хорошим генералом.., но к чему служит моя опытность и храбрость теперь? К тому, чтобы ходить в стрелковой цепи наравне с прапорщиком только что из корпуса, и быть подстреленным в какой-нибудь дрянной перестрелке. Лестная перспектива!»[14]. Он предпочитал даже солдатскую шинель из «барского» материала, «которая была из тонкого серого сукна, особого, довольно красивого, самим Бестужевым изобретенного, фасона»[15]. Филлипсон в воспоминаниях о В. Голицыне отмечал, что «он тяготился солдатской шинелью (как и многие другие) и ему приятно было, когда его называют князем». Когда декабриста произвели в офицеры, «он не мог скрыть своего удовольствия – надеть снова тонкий сюртук, вместо толстой шинели»[16].

Однако усилия по реабилитации своего прежнего доброго имени были напрасными. Все жертвы, все геройские поступки декабристов наталкивались на указания царя: «...в случае оказанного отличия против неприятеля не представлять к повышению, а доносить только на Высочайшее благоусмотрение, какое именно отличие будет сделано»[17]. Отчаяние от безысходности своего положения звучит в словах Н.И. Лорера: «Каждый из нас мог снять звезду с неба, и это не дало ему права получить награду, ежели бы случилось, что царское зрение в подобную минуту упало бы на эту строчку»[18]. Унисоном звучит

письмо братьев Беляевых Нарышкину о своем «несчастном пребывании» на Кавказе: «К тому же нет представления за осень и следовательно если бы мы наделали чудеса храбрости, то и тогда ничего бы не получили»[19]. Большинство декабристов, служивших в Кавказском корпусе, несмотря на героизм, «заслужили» лишь следующие слова в указе об увольнении со службы: «Высочайших благоволений, всемилостивейших рескриптов и похвальных листов от своего начальства не получал... к знаку отличия беспорочной службы не выслужил положенных лет»[20].

Отношение к декабристам кавказского общества было двойственным. Это в значительной степени зависело от их непосредственного окружения. Если вокруг декабристов были старые боевые товарищи или знакомые их родственников, то это давало основание декабристу М. Назимову писать К.И. Факту: «Никто из них не может жаловаться на тяготы судьбы. Исполняя ее, мы пользуемся во всех случаях покровительством высшего начальства и имеем твердую надежду, что нас не оставят долго в теперешнем положении»[21]. Очень многое зависело от личности командующего. Отец декабриста В.П. Ивашева хлопотал о переводе его сына рядовым на Кавказ в отряд генерала Вельяминова, где «служба гораздо легче и обхождение снисходительное и деликатное»[22].В том же случае, если декабристов окружали служаки, «дубовые командиры», презиравшие скитальцев, жизнь их делалась тяжелой и тягостной[23]. Вот когда остро ощущалось отсутствие книг и умных образованных собеседников. «Без книг, – пишет в письме к родным А.О. Корнилович, – брошенный среди людей, которые едва по слуху знают, что такое литература, что я могу предпринять»[24]. Ему вторит А.А. Бестужев: «В нашем веке нельзя писать не читая, а ко мне не только книги, даже письма не доходят или скитаются по белу свету по полугоду»[25]. Брат Бестужева-Марлинского Петр отмечает общую черту положения декабристов в Сибири и на Кавказе: «Жажда познаний, без средств утолить оное»[26].

Символом дегероизированного Кавказа служит судьба несчастного А.Н. Сутгофа, одного из активных участников выступления на Сенатской площади. Кавказ, окончательно подорванное Сибирью здоровье. Вместо серьезного лечения в «теплой Сибири» его ждал удел рядового солдата. О состоянии здоровья Сутгофа красноречиво говорит не только содержание его кавказских писем, но и невероятно корявый почерк, который свидетельствует, что писал человек с больными руками: «С наступлением осени начал опять хворать. Прежде меня уверяли, что у меня глубокий ревматизм и лечили сильными средствами, так что повредили мне спинную кость и довели до паралича руки... после двухнедельного припадка ноги и руки отказываются служить на неделю. Хорош солдат, не правда ли?»[27].

Особый сюжет пребывания декабристов на Кавказе – их влияние на кавказскую молодежь, прежде всего, на новое поколение офицеров. Власть не случайно была обеспокоена популярностью декабристов на Кавказе. Например, декабристу А.О. Корниловичу было отказано в переводе в Тифлис, так как «пребывание его в главном месте Закавказского края станет обременительно для начальства, равно как и секретной военной полиции.., ибо молодые люди всех служб и даже наций смогут из одного любопытства искать с ним знакомства и даже связей»[28]. Рассказывая брату об отношении к нему и В.М. Голицину, Корнилович отмечал, что «все знают в полку, что мы были прежде, и, чувствуя наше превосходство в образовании, стараются... поддерживать наше знакомство»[29]. Наиболее благоприятные условия для контактов декабристов с молодежью были на Кавказских Минеральных водах. Н.И. Лорер писал: «Гвардейские офицеры после экспедиции нахлынули в Пятигорск, и общество еще более оживилось. Молодежь эта здорова, сильна, весела, как подобает молодости, воды не пьет, конечно, и широко пользуется свободой после трудной экспедиции» Молодые кавказские офицеры с уважением и почтением относились к разжалованным декабристам. «Вся эта молодежь, – писал Лорер, – чрезвычайно любила декабристов вообще и легко сошлась с ними на короткую ногу»[30]. Поэт Дмитриевский, например, специально приехал из Тифлиса, чтобы познакомиться с декабристами.

Из друзей кавказского круга декабристов особо выделялся доктор Н.В. Майер, прототип доктора Вернера из «Героя нашего времени» М.Ю. Лермонтова. Нам известно, что он в 1827 г. закончил медицинскую академию и из-за бедственного положения семьи был вынужден отправиться врачом в южную Россию, в ведение генерала И.Н. Инзова, а оттуда, в начале 1830 гг., перевелся в Ставрополь. Зимой он жил в Ставрополе, а летом занимался лечением больных на минеральных водах в Пятигорске, Кисловодске и Железноводске. Надо сказать, что доктор Майер не пользовался большой популярностью среди отдыхающих, поскольку между ними ходило мнение, что он рисует с пациентов карикатуры.

Н.П. Огарев, рассказывая о Николае Васильевиче, отмечает, что не видит ничего странного в том, что он подружился с сосланными на Кавказ декабристами. По мнению Н.П. Огарева, «склад ума» предопределил всю его жизнь в краю, где «среди величавой природы со времени Ермолова не исчезал приют свободомыслия, где, по воле правительства, собирались изгнанники»[31]. «Склад ума» – это не только «странный образ мыслей, исполненных либерализма»[32], но и представление о том, что «чтобы дать жизнь – надобно отдать жизнь. Тот, кто оставил после себя хоть одну светлую, новую мысль, хоть один полезный для человечества подвиг – не умер бездетен. Воспоминание тоже потомство[33]». Общение с декабристами давало возможность доктору Майеру, не «отдавая жизнь», оставить о себе память. Его роднила с декабристами

жажда оставить о себе славную память. Он заботился не только о добродетели в настоящем, но и о будущем, перед лицом потомков. В письме к декабристу С.М. Палицину Николай Васильевич Майер писал: «...если мы даже погибнем жертвами адской злобы, память о нас никогда не ляжет позором на наши семьи, что обвинения, которые будут тяготеть над нами, будут значительно отличаться от обвинения в обыкновенной низости, что мы не повинны ни в лихоимстве, ни в расхищении государственного имущества, что нам не подобает проявлять униженность. Наконец, если бы мы и захотели использовать это средство, наши характеры отвергли бы это. Боже мой, сколь все подлы и особенно трусливы! Поистине они боятся больше, чем мы, которые совсем лишены страха, все без исключения»[34].

Эти строки были написаны и переданы с оказией в первые дни ареста в Пятигорске подпоручика Тифлисского пехотного полка С.М. Палицина, доктора Н.В. Майера и городничего Н.П. Ванева «по подозрению в заговоре против правительства». Штабс-капитан Кавказского корпуса жандармов Н. Юрьев 20 апреля 1834 года доносил А.Х. Бенкендорфу, что подпоручик Палицин, выписанный из офицеров Генерального штаба и находящийся по болезни в г. Пятигорске, ведет предосудительную переписку, избегая почты, и между ним, окружным пятигорским врачом Майером и исправляющим должность пятигорского городничего Ваневым происходит секретная «трактация»[35].

В бумагах Палицина были найден рисунок доктора Майера – «набросанный пером представляющий женскую фигуру с поднятой секирою в одной руке и отсеченной коронованной головой в другой; поодаль коронованный череп»[36]. К донесению прилагалось и описание других «пасквильных картинок Майера», составленное Снесаревичем. Были на этих набросках и пять виселиц с повешенными, и статуя Свободы с кинжалом и венцом. Не случайна загадочная реплика Майера над портретом Палицина: «Надо быть твердым!». Как для декабристов существовал романтический образ Кавказа, так для доктора Майера, впрочем, как и для Лермонтова, существовал романтический образ декабристов. Этот образ рисовал гордых изгнанников, пылких, живущих внутренне богатой жизнью людей, полных счастливых надежд на активность будущих поколений. Вместо этого перед доктором в лице ссыльных декабристов предстали добрые люди, еще сохранившие свою жизнерадостность, но ожидающие одобрения и внимания к их душевному спокойствию.

Даже ощущая на себе тяжесть тайного надзора, Майер не стал менять стиль и образ жизни, круг своих знакомств. Николай Васильевич несколько зимних сезонов жил в Ставрополе на одной квартире с декабристами В. Голицыным и М. Назимовым, посещал их ставропольский кружок, высказывал крамольные мысли. Анализ мемуаров Н.М. Сатина и Г.И. Филлипсона позволяет в некоторой степени представить обстановку, духовную атмосферу ставропольских вечеров. На квартире у Н.В. Майера собиралась пестрая публика. Это были офицеры генерального штаба, молодые люди и солдаты-декабристы. Главными спорщиками были сам хозяин и Голицын, которые любили парадоксы и одинаково горячо их отстаивали. Спорам не было конца, и нередко утренняя заря заставала их участников за нерешенным вопросом. По словам М.Ю. Лермонтова, в 1837 г. часто посещавшего это общество, «толковали об убеждениях, каждый был убежден в разных разностях».

Можно утверждать, что доктор Майер «озвучивал» декабристов, «оживлял» миф о «чудо-богатырях», приобщаясь к их славе. У раздавленных тяжелыми условиями, неопределенностью, предательством, забвением, крушением надежд декабристов не было новых идей, они ничего не могли предложить окружившим их молодым людям, видевших в усталых бунтовщиках легендарных героев, и ждущих от них программ и призывов. Николай Васильевич хотел стать «героем века», войти в историю и избежать забвения в будущем. Его интересовала внешняя сторона декабризма, их популярность. Декабристы, прошедшие через ад тюрьмы, каторги, ссылки, очутившись в «теплой Сибири», в отличие от доктора Майера, пришли к убеждению, что если революционное действие не получило морального оправдания, то совершать его нельзя. «Люди декабря» придерживались мнения, что политика в большом и малом должна сообразовываться с моралью и не противоречить кодексу дворянской чести.

В анализе поведения доктора Майера, его восприятия декабризма мы находим подтверждение идей Ю.М. Лотмана о том, что произошедшее получает новое бытие, отражаясь в представлениях наблюдателей. При этом происходит коренная трансформация события: то, что произошло случайно, предстает как единственно возможное. Непредсказуемость заменяется в сознании наблюдателя закономерностью[37].

Декабристы-«кавказцы» были плоть от плоти одной генерации с декабристами-«сибиряками», тем более многие из них свой путь на Кавказ начали в Сибири. Это – интеллектуалы в современном их времени значении слова, не потерявшие жажду книжного и жизненного познания, деятельные патриоты, заряженные, несмотря на перенесенные испытания, общественной активностью. В то же время, это – индивидуалисты, ощущавшие себя одинокими в «толпе», той светской толпе, куда не были допущены, о которой с презрением писал М.Ю. Лермонтов. Их отличало спокойствие перед лицом смерти и усталость от жизненных тягот, высокое нравственное начало в отношении к России и надежда на личное возрождение. Была у «кавказцев» и большая легкость, чем у «сибиряков», в отношении повседневной жизни, большая свобода нравов, большая жажда сегодняшней славы.

Примечания

1. А.П. Ермолов // Исторический сборник российской вольной типографии. – Кн. 1.
2. Цит. по: Семевский М. А.А. Бестужев // Отечественные записки. Май. 1860. – С. 150.
3. Цит по: Лорер Н.И. Записки декабриста. – М., 1931. – С. 205, 207.
4. Цит. по: Семевский М. А.А. Бестужев // Отечественные записки. Май. 1860. С. 151; Письма А.А. Бестужева (Марлинского) к братьям // Русский вестник. 190б. Т.32. С. 153; ИРЛИ. Ф. 604. Оп. 2. Письмо А.А. Бестужева, 1835.
5. Лорер Н.И. Записки декабриста. – М., 1931. – С. 265, 267.
6. Цит. по: Трудные годы. Декабристы на Кавказе. – Краснодар. – С. 6.
7. РГВИА. Ф. 36. Оп. 6. Св. 45. Д. 66. Л. 1.
8. Там же. Ф. 1052. Оп. 1. Д. 424. Л. 1, 15.
9. РГВИА. Ф. 410. Оп.1. Д. 76. Л. 4, 5–7.
10. ГАРФ. Ф.1710. Ед. хр. 45. Л. 25.
11. Отечественные записки, 1860. № 6. – С. 346.
12. Русский вестник, 1861, № 4. – С. 471–472.
13. Цит. по: Лорер Н.И. Записки декабриста. – М., 1931. – С. 186.
14. Письма А.А. Бестужева (Марлинского) к братьям // Русский вестник. – Т. 32. М., б.г.
15. Костюмецкий Я.И. Воспоминания // Русская старина. 1900, № 11. – С. 4443.
16. Цит. по: Записки Г.И. Филлипсона // Русский архив. 1888, № 5. – С. 278.
17. РГВИА. Ф.14 719. Оп 1. Ед. хр. 119. Д. 17. Л. 27.
18. Лорер Н.И. Записки декабриста. М., 1931. С. 278.
19. РГБ. Отдел рукописей. Ф. 133 Письмо А.П. Беляева к Нарышкину от 1841 г.
20. Там же. Ф. 133, М., 5826, указ об увольнении Нарышкина.
21. Там же. Ф. 133. Карта 2. Д. 65. Л. 1–2.
22. Там же. М., 5790. Л. 31, 256.
23. ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. III отд., 1826. Ед. хр. 61. Ч. 110. Л.7.
24. Корнилович А.О. Сочинения и письма. – М.–Л., 1957. – С. 386–387.
25. Русский вестник. 1870. – Т. 7. – С. 71, 25.
26. Цит. по: Воспоминания Бестужевых. – С. 498.
27. РГБ. Отдел Рукописей. Ф. 133. письмо А.Н. Сутгофа к М.М. Нарышкиной от 23/12 28. Корнилович А.О. Сочинения и письма. – С. 469.
29. Там же. – С. 378–379.
30. Лорер Н.И. Записки декабриста. – М., 1931. – С. 265, 271.
31. Огарев Н.П. Избр. произв. В 2-х т. – М., 1956. – Т. I. – С. 382.
32. ГАРФ. Ф. 109. 1834 г. 1 эксп. Д. 132. Л. 58.
33. Сочинение А. Марлинского (А.А. Бестужева) Мулла-Нур. Быль. Изд. 3. Санкт-Петербургское издательство А.С. Суворина. С. 35.
34. РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 52. Л. 267.
35. Там же. Л.25.
36. Там же. Л. 34.
37. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. – М., 1982.

Текст рукописи предоставлен автором.

Т.А. Булыгина

Александр Иванович Одоевский

Породненность русской культуры с темой Кавказа столь очевидна, что стала общим местом в исторических сюжетах. Тем не менее, канун такой славной даты как 200-летие со дня рождения Александра Ивановича Одоевского вновь обращает нас к связям российской истории и литературы с Северным Кавказом и Ставропольем.

Поэт-декабрист А.И. Одоевский родился 26 ноября 1802 г. в семье князя Ивана Сергеевича Одоевского и княгини Прасковьи Александровны, бывших двоюродными братом и сестрой. Отец будущего поэта был русским человеком XVIII века. Новое столетие князь встретил тридцатилетним офицером российской армии, увенчанной славой побед екатерининского времени, удостоившись чести служить адъютантом всемогущего и мудрого Г.А. Потемкина. Принадлежность к древнейшему княжескому роду Рюриковичей было для него не предметом родового чванства, а основанием щепетильного отношения к личной чести и личному долгу перед Отечеством.

В сыне своем Александре генерал-майор И.С. Одоевский воспитывал высокие чувства гражданственности и верности служебному долгу. Маленький Саша получил хорошее домашнее образование. В библиотеке отца мальчик познакомился с авторами французского Просвещения, в числе которых были Вольтер и Руссо, с новейшими западными экономистами Сисмонди и Адамом Смитом, с книгами гигантов европейского просвещения Сервантесом и Шекспиром. В 13 лет он был определен на службу в Кабинет его величества мелким служащим. Такое положение не устраивало ни отца, который видел будущее своего единственного наследника в военной службе, ни самого Александра, который рано почувствовал тягу к поэзии. Следуя желанию отца, который был для него не только абсолютным авторитетом, но и близким другом, ведь мать он потерял в 8 лет, А. Одоевский в январе 1821 г. поступил в чине унтер-офицера на службу в лейб-гвардии Конный полк. Менее чем через год по повелению великого князя Константина Павловича Александр в 19 лет был произведен в юнкеры. В 1823 г. А. Одоевский стал корнетом Конной гвардии.

Не смея перечить любимому отцу, Александр не прекращал писать стихи. Правда, сам он не придавал своим литературным увлечениям большого значения, стихов не хранил и называл это «поэзией для себя». Немаловажное значение для развития поэтического дара юноши имела его дружба с родственником по материнской линии известным дипломатом и великим поэтом А.С.Грибоедовым. Приезжая в Петербург, Грибоедов подолгу жил на квартире Одоевского. Молодые люди обсуждали литературные новости, читали новые произведения. Грибоедов втянул своего друга в литературную жизнь, познакомил его с драматургом и переводчиком А.А. Жандром, тем самым Жандром, который сыграл особую роль и в жизни Грибоедова, и в судьбе самого Одоевского. Жандр сохранил подлинную рукопись «Горя от ума», его вариация трагедии французского драматурга Ж. Ротру стала объектом единственной журнально-критической статьи Одоевского, именно на квартире Жандра последний скрывался после разгрома восстания.

В конце 1824 г. А.И. Одоевский познакомился с А.А. Бестужевым, который ввел его в круг декабристов. Одоевский сошелся с К. Рылеевым, В. Кюхельбекером. С последним он даже издавал журнал «Мнемозина». Разговоры о поэзии незаметно перерастали в обсуждение путей исправления российских общественных порядков. Одоевского постепенно увлекли цели декабризма: просвещение и свобода народа, представительное правление Россией, отмена крепостного права, и в мае 1825 г. он стал участником Северного общества. Он не принадлежал к его активным руководителям, не участвовал в тайных совещаниях, не знал о планах цареубийства, но когда после смерти Александра I было принято решение о военном выступлении, принял известие с подъемом и эмоциональностью поэтической натуры. Он ощущал гибельность задуманного декабристами дела, но рассматривал смерть, как и многие люди его времени, символом высокого долга и чести. Ему принадлежит, по преданию, возглас: «Ну, что ж, и умрем! Ах, как славно мы умрем!» Накануне выступления Одоевский сутки дежурил в карауле Зимнего дворца, а на следующий день принял участие в восстании на Сенатской площади Петербурга во главе пикетирующего взвода с пистолетом в руках. Он даже пытался удержать вверенный ему взвод, когда солдаты стали разбегаться под шквалом царской картечи.

После двухдневных скитаний Одоевский по настоянию своего дяди Д.С. Ланского сдался властям и был помещен Алексеевский равелин Петропавловской крепости. После долгого следствия, допросов, бесконечных раздумий в камере № 16 он со своими товарищами дождался высочайшего приговора, по которому был причислен к 4 разряду и осужден на 12 лет каторги, монаршей «милостью» сокращенных до 8 лет. В крепости Одоевский оставался еще полгода, когда в сентябре 1826 г. ему разрешили свидание с отцом. Наконец, в феврале 1827 г. Александр Иванович отправился по кругам своей изгнаннической судьбы. Полтора месяца он вместе с тремя другими осужденными добирался до Читинского острога, где встретился с остальными друзьями по несчастью.

В Сибири он никогда не высказывал сожаления о происшедшем. Испытания не истребили в нем любви к поэзии, хотя и не научили ценить собственное творчество. Среди произведений А.И. Одоевского, сочиненных им в Сибири, несомненно выделяется «Наш ответ» на «Послание в Сибирь» А.С. Пушкина – «Струн вещих пламенные звуки до слуха нашего дошли…» Эти стихи были написаны весной 1827 г. Они проникнуты верой в правоту дела декабристов: «Наш скорбный труд не пропадет, из искры возгорится пламя…». Как известно, эти строки дали наименование и эпиграф социал-демократической газете «Искра», созданной Лениным.

В результате настоятельных ходатайств родных и близких, в том числе двоюродной сестры Александра, которая была женой кн. И.Ф. Паскевича, через десять лет после своего пребывания в сибирской каторге и на поселении летом 1837 г. А.И. Одоевскому было позволено отбыть рядовым в действующую армию, в Кавказский отдельный корпус. В те времена этот путь лежал по Черкасскому тракту через Ставрополь, бывший воротами Кавказа. От Казани, где состоялось его последнее свидание с отцом, он вместе с другими декабристами Назимовым, Нарышкиным, Лорером, Черкасовым и Лихаревым впервые ехал не этапом, а на почтовых с жандармом. Подъезжая к Ставрополю в октябре 1837 г., Одоевский заметил улетающую дальше на юг стаю журавлей. Так появилось одно из знаменитых его стихотворений «Куда несетесь вы, крылатые станицы?» Начиналась последняя страница краткой жизни Одоевского.

В Ставрополе в то время готовились к встрече Николая I, собиравшегося заехать в город на обратном пути из Тифлиса. Командующий Азово-Черноморской оборонительной линией, герой войны 1812 года, генерал А.А. Вельяминов отбыл навстречу императору, и ссыльных принял на окраине Ставрополя генерал Засс по всем правилам гостеприимства, принятым Вельяминовым. Завтрак у генерала, его дружеское внимание к знатным рядовым поразили декабристов, вызвали надежду на улучшение своего положения. В эти же дни декабристы встретились с товарищем А.И. Герцена по кружку в Московском университете Н. Сатиным. В своих воспоминаниях Сатин особенно выделил А.И. Одоевского, который отличался глубоким умом, открытой душой и юной внешностью. Сатину принадлежит легенда о реакции Одоевского на прибытие в Ставрополь царя. Наблюдая за процессией, сопровождающей в ранних сумерках экипаж Николая I, с балкона гостиницы Найтаки, поэт якобы воскликнул: «Смотрите, ведь это же похоже на похороны!», а затем по латыни произнес в виде тоста: «Да здравствует Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!» На замечание о том, что его слышат жандармы, он возразил, что русская полиция по-латыни не обучена. Сомнительно, что эта история происходила в центре города, т.к. государственных преступников едва ли оставили бы в районе пребывания монарха, но подобные речи хорошо отражают экзальтированный характер Одоевского.

Как ни был короток срок, отведенный Одоевскому судьбой для пребывания на Кавказе – всего два года, но он вместил немало встреч с замечательными людьми, которые сохранили теплые воспоминания об опальном поэте-декабристе и передали эту память потомкам.В Ставрополе декабристы познакомились и со знаменитым Н.В. Майером, ставшим прототипом доктора Вернера в «Записках Печорина», сочиненных М.Ю. Лермонтовым. Майер близко сошелся с Александром Ивановичем на почве христианских убеждений. Как заметил Н.П.Огарев, большая часть знакомых ему ссыльных декабристов вернулась из Сибири глубоко набожными. Не был исключением и Одоевский.

Здесь же состоялось его знакомство с великим Лермонтовым. 12 лет разницы в возрасте не помешали их дружеской привязанности. Александр Иванович в ноябре 1837 года получил назначение в Нижегородский драгунский полк, куда и отправился вместе со служившим в этом полку поручиком Лермонтовым. Впоследствии, узнав о смерти своего друга, Михаил Юрьевич посвятил ему стихи, в которых представил нам портрет своего товарища, с которым «тоску изгнанья делили дружно». Перед нами предстает певец, рожденный для «поэзии и счастья», не потерявший в буре жизненных испытаний ни «тихий пламень чувства», ни «речь живую», ни «звонкий детский смех», ни «веру гордую в людей и жизнь иную».

Вместе с Лермонтовым Одоевский посетил могилу своего друга А.С. Грибоедова и навестил в Цинандали его вдову Нину Александровну и ее отца князя А. Чавчавадзе. Стихи Одоевского «Два образа» и «Соловей и роза» стали отзвуком этих встреч. Молодую вдову он уподобил печально склоненной розе, тоскующей по песням соловья… Грустными предчувствиями полна его «Элегия»: «Что шаг – то гроб, на жизнь – ответной жизни нет…».

Следуя примеру других ссыльных, А.И. Одоевский испросил разрешение полечиться на Кавказских Минеральных Водах и летом 1838 г. приехал в Пятигорск, где познакомился с кругом курортников, в который входили отдыхающие дамы и разжалованные офицеры. Карты, балы, вечера – как будто и не было каторги, службы рядового. В Пятигорске Одоевский познакомился с близким другом А.И. Герцена Н.П. Огаревым, молодым 25-летним человеком, поэтом и общественным деятелем демократического направления. Они подружились, это была дружба учителя и ученика, восторженно взиравшего на мученический образ декабриста и мечтавшего идти той же дорогой. В своей книге «Кавказские воды», изданной в 1861 г., Огарев писал: «Одоевский был, без сомнения, самый замечательный из декабристов, бывших в то

время на Кавказе». Этот отпуск подарил Одоевскому не только новую дружбу и светские знакомства, но и замечательные впечатления от живописной предгорной природы. Особенно хорош был Железноводск, куда в августе 1838 г. поэт приехал с Майером и Огаревым.

Служба Одоевского на Кавказе не отличалась особым разнообразием, но служил он честно и в 1839 г. дослужился до унтер-офицера. Весной 1839 г. он участвовал в десанте на берега реки Субаши, что на Черноморском побережье, недалеко от современного Сочи. Больше, чем редкие набеги горцев, военных беспокоила жара и лихорадка. Не обошла болезнь и Одоевского. Его телесный недуг совпал с душевным, т.к. в июле он получил известие о смерти отца. Александр еще острее почувствовал вину за причиненные самому близкому человеку страдания. Александр Иванович отказался уехать с товарищами в Керчь и 15 августа 1839 г. умер от горячки в походной палатке. Замечательный поэт-декабрист был похоронен тут же, в форте Лазаревское. Со временем могила его затерялась, но остались его стихи и память о его замечательной судьбе.

Текст рукописи предоставлен автором.

А.С.Пушкин

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ О КАВКАЗЕ

Кавказский пленник. Повесть

Посвящение Н.Н. Раевскому

Прими с улыбкою, мой друг,
Свободной музы приношенье:
Тебе я посвятил, изгнанной лиры пенье
И вдохновенный свой досуг.
Когда я погибал, безвинный, безотрадный,
И шепот клеветы внимал со всех сторон,
Когда кинжал измены хладный,
Когда любви тяжелый сон
Меня терзали и мертвили,
Я близ тебя еще спокойство находил;
Я сердцем отдыхал — друг друга мы любили:
И бури надо мной свирепость утомили,
Я в мирной пристани богов благословил.

Во дни печальные разлуки
Мои задумчивые звуки
Напоминали мне Кавказ,
Где пасмурный Бешту[1] *пустынник величавый,*
Аулов[2] *и полей властитель пятиглавый,*
Был новый для меня Парнас.
Забуду ли его кремнистые вершины,
Гремучие ключи, увядшие равнины,
Пустыни знойные, края, где ты со мной
Делил души младые впечатленья;
Где рыскает в горах воинственный разбой,
И дикий гений вдохновенья
Таится в тишине глухой?
Ты здесь найдешь воспоминанья,
Быть может, милых сердцу дней,
Противуречия страстей,
Мечты знакомые, знакомые страданья
И тайный глас души моей.

Мы в жизни розно шли: в объятиях покоя
Едва, едва расцвел и вслед отца-героя
В поля кровавые, под тучи вражьих стрел,
Младенец избранный, ты гордо полетел.
Отечество тебя ласкало с умиленьем,
Как жертву милую, как верный свет надежд.
Я рано скорбь узнал, постигнут был гоненьем;
Я жертва клеветы и мстительных невежд;
Но сердце укрепив свободой и терпеньем,
Я ждал беспечно лучших дней;
И счастие моих друзей
Мне было сладким утешеньем.

Часть первая

В ауле, на своих порогах,
Черкесы праздные сидят.
Сыны Кавказа говорят
О бранных, гибельных тревогах,
О красоте своих коней,
О наслажденьях дикой неги;
Воспоминают прежних дней
Неотразимые набеги,
Обманы хитрых узденей,[3]
Удары шашек[4] их жестоких,
И меткость неизбежных стрел,
И пепел разоренных сел,
И ласки пленниц черноокиx.

Текут беседы в тишине;
Луна плывет в ночном тумане;
И вдруг пред ними на коне
Черкес. Он быстро на аркане
Младого пленника влачил.
«Вот русский!» — хищник возопил.
Аул на крик его сбежался
Ожесточенною толпой;
Но пленник хладный и немой,
С обезображенной главой,
Как труп, недвижим оставался.
Лица врагов не видит он,
Угроз и криков он не слышит;
Над ним летает смертный сон
И холодом тлетворным дышит.

И долго пленник молодой
Лежал в забвении тяжелом.
Уж полдень над его главой
Пылал в сиянии веселом;
И жизни дух проснулся в нем,
Невнятный стон в устах раздался;
Согретый солнечным лучом,
Несчастный тихо приподнялся;
Кругом обводит слабый взор…
И видит: неприступных гор
Над ним воздвигнулась громада.
Гнездо разбойничьих племен,
Черкесской вольности ограда.
Воспомнил юноша свой плен,
Как сна ужасного тревоги,
И слышит: загремели вдруг
Его закованные ноги…
Все, все сказал ужасный звук;
Затмилась перед ним природа.
Прости, священная свобода!
Он раб.
За саклями[5] лежит
Он у колючего забора.
Черкесы в поле, нет надзора,
В пустом ауле все молчит.
Пред ним пустынные равнины
Лежат зеленой пеленой;
Там холмов тянутся грядой
Однообразные вершины;
Меж них уединенный путь
В дали теряется угрюмой:
И пленника младого грудь
Тяжелой взволновалась думой…

В Россию дальний путь ведет,
В страну, где пламенную младость
Он гордо начал без забот;
Где первую познал он радость,
Где много милого любил,
Где обнял грозное страданье,
Где бурной жизнью погубил
Надежду, радость и желанье,
И лучших дней воспоминанье
В увядшем сердце заключил.

Людей и свет изведал он,
И знал неверной жизни цену.
В сердцах друзей нашед измену,
В мечтах любви безумный сон,
Наскуча жертвой быть привычной
Давно презренной суеты,
И неприязни двуязычной,
И простодушной клеветы,
Отступник света, друг природы,
Покинул он родной предел
И в край далекий полетел
С веселым призраком свободы.

Свобода! он одной тебя
Еще искал в пустынном мире.
Страстями чувства истребя,
Охолодев к мечтам и к лире,
С волненьем песни он внимал,
Одушевленные тобою,
И с верой, пламенной мольбою
Твой гордый идол обнимал.

Свершилось… целью упованья
Не зрит он в мире ничего.
И вы, последние мечтанья,
И вы сокрылись от него.
Он раб. Склонясь главой на камень,
Он ждет, чтоб с сумрачной зарей
Погас печальной жизни пламень,
И жаждет сени гробовой.

Уж меркнет солнце за горами;
Вдали раздался шумный гул;
С полей народ идет в аул,
Сверкая светлыми косами.
Пришли; в домах зажглись огни,
И постепенно шум нестройный
Умолкнул; все в ночной тени
Объято негою спокойной;
Вдали сверкает горный ключ,
Сбегая с каменной стремнины;
Оделись пеленою туч
Кавказа спящие вершины…
Но кто, в сиянии луны,
Среди глубокой тишины
Идет, украдкою ступая?
Очнулся русский. Перед ним,
С приветом нежным и немым,
Стоит черкешенка младая.
На деву молча смотрит он
И мыслит: это лживый сон,
Усталых чувств игра пустая.
Луною чуть озарена,
С улыбкой жалости отрадной
Колена преклонив, она
К его устам кумыс[6] прохладный
Подносит тихою рукой.
Но он забыл сосуд целебный;
Он ловит жадною душой
Приятной речи звук волшебный
И взоры девы молодой.
Он чуждых слов не понимает;
Но взор умильный, жар ланит,
Но голос нежный говорит:
Живи! и пленник оживает.
И он, собрав остаток сил,
Веленью милому покорный,
Привстал — и чашей благотворной
Томленье жажды утолил.
Потом на камень вновь склонился
Отягощенною главой,
Но все к черкешенке младой
Угасший взор его стремился.
И долго, долго перед ним
Она, задумчива, сидела;
Как бы участием немым
Утешить пленника хотела;

Уста невольно каждый час
С начатой речью открывались;
Она вздыхала, и не раз
Слезами очи наполнялись.

За днями дни прошли как тень.
В горах, окованный, у стада
Проводит пленник каждый день.
Пещеры влажная прохлада
Его скрывает в летний зной;
Когда же рог луны сребристой
Блеснет за мрачною горой,
Черкешенка, тропой тенистой,
Приносит пленнику вино,
Кумыс, и ульев сот душистый,
И белоснежное пшено;
С ним тайный ужин разделяет;
На нем покоит нежный взор;
С неясной речию сливает
Очей и знаков разговор;
Поет ему и песни гор,
И песни Грузии счастливой[7],
И памяти нетерпеливой
Передает язык чужой.
Впервые девственной душой
Она любила, знала счастье,
Но русский жизни молодой
Давно утратил сладострастье.
Не мог он сердцем отвечать
Любви младенческой, открытой —
Быть может, сон любви забытой
Боялся он воспоминать.

Не вдруг увянет наша младость,
Не вдруг восторги бросят нас,
И неожиданную радость
Еще обнимем мы не раз:
Но вы, живые впечатленья,
Первоначальная любовь,
Небесный пламень упоенья,
Не прилетаете вы вновь.

Казалось, пленник безнадежный
К унылой жизни привыкал.
Тоску неволи, жар мятежный
В душе глубоко он скрывал.
Влачася меж угрюмых скал,
В час ранней, утренней прохлады,
Вперял он любопытный взор
На отдаленные громады
Седых, румяных, синих гор.
Великолепные картины!
Престолы вечные снегов,
Очам казались их вершины
Недвижной цепью облаков,
И в их кругу колосс двуглавый,
В венце блистая ледяном,
Эльбрус огромный, величавый,
Белел на небе голубом.[8]
Когда, с глухим сливаясь гулом,
Предтеча бури, гром гремел,
Как часто пленник над аулом
Недвижим на горе сидел!
У ног его дымились тучи,
В степи взвивался прах летучий;
Уже приюта между скал
Елень испуганный искал;
Орлы с утесов подымались
И в небесах перекликались;
Шум табунов, мычанье стад
Уж гласом бури заглушались…
И вдруг на долы дождь и град
Из туч сквозь молний извергались;
Волнами роя крутизны,
Сдвигая камни вековые,
Текли потоки дождевые —
А пленник, с горной вышины,
Один, за тучей громовою,
Возврата солнечного ждал,
Недосягаемый грозою,
И бури немощному вою
С какой-то радостью внимал.

Но европейца все вниманье
Народ сей чудный привлекал.
Меж горцев пленник наблюдал
Их веру, нравы, воспитанье,
Любил их жизни простоту,
Гостеприимство, жажду брани,
Движений вольных быстроту,
И легкость ног, и силу длани;
Смотрел по целым он часам,
Как иногда черкес проворный,
Широкой степью, по горам,
В косматой шапке, в бурке черной,
К луке склонясь, на стремена
Ногою стройной опираясь,
Летал по воле скакуна,
К войне заране приучаясь.
Он любовался красотой
Одежды бранной и простой.
Черкес оружием обвешен;
Он им гордится, им утешен;
На нем броня, пищаль, колчан,
Кубанский лук, кинжал, аркан
И шашка, вечная подруга
Его трудов, его досуга.
Ничто его не тяготит,
Ничто не брякнет; пеший, конный —
Все тот же он; все тот же вид
Непобедимый, непреклонный.
Гроза беспечных казаков,
Его богатство — конь ретивый,
Питомец горских табунов,
Товарищ верный, терпеливый.
В пещере иль в траве глухой
Коварный хищник с ним таится
И вдруг, внезапною стрелой,
Завидя путника, стремится;
В одно мгновенье верный бой
Решит удар его могучий,
И странника в ущелья гор
Уже влечет аркан летучий.
Стремится конь во весь опор,

Исполнен огненной отваги;
Все путь ему: болото, бор,
Кусты, утесы и овраги;
Кровавый след за ним бежит,
В пустыне топот раздается;
Седой поток пред ним шумит —
Он в глубь кипящую несется;
И путник, брошенный ко дну,
Глотает мутную волну,
Изнемогая, смерти просит
И зрит ее перед собой…
Но мощный конь его стрелой
На берег пенистый выносит.

Иль ухватив рогатый пень,
В реку низверженный грозою,
Когда на холмах пеленою
Лежит безлунной ночи тень,
Черкес на корни вековые,
На ветви вешает кругом
Свои доспехи боевые,
Щит, бурку, панцырь и шелом,
Колчан и лук — и в быстры волны
За ним бросается потом,
Неутомимый и безмолвный.
Глухая ночь. Река ревет;
Могучий ток его несет
Вдоль берегов уединенных,
Где на курганах возвышенных,
Склонясь на копья, казаки
Глядят на темный бег реки —
И мимо их, во мгле чернея,
Плывет оружие злодея…
О чем ты думаешь, казак?
Воспоминаешь прежни битвы,
На смертном поле свой бивак,
Полков хвалебные молитвы
И родину?.. Коварный сон!
Простите, вольные станицы,
И дом отцов, и тихой Дон,
Война и красные девицы!
К брегам причалил тайный враг,
Стрела выходит из колчана —
Взвилась — и падает казак
С окровавленного кургана.

Когда же с мирною семьей
Черкес в отеческом жилище
Сидит ненастною порой,
И тлеют угли в пепелище;
И, спрянув с верного коня,
В горах пустынных запоздалый,
К нему войдет пришлец усталый
И робко сядет у огня, —
Тогда хозяин благосклонный
С приветом, ласково, встает
И гостю в чаше благовонной
Чихирь[9] отрадный подает.
Под влажной буркой, в сакле дымной,
Вкушает путник мирный сон,
И утром оставляет он
Ночлега кров гостеприимный[10].
Бывало, в светлый Баиран[11]
Сберутся юноши толпою;
Игра сменяется игрою.
То, полный разобрав колчан,
Они крылатыми стрелами
Пронзают в облаках орлов;
То с высоты крутых холмов
Нетерпеливыми рядами,
При данном знаке, вдруг падут,
Как лани землю поражают,
Равнину пылью покрывают
И с дружным топотом бегут.

Но скучен мир однообразный
Сердцам, рожденным для войны,
И часто игры воли праздной
Игрой жестокой смущены.
Нередко шашки грозно блещут
В безумной резвости пиров,
И в прах летят главы рабов,
И в радости младенцы плещут.

Но русский равнодушно зрел
Сии кровавые забавы.
Любил он прежде игры славы
И жаждой гибели горел.
Невольник чести беспощадной,
Вблизи видал он свой конец,
На поединках твердый, хладный,
Встречая гибельный свинец.
Быть может, в думу погруженный,
Он время то воспоминал,
Когда, друзьями окруженный,
Он с ними шумно пировал…
Жалел ли он о днях минувших,
О днях, надежду обманувших,
Иль, любопытный, созерцал
Суровой простоты забавы
И дикого народа нравы
В сем верном зеркале читал —
Таил в молчанье он глубоком
Движенья сердца своего,
И на челе его высоком
Не изменялось ничего;
Беспечной смелости его
Черкесы грозные дивились,
Щадили век его младой
И шепотом между собой
Своей добычею гордились.

Часть вторая

Ты их узнала, дева гор,
Восторги сердца, жизни сладость;
Твой огненный, невинный взор
Высказывал любовь и радость.
Когда твой друг во тьме ночной
Тебя лобзал немым лобзаньем,
Сгорая негой и желаньем,

Ты забывала мир земной,
Ты говорила: «Пленник милый,
Развесели свой взор унылый,
Склонись главой ко мне на грудь,
Свободу, родину забудь.
Скрываться рада я в пустыне
С тобою, царь души моей!
Люби меня; никто доныне
Не целовал моих очей;
К моей постеле одинокой
Черкес младой и черноокой
Не крался в тишине ночной;
Слыву я девою жестокой,
Неумолимой красотой.
Я знаю жребий мне готовый:
Меня отец и брат суровый
Немилому продать хотят
В чужой аул ценою злата;
Но умолю отца и брата,
Не то — найду кинжал иль яд.
Непостижимой, чудной силой
К тебе я вся привлечена;
Люблю тебя, невольник милый,
Душа тобой упоена...»

Но он с безмолвным сожаленьем
На деву страстную взирал
И, полный тяжким размышленьем,
Словам любви ее внимал.
Он забывался. В нем теснились
Воспоминанья прошлых дней,
И даже слезы из очей
Однажды градом покатились.
Лежала в сердце, как свинец,
Тоска любви без упованья.
Пред юной девой наконец
Он излиял свои страданья:

«Забудь меня: твоей любви,
Твоих восторгов я не стою.
Бесценных дней не трать со мною;
Другого юношу зови.
Его любовь тебе заменит
Моей души печальный хлад;
Он будет верен, он оценит
Твою красу, твой милый взгляд,
И жар младенческих лобзаний,
И нежность пламенных речей;
Без упоенья, без желаний
Я вяну жертвою страстей.
Ты видишь след любви несчастной,
Душевной бури след ужасный;
Оставь меня; но пожалей
О скорбной участи моей!
Несчастный друг, зачем не прежде
Явилась ты моим очам,
В те дни, как верил я надежде
И упоительным мечтам!
Но поздно: умер я для счастья,
Надежды призрак улетел;
Твой друг отвык от сладострастья,
Для нежных чувств окаменел...

Как тяжко мертвыми устами
Живым лобзаньям отвечать
И очи, полные слезами,
Улыбкой хладною встречать!
Измучась ревностью напрасной,
Уснув бесчувственной душой,
В объятиях подруги страстной
Как тяжко мыслить о другой!..

Когда так медленно, так нежно
Ты пьешь лобзания мои,
И для тебя часы любви
Проходят быстро, безмятежно;
Снедая слезы в тишине,
Тогда рассеянный, унылый
Перед собою, как во сне,
Я вижу образ вечно милый;
Его зову, к нему стремлюсь,
Молчу, не вижу, не внимаю;
Тебе в забвенье предаюсь
И тайный призрак обнимаю.
Об нем в пустыне слезы лью;
Повсюду он со мною бродит
И мрачную тоску наводит
На душу сирую мою.

Оставь же мне мои железы,
Уединенные мечты,
Воспоминанья, грусть и слезы:
Их разделить не можешь ты.
Ты сердца слышала признанье;
Прости... дай руку — на прощанье.
Не долго женскую любовь
Печалит хладная разлука:
Пройдет любовь, настанет скука,
Красавица полюбит вновь».

Раскрыв уста, без слез рыдая,
Сидела дева молодая.
Туманный, неподвижный взор
Безмолвный выражал укор;
Бледна как тень, она дрожала:
В руках любовника лежала
Ее холодная рука;
И наконец любви тоска
В печальной речи излилася:

«Ах, русский, русский, для чего,
Не зная сердца твоего,
Тебе навек я предалася!
Не долго на груди твоей
В забвенье дева отдыхала;
Не много радостных ночей
Судьба на долю ей послала!
Придут ли вновь когда-нибудь?
Ужель навек погибла радость?..
Ты мог бы, пленник, обмануть
Мою неопытную младость,
Хотя б из жалости одной,
Молчаньем, ласкою притворной;
Я услаждала б жребий твой
Заботой нежной и покорной;

Я стерегла б минуты сна,
Покой тоскующего друга;
Ты не хотел… Но кто ж она,
Твоя прекрасная подруга?
Ты любишь, русский? ты любим?.
Понятны мне твои страданья…
Прости ж и ты мои рыданья,
Не смейся горестям моим».

Умолкла. Слезы и стенанья
Стеснили бедной девы грудь.
Уста без слов роптали пени.
Без чувств, обняв его колени,
Она едва могла дохнуть.
И пленник, тихою рукою
Подняв несчастную, сказал:
«Не плачь: и я гоним судьбою,
И муки сердца испытал.
Нет, я не знал любви взаимной,
Любил один, страдал один;
И гасну я, как пламень дымный,
Забытый средь пустых долин;
Умру вдали брегов желанных;
Мне будет гробом эта степь;
Здесь на костях моих изгнанных
Заржавит тягостная цепь…»

Светила ночи затмевались;
В дали прозрачной означались
Громады светлоснежных гор;
Главу склонив, потупя взор,
Они в безмолвии расстались.

Унылый пленник с этих пор
Один окрест аула бродит.
Заря на знойный небосклон
За днями новы дни возводит;
За ночью ночь вослед уходит;
Вотще свободы жаждет он.
Мелькнет ли серна меж кустами,
Проскачет ли во мгле сайгак, —
Он, вспыхнув, загремит цепями,
Он ждет, не крадется ль казак,
Ночной аулов разоритель,
Рабов отважный избавитель.
Зовет… но все кругом молчит;
Лишь волны плещутся, бушуя,
И человека зверь почуя,
В пустыню темную бежит.

Однажды слышит русский пленный,
В горах раздался клик военный:
«В табун, в табун!» Бегут, шумят;
Уздечки медные гремят,
Чернеют бурки, блещут брони,
Кипят оседланные кони,
К набегу весь аул готов,
И дикие питомцы брани
Рекою хлынули с холмов
И скачут по брегам Кубани
Сбирать насильственные дани.

Утих аул; на солнце спят
У саклей псы сторожевые.
Младенцы смуглые, нагие
В свободной резвости шумят;
Их прадеды в кругу сидят,
Из трубок дым, виясь, синеет.
Они безмолвно юных дев
Знакомый слушают припев,
И старцев сердце молодеет.

Черкесская песня

1
В реке бежит гремучий вал;
В горах безмолвие ночное;
Казак усталый задремал,
Склонясь на копие стальное.
Не спи, казак: во тьме ночной
Чеченец ходит за рекой.

2
Казак плывет на челноке,
Влача по дну речному сети.
Казак, утонешь ты в реке,
Как тонут маленькие дети,
Купаясь жаркою порой:
Чеченец ходит за рекой.

3
На берегу заветных вод
Цветут богатые станицы;
Веселый пляшет хоровод.
Бегите, русские певицы,
Спешите, красные, домой:
Чеченец ходит за рекой.

Так пели девы. Сев на бреге,
Мечтает русский о побеге;
Но цепь невольника тяжка,
Быстра глубокая река…
Меж тем, померкнув, степь уснула,
Вершины скал омрачены.
По белым хижинам аула
Мелькает бледный свет луны;
Елени дремлют над водами,
Умолкнул поздний крик орлов,
И глухо вторится горами
Далекий топот табунов.

Тогда кого-то слышно стало,
Мелькнуло девы покрывало,
И вот — печальна и бледна
К нему приближилась *она*.
Уста прекрасной ищут речи;
Глаза исполнены тоской,
И черной падают волной
Ее власы на грудь и плечи.
В одной руке блестит пила,
В другой кинжал ее булатный;
Казалось, будто дева шла
На тайный бой, на подвиг ратный.

На пленника возведши взор,
«Беги, — сказала дева гор, —
Нигде черкес тебя не встретит.
Спеши; не трать ночных часов;
Возьми кинжал: твоих следов
Никто во мраке не заметит».

Пилу дрожащей взяв рукой,
К его ногам она склонилась:
Визжит железо под пилой,
Слеза невольная скатилась —
И цепь распалась и гремит.
«Ты волен, — дева говорит, —
Беги!» Но взгляд ее безумный
Любви порыв изобразил.
Она страдала. Ветер шумный,
Свистя, покров ее клубил.
«О друг мой! — русский возопил, —
Я твой навек, я твой до гроба.
Ужасный край оставим оба,
Беги со мной...» — «Нет, русский, нет!
Она исчезла, жизни сладость;
Я знала все, я знала радость,
И все прошло, пропал и след.
Возможно ль? ты любил другую!..
Найди ее, люби ее;
О чем же я еще тоскую?
О чем уныние мое?..
Прости! любви благословенья
С тобою будут каждый час.
Прости — забудь мои мученья,
Дай руку мне... в последний раз».

К черкешенке простер он руки,
Воскресшим сердцем к ней летел,
И долгий поцелуй разлуки
Союз любви запечатлел.
Рука с рукой, унынья полны,
Сошли ко брегу в тишине —
И русский в шумной глубине
Уже плывет и пенит волны,
Уже противных скал достиг,
Уже хватается за них...
Вдруг волны глухо зашумели,
И слышен отдаленный стон...
На дикой брег выходит он,
Глядит назад, брега яснели
И, опененные, белели;
Но нет черкешенки младой
Ни у брегов, ни под горой...
Все мертво... на брегах уснувших
Лишь ветра слышен легкой звук,
И при луне в водах плеснувших
Струистый исчезает круг.

Все понял он. Прощальным взором
Объемлет он в последний раз
Пустой аул с его забором,
Поля, где, пленный, стадо пас,
Стремнины, где влачил оковы,
Ручей, где в полдень отдыхал,
Когда в горах черкес суровый
Свободы песню запевал.

Редел на небе мрак глубокий,
Ложился день на темный дол,
Взошла заря. Тропой далекой
Освобожденный пленник шел;
И перед ним уже в туманах
Сверкали русские штыки,
И окликались на курганах
Сторожевые казаки.

Эпилог

Так Муза, легкой друг Мечты,
К пределам Азии летала
И для венка себе срывала
Кавказа дикие цветы.
Ее пленял наряд суровый
Племен, возросших на войне,
И часто в сей одежде новой
Волшебница являлась мне;
Вокруг аулов опустелых
Одна бродила по скалам,
И к песням дев осиротелых
Она прислушивалась там;
Любила бранные станицы,
Тревоги смелых казаков,
Курганы, тихие гробницы,
И шум, и ржанье табунов.
Богиня песен и рассказа,
Воспоминания полна,
Быть может, повторит она
Преданья грозного Кавказа;
Расскажет повесть дальних стран,
Мстислава[12] древний поединок,
Измены, гибель россиян
На лоне мстительных грузинок;
И воспою тот славный час,
Когда, почуя бой кровавый,
На негодующий Кавказ
Подъялся наш орел двуглавый;
Когда на Тереке седом
Впервые грянул битвы гром
И грохот русских барабанов,
И в сече, с дерзостным челом,
Явился пылкий Цицианов;
Тебя я воспою, герой,
О Котляревский, бич Кавказа!
Куда ни мчался ты грозой —
Твой ход, как черная зараза,
Губил, ничтожил племена...
Ты днесь покинул саблю мести,
Тебя не радует война;
Скучая миром, в язвах чести,
Вкушаешь праздный ты покой
И тишину домашних долов...
Но се — Восток подъемлет вой!..
Поникни снежною главой,
Смирись, Кавказ: идет Ермолов!

И смолкнул ярый крик войны:
Все русскому мечу подвластно.
Кавказа гордые сыны,
Сражались, гибли вы ужасно;

Но не спасла вас наша кровь,
Ни очарованные брони,
Ни горы, ни лихие кони,
Ни дикой вольности любовь!
Подобно племени Батыя,
Изменит прадедам Кавказ,
Забудет алчной брани глас,
Оставит стрелы боевые.
К ущельям, где гнездились вы,
Подъедет путник без боязни,
И возвестят о вашей казни
Преданья темные молвы.

1821–1822

* * *

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный.

Увы! напоминают мне
Твои жестокие напевы
И степь, и ночь — и при луне
Черты далекой, бедной девы.

Я призрак милый, роковой,
Тебя увидев, забываю;
Но ты поешь — и предо мной
Его я вновь воображаю.

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный.

1828

Монастырь на Казбеке

Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.

Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство бога скрыться мне!..

1829

Кавказ

Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины;
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Отселе я вижу потоков рожденье
И первое грозных обвалов движенье.

Здесь тучи смиренно идут подо мной;
Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады;
Под ними утесов нагие громады;
Там ниже мох тощий, кустарник сухой;
А там уже рощи, зеленые сени,
Где птицы щебечут, где скачут олени.

А там уж и люди гнездятся в горах,
И ползают овцы по злачным стремнинам,
И пастырь нисходит к веселым долинам,
Где мчится Арагва в тенистых брегах,
И нищий наездник таится в ущелье,
Где Терек играет в свирепом веселье;

Играет и воет, как зверь молодой,
Завидевший пищу из клетки железной;
И бьется о берег в вражде бесполезной
И лижет утесы голодной волной…
Вотще! нет ни пищи ему, ни отрады:
Теснят его грозно немые громады.

1829

* * *

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой… Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может.

1829

Обвал

Дробясь о мрачные скалы,
Шумят и пенятся валы,
И надо мной кричат орлы,
И ропщет бор,
И блещут средь волнистой мглы
Вершины гор.

Оттоль сорвался раз обвал,
И с тяжким грохотом упал,
И всю теснину между скал
Загородил,
И Терека могущий вал
Остановил.

Вдруг, истощась и присмирев,
О Терек, ты прервал свой рев;
Но задних волн упорный гнев
Прошиб снега…
Ты затопил, освирепев,
Свои брега.

И долго прорванный обвал
Неталой грудою лежал,
И Терек злой под ним бежал.
И пылью вод
И шумной пеной орошал
Ледяный свод.

И путь по нем широкий шел:
И конь скакал, и влекся вол,
И своего верблюда вел
Степной купец,
Где ныне мчится лишь Эол,
Небес жилец.
1829

Делибаш

Перестрелка за холмами;
Смотрит лагерь их и наш;
На холме пред казаками
Вьется красный делибаш.

Делибаш! не суйся к *лаве*,
Пожалей свое житье;
Вмиг аминь лихой забаве:
Попадешься на копье.

Эй, казак! не рвися к бою:
Делибаш на всем скаку
Срежет саблею кривою
С плеч удалую башку.

Мчатся, сшиблись в общем крике…
Посмотрите! каковы?..
Делибаш уже на пике,
А казак без головы.
1829

Примечания

1. *Бешту*, или, правильнее, *Бештау*, кавказская гора в 40 верстах от Георгиевска. Известна в нашей истории.
2. *Аул*. Так называются деревни кавказских народов.
3. *Узден*ь, начальник или князь.
4. *Шашка*, черкесская сабля.
5. *Сакля*, хижина.
6. *Кумыс* делается из кобыльего молока; напиток сей в большом употреблении между всеми горскими и кочующими народами Азии. Он довольно приятен вкусу и почитается весьма здоровым.
7. Счастливый климат Грузии не вознаграждает сию прекрасную страну за все бедствия, вечно ею претерпеваемые. Песни грузинские приятны и по большей части заунывны. Они славят минутные успехи кавказского оружия, смерть наших героев: Бакунина и Цицианова, измены, убийства — иногда любовь и наслаждения.
8. Державин в превосходной своей оде графу Зубову первый изобразил в следующих строфах дикие картины Кавказа:

О юный вождь, сверша походы,
Прошел ты с воинством Кавказ,
Зрел ужасы, красы природы:
Как с ребр там страшных гор лиясь,
Ревут в мрак бездн сердиты реки;
Как с чел их с грохотом снега
Падут, лежавши целы веки;
Как серны, вниз склонив рога,
Зрят в мгле спокойно под собою
Рожденье молний и громов.

Ты зрел, как ясною порою
Там солнечны лучи, средь льдов,
Средь вод, играя, отражаясь,
Великолепный кажут вид;
Как, в разноцветных рассеваясь
Там брызгах, тонкий дождь горит;
Как глыба там сизо-янтарна,
Навесясь, смотрит в темный бор;
А там заря златобагряна
Сквозь лес увеселяет взор.

Жуковский, в своем послании к г-ну Воейкову, также посвящает несколько прелестных стихов описанию Кавказа:

Ты зрел, как Терек в быстром беге
Меж виноградников шумел,
Где, часто притаясь на бреге,
Чеченец иль черкес сидел
Под буркой, с гибельным арканом;
И вдалеке перед тобой,
Одеты голубым туманом,
Гора вздымалась над горой,
И в сонме их гигант седой,
Как туча, Эльборус двуглавый,
Ужасною и величавой
Там все блистает красотой:

Утесов мшистые громады,
Бегущи с ревом водопады
Во мрак пучин с гранитных скал;
Леса, которых сна от века
Ни стук секир, ни человека
Веселый глас не возмущал,
В которых сумрачные сени
Еще луч дневный не проник,
Где изредка одни елени,
Орла послышав грозный крик,
Теснясь в толпу, шумят ветвями,
И козы легкими ногами

Перебегают по скалам.
Там все является очам
Великолепие творенья!
Но там — среди уединенья
Долин, таящихся в горах, —
Гнездятся и балкар, и бах,
И абазех, и камуцинец,
И карбулак, и албазинец,
И чечереец, и шапсук;
Пищаль, кольчуга, сабля, лук
И конь — соратник быстроногий —
Их и сокровища и боги;
Как серны скачут по горам,
Бросают смерть из-за утеса;
Или по топким берегам,
В траве высокой, в чаще леса
Рассыпавшись, добычи ждут;
Скалы свободы их приют.
Но дни в аулах их бредут
На костылях угрюмой лени:
Там жизнь их — сон; стеснясь в кружок
И в братский с табаком горшок
Вонзивши чубуки, как тени
В дыму клубящемся сидят
И об убийствах говорят,
Иль хвалят меткие пищали,
Из коих деды их стреляли;
Иль сабли на кремнях острят,
Готовясь на убийства новы.

9. *Чихирь*, красное грузинское вино.

10. Черкесы, как и все дикие народы, отличаются пред нами гостеприимством. Гость становится для них священною особою. Предать его или не защитить почитается меж ними за величайшее бесчестие. *Кунак* (т.е. приятель, знакомый) отвечает жизнию за вашу безопасность, и с ним вы можете углубиться в самую средину кабардинских гор.

11. *Байран*, или *байрам*, праздник разговенья. *Рамазан*, музульманский пост.

12. Мстислав, сын. св.Владимира, прозванный *Удалым*, удельный князь Тмутаракана (остров Тамань). Он воевал с косогами (по всей вероятности, нынешними черкесами) и в единоборстве одолел князя их Редедю. См. *Ист. Гос. Росс. Том II.*

Тексты поэмы, стихотворений и примечания печатаются по источникам:

Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 10 т. — М.: ГИХЛ, 1960. — Т. 2.
Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 10 т. — М.: ГИХЛ, 1960. — Т. 3.

ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ ВО ВРЕМЯ ПОХОДА 1829 ГОДА

Предисловие

Недавно попалась мне в руки книга, напечатанная в Париже в прошлом 1834 году под названием: Voyages en Orient entrepris par ordre du Gouvernement Français*. Автор, по-своему описывая поход 1829 года, оканчивает свои рассуждения следующими словами:

Un poète distingué par son imagination a trouvé dans tant de hauts faits dont il a été témoin non le sujet d'un poème, mais celui d'une satyre**.

Из поэтов, бывших в турецком походе, знал я только об А. С. Хомякове и об А.Н. Муравьеве. Оба находились в армии графа Дибича. Первый написал в то время несколько прекрасных лирических стихотворений, второй обдумывал свое путешествие к святым местам, произведшее столь сильное впечатление. Но я не читал никакой сатиры на Арзрумский поход.

Никак бы я не мог подумать, что дело здесь идет обо мне, если бы в той самой книге не нашел я своего имени между именами генералов отдельного Кавказского корпуса. Parmi les chefs qui la commandaient (l'armée du Prince Paskewitch) on distinguait le Général Mouravief… le Prince Géorgien Tsitsevaze… le Prince Arménien Beboutof… le Prince Potemkine, le Général Raiewsky, et enfin — M-r Pouchkine… qui avait quitté la capitale pour chanter les exploits de ses compatriotes***.

Признаюсь: эти строки французского путешественника, несмотря на лестные эпитеты, были мне гораздо досаднее, нежели брань русских журналов. *Искать вдохновения* всегда казалось мне смешной и нелепой причудою: вдохновения не сыщешь; оно само должно найти поэта. Приехать на войну с тем, чтобы воспевать будущие подвиги, было бы для меня с одной стороны слишком самолюбиво, а с другой слишком непристойно. Я не вмешиваюсь в военные суждения. Это не мое дело. Может быть, смелый переход через Саган-Лу, движение, коим граф Паскевич отрезал сераскира от Осман-паши, поражение двух неприятельских корпусов в течение одних суток, быстрый поход к Арзруму, все это, увенчанное полным успехом, может быть и чрезвычайно достойно посмеяния в глазах военных людей (каковы, например, г. купеческий консул Фонтанье[1], автор путешествия на Восток); но я устыдился бы писать сатиры на прославленного полководца, ласково принявшего меня под сень своего шатра и находившего время посреди своих великих забот оказывать мне лестное внимание. Человек, не имеющий нужды в покровительстве сильных, дорожит их радушием и гостеприимством, ибо иного от них не может и требовать. Обвинение в неблагодарности не должно быть оставлено без возражения, как ничтожная критика или литературная брань. Вот почему решился я напечатать это предисловие и выдать свои путевые записки, как *все,* что мною было написано о походе 1829 года.

А. Пушкин

Глава первая

Степи. Калмыцкая кибитка. Кавказские воды. Военная Грузинская дорога. Владикавказ. Осетинские похороны. Терек. Дариальское ущелие. Переезд через снеговые горы. Первый взгляд на Грузию. Водопроводы. Хозрев-Мирза. Душетский городничий.

…Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел, и сделал таким образом 200 верст лишних; зато увидел Ермолова. Он живет в Орле, близ коего находится его деревня. Я приехал к нему в восемь часов утра и не застал его дома. Извозчик мой сказал мне, что Ермолов ни у кого не бывает, кроме как у отца своего, простого, набожного старика, что он не принимает одних только городских чиновников, а что всякому другому доступ свободен. Через час я снова к нему приехал. Ермолов принял меня с обыкновенной своей любезностию. С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные, серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на Геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что

* Путешествия на Восток, предпринятые по поручению Французского правительства *(франц.).*

** Один поэт, замечательный своим воображением, в стольких славных деяниях, свидетель которых он был, нашел сюжет не для поэмы, но для сатиры *(франц.).*

*** Среди начальников, командовавших ею (армией князя Паскевича) выделялись генерал Муравьев… грузинский князь Чичевадзе… армянский князь Бебутов… князь Потемкин, генерал Раевский и, наконец, г. Пушкин… покинувший столицу, чтобы воспеть подвиги своих соотечественников *(франц.).*

не естественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтически портрет, писанный Довом. Он был в зеленом черкесском чекмене. На стенах его кабинета висели шашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе. Он, по-видимому, нетерпеливо сносит свое бездействие. Несколько раз принимался он говорить о Паскевиче и всегда язвительно; говоря о легкости его побед, он сравнивал его с Навином, перед которым стены падали от трубного звука, и называл графа Эриванского графом Ерихонским. «Пускай нападет он, — говорил Ермолов, — на пашу не умного, не искусного, но только упрямого, например на пашу, начальствовавшего в Шумле, — и Паскевич пропал». Я передал Ермолову слова гр. Толстого, что Паскевич так хорошо действовал в персидскую кампанию, что умному человеку осталось бы только действовать похуже, чтоб отличиться от него. Ермолов засмеялся, но не согласился. «Можно было бы сберечь людей и издержки», — сказал он. Думаю, что он пишет или хочет писать свои записки. Он недоволен Историей Карамзина; он желал бы, чтобы пламенное перо изобразило переход русского народа из ничтожества к славе и могуществу. О записках кн. Курбского говорил он con amore*. Немцам досталось. «Лет через пятьдесят, — сказал он, — подумают, что в нынешнем походе была вспомогательная прусская или австрийская армия, предводительствованная такими-то немецкими генералами». Я пробыл у него часа два. Ему было досадно, что не помнил моего полного имени. Он извинялся комплиментами. Разговор несколько раз касался литературы. О стихах Грибоедова говорит он, что от их чтения — скулы болят. О правительстве и политике не было ни слова.

Мне предстоял путь через Курск и Харьков; но я своротил на прямую тифлисскую дорогу, жертвуя хорошим обедом в курском трактире (что не безделица в наших путешествиях) и не любопытствуя посетить Харьковский университет, который не стоит курской ресторации.

До Ельца дороги ужасны. Несколько раз коляска моя вязла в грязи, достойной грязи одесской. Мне случалось в сутки проехать не более пятидесяти верст. Наконец увидел я воронежские степи и свободно покатился по зеленой равнине. В Новочеркасске нашел я графа Пушкина, ехавшего также в Тифлис[2], и мы согласились путешествовать вместе.

Переход от Европы к Азии делается час от часу чувствительнее: леса исчезают, холмы сглаживаются, трава густеет и являет большую силу растительности; показываются птицы, неведомые в наших лесах; орлы сидят на кочках, означающих большую дорогу, как будто на страже, и гордо смотрят на путешественников; по тучным пастбищам

Кобылиц неукротимых
Гордо бродят табуны.

Калмыки располагаются около станционных хат. У кибиток их пасутся их уродливые, косматые кони, знакомые вам по прекрасным рисункам Орловского.

На днях посетил я калмыцкую кибитку (клетчатый плетень, обтянутый белым войлоком). Все семейство собиралось завтракать. Котел варился посредине, и дым выходил в отверстие, сделанное в верху кибитки. Молодая калмычка, собою очень недурная, шила, куря табак. Я сел подле нее. «Как тебя зовут?» — ***. — «Сколько тебе лет?» — «Десять и восемь». — «Что ты шьешь?» — «Портка». — «Кому?» — «Себя». Она подала мне свою трубку и стала завтракать. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Она предложила мне свой ковшик. Я не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-нибудь гаже. Я попросил чем-нибудь это заесть. Мне дали кусочек сушеной кобылятины; я был и тому рад. Калмыцкое кокетство испугало меня; я поскорее выбрался из кибитки и поехал от степной Цирцеи.

В Ставрополе увидел я на краю неба облака, поразившие мне взоры ровно за девять лет. Они были все те же, все на том же месте. Это — снежные вершины Кавказской цепи.

Из Георгиевска я заехал на Горячие воды. Здесь нашел я большую перемену: в мое время ванны находились в лачужках, наскоро построенных. Источники, большею частию в первобытном своем виде, били, дымились и стекали с гор по разным направлениям, оставляя по себе белые и красноватые следы. Мы черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки. Нынче выстроены великолепные ванны и дома. Бульвар, обсаженный липками, проведен по склонению Машука. Везде чистенькие дорожки, зеленые лавочки, правильные цветники, мостики, павильоны. Ключи обделаны, выложены камнем; на стенах ванн прибиты предписания от полиции; везде порядок, чистота, красивость…

Признаюсь: Кавказские воды представляют ныне более удобностей; но мне было жаль их прежнего дикого состояния; мне было жаль крутых каменных тропинок, кустарников и неогороженных пропастей, над которыми, бывало, я карабкался. С грустью оставил я воды и отправился обратно в Георгиевск. Скоро настала ночь. Чистое небо усеялось миллионами звезд. Я ехал берегом Подкумка. Здесь, бывало, сиживал со мною А. Раевский, прислушиваясь к мелодии вод. Величавый Бешту чернее и чернее рисовался в отдалении, окруженный горами, своими вассалами, и наконец исчез во мраке…

---

* с увлечением (*итал.*).

На другой день мы отправились далее и прибыли в Екатериноград, бывший некогда наместническим городом.

С Екатеринограда начинается военная Грузинская дорога; почтовый тракт прекращается[3]. Нанимают лошадей до Владикавказа. Дается конвой казачий и пехотный и одна пушка. Почта отправляется два раза в неделю, и проезжие к ней присоединяются: это называется *оказией.* Мы дожидались недолго. Почта пришла на другой день, и на третье утро в девять часов мы были готовы отправиться в путь. На сборном месте соединился весь караван, состоявший из пятисот человек или около. Пробили в барабан. Мы тронулись. Впереди поехала пушка, окруженная пехотными солдатами. За нею потянулись коляски, брички, кибитки солдаток, переезжающих из одной крепости в другую; за ними заскрыпел обоз двуколесных ароб. По сторонам бежали конские табуны и стада волов. Около них скакали нагайские проводники в бурках и с арканами. Все это сначала мне очень нравилось, но скоро надоело. Пушка ехала шагом, фитиль курился, и солдаты раскуривали им свои трубки. Медленность нашего похода (в первый день мы прошли только пятнадцать верст), несносная жара, недостаток припасов, беспокойные ночлеги, наконец беспрерывный скрып нагайских ароб выводили меня из терпения. Татаре тщеславятся этим скрыпом, говоря, что они разъезжают как честные люди, не имеющие нужды укрываться. На сей раз приятнее было бы мне путешествовать не в столь почтенном обществе. Дорога довольно однообразная: равнина; по сторонам холмы. На краю неба вершины Кавказа, каждый день являющиеся выше и выше. Крепости, достаточные для здешнего края, со рвом, который каждый из нас перепрыгнул бы в старину не разбегаясь, с заржавыми пушками, не стрелявшими со времен графа Гудовича, с обрушенным валом, по которому бродит гарнизон куриц и гусей. В крепостях несколько лачужек, где с трудом можно достать десяток яиц и кислого молока.

Первое замечательное место есть крепость Минарет[4]. Приближаясь к ней, наш караван ехал по прелестной долине между курганами, обросшими липой и чинаром. Это могилы нескольких тысяч умерших чумою. Пестрелись цветы, порожденные зараженным пеплом. Справа сиял снежный Кавказ; впереди возвышалась огромная, лесистая гора; за нею находилась крепость. Кругом ее видны следы разоренного аула, называвшегося Татартубом и бывшего некогда главным в Большой Кабарде. Легкий, одинокий минарет свидетельствует о бытии исчезнувшего селения. Он стройно возвышается между грудами камней, на берегу иссохшего потока. Внутренняя лестница еще не обрушилась. Я взобрался по ней на площадку, с которой уже не раздается голос муллы. Там нашел я несколько неизвестных имен, нацарапанных на кирпичах славолюбивыми путешественниками.

Дорога наша сделалась живописна. Горы тянулись над нами. На их вершинах ползали чуть видные стада и казались насекомыми. Мы различили и пастуха, быть может русского, некогда взятого в плен и состарившегося в неволе. Мы встретили еще курганы, еще развалины. Два-три надгробных памятника стояло на краю дороги. Там, по обычаю черкесов, похоронены их наездники. Татарская надпись, изображение шашки, танга[5], иссеченные на камне, оставлены хищным внукам в память хищного предка.

Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены. Они час от часу далее углубляются в горы и оттуда направляют свои набеги. Дружба *мирных*[6] черкесов ненадежна: они всегда готовы помочь буйным своим единоплеменникам. Дух дикого их рыцарства заметно упал. Они редко нападают в равном числе на казаков, никогда на пехоту и бегут, завидя пушку. Зато никогда не пропустят случая напасть на слабый отряд или на беззащитного. Здешняя сторона полна молвой о их злодействах. Почти нет никакого способа их усмирить, пока их не обезоружат, как обезоружили крымских татар, что чрезвычайно трудно исполнить, по причине господствующих между ими наследственных распрей и мщения крови. Кинжал и шашка суть члены их тела, и младенец начинает владеть ими прежде, нежели лепетать. У них убийство — простое телодвижение. Пленников они сохраняют в надежде на выкуп, но обходятся с ними с ужасным бесчеловечием, заставляют работать сверх сил, кормят сырым тестом, бьют, когда вздумается, и приставляют к ним для стражи своих мальчишек, которые за одно слово вправе их изрубить своими детскими шашками. Недавно поймали мирного черкеса, выстрелившего в солдата. Он оправдывался тем, что ружье его слишком долго было заряжено. Что делать с таковым народом? Должно, однако ж, надеяться, что приобретение восточного края Черного моря, отрезав черкесов от торговли с Турцией, принудит их с нами сблизиться. Влияние роскоши может благоприятствовать их укрощению: самовар был бы важным нововведением. Есть средство более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением нашего века: проповедание Евангелия. Черкесы очень недавно приняли магометанскую веру. Они были увлечены деятельным фанатизмом апостолов *Корана,* между коими отличался Мансур[7], человек необыкновенный, долго возмущавший Кавказ противу русского владычества, наконец схваченный нами и умерший в Соловецком монастыре. Кавказ ожидает христианских миссионеров. Но легче для нашей лености в замену слова живого выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоты.

Мы достигли Владикавказа, прежнего Капкая[8], преддверия гор. Он окружен осетинскими аулами. Я посетил один из них и попал на похороны. Около сакли толпился народ. На дворе стояла

арба, запряженная двумя волами. Родственники и друзья умершего съезжались со всех сторон и с громким плачем шли в саклю, ударяя себя кулаками в лоб. Женщины стояли смирно. Мертвеца вынесли на бурке…

…like a warrior taking his rest
With his martial cloak around him;*

положили его на арбу. Один из гостей взял ружье покойника, сдул с полки порох и положил его подле тела. Волы тронулись. Гости поехали следом. Тело должно было быть похоронено в горах, верстах в тридцати от аула. К сожалению, никто не мог объяснить мне сих обрядов.

Осетинцы самое бедное племя из народов, обитающих на Кавказе; женщины их прекрасны и, как слышно, очень благосклонны к путешественникам. У ворот крепости встретил я жену и дочь заключенного осетинца. Они несли ему обед. Обе казались спокойны и смелы; однако ж при моем приближении обе потупили голову и закрылись своими изодранными *чадрами*. В крепости видел я черкесских аманатов[9], резвых и красивых мальчиков. Они поминутно проказят и бегают из крепости. Их держат в жалком положении. Они ходят в лохмотьях, полунагие и в отвратительной нечистоте. На иных видел я деревянные колодки. Вероятно, что аманаты, выпущенные на волю, не жалеют о своем пребывании во Владикавказе.

Пушка оставила нас. Мы отправились с пехотой и казаками. Кавказ нас принял в свое святилище. Мы услышали глухой шум и увидели Терек, разливающийся по разным направлениям. Мы поехали по его левому берегу. Шумные волны его приводят в движение колеса низеньких осетинских мельниц, похожих на собачьи конуры. Чем далее углублялись мы в горы, тем уже становилось ущелие. Стесненный Терек с ревом бросает свои мутные волны чрез утесы, преграждающие ему путь. Ущелие извивается вдоль его течения. Каменные подошвы гор обточены его волнами. Я шел пешком и поминутно останавливался, пораженный мрачною прелестию природы. Погода была пасмурная; облака тяжело тянулись около черных вершин. Граф Пушкин и Шернваль[10], смотря на Терек, воспоминали Иматру и отдавали преимущество *реке на Севере гремящей*[11]. Но я ни с чем не мог сравнить мне предстоявшего зрелища.

Не доходя до Ларса, я отстал от конвоя, засмотревшись на огромные скалы, между коими хлещет Терек с яростию неизъяснимой. Вдруг бежит ко мне солдат, крича мне издали: «Не останавливайтесь, ваше благородие, убьют!» Это предостережение с непривычки показалось мне чрезвычайно странным. Дело в том, что осетинские разбойники, безопасные в этом узком месте, стреляют через Терек в путешественников. Накануне нашего перехода они напали таким образом на генерала Бековича[12], проскакавшего сквозь их выстрелы. На скале видны развалины какого-то замка: они облеплены саклями мирных осетинцев, как будто гнездами ласточек.

В Ларсе остановились мы ночевать. Тут нашли мы путешественника француза, который напугал нас предстоящею дорогой. Он советовал нам бросить экипажи в Коби и ехать верхом. С ним выпили мы в первый раз кахетинского вина из вонючего *бурдюка*, воспоминая пирования Илиады:

И в козиих мехах вино, отраду нашу!

Здесь нашел я измаранный список «Кавказского пленника» и, признаюсь, перечел его с большим удовольствием. Все это слабо, молодо, неполно; но многое угадано и выражено верно.

На другой день поутру отправились мы далее. Турецкие пленники разработывали дорогу. Они жаловались на пищу, им выдаваемую. Они никак не могли привыкнуть к русскому черному хлебу. Это напомнило мне слова моего приятеля Шереметева по возвращении его из Парижа: «Худо, брат, жить в Париже: есть нечего; черного хлеба не допросишься!»

В семи верстах от Ларса находится Дариальский пост. Ущелье носит то же имя. Скалы с обеих сторон стоят параллельными стенами. Здесь так узко, так узко, пишет один путешественник, что не только видишь, но, кажется, чувствуешь тесноту. Клочок неба как лента синеет над вашей головою. Ручьи, падающие с горной высоты мелкими и разбрызганными струями, напоминали мне похищение Ганимеда, странную картину Рембрандта. К тому же и ущелье освещено совершенно в его вкусе. В иных местах Терек подмывает самую подошву скал, и на дороге, в виде плотины, навалены каменья. Недалеко от поста мостик смело переброшен через реку. На нем стоишь как на мельнице. Мостик весь так и трясется, а Терек шумит, как колеса, движущие жернов. Против Дариала на крутой скале видны развалины крепости. Предание гласит, что в ней скрывалась какая-то царица Дария, давшая имя свое ущелию: сказка. Дариал на древнем персидском языке значит ворота. По свидетельству Плиния, Кавказские врата, ошибочно называемые Каспийскими, находились здесь. Ущелье замкнуто было настоящими воротами, деревянными, окованными железом. Под ними, пи-

* …подобно отдыхающему воину в его боевом плаще (*англ.*).

шет Плиний, течет река Дириодорис. Тут была воздвигнута и крепость для удержания набегов диких племен; и проч. Смотрите путешествие графа И. Потоцкого, коего ученые изыскания столь же занимательны, как и испанские романы.

Из Дариала отправились мы к Казбеку. Мы увидели *Троицкие ворота* (арка, образованная в скале взрывом пороха) — под ними шла некогда дорога, а ныне протекает Терек, часто меняющий свое русло.

Недалеко от селения Казбек переехали мы через *Бешеную балку,* овраг, во время сильных дождей превращающийся в яростный поток. В это время он был совершенно сух и громок одним своим именем.

Деревня Казбек находится у подошвы горы Казбек и принадлежит князю Казбеку. Князь, мужчина лет сорока пяти, ростом выше преображенского флигельмана. Мы нашли его в духане (так называются грузинские харчевни, которые гораздо беднее и не чище русских). В дверях лежал пузастый бурдюк (воловий мех), растопыря свои четыре ноги. Великан тянул из него чихирь и сделал мне несколько вопросов, на которые отвечал я с почтением, подобаемым его званию и росту. Мы расстались большими приятелями.

Скоро притупляются впечатления. Едва прошли сутки, и уже рев Терека и его безобразные водопады, уже утесы и пропасти не привлекали моего внимания. Нетерпение доехать до Тифлиса исключительно овладело мною. Я столь же равнодушно ехал мимо Казбека, как некогда плыл мимо Чатырдага. Правда и то, что дождливая и туманная погода мешала мне видеть его снеговую груду, по выражению поэта, *подпирающую небосклон*.

Ждали персидского принца[13]. В некотором расстоянии от Казбека попались нам навстречу несколько колясок и затруднили узкую дорогу. Покамест экипажи разъезжались, конвойный офицер объявил нам, что он провожает придворного персидского поэта и, по моему желанию, представил меня Фазил-Хану. Я, с помощию переводчика, начал было высокопарное восточное приветствие; но как же мне стало совестно, когда Фазил-Хан отвечал на мою неуместную затейливость простою, умной учтивостию порядочного человека! «Он надеялся увидеть меня в Петербурге; он жалел, что знакомство наше будет непродолжительно и проч.». Со стыдом принужден я был оставить важно-шутливый тон и съехать на обыкновенные европейские фразы. Вот урок нашей русской насмешливости. Вперед не стану судить о человеке по его бараньей *папахе* и по крашеным ногтям.

Пост Коби находится у самой подошвы Крестовой горы, чрез которую предстоял нам переход. Мы тут остановились ночевать и стали думать, каким бы образом совершить сей ужасный подвиг: сесть ли, бросив экипажи, на казачьих лошадей, или послать за осетинскими волами? На всякий случай я написал от имени всего нашего каравана официальную просьбу к г. Чиляеву[14], начальствующему в здешней стороне, и мы легли спать в ожидании подвод.

На другой день около 12-ти часов услышали мы шум, крики и увидели зрелище необыкновенное: 18 пар тощих малорослых волов, понуждаемых толпою полунагих осетинцев, насилу тащили легкую венскую коляску приятеля моего О ***. Это зрелище тотчас рассеяло все мои сомнения. Я решился отправить мою тяжелую петербургскую коляску обратно во Владикавказ и ехать верхом до Тифлиса. Граф Пушкин не хотел следовать моему примеру. Он предпочел впрячь целое стадо волов в свою бричку, нагруженную запасами всякого рода, и с торжеством переехать через снеговой хребет. Мы расстались, и я поехал с полковником Огаревым[15], осматривающим здешние дороги.

Дорога шла через обвал[16], обрушившийся в конце июня 1827 года. Таковые случаи бывают обыкновенно каждые семь лет. Огромная глыба, свалясь, засыпала ущелие на целую версту и запрудила Терек. Часовые, стоявшие ниже, слышали ужасный грохот и увидели, что река быстро мелела и в четверть часа совсем утихла и истощилась. Терек прорылся сквозь обвал не прежде, как через два часа. То-то был он ужасен!

Мы круто подымались выше и выше. Лошади наши вязли в рыхлом снегу, под которым шумели ручьи. Я с удивлением смотрел на дорогу и не понимал возможности езды на колесах.

В это время услышал я глухой грохот. «Это обвал», — сказал мне г. Огарев. Я оглянулся и увидел в стороне груду снега, которая осыпалась и медленно съезжала с крутизны. Малые обвалы здесь не редки. В прошлом году русский извозчик ехал по Крестовой горе. Обвал оборвался; страшная глыба свалилась на его повозку, поглотила телегу, лошадь и мужика, перевалилась через дорогу и покатилась в пропасть с своею добычею. Мы достигли самой вершины горы. Здесь поставлен гранитный крест, старый памятник, обновленный Ермоловым.

Здесь путешественники обыкновенно выходят из экипажей и идут пешком. Недавно проезжал какой-то иностранный консул: он так был слаб, что велел завязать себе глаза; его вели под руки, и когда сняли с него повязку, тогда он стал на колени, благодарил бога и проч., что очень изумило проводников.

Мгновенный переход от грозного Кавказа к миловидной Грузии восхитителен. Воздух юга вдруг начинает повевать на путешественника. С высоты Гут-горы открывается Кайшаурская долина с ее обитаемыми скалами, с ее садами, с ее светлой Арагвой, извивающейся, как серебряная лента, — и все это в уменьшенном виде, на дне трехверстной пропасти, по которой идет опасная дорога.

Мы спускались в долину. Молодой месяц показался на ясном небе. Вечерний воздух был тих и тепел. Я ночевал на берегу Арагвы, в доме г. Чиляева[17]. На другой день я расстался с любезным хозяином и отправился далее.

Здесь начинается Грузия. Светлые долины, орошаемые веселой Арагвою, сменили мрачные ущелия и грозный Терек. Вместо голых утесов я видел около себя зеленые горы и плодоносные деревья. Водопроводы доказывали присутствие образованности. Один из них поразил меня совершенством оптического обмана: вода, кажется, имеет свое течение по горе снизу вверх.

В Пайсанауре остановился я для перемены лошадей. Тут я встретил русского офицера, провожающего персидского принца. Вскоре услышал я звук колокольчиков, и целый ряд катаров (мулов), привязанных один к другому и навьюченных по-азиатски, потянулся по дороге. Я пошел пешком, не дождавшись лошадей; и в полверсте от Ананура, на повороте дороги, встретил Хозрев-Мирзу[18]. Экипажи его стояли. Сам он выглянул из своей коляски и кивнул мне головою. Несколько часов после нашей встречи на принца напали горцы. Услыша свист пуль, Хозрев выскочил из своей коляски, сел на лошадь и ускакал. Русские, бывшие при нем, удивились его смелости. Дело в том, что молодой азиатец, не привыкший к коляске, видел в ней скорее западню, нежели убежище.

Я дошел до Ананура, не чувствуя усталости. Лошади мои не приходили. Мне сказали, что до города Душета оставалось не более как десять верст, и я опять отправился пешком. Но я не знал, что дорога шла в гору. Эти десять верст стоили добрых двадцати.

Наступил вечер; я шел вперед, подымаясь все выше и выше. С дороги сбиться было невозможно; но местами глинистая грязь, образуемая источниками, доходила мне до колена. Я совершенно утомился. Темнота увеличилась. Я слышал вой и лай собак и радовался, воображая, что город недалеко. Но ошибался: лаяли собаки грузинских пастухов, а выли шакалы, звери в той стороне обыкновенные. Я проклинал свое нетерпение, но делать было нечего. Наконец увидел я огни и около полуночи очутился у домов, осененных деревьями. Первый встречный вызвался провести меня к городничему и потребовал за то с меня *абаз.*

Появление мое у городничего, старого офицера из грузин, произвело большое действие. Я требовал, во-первых, комнаты, где бы мог раздеться, во-вторых, — стакана вина, в-третьих, — абаза для моего провожатого. Городничий не знал, как меня принять, и посматривал на меня с недоумением. Видя, что он не торопится исполнить мои просьбы, я стал перед ним раздеваться, прося извинения de la liberté grande*. К счастию, нашел я в кармане подорожную, доказывавшую, что я мирный путешественник, а не Ринальдо-Ринальдини. Благословенная хартия возымела тотчас свое действие: комната была мне отведена, стакан вина принесен и абаз выдан моему проводнику с отеческим выговором за его корыстолюбие, оскорбительное для грузинского гостеприимства. Я бросился на диван, надеясь после моего подвига заснуть богатырским сном: не тут-то было! блохи, которые гораздо опаснее шакалов, напали на меня и во всю ночь не дали мне покою. Поутру явился ко мне мой человек и объявил, что граф Пушкин благополучно переправился на волах через снеговые горы и прибыл в Душет. Нужно было мне торопиться! Граф Пушкин и Шернваль посетили меня и предложили опять отправиться вместе в дорогу. Я оставил Душет с приятной мыслию, что ночую в Тифлисе.

Дорога была так же приятна и живописна, хотя редко видели мы следы народонаселения. В нескольких верстах от Гарцискала[19] мы переправились через Куру по древнему мосту, памятнику римских походов, и крупной рысью, а иногда и вскачь, поехали к Тифлису, в котором неприметным образом и очутились часу в одиннадцатом вечера.

Глава вторая

Тифлис. Народные бани. Безносый Гассан. Нравы грузинские. Песни. Кахетинское вино. Причина жаров. Дороговизна. Описание города. Отъезд из Тифлиса. Грузинская ночь. Вид Армении. Двойной переход. Армянская деревня. Гергеры. Грибоедов. Безобдал. Минеральный ключ. Буря в горах. Ночлег в Гумрах. Арарат. Граница. Турецкое гостеприимство. Карс. Армянская семья. Выезд из Карса. Лагерь графа Паскевича.

Я остановился в трактире, на другой день отправился в славные тифлисские бани. Город показался мне многолюден. Азиатские строения и базар напомнили мне Кишинев. По узким и кривым улицам бежали ослы с перекидными корзинами; арбы, запряженные волами, перегорожали дорогу. Армяне, грузинцы, черкесы, персияне теснились на неправильной площади; между ими молодые русские чиновники разъезжали верхами на карабахских жеребцах. При входе в бани сидел содержатель, старый персиянин. Он отворил мне дверь, я вошел в обширную комнату и что же увидел? Более пятидесяти женщин, молодых и старых, полуодетых и вовсе неодетых, сидя и стоя раздева-

* за такую великую вольность (*франц.*).

лись, одевались на лавках, расставленных около стен. Я остановился. «Пойдем, пойдем, — сказал мне хозяин, — сегодня вторник: женский день. Ничего, не беда». — «Конечно не беда, — отвечал я ему, — напротив». Появление мужчин не произвело никакого впечатления. Они продолжали смеяться и разговаривать между собою. Ни одна не поторопилась покрыться своею *чадрою*; ни одна не перестала раздеваться. Казалось, я вошел невидимкой. Многие из них были в самом деле прекрасны и оправдывали воображение Т. Мура:

a lovely Georgian maid,
With all the bloom, the freshen'd glow
Of her own country maiden's looks,
When warm they rise from Teflis' brooks.
*Lalla Rookh.**

Зато не знаю ничего отвратительнее грузинских старух: это ведьмы.

Персиянин ввел меня в бани: горячий, железо-серный источник лился в глубокую ванну, иссеченную в скале. Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань. Опишу их подробно.

Хозяин оставил меня на попечение татарину-банщику. Я должен признаться, что он был без носу; это не мешало ему быть мастером своего дела. Гассан (так назывался безносый татарин) начал с того, что разложил меня на теплом каменном полу; после чего начал он ломать мне члены, вытягивать составы, бить меня сильно кулаком; я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение. (Азиатские банщики приходят иногда в восторг, вспрыгивают вам на плечи, скользят ногами по бедрам и пляшут по спине вприсядку, *e sempre bene***). После сего долго тер он меня шерстяною рукавицей и, сильно оплескав теплой водою, стал умывать намыленным полотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое: горячее мыло обливает вас как воздух! NB: шерстяная рукавица и полотняный пузырь непременно должны быть приняты в русской бане: знатоки будут благодарны за таковое нововведение.

После пузыря Гассан отпустил меня в ванну; тем и кончилась церемония.

В Тифлисе надеялся я найти Раевского[20], но узнав, что полк его уже выступил в поход, я решился просить у графа Паскевича позволения приехать в армию.

В Тифлисе пробыл я около двух недель и познакомился с тамошним обществом. Санковский[21], издатель «Тифлисских ведомостей», рассказывал мне много любопытного о здешнем крае, о князе Цицианове, об А.П. Ермолове и проч. Санковский любит Грузию и предвидит для нее блестящую будущность.

Грузия прибегнула под покровительство России в 1783 году, что не помешало славному Аге-Мохамеду взять и разорить Тифлис и 20000 жителей увести в плен (1795 г.). Грузия перешла под скипетр императора Александра в 1802 г. Грузины народ воинственный. Они доказали свою храбрость под нашими знаменами. Их умственные способности ожидают большей образованности. Они вообще нрава веселого и общежительного. По праздникам мужчины пьют и гуляют по улицам. Черноглазые мальчики поют, прыгают и кувыркаются; женщины пляшут лезгинку.

Голос песен грузинских приятен. Мне перевели одну из них слово в слово; она, кажется, сложена в новейшее время; в ней есть какая-то восточная бессмыслица, имеющая свое поэтическое достоинство. Вот вам она:

Душа, недавно рожденная в раю! Душа, созданная для моего счастия!
от тебя, бессмертная, ожидаю жизни.

От тебя, весна цветущая, луна двунедельная, от тебя, ангел мой хранитель,
от тебя ожидаю жизни.

Ты сияешь лицом и веселишь улыбкою. Не хочу обладать миром; хочу твоего взора.
От тебя ожидаю жизни.

Горная роза, освеженная росою! Избранная любимица природы! Тихое, потаенное сокровище!
от тебя ожидаю жизни.

Грузины пьют не по-нашему и удивительно крепки. Вины их не терпят вывоза и скоро портятся, но на месте они прекрасны. Кахетинское и карабахское стоят некоторых бургонских. Вино дер-

* прелестная грузинская дева с ярким румянцем и свежим пыланьем, какое бывает на лицах дев ее страны, когда они выходят разгоряченные из Тифлисских ключей. Лалла Рук (*англ.*).
** и отлично (*итал.*).

жат в *маранах*, огромных кувшинах, зарытых в землю. Их открывают с торжественными обрядами. Недавно русский драгун, тайно отрыв таковой кувшин, упал в него и утонул в кахетинском вине, как несчастный Кларенс в бочке малаги.

Тифлис находится на берегах Куры в долине, окруженной каменистыми горами. Они укрывают его со всех сторон от ветров и, раскалясь на солнце, не нагревают, а кипятят недвижный воздух. Вот причина нестерпимых жаров, царствующих в Тифлисе, несмотря на то, что город находится только еще под сорок первым градусом широты. Самое его название *(Тбилискалар*[22]*)* значит Жаркий город.

Большая часть города выстроена по-азиатски: дома низкие, кровли плоские. В северной части возвышаются дома европейской архитектуры, и около них начинают образоваться правильные площади. Базар разделяется на несколько рядов; лавки полны турецких и персидских товаров, довольно дешевых, если принять в рассуждение всеобщую дороговизну. Оружие тифлисское дорого ценится на всем Востоке. Граф Самойлов[23] и В., прослывшие здесь богатырями, обыкновенно пробовали свои новые шашки, с одного маху перерубая надвое барана или отсекая голову быку.

В Тифлисе главную часть народонаселения составляют армяне: в 1825 году было их здесь до 2500 семейств. Во время нынешних войн число их еще умножилось. Грузинских семейств считается до 1500. Русские не считают себя здешними жителями. Военные, повинуясь долгу, живут в Грузии, потому что так им велено. Молодые титулярные советники приезжают сюда за чином асессорским, толико вожделенным. Те и другие смотрят на Грузию как на изгнание.

Климат тифлисский, сказывают, нездоров. Здешние горячки ужасны; их лечат меркурием, коего употребление безвредно по причине жаров. Лекаря кормят им своих больных безо всякой совести. Генерал Синягин[24], говорят, умер оттого, что его домовый лекарь, приехавший с ним из Петербурга, испугался приема, предлагаемого тамошними докторами, и не дал оного больному. Здешние лихорадки похожи на крымские и молдавские и лечатся одинаково.

Жители пьют курскую воду, мутную, но приятную. Во всех источниках и колодцах вода сильно отзывается серой. Впрочем, вино здесь в таком общем употреблении, что недостаток в воде был бы незаметен.

В Тифлисе удивила меня дешевизна денег. Переехав на извозчике через две улицы и отпустив его через полчаса, я должен был заплатить два рубля серебром. Я сперва думал, что он хотел воспользоваться незнанием новоприезжего; но мне сказали, что цена точно такова. Все прочее дорого в соразмерности.

Мы ездили в немецкую колонию и там обедали. Пили там делаемое пиво, вкусу очень неприятного, и заплатили очень дорого за очень плохой обед. В моем трактире кормили меня так же дорого и дурно. Генерал Стрекалов[25], известный гастроном, позвал однажды меня отобедать; по несчастию, у него разносили кушанья по чинам, а за столом сидели английские офицеры в генеральских эполетах. Слуги так усердно меня обносили, что я встал из-за стола голодный. Черт побери тифлисского гастронома!

Я с нетерпением ожидал разрешения моей участи. Наконец получил записку от Раевского[26]. Он писал мне, чтобы я спешил к Карсу, потому что через несколько дней войско должно было идти далее. Я выехал на другой же день.

Я ехал верхом, переменяя лошадей на казачьих постах. Вокруг меня земля была опалена зноем. Грузинские деревни издали казались мне прекрасными садами, но, подъезжая к ним, видел я несколько бедных сакель, осененных пыльными тополями. Солнце село, но воздух все еще был душен:

Ночи знойные!
Звезды чуждые!..

Луна сияла; все было тихо; топот моей лошади один раздавался в ночном безмолвии. Я ехал долго, не встречая признаков жилья. Наконец увидел уединенную саклю. Я стал стучаться в дверь. Вышел хозяин. Я попросил воды сперва по-русски, а потом по-татарски. Он меня не понял. Удивительная беспечность! в тридцати верстах от Тифлиса и на дороге в Персию и Турцию он не знал ни слова ни по-русски, ни по-татарски.

Переночевав на казачьем посту, на рассвете отправился я далее. Дорога шла горами и лесом. Я встретил путешествующих татар; между ими было несколько женщин. Они сидели верхами, окутанные в чадры; видны были у них только глаза да каблуки.

Я стал подыматься на Безобдал[27], гору, отделяющую Грузию от древней Армении. Широкая дорога, осененная деревьями, извивается около горы. На вершине Безобдала я проехал сквозь малое ущелие, называемое, кажется, Волчьими Воротами, и очутился на естественной границе Грузии. Мне представились новые горы, новый горизонт; подо мною расстилались злачные зеленые нивы. Я взглянул еще раз на опаленную Грузию и стал спускаться по отлогому склонению горы к свежим равнинам Армении. С неописанным удовольствием заметил я, что зной вдруг уменьшился: климат был уже другой.

Человек мой со вьючными лошадьми от меня отстал. Я ехал один в цветущей пустыне, окруженной издали горами. В рассеянности проехал я мимо поста, где должен был переменить лошадей. Прошло более шести часов, и я начал удивляться пространству перехода. Я увидел в стороне груды камней, похожие на сакли, и отправился к ним. В самом деле я приехал в армянскую деревню. Несколько женщин в пестрых лохмотьях сидели на плоской кровле подземной сакли. Я изъяснился кое-как. Одна из них сошла в саклю и вынесла мне сыру и молока. Отдохнув несколько минут, я пустился далее и на высоком берегу реки увидел против себя крепость Гергеры. Три потока с шумом и пеной низвергались с высокого берега. Я переехал через реку. Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. «Откуда вы?» — спросил я их. «Из Тегерана». — «Что вы везете?» — *«Грибоеда».* Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис.

Не думал я встретить уже когда-нибудь нашего Грибоедова! Я расстался с ним в прошлом году в Петербурге пред отъездом его в Персию. Он был печален и имел странные предчувствия. Я было хотел его успокоить; он мне сказал: «Vous ne connaissez pas ces gens-là: vous verrez qu'il faudra jouer des couteaux»*. Он полагал, что причиною кровопролития будет смерть шаха и междуусобица его семидесяти сыновей. Но престарелый шах еще жив, а пророческие слова Грибоедова сбылись. Он погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства. Обезображенный труп его, бывший три дня игралищем тегеранской черни, узнан был только по руке, некогда простреленной пистолетною пулею.

Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, — все в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении. Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случалось им говорить о нем как о человеке необыкновенном. Люди верят только славе и не понимают, что между ими может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в «Московском телеграфе». Впрочем, уважение наше к славе происходит, может быть, от самолюбия: в состав славы входит ведь и наш голос.

Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств. Он почувствовал необходимость расчесться единожды навсегда со своею молодостию и круто поворотить свою жизнь. Он простился с Петербургом и с праздной рассеянностию, уехал в Грузию, где пробыл осемь лет в уединенных, неусыпных занятиях. Возвращение его в Москву в 1824 году было переворотом в его судьбе и началом беспрерывных успехов. Его рукописная комедия: «Горе от ума» произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами. Несколько времени потом совершенное знание того края, где начиналась война, открыло ему новое поприще; он назначен был посланником. Приехав в Грузию, женился он на той, которую любил… Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновения и прекрасна.

Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны…

В Гергерах встретил я Бутурлина[28], который, как и я, ехал в армию. Бутурлин путешествовал со всевозможными прихотями. Я отобедал у него, как бы в Петербурге. Мы положили путешествовать вместе; но демон нетерпения опять мною овладел. Человек мой просил у меня позволения отдохнуть. Я отправился один даже без проводника. Дорога все была одна и совершенно безопасна.

Переехав через гору и спустясь в долину, осененную деревьями, я увидел минеральный ключ, текущий поперек дороги. Здесь я встретил армянского попа, ехавшего в Ахалцык из Эривани. «Что нового в Эривани?» — спросил я его. «В Эривани чума, — отвечал он, — а что слыхать об Ахалцыке?» — «В Ахалцыке чума», — отвечал я ему. Обменявшись сими приятными известиями, мы расстались.

Я ехал посреди плодоносных нив и цветущих лугов. Жатва струилась, ожидая серпа. Я любовался прекрасной землею, коей плодородие вошло на Востоке в пословицу. К вечеру прибыл я в Пернике. Здесь был казачий пост. Урядник предсказывал мне бурю и советовал остаться ночевать, но я хотел непременно в тот же день достигнуть Гумров[29].

Мне предстоял переход через невысокие горы, естественную границу Карского пашалыка. Небо покрыто было тучами; я надеялся, что ветер, который час от часу усиливался, их разгонит.

* Вы еще не знаете этих людей: вы увидите, что дело дойдет до ножей (*франц.*).

Но дождь стал накрапывать и шел все крупнее и чаще. От Пернике до Гумров считается 27 верст. Я затянул ремни моей бурки, надел башлык на картуз и поручил себя провидению.

Прошло более двух часов. Дождь не переставал. Вода ручьями лилась с моей отяжелевшей бурки и с башлыка, напитанного дождем. Наконец холодная струя начала пробираться мне за галстук, и вскоре дождь промочил меня до последней нитки. Ночь была темная; казак ехал впереди, указывая дорогу. Мы стали подыматься на горы, между тем дождь перестал и тучи рассеялись. До Гумров оставалось верст десять. Ветер, дуя на свободе, был так силен, что в четверть часа высушил меня совершенно. Я не думал избежать горячки. Наконец я достигнул Гумров около полуночи. Казак привез меня прямо к посту. Мы остановились у палатки, куда спешил я войти. Тут нашел я двенадцать казаков, спящих один возле другого. Мне дали место; я повалился на бурку, не чувствуя сам себя от усталости. В этот день проехал я 75 верст. Я заснул как убитый.

Казаки разбудили меня на заре. Первою моею мыслию было: не лежу ли я в лихорадке. Но почувствовал, что слава богу бодр, здоров; не было следа не только болезни, но и усталости. Я вышел из палатки на свежий утренний воздух. Солнце всходило. На ясном небе белела снеговая, двуглавая гора. «Что за гора?» — спросил я, потягиваясь, и услышал в ответ: «Это Арарат». Как сильно действие звуков! Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни — и врана и голубицу, излетающих, символы казни и примирения…

Лошадь моя была готова. Я поехал с проводником. Утро было прекрасное. Солнце сияло. Мы ехали по широкому лугу, по густой зеленой траве, орошенной росою и каплями вчерашнего дождя. Перед нами блистала речка, через которую должны мы были переправиться. «Вот и Арпачай», — сказал мне казак. Арпачай! наша граница! Это стоило Арарата. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моею любимою мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван: я все еще находился в России.

До Карса оставалось мне еще 75 верст. К вечеру надеялся я увидеть наш лагерь. Я нигде не останавливался. На половине дороги, в армянской деревне, выстроенной в горах на берегу речки, вместо обеда съел я проклятый *чюрек,* армянский хлеб, испеченный в виде лепешки пополам с золою, о котором так тужили турецкие пленники в Дариальском ущелии. Дорого бы я дал за кусок русского черного хлеба, который был им так противен. Меня провожал молодой турок, ужасный говорун. Он во всю дорогу болтал по-турецки, не заботясь о том, понимал ли я его, или нет. Я напрягал внимание и старался угадать его. Казалось, он побранивал русских и, привыкнув видеть всех их в мундирах, по платью принимал меня за иностранца. Навстречу нам попался русский офицер. Он ехал из нашего лагеря и объявил мне, что армия выступила уже из-под Карса. Не могу описать моего отчаяния: мысль, что мне должно будет возвратиться в Тифлис, измучась понапрасну в пустынной Армении, совершенно убивала меня. Офицер поехал в свою сторону; турок начал опять свой монолог; но уже мне было не до него. Я переменил иноходь на крупную рысь и вечером приехал в турецкую деревню, находящуюся в двадцати верстах от Карса.

Соскочив с лошади, я хотел войти в первую саклю, но в дверях показался хозяин и оттолкнул меня с бранию. Я отвечал на его приветствие нагайкою. Турок раскричался; народ собрался. Проводник мой, кажется, за меня заступился. Мне указали караван-сарай; я вошел в большую саклю, похожую на хлев; не было места, где бы я мог разостлать бурку. Я стал требовать лошадь. Ко мне явился турецкий старшина. На все его непонятные речи отвечал я одно: *вербана ат* (дай мне лошадь). Турки не соглашались. Наконец я догадался показать им деньги (с чего надлежало бы мне начать). Лошадь тотчас была приведена, и мне дали проводника.

Я поехал по широкой долине, окруженной горами. Вскоре увидел я Карс, белеющийся на одной из них. Турок мой указывал мне на него, повторяя: *Карс, Карс!* и пускал вскачь свою лошадь; я следовал за ним, мучась беспокойством: участь моя должна была решиться в Карсе. Здесь должен я был узнать, где находится наш лагерь и будет ли еще мне возможность догнать армию. Между тем небо покрылось тучами и дождь пошел опять; но я об нем уж не заботился.

Мы въехали в Карс. Подъезжая к воротам стены, услышал я русский барабан: били зорю. Часовой принял от меня билет и отправился к коменданту. Я стоял под дождем около получаса. Наконец меня пропустили. Я велел проводнику вести меня прямо в бани. Мы поехали по кривым и крутым улицам; лошади скользили по дурной турецкой мостовой. Мы остановились у одного дома, довольно плохой наружности. Это были бани. Турок слез с лошади и стал стучаться у дверей. Никто не отвечал. Дождь ливмя лил на меня. Наконец из ближнего дома вышел молодой армянин и, переговоря с моим турком, позвал меня к себе, изъясняясь на довольно чистом русском языке. Он повел меня по узкой лестнице во второе жилье своего дома. В комнате, убранной низкими диванами и ветхими коврами, сидела старуха, его мать. Она подошла ко мне и поцеловала мне руку. Сын велел ей разложить огонь и приготовить мне ужин. Я разделся и сел перед огнем. Вошел меньший брат хозяина, мальчик лет семнадцати. Оба брата бывали в Тифлисе и живали в нем по нескольку месяцев. Они сказали мне, что войска наши выступили накануне и что лагерь наш находится в 25 верстах от Карса.

Я успокоился совершенно. Скоро старуха приготовила мне баранину с луком, которая показалась мне верхом поваренного искусства. Мы все легли спать в одной комнате; я разлегся противу угасающего камина и заснул в приятной надежде увидеть на другой день лагерь графа Паскевича.

Поутру пошел я осматривать город. Младший из моих хозяев взялся быть моим чичероном. Осматривая укрепления и цитадель, выстроенную на неприступной скале, я не понимал, каким образом мы могли овладеть Карсом. Мой армянин толковал мне как умел военные действия, коим сам он был свидетелем. Заметя в нем охоту к войне, я предложил ему ехать со мною в армию. Он тотчас согласился. Я послал его за лошадьми. Он явился вместе с офицером, который потребовал от меня письменного предписания. Судя по азиатским чертам его лица, не почел я за нужное рыться в моих бумагах и вынул из кармана первый попавшийся мне листок. Офицер, важно его рассмотрев, тотчас велел привести его благородию лошадей по предписанию и возвратил мне мою бумагу; это было послание к калмычке, намаранное мною на одной из кавказских станций. Через полчаса выехал я из Карса, и Артемий (так назывался мой армянин) уже скакал подле меня на турецком жеребце с гибким куртинским дротиком в руке, с кинжалом за поясом, и бредя о турках и сражениях.

Я ехал по земле, везде засеянной хлебом; кругом видны были деревни, но они были пусты: жители разбежались. Дорога была прекрасна и в топких местах вымощена — через ручьи выстроены были каменные мосты. Земля приметно возвышалась — передовые холмы хребта Саган-лу, древнего Тавра, начинали появляться. Прошло около двух часов; я взъехал на отлогое возвышение и вдруг увидел наш лагерь, расположенный на берегу Карс-чая; через несколько минут я был уже в палатке Раевского.

Глава третья

Переход через Саган-лу. Перестрелка. Лагерная жизнь. Язиды. Сражение с сераскиром арзрумским. Взорванная сакля.

Я приехал вовремя. В тот же день (13 июня) войско получило повеление идти вперед. Обедая у Раевского, слушал я молодых генералов, рассуждавших о движении, им предписанном. Генерал Бурцов[30] отряжен был влево по большой Арзрумской дороге прямо противу турецкого лагеря, между тем как все прочее войско должно было идти правою стороною в обход неприятелю.

В пятом часу войско выступило. Я ехал с Нижегородским драгунским полком, разговаривая с Раевским, с которым уж несколько лет не видался. Настала ночь; мы остановились в долине, где все войско имело привал. Здесь имел я честь быть представлен графу Паскевичу.

Я нашел графа дома перед бивачным огнем, окруженного своим штабом. Он был весел и принял меня ласково. Чуждый военному искусству, я не подозревал, что участь похода решалась в эту минуту. Здесь увидел я нашего Вольховского[31], запыленного с ног до головы, обросшего бородой, изнуренного заботами. Он нашел, однако, время побеседовать со мною как старый товарищ. Здесь увидел я и Михаила Пущина[32], раненного в прошлом году. Он любим и уважаем как славный товарищ и храбрый солдат. Многие из старых моих приятелей окружили меня. Как они переменились! как быстро уходит время!

Heu! fugaces, Posthume, Posthume,
Labuntur anni...*

Я воротился к Раевскому и ночевал в его палатке. Посреди ночи разбудили меня ужасные крики: можно было подумать, что неприятель сделал нечаянное нападение. Раевский послал узнать причину тревоги: несколько татарских лошадей, сорвавшихся с привязи, бегали по лагерю, и мусульмане (так зовутся татаре, служащие в нашем войске) их ловили.

На заре войско двинулось вперед. Мы подъехали к горам, поросшим лесом. Мы въехали в ущелие. Драгуны говорили между собою: «Смотри, брат, держись: как раз картечью хватят». В самом деле местоположение благоприятствовало засадам; но турки, отвлеченные в другую сторону движением генерала Бурцова, не воспользовались своими выгодами. Мы благополучно прошли опасное ущелие и стали на высотах Саган-лу в десяти верстах от неприятельского лагеря.

Природа около нас была угрюма. Воздух был холоден, горы покрыты печальными соснами. Снег лежал в оврагах.

...nec Armeniis in oris,
Amice Valgi, stat glacies iners
Menses per omnes...**

* Увы, о Постум, Постум, быстротечные мчатся годы... (*лат.*)
** ...и армянская земля, друг Вальгий, не круглый год покрыта неподвижным льдом... (*лат.*)

Только успели мы отдохнуть и отобедать, как услышали ружейные выстрелы. Раевский послал осведомиться. Ему донесли, что турки завязали перестрелку на передовых наших пикетах. Я поехал с Семичевым[33] посмотреть новую для меня картину. Мы встретили раненого казака: он сидел, шатаясь на седле, бледен и окровавлен. Два казака поддерживали его. «Много ли турков?» — спросил Семичев. «Свиньем валит, ваше благородие», — отвечал один из них. Проехав ущелие, вдруг увидели мы на склонении противуположной горы до 200 казаков, выстроенных в лаву, и над ними около 500 турков. Казаки отступали медленно; турки наезжали с большею дерзостию, прицеливались шагах в 20 и, выстрелив, скакали назад. Их высокие чалмы, красивые долиманы и блестящий убор коней составляли резкую противуположность с синими мундирами и простою сбруей казаков. Человек 15 наших было уже ранено. Подполковник Басов[34] послал за подмогой. В это время сам он был ранен в ногу. Казаки было смешались. Но Басов опять сел на лошадь и остался при своей команде. Подкрепление подоспело. Турки, заметив его, тотчас исчезли, оставя на горе голый труп казака, обезглавленный и обрубленный. Турки отсеченные головы отсылают в Константинополь, а кисти рук, обмакнув в крови, отпечатлевают на своих знаменах. Выстрелы утихли. Орлы, спутники войск, поднялися над горою, с высоты высматривая себе добычу. В это время показалась толпа генералов и офицеров: граф Паскевич приехал и отправился на гору, за которою скрылись турки. Они были подкреплены 4000 конницы, скрытой в лощине и в оврагах. С высоты горы открылся нам турецкий лагерь, отделенный от нас оврагами и высотами. Мы возвратились поздно. Проезжая нашим лагерем, я видел наших раненых, из коих человек пять умерло в ту же ночь и на другой день. Вечером навестил я молодого Остен-Сакена[36], раненного в тот же день в другом сражении.

Лагерная жизнь очень мне нравилась. Пушка подымала нас на заре. Сон в палатке удивительно здоров. За обедом запивали мы азиатский шашлык английским пивом и шампанским, застывшим в снегах таврийских. Общество наше было разнообразно. В палатке генерала Раевского собирались беки мусульманских полков; и беседа шла через переводчика. В войске нашем находились и народы закавказских наших областей, и жители земель, недавно завоеванных. Между ими с любопытством смотрел я на язидов, слывущих на Востоке дьяволопоклонниками. Около 300 семейств обитают у подошвы Арарата. Они признали владычество русского государя. Начальник их, высокий, уродливый мужчина в красном плаще и черной шапке, приходил иногда с поклоном к генералу Раевскому, начальнику всей конницы. Я старался узнать от язида правду о их вероисповедании. На мои вопросы отвечал он, что молва, будто бы язиды поклоняются сатане, есть пустая баснь; что они веруют в единого бога; что по их закону проклинать дьявола, правда, почитается неприличным и неблагородным, ибо он теперь несчастлив, но со временем может быть прощен, ибо нельзя положить пределов милосердию аллаха. Это объяснение меня успокоило. Я очень рад был за язидов, что они сатане не поклоняются; и заблуждения их показались мне уже гораздо простительнее.

Человек мой явился в лагерь через три дня после меня. Он приехал вместе с вагенбургом, который в виду неприятеля благополучно соединился с армией. NB: во все время похода ни одна арба из многочисленного нашего обоза не была захвачена неприятелем. Порядок, с каковым обоз следовал за войском, в самом деле удивителен.

17 июня утром услышали вновь мы перестрелку и через два часа увидели карабахский полк возвращающимся с осмью турецкими знаменами: полковник Фридерикс[36] имел дело с неприятелем, засевшим за каменными завалами, вытеснил его и прогнал; Осман-паша, начальствовавший конницей, едва успел спастись.

18 июня лагерь передвинулся на другое место. 19-го, едва пушка разбудила нас, все в лагере пришло в движение. Генералы поехали к своим постам. Полки строились; офицеры становились у своих взводов. Я остался один, не зная, в которую сторону ехать, и пустил лошадь на волю божию. Я встретил генерала Бурцова, который звал меня на левый фланг. «Что такое левый фланг?» — подумал я и поехал далее. Я увидел генерала Муравьева[37], расставлявшего пушки. Вскоре показались делибаши и закружились в долине, перестреливаясь с нашими казаками. Между тем густая толпа их пехоты шла по лощине. Генерал Муравьев приказал стрелять. Картечь хватила в самую середину толпы. Турки попалили в сторону и скрылись за возвышением. Я увидел графа Паскевича, окруженного своим штабом. Турки обходили наше войско, отделенное от них глубоким оврагом. Граф послал Пущина[38] осмотреть овраг. Пущин поскакал. Турки приняли его за наездника и дали по нем залп. Все засмеялись. Граф велел выставить пушки и палить. Неприятель рассыпался по горе и по лощине. На левом фланге, куда звал меня Бурцов, происходило жаркое дело. Перед нами (противу центра) скакала турецкая конница. Граф послал против нее генерала Раевского, который повел в атаку свой Нижегородский полк. Турки исчезли. Татаре наши окружали их раненых и проворно раздевали, оставляя нагих посреди поля. Генерал Раевский остановился на краю оврага. Два эскадрона, отделясь от полка, занеслись в своем преследовании; они были выручены полковником Симоничем[39].

Сражение утихло; турки у нас в глазах начали копать землю и таскать каменья, укрепляясь по своему обыкновению. Их оставили в покое. Мы слезли с лошадей и стали обедать чем бог послал. В это время к графу привели нескольких пленников. Один из них был жестоко ранен. Их расспросили. Около шестого часу войска опять получили приказ идти на неприятеля. Турки зашевелились за своими завалами, приняли нас пушечными выстрелами и вскоре зачали отступать. Конница наша

была впереди; мы стали спускаться в овраг; земля обрывалась и сыпалась под конскими ногами. Поминутно лошадь моя могла упасть, и тогда Сводный уланский полк переехал бы через меня. Однако бог вынес. Едва выбрались мы на широкую дорогу, идущую горами, как вся наша конница поскакала во весь опор. Турки бежали; казаки стегали нагайками пушки, брошенные на дороге, и неслись мимо. Турки бросались в овраги, находящиеся по обеим сторонам дороги; они уже не стреляли; по крайней мере ни одна пуля не просвистала мимо моих ушей. Первые в преследовании были наши татарские полки, коих лошади отличаются быстротою и силою. Лошадь моя, закусив повода, от них не отставала; я насилу мог ее сдержать. Она остановилась перед трупом молодого турка, лежавшим поперек дороги. Ему, казалось, было лет 18, бледное девическое лицо не было обезображено. Чалма его валялась в пыли; обритый затылок прострелен был пулею. Я поехал шагом; вскоре нагнал меня Раевский. Он написал карандашом на клочке бумаги донесение графу Паскевичу о совершенном поражении неприятеля и поехал далее. Я следовал за ним издали. Настала ночь. Усталая лошадь моя отставала и спотыкалась на каждом шагу. Граф Паскевич повелел не прекращать преследования и сам им управлял. Меня обгоняли конные наши отряды; я увидел полковника Полякова, начальника казацкой артиллерии, игравшей в тот день важную роль, и с ним вместе прибыл в оставленное селение, где остановился граф Паскевич, прекративший преследование по причине наступившей ночи.

Мы нашли графа на кровле подземной сакли перед огнем. К нему приводили пленных. Он их расспрашивал. Тут находились и почти все начальники. Казаки держали в поводьях их лошадей. Огонь освещал картину, достойную Сальватора-Розы, речка шумела во мраке. В это время донесли графу, что в деревне спрятаны пороховые запасы и что должно опасаться взрыва. Граф оставил саклю со всею своею свитою. Мы поехали к нашему лагерю, находившемуся уже в 30 верстах от места, где мы ночевали. Дорога полна была конных отрядов. Только успели мы прибыть на место, как вдруг небо осветилось, как будто метеором, и мы услышали глухой взрыв. Сакля, оставленная нами назад тому четверть часа, взорвана была на воздух: в ней находился пороховой запас. Разметанные камни задавили нескольких казаков[40].

Вот все, что в то время успел я увидеть. Вечером я узнал, что в сем сражении разбит сераскир арзрумский, шедший на присоединение к Гаки-паше с 30000 войска. Сераскир бежал к Арзруму; войско его, переброшенное за Саган-лу, было рассеяно, артиллерия взята, и Гаки-паша один оставался у нас на руках. Граф Паскевич не дал ему время распорядиться.

Глава четвертая

Сражение с Гаки-пашою. Смерть татарского бека. Гермафродит. Пленный паша. Аракс. Мост пастуха. Гассан-Кале. Горячий источник. Поход к Арзруму. Переговоры. Взятие Арзрума. Турецкие пленники. Дервиш.

На другой день в пятом часу лагерь проснулся и получил приказание выступить. Вышед из палатки, встретил я графа Паскевича, вставшего прежде всех. Он увидел меня. «Êtes-vous fatigué de la journée d'hier?» — «Mais un peu, m. le Comte». — «J'en suis fâché pour vous, car nous allons faire encore une marche pour joindre le Pacha, et puis il faudra poursuivre l'ennemi encore une trentaine de verstes»*.

Мы тронулись и к осьми часам пришли на возвышение, с которого лагерь Гаки-паши виден был как на ладони. Турки открыли безвредный огонь со всех своих батарей. Между тем в лагере их заметно было большое движение. Усталость и утренний жар заставили многих из нас слезть с лошадей и лечь на свежую траву. Я опутал поводья около руки и сладко заснул, в ожидании приказа идти вперед. Через четверть часа меня разбудили. Все было в движении. С одной стороны колонны шли на турецкий лагерь; с другой — конница готовилась преследовать неприятеля. Я поехал было за Нижегородским полком, но лошадь моя хромала. Я отстал. Мимо меня пронесся Уланский полк. Потом Вольховский проскакал с тремя пушками. Я очутился один в лесистых горах. Мне попался навстречу драгун, который объявил, что лес наполнен неприятелем. Я воротился. Я встретил генерала Муравьева с пехотным полком. Он отрядил одну роту в лес, дабы его очистить. Подъезжая к лощине, увидел я необыкновенную картину. Под деревом лежал один из наших татарских беков[41], раненный смертельно. Подле него рыдал его любимец. Мулла, стоя на коленях, читал молитвы. Умирающий бек был чрезвычайно спокоен и неподвижно глядел на молодого своего друга. В лощине собрано было человек 500 пленных. Несколько раненых турков подзывали меня знаками, вероятно принимая меня за лекаря и требуя помощи, которую я не мог им подать. Из лесу вышел турок, зажимая свою рану окровавленною тряпкою. Солдаты подошли к нему с намерением его приколоть, может быть из человеколюбия. Но это слишком меня возмутило; я заступился за бедного турку и насилу привел его, изнеможенного и истекающего кровию, к кучке его товарищей. При них был полковник Анреп[42]. Он курил дружелюбно из их трубок, несмотря на то, что были слухи о чуме,

* Вы не устали после вчерашнего? — Немножко, г. граф. — Мне за вас досадно, потому что нам предстоит еще один переход, чтобы нагнать пашу, а затем придется преследовать неприятеля еще верст тридцать *(франц.)*.

будто бы открывшейся в турецком лагере. Пленные сидели, спокойно разговаривая между собою. Почти все были молодые люди. Отдохнув, пустились мы далее. По всей дороге валялись тела. Верстах в 15 нашел я Нижегородский полк, остановившийся на берегу речки посреди скал. Преследование продолжалось еще несколько часов. К вечеру пришли мы в долину, окруженную густым лесом, и наконец мог я выспаться вволю, проскакав в эти два дня более осьмидесяти верст.

На другой день войска, преследовавшие неприятеля, получили приказ возвратиться в лагерь. Тут узнали мы, что между пленниками находился гермафродит. Раевский по просьбе моей велел его привести. Я увидел высокого, довольно толстого мужика с лицом старой курносой чухонки. Мы осмотрели его в присутствии лекаря. Erat vir, mammosus ut femina, habebat t. non evolutos, p. que parvum et puerilem. Quaerebamus, sit ne exsectus? — Deus, respondit, castravit me*. Сия болезнь, известная Ипократу, по свидетельству путешественников, встречается часто у кочующих татар и у турков. *Хосс* есть турецкое название сим мнимым гермафродитам.

Войско наше стояло в турецком лагере, взятом накануне. Палатка графа Паскевича стояла близ зеленого шатра Гаки-паши, взятого в плен нашими казаками. Я пошел к нему и нашел его окруженного нашими офицерами. Он сидел, поджав под себя ноги и куря трубку. Он казался лет сорока. Важность и глубокое спокойствие изображалось на прекрасном лице его. Отдавшись в плен, он просил, чтоб ему дали чашку кофию и чтоб его избавили от вопросов.

Мы стояли в долине. Снежные и лесистые горы Саган-лу были уже за нами. Мы пошли вперед, не встречая уже нигде неприятеля. Селения были пусты. Окрестная сторона печальна. Мы увидели Аракс, быстро текущий в каменистых берегах своих. В 15 верстах от Гассан-Кале находится мост, прекрасно и смело выстроенный на семи неравных сводах. Предание приписывает его построение разбогатевшему пастуху, умершему пустынником на высоте холма, где доныне показывают его могилу, осененную двумя пустынными соснами. Соседние поселяне стекаются к ней на поклонение. Мост называется Чабан-Кэпри (мост пастуха). Дорога в Тебриз лежит через него.

В нескольких шагах от моста посетил я темные развалины караван-сарая. Я не нашел в нем никого, кроме больного осла, вероятно брошенного здесь бегущими поселянами.

24 июня утром пошли мы к Гассан-Кале, древней крепости, накануне занятой князем Бековичем. Она была в 15 верстах от места нашего ночлега. Длинные переходы утомили меня. Я надеялся отдохнуть; но вышло иначе.

Перед выступлением конницы явились в наш лагерь армяне, живущие в горах, требуя защиты от турков, которые три дня тому назад отогнали их скот. Полковник Анреп[43], хорошо не разобрав, чего они хотели, вообразил, что турецкий отряд находился в горах, и с одним эскадроном Уланского полка поскакал в сторону, дав знать Раевскому, что 3000 турков находятся в горах. Раевский отправился вслед за ним, дабы подкрепить его в случае опасности. Я почитал себя прикомандированным к Нижегородскому полку и с великою досадою поскакал на освобождение армян. Проехав верст 20, въехали мы в деревню и увидели несколько отставших уланов, которые, спешась, с обнаженными саблями, преследовали нескольких кур. Здесь один из поселян растолковал Раевскому, что дело шло о 3000 волах, три дня назад отогнанных турками и которых весьма легко будет догнать дни через два. Раевский приказал уланам прекратить преследование кур и послал полковнику Анрепу повеление воротиться. Мы поехали обратно и, выбравшись из гор, прибыли под Гассан-Кале. Но таким образом дали мы 40 верст крюку, дабы спасти жизнь нескольким армянским курицам, что вовсе не казалось мне забавным.

Гассан-Кале почитается ключом Арзрума. Город выстроен у подошвы скалы, увенчанной крепостью. В нем находилось до ста армянских семейств. Лагерь наш стоял в широкой равнине, расстилающейся перед крепостию. Тут посетил я круглое каменное строение, в коем находится горячий железо-серный источник.

Круглый бассейн имеет сажени три в диаметре. Я переплыл его два раза и вдруг, почувствовав головокружение и тошноту, едва имел силу выйти на каменный край источника. Эти воды славятся на востоке, но, не имея порядочных лекарей, жители пользуются ими наобум и, вероятно, без большого успеха.

Под стенами Гассан-Кале течет речка Мурц; берега ее покрыты железными источниками, которые бьют из-под камней и стекают в реку. Они не столь приятны вкусу, как кавказский нарзан, и отзываются медью.

25 июня, в день рождения государя императора, в лагере нашем под стенами крепости полки отслушали молебен. За обедом у графа Паскевича, когда пили здоровье государя, граф объявил поход к Арзруму. В пять часов вечера войско уже выступило.

26 июня мы стали в горах в пяти верстах от Арзрума. Горы эти называются Ак-Даг (белые горы); они меловые. Белая, язвительная пыль ела нам глаза; грустный вид их наводил тоску. Близость Арзрума и уверенность в окончании похода утешала нас.

---

* Это был мужчина с женской грудью, зачаточными половыми железами и органом маленьким и детским. Мы спросили его, не был ли он оскоплен. — Бог, отвечал он, кастрировал меня (*лат.*).

Вечером граф Паскевич ездил осматривать местоположение. Турецкие наездники, целый день кружившиеся перед нашими пикетами, начали по нем стрелять. Граф несколько раз погрозил им нагайкою, не преставая рассуждать с генералом Муравьевым. На их выстрелы не отвечали.

Между тем в Арзруме происходило большое смятение. Сераскир, прибежавший в город после своего поражения, распустил слух о совершенном разбитии русских. Вслед за ним отпущенные пленники доставили жителям воззвание графа Паскевича. Беглецы уличили сераскира во лжи. Вскоре узнали о быстром приближении русских. Народ стал говорить о сдаче. Сераскир и войско думали защищаться. Произошел мятеж. Несколько франков были убиты озлобленной чернию.

В лагерь наш (26-го утром) явились депутаты от народа и сераскира; день прошел в переговорах; в пять часов вечера депутаты отправились в Арзрум, и с ними генерал князь Бекович, хорошо знающий азиатские языки и обычаи.

На другой день утром войско наше двинулось вперед. С восточной стороны Арзрума, на высоте Топ-Дага, находилась турецкая батарея. Полки пошли к ней, отвечая на турецкую пальбу барабанным боем и музыкою. Турки бежали, и Топ-Даг был занят. Я приехал туда с поэтом Юзефовичем. На оставленной батарее нашли мы графа Паскевича со всею его свитою. С высоты горы в лощине открывался взору Арзрум со своею цитаделью, с минаретами, с зелеными кровлями, наклеенными одна на другую. Граф был верхом. Перед ним на земле сидели турецкие депутаты, приехавшие с ключами города. Но в Арзруме заметно было волнение. Вдруг на городском валу мелькнул огонь, закурился дым, и ядра полетели к Топ-Дагу. Несколько их пронеслись над головою графа Паскевича; «Voyez les Turcs, — сказал он мне, — on ne peut jamais se fier à eux»*. В сию минуту прискакал на Топ-Даг князь Бекович, со вчерашнего дня находившийся в Арзруме на переговорах. Он объявил, что сераскир и народ давно согласны на сдачу, но что несколько непослушных арнаутов под предводительством Топчи-паши овладели городскими батареями и бунтуют. Генералы подъехали к графу, прося позволения заставить молчать турецкие батареи. Арзрумские сановники, сидевшие под огнем своих же пушек, повторили ту же просьбу. Граф несколько времени медлил; наконец дал повеление, сказав: «Полно им дурачиться». Тотчас подвезли пушки, стали стрелять, и неприятельская пальба мало-помалу утихла. Полки наши пошли в Арзрум, и 27 июня, в годовщину полтавского сражения, в шесть часов вечера русское знамя развилось над арзрумской цитаделию.

Раевский поехал в город — я отправился с ним; мы въехали в город, представлявший удивительную картину. Турки с плоских кровель своих угрюмо смотрели на нас. Армяне шумно толпились в тесных улицах. Их мальчишки бежали перед нашими лошадьми, крестясь и повторяя: «Християн! Християн!..» Мы подъехали к крепости, куда входила наша артиллерия; с крайним изумлением встретил я тут моего Артемия, уже разъезжающего по городу, несмотря на строгое предписание никому из лагеря не отлучаться без особенного позволения.

Улицы города тесны и кривы. Дома довольно высоки. Народу множество, — лавки были заперты. Пробыв в городе часа с два, я возвратился в лагерь: сераскир и четверо пашей, взятые в плен, находились уже тут. Один из пашей, сухощавый старичок, ужасный хлопотун, с живостию говорил нашим генералам. Увидев меня во фраке, он спросил, кто я таков. Пущин[44] дал мне титул поэта. Паша сложил руки на грудь и поклонился мне, сказав через переводчика: «Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт брат дервишу. Он не имеет ни отечества, ни благ земных; и между тем как мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли и ему поклоняются».

Восточное приветствие паши всем нам очень полюбилось. Я пошел взглянуть на сераскира. При входе в его палатку встретил я его любимого пажа, черноглазого мальчика лет четырнадцати, в богатой арнаутской одежде. Сераскир, седой старик, наружности самой обыкновенной, сидел в глубоком унынии. Около него была толпа наших офицеров. Выходя из его палатки, увидел я молодого человека, полунагого, в бараньей шапке, с дубиною в руке и с мехом (outre**) за плечами. Он кричал во все горло. Мне сказали, что это был брат мой, дервиш, пришедший приветствовать победителей. Его насилу отогнали.

Глава пятая

Арзрум. Азиатская роскошь. Климат. Кладбище. Сатирические стихи. Сераскирский дворец. Харем турецкого паши. Чума. Смерть Бурцова. Выезд из Арзрума. Обратный путь. Русский журнал.

Арзрум (неправильно называемый Арзерум, Эрзрум, Эрзрон) основан около 415 году, во время Феодосия Второго, и назван Феодосиополем. Никакого исторического воспоминания не соединяется с его именем. Я знал о нем только то, что здесь, по свидетельству Гаджи-Бабы, поднесены были персидскому послу, в удовлетворение какой-то обиды, телячьи уши вместо человечьих[45].

* Смотрите, каковы турки... никогда нельзя им доверяться (*франц.*).
** бурдюком (*франц.*).

Арзрум почитается главным городом в Азиатской Турции. В нем считалось до 100 000 жителей, но, кажется, число сие слишком увеличено. Дома в нем каменные, кровли покрыты дерном, что дает городу чрезвычайно странный вид, если смотришь на него с высоты.

Главная сухопутная торговля между Европою и Востоком производится через Арзрум. Но товаров в нем продается мало; их здесь не выкладывают, что заметил и Турнфор[46], пишущий, что в Арзруме больной может умереть за невозможностию достать ложку ревеня, между тем как целые мешки оного находятся в городе.

Не знаю выражения, которое было бы бессмысленнее слов: азиатская роскошь. Эта поговорка, вероятно, родилась во время крестовых походов, когда бедные рыцари, оставя голые стены и дубовые стулья своих замков, увидели в первый раз красные диваны, пестрые ковры и кинжалы с цветными камушками на рукояти. Ныне можно сказать: азиатская бедность, азиатское свинство и проч., но роскошь есть, конечно, принадлежность Европы. В Арзруме ни за какие деньги нельзя купить того, что вы найдете в мелочной лавке первого уездного городка Псковской губернии.

Климат арзрумский суров. Город выстроен в лощине, возвышающейся над морем на 7000 футов. Горы, окружающие его, покрыты снегом большую часть года. Земля безлесна, но плодоносна. Она орошена множеством источников и отовсюду пересечена водопроводами. Арзрум славится своею водою. Евфрат течет в трех верстах от города. Но фонтанов везде множество. У каждого висит жестяной ковшик на цепи, и добрые мусульмане пьют и не нахвалятся. Лес доставляется из Саган-лу.

В Арзрумском арсенале нашли множество старинного оружия, шлемов, лат, сабель, ржавеющих, вероятно, еще со времен Годфреда. Мечети низки и темны. За городом находится кладбище. Памятники состоят обыкновенно в столбах, убранных каменною чалмою. Гробницы двух или трех пашей отличаются большей затейливостию, но в них нет ничего изящного: никакого вкусу, никакой мысли… Один путешественник пишет, что изо всех азиатских городов в одном Арзруме нашел он башенные часы, и те были испорчены.

Нововведения, затеваемые султаном, не проникли еще в Арзрум. Войско носит еще свой живописный восточный наряд. Между Арзрумом и Константинополем существует соперничество, как между Казанью и Москвою. Вот начало сатирической поэмы, сочиненной янычаром Амином-Оглу.

Стамбул гяуры нынче славят,
А завтра кованой пятой,
Как змия спящего, раздавят,
И прочь пойдут — и так оставят,
Стамбул заснул перед бедой.

Стамбул отрекся от пророка;
В нем правду древнего Востока
Лукавый Запад омрачил.
Стамбул для сладостей порока
Мольбе и сабле изменил.
Стамбул отвык от поту битвы
И пьет вино в часы молитвы.

В нем веры чистый жар потух,
В нем жены по кладбищам ходят,
На перекрестки шлют старух,
А те мужчин в харемы вводят,
И спит подкупленный евнух.

Но не таков Арзрум нагорный,
Многодорожный наш Арзрум;
Не спим мы в роскоши позорной,
Не черплем чашей непокорной
В вине разврат, огонь и шум.

Постимся мы: струею трезвой
Святые воды нас поят;
Толпой бестрепетной и резвой
Джигиты наши в бой летят.
Харемы наши недоступны,
Евнухи строги, неподкупны,
И смирно жены там сидят.

Я жил в сераскировом дворце в комнатах, где находился харем. Целый день бродил я по бесчисленным переходам, из комнаты в комнату, с кровли на кровлю, с лестницы на лестницу. Дворец казался разграбленным; сераскир, предполагая бежать, вывез из него что только мог. Диваны были ободраны, ковры сняты. Когда гулял я по городу, турки подзывали меня и показывали мне язык. (Они принимают всякого франка за лекаря.) Это мне надоело, я готов был отвечать им тем же. Вечера проводил я с умным и любезным Сухоруковым[47]; сходство наших занятий сближало нас. Он говорил мне о своих литературных предположениях, о своих исторических изысканиях, некогда начатых им с такою ревностию и удачей. Ограниченность его желаний и требований поистине трогательна. Жаль, если они не будут исполнены.

Дворец сераскира представлял картину вечно оживленную: там, где угрюмый паша молчаливо курил посреди своих жен и бесчестных отроков, там его победитель получал донесения о победах своих генералов, раздавал пашалыки, разговаривал о новых романах. Мушский паша приезжал к графу Паскевичу просить у него места своего племянника[48]. Ходя по дворцу, важный турок остановился в одной из комнат, с живостию проговорил несколько слов и впал потом в задумчивость: в этой самой комнате обезглавлен был его отец по повелению сераскира. Вот впечатления настоящие восточные! Славный Бей-булат[49], гроза Кавказа, приезжал в Арзрум с двумя старшинами черкесских селений, возмутившихся во время последних войн. Они обедали у графа Паскевича. Бей-булат мужчина лет тридцати пяти, малорослый и широкоплечий. Он по-русски не говорит или притворяется, что не говорит. Приезд его в Арзрум меня очень обрадовал: он был уже мне порукой в безопасном переезде через горы и Кабарду.

Осман-паша, взятый в плен под Арзрумом и отправленный в Тифлис вместе с сераскиром, просил графа Паскевича за безопасность харема, им оставляемого в Арзруме. В первые дни об нем было забыли. Однажды за обедом, разговаривая о тишине мусульманского города, занятого 10 000 войска и в котором ни один из жителей ни разу не пожаловался на насилие солдата, граф вспомнил о хареме Османа-паши и приказал г. Абрамовичу[50] съездить в дом паши и спросить у его жен, довольны ли они и не было ли им какой-нибудь обиды. Я просил позволения сопровождать г. А. Мы отправились. Г-н А. взял с собою в переводчики русского офицера, коего история любопытна. 18-ти лет попался он в плен к персиянам. Его скопили, и он более 20 лет служил евнухом в хареме одного из сыновей шаха. Он рассказывал о своем несчастии, о пребывании в Персии с трогательным простодушием. В физиологическом отношении показания его были драгоценны.

Мы пришли к дому Османа-паши; нас ввели в открытую комнату, убранную очень порядочно, даже со вкусом, — на цветных окнах начертаны были надписи, взятые из Корана. Одна из них показалась мне очень замысловата для мусульманского гарема: *тебе подобает связывать и развязывать.* Нам поднесли кофию в чашечках, оправленных в серебре. Старик с белой почтенной бородою, отец Османа-паши, пришел от имени жен благодарить графа Паскевича, — но г. А. сказал наотрез, что он послан к женам Османа-паши и хочет их видеть, дабы от них самих удостовериться, что они в отсутствие супруга всем довольны. Едва персидский пленник успел все это перевести, как старик, в знак негодования, защелкал языком и объявил, что никак не может согласиться на наше требование и что если паша, по своем возвращении, проведает, что чужие мужчины видели его жен, то и ему, старику, и всем служителям харема велит отрубить голову. Прислужники, между коими не было ни одного евнуха, подтвердили слова старика, но г. А. был неколебим. «Вы боитесь своего паши, — сказал он им, — а я своего сераскира и не смею ослушаться его приказаний». Делать было нечего. Нас повели через сад, где били два тощие фонтана. Мы приблизились к маленькому каменному строению. Старик стал между нами и дверью, осторожно ее отпер, не выпуская из рук задвижки, и мы увидели женщину, с головы до желтых туфель покрытую белой чадрою. Наш переводчик повторил ей вопрос: мы услышали шамкание семидесятилетней старухи; г. А. прервал ее: «Это мать паши, — сказал он, — а я прислан к женам, приведите одну из них»; все изумились догадке гяуров: старуха ушла и через минуту возвратилась с женщиной, покрытой так же, как и она, — из-под покрывала раздался молодой приятный голосок. Она благодарила графа за его внимание к бедным вдовам и хвалила обхождение русских. Г-н А. имел искусство вступить с нею в дальнейший разговор. Я между тем, глядя около себя, увидел вдруг над самой дверью круглое окошко и в этом круглом окошке пять или шесть круглых голов с черными любопытными глазами. Я хотел было сообщить о своем открытии г. А., но головки закивали, замигали, и несколько пальчиков стали мне грозить, давая знать, чтоб я молчал. Я повиновался и не поделился моею находкою. Все они были приятны лицом, но не было ни одной красавицы; та, которая разговаривала у двери с г. А., была, вероятно, повелительницею харема, сокровищницею сердец, розою любви — по крайней мере я так воображал.

Наконец г. А. прекратил свои расспросы. Дверь затворилась. Лица в окошке исчезли. Мы осмотрели сад и дом и возвратились очень довольные своим посольством.

Таким образом, видел я харем: это удалось редкому европейцу. Вот вам основание для восточного романа.

Война казалась кончена. Я собирался в обратный путь. 14 июля пошел я в народную баню и не рад был жизни. Я проклинал нечистоту простынь, дурную прислугу и проч. Как можно сравнить бани арзрумские с тифлисскими!

Возвращаясь во дворец, узнал я от Коновницына, стоявшего в карауле, что в Арзруме открылась чума. Мне тотчас представились ужасы карантина, и я в тот же день решился оставить армию. Мысль о присутствии чумы очень неприятна с непривычки. Желая изгладить это впечатление, я пошел гулять по базару. Остановясь перед лавкою оружейного мастера, я стал рассматривать какой-то кинжал, как вдруг кто-то ударил меня по плечу. Я оглянулся: за мною стоял ужасный нищий. Он был бледен как смерть; из красных загноенных глаз его текли слезы. Мысль о чуме опять мелькнула в моем воображении. Я оттолкнул нищего с чувством отвращения неизъяснимого и воротился домой очень недовольный своею прогулкою.

Любопытство, однако ж, превозмогло; на другой день я отправился с лекарем в лагерь, где находились зачумленные. Я не сошел с лошади и взял предосторожность стать по ветру. Из палатки вывели нам больного; он был чрезвычайно бледен и шатался как пьяный. Другой больной лежал без памяти. Осмотрев чумного и обещав несчастному скорое выздоровление, я обратил внимание на двух турков, которые выводили его под руки, раздевали, щупали, как будто чума была не что иное, как насморк. Признаюсь, я устыдился моей европейской робости в присутствии такого равнодушия и поскорее возвратился в город.

19 июля, пришед проститься с графом Паскевичем, я нашел его в сильном огорчении[51]. Получено было печальное известие, что генерал Бурцов был убит под Байбуртом. Жаль было храброго Бурцова, но это происшествие могло быть гибельно и для всего нашего малочисленного войска, зашедшего глубоко в чужую землю и окруженного неприязненными народами, готовыми восстать при слухе о первой неудаче. Итак, война возобновлялась! Граф предлагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий. Но я спешил в Россию... Граф подарил мне на память турецкую саблю. Она хранится у меня памятником моего странствования вослед блестящего героя по завоеванным пустыням Армении. В тот же день я оставил Арзрум.

Я ехал обратно в Тифлис по дороге уже мне знакомой. Места, еще недавно оживленные присутствием 15 000 войска, были молчаливы и печальны. Я переехал Саган-лу и едва мог узнать место, где стоял наш лагерь. В Гумрах выдержал я трехдневный карантин. Опять увидел я Безобдал и оставил возвышенные равнины холодной Армении для знойной Грузии. В Тифлис я прибыл 1-го августа. Здесь остался я несколько дней в любезном и веселом обществе[52]. Несколько вечеров провел я в садах при звуке музыки и песен грузинских. Я отправился далее. Переезд мой через горы замечателен был для меня тем, что близ Коби ночью застала меня буря. Утром, проезжая мимо Казбека, увидел я чудное зрелище. Белые оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками. Бешеная Балка также явилась мне во всем своем величии: овраг, наполнившийся дождевыми водами, превосходил в своей свирепости самый Терек, тут же грозно ревевший. Берега были растерзаны; огромные камни сдвинуты были с места и загромождали поток. Множество осетинцев разработывали дорогу. Я переправился благополучно. Наконец я выехал из тесного ущелия на раздолие широких равнин Большой Кабарды. Во Владикавказе нашел я Дорохова[53] и Пущина[54]. Оба ехали на воды лечиться от ран, полученных ими в нынешние походы. У Пущина на столе нашел я русские журналы. Первая статья, мне попавшаяся, была разбор одного из моих сочинений. В ней всячески бранили меня и мои стихи. Я стал читать ее вслух. Пущин остановил меня, требуя, чтоб я читал с большим мимическим искусством. Надобно знать, что разбор был украшен обыкновенными затеями нашей критики: это был разговор между дьячком, просвирней и корректором типографии, Здравомыслом этой маленькой комедии. Требование Пущина показалось мне так забавно, что досада, произведенная на меня чтением журнальной статьи, совершенно исчезла, и мы расхохотались от чистого сердца.

Таково было мне первое приветствие в любезном отечестве.

Текст и постраничные примечания печатаются по источнику:
Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 10 т. — М.: ГИХЛ, 1960. — Т. 5.

Исследования, посвященные А.С. Пушкину

Е.Г. Вейденбаум

Примечания и объяснения к «Путешествию в Арзрум»*

1. Виктор Фонтанье. (V. Fontanier), род. около 1796, ум. 1857, известный французский путешественник и дипломат. Сочинения его о Востоке ценятся за точность сведений и интерес подробностей. В 1825–26 гг., возвращаясь из Персии, Фонтанье посетил Закавказье и несколько месяцев прожил в Тифлисе.

2. Капитан л.-гв. Измайловского полка граф Мусин-Пушкин за прикосновенность к делу о злоумышленных обществах переведен тем же чином в петровский пехотный полк, а затем высочайшим приказом 4 февраля 1829 г. – в тифлисский пехотный полк, расположенный в Грузии. Графу Паскевичу было предложено иметь за ним тайный и бдительный надзор.

3. В Екатериноградской станице, расположенной на левом берегу р. Малки, прекращался тогда обыкновенный почтовый тракт и дальнейшее движение к Владикавказу совершалось под сильным военным прикрытием. Для этого надо было ждать случая, т.е. или препровождения почты, или проезда какого-нибудь начальника или фельдъегеря. Отсюда и выражение ехать с оказией. Для прикрытия дороги от набегов горских хищников были построены между Екатеринградом и Владикавказом, на левой стороне Терека, укрепления Пришиб, Урух и Ардон. В них оказии останавливались для ночлега и в них же сменялись конвоирующие роты. В наиболее опасных местах были расположены еще вспомогательные укрепленные посты: Минаретский (между Урухом и Ардоном) и Архонский (между Ардоном и Владикавказом). Здесь оказии останавливались только для кратковременного отдыха ввиду больших переходов. Всего от Екатеринограда до Владикавказа считалось 105 верст. Оказия проходила это расстояние в четыре дня.

Начиная от Екатеринограда дорога называлась военно-грузинскою. Название это, совершенно неправильное в смысле географическом, произошло от того, что она находилась уже в том районе, в котором войска и вообще все служащие получали усиленное содержание, по так называвшемуся грузинскому положению.

4. Пушкин справедливо хвалит красоту долины, в которой находился Минаретский укрепленный пост. Здесь Терек прорывается чрез лесистый южно-кабардинский хребет. Местность эта, известная под названием Татартуп, т.е. татарский холм, носит следы древнего городища. На месте его высится теперь только один стройный кирпичный минарет, но еще в начале текущего столетия были видны здесь развалины двух христианских церквей, мечети, башни и следы обширного кладбища. Городище пользовалось прежде у кабардинцев и чеченцев величайшим уважением: клятва, произнесенная при Татартупе, считалась священною; преступники, прибегавшие под защиту Татартупа, были неприкосновенны; здесь происходили народные собрания и приносились жертвы.

5. Правильнее тамга (тюрко-монгольское слово), т.е. отличительный знак, отмета.

6. Во время кавказской войны горцы официально делились на мирных и немирных. Первые считались русскими подданными, служили в наших милиционных частях, вторые состояли с нами в открытой войне. Деление это было очень условное, так как в большинстве случаев мирные горцы были таковыми постольку,

* Примечания Е.Г. Вейденбаума соотнесены с приведенным выше текстом А.С. Пушкина (обозначены цифрами).

поскольку селения их были доступны для нашего штыка и пули. Мирные участвовали нередко в набегах немирных в наши пределы и даже служили лазутчиками и проводниками для хищников. Вот почему Пушкин называет ненадежною дружбу мирных черкесов.

7. Мансур (по-арабски значит – победоносный) или Шейх-Мансур, уроженец сел. Алды, в Большой Чечне, по имени Ушурма. Под влиянием мусульманской проповеди, раздававшейся из турецкой Анапы, Ушурма принял звание шейха с прозвищем Мансура и явился первым провозвестником среди кавказских горцев газавата, т. е. войны за веру против христиан. Мансур начал свою деятельность в 1785 г. и в короткое время успел поднять против русской власти чеченские и черкесские племена. Подавление вызванного им движения потребовало величайшего напряжения всех наших военных сил, очень немногочисленных в то время на Кавказе. Испытав ряд поражений, Мансур удалился в Анапу, под защиту турецких властей. Когда в 1791 г. И.В. Гудович взял штурмом эту крепость, Мансур оказался в числе пленных. Он был отправлен в Петербург, представлен императрице Екатерине и затем заключен в Шлиссельбургскую крепость, где и скончался 13 апреля 1791 г.

Мансур еще при жизни своей дал повод ко многим фантастическим слухам и рассказам, к числу которых относится также и приводимое Пушкиным известие о ссылке пленника в Соловецкий монастырь. В нашей литературе существует восточный роман В.П. Савинова «Ших-Мансур», напечатанный в «Пантеоне» за 1852 год. Наконец, в 1884 г., в парижском журнале «La Nouvelle Revue» появилась статья А. Ганьера (Gagniere) «Un Mahdi au XVIII siecle», в которой сообщается, что Мансур был не кто иной, как беглый итальянский монах Жан Батист Боэтти. Статья преисполнена самых грубых географических, исторических и хронологических ошибок. Само собою разумеется, что монах-авантюрист Боэтти, если таковой действительно существовал, не имеет ничего общего с Мансуром и что все письма его о подвигах на Кавказе, приводимые Га-ньером, явно подложны.

8. Владикавказ и теперь еще известен у туземного населения под тюркским именем Кап-кой или Капкей, переделанном русскими в Капкай. Капы значит ворота, проход; кой или кей – селение. Название указывает на то, что Владикавказ расположен при выходе дороги из ущелья на плоскость.

9. Аманатами назывались на Кавказе дети влиятельных горских фамилий, которых, по древнему восточному обычаю, брали для обеспечения преданности тех родов и родовых союзов, к коим эти дети принадлежали. Таким заложником был Джемалэддин, старший сын Шамиля, взятый у него в 1839 г. Обычай этот подавал нередко повод к обманам. Не имея возможности уклониться от представления аманатов, горцы давали иногда в заложники детей незначительных по влиянию фамилий. Аманаты содержались в наших укреплениях, при чем предполагалось, что они, научившись русскому языку и узнавши наши порядки, будут содействовать мирному сближению горцев с русскими. Благая цель эта, как видно и из слов Пушкина, достигалась только на бумаге, а не на деле.

10. По словам Л.Н. Майкова («Русский Вестник», 1893 г., IX, стр. 154) под буквою Ш. надо разуметь офицера кавалергардского полка Петра Васильевича Шереметева, с которым Пушкин, на обратном пути с Кавказа, вновь встретился в Кисловодске. Не могу сказать, тот ли это самый Шереметев, подпоручик л.-гв. преображенского полка, который за участие в злоумышленных сообществах был переведен в марте 1826 г. на Кавказ и определен тем же чином в 43-й егерский полк. В следующем году он был переведен в ширванский пехотный полк, затем прикомандирован к л.-гв. сводному гвардейскому полку и за персидскую войну произведен в поручики. В 1828 г. Шереметев переведен в л.-гв. московский полк и покинул Кавказ вместе с сводным гвардейским полком, выступившим из Тифлиса в Петербург 7 июля 1828 г.

11. Из «Водопада» Державина:

И ты, о водопадов мать!
Река, на Севере гремяща,
О Суна!

12. Князь Федор Александрович Бекович-Черкасский, кабардинец родом, вступил в службу в 1806 г. с чином губернского секретаря и состоял при генерале Булгакове, затем переименован в поручики и участвовал с отличием во всех военных делах на Кавказе в начале текущего столетия. В 1816 г. переведен в л.-гв. казачий полк, сопровождал в Персию Ермолова, в 1824 г. в чине полковника назначен командиром херсонского гренадерского полка, в 1828 г. произведен в генерал-майоры и получил в командование бригаду 21-й пехотной дивизии. После взятия Карса, 23 июня 1828 г., князь Бекович был назначен начальником Карсского пашалыка, председателем местного правления и командующим войсками в кр. Карее. Лачинов, служивший под начальством князя Бековича в Карсе, говорит в своей «Исповеди», что он обладал особенным даром привлекать к себе. Зная с малолетства языки турецкий и арабский, нравы, обычаи и дух азиатских народов, Бекович умел необычайно искусно управлять и владеть ими. Подчиненные ему турецкие чиновники обожали его («Кавказ. сборник», I, 188–189).

13. Персидский поэт Фазиль-хан, уроженец г. Тавриза, был учителем детей тогдашнего наследного принца Аббас-мирзы. Он назывался Ахунд-Молла-Фатулла, сын Могаммед-Гусейна, а прозвание Фазиль-хан

получил за поэтический дар и глубокое познание восточных наук. После занятия Тавриза князем Эристовым в 1827 г., Фазиль-хан написал сатирическое стихотворение, направленное против лиц, содействовавших сдаче города русским, и особенно против тогдашнего министра иностранных дел Персии. Другие поэты заступились за обиженного министра и отвечали Фазиль-хану тоже бранными стихами. В числе отвечавших был и Мирза-Шафи, уроженец Елисаветполя. По возвращении из Петербурга в Тавриз, Фазиль-хан продолжал свою учительскую деятельность при детях Аббас-мирзы и его приближенных. Но вскоре увлечение красотою некоторых из учеников погубило его: Аббас-мирза приказал отрезать ему нижние части ушей и повелел удалиться навсегда из Персии.

В 1844 г. Фазиль-хан прибыл чрез Ширван в Тифлис. Здесь познакомился с ним известный ориенталист Н.В. Ханыков и выхлопотал ему место преподавателя в училище Алиева учения, открытом в 1847 г. В следующем году он издал на доступном простому народу языке сжатое изложение всех главных догматов шиитского вероучения. Сборник его поэтических произведений остался в рукописи, которая ныне, кажется, утрачена. Фазиль-хан умер в 1852 г., имея от роду около 60 лет, и похоронен на мусульманском кладбище в Тифлисе. Чтобы скрыть от посторонних взоров следы непристойных своих поступков в Тавризе, он прикрывал свои уши длинными локонами.

Сведения эти, обязательно доставленные мне одним из тифлисских учеников Фазиль-хана, коллежским советником Мирзой-Мустафой Ахундовым, нуждаются в некоторых поправках. Еще во время пребывания с посольством в Петербурге, Фазиль-хан высказывал желание остаться навсегда в России. Он посвятил Императору Николаю Павловичу оду, за которую получил золотые часы, бриллиантовый перстень и 250 червонцев. Известный метроман граф Д.И. Хвостов приветствовал стихами своего персидского собрата по Парнасу. Все это так вскружило голову Фазиль-хану, что он, пред самым выездом посольства из Петербурга, объявил желание принять святое крещение, лишь бы остаться навсегда в России. Граф Нессельроде вероятною причиною этого желая Фазиль-хана полагал его боязнь ответственности за оду, в которой поэт возвеличил достоинство России и унизил пред нею все прочие державы, в том числе и Персию. Во избежание неприятных объяснений с персидским посольством, Фазиль-хану было предложено сопровождать Хозрева-мирзу до Грузии, где может объявить о своем желании графу Паскевичу. Неизвестно, остался ли Фазиль-хан тогда же в Тифлисе или возвратился в Персию. Если верно сообщение г. Ахундова, что поэт был изгнан из Тавриза с отрезанными ушами по приказанию Аббаса-мирзы, то, во всяком случае, это произошло задолго до 1814 г., так как Аббас-мирза скончался в Мешеде 10 октября 1833 г., а затем имеется официальное известие, что Фазиль-хан находился в Тифлисе уже в сентябре 1838 г., а в 1842 г. принял там же присягу на русское подданство. В это время он получал от русского правительства пенсион по 15 р. в месяц.

Сведения о пребывании Фазиль-хана в Петербурге заимствованы мною из статьи М.Г. Розанова – «Персидское посольство в России 1829 г.» («Русский Архив», 1889 г., I, 209–260) и дополнено из архивных дел.

14. Борис Гаврилович Чиляев, родом грузин, 7 апреля 1827 г. поступил из л.-гв. финляндского полка майором в эриванский карабинерный полк; по окончании персидской кампании назначен управляющим горскими народами, живущими в окрестностях военно-грузинской дороги. Занимая эту должность, жил в сел. Квишете, на Арагве, где Пушкин и ночевал у него. В марте 1833 г. Чиляев был назначен в чин подполковника командиром 42-го егерского полка, потом получил тифлисский егерский полк, в 1848 г. произведен в генерал-майоры и назначен начальником лезгинской кордонной линии.

15. Огарев, подполковник, командир пионерной роты путей сообщения, заведовал работами на военно-грузинской дороге. В сентябре 1829 г. зачислен по армии и назначен состоять при графе Паскевиче. Впоследствии командовал кавказским военно-рабочим батальоном.

16. Судя по описанию, речь идет о так называемом казбекском завале; но в июне 1827 г. такого завала не было, и, во всяком случае, Пушкин не мог видеть остатки его между сел. Коби и Крестовым перевалом, так как казбекский завал падает на военно-грузинскую дорогу по Девдоракскому ущелью, между Дарьялом и сел. Гвелети. Та часть военно-грузинской дороги, о которой говорит Пушкин, проходит по Байдарскому ущелью, известному обилием снежных обвалов. Ущелье это так узко, что солнечные лучи проникают в глубину его только на короткое время. Вследствие этого снег лежит здесь не все лето, хотя высота места значительно ниже линии постоянных снегов. Такой остаток от зимних завалов встретил и Пушкин, поднимаясь вверх по Байдарскому ущелью.

17. Борис Гаврилович Чиляев. См. примечание 14.

18. Хозрев-мирза, сын персидского наследного принца Аббаса-мирзы, был прислан шахом в Тифлис для принесения извинений по случаю убиения Грибоедова. Паскевич потребовал, чтобы Хозрев-мирза отправился в Петербург, и шахское правительство было вынуждено исполнить это требование.

19. Правильнее Гартис-кари, поселок в 4-х верстах от Мцхета. В 1829 г. находился здесь казачий пост и отсюда шла дорога через Мухран и Самтависи в гор. Гори.

20. Приятель Пушкина Николай Иванович Раевский, сын известного генерала 1812 года, начал службу в 1811 г. подпоручиком в орловском пехотном полку, потом перешел в кавалерию и в 1826 г., имея от роду 27 лет, назначен командиром нижегородского драгунского полка. За штурм Ахалциха произведен в генерал-майоры, в кампанию 1829 г. командовал кавалерией. Умер в 1843 году.

21. Павел Степанович Санковский, родился около 1798 г. и происходил из дворян Пирятинского повета, Полтавской губ. Отец его, Степан Андреевич, был в начале текущего столетия русским резидентом при правителе Черногории. Во время пребывания в Корфу, в 1806–1808 гг., эскадры вице-адмирала Сенявина, Санковский-отец своим влиянием немало содействовал привлечению черногорцев и других адриатических славян к совместным с нами действиям против французов, завладевших Далматиею и Рагузскою республикою. Павел Степанович начал свою службу в 1814 г. в министерстве полиции, в 1823 г. приехал в Тифлис и сначала служил в канцелярии Ермолова, а в 1827 г. поступил чиновником особых поручений к Паскевичу. Скончался 19 октября 1832 г. в Тифлисе. Павел Санковский, как и брат его Андрей, тоже служивший на Кавказе в военной службе, получил за границей хорошее образование и совершенно свободно владел французским и итальянским языками. В истории развития русского газетного дела на Каваказе и, следовательно, в истории развития русской культуры в этом крае, он занимает видное место как первый редактор первой русской газеты в Закавказье – «Тифлисских Ведомостей», издание которых было предпринято по мысли тогдашнего тифлисского военного губернатора генерал-адъютанта Н.М. Синягина. Первый лист газеты, выходившей один раз в неделю, появился 4 июля 1828 г.

По содержанию газета не имела ничего общего с обычными тощими губернскими ведомостями. Заключая в себе очень много материалов исторических, этнографических и статистических, «Тифлисские Ведомости» того времени не потеряли и теперь еще значения и интереса. Сам редактор был усердным вкладчиком газеты и помещал в ней свои стихи и прозаические произведения. Приезд Пушкина в Тифлис был настоящим праздником для Санковского. Вот что писал он по этому случаю в № 26 «Тифлисских Ведомостей» от 28 июня 1829 г.: «Надежды наши исполнились: Пушкин посетил Грузию. Он недолго был в Тифлисе; желая видеть войну, он испросил дозволение находиться в походе при действующих войсках, и 16 июня прибыл в лагерь при Искан-су. Первоклассный поэт наш пребывание свое в разных краях России означил произведениями, достойными славного его пера: с Кавказа дал он нам Кавказского пленника, в Крыму написал Бахчисарайский фонтан, в Бессарабии – Цыган, во внутренних провинциях списал он прелестные картины Онегина. Теперь читающая публика наша соединяет самые приятные надежды с пребыванием А. Пушкина в стане кавказских войск и вопрошает: чем любимый поэт наш, свидетель кровавых битв, подарит нас из стана военного? Подобно Горацию, поручавшего друга своего опасной стихии моря, мы просим судьбу сохранить нашего поэта среди ужасов брани».

22. Не Тбилискалар, а Тбилис-калаки. По-грузински тбили или тпили значит теплый, калаки – город. Тифлис или Типлис есть искажение первого слова.

23. Граф Самойлов, адъютант Ермолова на Кавказе, по общему отзыву, был необыкновенно щедро одарен природою во всех отношениях. По словам В. Андреева, лично его знавшего, Самойлов, при высоком росте, обладал необыкновенною красотою, ловкостью и силою; по характеру и наружности называли его русским Алкивиадом. («Кавказский Сборник», I, 18–19). Скупой на похвалы Н.Н. Муравьев отметил в своих «Записках» под 26 марта 1822 г: «Прибыл в Тифлис граф Самойлов, тот же отличный человек, каков был прежде, и соединяет в себе все качества нравственные и чувственные» («Русский Архив», 1888 г., I. 117). Отец Самойлова, граф Александр Николаевич, был женат на старшей из пяти сестер князя Таврического.

24. Генерал-адъютант Николай Мартынович Синягин, 1814–1819 гг. начальник штаба гвардейского корпуса; 28 марта 1827 г. назначен тифлисским военным губернатором; скончался в Тифлисе 10 октября 1828 г.

25. Генерал-адъютант Степан Степанович Стрекалов, 21 ноября 1828 г. назначен тифлисским военным губернатором, в 1831 г. переведен на такую же должность в Казань. Умер 25 ноября 1856 г.

26. Николай Николаевич Раевский, см. прим. 20.

27. Пушкин ошибся: через Безобдал перевалил он не до Грегер, а после выезда из этого укрепления.

28. Под буквой Б. скрывается, по всей вероятности, Бутурлин, штабс-ротмистр л.-гв. уланского полка и адъютант всемогущего графа А.И. Чернышева, управляющего тогда главным штабом. Он прибыл в действующий корпус за дешевыми отличиями, но подоспел только к концу кампании. Ему дали под команду летучий отряд казаков, с которыми он разогнал какую-то бродячую шайку курдов или турок. Паскевич наградил его за отличие владимирским крестом и отправил в Петербург с знаменами, отнятыми у турок в деле при Муха-Эстатэ. Вскоре после того Паскевич получил из Петербурга замечание за то, что служащие в кавказских войсках рядовые из политических преступников пользуются слишком большою свободою и послаблениями, во вред дисциплине. Генерал Н.Н. Раевский был даже арестован домашним арестом за приглашение разжалованных к своему столу. В кавказских войсках считали тогда, и кажется, не без основания, виновником всей этой тревоги Бутурлина.

29. Гумри или Гумры, местечко на берегу Арпачая, в 1837 г. переименовано в Александрополь.

30. Иван Григорьевич Бурцов, один из наиболее видных, талантливых и храбрых участников персидской и турецкой кампаний 1827–1829 гг. на Кавказе. Происходил из дворян Рязанской губернии, Пронского уезда, начал службу в 1812 г. в квартирмейстерской части прапорщиком, через 10 лет был уже полковником, в 1824 г. командовал украинским, в 1826 г. колыванским пехотным полком. В 1817 г., служа в главном штабе 2-ой армии, вступил в тайное политическое общество «Союз спасения или истинных и вер-

ных сынов Отечества», переименованное потом в «Союз благоденствия». Бурцов вышел из состава этого общества до 1825 г. и вообще не принимал никакого участия в совещаниях и подготовительных действиях, закончившихся катастрофою 14 декабря 1825 г. Тем не менее он был отрешен от командования полком, посажен на 6 месяцев в бобруйскую крепость и в 1827 г. определен на Кавказ, сначала в тифлисский, потом в мингрельский пехотный полк. В персидскую войну 1827 г. Бурцов был употребляем, как сказано о нем в одной из реляций, в самых важных местах. Сверх того, Паскевич много пользовался им и по части генерального штаба. В августе 1828 г. Бурцов получил в командование херсонский гренадерский полк, а 14 апреля 1829 г., за освобождение Ахалциха, произведен в генерал-майоры. В турецких кампаниях 1828 и 1829 гг. он принимал самое блистательное участие. Н.Н. Муравьев, вообще очень скупой на похвалы, написал несколько восторженных страниц о Бурцове в своих «Записках». Лазская пуля положила конец блестящей карьере Бурцова: 19 июля 1829 г. в деле при сел. Харте, близ Байбурта, он получил в грудь смертельную рану и скончался на третий день.

31. Владимир Дмитриевич Вольховский, из дворян Полтавской губернии, воспитывался вместе с Пушкиным в Царскосельском лицее, из которого в 1817 г. поступил прапорщиком в гвардейский генеральный штаб. Неутомимо трудолюбивый, умный, знающий, снисходительный к другим, но очень требовательный к самому себе, Вольховский всею своею жизнью и службою оправдал характеристику, данную ему Пушкиным в стихотворении «19 октября 1825 года»:

Спартанскою душой пленяя нас,
Воспитанный суровою Минервой,
Пускай опять Вольховский сядет первый.

Вольховский дважды служил на Кавказе. В первый раз прибыл он сюда в октябре 1826 г. в чине капитана гвардейского генерального шатаба. Назначение на Кавказ было вроде почетной ссылки, так как Вольховский, по выражению Паскевича, был в замечании по поводу происшествия 14 декабря 1825 года. Обстоятельство это легло пятном на Вольховском и повредило всей дальнейшей служебной карьере, несмотря на его выдающиеся заслуги. После окончания персидской войны он был произведен в полковники и при начале турецкой кампании 1828 г. назначен корпусным обер-квартирмейстером. Н.Н. Муравьев хвалит его необыкновенную деятельность в этой хлопотливой и ответственной должности. Во второй раз Вольховский прибыл на Кавказ в 1832 г. в должности начальника штаба отдельного кавказского корпуса. Когда в 1837 г. корпусный командир барон Розен был сменен, опала постигла также и Вольховского: он был назначен бригадным командиром в Динабург, но в начале 1839 г. вышел в отставку и скончался 7 марта 1841 г. в Харьковской губернии. В 1844 г. издана в Харькове небольшая (23 стр.) брошюрка «О жизни генерал-майора Вольховского». Пушкин и другие пишут его фамилию Вальховский, но сам он писался всегда Вольховским.

32. Михаил Иванович Пущин, родной брат лицейского товарища Пушкина, Ивана Ивановича, командир л.-гв. конно-пионерного эскадрона, за участие в происшествии 14 декабря 1825 г., по приговору верховного уголовного суда, был лишен дворянства, разжалован в рядовые впредь до отличной выслуги и отправлен на службу в красноярский гарнизонный батальон, где, конечно, трудно было найти случай для отличной выслуги. К счастью, скоро подошел день коронования императора Николая Павловича, 22 августа 1826 г., и Пущин, в числе других разжалованных, был переведен на Кавказ для определения в один из полевых полков. По ходатайству Паскевича, он попал в 8-ой пионерный батальон. Здесь его знания, деятельность и энергия нашли полный простор. Начав персидскую кампанию 1827 г. рядовым, он был к концу турецкой войны поручиком и имел два ордена. При штурме Ахалциха (1828 г.), находясь, как и всегда, впереди штурмовой колонны, Пущин был ранен пулею в грудь навылет. В 1830 г. он покинул службу на Кавказе по неудовольствиям с Паскевичем. Умер 25 мая 1869 г. в должности коменданта бобруйской крепости. Любопытные записки его о службе на Кавказе напечатаны бароном Розеном в статье «Декабристы на Кавказе» («Русская Старина», 1884 г., февраль) и Л.Н. Майковым в статье «О поездке Пушкина на Кавказ в 1829 г.» («Русский Вестник», 1893 г., IX).

33. Семичев, ротмистр ахтырского гусарского полка, за прикосновенность к делу о злоумышленных тайных сообществах, высочайшим приказом 7 июля 1826 г. переведен на Кавказ, в нижегородский драгунский полк. В мае 1829 г., уже в чине майора, назначен эскадронным командиром, умер от холеры в 1830 г. Семичев был храбрый офицер, участвовавший в Отечественной войне и получивший тяжелую рану в Бородинской битве.

34. Подполковник Петр Максимович Басов командовал в кампанию 1829 г. донским казачьим имени своего полком.

35. Барон Остен-Сакен, штабс-капитан нижегородского драгунского полка, легко ранен ружейною пулею в ногу 14 июня 1829 г. Пушкин называет его молодым в отличие от генерал-майора Дмитрия Ерофеевича Остен-Сакена, исполнявшего в кампанию 1829 г. должность начальника штаба при Паскевиче.

36. Барон Борис Андреевич Фридерикс, командир эриванского карабинерского полка; 19 мая 1829 г. произведен в генерал-майоры и сдал полк князю Дадиану. Скончался в 1874 г. в звании генерал-адъютанта.

37. Николай Николаевич Муравьев, генерал-майор, командир кавказской резервной гренадерской бригады. Впоследствии наместник и главнокомандующий на Кавказе.

38. Михаил Иванович Пущин, см. прим. 32.

39. Граф Иван Осипович Симонич, уроженец города Зары в Иллирии; в 1812 г. в составе великой французской армии пришел в Россию, в сражении под Красным был взят в плен и отравлен в Казань. После заключения Парижского мира (1814 г.), не желая служить Австрии, вступил в Русскую службу, отправился на Кавказ и определился с чином майора в грузинский гренадерский полк. Участвовал в походах Ермолова, который очень ценил его. В сражении под Елисаветполем, 13 сентября 1826 г., получил в левую ногу тяжелую рану, сделавшую его хромым на всю жизнь. В турецкую кампанию 1829 г. командовал грузинским гренадерским полком; после окончания войны произведен в генерал-майоры и в 1833 г. назначен посланником в Персию, откуда отозван в 1838 г. по проискам англичан. Впоследствии был комендантом цитадели в Варшаве, где и умер от последствий падения из экипажа.

40. Это случилось 19 июня 1829 г. в Зивине, где наступившая ночь остановила Паскевича, лично управлявшего преследованием бежавших турок. Пушкин не знал или, может быть, не мог отметить в своем дневнике подробности происшествия. Во время отдыха Паскевича заметили густой дым, валивший из одной сакли близ укрепления, где был турецкий хлебный магазин. Полковник Анреп послал двух нижних чинов сводного уланского полка узнать о причине дыма. Оказалось, что в пустой сакле разведен огонь, при дальнейшем же исследовании открылось, что в соседней сакле, на крыше которой отдыхал Паскевич, находится пороховой склад. Уланы потушили огонь и предупредили об опасности, грозившей главнокомандующему. Паскевич поспешил уехать, а вслед за его отъездом казаки и татары бросились шарить в сакле и своею неосторожностью произвели взрыв пороха. Так рассказано это происшествие и в «Истории военных действий в Азиатской Турции», изданной под наблюдением самого Паскевича. Но составитель этого труда (Н. Ушаков) умолчал об именах тех нижних чинов, которые спасли Паскевича от величайшей опасности. Это были два офицера польских войск, лишенные чинов и дворянства за принадлежность к польским тайным политическим обществам. Один из них, граф Станислав Станиславович Карвицкий, богатый помещик юго-западного края, старик 60 лет, был определен рядовым в борисоглебский уланский полк. Другой, граф Николай Станиславович Ворцель, воспитанник университета в Геттингене, имевший в Киевской и Волынской губерниях 4,000 душ крестьян, попал рядовым в белгородский уланский полк. Они сделали всю турецкую кампанию 1829 г. и впоследствии были переведены: Карвицкий в 44 егерский, Ворцель в апшеронский пехотный полк.

41. Это был Умбай-бек.

42. Флигель-адъютант Анреп, полковник белгородского уланского полка, в кампанию 1829 г. командовал сводным уланским полком. Храбрый офицер, но со странностями, показывавшими ненормальность его умственных способностей. По окончании турецкой войны был произведен в генерал-майоры, уехал в отпуск и умер в припадке сумасшествия (Муравьев, Записки, «Русский Архив», 1893 г., III. 340–341).

43. Полковник Анреп, см. прим. 42.

44. Михаил Иванович Пущин.

45. Пушкин не вполне точно передает этот эпизод из восточного романа Мориера (Morier) The adventures of Hajji Baba of Ispahan (1824). Когда персидский посланник Мирза-Фируз приказал отрезать уши своему скороходу, то исполнитель наказания представил посланнику два окровавленные ломтика мяса козленка. Роман «Хаджи-Баба Исфагани» переведен на русский язык бароном Брамбеусом (О.И. Сенковским).

46. Турнефор (Pitton de Tournefort), род. 1656 г., ум. 1708 г., ученый ботаник и путешественник по Малой Азии и Закавказью, автор сочинения «Relation d' un voyage du Levant» (Amsterdam, 1718).

47. Василий Дмитриевич Сухоруков, сотник л.-гв. казачьего полка был удален из гвардии на Кавказ по неудовольствиям с графом А.И. Чернышевым, с которым он разошелся во взглядах при составлении положения об управлении донским казачьим войском. Так говорят – А. Карасев («Русская Старина», 1871 г., февраль), Ф.И. Шумков («Донская Газета», 1877 г., № 2) и М.В. Юзефович («Русский Архив», 1880 г., III. 431–446). Но официальные документы свидетельствуют, что Сухоруков исключен из гвардии и отправлен на Дон, под надзор войскового атамана, за прикосновенность к происшествию 14 декабря 1825 г. В 1827 г. Сухорукову было разрешено вступить вновь на действительную службу в донской казачий полковника Карпова 2 полк, находившийся в Закавказском крае. Здесь, как человек образованный и хорошо владевший пером, был он причислен к корпусному штабу и, по поручению графа Паскевича, занялся собиранием статистических и других материалов для истории турецких кампаний 1828 и 1829 гг. Занятия Сухорукова сделались известными в Петербурге, показались подозрительными и поставили Паскевича в необходимость оправдываться в том, что он приблизил к себе опального казака. Письменные работы не препятствовали Сухорукову принимать участие во всех главных военных действиях. За кампанию 1828 г. получил он владимирский крест 4-й степени с бантом, а за штурм Ахалциха награжден золотою саблею с надписью «за храбрость». Отличия эти не спасли его, впрочем, от дальнейших невзгод: в 1830 г. он был вновь арестован, доставлен в Петербург и отправлен на службу в Финляндию, где и скончался в начале сороковых годов. В литературе Сухоруков известен своим исследованием о быте донских казаков, напечатанным в «Русской Старине» Корниловича, в 1824 г.; в «Тиф-

лисских Ведомостях», за 1828 и 1829 гг., имеется много статей Сухорукова без подписи автора; его «Историческое описание Земли войска донского» издано в двух томах в Новочеркасске в 1867–72 гг.

48. Пушкин рассказывает это обстоятельство: в Эрзерум приезжал не мушский паша просить места для своего племянника, а напротив, Ибрагим-бек, для мушского Эмина-паши, прибыл 12 июля 1829 г. просить графа Паскевича об устранении племянника и о даровании ему самому должности паши в Муше.

49. Бей-Булат – чеченский разбойник и хищник, главная пружина убийств и возмущений в Чечне в двадцатых годах. Главные начальники, правившие Кавказом до Ермолова, щедрыми подарками и ласками покупали спокойствие чеченских предводителей. Ермолов прекратил эти договоры с разбойниками. Походами в Чечню он заставил их смириться и просить пощады. Бей-Булат явился с повинною, был принят в службу по милиции с чином поручика и жил смирно, пока строились укрепления на р. Сунже, но потом взялся за старое ремесло и стал разбойничать по моздокской дороге. В 1829 г. Бей-Булат чрез шамхала тарковского завел вновь переговоры о подчинении русской власти. Паскевич вызвал его для личных объяснений в Тифлис, но, по случаю начавшихся военных действий против турок, чеченский старшина последовал за главнокомандующим в Эрзерум. Паскевич рассчитывал, что, продержав все лето разбойника около себя, он заставит чеченцев быть спокойными и прекратить набеги на военно-грузинскую дорогу. Этою надеждою объясняются и слова Пушкина: «приезд Бей-Булата был мне порукой в безопасном переезде через горы и Кабарду».

50. Вероятно Абрамович, штабс-ротмистр серпуховского уланского полка, ординарец и приближенный графа Паскевича, человек очень сомнительной репутации и темной карьеры, состоявший, по общему отзыву, в должности тайного наушника при Паскевиче. Впоследствии Паскевич взял его с собою в Варшаву, перевел в гвардию и вывел в большие чины. О нем много говорят в своих записках Н.Н. Муравьев («Русский Архив», 1894 г., I. 7. 8. 39. 387) и М.И. Пущин, называющий его сокращенно Абр. (Розен. Декабристы на Кавказе. «Русская Старина» 1884 г., февраль).

51. Пушкин пишет, что выехал из Эрзерума 19 июля 1829 г. Придя в этот день проститься с Паскевичем, он нашел его в сильном огорчении по случаю известия о смерти генерала Бурцова под Байбуртом. Здесь явная ошибка: дело в том, что Бурцов был смертельно ранен 19 июля, после полудня, в деле при сел. Харте, близ Байбурта. Так как селение это отстоит от Эрзерума по меньшей мере в 130 в., то известие о несчастном исходе боя при Харте могло быть получено Паскевичем не ранее 21 июля, весть же о кончине Бурцова, последовавшей 23 июля, застала Паскевича уже на походе к Бай-бурту, куда он спешно выступил из Эрзерума. Следовательно, остается предполагать, что или Пушкин выехал из Эрзерума не ранее 21 июля, когда уже было известно о смертельной ране Бурцова, или же, что Пушкин действительно оставил Эрзерум 19 июля, а известие о Бурцове присоединил впоследствии, при окончательной отделке своего «Путешествия». Первое предположение кажется вероятнее, так как Пушкин легко мог ошибиться в указании дня выезда из Эрзерума, а с другой стороны, мы не имеем права не верить его личному свидетельству об огорчении Паскевича.

52. В «Тифлисских Ведомостях» от 9 августа 1829 г. № 32, в отделе «Разных Известий», – сказано: «6 августа А. Пушкин, возвратившийся из Эрзерума, выехал из Тифлиса к Кавказским минеральным водам. Любители изящного должны теперь ожидать прелестных подарков, коими гений Пушкина, возбужденный воспоминаниями о Закавказском крае, без сомнения наделит литературу».

53. Руфин Иванович Дорохов, сын партизана 1812 года генерала Ивана Семеновича Дорохова, хорошо образованный, способный и храбрый, мог бы сделать блестящую карьеру, если бы не помешал этому его неукротимый и буйный нрав. Большую часть своей службы Дорохов провел в солдатской шинели за дуэли и дерзкие выходки. Разжалованный за поединок в рядовые, Дорохов попал на Кавказ перед началом персидской войны, был определен в нижегородский драгунский полк, участвовал с ним во всех делах, при блокаде Эривани ранен пулею в грудь и произведен в офицеры. Турецкая кампания 1828 г. доставила ему чин поручика и золотое оружие. В 1833 г. Дорохов вышел за ранами в отставку и поселился в Москве, но в 1838 г. мы встречаем его вновь на черноморской береговой линии рядовым в тенгинском пехотном полку. Произведенный за отличие опять в офицеры, Дорохов служил в линейном казачьем войске и начальствовал охотничьими командами. Одну из таких команд принял от раненого Дорохова Лермонтов в 1840 г. Через 12 лет, 18 января 1852 г., сотник владикавказского линейного казачьего полка Дорохов, начальствуя ракетной командой, сложил свою буйную голову в Малой Чечне, в верховьях р. Гойты, в несчастном для нас деле с чеченцами, в котором погиб с своим конвоем сам атаман кавказского линейного войска генерал Круковской. Граф Л.Н. Толстой воспроизвел типические черты характера Дорохова в «Войне и мире» под именем разжалованного офицера Долохова.

54. Михаил Иванович Пущин.

Примечания печатаются по источнику:

Вейденбаум Е.Г. Примечания и объяснения к «Путешествию в Арзрум» // Пушкинский текст. Сборник статей научно-методического семинара «Textus». – Санкт-Петербург – Ставрополь: СГУ, 1999. – Вып. 5. – С. 148–153.

Е.Г. Вейденбаум

Хронологическая канва к кавказскому путешествию А.С. Пушкина в 1829 году

1829 марта 4. С.-Петербургский почт-директор выдает Пушкину подорожную на поездку от С.-Петербурга до Тифлиса и обратно (Сочинения Пушкина, изд. П. В. Анненкова, I. 216).

- марта 9. Отъезд из Петербурга в Москву («Русская Старина», 1882 г., февраль, 468).

- мая 1. Отъезд из Москвы. Калуга. Белев. Орел. Свидание с Ермоловым. Елец. Новочеркасск. Ставрополь. Георгиевск. Горячие воды. Возвращение в Георгиевск. («Путешествие в Арзрум»).

- мая 15. Отъезд из Георгиевска.

- мая 16. Прибытие в Екатериноград.

- мая 18. Отъезд с оказией из Екатеринограда. Ночлег в Пришибе.

- мая 19. Из Пришиба в укр. Урухское.

- мая 20. Из укр. Урухского. Минарет. Ночлег в Ардоне.

- мая 21. Прибытие во Владикавказ.

- мая 22. Из Владикавказа. Ночлег в Ларсе.

- мая 23. Дарьял. Сел. Казбек. Встреча с Фазиль-ханом. Ночлег в Коби.

- мая 24. Крестовый перевал. Долина Арагвы. Ночлег у Чиляева в сел. Квишете.

- мая 25. Пасанаур. Встреча с Хозрев-мирзой*. Ананур. Ночлег в Душете.

1829 мая 26. Прибытие в Тифлис.

- мая 26 – июня 10. Пребывание в Тифлисе.

- июня 10. Выезд из Тифлиса. Ночлег на казачьем посту.

- июня 11. Волчьи ворота. Гергеры. Встреча с телом Грибоедова. Перевал через Безобдальский хребет. Пернике. Ночлег в Гумрах.

- июня 12. Прибытие в Каре. Ночлег.

- июня 13. Прибытие в лагерь действующего корпуса на берегу Каре-чая. Движение к Соганлугу («Путешествие в Арзрум»).

- июня 14. Лагерное расположение на вершине Соганлугского хребта при р. Инжа-су. Пушкин принимает участие в перестрелке с турецкими наездниками («Путешествие в Арзрум»).

- июня 15–17. Стоянка на том же месте.

- июня 18. Войска оставляют позицию при Инжа-су и ночуют при р. Хункер-су.

- июня 19. Поражение кавалерии Гагки-паши и передовых войск эрзерумского сераскира при сел. Каинлы. Пушкин принимает участие в преследовании бегущего неприятеля до Зивина и возвращается на ночлег в Караурган («Путешествие в Арзрум»).

- июня 20. Поражение отряда Гагки-паши и взятие в плен самого паши при Мили-дюзе. Пушкин принимает участие в преследовании неприятеля и проводит ночь с нижегородским драгунским полком на биваке между Мили-дюзом и Меджингертом («Путешествие в Арзрум»).

- июня 21. Утром Пушкин возвращается во взятый накануне турецкий лагерь при Мили-дюзе. Свидание с пленным Гагки-пашей. Переход в Караурган.

- июня 22. Главные силы спускаются в долину Аракса и ночуют при сел. Ардосте.

- июня 23. Переход до сел. Керпи-кея. Мост Чобан-кепри и караван-сарай, описанные Пушкиным.

---

* Персидский принц Хозрев-мирза выехал из Тифлиса во Владикавказ 23 мая 1829 г., в 6 ч. пополудни.

- июня 24. Выступление из Кепри-кея. Пушкин принимает участие в набеге, вызванном ложным известием о появлении в горах турецкой кавалерии. Ночлег в Гассан-кале («Путешествие в Арзрум»).

- июня 25. Молебствие в Гассан-кале по случаю дня рождения Государя Императора. После парадного обеда у Паскевича войска отправляются в поход и, пройдя 20 в., останавливаются для ночлега близ сел. Наби-чай.

- июня 26. Утром войска переходят через известковые горы, отделяющие Гассан-кальскую равнину от Эрзерумской, и останавливаются в полдень в четырех верстах от Эрзерума. Паскевич отправляет в город генерал-майора князя Бековича-Черкасского с полномочием вести переговоры и заключить капитуляцию.

- июня 27. Около 3 час пополудни Паскевич занимает укрепленную высоту Топ-даг. Приезжает туда с Юзефовичем. Два полка вступают в город и в 6 $^1/_2$ час. пополудни русское знамя поднимается на стенах цитадели. Пушкин отправляется в город вместе с Раевским («Путешествие в Арзрум»).

- июля 7. Паскевич переходит на жительство из лагеря во дворец сераскира в Эрзеруме.

- июля 10. Н.Н. Раевский выступает в поход с кавалерией. Пушкин делается гостем Паскевича.

- июля 14. Пушкин узнает о появлении чумы в Эрзеруме и решается оставить армию («Путешествие в Арзрум»).

- июля 19. Генерал Бурцов смертельно ранен в деле при сел. Харте, в 15 в. от Байбурта.

- июля 21. Пушкин выезжает из Эрзерума обратно в Тифлис.

- августа 1. Прибытие в Тифлис («Путешествие в Арзрум»).

- августа 6. Выезд из Тифлиса во Владикавказ.

- сентября 8. Пушкин выезжает с кавказских минер. вод.

Текст и примечания печатаются по источнику:

Вейденбаум Е.Г. Хронологическая канва к кавказскому путешествию А.С. Пушкина в 1829 году // Пушкинский текст. Сборник статей научно-методического семинара «Textus». – Санкт-Петербург – Ставрополь: СГУ, 1999. – Вып. 5. – С. 154.

Е.Г. Вейденбаум

О пребывании Пушкина на Кавказе в 1829 году[1]

Пребывание Пушкина на Кавказе в 1829 г. принадлежит к наименее известным в подробностях периодам в жизни поэта. От этого времени не имеется или не сохранилось ни одного письма его: очень возможно, что по некоторым соображениям он воздерживался от корреспонденции, пока находился в армии графа Паскевича[2]. Таким образом, одно «Путешествие в Арзрум» служило долгое время единственным печатным источником сведений о Пушкине на Кавказе в 1829 г. Только в 1880 г. сведения эти были несколько дополнены воспоминаниями Н.Б. Потокского («Русская старина», 1880, июль, 576–584) и М.В. Юзефовича («Русский архив», 1880, III. 431–446). К сожалению, оба они взялись за перо на закате своих дней, спустя полвека после событий, когда многое забылось, многое перепуталось в старческой памяти. К тому же Н.Б. Потокский был только случайным дорожным знакомцем Пушкина, а М.В. Юзефович встретился с ним уже в действующем отряде. Оба они немного прибавили к тому, что сам Пушкин признал возможным сказать в своем «Путешествии в Арзрум». Очень богатый вклад в собрание сведений о пребывании поэта на Кавказе сделал вице-президент нашей Академии наук Л.Н. Майков, напечатавший в «Русском вестнике» 1893 г. записку М.И. Пущина «Встреча с Пушкиным на Кавказе». Драгоценная записка эта значительно дополняет сведения того же Пущина, обнародованные впервые бароном А.Е. Розеном в его исследовании «Декабристы на Кавказе» («Русская старина», 1884, февраль, 303–308).

Таковы до сих пор главнейшие и почти единственные источники сведений о кавказском путешествии Пушкина. Первое место между ними принадлежит, конечно, «Путешествию в Арзрум». Как известно, Пушкин не предполагал сначала сообщать в печати о своих кавказских впечатлениях, и только книга французского путешественника Виктора Фонтанье побудила его обнародовать свой путевой дневник. В нем он многого не договаривает, о многом виденном и слышанном совсем умалчивает и ограничивается беглым и далеко не полным обзором тех событий, которых был очевидцем. Все «Путешествие» есть в сущности оправдательный документ против обвинения поэта в том, что он, находясь в действующем отряде, написал будто бы сатиру на графа Паскевича. «Я устыдился бы, – говорит Пушкин в предисловии к «Путешествию», – писать сатиры на прославленного полководца, ласково принявшего меня под сень своего шатра и находившего время посреди своих великих забот оказывать мне лестное внимание. Человек, не имеющий нужды в покровительстве сильных, дорожит их радушием и гостеприимством, ибо иного от них не может и требовать. Обвинение в неблагодарности не должно быть оставлено без возражения, как ничтожная критика или литературная брань. Вот почему решился я напечатать это предисловие и выдать свои путевые записки, как все, что мною было написано о походе 1829 года». «Путешествие» появилось впервые в печати в первой книге «Современника» за 1836 г. по рукописи, переписанной и исправленной в 1835 г. С тех пор, более полувека, сочинение это печаталось всегда в одинаковом виде, то есть с пропуском беседы с Ермоловым, рассуждения о распространении христианства среди горцев и т.д. Имена почти всех лиц, с которыми Пушкин встречался на Кавказе, обозначались в печати только начальными буквами. Замечательно, что по цензурным соображениям, ныне совершенно необъяснимым, сводный уланский полк именовался в печатном тексте просто уланским полком, а название *сводный* заменялось тремя звездочками.

В полном виде, совершенно согласном с авторским текстом, «Путешествие» появилось только в 1887 г. в сочинениях Пушкина, изданных Обществом для пособия нуждающимся литераторам и ученым. При этом оказалось, что в рукописи только немногие лица названы полными именами, большинство же самим Пушкиным означено одними инициалами. Редактор издания, о котором идет речь, профессор П.О. Морозов, не мог или не признал нужным раскрыть эти анонимы. Таким образом, высказанная П.В. Анненковым еще в 1855 г. надежда на то, что будущие издатели Пушкина объяснят все анонимы «Путешествия», не осуществилась и через 50 лет после кончины поэта. Предпринятое нашей Академией наук критическое издание сочинений Пушкина вновь поставило на очередь этот вопрос, очень важный для определения круга знакомств и отношений поэта на Кавказе. Теперь большая часть этих инициалов раскрыта, и только немногие из них остаются под сомнением[3].

По словам профессора П.О. Морозова, «Путешествие» написано Пушкиным вчерне еще в 1829 г. Первоначальный текст этот, к сожалению, никогда не появлялся в печати, и потому мы можем высказать только предположение, что он в общем должен значительно разниться от текста, обработанного в 1835 г. Дело в том, что «Путешествие» распадается на две неравные части. Одна из них, составившая в окончательной обработке первую главу, написана, очевидно, во время самого путешествия, под живым впечатлением виденного и слышанного в пути. Пушкин записал язвительные отзывы Ермолова о Паскевиче, излагает свой, очень замечательный, взгляд на обращение горцев в христианство, сообщает сведения о положении аманатов в Владикавказе и т. д. В «Путешествии» указано даже, что первая запись в дорожном дневнике сделана им в Георгиевске 15 мая, вторая – во Владикавказе 22 мая. С этого дня хронологические даты пре-

кращаются. Со слов Пушкина мы знаем только, что он прожил в Тифлисе около двух недель, но что делал он в Тифлисе и с кем проводил время – остается неизвестным. Пушкин называет только одного Санковского и дает внешнее описание города.

Путь от Тифлиса до лагеря действующего корпуса на берегу Карс-чая, куда Пушкин прибыл 13 июня, описан очень кратко и, очевидно, на память или по самым беглым отметкам в дневнике. Наконец, движение с войсками от Соганлуга до Эрзерума изложено очень сухо и сдержанно, с опущением всяких подробностей, даже без названия тех мест (Каинлы, Миллидюз), где происходили сражения. Пушкин подчеркивает, что он не вмешивается в военные суждения и описывает только то, что сам успел увидеть. Между тем, живя в палатке Раевского, беседуя с Вольховским, Пущиным и другими лицами штаба, близко знавшими положение дел, Пушкин не мог, конечно, не видеть закулисной стороны войны, не всегда согласной с пышными реляциями. Он умолчал, например, о следствии, назначенном над начальником штаба бароном Д.Е. Остен-Сакеном за нерешительные будто бы действия кавалерии при преследовании 20 июня разбитого Гагки-паши. Следствие это окончилось выговорами Сакену и Раевскому и привело затем к удалению их обоих из кавказской армии. Пущин рассказывает в своих записках, что вся эта неприятная история была последствием неосторожности Сакена: еще в Тифлисе он обратил внимание Паскевича на статью в «Journal des Débats», в которой говорилось, что Паскевич самых обыкновенных способностей и что успех его кампаний должно приписать способностям его начальника штаба и многих других лиц, сосланных на Кавказ за 14 декабря.

Обратный путь из Эрзерума описан Пушкиным всего в нескольких строках, и все «Путешествие» оканчивается прибытием в Владикавказ. О своем довольно продолжительном пребывании на Кавказских Минеральных Водах поэт не упоминает ни одним словом.

Обратимся теперь к другим, названным выше источникам сведений о пребывании Пушкина на Кавказе в 1829 г.

Н.Б. Потокский, по его собственным словам, в 1829 г., не имея еще и 20 лет от роду, освободился от опеки своих родителей и с большими надеждами отправился на Кавказ с рекомендательными письмами к Н.Н. Раевскому, П.С. Санковскому и В.Д. Вольховскому. В Екатеринограде юноша встретился с Пушкиным и вместе с ним отправился в Владикавказ. В Тифлисе жили они в одной гостинице, а по возвращении Пушкина из Эрзерума встречались в доме Санковского.

Таким образом, Потокский мог бы значительно пополнить запас известий о кавказском путешествии Пушкина. Но, к сожалению, он писал свои воспоминания через 50 лет после встречи с поэтом. Никакая память не может выдержать такого долгого срока. Потокский допустил хронологические ошибки, обобщил отдельные случаи, сделал себя центральной фигурой событий. Поэтому воспоминания его не могут, по нашему мнению, считаться надежным источником сведений о Пушкине. Прежде всего, они противоречат во многом рассказу самого поэта. Чтобы не быть голословным, приведу несколько примеров. Потокский утверждает, что, едучи вместе с Пушкиным в Тифлис, встретил около Пасанаура барона Фелькерзама, спешившего в Петербург с донесением о победе над турками. Здесь явная хронологическая ошибка: адъютант графа Паскевича барон Иван Егорович Фелькерзам выехал из Эрзерума с донесением о занятии этого города только 28 июня 1829 г., когда Пушкин уже находился в действующем корпусе и присутствовал при сдаче столицы Анатолии. По рассказу Потокского, Пушкин весь путь от Екатеринограда до Тифлиса сделал верхом, причем Потокский неотлучно следовал за ним. Только станции за две до Тифлиса Потокский расхворался и не мог держаться на коне. Тогда Пушкин уложил больного в телегу и был при нем неотлучно до Тифлиса. Рассказ Пушкина не подтверждает этого сообщения. Из Пасанаура нетерпеливый поэт отправился пешком совершенно один, даже без проводника, и прошел до Душета. Здесь нагнали его граф Пушкин и Шернваль и предложили отправиться дальше в их экипаже. Предложение было принято, и путешественники крупной рысью, а иногда и вскачь поехали в Тифлис. Очевидно, что Пушкин и Потокский встретились в пути случайно, что это было одно из тех мимолетных знакомств, которые не оставили в памяти поэта никакого следа, тогда как на восторженного, романтически настроенного юношу встреча с прославленным поэтом произвела впечатление настолько глубокое, что через полвека она одна осталась в его памяти, затмив все остальные подробности. По рассказу Потокского, Пушкин любил писать мелом и углем стихи и рисовать карикатуры на дверях и стенах. Так делал будто бы Пушкин во всех укреплениях и даже во Владикавказе, по возвращении с обеда у генерала Скворцова. Очень возможно, что живой и шаловливый поэт написал где-нибудь стихи на дверях, но Потокский поспешил обобщить единичный случай и возвел его в особенную привычку Пушкина, как будто на каждом казачьем посту, в каждом дом, где только поэт останавливался, были к его услугам мел и уголь для расписывания стен и дверей.

С Михаилом Владимировичем Юзефовичем Пушкин встретился только 13 июня 1829 г., в день прибытия в отряд, стоявший лагерем на берегу Карс-чая, у подошвы Соганлугского хребта. Юзефович был тогда поручиком белгородского уланского полка и состоял адъютантом при начальнике кавалерии Н.Н. Раевском. В отряде жил он в одной палатке со Львом Пушкиным, тоже адъютантом генерала Раевского. Таким образом, Юзефович имел возможность видеться с Пушкиным ежедневно, но он писал свои воспоминания в июле 1880 г., т. е. через 51 год после события, и, следовательно, многое забыл. Поэтому он передал (как сам

заявляет) только то, что ясно и точно сохранилось в его памяти, за правду чего может ручаться по совести. К сожалению, в памяти его удержалось мало новых подробностей о пребывании Пушкина в отряде.

Очень драгоценными являются в этом отношении, как мы уже сказали, записки М.И. Пущина, обнародованные впервые Л.Н. Майковым. Он написал их в пятидесятых годах, следовательно, на 30 лет раньше Потокского и Юзефовича, когда события кампании 1829 г. были еще свежи в его памяти. Пущин сообщил впервые сведения, до того совершенно неизвестные, о пребывании Пушкина на Кавказских Минеральных Водах в августе и сентябре 1829 г., после возвращения из Эрзерума. Пушкин сам нигде ни одним словом не упоминает об этом, и только на двух его стихотворениях 1829 г. имеется помета: *на кавказских водах*.

Официальные сведения о пребывании Пушкина на Кавказе выразились только в переписке об учреждении за ним тайного полицейского надзора.

Намерение посетить Кавказ возникло у Пушкина еще в 1827 году. От 8 мая этого года[4] он писал из Москвы своему брату Льву Сергеевичу, служившему тогда в нижегородском драгунском полку: «Завтра еду в Петербург... Из Петербурга поеду в чужие края, т.е. в Европу, или восвояси, т.е. в Псков, но вероятнее – в Грузию, не для твоих прекрасных глаз, а для Раевского». Намерение это осуществилось, однако, только в 1829 г., причем Пушкин собрался на Кавказ, по-видимому, совершенно неожиданно, без всяких приготовлений. Сам он объяснял цель своей поездки различно. В черновом предисловии к «Путешествию в Арзрум», написанном 3 апреля 1835 г., было сказано: «В 1829 г. отправился я на кавказские воды. В таком близком расстоянии от Тифлиса мне захотелось туда съездить для свидания с братом и с некоторыми из моих приятелей». Между тем, выезжая 9 марта 1829 г. из Петербурга, Пушкин отметился в полиции выехавшим не на Кавказские Воды, а именно в Тифлис, по подорожной, данной ему петербургским почт-директором 4 марта 1829 г. до Тифлиса и обратно. Как в письме от 8 мая 1827 г., так и в черновом предисловии к «Путешествию в Арзрум» Пушкин объясняет свою поездку желанием повидаться с братом Львом и Н.Н. Раевским. Но замечательно, что в письме к тому же самому Раевскому от 30 января 1829 г., следовательно, за месяц до выезда из Петербурга на Кавказ, поэт ни слова не говорит о намерении посетить Грузию. Все это дает основание предполагать, что окончательное решение бросить столицу и отправиться в Азию созрело в Пушкине внезапно, под влиянием того тревожного состояния духа, в котором он тогда находился.

Неизвестный и крайне недоброжелательный к поэту автор воспоминаний, напечатанных в «Русской старине» 1874 года (том X, август), утверждает, что кавказскую поездку Пушкина устроили игроки, у которых он был в тисках. «Ему, верно, обещают золотые горы на Кавказе, а как увидят деньги или поэму, то выиграют и – конец». Слова о проигранной в карты поэме есть, очевидно, намек на уступку Пушкиным Н.В. Всеволожскому в 1820 г. права издания своих стихотворений за карточный долг. Пушкин, действительно, в 1829 г. предавался еще со страстью карточной игре, но только явное недоброжелательство могло искать в этом увлечении повод к поездке на Кавказ. Найти игроков Пушкин мог бы и в Петербурге, и в Москве. «Сулить золотые горы на Кавказе» можно было только шулеру, а не человеку, вечно проигрывавшему в карты.

Пушкин выехал на Кавказ, не испросив даже разрешения у кого следовало. Он состоял тогда под секретными надзором, и потому внезапный отъезд его встревожил шефа жандармов Бенкендорфа. Мнительному начальнику тайной полиции, помнившему о близких отношениях Пушкина к участникам происшествия 14 декабря 1825 г., показался в высшей степени подозрительным отъезд поэта в армию, в которой находилось в то время на службе много лиц, более или менее прикосновенных к этому происшествию. Пока Пушкин беззаботно ехал по степям Предкавказья, в Тифлисе делались распоряжения об учреждении над ним секретного надзора. За несколько дней до выступления в турецкий поход, именно 12 мая 1829 г., Паскевич приказал начальнику своего штаба барону Д.Е. Остен-Сакену предупредить тифлисского военного губернатора ген.-адъютанта Стрекалова о предстоящем прибытии в Грузию «известного стихотворца, отставного чиновника X класса Александра Пушкина» и об учреждении за ним надлежащего надзора. Стрекалов, в свою очередь, предписал 14 мая тифлисскому гражданскому губернатору по прибытии Пушкина обратить на поведение его строгое внимание и доносить секретно об образе его жизни. Нет сомнения, что Пушкин знал об этом от своих друзей, служивших в штабе и в канцелярии Паскевича, и принял свои меры осторожности. Время тогда было такое, что почти все частные письма с Кавказа, даже таких лиц, как Н.Н. Муравьев, подвергались перлюстрации в московском почтамте. Вот почему, вероятно, Пушкин избегал писания во время пребывания на Кавказе и пользовался только верными случаями для пересылки своих писем. Соображениями осторожности объясняется, по нашему мнению, и то, что Пушкин, начав в Георгиевске свой дневник изложением мнения о системе управления горцами, о способах мирного покорения их и т.д., прекратил подробные записи по переезде через Кавказские горы и ограничился краткими отметками о лично виденном, избегая всяких рассуждений и оценки событий. Та же причина, несомненно, побудила его умолчать о многих встречах с старыми друзьями или скрыть их имена под инициалами. Поэтому, издавая в 1836 г. свои путевые записки, он имел полное право утверждать, что в них заключается все написанное им о походе 1829 года.

Переписка о секретном надзоре за Пушкиным на этом не кончилась. Уже по возвращении с Кавказа он должен был дать Бенкендорфу объяснение о причинах, вызвавших поездку. От тифлисского военного гу-

бернатора было потребовано донесение, «по чьему позволению известный стихотворец Александр Пушкин предпринял путешествие из Тифлиса в Эрзерум». Представляя Бенкендорфу свои объяснения, Стрекалов доносил, что даже лично обращал на образ жизни Пушкина надлежащее внимание.

Первые же строки своего «Путешествия в Арзрум» Пушкин посвящает опальному Ермолову, которым восхищался с давних пор. Еще в 1820 г., возвратясь в Кишинев с Кавказских Вод, поэт писал своему брату Льву: «Ермолов наполнил Кавказ своим именем и благотворным гением». Неудивительно поэтому, что Пушкин не затруднился сделать лишних 200 верст для свидания с прославленным кавказским вождем. Замечателен отзыв Пушкина о наружности Ермолова. Считается почти обязательным называть голову Ермолова львиной. Но Пушкин говорит, что у него голова тигра на геркулесовом торсе, и затем прибавляет: «улыбка неприятная, потому что неестественна». Если припомнить, что в характере Ермолова была известная доля двуличности и хитрости, давшая великому князю Константину Павловичу повод называть его патером Грубером[5], то сравнение Пушкина должно признать более метким, чем сравнение со львом, придуманное безусловными панегиристами Ермолова. Оно еще раз подтверждает независимость мнений Пушкина и правдивость его в отзывах даже о тех, кого он искренно почитал.

Путешествие с оказией по Кабардинской плоскости дало Пушкину случай высказать свой взгляд на систему покорения кавказских горцев. Поэт находил, что главными средствами для этого должны служить торговля и в особенности свободная, чуждая всякого формализма проповедь евангелия. Нельзя не узнать в этом мнении отражение сентиментально-филантропических идей эпохи Александра I, когда начальникам Кавказской линии было запрещено делать набеги в горские пределы, в Тифлисе учреждено отделение Библейского общества и в нескольких пунктах открыты меновые дворы для привития диким горцам привычек и потребностей цивилизованной жизни. Великодушные намерения эти не дали ожидаемых плодов, быть может, по причинам, указанным Пушкиным в его горячих и красноречивых строках. Затем поэт высказывает надежду, что приобретение восточного края Черного моря, отрезав черкесов от торговли с Турцией, принудит их сблизиться с русскими. Соображение это не могло находиться в первоначальном тексте дневника и прибавлено, вероятно, впоследствии, при окончательной обработке «Путешествия», так как только после заключения Адрианопольского трактата 2 сентября 1829 года, отдавшего во власть России крепости Поти и Анапу, Закубанский край и все прибрежье Черного моря от Анапы до р. Чолока в Гурии, сделалось возможным принять меры к обузданию непокорных черкесских племен без опасения протестов со стороны Турции о нарушении ее верховных прав на ту или другую часть кавказского населения. Но надежды, возлагавшиеся на Черноморскую береговую линю, не осуществились: она окончила свое бесполезное существование в 1854 г., поглотив многие тысячи человеческих жизней и огромные денежные средства.

Пушкин не говорит ничего о своих знакомствах в Владикавказе. По словам же Н.Б. Потокского, поэт присутствовал на многолюдном обеде у коменданта генерала Скворцова и даже написал мелом на дверях в честь его стихи, из которых Потокский припомнил только четыре строчки, и то приблизительно. Николай Петрович Скворцов был старый кавказский служака, почтенный и всеми уважаемый, с здравым умом и твердым характером. Рассказы его не могли не заинтересовать любознательного поэта. Скворцов происходил из купеческих детей, в 1779 г. поступил сержантом в военную службу, в 1786 г. произведен в адъютанты казанского мушкетерского полка и с тех пор провел всю свою службу на Кавказской линии. В 1788 г. ходил он за Кубань до Анапы, 30 сентября 1790 г. принимал участие в поражении Батал-паши на Кубани, в 1804 г. – в усмирении кабардинцев. В 1829 г. был он уже генералом и занимал должности владикавказского коменданта и командира владикавказского гарнизонного полка. Дочь его была невестой Демьяна Александровича Искрицкого, подпоручика гвардейского генерального штаба, за прикосновенность к делу декабристов переведенного тем же чином в Орский гарнизон, а оттуда на Кавказ в 42-й егерский полк. В сентябре 1831 г. Искрицкий скончался в Кубе, от горячки. Вскоре последовала за ним в могилу и невеста его.

Нетерпение Пушкина увидеть Раевского и брата Льва было так велико, что он, избегая задержек в лошадях, прошел пешком значительную часть пути от Владикавказа до Душета. Наконец, 26 мая прибыл он в Тифлис и здесь с огорчением узнал, что нижегородский драгунский полк уже выступил в поход. Пушкин решился просить у графа Паскевича позволения приехать в армию. Главнокомандующий находился в то время уже под Карсом. Около двух недель протомился Пушкин в ожидании разрешения. Он пишет, что познакомился в это время с тифлисским обществом, но называет только одного П.С. Санковского, издателя «Тифлисских ведомостей» и большого поклонника поэта. Санковский давно ожидал прибытия Пушкина в Тифлис, но потерял, наконец, надежду увидеть его и с грустью писал в своей газете (№17 от 26 апреля 1829 г.): «Мы ожидали сюда одного из лучших наших поэтов, но сия надежда, столь лестная для любителей Кавказского края, уничтожена последними письмами, полученными из России». Замечательно, что известие о прибытии Пушкина в Грузию появилось в «Тифлисских ведомостях» только в №26, вышедшем 28 июня 1829 г.[6], когда Пушкин находился уже в Эрзеруме. Вероятно, поднадзорное положение поэта, прибытие его в край без надлежащего разрешения и неизвестность, как отнесется к нему граф Паскевич, побудили генерала Стрекалова отложить печатание заметки Санковского до получения приказаний главнокомандующего.

Большой интерес для тифлисцев представляет вопрос: где жил Пушкин в Тифлисе? Считается достоверным, что ему была отведена для жительства комната в доме Цуринова на Эриванской площади, по линии,

которая вследствие этого ныне называется Пушкинской. Но сам поэт говорит, что остановился в трактире, и жалуется, что в трактире этом кормили его и дорого, и дурно. Н.Б. Потокский говорит также, что Пушкин поместился в единственной в то время небольшой гостинице Матасси[7]. Остается предполагать, что Пушкин, пожив у Матасси, перешел потом в дом Цуринова или же что он жил в этом доме по возвращении из Эрзерума.

Наконец, генерал Стрекалов получил от графа Паскевича предписание от 8 июня № 194, которым Пушкину разрешалось прибыть в действующий корпус. Раевский запиской уведомил об этом поэта. Пушкин отправился в тот же день и, можно сказать без преувеличения, не проехал, а пролетел расстояние до Карса. Нельзя не удивляться его телесной и духовной крепости, позволившей ему, без малейшего ущерба для здоровья, делать в сутки по 75 верст верхом на изнуренных казачьих лошадях в дождь и непогоду. Усилия эти не были на этот раз напрасны: Пушкин прибыл к войскам 13 июня, всего за несколько часов до их выступления. В дальнейшем описании своего «Путешествия» Пушкин, как мы уже имели случай заметить, строго ограничивается изложением только фактической стороны дела, и только в тех пределах, в которых она была доступна его наблюдению. Поэтому для понимания хода и связи событий необходимы некоторые пояснения.

8 июня 1829 г. войска действующего корпуса собрались в лагере при сел. Котанлы на р. Карс-чае, в 30 верстах от подошвы Соганлугского хребта. Как раз в день приезда Пушкина (13 июня) граф Паскевич решился предпринять движение через лесистые горы для наступления к Эрзеруму. На этом пути, на неприступной позиции Милли-дюз, стоял трехбунчужный Гагки-паша с отрядом в 10000 пехоты и конницы. Для отвлечения его внимания от так называемой Зивинской дороги, по которой предполагалось направить русские войска на Соганлуг, Паскевич приказал г.-м. Бурцову сделать ложную атаку на милли-дюзскую позицию.

В 5 ч. после полудня, 13 июня, все войска покинули сел. Котанлы и направились по назначению: Бурцов с своим отрядом влево, а главные силы по Зивинской дороге. Пушкин находился при нижегородском драгунском полку, следовавшем с остальной кавалерией в резерве за главной колонной. В 8 ч. вечера, отойдя 17 верст, войска стали лагерем близ разоренного сел. Котанлы. Здесь Пушкин представился графу Паскевичу. Главнокомандующий был весел и ласково принял поэта. Пушкин объясняет и причину этого веселья: «Чуждый воинскому искусству, – говорит он, – я не подозревал, что участь похода решилась в эту минуту». Действительно, Паскевич, всегда нерешительный, имел причины радоваться: демонстрация отряда Бурцова отвлекла внимание Гагки-паши от движения главных сил, вследствие чего Зивинская дорога оказалась совершенно свободной.

Ночью, после отдыха, движение продолжалось, и к утру 14 июня Паскевич стал лагерем на вершине Соганлуга, при р. Инджа-су, в 8 верстах от позиции Гагки-паши.

Здесь удалось Пушкину осуществить свое желание подраться с турками. После полудня, когда утомленные ночным 30-верстным переходом войска предавались послеобеденному отдыху, значительная партия курдов и дели, посланная Гагки-пашей, внезапно атаковала и потеснила нашу передовую цепь казаков. Сам Пушкин говорит только, что поехал с Семичевым посмотреть новую для него картину. Но другие рассказывают иначе. По словам М.И. Пущина, поэт, услыхав выстрелы в цепи, вскочил на коня и исчез с глаз своих друзей. Семичев и Пущин отправились на поиски и увидели его скачущего с саблею наголо против турецких наездников. К счастью, приближение улан с Юзефовичем, прискакавшим на выручку, заставило турок удалиться. Пушкину не удалось попробовать своей сабли на турецкой голове, но зато и свою удержал он на плечах. По другому рассказу[8], сходному в общем с рассказом Пущина, Пушкин устремился против неприятельских всадников с пикой, взятой им у одного из убитых донских казаков. Опытный майор Семичев, посланный ген. Раевским вслед за поэтом, едва настиг его и вывел насильно из передовой цепи. Можно поверить, что донцы наши были чрезвычайно изумлены, увидев перед собой незнакомого героя в круглой шляпе и бурке.

Три дня простоял Паскевич при реке Инджа-су, оправдывая свою нерешительность глубокомысленными соображениями. Лица, понимавшие дело, сердились на бездействие. Но Пушкин наслаждался свободной и беззаботной лагерною жизнью. Он жил в палатке веселого и гостеприимного Раевского, куда собиралось ежедневно самое разнообразное общество. Здесь имел случай Пушкин видеть представителей различных мусульманских племен Закавказья, служивших под начальством Раевского в так называемых конно-иррегулярных полках. Особенно заинтересовали поэта курды-езиды, обвиняемые мусульманами в поклонении дьяволу. Он довольно верно изложил сущность религиозных воззрений этой еще и до сих пор не вполне разгаданной секты.

Однообразие стоянки на Инджа-су прерывалось военными эпизодами. Пушкин вскользь упоминает о деле 17 июня полковника барона Фридерикса с турками. Это был небольшой отряд Османа-паши, появившийся на фланге нашего следования со стороны Бардуса. Против него был направлен 1-й мусульманский (карабахский) полк под начальством подполковника Ускова, подкрепленный казаками и батальоном эриванского карабинерного полка полковника барона Б.А. Фридерикса. Турки были прогнаны, и сам Осман-паша едва избежал плена.

Наконец, 18 июня Паскевич решился спуститься с Соганлуга к сел. Караургану в тыл позиции Гагки-паши на Милли-дюзе. К вечеру войска остановились для ночлега при р. Хункер-су. На другой день движение продолжалось, и в 10 ч. близ сел. Каинлы разъезды наши столкнулись с передовыми войсками турецкого сераски-

ра Гаджи Магомета Салех-паши, прибывшего накануне к Зивину из Эрзерума. После полудня завязалось дело, кончившееся к ночи полным разгромом турецкой армии. Войска наши гнали турок до сел. Караургана. Здесь пехота остановилась, а кавалерия, предводимая Паскевичем, преследовала бегущих еще 12 верст.

Где находился наш поэт во время боя и 40-верстного марша? Он рассказывает, что после ухода полков к назначенным им местам, остался один и направил своего коня наудачу. Сначала попал он к ген.-м. Бурцову, занимавшему левый фланг нашего боевого расположения; потом пробрался к ген.-м. Муравьеву на правый фланг и, наконец, примкнул к штабу Паскевича. В своем дневнике, рассказывая о виденных им отдельных эпизодах боя при Каинлы, Пушкин называет Бурцова и Муравьева. Действительно, эти два генерала вынесли на себе всю тяжесть сражения, особенно ген.-м. Бурцов, устоявший с херсонскими батальонами против бешеной атаки 10 тысяч турецкой кавалерии.

К вечеру, когда было получено достоверное известие о бегстве сераскира к Эрзеруму, Паскевич возобновил преследование со всей кавалерией. Пушкин принял участие в этом набеге. Не турецкие пули и сабли были опасны в этой бешеной скачке, а возможность упасть с усталым конем и быть затоптанным своими же. Наступившая ночь остановила Паскевича на биваке. Сюда собрались все кавалерийские начальники, принимавшее участие в преследовании турок.

На другой день, 20 июня, решилась судьба Гагки-паши. Получив известие о поражении сераскира, он не нашел возможным защищаться на своей позиции при Милли-дюзе: при первом наступлении наших войск турки сделали несколько безвредных пушечных выстрелов и затем бросились врассыпную. Сам Гагки-паша, оставшись без войска, пытался бежать, но был захвачен в лесу подполковником Верзилиным с линейными казаками. Паскевич остался ночевать на Милли-дюзе, разослав предварительно отряды по разным направлениям для преследования бегущих турок.

Пушкин участвовал в движении колонн против Гагки-паши. Он примкнул к нижегородскому полку, шедшему в третьей линии, но вскоре отстал и очутился один в лесистых горах. Долго бродил он от одной части к другой, пока не наткнулся на нижегородцев, остановившихся на ночлег между Милли-дюзом и Меджингертом.

21 июня Паскевич перешел с Милли-дюза к Караургану. Здесь Пушкин имел случай видеть пленного Гагки-пашу и наблюдать физиологическое явление, известное у турок под названием *кеса*. 22 июня главные силы, продолжая движение, перешли к сел. Ардосту, 23 июня спустились в долину Аракса и, следуя его левым берегом, достигли к вечеру сел. Кепри-кея. Пушкин прошел молчанием дни 22 и 23 июня. Утомление предшествующих дней, жаркий воздух и отсутствие выдающихся событий заглушили на время его любознательность. В эти дни присоединились к главным силам отдельные отряды, преследовавшие бегущих турок, и были отправлены в Карс Гагки-паша и другие пленные турецкие сановники. Из Ардоста полетел в Петербург и курьер с донесением Паскевича о поражении турецкой армии.

Природа неприветлива в долине Аракса. Бедствия войны сделали ее еще более угрюмой. «Селения были пусты, окрестная сторона печальна», – говорит поэт о местах, виденных им 22 и 23 июня. Селение Кепри-кей (в переводе с турецкого «мостовое селение») находится при слиянии рек Аракса и Гассан-су. Непосредственно над соединением их переброшен через Аракс большой и древний каменный мост, называемый *Чобан-кепри* («мост пастуха»). Пушкин сообщает предание о построении этого моста разбогатевшим пастухом, могилу которого местные жители указывают на вершине соседнего холма. Нам известно другое предание по этому поводу. «Когда какой-то царь предпринял сооружение моста. Но все попытки лучших строителей оказывались неудачными: все, сделанное днем, оказывалось разрушенным в следующую ночь. Наконец, явился ангел в одежде пастуха и указал место для моста. Тогда работа пошла безостановочно, и мост был назван пастушеским».

Развалины Караван-сарая, посещенные Пушкиным, заслуживают внимания. Полагают, что он был построен генуэзцами во времена процветания их торговли с Эрзерумом и Тавризом.

Паскевич не остался на ночлег в Кепри-кее. Вскоре после прибытия главных сил в это селение получено было из Гассан-кале известие о намерении сераскира увезти в Эрзерум находившиеся там артиллерийские и провиантские запасы. Паскевич немедленно сформировал летучий отряд под начальством г.-м. князя Бековича-Черкасского и сам повел его в Гассан-кале. Главные силы выступили туда же на другой день, 24 июня.

Поход, видимо, утомил Пушкина и нравственно и физически. Он жаждал отдыха и уже не бросался вперед при первом известии о деле. Перед выступлением конницы из Кепри-кея было получено ложное известие о нахождении в горах 3000 турок. Полковник Анреп немедленно поскакал на поиски с уланским эскадроном. За ним отправился и Раевский. Пушкин присоединился к нему, но уже не с охотою, а с *великою досадою,* как бы исполняя скучную служебную обязанность. Известие оказалось ложным, а набег бесполезным. К вечеру 24 июня Пушкин прибыл в Гассан-кале, где уже со вчерашнего дня находился Паскевич.

Развалины древней цитадели Гассан-кале не обратили на себя внимания поэта. Он посетил только минеральные бани, известные с древних времен. Пушкин не совсем правильно называет их горячими железосерными. Температура их не превышает 27 или 28° R., и по составу принадлежат они к железисто-щелочным с примесью серы. Реку, при которой находится Гассан-кале, Пушкин называет Мургом. Неизвестно, откуда заимствовал он это имя: местные жители называют ее Гассан-су или Кале-су (крепостная река).

Движение к Эрзеруму (25 и 26 июня), смуты в городе, предшествовавшие его сдаче, наконец, самая сдача столицы Анатолии (27 июня) описаны Пушкиным кратко, но со свойственным ему искусством схвачены наиболее рельефные черты событий. Когда войска наши уже заняли высоту Топ-даг, на восточной стороне Эрзерума, буйные арнауты открыли пушечный огонь против Топ-дага, на котором находился Паскевич и эрзерумские сановники с ключами. По общей просьбе Паскевич приказал отвечать на выстрелы, и тогда турецкие пушки умолкли. К этому рассказу Пушкина покойный ныне генерал Э.В. Бриммер прибавляет, что после первого нашего выстрела Пушкин, стоявший перед Паскевичем, воскликнул: «Славно!» – и на вопрос главнокомандующего: «Куда попало?» – отвечал: «Прямо в город». «Гадко, а не славно», – заметил на это Паскевич[9].

Во время трехнедельного пребывания в Эрзеруме Пушкин жил в обширном дворце сераскира, занятом Паскевичем. Город и его обитатели заинтересовали поэта. Он осмотрел все его достопримечательности, не оставил без внимания даже башенных часов, единственных во всей Анатолии. Пушкину выпал даже редкий случай посетить гарем одного из пленных пашей.

Что заставило Пушкина выехать из Эрзерума ранее, чем он сам, по-видимому, предполагал? По его словам, 14 июля, возвращаясь из бани во дворец, узнал он о появлении в Эрзеруме чумы. При этом известии представились ему все ужасы карантина, и он в тот же день решился оставить армию.

Позволительно усомниться в том, чтобы один только страх сиденья в карантине был причиною внезапной решимости Пушкина выехать из Эрзерума. Дело в том, что с момента открытия чумы строгие карантинные меры вступали немедленно в действие и, следовательно, нельзя было избежать их после обнаружения первого случая заразы. К тому же, карантинное наблюдение в Гумрах было обязательно во все время турецкой кампании для всех, ехавших из армии в Грузию. В 1829 г. карантинный срок был определен в 3 недели, но Пушкин без труда выпросил себе сокращение его до трех дней.

Потокский, ссылаясь на отзыв Вольховского, утверждает, что Пушкин оставил действующий корпус вследствие ссоры с Паскевичем, который, под предлогом опасения за жизнь поэта, дорогую для России, предложил ему немедленно уехать из армии. Главной причиной неудовольствия Паскевича были будто бы свидания Пушкина с некоторыми из декабристов. Шпионы следили за поведением поэта и передавали Паскевичу свои наблюдения в преувеличенном виде.

Потокский повторяет то, что тогда говорили в армии. Но сомнительно, чтобы он слышал это от самого Вольховского. Такой серьезный, сдержанный и осторожный человек, как Владимир Дмитриевич, никогда не решился бы сообщить почти мальчику, хотя бы и под секретом, такие вещи, о которых тогда было опасно говорить. Вольховский сам имел несчастье быть названным в заговоре 14 декабря, и хотя лично ни в чем не был замешан, но тем не менее это ему много вредило по службе. Откуда бы, впрочем, ни заимствовал свои сведения Потокский, в них есть доля истины. Но открытой ссоры Пушкина с Паскевичем они все-таки не объясняют, и потому употребленное Потокским слово *ссора* надо считать простым lapsus calami. Припомним, прежде всего, что во время поездки на Кавказ Пушкин состоял под тайным надзором. Паскевич, разрешив ему приезд в армию, принял на себя надзор за его поведением и сношениями и для этого старался, по возможности, не отпускать его от себя. М.И. Пущин рассказывает, что Пушкин не мог из вежливости оставить Паскевича, который не хотел отпускать его от себя не только во время сражения, но на привалах, в лагере и вообще всегда, на все repas и в свободное от занятий время за ним посылал и порядочно, по словам Пушкина, ему надоел. Держа Пушкина около себя, тщеславный военачальник, ставивший свои сражения наравне с победами Александра Македонского и знаменитейших римских полководцев, быть может, рассчитывал вместе с тем, что поэт проникнется величием подвигов нового македонского героя и не откажется быть его певцом.

Во время похода к Эрзеруму Паскевич не имел возможности держать поэта под постоянным наблюдением. Пушкин проводил большую часть времени с Раевским и считал себя как бы прикомандированным к нижегородским драгунам. Общество его составляли, кроме Раевского, Лев Пушкин, Юзефович, Семичев, Пущин и др. Он чувствовал себя вполне привольно среди этих людей. Но с занятием Эрзерума эта свободная жизнь окончилась: 10 или 11 июля Раевский со всею кавалерией ушел в поход, и Пушкин расстался с самыми близкими ему людьми. В первых числах июля выехал из Эрзерума также и М.И. Пущин, которому было поручено доставить в Тифлис пленного сераскира с пашой. Неизвестно, сам ли Пушкин не пожелал следовать за Раевским или же Паскевич нашел предлог отклонить его от этого. Как бы то ни было, но поэт остался один, и 7 июля, когда Паскевич перешел из лагеря в город и занял помещение во дворце сераскира, поэту пришлось сделаться его гостем. К этому времени, вероятно, и должно отнести замечание Пущина о надоевшем поэту обязательном посещении главнокомандующего. Веселые пиры в палатке Раевского, приправленные живой, непринужденной и остроумной беседой, заменились официальными обедами, на которых малочиновный Пушкин занимал, конечно, не первые места. Надо думать, что и беседа была мало занимательна: Паскевич был в это время очень высокого мнения о своих военных действиях и говорил только о них. Можно представить себе, как несносны были эти обеды для Пушкина, который не мог забыть даже одного обеда у генерала Стрекалова в Тифлисе и закончил описание его забавным восклицанием: «Черт побери тифлисского гастронома!»

В совокупности всех этих причин, кажется мне, должно искать причину отъезда Пушкина. Самый город Эрзерум после осмотра его достопримечательностей не мог, конечно, соблазнить на дальнейшее пребывание в нем.

Несомненно, что Пушкин и Паскевич не питали симпатий друг к другу. Первый, во время похода, имел достаточно поводов убедиться в непомерном самолюбии, можно сказать, в самообожании Паскевича, в его высокомерно-презрительном отношении к подчиненным. Если он чего-нибудь не заметил сам, то друзья его и знакомые, конечно, не преминули просветить его. Все они: и барон Д.Е. Остен-Сакен, и Н.Н. Раевский, и В.Д. Волховский, и М.И. Пущин – все вскоре покинули службу под начальством Паскевича или добровольно, или вынужденно, унося глубокое чувство горечи и неудовольствия против него.

Биограф-панегирист Паскевича князь Щербатов[10] утверждает, что «Пушкин в своем «Путешествии в Арзрум» не раз упоминает о неустрашимости главнокомандующего и о его, среди боевых забот, веселой приветливости». Достаточно просмотреть творение Пушкина, чтобы убедиться в том, что он нигде ни разу не упоминает о неустрашимости Паскевича. Что касается веселой приветливости, то едва ли такая характеристика может быть основана на словах Пушкина о том, что Паскевич, принимая его в день приезда в армию, был весел и ласков.

Вообще, Пушкин едва ли понравился Паскевичу, особенно с тех пор, как этот последний убедился, что поэт не обнаруживает ни малейшего желания сделаться певцом его подвигов. После поражения сераскира и Гагки-паши и занятия Эрзерума Паскевич был так преисполнен сознания необычайности своих подвигов, что только и говорил об них. После бегства сераскира главнокомандующий, нагнав на поход курдских беков, состоявших при корпусе, не мог удержаться от предложения им вопроса,видели ли они когда-нибудь подобное разбитие армии. Лукавые азиатские дипломаты отвечали: «Мы еще не опомнились от удивления и только теперь начинаем верить, что это может случиться».

Пушкин держал себя по отношению к Паскевичу совершенно независимо, отдавая должную дань высокому его положению. Отношения эти лучше всего охарактеризованы им самим в предисловии: «Человек, не имеющий нужды в покровительстве сильных, дорожит их радушием и гостеприимством, ибо иного от них не может и требовать. Обвинение в неблагодарности не должно быть оставлено без возражения». Этими словами Пушкин дает ясно понять, что только одно опасение прослыть неблагодарным заставило его напечатать свои записки об эрзерумском походе.

Паскевич рассчитывал на другое и, убедившись в ошибочности своих расчетов, охладел к поэту, который составлял для него только обузу.

Вскоре после смерти Пушкина император Николай Павлович писал Паскевичу из Петербурга от 4 февраля 1837 г.: «Здесь все тихо, и одна трагическая смерть Пушкина занимает публику и служит пищей разным глупым толкам. Он умер от раны за дерзкую и глупую картель, им же писанную, но, слава Богу, умер христианином». Ответ Паскевича на это неизвестен, но государь от 22 февраля 1837 г.[11] вновь писал ему: «Мнение твое о Пушкине я совершенно разделяю, и про него можно справедливо сказать, что в нем оплакивается *будущее,* а не *прошедшее»*. Судя по этим словам, должно думать, что Паскевич не очень лестно отозвался о трагически погибшем поэте.

Обратный путь из Эрзерума Пушкин описал всего в нескольких строках. Он выехал из столицы Анатолии, по всей вероятности, 21 июля, просидел три дня в гумринском карантине и 1 августа был в Тифлисе. Здесь прожил он до 6 августа, проведя несколько вечеров в садах среди любезного и веселого общества. К сожалению, не сохранилось решительно никаких сведений, из кого состояло это общество. Во Владикавказе Пушкин встретился с М.И. Пущиным и Р.И. Дороховым и вместе с ними отправился на кавказские воды. Пребывание его в Пятигорске и Кисловодске описано Пущиным в записках, опубликованных бароном Розеном и Л.Н. Майковым.

Явное нежелание Пушкина петь хвалебные песни эриванскому герою не прошло ему даром. Газета Булгарина и Греча «Северная пчела», извещая о возвращение поэта в Петербург, пыталась было напомнить ему об его обязанности: «А.С. Пушкин возвратился в здешнюю столицу из Арзрума. Он был на блистательном поприще побед и торжеств русского воинства и наслаждался зрелищем, любопытным для каждого, особенно для русского. Многие почитатели его музы надеются, что он обогатит нашу словесность каким-нибудь произведением, вдохновенным под сенью военных шатров, в виду неприступных гор и твердынь, на которых мощная рука Эриванского Героя водрузила русские знамена» (№ 138 от 16 ноября 1829 г.) Но поэт остался глух к этому призыву и вместо громогласных песнопений издал в 1830 г. седьмую главу «Евгения Онегина». Булгарин дал поэту второе предостережение: «Мы думали, – писал он в своей газете, – что автор «Руслана и Людмилы» устремился на Кавказ, чтобы напитаться высокими чувствами поэзии, обогатиться новыми впечатлениями и в сладких песнях передать потомству великие подвиги русских современных героев. Мы думали, что великие события на востоке, удивившие мир и стяжавшие России уважение всех просвещенных народов, возбудят гений наших поэтов: мы ошиблись! Лиры знаменитые остались безмолвными, и в пустыне нашей поэзии опять явился Онегин, бледный, слабый…» («Северная пчела», № 37 за 1830 г.) Это был, по тогдашнему времени, уже прямой донос, недвусмысленное обвинение в неблагонамеренности, но Пушкин и на этот раз оставил обви-

нение без ответа. Наконец, в первой книжке «Современника» за 1836 г. появилось «Путешествие в Арзрум». В предисловии к нему, о котором мы уже говорили, поэт отвергает чье бы то ни было право распоряжаться его вдохновением. «Вдохновения не сыщешь, – говорит Пушкин, – оно само должно найти поэта», – и затем объясняет обнародование «Путешествия» исключительно желанием опровергнуть возведенное на него обвинение в неблагодарности к гостеприимству, оказанному ему Паскевичем. Понятно, что это предисловие, в котором Пушкин относился к Паскевичу, как равный к равному, не могло успокоить Булгарина. Если поэт нашел в своем сердце пламенные строфы для опального Ермолова, то как же смел он остаться совершенно холоден и равнодушен, созерцая подвиги всесильного Паскевича? В отчет о первой книжке «Современника» Булгарин написал: «Есть ли что-нибудь… в «Путешествии в Арзрум?» Виден ли тут поэт с пламенным восторгом, с сильною душою? Где гениальные взгляды, где дивные картины, где пламень? И в какую пору был автор в этой чудной стране! Во время знаменитого похода! Кавказ, Азия и война! Уже в этих трех словах поэзия, а «Путешествие в Арзрум» есть ни что иное, как холодные записки, в которых нет и следа поэзии. Нового здесь – известия о тифлисских банях; но люди, бывшие в Тифлисе, говорят, что и это не верно».

«Путешествие в Арзрум» не обратило на себя внимания читателей. Еще и теперь оно принадлежит к наименее читаемым произведениям Пушкина. Даже чуткий Белинский отнесся холодно к «Путешествию». «Сочинение это[12], – писал он, – есть одна из тех статей, которые хороши не по своему содержанию, а по имени, которое под ними подписано. Статья Пушкина не заключает в себе ничего такого, что бы вы, прочтя ее, могли пересказать, что бы вас особенно поразило; но ее нельзя читать без увлечения, нельзя не дочитать до конца, если начнешь читать». Равнодушие публики может быть объяснено только тем, что в эпоху появления «Путешествия» уже царил Марлинский и простая пушкинская проза казалась бесцветной и скучной в сравнении с трескучим Амалат-беком и пр. кавказскими повестями и рассказами, обильно приправленными «бестужевскими каплями». Но удивительно, что великий критик не оценил правдивости и искренности пушкинского дневника, изящной простоты его изложения и искусства несколькими словами изобразить характерные черты природы. Между тем, сам же Белинский[13] находил, что к особенным чертам пушкинской поэзии, резко отделяющим его от прежней школы, принадлежит его художническая добросовестность. «Пушкин ничего не преувеличивает, ничего не украшает, ничем не эффектирует, никогда не взводит на себя великолепных, но не испытанных им чувств, и везде является таким, каков был действительно».

Можно полагать, что Белинский, как и многие другие, был под влиянием предисловия к «Путешествию». Пушкин как будто сам не придавал никакого литературного значения своему дневнику и оправдывал появление его в печати исключительно желанием показать, что он не писал никакой сатиры на эрзерумский поход. Надо прибавить еще, что «Путешествие» было известно Белинскому в далеко не полном виде: по тогдашним цензурным условиям, свиданье Пушкина с Ермоловым и горячие строки о распространении среди горцев христианства не появлялись в печати.

И Пушкин, и Ермолов, и Паскевич давно спят вечным сном. Страсти умолкли, и настал суд истории. Пора перестать смотреть на «Путешествие в Арзрум» как на доказательство того, что Пушкин чего-то *не писал,* и ценить сочинение это его прямой ценой, обращая внимание на то, что в нем *написано.* Как очерк путешествия дневник Пушкина есть произведение великого художника и великого человека, достойное внимательного изучения.

Примечания

1. Кавказская поминка о Пушкине. Издание редакции газеты «Кавказ». Тифлис 1899.

2. Л. Павлищев в своей «Семейной хронике» говорит, что Пушкин писал с Кавказа Дельвигу и родителям своим через князя Дадиана («Исторический вестник», 1888 г., март, 560; апрель, 35). Письма эти до сих пор неизвестны.

3. *Л.Н. Майков.* О поездке Пушкина на Кавказ в 1829 году. («Русский вестник», 1893 г., IX). Перепечатывая эту статью в своем сборнике «Историко-литературные очерки» (С.-Петербург, 1895 г.), автор отчасти изменил, отчасти дополнил сведения о лицах, скрытых под инициалами. Так, спутником Пушкина по Военно-Грузинской дороге называет он уже не Шереметева, а Э.К. Шернваля. Г-на А., посланного Паскевичем навестить жен эрзерумского паши, Л.Н. Майков, по указанию П.И. Бартенева, считает полковником Р.Р. Анрепом, который командовал сводным уланским полком. Догадка эта кажется нам неудачной, так как Пушкин посетил гарем 12 или 13 июля, когда сводный уланский полк уже не находился в Эрзеруме. Сверх того, сам Пушкин различает *полковника А.* (Анрепа) от *г-на А.* По нашему мнению, этот последний был Абрамович, ординарец и клеврет Паскевича. По показанию П.И. Бартенева, К., сообщивший Пушкину о чуме в Эрзеруме, был граф Петр Петрович Коновницын, разжалованный в рядовые за участие в деле 14 декабря. Догадка эта основывается единственно на начальной букве К.

4. В письме этом год не указан, но все издатели сочинений Пушкина относят его к 1829 г. Содержанием самого письма не трудно доказать, что оно написано в 1827 году. Из «Путешествия в Арзрум» известно, что

Пушкин выехал из Москвы на Кавказ *1 мая 1829 г.*, заехал в Орел повидаться с Ермоловым и 15 мая был в Георгиевске. Следовательно, он не мог писать брату Льву из Москвы 8 мая 1829 г. Затем вопросы: «Кончилась ли у вас война? Видел ли ты Ермолова и каково вам после его?» – были бы совершенно неуместны в 1829 г., так как Пушкин знал об усиленных приготовлениях к начатию второй турецкой кампании и, выехав на Кавказ, опасался не застать Раевского в Тифлисе. Точно так же странно было спрашивать брата о Ермолове, который в 1827 г. покинул Кавказ и удалился в свою орловскую деревню. Напротив, в 1827 г. вопросы, предложенные Пушкиным, были вполне естественны: Лев Пушкин определился в нижегородский драгунский полк в конце 1826 г., но прибыл к полку только в марте или апреле 1827 г., когда Паскевич только что занял место Ермолова (28 марта 1827 г.). Следовательно, Пушкин имел полное основание спрашивать брата, видел ли он Ермолова и каково служится на Кавказе, при новом начальнике.

5. Известный в Петербурге генерал ордена иезуитов.

6. № 26 ошибочно помечен *18 июня*.

7. Матасси имел ресторацию в доме армянского духовного училища, на нынешнем Солдатском базаре. Там же помещался тогда и клуб, или собрание. В 1828 г. ресторация закрыта, и Матасси перенес ее на Эриванскую площадь, против полиции, приблизительно туда, где ныне гостиница «Кавказ».

8. История военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 годах. Варшава, 1843 г. П. 303. Сочинение это написано Н. Ушаковым под наблюдением и по указаниям самого Паскевича.

9. Записки Бриммера в XVI томе «Кавказского сборника», издаваемого военно-историческим отделом при штабе кавказского военного округа.

10. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич. Его жизнь и деятельность. III. 195.

11. Оба письма напечатаны в приложении к V тому биографии Паскевича, написанной князем Щербатовым. Составитель этого многотомного труда, к сожалению, не признал нужным напечатать письма Паскевича к государю.

12. Сочинения Белинского, II. 258, изд. 5-е.

13. Там же, VIII. 404, изд. 5-е.

Текст и примечания печатаются по источнику:

Вейденбаум Е.Г. О пребывании Пушкина на Кавказе в 1829 году // Вейденбаум Е.Г. Кавказские этюды. – Тифлис, 1901. – С. 233–260.

Евгений Густавович Вейденбаум. К 150-летию со дня рождения

Евгений Густавович Вейденбаум, известный историк, кавказовед, общественный деятель, литератор и этнограф, личный архив которого хранится в Институте рукописей Грузии, брат натуралиста Густава Густавовича Вейденбаума, родился 9 ноября 1845 г. в Петербурге, учился в 5-й петербургской гимназии, курс которой окончил в 1862 г. Затем учился на естественном факультете Санкт-Петербургского университета, получив степень кандидата естественных наук. Его дипломная работа называлась «Свод зоогеографических сведений о Кавказе (млекопитающие)». Свою учено-литературную деятельность начал вместе с братом, работая над зоологическим отделом в «Настоятельном словаре» Толля. В этом же «Словаре» обоим Вейденбаумам принадлежит ряд статей по другим отделам естественных наук. В начале 70-х годов Е.Г. Вейденбаум служил на Кавказе в Кавказском горском управлении в Тифлисе, затем в учреждениях высшего управления, в том числе в должности члена совета наместника.

В 1883–1890 гг. он был председателем на заседаниях главного народного суда Закавказского округа, почетным мировым судьей Тифлисского окружного суда, председателем сословно-поземельной комиссии Военно-народного ведомства на Кавказе.

Е.Г. Вейденбаум, занимаясь общественной деятельностью, являлся членом строительной комиссии по постройке нового здания для Кавказского музея, членом Главного комитета поощрения туризма на Кавказе. В 1917 г. Вейденбаум получил приглашение заведовать библиотекой Кавказского музея и работал в этой должности до своей кончины – 15 января 1918 г. Многочисленные работы Евгения Густавовича имеют свою научную и познавательную ценность для истории Кавказа. В 70-е годы он активно сотрудничал в журнале «Знание», опубликовав исследование «Кавказские амазонки» (Знание. – 1872. – № 8–9), в газетах «Тифлисский вестник», «Кавказ», где в виде статей и фельетонов напечатал материалы по истории Тифлиса и о быте кавказских горцев. Он автор многочисленных рецензий, в том числе на «Сборник статистических сведений о Ставропольской губернии» (ТВ. – 1876. – № 246) и «Обозрение XXVII-летней деятельности Ставропольского женского благотворительного общества по учебному заведению Св. Александры» (Кавказ. – 1877. – № 212). Вейденбаум был знатоком и собирателем рукописей, с 1897 г. он сотрудничал в Кавказской археографической комиссии, а затем в качестве председателя руководил ее деятельностью.

Е.Г. Вейденбаум – автор археологических исследований, некоторые из которых опубликованы в «Известиях Кавказского отдела Русского географического общества»: «Заметка о кавказских каменных орудиях» (ИКОРГО. – 1875. – Т. 3, К 4), «Заметки об употреблении камня и металла у кавказских народов» (ИКОРГО. – 1875–1877. – Т. 4, № 3, Б). В 1882 г. Е.Г. Вейденбаум – участник Пятого археологического съезда в Тифлисе, в чьих материалах опубликована его работа «Кавказские пещеры». В 1888 г. в Тифлисе вышел подготовленный Е.Г. Вейденбаумом «Путеводитель по Кавказу», состоящий из двух частей, в которых дается общее обозрение края и описание его главных пунктов, расположенных по маршрутам. Для Ставропольской губернии указаны маршруты Невинномысская – Ставрополь и Незлобная – Георгиевск – Маджары. Особый интерес в путеводителе вызывает очерк об этнографии народов Кавказа и исторический очерк о распространении русской власти на Кавказском перешейке, колонизации края казачеством. Путеводитель украшают иллюстрации, исполненные цинкографическим способом в заведении Мейзенбаха в Мюнхене по оригиналам художника Стаховского.

Продолжительное время Е.Г. Вейденбаум работал над «Материалами для историко-географического словаря Кавказа» (СМОМПК. – 1894. – Т. 20), представляющими ценное собрание сведений о многих общественных деятелях, военных, литераторах и поэтах, деятельность которых была связана с Кавказом. В дальнейшем, продолжая работать над исследованиями о пребывании А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, А.А. Бестужева, П.С. Потемкина на Кавказе, Е.Г. Вейденбаум публиковал эти материалы в течение нескольких лет в газете «Кавказ», а затем выпустил отдельным изданием в 1901 г. под названием «Кавказские этюды». В 1903 г. в журнале «Русская старина» были напечатаны сведения, касающиеся декабристов, проживающих в Грузии, и их ближайших родственников. Этот труд вызвал одобрение и восхищение современников. Из письма В.А. Бильбасова, издателя «Русской старины», от 22 апреля 1903 г. мы узнаем: «...От «Декабристов на Кавказе» нельзя оторваться – я прочел их залпом, до того интересны сообщенные вами подробности... Я вполне убежден, что Ваши «Декабристы...» сослужат добрую пользу исторической науке...».

Е.Г. Вейденбаум знал несколько иностранных языков. Читателям известны его переводы книг западных авторов, в том числе работа Главани Ксаверио «Описание Черкесии 1724 г.» (СМОМПК. – 1893. – Т. 17).

Из неопубликованных рукописей большой интерес представляют дневники Е.Г. Вейденбаума, которые он вел продолжительное время. Записки, в основном, касаются политической, общественной и литературной жизни Кавказа, в частности Тифлиса с 1888 по 1917 год.

Интересы Е.Г. Вейденбаума в области науки, литературы и искусства были весьма разнообразны, и в выражении своих взглядов он отличался большой непосредственностью и даже смелостью. В 1914 г., когда Тифлис посетил Николай II и все общественные и военные деятели стремились попасть в поле зрения монарха, Вейденбаум пишет в своем дневнике: «...29 ноября 1914 года. Сегодня город угощал государя «чашкой чая». Я блистал своим отсутствием».

Е.Г. Вейденбаум охотно откликался на просьбы; сохранилось множество благодарственных писем просителей, которым он помог, используя свои служебные возможности. Он был замечательным человеком с отзывчивой душой. Его исследования по изучению истории Кавказа не утратили своего значения и в наше время.

Перечень работ Е.Г. Вейденбаума и работы о нем

Вейденбаум Е.Г. Путеводитель по Кавказу / По поручению генерал-адъютанта князя Дондукова-Корсакова, главнонач. гражд. Частью на Кавказе, сост. Е. Вейденбаум, с 12 рис. и дорож. картою. – Тифлис: Тип. канц. главнонач. гражд. частью на Кавказе, 1888. – 434 с.: рис.; 1 карта.

Вейденбаум Е.Г. Кавказские этюды: Исследования и заметки / Изд. Центр, кн. торговли. – Тифлис: Тип. М. Мартиросянц, 1901. – 327 с.

Вейденбаум Е.Г. Кавказские амазонки: Материалы для древней этнографии Кавказа // Знание. – 1872. – Т. 8, № 8–9. – С. 245–298.

Вейденбаум Е.Г. Заметка о кавказских каменных орудиях // Известия Кавказ. Отд. Рус. геогр. о-ва. – 1874. – Т. 3, № 4. – С. 115–123.

Вейденбаум Е.Г. Заметки об употреблении камня и металлов у кавказских народов // Известия Кавказ. Отд. Рус. геогр. о-ва. – 1875–1877. – Т. 4, № 3. – С. 119–147; № 5. – С. 257–302.

Вейденбаум Е.Г. Священные рощи и деревья у кавказских народов//Известия Кавказ. отд. Рус. геогр. о-ва. – 1877–1878. – Т. 5, № 3. – С. 153–179.

Вейденбаум Е.Г. К истории шотландской колонии около Пятигорска // Известия Кавказ, отд. Рус. геогр. о-ва. – 1881. – Т. 7, № 1. – С. 170–174.

Вейденбаум Е.Г. Кавказские пещеры// Пятый археолог. съезд в Тифлисе: Тр. предварит. комитетов. – М., 1882. – С. 55–57.

Вейденбаум Е.Г. Кавказские заметки // Кавказ. – 1890. – № 52, 59, 66, 77.

Вейденбаум Е.Г. Материалы для историко-географического словаря Кавказа // Сб. материалов для описания местностей и племен Кавказа. – Тифлис, 1894. – Т. 20. – Прилож.: С. 1–38.

Вейденбаум Е.Г. Граф Павел Сергеевич Потемкин (1743–1896) // Кавказ. – 1897. – № 112, 114, 128; То же: Вейденбаум Е.Г. Кавказские этюды. – Тифлис, 1901.

Вейденбаум Е.Г. Арест Грибоедова // Кавказ. – 1898. – № 2; То же: Вейденбаум Е.Г. Кавказские этюды. – Тифлис, 1901.

Вейденбаум Е.Г. Александр Бестужев на Кавказе // Кавказ. – 1898. – № 29: То же: Вейденбаум Е.Г. Кавказские этюды. – Тифлис, 1901.

Вейденбаум Е.Г. Кавказские заметки I: Пушкин и Тифлисская полиция. II: Гераков о Пушкине в 1820 г. III: Доктор Шуллер // Тифлисский листок: Ил. приб. – 1899. – № 7, 26 мая.

Вейденбаум Е.Г. Кавказские заметки. 2: Кавказ в русской поэзии. – Кавказ. – 1898. – № 185, 16 июля.

Вейденбаум Е.Г. Ермолов и Паскевич // Кавказ. – 1899. – № 24–27.

Вейденбаум Е.Г. Материалы для библиографии Кавказа // Кавказ, книжный вестник. – Тифлис, 1900. – № 3. – Прил.: С. 1–32; № 4. – С. 32–40. – 77 назв.

Вейденбаум Е.Г. О пребывании Пушкина на Кавказе в 1829 году // Кавказские этюды. – Тифлис, 1901. – С. 233–237; То же: Кавказская поминка о Пушкине (26 мая 1799 – 26 мая 1899 г.). – Тифлис, 1899. – С. 101–127.

Вейденбаум Е.Г. В.Т. Нарежный и его кавказский роман // Тифлисский листок: Ил. приб. – 1900. – № 22; То же: Вейденбаум Е.Г. Кавказские этюды. – Тифлис, 1901. – С. 303–308.

Вейденбаум Е.Г. «Проделки на Кавказе» // Кавказ. – 1901. – № 13, 14; То же: Вейденбаум Е.Г. Кавказские этюды. – Тифлис, 1901. – С. 308–320.

Вейденбаум Е.Г. Академик Самуил Готлиб Гмелин: Его плен и смерть в Дагестане // Баку, 1902. – 29 декабря.

Вейденбаум Е.Г. Декабристы на Кавказе в 1829 году // Русская старина. – 1903. – Т. 34. – С. 481–502.

Вейденбаум Е.Г. Очерк этнографии Кавказского края // Весь Кавказ. – Тифлис, 1903. – С. 93–109.

Вейденбаум Е.Г. Кавказские знакомцы Пушкина // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. – СПб., 1908. – С. 1–14.

Меликсет-Беков Л.М. Е.Г. Вейденбаум как кавказовед. Тифлис, 1919. – 17 с. ; То же: Известия Кавказ, музея. – Тифлис, 1919. – Т. 12. – С. 1–17.

Барнавели Э.Г. Богатейший источник разнообразных сведений: Обзор архива [историка] Е.Г.Вейденбаума, хранящийся в Ин-те рукописей им. Кекелидзе // Лит. Грузия. – 1979. – № 8. – С. 140–145.

Барнавели Э.Г. Документальное наследие Е.Г. Вейденбаума// Археографический ежегодник за 1978год. – М., 1979. – С. 258–264.

Вейденбаум Е.Г. [Кавказовед] // Венгеров С.А. Критико-биогр. словарь русских писателей и ученых. – СПб., 1895. – Т. 4, отд. 11. – С. 270–272.

Вейденбаум Евгений Густавович (1845–1918) // История исторической науки в СССР: Дооктябрьский период: Библиография. – М., 1965. – С. 482.

Текст печатается по источнику:

Евгений Густавович Вейденбаум. К 150-летию со дня рождения // Пушкинский текст. Сборник статей научно-методического семинара «Textus». – Санкт-Петербург – Ставрополь: СГУ, 1999. – Вып. 5. – С. 154–155.

Перечень работ Е.Г. Вейденбаума и работы о нем // Пушкинский текст. Сборник статей научно-методического семинара «Textus». – Санкт-Петербург – Ставрополь: СГУ, 1999. – Вып. 5. – С. 155–156.

Н.В. Маркелов

Пушкин и Северный Кавказ

Глава I. «Известна в нашей истории...»

Упомянув о «пасмурном Бешту» в Посвящении к «Кавказскому пленнику», Пушкин счел необходимым сделать особое примечание о том, что эта гора «известна в нашей истории». Тут поэт, разумеется, не ошибся: сведения о районе Пятигорья – «земле Пятигорских черкас» встречаются (наряду с названиями Бештов, Бештовы горы, Пять гор) в русских летописях и ряде государственных документов.

«Бештовые горы, из одной течет вода горячая...»

Судьба Пятигорья, то есть земель, прилегающих к горе Бештау, уходит в глубь веков.

В скрижали истории название горы попало в результате столкновения грандиозных противоборствующих сил, когда весной 1395 года опустошительным ураганом по Северному Кавказу прошли полчища Тимура. В степном междуречье Куры и Терека он настиг золотоордынского хана Тохтамыша и нанес ему сокрушительное поражение.

Вот как рассказывает об этом «История государства Российского» Н.М. Карамзина: «Между Тереком и Курою близ нынешнего Екатеринограда, произошло славное в Восточных летописях кровопролитие. Потомки Чингисхановы сражались между собою в ужасном остервенении злобы, и гибли тмами. Правое крыло и средина войска Тамерланова замешались; но сей свирепый Герой, рожденный быть счастливым, умел твердостию исторгнуть победу из рук Тохтамышевых: окруженный врагами, изломав копие свое, уже не имея ни одной стрелы в колчане, хладнокровно давал Вождям повеление сломить густые толпы неприятельские»[1].

Тохтамыш бежал на среднюю Волгу в Булгар. Преследуя его, Тимур дошел до русских земель и разорил Елец. На обратном пути он повел свои войска вверх по Кубани к горе Эльбурз (то есть Эльбрус). «Могущественный Тимур со всеми победоносными войсками несколько дней пробыл в Беш-таке и окрестностях его», – так повествует об этих событиях средневековья знаменитая «Зафар-Наме» («Книга побед») Шереф-ад-дина Йезди[2].

В книге Семена Броневского «Новейшие географические и исторические известия о Кавказе», вышедшей в 1823 году, есть сведения о том, что «греки называли сие место Пентаполис»[3]. И еще одно указание на древних авторов содержится в книге И. Апухтина «Гора Бештау и ее окрестности» (Пятигорск, 1903): «Описание предгорий Бештау мы находим еще у греческих писателей Птоломея и Агатамара, которые говорят, что предгория Бештау, благодаря чудных пастбищ, славились прекрасною породою лошадей»[4].

Когда союз русских с кабардинцами был закреплен в 1561 году браком Ивана Грозного с дочерью князя Темрюка Идаровича – Кученей, принявшей при крещении имя Марии, то в народе царица получила прозвище Пятигорки. А в 1571 году, отвергая притязания Турции на кабардинские земли, Иван Грозный в грамоте, посланной турецкому султану Селиму, писал: «слуху не было, что черкасы пятигорские твоему царьству прикладны были»[5].

В материалах Посольского приказа за 1718 год сообщается о возможной численности кабардинского войска для совместного с русскими похода на Кубань против крымского хана: «Черкасских и кабардинских войск выходит в поле до 10 тысяч. И ежели б к тем прибавить донских казаков или иных российских войск, столько же 10, а по вышшей мере 15 тысяч, то довольно с теми на Кубань напасть и разорить; и соединитца им надобно у Кумы реки, у места Бестова»[6].

О поселении кабардинцев в районе Пятигорья говорится в одном из указов Коллегии иностранных дел (1732 год): «...По летописцам российским является, что оныя кабардинцы» селились сперва по Тереку («Терку») и «назывались черкасы, или по их языку черкесы, и потом от Терку отошед дня с два езды, поселились по Куме реке в урочище Пятигорском, где пять гор великих; и та земля была тогда российская, и были они все христианского греческого закону. И при державе царя Ивана Васильевича пришли они в вечное подданство России; и несколько лет у оных Пяти гор жили и потому назывались Пятигорские Черкесы»[7].

Кабарда – сердце Северного Кавказа, и здесь не раз сталкивались стратегические интересы Турции и России, о чем свидетельствуют документы российской Коллегии иностранных дел времен Петра и Екатерины. Так, в рескрипте, направленном в 1765 году Н. Паниным и А. Голицыным русскому резиденту в Константинополе Обрескову, сообщалось, что кабардинцы «в древние времена жили при Бештовых горах, лежащих ближе к кубанским местам, нежели нынешние их жилища. Почему в старинных здешних делах и пятигорскими черкесами, по тем же Бештовым горам, которых название значит – пять гор, – назывались»[8].

Гора Бештау обозначена и на первых известных русских картах Северного Кавказа. На «Карте Большой и Малой Кабарды», составленной геодезистом Степаном Чичаговым в 1744 году, помечено: «Бештовые горы, из одной течет вода горячая…»[9].

Упоминания о пятигорских черкесах не однажды встречается при описании событий XVI века и в «Истории…» Н.М. Карамзина.

Сведения о районе Бештау есть и в турецких исторических источниках. В начале ХУШ века кабардинцы отказались платить Крыму унизительную дань детьми, и тогда крымский хан Каплан-Гирей с многочисленным войском предпринял поход в Кабарду. Турецкий историк Рашид сообщает, что кабардинцы, покинув свои жилища около Пиштав (то есть Бештау), удалились в неприступные горы. Об этих событиях повествует и Шора Ногмов в «Истории адыгейского народа». Согласно преданию, кабардинцы ночью погнали на вражеский лагерь триста ослов с зажженными охапками сена. «Ослы ужасным криком своим, – пишет Ногмов, – до того перепугали неприятеля, что он в беспамятстве и смятении стал рубить друг друга; с рассветом же стремительно бросились на них кабардинцы и совершенно их разбили, взяв много пленных и большую добычу»[10].

Соперник Марко Поло

Его имя часто мелькает на страницах исторических и краеведческих работ, воскрешающих прошлое Кавказских Минеральных Вод. Считается, что этот арабский путешественник по имени Ибн Баттута побывал в наших краях еще в XIV веке и первым упомянул в своих ученых трудах о целебных ключах Пятигорья. Однако ссылки на источник сведений либо не приводятся, либо имеют расплывчато-неопределенный характер. Кто же он, этот загадочный географ из далекого средневековья, которому мы обязаны столь важным свидетельством?

Несколько строк ему посвятил знаменитый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, указавший единственную публикацию на русском языке небольшого отрывка из книги путешествий Ибн Баттуты. Этот отрывок под названием «Путешествие шейха Ибн Батуты в Золотую Орду в половине XIV века» напечатал в 1841 году журнал «Русский вестник». Речь там идет о посещении в районе Пятигорья ставки золотоордынского хана Узбека: «Потом поехал я в табор султана, который был тогда на месте, называемом Биш-таг (пять гор) и вскоре достиг орды его, или лагеря, первого числа рамадана. Там увидели мы целый движущийся город, с улицами домов, мечетями и кухнями…»[11].

Описанные события происходили в мае 1334 года. По словам Ибн Баттуты, «в этих пяти горах источники горячей воды, в которой моются… Всякий, кто вымылся в ней, исцеляется от болезней…»[12].

Полное имя арабского географа Абу Абдаллах Мухаммед Ибн Абдаллах ал-Лавати ат Танджи. Полное название его книги по-восточному витиевато – «Подарок созерцающим о диковинках городов и чудесах путешествий». В конце XIX века известный востоковед В.Тизенгаузен включил воспоминания Ибн Баттуты об улусе Джучи в свой труд «Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды». На русский язык больше ничего не переводилось, а полные переводы его книги имеются на английском, французском, немецком, итальянском, шведском, чешском и польском языках; в арабских же странах описание его путешествий служит книгой для чтения в средней школе.

Ибн Баттута родился в 1304 году в городе Танжере (территория современного Марокко). Прологом к его странствиям послужило, видимо, намерение совершить хадж, то есть паломничество к святым местам. Но судьбе было угодно распорядиться так, что странник, начав однажды свой путь, вернулся на родину через четверть века с лишком. Ибн Баттута посетил страны Ближнего Востока, проехал по всему Крыму и южной России, доехал до земли болгар на Волге. Затем из Астрахани с караваном греческой княжны, бывшей замужем за ханом Узбеком, он проехал в Константинополь, откуда вернулся в Золотую орду и отправился в Хиву, Бухару и Афганистан.

Описание маршрутов Ибн Баттуты заставляет вспомнить сказочного Синдбада-морехода: Индия, Цейлон, Китай, Суматра, Персия, Месопотамия, Сардиния, Гранада, центральная Африка. Ибн Баттута не вел путевых дневников и лишь по возвращении из дальних стран продиктовал за три месяца впечатления и воспоминания своего затянувшегося круиза, еще, видимо, не подозревая, что этот рукописный труд сделает его в памяти потомков величайшим из всех путешественников, которых знали древний мир и средневековье. Окончил свои дни он в 1377 году.

Ибн Баттуту часто сравнивают с его старшим современником Марко Поло, хотя единодушного мнения тут нет: одни считают, что арабский географ в этом сравнении проигрывает, другие же находят, что достижения венецианца бледнеют рядом с поразительным трудом, которому была посвящена жизнь Ибн Баттуты.

Наиболее полная и яркая характеристика личности и деяний Ибн Баттуты принадлежит крупнейшему отечественному ориенталисту академику И.Ю. Крачковскому: «Он не был ни книжным географом, ни энциклопедистом, ни литератором. Он был человеком без особых дарований, и в его рассказах нет вы-

соких мыслей или тонких замечаний; часто в них встречаются примеры доверчивого отношения к самым фантастическим рассказам. При всем том он много видел и сумел просто и точно рассказать о том, что видел. Судьба сделала из него географа, так сказать, волей-неволей и выработала в нем редкий для арабов тип путешественника ради путешествия, который обрек себя на скитания из неудержимой страсти к ним – и любопытства. Все свои знания, в противоположность громадному большинству арабских географов, он приобрел не из книг, а из личного опыта и бесед со случайными знакомыми. Интерес к местам у него был всецело подчинен интересу к людям, и, конечно, ни о каких изысканиях в области географии он не думал, но может быть поэтому его книга оказалась единственным в своем роде описанием мусульманского и вообще восточного общества в XIV в. Это – богатейшая сокровищница не только для исторической географии или истории своего времени, но для всей культуры той эпохи»[13].

Жюль Верн в своей знаменитой «Всеобщей истории великих путешествий и великих путешественников» посвятил арабскому землепроходцу отдельную главу, а в последние годы и в нашей стране о нем вышли две книги – Г. Милославского и И. Тимофеева, обе под названием «Ибн Баттута», одна из них в серии «Жизнь замечательных людей».

За 26 лет Ибн Баттута объездил почти все нехристианские страны, известные в XIV веке, проделав, по современным подсчетам, 75 тысяч миль. Не будем забывать, что один из его многотрудных путей пролег по предгорьям Северного Кавказа, где и по сей день возвышается пятиглавый великан Бештау, о котором впервые поведал миру именно он – великий путешественник Ибн Баттута.

По следам Ноева ковчега

Еще более интересные сведения о Бештау приводит в своих записках турецкий путешественник XVII века Эвлия Челеби. Пространные извлечения из его знаменитой десятитомной «Книги путешествий» переведены на русский язык и освещают период между 1640 и 1666 годами, когда Эвлия Челеби семь раз пролагал свой маршрут по территории нашей страны. В коротких, а иногда и весьма продолжительных поездках он пересек весь Северный Кавказ от Анапы до Дербента, посетил прибрежные области Азербайджана, побывал в Астрахани и Казани и достиг Яика. Пребывание его в районе Пятигорья относится к апрелю 1666 года.

В одном из разделов своей книги, названном «Подробное описание обширной страны древнего народа кабартай» (то есть кабардинцев), Эвлия Челеби рассказывает о многих достопримечательных местах северного Приэльбрусья: об «истоках великой реки Кубани» или «крепости Боргустан – устрашающей крепости». Есть раздел, посвященный описанию «отца гор, великолепной горы Эльбрус». Приведем отрывок из главы «Стоянка у горы Бештаг»:

«Это место на границе Кабарды, а его западная сторона – река Кубань. Неподалеку от него, посреди лесистой равнины – пять расположенных рядом высоких гор, подобно пяти горам-близнецам. Центральная гора самая высокая и остроконечная. Окружающие ее четыре горы ниже и не столь труднодоступны. На вершине горы, находящейся в центре, есть ветхая корабельная доска длиной в триста шагов и шириной в два шага. В некоторых местах доски есть отверстия от гвоздей и буравов. По утверждению местных правителей, эта длинная доска должна быть доской Ноева ковчега, но волею Всевышнего эта доска и поныне крепка, как нахичеванская сталь... В исторических сочинениях неверных греков говорится о том, что доски всех ста одной двери мечети Айя-София – это доски Ноева ковчега, который находился на горе Джуди близ города Мосула, откуда доски его были доставлены в Стамбул, где из них были сделаны двери Айя-Софии. О том, что Ноев ковчег остановился на горе Джуди в десятый день мухаррема и там благополучно находился, упомянуто в суре Худ Корана. По мнению улемов – комментаторов Корана, согласно тафсиру, Ноев ковчег остановился на горе Джуди и был там разбит и рассеян морскими волнами. Эта корабельная доска на Бешдаге в Кабарде, должно быть, одна из них. Одним словом, сей смиренный, совершив на этой доске два риката и осмотрев это Пятигорье, отправился в путь...»[14].

Этот отрывок требует некоторых пояснений. Согласно библейскому мифу, от всемирного потопа спасся только Ной со своей семьей и животными, так как Бог заранее научил его построить ковчег:

«И сделай его так: длина ковчега триста локтей; широта его пятьдесят локтей, а высота его тридцать локтей» (Бытие. 6, 15).

Воды потопа истребили все, кроме находящихся в ковчеге. По окончании ста пятидесяти дней вода стала убывать, «и остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских» (Бытие. 8, 4).

В Коране, а именно в одиннадцатой суре (главе), имеющей название Худ, приводятся несколько отличные от Библии сведения. По коранической версии, ковчег, который построил Нух, остановился на горе Джуди (близ города Мосула в Ираке): «И сказано было: «О земля, поглоти твою воду; о небо, удержись!» И сошла вода, и свершилось повеление, и утвердился он на ал-Джуди...» (Сура 11. Худ, 46). Отсюда доски его, как видим из рассказа Эвлии Челеби, были доставлены для Айя-Софии – то есть для храма святой Со-

фии в Стамбуле. Храм сооружен в 532-537 годах и считается выдающимся произведением византийской архитектуры. После 1453 года превращен турками в мечеть.

Улемы – буквально «ученые», высшее сословие мусульманских богословов; тафсир – комментарий, толкование Корана; рикат – часть намаза, состоящая из определенных молитв с двумя низкими поклонами, два риката составляют обычную молитву.

Нахичеванская сталь – здесь имеется ввиду крымская Нахичевань (или по-турецки Нахшуван). Беженцы из кавказской Нахичевани еще в раннем средневековье основали поселение под таким же названием у подножия горы Чатырдаг. Слава о здешних армянских ремесленниках разошлась далеко за пределы Крыма, особенно славился «накшуванский булат».

Трудно судить о том, действительно ли Эвлия Челеби поднимался на вершину Бештау и совершил там намаз, сомневаться в этом оснований нет. Что же касается корабельной доски длиной в триста шагов, прибитой к вершине волнами всемирного потопа, то эти сведения следует, видимо, отнести к разряду легендарных.

«Когда Бештау был не больше кочки»

Память народов, издавна населявших Пятигорье, хранит предания и легенды, связанные с этим краем. Название Бештау встречается в «Песне старых нартов» – одной из древнейших эпических песен адыгов:

Когда гора Бештау, ой дуней, была величиной с кочку,
Когда лес на Бештау, ой дуней, был с кустарник,
В те времена, ой дуней, я был мужчиной средних лет[15].

В таких же выражениях говорит о своем возрасте и нарт-богатырь Сосруко: «Когда небо еще сгущалось, а земля только что сплотилась, я был уже мужчина в зрелых летах… Когда Бештау был не больше кочки и через Индыль шагали мальчики, я был старик в полной силе» (Индыль – Волга)[16].

С этой горой связано и предание о гибели Сосруко. Необычно появился он на свет: железными щипцами его извлек из камня кузнец. Все тело Сосруко как из железа (поэтому иногда его называют бескостным), и только бедра, где прикоснулись щипцы, остались костяными. Подобные сюжеты можно встретить и у других народов, например, в древнегреческой легенде о гибели Ахилла, когда стрела поражает героя в пятку.

Соревнуясь в удальстве и силе, Сосруко должен вкатить на вершину Бештау «Жан-шерх» – колесо с острыми стальными зубцами. Вот как повествует об этом одно из кабардинских сказаний:

«На склоне пятиглавой Бештау, с южной стороны, есть большая поляна. С целой Кабарды собирались сюда удальцы на скачки, джигитовку и другие потехи, – померяться ловкостью и силой, бегали взапуски, бросали с горы камни, выбивали всадника из седла одним толчком руки, стреляли в цель из лука. Во всех этих играх всегда брал верх над всеми Сосруко, богатырь бескостный, ловкий, неустрашимый. Товарищи завидовали Сосруко и ненавидели его всей душою, но ничего не могли с ним сделать: побеждал он их не только в играх, но и в бою открытом.

Однажды весь южный склон Бештау пестрел от несметной толпы молодежи. Происходила небывалая игра: одни вкатывали вверх колесо, заостренное стальными зубцами, а другие, стоящие на горе, вниз его спускали. Сосруко стоял внизу; пришла его очередь подталкивать колесо кверху: толкает Сосруко колесо, подталкивает в гору руками, как это делали и другие. Те, что были на вершине, желая его гибели, подзадоривают его и кричат:

– Ну-ка, Сосруко, подталкивай колесо грудью!

Сосруко сделал и это.

– Подталкивай коленами!

И это он исполнил.

– Подталкивай лбом!

Сосруко и это было нипочем, и колесо очутилось на вершине Бештау.

Солнце закатилось за горы, и игра прекратилась. Сосруко спустился на поляну, остальные на горе остались.

Ночью пробралась к оставшимся на Бештау старушка-колдунья и смеется над ними:

– Как это вы хотите погубить Сосруко, а того не знаете, что тело его неуязвимо?

– Что ты говоришь, старушка? Мы об этом ничего не слыхали!

– Вы ненавидите Сосруко, а я ненавижу его мать; так слушайте, что я скажу вам: только одно место на теле Сосруко уязвимо, – это бедро: заставьте его бедром подталкивать колесо и посмотрите, что от этого будет!

На другое утро опять игра началась: спустили колесо с горы, а Сосруко погнал его в гору, как накануне. Погнал и в другой, и в третий раз, и все делал так, как ему говорили.

– А ну-ка, Сосруко, подталкивай колесо бедром – подзадоривают его сверху.

Раззадорился Сосруко, забыл про опасность: гонят колесо сверху, а он и подставь свое бедро, – бедренная кость от сильного удара раздробилась, и Сосруко упал полумертвым»[17].

В преданиях Бештау выступает как главная гора, известная кабардинцам. Есть у них и свое название горы – Ошхитху («пять холмов»), которое и является, как предполагает П.Г. Акритас, древнейшим, а все остальные – только переводы этого топонима. Догадка эта, впрочем, далеко не бесспорна, ибо, как говорят современные исследования, «значительный слой тюркской топонимики в Кабарде и Пятигорье склоняет к предположению, что до XIII в., когда эту территорию заняли кабардинцы, на ней могли обитать половецкие предки нынешних карачаевцев и балкарцев»[18].

О ряде эпизодов из истории Кабарды, связанных с Пятигорьем, сообщает в своей «Истории адыгейского народа» Шора Ногмов. Излагая древнее предание о сватовстве князя Лавритсана, он заключает: «Некоторые говорят, что Лавритсан убит в сражении с войсками хана Байкана; другие, напротив, что он скрылся во время нашествия аваров. Те, которые утверждают первое мнение, говорят, что он похоронен под Бештовой горой»[19].

«Крепость при Бештовых горах»

Нет сомнений, что своим названием Пятигорск обязан именно Бештау. Впрочем, не только названием, но и самим своим возникновением!

24 апреля 1777 года государыня императрица Екатерина II подписала указ о строительстве Азово-Моздокской укрепленной линии, дабы оградить южные российские пределы от набегов и разбоя. В состав линии первоначально входило десять крепостей. Однако время и первый же опыт пограничной жизни в предгорьях Кавказа заставили сделать незамедлительные дополнения. На имя светлейшего князя Г.А. Потемкина последовал рапорт о необходимости сооружения крепости в районе Бештовых гор:

«Хотя при поднесении всеподданнейшего Ея Императорскому Величеству от вашей светлости доклада о заведении линии и не полагалось крепости при Бештовых горах по неизвестности испытанных дерзновений кабардинского народа и в рассуждении подданства к Самодержавному ее Величества скипетру, но как по обстоятельствам открылось, что кабардинцы соединяясь каждый раз под теми горами с кубанцами, беслиненцами и прочими своими соседями, все советы, все приуготовления свои к злодейству устраивают там и в случае погони находят свое закрытие в ущелинах их, то для пресечения таковых скопищ и для предудержания от злодейства весьма за нужное полагаю я там построить сверх прежде аппробованных одно укрепление сообразное прочим крепостям...»[20].

Рапорт направлен из лагеря святого Павла 23 июля 1779 года и подписан генерал-поручиком Якоби. Кто же сей доблестный муж, давший самый первый толчок к возникновению знаменитого теперь Пятигорска?

Иван Варфоломеевич Якоби – астраханский военный губернатор, которого Потемкин рекомендовал императрице для командования Кавказской линией «как испытанного уже в пограничных делах начальника, который... отправляя тамошние пограничные секретные дела, с лучшею удобностию может управлять и оною линиею, нежели другой военный начальник».

Еще осенью 1776 года И.В. Якоби совместно с подполковником И.И. Германом (будущим победителем турецкого сераскира Батал-паши) провел рекогносцировку местности. А вскоре он был определен командиром Кавказского корпуса, одновременно с ним Суворов – командиром Кубанского корпуса. В «Историческом очерке Кавказско-горской войны», составленном подполковником Семеном Эсадзе (1909 г.), о Якоби говорится следующее: «Соединив в своих руках военное и гражданское управление краем, Якоби является первым самостоятельным деятелем в ряду кавказских правителей»[21]. Та роль, которую волею истории И.В. Якоби сыграл в кавказских делах, была как бы прологом к недалекому уже по времени учреждению наместничества на Кавказе. Его усилия были направлены на сооружение укрепленных пунктов Азово-Моздокской линии. При слиянии Малки и Терека была основана Екатериноградская крепость, ставшая вскоре резиденцией наместника. Именно отсюда начинался долгий путь через предгорья и хребты Кавказа к Тифлису, известный под названием Военно-Грузинской дороги.

При Якоби были основаны крепости Георгиевск и Ставрополь, сыгравшие впоследствии столь значительную роль в освоении русскими Северного Кавказа. В Георгиевской крепости располагалась штаб-квартира военного командования действующей русской армии. Здесь 24 июля 1783 года был подписан трактат о переходе Восточной Грузии под протекторат России. С возникновением в 1802 году огромной Кавказской губернии (от устья реки Лабы до Каспийского моря) губернским городом становится Георгиевск, а после преобразования губернии в область в 1822 году роль областного центра была отведена уже Ставрополю.

24 апреля 1803 года государь император Александр I направил рескрипт инспектору Кавказской линии князю П.Д. Цицианову с приказанием «приступить к устроению всех тех заведений, кои для удобства врачевания и для выгодных больных в обоих местах признаются нужными»[22].

Что касается крепости, возведенной на берегу Подкумка под сенью пятиглавого Бештау, то она получили название Константиногорской – по имени великого князя Константина Павловича, внука Екатерины II, родившегося в 1779 году. Близ крепости, у целебных ключей, вскоре возникло поселение Горячие воды,

дальнейшая известность которого связана была уже не с успехами русских войск, а с успехами русской литературы. Когда же поселение это преобразовывалось в город, то решено было «дать оному название Пятигорска, по уважению, что гора Бештов, к подошве которой прилегает предназначенное для сего города место, известна под сим именем и в древних Российских летописях»[23], что и было утверждено указом правительствующего сената от 14 мая 1830 года.

Имя, пришедшее к нам из мрачных глубин истории, ныне волею человека унесено в глубины космоса: в честь 200-летия города малая планета под № 2192, открытая 18 апреля 1972 года, получила название Пятигория[24].

Контуры горы Бештау изображались на гербах Пятигорска, первый из которых был высочайше утвержден 7 сентября 1842 года. Приводим его описание из гербовника, составленного П.П. фон Винклером: «Щит разделен на две половины: в верхней герб Кавказской области, а в нижней, в голубом поле гора Бештау (или Пятигорье) с вытекающим у подошвы ея источником минеральной воды»[25].

В верхней части герба Кавказской губернии (и Пятигорска) был изображен двуглавый российский орел, сидящий на вершине Кавказа, а под ним – цепи Прометея.

«В ясную погоду можно увидеть Каспийское море»

Первые сколько-нибудь подробные (и научные) описания Бештау стали появляться в печати с конца XVIII столетия, когда к Кавказским водам проложили пути российские ученые. Если знаменитый лейб-медик Петра Великого доктор Готлиб Шобер, посланный императором в 1717 году для исследования минеральных вод на Тереке, только упомянул, что «в земле Черкесов Бештаугорских очень славится прекрасный кислый источник»[26], то Питер Симон Паллас, составив описание наших целебных ключей, не упустил случая подняться на вершину Бештау.

Паллас побывал на Кавказских водах в 1793 году. Его многочисленные научные труды издавались более на немецком и английском языках; одна из книг – «Путешествие по разным провинциям Российской империи» – хранилась в личной библиотеке А.С. Пушкина. Отрывки из книги Палласа, посвященной Кавказу, приводятся, например, в упомянутой нами работе И.Апухтина «Гора Бештау и ее окрестности», но мы воспользуемся современным и более точным переводом с английского «Путешествия по южным провинциям Российской империи в 1793 и 1794 годах», выполненным И.А. Гориславским.

13 сентября 1793 года Паллас совершил восхождение на вершину, произведя с помощью барометра измерения высоты. По дороге он вел наблюдения горных пород, рельефа и растительного мира.

«Так как я намеревался изучить Бештау, – пишет Паллас, – то я взобрался на эту гору 13 сентября. Она часто окутана облаками до самого основания, и только вершина остается чистой. Обширное основание Бештау значительно возвышается над уровнем рек Кумы и Подкумы… Бештау не имеет скалистых пород, а состоит из очень древних известняков, которые формируют эту горную местность. Здесь изредка встречаются окаменелости. Гора занимает все пространство между двумя реками, и деревьев на ней нет, хотя они растут на четырех ее смежных отрогах. Внутренней стороной они соединены так называемыми «ослиными мостами», между ними – обширные лощины или долины. В середине возвышается над всеми пятая вершина, достигающая облаков. Она конической формы, с довольно острыми углами и такая острая у вершины, что на ней едва ли поместятся 10 человек. От главной вершины протянулись узкие отроги к четырем смежным вершинам. Именно за эту особенность гора обоснованно получила название Бештау, то есть «Пять Гор»… Ближе к самому высокому шпицу горы лес начинает редеть и переходит в карликовый. Кустарники растут на обрывистых выступах…

На вершине Бештау воздвигнута высокая пирамида из плоских камней, вокруг которых мы увидели ветви высоких деревьев. На камнях были нацарапаны надписи на татарском языке… К северу и востоку от Бештау, насколько можно охватить взглядом, простирается обширная равнина. В ясную погоду можно увидеть даже Кизляр и Каспийское море».

Чистота атмосферного воздуха в те давние времена позволяла, вероятно, достичь невооруженным глазом и морских пределов (по прямой линии от Бештау до западных берегов Каспия – более трехсот километров), чего теперь лишены, увы, современные туристы.

Самый верный путь к счастью

Его имя вошло в поговорку, что само по себе большая редкость. Если же судить о ее содержании, то, несмотря на предельную краткость, всего четыре слова, она представляет собой исчерпывающую характеристику этого замечательного человека. «У Гааза нет отказа», – говорили о нем бесчисленные страждущие, испытавшие на себе его благодетельное участие.

Федор Петрович Гааз (Фридрих Иозеф Хааз) родился в небольшом городке на Рейне в 1780 году. Медицинский факультет окончил в Вене и вскоре, поддавшись уговорам заезжего русского вельможи, перебрался в Москву. Здесь все складывалось удачно: репутация, круг пациентов, должность (в 1807 году он был назначен главным врачом военного госпиталя), к тому же через некоторое время представилась возможность посетить «для поправления здоровья» и с пользой для науки южную, или как говорили в старину, полуденную провинцию России – далекий и загадочный Кавказ.

На Горячие воды Гааз приезжал дважды и о своих впечатлениях подробно поведал в книге «Мое путешествие на Александровские воды в 1809 и 1810», изданной год спустя в Москве на французском языке. Машукские минеральные источники ученый назвал Александровскими по имени российского императора, однако по иронии истории название это давно забылось, а вот заслуги самого Гааза в исследовании целебных ключей Пятигорья хорошо известны и доныне. Александр I наградил первооткрывателя орденом святого Владимира и званием надворного советника, но важнее, пожалуй, другое: труды Гааза неизменно получали высокую оценку и современных ему и более поздних исследователей. «Да позволено будет, – отзывался профессор А.П. Нелюбин, – с особенным уважением и признательностью упомянуть о трудах доктора Гааза… В особенности должно быть благодарным Гаазу за принятый им на себя труд – исследовать кроме главных источников еще два серных ключа на Машуке и один на Железной горе, которые до того времени еще никем не были испытаны… Сочинения Гааза принадлежат бесспорно к первым и лучшим в своем роде»[27].

Гааз считал, что едва ли еще на свете известно такое место, «в котором бы можно было способствовать к излечению столь многих болезней, как здесь при Кавказских водах». Он становится страстным сторонником зарождающегося курорта, что немало способствовало популярности «константиногорских теплиц» в русском обществе. Так, заслуженный боевой генерал Иван Сабанеев писал своему приятелю Арсению Закревскому: «Живущий в Москве доктор Гас… знает чудесные источники Кавказа и может быть весьма полезным наставником. Я был два раза на Кавказе и пользовался его наставлениями, говорю по опыту»[28].

Проводником Гааза в поездке к железным ключам был кабардинский князь Измаил Атажуков, о чем ученый не преминул рассказать в своей книге. «Когда я второй раз приехал в Константиногорск, – пишет Федор Петрович, – то был приятно удивлен, узнав от черкесского князя Исмаил-Бея о том, что позади Бештау действительно существует горячий источник, в котором он купался и куда он милостиво согласился меня проводить. Я, как и все те, кто будет пользоваться этими водами, в неоплатном долгу перед князем за любезность и доброжелательность, с которой он вызвал нужных проводников и организовал экспедицию к ключам…»[29]. (В скобках напомним читателю, что князь Атажуков впоследствии послужил прототипом главного героя поэмы М.Ю. Лермонтова «Измаил-Бей»).

Не обошел вниманием ученый и нашего пятиглавого великана. Он считал, что в европейской части России нет горы выше Бештау, и сравнивал ее с Везувием. «На самом высоком плоскогорье, – пишет Гааз, – между Каспийским и Черным морями, словно вбитые в землю, стоят горы Бештау, из которых и бьют горячие ключи… Слово Бештау по-татарски означает «Пять гор» (Беш – 5, тау – гора) и относится к основной горе с пятью вершинами или к другим, окружающим ее пяти горам. С возвышенностей Ставрополя и Северной эти горы предстают в виде наростов на огромной равнине, которые выделяются как формой и расположением, так и содержащимися в них драгоценными сокровищами, исторгающимися из их недр для облегчения мук страждущих»[30]. Гааз дважды поднимался на Бештау верхом. Контуры горы напоминали ему то киргизский колпак, то сидящую курицу с распластанными крыльями. «Путешествие…» Гааза – большая экологическая поэма, нынешние «зеленые» охотно зачислили бы Федора Петровича в свои ряды. Узнав, что в старину лес густо покрывал Бештау и окрестности, но был в значительной мере истреблен человеком, он занес в свои записи строки, полные праведного негодования: «Невероятно, как могли быть люди столь безрассудны и эгоистичны в своем необдуманном стремлении любым путем обеспечить собственное благополучие в ущерб потомству. Лишение последующих поколений необходимых ему деревьев можно сравнить лишь с кражей»[31].

Знаменитый доктор, как и его ученый предшественник Паллас, оставил описание вершины горы: «Достигнув вершины длиной 20 и шириной 3 или 4 шага, пугаешься открывшейся горной бездны и восхищаешься великолепным видом на равнину и особенно на снежные вершины гор. С самого начала тропинки весь конус горы покрыт зеленью, скрывающей разбросанные камни, которые затрудняют проход лошадям»[32]. Гааз –приводит все подробности своего восхождения на вершину и точные ориентиры для подъема и спуска, стараясь облегчить поиски правильного пути для будущих покорителей Бештау. «Так как взбираться на нее действительно несложно, – замечает он, – чему обычно не верят, я надеюсь, что эти заметки вызовут интерес к подобной экспедиции. Люди, никогда не поднимавшиеся на высокие горы, будут признательны мне…»[33].

У потомков есть множество причин для признательности Гаазу. Он сопровождал русские войска в походах от Москвы до Парижа. Был членом (и душой) «Комитета попечительства о тюрьмах». Его при жизни называли святым. Он продал свой дом и все имущество, а деньги расходовал на расширение больниц, на лекарства и одежду для арестантов и ссыльных. Бедняков лечил бесплатно, снабжал их пищей, букварями и брошюрами, которые сам же сочинял и издавал. Его вспоминают в «Былом и думах» А.И. Герцен и в «Мертвом доме» Ф.М. Достоевский. Имя Гааза мелькает и в набросках к роману «Преступление и наказание». «Почему я не могу сделаться Гасом?» – восклицает Раскольников. Чехов вспоминал его, путешествуя по Сибири и Сахалину.

О Гаазе написано несколько книг. Самая известная из них и выдержавшая в дореволюционной России пять изданий принадлежит перу замечательного русского юриста и литератора А.Ф. Кони. «Я питаю, – признавался он, к Федору Петровичу еще и личную благодарность за те минуты душевного умиления, которые я испытываю, описывая по мере сил и умения его чистую, как кристалл, жизнь, его возвышенную деятельность, нередко вынужденный оставлять перо под влиянием радостного волнения при мысли, что такой человек в лучшем и глубочайшем смысле слова жил и действовал среди нас»[34].

Похороны Гааза собрали более 20 тысяч москвичей. Памятник ему в Москве воздвигнут еще в 1909 году. Под бронзовым бюстом выбили слова, ставшие девизом всей его жизни: «Спешите делать добро!» Гааз говорил, что самый верный путь к счастью не в желании быть счастливым, а в том, чтобы других делать счастливыми. Заканчивая кавказские записки, Федор Петрович приводит одну историю, которую слышал в здешних краях. «Я с легкостью поверил рассказу о том, – пишет он, – что некий новичок за пределами Георгиевска направился к расположенной в тридцати верстах Бештау, утверждая, что до нее рукой подать. Вопрос о том, взял ли он с собой сменных лошадей, ему явно не понравился. Бедняге стоило больших трудов вернуться в город, убедившись, что, чем ближе подходил он к горе, тем больше она от него отдалялась…»[35].

Едва ли Гааз захотел бы поведать в назидание читателям этот странный сюжет, если бы не увидел в нем какого-то особого смысла. Идеал добра, которому он следовал всегда, в чем-то похож на Бештау: легкость его достижения обманчива, и обходится оно великими трудами. В том же, что идеал этот достижим, сомневаться не приходится. Примером тому судьба самого Гааза.

Весной 1833 года в Россию прибыл геолог, натуралист и археолог Фредерик Дюбуа де Монпере, совершивший поездку по Крыму и Кавказу. Ученому удалось собрать огромный фактический материал, который он изложил в шеститомном труде «Путешествие вокруг Кавказа» (Париж, 1839–1843 гг.), удостоенном Французским географическим обществом большой золотой медали. На русский язык переведен и опубликован только первый том, где есть несколько строк, посвященных нашей величавой вершине: «Здесь начинаются обширные равнины, посреди которых вздымается Бештау, подобно маяку среди пустыни. Гора Бештау всегда была приманкой и местом сосредоточения народов, которые кочуют в степях, отделяющих Черное море от Каспийского; плодородные равнины, окружающие ее, часто оспаривались и переходили из рук в руки, тем более, что все чудодейственные кавказские источники бьют вблизи этой горы»[36].

Назовем еще работу академика Г.В. Абиха «Объяснение геологического разреза северной покатости Кавказского кряжа от Эльбруса до Бештау» (1862 г.). Трудно ожидать поэтических всплесков от автора исследования со столь ученым названием, но это именно Абих сравнил рельеф Пятигорья с архипелагом скалистых островов. Сравнение обретает реальность в зимние туманные дни, когда с Машука или Бештау можно наблюдать фантастическую картину: вся земля вокруг тонет в клубах сизого тумана, и только вершины окрестных гор возносятся над его волнистой поверхностью, словно острова в океане.

Нельзя не вспомнить и книгу «Пятигорский край и Кавказские минеральные воды», изданную в Петербурге в 1861 году и принадлежавшую перу Ф.А. Баталина, который в отличие от других знатоков полагал несправедливым, «что гора получила название Бештау… от того, что у ней пять вершин. Гора имеет не пять, а всего четыре вершины… Едва ли не вероятнее предположить, что Бештау, Пятигорье – это название для всей местности, соседственной с Бештау, данное по числу главных гор…»[37].

Предположение нельзя признать верным, так как выделение пяти «главных» гор из числа всех близлежащих (их много больше пяти) всегда будет оставаться спорным. Пятая вершина у Бештау все-таки есть, хотя и уступает остальным по высоте. Добавим, что у кабардинцев для обозначения всего района Пятигорья существовал другой устойчивый топоним – Псыхуабэ («теплая вода»).

Как только Горячие воды получили известность в обществе и сюда потянулись вереницы повозок с желающими изведать их целительный эффект, – с тех пор пальма первенства в описании Бештау от русской науки надолго переходит к русской литературе.

Глава II. «Был новый для меня Парнас»

Память о счастливых днях, проведенных «в соседстве Бештау и Эльбруса», Пушкин всегда хранил в своем сердце. Он писал, что создал себе нерукотворный памятник. А на земле Пятигорья нерукотворный памятник поэту воздвигнут самой природой: величественный пятиглавый храм, пушкинский Парнас – Бештау хранит на своих каменистых тропах след поэта. Священный след.

«Свидетель Екатерининского века»

Имя Николая Николаевича Раевского связывают обычно с первой поездкой Пушкина на Кавказ в 1820 году, когда поэт побывал здесь с семьей прославленного генерала. Знакомство же самого Раевского с Кавказом началось намного раньше. Боевое крещение он принял под Бендерами, где первые услышал свист

турецких пуль. Будучи племянником всемогущего Потемкина, мог бы рассчитывать на быстрый взлет в военной карьере. Однако дальновидный покровитель пособил своему любимцу странным образом: отправил его в казачий полк с предписанием употреблять Раевского рядовым казаком. Школа горячей и опасной службы, говоря по-военному, «на передке», то есть в аванпостах, атаках и партизанских рейдах, оказалась столь действенной, что Раевский окончил кампанию уже подполковником и на двадцатом году жизни получил под начало кавалерийский полк.

Князь Потемкин составил для него особое наставление, из которого Раевский успел вызубрить только первые строки: «Старайся испытать, не трус ли ты; если нет, то укрепляй врожденную смелость частым обхождением с неприятелем». Наставление светлейшего Раевский потерял, но, судя по всему, особенно в нем и не нуждался: он воевал впоследствии с поляками, шведами, французами, а потом снова с турками на Дунае. Одно время он стоял на Кавказской линии с Нижегородским драгунским полком, и здесь в Георгиевске в 1795 году родился его старший сын Александр. Раевский, наряду с А.П. Ермоловым и М.И. Платовым, участвовал в персидском походе графа В.А. Зубова, когда русские войска пробились за грани Кавказа.

Войну 12-го года он встретил, командуя корпусом в армии П.И. Багратиона. В бою под Салтановкой сам водил пехоту в штыки и, оттеснив маршала Даву, дал возможность Багратиону увести армию за Днепр. Защищал Смоленск и навеки прославил свое имя в Бородинском бою, в котором вместе с ним сражались его сыновья Александр и Николай (о чем в стихах упомянули Жуковский и Пушкин). В «Битве народов» под Лейпцигом получил рану в плечо, но остался в строю до конца боя. Ратный путь окончил генералом от кавалерии, на его надгробии выбита эпитафия:

В Смоленске он был щит,
В Париже – меч России.

Раевский был связан личной дружбой с Ермоловым и Багратионом. Пушкин называл его великим человеком. «Я не видел в нем героя, славу русского войска, – признавался он, – я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душою; снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель Екатерининского века, памятник 12 года; человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества».

Испытать себя в жизни Раевскому довелось не только «частым обхождением с неприятелем», но и ударами прихотливой фортуны: при императоре Павле он был исключен из службы; по делу о 14 декабря арестовали его сыновей (вскоре они были выпущены с «очистительным аттестатом»). Два его зятя – С.Г. Волконский и М.Ф. Орлов – также подверглись аресту, первого отправили на каторгу в Сибирь, второй был навсегда исключен из службы и отдан под надзор полиции.

У генерала и его супруги Софьи Алексеевны (внучки М.В. Ломоносова) было шестеро детей: два сына и дочери Екатерина, Елена, Мария и Софья. С Николаем Раевским-младшим, офицером лейб-гвардии Гусарского полка, Пушкин познакомился еще в лицейские времена. Знакомство перешло в дружбу, о которой поэт писал вскоре брату Льву: «Ты знаешь нашу тесную связь и важные услуги, для меня вечно незабвенные». Николаю Раевскому Пушкин посвятил «Кавказского пленника», а намечая, уже годы спустя, новое путешествие на Кавказ, сообщал об этом в Тифлис служившему там брату: «Из Петербурга поеду в чужие края, то есть в Европу, или восвояси, т. е. во Псков, но вероятнее в Грузию, не для твоих прекрасных глаз, а для Раевского». Находясь в действующих войсках, он, по рассказу очевидца, не расставался со старым другом, занимал с ним одну палатку и не отставал от него в боях с турками. Так же, как когда-то его отец, Николай Раевский был командиром Нижегородского драгунского полка, входившего в Отдельный Кавказский корпус. За «излишнюю близость» со ссыльными декабристами император Николай на несколько лет отрешил его от службы.

С полковником Александром Раевским Пушкин познакомился на Горячих водах в 1820 году. Тот в это время служил на Кавказе и сопровождал Ермолова в его экспедициях и походах. Скептицизм и саркастический ум Александра произвели на поэта сильное впечатление. «Сила его обаяния, – замечает современник, – заключалась в резком и язвительном отрицании». Сам Пушкин предрекал ему блестящее будущее, считая, что он «будет более нежели известен».

Побывали с генералом на водах и две его младшие дочери Софья и Мария (в будущем жена С.Г. Волконского, отправившаяся за ним в Сибирь). Раевские и Пушкин провели на Пятигорье два месяца, испытав на себе силу знаменитых целебных ключей. «Рюматизм не чувствую, – признавался обнадеженный действием вод генерал, – но это может только в здешнем климате, а избавился ль их, это покажет время…»[38]. Спутники съездили и на «благодетельный железный горячий ключ, в Бештовой горе находящийся».

Подробности пребывания на Кавказе, а также впечатления Н.Н. Раевского-старшего известны по его письмам к старшей дочери Екатерине, которые он отправлял отсюда с каждой почтой (то есть каждую неделю). «Воды горячие истекают из горы, называемой Мечук, над рекой Подкумок лежащей; – делится он наблюдениями, – самый низкий ключ не менее 6 или 7 сажен вышины, истекают от подошвы небольшой

долины, в которой все селение расположено в 2 улицы; я приметил до 60 домов, домиков и лачужек, и как сего недостаточно для приезжающих, то нанимают калмыцкие кибитки, палатки и располагаются лагерями, где кому полюбится, и как будто подделываются нестройной здесь природе. Ванны старые, хотя стоят казне довольно дорого, ни вида, ни выгод не имеют, новые же представляют и то и другое и возможную чистоту и опрятность. Вид из оных наиприятнейший на Бештовую гору или Пятигорию, ибо по оной бывшее тут в древности княжество называлось…».

Генерал вставал в пять часов утра, купался в источнике, потом пил кофий и проводил досуг за картами, иногда читал, а больше прогуливался с семейством по округе. Особенно радовал его взор вид живописного селения: «Сестры купаются по одному разу, а когда жарко – по два, в воде кисло-серной, теплотою как парное молоко, единственно для забавы, я – в горячей, имеющей выше 38-ми градусов, и часто прихожу заблаговременно пользоваться с галерей видом наиприятнейших гор и забавным сего селения и жителей, карикатурных экипажей, пестроты одеяний; смесь калмыков, черкес, татар, здешних казаков, здешних жителей и приезжих – все это под вечер движется, встречается, расходится, сходится и все до безделицы с галерей новых ванн глазам вашим открыто».

Молодежь развлекалась, как могла: однажды устроили лотерею, и Пушкин отдал для розыгрыша свое кольцо. Выиграла его Мария Раевская. Вечером на Петров день гарнизон Константиногорской крепости устроил маленький фейерверк.

Новые впечатления принесла поездка на «железные воды бештовые». Местность, где ныне расположен знаменитый Железноводск, не только имела первобытный вид, но и таила опасность. Семью генерала сопровождал конвой из 30 солдат и 30 казаков. Жить приходилось в калмыцких кибитках. «Места так мало, – сообщал Раевский дочери, – что 100 шагов сделать негде – или лезть в пропасть, или лезть на стену. Но картину перед собой имею прекрасную, то есть гору Бештовую, которая между нами и водами, которые мы оставили. Купаюсь три раза, ем один раз, играю в бостон, – вот физическое упражнение, а душою с вами…»

В это время Пушкин создает стихотворение «Я видел Азии бесплодные пределы…», где слово «бесплодный» означает, скорее всего, «выжженный солнцем», что следует из сопоставления со строкою письма поэта к брату Льву («Кавказский край, знойная граница Азии, любопытен во всех отношениях») и к тому же весьма свойственно нашему ландшафту в разгаре лета. Здесь Пушкин впервые вводит в стихотворный текст реальный гидроним Пятигорья – название реки Подкумок:

Подкумка знойный брег, пустынные вершины…

Помимо поэтического описания местности он приводит и выразительную характеристику зарождающегося курорта:

Ужасный край чудес!.. там жаркие ручьи
Кипят в утесах раскаленных,
Благословенные струи!
Надежда верная болезнью изнуренных.
Мой взор встречал близ дивных берегов
Увядших юношей, отступников пиров,
На муки тайные Кипридой осужденных,
И юных ратников на ранних костылях,
И хилых стариков в печальных сединах.

Беглый обзор недужных посетителей Кавказских Минеральных Вод вполне согласуется с медицинскими показаниями, содержащимися в научной литературе того времени. Стихотворение не было опубликовано при жизни Пушкина, но этот первый краткий очерк «водяного общества» поэт во многом, как увидим, еще повторит (причем иногда дословно), приведя на берега Подкумка своего главного героя – Евгения Онегина.

Упоминая «благословенные струи», Пушкин знал, о чем писал, так как на себе испытал их целительный эффект. «…Воды мне были очень нужны, – сообщает он брату, – и черезвычайно помогли, особенно серные горячие. Впрочем, купался в теплых кисло-серных, в железных и в кислых холодных. Все эти целебные ключи находятся не в дальном расстоянье друг от друга, в последних отраслях Кавказских гор».

Побывав на Железных и Кислых водах, путешественники отправились в дорогу – в Тамань, проделав опасный маршрут по правому берегу пограничной тогда Кубани. С левого, черкесского, берега в любой момент можно было ждать нападения. «Видел я, – пишет поэт, – берега Кубани и сторожевые станицы – любовался нашими казаками. Вечно верхом, вечно готовые драться…». Память о днях, проведенных под полуденным небом, Пушкин навсегда сохранил в своем сердце. «Суди, – признавался он брату, – был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался…».

«На скате каменных стремнин»

В отечественной классике первым певцом (и первым восходителем!) Бештау стал именно Пушкин. Упомянув в Посвящении к «Пленнику» название горы, он сделал особое примечание: «Бешту, или правильнее Бештау, кавказская гора в 40 верстах от Георгиевска. Известна в нашей истории». Русскому читателю еще плохо представлявшему себе необъятные просторы недавно приобретенной южной провинции, именно Георгиевск, наш кавказский форпост, где был подписан знаменитый Георгиевский трактат, служил в данном случае отчетливым ориентиром.

Поход по каменистым тропам в заоблачную высь возглавил Н.Н. Раевский. Очевидно, что именно из-за решимости 49-летнего генерала «лезть на стену», а в какой-то мере и его любопытства могло совершиться в один из июньских дней 1820 года путешествие на вершину пятиглавого исполина. «При первом хорошем дне положено ехать на верх шпица Бештового, с которого верст на сто открывается на все стороны», – пишет Раевский дочери. А в конце июня упоминает об уже состоявшемся восхождении: «Ездили мы на Бештовую высокую гору…».

У жителей равнинных областей России вид Бештау вызывал невольное восхищение. Если доктор Гааз сравнивал эту гору с Везувием, то у Пушкина Бештау предстает как «пятихолмный», «заоблачный», «остроконечный». Дважды упомянув о восхождении на Бештау в письмах, он запечатлел это событие и в поэтической форме – в эпилоге «Руслана и Людмилы», написанном на водах. Беловой автограф его имеет помету: «Эпилог поэмы Руслан. Кавказ, 26 июля 1820». Этот знаменательный для нас день (по новому стилю – 7 августа) и следует, видимо, считать датой открытия кавказской темы в творчестве Пушкина. Здесь он передал свое душевное состояние, привел поэтический очерк сопутствовавших кавказской поездке обстоятельств своей жизни и связанных с ними переживаний и, наконец, нарисовал ту грандиозную картину Большого Кавказа, которая открывалась его взору со склонов Машука и Бештау:

Забытый светом и молвою,
Далече от брегов Невы,
Теперь я вижу пред собою
Кавказа гордые главы.
Над их вершинами крутыми,
На скате каменных стремнин,
Питаюсь чувствами немыми
И чудной прелестью картин
Природы дикой и угрюмой…

– вот первые строки, поэтически запечатлевшие присутствие Пушкина на земле Пятигорья. Ощутить же себя находящимся «над» крутыми главами Кавказа здесь можно, пожалуй, в одной только точке – именно на вершине Бештау. «На скате каменных стремнин» – это, несомненно, каменные осыпи и обрывистые склоны, которые приходилось преодолевать поэту и его спутникам при подъеме на «острый верх» главного купола горы.

Созвучные мотивы слышны и в письме поэта к брату Льву от 24 сентября 1820 года, где названия окрестных гор выступают не только как поэтические, но, скорее, как географические ориентиры: «Жалею, мой друг, что ты со мною вместе не видел великолепную цепь этих гор; ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками, разноцветными и недвижными; жалею, что не всходил со мною на острый верх пятихолмного Бешту, Машука, Железной горы, Каменной и Змеиной».

Несмотря на летний зной, поэт проявил себя как неутомимый ходок. Вероятнее, впрочем, то, что подниматься на вершины окрестных гор приходилось все-таки верхом или совмещая оба способа передвижения. Записки современника сохранили для нас рассказ об одном подобном путешествии, предпринятом посетителями вод в 1827 году. Речь здесь идет о пребывании на Пятигорье Никиты Всеволодовича Всеволжского и его супруги Варвары Петровны, близких петербургских знакомых Пушкина:

«В один день (13 июня), Н.В. с некоторыми знакомыми вздумал побывать на самой вершине горы Машуки; мы наняли козачьих лошадей и в числе четырех человек совершили сие предприятие. Необыкновенная крутизна с одной только западной стороны казалась доступной верховой езде. Сначала вела нас сквозь частый, преимущественно дубовый, лес небольшая тропинка; но скоро следы ее исчезли, и нам осталось самим открывать путь, который делался с часу на час затруднительнее и казался почти невозможным. Крутизна так увеличивалась, что лошади не шли, а можно сказать, ползли и с трудом продирались в чаще леса, едва ли кем посещаемого; причем всадники беспрестанно должны были отражать удары сучьев, и, скатываясь с лошадей назад, решились идти пешком. Я один следуя впереди, преодолевал все препятствия… Густота леса скрывала от нас ту опасность, какая ужаснула бы на открытом месте, и мы, победив все труд-

ности, увидели, наконец, себя на желаемой высоте. Здесь я удостоверился собственным опытом, как трудно достигать высоты! – Взоры наши терялись в безбрежной со всех сторон отдаленности; другие значительные горы казались ничтожными пригорками, а дома в Горячеводском селении – карточными домиками!

Поверхность Машуки довольно ровная, обширна и покрыта высокою травою и цветами; на самом же возвышенном пункте ее водружен деревянный столп, испещренный именами тех, которые здесь были. Передав и наши имена секу тленному памятнику и отдохнув, отправились мы обратно тропинкою пешеходцев, тысячу раз труднейшею, нежели первая дорога. Тут камни вместе с землей катились из-под ног, и только кустарник, за который мы держались, спасал нас от падения, каждую минуту угрожавшего. Лошади пущены были вперед на произвол судьбы, и должно приписать одной привычке сих животных, что они сошли благополучно»[39].

Вид, открывшийся поэту с головокружительной высоты Бештау, надолго врезался в память. Позднее, в письме к Н.И. Гнедичу от 24 марта 1821 года он сообщает: «С вершин заоблачного бесснежного Бешту видел я только в отдалении ледяные главы Казбека и Эльбруса». Здесь же с оттенком сожаления Пушкин упоминает и «шумный Терек», на берегах которого ему тогда побывать не довелось и где, по его словам, должна бы находиться сцена его поэмы «Кавказский пленник». «…Я поставил моего героя в однообразных равнинах, где сам прожил два месяца, – признается поэт, – где возвышаются в дальном расстоянии друг от друга четыре горы, отрасль последняя Кавказа…».

В Посвящении к поэме, обращенном к Н.Н. Раевскому-младшему, Пушкин вполне определенно говорит и о том, где возник замысел «Пленника», называя этим местом

…Кавказ,
Где пасмурный Бешту, пустынник величавый,
Аулов и полей властитель пятиглавый,
Был новый для меня Парнас.
Забуду ли его кремнистые вершины,
Гремучие ключи, увядшие равнины,
Пустыни знойные, края, где ты со мной
Делил души младые впечатленья;
Где рыскает в горах воинственный разбой,
И дикий гений вдохновенья
Таится в тишине глухой?

Эти строки не только отдают дань памяти и признания краю, подарившему поэту минуты высшего вдохновения, но содержат и невольное пророчество: под сенью Бештау творили потом и Лермонтов, и Лев Толстой, создавшие, вослед Пушкину, свои произведения под тем же названием. Но он первый начал эту горькую тему – трудных отношений русских с горцами, открыв для нее сюжетную формулу, ставшую классической в русской литературе. Название Бештау несколько раз встречается в планах и черновиках поэмы. Сколь можно судить, первоначально и место вынужденного пребывания пленника должно было находиться где-то вблизи нашей горы. Вот один из черновых вариантов, в котором приводится окружающий героя ландшафт:

Порою вечера ненастной
В пещерах дикого Бешту
Любил он ветров вой ужасный
И бури мрачной красоту
Когда над ним густели тучи
Волнуясь вкруг пяти холмов
И по пустыне прах летучий
Вился как сумрачный покров
И в полукруге их, двуглавый,
Блистая ледяным челом
Эльбрус огромный, величавый,
Белел на небе голубом…

Однако нахождение русского в неволе практически у самых стен русской же крепости выглядело бы явной натяжкой, и автор, видимо, по этой причине отказался от уточняющих топонимов. Работая над поэмой, Пушкин возвращался мыслью к тем дням, что он провел среди картин «природы дикой и угрюмой», и перо его не раз выводило на полях рукописи то дорогой сердцу профиль, то очертания крутых, каменистых склонов Бештау.

«Забуду ли его кремнистые вершины...»

На рисунках Пушкина Бештау запечатлен, по меньшей мере, в трех случаях. Все они связаны с его работой над «Кавказским пленником». На титульном листе автографа поэмы (с ее первоначальным названием «Кавказ») Бештау находится в центре беглой пейзажной зарисовки, изображающей пустынный в те времена ландшафт Пятигорья. Над тремя вершинами горы тянется череда облаков. Такой вид на Бештау открывался со стороны поселения Горячие воды. Подобный же сюжет, когда взгляду доступны только три из пяти вершин горы, поэт набросал при работе над беловой рукописью эпилога поэмы. «На полях эпилога, – замечает исследователь, – сделан прелестный рисунок: фигура грузинки в черкеске и шляпе, но волосы у нее распущены, плечи и руки обнажены; на поясе кинжал, к которому она тянется рукой. Ниже три горы Бештау и вольный очерк облаков»[40].

Еще на одном рисунке – на полях беловой рукописи поэмы – Бештау служит фоном для фигуры вооруженного черкеса. Вспомним строки из ее первой части:

Черкес оружием обвешан;
Он им гордится, им утешен:
На нем броня, пищаль, колчан,
Кубанский лук, кинжал, аркан
И шашка, вечная подруга
Его трудов, его досуга...

Именно таким, с полным набором боевого снаряжения, черкесский воин изображен на пушкинском рисунке. За его спиною уходят вверх крутые склоны горы. На ближней из трех вершин видна еще фигура в бурке. Вероятно, это черкес в дозоре, а может быть, Пушкин запечатлел себя – в память о покорении Бештау в июне 1820 года. Известно, что впоследствии он также рисовал себя и в бурке, и в косматой черкесской шапке.

«Забуду ли его кремнистые вершины...» – спрашивал себя поэт, вспоминая свой кавказский Парнас. Судя по всему, он не забыл ни впечатлений, связанных с подъемом на остроконечный купол горы, ни ее характерных очертаний. Рисунки, выполненные по памяти, поражают точностью сходства с заоблачным оригиналом.

«В соседстве Бештау и Эльбруса»

В 1829 году по дороге в Грузию Пушкин вторично побывал на Кавказских водах, где провел несколько часов, напомнивших ему пору юности. На страницах кавказского дневника поэта название горы встречается трижды. Еще от Георгиевска Пушкин «увидел остроконечный Бешту, окруженный Машуком, Змеиной и Лысой горою – как царь своими вассалами». В другом месте он употребил эпитет «величавый» и эти находки использовал позже – в стихотворных «Отрывках из путешествия Онегина» и «Путешествии в Арзрум»:

«С грустью оставил я воды и отправился обратно в Георгиевск. Скоро настала ночь. Чистое небо усеялось миллионами звезд. Я ехал берегом Подкумка. Здесь, бывало, сиживал со мною А.Раевский, прислушиваясь к мелодии вод. Величавый Бешту чернее и чернее рисовался в отдалении, окруженный горами, своими вассалами, и наконец исчез во мраке...»

У подножия Бештау побывал и странствующий по России Онегин. В одном из черновых вариантов «пятигорская» строфа начиналась строками «Пред ним Бешту остроконечный Пятью горами окружен», что не совсем точно, так как гор-вассалов, окружающих Бештау с разных сторон и на разном расстоянии, много больше пяти, перечисленных поэтом в письме ко Льву и в кавказском дневнике (Машук, Железная, Каменная, Змеиная и Лысая). В окончательном виде число гор автором здесь уже не приводится:

Уже пустыни сторож вечный,
Стесненный холмами вокруг,
Стоит Бешту остроконечный
И зеленеющий Машук,
Машук, податель струй целебных;
Вокруг ручьев его волшебных
Больных теснится бледный рой...

В задуманном, но неосуществленном романе Пушкина о Кавказских водах был намечен эпизод, связанный с прогулкой верхом у Бештау («Cavalcade. Бешту»).

Пятигорский след заметен и в ряде других произведений Пушкина, например, в «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях»:

Перед утренней зарею
Братья дружною толпою
Выезжают погулять,
Серых уток пострелять,
Руку правую потешить,
Сорочина в поле спешить,
Иль башку с широких плеч
У татарина отсечь,
Или вытравить из леса
Пятигорского черкеса…

В стихотворном послании В.Ф. Раевскому («Ты прав, мой друг, – напрасно я презрел…») Пушкин вспоминает картину, которую не раз, вероятно, наблюдал у пятигорских источников: помещенный в струи целебной воды любой предмет постепенно покрывается налетом минеральных солей, каменеет. Это явление неживой природы под пушкинским пером превращается в тонкую метафору:

Свою печать утратил резвый нрав,
Душа час от часу немеет;
В ней чувств уж нет. Так легкий лист дубрав
В ключах кавказских каменеет.

Единственное известное нам письмо Пушкина в Пятигорск от 14 марта 1836 года к историку и этнографу В.Д. Сухорукову содержит просьбу о присылке в «Современник» его статей: «В самом деле, пришлите-ка мне что-нибудь из ваших дельных, добросовестных, любопытных произведений. В соседстве Бештау и Эльбруса живут и досуг и вдохновение…».

«Где за Машуком день встает, а за крутым Бешту садится…»

Если легкое пушкинское перо впервые в нашей словесности как бы очертило контуры Бештау, то лучшая глава в его литературной истории написана М.Ю. Лермонтовым. Он девять раз в своих текстах упоминает название горы – четырежды в «Измаил-Бее», трижды – на страницах поэмы «Аул Бастунджи» и еще два раза – в «Герое нашего времени», причем у Лермонтова во всех случаях присутствует только его краткая форма – Бешту, почерпнутая, видимо, из посвящения к «Кавказскому пленнику» Пушкина.

В поэме (или, как сам автор обозначил ее жанр, – «восточной повести») «Измаил-Бей» Лермонтов впервые указал границы того уголка в северных предгорьях Кавказа, где отныне будет происходить действие многих его произведений, – «Где за Машуком день встает, А за крутым Бешту садится…». Здесь же, «Между Железной и Змеиной» горами пролег одинокий путь гордого Измаила. Путника поражает пустынный вид края, где еще недавно цвели родные аулы, Лишь горы, как прежде, «как бы остатки пирамид», высоко подъемлются к небу:

…И дале царь их пятиглавый,
Туманный, сизо-голубой,
Пугает чудной вышиной.

К строкам «Измаил-Бея», где упомянуты Машук и Бештау, юный поэт сделал примечание: «Две главные горы». Также и названия гор Железной и Змеиной удостоились его особого примечания: «Две горы, находящиеся рядом с Бешту». Но в поэтическом воображении Лермонтова «крутой Бешту» не только главная примета местности. Это «суровый» и «задумчивый» властелин родной земли, «пятиглавый царь», обозревающий окрестные просторы. На страницах «Измаил-Бея» поэт изображает борьбу горцев против русского владычества на Кавказе. Под натиском русских войск черкесы вынуждены покинуть родной край, но в их сознании Бешту остается несокрушимым символом вольности:

Мила черкесу тишина,
Мила родная сторона,
Но вольность, вольность для героя
Милей отчизны и покоя. –
«В насмешку русским и в укор
Оставим мы утесы гор;

Пусть на тебя, Бешту суровый,
Попробуют надеть оковы»,
Так думал каждый; и Бешту
Теперь их мысли понимает,
На русских злобно он взирает,
Иль облаками одевает
Вершин кудрявых красоту.

С поэмой «Измаил-Бей» связана одна загадка. Вот несколько строк из ее первой части:

Темны преданья их. Старик чеченец,
Хребтов Кавказа бедный уроженец,
Когда меня чрез горы провожал,
Про старину мне повесть рассказал.
Хвалил людей минувшего он века,
Водил меня под камень Росламбека,
Повисший над извилистым путем,
Как будто бы удержанный Аллою
На воздухе в падении своем,
Он весь оброс зеленою травою…

Росламбек Мисостов – кабардинский князь; поэма написана по следам реальных событий, происходивших в районе Пятигорья, где когда-то располагалось у склонов Бештау селение этого князя. На отрогах горы и по сей день можно обнаружить не один камень фантастических размеров и очертаний, но какой из них связан с именем Росламбека, теперь можно только гадать. Темны преданья их…

На склонах нашей горы раскинулся и Лермонтовский аул Бастунджи, развалины которого поэт мог видеть в детстве. Сюжет одноименной поэмы берет начало именно здесь, в обозначенных теми же естественными ориентирами пределах – «между Машуком и Бешту». Пейзаж вечернего Пятигорья поражает реальной точностью деталей, увиденных здесь и надолго оставшихся в зрительной памяти юного поэта:

…Было поздно. На долину
Туман ложился, как прозрачный дым;
И сквозь него, прорезав половину
Косматых скал, как буркою, густым
Одетых мраком, дикую картину
Родной земли и неба красоту
Обозревал задумчивый Бешту.

И еще раз Лермонтов упомянул название горы, рисуя закатный час в наших предгорьях:

…День угас;
Лишь бледный луч из-за Бешту крутого
Едва светил прощальною струей
На бледный лик черкешенки младой.

Автор знаменитого «Героя» несколько раз изображал гору на своих рисунках, лучший из которых, выполненный вместе с Григорием Гагариным, служит прекрасной иллюстрацией к стихотворению «Валерик». Всем знакомы и строки из журнала Печорина: «Вид с трех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бешту синеет, как «последняя туча рассеянной бури»; на север подымается Машук, как мохнатая персидская шапка…». В романе Лермонтов упомянул название горы еще раз, когда во время верховой прогулки за городом Печорин окидывает взором живописный ландшафт предгорий: «Дорога идет, извиваясь между кустарниками, опускаясь в небольшие овраги, где протекают шумные ручьи под сенью высоких трав; кругом амфитеатром возвышаются синие громады Бешту, Змеиной, Железной и Лысой горы». Справедливо предположить, что заезжий офицер, впервые попавший на Воды, едва ли мог знать названия всех окрестных вершин. Это не Печорин, а сам автор романа, с детских лет влюбленный в Кавказ, еще раз отдал дань признания краю, где «Подъемлясь к небу величаво, Гора из-за горы глядит…».

Побывал ли Лермонтов на вершине Бештау? Прямых свидетельств тому не имеется, однако по ряду обстоятельств высказать уверенное предположение по этому поводу вполне возможно. Хорошо известно, что поэт всегда любил окинуть взглядом окрестность с какой-либо высокой точки. «Любил я с колокольни иль с горы… теряться взором», – признавался он, и это созерцательное пристрастие многократно отразилось в его произведениях, будь то стихи или проза, где приводятся подробные и точные в деталях круговые

пейзажные описания. Вспомним, например, его ученическое сочинение «Панорама Москвы», там наблюдательным пунктом для автора служит кремлевская колокольня Ивана Великого высотою почти в восемьдесят метров. «Какое блаженство, – восклицает юный автор, – разом обнять душою всю суетную жизнь, все мелкие заботы человечества, смотреть на мир – с высоты!».

Описание Пятигорска в повести «Княжна Мери» начинается с обозначения точки обзора, имеющей по отношению к описываемой местности также абсолютную высоту: «Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука…». Далее следует полная панорама города и его окрестностей, ближних и дальних; взгляд автора устремляется последовательно на запад, север восток, захватывая также и южное направление, где «на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльбрусом…». Прогуливаясь по городу, Печорин попутно отмечает и одну из лучших здесь видовых площадок, хорошо знакомую самому Лермонтову еще с детских лет: «На крутой скале, где построен павильон, называемый Эоловой Арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эльборус…».

В стихотворных произведениях стремление увидеть описываемый ландшафт сверху выливается у Лермонтова в устойчивый композиционный прием и иногда достигает уже космической высоты. В стихотворении «Родина» он охватывает взглядом и «лесов безбрежных колыханье» и разливы рек, «подобные морям». Свой высотный полет лермонтовский Демон совершает «над вершинами Кавказа», откуда ему различимо и то, как вечными снегами сиял Казбек, «как грань алмаза», и то, как «глубоко внизу чернея… Вился излучистый Дарьял». В стихотворении «Спор» Лермонтов видит происходящее с какой-то очень высокой точки, несопоставимой даже с высотой спорящих Казбека и «Елбруса», охватывая взором чуть ли не полмира от Урала до Нила. Все эти картины, недоступные человеческому взгляду во времена Лермонтова, заставляют поражаться его столь проницательному воображению, опиравшемуся все же, сколь можем судить, на вполне реальные визуальные впечатления. Так, во время кавказских странствий 1837 года поэт преодолел высшую точку Военно-Грузинской дороги – Крестовый перевал. «Лазил на снеговую гору (Крестовая), на самый верх, что не совсем легко; – писал он с дороги Святославу Раевскому, – оттуда видна половина Грузии как на блюдечке…» Половина Грузии – это, разумеется, невольное преувеличение человека, впервые захваченного неповторимой панорамой, представшей ему в самых недрах кавказских гор. Ранее в этих же местах и Пушкин ощутил себя вознесенным столь высоко, что мог сказать: «Кавказ подо мною…».

В повести «Бэла» Лермонтов посвящает пространный пассаж описанию чувств человека, пребывающего «высоко над миром». Речь здесь идет о преодолении самого высотного, трудного и опасного в то время участка Военно-Грузинской дороги – Гуд-горы, расположенной в центральной части Главного Кавказского хребта. Нигде и никогда за всю свою прежнюю жизнь Лермонтов еще не находился на подобной высоте, и эта резкая новизна впечатлений порождает в его творческом сознании естественное стремление запечатлеть в словах все увиденное и испытанное здесь. При этом его художественный интерес направлен не столько к обзору и описанию открывшихся взгляду живописных картин (таких описаний в повести вполне достаточно), сколько к выражению того, что происходит в эти минуты в нем самом. Повествуя о подробностях этой «дороги на небо», то есть о вещах довольно прозаических, будь то пятерка худых кляч, запряженных в повозки, или камни, которые нашим путникам приходилось подкладывать под колеса, автор успевает отметить и свое физиологическое состояние, связанное с пребыванием на большой высоте («было больно дышать», «кровь поминутно приливала в голову»), и передает, наконец, охватившее его чувство высотной эйфории – совершенно особое состояние души, полной необъяснимой отрады и первозданной детской чистоты. Кульминация движения вверх, то есть достижение высшей точки пути, совпадает у Лермонтова с достижением высоты душевной: «Мы тронулись в путь; с трудом пять худых кляч тащили наши повозки по извилистой дороге на Гуд-гору; мы шли пешком сзади, подкладывая камни под колеса, когда лошади выбивались из сил; казалось, дорога вела на небо, потому что, сколько глаз мог разглядеть, она все поднималась и наконец пропадала в облаке, которое еще с вечера отдыхало на вершине Гуд-горы, как коршун, ожидающий добычу; снег хрустел под ногами нашими; воздух становился так редок, что было больно дышать; кровь поминутно приливала в голову, но со всем тем какое-то отрадное чувство распространилось по всем моим жилам, и мне было как-то весело, что я так высоко над миром: – чувство детское, не спорю, но, удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми: все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такою, какой была некогда и верно будет когда-нибудь опять».

Несомненное стремление подняться «на самый верх» рождали в душе Лермонтова и вершины Пятигорья. «Ежедневно брожу по горам, – писал он из Пятигорска Марии Лопухиной, – и уж от этого одного укрепил себе ноги; хожу постоянно: ни жара, ни дождь меня не останавливают…» В ранних стихотворных произведениях Лермонтова можно обнаружить строки, если и не подтверждающие вполне определенно его присутствие непосредственно на вершинах наших гор, то, во всяком случае, передающие впечатления человека, побывавших на них: «Престолы природы, с которых как дым улетают громовые тучи, кто раз лишь на ваших вершинах творцу помолился, тот жизнь презирает, хотя в то мгновенье гордился он ею!..» («Синие горы Кавказа, приветствую вас!»). В другом случае Лермонтов вполне достоверно рисует картину вечернего Пятигорья, открывшуюся его взору с горной вершины:

Кто посещал вершины диких гор
В тот свежий час, когда садится день,
На западе светило видит взор
И на востоке близкой ночи тень,
Внизу туман, уступы и кусты,
Кругом все горы чудной высоты,
Как после бури облака, стоят
И странные верхи в лучах горят.
(«1831-го июня 11 дня»).

Посетить «вершины диких гор» юный поэт мог только в районе Пятигорья, где высшей, заветной целью человека подобных устремлений всегда служила вершина Бештау. Приведем строки из посвящения к поэме «Аул Бастунджи», где автор, обращаясь к Кавказу, восклицает:

Твоих вершин зубчатые хребты
Меня носили в царстве урагана,
И принимал меня лелея ты
В объятия из синего тумана.
И я глядел в восторге с высоты,
И подо мной как остов великана,
В степи обросший мохом и травой,
Лежали горы грудой вековой.

Единственный обзорный пункт Пятигорья, откуда окружающие горы («кругом все горы») можно увидеть сверху («подо мной»), лежащими внизу «грудой вековой», да к тому же испытать пьянящее чувство высоты – это вершина горы Бештау, вознесенная над остальными на добрые несколько сот метров.

Наконец, еще один пример – строфа из посвящения к поэме «Демон», также построенная как воспоминание о детских впечатлениях на Кавказе:

Еще ребенком робкими шагами
Взбирался я на гордые скалы,
Увитые туманными чалмами,
Как головы поклонников Аллы.
Там ветер машет вольными крылами,
Там ночевать слетаются орлы;
Я в гости к ним летал мечтой послушной
И сердцем был товарищ их воздушный.

В пределах Бештаугорского лесного массива находится и место, где произошел роковой поединок поэта с Николаем Мартыновым. С 1915 года оно отмечено обелиском из светлого песчаника работы известного русского скульптора Б.М. Микешина. Скажем еще, что Бештау послужил и укреплению оборонной мощи нашей страны: долгие годы в глубоких недрах горы добывали фосфат урана, причем первооткрыватели этого опасного стратегического минерала присвоили ему удивительно поэтичное название – лермонтовит. Редкий образец минерала, хранящийся в фондах лермонтовского музея в Пятигорске, имеет цвет светло-серый, чуть с желтизной и напоминает с виду кусочек засохшей глины или, скорее, обломок старинного кирпича.

Контуры Бештау украшают не только герб Пятигорска. Шахтерский поселок, возникший в послевоенные годы у западных склонов нашей горы, поначалу именовался попросту соцгородком, но вскоре приобрел статус города и гордое имя – Лермонтов. Именно здесь было сосредоточено производство по добыче и обогащению урансодержащей руды. Соответственно и на гербе города, принятом в 1996 году, изломистой линией обозначены пять вершин Бештау, а под ними – символическое изображение атомного ядра.

«Исполинский храм о пяти куполах»

С Бештау связаны первые впечатления о пребывании на Кавказе писателя-декабриста А.А. Бестужева-Марлинского. В 1829 году переведенный из сибирской ссылки в войска Отдельного Кавказского корпуса, он сообщает в «Письме к доктору Эрману»: «Ровно через месяц от холмов Саянских я уже был под тенью Эльбруса и Бештау».

В 1835 году рядовому 1-го Грузинского линейного батальона Бестужеву было разрешено пройти курс лечения на водах. Отсюда он горько жалуется брату Павлу: «Мое нервозное сложение – эолова арфа… непогоды ржавят струны и ветры рвут их, а милые читатели упрекают: что вы ничего не пишете?»[41]. Одно из его писем имеет помету – «Пять гор».

В 1836 году в Пятигорске побывал Н.В. Станкевич. Тяжелая болезнь (туберкулез) вынудила его провести лето у «струй целебных». Собираясь сюда, он отмечал в одном из писем другу: «Кавказ представляется мне в каком-то очаровательном свете. Доктор говорит, что он возродит мой организм, а я тайно надеюсь, что он возродит и душу»[42].

Трудно сказать, как повлияли южный климат и минеральные воды на болезнь Станкевича, но горы его душу тронули несомненно. «Я – на Кавказе, – пишет он из Пятигорска Т.Н. Грановскому. – Этот край грустен своим однообразием, но его горы производят странное впечатление на душу. Чудно манят ее иногда снежные, спокойные вершины Эльбруса… Здоровье мое поправляется…»

Вернувшись в родные края, Станкевич не раз вспоминал свое пятигорское лето и путешествия по окрестным горам. «Грудь моя стеснилась от странствий горных, хоть остальное здоровье и поправилось», – пишет он Белинскому. «Диавольские горы Кавказа» настолько манили Станкевича, что он отважился предпринять восхождение на вершину Бештау, подарившее ему много незабываемых минут, но повлекшее новый приступ болезни. «До сих пор еще не совершенно прошел у меня напор крови на грудь, сделавшийся от путешествия на вершину Бештау», – сообщает он другу.

Следующим летом отправиться на юг решился и Белинский. Поначалу горный край произвел на него чарующее действие. «Кавказская природа так прекрасна, что неудивительно, что Пушкин так любил ее и так часто вдохновлялся ею», - замечает он в одном из пятигорских писем[43]. Влияние теплого климата и благотворных целебных ключей сказалось довольно скоро. «Я видимо поправляюсь…– сообщает он М.А.Бакунину в Москву. – В теле чувствую какую-то легкость, а в душе ясность. Пью воды, беру ванны усердно и ревностно, хожу каждый день верст по десяти и взбираюсь ex-officio* на ужасные высоты. Смотрю на ясное небо, на фантастические облака, на дикую и величественную природу Кавказа – и радуюсь, сам не зная чему…»

Однако со временем то ли полуденная жара, то ли обилие процедур (Белинский принял 122 ванны) произвели совсем иной эффект: «Кавказ так надоел мне, – пишет молодой критик, – что теперь он как будто и не существует на свете для меня». Из Пятигорска он успел написать семь писем, в которых название нашей горы упомянуто дважды: «Бештау от Пятигорска в 8 верстах, но кажется, что до него нет и 20 сажен (письмо Д.П. и П.П. Ивановым и Н.Г. Белинскому от 21 июня 1837 г.); «Бештау хотя и выше Машука, но пред Эльбрусом – горка» (письмо Д.П. Иванову от 3 июля 1837 г.).

Истекшие годы вполне оправдали пророческий смысл пушкинской метафоры: название горы попало на страницы произведений и писем Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, В.Я. Брюсова, В.В. Розанова. Известный русский журналист Е.А. Вердеревский, перу которого принадлежит популярная в свое время повесть «Плен у Шамиля», побывав в Пятигорске в 1853 году, оставил такое сравнение: «Справа перед нами возвышался остроглавый Бешту со своими пятью отраслями, как исполинский храм о пяти куполах»[44].

Величественный храм природы, овеянный дымкой легенд и преданий, прославленный в русской литературе, Бештау и ныне «пугает чудной вышиной», обещая каждому путнику, не пожалевшему долгих трудов восхождения, неповторимый вид на строгие цепи Главного Кавказского хребта. Рядом с заснеженными исполинами Кавказа высота Бештау не велика – всего 1400 метров над уровнем моря. Но Пушкин когда-то назвал эту гору новым Парнасом. Как говорится, выше – только Небо.

Глава III. «Где рыскает в горах воинственный разбой…»

Покинув Пятигорье, Пушкин увез отсюда замысел своей первой «южной поэмы» – «Кавказского пленника», сюжет которого был подсказан ему самой жизнью. Основные события войны разворачивались все же в некотором удалении от Горячих вод, и, понимая это, Пушкин признавался в письме к Н.И. Гнедичу, что «сцена моей поэмы должна бы находиться на берегах шумного Терека, на границах Грузии, в глухих ущельях Кавказа – я поставил моего героя в однообразных равнинах, где сам прожил два месяца – где возвышаются в дальнем расстоянии друг от друга четыре горы, отрасль последняя Кавказа…».

«В глухих ущельях Кавказа…»

К счастью для русской литературы, сам Пушкин в глухие ущелья так и не попал, но что там творилось на самом деле, мы попробуем себе представить.

Русский путешественник, тогда же побывавший на Кавказских водах и любовавшийся со склонов Машука цепью снежных гор вдали, оставил современникам предостерегающее замечание: «Жаль, что горы, увеселяя

* По обязанности (*лат.*).

зрение, заставляют вместе терпеть мучение Танталово. Желалось бы полюбоваться на них поближе, желалось бы сколько можно далее проникнуть в каменистые их недра, но недреманная их стража не выпускает из рук оружия – и горе любопытному, дерзающему проникнуть в последний приют необузданной свободы! Разбой составляет главное упражнение горских народов, мщение – главную страсть. Дерзость их наездников известна; злоба за пролитую кровь доводит иногда родственников до совершенного исступления…»[45].

Справедливости ради отметим, что литературную моду на кавказских пленников открыл для русской читающей публики французский писатель. Звали его Ксавье де Местр. Уроженец Савойи, с присоединением последней к Франции Наполеоном, он эмигрировал в Пьемонт, откуда в 1800 году попал в Россию вместе с армией А.В. Суворова, возвращавшейся из Итальянского похода. Стал офицером русской службы, участвовал в кампании 1812 года. Несколько лет воевал и на Кавказе, где его внимание привлекла история офицера, побывавшего в плену у чеченцев. В ноябре 1808 года майор Каскамбо и несколько других офицеров, сопровождаемые небольшим казачьим конвоем, отправились из Моздока в Ларское укрепление на Военно-Грузинской дороге. Путешествие длилось недолго: в двадцати верстах от Моздока команда была атакована крупной партией чеченцев, достигавшей четырехсот человек. Многие наши были убиты на месте, другие ранены и захвачены в плен. Каскамбо и его денщик, уведенные чеченцами в горы, провели в неволе больше года. Военные сводки сохранили некоторые подробности этой драматической истории. Вот что сообщалось в рапорте командовавшего тогда на Кавказе генерала А.П. Тормасова в Петербург:

«По переправе Майора Каскамбы на нашу сторону объявил он Полковнику Тарасову, что он избавлением своим обязан Сотнику Чернову, который чрез мирных Чеченцев нашел способ открыть с ним сношение, и истощив все средствы, чтобы избавить его чрез своих приятелей, послал ему туда по требованию его железную пилочку, чтобы он ею перепилил железа и приготовил себя к побегу в назначенное от него место, что употребивши в пользу, Майор Каскамбо принужден был наконец решиться с помощию деньщика убить во время ночи хозяина, где он содержался, и жену его собственным того хозяина кинжалом, дабы обеспечить побег свой…»[46].

Повесть де Местра «Пленники Кавказа» была опубликована в Париже в 1815 году на французском языке. События здесь представлены еще более жестко, чем это было в действительности: чтобы проложить путь к свободе, верный денщик Иван хладнокровно убивает старика, его невестку и спящего внука – Мамета, любимца майора. За пленного офицера чеченцами был назначен немыслимый выкуп – десять тысяч рублей. Беглецы, вырвавшись из недр ущелий и находясь уже у заветной цели – берега Терека, вынуждены были все же прибегнуть к помощи здешнего жителя, мирного чеченца, согласившегося за двести рублей укрыть у себя обессилевшего в пути Каскамбо.

«Точность исторических реалий, – замечает современный исследователь, – соседствует в повести Ксавье де Местра с прекрасным знанием топографии и этнографии края, о котором он пишет. Любопытно, что в отличии от многих последующих писателей, в том числе и Пушкина, которые обозначали горские племена более ил менее произвольными названиями, Ксавье де Местр пишет именно о чеченцах, стремясь воссоздать своеобразие их национального быта и психологии… Вся тонкость мысли, выраженной Ксавье де Местром в своей небольшой повести, состоит в том, что в изображенной им трагедии вину несут все, и похитители, и жертвы, ибо зло порождает зло»[47].

В 1815 году де Местр написал еще одну повесть о России. Она также была переведена на русский язык и под названием «Параша Сибирячка» получила широкую известность. Кроме того, де Местр публиковал научные работы по физике и химии и прекрасно рисовал. Одно время он даже давал уроки живописи в знатных русских домах и учил рисованию Ольгу Пушкину – старшую сестру будущего поэта. Более того, сохранился выполненный им миниатюрный портрет матери Пушкина – Надежды Осиповны. Был ли знаком сам поэт с французским графом и его повестью на жестокий кавказский сюжет? Однозначного ответа на этот вопрос сегодня нет.

Отголоски истории Каскамбо или генерала И.П. Дельпоццо, пробывшего в плену у чеченцев больше года, или какой-то другой, услышанной Пушкиным на юге, и дали, вероятно, первоначальный толчок к замыслу поэмы «Кавказский пленник». В давнем романе Д.Л. Мордовцева «Железом и кровью», посвященном ермоловским временам на Кавказе, приводится эпизод, когда Пушкин вместе с Николаем Раевским слушает в духане на Кислых водах поразивший его рассказ бывалого казака. Ветеран, на деревяшке и с солдатским «Георгием» на груди, поведал поэту, как его горцы арканом перетащили за Кубань. Свободу ему вернула черкешенка Зюльма, сама распилившая узнику кандалы. Как считал Мордовцев, «рассказ этот и послужил темою для знаменитой поэмы Пушкина». В подтверждение автор добавил от себя особое примечание: «В детстве, в 40-х годах, я знал одного донского войскового старшину, который рассказал мне об этом пребывании Пушкина в Кисловодске»[48].

«Попасться на аркан какого-нибудь чеченца…»

Реальным источником для «Кавказского пленника» мог стать и рассказ о злоключениях майора Павла Швецова, взятого в плен чеченцами 6 февраля 1816 года. Случай этот получил особую известность благодаря тем решительным мерам, которые принял Ермолов для освобождения своего офицера, считавшегося одним из лучших в Кавказском корпусе. В.А. Потто во втором томе «Кавказской войны» посвятил этой

печальной истории особую главу. Швецов служил в Грузинском гренадерском полку и еще под знаменами П.С. Котляревского участвовал в тяжелых сражениях с персами под Асландузом и Ленкоранью. Получив отпуск, он отправился из Шемахи в Кизляр, чтобы повидаться с родными. Надеясь выгадать время, Швецов избрал не кружной путь по Военно-Грузинской дороге, а поехал через Дербент и некоторое время спустя достиг укрепления Казиюрт в Северном Дагестане, откуда до желанной цели оставалось уже не более одного дня пути. Тут благоразумнее было бы дождаться оказии, но Швецов поступил иначе. Поскольку по заведенному тогда порядку за безопасность проезда отвечали местные владетели, он обратился с просьбой о конвое к кумыкскому князю Шефи-беку. Из попутчиков и княжеских узденей составился отряд в двадцать человек, отважившийся пуститься в последний и, как оказалось, роковой переход. Когда до Кизляра оставалось несколько верст, из придорожных кустов грянул ружейный залп, и следом вылетела партия конных чеченцев. Итог короткой и отчаянной схватки оказался печальным: большинство путников было убито и ранено, лишь трое смогли прорваться к Кизляру. Сам Швецов потерял лошадь и, оставаясь на поле боя, изрубил шашкою троих врагов, но был повержен неожиданным ударом сзади по голове.

В городе подняли тревогу. Брат Швецова, служивший в Кизляре полицмейстером, кинулся с людьми в погоню и, взяв верный след, к ночи настиг нападавших. Вот как рисует этот эпизод военный историк: «Хищники, в свою очередь увидев, что им не уйти без боя, остановились. С их стороны выехал парламентер, и между тем они вывели вперед пленного Швецова, по бокам которого стали двое чеченцев с обнаженными кинжалами. Парламентер объявил, что если чеченцев не пропустят, они будут драться до последнего человека, но что первой жертвой неминуемо сделается пленный…»[49].

Швецов покорился своей участи и просил брата прекратить преследование. Не встречая больше помех на своем пути, чеченцы ушли в горы и увели пленников, Швецова и его денщика, в аул Большие Атаги. Там их заковали в кандалы и посадили на цепь, а вскоре назначили и цену выкупа – десять арб серебряной монетой. Попытки разыскать пленника в горах успеха не имели, а только ухудшили его положение: Швецова, скованного по рукам и ногам, посадили в глубокую яму, укрытую сверху толстыми досками.

Письмо о цене выкупа денщик майора доставил на Кавказскую линию, которой командовал тогда генерал Дельпоцо. Сумму удалось сбить до двухсот пятидесяти тысяч рублей, но и эти огромные деньги взять было негде. Знаменитый генерал Котляревский и адмирал Головин, лично знавшие Швецова, открыли подписку для сбора средств на его выкуп. Среди прочих на их призыв откликнулись солдаты нашего корпуса, оставленного во Франции после разгрома Наполеона. Они отчисляли в пользу Швецова часть своего жалования, но набрать необходимую сумму все же не удавалось.

Дело могло затянуться, если бы не вмешался назначенный на Кавказ Ермолов. В письме к матери пленника он честью поклялся, что участь ее несчастного сына не останется без внимания. Как повествует Потто, Ермолов «приказал генералу Дельпоццо вызвать всех кумыкских князей и владельцев, через земли которых провезен был Швецов, заключить их в Кизлярскую крепость и объявить, что если через десять дней они не изыщут средства к освобождению Швецова, то все, в числе восемнадцати человек, будут повешены на крепостном бастионе»[50].

Средства нашлись. Сумму выкупа удалось снизить до десяти тысяч, и Ермолов, не желая платить их от имени правительства, сделал так, чтобы внес их аварский хан. Пленника освободили, когда его душевные и физические силы были на исходе. Оковы на всю жизнь оставили следы на его теле. Он продолжал служить на Кавказе и получил в командование Куринский полк. Умер от лихорадки в 1822 году и был похоронен в Дербенте.

Судьба преследовала Швецова и в могиле. Молодой горец Аммалат-бек был влюблен в дочь аварского хана. Хан потребовал за нее голову своего врага – русского полковника Верховского. Аммалат был обязан полковнику жизнью: когда-то его, уличенного в набеге, Ермолов приказал повесить и помиловал только под поручительство Верховского. Но ослепленный страстью Аммалат совершает предательское убийство и скрывается в горах. Когда полковника похоронили, Аммалат ночью проник на кладбище, чтобы добыть несомненные доказательства исполненного обета, но в темноте ошибся могилой. Беглое упоминание об этой истории есть в «Записках» Ермолова. Русской публике ее поведал Александр Бестужев-Марлинский в повести «Аммалат-бек». В особом послесловии автор уверял читателей, что «описанное выше происшествие не выдумка. Имена и характеры лиц сохранены в точности…». Здесь же приводятся и некоторые подробности кладбищенского триллера: «После похорон на другую ночь могила полковника Швецова, за год умершего, была разрыта по ошибке: ее приняли за могилу Верховского, труп вытащили и отрубили у него голову и руку. Об этом до сих пор с негодованием вспоминают все солдаты»[51].

Хотя в «Кавказском пленнике» Пушкин и упоминает гремящие цепи и ноги узника, закованные в «железы», передать средствами романтической поэмы весь ужас долгого плена было невозможно, к тому же автор имел в виду совсем другие художественные цели. В Посвящении к поэме он не преминул еще раз вспомнить о своем недавнем пребывании в краю, «Где рыскает в горах воинственный разбой». О близкой угрозе нападения Пушкин мог судить и по личным впечатлениям, полученным во время кавказских странствий. В письме к брату он сообщал: «Ехал в виду неприязненных полей свободных, горских народов. Вокруг нас

ехали 60 казаков, за ними тащилась заряженная пушка с зажженным фитилем. Хотя черкесы нынче довольно смирны, но нельзя на них положиться; в надежде большого выкупа они готовы напасть на известного русского генерала. И там, где бедный офицер безопасно скачет на перекладных, там высокопревосходительный легко может попасться на аркан какого-нибудь чеченца».

Приведем еще выдержку из записок хорошо известного на Кавказе военного топографа Ф.Ф. Торнау: «Вечерняя встреча в поле с конными людьми в мохнатых шапках, когда, к тому же, лица были укутаны башлыками, и у передового ружье вынуто из чехла, редко предвещала добро. Сердце сжималось болезненно, когда в степи неожиданно появлялась шайка подобных ездоков; рука судорожно ложилась на курок ружья или пистолета, и тоску отводило только в счастливом случае, если удавалось разглядеть у них более сапогов, чем чевяк: значит казаки, а не чеченцы и не закубанцы»[52].

Торнау очень хорошо знал, о чем писал: в свое время он осмелился, как говорили о нем горцы, «сунуть свою голову в пасть волку», то есть в одиночку проникнуть в горы. Эта дерзость обошлась военному разведчику слишком дорого: он провел в мучительном плену два года и два месяца. Хозяин пленника Аслан-бек Тамбиев надеялся получить за него пять четвериков (двадцать пудов) серебряной монеты. История дошла до государя Николая Павловича, распорядившегося выкупить несчастного офицера, если разбойники умерят требования. Но горцы не пошли на уступки и оценили своего пленника буквально на вес золота. Достоверный и подробный в деталях рассказ Торнау о днях, проведенных в неволе, постоянно заставляет вспоминать пушкинского «Пленника»: здесь и тяжкие оковы, и распиленная цепь, и помощь влюбленной в узника девушки Аслан-Коз, снабдившей его лепешками и ножом, и попытка преодоления при побеге полноводной горной реки Сагуаши. Правда, все описанные действительные события относятся к тридцатым годам XIX века, когда поэма была уже хорошо известна русским читателям. Ну что ж, это тот замечательный случай, когда не литература делает свои проницательные наблюдения над жизнью, а жизнь удивительным образом подтверждает реальность поэтического сюжета.

«Стихи моего сердца»

Над «Пленником» Пушкин работал всю вторую половину 1820 года. Первый беловик был закончен к концу февраля следующего года, а еще через месяц в письме к Н.И. Гнедичу (издавшему до этого «Руслана и Людмилу») Пушкин уже сообщает о намерении прислать ему для печати свое новое творение.

Поэма увидела свет в Петербурге в 1822 году. Точнее было бы назвать ее повестью, как значилось на титуле первого и всех последующих изданий. «Назовите это стихотворение сказкой, повестью, поэмой или вовсе никак не называйте», – писал об этом Пушкин своему издателю. Тонкая книжечка в 53 страницы имела приложение – портрет поэта работы Егора Гейтмана. Это первое изображение Пушкина, появившееся в печати, и Гнедич сделал по этому поводу особое примечание: «Издатели присовокупляют портрет автора, в молодости с него рисованный. Они думают, что приятно сохранить юные черты поэта, которого первые произведения ознаменованы даром необыкновенным».

Получив в Кишиневе только что напечатанного «Пленника», автор в ответном письме поблагодарил Гнедича, а о своем портрете заметил: «Александр Пушкин мастерски литографирован, но не знаю, похож ли, примечание издателей очень лестно – не знаю, справедливо ли».

Не будем гадать, чем был вызван ошеломляющий успех поэмы у публики: картинами дикой природы, изображением ли воинственных горцев или историей трогательной любви юной черкешенки к русскому пленнику. «Черкесы, их обычаи и нравы занимают большую и лучшую часть моей повести… – признавался автор. – Вообще я своей поэмой очень недоволен и почитаю ее гораздо ниже «Руслана» – хоть стихи в ней зрелее».

Характер главного героя, «потерявшего чувствительность сердца», он считал неудачным, простоту плана – близкой «к бедности изобретения» и соглашался, что «поэму приличнее было бы назвать «Черкешенкой». Некоторая несообразность романтического героя и тех обстоятельств, в которые он поставлен, была для Пушкина вполне очевидна, и он не раз потом (в письмах к Гнедичу, Горчакову, Вяземскому) подвергал весьма критической оценке собственное детище.

Изображая жизнь горцев, он не преминул детально описать их боевое снаряжение («Черкес оружием обвешан…» и далее), подготовку к воинственным делам («Летал по воле скакуна, К войне заране приучаясь»), приемы внезапного и неотразимого нападения («верного боя») и, наконец, сбор всего аула для предстоящего набега («Кипят оседланные кони, К набегу весь аул готов»). Для характеристики черкесов у автора приготовлен продолжительный ряд таких эпитетов, как «воинственный», «бранный», «разбойничий», «коварный хищник» и тому подобных. В разделе примечаний поэт объяснил также значения слов, незнакомых русскому читателю (аул, уздень, шашка, сакля, байрам, чихирь) и выписал строки Державина и Жуковского, посвященные Кавказу. Перефразируя слова Белинского о «Евгении Онегине», можно сказать, что пушкинская поэма явилась для своего времени маленькой энциклопедией кавказской жизни.

Белинский, отдадим ему должное, проницательно признал, что «лучшая критика, какая когда-либо была написана на «Кавказского пленника», принадлежит самому же Пушкину». При этом он мог сослаться только на эпизод из «Путешествия в Арзрум», где Пушкин обронил о «Пленнике» всего несколько слов, да еще на краткую заметку из «Опровержения на критики»: «"Кавказский пленник" – первый неудачный опыт характера, с которым я насилу сладил; он был принят лучше всего, что я ни написал, благодаря некоторым элегическим и описательным стихам. Но зато Николай и Александр Раевские и я, мы вдоволь над ним насмеялись».

Основные же и чрезвычайно интересные замечания Пушкина о поэме рассеяны в его частной дружеской переписке, которая была тогда Белинскому недоступна. Так, В.П. Горчакову автор подарил свежий экземпляр «Пленника», а потом дал и некоторые разъяснения: «Замечания твои, моя радость, очень справедливы и слишком снисходительны – зачем не утопился мой Пленник вслед за Черкешенкой? Как человек – он поступил очень благоразумно, но в герое поэмы не благоразумия требуется. – Характер Пленника неудачен; доказывает это, что я не гожусь в герои романтического стихотворения. Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи 19-го века. Конечно, поэму приличнее было бы назвать «Черкешенкой» – я об этом не подумал».

В письмах к П.А. Вяземскому автор «Пленника» дал объяснения некоторых кавказских реалий, не всегда понятных жителям России, например, о плавании в горных реках: «Другим досадно, что пленник не кинулся в реку вытаскивать мою черкешенку – да, сунься-ка; я плавал в кавказских реках, – тут утонешь сам, а ни черта не сыщешь; мой пленник умный человек, рассудительный, он не влюблен в черкешенку – он прав, что не утопился».

В Петербурге в 1823 году пушкинского «Пленника» поставили на балетной сцене. Сделал это знаменитый балетмейстер Карл Дидло, а черкешенку (получившую имя Кзелкая) танцевала Авдотья Истомина. Находясь за тридевять земель от столицы, в Кишиневе, в «бессарабской глуши», Пушкин, сгорая от любопытства, просил в письме младшего брата: «Пиши мне о Дидло, об Черкешенке Истоминой, за которой я когда-то волочился, подобно Кавказскому пленнику». Сценическое воплощение поэмы потребовало идеологических изменений: действие спектакля было перенесено в Древнюю Русь, а пленник превратился в молодого славянского князя Ростислава. Финал полон торжественного апофеоза: пленный черкесский хан Сунчелей добровольно вступает в подданство России.

Во время поездки в Тифлис дорожные впечатления невольно вернули Пушкина к некоторым сценам «Кавказского пленника»: «Горы тянулись над нами. На их вершинах ползали чуть видные стада и казались насекомыми. Мы различили и пастуха, быть может, русского, некогда взятого в плен и состаревшегося в неволе». Теперь, девять лет спустя после первого знакомства с Кавказом, его глазам предстали и горькие плоды «благотворной» деятельности наших военных властей: «Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены. Они час от часу далее углубляются в горы и оттуда направляют свои набеги».

Тема трудных отношений русских с горцами по-прежнему находилась в круге творческого внимания поэта. Известно, что он вынашивал план кавказского романа, где похищение и плен играли в развитии сюжета не последнюю роль. Уходя от условностей романтической поэмы к грубой прозе жизни, Пушкин искал достоверные детали, рисующие бедственное положение пленника. Характер этих подробностей наводит на мысль, что поэт узнал о них, так сказать, из первоисточника: «Пленников они сохраняют в надежде на выкуп, но обходятся с ними с ужасным бесчеловечием, заставляют работать сверх сил, кормят сырым тестом, бьют, когда вздумается, и приставляют к ним для стражи своих мальчишек, которые за одно слово вправе их изрубить своими детскими шашками».

Для Пушкина «Пленник» всегда оставался одним из самых любимых творений: «отеческая нежность не ослепляет меня насчет «Кавказского пленника», – писал он, – но, признаюсь, люблю его сам не знаю, за что; в нем есть стихи моего сердца. Черкешенка моя мне мила, любовь ее трогает душу».

Путешествуя по Военно-Грузинской дороге, на станции Ларс Пушкин обнаружил список своей поэмы и был обрадован встрече с собственной юностью: «Здесь нашел я измаранный список «Кавказского пленника» и, признаюсь, перечел его с большим удовольствием. Все это слабо, молодо, неполно; но многое угадано и выражено верно». В эпилоге поэмы есть строки, где автор предрекает то время, когда

Подобно племени Батыя,
Изменит прадедам Кавказ,
Забудет алчной брани глас,
Оставит стрелы боевые…

События наших дней говорят, что, видимо, не все здесь «угадано и выражено верно» и что «бурные дни Кавказа» еще не окончены. Однако истекшее время позволяет толковать пушкинскую поэтическую формулу не только как боевой эпизод, но и как то, что русское сердце навсегда осталось в плену у Кавказа.

«И влек за ним аркан летучий младого пленника...»

Известно, что поэма Пушкина вызвала волну подражаний, «посвященных, – как отмечалось в критике, – описанию Кавказа, сторожевых казаков, столкновений казака и черкеса, грузинских и чеченских песен и т.п., которые свидетельствуют о господствовавшем в 1820-х и 1830-х гг. эпидемическом увлечении Кавказом...»[53]. Напомним, что сюжетной канвой пушкинского оригинала воспользовался и юный Лермонтов, сумевший исправить, так сказать, географическую неадекватность изображенной там ситуации. Реку, в которой тонет черкешенка, Пушкин не удостоил названием, так как Терека к тому времени еще не видел и проявил тут понятную осторожность, упомянув его только в эпилоге, где возвращался к событиям недавней еще военной истории и славил победы нашего оружия на Кавказе. Подкумок же, на берегу которого поэт часто сиживал с Александром Раевским, русскому читателю был тогда совершенно неизвестен и совсем не походил на быструю и глубокую реку с пенными волнами, описанную в поэме.

Лермонтов побывал на Тереке еще в детские годы, посетив с бабушкой Шелкозаводское – имение своих родственников Хастатовых. С тех пор название реки не сходит со страниц его кавказских произведений. Его «Кавказский пленник» хотя и представляет собою даже не подражание, а ученическую попытку переписать заново, на свой манер, пушкинский оригинал, но в географическом смысле возвращает ситуацию на ее законное место: Лермонтов, сообразно имевшимся личным впечатлениям, перенес действие на пограничный Терек, разделивший череду казачьих станиц на левом берегу и – чеченские аулы на правом. Пленник, правда, находится (как и в пушкинской поэме) в неволе у черкесов, но так в те времена часто называли всех горцев вообще, в дальнейшем же подобных этнографических абстракций Лермонтов избегал. Название Терека он упоминает в тексте шесть раз, описывая при этом, как черкесы преодолевают его бурное течение – верхом или вплавь «на верном тулуке». Для русского пленника река – непреодолимая преграда, отделяющая его от желанной свободы:

...Хотя цепями скован был,
Но часто к Тереку ходил.
И слушал он, как волны воют,
Подошвы скал угрюмых роют,
Текут, средь дебрей и лесов.....
...Смотрел, как в высоте холмов
Блестят огни сторожевые;
И как вокруг них казаки
Глядят на мутный ток реки,
Склоняясь на копья боевые.

В тексте военный статус пленника (равно и у Пушкина) никак не обозначен, но известен детский рисунок Лермонтова, вклеенный в рукопись поэмы, – прекрасная автоиллюстрация, на которой изображен черкес Гирей, скачущий среди гор и влекущий на аркане русского в военной форме:

Вдруг пыль взвилася над горами,
И слышен стук издалека;
Черкесы смотрят: меж кустами
Гирея видно, ездока!

Он понуждал рукой могучей
Коня, подталкивал ногой,
И влек за ним аркан летучий
Младого пленника...

Примечательно, что художники-иллюстраторы – к Пушкину ли, к Лермонтову – тоже не раз рисовали пленника в мундире, а то и с эполетами на плечах. Развязку сюжета Лермонтов переписал по-своему: если у Пушкина пленник, переплыв реку, обретает свободу, а черкешенка топится в отчаянии от разлуки с ним, то у Лермонтова пленник, с цепью, распиленной черкешенкой, и вооруженный кинжалом, при попытке к бегству застрелен ее отцом, сама же она после этого кончает жизнь в волнах Терека. Дальняя перспектива «Героя» отсюда пока не видна, не все персонажи еще в сборе, да и будет там все совершенно иначе: не черкешенка освобождает русского офицера, а он, напротив, подстраивает ее похищение и держит у себя в плену.

Свои соображения к развитию сюжета (правда, несколько запоздалые) высказывал и основоположник темы. В 1822 году в черновом письме к Гнедичу Пушкин набросал возможные пути к дальнейшей романизации недавно законченной поэмы: «Характер главного лица (а действующих лиц – всего-то их двое) приличен бо-

лее роману, нежели поэме, – да и что за характер? Кого займет изображение молодого человека, потерявшего чувствительность сердца в несчастиях, неизвестных читателю; его бездействие, его равнодушие к дикой жестокости горцев и к юным прелестям кавказской девы могут быть очень естественны – но что тут трогательного – легко было бы оживить рассказ происшествиями, которые сами собою истекали бы из предметов. Черкес, пленивший моего русского, мог быть любовником молодой избавительницы моего героя – вот вам и сцены ревности, и отчаянья прерванных свиданий и проч. Мать, отец и брат могли бы иметь каждый свою роль, свой характер – всем этим я пренебрег, во-первых от лени, во-вторых, что разумные эти размышления пришли мне на км тогда, когда обе части моего Пленника были уже кончены – а сызнова начать не имел я духа».

Этот предположительный, конспективный, а в некоторых деталях буквально точный план лермонтовской «Бэлы» говорит лишь о том, что будущий (пока только тринадцатилетний!) автор «Героя», переписывая на свой лад пушкинского «Пленника», то есть следуя ходу мысли своего литературного патрона, легко угадывал грандиозный сюжетный потенциал его замысла. Вспомним, что действие «Бэлы» происходит за Тереком, в роли «ездока» выступает любящий Бэлу Казбич; присутствуют на сцене также отец и брат героини. Что касается происшествий, которые «сами собой истекали бы из предметов», то автора повести едва ли возможно упрекнуть в «бедности изобретения». Сам Пушкин, кстати, признавал, что его «поэму приличнее было бы назвать «Черкешенкой». Как видим, Лермонтов и здесь попал в самую точку.

Так восхищавшийся «Пленником» Белинский считал, что «с легкой руки Пушкина Кавказ сделался для русских заветною страною не только широкой раздольной воли, но и неисчерпаемой поэзии, страною кипучей жизни и смелых мечтаний!» Но это высокий пафос программной статьи. В частном же письме у него звучат совсем иные ноты. «Вообще черкесы довольно благообразны, – пишет он из Пятигорска М.А. Бакунину, – но главное их достоинство – стройность. Ох, черкешенки!.. Чтоб видеть их, надо ехать в аул, верст за 30, а это мне не очень нравится... К тому же я питаю к черкесам такую же антипатию, какую к черкешенкам симпатию. Черкес, плен и мучительное рабство – для меня синонимы. Эти господа имеют дурную привычку мучить своих пленников и нагайками сообщать красноречие и убедительность их письмам для разжалобления родственников и поощрения их к скорейшему и богатейшему выкупу»[54].

Битва русских с кабардинцами

В 1840 году в России вышла в свет книга, выдержавшая потом множество повторных изданий. Говорилось в ней о военных событиях на Северном Кавказе, а главным образом – о любви русского офицера и горской девушки. Свои суждения об этом произведении высказывали такие великие умы, как Белинский и Достоевский. Если добавить, что автор его и сам носил офицерские эполеты, а книгу писал во многом по личным впечатлениям, то кажется, что речь здесь идет о Лермонтове и его повести «Бэла». Но это не так: и название книги другое, и автор ее – Николай Ильич Зряхов, удачливый сочинитель лубочных повестей.

Как вид печати лубок пришел к нам из Европы и первоначально представлял собой примитивные цветные картинки с поясняющими надписями. Со временем лубочные издания стали выходить в виде книжек – с пересказом былин, сказок или житий святых. Особенно любимы в народе были переделки рыцарских и авантюрных романов. Назовем, например, достопамятных Бову Королевича или нашего Еруслана Лазаревича.

Словари относят Зряхова к «низовым прозаикам». Никакого уничижения, впрочем, здесь нет. Дело в том, что дешевые лубочные издания выходили большими тиражами, и это была единственная печатная книга, доступная нашему крестьянству и городским низам. По ним учились читать многие поколения простых русских людей, хотя, конечно, примитивное нравоучительное содержание и напыщенный слог этих произведений часто вызывал праведное негодование демократических кругов.

Что касается Зряхова, то в период 1828–1840 годов он написал и издал добрую дюжину приключенческих, юмористических и детских книжек. Критика Зряхова не любила, справедливо находя, что он «будет иметь самый блестящий успех в передних», у всех, «кто учился на медные деньги». На медные гроши, по-видимому, учился и сам автор. Николай Ильич Зряхов родился в 1782 (или 1786) году в небогатой дворянской семье. Детство его прошло в Астрахани, а в 1801 году он вступил унтер-офицером в драгунский полк и, как признавался сам, «провел всю молодость свою в походах, военных трудах и разных злоключениях». Довелось повоевать и на Кавказе – против персов и турок. В 1808 вышел поручиком в отставку, через несколько лет вернулся в строй, но военной карьеры не получилось: в1816 году Зряхов был отставлен от службы «за дурное поведение». Окончил дни свои он в конце 1840-х и, по существующему предположению, в доме призрения в Москве.

«Битва русских с кабардинцами, или прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего супруга» – не просто самое известное, но и, по-своему, уникальное сочинение Зряхова: выйдя из печати в 1840 году, оно выдержало в дореволюционной России 40 переизданий! Популярность «Битвы» (часто эту повесть называли просто «Магометанкой») была так велика, что на свет появились ее переделки и подделки, а в наше время повесть выходила уже дважды – в Москве и Нальчике в 1990 году (к 150-летию первого издания).

Собственно, ничего удивительного здесь нет, ибо на этот раз лубочной переделке подвергся «Кавказский пленник». Заимствуя сюжетную формулу повести (плен плюс любовь) у Пушкина, Зряхов поступил не так уж наивно. Точно угадывая читательский запрос «низов», он увел свой сказочный сюжет очень далеко от классического оригинала. Сочинение открывается описанием кабардинцев, потом следует грандиозное сражение на берегах Терека. Есаул Гребенского казачьего полка Андрей Победоносцев, получив в бою пять ран, попадает в плен к кабардинскому князю Узбеку. Дочь князя Селима выхаживает есаула. Молодые люди полюбили друг друга. Восхищенный силой и отвагой русского воина, Узбек предлагает Андрею принять мусульманство и стать супругом его дочери. Победоносцев предпочитает вернуться к своим, и по заключении мира его разменивают среди других пленных. На прощанье старый князь щедро одаривает его: лучшим конем из своего завода, своей драгоценной саблей и прочим. Селима же, переодевшись в мужское платье, проникает в русский военный лагерь, где добивается встречи с Андреем. Представ перед Главнокомандующим (то есть командиром Отдельного Кавказского корпуса), влюбленные просят его о покровительстве; тот вызывается быть восприемником при крещении княжны и ее посаженным отцом при бракосочетании. Благословляет молодых и прибывший в ставку князь Узбек. По возвращении войск «на свои квартиры» молодые отправляются к родителям Победоносцева, где вскоре получают известие о награждении Андрея золотой саблей с надписью «За храбрость». Кроме того была пожалована «ему на шею золотая большая медаль с портретом Государя, осыпанная алмазами, на Андреевской ленте, с описанием подвигов нашего героя на другой стороне оной». Через пять месяцев после рождения сына Аркадия Победоносцев занемог, старые раны открылись, и он скончался 23 лет отроду на руках жены. София (так при крещении нарекли Селиму), не вынеся потери, умирает буквально на гробе своего супруга, что и было обещано автором в заглавии повести.

Простые люди «Битву» очень любили. Причины ее невероятной популярности пытались объяснить не раз, и Белинский, например, признавая успех повести в народе, находил, что «это не глупость, а только неразвитость, необразованность с его стороны»[55]. Смысл суждений Достоевского на этот счет несколько иной. «Ведь что-нибудь должна же заключать в себе «Магометанка», что нравится и расходится… Главная и первая причина, – писал он, – по-нашему, та, что это книга не барская или перестала быть барскою… Отвергнутая «господами», книжка тотчас же нашла кредит в народе, и, может быть, ей очень помогло, в глазах народа, именно то, что она не господская»[56].

Теперь попробуем разобраться с исторической подоплекой «Битвы». Сведения о первом боевом столкновении русских с кабардинцами приводятся уже в «Слове о полку Игореве», где упомянуто о поединке Мстислава Храброго с касожским князем Редедей. Касоги русских летописей – предки современных кабардинцев. В дальнейшем наши отношения складывались по-разному. Так, союз русских с кабардинцами был закреплен в 1561 году браком Ивана Грозного с дочерью князя Темрюка Идаровича – Кученей, принявшей при крещении имя Марии (в народе же, что интересно, царица получила прозвище Пятигорки). В материалах Посольского приказа за 1718 год сообщается о возможной численности кабардинского войска для совместного с русскими похода на Кубань против крымского хана.

С другой стороны, как пишет тот же Зряхов, «одно только помрачает славу кабардинцев: врожденное желание к набегам, грабежам и даже убийствам. Они часто, большими партиями переправляясь через реку Терек, избирают праздничные и воскресные дни, посвященные христианами на моления, нападают на селения и деревни, захватывают народ в церквах, берут в плен, грабят имения и скот, и гонят в свои жилища, перепродавая пленных в дальния страны – туркам и другим народам».

В 1779 году Азово-Моздокская линия выдержала ряд нападений крупных сил кабардинцев. Они разгромили небольшой русский отряд, «офицер и сорок нижних чинов были изрублены, остальные бежали, оставив пушку в руках кабардинцев», – сообщает в первом томе «Кавказской войны» В.А. Потто[57]. Генералы Якоби и Фабрициан приняли ответные меры: лагерь противника на реке Малке был окружен и уничтожен. Кабардинские князья, признав поражение, возместили нанесенный русским ущерб скотом и деньгами, а Малку торжественно признали границей российских владений. Но остановить продвижение молодой и могучей империи на юг кабардинцы, разумеется, не могли.

Сам автор «Битвы» относит действие повести к началу XIX столетия, с ноября 1803 года на Кавказской линии начальствовал генерал-лейтенант Г.И. Глазенап. Военных событий, достойных именоваться столь громко, тогда на Северном Кавказе не происходило, но нападения горцев на казачьи посты и пикеты, стычки, перестрелки и набеги были тогда обычным явлением. В мае 1804 года разгорелось сражение на реке Баксан, где «кабардинцы были разбиты наголову», как пишет Потто[58]. В марте 1805 года Глазенап предпринял новый успешный поход в Кабарду, отбил у кабардинцев многочисленные табуны и стада, но и на этот раз все события происходили на берегах Баксана, а не Терека, как в повести Зряхова. Впрочем, писателя можно понять: к документальной точности в описании военных действий он вовсе не стремился, а «седой Терек» в отличие от безвестных Баксана или Малки был к тому времени уже достаточно прославлен в русской поэзии.

Вскоре по высочайшему повелению учредили золотую медаль, которой было «награждено всего 8 офицеров казачьих полков, отличившихся в сражении 11 марта 1805 года против кабардинцев»[59]. Что касается персональной медали Победоносцева, имевшей даже описание его подвигов, то подобные факты награжде-

ния, хотя и крайне редко, но действительно случались. Так, в 1804 году особой золотой медали были удостоены всего двое казачьих старшин, причем на ее оборотной стороне значилось следующее: «За храбрость, оказанную в сражении с персиянами 30 июня 1804 года, в коем с товарищами отбил 4 знамя и 4 фалконета».

Век зряховской «Битвы» оказался необыкновенно долгим. Пожалуй, это единственный образец лубочных произведений, дотянувший до наших дней. Само это слово – «лубочный» – применительно к литературе означает в наши дни невысокую, пренебрежительную оценку. Название же повести давно вошло в разряд крылатых выражений и, как ведают словари, употребляется, «когда насмешливо говорится о ссоре, шуме и пр.»[60]. Ну что же, древние не зря считали, что книги имеют свою судьбу.

Хроника большой дороги

Может показаться невероятным, но в 1825 году горцы имели реальную возможность захватить в плен самого «проконсула Кавказа» А.П. Ермолова. Этот поразительный факт мог бы вызвать справедливые сомнения, не будь он подробным образом описан самим прославленным генералом. «Из Червленной станицы выехал я 20 ноября рано поутру, – сообщает Ермолов. – День был мрачный и по земле расстилался чрезвычайно густой туман. Были неверные слухи, что партия чеченцев намеревалась переправиться на левый берег Терека. Им известно было о моем выезде по заблаговременному заготовлению лошадей и конвоя, по той причине, что оных нет на местах в достаточном количестве. Партия до тысячи человек, приблизившись к Тереку против Казиорского Шанца, отрядила на нашу сторону 400 человек, дабы напасть на меня. Места совершенно открытые допустили бы меня заметить в далеком расстоянии, но густой туман тому воспрепятствовал, и я проехал спокойно. Вскоре после напали они на большую дорогу, схватили несколько человек проезжих и пустились на казачьи хутора в надежде на добычу. Едва отпустил я конвой, прибыв в Калиновскую станицу, как дано было знать о появившейся партии. Конвой, состоявший из 120 человек храбрых гребенских казаков, быстро помчался к Казиорскому Шанцу, где, нашедши чеченцев, ударил на них и в величайшем замешательстве погнал к Тереку. Они оставили несколько человек убитыми и всех захваченных пленных. Вскоре подоспели казаки из Калиновской станицы с одним конным орудием, и чеченцы удалились от Терека. Таким образом ускользнул я от сил несоразмерных, но не думаю, однако же, чтобы для того только, дабы схватить меня, решились они на большую потерю, без чего нельзя было преодолеть казаков»[61].

В 1829 году горцы обстреляли экипажи персидского принца Хозрев-Мирзы, посланного в Россию с «извинительным письмом» за убийство Грибоедова. Обыденность происшествия могла бы и не оставить следа в кавказских хрониках, но с посланцем шаха на Военно-Грузинской дороге столкнулся Пушкин. «Я пошел пешком, не дождавшись лошадей; – сообщает поэт в первой главе «Путешествия в Арзрум», – и в полверсте от Ананура, на повороте дороги, встретил Хозрев-Мирзу. Экипажи его стояли. Сам он выглянул из своей коляски и кивнул мне головою. Через несколько часов после нашей встречи на принца напали горцы. Услыша свист пуль, Хозрев выскочил из своей коляски, сел на лошадь и ускакал. Русские, бывшие при нем, удивились его смелости».

Сам Пушкин также мог серьезно пострадать на большой дороге, о чем упоминает на страницах того же «Путешествия»: «Не доходя до Ларса, я отстал от конвоя, засмотревшись на огромные скалы, между коими хлещет Терек с яростию неизъяснимой. Вдруг бежит ко мне солдат, крича издали: «Не останавливайтесь, ваше благородие, убьют!». Это предостережение с непривычки показалось мне чрезвычайно странным. Дело в том, что осетинские разбойники, безопасные в этом узком месте, стреляют через Терек в путешественников. Накануне нашего перехода они напали таким образом на генерала Бековича, проскакавшего сквозь их выстрелы».

На обратном пути Пушкин, обретя уже некоторый боевой опыт в действующих войсках, сам искал опасности. Из Владикавказа поэт и его спутники выехали с оказией, то есть с отрядом при артиллерийском орудии. Вот как вспоминал об этом Михаил Пущин: «Все прекрасно обошлось во время медленного нашего следования от Владикавказа до Екатериноградa и оттуда до Горячеводска или Пятигорска. Ехали мы втроем в коляске; иногда Пушкин садился на казачью лошадь и ускакивал от отряда, отыскивая приключений или встречи с горцами, встретив которых, намеревался, ускакивая от них, навести их на наш конвой и орудие; но ни приключений, ни горцев во всю дорогу он не нашел»[62].

Примерно в то же время по Военно-Грузинской дороге проехал и переведенный из сибирской ссылки на Кавказ Александр Бестужев. Об этом путешествии он рассказал в большом очерке «Письмо к доктору Эрману». Любивший блеснуть своей причастностью к важным событиям, Бестужев сообщает: «В 1829 году особенно горцы, ободренные отсутствием войск, стали разбойничать на Военно-Грузинской дороге. Перед проездом моим они увели в плен одного доктора; за неделю отбили купеческий табун из-под пушек конвоя и при проезде Хозрев-Мирзы ранили его нукера. Четырнадцать человек, провожавшие нас, возвращаясь на пост, близ Ардона, на речке Белой, были атакованы тремястами наездников. Бесстрашно отстреливались они целый час, но, на беду их, нашла туча и проливной дождь замочил ружья. Черкесы, ожесточенные по-

терей лучших узденей, ударили в шашки, и русские были изрублены в куски. Одного только раненого казака умчали они в плен. Недалеко от дороги показали мне дуплистый пень, поверженный грозой, в котором незадолго пред тем донской казак, преследуемый тридцатью всадниками, убившими его товарища и коня, скрылся и спасся, грозя ружьем нападавшим. Пули не пробили дерева, и он отсиделся до выручки».

В 1840 году наиб Шамиля Ахвердил Мухаммед, совершив стремительный рейд по русским тылам, нагрянул в Моздок. Среди прочих пленных он привел оттуда дочь богатого купца-армянина Анну Улуханову. Девушку, поразившую горцев своей красотой, доставили в Дарго к Шамилю. Она вскоре перешла в ислам, получила имя Шуанат и стала женой Шамиля.

26 октября 1850 года в Чечне на Рошнинской поляне партия горцев напала даже на конвой цесаревича Александра (будущего императора Александра II). Наследника сопровождала многочисленная свита во главе с самим Воронцовым. Нападение было успешно отбито, сам цесаревич под пулями держался храбро и заслужил Георгиевский крест.

В кавказских путевых записках Александр Дюма рассказал о встрече с русским офицером, который провел в плену у горцев пять месяцев. «Взятый в плен около Кубы, – пишет Дюма, – он был уведен в горы и доставлен к Шамилю. Сначала за него требовали двенадцать тысяч рублей, а потом снизили до семи тысяч. Семейство и друзья офицера собрали три с половиной тысячи рублей, а граф Воронцов – тогдашний кавказский наместник – добавил остальное»[63].

Иногда за голову узника назначали выкуп, а иногда производили и размен пленных. Известен случай, когда чеченцы удерживали захваченного ими штабс-капитана Клингера два с половиной года, обменяв потом на семерых своих.

Иногда участь пленников оказывалась плачевной. Секретарь Шамиля Мухаммед Тахир аль-Карахи в своей известной хронике «Три имама» передает, что «в 1845 году Шамиль получил достоверные сведения, что русские готовятся к серьезным операциям против него. Он тотчас же приказал казнить всех офицеров, взятых им разновременно в плен. Их особенно много было захвачено при очищении русскими Нагорного Дагестана в 1843 году»[64].

Сведения о том, какой была казнь у чеченцев, есть в упомянутой книге Потто. Томясь в плену, майор Швецов готовился к худшему: «Конец был известен. По обычаю страны его привяжут к дереву, и каждый из присутствующих на этом суде будет наносить обреченной жертве не смертельные, но мучительные удары ножом, пока, наконец, не потухнет последняя искра жизни в несчастном мученике»[65].

Самым громким и страшным по опустошительным последствиям был набег, совершенный в Кахетию в 1854 году сыном и наследником Шамиля Кази-Мухаммедом. Названный в память Кази-Муллы, он с молодых лет отличался редким хладнокровием, отвагой и более других сыновей Шамиля был отмен талантом военачальника (впоследствии получил чин маршала турецкой армии). Во главе семитысячного отряда конницы Кази-Мухаммед разорил и сжег 18 грузинских селений и разграбил имение князя Давида Чавчавадзе – Цинандали. Среди многочисленных пленников (по сведениям аль-Карахи – 884 человека) оказались княгини А.И. Чавчавадзе и В.И. Орбелиани (внучки последнего венчанного грузинского царя Георгия XII) с детьми и прислугой, захват которых, как стало ясно, являлся главной целью всей операции. В плену могла оказаться и Нина Александровна Грибоедова, приходившаяся родной сестрой хозяину имения, но она в это время гостила у другой своей сестры.

Суровое заключение длилось восемь месяцев, подробности его стали известны по нашумевшей в свое время книге Е. Вердеревского «Плен у Шамиля». Несколько глав посвятил этой истории в своих записках и Дюма, услышавший ее в Тифлисе из уст самих пленниц. В конце концов Шамиль обменял их на своего старшего сына Джемалэддина, об изломанной судьбе которого тоже следует сказать несколько слов.

«В крепости видел я черкесских аманатов...»

В ходе военных действий на Кавказе пленных брали, разумеется, и русские. В ряде случаев это были не пленные, а заложники, причем, можно сказать, плановые заложники, аманаты. Выдача аманатов в залог верности властям была обычной практикой тех лет. Для надежности в качестве таких заложников брали, как правило, детей влиятельных горцев. Правда, судьба подобных пленников со времен князя Мстислава Храброго и захваченных им детей Редеди претерпела некоторые изменения, о чем с предельной честностью замечает Пушкин на страницах «Путешествия в Арзрум»: «В крепости видел я черкесских аманатов, резвых и красивых мальчиков. Они поминутно проказят и бегают из крепости. Их держат в жалком положении. Они ходят в лохмотьях, полунагие и в отвратительной нечистоте. На иных видел я деревянные колодки. Вероятно, что аманаты, выпущенные на волю, не жалеют о своем пребывании во Владикавказе».

Впрочем, судьбы аманатов складывались по-разному. Так, кабардинский князь Измаил Атажуков (в кабардинском звучании – пши Исмель Хатокшоко) с четырнадцатилетнего возраста находился аманатом в России, где получил светское и военное образование. Он служил в Бугском казачьем полку и за отличия при

штурме Очакова удостоился чина подполковника. В качестве одного из «депутатов и посланников народов кавказских» состоял в свите Г.А. Потемкина, который лично ходатайствовал о нем перед императрицей: «Исмаил бей, из лутчей фамилии кабардинской, подполковник в службе Вашего Императорского Величества, ревностно и храбро служивший под Очаковым и штурме оного, желает оказать себя противу шведов, и его отправляя, всеподданнейше прошу о награждении его убранною каменьями медалью»[66]. За храбрость, проявленную при взятии Измаила, князь был награжден орденом святого Георгия 4-й степени. Незаурядная личность, причудливая судьба и загадочная смерть Измаила, стоявшего в центре многих важных событий на Пятигорье и в Кабарде, способствовали тому, что именно его юный Лермонтов избрал главным героем своей восточной повести «Измаил-Бей».

Самым известным из горских аманатов стал старший сын Шамиля – Джемалэддин. При осаде Ахульго в 1839 году, понимая безвыходность своего положения, Шамиль пошел на переговоры с русскими и вынужден был выдать аманатом восьмилетнего сына. Переговоры успеха не имели, Ахульго был взят, Шамиль сумел уйти, пробившись с боем через русские посты, а мальчик остался в нашем плену. Его отвезли в Петербург, и царь Николай велел определить его в кадетский корпус. В двадцать лет он был уже поручиком уланского полка. Вернувшись в горы, он убеждал отца прекратить борьбу, понимая многократное превосходство сил России, но напрасно. Шамиль женил сына и отправил в высокогорный аул Карата. Через несколько лет Джемалэддин умер от туберкулеза.

В повести «Бэла» Лермонтов восхищается способностью русского человека «применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить». Судя по всему, Ермолов оказался хорошим учеником и быстро усвоил грамматику гор. Денис Давыдов, приходившийся «проконсулу» двоюродным братом и сам повоевавший за Кавказом с персами, сообщает, что «до 1820 года назначалась из военного министерства сумма для выкупа пленных в Черномории, где до времен Ермолова было строго воспрещено нашим войскам переходить через Кубань. Захватив однажды большое количество пленных чеченцев, Ермолов выдал лучших пленниц замуж за имеретян, а прочих продал в горы по рублю серебром. Это навело такой ужас на чеченцев и прочих горцев, что они с этого времени лишь изредка захватывали наших в плен, и то не иначе как поодиночке…»[67].

Иногда количество пленных горцев исчислялось сотнями. Описывая кавказские события 1822 года, Ермолов замечает, что «генерал-майор Вельяминов 3-й при разорении селений не встретил почти никакого сопротивления, взял в плен 1400 душ обоего пола и всякого возраста и весьма большое количество скота»[68]. В следующем году Вельяминов, по словам Ермолова же, «сделал вторительный поиск за Кубань». Успех опять был полный: экспедиционный отряд «внезапно напал на три ногайские аула, в совершеннейшей беспечности бывшие, с потерею двух человек вырезано было до 400 душ всякого возраста и обоего пола, взято в плен 556 душ и более 2 тыс. рогатого скота».

Обычной участью пленных горцев была каторга. О некоторых из них, заключенных омского острога, рассказал в «Записках из мертвого дома» Ф.М. Достоевский: «Их было: два лезгина, один чеченец и трое дагестанских татар. Чеченец был мрачное и угрюмое существо; почти ни с кем не говорил и постоянно смотрел вокруг себя с ненавистью, исподлобья и с отравленной, злобно-насмешливой улыбкой». Лезгин же Нурра произвел на писателя самое отрадное впечатление: «Это был человек еще не старый, росту невысокого, сложенный, как геркулес… Все тело его было изрублено, изранено штыками и пулями. На Кавказе он был мирной, но постоянно уезжал потихоньку к немирным горцам и оттуда вместе с ними делал набеги на русских. В каторге его все любили. Он был всегда весел, приветлив ко всем, работал безропотно, спокоен и ясен… Он совершенно был уверен, что по окончании определенного срока в каторге его воротят домой на Кавказ, и жил только этой надеждой».

Однажды острожная судьба свела писателя с разжалованным офицером, чей простоватый характер, да и имя – Аким Акимыч, невольно заставляют вспомнить лермонтовского штабс-капитана. Правда, от него мы не узнали никаких романтических историй вроде похищения Бэлы. Его рассказ – это грубая кавказская проза: Аким Акимыч хитростью заманил к себе в крепость и самочинно расстрелял мирного горского князька, незадолго до того устроившего предательский набег в русские пределы. Невысказанная будущим автором «Преступления и наказания», но вполне очевидная мораль такова, что за бессудно пролитую кровь поплатился каторгой бедный прапорщик. Истинные же высоко-сановные виновники кавказской бойни, в которой текли потоки горской и русской крови, остались (как и доныне у нас ведется) вовсе без всякого суда.

«Смотреть на истину прямыми глазами»

Предлагая своему лицейскому другу «поговорить о бурных днях Кавказа», Пушкин едва ли предполагал, что их бесконечная череда растянется на десятилетия кровавой Кавказской войны. Рыскающий в горах воинственный разбой еще долго тревожил русскую литературу, подвергая вполне реальной опасности пленения ее лучших представителей.

В июле 1828 года А.С. Грибоедов, назначенный министром-резидентом в Персию, совершил переезд по Военно-Грузинской дороге. Только случайность уберегла его от нападения горцев и возможного плена. За несколько верст до станции Коби, как вспоминает его спутник и второй секретарь посольства Карл Аделунг, «нас встретил майор Челяев со свитой примерно в 10 человек казаков и грузин; он был знаком с Грибоедовым раньше; узнав об его приезде, вышел его приветствовать... После того как мы прошли верст 5 по очень трудной дороге, встретились нам несколько осетин, которые отозвали Челяева в сторону и что-то сказали ему на ухо. Мы узнали, что в трех верстах отсюда собрались 300 осетин, чтоб напасть на проезжающих; люди, которые сообщили нам это известие, были разведчиками. Несмотря на это предупреждение, Грибоедов решил ехать дальше, но, уступив в конце концов просьбам и мольбам Челяева, вернулся, с тем чтоб продолжить путь на другой день»[69].

Декабрист Александр Бестужев был переведен из сибирской ссылки рядовым в войска Кавказского корпуса. «Зачинщик русской повести», как назвал его Белинский, сумел здесь вернуться к литературной деятельности и опубликовал, под псевдонимом Марлинский, многие увлекательные повести. Полный новых впечатлений, он в первом же кавказском очерке делится наблюдением, сделанном в горном краю: «Там над головою путника вьется разбойник воздуха – орел, там рыщет разбойник лесов – волк и разбойник гор – черкес; припав за камнем, готовит им и себе добычу». Перу Бестужева принадлежит и «Рассказ офицера, бывшего в плену у горцев», составленный как можно заключить, на основе реальных событий. Объясняя склонность горцев к грабительским набегам, писатель приходит к выводу, что «хищничество есть единственная их промышленность, единственное средство одеться и вооружиться. Скалы родные дают ему скудную пищу, стада – грубую одежду, но ему хочется иметь винтовку с насечкою, кафтан с галуном; хочется купить прекрасную жену и пить густую бузу или вино – и как вы хотите, чтобы человек храбрый от привычки, потому что он осужден от колыбели выбивать свое существование у грозной природы, чтобы человек сильный, и к этому всему нищий, не хотел присвоить себе все, что ему по силам? На грабеж идет он как на охоту, и добыча, взятая им из зубов опасности, для него и плата за труд, и слава за подвиг, и приманка на будущие набеги»[70].

Считается, что Бестужев погиб в июне 1837 года при высадке русскими десанта на мысе Адлер. Однако тело его после боя найдено не было, и, по существующему предположению, он окончил свои дни, томясь в горском плену.

Как сообщает дагестанский краевед Булач Гаджиев, «несколько сот солдат, не выдержав армейской жизни, в разное время перешли на сторону Шамиля»[71]. Наиболее желанной боевой добычей для горцев были русские офицеры. В стихотворении «Валерик» Лермонтов приводит предсмертный бред раненого капитана («Спасите, братцы, – Тащат в горы...»), передающий, видимо, вполне реальный боевой эпизод. Сам Лермонтов также подвергался опасности пленения. Вот что сообщал он другу в письме о своих кавказских делах: «...Два раза в моих путешествиях отстреливался: раз ночью мы ехали втроем из Кубы, я, один офицер нашего полка и черкес (мирный, разумеется), и чуть не попались шайке лезгин». Позднее в его странствиях был еще случай, когда поэт едва ушел от настигающей его погони. По рассказу журналиста и издателя А.А. Краевского, Лермонтов подарил ему свой кинжал, которым однажды отбивался «от трех горцев, преследовавших его около озера между Пятигорском и Георгиевским укреплением. Благодаря превосходству своего коня поэт ускакал от них. Только один его нагонял, но до кровопролития не дошло. – Михаилу Юрьевичу доставляло удовольствие скакать с врагами на перегонку, увертываться от них, избегать перерезывающих ему путь»[72].

Рассказ этот подтверждают и воспоминания кавказского офицера П.И. Магденко, попутчика в одной из поездок поэта. По его словам, Лермонтов «указывал нам озеро, кругом которого он джигитовал, а трое черкес гонялись за ним, но он ускользнул от них на лихом своем карабахском коне»[73].

Осенью 1843 года два месяца в плену у горцев провел приятель Лермонтова – Михаил Глебов (секундант на последней дуэли поэта). Нет худа без добра: история эта, а также удачный побег Глебова наделали много шума и способствовали, как полагают, его быстрой служебной карьере: в чине ротмистра гвардии он попал в адъютанты к самому наместнику Кавказа князю Воронцову.

В июне 1853 года нападению чеченцев подвергся фейерверкер 4-го класса граф Лев Николаевич Толстой. На пути из крепости Воздвиженской в Грозную группа офицеров, в которой были Толстой и его чеченский кунак Садо Мисербиев, отделилась от основного отряда. Попытка избежать монотонного движения в колонне окончилась печально: атака конных чеченцев была, как всегда, внезапной и молниеносной. Толстой и Садо поскакали в сторону Грозной и сумели оторваться от погони. Остальные повернули к отряду, но лишь один офицер успел спастись. Двое других серьезно пострадали: П.А. Полторацкий получил несколько сабельных ударов, а Г.Д. Щербачев вскоре скончался от тяжелых ран. О происшествии Толстой записал в дневнике: «Едва не попался в плен, но в этом случае вел себя хорошо...»[74].

Трудно сказать, какой неповторимый опыт приобрел бы в чеченской неволе будущий автор «Казаков» и «Хаджи-Мурата». Во всяком случае, описанная ситуация явно напоминает ту, когда пленниками гор оказались его Жилин и Костылин.

Вслед за Пушкиным своих «Кавказских пленников» написали Лермонтов и Лев Толстой. Сбросив «обветшалые лохмотья» романтизма, оба они, участники бесконечной кавказской драмы, изображали войну

такой, какой видели сами – «в крови, в страданиях, в смерти». Оценивая стихотворение «Валерик», запечатлевшее сцены тяжелого сражения в Чечне, Белинский писал, что отличительный характер поэзии Лермонтова заключается «в его мощной способности смотреть прямыми глазами на всякую истину».

В «Хаджи-Мурате» Толстого есть горькие и честные строки о ненависти чеченцев к русским. Отметим, однако, и другое: в нашей классике русский пленник всегда обязан своей вновь обретенной свободой горянке. Реальность непримиримой войны была намного страшнее, но, даже понимая это, авторы «Пленников» переписывали исход жестокого сюжета по-своему – так, как им подсказывало сердце.

Глава IV. «В рассуждении завоевания Индии...»

В письме к брату Льву от 24 сентября 1820 года, делясь с ним летними кавказскими впечатлениями, Пушкин выразил надежду, что «эта завоеванная сторона, до сих пор не приносившая никакой существенной пользы России, скоро сблизит нас с персиянами безопасною торговлею, не будет нам преградою в будущих войнах – и, может быть, сбудется для нас химерический план Наполеона в рассуждении завоевания Индии». Подобный ход мысли был, вероятно, навеян поэту чем-то увиденным или услышанным на Кавказе.

«Преданья грозного Кавказа»

Сюжет «Кавказского пленника» Пушкину подсказала разгоравшаяся на юге война. Однако в отношении военной ситуации, сложившейся к тому времени у наших южных рубежей, особенно примечательны даже не две основные части поэмы, а ее эпилог, в котором автор рисует полет своей музы «к пределам Азии» и отрывок из которого мы напомним читателю:

Богиня песен и рассказа,
Воспоминания полна,
Быть может, повторит она
Преданья грозного Кавказа;
Расскажет повесть дальных стран,
Мстислава древний поединок,
Измены, гибель россиян
На лоне мстительных грузинок;
И воспою тот славный час,
Когда, почуя бой кровавый,
На негодующий Кавказ
Подъялся наш орел двуглавый;
Когда на Тереке седом
Впервые грянул битвы гром
И грохот русских барабанов,
И в сече с дерзостным челом,
Явился пылкий Цицианов;
Тебя я воспою, герой,
О Котляревский, бич Кавказа!
Куда ни мчался ты грозой –
Твой ход, как черная зараза,
Губил, ничтожил племена...
Ты днесь покинул саблю мести,
Тебя не радует война;
Скучая миром, в язвах чести,
Вкушаешь праздный ты покой
И тишину домашних долов...
Но се – Восток подъемлет вой!..
Поникни снежною главой,
Смирись, Кавказ: идет Ермолов!

К тексту поэмы Пушкин сделал ряд примечаний, пояснив, что «счастливый климат Грузии не вознаграждает сей прекрасной страны за все бедствия, вечно ею претерпеваемые. Песни грузинские приятны и по большей части заунывны. Они славят минутные успехи кавказского оружия, смерть наших героев: Бакунина и Цицианова, измены, убийства – иногда любовь и наслаждения».

Не забыл поэт и о своих литературных предшественниках: «Державин, – замечает он, – в превосходной своей оде графу Зубову первый изобразил в следующих строфах дикие картины Кавказа» (и Пушкин выписал из оды две строфы, поместив следом и большой отрывок из стихотворного послания Жуковского к Воейкову).

Имена упомянутых здесь русских полководцев мало о чем говорят современному читателю, а стоящие за ними события далекой и грозной эпохи теперь уже едва проступают, как говорится, во мгле веков. Попробуем воскресить их, высвечивая в исторических потемках дела двухсотлетней давности и повторяя, согласно пушкинскому завету, забытые преданья грозного Кавказа.

Мы обратимся прежде всего к впечатляющей военной экспедиции, состоявшейся в 1796 году и известной под названием Персидского похода графа Зубова. Упомянув его имя в примечаниях к «Кавказскому пленнику», Пушкин в дальнейшем искал возможности восстановить подробности этого колоссального предприятия. Известно его письмо 1833 года (черновое) к одному из участников похода – Алексею Петровичу Ермолову. Поэт высказал явную заинтересованность в том, чтобы получить описание зубовской эпопеи: «Собирая памятники отечественной истории, напрасно ожидал я, чтобы вышло наконец описание Ваших закавказских подвигов. До сих пор поход Наполеона затемняет и заглушает все – и только некоторые военные люди знают, что в то же самое время происходило на Востоке».

Нет сомнений, что на протяжении долгих лет эта тема находилась в круге творческого внимания Пушкина. Даже после того, что он увидел на Кавказе своими глазами в 1829 году, совершив путешествие в действующую армию в Арзрум, «призрак невозвратимых дней» продолжал тревожить его воображение. Пристально вглядываясь с вершин Машука и Бештау в даль «глухих ущелий Кавказа», туда, «где рыскает в горах воинственный разбой», Пушкин стремился проникнуть мысленным взором и в даль времен – к грандиозным событиям минувшей екатерининской эпохи.

«И только некоторые военные люди знают, что в то же самое время происходило на Востоке»

На закате своего царствования Екатерина II решилась привести в исполнение так называемый «греческий проект» Потемкина, состоявший в том, чтобы, изгнав турок из Европы, отнять у них Константинополь и образовать новое «греческое королевство», трон которого императрица предназначала для своего второго внука Константина.

Фантастический (или, как сказали бы в старину, – химерический) план предстоящей военной экспедиции был предложен фаворитом Екатерины Платоном Зубовым. Турецкую столицу предполагалось осадить с трех сторон: Суворов должен был перейти Балканы и угрожать городу с европейского берега Босфора, другой экспедиционный корпус – продвинуться по южному берегу Черного моря, а сама Екатерина с Платоном, находясь при Черноморской эскадре, осадила бы город с моря. Стратегический размах операции был столь широк, что простирался до пределов Индии и предусматривал захват торговых путей от Персии до Тибета с установлением наших гарнизонов в наиболее важных пунктах.

Однако выполнение этого невероятного плана осложнялось тем, что в 1795 году персидский шах Ага-Мохаммед-хан с 80-тысячным войском вторгся в Грузию и разгромил незначительные силы царя Ираклия. Этот «ужас Ирана», как прозвали его в соседних странах, некогда кастрированный по приказу шаха Надира, нечеловечески свирепый, разорил и залил потоками крови Тифлис. Россия, под покровительством которой находилась единоверная Грузия, не могла оставаться в стороне.

Кавказский наместник генерал-аншеф Иван Васильевич Гудович немедленно отправил в Тифлис отряд полковника Сырохнева, а другой, генерал-майора Савельева, – в Дербент, считавшийся тогда воротами в Персию. Савельев Дербент не взял: городским стенам, по которым можно было ездить в телеге, его шесть пушчонок не были страшны. Ответные вылазки, предпринятые дербентским правителем Шейх-Али-ханом, также не имели решительного успеха.

Гудович тем временем начал собирать в Кизляре внушительный отряд, рассчитывая лично возглавить поход: четыре года назад он прославился тем, что взял у турок неприступную Анапу, истребив 10-тысячный гарнизон и пленив мятежного шейха Мансура. Но Екатерина рассудила по-своему.

Для войны с Персией был сформирован отдельный Каспийский корпус, состоявший из двух кавалерийских и двух пехотных бригад, усиленный казаками и каспийской флотилией (всего около 35 тысяч человек). Есть сведения, что «Суворов отказался принять начальство над войсками, назначенными в персидский поход»[75] и тогда командовать корпусом получил приказ 24-летний генерал-поручик и андреевский кавалер Валериан Александрович Зубов (родной брат Платона Зубова), прошедший боевую школу суворовских кампаний. Участник штурма Измаила, своего первого «Георгия» он получил из рук легендарного полководца. В одном из польских походов ему ядром оторвало ногу, и, находясь на излечении за границей, он заменил ее искусственной, позволявшей ему по суткам находиться в седле. За это персы стали называть его потом Кизил-аяг (Золотоногий).

Греческий митрополит Хрисанф Контарини, имея опыт личных впечатлений, подготовил для Зубова путеводные записки о Бухаре, Хиве, Кабуле и Кашмире, особое внимание уделяя дорогам, численности войск и местным обычаям. Соображения, которые он при этом высказал, приличествуют более представителю военной разведки, нежели служителю церкви: «Бухария уподобляется саду удивительной красоты; но к сожалению, наслаждаются сею частию света варвары. Из сопредельных или ближайших к оной государств, ни которое покорить ее не в состоянии, окроме России при помощи Божией, но не прежде однако ж как заняв Хиву и отправя оттуда отряд войск на легких судах, могущих дойти по реке Аму-Дерье до самой Бухарии; поелику сухим путем, в рассуждении лежащей между сими местами пустой степи и недостатка в дровах и воде, проходить почти нет возможности. Бухария почти превосходит самую Индию в богатстве и изобилии во всех жизненных потребностях... В Кабуле воздвигнул свой престол Авганский государь пятьдесят лет по смерти Надир-шаха... Государь сего владения чрезмерно богат дорогими каменьями и жемчугами, денег же не имеет и едва может содержать себя своими доходами; войска имеет всегда в готовности до двадцати тысяч, а не более... В случае нужды число войска их может быть собрано до пятидесяти тысяч человек; но пять тысяч россиян чрез два часа сражения истребят оное и возьмут самого государя с женами и имуществом его... Главнейшая сила их состоит во многих верблюдах, из коих на каждом прикреплен род фальконета, который сидящий на верблюде всадник оборачивает на все стороны, и в действии сем они довольно искусны... Войско его вообще состоит из одной конницы, и все нужное имеет каждый навьюченное на лошади... В 1793 году, во время моего там пребывания, познакомился я с одним англичанином по имени капитан Ротк, человек обширных сведений в истории и в других науках. Он, между прочими рассуждениями о пленительной красоте, изобилии и богатстве области Кашемирской, говаривал мне иногда: «Если бы было у меня пять тысяч только английского войска, то чрез десять или двадцать лет составил бы я здесь целую империю, с востока до самой внутренности Индии...» Для вящего удостоверения и подробнейшего во всех частях к сведению вашему нужных замечания можно отправить в те края людей вами избранных, с наблюдением однако ж той осторожности, чтобы не походили они на русских, имели короткие волосы и странствовали бы под видом врачей, путешествующих для собрания произрастений...»[76].

В марте 1796 года граф Зубов прибыл в Кизляр, откуда вскоре началось движение русских войск к Дербенту. Дербент по-персидски означает «узел ворот». На тюркских языках его имя звучит иначе – Демир-Капи, то есть Железные Врата, упоминания о которых есть и в русских летописях. Его стены помнят великого Тимура и золотоордынского хана Тохтамыша, а в 1722 году Дербент без боя покорился русскому царю Петру. Из-за мелководья его корабли не могли подойти близко к берегу Каспия, тогда он приказал матросам нести себя на доске над волнами и первым ступил на кавказскую землю.

В рядах Каспийского корпуса находились многие из прославившихся впоследствии боевых командиров: П.Д. Цицианов, П.С. Котляревский, М.И. Платов, И.П. Лазарев, Л.Л. Беннигсен (начальник штаба у Зубова, а в 1807 году – главнокомандующий русскими войсками), Н.Н. Раевский – будущий благодетельный спутник Пушкина в поездке на Горячие воды, от которого поэт и мог услышать подробности дела и сыну которого Николаю посвятил потом своего «Пленника». Был среди них и 19-летний офицер, начавший военную карьеру лишь за два года до персидского похода. За отличия при штурме Дербента он получил Владимирский крест. Звали его Алексей Петрович Ермолов. Раздосадованный же Гудович сдал дела на Кавказской линии генералу Исленьеву и покинул Кавказ.

В первых числах мая передовые казачьи разъезды появились под стенами Дербента. Город был надежно укреплен: стена Даг-Бары, построенная еще арабами для защиты от набегов хазар, уходила в глубь гор. Городские стены достигали в толщину трех метров. В верхней части города на неприступной скале высилась старинная цитадель – Нарын-Кала.

Решительный штурм привел русских к успеху: 10 мая под ударами нашей артиллерии рухнули крепостные ворота, и Шейх-Али-хан, не дождавшийся помощи ни от персов, ни от турок, счел за лучшее сдаться на милость победителя. Серебряные ключи от города Зубову поднес столетний старец, который за 74 года до этого вручил их императору Петру. Великий Державин посвятил Валериану Зубову оду – «На покорение Дербента» и сравнивал своего героя с самим Александром Македонским, имея в виду предстоящее завоевание Индии.

Варвара Ивановна Бакунина (жена командира Владимирского полка, сопровождавшая мужа в закавказском походе) рисует в своих записках психологический портрет «завоевателя Персии»: «В нем есть хорошие задатки, но он не получил по-видимому хорошего воспитания и никогда не старался пополнить пробелы своего образования и исправить свои недостатки; избалованный затем удачами и еще более лестью, окружавшею его со всех сторон, граф вообразил, что он заслужил своими собственными достоинствами то высокое положение, на которое поставила его судьба. Боясь уронить свое достоинство, он сделался горд; добрый от природы, но слабый характером, он боится как ребенок, чтобы окружающие не подумали, что им кто-нибудь управляет, между тем люди, овладевшие его доверием, менее всего были достойны его, злоупотребляя этим доверием, делали много вреда ему и всей армии»[77].

В короткий срок войсками корпуса был занят прибрежный Дагестан от устья Терека до устья Куры и покорены все ханства восточного Закавказья. Екатерина наградила Зубова чином генерал-аншефа и орденом святого Георгия второго класса. За Дербент он получил также алмазные знаки к «Андрею Первозванному»

(что считалось высшей степенью этого ордена) и бриллиантовое перо на шляпу, а всем нижним чинам и казакам на радостях было роздано по одному рублю. Не встречая сопротивления, русские кавалерийские отряды перешли Куру и вступили в Муганскую степь. Дорога на Тегеран была открыта…

Впрочем, при более пристальном рассмотрении ситуация, в которую попал Каспийский корпус, не казалась столь безоблачной. «Опрометчивость, которою был запечатлен весь план персидского похода Валериана Зубова, – читаем в обширном историческом очерке, посвященном братьям Зубовым «Русской стариной», – не замедлила принести горькие плоды, и сам покоритель Дербента не мог не сознаться, что его положение на Кавказе было почти критическое»[78].

Сказывались необеспеченность продовольствием, нехватка войск и непривычные условия горной войны, когда нападения можно было ожидать в любой момент и с тыла и с флангов. «Валериан Зубов, – продолжает автор «Русской старины», – обуянный ужасом при виде естественных твердынь Кавказа и тысячи препятствий, подробно писал о них брату своему и умолял: «обеспеча мое пропитание, снабдите меня предполагаемою прибавкою войск к осеннему времени и примите к сему верные меры, ибо должен вам признаться, что все идет крайне медленно…»[79].

Осень, действительно, принесла новые проблемы, и отряд быстро терял подвижность и боеспособность. Очевидец событий передает, в какой отчаянной ситуации оказался зубовский корпус: «Между тем войско находилось в трудном положении. От чрезвычайных жаров и употребления плодов появились в оном болезни, и сего несчастия ничем другим отвратить было не можно, кроме запрещения привозить фрукты, для чего поставлены были везде караулы. Лошади, верблюды и быки большею частию попадали от недостатка в фураже, ибо трава была почти вся или вытравлена, или выгорела, а напоследок сделалась и вредною по серному свойству земли; притом же наступила ненастливая погода и дожди. Посему граф дал повеление немедленно выступать к Шамахе, которая хотя не далее была как верст на 15, однако переход сей за недостатком лошадей, верблюдов и волов для перевозки тяжестей был очень затруднителен»[80].

Сложно сказать, могла ли эта кампания, столь доблестно начатая на берегах Каспия, победоносно завершиться на берегах Босфора: смерть престарелой императрицы круто изменила положение дел. Восшедший на престол Павел, враждебно настроенный ко всем начинаниям Екатерины, отдал войскам приказ немедленно вернуться в прежние границы, на кавказскую линию, и возвратил Персии все завоеванные провинции.

С «Золотоногим» же император поступил издевательски хитроумно: приказ к отступлению был послан отдельно каждому из командиров полков, участвовавших в экспедиции, то есть всем кроме самого Зубова, – в расчете, видимо, на то, что, лишенный войск, тот сложит голову за хребтом Кавказа. Но Зубова выручил Платов – вернулся в Россию вместе с ним, а за незапятнанную солдатскую честь заплатил заключением в крепость.

Обратный путь Каспийского корпуса представлял собой печальную картину и более походил на беспорядочное отступление проигравших сражение войск. По словам участника этого ледового похода А.П. Ермолова, полки, «предоставленные судьбе, не снабженные ни теплою одеждою, ни продовольствием, ни фуражом, шли среди суровой снежной зимы, сопровождаемой в горах и обширных кумыкских равнинах страшными вьюгами, – шли поодиночке, каждый сам себе, и в результате бедственный поход стоил стольких человеческих жертв и такого материального ущерба, каких нельзя было ожидать при самой неудачной кампании»[81].

Павел вернул на Кавказ Гудовича, возместив ему превратности фортуны графским титулом. При Александре он стал и генерал-фельдмаршалом (за полный разгром турок на реке Арпачай в 1807 году). Пушкин назвал его имя в «Путешествии в Арзрум», описывая крепость «с заржавыми пушками, не стрелявшими со времен графа Гудовича». Что же касается «Кавказского пленника», то в нем сей доблестный муж не упомянут, хотя по справедливости и его боевые дела следует отнести к той бурной эпохе,

Когда на Тереке седом
Впервые грянул битвы гром
И грохот русских барабанов…

Смещенный Зубов был отправлен в Курляндию, в свое поместье, под присмотр полиции.

В 1806 году Дербент без единого выстрела (и окончательно) занял генерал Г.И. Глазенап.

Подробное описание зубовской эпопеи есть у военного историка В.А. Потто в его книге «Два века терского казачества».

«Ты самый молодой, но самый храбрый генерал в Европе»

Кто знает, не виделась ли Пушкину «даль романа» о Зубове: причудливый сюжет его жизни весьма к тому располагает.

Круто вознесенный судьбою к самому подножию российского престола, он в одночасье лишился всех монарших милостей. Победоносно пробившись с войсками за грани Кавказа – так далеко, как никто еще из русских полководцев, был вынужден без славы покинуть поля сражений. Недавний баловень удачи, сосланный и забытый, в отчаянной попытке вернуть утраченное, он вошел в кровавый заговор цареубийц…

«Современники не сходятся в оценке нравственных качеств графа В.А. Зубова, – писал о нем великий князь Николай Михайлович. – Одни говорят, что внутренние свойства не соответствовали его красивой внешности. Человек далеко не умный, но менее ограниченный, чем его знаменитый брат, Зубов, легкомысленный, развратный и расточительный, был злопамятен и жесток. Другие, например Державин, напротив, отзываются с большой похвалой о его храбрости, благородстве и честности»[82].

Валериан Александрович Зубов родился в 1771 году и вскоре, по обычаю своего времени, был записан вахмистром лейб-гвардии в конный полк. Чин следовал ему, как выражался классик, но, разумеется, стремительная военная карьера Зубова зависела не столько от личной доблести или полководческого таланта, а определялась положением при дворе его всемогущего брата Платона. Когда в 1790 году Суворов взял у турок Измаил, то с известием об этой победе Потемкин отправил в Петербург именно Валериана, пожалованного на радостях «Георгием» 4-й степени и званием флигель-адъютанта. Екатерина всегда относилась к нему с материнской заботой. В письме 1792 года, лично извещая его о пожаловании генерал-майором, она делает замечательную приписку: «Послушай, мальчик! Не давай себя в излишние опасности. Дело с поляками того не стоит; а за то, что хорошо поступаешь, тебе спасибо»[83].

Чувствительное сердце императрицы не обманулось в своей тревоге: именно злополучное польское ядро нанесло ее любимцу неизгладимое увечье. На Зубова сыпались новые, бесконечные милости: графский титул, орден святого Александра Невского, «Георгий» третьей степени, потом высший орден империи «Андрей Первозванный» и чин генерал-поручика. По мнению многих современников, Валериан превосходил красотою своего старшего брата, и тот, опасаясь соперничества, и отправил его подальше, завоевывать персиян.

Екатерина пристально следила за этим походом, вникая в детали, известные ей по донесениям Валериана, и не уставая своими письмами поддерживать и направлять молодого героя. «Все твои донесения я читала с удовольствием, – восклицает она, – и приказала до тебя доставить все, в чем только можешь иметь нужду или надобность. Нимало не сумневаюсь о твоем усердии…».

Взятие Дербента было отмечено в Царском Селе и Петербурге пушечной пальбой. Известия о быстром и победном продвижении русских на юг достигли европейских столиц и замелькали на страницах прессы. Находясь в невероятной дали, где, говоря словами державинской оды, «ревут в мрак бездн сердиты реки», Зубов об этом знать не мог, но Екатерина не замедлила отправить к нему фельдъегеря с этой ошеломляющей новостью, поднявшей, говоря современным языком, полководческий рейтинг Валериана на небывалую прежде высоту. «Ты самый молодой, но самый храбрый и наиболее привлекающий внимание генерал в Европе, – пишет Екатерина Зубову в июле 1796 года. – С чрезвычайным удовольствием и со слезами на глазах читала я похвалы тебе в Гамбургской газете. Там говорят, что храбрый и заслуженный граф Валериан Зубов Дербентом овладел, и имя твое напечатано большими буквами. Заподлинно большими буквами твое имя напишется в истории, как продолжишь толь разумно как начал, о чем нимало не сумневаюсь. Геройский твой дух люблю как душу. Ради Бога продолжай, яко начал…».

Петр Бартенев, опубликовавший в своем «Русском архиве» письма и записки императрицы к Зубову, сделал особое примечание от себя, что «граф Валериан Александрович был лучшим из четырех братьев Зубовых, с 1789 года получивших большое значение при Русском дворе и в делах государственных: современники почти единогласно отзываются о нем с сочувствием и уважением. Проживи Екатерина долее, молодому герою предстояла деятельность всемирно-историческая: по свидетельству Державина, имевшего всю возможность знать дело, персидский поход рассчитан был на овладение Константинополем со стороны Малой Азии и на установление прямой торговли с Индией (в предотвращение английских захватов). Мелкодушие двух следующих царствований дозволило увлечь себя губительным вмешательством в западноевропейские дела. Из-за этих дел здравая и народная политика Екатерины не пролила ни капли русской крови, имея виды несравненно более обширные, но для России плодотворные»[84].

О «всемирно-исторической» миссии Зубова говорить трудно даже предположительно. Справедливости ради положим на чашу весов мнение человека, вполне осведомленного о перипетиях его персидского анабазиса, но не ослепленного блестящими достоинствами этого, по выражению Екатерины, «героя во всей силе слова». В том, что Валериан Зубов самый молодой генерал в Европе, императрица, вероятнее всего, не ошибалась. Но с суждением о том, что он «самый храбрый и наиболее привлекающий внимание», явно поторопилась: над Европой уже взошла яркая звезда Наполеона. Он был, действительно, двумя годами старше Зубова, но его альпийский поход (начатый, как и Зубовский, в апреле 1796 года) получил высочайшую оценку того, кто разбирался в военном искусстве, говоря очень мягко, никак не хуже Екатерины.

«О, как шагает этот юный Бонапарт! – восклицал восхищенный Суворов. – Он герой, он чудо-богатырь, он колдун! Он побеждает и природу и людей; он обошел Альпы, как будто их и не было вовсе; он спрятал в карман грозные их вершины, а войско свое затаил в правом рукаве своего мундира… Не заботясь о числе, он везде нападает на неприятеля и разбивает его начисто. Ему ведома неодолимая сила натиска – более не надобно… В действиях свободен он, как воздух, которым дышит; он движет полки свои, бьется и побеждает по воле своей!»[85].

Старший брат Валериана – Николай был зятем Суворова; помимо этого в нашей истории известен тем, что именно он, человек громадного роста и необыкновенной силы, нанес Павлу роковой удар золотой та-

бакеркой по голове. Так или иначе, в письмах великого полководца разбросаны различные замечания о братьях Зубовых. Цитируемые ниже письма адресованы графу Д.И. Хвостову, ближайшему другу Суворова, человеку, который говорил о себе, что «нет тайны, которой бы он мне не вверял».

«Театр на Востоке: герой Граф Валериан за Дербент, – пишет Суворов из Тульчина в мае 1796 года, – покорит и укрепит Каспийское море, прострит свои мышцы до Аракса, далее завоеваниев Петра великого, и ограничит Грузию. Тогда ему фельдмаршал мал».

Столь высокая оценка сменяется вскоре, уже в сентябре, горечью и досадой. Валериана Суворов иронически называет «графом Анадолийским» – имея в виду предполагавшийся поход на Константинополь по южному, турецкому, берегу черного моря (эта область носит название Анатолии). Подобная почетная приставка к фамилии, как, например, Потемкин-Таврический или Суворов-Рымникский, служила высшим признанием полководческой доблести.

Далее Суворов ревниво комментирует какое-то из донесений самого Зубова или сообщение о его изрядно преувеличенных успехах: «Граф Валериан освободил грузинское царство!..». Ложь, он там не был. «Лютый Магмут». Он с ним не встречался. «Покорение». Покоряют ослушных и противуборных. Дербент 150 тысяч сдавался Савельеву. Баку занят казаками, и так войски вошли в Шемаху. «Соблюдение войск». Последняя ложь. Здесь умирают в год 50 человек, а там в полгода тысячи, и, говорят, 3 тысячи побито. Запрещено о том рассуждать под смертною казнию…» («Лютый Магмут» – персидский шах Ага-Мохаммед-хан).

И в следующем письме: «Что мне о Персии писать? Новый завоеватель Шемахи будет после таковогo ж областью Гилянскою, Рящем и Гаванью обладать или хоть нечто еще и по малой мере Генерал-Аншеф. Сие стремление князя Платона должно быть для присвоения ему и себе армии и армиев. Гибель по сей игантической экспедиции пойдет гулять на облака». (Гилян – персидская провинция, охватывающая юго-западный берег Каспийского моря; Рящ (правильно Решт) – главный город Гиляна; Гавань – вероятно, искаженное персидское название; «игантический» – гигантский; «пойдет гулять на облака» – то есть останется безнаказанной).

В письме от 25 ноября (спустя лишь двадцать дней по смерти Екатерины) Суворов пишет уже об «уничтожении полном Персицкой Экспедиции», то есть о возвращении Каспийского корпуса в прежние границы. Этот странный поступок эксцентричного Павла превратил Зубовский бросок на юг в бессмысленную военную демонстрацию, пусть и «игантическую» по размаху, но не имевшую никаких политических последствий, что, впрочем, для нас теперь не так важно, как те замечательные последствия, которые она имела в отечественной литературе.

«В рассуждении достоинства он никогда не переменяет мыслей»

Блистательный певец Фелицы не обошел вниманием и нашего героя, которого всегда искренне считал «как лицом, так и нравами человеком прекрасным».

В своих записках Державин рассказал о появлении Валериана при дворе с известием о взятии Измаила. Находясь в это время в комнатах фаворита, «в первом восторге о сей победе» он дал слово радостному вестнику написать оду, что и было в скорости исполнено. Государыня пожаловала успешному придворному автору богато осыпанную бриллиантами табакерку. Сообразно течению времени и свершению исторических событий Державин посвятил «юному вождю» ряд стихотворений: «К красавцу» (1794), «На покорение Дербента» (1796), «На возвращение графа Зубова из Персии» (1797), «Волхов Кубре» (1804). Самый же ценный для нас источник – это уникальные «Объяснения на сочинения Державина относительно темных мест, в них находящихся, собственных имен, иносказаний и двусмысленных речений, которых подлинная мысль автору токмо известна; также изъяснение картин, при них находящихся, и анекдоты, во время их сотворения случившиеся». Эти «Объяснения» составлены самим Державиным, но изложены, как было тогда принято, от третьего лица.

Если в оде «К красавцу» поэт воспевал «души и тела красоту» и «сердце доброе» Валериана, не забыв отметить и «ужасный вред», нанесенный ему войною, то есть оторванную польским ядром ногу, другими словами – славил его личные качества, то в дальнейших творениях Державин возвел своего Героя уже в статус полководца, покрытого лавровым венцом:

На покорение Дербента

Герой, который мной воспет,
Что счастья наделен рукою,
И храбростью, и красотою
В любви и в брани для побед!
Уже ты днесь не по фортуне,
По подвигам твоим почтен.

Едва оставил ты граждан,
Привязанных к тебе любовью,
Уж меч твой обагрился кровью
Противных Россам Персиян;
Но гордый враг простер лишь выю,
Ты подарил ему живот!

Екатеринины лучи
Умножил ты победой новой;
Славнее тем венец лавровой,
Что взял Петровы ты ключи.
В столетнем старце Дарий зрится,
А юный Александр – в тебе!

О радость! Се валят уж к нам
Слоны, богатством нагружены,
Коврами Инда покровенны!
Народ по стогнам, по домам!
Сребро и золото лиется,
Как с неба благотворный дождь!

Но знай: как светлый метеор,
Так блеск триумфов пролетает;
Почти тогда ж и исчезает,
Коль скоро удивит он взор;
А добродетели святыя,
Как в небе звезды, век горят.

Но кто Перун небес несет
И вдохновен душой Беллоны,
Кому чертеж дают Платоны,
И кротости кто в след идет:
Тот может многими путями
Войти бессмертия во храм.

В пояснениях к этой оде Державин изложил план нашей наступательной кампании – в том виде, каким он был известен самому поэту: «...Графу Зубову препоручено было исполнение сего предприятия таким образом, чтоб он, заняв важные чрез Персию до Тибета торговые места, оставил там гарнизоны, а потом обратился с своей армией вправо к Анатолии и там, взяв Анапу, пресек все подвозы и сношения с Константинополем, а тогда же бы Суворов чрез горы и Адрианополь шел к помянутой столице Оттоманской порты. Императрица же сама лично на флоте имела намерение осадить сей город, и сей план должен был начаться в будущий 1797 г., к чему уже Суворов и приуготовлялся; но Провидение, имея свои планы, не допустило сему свершиться»[86].

И далее, в пояснениях к строке «Кому чертеж дают Платоны», имеется и указание на автора «сего предприятия», хотя и завуалированное, почтительно и прозрачно, именем древнегреческого философа, но вполне понятное современникам предначертателя этого грандиозного военного проекта – Платона Зубова.

Что же касается анекдотов, то к ним можно, пожалуй, отнести эпизод с «Петровыми ключами», то есть ключами от Дербента, поднесенными сначала императору Петру, а потом, три четверти века спустя, тем же самым жителем города, уже «столетним старцем» – Зубову. Не все находят этот случай достоверным. Но, как говорится, если это и неправда, то хорошо придумано. Державин, видимо, передает эту историю со слов самого Валериана. Во всяком случае, в его бумагах находилась копия зубовского письма с изложением всего происшедшего в тот победный миг, когда русские, уже не встречая сопротивления, ринулись сквозь поверженные городские ворота. «Но един, – доносит Зубов, – остановил наше стремление, и был то 120-летний старец, поднесший в начале столетия ключи Дербентской крепости Петру Великому Первому. Оруженосец Екатерины Второй те же ключи от того же старца принял 10 мая 1796 года»[87].

Исторический анекдот с ключами имел еще свое продолжение. Если верить военному историку В.А. Потто, то символический ритуал с их вручением русскому полководцу пришлось исполнить еще раз, уже в 1806 году, когда Дербентское ханство вновь было занято нашими войсками под командованием генерала Глазенапа. «Дербент сдался Глазенапу без боя, – повествует Потто в первом томе «Кавказской войны», – и двадцать второго июня встретил русские войска как своих избавителей. Все пространство между отрядом и городом покрылось народом, образовавшим из себя живую улицу. Серебряные ключи от города поднес Глазенапу тот самый, теперь уже столетний, старец, который подносил их Петру и графу Зубову. На следующий день все жители приведены были к присяге, и после торжественного молебствия, при громе пушек, русский флаг победно взвился над главной башней Дербентской цитадели Нарын-Кале»[88]. Правда, слагать оды Глазенапу никому уже не пришло в голову.

Верил или нет сам Державин в историю с ключами, но в поэтическом смысле постарался извлечь из нее максимум возможного, намного превзойдя и без того чрезвычайно лестную для Валериана параллель с Петром: старца с ключами он уподобил персидскому царю Дарию, а Зубова – покорителю Персии и величайшему полководцу всех времен и народов Александру Македонскому:

В столетнем старце Дарий зрится,
А юный Александр в тебе!

Александр при начале войн с Дарием был еще моложе «оруженосца Екатерины», но Дербента завоевать не мог (город был основан много позже его походов), так что вся державинская метафорическая система, связанная с его именем («В тебе я Александра чтил»; «Ступавший Александра в след») есть плод заблуждения или далеко зашедшей поэтической фантазии.

Гиперболическая несоразмерность такого сравнения могла показаться и плохо скрытой насмешкой (подобно «графу Анадолийскому»), но в данном случае была вполне искренней и подходила общему духу державинской баталистики, которую Екатерина сравнила однажды с громкой трубой.

Этот выпирающий перебор с Александром все же не остался не замеченным и еще имел свои последствия. В самом деле, написание оды «На покорение Дербента» было естественным поэтическим актом: она воспевала не просто очередную, а плановую, предрешенную «чертежом Платона» победу русского оружия, одержанную под знаменами того, кому сама государыня не уставала пророчить великую будущность. Появление же оды «На возвращение графа Зубова из Персии» не только не вытекало естественным образом из хода событий, но и, опасно противореча ему, сулило автору только неприятности и требовало, несомненно, каких-то особых побудительных причин. Сам Державин объясняет это так:

«К сочинению сей оды повод был следующий: По восшествии на престол императора Павла, когда у графа Зубова была отобрана команда, то, будучи при дворе, кн. С.Ф. Голицын упрекнул автора той одой, которая на взятие Дербента Зубову сочинена, сказав: что уже герой его не есть Александр и что он уже льстить теперь не найдет за выгодное себе; он ему ответствовал, что в рассуждении достоинства он никогда не переменяет мыслей и никому не льстит, а пишет истину, что его сердце чувствует.

– Это неправда, – ответствовал Голицын: – нынче ему не напишешь.

– Вы увидите.

Поехав домой, сочинил сию оду в то время когда Зубов был в совершенном гонении, которая хотя и не была напечатана, но в списке у многих была, несмотря на неблагорасположение Императора к Зубову»[89].

Отзывы об оде «На возвращение графа...» есть у Пушкина, Гоголя и Белинского. Видимо, именно по этой причине издатели по сей день охотно включают ее в сборники державинских стихотворений. Приведем оду полностью.

На возвращение графа Зубова из Персии

Цель нашей жизни – цель к покою:
Проходим для того сей путь,
Чтобы от мразу иль от зною
Под кровом нощи отдохнуть.
Здесь нам встречаются стремнины,
Там терны, та ручьи в тени;
Там мягкие луга, равнины,
Там пасмурны, там ясны дни;
Сей с холма в пропасть упадает,
А тот взойти спешит на холм.

Кого же разум почитает
Из всех, идущих им путем,
По самой истине счастливым?
Не тех ли, что, челом к звездам
Превознесяся горделивым,
Мечтают быть равны богам;
Что в пурпуре и на престоле
Превыше смертных восседят?
Иль тех, что в хижине, в юдоле,
Смиренно на соломе спят?

Ах, нет! Не те и не другие
Любимцы прямо суть небес,
Которых мучат страхи злые,
Прельщают сны приятных грез;
Но тот блажен, кто не боится
Фортуны потерять своей,
За ней на высоту не мчится,
Идет середнею стезей
И след во всяком состояньи
Цветами усыпает свой.

Кто при конце своих ристаний
Вдали зреть может за собой
Аллею подвигов прекрасных;
Дав совести своей отчет
В минутах светлых и ненастных,
С улыбкою часы те чтет,
Как сам благими насладился,
Как спас других от бед, от нужд,
Как быть всем добрым торопился,
Раскаянья и вздохов чужд.

О юный вождь! Сверша походы,
Прошел ты с воинством Кавказ,
Зрел ужасы, красы природы:
Как с ребр там страшных гор лиясь,
Ревут в мрак бездн сердиты реки;
Как с чел их с грохотом снега
Падут, лежавши целы веки;
Как серны, вниз склонив рога,
Зрят в мгле спокойно под собою
Рожденье молний и громов.

Ты зрел, как ясною порою
Там солнечны лучи, средь льдов,
Средь вод, играя, отражаясь,
Великолепный кажут вид;
Как, в разноцветных рассеваясь
Там брызгах, тонкий дождь горит;
Как глыба там сизо-янтарна,
Навесясь, смотрит в темный бор;
А там заря злато-багряна
Сквозь лес увеселяет взор.

Ты видел, Каспий, протягаясь,
Как в камышах, в песках лежит,
Лицеем веселым осклабляясь,
Пловцов ко плаванью манит;
И вдруг как, бурей рассердяся,
Встает в упор ее крылам,
То скачет в твердь, то в ад стремяся,
Трезубцем бьет по кораблям;
Столбом власы седые вьются,
И глас его гремит в горах.

Ты видел, как во тьме секутся
С громами громы в облаках,
Как бездны пламень извергают,
Как в тучах роет огнь бразды,
Как в воздухе пары сгорают,
Как светят свеч в лесах ряды.
Ты видел, как в степи средь зною
Огромных змей стога кишат,
Как блещут пестрой чешуею
И льют, шипя, друг в друга яд.

Ты домы зрел царей, вселенну –
Внизу, вверху, ты видел все;
Упадшу спицу, вознесенну,
Вертящее мира колесо.
Ты зрел – и как в вратах железных
(О! вспомни ты о сем часе!)
По духу войск, тобой веденных,
По младости твоей, красе,
По быстром персов покореньи
В тебе я Александра чтил!

О! вспомни, как в том восхищеньи,
Пророча, я тебя хвалил:
Смотри, – я рек, – триумф минуту,
А добродетель век живет.
Сбылось! Игру днесь счастья люту,
И как оно к тебе хребет
Свой с грозным смехом повернуло,
Ты видишь, – видишь, как мечты
Сиянье вкруг тебя заснуло,
Прошло, – остался только ты.

Остался ты! – и та прекрасна
Душа почтенна будет ввек,
С которой ты внимал несчастна
И был в вельможе человек,
Который с сердцем откровенным
Своих и чуждых принимал,
Старейших вкруг себя надменным
Воззрением не огорчал.
Ты был что есть, – и не страшися
Объятия друзей своих.

Приди ты к ним! Иль уклонися
Познать премудрость царств иных.
Учиться никогда не поздно,
Исправь поступки оных лет;
То сердце прямо благородно,
Что ищет над собой побед.
Смотри, как в ясный день, как в буре
Суворов тверд, велик всегда!
Ступай за ним! – небес в лазуре
Еще горит его звезда.

Кто был на тысяще сраженьях
Не победим, а победил,
Нет нужды в блесках, украшеньях
Тому, кто царство покорил!
Умей лишь сделаться известным
По добродетелям своим,
И не тужи по снам прелестным,
Мечтавшимся очам твоим:
Они прошли и возвратятся;
Пройти вновь могут и прийти.

Как страннику в пути встречаться
Со многим должно, и идти,
И на горах, и под горами,
Роскошничать и глад терпеть, –
Бывает так со всеми нами,
Премены рока долг наш зреть.
Но кто был мужествен душою,
Шел равнодушней сим путем,
Тот ближе был к тому покою,
К которому мы все идем.

Ода увидела свет в сентябрьской книжке «Друга просвещения» за 1804 год, где была помещена под заглавием «На возвращение чрез Кавказские горы графа В.А. Зубова, 1797 года». За текстом оды следовало еще четверостишие, прибавленное автором по поводу недавней кончины Валериана в Курляндии:

Пришел теперь к сему покою
И ты, прекрасный человек;
Когда б толь славною стезею
И мой пресекся век!

Но Державин писал не только оды. Зубовский цикл он завершил стихотворным посланием «Волхов Кубре». Поясним, что на Волхове находилось имение Державина Званка, а Кубра – приток Нерли, там в своем имении Слободка проживал граф Д.И. Хвостов, личный друг Державина и Суворова, к тому же неутомимый графоман, или, как говорили в старину, стихокропатель. Этим поэтическим посланием Державин откликнулся на смерть Зубова в 1804 году:

Уже и вождь, ногой железной
Ступавший Александра в след,
Прекрасный человек, любезный,
Луч бедных – блещет между звезд.

Хотя имени персонажа здесь нет, оно, по ряду очевидных примет, не вызывает сомнений, к тому же в «Объяснениях» сам автор сделал потом примечание к этим строкам, что в них имеется в виду «шедший по следам Александра Великого, царя македонского, завоевавшего Персию, граф Зубов, который имел поддельную железную ногу вместо настоящей, потерянной, как выше сказано, на сражении в Польше»[90].

Поэт до конца верил в высокие душевные свойства Валериана, резко отличая его в этом от заносчивого Платона, которого и упомянул только однажды, в связи с вышеизложенным «чертежом». «Сей граф Зубов, – читаем в «Объяснениях», – был человек снисходительный, говорил и выслушивал всякого с откровенным сердцем, не так как брат его, любимец Императрицы, несравненно старших и почтеннейших себе людей принимал весьма гордо, не удостоивая иногда и преклонением головы»[91].

Поверим на слово русскому поэту, считая, что в данном случае приговор – окончательный…

«Державин в превосходной оде графу Зубову первый изобразил дикие картины Кавказа»

Современному читателю слог державинской оды может показаться тяжеловесным. Мнения же людей, более близких к Державину по времени, разноречивы.

Несмотря на сентиментальные воспоминания о лицейском благословении Пушкин в доверительном письме к А.А. Дельвигу как-то заметил, что «у Державина должно сохранить будет од восемь да несколько отрывков, а прочее сжечь». Судя по всему, оду «На возвращение графа…» он относил именно к восьми благоприятным исключениям: две строфы из нее (начиная словами «О юный вождь! Сверша походы…») поэт поместил в примечаниях к «Кавказскому пленнику», признавая, что «Державин в превосходной оде графу Зубову первый изобразил… дикие картины Кавказа». В 1825 году в письме к А.А. Бестужеву в ряду лучших произведений Державина Пушкин назвал и оду к Зубову, упомянув, что она «недавно открыта»: ода появилась в печати только после смерти императора Павла, а до этого ходила в списках.

Также и пораженный Гоголь в своей знаменитой статье «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность» процитировал и прокомментировал отрывок из этого державинского шедевра: «Сравнительно с другими поэтами, у него все глядит исполином: его поэтические образы, не имея полной окончательности пластической, как бы теряются в каком-то духовном очертании и оттого приемлют еще более величия. Например: поэт изображает старца Каспия в то время, когда он, рассерженный бурею,

Встает в упор ее волнам:
То скачет в твердь, то, в ад стремяся,
Трезубцем бьет по кораблям;
Столбом власы седые вьются,
И глас его гремит в горах.

Тут, казалось, хотел создаться *зримо* образ старца Каспия, но потерялся в каком-то духовном, *незримом* очертании: ухо слышит один гул гремящего моря, и вместе с седыми власами старца подъемлется волос на голове самого читателя, пораженного суровым величием картины. Все у него крупно».

Белинский высоко ценил автора оды как человека и гражданина: «Во многих стихотворениях Державина личный характер его как человека является с весьма хорошей стороны. Несмотря на то, что его век был век милостивцев и что лесть и угодничество считались добродетелями, он льстил больше как ритор, чем как поэт. Когда Суворов, в отставке, перед походом в Италию, проживал в деревне без дела, Державин не боялся хвалить его печатно. Ода «На возвращение графа Зубова из Персии» принадлежит к таким же смелым его поступкам»[92].

Но далее, когда речь заходит уже о поэтических достоинствах оды, а не о нравственных достоинствах ее автора, тут интонация у Белинского совершенно меняется. Он искренне и страстно восхищался «Кавказским пленником» Пушкина, а когда отправился на Юг, то перечитывал поэму и в Пятигорске, находя, что «Кавказский пленник» его здесь, на Кавказе, получает новое значение». Он настаивал, что первооткрывателем Кавказа в русской поэзии был именно Пушкин, – настаивал вопреки словам самого Пушкина, благородно уступившему пальму первенства «старику Державину». «Грандиозный образ Кавказа с его воинственными жителями, – писал Белинский в знаменитой «Шестой статье», – в первый раз был воспроизведен русскою поэзиею, – и только в поэме Пушкина в первый раз русское общество познакомилось с Кавказом, давно уже знакомым России по оружию. Мы говорим – *в первый раз*: ибо каких-нибудь двух строф, довольно прозаических, посвященных Державиным изображению Кавказа, и отрывка из послания Жуковского к Воейкову, посвященного тоже довольно прозаическому описанию (в стихах) Кавказа, слишком недостаточно для того,

чтоб получить какое-нибудь, хотя сколько-нибудь приблизительное понятие об этой поэтической стороне. Мы верим, что Пушкин с добрым намерением выписал в примечаниях к своей поэме стихи Державина и Жуковского и с полною искренностию, от чистого сердца хвалит их; но тем не менее он оказал им через это слишком плохую услугу: ибо после его исполненных творческой жизни картин Кавказа никто не поверит, чтоб в тех выписках шло дело о том же предмете…»[93].

Но и этого критику показалось мало. В рецензии на издание «Сочинений» Державина в 1845 году Белинский еще раз прошелся по оде, безопасно и безнаказанно иронизируя над ее создателем: «Многие не знают, как и восхвалить Державина за оду «На возвращение графа Зубова из Персии», а между тем, что в ней – сперва резонерство в холодных стихах, потом не совсем верные и живые (даже поэтически) картины Кавказа. Что такое, например, эти стихи:

Ты видел, как в степи средь зною
Огромных змей *стога* кишат,
Как блещут пестрой чешуею
И льют, шипя, друг в друга яд.

В те времена поэту не было никакого дела до действительности: он опирался только на свою фантазию. Что ему за дело, что Кавказ – не Индия, и в нем нет огромных змей, что змеи нигде не кишат *стогами*, что в стога складывается только сено и что змеи никогда не забавляются переливанием яда друг в друга?»[94].

Однако не все оказалось так просто, и Белинский, сам видевший Кавказ не далее курортного Пятигорска, радовался рано. Рисуя фантастические картины Кавказа, где «бездны пламень извергают» и «в воздухе пары сгорают» (то есть воспламеняются нефтяные и газовые выбросы), и выстраивая калейдоскопический ряд других ужасных и непредставимых для русского читателя образов, Державин ничего не выдумывал, а передавал реальные впечатления участников похода и, вероятнее всего, самого Зубова. Что касается так зацепившей Белинского строки «Огромных змей стога кишат», то сам Державин объясняет ее следующим образом: «Недоходя до Испагана от Каспийского моря находится степь, на которой в летние месяцы такое великое число собирается больших змей, что никоим образом пройти невозможно, и для того путешественники проезжают только сие место осенью и зимой, когда змеи скрываются»[95].

Приведем и выдержку из статьи известного советского литературоведа Б.С. Виноградова, детально рассмотревшего вопрос о том, что же преобладает в державинской оде – поэтический вымысел или историческая действительность: «Встреча со скопищем змей тоже не фантазия. Еще Плутарх сообщал, что после сражения на левом берегу Алазани Помпей двинулся к Каспийскому морю, но вследствие множества ядовитых пресмыкающихся отказался от этого намерения. Советский историк К.В. Тревер, комментируя Плутарха, разъясняет, что большое количество змей имеется и в настоящее время в Мильской и Муганской степях. Белинского более всего удивила такая строка оды: «И льют, шипя друг в друга яд». Великий критик иронически заметил: «Змеи никогда не забавляются переливанием друг в друга яда». А Державин описал драку змей, побоище пресмыкающихся, наблюдающееся и в наше время»[96].

Более того, ученому удалось разыскать сведения о современном состоянии этого природного серпентария. Заметка об этом была помещена в газете «Молодежь Азербайджана» 14 июля 1967 года: «Интересное сообщение поступило из Евлаха. Неподалеку от шоссейной дороги Евлах – Халдан, в нескольких сотнях метров от Куры, произошла настоящая битва между змеями. По рассказам очевидцев, на поле боя было свыше трехсот змей. В смертной злобе с шипением змеи бросались друг на друга. До темна длилось это побоище, а на следующее утро на месте битвы были обнаружены десятки погибших змей. Тут возможна встреча двух пресмыкающихся групп. Не исключено, что это была случка змей»[97].

«А то, что у Державина огромные змеи, – заключает Виноградов, – видимо, на совести изумленных очевидцев, передававших свои впечатления поэту». Впрочем, даже не изумление очевидцев тому виной, а, скорее всего, действительные размеры и обилие в Муганской степи столь ужасных пресмыкающихся. У нас есть возможность не реконструировать ту давнюю ситуацию по современным данным, а просто оценить ее на момент происходивших событий. Вот свидетельство участника зубовского похода, оставившего в своих записках довольно подробную заметку на этот счет: «Муганская степь есть единственная и обширнейшая из всех степей Персии, но могла быть полезна для армии только в то время, в которое на нее пришли: она по всему ее пространству, как и лагерное место, покрыта лучшею и полезною травою потому, что селитряное свойство земляной подошвы сообщает ей некоторую соленость, которая для скота полезна и выпадающий снег тотчас растворяла; но с весны до наступления осеннего времени пространство степи сей есть жилище, или, так сказать, царство бесчисленного множества змей и других многоразличных вредных и ядовитых пресмыкающихся гадов. Воздух делается тогда тяжелый, горький и совсем неудобный к дыханию, так что и в некотором от нее расстоянии нельзя сносить оного; шум же и свист шипящих змей бывает слышим проезжающими издалека; словом, что в продолжение весны и лета ни человек, ни же какой-либо

скот или зверь к сему месту приблизиться не может. Войско для зимованья построило землянки. При сем случае и здесь выкапывали множество змей; некоторые из сих ядовитых животных были в окружности около 12 вертков*»[98].

Не все, однако же, разделяли и представления Белинского о высокой гражданской доблести Державина. Интересную заметку по этому поводу находим в записках Н.И. Греча, где речь идет о смерти императора Павла и воцарении Александра: «Не только на словах, но и на письме, в печати, особенно в стихотворениях, выражали радостные чувства освобождения. Карамзин, в оде своей на восшествие Александра I, сказал:

Сердца дышать тобой готовы;
Надеждой дух наш оживлен.
Так милыя весны явленье
С собой приносит нам забвенье
Всех мрачных ужасов зимы.

Державин выражается еще яснее: у него является Екатерина и говорит русским, что они терпели по заслугам, не послушавшись совета ея – взять в цари внука ея, а не сына. Стихотворения Державина представляют любопытную картину поэтического флюгерства. Он хвалил и Екатерину, и Павла, и Александра! Последняя хвала, при вступлении на престол А.П., была достойна замечания тем, что Державин при этой перемене пал с вершины честей: он лишился места государственного казначея. Государь пожаловал ему за эту оду перстень в пять тысяч рублей. Державин подписал в то время под портретом Александра:

Се вид величия и ангельской души:
Ах, если б вкруг него все были хороши.

Князь Платон Зубов отвечал на это:

Конечно нам Державина не надо:
Паршивая овца все перепортит стадо.

А через полтора года он был назначен министром юстиции»[99].

И, наконец, еще один автор – на этот раз сам Валериан Зубов. Он блеснул пером в 1801 году, составив «Общее обозрение торговли с Азиею»[100]. Это краткие заметки о наших торговых делах на Каспии с древних времен до Петра и Екатерины. Что касается персидского похода, то его целью, как пишет Зубов, было не только наказание «хищника Ага-Мегмед-хана» и защита Грузии, но и «главнейшее основать твердым образом с Персиею нашу торговлю».

Для военного обеспечения торговых интересов России предполагалось «ниже впадения реки Аракса построить крепость» и основать город под названием Екатериносерд, который «был бы в совершенной возможности ограждать нашу торговлю от буйных и хищных горских народов...».

«Сколь ни велик и ни обширен план сей, – замечает Зубов, – Великая Екатерина предполагала исполнить его мимоходом; и я, напоенный духом ея, считал сие тем более удобовозможным, что был уже близок к совершению онаго...».

Можно понять его огорченность, но все же, уйдя в своем стремлении на юг в небывалую прежде даль, Зубов оказался не столь дальновиден в своих политических оценках. Проблема наших рубежей в Закавказье решалась отнюдь не «мимоходом», и здесь еще не раз сталкивались под орудийный гром интересы России и ее беспокойных южных соседей.

«Граф Зубов поддерживал добрые отношения с народами Кавказа...»

К лету того же 1796 года Зубов вернулся морем в Астрахань. Позади осталось много пережитого в этой удивительной кампании, впереди ждала пугающая неизвестность. Облегчить душу смещенный главком смог в разговоре с человеком, которому его рассказ оказался интереснее, чем кому-то другому во всем белом свете. Это был польский путешественник и археолог Ян Потоцкий.

Он успел объехать Европу, Северную Африку, Турцию, а в дальнейшем совершил и транссибирский вояж к границам Монголии. Круг его научных интересов был необыкновенно широк: история, география, этнография, лингвистика и – литература, ибо, отдыхая от ученых занятий, граф сочинял еще пьесы и писал

* 12 вертков – так в тексте; следует читать, очевидно, «12 вершков», что равняется без малого 50 сантиметрам. Диаметр, то есть толщина змеи составляет в таком случае 16 сантиметров. Встречи с таким гадом не пожелаешь никому.

большой роман из испанской истории. Позднее, в царствование Александра I, Потоцкий принял российское подданство, служил у нас в министерстве иностранных дел и прозывался тогда по-русски Иваном Осиповичем. Свои многочисленные монографии, статьи и книги он писал на французском языке, они выходили в свет в Варшаве, Париже, Берлине и Петербурге. Его знаменитый роман «Рукопись, найденная в Сарагосе» – занимательный, пугающий, полный иронии и головоломных интриг с неожиданной развязкой – высоко оценил Адам Мицкевич. Им же зачитывался и Пушкин и даже, находясь под сильным впечатлением, начал писать большое стихотворение на тот же сюжет. Наш поэт упомянул Потоцкого в своем «Путешествии в Арзрум», признав, что его «ученые изыскания столь же занимательны, как и испанские романы».

О встрече с Зубовым Потоцкий поведал в своей книге «Путешествие в степях Астрахани и Кавказа», изданной уже после смерти автора. Книга вышла в Париже в 1829 году и помимо текста имела две гравированные карты и семь рисунков. Пушкин хранил ее в своей личной библиотеке. Польский граф оказался, таким образом, интервьюером молодого полководца и записал свой рассказ буквально из первых уст:

«5 июня я с удовольствие провел несколько часов с графом Валерианом Зубовым, который возвращался с персидской войны. Я слушал его с участием, но с сердцем сокрушенным от потери стольких неизведанных впечатлений, которые сама судьба, казалось, предназначала для меня.

Я следил, сколь возможно, за движением русской армии по карте восточной части Кавказа, которая была тщательно составлена в ходе кампании. Русские, перейдя Койсу, вступили во владения шамхала Тарковского; этот князь уже отдался под покровительство России, и генерал Зубов не встречал трудностей на своем пути. Он овладел Дербентом, городом, почти полностью окруженным владениями Табасаранского кадия, что представляет собой невысокий духовный сан. Наконец, Зубов обосновал свой штаб в Муганской степи.

В течение всей кампании русские сражались только с лезгинами, живущими в совершенно неприступных горах. За ними обитает Авар-хан. Имя Авар, которое носит этот хан, происходит от одного древнего гуннского народа, вот почему в сравнительном словаре всех языков, изданном в Санкт-Петербурге, наречие этих аварцев помещено сразу за венгерским языком, хотя я не нашел ничего общего между ними.

Граф Зубов поддерживал добрые отношения как с народами Кавказа, так и с более отдаленными, такими как туркмены, бухарцы и афганцы. Бухарцы, то есть согдияне в древности, смешались с туркменами и узбеками. Их хан, который недавно отправил в Санкт-Петербург своего министра и слона, хочет включить последних в свои владения. У него есть небольшое войско европейского образца, состоящее в основном из русских, которых ему весьма дорого продали киргизы.

Афганцы – это воинственные народы, живущие между Персией и Индостаном и не раз покорявшие эти страны. Ученое общество Калькутты выпустило об их происхождении ряд записок, которые отнюдь нельзя признать удовлетворительными. По словам графа Зубова, народы Кавказа утверждали, что берут свое начало от этих афганцев»[101].

Как видим, Потоцкого привлекали не столько успехи русского оружия, сколько возможность получить новые сведения об интересующих его предметах. Слушая рассказы Валериана, этого нового Синдбада, граф невольно сожалел, что судьба не позволила ему самому удостовериться и поведать миру обо всех этих, словами поэта, неведомых дорожках и невиданных зверях. Что же касается Пушкина, то он настолько увлекся испанским романом Потоцкого, что попытался даже разыскать рукопись «Сарогосы», – по всей видимости, для перевода ее на русский язык и дальнейшей публикации. С этой целью он обращался к графине Е.К. Воронцовой. Дело в том, что по рождению Елизавета Ксаверьевна – полька, графиня Браницкая, две старшие ее сестры, Екатерина и Софья, были выданы замуж за поляков из рода Потоцких. Свидетельств этой просьбы, кажется, не сохранилось, зато известно ответное, написанное по-французски, письмо графини к поэту – от 26 декабря 1833 года из Одессы:

«Я пользуюсь случаем, чтобы сообщить вам, что мои поиски рукописи* графа Яна Потоцкого оказались тщетными. Поверьте, сударь, что я получила сведения из первых рук. Ни у кого из родни этой рукописи нет, вероятно, так случилось потому, что граф Я.П. окончил жизнь в одиночестве, в какой-то деревне, и его рукописи были потеряны просто по небрежности.

*о трех повешенных»[102].

Напомним, что родился и умер граф Потоцкий на Украине, близ Винницы, причем умер, действительно, «в какой-то деревне» – в Уладовке, которую и на карте не отыщешь. В 1815 году, в возрасте 54 лет, по неведомой причине он покончил жизнь самоубийством, пустив себе в сердце серебряную пулю.

«Описание многих любопытных предметов...»

Подробное описание персидского похода можно найти (несколько неожиданно) в автобиографических записках, известных под сокращенным названием «Жизнь Артемия Араратского». Полное же название книги занимает несколько строк и звучит следующим образом: «Жизнь Артемия Араратского, уроженца селения Вагаршапата близ горы Арарата, и приключения случившиеся с ним от младенчества до совершенных

лет; удаление его от своего Отечества в Грузию; оттуда в Россию, потом в Персию и наконец возвращение обратно в Россию чрез Каспийское море, с описанием многих любопытных предметов, находящихся в его стороне и прочих местах Персии, с приложением шести гравированных эстампов, изображающих виды городов Персидских. Писанныя и переведенныя им самим с Армянского на Российский».

Изданы записки в двух частях в Петербурге в 1813 году. Имеется в книге и посвящение, адресованное одному из главных героев нашего рассказа: «Его светлости князю Платону Александровичу Зубову, генералу от инфантерии и разных орденов кавалеру нижайшее приношение армянина Артемия Богданова».

Артемий Богданов, то есть Артемий Богданович, – это русская калька с армянского Арутюна Аствацатуровича. С фамилией (или с фамилиями) автора дело обстоит несколько сложнее: в истории он остался под именем Араратского, что по современным меркам следует считать литературным псевдонимом. Иногда его называют также Вагаршапатским, по месту рождения. Селение это, основанное в глубокой древности армянским царем Вагаршом, в 1945 году получило новое название – Эчмиадзин. В ученых трудах, посвященных Араратскому, можно встретить и его, так сказать, настоящую фамилию – Хачикянц. Краткая Литературная энциклопедия предлагает, видимо, в интересах национально-исторической справедливости, еще один вариант – Араратян. Родился Артемий в 1774 году в семье мастера-каменотеса, но уже четырех месяцев от роду остался без отца. Молодые годы будущий писатель провел в бедности и скитаниях по Закавказью. Попав в услужение к офицеру из корпуса Зубова, проделал с войсками всю кампанию, от Кизляра до Астрахани, откуда сумел добраться и до нашей северной столицы. Сведения о дальнейшей судьбе Араратского отрывочны и скудны. Известно, что имел он невысокий чин на русской службе, некоторое время жил в Париже, а в Москве состоял действительным членом «Общества любителей древности при армянском учебном заведении гг. Лазаревых». Годом его смерти предположительно называют 1831.

В ноябре 1827 года в Эчмиадзине с Араратским встретился Николай Николаевич Муравьев-Карский, будущий наместник Кавказа, а к тому же и автор необыкновенно пространных записок, которые вел всю свою жизнь. Не преминул он занести на страницы своих мемуаров и этот эпизод, набросав портрет Артемия и его психологический абрис. «В Эчмиадзине, – пишет Муравьев, – познакомился я с Араратским. Человек сей по странности своей заслуживает, чтобы о нем в нескольких строках здесь упомянуть. Араратский – бедный армянин, родившийся в предместье монастыря в бедном звании. В молодости своей возымел он страсть к путешествиям и пустился по свету без всяких средств; он таскался очень долго по Европе и Азии, кажется, был и на северных берегах Африки, жил вспомоществованиями, несколько себя образовал, оделся по-европейски и принял наши обычаи, научился несколько языкам и написал небольшую книгу о своих путешествиях; странностью своею приобрел он много знакомых и людей, принимавших в нем участие. Он не имеет никакой собственности, так же беден, как и прежде был, любит много говорить, не может нигде ужиться и под старость лет своих, возвратившись на родину, поселился в монашеской келье, где занимается, иногда выбегает, дабы познакомиться с проезжими и рассказать им прошедшее и предположения свои на будущие путешествия свои, в кои он собирается и для коих сборы его будут, вероятно, не велики, ибо он никогда не заботился ни о платье своем, ни о пище, ни об опасностях в дороге. Название Араратского дал он себе в воспоминание горы, соседственной его родине. Кочевая жизнь его соделала его совершенно странным явлением: но он не имеет ничего приятного в обществе и на первых порах надоест своею болтливостью. Ему было тогда уже около 50-ти лет по крайней мере и, кажется, он имел слабость к напиткам»[103].

Книга Араратского имела заметный успех и получила европейскую известность: ее перевели на английский, немецкий и французский языки, а потом и на грузинский, а еще потом – уже в конце XIX века – снова на армянский, так как изначальный авторский текст остался неизвестным. Впрочем, не все здесь так однозначно. Некоторые полагают, что Артемий никогда свою книгу по-армянски и не писал, следовательно, и с армянского не переводил, а сразу написал ее на русском языке. Другие же упрекают автора в разного рода неточностях и небылицах, а знаменитый академик-лингвист и востоковед Николай Яковлевич Марр остался при мнении, что «Артемий Араратский обморочил читающую публику, выдав за свои, будто изо дня в день писавшиеся мемуары, составленный им впервые на русском языке сентиментальный роман, материалы для которого он черпал главным образом из своей фантазии»[104].

Современная наука, хотя и признает, что «книга Араратского полна выдумок и порою эпизодов, граничащих с фантазией»[105], однако относит ее к ценнейшим историко-этнографическим источникам. Что касается зубовской экспедиции, то автор сообщает важные подробности таких ее эпизодов, как, например, бегство молодого Шейх-Али-хана из русского лагеря. По ходу текста рассеяны многочисленные замечания о милосердии и доброте души Валериана. Автор описывает и прощание Зубова с войсками: «Между тем главнокомандующий получил повеление возвратить армию в пределы России и вследствие сего стали приготовляться к походу. При армии остались только полковые орудия, а главная артиллерия была уже погружена на суда и отправлена морем. Главнокомандующий при сем случае в виду бесчисленного множества зрителей сам спрашивал почти у каждого солдата, не имеет ли он на него какого неудовольствия. Но в ответ все солдаты в один голос кричали ему, что они почитают его своим отцом, что вовек не забудут любви его к ним и будут благословлять имя его, и проч. и проч. Начальник сей и в самом деле расставался с войсками,

как нежнейший отец с своими детьми, и сия сцена тронула всех до глубины души. Не было почти ни одного, который бы не плакал. Со всех сторон солдаты, рыдая, кричали: «Прощай, отец наш», – и осыпали графа всеми благословениями от чистого сердца в продолжение нескольких минут беспрерывно; потом в честь его выстрелили по нескольку патронов. Великодушный, чувствительный граф, по совершенной доброте души и несравненной нежности сердца своего единственный, был столь растроган любовию и привязанностью к нему войска, что не мог также удержаться от слез, которые, может быть, против воли его падали обильно на благодарную грудь его»[106].

Был ли на самом деле Артемий свидетелем этой слезоточивой сцены или только отдал дань притворной придворной риторике, судить теперь трудно. Упоминания о его книге есть у Грибоедова и Пушкина, причем автор «Кавказского пленника», имея интерес к описанию путешествий, держал ее в собственной библиотеке.

Последний бросок на юг

Эксцентричный Павел, так необдуманно и так пагубно для своих же войск положивший конец «последней политической мечте» своей матери, некоторое время спустя затеял, тем не менее, своеобразное продолжение этой истории, столь же скоропалительное в исполнении, как и возвращение Каспийского корпуса из Закавказья. Неожиданное сближение с Бонапартом придало замыслам Павла поистине наполеоновский характер: он не только поддержал планы о вытеснении англичан из Индии, но сделал первые шаги к осуществлению этой сумасбродной идеи. Вот как рассказывает об этом историк Е.В. Тарле:

«Казачий атаман Матвей Иванович Платов, по неведомой причине засаженный Павлом в Петропавловскую крепость и находившийся там уже полгода, внезапно был извлечен из своего каземата и доставлен прямо в царский кабинет. Тут ему без всяких предисловий был задан изумительный вопрос: знает ли он дорогу в Индию? Ничего абсолютно не понимая, но, сообразив, что в случае отрицательного ответа его, вероятно, немедленно отвезут обратно в крепость, Платов поспешил ответить, что знает. Немедленно он был назначен начальником одного из четырех эшелонов войска донского, которому почти в полном составе приказано было идти в Индию. Всего же выступили в поход все четыре эшелона – 22500 человек. Выступили они с Дона 27 февраля 1801 г., но шли недолго...»[107].

Тут самое время пояснить, что Платов в качестве походного атамана участвовал в зубовской экспедиции. Три казачьих полка двигались в авангарде отряда, и платовские казаки оказали корпусу неоценимые услуги: они не только первыми форсировали полноводный могучий Самур, но и спасли многих пехотинцев, унесенных бурным течением реки. Казаки заняли Баку, их передовые разъезды преодолели Куру и готовы были идти на Тегеран...

Николай Смирной, правитель канцелярии и биограф атамана, в свое время сожалел, что не мог доискаться подробностей этого славного предприятия, и возлагал надежды на будущих историков. «Граф Зубов, – писал он, – зная уже отличные достоинства Платова, пожалованного пред тем генерал-майором, желал непременно, чтобы он был начальником всех иррегулярных войск, в состав вверенной ему армии входивших, и тем доказал, что ему, хотя еще неопытному полководцу, однако же известна была важность хорошего выбора людей и самое искусство быть в сем выборе безошибочным. Монархиня, склоняясь на убеждение младого героя, повелела генерал-майору Платову быть в армии графа Зубова походным войсковым атаманом как донских, так и прочих там действовавших казачьих полков. Что избрание сие было им в полной мере оправдано новыми воинскими подвигами, мужество и храбрость его подтвердившими, то это доказывается тем, что за сию персидскую кампанию, два года продолжавшуюся, Платов от всемилостивейшей государыни своей удостоился получить в награду орден св. равноапостольного князя Владимира 2-й степени и саблю, украшенную алмазами, с надписью *за храбрость*. Граф Зубов почитал его своим другом и в нем имел всегда того твердого и ревностного исполнителя высоких предначертаний своих, которые принесли пользу отечеству... Современники и потомство справедливое право имеют ожидать подробного исторического описания незабвенных подвигов покойного графа Валерияна Александровича Зубова, коими ознаменовал он веденную им войну с персами. Тогда, вероятно, не останется в забвении Платов и вообще все те, которые участвовали в сем достославном походе. С сокрушением сердца признаться должен, что я не мог достать достоверных сведений о делах сей войны, в коих Платов непосредственно участвовал, и потому не решился описывать их по одним изустным повествованиям»[108].

При императоре Павле Платову довелось пережить не лучшие времена, в том числе ссылку в Костроме и заключение в крепость. Свой срок он отбывал по ничтожному и совершенно ложному доносу о намерении бунтовать Дон, и, вероятнее всего, его политическое забвение могло тянуться бесконечно, если бы Павлу не загорелось послать наши войска в Индию. На этот раз Смирной не упустил случая передать все подробности достопамятной аудиенции, пользуясь, по-видимому, «изустным повествованием» своего патрона и героя:

«Платов долженствовал предстать пред монарха своего, недавно гневного и вдруг гнев на милость пременившего: минута важная, положение затруднительное; но Платов и тут не потерял присутствия

духа. Несмотря на слабость изнуренных сил своих, он явился во дворец с тою же самою бодростию духа, с тою же непринужденностию, какая свойственна ему была во всех чрезвычайных случаях... Прием неописанной милости, благоприветливости и снисхождения исполненный, самым приятнейшим образом изумил и поразил Платова. Казалось, государь желал истощить все средства, чтобы заставить Платова забыть прошедшее. Он явился ему в образе ангела утешителя. Глубоко пронзенный нежнейшими чувствами верноподданической благодарности, Платов в восторге радостном, с слезящимися глазами, повергся к стопам великодушного монарха и облобызал его десницу. Государь в сердечном умилении поспешил приподнять его – и тут же, в ознаменование особенной милости и высочайшего благоволения своего, украсил его командорственным крестом ордена св. Иоанна Иерусалимского. По тогдашней слабости сил Платова государь простер снисхождение свое до того, что дозволил ему пред собою сесть, и в таком положении начал весьма милостиво расспрашивать его о многих предметах, до войска Донского относящихся, как то: о порядке управления оного, об образе службы и проч. Скорые решительные и точные ответы Платова удовлетворили ожиданиям монарха и более еще удостоверили в тех способностях его, которые государю были уже известны. Следствием сего было то, что его величество изволил открыть Платову тайные преднамерения свои о предназначенном тогда весьма важном походе в Астрахань и далее, в котором войско Донское долженствовало принять главнейшее участие... Император повелел Платову немедленно отправиться на Дон...»[109].

Заглянем еще в «Записки декабриста» Николая Ивановича Лорера, слышавшего рассказ об индийской экспедиции из уст самого атамана. Переведенный в 1837 году из сибирской ссылки рядовым в войска Отдельного кавказского корпуса, он по дороге на юг, в Новочеркасске, посетил могилу прославленного героя, с которым был знаком в прежние времена:

«Заговорив о Платове, я привел себе на память рассказ его, слышанный мною еще в Варшаве в 1815 году, по возвращении наших войск из-за границы, от него самого. Он так любопытен, что помещаю его. В одном доме, после сытного обеда, Матвей Иванович, по обыкновению немного подвыпивший, сел на диван, со многими сотоварищами-генералами, а мы, молодежь, окружали эту любопытную группу. Кто-то спросил Платова, чем он был при императоре Павле Петровиче? Матвей Иванович, почесав у себя в голове, с расстановкою, своим малороссийским наречием сказал:

«Я, господа, при императоре Павле Петровиче по доносу одного из сослуживцев своих сидел в Петропавловской крепости вместе с Алексеем Петровичем Ермоловым. Я был тогда в чине генерал-майора и заправлял до сего донцами. Крепко грустил я в крепости, не зная, чем кончится моя участь. «Не грусти казак – атаманом будешь», – сказал мне А.П. Ермолов. В одну ночь меня потребовали во дворец и ввели в кабинет государя, пред которым я упал на колени. Государь велел мне встать и сказал: «Генерал Платов, вот тебе табакерка с моим портретом». Не понимая причины такой милости, я однако ж облобызал его царскую руку. Государь продолжал: «Поезжай на Дон, собери полки и выступай в поход. Пред выступлением получишь маршрут, карту и узнаешь, куда идти, и тогда же пришлешь мне рапорт с надежным офицером об исполнении моего повеления. Ступай...». С Павлом шутить нельзя было, не такой был человек, но я чувствовал, что не к добру взвалил он на меня это поручение... Я знал, что Павел верил доносу на меня, и был убежден, что дело идет о том, чтоб меня погубить. Так или иначе, а действовать было надобно. Поехал я на Дон, живо собрал 20 тысяч казачков, отслужил молебен и готовился потянуться в неизвестный путь, как получил, по обещанию государя, карту, маршрут и приказ: открыть путь в Индию... Легкое дело!.. Я хранил все это в тайне, по приказу царя. Вот прошли мы Саратовскую губернию, Астраханскую и втянулись в необозримые киргизские степи. Пока были мы в своих границах, донцы мои были веселы, и песни их раздавались беспрестанно. Полковники и офицеры старались узнать, куда я их веду, но я крепко хранил тайну. Жары нас одолевали, провиант истощался, воды часто не было, и только отвратительные гадюки (змеи) ползали вокруг нас. Уже шесть недель, что мы в походе, а нет надежды к нашему возвращению, и, кажется, придется всем нам сложить свои головы. Сначала, правда, думал я, что государь хочет нас наказать небольшой прогулкой, а там помилует и возвратит. Но нет... И часто оглядывался я на родную сторону, не пошлет ли она нам вестника возвращения... В одно утро старшины и сотники объявили мне, что полки два дня уже без воды, в войске ропот, что казачки отказываются идти далее. Полководцы просили меня сказать, куда я их веду... плохо! «Погодите до завтра, детушки, – сказал я, – утром вынесу свой походный образ, отслужим молебен, и тогда скажу войску, куда мы идем». Грустно разошлись мои товарищи, печально полез я в свой шатер и, на бурке лежа, так рассуждал; или свои меня убьют, или Павел повесит, за неисполнение приказания. Тут смерть и там смерть. Ежели завтра не будет нам приказа вернуться, то передамся я со всем войском туркам и буду служить новому царю... Так пролежал я целую ночь и не смыкал глаз. Стало светать. Вдруг полы шатра моего зашевелились, и лезет ко мне на четвереньках человек не человек, черт не черт, зверь не зверь, и мычит каким-то хриплым голосом: «Воды... воды...» Я вскочил на ноги и подал несчастному, лежавшему на земле, несколько глотков, и тогда только он проговорил: «Павел скончался... Императором – Александр, и возвратитесь на Дон!..» Я так напугался, что в первые минуты не знал, радоваться ли мне или печалиться, а все-таки думал, не шпион ли это какой-нибудь, и потому только по прочтении приказа действительно

возрадовался. При воцарении Александра первый указ, им подписанный, был о нашем возвращении на Дон. Послано было 6 гонцов с приказанием непременно настичь нас и вернуть, и только один, едва живой, исполнил поручение. Остальные не довезли. Утром мы весело присягнули новому царю и поплелись в наши станицы, потеряв, однако много людей и лошадей».

Так кончил свой рассказ Матвей Иванович»[110].

«Когда на Тереке седом впервые грянул битвы гром...»

В примечаниях к «Кавказскому пленнику» Пушкин объяснил значения слов, не знакомых тогда русскому читателю (аул, уздень, шашка, сакля, байрам, чихирь). Перефразируя слова Белинского о «Евгении Онегине», можно сказать, что пушкинская поэма для своего времени явилась маленькой энциклопедией кавказской жизни. Сегодня подобная лексика едва ли требует комментария. Тем не менее, некоторые места в эпилоге и примечаниях к «Кавказскому пленнику», за давностью упомянутых там имен и событий, нуждаются в пояснениях.

«Смерть наших героев». Взяв Дербент, Зубов доносил императрице, что гарнизон города обезоружен, а сам Шейх-Али-хан вышел к победителю с саблей на шее «в знак, по их обычаю, признания преступления и повиновения без изъятия»[111]. Однако вскоре юный хан, совершив побег из русского лагеря, объединился с другими отрядами горцев. Их силы, численностью до пятнадцати тысяч, предприняли движение к Кубе, занятой к тому времени генералом Булгаковым.

Навстречу горцам был послан подполковник Бакунин (о смерти которого Пушкин упоминает в примечаниях к «Пленнику») с тремя ротами кавказских егерей и казачьей сотней. Разведка окончилась плачевно: ночь застала русских в глухом ущелье; неприятель, как казалось, рассеялся без следа, но наступившее утро открыло совсем другую картину. Бакунинский отряд оказался окруженным со всех сторон горцами, готовыми сорваться с окрестных склонов живой лавиной на головы неверных. В рукопашном бою погиб и сам Бакунин и большая часть его людей, и лишь горстка героев была спасена подоспевшим на выручку Углицким пехотным полком.

«На лоне мстительных грузинок». В начальных строках поэмы «Мцыри» Лермонтов, описывая древний собор Светицховели, где нашли вечное упокоение последние грузинские цари, упоминает о надписи на могильной плите –

О славе прошлой – и о том,
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь, в такой-то год,
Вручал России свой народ.

В 1783 году Ираклий II, заключив Георгиевский трактат, отдал свое царство под покровительство единоверной России. Короткое правление его сына Георгия XII ознаменовано было важным событием, призванным обеспечить защиту новых подданных империи от опасных соседей: 26 ноября 1799 года в Тифлис вступили русские войска. «Брега Арагвы и Куры узрели русские шатры», – писал позднее об этом Пушкин.

Проделав труднейший переход через Кавказские горы, сюда привел свой 17-й егерский полк человек, которому в эпилоге «Кавказского пленника» тоже посвящено несколько слов, хотя имя его и не названо. Это генерал-майор Иван Петрович Лазарев, прославившийся вскоре полным разгромом аварского Омар-хана на реке Иоре. Некоторые историки полагают, что именно с этого сражения и началась шестидесятилетняя Кавказская война.

После смерти Георгия XII грузинский престол был упразднен, династия Багратидов перестала царствовать, и Грузия вошла в состав Российской империи. Чтобы пресечь бесконечные раздоры оставшихся без трона наследников, главноначальствующий в Грузии генерал Цицианов решил выслать в Россию все царское семейство. В 1803 году он приказал арестовать грузинскую царицу Марию, вдову Георгия XII. Прибыв в покои царицы, Лазарев объявил ей об аресте и получил в ответ смертельный удар кинжалом, что и дало потом повод Пушкину упомянуть

Измены, гибель россиян
На лоне мстительных грузинок.

«Явился пылкий Цицианов». Пылкий Цицианов – это князь Павел Дмитриевич Цицианов, представитель знатнейшей грузинской фамилии Цицишвили; последняя грузинская царица Мария была его двоюродной сестрой. Его прадед еще в 1725 году сопровождал царя Вахтанга в Россию и, с кончиной последнего в Астрахани, решил принять русское подданство.

Павел Цицианов родился в Москве в 1754 году и по обычаю того времени с первых дней жизни был записан в Преображенский полк. Его воинскую доблесть отмечали Румянцев и Суворов. «Сражаться решительно, как храбрый князь Цицианов», – читаем в одном из суворовских приказов. В персидском походе Зубова он командовал отдельным отрядом, а в 1802 году, уже в чине генерал-лейтенанта, Цицианов был назначен астраханским военным губернатором и главнокомандующим в Грузии.

«В короткое время своего управления, – сообщают кавказские хроники, – Цицианов успел не только успокоить Грузию, но и совершенно изменить карту всего края»[112]. Он взял Ганджу и назвал ее Елисаветполем, при нем в российское подданство вошли Имеретия, Мегрелия, Карабахское, Шекинское и Ширванское ханства, на берегу Черного моря было заложено укрепление Редут-Кале. Горцы называли его не «пылким», как Пушкин, а «грозным князем». И было за что, если он обращался к ним с воззваниями подобного рода: «Истреблю вас всех с лица земли, пойду с пламенем и сожгу все, чего не займу войсками; землю вашей области покрою кровью вашей и она покраснеет…»[113]

В 1806 году, принимая сдачу Баку, Цицианов в сопровождении небольшого конвоя приблизился к крепости, чтобы принять от Гесейн-Кули-хана городские ключи. Неожиданно из ханской свиты раздался выстрел, и Цицианов был убит наповал. Только шесть лет спустя его останки перевезли в Тифлис и погребли в Сионском соборе. О Цицианове Пушкин вспомнил вновь во время поездки в Грузию, когда «много любопытного» о нем услышал от издателя «Тифлисских ведомостей» П.С. Санковского.

«Тебя я воспою, герой, о Котляревский, бич Кавказа!» В эпилоге «Кавказского пленника» А.С. Пушкин, перечисляя имена русских полководцев, особое место (десять строк!) уделил тому, чья воинская слава не померкла и по сей день. Сын бедного деревенского священника Петр Степанович Котляревский попал на военную службу волею случая. Однажды в метель в их доме остановился проезжий офицер, направлявшийся в войска Кубанского корпуса. Это был И.П. Лазарев – в будущем генерал-майор и командир 17-го егерского полка. Пережидая непогоду, он обратил внимание на способного мальчика и сумел убедить отца отпустить с ним сына. Редкая ли проницательность Лазарева тому причиной, или сама судьба направляла его в ту минуту, но выбор оказался счастливым и верным: ратный почерк Котляревского военные историки обычно сравнивают с суворовским.

В четырнадцатилетнем возрасте он участвовал в зубовской эпопее и принял боевое крещение у стен Дербента. Шесть лет тянул солдатскую лямку, а с получением первого офицерского чина был по ходатайству Лазарева переведен к нему адъютантом.

Проделав в составе 17-го егерского полка труднейший переход, за грани Кавказа пробился и Котляревский. Перед ним лежали поля его будущих сражений, хотя в данном случае это выражение можно понимать только метафорически: путь к воинской славе пролег для Котляревского среди глухих ущелий и неприступных гор.

Взлет его был стремителен: к тридцати годам он имел чин генерал-лейтенанта, золотую шпагу с надписью «За храбрость», орден святого Георгия трех степеней и орден святой Анны первой степени. И – семь ран за персидскую войну. При штурме Ганджи его, раненого, вынес из-под огня поручик лейб-гвардии Преображенского полка М.С. Воронцов – будущий генерал-фельдмаршал и наместник Кавказа. Даже он, один из высших сановников империи, считал этот случай чем-то исключительным в своей судьбе и впоследствии, уже начальствуя на Кавказе, приказал поставить здесь скромный памятник с надписью, запечатлевшей драматический эпизод его боевой юности: «Близ сего места, 2 декабря 1803 года, при занятии садов и форштата крепости Ганжи, в присутствии и под начальством князя Цицианова, ранен был в первый раз, пулею в ногу 17 егерского полка капитан Котляревский»[114].

С началом XIX века Россия выдержала череду почти непрерывных войн с Персией и Турцией, уступая своим неугомонным соседям в живой силе и действуя иногда на два фронта. В 1805 году Котляревский участвовал в сражении на реке Аскерани, когда 500 наших егерей и мушкетеров спасли Грузию от нового нашествия. «Четырнадцать дней, – читаем в «Истории русской армии» А.А. Керсновского, – эта горсть храбрецов отбивала атаки 20 000 персов (к которым присоединились еще подкрепления) – а после прорвалась сквозь их кольцо, перевезя по своим телам, как по живому мосту, обе свои пушки»[115].

Зимою 1810 года Котляревский, проделав скрытый марш по заснеженным долинам, внезапным штурмом взял у турок крепость Ахалкалаки. В 1812 – дерзкой атакой разбил при Асландузе персов, потерявших под русскими штыками до 9000 человек. Котляревский же в рапорте о сражении оценил потери противника в 1200 убитых. «Напрасно писать 9000 – не поверят», – сказал он. Перед штурмом Ленкорани полководец отдал приказ, в котором были слова: «…Не остается более никакого способа покорить крепость сию оружию Российскому, как только силою штурма. Решаясь приступить к сему последнему средству, даю знать о том войскам и считаю нужным предварить всех офицеров и солдат, что отступления не будет. Нам должно или взять крепость, или всем умереть…»[116]. В этом победном, но последнем для него бою три пули раздробили Котляревскому голову. Он был извлечен из-под груды трупов и остался жив, но последующие почти сорок лет провел в физических страданиях и домашнем уединении (о чем и упоминает Пушкин в эпилоге «Кавказского пленника»).

В 1826 году, когда сын и наследник иранского шаха Аббас-Мирза вторгся с армией в российские пределы, о Котляревском вспомнили снова. Николай I, произведя его в генералы от инфантерии, просил принять командование в новой персидской кампании. «Уверен, – писал Котляревскому император, – что одного имени вашего достаточно, чтобы одушевить войска, вами предводительствуемые, устрашить врага, вами пораженного…»[117].

Котляревский заплакал, но от командования отказался. Пушкин упомянул его еще раз – в дневнике 1834 года и снова назвал героем.

Индия, благодаренье Господу, осталась нами не завоеванной. Если кто и достиг ее пределов, то это не полководец, а тверской купец Афанасий Никитин. Что касается Персии, то «голубая родина Фирдуси», загадочный и опасный южный сосед еще долго манил русских поэтов. Там погиб Грибоедов, и персидский принц Хозрев-Мирза привез нам «цену его крови» – знаменитый алмаз «Шах». В Персию собирался и Лермонтов, но, предпочтя «милый север», отправил в этот роковой путь своего Печорина. В персидских мотивах слышал что-то родное Сергей Есенин. Ну что ж, пусть лучше говорят музы, чем пушки.

Глава V. «Мстислава древний поединок…»

Неразумные, если верить Пушкину, хазары занимали когда-то обширные территории, захватывая при этом и прикаспийские области Северного Кавказа. Простирался ли столь далеко праведный гнев Олега, сказать теперь трудно. Продолжатель его мстительной исторической миссии Святослав разрушил на Дону хазарскую крепость Белую Вежу. Еще дальше в неудержимом стремлении на юг продвинулся с дружиной князь Мстислав – внук Святослава и герой задуманной, но неосуществленной поэмы Пушкина.

Напомним читателю, что первая, нечаянная, поездка поэта к «пределам Азии» подарила России «Кавказского пленника». Заряд впечатлений, полученный Пушкиным под сенью Бештау и Эльбруса, не был исчерпан этой поэмой. В ее эпилоге, рисуя фантастический полет своей музы на Кавказ, он намечает круг тем, которые могли еще вылиться из-под его пера в виде новых творений:

Богиня песен и рассказа,
Воспоминания полна,
Быть может, повторит она
Преданья грозного Кавказа;
Расскажет повесть дальных стран,
Мстислава древний поединок…

В примечаниях к поэме Пушкин счел необходимым сделать пояснение: «Мстислав, сын св. Владимира, прозванный Удалым, удельный князь Тмутаракана (остров Тамань). Он воевал с косогами (по всей вероятности, нынешними черкесами) и в единоборстве одолел князя их Редедю. См. *Ист. Гос. Росс. Том II*».

Последуем пушкинскому совету и обратимся к «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. В разделе, посвященном событиям 1022 года, историк пишет: «Через несколько лет Мстислав объявил войну касогам или нынешним черкесам, восточным соседям его области. Князь их Редедя, сильный великан, хотел, следуя обычаю тогдашних времен богатырских, решить победу единоборством. «Начто губить дружину?» сказал он Мстиславу: «одолей меня, и возьми все, что имею: жену, детей и страну мою». Мстислав, бросив оружие на землю, схватился с великаном. Силы князя Российского начали изнемогать: он призвал в помощь Богородицу – низвергнул врага и зарезал его ножом. Война кончилась: Мстислав вступил в область Редеди, взял семейство княжеское и наложил дань на подданных»[118].

Здесь Карамзин передает события так, как они изложены в первом общерусском летописном своде – «Повести временных лет», составленной на основе более ранних летописей, преданий, повестей и сказаний – исторического, а иногда и сказочного характера. «Повесть» приводит еще и ту подробность, что Мстислав, обратившись в роковой миг к помощи богородицы, обещает построить церковь во имя ее. («О пречистая богородице! помози ми; аще бо одолею сему, създижу церковь во имя твое»). Одержав верх в поединке, князь выполнил свое обещание («И пришедъ Тмутороканю, заложи церковь святыя богородица, и созда ю, яже стоить и до сего дне Тьмуторокани»)[119].

Также и безвестный автор «Слова о полку Игореве» отдал дань памяти «храброму Мстиславу, иже зареза Редедю предь пълкы касожькыми».

Расскажем подробнее о русском витязе, будившем поэтическое воображение Пушкина.

Мстислав Храбрый (или Удалой) – внук киевского князя Святослава, сын Владимира Святого и младший брат Ярослава Мудрого. Получил в княжение Тмутаракань и в 1022 году совершил поход «на касоги», который и окончился счастливым для него поединком с касожским князем Редедею. В 1023 году, по словам летописца, «поиде Мстислав с козары и с косаги на великого князя Ярослава»[120] (козары – хазары, а касогами русские ле-

тописи называли черкесов). Под Лиственном (недалеко от Чернигова) на берегах реки Руды он разбил своего старшего брата Ярослава, но потом заключил с ним соглашение, по которому оставил за собой все земли к востоку от Днепра. «Искреннее согласие двух государей российских, – сообщает Карамзин, – продолжалось до смерти одного из них. Мстислав, выехав на ловлю, вдруг занемог и скончался. Сей князь, прозванный Удалым, не испытал превратностей воинского счастия: сражаясь, всегда побеждал; ужасный для врагов, славился милостью к народу и любовию к верной дружине; веселился и пировал с нею подобно великому отцу своему, следуя его правилу, что государь не златом наживает витязей, а с витязями злато. Он поднял меч на брата, но загладил сию жестокость, свойственную тогдашнему веку, великодушным миром с побежденными, и Россия обязана была десятилетнею внутреннею тишиною счастливому их союзу, истинно братскому. – Памятником Мстиславовой набожности остался каменный храм Богоматери в Тмутаракане, созданный им в знак благодарности за одержанную над касожским великаном победу, и церковь Спаса в Чернигове, заложенная при сем князе: там хранились и кости его в Несторово время. Мстислав, по словам летописи, был чермен лицом и дебел телом; имел также необыкновенно большие глаза. Он не оставил наследников: единственный его сын, Евстафий, умер еще за три года до кончины родителя»[121].

В период княжения Мстислава его столица Тмутаракань стала крупным городом с мощными крепостными стенами и выстроенными им каменными церквями. В современной историографии утвердилось мнение, что поединок князя с Редедей «был ритуальным. «Божий суд» передал власть Мстиславу над всеми зихско-касожскими объединениями. Мстислав стал не только тмутараканским князем, но и касожско-зихским сувереном, главой адыгских групп, оседавших в городе и его ближайшей округе, светским главой находившейся в Тмутаракани зихской епархии. После этого поединка в дружинной среде Мстислав назван Храбрым, в посадской среде – Удалым, в церковно-монашеской Лютым... Дань, которую наложил Мстислав на касогов, по существу являлась податью и состояла в основном из продуктов местного земледелия»[122].

Известно также, что Мстислав с дружиной совершил два военных похода в Закавказье – в Ширван. Спустившись на ладьях по Куре и вдоль берега Каспийского моря, он достиг стен Баку, однако крепость взять не смог.

Имя касожского князя Редеди встречается в русских летописях. В Родословных книгах сказано, что Мстислав, убив его, взял двух его сыновей, крестил и назвал одного Юрьем, а другого Романом. За последнего выдал свою дочь. Так кровь Редеди, пролитая некогда Мстиславом, смешалась с кровью русских князей и бояр.

Теперь обратимся к источникам противоположной стороны – в данном случае к «Истории адыгейского народа» кабардинского просветителя и поэта Шоры Ногмова. Предварительно же скажем несколько слов об этом замечательном человеке, что нам представляется не лишним, поскольку существует предположение о его личном знакомстве с Пушкиным. Кроме того, высказывалось и еще более смелое суждение, что именно Ногмов послужил прообразом пушкинского Тазита. Год рождения его точно не известен, исследователи расходятся во мнениях от 1794 до 1801 года. Место рождения – родовой аул на реке Джуце в окрестностях Пятигорска. Отец Шоры в довольно сложной сословной системе кабардинцев считался «уорком», то есть узденем второй степени или, по нашим понятиям, мелким дворянином. Первоначальное мусульманское образование Шора получил в медресе дагестанское селение Эндери, где познакомился с основными восточными языками. Некоторое время исполнял обязанности мулы в родном ауле, но вскоре отказался от духовной деятельности, предпочтя службу переводчиком в 1-м Волжском полку.

В дальнейшем Шора жил в Аджи-Ауле близ Бештау, а в 1828 году переехал с семьей «из-под Бечтовых гор» в Кармово на Малке (ныне Каменномостское). Потом два года учительствовал в школе аманатов (детей-заложников) в Нальчике. Последующие события круто изменили его жизнь: с 1 апреля 1830 года Ногмов числится оруженосцем (то есть рядовым) лейб-гвардии Кавказского горского полуэскадрона в Петербурге. Для характеристики этого особого отряда приведем выдержку из книги «Исторические сведения о кабардинском народе», принадлежащей перу В.Н. Кудашева: «В 1828 году был сформирован, по высочайшему повелению, лейб-гвардии кавказско-горский полуэскадрон из высших представителей кавказских горцев. Главною целью учреждения полуэскадрона было, конечно, создать известную своеобразную обстановку при государе. Но учреждением полуэскадрона из горцев преследовались и некоторые просветительные цели. Имелось в виду, что горцы, после пребывания в Петербурге, понесут культуру и на родину»[123].

Ногмов, разумеется, не первый кабардинец на русской военной службе. Так, князь Измаил Атажуков был полковником, а черкес Султан Казы-Гирей (сослуживец Шоры по Кавказскому полуэскадрону и автор двух повестей, помещенных Пушкиным в «Современнике») достиг звания генерал-майора. Сам Ногмов военной карьеры не сделал. Участвуя в польском походе 1831 года, имел отличия, а в феврале 1832 года получил первый офицерский чин корнета. Еще через три года был переведен в Отдельный Кавказский корпус поручиком кавалерии и служил сначала в Тифлисе, а потом пять лет в Нальчике секретарем кабардинского временного суда. С увольнением от этой должности в 1843 году был произведен в штабс-капитаны.

Скажем несколько слов и о наградах Ногмова на русской военной службе. Иногда можно прочитать, что за польскую кампанию он был удостоен ордена святого Георгия. Это не совсем верно: как нижний чин, он не имел права на такую награду и получил не орден, а знак отличия военного ордена, то есть солдатский георгиевский

крест. Тогда же, как и все другие участники подавления Польского восстания, Ногмов был награжден и знаком отличия ордена военного достоинства (5-й степени), представлявшим собой такой же серебряный крестик. Биограф Шоры А.П. Берже сообщает и о награждении его в 1834 году золотой медалью на Анненской ленте, с надписью «за усердие». Для точности добавим, что это, скорее всего, медаль «За усердную службу», учрежденная еще в царствование Александра I для награждения знатных представителей национальных окраин империи. Впоследствии еще и командир Кавказского корпуса Г.В. Розен пожаловал Ногмову золотые часы.

Трудолюбие и усердие Шоры по службе не раз отмечалось начальством. Внутренний же смысл его жизни и главное направление его умственной деятельности заключались овсе не в служебной карьере. В Петербурге он углубил свои познания в различных языках, работая над осуществлением своей заветной мечты – созданием первой кабардинской грамматики. «По приезде в Петербург на службу, во мне с большой силой пробудилось давнишнее мое желание – написать грамматику…»[124] – признавался он. В Тифлисе Шора познакомился с академиком-лингвистом А.М. Шегреном, и их занятия языками продолжались к обоюдной пользе. Он создал кабардинский алфавит на основе русской, а потом арабской графики и написал «Начальные правили кабардинской грамматики».

Известно, что Ногмов работал и в стихотворных жанрах. «…Ногмов – сам страстный поэт, – занес в свой дневник академик Шегрен, – так что он занимается у меня большей частью стихами, отчасти собственного произведения, отчасти переводами с русского».[125] Шора переводил на кабардинский язык русских и арабских поэтов, но его поэтические произведения в письменном виде почти не сохранились (кабардинская письменность была создана только в советское время).

Главный труд Ногмова, его «нерукотворный памятник» – это знаменитая «История адыхейского народа, составленная по преданиям кабардинцев». В 1844 году Шора предпринял новую поездку в Петербург, чтобы представить свои завершенные работы в Академию наук и издать их, однако этим планам не суждено было осуществиться: в столице Ногмов тяжело заболел и вскоре скончался. Могила его осталась неизвестной.

«История адыхейского народа» есть, как сообщает Краткая Литературная Энциклопедия, «результат глубокого изучения жизни, исторических преданий и песен кабардинского народа с древнейших времен и до конца 18 века». Впервые книга увидела свет в 1861 году в Тифлисе и вышла под редакцией и с предисловием выдающегося кавказоведа Адольфа Петровича Берже, тиражом всего лишь в двадцать экземпляров. Одна из этих бесценных реликвий хранится ныне в книжном собрании пятигорского лермонтовского музея. Впоследствии труд Ногмова не раз переиздавался, в том числе и в 1891 году в Пятигорске – сыном писателя Ерустаном. В советское время осуществлено издание и на кабардинском языке.

И еще об одном. Заканчивая биографический очерк Ногмова, академик Берже оставил авторитетное замечание: «Рассказывают еще некоторые кабардинцы, лично знавшие его, что он познакомился с Пушкиным, во время бытности его в Пятигорске; что Ногмов содействовал поэту в собирании местных народных преданий и что поэт, в свою очередь, исправлял Ногмову перевод песен с адыхейского языка на русский…»[126]. Эта многозначительная и как будто недосказанная, оборванная многоточием фраза повлекла в дальнейшем череду новых предположений и догадок. Повторяя вслед за Берже эти слова с большей или меньшей степенью уверенности, авторы расходятся в определении даты этой возможной встречи (1820 или 1829 годы – время пребывания Пушкина на Кавказе), а иногда предлагают уже новое ее место – Петербург. Более того, самые смелые называли Ногмова и прообразом пушкинского Тазита (по-видимому, чеченца, отступника горских обычаев), не находя, увы, никаких документальных подтверждений всех этих фантастических версий. В интересной книге И.В. Трескова приводятся изустные предания кабардинцев о пребывании Пушкина в Кабарде, в том числе и такие сведения, что «переводчиком у него был сам пши Хатокшоко»[127]. Пши Хатокшоко это князь Атажуков и, по всей вероятности, Измаил Атажуков – старший современник Ногмова, известный персонаж кабардинской истории. Он, на самом деле, был проводником (отчасти и переводчиком), но только не у Пушкина, а у доктора Ф.П. Гааза, которого любезно познакомил с целебными железными ключами у склонов Бештау. К тому же задолго до приезда Пушкина на Кавказ этот самый пши Хатокшоко погиб при невыясненных обстоятельствах.

Иногда выдвигается мнение и о знакомстве Ногмова с М.Ю. Лермонтовым – в том же Пятигорске в 1825 году. Да, по обстоятельствам жизни это могло бы и произойти, но не будем забывать, что гениальному мальчику тогда исполнилось всего лишь десять лет!

Более справедливым нам кажется все же суждение, что встреча Шоры в Пятигорске с кем-то из наших главных поэтов – не более чем легенда, возникшая, однако, на реальной основе: на водах Ногмов действительно познакомился с русским поэтом и вел с ним филологические беседы. Это был Степан Дмитриевич Нечаев (кстати сказать, петербургский знакомый Пушкина), поместивший в 1826 году на страницах «Московского телеграфа» свои заметки о пребывании на Кавказе, отрывок из которых мы предлагаем вниманию читателя:

«С подножия Машуки, где устраивается местечко для посетителей, показываются снеговые горы, как зубчатая, сплошная стена, соединяющая две крайние твердыни: Эльбрус и Казбек. Очарованный житель равнин с трудом может поверить, что сия великолепая гряда тянется пред его глазами более нежели на двести верст и отстоит от него на такое же пространство…

Самая Бешту, отстоящая от вод не более как в десяти верстах, нередко покрывается вся облаками, которые временем расстилаются по самым долинам. Остроконечные ее верхи особенное имеют привлечение для сих воздушных странников. Кажется, они, утомясь от дальнего пути, обнимают вершину ее влажными своими крылами, чтобы вкусить минутный отдых или благотворною росою освежить ароматические ее растения. Иногда видите над ней облачную тиару, в другой раз дымчатый венец или сотканный из туманов пояс. По разным сим убранствам жители довольно верно предсказывают перемену погоды…

Жаль, что горы, увеселяя зрение, заставляют вместе терпеть мучение Танталово. Желалось бы полюбоваться на них поближе, желалось бы сколько можно далее проникнуть в каменистые их недра, но недреманная их стража не выпускает из рук оружия – и горе любопытному, дерзающему проникнуть в последний приют необузданной свободы!

Разбой составляет главное упражнение горских народов, мщение – главную страсть. Дерзость их наездников известна; злоба за пролитую кровь доводит иногда родственников до совершенного исступления…

При подошве Бештовой горы видны два аула мирных черкесов. Я имел случай быть в одном из сих селений… Со введением магометанства черкесы пишут на своем языке арабскими буквами. Недостаток их для выражения всех звуков языка черкесского, обильного носовыми и гортанными складами, заставляет желать, чтобы для кабардинских племен изобретена была особая азбука. Один из узденей, занимающийся разным торгом на Горячих водах, известный всем приезжим *Шора*, намеревался представить правительству опыт таковой азбуки для напечатания. Одаренный счастливыми способностями, сей молодой человек успел выучиться – сколь можно в здешнем краю – пяти языкам, кроме природного: арабскому, который по справедливости считается на Востоке не только священным, но и ученым; татарскому или турецкому, который от древнего монгольского владычества, не менее от позднейшего распространения суннитского вероисповедания, в таком же всеобщем употреблении между кавказскими племенами, в каком теперь французский язык в Европе; абазинскому, в котором, вопреки некоторым ученым, не находит кабардинский филолог никакого сходства с черкесским; персидскому и русскому… По издании азбуки, он хотел заняться правилами грамматическими и переводами с арабского разных нравственных книг для чтения. Будучи предан русской державе и доказав свою верность участием в наших экспедициях и проч., он сочиняет иногда небольшие поэмы в славу нашего оружия, которые не может распространить между соотечественниками иначе, как чрез изустное предание и медленное изучение на память. По введении собственной грамоты легче будет рассевать в Кабарде и даже за Кубанью благонамеренные писания, которые конечно могут послужить к смягчению нравов диких наших соседей, хотя скудная и непроходимыми горами пересекаемая их отчизна, долго еще полагать будет преграды к соединению взаимных выгод общим миром»[128].

Один проезжий иностранец, общавшийся с Шорой в Нальчике, сделал наблюдение: «…он говорит и пишет по-персидски, по-турецки, по-татарски и по-русски с одинаковой легкостью; у него приятное лицо и прекрасные манеры»[129]. Военные документы сохранили беспристрастное и более детальное описание, там говорится, что Ногмов «лицом бел, рябоват, глаза светло-русые, нос посредственный, волосы на голове и бровях черные»[130]. Насколько все это сходится с истиной, судить теперь трудно, так как никакого изображения внешности Ногмова, по-видимому, не осталось, а публикуемые в наше время его портреты представляют собой, вероятно, лишь условную реконструкцию облика. Творения же Ногмова не утратили своего значения и по сей день, навсегда обеспечив автору почетный и заслуженный титул «Нестора кабардинской истории».

В своем труде Шора поведал о походе адыгейских племен на Тамтаракай (Тмутаракань). О столкновении своих дальних предков с дружиной Мстислава он сообщает следующее:

«Тамтаракайцы вышли к ним навстречу со своим ополчением: когда обе армии сблизились, Редедя, по обычаю тогдашних времен, захотел решить участь войны единоборством. Он стал просить у тамракайского князя бойца и говорил ему: «чтобы не терять с обеих сторон войска, не проливать напрасно крови и не разрывать дружбы, одолей меня и возьми все, что имею». Князь Тамтаракайский решился и не стал искать в своем войске единоборца, а пошел сам на вызов великана. Противники сняли с себя оружие, положили его на землю и начали борьбу, продолжавшуюся несколько часов. Наконец Редедя пал, и князь поразил его ножом. Происшествие это прекратило войну, и адыгейцы возвратились в отечество, более сожалея о потере лучшего воина, чем о неудаче предприятия»[131].

О самом Редеде говорится, что «не было в адыгейском народе никого, кто бы мог устоять против силы Редеди; почему современники прославили его в следующей песне: ой, Ридадя, о Ридадя махо ореда, о Ридадя махо! – то есть «Редедя, Редедя, многосчастливый Редедя!» Эту песню и ныне поют во время свадьбы, жатвы или сенокоса, когда народ бывает в сборе»[132].

Исторический труд Ногмова, составленный по преданиям кабардинцев, издан полтора века тому назад, однако свадебный припев, о котором он пишет, можно услышать у горцев и в наши дни, а иногда, в несколько искаженном и упрощенном виде (о, райда, райда) и у русскоязычного населения Северного Кавказа. Но не все здесь так просто. То, что в нем звучит имя Редеди, не раз ставилось под сомнение, равно как и сам рассказ Шоры, что кабардинские предания сохранили память о давнем поединке. Считали, что Ногмов излагал события слишком близко к русским летописным источникам и версия о том, что «черкесы помнят о Редеде, не

более, как миф, – результат простого недоразумения: неверного истолкования припева к свадебным песням» (Н.С.Трубецкой)[133]. Другие же склонялись к правоте кабардинского историка и в звуках припева слышали прорвавшийся сквозь толщу столетий отголосок реальных событий, разыгравшихся когда-то у склонов Кавказа.

Спустя несколько лет после гибели Редеди, как повествует Ногмов, адыгейцы собрали большое войско, подкрепленное шестью тысячами оссов (осетин), и после упорной борьбы овладели Тамтаракаем. Захватив богатую добычу и множество пленных, они вернулись домой. С той поры у адыгейцев существует пословица: «Да будет тебе участь Тамтаракая». Еще говорят бранясь: «Будь ты Тамтаракаем!».

Но вернемся к поэтическим замыслам Пушкина. «Преданья темной старины» имели над поэтом несомненную власть. Имя Мстислава (как возможного героя поэмы на исторический сюжет) он упомянул еще раз – в письме от 23 февраля 1825 года к Н.И. Гнедичу, завершившему в то время перевод «Илиады» Гомера: «…Отдохнув после «Илиады», что предпримите Вы в полном цвете гения, возмужав во храме Гомеровом, как Ахилл в вертепе Кентавра? Я жду от Вас эпической поэмы. Тень Святослава скитается не воспетая, писали Вы мне когда-то. А Владимир? а Мстислав? а Донской? а Ермак? а Пожарский? История народа принадлежит поэту». (Последняя фраза представляет собой измененные слова из «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина: «История народа принадлежит царю»).

К этому времени Пушкин уже написал «Повесть о вещем Олеге», сюжетом которой послужил летописный рассказ, почерпнутый поэтом в первом томе той же «Истории…» Успех поэмы «Руслан и Людмила», воскрешающей «дела давно минувших дней», а потом и ошеломляющий успех «Кавказского пленника», открывшего читающей России «великолепные картины» Кавказа, – все это могло подтолкнуть Пушкина к мысли объединить историческую тему с кавказской в пределах одного поэтического сюжета, и выбор здесь пал именно на «Мстислава». К тому же, как замечает исследователь, «бой Мстислава с Редедей… привлек внимание Пушкина потому, что произошел на севере Кавказа, в местах, которые посетил он в 1820 г.»[134].

В 1822 году Пушкин сделал наброски плана новой поэмы, как бы очертив еще не ясные контуры будущего сюжета, заставляющего вспомнить некоторые ситуации и мотивы «Руслана и Людмилы». Действие начинается в Киеве, когда князь Владимир делит Россию на уделы. Дальше же идет волшебная, приключенческая сказка, финал которой (как и в «Руслане») возвращает нас к событиям, близким к исторической реальности, – набегу печенегов.

Мстислав же «увлечен чародейством в горы Кавказские»: в него влюбляется царевна косогов и увлекает его в сражении за собой под видом косога, убившего его друга. В сущности, Пушкин отходит от замысла о реальном единоборстве Мстислава, в набросках плана нет даже имени Редеди, а офантазированный поединок происходит с косожской царевной-оборотнем. В сюжет вплетается линия Ильи Муромца, встречающегося со своим сыном.

Трудно судить о том, что из этих отрывочных набросков получилось бы в окончательном варианте; твердо мы знаем лишь то, что замысел о Мстиславе не был осуществлен. Поздним отголоском его можно, видимо, считать строки «Сказки о золотом петушке», повествующие о походе Дадона в горы:

Войско в горы царь приводит,
И промеж высоких гор
Видит шелковый шатер…

Призрак удачливого и храброго князя тревожил воображение и других поэтов. В 1823 году в «Полярной звезде» Кондратий Рылеев поместил свое стихотворение «Мстислав Удалый»:

Как тучи с гор текли косоги;
Навстречу им Мстислав летел…

Поэма о «древнем поединке» князя Мстислава – не единственный из неосуществленных или неоконченных замыслов Пушкина о Кавказе. Среди них поэма «Тазит», замыслы о русской девушке и черкесе и роман на Кавказских водах. Даже не воплощенные, они остаются свидетельством активного художественного освоения огромного пространства – новых южных провинций России, когда, по выражению Белинского, «с легкой руки Пушкина Кавказ сделался для русских заветною страною не только широкой, раздольной воли, но и неисчерпаемой поэзии, страною кипучей жизни и смелых мечтаний!..».

Глава VI. «Смирись, Кавказ: идет Ермолов!»

В ходе Кавказской войны XIX века ничье имя не прозвучало так громко и не вспоминается сегодня так часто, как имя генерала Ермолова. Чеченские события последних лет невольно выдвинули из исторического небытия циклопическую фигуру этого главного нашего покорителя Кавказа. Человек громадного роста и невероятной силы, Алексей Петрович Ермолов мог одним ударом сабли отрубить голову буйволу. Свой

первый Георгиевский крест он получил по представлению самого Суворова. Во время Бородинского сражения он отбил у французов батарею Раевского и тем спас всю армию. Преданность, которую он внушал, была беспредельна. Лучшие русские поэты посвящали ему стихи. Упомянув имя Ермолова в эпилоге «Кавказского пленника», Пушкин еще много лет держал его в центре своего творческого внимания. Его часто упрекают в чрезмерной жестокости к горцам. Но о жестокости Ермолова пусть помнят его враги. Мы же постараемся не забыть того, что этот человек сделал для России.

«Кавказ – это огромная крепость...»

Вопреки устоявшимся теперь представлениям впервые на Кавказ Ермолов попал задолго до основных событий горской войны – еще в царствование Екатерины, едва начав свою боевую карьеру. «Двадцать лет назад, – вспоминал он впоследствии, – проезжал я Кавказскую линию, будучи капитаном артиллерии, в молодых весьма летах и служа под начальством генерал-аншефа графа Зубова, который с корпусом войск действовал против персиян в 1796-м году»[135].

10 мая 1796 года граф Валериан Зубов взял Дербент, издавна считавшийся воротами в Персию. За штурм города Ермолов получил Владимирский крест и повышение в чине. Много лет спустя побывав здесь уже как полновластный правитель края, Ермолов невольно вернулся памятью к событиям своей боевой юности. «В Дербенте, – пишет он, – с удовольствием взглянул я на развалины одной башни, где 24 года тому назад устроена была брешь-батарея, которою командовал я, будучи артиллерии капитаном. В положении моем не мог я быть равнодушным к воспоминанию, и если бы не хотел признаться, никто не поверит, чтобы не льстило оно честолюбию»[136]. Впоследствии и писатель-декабрист А.А. Бестужев-Марлинский в одной из своих повестей описал даже холм, откуда ермоловская батарея громила мощные дербентские стены. Кто знает, может быть уже тогда Ермолов пришел к мысли, которая легла в основу его кавказской стратегии. «Кавказ, – говорил он, – это огромная крепость, защищаемая полумиллионным гарнизоном. Штурм будет стоить дорого, так поведем же осаду...»[137].

Воспоминания кавказского похода еще долго тревожили Ермолова. В 1812 году (до вторжения Наполеона в Россию) он писал военному министру о необходимости лечения кавказскими минеральными водами и просил определить его на Линию бригадным командиром. Позднее, уже в 1816 году, вернувшись из побежденной Франции, Ермолов вновь имел намерение отправиться к «минеральным водам на Кавказ», но был вызван императором Александром в Петербург.

«Из частных известий знал уже, – вспоминает полководец, – что я назначаюсь начальником в Грузию. Исчезла мысль о спокойной жизни, ибо всегда желал я чрезвычайно сего назначения, и тогда даже, как по чину не мог иметь на то права.

По приезде в Петербург, государь, постоянно мне благотворящий, объяснил мне, что он не решился бы определить меня в Грузию, если бы не были свидетельствующие, что я того желаю, ибо сам он не мог думать, чтобы назначение сие могло согласоваться с моим намерением.

Объяснением сим государь истолковал мне, какого он о Грузии мнения. Сего достаточно было, чтобы на месте моем устрашить многих, но я решился поверить себя моему счастию»[138].

Начав службу при Екатерине, во времена взбалмошного Павла Ермолов угодил в Петропавловскую крепость и ссылку. При Александре он выдержал долгую конфронтацию с всесильным Аракчеевым, кончившуюся, однако, тем, что последний рекомендовал императору молодого талантливого генерала на пост военного министра. «Армия наша, – внушал царю Аракчеев, – изнуренная продолжительными войнами, нуждается в хорошем военном министре; я могу указать вашему величеству на двух генералов, кои могли бы в особенности занять это место с большою пользою: графа Воронцова и Ермолова. Назначению первого, имеющего большие связи и богатства, всегда любезного и приятного в обществе, и не лишенного деятельности и тонкого ума, возрадовались бы все; но ваше величество вскоре усмотрели бы в нем недостаток энергии и бережливости, какие нам в настоящее время необходимы. Назначение Ермолова было бы для многих весьма неприятно, потому что он начнет с того, что перегрызется со всеми; но его деятельность, ум, твердость характера, бескорыстие и бережливость его бы вполне впоследствии оправдали»[139].

По окончании войны с Наполеоном предполагалось, что Ермолов будет командовать русским оккупационным корпусом, оставленным во Франции, но этот пост занял М.С. Воронцов. Наконец в 1816 году состоялось назначение Ермолова на Кавказ. В то время, то есть в тридцать девять лет, он имел чин генерал-лейтенанта, был награжден орденами святого Георгия и святого Владимира и получил золотую шпагу с надписью «За храбрость». Своим указом Александр I назначил его командиром Отдельного Грузинского (с 1820 – Кавказского) корпуса и управляющим гражданской частью в Грузии, Астраханской и Кавказской губерниях. Другими словами, он заключал здесь в своих тяжелых руках всю полноту военной и гражданской власти и, хотя формально титула наместника не носил, получил неофициальное, но грозное наименование «проконсула Кавказа» (чем обязан, кстати сказать, великому князю Константину).

Здесь Ермолов провел череду глубоких преобразований. Прежде всего, позаботился о войсках: облегчил амуницию, но прибавил провианта и денег, убрал гарнизоны из гиблых мест. Много строил: дороги и казенные здания, наладил почту. Установил дипломатические отношения с Персией и продвинул на юг российские границы. При нем в Тифлисе начала выходить первая газета на грузинском языке. Его железную руку почувствовали горцы: это именно он, «сардар Ермулла», первым стал рубить просеки в непроходимых лесах и сжимать их удавкой кордонных линий и крепостей.

За девять лет грозный проконсул многое сумел изменить на Кавказе, но многое изменилось и в остальном мире. Император Николай, начавший царствование с расстрела мятежных полков на Сенатской площади, Ермолову не доверял и постарался лишить его реальной силы: с началом Персидской войны на Кавказ был послан И.Ф. Паскевич, а потом и начальник Главного штаба И.И. Дибич. Ермолов, напрасно обвиняемый то в том, что затеял войну, то в том, что, напротив, оказался к ней неготовым, подал в отставку. Сменивший его Паскевич, пожинал за хребтом Кавказа плоды своих блестящих побед, но справедливо и то, что заботливо взрастил эти плоды совсем другой человек, «испытанный трудами бури боевой», но обреченный отныне на десятилетия «нетерпеливого бездействия».

В разговоре с Пушкиным о победах Паскевича Ермолов заметил, что они одержаны слишком дорогой ценой. «Можно было бы сберечь людей и издержки», – сказал он. Может быть, именно из-за этого постоянного стремления «сберечь людей» Ермолова, предельно скупого на похвалы и награды, так любили в кавказских войсках. Паскевич, имевший все высшие награды империи, в том числе и четырех «Георгиев», такой любви никогда удостоен не был. Стратегия же горной войны, к которой русское командование после очень долгих неудач и чудовищных потерь вынуждено было прибегнуть на Кавказе, была предложена именно Ермоловым, о чем потом в своем «Хаджи-Мурате» напомнил Лев Толстой: «План медленного движения в область неприятеля посредством вырубки лесов и истребления продовольствия был план Ермолова и Вельяминова».

«Я боюсь, чтобы Ермолова навсегда не зарыли в Грузии...»

Денис Давыдов был двоюродным братом Ермолова и всегда относился к нему с благоговейным почтением. Знаменитый поэт и партизан 1812 года называл себя живым лексиконом людей и происшествий от Аустерлица до последней Персидской войны. Ермолова он считал одним из замечательнейших деятелей великой наполеоновской эпохи. «Я боюсь, чтобы Ермолова навсегда не зарыли в Грузии», – писал Давыдов, находя, что тот достоин самых высших степеней, в том числе и поста главнокомандующего русской армией. В его военных записках имя Ермолова встречается едва ли не на каждой странице, а «Воспоминания о сражении при Прейсиш-Эйлау» он особой надписью посвятил своему любимому брату и герою. Считают, что именно с этой битвы с французами в 1807 году началась известность Ермолова в военном деле. Мы выбрали несколько наиболее значительных отрывков из воспоминаний Давыдова, посвященных личности и деятельности «проконсула Кавказа»:

«Полковник Алексей Петрович Ермолов, оказавший своему отечеству знаменитые заслуги в эпоху Наполеоновских войн, высоко чтимый российскою армиею и в особенности на Кавказе, был очень молод при вступлении своем на служебное поприще. Обнаружив с самого юного возраста замечательные способности, он приобрел впоследствии все качества отличного воина. Он представляет редкое сочетание высокого мужества и энергии с большою проницательностью, неутомимою деятельностью и непоколебимым бескорыстием; замечательный дар слова, гигантская память и неимоверное упрямство составляют также отличительные его свойства. Будучи одарен необыкновенною физическою силою и крепким здоровьем, при замечательном росте, Ермолов имеет голову, которая, будучи украшена седыми в беспорядке лежащими волосами и вооружена небольшими, но проницательными и быстрыми глазами, невольно напоминает голову льва...

Не получая почти ничего от отца своего, особенно со времени производства своего в полковники, и вынужденный довольствоваться весьма немногим, он привык вести жизнь весьма умеренную и неприхотливую... Хотя Ермолов испытал в течение своей жизни весьма много неприятного, но это не оказало никакого влияния на его неизменно веселый нрав. Взор мой не может не остановиться на этой светлой личности, нередко и довольно грубо заблуждавшейся и не лишенной, без сомнения, больших недостатков и слабостей, но вполне искупившей все это теплотою души и замечательною любовью к общественному благу...

Возбудив... против себя многих генералов, в числе коих находилось немало бездарных, корыстолюбивых и алчущих власти лиц, он приобрел тем весьма сильных врагов, которые, распространяя о нем самые неблагоприятные слухи, могли значительно повредить ему, если не в понятиях прозорливого правительства, то в общественном мнении. Вообще, если достоинства человека измеряются числом его врагов, никто более Ермолова не имел столь большого количества ожесточенных недоброжелателей в старших и равных себе, но безгранично преданных почитателей в своих подчиненных...

Ермолов был человек такой, какой был необходим для Кавказа. Смиряя железною рукою диких хищников, он мудрою справедливостью привлекал различные народы к признанию над собою власти нашего государя. Его продолжительному и славному управлению обязан был Кавказ своим устройством, спокойствием

и безопасностью; не взирая на большие расходы, не проходило года, чтобы Ермолов не представлял один или два миллиона экономии. Тифлисский госпиталь и комиссариатские здания были им построены на счет сумм, оставшихся после его посольства в Персию, и которые он имел право оставить у себя. Грозный для врагов и ослушников своих велений, Алексей Петрович, будучи постоянно весьма приветлив относительно своих подчиненных, дозволял себе во время похода короткое с ними обращение; но кажущаяся фамильярность этого энергического человека не была в состоянии поколебать дисциплины, столь необходимой в военном сословии. Он этим путем ознакомился со всеми почти офицерами своего корпуса, и когда до его сведения доходило, что полезный офицер намеревался оставить службу, он не почитал для себя унижением или слабостью письменно просить его отказаться от того. Мы большею частью видим, что начальники, щедро рассыпающие вокруг себя награды, более любимы своими подчиненными. Алексей Петрович приобрел всеобщую любовь совершенно иным путем; он награждал офицеров лишь после нескольких отличий, а потому всякая награда, полученная по его ходатайству, ценилась весьма высоко. Жестокое, по-видимому, обращение его с туземцами было лишь следствием необходимости и глубокого понимания духа и характера народа, с которым ему приходилось иметь дело…

Оставя Кавказ вскоре после изгнания персиян из наших пределов, он мог утешаться мыслью, что ему была Россия обязана сохранением края, стоившего ей уже много крови и усилий. Таково было поприще одного из замечательнейших деятелей великой наполеоновской эпохи; хотя судьба не дозволила ему, совершив ряд кампаний, одержать самому большие победы; но решительность и проницательность, выказанные им в самые критические минуты великих войн, и коим наша армия была не один раз обязана своим спасением, примерная и столь же редко встречающаяся бережливость относительно казенных денег и людей, умение увлекать за собою тысячи людей одними высокими качествами ума и сердца и побуждать их к благотворной деятельности, справедливо стяжали ему завидную славу и искреннее уважение современников. Ни один почти начальник не внушал, подобно А.П. Ермолову, своим подчиненным такого глубокого уважения, безграничной преданности и боязни ослушаться его приказаний»[140].

Ермолов дважды делал представление Александру I о назначении Давыдова командующим на Кавказскую линию. И дважды получал отказ: при дворе Давыдову не могли простить устойчивой репутации вольнодумца и фрондера. Из-за этого вспыльчивый поэт-гусар вышел в отставку и вернулся в армию лишь с воцарением Николая. Он храбро дрался с персами, но после удаления Ермолова Давыдов отпросился в отпуск «к кавказским целительным водам», а затем и совсем покинул Кавказ.

«Меня обвиняют, – горько жаловался он в одном из писем, – в преданности Алексею Петровичу, который в течение всей своей службы успел внушить к себе во всех своих подчиненных неимоверную любовь и уважение»[141]. В своем последнем письме к «почтенному брату» Давыдов просил содействия Ермолова в деле, о котором долго хлопотал – перенесении праха Багратиона на Бородинское поле.

Денис Давыдов прославился не только как поэт и партизан, но и как прекрасный военный писатель и мемуарист. Многое повидав на своем боевом веку, он называл себя живым лексиконом (то есть словарем) «как людей, так и происшествий от Аустерлица до последней Персидской войны». Со слов Ермолова (Давыдов приходился ему двоюродным братом) и Платова он составил собрание анекдотов или, иначе говоря, занимательных историй, реально случившихся с различными известными лицами. Мы выбрали оттуда несколько эпизодов, рисующих характер атамана, так сказать, вне строя:

При Павле Ермолов отбывал ссылку в Костроме. «Здесь Алексей Петрович встретился и долго жил с знаменитым впоследствии Матвеем Ивановичем Платовым, имевшим уже восемь человек детей. Платов, уже украшенный знаками св. Анны 1-й степени, Владимира 2-й степени, св. Георгия 3-го класса, был сослан по следующей причине: государь, прогневавшись однажды на генерал-майоров Трегубова, князя Алексея Ивановича Горчакова и Платова, приказал посадить их на главную дворцовую гауптвахту, где они оставались в течение трех месяцев. Платов видел во время своего ареста следующий сон, который произвел на него сильное впечатление: «Закинув будто бы невод в Неву, он вытащил тяжелый груз; осмотрев его, он нашел свою саблю, которая от действия сырости покрылась большою ржавчиною». Вскоре после того пришел к нему генерал-адъютант Ратьков… Ратьков принес, по высочайшему повелению, Платову его саблю, которую Платов вынул из ножен, обтер об мундир свой и воскликнул: «Она еще не заржавела, теперь она меня оправдает…» Ратьков, видя в этом намерение бунтовать казаков против правительства, воспользовался первым встретившимся случаем, чтобы донести о том государю, который приказал сослать Платова в Кострому. Между тем Платов, выхлопотавший себе отпуск, отправился чрез Москву на Дон, но посланный по высочайшему повелению курьер, нагнав его за Москвой, повез в Кострому.

Однажды Платов, гуляя вместе с Ермоловым в этом городе, предложил ему, после освобождения своего, жениться на одной из своих дочерей; он, в случае согласия, обещал назначить его командиром Атаманского полка. Платов, изумлявший всех своими практическими сведениями в астрономии, указывая Ермолову на различные звезды небосклона, говорил: «Вот эта звезда находится над поворотом Волги к югу; эта – над Кавказом, куда мы бы с тобой бежали, если бы у меня не было столько детей; вот эта над местом, откуда я еще мальчишкою гонял свиней на ярмарку».

Вскоре Платов был прощен и вызван в Петербург. Так как он был доставлен в Петербург весьма поздно вечером, то его, по приказанию Лопухина, свезли на ночь в крепость, где он был посажен рядом с врагом своим графом Денисовым. Так как государь должен был принимать его на другой день, то он, за неимением собственного мундира, надел мундир Денисова, с которого спороли две звезды. Государь был весьма милостив к Платову, получившему приказание следовать чрез Оренбург в Индию…

Князь Багратион, имевший всегда большое влияние на Платова, любившего предаваться пьянству, приучил его в 1812 году к некоторому воздержанию от горчишной водки – надеждой на скорое получение графского достоинства. Платов часто осведомлялся у Ермолова, не привезен ли был в числе бумаг указ о возведении его в графское достоинство. Ермолову долгое время удавалось обманывать Платова, но атаман, потеряв наконец всякую надежду быть графом, стал ужасно пить; он был поэтому выслан из армии в Москву; Кутузов же, отправляясь в армию, вызвал его опять туда и в октябре того года доставил ему графский титул»[142].

«Ваша слава принадлежит России…»

Под пушкинским пером Кавказ из геополитической абстракции быстро превращался в обетованную землю русской поэзии – «ужасный край чудес», пугающий и прекрасный одновременно. Первый биограф поэта П.И. Бартенев передавал со слов Марии Раевской, что жизнь на Кавказе – «вольная, заманчивая и совсем не похожая на прежнюю, эта новость и нечаянность впечатлений, жизнь в кибитках и палатках, разнообразные прогулки, ночи под открытым южным небом и кругом причудливые картины гор, новые, невиданные племена, аулы, сакли и верблюды, дикая вольность горских черкесов, а в нескольких часах пути упорная, жестокая война с громким именем Ермолова, – все это должно было чрезвычайно как нравиться молодому Пушкину»[143].

Ермолов надолго попал в круг творческого внимания поэта. Сообщая в письме к брату Льву о своей жизни на юге, он упомянул и прославленного генерала. И хотя в этих строках не обнаруживается еще поэтических намерений, но контекст, окружающий имя «проконсула», весьма многозначителен: «Кавказский край, знойная граница Азии, любопытен во всех отношениях. Ермолов наполнил его своим именем и благотворным гением. Дикие черкесы напуганы; древняя дерзость их исчезает. Дороги становятся час от часу безопаснее, многочисленные конвои – излишними. Должно надеяться, что эта завоеванная сторона, до сих пор не приносившая никакой существенной пользы России, скоро сблизит нас с персиянами безопасною торговлею…».

Пылкое воображение влечет поэта гораздо дальше «знойной границы Азии», и если здесь еще не говорится прямо, что успехи «в будущих войнах» для него связаны прежде всего с Ермоловым, то очень скоро в эпилоге «Кавказского пленника» Пушкин именно ему предречет роль покорителя Кавказа:

Но се – Восток подъемлет вой!..
Поникни снежною главой,
Смирись, Кавказ: идет Ермолов!
И смолкнул ярый крик войны:
Все русскому мечу подвластно…

Предсказание поэта не оправдалось. Когда в 1829 году он предпринял новую поездку на юг, то Ермолов был уже не у дел, в опале, а Кавказ все еще оставался неусмиренным. Здесь начинало разгораться жаркое пламя газавата. Но писать о Кавказе и обойтись без Ермолова было невозможно. «Кончилась ли у вас война? – спрашивал Пушкин в письме к брату, служившему тогда в Тифлисе. – Видел ли ты Ермолова и каково вам после него?» Поэт проделал двести лишних верст пути и заехал в Орел, чтобы познакомиться с пребывающим в отставке генералом (о чем рассказал на первых же страницах «Путешествия в Арзрум»). Описывая встречу, Пушкин даже в деталях постарался подчеркнуть по-прежнему важную для него неразрывность двух тем – «Кавказ» и «Ермолов»: «Он был в зеленом черкесском чекмене. На стенах его кабинета висели шашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе. Он, по-видимому, нетерпеливо сносит свое бездействие».

Самый известный портрет Ермолова был выполнен английским художником Джорджем Доу для Военной галереи Зимнего дворца. Именно об этом портрете вспомнил Пушкин, рассказывая о личной встрече с пребывающим в отставке проконсулом Кавказа: «С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные, серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что неестественна. Когда же он задумывается и хмурится, то становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом». Вариант этого портрета, где герой изображен на фоне Кавказских гор, на его плечи накинута черкесская бурка, а левая рука опирается на восточную саблю, был весьма популярен благодаря гравюре, сделанной с него Теодором Райтом.

Вполне вероятно, что Пушкин видел в Ермолове героя своих будущих произведений. Удовлетворив свои исторические интересы в созданных образах Петра и Пугачева, он искал возможности запечатлеть и современную ему личность исторического масштаба. В том, что поэт именно так подходил к оценке Ермо-

лова, сомневаться не приходится: в его письмах дважды встречается весьма характерное в этом отношении (хотя и косвенное) сопоставление Ермолова с Наполеоном. Сохранилось черновое письмо Пушкина за апрель 1833 года, в котором он высказывает намерение быть историком генерала: «Собирая памятники отечественной истории, напрасно ожидал я, чтобы вышло, наконец описание Ваших закавказских подвигов. До сих пор поход Наполеона затемняет и заглушает все – и только некоторые военные люди знают, что в то же самое время происходило на Востоке... Ваша слава принадлежит России, и Вы не вправе ее утаивать. Если в праздные часы занялись Вы славными воспоминаниями и составили записки о своих войнах, то прошу Вас удостоить меня чести быть Вашим издателем. Если же Ваше равнодушие не допустило Вас сие исполнить, то я прошу Вас дозволить мне быть Вашим историком...».

Здесь Пушкин имеет в виду итальянский поход Наполеона 1796 года. На Востоке, как мы знаем, в это время русские войска, в составе которых находился и Ермолов, брали штурмом Дербент. Это сопоставление не покажется случайным, если мы вспомним, что и в письме к брату Льву от 24 сентября 1820 года, оценивая роль Ермолова, Пушкин, спустя всего несколько строк замечает, что покоренный Кавказ «не будет нам преградою в будущих войнах – и, может быть, сбудется для нас химерический план Наполеона в рассуждении завоевания Индии». Позднее, пережив какое-то разочарование, Пушкин отказался от своих намерений и в дневниковой записи назвал Ермолова «великим шарлатаном» – как полагают, из-за склонности последнего к политическим интригам.

Близкий друг Пушкина Петр Вяземский ставил в вину поэту то, что, упомянув в эпилоге «Кавказского пленника» имена Котляревского и Ермолова, тот «окровавил последние стихи своей повести». Взгляд Вяземского на кавказские события резко отличался от восторженных, панегирических строк пушкинского эпилога. «Что за герой Котляревский, Ермолов? – риторически вопрошал он в одном из писем. – Что тут хорошего, что он *Как черная зараза губил, ничтожил племена*? От такой славы кровь стынет в жилах и волосы дыбом становятся. Если мы просвещали бы племена, то было бы что воспеть. Поэзия – не союзница палачей: политике они могут быть нужны, – и тогда суду истории решить, можно ли ее оправдывать или нет; но гимны поэта никогда не должны быть славословием резни. Мне досадно на Пушкина: такой восторг – настоящий анахронизм»[144].

Поздняя критика пыталась сгладить этот упрек: воспевая покорителей Кавказа, Пушкин якобы лукавил, и «эпилог «Кавказского пленника» был написан с дипломатическим расчетом – подействовать на власти и подготовить возможность возвращения из ссылки». Но едва ли Пушкин заслуживает подобных упреков, едва ли нуждается и в оправданиях. Истекшее время показало, что его «Кавказский пленник» – это гениально начертанный пролог к трудной и горькой теме, продолжением которой явились «Валерик» Лермонтова и кавказские рассказы Льва Толстого.

«Один из самых умнейших и благонамереннейших людей в России»

«Поэты суть гордость нации», – так говорил сам Ермолов, и поэты, по-видимому, платили ему взаимностью. В большом стихотворении «Певец во стане русских воинов», посвященном героям 1812 года, Жуковский назвал его «витязем юным», причем вполне справедливо, так как 35-летний Ермолов был тогда заметно моложе остальных наших полководцев.

Этим же поэтическим выражением – «витязь юный» – воспользовался потом и Рылеев, а в оде на день тезоименитства великого князя Александра Николаевича (будущего императора Александра II) он вновь упомянул Ермолова – уже как победоносного покорителя Кавказа:

Проникнут силою рассказа,
Он за Ермоловым вослед
Летит на снежный верх Кавказа
И жаждет славы и побед.

После грозного пушкинского императива («Смирись, Кавказ: идет Ермолов!») трудно было найти более впечатляющую поэтическую формулу, и Полежаев в поэме «Чир-Юрт» во многом повторяет его интонацию и лексику:

Ермолов, грозный великан
И трепет буйного Кавказа!
Ты, как мертвящий ураган,
Как азиатская зараза,
В скалах злодеев пролетал;
В твоем владычестве суровом,
Ты скиптром мощным и свинцовым
Главы Эльбруса подавлял!

Грибоедов несколько лет служил на Кавказе секретарем «по дипломатической части» при Ермолове и считал его «одним из самых умнейших и благонамереннейших людей в России». Получив в крепости Грозной приказ об аресте Грибоедова по делу о 14 декабря, Ермолов предупредил об этом поэта, и тот успел сжечь все опасные бумаги. В письме к Кюхельбекеру в ноябре 1825 года он дал своему патрону восторженную характеристику («…патриот, высокая душа, замыслы и способности точно государственные, истинно русская, мудрая голова»), но здесь же, впрочем, проницательно и заметил: «Это не помешает мне когда-нибудь с ним рассориться…» Слова Грибоедова вполне оправдались, не более чем через год в письме к Бегичеву он сообщал: «С А.П. у меня род прохлаждения прежней дружбы…». И, словно оправдываясь, строчкой ниже поставил свой, можно казать, хронологический диагноз: «Старик наш человек прошедшего века». Ермолов же, в свою очередь, знаменитую комедию находил скучной (Пушкину сказал, что от стихов Грибоедова «скулы болят») и до конца дней хранил к ее автору неприязненное отношение. Мемуарист передает эпизод, когда негативная оценка Грибоедова, высказанная Ермоловым публично, тут же нашла столь же публичный отпор. При громадном авторитете Ермолова в московском обществе тех лет эту дерзость полагалось бы считать невероятной, если бы не личность его неожиданного оппонента. «Чаадаев пересказывал, – вспоминает современник, – будто Ермолов во дни своего величия, во дни командования на Кавказе и сношений с персидским правительством, был почему-то Грибоедовым недоволен, а потом позволил себе, уже после его умерщвления, клеветать на его нравственный характер. Будто бы в Москве, в разговоре, в довольно многолюдном обществе, он сказал, что «Грибоедов был человек черный», и тут же был Чаадаевым остановлен словами: «Кто же этому поверит, Алексей Петрович?» Если это правда, кто помнит личность Ермолова, конечно, ни на минуту не усомнится, что такого противоречия Ермолов Чаадаеву никогда не простил…»[145].

Сколь скупыми, столь же сильными чертами психологический портрет Ермолова нарисовал в «Былом и думах» А.И. Герцен: «Его насупленный, четвероугольный лоб, шалаш седых волос и взгляд, пронизывающий даль, придавали красоту вождя, состаревшегося в битвах…».

«С Тифлисом при Ермолове, его диктатурой и кровавым усмирением Кавказа…»

Лермонтов всегда питал к «проконсулу Кавказа» почтительное уважение. В то время, когда он писал «Героя», Ермолов давно пребывал в опале, и появление его имени на первых же страницах романа могло выглядеть вызывающе. Тем не менее, оно прозвучало здесь дважды: в устах Максима Максимыча и в рассуждениях автора по поводу ермоловского креста на Военно-Грузинской дороге. Более того, описывая Пятигорск в повести «Княжна Мери», Лермонтов из множества водных лечебниц предпочел упомянуть только Ермоловские ванны. Вот строки из журнала Печорина: «В одиннадцать часов утра, – час, в который княгиня Лиговская обыкновенно потеет в Ермоловской ванне, – я шел мимо ее дома». Новенький, чистенький городок, каким мы видим Пятигорск в лермонтовском романе, многим обязан кавказскому главкому, прекрасно понимавшему значение этой лечебной базы для войск Отдельного Кавказского корпуса. Именно Ермолов положил начало продуманному и планомерному устройству курортной местности. В стихотворении, написанном здесь еще в 1820 году, Пушкин отметил присутствие на водах и «юных ратников на ранних костылях». Так же и Печорин замечает у источника, что «несколько раненых офицеров сидели на лавке, подобрав костыли, бледные, грустные». Когда в 1826 году в городе началось строительство каменного здания Николаевских ванн, то под фундамент была заложена плита с высеченным на ней именем Ермолова. В Пятигорске и по сей день одно из лучших ванных зданий носит название Ермоловских.

О прославленном полководце Лермонтов ностальгически вспомнил и в самом большом своем батальном стихотворении «Валерик»:

Вот разговор о старине
В палатке ближней слышен мне;
Как при Ермолове ходили
В Чечню, в Аварию, к горам;
Как там дрались, как мы их били,
Как доставалось и нам…

Некоторые кавказские события, связанные с Ермоловым, нашли отражение в поэме Лермонтова «Мцыри». Не многие, думается, из современных русских читателей догадываются, что Мцыри, один из самых ярких и любимых персонажей отечественной литературы, по национальности – чеченец! Написав когда-то в детстве, в подражание Пушкину, «Кавказского пленника», теперь Лермонтов совершенно ситуацию перевернул: пленником у него становится не русский, а горец. Мцыри, конечно, чеченец не этнический, а, можно сказать, литературный. Для Белинского он – «пленный мальчик черкес» (черкесами тогда часто называли всех горцев),

у Шевырева – «чеченец, запертый в келью монаха», сам Лермонтов нигде в тексте поэмы об этом определенно не говорит, но по ряду деталей можно все-таки судить и о национальной принадлежности героя. Вспомним еще раз сцену поединка с барсом и слова Мцыри: «Как будто сам я был рожден в семействе барсов и волков…» Все это замечательно перекликается со строками «илли» – чеченской героической песни:

Мы родились той ночью,
Когда щенилась волчица,
А имя нам дали утром
Под барса рев заревой…
Перевод Николая Тихонова.

По одной из версий, в поэме отразилась судьба художника Петра Захарова. По рождению Захаров чеченец, его родной аул Дады-Юрт был уничтожен русскими войсками, и почти все жители перебиты. Облитого кровью трехлетнего ребенка, взятого из рук умирающей матери, солдаты доставили Ермолову, о чем потом в поэме «Мцыри» и упомянул Лермонтов:

Однажды русский генерал
Из гор к Тифлису подъезжал;
Ребенка пленного он вез…

Первоначально он избрал эпиграфом к поэме французское изречение: «On n'a qu' une seule patrie» (родина бывает только одна), но в последствии заменил его строкой из Библии. Пленника Ермолов крестил и передал под присмотр казаку Захару Недоносову, откуда пошла и фамилия – Захаров. Когда ребенок подрос, его взял на воспитание двоюродный брат Ермолова – П.Н. Ермолов, командир пехотной дивизии. Обнаружив незаурядные способности Захаров, учился в Петербургской академии художеств, стал известным живописцем, за портрет Ермолова был удостоен звания академика. На портрете Ермолов изображен как человек своей эпохи, а вернее, как человек и эпоха, то есть личность столь же грандиозная, как Кавказские горы за его спиной, а эпоха – столь же грозная, как черное грозовое небо над ними.

Чеченец, ставший русским художником, – это судьба, и рукой судьбы тут послужил сам Ермолов, может быть, не слишком доброй рукой, так как аул Дады-Юрт был уничтожен именно по его приказу. Картину художник подписал так, как и обычно это делал: «П. Захаров, из чеченцев». С трех лет не слышавший родной речи, выросший в русской семье и воспитанный в лоне русской культуры, он упорно выводил всякий раз на законченном полотне: чеченец. Родина бывает только одна.

Получив в начале 1841 года отпуск, поэт по дороге с Кавказа завез Ермолову частное письмо от его бывшего адъютанта П.Х. Граббе (в то время командовавшего войсками Кавказской линии). Вскоре по личным впечатлениям Лермонтов создает образ генерала – покорителя Кавказа в стихотворении «Спор»:

И испытанный трудами
Бури боевой,
Их ведет, грозя очами,
Генерал седой…

«Спор» – стихотворение странное. Лермонтов видит происходящее с какой-то очень высокой точки, не сопоставимой даже с физической высотой спорящих Казбека и «Елбруса», буквально космической, охватывая взглядом чуть не полмира от Урала до Нила. Странность же его в том, что после пронзительных, щемящих, облитых кровью строк «Валерика» здесь тон у Лермонтова совсем другой: он если и не приветствует неотвратимого, «страшно-медленного», завораживающего движения неисчислимых русских полков на Кавказ, то, во всяком случае, не имеет сомнения ни относительно моральной оправданности этого нашествия, ни относительно его победоносного исхода. Ермолов здесь узнаваем, хотя и не назван по имени, но Ермолов или кто-то другой – разве у русских мало боевых генералов?

В очерке «Кавказец» Лермонтов также нашел повод упомянуть имя Ермолова. Речь здесь идет о кавказской бурке, «прославленной Пушкиным, Марлинским и портретом Ермолова». Замечание как будто не слишком весомое, но, как говорится, важен сам факт, а во-вторых, даже это беглое, как бы вскользь, упоминание носит принципиальный характер: бурка – несомненный предметный символ Кавказа, и на самом известном своем портрете Ермолов предстал перед современниками именно в бурке.

С именем Ермолова был связан и неосуществленный замысел Лермонтова – написать крупное произведение в прозе, составленное из двух или трех романов. В рецензии на второе издание «Героя нашего времени» (и, можно сказать, рецензии посмертной, так как Белинский выписал для нее из «Одесского вестника» первое печатное сообщение о гибели Лермонтова в Пятигорске) критик передал, со слов самого поэта, намерение последнего написать три романа из русской жизни:

«Лермонтов немного написал – бесконечно меньше того, сколько позволял ему его громадный талант. Беспечный характер, пылкая молодость, жадная впечатлений бытия, самый род жизни – отвлекали его от мирных кабинетных занятий, от уединенной думы, столь любезной музам; но уже кипучая натура его начала устаиваться, в душе пробуждалась жажда труда и деятельности, а орлиный взор спокойнее стал вглядываться в глубь жизни. Уже затевал он в уме, утомленном суетою жизни, создания зрелые; он сам говорил нам, что замыслил написать романическую трилогию, три романа из трех эпох жизни русского общества (века Екатерины II, Александра I и настоящего времени), имеющие между собою связь и некоторое единство, по примеру куперовской тетралогии, начинающейся «Последним из могикан», продолжающейся «Путеводителем в Пустыне» и «Пионерами» и оканчивающейся «Степями»...»[146].

О характере содержания этой «романической трилогии» судить предельно трудно, если не сказать – невозможно. Единственной подсказкой тут может служить уподобление ее серии романов Ф. Купера*. Для самого Белинского это имя значило очень много. Он был не только страстным читателем и почитателем Купера. Произведения американца служили для него определенным эстетическим мерилом, и Белинский не раз упоминал его в ряду других, очень немногих, представителей «высшей художественной поэзии» – таких как Гомер, Шекспир, Байрон, Шиллер и Пушкин. «Живя в Пятигорске, – замечает критик в одном из своих писем с юга в 1837 году, – я перечел множество романов и между ними несколько Куперовых, из которых вполне понял стихии северо-американских обществ...»[147].

Круг чтения Лермонтова также был невероятно широк. Но никаких замечаний о Купере он не оставил. О его интересе к американскому романисту мы можем судить только со слов Белинского. О задуманной Лермонтовым трилогии тот узнал, вероятнее всего, во время их встречи в апреле 1840 года в Ордонанс-гаузе, где Лермонтов находился под арестом за дуэль с де Барантом. Подробности этого свидания Белинский вскоре изложил в письме к В.П. Боткину, в котором среди прочего заметил следующее: «Я был без памяти рад, когда он сказал мне, что Купер выше В.Скотта, что в его романах больше глубины и больше художественной целостности. Я давно так думал и еще первого человека встретил, думающего так же»[148].

Об этой встрече поэта и критика вспоминает И.И. Панаев, передающий восхищенные слова Белинского: « Я в первый раз видел настоящего Лермонтова, каким я всегда желал его видеть. Он перешел от Вальтер Скотта к Куперу и говорил о Купере с жаром, доказывал, что в нем несравненно более поэзии, чем в Вальтер Скотте, и доказывал это с тонкостью, с умом и – что удивило меня – даже с увлечением. Боже мой! Сколько эстетического чутья в этом человеке! Какая нежная и тонкая поэтическая душа в нем!..»[149].

Купер писал о наступлении европейской цивилизации на северо-американский континент, захвате новых земель и борьбе белых с коренным населением – индейцами. То, что Белинский сравнивал замысел Лермонтова (если только сравнение не принадлежит самому поэту) именно с этой серией куперовских романов, позволяет нам сделать осторожное, но важное предположение. Для Лермонтова подобной ареной столкновения европейского прогресса с первобытной вольностью диких племен мог служить только Кавказ. В таком случае олицетворением грозной, всеподавляющей силы русских в этом крае оказался бы именно Ермолов. И все это в значительной мере подтверждается словами М.П. Глебова, приятеля Лермонтова и секунданта на его последней дуэли. Приводим его рассказ в передаче П.К. Мартьянова:

«Всю дорогу от Шотландки до места дуэли Лермонтов был в хорошем расположении духа. Никаких предсмертных разговоров, никаких посмертных распоряжений от него Глебов не слыхал. Он ехал как будто на званый пир какой-нибудь. Все, что он высказал за время переезда, это – сожаление, что он не мог получить увольнение от службы в Петербурге и что ему в военной службе едва ли удастся осуществить задуманный труд. «Я выработал уже план, – говорил он Глебову, – двух романов: одного из времен смертельного боя двух великих наций, с завязкою в Петербурге, действиями в сердце России и под Парижем и развязкою в Вене, и другого из кавказской жизни, с Тифлисом при Ермолове, его диктатурой и кровавым усмирением Кавказа, персидской войной и катастрофой, среди которой погиб Грибоедов в Тегеране, и вот придется сидеть у моря и ждать погоды, когда можно будет приниматься за кладку их фундамента. Недели через две уже нужно будет отправляться в отряд, к осени пойдем в экспедицию, а из экспедиции когда вернемся!»[150].

В каком бы направлении ни развивался лермонтовский замысел, Ермолов в любом случае мог оказаться сквозным и, если не главным, то одним из самых значительных персонажей трилогии. Если говорить о Кавказе, то важнейшим событием здесь в век Екатерины был поход графа Зубова, в котором принимал участие и Ермолов. В царствование Александра Россия выдержала долгую и трудную борьбу с Наполеоном, Москва была сожжена, но русские войска дошли до Парижа. Тогда предполагалось, что Ермолов примет в командование наш оккупационный корпус, оставленный во Франции. Однако этого не случилось, и он, герой

* Книги Джеймса Фенимора Купера (1789–1851) в России стали известны во французских и русских переводах с середины 1820-х годов. Наиболее популярен цикл его романов о Кожаном Чулке – Натти Бумпо. Здесь они перечислены согласно последовательности повествования: «Зверобой» (1841, русский перевод – 1848), «Последний из могикан» (1826, русский перевод – 1833), «Путеводитель в Пустыне» (1840, русский перевод – 1841; в дальнейшем известен под названием «Следопыт»), «Пионеры» (1823, русский перевод – 1832), «Степи» (1827, русский перевод – 1829; в дальнейшем известен под названием «Прерия»).

Бородина, оказался уже полновластным «проконсулом Кавказа». При Николае картина совершенно переменилась, и Ермолов был отсюда удален, но память о нем и его авторитет в кавказских войсках оставались непоколебимы. Вспомним, как приосанился лермонтовский Максим Максимыч, упомянув о своей службе «при Алексее Петровиче». Одна из самых внушительных фигур в нашей истории XIX века, Ермолов был бы достоин лучших страниц и нашей великой литературы, но судьба и тут отвернулась от него: выстрел дуэльного пистолета поставил безжалостную точку в так и не написанном романе.

С чувством горького сожаления Ермолов отозвался на известие о гибели Лермонтова: «Можно позволить убить всякого другого человека, будь он вельможа и знатный: таких завтра будет много, а этих людей не скоро дождешься!»[151]. И еще выразился в том смысле, что будь это в его времена, то он нашел бы случай спровадить Мартынова на верную смерть.

«Был всегда только интригант и никогда не был патриотом»

Несколько месяцев в тифлисской канцелярии Ермолова прослужил Вильгельм Кюхельбекер. Он посвятил оду «своему герою» и до конца дней причислял себя к «ермоловцам». Рылеев в стихотворении «А.П. Ермолову» призывал его «спасать сынов Эллады», то есть во главе войск спешить на помощь грекам, поднявшим восстание против владычества турок.

Среди декабристов Ермолов пользовался огромной популярностью. Его считали либералом и связывали с ним определенные надежды – совершенно неоправданные, о чем впоследствии с горечью писал декабрист Н.Р. Цебриков: «Ермолов мог предупредить арестование стольких лиц и казнь пяти мучеников; мог бы дать России конституцию, взяв с Кавказа дивизию пехоты, две батареи артиллерии и две тысячи казаков, пойдя прямо на Петербург… Помещики-дворяне не смогли бы пикнуть и все до одного присоединились бы к грозной армии, ведомой любимым полководцем. Это было бы торжественное шествие здравого ума, добра и будущего благополучия России… Но Ермолов, имея настольною книгою Тацита и комментарии на Цесаря, ничего в них не вычитал, был всегда только интригант и никогда не был патриотом»[152].

Декабрист Александр Бестужев, переведенный из Сибири рядовым в кавказские войска, Ермолова здесь уже не застал, но представлял его себе, как и все старые кавказцы, в немеркнущем ореоле, считая, что его «слава ярче Искендеровой и шах-Надировой за Кавказом». В четырех первых книжках «Московского телеграфа» за 1832 год Бестужев напечатал повесть «Аммалат-Бек», снабдив название особым подзаголовком – «кавказская быль». Более того, добавил потом пространное примечание, в котором разъяснял читателям, что в повести взято из жизни, а что является плодом его художественных усилий: «Описанное выше происшествие не выдумка. Имена и характеры лиц сохранены в точности: автору повести остается только сказать несколько слов насчет изменения истины в некоторых подробностях.

Аммалат-Бек, участвовавший в нескольких набегах на русские владения, был выдан головою приведенными в покорность акушинцами самому главнокомандующему Кавказским корпусом генералу от инфантерии Ермолову, в бытность его в Акуше, 1819 года. Автор заставил его сделать впадение с чеченцами за Терек, чтобы вставить картину горского набега.

Полковник Верховский, находившийся тогда в качестве свитского офицера при главнокомандующем, упросил его помиловать Аммалат-Бека и взял с собою в Тифлис, учил его, воспитал его, любил его как брата. С ним, после многих походов, приехал Аммалат в 1822 году и в Дербент, когда по смерти полковника Швецова Верховского назначили командиром Куринского пехотного полка. Убил он своего благодетеля в 1823 году точно так, как описано. Читатель заметит, что автор, не желая растянуть повесть на четыре года, сжал происшествие в два года. Просим у хронологов извинения.

Что касается до завязки повести, она целиком досталась автору из рук молвы, и он не счел за необходимое объявлять на иные главы своего сомнения. Пылкие страсти здесь вовсе не редкость, а мщение – святыня для каждого мусульманина: это канва. Досужая рука могла вышивать на ней какие угодно арабески…»[153].

Бестужев не был очевидцем описанных им событий, не застал он на Кавказе и смещенного Николаем Ермолова, но в повести все дышит достоверностью: писатель изобразил Кавказ таким, каким видел его сам. «Пылкая страсть» – это любовь молодого и знатного горца Аммалат-Бека к дочери аварского хана Селтанете. Ради руки прекрасной избранницы Аммалат, подстрекаемый ханом, злодейски застрелил своего благодетеля полковника Верховского, некогда спасшего его от верной смерти. В доказательство исполненного убийства он доставил хану отрубленную голову полковника, но и самого хана застал уже на смертном одре. Селтанета, потрясенная низким предательством Аммалата, отвергает его. Он долго скрывался в горах и голову сложил в бою с русскими при штурме Анапы.

Кое-что об этой истории сообщает в своих «Записках» и генерал А.П. Ермолов: «Находившийся при полковнике Верховском родной племянник и зять шамхала Умалат-бек, которому благодетельствовал он в продолжение 3-х лет, воспользовавшись отдалением его от войск, убил его выстрелом из ружья и скрылся в горы. Точной причины гнусного злодейства сего неизвестно. Некоторые думают, что оно было следствием

заговора с аварским бывшим ханом, с которым убийца имел сношения с позволения г. Верховского. Другие полагают, что, отчаявшись в примирении с шамхалом, с которым он был во вражде за развод с дочерью его, что между знатными мусульманами почитается величайшим бесчестьем, подозревал он, что полковник Верховский тому препятствует, и будто, подозревая перемену его к себе прежнего расположения, боялся, чтобы начальство не имело насчет его сомнения»[154]. Возвращаясь памятью к недавней старине, грозный «проконсул Кавказа» больше всего, вероятно, сожалел о том, что в свое время, уступив уговорам Верховского, не велел повесить Аммалата и не сберег тем самым жизнь своего офицера. Так или иначе, изображенные события передают довольно напряженную ситуацию, сложившуюся тогда в феодальном Дагестане, и нарастающее сопротивление горцев русским властям на Кавказе, самый разгар которого застал здесь уже сам Бестужев.

В повести «Аммалат-Бек» писатель нарисовал впечатляющую сцену, о которой, вероятно, слышал от очевидцев – Ермолов, подобно былинному герою, одним ударом сабли отсекает голову буйволу: «Алексей Петрович, как ни был уверен в своей силе, но, подобно Улиссу в «Одиссее», намазывающему елеем лук свой, которого никто не мог натянуть, сперва попытал лезвие, раза три махнул саблей в воздухе и потом уже приступил к делу. Закладчики не успели ударить по рукам, как голова буйвола вонзилась рогами в землю. Удар был так быстр и верен, что туловище несколько минут стояло на ногах и потом тихо, тихо рухнуло. Крик изумления вырвался у всех».

«Преданность, которую он внушал, была беспредельна»

Павел Христофорович Граббе в молодые годы был адъютантом Ермолова. Впоследствии дослужился до генеральских погон и командовал войсками на Кавказской линии. В 1839 году он блокировал и взял Ахульго – горное гнездо Шамиля, а в 1840 лично возглавил Чеченский отряд, в составе которого находился и Лермонтов. Его записки не откроют нам даровитого литератора, но там, где речь идет о Ермолове, стиль Граббе блещет истинным вдохновением. Мы приведем оттуда несколько самых примечательных мест:

«...Наступил важный день моей жизни: А.П. Ермолов взял меня к себе в адъютанты с переводом в конную артиллерию, в свою роту.

При этом имени я невольно остановился. И теперь, по истечении сорокалетнего периода, в продолжение которого Россия сперва должна была отстоять свою целость, потом двинулась на избавление Европы от ига Наполеона, наконец утвердила свое нынешнее могущество, периода, в котором столько людей необходимо должны были возникнуть, обратить на себя общее внимание, несмотря на то, что некоторые из них по званию и значению роли в событиях займут место гораздо высшее, но в памяти народной, кроме, быть может, Кутузова, ни один не займет такого важного места. Это тем замечательнее, что главнокомандующим, кроме Грузии и Кавказа, в европейских войнах он не был, хотя народная молва всякий раз в трудных обстоятельствах пред всеми его назначала. Народность его принадлежит очарованию, от него лично исходившему на все его окружавшее, потом передавалось неодолимо долее и не знавшим его, напоследок распространилась на всю Россию во всех ее сословиях и, хотя ослабленная многолетним его устранением, живет и поныне в народе.

Наружность его была значительна и поражала с первого взгляда. Рост высокий, профиль римский, глаза небольшие, серые, углубленные, но одаренные быстрым, проницательным взглядом, голос приятный, необыкновенно вкрадчивый; дар слова редкий, желание очаровать всех и каждого иногда слишком заметное, без строгого разбора как самих лиц, так и собственных выражений. Это последнее свойство, без меры развиваемое, привязало к нему множество людей, толпе принадлежащих, и остерегло многих более внимания достойных. Впоследствии оно же дало ход едкому слову, с высока на него павшему: c'est le heros des enseignes*. Это правда, но не одних прапорщиков...

...В молодости моей я был первым его адъютантом, и совершенно отеческое его обращение со мною оставило во мне сыновнюю к нему привязанность. Я не видел его девятнадцать лет. Мы расстались в 1815 году, когда я получил конно-артиллерийскую роту. Он отправился тогда на Кавказ и послом в Персию. Взоры целой России обратились туда. Все, что излетало из уст его, стекало с быстрого и резкого пера его, повторялось и списывалось во всех концах России. Никто в России в то время не обращал на себя такого общего и сильного внимания.

Редкому из людей достался от Неба в удел такой дар поражать как массы, так и отдельно всякого наружным видом и силою слова. Преданность, которую он внушал, была беспредельна. Теперь я нашел старика, белого как лунь; огромная голова, покрытая густою сединою, вросла в широкие плечи. Лицо здоровое, несколько огрубевшее, маленькие глаза, серые, блистали в глубоких впадинах, и огромная, навсегда утвердившаяся морщина опустилась с сильного чела над всем протяжением торчащих седых его бровей. Тип русского гениального старика. Нечего бояться такой старости.

* Это – герой прапорщиков (*франц.*).

От 9-ти часов вечера до 5-ти утра мы не вставали со стульев, забыв про сон и усталость. Я не мог насытить ни глаз, ни слуха, всматриваясь и вслушиваясь в него. Какое несчастное стечение обстоятельств могло сбить со всех путей служения Отечеству такого человека, при таком государе! Он наделал ошибок: не сомневаюсь в этом. Разве это мерило такого дарования? – Между прочими предметами разговора мне случилось ему сказать, что не должно терять надежды, что в важных обстоятельствах государь вспомнит об нем и вызовет на поле деятельности. На это он отвечал, что боится последствий долгого бездействия и следственно ошибок, важных в том звании, которое ему принадлежит, – звании главнокомандующего. «Положим, что это правда, – отвечал я ему, – а мы из ошибок сделаем успех». Кто много воевал, тот поймет, что это не лесть и не нелепость. Одушевление войск есть вернейшее средство успеха, и кто более Ермолова владеет этим сильным оружием?

Дом его был неопрятен. Кабинет не только без малейшего украшения, но большой стол ничем не покрытый и несколько стульев просто белого дерева, замаранные; везде книги и карты, разбросанные в беспорядке; горшочки с клеем, кардонная бумага и лопаточки: его любимое занятие – переплетать книги и наклеивать карты. Сам он был одет в синий кафтан, толстого сукна, застегнутый на крючки, довольно неопрятный.

Беспорядочная и расстроенная жизнь необыкновенного человека!»[155].

Гордые скалы Кавказа

Гордый изгнанник выехал из Тифлиса в той же простой рогожной кибитке, в которой десять лет назад приехал сюда.

Не давая Ермолову никакой реальной власти, Николай I впоследствии вернул его на службу и назначил членом Государственного совета, отправив боевого генерала в собрание престарелых сановников. Давыдов обрисовал эту ситуацию со свойственным ему остроумием. Справляясь в письме о беспокоившей Ермолова подагре, он высказал шутливое пожелание: «Дай Бог никогда уже ей не посещать вас и возвратиться в Сенат, где ее вечная главная квартира». Ермолов (и такого случая еще не знала наша история) написал царю прошение об увольнении его от заседаний.

Он умер на 84-м году жизни и был похоронен в Орле. Перед могилой установили лампаду, устроенную из чугунной гранаты, – скромный дар с надписью: «Служащие на Гунибе кавказские солдаты». Высокогорный Гуниб – последнее пристанище Шамиля, там он был пленен спустя тридцать лет после того, как Ермолов навсегда покинул Кавказ. И все же когда Шамиля привезли в Москву и спросили, что он хочет увидеть, грозный имам не задумываясь ответил: «Прежде всего – Ермолова».

«Ермолову нет нигде памятника, – воскликнул военный историк В.А. Потто, завершив «ермоловский» том своей знаменитой «Кавказской войны». – Но гордые скалы Кавказа составляют несокрушимый пьедестал, на котором истинно русский человек вечно будет видеть величавый образ Ермолова, окруженный лучами бессмертной славы»[156].

Глава VII. «Я ехал в дальные края...»

Новой встречи с поэтом Кавказ ждал долгих девять лет. В черновиках предисловия к «Путешествию в Арзрум» Пушкин так объяснил цель своей второй поездки на юг: «В 1829 году отправился я на Кавказ лечиться на водах». Вероятно, были и другие причины, которые поэт не имел намерения выставлять на суд публики. Еще за два года до путешествия, в мае 1827 года, в письме из Москвы к брату Льву, служившему тогда в Тифлисе, Пушкин был более откровенен: «Из Петербурга поеду или в чужие края, т.е. в Европу, или восвояси, т.е. во Псков, но вероятнее в Грузию, не для твоих прекрасных глаз, а для Раевского». Поясним, что полковник Николай Николаевич Раевский-младший подвергся аресту по делу о 14 декабря, но вскоре был освобожден с очистительным аттестатом». С сентября 1826 года он пребывал в должности командира Нижегородского драгунского полка, расквартированного в Грузии.

Много позднее, в 1832 году, в черновом незавершенном отрывке Пушкин набросал поэтическую формулу, раскрывающую внутреннюю, глубоко личную суть предпринятого вояжа:

Желал я душу освежить,
Бывалой жизнию пожить
В забвеньи сладком близ друзей
Минувшей юности моей.
Я ехал в дальные края...

«Маленькая крепость у подножия пяти гор, именуемых Бештау...»

Самовольная поездка Пушкина на Кавказ и дальше в Грузию, и еще дальше – к стенам турецкого Арзрума вызвала недовольство императора Николая. Вынужденный если не оправдываться, то хотя бы формально объяснить обстоятельства этого путешествия, поэт в ноябре 1829 года обратился с письмом к Бенкендорфу:

«По прибытии на Кавказ я не мог устоять против желания повидаться с братом, который служит в Нижегородском драгунском полку и с которым я был разлучен в течение 5 лет. Я подумал, что имею право съездить в Тифлис. Приехав, я уже не застал там армии. Я написал Николаю Раевскому, другу детства, с просьбой выхлопотать для меня разрешение на приезд в лагерь. Я прибыл туда в самый день перехода через Саган-лу и, раз я уже был там, мне показалось неудобным уклониться от участия в делах, которые должны были последовать; вот почему я проделал кампанию в качестве не то солдата, не то путешественника...»

Знал Пушкин о том или нет, но в своем письме он невольно затронул нежные для Бенкендорфа струны воспоминаний. Дело в том, что в далекой молодости будущий шеф жандармов сам проделал подобное путешествие в южную сторону. В составе экспедиции генерала Е.М. Спренгпортена, посланной императором Александром для военно-стратегического осмотра России, он совершил довольно длительный вояж. Маршрут поездки пролег через Сибирь и приволжские области, а в 1803 году путешественники побывали в Казанской и Саратовской губерниях, спустились по Волге до Астрахани, затем заглянули и на Кавказ, где престарелый генерал испытал на себе действие целебных серных вод. Воспользовавшись разрешением патрона, Бенкендорф вместе с таким же молодым тогда поручиком М.С. Воронцовым (первому исполнилось двадцать, второму на год больше) отправился по Военно-Грузинской дороге в Тифлис. Полное приключений путешествие окончилось вполне благополучно, в дальнейшем оба героя в составе русских войск, предводительствуемых князем П.Д. Цициановым, участвовали в осаде Ганджи. Все это довольно подробно изложено в записках Бенкендорфа, которые он вел в течение всей жизни на французском языке. Небольшие фрагменты из них совсем недавно были переведены и опубликованы, мы приводим отрывок о посещении Кавказских вод:

«Мы направились вдоль пограничной кавказской линии и остановились в Георгиевске, главном городе Кавказской губернии. Вся эта пограничная линия защищает наши южные губернии от неспокойных и разбойных жителей Кавказских гор. Впечатляет вид этой знаменитой горной цепи, предела побед Александра Македонского и границы рабства, которое Рим навязывал народам; сколько армий нашли на Кавказе свою погибель, сколько народов вышло оттуда для того, чтобы опустошать земли, внушать уважение и вызывать удивление! Посреди этой, покрытой вечными снегами, громадной горной цепи возвышается отовсюду видимый еще более величественный Эльбрус...

Проехали в Константиногорск, маленькую крепость у подножия пяти гор, именуемых Бештау, примерно в 20 верстах от Георгиевска. Здесь находятся сернистые горячие воды, которые привлекают сюда великое множество самых разных больных. Мы оставили генерала и его супругу согревать их любовь в сере, а сами отправились еще на добрых 30 верст дальше, к минеральным водам, именуемым кислыми водами, которые имеют много сходства с водами Зельцера. Там мы обнаружили общество на водах, радушно предложившее нам разделить с ними их развлечения. Один полк стрелков и два казачьих полка охраняли здесь источники и больных и защищали их от посягательств черкесов, которые с крайним неудовольствием смотрят на это чужеземное заведение, расположенное в их горах. Здесь я познакомился с одним черкесским князем, именуемым Рослам-бек, братом Исмаил-бека, который служил в наших войсках и был в тот момент в Петербурге. Сам Рослам-бек имел чин полковника и получал довольно значительную пенсию, но поскольку он уже несколько раз воевал против нас, то большого доверия к его лояльности не было. Тем не менее, я с удовольствием принял его княжеское предложение поехать с ним на добрые 30 верст в горы, увидеть его жилище, его воинов и его сестру, которая слыла красавицей. Надо сказать, здесь почти невозможно увидеть ни одну черкешенку, а их красота столь славится, что я пренебрег предостережениями, которые мне делали, об опасности, подстерегающей русских в горах, к тому же еще несколько молодых людей присоединились к нам. Мы ехали несколько часов по горам мимо живописных селений и наконец прибыли в селение нашего князя. Он дал в нашу честь очень хороший обед на манер своей страны, показал нам своих лошадей, свое оружие и только мельком – свою сестру, у которой мы, правда, смогли рассмотреть фигуру, которая была великолепна, как у всех черкешенок – их элегантное одеяние дает возможность показать ее. Потом мы вновь оседлали коней, и по сигналу – стрелы, которую Рослам-бек самолично пустил из своего лука на невероятную высоту, более 400 черкесов в кольчугах и шлемах, вооруженных различным оружием прискакали к нам во весь опор. Это была кавалерия наивысшего уровня, самая искусная и наилучшим образом вооруженная из всех, какие только могут быть. Наблюдая с самодовольным видом, как мы любовались его войском, князь заметил нам, как бы между прочим, что у нас всего один конвой казаков. После того, как нам показали их манеру ведения боя и как точно они стреляют по цели во время скачки во весь опор из ружья, из пистолета и из лука, он так же церемониально проводил нас в наш лагерь, где все уже отчаялись вновь увидеть нас живыми и дружно укоряли нас за такое легкомыслие. Между прочим, этот самый Рослам-бек два года спустя разбил две роты наших стрелков, лишил двух пушек и объявил себя навсегда самым непримиримым врагом России»[157].

Росламбек, если и не стремился в данной ситуации захватить опрометчиво отдавшихся его власти русских офицеров, то, во всяком случае, имел полную возможность это сделать. И, судя по его словам о немногочисленном казачьем конвое, сопровождавшем наших искателей приключений, испытывал все же некоторые колебания, прежде чем окончательно перейти свой черкесский Рубикон, которым в пределах реального кавказского ландшафта служила пограничная Кубань. Имеется и продолжение этой истории. Несколько страниц измене Росламбека посвятил в первом томе «Кавказской войны» В.А. Потто, где речь идет о весенней экспедиции 1804 года генерала Г.И. Глазенапа: «С самого начала похода в русском отряде был виден кабардинский князь Росламбек Мисостов, считавшийся полковником в лейб-гвардии казачьем полку и принадлежавший к одной из лучших кабардинских фамилий. Вдруг, к общему изумлению, он скрылся из лагеря. Оказалось, что Росламбек бежал за Кубань вместе с подвластными ему аулами, и что мотивом к тому послужила канла – кровомщение за смерть родного племянника, убитого в одном из кабардинских набегов на Линию». За Росламбеком отрядили в погоню егерский полк. У Каменного моста в верховьях Кубани произошло кровопролитное сражение. Егеря вынуждены были отступить и на переправе потеряли в реке артиллерийское орудие. Росламбек неожиданно вступил в переговоры, изъявляя желание примириться и вновь служить русскому царю. Он обещал даже поднять из воды затонувшее орудие. На деле же все обернулось новой изменой и нападением из засады с большими потерями для русских. «Росламбек, – заканчивает Потто, – остался в горах и с тех пор сделался одним из самых отчаянных и бешеных абреков»[158].

Все это интересно в том отношении, что упомянутые двоюродные братья Измаил Атажуков и Росламбек Мисостов – это персонажи одной из поэм М.Ю. Лермонтова. Поэма или, как сам автор определил ее жанр, восточная повесть «Измаил-Бей» – самое крупное его стихотворное произведение, превосходящее по объему «Демона» и «Мцыри» вместе взятых. Главные герои – братья Измаил и Росламбек, черкесские князья – имеют реальных прототипов, а изображенные события – историческую подоплеку. Что касается картин природы, описания быта горцев, их вооружения, обычаев и тому подобного, тут можно использовать формулу Пушкина по отношению к его же «Пленнику» – «местные краски верны». Автор предваряет свой рассказ замечанием, что историю борьбы и смерти Измаила ему поведал на Кавказе, где-то в горах «под камнем Росламбека», какой-то старик-чеченец («Про старину мне повесть рассказал»). Действие начинает развиваться в районе Пятигорья, куда из России возвращается Измаил.

В 1825 году журнал «Отечественные записки» опубликовал список посетителей Кавказских вод. Среди прочих там значится и «Арсеньева Елизавета Алексеевна, вдова поручица из Пензы, при ней внук Михайло Лермонтов». Это первое упоминание имени поэта в печати. Побывав на Кавказе «в младенческих летах», Лермонтов получил здесь невероятный заряд впечатлений, вылившихся вскоре на страницы его первых романтических поэм.

Как прихотлива порой бывает судьба! Жизненные пути Лермонтова и Бенкендорфа не раз пересекались. Шеф жандармов ходатайствовал перед государем о возвращении поэта из первой кавказской ссылки и, более того, писал Николаю, что выполнение этой просьбы сочтет за личную для себя награду. Он же просил военного министра о переводе Лермонтова в родной для того лейб-гвардии Гусарский полк. Впоследствии отношение графа к поэту резко переменилось. Когда за дуэль с де Барантом тот был предан военному суду, то Бенкендорф остался недоволен его показаниями о преднамеренном выстреле в воздух. Он обвинял Лермонтова во лжи и «в весьма энергичных выражениях» требовал, чтобы поэт написал извинительное письмо молодому французу. Лермонтов же твердо стоял на своем. А лучше бы они поговорили о Кавказе. Им было, что поведать друг другу…

Что касается Пушкина, то он обращался с письмом к генералу еще раз, 7 января 1830 года, и высказал желание выехать за границу: «Покамест я еще не женат и не зачислен на службу, я бы хотел совершить путешествие во Францию или Италию. В случае же, если оно не будет мне разрешено, я бы просил соизволения посетить Китай с отправляющимся туда посольством». Но ни Запад, ни Восток Пушкину увидеть не довелось. Путешествие на Юг осталось главным в жизни поэта, и воспоминание о нем еще долго тревожило душу.

«Я заехал на Горячие воды…»

Вспомним, что из всего обилия пятигорских источников Пушкин особенно оценил серный горячий. Это вполне согласуется и с медицинской практикой тех лет. Так, главный врач кавказских вод Андрей Цеэ в книге, вышедшей в Петербурге в 1817 году, убежденно утверждал, что «по единогласному мнению и опыту всех врачей, бывших на Кавказе, с которыми и я по собственному замечанию согласен, мы по сие время не знаем в нашем отечестве другого средства, столь действительного в самых отчаянных случаях… как кавказские горячие воды. Ежели уже все прочие средства и разнородные меркуриальные составы тщетно употребляемы были, по известным или неизвестным нам причинам, то такие больные пользованием здешних горячих серных вод, часто без всякого другого пособия исцелялись, или по крайней мере приходили в такое состояние, что уже известными лекарствами можно было возвратить им совершенное здоровье»[159].

После первого пушкинского визита на юг здесь, на водах, в 1823 году побывал 19-летний Михаил Глинка. Много лет спустя он вспоминал, что «вид теперешнего Пятигорска в то время был совершенно дикий, но величественный: домов было мало, церквей, садов вовсе не было; но так же, как и теперь, тянулся величественно хребет Кавказских гор, покрытых снегом, так же по равнине извивался Подкумок и орлы во множестве ширяли по ясному небу»[160]. Полагают, что посещение Аджи-аула у подножия Бештау вдохновило впоследствии композитора на создание лезгинки, вошедшей в цикл восточных танцев в опере «Руслан и Людмила». Еще два года спустя у целебных ключей побывал Н.И. Гнедич.

Но вернемся к поездке Пушкина. Как отмечает поэт в путевом дневнике, он «решился пожертвовать одним днем и из Георгиевска отправился в телеге к Горячим водам». Кто знает, какие причины заставили его изменить прямой маршрут в Грузию, – скорее всего, это был зов сердца, горячее желание еще раз вдохнуть воздух юности, тех далеких и «милых сердцу дней», когда «забытый светом и молвою» он исцелял свои недуги и тревоги холодным кипятком нарзана и дружбой братьев Раевских. Что представляла собою эта часть пути, мы можем узнать из «Записок во время поездки из Астрахани в Грузию» Н. Нефедьева, побывавшего здесь всего двумя годами ранее поэта:

«По мере приближения к водам, с каждым шагом нетерпение мое возрастало, а мнимая близость гор еще более его увеличивала; ибо от самого Георгиевска, различая белизну каменьев и зелень сих гор и потому думая, что оне не далее 10 верст, я должен был ехать 40 верст! Ясный день способствовал удовлетворению нашего любопытства: горы были перед нами, по пословице, как на блюде. Чтобы удобнее наслаждаться грозным и вместе пленительным их видом, мы часто выходили из экипажей и шли пешком по душистой зелени, смешанной с различными цветами»[161].

Нечто похожее пережил когда-то и сам Пушкин, приняв во время первой встречи с Кавказом снежные вершины за неподвижные облака на краю неба. На этот раз поэт провел в Пятигорске всего лишь несколько часов и нашел на водах «большую перемену», которой молодой курорт был обязан А.П. Ермолову, прекрасно понимавшему значение этой лечебной базы для войск Отдельного Кавказского корпуса. В стихотворении, написанном здесь еще в 1820 году, Пушкин отметил присутствие на водах и «юных ратников на ранних костылях» (так же, как потом и Лермонтов в «Княжне Мери»; в Пятигорске у источника Печорин замечает, что «несколько раненых офицеров сидели на лавке, подобрав костыли, бледные, грустные»). Когда в 1826 году в городе началось строительство каменного здания Николаевских ванн, то под фундамент была заложена плита с высеченным на ней именем Ермолова. В Пятигорске и по сей день одно из лучших ванных зданий носит название Ермоловских.

Именно «проконсул Кавказа» положил начало продуманному и планомерному устройству курортной местности. «Из Георгиевска я заехал на Горячие воды, – читаем в первой главе «Путешествия в Арзрум». – Здесь нашел я большую перемену... Нынче выстроены великолепные ванны и дома. Бульвар, обсаженный липками, проведен по склонению Машука. Везде чистенькие дорожки, зеленые лавочки, правильные цветники, мостики, павильоны. Ключи обделаны, выложены камнем; на стенах ванн прибиты предписания от полиции; везде порядок, чистота, красивость... Признаюсь: Кавказские воды представляют ныне более удобностей; но не было жаль их прежнего дикого состояния...»

В наступлении цивилизации на владения «природы дикой и угрюмой» Пушкин готов был признать «естественный ход вещей», но с понятной грустью вспоминал то время, когда «ванны находились в лачужках, наскоро построенных. Источники, большею частию в первобытном своем виде, били, дымились и стекали с гор по разным направлениям, оставляя по себе белые и красноватые следы». А сам поэт черпал «кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки» и карабкался по крутым каменным тропинкам над неогороженной пропастью пятигорского Провала. Воспоминания о днях, проведенных здесь с семьей генерала Раевского, сопровождали Пушкина на обратном пути в Георгиевск. В наступавших сумерках контуры Бештау на горизонте становились все чернее, а потом растаяли в темноте. Внизу шумел по кремням Подкумок. Может быть, именно в эти минуты рождались строки:

Все тихо – на Кавказ идет ночная мгла.
Мерцают звезды надо мною.
Мне грустно и легко, печаль моя светла...

На следующее утро, покинув Георгиевск, поэт отправился в Екатериноград, откуда в то время начиналась Военно-Грузинская дорога.

Приведем еще несколько строк из упомянутой книги Нефедьева, где отмечены и замечательные нововведения на водах, и подробности курортного быта, и та роль, которую стремительно приобрела здесь за истекшие несколько лет поэзия Пушкина:

«Цепь каменного утеса по правую сторону дороги, не обещавшая конца, в одно мгновение исчезла и треугольная лощина вдавшись узким в недра Машуки, явила картину совершенно волшебную! Огромный прекрасной архитектуры дом, весь из дикого камня, устроенный от казны для гостиницы, и дом главного

доктора Конради, открыли нам правильную улицу, образованную с одной стороны вообще весьма красивыми домами, а с другой утесом, откуда горячие источники с шумом низвергаются в водопроводы новых превосходнейших ванн, сооружаемых благодетельным правительством при самой подошве утеса. Против сего единственного в своем роде здания на площади гремела военная музыка; а нарядные дамы и кавалеры прогуливались по чистой, тщательно выпланированной улице, где по средине струится кислосерный ручей, ниспадающий с горы, которая составляет оконечность селения и лощины к Машуке…

Я заметил, что все посетители вод получают здесь общее свойство любезности: они, как будто из реки Леты, пьют из здешних источников забвение житейской суетности и живут для одних чистых наслаждений. Всего приятнее видеть простоту, заменяющую тягостные этикеты; здесь первейшие в государстве люди слагают с себя внешние знаки почестей и украшаясь одними внутренними достоинствами, изгоняют скучную принужденность и одушевляют общество.

Занятия на водах у всех, кажется, одинаковы: все пациенты начинают день тем, что отправляются к ваннам Ермоловским, Варвациевским и Сабанеевским, смотря по роду болезни и по совету медика… Дороги к ваннам каждое утро наполняются проходящими: иные спешат туда, другие возвращаются закутанные в плащи и имея обыкновенно за собою людей с ношами белья, ковров и подушек. Оставляя не многому числу страдальцев пользоваться горячею до 35° водою ванн Ермоловских, прочие предоставляют себе нежить чувства в источниках Варвациевских и Сабанеевских, преимущественно в сих последних, где теплота уменьшается до 28°. Находящийся на пути к ним кислосерный источник ежедневно собирает около себя все общество; ибо все непременно должны по утру и вечером пить из него воду… Нигде нельзя так скоро знакомиться, как у ванн: здесь всегда встречаются одне и те же лица, и разделяя общую участь ожидать иногда по нескольку часов очереди, вступают в разговоры о роде болезни каждого, о действии вод, о том кто откуда приехал, о новостях местных и сторонних, и проч., а часто любители литературы являются с журналами, с кипами стихов, и там, где за несколько десятков лет собирались черкесы, чтобы с высот нетерпеливыми взорами приветствовать возвращающихся с добычею хищных своих собратий, там гремит теперь поэзия и вторится имя Пушкина!»[162].

Калмыцкая кибитка генерала Сабанеева

В прежние времена в Пятигорске существовал Сабанеевский источник. Были и ванны с тем же названием, причем целебное действие их считалось очень сильным, так что ванны пользовались заслуженной популярностью среди страждущих. Кто же был этот человек, чье имя долгие годы связывалось со славой пятигорского курорта?

Иван Васильевич Сабанеев (1770–1829) – русский генерал, георгиевский кавалер, оставивший за плечами долгий и славный ратный путь. В молодости окончил Московский университет. Участвовал во второй турецкой войне, в кампании против польских конфедератов, прошел трудную боевую школу в итальянском и швейцарском походах Суворова. Раненый и взятый в плен в бою при Альтдорфе, был отправлен во Францию и, что примечательно, действовал там как военный разведчик в тылу врага. Тщательно изучив новый рассыпной строй стрелков, введенный во французской армии, он, по возвращении в Россию, представил проект о применении его в наших войсках, что и было исполнено. В 1807 году отличился в кампании против Наполеона на полях Восточной Пруссии, воевал со шведами и снова с турками. В Отечественную войну дошел с войсками до Парижа, а наполеоновские войны окончил, командуя пехотным корпусом. Портрет генерала, как и других героев 12-го года, помещен в Военной галерее Зимнего дворца.

Получив в сражениях четыре тяжелых раны, Сабанеев нуждался в лечении и, по совету врачей, решил отправиться на юг, к знаменитым пятигорским ключам. С Кавказом генерал познакомился еще до поездки на Горячие воды. В 1803 году во главе 12-го егерского полка он участвовал в походах за Кубань. А о целительных свойствах наших источников узнал от самого Федора Петровича Гааза. Известно, что бывая на Кавказских Минеральных Водах, генерал жертвовал деньги на строительство ванн.

Молодой курорт, расположенный близ Константиногорской крепости, имел довольно живописный вид. «Вообще картина, – замечает современник, – которая представлялась взорам новоприбывшего на воды в Горячеводскую долину, поражала своей необыкновенностию: она зараз напоминала и военный лагерь, и шумную провинциальную ярмарку, и столичный пикник, и цыганский табор»[163].

В ведомости посетителей Горячих вод в сезоне 1825 года значатся среди прочих «Сабанеев Иван Васильевич, генерал от инфантерии; жена его Пелагея Яковлевна, сын Порфирий из С.-Петербурга»[164].

Пребывание генерала на водах и на этот раз было отмечено его посильным вкладом в благоустройство молодого курорта. При минеральном источнике «поставлена генералом Сабанеевым, – сообщают архивные документы, – собственная калмыцкая кибитка над оною ванною, складенною в 1825 г. от казны из тесаного камня, с таковым же колодцем и бассейном, покрытым сосновыми досками. В ванну Сабанеев назначил для себя вход с 4 до 8 часов утра, предоставив в прочее время дня пользоваться ею всем обоего пола желающим,

о чем сделано от коменданта письменное извещение. Подле сей же ванны была другая калмыцкая кибитка генерала Раевского для ожидания в ней очереди и отдохновения. Впрочем, самая ванна так просторна, что в ней иногда купаются по 2 человека»[165]. Источник долгое время именовался Сабанеевским. Здесь же, в верхней части Горячей горы, подле источника было возведено деревянное ванное здание с тем же названием. Оценить действие Сабанеевских ванн на себе имел полную возможность В.Г. Белинский, принявший здесь пятьдесят процедур, а в более поздний период и В.Я. Брюсов.

Когда в самом начале XX века в Пятигорске были выстроены два новых великолепных ванных здания, питавшихся минеральной водой того же источника, то они получили название Ново-Сабанеевских. В советское время эти ванны стали называть Пушкинскими. Переименование, кажется, не слишком удачное, оно несправедливо по отношению к памяти боевого русского генерала, чье имя источник носил изначально. Пушкин же, действительно, не раз с восхищением отзывался о действии наших «струй целебных», например, в письме брату Льву в 1820 году: «Два месяца жил я на Кавказе; воды мне были очень нужны и чрезвычайно помогли, особенно серные горячие». Однако великий национальный поэт едва ли был бы польщен тем, что его имя носит курортная лечебница.

Интереснее все же другое. Пушкин и Сабанеев встречались в 1822 году в Кишиневе и, можно сказать, при драматических обстоятельствах. Генерал прибыл в расположение 16-й пехотной дивизии для расследования событий, связанных с восстанием Камчатского полка, и деятельности М.Ф. Орлова и В.Ф. Раевского. Познакомившись с ситуацией, Сабанеев вскоре вынес суждение о «кишиневской шайке» – членах тайного общества и Пушкине, «органе этой шайки». Пушкину удалось подслушать разговор Сабанеева с генералом И.Н. Инзовым о предстоящем обыске и аресте Раевского и своевременно предупредить его. Это, впрочем, ситуацию не спасло. Член Союза благоденствия, а потом и Южного общества декабристов Владимир Федосеевич Раевский провел в заключении около шести лет, в том числе и в Петропавловской крепости.

Военно-судная комиссия, разбиравшая дело, не сочла возможным оправдать его, но все же склонялась к тому, чтобы зачесть Раевскому срок нахождения под арестом и судом и освободить, определив ему место для безвыездного проживания. Но тут, в самый решительный момент, Раевского подвел острый язык. Вот как он сам передает этот драматический эпизод:

«После моих ответов на вопросы великий князь Михаил Павлович спросил у меня:

– Где вы учились?

Я ответил:

– В Московском университетском благородном пансионе.

– Вот, что я говорил… Эти университеты, эти пансионы!..

Я вспыхнул. Мне было только тридцать лет.

– Ваше высочество, Пугачев не учился ни в пансионе, ни в университете…»[166].

Дерзкая выходка обошлась Раевскому слишком дорого. По настоянию великого князя Михаила он был лишен дворянства, чинов, орденов и отправлен на вечную ссылку в Сибирь. Пушкин высоко ценил его дружбу и называл «спартанцем», а Раевский до конца дней хранил любовь к поэту. Генерал Михаил Федорович Орлов (муж Екатерины Раевской) за причастность к делу декабристов поплатился ссылкой в Калужскую губернию под надзор полиции.

Поздние воспоминания Раевского рисуют психологический портрет Сабанеева, хотя и выдержанный в негативных тонах, но все же с некоторой попыткой объективности:

«Сабанеев был офицер суворовской службы и подражал ему во всем странном, но не гениальном; так же жесток, так же вспыльчив до сумасбродства, так же странен в обхождении – он перенял от него все, как перенимают обезьяны у людей. Его катехизис для солдат в глазах благомыслящих людей сделал его смешным и уродливым. Его презрение ко всему святому, ненависть к властям обнаруживалась на каждом шагу. Его презрение к людям, в особенности к солдатам и офицерам, проявлялось в дерзких выражениях и в презрительном обхождении, не только с офицерами, но и с генералами.

Росту не более 2-х аршин и 3-х вершков, нос красный, губы отдутые, глаза весьма близорукие, подымающиеся и опускавшиеся, как у филина, рыже-русые волосы, бакенбарды такого же цвета под галстух, осиплый и прерывистый голос, речь, не имеющая никакого смысла, слова без связи. Он говорил с женою (которую отнял у доктора Шиповского), с адъютантами, как будто бы бранился. Человек, спазматический и невоздержанный – он выпивал ежедневно до 6 стаканов пунша, и столько же вина, и несколько рюмок водки.

Может быть, кто-нибудь сочтет слова или описания мои пристрастными. Но я пишу для будущего поколения, когда Сабанеева давно уже нет. Впрочем, он имел много благородного, если действовал с сильными. Он знал военное дело, читал много, писал отлично хорошо, заботился не о декорациях, а о точных пользах солдат, не любил мелочей и сначала явно говорил против существовавшего порядка и устройства администрации и правления в России и властей. Так что до ареста моего он был сам в подозрении у правительства»[167].

Некоторые подробности о встрече Пушкина и Сабанеева в Тирасполе в январе 1824 года сообщает близкий знакомый поэта – Иван Петрович Липранди, в то время полковник в отставке и чиновник по особым поручениям при графе М.С. Воронцове. Вот что Липранди пишет о совместной поездке с поэтом в Бендеры: «Около

четерех часов пополудни мы были уже в Тирасполе и остановились у брата моего. Несмотря на все желание Пушкина тотчас же ехать в Бендеры, до которых оставалось десять верст, я не смог сделать того, ибо, по обыкновению, имел поручение от графа к И.В. Сабанееву. Я приглашал с собой Пушкина, который переменил уже мнение о Сабанееве, как это скажу в другом месте, но он ленился почиститься, Это, однако же, не помогло ему: когда Иван Васильевич спросил меня, где брат, и получил в ответ, что он остался дома с Пушкиным, то тотчас был послан ординарец за ним. Пушкин не раскаивался в этом посещении, был весел, разговорчив даже до болтовни и очень понравился Пульхерии Яковлевне, жене Сабанеева. После ужина, в 11 часов, мы ушли. Простое обращение Сабанеева, его умный разговор сделали впечатление на Пушкина, и когда мы рассказывали ему первый брак Сабанеева, то он сделался для него, как выразился, «лицом очень интересным»[168].

Желая того или нет, Сабанеев в данном случае посодействовал русской словесности: сохранилось предание, что именно от него поэт услышал рассказ, послуживший позднее сюжетом для повести «Метель». Демонстрируя свое расположение к поэту, Сабанеев дал согласие на встречу Пушкина с Раевским, томившимся тогда в Тираспольской крепости. Не вполне доверяя генералу, Пушкин уклонился от свидания с арестованным другом.

Липранди передает также веселый рассказ Пушкина о бале-маскараде в Одессе, устроенном четой Воронцовых. Обязательным условием для всех приглашенных был маскарадный костюм, и сам Пушкин явился к Воронцовым в наряде домино с маской. Наутро после бала он поведал друзьям свои впечатления: «А вот кто потешил меня – так это Иван Васильевич Сабанеев, и рассказал нам, что граф и графиня неотступно просили Сабанеева тоже быть в каком-либо костюме. Как ни отговаривался Иван Васильевич и не ссылался на свою фигуру, но должен был, наконец, обещать и сдержал свое слово – «как подобает русскому» – прибавил Пушкин. Генерал Сабанеев надел фрак, в котором фигура его, вообще взятая, не могла не быть смешной. Это было еще ничего, но он на шею и на фрак нацепил все имеющиеся у него иностранные ордена (а их было много, ибо, будучи начальником главного штаба главной армии в 1813 и 1814 годах, он получил оные от всех союзников и по нескольку) и ни одного русского. Пушкин был в восторге, что Сабанеев употребил иностранные ордена как маскарадный костюм. Восторг этот разделяли, однако же, не все, а иностранные консулы думали даже видеть в этом недоброжелательное намерение и как бы желание оскорбить значение их орденов в глазах русских»[169].

Слухи об этом происшествии позабавили не только Одессу, но достигли даже Петербурга. Александр I остался выходкой генерала недоволен, и Сабанееву был сделан выговор от имени государя.

«Чеченец бродит за рекой...»

Александр Алябьев вошел в историю русского искусства как замечательный композитор, автор прославленного «Соловья». Нам же он интересен прежде всего своим пребыванием на Кавказе и созданием ряда произведений на кавказскую тему.

Будущий композитор родился в семье екатерининского вельможи, правителя Тобольского наместничества. Получив прекрасное домашнее образование, продолжил его в стенах Московского университетского пансиона. Четырнадцати лет был принят в горный департамент, но дальнейшая его карьера связана уже с военной службой. Кавалерийским офицером он участвовал в Отечественной войне 1812 года, был ранен и удостоился награждения орденами. В 1823 году, в возрасте 36 лет, успев послужить в нескольких полках, в чине подполковника вышел в отставку. Как говорят о том документы, Алябьев высочайшим повелением был уволен от службы «за раною», «подполковником с мундиром и пенсионом полного жалования»[170].

Вернувшись из побежденной Франции в Петербург, он начал серьезно заниматься музыкой и уже в начале 1820-х годов успешно дебютировал в столицах как автор романсов и музыки к театральным спектаклям. В круг дружеского общения молодого композитора входили А.С. Грибоедов, В.Ф. Одоевский, Д.В. Давыдов, А.А. Бестужев-Марлинский.

На Кавказских водах Алябьев впервые, по-видимому, побывал в 1818 году, но подробности этой поездки остались неизвестны. По архивным данным следует только, что Ахтырского гусарского полка штаб-ротмистр Александр Александрович Алябьев прибыл на Горячие воды 19 июня и остановился в доме Толмачевой[171]. Яркие впечатления этого путешествия отразились, несомненно, и в том, с каким восторгом он принял «Кавказского пленника» А.С. Пушкина, положив на музыку «Черкесскую песню» из этой поэмы. Сегодня она, конечно, подзабылась, а когда-то имела все шансы стать народной, так велика была ее популярность. «Черкесская песня» не менее двадцати раз печаталась в песенниках и сборниках романсов. Песня открыла чеченскую тему в творчестве Пушкина: по ходу сюжета ее, действительно, исполняют черкесские девушки, но речь там идет исключительно о казаках и цветущих станицах, которым грозит близкая опасность:

Не спи, казак: во тьме ночной
Чеченец ходит за рекой...

В 1825 году в судьбе Алябьева произошел трагический перелом. «Нелепое происшествие, – замечает его биограф, – неожиданно вырвало композитора из близкой ему среды, жестоко сломало жизнь и обрекло на многие годы ссылки»[172]. Февральским вечером на московской квартире Алябьева во время карточной игры вспыхнула ссора, в ходе которой помещику Времеву было нанесено несколько пощечин. Покинув дом, а потом и город, этот господин на третий день по происшествии где-то на постоялом дворе неожиданно скончался. Участники карточного конфликта были арестованы и преданы суду. Дело тянулось почти три года. Единственным утешением Алябьева было то, что в заключении ему дозволили пользоваться фортепиано. Тогда же им и был сочинен знаменитый романс «Соловей» на стихи А.А. Дельвига.

Версия об убийстве отпала, равно и подозрение об участии самого Алябьева в игре. Тем не менее, по приговору суда он был лишен дворянства, чинов и орденов и отправлен в ссылку в Тобольск. Через несколько лет резкое ухудшение здоровья вынудило композитора обратиться к властям с просьбой о разрешении отправиться на Кавказские воды. Согласно сохранившимся документам пятигорской городской управы за 1832 год, «бывший подполковник Алябьев, лишенный чинов и дворянства и сосланный на жительство в Тобольск… прибыл для пользования глазной болезни на Минеральные воды, а 19 августа сего года выбыл из Пятигорска на Кислые воды. Квартировал в г. Пятигорске в доме умершей майорши Карабутовой»[173]. На рукописи романса «Тайна» композитор сделал особую помету: Пятигорск, 17 июля 1832 года.

Перезимовав в Ставрополе, летом следующего 1833 года Алябьев вновь приехал в Пятигорск, но лечение на водах не принесло ему никакой пользы. На Кавказе с композитором находилась его сестра Екатерина Александровна. Пытаясь облегчить участь брата, она совершила поездку в Петербург, но хлопоты ее не были успешны. Также было отклонено и ходатайство начальника Кавказской области генерала А.А. Вельяминова «о неотправлении обратно в Сибирь Алябьева». Монаршая «милость» снизошла лишь до назначения композитору нового места ссылки. 18 сентября 1833 года Вельяминов уведомил оренбургского военного губернатора о том, что Алябьев под казачьим конвоем отправлен в Оренбург.

В одном из писем к другу Алябьев назвал себя Кавказским певцом. Под таким же названием в 1834 году вышел в свет и большой сборник его романсов, украшенный видом Пятигорска на обложке. Среди них укажем «Кабардинскую песню» на слова А.А. Бестужева-Марлинского. По повести этого же автора Алябьев создал и первую в истории «кавказскую» оперу – «Аммалат-Бек». Позднее была написана и «Черкесская песня» на стихи М.Ю. Лермонтова («Много дев у нас в горах»). В отзывах столичных газет звучали восторженные ноты: «Слышавшие в Москве песни кавказских горцев, которые успел схватить Алябьев, странствуя по Кавказу, говорят, что это что-то очаровательно-прекрасное, звуки, которых Европа еще не знала, от которых веет горными бурями, в которых слышна новая жизнь…»[174]

В Пятигорске, по счастью, сохранился дом майорши Карабутовой, в котором когда-то квартировал Алябьев. Ныне он реставрирован, ухожен, и в нем разместился один из отделов лермонтовского музея.

«Мансур, человек необыкновенный…»

В путешествии 1829 года по кавказским предгорьям Пушкину припомнился один из героев недавнего прошлого – знаменитый шейх Мансур. «Черкесы очень недавно приняли магометанскую веру, – замечает поэт. – Они были увлечены деятельным фанатизмом апостолов *Корана,* между коими отличался Мансур, человек необыкновенный, долго возмущавший Кавказ противу русского владычества, наконец схваченный нами и умерший в Соловецком монастыре».

Эта история произошла на Северном Кавказе в 1785 году. Уроженец чеченского аула Алды по имени Ушурма, постигнув премудрости шариата, стал проповедовать соплеменникам газават, то есть войну против «неверных». Он внушал им простую идею: бедствия, которые горцы терпят от русских, есть наказание всевышнего, посланное им за отступничество от истинной веры. И еще утверждал, что во сне ему явились посланцы Аллаха – два всадника в белых одеждах и велели вести за собой народ. Ушурма принял имя шейха Мансура, его призывы имели успех, и, почувствовав опасность, военные власти направили в Алды карательный отряд полковника Пьери, дабы захватить «лжепророка» и доставить его на Линию. При первых же выстрелах Мансур успел скрыться, русские сожгли аул и, посчитав дело конченым, двинулись восвояси. И вот тут в дремучих лесах на берегах реки Сунжи разыгрались главные трагические события этого печального дня. Сам Пьери и восемь его офицеров были убиты. Отряд, состоявший из трех батальонов пехоты, почти полностью истреблен, часть людей и два орудия захвачены нападавшими. Это была «первая большая наша неудача в горах Чечни, – замечает историк, – когда, по чеченскому преданию, от всего русского войска остались только фуражки, несшиеся по течению реки»[175]. Уцелела лишь горстка наших, а среди них, по счастью, адъютант Пьери – унтер-офицер князь Петр Иванович Багратион, уроженец Кизляра и будущий герой Бородина.

На крыльях успеха Мансур повел толпу своих приверженцев на Кизляр. Атакованный ими Каргинский редут, прикрывавший подходы к городу, был охвачен пожаром и взлетел на воздух от страшного порохового

взрыва. Ночью чеченцы переправились через Терек, чтобы с рассветом начать штурм Кизляра, но в темноте безнадежно завязли в болотах. Утопая в трясине, лошади сбрасывали седоков, а подоспевшие казаки открыли плотный перекрестный огонь.

Мансур ушел, быстро теряя разбегавшихся сторонников, но вскоре объявился в Кабарде, где пламя газавата стало разгораться с новой силой. Он напал на Григориополисское укрепление, снова попытался взять Кизляр, но всюду был отбит. Для борьбы с мусульманским мессией русские власти сформировали ударный отряд полковника Нагеля, насчитывавший четыре батальона пехоты, роту артиллерии и Моздокский казачий полк. Под этот каток Мансур, также собравший внушительные силы, угодил в ноябре месяце вблизи развалин древнего Татартупа, был наголову разбит и бежал к туркам за Кубань. В 1791 году, когда генерал Гудович взял штурмом Анапу, ее десятитысячный гарнизон был почти полностью истреблен, а укрывшийся в крепости Мансур, взят в плен и отправлен в столицу империи.

Для полноты картины добавим, что существует еще и, так сказать, итальянская версия происхождения Мансура, изложенная, например, в первом томе «Кавказской войны» В.А. Потто. Из нее следует, что после поражения шейха на Северном Кавказе один из его сподвижников скрылся, похитив у своего предводителя драгоценности и важные бумаги. Эти подлинные мемуары и письма Мансура осели, в конце концов, в Туринском государственном архиве, где их, годы спустя, обнаружил профессор местного университета. «По этим документам шейх Мансур, – излагает военный историк, – есть не кто иной, как итальянский авантюрист Джованни Батиста Боэтти, уроженец Монферата, где отец его был нотариусом. Пятнадцати лет от роду отец отправил его изучать медицину. Но Боэтти, которому наука не пришлась по душе, скоро бежал в Милан и завербовался в солдаты. Достаточно было двух месяцев, чтобы и военная служба опротивела ему: он бежал в Богемию и после целого ряда странствований, отмеченных то забавными, то печальными похождениями, явился в Рим, где и поступил в монахи в доминиканский монастырь»[176].

Еще через несколько лет Боэтти отправился миссионером на Восток, но эта миссия была для него невыполнима. Всюду изгнанный, пережив череду бедствий, скандалов и заключений под стражу, он скитался по городам и весям от Багдада до Тифлиса, пока, наконец, в его голове не возник фантастический замысел явиться в мусульманском мире новым пророком. Захваченный этой безумной идеей, новоявленный претендент на роль Магомета не замедлил выучить на память весь Коран, но тут же, заподозренный в шпионстве, был арестован турецкими властями и в кандалах доставлен в Константинополь.

Он сумел выбраться и отсюда и счел за лучшее вернуться в Европу и, между прочим, три месяца провел в Петербурге, где настойчиво предлагал Потемкину план военного вторжения в Турцию. Свои виды на Константинополь были, разумеется, и у русских, но ввязываться в чужую авантюру светлейший не стал. Обжегшись однажды на турках, Боэтти не захотел больше испытывать судьбу и теперь решился разыграть свой кровавый сюжет среди гор и ущелий Северного Кавказа…

«Плененный Мансур отправлен был в Петербург, – заключает свой рассказ Потто. – Императрица пожелала видеть пленника, и его привезли в Царское Село, где тогда находился двор. Там, как рассказывают, его приказали водить около дворцовой колоннады взад и вперед под окнами, из которых на него смотрела Екатерина»[177].

Ни профессор Оттино, поместивший пространную статью о земляке-авантюристе в туринском историческом журнале, ни другие искатели никаких документов, подтвердивших бы тождественность Боэтти и Мансура, так и не опубликовали. Достоверность итальянской версии вызывала большие сомнения уже у Потто. Документы, обнаруженные в Турине (по другим источникам – в Пьемонте), весьма преувеличенно представляли подвиги Мансура на Кавказе и к тому же столь явно противоречили русским официальным реляциям, что ныне все это кажется кем-то сочиненной легендой и сгодится разве что в качестве сценария для исторического боевика.

Серьезные возражения по этому поводу высказывал и советский профессор Н.И. Покровский, детально рассмотревший реальность сведений о Мансуре, мелькавших когда-то на страницах итальянской печати. Все эти данные, считал он, слишком неточны, чтобы они могли исходить от человека, стоявшего в самом центре событий. «Мы не хотим всем этим сказать, – заключает свои наблюдения знаменитый историк-кавказовед, – что Боэтти никогда не существовал. Может быть, он даже действовал в Малой Азии и Армении. Но одно несомненно: отождествление Мансура-Боэтти с чеченцем Мансуром не имеет под собой никакой почвы и является плодом поверхностного подхода к источникам и погони за сенсацией»[178].

И Пушкин, и Потто и даже Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона допускают неточность, утверждая, что Мансур был сослан Екатериной в Соловецкий монастырь. «Ея императорское величество, – говорят документы, – не почитая его отнюдь за военнопленного, как сущего развратника… указали допросить о всех его нахождениях и всех деяниях его, содержа между прочим под крепкою стражею»[179]. Воля императрицы была исполнена: несколько лет мятежный шейх провел в строгом заточении и в 1794 году окончил свои дни в каменном гробу Шлиссельбурга.

В ставке Паскевича судьба уготовила поэту возможность самому познакомиться с влиятельным полевым командиром Бей-Булатом Теймазовым. Чтобы внятно обозначить его роль в кавказских делах, пришлось

прибегнуть к современной терминологии. При Пушкине, а иногда и теперь, в подобных случаях используется слово «наездник», но едва ли оно выражает суть дела. Историк Кавказской войны В.А. Потто называл Бей-Булата «искателем опасных приключений», «одним из искуснейших и храбрейших предводителей чеченских шаек». Источники советского времени зачисляют его уже в «руководители национально-освободительного движения против колониальной политики царизма в Чечне». Средства, примененные к нему властями, являют собой классический образец политики кнута и пряника. Ермолов, обычно не любивший заигрывать с горцами, тем не менее, приял его поручиком на русскую службу. В дальнейшем на изменника Бей-Булата устраивали безуспешные покушения, в одном случае предполагалось, как пишет Потто, «бросить через трубу в его саклю мешок с порохом и взорвать ее вместе с ним и его семьей». В 1825 году Бей-Булату удалось поднять мятеж во всей Чечне, он появился у стен Грозной и даже попытался укрепиться в Ханкале. Крупная партия чеченцев имела шансы захватить в плен самого Ермолова. Во времена Паскевича Бей-Булат счел за лучшее вновь изъявить покорность властям. Именно этот момент запечатлел Пушкин в последней главе «Путешествия в Арзрум»: «Славный Бейбулат, гроза Кавказа, приезжал в Арзрум с двумя старшинами черкесских селений, возмутившихся во время последних войн. Они обедали у графа Паскевича. Бейбулат, мужчина лет 35-ти, малорослый и широкоплечий. Он по-русски не говорит или притворяется, что не говорит. Приезд его в Арзрум меня очень обрадовал: он был уже мне порукой в безопасном переезде через горы в Кабарду».

Через несколько лет, столкнувшись с кровником на узкой дорожке, Бей-Булат был застрелен в упор из пистолета. Дважды его имя в своих ранних поэмах упомянул и Лермонтов.

Глава VIII. «Мы подымались все выше и выше...»

На Военно-Грузинской дороге Кавказ открылся Пушкину во всем своем мрачном величии. Вид окрестных гор и ущелий с тех пор едва ли изменился. Пристальный взгляд поэта выделил на этом фоне и ряд кавказских древностей, некоторые сведения о необычной судьбе которых нам удалось разыскать.

«Вблизи развалин Татартуба...»

Первая крепость на Тереке появилась еще при Иване Грозном. Она так и называлась – Терки и находилась на его левом берегу, напротив устья Сунжи. Сползание молодой империи на юг решительно устремил Петр. Взятием Азова он попытался прорубить окно в Азию, а в 1722 году, предприняв Дагестанский поход, без боя покорил Дербент и в устье реки Сулак основал крепость Святой крест. Через десять лет небольшой экспедиционный отряд, направленный из этой крепости на территорию современной Чечни, имел боевое столкновение с жителями аула Чечень. Таким образом, и первые сведения, да и само название чеченцев вошли в русскую жизнь и русский язык из военных реляций.

Среди своих предшественников в описании Кавказа Пушкин, помимо Державина, назвал и Жуковского, поместив в примечаниях к «Пленнику» несколько его «прелестных стихов» из «Послания к Воейкову»:

Ты зрел, как Терек в быстром беге
Меж виноградников шумел,
Где, часто притаясь на бреге,
Чеченец иль черкес сидел
Под буркой, с гибельным арканом...

Далее следует описание грандиозной кавказской природы и обширный перечень соседственных нам теперь горских племен. Некоторые из них (что понятно и простительно) названы поэтом не совсем верно, а некоторые (например, невразумительные «чечереец» или «бах») до сих пор вызывают трудности в идентификации. Кончается этот прелестный, как считал Пушкин, отрывок сценой, когда горцы в ауле

В дыму клубящемся сидят
И об убийствах говорят,
Иль хвалят меткие пищали,
Из коих деды их стреляли;
Иль сабли на кремнях острят,
Готовясь на убийства новы...

Некоторые этнографические неточности, правда, иного рода, есть и у Пушкина. Действие его второй кавказской поэмы «Тазит» происходит в Кабарде – «вблизи развалин Татартуба», и персонажи поэмы, соответ-

ственно, «адехи», то есть адыги (адыге – самоназвание кабардинцев, черкесов и адыгейцев). Потом автор об этом как будто забыл, и из дальнейшего текста следует, что его герои уже чеченцы. Поэма посвящена, собственно, проблеме кровомщения. Старший сын старика Гасуба «рукой завистника убит». Младший сын Тазит неожиданно проявляет себя как отступник горских обычаев: встретив во время дальней отлучки убийцу брата, он из каких-то странных гуманитарных соображений («Убийца был / Один, изранен, безоружен…») пощадил кровника. Обвиняя сына в неисполнении «долга крови», старик «грозно возопил»:

Поди ты прочь – ты мне не сын,
Ты не чеченец – ты старуха…

Поэму Пушкин не окончил, сохранились только черновые планы, породившие в ученых кругах разноречивые предположения о развязке сюжета. Полагают даже, что, встретив миссионера, Тазит принял христианство, поступил на русскую военную службу и сражался против своих.

Поэму очень высоко (и страстно!) оценил Белинский. «Отец Тазита, – писал он, – чеченец душой и телом, чеченец, которому непонятны, которому ненавистны все нечеченские формы жизни, который признает святою и безусловно истинною только чеченскую мораль и который, следовательно, может в сыне любить только истого чеченца»[180].

Белинский, может быть, в жизни никаких чеченцев не видел и до их морали дела ему вовсе не было. Для него это только форма подцензурного иносказания. «Галилея в Италии, – продолжает он, – чуть не сожгли заживо за его несогласие с чеченскими понятиями о мировой системе, но там человек знанием опередил свое общество и, если б был сожжен, мог бы иметь хоть то утешение перед смертию, что идей-то его не сожгут невежественные палачи… Здесь же человек вышел из своего народа своею натурою без всякого сознания об этом, – самое трагическое положение, в каком только может быть человек!.. Один среди множества, и ближние его – враги ему; стремится он к людям и с ужасом отскакивает от них, как от змеи, на которую наступил нечаянно… И винит, и презирает, и проклинает он себя за это, потому что его сознание не в силах оправдать в собственных его глазах его отчуждения от общества… И вот она – вечная борьба общего с частным, разума с авторитетом и преданием, человеческого достоинства с общественным варварством! Она возможна и между чеченцами!..»[181].

Все это показательно в том смысле, что Тазит у Пушкина, как потом и Мцыри у Лермонтова, – чеченец, можно сказать, не этнический, а чисто литературный. Национальная раздвоенность (или удвоенность) персонажей поэмы имела свои последствия. После вдохновенного пассажа о «чеченских понятиях» Белинский вдруг бивается и воздает хвалу Пушкину за последние стихи поэмы, представляющие уже «живое изображение черкесских нравов». Столь явная нестыковка заставила издателей «Полного собрания сочинений» Белинского сделать особое примечание: «Отождествление чеченцев с черкесами восходит к тексту поэмы Пушкина. Какой именно народ (чеченцы или черкесы) изображен в «Тазите» – еще не установлено»[182].

Впоследствии похожие затруднения («какой именно народ») вызвал у Белинского и анализ лермонтовской «Бэлы». Героиню повести он именует черкешенкой, забывая, что черкешенки не говорят по-татарски. Азамат для него то черкес, то татарчонок. Население аула, куда Максим Максимыч и Печорин приглашены на свадьбу, также черкесы, хотя действие повести происходит за Тереком, в Чечне. Трудно упрекать в этой путанице великого критика, преодоление подобной этнографической нечуткости не состоялось, кажется, в нашем сознании и по сей день. Говоря современным языком, и Тазит, и Бэла, и вся ее родня – это всего лишь, увы, «лица кавказской национальности».

Побывав на Тереке в детские годы, Лермонтов видел жизнь пограничных казачьих станиц и в более зрелую пору, когда «изъездил Линию всю вдоль» во время первой кавказской ссылки. Существует предание, что именно здесь, в станице Червленой, Лермонтов написал свою «Казачью колыбельную песню». В хате, где поэт остановился на постой, он услышал, как молодая казачка напевает над колыбелью. Присев к столу, Лермонтов тут же набросал стихи, ставшие впоследствии народной песней:

По камням струится Терек,
Плещет мутный вал;
Злой чечен ползет на берег,
Точит свой кинжал…

По тем же впечатлениям Лермонтов написал и стихотворение «Дары Терека», названное Белинским «поэтической апофеозою Кавказа». По строю и звучанию оно близко гребенскому казачьему фольклору. Волны Терека приносят в дар старцу Каспию «кабардинца удалого» – воина, погибшего на поле битвы, а потом и «дар бесценный» – труп молодой казачки, окровавленной жертвы какой-то неизвестной нам трагической любовной истории:

По красотке молодице
Не тоскует над рекой
Лишь один во всей станице
Казачина гребенской.
Оседлал он вороного
И в горах, в ночном бою,
На кинжал чеченца злого
Сложит голову свою…

Дважды повторив формулу о злом чеченце, Лермонтов следует, скорее, народной поэтической традиции, а вовсе не стремится подчеркнуть непримиримость к извечному врагу. Напротив, в «Бэле» он преклоняется перед «способностью русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить», о чем он позже (и более подробно) расскажет в очерке «Кавказец».

В «Бэле» близость враждебного населения передается легкими штрихами: героиня повести, беспокоясь из-за долгого отсутствия Печорина на охоте, придумывает «разные несчастия: то казалось мне, что его ранил дикий кабан, то чеченец утащил в горы…» Печорин же, рассказывая о себе Максиму Максимычу, роняет следующее замечание: «Вскоре перевели меня на Кавказ: это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями – напрасно: через месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что, право, обращал больше внимания на комаров…».

На Тереке, в казачьей станице Червленой происходит и действие повести «Фаталист», открывающейся фразой из журнала Печорина: «Мне как-то раз случилось прожить две недели на левом фланге; тут же стоял батальон пехоты…» Едва обозначенная сюжетная линия, связывающая героя романа и хорошенькую казачку Настю, тут же и обрывается. Повесть о гребенских казаках написал годы спустя совсем другой русский офицер. Отношение же к «немирным» соседям здесь передано незатейливой репликой: уговаривая казака-убийцу покориться, старый есаул восклицает: «Побойся Бога! Ведь ты не чеченец окаянный…» Равно и наш бывалый офицер из очерка «Кавказец» выражается в том же духе: «Чеченцы, правда, дрянь…».

«Чеченский след» в поэзии Лермонтова не всегда очевиден. В стихотворении «Валерик» он сам называет имя своего кунака-чеченца Галуба, но это, по-видимому, условный персонаж, в черновом автографе есть и другие варианты (Юнус и Ахмет). Чеченская тема звучала бы здесь сильнее, но многие строки Лермонтов из окончательного текста вычеркнул:

Чечня восстала вся кругом:
У нас двух тысяч под ружьем
Не набралось бы…
Уж раза три чеченцы тучей
Кидали шашки наголо…

Чтобы попробовать истолковать «окаянный» и «дрянь» более расширительно, имея в виду представления не только гребенских староверов и Максим Максимычей, а русское общественное сознание в целом, обратимся к книге Платона Зубова «Картина Кавказского края». Она вышла в Петербурге в 1835 году, то есть примерно в то время, когда и происходят события, описанные в «Фаталисте». «Народ сей, – замечает автор о чеченцах, – отличается от всех горских племен особенным стремлением к разбоям и хищничеству, алчностью к грабежу и убийствам, коварством, воинственным духом, смелостию, решительностью, свирепством, бесстрашием и необузданною наглостию»[183]. Сходную характеристику обнаружим и в капитальной «Истории войны и владычества русских на Кавказе» Н.Ф. Дубровина: «Грязные душою и телом, чуждые благородства, незнакомые с великодушием… корыстолюбивые, вероломные и в высшей степени исполненные самолюбия и гордости – таковы были чеченцы…»[184].

Приведем еще мнение человека, не только непосредственно осведомленного в кавказских делах, но и чрезвычайно авторитетного для самого Лермонтова,- мнение Алексея Петровича Ермолова, чья внушительная фигура в последние годы все отчетливее проступает из исторического далека: «Ниже по течению Терека живут чеченцы, самые злейшие из разбойников, нападающие на линию. Общество их весьма малолюдно, но чрезвычайно умножилось в последние несколько лет, ибо принимались дружественно злодеи всех прочих народов, оставляющие землю свою по каким-либо преступлениям. Здесь находили они сообщников, тотчас готовых или отмщевать за них, или участвовать в разбоях, а они служили им верными проводниками в землях, им самим не знакомых. Чечню можно справедливо назвать гнездом всех разбойников»[185].

Сам Лермонтов едва ли разделял подобные взгляды. Изображая «тревоги дикие войны», он умел увидеть происходящее и глазами тех, с кем судьба свела его в непримиримой схватке. Старик-чеченец, поведавший ему историю Измаил-Бея, абрек Казбич и пленный юноша Мцыри – эта череда лермонтовских персонажей-чеченцев говорит о его глубоком интересе к народу, находящемуся в смертельной вражде с

его собственной родиной. В образе Мцыри нашел выражение мир идей и чувств самого Лермонтова, и в самых горьких и одновременно самых главных словах поэмы – «Я мало жил и жил в плену...» – отчетливо слышен собственный голос поэта.

Вспомним также и о том, что для Печорина, этого лермонтовского alter ego, представляло несомненное удовольствие хотя бы внешнее перевоплощение в черкеса. «Я думаю, – заносит он в свой дневник, – казаки, зевающие на своих вышках, видя меня скачущего без нужды и цели, долго мучились этою загадкой, ибо, верно, по одежде приняли меня за черкеса. Мне в самом деле говорили, что в черкесском костюме верхом я больше похож на кабардинца, чем многие кабардинцы. И точно, что касается до этой благородной боевой одежды, я совершенный денди; ни одного галуна лишнего; оружие ценное в простой отделке, мех на шапке не слишком длинный, не слишком короткий; ноговицы и черевики пригнаны со всевозможной точностью; бешмет белый, черкеска темно-бурая. Я долго изучал горскую посадку: ничем нельзя так польстить моему самолюбию, как признавая мое искусство в верховой езде на кавказский лад». Не ограничиваясь простой констатацией, Лермонтов использует это пристрастие своего героя в одной из самых динамичных сцен повести, когда Мери приходит в ужас, неожиданно увидев перед собой Печорина в образе черкеса.

Упоминание Татартупа (буквально «Татарский стан») в «Тазите» навеяно, несомненно, дорожными впечатлениями Пушкина «Первое замечательное место есть крепость Минарет... – вспоминал поэт, работая над «Путешествием в Арзрум». – Справа сиял снежный Кавказ; впереди возвышалась огромная, лесистая гора; за нею находилась крепость. Кругом ее видны следы разоренного аула, называвшегося Татартубом и бывшего некогда главным в Большой Кабарде. Легкий одинокий минарет свидетельствует о бытии исчезнувшего селения. Он стройно возвышается между грудами камней, на берегу иссохшего потока. Внутренняя лестница еще не обрушилась. Я взобрался по ней на площадку, с которой уже не раздается голос муллы. Там нашел я несколько неизвестных имен, нацарапанных на кирпичах славолюбивыми путешественниками».

Татартупский минарет, грандиозный памятник старины, достигал в высоту более 20 метров. Столь выдающаяся деталь ландшафта обращала на себя внимание всех проезжающих, и редко кто мог устоять от соблазна окинуть взглядом окрестность с верхней площадки монумента, уступающего высотою разве что колокольне Ивана Великого. «Правильность фигуры сего минарета, – сообщает путешественник, – свидетельствует, что строители были весьма искусны в архитектуре. Внутри идет улиткою лестница, по которой всходил я на самый верх»[186].

Дважды запечатлел минарет на своих рисунках знаменитый художник Никанор Чернецов, чьею картиною «Вид Дарьяла» Пушкин украсил свой кабинет в доме на Мойке.

Археологические раскопки говорят, что когда-то здесь шумел многолюдный город; он лежал на важном торговом пути. Среди горцев развалины Татартупа пользовались особенным почитанием, Пушкин мог слышать об этом на Кавказе, к тому же в его личной библиотеке хранились книги Сегюра, И. Дебу и С. Броневского со сведениями об этом древнем поселении. Шора Ногмов утверждал, что особое значение Татартупа у кабардинцев получило даже устойчивую словесную формулу: «предание продолжало сохраняться в пословице; народ вместо клятвы говорил для утверждения своих слов: татартуп пенжесен – да буду в татартупе многажды!»[187].

Выдающийся кавказовед Л.П. Семенов полагал, что у Пушкина «упоминание о Татартупе – тонкий художественный штрих, углубляющий драматическую фабулу, развиваемую в поэме; сын Гасуба убит близ места, чтившегося горцами; тот кто искал здесь прибежища, считался по адату неприкосновенным; следовательно, тот, кто нарушал этот обычай, усугублял свою вину, так как являлся не только убийцей, но и клятвопреступником»[188].

Трудно судить, какую роль в развитии сюжета сыграл бы в «Тазите» этот «тонкий художественный штрих», а пока, неспешно передвигаясь по предгорьям Северного Кавказа в сопровождении оказии (то есть надежного конвоя и пушки с курящимся фитилем), поэт-философ предавался раздумьям о будущей судьбе горских народов. Девять лет назад, упомянув в эпилоге «Кавказского пленника» имя Ермолова («Поникни снежною главой, // Смирись, Кавказ: идет Ермолов!»), он оказался плохим пророком: Ермолов пришел и ушел, а Кавказ все еще оставался неусмиренным. Вся война, беспримерная по перенесенным тяготам и принесенным жертвам, была еще впереди. В первой главе «Путешествия в Арзрум» поэт набросал конспективный план покорения Кавказа, высказав сначала стратегически разумные соображения о перекрытии кислорода, а окончив, увы, наивными прожектами о пользе самовара и христианских проповедей: «Что делать с таковым народом? Должно однако ж надеяться, что приобретение восточного края Черного моря, отрезав черкесов от торговли с Турцией, принудит их с нами сблизиться. Влияние роскоши может благоприятствовать их укрощению: самовар был бы важным нововведением. Есть средство более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением нашего века: проповедание Евангелия».

Впрочем, что делать с Кавказом, тогда (равно и теперь) не знал никто. Павел Пестель, которого Пушкин назвал «одним из самых оригинальных умов» полагал в «Русской правде» мирных горцев оставить на месте, а буйных «силой переселить во внутренность России, раздробив их малыми количествами по всем русским волостям»[189]. В противоположность ему другой знакомый Пушкина и тоже декабрист – генерал

М.Ф. Орлов (муж Екатерины Раевской) был убежден, что «так же трудно поработить чеченцев и другие народы того края, как сгладить Кавказ. Это дело исполняется не штыками, но временем и просвещением, которого и у нас неизбыточно...»[190]

Пора столь масштабных, как прогностически виделось Пестелю, экспериментов тогда еще не пришла. Нам же, его дальним потомкам, история продемонстрировала мучительную нерезультативность такого пути. В конце концов, победу (если можно говорить о победе) тут одержал не самовар и даже не штык, а топор, то есть все-таки ермоловская осадная стратегия рубки леса, о чем потом одноименным рассказом, а особенно отчетливо в «Хаджи-Мурате» напомнил Лев Толстой.

«Старый памятник, обновленный Ермоловым»

В кавказском дневнике, описывая переезд через Крестовый перевал, Пушкин оставил замечание об одном удивительном памятнике. «Мы подымались все выше и выше, – сообщает поэт, – Лошади наши вязли в рыхлом снегу. Я с удивлением смотрел на дорогу и не понимал возможности езды на колесах. Мы достигли снежной вершины Кавказа. В это время услышал глухой грохот. – Обвал, – сказал мне полковник. Я оглянулся и увидел в стороне огромную груду снега, которая сыпалась и медленно съезжала с крутизны. Наконец увидели мы на самой вершине горы крест – памятник Петра, обновленный Ермоловым, и начали спускаться».

Все бы хорошо, да только к императору Петру перевальный крест никакого отношения не имеет. В дальнейшем, уже работая над первой главой «Путешествия в Арзрум», Пушкин исправил допущенную историческую неточность: «Мы достигли самой вершины горы. Здесь поставлен гранитный крест, старый памятник, обновленный Ермоловым».

Гранитный ермоловский крест был столь приметной и оригинальной деталью ландшафта, что невольно привлекал к себе внимание всех проезжающих. Краткая дорожная заметка Пушкина имеет, оказывается, широкий исторический и литературный контекст. Чтобы досконально уяснить ее смысл, мы обратимся к произведениям нашей классики, а иногда и к путевым запискам людей безвестных, но наблюдательных.

Осенью 1837 года Лермонтов возвращался из кавказской ссылки. «Я ехал на перекладных из Тифлиса», – так незатейливо начнет он впоследствии свой знаменитый роман. Путевые впечатления отразились не только на страницах «Героя нашего времени». «Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал, – пишет Лермонтов с дороги Святославу Раевскому, – и везу с собою порядочную коллекцию...»

В середине декабря во Владикавказе поэта видел его товарищ по Юнкерской школе Василий Боборыкин: «М.Ю. Лермонтов, в военном сюртуке, и какой-то статский (оказалось, француз-путешественник) сидели за столом и рисовали, во все горло распевая... я спросил, что они рисуют, и узнал, что в проезд через Дарьяльское ущелье, отстоящее от Владикавказа, как известно, в двадцати-сорока верстах, француз на ходу, вылезши из перекладной телеги, делал crocuis* окрестных гор; а они, остановясь на станциях, совокупными стараниями отделывали и даже, кажется, иллюминовали эти очертания»[191].

Кавказскую коллекцию Лермонтов, добрая душа, раздарил родственникам и друзьям. Со временем почти все картины нашли пристанище в столичных музеях. Одна, написанная поэтом для бабушки, осталась в родных Тарханах. Другая – «Крестовая гора» – оказалась волею судеб в далеком и столь любимом Лермонтовым Пятигорске. «Крестовая гора» – одно из лучших его живописных творений. Слева и справа на полотне поднимаются крутые гранитные утесы, обрамляя заснеженный склон Крестовой, реющей на фоне голубого неба. Сразу вспоминаются строки из повести «Бэла»: тут и «груды снега, готовые, кажется, при первом порыве ветра оборваться в ущелье», и «глубокая расселина, где катился поток, то скрываясь под ледяной корою, то с пеною прыгая по черным камням». У подножия горы – военный пост и чуть поодаль – одинокая повозка, поднимающаяся на перевал. Такую обстановку осенью 1837 года здесь, видимо, и застал поэт, странствующий «с подорожной по казенной надобности». Подлинность картины не вызывает сомнений и удостоверена писателем В.Ф. Одоевским, сделавшим на ее оборотной стороне следующую надпись: «Эта картина рисована поэтом Лермонтовым и подарена им мне при последнем его отъезде на Кавказ. Она представляет Крестовую гору – место его смерти. Кн. В. Одоевский»[192].

Все так, кроме одной явной ошибки: Лермонтов погиб не у Крестовой в Грузии, а у подножия Машука в Пятигорске. Но сам Одоевский на Кавказе никогда не был и о месте гибели своего младшего друга имел весьма смутное представление. А вот в том, что на картине изображена именно гора Крестовая, сомнений нет: и на полотне и в реальном ландшафте ее отличает высокий каменный крест, установленный на вершине.

О каменном кресте, поставленном здесь «по приказанию г. Ермолова», Лермонтов упоминает и в романе «Герой нашего времени», описывая переезд через Кавказские горы. Максим Максимыч указывает своему

* Наброски (*франц.*).

спутнику на «холм, покрытый пеленою снега; на его вершине чернелся каменный крест, и мимо его вела едва-едва заметная дорога...»

Крест, водруженный на перевале, оказался столь приметной деталью местности, что о нем упоминает почти каждый русский путешественник, пересекший Кавказские горы в первой половине девятнадцатого столетия. Вот редкая теперь книга Н.Н. «Записки во время поездки из Астрахани на Кавказ и в Грузию в 1827 году». Пушкин пользовался ею, работая над «Путешествием в Арзрум». «На вершине Крестовой горы, – сообщает автор, – воздвигнут гранитный крест, пиедестал коего исписан именами многих проезжающих»[193].

А в печати того времени вокруг перевального креста разгорелась настоящая полемика. Все началось с книги французского консула в Тифлисе, известного путешественника и ученого Гамба (о нем Лермонтов упоминает в романе). Его записки вышли в свет в 1824 году в Париже под названием «Путешествие в Южную Россию и преимущественно в Кавказские области». Отдельные главы публиковались и в русских журналах. Гамба, не поняв настоящего названия горы – Крестовая, пишет о ней как о горе святого Христофора («одна из достопримечательнейших гор, через которые пролегает дорога, есть гора Св. Христофора»)[194].

Впоследствии ученый француз имел много поводов пожалеть о своей злополучной ошибке, ибо она вызвала ряд едких откликов других авторов, более сведущих в кавказской топонимике. Барон Федор Корф заметил, что «путешествуя по чужой земле и не зная туземного языка, должно с большей осмотрительностью описывать то, что видишь, если не хочешь крестить православную Крестовую гору в гору Св. Христофора, каковой на всем земном шаре, сколько мне известно, не существует», и советовал Гамба в последующих изданиях его книги неправильное название горы просто вымарать[195].

Ошибку француза попытался исправить сотрудник «Московского телеграфа» в статье «Путешествие в Грузию»: «На самой высокой точке переправы через Кавказское ущелье – на вершине Крестовой горы – императором Петром Великим поставлен крест в ознаменование перехода им сими местами с войском своим. Отсюда начало названия горы Крестовой»[196].

Но и тут не все верно. Петр I с войском перехода через Кавказские горы не совершал. Об этом тогда же справедливо заметил Платон Зубов: «Не нужно, кажется, прибегать к пособию истории, которая ясно доказывает, что император с войском следовал берегом Каспийского моря (почти 400 верст восточное Крестовой горы, по прямой линии), следовательно, не мог поставить сего креста...»[197].

Автору «Московского телеграфа» справедливо возразил и Павел Бестужев, младший из пяти братьев-декабристов. Сосланный рядовым на Кавказ, он за отличия получил офицерский чин. В 1838 году в «Сыне отечества» была напечатана его заметка (по недоразумению опубликованная под псевдонимом его старшего брата, знаменитого писателя Александра Бестужева – Марлинский), в которой говорилось: «...русскому путешественнику стыдно не знать, что Петр I никогда не проходил чрез Кавказские горы и поэтому не мог поставить креста на Крестовой горе...»[198].

Павлу Бестужеву вторит и Лермонтов в своем романе: «...Об этом кресте существует странное, но всеобщее предание, будто его поставил император Петр I, проезжая через Кавказ; но, во-первых, Петр был только в Дагестане, и, во-вторых, на кресте написано крупными буквами, что он поставлен по приказанию г. Ермолова, а именно в 1824 году. Но предание, несмотря на надпись, так укоренилось, что право, не знаешь, чему верить, тем более что мы не привыкли верить надписям».

В упомянутом уже письме к Святославу Раевскому Лермонтов сообщил, что «лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии как на блюдечке...» Вот тогда, видимо, поэт и прочитал то, что «на кресте написано крупными буквами». Текст этой надписи сохранили для нас записки известного в прошлом на Кавказе журналиста Е. Вердеревского:

Во славу Бога,
в управление Грузиею
Генерала-от-Инфантерии
Ермолова, управляющий
горскими народами майор
Давыд Кананов, 1824 г.

Те же сведения сообщает и В. Мельницкий в статье «Переезды по России в 1852 году», уточняя, что надпись сделана по-грузински и по-русски, а сам крест – «чугунный, хорошей работы, поставлен на гранитном пьедестале»[199].

Что же касается «всеобщего предания», о котором говорит Лермонтов, то оно, действительно, «странное». Петр I побывал на западном берегу Каспийского моря и в прилегающих к нему районах Дагестана, где на берегу реки Сулак заложил большое укрепление Святой Крест, но это было в 1722 году, то есть за столетие до того, как крест на перевале был «поставлен по приказанию г. Ермолова, а именно в 1824 году». Достоверно в этом предании, пожалуй, лишь то, что оно соотносит появление креста на перевале с какими-то более ранними событиями.

Попробуем разобраться. Нет сомнений, что Крестовая гора и перевал получили свое название от креста. Но вот когда это произошло? Утвердилось мнение, что именно в 1824 году. Вот что сообщает об этом весьма авторитетный «Путеводитель по Кавказу» Е. Вейденбаума: «Перевал через главный хребет называется обыкновенно Крестовым. Название это возникло вследствие того, что в 1824 году управлявший тогда горскими народами майор Давид Кананов поставил на старой дороге каменный крест для обозначения точки перевала»[200].

Эти же сведения повторяет и Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, и Большая Советская Энциклопедия, и Краткая географическая, и современные путеводители по Военно-Грузинской дороге. Да, как будто все ясно. Но вот что странно: название горы – Крестовая – встречается и до 1824 года. Например, в путевых записках А. С. Грибоедова, впервые посетившего Грузию еще в 1818 году:

«Ужасное положение Коби – ветер, снег кругом, вышина и пропасть. Идем все по косогору; узкая скользкая дорога, сбоку Терек; поминутно все падают, и все камни и снега, солнца не видать. Все вверх, часто проходим через быструю воду, верхом почти не можно, более пешком. Усталость, никакого селения кроме трех, четырех осетинских лачужек, еще выше и выше, наконец, добираемся до Крестовой горы»[201].

Впечатление от кавказской природы было настолько сильным, что отголоски его можно найти в первой редакции «Горя от ума», где Чацкий, рассказывая о своих странствиях, вспоминает:

...Я был в краях,
Где с гор верхов ком снега ветер скатит,
Вдруг глыба этот снег в паденьи все охватит,
С собой влечет, дробит, стирает камни в прах,
Гул, рокот, гром, вся в ужасе окрестность[202].

Получилось так, что трое великих русских поэтов – Грибоедов, Пушкин и Лермонтов – не только сами проделали путешествие по Военно-Грузинской дороге, но и провели этим путем своих героев: Чацкого, Онегина («Он видит: Терек своенравный крутые роет берега...») и Печорина.

Чтобы собрание русских поэтов, обративших внимание на перевальный крест, было полным, назовем еще одного из них, чья воинская слава вот уже более полутора столетий соперничает с литературной, – Дениса Давыдова. Его записки о персидском походе 1826 года дарят нам еще несколько замечаний об истории креста, тем более ценных, что они могли быть сделаны со слов Грибоедова или самого Ермолова:

«Крестовая гора, самая возвышенная точка высот, по коим едешь от Коби до Тифлиса, есть истинный пункт перевала через Кавказ. Вокруг нее находятся горы гораздо выше ее. Она получила сие название от креста, который был водружен на ней первыми русскими, перешедшими за Кавказ во время Екатерины, но так как крест деревянный сгнил, то Ермолов заменил его огромным крестом, высеченным из гранита с таким же подножием»[203].

Но пойдем дальше. В тоненькой книжечке «Отечественных записок» за 1822 год помещено «Руководство для проезжающих Кавказские горы», где есть и описание креста и даже приводится текст надписи на нем, но не «ермоловской», а совсем другой! «На половине сей дороги, – сообщает безымянный автор «Руководства», – нужно переправляться чрез хребет весьма высокой горы, называемой Крестовою... Здесь поставлен каменный крест с следующею надписью: «Крест сей воздвигнут в память строения дороги, сделан попечением Подполковника Казбека, 1809 года»[204].

Подполковник Казбек – это князь Габриэл Казибегович Казбеги, получивший впоследствии чин генерал-майора русской службы, дед знаменитого писателя Александра Казбеги. Он был правителем области Хеви, и в обязанности его входило поддерживать хорошее состояние Военно-Грузинской дороги.

Кавказская тема была, видимо, весьма популярна в «Отечественных записках» – годом ранее они поместили очерк И. Ейхфельда «Кавказская дорога». И этот путник не прошел мимо гранитного изваяния:

«Едва оставишь долину сию, как должен всходить верст с 10 на высочайший хребет, составляющий истинную границу между Севером и Югом. Он делит воды и климаты. На вершине его найдете вы крест, означающий предел утомлений ваших...»[205]

Но и это не все. Оказывается, крест на перевале появился еще раньше! В одном из номеров «Вестника Европы» за 1805 год некто М. Воронченков напечатал «Письмо из Грузии в Астрахань», – в котором сообщал следующее: «Тотчас за селением Коби, лежащим недалеко от Казбека, начинается взъезд на гору Кашаур... Сия гора разделена глубокою долиною на две, на Крестовую и Кашаурскую. Перевал так называется потому, что на ней подле самой дороги Потемкин водрузил крест каменной...»[206]

Имеется в виду первый наместник Саратовской и Кавказской губерний граф Павел Сергеевич Потемкин, родственник могущественного фаворита Екатерины II. Осенью 1784 года он действительно совершил поездку по Военно-Грузинской дороге в Тифлис, но сведений о том, был ли по его приказу водружен на перевале крест, разыскать пока не удалось.

«Старый памятник, обновленный Ермоловым», связанный для нас с именами Пушкина и Лермонтова, хранит свою тайну. Разгадка ее кроется, вероятно, в глуби веков. В кавказском путеводителе Григория Мо-

сквича, вышедшем в начале XX столетия, сообщается, что впервые крест на перевале был поставлен еще грузинским царем Давидом Возобновителем, дедом царицы Тамары.

Также и знаток Кавказа, неутомимый путешественник и фотограф Г.И. Раев упомянул в своем «Каталоге кавказским видам и типам» (1897 г.), что «исторический крест на перевале на высоте 7719 ф. поставлен царем Давидом»[207].

Автор же «Впечатлений и воспоминаний покойника», опубликованных журналом «Библиотека для чтения» в 1848 году, приводит легендарные сведения о том, что «по преданию жителей, на этом месте персидский царь Кир распинал непокорных скифов...»[208].

Осененная крестом высшая перевальная точка Военно-Грузинской дороги надолго врезывалась в память каждому путнику. Причиной тому служило и важное ее местоположение – в самых недрах Кавказа, и впечатляющий горный ландшафт вокруг, и ореол таинственных легенд и преданий. Не случайно Лермонтов, прекрасно владевший жанром пейзажа и в живописи и в литературе, навсегда запечатлел Крестовую гору на полотне и в романе «Герой нашего времени». Вероятно, именно о перевальном кресте вспомнил и Пушкин, когда в послесловии к повести черкесского писателя Султана Казы-Гирея определил этот древний христианский символ, вознесенный над Кавказом, как «хоругвь Европы и просвещения».

«Твой монастырь за облаками...»

«Есть церковь в Хеви, с куполом, построенная царицею Тамарою во имя пресвятой Троицы, на горе Гергети, и самое селение Гергети пожертвовано этой церкви...» Это строки одного из грузинских церковных документов XVIII века, опубликованного в первом томе «Актов, собранных кавказской археографической комиссией»[209].

Речь идет о древнем храме Цминда-Самеба (Святая Троица), расположенном на вершине горы Квенет-Мта, вблизи Казбека. Предание относит его постройку к XII веку. Строение имеет форму креста и увенчано высоким куполом. По своим формам и технике считается одним из лучших памятников средневековой грузинской церковной архитектуры. Упоминание о нем есть и в знаменитой «Географии Грузии» царевича Вахушти: «Выше Гергети находится монастырь с куполом Самеба, служащий верным хранилищем сокровищ Мцхета. Крест святой Нины там же был сокрыт. Здание Самеба красиво и лежит в прекрасной местности»[210].

В былые времена храм считался главной святыней области Хеви. С ним связано много легенд и преданий. Неповторимый вид Цминда-Самеба на фоне крутых снежных склонов Казбека открывается из селения Казбеги на Военно-Грузинской дороге.

В 1823 году здесь побывал член Российской Академии наук Ю. Клапрот, оставивший описание храма: «26 декабря я воспользовался утреннею порою, чтобы объехать верхом окрестности Степан-Цминды. Грузинская деревня Гергети расположена насупротив, на левом берегу р. Терека, у подошвы высокой и обрывистой горы, которой вершина увенчана старою, хорошо сохранившеюся церковью. Она построена из камня по греческому образцу и есть, говорят, произведение грузинской царицы Тамары. Она носит название Цминда-Самеба или св. Троица, имеет купол со сводом и, по преданию, в ней хранится крест св. Нины. Позади этой горы возвышается снежная вершина Мкинвари...» (грузинское название Казбека)[211].

Древний храм интересен не только как памятник старины, но и как своеобразная архитектурная реликвия, связанная с историей русской литературы. Вид на Цминда-Самеба вдохновил А. С. Пушкина на создание прекрасного стихотворения «Монастырь на Казбеке»:

Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами...

Упоминает о нем поэт и в пятой главе «Путешествия в Арзрум»: «Утром, проезжая мимо Казбека, увидел я чудное зрелище: белые оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками».

Вид храма произвел впечатление и на другого великого русского поэта – М.Ю. Лермонтова. В поэме «Демон» он становится местом последнего упокоения Тамары и ее отца Гудала:

...Но церковь на крутой вершине,
Где взяты кости их землей,
Хранима властию святой,
Видна меж туч еще поныне.

Вероятно, под впечатлением увиденного Лермонтов строит свое стихотворение «Спеша на север издалека…» в форме молитвы, которую возносит «к престолу вечному аллы», то есть Казбеку.

В 1851 году по дороге в Тифлис в древнем храме побывал Л.Н. Толстой. Сам он не упоминает об этом, но в одном из писем к нему от брата Николая читаем: «В Казбеке пришли ко мне грузины, которые ездили с тобой на монастырь…»[212].

Церковь Цминда-Самеба описана и в повести «Хевисбери Гоча», принадлежащей перу классика грузинской литературы, уроженца здешних мест Александра Казбеги.

Глава IX. «Мы повстречались с ним на Гут-горе…»

Пушкин первым и, что удивительно, заочно (они состояли в переписке, но никогда не встречались лично) постиг в Бестужеве главное из его дарований – совершенно оригинальный и мощный талант беллетриста и пророчил ему славу русского Вальтера Скотта. Однажды в письме он так и назвал друга – «мой милый Walter» и призывал его всерьез приняться за крупное произведение в прозе: «…для себя жду твоих повестей, да возьмись за роман – кто тебя держит. Вообрази: у нас ты будешь первый во всех значениях этого слова; в Европе также получишь свою цену – во-первых, как истинный талант, во-вторых, по новизне предметов, красок etc… Подумай, брат, об этом на досуге… да тебе хочется в ротмистра!».

Провидение, как говорили в старину, имело на этот счет свои планы, и 14 декабря не только погубило предполагавшуюся литературную славу Бестужева в Европе, но и надолго вычеркнуло его имя из литературы отечественной. Пушкин же страдальца не забыл: фразу из его повести «Вечер на бивуаке» он взял эпиграфом к своему «Выстрелу», правда, без указания имени автора, что по цензурным обстоятельствам было тогда совершенно невозможно. Спустя годы несбыточное, уже казалось, предсказание Пушкина о Бестужеве вполне оправдалось: тот испытал ни с чем не сравнимую славу на родине, а лучшая из его повестей – кавказская быль «Аммалат-Бек» – неожиданным образом обрела своего читателя и в Европе.

«Я солдат и лечу к стенам Эрзерума…»

Жизнь Александра Бестужева похожа на авантюрный роман, сюжет которого есть борьба с судьбой, полная героических взлетов, оглушительных ударов и смертельно опасных приключений. Выпавших на его долю несчастий хватило бы на всех русских классиков вместе взятых. Во всяком случае, никто из них, даже Достоевский с его смертным приговором, и даже Грибоедов, павший под ударами разъяренной толпы мусульманских фанатиков, не мог бы предъявить чего-то исключительного в своем роде, что превзошло бы меру испытаний, посланных Бестужеву за его неполные сорок лет.

Блестящий гвардеец, дуэлянт и поэт. Красавец и сердцеед, сам изведавший муки несчастной любви к дочери своего патрона Матильде Бетанкур. Критик и беллетрист, заслуживший из уст Белинского почетный титул «зачинщика русской повести». Издатель «Полярной звезды», друг Рылеева и Грибоедова. Адъютант герцога Вюртембергского, младшего брата Марии Федоровны – матери русских императоров Александра и Николая. И – политический заговорщик с умыслом цареубийства, готовый принять на себя эту роковую роль. Потом водоворот декабрьского мятежа, каменный гроб Петропавловской крепости, кандалы и смертный приговор, замененный двадцатью годами каторги с лишением чинов и дворянства. Ссылка в Сибирь, после которой он воевал на Кавказе, как Лермонтов или Лев Толстой, но почти все восемь лет рядовым и, подобно Полежаеву, узнал на собственном опыте все прелести штрафной кавказской солдатчины. Дым, кровь, пот, холод, болезни, ночные атаки. Гибель любимой девушки, выстрелившей в себя из его пистолета. Безмерная, невероятная слава и страшная, невероятная смерть, предсказанная им самим.

После погрома на Сенатской площади Бестужев в отличие от многих своих товарищей по путчу не пытался ни скрыться, ни спастись бегством за границу, а сам на следующий же день явился на гауптвахту Зимнего дворца и сдался властям. Находясь в Петропавловской крепости, он составил для императора Николая письмо, в котором откровенно излагал свой взгляд на «исторический ход свободомыслия в России». Двадцать лет каторги ему скостили до пятнадцати, но это был только символический акт, на деле же монаршее милосердие шло гораздо дальше: ни двадцати, ни пятнадцати, и вообще ни единого дня каторжных работ Бестужев не изведал. Отбыв чуть больше года в финляндском форте «Слава», он сразу же был отправлен на поселение в Якутск. Начавшаяся война с турками дала ему повод обратиться к начальнику Главного штаба И.И. Дибичу с просьбой о переводе в действующие войска. Свое письмо Бестужев выдержал в таких слащавых и льстивых тонах, что невольно поражаешься его неискренности и, одновременно, его блестящему мастерству в области верноподданнической стилистики, к приемам которой он вынужден будет обращаться еще не раз:

«Великодушная снисходительность Вашего Сиятельства, которую имел я счастие испытать, осмеливает меня вознести до взора Вашего просьбу равно покорную и пламенную: о предстательстве Вашим Сиятельством пред особою милостивейшего Монарха о дозволении вступить мне рядовым под знамена, коим Вы указываете след к победам. Высокой душе, воспитанной в битвах, понятны страдания военного, осужденного тлеть в праздности, когда слава русского оружия гремит над колыбелью древнего мира и над гробом Магометовым. Но испрашивая сию милость, ищу не выгод и отличий – ищу только случая пролить кровь мою за славу Государя и с честью кончить жизнь, им дарованную, чтобы на прахе моем не тяготело имя преступника. Помилованный Великодушнейшим из Монархов, я еще более чувствую великость вины моей, еще более снедаюсь раскаянием; но с тем вместе это сознание открывает мне беспредельность Его благости, – и я умоляю Ваше Сиятельство довести до сведения Его Императорского Величества сию всеподданнейшую просьбу мою, если он – решитель судьбы сражений и государств – имеет свободную минуту от гражданских подвигов и победных трудов обратить внимание на несчастливца…»[213].

Так или иначе, писатель Бестужев одержал маленькую победу: письмо было доведено до государя и возымело действие. Николай препятствий переводу его в армию чинить не стал, хотя и бдительного надзора не ослаблял. Вскоре состоялось повеление «Александра Бестужева определить рядовым в действующие полки Кавказского корпуса с тем, чтобы и за отличие не представлять к повышению, но доносить только, какое именно отличие им сделано»[214].

Из холодной Якутии декабриста перевели в «теплую Сибирь». «Бог велик и государь милостив, – писал он с дороги братьям Николаю и Михаилу, томившимся в Читинском остроге. – Оба услышали мои мольбы, я солдат и лечу к стенам Эрзерума. Путь мой верхом по берегам Лены был труден и опасен, редкий день проходил без приключений, но каждый час сближает меня с битвами за правое дело и я благословляю судьбу»[215].

Бестужев участвовал в штурме турецкого города Байбурта и одним из первых ворвался в крепость через пролом в стене. По окончании кампании вернулся в Тифлис, где его ждала встреча с младшими братьями Петром и Павлом и друзьями-декабристами. Один из них, Александр Гангеблов, впоследствии вспоминал: «Вист и шахматы среди всевозможной болтовни, анекдотов и рассказов (по части которых Александр Бестужев был большой мастер) не прерывались; шуму и хохоту было много»[216].

Пожалуй, слишком много: шум и хохот достигли ушей командира корпуса И.Ф. Паскевича, и веселую команду разжалованных тотчас разослали по кавказским полкам. Бестужева на четыре года заперли в линейном батальоне, несшем гарнизонную службу в Дербенте.

«Я был в нескольких жарких делах»

Здесь с Бестужевым виделся Яков Костенецкий – бывший московский студент, загремевший рядовым на Кавказ. «Через полчаса, – пишет он, – вышел ко мне Бестужев, в персидском халате и шелковой на голове шапочке. Это был мужчина довольно высокого роста и плотного телосложения, брюнет, с небольшими сверкающими карими глазами и с самым приятным и добродушным выражением лица… Лицо у него было самое доброе и симпатичное… И в голосе его, и в выражении лица, и в тоне разговора было какое-то чарующее обаяние… Робость моя вдруг исчезла, и я начал говорить с ним, как бы с самым искренним моим другом»[217].

В Дербенте Бестужеву представился случай к выслуге: осенью 1831 года город осадили отряды имама Кази-Муллы. Отбивая атаки горцев с крепостной стены и участвуя в вылазках, он надеялся отвагой вернуть себе офицерский чин и заслужить царское прощение. Тревоги войны бодрили его душу. «Я дышал эту осень своею атмосферой: дымом пороха, туманом гор, – пишет он братьям в Сибирь. – Я топтал снега Кавказа, я дрался с сынами его – достойные враги… Как искусно умеют они сражаться, как геройски решаются умирать… И что за горы! О, как бы любили русские этот край, если бы он был их отчизною! Не умею пересказать вам, как он прелестен, и в одежде лета, и в алмазах зимы! Я был в нескольких жарких делах: всегда впереди, в стрелках, не раз был в местах очень опасных… Трудно верить, как метко и далеко они стреляют…»[218].

Ни геройство при защите Дербента, ни участие в походе на аул Эрпели, где в жестоких схватках с мюридами, по выражению Бестужева, «не было ни пленных, ни раненых», на его положении никак не отразились. «В батальон прислано два Георгия; – сообщает он вскоре брату Павлу, – один, по избранию нижних чинов, ротных командиров и батальонного командира, присужден мне… Я заслужил этот крест грудью, а не происками, и желаю иметь его поминкой Кавказа»[219]. Скромный серебряный крестик, то есть солдатский «Георгий» – знак отличия военного ордена, Бестужеву не достался, но в Дербенте он сумел все же вырвать у судьбы свой шанс: здесь он вернулся к писательской работе. Завязав переписку с издателями «Московского телеграфа» братьями Николаем и Ксенофонтом Полевыми, он отправляет им свои первые кавказские вещи. Рядовому Александру Бестужеву было разрешено выступать в печати, но без указания имени автора. Его очерки и заметки печатались без подписи, иногда ее заменяла пометка «Дагестан». Большинство своих повестей и рассказов отныне он публикует под псевдонимом Марлинский. Очень скоро это имя завоевало всю читающую Россию. За восемь лет на Кавказе, среди походов и сражений, в переездах от Каспийского моря до Черного и от Тифлиса до Ставрополя, Бестужев создает свыше тридцати произведений, в том числе и свои лучшие повести «Аммалат-Бек» и «Мулла-Нур».

Популярность Марлинского в русском обществе была огромной; издания его книг, по выражению Белинского, «таяли на полках, как подмоченный сахар». Его с увлечением перечитывал юный Лермонтов, перенося восхитившие его образы и строки в свои первые стихи. «Белеет парус одинокий…» – эта знакомая каждому лермонтовская строка на самом деле впервые вылилась именно из-под пера Бестужева. И.С. Тургенев признавался, что когда-то в молодости «целовал имя Марлинского на обертке журнала». В какой-то мере увлечение его кавказскими повестями повлияло и на молодого Л.Н. Толстого в решении отправиться на Кавказ и поступить там на военную службу.

В четырех первых книжках «Московского телеграфа» за 1832 год Бестужев напечатал повесть «Аммалат-Бек», снабдив название особым подзаголовком – «кавказская быль». Более того, добавил потом пространное примечание, в котором разъяснял читателям, что в повести взято из жизни, а что является плодом его художественных усилий: «Описанное выше происшествие не выдумка. Имена и характеры лиц сохранены в точности: автору повести остается только сказать несколько слов насчет изменения истины в некоторых подробностях.

Аммалат-Бек, участвовавший в нескольких набегах на русские владения, был выдан головою приведенными в покорность акушинцами самому главнокомандующему Кавказским корпусом генералу от инфантерии Ермолову, в бытность его в Акуше, 1819 года. Автор заставил его сделать впадение с чеченцами за Терек, чтобы вставить картину горского набега.

Полковник Верховский, находившийся тогда в качестве свитского офицера при главнокомандующем, упросил его помиловать Аммалат-Бека и взял с собою в Тифлис, учил его, воспитал его, любил его как брата. С ним, после многих походов, приехал Аммалат в 1822 году и в Дербент, когда по смерти полковника Швецова Верховского назначили командиром Куринского пехотного полка. Убил он своего благодетеля в 1823 году точно так, как описано. Читатель заметит, что автор, не желая растянуть повесть на четыре года, сжал происшествие в два года. Просим у хронологов извинения.

Что касается до завязки повести, она целиком досталась автору из рук молвы, и он не счел за необходимое объявлять на иные главы своего сомнения. Пылкие страсти здесь вовсе не редкость, а мщение – святыня для каждого мусульманина: это канва. Досужая рука могла вышивать на ней какие угодно арабески…»[220].

Бестужев не был очевидцем описанных им событий, не застал он на Кавказе и смещенного Николаем Ермолова, но в повести все дышит достоверностью: писатель изобразил Кавказ таким, каким видел его сам. «Пылкая страсть» - это любовь молодого и знатного горца Аммалат-Бека к дочери аварского хана Селтанете. Ради руки прекрасной избранницы Аммалат, подстрекаемый ханом, злодейски застрелил своего благодетеля полковника Верховского, некогда спасшего его от верной смерти. В доказательство исполненного убийства он доставил хану отрубленную голову полковника, но и самого хана застал уже на смертном одре. Селтанета, потрясенная низким предательством Аммалата, отвергает его. Он долго скрывался в горах и голову сложил в бою с русскими при штурме Анапы.

Кое-что об этой истории сообщает в своих «Записках» и генерал А.П. Ермолов: «Находившийся при полковнике Верховском родной племянник и зять шамхала Умалат-бек, которому благодетельствовал он в продолжение 3-х лет, воспользовавшись отдалением его от войск, убил его выстрелом из ружья и скрылся в горы. Точной причины гнусного злодейства сего неизвестно. Некоторые думают, что оно было следствием заговора с аварским бывшим ханом, с которым убийца имел сношения с позволения г. Верховского. Другие полагают, что, отчаявшись в примирении с шамхалом, с которым он был во вражде за развод с дочерью его, что между знатными мусульманами почитается величайшим бесчестьем, подозревал он, что полковник Верховский тому препятствует, и будто, подозревая перемену его к себе прежнего расположения, боялся, чтобы начальство не имело насчет его сомнения»[221]. Возвращаясь памятью к недавней старине, грозный «проконсул Кавказа» больше всего, вероятно, сожалел о том, что в свое время, уступив уговорам Верховского, не велел повесить Аммалата и не сберег тем самым жизнь своего офицера. Так или иначе, изображенные события передают довольно напряженную ситуацию, сложившуюся тогда в феодальном Дагестане, и нарастающее сопротивление горцев русским властям на Кавказе, самый разгар которого застал здесь уже сам Бестужев.

Когда-то чтение «Аммалат-Бека» произвело сильное впечатление на Лермонтова. Прекрасный художник, он сразу же набросал к повести несколько иллюстраций, передающих главные события сюжета, в том числе и роковой выстрел Аммалата в грудь русскому полковнику. Когда А.Ф. Смирдин издал первый том альманаха «Сто русских литераторов», там был помещен портрет Бестужева в бурке. Лермонтов, попав на Кавказ, создал свой автопортрет на фоне гор и, разумеется, тоже в бурке! Но это была, кажется, последняя дань кумиру юности, в дальнейшем творчество Бестужева могло вызвать у поэта лишь ироническую усмешку. Первым обратил на это внимание еще Белинский, отметив, что лермонтовский Грушницкий принадлежит к числу тех молодых людей, которые «страх как любят сочинения Марлинского, и чуть зайдет речь о предметах сколько-нибудь не житейских, стараются говорить фразами из его повестей».

Имя Марлинского Лермонтов дважды упомянул в очерке «Кавказец» и тоже, как можно заметить, с несколько ироническим оттенком, особенно, когда говорит о пристрастии молодых офицеров кавказских полков к кинжалам и буркам. Подобную эволюцию пережил и Лев Толстой. «Когда-то в детстве или первой

юности, – вспоминал он, – я читал Марлинского и, разумеется, с восторгом…». Однако на месте, испытав на себе все тяготы походной жизни и участвуя в боевых экспедициях в чеченские горы, Толстой стал воспринимать Марлинского иначе. В первом же военном рассказе «Набег» он высмеивает тех, кто смотрит «на Кавказ не иначе, как сквозь противоречащую действительности призму героев нашего времени, Бэл, Аммалат-беков…».

В 1834 году Бестужев был переведен в Ахалцих, потом исколесил весь Кавказ, воевал на побережье Черного моря, побывал в закубанских походах генералов Вельяминова и Засса. Вновь был представлен к награде и унтер-офицерскому чину, но, как и прежде, без всякого результата. «Два набега за Кубань, в горные ущелья Кавказа, – пишет он Ксенофонту Полевому весной 1835 года, – были очень для меня занимательны. Воровской образ этой войны, доселе мне худо знакомой – ночные, невероятно быстрые переходы в своей и вражеской земле; дневки в балках без говора, без дыма днем, без искры ночью – особые ухватки, чтобы скрыть поход свой, и наконец – вторжение ночью в непроходимые доселе расселины, чтобы угнать стада или взять аулы – все это так ново, так дико, так живо, что я очень рад случаю еще с Зассом отведать боя. Дрались мы два раза и горячо; угнали тысяч десять баранов из неприступных мест, взяли аул в сердце гор. Зато, что вытерпели холоду, голоду, бессонницы! Я дивился неутомимости казаков и резвости коней…»[222].

«Непогоды ржавят струны, и ветры рвут их…»

У Бестужева есть довольно пространный рассказ или повесть под названием «Вечер на Кавказских водах в 1824 году». Никаких сведений о пребывании писателя у горячих источников Пятигорья именно в это время разыскать пока никто не сумел. Справедливо полагают, что Бестужев впервые мог побывать здесь лишь в 1829 году, когда по высочайшему повелению был переведен из сибирской ссылки рядовым в войска Отдельного Кавказского корпуса. Вот тогда, по дороге в штаб корпуса в Тифлис, он якобы и «сумел заехать на короткий срок на Воды, то ли ради встречи с кем-то из друзей, то ли передохнуть от утомительной дороги. Год, указанный в повести, только маскировал истинную дату «нелегального» посещения декабристом Кислых Вод, что было самовольным отступлением от указанного маршрута»[223].

Может быть, и так. Но трудно верится, что подневольный вояжер с клеймом государственного преступника, сопровождаемый надежным конвоем, мог позволить себе подобную вольность. К тому же имеются сомнения и литературного характера. Повесть была опубликована в Петербурге, в четырех номерах «Сына отечества» за 1830 год. Сюжет ее таков, что мог происходить на водах, а равно и в любом другом месте – разницы никакой: несколько господ, собравшись вечером в зале кисловодской гостиницы, рассказывают по очереди разные страшные истории, вроде мертвеца, приходящего за своим черепом. В начальных строках упомянут, правда, «двуглавый Эльборус», а потом и Подкумок, и писатель приводит замечательную формулу о том, что «горы есть поэзия природы». Но описание местности совершенно лишено конкретных здешних черт и представляет собой набор пышных, пустых фраз о гряде белых облаков и голубоватых льдах горного хребта. О курортном быте говорится лишь то, что кавказская вода имела для собравшихся только одно «чудесное свойство – возбуждать жажду к вину».

Все это наводит на мысль, что Бестужев описывал Кавказские воды, так сказать, заочно. Побывал он здесь, скорее всего, единственный раз в жизни, уже после шести лет кавказских странствий, походов и сражений. Вот этот факт сомнений не вызывает и подтверждается рядом официальных документов, писем Бестужева и мемуарных источников. Когда весною 1835 года здоровье писателя резко ухудшилось, он обратился к командующему войсками Кавказской линии генералу А.А. Вельяминову с просьбой о «сострадательном позволении» отправиться на воды. «С января сего года, – пишет Бестужев, – явились во мне судорожные биения сердца… Строжайшее наблюдение убедило, наконец, что виною тому раздражение не кровеносной, но нервной системы от солитера… Теряя с каждым днем силы, измученный трехнедельной бессонницею и удушением сердца, я приведен на край могилы. Доктора единогласно советуют мне внутреннее употребление нарзана… На водах, по крайней мере, дыша горным воздухом и пользуясь советами искусных врачей, я мог бы если не скорее ожить, то легче умереть…»[224].

Июль и август писатель провел в Пятигорске, где свел дружбу с доктором Н.В. Майером (будущим прототипом Вернера в лермонтовской «Княжне Мери»). Здесь Бестужеву впервые блеснул луч надежды: он получил известие о производстве в унтер-офицеры. Следующее повышение и офицерские эполеты могли означать царское прощение и возможность выйти в отставку, о которой он давно мечтал.

Из огромного и, к сожалению, до сих пор не собранного воедино, а рассеянного по старым журналам эпистолярного наследия Бестужева, три письма написаны им в Пятигорске. Первое из них, от 28 июля, адресовано братьям Николаю и Михаилу в Сибирь, он спешит поделиться с ними радостью: на шестом году службы его произвели в унтер-офицеры. «Как жаль, что мы не можем обняться, милые братья, и одним сердцем помолиться Богу за нашего доброго, великого монарха!»[225] – сколько горькой иронии в этих словах: кому, как не доброму монарху братья обязаны каторгой, ссылкой и десятилетней разлукой.

Николай и Михаил томились в далекой Сибири, на долю Александра выпали «горести и усилия горской службы». «Я столько околесил, – пишет он братьям, – проскакал и плавал, столько наглотался дорожной грязи, боевого дыма, со столькими дрался и дружился, что у меня рябит в памяти. Болезнь и недосуги мешали мне переносить на бумагу многое; теперь все это сидит в чернильнице и ожидает вдохновения голове и раздолья пальцам»[226]. Далее Бестужев рисует картину зимнего боя, в котором принимал участие, передает привет друзьям по заключению, интересуется учеными занятиями братьев, пытается ободрить и поддержать их. Сам Бестужев устал бороться с судьбой. Неприкрытая горечь проступает в строках его письма к брату Павлу от 19 августа: «Брат Петр потерял разум… Не знаю, уберегу ли я его. Мое нервозное сложение – эолова арфа… непогоды ржавят струны, и ветры рвут их, а милые читатели упрекают: «что вы ничего не пишете?»»[227].

Писатель сообщает подробности своего лечения на водах: «Я еще не был на кислых, но дней на пять необходимо съездить. Теперь принимаю первый нумер Александровских и сварился уже вкрутую»[228]. Деревянное здание Александровских ванн находилось на уступе Горячей горы, где ныне высится всем известный символ Пятигорска – бронзовая скульптура орла. Горячую воду источника тогда не разбавляли, и слова Бестужева «сварился уже вкрутую» – небольшое преувеличение.

Между тем, здоровьем писателя заинтересовались высшие сферы. А.Х. Бенкендорф официально запросил командира Кавказского корпуса Г.В. Розена о том, «известно ли ему, что Бестужев страдает биением сердца и что ему несколько уже раз пускали кровь»[229]. Но ограничиться справкой о самочувствии опального писаки шеф жандармов, разумеется, не мог. Вскоре на имя Розена поступило новое предписание: «Государь император получил, частным образом, сведения о неблагонамеренном расположении Бестужева, которому, хотя не дает полной веры, но не менее того высочайше повелел, дабы внезапным образом осмотреть все вещи и бумаги Бестужева и о последующем донести его величеству»[230].

Последствия не замедлили сказаться: в Пятигорске 28 июля в 5 часов утра жандармский подполковник Казасси произвел внезапный и тайный обыск на квартире проживающих совместно Бестужева и Майера, не забыв взять с них подписки о неразглашении происшедшего. Ни здесь, ни по другим адресам Бестужева, в Екатеринодаре и Ставрополе, ничего крамольного обнаружено не было, и Розен мог с легкой душой отписаться в Петербург, упомянув, что «болезнь Бестужева не подвержена сомнению, но что он страдает не аневризмом, а солитером и скорбутными ранами, и что, при всем строгом надзоре за этим государственным преступником, он не получил никакого сведения, которое подало бы ему повод полагать настоящее расположение его неблагонамеренным, но что пылкость характера, а особенно чрезмерное самолюбие, свойственное каждому литератору, заставляет его слишком горячо чувствовать свое положение»[231]. Изъятая при обыске в Пятигорске серая шляпа (якобы опознавательный знак итальянских карбонариев), частные письма и бумаги были Бестужеву возвращены.

Краткое пребывание на водах помогло писателю восстановить силы, однако настроение его не улучшилось. «Раны мои хоть медленно, но закрываются… – сообщает он брату Павлу. – Я хочу ехать поскорее в экспедицию. Ей-богу, лучше пуля, чем жизнь, какую я веду»[232]. Не окончив курса лечения, он собирается оставить воды, о чем пишет 19 августа своему издателю Ксенофонту Полевому: «Прерываю едва начатое лечение ваннами и спешу на кислые, чтобы там хоть сколько-нибудь закалить себя для бивуака… Из Нарзана прямо за Кубань; не дай Бог и недругу такого курса»[233]. В конце лета писатель навсегда покинул Пятигорск. 30 августа, уже из Екатеринодара, по пути в действующий отряд, он сообщает брату Павлу: «Хочу отведать, не лучше ли поможет горный воздух и дым пороха, чем воды, которых, впрочем, я не успел и брать, как следовало. Бивуаки – плохой верстак для поэзии, а дух мой чернее, нежели когда-нибудь»[234]. Просьбу его об отставке поддержал в личном письме к Николаю генерал-губернатор Новороссии граф М.С. Воронцов, на что царь ответил в том смысле, что Бестужев «должен служить там, где сие возможно без вреда для службы»[235].

В 1858–1859 годах путешествие по России и Кавказу совершил знаменитый французский романист Александр Дюма. В Дербенте, где когда-то солдатскую лямку тянул Бестужев, автору «Трех мушкетеров» рассказали историю Аммалата. И Дюма настолько увлекся Марлинским и его героем, что, вернувшись на родину, выпустил роман «Sultanetta», представляющий собой перевод-переделку повести «Аммалат-Бек». «Постараюсь воскресить во Франции то, что забыто в России», – восклицал он, прозрачно намекая на то, что имя государственного преступника Бестужева долгие годы у нас находилось под запретом.

«Во мне слишком много горячей крови…»

В 1829 году Пушкин, возвращавшийся из Арзрума, и Бестужев, направлявшийся в Арзрум, разминулись вблизи Крестового перевала на Военно-Грузинской дороге или, что тоже возможно, просто не узнали друг друга. Через несколько лет известие о смерти Пушкина застало Бестужева в Тифлисе и заставило заново пережить горькие утраты прежних дней – гибель Рылеева и Грибоедова. Вот как рассказал об этом сам Бестужев в письме к брату Павлу: «Я был глубоко потрясен трагической гибелью Пушкина, дорогой Павел… Я не сомкнул глаз в течение ночи, а на рассвете я был уже на крутой дороге, которая ведет к монастырю святого

Давида, известному вам. Прибыв туда, я позвал священника и приказал отслужить панихиду на могиле Грибоедова, могиле поэта, попираемой невежественными ногами, без надгробного камня, без надписи! Я плакал тогда, как плачу теперь, горячими слезами, плакал о друге и о товарище по оружию, плакал о себе самом; и когда священник запел: «За убиенных боляр Александра и Александра», рыдания сдавили мне грудь – эта фраза показалась мне не только воспоминанием, но и предсказанием… Да, я чувствую, что моя смерть также будет насильственной и необычайной, что она уже недалеко – во мне слишком много горячей крови, крови, которая кипит в моих жилах, слишком много, чтобы ее оледенила старость… Какой жребий, однако, выпал на долю всех поэтов наших дней!.. Вот уже трое погибло, и какой смертью все трое!.. Вы, впрочем, слишком обвиняете Дантеса – нравственность, или, скорее, общая безнравственность, с моей точки зрения, дает ему отпущение грехов: его преступление или его несчастье в том, что он убил Пушкина, – и этого более чем достаточно, чтобы считать, что он нанес нам непростительное, на мой взгляд, оскорбление. Пусть он знает (свидетель бог, что я не шучу), что при первой же нашей встрече один из нас не вернется живым»[236].

Судьба распорядилась иначе. Летом того же года Бестужев погиб при высадке десанта на мыс Адлер. Цепь стрелков, в рядах которых находился писатель, была смята и рассеяна горцами в густом прибрежном лесу. Его изрубленное шашками тело после боя обнаружить не удалось. В составе той же экспедиции находился и азербайджанский поэт Мирза Фатали Ахундов, служивший переводчиком в штабе корпуса. За несколько дней до гибели Бестужев перевел на русский язык его поэму «На смерть Пушкина», отдав тем самым свой последний долг другу и литературному собрату. «За три дня до отплытия в море, – сообщает А.П. Берже, – Бестужев, в числе других, обедал у барона Розена, который, между прочим, спросил его: читал ли он поэму Мирзы-Фетх-Али (присутствовавшего тут же), и когда получил отрицательный ответ, то просил его переложить поэму на русский язык при содействии автора. Это было посмертным произведением пера Бестужева: несколько дней спустя, высадившись у мыса Адлер, он был убит горцами»[237].

Зачинщик русской повести окончил свой путь в возрасте сорока лет, в пору писательской зрелости и расцвета творческих сил. Как и другие наши герои, он сгинул в огненном урагане бесконечной Кавказской войны, оставив по себе яркую память как об одном из лучших русских беллетристов девятнадцатого века. «Здесь все его оплакивают, как родного, – писал матери из Сибири Николай Бестужев, – мы уверены, что и у вас память его не умрет безгласна. И в самом деле: поставленный судьбою в положение самое трудное для сил человека, и моральных и физических, он, силою ума и твердостию поведения, одержал совершенную победу…»[238].

Глава X. «В полверсте от Ананура… встретил Хозрев-Мирзу…»

В Москве, в экспозиции Алмазного фонда, среди прочих исторических реликвий можно увидеть алмаз «Шах». Это драгоценный камень большой чистоты, чуть тронутый желтизной, с искусной арабской гравировкой на трех гранях. Рядом выставлен миниатюрный портрет А.С. Грибоедова. Говорят, что за любым крупным бриллиантом тянется шлейф преступлений и крови. Не стал исключением и алмаз «Шах», которым иранские власти расплатились за кровь русского дипломата и поэта.

«Не знаю ничего завиднее последних годов его бурной жизни…»

При определении на дипломатическую службу Грибоедов получил скромное место секретаря русской миссии. От него самого зависел важный выбор: ехать в Америку или Персию. Он выбрал последнее, и его судьба навсегда оказалась связанной с Кавказом.

Отправляясь в путь, он писал другу Степану Бегичеву, и в этом письме сквозит еще не ясное предчувствие: «Ах, Персия, дурацкая земля! Гейер приехал с Кавказу, говорит, что проезду нет: недавно еще на какой-то транспорт напало 5000 черкесов; с меня и одного довольно будет…».

С черкесами, впрочем, на этот раз все обошлось, и до Тифлиса добрались благополучно, но в другой из многочисленных проездов Грибоедова по Военно-Грузинской дороге он, действительно, едва не угодил в плен к горцам. В столице Грузии поэта ждала новая напасть: известный на Кавказе храбрец Александр Якубович, служивший здесь в драгунском полку, с нетерпением готовился к приезду старого знакомца. Дело в том, что дуэль между ними, не состоявшаяся в Петербурге, была отложена до первой же встречи. Поединок состоялся ноябрьским утром в окрестностях Тифлиса. Выстрел противника повредил поэту левую кисть, – по этой примете его обезображенный труп был опознан после тегеранской трагедии. Секундантом Грибоедова оказался Николай Муравьев (будущий покоритель Карса и наместник Кавказа). Отважный и грамотный офицер, он пользовался особым доверием А.П. Ермолова. Отношения Муравьева и Грибоедова складывались не лучшим образом, дело и тут едва не окончилось дуэлью. Позднее же Муравьев писал о поэте, что «образование и ум его необыкновенны», и высоко оценил его дипломатическую деятельность на Востоке: «…Я отдавал всегда

полную справедливость его способностям и остаюсь уверенным, что Грибоедов в Персии был совершенно на своем месте, что он заменял нам там единым своим лицом двадцатитысячную армию и что не найдется, может быть, в России человека, столь способного к занятию сего места»[239].

Грибоедов вернул из персидского плена 150 русских солдат. Из опостылевшего Тавриза («Нигде звезды не светят так ярко, как в этой скучной Персии!» – восклицал он) поэт совершил поездку на Северный Кавказ в ставку Ермолова, а потом, в 1822 году, перешел к нему на службу секретарем по иностранной части, считая грозного проконсула Кавказа «одним из самых умнейших и благонамереннейших людей в России». Получив в крепости Грозной приказ об аресте Грибоедова по делу о 14 декабря, Ермолов предупредил об этом поэта, и тот успел сжечь все опасные бумаги.

Выйти из-под следствия с «очистительным аттестатом» Грибоедову помог всесильный И.Ф. Паскевич, женатый на его двоюродной сестре. Паскевич сменил Ермолова на Кавказе, и при нем Грибоедов достиг своей дипломатической вершины: он оформил Туркманчайский мирный договор с Персией, то есть документально закрепил то, чего фельдмаршал добился силой оружия.

За Туркманчай Грибоедов получил свой единственный российский орден – святой Анны второй степени с алмазами. А вот персидский шах награждал его дважды: орденом Льва и Солнца 2-й и 1-й степени, причем последний с алмазами и золотым ожерельем с финифтяной отделкой. Последняя должность, которую Грибоедов занимал, – российский императорский чрезвычайный посланник и полномочный министр при дворе персидском. Карьера давалась дорогой ценой. «…Грибоедов на пути от Тавриза сюда, – сообщал Ермолов Петербург, – имел несчастье переломить в двух местах руку и, не нашедши нужных в дороге пособий, должен был по необходимости обратиться к первому, который мог дать ему помощь, и от того произошло, что по прибытии в Тифлис надлежало ему худо справленную руку переломить в другой раз…»[240]. Иранский удушливый зной доводил его до обмороков. Он перенес серьезную болезнь накануне собственной свадьбы. «Я нашел Грибоедова больным, – пишет секретарь посольства Карл Аделунг, – он боролся с болями в желудке и кишечнике и не знал куда деваться от жара…»[241]. На церемонии венчания поэт едва стоял на ногах.

Он досыта наглотался российской и иранской пыли, дорогу на Кавказ в сердцах называл проклятой и считал себя «скитальцем в восточных краях». Он мечтал о миссии пророка, а в жизни имел чин статского советника. Приступы отчаянной тоски иногда доводили его до предела, до мысли о самоубийстве. Он собирался «зажить отшельником в Цинондалах», посвятив себя литературе, но так и не вырвался из круга земных забот.

Он любил повторять восточную мудрость: «Худшая из стран та, где нет друга». На аудиенции у шефа жандармов Бенкендорфа он добился разрешения писать осужденному на каторгу Александру Одоевскому и заклинал Паскевича «спасти страдальца». Он взял с фельдмаршала слово благодетельствовать и другому декабристу – Александру Бестужеву и даже выпросить его из Сибири на Кавказ. Бестужева перевели рядовым в войска Отдельного Кавказского корпуса, но Грибоедов к тому времени уже покоился на горе святого Давида в Тифлисе.

«Не знаю ничего завиднее последних годов его бурной жизни, – писал Пушкин. – Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна».

Земля Кавказа дарила его вдохновением. Здесь к нему пришел замысел, и началась работа над бессмертной комедией «Горе от ума». Кавказ всегда манил русских поэтов, и здесь побывали Пушкин, Лермонтов, Есенин. Судьбе было угодно, чтобы Грибоедов остался здесь навсегда.

Обстоятельства гибели Грибоедова до конца не ясны. Исследователи выделяют восемь, по меньшей мере, различных версий злопамятной тегеранской катастрофы. «Он погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства, – замечает А.С. Пушкин. – Обезображенный труп его, бывший три дня игралищем тегеранской черни, узнан только по руке, некогда простреленной пистолетною пулею».

Через неделю после разгрома русской миссии тело Грибоедова извлекли из общей могилы и похоронили в ограде армянской церкви в Тегеране. Еще две недели спустя останки поэта отправили в Тифлис, и близ крепости Гергеры с ними встретился Пушкин, направлявшийся в русскую армию в Арзрум. Он оставил воспоминание об этой встрече: «Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. «Откуда вы?» – спросил я их. – «Из Тегерана». – «Что вы везете?» – «Грибоеда». – Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис».

Памятник на вершине Машука

Во время путешествия в Арзрум у Пушкина произошла еще одна встреча. На Военно-Грузинской дороге близ Ананура он встретил посольство, направленное персидским шахом в Петербург с извинениями за смерть Грибоедова. Возглавлял посольство внук правителя Ирана Фетх-Али-шаха, седьмой сын наследника престола Аббас-Мирзы шестнадцатилетний принц Хозрев-Мирза. «Я пошел пешком не дождавшись лошадей, – пишет Пушкин, – и в полверсте от Ананура, на повороте дороги, встретил Хозрев-Мирзу. Экипажи

его стояли. Сам он выглянул из своей коляски и кивнул мне головою. Через несколько часов после нашей встречи на принца напали горцы. Услышав свист пуль, Хозрев выскочил из своей коляски, сел на лошадь и ускакал. Русские, бывшие при нем, удивились его смелости...»

Примерно в то же время по Военно-Грузинской дороге проехал и переведенный из сибирской ссылки на Кавказ писатель-декабрист А.А. Бестужев-Марлинский. Об этом путешествии он рассказал в большом очерке «Письмо доктору Эрману». Любивший блеснуть своей причастностью к важным событиям, Бестужев сообщает: «В 1829 году горцы, ободренные отсутствием войск, стали разбойничать на Военно-Грузинской дороге. Перед проездом моим они увели в плен одного доктора; за неделю отбили купеческий табун из-под пушек конвоя и при проезде Хозрев-Мирзы ранили его нукера».

В Тифлисе посольство Хозрев-Мирзы принимал командующий русскими войсками на Кавказе граф И.Ф. Паскевич. Принцу были оказаны всевозможные почести. Дальнейший путь его лежал через Владикавказ, Георгиевск и Ставрополь на Москву и Петербург. Вот тогда персидское посольство заехало и на воды в Пятигорск. Довольно подробно об этом рассказывает в своей книге очевидец событий Ф.П. Конради, в то время главный врач кавказских курортов. Книга эта вышла в 1831 году в Петербурге и называлась «Рассуждения о искусственных минеральных водах, с приобщением новейших известий о кавказских минеральных источниках». Редчайший экземпляр этой книги хранится ныне в Пятигорском институте курортологии. Еще в 1900 году ее передал в научную библиотеку Русского бальнеологического общества в Пятигорске замечательный ученый С.А. Смирнов. Конради пишет:

«В прошлом 1829 году мы имели счастие видеть у себя персидского принца Хозрев-Мирзу, который на пути в С.-Петербург заехал на наши воды. Генерал от инфантерии Еммануель принял Принца с надлежащими почестями в гостинице, где для него были отведены лучшие комнаты. В честь ему давали балы и собрания, и вообще делали все, что могло бы доставить удовольствие юному Принцу. Он осмотрел все источники и заведения; несколько раз купался в дождевых ваннах, – которые на сие время были предоставлены в распоряжение Принца и свиты его, – и хвалил прекрасное устройство оных. Желая лично обозреть все заслуживающее внимания, Принц всходил даже на вершину Машуки. Генерал Еммануель тогда же приказал поставить на Машуке монумент, с приличною надписью, дабе передать потомству память сего происшествия. Хозрев-Мирза собственною рукою написал имя свое и несколько изречений на Персидском языке на каменной доске приготовленной для монумента. Письмена сии были тщательно вырезаны в доске под надзором архитектора Бернардацци, коему также поручено было составление плана для монумента и производство всех работ по сему предмету. В скором времени монумент занял место свое на вершине Машуки. Я прилагаю к сему сочинению литографированный вид памятника и надпись, с русским переводом оной. Принцу весьма понравились наши места и он намеревался вторично заехать к нам на обратном пути; но приключившаяся ему болезнь принудила его отменить сие намерение и поспешить возвращением в отечество свое»[242].

Некоторое время принц и его многочисленная свита провели на Кислых водах. Покинув Пятигорье, персидское посольство отправилось в дальнейший путь – в Ставрополь, о чем местное начальство в лице генерала Г.А. Емануеля было заблаговременно извещено особым письмом графа Паскевича:

«Милостивый государь Георгий Арсентьевич.

По извещении вас генерал-майором Ренненкампфом о приближении к Ставрополю персидского принца крови Хосров Мирзы, вы вышлите к нему навстречу полицмейстера; при заставе должен его ожидать комендант и проводить до назначенного его высочеству дома, где ваше высокопревосходительство должны его ожидать, приказав предварительно поставить к оному почетный караул.

Впрочем поручаю вам руководствоваться инструкциею, данной г. генерал-майору Ренненкампфу. Имею честь быть с истинным почтением вашего высокопревосходительства покорнейший слуга.

Граф Иван Паскевич Эриванский.

Тифлис, 19 мая 1829»[243].

Также были отданы распоряжения ставропольскому городничему Попову о приискании квартиры и заготовке яств для принца и свиты, причем особо рекомендовалось «приготовить всякого рода рыб, которые имеют шурлуху, в особенности форели, без шурлухи же рыбы не употребляются; самых лучших баранов и барашек, всякого рода дичины, кроме зайцев, клубники и земляники, вишень, свежих огурцов и сколько можно больше цветов в вазонах, в особенности роз для комнаты его высочества. Приготовить несколько палаток, которые имеют быть разбиты близ воды, где персиане могли бы купаться и молиться»[244].

Через Новочеркасск и Воронеж посольство 14 июля прибыло в Москву, встретившую персидского гостя стройными рядами войск и приветственной стрельбой из орудий. В белокаменной Хозрев-Мирза осмотрел Оружейную палату в Кремле, посетил Московский университет, питомцем которого был некогда Грибоедов, и нанес визит его матери. «Глубоко тронутый ее несчастием, – сообщает об этом А.П. Берже, – принц в самых прочувствованных словах выразил ей глубокую скорбь, которую причинила Фетх-Али-шаху и Аббас-Мирзе смерть Александра Сергеевича, причем употребил все старание утешить и успокоить ее в невозвратной потере единственного сына. Такое искреннее соболезнование к положению г-жи Грибоедовой, само собою разумеется, сразу расположило москвичей в пользу принца»[245].

В начале августа посольство прибыло в Петербург, где Хозрев-Мирза был удостоен высочайшей аудиенции в Зимнем дворце. Он лично вручил Николаю I «извинительное письмо» – шахскую грамоту. Выслушав ее, царь произнес: «Я предаю вечному забвению злополучное тегеранское происшествие». Хозрев-Мирза и вся его многочисленная свита получили щедрые царские подарки. Иранский престол расплатился за кровь русского поэта и дипломата алмазом «Шах», о котором тоже следует сказать несколько слов.

Это знаменитая драгоценная реликвия индийского происхождения, в прошлом – величайшая ценность персидских шахов, а ныне один из семи исторических камней Алмазного фонда России. Алмаз большой чистоты, с незначительным желтоватым нацветом, весом 88,7 карата. На нем три надписи на персидском языке, позволяющие проследить его историю. Камень, как полагают, был найден в Индии в XVI веке. Некогда им владела династия Великих Моголов, а после разгрома Дели шахом Надиром алмаз был увезен в Персию. Подробное описание его можно найти в знаменитой книге историка-очеркиста М.И. Пыляева «Драгоценные камни», а также и в известном труде под таким же названием Г. Смита, выдержавшем 15 изданий. Большую статью уникальному камню посвятил и классик отечественной минералогии А.Е. Ферсман, заключивший, что «он является весьма любопытным благодаря своим историческим надписям, рисующим нам истории этого камня на фоне истории Индии. Наконец, значительный интерес связан в «Шахе» с техникою гравировки, совершенно исключительной и мало понятной по своему совершенству, резкости и изяществу исполнения»[246].

Характерный эпизод, связанный с пребыванием Хозрев-Мирзы в северной столице, передают воспоминания П.А. Каратыгина:

«4 августа 1829 года, вскоре после кровавого происшествия в Тегеране, где погиб наш незабвенный Грибоедов, прибыло в Петербург персидское посольство во главе с Хозровом-Мирзой, внуком Фет-али-Шаха, с поручением умилостивить справедливый гнев государя за зверское умерщвление Грибоедова.

Хозров-Мирза был юноша лет шестнадцати или семнадцати, очень красивый собою; он сделал большой эффект в петербургских обществах; особенно дамы были от него в восхищении и не давали ему проходу на гуляниях. Его обласкали при дворе и приставили к нему генерал-адъютанта графа Сухтелена, которому поручено было показывать персидскому гостю все замечательное в нашей столице. Хозров-Мирза бывал очень часто в Большом театре, и в один спектакль, когда он сидел в средней царской ложе, я, стоя в местах за креслами, набросал карандашом его профильный портрет и после перерисовал его акварелью на кости, довольно порядочно.

Когда я принес этот портрет в театр на репетицию и показал его моим товарищам, все находили, что сходство было необыкновенное…

На следующий день Хозров-Мирза приехал в Большой театр… Портрет был показан принцу, и он был в восхищении. (Литографированные его портреты появились тогда гораздо позже.) Персидский министр и прочие чиновники его свиты ахали, изумлялись; не понимая, конечно, ни на волос художества, они от удовольствия гладили свои длинные волосы и вроде Хаджи-Бабы начали друг за другом повторять «Аллах! маш-Аллах» и положили в свои рты пальцы от удивления.

…Недели полторы спустя прислана была в дирекцию золотая табакерка от принца на мое имя»[247].

А в Пятигорске начальник войск Кавказской линии Г.А. Емануель, много сделавший для благоустройства молодого курорта, пожелал увековечить память о пребывании здесь Хозрев-Мирзы. В марте 1830 года генерал направил строительной комиссии следующее предписание:

«Я бы желал, чтобы на гору Машуху можно провести удобнейшую тропинку для незатруднительного на вершину оной ходу, а потому и полагаю такую тропинку зигзагом, т.е. змейкой, предположить с той стороны с той стороны, откуда я в бытность мою в прошлом лете с его высочеством принцем персидским Хозров-Мирзою спускался к Горячеводску. Сие возложить на г. Иосифа Бернардацци, чтобы он поспешил снять на плане удобнее и ближе, и потом оный предлагаю комиссии на рассмотрение ко мне представить»[248].

Тогда же был сооружен и монумент. Деньги на него, 100 рублей, Емануель внес из своих собственных средств. По проекту талантливого архитектора И. Бернардацци на вершине Машука был воздвигнут памятник, представлявший собой невысокую каменную колонну. К вершине проложили удобную тропу, вдоль которой были расставлены скамьи для отдыха. На памятнике сделали надпись со словами Хозрев-Мирзы:

«Добрая слава, оставляемая после себя, лучше золотых палат.
Любезный брат! Мир здешний не останется ни для кого;
Привяжись сердцем к создателю
И не полагайся на блага мирские;
Ибо многих, подобных тебе, Он сотворил и уничтожил.
Хосров-Мирза, 1244 (1829) г.».

Текст надписи мы приводим так, как он представлен в большой статье «Хосров-Мирза», принадлежащей перу выдающегося кавказоведа А.П. Берже. Там же можно найти и описание внешности принца во время пребывания его в России: «он был среднего роста, строен, имел очаровательные глаза и необыкновенно приятную улыбку; держал себя с достоинством, обладал живостью в разговоре, и был замечательно приветлив в обхождении»[249].

Встречающиеся в литературе переводы памятной надписи, оставленной в Пятигорске персидским принцем, иногда расходятся в деталях, поэтому считаем не лишним при вести еще один ее вариант – из редкой теперь книги Я.Д. Верховца «Садоводство и виноградарство в районе Кавказских Минеральных вод 1825–1850 гг.», рисующей и некоторые другие подробности, связанные с сооружением на вершине Машука необычного мемориала:

«Тогда же в 1829–1830 гг. проложена дорога для всхода и въезда на Машук, – вдоль дороги расставлены скамейки для отдохновения, на самой же вершине был поставлен памятник (круглая каменная колонка) в память посещения персидским принцем Хозров-Мирзою. Об этом имеется в деле следующее: Емануель предписал 12 апреля 1829 года Строительной Комиссии «сделать на экономическую сумму на горе Машук памятник с надписью сделанною пер. принцем Хозров-Мирзою; сколько же будет на сие действительно употреблено суммы, имеет оная о том предъявить по окончании отчет». 28 марта 1830 года была составлена смета… по коей определена стоимость сооружения по тогдашним ценам на рабочий (солдатский) труд в 100 рублей. Означенная сумма внесена в кассу Строительной Комиссии г. Емануелем из собственных средств… В сочинении Конради находится в начале книги литографированный вид памятника, состоящий из большой конусообразной насыпи, на вершину которой ведут 14 каменных ступенек, а затем в конце этой же книги в особом приложении приведена имевшаяся на памятнике надпись на персидском языке, с переводом на русский, следующего содержания: «Добрая слава, оставленная по себе человеком, лучше золотых палат. Любезный брат, мир здешний не останется ни для кого; не полагайся на царства земные и сей бренный мир; он многих подобных тебе воспитал и уничтожил, посему старайся делать добро. Хозров Мирза 1244. С Генералом от Кавалерии Емануелем июнь 12 дня 1829 года»[250].

Трудно ожидать от шестнадцатилетнего юноши (пусть даже и маленького принца) столь глубокой философской сентенции, да еще изложенной в поэтической форме. Свет на эту загадку пролил венгерский путешественник Янош Карой Бешш (более известен французский вариант его имени – Жан-Шарль де Бесс). Участник экспедиции генерала Емануеля на Эльбрус, он прибыл в Горячеводск (прежнее название Пятигорска) пятнадцатью днями позже Хозрев-Мирзы и уже не застал здесь принца. «Мне говорили, – вспоминает де Бесе, – что этот принц был принят Главнокомандующим соответственно его царскому титулу очень любезно. Как только он пожелал подняться на вершину Машука, Главнокомандующий с многочисленными генералами сопроводил его туда. Увидев Эльбрус и вечные снега, которые выделялись на фоне чистого, сияющего неба, он пожелал оставить память о своем визите на Машук и начертал на скале своею собственной рукой следующее изречение известного поэта Фирдоуси, его мы приводим здесь в переводе:

О, смертные! После нас остается только память о добрых делах, которые мы сделали. Старайтесь творить добро и ваш покой будет безмятежным»[251].

Фирдоуси – великий персидский поэт, автор знаменитой поэмы «Шахнаме» («Книга царей»), и юный принц, конечно, знал на память многие строки оттуда.

Скажем и о других литературных последствиях, которые имел приезд Хозрев-Мирзы в Россию. В своем «Путешествии в Арзрум» Пушкин упомянул не только его самого, но описал и встречу с сопровождавшим принца придворным поэтом Фазиль-Ханом: «В некотором расстоянии от Казбека попались нам навстречу несколько колясок и затруднили узкую дорогу. Покаместь экипажи разъезжались, конвойный офицер объяснил нам, что он провожает придворного персидского поэта и, по моему желанию, представил меня Фазил-Хану. Я, с помощью переводчика, начал было высокопарное восточное приветствие; но как же мне стало совестно, когда Фазил-Хан отвечал на мою неуместную затейливость простою, умной учтивостью порядочного человека! «Он надеялся увидеть меня в Петербурге; он жалел, что знакомство наше будет продолжено и проч.» Со стыдом принужден я был оставить важно-шутливый тон, и съехать на обыкновенные европейские фразы. Вот урок нашей русской насмешливости. Вперед не стану судить о человеке по его бараньей *папахе** и по крашеным ногтям».

Персидскому собрату Пушкин посвятил стихотворение «Благословен твой подвиг новый». Впоследствии Фазиль-Хан перешел в русское подданство и преподавал восточные языки в Тифлисе. Что касается самого принца, то он стал персонажем двух других произведений русской классики – повестей Н.В. Гоголя «Портрет» и «Нос». В первом случае речь идет о гравированном «портрете Хозрева-Мирзы в бараньей шапке». Фигура иранского гостя в восточном наряде на улицах нашей северной столицы выглядела довольно необычно, но у Гоголя в «Носе» ситуация как бы перевернута: не принц обращает на себя внимание столичной публики, а сам поражен фантасмагорией, разыгравшейся в Петербурге: «Потом пронесся слух, что не на Невском проспекте, а в Таврическом саду прогуливается нос майора Ковалева, что будто бы он давно уже там; что когда еще проживал там Хозрев-Мирза, то очень удивлялся этой странной игре природы».

В «Воспоминаниях о 1826 годе» упомянул принца и Д.В. Давыдов, изложивший свою оригинальную версию событий, связанных с прибытием посольства в Россию. По его мнению, правитель Ирана Фетх-Али-шаха, испугавшись последствий убийства Грибоедова, «решился послать в С.-Петербург значительное лицо

* Так называются персидские шапки (*примечание А.С. Пушкина*).

для принесения извинений. Так как в Персии все были убеждены, что наше правительство не замедлит предать в свою очередь смерти высланного сановника и его свиту, то решено было избрать для этого предмета Хозрева-Мирзу, который был ничто иное, как чанка или побочный сын шаха. Хозреву-Мирзе, впоследствии ослепленному, сделан был, напротив, у нас в России блестящий прием, на который он по своему рождению не имел никакого права и который явно доказывал, сколь мало у нас были известны обычаи Востока»[252].

Да, добрая слава прочнее самого долговечного материала. Не оправдались слова царя о том, что он предаст «вечному забвению злополучное тегеранское происшествие». Это оказалось не в его силах, и трагическая смерть Грибоедова памятна каждому русскому. Недаром на могиле поэта начертаны слова: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской…»

Интересные замечания о визите принца оставил в своих «Записках» прекрасно осведомленный генерал Н.Н. Муравьев, в то время – один из высших чинов Кавказского корпуса: «Мы требовали выдачи виновников в смерти нашего посланника; нам обещались их выдать, но не выдавали и, наконец, не выдали. Требовали, чтобы, по крайней мере, сын Аббас-Мирзы, Хозрой-Мирза, приехал для испрошения у государя прощения. И в этом медлили, боялись его выслать в Россию; наконец его прислали в Тифлис уже в мае месяце 1829 года, без всяких наставлений от персидского двора и даже без позволения далее ехать. Паскевич отправил его почти насильно в Россию, против воли отца, а особливо деда его, с коим все велись переговоры по предмету сему, и наконец Хозрой-Мирза получил уже в Царском Селе наставления от шаха относительно порученности, на него возлагаемой.

Всем известен прием, оказанный ему в Петербурге, речь его, сочиненная, вероятно, в иностранной коллегии нашей и напечатанная в ведомостях, в коей он просил от имени родителей своих прощения за убиение нашего посланника… Хозрой-Мирза возвратился из Петербурга в Тифлис уже в конце 1829 или в начале 1830 года; он не нашел у Паскевича приема, подобного тому, который ему оказывали в России: у нас лучше знали цену ему. Прихоти его не были всегда уважены, и он имел более одного раза случай вспомнить и о молодости своей и постичь ничтожность двора персидского; но вряд ли он мог сие уразуметь. Когда он приехал на границу Персии, его встретили еще с меньшею пышностью; он сожалел о России, где на него потратили миллионы»[253].

Слова Хозрев-Мирзы, вырезанные на белом машукском камне, не стали пророчеством его собственной судьбы: доброй славы по себе он не оставил. Участь его на родине оказалась печальной: в результате дворцовой интриги он был ослеплен и удален в ссылку. Память же о пребывании его в Пятигорске оказалась запечатленной на одном из первых планов города, составленном в 1830-х годах архитектором Иосифом Бернардацци. Полное название плана такое: «План Горячеводска, ныне составляющего часть города Пятигорска, при Кавказских Минеральных Водах, составленный для путеводства господ, посещающих сии воды». По углам и внизу – небольшие гравюры с видами здешних достопримечательностей: Эолова арфа, Александровские и Ермоловские ванны. Приводится перечень казенных зданий и частных усадеб, где «господа, посещающие сии воды», могли снять помещение на летний сезон. Привлекает внимание гравюра внизу – «Вид вершины Машука и Бештовой горы с окрестностями». Тут же приводится «изъяснение»: «Вершина горы Машука, на которой в память проезда Его Высочества Персидского Принца Хозров-Мирзы в 1829 году поставлен каменный столб с собственноручным Его на оном написанием своего имени и разных стихов».

Памятник, посвященный Хозрев-Мирзе, недолго простоял в Пятигорске. Однако и сам визит принца на воды, увенчанный восхождением на вершину Машука, и каменное изваяние, воздвигнутое в память об этом событии, вызывали живой интерес современников. Мы можем судить об этом по многочисленным свидетельствам и замечаниям, встречающимся в путевых записках, дневниках, очерках, а иногда и серьезных научных трудах и составляющих настоящую хронику этого необычного сооружения. Так, Аркадий Андреевский, посетив Пятигорск в 1841 году, сообщал, что персидские стихи «красиво вырезаны на доске монумента. От подножия его лучше видна живописная вершина Эльбруса…»[254]. Побывавший тогда же на Машуке Н.Ф. Туровский обратил внимание на нашу извечную привычку оставлять повсюду свои имена: «На самой вершине Машука, на небольшой площадке, возвышается столб; на нем множество имен, надписей, стихов; тут же простодушная надпись Хозрев-Мирзы: “Добрая слава, оставленная по себе человеком, лучше золотых палат” и пр. Как нежно рассуждают эти звери, а спросить бы у правоверных братий: не болят ли у них пятки»[255]. Как видим, путешественник не удержался от ироничного замечания в адрес наших южных соседей, у которых экзекуции по давнему обычаю производятся ударами палки по пяткам.

Спустя еще несколько лет, по свидетельству Алексея Вышеславцева, картина изменилась к худшему: «Принц написал на памятнике два мудрых изречения и вслед за ним явились и являются и поныне сотни других надписей, не совсем мудрых, написанных вероятно теми самыми, которые хотели обессмертить себя, начертав свое имя на скамье у Эоловой арфы»[256].

Известный в прошлом журналист Е. Вердеревский (автор нашумевшей в свое время книги «Плен у Шамиля») на вершину к памятнику не поднимался, но в очерках «От Зауралья до Закавказья», относящихся к 1853 году, отметил, что каменный монумент в хорошую погоду виден даже с расстояния в пять верст. Наконец и знаменитый исследователь целебных ключей Пятигорья Ф.А. Баталин, кратко передав историю памятника, грустно констатировал в книге, вышедшей в 1861 году, что «от этого монумента ныне не осталось и следов…»[257].

Глава XI. «Могучий мститель злых обид»

Он стал четвертым и последним из русских полководцев, удостоенных всех четырех степеней ордена святого Георгия. Его ратный путь был так долог, что он служил четырем царям. Ему посвящали стихи Жуковский и Пушкин. Его блестящие титулы потускнели от времени, теперь о них редко вспоминают, а когда-то его полное имя звучало следующим образом: генерал-фельдмаршал, генерал-адъютант, генерал-инспектор всей пехоты, шеф пехотного и егерского его имени полков, наместник в Царстве Польском, член Государственного совета светлейший князь Иван Федорович Паскевич-Варшавский, граф Паскевич-Эриванский. В течение пяти лет он был связан с Кавказом, заключая здесь в своих руках всю полноту военной и гражданской власти.

Иван Федорович Паскевич (1782–1856) происходит из древнего и богатого украинского рода. Он получил воспитание в Пажеском корпусе, откуда был выпущен поручиком лейб-гвардии Преображенского полка и тогда же назначен флигель-адъютантом императора Павла.

Боевой опыт Паскевича открывается с началом в 1806 году самой продолжительной из всех войн, которые Россия вела против Турции. На этот раз – с целью освобождения из-под турецкого гнета балканских христиан и присоединения Валахии и Молдавии. Паскевич отличился при взятии Базарджика, под Варной и Батыном. Пять лет под турецким огнем принесли ему опыт, пригодившийся потом в азиатских войнах.

Отечественную войну тридцатилетний генерал встретил в звании командира 26-й пехотной дивизии, почти целиком полегшей на Бородинском поле. Паскевич участвовал в боях под Салтановкой, Смоленском и Вязьмой, а потом в «битве народов» под Лейпцигом и во взятии Парижа.

В последние годы царствования Александра I он получил под свое начало I-ю гвардейскую дивизию, бригадами которой командовали великие князья Николай и Михаил. Первый из них, уже будучи государем, называл Паскевича «отцом-командиром» и питал к нему безграничное доверие: по вступлении на престол Николай вызвал Паскевича (тогда уже генерал-адъютанта и командира I-го пехотного корпуса) в Петербург для участия в суде над декабристами.

В 1826 году, когда наследник персидского шаха Аббас-Мирза с огромным войском вторгся в российские пределы, царь отправил Паскевича на Кавказ, где в победоносных войнах с Персией и Турцией тот достиг вершин своего полководческого искусства.

Аббас-Мирза был разбит под Елизаветполем (Ганджой), Паскевич взял Эривань, чего не смогли сделать до него ни Цицианов, ни Гудович. По словам Хачатура Абовяна, «разрушение ада не имело бы для грешников той цены, как взятие Эриванской крепости для армян…»[258]. Потом взял Тавриз, а в войне с турками – Карс, Ахалкалаки, Ахалцих и Баязет. Разгромив две турецкие армии на Саганлуге, он занял и Арзрум.

Он обещал царю (в противоположность ермоловской стратегии) одним решительным ударом сломить сопротивление горцев и покорить Кавказ, но, читаем в исторических хрониках, «не только не покорил его, но отодвинул покорение на целые 30 лет…»[259]. В 1831 году Паскевич был отозван с Кавказа в Польшу.

В дальнейшем он участвовал в подавлении восстания Кошута в Венгрии и в Крымской войне (на Дунайском театре) и, как считают, «по старой памяти пользовался чуть не безграничным военным авторитетом, но… давно уже пережил свою славу и еще во время Венгерской войны 1849 года выказал склонность к преувеличенной осторожности… Военный авторитет его был подорван»[260].

В 1796 году, в ходе турецкой войны, Екатерина II основала орден святого Великомученика и Победоносца Георгия, предназначенный для награждения воинских чинов «за храбрость, ревностность и усердие к воинской службе и для поощрения в военном искусстве». Орден имел четыре степени; знаками его служили белый эмалевый крест и золотая прямоугольная звезда с девизом «За службу и храбрость», принадлежавшая двум высшим степеням.

Награждение Георгиевским крестом считалось чрезвычайно почетным, но и цена такой награды была очень высока. За всю историю ордена полными георгиевскими кавалерами стали только четыре человека: М.И. Кутузов, М.Б. Барклай де Толли, И.И. Дибич и И.Ф. Паскевич.

Четвертую и третью степени ордена Паскевич заслужил в боях с турками при штурме Базарджика и под Варной. За взятие Эривани получил вторую и был возведен в графское достоинство с титулом Эриванский, за Арзрум – первую степень.

Взятие Аббас-Абада принесло полководцу орден святого Владимира I-го класса, а заключение мира с персами – миллион рублей ассигнациями из взятой контрибуции. «Персидский шах, в свою очередь, – сообщает военный историк В.А. Потто, посвятивший походам Паскевича два тома своей знаменитой «Кавказской войны», – прислал Паскевичу алмазные знаки ордена Льва и Солнца на бриллиантовой цепи, ценой в шестьдесят тысяч рублей, чтобы этот орден наследственно переходил в фамилии Паскевича»[261].

За турецкую войну Паскевич получил бриллиантовые знаки первого (по времени и по значению) ордена империи, учрежденного еще Петром I, – святого Андрея Первозванного. Такие украшения составляли высшую степень ордена. К этому следует добавить чин генерал-фельдмаршала и звание шефа Ширванского полка, которому «в память знаменитого ахалцихского штурма повелено было именоваться полком графа

Паскевича Эриванского»[262]. Такое звание было тем более значительно, что еще в 1799 году Ширванский (тогда он назывался мушкетерским Кабардинским) полк оказался одним из двух первых русских полков, проникших за твердыни Кавказа, когда, по словам Пушкина, «брега Арагвы и Куры узрели русские шатры». О Ширванском полке Пушкин, кстати, упоминает в черновиках поэмы «Домик в Коломне» («Видали ль в Персии Ширванский полк?»). Поэма была написана вскоре по возвращении поэта с Кавказа, где Пушкин, находясь в войсках Паскевича, мог видеть ширванцев в деле.

Закавказские победы громким эхом отозвались в столице империи. В одном из писем к фельдмаршалу Грибоедов приводит свежее свидетельство об этом своего петербургского приятеля: «Вот вам депеша Булгарина об вас, можете себе представить как это меня радует:

«Граф Паскевич-Эриванский вознесся на высочайшую степень любви народной. Можно ныне смело сказать, что он, победив турок, победил и своих завистников. Общий голос в его пользу. Генералитет высший, генерал-адъютанты, офицеры, дворянство, чиновники, литераторы, купцы, солдаты и простой народ повторяют хором одно и то же: «молодец, хват Эриванский! Вот русский генерал! Это суворовские замашки! Воскрес Суворов! Дай ему армию, то верно взял бы Царьград!» и т.п.

Повсюду пьют за здоровье Эриванского: портреты его у всех. Я еще не помню, чтобы который-нибудь из русских генералов дожил до такой славы. Энтузиазм к нему простирается до невероятной степени…»[263]

Знаменитый русский скульптор и медальер Федор Петрович Толстой создал ряд памятных медалей, посвященных подвигам наших войск в походах Паскевича в Турции и Персии. На медали в память взятия Тавриза 13 октября 1827 года – группа персидских старшин в длинных восточных одеждах, почтительно приближающихся к русскому витязю-победителю; в одной руке он держит копье, в другой круглый славянский щит с изображением двуглавого орла.

Взятие Варшавы покрыло нашего героя новыми лаврами: государь возвел его в княжеское достоинство с титулом светлейшего и назначил наместником Царства Польского.

В 1850 году на Уяздовском плацу в Варшаве перед застывшими рядами войск Николай лично вручил ему новый, осыпанный бриллиантами фельдмаршальский жезл с гравированной надписью: «За пятидесятилетнюю службу генерал-фельдмаршалу Паскевичу-Эриванскому».

Портрет Паскевича, как и других героев Отечественной войны 1812 года, помещен в Военной галерее Зимнего дворца.

Паскевич был женат на двоюродной сестре Грибоедова и помог ему выйти с очистительным аттестатом из-под следствия по делу о 14 декабря. При Паскевиче Грибоедов достиг своей дипломатической вершины: он оформил Туркманчайский мирный договор с Персией, то есть документально закрепил то, чего Паскевич добился силой оружия.

И все же в историю русской литературы Паскевича вписал другой Александр Сергеевич. Это сделал Пушкин в своем «Путешествии в Арзрум во время похода 1829 года». Одни приняли эту книгу как сатиру, другие находили, что Пушкин проделал столь долгий путь, «чтобы воспеть подвиги своих соотечественников». Отвергая и то, и другое, поэт замечает в предисловии к «Путешествию»: «…Я устыдился бы писать сатиры на прославленного полководца, ласково принявшего меня под сень своего шатра и находившего время посреди своих великих забот оказывать мне лестное внимание».

В войсках Паскевича Пушкин провел более месяца и присутствовал при сдаче турками Арзрума. «Граф предлагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий, – пишет поэт. – Но я спешил в Россию… Граф подарил мне на память турецкую саблю. Она хранится у меня памятником моего странствования вослед блестящего героя по завоеванным пустыням Армении». На сабельном клинке была сделана надпись: «Арзрум, 18 июля 1829».

Имя Паскевича встречается в путевом дневнике поэта и в письме с Кавказа Федору Толстому-Американцу («Теперь прею в Тифлисе, ожидая разрешения графа Паскевича»).

Менее известно другое. В 1831 году, во время польского восстания, Паскевич взял Варшаву. Это событие пришлось на день Бородинского сражения – 26 августа. И Пушкин написал стихотворение «Бородинская годовщина», в котором две лестные строфы посвятил Паскевичу:

Победа! Сердцу сладкий час!
Россия! Встань и возвышайся!
Греми, восторгов общий глас!..
Но тише, тише раздавайся
Вокруг орда, где он лежит,
Могучий мститель злых обид,
Кто покорил вершины Тавра,
Пред кем смирилась Эривань,
Кому суворовского лавра
Венок сплела тройная брань.

Восстав из гроба своего,
Суворов видит плен Варшавы;
Вострепетала тень его
От блеска им начатой славы!
Благословляет он, герой,
Твое страданье, твой покой,
Твоих сподвижников отвагу,
И весть триумфа твоего,
И с ней летящего за Прагу
Младого внука своего.

То, что было понятно современникам Пушкина, сегодня требует пояснений. Призыв к тишине «вокруг орда, где он лежит», и слова о страдании связаны с тем, что во время сражения Паскевич был контужен. Тавр – горная система в Турции, где наши кавказские полки завершили свой победоносный поход. Упоминание же великого Суворова, несомненно, должно было польстить Паскевичу и здесь не случайно, так как Пушкин напоминает о взятии Варшавы Суворовым в 1794 году, когда основной бой шел за Прагу – предместье польской столицы. Донесение о своей победе Паскевич отправил в Петербург с внуком Суворова.

Что касается выражения «тройная брань», то объяснение ему дает сам Пушкин – в письме к Н.И. Ушакову, где называет Паскевича «покорителем Эривани, Арзрума и Варшавы», подчеркивая тем самым три его главные победы.

«Бородинская годовщина» вместе со стихотворением «Клеветникам России» вышла отдельной брошюрой под названием «На взятие Варшавы. Три стихотворения В. Жуковского и А. Пушкина». Там же помещена была и «Русская песнь на взятие Варшавы» Жуковского, о которой тоже надо сказать несколько слов.

Стихотворение имеет поясняющий подзаголовок: «На голос: Гром победы раздавайся!», что сразу настраивает на торжественно-патриотический лад (и невольно заставляет вспомнить о Жуковском как авторе гимна «Боже, царя храни»). Несколько строк адресованы непосредственно Паскевичу:

Спи во гробе, Забалканский!
Честь тебе! Стамбул дрожал!
Путь твой кончил Эриванский
И на грудь Варшавы стал.

«Эриванский! Князь Варшавы!»
Клик один во всех устах.
О, как много русской славы
В сих волшебных именах!

За Араксом наши грани;
Арарата чудный плен,
И орлы средь Эривани
И разгром варшавских стен…

Последнее четверостишие иногда встречается на старинных гравюрах с портретом Паскевича, которых было выпущено великое множество. Забалканский – фельдмаршал граф Иван Иванович Дибич. В то время как Паскевич сражался с турками в Закавказье, он командовал нашей армией на европейском театре и совершил с войсками переход через Балканы, чем заслужил свой почетный титул. Николай послал его со стотысячной армией для подавления польского восстания, но в мае 1831 года Дибич умер от холеры. Тогда на его место с Кавказа и был вызван Паскевич. Пограничная река Аракс, русские «орлы средь Эривани» и «разгром варшавских стен» – поэтические символы персидских, турецких и польских побед этого полководца.

Брошюру со стихами Жуковский послал Паскевичу, и тот в ответном письме благодарил поэтов: «2 окт., 1831, Варшава. Прошу Вас принять мою благодарность за присланные строфы и сообщить таковую же Александру Сергеевичу Пушкину, столь много обязавшему меня двумя отличными своими сочинениями. По желанию Вашему я имел счастие передать Его Имп. Высочеству один экземпляр полученных стихов»[264].

Несколько лет спустя официозный военный историк Н.И. Ушаков выпустил книгу «История военных действий в азиатской Турции в 1828 и 1829 годах». Пушкин прочел ее с жадностью. Обнаружив в примечаниях собственное имя (говорилось об участии поэта в перестрелке), он тут же набросал письмо ее автору, полное иронии по отношению и к нему самому и к его герою – графу Паскевичу: «Отныне имя покорителя Эривани, Арзрума и Варшавы соединено будет с именем его блестящего историка. С изумлением увидел я, что вы и мне даровали бессмертие – одною чертою вашего пера. Вы впустили меня в храм славы, как некогда граф Эриванский позволил мне въехать вслед за ним в завоеванный Арзрум…» Сам Пушкин хотел стать историком другого русского полководца – А.П. Ермолова.

В примечаниях к седьмой главе «Истории Пугачева» поэт, поместив краткий отзыв о генерале И.И. Михельсоне, не преминул отметить, что именно «под его начальством находился в начале славной службы своей князь Варшавский».

Получив известие о смерти Пушкина, Паскевич следующим образом отозвался о нем в письме к Николаю I: «Жаль Пушкина как литератора, в то время когда его талант созревал, но человек он был дурной»[265].

Как бы там ни было, на Мойке, у себя в доме Пушкин хранил дорогие сердцу предметы, напоминавшие ему Кавказ. Любимую картину – единственную, которою он украсил свой кабинет, – «Дарьяльское ущелье» Никанора Чернецова и кривую турецкую саблю – подарок Паскевича.

Властный и злопамятный, вспыльчивый до гнева, а во гневе – безобразно грубый и крикливый, Паскевич нажил себе немало врагов. Весьма чувствительно претерпел от его произвола декабрист Александр Бестужев, переведенный из сибирской ссылки рядовым в войска Кавказского корпуса. Он участвовал в штурме турецкой крепости Байбурт и через пролом в стене первым ворвался в город, рассчитывая отвагой выбить себе прощение и офицерский чин. Но по окончании кампании Паскевич вместо этого просто выслал его из Тифлиса в Дербент, в линейный батальон, обрекая на годы беспросветной солдатчины.

В письмах с Кавказа Бестужев излил всю злость и горечь, вызванные отношением к нему фельдмаршала, и даже назвал его причину: «Паскевич при этом случае поступил со мной не скажу жестоко – но просто бесчеловечно, – сообщает он Николаю Полевому. – Я был вдруг схвачен с постели больной и в один час выпровожен верхом, зимой, без денег и теплой одежды… И потом он преследовал меня тайными призраками, веля употреблять ежедневно на службе, во все тяжкие… Казалось, он хотел выместить памяти Грибоедова за то, что тот взял с него слово мне благодетельствовать, даже выпросить меня из Сибири у государя…»[266].

Упоминая Паскевича как «глупейшего и счастливейшего из военных дураков», Бестужев критически отозвался и о его плане покорения горцев: «Паскевич нахвастал много, хотел в один день и в один час с 10 пунктов войти в горы и вдруг покорить их… он только разбудил их. Потерял сам кучу людей и ушел восвояси… Если вспомнить, что делали Котляревский и Ермолов с сотнями, то сравнение невыгодно будет для настоящего».

С восшествием на престол Николая I вернулся на военную службу герой-партизан Денис Давыдов. Он тотчас получил прекрасный шанс отличиться – император послал его в Грузию, на войну с персами. «Приехав туда, – замечает Давыдов в одном из писем другу, – я сделал то, что препоручено мне было сделать, подобно господину Паскевичу, побил и выгнал неприятеля из Грузии, но более его вошел в границы Персии… У вас, может быть, он еще героем слывет, и Елисаветпольское дело неизвестно, а в Грузии оно чисто и ясно: Вельяминов и Мадатов все сделали. Паскевич только имя свое приложил к делу»[267].

Давыдов считал, что Паскевич несправедлив к нему. После удаления с Кавказа Ермолова он и сам, незатейливо ссылаясь на неблагоприятную перемену климата, стал добиваться перевода в Россию, не желая больше оставаться наедине с сановными лицами, «хотя не лишенными некоторых блистательных военных качеств, но презренными по душевным свойствам, ничтожными по своему невежеству и невыносимыми по бессмысленному высокомерию». Ермолов и Паскевич не ладили еще со времен похода русских войск во Францию. Теперь же мстительный Паскевич не упустил случая поквитаться: именно он сыграл роковую роль в удалении с Кавказа Ермолова, умело подпитывая недоверие императора к последнему. Вот как об этом пишет историк В.А. Потто: «Паскевич прибыл в Тифлис, облеченный обширными полномочиями. Едва ли справедливы известия, что государь дал ему право объявить Ермолову о его смещении и самому занять его место; здесь, здесь вероятно, современники смешивают Паскевича и Дибича. Но не подлежит сомнению, что государь был встревожен неудачам, говорил Паскевичу, что тот встретит Ермолова, быть может, уже на Кавказской линии, и под влиянием этой тревоги дал Паскевичу обширные полномочия и право писать обо всем непосредственно ему.

И Паскевич широко воспользовался этим правом.

Облеченный конфиденциально чрезвычайной властью, он видел в Ермолове падающего соперника. Ермолов, о своей стороны, отлично понимал это и смотрел на Паскевича, как на случайного временщика, старавшегося возвыситься за его счет… Естественно, что отношения между Ермоловым и Паскевичем сразу установились натянутые, а после Елизаветпольской победы, в которой неприятели не «попугали» только, а разбили начисто, они окончательно испортились. Паскевич мог теперь открыто поставить перед государем вопрос о действиях Ермолова. Ермолов же, казалось, самими обстоятельствами обвинялся в бездействии и ошибках, как бы опровергнутых действиями Паскевича, и не мог ничего сказать против фактов…

Раздражительный характер Паскевича заставлял его всюду видеть себе недоброжелателей, и он писал Дибичу, что ему нельзя оставаться с Ермоловым, «с самым злым и хитрым человеком, желающим даже в реляциях затмить его имя…» «Государь император, – писал он, – найдет другого, который угодит Ермолову, а я не могу, он будет мешать всем моим операциям, отчего все военные действия могут остановиться…» И Паскевич просил доложить государю о своем желании быть вызванным в Петербург. Он предлагал, другими словами, выбирать между ним, победителем под Елизаветполем, и Ермоловым, которого он так чернил…»[268].

Не поладил Паскевич и с героем Карса – Н.Н. Муравьевым, будущим наместником Кавказа, а в то время – начальником штаба Кавказского корпуса. «…Какая-то адская сила туту мешается, – писал об этом Грибоедов. – Между ними весьма часты сильные размолвки: один кричит, другой дуется, а моя глупая роль мирить их. Однако я вам не поручусь, чтобы в один прекрасный день они не рассорились навсегда»[269].

Паскевич добился увольнения из Кавказского корпуса заслуженных боевых командиров А.А. Вельяминова, Н.Н. Раевского, В.Д. Вольховского. Оскорбленный им, подал в отставку А.Г. Чавчавадзе (отец Нины Грибоедовой). При нем был выслан сотник В.Д. Сухоруков – историк и публицист, восхищавший Пушкина.

В разговоре с Пушкиным о победах Паскевича Ермолов заметил, что они одержаны слишком дорогой ценой. «Можно было бы сберечь людей и издержки», – сказал он. Сберечь людей… Может быть, поэтому Ермолова так любили в кавказских войсках. Вспомним, как приосанился лермонтовский Максим Максимыч, упомянув о своей службе «при Алексее Петровиче». Паскевич, имевший все высшие награды империи, такой любви удостоен не был. Глядя с исторического высока, мы можем относиться к Паскевичу, как угодно. Мы не можем только отменить ни его заслуг, ни его наград. Гордый своими победами, Паскевич заявлял: «везде Россия, где властвует русское оружие»[270]. Он, как никто из российских полководцев, углубился далеко на юг: в Персии взял Тавриз, а в Турции его полки достигли берегов Евфрата, и казаки напоили коней из библейской реки. Персия с той поры более никогда не пыталась тягаться с Россией силой оружия. Во времена Паскевича человеку покорились и две главные вершины Кавказа – Эльбрус и Арарат. На библейской горе первовосходитель профессор Иоганн-Фридрих Паррот водрузил крест с прибитой к нему свинцовой доской с надписью: «В царствование Николая Павловича, Самодержца Всероссийского, сие священное место вооруженной рукой приобретено христианскому исповеданию графом Иваном Федоровичем Паскевичем-Эриванским, в лето от Рождества Христова 1829»[271].

Оставил свой след фельдмаршал и в истории Пятигорска.

Когда-то давно, еще в начале XIX века, среди чиновного люда имел распространение слух, что место для окружного Георгиевска выбрано крайне неудачно: «Из опытов прежних лет и настоящего времени известно, что болезни, ежегодно бывающие в г. Георгиевске и необыкновенная мертвенность всегда свидетельствовали о убийственном в оном городе климате…»[272]. В свое время такого же мнения придерживался и А.П. Ермолов. «При обозрении линии, – замечает генерал в своих кавказских записках, – со вниманием рассматривал я окрестности города Ставрополя, ибо со временем намереваюсь я перенести туда губернский город и оставить Георгиевск как место самое губительное для всех живущих в нем…»[273].

Намерение свое Ермолов выполнил, а вскоре Георгиевск лишился и окружного статуса. Начальник Кавказской линии Г.А. Емануель решил перенести присутственные места на Горячие воды. Ходатайствуя об этом перед Паскевичем, он предложил дать новому окружному городу одно из трех названий: Новогеоргиевск, Константиногорск или Пятигорск. Паскевич выбрал последнее, о чем и уведомил Емануеля в ответном послании: «Что касается до наименования нового города из трех предполагаемых вами дать одному название Пятигорск, по уважению, что гора Бештов, к подошве которой прилегает предназначенное для сего города место, известна под сим именем и в древних Российских летописях»[274].

В 1830 году правительствующий сенат освятил этот выбор фельдмаршала своим указом. В том же году Паскевич перенес свою ставку в Пятигорск, намереваясь отсюда руководить покорением горцев. Но из-за начавшейся эпидемии холеры ставка вскоре город покинула.

В прежние времена улицы и проспекты Пятигорска носили имена Ермолова, Вельяминова, Емануеля и Воронцова. Улицы же с именем Паскевича на старых планах города не значится. За редким все же исключением: на одном архивном чертеже удалось обнаружить писарский росчерк: «улица Паскевича»[275]. Может быть, это только неосуществленный проект. Важно другое: такой улицы нет в городе и по сей день. Не пора ли нам отдать должное памяти этого человека, по уважению, как сказали бы наши предки, что оный подарил Пятигорску его гордое имя на веки веков?

Глава XII. «Машук, податель струй целебных…»

В августе 1829 года, возвращаясь из Грузии, Пушкин вновь заехал на Кавказские воды. Несколько дней он провел на Горячих, а большую часть времени на кислых, коротая досуг в обществе своих спутников – Михаила Пущина и Руфина Дорохова, вместе с которыми в коляске проделал сюда часть пути. «Во Владикавказе, – вспоминал об этом поэт, – нашел я Дорохова и Пущина. Оба ехали на воды, лечиться от ран, полученных ими в нынешние походы».

«Кавказские воды представляют ныне более удобностей…»

Михаил Иванович Пущин – младший брат лицейского друга Пушкина, поручик лейб-гвардии Конно-пионерного батальона. За участие в восстании 14 декабря был разжалован в рядовые. Воевал в Закавказье, где в войсках Паскевича встретился с Пушкиным. За боевые заслуги новь получил офицерский чин, окончил службу в звании генерал-майора. Много лет спустя после кавказских событий по просьбе Л.Н. Толстого, работавшего над романом о декабристах, написал заметки, сохранившие для нас подробности этих дней.

«В Пятигорске я не намерен был оставаться, – пишет Пущин, – для раны моей мне надлежало ехать прямо в Кисловодск. Приехавши в Пятигорск, я собирался сейчас же все осмотреть и приглашал с собою Пушкина; но он отказался, говоря, что знает тут все, как свои пальцы, что очень устал и желает отдохнуть. Это уже было в начале августа; мне нужно было спешить к Нарзану, и потому я объявил Пушкину, что на другой же день намерен туда ехать...»[276].

Поэт отвечал, что не замедлит последовать за своим спутником, только хочет день-другой отдохнуть. На деле же вышло иначе: Пушкин и Дорохов провели более недели в пятигорской Ресторации за картами и явились в Кисловодск, «оба продувшиеся до копейки. Пушкин проиграл тысячу червонцев, взятых им на дорогу у Раевского».

Игра возобновилась и в Кисловодске, где поэт сумел немного отыграться, и продолжалась еще потом, уже по дороге в Москву, когда попутчик Пушкина, сарапульский городничий Дуров выиграл у него пять тысяч рублей.

«Несмотря на намерение свое много заниматься, – повествует Пущин, – Пушкин, живя со мною, мало чем занимался. Вообще мы вели жизнь разгульную, часто обедали у Шереметева, Петра Васильевича, жившего с нами в доме Реброва. Шереметев кормил нас отлично и к обеду своему собирал всегда довольно большое общество».

В Кисловодске Пушкин делал то, что и все остальные посетители вод, – принимал ванны и пил нарзан. Михаил Пущин писал об этом брату в Сибирь: «Лицейский твой товарищ Пушкин, который с пикою в руках следил турок под Арзрумом, по взятии оного возвратился оттуда и приехал ко мне на воды, – мы вместе пьем по нескольку стаканов кислой воды и по две ванны принимаем в день. Разумеется, часто о тебе вспоминаем»[277].

Архивные разыскания С.И. Недумова позволяют уточнить некоторые подробности кисловодского курса курортных процедур, принятых в то лето поэтом. Изучив записи в «Журнале принимаемым ежедневно гг. посетителями ваннам, подогреваемым из кислой минеральной воды в продолжении курса 1829 года», исследователь пришел к выводу, что «Пушкин задержался в Пятигорске дольше, чем предполагал. Не «день-другой», а дней 5-6, если не более. Из Владикавказа он выбыл 11 августа, а первую ванну в Кисловодске принял 21-го того же месяца. Большую часть времени (с 21 августа по 6 сентября) поэт провел в Кисловодске и прошел основательный курс лечения (19 ванн), принимая в начале и конце лечения по одной подогретой ванне в день, а в середине по две ванны. За это время было лишь три пропуска (31 августа, 3 и 5 сентября).

Следует отметить также, что он не рисковал принимать холодные ванны из цельного нарзана»[278].

Слава волшебных кавказских ключей к тому времени уже получила известное распространение в России. Вышли в свет книги А. Цеэ, А. Нелюбина, П. Савенко, не говоря уже о многочисленных путевых очерках, записках и письмах. В 1825 году газета «Северная пчела» восторженно сообщала: «Нет почти недуга, который бы не мог быть исцеленным на Кавказе, самая старость отряхивает здесь свою дряхлость и шестидесятилетние больные получают бодрость юности».

Краткий абрис кисловодского курорта находим в упомянутой уже книге Н. Нефедьева, сопровождавшего в поездке на Кавказ чету Всеволжских, петербургских знакомых Пушкина: «За 7 верст до Кисловодска переехал я вброд речку Подкумок. Чрезвычайная быстрота течения делает переправу сию довольно опасною... Кислые воды заключаются в приятнейшей долине, между гор, одна над другой возвышающихся. Долина сия не обширна и превращается в прекрасный сад: по всему пространству ея рассажены деревья и цветы, расчищены и усыпаны песком дорожки, и чрез протекающую посредине речку устроены красивые мостики. Самый источник кислых вод, Нарзан называемый, является на правой стороне течения сей речки, на гладкой площадке, в виде колодца длиною более сажени, шириною же несколько менее, с деревянным обрубом и перилами. Вода в нем от поверхности земли не далее четверти аршина и представляет чудеса, каких надобно было искать только в местах далеких, диких и ужасных: она кипит неизъяснимым образом и в сем отношении превосходнее шампанского. В близком расстоянии от источника в особых зданиях помещены ванны, куда проведена вода посредством подземных труб. Так как после ванн горячих принимать ванны кислые, весьма холодные, было бы вредно, то здесь есть огромные деревянные самовары, в которых вода сначала обыкновенно нагревается и потом уже теплота ея со дня на день уменьшаясь, доводится до натуральной степени.

Напротив источника, на каменном утесе, – в коем сделан грот, – возвышается дом благородного собрания, могший бы служить украшением лучшего из городов. В этом-то доме подкрепленные действием вод больные веселятся и танцуют!

Дикий обнаженный вид окружающих кисловодскую равнину гор увеличивает вообще красоту сей долины. В нескольких саженях отсюда за горою скрывается маленькая крепостца с земляным валом и селение, обитаемое семействами солдат; дома их нанимаются приезжающими, ибо собственно для сего находится при самых водах не более осьми домов, из которых наилучшие и удобнейшие принадлежат г. Реброву.

Пробывши в Кисловодске часа четыре, возвратился я в тот же день на горячие воды. Мне известно было прежде по слухам, что кислую воду пьют вдруг по 12 стаканов, не чувствуя ни мало отягощения; но теперь я лично в этом удостоверился, выпив сам более 20 стаканов»[279].

Скажем несколько слов и о Руфине Ивановиче Дорохове – личности незаурядной, яркой, оставившей к тому же своеобразный отпечаток на страницах отечественной словесности. Пушкин, по словам Пущина, находил «тьму грации в Дорохове и много прелести в его товариществе». Его отец генерал-лейтенант Иван Семенович Дорохов в 1815 году скончался от ран, полученных в войне с Наполеоном. Руфин, выпущенный из Пажеского корпуса в Учебный карабинерный полк, отличался необузданным нравом и склонностью к дерзким выходкам. Вскоре приобрел устойчивую репутацию бретера и дуэлянта. Дважды разжалованный, он оказался в действующих войсках Кавказского корпуса, где проявил себя в боях против персов и турок. Был награжден золотой саблей с надписью «За храбрость» и вернул себе офицерские эполеты. Вышел в отставку, женился, но укротить свой буйный нрав по-прежнему не мог. За нанесение кинжальных ран отставному ротмистру едва не угодил на каторгу, вновь был разжалован в рядовые и вновь воевал на Кавказе. «Это был человек, – вспоминает современник, – даже на Кавказе среди отчаянно храбрых людей, поражавший своей холодной, решительной смелостью». В 1840 году во время военной экспедиции в Чечне познакомился с Лермонтовым. Поначалу их отношения едва не закончились дуэлью, но жизнь под чеченскими пулями быстро сблизила их. Старый кавказский рубака, Дорохов имел под началом «летучую сотню», которую, выбыв по ранению из строя, передал Лермонтову.

«...Я получил в наследство от Дорохова, которого ранили, отборную команду охотников, состоящую из ста казаков, – сообщает другу поэт, – разный сброд, волонтеры, татары и проч., это нечто вроде партизанского отряда, и если мне случится с ним удачно действовать, то авось что-нибудь дадут...» Человек, чья легендарная храбрость не только не требовала сравнений, а сама служила известным мерилом, Руфин Дорохов высоко оценил воинскую отвагу поэта: «славный малый – честная прямая душа – не сносить ему головы. Мы с ним подружились и расстались со слезами на глазах. Какое-то черное предчувствие мне говорило, что он будет убит... Жаль, очень жаль Лермонтова, он пылок и храбр – не сносить ему головы»[280].

Дорохов был близко знаком с младшим братом Пушкина – Львом. С ним и с Лермонтовым встречался в 1841 году в Пятигорске. В январе 1852 года Руфин Дорохов погиб в бою с горцами в Гойтинском ущелье. Полагают, что Дорохов послужил прототипом Долохова в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».

В Пятигорске до наших дней сохранилось здание Ресторации, где останавливался Пушкин. Оно исполнено в строгом классическом стиле по проекту И.И. Шарлеманя, строительством руководили первые зодчие Пятигорска – братья Джузеппе и Джованни Бернардацци, вероятно, те самые «любезные Же... и Жи...», которых поэт упомянул в своем кавказском дневнике. С 20-х годов XIX века здание служит одним из лучших украшений города, интересное описание Ресторации имеется в книге доктора Ф.П. Конради «Рассуждения о искусственных минеральных водах»:

«Между всеми общественными строениями занимает здесь первое место огромное и великолепное здание, назначенное для гостиницы. Большая передняя лестница с фронтоном из 6 колонн ионического ордера, иссеченных из известкового камня, ведет в главную залу. Зала в два этажа; у задней стены ее находятся хоры для музыкантов... Некоторые задние комнаты в первом этаже отдаются внаем. В верхнем этаже находится несколько комнат в два отделения, которые также назначены для приезжих... Летом по два раза в неделю бывают в зале собрания; за вход платится по 2 рубля, зала хорошо освещена, великолепно и со вкусом убрана и меблирована; музыканты из полков, в соседстве расположенных...»[281].

На балах в Ресторации собирался цвет «водяного общества». Своих героев приводит сюда и Лермонтов: дважды здесь встречаются Печорин и Мери. Печорин отмечает в своем дневнике: «Завтра бал по подписке в зале ресторации, и я буду танцевать с княжной мазурку». Сам Лермонтов останавливался здесь на одну ночь, последний раз приехав в Пятигорск в мае 1841 года. В разные годы здесь находили приют А.А. Бестужев-Марлинский, В.Г. Белинский, Л.Н. Толстой.

Что касается дома Реброва в Кисловодске, где Пушкин прожил полмесяца, то принадлежал он человеку, хорошо известному на Кавказе. Статский советник Алексей Федорович Ребров был знаком с Ермоловым и Грибоедовым. В том же доме в сентябре 1850 года он принимал наместника Кавказа М.С. Воронцова и наследника престола цесаревича Александра Николаевича. Кисловодский особняк Реброва, выделявшийся своеобразной архитектурой, хорошо известен как «дом княжны Мери» из Лермонтовской повести и, несомненно, является исторической жемчужиной города. «Мы будем жить в большом доме близ источника, в мезонине; внизу княгиня Лиговская...» – говорит Вера, приглашая Печорина приехать в Кисловодск. Именно здесь происходит их ночное свидание, после которого счастливый любовник, связав две шали, спускается с верхнего балкона. В темноте подле дома происходит стычка Печорина с драгунским капитаном и Грушницким, наделавшая такой переполох в городе. Разумеется, это только вымышленные события, тем не менее, дом Реброва оказался запечатленным на страницах одного из лучших русских романов.

8 сентября Пушкин навсегда покинул воды, увозя с собой изрядный запас впечатлений: увиденное и услышанное здесь послужило материалом для его новых замыслов.

На берега Подкумка он приводит своего главного героя – путешествующего по России Евгения Онегина. Очевидно, что в данном случае персонаж во многом повторяет маршрут кавказского путешествия самого автора. Современный комментатор романа по этому поводу заключает следующее: «В печатном тексте «Пу-

тешествия», как и в сводной рукописи предполагавшейся восьмой главы, Онегин после Астрахани попадает на Северный Кавказ на пятигорские воды. Однако в черновике этому, видимо, предшествовал переезд через Дарьяльское ущелье в Грузию, что разрешило бы некоторые хронологические трудности, возникающие при истолковании нынешнего текста»[282].

Поручик М.В. Юзефович, познакомившийся с Пушкиным в Закавказье, вспоминал, что поэт в дружеском кругу «объяснял нам довольно подробно все, что входило в первоначальный его замысел, по которому, между прочим, Онегин должен был или погибнуть на Кавказе, или попасть в число декабристов»[283].

Так или иначе, мы застаем Онегина на Кавказских водах, «в соседстве Бештау и Эльбруса», где его взору предстали живые картины «водяного общества»:

Уже пустыни сторож вечный,
Стесненный холмами вокруг,
Стоит Бешту остроконечный
И зеленеющий Машук,
Машук, податель струй целебных;
Вокруг ручьев его волшебных
Больных теснится бледный рой;
Кто жертва чести боевой,
Кто Почечуя, кто Киприды;
Страдалец мыслит жизни нить
В волнах чудесных укрепить,
Кокетка злых годов обиды
На дне оставить, а старик
Помолодеть – хотя на миг.

Питая горьки размышленья,
Среди печальной их семьи,
Онегин взором сожаленья
Глядит на дымные струи
И мыслит, грустью отуманен:
Зачем я пулей в грудь не ранен?
Зачем не хилый я старик,
Как этот бедный откупщик?
Зачем, как тульский заседатель,
Я не лежу в параличе?
Зачем не чувствую в плече
Хоть ревматизма? – ах, создатель!
Я молод, жизнь во мне крепка;
Чего мне ждать? Тоска, тоска!..

Все это заставляет вспомнить другого героя из другого романа, который здесь же, у «дымных струй», задавал себе подобный вопрос: «Чего я жду от будущего?.. Право, ровно ничего».

Мы имеем в виду Печорина. Новый материал требовал, видимо, новой, прозаической формы – и роман о Кавказских водах не замедлил явиться в свет, причем один из главных романов в нашей литературе, но написал его другой автор – Лермонтов. Впрочем, замысел кавказского романа был и у Пушкина.

«Кавказский пленник-2», или опасные приключения Якубовича в Пятигорске

В 1825 году в «Северной пчеле» была опубликована статья «Отрывки о Кавказе. Из походных записок». И хотя автор укрылся под инициалами «А.Я.», большой тайны тем не сделал. Догадку об авторстве первым высказал Пушкин, писавший из Михайловского Александру Бестужеву: «Кстати: кто написал о горцах в Пчеле? Не Якубович ли, герой моего воображения?» Пылкая, сильная натура кавказского воина невольно привлекала творческое внимание поэта, уже создавшего в «Кавказском пленнике» грандиозные картины Кавказа, но еще не нашедшего достойного их героя. «Когда я вру с женщинами, – продолжает Пушкин, – я их уверяю, что с ним разбойничал на Кавказе, простреливал Грибоедова, хоронил Шереметева… Жаль, что я с ним не встретился в Кабарде – поэма моя была бы лучше».

Побывав на Горячих водах в 1829 году, Пушкин стал вынашивать замысел кавказского романа. И судя по всему, тема пленника еще не казалась ему исчерпанной до конца. В сентябре 1831 года он набросал

отрывок, представляющий собой начальные страницы крупного, как можно судить, произведения в прозе, рисующие сборы московской барыни и ее дочери на Кавказ: «В одно из первых чисел апреля 181… года в доме Катерины Петровны Томской происходила большая суматоха. Все двери были растворены настичь; зала и передняя загромождены сундуками и чемоданами; ящики всех комодов выдвинуты; слуги поминутно бегали по лестницам, служанки суетились и спорили; сама хозяйка, дама 45 лет, сидела в спальне, пересматривая счетные книги…»

Причину столь дальней поездки объясняет сама Томская: «Доктора объявили, что моей Маше нужны железные воды, а для моего здоровья необходимы горячие ванны. Вот уже полтора года, как я все страдаю, авось Кавказ поможет». Героиня кавказского романа – «девушка лет 18-ти, стройная, высокая, с бледным прекрасным лицом и черными огненными глазами».

Представление о дальнейшем развитии действия можно получить из многочисленных планов, составленных Пушкиным. Как прежде поэма «Кавказский пленник», так и новый прозаический сюжет разворачивается на Горячих водах. Героиня получает имя Алины, сюжетные ходы тут постоянно варьируются, но общее направление, хотя бы приблизительно, понять можно. Основная интрига строится на противоборстве двух главных героев – бретера и картежника Якубовича и раненого кавказского офицера Гранева, недавно побывавшего в плену у горцев. В ряде случаев он даже назван в набросках Кавказским Пленником. Оба противника, чем-то напоминающие будущих Швабрина и Гринева из «Капитанской дочки», добиваются любви Алины. Якубович с помощью знакомого узденя подстраивает нападение черкесов на воды и похищает Алину, увезя ее в аул. Гранев спасает ее. Их соперничество завершается дуэлью, а в одном из вариантов – и смертью Якубовича. Предполагался эпизод, возвращающий нас к сюжету поэмы «Кавказский пленник»: Якубович предает Гранева черкесам, а черкешенка освобождает его. Все события, так или иначе, связаны с курортной жизнью на водах. Здесь и больные, жаждущие исцеления, и лекаря; и калмыцкие кибитки, в которых приезжие обитали за недостатком жилья; и излюбленные развлечения водяного общества – карточная игра и прогулки верхом к Бештау (cavalcade, как пишет об этом Пушкин).

Все изложенное напоминает сюжет лермонтовской «Княжны Мери», где соперничество двух героев, оспаривающих любовь хорошенькой московской княжны, также оканчивается дуэлью и смертью одного из них. Подобное сходство обнаруживают и женские персонажи: княгиня Лиговская, как и Томская, – «женщина сорока пяти лет», которой прописаны горячие Ермоловские ванны. Ее дочь Мери (то есть Мария, Маша – как первоначально и у Пушкина) – молоденькая, стройная, наделенная магнетической силой глаз, в которых иногда блещет «самое восхитительное бешенство». У Лермонтова, правда, горцы никого на водах не похищают, но, тем не менее, ночная стычка Печорина с Грушницким и драгунским капитаном, закончившаяся криками и ружейной пальбой, спровоцировала в городе толки и о нападении черкесов.

Напомним читателю, что пушкинский замысел основан на реальных событиях: московская знакомая поэта Мария Ивановна Римская-Корсакова два сезона (1827 и 1828 гг.) провела на водах, с зимовкой в Ставрополе. Вместе с нею здесь побывали две дочери – Александра (предмет увлечения Пушкина в начале 1827 года) и Екатерина и сын Григорий (светский приятель поэта). Полагают, что именно Александра и явилась прототипом главной героини намеченного романа. О поездке Корсаковых на Кавказ Пушкин упомянул в письме к брату Льву, отправленном из Москвы в Тифлис 18 мая 1827 года: «Письмо мое доставит тебе М.И. Корсакова, чрезвычайно милая представительница Москвы. Приезжай на Кавказ и познакомься с нею – да прошу не влюбиться в дочь».

Летом 1828 года в Москве и Петербурге распространились слухи о нападении черкесов на посетителей вод. Так, А.Я. Булгаков писал брату в Петербург: «Слышал ли ты, что горцы сделали набег на всех ехавших от теплых вод на кислые. Тут попалась и М.И. Корсакова, которая была ограблена до рубашки…». Другие добавляли, что горцы «увели у нее дочь и всех людей». Тут же звучали и литературные предположения, которыми Е.Н. Мещерская (дочь Н.М. Карамзина) спешила поделиться с П.А. Вяземским: «Слыхали вы о похищении M-lle Корсаковой каким-то черкесским князем? Об этом здесь рассказывают, но не думаю, чтобы этот слух стоил доверия. Вы об этом должны знать больше, находясь ближе к Кавказу. – Если б это была правда, какой прекрасный сюжет для Пушкина как поэта и как поклонника…»[284]. Трудно сказать, сколь сильно этот «прекрасный сюжет» повлиял на творческие планы Пушкина. По-видимому, драматический эпизод кавказского путешествия Корсаковых мог служить ему лишь отправной точкой в развитии курортного романа.

Приведем пример того, каким именно образом происходило подобное похищение. В кавказском дневнике курского помещика Ф.И. Кабанова подробно передан рассказ некоего коллежского советника Шульца, получившего назначение в Тифлис. Описанные события относятся к 1832 году, когда он направлялся из столицы северной в столицу Грузии: «Я был в Петербурге и оттоль возвращался к своему месту с чиновником, состоящим у особых поручений при генерале Розене в Грузии, статским советником Челяевым *. Не доехав до станции Безопасной (отстоящей от Ставрополя в 95 верст) трех верст, задний ямщик наш заметил вдали черкесов, сказал об этом товарищу, едущему с нами на коляске впереди, ибо у нас было два экипажа: в одном сидели мы, а в другом наша прислуга. Сей, никак не подозревая, чтоб в такой дали могли быть черкесы, с насмешкой сказал товарищу: «Коли боишься черкесов, так погоняй лошадей»; а сам, видя нас спящими в коляске, про-

должал ехать легкой рысью. Тот, ударивши по лошадям из всех сил, и благополучно достиг до селения, дал знать жителям, а нас окружили 11 человек черкесов, что называется *джигитов*, приказали по-русски ямщику нашему своротить с дороги. Отъехавши верст пять в сторону, в степь, велели распрячь лошадей, потребовали от нас денег. Мы безотговорочно все им отдали; потом пересмотрели весь наш багаж, навьючили лошадей и нам всем велели садиться верхами. Бросили экипаж в степи. Мне была подведена лошадь без седла; я, видя, что они с нами обходятся очень вежливо, решительно сказал, что ехать без седла не могу. Мне подали другую лошадь, с седлом, и так мы отправились в путь, к Кубани, безостановочно.

У начальника сей партии был компас, коим указывал он путь степью, обращаясь часто ко мне с вопросом, который час и сколько еще до вечера часов, сколько до рассвету. Таким порядком продолжался наш путь целые сутки, в течение коих два раза настигали нас партии местных крестьян русских верхами, с несколькими человек с ружьями. Первая состояла из 57 человек, вторая из 200 с лишним, но победители наши, оставя при нас и вьюках наших 5 человек, последние шесть храбро отражали обе сии партии. Мы раз тридцать переезжали через болота и шесть раз через Егорлык, вброд по пояс в воде. Мы устали до такой степени, что с охотою готовы были умереть, как на другие сутки атаковали нас с двух сторон опять крестьяне с 70-ю человек вооруженных солдат и в такой позиции, что заставили наших рыцарей подумать о возвращении нас, чтоб совершенно всего не лишиться.

Зачали у нас отбирать последнее; провожатый мой хотел сорвать с меня часы, но как лента, на коей они были повешены, была довольно крепка, он душил меня оною немилостиво, так что захватывало у меня совершенно дух. Я принужден был отстегнуть замочек и отдал ему часы, как вместе с тем другой то же хотел сделать и с товарищем моим, но как и у Челяева часы были на такой же ленте, сорвать было невозможно, он закричал: «Постой, я отстегну». Третий из числа сражавшихся, скача мимо нас, ударил шашкою в голову моего товарища, сказав: «Некогда теперь стоять», но как-то Судьбами Божьими не соразмерил при быстрой скачке удара, нанесенного с тем, чтобы разрубить голову, отрубил только козырек у картуза и ранил жестоко в лицо. От удара сего товарищ мой повалился прямо на меня. Я, не евши целые сутки и быв измучен верховою ездою, хотя и имел еще столько сил, чтоб удержаться на седле от падения на меня товарища, но, видя себя окруженным вблизи русскими, воспользовался сим случаем, свалился с лошади на спину, ибо все черкесы начали уже уходить, ихних лошадей гнали без милосердия.

По падении моем я притворился мертвым, но один черкес, однако ж, скача мимо меня, имел намерение и мне разрубить голову. Я, видя его к тому приготовление, в самую секунду его удара шашкою мгновенно отвернул голову в противоположную сторону, так что удар его пришелся в землю – в самое то место, где лежала моя голова, и таким манером, благодарение Богу, мы спаслись от наших изуверов и достались в руки русских крестьян. Нас положили на подводу, ибо ни идти, ни сидеть мы были не в состоянии… Мы остановились отдыхать, а черкесы, как из лука стрела, понеслись степью с глаз долой со всем отбитым у нас имуществом»[285].

Теперь поведаем подробнее об одном, можно сказать, сюжетообразующем персонаже пушкинского замысла, обозначенном в черновых вариантах плана как Якубович или Кубович. Личное знакомство Пушкина с Александром Ивановичем Якубовичем продолжалось недолго – несколько месяцев в 1817 году в Петербурге, после чего тот был выслан на Кавказ за участие в нашумевшей «четверной» дуэли. Завадовский тогда застрелил Шереметева, в роли секундантов выступали соответственно Грибоедов и Якубович. По некоторым сведениям, пулю, извлеченную из тела убитого, Якубович показал Грибоедову и добавил: «Это для тебя». Их поединок состоялся через год, ноябрьским утром 1818 года в окрестностях Тифлиса. Грибоедов дал промах, а Якубович намеренно, как полагают, метил ему в руку, чтобы лишить удовольствия играть на рояле. Об этой ране Грибоедова Пушкин упомянул на страницах «Путешествия в Арзрум»: «Обезображенный труп его, бывший три дня игралищем тегеранской черни, узнан был только по руке, некогда простреленной пистолетною пулею».

Воспитанник московского университетского пансиона, Якубович начал военную службу в лейб-гвардии Уланском полку. «Способный, – как пишут о нем, – на любые крайние подвиги личной отваги»[286], он вскоре получил репутацию вспыльчивого задиры и дуэлянта. О его повести на Кавказе следовало бы написать приключенческую повесть. В звании штабс-капитана Нижегородского драгунского полка он командовал казачьими резервами, расположенными на реках Малке, Баксане и Чегеме. Известность его, добытая дерзкой удалью и кровью, долгие годы гремела в горах. «Слава о нем, – пишет военный историк В.А.Потто, – разнеслась по целому Кавказу, как между русскими, так и между горцами. Самые отважные наездники искали его дружбы, считая его безукоризненным джигитом… Влияние Якубовича в горах было огромно; одного имени его, предположения присутствия его, слуха о нем иногда достаточно было, чтобы удержать горцев от нападения на Кабардинскую линию. Впоследствии самая наружность его, с высоким челом, у самого виска пробитым черкесской пулей, и никогда не заживающей раной, прикрытой черной повязкой, производила впечатление на умы горцев»[287].

С небольшим отрядом Якубович бесстрашно проникал в глухие ущелья, добираясь иногда до самого Эльбруса. Добытые трофеи, коней и овец всегда делил поровну между своей командой, себе не оставляя ничего. Имея в горах знатных кунаков, вызволял русских пленных, своих же пленников великодушно отпускал

без всякого выкупа. Как видим, этот психологический абрис во многом совпадает с тем, что было намечено Пушкиным в его неосуществленном кавказском романе. Известен портрет Якубовича, выполненный поэтом по памяти. «Портрет Якубовича, – замечает современный исследователь, – сделан Пушкиным в альбоме его приятельниц Ушаковых по возвращении из путешествия в Арзрум, вероятно, под впечатлением рассказов, слышанных поэтом на Кавказе, о приключениях Якубовича. Пушкин не видел его двенадцать лет, но выразительная внешность знаменитого бретера, героя бесчисленных приключений, воскресла в артистическом рисунке поэта. Пушкину не пришлось видеть Якубовича в повязке, он не знал, что тот ходил коротко остриженный, и нарисовал ему стоящие дыбом волосы, дополняющие его дикий взор и выражающие неукротимость его натуры»[288].

Но бывал ли Якубович в Пятигорске? Ответ на этот вопрос можно получить из ведомостей посетителей Горячих вод в сезон 1821 года, где определенно указано, что прибывший из Тифлиса штабс-капитан Нижегородского драгунского полка А.И. Якубович останавливался в доме подполковника Толмачева[289].

Пробыв на Кавказе с 1818 по 1823 год, Якубович вернулся в Петербург. В событиях 14 декабря его роль до сих пор остается не проясненной до конца. «Образ Якубовича представляется неясным и противоречивым, – находит историк. – Нет единодушия по отношению к нему и среди самих декабристов: одни считали его искренним и пылким революционером, другие – хвастуном и бретером»[290]. Осужден он был по первому разряду, то есть на вечную каторгу, и окончил свои дни в Сибири.

На каторге Якубович с увлечением перечитывал кавказские повести Александра Бестужева и просил его передать привет прежним своим знакомцам. Страна дикой вольности и опасных приключений попрежнему манила его. «Якубович благодарит тебя за поклон и приписку, – сообщал из Сибири Бестужеву брат Николай, велит сказать, что ему снится и видится Кавказ...»[291].

Примечания

1. Карамзин Н.М. История государства Российского. – СПб., 1842. – Кн. 2. Т. 5. Гл. 2. – С. 84.
2. Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой орды. – М. – Л., 1941. – Т. 2. – С. 183.
3. Новейшие географические и исторические сведения о Кавказе, собранные и пополненные Семеном Броневским. Часть 2. – М., 1823. – С. 12.
4. Апухтин И. Гора Бештау и ее окрестности. – Пятигорск, 1903. – С. 10.
5. Смирнов Н.А. Политика России на Кавказе в XVI–XIX веках. – М., 1958. – С. 32.
6. Кабардино-русские отношения в XVI–XVIII веках. – М., 1957. Т. 2. – С. 19.
7. Там же. С. 56. См. также: Сношения России с Кавказом. Вып. 1. – М., 1889, – С. XXXVIII–XXXIX.
8. Смирнов Н.А. Указ. соч. – С. 89.
9. Кабардино-русские отношения в XVI–XVIII веках. – М, 1957. – Т. 2. – С. 114.
10. Ногмов Шора. История адыхейского народа. – Тифлис, 1861. – С. 142.
11. Путешествие шейха ибн-Батуты в золотую орду, в половине XIV в. // Русский вестник. 1841. – Т. 1 – С. 464.
12. Тимофеев Игорь. Ибн Баттута. – М.: Молодая гвардия, 1983. – С. 165.
13. Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. – М. – Л.: Изд. АН СССР, 1957. – Т. 4. – С. 427–428.
14. Эвлия Челеби. Книга путешествий. Вып. 2. – М., 1979. – С. 91–92.
15. Нарты. Адыгейский героический эпос. – М., 1974. – С. 280–281, 390.
16. Тресков И.В. Фольклорные связи Северного Кавказа. – Нальчик, 1963. – С. 31.
17. Кабардинские предания о кавказских вершинах // Детское чтение. 1895. № 11. – С. 1664–1666.
18. Акритас П.Г. Древнейшее название горы Бештау // Сборник статей по истории Кабарды. Вып. 3. – Нальчик, 1954; Лавров Л.И. Этнография Кавказа. – Л., 1982. – С. 69.
19. Ногмов Шора. Указ. соч. – С. 60.
20. Центральный Государственный Военно-Исторический Архив. Ф. 52. Оп. 1/194. Д. 191. Л. 39.
21. Эсадзе Семен. Штурм Гуниба и пленение Шамиля. Исторический очерк Кавказско-горской войны в Чечне и Дагестане. – Тифлис, 1909. – С. 9.
22. Пятигорск в исторических документах. – Ставрополь: Ставропольское книжное издательство, 1985. – С. 24.
23. Там же. С. 105.
24. Неяченко Илья. Звезда в подарок. – Симферополь, 1984. – С. 111.
25. Винклер П.П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи, внесенные в полное собрание законов с 1649 по 1900 год. – СПб., 1899. – С. 125.
26. Милютин М. Кавказские минеральные воды. – М., 1879. – С. 11.
27. Окуджава Булат. У Гааза нет отказа // Наука и жизнь. 1980. № 12. – С. 131.
28. Там же.
29. Доктор Гааз. – Ставрополь, 1989. – С. 51–52.

30. Там же. С. 43.
31. Там же. С. 84–85.
32. Там же. С. 66.
33. Там же. С. 67.
34. Окуджава Булат. Указ. соч. – С. 130.
35. Доктор Гааз. – Ставрополь, 1989. – С. 182.
36. Дюбуа де Монпере Фредерик. Путешествие вокруг Кавказа. Т. 1. – Сухуми, 1937. – С. 155.
37. Баталин Ф. Пятигорский край и Кавказские минеральные воды. – СПб., 1861. – С. 472.
38. Здесь и далее выдержки из писем Н.Н. Раевского приводятся по изданию: Архив Раевских. Т. 1. – СПб., 1908. – С. 523–525.
39. Н… Н… (Нефедьев Н.) Записки во время поездки из Астрахани на Кавказ и в Грузию в 1827 году. – М., 1829. – С. 51–55.
40. Цявловская Т.Г. Рисунки Пушкина. – М.: Искусство, 1980. – С. 97–99.
41. Отечественные записки. 1860. № 7. – С. 48.
42. Здесь и далее: Станкевич Н.В. Избранное. – М.: Советская Россия, 1982. – С. 138, 141–143.
43. Здесь и далее: Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. Т. 11. – М.: АН СССР, 1956. – С. 132, 137, 155, 134, 140.
44. Вердеревский Е. От Зауралья до Закавказья. – М., 1857. – С. 132.
45. Нечаев С.Д. Отрывки из путевых записок о Юго-Восточной России // Московский телеграф. 1826. Часть 7. – С. 29–30.
46. Рапорт генерала от кавалерии Тормасова военному министру М.Б. Барклаю де Толли, 15 января 1810 г. // Известия. 2000. 2 марта. – С. 9.
47. Забабурова Н.В. Кавказский сюжет графа Ксавье де Местра // Научная мысль Кавказа. 1998. № 3. – С. 55–56.
48. Мордовцев Д.Л. Собрание сочинений. – СПб., 1902. Т. 48. – С. 119.
49. Потто В.А. Кавказская война. – Ставрополь: Кавказский край, 1994. – Т. 2. – С. 54.
50. Там же. С. 56.
51. Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения в двух томах. – М.: ГИХЛ, 1958. – Т. 1. – С. 624–625.
52. Торнау Ф. Воспоминания о Кавказе и Грузии // Русский вестник. 1869. № 1. – С. 9.
53. Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. – Л.: Наука, 1978. – С. 253.
54. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. – М.: АН СССР, 1956. Т. 11. – С. 139.
55. Там же. – 1955. – Т. 7. – С. 259.
56. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. – Л.: Наука, 1979. – Т. 19. – С. 49.
57. Потто В.А. Указ. соч. – 1994. – Т. 1. – С. 98.
58. Там же. С. 592.
59. Здесь и далее: Петерс Д.И. Наградные медали России первой половины XIX века. Каталог. – М., 1989. – С. 32, 31.
60. Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова. – М.: ГИХЛ, 1955. – С. 43.
61. Записки А.П. Ермолова 1798–1826. – М.: Высшая школа, 1991. – С. 416–417.
62. А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. – М.: ГИХЛ, 1950. – С. 387.
63. Дюма Александр. Кавказ. Тбилиси: Мерани, 1988. – С. 132.
64. Мухаммед Тахир (аль-Карахи). Три имама. – Махачкала, 1990. – С. 80.
65. Потто В.А. Указ. соч. – 1994. Т. 2. – С. 57.
66. Косвен М.О. Этнография и история Кавказа. – М.: Издательство восточной литературы, 1961. – С. 131.
67. Давыдов Д.В. Сочинения. – СПб., 1893. – Т. 1. – С. 165.
68. Здесь и далее: Записки А.П. Ермолова 1798–1826. – М.: Высшая школа, 1991. – С. 386, 392.
69. Мещеряков Виктор. Жизнь и деяния Александра Грибоедова. – М.: Современник, 1989. – С. 421.
70. Русские повести и рассказы А. Марлинского. Часть 8. Издание 2. – СПб., 1837. – С. 203–204.
71. Гаджиев Булач. Буйнакск в истории и легендах. – Махачкала, 1961. – С. 27.
72. Висковатов П.А. Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. – М.: Современник, 1987. – С. 304.
73. М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. – М.: Художественная литература, 1989. – С. 390.
74. Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. – М.: Изд. АН СССР, 1954. – С. 437.
75. П.П. Князь Платон Александрович Зубов // Русская старина. 1876. Декабрь. – С. 691.
76. Объяснение митрополита Хрисанфа Неопатрасского. Поданное в 1795-м году князю Зубову для соображений графа Зубова перед походом его в Персию // Русский архив. 1873. № 5. – С. 866, 867, 871–875.
77. Персидский поход в 1796 году. Воспоминания Варвары Ивановны Бакуниной // Русская старина. 1887. № 2. – С. 344–345.
78. П.П. Указ. соч. – С. 696.

79. Там же.
80. Жизнь Артемия Араратского. – М.: Наука, 1981. – С. 137.
81. Очерк Кавказских войн от их начала до присоединения Грузии. – Тифлис, 1899. – С. 309–310.
82. Именитые россияне // Мир музея. 1994. № 3. – С. 61.
83. Здесь и далее: Письма и записочки Екатерины Великой к графу Валерьяну Зубову // Русский архив. 1886. № 3. – С. 271, 274, 275.
84. Там же. С. 277.
85. Здесь и далее: Суворов А.В. Письма. – М.: Наука, 1986. – С. 304, 310–312, 314, 616.
86. Сочинения Державина. – СПб., 1866. – Т. 3. – С. 528.
87. Сочинения Державина. – СПб., 1869. – Т. 2. – С. 26.
88. Потто В.А. Кавказская война. – Ставрополь: Кавказский край, 1994. – Т. 1. – С. 610.
89. Сочинения Державина. – СПб., 1866. – Т. 3. – С. 554.
90. Там же. С. 569.
91. Сочинения Державина. – СПб., 1869. – Т. 2. – С. 26.
92. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. – М.: Изд. АН СССР, 1955. Т. 6. – С. 652.
93. Белинский В.Г. Указ. соч. – 1956. – Т. 7. – С. 372–373.
94 Белинский В.Г. Указ. соч. – 1955. – Т. 9. – С. 298.
95. Сочинения Державина. – СПб., 1866. – Т. 3. – С. 554.
96. Виноградов Б.С. Начало кавказской темы в русской литературе // Русская литература и Кавказ. – Ставрополь, 1974. – С. 20.
97. Там же. С. 25.
98. Жизнь Артемия Араратского. – М.: Наука, 1981. – С. 138–139.
99. Русский архив. 1873. № 5. – С. 721–722.
100. Русский архив. 1873. № 5. – С. 879–894.
101. Jan Potocki. Au Caukase et Chine. – Paris, 1991. (Ян Потоцкий. На Кавказе и в Китае. – Париж, 1991. – С. 44). Автор выражает глубокую признательность профессору Ю.С. Федотову за помощь в переводе французских текстов.
102. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. – М.: Воскресенье, 1999. – Т. 15. – С. 102.
103. Записки Н.Н. Муравьева // Русский архив. 1891. Кн. 3. – С. 221.
104. Марр Н.Я. А.Е.С. подлог Артемия Араратского раскрыл // Записки Восточного Отдела Императорского Русского археологического общества. – СПб., 1895. – Т. IX. – С. 311–313.
105. Григорьян К.Н. Араратский и его книга // Жизнь Артемия Араратского. – М.: Наука, 1981. – С. 182.
106. Жизнь Артемия Араратского. – М.: Наука, 1981. – С. 157.
107. Тарле Е.В. Сочинения в 12 томах. – М.: Изд. АН СССР, 1959. – Т. 7. – С. 114.
108. Смирной Николай. «Жизнь и подвиги графа Матвея Ивановича Платова. – М., 1821. – Часть I. – С. 34–36.
109. Там же. С. 45–48.
110. Лорер Н.И. Записки декабриста. – М., 1931. – С. 183–185.
111. Покоренный Кавказ. – СПб.: издание А.А. Каспари, 1904. – С. 246.
112. Путеводитель по Кавказскому военно-историческому музею. – Тифлис, 1915. – С. 10.
113. Покоренный Кавказ. – СПб.: издание А.А. Каспари, 1904. – С. 267.
114. Кавказский календарь на 1854 год. – Тифлис, 1853. – С. 345.
115. Керсновский А.А. История русской армии. – М., 1992. – Т. 1. – С. 209.
116. Там же. С. 212.
117. Покоренный Кавказ. – СПб.: издание А.А. Каспари, 1904. – С. 271.
118. Карамзин Н.М. История государства Российского. – СПб., 1842. – Кн. 1. Т. 2. Гл. 2. – С. 11.
119. Гудзий Н.К., сост. Хрестоматия по древней русской литературе XI–XVII веков. – М., 1947. – С. 98.
120. Полное собрание русских летописей. – Петроград, 1921. Т. 24. – С. 50.
121. Карамзин Н.М. Указ. соч. – С. 13–14.
122. Алексеева Е.П. Вопросы взаимосвязей народов Северного Кавказа с русскими в X–XV вв. в отечественной исторической науке. – Черкесск, 1992. – С. 73–74.
123. Кудашев В.Н. Исторические сведения о кабардинском народе. – Киев, 1913. – С. 93–94.
124. Ногмов Ш.Б. Предисловие к грамматике 1840 года. – Цитирую по книге: Тресков И.В. Этюды о Шоре Ногмове. – Нальчик, 1978. – С. 70.
125. Хакуашев А.Х. Адыгские просветители. – Нальчик, 1978. – С. 70.
126. Ногмов Ш.Б. История адыхейского народа, составленная по преданиям кабардинцев. – Тифлис, 1861. – С. 12.
127. Тресков И.В. Этюды о Шоре Ногмове. – Нальчик, 1978. – С. 144.

128. Нечаев С.Д. Отрывки из путевых записок о юго-восточной России // Московский телеграф. 1826. Ч. 7. – С. 35–36.
129. Тресков И.Д. Указ. соч. – С. 34.
130. Там же. С. 37.
131. Ногмов Ш.Б. Указ. соч. – С. 79.
132. Там же. С. 78.
133. Трубецкой Н.С. Редедя на Северном Кавказе // Этнографическое обозрение. – М., 1911. – № 1–2. – С. 229–238. (Цитирую по книге: Тресков И.В. Фольклорные связи Северного Кавказа. – Нальчик, 1963. С. 214).
134. Томашевский Б. Пушкин. Книга первая (1813–1824). – М.–Л., 1956. – С. 473.
135. Записки А.П. Ермолова 1798–1826. – М.: Высшая школа, 1991. – С. 270.
136. Там же. С. 353.
137. Служивый. Очерки покорения Кавказа. – СПб., 1901. – С. 30.
138. Записки А.П. Ермолова 1798–1826. – М.: Высшая школа, 1991. – С. 268.
139. Давыдов Д.В. Сочинения. – СПб., 1893. – Т. 1. – С. 159–160.
140. Там же. С. 142, 145, 147, 155, 162, 163, 173, 174.
141. Там же. Т. 3. – С. 170.
142. Давыдов Д.В. Сочинения. – М.: ГИХЛ, 1962. – С. 480–481, 496.
143. Бартенев П.И. Пушкин в Южной России. – М., 1914. – С. 21.
144. Здесь и далее: Эйхенбаум Б. От военной оды к «гусарской песне» // Давыдов Денис. Полное собрание стихотворений. – Л., 1933. – С. 39.
145. Русское общество 30-х годов XIX века. Люди и идеи. – М.: Изд. Московского университета, 1989. – С. 58.
146. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений.– М.: Изд. АН СССР, 1954. – Т. 5. – С. 455.
147. Там же. – М., 1956. – Т. 11. – С. 167.
148. Там же. С. 509.
149. М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. – М.: Художественная литература, 1989. – С. 309–310.
150. Там же. С. 534.
151. Там же. С. 511.
152. Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. – М., 1931. – С. 264.
153. Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения в двух томах. – М.: ГИХЛ, 1958. – Т. 1. – С. 624
154. Записки А.П. Ермолова 1798–1826. – М.: Высшая школа, 1991. – С. 388–389.
155. Из памятных записок графа Павла Христофоровича Граббе // Русский архив. 1873. № 5. – С. 791, 792, 826, 827.
156. Потто В.А. Кавказская война. – Ставрополь: Кавказский край, 1994. Т. 2. – С. 684.
157. Граф А. Х. Бенкендорф. Мое путешествие в земли полуденной волшебные края // Наше наследие. 2004. – № 72. – С. 100.
158. Потто В. А. Кавказская война. – Ставрополь: Кавказский край, 1994. – Т. 1. – С. 616–617.
159. Цеэ А. Описание Кавказских целительных вод. – СПб., 1817. – С. 71–72.
160. Яковкина Е.И. Замечательные люди на Кавказских Минеральных Водах. – Ставрополь, 1962. – С. 15–16.
161. Н… Н… (Нефедьев Н.) Записки во время поездки из Астрахани на Кавказ и в Грузию в 1827 году. – М., 1829. – С. 35–36.
162. Там же. С. 39–47.
163. Баталин Ф. Пятигорский край и Кавказские Минеральные Воды. Ч. I. – СПб., 1861. – С. 22.
164. Пятигорск в исторических документах 1803–1917 гг. – Ставропольское книжное издательство, 1985. – С. 73.
165. Там же. С. 85.
166. Литературное наследство. Т. 60. Книга первая. – М.: Изд. АН СССР, 1956. – С. 73.
167. Там же. С. 78.
168. Пушкин в воспоминаниях современников. – М.: ГИХЛ, 1950. – С. 288.
169. Там же. С. 291–292.
170. Штейнпресс Б.С. Страницы из жизни А.А. Алябьева. – М.: Государственное музыкальное издательство, 1956. – С. 72.
171. Пятигорск в исторических документах 1803–1917 гг. – Ставропольское книжное издательство, 1985. – С. 57.
172. Штейнпресс Б.С. А.А. Алябьев в изгнании. – М.: Государственное музыкальное издательство, 1959. – С. 72.

173. Пятигорск в исторических документах 1803–1917 гг. – Ставропольское книжное издательство, 1985. – С. 113–114.
174. Штейнпресс Б.С. А.А. Алябьев в изгнании. – М.: Государственное музыкальное издательство, 1959. – С. 68.
175. Покровский Михаил. Завоевание Кавказа // Звезда. 1995. № 3. – С. 132.
176. Потто В.А. Кавказская война. – Ставрополь: Кавказский край, 1994. – Т. 1. – С. 134–135.
177. Там же. С. 150.
178. Покровский Н.И. Кавказские войны и имамат Шамиля. – М.: РОССПЭН, 2000. – С. 123.
179. Там же.
180. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. – М.: АН СССР, 1955. – Т. 7. – С. 549.
181. Там же. С. 551.
182. Там же. С. 725.
183. Зубов Платон. Картины кавказского края. – СПб., 1835. – Ч. 3. – С. 173.
184. Дубровин Н. История войны и владычества русских на Кавказе. – СПб., 1871. – Т. 1. Ч. 1. – С. 420.
185. Записки А.П.Ермолова 1798–1826. – М.: Высшая школа, 1991. – С. 285.
186. Н... Н... (Нефедьев Н.). Записки во время поездки из Астрахани на Кавказ и в Грузию в 1827 году. – М., 1829. – С. 77–78.
187. Ногмов Ш. История адыхейского народа. – Тифлис, 1861. – С. 25.
188. Семенов Л.П. Татартупский минарет. – Дзауджикау, 1947. – С. 19.
189. Пестель П. Русская правда. – М.: Прогресс-Академия, 1993. – С. 169.
190. Литературное наследство. Т. 60. Кн. 1. – М., 1956. – С. 281.
191. М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. – М.: Художественная литература, 1989. – С. 180–181.
192. Селегей П. Домик Лермонтова. – Ставрополь, 1978. – С. 61.
193. Н... Н... (Нефедьев Николай). Указ. соч. – С. 113.
194. Корф Федор. Воспоминания о Персии 1834–1835. – СПб., 1838. – С. 24.
195. Там же.
196. Путешествие в Грузию // Московский телеграф. 1833. № 15. – С. 363.
197. Зубов Платон. Указ. соч. Ч. 2. – С. 171.
198. Бестужев П. Замечания на статью «Путешествие в Грузию» // Сын отечества. 1838. № 1. Раздел 4. – С. 13.
199. Вердеревский Е. От Зауралья до Закавказья. – М., 1857. С. 205; Мельницкий В. Переезды по России в 1852 году // Современник. 1853. № 11. Раздел 6. – С. 3.
200. Вейденбаум Е. Путеводитель по Кавказу. – Тифлис, 1888. – С. 296.
201. Мещеряков В. Жизнь и деяния Александра Грибоедова. – М.: Современник, 1989. – С. 151.
202. Там же.
203. Давыдов Д.В. Сочинения. – СПб., 1893. – Т. 2. – С. 199.
204. Руководство для проезжающих Кавказские горы // Отечественные записки. 1822. Ч. 12. № 31. – С. 217.
205. Ейхфельд И. Кавказская дорога // Отечественные записки. 1821. № 12. Апрель. – С. 275.
206. Воронченков М. Письмо из Грузии в Астрахань // Вестник Европы. 1805. Ч. 22. № 13. – С. 63.
207. Каталолг кавказским видам и типам фотографии Г.И. Раева в Кисловодске. – Пятигорск, 1897. – С. 8.
208. Впечатления и воспоминания покойника // Библиотека для чтения. 1848. Т. 86. – С. 29.
209. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. – Тифлис. – Т. I. – С. 533.
210. Бакрадзе Дм. Кавказ в древних памятниках христианства. – Тифлис, 1875. – С. 127.
211. Там же.
212. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. – М., 1935. – Т. 59. – С. 123–124.
213. Русская старина. 1881. Октябрь. – С. 887.
214. Там же.
215. Венгеров С.А. Александр Александрович Бестужев // Ставропольский хронограф на 1997 год. – Ставрополь, 1997. – С. 258.
216. Гангеблов А.С. Воспоминания. – М., 1888. – С. 203.
217. Васильев В. Бестужев-Марлинский на Кавказе. – Краснодар, 1939. – С. 10.
218. Там же. С. 12.
219. Там же. С. 16.
220. Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения в двух томах. – М.: ГИХЛ, 1958. – Т. 1. – С. 624.
221. Записки А.П.Ермолова 1798–1826. – М.: Высшая школа, 1991. – С. 388–389.
222. Попов А.В. Декабрист А.А. Бестужев в Ставрополье // Материалы по изучению Ставропольского края. 1949. Вып. 1. – С. 119.
223. Польская Е.Б., Розенфельд Б.М. И звезда с звездою говорит... – Ставрополь: Ставропольское книжное издательство, 1980. – С. 55.

224. Берже А.П. А.А. Бестужев в Пятигорске в 1835 г. // Русская старина. 1880. № 10. – С. 417–418.
225. Русский вестник. 1870. № 7. – С. 60.
226. Там же. С. 61.
227. Отечественные записки. 1860. № 7. – С. 48.
228. Там же. С. 49.
229. Берже А.П. Указ. соч. – С. 417.
230. Там же. С. 418.
231. Там же. С. 420.
232. Отечественные записки. 1860. № 7. – С. 48.
233. Русский вестник. 1861. № 4. – С. 472.
234. Отечественные записки. 1860. №7. – С. 49.
235. Бестужев-Марлинский А.А. Указ. соч. Т. 2. – С. 719.
236. Там же. С. 673–674.
237. Берже Ад. Восточная поэма на смерть А.С.Пушкина // Русская старина. 1874. Сентябрь. – С. 76–77.
238. Русское обозрение. 1894. Октябрь. – С. 834.
239. А.С. Грибоедов в воспоминаниях современников. – М.: Художественная литература, 1980. – С. 69.
240. Мещеряков В.П. Жизнь и деяния Александра Грибоедова. – М.: Современник, 1989. – С. 201.
241. Там же. С. 426.
242. Конради Ф. Рассуждения о искусственных минеральных водах, с приложением новейших известий о Кавказских минеральных источниках. – СПб., 1831. – С. 168–169.
243. Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова. Фонд С. И. Недумова. № 0-2915/9. – С. 71 об.
244. Там же. № 0-2915/292. – С. 4.
245. Берже Ад.П. Хосров-Мирза // Русская старина. 1879. Т. XXV (май – август). – С. 341.
246. Ферсман А.Е. Алмаз «Шах». – Серия «Классики науки». Изд. АН СССР, 1956. – С. 466.
247. Каратыгин П. Записки. – Л., 1970. – С. 161–163.
248. Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова. Фонд С.И. Недумова. № 0-2915/1. – С. 50 об.
249. Берже Ад.П. Указ. соч. – С. 339.
250. Верховец Я.Д. Садоводство и виноградарство в районе Кавказских Минеральных вод 1825–1850 гг. – Пятигорск, 1911. – С. 28–29.
251. Де Бесс. Путешествие в Крым, на Кавказ, в Грузию, Армению, Малую Азию и Константинополь в 1829 и 1830 гг. – Париж, 1838. (На французском языке. Перевод приведенного отрывка выполнен Е.Л. Сосниной).
252. Давыдов Д.В. Сочинения. – СПб., 1893. – Т. 2. – С. 198.
253. А.С. Грибоедов в воспоминаниях современников. – М.: Художественная литература, 1980. – С. 76.
254. Андреевский Аркадий. Пятигорск и Кавказские минеральные воды в июле 1841 // Библиотека для чтения. 1841. – Т. 48. – С. 59.
255. Туровский Н.Ф. Дневник поездки по России в 1841 году // Русская старина. 1913. Сентябрь. – С. 501.
256. В-в А-й (Вышеславцев Алексей). Три письма о Пятигорске. – Сборник газеты «Кавказ». Второе полугодие 1847 года. Тифлис, 1848. – С. 134.
257. Баталин Ф. Пятигорский край и Кавказские минеральные воды. – СПб., 1861. – Ч. 1. – С. 30.
258. Георгиевские кавалеры. 1796–1850. –М.: Патриот, 1993. – Т. 1. – С. 506.
259. Путеводитель по Кавказскому военно-историческому музею. – Тифлис. – С. 27.
260. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. – СПб., 1897. – Т. 44. – С. 920.
261. Потто В.А. Кавказская война. – Ставрополь: Кавказский край, 1993. – Т. 3. – С. 479.
262. Путеводитель по Кавказскому военно-историческому музею. – Тифлис. – С. 27.
263. Грибоедов А.С. Полное собрание сочинений. – Петроград, 1917. – Т. 3. – С. 239.
264. Русский Архив. 1875. № 3. – С. 368–369.
265. Черейский Л.А. Пушкин и его окружение. – Л., 1988. – С. 322.
266. Здесь и далее: Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения в двух томах. – М.: ГИХЛ, 1958. – Т. 2. – С. 639, 641, 638.
267. Здесь и далее: Давыдов Д.В. Сочинения. – СПб., 1893. – Т. 3. – С. 166, 169.
268. Потто В.А. Указ. соч. – 1994. – Т. 2. – С. 656, 660.
269. Потто В.А. Указ. соч. – 1993. – Т. 3. – С. 269.
270. Там же. С.271.
271. Потто В.А. Указ. соч. – 1994. – Т. 5. – С. 395–396.
272. Недумов С.И. Лермонтовский Пятигорск. – Ставропольское книжное издательство, 1974. – С. 30.
273. Записки А.П. Ермолова. 1798–1826 гг. – М.: Высшая школа, 1991. – С. 303.
274. Гос. музей-заповедник М.Ю. Лермонтова. Фонд С.И. Недумова. № 0-2915/9. Л. 16 об.
275. Гос. музей-заповедник М.Ю. Лермонтова. Фасады домов г. Пятигорска 1830–40 гг. № НВ-2805/11.

276. Здесь и далее: А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. – М.: ГИХЛ, 1950. – С. 387–389.
277. Черейский Л.А. Пушкин и его окружение. – Л.: Наука, 1988. С. 356; Яковкина Е.И. Замечательные люди на Кавказских Минеральных Водах. – Ставрополь, 1962. – С. 12.
278. Пушкин. Исследования и материалы.– М.–Л.: АН СССР, 1958. – Т. 2. – С. 389.
279. Н… Н… (Нефедьев Н.). Записки во время поездки на Кавказ и в Грузию в 1827 году. – М., 1829. – С. 58–62.
280. М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. – М.: Художественная литература, 1989. – С. 321.
281. Недумов С.И. Лермонтовский Пятигорск. – Ставрополь, 1974. – С. 57–58.
282. Лотман Ю.М. Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. – Л.: Просвещение, 1980. – С. 385.
283. А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. – М.: ГИХЛ, 1950. – С. 396.
284. Измайлов Н.В. Очерки творчества Пушкина. – Л.: Наука, 1975. – С. 200.
285. Филин М.Д. Люди императорской России. Из архивных разысканий. – М.: НКП «Интелвак», 2000. – С. 141–144.
286. Декабристы, 86 портретов. – М., 1906. – С. 277.
287. Потто В.А. Кавказская война. – Ставрополь: Кавказский край, 1994. – Т. 2. – С. 380–381.
288. Цявловская Т.Г. Рисунки Пушкина. – М.: Искусство, 1980. – С. 320.
289. Пятигорск в исторических документах 1803–1917 гг. – Ставрополь, 1985. – С. 65.
290. Литературное наследство. – Т. 60. Кн. 1 – М., 1956. – С. 271.
291. Там же. С. 276.

Текст рукописи предоставлен автором.

К.Э. Штайн, Д.И. Петренко

О праздновании столетия со дня рождения А.С. Пушкина на Северном Кавказе (материалы газеты «Северный Кавказ», 1899)

Столетие со дня рождения А.С. Пушкина широко и торжественно праздновалось в России. Газета «Северный Кавказ» дает нам возможность прочувствовать пафос, с которым отмечалось событие. Газета издавалась в Ставрополе-Кавказском в 1884–1906 гг., уделяла основное внимание «местным нуждам», публиковала *местную хронику,* печатала заметки и корреспонденции о жизни городов, станиц и селений края. Постоянное место занимали *Общая хроника* (по России), *Телеграммы* из-за границы. Важно подчеркнуть, что в газете освещались события к подготовке и празднованию юбилея как из сел Ставропольского края, так и из крупных городов России, включая Санкт-Петербург и Москву. Более того, широту международного отклика на это крупное культурное событие дают нам возможность обозреть поздравительные телеграммы, постоянно публикуемые в газете. Мы считаем необходимым опубликовать эти архивные материалы, которые представляют собой сейчас некий единый текст, имеющий, по нашему мнению, культурно-историческое и познавательное значение.

В данной публикации анализируются три раздела газетных материалов: хроника, в которой освещаются события, приуроченные к празднованию юбилея А.С. Пушкина, телеграммы, содержащие отклики на юбилейные события во всем мире, публикации, которые включают статьи, приуроченные к юбилею Пушкина.

Хроникальные материалы дают нам возможность окунуться в бурлящую событиями культурную жизнь на Северном Кавказе, и в частности, в Ставропольском крае, ровно сто лет назад.

Вопросы чествования памяти Пушкина постоянно обсуждались на заседаниях думы. По выработке предложений работала комиссия, которая многосторонне подошла к этому крупному событию в культурной жизни края. Дела, предназначенные стать юбилейными, строго планировались с тем, чтобы все слои общества участвовали в праздновании юбилея.

Большое внимание уделялось церкви, в Кафедральном Соборе 26 мая (по старому стилю) была отслужена панихида и торжественная литургия по А.С. Пушкину, бесплатно раздавались «экземпляры избранных сочинений», устраивались «общенародные чтения», проводились торжественные заседания в училищах и гимназиях, устраивались литературно-музыкальные вечера. Особое внимание следует обратить на то, что закладывались глубокие традиции в изучение и осмысление творчества А.С. Пушкина. Комиссией было предложено создать «народный дом» имени Пушкина, в котором проводились бы чтения, ставились спектакли.

По-видимому, работа по просвещению народа и по обучению грамотности велась в конце прошлого века на Ставрополье очень активно. Важно, что все слои населения активно включались в постановку спектаклей, был хор любителей, к юбилею Пушкина сочинялись стихи, писались кантаты, его именем решено было назвать «открытую школу». Среди крупных деятелей культуры Северного Кавказа в организации и праздновании торжеств принимали участие композитор В.Д. Беневский и ученый, организатор Ставропольского краеведческого музея Г.Н. Прозрителев. В.Д. Беневским специально к празднованию столетия со дня рождения А.С. Пушкина была сочинена «Юбилейная песня», которая впервые прозвучала в городском училище на Пушкинском вечере 26 мая 1899 года.

Нельзя без волнения читать в сообщениях городской хроники о рассказе И.П. Кувшинского, посвященном пребыванию Пушкина в Ставрополе: называются улицы, по которым гулял поэт, дом, где он останавливался, разговоры с «кавказским солдатом».

Важно то, что празднование юбилея было толчком к новому витку в формировании культуры народов Кавказа: в Тбилиси (Тифлис) были открыты две народных школы, народная читальня-библиотека, учреждены были пушкинские стипендии. В Батуми было учреждено городское начальное училище имени А.С. Пушкина, одна из улиц была переименована в Пушкинский проспект.

Особенно трогательно читать сообщения из сел Ставропольского края (бывшей Ставропольской губернии). В каждой строчке хроникального сообщения благоговейное отношение к великому русскому художнику слова. Скромно, но достойно говорится о прошедшей божественной литургии, панихиде, об общедоступном бесплатном музыкально-литературном вечере. Не без гордости, с некоторой долей юмора, завершается сообщение из села Медвежьего: «Нам очень приятно осознавать, что и у нас, в медвежьем уголке, достойно почтили память поэта».

Пушкинская хроника в газете «Северный Кавказ» вообще необычна: она наполнена яркими подробностями, корреспонденты изучали факты до мельчайших деталей и особая ее примета – теплота, которая звучит в каждом слове, любовь и гордость за соприкосновение и причастность к русской святыне – творче-

ству Пушкина. По-видимому, рвение в проведении праздников по поводу юбилея Пушкина было настолько велико, что не обошлось без казусов. Сообщение из Майкопа о спектакле по пьесе К. Случевского «Поверженный Пушкин» звучит прямо-таки комически: «<...> на сцену врывается толпа мужиков, баб, солдат и барынь, впереди молодая баба в красном сарафане с передником несет бумагу и передает старику офицеру с криком всей толпы: «Победа, победа, наши одолели!». Но как важно, что дело проведения юбилея Пушкина стало на Северном Кавказе поистине всенародным праздником! В селе Бешпагир он приобрел, как сообщает хроникер, «исконно-народный характер»: «Несмотря на будни и начавшийся здесь сенокос, стены училища едва могли вместить всех, желавших попасть на празднество: это лишний раз говорит, как велико среди народа стремление к свету и как необходимо разрешение вопроса об облегчении устройства народных чтений в деревне», – сообщается из села Бешпагир.

Цитируемые в хронике стихи Пушкина: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой» и следующее за ними утверждение хроникера о том, что в столетнюю годовщину его рождения это пророчество исполнилось вполне, видимо, соответствуют истине. Телеграммы, которые были опубликованы в газете «Северный Кавказ», получены из Петербурга, Святых Гор, Кронштадта, Казани, Москвы, Саратова, Ревеля, Воронежа, Калуги, Львова, Харькова, Варшавы, Вены, Лондона, Белграда, Праги, Софии, Парижа и других городов. В них сообщается о торжественных панихидах, состоявшихся в соборах и учебных заведениях. Телеграммы позволяют познакомиться с множеством подробностей о праздновании юбилея Пушкина. Как и на Северном Кавказе, в учебных заведениях России проводились заседания с чтением произведений Пушкина, открывались пушкинские салоны, библиотеки, школы, музеи, сооружались памятники, издавались сочинения поэта.

Особенно ценные сведения дают телеграммы, полученные из Петербурга. Так, телеграмма от 26 мая 1899 года содержит сведения о том, что «Государь повелеть соизволил: ознаменовать столетие со дня рождения Пушкина учреждением в Императорской академии наук посвященных его памяти: разряда изящной словесности и особого фонда имени Пушкина. Вновь учрежденный разряд должен составить одно целое с отделением русского языка и словесности Императорской академии наук, образованным из Императорской Российской академии, членом которой был Пушкин». Пушкинский фонд, который формировался в Петербурге, был предназначен для изучения произведений русских писателей, словаря русского языка и других трудов по словесности. Судя по содержанию телеграмм, а также по хроникальным сообщениям по Северному Кавказу, в России конца XIX в. формировалось единое культурное и образовательное пространство под знаменем гениальной пушкинской поэзии, прекрасного пушкинского слова. Уже по прошествии ста лет удивляешься тому, каким слаженным был этот культурный механизм, как много значило для людей образованных понимание и любовь народная к творчеству Пушкина и как умело пользовались этим знанием просвещенные люди России для того, чтобы внедрить образование в народные массы.

Очень важно отметить и то, что формировалась языковая политика государства, – повсеместно в школах, лицеях, университетах прививался хороший вкус к русской речи, любовь к русскому языку, внедрялась мысль о необходимости знания языка, на котором писал Пушкин, и произведений Пушкина, который создал русский литературный язык. Празднование юбилея Пушкина было, таким образом, не просто всенародным мероприятием. Это было подведение итогов столетней работы общества по формированию культуры России. Закладывались идеи по динамичному развитию русской культуры, центром которой, несомненно, был и всегда будет А.С. Пушкин.

Не могут не волновать сообщения из Святых Гор, где похоронен Пушкин, о присутствии на торжествах его сыновей и племянников. Важно отметить, что российская знать не отделялась от народа. Во всех сообщениях говорится о «программах для народа», «народных чтениях», и др. Зарубежные телеграммы свидетельствуют о широком праздновании юбилея поэта за рубежом. Высокий пафос, благородные дружеские интонации, гордость за сопричастность к культуре русского народа – все это чувствуется в коротких, но емких текстах, все это волнует и сейчас.

В Белграде «Преклоняются перед гением того, кто дал России поэзию как искусство», в Вене провозглашают «Слава бессмертному Пушкину! Слава родившему его народу русскому! Слава совокупно славящему его славянству!».

Пушкин объединял не только людей, живущих в России. Он объединял и великий славянский мир. Больше того, в столетний юбилей стало ясно, что он объединил прогрессивные силы человечества. Англичане называют его «великим Пушкиным», «благоговейное почтение славному русскому поэту» выражали французы и многие другие. «Дай Боже славянскому миру еще много таких героев, которых труды да послужат благу всех нас», – писали из Вены.

Достигши великого расцвета, русская культура конца XIX в. была тем контекстом, который соответствовал великому тексту Пушкина. Общество оказалось способным возвыситься и до понимания творчества Пушкина и для реализации всех его материальных идей, связанных с языком, образованием, просвещением, свободой, высоким творчеством.

Творческая атмосфера, пушкинская атмосфера, царила в дни юбилея Пушкина и это, конечно же, дало толчок к дальнейшему развитию великой русской культуры.

Обращает на себя внимание редакционная статья, опубликованная накануне юбилея, биографический очерк Лекторского-Сперанского, статья «Нечто о прогрессе, о людях ему сочувствующих, к нему равнодушных и ему враждебных» И. Мрочковского, стихотворение Виктора Воинова «Памяти А.С. Пушкина». Хочется отметить отсутствие казенщины, официальности в редакционной статье о Пушкине. Теплота и проникновенная гордость чувствуются в каждой строчке. Слова о том, что «Пушкин держался начал гуманности в широком смысле», о том, что «ни разу у него не проскользнуло чего-нибудь человеконенавистнического», что «терпимость и свобода – этим принципам поэт никогда не изменял», – замечательно верны и сейчас.

Биографический очерк Лекторского-Сперанского написан увлекательно и живо, хотя не лишен некоторых штампов, субъективных пристрастий. Важно, что это творческая биография Пушкина, так как автор прослеживает формирование Пушкина как художника. Кроме того, этот биографический очерк пропущен через сознание образованного человека конца 19 века, написан он с ощущением личного переживания трагедии русского поэта.

Лекторский-Сперанский – священник церковноприходской школы, выходец из Рязанской губернии. Никаких подробностей о его проживании на Северном Кавказе пока не обнаружено.

Особенность очерка – отсутствие высокопарности, строгое следование фактам при глубоком понимании обстоятельств жизни поэта, личное заинтересованное отношение в понимании истинного значения творчества А.С. Пушкина, влюбленность в эту великую личность, преклонение перу поэта. Спокойное обстоятельное повествование, установка на факты, невыспренный стиль дают нам возможность прочувствовать и понять, как вдумчиво осмыслялось творчество Пушкина в конце прошлого века. Говоря о ранних годах поэта, автор пишет: «В это время гений его креп и расправлял крылья; у него уж вырабатывалась самостоятельность творчества. Круг знакомства его возрастал и должен был охватить все слои общества. Как литератор и светский человек, он был поставлен в благоприятное положение – видеть вблизи разные классы общества, с которыми старался идти рядом, ничем не отличаясь, не отделяясь. Предприимчивое удальство, молодечество, необыкновенная раздражительность, происходившая от ложного понимания своего достоинства и бывшая источником многих ссор; беззаботная растрата ума, времени и жизни на знакомства, похождения и их связи всех родов – все это составляло основной характер жизни Пушкина, как и многих его современников. Он был всем по плечу, и поэтому многие называли себя друзьями Пушкина, отыскивая права свои на это звание в общих забавах и рассеянностях эпохи. Но скоро ему пришлось расстаться с петеребургской жизнью и отправиться в ссылку в Екатеринославль. Его эпиграммы, резкие и смелые, отзывы о влиятельных лицах, свободные и ничем не стесняемые суждения о деятельности правительства породили много врагов, следствием чего и была эта ссылка». Здесь автор находит верные точки отсчета для объяснения психологического и социального конфликта поэта и «черни», который привел к трагической развязке. А. А. Блок писал, что «поэт собирал народные песни, писал простонародным складом, близким существом для него была деревенская няня. Поэтому нужно быть тупым или злым человеком, чтобы думать, что под чернью Пушкин мог разуметь простой народ» (А.А. Блок. О назначении поэта // Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. – М. – Л., 1962. – Т.6. – С. 162). И далее он так объясняет это: «О них можно сказать только одно: они люди… люди – дельцы и пошляки, духовная глубина которых безнадежно заслонена заботами суетного света» (там же).

Очерк Лекторского-Сперанского разворачивается как последовательное углубление в рассмотрение трагической судьбы Пушкина. Автор, несомненно, разделяет мнение лучших последователей и биографов Пушкина (В.С. Соловьева, А.А. Блока, В.Я. Брюсова). «Смерть поэта, – пишет он, – была принята, как общественное горе. Боялись даже возмущения и народной расправы с Дантесом, а поэтому вынос тела, отпевание и погребение совершены были втайне, под надзором караулов, расставленных по соседним с квартирой Пушкина дворам. <…> Таким образом погиб в цвете лет и сил наш гениальный поэт!». Неподдельной горечью наполнены эти, казалось бы, спокойные, фактологически констатационные строки. Но что-то общее есть здесь с интонациями М.И. Цветаевой, которая на протяжении всей жизни переживала трагедию Пушкина:

Кого ж это так – точно воры вора
Пристреленного – выносили?
Изменника? Нет. С проходного двора –
Умнейшего мужа России.

1931

Статья И. Мрочковского (доктора медицины) «Нечто о прогрессе, о людях, ему сочувствующих и ему враждебных» связана с творчеством А.С. Пушкина. Автор, опираясь на демократические взгляды Белинского, считает, что возможно ускорить темпы нравственного и материального прогресса, если взять на вооружение мысли и опыт «путеводных маяков». «Путеводными маяками и, вместе с тем, указаниями, до какой степени совершенства достигло в этот момент нравственное сознание человечества, будут для нас служить мысли передовых гениев, которых выдвигал из своей среды каждый народ и которые выражали собою коллективную его душу».

Думается, что в этом есть доля истины, так как известное библейское изречение «нет пророка в своем отечестве» косвенно направлено на мысль о том, что обществу нужно их чтить, следовать указаниям тех, кто аккумулировал творческую энергию общества. Все три пути к общественному прогрессу, на которые указывает автор (личное самоусовершенствование, исторические корни прогресса, путь борьбы с неправдой), – характерные черты либерального общественного сознания конца прошлого века. Пушкин, по мнению Мрочковского, поэт-пророк в своем отечестве, который, как и гении других народов, «высказывая каждый все лучшее, выработанное духовной жизнью данного народа, все совершали одну работу: двигали вперед человеческую мысль и общественное сознание, причем, конечно, ближе и доступнее стояли к народу... Вот почему народы так почитают своих поэтов-пророков. Вот почему поляки воздают культ Мицкевичу, русские – Пушкину».

Стихотворение В. Воинова (писателя, поэта-сатирика, прозаика) «Памяти А.С. Пушкина» обобщает мысли и чувства авторов материалов о поэте: «глубокая простота стихов», «чудный миг прекрасного рассвета», «чувства лучшие в сердцах людей будила» – все эти образные характеристики творчества Пушкина пронизаны его же косвенным цитированием, так что в который уже раз автором подчеркивается пророческое видение художника, мудрость его заветов.

Анализ материалов газеты «Северный Кавказ» показал нам, что на Кавказе в конце XIX в. была создана творческая среда, в которой формировались мысли либеральные, демократические, прогрессивные. Очень важно, что культурная жизнь Кавказа была динамичной, имела творческие посылки. Она была органической частью творческого культурного пространства России, которое формировалось год за годом прогрессивными деятелями России. Центром этого прогрессивного процесса было, несомненно, творчество А.С. Пушкина.

Ниже мы публикуем материалы, которые представляют для настоящего времени наибольший интерес.

Городская хроника

«Северный Кавказ» № 44 от 13 апреля 1899 г., с. 3

Думское заседание.

Вопрос о чествовании памяти Пушкина.

Комиссия, разрабатывавшая этот вопрос, сделала следующие предложения: 1) Отслужить 26-го мая заупокойную литургию и панихиду по А.С. Пушкину. 2) Начиная с 25 мая устроить в течение 2–3 дней литературно-музыкальные утра для учащихся всех городских и частных школ. 3) Раздать всем учащимся низших народных школ экземпляры избранных сочинений Пушкина, а оканчивающим в текущем году курс учения – полные собрания сочинений Пушкина. 4) Поместить во всех городских и частных нар. училищах портреты А.С. Пушкина. 5) Наименовать первую городскую школу, имеющую быть открытой, школою «Пушкинскою». 6) Устроить, если окажется то возможным, в дни чествования Пушкина общенародные чтения с туманными картинами произведений и биографии Пушкина. 7) Устроить, по соглашению с Кружком любителей изящных искусств и комитетом общества грамотности, литературно-музыкальный вечер для интеллигентного класса, с чтением реферата о Пушкине и исполнением музыкально-вокальных пьес. А если представится возможность, поставить спектакль с исполнением драматических произведений Пушкина. 8) Кроме того, комиссия от думы нашла весьма желательным для ознаменования памяти великого поэта, основание городом такого учреждения, которое, служа просветительным целям, именем своим и деятельностью всегда напоминало бы жителям г. Ставрополя о великом поэте Пушкине. Для этого комиссия предлагает думе учреждение «народного дома» имени Пушкина, который совмещал бы в себе аудиторию для народных чтений, небольшую сцену, читальню, чайную и т.п. Устройство «народного дома» обойдется городу по предположению комиссии в 7–10 тыс. рублей.

Средства на основание его могут быть собраны отчасти из городских сумм, отчасти из частных пожертвований. Кроме того, комиссия рекомендует, ввиду введения с будущего года в Ставропольской губернии казенной винной монополии, обратиться с ходатайством в Министерство финансов об ассигновании сумм на устройство «народного дома», или на ежегодное его содержание, так как по типу своему и по задачам это учреждение близко подходит к тем чайным, устраиваемым в городах обществами трезвости, которые нередко субсидируются министерством финансов. В случае даже необходимости устройства на одни городские средства, городскому управлению придется ежегодно отчислять 1–1,5 тыс. р., и, таким образом, «народный дом» может быть выстроен в течение нескольких лет. Ежегодное же содержание его будет обходиться не более нескольких сот руб.

Место для устройства «народного дома», по мнению комиссии, имеется удобное, именно на Софийской площади, между женским епархиальным училищем и Софийской церковью. При доме же может быть

устроен сквер, гигиеническое значение которого не нуждается в объяснениях. Сквер может быть представлен в пользование детям для игр, гимнастики и т. п.

На расходы по устройству празднеств в честь Пушкина, на выписку сочинений Пушкина (1500 экз. избран. сочин. Пушкина, изд. Сытина, по 20 экз., 500 экз. издания Харьковского комит. грамотн., по 6 к. экз., 200 экз. полного собрания сочин. Пушкина, изд. Тихомирова, по 50 к. экз.), портретов и бюста поэта комиссия испрашивала у думы 500 р.

«Северный Кавказ», № 45 от 15 апреля 1899 г., с. 1–2

На последнем заседании нашей думы был поднят вопрос об устройстве в память А.С. Пушкина «народного дома». Проект этого учреждения был обрисован в докладе «пушкинской комиссии» только в самых общих чертах; не обозначено и время его открытия; выражено только пожелание, чтобы город отпускал ежегодно некоторую сумму, пока не составится требуемая для постройки «народного дома» сумма. Дума одобрила проект комиссии; таким образом, ставропольцев можно поздравить в будущем с таким полезным просветительным учреждением, как «народный дом».

Мысль об учреждении именно «народного дома» надо признать как нельзя более удачною; в самом деле, школ у нас в городе около 3-х десятков; есть несколько бесплатных библиотек-читален, в скором времени откроется общедоступная библиотека им. В.Г. Белинского. Зато нет ни одной народной аудитории, нет народного театра. Этот пробел и будет восполнен основанием «народного дома», который будет вмещать в себе аудиторию, сцену, читальню и чайную. Потребность в учреждении именно «народного дома» в последнее время стала ощущаться с особенной силой; дело народных чтений разрослось до весьма значительных размеров, чтения начали производиться одновременно в нескольких пунктах, но за отсутствием специальной аудитории приходится обращаться к помещениям совершенно не приноровленным к этому назначению, вроде Софийской казармы, Ташлянского училища и пр. Это обстоятельство, понятно, должно невыгодно отражаться на постановке дела. Народный театр и до сих пор не мог быть у нас осуществлен за отсутствием сцены; в последнюю зиму, например, кружок интеллигентных лиц задался целью ознакомить простонародье с лучшими русскими драматическими произведениями; за отсутствием сцены им пришлось ограничиться чтением драматических произведений; так были прочитаны «Ревизор», «Свои люди – сочтемся» и др. Слушатели оставались очень довольными такого рода чтениями, благодарили чтецов, так что приходилось одну и туже вещь перечитывать несколько раз. Но понятно, что простое чтение не могло заменить сценического представления.

Раз дума согласилась с мыслью о необходимости устройства «народного дома», она должна будет привести эту мысль в исполнение. Прежде всего необходимо разработать самый проект во всех подробностях; для этого дума из своей среды должна избрать особую комиссию, которая и определит общую стоимость сооружения, после чего уже в смету на 1900 г. будет внесена часть суммы, потребной на постройку «народного дома». Мы на этом пункте особенно настаиваем, потому что и без того предположено собирать нужную для постройки «народного дома» сумму в течение нескольких лет, почему всякая лишняя проволочка во времени только будет без нужды отдалять, и без того уже отдаленную, перспективу постройки «народного дома». «Пушкинская комиссия» определила стоимость сооружения в 7–10 тыс. руб., а ежегодного его содержания в несколько сот руб. И та, и другая сумма нам представляется слишком малой. На 7–10тыс. руб. нельзя соорудить ничего порядочного; постройка обыкновенной школы обходится приблизительно в эту сумму; но нечего и говорить, что для «народного дома» потребуется гораздо более обширное помещение, чтобы там могли уместиться все намеченные учреждения; к тому же и обстановка и внутреннее оборудование потребуют довольно значительных затрат. Разве что аудитория будет устроена на 100 чел., да чайная на 10 чел., да читальня на такое же количество читающих и т. п. Но ведь тогда и огород не для чего городить: и аудитории такие в городе существуют, и читальни... Затем для функционирования учреждения нужны будут заведующий читальнею, чайной, прислуга, выписка книг и изданий... Разве можно обойтись тут несколькими ста рублями?

Без сомнения, и постройка «народного дома», и ежегодное его содержание потребуют значительно больших сумм, чем какие предполагает комиссия. Является вопрос о средствах. Тут мы можем только заметить, что если городское управление будет откладывать ежегодно по 1–1,5 тыс. руб., как предлагает комиссия, то Ставрополь долго не увидит «народного дома»; пройдет не менее 10-ти лет, прежде чем наберется требуемая сумма. Город мог бы уделять для этого, по нашему мнению, и большие суммы, ну хотя бы тысячи по 3 в год. Для этого только придется несколько сократить расходы по другим сметным статьям, да построже взглянуть на взимание городских сборов и недоимок по ним.

В высшей степени было бы важно, чтобы уделило на этот предмет некоторую сумму министерство финансов; сделать это оно могло бы уже потому, что ему не пришлось бы тратиться на основание в городе чайной, попечительства о народной трезвости и вообще на устройство для народа разумных развлечений,

что входит в круг деятельности попечительства о народной трезвости, учреждаемых в тех местностях, где вводится казенная продажа питей. Раз в городе существуют уже аналогичные учреждения, то министерству лучше всего не основывать своих, а оказывать денежную помощь существующим.

Вместе с тем мы надеемся, что на помощь городу придут и частные лица своими пожертвованиями; это дало бы возможность осуществить задуманное предприятие в размерах и форме, более соответствующих идее «народного дома», а затем и приблизить время осуществления этого полезного просветительного начинания.

«Северный Кавказ», № 62 от 27 мая 1899 г., с. 2

В среду, 26 мая, в Кафедральном соборе его преосвященством епископом Агафодором была отслужена торжественная литургия и панихида по А.С. Пушкину. На богослужении присутствовали учащиеся начальных школ гор. Ставрополя. Один из служивших священников произнес приличествующее случаю слово.

В среду, 26 мая, в мужской гимназии и в гимназии св. Александры состоялись торжественные акты, посвященные памяти Пушкина, по установленной программе.

Независимо от участия в общем празднестве для учащихся в честь А.С. Пушкина, устраиваемого городом, городское училище устроило для своих учеников «Пушкинский вечер» и вокально-литературные утра.

Вечер состоял из чтения произведений чествуемого поэта, пения на слова Пушкина, положенных на музыку, и апофеоза, а на «утре» исполнение было по следующей программе:

1) «Биография А. С. Пушкина» – прочитал учитель К. Иванов.
2) «Юбилейная песня» Беневского – исполнил хор.
3) «Москва» из «Евгения Онегина» – прочитал один из учеников.
4) «Наводнение» из «Медного всадника» – прочитал один из учеников.
5) «Свадебный хор» из оперы «Русалка» – исполнил хор.
6) «Заслуги Пушкина в русской литературе» – прочитал учитель Евдокимов.
7) Сцена из «Полтавы» «Кочубей в темнице» – прочитали два ученика.
8) Стихотворение «Обвал» – прочитал один из учеников.
9) «Ах ты, свет Людмила» – исполнил хор.
10) Стихотворение «Памятник» – прочитал один из учеников.
11) «Пир Петра Великого» Зайцева – исполняет хор.
12) Стихотворение Полонского «Пушкин, это – возрожденье...» – прочитал один из учеников.
13) Стихотворение окончившего курс ученика Василия Пожидаева «Памяти Пушкина» – прочитал один из учеников.
14) «Гимн» – исполнил хор.

При этом ученикам были розданы сочинения А.С. Пушкина. В зале был поставлен бюст Пушкина, а стены украшены картинами из произведений Пушкина, исполненными учениками.

«Северный Кавказ», № 63 от 29 мая 1899 г., с. 3

Вечером 25 мая, накануне столетней годовщины со дня рождения А.С. Пушкина, по инициативе командира Майкопского резервного батальона, в помещении военного собрания состоялось скромное чествование дорогой памяти поэта, устроенное исключительно для нижних чинов батальона. Вечер открылся исполнением народного гимна всеми присутствовавшими нижними чинами и военным оркестром по случаю дня рождения Государыни Императрицы. После этого было сделано сообщение о значении Пушкина, как поэта и писателя, для всего русского народа и о его заслугах перед народом, вызвавших повсеместное празднование столетней годовщины его рождения, а также рассказана была в кратких словах биография поэта. Затем, после исполнения оркестром песни из «Евгения Онегина» Чайковского, прочитаны были отрывки из «Полтавы», причем чтение сопровождалось иллюстрациями в целом ряде туманных картин. Прочитана была также сказка «О Рыбаке и Рыбке», также сопровождавшаяся иллюстрациями. Оба чтения с большим интересом были выслушаны и сопровождались весьма оживленными аплодисментами признательной аудитории. Особенный интерес для собравшейся тут же интеллигентной части публики представило сообщение И.П. Кувшинского о днях пребывания Пушкина в Ставрополе, при проезде его на Кавказ в мае месяце 1820 года. Подробности этого сообщения мы надеемся дать читателям в следующем номере нашего издания. Вечер закончился апофеозом Пушкину. По всем признакам, торжество произвело на тех, для кого оно было устроено, самое лучшее впечатление. Весьма многие из грамотных нижних чинов получили брошюры с разными сочинениями поэта.

Пушкин был в Ставрополе. Он был у нас в 1820 г. вместе со славным героем Отечественной войны генералом Н.М. Раевским и вторично в 1829 году, вероятно, в мае месяце.

Нам привелось собрать кое-какие сведения об этом пребывании.

Раевский и все, кто с ним прибыл в Ставрополь, останавливался в доме, где теперь помещается Ставропольский полицмейстер.

Весть о прибытии со славным генералом автора стихотворения «Деревня» скоро разнеслась среди немногочисленных обитателей нашего города. Среди них были почитатели молодого таланта, которые поспешили войти с ним в общение.

Поэт долго любовался видом окрестностей с горы, где теперь Кафедральный собор, спустился в Подгорную, добрался до местности, именуемой Флоринским переездом. Сопровождавший его солдат, когда оба спустились у Ташлы, заметил, что тут опасно оставаться. Но Пушкин не обратил внимания на предостережение и немало пробыл в лесу, в котором тогда высились лесные гиганты. На обратном пути из леса, когда путники поднимались в гору, Пушкин расспрашивал солдата, был ли он в боях, что он испытывал в минуты опасности, как живется вообще кавказскому солдату. Замечательно, что солдат, передавая о своей встрече и разговоре с поэтом, прибавил: «Да, это был человек с великим сердцем».

«Северный Кавказ», № 65 от 3 июня 1899 г., с. 3

По случаю 100-летнего юбилея А.С. Пушкина, 30 мая совершены были в домовой семинарской церкви литургия и панихида, на которой присутствовали все учащие, учащиеся, а также и посторонние молящиеся. За литургией, в конце ее, перед началом панихиды, отец ректор семинарии протоиерей П.И. Смирнов произнес приличествующее случаю слово. В нем, отдав должное Пушкину, как гению и славе русской земли, и указав на то значение, какое имели произведения поэта на последующую литературу по тем идеалам, которые проводил Пушкин в своих сочинениях, проповедник перешел к тому, что в настоящий день дух почившего не нуждается в восхвалениях, торжествах и празднествах в честь него, а нуждается исключительно в молитве. «Ее особенно усердно должно вознести к престолу Всевышнего в день памяти поэта, как гения, много получившего от Бога и потому долженствующего отдать отчет перед Всеобщим Судьей в том, какое семя сеял он из своей духовной сокровищницы и как оно возросло и распространилось по всей ниве русской земли. В видах того, что в раннюю пору своей деятельности, вследствие полученного воспитания, поэт допускал много вольностей относительно запросов духовной жизни человека и отличался воззрениями, чуждыми истинно православного христианина, в день столетнего юбилея, посвященного памяти великого поэта земли русской, должно просить у Господа упокоения души поэта, чтобы он мог сказать вместе с псалмопевцем: «грехи юности моей не помяни... от тайных моих очисти мя и от чуждых пощади раба Твоего». (Пс. 18, 13, 14 ст.). Такими словами проповедник закончил свое слово.

По случаю экзаменов и краткости времени, особого собрания в память поэта с речами, стихотворениями, пением и музыкой, как это проявилось в других учебных заведениях г. Ставрополя 26-го мая, в духовной семинарии не было.

«Северный Кавказ», № 68 от 10 июня 1899 г., с. 2

Ряд Пушкинских празднеств в Ставрополе закончился литературно-музыкальным вечером, устроенным для народа комиссией по устройству народных чтений общества грамотности. В народном театре вечер как нельзя более удался, театр был переполнен и посетителей было свыше тысячи человек. Театр был красиво убран зеленью, флагами, а на сцене среди гирлянд и венков возвышался бюст Пушкина. Вечер начался чтением биографии Пушкина, сопровождаемой прекрасными туманными картинами. В музыкальном отделении участвовал хор любителей под управлением Беневского, исполнивший кантату в честь Пушкина и друг, номера. Были прочитаны: «Памятник», «Полтава», «Деревня» и др. произведения Пушкина и поставлена была сцена из «Бориса Годунова» «В келье Чудова монастыря», особенно понравившаяся публике. Кроме этого было прочитано стихотворение, посвященное памяти Пушкина, г-на Чужова. Несмотря на поздний час, публика с неослабленным вниманием следила за чтениями, хотя переполнение театра и начавшийся дождь сильно мешал произнесению.

«Северный Кавказ», № 70 от 15 июня 1899 г., с. 2

Нам прислан следующий отчет комиссии народных чтений по устройству бесплатного литературно-музыкального вечера, посвященного памяти А.С. Пушкина, состоявшегося 8 июня.

Расход. – Освещение – 5 р., рояль – 10 р., постановка сцены из «Бориса Годунова» – 6 р. 10 к., украшение театра – 5 р. 10 к., чай, закуска для гг. исполнителей, конфеты и пряники для детей хора – 10 р. 20 к., афиши, тумбы и расклейка – 5 р. 50 к., марки – 2 р. 50 к., всего – 44 р. 40 к.

Приход. – Получено от комиссии по устройству пушкинских празднеств – 15р., выручено от продажи билетов – 28 р. 80 к., всего – 43 р. 80 к.

Устроители вечера приносят искреннюю благодарность: В.А. Шохиной-Остроумовой, В.Д. Беневскому, Г.Н. Прозрителеву, Г.Г. Имс, Д.Н. Нежданову, Н.Г. Попову, И.Т. Антонскому, В.Ф. Миловидову, А.А. Моравской, П.А. Красноцветову, г-ну Синельщикову, К.М. Дьячкову, Б.О. Новаку, участвовавшим в хоре любительницам и любителям и всем, содействовавшим успеху вечера.

Общая хроника

«Северный Кавказ», № 66 от 5 июня 1899 г., с. 1

Министерство народного просвещения уважило ходатайство некоторых высших учебных заведений относительно учреждения в них стипендии имени А.С. Пушкина на вырученные деньги от продажи билетов на чтения, устраиваемые профессорами в дни чествования А.С. Пушкина, а также от добровольных пожертвований.

Корреспонденции

«Северный Кавказ», № 56 от 13 мая 1899 г. Гор. Екатеринодар

От собственного корреспондента.

Наконец-то и наша дума окончательно высказалась по поводу «пушкинского праздника». В заседании 8 мая дума после горячих прений порешила: 1) открыть городскую публичную библиотеку имени А.С. Пушкина и в этом же году ассигновать на эту библиотеку 3000 р. и 2) построить «народный дом» имени А.С. Пушкина, в котором могли бы помещаться: библиотека, музей, аудитория народных чтений и пр., а на постройку этого дома с будущего года вносить в городскую смету по 3000 р. Чего же, кажется, лучше? И у нас будет библиотека, и у нас будет «народный дом»? От века, от нынешнего настроения русского общества совсем не отстали! А между тем вышеприведенное решение думы далеко не радует всех тех, кто знает положение наших городских финансов…

Попович

«Северный Кавказ», № 58 от 18 мая 1899 г., с. 3

По Кавказу.

Тифлисская городская дума по поводу чествования юбилея А.С. Пушкина сделала следующие постановления: ассигновать 850 р. на устройство торжества для учеников городских начальных школ, открыть две народных школы имени Пушкина, открыть народную читальню-библиотеку, наименовать ее «Пушкинской» и учредить четыре пушкинских стипендии, по одной, в реальном училище, 2-й классической гимназии, Александровском учительском институте и 1-ой женской гимназии («Т. лист.»).

Батумская гор. дума постановила устроить в день юбилея А.С. Пушкина празднества в городе (спектакль и чтения для народа, акты в школах и пр.), а для увековечения памяти поэта постановила открыть в сентябре мужское городское начальное училище имени А.С. Пушкина и переименовать Одесскую улицу в Пушкинский проспект. Предложение же о постройке в память поэта народной аудитории с читальней, музеем и пр. было отклонено большинством 27 голосов. Против 13 голосов («Черн. вест.»).

«Северный Кавказ», № 65 от 3 июня 1899 г., с. 2

Село Медвежье, Ставропольской губернии.

И в нашем уголке 26 и 27 мая местная интеллигенция, при участии духовенства, почтила память Александра Сергеевича Пушкина, скромным и достойным образом. 26 мая в местном приходском храме, при значительном стечении жителей, после божественной литургии была отслужена панихида по усопшему поэту, причем один из священников сказал краткое слово о значении поэта для России. В этот же день в министерском училище отслужена была также панихида – при наличном составе как учеников этого учи-

лища, так и церковно-приходской школы и остальных училищ. После панихиды состоялось утро для учащихся, на котором учительницей г. Е-вою был прочитан краткий биографический очерк поэта, а некоторые из учеников продекламировали несколько стихотворений Пушкина.

27 числа в общественном собрании состоялся общедоступный бесплатный музыкально-литературный вечер, посвященный памяти поэта. Вечер прошел очень удачно; исполнители оказались на высоте своей задачи и привели публику в восторг. Нам очень приятно сознавать, что и у нас, в медвежьем уголке, достойно почтили память поэта.

Село Сергиевское, Ставропольской губернии.

26 и 27 мая село Сергиевское праздновало память А.С. Пушкина. 26 мая в сельской церкви священником о. Полянским была отслужена панихида. 27 мая происходило самое чествование памяти незабвенного поэта. В школе было устроено литературное утро; руководителями в этом деле явились заведующая первым сергиевским училищем А. Зароченцева и начальник здешнего почтового отделения Г.А. Гудсон, который за такое короткое время, как полторы недели, прекрасно разучил с учениками несколько песен. Класс, где происходило чествование памяти Пушкина, был прекрасно декорирован, а портрет поэта украшен венком и цветами. Началось утро исполнением народного гимна. Прочитаны были: биография А.С. Пушкина, «Полтава», «Цыгане», «Братья-разбойники», «Утопленник», «Деревня» и несколько мелких стихотворений поэта. Хор из учеников спел несколько народных песен. В заключение ученикам были розданы избранные сочинения Пушкина и лакомства, а некоторые ученики получили похвальные листы. Утро сошло очень мило и доставило публике большое удовольствие. По окончании празднеств одним из присутствующих было предложено сделать подписку на приобретение для Сергиевского одноклассного первого училища портрета А.С. Пушкина.

Имена лиц, подписавшихся на приобретение в тот же день, позвольте мне опубликовать: свящ. о. Полянский – 1 р., N – 1 р., Гудсон – 1 р., Новиков – 1 р., Ковалев – 1 р., Флегинский – 1 р., Воронин – 1 р., Привалов – 1 р., Зароченцева и Тюлли – 1 р., К. Дементьев – 1 р., М. Расторгуев – 1 р., Ф. Борисенко – 50 к.

«Северный Кавказ», № 66 от 5 июня 1899 г., с. 2

Майкоп.

Пушкинские празднества в Майкопе выразились следующим: для простого народа 23, 27 и 30 мая были устроены в 3-х аудиториях по городу бесплатные чтения с туманными картинами. Прочитаны были биография Пушкина и его сочинения «Борис Годунов», «Полтава» и «Капитанская дочка».

26 мая на площади около городского собора была отслужена торжественная панихида по покойному поэту в присутствии учащих и учащихся городских училищ и массы публики.

27 мая находящимися здесь артистами, под управлением Фебера, в театре дан был народный спектакль в память Пушкина, на котором были исполнены из «Бориса Годунова»: сцена в келье Чудова монастыря и сцена в корчме на литовской границе; первая сцена из «Русалки»; кроме того, из «Евгения Онегина» представлена была сцена в лицах: письмо Онегина к Татьяне и ответ ему Татьяны. В заключение поставлена драматическая сцена («далекого будущего», как сказано в афише) под заглавием «Поверженный Пушкин» соч. К. Случевского. Но это произведение известного писателя оказалось весьма неудачным. Составленное из высокопарных монологов, оно не было понято даже грамотной публикой, не говоря уже о простом народе, присутствовавшем на спектакле. Сцена представляла примерно следующее: двое мужиков-каменщиков тешут на площади Москвы камни и рассуждают о войне, о том, что вот упала статуя Пушкина (отчего она упала, понять было нельзя), что придется ее поднимать и т.п. Затем на сцену входят два офицера, каменщики уходят; офицеры садятся и тоже толкуют о войне (о какой войне, понять было нельзя). К ним выходит старушка-няня каких-то Пушкиных, плачет и рассказывает, что убили ее двух питомцев Пушкиных; младший офицер трагически вскакивает и восклицает, что они были его товарищи. Старушка уходит, плача, и вдруг шум, на сцену врывается толпа мужиков, баб, солдат и барынь, впереди молодая баба в красном сарафане с передником, несет бумагу и передает старику офицеру с криком всей толпы: «Победа, победа, наши одолели!». Офицер читает бумагу, вроде какого-то манифеста, громко, с жестами. Он читает долго, но понять прочитанное было трудно. Между тем, каменщики приготовляются устроить кому-то встречу, поднятием лежащей статуи поэта Пушкина. Вся толпа с шумом ее поднимает; она качается у них на руках. Статую представлял, говорят, живой человек, довольно подходяще раскрашенный. Поднятием статуи заканчивается сцена. Постановка этого непонятного произведения только ослабила то хорошее впечатление, какое получили зрители при исполнении сцен из произведений великого Пушкина; сцены эти проведены артистами в высшей степени правдиво и хорошо. Хотя цены были возвышенные, театр был полон. Внутри весь театр был живописно декорирован дубовыми венками. По стенам выставлены годы, касающиеся поэта и заголовки

его больших произведений, а под ложами, – выдержки из произведений Пушкина. Впереди зрителей высоко стоял портрет поэта, окруженный венками и флагами. Убранство театра было самое величественное.

28 числа, в 11 ч. дня, при молебствии состоялась закладка «Пушкинского дома», сооружаемого по инициативе гор. обществ, управления, отчасти на средства города, отчасти на пожертвования. Последних предвидится до 10000 р. Смета же по постройке выражается в сумме до 18000 руб. Этот дом-памятник, в форме тупого креста, будет аж до 20 саж. длины и до 10 саж. ширины, и составит гордость Майкопа.

28 мая в театре был поставлен «Скупой рыцарь» Пушкина, хорошо исполненный артистами. Сад был иллюминирован и пускался фейерверк. Сбор предназначался в пользу голодающих. Цены на места были понижены.

Гостящая у нас труппа московских артистов, небольшая, но сильная исполнением, между прочим, уже ставила «Бешеные деньги» Островского и «Вторую молодость» Невежина; исполнены эти пьесы замечательно хорошо.

Село Бешпагир, Ставропольской губернии

В просторном, светлом помещении здешнего одноклассного м. н. п. училища 26 мая состоялось юбилейное торжество по поводу столетия со дня рождения нашего величайшего поэта А.С. Пушкина. Масса зелени, букеты и венки, среди которых выделялись громадных размеров инициалы «А.С.», придали училищу вполне праздничный вид; в этот день двери училища гостеприимно распахнулись не только для учащихся, но и для родителей и опекунов последних, должностных лиц волостного правления и местной интеллигенции; таким образом, пушкинский праздник получил школьно-народный характер. Несмотря на будни и начавшийся здесь сенокос, стены училища едва могли вместить всех, желавших попасть на празднество; это лишний раз говорит, как велико среди народа стремление к свету и как необходимо скорейшее разрешение вопроса об облегчении устройства народных чтений в деревне.

После панихиды, отслуженной в церкви в присутствии школьного совета, учащихся всех здешних училищ и народа, школьное празднество началось в училище пением церковным хором «Коль славен»; затем заведующей одноклассным м. н. п. училищем М. Яновской была прочитана биография А.С. Пушкина; с целью же ознакомления учащихся и народа с понятным по возможности произведением А.С. Пушкина вслед за биографией был прочитан «Кавказский пленник». Общее внимание привлекли учащиеся – мальчики и девочки, которыми мило и толково были произнесены стихотворения и отрывки из произведений А.С. Пушкина: «Зимний вечер», «Наступление весны» (из «Евгения Онегина»), «Памятник», «Пир Петра Великого», «Зимняя дорога» и «Полтавский бой» (из «Полтавы»). По окончании вокально-литературной части празднества всем учащимся были розданы на память о юбилее избранные сочинения А.С. Пушкина; с последними разошлись по домам веселые и довольные дети, чтобы и под соломенными крышами читались в длинные осенние и зимние вечера гениальные произведения вещего поэта. Юбилейное торжество закончилось пением церковным хором «Боже, Царя храни!», которое присутствующие выслушали стоя. Осенью, в начале учебного года, в память столетнего юбилея будет помещен в классной комнате здешнего одноклассного м. н. п. училища портрет А.С. Пушкина и вторично будут раздаваться избранные его сочинения.

Пророчество гениального поэта: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, // И назовет меня всяк сущий в ней язык» – в столетнюю годовщину его рождения исполнилось вполне.

Vox.

Телеграммы

«Северный Кавказ», № 61 от 25 мая 1899 г.

20 мая, получ. 21. Москва. Дума учредила стипендию имени Пушкина в 420 руб. в год для обучения без различия пола в средних и высших учебных заведениях одного из потомков русских писателей. В Сокольниках и близ университетских клиник открываются два начальных мужских и два женских училища, под наименованием «Пушкинские». Комиссия народных чтений устраивает 23 марта в историческом музее бесплатное чтение, посвященное памяти Пушкина, в тот же день отделение Сокольничьего рабочего дома устраивает Пушкинский вечер.

«Северный Кавказ», № 63 от 29 мая 1899 г., с. 3

26 мая. Петербург. Началось чествование памяти Пушкина совершением панихиды в школе печатного дела. В десятом часу в ресторане «Контан» состоялся раут для приема прибывших из заграницы на пушкинские торжества славянских и французских гостей.

26 мая, в 10 ч. утра, в Казанском соборе совершена петербургским митрополитом заупокойная литургия, после нее панихида о Пушкине, в соборе присутствовали августейший президент Императорской академии наук, великая княгиня Милица Николаевна, княгиня Анастасия Николаевна Романовская, герцогиня Лейхтен-бергская, супруга обер-прокурора святейшего синода, фрейлина Пушкина-Петерсон, министр народного просвещения, вице-президенты академии наук, художеств и много народа.

26 мая в церкви придворно-конюшенного ведомства, на месте отпевания Пушкина, совершена придворным духовенством заупокойная литургия и панихида, в церкви присутствовали литераторы, некоторые из русских и иностранных журналистов; во время литургии и панихиды пела придворная певческая капелла.

26 мая, в кабинете дома князя Волконского, где скончался Пушкин, совершена панихида. Кабинет отделан в глубокий траур, на месте, где стояла кровать покойного, установлен аналой с иконой Александра Невского, все молитвенное место убрано лаврами и цветами. К началу панихиды прибыл городской голова, его товарищ и все гласные, родственник поэта, генерал Арапов, князь Волконский и все прибывшие на торжество иностранные гости из славянских земель и Франции и представители петербургской печати; при пении «Вечная память» все опустились на колени.

26 мая, в домовых церквях министерства внутренних дел, иностранных дел и государственного контроля совершены панихиды о Пушкине. В церкви министерства иностранных дел присутствовали: министр, его товарищ и чины министерства. В церкви государственного контроля были государственный контролер с чинами контроля. В церкви министерства внутренних дел собрались многие из чинов общества драматических писателей, оперных композиторов, во время пения вечной памяти все опустились на колени.

Св. Горы. Вчера вечером, при значительном стечении гостей, отслужена в монастыре торжественная панихида, располагавшая всех к молитве, благодаря прекрасному пению архиерейского хора. Обращает на себя внимание, около монастыря, Пушкинская богадельня и народная читальня. При входе посреди комнаты поставлен бюст поэта, увенчанный венком, в следующей комнате часовня. Около 12 ч. вечера прибыли товарищ министра внутренних дел барон Икскуль и губернатор. Утриумфальной арки барон встречен был земским начальником и волостным старшиною с хлебом-солью.

Казань. Сегодня, по случаю столетия годовщины рождения Пушкина, во всех церквях и учебных заведениях отслужены заупокойные литургии и панихиды. В университете состоялось торжественное заседание совета, на котором произнесены речи; в средних учебных заведениях происходили торжественные чествования поэта, с чтением и пением его произведений. В низших училищах устроены пушкинские чтения и раздача брошюр – «Жизнь Пушкина», его сочинений и портретов. На городские средства открыта пушкинская столовая на 200 чел. нуждающегося населения. По предложению городского головы дума постановила назначить премию в 500 руб. за лучшее сочинение о Пушкине, с переводом некоторых его сочинений на татарский язык. Уездное земство устраивает пушкинские торжества в своих школах, с пением и чтением, показыванием картин и раздачей сочинений Пушкина и его портретов. Балконы и окна домов украшены цветами и драпировками.

Новороссийск. При участии местного музыкального общества в ознаменование столетнего юбилея Пушкина дан спектакль, часть сбора которого предназначена на памятник Пушкину.

Новый Маргелан. В день памяти Пушкина отслужена торжественная панихида, открыта городская библиотека и музей; вечером состоялось музыкально-литературное собрание.

Кронштадт. Средние учебные заведения присутствовали на литургии и панихиде по Пушкину в Андреевском соборе, низшие – в думской церкви. Чтение, речи о Пушкине и музыкальное отделение исполнены в морском собрании, для средних учебных заведений, в честь имени Пушкина дан обед.

Петербург. Государь повелеть соизволил: ознаменовать столетие дня рождения Пушкина учреждением в Императорской академии наук посвященных его памяти: разряда изящной словесности и особого фонда имени Пушкина. Вновь учрежденный разряд должен составить одно целое с отделением русского языка и словесности Императорской академии наук, образованным из Императорской Российской академии, членом которой был Пушкин. На открываемые на сем отделении новые должности академиков должны быть избираемы как писатели и художники, так равно ученые исследователи в области словесности. Пушкинский фонд предназначается для издания произведений русских писателей, а также для словаря русского языка и других трудов второго отделения академии наук. В этих видах повелено: 1) учредить во втором отделении академии наук российского языка и словесности шесть новых должностей ординарных академиков с содержанием по означенному штату положенным. 2) На образование пушкинского фонда отпускать ежегодно из государственного казначейства, сверх ассигнуемых ныне сумм, по пятнадцати тысяч рублей.

Калиш. Сегодня началось чествование памяти Пушкина панихидой в соборе и торжественными актами в гимназиях и реальном училище.

Царское Село. Сегодня в Екатерининском соборе состоялась панихида и литургия по Пушкину. Церковь переполнена молящимися. В 2 часа дня, в бывшем лицейском садике состоялась, в присутствии великого князя Павла Александровича и его детей и военных гражданских властей, закладка памятника Пушкину. Перед местом закладки с одной стороны стоял аналой, с другой – модель памятника из гипса, изображающая Пушкина на высоком пьедестале, сидящим в саду на скамейке, в лицейском мундире, в раздумье; на лицевой стороне памятника – надпись, Александру Сергеевичу Пушкину, 1799–1837.

26 мая, получ. 27.

Уфа. Сегодня по случаю 100-летия Пушкина отслужены заупокойные литургии и панихиды в соборе, мужской и женской гимназиях; в последних состоялись литературные утра.

Саратов. Начались торжественные чествования памяти Пушкина. Сегодня на соборной площади всенародная архиерейская панихида; гражданское чествование в городском саду, где помещается народный театр, который наименован «Пушкинским».

Москва. Несмотря на неблагоприятную дождливую погоду, несколько испортившую эффектнейшую часть московских пушкинских празднеств, торжество памятника поэта представляло великолепное зрелище: вся площадь страстного монастыря с утра наполнилась толпой; на эстраде, у начала Тверского бульвара, поместились великий князь Сергей Александрович с супругой, лица свиты и высокопоставленные лица; на другой эстраде – оркестр и хор. Тут же собрались многочисленные депутации. В 11 часу показалась процессия учащихся и раздались звуки оркестра. Обратившись лицом к памятнику, Смирнов произнес речь, посвященную памяти Пушкина. По окончании речи хор и оркестр начали исполнение кантаты в память Пушкина. Под звуки кантаты потянулись к памятнику депутации с венками; всего возложено до 50 венков. Все основание памятника потонуло в цветах, лаврах и лентах. По возложении венков грянул народный гимн. Около половины 12-го их высочества отбыли. В заключение еще раз спета была кантата; и публика стала расходиться. Памятник украшен обелисками, мачтами, щитами, флагами, цветущими растениями и венками.

Ковно. Пушкинские празднества начались вчера актом в женской и мужской гимназиях. Сегодня заупокойная литургия, торжественное собрание в мужской гимназии, общедоступное народное литературное утро, раздача детям и публике печатных произведений Пушкина. В гимназии утверждена стипендия имени поэта. Завтра торжественное открытие народной читальни.

Ревель. Сегодня началось чествование памяти Пушкина совершением панихиды в соборе.

Воронеж. В Митрофаниевском монастыре совершена панихида по Пушкину. В зале дома дворянства состоялось торжественное собрание.

Калуга. После литургии и панихиды по Пушкину состоялся торжественный пушкинский акт в присутствии калужского пушкинского комитета, представителей ведомств и учреждений, сословий, учащихся и многочисленной публики.

Варшава. Во всех церквях отслужены литургии и панихиды по Пушкину; состоялись музыкально-вокально-литературные утра во многих низших и во всех средних казенных и некоторых частных учебных заведениях. Учащимся роздано 200000 экземпляров сочинений Пушкина, отпечатанных округом. В 2 часа в университете был акт в присутствии генерал-губернатора, внука Пушкина, иностранных консулов и архиепископа. Хор студентов исполнил кантату. Бронзовый бюст поэта красиво декорирован; возложено 11 венков; открыта подписка на стипендиальный фонд имени Пушкина. В русском собрании состоялся пушкинский вечер.

Харьков. Во всех соборах, церквях и учебных заведениях отслужены литургии и панихиды по Пушкину, затем состоялись в учебных заведениях торжественные акты, учащимся розданы брошюры о Пушкине. После литургии состоялось освящение нового городского знамени. По окончании богослужения учащиеся в количестве 3000, с городским знаменем, отправились в предвокзальную площадь, где присутствовали на закладке большого пушкинского школьного здания, в котором будет 15 классов для 900 учеников, – сооружаемого городом, на что ассигновано 130 тыс. р. Дети после закладки отправились в городской сад, где им роздан завтрак. Завтра для них в городском театре литературно-музыкальное утро и будут розданы сочинения Пушкина. В час дня, в актовом зале университета состоялось торжественное собрание совета университета, в заключение исполнен народный гимн. Собрание было публичное.

Петербург. 26 мая, в 2 ч. дня, в большой зале петербургской консерватории состоялось торжественное собрание императорской академии наук. К 2 часам громадная зала была полна избранной публикой. Присутствовали великие князья и великие княгини, министры и высокопоставленные лица. В начале торжественного собрания великий князь Константин Константинович прочел телеграмму Государя следующего содержания: «Не имея возможности присутствовать в торжественном собрании академии, посвященном чествованию 100-летия со дня рождения великого Пушкина, я сердцем и умом участвую на празднестве, в котором в этот знаменательный день сливается вся Россия. Николай». По прочтении телеграммы раздалось из зала восторженное «ура». Когда смолкли восторженные клики, Великий Князь прочел указ правительствующего сената и затем произнес речь. После речи Великого Князя говорили академики Веселовский: «А.С. Пушкин – национальный поэт», и член академии Кони: «Нравственные и общественные взгляды А.С. Пушкина». По окончании речей великий князь прочел телеграмму от князя Николая Черногорского; после этой телеграммы его высочество прочел приветствия. Торжественный акт закончился исполнением артистами императорской оперы кантаты, со словами августейшего поэта К.Р. и музыкой Глазунова.

Москва. В 7 часов в колонной зале Эрмитажа состоялся Пушкинский обед, устроенный обществом любителей российской словесности. Присутствовало 115 человек, председательствовал А.К. Веселовский. Обед окончился в 10 часу. На обеде собрана сумма в пользу голодающих.

Св. Горы. В 9 час. утра началась в соборе в монастыре торжественная литургия. Присутствовали родственники поэта, товарищ министра внутренних дел, губернатор, губернские и уездные предводители дворянства, представители местной власти, печати, литературно-художественного мира, много дам и других гостей. Литургию служило духовенство соборное с двумя игуменами при двух хорах. После литургии молящиеся в предшествии духовенства прошли с хоругвями к могиле поэта. После панихиды возложены у подножия памятника венки. Во временном театре состоялось торжественное заседание, посвященное памяти Пушкина; губернский предводитель дворянства приветствовал собрание в кратких прочувствованных словах. Исполнена хором Архангельского кантата, слова Полонского, музыка Александрова, говорил Случевский. Сопоставивши заслуги Пушкина в области художественной мысли с деятельностью Петра Великого на государственном поприще, сказал пространную речь Арабажин, секретарь петербургского Пушкинского комитета, представивший отзывы русских писателей о поэте. Ковалевский по поручению министра народного просвещения вручил Александру Петровичу Пушкину диплом почетного члена румянцевского музея, что вызвало сердечные овации по адресу первенца поэта. Исполнена кантата на слова Случевского, муз. Иванова, – хором Архангельского при участии солистов. К бюсту поэта, поставленному на эстраде, начали подходить депутации и возлагать венки, причем некоторыми депутатами произносились речи. Между венками обратили на себя внимание от семьи Пушкина, вызвавшие теплые овации ее представителям – сыновьям и племяннику поэта. Прочитана масса приветственных телеграмм со всех концов России и стихотворения, посвященные Пушкину. Затем два раза был повторен гимн Пушкину, слова Случевского, и народный гимн. Одновременно с актом открыто на эстраде для народа чтение о Пушкине. По случаю дождя, много помешавшего празднеству, остальная часть программы для народа не состоялась.

Петербург. 27 мая прибывшие на пушкинские торжества из славянских земель и Франции гости утром присутствовали на богослужении в Александро-Невской лавре; затем осматривали достопримечательности города в экипажах в сопровождении членов комитета Петербургской печати по приему иностранных гостей 26 мая. В духовной академии состоялся акт в честь Пушкина, во время которого профессора академии сказали речи, посвященные памяти поэта; присутствовали: петербургский митрополит, высшее духовенство, профессора и студенты; одновременно с актом попечительство императорского человеколюбивого общества устроило в зале Павлова музыкально-литературное утро, посвященное памяти Пушкина.

Царское Село. 27 мая в китайском театре состоялось Пушкинское утро, на которое собралось местное начальство, много других высокопоставленных лиц, воспитанники и воспитанницы местных учебных заведений. После исполнения кантаты в честь Пушкина, со словами К.Н. Случевского и музыкой Главача, директор местной Николаевской гимназии Анненский сказал речь на тему: «Пушкин в Царском Селе». В 5 часов дня инспектор гимназии прочел во дворцовом манеже народное чтение, в котором передал биографию поэта.

Петербург. Получены запоздавшие телеграммы о чествовании вчера памяти Пушкина: из Уральска, Ревеля, Сувалок, Ростова-на-Дону и Тамбова. Вчера на Пушкинский банкет в офицерском собрании сошлись представители петербургского общества, сановники, ученые, художники и писатели числом выше четырехсот; за главным столом разместились: Н.Е. Стояновский, которого попросили председательствовать, Т.И. Филипов, Л.А. Терке, В.В. Комаров, Е.И. Ламанский, Н.П. Петров, П.Н. Исаков, городской голова Лелянов и другие. Гостями были прибывшие из Чехо-Моравии, Галиции и Франции лица; каждый участник получил на память стихотворение Тюменева, иллюстрированный лист с портретом и стихами Пушкина, изданный Е.В. Богдановичем, и художественное меню. Оркестр исполнил отрывки из опер на Пушкинские сюжеты; после здравицы Государю Императору исполнен гимн. Говорил Лелянов, Комаров; прочтены телеграммы из славянских земель, между прочим, Ригера, Олимпия Васильевича Пашича, вызвавшая рукоплескания, равно как письмо Эмиля Золя, речи Шуберта по-чешски, галичанина Мончаловского по-русски, Лаббе по-французски, Герке, Каразина, Песковского и др. вызвали шумные одобрения. Узнав, что на обеде присутствует внук поэта, поручик Г.А. Пушкин, публика ему устроила овацию.

«Северный Кавказ», № 64 от 1 июня 1899 г., с. 4

Белград. «Тысячи благодарностей за любезное приглашение русской печати; сожалею, что не могу лично прибыть в Петербург. Мы здесь одинаково с вами чтим память и празднуем столетие великого сына великой русской земли Александра Пушкина; мы прославляем его славянский дух, равно драгоценный и для нас». Иованн Ристич.

30 мая. Петербург. Из Белграда. Великая школа королевства сербского, присоединяясь к празднеству братского народа русского, преклоняется перед гением того, кто дал России поэзию, как искусство; кто чувства добрые лирой пробуждал, восславив в свой жестокий век свободу и милость к падшим призывал. Ректор Стаменкович.

Из Вены. Сожалея, что не могу принять участия в празднестве столетней годовщины великого русского поэта, посылаю мое сердечное приветствие. Слава бессмертному Пушкину! Слава родившему его народу русскому! Слава совокупно славящему его славянству! – Доктор Милаванович.

Из Варшавы. В столетнюю годовщину рождения Пушкина – великого русского поэта, славы всего славянства, друга Мицкевича, поздравляем русских писателей. Редакция варшавского Атениум. Станислав Цыджга.

Письмо Из Лондона. Президент и комитет англо-русского общества, имеют честь благодарить генерала Комарова и общества, представителем которых он является, за любезную телеграмму, приглашающую их участвовать в предстоящем праздновании памяти великого Пушкина, и спешат уведомить, что А.Н. Кремлев уполномочен быть их представителем на всех этих празднествах. В прилагаемом выпуске журнала англо-русского литературного общества № 324 помещена особая заметка по этому поводу.

Из Белграда. Принося благодарность за ваше приглашение, участвую духом на нынешнем торжестве в память наигениальнейшего русского поэта. Слава Пушкину, достойному сыну великого русского народа. Вимич.

Из Белграда. Столетие миновало со дня рождения Пушкина, но его имя вечно будет жить в возрожденной им литературе братского народа русского. Слава Пушкину! Редакция «Мале Новине». 29 мая прибывшие на пушкинские торжества иностранные гости осматривали ремесленную выставку.

Петербург. Получены телеграммы о чествовании Пушкина из славянских земель, прочитанные В.В. Комаровым на обеде в военном собрании.

Из Праги. Искреннейше благодарю комитет петербургской прессы за лестное приглашение к торжеству Пушкина, очень жалею, что мне невозможно приехать к этому празднеству. Мы в Церии все принимаем сердечное участие в русском национальном торжестве и празднуем память великого поэта Пушкина. Пушкину вечная слава. Иосиф Главка.

Из Белграда. От имени сербской королевской академии наук: «Благодарю представителей русской печати за приглашение на юбилей великого Пушкина и уведомляю, что сербскую академию во всех петербургских торжествах будет представлять ее член генерал Сава Груич. Слава Пушкину». Секретарь академии Иованн Зуивович.

Из Праги. «В то время, когда романец старится, а германец цветет силой мужа, славянин еще юноша. Но такие великие гении, каков Пушкин, свидетельствуют, что он призван к великой будущности; не будем же забывать, что, сближаясь друг с другом и укрепляясь культурной взаимностью, мы все согреваемся благодатною теплотой и общими силами возжигаем могучий свет, который будет светить народам всего мира. Поэтому все славяне, а тем паче мы, чехи, потомки Гусов и Коменских, кому не дано лично славить Пушкина, вместе с вами прославляем его с не меньшей искренностью и гордостью, как нашего общего величайшего гения». Франтишек, Ладислав Ригер.

Из Софии. «Болгарское литературное общество просит вас, В.И. Ламанского, на имя которого прислана эта телеграмма, как своего почетного члена, не отказать представлять его на Пушкинских торжествах, устраиваемых петербургской печатью и выразить на оных сердечный братский привет». Председатель Гешов.

Из Белграда. Приветствуем столетний юбилей великого русского поэта Пушкина. Он слава русского и всего славянского племени; он создал себе вечный памятник и указал путь всему славянству, воскликнув иноплеменникам: не вмешивайтесь в славянские дела. «Слава Пушкину». Архимандриты Дучич, Сречкович, Авакумович, Васильевич.

Из Парижа. «Задержанный в Париже, шлю вам благодарность и сожаление вместе с моим благоговейным почтением славному русскому поэту». Мельхиор Де-Вогюэ.

Из Парижа. «Задержан нездоровьем. Тысячу сожалений. Слава Пушкину. Ура». Луп Леже.

Из Праги. «На всеславянский праздник памяти бессмертного Пушкина приносят от всех своих верных сердец восторженный привет чешские женщины и девушки».

Из Вены. «Однородные по своему происхождению и по вере, мы счастливы, что можем поздравить вас с вашим торжеством в честь великого славянского героя духа. Дай Боже славянскому миру еще много таких героев, которых труды да послужат к благу всех нас». Чешская православная община: председатель Эльсниц, Черник, Мазурек, Сваричек, Ангельмейер.

Из Пожареваца. «Великому нашему гению-поэту вечная слава в мире славянском». Пашич.

Из Львова. «За любезное приглашение на торжественное чествование величайшего поэта русского и друга Мицкевича приношу представителям печати искреннюю благодарность». Либерат Зайончковский.

Из Варшавы. От редакции «Газета Польска», Н. Гадомского из Загреба. «Присоединяясь к величественному петербургскому празднеству братского нам народа русского во славу великого Пушкина, и мы восклицаем: «Слава Пушкину! Живи, о, русский народ!».

Из Вены. «Собравшись чествовать великого славянина Пушкина, участники праздника, между которыми находятся здешние представители славянских держав, светила славянской науки и литературы, чешские школы, представители всех славянских народностей шлют привет чествующей поэта русской столице. Нас разделяет громадное пространство, соединяет же дух Пушкина, витающий сегодня повсюду, где сохранилось сочувствие к прекрасному, доброму и вечному». Дмитрий Цергун. – Председатель всеславянского пушкинского комитета в Вене.

Из Семиля. «Весьма сожалею, что не могу удовлетворить вашего любезного приглашения; чешский народ вместе с вами славит Пушкина, первого из тех великих ваших писателей, кто в душе русского народа открыл источник возвышенных идей любви и братства, которые достигли столь прекрасного положительного выражения в русском почине мирной конференции. В течение года славянство праздновало память Палацкого, Мицкевича и Пушкина, и несмотря на различия политические и языковые показало, что желает единства в культурном отношении. Дай Бог, чтобы это культурное единение славянства прочно развивалось в духе славянских идей справедливости и человечности». Доктор Карл Крамарнов.

Из Праги. «Сожалея о невозможности личного участия, мы духом среди вас поклоняемся славной памяти великого вашего и нашего поэта А.С. Пушкина». Редакция «Гласа народа»: доктор Губачек, Говорка Коларж.

Публикации

«Северный Кавказ», № 61, 25 мая 1899 г., с. 1

Ставрополь, 25 мая.

Завтра исполнится 100 лет со дня рождения нашего величайшего поэта – А.С. Пушкина; во всех концах России будет праздноваться этот день, имя поэта будет произноситься миллионами уст, его помянет «всяк сущий в ней язык». Уместно поэтому будет остановиться на значении А.С. Пушкина для России, на том вкладе, который он сделал в сокровищницу русской литературы.

Значение А.С. Пушкина для русской литературы огромно; он создал тот литературный язык, на котором теперь пишутся романы, повести, стихотворения, драмы, научные произведения и пр. Отбросив старые формы письменности с их высокопарным насыщенным слогом, с массой церковнославянских слов и выражений, он начал писать простым русским, для всех понятным языком; введя в литературный язык массу народных слов и оборотов речи, он сблизил литературный язык с разговорной речью, придав ему необыкновенную легкость и подвижность.

Обладая всеобъемлющим поэтическим гением, А.С. Пушкин испробовал все роды поэзии и повсюду оставил нам прекрасные образцы литературных форм: драмы и поэмы, романы, баллады, элегии, оды, стихотворения в шутливом тоне и пр. – все это в своем роде образцы, на которых воспиталось столько поколений русских поэтов и писателей.

Только с Пушкиным русская поэзия спустилась с заоблачных высот на землю и стала изображать страдания и радости живых людей; Пушкин был родоначальником реалистического направления в русском искусстве; отдав в молодости дань увлечения модному в то время байронизму, в зрелом возрасте он обратился к изображению живых, реальных, а не идеализированных людей.

В «Евгении Онегине», «Борисе Годунове», «Капитанской дочке», «Арапе Петра Великого», «Утопленнике», «Русалке» и пр. и пр. – всюду вы видите живых людей, а не героев, одаренных титаническими страстями и необыкновенными характерами. Тут вы не встретите только злодеев и только героев, наделенных необыкновенными добродетелями. Пушкинские герои думают и чувствуют, как обыкновенные люди; это не деревянные манекены, а сложные натуры, как всякая человеческая личность, в которой добро и зло перемешаны в самых различных сочетаниях.

Характерен в этом отношении рассказ о впечатлении, произведенном на Белинского чтением сцены в корчме из «Бориса Годунова». Белинский вскочил и закричал, что действующие лица стоят пред ним, как живые; он видит, как Гришка Отрепьев выскочил в окно; «да это сама жизнь!», восторженно воскликнул он.

Вся последующая поэзия пошла по пути, указанному Пушкиным, – по пути правдивого изображения жизни.

Пушкин был первым русским, вполне народным поэтом, понимая под словом «народ» совокупность всех классов общества – от мужика до князей и графов. В его творениях отразилась вся русская жизнь от высших слоев общества до народных масс, от текущей современности до глубины русской истории. Народные верования и быт превосходно изображены им в «Русалке», «Утопленнике», «Бесах», «Сказке о рыбаке и рыбке» и пр. и пр. Пушкин проник в глубину народного духа и первый преподнес русскому обществу мужика, его верования, быт, его радости и горе, первый учил любить русский народ и русского мужика.

Какие же идеи вдохновляли Пушкина? Как он смотрел на свою деятельность и что проповедовал? На эти вопросы мы затрудняемся дать ясный и точный ответ, потому что у Пушкина не было ясного и вполне выработанного миросозерцания, которому бы он оставался верен всю жизнь.

То он смотрел на искусство, как на нечто себе довлеющее, говорил, что поэту нет дела до черни, что поэты – существа неземные, рожденные для «звуков сладких», то приписывал искусству служебную роль, говорил, что поэт должен «жечь сердца людей». Под конец жизни у него установился окончательно взгляд на искусство в последнем смысле. Обозревая свою поэтическую деятельность, он говорит в стихотворении «Памятник», что потому он будет дорог народу, что в жестокий век восславил свободу и милость к падшим призывал. Эти слова замечательно верны; Пушкин всегда держался начал гуманности в широком смысле. Ни разу у него не про-

скользнуло чего-нибудь человеконенавистнического; терпимость и свобода – этим принципам поэт никогда не изменял; но какой-либо программы не было. В молодости он писал свободолюбивые стихи, подвергся ссылке на юг России, а потом втянулся в пустую светскую, жизнь. Правда, под конец жизни он сильно тяготился своими связями и вообще был настроен оппозиционно... Но во всяком случае то был «жестокий век», чем многое объясняется. Недаром сам Пушкин говорил: «И угораздило же меня родиться с талантом в России!».

Общественная роль поэта исчерпывается словами: «Чувства добрые я лирой пробуждал». А затем, выставляя в своих творениях типы современного общества, знакомя общество с народным бытом и верованиями, Пушкин содействовал этим развитию в обществе самосознания. Главное же, за что теперь чествуют поэта, состоит все-таки в том, что он был родоначальником всего нового русского искусства, в частности, реализма в искусстве, первым русским всенародным поэтом, выразителем заветных народных дум, создателем литературного языка; великим поэтическим гением, давшим несравненные образцы искусства.

«Северный Кавказ», № 61, 25 мая 1899 г., с. 1

Виктор Воинов. Памяти А.С. Пушкина

Когда ты выступил на славный путь певца,
В ошибках юности, в порывах увлечений
Едва проглядывал твой чудный светлый гений:
Неясен облик был прекрасного лица,
Но выше дух твой мощный возносился
Над ложью мелочной, житейской суетой,
И дивных сил родник в тебе открылся
И хлынул он живительной волной.
Твоих стихов могучих, страстных сила,
Исполненных глубокой простоты,
Все чувства лучшие в сердцах людей будила
И в мир вела добра и красоты.
Но в чудный миг прекрасного расцвета
Душевных сил ты смолкнул навсегда.
Прощальные слова пророка и поэта
Ты перед смертью бросил нам тогда,
И было в тех словах святое убежденье,
Что для певца – забвенья, смерти нет;
Что победит вражду любовь и вдохновенье;
Разгонит тьму великой правды свет.
Так солнце ясное, вставая над полями,
В тумане чуть горит, но тает под теплом
Его лучей туман, и яркими лучами
Весь божий мир осветится потом,
А в час торжественный печального заката
Последний солнца луч нам ясно говорит,
Что вновь настанет день, и снова в море злата
Взойдет светило дня и землю озарит.

«Северный Кавказ», № 62, 27 мая 1899 г., с. 2

Лекторский-Сперанский. Александр Сергеевич Пушкин (Биографический очерк)

Александр Сергеевич Пушкин родился 26 мая 1799 г. в Москве. Отец его, Сергей Львович Пушкин, служивший в Измайловском полку, был помещиком; образованный по тогдашней моде, Сергей Львович принимал на свои вечера Державина, Карамзина, Дмитриева, Батюшкова, Жуковского и других прославившихся писателей, и сам иногда писал французские стихи. Мать происходила от Ганибала, – негра (абиссинца), взятого из Константинополя Петром Великим, окрестившим его в православие и облагодетельствовавшим царскими милостями. Александр Сергеевич получил французское воспитание и, будучи еще мальчиком, писал стихи на французском языке, а также разыгрывал на французском языке драмы своего сочинения перед своею сестрой, которая изображала собою публику и часто ошикивала его. Отец и мать, занятые больше удовольствиями светской жизни, мало обращали внимания на его воспитание и предоставляли его гувернерам и гувернанткам из иностранцев, преимущественно французам; мальчик был бойкий, резвый и своевольный, так что потом с ним трудно было справиться.

12-ти лет Александр Сергеевич был отдан в царскосельский лицей, тогда только что открытый на новых началах для образования молодого дворянского поколения. В лицее Пушкин ничем не отличался особенно; «поведения резвого, замысловат и крайне не прилежен» – вот его лицейская аттестация. Больше всего он любил заниматься чтением книг; дома, у отца, была большая библиотека, составленная преимущественно из французских писателей, которых мальчик знал почти всех наизусть, и в лицее он также часто и подолгу сидел в библиотеке за книгами. Учебные занятия не особенно обременяли воспитанников лицея; знания, требуемые программой, недостаточно хорошо усваивались и часто и ловко маскировались подставными вопросами и ответами, выбранными с общего согласия учителей и учеников. Схоластические приемы преподавателей не нравились ученикам, а потому и Пушкин не учился прилежно.

Стихи по-русски Пушкин стал писать с 14-летнего возраста; тогда в лицее образовался кружок товарищей, связанных дружбой и склонностью к литературе; кружок этот издавал несколько журналов, в которых помещались повести и стихи. Своими стихами маленький Пушкин поразил Державина, присутствовавшего на экзамене в лицее, а потом, по выходе из лицея, приводил в восторг Карамзина и Жуковского. В 1817 году Александр Сергеевич стал уже известен в литературе как подающий большие надежды поэт; но, как и всякий начинающий писатель, он в своих сочинениях старался подражать другим, уже известным тогда писателям, – Державину, Батюшкову, Жуковскому. По выходе из лицея Пушкин поступил на службу в иностранную коллегию, тешился светской жизнью и в то же время не покидал своих литературных занятий, так как коллегия оставляла ему много свободного от обязанностей службы времени. Чтение книг, которому он предавался и во время службы, принесло ему большую пользу: он основательно изучил французских и других писателей и выработал в себе критический взгляд на литературу, преимущественно поэзию и ее отношение к действительной жизни.

С первого шага своего в свете Пушкин очутился тогда в обществе литераторов как известный поэт. За свои стихотворения он был внесен в список общества «Арзамас», состоявшего из лучших литераторов, где получил имя «Сверчка» и выдавался резкостью своих отзывов и вольностью стихов. В это время гений его креп и расправлял крылья; у него уж вырабатывалась самостоятельность творчества. Круг знакомства его возрастал и должен был охватить все слои общества. Как литератор и светский человек, он был поставлен в благоприятное положение – видеть вблизи разные классы общества, с которыми старался идти рядом, ничем не отличаясь, не отделяясь. Предприимчивое удальство, молодечество, необыкновенная раздражительность, происходившая от ложного понимания своего достоинства и бывшая источником многих ссор; беззаботная растрата ума, времени и жизни на знакомства, похождения и связи всех родов – вот что составляло основной характер жизни Пушкина, как и многих его современников. Он был всем по плечу, и потому многие называли себя друзьями Пушкина, отыскивая права свои на это звание в общих забавах и рассеянностях эпохи.

Но скоро ему пришлось расстаться с петербургской жизнью и отправиться в ссылку в Екатеринославль. Его эпиграммы, резкие и смелые отзывы о влиятельных лицах, свободные и ничем не стесняемые суждения о деятельности правительства породили много врагов, следствием чего была и эта ссылка. В Екатеринославле он заболел, а потому уехал на Кавказ с семейством генерала Раевского, лечиться. На Кавказе он окончил свою поэму «Руслан и Людмила», начатую еще в лицее. Эта поэма была его первым крупным произведением, обратившим на него внимание всей образованной России. Написана она в романтическом духе на сюжет из народных преданий. Своими поэтическими вольностями и отступлением от установившихся литературных форм (ложноклассицизма) она озадачила тогдашних критиков: «Обратите внимание на новый ужасный предмет... возникающий среди океана российской словесности! Наши поэты пародируют Киршу Данилова, предлагают поэму, писанную в подражание Еруслану Лазаревичу!..» «Если бы, – продолжает далее критик, – в московское благородное собрание втерся гость в армяке и лаптях, с нечесаной бородой, и закричал бы зычным голосом: «здорово, братцы!..» Зачем допускать плоские шутки старины?..». Затем пошли всякие нападения на план, слог и язык, тон, словом, на все то, что противоречило еще не отброшенным тогда правилам ложноклассической теории. Но в то же время эта поэма привела в восторг Батюшкова, Жуковского, Крылова и других писателей, пленявшихся в ней романтизмом не чужим, а своим, – родным, с его картинами, слогом и проч. Эта поэма нанесла последний удар ложноклассической высокопарности, приторной сентиментальности и туманной мечтательности. Поэма была окончена в 1820 году.

С Кавказа Пушкин переехал в Крым, а оттуда в Бессарабию. Впечатления южной природы отразились во множестве прекрасных стихотворений. Здесь он увлекся Байроном, под влиянием которого написаны: «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», три главы «Евгения Онегина» и пр. Байроном увлекалось тогда почти все образованное общество. Пушкин называл его в своих стихах «властителем наших дум», «гением и певцом моря и свободы». Вероятно, мрачное настроение поэзии Байрона находило сильный отголосок в мрачно настроенной душе Пушкина – изгнанника и скитальца, который часто переезжал с места на место, кочевал даже с табором цыган. В произведениях этого периода Пушкин хотел выразить две черты байронизма: 1) мрачное разочарование в людях, испорченных европейской жизнью, 2) очаровательные картины роскошной южной природы и привлекательные образы людей простых и энергичных, выросших на попечении природы, вдали от городских пороков.

Далее роковая судьба Пушкина преследует еще больше: новый начальник его граф Воронцов, оскорбленный язвительной эпиграммой Пушкина, просит убрать его из Одессы, где восхваления поклонников «способствуют затемнению головы» Пушкина. И вот Пушкин в 1824 году уволен в отставку и сослан в имение и под надзор отца своего, в сельцо Михайловское Псковской губ., с тем, чтобы Александр Сергеевич не имел права выезжать оттуда без разрешения властей. Отец Пушкина, видя в сыне своем какое-то чудовище и извращенную натуру, учредил за ним мелочный домашний надзор, следя за каждым почти его шагом, вскрывая даже письма, адресованные поэту друзьями и знакомыми. Последствием такого надзора была ссора с отцом, который потом уехал из имения в Москву, предоставив поэта самому себе.

(Продолжение следует).

«Северный Кавказ», № 64, 1 июня 1899 г., с. 2

Лекторский-Сперанский. Александр Сергеевич Пушкин (Биографический очерк)

В деревне Александр Сергеевич погрузился в чтение книг: изучал Шекспира, Тацита, Карамзина и Нестора. Вместе с тем он внимательно изучал народную жизнь, слушал и записывал сказки своей бывшей няни Арины Родионовны, собирал и записывал народные песни, присматривался к быту и нравам русской деревни. В творчестве его в это время замечается крутой поворот к правдивому и реальному изображению действительности. Особенно сильное влияние оказало на него в этом смысле изучение творений Шекспира. Благодаря же основательному знакомству с народной жизнью Пушкин вводит в свое творчество народный элемент. Так что только со времени своего невольного пребывания в сел. Михайловском Пушкин становится тем, чем он особенно дорог потомству – первым народным поэтом и первым реалистом в искусстве.

По вечерам любимая им няня, вырастившая его с пеленок, исправляла недостатки его «проклятого воспитания», как он писал в своих письмам к друзьям. Няня его, Арина Родионовна, была старушка с большим практическим умом; своими сказками, пословицами, поговорками и прибаутками она оживляла ум поэта и разгоняла его мрачное, тоскливое настроение души. В этом заключении Пушкиным написаны: три главы «Евгения Онегина», «Борис Годунов» и др. более мелкие произведения. Пушкин сам говорил, что изучение Шекспира дало ему мысль оживить эпоху самозванца в вольном и широком изображении характеров; ему нравились правдоподобие положений и истина разговора. По примеру Шекспира он в этой драме ограничился изображением эпох и лиц исторических, не прибегая к ложноклассическим эффектам и вспышкам. Единство действия, времени и места, разделение действующих лиц на злодеев и добродетельных и прочие требования ложноклассицизма – Пушкин признавал нелепыми и неестественными. Борис и Григорий представляют собой смесь хороших и дурных черт. Борис, достигнув престола через убийство, своими щедротами старается снискать любовь народа; Григорий – проходимец – увлекается юношеским пылом и жаждой деятельности; он страстен до самопожертвования как в любви, так и в битве.

Карамзин дал Пушкину историческую обстановку; глазами Карамзина Пушкин смотрел на убиение Дмитрия, – история не выяснила этого факта, но Пушкин обвиняет Бориса в убийстве этого мальчика. Характеры Бориса, Марии, Шуйского взяты прямо из «Истории Государства Российского» и подтверждают согласие Карамзина и Пушкина, который сам говорил, что следовал Карамзину в развитии происшествий, только подробности брал из летописей. Общая идея этой драмы та, что за преступление, подобное Борисову, небесное правосудие карает жестоко.

Особенно высокохудожественным вышел здесь тип летописца Пимена. Это набожный старец-монах, покончивший с житейскими волнениями и расчетами, нашедший покой в обители и преданный летописи, как долгу, «завещанному от Бога»; на эту летопись он смотрит как на подвиг послушания и благочестия; Григорию он советует продолжать вести эту летопись, «не мудрствуя лукаво», записывать все, чему Господь поставит свидетелем в жизни. В языке этой драмы выражается не только склад русского ума, но и особенно типические сословные черты бояр, дьяков, простонародья, монахов и пр.

Пушкин пробыл в деревне почти два года, и эти два года в тиши и уединении, после беспорядочной светской толкотни, были самым плодотворным временем его творчества. Читая, работая и имея, наконец, время и возможность сосредоточиться над своей работой, он в первый раз мог хорошо отдохнуть, осмотрелся и дал себе отчет в прошлой жизни. Но и такая тихая жизнь в деревне скоро надоела ему, как человеку, любившему больше шум толпы; он стал томиться уединением и тосковать об утраченной жизни в веселом обществе Петербурга. Друзья его указали ему законный путь, как он может добиться разрешения жить в Москве и Петербурге, и вот, наконец, с воцарением нового Императора Николая Павловича – Пушкин получает свободу, посещает Москву, а потом и Петербург. Новый государь позвал его к себе и «сам взялся быть его цензором», как писал Пушкину граф Бенкендорф, пользовавшийся большим доверием Государя. Император Николай поручил Пушкину составить «записку о народном воспитании», и эта записка в 1826 г. была представлена; в ней были искусственным образом сплетены подчинение взглядам государственных сановников, вроде графа Бенкендорфа, и стремление к либеральным тенденциям, почему записка не имела практических результатов. По по-

воду этой записки Бенкендорф потом писал Пушкину: «Его Величество изволил заметить, что принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодыхлюдей (декабристов). Нравственность, прилежное служение, усердие – предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному. На сих-то началах и должно быть основано благонаправленное воспитание. Впрочем суждения ваши заключают много полезных истин». Словом, Пушкину тогда не доверяли и продолжали смотреть на него подозрительно.

В 1826 году Пушкин, освобожденный из заключения в Михайловском, с пылкостью бросается опять в шумные светские развлечения Москвы и Петербурга, но часто он возвращался в деревню работать, что обыкновенно бывало осенью, когда в нем сильно разгоралось, по его замечанию, вдохновение творчества. Но скоро эти развлечения сменились «часами томительного бдения», полными досады, тоски и недовольства собой за бесполезно утраченные годы; у него является мысль о смерти, повторяясь все чаще и чаще. Причиной элегического настроения служит недовольство за прошедшее и настоящее: труды над самообразованием в изгнании сделали то, что он, встретясь опять с друзьями, увидел, что стал выше их, перерос головою, а потому разошелся во взглядах и почувствовал себя одиноким. Тяжело ему было видеть критиков, не понимающих его поэзии, да и самая жизнь стала ему в тягость. К этому периоду его жизни относятся стихотворения: «Дар напрасный, дар случайный», «Три ключа» (первый – юности, второй – вдохновения и третий – смерти; из них третий – самый лучший), «Брожу ли я вдоль улиц…». В последнем стихотворении мысль о смерти полнее: она не покидает поэта ни на улицах, ни в храме, ни среди юношей, ни при виде младенца. Впрочем, элегия Пушкина не отличалась тяжелым, безотрадным тоном, так как он примиряется с неизбежностью смерти, он желает только почивать поближе к родине, да чтоб на могиле его и кругом играла жизнь и равнодушная природа сияла вечной красой.

Взгляд его на поэта и поэзию выразился в трех стихотворениях, относящихся к этому же периоду его жизни: «Пророк», «Поэт» и «Чернь». Первое стихотворение совершенно ясно выражает необходимость полного нравственного обновления человека, чтобы он мог исполнить свое назначение среди людей. Божий глас призывает человека, обновленного дарами духа, и приказывает ему «глаголом жечь сердца людей». Второе стихотворение выражает ту мысль, что пока человек погружен «в заботы суетного света», он между детьми может быть ничтожнейшим из всех; но чуть до слуха его коснется божественный голос (вдохновение), поэт как бы нравственно перерождается. Третье стихотворение изображает разговор поэта с чернью, которую поэт отказывается исправлять от недостатков и пороков. Здесь он относится к современным критикам, не понимавшим назначения поэта, резко, насмешливо, презрительно, с негодованием. Но эти суждения поэта односторонни и пристрастны: поэзия связана с действительностью неразрывными узами, и поэту отделяться невозможно и не нужно. Пушкин и не чуждался народной жизни, с которой у него видна даже большая связь. Это стихотворение было взрывом поэтического негодования и минутного раздражения против недальновидных и лукавых ценителей его поэзии, которых он назвал чернью.

Вообще в период времени от освобождения из Михайловского до самой женитьбы своей, Пушкин, вследствие подвижности своей натуры и неуживчивости, продолжает скитаться из одного в другое, даже в Петербурге он часто менял квартиры. Деревня успокаивала его и давала ему возможность много работать: так, в Болдине, Нижегородской губернии, он писал «Онегина», «Скупого рыцаря», «Моцарта и Сальери», «Пир во время чумы», «Дон Жуана», «Повести Белкина» и пр. В 1829 году Пушкин ездил в Эрзерум, в действующую против турок нашу армию, и написал «Путешествие в Эрзерум». За эту поездку он получил нагоняй от графа Бенкендорфа, потому что уехал не спросившись ни у кого. Граф Бенкендорф преследовал Пушкина на каждом почти шагу своими отеческими внушениями и напоминаниями о честном слове дворянина, данном Пушкиным Государю, – вести себя благородно и пристойно.

Благонадежность Пушкина еще больше поколебалась в глазах полиции, которая нашла и представила, куда следует, стихи с надписью «по поводу 14 декабря», принадлежащие будто бы перу Пушкина, и вот возгорелось дело, длившееся два года. Хотя эти стихи принадлежали другому лицу, но Пушкин остался в подозрении, и, по определению Государственного совета, за ним был назначен секретный полицейский надзор, который снят был в 1831 году, за несколько дней до свадьбы.

(Оконч. след.)

«Северный Кавказ», № 66, 5 июня 1899 г., с. 2

Лекторский-Сперанский Александр Сергеевич Пушкин (Биографический очерк)

Повенчан был Пушкин с Натальей Николаевной Гончаровой, которая произвела на него сильное впечатление, будучи еще 15-летней девочкой. Вскоре после брака Пушкин был принят снова на службу в министерство иностранных дел, с жалованием в 5000 р. в год. Теперь жизнь Пушкина потекла более тихо и мирно, и он с присущей ему страстностью отдался жене и проводил с ней время то в Петербурге, то в деревне,

не забывая и своих литературных работ. В 1833 году он окончил свой роман «Евгений Онегин», – лучшее свое произведение. «Евгений Онегин» начат был в 1823 г., и Пушкин писал его 8 лет с перерывами. В этом романе поэт изобразил жизнь современного ему русского общества с его достоинствами и пороками. Сам Евгений представляет собой тип тогдашней молодежи: он – богатый дворянин, одаренный способностями, но, по причине пустого воспитания, не пользуется своими силами, не умеет приложить их к делу. «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь», – говорит Евгений. На жизнь Онегин смотрел, как на бесконечный ряд наслаждений, а потому жадно бросался на удовольствия; но скоро уже наступает пресыщение, он испытывает скуку, хандрит и тоскует. С другой стороны, Онегин – либерал; он старается облегчить тягостное положение своих крестьян, охотно сближается с ними, входит в их нужды; но сделать для них что-нибудь хорошее и полезное не может, или не умеет.

Кроме изображения светской молодежи Пушкин описывает и помещичий быт. Здесь проходят перед нашими глазами грубые, апатичные, погрязшие в чисто материальных и крепостнических интересах помещики, их жены, читающие французские романы и бьющие дворню, сентиментальные барышни. Но здесь же в лице Татьяны мы находим уже зародыш будущей энергичной, хорошей русской женщины.

Русское образованное общество подражало и подчинялось европейским идеалам и было исполнено презрительным отношением к родной жизни, простой и, по тогдашнему мнению, грубой и неразвитой русской действительности. Оно не могло даже представить себе, каким образом можно отыскать в «серой» и скромной русской жизни поэзию в том романтическом смысле, какой считался тогда обязательным для настоящей поэзии. Сущность романтизма состояла в том, что в литературе было установлено стремление души к христианским идеалам: нравственной чистоте, семейным добродетелям и привязанностям искреннего сердца; назначение человека в жизни, по учению этой литературы, состоит в борьбе с нечистыми побуждениями и в упражнении возвышенных мыслей и чувств. Русские малоспособные подражатели нового тогда романтизма усвоили только внешнее выражение его стремлений, а потому произвели новую фальшь – разочарование действительностью, праздную мечтательность и стремление в «туманную даль». С другой стороны, были в силе еще остатки фальшивого и напыщенного ложноклассицизма. Пушкин в «Евгении Онегине» стал твердой ногой на почве реального, правдивого изображения действительности, представив современное русское общество без всяких прикрас и идеализации. Воспитательное значение «Евгения Онегина» и др. произведений этого периода на русское общество было огромно; читатель встречал здесь не напыщенную версификацию панегирического характера, не неопределенные порывы куда-то вдаль, а описания русской природы, народный быт с его верованиями и творчеством, жизнь современного общества, широкие исторические картины и всюду живых неприк-рашенныхлюдей. Все дальнейшее развитие нашего художественного творчества пошло по этому, указанному Пушкиным, пути.

В 1833 г. Пушкин написал «Историю Пугачевского бунта», за которую получил ссуду в 20000 р. для напечатания ее и был произведен в камер-юнкеры. Ему был дозволен вход в государственный архив для собирания материалов к истории Петра Великого, чем он не замедлил воспользоваться. В архивах ему попалось несколько бумаг, относящихся к пугачевскому бунту: он быстро увлекся изучением этого события и вскоре весь ушел в него. Современным нам французским натуралистам ставят в особенную заслугу то обстоятельство, что они, прежде чем писать роман или повесть, путешествуют для изучения тех мест, где произошло описываемое событие, и это обстоятельство они выставляют, как нечто новое, внесенное ими. Пушкин же за 60 с лишком лет раньше, как настоящий реалист, признал необходимым посетить места, ознаменованные пугачевским бунтом. Он совершил поездку по Казанской, Симбирской, Пензенской и Оренбургской губерниям, обозревая местности и разыскивая живые предания и свидетельства очевидцев. Казанский купец Крупенин, старик Оренбургской губ. Пьянов и старая казачка из сел. Берды, помнившие происшествия того времени, рассказали ему кое-что из этой истории. Одновременно с историей пугачевского бунта Пушкин написал повесть «Капитанская дочка».

В этой повести мы встречаем, с одной стороны, изображение жизни маленьких людей, обрисованной с большим искусством, а с другой стороны, картины пугачевского бунта, написанные с неподражаемым мастерством. Пушкин показал, что он с таким же совершенством владеет прозой, как и стихом. Что же касается «Истории пугачевского бунта», то здесь Пугачев, как исторический характер и народный деятель, очерчен слабо. Но этот исторический рассказ написан простым, точным и легким слогом, в котором уже нет длинных и однообразных периодов Карамзина, и самое изложение событий хотя несколько сухо, но чуждо всяких исторических прикрас. С другой стороны, без сомнения, цензурные условия того времени принудили поэта довольствоваться только передачей хода событий, не пускаясь в их объяснение и истолкование. Для напечатания «Истории пугачевского бунта», по рассмотрении и одобрении ее начальством, Пушкину предоставлено было право воспользоваться услугами одной из казенных типографий, по его выбору; кроме того, на издание «Истории» он получил добавочную ссуду в 30000 р.

По-видимому, теперь Пушкин был на верху милостей, почестей и славы; но это не удовлетворяло его. Положение его при дворе было тягостно, потому что он не мог войти в высшие сферы общества, как равный член его, ни по родовитости, ни по своему состоянию. Обязательная придворная жизнь, соединенная с

выходами, приемами, нарядами жены, требовала таких расходов, которые были не по средствам Пушкину, остававшемуся при своем высоком положении, все тем же помещиком средней руки, да еще помещиком с крайне расстроенным состоянием, вследствие широкой, размашистой жизни. «Я пред тобою кругом виноват в отношении денежном, – пишет он своей жене. – Были деньги, я проиграл их. Но что делать? Я был так желчен, что надобно было развлечься чем-нибудь...». В другом письме он пишет: «...Как ты с хозяином управилась? Что дети? Экое горе! Вижу, что непременно нужно иметь мне 80000 доходу. И буду их иметь. Недаром же пустился в журнальную спекуляцию, а ведь это все равно, что золотарство, которое хотела взять на откуп мать Безобразова: очищать русскую литературу, чистить... и зависеть от полиции. Того и гляди, что...». Литературная деятельность его поэтому стала принимать чисто спекулятивный характер и вся обращалась к тому, как бы добыть больше денег.

Нужда в деньгах заставляет Пушкина ездить в опекунский совет закладывать свои имения, вести торгашеские переговоры с литературными барышниками. Кроме того, нескончаемые полицейские и цензурные дрязги тормозили его дело. Поэма его «Медный всадник» не была допущена к печати; ему не разрешили издавать большую газету, равную по объему толстому журналу. Граф Бенкендорф по-прежнему следил за каждым его шагом, делал замечания и выговоры, задерживал печатание его произведений. В последний год жизни Пушкин предпринял ежемесячный журнал «Современник». Цель его издания, по-видимому, благовидная – это «возвратить снова критику в руки малого избранного кружка писателей, уже обличенного доверием и уважением публики». Но в осуществлении этой цели постоянно проглядывает надежда поправить свое финансовое положение. Издавать этот журнал Пушкину пришлось недолго, всего только 3 или 4 месяца, а потом Пушкина не стало.

В 1837 году 27 января Пушкин был на дуэли смертельно ранен в живот и через два дня после того скончался. Причина дуэли была следующая: за женой Пушкина стал ухаживать блиставший в то время в свете красивый, ловкий, вкрадчивый офицер Кавалергардского полка, барон Жорж Геккерн-Дантес, и вот в свете была распущена сплетня, позорившая честь Пушкина. Пушкин стал получать анонимные письма, исполненные оскорбительных насмешек и намеков по адресу его жены и Дантеса. Говорят, что это была интрига, задуманная и приведенная в исполнение врагами Пушкина, от которого хотели избавиться некоторые влиятельные лица. Пушкин был тогда известен по всей России, а потому не желал, чтобы на его имя пало какое-нибудь пятно, и послал Дантесу вызов. Дуэль состоялась около Петербурга, на Черной речке. Смерть поэта была принята как общественное горе. Боялись даже возмущения и народной расправы с Дантесом, а потому вынос тела, отпевание и погребение совершены были втайне, под надзором караулов, расставленных по соседним с квартирой Пушкина дворам. Государь дал 150000 р. на уплату долгов Пушкина и на издание его сочинений и назначил щедрую пенсию его семье. Таким образом погиб в цвете лет и сил наш гениальный поэт!

«Северный Кавказ», № 63, 29 мая 1899 г., с. 2

И. Мрочковский. Нечто о прогрессе, о людях, ему сочувствующих, к нему равнодушных и ему враждебных

Прогрессом называется улучшение всех жизненных условий данного общества. Это улучшение может относиться как к нравственным, так и к материальным условиям жизни. При этом замечается взаимодействие условий одного порядка на условия другого порядка; так, напр., улучшение, скажем, путей сообщения касается прогресса материальных условий, но, несомненно, это улучшение влияет и на прогресс чисто духовный: с улучшением путей сообщения облегчается общение между людьми, обмен мыслей, облегчается возможность пополнить недостающие сведения, развить вкус, напр., созерцанием лучших произведений искусства и т. д.

Усовершенствование же наших нравственных понятий влияет еще могущественнее на условия материального прогресса. Если бы все люди стали добрыми, незлобивыми, сострадательными и справедливыми, то трудно даже и представить себе, как бы улучшилась материальная жизнь общества, ибо тогда устранились бы все несчастья, зависящие от человека, а те несчастья, которые обусловливаются не людьми, а природой, напр., болезни, во многом были бы смягчены.

Прогресс, как материальный, так и нравственный, совершается несомненно повсюду, даже в самых, по-видимому, отсталых и неподвижных обществах и народах, в Турции и Китае. Но также несомненно, что во многих обществах этот прогресс совершается слишком медленно, так что желательно было бы исследовать, какие причины задерживают там движение и что можно бы сделать для ускорения его. Выполнение этой задачи и составляет обязанность просвещенной и честной печати.

Скажем здесь только, что всякое общество, всякий народ должен стараться идти, по крайней мере, в ногу с теми народами, в соседстве с которыми он живет, и должен он это делать для собственной своей выгоды, чтобы не навлечь на себя ненависти и презрения со стороны других народов. Вообще, всего вы-

годнее не слишком отличаться от общего среднего уровня. Народы, состоящие, так сказать, застрельщиками прогресса, хотя выполняют несомненно великую миссию и им, несомненно, обязано благодарностью все человечество, но сами они нередко подвергаются многим невзгодам. Это мы видели в истории французского народа, испытавшего много кровавых потрясений, невзгод и ударов. Но этот народ может, даже и в своих невзгодах, утешиться мыслью, что проводил для сознания человечества новые пути и послужил всеобщему прогрессу, хотя и навлекал на себя этим неудовольствие и даже вражду мало подвижных народов.

Нов гораздо худшем положении оказываются те, кто отстал от общего уровня в противную сторону: на них тоже обрушивается ненависть других народов, слишком от них разнящихся по взглядам и понятиям, но, с другой стороны, нет и утешения в том, что была выполнена какая-либо благодетельная миссия.

Таким образом, мы опять приходим к тому же выводу: собственная польза должна внушить народам отсталым ускорить темп своего, как нравственного, так и материального прогресса. Путеводными маяками и, вместе с тем, указаниями, до какой степени совершенства достигло в этот момент нравственное сознание человечества, будут для нас служить мысли передовых гениев человечества, тех гениев, которых выдвигал из своей среды каждый народ и которые выражали собою коллективную его душу. Эти гении, высказывая каждый все лучшее, выработанное духовной жизнью данного народа, все совершали одну работу: двигали вперед человеческую мысль и сознание, причем, конечно, ближе и доступнее стояли к народу поэты, деятельность которых популяризует идеи философов и мудрецов. Вот почему народы так почитают своих поэтов-пророков. Вот почему поляки воздают культ Мицкевичу, русские – Пушкину.

Что касается путей к осуществлению прогресса, то таковых, по глубокому мнению Белинского, имеется три: 1) путь личного самоусовершенствования. «Люби добро, – говорит Белинский, – и тогда ты будешь необходимо полезен своему отечеству, не думая и не стараясь быть ему полезным. Если бы каждый из индивидов, составляющих Россию, путем любви дошел до совершенства, тогда Россия без всякой политики сделалась бы счастливейшей страной в мире». Этот путь прогресса тем дорог для нас, что он во власти каждого из нас, может быть выполнен при самых неблагоприятных внешних условиях, при полном даже порабощении: исповедовали же первые христиане высокое Христово учение и при Нероне, ибо над совестью господина нет. 2) Второй путь – это путь, основанный на исторических условиях данного народа, выработавшего в себе те или другие политические понятия и идеалы. Такого взгляда придерживался, напр., Пушкин, когда писал:

«Увижу ль я, друзья, народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию Царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли, наконец, прекрасная заря».

Понятно, что для всякого, кто придерживается такого исторического взгляда на прогресс, в зависимости от исторически выработанных понятий данного народа, самыми ненавистными и опасными врагами будут те «льстецы лукавые», которые «горе на Царя накличут», которые «Из его державных прав одну лишь милость ограничат», так как:

«Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А Богом избранный певец
Молчит, потупя очи долу».

Эти льстецы, стало быть, по выражению поэта, желают обмануть Высшую Власть. 3) Наконец, третий путь прогресса – это путь борьбы с неправдой, путь протеста против темных, человеконенавистнических сил, имеющихся в каждом человеческом обществе. «Если бы мне, – говорит Белинский, – и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития, я и там попросил бы... отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и проч. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен на счет каждого из моих братьев по крови». Этот третий путь – путь борьбы с общественной неправдой, должен, конечно, тоже принимать во внимание условия времени и места, чтобы не перейти в сумасбродство и не «мерить силы намерениями, а не намерения по силам», как говорит Мицкевич в «Песне Филаретов».

Все три вышеперечисленных пути прогресса имеют свое право гражданства, все они идут к одной цели – общественному благу и правде, завет которой нам дан еще Христом, почти 2000 лет тому назад. Все чающие такой правды, «считающей все земли и народы ближними», одинаково мечтают «о временах грядущих, когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся», все они – изберут тот или другой путь прогресса: личного самоусовершенствования, путь ли исторический или т.н. «действительности» разумной и законной или, наконец, путь протеста против неразумной действительности и борьбы с обще-

ственной неправдой, при условии, конечно, полной искренности, одинаково близки друг к другу, отличаясь только выбором средств, но не цели, и потому никоим образом не должны бы питать взаимной вражды. Прямо же противоречат и враждебны им те темные силы, которым ненавистна правда, могущая осветить их темные деяния и сорвать с них маску, прикрывающую их человеконенавистничество, обнаружить их черствое сердце, которое «не видит слез, не внемлет стону», которые изо всех сил разжигают распри, так как им очень нежелательно, чтобы наступило то время, о котором говорит поэт. К таким же врагам относятся и «лукавые льстецы», желающие ограничить «право милости», и, наконец, – громадная масса людей, вполне ко всякой идее равнодушных, книг не читающих, водку пьющих, в карты играющих, одним словом – людей, которые «в Афинах не бывали, с Софистами не знакомы и всякие разговоры на более общую тему считающие вздорной болтовней и напрасной тратой времени, могущего быть с пользой употребленного на карточную игру». Люди, обладающие малейшим талантом, должны стараться доказать таким «равнодушным», что умственная жизнь может тоже доставить много, хотя и другого сорта, удовольствий, даже при самых трудных внешних условиях.

Текст печатается по источнику:

О праздновании столетия со дня рождения А.С. Пушкина на Северном Кавказе (материалы газеты «Северный Кавказ», 1899) // Пушкинский текст. Сборник статей научно-методического семинара «Textus». – Санкт-Петербург – Ставрополь: СГУ, 1999. – Вып. 5. – С. 122–136.

Т.Ю. Ковалева

Об одном из наиболее ярких изданий к столетнему юбилею А.С. Пушкина на Кавказе. (Кавказская поминка о Пушкине (26 мая 1799 — 26 мая 1899). — Тифлис, 1899)

Столетие со дня рождения А.С. Пушкина отмечалось в России исключительно широко. Юбилей был всенародным, он нашел отклик во всех социальных слоях: о Пушкине говорили и писали не только литераторы-профессионалы, но и учителя, гимназисты, священнослужители, чиновники, крестьяне. Бесспорно, это стало показателем как высокой культуры и эстетической зрелости русского общества, так и воистину всенародной любви к великому русскому поэту. Никакой другой поэт не «врос» так основательно в русскую культуру, русское самосознание, став частью интеллектуального бытования русского общества. К сожалению, этот факт имеет не только положительную сторону. Родившись на исходе века, Пушкин тем самым «обрек» русское общество праздновать свои вековые юбилеи в наиболее, как показывает история, напряженные, тревожные дни, связанные с ожиданием нового века. Поэтому в юбилейные дни личность и творчество Пушкина зачастую становятся аргументом в политических спорах, дискуссиях по национальному вопросу, выступлениях на религиозные и морально-этические темы. Его многогранность, уникальность, всеохватность создают для этого весьма благоприятный фон.

Празднование столетнего юбилея Пушкина на Кавказе – явление особое. Народы Кавказа не только знали Пушкина, но и зачастую считали своим поэтом. Было ли это результатом экспансии русской культуры? Да, в определенной мере. Но в гораздо большей степени это показатель того, что Пушкин и национален, и наднационален как поэт, как личность, как носитель общечеловеческой культуры.

Юбилейные торжества в Тифлисе, бывшем в тот период не только административным, но и важнейшим культурным центром на Кавказе, отмечались достаточно широко, но с большим тактом, без излишней помпезности и суеты. 11 мая 1899 года в церкви первой тифлисской женской гимназии священник о. Иоанн Восторгов проводит поминальную службу по поэту. Его поминальная речь «Вечная память» замечательна не только как христианская проповедь, но и как блестящий образец публицистического выступления. 22 мая в летнем помещении «Тифлисского кружка» известный в свое время литератор и публицист В.Л. Величко читает публичную лекцию «Судьбы поэзии Пушкина». Показательный факт: лекция читается в пользу голодающих во внутренних губерниях России. Несколько позже в издательстве тифлисской газеты «Кавказ» выходит сборник «Кавказская поминка о Пушкине» (1). Помимо указанных поминальной речи о. Иоанна Восторгова и публичной лекции В.Л. Величко в него вошли: стихотворение В.Л. Величко «Привет Кавказа», подборка стихов и поэм Пушкина на кавказскую тему, а также публикация Е.Г. Вейденбаума «Путешествие в Арзрум» (полное издание) с примечаниями автора и составленной им хронологической канвой «Путешествия» и статья того же автора «О пребывании Пушкина на Кавказе в 1829 году».

Стихотворение В.Л. Величко «Привет Кавказа», помещенное в начале сборника, должно было, судя по всему, определить тематическую направленность подборки материалов:

Привет твоей священной тени,
Бессмертный Пушкин, шлет Кавказ,
Страна скорбей и вдохновений,
Чью душу, вещий русский гений,
В созвучьях, в красках песнопений
Ты воплощать умел не раз (1, с. II).

Поминальная речь о. Иоанна Восторгова демонстрирует глубокое знание творчества поэта, стремление подчеркнуть ценность Пушкина как «человека, у которого с вечною памятью общего всем бессмертия сливается вечная память в своем народе и бессмертие в сознании лучших представителей всего человечества» (1, с. IV). Пушкин и церковь, религия – вопрос непростой и коварный. О. Иоанн Восторгов решителен в своих оценках. Пушкин – «редкий человек-христианин». Уместно и должно, подчеркивает он, именно служителю церкви сказать о том, что служит причиной недоговорок и перешептываний: да, Пушкин «согрешил, живя»; «согрешил и в литературной деятельности, иногда как будто бы и далеко уклоняясь от религиозно-нравственного идеала, от того, что незыблемо и вечно; согрешил, наконец, и тем, что умер жертвою дуэли, этого неясного и нечестивого общественного предрассудка» (1, с. V). Но вся беда в том, отмечает автор, что на отрицательные стороны жизни поэта всегда обращали внимания «больше, чем

надо», и «с этой стороны слух о нем прошел по всей Руси великой, и окружающее его и музу его туманное облако непонимания, недоумения и клеветы не совсем еще рассеялось и доныне» (1, с. V–VI). Здесь поднята проблема, которая серьезно беспокоила многих биографов поэта. В. Набоков определял ее как «потребность прожорливого, но ограниченного ума захватить какого-нибудь аппетитного великого человека, какого-нибудь сладкого беззащитного гения» (3, с. 413), а «жизнь Пушкина, все ее романтические порывы и озарения готовят столько же ловушек, сколько и искушений сочинителям модных биографий» (3, с. 415). Пушкин – «всечеловек», цитирует автор речь Достоевского, и эта «всечеловечность» проявляется и в его творчестве, и в его человеческом существовании. И не дело толпы судить его.

Поминальная речь о. Иоанна Восторгова в большей степени напоминает страстное публицистическое выступление. Автор находит запоминающиеся образы: «Как натура художественная, чуткая, отзывчивая, Пушкин мыслил вслух, чувствовал вслух и, так сказать, жил вслух... Его душа – это как бы механизм в хрустальном футляре, всем видный, для всех открытый...» (1, с. VIII). Проявив бесспорную эрудицию, уверенно и страстно о. И. Восторгов стремится доказать, что «с наступлением поры полного расцвета сил в нем (Пушкине. – *Т.К.*) замечательно ясно пробудилось и определилось религиозное сознание» (1, с. X). Положение спорное, но автор подходит к нему достаточно аргументированно как глубокий литературовед и опытный филолог. Он привлекает биографические материалы, прежде всего записки А.О. Смирновой-Россет, авторитет которых в литературных кругах того периода был достаточно высок, «...книга Смирновой, – писал Д. Мережковский, – имеет свое будущее: в беседах с лучшими людьми века Пушкин недаром бросает семена неосуществленной русской культуры. Когда наступит не академический и не лицемерный возврат к Пушкину, когда у нас явится, наконец, критика, т.е. культурное самосознание народа, соответствующее величию нашей поэзии, – «Записки Смирновой» будут оценены и поняты как живые заветы величайшего из русских людей будущему русскому просвещению» (2, с. 148). Автор речи упоминает письма поэта к жене, материалы Анненкова к биографии Пушкина, цитирует Вл. Соловьева и Д. Мережковского. Подробно останавливаясь на картинах мучительной смерти поэта, о. Иоанн Восторгов не только проповедует христианское очищение страданием, но и по-человечески скорбит, сострадает, сокрушается, что «наш Пушкин умер рано; умер не в ослаблении мыслей и деятельности, не уставший от жизни, не изживший своего ума и энергии; умер, еще будучи в состоянии совершить гораздо более того, чем сколько он сделал» (1, с. XIX).

Статья В.Л. Величко (редактора-издателя газеты «Кавказ», где напечатан сборник) «Судьбы поэзии Пушкина» на первый взгляд весьма своеобразна. Известный в свое время поэт и публицист, бывавший на средах И.Е. Репина, в домах Я.П. Полонского, А.Н. Майкова, М.М. Стасюлевича, К.К. Случевского, хорошо знакомый с Н.С. Лесковым, сотрудник «Русской мысли», «Северного вестника», «Наблюдателя» и других видных изданий, близкий петербургским либеральным литературно-художественным кругам, он в середине 90-х годов вдруг резко отходит «вправо» и начинает высказывать, как считали современники, шовинистски-черносотенные убеждения в духе Каткова. Назвав Пушкина стихийным явлением, выросшим на национальной почве, он яростно обрушивается на М. Лермонтова, Н. Некрасова, отвергая их роль в русской поэзии как национальных поэтов, лишь Пушкин для него – «живое воплощение русской национальной идеи и даже пророческий ее прообраз» (1, с. 131), в то время как Лермонтов любит Россию «странной любовью». Преемниками Пушкина «по части самосознания» В. Величко называет славянофилов, хотя, негодует автор, «даже такой великий ум, как Хомяков, недостаточно оценил национальное значение Пушкина» (1, с. 141). Пушкин, утверждает В. Величко, был основательно забыт, «успех Надсона, особенно если взглянуть пропорционально, был, по крайней мере, в тысячу раз больше пушкинского и, конечно, многих соблазнил» (1, с. 148), и лишь «Русский Самодержец всею царственной работой Своей обновил зараставшую тропу к нерукотворному пушкинскому памятнику» (1, с. 149).

Такая точка зрения, на первый взгляд курьезная, имеет достаточно глубокие и серьезные корни. С.М. Соловьев в воспоминаниях о Вл. Соловьеве пишет: «Не последнюю роль в жизни Соловьева играл ныне забытый поэт Василий Львович Величко. Хотя он был из стана правых, но уживался с Соловьевым, относился к нему с благоговением и ни в чем ему не противоречил. Соловьев из дружеского расположения переоценивал небольшой талант Величко...» (4, с. 297). Вл. Соловьев беспощаден не только к Лермонтову, но и к Пушкину: «Лермонтов для Соловьева – предшественник Ницше, жертва демонов гордости, кровожадности и нечистоты. Пушкин велик в своем художественном созерцании, но ничтожен в личной жизни, которая искупается только трагедией и мучительной смертью» (4, с. 355). Вот уж воистину «то, что делают с гением в поисках человеческого элемента, похоже на ощупывание и осматривание погребальной куклы, такой же, как розовые трупы покойных царей, которых обычно гримировали для похоронных церемоний. Разве можно совершенно реально представить себе жизнь другого, воскресить ее в своем воображении в неприкосновенном виде, безупречно отразить на бумаге? Сомневаюсь в этом; думается, уже сама мысль, направляя свой луч на историю жизни человека, ее неизбежно искажает» (3, с. 415).

Намеренно нарушая последовательность публикаций в обзоре, мы особо хотим остановиться на работах Е.Г. Вейденбаума. Его публикации составляют большую и, бесспорно, наиболее серьезную и интересную часть сборника. Это публикация полной (как подчеркнуто автором) редакции «Путешествия в Арзрум»

с обширными комментариями к нему и хронологической канвой поездки Пушкина на Кавказ, составленными автором, а также статья «О пребывании Пушкина на Кавказе в 1829 году», научный уровень которой выгодно отличается от других публикаций сборника.

Сама по себе личность Евгения Густавовича Вейденбаума чрезвычайно интересна. Известный историк, кавказовед, общественный деятель, литератор, он заинтересовался творчеством и пребыванием Пушкина на Кавказе как ученый-кавказовед (5). Его исследования во многом уникальны, так как проливают свет на некоторые до того неизвестные подробности из жизни Пушкина, связанные с его пребыванием на Кавказе. Кропотливое, глубоко профессиональное исследование, проведенное на высоком научном уровне, каким является статья «О пребывании Пушкина на Кавказе в 1829 году», впоследствии публиковалось еще несколько раз (6), но нам не удалось обнаружить ее публикации после 1905 года.

Пребывание Пушкина на Кавказе в 1829 году, отмечает автор, «принадлежит к наименее известным в подробностях периодам в жизни поэта» (1, с. 103). Только «Путешествие в Арзрум» долгое время служило единственным печатным источником сведений об этом периоде. Однако до 1887 года «Путешествие в Арзрум» печаталось с купюрами, имена почти всех лиц были обозначены лишь инициалами... Е.Г. Вейденбаум публикует его вариант, который называет полным, использовав, по возможности, все наработки, существовавшие к тому времени. Комментарий (полное авторское название «Примечания и объяснения к «Путешествию в Арзрум» и хронологическая канва к кавказскому путешествию А.С. Пушкина в 1829 году) в своем роде уникален. Наряду с подробной характеристикой ряда упомянутых в произведении лиц, автор представил подробнейший кавказоведческий материал, выступая при этом не только как историк, этнограф, социолог, но даже как лингвист, дающий толкование некоторым названиям, встречающимся в «Путешествии».

Учитывая большую, на наш взгляд, научную ценность работ Е.Г. Вейденбаума, мы сочли целесообразным предложить вниманию читателей его статью «О пребывании Пушкина на Кавказе в 1829 году», примечания к тексту «Путешествия в Арзрум», хронологическую канву «Путешествия», составленную им, и сведения о Е.Г. Вейденбауме, любезно предоставленные нам работниками Ставропольской государственной краевой универсальной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова с перечнем его публикаций.

Литература

1. Кавказская поминка о Пушкине (26 мая 1799 – 26 мая 1899). Изд. ред. газеты «Кавказ». – Тифлис. – 1899. (Сборник обнаружен в фонде редкой книги Ставропольской государственной краевой универсальной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова).

2. Мережковский Д.С. В тихом омуте: Статьи и иссследования разных лет. – М., 1991.

3. Набоков В.В. Лекции по русской литературе. – М., 1998.

4. Соловьев С.М. Владимир Соловьев: Жизнь и творческая эволюция. – М., 1997.

5. Ставропольский хронограф на 1995 год. Библиографический историографический указатель литературы. – Ставрополь, 1995.

6. Кавказские этюды. – Тифлис, 1901.

7. Русский архив. – 1905. – Кн. I. – Вып. IV.

Текст печатается по источнику:

Ковалева Т.Ю. Об одном из наиболее ярких изданий к столетнему юбилею А.С. Пушкина на Кавказе (Кавказская поминка о Пушкине (26 мая 1799 – 26 мая 1899). – Тифлис, 1899) // Пушкинский текст. Сборник статей научно-методического семинара «Textus». – Санкт-Петербург – Ставрополь: СГУ, 1999. – Вып. 5. – С. 137–139.

Ф.И. Джаубаева

150 лет со дня рождения А.С. Пушкина: празднование юбилея в Карачаево-Черкесии (по материалам газеты «Красная Черкесия», 1949)

Юбилей А.С. Пушкина в Карачаево-Черкесии отмечался после депортации карачаевцев в Среднюю Азию. С 1943 года Черкесия стала считаться одним из районов Грузии, по этой причине в архивах отсутствуют газеты на карачаевском языке. Издания выходили на русском, черкесском, грузинском, абазинском языках. Газета «Красная Черкесия» за 26 мая 1949 года подготовила литературную страницу, полностью посвященную великому поэту. Здесь же напечатаны переводы стихотворений А.С. Пушкина на ногайский язык, которые были сделаны поэтом С. Заляндиным. В газете «Красная Черкесия» за 6 июня 1949 года помещены материалы о подготовке к пушкинскому празднику: областной библиотеки, областного музея, учительского института, школ, ремесленного училища. Был проведен литературный праздник в областной артели для слепых. В «Гиантиади» – газете на грузинском языке – 7 июня 1949 года вышла большая статья В. Козловского «Великий русский поэт». «Черкес къапщ» – абазинская газета, 6 июня 1949 года в ней публикуются стихотворения Пушкина, а также стихи, посвященные поэту («Великий поэт» – А. Тамбиева, «Смерть поэта» – Ш. Физикова), статья «Пушкин на Кавказе» (автор неизвестен). «Черкес плъыжь» – газета на черкесском языке – 1 июня 1949 года публикует статью С. Борисова «Пушкин на Кавказе».

В «Красной Черкесии» от 6 июня 1949 года была напечатана информация о том, что в населенных пунктах (аулах) «по постановлению обкома ВКП(б) в колхозы, МТС, на предприятия были разосланы члены областного актива с докладами и лекциями, посвященными жизни и творчеству великого русского поэта А.С. Пушкина, приуроченными к 150-летию его дня рождения».

Двойственное впечатление оставляют материалы, посвященные празднованию юбилея: с одной стороны, это последовательное жесткое проведение сталинской политики «культуру – в массы». Так, в «Красной Черкесии» от 6 июня 1949 года в передовой статье отмечается: «Среди великих людей, которыми гордятся русские, тов. Сталин указал на Пушкина». Материалы о поэте идеологизированы, и «мероприятия» проводились в русле политики партии: «Пушкин – образец для нового советского человека», «Пушкин – борец за свободу угнетенного народа», «С Пушкиным (его поэзией) народ победил в войне». С другой стороны, были и очень теплые, искренние стихи о Пушкине, сообщения о вечерах, конференциях, проведенных в городах и аулах. В этих заметках чувствуется искренний интерес к творчеству великого поэта, желание освоить русскую культуру, приблизиться к ней. Вот, например, некоторые материалы «Красной Черкесии» от 6 июня 1949 года.

Областная библиотека

К юбилею А.С. Пушкина в Черкесской библиотеке хорошо подготовились. Здесь находятся все произведения Пушкина, новые книги о нем. Кроме того, библиотека богата рисунками, знакомящими с жизнью поэта. Здесь в честь 150-летия со дня рождения А.С. Пушкина 5 июля собрались городские читатели, состоялся литературный вечер. На этом вечере с докладом «Пушкин и современность» выступила преподаватель Черкесского учительского института тов. Понизовская.

Дни Пушкина в Черкесии. Ремесленное училище

В Черкесском городском ремесленном училище № 3 состоялся литературный вечер, посвященный 150-летию со дня рождения великого национального поэта А.С. Пушкина. На этом вечере с докладом «Жизнь Пушкина» выступила А.Д. Колесникова. После доклада прочли стихи «Памятник», «Лес», написанный Кольцовым, «Смерть поэта» Лермонтова и др. Прочли стихи Пушкина «К Чаадаеву», «В Сибирь», «Деревня», «Медный всадник», «У моря», стихотворение Джамбула «Песня о Пушкине» и др.

После этого хор исполнил «Узник», «Зимнюю дорогу», «Зимний вечер». Показали на сцене постановки из «Цыган», «Сон Татьяны» из «Евгения Онегина», «Дуэль Ленского и Онегина». Кроме того, прочли стихи «Кавказ», оду «Вольность», часть романа И. Новикова «Пушкин на юге» и др.

Кроме того, в честь дня рождения великого поэта учащиеся ремесленного училища подготовили свои стихи, альбомы со стихами и рисунками. Например, учащийся В. Храмов нарисовал картины, рисунки «На море», «Дуэль», «Детство» и др. Монтаж, показывающий жизнь поэта, был иллюстрирован.

Черкесский район

Рабочие, колхозники, служащие Черкесского района провели в честь юбилея А.С. Пушкина во многих местах доклады, лекции и др. В колхозах имени Чапаева, Сталина, «Октябрьский» прочли лекции на темы: «А.С. Пушкин – патриот своей Родины» и др.

В тракторных бригадах работником Черкесской МТС тов. Косьяковым были прочитаны «Евгений Онегин», «Дубровский» и др. Работники Николаевской сельской библиотеки познакомили сельских работников с 8-мью передвижными библиотеками по произведениям Пушкина.

В колхозе «1 Мая» Николаевская сельская библиотека провела читательскую конференцию по произведению Пушкина «Капитанская дочка». Выступавшие на этой конференции показали, что это произведение имеет большое политическое и художественное значение. На хуторе «Дружба», «Овечка», «Садовая» и др. состоятся литературные вечера, посвященные юбилею А.С. Пушкина.

На первый взгляд, может показаться, что это просто казенные мероприятия, но жители отдаленных аулов рассказывали мне, что с Пушкиным для них открывался новый мир – мир богатейшей русской культуры, более того, тексты Пушкина приобщили горцев к мировой культуре, которую они тоже постепенно осваивали. Следует отметить, что имя Пушкина было давно знакомо людям, проживающим в Карачаево-Черкесии. Пушкин бывал в нашем крае, и за поэтом до сих пор тянется шлейф легенд. И сейчас карачаевцы с гордостью показывают туристам, приезжающим в наш прекрасный край, место, где, по народным преданиям, находился аул, в котором будто бы останавливался Пушкин; до сих пор не теряют горцы надежды найти кольцо Пушкина, которое якобы подарил он одному из жителей аула, бесплатно отдавшему ему коня. Мы публикуем эту легенду, записанную народным писателем КЧР М. Ахметовым, опубликованную к двухсотлетнему юбилею А.С. Пушкина в газете «Экспресс-почта» от 11 апреля 1998 года.

Мы решили опубликовать и небольшой материал, посвященный пребыванию Пушкина на Кавказе, напечатанный 25 мая 1949 года в газете «Черкес плъыжь». Автор его С. Борисов. Перевел материал нынешний заведующий кафедрой черкесской и абазинской филологии Карачаево-Черкесского государственного педагогического университета доцент З.Х. Ионов. Думается, что этот небольшой очерк несет печать своего времени и свидетельствует о живом интересе к тому, что связывает Пушкина с Северным Кавказом.

С. Борисов. К 150-летию со дня рождения А.С. Пушкина

Первый раз А.С. Пушкин приехал на Кавказ в 1820 году. Молодому поэту тогда был 21 год. К тому времени он уже написал поэму «Руслан и Людмила», свои свободолюбивые стихи: «К Чаадаеву», «Вольность», «Деревня», которые читались в тайных обществах России.

Ссылка на юг, в Екатеринослав, принесла поэту много горестей и печали, но было и хорошее: здесь он встретился с Раевским, сыном генерала, героя 1812 года. Николай Раевский стал другом А. Пушкина. С помощью Раевского больной поэт получил разрешение лечиться на Минеральных Водах. Был конец мая, стояла сильная жара, необычная для этих мест. Дорога, ведущая на Кавказ, куда стремился поэт, шла через степь, Казачий Дон и через Ставрополь. Все было интересно, все ново, все привлекало внимание поэта, его волновали рассказы казаков об их стычках с черкесами, сама одежда казаков. Романтичной была ночевка в калмыцкой кибитке, но больше всего удивила поэта длинная гряда гор, их снежные вершины, кажущиеся ясным утром неподвижными разноцветными облаками. Позже поэт об этом напишет брату Левушке. Таким А.С. Пушкин увидел первый раз Кавказ, это было в начале июня 1820 года, когда поэт подъезжал к Горячеводску (тогда Пятигорск называли Горячеводском, что означает в переводе на карачевский язык Исси (горячая) – Суу (вода)).

В Горячеводске к путешественникам присоединился старший сын Раевского, Александр, приехавший сюда раньше. Все вместе поселились в доме, который снимали Раевские. Этот дом стоит до сих пор, хотя вид его несколько изменился. Старожилы с радостью показывают его и говорят: «Здесь жил А.С. Пушкин».

В 1820 году Пятигорск имел живописный вид, хотя возле источников было очень мало домов, всего 60 дворов. У подножия Горячей Воды (горы) стояли калмыцкие кибитки и шатры, в которых и жили приезжие. Недалеко находился временный военный гарнизон, солдаты; на арбах, запряженных волами, таскали камни для строительства гостиницы, постоянно сновали туда-сюда казаки на конях, иногда издалека слышались ружейные выстрелы.

Вместо ванных домов на горе были построены деревянные бараки. Сами ванны были выдолблены там, где били ключи серной горячей воды (46 градусов). До сих пор сохранилась каменная лестница с 68-ю узкими, крутыми ступеньками, по которой Пушкин поднимался к ваннам. Чистый воздух и целебные воды действовали быстро. Пушкин выздоравливал, скоро как будто и не было лихорадки. Он опять стал веселым, жизнерадостным, подвижным. Жизнь на водах была свободной. Далеко остались сановный Петербург и царские ищейки. Каждый день он видел и слышал что-то новое. Прогулки по окрестности, походы к источникам железистых вод, восхождение по лесным тропам на Железную Гору (там, где сейчас находится Железноводск), восхождение на Бештау, Машук, Змейку, ночевка в поле, в аулах, рассказы участников кавказской войны, которая еще

шла, – все это позже отразилось в творчестве А.С. Пушкина. Большой след оставила эта первая поездка на Кавказ в душе поэта. Позднее, находясь в Кишиневе, он писал своему брату Льву Сергеевичу: «Два месяца жил я на Кавказе; воды мне были очень нужны и чрезвычайно помогли, особенно серные горячие. Впрочем, купался в теплых кисло-серных, в железных и в кислых холодных. Все эти целебные ключи находятся не в далеком расстоянии друг от друга, в последних отраслях Кавказских гор. Жалею, мой друг, что ты со мною вместе не видел великолепную цепь этих гор: ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками, разноцветными и неподвижными; жалею, что не всходил со мною на острый верх пятихолмного Бештау, Машука, Железной Горы, Каменной и Змеиной. Кавказский край, знойная граница Азии, любопытен во всех отношениях» (24 сентября 1820 года, из Кишенева в Петербург. Дневники, воспоминания. С.75).

Здесь в Пятигорске поэт задумал романтическую поэму «Кавказский пленник». Поэма родилась под впечатлением от увиденного, красоты кавказской природы, жизни горцев, их героизма и доброты, их гостеприимства. Два месяца прошли быстро. Нужно было уезжать. Маршрут путешествия Пушкина по Кавказу был такой: Кавказская – Тамань – Керченский пролив. Поэта ожидали новые впечатления. Впереди были Гурзуф, Бахчисарай, Кишинев. Но еще долго он будет помнить Кавказ, в феврале 1821 года в Каменке закончит «Кавказский пленник».

Через много лет, побывав в 1837 году в Пятигорске, Белинский напишет: «Тот, кто побывал на Кавказе, не может не удивляться правдивости картины Пушкина: смотрите, если угодно, стоя на высоте гор, где стоит Пятигорск, на гряду гор, – вы невольно вспомните те стихи, которых вы годами не вспоминали…».

Сохранились до сих пор рисунки, которые были сделаны поэтом на рукописи «Кавказского пленника»: казачий пикет на холме, черкесы в каракулевых папахах, всадник в бурке, развевающейся на ветру, и на краю рукописи написано: «Я пережил свои желания» – и там же пометка (Из поэмы «Кавказ»), впоследствии это было опубликовано.

С тех пор в стихах Пушкина все больше стали звучать кавказские мотивы. Поэта не покидает желание еще раз увидеть Кавказ, и в 1829 году он смог это осуществить. Хотя и вопреки воле царя, Пушкин решается без спроса поехать в действующую армию. Он страдал от опеки царя и постоянной слежки жандармов. Теперь он будет свободен от всего этого. И вот турецкий фронт, где его ожидала встреча с братом Левушкой, Николаем Раевским и с друзьями-декабристами М. Пущиным, В. Чернышевским и другими.

Был май месяц, но еще не очень жарко. Прошло восемь лет, Пушкин ехал по знакомой дороге, многое изменилось за это время, особенно Горячеводск, куда из Георгиевска он специально приехал: сердце позвало его в места молодости. Город похорошел, построили много зданий, появились ванные дома, жилые, каменные большие здания, бульвар, цветники, павильоны. Он был один день в Пятигорске. В августе 1829 года, уезжая в Россию вместе с Пущиным, он еще раз заехал в Горячеводск, жил сначала в гостинице, а затем уехал в Кисловодск и поселился в доме доктора Реброва.

До последнего времени не было ясности в вопросе о пребывании А.С. Пушкина на Минирельных Водах. Но незадолго до Великой Отечественной войны был найден журнал, куда записывались посетители этих мест в 1829 г.

В журнале оказался лицевой счет Пушкина. Здесь есть все дни, в которые поэт посещал ванны, и сумма денег, уплаченная им за процедуры. Когда немецкие захватчики напали на Ставропольский край, журнал пропал вместе с остальными документами из фонда пушкинской эпохи. Сейчас есть только копии с этих документов, снятые сотрудником Домика Лермонтова тов. Недумовым. Эти документы интересны тем, что уточняют детали пребывания Пушкина в 1829 году на Кавказских Минеральных Водах. Они подготовлены для издания в «Пушкинском временнике». Документы объясняют многое. Теперь можно без ошибки сказать, что Пушкин провел на Кавказе достаточно много времени (в Кисловодске).

В журнале отпуска нарзанных ванн написано, что Пушкин лечился с 21 августа по 6 сентября. Курс лечения был следующим: утром и вечером поэт ежедневно принимал горячую ванну, в середине курса пять дней принимал по две горячие ванны, 6 сентября Пушкин своей рукой записал в ванный журнал то, что он принял 19 ванн и за это уплатил 19 рублей. Из Кавказских Минеральных Вод Пушкин уехал 8 сентября 1829 года.

А.С. Пушкин написал замечательные стихотворения о Кавказе. В Пятигорске многое напоминает о Пушкине – дома, в которых он останавливался, сохранившаяся каменная лестница к ваннам, новые ванные дома с его именем, выставки в библиотеках, посвященные А.С. Пушкину. Документы о пребывании поэта на Кавминводах изучаются сотрудниками Домика Лермонтова.

Любовь народа к А.С. Пушкину безгранична. «Наш Пушкин!» – с радостью восклицают народы Кавказа. О любви к Пушкину расскажут экспонаты, готовящиеся к юбилею поэта, стихи, посвященные ему, разные мероприятия, организованные к юбилею, пушкинские чтения и т.д.

Текст печатается по источнику:

Джаубаева Ф.И. 150 лет со дня рождения А.С. Пушкина: празднование юбилея в Карачаево-Черкесии (по материалам газеты «Красная Черкесия», 1949) // Пушкинский текст. Сборник статей научно-методического семинара «Textus». – Санкт-Петербург – Ставрополь: СГУ, 1999. – Вып. 5. – С. 157–159.

М.А. Ахметов

Рассказ о рассказе (история о том, как великий поэт подарил свое кольцо бесленевским чабанам)

Кто-то может, прочитав заголовок, усомниться: как мог попасть великий поэт из далекого Петербурга в какой-то дальний аул Кавказа и подарить на память свое именное кольцо чабанам? Да еще в разгар долголетней кавказской войны!

Я тоже так думал, когда впервые прочитал рассказ об этой истории. Но, поразмыслив и покопавшись в литературе, отбросил сомнения.

Свой рассказ я начну с автора, поведавшего о пушкинском кольце, Абдулаха Нашховича Охтова. Один из талантливых прозаиков черкесской литературы, он провел свои детские и юношеские годы в родном ауле Тазартуковском (ныне – Бесленей, Хабезского района). Знал множество легенд, сказаний и преданий-хабаров, связанных с родными местами. Фактически они и стали основой его литературного дарования, вдохновили на создание известных художественно-драматических произведений «Ущелье Бэллы», «Камень Асият», «Аул Егонокой», «Млечный путь» и других.

И рассказ о кольце он тоже написал по преданиям старожилов аула.

К сожалению, текста рассказа я не смог обнаружить ни в своем архиве, ни в республиканской библиотеке. Но содержание его помню хорошо. И считаю необходимым поведать о нем в канун юбилея великого русского поэта.

Предыстория написания этого рассказа Абдулахом Охтовым была такова. Правительство страны в 1957 году приняло решение широко праздновать 400-летие добровольного присоединения Черкесии к России. Предстояла поездка в Москву и Ленинград на декаду показа достижений в развитии науки, культуры, искусства и экономики народов Кавказа. К декаде готовились вместе Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея и Шапсугия – все черкесские регионы. Был создан объединенный хор в составе 150 человек. Готовили свои программы писатели, драматурги, композиторы. В ту пору и написал А. Охтов об истории пушкинского кольца, использовав предания старожилов аула.

...Как известно, царь выслал поэта из столицы в южный город Екатеринославль (Днепропетровск) в связи с делом «Союза» декабристов. Но потом царь посчитал это место недостаточно надежным и решил, что Пушкин должен отбыть на Кавказ: может быть, этот смутьян скорее погибнет там от пули или шашки. Пушкин же обрадовался такой перемене и в мае 1820 года прибыл к новому месту ссылки.

Кавказ очаровал его своей величавой дикой красотой. Он был рад встречам со своими друзьями, знакомыми, почитателями его таланта. Понравились ему и новые знакомые – представители коренных кавказцев.

Отдохнув в Пятигорске, полечившись в нарзанных ваннах Кисловодска, Пушкин посетил Дагестан, Грузию и другие места и, вернувшись в Пятигорск, восторженно написал своему другу Н.Н. Раевскому:

Во дни печальные разлуки
Мои задумчивые звуки
Напоминали мне Кавказ.
Где пасмурный Бештау,
Пустынник величавый,
Аулов и полей властитель пятиглавый,
Был новый для меня Парнас...

Набравшись впечатлений на Восточном Кавказе, Александр Сергеевич решил увидеть и остальную его часть – до Черного моря, а затем и Крым. Но не так то легко было такой путь пройти или проехать. У него был выбор из трех маршрутов Пятигорска. Первый – вернуться назад, на тракт из России на Кавказ, по которому он ехал из Екатеринославля. Пушкин отверг его. Там душно и пыльно из-за большого движения обозов и конных отрядов. Дышать нечем, хотя кругом необъятные цветущие степи. Второй путь – это прямо на запад к восточным портам Черного моря – Адлеру, Сочи, Сухуми. Но это было время паводкового сезона, и невозможно было переправиться через бушующие реки Кубань, Малый и Большой Зеленчуки, Уруп и другие.

Выбран был третий маршрут: это Кисловодск, аул Абуковский (ныне село Первомайское) и к крепости «Каменный Мост» в верхнем течении реки Кубани. Этот путь был длиннее и шел по пересеченной местности, зато здесь ожидали поэта пьянящий чистый воздух и экзотика природы. Там, на гребне перевала к Марийскому ущелью, сделали привал для отдыха. Кто знает, может быть, здесь у покоренного дикой красотой гор поэта начали рождаться строки:

Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины;
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Отселе я вижу потоков рожденье
И первые грозных обвалов движенье.

Здесь тучи смиренно идут подо мной;
Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады;
Под ними утесов нагие громады;
Там ниже мох тощий, кустарник сухой;
А там уже рощи, зеленые сени,
Где птицы щебечут, где скачут олени.

Переехав Кубань по единственному мосту у крепости, которая и сейчас стоит в середине карачаевского аула Ташкуныя (Каменномост), свита Пушкина ступила на землю бесленеевского племени к вечеру, говорится в рассказе Охтова. Когда осмотрелись кругом, не увидели населенного пункта, где бы могли переночевать, но один из спутников заметил вдалеке огонь одинокого костра. Проводник-черкес посоветовал свернуть к огню, там переночевать и дать отдых лошадям. Пушкин согласился.

Когда подъехали поближе, из тьмы к гостям с лаем бросились овчарки, а чабаны схватились за ружья, думая, что собаки почуяли волков. Но увидев всадников, собак успокоили, а путников пригласили к огню. Оказалось, что попали они на кош одного из известных родов Бесленея Унежевых. Тамада неплохо говорил по-русски.

Он радушно пригласил гостей спешиться, расседлать лошадей и пожаловать в жилое помещение, а молодым помощникам отдал приказание, как обслужить гостей.

Пока те приводили себя после долгого пути в порядок и умывались, ужин был готов. Поев молодой баранины с горячей мамалыгой и запив кислым молоком, гости разместились спать кто где хотел на свежем степном воздухе.

Ночь прошла, наступил новый день. Молодой чабан-повар уже приготовил завтрак, другой чабан пригнал с ночной пастьбы лошадей и напоил их родниковой водой.

Наконец, встали и гости. Бодрые, веселые, умылись ключевой водой, позавтракали. Александр Сергеевич поблагодарил хозяев за гостеприимство и сказал, что пора им продолжать свой путь – ехать далеко.

Когда гости были готовы тронуться в путь, Пушкину подвели оседланную лошадь. Посмотрев на нее, он сказал:

– Это не моя лошадь, хозяин.

– Твоя лошадь захромала и не донесет тебя до моря, а эта сильная и смирная, – ответил чабан.

– А сколько я должен вам за такую красавицу? – спросил Пушкин.

– Нисколько, это мой подарок.

– Да хоть оставьте себе мою лошадь за нее, – настаивал Пушкин.

И от этого отказался хозяин, сказав, что она еще пригодится в пути.

Озадаченный Пушкин стоял, не зная, что делать, как поступить. Тогда черкес-проводник объяснил, что в этих краях так принято: за подарки цену не берут, но в ответ можно подарить на память что-нибудь из личных вещей.

Пушкин быстро снял с пальца свое именное кольцо и протянул чабану.

– Вот это мой подарок на память в знак нашей дружбы.

Чабан охотно принял кольцо и благодарно пожал руку гостя.

После этого он быстро вошел в свое жилище и вскоре вышел обратно, неузнаваемо преобразившись. Он был одет в свои дорожные одежды с боевыми доспехами, в которые обычно снаряжались черкесы при дальних поездках. Легко и проворно сел он на подведенного к нему молодым чабаном коня и поехал сопровождать гостей.

Проводив путников до границы своего племени, чабан тепло попрощался и, пожелав счастливого пути и дальше, вернулся, довольный тем, что его гости благополучно миновали землю его рода.

Пушкин об этом случае ничего не пишет, но, когда читаешь его поэму «Кавказский пленник», кажется, что он говорит о том своем знакомом чабане.

...Черкес проворный,
Широкой степью, по горам,
В косматой шапке, в бурке черной,
К луке склонясь, на стремена

Ногою стройной опираясь,
Летал по воле скакуна,
К войне заране приучаясь.
Он любовался красотой
Одежды бранной и простой.
Черкес оружием обвешен;
Он им гордится и утешен;
На нем броня, пищаль, колтан,
Кубанский лук, кинжал, аркан
И шашка, вечная подруга
Его трудов, его досуга.
Ничто его не тяготит,
Ничто не брякнет; пеший, конный –
Все тот же он; все тот же вид
Непобедимый, непреклонный.

Автор рассказа А. Охтов утверждал, что кольцо поэта долгое время хранилось в роду Унежевых. Но потом затерялось. Сам автор старался найти его след, но безвременно ушел из жизни. Легенда осталась, а кольца нет, следовательно, нет и конца рассказу. Но он должен быть. Его сегодня ищет потомок чабана Паша-гери Унежев из аула Бесленей, и он не один.

Я так уверенно говорю потому, что есть для этого основания. Однажды, лет десять тому назад, в родном своем ауле Кош-Хабль я увидел старика, дальнего родственника. Его звали Хаджибекир. Он пригласил меня сесть рядом на свободное место. Разговорившись с ним, я увидел на его пальце массивное кольцо из серебра. Заинтересовавшись, я по-свойски взял его руку и увидел: на квадрате кольца четко были выбиты две буквы русского алфавита: «А.П.».

Не проявляя своей заинтересованности, я спросил у старика:

– Бекир (так ласкательно звали его), откуда это кольцо и давно ли оно у тебя?

– Давно, – ответил он, – но не помню, когда попало ко мне.

И больше я ничего не смог добиться. Тогда я попросил его дочь Маржанат выведать что-нибудь или выманить кольцо у отца, чтобы внимательно изучить его. Через два года она сообщила мне, что отец долго и сильно болел и однажды ночью тихо скончался. А когда она прибежала, кольца нигде не было.

Я уверен, кольцо найдется. Не унес же Бекир его с собой в могилу, не унесет и тот, кто скрывает его, считая слишком драгоценной памятью о Пушкине, который первым из россиян воспел черкеса правдиво, с любовью и восхищением, опровергая клеветнические рассказы наемных генералов и продажных борзописцев.

Если из поколения в поколение передают легенду о случившемся у нас 175 лет тому назад и продолжают поиски вещи, принадлежащей поэту, не следует искать другого доказательства для подтверждения искренности чувства любви к великому гуманисту-поэту и уважения к народу, породившему его. О дружбе с русским народом когда-то и я попытался сказать поэтическим языком:

Давно это было, при Грозном Иване:
Из края ущелий и вспененных рек,
В Россию за дружбой, большой, постоянной,
За помощью братской пришел человек.
Ведь камень – один: это вовсе не крепость,
Так старые горцы у нас говорят.
Черкесы и русские в бурях свирепых,
С тех памятных пор, словно крепость, стоят...

Двухсотлетие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина стало таким же радостным праздником в Карачаево-Черкесии, как и в Москве, и во всей России.

Текст печатается по источнику:

Ахметов М.А. Рассказ о рассказе (история о том, как великий поэт подарил свое кольцо бесленевским чабанам) // Пушкинский текст. Сборник статей научно-методического семинара «Textus». – Санкт-Петербург – Ставрополь: СГУ, 1999. – Вып. 5. – С. 168–171.

В.П. Ходус

Празднование пушкинских юбилеев в Ставропольском государственном университете

Имя Пушкина стало символом в истории культурной и научной жизни России. Каждый юбилей поэта отмечен выходом значительных работ филологов, культурологов, журналистов о творчестве и жизни А.С. Пушкина. Так, например, 1899 год – столетняя годовщина со дня рождения поэта – был отмечен выходом в свет немеркнущими во времени статьями В.С. Соловьева, В.В. Розанова и других.

В Ставропольском государственном университете день рождения А.С. Пушкина – ярчайшего имени русской культуры – всегда значительное событие. В этот день проходят торжественные заседания, подготавливаются специальные исследования. Ставропольские исследователи всегда помнят, что «Пушкин бывал в нашем городе, наш прекрасный кавказский край он любил и воспевал в своем творчестве» (3, с. 7). К стопятидесятилетию и двухсотлетию со дня рождения поэта были подготовлены юбилейные сборники научных трудов.

Стопятидесятилетняя годовщина (1949 г.), которая пришлась на послевоенный период, в тогда еще Ставропольском государственном педагогическом институте праздновалась скромно, однако ученые, конечно, не могли пройти мимо этого события. Наиболее значительные исследования кавказских литературоведов были опубликованы в «Пушкинском сборнике» 1949 года, а в «Ставропольском альманахе» была опубликована большая работа К.Г. Черного.

К концу сороковых годов в Ставропольском государственном педагогическом институте на филологическом факультете работала плеяда крупных ученых-кавказоведов: В.М. Тамахин, К.Г. Черный, А.В. Попов, И.А. Мохов, – работы которых до сих пор в активном обиходе исследователей. Ученые уделяли большое внимание фактам, много работали с архивными материалами, с литературными источниками.

В «Пушкинский сборник» вошли статьи: К.И. Казьменко «О влиянии Пушкина на французскую литературу»; А.В. Козырева «А.С. Пушкин о воспитании»; И.А. Мохова «К вопросу об изучении сказок Пушкина»; А.В. Попова «Из кавказских встреч А.С. Пушкина»; А.В. Попова «Кавказская поэма на смерть А.С. Пушкина в русских переводах XIX века»; В.М. Тамахина «Пушкин о записках Джона Теннера»; К.Г. Черного «Пушкин о Кавказе».

К пушкинскому юбилею в «Ставропольском альманахе» была опубликована статья К.Г. Черного «Пушкин на Кавказе». Названные статьи представляют научный и исторический интерес.

В работах освещены три темы: «Пушкин и Кавказ», «Пушкин и педагогическое воспитание», «Пушкин и мировая литература».

Первая статья, исследующая тему «Пушкин и Кавказ» – работа А.В. Попова «Из кавказских встреч А.С. Пушкина» (1, с. 5–9), освещает два «поэтических» знакомства.

В первой части «Фазиль-хан Шейд» ученый рассматривает проблему возможности встречи Пушкина и азербайджанского поэта Фазиль-хан Шейда, излагает краткие сведения о последнем. Ссылаясь на некролог Н. Ханыкова, Попов называет ряд научных трудов Фазиль-хана: «Основания арабского языка», «Персидская грамматика» и др., – отмечает, что «сборник поэтических произведений Фазиль-хана остался в рукописи, которая, по-видимому, безвозвратно утрачена» (1, с. 8).

Ученый приводит начало незаконченного стихотворения, которое великий русский поэт посвятил своему азербайджанскому собрату:

Благославлен и день, и час,
Когда в горах Кавказа
Судьба соединила нас...

Во второй части статьи «Один из мусульманских беков (А.И. Бакиханов)» А.В. Попов рассказывает о встрече, которая произошла «на высотах Саган-лу в середине июля 1829 года» с майором татарской конницы Аббас Кули Ага Бакихановым; здесь же помещен портрет бека. Далее детально просматриваются литературные и дружеские связи Бакиханова с Грибоедовым и декабристами. А.В. Попов установил, что между Бекихановым и Пушкиным сформировались дружеские отношения; что Грибоедов, Кюхельбекер, Бестужев и Пушкин оказали решающее влияние на литературную и научную деятельность Бекиханова. «Наиболее выдающимся произведением азербайджанского друга Пушкина является «Гюлистам-Ирам» (Райский цветник) – капитальная работа по истории Азербайджана и Дагестана» (1, с. 16).

Следующая статья А.В. Попова «Кавказская поэма на смерть А.С. Пушкина в русских переводах XIX века» (1, с. 65–79). «С глубокой скорбью... откликнулся на трагическую гибель великого русского

поэта молодой азербайджанский поэт Мирза Фатали Ахундов в ... элегической восточной поэме «На смерть Пушкина», написанной на персидском языке» (1, с. 65). Ученый поместил в своей работе портрет М. Фахундова, подлинник поэмы на персидском языке (часть рукописи) (1, с. 70), а также первый лист рукописи перевода поэмы (1, с. 73).

После краткой историко-биографической справки, знакомящей читателя с жизнью и деятельностью Ахундова и показывающей истоки глубокого почитания поэтом Пушкина, исследователь знакомит нас с двумя переводами, выполненными автором (при содействии Клементьева) и А.А. Бестужевым-Марлинским, для которого это стал «предсмертный труд», и открывает «доселе неизвестный исследователям» третий перевод, сделанный неизвестным автором. Далее следуют полный текст перевода «неизвестного автора» (1, с. 71–75) и примечания, представляющие интерес как элемент авторской самоинтерпретации, расширяющий наш уровень восприятия поэтического творчества.

Исследование «кавказской» темы разрабатывается в статьях ставропольского ученого К.Г. Черного «Пушкин о Кавказе» и «Пушкин на Кавказе».

В статье «Пушкин на Кавказе» (1, с. 19–29) ученый освещает две поездки великого поэта. «Первая ... относится к 1820 году, второй раз А.С. Пушкин посетил Кавказ в 1829 году» (1, с.19). Вторая поездка поэта состоялась после восстания декабристов, и К.Г. Черный проводит определенные параллели между творческими событиями в жизни Пушкина и его политическими воззрениями, вспоминает строки из «Ариона», посвященного друзьям-декабристам, которые «жили в ярком вдохновленном слове пушкинского гения»:

Погиб и кормщик и пловец!
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

А.С. Пушкин говорит о «кавказской теме» в начале XIX века, которая актуально звучит и в наши дни. Ученый рассматривает ее с позиций своего времени и пытается понять отношения Пушкина к сложившейся ситуации, приводя факты современной поэту политической обстановки вокруг кавказского вопроса.

Описание первой поездки перекликается со статьей К.Г. Черного «Пушкин на Кавказе» (2, с. 205–226), опубликованной в пятом номере «Ставропольского альманаха». В этой большой работе подробно освещается первая поездка поэта на Кавказ, рассказывается о дружбе Пушкина с семьей Раевских.

Большой исследовательский интерес представляет изучение К.Г. Черным истории создания «Кавказского пленника», рассмотрение вопроса о влиянии кавказских впечатлений на творчество поэта, о реакции на поэму критиков и друзей. Особо отмечается тема народа в произведении: «... акцент в ... эпилоге сделан не на самих картинах опустошительнейших для горских народов войны, и не на любовании этими картинами, а на том, что для этих народов придет мир, что ...

Кавказ,
Забудет алчной брани глас,
Оставит стрелы боевые...»

Статьи К.Г. Черного представляют большой интерес для пушкиноведов и являются одними из основополагающих работ для исследователей истории пребывания А.С. Пушкина на Кавказе.

В статье А.В. Козырева «А.С. Пушкин о воспитании» (1, с. 53–65) приводится несколько высказываний поэта о воспитании:

«Учусь удерживать внимание долгих дум,
Ищу вознаградить в объятиях свободы
Мятежной младостью утраченные годы,
И в просвещении стать с веком наровне.

«Чтение – вот лучшее учение», – писал он своему брату из Кишенева...» (1, с. 54).

Автор останавливается на состоянии народного образования в России «в период, предшествовавший Николаевской эпохе в России».

История воспитания и его влияния на поэта освещается во второй части работы. Интересны примеры отражения в произведениях Пушкина собственного отношения к системе домашнего воспитания: «Яркими красками рисует Пушкин отрицательные типы гувернеров-французов, немцев, англичан и даже шведов» (1, с. 59). Большое внимание уделяется рассмотрению «Записки о народном восстании», где «в весьма завуалированной форме» высказываются «прогрессивные педагогические взгляды».

Работа представляет интерес для исследователей истории педагогики.

Статьи И.А. Мохова «К вопросу об изучении сказок Пушкина», В.М. Тамахина «Пушкин о “Записках Джона Теннера”» и статья К.И. Казменко «О влиянии А.С. Пушкина на французскую литературу» раскрывают тему.

Статья И.А. Мохова «К вопросу об изучении сказок Пушкина» представляет главу из работы «Сказки А.С. Пушкина» (1, с. 29–47).

В первой части автор затрагивает проблему развития русской литературы, ее генезиса и приводит документ, открывающий взгляды Пушкина по этому вопросу, «в транскрипции Н.К. Козьминой:

Язык и влияние греческ(ое).

Памятники его.

Литература собственная.

Причины: 1) ее бедности 2) отчуждения от Европы 3) уничтожения или ничтожности влияния скандинавского.

Сказки, пословицы: доказательства сближения с Европою –

Песнь о полку Игор(еве)

Песнь о побоище Мамаеве.

Сказки, мистерии.

Пословицы (гротеск).

Народность сказок (пересказать по-своему) (Кальдерон)» (1, с. 31–33).

Во второй части исследователь детально останавливается на каждом пункте, убедительно говоря о самобытности пушкинских сказок в противовес «космополитической концепции» влияния зарубежного фольклора.

Изучению связи творчества Пушкина с европейской литературой посвящена статья К.И. Казменко «О влиянии А.С. Пушкина на французскую литературу» (1, с. 79–84).

Следуя тезису, что «русская литература XIX века в своем развитии обгоняет западноевропейскую» (1, с. 79), исследователь говорит о влиянии Пушкина, которое выражается, по мнению автора, во влиянии реалистической прозы Пушкина на прозу Бальзака; в переводах пушкинских произведений П. Мериме; во влиянии Пушкина на французских писателей, высказанное в письме Э. Золя по случаю столетнего юбилея поэта; в заимствовании сюжета «Пиковой дамы» Анри де Ренье для новеллы «Тайна графини Барбары»; во влиянии «Цыган» на роман «Братья Земганно» Эдмона Гонкур.

Особо автор отмечает роль переводов, выполненных И.С. Тургеневым, способствовавших распространению пушкинских произведений в европейской литературной среде. Отмечается влияние русского поэта и писателя на своего великого последователя («Евгений Онегин» – повесть «Бреттер»).

В.М. Тамахин в статье «Пушкин о «Записках Джона Теннера» рассматривает не только отношение Пушкина к американской литературе, благодаря чему в работе делается акцент на демократических воззрениях поэта.

Следующий крупный юбилей – 200 лет со дня рождения поэта – в 1999 году в России отмечлся широко и повсеместно. 6 июня на торжественном заседании научно-методического семинара «Textus», который активно работает с 1994 года и по сей день, прозвучали торжественные доклады о творчестве Поэта. На суд зрителей также был представлен студенческий спектакль о творческом гении Пушкина. Затем состоялся круглый стол, на котором обсуждался вопрос о значении Пушкина в истории мировой культуры и современности. Работа семинара в юбилейный год прошла под знаком Пушкина, и логичным завершением научных докладов, бесед, дискуссий стал выход сборника статей научно-методического семинара «Textus» «Пушкинский текст». В его создании приняли участие не только ученые Ставрополья, но и исследователи из крупных научных центров России и зарубежья. Научными редакторами сборника стали ректор Ставропольского государственного университета, профессор В.А. Шаповалов и профессор Ставропольского государственного университета, руководитель семинара К.Э. Штайн.

Как отмечается во вступительной статье, «статьи, заметки очных и заочных участников семинара «Textus» – скромная лепта, которая вносится в творимый пушкинский текст, создаваемый с целью прочтения и интерпретации текста Пушкина. Русская культура пушкиноцентрична – энциклопедичность творчества поэта, динамичный его заряд способствуют постоянному порождению новых текстов и самых различных контекстов их использования – от бытовых (афоризмы житейской мудрости Пушкина вроде «Если жизнь тебя обманет…») до философских – творчество Пушкина заменило нашему народу отнятые в период существования тоталитарного режима историю, философию» (3, с. 7).

«Пушкинскому тексту» удалось рассмотреть различные грани творчества гения русской литературы и культуры. В некоторых статьях в юбилейный год были предложены новые повороты в научном прочтении наследия поэта, которые за прошедший год успешно разрабатываются исследователями.

В частности, в сборнике «Пушкинский текст» была впервые рассмотрена метапоэтика как код авторской самоинтерпретации поэта. Автор концепции К.Э. Штайн представила не только развернутое после-

довательное исследование метапоэтических данных, обнаруживаемых в творчестве А.С. Пушкина, но и представила, в сущности, новую исследовательскую стратегию изучения текста. Творчество художника изучается «от самого художника», ученый анализирует собственно авторское понимание сути творческого процесса, и только затем выстраивает собственную концепцию. Статья о метапоэтике А.С. Пушкина представляет не только первый опыт описания авторской самоинтерпретации поэта, но и вообще первое описание частной метапоэтики. В дальнейшем описывалось и описывается множество метапоэтик поэтов, прозаиков и драматургов, под руководством профессора Ставропольского государственного университета, руководителя научного семинара «Textus» К.Э. Штайн вместе с учениками и последователями была выпущена четырехтомная антология «Три века русской метапоэтики», учебный словарь «Русская метапоэтика», Метапоэтический словарь-конкорданс А.П. Чехова. Но, как и в истории русской литературы творчество А.С. Пушкина положило начало формированию самобытной современной русской словесности, так и в истории концепции метапоэтики художественного текста статья «Метапоэтика А.С. Пушкина» в сборнике «Пушкинский текст» дала основу для изучения частных метапоэтик художников слова.

Статья К.Э. Штайн открывает сборник и его первый раздел «Поэтика А.С. Пушкина». Следующая статья профессора РГПУ им. Герцена И.А. Мартьяновой «Кинематографический треугольник: Пушкин – Тынянов – Эйзенштейн» посвящена исследованию «кинематографичности стиля А.С. Пушкина». Автор приходит к интересному выводу о том, что «приход Тынянова и Эйзенштейна к Пушкину, к восприятию поэтического, исторического и кинематографического импульсов его творчества мотивирован не только неисчерпаемостью его эстетического потенциала, но и стилевыми исканиями XX века, века кино, который открыл поэта сквозь призму кинематографичности» (3, с. 19).

Статья доцента СГУ Т.К. Черной «Принцип троичности в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» не только образец глубокого, академического исследования – в ней выразилось своеобразное созвучие сборников, посвященных двум юбилеям. Татьяна Карповна – дочь К.Г. Черного – продолжает и развивает традицию и идеи своего отца и учителя, предлагая, несомненно, свой авторский взгляд на изучение романа. Эта статья – пример традиционного, последовательного анализа художественного произведения, еще раз подтверждающая, что традиционное означает не модное, но классическое исследование. Изучение троичности в романе позволило автору обобщить разные точки зрения на творческую сущность произведения. Т.К. Черная отмечает: «Евгений Онегин», разумеется, … и роман о творческом процессе, и роман-мироздание, созданное словом, исходящим из архетипичной троичной сущности автора-создателя» (3, с. 25).

Далее представлена статья К.Б. Жогиной (Ставрополь) «Имя Пушкин в поэтическом идиостиле М.И. Цветаевой», в которой на основе исследования фонетического уровня организации поэтического, анализа анаграмм осмысляется не только поэтически потенциал имени и творчества Пушкина в художественном мире Цветаевой, но и убедительно предлагается связь в поэтическом тексте Цветаевой имени поэта с мифологическим Орфеем.

Завершает раздел исследование Ф.И. Джаубаевой (Ставрополь) «Полисиндетон в поэтических текстах А.С. Пушкина». В статье на материале изучения «многосоюзия» еще раз открывается красота и гармония поэзии русского гения.

Второй раздел сборника «Пушкинский текст» посвящен лингвистическим аспектам исследования пушкинского текста. В статье саратовских ученых Е.А. Тихоновой и Л.П. Прокофьевой «О «звуковом колорите» лирики А.С. Пушкина периода Болдинской осени (опыт психолингвистического анализа)» представлено интересное исследование фоносемантики пушкинских стихотворений, а также оригинальная таблица Сводной цветовой картины лирики А.С. Пушкина периода Болдинской осени (3, с. 37).

В статье ставропольского исследователя Р.М. Байрамукова «Ей рогаткой угрожая…»: речевой акт угрозы в «простонародных сказках» А.С. Пушкина» на языковом материале анализируется речевой акт угрозы как одно из «средств воплощения конфликта противоборствующих сил» (3, с. 44).

Статья нижегородского исследователя С.Н. Переволочанской «Имя-символ в лаконичном стиле прозы А.С. Пушкина» посвящена анализу функционирования мифонимов в художественных текстах Пушкина, к осмыслению их «семантической весомости как знак-символ, что приводит в речевом употреблении к приращению смыслового богатства» (3, с. 49).

В статьях Н.Н. Ореховой (Архангельск) «Из наблюдений над разговорными лексическими средствами в повести А.С. Пушкина «Пиковая дама» и М. Максименко (Краснодар) «Направления и способы словообразования окказиональных фамилий в эпиграммах А.С. Пушкина» в очередной раз на интересном лингвистическом материале рассматривается вопрос формирования современного русского литературного языка и отражение этого процесса в текстах А.С. Пушкина.

Третий раздел – «А.С. Пушкин: диалог текстов» – открывает статья краковского ученого Ф. Листвана «К вопросу о диалогичности романа Леонида Леонова «Пирамида» (Пушкинские мотивы)». Эта работа – не только пример блестящего анализа двух поэтических систем великих русских писателей, не только образец сопоставительного анализа, но и образец трепетного отношения к русскому языку – «языку Пушкина» – иностранного специалиста.

Влиянию пушкинской творческой системы на поэзию ОБЭРИУ посвящены две следующие статьи ставропольских ученых: А.Б. Оболенца «…тот Пушкин был без головы» (имя «Пушкин» в текстах А.И. Введенского)» и А.Н. Силантьева «Пушкин и ОБЭРИУ: моменты дискурса».

Интересной теме «продолжения пушкинских текстов» посвящена статья Я.В. Погребной (Ставрополь) «Продолжение В.В. Набоковым пушкинской «Русалки» и принцип «бесконечного повествования».

Анализ влияния текстов романа «Евгений Онегин» и драмы «Борис Годунов» на творчество И.А. Бунина представлен в статье волгоградского исследователя О.Н. Калениченко «Пушкинская тема в рассказе И.А. Бунина «В некотором царстве».

Завершает раздел исследование диалога текстов Пушкина и Бродского в статье А.А. Фокина (Ставрополь) «Новые «заметки для памятника» (о стихотворении И. Бродского «Aere Perennius»)», в которой на материале сопоставления поэтических текстов Горация, Державина, Пушкина и Бродского, автор пытается осмыслить ответ на вопрос: «Является ли стихотворение «Aere Perennius» продолжением линии переосмысления в традиции «Памятника» в русской поэзии?» (3, с. 72).

Следующий раздел сборника «Пушкинский текст» посвящен религиозно-философским и историческим аспектам исследования творчества А.С. Пушкина.

В статье доцента СГУ Г.Д. Чесноковой «Ветхозаветные и коранические мотивы в творчестве А.С. Пушкина», анализируя влияние духовных книг на творчество поэта, рассматриваются тексты, «подлежащие толкованию, не подлежащие толкованию и толкуемые с помощью филологического знания» (3, с. 83). Анализ большого поэтического наследия поэта позволяет увидеть «переплетение в сознании поэта» коранических и иудео-христианских мотивов.

В статье доцента РГПУ им. Герцена Е.В. Сергеевой «Пушкин и русская зарубежная философия XX века: концепт «свобода» отмечается, что если посмотреть на тему свободу в творчестве Пушкина «сквозь призму мировосприятия XX века, впечатление, что о пушкинском понимании свободы мы знаем все или почти все, окажется обманчивым» (3, с. 90). Высказанный тезис подтверждается последовательным анализом концепии свободы у Пушкина в философском осознании Б.П. Вышеславцева.

Исторические и историографические интенции в творчестве А.С. Пушкина освещены в статье пятигорского исследователя Е.К. Сосниной «А.С. Пушкин-историк (к 200-летию со дня рождения)».

Заключительная статья раздела И.И. Черепова (Ставрополь) «Отчаяние эстетического человека» посвящена анализу особенностей творческой и эстетической системы Пушкина в пространстве «маленьких трагедий».

Сборник «Пушкинский текст» не мог обойти вниманием вопросы творчества художников «пушкинской эпохи». Этому вопросу посвящен раздел «Вокруг Пушкина». В нем представлены статьи профессора Римского университета С. Алоэ «Последний Колонна В.К. Кюхельбекера и фигура «артиста» в русской литературе 30-х годов XIX века» и пятигорского исследователя Н.В. Маркелов «Могучий мститель злых обид», рассказывающей о судьбе князя И.Ф. Паскевича-Варшавского.

Далее в сборнике «Пушкинский текст» помещен обзор Р.М. Байрамукова «Пушкин в контексте русской культуры. Материалы круглого стола межкафедрального научно-методического семинара «TEXTUS: Текст как явление культуры».

В разделе «Пушкинское краеведение» представлены статьи Н.В. Маркелова «На скате каменных стремнин». Пушкинский Парнас – гора Бештау» и исследователя из Карачаевска М.А. Ахметова «Рассказ о рассказе (история о том, как великий поэт подарил свое кольцо бесленевским чабанам)»

Раздел «Архивная Пушкиниана» посвящен анализу и описанию архивных документов. В этом же разделе публикуются документы и исследования прошлых юбилейных изданий

В статье В.А. Водолажской «Слово документа» анализируются документы Государственного архива Ставропольского края, связанные с юбилейными торжествами.

В объемной статье «О праздновании столетия со дня рождения А.С. Пушкина на Северном Кавказе (анализ материалов газеты «Северный Кавказ», 1899 г.)», представленной Ф.Т. Лозанович, содержатся публикации городской, общей хроники, корреспонденции, телеграмм, а также публикации В. Войнова, Лекторского-Сперанского и И. Мрочковского.

Статья Т.Ю. Ковалевой «Об одном из наиболее ярких изданий к столетнему юбилею А.С. Пушкина на Кавказе. (Кавказская поминка о Пушкине (26 мая 1799 – 26 мая 1899). – Тифлис, 1899)» завершается публикацией трех работ Е.Г. Вейденбаума: «О пребывании Пушкина на Кавказе в 1829 году»; «Примечания и объяснения к «Путешествию в Арзрум» и хронологическая канва к кавказскому путешествию А.С. Пушкина в 1829 году»; «Хронологическая канва к путешествию Пушкина на Кавказ в 1829 году».

Ф.И. Джаубаева представила исследование «150 лет со дня рождения А.С. Пушкина: празднование юбилея в Карачаево-Черкесии (по материалам газеты «Красная Черкесия», 1949 г.)» и публикацию работы С. Борисова «К 150-летию со дня рождения А.С. Пушкина».

Обзор В.П. Ходуса «К празднованию 150-летия А.С. Пушкина: исследования ставропольских ученых (1949 год)» завершается публикациями работ К.Г. Черного «Пушкин на Кавказе (Первая поездка 1820 года)» и А.В. Попова «Кавказская поэма на смерть А.С. Пушкина в русских переводах XIX века».

В разделе «Библиография» Н.А. Канонирова, Н.И. Зарубина представили публикацию «Жемчужина книжной коллекции из фонда отдела редкой книги Библиотеки СГУ», в которой впервые описан уникальный библиотечный документ – тетрадь с переписанным от руки текстом первых шести глав романа «Евгений Онегин» А.С. Пушкина. На 173–175 страницах сборника представлены фотокопии этой уникальной тетради.

Н.А. Канонирова также представила указатель «PUSCHKINIANA 1855–1949: Аннотированный указатель литературы о жизни и творчестве А.С. Пушкина. (Из фонда отдела редкой книги библиотеки СГУ)».

Структура указателя:

От составителя

I. Сочинения, дневники, переписка А.С. Пушкина:

1. Собрания сочинений

2. Произведения, изданные отдельно

3. Дневники и письма

II. Литература о жизни и творчестве А.С. Пушкина:

1. Монографии об А.С. Пушкине, сборники статей о нем; статьи и очерки.

2. Периодические издания: статьи, заметки, выступления, рецензии и др.

III. Указатель имен.

Указатель содержит 323 наименования.

Завершается сборник «Пушкинский текст» рецензиями на изданные крупные научные публикации. Здесь также содержится анализ публикаций, непосредственно связанных с пушкинской тематикой. В частности, рецензия К.Э. Штайн на «Словарь крылатых выражений А.С. Пушкина» В.М. Мокиенко, К.П. Сидоренко (СПб., 1999).

В заключение отметим, что в 2000 году решением краеведческой комиссии сборник «Пушкинский текст» был признан лучшим в номинации «Пушкинское краеведение».

Литература

1. Пушкинский сборник. – Ставрополь, 1949.

2. Ставропольский альманах. – Ставрополь, 1949. – № 5.

3. Пушкинский текст: Сборник статей научно-методического семинара «TEXTUS». – Вып. 5. – СПб. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 1999.

Текст рукописи предоставлен автором.

М.Ю.Лермонтов

СТИХОТВОРЕНИЯ О КАВКАЗЕ

* * *

Люблю я цепи синих гор,
Когда, как южный метеор,
Ярка без света и красна
Всплывает из-за них луна,
Царица лучших дум певца
И лучший перл того венца,
Которым свод небес порой
Гордится, будто царь земной.
На западе вечерний луч
Еще горит на ребрах туч
И уступить все медлит он
Луне — угрюмый небосклон;
Но скоро гаснет луч зари…
Высоко месяц. Две иль три
Младые тучки окружат
Его сейчас… вот весь наряд,
Которым белое чело
Ему убрать позволено.
Кто не знавал таких ночей
В ущельях гор иль средь степей?
Однажды при такой луне
Я мчался на лихом коне,
В пространстве голубых долин,
Как ветер, волен и один;
Туманный месяц и меня,
И гриву, и хребет коня
Сребристым блеском осыпал;
Я чувствовал, как конь дышал,
Как он, ударивши ногой,
Отбрасываем был землей;
И я в чудесном забытьи
Движенья сковывал свои,
И с ним себя желал я слить,
Чтоб этим бег наш ускорить;
И долго так мой конь летел…
И вкруг себя я поглядел:
Все та же степь, все та ж луна:
Свой взор ко мне склонив, она,
Казалось, упрекала в том,
Что человек с своим конем
Хотел владычество степей
В ту ночь оспоривать у ней!

1832

* * *

Спеша на север из далека,
Из теплых и чужих сторон,
Тебе, Казбек, о страж востока,
Принес я, странник, свой поклон.

Чалмою белою от века
Твой лоб наморщенный увит,
И гордый ропот человека
Твой гордый мир не возмутит.

Но сердца тихого моленье
Да отнесут твои скалы
В надзвездный край, в твое владенье,
К престолу вечному Аллы.

Молю, да снидет день прохладный
На знойный дол и пыльный путь,
Чтоб мне в пустыне безотрадной
На камне в полдень отдохнуть.

Молю, чтоб буря не застала,
Гремя в наряде боевом,
В ущелье мрачного Дарьяла
Меня с измученным конем.

Но есть еще одно желанье!
Боюсь сказать! — душа дрожит!
Что если я со дня изгнанья
Совсем на родине забыт!

Найду ль там прежние объятья?
Старинный встречу ли привет?
Узнают ли друзья и братья
Страдальца, после многих лет?

Или среди могил холодных
Я наступлю на прах родной
Тех добрых, пылких, благородных,
Деливших молодость со мной?

О, если так! своей метелью,
Казбек, засыпь меня скорей
И прах бездомный по ущелью
Без сожаления развей.

1837

Кинжал

Люблю тебя, булатный мой кинжал,
Товарищ светлый и холодный.
Задумчивый грузин на месть тебя ковал,
На грозный бой точил черкес свободный.

Лилейная рука тебя мне поднесла
В знак памяти, в минуту расставанья,
И в первый раз не кровь вдоль по тебе текла,
Но светлая слеза — жемчужина страданья.

И черные глаза, остановясь на мне,
Исполненны таинственной печали,
Как сталь твоя при трепетном огне,
То вдруг тускнели, то сверкали.

Ты дан мне в спутники, любви залог немой,
И страннику в тебе пример не бесполезный;
Да, я не изменюсь и буду тверд душой,
Как ты, как ты, мой друг железный.

1837—1838

Поэт

Отделкой золотой блистает мой кинжал;
Клинок надежный, без порока;
Булат его хранит таинственный закал —
Наследье бранного востока.

Наезднику в горах служил он много лет,
Не зная платы за услугу;
Не по одной груди провел он страшный след
И не одну порвал кольчугу.

Забавы он делил послушнее раба,
Звенел в ответ речам обидным.
В те дни была б ему богатая резьба
Нарядом чуждым и постыдным.

Он взят за Тереком отважным казаком
На хладном трупе господина,
И долго он лежал заброшенный потом
В походной лавке армянина.

Теперь родных ножон, избитых на войне,
Лишен героя спутник бедный;
Игрушкой золотой он блещет на стене —
Увы, бесславный и безвредный!

Никто привычною, заботливой рукой
Его не чистит, не ласкает,
И надписи его, молясь перед зарей,
Никто с усердьем не читает...

В наш век изнеженный не так ли ты, поэт,
Свое утратил назначенье,
На злато променяв ту власть, которой свет
Внимал в немом благоговенье?

Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы;
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.

Твой стих, как божий дух, носился над толпой;
И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой,
Во дни торжеств и бед народных.

Но скучен нам простой и гордый твой язык, —
Нас тешат блестки и обманы;
Как ветхая краса, наш ветхий мир привык
Морщины прятать под румяны...

Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк!
Иль никогда, на голос мщенья,
Из золотых ножон не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?

1838

Дары Терека

Терек воет, дик и злобен,
Меж утесистых громад,
Буре плач его подобен,
Слезы брызгами летят.
Но, по степи разбегаясь,
Он лукавый принял вид
И, приветливо ласкаясь,
Морю Каспию журчит:

«Расступись, о старец-море,
Дай приют моей волне!
Погулял я на просторе,
Отдохнуть пора бы мне.
Я родился у Казбека,
Вскормлен грудью облаков,
С чуждой властью человека
Вечно спорить был готов.
Я, сынам твоим в забаву,
Разорил родной Дарьял
И валунов, им на славу,
Стадо целое пригнал».

Но, склонясь на мягкий берег,
Каспий стихнул, будто спит,
И опять, ласкаясь, Терек
Старцу на ухо журчит:

«Я привез тебе гостинец!
То гостинец не простой:
С поля битвы кабардинец,
Кабардинец удалой.
Он в кольчуге драгоценной,
В налокотниках стальных:
Из Корана стих священный
Писан золотом на них.
Он угрюмо сдвинул брови,
И усов его края
Обагрила знойной крови
Благородная струя;
Взор открытый, безответный,
Полон старою враждой;
По затылку чуб заветный
Вьется черною космой».

Но, склонясь на мягкий берег,
Каспий дремлет и молчит;
И, волнуясь, буйный Терек
Старцу снова говорит:

«Слушай, дядя: дар бесценный!
Что другие все дары?
Но его от всей вселенной
Я таил до сей поры.
Я примчу к тебе с волнами
Труп казачки молодой,
С темно-бледными плечами,
С светло-русою косой.
Грустен лик ее туманный,
Взор так тихо, сладко спит,
А на грудь из малой раны
Струйка алая бежит.
По красотке-молодице
Не тоскует над рекой
Лишь один во всей станице
Казачина гребенской.
Оседлал он вороного,
И в горах, в ночном бою,
На кинжал чеченца злого
Сложит голову свою».

Замолчал поток сердитый,
И над ним, как снег бела,
Голова с косой размытой,
Колыхаяся, всплыла.

И старик во блеске власти
Встал, могучий, как гроза,
И оделись влагой страсти
Темно-синие глаза.

Он взыграл, веселья полный —
И в объятия свои
Набегающие волны
Принял с ропотом любви.

1839

Памяти А.И. О<доевского>

1
Я знал его: мы странствовали с ним
В горах востока, и тоску изгнанья
Делили дружно; но к полям родным
Вернулся я, и время испытанья
Промчалося законной чередой;
А он не дождался минуты сладкой:
Под бедною походною палаткой
Болезнь его сразила, и с собой
В могилу он унес летучий рой
Еще незрелых, темных вдохновений,
Обманутых надежд и горьких сожалений!

2
Он был рожден для них, для тех надежд,
Поэзии и счастья… Но, безумный —
Из детских рано вырвался одежд
И сердце бросил в море жизни шумной,
И свет не пощадил — и Бог не спас!
Но до конца среди волнений трудных,
В толпе людской и средь пустынь безлюдных,
В нем тихий пламень чувства не угас:
Он сохранил и блеск лазурных глаз,
И звонкий детский смех, и речь живую,
И веру гордую в людей и жизнь иную.

3
Но он погиб далеко от друзей…
Мир сердцу твоему, мой милый Саша!
Покрытое землей чужих полей,
Пусть тихо спит оно, как дружба наша
В немом кладбище памяти моей!
Ты умер, как и многие, без шума,
Но с твердостью. Таинственная дума
Еще блуждала на челе твоем,
Когда глаза закрылись вечным сном;
И то, что ты сказал перед кончиной,
Из слушавших тебя не понял ни единый…

4
И было ль то привет стране родной,
Названье ли оставленного друга,
Или тоска по жизни молодой,
Иль просто крик последнего недуга,
Кто скажет нам?.. Твоих последних слов
Глубокое и горькое значенье
Потеряно… Дела твои, и мненья,
И думы, — все исчезло без следов,
Как легкий пар вечерних облаков:
Едва блеснут, их ветер вновь уносит —
Куда они? зачем? откуда? — кто их спросит…

5
И после их на небе нет следа,
Как от любви ребенка безнадежной,
Как от мечты, которой никогда
Он не вверял заботам дружбы нежной…
Что за нужда? Пускай забудет свет
Столь чуждое ему существованье:
Зачем тебе венцы его вниманья

И терния пустых его клевет?
Ты не служил ему. Ты с юных лет
Коварные его отвергнул цепи:
Любил ты моря шум, молчанье синей степи —

6
И мрачных гор зубчатые хребты…
И, вкруг твоей могилы неизвестной,
Все, чем при жизни радовался ты,
Судьба соединила так чудесно:
Немая степь синеет, и венцом
Серебряным Кавказ ее объемлет;
Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет,
Как великан, склонившись над щитом,
Рассказам волн кочующих внимая,
А море Черное шумит не умолкая.
1839

Казачья колыбельная песня

Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.
Тихо смотрит месяц ясный
В колыбель твою.
Стану сказывать я сказки,
Песенку спою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю.

По камням струится Терек,
Плещет мутный вал;
Злой чечен ползет на берег,
Точит свой кинжал;
Но отец твой старый воин,
Закален в бою:
Спи, малютка, будь спокоен,
Баюшки-баю.

Сам узнаешь, будет время,
Бранное житье;
Смело вденешь ногу в стремя
И возьмешь ружье.
Я седельце боевое
Шелком разошью…
Спи, дитя мое родное,
Баюшки-баю.

Богатырь ты будешь с виду
И казак душой.
Провожать тебя я выйду —
Ты махнешь рукой…
Сколько горьких слез украдкой
Я в ту ночь пролью!..
Спи, мой ангел, тихо, сладко,
Баюшки-баю.

Стану я тоской томиться,
Безутешно ждать;
Стану целый день молиться,
По ночам гадать;
Стану думать, что скучаешь
Ты в чужом краю…
Спи ж, пока забот не знаешь,
Баюшки-баю.

Дам тебе я на дорогу
Образок святой:
Ты его, моляся Богу,
Ставь перед собой;
Да готовясь в бой опасный,
Помни мать свою…
Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.
1840

Тучи

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники
С милого севера в сторону южную.

Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?

Нет, вам наскучили нивы бесплодные…
Чужды вам страсти и чужды страдания;
Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.
1840

Валерик

Я к вам пишу случайно; право,
Не знаю как и для чего.
Я потерял уж это право.
И что скажу вам? — ничего!
Что помню вас? — но, боже правый,
Вы это знаете давно;
И вам, конечно, все равно.

И знать вам также нету нужды,
Где я? что я? в какой глуши?
Душою мы друг другу чужды,
Да вряд ли есть родство души.
Страницы прошлого читая,
Их по порядку разбирая
Теперь остынувшим умом,
Разуверяюсь я во всем.
Смешно же сердцем лицемерить
Перед собою столько лет;
Добро б еще морочить свет!
Да и притом что пользы верить
Тому, чего уж больше нет?..
Безумно ждать любви заочной?
В наш век все чувства лишь на срок;
Но я вас помню — да и точно,
Я вас никак забыть не мог!

Во-первых потому, что много,
И долго, долго вас любил,
Потом страданьем и тревогой
За дни блаженства заплатил;
Потом в раскаянье бесплодном
Влачил я цепь тяжелых лет;
И размышлением холодным
Убил последний жизни цвет.
С людьми сближаясь осторожно,
Забыл я шум младых проказ,
Любовь, поэзию, — но вас
Забыть мне было невозможно.

И к мысли этой я привык,
Мой крест несу я без роптанья:
То иль другое наказанье?
Не все ль одно. Я жизнь постиг;
Судьбе, как турок иль татарин,
За все я ровно благодарен;
У бога счастья не прошу
И молча зло переношу.
Быть может, небеса востока
Меня с ученьем их пророка
Невольно сблизили. Притом
И жизнь всечасно кочевая,
Труды, заботы ночь и днем,
Все, размышлению мешая,
Приводит в первобытный вид
Больную душу: сердце спит,
Простора нет воображенью...
И нет работы голове...
Зато лежишь в густой траве,
И дремлешь под широкой тенью
Чинар иль виноградных лоз;
Кругом белеются палатки;
Казачьи тощие лошадки
Стоят рядком, повеся нос;
У медных пушек спит прислуга,
Едва дымятся фитили;
Попарно цепь стоит вдали;
Штыки горят под солнцем юга.
Вот разговор о старине
В палатке ближней слышен мне;
Как при Ермолове ходили
В Чечню, в Аварию, к горам;
Как там дрались, как мы их били,
Как доставалося и нам;
И вижу я неподалеку
У речки, следуя пророку,
Мирной татарин свой намаз
Творит, не подымая глаз;
А вот кружком сидят другие.
Люблю я цвет их желтых лиц,
Подобный цвету наговиц,
Их шапки, рукава худые,
Их темный и лукавый взор
И их гортанный разговор.
Чу — дальний выстрел! прожужжала
Шальная пуля... славный звук...
Вот крик — и снова все вокруг
Затихло... но жара уж спала,
Ведут коней на водопой,
Зашевелилася пехота;
Вот проскакал один, другой!
Шум, говор. Где вторая рота?
Что, вьючить? — что же капитан?
Повозки выдвигайте живо!
Савельич! Ой ли? — Дай огниво! —
Подъем ударил барабан —
Гудит музыка полковая;
Между колоннами въезжая,
Звенят орудья. Генерал
Вперед со свитой поскакал...
Рассыпались в широком поле,
Как пчелы, с гиком казаки;
Уж показалися значки
Там на опушке — два, и боле.
А вот в чалме один мюрид
В черкеске красной ездит важно,
Конь светло-серый весь кипит,
Он машет, кличет — где отважный?
Кто выдет с ним на смертный бой!..
Сейчас, смотрите: в шапке черной
Казак пустился гребенской;
Винтовку выхватил проворно,
Уж близко... выстрел... легкий дым...
Эй вы, станичники, за ним...
Что? ранен!. — Ничего! безделка...
И завязалась перестрелка...

Но в этих сшибках удалых
Забавы много, толку мало;
Прохладным вечером, бывало,
Мы любовалися на них,
Без кровожадного волненья,
Как на трагический балет;
Зато видал я представленья,
Каких у вас на сцене нет....

Раз — это было под Гихами,
Мы проходили темный лес;
Огнем дыша, пылал над нами
Лазурно-яркий свод небес.
Нам был обещан бой жестокий.
Из гор Ичкерии далекой
Уже в Чечню на братний зов
Толпы стекались удальцов.
Над допотопными лесами
Мелькали маяки кругом;
И дым их то вился столпом,
То расстилался облаками;
И оживилися леса;
Скликались дико голоса
Под их зелеными шатрами.
Едва лишь выбрался обоз
В поляну, дело началось;
Чу! в арьергард орудья просят;
Вот ружья из кустов выносят,
Вот тащат за ноги людей
И кличут громко лекарей;
А вот и слева, из опушки,
Вдруг с гиком кинулись на пушки;
И градом пуль с вершин дерев
Отряд осыпан. Впереди же
Все тихо — там между кустов
Бежал поток. Подходим ближе.

Пустили несколько гранат;
Еще подвинулись; молчат;
Но вот над бревнами завала
Ружье как будто заблистало;
Потом мелькнуло шапки две;
И вновь все спряталось в траве.
То было грозное молчанье,
Не долго длилося оно,
Но в этом странном ожиданье
Забилось сердце не одно.
Вдруг залп... глядим: лежат рядами.
Что нужды? здешние полки
Народ испытанный... В штыки,
Дружнее! раздалось за нами.
Кровь загорелася в груди!
Все офицеры впереди...
Верхом помчался на завалы
Кто не успел спрыгнуть с коня...
Ура — и смолкло. — Вон кинжалы,
В приклады! — и пошла резня.
И два часа в струях потока
Бой длился. Резались жестоко,
Как звери, молча, с грудью грудь,
Ручей телами запрудили.
Хотел воды я зачерпнуть...
(И зной и битва утомили
Меня), но мутная волна
Была тепла, была красна.

На берегу, под тенью дуба,
Пройдя завалов первый ряд,
Стоял кружок. Один солдат
Был на коленах; мрачно, грубо
Казалось выраженье лиц,
Но слезы капали с ресниц,
Покрытых пылью... на шинели,
Спиною к дереву, лежал
Их капитан. Он умирал;
В груди его едва чернели
Две ранки; кровь его чуть-чуть
Сочилась. Но высоко грудь
И трудно подымалась, взоры
Бродили страшно, он шептал...
«Спасите, братцы. — Тащат в горы.
Постойте — ранен генерал...
Не слышат...» Долго он стонал,
Но все слабей и понемногу
Затих и душу отдал богу;
На ружья опершись, кругом
Стояли усачи седые...
И тихо плакали... потом
Его остатки боевые
Накрыли бережно плащом
И понесли. Тоской томимый,
Им вслед смотрел я недвижимый.
Меж тем товарищей, друзей
Со вздохом возле называли;
Но не нашел в душе моей
Я сожаленья, ни печали.
Уже затихло все; тела
Стащили в кучу; кровь текла
Струею дымной по каменьям,
Ее тяжелым испареньем
Был полон воздух. Генерал
Сидел в тени на барабане
И донесенья принимал.
Окрестный лес, как бы в тумане,
Синел в дыму пороховом.
А там вдали грядой нестройной,
Но вечно гордой и спокойной,
Тянулись горы — и Казбек
Сверкал главой остроконечной.
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?
Галуб прервал мое мечтанье,
Ударив по плечу; он был
Кунак мой: я его спросил,
Как месту этому названье?
Он отвечал мне: *Валерик*,
А перевесть на ваш язык,
Так будет речка смерти: верно,
Дано старинными людьми.
— А сколько их дралось примерно
Сегодня? — Тысяч до семи.
— А много горцы потеряли?
— Как знать? — зачем вы не считали!
«Да! будет, кто-то тут сказал,
Им в память этот день кровавый!»
Чеченец посмотрел лукаво
И головою покачал.

Но я боюся вам наскучить,
В забавах света вам смешны
Тревоги дикие войны;
Свой ум вы не привыкли мучить
Тяжелой думой о конце;
На вашем молодом лице
Следов заботы и печали
Не отыскать, и вы едва ли
Вблизи когда-нибудь видали,
Как умирают. Дай вам бог
И не видать: иных тревог
Довольно есть. В самозабвенье
Не лучше ль кончить жизни путь?
И беспробудным сном заснуть
С мечтой о близком пробужденье?

Теперь прощайте: если вас
Мой безыскусственный рассказ
Развеселит, займет хоть малость,
Я буду счастлив. А не так? —
Простите мне его как шалость
И тихо молвите: чудак!..

1840

* * *

Тебе, Кавказ, суровый царь земли,
Я посвящаю снова стих небрежный.
Как сына ты его благослови
И осени вершиной белоснежной;

От юных лет к тебе мечты мои
Прикованы судьбою неизбежной,
На севере, в стране тебе чужой,
Я сердцем твой — всегда и всюду твой.

Еще ребенком, робкими шагами
Взбирался я на гордые скалы,
Увитые туманными чалмами,
Как головы поклонников Аллы.
Там ветер машет вольными крылами,
Там ночевать слетаются орлы,
Я в гости к ним летал мечтой послушной
И сердцем был — товарищ их воздушный.

С тех пор прошло тяжелых много лет.
И вновь меня меж скал своих ты встретил.
Как некогда ребенку, твой привет
Изгнаннику был радостен и светел.
Он пролил в грудь мою забвенье бед,
И дружно я на дружний зов ответил;
И ныне здесь, в полуночном краю,
Всё о тебе мечтаю и пою.

<I>. <1840>

* * *

Тебе, Кавказ, суровый царь земли,
Я снова посвящаю стих небрежный.
Как сына ты его благослови
И осени вершиной белоснежной.
Еще ребенком, чуждый и любви
И дум честолюбивых, я беспечно
Бродил в твоих ущельях, грозный, вечный,
Угрюмый великан, меня носил
Ты бережно, как пестун, юных сил
Хранитель верный — [и мечтою
Я страстно обнимал тебя порою].

И мысль моя, свободна и легка,
Бродила по утесам, где, блистая
Лучом зари, сбирались облака,
Туманные вершины омрачая,
Косматые, как перья шишака;
А вдалеке, как вечные ступени
С земли на небо, в край моих видений,
Зубчатою тянулись полосой,
Таинственней, синей одна другой,
Всё горы, чуть приметные для глаза,
Сыны и братья грозного Кавказа.

<II>. <1840>

* * *

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые*,
И ты, им преданный народ.

Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

1841

Спор

Как-то раз перед толпою
Соплеменных гор
У Казбека с Шат-горою[1]
Был великий спор.
«Берегись! — сказал Казбеку
Седовласый Шат, —
Покорился человеку
Ты недаром, брат!
Он настроит дымных келий
По уступам гор;
В глубине твоих ущелий
Загремит топор;
И железная лопата
В каменную грудь,
Добывая медь и злато,
Врежет страшный путь.
Уж проходят караваны
Через те скалы,
Где носились лишь туманы
Да цари-орлы.
Люди хитры! Хоть и труден
Первый был скачок,
Берегися! многолюден
И могуч Восток!»
— Не боюся я Востока! —
Отвечал Казбек, —
Род людской там спит глубоко
Уж девятый век.
Посмотри: в тени чинары
Пену сладких вин
На узорные шальвары
Сонный льет грузин;
И склонясь в дыму кальяна
На цветной диван,
У жемчужного фонтана
Дремлет Тегеран.
Вот — у ног Ерусалима,
Богом сожжена,
Безглагольна, недвижима
Мертвая страна;
Дальше, вечно чуждый тени,
Моет желтый Нил
Раскаленные ступени
Царственных могил.
Бедуин забыл наезды
Для цветных шатров
И поет, считая звезды,
Про дела отцов.
Все, что здесь доступно оку,
Спит, покой ценя…
Нет! не дряхлому Востоку
Покорить меня! —

«Не хвались еще заране! —
Молвил старый Шат, —
Вот на севере в тумане
Что-то видно, брат!»

[1] Шат — Елбрус. (*Примечание Лермонтова.*)

Тайно был Казбек огромный
Вестью той смущен;
И, смутясь, на север темный
Взоры кинул он;
И туда в недоуменье
Смотрит, полный дум:
Видит странное движенье,
Слышит звон и шум.
От Урала до Дуная,
До большой реки,
Колыхаясь и сверкая,
Движутся полки;
Веют белые султаны,
Как степной ковыль;
Мчатся пестрые уланы,
Подымая пыль;
Боевые батальоны
Тесно в ряд идут,
Впереди несут знамены,
В барабаны бьют;
Батареи медным строем
Скачут и гремят,
И, дымясь, как перед боем,
Фитили горят.
И испытанный трудами
Бури боевой,
Их ведет, грозя очами,
Генерал седой*.
Идут все полки могучи,
Шумны, как поток,
Страшно-медленны, как тучи,
Прямо на восток.

И томим зловещей думой,
Полный черных снов,
Стал считать Казбек угрюмый —
И не счел врагов.
Грустным взором он окинул
Племя гор своих,
Шапку[1] на брови надвинул
И навек затих.

1841

Тамара

В глубокой теснине Дарьяла,
Где роется Терек во мгле,
Старинная башня стояла,
Чернея на черной скале.

В той башне высокой и тесной
Царица Тамара жила:
Прекрасна, как ангел небесный,
Как демон, коварна и зла.

И там сквозь туман полуночи
Блистал огонек золотой,
Кидался он путнику в очи,
Манил он на отдых ночной.

И слышался голос Тамары:
Он весь был желанье и страсть,
В нем были всесильные чары,
Была непонятная власть.

На голос невидимой пери
Шел воин, купец и пастух;
Пред ним отворялися двери,
Встречал его мрачный евнух.

На мягкой пуховой постели,
В парчу и жемчуг убрана,
Ждала она гостя. Шипели
Пред нею два кубка вина.

Сплетались горячие руки,
Уста прилипали к устам,
И странные, дикие звуки
Всю ночь раздавалися там.

Как будто в ту башню пустую
Сто юношей пылких и жен
Сошлися на свадьбу ночную,
На тризну больших похорон.

Но только что утра сиянье
Кидало свой луч по горам,
Мгновенно и мрак и молчанье
Опять воцарялися там.

Лишь Терек в теснине Дарьяла
Гремя нарушал тишину;
Волна на волну набегала,
Волна погоняла волну;

И с плачем безгласное тело
Спешили они унести;
В окне тогда что-то белело,
Звучало оттуда: прости.

И было так нежно прощанье,
Так сладко тот голос звучал,
Как будто восторги свиданья
И ласки любви обещал.

1841

Листок

Дубовый листок оторвался от ветки родимой
И в степь укатился, жестокою бурей гонимый;
Засох и увял он от холода, зноя и горя
И вот наконец докатился до Черного моря.

У Черного моря чинара стоит молодая;
С ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская;
На ветвях зеленых качаются райские птицы;
Поют они песни про славу морской царь-девицы.

[1] Горцы называют шапкою облака, постоянно лежащие на вершине Казбека. (*Примечание Лермонтова.*)

И странник прижался у корня чинары высокой;
Приюта на время он молит с тоскою глубокой
И так говорит он: «Я бедный листочек дубовый,
До срока созрел я и вырос в отчизне суровой.

Один и без цели по свету ношуся давно я,
Засох я без тени, увял я без сна и покоя.
Прими же пришельца меж листьев своих изумрудных,
Немало я знаю рассказов мудреных и чудных».

На что мне тебя? — отвечает младая чинара,
Ты пылен и желт, — и сынам моим свежим не пара.
Ты много видал — да к чему мне твои небылицы?
Мой слух утомили давно уж и райские птицы.

Иди себе дальше; о странник! тебя я не знаю!
Я солнцем любима, цвету для него и блистаю;
По небу я ветви раскинула здесь на просторе,
И корни мои умывает холодное море.

1841

Свиданье

1

Уж за горой дремучею
Погас вечерний луч,
Едва струей гремучею
Сверкает жаркий ключ;
Сады благоуханием
Наполнились живым,
Тифлис объят молчанием,
В ущелье мгла и дым.
Летают сны-мучители
Над грешными людьми,
И ангелы-хранители
Беседуют с детьми.

2

Там за твердыней старою
На сумрачной горе
Под свежею чинарою
Лежу я на ковре.
Лежу один и думаю:
Ужели не во сне
Свиданье в ночь угрюмую
Назначила ты мне?
И в этот час таинственный,
Но сладкий для любви,
Тебя, мой друг единственный,
Зовут мечты мои.

3

Внизу огни дозорные
Лишь на мосту горят,
И колокольни черные,
Как сторожи стоят;
И поступью несмелою
Из бань со всех сторон
Выходят цепью белою
Четы грузинских жен;
Вот улицей пустынною
Бредут, едва скользя…
Но под чадрою длинною
Тебя узнать нельзя!..

4

Твой домик с крышей гладкою
Мне виден вдалеке;
Крыльцо с ступенью шаткою
Купается в реке;
Среди прохлады, веющей
Над синею *Курой*,
Он сетью зеленеющей
Опутан плющевой;
За тополью высокою
Я вижу там окно….
Но свечкой одинокою
Не светится оно!

5

Я жду. В недоумении
Напрасно бродит взор:
Кинжалом в нетерпении
Изрезал я ковер;
Я жду с тоской бесплодною,
Мне грустно, тяжело….
Вот сыростью холодною
С востока понесло,
Краснеют за туманами
Седых вершин зубцы,
Выходят с караванами
Из города купцы…

6

Прочь, прочь, слеза позорная,
Кипи, душа моя!
Твоя измена черная
Понятна мне, змея!
Я знаю, чем утешенный
По звонкой мостовой
Вчера скакал, как бешеный,
Татарин молодой.
Не даром он красуется
Перед твоим окном,
И твой отец любуется
Персидским жеребцом.

7

Возьму винтовку длинную,
Пойду я из ворот:
Там под скалой пустынною
Есть узкий поворот.
До полдня за могильною
Часовней подожду
И на дорогу пыльную
Винтовку наведу.
Напрасно грудь колышется!
Я лег между камней;
Чу! близкий топот слышится…
А! это ты, злодей!

1841

* * *

1

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

2

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом…
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чем?

3

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

4

Но не тем холодным сном могилы…
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;

5

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб вечно зеленея
Темный дуб склонялся и шумел.

1841

Сон

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.

Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснилися кругом,
И солнце жгло их желтые вершины
И жгло меня — но спал я мертвым сном.

И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне.
Меж юных жен, увенчанных цветами,
Шел разговор веселый обо мне.

Но в разговор веселый не вступая,
Сидела там задумчиво одна,
И в грустный сон душа ее младая
Бог знает чем была погружена;

И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той;
В его груди дымясь чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струей.

1841

* * *

Синие горы Кавказа, приветствую вас! вы взлелеяли детство мое; вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю об вас да о небе. Престолы природы, с которых как дым улетают громовые тучи, кто раз лишь на ваших вершинах творцу помолился, тот жизнь презирает, хотя в то мгновенье гордился он ею!..

Часто во время зари я глядел на снега и далекие льдины утесов; они так сияли в лучах восходящего солнца, и в розовый блеск одеваясь, они, между тем как внизу все темно, возвещали прохожему утро. И розовый цвет их подобился цвету стыда: как будто девицы, когда вдруг увидят мужчину купаясь, в таком уж смущенье, что белой одежды накинуть на грудь не успеют.

Как я любил твои бури, Кавказ! те пустынные громкие бури, которым пещеры, как стражи ночей отвечают!.. На гладком холме одинокое дерево, ветром, дождями нагнутое, иль виноградник, шумящий в ущелье, и путь неизвестный над пропастью, где, покрываяся пеной, бежит безымянная речка, и выстрел нежданный, и страх после выстрела: враг ли коварный иль просто охотник… все, все в этом крае прекрасно.

* * *

Воздух там чист, как молитва ребенка. И люди как вольные птицы, живут беззаботно; война их стихия; и в смуглых чертах их душа говорит, в дымной сакле, землей иль сухим тростником покровенной, таятся их жены и девы и чистят оружье, и шьют серебром — в тишине увядая душою — желающей, южной, с цепями судьбы не знакомой.

1832

ПОЭМЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ КАВКАЗУ

Черкесы

I

Уж в горах солнце исчезает,
В долинах всюду мертвый сон,
Заря блистая угасает,
Вдали гудит протяжный звон,
Покрыто мглой туманно поле,
Зарница блещет в небесах,
В долинах стад не видно боле,
Лишь серны скачут на холмах.
И серый волк бежит чрез горы;
Его свирепо блещут взоры.
В тени развесистых дубов
Влезает он в свою берлогу.
За ним бежит через дорогу
С ружьем охотник, пара псов
На сворах рвутся с нетерпенья;
Все тихо; и в глуши лесов
Не слышно жалобного пенья
Пустынной иволги; лишь там
Весенний ветерок играет,
Перелетая по кустам;
В глуши кукушка занывает;
И на дупле, как тень, сидит
Полночный ворон и кричит.
Меж диких скал крутит, сверкает
Подале Терек за горой;
Высокий берег подмывает,
Крутяся, пеною седой.

II

Одето небо черной мглою,
В тумане месяц чуть блестит;
Лишь на сухих скалах травою
Полночный ветер шевелит.
На холмах маяки блистают;
Там стражи русские стоят;
Их копья острые блестят;
Друг друга громко окликают:
«Не спи, казак, во тьме ночной;
Чеченцы ходят за рекой!»
Но вот они стрелу пускают,
Взвилась! и падает казак
С окровавленного кургана;
В очах его смертельный мрак:
Ему не зреть родного Дона,
Ни милых сердцу, ни семью:
Он жизнь окончил здесь свою.

III

В густом лесу видна поляна,
Чуть освещенная луной,
Мелькают, будто из тумана,
Огни на крепости большой.
Вдруг слышен шорох за кустами,
Въезжают несколько людей;
Обкинув все кругом очами,
Они слезают с лошадей.
На каждом шашка, за плечами
Ружье заряжено висит,
Два пистолета, борзы кони;
По бурке на седле лежит.
Огонь черкесы зажигают,
И все садятся тут кругом;
Привязанные к деревам
В лесу кони траву щипают,
Клубится дым, огонь трещит,
Кругом поляна вся блестит.

IV

Один черкес одет в кольчугу,
Из серебра его наряд,
Уздени вкруг него сидят*;
Другие ж все лежат по лугу.
Иные чистят шашки остры,
Иль навостряют стрелы быстры.
Кругом все тихо, все молчит.
Восстал вдруг князь и говорит:
«Черкесы, мой народ военный,
Готовы будьте всякий час,
На жертву смерти — смерти славной
Не всяк достоин здесь из вас.
Взгляните: в крепости высокой
В цепях, в тюрьме, мой брат сидит,
В печали, в скорби, одинокой,
Его спасу, иль мне не жить.

V

Вчера я спал под хладной мглой,
И вдруг увидел будто брата,
Что он стоял передо мной —
И мне сказал: «Минуты трата,
И я погиб, — спаси меня»;
Но призрак легкий вдруг сокрылся;
С сырой земли поднялся я;
Его спасти я устремился;
И вот ищу и ночь и день;
И призрак легкий не являлся
С тех пор, как брата бледна тень
Меня звала, и я старался
Его избавить от оков;
И я на смерть всегда готов!
Теперь, клянуся Магометом,
Клянусь, клянуся целым светом!..
Настал неизбежимый час,
Для русских смерть или мученье
Иль мне взглянуть в последний раз
На ярко солнце восхожденье».
Умолкнул князь. И все трикратно
Повторили его слова:
«Погибнуть русским невозвратно,
Иль с тела свалится глава».

VI

Восток алея пламенеет,
И день заботливый светлеет.
Уже в селах кричит петух;
Уж месяц в облаке потух.

Денница, тихо поднимаясь,
Златит холмы и тихий бор;
И юный луч, со тьмой сражаясь,
Вдруг показался из-за гор.
Колосья в поле под серпами
Ложатся желтыми рядами.
Все утром дышит, ветерок
Играет в Тереке на волнах,
Вздымает зыблемый песок.
Свод неба синий тих и чист;
Прохлада с речки повевает,
Прелестный запах юный лист
С весенней свежестью сливает.
Везде, кругом сгустился лес,
Повсюду тихое молчанье;
Струей, сквозь темный свод древес
Прокравшись, дневное сиянье
Верхи и корни золотит.
Лишь ветра тихим дуновеньем
Сорван листок летит, блестит,
Смущая тишину паденьем.

Но вот приметя свет дневной,
Черкесы на коней садятся,
Быстрее стрел по лесу мчатся,
Как пчел неутомимый рой,
Сокрылися в тени густой.

VII

О, если б ты, прекрасный день,
Гнал так же горесть, страх, смятенья,
Как гонишь ты ночную тень
И снов обманчивых виденья!
Заутрень в граде дальний звон
По роще ветром разнесен;
И на горе стоит высокой
Прекрасный град, там слышен громкой
Стук барабанов, и войска,
Закинув ружья на плеча,
Стоят на площади. И в параде
Народ весь в праздничном наряде
Идет из церкви. Стук карет,
Колясок, дрожек раздается;
На небе стая галок вьется;
Всяк в дом свой завтракать идет;
Там тихо ставни растворяют;
Там по улице гуляют
Иль идут войско посмотреть
В большую крепость. — Но чернеть
Уж стали тучи за горами,
И только яркими лучами
Блистало солнце с высоты;
И ветр бежал через кусты.

VIII

Уж войско хочет расходиться
В большую крепость на горе;
Но топот слышен в тишине.
Вдали густая пыль клубится.
И видят: кто-то на коне
С оглядкой боязливой мчится.
Но вот он здесь уж, вот слезает;
К начальнику он подбегает
И говорит: «Погибель нам!
Вели готовиться войскам;
Черкесы мчатся за горами,
Нас было двое, и за нами
Они пустились на конях.
Меня объял внезапный страх;
Насилу я от них умчался;
Да конь хорош, а то б попался».

IX

Начальник всем полкам велел
Сбираться к бою, зазвенел
Набатный колокол; толпятся,
Мятутся, строятся, делятся;
Вороты крепости сперлись.
Иные вихрем понеслись
Остановить черкесску силу
Иль с славою вкусить могилу.
И видно зарево кругом;
Черкесы поле покрывают;
Ряды, как львы, перебегают;
Со звоном сшибся меч с мечом;
И разом храброго не стало.
Ядро во мраке прожужжало,
И целый ряд бесстрашных пал;
Но все смешались в дыме черном.
Здесь бурный конь с копьем вонзенным,
Вскочивши на дыбы, заржал;
Сквозь русские ряды несется;
Упал на землю, сильно рвется,
Покрывши всадника собой,
Повсюду слышен стон и вой.

X

Пушек гром везде грохочет;
А здесь изрубленный герой
Воззвать к дружине верной хочет;
И голос замер на устах.
Другой бежит на поле ратном;
Бежит, глотая пыль и прах;
Трикрат сверкнул мечом булатным,
И в воздухе недвижим меч;
Звеня, падет кольчуга с плеч;
Копье рамена прободает,
И хлещет кровь из них рекой.
Несчастный раны зажимает
Холодной, трепетной рукой.
Еще ружье свое он ищет;
Повсюду стук, и пули свищут;
Повсюду, слышен пушек вой;
Повсюду смерть и ужас мещет
В горах, и в долах, и в лесах;
Во граде жители трепещут;
И гул несется в небесах.
Иный черкеса поражает;
Бесплодно меч его сверкает.
Махнул еще; его рука,
Подъята вверх, окостенела.
Бежать хотел. Его нога
Дрожит недвижима, замлела;
Встает и пал. Но вот несется
На лошади черкес лихой
Сквозь ряд штыков; он сильно рвется

И держит меч над головой;
Он с казаком вступает в бой;
Их сабли остры ярко блещут;
Уж лук звенит, стрела трепещет;
Удар несется роковой.
Стрела блестит, свистит, мелькает,
И вмиг казака убивает.
Но вдруг толпою окружен,
Копьями острыми пронзен.
Князь сам от раны издыхает;
Падет с коня — и все бегут,
И бранно поле оставляют.
Лишь ядры русские ревут
Над их, ужасно, головой.
Помалу тихнет шумный бой.
Лишь под горами пыль клубится.
Черкесы побежденны мчатся,
Преследоваемы толпой
Сынов неустрашимых Дона,
Которых Рейн, Лоар и Рона
Видали на своих брегах,
Несут за ними смерть и страх.

XI

Утихло все: лишь изредка
Услышишь выстрел за горою;
Редко видно казака,
Несущегося прямо к бою,
И в стане русском уж покой.
Спасен и град, и над рекой
Маяк блестит, и сторож бродит;
В окружность быстрым оком смотрит;
И на плече ружье несет.
Лишь только слышно: *кто идет*,
Лишь громко *слушай* раздается;
Лишь только редко пронесется
Лихой казак чрез русский стан.
Лишь редко крикнет черный вран
Голодный, трупы пожирая;
Лишь изредка мелькнет, блистая,
Огонь в палатке у солдат.
И редко чуть блеснет булат,
Заржавый от крови в сраженье,
Иль крикнет вдруг в уединенье
Близ стана русский часовой;
Везде господствует покой.

1828

Кавказский пленник

Часть первая

Genieße und leide! Наслаждайся и страдай!
Dulde und entbehre! Терпи и довольствуйся!
Liebe, hoff' und glaube! Люби, надейся и верь!
Conz. *Конц.*

I

В большом ауле, под горою,
Близ саклей дымных и простых,
Черкесы позднею порою
Сидят — о конях удалых
Заводят речь, о метких стрелах,
О разоренных ими селах;
И с ними как дрался казак,
И как на русских нападали,
Как их пленили, побеждали.
Курят беспечно свой табак,
И дым, виясь, летит над ними,
Иль, стукнув шашками своими,
Песнь горцев громко запоют.

Иные на коней садятся,
Но перед тем как расставаться,
Друг другу руку подают.

II

Меж тем черкешенки младые
Взбегают на горы крутые
И в темну даль глядят — но пыль
Лежит спокойно по дороге;
И не шелохнется ковыль,
Не слышно шума, ни тревоги.

Там Терек издали кружит,
Меж скал пустынных протекает
И пеной зыбкой орошает
Высокий берег; лес молчит;
Лишь изредка олень пугливый
Через пустыню пробежит;
Или коней табун игривый
Молчанье дола возмутит.

III

Лежал ковер цветов узорный
По той горе и по холмам;
Внизу сверкал поток нагорный
И тек струисто по кремням…
Черкешенки к нему сбежались,
Водою чистой умывались.
Со смехом младости простым
На дно прозрачное иные
Бросали кольца дорогие;
И к волосам своим густым
Цветы весенние вплетали;
Гляделися в зерцало вод,
И лица их в нем трепетали.
Сплетаясь в тихий хоровод,
Восточны песни напевали;
И близ аула под горой
Сидели резвою толпой;
И звуки песни произвольной
Ущелья вторили невольно.

IV

Последний солнца луч златой
На льдах сребристых догорает,
И Эльборус своей главой
Его, как туча, закрывает.
……
Уж раздалось мычанье стад
И ржанье табунов веселых;
Они с полей идут назад…

Но что за звук цепей тяжелых?
Зачем печаль сих пастухов?
Увы! то пленники младые,
Утратив годы золотые,
В пустыне гор, в глуши лесов,
Близ Терека пасут уныло
Черкесов тучные стада,
Воспоминая то, что было,
И что не будет никогда!
Как счастье тщетно их ласкало,
Как оставляло наконец
И как оно мечтою стало!..
И нет к ним жалостных сердец!
Они в цепях, они рабами!
Сливалось все, как в мутном сне,
Души не чувствуя, оне
Уж видят гроб перед очами.
Несчастные! в чужом краю!
Исчезли сердца упованья;
В одних слезах, в одном страданье
Отраду зрят они свою.

V

Надежды нет им возвратиться;
Но сердце поневоле мчится
В родимый край. — Они душой
Тонули в думе роковой.
.....
Но пыль взвивалась над холмами
От стад и борзых табунов;
Они усталыми шагами
Идут домой. — Лай верных псов
Не раздавался вкруг аула;
Природа шумная уснула;
Лишь слышен дев издалека
Напев унылый. — Вторят горы,
И нежен он, как птичек хоры,
Как шум приветный ручейка:

Песня

1

Как сильной грозою
Сосну вдруг согнет;
Пронзенный стрелою,
Как лев заревет;
Так русский средь бою
Пред нашим падет;
И смелой рукою
Чеченец возьмет
Броню золотую
И саблю стальную
И в горы уйдет.

2

Ни конь, оживленный
Военной трубой,
Ни варвар, смятенный
Внезапной борьбой,
Страшней не трепещет,
Когда вдруг заблещет
Кинжал роковой.

Внимали пленники уныло
Печальной песни сей для них,
И сердце в грусти страшно ныло...
Ведут черкесы к сакле их;
И, привязавши у забора,
Ушли. — Меж них огонь трещит;
Но не смыкает сон их взора,
Не могут горесть дня забыть.

VI

Льет месяц томное сиянье.
Черкесы храбрые не спят;
У них шумливое собранье:
На русских нападать хотят.
Вокруг оседланные кони;
Серебряные блещут брони;
На каждом лук, кинжал, колчан
И шашка на ремнях наборных,
Два пистолета и аркан,
Ружье; и в бурках, в шапках черных
К набегу стар и млад готов,
И слышен топот табунов.
Вдруг пыль взвилася над горами.
И слышен стук издалека;
Черкесы смотрят: меж кустами
Гирея видно, ездока!

VII

Он понуждал рукой могучей
Коня, приталкивал ногой,
И влек за ним аркан летучий
Младого пленника собой.
Гирей приближился — веревкой
Был связан русский, чуть живой.
Черкес спрыгнул, — рукою ловкой
Разрезывал канат; — но он
Лежал на камне — смертный сон
Летал над юной головою...
.....
Черкесы скачут уж — как раз
Сокрылись за горой крутою;
Уроком бьет полночный час.

VIII

От смерти лишь из сожаленья
Младого русского спасли;
Его к товарищам снесли.
Забывши про свои мученья,
Они, не отступая прочь,
Сидели близ него всю ночь...
.....
И бледный лик, в крови омытый,
Горел в щеках — он чуть дышал,
И смертным холодом облитый,
Протягшись, на траве лежал.

IX

Уж полдень, прямо над аулом,
На светло-синей высоте.
Сиял в обычной красоте.
Сливалися с протяжным гулом
Стадов черкесских — по холмам

Дыханье ветерков проворных,
И ропот ручейков нагорных,
И пенье птичек по кустам.
Хребта Кавказского вершины
Пронзали синеву небес,
И оперял дремучий лес
Его зубчатые стремнины.
Обложен степенями гор,
Расцвел узорчатый ковер;
Там под столетними дубами,
В тени, окованный цепями,
Лежал наш пленник на траве.
В слезах склонясь к младой главе,
Товарищи его несчастья
Водой старались оживить
(Но ах! утраченного счастья
Никто не мог уж возвратить).
.....
Вот он, вздохнувши, приподнялся,
И взор его уж открывался!
Вот он взглянул!.. затрепетал.
...Он с незабытыми друзьями! —
Он, вспыхнув, загремел цепями...
Ужасный звук все, все сказал!!.

Несчастный залился слезами,
На грудь к товарищам упал,
И горько плакал и рыдал.

X

Счастлив еще: его мученья
Друзья готовы разделять
И вместе плакать и страдать...
Но кто сего уж утешенья
Лишен в сей жизни слез и бед,
Кто в цвете юных пылких лет
Лишен того, чем сердце льстило,
Чем счастье издали манило...
И если годы унесли
Пору цветов искать как прежде
Минутной радости в надежде, —
Пусть не живет тот на земли.

XI

Так пленник мой с родной страною
Почти навек прости сказал!
Терзался прошлою мечтою,
Ее места воспоминал:
Где он провел златую младость,
Где испытал и жизни сладость,
Где много милого любил,
Где знал веселье и страданья,
Где он, несчастный, погубил
Святые сердца упованья...
.....

XII

Он слышал слово «*навсегда*!»
И обреченный тяжкой долей,
Почти дружился он с неволей.
С товарищами иногда
Он пас черкесские стада.
Глядел он с ними, как лавины
Катятся с гор и как шумят;
Как лавой снежною блестят,
Как ими кроются долины;
Хотя цепями скован был,
Но часто к Тереку ходил.
И слушал он, как волны воют,
Подошвы скал угрюмых роют,
Текут средь дебрей и лесов...
Смотрел, как в высоте холмов
Блестят огни сторожевые;
И как вокруг них казаки
Глядят на мутный ток реки
Склонясь на копья боевые. —
Ах! как желал бы там он быть;
Но цепь мешала переплыть.

XIII

Когда же полдень над главою
Горел в лучах, то пленник мой
Сидел в пещере, где от зною
Он мог сокрыться. Под горой
Ходили табуны. — Лежали
В тени другие пастухи
В кустах, в траве и близ реки,
В которой жажду утоляли...
И там-то пленник мой глядит:
Как иногда орел летит,
По ветру крылья простирает,
И видя жертвы меж кустов,
Когтьми хватает вдруг — и вновь
Их с криком кверху поднимает...
Так! думал он, я жертва та,
Котора в пищу им взята.

XIV

Смотрел он также, как кустами,
Иль синей степью, по горам,
Сайгаки, с быстрыми ногами*,
По камням острым, по кремням
Летят, стремнины презирая...
Иль как олень и лань младая,
Услыша пенье птиц в кустах,
Со скал не шевелясь внимают —
И вдруг внезапно исчезают,
Взвивая вверх песок и прах.

XV

Смотрел, как горцы мчатся к бою
Иль скачут смело над рекою;
Остановились, — лошадей
Толкают смелою ногою...
И вдруг, припав к луке своей,
Близ берегов они мелькают,
Стремят — и, снова поскакав,
С утеса падают стремглав
И...
...шумно в брызгах исчезают —
Потом плывут и достигают
Уже противных берегов,
Они уж там, и в тьме лесов
Себя от казаков скрывают...

Куда глядите, казаки?
Смотрите, волны у реки
Седою пеной забелели!
Смотрите, враны на дубах
Вострепенулись, улетели,
Сокрылись с криком на холмах!
Черкесы путника арканом
В свои ущелья завлекут…
И, скрытые ночным туманом,
Оковы смерть вам нанесут.

XVI

И часто, отгоняя сон,
В глухую полночь смотрит он,
Как иногда черкес чрез Терек
Плывет на верном тулуке*,
Бушуют волны на реке,
В тумане виден дальний берег,
На пне пред ним висят кругом
Его оружия стальные:
Колчан, лук, стрелы боевые;
И шашка острая, ремнем
Привязана, звенит на нем,
Как точка, в волнах он мелькает,
То виден вдруг, то исчезает…
Вот он причалил к берегам.
Беда беспечным казакам!
Не зреть уж им родного Дона,
Не слышать колоколов звона!
Уже чеченец под горой,
Железная кольчуга блещет;
Уж лук звенит, стрела трепещет,
Удар несется роковой!..
Казак! казак! увы, несчастный!
Зачем злодей тебя убил?
Зачем же твой свинец опасный
Его так быстро не сразил?..

XVII

Так пленник бедный мой уныло,
Хоть сам под бременем оков,
Смотрел на гибель казаков.
Когда ж полночное светило
Восходит, близ забора он
Лежит в ауле — тихий сон
Лишь редко очи закрывает.
С товарищами — вспоминает
О милой той родной стране;
Грустит; но больше чем оне…
Оставив там залог прелестный,
Свободу, счастье, что любил,
Пустился он в край неизвестный,
И… все в краю том погубил.

Часть вторая

XVIII

Однажды, погружась в мечтанье,
Сидел он позднею порой;
На темном своде без сиянья
Бесцветный месяц молодой
Стоял, и луч дрожащий, бледный
Лежал на зелени холмов,
И тени шаткие дерев,
Как призраки, на крыше бедной
Черкесской сакли прилегли.
В ней огонек уже зажгли,
Краснея, он, в лампаде медной
Чуть освещал большой забор…
Все спит: холмы, река и бор.

XIX

Но кто в ночной тени мелькает?
Кто легкой тенью меж кустов
Подходит ближе, чуть ступает,
Все ближе… ближе… через ров
Идет бредучею стопою?..
Вдруг видит он перед собою:
С улыбкой жалости немой
Стоит черкешенка младая!
Дает заботливой рукой
Хлеб и кумыс прохладный свой,
Пред ним колена преклоняя.
И взор ее изобразил
Души порыв, как бы смятенной.
Но пищу принял русский пленный
И знаком ей благодарил.

XX

И долго, долго, как немая,
Стояла дева молодая.
И взгляд как будто говорил:
«Утешь себя, невольник милый;
Еще не все ты погубил».
И вздох не тяжкий, но унылый
В груди раздался молодой;
Потом чрез вал она крутой
Домой пошла тропою мшистой,
И скрылась вдруг в дали тенистой,
Как некий призрак гробовой.
И только девы покрывало
Еще очам вдали мелькало,
И долго, долго пленник мой
Смотрел ей вслед — она сокрылась.
Подумал он: но почему
Она к несчастью моему
С такою жалостью склонилась —
Он ночь всю не смыкал очей;
Уснул за час лишь пред зарей.

XXI

Четверту ночь к нему ходила
Она и пищу приносила;
Но пленник часто все молчал,
Словам печальным не внимал;
Ах! сердце, полное волнений,
Чуждалось новых впечатлений;
Он не хотел ее любить.
И что за радости в чужбине,
В его плену, в его судьбине?
Не мог он прежнее забыть…
Хотел он благодарным быть,

Но сердце жаркое терялось
В его страдании немом
И, как в тумане зыбком, в нем
Без отголоска поглощалось!..
Оно и в шуме, и в тиши
Тревожит сон его души,

XXII

Всегда он с думою унылой
В ее блистающих очах
Встречает образ вечно милый.
В ее приветливых речах
Знакомые он слышит звуки…
И к призраку стремятся руки;
Он вспомнил все — ее зовет…
Но вдруг очнулся. Ах! несчастный,
В какой он бездне здесь ужасной;
Уж жизнь его не расцветет.
Он гаснет, гаснет, увядает,
Как цвет прекрасный на заре;
Как пламень юный, потухает
На освященном алтаре!!!

XXIII

Не понял он ее стремленья,
Ее печали и волненья;
Не думал он, чтобы она
Из жалости одной пришла,
Взглянувши на его мученья;
Не думал также, чтоб любовь
Точила сердце в ней и кровь;
И в страшном был недоуменье…
……
Но в эту ночь ее он ждал…
Настала ночь уж роковая;
И сон от очей отгоняя,
В пещере пленник мой лежал.

XXIV

Поднялся ветер той порою,
Качал во мраке дерева,
И свист его подобен вою —
Как воет полночью сова.

Сквозь листья дождик пробирался;
Вдали на тучах гром катался;
Блистая, молния струей
Пещеру темну озаряла,
Где пленник бедный мой лежал,
Он весь промок и весь дрожал…
……
Гроза помалу утихала;
Лишь капала вода с дерев;
Кой-где потоки меж холмов
Струею мутною бежали
И в Терек с брызгами впадали.
Черкесов в темном поле нет…
И тучи врозь уж разбегают,
И кой-где звездочки мелькают;
Проглянет скоро лунный свет.

XXV

И вот над ним луна златая
На легком облаке всплыла;
И в верх небесного стекла,
По сводам голубым играя,
Блестящий шар свой провела.
Покрылись пеленой сребристой
Холмы, леса и луг с рекой.
Но кто печальною стопой
Идет один тропой гористой?
Она… с кинжалом и пилой;
Зачем же ей кинжал булатный?
Ужель идет на подвиг ратный!
Ужель идет на тайный бой!..
Ах, нет! наполнена волнений,
Печальных дум и размышлений,
К пещере подошла она;
И голос раздался известный;
Очнулся пленник как от сна,
И в глубине пещеры тесной
Садятся… долго они там
Не смели воли дать словам…
Вдруг дева шагом осторожным
К нему, вздохнувши, подошла;
И руку взяв, с приветом нежным,
С горячим чувством, но мятежным,
Слова печальны начала:

XXVI

«Ах! русский! русский! что с тобою!
Почто ты с жалостью немою,
Печален, хладен, молчалив,
На мой отчаянный призыв…
Еще имеешь в свете друга —
Еще не все ты потерял…
Готова я часы досуга
С тобой делить. Но ты сказал,
Что любишь, русский, ты другую.
Ее бежит за мною тень,
И вот об чем, и ночь и день,
Я плачу, вот об чем тоскую!..
Забудь ее, готова я
С тобой бежать на край вселенной!
Забудь ее, люби меня,
Твоей подругой неизменной…»
Но пленник сердца своего
Не мог открыть в тоске глубокой,
И слезы девы черноокой
Души не трогали его…
«Так, русский, ты спасен! но прежде
Скажи мне: жить иль умереть?!!
Скажи, забыть ли о надежде?..
Иль слезы эти утереть?»

XXVII

Тут вдруг поднялся он; блеснули
Его прелестные глаза,
И слезы крупные мелькнули
На них, как светлая роса:
«Ах нет! оставь восторг свой нежный,
Спасти меня не льстись надеждой;

Мне будет гробом эта степь;
Не на остатках, славных, бранных,
Но на костях моих изгнанных
Заржавит тягостная цепь!»
Он замолчал, она рыдала;
Но ободрилась, тихо встала,
Взяла пилу одной рукой,
Кинжал другою подавала.
И вот, под острою пилой
Скрыпит железо; распадает
Блистая цепь и чуть звенит.
Она его приподымает;
И так рыдая говорит:

XXVIII

«Да!.. пленник... ты меня забудешь...
Прости!.. прости же... *навсегда*;
Прости! *навек*!.. Как счастлив будешь.
Ах!.. вспомни обо мне тогда...
Тогда!.. быть может, уж могилой
Желанной скрыта буду я;
Быть может... скажешь ты уныло:
«Она любила и меня!..»
И девы бледные ланиты,
Почти потухшие глаза,
Смущенный лик, тоской убитый,
Не освежит одна слеза!..
И только рвутся вопли муки...
Она берет его за руки
И в поле темное спешит,
Где чрез утесы путь лежит.

XXIX

Идут, идут; остановились,
Вздохнув, назад оборотились;
Но роковой ударил час...
Раздался выстрел — и как раз
Мой пленник падает. Не муку,
Но смерть изображает взор;
Кладет на сердце тихо руку...
Так медленно по скату гор,
На солнце искрами блистая,
Спадает глыба снеговая.
Как вместе с ним поражена,
Без чувства падает она;
Как будто пуля роковая
Одним ударом, в один миг,
Обеих вдруг сразила их.
.....

XXX

Но очи русского смыкает
Уж смерть холодною рукой;
Он вздох последний испускает,
И он уж там — и кровь рекой
Застыла в жилах охладевших;
В его руках оцепеневших
Еще кинжал, блестя, лежит;
В его всех чувствах онемевших
Навеки жизнь уж не горит,
Навеки радость не блестит.

XXXI

Меж тем черкес, с улыбкой злобной,
Выходит из глуши дерев.
И волку хищному подобный,
Бросает взор... стоит... без слов,
Ногою гордой попирает
Убитого... увидел он,
Что тщетно потерял патрон;
И вновь чрез горы убегает.

XXXII

Но вот она очнулась вдруг;
И ищет пленника очами.
Черкешенка! где, где твой друг...
Его уж нет.

Она слезами
Не может ужас выражать,
Не может крови омывать.
И взор ее как бы безумный
Порыв любви изобразил;
Она страдала. Ветер шумный,
Свистя, покров ее клубил!..
Встает... и скорыми шагами
Пошла с потупленной главой,
Через поляну — за холмами
Сокрылась вдруг в тени ночной.

XXXIII

Она уж к Тереку подходит;
Увы, зачем, зачем она
Так робко взором вкруг обводит,
Ужасной грустию полна?..
И долго на бегущи волны
Она глядит. И взор безмолвный
Блестит звездой в полночной тьме.
Она на каменной скале:
«О, русский! русский!!!» — восклицает.
Плеснули волны при луне,
Об берег брызнули оне!..
И дева с шумом исчезает.
Покров лишь белый выплывает,
Несется по глухим волнам;
Остаток грустный и печальный
Плывет, как саван погребальный,
И скрылся к каменным скалам.

XXXIV

Но кто убийца их жестокой?
Он был с седою бородой;
Не видя девы черноокой,
Сокрылся он в глуши лесной.
Увы! то был отец несчастный!
Быть может, он ее сгубил;
И тот свинец его опасный
Дочь вместе с пленником убил?
Не знает он, она сокрылась,
И с ночи той уж не явилась.
Черкес! где дочь твоя? глядишь,
Но уж ее не возвратишь!!.

XXXV

Поутру труп оледенелый
Нашли на пенистых брегах.
Он хладен был, окостенелый;
Казалось, на ее устах
Остался голос прежней муки;
Казалось, жалостные звуки
Еще не смолкли на губах;
Узнали все. Но поздно было!
— Отец! убийца ты ее;
Где упование твое?
Терзайся век! живи уныло!..
Ее уж нет. — И за тобой
Повсюду призрак роковой.
Кто гроб ее тебе укажет?
Беги! ищи ее везде!!!
«Где дочь моя?» — и отзыв скажет:
Где?..

1828

Каллы*

Черкесская повесть

'T is the clime of the East; 't is the land of the Sun —
Can he smile on such deeds as his children have done?
Oh! wild as the accents of lovers' farewell
Are the hearts which they bear, and the tales
which they tell.

«The Bride of Abydos». Byron

Вот край Востока; вот страна Солнца —
Может ли оно встречать улыбкой деяния,
какие совершают его дети?
О! неистовы, как возгласы любовников при расставании,
Сердца, ими носимые, повести, ими рассказываемые.

«Абидосская невеста». Байрон

I

«Теперь настал урочный час,
И тайну я тебе открою.
Мои советы — божий глас;
Клянись им следовать душою.
Узнай: ты чудом сохранен
От рук убийц окровавленных,
Чтоб неба оправдать закон
И отомстить за побежденных;
И не тебе принадлежат
Твои часы, твои мгновенья;
Ты на земле орудье мщенья,
Палач, — а жертва Акбулат!
Отец твой, мать твоя и брат,
От рук злодея погибая,
Молили небо об одном:
Чтоб хоть одна рука родная
За них разведалась с врагом!
Старайся быть суров и мрачен,
Забудь о жалости пустой;
На грозный подвиг ты назначен
Законом, клятвой и судьбой.
За все минувшие злодейства
Из обреченного семейства
Ты никого не пощади;
Ударил час их истребленья!
Возьми ж мои благословенья,
Кинжал булатный — и поди!»
Так говорил мулла жестокий,
И кабардинец черноокий
Безмолвно, чистя свой кинжал,
Уроку мщения внимал.
Он молод сердцем и годами,
Но, чуждый страха, он готов
Обычай дедов и отцов
Исполнить свято над врагами;
Он поклялся — своей рукой
Их погубить во тьме ночной.

II

Уж день погас. Угрюмо бродит
Аджи вкруг сакли... и давно
В горах все тихо и темно;
Луна, как желтое пятно,
Из тучки в тучку переходит,
И ветер свищет и гудет.
Как призрак, юноша идет
Теперь к заветному порогу;
Кинжал из кожаных ножен
Уж вынимает понемногу...
И вдруг дыханье слышит он!
Аджи не долго рассуждает;
Врагу заснувшему он в грудь
Кинжал без промаха вонзает
И в ней спешит перевернуть.
Кому убийцей быть судьбина
Велит — тот будь им до конца;
Один погиб, но с кровью сына
Смешать он должен кровь отца.
Пред ним старик: власы седые!
Черты открытого лица
Спокойны, и усы большие
Уста закрыли бахромой!
И для молитвы сжаты руки!
Зачем ты взор потупил свой,
Аджи? ты мщенья слышишь звуки!
Ты слышишь!.. то отец родной!
И с ложа вниз, окровавленный,
Свалился медленно старик,
И стал ужасен бледный лик,
Лобзаньем смерти искаженный;
Взглянул убийца молодой...
И жертвы ищет он другой!
Обшарил стены он, чуть дышит,
Но не встре‹чает› ничего —
И только сердца своего
Биенье трепетное слышит.
Ужели все погибли? нет!
Ведь дочь была у Акбулата!
И ждет ее в семнадцать лет

* По-черкесски: убийца. (*Примечание Лермонтова.*)

Судьба отца и участь брата…
И вот луны дрожащий свет
Проникнул в саклю, озаряя
Два трупа на полу сыром
И ложе, где роскошным сном
Спала девица молодая.

III

Мила, как сонный херувим,
Перед убийцею своим
Она, раскинувшись небрежно,
Лежала; только сон мятежный,
Волнуя девственную грудь,
Мешал свободно ей вздохнуть.
Однажды, полные томленья,
Открылись черные глаза,
И, тайный признак упоенья,
Блистала ярко в них слеза;
Но испугавшись мрака ночи,
Мгновенно вновь закрылись очи…
Увы! их радость и любовь,
И слезы не откроют вновь!
И он смотрел. И в думах тонет
Его душа. Проходит час.
Чей это стон? Кто так простонет, —
И не последний в жизни раз?
Кто, услыхав такие звуки,
До гроба может их забыть?
О, как нетрудно различить
От крика смерти — голос муки!

IV

Сидит мулла среди ковров,
Добытых в Персии счастливой,
В дыму табачных облаков
Кальян свой курит он лениво*;
Вдруг слышен быстрый шум шагов.
В крови, с зловещими очами,
Аджи вбегает молодой;
В одной руке кинжал, в другой…
Зачем он с женскими власами
Пришел? и что тебе, мулла,
Подарок с женского чела?
«О, как верны мои удары! —
Ужасным голосом сказал
Аджи, — смотри! узнал ли, старый?»
«Ну что же?» — «Вот что!» — и кинжал
В груди бесчувственной торчал…

V

На вышине горы священной,
Вечерним солнцем озаренной,
Как одинокий часовой
Белеет памятник простой:
Какой-то столбик округленный!
Чалмы подобие на нем*;
Шиповник стелется кругом;
Оттуда синие пустыни
И гребни самых дальних гор, —
Свободы вечные твердыни, —
Пришельца открывает взор.
Забывши мир, и им забытый,
Рукою дружеской зарытый,
Под этим камнем спит мулла,
И вместе с ним его дела.
Другого любит без боязни
Его любимая жена,
И не боится тайной казни
От злобной ревности она!..

VI

И в это время слух промчался
(Гласит преданье), что в горах
Безвестный странник показался,
Опасный в мире и боях;
Как дикий зверь, людей чуждался;
И женщин он ласкать не мог!
‹……›
Хранил он вечное молчанье,
Но не затем, чтоб подстрекнуть
Толпы болтливое вниманье;
И он лишь знает, почему
Каллы ужасное прозванье
В горах осталося ему.

1830–1831

Измаил-Бей

Восточная повесть

Опять явилось вдохновенье
Душе безжизненной моей
И превращает в песнопенье
Тоску, развалину страстей.
Так, посреди чужих степей,
Подруг внимательных не зная,
Прекрасный путник, птичка рая
Сидит на дереве сухом,
Блестя лазоревым крылом;
Пускай ревет, бушует вьюга…
Она поет лишь об одном,
Она поет о солнце юга!..

Часть первая

So moved on earth Circassia's daughter,
The loveliest bird of Franguestan!
«The Giaour». Byron

Так двигалась по земле дочь Черкесии,
Прелестнейшая птица Франгистана!
«Гяур». Байрон

1

Приветствую тебя, Кавказ седой!
Твоим горам я путник не чужой:
Они меня в младенчестве носили
И к небесам пустыни приучили.
И долго мне мечталось с этих пор
Все небо юга да утесы гор.
Прекрасен ты, суровый край свободы,
И вы, престолы вечные природы,
Когда, как дым синея, облака

Под вечер к вам летят издалека,
Над вами вьются, шепчутся, как тени,
Как над главой огромных привидений
Колеблемые перья, — и луна
По синим сводам странствует одна.

2

Как я любил, Кавказ мой величавый,
Твоих сынов воинственные нравы,
Твоих небес прозрачную лазурь
И чудный вой мгновенных, громких бурь,
Когда пещеры и холмы крутые
Как стражи окликаются ночные;
И вдруг проглянет солнце, и поток
Озолотится, и степной цветок,
Душистую головку поднимая,
Блистает, как цветы небес и рая…
В вечерний час дождливых облаков
Я наблюдал разодранный покров;
Лиловые, с багряными краями,
Одни еще грозят, и над скалами
Волшебный замок, чудо древних дней,
Растет в минуту; но еще скорей
Его рассеет ветра дуновенье!
Так прерывает резкий звук цепей
Преступного страдальца сновиденье,
Когда он зрит холмы своих полей…
Меж тем белей, чем горы снеговые,
Идут на запад облака другие
И, проводивши день, теснятся в ряд,
Друг через друга светлые глядят
Так весело, так пышно и беспечно,
Как будто жить и нравиться им вечно!..

3

И дики тех ущелий племена,
Им бог — свобода, их закон — война,
Они растут среди разбоев тайных,
Жестоких дел и дел необычайных;
Там в колыбели песни матерей
Пугают русским именем детей;
Там поразить врага не преступленье;
Верна там дружба, но вернее мщенье;
Там за добро — добро, и кровь — за кровь,
И ненависть безмерна, как любовь.

4

Темны преданья их. Старик чеченец,
Хребтов Казбека бедный уроженец,
Когда меня чрез горы провожал,
Про старину мне повесть рассказал.
Хвалил людей минувшего он века,
Водил меня под камень Росламбека,
Повисший над извилистым путем,
Как будто бы удержанный аллою
На воздухе в падении своем,
Он весь оброс зеленою травою,
И, не боясь, что камень упадет,
В его тени, храним от непогод,
Пленительней, чем голубые очи
У нежных дев ледяной полуночи,
Склоняясь в жар на длинный стебелек,
Растет воспоминания цветок!..
И под столетней мшистою скалою
Сидел чечен однажды предо мною;
Как серая скала, седой старик,
Задумавшись, главой своей поник…
Быть может, он о родине молился!
И, странник чуждый, я прервать страшился
Его молчанье и молчанье скал:
Я их в тот час почти не различал!

5

Его рассказ, то буйный, то печальный,
Я вздумал перенесть на север дальный:
Пусть будет странен в нашем он краю,
Как слышал, так его передаю!
Я не хочу, не знаемый толпою,
Чтобы как тайна он погиб со мною;
Пускай ему не внемлют, до конца
Я доскажу! Кто с гордою душою
Родился, тот не требует венца;
Любовь и песни — вот вся жизнь певца;
Без них она пуста, бедна, уныла,
Как небеса без туч и без светила!..

6

Давным-давно, у чистых вод,
Где по кремням Подкумок мчится,
Где за Машуком день встает[1],
А за крутым Бешту садится[2],
Близ рубежа чужой земли
Аулы мирные цвели,
Гордились дружбою взаимной;
Там каждый путник находил
Ночлег и пир гостеприимный;
Черкес счастлив и волен был.
Красою чудной за горами
Известны были девы их,
И старцы с белыми власами
Судили распри молодых,
Весельем песни их дышали!
Они тогда еще не знали
Ни золота, ни русской стали!

7

Не все судьба голубит нас,
Всему свой день, всему свой час.
Однажды, — солнце закатилось,
Туман белел уж под горой,
Но в эту ночь аулы, мнилось,
Не знали тишины ночной.
Стада теснились и шумели,
Арбы тяжелые скрыпели,
Трепеща, жены близ мужей
Держали плачущих детей,
Отцы их, бурками одеты,
Садились молча на коней

[1,2] Две главные горы. (*Примечание Лермонтова.*)

И заряжали пистолеты,
И на костре высоком жгли,
Что взять с собою не могли!
Когда же день новорожденный
Заветный озарил курган,
И мокрый утренний туман
Рассеял ветер пробужденный,
Он обнажил подошвы гор,
Пустой аул, пустое поле,
Едва дымящийся костер
И свежий след колес — не боле.

8

Но что могло заставить их
Покинуть прах отцов своих
И добровольное изгнанье
Искать среди пустынь чужих?
Гнев Магомета? Прорицанье?
О нет! Примчалась как-то весть,
Что к ним подходит враг опасный,
Неумолимый и ужасный,
Что все громам его подвластно,
Что сил его нельзя и счесть.
Черкес удалый в битве правой
Умеет умереть со славой,
И у жены его младой
Спаситель есть — кинжал двойной;
И страх насильства и могилы
Не мог бы из родных степей
Их удалить: позор цепей
Несли к ним вражеские силы!
Мила черкесу тишина,
Мила родная сторона,
Но вольность, вольность для героя
Милей отчизны и покоя.
«В насмешку русским и в укор
Оставим мы утесы гор;
Пусть на тебя, Бешту суровый,
Попробуют надеть оковы», —
Так думал каждый; и Бешту
Теперь их мысли понимает,
На русских злобно он взирает
Иль облаками одевает
Вершин кудрявых красоту.

9

Меж тем летят за годом годы,
Готовят мщение народы,
И пятый год уж настает,
А кровь джяуров не течет*.
В необитаемой пустыне
Черкес бродящий отдохнул,
Построен новый был аул
(Его следов не видно ныне).
Старик и воин молодой
Кипят отвагой и враждой.
Уж Росламбек с брегов Кубани
Князей союзных поджидал;
Лезгинец, слыша голос брани,
Готовит стрелы и кинжал;
Скопилась месть их роковая
В тиши над дремлющим врагом:
Так летом глыба снеговая,
Цветами радуги блистая,
Висит, прохладу обещая,
Над беззаботным табуном…

10

В тот самый год, осенним днем,
Между Железной[1] и Змеиной,[2]
Где чуть приметный путь лежал,
Цветущей, узкою долиной
Тихонько всадник проезжал.
Кругом, налево и направо,
Как бы остатки пирамид,
Подъемлясь к небу величаво,
Гора из-за горы глядит;
И дале царь их пятиглавый,
Туманный, сизо-голубой,
Пугает чудной вышиной.

11

Еще небесное светило
Росистый луг не обсушило.
Со скал гранитных над путем
Склонился дикий виноградник,
Его серебряным дождем
Осыпан часто конь и всадник.
Но вот остановился он.
Как новой мыслью поражен,
Смущенный взгляд кругом обводит,
Чего-то, мнится, не находит;
То пустит он коня стремглав,
То остановит и, привстав
На стремена, дрожит, пылает.
Все пусто! Он с коня слезает,
К земле сырой главу склоняет
И слышит только шелест трав.
Все одичало, онемело.
Тоскою грудь его полна…
Скажу ль? — За кровлю сакли белой,
За близкий топот табуна
Тогда он мир бы отдал целый!..

12

Кто ж этот путник? русский? нет.
На нем чекмень, простой бешмет,
Чело под шапкою косматой;
Ножны кинжала, пистолет
Блестят насечкой небогатой;
И перетянут он ремнем,
И шашка чуть звенит на нем;
Ружье, мотаясь за плечами,
Белеет в шерстяном чехле;
И как же горца на седле
Не различить мне с казаками?
Я не ошибся — он черкес!
Но смуглый цвет почти исчез

[1, 2] Две горы, находящиеся рядом с Бешту. (*Примечание Лермонтова.*)

С его ланит; снега и вьюга
И холод северных небес,
Конечно, смыли краску юга,
Но видно все, что он черкес!
Густые брови, взгляд орлиный,
Ресницы длинны и черны,
Движенья быстры и вольны;
Отвергнул он обряд чужбины,
Не сбрил бородки и усов,
И блещет белый ряд зубов,
Как брызги пены у брегов;
Он, сколько мог, привычек, правил
Своей отчизны не оставил…
Но горе, горе, если он,
Храня людей суровых мненья,
Развратом, ядом просвещенья
В Европе душной заражен!
Старик для чувств и наслажденья,
Без седины между волос,
Зачем в страну, где все так живо,
Так неспокойно, так игриво,
Он сердце мертвое принес?..

13

Как наши юноши, он молод,
И хладен блеск его очей.
Поверхность темную морей
Так покрывает ранний холод
Корой ледяною своей
До первой бури. — Чувства, страсти,
В очах навеки догорев,
Таятся, как в пещере лев,
Глубоко в сердце, но их власти
Оно никак не избежит.
Пусть будет это сердце камень —
Их пробужденный адский пламень
И камень углем раскалит!

14

И все прошедшее явилось,
Как тень умершего, ему;
Все с этих пор переменилось,
Бог весть, и как и почему!
Он в поле выехал пустое,
Вдруг слышит выстрел — что такое?
Как будто на смех, звук один,
Жилец ущелий и стремнин,
Трикраты отзыв повторяет.
Кинжал свой путник вынимает,
И вот, с винтовкой без штыка,
В кустах он видит казака;
Пред ним фазан окровавленный,
Росою с листьев окропленный,
Блистая радужным хвостом,
Лежал в траве, пробит свинцом.
И ближе путник подъезжает
И чистым русским языком:
«Казак, скажи мне, — вопрошает, —
Давно ли пусто здесь кругом?»
— «С тех пор, как русских устрашился
Неустрашимый твой народ!
В чужих горах от нас он скрылся.
Тому сегодня пятый год».

15

Казак умолк, но что с тобою,
Черкес? зачем твоя рука
Подъята с шашкой роковою?
Прости улыбку казака!
Увы! свершилось наказанье…
В крови, без чувства, без дыханья
Лежит насмешливый казак.
Черкес глядит на лик холодный,
В нем пробудился дух природный —
Он пощадить не мог никак,
Он удержать не мог удара.
Как в тучах зарево пожара,
Как лава Этны по полям,
Больной румянец по щекам
Его разлился; и блистали,
Как лезвиё кровавой стали,
Глаза его — и в этот миг
Душа и ад — все было в них.
Оборотясь, с улыбкой злобной
Черкес на север кинул взгляд;
Ничто, ничто смертельный яд
Перед улыбкою подобной!
Волною поднялася грудь,
Хотел он и не мог вздохнуть,
Холодный пот с чела крутого
Катился, — но из уст ни слова!

16

И вдруг очнулся он, вздрогнул,
К луке припал, коня толкнул.
Одно мгновенье на кургане
Он черной птицею мелькнул,
И скоро скрылся весь в тумане.
Чрез камни конь его несет,
Он не глядит и не боится;
Так быстро скачет только тот,
За кем раскаяние мчится!..

17

Куда черкес направил путь?
Где отдохнет младая грудь,
И усмирится дум волненье?
Черкес не хочет отдохнуть —
Ужели отдыхает мщенье?
Аул, где детство он провел,
Мечети, кровы мирных сел —
Все уничтожил русский воин.
Нет, нет, не будет он спокоен,
Пока из белых их костей,
Векам грядущим в поученье,
Он не воздвигнет мавзолей
И так отмстит за униженье
Любезной родины своей.
«Я знаю вас, — он шепчет, — знаю,
И вы узнаете меня;
Давно уж вас я презираю;
Но вашу кровь пролить желаю
Я только с нынешнего дня!»
Он бьет и дергает коня,
И конь летит, как ветер степи;
Надулись ноздри, блещет взор,

И уж в виду зубчаты цепи
Кремнистых бесконечных гор,
И Шат подъемлется за ними*
С двумя главами снеговыми,
И путник мнит: «Недалеко,
В час прискачу я к ним легко!»

18

Пред ним, с оттенкой голубою,
Полувоздушною стеною
Нагие тянутся хребты;
Неверны, странны, как мечты,
То разойдутся — то сольются...
Уж час прошел, и двух уж нет!
Они над путником смеются,
Они едва меняют цвет!
Бледнеет путник от досады,
Конь непривычный устает.
Уж солнце к западу идет,
И больше в воздухе прохлады,
А все пустынные громады,
Хотя и выше и темней,
Еще загадка для очей.

19

Но вот его, подобно туче,
Встречает крайняя гора;
Пестрей восточного ковра
Холмы кругом, все выше, круче;
Покрытый пеной до ушей,
Здесь начал конь дышать вольней.
И детских лет воспоминанья
Перед черкесом пронеслись,
В груди проснулися желанья,
Во взорах слезы родились.
Погасла ненависть на время,
И дум неотразимых бремя
От сердца, мнилось, отлегло;
Он поднял светлое чело,
Смотрел и внутренно гордился,
Что он черкес, что здесь родился!
Меж скал незыблемых один
Забыл он жизни скоротечность,
Он, в мыслях мира властелин,
Присвоить бы желал их вечность.
Забыл он все, что испытал,
Друзей, врагов, тоску изгнанья
И, как невесту в час свиданья,
Душой природу обнимал!..

20

Краснеют сизые вершины,
Лучом зари освещены;
Давно расселины темны;
Катясь чрез узкие долины,
Туманы сонные легли,
И только топот лошадиный
Звуча теряется вдали.
Погас бледнея день осенний;
Свернув душистые листы,
Вкушают сон без сновидений
Полузавядшие цветы;
И в час урочный молчаливо
Из-под камней ползет змея,
Играет, нежится лениво,
И серебрится чешуя
Над перегибистой спиною:
Так сталь кольчуги иль копья
(Когда забыты после бою
Они на поле роковом),
В кустах найденная луною,
Блистает в сумраке ночном.

21

Уж поздно, путник одинокий
Оделся буркою широкой.
За дубом низким и густым
Дорога скрылась, ветер дует;
Конь спотыкается под ним,
Храпит, как будто гибель чует,
И встал!.. — Дивится, слез седок
И видит пропасть пред собою,
А там, на дне ее, поток
Во мраке бешеной волною
Шумит. — (Слыхал я этот шум,
В пустыне ветром разнесенный,
И много пробуждал он дум
В груди, тоской опустошенной.)
В недоуменье над скалой
Остался странник утомленный;
Вдруг видит он, в дали пустой
Трепещет огонек, и снова
Садится на коня лихого;
И через силу скачет конь
Туда, где светится огонь.

22

Не дух коварства и обмана
Манил трепещущим огнем,
Не очи злобного шайтана*
Светилися в ущелье том:
Две сакли белые, простые
Таятся мирно за холмом,
Чернеют крыши земляные,
С краев ряды травы густой
Висят зеленой бахромой,
А ветер осени сырой
Поет им песни неземные;
Широкий окружает двор
Из кольев и ветвей забор,
Уже нагнутый, обветшалый;
Все в мертвый сон погружено —
Одно лишь светится окно!..
Заржал черкеса конь усталый,
Ударил о землю ногой,
И отвечал ему другой...
Из сакли кто-то выбегает,
Идет — «великий Магомет
К нам гостя, верно, посылает.
Кто здесь?» — Я странник! — был ответ.
И больше спрашивать не хочет,
Обычай прадедов храня,
Хозяин скромный. Вкруг коня
Он сам заботится, хлопочет,
Он сам снимает весь прибор
И сам ведет его на двор.

23
Меж тем приветно в сакле дымной
Приезжий встречен стариком;
Сажая гостя пред огнем,
Он руку жмет гостеприимно.
Блистает по стенам кругом
Богатство горца: ружья, стрелы,
Кинжалы с набожным стихом,
В углу башлык убийцы белый
И плеть меж буркой и седлом.
Они заводят речь — о воле,
О прежних днях, о бранном поле;
Кипит, кипит беседа их,
И носятся в мечтах живых
Они к грядущему, к былому;
Проходит неприметно час —
Они сидят! и в первый раз,
Внимая странника рассказ,
Старик дивится молодому.

24
Он сам лезгинец; уж давно
(Так было небом суждено)
Не зрел отечества. Три сына
И дочь младая с ним живут.
При них молчит еще кручина,
И бедный мил ему приют.
Когда горят ночные звезды,
Тогда пускаются в разъезды
Его лихие сыновья:
Живет добычей вся семья!
Они повсюду страх приносят:
Украсть, отнять — им все равно;
Чихирь и мед кинжалом просят*
И пулей платят за пшено,
Из табуна ли, из станицы
Любого уведут коня;
Они боятся только дня,
И их владеньям нет границы!
Сегодня дома лишь один
Его любимый старший сын.
Но слов хозяина не слышит
Пришелец! он почти не дышит,
Остановился быстрый взор,
Как в миг паденья метеор:
Пред ним, под видом девы гор,
Создание земли и рая,
Стояла пери молодая!*

25
И кто б, ее увидев, молвил: нет!
Кто прелести небес иль даже след
Небесного, рассеянный лучами
В улыбке уст, в движенье черных глаз,
Все, что так дружно с первыми мечтами,
Все, что встречаем в жизни только раз,
Не отличит от красоты ничтожной,
От красоты земной, нередко ложной?
И кто, кто скажет, совесть заглуша:
Прелестный лик, но хладная душа!
Когда он вдруг увидит пред собою
То, что сперва почел бы он душою,
Освобожденной от земных цепей,
Слетевшей в мир, чтоб утешать людей!
Пусть, подойдя, лезгинку он узнает:
В ее чертах земная жизнь играет,
Восточная видна в ланитах кровь;
Но только удалился образ милый —
Он станет сомневаться в том, что было,
И заблужденью он поверит вновь!

26
Нежна — как пери молодая,
Создание земли и рая,
Мила — как нам в краю чужом
Меж звуков языка чужого
Знакомый звук, родных два слова!
Так утешительно-мила,
Как древле узнику была
На сумрачном окне темницы
Простая песня вольной птицы,
Стояла Зара у огня!
Чело немножко наклоня,
Она стояла гордо, ловко;
В ее наряде простота —
Но также вкус! Ее головка
Платком прилежно обвита;
Из-под него до груди нежной
Две косы темные небрежно
Бегут; — уж, верно, час она
Их расплетала, заплетала!
Она понравиться желала:
Как в этом женщина видна!

27
Рукой дрожащей, торопливой
Она поставила стыдливо
Смиренный ужин пред отцом,
И улыбнулась; и потом
Уйти хотела; и не знала
Идти ли? — Грудь ее порой
Покров приметно поднимала;
Она послушать бы желала,
Что скажет путник молодой.
Но он молчит, блуждают взоры:
Их привлекает лезвиё
Кинжала, ратные уборы;
Но взгляд последний на нее
Был устремлен! — Смутилась дева,
Но, не боясь отцова гнева,
Она осталась, — и опять
Решилась путнику внимать…
И что-то ум его тревожит;
Своих неконченых речей
Он оторвать от уст не может,
Смеется — но больших очей
Давно не обращает к ней;
Смеется, шутит он, — но хладный,
Печальный смех нейдет к нему.
Замолкнет он? — ей вновь досадно,
Сама не знает почему.
Черкес ловил сначала жадно
Движенье глаз ее живых;
И наконец остановились

Глаза, которые резвились,
Ответа ждут, к нему склонились,
А он забыл, забыл о них!
Довольно! этого удара
Вторично дева не снесет:
Ему мешает, видно, Зара?
Она уйдет! Она уйдет!..

28

Кто много странствовал по свету,
Кто наблюдать его привык,
Кто затвердил страстей примету,
Кому известен их язык,
Кто рано брошен был судьбою
Меж образованных людей
И, как они, с своей рукою
Не отдавал души своей,
Тот пылкой женщины пристрастье
Не почитает уж за счастье,
Тот с сердцем диким и простым
И с чувством некогда святым
Шутить боится. Он улыбкой
Слезу старается встречать,
Улыбке хладно отвечать;
Коль обласкает, — так ошибкой!
Притворством вечным утомлен,
Уж и себе не верит он;
Душе высокой не довольно
Остатков юности своей.
Вообразить еще ей больно,
Что для огня нет пищи в ней.
Такие люди в жизни светской
Почти всегда причина зла,
Какой-то робостию детской
Их отзываются дела:
И обольстить они не смеют,
И вовсе кинуть не умеют!
И часто думают они,
Что их излечит край далекой,
Пустыня, вид горы высокой
Иль тень долины одинокой,
Где юности промчались дни;
Но ожиданье их напрасно:
Душе все внешнее подвластно!

29

Уж милой Зары в сакле нет.
Черкес глядит ей долго вслед
И мыслит: «Нежное созданье!
Едва из детских вышла лет,
А есть уж слезы и желанья!
Бессильный, светлый луч зари,
На темной туче не гори:
На ней твой блеск лишь помрачится,
Ей ждать нельзя, она умчится!

30

«Еще не знаешь ты, кто я.
Утешься! нет, не мирной доле,
Но битвам, родине и воле
Обречена судьба моя.
Я б мог нежнейшею любовью
Тебя любить; но над тобой
Хранитель, верно, неземной:
Рука, обрызганная кровью,
Должна твою ли руку жать?
Тебя ли греть моим объятьям?
Тебя ли станут целовать
Уста, привыкшие к проклятьям?»
.....

31

Пора! — Яснеет уж восток,
Черкес проснулся, в путь готовый.
На пепелище огонек
Еще синел. Старик суровый
Его раздул, пшено сварил,
Сказал, где лучшая дорога,
И сам до ветхого порога
Радушно гостя проводил.
И странник медленно выходит,
Печалью тайной угнетен;
О юной деве мыслит он…
И кто ж коня ему подводит?

32

Уныло Зара перед ним
Коня походного держала
И тихим голосом своим,
Подняв глаза к нему, сказала:
«Твой конь готов! моей рукой
Надета бранная уздечка,
И серебристой чешуей
Блестит кубанская насечка,
И бурку черную ремнем
Я привязала за седлом;
Мне это дело ведь не ново;
Любезный странник, все готово!
Твой конь прекрасен: не страшна
Ему утесов крутизна,
Хоть вырос он в краю далеком;
В нем дикость гордая видна,
И лоснится его спина,
Как камень, сглаженный потоком;
Как уголь взор его блестит,
Лишь наклонись — он полетит;
Его я гладила, ласкала,
Чтобы тебя он, путник, спас
От вражей шашки и кинжала
В степи глухой, в недобрый час!

33

«Но погоди в стальное стремя
Ступать поспешною ногой;
Послушай, странник молодой,
Как знать? быть может, будет время,
И ты на милой стороне
Случайно вспомнишь обо мне;
И если чаша пированья
Кипит, блестит в руке твоей,
То не ласкай воспоминанья,
Гони от сердца поскорей;
Но если эта мысль родится,
Но если образ мой приснится

Тебе в страдальческую ночь:
Услышь, услышь мое моленье!
Не презирай то сновиденье,
Не отгоняй те мысли прочь!

34

«Приют наш мал, зато спокоен;
Его не тронет русский воин, —
И что им взять? — пять-шесть коней
Да наши грубые одежды?
Поверь ты скромности моей,
Откройся мне: куда надежды
Тебя коварные влекут?
Чего искать? — останься тут,
Останься с нами, добрый странник!
Я вижу ясно — ты изгнанник,
Ты от земли своей отвык,
Ты позабыл ее язык.
Зачем спешишь к родному краю.
И что там ждет тебя? — не знаю.
Пусть мой отец твердит порой,
Что без малейшей укоризны
Должны мы жертвовать собой
Для непризнательной отчизны:
По мне, отчизна только там,
Где любят нас, где верят нам!

35

«Еще туман белеет в поле,
Опасен ранний хлад вершин…
Хоть день один, хоть час один,
Послушай, час один, не боле,
Пробудь, жестокий, близ меня!
Я покормлю еще коня,
Моя рука его отвяжет,
Он отдохнет, напьется, ляжет,
А ты у сакли здесь, в тени,
Главу мне на руку склони;
Твоих речей услышать звуки
Еще желала б я хоть раз:
Не удержу ведь счастья час,
Не прогоню ведь час разлуки?..»
И Зара с трепетом в ответ
Ждала напрасно два-три слова;
Скрывать печали силы нет,
Слеза с ресниц упасть готова,
Увы! молчание храня,
Садится путник на коня.
Уж ехать он приготовлялся,
Но обернулся, — испугался,
И, состраданьем увлечен,
Хотел ее утешить он:

36

«Не обвиняй меня так строго!
Скажи, чего ты хочешь? — слез?
Я их имел когда-то много:
Их мир из зависти унес!
Но не решусь судьбы мятежной
Я разделять с душою нежной;
Свободный, раб иль властелин,
Пускай погибну я один.
Все, что меня хоть малость любит,
За мною вслед увлечено;
Мое дыханье радость губит,
Щадить — мне власти не дано!
И не простого человека
(Хотя в одежде я простой),
Утешься! Зара! пред собой
Ты видишь брата Росламбека!
Я в жертву счастье должен принести…
О! не жалей о том! — прости, прости!..»

37

Сказал, махнул рукой, и звук подков
Раздался, в отдаленье умирая.
Едва дыша, без слез, без дум, без слов
Она стоит, бесчувственно внимая,
Как будто этот дальний звук подков
Всю будущность ее унес с собою.
О, Зара, Зара! краткою мечтою
Ты дорожила; — где ж твоя мечта?
Как очи полны, как душа пуста!
Одно мгновенье тяжелей другого,
Все, что прошло, ты оживляешь снова!..
По целым дням она глядит туда,
Где скрылася любви ее звезда,
Везде, везде она его находит:
В вечерних тучах милый образ бродит;
Услышав ночью топот, с ложа сна
Вскочив, дрожит и ждет его она,
И, постепенно ветром разносимый
Все ближе, ближе топот — и все мимо!
Так метеор порой летит на нас,
И ждешь — и близок он — и вдруг погас!..

Часть вторая

High minds, of native pride and force,
Most deeply feel thy pangs, Remorse!
Fear, for their scourge, mean villains have,
Thou art the torturer of the brave!
«Marmion». S. Walter-Scott

Высокие души, по природной гордости и силе,
Глубже всех чувствуют твои угрызения, Совесть!
Страх, как бич, повелевает низкой чернью,
Ты же — истязатель смелого!
«Мармион». С. Вальтер-Скотт

1

Шумит Аргуна мутною волной;
Она коры не знает ледяной,
Цепей зимы и хлада не боится;
Серебряной покрыта пеленой,
Она сама между снегов родится,
И там, где даже серна не промчится,
Дитя природы, с детской простотой,
Она, резвясь, играет и катится!
Порою, как согнутое стекло,
Меж длинных трав прозрачно и светло
По гладким камням в бездну ниспадая,
Теряется во мраке, и над ней

С прощальным воркованьем вьется стая
Пугливых, сизых, вольных голубей…
Зеленым можжевельником покрыты,
Над мрачной бездной гробовые плиты
Висят и ждут, когда замолкнет вой,
Чтобы упасть и все покрыть собой.
Напрасно ждут они! волна не дремлет.
Пусть темнота кругом ее объемлет,
Прорвет Аргуна землю где-нибудь
И снова полетит в далекий путь!

2

На берегу ее кипучих вод
Недавно новый изгнанный народ
Аул построил свой, — и ждал мгновенье,
Когда свершить придуманное мщенье;
Черкес готовил дерзостный набег,
Союзники сбирались потаенно,
И умный князь, лукавый Росламбек,
Склонялся перед русскими смиренно,
А между тем с отважною толпой
Станицы разорял во тьме ночной;
И, возвратясь в аул, на пир кровавый
Он пленников дрожащих приводил,
И уверял их в дружбе, и шутил,
И головы рубил им для забавы.

3

Легко народом править, если он
Одною общей страстью увлечен;
Не должно только слишком завлекаться,
Пред ним гордиться или с ним равняться;
Не должно мыслей открывать своих
Иль спрашивать у подданных совета,
И забывать, что лучше гор златых
Иному ласка и слова привета!
Старайся первым быть везде, всегда;
Не забывайся, будь в пирах умерен,
Не трогай суеверий никогда
И сам с толпой умей быть суеверен;
Страшись сначала много успевать,
Страшись народ к победам приучать,
Чтоб в слабости своей он признавался,
Чтоб каждый миг в спасителе нуждался,
Чтоб он тебя не сравнивал ни с кем
И почитал нуждою — принужденья;
Умей отважно пользоваться всем
И не проси никак вознагражденья!
Народ — ребенок: он не хочет дать,
Не покушайся вырвать, — но украдь!

4

У Росламбека брат когда-то был:
О нем жалеют шайки удалые;
Отцом в Россию послан Измаил,
И их надежду отняла Россия.
Четырнадцати лет оставил он
Края, где был воспитан и рожден,
Чтоб знать законы и права чужие!
Не под персидским шелковым ковром
Родился Измаил; не песнью нежной
Он усыплен был в сумраке ночном:
Его баюкал бури вой мятежный!
Когда он в первый раз открыл глаза,
Его улыбку встретила гроза!
В пещере темной, где, гонимый братом,
Убийцею коварным, Бей-Булатом,
Его отец таился много лет,
Изгнанник новый, он увидел свет!

5

Как лишний меж людьми, своим рожденьем
Он душу не обрадовал ничью,
И, хоть невинный, начал жизнь свою,
Как многие кончают, — преступленьем.
Он материнской ласки не знавал:
Не у груди, под буркою согретый,
Один провел младенческие леты;
И ветер колыбель его качал,
И месяц полуночи с ним играл!
Он вырос меж землей и небесами,
Не зная принужденья и забот;
Привык он тучи видеть под ногами,
А над собой один лазурный свод;
И лишь орлы да скалы величавы
С ним разделяли юные забавы.
Он для великих создан был страстей,
Он обладал пылающей душою,
И бури юга отразились в ней
Со всей своей ужасной красотою!..
Но к русским послан он своим отцом,
И с той поры известья нет об нем…

6

Горой от солнца заслоненный,
Приют изгнанников смиренный,
Между кизиловых дерев
Аул рассыпан над рекою;
Стоит отдельно каждый кров,
В тени под дымной пеленою.
Здесь в летний день, в полдневный жар,
Когда с камней восходит пар,
Толпа детей в траве играет,
Черкес усталый отдыхает;
Меж тем сидит его жена
С работой в сакле одиноко,
И песню грустную она
Поет о родине далекой:
И облака родных небес
В мечтаньях видит уж черкес!
Там луг душистей, день светлее!
Роса перловая свежее;
Там разноцветною дугой,
Развеселясь, нередко дивы
На тучах строят мост красивый*,
Чтоб от одной скалы к другой
Пройти воздушною тропой;
Там в первый раз, еще несмелый,
На лук накладывал он стрелы…

7

Дни мчатся. Начался байран*.
Везде веселье, ликованья;
Мулла оставил алкоран,
И не слыхать его призванья;

Мечеть кругом освещена;
Всю ночь над хладными скалами
Огни краснеют за огнями,
Как над земными облаками
Земные звезды; но луна,
Когда на землю взор наводит,
Себе соперниц не находит,
И, одинокая, она
По небесам в сиянье бродит!

8

Уж скачка кончена давно;
Стрельба затихнула: темно.
Вокруг огня, певцу внимая,
Столпилась юность удалая,
И старики седые в ряд
С немым вниманием стоят.
На сером камне, безоружен,
Сидит неведомый пришлец.
Наряд войны ему не нужен;
Он горд и беден: он певец!
Дитя степей, любимец неба,
Без злата он, но не без хлеба.
Вот начинает: три струны
Уж забренчали под рукою,
И живо, с дикой простотою
Запел он песню старины.

9

Черкесская песня*

Много дев у нас в горах;
Ночь и звезды в их очах;
С ними жить завидна доля,
Но еще милее воля!
  Не женися, молодец,
    Слушайся меня:
  На те деньги, молодец,
    Ты купи коня!

Кто жениться захотел,
Тот худой избрал удел,
С русским в бой он не поскачет:
Отчего? — жена заплачет!
  Не женися, молодец,
    Слушайся меня:
  На те деньги, молодец,
    Ты купи коня!

Не изменит добрый конь:
С ним — и в воду и в огонь;
Он, как вихрь, в степи широкой,
С ним — все близко, что далеко.
  Не женися, молодец,
    Слушайся меня:
  На те деньги, молодец,
    Ты купи коня!

10

Откуда шум? Кто эти двое?
Толпа в молчанье раздалась.
Нахмурив бровь, подходит князь,
И рядом с ним лицо чужое.
Три узденя за ними вслед.
«Велик Алла и Магомет! —
Воскликнул князь. — Сама могила
Покорна им! в стране чужой
Мой брат храним был их рукой:
Вы узнаете ль Измаила?
Между врагами он возрос,
Но не признал он их святыни,
И в наши синие пустыни
Одну лишь ненависть принес!»

11

И по долине восклицанья
Восторга дикого гремят;
Благословляя час свиданья,
Вкруг Измаила стар и млад
Теснятся, шепчут; поднимая
На плечи маленьких ребят,
Их жены смуглые, зевая,
На князя нового глядят.
Где ж Росламбек, кумир народа?
Где тот, кем славится свобода?
Один, забыт, перед огнем,
Поодаль, с пасмурным челом,
Стоял он, жертва злой досады.
Давно ли привлекал он сам
Все помышления, все взгляды?
Давно ли по его следам
Вся эта чернь шумя бежала?
Давно ль, дивясь его делам,
Их мать ребенку повторяла?
И что же вышло? — Измаил,
Врагов отечества служитель,
Всю эту славу погубил
Своим приездом? — И властитель,
Вчерашний гордый полубог,
Вниманья черни бестолковой
К себе привлечь уже не мог!
Ей все пленительно, что ново!
«Простынет!» — мыслит Росламбек.
Но если злобный человек
Узнал уж зависть, то не может
Совсем забыть ее никак;
Ее насмешливый призрак
И днем и ночью дух тревожит.

12

Война!.. знакомый людям звук
С тех пор, как брат от братних рук
Пред алтарем погиб невинно...
Гремя, через Кавказ пустынный
Промчался клик: война! война!
И пробудились племена.
На смерть идут они охотно.
Умолк аул, где беззаботно
Недавно слушали певца;
Оружья звон, движенье стана:
Вот ныне песни молодца,
Вот удовольствия байрана!..
«Смотри, как всякий биться рад
За дело чести и свободы!..
Так точно было в наши годы,
Когда нас вел Ахмат-Булат!» —

С улыбкой гордою шептали
Между собою старики,
Когда дорогой наблюдали
Отважных юношей полки;
Пора! кипят они досадой, —
Что русских нет? — им крови надо!

13

Зима проходит; облака
Светлей летят по дальним сводам,
В реке глядятся мимоходом;
Но с гордым бешенством река,
Крутясь, как змей, не отвечает
Улыбке неба своего
И белых путников его
Меж тем упорно обгоняет.
И ровны, прямы, как стена,
По берегам темнеют горы;
Их крутизна, их вышина
Пленяют ум, пугают взоры.
К вершинам их прицеплена
Нагими красными корнями,
Кой-где кудрявая сосна
Стоит печальна и одна,
И часто мрачными мечтами
Тревожит сердце: так порой
Властитель, полубог земной,
На пышном троне, окруженный
Льстецов толпою униженной,
Грустит о том, что одному
На свете равных нет ему!

14

Завоевателю преграда
Положена в долине той;
Из камней и дерев громада
Аргуну давит под собой.
К аулу нет пути иного;
И мыслят горцы: «Враг лихой!
Тебе могила уж готова!»
Но прямо враг идет на них,
И блеск орудий громовых
Далеко сквозь туман играет.
И Росламбек совет сзывает;
Он говорит: «В тиши ночной
Мы нападем на их отряды,
Как упадают водопады
В долину сонную весной…
Погибнут молча наши гости,
И их разбросанные кости,
Добыча вранов и волков,
Сгниют, лишенные гробов.
Меж тем с боязнию лукавой
Начнем о мире договор,
И втайне местию кровавой
Омоем долгий наш позор».

15

Согласны все на подвиг ратный,
Но не согласен Измаил.
Взмахнул он шашкою булатной
И шумно с места он вскочил;
Окинул вмиг летучим взглядом
Он узденей, сидевших рядом,
И, опустивши свой булат,
Так отвечает брату брат:
«Я не разбойник потаенный;
Я видеть, видеть кровь люблю;
Хочу, чтоб мною пораженный
Знал руку грозную мою!
Как ты, я русских ненавижу,
И даже более, чем ты;
Но под покровом темноты
Я чести князя не унижу!
Иную месть родной стране,
Иную славу надо мне!..».
И поединка ожидали
Меж братьев молча уздени;
Не смели тронуться они.
Он вышел — все еще молчали!..

16

Ужасна ты, гора Шайтан,
Пустыни старый великан;
Тебя злой дух, гласит преданье,
Построил дерзостной рукой,
Чтоб хоть на миг свое изгнанье
Забыть меж небом и землей.
Здесь, три столетья очарован,
Он тяжкой цепью был прикован*,
Когда надменный с новых скал
Стрелой пророку угрожал.
Как буркой, ельником покрыта,
Соседних гор она черней.
Тропинка желтая прорыта
Слезой отчаянья по ней;
Она ни мохом, ни кустами
Не зарастает никогда;
Пестрея чудными следами,
Она ведет… бог весть куда?
Олень с ветвистыми рогами,
Между высокими цветами,
Одетый хмелем и плющом,
Лежит, полуобъятый сном;
И вдруг знакомый лай он слышит
И чует близкого врага:
Поднявши медленно рога,
Минуту свежестью подышит,
Росу с могучих плеч стряхнет,
И вдруг одним прыжком махнет
Через утес; и вот он мчится,
Тернов колючих не боится
И хмель коварный грудью рвет:
Но, вольный путь пересекая,
Пред ним тропинка роковая…
Никем не зримая рука
Царя лесов остановляет,
И он, как гибель ни близка,
Свой прежний путь не продолжает!..

17

Кто ж под ужасною горой
Зажег огонь сторожевой?
Треща, краснея и сверкая,
Кусты вокруг он озарил.

На камень голову склоняя,
Лежит поодаль Измаил:
Его приверженцы хотели
Идти за ним — но не посмели!

18

Вот что ему родной готовил край?
Сбылись мечты! увидел он свой рай,
Где мир так юн, природа так богата,
Но люди, люди… что природа им?
Едва успел обнять изгнанник брата,
Уж клевета и зависть — все над ним!
Друзей улыбка, нежное свиданье,
За что б другой творца благодарил,
Все то ему дается в наказанье;
Но для терпенья ль создан Измаил?
Бывают люди: чувства — им страданья;
Причуда злой судьбы — их бытие;
Чтоб самовластье показать свое,
Она порой кидает их меж нами;
Так, древле, в море кинул царь алмаз,
Но гордый камень в свой урочный час
Ему обратно отдан был волнами!
И детям рока места в мире нет;
Они его пугают жизнью новой,
Они блеснут — и сгладится их след,
Как в темной туче след стрелы громовой.
Толпа дивится часто их уму,
Но чаще обвиняет, потому,
Что в море бед, как вихри их ни носят,
Они пособий от рабов не просят;
Хотят их превзойти в добре и зле,
И власти знак на гордом их челе.

19

«Бессмысленный! зачем отвергнул ты
Слова любви, моленья красоты?
Зачем, когда так долго с ней сражался,
Своей судьбы ты детски испугался?
Все прежнее, незнаемый молвой,
Ты б мог забыть близ Зары молодой,
Забыть людей близ ангела в пустыне,
Ты б мог любить, но не хотел! — и ныне
Картины счастья живо пред тобой
Проходят укоряющей толпой;
Ты жмешь ей руку, грудь ее ‹и› плечи
Целуешь в упоенье; ласки, речи,
Исполненные счастья и любви,
Ты чувствуешь, ты слышишь; образ милый,
Волшебный взор — все пред тобой, как было
Еще недавно; все мечты твои
Так вероятны, что душа боится,
Не веря им, вторично ошибиться!
А чем ты это счастье заменил?» —
Перед огнем так думал Измаил.
Вдруг выстрел, два и много! — он вскочил
И слушает, но все утихло снова.
И говорит он: «Это сон больного!».

20

Души волненьем утомлен,
Опять на землю князь ложится;
Трещит огонь, и дым клубится, —
И что же? — призрак видит он!
Перед огнем стоит спокоен,
На саблю опершись рукой,
В фуражке белой русский воин,
Печальный, бледный и худой.
Спросить хотелось Измаилу,
Зачем оставил он могилу!
И свет дрожащего огня,
Упав на смуглые ланиты,
Черкесу придал вид сердитый:
«Чего ты хочешь от меня?» —
«Гостеприимства и защиты! —
Пришлец бесстрашно отвечал, —
Свой путь в горах я потерял,
Черкесы вслед за мной спешили
И казаков моих убили,
И верный конь под мною пал!
Спасти, убить врага ночного
Равно ты можешь! не боюсь
Я смерти: грудь моя готова.
Твоей я чести предаюсь!» —
«Ты прав; на честь мою надейся!
Вот мой огонь: садись и грейся».

21

Тиха, прозрачна ночь была,
Светила на небе блистали,
Луна за облаком спала,
Но люди ей не подражали.
Перед огнем враги сидят,
Хранят молчанье и не спят.
Черты пришельца возбуждали
У князя новые мечты,
Они ему напоминали
Давно знакомые черты;
То не игра воображенья.
Он должен разрешить сомненья…
И так пришельцу говорил
Нетерпеливый Измаил:
«Ты молод, вижу я! за славой
Привыкнув гнаться, ты забыл,
Что славы нет в войне кровавой
С необразованной толпой!
За что завистливой рукой
Вы возмутили нашу долю?
За то, что бедны мы, и волю
И степь свою не отдадим
За злато роскоши нарядной;
За то, что мы боготворим,
Что презираете вы хладно!
Не бойся, говори смелей:
Зачем ты нас возненавидел,
Какою грубостью своей
Простой народ тебя обидел?».

22

«Ты ошибаешься, черкес! —
С улыбкой русский отвечает, —
Поверь: меня, как вас, пленяет
И водопад, и темный лес;
С восторгом ваши льды я вижу,
Встречая пышную зарю,

И ваше племя я люблю:
Но одного я ненавижу!
Черкес он родом, не душой,
Ни в чем, ни в чем не схож с тобой!
Себе иль князю Измаилу
Клялся я здесь найти могилу…
К чему опять ты мрачный взор
Мохнатой шапкой закрываешь?
Твое молчанье мне укор;
Но выслушай, ты все узнаешь…
И сам досадой запылаешь…

23

Ты знаешь, верно, что служил
В российском войске Измаил;
Но, образованный, меж нами
Родными бредил он полями,
И все черкес в нем виден был.
В пирах и битвах отличался
Он перед всеми! томный взгляд
Восточной негой отзывался:
Для наших женщин он был яд!
Воспламенив их воображенье,
Повелевал он без труда,
И за проступок наслажденье
Не почитал он никогда;
Не знаю — было то презренье
К законам стороны чужой
Или испорченные чувства!..
Любовью женщин, их тоской
Он веселился, как игрой;
Но избежать его искусства
Не удалося ни одной.

24

Черкес! видал я здесь прекрасных
Свободы нежных дочерей,
Но не сравню их взоров страстных
С приветом северных очей.
Ты не любил! — ни слов опасных,
Ни уст волшебных не знавал;
Кудрями девы золотыми
Ты в упоенье не играл,
Ты клятвам страсти не внимал,
И не был ты обманут ими!
Но я любил! Судьба меня
Блестящей радугой манила,
Невольно к бездне подводила…
И ждал я счастливого дня!
Своей невестой дорогою
Я смел уж ангела назвать,
Невинным ласкам отвечать
И с райской девой забывать,
Что рая нет уж под луною.
И вдруг ударил страшный час,
Причина долголетней муки;
Призыв войны, отчизны глас,
Раздался вестником разлуки.
Как дым рассеялись мечты!
Тот день я буду помнить вечно…
Черкес! черкес! ни с кем, конечно,
Ни с кем не расставался ты!

25

В то время Измаил случайно
Невесту увидал мою,
И страстью запылал он тайно!
Меж тем как в дальном я краю
Искал в боях конца иль славы,
Сластолюбивый и лукавый,
Он сердце девы молодой
Опутал сетью роковой.
Как он умел слезой притворной
К себе доверенность вселять!
Насмешкой — скромность побеждать
И, побеждая, вид покорный
Хранить; иль весь огонь страстей
Мгновенно открывать пред ней!
Он очертил волшебным кругом
Ее желанья; ведал он,
Что быть не мог ее супругом,
Что разделял их наш закон,
И обольщенная упала
На грудь убийцы своего!
Кроме любви, она не знала,
Она не знала ничего…

26

Но скоро скуку пресыщенья
Постиг виновный Измаил!
Таиться не было терпенья,
Когда погас минутный пыл.
Оставил жертву обольститель
И удалился в край родной,
Забыв, что есть на небе мститель,
А на земле еще другой!
Моя рука его отыщет
В толпе, в лесах, в степи пустой,
И казни грозной меч просвищет
Над непреклонной головой;
Пусть лик одежда изменяет:
Не взор — душа врага узнает!

27

Черкес, ты понял, вижу я,
Как справедлива месть моя!
Уж на устах твоих проклятья!
Ты, внемля, вздрагивал не раз…
О, если б мог пересказать я,
Изобразить ужасный час,
Когда прелестное созданье
Я в униженье увидал
И безотчетное страданье
В глазах увядших прочитал!
Она рассудок потеряла;
Рядилась, пела ‹и› плясала
Иль сидя молча у окна,
По целым дням, как бы не зная,
Что изменил он ей, вздыхая,
Ждала изменника она.
Вся жизнь погибшей девы милой
Остановилась на былом;
Ее безумье даже было
Любовь к нему и мысль об нем…
Какой душе не знал он цену!..» —
И долго русский говорил

Про месть, про счастье, про измену:
Его не слушал Измаил.
Лишь знает он да бог единый,
Что под спокойною личиной
Тогда происходило в нем.
Стеснив дыханье, вверх лицом
(Хоть сердце гордое и взгляды
Не ждали от небес отрады)
Лежал он на земле сырой,
Как та земля, и мрачный и немой!

28

Видали ль вы, как хищные и злые
К оставленному трупу в тихий дол
Слетаются наследники земные,
Могильный ворон, коршун и орел?
Так есть мгновенья, краткие мгновенья,
Когда, столпясь, все адские мученья
Слетаются на сердце — и грызут!
Века печали стоят тех минут.
Лишь дунет вихрь — и сломится лилея;
Таков с душой кто слабою рожден,
Не вынесет минут подобных он;
Но мощный ум, крепясь и каменея,
Их превращает в пытку Прометея!
Не сгладит время их глубокий след:
Все в мире есть — забвенья только нет!

29

Светает. Горы снеговые
На небосклоне голубом
Зубцы подъемлют золотые;
Слилися с утренним лучом
Края волнистого тумана,
И на верху горы Шайтана
Огонь, стыдясь перед зарей,
Бледнеет — тихо приподнялся,
Как перед смертию больной,
Угрюмый князь с земли сырой.
Казалось, вспомнить он старался
Рассказ ужасный и желал
Себя уверить он, что спал;
Желал бы счесть он все мечтою…
И по челу провел рукою;
Но грусть жестокий властелин!
С чела не сгладил он морщин.

30

Он встал, он хочет непременно
Пришельцу быть проводником.
Не зная думать что о нем,
Согласен юноша смущенный.
Идут они глухим путем,
Но их тревожит все: то птица
Из-под ноги у них вспорхнет,
То краснобокая лисица
В кусты цветущие нырнет.
Они все ниже, ниже сходят
И рук от сабель не отводят.
Через опасный переход
Спешат, нагнувшись, без оглядки;
И вновь на холм крутой взошли,
И цепью русские палатки,
Как на ночлеге журавли,
Белеют смутно уж вдали!
Тогда черкес остановился,
За руку путника схватил
И кто бы, кто не удивился?
По-русски с ним заговорил.

31

«Прощай! ты можешь безопасно
Теперь идти в шатры свои;
Но, если веришь мне, напрасно
Ты хочешь потопить в крови
Свою печаль! страшись, быть может,
Раскаянье прибавишь к ней.
Болезни этой не поможет
Ни кровь врага, ни речь друзей!
Напрасно здесь, в краю далеком,
Ты губишь прелесть юных дней;
Нет, не достать вражде твоей
Главы, постигнутой уж роком!
Он палачам судей земных
Не уступает жертв своих!
Твоя б рука не устрашила
Того, кто борется с судьбой:
Ты худо знаешь Измаила;
Смотри ж, он здесь, перед тобой!»
И с видом гордого презренья
Ответа князь не ожидал;
Он скрылся меж уступов скал —
И долго русский без движенья
Один, как вкопанный, стоял.

32

Меж тем, перед горой Шайтаном
Расположась военным станом,
Толпа черкесов удалых
Сидела вкруг огней своих;
Они любили Измаила,
С ним вместе слава иль могила,
Им все равно! лишь только б с ним!
Но не могла б судьба одним
И нежным чувством меж собою
Сковать людей с умом простым
И с беспокойною душою:
Их всех обидел Росламбек!
(Таков повсюду человек.)

33

Сидят наездники беспечно,
Курят турецкий свой табак
И князя ждут они: «Конечно,
Когда исчезнет ночи мрак,
Он к нам сойдет; и взор орлиный
Смирит враждебные дружины,
И вздрогнут перед ним они,
Как Росламбек и уздени!»
Так, песню воли напевая,
Шептала шайка удалая.

34

Безмолвно, грустно, в стороне,
Подняв глаза свои к луне,
Подруге дум любви мятежной,
Прекрасный юноша стоял, —

Цветок, для смерти слишком нежный!
Он также Измаила ждал,
Но не беспечно. Трепет тайный
Порывам сердца изменял,
И вздох тяжелый, не случайный,
Не раз из груди вылетал;
И он явился к Измаилу,
Чтоб разделить с ним — хоть могилу!
Увы! такая ли рука
В куски изрубит казака?
Такой ли взор, стыдливый, скромный,
Глядит на мир, чтоб видеть кровь?
Зачем он здесь, и ночью темной,
Лицом прелестный, как любовь,
Один в кругу черкесов праздных,
Жестоких, буйных, безобразных?
Хотя страшился он сказать,
Нетрудно было б отгадать,
Когда б… но сердце, чем моложе,
Тем боязливее, тем строже
Хранит причину от людей
Своих надежд, своих страстей.
И тайна юного Селима,
Чуждаясь уст, ланит, очей,
От любопытных, как от змей,
В груди сокрылась невредима!

Часть третья

She told nor whence, nor why she left behind
Her all for one who seem'd but little kind.
Why did she love him? Curious fool! — be still —
Is human love the growth of human will?..
«Lara». L. Byron

Она не сказала, ни откуда она, ни почему она оставила
Все для того, кто, казалось, с ней был тоже неласков.
Почему она любила его? Пытливый глупец! Молчи:
Разве человеческая любовь рождается по воле человека?
«Лара». Л<орд> Байрон.

1
Какие степи, горы и моря
Оружию славян сопротивлялись?
И где веленью русского царя
Измена и вражда не покорялись?
Смирись, черкес! и запад и восток,
Быть может, скоро твой разделят рок.
Настанет час — и скажешь сам надменно:
Пускай я раб, но раб царя вселенной!
Настанет час — и новый грозный Рим
Украсит Север Августом другим!

2
Горят аулы; нет у них защиты,
Врагом сыны отечества разбиты,
И зарево, как вечный метеор,
Играя в облаках, пугает взор.
Как хищный зверь, в смиренную обитель
Врывается штыками победитель;
Он убивает старцев и детей,
Невинных дев и юных матерей
Ласкает он кровавою рукою,
Но жены гор не с женскою душою!
За поцелуем вслед звучит кинжал,
Отпрянул русский, — захрипел, — и пал!
«Отмсти, товарищ!» — и в одно мгновенье
(Достойное за смерть убийцы мщенье!)
Простая сакля, веселя их взор,
Горит, — черкесской вольности костер!..

3
В ауле дальном Росламбек угрюмый
Сокрылся вновь, не ужасом объят;
Но у него коварные есть думы,
Им помешать теперь не может брат.
Где ж Измаил? — безвестными горами
Блуждает он, дерется с казаками,
И, заманив полки их за собой,
Пустыню усыпает их костями,
И манит новых по дороге той.
За ним устали русские гоняться,
На крепости природные взбираться;
Но отдохнуть черкесы не дают;
То скроются, то снова нападут.
Они, как тень, как дымное виденье,
И далеко и близко в то ж мгновенье.

4
Но в бурях битв не думал Измаил
Сыскать самозабвенья и покоя.
Не за отчизну, за друзей он мстил, —
И не пленялся именем героя;
Он ведал цену почестей и слов,
Изобретенных только для глупцов!
Недолгий жар погас! душой усталый,
Его бы не желал он воскресить;
И не родной аул, — родные скалы
Решился он от русских защитить!

5
Садится день, одетый мглою,
Как за прозрачной пеленою…
Ни ветра на земле, ни туч
На бледном своде! чуть приметно
Орла на вышине бесцветной;
Меж скал блуждая, желтый луч
В пещеру дикую прокрался
И гладкий череп озарил,
И сам на жителе могил
Перед кончиной разыгрался,
И по разбросанным костям,
Травой поросшим, здесь и там
Скользнул огнистой полосою,
Дивясь их вечному покою.
Но прежде встретил он двоих,
Недвижных также, — но живых…
И, как немые жертвы гроба,
Они беспечны были оба!

6
Один… так точно! — Измаил!
Безвестной думой угнетаем,
Он солнце тусклое следил,
Как мы нередко провожаем

Гостей докучливых; на нем
Черкесский панцирь и шелом,
И пятна крови омрачали
Местами блеск военной стали.
Младую голову Селим
Вождю склоняет на колени;
Он всюду следует за ним,
Хранительной подобно тени;
Никто ни ропота, ни пени
Не слышал на его устах…
Боится он или устанет,
На Измаила только взглянет —
И весел труд ему и страх!

7

Он спит — и длинные ресницы
Закрыли очи под собой;
В ланитах кровь, как у девицы,
Играет розовой струей;
И на кольчуге боевой
Ему не жестко. С сожаленьем
На эти нежные черты
Взирает витязь, и мечты
Его исполнены мученьем:
«Так светлой каплею роса,
Оставя край свой, небеса,
На лист увядший упадает;
Блистая райским жемчугом,
Она покоится на нем,
И, беззаботная, не знает,
Что скоро лист увядший тот
Пожнет коса иль конь сомнет!»

8

С полуоткрытыми устами,
Прохладой вечера дыша,
Он спит; но мирная душа
Взволнована! полусловами
Он с кем-то говорит во сне!
Услышал князь и удивился;
К устам Селима в тишине
Прилежным ухом он склонился:
Быть может, через этот сон
Его судьбу узнает он…
«Ты мог забыть? — любви не нужно
Одной лишь нежности наружной…
Оставь же!» — сонный говорил.
«Кого оставить?» — князь спросил.
Селим умолк, но на мгновенье;
Он продолжал: «К чему сомненье?
На всем лежит его презренье…
Увы! что значат перед ним
Простая дева иль Селим?
Так будет вечно между нами…
Зачем бесценными устами
Он это имя освятил?».
«Не я ль?» — подумал Измаил.
И, погодя, он слышит снова:
«Ужасно, боже! для детей
Проклятие отца родного,
Когда на склоне поздних дней
Оставлен ими… но страшней
Его слеза!..» Еще два слова
Селим сказал, и слабый стон
Вдруг поднял грудь, как стон прощанья,
И улетел. — Из состраданья
Князь прерывает тяжкий сон.

9

И, вздрогнув, юноша проснулся,
Взглянул вокруг и улыбнулся,
Когда он ясно увидал,
Что на коленях друга спал.
Но, покрасневши, сновиденье
Пересказать стыдился он,
Как будто бы лукавый сон
Имел с судьбой его сношенье.
Не отвечая на вопрос
(Примета явная печали),
Щипал он листья диких роз,
И наконец две капли слез
В очах склоненных заблистали;
И, с быстротой отворотясь,
Он слезы осушил рукою…
Все примечал, все видел князь;
Но не смутился он душою
И приписал он простоте,
Затеям детским слезы те.
Конечно, сам давно не знал он
Печалей сладостных любви?
И сам давно не предавал он
Слезам страдания свои?

10

Не знаю!.. Но в других он чувства
Судить отвык уж по своим.
Не раз, личиною искусства,
Слезой и сердцем ледяным,
Когда обманов сам чуждался,
Обманут был он; — и боялся
Он верить, только потому,
Что верил некогда всему!
И презирал он этот мир ничтожный,
Где жизнь — измен взаимных вечный ряд;
Где радость и печаль — все призрак ложный!
Где память о добре и зле — все яд!
Где льстит нам зло, но более тревожит;
Где сердца утешать добро не может;
И где они, покорствуя страстям,
Раскаянье одно приносят нам…

11

Селим встает, на гору всходит.
Сребристый стелется ковыль
Вокруг пещеры; сумрак бродит
Вдали… вот топот! вот и пыль,
Желтея, поднялась в лощине!
И крик черкесов по заре
Гудит, теряяся в пустыне!
Селим все слышал на горе;
Стремглав в пещеру он вбегает:
«Они! они!» — он восклицает,
И князя нежною рукой
Влечет он быстро за собой.
Вот первый всадник показался;

Он, мнилось, из земли рождался,
Когда въезжал на холм крутой;
За ним другой, еще другой,
И вереницею тянулись
Они по узкому пути:
Там, если б два коня столкнулись,
Назад бы оба не вернулись
И не могли б вперед идти.

12

Толпа джигитов[1] удалая,
Перед горой остановясь,
С коней измученных слезая,
Шумит. — Но к ним подходит князь,
И все утихло! уваженье
В их выразительных чертах;
Но уважение — не страх;
Не власть его основа — мненье!
«Какие вести?» — Русский стан
Пришел к Осаевскому Полю*,
Им льстит и бедность наших стран!
Их много!» — «Кто не любит волю?»
Молчат. — «Так дайте ж отдохнуть
Своим коням; с зарею в путь.
В бою мы ради лечь костями;
Чего ‹же› лучшего нам ждать?
Но в цвете жизни умирать…
Селим, ты не поедешь с нами!..»

13

Бледнеет юноша, и взор
Понятно выразил укор: —
«Нет, — говорит он, — я повсюду,
В изгнанье, в битве спутник твой;
Нет, клятвы я не позабуду —
Угаснуть или жить с тобой!
Не робок я под свистом пули,
Ты видел это, Измаил;
Меня враги не ужаснули,
Когда ты, князь, со мною был!
И с твоего чела не я ли
Смывал так часто пыль и кровь?
Когда друзья твои бежали,
Чьи речи, ласки прогоняли
Суровый мрак твоей печали?
Мои слова! моя любовь!
Возьми, возьми меня с собою!
Ты знаешь, я владеть стрелою
Могу… И что мне смерть? — о нет!
Красой и счастьем юных лет
Моя душа не дорожила;
Все, все оставлю, жизнь и свет,
Но не оставлю Измаила!»

14

Взглянул на небо молча князь,
И наконец, отворотясь,
Он протянул Селиму руку;
И крепко тот ее пожал
За то, что смерть, а не разлуку
Печальный знак сей обещал!
И долго витязь так стоял;
И под нависшими бровями
Блеснуло что-то; и слезами
Я мог бы этот блеск назвать,
Когда б не скрылся он опять!..

15

По косогору ходят кони;
Колчаны, ружья, седла, брони
В пещеру на ночь снесены;
Огни у входа зажжены;
На князе яркая кольчуга
Блестит, краснея; погружен
В мечтанье горестное он;
И от страстей, как от недуга,
Бежит спокойствие и сон.
И говорит Селим: «Наверно,
Тебя терзает дух пещерный!
Дай песню я тебе спою;
Нередко дева молодая
Ее поет в моем краю,
На битву друга отпуская!
Она печальна; но другой
Я не слыхал в стране родной
Ее певала мать родная
Над колыбелию моей,
Ты, слушая, забудешь муки,
И на глаза навеют звуки
Все сновиденья детских дней!»
Селим запел, и ночь кругом внимает,
И песню ей пустыня повторяет:

Песня Селима

Месяц плывет
И тих и спокоен;
А юноша-воин
На битву идет.
Ружье заряжает джигит,
И дева ему говорит:

«Мой милый, смелее
Вверяйся ты року,
Молися востоку,
Будь верен пророку,
Любви будь вернее!

Всегда награжден,
Кто любит до гроба,
Ни зависть, ни злоба
Ему не закон;
Пускай его смерть и погубит;
Один не погибнет, кто любит!

Любви изменивший
Изменой кровавой,
Врага не сразивши,
Погибнет без славы;
Дожди его ран не обмоют,
И звери костей не зароют!»

[1] Наездники. (*Примечание Лермонтова.*)

Месяц плывет
И тих и спокоен;
А юноша-воин
На битву идет!

«Прочь эту песню! — как безумный
Воскликнул князь, — зачем упрек?..
Тебя ль послушает пророк?..
Там, облит кровью, в битве шумной
Твои слова я заглушу,
И разорву ее оковы...
И память в сердце удушу!..
Вставайте! — как? — вы не готовы?..
Прочь песни! — крови мне!.. пора!..
Друзья! коней!.. вы не слыхали...
Удары, топот, визг ядра,
И крик, и треск разбитой стали?..
Я слышал!.. О, не пой, не пой!
Тронь сердце, как дрожит, и что же?
Ты недовольна?.. боже! боже!..
Зачем казнить ее рукой?..»
Так речь его оторвалася
От бледных уст и пронеслася
Невнятно, как далекий гром.
Неровным, трепетным огнем
До половины освещенный,
Ужасен, с шашкой обнаженной
Стоял недвижим Измаил,
Как призрак злой, от сна могил
Волшебным словом пробужденный;
Он взор всей силой устремил
В пустую степь, грозил рукою,
Чему-то страшному грозил:
Иначе, как бы Измаил
Смутиться твердой мог душою?
И понял наконец Селим,
Что витязь говорил не с ним!
Неосторожный! он коснулся
Душевных струн, — и звук проснулся,
Расторгнув хладную тюрьму...
И сам искусству своему
Селим невольно ужаснулся!

16

Толпа садится на коней;
При свете гаснущих огней
Мелькают сумрачные лица.
Так опоздавшая станица
Пустынных белых журавлей
Вдруг поднимается с полей...
Смех, клики, ропот, стук и ржанье!
Все дышит буйством и войной!
Во всем приличия незнанье,
Отвага дерзости слепой.

17

Светлеет небо полосами;
Заря меж синими рядами
Ревнивых туч уж занялась.
Вдоль по лощине едет князь,
За ним черкесы цепью длинной.
Признаться: конь по седоку!
Бежит, и будто ветр пустынный,
Скользящий шумно по песку,
Крутится, вьется на скаку;
Он бел, как снег: во мраке ночи
Его заметить могут очи.
С колчаном звонким за спиной,
Отягощен своим нарядом,
Селим проворный едет рядом
На кобылице вороной.
Так белый облак, в полдень знойный,
Плывет отважно и спокойно,
И вдруг по тверди голубой
Отрывок тучи громовой,
Грозы дыханием гонимый,
Как черный лоскут, мчится мимо;
Но, как ни бейся, в вышине
Он с тем не станет наравне!

18

Уж близко роковое поле.
Кому-то пасть решит судьба?
Вдруг им послышалась стрельба;
И каждый миг все боле, боле,
И пушки голос громовой
Раздался скоро за горой.
И вспыхнул князь, махнул рукою:
«Вперед! — воскликнул он, — за мною!»
Сказал и бросил повода.
Нет! так прекрасен никогда
Он не казался! повелитель,
Герой по взорам и речам,
Летел к опасным он врагам,
Летел, как ангел-истребитель;
И в этот миг, скажи, Селим,
Кто б не последовал за ним?

19

Меж тем с беспечною отвагой
Отряд могучих казаков
Гнался за малою ватагой
Неустрашимых удальцов;
Всю эту ночь они блуждали
Вкруг неприязненных шатров;
Их часовые увидали,
И пушка грянула по ним,
И казаки спешат навстречу!
Едва с отчаяньем немым
Они поддерживали сечу,
Стыдясь и в бегстве показать,
Что смерть их может испугать.
Их круг тесней уж становился;
Один под саблею свалился,
Другой, пробитый в грудь свинцом,
Был в поле унесен конем,
И, мертвый, на седле все бился!..
Оружье брось, надежды нет,
Черкес! читай свои молитвы!
В крови твой шелковый бешмет,

Тебе другой не видеть битвы!
Вдруг пыль! и крик! — он им знаком:
То крик родной, не бесполезный!
Глядят и видят: над холмом
Стоит их князь в броне железной!..

20

Недолго Измаил стоял:
Вздохнуть коню он только дал,
Взглянул, и ринулся, и смял
Врагов, и путь за ним кровавый
Меж их рядами виден стал!
Везде, налево и направо,
Чертя по воздуху круги,
Удары шашки упадают;
Не видят блеск ее враги
И беззащитно умирают!
Как юный лев, разгорячась,
В средину их врубился князь;
Кругом свистят и реют пули;
Но что ж? его хранит пророк!
Шелом удары не согнули,
И худо метится стрелок.
За ним, погибель рассыпая,
Вломилась шайка удалая,
И чрез минуту шумный бой
Рассыпался в долине той...

21

Далеко от сраженья, меж кустов,
Питомец смелый трамских табунов*,
Расседланный, хладея постепенно,
Лежал издохший конь; и перед ним,
Участием исполненный живым,
Стоял черкес, соратника лишенный;
Крестом сжав руки и кидая взгляд
Завистливый туда, на поле боя,
Он проклинать судьбу свою был рад;
Его печаль — была печаль героя!
И весь в поту, усталостью томим,
К нему в испуге подскакал Селим
(Он лук не напрягал еще, и стрелы
Все до одной в колчане были целы).

22

«Беда! — сказал он, — князя не видать!
Куда он скрылся?» — «Если хочешь знать,
Взгляни туда, где бранный дым краснее,
Где гуще пыль и смерти крик сильнее,
Где кровью облит мертвый и живой,
Где в бегстве нет надежды никакой:
Он там! — смотри: летит, как с неба пламя;
Его шишак и конь — вот наше знамя!
Он там! — как дух, разит и невредим,
И все бежит иль падает пред ним!»
Так отвечал Селиму сын природы —
А лесть была чужда степей свободы!..

23

Кто этот русский? с саблею в руке,
В фуражке белой? страха он не знает!
Он между всех отличен вдалеке,
И казаков примером ободряет;
Он ищет Измаила — и нашел,
И вынул пистолет свой, и навел,
И выстрелил! — напрасно! — обманулся
Его свинец! — но выстрел роковой
Услышал князь, и мигом обернулся,
И задрожал: «Ты вновь передо мной!
Свидетель бог: не я тому виной!..» —
Воскликнул он, и шашка зазвенела,
И, отделясь от трепетного тела,
Как зрелый плод от ветки молодой,
Скатилась голова; — и конь ретивый,
Встав на дыбы, заржал, мотая гривой,
И скоро обезглавленный седок
Свалился на растоптанный песок.
Недолго это сердце увядало,
И мир ему! — в единый миг оно
Любить и ненавидеть перестало:
Не всем такое счастье суждено!

24

Все жарче бой; главы валятся
Под взмахом княжеской руки;
Спасая дни свои, теснятся,
Бегут в расстройстве казаки!
Как злые духи, горцы мчатся
С победным воем им вослед,
И никому пощады нет!
Но что ж? победа изменила!
Раздался вдруг нежданный гром,
Все в дыме скрылося густом;
И пред глазами Измаила
На землю с бешеных коней
Кровавой грудою костей
Свалился ряд его друзей.
Как град посыпалась картеча;
Пальбу услышав издалеча,
Направя синие штыки,
Спешат ширванские полки*.
Навстречу гибельному строю
Один, с отчаянной душою,
Хотел пуститься Измаил;
Но за повод коня схватил
Черкес, и в горы за собою,
Как ни противился седок,
Коня могучего увлек.
И ни малейшего движенья
Среди всеобщего смятенья
Не упустил младой Селим;
Он бегство князя примечает!
Удар судьбы благословляет
И быстро следует за ним.
Не стыд, — но горькая досада
Героя медленно грызет:
Жизнь побежденным не награда!
Он на друзей не кинул взгляда,
И, мнится, их не узнает.

25

Чем реже нас балует счастье,
Тем слаще предаваться нам
Предположеньям и мечтам.
Родится ль тайное пристрастье

К другому миру, хоть и там
Судьбы приметно самовластье,
Мы все свободнее дарим
Ему надежды и желанья,
И украшаем, как хотим,
Свои воздушные созданья!
Когда забота и печаль
Покой душевный возмущают,
Мы забываем свет, и вдаль
Душа и мысли улетают,
И ловят сны, в которых нет
Следов и теней прежних лет.
Но ум, сомненьем охлажденный
И спорить с роком приученный,
Не усладить, не позабыть
Свои страдания желает;
И если иногда мечтает,
То он мечтает победить!
И, зная собственную силу,
Пока не сбросит прах в могилу,
Он не оставит гордых дум…
Такой непобедимый ум
Природой дан был Измаилу!

26

Он ранен, кровь его течет;
А он не чувствует, не слышит;
В опасный путь его несет
Ретивый конь, храпит и пышет!
Один Селим не отстает.
За гриву ухватись руками,
Едва сидит он на седле;
Боязни бледность на челе;
Он очи, полные слезами,
Порой кидает на того,
Кто все на свете для него,
Кому надежду жизни милой
Готов он в жертву принести,
И чье последнее «прости»
Его бы с жизнью разлучило!
Будь перед миром он злодей,
Что для любви слова людей?
Что ей небес определенье?
Нет! охладить любовь гоненье
Еще ни разу не могло;
Она сама свое добро и зло!

27

Умолк докучный крик погони;
Дымясь и в пене скачут кони
Между провалом и горой,
Кремнистой, тесною тропой;
Они дорогу знают сами
И презирают седока,
И бесполезная рука
Уж не владеет поводами.
Направо темные кусты
Висят, за шапки задевая,
И, с неприступной высоты
На новых путников взирая,
Чернеет серна молодая;
Налево — пропасть; по краям
Ряд красных камней, здесь и там
Всегда обрушиться готовый.
Никем не ведомый поток
Внизу, свиреп и одинок,
Как тигр Америки суровой,
Бежит гремучею волной;
То блещет бахромой перловой,
То изумрудною каймой;
Как две семьи — враждебный гений,
Два гребня разделяет он.
Вдали на синий небосклон
Нагих, бесплодных гор ступени
Ведут желание и взгляд
Сквозь облака, которых тени
По ним мелькают и спешат;
Сменяя в зависти друг друга,
Они бегут вперед, назад,
И мнится, что под солнцем юга
В них страсти южные кипят!

28

Уж полдень. Измаил слабеет;
Пылает солнце высоко.
Но есть надежда! дым синеет,
Родной аул недалеко…
Там, где, кустарником покрыты,
Встают красивые граниты
Каким-то пасмурным венцом,
Есть поворот и путь, прорытый
Арбы скрипучим колесом.
Оттуда кровы земляные,
Мечеть, белеющий забор,
Аргуны воды голубые,
Как под ногами, встретит взор!
Достигнут поворот желанный;
Вот и венец горы туманной;
Вот слышен речки рев глухой;
И белый конь сильней рванулся…
Но вдруг переднею ногой
Он оступился, спотыкнулся,
И на скаку, между камней,
Упал всей тягостью своей.

29

И всадник, кровью истекая,
Лежал без чувства на земле;
В устах недвижность гробовая,
И бледность муки на челе;
Казалось, час его кончины
Ждал знак условный в небесах,
Чтобы слететь, и в миг единый
Из человека сделать — прах!
Ужель степная лишь могила
Ничтожный в мире будет след
Того, чье сердце столько лет
Мысль о ничтожестве томила?
Нет! нет! ведь здесь еще Селим…
Склонясь в отчаянье над ним,
Как в бурю ива молодая
Над падшим гнется алтарем,
Снимал он панцирь и шелом;
Но, сердце к сердцу прижимая,

Не слышит жизни ни в одном!
И если б страшное мгновенье
Все мысли не убило в нем,
Судиться стал бы он с творцом
И проклинал бы провиденье!..

30

Встает, глядит кругом Селим:
Все неподвижно перед ним!
Зовет: и тучка дождевая
Летит на зов его одна,
По ветру крылья простирая,
Как смерть, темна и холодна.
Вот наконец сырым покровом
Одела путников она,
И юноша в испуге новом!
Прижавшись к другу с быстротой:
«О, пощади его!.. Постой! —
Воскликнул он, — я вижу ясно,
Что ты пришла меня лишить
Того, кого люблю так страстно,
Кого слабей нельзя любить!
Ступай! Ищи других по свету…
Все жертвы бога твоего!
Ужель меня несчастней нету?
И нет виновнее его?».

31

Меж тем, подобно дымной тени,
Хотя не понял он молений,
Угрюмый облак пролетел.
Когда ж Селим взглянуть посмел,
Он был далеко! Освеженный
Его прохладою мгновенной,
Очнулся бледный Измаил,
Вздохнул, потом глаза открыл.
Он слаб: другую ищет руку
Его дрожащая рука;
И, каждому внимая звуку,
Он пьет дыханье ветерка,
И все, что близко, отдаленно,
Пред ним яснеет постепенно…
Где ж друг последний? Где Селим?
Глядит! — и что же перед ним?
Глядит — уста оледенели,
И мысли зреньем овладели…
Не мог бы описать подобный миг
Ни ангельский, ни демонский язык!

32

Селим… и кто теперь не отгадает?
На нем мохнатой шапки больше нет,
Раскрылась грудь; на шелковый бешмет
Волна кудрей, чернея, ниспадает,
В печали женщин лучший их убор!
Молитва стихла на устах!.. а взор…
О небо! небо! Есть ли в кущах рая
Глаза, где слезы, робость и печаль
Оставить страшно, уничтожить жаль?
Скажи мне, есть ли Зара молодая
Меж дев твоих? и плачет ли она,
И любит ли? Но понял я молчанье!
Не встретить мне подобное созданье;
На небе неуместно подражанье,
А Зара на земле была одна…

33

Узнал, узнал он образ позабытый
Среди душевных бурь и бурь войны;
Поцеловал он нежные ланиты —
И краски жизни им возвращены.
Она чело на грудь ему склонила,
Смущают Зару ласки Измаила,
Но сердцу как ума не соблазнить?
И как любви стыда не победить?
Их речи — пламень! вечная пустыня
Восторгом и блаженством их полна.
Любовь для неба и земли святыня,
И только для людей порок она!
Во всей природе дышит сладострастье;
И только люди покупают счастье!

Прошло два года, все кипит война;
Бесплодного Кавказа племена
Питаются разбоем и обманом;
И в знойный день, и под ночным туманом
Отважность их для русского страшна.
Казалося, двух братьев помирила
Слепая месть и к родине любовь;
Везде, где враг бежит и льется кровь,
Видна рука и шашка Измаила.
Но отчего ни Зара, ни Селим
Теперь уже не следуют за ним?
Куда лезгинка нежная сокрылась?
Какой удар ту грудь оледенил,
Где для любви такое сердце билось,
Каким владеть он недостоин был?
Измена ли причина их разлуки?
Жива ль она иль спит последним сном?
Родные ль в гроб ее сложили руки?
Последнее «прости» с слезами муки
Сказали ль ей на языке родном?
И если смерть щадит ее поныне —
Между каких людей, в какой пустыне?
Кто б Измаила смел спросить о том?

Однажды, в час, когда лучи заката
По облакам кидали искры злата,
Задумчив на кургане Измаил
Сидел: еще ребенком он любил
Природы дикой пышные картины,
Разлив зари и льдистые вершины,
Блестящие на небе голубом;
Не изменилось только это в нем!
Четыре горца близ него стояли,
И мысли по лицу узнать желали;
Но кто проникнет в глубину морей
И в сердце, где тоска, — но нет страстей?
О чем бы он ни думал, — запад дальный
Не привлекал мечты его печальной;
Другие вспоминанья и другой,
Другой предмет владел его душой.

Но что за выстрел? — дым взвился, белея.
Верна рука, и верен глаз злодея!
С свинцом в груди, простертый на земле,
С печатью смерти на крутом челе,
Друзьями окружен, любимец брани
Лежал, навеки нем для их призваний!
Последний луч зари еще играл
На пасмурных чертах и придавал
Его лицу румянец; и казалось,
Что в нем от жизни что-то оставалось,
Что мысль, которой угнетен был ум,
Последняя его тяжелых дум,
Когда душа отторгнулась от тела,
Его лица оставить не успела!
Небесный суд да будет над тобой,
Жестокий брат, завистник вероломный!
Ты сам наметил выстрел роковой,
Ты не нашел в горах руки наемной!

Гремучий ключ катился невдали.
К его струям черкесы принесли
Кровавый труп; расстегнут их рукою
Чекмень, пробитый пулей роковою;
И грудь обмыть они уже хотят…
Но почему их омрачился взгляд?
Чего они так явно ужаснулись?
Зачем, вскочив, так хладно отвернулись?
Зачем? — какой-то локон золотой
(Конечно, талисман земли чужой),
Под грубою одеждою измятой,
И белый крест на ленте полосатой*
Блистали на груди у мертвеца!..
«И кто бы отгадал? — Джяур проклятый!
Нет, ты не стоил лучшего конца;
Нет, мусульманин верный Измаилу,
Отступнику не выроет могилу!
Того, кто презирал людей и рок,
Кто смертию играл так своенравно,
Лишь ты низвергнуть смел, святой пророк!
Пусть, не оплакан, он сгниет бесславно,
Пусть кончит жизнь, как начал, одинок».

1832

Аул Бастунджи

Посвященье

1
Тебе, Кавказ, — суровый царь земли —
Я снова посвящаю стих небрежный:
Как сына ты его благослови
И осени вершиной белоснежной!
От ранних лет кипит в моей крови
Твой жар и бурь твоих порыв мятежный;
На севере в стране тебе чужой
Я сердцем твой, — всегда и всюду твой!..

2
Твоих вершин зубчатые хребты
Меня носили в царстве урагана,
И принимал меня, лелея, ты
В объятия из синего тумана.
И я глядел в восторге с высоты,
И подо мной, как остов великана,
В степи обросший мохом и травой,
Лежали горы грудой вековой.

3
Над детской головой моей венцом
Свивались облака твои седые;
Когда по ним гремя катался гром,
И пробудясь от сна, как часовые,
Пещеры окликалися кругом,
Я понимал их звуки роковые,
Я в край надзвездный пылкою душой
Летал на колеснице громовой!..

4
Моей души не понял мир. Ему
Души не надо. Мрак ее глубокой,
Как вечности таинственную тьму,
Ничье живое не проникнет око.
И в ней-то, недоступные уму,
Живут воспоминанья о далекой
Святой земле… ни свет, ни шум земной
Их не убьет… я твой! я всюду твой!..

Глава первая

I
Между Машуком и Бешту, назад
Тому лет тридцать, был аул, горами
Закрыт от бурь и вольностью богат.
Его уж нет. Кудрявыми кустами
Покрыто поле: дикий виноград
Цепляясь вьется длинными хвостами
Вокруг камней, покрытых сединой,
С вершин соседних сброшенных грозой!..

II
Ни бранный шум, ни песня молодой
Черкешенки уж там не слышны боле;
И в знойный, летний день табун степной
Без стражи ходит там, один, по воле;
И без оглядки с пикой за спиной
Донской казак въезжает в это поле;
И безопасно в небесах орел,
Чертя круги, глядит на тихий дол.

III
И там, когда вечерняя заря
Бледнеющим румянцем одевает
Вершины гор, — пустынная змея
Из-под камней резвяся выползает;
На ней рябая блещет чешуя
Серебряным отливом, как блистает
Разбитый меч, оставленный бойцом
В густой траве на поле роковом.

IV
Сгорел аул — и слух об нем исчез.
Его сыны рассыпаны в чужбине…
Лишь пред огнем, в туманный день, черкес
Порой об нем рассказывает ныне

При малых детях. — И чужих небес
Питомец, проезжая по пустыне,
Напрасно молвит казаку: «Скажи,
Не знаешь ли аула *Бастунджи*?».

V

В ауле том без ближних и друзей
Когда-то жили два родные брата,
И в Пятигорье не было грозней
И не было отважней *Акбулата*.
Меньшой был слаб и нежен с юных дней,
Как цвет весенний под лучом заката!
Чуждался битв и крови он, и зла,
Но искра в нем таилась… и ждала…

VI

Отец их был убит в чужом краю.
А мать *Селим* убил своим рожденьем,
И, хоть невинный, начал жизнь свою,
Как многие кончают, — преступленьем!
Он душу не обрадовал ничью,
Он никому не мог быть утешеньем;
Когда он в первый раз открыл глаза,
Его улыбку встретила гроза!..

VII

Он рос один… по воле, без забот,
Как птичка, меж землей и небесами!
Блуждая с детства средь родных высот,
Привык он тучи видеть под ногами,
А над собой один безбрежный свод;
Порой в степи застигнутый мечтами,
Один сидел до поздней ночи он,
И вкруг него летал чудесный сон.

VIII

И земляки — зачем? то знает бог —
Чуждались их беседы; особливо
Паслись их кони… и за их порог
Переступали люди боязливо;
И даже молодой Селим не мог,
Свой тонкий стан высокий и красивый,
В бешмет шелковый праздничный одев,
Привлечь одной улыбки гордых дев.

IX

Сбиралась ли ватага удальцов
Отбить табун, иль бранною забавой
Потешиться… оставя бедный кров,
Им вслед, с усмешкой горькой и лукавой,
Смотрели братья, сумрачны, без слов,
Как смотрит облак иногда двуглавый,
Засев меж скал, на светлый бег луны,
Один, исполнен грозной тишины.

X

Дивились все взаимной их любви,
И не любил никто их… оттого ли,
Что никому они дела свои
Не поверяли, и надменной воли
Склонить пред чуждой волей не могли?
Не знаю, — тайна их угрюмой доли
Темнее строк, начертанных рукой
Прохожего на плите гробовой…

XI

Была их сакля меньше всех других,
И с плоской кровли мох висел зеленый.
Рядком блистали на стенах простых
Аркан, седло с насечкой вороненой,
Два башлыка, две шашки боевых,
Да два ружья, которых ствол граненый,
Едва прикрытый шерстяным чехлом,
Был закопчен в дыму пороховом.

XII

Однажды… Акбулата ждал Селим
С охоты. Было поздно. На долину
Туман ложился, как прозрачный дым;
И сквозь него, прорезав половину
Косматых скал, как буркою, густым
Одетых мраком, дикую картину
Родной земли и неба красоту
Обозревал задумчивый Бешту.

XIII

Вдали тянулись розовой стеной,
Прощаясь с солнцем, горы снеговые;
Машук, склоняся лысой головой,
Через струи Подкумка голубые,
Казалось, думал тяжкою стопой
Перешагнуть в поместия чужие.
С мечети слез мулла; аул дремал…
Лишь в крайней сакле огонек блистал.

XIV

И ждет Селим — сидит он час и два,
Гуляя в поле, горный ветер плачет,
И под окном колышется трава.
Но чу! далекий топот… кто-то скачет…
Примчался; фыркнул конь, заржал… Сперва
Спрыгнул один, потом другой… что это значит?
То не сайгак, не волк, не зверь лесной!
Он прискакал с добычею иной.

XV

И в саклю молча входит Акбулат,
Самодовольно взорами сверкая.
Селим к нему: «Ты загулялся, брат!
Я чай, с тобой не дичь одна лесная».
И любопытно он взглянул назад,
И видит он: черкешенка младая
Стоит в дверях, мила как херувим;
И побледнел невольно мой Селим.

XVI

И в нем, как будто пробудясь от сна,
Зашевелилось сладостное что-то.
«Люби ее! она моя жена! —
Сказал тогда Селиму брат. — Охотой
Родной аул покинула она.
Наш бедный дом храним ее заботой
Отныне будет. Зара! вот моя
Отчизна, все богатство, вся семья!..»

XVII

И Зара улыбнулась, и уста
Хотели вымолвить слова привета,
Но замерли. — Вдоль по челу мечта

Промчалась тенью. По словам поэта,
Казалось, вся она была слита,
Как гурии, из сумрака и света*;
Белей и чище ранних облаков
Являлась грудь, поднявшая покров;

XVIII
Черны глаза у серны молодой,
Но у нее глаза чернее были;
Сквозь тень ресниц, исполнены душой,
Они блаженством сердцу говорили!
Высокий стан искусною рукой
Был стройно перетянут без усилий;
Сквозь черный шелк витого кушака
Блистало серебро исподтишка.

XIX
Змеились косы на плечах младых,
Оплетены тесемкой золотою;
И мрамор плеч, белея из-под них,
Был разрисован жилкой голубою.
Она была прекрасна в этот миг,
Прекрасна вольной дикой простотою,
Как южный плод румяный, золотой,
Обрызганный душистою росой.

XX
Селим смотрел. Высоко билось в нем
Встревоженное сердце чем-то новым.
Как сладко, страстно пламенным челом
Прилег бы он к грудям ее перловым!
Он вздрогнул, вышел… сумрачен лицом,
Кинжал рукою стиснув. — На шелковом
Ковре лениво Акбулат лежал,
Курил и думал… О! когда б он знал!..

XXI
Промчался день, другой… и много дней;
Они живут, как прежде, нелюдимо.
Но раз… шумела буря. Все черней
Утесы становились. С воем мимо,
Подобно стае скачущих зверей,
Толпою резвых жадных псов гонимой,
Неслися друг за другом облака,
Косматые, как перья шишака.

XXII
Очами Акбулат их провожал
Задумчиво с порога сакли бедной.
Вдруг шорох: он глядит… пред ним стоял
Селим, без шапки, пасмурный и бледный;
На поясе звеня висел кинжал,
Рука блуждала по оправе медной;
Слова кипели смутно на устах,
Как бьется пена в тесных берегах.

XXIII
И юноше с участием живым
Он молвил: «Что с тобой? — не понимаю!
Скажи!» — «Я гибну! — отвечал Селим,
Сверкая мутным взором, — я страдаю!..
Одною думой день и ночь томим!
Я гибну!.. ты ревнив, ты вспыльчив: знаю!
Безумца не захочешь ты спасти…
Так, я виновен… но, прости!.. прости!..»

XXIV
«Скажи, тебя обидел кто-нибудь? —
Обиду злобы кровью смыть могу я!
Иль конь пропал? — Забудь об нем, забудь,
В горах коня красивее найду я!..
Иль от любви твоя пылает грудь?
И чуждой девы хочешь поцелуя?..
Ее увезть легко во тьме ночной,
Она твоя!.. но молви: что с тобой?»

XXV
«Легко спросить… но тяжко рассказать
И чувствовать!.. Молился я пророку,
Чтоб ангелам велел он ниспослать
Хоть каплю влаги пламенному оку!..
Ты видишь: есть ли слезы?.. О! не трать
Молитв напрасных… к яркому востоку
И западу взывал я… но в моей
Душе все шевелится грусть, как змей!..

XXVI
«Я проклял небо — оседлал коня;
Пустился в степь. Без цели мы блуждали,
Не различал ни ночи я, ни дня…
Но вслед за мной мечты мои скакали!
Я гибну, брат!.. пойми, спаси меня!
Твоя душа не крепче бранной стали;
Когда я был ребенком, ты любил
Ребенка… помнишь это? иль забыл?..

XXVII
«Послушай!.. бурно молодость во мне
Кипит, как жаркий ключ в скалах Машука!
Но ты, — в твоей суровой седине
Видна усталость жизни, лень и скука.
Пускай летать ты можешь на коне,
Звенящую стрелу бросать из лука,
Догнать оленя и врага сразить…
Но… так, как я, не можешь ты любить!..

XXVIII
Не можешь ты безмолвно целый час
Смотреть на взор живой, но безответный,
И утопать в сияньи милых глаз,
Тая в груди, как месть, огонь заветный!
Обнявши Зару, я видал не раз,
Как ты томился скукою приметной…
Я б отдал *жизнь* за поцелуй такой,
И… если б мог, не пожалел другой!..»

XXIX
Как облака, висящие над ним,
Стал мрачен лик суровый Акбулата;
Дрожь пробежала по усам седым,
Взор покраснел, как зарево заката.
«Что произнесть решился ты, Селим!» —
Воскликнул он. Селим не слушал брата.
Как бедный раб он пал к его ногам,
И волю дал страданью и мольбам.

XXX
«Ты видишь: я погиб!.. спасенья нет…
Отчаянье, любовь… везде! повсюду!..
О! ради прежней дружбы… прежних лет…
Отдай мне Зару!.. уступи!.. я буду
Твоим рабом… послушай: сжалься!.. нет,
Нет!.. ты меня, как ветхую посуду
С презреньем гордым кинешь за порог…
Но, видишь: вот кинжал! — а там: есть бог!..

XXXI
Когда б хотел, я б мог давно, поверь,
Упиться счастьем, презреть все святое!
Но я подумал: нет! как лютый зверь,
Он растерзает сердце молодое! —
И вот пришло раскаянье теперь,
Пришло — но поздно! я ошибся вдвое,
Я, как глупец, остался на земли,
Один, один… без дружбы и любви!..

XXXII
Что медлить: я готов — не размышляй!
Один удар — и мы спокойны оба.
Увы! минута с ней — небесный рай!
Жизнь без нее — скучней, страшнее гроба!
Я здесь, у ног твоих… решись иль знай:
Любовь хитрей, чем ревность или злоба;
Я вырву Зару из твоих когтей;
Она моя — и быть должна моей!»

XXXIII
Умолк. Бледней снегов был нежный лик,
В очах дрожали слезы исступленья;
Меж губ слова слились в невнятный крик,
Мучительный, ужасный… сожаленье
Угрюмый брат почувствовал на миг:
«Пройдет, — сказал он, — время заблужденья!
Есть много звезд: одна другой светлей;
Красавиц много без жены моей!..

XXXIV
Что дал мне бог, того не уступлю;
А что сказал я, то исполню свято.
Пророк зрит мысль и слышит речь мою!
Меня не тронут ни мольбы, ни злато!..
Прощай… но если! если…» — «Я люблю,
Люблю ее! — сказал Селим, объятый
Тоской и злобой, — я просил, скорбел…
Ты не хотел!.. так помни ж: не хотел!»

XXXV
Его уста скривил холодный смех;
Он продолжал: «Все кончено отныне!
Нет для меня ни дружбы, ни утех!..
Благодарю тебя!.. ты, как об сыне,
Об юности моей пекся: сказать не грех…
По воле нежил ты цветок в пустыне,
По воле оборвал его листы…
Я буду помнить — помни только ты!..»

XXXVI
Он отвернулся и исчез как тень.
Стоял недвижим Акбулат смущенный.
Мрачней, чем громом опаленный пень.
Шумела буря. Ветром наклоненный
Скрипел полуразрушенный плетень;
Да иногда, грозою заглушенный,
Из бедной сакли раздавался вдруг
Беспечной, нежной, вольной песни звук!..

XXXVII
Так, иногда, одна в степи чужой
Залетная певица, птичка юга,
Поет на ветке дикой и сухой,
Когда вокруг шумит, бушует вьюга.
И путник внемлет с тайною тоской,
И думает: то верно голос друга!
Его душа, живущая в раю,
Сошла печаль приветствовать мою!..

XXXVIII
Селим седлает верного коня,
Гребенкой медной гриву разбирая;
Кубанскою оправою звеня,
Уздечка блещет; крепко обвивая
Седло с конем, сцепились два ремня.
Стремена ровны; плетка шелковая
На арчаге мотается*. Храпит,
Косится конь… пора, садись, джигит.

XXXIX
Горяч и статен конь твой вороной!
Как красный угль, его сверкает око!
Нога стройна, косматый хвост трубой;
И лоснится хребет его высокой,
Как черный камень, сглаженный волной!
Как саранча, легко в степи широкой
Порхает он под легким седоком,
И голос твой давно ему знаком!..

XL
И молча на коня вскочил Селим;
Нагайкою махнул, привстал немного
На стременах… затрепетал под ним
И захрапел товарищ быстроногой!
Скачок, другой… ноздрями пар как дым…
И полетел знакомою дорогой,
Как пыльный лист, оторванный грозой,
Летит крутясь по степи голубой!..

XLI
Размашисто скакал он; и кремни,
Как брызги рассыпаяся, трещали
Под звонкими копытами. Они
Сырую землю мерно поражали;
И долго вслед ущелия одни
Друг другу этот звук передавали,
Пока вдали, мгновенный, как Симун*,
Не скрылся всадник и его скакун…

XLII
Как дух изгнанья, быстро он исчез
За пеленой волнистого тумана!..
У табуна сторожевой черкес,
Дивяся, долго вслед ему с кургана

Смотрел и думал: «Много есть чудес!..
Велик аллах!.. ужасна власть шайтана!
Кто скажет мне, что этого коня
Хозяин мрачный — сын земли, как я?»

Глава вторая

I
Меж виноградных лоз нагорный ключ
От мирного аула недалеко
Бежал по камням, светел и гремуч.
Небес восточных голубое око
Гляделось в нем; и плавал жаркий луч
В его волне студеной и глубокой;
И мелкий дождь серебряных цветов
В него с прибрежных сыпался дерев.

II
Вот мирный час, когда на водопой
Бежит к потоку серн пугливых стая,
Шумя по листьям и траве густой.
Вот час, когда черкешенка младая
Идет купаться тайною тропой.
Нагую ножку в воду погружая,
Она дрожит, смеется... и вокруг
Кидает взгляд, где дышит страсть и юг!

III
Не бойся, Зара! — всюду тишина;
Присядь на камень, сбрось покров узорный!
Вода в ручье прозрачна, холодна;
Смирит волненье груди непокорной
И освежит твой смуглый стан она.
Но, чу!.. постой!.. чей это шаг проворный
Не в добрый час раздался меж кустов?..
Святой пророк! — скорей, где твой покров?..

IV
Но сильно чья-то жаркая рука
Хватает руку Зары. Страстен, молод
Огонь руки сей!.. Сакля далека...
Что делать? — В грудь ее смертельный холод
Проник, как пуля меткого стрелка,
И сердце громко билось в ней, как молот!
«Селим, ты здесь? злой дух тебя принес!
Зачем пришел ты?» — «Я?.. какой вопрос!»

V
«Селим!.. о!.. я погибла!..» — «Может быть;
Так что ж!» — «Ужель! ни капли сожаленья!
Чего ты хочешь?» — «Я хочу любить!
Хочу! — ты видишь: краткие мученья
Меня уж изменили... скучно жить,
Как зверю, одному... часам терпенья
Настал последний срок! — я снова здесь.
Я твой: навек, душой и телом: весь!

VI
Я знал, что ваш пророк — не мой пророк,
Что люди мне — чужие, а не братья;
И странствовал в пустыне, одинок
И сумрачен, как див, дитя проклятья!
Без страху я давно б в могилу слег;
Но холодны сырой земли объятья...
Ах! я мечтал хоть миг один заснуть,
Мою главу склонив к тебе на грудь!..

VII
Беги со мной!.. оставь свой бедный дом.
Я молод, свеж; твой муж — старик суровый!
Решись, спеши: мне тайный путь знаком;
Мое ружье верней стрелы громовой;
Кинжал мой блещет гибельным лучом;
Моя рука быстрей, чем взгляд и слово;
И у меня жилище есть в горах,
Где отыскать нас может лишь аллах!

VIII
Мой дом изрыт в расселинах скалы:
В нем до меня два барса дружно жили,
Узнав пришельца, голодны и злы,
Они, воспрянув, бросились, завыли...
Я их убил — и в тот же день орлы
Кровавые их кости растащили;
И кожи их у входа, по бокам,
Висят, как тени, в страх другим зверям.

IX
Там ложе есть из моха и цветов,
Там есть родник, меж камней иссеченный;
Его питает влага облаков,
И брызжет он журча струею пленной.
Беги со мной!.. никто твоих следов
Не различит в степи, мой друг бесценный!
И только месяц с солнцем золотым
Узнают, как и кто тобой любим!..»

X
Обнявши стан ее полунагой,
Едва дыша, склонившись к ней устами,
Он ждал ответа с страхом и тоской:
Она молчала — шаткими ветвями
Шумел над ними ветер полевой,
И тени листьев темными рядами
Бродили по челу ее: она,
Как мраморный кумир, была бледна.

XI
«Решись же, Зара: ждать я не могу!..
Ты побледнела?.. что такое?.. слезы?
Но разве здесь ты предана врагу?
Иль речь любви похожа на угрозы?
Иль ты меня не любишь? нет! я лгу...
Твои уста нежней иранской розы:
Они не могут это произнесть!..
Пусть нет в тебе любви... но... жалость есть!

XII
О, как я был бы счастлив, как богат,
Под звездами аллы, один с тобою!..
Скажи: тебя не любит Акбулат?
Он зол, ревнив, он пасмурен душою,
И речь его хладнее, чем булат?..

Он для тебя постыл… беги со мною…
Но ты качаешь молча головой…
Не он тобой любим!!.. но кто ж другой?

XIII
Скорей: откуда? где он? назови —
Я вытвержу зловещее названье…
Я обниму как брата — и в крови
Запечатлею братское лобзанье.
Кто ж он, счастливый царь твоей любви?
Пускай придет дразнить мое страданье,
При мне тебя и нежить и ласкать…
Я рад смотреть, клянусь… и рад молчать!..»

XIV
И он склонил мятежную главу,
И он закрыл лицо свое руками,
И видно было ей, как на траву
Упали две слезы двумя звездами.
Без смысла и без звука, наяву,
Как бы во сне, он шевелил устами
И наконец припал к земле сырой,
Как та земля, и хладный и немой.

XV
Ей стало жаль; она сказала вдруг:
«Не плачь!.. ужасен вид твоей печали!
Отец мой был великий воин: юг
И север и восток об нем слыхали.
Он был свирепый враг, но верный друг,
И низкой лжи уста его не знали…
Я дочь его, и честь его храню:
Умру, погибну — но не изменю!..

XVI
«Оставь меня! Я счастлива с другим!» —
«Неправда!» — «Я люблю его!» — «Конечно!!!
Он мой злодей, мой враг!!» — «Селим! Селим!
Кто ж виноват?» — «Он прав?» — «Ужели вечно
Не примиритесь вы?» — «Мириться? с ним?
Да кто же я, чтоб злобой скоротечной
Дразнить людей и небо!» — «Ты жесток!» —
«Как быть? такую душу дал мне рок!

XVII
«Прощай! уж поздно! Бог рассудит нас!
Но если я с тобой увижусь снова,
То это будет — знай — в последний раз!..»
Он тихо встал, и более ни слова,
И тихо удалился. День угас;
Лишь бледный луч из-за Бешту крутого
Едва светил прощальною струей
На бледный лик черкешенки младой!

XVIII
Селим не возвращался. Акбулат
Спокоен. Он не видит, что порою
Его жены доселе ясный взгляд
Туманится невольною слезою.
Вот, раз, с охоты ехал он назад:
Аул дремал, в тени таясь от зною;
С мечети божей лишь мулла седой
Ему смеясь кивает головой

XIX
И говорит: «Куда спешишь, мой сын!
Не лучше ли гулять в широком поле?
Черкес прямой — всегда, везде один,
И служит только родине да воле!
Черкес земле и небу господин,
И чуждый враг ему не страшен боле;
Но, если б он послушался меня,
Жену бы кинул — а купил коня!»

XX
«Молись себе пророку, злой мулла,
И не мешайся так в дела чужие.
Твой верен глаз — моя верней стрела:
За весь табун твой не отдам жены я!»
И тот в ответ: «Я не желаю зла,
Но вспомнишь ты слова мои простые!»
Смутился Акбулат — потупил взор,
И скачет он скорей к себе на двор.

XXI
С дрожащим сердцем в саклю входит он,
Глядит: на ложе смятом и разрытом
Кинжал знакомый блещет без ножон.
Любимый конь не ржет, не бьет копытом,
Нейдет навстречу Зара: мертвый сон
Повсюду. Лишь на очаге забытом
Сверкает пламень. — Он не взвидел дня:
Нет ни жены! ни лучшего коня!!!..

XXII
Без сил, без дум, недвижим, как мертвец,
Пронзенный сзади пулею несмелой,
С открытым взором встретивший конец,
Присел он на порог — и что кипело
В его груди, то знает лишь творец!
Часы бежали. Небо потемнело;
С росой на землю пала тишина;
Из туч косматых прянула луна.

XXIII
Бледней луны сидел он недвижим.
Вдруг слышен топот: все ясней, яснее,
Вот мчится в поле конь. Как легкий дым,
Волною грива хлещет вдоль по шее;
И вьется что-то белое над ним,
Как покрывало… Конь летит быстрее…
Знакомый конь!.. вот близко, прискакал…
Но вдруг затрясся, захрипел — и пал.

XXIV
Издохший конь недвижимо лежит,
На нем колеблясь блещет покрывало;
Черкесской пулей тонкий холст пробит:
Кровь запеклась на нем струею алой!
К коню в смущеньи Акбулат бежит;
Лицо надеждой снова заблистало:
«Спасибо, друг, не позабыл меня!»
И гладит он издохшего коня.

XXV
И покрывала белого конец
Нетерпеливой поднял он рукою;
Склонился — месяц светит: о творец,

Чей бледный труп он видит пред собою?
Глубоко в грудь, как скорпион, свинец
Впился, насытясь кровью молодою;
Ремень, обвивший нежный стан кругом,
К седлу надежным прикреплен узлом.

XXVI

Как ранний снег бела и холодна,
Бесчувственно рука ее лежала,
Обрызганная кровью… и луна
По гладкому челу, скользя, играла.
С бесцветных уст, как слабый призрак сна,
Последняя улыбка исчезала;
И, опустясь, ресницы бахромой
Бездушный взор таили под собой.

XXVII

Узнал ли ты, несчастный Акбулат,
Свою жену, подругу жизни старой?
Чей сладкий голос, чей веселый взгляд
Был одарен неведомою чарой,
Пленял тебя лишь день тому назад?..
Все понял он — стоит над мертвой Зарой;
Терзает грудь и рвет одежды он,
Зовет ее — но крепок мертвый сон!

<XXVIII>

Да упадет проклятие людей
На жизнь Селима. Пусть в степи палящей
От глаз его сокроется ручей.
Пускай булат руке его дрожащей
Изменит в битве; и в кругу друзей
Тоска туманит взор его блестящий;
Пускай один, бродя во тьме ночной,
Он чей-то шаг все слышит за собой.

<XXIX>

Да упадет проклятие аллы
На голову убийцы молодого;
Пускай умрет не в битве — от стрелы
Неведомой разбойника ночного,
И полумертвый на хребте скалы
Три ночи и три дня лежит без крова;
Пусть зной палит и бьет его гроза
И хищный коршун выклюет глаза!

<XXX>

Когда придет, покинув выси гор,
Его душа к обещанному раю,
Пускай пророк свой отворотит взор
И грозно молвит: «Я тебя не знаю!».
Тогда, поняв язвительный укор,
Воскликнет он: «Прости мне! умоляю!..».
И снова скажет грешнику пророк:
«Ты был жесток — и я с тобой жесток!»

<XXXI>

И в ту же ночь за час перед зарей
С мечети грянул вещий звук набата.
Народ сбежался: как маяк ночной
Пылала ярко сакля Акбулата.
Вокруг нее огонь вился змеей,
Кидая к небу с треском искры злата;
И чей-то смех мучительный и злой
Сквозь дым и пламя вылетал порой.

<XXXII>

И ниц упал испуганный народ.
«Молитесь, дети! это смех шайтана!» —
Сказал мулла таинственно — и вот
Какой-то темный стих из алкорана
Запел он громко. Но огонь ревет
И мечется сильнее урагана
И, не внимая жалобным мольбам,
Расходится по крышам и стенам.

<XXXIII>

И зарево на дальних высотах
Трепещущим румянцем отразилось;
И серна гор, лежавшая в кустах,
Послышав крик, вздрогнула, пробудилась.
Ее невольно обнял тайный страх:
Стряхнув с себя росу, она пустилась,
И, спавшие под сению скалы,
Взвилися с криком дикие орлы.

<XXXIV>

Сгорел аул — и слух об нем исчез;
Его сыны рассыпаны в чужбине.
Лишь иногда в туманный день черкес
Об нем, вздохнув, рассказывает ныне
При малых детях. И чужих небес
Питомец, проезжая по пустыне,
Напрасно молвит казаку: «Скажи,
Не знаешь ли аула Бастунджи?..»

1833—1834

Хаджи Абрек

Велик, богат аул Джемат*,
Он никому не платит дани;
Его стена — ручной булат;
Его мечеть — на поле брани.
Его свободные сыны
В огнях войны закалены;
Дела их громки по Кавказу,
В народах дальних и чужих,
И сердца русского ни разу
Не миновала пуля их.

По небу знойный день катится,
От скал горячих пар струится;
Орел, недвижим на крылах,
Едва чернеет в облаках;
Ущелья в сон погружены:
В ауле нет лишь тишины.
Аул встревоженный пустеет,
И под горой, где ветер веет,
Где из утеса бьет поток,
Стоит внимательный кружок.
Об чем ведет переговоры
Совет джематских удальцов?

Хотят ли вновь пуститься в горы
На ловлю чуждых табунов?
Не ждут ли русского отряда,
До крови лакомых гостей?
Нет, — только жалость и досада
Видна во взорах узденей.
Покрыт одеждами чужими,
Сидит на камне между ними
Лезгинец дряхлый и седой;
И льется речь его потоком,
И вкруг себя блестящим оком
Печально водит он порой.
Рассказу старого лезгина
Внимали все. Он говорил:
«Три нежных дочери, три сына
Мне бог на старость подарил;
Но бури злые разразились,
И ветви древа обвалились,
И я стою теперь один,
Как голый пень среди долин.
Увы, я стар! Мои седины
Белее снега той вершины.
Но и под снегом иногда
Бежит кипучая вода!..
Сюда, наездники Джемата!
Откройте удаль мне свою!
Кто знает князя Бей-Булата?
Кто возвратит мне дочь мою?
В плену сестры ее увяли,
В бою неровном братья пали;
В чужбине двое, а меньшой
Пронзен штыком передо мной.
Он улыбался, умирая!
Он верно зрел, как дева рая
К нему слетела пред концом,
Махая радужным венцом!..
И вот пошел я жить в пустыню
С последней дочерью своей.
Ее хранил я, как святыню;
Все, что имел я, было в ней:
Я взял с собою лишь ее
Да неизменное ружье.
В пещере с ней я поселился,
Родимой хижины лишен:
К беде я скоро приучился,
Давно был к воле приучен.
Но час ударил неизбежный,
И улетел птенец мой нежный!..
Однажды ночь была глухая,
Я спал... Безмолвно надо мной
Зеленой веткою махая,
Сидел мой ангел молодой.
Вдруг просыпаюсь: слышу, шепот, —
И слабый крик, — и конский топот...
Бегу, и вижу — под горой
Несется всадник с быстротой,
Схватив ее в свои объятья.
Я с ним послал свои проклятья.
О, для чего, второй гонец,
Настичь не мог их мой свинец!
С кровавым мщеньем, вот — здесь скрытым,
Без сил отмстить за свой позор,
Влачусь я по горам с тех пор,
Как змей, раздавленный копытом.
И нет покоя для меня
С того мучительного дня...
Сюда, наездники Джемата!
Откройте удаль мне свою!
Кто знает князя Бей-Булата?
Кто привезет мне дочь мою?»

«Я!» — молвил витязь черноокий,
Схватившись за кинжал широкий,
И в изумлении немом
Толпа раздвинулась кругом.
«Я знаю князя! Я решился!..
Две ночи здесь ты жди меня:
Хаджи бесстрашный не садился
Ни разу даром на коня.
Но если я не буду к сроку,
Тогда обет мой позабудь
И об душе моей пророку
Ты помолись, пускаясь в путь».

Взошла заря. Из-за туманов,
На небосклоне голубом,
Главы гранитных великанов
Встают, увенчанные льдом.
В ущелье облако проснулось,
Как парус розовый, надулось,
И понеслось по вышине.
Все дышит утром. За оврагом,
По косогору, едет шагом
Черкес на борзом скакуне.
Еще ленивое светило
Росы холмов не осушило.
Со скал высоких, над путем,
Склонился дикий виноградник;
Его серебряным дождем
Осыпан часто конь и всадник:
Небрежно бросив повода,
Красивой плеткой он махает,
И песню дедов иногда,
Склонясь на гриву, запевает.
И дальний отзыв за горой
Уныло вторит песни той.

Есть поворот — и путь, прорытый
Арбы скрипучим колесом,
Там, где красивые граниты
Рубчатым сходятся венцом.
Оттуда он, как под ногами,
Смиренный различит аул,
И пыль, поднятую стадами,
И пробужденья первый гул;
И на краю крутого ската
Отметит саклю Бей-Булата,
И, как орел, с вершины гор
Вперит на крышу светлый взор.
В тени прохладной, у порога,
Лезгинка юная сидит.
Пред нею тянется дорога,
Но грустно вдаль она глядит.
Кого ты ждешь, звезда востока,

С заботой нежною такой?
Не друг ли будет издалека?
Не брат ли с битвы роковой?
От зноя утомясь дневного,
Твоя головка уж готова
На грудь высокую упасть.
Рука скользнула вдоль колена,
И неги сладостная власть
Плечо исторгнула из плена;
Отяготел твой ясный взор,
Покрывшись влагою жемчужной;
В твоих щеках, как метеор,
Играет пламя крови южной;
Уста волшебные твои
Зовут лобзание любви.
Немым встревожена желаньем,
Обнять ты ищешь что-нибудь,
И перси слабым трепетаньем
Хотят покровы оттолкнуть.
О, где ты, сердца друг бесценный!..
Но вот — и топот отдаленный,
И пыль знакомая взвилась,
И дева шепчет: «Это князь!».

Легко надежда утешает,
Легко обманывает глаз:
Уж близко путник подъезжает...
Увы, она его не знает,
И видит только в первый раз!
То странник, в поле запоздалый,
Гостеприимный ищет кров;
Дымится конь его усталый,
И он спрыгнуть уже готов...
Спрыгни же, всадник!.. Что же он
Как будто крова испугался?
Он смотрит! Краткий, грустный стон
От губ сомкнутых оторвался,
Как лист от ветви молодой,
Измятый летнею грозой!

«Что медлишь, путник, у порога?
Слезай с походного коня.
Случайный гость — подарок бога.
Кумыс и мед есть у меня.
Ты, вижу, беден; я богата.
Почти же кровлю Бей-Булата!
Когда опять поедешь в путь,
В молитве нас не позабудь!»

Хаджи Абрек
Аллах спаси тебя, Леила!
Ты гостя лаской подарила;
И от отца тебе поклон
За то привез с собою он.

Леила
Как! Мой отец? меня поныне
В разлуке долгой не забыл?
Где он живет?

Хаджи Абрек
Где прежде жил:
То в чуждой сакле, то в пустыне.

Леила
Скажи: он весел, он счастлив?
Скорей ответствуй мне...

Хаджи Абрек
Он жив.
Хотя порой дождям и стуже
Открыта голова его...
Но ты?

Леила
Я счастлива...

Хаджи Абрек (*тихо*)
Тем хуже!

Леила
А? что ты молвил?..

Хаджи Абрек
Ничего!

Сидит пришелец за столом.
Чихирь с серебряным пшеном
Пред ним, не тронуты доселе,
Стоят! Он странен, в самом деле!
Как на челе его крутом
Блуждают, движутся морщины!
Рукою лет или кручины
Проведены они по нем?

Развеселить его желая,
Леила бубен свой берет;
В него перстами ударяя,
Лезгинку пляшет и поет.
Ее глаза как звезды блещут,
И груди полные трепещут;
Восторгом детским, но живым
Душа невинная объята:
Она кружится перед ним,
Как мотылек в лучах заката.
И вдруг звенящий бубен свой
Подъемлет белыми руками;
Вертит его над головой,
И тихо черными очами
Поводит, — и, без слов, уста
Хотят сказать улыбкой милой —
«Развеселись, мой гость унылый!
Судьба и горе — все мечта!»

Хаджи Абрек
Довольно! Перестань, Леила;
На миг веселость позабудь:
Скажи, ужель когда-нибудь
О смерти мысль не приходила
Тебя встревожить? Отвечай.

Леила
Нет! Что мне хладная могила?
Я на земле нашла свой рай.

Хаджи Абрек
Еще вопрос: ты не грустила
О дальней родине своей,
О светлом небе Дагестана?

Леила
К чему? Мне лучше, веселей
Среди нагорного тумана.
Везде прекрасен божий свет.
Отечества для сердца нет!
Оно насилья не боится,
Как птичка вырвется, умчится.
Поверь мне, — счастье только там,
Где любят нас, где верят нам!

Хаджи Абрек
Любовь!.. Но знаешь ли, какое
Блаженство на земле второе
Тому, кто все похоронил,
Чему он верил, что любил!
Блаженство то верней любови,
И только хочет слез да крови.
В нем утешенье для людей,
Когда умрет другое счастье;
В нем преступлений сладострастье,
В нем ад и рай души моей.
Оно при нас всегда, бессменно;
То мучит, то ласкает нас...
Нет, за единый мщенья час,
Клянусь, я не взял бы вселенной!

Леила
Ты бледен?

Хаджи Абрек
Выслушай. Давно
Тому назад имел я брата;
И он, — так было суждено, —
Погиб от пули Бей-Булата.
Погиб без славы, не в бою,
Как зверь лесной, — врага не зная;
Но месть и ненависть свою
Он завещал мне, умирая.
И я убийцу отыскал:
И занесен был мой кинжал,
Но я подумал: «Это ль мщенье?
Что смерть! Ужель одно мгновенье
Заплатит мне за столько лет
Печали, грусти, мук?.. О, нет!
Он что-нибудь да в мире любит:
Найду любви его предмет,
И мой удар его погубит!».
Свершилось наконец. Пора!
Твой час пробил еще вчера.
Смотри, уж блещет луч заката!..
Пора! я слышу голос брата.
Когда сегодня в первый раз
Я увидал твой образ нежный,
Тоскою горькой и мятежной
Душа, как адом, вся зажглась.
Но это чувство улетело...
Валлах! исполню клятву смело!

Как зимний снег в горах, бледна,
Пред ним повергнулась она
На ослабевшие колени;
Мольбы, рыданья, слезы, пени
Перед жестоким излились.
«Ох, ты ужасен с этим взглядом!
Нет, не смотри так! Отвернись!
По мне текут холодным ядом
Слова твои... О, боже мой!
Ужель ты шутишь надо мной?
Ответствуй! ничего не значут
Невинных слезы пред тобой?
О, сжалься!.. Говори — как плачут
В твоей родимой стороне?
Погибнуть рано, рано мне!..
Оставь мне жизнь! оставь мне младость!
Ты знал ли что такое радость?
Бывал ли ты во цвете лет
Любим, как я?.. О, верно, нет!»

Хаджи в молчанье роковом
Стоял с нахмуренным челом.

«В твоих глазах ни сожаленья,
Ни слез, жестокий, не видать!..
Ах!.. Боже!.. Ай!.. дай подождать!..
Хоть час один... одно мгновенье!!..»

Блеснула шашка. Раз, — и два!
И покатилась голова...
И окровавленной рукою
С земли он приподнял ее.
И острой шашки лезвее
Обтер волнистою косою.
Потом, бездушное чело
Одевши буркою косматой,
Он вышел и прыгнул в седло.
Послушный конь его, объятый
Внезапно страхом неземным,
Храпит и пенится под ним:
Щетиной грива, — ржет и пышет,
Грызет стальные удила,
Ни слов, ни повода не слышит
И мчится в горы как стрела.

Заря бледнеет; поздно, поздно,
Сырая ночь недалека!
С вершин Кавказа тихо, грозно
Ползут, как змеи, облака;
Игру бессвязную заводят,
В провалы душные заходят,
Задев колючие кусты,
Бросают жемчуг на листы.
Ручей катится, — мутный, серый;
В нем пена бьет из-под травы;
И блещет сквозь туман пещеры,
Как очи мертвой головы.
Скорее, путник одинокой!
Закройся буркою широкой,
Ремянный повод натяни,
Ремянной плеткою махни.
Тебе вослед еще не мчится
Ни горный дух, ни дикий зверь,
Но, если можешь ты молиться,
То не мешало бы — теперь.
«Скачи, мой конь! Пугливым оком
Зачем глядишь перед собой?
То камень, сглаженный потоком!..

То змей блистает чешуей!..
Твоею гривой в поле брани
Стирал я кровь с могучей длани;
В степи глухой, в недобрый час,
Уже не раз меня ты спас.
Мы отдохнем в краю родном;
Твою уздечку еще боле
Обвешу русским серебром;
И будешь ты в зеленом поле.
Давно ль, давно ль ты изменился,
Скажи, товарищ дорогой?
Что рано пеною покрылся?
Что тяжко дышишь подо мной?
Вот месяц выйдет из тумана,
Верхи дерев осеребрит,
И нам откроется поляна,
Где наш аул во мраке спит;
Заблещут, издали мелькая,
Огни джематских пастухов,
И различим мы, подъезжая,
Глухое ржанье табунов;
И кони вкруг тебя столпятся...
Но стоит мне лишь приподняться,
Они в испуге захрапят,
И все шарахнутся назад:
Они почуют издалека,
Что мы с тобою дети рока!..»

Долины ночь еще объемлет,
Аул Джемат спокойно дремлет;
Один старик лишь в нем не спит.
Один, как памятник могильный,
Недвижим, близ дороги пыльной,
На сером камне он сидит.
Его глаза на путь далекой
Устремлены с тоской глубокой.

«Кто этот всадник? Бережливо
Съезжает он с горы крутой;
Его товарищ долгогривый
Поник усталой головой.
В руке, под буркою дорожной,
Он что-то держит осторожно
И бережет, как свет очей».
И думает старик согбенный:
«Подарок, верно, драгоценный
От милой дочери моей!»

Уж всадник близок, под горою
Коня он вдруг остановил;
Потом дрожащею рукою
Он бурку темную открыл;
Открыл, — и дар его кровавый
Скатился тихо на траву.
Несчастный видит, — боже правый! —
Своей Леилы голову!..
И он, в безумном восхищенье,
К своим устам ее прижал!
Как будто ей передавал
Свое последнее мученье.

Всю жизнь свою в единый стон,
В одно лобзанье вылил он.
Довольно люди ‹и› печали
В нем сердце бедное терзали!
Как нить, истлевшая давно,
Разорвалося вдруг оно,
И неподвижные морщины
Покрылись бледностью кончины.
Душа так быстро отлетела,
Что мысль, которой до конца
Он жил, черты его лица
Совсем оставить не успела.

Молчанье мрачное храня,
Хаджи ему не подивился;
Взглянул на шашку, на коня, —
И быстро в горы удалился.

Промчался год. В глухой теснине
Два трупа смрадные, в пыли,
Блуждая, путники нашли,
И схоронили на вершине.
Облиты кровью были оба,
И ярко начертала злоба
Проклятие на их челе.
Обнявшись крепко, на земле
Они лежали, костенея,
Два друга с виду — два злодея!
Быть может, то одна мечта,
Но бедным странникам казалось,
Что их лицо порой менялось,
Что все грозили их уста.
Одежда их была богата,
Башлык их шапки покрывал:
В одном узнали Бей-Булата,
Никто другого не узнал.

1833

Мцыри[1]

Вкушая, вкусих мало меда и се аз умираю.
1-я Книга царств

1

Немного лет тому назад,
Там, где сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод;
Но не курится уж под ним
Кадильниц благовонный дым,
Не слышно пенье в поздний час
Молящих иноков за нас.
Теперь один старик седой,
Развалин страж полуживой,
Людьми и смертию забыт,

[1] *Мцыри* на грузинском языке значит «неслужащий монах», нечто вроде «послушника». (*Примечание Лермонтова.*)

Сметает пыль с могильных плит,
Которых надпись говорит
О славе прошлой — и о том,
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь, в такой-то год,
Вручал России свой народ.

И божья благодать сошла
На Грузию! — она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасаяся врагов,
За гранью дружеских штыков.

2

Однажды русский генерал
Из гор к Тифлису проезжал;
Ребенка пленного он вез.
Тот занемог, не перенес
Трудов далекого пути.
Он был, казалось, лет шести;
Как серна гор, пуглив и дик
И слаб и гибок, как тростник.
Но в нем мучительный недуг
Развил тогда могучий дух
Его отцов. Без жалоб он
Томился — даже слабый стон
Из детских губ не вылетал,
Он знаком пищу отвергал,
И тихо, гордо умирал.
Из жалости один монах
Больного призрел, и в стенах
Хранительных остался он,
Искусством дружеским спасен.
Но, чужд ребяческих утех,
Сначала бегал он от всех,
Бродил безмолвен, одинок,
Смотрел вздыхая на восток,
Тоним неясною тоской
По стороне своей родной.
Но после к плену он привык,
Стал понимать чужой язык,
Был окрещен святым отцом
И, с шумным светом незнаком,
Уже хотел во цвете лет
Изречь монашеский обет,
Как вдруг однажды он исчез
Осенней ночью. Темный лес
Тянулся по горам кругом.
Три дня все поиски по нем
Напрасны были, но потом
Его в степи без чувств нашли
И вновь в обитель принесли;
Он страшно бледен был и худ
И слаб, как будто долгий труд,
Болезнь иль голод испытал.
Он на допрос не отвечал,
И с каждым днем приметно вял;
И близок стал его конец.
Тогда пришел к нему чернец
С увещеваньем и мольбой;
И, гордо выслушав, больной
Привстал, собрав остаток сил,
И долго так он говорил:

3

«Ты слушать исповедь мою
Сюда пришел, благодарю.
Все лучше перед кем-нибудь
Словами облегчить мне грудь;
Но людям я не делал зла,
И потому мои дела
Немного пользы вам узнать;
А душу можно ль рассказать?
Я мало жил, и жил в плену.
Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог.
Я знал одной лишь думы власть,
Одну — но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
От келий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.
Я эту страсть во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской;
Ее пред небом и землей
Я ныне громко признаю
И о прощенье не молю.

4

Старик! я слышал много раз,
Что ты меня от смерти спас —
Зачем? .. Угрюм и одинок,
Грозой оторванный листок,
Я вырос в сумрачных стенах
Душой дитя, судьбой монах.
Я никому не мог сказать
Священных слов — «отец» и «мать».
Конечно, ты хотел, старик,
Чтоб я в обители отвык
От этих сладостных имен.
Напрасно: звук их был рожден
Со мной. Я видел у других
Отчизну, дом, друзей, родных,
А у себя не находил
Не только милых душ — могил!
Тогда, пустых не тратя слез,
В душе я клятву произнес:
Хотя на миг когда-нибудь
Мою пылающую грудь
Прижать с тоской к груди другой,
Хоть незнакомой, но родной.
Увы, теперь мечтанья те
Погибли в полной красоте,
И я, как жил, в земле чужой
Умру рабом и сиротой.

5

«Меня могила не страшит:
Там, говорят, страданье спит
В холодной, вечной тишине;
Но с жизнью жаль расстаться мне.
Я молод, молод… Знал ли ты
Разгульной юности мечты?

Или не знал, или забыл,
Как ненавидел и любил;
Как сердце билося живей
При виде солнца и полей
С высокой башни угловой,
Где воздух свеж и где порой
В глубокой скважине стены
Дитя неведомой страны,
Прижавшись, голубь молодой
Сидит, испуганный грозой?
Пускай теперь прекрасный свет
Тебе постыл: ты слаб, ты сед,
И от желаний ты отвык.
Что за нужда? Ты жил, старик!
Тебе есть в мире что забыть,
Ты жил, — я также мог бы жить!

6

«Ты хочешь знать, что видел я
На воле? — Пышные поля,
Холмы, покрытые венцом
Дерев, разросшихся кругом,
Шумящих свежею толпой,
Как братья, в пляске круговой.
Я видел груды темных скал,
Когда поток их разделял,
И думы их я угадал:
Мне было свыше то дано!
Простерты в воздухе давно
Объятья каменные их
И жаждут встречи каждый миг;
Но дни бегут, бегут года —
Им не сойтися никогда!
Я видел горные хребты,
Причудливые, как мечты,
Когда в час утренней зари
Курилися, как алтари,
Их выси в небе голубом,
И облачко за облачком,
Покинув тайный свой ночлег,
К востоку направляло бег —
Как будто белый караван
Залетных птиц из дальних стран!
Вдали я видел сквозь туман,
В снегах, горящих, как алмаз,
Седой, незыблемый Кавказ;
И было сердцу моему
Легко, не знаю почему.
Мне тайный голос говорил,
Что некогда и я там жил,
И стало в памяти моей
Прошедшее ясней, ясней.

7

«И вспомнил я отцовский дом,
Ущелье наше, и кругом
В тени рассыпанный аул;
Мне слышался вечерний гул
Домой бегущих табунов
И дальний лай знакомых псов.
Я помнил смуглых стариков,
При свете лунных вечеров
Против отцовского крыльца
Сидевших с важностью лица;
И блеск оправленных ножон
Кинжалов длинных… и, как сон,
Все это смутной чередой
Вдруг пробегало предо мной.
А мой отец? он как живой
В своей одежде боевой
Являлся мне, и помнил я
Кольчуги звон, и блеск ружья,
И гордый непреклонный взор,
И молодых моих сестер…
Лучи их сладостных очей
И звук их песен и речей
Над колыбелию моей…
В ущелье там бежал поток,
Он шумен был, но не глубок;
К нему, на золотой песок,
Играть я в полдень уходил
И взором ласточек следил,
Когда они, перед дождем
Волны касалися крылом.
И вспомнил я наш мирный дом
И пред вечерним очагом
Рассказы долгие о том,
Как жили люди прежних дней,
Когда был мир еще пышней.

8

«Ты хочешь знать, что делал я
На воле? Жил — и жизнь моя
Без этих трех блаженных дней
Была б печальней и мрачней
Бессильной старости твоей.
Давным-давно задумал я
Взглянуть на дальние поля,
Узнать, прекрасна ли земля,
Узнать, для воли иль тюрьмы
На этот свет родимся мы.
И в час ночной, ужасный час,
Когда гроза пугала вас,
Когда, столпясь при алтаре,
Вы ниц лежали на земле,
Я убежал. О, я как брат
Обняться с бурей был бы рад!
Глазами тучи я следил,
Рукою молнию ловил…
Скажи мне, что средь этих стен
Могли бы дать вы мне взамен
Той дружбы краткой, но живой,
Меж бурным сердцем и грозой?..

9

«Бежал я долго — где, куда,
Не знаю! ни одна звезда
Не озаряла трудный путь.
Мне было весело вдохнуть
В мою измученную грудь
Ночную свежесть тех лесов,
И только. Много я часов
Бежал, и наконец, устав,
Прилег между высоких трав;

Прислушался: погони нет.
Гроза утихла. Бледный свет
Тянулся длинной полосой
Меж темным небом и землей,
И различал я, как узор,
На ней зубцы далеких гор;
Недвижим, молча, я лежал,
Порой в ущелии шакал
Кричал и плакал, как дитя,
И гладкой чешуей блестя,
Змея скользила меж камней;
Но страх не сжал души моей:
Я сам, как зверь, был чужд людей
И полз и прятался, как змей.

10

«Внизу глубоко подо мной
Поток, усиленный грозой,
Шумел, и шум его глухой
Сердитых сотне голосов
Подобился. Хотя без слов,
Мне внятен был тот разговор,
Немолчный ропот, вечный спор
С упрямой грудою камней.
То вдруг стихал он, то сильней
Он раздавался в тишине;
И вот, в туманной вышине
Запели птички, и восток
Озолотился; ветерок
Сырые шевельнул листы;
Дохнули сонные цветы,
И, как они, навстречу дню,
Я поднял голову мою…
Я осмотрелся; не таю:
Мне стало страшно; на краю
Грозящей бездны я лежал,
Где выл, крутясь, сердитый вал;
Туда вели ступени скал;
Но лишь злой дух по ним шагал,
Когда, низверженный с небес,
В подземной пропасти исчез.

11

«Кругом меня цвел божий сад;
Растений радужный наряд
Хранил следы небесных слез,
И кудри виноградных лоз
Вились, красуясь меж дерев
Прозрачной зеленью листов;
И грозды полные на них,
Серег подобье дорогих,
Висели пышно, и порой
К ним птиц летал пугливый рой.
И снова я к земле припал,
И снова вслушиваться стал
К волшебным, странным голосам;
Они шептались по кустам,
Как будто речь свою вели
О тайнах неба и земли;
И все природы голоса
Сливались тут; не раздался
В торжественный хваленья час
Лишь человека гордый глас.
Все, что я чувствовал тогда,
Те думы — им уж нет следа;
Но я б желал их рассказать,
Чтоб жить, хоть мысленно, опять.
В то утро был небесный свод
Так чист, что ангела полет
Прилежный взор следить бы мог;
Он так прозрачно был глубок,
Так полон ровной синевой!
Я в нем глазами и душой
Тонул, пока полдневный зной
Мои мечты не разогнал,
И жаждой я томиться стал.

12

«Тогда к потоку с высоты,
Держась за гибкие кусты,
С плиты на плиту я, как мог,
Спускаться начал. Из-под ног
Сорвавшись, камень иногда
Катился вниз — за ним бразда
Дымилась, прах вился столбом;
Гудя и прыгая, потом
Он поглощаем был волной;
И я висел над глубиной,
Но юность вольная сильна,
И смерть казалась не страшна!
Лишь только я с крутых высот
Спустился, свежесть горных вод
Повеяла навстречу мне,
И жадно я припал к волне.
Вдруг голос — легкий шум шагов…
Мгновенно скрывшись меж кустов,
Невольным трепетом объят,
Я поднял боязливый взгляд
И жадно вслушиваться стал.
И ближе, ближе все звучал
Грузинки голос молодой,
Так безыскусственно живой,
Так сладко вольный, будто он
Лишь звуки дружеских имен
Произносить был приучен.
Простая песня то была,
Но в мысль она мне залегла,
И мне, лишь сумрак настает,
Незримый дух ее поет.

13

«Держа кувшин над головой,
Грузинка узкою тропой
Сходила к берегу. Порой
Она скользила меж камней,
Смеясь неловкости своей.
И беден был ее наряд;
И шла она легко, назад
Изгибы длинные чадры
Откинув. Летние жары
Покрыли тенью золотой
Лицо и грудь ее; и зной
Дышал от уст ее и щек.
И мрак очей был так глубок,
Так полон тайнами любви,
Что думы пылкие мои

Смутились. Помню только я
Кувшина звон, — когда струя
Вливалась медленно в него,
И шорох… больше ничего.
Когда же я очнулся вновь
И отлила от сердца кровь,
Она была уж далеко;
И шла, хоть тише, — но легко,
Стройна под ношею своей,
Как тополь, царь ее полей!
Недалеко, в прохладной мгле,
Казалось, приросли к скале
Две сакли дружною четой;
Над плоской кровлею одной
Дымок струился голубой.
Я вижу будто бы теперь,
Как отперлась тихонько дверь…
И затворилася опять! ..
Тебе, я знаю, не понять
Мою тоску, мою печаль;
И если б мог, — мне было б жаль:
Воспоминанья тех минут
Во мне, со мной пускай умрут.

14

«Трудами ночи изнурен,
Я лег в тени. Отрадный сон
Сомкнул глаза невольно мне…
И снова видел я во сне
Грузинки образ молодой.
И странной сладкою тоской
Опять моя заныла грудь.
Я долго силился вздохнуть —
И пробудился. Уж луна
Вверху сияла, и одна
Лишь тучка кралася за ней,
Как за добычею своей,
Объятья жадные раскрыв.
Мир темен был и молчалив;
Лишь серебристой бахромой
Вершины цепи снеговой
Вдали сверкали предо мной,
Да в берега плескал поток.
В знакомой сакле огонек
То трепетал, то снова гас:
На небесах в полночный час
Так гаснет яркая звезда!
Хотелось мне… но я туда
Взойти не смел. Я цель одну,
Пройти в родимую страну, —
Имел в душе, — и превозмог
Страданье голода, как мог.
И вот дорогою прямой
Пустился, робкий и немой.
Но скоро в глубине лесной
Из виду горы потерял
И тут с пути сбиваться стал.

15

«Напрасно в бешенстве, порой,
Я рвал отчаянной рукой
Терновник, спутанный плющом:
Все лес был, вечный лес кругом,
Страшней и гуще каждый час;
И миллионом черных глаз
Смотрела ночи темнота
Сквозь ветви каждого куста…
Моя кружилась голова;
Я стал влезать на дерева;
Но даже на краю небес
Все тот же был зубчатый лес.
Тогда на землю я упал;
И в исступлении рыдал,
И грыз сырую грудь земли,
И слезы, слезы потекли
В нее горючею росой…
Но верь мне, помощи людской
Я не желал… Я был чужой
Для них навек, как зверь степной;
И если б хоть минутный крик
Мне изменил — клянусь, старик,
Я б вырвал слабый мой язык.

16

«Ты помнишь детские года:
Слезы не знал я никогда;
Но тут я плакал без стыда.
Кто видеть мог? Лишь темный лес,
Да месяц, плывший средь небес!
Озарена его лучом,
Покрыта мохом и песком,
Непроницаемой стеной
Окружена, передо мной
Была поляна. Вдруг по ней
Мелькнула тень, и двух огней
Промчались искры… и потом
Какой-то зверь одним прыжком
Из чащи выскочил и лег,
Играя, навзничь на песок.
То был пустыни вечный гость —
Могучий барс. Сырую кость
Он грыз и весело визжал;
То взор кровавый устремлял,
Мотая ласково хвостом,
На полный месяц, — и на нем
Шерсть отливалась серебром.
Я ждал, схватив рогатый сук,
Минуту битвы; сердце вдруг
Зажглося жаждою борьбы
И крови… да, рука судьбы
Меня вела иным путем…
Но нынче я уверен в том,
Что быть бы мог в краю отцов
Не из последних удальцов.

17

«Я ждал. И вот в тени ночной
Врага почуял он, и вой
Протяжный, жалобный, как стон,
Раздался вдруг… и начал он
Сердито лапой рыть песок,
Встал на дыбы, потом прилег,
И первый бешеный скачок
Мне страшной смертию грозил…
Но я его предупредил.

Удар мой верен был и скор.
Надежный сук мой, как топор,
Широкий лоб его рассек…
Он застонал, как человек,
И опрокинулся. Но вновь,
Хотя лила из раны кровь
Густой, широкою волной,
Бой закипел, смертельный бой!

18

«Ко мне он кинулся на грудь;
Но в горло я успел воткнуть
И там два раза повернуть
Мое оружье… Он завыл,
Рванулся из последних сил,
И мы, сплетясь, как пара змей,
Обнявшись крепче двух друзей,
Упали разом, и во мгле
Бой продолжался на земле.
И я был страшен в этот миг;
Как барс пустынный, зол и дик,
Я пламенел, визжал, как он;
Как будто сам я был рожден
В семействе барсов и волков
Под свежим пологом лесов.
Казалось, что слова людей
Забыл я — и в груди моей
Родился тот ужасный крик,
Как будто с детства мой язык
К иному звуку не привык…
Но враг мой стал изнемогать,
Метаться, медленней дышать,
Сдавил меня в последний раз…
Зрачки его недвижных глаз
Блеснули грозно — и потом
Закрылись тихо вечным сном;
Но с торжествующим врагом
Он встретил смерть лицом к лицу,
Как в битве следует бойцу!..

19

«Ты видишь на груди моей
Следы глубокие когтей;
Еще они не заросли
И не закрылись; но земли
Сырой покров их освежит
И смерть навеки заживит.
О них тогда я позабыл,
И, вновь собрав остаток сил,
Побрел я в глубине лесной…
Но тщетно спорил я с судьбой:
Она смеялась надо мной!

20

«Я вышел из лесу. И вот
Проснулся день, и хоровод
Светил напутственных исчез
В его лучах. Туманный лес
Заговорил. Вдали аул
Куриться начал. Смутный гул
В долине с ветром пробежал…
Я сел и вслушиваться стал;
Но смолк он вместе с ветерком.
И кинул взоры я кругом:
Тот край, казалось, мне знаком.
И страшно было мне, понять
Не мог я долго, что опять
Вернулся я к тюрьме моей;
Что бесполезно столько дней
Я тайный замысел ласкал,
Терпел, томился и страдал,
И все зачем?.. Чтоб в цвете лет,
Едва взглянув на божий свет,
При звучном ропоте дубрав
Блаженство вольности познав,
Унесть в могилу за собой
Тоску по родине святой,
Надежд обманутых укор
И вашей жалости позор! ..
Еще в сомненье погружен,
Я думал — это страшный сон…
Вдруг дальний колокола звон
Раздался снова в тишине —
И тут все ясно стало мне…
О! я узнал его тотчас!
Он с детских глаз уже не раз
Сгонял виденья снов живых
Про милых ближних и родных,
Про волю дикую степей,
Про легких, бешеных коней,
Про битвы чудные меж скал,
Где всех один я побеждал! ..
И слушал я без слез, без сил.
Казалось, звон тот выходил
Из сердца — будто кто-нибудь
Железом ударял мне в грудь
И смутно понял я тогда,
Что мне на родину следа
Не проложить уж никогда.

21

«Да, заслужил я жребий мой!
Могучий конь в степи чужой,
Плохого сбросив седока,
На родину издалека
Найдет прямой и краткий путь…
Что я пред ним? Напрасно грудь
Полна желаньем и тоской:
То жар бессильный и пустой,
Игра мечты, болезнь ума.
На мне печать свою тюрьма
Оставила… Таков цветок
Темничный: вырос одинок
И бледен он меж плит сырых,
И долго листьев молодых
Не распускал, все ждал лучей
Живительных. И много дней
Прошло, и добрая рука
Печально тронулась цветка,
И был он в сад перенесен,
В соседство роз. Со всех сторон
Дышала сладость бытия…
Но что ж? Едва взошла заря,
Палящий луч ее обжег
В тюрьме воспитанный цветок…

22
«И, как его, палил меня
Огонь безжалостного дня.
Напрасно прятал я в траву
Мою усталую главу;
Иссохший лист ее венцом
Терновым над моим челом
Свивался, и в лицо огнем
Сама земля дышала мне.
Сверкая быстро в вышине,
Кружились искры; с белых скал
Струился пар. Мир божий спал
В оцепенении глухом
Отчаянья тяжелым сном.
Хотя бы крикнул коростель,
Иль стрекозы живая трель
Послышалась, или ручья
Ребячий лепет… Лишь змея,
Сухим бурьяном шелестя,
Сверкая желтою спиной,
Как будто надписью златой
Покрытый донизу клинок,
Браздя рассыпчатый песок.
Скользила бережно; потом,
Играя, нежася на нем,
Тройным свивалася кольцом;
То, будто вдруг обожжена,
Металась, прыгала она
И в дальних пряталась кустах…

23
«И было все на небесах
Светло и тихо. Сквозь пары
Вдали чернели две горы,
Наш монастырь из-за одной
Сверкал зубчатою стеной.
Внизу Арагва и Кура,
Обвив каймой из серебра
Подошвы свежих островов,
По корням шепчущих кустов
Бежали дружно и легко…
До них мне было далеко!
Хотел я встать — передо мной
Все закружилось с быстротой;
Хотел кричать — язык сухой
Беззвучен и недвижим был…
Я умирал. Меня томил
Предсмертный бред. Казалось мне,
Что я лежу на влажном дне
Глубокой речки — и была
Кругом таинственная мгла.
И, жажду вечную поя,
Как лед холодная струя,
Журча, вливалася мне в грудь…
И я боялся лишь заснуть,
Так было сладко, любо мне…
А надо мною в вышине
Волна теснилася к волне,
И солнце сквозь хрусталь волны
Сияло сладостней луны…
И рыбок пестрые стада
В лучах играли иногда.
И помню я одну из них:
Она приветливей других
Ко мне ласкалась. Чешуей
Была покрыта золотой
Ее спина. Она вилась
Над головой моей не раз,
И взор ее зеленых глаз
Был грустно нежен и глубок…
И надивиться я не мог:
Ее сребристый голосок
Мне речи странные шептал,
И пел, и снова замолкал.

Он говорил: «Дитя мое,
  Останься здесь со мной:
В воде привольное житье
  И холод и покой.

«Я созову моих сестер:
  Мы пляской круговой
Развеселим туманный взор
  И дух усталый твой.

«Усни, постель твоя мягка,
  Прозрачен твой покров.
Пройдут года, пройдут века
  Под говор чудных снов.

«О милый мой! не утаю,
  Что я тебя люблю,
Люблю как вольную струю,
  Люблю как жизнь мою…»

И долго, долго слушал я;
И мнилось, звучная струя
Сливала тихий ропот свой
С словами рыбки золотой.
Тут я забылся. Божий свет
В глазах угас. Безумный бред
Бессилью тела уступил…

24
«Так я найден и поднят был…
Ты остальное знаешь сам.
Я кончил. Верь моим словам
Или не верь, мне все равно.
Меня печалит лишь одно:
Мой труп холодный и немой
Не будет тлеть в земле родной,
И повесть горьких мук моих
Не призовет меж стен глухих
Вниманье скорбное ничье
На имя темное мое.

25
«Прощай, отец… дай руку мне;
Ты чувствуешь, моя в огне…
Знай, этот пламень с юных дней,
Таяся, жил в груди моей;
Но ныне пищи нет ему,
И он прожег свою тюрьму
И возвратится вновь к тому,

Кто всем законной чередой
Дает страданье и покой…
Но что мне в том? — пускай в раю,
В святом, заоблачном краю
Мой дух найдет себе приют…
Увы! — за несколько минут
Между крутых и темных скал,
Где я в ребячестве играл,
Я б рай и вечность променял…

26

«Когда я стану умирать,
И, верь, тебе не долго ждать —
Ты перенесть меня вели
В наш сад, в то место, где цвели
Акаций белых два куста…
Трава меж ними так густа,
И свежий воздух так душист,
И так прозрачно-золотист
Играющий на солнце лист!
Там положить вели меня.
Сияньем голубого дня
Упьюся я в последний раз.
Оттуда виден и Кавказ!
Быть может, он с своих высот
Привет прощальный мне пришлет,
Пришлет с прохладным ветерком…
И близ меня перед концом
Родной опять раздастся звук!
И стану думать я, что друг
Иль брат, склонившись надо мной,
Отер внимательной рукой
С лица кончины хладный пот,
И что вполголоса поет
Он мне про милую страну…
И с этой мыслью я засну,
И никого не прокляну!»

1839

Демон

Восточная повесть

Часть I

I

Печальный Демон, дух изгнанья,
Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснилися толпой;
Тех дней, когда в жилище света
Блистал он, чистый херувим,
Когда бегущая комета
Улыбкой ласковой привета
Любила поменяться с ним,
Когда сквозь вечные туманы,
Познанья жадный, он следил
Кочующие караваны
В пространстве брошенных светил;
Когда он верил и любил,
Счастливый первенец творенья!
Не знал ни злобы, ни сомненья,
И не грозил уму его
Веков бесплодных ряд унылый…
И много, много… и всего
Припомнить не имел он силы!

II

Давно отверженный блуждал
В пустыне мира без приюта:
Вослед за веком век бежал,
Как за минутою минута,
Однообразной чередой.
Ничтожной властвуя землей,
Он сеял зло без наслажденья.
Нигде искусству своему
Он не встречал сопротивленья —
И зло наскучило ему.

III

И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал:
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял,
И, глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял,
И Терек, прыгая, как львица
С косматой гривой на хребте,
Ревел, — и горный зверь, и птица,
Кружась в лазурной высоте,
Глаголу вод его внимали;
И золотые облака
Из южных стран, издалека
Его на север провожали;
И скалы тесною толпой,
Таинственной дремоты полны,
Над ним склонялись головой,
Следя мелькающие волны;
И башни замков на скалах
Смотрели грозно сквозь туманы —
У врат Кавказа на часах
Сторожевые великаны!
И дик, и чуден был вокруг
Весь божий мир; но гордый дух
Презрительным окинул оком
Творенье бога своего,
И на челе его высоком
Не отразилось ничего.

IV

И перед ним иной картины
Красы живые расцвели:
Роскошной Грузии долины
Ковром раскинулись вдали;
Счастливый, пышный край земли!
Столпообразные раины*,
Звонко-бегущие ручьи
По дну из камней разноцветных,
И кущи роз, где соловьи
Поют красавиц, безответных
На сладкий голос их любви;
Чинар развесистые сени,

Густым венчанные плющом,
Пещеры, где палящим днем
Таятся робкие олени;
И блеск, и жизнь, и шум листов,
Стозвучный говор голосов,
Дыханье тысячи растений!
И полдня сладострастный зной,
И ароматною росой
Всегда увлаженные ночи,
И звезды яркие, как очи,
Как взор грузинки молодой!..
Но, кроме зависти холодной,
Природы блеск не возбудил
В груди изгнанника бесплодной
Ни новых чувств, ни новых сил;
И все, что пред собой он видел,
Он презирал иль ненавидел.

V

Высокий дом, широкий двор
Седой Гудал себе построил…
Трудов и слез он много стоил
Рабам послушным с давних пор.
С утра на скат соседних гор
От стен его ложатся тени.
В скале нарублены ступени;
Они от башни угловой
Ведут к реке, по ним мелькая,
Покрыта белою чадрой[1],
Княжна Тамара молодая
К Арагве ходит за водой.

VI

Всегда безмолвно на долины
Глядел с утеса мрачный дом;
Но пир большой сегодня в нем —
Звучит зурна[2], и льются вины —
Гудал сосватал дочь свою,
На пир он созвал всю семью.
На кровле, устланной коврами,
Сидит невеста меж подруг:
Средь игр и песен их досуг
Проходит. Дальними горами
Уж спрятан солнца полукруг;
В ладони мерно ударяя,
Они поют — и бубен свой
Берет невеста молодая.
И вот она, одной рукой
Кружа его над головой,
То вдруг помчится легче птицы,
То остановится, — глядит —
И влажный взор ее блестит
Из-под завистливой ресницы;
То черной бровью поведет,
То вдруг наклонится немножко,
И по ковру скользит, плывет
Ее божественная ножка;
И улыбается она,
Веселья детского полна.
Но луч луны, по влаге зыбкой
Слегка играющий порой,
Едва ль сравнится с той улыбкой,
Как жизнь, как молодость, живой.

VII

Клянусь полночною звездой,
Лучом заката и востока,
Властитель Персии златой
И ни единый царь земной
Не целовал такого ока;
Гарема брызжущий фонтан
Ни разу жаркою порою
Своей жемчужною росою
Не омывал подобный стан!
Еще ничья рука земная,
По милому челу блуждая,
Таких волос не расплела;
С тех пор как мир лишился рая,
Клянусь, красавица такая
Под солнцем юга не цвела.

VIII

В последний раз она плясала.
Увы! заутра ожидала
Ее, наследницу Гудала.
Свободы резвую дитя,
Судьба печальная рабыни,
Отчизна, чуждая поныне,
И незнакомая семья.
И часто тайное сомненье
Темнило светлые черты;
И были все ее движенья
Так стройны, полны выраженья,
Так полны милой простоты,
Что если б Демон, пролетая,
В то время на нее взглянул,
То, прежних братий вспоминая,
Он отвернулся б — и вздохнул…

IX

И Демон видел… На мгновенье
Неизъяснимое волненье
В себе почувствовал он вдруг.
Немой души его пустыню
Наполнил благодатный звук —
И вновь постигнул он святыню
Любви, добра и красоты!..
И долго сладостной картиной
Он любовался — и мечты
О прежнем счастье цепью длинной,
Как будто за звездой звезда,
Пред ним катилися тогда.
Прикованный незримой силой,
Он с новой грустью стал знаком;
В нем чувство вдруг заговорило
Родным когда-то языком.

---

[1] Покрывало. (*Примечание Лермонтова.*)
[2] Вроде волынки. (*Примечание Лермонтова.*)

То был ли признак возрожденья?
Он слов коварных искушенья
Найти в уме своем не мог…
Забыть? — забвенья не дал бог:
Да он и не взял бы забвенья!..
……

X

Измучив доброго коня,
На брачный пир к закату дня
Спешил жених нетерпеливый.
Арагвы светлой он счастливо
Достиг зеленых берегов.
Под тяжкой ношею даров
Едва, едва переступая,
За ним верблюдов длинный ряд
Дорогой тянется, мелькая:
Их колокольчики звенят.
Он сам, властитель Синодала,
Ведет богатый караван.
Ремнем затянут ловкий стан;
Оправа сабли и кинжала
Блестит на солнце; за спиной
Ружье с насечкой вырезной.
Играет ветер рукавами
Его чухи[1], — кругом она
Вся галуном обложена.
Цветными вышито шелками
Его седло; узда с кистями;
Под ним весь в мыле конь лихой
Бесценной масти, золотой.
Питомец резвый Карабаха
Прядет ушьми и, полный страха,
Храпя косится с крутизны
На пену скачущей волны.
Опасен, узок путь прибрежный!
Утесы с левой стороны,
Направо глубь реки мятежной.
Уж поздно. На вершине снежной
Румянец гаснет; встал туман…
Прибавил шагу караван.

XI

И вот часовня на дороге…
Тут с давних лет почиет в боге
Какой-то князь, теперь святой,
Убитый мстительной рукой.
С тех пор на праздник иль на битву,
Куда бы путник ни спешил,
Всегда усердную молитву
Он у часовни приносил;
И та молитва сберегала
От мусульманского кинжала.
Но презрел удалой жених
Обычай прадедов своих.
Его коварною мечтою
Лукавый Демон возмущал:
Он в мыслях, под ночною тьмою,
Уста невесты целовал.

Вдруг впереди мелькнули двое,
И больше — выстрел! — что такое?..
Привстав на звонких стременах,
Надвинув на брови папах,
Отважный князь не молвил слова;
В руке сверкнул турецкий ствол,
Нагайка щелк — и, как орел,
Он кинулся… и выстрел снова!
И дикий крик, и стон глухой
Промчались в глубине долины —
Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!

XII

Затихло все; теснясь толпой,
На трупы всадников порой
Верблюды с ужасом глядели;
И глухо в тишине степной
Их колокольчики звенели.
Разграблен пышный караван;
И над телами христиан
Чертит круги ночная птица!
Не ждет их мирная гробница
Под слоем монастырских плит,
Где прах отцов их был зарыт;
Не придут сестры с матерями,
Покрыты длинными чадрами,
С тоской, рыданьем и мольбами,
На гроб их из далеких мест!
Зато усердною рукою
Здесь у дороги, над скалою
На память водрузится крест;
И плющ, разросшийся весною,
Его, ласкаясь, обовьет
Своею сеткой изумрудной;
И, своротив с дороги трудной,
Не раз усталый пешеход
Под божьей тенью отдохнет…

XIII

Несется конь быстрее лани.
Храпит и рвется, будто к брани;
То вдруг осадит на скаку,
Прислушается к ветерку,
Широко ноздри раздувая;
То, разом в землю ударяя
Шипами звонкими копыт,
Взмахнув растрепанною гривой,
Вперед без памяти летит.
На нем есть всадник молчаливый!
Он бьется на седле порой,
Припав на гриву головой.
Уж он не правит поводами,
Задвинул ноги в стремена,
И кровь широкими струями
На чепраке его видна.
Скакун лихой, ты господина
Из боя вынес, как стрела,
Но злая пуля осетина
Его во мраке догнала!

[1] Верхняя одежда с откидными рукавами. (*Примечание Лермонтова.*)

XIV

В семье Гудала плач и стоны,
Толпится на дворе народ:
Чей конь примчался запаленный
И пал на камни у ворот?
Кто этот всадник бездыханный?
Хранили след тревоги бранной
Морщины смуглого чела.
В крови оружие и платье;
В последнем бешеном пожатье
Рука на гриве замерла.
Недолго жениха младого,
Невеста, взор твой ожидал:
Сдержал он княжеское слово,
На брачный пир он прискакал…
Увы! но никогда уж снова
Не сядет на коня лихого!..

XV

На беззаботную семью,
Как гром, слетела божья кара!
Упала на постель свою,
Рыдает бедная Тамара;
Слеза катится за слезой,
Грудь высоко и трудно дышит;
И вот она как будто слышит
Волшебный голос над собой:
«Не плачь, дитя! не плачь напрасно!
Твоя слеза на труп безгласный
Живой росой не упадет:
Она лишь взор туманит ясный,
Ланиты девственные жжет!
Он далеко, он не узнает,
Не оценит тоски твоей;
Небесный свет теперь ласкает
Бесплотный взор его очей;
Он слышит райские напевы…
Что жизни мелочные сны,
И стон, и слезы бедной девы
Для гостя райской стороны?
Нет, жребий смертного творенья,
Поверь мне, ангел мой земной,
Не стоит одного мгновенья
Твоей печали дорогой!

«На воздушном океане,
Без руля и без ветрил,
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил;
Средь полей необозримых
В небе ходят без следа
Облаков неуловимых
Волокнистые стада.
Час разлуки, час свиданья —
Им ни радость, ни печаль;
Им в грядущем нет желанья
И прошедшего не жаль.
В день томительный несчастья
Ты об них лишь вспомяни;
Будь к земному без участья
И беспечна, как они!»

«Лишь только ночь своим покровом
Верхи Кавказа осенит,
Лишь только мир, волшебным словом
Завороженный, замолчит;
Лишь только ветер над скалою
Увядшей шевельнет травою,
И птичка, спрятанная в ней,
Порхнет во мраке веселей;
И под лозою виноградной,
Росу небес глотая жадно,
Цветок распустится ночной;
Лишь только месяц золотой
Из-за горы тихонько встанет
И на тебя украдкой взглянет, —
К тебе я стану прилетать;
Гостить я буду до денницы
И на шелковые ресницы
Сны золотые навевать…»

XVI

Слова умолкли в отдаленье,
Вослед за звуком умер звук.
Она вскочив глядит вокруг…
Невыразимое смятенье
В ее груди; печаль, испуг,
Восторга пыл — ничто в сравненье.
Все чувства в ней кипели вдруг;
Душа рвала свои оковы,
Огонь по жилам пробегал,
И этот голос чудно-новый,
Ей мнилось, все еще звучал.
И перед утром сон желанный
Глаза усталые смежил;
Но мысль ее он возмутил
Мечтой пророческой и странной.
Пришлец туманный и немой,
Красой блистая неземной,
К ее склонился изголовью;
И взор его с такой любовью,
Так грустно на нее смотрел,
Как будто он об ней жалел.
То не был ангел-небожитель,
Ее божественный хранитель:
Венец из радужных лучей
Не украшал его кудрей.
То не был ада дух ужасный,
Порочный мученик — о нет!
Он был похож на вечер ясный:
Ни день, ни ночь, — ни мрак, ни свет!

Часть II

I

«Отец, отец, оставь угрозы,
Свою Тамару не брани;
Я плачу: видишь эти слезы,
Уже не первые они.
Напрасно женихи толпою
Спешат сюда из дальних мест…
Немало в Грузии невест;
А мне не быть ничьей женою!..

О, не брани, отец, меня.
Ты сам заметил: день от дня
Я вяну, жертва злой отравы!
Меня терзает дух лукавый
Неотразимою мечтой;
Я гибну, сжалься надо мной!
Отдай в священную обитель
Дочь безрассудную свою;
Там защитит меня Спаситель,
Пред ним тоску мою пролью.
На свете нет уж мне веселья…
Святыни миром осеня,
Пусть примет сумрачная келья,
Как гроб, заранее меня…»

II

И в монастырь уединенный
Ее родные отвезли,
И власяницею смиренной
Грудь молодую облекли.
Но и в монашеской одежде,
Как под узорною парчой,
Все беззаконною мечтой
В ней сердце билося, как прежде.
Пред алтарем, при блеске свеч,
В часы торжественного пенья,
Знакомая, среди моленья,
Ей часто слышалася речь.
Под сводом сумрачного храма
Знакомый образ иногда
Скользил без звука и следа
В тумане легком фимиама;
Сиял он тихо, как звезда;
Манил и звал он… но — куда?..

III

В прохладе меж двумя холмами
Таился монастырь святой.
Чинар и тополей рядами
Он окружен был — и порой,
Когда ложилась ночь в ущельи,
Сквозь них мелькала, в окнах кельи,
Лампада грешницы младой.
Кругом, в тени дерев миндальных,
Где ряд стоит крестов печальных,
Безмолвных сторожей гробниц,
Спевались хоры легких птиц.
По камням прыгали, шумели
Ключи студеною волной
И под нависшею скалой,
Сливаясь дружески в ущелье,
Катились дальше, меж кустов,
Покрытых инеем цветов.

IV

На север видны были горы.
При блеске утренней Авроры,
Когда синеющий дымок
Курится в глубине долины,
И, обращаясь на восток,
Зовут к молитве муэцины*,
И звучный колокола глас
Дрожит, обитель пробуждая;
В торжественный и мирный час,
Когда грузинка молодая
С кувшином длинным за водой
С горы спускается крутой,
Вершины цепи снеговой
Светло-лиловою стеной
На чистом небе рисовались,
И в час заката одевались
Они румяной пеленой;
И между них, прорезав тучи,
Стоял, всех выше головой,
Казбек, Кавказа царь могучий,
В чалме и ризе парчевой.

V

Но, полно думою преступной,
Тамары сердце недоступно
Восторгам чистым. Перед ней
Весь мир одет угрюмой тенью;
И все ей в нем предлог мученью —
И утра луч и мрак ночей.
Бывало только ночи сонной
Прохлада землю обоймет,
Перед божественной иконой
Она в безумье упадет
И плачет; и в ночном молчанье
Ее тяжелое рыданье
Тревожит путника вниманье;
И мыслит он: «То горный дух
Прикованный в пещере стонет!»*
И, чуткий напрягая слух,
Коня измученного гонит…

VI

Тоской и трепетом полна,
Тамара часто у окна
Сидит в раздумье одиноком
И смотрит вдаль прилежным оком,
И целый день, вздыхая, ждет…
Ей кто-то шепчет: он придет!
Недаром сны ее ласкали,
Недаром он являлся ей,
С глазами, полными печали,
И чудной нежностью речей.
Уж много дней она томится,
Сама не зная почему;
Святым захочет ли молиться —
А сердце молится *ему*;
Утомлена борьбой всегдашней,
Склонится ли на ложе сна:
Подушка жжет, ей душно, страшно,
И вся, вскочив, дрожит она;
Пылают грудь ее и плечи,
Нет сил дышать, туман в очах,
Объятья жадно ищут встречи,
Лобзанья тают на устах…
……
……

VII

Вечерней мглы покров воздушный
Уж холмы Грузии одел.
Привычке сладостной послушный,
В обитель Демон прилетел.

Но долго, долго он не смел
Святыню мирного приюта
Нарушить. И была минута,
Когда казался он готов
Оставить умысел жестокой.
Задумчив, у стены высокой
Он бродит: от его шагов
Без ветра лист в тени трепещет.
Он поднял взор: ее окно,
Озарено лампадой, блещет;
Кого-то ждет она давно!
И вот средь общего молчанья
Чингура стройное бряцанье
И звуки песни раздались;
И звуки те лились, лились,
Как слезы, мерно друг за другом;
И эта песнь была нежна,
Как будто для земли она
Была на небе сложена!
Не ангел ли с забытым другом
Вновь повидаться захотел,
Сюда украдкою слетел
И о былом ему пропел,
Чтоб усладить его мученье?..
Тоску любви, ее волненье
Постигнул Демон в первый раз;
Он хочет в страхе удалиться…
Его крыло не шевелится!
И, чудо! из померкших глаз
Слеза тяжелая катится…
Поныне возле кельи той
Насквозь прожженный виден камень
Слезою жаркою, как пламень,
Нечеловеческой слезой!..

VIII

И входит он, любить готовый,
С душой, открытой для добра,
И мыслит он, что жизни новой
Пришла желанная пора.
Неясный трепет ожиданья,
Страх неизвестности немой,
Как будто в первое свиданье
Спознались с гордою душой.
То было злое предвещанье!
Он входит, смотрит — перед ним
Посланник рая, херувим,
Хранитель грешницы прекрасной,
Стоит с блистающим челом
И от врага с улыбкой ясной
Приосенил ее крылом;
И луч божественного света
Вдруг ослепил нечистый взор,
И вместо сладкого привета
Раздался тягостный укор:

IX

«Дух беспокойный, дух порочный.
Кто звал тебя во тьме полночной?
Твоих поклонников здесь нет,
Зло не дышало здесь поныне;
К моей любви, к моей святыне
Не пролагай преступный след.
Кто звал тебя?»
Ему в ответ
Злой дух коварно усмехнулся;
Зарделся ревностию взгляд;
И вновь в душе его проснулся
Старинной ненависти яд.
«Она моя! — сказал он грозно, —
Оставь ее, она моя!
Явился ты, защитник, поздно,
И ей, как мне, ты не судья.
На сердце, полное гордыни,
Я наложил печать мою;
Здесь больше нет твоей святыни,
Здесь я владею и люблю!»
И Ангел грустными очами
На жертву бедную взглянул
И медленно, взмахнув крылами,
В эфире неба потонул.
……

X

Тамара
О! кто ты? речь твоя опасна!
Тебя послал мне ад иль рай?
Чего ты хочешь?..

Демон
Ты прекрасна!

Тамара
Но молви, кто ты? отвечай…

Демон
Я тот, которому внимала
Ты в полуночной тишине,
Чья мысль душе твоей шептала,
Чью грусть ты смутно отгадала,
Чей образ видела во сне.
Я тот, чей взор надежду губит;
Я тот, кого никто не любит;
Я бич рабов моих земных,
Я царь познанья и свободы,
Я враг небес, я зло природы,
И, видишь, — я у ног твоих!
Тебе принес я в умиленье
Молитву тихую любви,
Земное первое мученье
И слезы первые мои.
О! выслушай — из сожаленья!
Меня добру и небесам
Ты возвратить могла бы словом.
Твоей любви святым покровом
Одетый, я предстал бы там,
Как новый ангел в блеске новом;
О! только выслушай, молю, —
Я раб твой, — я тебя люблю!
Лишь только я тебя увидел —
И тайно вдруг возненавидел
Бессмертие и власть мою.
Я позавидовал невольно
Неполной радости земной;

Не жить, как ты, мне стало больно,
И страшно — розно жить с тобой.
В бескровном сердце луч нежданный
Опять затеплился живей,
И грусть на дне старинной раны
Зашевелилася, как змей.
Что без тебя мне эта вечность?
Моих владений бесконечность?
Пустые звучные слова,
Обширный храм — без божества!

Тамара
Оставь меня, о дух лукавый!
Молчи, не верю я врагу…
Творец… Увы! я не могу
Молиться… гибельной отравой
Мой ум слабеющий объят!
Послушай, ты меня погубишь;
Твои слова — огонь и яд…
Скажи, зачем меня ты любишь!

Демон
Зачем, красавица? Увы,
Не знаю!.. Полон жизни новой,
С моей преступной головы
Я гордо снял венец терновый,
Я все былое бросил в прах:
Мой рай, мой ад в твоих очах.
Люблю тебя нездешней страстью,
Как полюбить не можешь ты:
Всем упоением, всей властью
Бессмертной мысли и мечты.
В душе моей, с начала мира,
Твой образ был напечатлен,
Передо мной носился он
В пустынях вечного эфира.
Давно тревожа мысль мою,
Мне имя сладкое звучало;
Во дни блаженства мне в раю
Одной тебя недоставало.
О! если б ты могла понять,
Какое горькое томленье
Всю жизнь, века без разделенья
И наслаждаться и страдать,
За зло похвал не ожидать,
Ни за добро вознагражденья;
Жить для себя, скучать собой
И этой вечною борьбой
Без торжества, без примиренья!
Всегда жалеть и не желать,
Все знать, все чувствовать, все видеть,
Стараться все возненавидеть
И все на свете презирать!..
Лишь только божие проклятье
Исполнилось, с того же дня
Природы жаркие объятья
Навек остыли для меня;
Синело предо мной пространство;
Я видел брачное убранство
Светил, знакомых мне давно…
Они текли в венцах из злата;
Но что же? прежнего собрата
Не узнавало ни одно.
Изгнанников, себе подобных,
Я звать в отчаянии стал,
Но слов и лиц и взоров злобных,
Увы! я сам не узнавал.
И в страхе я, взмахнув крылами,
Помчался — но куда? зачем?
Не знаю… прежними друзьями
Я был отвергнут; как Эдем,
Мир для меня стал глух и нем.
По вольной прихоти теченья
Так поврежденная ладья
Без парусов и без руля
Плывет, не зная назначенья;
Так ранней утренней порой
Отрывок тучи громовой,
В лазурной вышине чернея,
Один, нигде пристать не смея,
Летит без цели и следа,
Бог весть откуда и куда!
И я людьми недолго правил.
Греху недолго их учил,
Все благородное бесславил
И все прекрасное хулил;
Недолго… пламень чистой веры
Легко навек я залил в них…
А стоили ль трудов моих
Одни глупцы да лицемеры?
И скрылся я в ущельях гор;
И стал бродить, как метеор,
Во мраке полночи глубокой…
И мчался путник одинокой,
Обманут близким огоньком,
И в бездну падая с конем,
Напрасно звал — и след кровавый
За ним вился по крутизне…
Но злобы мрачные забавы
Недолго нравилися мне!
В борьбе с могучим ураганом,
Как часто, подымая прах,
Одетый молньей и туманом,
Я шумно мчался в облаках,
Чтобы в толпе стихий мятежной
Сердечный ропот заглушить,
Спастись от думы неизбежной
И незабвенное забыть!
Что повесть тягостных лишений,
Трудов и бед толпы людской
Грядущих, прошлых поколений
Перед минутою одной
Моих непризнанных мучений?
Что люди? что их жизнь и труд?
Они прошли, они пройдут…
Надежда есть — ждет правый суд:
Простить он может, хоть осудит!
Моя ж печаль бессменно тут,
И ей конца, как мне, не будет;
И не вздремнуть в могиле ей!
Она то ластится, как змей,
То жжет и плещет, будто пламень,
То давит мысль мою, как камень —
Надежд погибших и страстей
Несокрушимый мавзолей!..

Тамара
Кто б ни был ты, мой друг случайный, —
Покой навеки погубя,
Невольно я с отрадой тайной,
Страдалец, слушаю тебя.
Но если речь твоя лукава,
Но если ты, обман тая…
О! пощади! Какая слава?
На что душа тебе моя?
Ужели небу я дороже
Всех, не замеченных тобой?
Они, увы! прекрасны тоже;
Как здесь, их девственное ложе
Не смято смертною рукой…
Нет! дай мне клятву роковую…
Скажи, — ты видишь: я тоскую;
Ты видишь женские мечты!
Невольно страх в душе ласкаешь…
Но ты все понял, ты все знаешь —
И сжалишься, конечно, ты!
Клянися мне… от злых стяжаний
Отречься ныне дай обет.
Ужель ни клятв, ни обещаний
Ненарушимых больше нет?..

Демон
Клянусь я первым днем творенья,
Клянусь его последним днем,
Клянусь позором преступленья
И вечной правды торжеством.
Клянусь паденья горькой мукой,
Победы краткою мечтой;
Клянусь свиданием с тобой
И вновь грозящею разлукой.
Клянуся сонмищем духов,
Судьбою братий мне подвластных,
Мечами ангелов бесстрастных,
Моих недремлющих врагов;
Клянуся небом я и адом,
Земной святыней и тобой,
Клянусь твоим последним взглядом,
Твоею первою слезой,
Незлобных уст твоих дыханьем,
Волною шелковых кудрей,
Клянусь блаженством и страданьем,
Клянусь любовию моей:
Я отрекся от старой мести,
Я отрекся от гордых дум;
Отныне яд коварной лести
Ничей уж не встревожит ум;
Хочу я с небом примириться,
Хочу любить, хочу молиться,
Хочу я веровать добру.
Слезой раскаянья сотру
Я на челе, тебя достойном,
Следы небесного огня —
И мир в неведенье спокойном
Пусть доцветает без меня!
О! верь мне: я один поныне
Тебя постиг и оценил:
Избрав тебя моей святыней,
Я власть у ног твоих сложил.
Твоей любви я жду, как дара,
И вечность дам тебе за миг;
В любви, как в злобе, верь, Тамара,
Я неизменен и велик.
Тебя я, вольный сын эфира,
Возьму в надзвездные края;
И будешь ты царицей мира,
Подруга первая моя;
Без сожаленья, без участья
Смотреть на землю станешь ты,
Где нет ни истинного счастья,
Ни долговечной красоты,
Где преступленья лишь да казни,
Где страсти мелкой только жить;
Где не умеют без боязни
Ни ненавидеть, ни любить.
Иль ты не знаешь, что такое
Людей минутная любовь?
Волненье крови молодое, —
Но дни бегут и стынет кровь!
Кто устоит против разлуки,
Соблазна новой красоты,
Против усталости и скуки
И своенравия мечты?
Нет! не тебе, моей подруге,
Узнай, назначено судьбой
Увянуть молча в тесном круге
Ревнивой грубости рабой,
Средь малодушных и холодных,
Друзей притворных и врагов,
Боязней и надежд бесплодных,
Пустых и тягостных трудов!
Печально за стеной высокой
Ты не угаснешь без страстей,
Среди молитв, равно далеко
От божества и от людей.
О нет, прекрасное созданье,
К иному ты присуждена;
Тебя иное ждет страданье,
Иных восторгов глубина;
Оставь же прежние желанья
И жалкий свет его судьбе:
Пучину гордого познанья
Взамен открою я тебе.
Толпу духов моих служебных
Я приведу к твоим стопам;
Прислужниц легких и волшебных
Тебе, красавица, я дам;
И для тебя с звезды восточной
Сорву венец я золотой;
Возьму с цветов росы полночной;
Его усыплю той росой;
Лучом румяного заката
Твой стан, как лентой, обовью,
Дыханьем чистым аромата
Окрестный воздух напою;
Всечасно дивною игрою
Твои слух лелеять буду я;
Чертоги пышные построю
Из бирюзы и янтаря;
Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака,
Я дам тебе все, все земное —
Люби меня!..

XI

И он слегка
Коснулся жаркими устами
Ее трепещущим губам;
Соблазна полными речами
Он отвечал ее мольбам.
Могучий взор смотрел ей в очи!
Он жег ее. Во мраке ночи
Над нею прямо он сверкал,
Неотразимый, как кинжал.
Увы! злой дух торжествовал!
Смертельный яд его лобзанья
Мгновенно в грудь ее проник.
Мучительный, ужасный крик
Ночное возмутил молчанье.
В нем было все: любовь, страданье,
Упрек с последнею мольбой
И безнадежное прощанье —
Прощанье с жизнью молодой.

XII

В то время сторож полуночный,
Один вокруг стены крутой
Свершая тихо путь урочный,
Бродил с чугунною доской,
И возле кельи девы юной
Он шаг свой мерный укротил
И руку над доской чугунной,
Смутясь душой, остановил.
И сквозь окрестное молчанье,
Ему казалось, слышал он
Двух уст согласное лобзанье,
Минутный крик и слабый стон.
И нечестивое сомненье
Проникло в сердце старика…
Но пронеслось еще мгновенье,
И стихло все; издалека
Лишь дуновенье ветерка
Роптанье листьев приносило,
Да с темным берегом уныло
Шепталась горная река.
Канон угодника святого
Спешит он в страхе прочитать,
Чтоб наважденье духа злого
От грешной мысли отогнать;
Крестит дрожащими перстами
Мечтой взволнованную грудь
И, молча, скорыми шагами
Обычный продолжает путь.
……

XIII

Как пери спящая мила,
Она в гробу своем лежала,
Белей и чище покрывала
Был томный цвет ее чела.
Навек опущены ресницы…
Но кто б, о небо! не сказал,
Что взор под ними лишь дремал
И, чудный, только ожидал
Иль поцелуя иль денницы?
Но бесполезно луч дневной
Скользил по ним струей златой.
Напрасно их в немой печали
Уста родные целовали…
Нет! смерти вечную печать
Ничто не в силах уж сорвать!

XIV

Ни разу не был в дни веселья
Так разноцветен и богат
Тамары праздничный наряд.
Цветы родимого ущелья
(Так древний требует обряд)
Над нею льют свой аромат
И, сжаты мертвою рукою
Как бы прощаются с землею!
И ничего в ее лице
Не намекало о конце
В пылу страстей и упоенья;
И были все ее черты
Исполнены той красоты,
Как мрамор, чуждой выраженья,
Лишенной чувства и ума,
Таинственной, как смерть сама.
Улыбка странная застыла,
Мелькнувши по ее устам.
О многом грустном говорила
Она внимательным глазам:
В ней было хладное презренье
Души, готовой отцвести,
Последней мысли выраженье,
Земле беззвучное прости.
Напрасный отблеск жизни прежней,
Она была еще мертвей,
Еще для сердца безнадежней
Навек угаснувших очей.
Так в час торжественный заката,
Когда, растаяв в море злата,
Уж скрылась колесница дня,
Снега Кавказа, на мгновенье
Отлив румяный сохраня,
Сияют в темном отдаленье.
Но этот луч полуживой
В пустыне отблеска не встретит,
И путь ничей он не осветит
С своей вершины ледяной!..

XV

Толпой соседи и родные
Уж собрались в печальный путь.
Терзая локоны седые,
Безмолвно поражая грудь,
В последний раз Гудал садится
На белогривого коня,
И поезд тронулся. Три дня,
Три ночи путь их будет длиться:
Меж старых дедовских костей
Приют покойный вырыт ей.
Один из праотцев Гудала,
Грабитель странников и сел,
Когда болезнь его сковала
И час раскаянья пришел,

Грехов минувших в искупленье
Построить церковь обещал
На вышине гранитных скал,
Где только вьюги слышно пенье,
Куда лишь коршун залетал.
И скоро меж снегов Казбека
Поднялся одинокий храм,
И кости злого человека
Вновь успокоилися там;
И превратилася в кладбище
Скала, родная облакам:
Как будто ближе к небесам
Теплей посмертное жилище?..
Как будто дальше от людей
Последний сон не возмутится…
Напрасно! мертвым не приснится
Ни грусть, ни радость прошлых дней.

XVI

В пространстве синего эфира
Один из ангелов святых
Летел на крыльях золотых,
И душу грешную от мира
Он нес в объятиях своих.
И сладкой речью упованья
Ее сомненья разгонял,
И след проступка и страданья
С нее слезами он смывал.
Издалека уж звуки рая
К ним доносилися — как вдруг,
Свободный путь пересекая,
Взвился из бездны адский дух.
Он был могущ, как вихорь шумный,
Блистал, как молнии струя,
И гордо в дерзости безумной
Он говорит: «Она моя!»

К груди хранительной прижалась,
Молитвой ужас заглуша,
Тамары грешная душа.
Судьба грядущего решалась,
Пред нею снова он стоял,
Но, боже! — кто б его узнал?
Каким смотрел он злобным взглядом,
Как полон был смертельным ядом
Вражды, не знающей конца, —
И веяло могильным хладом
От неподвижного лица.

«Исчезни, мрачный дух сомненья! —
Посланник неба отвечал: —
Довольно ты торжествовал;
Но час суда теперь настал —
И благо божие решенье!
Дни испытания прошли;
С одеждой бренною земли
Оковы зла с нее ниспали.
Узнай! давно ее мы ждали!
Ее душа была из тех,
Которых жизнь — одно мгновенье
Невыносимого мученья,
Недосягаемых утех:
Творец из лучшего эфира
Соткал живые струны их,
Они не созданы для мира,
И мир был создан не для них!
Ценой жестокой искупила
Она сомнения свои…
Она страдала и любила —
И рай открылся для любви!»

И Ангел строгими очами
На искусителя взглянул
И, радостно взмахнув крылами,
В сиянье неба потонул.
И проклял Демон побежденный
Мечты безумные свои,
И вновь остался он, надменный,
Один, как прежде, во вселенной
Без упованья и любви!..

На склоне каменной горы
Над Койшаурскою долиной
Еще стоят до сей поры
Зубцы развалины старинной.
Рассказов, страшных для детей,
О них еще преданья полны…
Как призрак, памятник безмолвный,
Свидетель тех волшебных дней,
Между деревьями чернеет.
Внизу рассыпался аул,
Земля цветет и зеленеет;
И голосов нестройный гул
Теряется, и караваны
Идут звеня издалека,
И, низвергаясь сквозь туманы,
Блестит и пенится река.
И жизнью вечно молодою.
Прохладой, солнцем и весною
Природа тешится шутя,
Как беззаботная дитя.

Но грустен замок, отслуживший
Года во очередь свою,
Как бедный старец, переживший
Друзей и милую семью.
И только ждут луны восхода
Его незримые жильцы:
Тогда им праздник и свобода!
Жужжат, бегут во все концы.
Седой паук, отшельник новый,
Прядет сетей своих основы;
Зеленых ящериц семья
На кровле весело играет;
И осторожная змея
Из темной щели выползает
На плиту старого крыльца,
То вдруг совьется в три кольца,
То ляжет длинной полосою
И блещет, как булатный меч,
Забытый в поле давних сеч,
Ненужный падшему герою!..
Все дико; нет нигде следов

Минувших лет: рука веков
Прилежно, долго их сметала,
И не напомнит ничего
О славном имени Гудала,
О милой дочери его!

Но церковь на крутой вершине,
Где взяты кости их землей,
Хранима властию святой,
Видна меж туч еще поныне.
И у ворот ее стоят
На страже черные граниты,
Плащами снежными покрыты;
И на груди их вместо лат
Льды вековечные горят.
Обвалов сонные громады
С уступов, будто водопады,
Морозом схваченные вдруг,
Висят, нахмурившись, вокруг.
И там метель дозором ходит,
Сдувая пыль со стен седых,
То песню долгую заводит,
То окликает часовых;
Услыша вести в отдаленье
О чудном храме, в той стране,
С востока облака одне
Спешат толпой на поклоненье;
Но над семьей могильных плит
Давно никто уж не грустит.
Скала угрюмого Казбека
Добычу жадно сторожит,
И вечный ропот человека
Их вечный мир не возмутит.

1841

Примечания. Стихотворения

«Люблю я цепи синих гор». При жизни поэта не печаталось. Впервые опубликовано в 1859 г. в «Отечественных записках».

«**Спеша на север из далека**». При жизни поэта не печаталось. Впервые опубликовано в 1845 г. в литературном сборнике «Вчера и сегодня» под заглавием «Казбеку».

Написано, вероятно, в конце 1837 г. перед отъездом Лермонтова в Петербург с Кавказа, где он отбывал первую ссылку.

Кинжал. Напечатано при жизни поэта в 1841 г. в «Отечественных записках» (т. XVI, №6).

Написано, по всей вероятности, в конце 1837 или в начале 1838 г., после отъезда Лермонтова с Кавказа в Петербург, а потом в Новгород.

На обороте листа, где находится автограф стихотворения, записано посвящение к поэме «Тамбовская казначейша», относящееся также к этому времени — к концу 1837 или к самому началу 1838 г.

Поэт. Напечатано при жизни поэта в 1839 г. в «Отечественных записках».

Стихотворение является выражением декабристских представлений о высоком назначении поэта — побуждать сердца сограждан к борьбе за политическую свободу. Отсюда такие образы, как «колокол на башне вечевой» — обращение к теме древней новгородской вольности, воспевавшейся декабристами.

«Осмеянный пророк» — этот образ лег в основу позднейшего стихотворения Лермонтова «Пророк».

Дары Терека. Напечатано при жизни поэта в 1839 г. в «Отечественных записках» и в 1840 г. в сборнике «Стихотворения М. Лермонтова», где датировано 1839 г.

Автограф не сохранился.

В стихотворении отразилось знакомство Лермонтова с народными песнями и сказами гребенских казаков о Тереке.

В.Г. Белинский по поводу этого стихотворения писал о Лермонтове: «...Каков его «Терек»? Черт знает — страшно сказать, а мне кажется, что в этом юноше готовится третий русский поэт и что Пушкин умер не без наследника» (письмо к Боткину от 9 февраля 1840 г.).

Памяти А.И. О<доевско>го. Напечатано при жизни поэта в 1839 г. в «Отечественных записках» и в 1840 г. в сборнике «Стихотворения М. Лермонтова», где датировано 1839 г. (с заглавием «Памяти А.И. О-го»).

Написано в связи со смертью друга Лермонтова, поэта-декабриста Александра Ивановича Одоевского (1802—1839), сосланного после декабрьского восстания в Сибирь, а затем на Кавказ, где он и умер 15 августа 1839 г. от лихорадки. Лермонтов познакомился с Одоевским в 1837 г. во время своей кавказской ссылки. Оба поэта служили в Нижегородском драгунском полку.

Стихи «Он был рожден для них, для тех надежд» и следующие являются повторением в новой редакции второй строфы юношеского стихотворения «Когда твой друг с пророческой тоскою» и на-

чала стихотворения 1832 г. «Он был рожден для счастья, для надежд». Третья и четвертая строфы этого стихотворения текстуально сходны с строфами 3, 4, 136 и 137 поэмы «Сашка».

Казачья колыбельная песня. Напечатано при жизни поэта в 1840 г. в «Отечественных записках» и в сборнике «Стихотворения М. Лермонтова», где датировано тем же годом.

В.Г. Белинский писал о «Казачьей колыбельной песне»: «Ее идея — мать; но поэт умел дать индивидуальное значение этой общей идее: его мать — казачка, и потому содержание ее колыбельной песни выражает собою особенности и оттенки казачьего быта» (Академическое собрание сочинений, т. IV, стр. 535).

Стихотворение свидетельствует о знакомстве Лермонтова с народным творчеством гребенских казаков.

Тучи. Напечатано при жизни поэта в сборнике «Стихотворения М. Лермонтова» (1840).

Написано в апреле 1840 г. перед отъездом Лермонтова в ссылку на Кавказ.

По воспоминаниям В.А. Соллогуба, стихотворение создавалось при следующих обстоятельствах: «Друзья и приятели собрались в квартире Карамзиных проститься с юным другом своим, и тут, растроганный вниманием к себе и непритворною любовью избранного кружка, поэт, стоя в окне и глядя на тучи, которые ползли над Летним садом и Невою, написал стихотворение «Тучки небесные, вечные странники!..» Софья Карамзина и несколько человек гостей окружили поэта и просили прочесть только что набросанное стихотворение. Он оглянул всех грустным взглядом выразительных глаз своих и прочел его. Когда он кончил, глаза были влажные от слез...» (см. т. VI собрания сочинений под редакцией Висковатова, 1891, стр. 338).

Валерик. При жизни поэта не печаталось. Впервые опубликовано с пропусками в 1843 г. в альманахе «Утренняя заря».

В черновом автографе заглавие отсутствует, но оно имеется в копии из архива Ю.Ф. Самарина (сделанной, по всем признакам, с более позднего автографа) и в первопечатном издании.

После стиха «Нам был обещан бой жестокий» в черновом автографе первоначально следовал другой текст:

Чечня восстала вся кругом;
У нас двух тысяч под ружьем
Не набралось бы. Слава богу
Выходит из кустов обоз,
В цепи стрельба; но началось
И в арьергарде понемногу;
Вот жарче, жарче... Крик! Глядим,
Уж тащат одного, — за ним
Других... и много... ружья носят
И кличут громко лекарей!
Уж им не в мочь — подмоги просят:
«Сюда орудие — скорей
Картечи»... тихо развернулся
Меж тем в поляне весь отряд,
Кругом зеленый лес замкнулся;
Дымится весь. Свистят, жужжат
Над нами пули. — Перед нами
Овраг, река, — по берегам
Валежник, бревна здесь и там —
Но ни души — кусты ветвями
Сплелись — мы ближе подошли.
Орудий восемь навели
На дерева, в овраг без цели.
Гранаты глухо загудели
И лопнули... Ответа нет,
Мы ближе. . . Что за притча, право!
Вот от ружья как будто свет,
Вот кто-то выбежал направо...
Мелькнул и скрылся враг лукавый.
Мы снова тронулись вперед,
Послали выстрел им прощальный —
И ружей вдруг из семисот
Осыпал нас огонь батальный
И затрещало... по бокам,
И впереди, и здесь, и там
Валятся целыми рядами...
Как птиц нас бьют со всех сторон...
Второй и третий батальон
В штыки, дружнее, молодцами;

После стиха «Была тепла, была красна» вычеркнуто:

Тогда на самом месте сечи
У батареи я прилег
Без сил и чувств; я изнемог,
Но слышал, как просил картечи
Артиллерист. Он приберег
Один заряд на всякий случай.
Уж раза три чеченцы тучей
Кидали шашки наголо;
Прикрытье все почти легло.
Я слушал очень равнодушно;
Хотелось спать и было душно.

Послание обращено, по всей вероятности, к В.А. Бахметевой (Лопухиной). Поэт рассказывает в нем о боевых действиях отряда генерал-лейтенанта Галафеева в Чечне. 11 июля 1840 г. на реке

Валерик (приток Сунжи, впадающей в Терек) разыгралось сражение, стоившее больших жертв той и другой стороне. Лермонтов участвовал в этом бою. Ему было поручено наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и держать связь с командиром, что было связано с величайшей опасностью, так как чеченцы скрывались в лесу. С первыми рядами храбрецов поэт ворвался в неприятельские завалы. За проявленное «отличное мужество» Лермонтов был представлен к ордену. Но высочайшим повелением опальному поэту было отказано в награде.

В «Журнале военных действий» отряда Галафеева подробно описано валерикское сражение. Рассказ Лермонтова в стихотворном послании до деталей совпадает с этими журнальными записями.

Реалистическая простота и точность повествования, ведущегося от лица участника событий, бытовые зарисовки, разговорный язык — все это очень сильно отличало стихотворение Лермонтова от традиционных образцов высокой батальной лирики. Первым опытом поэта в этом направлении было «Бородино». Та же подчеркнутая «сниженность» темы — в стихотворениях «Завещание» и «Родина».

«**Тебе, Кавказ, суровый царь земли**» (I и II). При жизни поэта не печатались. Первая редакция опубликована впервые в литературном сборнике «Молодик» на 1844 г., вторая — в 1880 г. в собрании сочинений под редакцией Ефремова.

Высказывалось предположение, что оба стихотворения являются различными редакциями посвящения к поэме «Демон». Написаны после возвращения поэта из первой кавказской ссылки (1838–1840).

«**Прощай, немытая Россия**». При жизни поэта не печаталось. Впервые опубликовано с цензурными искажениями в 1887 г. в «Русской старине».

Написано, по свидетельству биографов, в апреле 1841 г., перед отъездом Лермонтова из Петербурга на Кавказ по месту ссылки. Датировка 1837 г. в изд. М.Ю. Лермонтов, собр. соч. в 4-х томах (М., 1957, т. 1, стр. 344) неубедительна.

Автограф не сохранился. До нас дошло несколько вариантов текста этого стихотворения в списках, сделанных в разное время П.И. Бартеневым.

В 1873 г. Бартенев, посылая стихотворение Ефремову, писал: «Вот еще стихи Лермонтова, списанные с подлинника». При этом сообщался следующий текст:

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный им народ.
Быть может, за стеной Кавказа
Укроюсь от твоих царей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

В 1890 г. Бартенев опубликовал другую редакцию текста (по которой печатается стихотворение в настоящем издании), сопроводив ее примечанием: «Записано со слов поэта современником» («Русский архив», 1890, кн. 3, №11, стр. 375).

В 1955 г. опубликован еще один вариант текста — список того же Бартенева из архива Н.В. Путяты. В этом списке стих 4 читается: «И ты, покорный им народ». Остальной текст — как в письме Ефремову (подробнее см. в «Известиях Академии наук СССР», 1955, Отделение литературы и языка, т. 14, вып. 4, стр. 372—373).

Ту редакцию, где стих 6 читается «Сокроюсь от твоих пашей», есть основание считать наиболее вероятной по смыслу и по форме. Резко обличительное стихотворение Лермонтова, направленное против самодержавно-бюрократического режима России, распространялось в списках и подвергалось многим искажениям.

«мундиры голубые» — речь идет о царских жандармах.

Спор. Напечатано при жизни поэта в 1841 г. в «Москвитянине» (ч. III, № 6).

Написано в апреле 1841 г. в Москве и через Ю.Ф. Самарина передано редактору «Москвитянина» М.П. Погодину.

В стихотворении, написанном в форме аллегорической баллады, Лермонтов говорит о завоевании Кавказа Россией.

В оценке событий Лермонтов был близок тем кругам грузинской интеллигенции, с которыми он общался во время первой ссылки. Значительная часть этой интеллигенции признавала прогрессивное влияние русской экономики и культуры на жизнь народов Кавказа и видела в России мощного союзника в борьбе против внешних врагов (ср. поэму Н. Бараташвили «Судьба Грузии», 1839 и его же стихотворение «Могила царя Ираклия», 1842).

Однако, показывая историческую неизбежность покорения Кавказа Россией, поэт посвящает сочувственные строки Казбеку, олицетворяющему покоренную вольность.

«Генерал седой» — Алексей Петрович Ермолов (1772—1861), командовавший войсками кавказского корпуса с 1816 по 1827 г.

Тамара. При жизни поэта не печаталось. Впервые опубликовано в 1843 г. в «Отечественных записках».

Написано между маем и началом июля 1841 г. Стихотворение свидетельствует о знакомстве Лермонтова с грузинским фольклором. В Грузии сохранилась легенда о коварной царице Дарье, замок которой находился в Дарьяльском ущелье. Царица волшебной силой заманивала путников к себе в замок и после ночи любви убивала их, сбрасывая затем трупы в Терек. В истории Грузии не было царицы Дарьи. Лермонтов, возможно, слышал другой вариант легенды, связанный с именем царицы Тамары, жившей в конце XII — начале XIII в.

Листок. При жизни поэта не печаталось. Впервые опубликовано в 1843 г. в «Отечественных записках».

Написано между маем и июлем 1841 г.

Символический образ оторванного бурей листка появляется у Лермонтова еще в ранней лирике («Портреты», «Дай руку мне, склонись к груди поэта» и др.).

В литературе указывалось на связь стихотворения «Листок» с элегией французского поэта Арно, переводившейся на русский язык В. Жуковским и Д. Давыдовым. В статье Пушкина «Французская академия», напечатанной в 1836 г. в «Современнике», приводится история шумного успеха этой элегии Арно.

Свиданье. При жизни поэта не печаталось. Впервые опубликовано в 1844 г. в «Отечественных записках».

Написано между маем и началом июля 1841 г.

«**Выхожу один я на дорогу**». При жизни поэта не печаталось.

Впервые опубликовано в 1843 г. в «Отечественных записках». Написано между маем и началом июля 1841 г.

Сон («В полдневный жар в долине Дагестана»). При жизни поэта не печаталось. Впервые опубликовано в 1843 г. в «Отечественных записках».

Написано между маем и началом июля 1841 г. В литературе указывалось на связь этого стихотворения с одной из песен терского казачества — «Ох, не отстать-то тоске-кручинушке», где рассказывается о казаке, который увидел себя во сне убитым.

«Синие горы Кавказа, приветствую вас». При жизни поэта не печаталось. Впервые опубликовано в 1859 г. в «Отечественных записках».

В автографе третий абзац («Как я любил твои бури… все в этом крае прекрасно») зачеркнут.

Отрывок представляет собой опыт ритмической прозы. Текстуально и по содержанию (лирические воспоминания о Кавказе) отрывок имеет соответствие с первыми строфами поэмы «Измаил-Бей», над которой в это время работал поэт.

Поэмы

Черкесы. Впервые опубликована в отрывках в 1860 г. в собрании сочинений под редакцией Дудышкина (т. 2, с.3—4), полностью — в 1891 г. в собрании сочинений под редакцией Висковатова (т. 3, с. 164—172).

Поэма написана летом 1828 г., о чем свидетельствует надпись, сделанная Лермонтовым на обложке рукописи: «В Чембар за дубом». В Чембар (уездный город Пензенской губернии, теперь г. Белинский) поэт мог бывать лишь в летние месяцы 1828 г., когда жил с бабушкой (Е.А. Арсеньевой) в ее имении Тарханы (ныне село Лермонтово), от которого до города считалось 12 верст. Позже, поступив в Московский университетский благородный пансион, Лермонтов уже не ездил в Тарханы, проводя лето под Москвой. По собственному признанию, он начал писать стихи в 1828 г., и «Черкесы» принадлежат к числу самых первых его произведений.

В «Черкесах», как и в остальных ранних поэмах («Кавказский пленник», «Корсар»), Лермонтов сознательно подражал различным литературным образцам. Из произведений других поэтов он то целиком брал стихи и выражения, то их несколько изменял. Поэма «Черкесы» носит следы

чтения не только из «Кавказского пленника» Пушкина, но и «Княгини Натальи Борисовны Долгорукой» И.И. Козлова, «Освобождения Москвы» и «Причудницы» И.И. Дмитриева, поэмы Парни «Иснель и Аслега» («Сон воинов») в переводе К.Н. Батюшкова, «Абидосской невесты» Байрона в переводе И.И. Козлова и др. На рисунке рукописной обложки к поэме «Черкесы» Лермонтов в виде эпиграфа приводит стихи Пушкина из «Кавказского пленника»:

Подобно племени Батыя,
Изменит прадедам Кавказ, —
— Забудет брани вещий глас,
Оставит стрелы боевые…
…И к тем скалам, где крылись вы,
Подъедет путник без боязни,
И возвестят о вашей казни
Преданья темные молвы!..

А. Пушкин

Стр. 599. *Уздени вкруг него сидят*. Уздени — в Кабарде горцы-землевладельцы.

Кавказский пленник. Впервые опубликована в отрывках в 1859 г. в «Отечественных записках» (т. 125, № 7), полностью — в 1891 г. в собрании сочинений под редакцией Висковатова (т. 3).

Поэма написана в 1828 г. под сильным воздействием одноименной поэмы Пушкина. Некоторые стихи Пушкина целиком вошли в поэму, другие — в несколько измененном виде; отдельные стихи поэмы Лермонтова близки к «Бахчисарайскому фонтану» и «Евгению Онегину» Пушкина, встречаются также стихи из «Андрея, князя Переяславского» А.А. Бестужева (Марлинского), «Обуховки» В.В. Капниста, «Чернеца» И.И. Козлова, «Абидосской невесты» Байрона в переводе И.И. Козлова и др.

В качестве эпиграфа к поэме взяты (в переработанном виде) строки из стихотворения немецкого поэта Карла-Филиппа Конца (1762—1827) «Das Orakel der Weisheit» («Оракул мудрости», 1791).

Стр. 603. *Сайгаки, с быстрыми ногами*. Сайгак (сайга) — разновидность диких коз, встречается в степях Северного Кавказа.

Стр. 604. *Плывет на верном тулуке*. Тулук (бурдюк) — мешок из шкур животных для хранения вина и других жидкостей.

Каллы. Начало поэмы впервые опубликовано в 1860 г. в собрании сочинений под редакцией Дудышкина (т. 2), полностью — в 1882 г. в «Русской мысли» (кн. 11) и более исправная редакция в «Русской старине» (1882, №12).

В авторизованной копии (ИРЛИ) рукой Лермонтова написаны подзаголовок («Черкесская повесть»), примечание к названию поэмы и эпиграф. Последний лист отсутствует: текст обрывается на стихе «И женщин он ласкать не мог». Заключительные строки печатаются по копии со списка В.Х. Хохрякова (ГПБ). В этом списке оторван угол листа и выпали десять строк между стихами: «И женщин он ласкать не мог» и «Хранил он вечное молчанье». В настоящем издании это место отмечено строкой точек. Есть еще одна копия (ИРЛИ), представляющая раннюю редакцию поэмы, с исправлениями Висковатова. В ней имеются стихи заключительной части (VI раздел), отсутствующие в окончательном тексте поэмы:

Быть может, совести упрек
В ее чертах найти страшился…
Следы страданья и тревог
Не укрывались от вниманья,
Под башлыком упорный взор
Внушал лишь страх… Ни состраданья,
Ни сожаленья — лишь укор
Судьбы читался в нем… Никто
Не признавал в Абреке друга.
Он поражал как бич недуга…
Встречал ли ночью он кого,
Встречал ли днем — всегда его
Все сторонились, избегали,
Как дней проклятья иль печали.
Ему открыт был всюду путь.

«Каллы» датируется предположительно 1830—1831 гг. Поэма основана на черкесском предании (см.: С.А. Андреев-Кривич. Лермонтов. Вопросы творчества и биографии. — М.: Изд. Академии наук СССР, 1954, с. 62).

Слово «каллы» происходит от тюркского «канлы» — «кровавый». «Между убийцею и родственниками убитого с момента убийства до момента примирения за кровь устанавливаются особые отношения, называемые кровными. Сам убийца весь этот промежуток времени носит название *канлы*, что значит кровник», — пишет Н. Семенов в книге «Туземцы северо-восточного Кавказа (Рассказы, очерки, исследования, заметки о чеченцах, кумыках и ногайцах и образцы поэзии этих народцев)». СПб., 1895, с. 280.

В глубоко драматичной по сюжету поэме «Каллы» ярко выражен протест против устаревших жестоких обычаев, поддерживаемых муллами.

Стр. 608. *Кальян свой курит он лениво*. Кальян (персидск. гальян) — курительный прибор, который часто делали из металла и украшали золотом, серебром, слоновой костью и т.п.

Белеет памятник простой: Какой-то столбик округленный! Чалмы подобие на нем. Такие памятники ставились на скалах и возвышенностях над могилами убитых, которые должны были быть отомщены. Изображение чалмы указывало на то, что погребенный — хаджи, то есть мусульманин, совершивший паломничество в Мекку.

Измаил-Бей. Впервые опубликована в 1843 г. в «Отечественных записках» (т. 27, №3) с неточностями и пропусками цензурного характера.

Автограф всей поэмы не сохранился, имеется авторизованная копия и черновой автограф посвящения.

Написана поэма в 1832 г.

В основу сюжета поэмы положены реальные исторические события, происходившие на Кавказе в начале XIX в. Прототипом лермонтовского героя был кабардинский князь Измаил-Бей Атажуков, получивший военное образование в России и продолжительное время служивший в русской армии (он был участником второй турецкой войны). Вероятно, Лермонтов знал и народное предание об Измаил-Бее (см.: С.А. Андреев-Кривич. Лермонтов. Вопросы творчества и биографии. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1954, с. 16—71; М.О. Косвен. Кабардинский патриот Измаил Атажуков. «Ученые записки Адыгейского научно-исследовательского института языка, литературы и истории», т. 1. Майкоп, 1957, с. 43—68).

Прообразом другого героя, Росламбека, явился двоюродный брат Измаил-Бея Атажукова — Росламбек Мисостов (см.: Л.П. Семенов. Лермонтов на Кавказе. Пятигорск, 1939, с. 36—37).

В поэме Измаил-Бей погибает от руки Росламбека; очевидно, Лермонтову была известна эта версия о его смерти, имевшая распространение на Кавказе. В частности, в одном из писем декабриста А.И. Якубовича, который был знаком с родственниками Измаила, содержится прямое указание на «братоубийство князя Росламбека Мисостова» (см.: М.К. Азадовский. О литературной деятельности А.И. Якубовича. «Литературное наследство», т. 60, кн. 1, М., 1956, с. 278).

Когда в 1843 г. поэма была впервые напечатана в «Отечественных записках», в ней оказались выпущенными по требованию цензуры многие стихи и даже целые строфы.

Однако даже в таком виде она произвела сильное впечатление на Л.Н. Толстого, который 9 июля 1854 г. записал в своем дневнике: «...я нашел начало Измаил-Бея весьма хорошим. Может быть, это показалось мне более потому, что я начинаю любить Кавказ, хотя посмертной, но сильной любовью. Действительно хорош этот край дикой, в котором так странно и поэтически соединяются две самые противуположные вещи — война и свобода» (Л.Н. Толстой, Полное собрание сочинений. Серия вторая, Дневники, т. 47. М., 1937, с. 10).

В черновом автографе посвящения за стихом «Она поет о солнце юга» следуют еще восемь стихов:

И ты, звезда любви моей,
Товарищ бурь моих суровых,
Послушай песни прежних дней...
Давно уж нет у сердца новых;
Ни мрачных дум, ни дум святых
Не изменила власть разлуки —
Тобою полны счастья звуки,
Меня узнаешь ты в других!

Эти стихи не вошли в окончательный текст поэмы, вероятно, из-за слишком личного характера их. По этой же причине исключена была Лермонтовым и следующая строфа, которая сохранилась в выписках В.Х. Хохрякова:

Я сам знавал когда-то в старину
Подобную волшебницу одну.
И от нее оторван был я роком,
И за нее творца благословил;
В объятиях, напитанных пороком,
Я б ангела, быть может, осквернил!
Но в час ночной, когда воспоминанье
Приводит к нам минувшего скелет,
И оживляет прежние страданья,
И топит в них все счастье прежних лет,
Тогда, тогда порою нахожу я
В душе, как бога в храмине пустой,
Тот милый взор, с улыбкою святой;
И мнится, я храним ее рукой,
И жду, безумец! ласки, поцелуя…
Бледнеют грезы мрачные мои,
Все исчезает, кроме дум любви;
Но с ней, хоть образ узнаю прекрасный,
Сравнить мечту стараюсь я напрасно;
Заснул? — передо мной во время сна
Опять, опять она — и все она!

По-видимому, речь идет здесь о Варваре Александровне Лопухиной (1814—1851), которую Лермонтов полюбил в студенческие годы и сохранил это чувство до конца жизни.

Некоторые стихи «Измаил-Бея» Лермонтов перенес в несколько переработанном виде в поэмы «Аул Бастунджи», «Мцыри» и «Демон». «Песня Селима» с небольшими изменениями включена в поэму «Беглец».

Стр. 610. *А кровь джяуров не течет.* Джяуры, или гяуры (от турецкого gâvur — иноверец, неверующий), — у исповедующих ислам презрительное прозвище всех немусульман.

Стр. 612. *И Шат подъемлется за ними.* Шат — Эльбрус.

Не очи злобного шайтана. Шайтан — в мусульманской мифологии дух зла, дьявол.

Стр. 613. *Чихирь и мед кинжалом просят.* Чихирь — молодое неперебродившее виноградное вино домашнего приготовления.

Стояла пери молодая. Пери — в персидской мифологии волшебное существо, охраняющее людей от злых духов; изображалось в виде прекрасной крылатой женщины.

Стр. 616. *Развеселясь, нередко дивы На тучах строят мост красивый.* Дивы — духи зла и тьмы в мифологии древних народов Средней Азии и Ирана.

Дни мчатся. Начался байран. Байран (байрам) — название мусульманских праздников.

Стр. 617. *Черкесская песня.* В основу ее положена русская народная песня «Ты дума моя, думушка» (Собрание разных песен М.Д. Чулкова, ч. III. СПб., 1770—1773, с. 95—96), в которой имеются строки:

Не женись ты, добрый молодец,
А на те деньги коня купи.

Ср. с песней Казбича в «Бэле» («Герой нашего времени», настоящее издание, с. 674).

Стр. 618. *Здесь, три столетья очарован, Он тяжкой цепью был прикован.* Речь идет об одном из кавказских вариантов легенды о герое древнегреческой мифологии — Прометее (Амирани), который похитил у богов огонь, принес его людям и в наказание был прикован Зевсом к скале, где орел клевал его печень.

Стр. 624. *Пришел к Осаевскому Полю.* Осаевское Поле — так называли в начале XIX в. равнину, лежащую вдоль берега реки Асса.

Стр. 626. *Питомец смелый трамских табунов.* Аул Трам, существовавший до 1818 г., славился своими конями. Он находился около Константиногорской крепости (по дороге в Кисловодск), построенной в 1780 г. русскими военными властями у подножия Бештау.

Спешат ширванские полки. Ширванский 84-й пехотный полк был образован из частей Азовского и Казанского полков. Особенно отличился Ширванский полк в войнах с Персией и Турцией 1826—1829 гг.

Стр. 629. *И белый крест на ленте полосатой.* Речь идет о георгиевском кресте, который носили на полосатой черно-оранжевой ленточке. Исторический Измаил-Бей (Атажуков) был награжден орденом Георгия 4-й степени за участие в Измаильском штурме.

Аул Бастунджи. Впервые опубликована в отрывках в 1860 г. в собрании сочинений под редакцией Дудышкина (т. 2), полностью — в 1883 г. в «Русской мысли» (кн. 2) с неточностями и отступлениями от текста (исправления — в «Саратовском листке», 1884, №№ 56—57).

Датируется предположительно 1833—1834 гг., так как на обороте последнего листа автографа находится черновик стихотворения «На серебряные шпоры», относящегося к годам пребывания Лермонтова в юнкерской школе.

Действие поэмы происходит в районе Пятигорья, где в конце XVIII и самом начале XIX в. реально существовал неподалеку от Бештау аул Бастунджи. Он был разрушен, как и многие другие соседние аулы, после 1804 г., когда жившие здесь кабардинцы, отрезанные от остальной Кабарды линией русских укреплений, покинули свои жилища и удалились в горы. В 1825 г. Лермонтов мог видеть лишь развалины аула Бастунджи.

«Бастунджи» (вернее «бустанджи» или «бостанджи») означает «огородник» или «садовник», от тюркского слова «бустан» или «баштан» — «огород».

Лермонтову, вероятно, было известно народное черкесское предание о двух братьях Канбулате и Атвонуке (или Антиноко). Вражда между ними произошла из-за жены Канбулата.

Ряд образов и стихов из «Аула Бастунджи» Лермонтов впоследствии использовал в других произведениях. Так, образ змеи, которая «из-под камней, резвяся, выползает» (стр. 629), ранее встречавшийся в «Измаил-Бее» (стр. 612), поэт позднее перенес в несколько измененном виде в поэмы «Мцыри» (стр. 642) и «Демон» (стр. 655). Символический образ листа, оторванного грозой (стр. 632), встречается также в поэмах «Хаджи Абрек» (стр. 637), «Мцыри» (стр. 640) и в стихотворении «Листок» (с. 596).

Посвящение к «Аулу Бастунджи» по содержанию и форме близко к стихотворению «Тебе, Кавказ, суровый царь земли» (с. 594—595).

Поэма написана восьмистишной строфой — октавой. Интерес поэта к этой стихотворной форме, новой для русской поэзии, связан, очевидно, прежде всего с переводами Раича и Мерзлякова (учителей Лермонтова) из итальянских поэтов — Тассо и Ариосто. К 1830 г. относится поэма Пушкина «Домик в Коломне», написанная октавой, опубликованная, однако, лишь в 1833 г. Между тем еще в 1831 г. в «Телескопе» (№№11 и 12) была напечатана статья С.П. Шевырева «О возможности ввести итальянскую октаву в русское стихосложение». Лермонтов, который внимательно следил за самыми последними событиями в русской и европейской поэзии, был одним из первых русских поэтов, осваивавших эту трудную форму.

Стр. 631. *Как гурии, из сумрака и света.* Гурии — по Корану (священной книге мусульман), вечно юные красавицы, живущие в раю.

Стр. 632. *На арчаге мотается.* Арчаг (арчак) — деревянный остов седла.

Пока вдали, мгновенный, как Симун. Симун — самум.

Хаджи Абрек

Напечатана при жизни поэта в 1835 г. в «Библиотеке для чтения» (т. XI).

Это — первая поэма Лермонтова, появившаяся в печати. Об истории публикации «Хаджи Абрека» рассказывает родственник и друг поэта — А.П. Шан-Гирей: «С нами жил в то время дальний родственник и товарищ Мишеля по школе, Николай Дмитриевич Юрьев, который, после тщетных стараний уговорить Мишеля печатать свои стихи, передал тихонько от него поэму «Хаджи Абрек» Сенковскому, и она, к нашему немалому удивлению.., появилась напечатанною в «Библиотеке для чтения». Лермонтов был взбешен; по счастью, поэму никто не разбранил, напротив, она имела некоторый успех...» («Русская старина», 1890, №8, стр. 737—738).

Автограф не сохранился. Датируется поэма 1833 г. на основании свидетельства товарища Лермонтова — Меринского: «В юнкерской школе он написал стихотворную повесть (1833 г.) «Хаджи Абрек» («Атеней», 1858, ч. 6, №47, стр. 301).

Лермонтов мог слышать рассказ о гибели известного чеченского наездника Бей-Булата Таймазова от своих родственников, приезжавших с Кавказа, или от юнкеров-кавказцев, сыновей Шамхала Тарковского — Шах-Вали и Мехти Ассан-Хана, бывших на выпуск старше поэта (см. примечания И.Л. Андроникова к поэме «Хаджи Абрек» в издании: М. Лермонтов. Полное собрание сочинений, т. 2., Библиотека «Огонек», М., 1953, с. 484; А.В. Попов. Лермонтов на Кавказе. Ставрополь, 1954, с. 19—20). Бей-Булат (он пользовался широкой популярностью на Кавказе и упомянут, между прочим, Пушкиным в «Путешествии в Арзрум») стал «кровником» кумыцкого князя Салат-Гирея, убив его отца. Через десять лет, в 1831 г., «кровники» встретились в горах,

в уединенном месте. Бей-Булат погиб от руки Салат-Гирея, прострелившего ему сердце и разрубившего голову (В. Потто. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях, т. 2, вып. 1. СПб., 1885, стр. 187—188).

Назвав именем Бей-Булата одного из главных действующих лиц поэмы, Лермонтов развил мотив кровной мести и рассказал в заключение о гибели героя на поединке. «Абрек» — здесь не собственное имя, а прозвище. Оно означает «изгой, исключенный из семьи и рода... Абреком делался по преимуществу убийца, от которого отказывался род... По черкесским обычаям, убийца, в таком положении, должен был уходить из своего рода в горы и другие места и скрываться здесь, ведя жизнь бездомного и безродного бродяги — абрека, пока не находил для себя в чужом роде защитника — кунака, являвшегося посредником в деле примирения абрека с родом убитого» (Л.П. Семенов. Лермонтов и фольклор Кавказа. Пятигорск, 1941, с. 30). Намек на полную отчужденность от всех Хаджи Абрека после убийства им Леилы содержится в заключительном стихе поэмы. Когда погибли в схватке оба героя, то

В одном узнали Бей-Булата,
Никто другого не узнал,

то есть не хотел узнать как абрека.

Стр. 635. *Велик, богат аул Джемат*. Есть предположение, что действие поэмы происходит в карачаевском ауле Джемате, в Теберде (см.: Л.П. Семенов. Лермонтов на Кавказе. Пятигорск, 1939, с. 58—60).

Мцыри. Напечатана при жизни поэта в 1840 г. в сборнике «Стихотворения М. Лермонтова» с пропуском по цензурным условиям некоторых стихов.

Написана в 1839 г. (на обложке тетради имеется помета Лермонтова: «1839 года Августа 5»).

В автографе поэма была названа «Бэри» с примечанием: «Бэри, по-грузински монах». Там же, на л. 3 сначала был написан эпиграф: «On n'a qu'une seule patrie» («У каждого есть только одно отечество»), позже зачеркнутый Лермонтовым и замененный эпиграфом из 1-й Книги царств. Самим же поэтом были выброшены многие стихи, которые имелись в первоначальной редакции. Лермонтов вычеркнул, например, 46 стихов после стиха «Люблю как жизнь мою» (окончание песни золотой рыбки, стр. 489), в которых заключалось описание горцев — соотечественников Мцыри, в том числе и его отца, сражавшихся за свою свободу. Приводим их полностью:

Но скоро вихорь новых грез
Далече мысль мою унес,
И пред собой увидел я
Большую степь... Ее края
Тонули в пасмурной дали,
И облака по небу шли
Косматой бурною толпой
С невыразимой быстротой:
В пустыне мчится не быстрей
Табун испуганных коней,
И вот я слышу: степь гудит,
Как будто тысячу копыт
О землю ударялись вдруг.
Гляжу с боязнию вокруг,
И вижу: кто-то на коне,
Взвивая прах, летит ко мне,
За ним другой, и целый ряд...
Их бранный чуден был наряд!
На каждом был стальной шелом
Обернут белым башлыком,
И под кольчугою надет
На каждом красный был бешмет.
Сверкали гордо их глаза;
И с диким свистом, как гроза,
Они промчались близ меня.
И каждый, наклонясь с коня,
Кидал презренья полный взгляд
На мой монашеский наряд
И с громким смехом исчезал...
Томим стыдом, я чуть дышал,
На сердце был тоски свинец...
Последний ехал мой отец.
И вот кипучего коня
Он осадил против меня,
И тихо приподняв башлык,
Открыл знакомый бледный лик:
Осенней ночи был грустней
Недвижный взор его очей,
Он улыбался — но жесток
В его улыбке был упрек!
И стал он звать меня с собой,
Маня могучею рукой,
Но я как будто бы прирос
К сырой земле: без дум, без слез,
Без чувств, без воли я стоял
И ничего не отвечал.

Иногда Лермонтов сам выбрасывал стихи, по всей вероятности из цензурных соображений. В частности, он зачеркнул 69 стихов после стиха «И кинул взоры я кругом» (глава 20), в которых Мцыри упрекает бога за то, что тот ему «Дал вместо родины тюрьму». Вот эти стихи:

Тот край казался мне знаком…
И страшно, страшно стало мне!..
Вот снова мерный в тишине
Раздался звук: и в этот раз
Я понял смысл его тотчас:
То был предвестник похорон,
Большого колокола звон.
И слушал я, без дум, без сил,
Казалось, звон тот выходил
Из сердца, будто кто-нибудь
Железом ударял мне в грудь,
О боже, думал я, зачем
Ты дал мне то, что дал ты всем,
И крепость сил, и мысли власть,
Желанья, молодость и страсть?
Зачем ты ум наполнил мой
Неутолимою тоской
По дикой воле? почему
Ты на земле мне одному
Дал вместо родины тюрьму.
Ты не хотел меня спасти!
Ты мне желанного пути
Не указал во тьме ночной,
И ныне я как волк ручной.
Так я роптал. То был, старик,
Отчаянья безумный крик,
Страданьем вынужденный стон.
Скажи? Ведь буду я прощен?
Я был обманут в первый раз!
До сей минуты каждый час
Надежду темную дарил,
Молился я, и ждал, и жил.
И вдруг унылой чередой
Дни детства встали предо мной.
И вспомнил я ваш темный храм
И вдоль по треснувшим стенам
Изображения святых
Твоей земли. Как взоры их
Следили медленно за мной
С угрозой мрачной и немой!
А на решетчатом окне
Играло солнце в вышине…
О, как туда хотелось мне,
От мрака кельи и молитв,
В тот чудный мир страстей и битв…
Я слезы горькие глотал,
И детский голос мой дрожал,
Когда я пел хвалу тому,
Кто на земле мне одному
Дал вместо родины — тюрьму. ..
О! Я узнал тот вещий звон,
К нему был с детства приучен
Мой слух. — И понял я тогда,
Что мне на родину следа
Не проложить уж никогда.
И быстро духом я упал.
Мне стало холодно. Кинжал,
Вонзаясь в сердце, говорят,
Так в жилы разливает хлад.
Я презирал себя. Я был
Для слез и бешенства без сил.
Я с темным ужасом в тот миг
Свое ничтожество постиг
И задушил в груди моей
Следы надежды и страстей,
Как душит оскорбленный змей
Своих трепещущих детей…
Скажи, я слабою душой
Не заслужил ли жребий свой?

В поэме «Мцыри» повторены многие мысли и отдельные стихи из более ранних поэм — «Исповеди» и «Боярина Орши». Особенно устойчивым оказался мотив противопоставления природы законам общества, стесняющим свободу личности.

Существует рассказ П.А. Висковатова о возникновении замысла поэмы, основанный на свидетельствах А.П. Шан-Гирея и А.А. Хастатова. Поэт, странствуя в 1837 г. по старой Военно-грузинской дороге, «наткнулся в Мцхете… на одинокого монаха или, вернее, старого монастырского служку, «Бэри» по-грузински. Сторож был последний из братии упраздненного близлежащего монастыря. Лермонтов с ним разговорился и узнал от него, что родом он горец, плененный ребенком генералом Ермоловым во время экспедиции. Генерал его вез с собою и оставил заболевшего мальчика монастырской братии. Тут он и вырос; долго не мог свыкнуться с монастырем, тосковал и делал попытки к бегству в горы. Последствием одной такой попытки была долгая болезнь, приведшая его на край могилы. Излечившись, дикарь угомонился и остался в монастыре, где особенно привязался к старику монаху. Любопытный и живой рассказ «Бэри» произвел на Лермонтова впечатление… и вот он решился воспользоваться тем, что было подходящего в «Исповеди» и «Боярине Орше», и перенес все действие из Испании и потом Литовской границы — в Грузию. Теперь в герое поэмы он мог отразить симпатичную ему удаль непреклонных свободных сынов Кавказа, а в самой поэме изобразить красоты кавказской природы» («Русская старина», 1887, кн. 10, стр. 124—125).

«Мцыри» почти целиком представляет собой монолог героя, что является одной из характерных особенностей романтической поэмы.

В начале поэмы Лермонтов описал древний Мцхетский собор и могилы последних грузинских царей Ираклия II и Георгия XII, при котором состоялось в 1801 г. присоединение Грузии к России.

Центральный эпизод «Мцыри» — битва героя с барсом — основан на мотивах грузинской народной поэзии, в частности хевсурской песни о тигре и юноше, тема которой нашла отражение и в поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» (см.: Ираклий Андроников. Лермонтов. Изд. «Советский писатель», М., 1951, стр. 144—145). Известны 14 вариантов древней грузинской песни «Юноша и тигр», опубликованные А.Г. Шанидзе (см.: Л.П. Семенов. Лермонтов и фольклор Кавказа. Пятигорск, 1941, стр. 60—62).

Сохранились воспоминания современников о чтении «Мцыри» самим автором.

«Мне случилось однажды, — пишет А.Н. Муравьев, — в Царском Селе уловить лучшую минуту его вдохновения. В летний вечер я к нему зашел и застал его за письменным столом, с пылающим лицом и с огненными глазами, которые были у него особенно выразительны. «Что с тобою?» — спросил я. «Сядьте и слушайте», — сказал он, и в ту же минуту, в порыве восторга, прочел мне, от начала до конца, всю великолепную поэму «Мцыри»., которая только что вылилась. из-под его вдохновенного пера... Никогда никакая повесть не производила на меня столь сильного впечатления» (А.Н. Муравьев. Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871, стр. 27).

Известно также, что Лермонтов 9 мая 1840 г. (в день именин Гоголя) в Москве «читал наизусть Гоголю и другим, кто тут случились, отрывок из новой своей поэмы «Мцыри» и читал, говорят, прекрасно» (С.Т. Аксаков, Полное собрание сочинений, т. III, СПб., 1886, стр. 345).

Бунтарский пафос поэмы «Мцыри» оказался близким революционным демократам. «Что за огненная душа, что за могучий дух, что за исполинская натура у этого Мцыри! Это любимый идеал нашего поэта, это отражение в поэзии тени его собственной личности. Во всем, что ни говорит Мцыри, веет его собственным духом, поражает его собственной мощью», — отмечал В.Г. Белинский (Белинский, т. IV, стр. 537).

По мысли Н.П. Огарева, «Мцыри» у Лермонтова — «его самый ясный или единственный идеал» (Н. Огарев. Предисловие к сб. «Русская потаенная литература XIX столетия», ч. I, Лондон, 1861, стр. LXVI).

Демон. При жизни Лермонтова поэма не печаталась. По рукам ходили многочисленные списки с резко различавшимися текстами, в разных редакциях, иногда искусственно комбинировавшихся переписчиками. Печатные тексты «Демона», как и списки, сильно разнились друг от друга. Автографа или авторизованных копий последней редакции не сохранилось. В последних изданиях, начиная с академического (1954—1957), поэма печатается по так называемому «придворному» списку — писарской копии с поправками друга и родственника поэта А.П. Шан-Гирея (рукопись последней, восьмой редакции поэмы). Этот список был сделан в начале 1841 г. по заказу Лермонтова для чтения при дворе наследника.

Поэма датируется 1841 г., по времени последней переработки (начало работы над поэмой относится к 1829 г.).

После смерти поэта А.А. Краевский хотел опубликовать поэму в «Отечественных записках». Так как подлинника у Краевского не было, то поэма набиралась по неавторитетному списку. Краевский подписал к печати корректуру 9 декабря 1841 г., однако в январском номере журнала вместо поэмы появилось извещение: «Поэма Лермонтова «Демон» не будет напечатана по причинам, не зависящим от редакции» (то есть вследствие цензурного запрещения). С большим трудом удалось В.Г. Белинскому и А.А. Краевскому получить разрешение на публикацию отрывков из «Демона» по списку, собственноручно изготовленному и отредактированному Белинским и являвшемуся соединением текстов двух редакций — 8 сентября 1838 г. и начала 1841 г., с предпочтением первой из них, ценившейся Белинским выше в идейном отношении. Эти отрывки появились в «Отечественных записках» в 1842 г. без заглавия, как «Отрывки из поэмы», и перепечатывались потом без изменений во всех изданиях сочинений Лермонтова до 1860 г.

Запрещенный в России, «Демон» был впервые издан полностью за границей (в Карлсруэ) в 1856 г. по «придворному» списку А.И. Философовым. В распоряжении Философова был также автограф последней редакции поэмы, по которому изготовлялся «придворный» список.

В 1857 г. в Карлсруэ было напечатано второе издание «Демона», несколько отличавшееся от первого. В основу его был положен автограф, содержавший последние исправления, сделанные поэтом в начале 1841 г. Некоторые исключенные Лермонтовым в автографе стихи попали в основной текст второго издания. В нем, например, был напечатан диалог Тамары с Демоном «Зачем мне знать твои печали».

Одновременно с карлсруйскими появились два берлинских издания «Демона» (1856 и 1857 гг.), напечатанные по неудовлетворительным спискам.

В 1860 г. поэма «Демон» была, наконец, напечатана полностью (по списку последней редакции) и в России — в собрании сочинений под редакцией Дудышкина (т. 1), однако в строфу XIV второй части были введены стихи из VI редакции поэмы, со стихом «Иль с небом гордая вражда». Последующие издания поэмы в основном печатались по карлсруйским изданиям.

Поэма «Демон» является плодом многолетней поэтической работы Лермонтова, его философских раздумий. Начав поэму еще мальчиком, в Благородном пансионе при Московском университете, поэт неоднократно перерабатывал ее и окончательно отшлифовал лишь за несколько месяцев до смерти. Всего насчитывается восемь редакций поэмы. Из них дошли до нас первые шесть редакций и восьмая, последняя. Вкратце история создания поэмы такова.

I редакция «Демона» (1829 г.) состоит из стихотворных набросков и двух прозаических записей сюжета. В ней уже дается характеристика Демона, начало его диалога с героиней. Первый стих («Печальный Демон, дух изгнанья») и стихотворный размер поэмы сохраняются во всех ее редакциях, за исключением IV.

Во II редакции (начала 1830 г.) делается попытка дать ярче образ героини, сообщаются сведения о ее прошлом, есть намек на место действия (монахиня сидит с испанской лютнею в руках).

В одной из тетрадей Лермонтова имеется запись 1831 г.: «Memor: написать длинную сатирическую поэму: приключения демона». Эта запись предшествует черновым наброскам III редакции «Демона» в той же тетради и свидетельствует о том, что, приступая к очередной переработке поэмы, поэт хотел дать новую, ироническую трактовку образа Демона (этот замысел был частично осуществлен много позднее, в «Сказке для детей»).

В III редакции (1831 г.) история героини якобы извлекается из пыльного пергамена, найденного каким-то странником, вводится «Песнь монахини», впервые дается диалог «На что мне знать твои печали». Тексту поэмы предшествует посвящение («Прими мой дар, моя мадона») и эпиграф из драматической мистерии Байрона «Каин».

Одновременно поэт разрабатывает демоническую тему в поэмах «Азраил» и «Ангел смерти».

В том же 1831 г. Лермонтов набрасывает семь строф IV редакции «Демона», изменив стихотворный размер (четырехстопный ямб заменяется пятистопным). Эта редакция остается незавершенной. В приписке к ней поэт выражает чувство неудовлетворенности своими поэтическими пробами: «Я хотел писать эту поэму в стихах: но нет. — В прозе лучше».

К 1832 г. относится запись сюжета, не осуществленного, впрочем, Лермонтовым: «Демон. Сюжет. Во время пленения евреев в Вавилоне (из Библии). Еврейка; отец слепой; он в первый раз видит ее спящую. Потом она поет отцу про старину и про близость ангела; и проч. как прежде. Евреи возвращаются на родину — ее могила остается на чужбине».

В 1833—1834 гг. Лермонтов возвращается к III редакции «Демона», отбрасывает эпиграф и посвящение, углубляет характеристику своего героя и дополняет пейзажные зарисовки. Это была V редакция поэмы.

Наиболее основательной, капитальной переделке подверглась поэма по возвращении поэта из первой ссылки. Общение с кавказской природой, знакомство с поэтическим миром кавказских народных преданий помогают ему внести реалистические элементы в старый романтический замысел. Появляется VI редакция поэмы, датированная 8 сентября 1838 г. Если в ранних редакциях действие происходит вне определенного места и времени, в нереальной обстановке, то теперь события развиваются на Кавказе, обрисовываются феодальный быт Грузии, ее природа, фигура безымянной монахини заменяется образом грузинской княжны Тамары. Под влиянием грузинской народной легенды о любви горного духа к земной девушке изменяется и сюжет: соперником Демона является не Ангел, а жених Тамары, молодой князь, «властитель Синодала». Поэма сопровождается посвящением: «Я кончил — и в груди невольное сомненье».

Потерпев неудачу с постановкой драмы «Маскарад», поэт сознавал, насколько трудно будет провести через цензуру его поэму. В том же году он подвергает ее новой переработке. Так появляется VII редакция (4 декабря 1838 г.), рукопись ее до нас не дошла. Во вторую часть поэмы вводится клятва Демона, знаменующая стремление его к добру, к примирению с небом. Переделке подверглось изображение мертвой Тамары, причем был исключен смелый стих, особенно пленявший Белинского: «Иль с небом гордая вражда». Однако в этой, VII, редакции Тамара после смерти все еще остается во власти Демона. Было снято посвящение.Произведение получило подзаголовок: «Восточная повесть».

В этих двух редакциях 1838 г. Лермонтов читал свою поэму друзьям. С нею знакомился В.А. Жуковский.

Несмотря на изменения, сделанные по цензурным соображениям, поэт не надеялся добиться напечатания поэмы полностью и хотел ограничиться опубликованием в «Отечественных записках» отрывков из нее.

Дуэль с Барантом и последовавшая затем ссылка помешали Лермонтову осуществить свое намерение. В последний приезд в Петербург в начале 1841 г. его надежды на печатание поэмы снова ожили в связи с чтением «Демона» при дворе наследника (сам Лермонтов как опальный на чтение приглашен не был). Прежде чем изготовить список для этого чтения, поэт еще раз переработал поэму. Был выпущен диалог «Зачем мне знать твои печали», который явился бы камнем преткновения для цензуры, и изменена концовка. В этой редакции поэма завершается спасением души Тамары; побежденный Демон проклинает «мечты безумные свои». Однако Демон по-прежнему остается дерзким, мятежным и надменным врагом неба. Это была последняя, по счету VIII, редакция поэмы.

Лермонтов несомненно был хорошо знаком с обработками легенд о дьяволе в творчестве Мильтона, Байрона, Мура, Гете, А. де Виньи и других художников слова, однако его поэма возникла как произведение самобытное, связанное самым тесным образом с русской общественной жизнью того времени. В поэме «Демон» Лермонтов выразил протестующие настроения своего поколения — поколения нарождавшейся русской революционно-демократической интеллигенции.

Еще при жизни Лермонтова, в начале 1841 г., в статье «Стихотворения М. Лермонтова» Белинский дает восторженный отзыв о «Демоне»: «Как жаль, что не напечатана другая поэма Лермонтова, действие которой совершается тоже на Кавказе и которая в рукописи ходит в публике, как некогда

ходило «Горе от ума»: мы говорим о «Демоне». Мысль этой поэмы глубже и несравненно зрелее, чем мысль «Мцыри», и хотя исполнение ее отзывается некоторою незрелостию, но роскошь картин, богатство поэтического одушевления, превосходные стихи, высокость мыслей, обаятельная прелесть образов ставят ее несравненно выше «Мцыри» и превосходят все, что можно сказать в ее похвалу» (Белинский, т. IV, стр. 544).

Позднее, в письме к В.П. Боткину от 17 марта 1842 г., Белинский, называя поэму «детским, незрелым» и в то же время «колоссальным созданием», писал взволнованно: «Демон» сделался фактом моей жизни, я твержу его другим, твержу себе, в нем для меня — миры истин, чувств, красот» (Белинский, т. XII, стр. 85 и 86).

Стр. 646. *Столпообразные раины* — пирамидальные тополи.

Стр. 650. *Зовут к молитве муэцины*. Муэцины (муэдзины, муэззины) — служители религиозного культа у мусульман, призывающие с минарета к молитве.

То горный дух прикованный в пещере стонет. Здесь Лермонтов отразил народные грузинские и осетинские легенды о горном духе Амирани, подобно Прометею, принесшем огонь с неба.

Тексты стихотворений, поэм и примечания печатаются по источнику:

Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: В 4 т. — М.—Л.: АН СССР, 1959. — Т. 1.
Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: В 4 т. — М.—Л.: АН СССР, 1959. — Т. 2.

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Предисловие

Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь; оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям дела нет до нравственной цели и до журнальных нападок, и потому они не читают предисловий. А жаль, что это так, особенно у нас. Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии; она просто дурно воспитана. Она еще не знает, что в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь места; что современная образованность изобрела орудие более острое, почти невидимое, и тем не менее смертельное, которое, под одеждою лести, наносит неотразимый и верный удар. Наша публика похожа на провинциала, который, подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к враждебным дворам, остался бы уверен, что каждый из них обманывает свое правительство в пользу взаимной, нежнейшей дружбы.

Эта книга испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как Герой Нашего Времени; другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых… Старая и жалкая шутка! Но, видно, Русь так уж сотворена, что все в ней обновляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из волшебных сказок у нас едва ли избегнет упрека в покушении на оскорбление личности!

Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно, портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали?..

Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? Извините. Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте, однако, после этого, чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества! Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает, и, к его и вашему несчастью, слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить — это уж Бог знает!

Часть первая

I. Бэла

Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о Грузии. Большая часть из них, к счастию для вас, потеряна, а чемодан, с остальными вещами, к счастию для меня, остался цел.

Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Койшаурскую долину. Осетин-извозчик неутомимо погонял лошадей, чтоб успеть до ночи взобраться на Койшаурскую гору, и во все горло распевал песни. Славное место эта долина! Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется серебряною нитью и сверкает, как змея своею чешуею.

Подъехав к подошве Койшаурской горы, мы остановились возле духана. Тут толпилось шумно десятка два грузин и горцев; поблизости караван верблюдов остановился для ночлега. Я должен был нанять быков, чтоб втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому что была уже осень и гололедица, — а эта гора имеет около двух верст длины.

Нечего делать, я нанял шесть быков и нескольких осетин. Один из них взвалил себе на плечи мой чемодан, другие стали помогать быкам почти одним криком.

За моею тележкою четверка быков тащила другую, как ни в чем не бывало, несмотря на то, что она была доверху накладена. Это обстоятельство меня удивило. За нею шел ее хозяин, покуривая

из маленькой кабардинской трубочки, обделанной в серебро. На нем был офицерский сюртук без эполет и черкесская мохнатая шапка. Он казался лет пятидесяти; смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с закавказским солнцем, и преждевременно поседевшие усы не соответствовали его твердой походке и бодрому виду. Я подошел к нему и поклонился; он молча отвечал мне на поклон и пустил огромный клуб дыма.

— Мы с вами попутчики, кажется?

Он молча опять поклонился.

— Вы, верно, едете в Ставрополь?

— Так-с точно… с казенными вещами.

— Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку четыре быка тащат шутя, а мою, пустую шесть скотов едва подвигают с помощью этих осетин?

Он лукаво улыбнулся и значительно взглянул на меня.

— Вы, верно, недавно на Кавказе?

— С год, — отвечал я.

Он улыбнулся вторично.

— А что ж?

— Да так-с! Ужасные бестии эти азиаты! Вы думаете, они помогают, что кричат? А черт их разберет, что они кричат? Быки-то их понимают; запрягите хоть двадцать, так коли они крикнут по-своему, быки все ни с места… Ужасные плуты! А что с них возьмешь?.. Любят деньги драть с проезжающих… Избаловали мошенников: увидите, они еще с вас возьмут на водку. Уж я их знаю, меня не проведут.

— А вы давно здесь служите?

— Да, я уж здесь служил при Алексее Петровиче[1], — отвечал он, приосанившись. — Когда он приехал на Линию, я был подпоручиком, — прибавил он, — и при нем получил два чина за дела против горцев.

— А теперь вы?..

— Теперь считаюсь в третьем линейном батальоне. А вы, смею спросить?..

Я сказал ему.

Разговор этим кончился, и мы продолжали молча идти друг подле друга. На вершине горы нашли мы снег. Солнце закатилось, и ночь последовала за днем без промежутка, как это обыкновенно бывает на юге; но, благодаря отливу снегов мы легко могли различать дорогу, которая все еще шла в гору, хотя уже не так круто. Я велел положить чемодан свой в тележку, заменить быков лошадьми и в последний раз оглянулся на долину, — но густой туман, нахлынувший волнами из ущелий, покрывал ее совершенно, и ни единый звук не долетал уже оттуда до нашего слуха. Осетины шумно обступили меня и требовали на водку; но штабс-капитан так грозно на них прикрикнул, что они вмиг разбежались.

— Ведь этакий народ, — сказал он: — И хлеба по-русски назвать не умеет, а выучил: «офицер, дай на водку!». Уж татары по мне лучше: те хоть непьющие…

До станции оставалось еще с версту. Кругом было тихо, так тихо, что по жужжанию комара можно было следить за его полетом. Налево чернело глубокое ущелье, за ним и впереди нас темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, еще сохранявшем последний отблеск зари. На темном небе начинали мелькать звезды, и странно, мне показалось, что они гораздо выше, чем у нас на севере. По обеим сторонам дороги торчали голые, черные камни; кой-где из-под снега выглядывали кустарники, но ни один сухой листок не шевелился, и весело было слышать среди этого мертвого сна природы фырканье усталой почтовой тройки и неровное побрякивание русского колокольчика.

— Завтра будет славная погода, — сказал я. Штабс-капитан не отвечал ни слова и указал мне пальцем на высокую гору, поднимавшуюся прямо против нас.

— Что ж это? — спросил я.

— Гуд-гора.

— Ну так что ж?

— Посмотрите, как курится.

И в самом деле, Гуд-гора курилась; по бокам ее ползали легкие струйки облаков, а на вершине лежала черная туча, такая черная, что на темном небе она казалась пятном.

Уж мы различали почтовую станцию, кровли окружающих ее саклей, и перед нами мелькали приветные огоньки, когда пахнул сырой, холодный ветер, ущелье загудело и пошел мелкий дождь. Едва успел я накинуть бурку, как повалил снег. Я с благоговением посмотрел на штабс-капитана…

— Нам придется здесь ночевать, — сказал он с досадою: — в такую метель через горы не переедешь. Что? были ль обвалы на Крестовой? — спросил он извозчика.

— Не было, господин, — отвечал осетин-извозчик: — а висит много, много.

---

[1] Ермолове. (*Прим. М.Ю. Лермонтова.*)

За неимением комнаты для проезжающих на станции, нам отвели ночлег в дымной сакле. Я пригласил своего спутника выпить вместе стакан чая, ибо со мной был чугунный чайник — единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу.

Сакля была прилеплена одним боком к скале; три скользкие, мокрые ступени вели к ее двери. Ощупью вошел я и наткнулся на корову (хлев у этих людей заменяет лакейскую). Я не знал, куда деваться: тут блеют овцы, там ворчит собака. К счастию, в стороне блеснул тусклый свет и помог мне найти другое отверстие наподобие двери. Тут открылась картина довольно занимательная: широкая сакля, которой крыша опиралась на два закопченные столба, была полна народа. Посередине трещал огонек, разложенный на земле, и дым, выталкиваемый обратно ветром из отверстия в крыше, расстилался вокруг такой густой пеленою, что я долго не мог осмотреться; у огня сидели две старухи, множество детей и один худощавый грузин, все в лохмотьях. Нечего было делать, мы приютились у огня, закурили трубки, и скоро чайник зашипел приветливо.

— Жалкие люди! — сказал я штабс-капитану, указывая на наших грязных хозяев, которые молча на нас смотрели в каком-то остолбенении.

— Преглупый народ, — отвечал он. — Поверите ли, ничего не умеют, не способны ни к какому образованию! Уж по крайней мере наши кабардинцы или чеченцы, хотя разбойники, голыши, зато отчаянные башки, а у этих и к оружию никакой охоты нет: порядочного кинжала ни на одном не увидишь. Уж подлинно осетины!

— А вы долго были в Чечне?

— Да, я лет десять стоял там в крепости с ротою, у Каменного Брода*, знаете?

— Слыхал.

— Вот, батюшка, надоели нам эти головорезы; нынче, слава Богу, смирнее, а бывало, на сто шагов отойдешь за вал, уже где-нибудь косматый дьявол сидит и караулит: чуть зазевался, того и гляди — либо аркан на шее, либо пуля в затылке. А молодцы!..

— А, чай, много с вами бывало приключений? — сказал я, подстрекаемый любопытством.

— Как не бывать! бывало…

Тут он начал щипать левый ус, повесил голову и призадумался. Мне страх хотелось вытянуть из него какую-нибудь историйку — желание, свойственное всем путешествующим и записывающим людям. Между тем чай поспел, я вытащил из чемодана два походных стаканчика, налил и поставил один перед ним. Он отхлебнул и сказал как будто про себя: «да, бывало!» Это восклицание подало мне большие надежды. Я знаю, старые кавказцы любят поговорить, порассказать; им так редко это удается: другой лет пять стоит где-нибудь в захолустье с ротой, и целые пять лет ему никто не скажет «*здравствуйте*» (потому что фельдфебель говорит «*здравия желаю*»). А поболтать было бы о чем: кругом народ дикий, любопытный, каждый день опасность, случаи бывают чудные, и тут поневоле пожалеешь о том, что у нас так мало записывают.

— Не хотите ли подбавить рома? — сказал я своему собеседнику: — у меня есть белый из Тифлиса; теперь холодно.

— Нет-с, благодарствуйте, не пью.

— Что так?

— Да так. Я дал себе заклятье. Когда я был еще подпоручиком, раз, знаете, мы подгуляли между собой, а ночью сделалась тревога; вот мы и вышли перед фрунт навеселе, да уж и досталось нам, как Алексей Петрович узнал: не дай господи, как он рассердился! чуть-чуть не отдал под суд. Оно и точно, другой раз целый год живешь, никого не видишь, да как тут еще водка — пропадший человек.

Услышав это, я почти потерял надежду.

— Да вот хоть черкесы, — продолжал он: — как напьются бузы* на свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка. Я раз насилу ноги унес, а еще у мирнова князя* был в гостях.

— Как же это случилось?

— Вот (он набил трубку, затянулся и начал рассказывать), — вот изволите видеть, я тогда стоял в крепости за Тереком с ротой — этому скоро пять лет. Раз, осенью, пришел транспорт с провиантом; в транспорте был офицер, молодой человек лет двадцати пяти. Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости. Он был такой тоненький, беленький, на нем мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно. «Вы, верно, — спросил я его: — переведены сюда из России?» — «Точно так, господин штабс-капитан», — отвечал он. Я взял его за руку и сказал: «Очень рад, очень рад. Вам будет немножко скучно, ну да мы с вами будем жить по-приятельски. Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимыч, и пожалуйста — к чему эта полная форма? приходите ко мне всегда в фуражке». Ему отвели квартиру, и он поселился в крепости.

— А как его звали? — спросил я Максима Максимыча.

— Его звали… Григорьем Александровичем *Печориным*. Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод, целый день на охоте, все иззябнут, устанут, — а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнёт, уверяет, что простудился; ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет; а при мне ходил на кабана один на

один; бывало, по целым часам слова не добьешься, зато уж иногда как начнет рассказывать, так животики надорвешь со смеха… Да-с, с большими странностями, и должно быть, богатый человек: сколько у него было разных дорогих вещиц!..

— А долго он с вами жил? — спросил я опять.

— Да с год. Ну да уж зато памятен мне этот год; наделал он мне хлопот, не тем будь помянут! Ведь есть, право, этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи!

— Необыкновенные? — воскликнул я с видом любопытства, подливая ему чая.

— А вот я вам расскажу. Верст шесть от крепости жил один мирной князь. Сынишко его, мальчик лет пятнадцати, повадился к нам ездить. Всякий день, бывало, то за тем, то за другим; и уж точно избаловали мы его с Григорьем Александровичем. А уж какой был головорез, проворный на что хочешь: шапку ли поднять на всем скаку, из ружья ли стрелять. Одно было в нем нехорошо: ужасно падок был на деньги. Раз, для смеха, Григорий Александрович обещался ему дать червонец, коли он ему украдет лучшего козла из отцовского стада; и что ж вы думаете? на другую же ночь притащил его за рога. А, бывало, мы его вздумаем дразнить, так глаза кровью и нальются, и сейчас за кинжал. «Эй, Азамат, не сносить тебе головы, — говорил я ему: — яман* будет твоя башка!»

Раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу: он отдавал старшую дочь замуж, а мы были с ним кунаки: так нельзя же, знаете, отказаться, хоть он и татарин. Отправились. В ауле множество собак встретило нас громким лаем. Женщины, увидя нас, прятались; те, которых мы могли рассмотреть в лицо, были далеко не красавицы. «Я имел гораздо лучшее мнение о черкешенках», — сказал мне Григорий Александрович. «Погодите», — отвечал я, усмехаясь. У меня было свое на уме.

У князя в сакле собралось уже множество народа. У азиатов, знаете, обычай всех встречных и поперечных приглашать на свадьбу. Нас приняли с всеми почестями и повели в кунацкую. Я, однако ж, не позабыл подметить, где поставили наших лошадей, знаете, для непредвидимого случая.

— Как же у них празднуют свадьбу? — спросил я штабс-капитана.

— Да обыкновенно. Сначала мулла прочитает им что-то из Корана, потом дарят молодых и всех их родственников, едят, пьют бузу, потом начинается джигитовка, и всегда один какой-нибудь оборвыш, засаленный, на скверной, хромой лошаденке, ломается, паясничает, смешит честную компанию; потом, когда смеркнется, в кунацкой начинается, по-нашему сказать, бал. Бедный старичишка бренчит на трехструнной… забыл, как по ихнему… ну, да вроде нашей балалайки. Девки и молодые ребята становятся в две шеренги, одна против другой, хлопают в ладоши и поют. Вот выходят одна девка и один мужчина на середину и начинают говорить друг другу стихи нараспев, что попало, а остальные подхватывают хором. Мы с Печориным сидели на почетном месте, и вот к нему подошла меньшая дочь хозяина, девушка лет шестнадцати, и пропела ему… как бы сказать?.. вроде комплимента.

— А что ж такое она пропела, не помните ли?

— Да, кажется, вот так: «Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на них серебром выложены, а молодой русский офицер стройнее их, и галуны на нем золотые. Он как тополь между ними; только не расти, не цвести ему в нашем саду». Печорин встал, поклонился ей, приложив руку ко лбу и сердцу, и просил меня отвечать ей; я хорошо знаю по-ихнему, и перевел его ответ.

Когда она от нас отошла, тогда я шепнул Григорию Александровичу: «Ну что, какова?» — «Прелесть! — отвечал он: — А как ее зовут?» — «Ее зовут Бэлою», — отвечал я.

И точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывали к вам в душу. Печорин в задумчивости не сводил с нее глаз, и она частенько исподлобья на него посматривала. Только не один Печорин любовался хорошенькой княжной: из угла комнаты на нее смотрели другие два глаза, неподвижные, огненные. Я стал вглядываться и узнал моего старого знакомца Казбича*. Он, знаете, был не то, чтоб мирной, не то, чтоб немирной. Подозрений на него было много, хоть он ни в какой шалости не был замечен. Бывало, он приводил к нам в крепость баранов и продавал дешево, только никогда не торговался: что запросит, давай, — хоть зарежь, не уступит. Говорили про него, что он любит таскаться за Кубань с абреками*, и, правду сказать, рожа у него была самая разбойничья: маленький, сухой, широкоплечий… А уж ловок-то, ловок-то был, как бес. Бешмет всегда изорванный, в заплатках, а оружие в серебре. А лошадь его славилась в целой Кабарде, — и точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаром ему завидовали все наездники и не раз пытались ее украсть, только не удавалось. Как теперь гляжу на эту лошадь: вороная, как смоль, ноги — струнки, и глаза не хуже, чем у Бэлы; а какая сила! скачи хоть на 50 верст; а уж выезжена — как собака бегает за хозяином, голос даже его знала! Бывало, он ее никогда и не привязывает. Уж такая разбойничья лошадь!..

В этот вечер Казбич был угрюмее, чем когда-нибудь, и я заметил, что у него под бешметом надета кольчуга. «Недаром на нем эта кольчуга, — подумал я: — уж он, верно, что-нибудь замышляет».

Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться. Ночь уж ложилась на горы, и туман начинал бродить по ущельям.

Мне вздумалось завернуть под навес, где стояли наши лошади, посмотреть, есть ли у них корм, и притом осторожность никогда не мешает: у меня же была лошадь славная, и уж не один кабардинец на нее умильно поглядывал, приговаривая: «*Якши тхе, чек якши*!»*.

Пробираюсь вдоль забора, и вдруг слышу голоса; один голос я тотчас узнал: это был повеса Азамат, сын нашего хозяина; другой говорил реже и тише. «О чем они тут толкуют? — подумал я: — уж не о моей ли лошадке?» Вот присел я у забора и стал прислушиваться, стараясь не пропустить ни одного слова. Иногда шум песен и говор голосов, вылетая из сакли, заглушали любопытный для меня разговор.

— Славная у тебя лошадь! — говорил Азамат: — если бы я был хозяин в доме и имел табун в триста кобыл, то отдал бы половину за твоего скакуна, Казбич!

«А, Казбич!» — подумал я и вспомнил кольчугу.

— Да, — отвечал Казбич после некоторого молчания: — в целой Кабарде не найдешь такой. Раз, — это было за Тереком, — я ездил с абреками отбивать русские табуны; нам не посчастливилось, и мы рассыпались, кто куда. За мной неслись четыре казака; уж я слышал за собою крик гяуров, и передо мною был густой лес. Прилег я на седло, поручил себя Аллаху и в первый раз в жизни оскорбил коня ударом плети. Как птица нырнул он между ветвями; острые колючки рвали мою одежду, сухие сучья карагача* били меня по лицу. Конь мой прыгал через пни, разрывал кусты грудью. Лучше было бы мне его бросить у опушки и скрыться в лесу пешком, да жаль было с ним расстаться, — и пророк вознаградил меня. Несколько пуль провизжало над моей головою; я уж слышал, как спешившиеся казаки бежали по следам… Вдруг передо мною рытвина глубокая; скакун мой призадумался — и прыгнул. Задние его копыта оборвались с противного берега, и он повис на передних ногах; я бросил поводья и полетел в овраг; это спасло моего коня; он выскочил. Казаки все это видели, только ни один не спустился меня искать: они верно думали, что я убился до смерти, и я слышал, как они бросились ловить моего коня. Сердце мое облилось кровью; пополз я по густой траве вдоль по оврагу, — смотрю: лес кончился, несколько казаков выезжает из него на поляну, и вот выскакивает прямо к ним мой Карагез*: все кинулись за ним с криком; долго, долго они за ним гонялись, особенно один раза два чуть-чуть не накинул ему на шею аркана; я задрожал, опустил глаза и начал молиться. Через несколько мгновений поднимаю их — и вижу: мой Карагез летит, развевая хвост, вольный как ветер, а гяуры далеко один за другим тянутся по степи на измученных конях. Валлах! это правда, истинная правда! До поздней ночи я сидел в своем овраге. Вдруг, что ж ты думаешь, Азамат? во мраке слышу, бегает по берегу оврага конь, фыркает, ржет и бьет копытами о землю; я узнал голос моего Карагеза: это был он, мой товарищ!.. С тех пор мы не разлучались.

И слышно было, как он трепал рукою по гладкой шее своего скакуна, давая ему разные нежные названья.

— Если б у меня был табун в тысячу кобыл, — сказал Азамат, — то отдал бы тебе его весь за твоего Карагеза.

— *Йок**, не хочу, — отвечал равнодушно Казбич.

— Послушай, Казбич, — говорил, ласкаясь к нему, Азамат: — ты добрый человек, ты храбрый джигит, а мой отец боится русских и не пускает меня в горы; отдай мне свою лошадь, и я сделаю все, что ты хочешь, украду для тебя у отца лучшую его винтовку или шашку — что только пожелаешь; а шашка его настоящая гурда*: приложи лезвием к руке, сама в тело вопьется; а кольчуга такая, как твоя, нипочем.

Казбич молчал.

— В первый раз, как я увидел твоего коня, — продолжал Азамат: — когда он под тобой крутился и прыгал, раздувая ноздри, и кремни брызгами летели из-под копыт его, в моей душе сделалось что-то непонятное, и с тех пор все мне опостылело: на лучших скакунов моего отца смотрел я с презрением, стыдно было мне на них показаться, и тоска овладела мной; и, тоскуя, просиживал я на утесе целые дни, и ежеминутно мыслям моим являлся вороной скакун твой с своей стройной поступью, с своим гладким, прямым, как стрела, хребтом; он смотрел мне в глаза своими бойкими глазами, как будто хотел слово вымолвить. Я умру, Казбич, если ты мне не продашь его! — сказал Азамат дрожащим голосом.

Мне послышалось, что он заплакал: а надо вам сказать, что Азамат был преупрямый мальчишка, и ничем, бывало, у него слез не выбьешь, даже когда он был и помоложе.

В ответ на его слезы послышалось что-то вроде смеха.

— Послушай! — сказал твердым голосом Азамат: — видишь, я на все решаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Как она пляшет! как поет! а вышивает золотом, чудо! Не бывало такой жены и у турецкого падишаха… Хочешь? дождись меня завтра ночью там, в ущелье, где бежит поток: я пойду с нею мимо в соседний аул, — и она твоя. Неужли не стоит Бэла твоего скакуна?

Долго, долго молчал Казбич; наконец вместо ответа он затянул старинную песню вполголоса[1]:

---

[1] Я прошу прощения у читателей в том, что переложил в стихи песню Казбича, переданную мне, разумеется, прозой; но привычка — вторая натура. (*Примечание Лермонтова.*)

Много красавиц в аулах у нас*,
Звезды сияют во мраке их глаз,
Сладко любить их, завидная доля;
Но веселей молодецкая воля.
Золото купит четыре жены,
Конь же лихой не имеет цены:
Он и от вихря в степи не отстанет,
Он не изменит, он не обманет.

Напрасно упрашивал его Азамат согласиться и плакал, и льстил ему, и клялся; наконец Казбич нетерпеливо прервал его:

— Поди прочь, безумный мальчишка! Где тебе ездить на моем коне? На первых трех шагах он тебя сбросит, и ты разобьешь себе затылок об камни.

— Меня! — крикнул Азамат в бешенстве, и железо детского кинжала зазвенело об кольчугу. Сильная рука оттолкнула его прочь, и он ударился об плетень так, что плетень зашатался. «Будет потеха!» — подумал я, кинулся в конюшню, взнуздал лошадей наших и вывел их на задний двор. Через две минуты уж в сакле был ужасный гвалт. Вот что случилось: Азамат вбежал туда в разорванном бешмете, говоря, что Казбич хотел его зарезать. Все выскочили, схватились за ружья — и пошла потеха. Крик, шум, выстрелы; только Казбич уж был верхом и вертелся среди толпы по улице, как бес, отмахиваясь шашкой. «Плохое дело в чужом пиру похмелье, — сказал я Григорью Александровичу, поймав его за руку: — не лучше ли нам поскорей убраться?»

— Да погодите, чем кончится.

— Да уж верно кончится худо; у этих азиатов все так: натянулись бузы*, и пошла резня! — Мы сели верхом и ускакали домой.

— А что Казбич? — спросил я нетерпеливо у штабс-капитана.

— Да что этому народу делается! — отвечал он, допивая стакан чая: — ведь ускользнул.

— И не ранен? — спросил я.

— А Бог его знает! Живущи, разбойники! Видал я-с иных в деле, например: ведь весь исколот, как решето, штыками, а все махает шашкой. — Штабс-капитан после некоторого молчания продолжал, топнув ногою о землю:

— Никогда себе не прощу одного: черт меня дернул, приехав в крепость, пересказать Григорью Александровичу все, что я слышал, сидя за забором; он посмеялся, — такой хитрый! — а сам задумал кое-что.

— А что такое? Расскажите, пожалуйста.

— Ну уж нечего делать! начал рассказывать, так надо продолжать.

Дня через четыре приезжает Азамат в крепость. По обыкновению, он зашел к Григорью Александровичу, который его всегда кормил лакомствами. Я был тут; зашел разговор о лошадях, и Печорин начал расхваливать лошадь Казбича: уж такая-то она резвая, красивая, словно серна, — ну, просто, по его словам, этакой и в целом мире нет.

Засверкали глазенки у татарчонка, а Печорин будто не замечает; я заговорю о другом, а он, смотришь, тотчас собьет разговор на лошадь Казбича. Эта история продолжалась всякий раз, как приезжал Азамат. Недели три спустя стал я замечать, что Азамат бледнеет и сохнет, как бывает от любви в романах-с. Что за диво?..

Вот видите, я уж после узнал всю эту штуку: Григорий Александрович до того его задразнил, что хоть в воду; раз он ему и скажи: «Вижу, Азамат, что тебе больно понравилась эта лошадь; а не видать тебе ее как своего затылка! Ну, скажи, что бы ты дал тому, кто тебе ее подарил бы?..»

— Все, что захочет, — отвечал Азамат.

— В таком случае я тебе ее достану, только с условием... Поклянись, что ты его исполнишь...

— Клянусь... Клянись и ты!

— Хорошо! Клянусь, ты будешь владеть конем; только за него ты должен отдать мне сестру Бэлу: Карагез будет ее калымом. Надеюсь, что торг для тебя выгоден.

Азамат молчал.

— Не хочешь? Ну, как хочешь! Я думал, что ты мужчина, а ты еще ребенок: рано тебе ездить верхом...

Азамат вспыхнул. «А мой отец?» — сказал он.

— Разве он никогда не уезжает?

— Правда...

— Согласен?..

— Согласен, — прошептал Азамат, бледный как смерть. — Когда же?

— В первый раз, как Казбич приедет сюда; он обещался пригнать десяток баранов; остальное — мое дело. Смотри же, Азамат!

Вот они и сладили это дело… — по правде сказать, нехорошее дело! Я после и говорил это Печорину, да только он мне отвечал, что дикая черкешенка должна быть счастлива, имея такого милого мужа, как он, потому что, по-ихнему, он все-таки ее муж, а что Казбич — разбойник, которого надо было наказать. Сами посудите, что ж я мог отвечать против этого?.. Но в то время я ничего не знал об их заговоре. Вот раз приехал Казбич и спрашивает, не нужно ли баранов и меда; я велел ему привести на другой день. «Азамат! — сказал Григорий Александрович, — завтра Карагез в моих руках; если нынче ночью Бэла не будет здесь, то не видать тебе коня…»

— Хорошо! — сказал Азамат и поскакал в аул.

Вечером Григорий Александрович вооружился и выехал из крепости: как они сладили это дело, не знаю, — только ночью они оба возвратились, и часовой видел, что поперек седла Азамата лежала женщина, у которой руки и ноги были связаны, а голова окутана чадрой.

— А лошадь? — спросил я у штабс-капитана.

— Сейчас, сейчас. На другой день утром рано приехал Казбич и пригнал десяток баранов на продажу. Привязав лошадь у забора, он вошел ко мне; я попотчевал его чаем, потому что хотя разбойник он, а все-таки был моим кунаком.[1]

Стали мы болтать о том, о сем: вдруг, смотрю, Казбич вздрогнул, переменился в лице — и к окну; но окно, к несчастию, выходило на задворье. «Что с тобой?» — спросил я.

— Моя лошадь!.. лошадь!.. — сказал он, весь дрожа.

Точно, я услышал топот копыт: «Это верно какой-нибудь казак приехал…»

— Нет! Урус яман, яман!* — заревел он и опрометью бросился вон, как дикий барс. В два прыжка он был уж на дворе; у ворот крепости часовой загородил ему путь ружьем: он перескочил через ружье и кинулся бежать по дороге… Вдали вилась пыль — Азамат скакал на лихом Карагезе; на бегу Казбич выхватил из чехла ружье и выстрелил, с минуту он остался неподвижен, пока не убедился, что дал промах; потом завизжал, ударил ружье о камень, разбил его в дребезги, повалился на землю и зарыдал, как ребенок… Вот кругом него собрался народ из крепости — он никого не замечал; постояли, потолковали и пошли назад; я велел возле его положить деньги за баранов — он их не тронул, лежал себе ничком, как мертвый. Поверите ли, он так пролежал до поздней ночи и целую ночь?.. Только на другое утро пришел в крепость и стал просить, чтобы ему назвали похитителя. Часовой, который видел, как Азамат отвязал коня и ускакал на нем, не почел за нужное скрывать. При этом имени глаза Казбича засверкали, и он отправился в аул, где жил отец Азамата.

— Что ж отец?

— Да в том-то и штука, что его Казбич не нашел: он куда-то уезжал дней на шесть, а то удалось ли бы Азамату увезти сестру?

А когда отец возвратился, то ни дочери, ни сына не было. Такой хитрец: ведь смекнул, что не сносить ему головы, если б он попался. Так с тех пор и пропал; верно, пристал к какой-нибудь шайке абреков, да и сложил буйную голову за Тереком или за Кубанью: туда и дорога!..

Признаюсь, и на мою долю порядочно досталось. Как я только проведал, что черкешенка у Григорья Александровича, то надел эполеты, шпагу и пошел к нему.

Он лежал в первой комнате на постели, подложив одну руку под затылок, а другой держа погасшую трубку; дверь во вторую комнату была заперта на замок, и ключа в замке не было. Я все это тотчас заметил… Я начал кашлять и постукивать каблуками о порог, — только он притворялся, будто не слышит.

— Господин прапорщик! — сказал я как можно строже. — Разве вы не видите, что я к вам пришел?

— Ах, здравствуйте, Максим Максимыч! Не хотите ли трубку? — отвечал он, не приподнимаясь.

— Извините! Я не Максим Максимыч: я штабс-капитан.

— Все равно. Не хотите ли чая? Если б вы знали, какая мучит меня забота!

— Я все знаю, — отвечал я, подошед к кровати.

— Тем лучше: я не в духе рассказывать.

— Господин прапорщик, вы сделали проступок, за который и я могу отвечать…

— И полноте! что ж за беда? Ведь у нас давно все пополам.

— Что за шутки? Пожалуйте вашу шпагу!

— Митька, шпагу!..

Митька принес шпагу. Исполнив долг свой, сел я к нему на кровать и сказал: «Послушай, Григорий Александрович, признайся, что нехорошо».

— Что нехорошо?

— Да то, что ты увез Бэлу… Уж эта мне бестия Азамат!.. Ну, признайся, — сказал я ему.

— Да когда она мне нравится?..

Ну, что прикажете отвечать на это?.. Я стал втупик. Однако ж, после некоторого молчания, я ему сказал, что если отец станет ее требовать, то надо будет отдать.

---

[1] Кунак — значит приятель. (*Примечание Лермонтова.*)

— Вовсе не надо!

— Да он узнает, что она здесь?

— А как он узнает?

Я опять стал в тупик.

— Послушайте, Максим Максимыч! — сказал Печорин, приподнявшись: — ведь вы добрый человек, — а если отдадим дочь этому дикарю, он ее зарежет или продаст. Дело сделано, не надо только охотою портить; оставьте ее у меня, а у себя мою шпагу…

— Да покажите мне ее, — сказал я.

— Она за этой дверью; только я сам нынче напрасно хотел ее видеть: сидит в углу, закутавшись в покрывало, не говорит и не смотрит: пуглива, как дикая серна. Я нанял нашу духанщицу: она знает по-татарски, будет ходить за нею и приучит ее к мысли, что она моя, потому что она никому не будет принадлежать, кроме меня, — прибавил он, ударив кулаком по столу. Я и в этом согласился… Что прикажете делать? есть люди, с которыми непременно должно соглашаться.

— А что? — спросил я у Максима Максимыча: — в самом ли деле он приучил ее к себе, или она зачахла в неволе, с тоски по родине?

— Помилуйте, отчего же с тоски по родине? Из крепости видны были те же горы, что из аула, а этим дикарям больше ничего не надобно. Да притом Григорий Александрович каждый день дарил ей что-нибудь: первые дни она, молча, гордо отталкивала подарки, которые тогда доставались духанщице и возбуждали ее красноречие. Ах, подарки! чего не сделает женщина за цветную тряпичку!.. Ну, да это в сторону… Долго бился с нею Григорий Александрович; между тем учился по-татарски, и она начинала понимать по-нашему. Мало-помалу она приучилась на него смотреть, сначала исподлобья, искоса, и все грустила, напевала свои песни вполголоса, так что, бывало, и мне становилось грустно, когда слушал ее из соседней комнаты. Никогда не забуду одной сцены: шел я мимо и заглянул в окно; Бэла сидела на лежанке, повесив голову на грудь, а Григорий Александрович стоял перед нею. «Послушай, моя пери, — говорил он: — ведь ты знаешь, что рано или поздно ты должна быть моею — отчего же только мучишь меня? Разве ты любишь какого-нибудь чеченца? Если так, я тебя сейчас отпущу домой». — Она вздрогнула едва приметно и покачала головой. — «Или, — продолжал он: — я тебе совершенно ненавистен?» — Она вздохнула. — «Или твоя вера запрещает полюбить меня?» — Она побледнела и молчала. — «Поверь мне, аллах для всех племен один и тот же, и если он мне позволяет любить тебя, отчего же запретит тебе платить мне взаимностью?» — Она посмотрела ему пристально в лицо, как будто пораженная этой новой мыслию; в глазах ее выразились недоверчивость и желание убедиться. Что за глаза! они так и сверкали, будто два угля.

«Послушай, милая, добрая Бэла, — продолжал Печорин, — ты видишь, как я тебя люблю; я все готов отдать, чтоб тебя развеселить: я хочу, чтоб ты была счастлива; а если ты снова будешь грустить, то я умру. Скажи, ты будешь веселей?» Она призадумалась, не спуская с него черных глаз своих, потом улыбнулась ласково и кивнула головой в знак согласия. Он взял ее руку и стал ее уговаривать, чтоб она его поцеловала; она слабо защищалась и только повторяла: «Поджалуста, поджалуста, не нада, не нада». Он стал настаивать; она задрожала, заплакала. «Я твоя пленница, — говорила она: — твоя раба; конечно, ты можешь меня принудить», — и опять слезы.

Григорий Александрович ударил себя в лоб кулаком и выскочил в другую комнату. Я зашел к нему; он сложа руки прохаживался угрюмый взад и вперед. «Что, батюшка?» — сказал я ему. «Дьявол, а не женщина, — отвечал он: — только я вам даю мое честное слово, что она будет моя…» — Я покачал головою. — «Хотите пари? — сказал он: — через неделю!» — «Извольте!» — Мы ударили по рукам и разошлись.

На другой день он тотчас же отправил нарочного в Кизляр за разными покупками; привезено было множество разных персидских материй, всех не перечесть.

— Как вы думаете, Максим Максимыч! — сказал он мне, показывая подарки: — устоит ли азиатская красавица против такой батареи? — «Вы черкешенок не знаете, — отвечал я: — это совсем не то, что грузинки или закавказские татарки, — совсем не то. У них свои правила: они иначе воспитаны». — Григорий Александрович улыбнулся и стал насвистывать марш.

А ведь вышло, что я был прав: подарки подействовали только вполовину: она стала ласковее, доверчивее — да и только; так что он решился на последнее средство. Раз утром он велел оседлать лошадь, оделся по-черкесски, вооружился и вошел к ней. «Бэла! — сказал он: — ты знаешь, как я тебя люблю. Я решился тебя увезти, думая, что ты, когда узнаешь меня, полюбишь; я ошибся — прощай! оставайся полной хозяйкой всего, что я имею; если хочешь, вернись к отцу, — ты свободна. Я виноват перед тобой и должен наказать себя; прощай, я еду — куда? почему я знаю! Авось, недолго буду гоняться за пулей или ударом шашки; тогда вспомни обо мне и прости меня». — Он отвернулся и протянул ей руку на прощанье. Она не взяла руки, молчала. Только стоя за дверью, я мог в щель рассмотреть ее лицо: и мне стало жаль — такая смертельная бледность покрыла это милое личико! Не слыша ответа, Печорин сделал несколько шагов к двери; он дрожал — и сказать ли вам? я думаю, он в состоянии был исполнить в самом деле то, о чем говорил шутя. Таков уж был человек, бог его знает!

Только едва он коснулся двери, как она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею. — Поверите ли? я, стоя за дверью, также заплакал, то есть, знаете, не то чтобы заплакал, а так — глупость!..

Штабс-капитан замолчал.

— Да, признаюсь, — сказал он потом, теребя усы: — мне стало досадно, что никогда ни одна женщина меня так не любила.

— И продолжительно было их счастье? — спросил я.

— Да, она нам призналась, что с того дня, как увидела Печорина, он часто ей грезился во сне, и что ни один мужчина никогда не производил на нее такого впечатления. Да, они были счастливы!

— Как это скучно! — воскликнул я невольно. В самом деле, я ожидал трагической развязки, и вдруг так неожиданно обмануть мои надежды!.. — Да неужели, — продолжал я, — отец не догадался, что она у вас в крепости?

— То есть, кажется, он подозревал. Спустя несколько дней узнали мы, что старик убит. Вот как это случилось…

Внимание мое пробудилось снова.

— Надо вам сказать, что Казбич вообразил, будто Азамат с согласия отца украл у него лошадь; по крайней мере, я так полагаю. Вот он раз и дождался у дороги, версты три за аулом; старик возвращался из напрасных поисков за дочерью; уздени его отстали, — это было в сумерки, — он ехал задумчиво шагом, как вдруг Казбич, будто кошка, нырнул из-за куста, прыг сзади его на лошадь, ударом кинжала свалил его наземь, схватил поводья — и был таков; некоторые уздени все это видели с пригорка: они бросились догонять, только не догнали.

— Он вознаградил себя за потерю коня и отомстил, — сказал я, чтоб вызвать мнение моего собеседника.

— Конечно, по-ихнему, — сказал штабс-капитан, — он был совершенно прав.

Меня невольно поразила способность русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить; не знаю, достойно порицания или похвалы это свойство ума, только оно доказывает неимоверную его гибкость и присутствие этого ясного здравого смысла, который прощает зло везде, где видит его необходимость или невозможность его уничтожения.

Между тем чай был выпит; давно запряженные кони продрогли на снегу; месяц бледнел на западе и готов уж был погрузиться в черные свои тучи, висящие на дальних вершинах, как клочки разодранного занавеса; мы вышли из сакли. Вопреки предсказанию моего спутника, погода прояснилась и обещала нам тихое утро; хороводы звезд чудными узорами сплетались на далеком небосклоне и одна за другою гасли по мере того, как бледноватый отблеск востока разливался по темно-лиловому своду, озаряя постепенно крутые отлогости гор, покрытые девственными снегами. Направо и налево чернели мрачные, таинственные пропасти, и туманы, клубясь и извиваясь как змеи, сползали туда по морщинам соседних скал, будто чувствуя и пугаясь приближения дня.

Тихо было все на небе и на земле, как в сердце человека в минуту утренней молитвы; только изредка набегал прохладный ветер с востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую инеем. — Мы тронулись в путь; с трудом пять худых кляч тащили наши повозки по извилистой дороге на Гуд-гору; мы шли пешком сзади, подкладывая камни под колеса, когда лошади выбивались из сил; казалось, дорога вела на небо, потому что, сколько глаз мог разглядеть, она все поднималась и наконец пропадала в облаке, которое еще с вечера отдыхало на вершине Гуд-горы, как коршун, ожидающий добычу; снег хрустел под ногами нашими; воздух становился так редок, что было больно дышать; кровь поминутно приливала в голову, но со всем тем какое-то отрадное чувство распространилось по всем моим жилам, и мне было как-то весело, что я так высоко над миром — чувство детское, не спорю, но, удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми: все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такою, какой была некогда и верно будет когда-нибудь опять. Тот, кому случалось, как мне, бродить по горам пустынным и долго-долго всматриваться в их причудливые образы и жадно глотать животворящий воздух, разлитый в их ущельях, тот, конечно, поймет мое желание передать, рассказать, нарисовать эти волшебные картины. Вот, наконец, мы взобрались на Гуд-гору, остановились и оглянулись: на ней висело серое облако, и его холодное дыхание грозило близкой бурею; но на востоке все было так ясно и золотисто, что мы, то есть я и штабс-капитан, совершенно о нем забыли… Да, и штабс-капитан: в сердцах простых чувство красоты и величия природы сильнее, живее во сто крат, чем в нас, восторженных рассказчиках на словах и на бумаге.

— Вы, я думаю, привыкли к этим великолепным картинам? — сказал я ему.

— Да-с, и к свисту пули можно привыкнуть, то есть привыкнуть скрывать невольное биение сердца.

— Я слышал, напротив, что для иных старых воинов эта музыка даже приятна.

— Разумеется, если хотите, оно и приятно; только все же потому, что сердце бьется сильнее. Посмотрите, — прибавил он, указывая на восток: — что за край!

И точно, такую панораму вряд ли где еще удастся мне видеть: под нами лежала Койшаурская Долина, пересекаемая Арагвой и другой речкой, как двумя серебряными нитями; голубоватый туман скользил по ней, убегая в соседние теснины от теплых лучей утра; направо и налево гребни гор,

один выше другого, пересекались, тянулись, покрытые снегами, кустарником; вдали те же горы, но хоть бы две скалы, похожие одна на другую — и все эти снега горели румяным блеском так весело, так ярко, что, кажется, тут бы и остаться жить навеки; солнце чуть показалось из-за темно-синей горы, которую только привычный глаз мог бы различить от грозовой тучи; но над солнцем была кровавая полоса, на которую мой товарищ обратил особенное внимание. «Я говорил вам, — воскликнул он, — что нынче будет погода; надо торопиться, а то, пожалуй, она застанет нас на Крестовой. Трогайтесь!» — закричал он ямщикам.

Подложили цепи под колеса вместо тормозов, чтоб они не раскатывались, взяли лошадей под уздцы и начали спускаться; направо был утес, налево пропасть такая, что целая деревушка осетин, живущих на дне ее, казалась гнездом ласточки; я содрогнулся, подумав, что часто здесь, в глухую ночь, по этой дороге, где две повозки не могут разъехаться, какой-нибудь курьер раз десять в год проезжает, не вылезая из своего тряского экипажа. Один из наших извозчиков был русский ярославский мужик, другой осетин: осетин вел коренную под уздцы со всеми возможными предосторожностями, отпрягши заранее уносных*, — а наш беспечный русак даже не слез с облучка! Когда я ему заметил, что он мог бы побеспокоиться в пользу хотя моего чемодана, за которым я вовсе не желал лазить в эту бездну, он отвечал мне: «И, барин! Бог даст, не хуже их доедем: ведь нам не впервые», — и он был прав: мы точно могли бы не доехать, однако ж все-таки доехали, и если б все люди побольше рассуждали, то убедились бы, что жизнь не стоит того, чтоб об ней так много заботиться…

Но, может быть, вы хотите знать окончание истории Бэлы? — Во-первых, я пишу не повесть, а путевые записки; следовательно, не могу заставить штабс-капитана рассказывать прежде, нежели он начал рассказывать в самом деле. Итак, погодите, или, если хотите, переверните несколько страниц, только я вам этого не советую, потому что переезд через Крестовую Гору (или, как называет ее ученый Гамба*, le Mont St.-Christophe) достоин вашего любопытства. Итак, мы спускались с Гуд-горы в Чертову долину… Вот романтическое название! Вы уже видите гнездо злого духа между неприступными утесами, — не тут-то было: название Чертовой Долины происходит от слова «черта», а не «черт», — ибо здесь когда-то была граница Грузии. Эта долина была завалена снеговыми сугробами, напоминавшими довольно живо Саратов, Тамбов и прочие *милые* места нашего отечества.

— Вот и Крестовая! — сказал мне штабс-капитан, когда мы съехали в Чертову Долину, указывая на холм, покрытый пеленою снега; на его вершине чернелся каменный крест, и мимо его вела едва-едва заметная дорога, по которой проезжают только тогда, когда боковая завалена снегом: наши извозчики объявили, что обвалов еще не было и, сберегая лошадей, повезли нас кругом. При повороте встретили мы человек пять осетин; они предложили нам свои услуги и, уцепясь за колеса, с криком принялись тащить и поддерживать наши тележки. И точно, дорога опасная: направо висели над нашими головами груды снега, готовые, кажется, при первом порыве ветра оборваться в ущелье; узкая дорога частию была покрыта снегом, который в иных местах проваливался под ногами, в других превращался в лед от действия солнечных лучей и ночных морозов, так что с трудом мы сами пробирались: лошади падали; — налево зияла глубокая расселина, где катился поток, то скрываясь под ледяной корою, то с пеною прыгая по черным камням. В два часа едва могли мы обогнуть Крестовую Гору, — две версты в два часа! Между тем тучи спустились, повалил град, снег; ветер, врываясь в ущелья, ревел, свистал, как Соловей-Разбойник, и скоро каменный крест скрылся в тумане, которого волны, одна другой гуще и теснее, набегали с востока… Кстати, об этом кресте существует странное, но всеобщее предание, будто его поставил император Петр 1-й, проезжая через Кавказ; но, во-первых, Петр был только в Дагестане, и, во-вторых, на кресте написано крупными буквами, что он поставлен по приказанию г. Ермолова, а именно в 1824 году. Но предание, несмотря на надпись, так укоренилось, что, право, не знаешь, чему верить, тем более, что мы не привыкли верить надписям.

Нам должно было спускаться еще верст пять по обледеневшим скалам и топкому снегу, чтоб достигнуть станции Коби. Лошади измучились, мы продрогли; метель гудела сильнее и сильнее, точно наша родимая, северная; только ее дикие напевы были печальнее, заунывнее. «И ты, изгнанница, — думал я, — плачешь о своих широких, раздольных степях! Там есть где развернуть холодные крылья, а здесь тебе душно и тесно, как орлу, который с криком бьется о решетку железной своей клетки».

— Плохо! — говорил штабс-капитан: — посмотрите, кругом ничего не видно, только туман да снег — того и гляди, что свалимся в пропасть или засядем в трущобу, а там пониже, чай, Байдара* так разыгралась, что и не переедешь. Уж эта мне Азия! что люди, что речки — никак нельзя положиться. — Извозчики с криком и бранью колотили лошадей, которые фыркали, упирались и не хотели ни за что в свете тронуться с места, несмотря на красноречие кнутов. «Ваше благородие, — сказал наконец один: — ведь мы нынче до Коби не доедем; не прикажете ли, покамест можно, своротить налево? Вон там что-то на косогоре чернеется, — верно, сакли: там всегда-с проезжающие останавливаются в погоду; они говорят, что проведут, если дадите на водку», — прибавил он, указывая на осетина.

— Знаю, братец, знаю без тебя! — сказал штабс-капитан: — уж эти бестии! рады придраться, чтоб сорвать на водку.

— Признайтесь, однако, — сказал я, — что без них нам было бы хуже.

— Все так, все так, — пробормотал он: — уж эти мне проводники! чутьем слышат, где можно попользоваться, будто без них и нельзя найти дороги.

Вот мы и свернули налево и кое-как, после многих хлопот, добрались до скудного приюта, состоящего из двух саклей, сложенных из плит и булыжника и обведенных такою же стеною; оборванные хозяева приняли нас радушно. Я после узнал, что правительство им платит и кормит их с условием, чтоб они принимали путешественников, застигнутых бурею. «Все к лучшему, — сказал я, присев у огня: — теперь вы мне доскажете вашу историю про Бэлу; я уверен, что этим не кончилось».

— А почему ж вы так уверены? — отвечал мне штабс-капитан, примигивая с хитрой улыбкою.

— Оттого, что это не в порядке вещей: что началось необыкновенным образом, то должно так же и кончиться.

— Ведь вы угадали…

— Очень рад.

— Хорошо вам радоваться, а мне так право грустно, как вспомню. Славная была девочка, эта Бэла! Я к ней, наконец, так привык, как к дочери, и она меня любила. Надо вам сказать, что у меня нет семейства: об отце и матери я лет 12 уж не имею известия, а запастись женой не догадался раньше, — так теперь уж, знаете, и не к лицу; я и рад был, что нашел кого баловать. Она, бывало, нам поет песни иль пляшет лезгинку… А уж как плясала! видал я наших губернских барышень, а раз был-с и в Москве в благородном собрании, лет 20 тому назад, — только куда им! совсем не то!.. Григорий Александрович наряжал ее, как куколку, холил и лелеял; и она у нас так похорошела, что чудо; с лица и с рук сошел загар, румянец разыгрался на щеках, — уж какая, бывало, веселая, и все надо мной, проказница, подшучивала… Бог ей прости!..

— А что, когда вы ей объявили о смерти отца?

— Мы долго от нее это скрывали, пока она не привыкла к своему положению; а когда сказали, так она дня два поплакала, а потом забыла.

Месяца четыре все шло как нельзя лучше. Григорий Александрович, я уж кажется говорил, страстно любил охоту: бывало, так его в лес и подмывает за кабанами или козами, — а тут хоть бы вышел за крепостной вал. Вот, однако же, смотрю, он стал снова задумываться, ходит по комнате, загнув руки назад; потом раз, не сказав никому, отправился стрелять, — целое утро пропадал; раз и другой, все чаще и чаще… Нехорошо, подумал я, верно, между ними черная кошка проскочила!

Одно утро захожу к ним — как теперь перед глазами: Бэла сидела на кровати в черном шелковом бешмете, бледненькая, такая печальная, что я испугался.

— А где Печорин? — спросил я.

— На охоте.

— Сегодня ушел? — Она молчала, как будто ей трудно было выговорить.

— Нет, еще вчера, — наконец сказала она, тяжело вздохнув.

— Уж не случилось ли с ним чего?

— Я вчера целый день думала, думала, — отвечала она сквозь слезы, — придумывала разные несчастия: то казалось мне, что его ранил дикий кабан, то чеченец утащил в горы… А нынче мне уж кажется, что он меня не любит.

— Право, милая, ты хуже ничего не могла придумать. — Она заплакала, потом с гордостью подняла голову, отерла слезы и продолжала:

— Если он меня не любит, то кто ему мешает отослать меня домой? Я его не принуждаю. А если это так будет продолжаться, то я сама уйду: я не раба его, — я княжеская дочь!..

Я стал ее уговаривать. «Послушай, Бэла, ведь нельзя же ему век сидеть здесь, как пришитому к твоей юбке; он человек молодой, любит погоняться за дичью — походит да и придет; а если ты будешь грустить, то скорей ему наскучишь».

— Правда, правда, — отвечала она: — я буду весела. — И с хохотом схватила свой бубен, начала петь, плясать и прыгать около меня; только и это не было продолжительно, она опять упала на постель и закрыла лицо руками.

Что было с нею мне делать? Я, знаете, никогда с женщинами не обращался: думал, думал, чем ее утешить, и ничего не придумал; несколько времени мы оба молчали… Пренеприятное положение-с!

Наконец я ей сказал: «хочешь, пойдем прогуляться на вал, погода славная!» — Это было в сентябре; и точно, день был чудесный, светлый и не жаркий; все горы видны были как на блюдечке. Мы пошли, походили по крепостному валу взад и вперед, молча; наконец она села на дерн, и я сел возле нее. Ну, право, вспомнить смешно: я бегал за нею, точно какая-нибудь нянька.

Крепость наша стояла на высоком месте, и вид был с вала прекрасный: с одной стороны широкая поляна, изрытая несколькими балками,[1] оканчивалась лесом, который тянулся до самого хребта гор; кое-где на ней дымились аулы, ходили табуны; — с другой бежала мелкая речка, и к ней примыкал

[1] Овраги. (*Прим. М.Ю. Лермонтова.*)

частый кустарник, покрывавший кремнистые возвышенности, которые соединялись с главной цепью Кавказа. Мы сидели на углу бастиона, так что в обе стороны могли видеть все. Вот смотрю: из леса выезжает кто-то на серой лошади, все ближе и ближе, и наконец остановился по ту сторону речки, саженях во ста от нас и начал кружить лошадь свою, как бешеный. Что за притча!.. «Посмотри-ка, Бэла, — сказал я: — у тебя глаза молодые, что это за джигит: кого это он приехал тешить?..»

Она взглянула и вскрикнула: «это Казбич!..»

— Ах он разбойник! смеяться что ли приехал над нами? — Всматриваюсь, точно Казбич: его смуглая рожа, оборванный, грязный, как всегда. — «Это лошадь отца моего», — сказала Бэла, схватив меня за руку; она дрожала, как лист, и глаза ее сверкали: «Ага! — подумал я: — и в тебе, душенька, не молчит разбойничья кровь!»

— Подойди-ка сюда, — сказал я часовому: — осмотри ружье, да ссади мне этого молодца, — получишь рубль серебром. — «Слушаю, ваше высокоблагородие; только он не стоит на месте...» — «Прикажи!» — сказал я смеясь... — «Эй, любезный! — закричал часовой, махая ему рукой: — подожди маленько, что ты крутишься, как волчок?» — Казбич остановился в самом деле и стал вслушиваться: верно думал, что с ним заводят переговоры, — как не так!.. Мой гренадер приложился... бац!.. мимо, — только что порох на полке вспыхнул; Казбич толкнул лошадь, и она дала скачок в сторону. Он привстал на стременах, крикнул что-то по-своему, погрозил нагайкой — и был таков.

— Как тебе не стыдно! — сказал я часовому.

— Ваше высокоблагородие! умирать отправился, — отвечал он: — такой проклятый народ, сразу не убьешь.

Четверть часа спустя Печорин вернулся с охоты; Бэла бросилась ему на шею, и ни одной жалобы, ни одного упрека за долгое отсутствие... Даже я уж на него рассердился. «Помилуйте, — говорил я: — ведь вот сейчас тут был за речкою Казбич, и мы по нем стреляли: ну, долго ли вам на него наткнуться? Эти горцы народ мстительный: вы думаете, что он не догадывается, что вы частию помогли Азамату? А я бьюсь об заклад, что нынче он узнал Бэлу. Я знаю, что, год тому назад, она ему больно нравилась — он мне сам говорил, и если б надеялся собрать порядочный калым, то, верно, бы посватался...» Тут Печорин задумался: — «Да, — отвечал он, — надо быть осторожнее... Бэла, с нынешнего дня ты не должна более ходить на крепостной вал».

Вечером я имел с ним длинное объяснение: мне было досадно, что он переменился к этой бедной девочке; кроме того, что он половину дня проводил на охоте, его обращение стало холодно, ласкал он ее редко, и она заметно начинала сохнуть, личико ее вытянулось, большие глаза потускнели. Бывало, спросишь ее: «О чем ты вздохнула, Бэла? ты печальна?» — «Нет!» — «Тебе чего-нибудь хочется?» — «Нет!» — «Ты тоскуешь по родным?» — «У меня нет родных». Случалось, по целым дням, кроме «да» да «нет», от нее ничего больше не добьешься.

Вот об этом-то я и стал ему говорить. «Послушайте, Максим Максимыч, — отвечал он, — у меня несчастный характер; воспитание ли меня сделало таким, бог ли так меня создал, не знаю; знаю только то, что если я причиною несчастия других, то и сам не менее несчастлив; разумеется, это им плохое утешение — только дело в том, что это так. В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги, и, разумеется, удовольствия эти мне опротивели. Потом пустился я в большой свет, и скоро общество мне также надоело; влюблялся в светских красавиц и был любим, — но их любовь только раздражала мое воображение и самолюбие, а сердце осталось пусто... Я стал читать, учиться — науки также надоели; я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, потому что самые счастливые люди — невежды, а слава — удача, и чтоб добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно... Вскоре перевели меня на Кавказ: это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями — напрасно: через месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что, право, обращал больше внимания на комаров, — и мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял почти последнюю надежду. Когда я увидел Бэлу в своем доме, когда в первый раз, держа ее на коленях, целовал ее черные локоны, я, глупец, подумал, что она ангел, посланный мне сострадательной судьбою... Я опять ошибся: любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни; невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой; если вы хотите, я ее еще люблю, я ей благодарен за несколько минут довольно сладких, я за нее отдам жизнь, только мне с нею скучно... Глупец я или злодей, не знаю; но то верно, что я также очень достоин сожаления, может быть больше, нежели она: во мне душа испорчена светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное; мне все мало: к печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день ото дня; мне осталось одно средство: путешествовать. Как только будет можно, отправлюсь, — только не в Европу, избави боже! — поеду в Америку, в Аравию, в Индию, — авось где-нибудь умру на дороге! По крайней мере, я уверен, что это последнее утешение не скоро истощится, с помощью бурь и дурных дорог». — Так он говорил долго, и его слова врезались у меня в памяти, потому что в первый раз я слышал такие вещи от 25-летнего человека, и, бог даст, в последний... Что за диво! Скажите-ка, пожалуйста, — продолжал штабс-капитан, обращаясь ко мне, — вы вот, кажется, бывали в столице, и недавно: неужели тамошная молодежь вся такова?

Я отвечал, что много есть людей, говорящих то же самое, что есть, вероятно, и такие, которые говорят правду; что, впрочем, разочарование, как все моды, начав с высших слоев общества, спустилось к низшим, которые его донашивают, и что нынче те, которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это несчастие, как порок. — Штабс-капитан не понял этих тонкостей, покачал головою и улыбнулся лукаво:

— А все, чай, французы ввели моду скучать?

— Нет, англичане.

— А-га, вот что!.. — отвечал он, — да ведь они всегда были отъявленные пьяницы?

Я невольно вспомнил об одной московской барыне, которая утверждала, что Байрон был больше ничего как пьяница. Впрочем, замечание штабс-капитана было извинительнее; чтоб воздерживаться от вина, он, конечно, старался уверять себя, что все в мире несчастия происходят от пьянства.

Между тем он продолжал свой рассказ таким образом:

— Казбич не являлся снова. Только не знаю почему, я не мог выбить из головы мысль, что он недаром приезжал и затевает что-нибудь худое.

Вот раз уговаривает меня Печорин ехать с ним на кабана; я долго отнекивался: ну, что мне был за диковинка кабан! Однако ж утащил-таки он меня с собою. Мы взяли человек пять солдат и уехали рано утром. До десяти часов шныряли по камышам и по лесу, нет зверя. «Эй, не воротиться ли? — говорил я: — к чему упрямиться? Уж видно такой задался несчастный день». Только Григорий Александрович, несмотря на зной и усталость, не хотел воротиться без добычи; таков уж был человек: что задумает, подавай; видно, в детстве был маменькой избалован... Наконец в полдень отыскали проклятого кабана — паф! паф! не тут-то было: ушел в камыши... такой уж был несчастный день!.. Вот мы, отдохнув маленько, отправились домой.

Мы ехали рядом, молча, распустив поводья, и были уж почти у самой крепости: только кустарник закрывал ее от нас. — Вдруг выстрел... Мы взглянули друг на друга: нас поразило одинаковое подозрение; опрометью поскакали мы на выстрел, — смотрим: на валу солдаты собрались в кучку и указывают в поле, а там летит стремглав всадник и держит что-то белое на седле. — Григорий Александрович взвизгнул не хуже любого чеченца; ружье из чехла, и туда — я за ним.

К счастью, по причине неудачной охоты, наши кони не были измучены: они рвались из-под седла, и с каждым мгновением мы были все ближе и ближе... И наконец я узнал Казбича, только не мог разобрать, что такое он держал перед собою. Я тогда поравнялся с Печориным и кричу ему: «это Казбич!..» Он посмотрел на меня, кивнул головою и ударил коня плетью.

Вот наконец мы были уж от него на ружейный выстрел; измучена ли была у Казбича лошадь, или хуже наших, только, несмотря на все его старания, она не больно подавалась вперед. Я думаю, в эту минуту он вспомнил своего Карагеза...

Смотрю: Печорин на скаку приложился из ружья... «Не стреляйте! — кричу я ему: — берегите заряд; мы и так его догоним». — Уж эта молодежь! вечно некстати горячится... Но выстрел раздался, и пуля перебила заднюю ногу лошади; она сгоряча сделала еще прыжков десять, споткнулась и упала на колени; Казбич соскочил, и тогда мы увидели, что он держал на руках своих женщину, окутанную чадрою... Это была Бэла... бедная Бэла! — Он что-то нам закричал по-своему и занес над нею кинжал... Медлить было нечего: я выстрелил, в свою очередь, наудачу; верно, пуля попала ему в плечо, потому что вдруг он опустил руку. — Когда дым рассеялся, на земле лежала раненая лошадь, и возле нее Бэла; а Казбич, бросив ружье, по кустарникам, точно кошка, карабкался на утес; хотелось мне его снять оттуда — да не было заряда готового! Мы соскочили с лошадей и кинулись к Бэле. Бедняжка, она лежала неподвижно, и кровь лилась из раны ручьями... Такой злодей: хоть бы в сердце ударил — ну, так уж и быть, одним разом все бы кончил, а то в спину... самый разбойничий удар! — Она была без памяти. Мы изорвали чадру и перевязали рану как можно туже; напрасно Печорин целовал ее холодные губы — ничто не могло привести ее в себя.

Печорин сел верхом; я поднял ее с земли и кое-как посадил к нему на седло; он обхватил ее рукой, и мы поехали назад. После нескольких минут молчания Григорий Александрович сказал мне: «Послушайте, Максим Максимыч, мы этак ее не довезем живую». — «Правда!» — сказал я, и мы пустили лошадей во весь дух. Нас у ворот крепости ожидала толпа народа; осторожно перенесли мы раненую к Печорину и послали за лекарем. Он был хотя пьян, но пришел: осмотрел рану и объявил, что она больше дня жить не может; только он ошибся...

— Выздоровела? — спросил я у штабс-капитана, схватив его за руку и невольно обрадовавшись.

— Нет, — отвечал он: — а ошибся лекарь тем, что она еще два дня прожила.

— Да объясните мне, каким образом ее похитил Казбич?

— А вот так: несмотря на запрещение Печорина, она вышла из крепости к речке. Было, знаете, очень жарко; она села на камень и опустила ноги в воду. Вот Казбич подкрался, — цап-царап ее, зажал рот и потащил в кусты, а там вскочил на коня, да и тягу! Она между тем успела закричать; часовые всполошились, выстрелили, да мимо, а мы тут и подоспели.

— Да зачем Казбич ее хотел увезти?

— Помилуйте, да эти черкесы — известный воровской народ: что плохо лежит, не могут не стянуть; другое и ненужно, а все украдет… уж в этом прошу их извинить! Да притом она ему давно-таки нравилась.

— И Бэла умерла?

— Умерла; только долго мучилась, и мы уж с нею измучились порядком. Около десяти часов вечера она пришла в себя; мы сидели у постели; только что она открыла глаза, начала звать Печорина. — «Я здесь, подле тебя, моя джанечка (то есть, по-нашему, душенька)», — отвечал он, взяв ее за руку. — «Я умру!» — сказала она. — Мы начали ее утешать, говорили, что лекарь обещал ее вылечить непременно; она покачала головкой и отвернулась к стене: ей не хотелось умирать!..

Ночью она начала бредить; голова ее горела, по всему телу иногда пробегала дрожь лихорадки; она говорила несвязные речи об отце, брате: ей хотелось в горы, домой… Потом она также говорила о Печорине, давала ему разные нежные названия или упрекала его в том, что он разлюбил свою джанечку…

Он слушал ее молча, опустив голову на руки; но только я во все время не заметил ни одной слезы на ресницах его; в самом ли деле он не мог плакать, или владел собою — не знаю; что до меня, то я ничего жальче этого не видывал.

К утру бред прошел; с час она лежала неподвижная, бледная, и в такой слабости, что едва можно было заметить, что она дышит; потом ей стало лучше, и она начала говорить, только как вы думаете, о чем?.. Этакая мысль придет ведь только умирающему!.. Начала печалиться о том, что она не христианка, и что на том свете душа ее никогда не встретится с душою Григорья Александровича, и что иная женщина будет в раю его подругой. Мне пришло на мысль окрестить ее перед смертию: я ей это предложил; она посмотрела на меня в нерешимости, и долго не могла слова вымолвить; наконец отвечала, что она умрет в той вере, в какой родилась. Так прошел целый день. Как она переменилась в этот день!.. бледные щеки впали, глаза сделались большие, большие, — губы горели. Она чувствовала внутренний жар, как будто в груди у ней лежало раскаленное железо.

Настала другая ночь; мы не смыкали глаз, не отходили от ее постели. Она ужасно мучилась, стонала, и только что боль начинала утихать, она старалась уверить Григорья Александровича, что ей лучше, уговаривала его идти спать, целовала его руку, не выпускала ее из своих. — Перед утром стала она чувствовать тоску смерти, начала метаться, сбила перевязку, и кровь потекла снова. — Когда перевязали рану, она на минуту успокоилась и начала просить Печорина, чтоб он ее поцеловал. Он стал на колени возле кровати, приподнял ее голову с подушки и прижал свои губы к ее холодеющим губам; она крепко обвила его шею дрожащими руками, будто в этом поцелуе хотела передать ему свою душу… Нет, она хорошо сделала, что умерла: ну что бы с ней сталось, если б Григорий Александрович ее покинул? А это бы случилось, рано или поздно…

Половину следующего дня она была тиха, молчалива и послушна, как ни мучил ее наш лекарь припарками и микстурой. «Помилуйте, — говорил я ему: — ведь вы сами сказали, что она умрет непременно, так зачем тут все ваши препараты?» — «Все-таки лучше, Максим Максимыч, — отвечал он, — чтоб совесть была покойна». — Хороша совесть!

После полудня она начала томиться жаждой. Мы отворили окна; но на дворе было жарче, чем в комнате; поставили льду около кровати — ничего не помогало. Я знал, что эта невыносимая жажда — признак приближения конца, и сказал это Печорину. — «Воды, воды!..» — говорила она хриплым голосом, приподнявшись с постели.

Он сделался бледен, как полотно, схватил стакан, налил и подал ей. Я закрыл глаза руками и стал читать молитву, не помню какую… Да, батюшка, видал я много, как люди умирают в гошпиталях и на поле сражения, только это все не то, совсем не то!.. Еще, признаться, меня вот что печалит: она перед смертью ни разу не вспомнила обо мне; а кажется, я ее любил, как отец… ну да Бог ее простит!.. И вправду молвить: что ж я такое, чтоб обо мне вспоминать перед смертью?..

Только что она испила воды, как ей стало легче, а минуты через три она скончалась. Приложили зеркало к губам — гладко!.. Я вывел Печорина вон из комнаты, и мы пошли на крепостной вал; долго мы ходили взад и вперед рядом, не говоря ни слова, загнув руки на спину; его лицо ничего не выражало особенного, и мне стало досадно: я бы на его месте умер с горя. Наконец он сел на землю, в тени, и начал что-то чертить палочкой на песке. Я, знаете, больше для приличия хотел утешить его, начал говорить; он поднял голову и засмеялся… У меня мороз пробежал по коже от этого смеха… Я пошел заказывать гроб.

Признаться, я частию для развлечения занялся этим, у меня был кусок термаламы, я обил ею гроб и украсил его черкесскими серебряными галунами, которых Григорий Александрович накупил для нее же.

На другой день рано утром мы ее похоронили, за крепостью, у речки, возле того места, где она в последний раз сидела; кругом ее могилки теперь разрослись кусты белой акации и бузины. Я хотел было поставить крест, да, знаете, неловко: все-таки она была не христианка…

— А что Печорин? — спросил я.

— Печорин был долго нездоров, исхудал, бедняжка; только никогда с этих пор мы не говорили о Бэле: я видел, что ему будет неприятно, так зачем же? Месяца три спустя его назначили в е….й полк, и он уехал в Грузию. Мы с тех пор не встречались; да помнится, кто-то недавно мне говорил, что он возвратился в Россию, но в приказах по корпусу не было. Впрочем, до нашего брата вести поздно доходят.

Тут он пустился в длинную диссертацию о том, как неприятно узнавать новости годом позже — вероятно, для того, чтоб заглушить печальные воспоминания.

Я не перебивал его и не слушал.

Через час явилась возможность ехать; метель утихла, небо прояснилось, и мы отправились. До огой невольно я опять завел речь о Бэле и о Печорине.

— А не слыхали ли вы, что сделалось с Казбичем? — спросил я.

— С Казбичем? А, право, не знаю… Слышал я, что на правом фланге у шапсугов есть какой-то Казбич, удалец, который в красном бешмете разъезжает шажком под нашими выстрелами и превежливо раскланивается, когда пуля прожужжит близко, да вряд ли это тот самый!..

В Коби мы расстались с Максимом Максимычем; я поехал на почтовых, а он, по причине тяжелой поклажи, не мог за мной следовать. Мы не надеялись никогда более встретиться, однако встретились, и, если хотите, я расскажу: это целая история… Сознайтесь, однако ж, что Максим Максимыч человек, достойный уважения?.. Если вы сознаетесь в этом, то я вполне буду вознагражден за свой, может быть, слишком длинный рассказ.

II. Максим Максимыч

Расставшись с Максимом Максимычем, я живо проскакал Терекское и Дарьяльское ущелья, завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе, а к ужину поспел в Владыкавказ. Избавляю вас от описания гор, от возгласов, которые ничего не выражают, от картин, которые ничего не изображают, особенно для тех, которые там не были, и от статистических замечаний, которых решительно никто читать не станет.

Я остановился в гостинице, где останавливаются все проезжие и где между тем некому велеть зажарить фазана и сварить щей, ибо три инвалида, которым она поручена, так глупы или так пьяны, что от них никакого толка нельзя добиться.

Мне объявили, что я должен прожить тут еще три дни, ибо «оказия» из Екатеринограда еще не пришла и, следовательно, отправиться обратно не может. Что за оказия!.. но дурной каламбур не утешение для русского человека, и я для развлечения вздумал записывать рассказ Максима Максимыча о Бэле, не воображая, что он будет первым звеном длинной цепи повестей; видите, как иногда маловажный случай имеет жестокие последствия!.. А вы, может быть, не знаете, что такое «оказия»? Это — прикрытие, состоящее из полроты пехоты и пушки, с которым ходят обозы через Кабарду из Владыкавказа в Екатеринград.

Первый день я провел очень скучно; на другой рано утром въезжает на двор повозка… А! Максим Максимыч!.. Мы встретились как старые приятели. Я предложил ему свою комнату. Он не церемонился, даже ударил меня по плечу и скривил рот на манер улыбки. Такой чудак!..

Максим Максимыч имел глубокие сведения в поваренном искусстве: он удивительно хорошо зажарил фазана, удачно полил его огуречным рассолом, и я должен признаться, что без него пришлось бы остаться на сухоядении. Бутылка кахетинского помогла нам забыть о скромном числе блюд, которых было всего одно, и, закурив трубки, мы уселись: я у окна, он у затопленной печи, потому что день был сырой и холодный. Мы молчали. Об чем было нам говорить?.. Он уж рассказал мне об себе все, что было занимательного, а мне было нечего рассказывать. Я смотрел в окно. Множество низеньких домиков, разбросанных по берегу Терека, который разбегается все шире и шире, мелькали из-за дерев, а дальше синелись зубчатою стеной горы, и из-за них выглядывал Казбек в своей белой кардинальской шапке. Я с ними мысленно прощался: мне стало их жалко…

Так сидели мы долго. Солнце пряталось за холодные вершины, и беловатый туман начинал расходиться в долинах, когда на улице раздался звон дорожного колокольчика и крик извозчиков. Несколько повозок с грязными армянами въехало на двор гостиницы и за ними пустая дорожная коляска; ее легкий ход, удобное устройство и щегольской вид имели какой-то заграничный отпечаток. За нею шел человек с большими усами, в венгерке, довольно хорошо одетый для лакея; в его звании нельзя было ошибиться, видя ухарскую замашку, с которой он вытряхивал золу из трубки и покрикивал на ямщика. Он был явно балованный слуга ленивого барина, — нечто вроде русского Фигаро*. — «Скажи, любезный, — закричал я ему в окно, — что это — оказия пришла, что ли?» — Он посмотрел довольно дерзко, поправил галстук и отвернулся; шедший возле него армянин, улыбаясь, отвечал за него, что точно пришла оказия и завтра утром отправится обратно. — «Слава Богу! — сказал Максим Максимыч, подошедший к окну в это время. — Экая чудная коляска! — прибавил он: — верно какой-нибудь чиновник едет на следствие в Тифлис. Видно, не знает

наших горок! Нет, шутишь, любезный: они не свой брат, растрясут хоть английскую!» — «А кто бы это такое был — подойдемте-ка узнать…» Мы вышли в коридор. В конце коридора была отворена дверь в боковую комнату. Лакей с извозчиком перетаскивали в нее чемоданы.

— Послушай, братец, — спросил у него штабс-капитан: — чья эта чудесная коляска?.. а?.. Прекрасная коляска!.. — Лакей, не оборачиваясь, бормотал что-то про себя, развязывая чемодан. Максим Максимыч рассердился; он тронул неучтивца по плечу и сказал: «Я тебе говорю, любезный…»

— Чья коляска?… моего господина…

— А кто твой господин?

— Печорин…

— Что ты? что ты? Печорин?.. Ах, Боже мой!.. да не служил ли он на Кавказе?.. — воскликнул Максим Максимыч, дернув меня за рукав. У него в глазах сверкала радость.

— Служил, кажется — да я у них недавно.

— Ну так!.. так!.. Григорий Александрович?.. Так ведь его зовут?.. Мы с твоим барином были приятели, — прибавил он, ударив дружески по плечу лакея, так что заставил его пошатнуться…

— Позвольте, сударь; вы мне мешаете, — сказал тот, нахмурившись.

— Экой ты, братец!.. Да знаешь ли? мы с твоим барином были друзья закадычные, жили вместе… Да где же он сам остался?..

Слуга объявил, что Печорин остался ужинать и ночевать у полковника Н…

— Да не зайдет ли он вечером сюда? — сказал Максим Максимыч: — или ты, любезный, не пойдешь ли к нему за чем-нибудь?.. Коли пойдешь, так скажи, что здесь Максим Максимыч; так и скажи… уж он знает… Я тебе дам восьмигривенный на водку…

Лакей сделал презрительную мину, слыша такое скромное обещание, однако уверил Максима Максимыча, что он исполнит его поручение.

— Ведь сейчас прибежит!.. — сказал мне Максим Максимыч с торжествующим видом: — пойду за ворота его дожидаться… Эх! жалко, что я не знаком с Н…

Максим Максимыч сел за воротами на скамейку, а я ушел в свою комнату. Признаюсь, я также с некоторым нетерпением ждал появления этого Печорина; хотя, по рассказу штабс-капитана, я составил себе о нем не очень выгодное понятие, однако некоторые черты в его характере показались мне замечательными. Через час инвалид принес кипящий самовар и чайник. — «Максим Максимыч, не хотите ли чаю?» — закричал я ему в окно.

— Благодарствуйте; что-то не хочется.

— Эй выпейте! Смотрите, ведь уж поздно, холодно.

— Ничего, благодарствуйте…

— Ну, как угодно! — Я стал пить чай один; минут через десять входит мой старик: «А ведь вы правы; все лучше выпить чайку, — да я все ждал… Уж человек его давно к нему пошел, да, видно, что-нибудь задержало».

Он наскоро выхлебнул чашку, отказался от второй и ушел опять за ворота в каком-то беспокойстве: явно было, что старика огорчало небрежение Печорина, и тем более, что он мне недавно говорил о своей с ним дружбе и еще час тому назад был уверен, что он прибежит, как только услышит его имя.

Уже было поздно и темно, когда я снова отворил окно и стал звать Максима Максимыча, говоря, что пора спать; он что-то пробормотал сквозь зубы; я повторил приглашение, — он ничего не отвечал.

Я лег на диван, завернувшись в шинель и оставив свечу на лежанке, скоро задремал и проспал бы покойно, если б, уж очень поздно, Максим Максимыч, взойдя в комнату, не разбудил меня. Он бросил трубку на стол, стал ходить по комнате, шевырять в печи, наконец лег, но долго кашлял, плевал, ворочался…

— Не клопы ли вас кусают? — спросил я.

— Да, клопы… — отвечал он, тяжело вздохнув.

На другой день утром я проснулся рано; но Максим Максимыч предупредил меня. Я нашел его у ворот сидящего на скамейке. — «Мне надо сходить в комендатуру, — сказал он, — так пожалуйста, если Печорин придет, пришлите за мной…»

Я обещался. Он побежал, как будто члены его получили вновь юношескую силу и гибкость.

Утро было свежее, но прекрасное. Золотые облака громоздились на горах, как новый ряд воздушных гор; перед воротами расстилалась широкая площадь; за нею базар кипел народом, потому что было воскресенье: босые мальчики осетины, неся за плечами котомки с сотовым медом, вертелись вокруг меня; я их прогнал: мне было не до них, я начинал разделять беспокойство доброго штабс-капитана.

Не прошло десяти минут, как на конце площади показался тот, которого мы ожидали. Он шел с полковником Н…, который, доведя его до гостиницы, простился с ним и поворотил в крепость. Я тотчас же послал инвалида за Максимом Максимычем.

Навстречу Печорина вышел его лакей и доложил, что сейчас станут закладывать; подал ему ящик с сигарами и, получив несколько приказаний, отправился хлопотать. Его господин, закурив сигару, зевнул раза два и сел на скамью по другую сторону ворот. Теперь я должен нарисовать его портрет.

Он был среднего роста; стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов, не побежденное ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными; пыльный бархатный сюртучок его, застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно чистое белье, изобличавшее привычки порядочного человека; его запачканные перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке, и когда он снял одну перчатку, то я был удивлен худобой его бледных пальцев. Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками, — верный признак некоторой скрытности характера. Впрочем это мои собственные замечания, основанные на моих же наблюдениях, и я вовсе не хочу вас заставить веровать в них слепо. Когда он опустился на скамью, то прямой стан его согнулся, как будто у него в спине не было ни одной косточки; положение всего его тела изобразило какую-то нервическую слабость; он сидел, как сидит бальзакова 30-летняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала*. С первого взгляда на лицо его я бы не дал ему более 23 лет, хотя после я готов был дать ему 30. В его улыбке было что-то детское. Его кожа имела какую-то женскую нежность; белокурые волосы, вьющиеся от природы, так живописно обрисовывали его бледный, благородный лоб, на котором, только по долгом наблюдении, можно было заметить следы морщин, пересекавших одна другую и, вероятно, обозначавшихся гораздо явственнее в минуты гнева или душевного беспокойства. Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были черные, — признак породы в человеке, так, как черная грива и черный хвост у белой лошади; чтоб докончить портрет, я скажу, что у него был немного вздернутый нос, зубы ослепительной белизны и карие глаза; об глазах я должен сказать еще несколько слов.

Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся! — Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей?.. Это признак или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его, непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен. Все эти замечания пришли мне на ум, может быть, только потому, что я знал некоторые подробности его жизни, и, может быть, на другого вид его произвел бы совершенно различное впечатление; но так как вы об нем не услышите ни от кого, кроме меня, то поневоле должны довольствоваться этим изображением. Скажу в заключение, что он был вообще очень недурен и имел одну из тех оригинальных физиогномий, которые особенно нравятся женщинам светским.

Лошади были уже заложены; колокольчик по временам звенел под дугою, и лакей уже два раза подходил к Печорину с докладом, что все готово, а Максим Максимыч еще не являлся. К счастию, Печорин был погружен в задумчивость, глядя на синие зубцы Кавказа, и, кажется, вовсе не торопился в дорогу. Я подошел к нему: «Если вы захотите еще немного подождать, — сказал я, — то будете иметь удовольствие увидаться с старым приятелем...»

— Ах, точно, — быстро отвечал он: — мне вчера говорили; но где же он? — Я обернулся к площади и увидел Максима Максимыча, бегущего что было мочи... Через несколько минут он был уже возле нас; он едва мог дышать, пот градом катился с лица его, мокрые клочки седых волос, вырвавшись из-под шапки, приклеились ко лбу его; колени его дрожали... он хотел кинуться на шею Печорину, но тот довольно холодно, хотя с приветливой улыбкой, протянул ему руку. Штабс-капитан на минуту остолбенел, но потом жадно схватил его руку обеими руками: он еще не мог говорить.

— Как я рад, дорогой Максим Максимыч. Ну, как вы поживаете? — сказал Печорин.

— А... ты... а вы? — пробормотал со слезами на глазах старик... — сколько лет... сколько дней... да куда это?..

— Еду в Персию — и дальше...

— Неужто сейчас?.. Да подождите, дражайший!.. Неужто сейчас расстанемся?.. Столько времени не видались...

— Мне пора, Максим Максимыч, — был ответ.

— Боже мой, боже мой! да куда это так спешите?.. Мне столько бы хотелось вам сказать... столько расспросить... Ну что? в отставке?.. как?.. что поделывали?..

— Скучал! — отвечал Печорин, улыбаясь.

— А помните наше житье-бытье в крепости? ...Славная страна для охоты!.. Ведь вы были страстный охотник стрелять... А Бэла?..

Печорин чуть-чуть побледнел и отвернулся...

— Да, помню! — сказал он, почти тотчас принужденно зевнув...

Максим Максимыч стал его упрашивать остаться с ним еще часа два. «Мы славно пообедаем, — говорил он: — у меня есть два фазана, а кахетинское здесь прекрасное... разумеется, не то, что в Грузии, однако лучшего сорта... Мы поговорим... вы мне расскажете про свое житье в Петербурге... А?..»

— Право, мне нечего рассказывать, дорогой Максим Максимыч... Однако прощайте, мне пора... я спешу... Благодарю, что не забыли... — прибавил он, взяв его за руку.

Старик нахмурил брови... Он был печален и сердит, хотя старался скрыть это. «Забыть! — проворчал он: — я-то не забыл ничего... Ну, да бог с вами!.. Не так я думал с вами встретиться...»

— Ну полно, полно! — сказал Печорин, обняв его дружески: — неужели я не тот же?.. Что делать?.. всякому своя дорога… Удастся ли еще встретиться — бог знает!.. — Говоря это, он уже сидел в коляске, и ямщик уже начал подбирать вожжи.

— Постой, постой! — закричал вдруг Максим Максимыч, ухватясь за дверцы коляски: — совсем было забыл… У меня остались ваши бумаги, Григорий Александрыч… я их таскаю с собой… думал найти вас в Грузии, а вот где Бог дал свидеться… Что мне с ними делать?..

— Что хотите! — отвечал Печорин. — Прощайте…

— Так вы в Персию?.. а когда вернетесь?.. — кричал вслед Максим Максимыч…

Коляска была уж далеко; но Печорин сделал знак рукой, который можно было перевести следующим образом: вряд ли! да и зачем?..

Давно уж не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колес по кремнистой дороге, а бедный старик еще стоял на том же месте в глубокой задумчивости.

— Да, — сказал он наконец, стараясь принять равнодушный вид, хотя слеза досады по временам сверкала на его ресницах; — конечно, мы были приятели, — ну, да что приятели в нынешнем веке!.. Что ему во мне? Я не богат, не чиновен, да и по летам совсем ему не пара… Вишь, каким он франтом сделался, как побывал опять в Петербурге… Что за коляска!.. сколько поклажи!.. и лакей такой гордый!.. — Эти слова были произнесены с иронической улыбкой. — Скажите, — продолжал он, обратясь ко мне, — ну что вы об этом думаете?.. ну какой бес несет его теперь в Персию?.. Смешно, ей-богу смешно!.. Да я всегда знал, что он ветреный человек, на которого нельзя надеяться… А, право, жаль, что он дурно кончит… да и нельзя иначе!.. Уж я всегда говорил, что нету проку в том, кто старых друзей забывает!.. — Тут он отвернулся, чтоб скрыть свое волнение, и пошел ходить по двору около своей повозки, показывая, будто осматривает колеса, тогда как глаза его поминутно наполнялись слезами.

— Максим Максимыч, — сказал я, подошедши к нему, — а что это за бумаги вам оставил Печорин?

— А Бог его знает! какие-то записки…

— Что вы из них сделаете?

— Что? а велю наделать патронов.

— Отдайте их лучше мне.

Он посмотрел на меня с удивлением, проворчал что-то сквозь зубы и начал рыться в чемодане; вот он вынул одну тетрадку и бросил ее с презрением на землю, потом другая, третья и десятая имели ту же участь: в его досаде было что-то детское; мне стало смешно и жалко…

— Вот они все, — сказал он: — поздравляю вас с находкою…

— И я могу делать с ними все, что хочу?

— Хоть в газетах печатайте! Какое мне дело?.. Что я разве друг его какой?.. или родственник? Правда, мы жили долго под одною кровлей… Да мало ли с кем я не жил?..

Я схватил бумаги и поскорее унес их, боясь, чтоб штабс-капитан не раскаялся. Скоро пришли нам объявить, что через час тронется оказия; я велел закладывать. Штабс-капитан вошел в комнату в то время, когда я уже надевал шапку; он, казалось, не готовился к отъезду; у него был какой-то принужденный, холодный вид.

— А вы, Максим Максимыч, разве не едете?

— Нет-с.

— А что так?

— Да я еще коменданта не видал, а мне надо сдать ему кой-какие казенные вещи…

— Да ведь вы же были у него?

— Был, конечно, — сказал он заминаясь… — да его дома не было… а я не дождался.

Я понял его: бедный старик, в первый раз от роду, может быть, бросил дела службы для *собственной надобности*, говоря языком бумажным, — и как же он был награжден!

— Очень жаль, — сказал я ему, — очень жаль, Максим Максимыч, что нам до срока надо расстаться.

— Где нам, необразованным старикам, за вами гоняться!.. Вы молодежь светская, гордая: еще пока здесь под черкесскими пулями, так вы туда-сюда… а после встретишься, так стыдитесь и руку протянуть нашему брату.

— Я не заслужил этих упреков, Максим Максимыч.

— Да я, знаете, так, к слову говорю; а впрочем, желаю вам всякого счастия и веселой дороги.

Мы простились довольно сухо. Добрый Максим Максимыч сделался упрямым, сварливым штабс-капитаном! И отчего? Оттого, что Печорин в рассеянности или от другой причины протянул ему руку, когда тот хотел кинуться ему на шею! Грустно видеть, когда юноша теряет лучшие свои надежды и мечты, когда пред ним отдергивается розовый флер, сквозь который он смотрел на дела и чувства человеческие, хотя есть надежда, что он заменит старые заблуждения новыми, не менее проходящими, но зато не менее сладкими… Но чем их заменить в лета Максима Максимыча? Поневоле сердце очерствеет и душа закроется…

Я уехал один.

Журнал Печорина

Предисловие

Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадовало: оно давало мне право печатать эти записки, и я воспользовался случаем поставить свое имя над чужим произведением. Дай Бог, чтоб читатели меня не наказали за такой невинный подлог!

Теперь я должен несколько объяснить причины, побудившие меня предать публике сердечные тайны человека, которого я никогда не знал. Добро бы я был еще его другом: коварная нескромность истинного друга — понятна каждому; но я видел его только раз в моей жизни на большой дороге, следовательно не могу питать к нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь под личиною дружбы, ожидает только смерти или несчастия любимого предмета, чтоб разразиться над его головою градом упреков, советов, насмешек и сожалений.

Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки. История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она — следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление. Исповедь Руссо имеет уже недостаток, что он читал ее своим друзьям.

Итак, одно желание пользы заставило меня напечатать отрывки из журнала, доставшегося мне случайно. Хотя я переменил все собственные имена, но те, о которых в нем говорится, вероятно себя узнают и, может быть, они найдут оправдания поступкам, в которых до сей поры обвиняли человека, уже не имеющего отныне ничего общего с здешним миром: мы почти всегда извиняем то, что понимаем.

Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина на Кавказе; в моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд света; но теперь я не смею взять на себя эту ответственность по многим важным причинам.

Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина? — Мой ответ — заглавие этой книги. — «Да это злая ирония!» — скажут они. — Не знаю.

I. Тамань

Тамань — самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить. Я приехал на перекладной тележке поздно ночью. Ямщик остановил усталую тройку у ворот единственного каменного дома, что при въезде. Часовой, черноморский казак, услышав звон колокольчика, закричал спросонья диким голосом: «кто идет?». Вышел урядник и десятник. Я им объяснил, что я офицер, еду в действующий отряд по казенной надобности, и стал требовать казенную квартиру. Десятник нас повел по городу. К которой избе ни подъедем — занята. Было холодно, я три ночи не спал, измучился и начинал сердиться. «Веди меня куда-нибудь, разбойник! хоть к черту, только к месту!» — закричал я. «Есть еще одна фатера, — отвечал десятник, почесывая затылок: — только вашему благородию не понравится, там нечисто». Не поняв точного значения последнего слова, я велел ему идти вперед, и после долгого странствования по грязным переулкам, где по сторонам я видел одни только ветхие заборы, мы подъехали к небольшой хате, на самом берегу моря.

Полный месяц светил на камышовую крышу и белые стены моего нового жилища; на дворе, обведенном оградой из булыжника, стояла избочась другая лачужка, менее и древнее первой. Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен ее, и внизу с беспрерывным ропотом плескались темно-синие волны. Луна тихо смотрела на беспокойную, но покорную ей стихию, и я мог различить при свете ее, далеко от берега, два корабля, которых черные снасти, подобно паутине, неподвижно рисовались на бледной черте небосклона. «Суда в пристани есть, — подумал я: — завтра отправлюсь в Геленджик».

При мне исправлял должность деньщика линейский казак. Велев ему выложить чемодан и отпустить извозчика, я стал звать хозяина — молчат; стучу — молчат... что это? Наконец из сеней выполз мальчик лет 14-ти.

«Где хозяин?» — «Нема». — «Как? совсем нету?» — «Совсим». — «А хозяйка?» — «Побигла в слободку». — «Кто же мне отопрет дверь?» — сказал я, ударив в нее ногою. Дверь сама отворилась, из хаты повеяло сыростью. Я засветил серную спичку и поднес ее к носу мальчика: она озарила два белые глаза. Он был слепой, совершенно слепой от природы. Он стоял передо мной неподвижно, и я начал рассматривать черты его лица.

Признаюсь, я имею сильное предубеждение противу всех слепых, кривых, глухих, немых, безногих, безруких, горбатых и проч. Я замечал, что всегда есть какое-то странное отношение между наружностью человека и его душою: как будто, с потерею члена, душа теряет какое-нибудь чувство.

Итак, я начал рассматривать лицо слепого; но что прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз? Долго я глядел на него с невольным сожалением, как вдруг едва приметная улыбка пробежала по тонким губам его, и, не знаю отчего, она произвела на меня самое неприятное впечатление. В голове моей родилось подозрение, что этот слепой не так слеп, как оно кажется; напрасно я старался уверить себя, что бельмы подделать невозможно, да и с какой целью? Но что делать? я часто склонен к предубеждениям…

«Ты хозяйский сын?» — спросил я его наконец. — «Ни». — «Кто же ты?» — «Сирота, убогой». — «А у хозяйки есть дети?» — «Ни, была дочь, да утикла за море с татарином». — «С каким татарином?» — «А бис его знает! крымский татарин, лодочник из Керчи».

Я взошел в хату: две лавки и стол, да огромный сундук возле печи составляли всю ее мебель. На стене ни одного образа — дурной знак! В разбитое стекло врывался морской ветер. Я вытащил из чемодана восковой огарок и, засветив его, стал раскладывать вещи, поставив в угол шашку и ружье, пистолеты положил на стол, разостлал бурку на лавке, казак свою на другой; через десять минут он захрапел, но я не мог заснуть: передо мной во мраке все вертелся мальчик с белыми глазами.

Так прошло около часу. Месяц светил в окно, и луч его играл по земляному полу хаты. Вдруг на яркой полосе, пересекающей пол, промелькнула тень. Я привстал и взглянул в окно: кто-то вторично пробежал мимо его и скрылся Бог знает куда. Я не мог полагать, чтоб это существо сбежало по отвесу берега, однако иначе ему некуда было деваться. Я встал, накинул бешмет, опоясал кинжал и тихо-тихо вышел из хаты; навстречу мне слепой мальчик. Я притаился у забора, и он верной, но осторожной поступью прошел мимо меня. Под мышкой он нес какой-то узел и, повернув к пристани, стал спускаться по узкой и крутой тропинке. «*В тот день немые возопиют и слепые прозрят*»*, подумал я, следуя за ним в таком расстоянии, чтоб не терять его из виду.

Между тем луна начала одеваться тучами, и на море поднялся туман; едва сквозь него светился фонарь на корме ближнего корабля; у берега сверкала пена валунов, ежеминутно грозящих его потопить. Я, с трудом спускаясь, пробирался по крутизне, и вот вижу: слепой приостановился, потом повернул низом направо; он шел так близко от воды, что, казалось, сейчас волна его схватит и унесет, но, видно, это была не первая его прогулка, судя по уверенности, с которой он ступал с камня на камень и избегал рытвин. Наконец он остановился, будто прислушиваясь к чему-то, присел на землю и положил возле себя узел. Я наблюдал за его движениями, спрятавшись за выдавшеюся скалою берега. Спустя несколько минут с противоположной стороны показалась белая фигура; она подошла к слепому и села возле него. Ветер по временам приносил мне их разговор.

«Что, слепой, — сказал женский голос: — буря сильна. Янко не будет». — «Янко не боится бури», — отвечал тот. — «Туман густеет», — возразил опять женский голос, с выражением печали. — «В тумане лучше пробраться мимо сторожевых судов», — был ответ. «А если он утонет?» — «Ну что ж? в воскресенье ты пойдешь в церковь без новой ленты».

Последовало молчание; меня, однако, поразило одно: слепой говорил со мною малороссийским наречием, а теперь изъяснялся чисто по-русски.

— Видишь, я прав, — сказал опять слепой, ударив в ладоши: — Янко не боится ни моря, ни ветров, ни тумана, ни береговых сторожей; прислушайся-ка: это не вода плещет, меня не обманешь, это его длинные весла.

Женщина вскочила и стала всматриваться в даль с видом беспокойства.

— Ты бредишь, слепой, — сказала она: — я ничего не вижу.

Признаюсь, сколько я ни старался различить вдалеке что-нибудь наподобие лодки, но безуспешно. Так прошло минут десять, и вот показалась между горами волн черная точка: она то увеличивалась, то уменьшалась. Медленно поднимаясь на хребты волн, быстро спускаясь с них, приближалась к берегу лодка. Отважен был пловец, решившийся в такую ночь пуститься через пролив на расстояние 20 верст, и важная должна быть причина, его к тому побудившая! Думая так, я с невольным биением сердца глядел на бедную лодку, но она, как утка, ныряла и потом, быстро взмахнув веслами, будто крыльями, выскакивала из пропасти среди брызгов пены; и вот, я думал, она ударится с размаха об берег и разлетится вдребезги, но она ловко повернулась боком и вскочила в маленькую бухту невредима. Из нее вышел человек среднего росту, в татарской бараньей шапке; он махнул рукою, и все трое принялись вытаскивать что-то из лодки; груз был так велик, что я до сих пор не понимаю, как она не потонула. Взяв на плечи каждый по узлу, они пустились вдоль по берегу, и скоро я потерял их из виду. Надо было вернуться домой; но, признаюсь, все эти странности меня тревожили, и я насилу дождался утра.

Казак мой был очень удивлен, когда, проснувшись, увидал меня совсем одетого; я ему, однако ж, не сказал причины. Полюбовавшись несколько времени из окна на голубое небо, усеянное разорванными облачками, на дальний берег Крыма, который тянется лиловой полосой и кончается утесом, на вершине коего белеется маячная башня, я отправился в крепость Фанагорию, чтоб узнать от коменданта о часе моего отъезда в Геленджик.

Но увы, комендант ничего не мог сказать мне решительного. Суда, стоящие в пристани, были все или сторожевые, или купеческие, которые еще даже не начинали нагружаться. «Может быть,

дни через три, четыре придет почтовое судно, — сказал комендант: — и тогда мы увидим». Я вернулся домой угрюм и сердит; меня в дверях встретил казак мой с испуганным лицом.

— Плохо, ваше благородие, — сказал он мне.

— Да, брат, бог знает, когда мы отсюда уедем. — Тут он еще больше встревожился и, наклонясь ко мне, сказал шепотом:

— Здесь нечисто! Я встретил сегодня черноморского урядника, он мне знаком, был прошлого года в отряде; как я ему сказал, где мы остановились, а он мне: «Здесь, брат, нечисто, люди недобрые!..» Да и в самом деле, что это за слепой! ходит везде один, и на базар за хлебом, и за водой… уж видно, здесь к этому привыкли.

— Да что ж? по крайней мере показалась ли хозяйка?

— Сегодня без вас пришла старуха и с ней дочь.

— Какая дочь? У нее нет дочери.

— А Бог ее знает, кто она, коли не дочь; да вон старуха сидит теперь в своей хате.

Я взошел в лачужку. Печь была жарко натоплена, и в ней варился обед, довольно роскошный для бедняков. Старуха на все мои вопросы отвечала, что она глуха, не слышит. Что было с ней делать? Я обратился к слепому, который сидел перед печью и подкладывал в огонь хворост. «Ну-ка, слепой чертенок, — сказал я, взяв его за ухо: — говори, куда ты ночью таскался с узлом, а?» Вдруг мой слепой заплакал, закричал, заохал: «Куды я ходив?.. никуды не ходив… с узлом? яким узлом?» Старуха на этот раз услышала и стала ворчать: «вот выдумывают, да еще на убогого! за что вы его? что он вам сделал?» Мне это надоело, и я вышел, твердо решившись достать ключ этой загадки.

Я завернулся в бурку и сел у забора на камень, поглядывая в даль; передо мной тянулось ночною бурею взволнованное море, однообразный шум его, подобный ропоту засыпающегося города, напомнил мне старые годы, перенес мои мысли на север, в нашу холодную столицу. Волнуемый воспоминаниями, я забылся… Так прошло около часу, может быть, и более… Вдруг что-то похожее на песню поразило мой слух. Точно, это была песня, и женский свежий голосок, — но откуда?.. Прислушиваюсь… напев странный, то протяжный и печальный, то быстрый и живой. Оглядываюсь — никого нет кругом; прислушиваюсь снова — звуки как будто падают с неба. Я поднял глаза: на крыше хаты моей стояла девушка в полосатом платье с распущенными косами, настоящая русалка. Защитив глаза ладонью от лучей солнца, она пристально всматривалась в даль, то смеялась и рассуждала сама с собой, то запевала снова песню.

Я запомнил эту песню от слова до слова:

Как по вольной волюшке —
По зелену морю,
Ходят все кораблики
Белопарусники.
Промеж тех корабликов
Моя лодочка,
Лодка неснащеная,
Двухвесельная.
Буря ль разыграется —
Старые кораблики
Приподымут крылушки,
По морю размечутся.
Стану морю кланяться
Я низехонько:
«Уж не тронь ты, злое море,
Мою лодочку:
Везет моя лодочка
Вещи драгоценные,
Правит ею в темну ночь
Буйная головушка».

Мне невольно пришло на мысль, что ночью я слышал тот же голос; я на минуту задумался, и когда снова посмотрел на крышу, девушки там не было. Вдруг она пробежала мимо меня, напевая что-то другое, и, прищелкивая пальцами, вбежала к старухе, и тут начался между ними спор. Старуха сердилась, она громко хохотала. И вот вижу, бежит опять вприпрыжку моя ундина; поравнявшись со мной, она остановилась и пристально посмотрела мне в глаза, как будто удивленная моим присутствием; потом небрежно обернулась и тихо пошла к пристани. Этим не кончилось: целый день она вертелась около моей квартиры: пеньё и прыганье не прекращались ни на минуту. Странное существо! На лице ее не было никаких признаков безумия; напротив, глаза ее с бойкою проницательностью останавлива-

лись на мне, и эти глаза, казалось, были одарены какою-то магнетическою властью, и всякий раз они как будто бы ждали вопроса. Но только я начинал говорить, она убегала, коварно улыбаясь.

Решительно, я никогда подобной женщины не видывал. Она была далеко не красавица, но я имею свои предубеждения также и насчет красоты. В ней было много породы… порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело; это открытие принадлежит Юной Франции*. Она, т.е. порода, а не Юная Франция, большею частию изобличается в поступи, в руках и ногах; особенно нос очень много значит. Правильный нос в России реже маленькой ножки. Моей певунье казалось не более 18 лет. Необыкновенная гибкость ее стана, особенное, ей только свойственное наклонение головы, длинные русые волосы, какой-то золотистый отлив ее слегка загорелой кожи на шее и плечах, и особенно правильный нос, — все это было для меня обворожительно. Хотя в ее косвенных взглядах я читал что-то дикое и подозрительное, хотя в ее улыбке было что-то неопределенное, но такова сила предубеждений: правильный нос свел меня с ума; я вообразил, что нашел Гетеву Миньону*, это причудливое создание его немецкого воображения; — и точно, между ими было много сходства: те же быстрые переходы от величайшего беспокойства к полной неподвижности, те же загадочные речи, те же прыжки, странные песни…

Под-вечер, остановив ее в дверях, я завел с нею следующий разговор:

«Скажи-ка мне, красавица, — спросил я: — что ты делала сегодня на кровле?» — «А смотрела, откуда ветер дует». — «Зачем тебе?» — «Откуда ветер, оттуда и счастье». — «Что же? разве ты песнью зазывала счастье?» — «Где поется, там и счастливится». — «А как неравно напоешь себе горе?» — «Ну что ж? где не будет лучше, там будет хуже, а от худа до добра опять не далеко». — «Кто ж тебя выучил эту песню?» — «Никто не выучил; вздумается — запою: кому услыхать, тот услышит, а кому не должно слышать, тот не поймет». — «А как тебя зовут, моя певунья?» — «Кто крестил, тот знает». — «А кто крестил?» — «Почему я знаю.» — «Экая скрытная! а вот я кое-что про тебя узнал». (Она не изменилась в лице, не пошевельнула губами, как будто не об ней дело). «Я узнал, что ты вчера ночью ходила на берег». И тут я очень важно пересказал ей все, что видел, думая смутить ее, — нимало! Она захохотала во все горло: «Много видели, да мало знаете, а что знаете, так держите под замочком». — «А если б я, например, вздумал донести коменданту?» — и тут я сделал очень серьезную, даже строгую мину. Она вдруг прыгнула, запела и скрылась, как птичка, выпугнутая из кустарника. Последние слова мои были вовсе не у места; я тогда не подозревал их важности, но впоследствии имел случай в них раскаяться.

Только что смерклось, я велел казаку нагреть чайник по-походному, засветил свечу и сел у стола, покуривая из дорожной трубки. Уж я заканчивал второй стакан чаю, как вдруг дверь скрыпнула, легкий шорох платья и шагов послышался за мной; я вздрогнул и обернулся, — то была она, моя ундина*; она села против меня тихо и безмолвно, и устремила на меня глаза свои, и, не знаю почему, но этот взор показался мне чудно нежен; он мне напомнил один из тех взглядов, которые в старые годы так самовластно играли моею жизнью. Она, казалось, ждала вопроса, но я молчал, полный неизъяснимого смущения. Лицо ее было покрыто тусклой бледностью, изобличавшей волнение душевное; рука ее без цели бродила по столу, и я заметил на ней легкий трепет; грудь ее то высоко поднималась, то, казалось, она удерживала дыхание. Эта комедия начинала мне надоедать, и я готов был прервать молчание самым прозаическим образом, то есть предложить ей стакан чаю, как вдруг она вскочила, обвила руками мою шею, и влажный, огненный поцелуй прозвучал на губах моих. В глазах у меня потемнело, голова закружилась, я сжал ее в моих объятиях со всею силою юношеской страсти, но она, как змея, скользнула между моими руками, шепнув мне на ухо: «нынче ночью, как все уснут, выходи на берег» — и стрелою выскочила из комнаты. В сенях она опрокинула чайник и свечу, стоявшую на полу. «Экой бес девка!» — закричал казак, расположившийся на соломе и мечтавший согреться остатками чая. Только тут я опомнился.

Часа через два, когда все на пристани умолкло, я разбудил своего казака. «Если я выстрелю из пистолета, — сказал я ему, — то беги на берег». Он выпучил глаза и машинально отвечал: «слушаю, ваше благородие». Я заткнул за пояс пистолет и вышел. Она дожидалась меня на краю спуска; ее одежда была более нежели легкая, небольшой платок опоясывал ее гибкий стан.

— Идите за мной, — сказала она, взяв меня за руку, и мы стали спускаться. Не понимаю, как я не сломил себе шеи; внизу мы повернули направо и пошли по той же дороге, где накануне я следовал за слепым. Месяц еще не вставал, и только две звездочки, как два спасительные маяка, сверкали на темно-синем своде. Тяжелые волны мерно и ровно катились одна за другой, едва приподымая одинокую лодку, причаленную к берегу. «Взойдем в лодку», — сказала моя спутница; я колебался, я не охотник до сентиментальных прогулок по морю, но отступать было не время. Она прыгнула в лодку, я за ней, и не успел еще опомниться, как заметил, что мы плывем. «Что это значит?» — сказал я сердито. — «Это значит, — отвечала она, сажая меня на скамью и обвив мой стан руками: — это значит, что я тебя люблю»… И щека ее прижалась к моей, и я почувствовал на лице моем ее пламенное дыхание. Вдруг что-то шумно упало в воду: я хвать за пояс — пистолета нет. О, тут ужасное подозрение закралось мне в душу, кровь хлынула мне в голову. Оглядываюсь — мы от берега около пятидесяти сажен, а я не умею плавать! Хочу ее оттолкнуть от себя — она как кошка вцепилась в мою одежду,

и вдруг сильный толчок едва не сбросил меня в море. Лодка закачалась, но я справился, и между нами началась отчаянная борьба; бешенство придавало мне силы, но я скоро заметил, что уступаю моему противнику в ловкости… «Чего ты хочешь?» — закричал я, крепко сжав ее маленькие руки; пальцы ее хрустели, но она не вскрикнула: ее змеиная натура выдержала эту пытку.

— Ты видел, — отвечала она: — ты донесешь, — и сверхъестественным усилием повалила меня на борт; мы оба по пояс свесились из лодки, ее волосы касались воды, минута была решительная. Я уперся коленкою в дно, схватил ее одной рукой за косу, другой за горло, она выпустила мою одежду, и я мгновенно сбросил ее в волны.

Было уже довольно темно; голова ее мелькнула раза два среди морской пены, и больше я ничего не видал.

На дне лодки я нашел половину старого весла, и кое-как, после долгих усилий, причалил к пристани. Пробираясь берегом к своей хате, я невольно всматривался в ту сторону, где накануне слепой дожидался ночного пловца; луна уже катилась по небу, и мне показалось, что кто-то в белом сидел на берегу; я подкрался, подстрекаемый любопытством, и прилег в траве над обрывом берега; высунув немного голову, я мог хорошо видеть с утеса все, что внизу делалось, и не очень удивился, а почти обрадовался, узнав мою русалку. Она выжимала морскую пену из длинных волос своих, мокрая рубашка обрисовывала гибкий стан ее и высокую грудь. Скоро показалась в дали лодка, быстро приблизилась она; из нее, как накануне, вышел человек в татарской шапке, но стрижен он был по-казацки, и за ременным поясом его торчал большой нож. «Янко, — сказала она: — все пропало!» Потом разговор их продолжался, но так тихо, что я ничего не мог расслушать. — «А где же слепой?» — сказал наконец Янко, возвыся голос. «Я его послала», — был ответ. Через несколько минут явился слепой, таща на спине мешок, который положили в лодку.

«Послушай, слепой! — сказал Янко: — ты береги то место… знаешь? там богатые товары… скажи (имени я не расслышал), что я ему больше не слуга; дела пошли худо, он меня больше не увидит; теперь опасно; поеду искать работы в другом месте, а ему уж такого удальца не найти. Да скажи, кабы он получше платил за труды, так и Янко бы его не покинул, а мне везде дорога, где только ветер дует и море шумит. — После некоторого молчания Янко продолжал: — Она поедет со мною, ей нельзя здесь оставаться, а старухе скажи, что, дескать, пора умирать, зажилась, надо знать и честь. Нас же больше не увидит».

— А я? — сказал слепой жалобным голосом.

— На что мне тебя? — был ответ.

Между тем моя ундина вскочила в лодку и махнула товарищу рукою; он что-то положил слепому в руку, примолвив: «На, купи себе пряников». — «Только?» — сказал слепой. — «Ну вот тебе еще», — и упавшая монета зазвенела, ударясь о камень. Слепой ее не поднял. Янко сел в лодку, ветер дул от берега, они подняли маленький парус и быстро понеслись. Долго при свете месяца мелькал белый парус между темных волн; слепой все сидел на берегу, и вот мне послышалось что-то похожее на рыдание; слепой мальчик точно плакал, и долго, долго… Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг *честных контрабандистов* ? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие, и как камень едва сам не пошел ко дну!

Я возвратился домой. В сенях трещала догоревшая свеча в деревянной тарелке, и казак мой, вопреки приказанию, спал крепким сном, держа ружье обеими руками. Я его оставил в покое, взял свечу и пошел в хату. Увы! моя шкатулка, шашка с серебряной оправой, дагестанский кинжал, — подарок приятеля, — все исчезло. Тут-то я догадался, какие вещи тащил проклятый слепой. Разбудив казака довольно невежливым толчком, я побранил его, посердился, а делать было нечего! И не смешно ли было бы жаловаться начальству, что слепой мальчик меня обокрал, а восьмнадцатилетняя девушка чуть-чуть не утопила?

Слава Богу, поутру явилась возможность ехать, и я оставил Тамань. Что сталось с старухой и с бедным слепым — не знаю. Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности!..

Конец первой части

Часть вторая

II. Княжна Мери

11-го мая.

Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться до моей кровли. Нынче в пять часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с трех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бешту синеет, как

«последняя туча рассеянной бури»*; на север подымается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона. На восток смотреть веселее: внизу передо мною пестреет чистенький, новенький городок; шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа, — а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы все синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом. — Весело жить в такой земле! Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо синё, — чего бы, кажется, больше? — зачем тут страсти, желания, сожаления? — Однако пора. Пойду к Елизаветинскому источнику: там, говорят, утром собирается все водяное общество……

Спустясь в середину города, я пошел бульваром, где встретил несколько печальных групп, медленно подымающихся в гору: то были большею частию семейства степных помещиков; об этом можно было тотчас догадаться по истертым, старомодным сюртукам мужей и по изысканным нарядам жен и дочерей; видно, у них вся *водяная* молодежь была уже на перечете, потому что они на меня посмотрели с нежным любопытством: петербургский покрой сюртука ввел их в заблуждение, но скоро, узнав армейские эполеты, они с негодованием отвернулись*.

Жены местных властей, так сказать хозяйки вод, были благосклоннее; у них есть лорнеты, они менее обращают внимания на мундир, они привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум. Эти дамы очень милы; и долго милы! Всякий год их обожатели сменяются новыми, и в этом-то, может быть, секрет их неутомимой любезности. Подымаясь по узкой тропинке к Елизаветинскому источнику, я обогнал толпу мужчин штатских и военных, которые, как я узнал после, составляют особенный класс людей между чающими движения воды. Они пьют — однако не воду, гуляют мало, волочатся только мимоходом… Они играют и жалуются на скуку. Они франты: опуская свой оплетенный стакан в колодец кислосерной воды, они принимают академические позы; штатские носят светло-голубые галстуки, военные выпускают из-за воротника брызжи. Они исповедывают глубокое презрение к провинциальным домам и вздыхают о столичных аристократических гостиных, куда их не пускают.

Наконец вот и колодец!.. На площадке близ него построен домик с красной кровлею над ванной, а подальше галерея, где гуляют во время дождя. Несколько раненых офицеров сидели на лавке, подобрав костыли, бледные, грустные. Несколько дам скорыми шагами ходили взад и вперед по площадке, ожидая действия вод. Между ними были два-три хорошеньких личика. Под виноградными аллеями, покрывающими скат Машука, мелькали порою пестрые шляпки любительниц уединения вдвоем, потому что всегда возле такой шляпки я замечал или военную фуражку или безобразную круглую шляпу. На крутой скале, где построен павильон, называемый Эоловой Арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эльборус; между ними было два гувернера с своими воспитанниками, приехавшими лечиться от золотухи.

Я остановился, запыхавшись, на краю горы, и, прислонясь к углу домика, стал рассматривать живописную окрестность, как вдруг слышу за собой знакомый голос:

— Печорин! Давно ли здесь?

Оборачиваюсь: Грушницкий! Мы обнялись. Я познакомился с ним в действующем отряде. Он был ранен пулей в ногу и поехал на воды с неделю прежде меня.

Грушницкий — юнкер. Он только год в службе, носит, по особенному роду франтовства, толстую солдатскую шинель. У него георгиевский солдатский крестик. Он хорошо сложен, смугл и черноволос; ему на вид можно дать 25 лет, хотя ему едва ли 21 год. Он закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правою опирается на костыль. Говорит он скоро и вычурно: он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, которых просто прекрасное не трогает и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект — их наслаждение: они нравятся романтическим провинциалкам до безумия. Под старость они делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами, — иногда тем и другим. В их душе часто много добрых свойств, но ни на грош поэзии. Грушницкого страсть была декламировать: он закидывал вас словами, как скоро разговор выходил из круга обыкновенных понятий; спорить с ним я никогда не мог. Он не отвечает на ваши возражения, он вас не слушает. Только что вы остановитесь, он начинает длинную тираду, по-видимому имеющую какую-то связь с тем, что вы сказали, но которая в самом деле есть только продолжение его собственной речи.

Он довольно остер; эпиграммы его часто забавны, но никогда не бывают метки и злы: он никого не убьет одним словом; он не знает людей и их слабых струн, потому что занимался целую жизнь одним собою. Его цель — сделаться героем романа. Он так часто старался уверить других в том, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданиям, что он сам почти в этом уверился. Оттого-то он так гордо носит свою толстую солдатскую шинель. — Я его понял, и он за это меня не любит, хотя мы наружно в самых дружеских отношениях. Грушницкий слывет отличным храбрецом; я его видел в деле: он махает шашкой, кричит и бросается вперед зажмуря глаза. Это что-то не русская храбрость!..

Я его также не люблю: я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дороге, и одному из нас не сдобровать.

Приезд его на Кавказ — также следствие его романтического фанатизма: я уверен, что накануне отъезда из отцовской деревни он говорил с мрачным видом какой-нибудь хорошенькой соседке, что он едет не так, просто, служить, но что ищет смерти, потому что… тут он, верно, закрыл глаза рукою и продолжал так: «нет, вы (или ты) этого не должны знать!.. Ваша чистая душа содрогнется!.. Да и к чему?.. Что я для вас! — Поймете ли вы меня?..» — и так далее.

Он мне сам говорил, что причина, побудившая его вступить в К… полк, останется вечною тайной между им и небесами.

Впрочем в те минуты, когда сбрасывает трагическую мантию, Грушницкий довольно мил и забавен. Мне любопытно видеть его с женщинами: тут-то он, я думаю, старается!

Мы встретились старыми приятелями. Я начал его расспрашивать об образе жизни на водах и о примечательных лицах.

— Мы ведем жизнь довольно прозаическую, — сказал он вздохнув. — Пьющие утром воду вялы, как все больные, а пьющие вино повечеру несносны, как все здоровые. Женские общества есть, только от них небольшое утешение: они играют в вист, одеваются дурно и ужасно говорят по-французски. Нынешний год из Москвы одна только княгиня Лиговская с дочерью; но я с ними незнаком. Моя солдатская шинель — как печать отвержения. Участие, которое она возбуждает, тяжело, как милостыня.

В эту минуту прошли к колодцу мимо нас две дамы: одна пожилая, другая молоденькая, стройная. Их лиц за шляпками я не разглядел, но они одеты были по строгим правилам лучшего вкуса: ничего лишнего! — На второй было закрытое платье gris de perles[1]; легкая шелковая косынка вилась вокруг ее гибкой шеи. Ботинки *couleur puce*[2] стягивали у щиколотки ее сухощавую ножку так мило, что даже не посвященный в таинства красоты непременно бы ахнул хотя от удивленья. Ее легкая, но благородная походка имела в себе что-то девственное, ускользающее от определения, но понятное взору. Когда она прошла мимо нас, от нее повеяло тем неизъяснимым ароматом, которым дышит иногда записка милой женщины.

— Вот княгиня Лиговская, — сказал Грушницкий: — и с нею дочь ее Мери, как она ее называет на английский манер. Они здесь только три дня.

— Однако ты уж знаешь ее имя?

— Да, я случайно слышал, — отвечал он, покраснев. — Признаюсь, я не желаю с ними познакомиться; эта гордая знать смотрит на нас, армейцев, как на диких. И какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью?

— Бедная шинель! — сказал я, усмехаясь. — А кто этот господин, который к ним подходит и так услужливо подает им стаканы?

— О! это московский франт Раевич! Он игрок: это видно тотчас по золотой огромной цепи, которая извивается по его голубому жилету. А что за толстая трость: точно у Робинзона Крузое!* Да и борода кстати, и прическа à la mougik.[3]

— Ты озлоблен против всего рода человеческого.

— И есть за что…

— О! право?

В это время дамы отошли от колодца и поравнялись с нами. Грушницкий успел принять драматическую позу с помощью костыля и громко отвечал мне по-французски:

— Mon cher, je haïs les hommes pour ne pas les mépriser, car autrement la vie serait une farce trop dégoûtante.[4]

Хорошенькая княжна обернулась и подарила оратора долгим любопытным взором. Выражение этого взора было очень неопределенно, но не насмешливо, с чем я внутренно от души его поздравил.

— Эта княжна Мери прехорошенькая, — сказал я ему. — У нее такие бархатные глаза, — именно бархатные, я тебе советую присвоить это выражение, говоря об ее глазах: нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. Я люблю эти глаза без блеска, они так мягки, они будто бы тебя гладят. — Впрочем, кажется, в ее лице только и есть хорошего… А что у нее зубы белы? Это очень важно! Жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу.

— Ты говоришь о хорошенькой женщине, как об английской лошади, — сказал Грушницкий с негодованием.

---

[1] Серо-жемчужное (*франц.*) — *Ред.*
[2] Красновато-бурого цвета (цвет блохи) (*франц.*) — *Ред.*
[3] По-мужицки (*франц.*) — *Ред.*
[4] Мой милый, я ненавижу людей для того, чтобы не презирать их, ибо иначе жизнь была бы слишком отвратительным фарсом (*франц.*) — *Ред.*

— Mon cher, — отвечал я ему, стараясь подделаться под его тон: — je méprise les femmes pour ne pas les aimer, car autrement la vie serait un mélodrame trop ridicule.[1]

Я повернулся и пошел от него прочь. С полчаса гулял я по виноградным аллеям, по известчатым скалам и висящим между них кустарникам. Становилось жарко, и я поспешил домой. Проходя мимо кислосерного источника, я остановился у крытой галереи, чтоб вздохнуть под ее тенью, и это доставило мне случай быть свидетелем довольно любопытной сцены. Действующие лица находились вот в каком положении. Княгиня с московским франтом сидела на лавке в крытой галерее, и оба были заняты, кажется, серьезным разговором. Княжна, вероятно допив уж последний стакан, прохаживалась задумчиво у колодца. Грушницкий стоял у самого колодца; больше на площадке никого не было.

Я подошел ближе и спрятался за угол галереи. В эту минуту Грушницкий уронил свой стакан на песок и усиливался нагнуться, чтоб его поднять: больная нога ему мешала. Бедняжка! как он ухитрялся, опираясь на костыль, и все напрасно. Выразительное лицо его в самом деле изображало страдание.

Княжна Мери видела все это лучше меня.

Легче птички она к нему подскочила, нагнулась, подняла стакан и подала ему с телодвижением, исполненным невыразимой прелести; потом ужасно покраснела, оглянулась на галерею и, убедившись, что ее маменька ничего не видала, кажется, тотчас же успокоилась. Когда Грушницкий открыл рот, чтоб поблагодарить ее, она была уже далеко. Через минуту она вышла из галереи с матерью и франтом, но, проходя мимо Грушницкого, приняла вид такой чинный и важный, — даже не обернулась, даже не заметила его страстного взгляда, которым он долго ее провожал, пока, спустившись с горы, она не скрылась за липками бульвара… Но вот ее шляпка мелькнула через улицу; она вбежала в вороты одного из лучших домов Пятигорска; за нею прошла княгиня и у ворот раскланялась с Раевичем.

Только тогда бедный страстный юнкер заметил мое присутствие.

— Ты видел? — сказал он, крепко пожимая мне руку: — это просто ангел!

— Отчего? — спросил я с видом чистейшего простодушия.

— Разве ты не видал?

— Нет, видел: она подняла твой стакан. Если б был тут сторож, то он сделал бы то же самое, и еще поспешнее, надеясь получить на водку. Впрочем очень понятно, что ей стало тебя жалко: ты сделал такую ужасную гримасу, когда ступил на простреленную ногу…

— И ты не был нисколько тронут, глядя на нее в эту минуту, когда душа сияла на лице ее?..

— Нет.

Я лгал. Но мне хотелось его побесить. У меня врожденная страсть противуречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противуречий сердцу или рассудку. Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом, и, я думаю, частые сношения с вялым флегматиком сделали бы из меня страстного мечтателя. Признаюсь еще, чувство неприятное, но знакомое пробежало слегка в это мгновение по моему сердцу: это чувство — было зависть; я говорю смело «зависть», потому что привык себе во всем признаваться. И вряд ли найдется молодой человек, который, встретив хорошенькую женщину, приковавшую его праздное внимание и вдруг явно при нем отличившую другого, ей равно незнакомого, вряд ли, говорю, найдется такой молодой человек (разумеется, живший в большом свете и привыкший баловать свое самолюбие), который бы не был этим поражен неприятно.

Молча с Грушницким спустились мы с горы и прошли по бульвару мимо окон дома, где скрылась наша красавица. Она сидела у окна. Грушницкий, дернув меня за руку, бросил на нее один из тех мутно-нежных взглядов, которые так мало действуют на женщин. Я навел на нее лорнет и заметил, что она от его взгляда улыбнулась, а что мой дерзкий лорнет рассердил ее не на шутку. И как, в самом деле, смеет кавказский армеец наводить стеклышко на московскую княжну!..

13-го мая.

Нынче поутру зашел ко мне доктор; его имя Вернер, но он русский. Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец.

Вернер человек замечательный по многим причинам. Он скептик и матерьялист, как все почти медики, а вместе с этим поэт, и не на шутку, — поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизнь свою не написал двух стихов. Он изучал все живые струны сердца человеческого, как изучают жилы трупа, но никогда не умел он воспользоваться своим знанием. Так иногда отличный анатомик не умеет вылечить от лихорадки. Обыкновенно Вернер исподтишка насмехался над своими больными, но я раз видел, как он плакал над умирающим солдатом. Он был беден, мечтал о миллионах, а для денег не сделал бы лишнего шагу: он мне раз говорил, что скорее сделает одолжение врагу,

[1] Мой милый, я презираю женщин для того, чтобы их не любить, ибо иначе жизнь была бы слишком смехотворной мелодрамой (*франц.*) — *Ред.*

чем другу, потому что это значило бы продавать свою благотворительность, тогда как ненависть только усилится соразмерно великодушию противника. У него был злой язык: под вывескою его эпиграммы не один добряк прослыл пошлым дураком; его соперники, завистливые водяные медики, распустили слух, будто он рисует карикатуры на своих больных, — больные взбеленились! — почти все ему отказали. Его приятели, то есть все истинно порядочные люди, служившие на Кавказе, напрасно старались восстановить его упадший кредит.

Его наружность была из тех, которые с первого взгляда поражают неприятно, но которые нравятся впоследствии, когда глаз выучится читать в неправильных чертах отпечаток души испытанной и высокой. Бывали примеры, что женщины влюблялись в таких людей до безумия и не променяли бы их безобразия на красоту самых свежих и розовых эндимионов. Надобно отдать справедливость женщинам: они имеют инстинкт красоты душевной; оттого-то, может быть, люди, подобные Вернеру, так страстно любят женщин.

Вернер был мал ростом и худ и слаб, как ребенок; одна нога была у него короче другой, как у Байрона; в сравнении с туловищем голова его казалась огромна: он стриг волосы под гребенку, и неровности его черепа, обнаруженные таким образом, поразили бы френолога странным сплетением противоположных наклонностей. Его маленькие черные глаза, всегда беспокойные, старались проникнуть в ваши мысли. В его одежде заметны были вкус и опрятность; его худощавые, жилистые и маленькие руки красовались в светло-желтых перчатках. Его сюртук, галстук и жилет были постоянно черного цвета. Молодежь прозвала его Мефистофелем; он показывал, будто сердился на это прозвание, но в самом деле оно льстило его самолюбию. Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями, потому что я к дружбе неспособен. Из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается; — рабом я быть не могу, а повелевать в этом случае — труд утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать; да притом у меня есть лакеи и деньги! Вот как мы сделались приятелями: я встретил Вернера в С… среди многочисленного и шумного круга молодежи; разговор принял под конец вечера философско-метафизическое направление; толковали об убеждениях: каждый был убежден в разных разностях.

— Что до меня касается, то я убежден только в одном, — сказал доктор.

— В чем это? — спросил я, желая узнать мнение человека, который до сих пор молчал.

— В том, — отвечал он, — что рано или поздно в одно прекрасное утро я умру.

— Я богаче вас, — сказал я: — у меня, кроме этого, есть еще убеждение, — именно то, что я в один прегадкий вечер имел несчастие родиться.

Все нашли, что мы говорим вздор, а право, из них никто ничего умнее этого не сказал. С этой минуты мы отличили в толпе друг друга. Мы часто сходились вместе и толковали вдвоем об отвлеченных предметах очень серьезно, пока не замечали оба, что мы взаимно друг друга морочим. Тогда, посмотрев значительно друг другу в глаза, как делали римские авгуры, по словам Цицерона*, мы начинали хохотать и, нахохотавшись, расходились, довольные своим вечером.

Я лежал на диване, устремив глаза в потолок и заложив руки под затылок, когда Вернер взошел в мою комнату. Он сел в кресла, поставил трость в угол, зевнул и объявил, что на дворе становится жарко. Я отвечал, что меня беспокоят мухи, — и мы оба замолчали.

— Заметьте, любезный доктор, — сказал я, — что без дураков было бы на свете очень скучно!.. Посмотрите: вот нас двое умных людей, мы знаем заране, что обо всем можно спорить до бесконечности, и потому не спорим; мы знаем почти все сокровенные мысли друг друга, одно слово для нас целая история, видим зерно каждого нашего чувства сквозь тройную оболочку. Печальное нам смешно, смешное грустно, а вообще, по правде, мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя. Итак, размена чувств и мыслей между нами не может быть, мы знаем один о другом все, что хотим знать, и знать больше не хотим. Остается одно средство: рассказывать новости. — Скажите же мне какую-нибудь новость!

Утомленный долгой речью, я закрыл глаза и зевнул…

Он отвечал, подумавши:

— В вашей галиматье, однако ж, есть идея!

— Две, — отвечал я.

— Скажите мне одну, я вам скажу другую.

— Хорошо, начинайте! — сказал я, продолжая рассматривать потолок и внутренно улыбаясь.

— Вам хочется знать какие-нибудь подробности насчет кого-нибудь из приехавших на воды, и я уж отгадываю, о ком вы это заботитесь, потому что об вас там уже спрашивали.

— Доктор! решительно нам нельзя разговаривать: мы читаем в душе друг друга.

— Теперь другая…

— Другая идея вот: мне хотелось вас заставить рассказать что-нибудь, во-первых потому, что слушать менее утомительно, во-вторых, нельзя проговориться, в-третьих, можно узнать чужую тайну, в-четвертых, потому, что такие умные люди, как вы, лучше любят слушателей, чем рассказчиков. Теперь к делу: что вам сказала княгиня Лиговская обо мне?

— Вы очень уверены, что это княгиня, а не княжна?..

— Совершенно убежден.

— Почему?

— Потому что княжна спрашивала о Грушницком.

— У вас большой дар соображения. Княжна сказала, что она уверена, что этот молодой человек в солдатской шинели разжалован в солдаты за дуэль…

— Надеюсь, вы ее оставили в этом приятном заблуждении…

— Разумеется.

— Завязка есть! — закричал я в восхищении: — об развязке этой комедии мы похлопочем. Явно судьба заботится об том, чтоб мне не было скучно.

— Я предчувствую, — сказал доктор, — что бедный Грушницкий будет вашей жертвой…

— Дальше, доктор…

— Княгиня сказала, что ваше лицо ей знакомо… Я ей заметил, что, верно, она вас встречала в Петербурге, где-нибудь в свете… я сказал ваше имя… Оно было ей известно. Кажется, ваша история там наделала много шума! Княгиня стала рассказывать о ваших похождениях, прибавляя, вероятно, к светским сплетням свои замечания… Дочка слушала с любопытством. В ее воображении вы сделались героем романа в новом вкусе… Я не противуречил княгине, хотя знал, что она говорит вздор.

— Достойный друг! — сказал я, протянув ему руку. Доктор пожал ее с чувством и продолжал:

— Если хотите, я вас представлю…

— Помилуйте! — сказал я, всплеснув руками: — разве героев представляют? Они не иначе знакомятся, как спасая от верной смерти свою любезную…

— И вы в самом деле хотите волочиться за княжной?..

— Напротив, совсем напротив!.. Доктор, наконец я торжествую: вы меня не понимаете!.. Это меня, впрочем, огорчает, доктор, — продолжал я после минуты молчания: — я никогда сам не открываю моих тайн, а ужасно люблю, чтоб их отгадывали, потому что таким образом я всегда могу при случае от них отпереться. Однако ж, вы мне должны описать маменьку с дочкой. Что они за люди?

— Во-первых, княгиня — женщина 45 лет, — отвечал Вернер: — у нее прекрасный желудок, но кровь испорчена: на щеках красные пятна. Последнюю половину своей жизни она провела в Москве, и тут на покое растолстела. Она любит соблазнительные анекдоты и сама говорит иногда неприличные вещи, когда дочери нет в комнате. Она мне объявила, что дочь ее невинна, как голубь. Какое мне дело?.. Я хотел ей отвечать, чтоб она была спокойна, что я никому этого не скажу! Княгиня лечится от ревматизма, а дочь Бог знает от чего: я велел обеим пить по два стакана в день кислосерной воды и купаться два раза в неделю в разводной ванне. Княгиня, кажется, не привыкла повелевать: она питает уважение к уму и знаниям дочки, которая читала Байрона по-английски и знает алгебру; в Москве, видно, барышни пустились в ученость и хорошо делают, — право! Наши мужчины так не любезны вообще, что с ними кокетничать должно быть для умной женщины несносно. — Княгиня очень любит молодых людей; княжна смотрит на них с некоторым презрением: московская привычка! — Они в Москве только и питаются, что сорокалетними остряками.

— А вы были в Москве, доктор?

— Да, я имел там некоторую практику.

— Продолжайте.

— Да я, кажется, все сказал… Да! вот еще: княжна, кажется, любит рассуждать о чувствах, страстях и проч… она была одну зиму в Петербурге, и он ей не понравился, особенно общество: ее, верно, холодно приняли.

— Вы никого у них не видали сегодня?

— Напротив: был один адъютант, один натянутый гвардеец и какая-то дама из новоприезжих, родственница княгини по муже, очень хорошенькая, но очень, кажется, больная… Не встретили ль вы ее у колодца? — она среднего роста, блондинка, с правильными чертами, цвет лица чахоточный, а на правой щеке черная родинка: ее лицо меня поразило своей выразительностию.

— Родинка! — пробормотал я сквозь зубы. — Неужели?

Доктор посмотрел на меня и сказал торжественно, положив мне руку на сердце: «Она вам знакома». Мое сердце, точно, билось сильнее обыкновенного.

— Теперь ваша очередь торжествовать, — сказал я: — только я на вас надеюсь: вы мне не измените. Я ее не видал еще, но уверен, узнаю в вашем портрете одну женщину, которую любил в старину. — Не говорите ей обо мне ни слова; если она спросит, относитесь обо мне дурно.

— Пожалуй, — сказал Вернер, пожав плечами.

Когда он ушел, то ужасная грусть стеснила мое сердце. Судьба ли нас свела опять на Кавказе, или она нарочно сюда приехала, зная, что меня встретит?.. и как мы встретимся?.. и потом, она ли это?.. Мои предчувствия меня никогда не обманывали. Нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как надо мной: всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки; я глупо создан: ничего не забываю, ничего.

После обеда часов в шесть я пошел на бульвар: там была толпа; княгиня с княжной сидели на скамье, окруженные молодежью, которая любезничала наперерыв. Я поместился в некотором расстоянии на другой лавке, остановил двух знакомых Д... офицеров и начал им что-то рассказывать; видно, было смешно, потому что они начали хохотать как сумасшедшие. Любопытство привлекло ко мне некоторых из окружавших княжну; мало-помалу и все ее покинули и присоединились к моему кружку. Я не умолкал: мои анекдоты были умны до глупости, мои насмешки над проходящими мимо оригиналами были злы до неистовства... Я продолжал увеселять публику до захождения солнца. Несколько раз княжна под ручку с матерью проходила мимо меня, сопровождаемая каким-то хромым старичком; несколько раз ее взгляд, упадая на меня, выражал досаду, стараясь выразить равнодушие...

— Что он вам рассказывал? — спросила она у одного из молодых людей, возвратившихся к ней из вежливости: — верно очень занимательную историю — свои подвиги в сражениях?.. — Она сказала это довольно громко и, вероятно, с намерением кольнуть меня. «А-га! — подумал я: — вы не на шутку сердитесь, милая княжна; погодите, то ли еще будет!»

Грушницкий следил за нею, как хищный зверь, и не спускал ее с глаз: бьюсь об заклад, что завтра он будет просить, чтоб его кто-нибудь представил княгине. Она будет очень рада, потому что ей скучно.

16-го мая.

В продолжение двух дней мои дела ужасно подвинулись. Княжна меня решительно ненавидит; мне уже пересказали две-три эпиграммы на мой счет, довольно колкие, но вместе очень лестные. Ей ужасно странно, что я, который привык к хорошему обществу, который так короток с ее петербургскими кузинами и тетушками, не стараюсь познакомиться с нею. Мы встречаемся каждый день у колодца, на бульваре; я употребляю все свои силы на то, чтоб отвлекать ее обожателей, блестящих адъютантов, бледных москвичей и других, — и мне почти всегда удается. Я всегда ненавидел гостей у себя, — теперь у меня каждый день полон дом, обедают, ужинают, играют — и, увы, мое шампанское торжествует над силою магнетических ее глазок.

Вчера я ее встретил в магазине Челахова; она торговала чудесный персидский ковер. Княжна упрашивала свою маменьку не скупиться: этот ковер так украсил бы ее кабинет!.. Я дал 40 рублей лишних и перекупил его; за это я был вознагражден взглядом, где блистало самое восхитительное бешенство. Около обеда я велел нарочно провести мимо ее окон мою черкесскую лошадь, покрытую этим ковром. Вернер был у них в это время и говорил мне, что эффект этой сцены был самый драматический. Княжна хочет проповедовать против меня ополчение: я даже заметил, что уж два адъютанта при ней со мною очень сухо кланяются, однако всякий день у меня обедают.

Грушницкий принял таинственный вид: ходит, закинув руки за спину, и никого не узнает; нога его вдруг выздоровела: он едва хромает. Он нашел случай вступить в разговор с княгиней и сказать какой-то комплимент княжне: она, видно, не очень разборчива, ибо с тех пор отвечает на его поклон самой милой улыбкою.

— Ты решительно не хочешь познакомиться с Лиговскими? — сказал он мне вчера.

— Решительно.

— Помилуй, самый приятный дом на водах! Все здешнее лучшее общество!..

— Мой друг, мне и нездешнее ужасно надоело. А ты у них бываешь?

— Нет еще; я говорил раза два с княжной и более, но знаешь, как-то напрашиваться в дом неловко, хотя здесь это и водится... Другое дело, если бы я носил эполеты...

— Помилуй, да этак ты гораздо интереснее! Ты просто не умеешь пользоваться своим выгодным положением: да солдатская шинель в глазах всякой чувствительной барышни тебя делает героем, страдальцем.

Грушницкий самодовольно улыбнулся.

— Какой вздор! — сказал он.

— Я уверен, — продолжал я, — что княжна в тебя уж влюблена.

Он покраснел до ушей и надулся.

О самолюбие! ты рычаг, которым Архимед хотел приподнять земной шар.

— У тебя все шутки, — сказал он, показывая, будто сердится: — во-первых, она меня еще так мало знает...

— Женщины любят только тех, которых не знают.

— Да я вовсе не имею претензии ей нравиться: я просто хочу познакомиться с приятным домом, и было бы очень смешно, если б я имел какие-нибудь надежды... Вот вы, например, другое дело! — вы, победители петербургские, только посмотрите, так женщины тают... А знаешь ли, Печорин, что княжна о тебе говорила?

— Как? она тебе уж говорила обо мне?..

— Не радуйся однако. Я как-то вступил с нею в разговор у колодца, случайно; и третье слово ее было: «кто этот господин, у которого такой неприятный тяжелый взгляд? он был с вами, тогда...» Она покраснела и не хотела назвать дня, вспомнив свою милую выходку. — Вам не нужно сказывать

дня, — отвечал я ей, — он вечно будет мне памятен… Мой друг, Печорин, я тебя не поздравляю, ты у нее на дурном замечании… А, право, жаль! потому что Мери очень мила!..

Надобно заметить, что Грушницкий из тех людей, которые, говоря о женщине, с которой они едва знакомы, называют ее *моя Мери, моя Sophie*, если она имела счастие им понравиться.

Я принял серьезный вид и отвечал ему:

— Да, она недурна… Только берегись, Грушницкий! Русские барышни большею частью питаются только платоническою любовью, не примешивая к ней мысли о замужестве; а платоническая любовь самая беспокойная. Княжна, кажется, из тех женщин, которые хотят, чтоб их забавляли; если две минуты сряду ей будет возле тебя скучно, ты погиб невозвратно: твое молчание должно возбуждать ее любопытство, твой разговор — никогда не удовлетворять его вполне; ты должен ее тревожить ежеминутно; она десять раз публично для тебя пренебрежет мнением и назовет это жертвой, и, чтоб вознаградить себя за это, станет тебя мучить — а потом просто скажет, что она тебя терпеть не может! Если ты над нею не приобретешь власти, то даже ее первый поцелуй не даст тебе права на второй; она с тобою накокетничается вдоволь, а года через два выйдет замуж за урода, из покорности к маменьке, и станет себя уверять, что она несчастна, что она одного только человека и любила, то есть тебя, но что небо не хотело соединить ее с ним, потому что на нем была солдатская шинель, хотя под этой толстой, серой шинелью билось сердце страстное и благородное…

Грушницкий ударил по столу кулаком и стал ходить взад и вперед по комнате.

Я внутренно хохотал и даже раза два улыбнулся, но он, к счастью, этого не заметил. Явно, что он влюблен, потому что стал еще доверчивее прежнего. У него даже появилось серебряное кольцо с чернью, здешней работы: оно мне показалось подозрительным! — Я стал его рассматривать, и что же?.. мелкими буквами имя *Мери* было вырезано на внутренней стороне, и рядом — число того дня, когда она подняла знаменитый стакан. Я утаил свое открытие; я не хочу вынуждать у него признаний! я хочу, чтобы он сам выбрал меня в свои поверенные, и тут-то я буду наслаждаться…

. . . . . .

Сегодня я встал поздно; прихожу к колодцу — никого уже нет. Становилось жарко; белые мохнатые тучки быстро бежали от снеговых гор, обещая грозу; голова Машука дымилась, как загашенный факел; кругом него вились и ползали, как змеи, серые клочки облаков, задержанные в своем стремлении и будто зацепившиеся за колючий его кустарник. Воздух был напоен электричеством. Я углубился в виноградную аллею, ведущую в грот; мне было грустно. Я думал о той молодой женщине, с родинкой на щеке, про которую говорил мне доктор… Зачем она здесь? — и она ли? И почему я думаю, что это она?.. и почему я даже так в этом уверен? Мало ли женщин с родинками на щеках! Размышляя таким образом, я подошел к самому гроту. Смотрю: в прохладной тени его свода, на каменной скамье сидит женщина, в соломенной шляпке, окутанная черной шалью, опустив голову на грудь; шляпка закрывала ее лицо. Я хотел уже вернуться, чтоб не нарушать ее мечтаний, когда она на меня взглянула.

— Вера! — вскрикнул я невольно.

Она вздрогнула и побледнела.

— Я знала, что вы здесь, — сказала она. Я сел возле нее и взял ее за руку: давно забытый трепет пробежал по моим жилам при звуке этого милого голоса; она посмотрела мне в глаза своими глубокими и спокойными глазами; в них выражалась недоверчивость и что-то похожее на упрек.

— Мы давно не видались, — сказал я.

— Давно — и переменились оба во многом!

— Стало быть, уж ты меня не любишь?..

— Я замужем, — сказала она.

— Опять? Однако несколько лет тому назад эта причина также существовала; но между тем…

Она выдернула свою руку из моей, и щеки ее запылали.

— Может быть, ты любишь своего второго мужа?

Она не отвечала и отвернулась.

— Или он очень ревнив?

Молчание.

— Что ж? Он молод, хорош, особенно верно богат, и ты боишься… — Я взглянул на нее и испугался: ее лицо выражало глубокое отчаянье, на глазах сверкали слезы.

— Скажи мне, наконец, — прошептала она, — тебе очень весело меня мучить? Я бы тебя должна ненавидеть: с тех пор, как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий… — Ее голос задрожал, она склонилась ко мне и опустила голову на грудь мою.

«Может быть, — подумал я: — ты оттого-то именно меня и любила: радости забываются, а печали никогда!..»

Я ее крепко обнял, и так мы оставались долго. Наконец губы наши сблизились и слились в жаркий, упоительный поцелуй; ее руки были холодны, как лед, голова горела. Тут между нами начался один из тех разговоров, которые на бумаге не имеют смысла, которых повторить нельзя и нельзя даже запомнить: значение звуков заменяет и дополняет значение слов, как в итальянской опере.

Она решительно не хочет, чтоб я познакомился с ее мужем, — тем хромым старичком, которого я видел мельком на бульваре; она вышла за него для сына. Он богат и страдает ревматизмами. Я не позволил себе над ним ни одной насмешки: она его уважает, как отца! и будет обманывать, как мужа!.. Странная вещь сердце человеческое вообще, и женское в особенности!

Муж Веры, Семен Васильевич Г…в, дальний родственник княгини Лиговской. Он живет с нею рядом; Вера часто бывает у княгини; я ей дал слово познакомиться с Лиговскими и волочиться за княжной, чтоб отвлечь от нее внимание. Таким образом мои планы нимало не расстроились, и мне будет весело!

Весело!.. Да, я уже прошел тот период жизни душевной, когда ищут только счастия, когда сердце чувствует необходимость любить сильно и страстно кого-нибудь: теперь я только хочу быть любимым, и то очень немногими; даже мне кажется, одной постоянной привязанности мне было бы довольно: жалкая привычка сердца!..

Одно мне всегда было странно: я никогда не делался рабом любимой женщины, напротив: я всегда приобретал над их волей и сердцем непобедимую власть, вовсе об этом не стараясь. Отчего это? — оттого ли, что я никогда ничем очень не дорожу, и что они ежеминутно боялись выпустить меня из рук? или это — магнетическое влияние сильного организма? или мне просто не удавалось встретить женщину с упорным характером?

Надо признаться, что я, точно, не люблю женщин с характером: их ли это дело!..

Правда, теперь вспомнил: один раз, один только раз я любил женщину с твердой волею, которую никогда не мог победить… Мы расстались врагами, — и то, может быть, если б я ее встретил пятью годами позже, мы расстались бы иначе…

Вера больна, очень больна, хотя в этом и не признается; я боюсь, чтобы не было у нее чахотки или той болезни, которую называют fièvre lente[1] — болезнь не русская вовсе, и ей на нашем языке нет названия.

Гроза застала нас в гроте и удержала лишних полчаса. Она не заставляла меня клясться в верности, не спрашивала, любил ли я других с тех пор, как мы расстались… Она вверилась мне снова с прежней беспечностью; и я ее не обману: она единственная женщина в мире, которую я не в силах был бы обмануть! — Я знаю, мы скоро разлучимся опять и, может быть, навеки: оба пойдем разными путями до гроба; но воспоминание о ней останется неприкосновенным в душе моей; я ей это повторял всегда, и она мне верит, хотя говорит противное.

Наконец мы расстались; я долго следил за нею взором, пока ее шляпка не скрылась за кустарниками и скалами. Сердце мое болезненно сжалось, как после первого расставания. О, как я обрадовался этому чувству! Уж не молодость ли с своими благотворными бурями хочет вернуться ко мне опять, или это только ее прощальный взгляд, последний подарок, — на память?.. А смешно подумать, что на вид я еще мальчик: лицо хотя бледно, но еще свежо, члены гибки и стройны, густые кудри вьются, глаза горят, кровь кипит…

Возвратясь домой, я сел верхом и поскакал в степь; я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве, против пустынного ветра; с жадностью глотаю я благовонный воздух и устремляю взоры в синюю даль, стараясь уловить туманные очерки предметов, которые ежеминутно становятся все яснее и яснее. Какая бы горесть ни лежала на сердце, какое бы беспокойство ни томило мысль, все в минуту рассеется; на душе станет легко, усталость тела победит тревогу ума. Нет женского взора, которого бы я не забыл при виде кудрявых гор, озаренных южным солнцем, при виде голубого неба, или внимая шуму потока, падающего с утеса на утес.

Я думаю, казаки, зевающие на своих *вышках*, видя меня скачущего без нужды и цели, долго мучились этою загадкой, ибо верно по одежде приняли меня за черкеса. Мне в самом деле говорили, что в черкесском костюме верхом я больше похож на кабардинца, чем многие кабардинцы. И точно, что касается до этой благородной боевой одежды, я совершенный денди: ни одного галуна лишнего, оружие ценное в простой отделке, мех на шапке не слишком длинный, не слишком короткий; ноговицы и черевики пригнаны со всевозможной точностью; бешмет белый, черкеска темно-бурая. Я долго изучал горскую посадку: ничем нельзя так польстить моему самолюбию, как признавая мое искусство в верховой езде на кавказский лад. Я держу четырех лошадей: одну для себя, трех для приятелей, чтоб не скучно было одному таскаться по полям; они берут моих лошадей с удовольствием и никогда со мной не ездят вместе. Было уже шесть часов пополудни, когда вспомнил я, что пора обедать; лошадь моя была измучена; я выехал на дорогу, ведущую из Пятигорска в немецкую колонию*, куда часто водяное общество ездит *en piquenique*.[2] Дорога идет, извиваясь между кустарниками, опускаясь в небольшие овраги, где протекают шумные ручьи под сенью высоких трав; кругом амфитеатром возвышаются синие громады Бешту, Змеиной, Железной и Лысой горы. Спустясь в один из таких оврагов, называемых на здешнем наречии *балками*, я остановился, чтоб

[1] Медленная горячка (*франц.*).
[2] Пикником (*франц.*) — *Ред.*

напоить лошадь; в это время показалась на дороге шумная и блестящая кавалькада: дамы в черных и голубых амазонках, кавалеры в костюмах, составляющих смесь *черкесского с нижегородским**; впереди ехал Грушницкий с княжною Мери.

Дамы на водах еще верят нападениям черкесов среди белого дня; вероятно поэтому Грушницкий сверх солдатской шинели повесил шашку и пару пистолетов: он был довольно смешон в этом геройском облачении. Высокий куст закрывал меня от них, но сквозь листья его я мог видеть все и отгадать по выражениям их лиц, что разговор был сентиментальный. Наконец они приблизились к спуску; Грушницкий взял за повод лошадь княжны, и тогда я услышал конец их разговора:

— И вы целую жизнь хотите остаться на Кавказе? — говорила княжна.

— Что для меня Россия! — отвечал ее кавалер: — страна, где тысячи людей, потому что они богаче меня, будут смотреть на меня с презрением, тогда как здесь, — здесь эта толстая шинель не помешала моему знакомству с вами…

— Напротив… — сказала княжна, покраснев.

Лицо Грушницкого изобразило удовольствие. Он продолжал:

— Здесь моя жизнь протечет шумно, незаметно и быстро, под пулями дикарей, и если бы Бог мне каждый год посылал один светлый женский взгляд, один подобный тому…

В это время они поравнялись со мной; я ударил плетью по лошади и выехал из-за куста…

— Mon Dieu, un Circassien!..[1] — вскрикнула княжна в ужасе.

Чтоб ее совершенно разуверить, я отвечал по-французски, слегка наклонясь:

— Ne craignez rien, madame, — je ne suis pas plus dangereux que votre cavalier.[2]

Она смутилась, — но отчего? от своей ошибки, или оттого, что мой ответ ей показался дерзким? Я желал бы, чтоб последнее мое предположение было справедливо. Грушницкий бросил на меня недовольный взгляд.

Поздно вечером, то есть часов в 11, я пошел гулять по липовой аллее бульвара. Город спал, только в некоторых окнах мелькали огни. С трех сторон чернели гребни утесов, отрасли Машука, на вершине которого лежало зловещее облачко; месяц подымался на востоке; вдали серебряной бахромой сверкали снеговые горы. Оклики часовых перемежались с шумом горячих ключей, спущенных на ночь. Порою звучный топот коня раздавался по улице, сопровождаемый скрыпом нагайской арбы и заунывным татарским припевом. Я сел на скамью и задумался… Я чувствовал необходимость излить свои мысли в дружеском разговоре… но с кем?.. «Что делает теперь Вера?» — думал я… Я бы дорого дал, чтоб в эту минуту пожать ее руку.

Вдруг слышу быстрые и неровные шаги… Верно, Грушницкий… Так и есть!

— Откуда?

— От княгини Лиговской, — сказал он очень важно. — Как Мери поет!..

— Знаешь ли что? — сказал я ему: — я пари держу, что она не знает, что ты юнкер; она думает, что ты разжалованный…

— Может быть! Какое мне дело!.. — сказал он рассеянно.

— Нет, я только так это говорю…

— А знаешь ли, что ты нынче ее ужасно рассердил? Она нашла, что это неслыханная дерзость, — я насилу мог ее уверить, что ты так хорошо воспитан и так хорошо знаешь свет, что не мог иметь намерение ее оскорбить; она говорит, что у тебя наглый взгляд, что ты, верно, о себе самого высокого мнения.

— Она не ошибается… А ты не хочешь ли за нее вступиться?

— Мне жаль, что не имею еще этого права…

«О-го! — подумал я: — у него, видно, есть уже надежды…»

— Впрочем для тебя же хуже, — продолжал Грушницкий: — теперь тебе трудно познакомиться с ними, — а жаль! это один из самых приятных домов, какие я только знаю…

Я внутренно улыбнулся.

— Самый приятный дом для меня теперь мой, — сказал я, зевая, и встал, чтоб идти.

— Однако, признайся, ты раскаиваешься?..

— Какой вздор! если я захочу, то завтра же буду вечером у княгини…

— Посмотрим…

— Даже, чтоб тебе сделать удовольствие, стану волочиться за княжной…

— Да, если она захочет говорить с тобой…

— Я подожду только той минуты, когда твой разговор ей наскучит… Прощай!..

— А я пойду шататься, — я ни за что теперь не засну… Послушай, пойдем лучше в ресторацию, там игра… мне нужны нынче сильные ощущения…

— Желаю тебе проиграться…

Я пошел домой.

---

[1] Боже мой, черкес!.. (*франц.*) — *Ред.*

[2] Не бойтесь, сударыня, — я не опаснее вашего кавалера (*франц.*) — *Ред.*

21-го мая.

Прошла почти неделя, а я еще не познакомился с Лиговскими. Жду удобного случая. Грушницкий, как тень, следует за княжной везде; их разговоры бесконечны — когда же он ей наскучит?.. Мать не обращает на это внимания, потому что он *не жених*. Вот логика матерей! Я подметил два, три нежные взгляда, — надо этому положить конец.

Вчера у колодца в первый раз явилась Вера... Она, с тех пор как мы встретились в гроте, не выходила из дому. Мы в одно время опустили стаканы, и, наклонясь, она мне сказала шепотом:

— Ты не хочешь познакомиться с Лиговскими!.. Мы только там можем видеться...

Упрек!.. скучно! Но я его заслужил...

Кстати: завтра бал по подписке в зале ресторации, и я буду танцевать с княжной мазурку.

22-го мая.

Зала ресторации превратилась в залу Благородного собрания. В 9 часов все съехались. Княгиня с дочерью явилась из последних; многие дамы посмотрели на нее с завистью и недоброжелательством, потому что княжна Мери одевается со вкусом. Те, которые почитают себя здешними аристократками, утаив зависть, примкнулись к ней. Как быть? Где есть общество женщин — там сейчас явится высший и низший круг. Под окном, в толпе народа, стоял Грушницкий, прижав лицо к стеклу и не спуская глаз с своей богини; она, проходя мимо, едва приметно кивнула ему головой. Он просиял, как солнце... Танцы начались польским; потом заиграли вальс. Шпоры зазвенели, фалды поднялись и закружились.

Я стоял сзади одной толстой дамы, осененной розовыми перьями; пышность ее платья напоминала времена фижм, а пестрота ее негладкой кожи счастливую эпоху мушек из черной тафты; самая большая бородавка на ее шее прикрыта была фермуаром. Она говорила своему кавалеру, драгунскому капитану:

— Эта княжна Лиговская пренесносная девчонка! Вообразите, толкнула меня и не извинилась, да еще обернулась и посмотрела на меня в лорнет... C'est impayable!..[1] И чем она гордится? Уж ее надо бы проучить...

— За этим дело не станет! — отвечал услужливый капитан и отправился в другую комнату.

Я тотчас подошел к княжне, приглашая ее вальсировать, пользуясь свободой здешних обычаев, позволяющих танцевать с незнакомыми дамами.

Она едва могла принудить себя не улыбнуться и скрыть свое торжество; ей удалось, однако, довольно скоро принять совершенно равнодушный и даже строгий вид: она небрежно опустила руку на мое плечо, наклонила слегка головку набок, и мы пустились. Я не знаю талии более сладострастной и гибкой! Ее свежее дыхание касалось моего лица; иногда локон, отделившийся в вихре вальса от своих товарищей, скользил по горящей щеке моей... Я сделал три тура. (Она вальсирует удивительно хорошо.) Она запыхалась, глаза ее помутились, полураскрытые губки едва могли прошептать необходимое: «merci, monsieur».

После нескольких минут молчания я сказал ей, приняв самый покорный вид:

— Я слышал, княжна, что, будучи вам вовсе не знаком, я имел уже несчастие заслужить вашу немилость... что вы меня нашли дерзким... неужели это правда?..

— И вам бы хотелось теперь меня утвердить в этом мнении? — отвечала она с иронической гримаской, которая, впрочем, очень идет к ее подвижной физиономии.

— Если я имел дерзость вас чем-нибудь оскорбить, то позвольте мне иметь еще большую дерзость просить у вас прощения... И, право, я бы очень желал доказать вам, что вы насчет меня ошибались...

— Вам это будет довольно трудно...

— Отчего же?

— Оттого, что вы у нас не бываете, а эти балы, вероятно, не часто будут повторяться.

Это значит, подумал я, что их двери для меня навеки закрыты.

— Знаете, княжна, — сказал я с некоторой досадой, — никогда не должно отвергать кающегося преступника: с отчаяния он может сделаться еще вдвое преступнее... и тогда...

Хохот и шушуканье нас окружающих заставили меня обернуться и прервать мою фразу. В нескольких шагах от меня стояла группа мужчин, и в их числе драгунский капитан, изъявивший враждебные намерения против милой княжны; он особенно был чем-то очень доволен, потирал руки, хохотал и перемигивался с товарищами. Вдруг из среды их отделился господин во фраке с длинными усами и красной рожей и направил неверные шаги свои прямо к княжне: он был пьян. Остановясь против смутившейся княжны и заложив руки за спину, он уставил на нее мутно-серые глаза и произнес хриплым дишкантом:

— Пермете...[2] ну, да что тут!.. просто ангажирую вас на мазурку...

---

[1] Это бесподобно!.. (*франц.*) — *Ред.*

[2] Позвольте... *(От фр. permettre).* — *Ред.*

— Что вам угодно? — произнесла она дрожащим голосом, бросая кругом умоляющий взгляд. Увы! ее мать была далеко, и возле никого из знакомых ей кавалеров не было; один адъютант, кажется, все это видел, да спрятался за толпой, чтоб не быть замешану в историю.

— Что же? — сказал пьяный господин, мигнув драгунскому капитану, который ободрял его знаками, — разве вам не угодно?.. Я-таки опять имею честь вас ангажировать pour mazure...[1] Вы, может, думаете, что я пьян? Это ничего!.. Гораздо свободнее, могу вас уверить...

Я видел, что она готова упасть в обморок от страху и негодования.

Я подошел к пьяному господину, взял его довольно крепко за руку и, посмотрев ему пристально в глаза, попросил удалиться, — потому, прибавил я, что княжна давно уж обещалась танцевать мазурку со мною.

— Ну, нечего делать!.. в другой раз! — сказал он, засмеявшись, и удалился к своим пристыженным товарищам, которые тотчас увели его в другую комнату.

Я был вознагражден глубоким, чудесным взглядом.

Княжна подошла к своей матери и рассказала ей все; та отыскала меня в толпе и благодарила. Она объявила мне, что знала мою мать и была дружна с полдюжиной моих тетушек.

— Я не знаю, как случилось, что мы до сих пор с вами незнакомы, — прибавила она: — но признайтесь, вы этому одни виною: вы дичитесь всех так, что ни на что не похоже. Я надеюсь, что воздух моей гостиной разгонит ваш сплин... не правда ли?

Я сказал ей одну из тех фраз, которые у всякого должны быть заготовлены на подобный случай.

Кадрили тянулись ужасно долго.

Наконец с хор загремела мазурка; мы с княжной уселись.

Я не намекал ни разу ни о пьяном господине, ни о прежнем моем поведении, ни о Грушницком. Впечатление, произведенное на нее неприятною сценою, мало-помалу рассеялось; личико ее расцвело; она шутила очень мило; ее разговор был остер, без притязания на остроту, жив и свободен, ее замечания иногда глубоки... Я дал ей почувствовать очень запутанной фразой, что она мне давно нравится. Она наклонила головку и слегка покраснела.

— Вы странный человек! — сказала она потом, подняв на меня свои бархатные глаза и принужденно засмеявшись.

— Я не хотел с вами знакомиться, — продолжал я, — потому что вас окружает слишком густая толпа поклонников, и я боялся в ней исчезнуть совершенно.

— Вы напрасно боялись! Они все прескучные...

— Все? — Неужели все?

Она посмотрела на меня пристально, стараясь будто припомнить что-то, потом опять слегка покраснела и наконец произнесла решительно: *все*!

— Даже мой друг Грушницкий?

— А он ваш друг? — сказала она, показывая некоторое сомнение.

— Да.

— Он, конечно, не входит в разряд скучных...

— Но в разряд несчастных, — сказал я, смеясь.

— Конечно! А вам смешно? Я б желала, чтоб вы были на его месте...

— Что ж? я был сам некогда юнкером, и, право, это самое лучшее время моей жизни!

— А разве он юнкер?.. — сказала она быстро и потом прибавила: — а я думала...

— Что вы думали?..

— Ничего!.. Кто эта дама?

Тут разговор переменил направление и к этому уж более не возвращался.

Вот мазурка кончилась, и мы расстались — до свидания. Дамы разъехались... Я пошел ужинать и встретил Вернера.

— А-га! — сказал он: — так-то вы! А еще хотели не иначе знакомиться с княжной, как спасши ее от верной смерти.

— Я сделал лучше, — отвечал я ему, — спас ее от обморока на бале!..

— Как это? Расскажите!..

— Нет, отгадайте, — о вы, отгадывающий все на свете!

23-го мая.

Около 7 часов вечера я гулял на бульваре. Грушницкий, увидав меня издали, подошел ко мне: какой-то смешной восторг блистал в его глазах. Он крепко пожал мне руку и сказал трагическим голосом:

— Благодарю тебя, Печорин... Ты понимаешь меня?..

— Нет; но, во всяком случае, не стоит благодарности, — отвечал я, не имея точно на совести никакого благодеяния.

---

[1] На мазурку... (*франц.*) — *Ред.*

— Как? а вчера? ты разве забыл?.. Мери мне все рассказала…

— А что? разве у вас уж нынче все общее? и благодарность?..

— Послушай, — сказал Грушницкий очень важно: — пожалуйста, не подшучивай над моей любовью, если хочешь остаться моим приятелем… Видишь: я ее люблю, до безумия… и я думаю, я надеюсь, она также меня любит… У меня есть до тебя просьба: ты будешь нынче у них вечером… обещай мне замечать все: я знаю, ты опытен в этих вещах, ты лучше меня знаешь женщин… Женщины! женщины! кто их поймет? Их улыбки противуречат их взорам, их слова обещают и манят, а звук их голоса отталкивает… То они в минуту постигают и угадывают самую потаенную нашу мысль, то не понимают самых ясных намеков… Вот хоть княжна: вчера ее глаза пылали страстью, останавливаясь на мне, нынче они тусклы и холодны…

— Это, может быть, следствие действия вод, — отвечал я.

— Ты во всем видишь худую сторону… матерьялист! — прибавил он презрительно. — Впрочем переменим материю — и, довольный плохим каламбуром, он развеселился.

В девятом часу мы вместе пошли к княгине.

Проходя мимо окон Веры, я видел ее у окна. Мы кинули друг другу беглый взгляд. Она вскоре после нас взошла в гостиную Лиговских. Княгиня меня ей представила как своей родственнице. Пили чай; гостей было много; разговор был общий. Я старался понравиться княгине, шутил, заставлял ее несколько раз смеяться от души; княжне также не раз хотелось похохотать, но она удерживалась, чтоб не выйти из принятой роли: она находит, что томность к ней идет — и, может быть, не ошибается. Грушницкий, кажется, очень рад, что моя веселость ее не заражает.

После чая все пошли в залу.

— Довольна ль ты моим послушанием, Вера? — сказал я, проходя мимо ее.

Она мне кинула взгляд, исполненный любви и благодарности. Я привык к этим взглядам, но некогда они составляли мое блаженство. Княгиня усадила дочь за фортепьяны; все просили ее спеть что-нибудь, — я молчал, и, пользуясь суматохой, отошел к окну с Верой, которая мне хотела сказать что-то очень важное для нас обоих… Вышло — вздор…

Между тем княжне мое равнодушие было досадно, как я мог догадаться по одному сердитому, блестящему взгляду… О, я удивительно понимаю этот разговор, немой, но выразительный, краткий, но сильный!..

Она запела: ее голос недурен, но поет она плохо… впрочем, я не слушал. Зато Грушницкий, облокотясь на рояль против нее, пожирал ее глазами и поминутно говорил вполголоса: «charmant! délicieux!»[1]

— Послушай, — говорила мне Вера: — я не хочу, чтоб ты знакомился с моим мужем, но ты должен непременно понравиться княгине; тебе это легко: ты можешь все, что захочешь. Мы здесь только будем видеться…

— Только?..

Она покраснела и продолжала:

— Ты знаешь, что я твоя раба: я никогда не умела тебе противиться… и я буду за это наказана: ты меня разлюбишь! По крайней мере я хочу сберечь свою репутацию… не для себя: ты это знаешь очень хорошо!.. О, я прошу тебя, не мучь меня по-прежнему пустыми сомнениями и притворной холодностью: я, может быть, скоро умру, я чувствую, что слабею со дня на день… и, несмотря на это, я не могу думать о будущей жизни, я думаю только о тебе… Вы, мужчины, не понимаете наслаждений взора, пожатия руки… а я, клянусь тебе, я, прислушиваясь к твоему голосу, чувствую такое глубокое, странное блаженство, что самые жаркие поцелуи не могут заменить его.

Между тем княжна Мери перестала петь. Ропот похвал раздался вокруг нее; я подошел к ней после всех и сказал ей что-то насчет ее голоса довольно небрежно.

Она сделала гримаску, выдвинув нижнюю губу, и присела очень насмешливо.

— Мне это тем более лестно, — сказала она, — что вы меня вовсе не слушали… но вы, может быть, не любите музыки?..

— Напротив, — после обеда особенно.

— Грушницкий прав, говоря, что у вас самые прозаические вкусы… и я вижу, что вы любите музыку в гастрономическом отношении…

— Вы ошибаетесь опять: я вовсе не гастроном; у меня прескверный желудок. Но музыка после обеда усыпляет, а спать после обеда здорово; следовательно, я люблю музыку в медицинском отношении. Вечером же она, напротив, слишком раздражает мои нервы: мне делается или слишком грустно, или слишком весело. То и другое утомительно, когда нет положительной причины грустить или радоваться, и притом грусть в обществе смешна, а слишком большая веселость неприлична.

Она не дослушала, отошла прочь, села возле Грушницкого, и между ними начался какой-то сентиментальный разговор: кажется, княжна отвечала на его мудрые фразы довольно рассеянно и

[1] Очаровательно! восхитительно! (*франц.*) — *Ред.*

неудачно, хотя старалась показать, что слушает его со вниманием, потому что он иногда смотрел на нее с удивлением, стараясь угадать причину внутреннего волнения, изображавшегося иногда в ее беспокойном взгляде…

Но я вас отгадал, милая княжна, берегитесь! Вы хотите мне отплатить тою же монетою, кольнуть мое самолюбие, — вам не удастся! и если вы мне объявите войну, то я буду беспощаден.

В продолжение вечера я несколько раз нарочно старался вмешаться в их разговор, но она довольно сухо встречала мои замечания, и я с притворной досадой наконец удалился. Княжна торжествовала; Грушницкий тоже. Торжествуйте, друзья мои, торопитесь… вам недолго торжествовать!.. Как быть? у меня есть предчувствие… Знакомясь с женщиной, я всегда безошибочно отгадывал, будет она меня любить или нет…

Остальную часть вечера я провел возле Веры и досыта наговорился о старине! За что она меня так любит, право, не знаю! — Тем более что это одна женщина, которая меня поняла совершенно, со всеми моими мелкими слабостями, дурными страстями… Неужели зло так привлекательно?..

Мы вышли вместе с Грушницким; на улице он взял меня под руку и после долгого молчания сказал:

— Ну, что?..

«Ты глуп», — хотел я ему ответить, но удержался и только пожал плечами.

29-го мая.

Все эти дни я ни разу не отступил от своей системы. Княжне начинает нравиться мой разговор; я рассказал ей некоторые из странных случаев моей жизни, и она начинает видеть во мне человека необыкновенного. Я смеюсь над всем на свете, особенно над чувствами: это начинает ее пугать. Она при мне не смеет пускаться с Грушницким в сентиментальные прения и уже несколько раз отвечала на его выходки насмешливой улыбкой; но я всякий раз, как Грушницкий подходит к ней, принимаю смиренный вид и оставляю их вдвоем; в первый раз была она этому рада или старалась показать; во второй рассердилась на меня; в третий — на Грушницкого.

— У вас очень мало самолюбия, — сказала она мне вчера. — Отчего вы думаете, что мне веселее с Грушницким?

Я отвечал, что жертвую счастию приятеля своим удовольствием…

— И моим, — прибавила она.

Я пристально посмотрел на нее и принял серьезный вид. Потом целый день не говорил с нею ни слова… Вечером она была задумчива, нынче поутру у колодца еще задумчивей; когда я подошел к ней, она рассеянно слушала Грушницкого, который, кажется, восхищался природой, но только что завидела меня, она стала хохотать (очень некстати), показывая, будто меня не примечает. Я отошел подальше и украдкой стал наблюдать за ней; она отвернулась от своего собеседника и зевнула два раза.

Решительно Грушницкий ей надоел.

Еще два дня не буду с ней говорить.

3-го июня.

Я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь? К чему это женское кокетство? — Вера меня любит больше, чем княжна Мери будет любить когда-нибудь; если б она мне казалась непобедимой красавицей, то может быть, я бы завлекся трудностию предприятия… Но ничуть не бывало! Следовательно, это не та беспокойная потребность любви, которая нас мучит в первые годы молодости, бросает нас от одной женщины к другой, пока мы найдем такую, которая нас терпеть не может: тут начинается наше постоянство — истинная бесконечная страсть, которую математически можно выразить линией, падающей из точки в пространство; секрет этой бесконечности — только в невозможности достигнуть цели, то есть конца.

Из чего же я хлопочу? — Из зависти к Грушницкому? Бедняжка, он вовсе ее не заслуживает. Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего, чтоб иметь мелкое удовольствие сказать ему, когда он в отчаянии будет спрашивать, чему он должен верить:

— Мой друг, со мною было то же самое! и ты видишь, однако, я обедаю, ужинаю и сплю преспокойно и надеюсь, сумею умереть без крика и слез!

А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет! Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути; я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше неспособен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а

первое мое удовольствие — подчинять моей воле все, что меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха — не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиною страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, — не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастие? Насыщенная гордость. Если б я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив; если б все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви. Зло порождает зло; первое страдание дает понятие о удовольствии мучить другого; идея зла не может войти в голову человека без того, чтоб он не захотел приложить ее к действительности; идеи — создания органические, сказал кто-то: их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие; тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует; от этого гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара.

Страсти не что иное, как идеи при первом своем развитии: они принадлежность юности сердца, и глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться: многие спокойные реки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачет и не пенится до самого моря. Но это спокойствие часто признак великой, хотя скрытой силы: полнота и глубина чувств и мыслей не допускает бешеных порывов; душа, страдая и наслаждаясь, дает во всем себе строгий отчет и убеждается в том, что так должно; она знает, что без гроз постоянный зной солнца ее иссушит; она проникается своей собственной жизнью, — лелеет и наказывает себя, как любимого ребенка. Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие Божие.

Перечитывая эту страницу, я замечаю, что далеко отвлекся от своего предмета… Но что за нужда?.. Ведь этот журнал пишу я для себя и, следственно, все, что я в него ни брошу, будет со временем для меня драгоценным воспоминанием.

. . . . . .

Пришел Грушницкий и бросился мне на шею: он произведен в офицеры. Мы выпили шампанского. Доктор Вернер вошел вслед за ним.

— Я вас не поздравляю, — сказал он Грушницкому.

— Отчего?

— Оттого, что солдатская шинель к вам очень идет, и признайтесь, что армейский пехотный мундир, сшитый здесь, на водах, не придаст вам ничего интересного… Видите ли, вы до сих пор были исключением, а теперь подойдете под общее правило.

— Толкуйте, толкуйте, доктор! вы мне не помешаете радоваться; он не знает, — прибавил Грушницкий мне на ухо: — сколько надежд придали мне эти эполеты… О, эполеты, эполеты! ваши звездочки, путеводительные звездочки… Нет! я теперь совершенно счастлив.

— Ты идешь с нами гулять к провалу? — спросил я его.

— Я? ни за что не покажусь княжне, пока не готов будет мундир.

— Прикажешь ей объявить о твоей радости?..

— Нет, пожалуйста, не говори… Я хочу ее удивить!..

— Скажи мне, однако, как твои дела с нею?

Он смутился и задумался: ему хотелось похвастаться, солгать, — и было совестно, а вместе с этим было стыдно признаться в истине.

— Как ты думаешь, любит ли она тебя?

— Любит ли? Помилуй, Печорин, какие у тебя понятия!.. как можно так скоро?.. Да если даже она и любит, то порядочная женщина этого не скажет…

— Хорошо! И, вероятно, по-твоему порядочный человек должен тоже молчать о своей страсти?..

— Эх, братец! на все есть манера; многое не говорится, а отгадывается…

— Это правда… Только любовь, которую мы читаем в глазах, ни к чему женщину не обязывает, тогда как слова… Берегись, Грушницкий, она тебя надувает…

— Она?.. — отвечал он, подняв глаза к небу и самодовольно улыбнувшись: — мне жаль тебя, Печорин!..

Он ушел.

Вечером многочисленное общество отправилось пешком к провалу.

По мнению здешних ученых, этот провал не что иное, как угасший кратер; он находится на отлогости Машука, в версте от города. К нему ведет узкая тропинка между кустарников и скал; взбираясь на гору, я подал руку княжне, и она ее не покидала в продолжение целой прогулки.

Разговор наш начался злословием: я стал перебирать присутствующих и отсутствующих наших знакомых, сначала выказывал смешные, а после дурные их стороны. Желчь моя взволновалась; я начал шутя — и кончил искренней злостью. Сперва это ее забавляло, а потом испугало.

— Вы опасный человек, — сказала она мне: — я бы лучше желала попасться в лесу под нож убийцы, чем вам на язычок… Я вас прошу не шутя: когда вам вздумается обо мне говорить дурно, возьмите лучше нож и зарежьте меня, — я думаю, это вам не будет очень трудно.

— Разве я похож на убийцу?..

— Вы хуже…

Я задумался на минуту и потом сказал, приняв глубоко тронутый вид:

— Да! такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было; но их предполагали — и они родились. Я был скромен — меня обвиняли в лукавстве: я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен; я был угрюм, — другие дети веселы и болтливы; я чувствовал себя выше их, — меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир, — меня никто не понял: и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекла в борьбе с собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца; они там и умерли. Я говорил правду — мне не верили: я начал обманывать; узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаянье, — не то отчаянье, которое лечат дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаянье, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой: одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла, я ее отрезал и бросил, — тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей ее половины; но вы теперь во мне разбудили воспоминание о ней — и я вам прочел ее эпитафию. Многим все вообще эпитафии кажутся смешными, но мне нет, особенно когда вспомню о том, что под ними покоится. Впрочем я не прошу вас разделять мое мнение: если моя выходка вам кажется смешна — пожалуйста, смейтесь: предупреждаю вас, что это меня не огорчит нимало.

В эту минуту я встретил ее глаза: в них бегали слезы; рука ее, опираясь на мою, дрожала; щеки пылали… ей было жаль меня! Сострадание, чувство, которому покоряются так легко все женщины, впустило свои когти в ее неопытное сердце. Во все время прогулки она была рассеянна, ни с кем не кокетничала… а это великий признак!

Мы пришли к провалу; дамы оставили своих кавалеров, но она не покидала руки моей. Остроты здешних денди ее не смешили; крутизна обрыва, у которого она стояла, ее не пугала, тогда как другие барышни пищали и закрывали глаза.

На возвратном пути я не возобновлял нашего печального разговора; но на пустые мои вопросы и шутки она отвечала коротко и рассеянно.

— Любили ли вы? — спросил я ее наконец.

Она посмотрела на меня пристально, покачала головой… и опять впала в задумчивость; явно было, что ей хотелось что-то сказать, но она не знала, с чего начать; ее грудь волновалась… Как быть! кисейный рукав слабая защита, и электрическая искра пробежала из моей руки в ее руку; все почти страсти начинаются так, и мы часто себя очень обманываем, думая, что нас женщина любит за наши физические или нравственные достоинства; конечно, они приготовляют, располагают ее сердце к принятию священного огня — а все-таки первое прикосновение решает дело.

— Не правда ли, я была очень любезна сегодня? — сказала мне княжна с принужденной улыбкой, когда мы возвратились с гулянья.

Мы расстались…

Она недовольна собой: она себя обвиняет в холодности! — о, это первое, главное торжество. Завтра она захочет вознаградить меня. Я все это уж знаю наизусть, вот что скучно!

4-го июня.

Нынче я видел Веру. Она замучила меня своею ревностью. Княжна вздумала, кажется, ей поверять свои сердечные тайны: надо признаться, удачный выбор!

— Я отгадываю, к чему все это клонится, — говорила мне Вера: — лучше скажи мне просто теперь, что ты ее любишь.

— Но если я ее не люблю?

— То зачем же ее преследовать, тревожить, волновать ее воображение?.. О, я тебя хорошо знаю! Послушай, если ты хочешь, чтоб я тебе верила, то приезжай через неделю в Кисловодск: послезавтра мы переезжаем туда. Княгиня остается здесь дольше. Найми квартиру рядом; мы будем жить в большом доме близ источника, в мезонине; внизу княгиня Лиговская, а рядом есть дом того же хозяина, который еще не занят… Приедешь?..

Я обещал — и тот же день послал занять эту квартеру.

Грушницкий пришел ко мне в шесть часов вечера и объявил, что завтра будет готов его мундир, как раз к балу.

— Наконец я буду с нею танцевать целый вечер… Вот наговорюсь! — прибавил он.

— Когда же бал?

— Да завтра! Разве не знаешь? Большой праздник, и здешнее начальство взялось его устроить…

— Пойдем на бульвар…

— Ни за что! — в этой гадкой шинели…

— Как, ты ее разлюбил?..

Я ушел один и, встретив княжну Мери, позвал ее на мазурку. Она казалась удивлена и обрадована.

— Я думала, что вы танцуете только по необходимости, как прошлый раз, — сказала она, очень мило улыбаясь…

Она, кажется, вовсе не замечает отсутствия Грушницкого.

— Вы будете завтра приятно удивлены, — сказал я ей.

— Чем?..

— Это секрет… на бале вы сами догадаетесь.

Я окончил вечер у княгини; гостей не было, кроме Веры и одного презабавного старичка. Я был в духе, импровизировал разные необыкновенные истории; княжна сидела против меня и слушала мой вздор с таким глубоким, напряженным, даже нежным вниманием, что мне стало совестно. Куда девалась ее живость, ее кокетство, ее капризы, ее дерзкая мина, презрительная улыбка, рассеянный взгляд?..

Вера все это заметила: на ее болезненном лице изображалась глубокая грусть; она сидела в тени у окна, погружась в широкие кресла; мне стало жаль ее.

Тогда я рассказал всю драматическую историю нашего знакомства с нею, нашей любви, — разумеется, прикрыв все это вымышленными именами.

Я так живо изобразил мою нежность, мои беспокойства, восторги, — я в таком выгодном свете выставил ее поступки и характер, что она поневоле должна была простить мне мое кокетство с княжной.

Она встала, подсела к нам, оживилась… и мы только в два часа ночи вспомнили, что доктора велят ложиться спать в одиннадцать.

5-го июня.

За полчаса до бала явился ко мне Грушницкий в полном сиянии армейского пехотного мундира. К третьей пуговице пристегнута была бронзовая цепочка, на которой висел двойной лорнет; эполеты неимоверной величины были загнуты кверху, в виде крылышек амура; сапоги его скрыпели; в левой руке держал он коричневые лайковые перчатки и фуражку, а правою взбивал ежеминутно в мелкие кудри завитой хохол; самодовольствие и вместе некоторая неуверенность изображались на его лице; его праздничная наружность, его гордая походка заставили бы меня расхохотаться, если бы это было согласно с моими намерениями.

Он бросил фуражку с перчатками на стол и начал обтягивать фалды и поправляться перед зеркалом; черный огромный платок, навернутый на высочайший подгалстушник, которого щетина поддерживала его подбородок, высовывался на полвершка из-за воротника; ему показалось мало: он вытащил его кверху до ушей; от этой трудной работы, — ибо воротник мундира был очень узок и беспокоен, — лицо его налилось кровью.

— Ты, говорят, эти дни ужасно волочился за моей княжной, — сказал он довольно небрежно и не глядя на меня.

— Где нам дуракам чай пить! — отвечал я ему, повторяя любимую поговорку одного из самых ловких повес прошлого времени*, воспетого некогда Пушкиным.

— Скажи-ка, хорошо на мне сидит мундир?.. Ох, проклятый жид!.. как подмышками режет!.. Нет ли у тебя духов?

— Помилуй, чего тебе еще? от тебя и так уж несет розовой помадой…

— Ничего. Дай-ка сюда…

Он налил себе полсклянки за галстук, в носовой платок, на рукава.

— Ты будешь танцевать? — спросил он.

— Не думаю.

— Я боюсь, что мне с княжной придется начинать мазурку, — я не знаю почти ни одной фигуры…

— А ты звал ее на мазурку?

— Нет еще…

— Смотри, чтоб тебя не предупредили…

— В самом деле, — сказал он, ударив себя по лбу. — Прощай… пойду дожидаться ее у подъезда. — Он схватил фуражку и побежал.

Через полчаса и я отправился. На улице было темно и пусто; вокруг собрания или трактира, как угодно, теснился народ; окна его светились; звуки полковой музыки доносил ко мне вечерний ветер. Я шел медленно; мне было грустно… Неужели, думал я, мое единственное назначение на земле — разрушать чужие надежды? С тех пор, как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм, как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни прийти в отчаяние. Я был необходимое лицо пятого акта; невольно я разыгрывал жалкую роль палача или предателя. Какую цель имела на это судьба?.. Уж не назначен ли я ею в сочинители мещанских тра-

гедий и семейных романов, — или в сотрудники поставщику повестей, например, для «Библиотеки для чтения»?.. Почему знать?.. Мало ли людей, начиная жизнь, думают кончить ее как Александр Великий или лорд Байрон, а между тем целый век остаются титулярными советниками?..

Войдя в залу, я спрятался в толпе мужчин и начал делать свои наблюдения. Грушницкий стоял возле княжны и что-то говорил с большим жаром; она его рассеянно слушала, смотрела по сторонам, приложив веер к губкам; на лице ее изображалось нетерпение, глаза ее искали кругом кого-то; я тихонько подошел сзади, чтоб подслушать их разговор.

— Вы меня мучите, княжна! — говорил Грушницкий: — вы ужасно переменились с тех пор, как я вас не видал…

— Вы также переменились, — отвечала она, бросив на него быстрый взгляд, в котором он не умел разобрать тайной насмешки.

— Я? я переменился? — О, никогда! Вы знаете, что это невозможно! Кто видел вас однажды, тот навеки унесет с собою ваш божественный образ…

— Перестаньте!..

— Отчего же вы теперь не хотите слушать того, чему еще недавно, и так часто, внимали благосклонно?..

— Потому что я не люблю повторений, — отвечала она, смеясь…

— О, я горько ошибся!.. Я думал, безумный, что по крайней мере эти эполеты дадут мне право надеяться… Нет, лучше бы мне век остаться в этой презренной солдатской шинели, которой, может быть, я был обязан вашим вниманием…

— В самом деле, вам шинель гораздо более к лицу…

В это время я подошел и поклонился княжне; она немножко покраснела и быстро проговорила:

— Не правда ли, мсье Печорин, что серая шинель гораздо больше идет мсье Грушницкому?..

— Я с вами не согласен, — отвечал я: — в мундире он еще моложавее.

Грушницкий не вынес этого удара: как все мальчики, он имеет претензию быть стариком; он думает, что на его лице глубокие следы страстей заменяют отпечаток лет. Он на меня бросил бешеный взгляд, топнул ногою и отошел прочь.

— А признайтесь, — сказал я княжне, — что хотя он всегда был очень смешон, но еще недавно он вам казался интересен… в серой шинели?..

Она потупила глаза и не отвечала.

Грушницкий целый вечер преследовал княжну, танцевал или с нею, или vis-a-vis; он пожирал ее глазами, вздыхал и надоедал ей мольбами и упреками. После третьей кадрили она его уж ненавидела.

— Я этого не ожидал от тебя, — сказал он, подойдя ко мне и взяв меня за руку.

— Чего?

— Ты с нею танцуешь мазурку? — спросил он торжественным голосом. — Она мне призналась…

— Ну, так что ж? а разве это секрет?

— Разумеется, я должен был этого ожидать от девчонки, от кокетки… Уж я отомщу!

— Пеняй на свою шинель или на свои эполеты, а зачем же обвинять ее! Чем она виновата, что ты ей больше не нравишься?..

— Зачем же подавать надежды?

— Зачем же ты надеялся? — Желать и добиваться чего-нибудь — понимаю! — а кто ж надеется?

— Ты выиграл пари, — только не совсем, — сказал он, злобно улыбаясь.

Мазурка началась. Грушницкий выбирал одну только княжну, другие кавалеры поминутно ее выбирали: это явно был заговор против меня. Тем лучше. Ей хочется говорить со мною, ей мешают, — ей захочется вдвое более.

Я раза два пожал ее руку; во второй раз она ее выдернула, не говоря ни слова.

— Я дурно буду спать эту ночь, — сказала она мне, когда мазурка кончилась.

— Этому виноват Грушницкий.

— О, нет! — И лицо ее стало так задумчиво, так грустно, что я дал себе слово в этот вечер непременно поцеловать ее руку.

Стали разъезжаться. Сажая княжну в карету, я быстро прижал ее маленькую ручку к губам своим. Было темно, и никто не мог этого видеть.

Я возвратился в залу очень доволен собой.

За большим столом ужинала молодежь, и между ними Грушницкий. Когда я взошел, все замолчали: видно, говорили обо мне. Многие с прошедшего бала на меня дуются, особенно драгунский капитан, а теперь, кажется, решительно составляется против меня враждебная шайка под командой Грушницкого. У него такой гордый и храбрый вид…

Очень рад. Я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют мне кровь. Быть всегда настороже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерения, разрушать заговоры, притворяться обманутым, и вдруг одним толчком опрокинуть все огромное и многотрудное здание из хитростей и замыслов — вот что я называю жизнью!

В продолжение ужина Грушницкий шептался и перемигивался с драгунским капитаном.

6-го июня.

Нынче поутру Вера уехала с мужем в Кисловодск. Я встретил их карету, когда шел к княгине Лиговской. Она мне кивнула головой, во взгляде ее был упрек.

Кто ж виноват! зачем она не хочет дать мне случай видеться с нею наедине? Любовь, как огонь, — без пищи гаснет. Авось ревность сделает то, чего не могли мои просьбы.

Я сидел у княгини битый час. Мери не вышла, — больна. Вечером на бульваре ее не было. Вновь составившаяся шайка, вооруженная лорнетами, приняла в самом деле грозный вид. — Я рад, что княжна больна: они сделали бы ей какую-нибудь дерзость. У Грушницкого растрепанная прическа и отчаянный вид: он, кажется, в самом деле огорчен, особенно самолюбие его оскорблено; но ведь есть же люди, в которых даже отчаяние забавно.

Возвратясь домой, я заметил, что мне чего-то недостает. *Я не видал ее! — Она больна!* Уж не влюбился ли я в самом деле? — Какой вздор!

7-го июня.

В одиннадцать часов утра, — час, в который княгиня Лиговская обыкновенно потеет в Ермоловской ванне, — я шел мимо ее дома. Княжна сидела задумчиво у окна; увидев меня, вскочила.

Я взошел в переднюю; людей никого не было, и я без докладу, пользуясь свободой здешних нравов, пробрался в гостиную.

Тусклая бледность покрывала милое лицо княжны; она стояла у фортепьяно, опершись одной рукой на спинку кресел: эта рука чуть-чуть дрожала. Я тихо подошел к ней и сказал:

— Вы на меня сердитесь?..

Она подняла на меня томный, глубокий взор и покачала головой; ее губы хотели проговорить что-то, и не могли; глаза наполнились слезами; она опустилась в кресла и закрыла лицо руками.

— Что с вами? — сказал я, взяв ее за руку.

— Вы меня не уважаете!.. О! оставьте меня!..

Я сделал несколько шагов… Она выпрямилась на креслах, глаза ее засверкали…

Я остановился, взявшись за ручку двери, и сказал:

— Простите меня, княжна! Я поступил как безумец… этого в другой раз не случится: я приму свои меры!.. Зачем вам знать то, что происходило до сих пор в душе моей! Вы этого никогда не узнаете, и тем лучше для вас. Прощайте.

Уходя, мне кажется, я слышал, что она плакала.

Я до вечера бродил пешком по окрестностям Машука, утомился ужасно и, пришедши домой, бросился на постель в совершенном изнеможении.

Ко мне зашел Вернер.

— Правда ли, — спросил он, — что вы женитесь на княжне Лиговской?

— А что?

— Весь город говорит; все мои больные заняты этой важной новостью, а уж эти больные такой народ: все знают!

«Это шутки Грушницкого!» — подумал я.

— Чтоб вам доказать, доктор, ложность этих слухов, объявляю вам по секрету, что завтра я переезжаю в Кисловодск…

— И княгиня также?..

— Нет, она остается еще на неделю здесь…

— Так вы не женитесь?..

— Доктор, доктор! посмотрите на меня: неужели я похож на жениха или на что-нибудь подобное?

— Я этого не говорю! но вы знаете, есть случаи, — прибавил он, хитро улыбаясь, — в которых благородный человек обязан жениться, и есть маменьки, которые по крайней мере не предупреждают этих случаев. Итак, я вам советую, как приятель, быть осторожнее! Здесь на водах преопасный воздух; сколько я видел прекрасных молодых людей, достойных лучшей участи, и уезжавших отсюда прямо под венец… Даже поверите ли, меня хотели женить! Именно одна уездная маменька, у которой дочь была очень бледна. Я имел несчастие сказать ей, что цвет лица возвратится после свадьбы; тогда она со слезами благодарности предложила мне руку своей дочери и все свое состояние — пятьдесят душ, кажется! Но я отвечал, что я к этому не способен.

Вернер ушел в полной уверенности, что он меня предостерег.

Из слов его я заметил, что про меня и княжну уж распущены в городе разные дурные слухи: это Грушницкому даром не пройдет.

10-го июня.

Вот уж три дни, как я в Кисловодске. Каждый день вижу Веру у колодца и на гулянье. Утром, просыпаясь, сажусь у окна и навожу лорнет на ее балкон; она давно уж одета и ждет условного знака. Мы встречаемся будто нечаянно в саду, который от наших домов спускается к колодцу. Живительный горный воздух возвратил ей цвет лица и силы. Недаром Нарзан называется богатырским

ключом. Здешние жители утверждают, что воздух Кисловодска располагает к любви, что здесь бывают развязки всех романов, которые когда-либо начинались у подошвы Машука. И в самом деле: здесь все дышит уединением, здесь все таинственно — и густые сени липовых аллей, склоняющихся над потоком, который с шумом и пеною, падая с плиты на плиту, прорезывает себе путь между зеленеющими горами, и ущелья, полные мглою и молчанием, которых ветви разбегаются отсюда во все стороны, и свежесть ароматического воздуха, отягощенного испарениями высоких южных трав и белой акации, — и постоянный, сладостно-усыпительный шум студеных ручьев, которые, встретясь в конце долины, бегут дружно взапуски и наконец кидаются в Подкумок; — с этой стороны ущелье шире и превращается в зеленую лощину: по ней вьется пыльная дорога. Всякий раз, как я на нее взгляну, мне все кажется, что едет карета, а из окна кареты выглядывает розовое личико. Уж много карет проехало по этой дороге, — а той все нет. Слободка, которая за крепостью, населилась; в ресторации, построенной на холме, в нескольких шагах от моей квартиры, начинают мелькать вечером огни сквозь двойной ряд тополей; шум и звон стаканов раздаются до поздней ночи.

Нигде так много не пьют кахетинского вина и минеральной воды, как здесь,

Но смешивать два эти ремесла
Есть тьма охотников — я не из их числа*.

Грушницкий с своей шайкой бушует каждый день в трактире и со мною почти не кланяется.

Он только вчера приехал, а успел уже поссориться с тремя стариками, которые хотели прежде его сесть в ванну: решительно — несчастия развивают в нем воинственный дух.

11-го июня.

Наконец они приехали. Я сидел у окна, когда услышал стук их кареты: у меня сердце вздрогнуло… Что же это такое? Неужто я влюблен? Я так глупо создан, что этого можно от меня ожидать.

Я у них обедал. Княгиня на меня смотрит очень нежно и не отходит от дочери… плохо! — Зато Вера ревнует меня к княжне: добился же я этого благополучия! Чего женщина не сделает, чтоб огорчить соперницу! Я помню, одна меня полюбила за то, что я любил другую. Нет ничего парадоксальнее женского ума: женщин трудно убедить в чем-нибудь, надо их довести до того, чтоб они убедили себя сами; порядок доказательств, которыми они уничтожают свои предупреждения, очень оригинален; чтоб выучиться их диалектике, надо опрокинуть в уме своем все школьные правила логики. Например, способ обыкновенный:

Этот человек любит меня — но я замужем, — следовательно, не должна его любить.

Способ женский:

Я не должна его любить — ибо я замужем — но он меня любит, — следовательно… тут несколько точек, ибо рассудок уже ничего не говорит, а говорят большею частью язык, глаза и вслед за ними сердце, если оно имеется.

Что если когда-нибудь эти записки попадутся на глаза женщине? — Клевета! — закричит она с негодованием.

С тех пор, как поэты пишут и женщины их читают (за что им глубочайшая благодарность), их столько раз называли ангелами, что они в самом деле, в простоте душевной, поверили этому комплименту, забывая, что те же поэты за деньги величали Нерона полубогом…

Некстати было бы мне говорить о них с такою злостью, — мне, который кроме их на свете ничего не любил, мне, который всегда готов был им жертвовать спокойствием, честолюбием, жизнию… Но ведь я не в припадке досады и оскорбленного самолюбия стараюсь сдернуть с них то волшебное покрывало, сквозь которое лишь привычный взор проникает. Нет, все, что я говорю о них, есть только следствие —

Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет*.

Женщины должны бы желать, чтоб все мужчины их так же хорошо знали, как я, потому что я люблю их во сто раз больше с тех пор, как их не боюсь и постиг их мелкие слабости.

Кстати: Вернер намедни сравнил женщин с заколдованным лесом, о котором рассказывает Тасс в своем «Освобожденном Ерусалиме». «Только приступи, — говорил он, — на тебя полетят со всех сторон такие страхи, что боже упаси: долг, гордость, приличие, общее мнение, насмешка, презрение… Надо только не смотреть, а идти прямо; — мало-помалу чудовища исчезают, и открывается пред тобой тихая и светлая поляна, среди которой цветет зеленый мирт; — зато беда, если на первых шагах сердце дрогнет и обернешься назад!»

12-го июня.

Сегодняшний вечер был обилен происшествиями. Верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где протекает Подкумок, есть скала, называемая *Кольцом*; это ворота, образованные природой; они подымаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний пламенный

взгляд. Многочисленная кавалькада отправилась туда посмотреть на закат солнца сквозь каменное окошко. Никто из нас, по правде сказать, не думал о солнце. Я ехал возле княжны; возвращаясь домой, надо было переезжать Подкумок вброд. Горные речки, самые мелкие, опасны, особенно тем, что дно их — совершенный калейдоскоп: каждый день от напора волн оно изменяется; где был вчера камень, там нынче яма. Я взял под уздцы лошадь княжны и свел ее в воду, которая не была выше колен; мы тихонько стали подвигаться наискось против течения. Известно, что, переезжая быстрые речки, не должно смотреть на воду, ибо тотчас голова закружится. Я забыл об этом предварить княжну Мери.

Мы были уж на средине, в самой быстрине, когда она вдруг на седле покачнулась. «Мне дурно!» — проговорила она слабым голосом… Я быстро наклонился к ней, обвил рукою ее гибкую талию.

— Смотрите наверх, — шепнул я ей: — это ничего, только не бойтесь, я с вами.

Ей стало лучше, она хотела освободиться от моей руки, но я еще крепче обвил ее нежный, мягкий стан; моя щека почти касалась ее щеки; от нее веяло пламенем.

— Что вы со мною делаете!.. боже мой!..

Я не обращал внимания на ее трепет и смущение, и губы мои коснулись ее нежной щечки; она вздрогнула, но ничего не сказала; мы ехали сзади: никто не видал. Когда мы выбрались на берег, то все пустились рысью. Княжна удержала свою лошадь; я остался возле нее; видно было, что ее беспокоило мое молчание, но я поклялся не говорить ни слова, из любопытства. Мне хотелось видеть, как она выпутается из этого затруднительного положения.

— Или вы меня презираете, или очень любите! — сказала она наконец голосом, в котором были слезы. — Может быть, вы хотите посмеяться надо мной, возмутить мою душу и потом оставить… Это было бы так подло, так низко, что одно предположение… о, нет! не правда ли, — прибавила она голосом нежной доверенности: — не правда ли, во мне нет ничего такого, что бы исключало уважение; ваш дерзкий поступок, — я должна, я должна вам его простить, потому что позволила… Отвечайте, говорите же, я хочу слышать ваш голос!.. — В последних словах было такое женское нетерпение, что я невольно улыбнулся; к счастию, начинало смеркаться. — Я ничего не отвечал.

— Вы молчите? — продолжала она: — вы, может быть, хотите, чтоб я первая вам сказала, что я вас люблю…

Я молчал…

— Хотите ли этого? — продолжала она, быстро обратясь ко мне… В решительности ее взора и голоса было что-то страшное…

— Зачем? — отвечал я, пожав плечами.

Она ударила хлыстом свою лошадь и пустилась во весь дух по узкой, опасной дороге; это произошло так скоро, что я едва мог ее догнать, и то когда уж она присоединилась к остальному обществу. До самого дома она говорила и смеялась поминутно. В ее движениях было что-то лихорадочное; на меня не взглянула ни разу. Все заметили эту необыкновенную веселость. И княгиня внутренно радовалось, глядя на свою дочку; а у дочки просто нервический припадок: она проведет ночь без сна и будет плакать. Эта мысль мне доставляет необъятное наслаждение. Есть минуты, когда я понимаю Вампира!..* А еще слыву добрым малым и добиваюсь этого названия.

Слезши с лошадей, дамы вошли к княгине; я был взволнован и поскакал в горы развеять мысли, толпившиеся в голове моей. Росистый вечер дышал упоительной прохладой. Луна подымалась из-за темных вершин; каждый шаг моей некованой лошади глухо раздавался в молчании ущелий; у водопада я напоил коня, жадно вдохнул в себя раза два свежий воздух южной ночи и пустился в обратный путь. Я ехал через слободку. Огни начинали угасать в окнах; часовые на валу крепости и казаки на окрестных пикетах протяжно перекликались…

В одном из домов слободки, построенном на краю обрыва, заметил я чрезвычайное освещение; по временам раздавался нестройный говор и крики, изобличавшие военную пирушку. Я слез и подкрался к окну: неплотно притворенный ставень позволил мне видеть пирующих и расслушать их слова. Говорили обо мне.

Драгунский капитан, разгоряченный вином, ударил по столу кулаком, требуя внимания.

— Господа, — сказал он, — это ни на что не похоже; Печорина надо проучить! Эти петербургские слетки всегда зазнаются, пока их не ударишь по носу! Он думает, что он только один и жил в свете, оттого что носит всегда чистые перчатки и вычищенные сапоги.

— И что за надменная улыбка! А я уверен между тем, что он трус, — да, трус!

— Я думаю то же, — сказал Грушницкий. — Он любит отшучиваться. Я раз ему таких вещей наговорил, что другой бы меня изрубил на месте, а Печорин все обратил в смешную сторону. Я, разумеется, его не вызвал, потому что это было его дело; да не хотел и связываться…

— Грушницкий на него зол за то, что он отбил у него княжну, — сказал кто-то.

— Вот еще что вздумали! Я, правда, немножко волочился за княжной, да и тотчас отстал, потому что не хочу жениться, а компрометировать девушку не в моих правилах.

— Да я вас уверяю, что он первейший трус, то есть Печорин, а не Грушницкий, — о, Грушницкий молодец, и притом он мой истинный друг! — сказал опять драгунский капитан. — Господа! никто здесь его не защищает? никто! тем лучше; хотите испытать его храбрость? Это нас позабавит…

— Хотим — только как?

— А вот слушайте: Грушницкий на него особенно сердит — ему первая роль! Он придерется к какой-нибудь глупости и вызовет Печорина на дуэль… Погодите: вот в этом-то и штука… Вызовет на дуэль: хорошо! Все это — вызов, приготовления, условия, будет как можно торжественнее и ужаснее, — я за это берусь; я буду твоим секундантом, мой бедный друг! Хорошо! Только вот где закорючка: в пистолеты мы не положим пуль. Уж я вам отвечаю, что Печорин струсит, — на шести шагах их поставлю, черт возьми! Согласны ли, господа?

— Славно придумано, согласны, почему же нет, — раздалось со всех сторон.

— А ты, Грушницкий?

Я с трепетом ждал ответа Грушницкого: холодная злость овладела мною при мысли, что если б не случай, то я мог бы сделаться посмешищем этих дураков. Если б Грушницкий не согласился, я бросился б ему на шею. Но после некоторого молчания он встал с своего места, протянул руку капитану и сказал очень важно: «хорошо, я согласен».

Трудно описать восторг всей честной компании.

Я вернулся домой волнуемый двумя различными чувствами. Первое было грусть: за что они все меня ненавидят? думал я. За что? Обидел ли я кого-нибудь? Нет. Неужели я принадлежу к числу тех людей, которых один вид уже порождает недоброжелательство? И я чувствовал, что ядовитая злость мало-помалу наполняла мою душу. Берегитесь, господин Грушницкий! — говорил я, прохаживаясь взад и вперед по комнате: Со мной этак не шутят. Вы дорого можете заплатить за одобрение ваших глупых товарищей. Я вам не игрушка…»

Я не спал всю ночь. К утру я был желт, как померанец.

Поутру я встретил княжну у колодца.

— Вы больны? — сказала она, пристально посмотрев на меня.

— Я не спал ночь.

— И я также… я вас обвиняла… может быть напрасно? Но объяснитесь: я могу вам простить все…

— Все ли?..

— Все… только говорите правду… только скорее… Видите ли, я много думала, стараясь объяснить, оправдать ваше поведение; может быть, вы боитесь препятствий со стороны моих родных… это ничего; когда они узнают… (ее голос задрожал) я их упрошу. Или ваше собственное положение… но знайте, что я всем могу пожертвовать для того, которого люблю… О, отвечайте скорее, — сжальтесь… Вы меня не презираете, не правда ли?

Она схватила меня за руку. Княгиня шла впереди нас с мужем Веры и ничего не видала; но нас могли видеть гуляющие больные, самые любопытные сплетники из всех любопытных, и я быстро освободил свою руку от ее страстного пожатья.

— Я вам скажу всю истину, — отвечал я княжне: — не буду оправдываться, ни объяснять своих поступков — я вас не люблю…

Ее губы слегка побледнели…

— Оставьте меня, — сказала она едва внятно.

Я пожал плечами, повернулся и ушел.

14-го июня.

Я иногда себя презираю… не оттого ли я презираю и других?.. Я стал не способен к благородным порывам; я боюсь показаться смешным самому себе. Другой бы на моем месте предложил княжне son coeur et sa fortune!..[1] но надо мною слово *жениться* имеет какую-то волшебную власть: как бы страстно я ни любил женщину, если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней жениться — прости любовь! мое сердце превращается в камень, и ничто его не разогреет снова. Я готов на все жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту… но свободы моей не продам. Отчего я так дорожу ею? что мне в ней?.. куда я себя готовлю? чего я жду от будущего?.. Право, ровно ничего. Это какой-то врожденный страх, неизъяснимое предчувствие… Ведь есть люди, которые безотчетно боятся пауков, тараканов, мышей… Признаться ли?.. Когда я был еще ребенком, одна старуха гадала про меня моей матери; она предсказала мне *смерть от злой жены*; это меня тогда глубоко поразило: в душе моей родилось непреодолимое отвращение к женитьбе… Между тем что-то мне говорит, что ее предсказание сбудется; по крайней мере я буду стараться, чтоб оно сбылось как можно позже.

15-го июня.

Вчера приехал сюда фокусник *Апфельбаум*. На дверях ресторации явилась длинная афишка, извещающая почтеннейшую публику о том, что вышеименованный удивительный фокусник, акробат, химик и оптик будет иметь честь дать великолепное представление сегодняшнего числа в 8 часов вечера, в зале благородного собрания (иначе — в ресторации); билеты по два рубля с полтиной.

[1] Руку и сердце (*фр.*).

Все собираются идти смотреть удивительного фокусника; даже княгиня Лиговская, несмотря на то, что дочь ее больна, взяла для себя билет.

Нынче после обеда я шел мимо окон Веры; она сидела на балконе, одна; к ногам моим упала записка:

«Сегодня в десятом часу вечера приходи ко мне по большой лестнице; муж мой уехал в Пятигорск и завтра утром только вернется. Моих людей и горничных не будет в доме: я им всем раздала билеты, также и людям княгини. — Я жду тебя. Приходи непременно».

— А-га, — подумал я: — наконец-таки вышло по-моему.

В 8 часов пошел я смотреть фокусника. Публика собралась в исходе девятого; представление началось. В задних рядах стульев узнал я лакеев и горничных Веры и княгини. Все были тут наперечет. Грушницкий сидел в первом ряду с лорнетом. Фокусник обращался к нему всякий раз, как ему нужен был носовой платок, часы, кольцо и проч.

Грушницкий мне не кланяется уж несколько времени, а нынче раза два посмотрел на меня довольно дерзко. Все это ему припомнится, когда нам придется расплачиваться.

В исходе десятого я встал и вышел.

На дворе было темно, хоть глаз выколи. Тяжелые, холодные тучи лежали на вершинах окрестных гор; лишь изредка умирающий ветер шумел вершинами тополей, окружающих ресторацию. У окон ее толпился народ. Я спустился с горы и, повернув в ворота, прибавил шагу. Вдруг мне показалось, что кто-то идет за мной. Я остановился и осмотрелся. В темноте ничего нельзя было разобрать; однако я из осторожности обошел, будто гуляя, вокруг дома. Проходя мимо окон княжны, я услышал снова шаги за собою, и человек, завернутый в шинель, пробежал мимо меня. Это меня встревожило. Однако я прокрался к крыльцу и поспешно взбежал на темную лестницу. Дверь отворилась; маленькая ручка схватила мою руку…

— Никто тебя не видал? — сказала шепотом Вера, прижавшись ко мне.

— Никто!

— Теперь ты веришь ли, что я тебя люблю?.. О, я долго колебалась, долго мучилась… но ты из меня делаешь все, что хочешь.

Ее сердце сильно билось, руки были холодны, как лед. Начались упреки ревности, жалобы, — она требовала от меня, чтоб я ей во всем признался, говоря, что она с покорностью перенесет мою измену, потому что хочет единственно моего счастия. Я этому не совсем верил, но успокоил ее клятвами, обещаниями и проч.

— Так ты не женишься на Мери? не любишь ее?.. А она думает… знаешь ли, она влюблена в тебя до безумия… бедняжка!..

. . . . . .

Около двух часов пополуночи я отворил окно и, связав две шали, спустился с верхнего балкона на нижний, придерживаясь за колонну. У княжны еще горел огонь. Что-то меня толкнуло к этому окну. Занавесь был не совсем задернут, и я мог бросить любопытный взгляд во внутренность комнаты. Мери сидела на своей постели, скрестив на коленах руки; ее густые волосы были собраны под ночным чепчиком, обшитым кружевами; большой пунцовый платок покрывал ее белые плечики; ее маленькие ножки прятались в пестрых персидских туфлях. Она сидела неподвижно, опустив голову на грудь; пред нею на столике была раскрыта книга, но глаза ее, неподвижные и полные неизъяснимой грусти, казалось, в сотый раз пробегали одну и ту же страницу, тогда как мысли ее были далеко…

В эту минуту кто-то шевельнулся за кустом; я спрыгнул с балкона на дерн. Невидимая рука схватила меня за плечо. «А-га! — сказал грубый голос: — попался!.. будешь у меня к княжнам ходить ночью!..»

— Держи его крепче! — закричал другой, выскочивший из-за угла.

Это были Грушницкий и драгунский капитан.

Я ударил последнего по голове кулаком, сшиб его с ног и бросился в кусты; все тропинки сада, покрывавшего отлогость против наших домов, были мне известны.

— Воры! караул!.. — кричали они; раздался ружейный выстрел; дымящийся пыж упал почти к моим ногам.

Через минуту я был уже в своей комнате, разделся и лег. Едва мой лакей запер дверь на замок, как ко мне начали стучаться Грушницкий и капитан.

— Печорин! вы спите? здесь вы?.. — кричал капитан.

— Сплю, — отвечал я сердито.

— Вставайте, — воры… черкесы…

— У меня насморк, — отвечал я: — боюсь простудиться.

Они ушли. Напрасно я им откликнулся: они б еще с час проискали меня в саду. Тревога между тем сделалась ужасная. Из крепости прискакал казак. Все зашевелилось; стали искать черкесов во всех кустах — и, разумеется, ничего не нашли. Но многие, вероятно, остались в твердом убеждении, что если б гарнизон показал более храбрости и поспешности, то по крайней мере десятка два хищников остались бы на месте.

16-го июня.

Нынче поутру у колодца только и было толков, что об ночном нападении черкесов. Выпивши положенное число стаканов нарзана, пройдясь раз десять по длинной липовой аллее, я встретил мужа Веры, который только что приехал из Пятигорска. Он взял меня под руку, и мы пошли в ресторацию завтракать; он ужасно беспокоился о жене. «Как она перепугалась нынче ночью! — говорил он: — ведь надобно ж, чтобы это случилось именно тогда, как я в отсутствии». Мы уселись завтракать возле двери, ведущей в угловую комнату, где находилось человек десять молодежи, в числе которой был и Грушницкий. Судьба вторично доставила мне случай подслушать разговор, который должен был решить его участь. Он меня не видал, и следственно я не мог подозревать умысла; но это только увеличивало его вину в моих глазах.

— Да неужели в самом деле это были черкесы? — сказал кто-то: — видел ли их кто-нибудь?

— Я вам расскажу всю историю, — отвечал Грушницкий, — только, пожалуйста, не выдавайте меня; вот как это было: вчера один человек, которого я вам не назову, приходит ко мне и рассказывает, что видел в десятом часу вечера, как кто-то прокрался в дом к Лиговским. Надо вам заметить, что княгиня была здесь, а княжна дома. Вот мы с ним и отправились под окна, чтоб подстеречь счастливца.

Признаюсь, я испугался, хотя мой собеседник очень был занят своим завтраком: он мог услышать вещи для себя довольно неприятные, если б неравно Грушницкий отгадал истину; но, ослепленный ревностью, он и не подозревал ее.

— Вот видите ли, — продолжал Грушницкий, — мы и отправились, взявши с собой ружье, заряженное холостым патроном, только так, чтобы попугать. До двух часов ждали в саду; наконец — уж бог знает откуда он явился, только не из окна, потому что оно не отворялось, а должно быть, он вышел в стеклянную дверь, что за колонной, — наконец, говорю я, видим мы, сходит кто-то с балкона… Какова княжна? а? Ну, уж признаюсь, московские барышни! после этого чему же можно верить? Мы хотели его схватить, только он вырвался и как заяц бросился в кусты; тут я по нем выстрелил.

Вокруг Грушницкого раздался ропот недоверчивости.

— Вы не верите? — продолжал он: — даю вам честное, благородное слово, что все это сущая правда, и в доказательство я вам, пожалуй, назову этого господина.

— Скажи, скажи, кто ж он! — раздалось со всех сторон.

— Печорин, — отвечал Грушницкий.

В эту минуту он поднял глаза — я стоял в дверях против него; он ужасно покраснел. Я подошел к нему и сказал медленно и внятно:

— Мне очень жаль, что я взошел после того, как вы уж дали честное слово в подтверждение самой отвратительной клеветы. Мое присутствие избавило бы вас от лишней подлости.

Грушницкий вскочил с своего места и хотел разгорячиться.

— Прошу вас, — продолжал я тем же тоном: — прошу вас сейчас же отказаться от ваших слов; вы очень хорошо знаете, что это выдумка. Я не думаю, чтоб равнодушие женщины к вашим блестящим достоинствам заслуживало такое ужасное мщение. Подумайте хорошенько: поддерживая ваше мнение, вы теряете право на имя благородного человека и рискуете жизнью.

Грушницкий стоял передо мною, опустив глаза, в сильном волнении. Но борьба совести с самолюбием была непродолжительна. Драгунский капитан, сидевший возле него, толкнул его локтем; он вздрогнул и быстро отвечал мне, не поднимая глаз:

— Милостивый государь, когда я что говорю, так я это думаю, и готов повторить… Я не боюсь ваших угроз и готов на все.

— Последнее вы уж доказали, — отвечал я ему холодно и, взяв под руку драгунского капитана, вышел из комнаты.

— Что вам угодно? — спросил капитан.

— Вы приятель Грушницкого и, вероятно, будете его секундантом?

Капитан поклонился очень важно.

— Вы отгадали, — отвечал он: — я даже обязан быть его секундантом, потому что обида, нанесенная ему, относится и ко мне. Я был с ним вчера ночью, — прибавил он, выпрямляя свой сутуловатый стан.

— А! так это вас ударил я так неловко по голове!..

Он пожелтел, посинел; скрытая злоба изобразилась на лице его.

— Я буду иметь честь прислать к вам нониче моего секунданта, — прибавил я, раскланявшись очень вежливо и показывая вид, будто не обращаю внимания на его бешенство.

На крыльце ресторации я встретил мужа Веры. Кажется, он меня дожидался.

Он схватил мою руку с чувством, похожим на восторг.

— Благородный молодой человек! — сказал он с слезами на глазах. — Я все слышал; экой мерзавец! неблагодарный!.. Принимай их после этого в порядочный дом! Слава богу, у меня нет дочерей! Но вас наградит та, для которой вы рискуете жизнью. Будьте уверены в моей скромности до поры

до времени, — продолжал он: — я сам был молод и служил в военной службе; знаю, что в эти дела не должно вмешиваться. Прощайте.

Бедняжка! радуется, что у него нет дочерей…

Я пошел прямо к Вернеру, застал его дома и рассказал ему все — отношения мои к Вере и княжне, и разговор, подслушанный мною, из которого я узнал намерение этих господ подурачить меня, заставив стреляться холостыми зарядами. Но теперь дело выходило из границ шутки; они, вероятно, не ожидали такой развязки.

Доктор согласился быть моим секундантом; я дал ему несколько наставлений насчет условий поединка; он должен был настоять на том, чтобы дело обошлось как можно секретнее, потому что хотя я когда угодно готов подвергать себя смерти, но нимало не расположен испортить навсегда свою будущность в здешнем мире.

После этого я пошел домой. Через час доктор вернулся из своей экспедиции.

— Против вас, точно, есть заговор, — сказал он. — Я нашел у Грушницкого драгунского капитана и еще одного господина, которого фамилии не помню; я на минуту остановился в передней, чтоб снять калоши; у них был ужасный шум и спор… «Ни за что не соглашусь! — говорил Грушницкий: — он меня оскорбил публично — тогда было совсем другое…» — «Какое тебе дело? — отвечал капитан: — я все беру на себя. Я был секундантом на 5 дуэлях, и уж знаю, как это устроить. Я все придумал. Пожалуйста, только мне не мешай. Постращать не худо. А зачем подвергать себя опасности, если можно избавиться?..» — В эту минуту я взошел. Они вдруг замолчали. Переговоры наши продолжались довольно долго; наконец мы решили дело вот как: верстах в пяти отсюда есть глухое ущелье; они туда поедут завтра в 4 часа утра, а мы выедем полчаса после их; стреляться будете на шести шагах — этого требовал сам Грушницкий. Убитого — на счет черкесов. Теперь вот какие у меня подозрения: они, то есть секунданты, должно быть, несколько переменили свой прежний план и хотят зарядить пулею один пистолет Грушницкого. Это немножко похоже на убийство, но в военное время, и особенно в азиатской войне, хитрости позволяются; только Грушницкий, кажется, поблагороднее своих товарищей. Как вы думаете? Должны ли мы показать им, что догадались?

— Ни за что на свете, доктор; будьте спокойны, я им не поддамся.

— Что же вы хотите делать?

— Это моя тайна.

— Смотрите, не попадитесь… ведь на 6 шагах!

— Доктор, я вас жду завтра в четыре часа; лошади будут готовы… Прощайте.

Я до вечера просидел дома, запершись в своей комнате. Приходил лакей звать меня к княгине, — я велел сказать, что болен.

. . . . . .

Два часа ночи… не спится. А надо бы заснуть, чтоб завтра рука не дрожала. Впрочем на шести шагах промахнуться трудно. А! господин Грушницкий! ваша мистификация вам не удастся… мы поменяемся ролями: теперь мне придется отыскивать на вашем бледном лице признаки тайного страха. Зачем вы сами назначили эти роковые шесть шагов? Вы думаете, что я вам без спора подставлю свой лоб… но мы бросим жребий!.. и тогда… тогда… что если его счастье перетянет? если моя звезда наконец мне изменит?.. И немудрено: она так долго служила верно моим прихотям; на небесах не более постоянства, чем на земле.

Что ж? умереть, так умереть: потеря для мира небольшая; да и мне самому порядочно уж скучно. Я — как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова? — прощайте!

Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?.. А, верно она существовала, и верно было мне назначенье высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные; но я не угадал этого назначенья, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений, лучший свет жизни. И с той поры сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы! Как орудье казни, я упадал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаленья… Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил; я любил для себя, для собственного удовольствия; я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их нежность, их радости и страданья — и никогда не мог насытиться. Так томимый голодом в изнеможении засыпает и видит перед собою роскошные кушанья и шипучие вина; он пожирает с восторгом воздушные дары воображенья, и ему кажется легче… но только проснулся, мечта исчезает… остается удвоенный голод и отчаяние!

И, может быть, я завтра умру!.. и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле… Одни скажут: он был добрый малый, другие — мерзавец!.. И то и другое будет ложно. После этого стоит ли труда жить? а все живешь — из любопытства; ожидаешь чего-то нового… Смешно и досадно!

Вот уже полтора месяца, как я в крепости *N*; Максим Максимыч ушел на охоту. Я один; сижу у окна; серые тучи закрыли горы до подошвы; солнце сквозь туман кажется желтым пятном. Холодно, ветер свищет и колеблет ставни. Скучно. Стану продолжать свой журнал, прерванный столькими странными событиями.

Перечитываю последнюю страницу: смешно! — Я думал умереть; это было невозможно: я еще не осушил чаши страданий, и теперь чувствую, что мне еще долго жить.

Как все прошедшее ясно и резко отлилось в моей памяти! Ни одной черты, ни одного оттенка не стерло время.

Я помню, что в продолжение ночи, предшествовавшей поединку, я не спал ни минуты. Писать я не мог долго: тайное беспокойство мною овладело. С час я ходил по комнате; потом сел и открыл роман Вальтера Скотта, лежавший у меня на столе: то были «Шотландские пуритане». Я читал сначала с усилием, потом забылся, увлеченный волшебным вымыслом. Неужели шотландскому барду на том свете не платят за каждую отрадную минуту, которую дарит его книга?..

Наконец рассвело. Нервы мои успокоились. Я посмотрелся в зеркало: тусклая бледность покрывала лицо мое, хранившее следы мучительной бессонницы; но глаза, хотя окруженные коричневою тенью, блистали гордо и неумолимо. Я остался доволен собою.

Велев седлать лошадей, я оделся и сбежал к купальне. Погружаясь в холодный кипяток нарзана, я чувствовал, как телесные и душевные силы мои возвращались. Я вышел из ванны свеж и бодр, как будто собирался на бал. После этого говорите, что душа не зависит от тела!..

Возвратясь, я нашел у себя доктора. На нем были серые рейтузы, архалук и черкесская шапка. Я расхохотался, увидев эту маленькую фигурку под огромной косматой шапкой; у него лицо вовсе не воинственное, а в этот раз оно было еще длиннее обыкновенного.

— Отчего вы так печальны, доктор? — сказал я ему. — Разве вы сто раз не провожали людей на тот свет с величайшим равнодушием? Вообразите, что у меня желчная горячка! я могу выздороветь, могу и умереть: то и другое в порядке вещей. Старайтесь смотреть на меня, как на пациента, одержимого болезнью, вам еще неизвестной, — и тогда ваше любопытство возбудится до высшей степени: вы можете надо мною сделать теперь несколько важных физиологических наблюдений… Ожидание насильственной смерти не есть ли уже настоящая болезнь?

Эта мысль поразила доктора, и он развеселился.

Мы сели верхом; Вернер уцепился за поводья обеими руками, и мы пустились. Мигом проскакали мимо крепости через слободку и въехали в ущелье, по которому вилась дорога, полузаросшая высокой травой и ежеминутно пересекаемая шумным ручьем, через который нужно было переправляться вброд, к великому отчаянию доктора, потому что лошадь его каждый раз в воде останавливалась.

Я не помню утра более голубого и свежего! Солнце едва выказалось из-за зеленых вершин, и слияние первой теплоты его лучей с умирающей прохладой ночи наводило на все чувства какое-то сладкое томление. В ущелье не проникал еще радостный луч молодого дня: он золотил только верхи утесов, висящих с обеих сторон над нами; густолиственные кусты, растущие в их глубоких трещинах, при малейшем дыхании ветра осыпали нас серебряным дождем. Я помню, — в этот раз, больше чем когда-нибудь прежде, я любил природу. Как любопытно всматривался я в каждую росинку, трепещущую на широком листке виноградном и отражавшую миллионы радужных лучей! как жадно взор мой старался проникнуть в дымную даль! Там путь все становился уже, утесы синее и страшнее, и наконец они, казалось, сходились непроницаемою стеной. Мы ехали молча.

— Написали ли вы свое завещание? — вдруг спросил Вернер.

— Нет.

— А если будете убиты?..

— Наследники отыщутся сами.

— Неужели у вас нет друзей, которым бы вы хотели послать свое последнее прости?..

Я покачал головой.

— Неужели нет на свете женщины, которой вы хотели бы оставить что-нибудь на память?..

— Хотите ли, доктор, — отвечал я ему, — чтоб я раскрыл вам мою душу?.. Видите ли, я выжил из тех лет, когда умирают, произнося имя своей любезной и завещая другу клочок напомаженных или ненапомаженных волос. Думая о близкой и возможной смерти, я думаю об одном себе; иные не делают и этого. Друзья, которые завтра меня забудут или, хуже, взведут на мой счет Бог знает какие небылицы; женщины, которые, обнимая другого, будут смеяться надо мною, чтоб не возбудить в нем ревности к усопшему, — Бог с ними! Из жизненной бури я вынес только несколько идей — и ни одного чувства. Я давно уж живу не сердцем, а головою. Я взвешиваю и разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его; первый, быть может, через час простится с вами и миром навеки, а второй… второй… Посмотрите, доктор: видите ли вы на скале направо чернеются три фигуры? Это, кажется, наши противники?..

Мы пустились рысью.

У подошвы скалы в кустах были привязаны три лошади; мы своих привязали тут же, а сами по узкой тропинке взобрались на площадку, где ожидал нас Грушницкий с драгунским капитаном и другим своим секундантом, которого звали Иваном Игнатьевичем; фамилии его я никогда не слыхал.

— Мы давно уж вас ожидаем, — сказал драгунский капитан с иронической улыбкой.

Я вынул часы и показал ему.

Он извинился, говоря, что его часы уходят.

Несколько минут продолжалось затруднительное молчание; наконец доктор прервал его, обратясь к Грушницкому:

— Мне кажется, — сказал он, — что, показав оба готовность драться и заплатив этим долг условиям чести, вы бы могли, господа, объясниться и кончить это дело полюбовно.

— Я готов, — сказал я.

Капитан мигнул Грушницкому, и этот, думая, что я трушу, принял гордый вид, хотя до сей минуты тусклая бледность покрывала его щеки. С тех пор, как мы приехали, он в первый раз поднял на меня глаза; но во взгляде его было какое-то беспокойство, изобличавшее внутреннюю борьбу.

— Объясните ваши условия, — сказал он, — и все, что я могу для вас сделать, то будьте уверены…

— Вот мои условия: вы нынче же публично откажетесь от своей клеветы и будете просить у меня извинения…

— Милостивый государь, я удивляюсь, как вы смеете мне предлагать такие вещи?..

— Что ж я вам мог предложить, кроме этого?..

— Мы будем стреляться…

Я пожал плечами.

— Пожалуй: только подумайте, что один из нас непременно будет убит.

— Я желаю, чтобы это были вы…

— А я так уверен в противном…

Он смутился, покраснел, потом принужденно захохотал.

Капитан взял его под руку и отвел в сторону; они долго шептались. Я приехал в довольно миролюбивом расположении духа, но все это начинало меня бесить.

Ко мне подошел доктор.

— Послушайте, — сказал он с явным беспокойством: — вы, верно, забыли про их заговор?.. Я не умею зарядить пистолета, но в этом случае… Вы странный человек! Скажите им, что вы знаете их намерение, и они не посмеют… Что за охота! подстрелят вас, как птицу…

— Пожалуйста, не беспокойтесь, доктор, и погодите… Я все так устрою, что на их стороне не будет никакой выгоды. Дайте им пошептаться…

— Господа, это становится скучно! — сказал я им громко: — драться так драться; вы имели время вчера наговориться…

— Мы готовы, — отвечал капитан. — Становитесь, господа!.. Доктор, извольте отмерить шесть шагов…

— Становитесь! — повторил Иван Игнатьич пискливым голосом.

— Позвольте! — сказал я: — еще одно условие; так как мы будем драться на смерть, то мы обязаны сделать все возможное, чтоб это осталось тайною и чтоб секунданты наши не были в ответственности. Согласны ли вы?..

— Совершенно согласны.

— Итак, вот что я придумал. Видите ли на вершине этой отвесной скалы, направо, узенькую площадку? оттуда до низу будет сажен тридцать, если не больше; внизу острые камни. Каждый из нас станет на самом краю площадки; таким образом даже легкая рана будет смертельна; это должно быть согласно с вашим желанием, потому что вы сами назначили шесть шагов. Тот, кто будет ранен, полетит непременно вниз и разобьется вдребезги; пулю доктор вынет. И тогда можно будет очень легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачным прыжком. Мы бросим жребий, кому первому стрелять… Объявляю вам в заключение, что иначе я не буду драться.

— Пожалуй, — сказал капитан, посмотрев выразительно на Грушницкого, который кивнул головой в знак согласия. Лицо его ежеминутно менялось. Я его поставил в затруднительное положение. Стреляясь при обыкновенных условиях, он мог целить мне в ногу, легко меня ранить и удовлетворить таким образом свою месть, не отягощая слишком своей совести; но теперь он должен был выстрелить на воздух или сделаться убийцей, или наконец оставить свой подлый замысел и подвергнуться одинаковой со мною опасности. В эту минуту я не желал бы быть на его месте. Он отвел капитана в сторону и стал говорить ему что-то с большим жаром; я видел, как посиневшие губы его дрожали; но капитан от него отвернулся с презрительной улыбкой. «Ты дурак! — сказал он Грушницкому довольно громко: — ничего не понимаешь! Отправимтесь же, господа!»

Узкая тропинка вела между кустами на крутизну; обломки скал составляли шаткие ступени этой природной лестницы; цепляясь за кусты, мы стали карабкаться. Грушницкий шел впереди, за ним его секунданты, а потом мы с доктором.

— Я вам удивляюсь, — сказал доктор, пожав мне крепко руку. — Дайте пощупать пульс!.. о-го! лихорадочный… но на лице ничего не заметно… только глаза у вас блестят ярче обыкновенного.

Вдруг мелкие камни с шумом покатились нам под ноги. Что это? Грушницкий споткнулся; ветка, за которую он уцепился, изломилась, и он скатился бы вниз на спине, если б его секунданты не поддержали.

— Берегитесь! — закричал я ему: — не падайте заранее; это дурная примета. Вспомните Юлия Цезаря!*

Вот мы взобрались на вершину выдавшейся скалы: площадка была покрыта мелким песком, будто нарочно для поединка. Кругом, теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как бесчисленное стадо, и Эльбрус на юге вставал белою громадой, замыкая цепь льдистых вершин, между которых уж бродили волокнистые облака, набежавшие с востока. Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз, голова чуть-чуть у меня не закружилась: там внизу казалось темно и холодно, как в гробе; мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи.

Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный треугольник. От выдавшегося угла отмерили 6 шагов и решили, что тот, кому придется первому встретить неприятельский огонь, станет на самом углу, спиною к пропасти; если он не будет убит, то противники поменяются местами.

Я решился предоставить все выгоды Грушницкому; я хотел испытать его; в душе его могла проснуться искра великодушия, и тогда все устроилось бы к лучшему; но самолюбие и слабость характера должны были торжествовать!.. Я хотел дать себе полное право не щадить его, если бы судьба меня помиловала: кто не заключал таких условий с своею совестью?

— Бросьте жребий, доктор, — сказал капитан.

Доктор вынул из кармана серебряную монету и поднял ее кверху.

— Решетка! — закричал Грушницкий поспешно, как человек, которого вдруг разбудил дружеский толчок.

— Орел! — сказал я.

Монета взвилась и упала звеня; все бросились к ней.

— Вы счастливы, — сказал я Грушницкому: — вам стрелять первому! Но помните, что если вы меня не убьете, то я не промахнусь! — даю вам честное слово.

Он покраснел; ему было стыдно убить человека безоружного; я глядел на него пристально; с минуту мне казалось, что он бросится к ногам моим, умоляя о прощении; но как признаться в таком подлом умысле?.. Ему оставалось одно средство — выстрелить на воздух; я был уверен, что он выстрелит на воздух! Одно могло этому помешать: мысль, что я потребую вторичного поединка.

— Пора, — шепнул мне доктор, дергая за рукав: — если вы теперь не скажете, что мы знаем их намерения, то все пропало… Посмотрите, он уж заряжает… если вы ничего не скажете, то я сам…

— Ни за что на свете, доктор! — отвечал я, удерживая его за руку: — вы все испортите; вы мне дали слово не мешать… Какое вам дело? Может быть, я хочу быть убит…

Он посмотрел на меня с удивлением.

— О! это другое!.. только на меня на том свете не жалуйтесь.

Капитан между тем зарядил свои пистолеты, подал один Грушницкому, с улыбкою шепнув ему что-то, другой мне.

Я стал на углу площадки, крепко упершись левой ногою в камень и наклонясь немного наперед, чтобы в случае легкой раны не опрокинуться назад.

Грушницкий стал против меня и по данному знаку начал поднимать пистолет. Колени его дрожали. Он целил мне прямо в лоб…

Неизъяснимое бешенство закипело в груди моей.

Вдруг он опустил дуло пистолета и, побледнев как полотно, повернулся к своему секунданту.

— Не могу, — сказал он глухим голосом.

— Трус! — отвечал капитан.

Выстрел раздался. Пуля оцарапала мне колено. Я невольно сделал несколько шагов вперед, чтоб поскорей удалиться от края.

— Ну, брат Грушницкий, жаль, что промахнулся, — сказал капитан: — теперь твоя очередь, становись! Обними меня прежде: мы уж не увидимся! — Они обнялись; капитан едва мог удержаться от смеха: — Не бойся, — прибавил он, хитро взглянув на Грушницкого, — все вздор на свете!.. Натура — дура, судьба — индейка, а жизнь — копейка!

После этой трагической фразы, сказанной с приличной важностью, он отошел на свое место; Иван Игнатьич со слезами обнял также Грушницкого, и вот он остался один против меня. Я до сих пор стараюсь объяснить себе, какого рода чувство кипело тогда в груди моей: то было и досада оскорбленного самолюбия, и презрение, и злоба, рождавшаяся при мысли, что этот человек, теперь с такою уверенностью, с такой спокойной дерзостью на меня глядящий, две минуты тому назад, не подвергая себя никакой опасности, хотел меня убить, как собаку; ибо раненый в ногу немного сильнее, я бы непременно свалился с утеса.

Я несколько минут смотрел ему пристально в лицо, стараясь заметить хоть легкий след раскаяния. Но мне показалось, что он удерживал улыбку.

— Я вам советую перед смертью помолиться богу, — сказал я ему тогда.

— Не заботьтесь о моей душе больше, чем о своей собственной. Об одном вас прошу: стреляйте скорее.

— И вы не отказываетесь от своей клеветы? не просите у меня прощения?.. Подумайте хорошенько: не говорит ли вам чего-нибудь совесть?

— Господин Печорин! — закричал драгунский капитан: — вы здесь не для того, чтоб исповедовать, позвольте вам заметить... Кончимте скорее; неравно кто-нибудь проедет по ущелью — и нас увидят.

— Хорошо. Доктор, подойдите ко мне.

Доктор подошел. Бедный доктор! он был бледнее, чем Грушницкий десять минут тому назад.

Следующие слова я произнес нарочно с расстановкой, громко и внятно, как произносят смертный приговор.

— Доктор, эти господа, вероятно второпях, забыли положить пулю в мой пистолет: прошу вас зарядить его снова, — и хорошенько!

— Не может быть! — кричал капитан: — не может быть! я зарядил оба пистолета, — разве что из вашего пуля выкатилась... Это не моя вина! — А вы не имеете права перезаряжать... никакого права... это совершенно против правил, — я не позволю...

— Хорошо! — сказал я капитану: — если так, то мы будем с вами стреляться на тех же условиях...

Он замялся.

Грушницкий стоял, опустив голову на грудь, смущенный и мрачный.

— Оставь их! — сказал он, наконец, капитану, который хотел вырвать пистолет мой из рук доктора. — Ведь ты сам знаешь, что они правы.

Напрасно капитан делал ему разные знаки, — Грушницкий не хотел и смотреть.

Между тем доктор зарядил пистолет и подал мне.

Увидев это, капитан плюнул и топнул ногой: «Дурак же ты, братец, — сказал он: — пошлый дурак!.. Уж положился на меня, так слушайся во всем... Поделом же тебе! околевай себе, как муха...» — Он отвернулся и, отходя, пробормотал: «а все-таки это совершенно против правил».

— Грушницкий! — сказал я: — еще есть время. Откажись от своей клеветы, и я тебе прощу все; тебе не удалось меня подурачить, и мое самолюбие удовлетворено, — вспомни — мы были когда-то друзьями.

Лицо у него вспыхнуло, глаза засверкали.

— Стреляйте, — отвечал он. — Я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоем нет места...

Я выстрелил.

Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было. Только прах легким столбом еще вился на краю обрыва.

Все в один голос вскрикнули.

— Finita la comedia![1] — сказал я доктору.

Он не отвечал и с ужасом отвернулся.

Я пожал плечами и раскланялся с секундантами Грушницкого.

Спускаясь по тропинке вниз, я заметил между расселинами скал окровавленный труп Грушницкого. Я невольно закрыл глаза...

Отвязав лошадь, я шагом пустился домой. У меня на сердце был камень. Солнце казалось мне тускло, лучи его меня не грели.

Не доезжая слободки, я повернул направо по ущелью. Вид человека был бы мне тягостен: я хотел быть один. Бросив поводья и опустив голову на грудь, я ехал долго, наконец очутился в месте, мне вовсе не знакомом; я повернул коня назад и стал отыскивать дорогу; уж солнце садилось, когда я подъехал к Кисловодску, измученный на измученной лошади.

Лакей мой сказал мне, что заходил Вернер, и подал мне две записки: одну от него, другую... от Веры.

Я распечатал первую, она была следующего содержания:

«Все устроено как можно лучше: тело привезено обезображенное, пуля из груди вынута. Все уверены, что причиною его смерти несчастный случай; только комендант, которому, вероятно, известна ваша ссора, покачал головой — но ничего не сказал. Доказательств против вас нет никаких, и вы можете спать спокойно, *если можете*... Прощайте».

Я долго не решался открыть вторую записку... Что могла она мне писать?.. Тяжелое предчувствие волновало мою душу.

---

[1] Кончена комедия! *(Итал.) — Ред.*

Вот оно, это письмо, которого каждое слово неизгладимо врезалось в моей памяти:

«Я пишу к тебе в полной уверенности, что мы никогда более не увидимся. Несколько лет тому назад, расставаясь с тобою, я думала то же самое; но небу было угодно испытать меня вторично; я не вынесла этого испытания, мое слабое сердце покорилось снова знакомому голосу… ты не будешь презирать меня за это, не правда ли? Это письмо будет вместе прощаньем и исповедью; я обязана сказать тебе все, что накопилось на моем сердце с тех пор, как оно тебя любит. Я не стану обвинять тебя — ты поступил со мною, как поступил бы всякий другой мужчина: ты любил меня как собственность, как источник радостей, тревог и печалей, сменявшихся взаимно, без которых жизнь скучна и однообразна. Я это поняла с начала… Но ты был несчастлив, и я пожертвовала собою, надеясь, что когда-нибудь ты оценишь мою жертву, что когда-нибудь ты поймешь мою глубокую нежность, не зависящую ни от каких условий; прошло с тех пор много времени, я проникла во все тайны души твоей… и убедилась, что то была надежда напрасная. Горько мне было! Но моя любовь срослась с душой моей; она потемнела, но не угасла.

«Мы расстаемся навеки; однако ты можешь быть уверен, что я никогда не буду любить другого; моя душа истощила на тебя все свои сокровища, свои слезы и надежды. Любившая раз тебя не может смотреть без некоторого презрения на прочих мужчин, не потому, чтоб ты был лучше их, о нет! но в твоей природе есть что-то особенное, тебе одному свойственное, что-то гордое и таинственное; в твоем голосе, что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая; никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым; ни в ком зло не бывает так привлекательно, ничей взор не обещает столько блаженства, никто не умеет лучше пользоваться своими преимуществами, — и никто не может быть так истинно несчастлив, как ты, потому что никто столько не старается уверить себя в противном.

«Теперь я должна тебе объяснить причину моего поспешного отъезда; она тебе покажется маловажна, потому что касается до одной меня.

«Нынче поутру мой муж вошел ко мне и рассказал про твою ссору с Грушницким. Видно, я очень переменилась в лице, потому что он долго и пристально смотрел мне в глаза; я едва не упала без памяти при мысли, что ты нынче должен драться и что я этому причиной; мне казалось, что я сойду с ума… Но теперь, когда я могу рассуждать, я уверена, что ты останешься жив: невозможно, чтоб ты умер без меня, невозможно! Мой муж долго ходил по комнате; я не знаю, что он мне говорил, не помню, что я ему отвечала… верно, я ему сказала, что я тебя люблю… Помню только, что под конец нашего разговора он оскорбил меня ужасным словом и вышел. Я слышала, как он велел закладывать карету… Вот уж три часа, как я сижу у окна и жду твоего возврата… Но ты жив, ты не можешь умереть!.. Карета почти готова… Прощай, прощай… Я погибла, — но что за нужда?.. Если б я могла быть уверена, что ты всегда меня будешь помнить, — не говорю уж любить, — нет, только помнить… Прощай: идут… я должна спрятать письмо…

«Не правда ли, ты не любишь Мери? ты не женишься на ней? — Послушай, ты должен мне принести эту жертву: я для тебя потеряла все на свете…»

Я как безумный выскочил на крыльцо, прыгнул на своего Черкеса, которого водили по двору, и пустился во весь дух по дороге в Пятигорск. Я беспощадно погонял измученного коня, который, храпя и весь в пене, мчал меня по каменистой дороге.

Солнце уже спряталось в черной туче, отдыхавшей на гребне западных гор; в ущелье стало темно и сыро. Подкумок, пробираясь по камням, ревел глухо и однообразно. Я скакал, задыхаясь от нетерпенья. Мысль не застать ее в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце! — одну минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ее руку… Я молился, проклинал, плакал, смеялся… нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния!.. При возможности потерять ее навеки Вера стала для меня дороже всего на свете — дороже жизни, чести, счастья. Бог знает, какие странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей… И между тем я все скакал, погоняя беспощадно. И вот я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит; он раза два уж споткнулся на ровном месте… Оставалось 5 верст до Ессентуков, казачьей станицы, где я мог пересесть на другую лошадь.

Все было бы спасено, если б у моего коня достало сил еще на 10 минут! Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор, на крутом повороте, он грянулся о землю. Я проворно соскочил, хочу поднять его, дергаю за повод — напрасно; едва слышный стон вырвался сквозь стиснутые его зубы; через несколько минут он издох; я остался в степи один, потеряв последнюю надежду. Попробовал идти пешком — ноги мои подкосились; изнуренный тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и, как ребенок, заплакал.

И долго я лежал неподвижно, и плакал, горько, не стараясь удерживать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровие — исчезли, как дым. Душа обессилела, рассудок замолк, и если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся.

Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горячую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастием бесполезно и безрассудно. Чего мне еще надобно? — ее видеть? — зачем? не все ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться.

Мне, однако, приятно, что я могу плакать! Впрочем, может быть, этому причиной расстроенные нервы, ночь, проведенная без сна, две минуты против дула пистолета и пустой желудок.

Все к лучшему! это новое страдание, говоря военным слогом, сделало во мне счастливую диверсию. Плакать здорово; и потом, вероятно, если б я не проехался верхом и не был принужден на обратном пути пройти 15 верст, то и эту ночь сон не сомкнул бы глаз моих.

Я возвратился в Кисловодск в 5 часов утра, бросился на постель и заснул сном Наполеона после Ватерлоо.

Когда я проснулся, на дворе уж было темно. Я сел у отворенного окна, расстегнул архалук, и горный ветер освежил грудь мою, еще не успокоенную тяжелым сном усталости. Вдали за рекою, сквозь верхи густых лип, ее осеняющих, мелькали огни в строеньях крепости и слободки. На дворе у нас все было тихо; в доме княгини было темно.

Взошел доктор: лоб у него был нахмурен, и он против обыкновения не протянул мне руки.

— Откуда вы, доктор?

— От княгини Лиговской; дочь ее больна — расслабление нервов! Да не в этом дело, а вот что. Начальство догадывается, и хотя ничего нельзя доказать положительно, однако я вам советую быть осторожнее. Княгиня мне говорила нынче, что она знает, что вы стрелялись за ее дочь. Ей все этот старичок рассказал: — как бишь его? — Он был свидетелем вашей стычки с Грушницким в ресторации. Я пришел вас предупредить. Прощайте, может быть мы больше не увидимся, вас ушлют куда-нибудь…

Он на пороге остановился, ему хотелось пожать мне руку… и если б я показал ему малейшее на это желание, то он бросился бы мне на шею; но я остался холоден как камень, — и он вышел.

Вот люди! все они таковы: знают заранее все дурные стороны поступка, помогают, советуют, даже одобряют его, видя невозможность другого средства, — а потом умывают руки и отворачиваются с негодованием от того, кто имел смелость взять на себя всю тягость ответственности. Все они таковы, даже самые добрые, самые умные!..

На другой день утром, получив приказание от высшего начальства отправиться в крепость N, я зашел к княгине проститься.

Она была удивлена, когда на вопрос ее: имею ли я ей сказать что-нибудь особенно важное? я отвечал, что желаю ей быть счастливой и проч.

— А мне нужно с вами поговорить очень серьезно.

Я сел молча.

Явно было, что она не знала, с чего начать; лицо ее побагровело, пухлые ее пальцы стучали по столу; наконец она начала так прерывистым голосом:

— Послушайте, мсье Печорин! я думаю, что вы благородный человек.

Я поклонился.

— Я даже в этом уверена, — продолжала она, — хотя ваше поведение несколько сомнительно; но у вас могут быть причины, которых я не знаю, и их-то вы должны теперь мне поверить. Вы защитили дочь мою от клеветы, стрелялись за нее, следственно рисковали жизнью… Не отвечайте, я знаю, что вы в этом не признаетесь, потому что Грушницкий убит (она перекрестилась). Бог ему простит — и, надеюсь, вам также!.. Что до меня не касается, я не смею осуждать вас, потому что дочь моя хотя невинно, но была этому причиной. Она мне все сказала… я думаю, все, вы изъяснялись ей в любви… она вам призналась в своей! (тут княгиня тяжело вздохнула). Но она больна, и я уверена, что это не простая болезнь! Печаль тайная ее убивает; она не признается, но я уверена, что вы этому причиной… Послушайте, вы, может быть, думаете, что я ищу чинов, огромного богатства, — разуверьтесь! я хочу только счастья дочери. Ваше теперешнее положение не завидно, но оно может поправиться, — вы имеете состояние, вас любит дочь моя, она воспитана так, что составит счастие мужа, — я богата, она у меня одна… Говорите, что вас удерживает?.. Видите, я не должна бы была вам всего этого говорить, но я полагаюсь на ваше сердце, на вашу честь — вспомните, у меня одна дочь… одна…

Она заплакала.

— Княгиня, — сказал я: — мне невозможно отвечать вам; позвольте мне поговорить с вашей дочерью, наедине…

— Никогда! — воскликнула она, встав со стула в сильном волнении.

— Как хотите, — отвечал я, приготовляясь уйти.

Она задумалась, сделала мне знак рукою, чтоб я подождал, и вышла.

Прошло минут пять; сердце мое сильно билось, но мысли были спокойны, голова холодна; как я ни искал в груди моей хоть искры любви к милой Мери, но старания мои были напрасны.

Вот двери отворились, и взошла она. Боже! как переменилась с тех пор, как я не видал ее, — а давно ли?

Дойдя до середины комнаты, она пошатнулась; я вскочил, подал ей руку и довел ее до кресел.

Я стоял против нее, мы долго молчали; ее большие глаза, исполненные неизъяснимой грусти, казалось, искали в моих что-нибудь похожее на надежду; ее бледные губы напрасно старались улыбнуться; ее нежные руки, сложенные на коленах, были так худы и прозрачны, что мне стало жаль ее.

— Княжна, — сказал я: — вы знаете, что я над вами смеялся!.. Вы должны презирать меня.

На ее щеках показался болезненный румянец.

Я продолжал:

— Следственно, вы меня любить не можете…

Она отвернулась, облокотилась на стол, закрыла глаза рукою, и мне показалось, что в них блеснули слезы.

— Боже мой, — произнесла она едва внятно.

Это становилось невыносимо: еще минута, и я бы упал к ногам ее.

— Итак, вы сами видите, — сказал я сколько мог твердым голосом и с принужденной усмешкою: — вы сами видите, что я не могу на вас жениться; если б вы даже этого теперь хотели, то скоро бы раскаялись. Мой разговор с вашей матушкой принудил меня объясниться с вами так откровенно и так грубо; я надеюсь, что она в заблуждении: вам легко ее разуверить. Вы видите, я играю в ваших глазах самую жалкую и гадкую роль, и даже в этом признаюсь; вот все, что я могу для вас сделать. Какое бы вы дурное мнение обо мне ни имели — я ему покоряюсь… Видите ли, я перед вами низок. Не правда ли, если даже вы меня и любили, то с этой минуты презираете?..

Она обернулась ко мне бледная, как мрамор, только глаза ее чудесно сверкали.

— Я вас ненавижу… — сказала она.

Я поблагодарил, поклонился почтительно и вышел.

Через час курьерская тройка мчала меня из Кисловодска.

За несколько верст от Ессентуков я узнал близ дороги труп моего лихого коня; седло было снято — вероятно проезжим казаком, — и вместо седла на спине его сидели два ворона. — Я вздохнул и отвернулся!..

И теперь здесь, в этой скучной крепости, я часто, пробегая мыслию прошедшее, спрашиваю себя, отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное… Нет! я бы не ужился с этой долею! Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига; его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце; он ходит себе целый день по прибрежному песку, прислушивается к однообразному ропоту набегающих волн и всматривается в туманную даль: не мелькнет ли там на бледной черте, отделяющей синюю пучину от серых тучек, желанный парус, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-помалу отделяющийся от пены валунов и ровным бегом приближающийся к пустынной пристани…

III. Фаталист

Мне как-то раз случилось прожить две недели в казачьей станице на левом фланге; тут же стоял батальон пехоты; офицеры собирались друг у друга поочередно, по вечерам играли в карты.

Однажды, наскучив бостоном и бросив карты под стол, мы засиделись у майора С*** очень долго; разговор против обыкновения был занимателен. Рассуждали о том, что мусульманское поверье, будто судьба человека написана на небесах, находит и между нами, христианами, многих поклонников; каждый рассказывал разные необыкновенные случаи pro или contra[1].

Все это, господа, ничего не доказывает, — сказал старый майор: — ведь никто из вас не был свидетелем тех странных случаев, которыми подтверждаете свои мнения…

— Конечно никто! — сказали многие: — но мы слышали от верных людей…

— Все это вздор! — сказал кто-то: — где эти верные люди, видевшие список, на котором означен час нашей смерти?.. И если точно есть предопределение, то зачем же нам дана воля, рассудок? почему мы должны давать отчет в наших поступках?..

В это время один офицер, сидевший в углу комнаты, встал и, медленно подойдя к столу, окинул всех спокойным и торжественным взглядом. Он был родом серб, как видно было из его имени.

Наружность поручика Вулича отвечала вполне его характеру. Высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы, черные проницательные глаза, большой, но правильный нос, принадлежность его нации, печальная и холодная улыбка, вечно блуждавшая на губах его, — все это будто согласовалось для того, чтоб придать ему вид существа особенного, неспособного делиться мыслями и страстями с теми, которых судьба дала ему в товарищи.

Он был храбр, говорил мало, но резко; никому не поверял своих душевных и семейных тайн, вина почти вовсе не пил, за молодыми казачками, которых прелесть трудно постигнуть, не видав их, он никогда не волочился. Говорили, однако, что жена полковника была неравнодушна к его выразительным глазам; но он не шутя сердился, когда об этом намекали.

Была только одна страсть, которой он не таил: страсть к игре. За зеленым столом он забывал все, и обыкновенно проигрывал; но постоянные неудачи только раздражали его упрямство. Рассказывали, что раз, во время экспедиции, ночью, он на подушке метал банк; ему ужасно везло. Вдруг

[1] За или против (*латин.*) — *Ред.*

раздались выстрелы, ударили тревогу. Все вскочили и бросились к оружию. «Поставь ва-банк!» — кричал Вулич, не подымаясь, одному из самых горячих понтеров. — «Идет семерка», — отвечал тот, убегая. Несмотря на всеобщую суматоху Вулич докинул талью. Карта была дана.

Когда он явился в цепь, там была уж сильная перестрелка. Вулич не заботился ни о пулях, ни о шашках чеченских: он отыскивал своего счастливого понтера.

— Семерка дана! — закричал он, увидав его, наконец, в цепи застрельщиков, которые начинали вытеснять из лесу неприятеля, и, подойдя ближе, он вынул свой кошелек и бумажник и отдал их счастливцу, несмотря на возражения о неуместности платежа. Исполнив этот неприятный долг, он бросился вперед, увлек за собою солдат и до самого конца дела прехладнокровно перестреливался с чеченцами.

Когда поручик Вулич подошел к столу, то все замолчали, ожидая от него какой-нибудь оригинальной выходки.

— Господа, — сказал он (голос его был спокоен, хотя тоном ниже обыкновенного): — господа, к чему пустые споры? Вы хотите доказательств: я вам предлагаю испробовать на себе, может ли человек своевольно располагать своею жизнию, или каждому из нас заранее назначена роковая минута… Кому угодно?

— Не мне, не мне! — раздалось со всех сторон: — вот чудак! придет же в голову!..

— Предлагаю пари, — сказал я шутя.

— Какое?

— Утверждаю, что нет предопределения, — сказал я, высыпая на стол десятка два червонцев, все, что было у меня в кармане.

— Держу, — отвечал Вулич глухим голосом. — Майор, вы будете судьею; вот 15 червонцев, остальные пять вы мне должны и сделаете мне дружбу прибавить их к этим.

— Хорошо, — сказал майор: — только не понимаю, право, в чем дело… и как вы решите спор…

Вулич молча вышел в спальню майора. Мы за ним последовали. Он подошел к стене, на которой висело оружие, и наудачу снял с гвоздя один из разнокалиберных пистолетов; мы еще его не понимали; но когда он взвел курок и насыпал на полку пороха, то многие, невольно вскрикнув, схватили его за руки.

— Что ты хочешь делать? Послушай, это сумасшествие! — закричали ему.

— Господа, — сказал он медленно, освобождая свои руки: — кому угодно заплатить за меня 20 червонцев?

Все замолчали и отошли.

Вулич вышел в другую комнату и сел у стола; все последовали за ним: он знаком пригласил нас сесть кругом. Молча повиновались ему: в эту минуту он приобрел над нами какую-то таинственную власть. Я пристально посмотрел ему в глаза; но он спокойным и неподвижным взором встретил мой испытующий взгляд, и бледные губы его улыбнулись. Но несмотря на его хладнокровие, мне казалось, я читал печать смерти на бледном лице его: я замечал, и многие старые воины подтверждали мое замечание, что часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы, так что привычным глазам трудно ошибиться.

— Вы нынче умрете, — сказал я ему. Он быстро ко мне обернулся, но отвечал медленно и спокойно:

— Может быть да — может быть и нет…

Потом, обратясь к майору, спросил, заряжен ли пистолет. Майор в замешательстве не помнил, хорошенько.

— Да полно, Вулич! — закричал кто-то: — уж верно заряжен, коли в головах висел… что за охота шутить!..

— Глупая шутка, — подхватил другой.

— Держу 50 рублей против пяти, что пистолет не заряжен! — закричал третий.

Составились новое пари.

Мне надоела эта длинная церемония.

— Послушайте, — сказал я: — или застрелитесь, или повесьте пистолет на прежнее место, и пойдемте спать.

— Разумеется, — воскликнули многие, — пойдемте спать.

— Господа, я вас прошу не трогаться с места, — сказал Вулич, приставя дуло пистолета ко лбу. Все будто окаменели.

— Господин Печорин, — прибавил он: — возьмите карту и бросьте вверх.

Я взял со стола, как теперь помню, червонного туза и бросил кверху: дыхание у всех остановилось, все глаза, выражая страх и какое-то неопределенное любопытство, бегали от пистолета к роковому тузу, который, трепеща на воздухе, опускался медленно; в ту минуту, как он коснулся стола, Вулич спустил курок… осечка!

— Слава Богу, — вскрикнули многие: — не заряжен…

— Посмотрим, однако ж, — сказал Вулич. Он взвел опять курок, прицелился в фуражку, висевшую над окном, — выстрел раздался, дым наполнил комнату! Когда он рассеялся, сняли фуражку; она была пробита в самой середине, и пуля глубоко засела в стене.

Минуты три никто не мог слова вымолвить. Вулич преспокойно пересыпал в свой кошелек мои червонцы.

Пошли толки о том, отчего пистолет в первый раз не выстрелил; иные утверждали, что, вероятно, полка была засорена, другие говорили шепотом, что прежде порох был сырой и что после Вулич присыпал свежего; но я утверждал, что последнее предположение несправедливо, потому что я во все время не спускал глаз с пистолета.

— Вы счастливы в игре, — сказал я Вуличу…

— В первый раз от роду, — отвечал он, самодовольно улыбаясь: — это лучше банка и штосса.

— Зато немножко опаснее.

— А что, вы начали верить предопределению?

— Верю… только не понимаю теперь, отчего мне казалось, будто вы непременно должны нынче умереть…

Этот же человек, который так недавно метил себе преспокойно в лоб, теперь вдруг вспыхнул и смутился.

— Однако ж довольно, — сказал он вставая: — пари наше кончилось, и теперь ваши замечания, мне кажется, неуместны… — Он взял шапку и ушел. Это мне показалось странным, — и не даром!..

Скоро все разошлись по домам, различно толкуя о причудах Вулича и, вероятно, в один голос называя меня эгоистом, потому что я держал пари против человека, который хотел застрелиться; как будто он без меня не мог найти удобного случая!..

Я возвращался домой пустыми переулками станицы; месяц, полный и красный, как зарево пожара, начинал показываться из-за зубчатого горизонта домов; звезды спокойно сияли на темно-голубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права!.. И что ж? эти лампады, зажженные, по их мнению, только для того, чтоб освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, как огонек, зажженный на краю леса беспечным странником. Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо с своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным!.. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не способны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного счастия, потому, что знаем его невозможность, и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя и истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбою.

И много других подобных дум проходило в уме моем; я их не удерживал, потому что не люблю останавливаться на какой-нибудь отвлеченной мысли. И к чему это ведет?.. В первой молодости моей я был мечтателем: я любил ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало мне беспокойное и жадное воображение. Но что от этого мне осталось? — одна усталость, как после ночной битвы с привидением, и смутное воспоминание, исполненное сожалений. В этой напрасной борьбе я истощил и жар души и постоянство воли, необходимое для действительной жизни; я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге.

Происшествие этого вечера произвело на меня довольно глубокое впечатление и раздражило мои нервы; не знаю наверное, верю ли я теперь предопределению или нет, но в этот вечер я ему твердо верил: доказательство было разительно, и я, несмотря на то, что посмеялся над нашими предками и их услужливой астрологией, попал невольно в их колею; но я остановил себя вовремя на этом опасном пути и, имея правило ничего не отвергать решительно и ничему не вверяться слепо, отбросил метафизику в сторону и стал смотреть под ноги. Такая предосторожность была очень кстати: я чуть-чуть не упал, наткнувшись на что-то толстое и мягкое, но по-видимому неживое. Наклоняюсь — месяц уж светил прямо на дорогу — и что же? предо мною лежала свинья, разрубленная пополам шашкой… Едва я успел ее рассмотреть, как услышал шум шагов: два казака бежали из переулка; один подошел ко мне и спросил, не видал ли я пьяного казака, который гнался за свиньей. Я объявил им, что не встречал казака, и указал на несчастную жертву его неистовой храбрости.

— Экой разбойник! — сказал второй казак: — как напьется чихиря, так и пошел крошить все, что ни попало. Пойдем за ним, Еремеич, надо его связать, а то…

Они удалились, а я продолжал свой путь с большей осторожностью и, наконец, счастливо добрался до своей квартеры.

Я жил у одного старого урядника, которого любил за добрый его нрав, а особенно за хорошенькую дочку Настю.

Она по обыкновению дожидалась меня у калитки, завернувшись в шубку; луна освещала ее милые губки, посиневшие от ночного холода. Узнав меня, она улыбнулась — но мне было не до нее. «Прощай, Настя», — сказал я, проходя мимо. Она хотела что-то отвечать, но только вздохнула.

Я затворил за собою дверь моей комнаты, засветил свечку и бросился на постель; только сон на этот раз заставил себя ждать более обыкновенного. Уж восток начинал бледнеть, когда я заснул, но видно было написано на небесах, что в эту ночь я не высплюсь. В 4 часа утра два кулака застучали ко мне в окно. Я вскочил: что такое?.. «Вставай, одевайся!» — кричало мне несколько голосов. Я наскоро оделся и вышел. «Знаешь, что случилось?» — сказали мне в один голос три офицера, пришедшие за мною; они были бледны как смерть.

— Что?

— Вулич убит.

Я остолбенел.

— Да, убит, — продолжали они: — пойдем скорее.

— Да куда же?

— Дорогой узнаешь.

Мы пошли. Они рассказали мне все, что случилось, с примесью разных замечаний насчет странного предопределения, которое спасло его от неминуемой смерти за полчаса до смерти. Вулич шел один по темной улице; на него наскочил пьяный казак, изрубивший свинью, и, может быть, прошел бы мимо, не заметив его, если б Вулич, вдруг остановясь, не сказал: «кого ты, братец, ищешь?» — «*Тебя!*» — отвечал казак, ударив его шашкой, и разрубил его от плеча почти до сердца... Два казака, встретившие меня и следившие за убийцей, подоспели, подняли раненого, но он был уже при последнем издыхании и сказал только два слова: «он прав!» Я один понимал темное значение этих слов: они относились ко мне; я предсказал невольно бедному его судьбу; мой инстинкт не обманул меня, я точно прочел на его изменившемся лице печать близкой кончины.

Убийца заперся в пустой хате, на конце станицы. Мы шли туда. Множество женщин бежало с плачем в ту же сторону. По временам опоздавший казак выскакивал на улицу, второпях пристегивая кинжал, и бегом опережал нас. Суматоха была страшная.

Вот, наконец, мы пришли: смотрим: вокруг хаты, которой двери и ставни заперты изнутри, стоит толпа. Офицеры и казаки толкуют горячо между собою; женщины воют, приговаривая и причитывая. Среди их бросилось мне в глаза значительное лицо старухи, выражавшее безумное отчаяние; она сидела на толстом бревне, облокотясь на свои колени и поддерживая голову руками: то была мать убийцы. Ее губы по временам шевелились: молитву они шептали или проклятие?

Между тем надо было на что-нибудь решиться и схватить преступника. Никто, однако, не отважился броситься первый.

Я подошел к окну и посмотрел в щель ставня: бледный, он лежал на полу, держа в правой руке пистолет; окровавленная шашка лежала возле него. Выразительные глаза его страшно вращались кругом; порою он вздрагивал и хватал себя за голову, как будто неясно припоминая вчерашнее. Я не прочел большой решимости в этом беспокойном взгляде и сказал майору, что напрасно он не велит выломать дверь и броситься туда казакам, потому что лучше это сделать теперь, нежели после, когда он совсем опомнится.

В это время старый есаул подошел к двери и назвал его по имени; тот откликнулся.

— Согрешил, брат Ефимыч, — сказал есаул: — так уж нечего делать, покорись!

— Не покорюсь! — отвечал казак.

— Побойся бога! Ведь ты не чеченец окаянный, а честный христианин; — ну уж коли грех твой тебя попутал, нечего делать: своей судьбы не минуешь.

— Не покорюсь! — закричал казак грозно, и слышно было, как щелкнул взведенный курок.

— Эй, тетка! — сказал есаул старухе: — поговори сыну: авось тебя послушает... Ведь это только Бога гневить. Да посмотри, вот и господа уж два часа дожидаются.

Старуха посмотрела на него пристально и покачала головой.

— Василий Петрович, — сказал есаул, подойдя к майору: — он не сдастся: я его знаю. А если дверь разломать, то много наших перебьет. Не прикажете ли лучше его пристрелить? в ставне щель широкая.

В эту минуту у меня в голове промелькнула странная мысль: подобно Вуличу, я вздумал испытать судьбу.

— Погодите, — сказал я майору: — я его возьму живого.

Велев есаулу завести с ним разговор и поставив у дверей трех казаков, готовых ее выбить и броситься мне на помощь при данном знаке, я обошел хату и приблизился к роковому окну. Сердце мое сильно билось.

— Ах ты окаянный! — кричал есаул: — что ты над нами смеешься, что ли? али думаешь, что мы с тобой не совладаем? — Он стал стучать в дверь изо всей силы: я, приложив глаз к щели, следил

за движениями казака, не ожидавшего с этой стороны нападения, — и вдруг оторвал ставень и бросился в окно головой вниз. Выстрел раздался у меня над самым ухом, пуля сорвала эполет. Но дым, наполнивший комнату, помешал моему противнику найти шашку, лежавшую возле него. Я схватил его за руки; казаки ворвались, и не прошло трех минут, как преступник был уже связан и отведен под конвоем. Народ разошелся. Офицеры меня поздравляли — и точно, было с чем!

После всего этого, как бы, кажется, не сделаться фаталистом? но кто знает наверное, убежден ли он в чем или нет?.. и как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка!..

Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характера — напротив; что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится — а смерти не минуешь!

Возвратясь в крепость, я рассказал Максиму Максимычу все, что случилось со мною и чему был я свидетель, и пожелал узнать его мнение насчет предопределения; он сначала не понимал этого слова, но я объяснил его как мог, и тогда он сказал, значительно покачав головою:

— Да-с! конечно-с! — это штука довольно мудреная! Впрочем, эти азиатские курки часто осекаются, если дурно смазаны или недовольно крепко прижмешь пальцем; признаюсь, не люблю я также винтовок черкесских; они как-то нашему брату неприличны, — приклад маленький, того и гляди, нос обожжет… Зато уж шашки у них — просто мое почтение!

Потом он промолвил, несколько подумав:

— Да, жаль беднягу… Черт же его дернул ночью с пьяным разговаривать!.. Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано…

Больше я от него ничего не мог добиться: он вообще не любит метафизических прений.

Конец

Примечания

Впервые отдельным изданием вышло в 1840 г.; в 1841 г. (при жизни Лермонтова) вышло второе издание. Неполный автограф — в ГПБ.

Лермонтов начал работу над «Героем нашего времени» в 1837 г., а закончил в 1839. «Бэла», «Фаталист» и «Тамань» были предварительно напечатаны в «Отечественных записках» как отрывки из «Записок офицера о Кавказе». К «Фаталисту» редакция журнала сделала следующее примечание: «С особенным удовольствием пользуемся случаем известить, что М.Ю. Лермонтов в непродолжительном времени издаст собрание своих повестей и напечатанных и ненапечатанных. Это будет новый, прекрасный подарок русской литературе». В апреле 1840 г. эта книга вышла, но не как «собрание повестей», а как единое, цельное «сочинение» (так стояло на обложке). Первоначальное его заглавие, сохранившееся на рукописи, было: «Один из героев начала века».

Повести, из которых составлен «Герой нашего времени», расположены в особой последовательности, основанием для которой служит постепенное ознакомление читателя с личностью героя, — постепенный переход от изложения биографических фактов («Бэла» и «Максим Максимыч») к психологическому анализу («Журнал Печорина»). Сначала читатель узнает о Печорине со стороны — из уст Максима Максимыча, который, рассказав историю Бэлы, с недоумением спрашивает своего слушателя: «Скажите-ка, пожалуйста… вы вот, кажется, бывали в столице, и недавно: неужто тамошняя молодежь вся такова?». Дальнейшая «цепь повестей» (по выражению самого Лермонтова), вплоть до объединяющего их заглавия, представляет собой, в сущности, ответ на этот характерный вопрос. Рассказ «Максим Максимыч» дополняет нарисованный в «Бэле» портрет подробным описанием наружности Печорина и некоторыми новыми чертами его характера и поведения, а следующий затем «Журнал Печорина» вводит читателя во внутренний мир героя — в историю его души. Предшествующее «журналу» предисловие сообщает о смерти Печорина (тем самым исчерпывая внешнюю биографию героя) и разъясняет цель и смысл публикации его «записок».

Загадочность биографии Печорина именно в той ее части, которая связана с петербургским периодом его жизни, объясняется цензурными причинами. Намеком на это служат слова в предисловии к «Журналу Печорина»: «…в моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд света; но теперь я не смею взять на себя эту ответственность по многим важным причинам». Из рукописи «Княжны Мери» видно, что Лермонтов хотел было приоткрыть завесу над прошлым Печорина и объяснить причину его появления на Кавказе: «Но я теперь уверен, — говорит Печорин о княгине Лиговской, — что при первом случае она спросит, кто я и почему я здесь на Кавказе. Ей, вероятно, расскажут страшную историю дуэли, и особенно ее причину, которая здесь некоторым известна, и тогда… вот у меня будет удивительное средство бесить Грушницкого!» Однако все это вычеркнуто, и читатель оставлен в неведении относительно прошлой жизни Печорина.

Предисловие к «Герою нашего времени» было написано весной 1841 г. (когда Лермонтов в последний раз был в Петербурге) как ответ на критические статьи, появившиеся в журналах. Оно было напечатано во втором издании романа. Лермонтов отвечает здесь главным образом С.П. Ше-

выреву, который объявил Печорина явлением безнравственным и порочным, не существующим в русской жизни, а принадлежащим «миру мечтательному, производимому в нас ложным отражением Запада» («Москвитянин», 1841, ч. I, №2, стр. 537). Если учесть мнение Николая I (а надо думать, что оно было известно Лермонтову), назвавшего роман Лермонтова «жалкой книгой, показывающей большую испорченность автора» («Дела и дни», 1921, №2, стр. 189), то смысл предисловия становится еще более многозначительным.

I. Бэла

Художественное своеобразие «Бэлы» состоит в искусном сочетании путевого очерка с новеллой. Сюжетное и жанровое значение этого сочетания подчеркнуто самим автором в том месте, где он обращается к читателю с вопросом: «Но, может быть, вы хотите знать окончание истории Бэлы?» — и отвечает: «Я пишу не повесть, а путевые записки; следовательно, не могу заставить штабс-капитана рассказывать прежде, нежели он начал рассказывать в самом деле». Таким образом, история Бэлы оказалась частью путевого очерка — наряду с описанием подъема на Койшаурскую гору, ночевки в сакле, переезда через Гуд-гору и новой остановки в сакле. Рассказ дан в самом процессе рассказывания, которое связано с передвижением от Койшаурской долины к станции Коби. Так мотивировано наличие особого рассказчика, прерывающего и возобновляющего свой рассказ в зависимости от путевых обстоятельств.

Стр. 670. *Да, я уж здесь служил при Алексее Петровиче.* А.П. Ермолов был командиром Отдельного кавказского корпуса в годы 1816—1827.

Стр. 671. *...у Каменного Брода...* И. Андроников пишет: «Это не выдумано: Лермонтов называет конкретное место. Крепость находилась на Аксае, в 18 верстах от Шелковой станицы, за переправой, и называлась «Таш-кичу» или «Каменный брод». Выстроена она при Ермолове, одновременно с крепостью «Внезапной», и обеспечивала линию, шедшую по рекам Аксай и Акташ, от набегов чеченцев» (И. Андроников. Лермонтов в Грузии в 1837 году. М., 1955, стр. 177).

...как напьются бузы... Буза — сусло, молодое вино.

...у мирнова князя был в гостях. «Мирными» назывались чеченцы, черкесы и другие горцы, признавшие власть русских; однако обычно эти признания были вынужденными, так что деление горцев на «мирных» и «немирных» (ср. ниже о Казбиче, стр. 287) не соответствовало действительности.

Стр. 672. *...яман будет твоя башка.* Яман (тюркское) — плохая.

...моего старого знакомца Казбича. Казбич — реальное историческое лицо: вождь шапсугов, руководивший ими в борьбе с русскими войсками (см. очерк Н.О. Лернера: Оригинал одного из героев Лермонтова. «Нива», 1913, №37).

...таскаться за Кубань с абреками... По определению Л.Н. Толстого (в повести «Казаки»), «абреком называется немирной чеченец, с целью воровства или грабежа переправившийся на русскую сторону Терека».

Стр. 673. *...якши тхе, чек якши* (тюркское) — хороша, очень хороша.

...сухие сучья карагача... Карагач (тюркское) — дерево, вид вяза.

...выскакивает прямо к ним мой Карагез. Карагез (тюркское) — черный глаз.

Йок (тюркское) — нет.

...а шашка его настоящая гурда... Гурда — название лучших кавказских клинков (ср. в очерке Лермонтова «Кавказец»: «...у него завелась шашка, настоящая *гурда»).* Л.Н. Толстой (в повести «Казаки») объяснил это слово так: «Шашки и кинжалы, дороже всего ценимые на Кавказе, называются по мастеру — Гурда».

Стр. 674. *Много красавиц в аулах у нас* и т. д. — вариант «Черкесской песни» из поэмы Лермонтова «Измаил-Бей».

...натянулись бузы... См. прим. к стр. 671.

Стр. 675. *Урус яман* (тюркское) — русский плохой.

Стр. 678. *...отпрягши заранее уносных...* Уносные — передняя пара лошадей при запряжке четверкой.

...как называет ее ученый Гамба... Гамба — фамилия французского консула в Тифлисе, автора популярной тогда книги о путешествии по Кавказу; название «Крестовая гора» он понял как «гора св. Христофора» — «le Mont St.-Christophe».

...Байдара так разыгралась... Байдара — правый приток Терека, протекающий в Байдарском ущелье, между почтовыми станциями Койшаур и Коби.

II. Максим Максимыч

Этот рассказ служит своего рода продолжением тех слов, которыми заканчивается «Бэла»: «Сознайтесь, однако ж, что Максим Максимыч человек достойный уважения?..» Здесь Максим Максимыч — уже не рассказчик, а действующее лицо, показанное в новом и неожиданном свете: «добрый Максим Максимыч», каким он кажется в «Бэле», превращается здесь в «упрямого, сварливого штабс-капитана», пристающего со своими назойливыми вопросами к молчаливому Печорину. Автор

с грустным сочувствием отмечает эту перемену, объясняя ее потерей лучших надежд и мечтаний. В этих словах можно видеть намек на более значительные обиды, чем холодное прощание Печорина; речь идет о самой жизни и службе Максима Максимыча — о том, что «старые заблуждения» ему уже не заменить новыми: «Поневоле сердце очерствеет и душа закроется».

В рукописи рассказ «Максим Максимыч» кончался особым абзацем, где автор сообщал: «Я пересмотрел записки Печорина и заметил по некоторым местам, что он готовил их к печати, без чего, конечно, я не решился бы употребить во зло доверенность штабс-капитана. В самом деле, Печорин в некоторых местах обращается к читателям». В печатном тексте этот абзац отсутствует, а в предисловии к «Журналу Печорина» Лермонтов, наоборот, отмечает, что записки Печорина писаны «без тщеславного желания возбудить участие или удивление» и не предназначались для посторонних.

Стр. 683. *...нечто вроде русского Фигаро.* Фигаро — имя камердинера в комедии Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

Стр. 685. *...он сидел, как сидит бальзакова тридцатилетняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала.* Имеется в виду героиня романа Бальзака «Тридцатилетняя женщина», подробно описанная как женщина очень изнеженная: «Маркиза опиралась на подлокотники кресла, и вся ее фигура... и то, как утомленно склонялся в кресле ее гибкий стан» и т.д. (О. Бальзак, Собрание сочинений, т. II, М., 1952, стр. 139).

Журнал Печорина

I. Тамань

В мемуарной литературе есть указания на то, что описанное в «Тамани» происшествие случилось с самим Лермонтовым во время его пребывания в Тамани у казачки Царицыхи, в 1837 г. В 1838 г. товарищ Лермонтова, М.И. Цейдлер, командированный на Кавказ, останавливался в Тамани и жил в том самом домике, где до него жил Лермонтов. В своем очерке «На Кавказе в 30-х годах» Цейдлер описывает тех самых лиц, которые изображены в «Тамани», и поясняет: «Мне суждено было жить в том же домике, где жил и он; тот же слепой мальчик и загадочный татарин послужили сюжетом к его повести. Мне даже помнится, что когда я, возвратясь, рассказывал в кругу товарищей о моем увлечении соседкою, то Лермонтов пером начертил на клочке бумаги скалистый берег и домик, о котором я вел речь» («Русский вестник», 1889, № 9).

Чехов считал этот рассказ образцом прозы: «Я не знаю языка лучше, чем у Лермонтова. Я бы так сделал: взял его рассказ и разбирал бы, как разбирают в школах, — по предложениям, по частям предложения... Так бы и учился писать» («Русская мысль», 1911, кн. 10, стр. 46). В письме к Я.П. Полонскому (1888 г.) Чехов доказывал, что русские стихотворцы прекрасно справляются с прозой, и приводил примеры: «Лермонтовская «Тамань» и Пушкинская «Капитанская дочка», не говоря уж о прозе других поэтов, прямо доказывают тесное родство сочного русского стиха с изящной прозой» (А.П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем, т. XIV, М., 1949, стр. 18).

Стр. 688. *В тот день немые возопиют и слепые прозрят...* Измененная цитата из Библии: «...в тот день глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых» (Книга пророка Исайи, гл. 29, стих 18).

Стр. 690. *...это открытие принадлежит Юной Франции.* «Юной Францией» называли себя молодые французские писатели романтического направления после 1830 г.

...я вообразил, что нашел Гетеву Миньону... Миньона — героиня романа Гете «Ученические годы Вильгельма Мейстера».

...то была она, моя ундина. Ундина — русалка в немецком фольклоре. В лермонтовской ундине есть связь с «Ундиной» Жуковского — поэмой («старинной повестью»), представляющей собою переложение стихами прозаической повести немецкого писателя Фридриха де Ламот-Фуке.

II. Княжна Мери

В этом дневнике Печорина завершены те опыты психологического анализа, которые были начаты Лермонтовым в романе «Княгиня Лиговская» и в драме «Два брата». Автохарактеристика Печорина («Да! такова была моя участь с самого детства» и т.д.) перенесена прямо из драмы «Два брата».

Грушницкий и доктор Вернер, как утверждали еще современники, «списаны» Лермонтовым с действительных лиц. Н.М. Сатин писал: «Те, которые были в 1837 году в Пятигорске, вероятно, давно узнали и княжну Мери, и Грушницкого, и в особенности... доктора Майера. (Это тот самый доктор, который описан... под именем Вернера.)» (сборник «Почин», 1895, стр. 239). Прототип Вернера, действительно, несомненен: это служивший на Кавказе и связанный с декабристами Доктор Н.В. Майер. Что касается Грушницкого, то мнения расходятся, поскольку он, как и другие действующие лица романа, представляет собою, конечно, лицо собирательное, а не просто «списанное».

В рукописи «Княжны Мери» сильной переделке подверглись прощальное письмо Веры и последующие, размышления Печорина; в первоначальном варианте Вера не объясняет причины своего отъезда, ничего не говорит о муже и советует Печорину жениться на Мери.

Стр. 692. *...«последняя туча рассеянной бури»* — цитата из стихотворения Пушкина «Туча».

...узнав армейские эполеты, они с негодованием отвернулись. Наличие у Печорина армейских эполет свидетельствует о том, что он был переведен из гвардии в армейскую часть. О том же свидетельствует и дальнейшее упоминание о «нумерованной» пуговице: на пуговицах отмечались тогда номера армейских частей.

Стр. 693. *А что за толстая трость: точно у Робинзона Крузое.* У Робинзона Крузо (в романе Даниеля Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо») — не трость, а сделанный им самим зонтик.

Стр. 695. *...как делали римские авгуры, по словам Цицерона...* Авгуры — жрецы-гадатели в древнем Риме. В трактате «О гадании» Цицерон говорит: «Очень хорошо известны слова Катона, который говорил, что он удивляется, почему не смеется авгур, когда видит другого авгура».

Стр. 699. *...из Пятигорска в немецкую колонию...* «Немецкая колония» — место по дороге из Пятигорска в Железноводск, носившее название «Каррас» или «Шотландка». Лермонтов был здесь перед самой дуэлью — 15 июля 1841 г.

Стр. 700. *...смесь черкесского с нижегородским.* Переделка слов Чацкого в I действии «Горя от ума» Грибоедова: «Господствует еще смешенье языков: Французского с нижегородским».

Стр. 707. *...одного из самых ловких повес прошлого времени...* Подразумевается приятель Пушкина — гусар Петр Павлович Каверин (1794—1855).

Стр. 710. *Но смешивать два эти ремесла...* — неточная цитата из «Горя от ума» Грибоедова (слова Чацкого в III действии). У Грибоедова: «А смешивать два эти ремесла Есть тьма искусников, я не из их числа».

Ума холодных наблюдений... — цитата из посвящения «Евгения Онегина» (П.А. Плетневу).

Стр. 711. *...Есть минуты, когда я понимаю Вампира.* Вампиром назван отличающийся своей жестокостью герой популярной тогда одноименной английской повести, записанной со слов Байрона его доктором Полидори и переведенной на русский язык. В черновом автографе предисловия к «Герою нашего времени» Лермонтов писал: «Если вы верили существованию Мельмота, Вампира и других — отчего же вы не верите в действительность Печорина?»

Стр. 718. *...не падайте заране; это дурная примета. Вспомните Юлия Цезаря.* В числе дурных предзнаменований, сопровождавших Юлия Цезаря на пути в сенат (где он был убит), древние историки указывают и на то, что он оступился на пороге.

III. Фаталист

Для понимания «Фаталиста» необходимо учесть, что под словом «фатализм» Лермонтов подразумевал не только фаталистическое умонастроение вообще, но и распространенную в это время (и осужденную в «Думе») позицию пассивного «примирения с действительностью». В «Фаталисте» вопрос о роли «судьбы» не решается, а снимается, как не имеющий жизненного значения и смысла: «...что до меня касается, — говорит Печорин, — то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает».

Текст и примечания печатаются по источнику:

Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени // Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: В 4 т. — М.–Л.: АН СССР, 1959. — Т. 4. — С. 275—474, 649—657.

КАВКАЗЕЦ

Во-первых, что такое именно кавказец и какие бывают кавказцы?

Кавказец есть существо полурусское, полуазиатское; наклонность к обычаям восточным берет над ним перевес, но он стыдится ее при посторонних, то есть при заезжих из России. Ему большею частью от 30 до 45 лет; лицо у него загорелое и немного рябоватое; если он не штабс-капитан, то уж верно майор. Настоящих кавказцев вы находите на Линии; за горами, в Грузии, они имеют другой оттенок; статские кавказцы редки; они большею частию неловкое подражание, и если вы между ними встретите *настоящего,* то разве только между полковых медиков.

Настоящий кавказец человек удивительный, достойный всякого уважения и участия. До 18 лет он воспитывался в кадетском корпусе и вышел оттуда отличным офицером; он потихоньку в классах читал «Кавказского Пленника» и воспламенился страстью к Кавказу. Он с десятью товарищами был отправлен туда на казенный счет с большими надеждами и маленьким чемоданом. Он еще в Петербурге сшил себе ахалук*, достал мохнатую шапку и черкесскую плеть на ямщика. Приехав в Ставрополь, он дорого заплатил за дрянной кинжал, и первые дни, пока не надоело, не снимал его ни днем, ни ночью. Наконец он явился в свой полк, который расположен на зиму в какой-нибудь станице, тут влюбился, как следует, в казачку пока до экспедиции; все прекрасно! сколько поэзии! Вот пошли в экспедицию; наш юноша кидался всюду, где только провизжала одна пуля. Он думает поймать руками десятка два горцев, ему снятся страшные битвы, реки крови и генеральские эполеты. Он во сне совершает рыцарские подвиги — мечта, вздор, неприятеля не видать, схватки редки, и, к его великой печали, горцы не выдерживают штыков, в плен не сдаются, тела свои уносят. Между тем жары изнурительны летом, а осенью слякоть и холода. Скучно! промелькнуло пять, шесть лет: все одно и то же. Он приобретает опытность, становится холодно храбр и смеется над новичками, которые подставляют лоб без нужды.

Между тем хотя грудь его увешана крестами, а чины нейдут. Он стал мрачен и молчалив; сидит себе да покуривает из маленькой трубочки; он также на свободе читает Марлинского и говорит, что очень хорошо; в экспедицию он больше не напрашивается: старая рана болит! Казачки его не прельщают, он одно время мечтал о пленной черкешенке, но теперь забыл и эту почти несбыточную мечту. Зато у него явилась новая страсть, и тут-то он делается настоящим кавказцем.

Эта страсть родилась вот каким образом: последнее время он подружился с одним мирным черкесом; стал ездить к нему в аул. Чуждый утонченностей светской и городской жизни, он полюбил жизнь простую и дикую; не зная истории России и европейской политики, он пристрастился к поэтическим преданиям народа воинственного. Он понял вполне нравы и обычаи горцев, узнал по именам их богатырей, запомнил родословные главных семейств. Знает, какой князь надежный и какой плут; кто с кем в дружбе и между кем и кем есть кровь. Он легонько маракует по-татарски; у него завелась шашка, настоящая *гурда,* кинжал — старый *базалай,* пистолет закубанской отделки, отличная крымская винтовка, которую он сам смазывает, лошадь — чистый *Шаллох* и весь костюм черкесский, который надевается только в важных случаях и сшит ему в подарок какой-нибудь дикой княгиней. Страсть его ко всему черкесскому доходит до невероятия. Он готов целый день толковать с грязным узденем о дрянной лошади и ржавой винтовке и очень любит посвящать других в таинства азиатских обычаев. С ним бывали разные казусы предивные, только послушайте. Когда новичок покупает оружие или лошадь у его приятеля узденя, он только исподтишка улыбается. О горцах он вот так отзывается: «Хороший народ, только уж такие азиаты! Чеченцы, правда, дрянь, зато уж кабардинцы просто молодцы; ну есть и между шапсугами народ изрядный, только все с кабардинцами им не равняться, ни одеться так не сумеют, ни верхом проехать... хотя и чисто живут, очень чисто!»

Надо иметь предубеждение кавказца, чтобы отыскать что-нибудь чистое в черкесской сакле.

Опыт долгих походов не научил его изобретательности, свойственной вообще армейским офицерам; он франтит своей беспечностью и привычкой переносить неудобства военной жизни, он возит с собой только чайник, и редко на его бивачном огне варятся щи. Он равно в жар и в холод носит под сюртуком ахалук на вате и на голове баранью шапку; у него сильное предубежденье против шинели в пользу бурки; бурка его тога, он в нее драпируется; дождь льет за воротник, ветер ее раздувает — ничего! бурка, прославленная Пушкиным, Марлинским и портретом Ермолова, не сходит с его плеча, он спит на ней и покрывает ею лошадь; он пускается на разные хитрости и пронырства, чтобы достать настоящую Андийскую бурку, особенно белую с черной каймой внизу, и тогда уже смотрит на других с некоторым презрением. По его словам, его лошадь скачет удивительно — вдаль! поэтому-то он с вами не захочет скакаться только на 15 верст. Хотя ему порой служба очень тяжела, но он поставил себе за правило хвалить кавказскую жизнь; он говорит кому угодно, что на Кавказе служба очень приятна.

Но годы бегут, кавказцу уже 40 лет, ему хочется домой, и если он не ранен, то поступает иногда таким образом: во время перестрелки кладет голову за камень, а ноги выставляет *на пенсион;* это

выражение там освящено обычаем. Благодетельная пуля попадает в ногу, и он счастлив. Отставка с пенсионом выходит, он покупает тележку, запрягает в нее пару верховых кляч и помаленьку пробирается на родину, однако останавливается всегда на почтовых станциях, чтоб поболтать с проезжающими. Встретив его, вы тотчас отгадаете, что он *настоящий,* даже в Воронежской губернии он не снимает кинжала или шашки, как они его ни беспокоят. Станционный смотритель слушает его с уважением, и только тут отставной герой позволяет себе прихвастнуть, выдумать небылицу; на Кавказе он скромен — но ведь кто ж ему в России докажет, что лошадь не может проскакать одним духом 200 верст и что никакое ружье не возьмет на 400 сажен в цель? Но увы, большею частию он слагает свои косточки в земле басурманской. Он женится редко, а если судьба и обременит его супругой, то он старается перейти в гарнизон и кончает дни свои в какой-нибудь крепости, где жена предохраняет его от гибельной для русского человека привычки.

Теперь еще два слова о других кавказцах, *не настоящих.* Грузинский кавказец отличается тем от настоящего, что очень любит кахетинское и широкие шелковые шаровары. Статский кавказец редко облачается в азиатский костюм; он кавказец более душою, чем телом: занимается археологическими открытиями, толкует о пользе торговли с горцами, о средствах к их покорению и образованию. Послужив там несколько лет, он обыкновенно возвращается в Россию с чином и красным носом.

Примечания

Впервые опубликовано в журнале «Минувшие дни», 1929, №4, — по копии (ГПБ), на которой имеется помета переписчика: «Список с статьи собственноручной покойного М. Лермонтова, предназначенной им для напечатания в «Наших» и не пропущенной цензурою». Под названием «Наши» подразумевается серия очерков под общим заглавием «Наши, списанные с натуры русскими» (по «аналогии» с выходившими во Франции сборниками). В первом сборнике, вышедшем в 1841 г., среди подготовленных для следующего выпуска статей был указан «Кавказец» (без имени автора), но этот выпуск не появился.

Стр. 730. *...сшил себе ахалук...* Ахалук (архалук) — домашний халат (ср. стихотворение А.И. Полежаева «Ахалук»).

Текст и примечания печатаются по источнику:

Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: В 4 т. — М.—Л.: АН СССР, 1959. — Т. 4. — С. 475—479, 657.

Исследования, посвященные М.Ю. Лермонтову

Л.П. Семенов

Лермонтов на Кавказе

Приветствую тебя, Кавказ седой!
Твоим горам я путник не чужой:
Они меня в младенчестве носили
И к небесам пустыни приучили.
И долго мне мечталось с этих пор
Все небо юга да утесы гор.
Прекрасен ты, суровый край свободы,
И вы, престолы вечные природы!..

Лермонтов. «Измаил-Бей»

«Для меня горный воздух – бальзам; хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит – ничего не надо в эту минуту: так сидел бы да смотрел целую жизнь».

Лермонтов, письмо к С.А. Раевскому, 1837 г.

«Кавказ взял полную дань с музы нашего поэта».

В.Г. Белинский

Предисловие

Интерес Лермонтова к Кавказу обусловлен различными причинами.

Поэт несколько раз посещал этот край в детские годы и в последующее время. Полюбив Кавказ еще «в младенческих летах», он на протяжении своей литературной деятельности посвятил ему много прекрасных произведений, написанных в стихах и в прозе.

Романтически настроенный в ранней юности, Лермонтов в первых художественных созданиях испытал на себе большое влияние Байрона, Пушкина и других русских и иностранных писателей. В особенности сильно воздействовал на него Пушкин; как певец Кавказа, Лермонтов является его прямым и самым выдающимся продолжателем.

До Пушкина Кавказ глухо упоминался в русской художественной литературе. Пушкин лучше всех своих предшественников изучил эту страну, описал ее в «Кавказском пленнике», неоконченной поэме о Тазите, в цикле замечательных лирических произведений и в «Путешествии в Арзрум». Очень сильное впечатление произвел на Лермонтова «Кавказский пленник» Пушкина; молодому поэту были известны кавказские мотивы Марлинского, Полежаева и других современных авторов, также оставившие след в его творчестве.

Значительную роль должны были сыграть рассказы родственников и знакомых, живших на Кавказе, газетные и журнальные статьи и заметки, содержавшие историко-этнографические сведения об этом крае, официальные сообщения о событиях Кавказской войны.

Поэт очень рано начал восторгаться героической борьбой горцев за свою независимость, он интересовался их бытом, их историей и фольклором, величавой красотой природы Кавказа. Свои затаенные думы он очень ярко и тепло выразил в посвящении к поэме «Аул Бастунджи».

Тебе, Кавказ, – суровый царь земли,
Я снова посвящаю стих небрежный:
Как сына ты его благослови
И осени вершиной белоснежной!
От ранних лет кипит в моей крови
Твой жар и бурь твоих порыв мятежный;
На севере, в стране тебе чужой,
Я сердцем твой, – всегда и всюду твой!..

Подобные мотивы, все более углублявшиеся с годами, мы часто встречаем в лирике Лермонтова, в его поэмах и в «Герое нашего времени». Преодолевая литературные воздействия, вступая в соревнование со своими учителями, юный поэт быстро рос, внес в мировую литературу новые мотивы о Кавказе, создал непревзойденные образы, выдержанные то в романтическом, то в реалистическом стиле.

Такие замечательные по содержанию и художественному мастерству произведения, как поэмы «Аул Бастунджи», «Измаил-Бей», «Мцыри», «Демон», лирические стихотворения «Дары Терека», «Казачья колыбельная песня», «Кинжал», «Дубовый листок», «Тамара», «Валерик», «Спеша на север из далека», «Свидание», роман «Герой нашего времени», – ставят Лермонтова, как певца Кавказа, на первое место в мировой литературе. Гениальность поэта проявилась и в том, что он не замыкался в кавказскую тематику; многие его произведения, не связанные с Кавказом, свидетельствуют о глубокой самобытности и гибкости его замечательного дарования; достаточно упомянуть о «Песне про купца Калашникова».

О тяготении Лермонтова к кавказским мотивам впервые высказал много замечательных мыслей Белинский. Говоря о его стихах, он дал следующее обобщение:

«Картины природы обличают кисть великого мастера: они дышат грандиозностью и роскошным блеском фантастического Кавказа. Кавказ взял полную дань с музы нашего поэта...

...Кавказ делается его поэтической родиной, пламенно любимой им; на недоступных вершинах Кавказа, венчанных вечными снегами, находит он свой Парнас, в его свирепом Тереке, в его горных потоках, в его целебных источниках находит он свой Кастальский ключ, свою Ипокрену»...

Затем эта тема стала привлекать внимание биографов поэта, историков литературы, но в большинстве случаев, она освещалась попутно с рассмотрением общих вопросов, касавшихся жизни и творчества Лермонтова. Ни в дооктябрьскую эпоху, ни в наше время она никем широко изучена не была.

Имеется ряд специальных работ, носящих, большею частью, популярный характер. Упомянем, например, следующие из них, расположив в хронологическом порядке:

Ф. Юхотников, «Нечто о горцах, учащихся в Ставропольской гимназии», («Кавказ», 1858 г., №101); В. Зотов, статьи в «Северном сиянии» за 1863 г. (в том числе статьи «Кавказские стихотворения Лермонтова»); П.П. Надеждин, «Природа и люди на Кавказе и за Кавказом, по рассказам путешественников, поэтическим произведениям Пушкина, Лермонтова, Полонского и ученым исследованиям» (СПБ, 1869 г.); П. Висковатов, «Отражение кавказских преданий в поэзии Лермонтова» («Кавказ», 1881 г., № 203); М. Владыкин, «Путеводитель и собеседник в путешествии по Кавказу» (Москва, 1885 г.); Е. Воскресенский, «Кавказ по сочинениям Пушкина и Лермонтова» (Москва, 1887 г.); Г.М. Туманов, «Характеристики и воспоминания» (Тифлис, 1901 г., статьи – «М.Ю. Лермонтов», «Русские писатели на Кавказе»); ряд небольших статей разных авторов в «Сезонном листке Кавказских Минеральных вод» (1901 г., № 11, в том числе статья А. Грена «М.Ю. Лермонтов и беллетристика о Кавказе»), Л. Меликсет-Беков, «Материалы для библиографического указателя беллетристических произведений русских писателей, посвященных Кавказу и его обитателям» («Известия Одесского библиографического общества при Новороссийском университете», Одесса, 1914 г., т. III, вып. 3, стр. 161–163); Д. Бразуль-Брушковский, «Лермонтов и Кавказ» (Пятигорск, 1914 г.).

Наиболее интересны из указанных источников статьи Юхотникова и Висковатова.

Первый из них дает подробное изложение конкурсного сочинения ученика Ставропольской гимназии Тхостова – «Кавказ по Марлинскому, Пушкину и Лермонтову». Это один из самых ранних отзвуков отношения к русским классикам представителей горской интеллигенции. Тхостов отмечает, что в поэмах Пушкина и Лермонтова есть верные изображения общих черт в характерах героев, но встречаются и отдельные ошибки, – например, в обрисовке образов Тазита и Измаил-Бея; по мнению автора, философски-скептический взгляд Измаила на жизнь и людей напоминает образованного европейца, а не горца описываемой поэтом эпохи. С большой теплотой говорит Тхостов о Бэле:

«Мало-помалу она убеждается в горькой необходимости отдаться во власть своего похитителя, потому что она потеряла всякую надежду видеть свой родной очаг. Да и зачем ей желать возвращения к своему

очагу, когда она уверена, что не встретит там прежнего радушия; когда на нее готовы посыпаться незаслуженные упреки... Да, Бэле некуда более преклонить головы; некому приголубить ее! Ей остается одно – сосредоточить весь запас любви своей на Печорине, чтобы и он не покинул ее на произвол судьбы».

Сочинение Тхостова заканчивается следующими строками, свидетельствующими о прогрессивности взглядов автора:

«Показывая слабые стороны русских писателей в изображении Кавказа и его обитателей, мы все-таки благоговеем пред их именами, не забывая того, какие трудности должны были преодолеть они для того, что ими написано.

Во всяком случае Кавказ, – если ему суждено проснуться от долгого сна, – будет гордиться именами людей, которые впервые представили его на суд нового отечества.

Дай бог, чтобы пробуждение это совершилось скорей! Ждем этой поры во имя человечества».

Профессор Висковатов приводит в упомянутой статье ряд интересных данных, устанавливающих тесную связь поэзии Лермонтова с фольклором и историей Грузии.

Вопросу о пребывании поэта на группе Кавказских Минеральных Вод посвящена содержательная брошюра Е. Яковкиной – «По лермонтовским местам» (Ворошиловск, 1938 г.).

Ценный материал о поездках Лермонтова на Кавказ и об отражении Кавказа в его творчестве находим в трудах общего характера о поэте.

Назовем биографии, приложенные к собраниям его сочинений, вышедшим под редакцией проф. Висковатова (1891 г., т. VI), А.И. Введенского (1903 г., т. I), проф. Д.И. Абрамовича (изд. Академии наук, 1913 г., т. V, перепечатана в «Русском биографическом словаре», 1914 г.).

Отметим также сборник статей «Русская критическая литература о произведениях М.Ю. Лермонтова», составленный В. Зелинским (Москва, 1904 г., ч. I–II), сборник «Венок М.Ю. Лермонтову» (Москва, 1914 г.), монографии – Дюшена, «Лермонтов» (Париж, 1910 г., на французском языке) и акад. Н. Котляревского, «М.Ю. Лермонтов» (Петроград, 1915 г.).

Извлечения из биографической мемуарной и документальной литературы даны в VI томе сочинений Лермонтова под редакцией В.В. Каллаша (Москва, 1915 г.) и в труде П.Е. Щеголева «Книга о Лермонтове» (Ленинград, 1929 г., ч. I и II).

Подробные библиографические сведения о Лермонтове имеются в названных изданиях его сочинений под редакцией Висковатова (т. III), Введенского (т. I), Д.И. Абрамовича (т. V), в труде А.В. Мезиер «Русская словесность с XI по XIX столетия включительно» (СПБ., 1902 г., ч. II), в «Источниках словаря русских писателей» С.А. Венгерова (Петроград, 1914 г., т. III), в нашей книге «М.Ю. Лермонтов» (Москва, 1915 г.), в упомянутом труде Щеголева (т. II), в комментариях к сочинениям Лермонтова, изданным под редакцией Б.М. Эйхенбаума (Ленинград, 1936–1937 гг., тт. I–V; в последнем томе – биографическая канва поэта, обстоятельно составленная В.А. Мануйловым).

Очень скудны материалы о первых поездках поэта на Кавказ, совершенных им в детстве. Более подробны, хотя и крайне недостаточны, сведения о пребывании его на Кавказе в 1837 г.; значительно обширнее данные о пребывании Лермонтова на Кавказе в 1840–1841 гг.; однако и здесь очень много неполных сведений, особенно – о дуэли с Мартыновым.

В подавляющем количестве работ до последнего времени мало внимания уделялось вопросу об исторических и фольклорных источниках кавказских мотивов поэта; в ущерб изучению этого крайне важного вопроса, слишком большое значение придавалось литературным влияниям, которые обычно трактовались в узком, специфически-формальном смысле.

Наряду с вполне авторитетными источниками, в биографических трудах о Лермонтове нередко привлекались, без критического подхода, не вполне достоверные материалы (статьи П.К. Мартьянова и др.) и просто сомнительные по своему происхождению и противоречивые по содержанию «документальные» материалы, исходящие из круга родных и друзей Н.С. Мартынова.

Многие вопросы, связанные с пребыванием поэта на Кавказе и с изучением его кавказских мотивов, требуют коренного пересмотра, разыскания новых материалов; есть темы, совершенно не освещенные в литературе (например, Лермонтов и декабристы на Кавказе, влияние Лермонтова на литературу народов СССР). Мало внимания уделялось документации географических названий и личных имен в произведениях поэта, относящихся к Кавказу.

Исключительно велик сейчас интерес к жизни и поэтическому наследию Лермонтова, производятся тщательные поиски архивных данных.

Настоящая работа, не претендуя на полноту охвата затронутой темы, имеет целью в сжатом, но более подробном, чем у предшествовавших авторов, изложении отметить как важнейшие факты из биографии Лермонтова, связанные с его пребыванием на Кавказе, так и его поэтические мотивы, приуроченные к этому краю.

Июнь, 1939 г.

I. Первые поездки М.Ю. Лермонтова на Кавказ

Когда у помещицы Елизаветы Алексеевны Арсеньевой стал поправляться после тяжелой болезни маленький внук Мишель, врачи посоветовали повезти его на Кавказские Минеральные Воды. Мысль о путешествии из Пензенской губернии на далекий юг, в места, близ которых происходили военные действия, беспокоила бабушку, но еще больше тревожило ее состояние здоровья ребенка. Арсеньева решила ехать в Горячеводск, как тогда называли Пятигорск; там жила ее родная сестра – Екатерина Алексеевна Хостатова. Собираясь в дорогу, Арсеньева узнала, что на Кавказ едут также некоторые родственники и знакомые.

Поездка на лошадях, по плохим дорогам была продолжительна. Внуку Арсеньевой – любознательному, не по летам развитому мальчику – она дала незабываемые, разнообразные впечатления. О Кавказе он слышал немало интересных рассказов от тетушки, Екатерины Алексеевны, когда она наезжала навестить дочь свою – М.А. Шан-Гирей, жившую в своем имении Апалихе, расположенном близ имения Арсеньевой Тарханы. То, что ему раньше смутно рисовалось по этим рассказам, теперь предстало воочию: быстрые, шумные реки, маленькие крепости, затерянные в степных просторах и при въезде в ущелья, лихие всадники в косматых шапках и бурках и громады гор, поросших внизу дремучими лесами и подымающих в заоблачную высь свои скалистые зубцы, покрытые броней нетающего, ослепительно сверкающего льда.

В «Списке посетителей и посетительниц Кавказских вод в 1825 г.», прибывших по июль, опубликованном в том же году в «Отечественных записках» (ч. 23), упомянуты: «Арсеньева Елизавета Алексеевна, вдова, поручица из Пензы, при ней внук Михайло Лермонтов».

В этом же списке названы: дочери коллежского асессора из Пензы Столыпина Марья, Агафья и Варвара Александровны, отставной штабс-капитан из Кизляра Павел Петрович Шан-Гирей, коллежский асессор из Симбирска Александр Алексеевич Столыпин с супругой Екатериной Александровной, титулярный советник из Астрахани Макар Захарович Хостатов.

Арсеньеву и ее внука сопровождали в пути доктор Ансельм Левис, воспитатель Иван Капэ, высокий и худощавый эльзасец с горбатым носом, офицер наполеоновской гвардии, рассказывавший своему питомцу много интересного о походах, в которых ему приходилось участвовать, и бонна-немка Христина Осиповна Ремер, добрая, внимательная к детям старушка. В спутники внуку Арсеньева взяла его сверстника – Михаила Пожогина-Отрошкевича. В Горячеводске мальчуганы сблизились с новым товарищем, родственником их Акимом Шан-Гирей, который был моложе их года на четыре[1].

Начало пользования серными ваннами на Северном Кавказе восходит к 1779 году; в том году на левом берегу Подкумка, в 4-х верстах от серных источников, где возник позднее Пятигорск, была построена Константиногорская крепость. Первое краткое описание серных источников составил акад. Гильденштедт (1793 г.), в том же году Паллас исследовал Нарзан[2].

Любопытные сведения о старом Пятигорске находим в сочинении А. Нелюбина «Полное описание Кавказских Минеральных Вод» (1825 г.). Автор называет Пятигорск «Горячеводским селением». В то время в нем было всего три главных улицы, три вновь застраивающихся, одна поперечная и один переулок. В поселке было 29 домов и 21 флигель, принадлежащих частным лицам; к числу лучших построек принадлежали дома Реброва, Мерлини, Хондаковой, Барковского, Чернявского, Попова, Котырева и других. В поселке находились аптека, магазины и лавки. Жители колонии Каррас привозили сюда хлеб, коровье масло, молоко, яйца, картофель и прочее.

Черкесы на своих арбах из ближайших аулов доставляли мясо, дичину, фазанов, молодых барашков, кур, цыплят, яйца и многие другие жизненные припасы. В лавках продавали бронзу, фарфор, золотые и серебряные вещи, дорогие ткани, вина, турецкие платки, персидские ковры, кашемировые ткани. Торговцами в местных лавках являлись армяне, евреи, греки, итальянцы, немецкие колонисты, черкесы[3].

В другом подобном же сочинении, вышедшем в свет немного позднее, в описании Кисловодска упоминаются, в числе лучших зданий, дома Реброва, генеральши Хостатовой и Мерлиной[4].

Один поэт, посетивший группу Минеральных Вод в 1823 году, так описывает установившийся там порядок приема ванн: «Пользование Кавказскими ваннами обыкновенно разделяется на две части: сначала употребляют теплые серные ванны, которые более или менее приводят в расслабление усиленною испариною; потом подкрепляют себя холодными кислыми водами, известными под названием Нарзанны или Богатырского ключа. Согласное в цели, но противное в действии влияние их напоминает древнее сказание о чудесах мертвой и живой воды»[5].

В этих маленьких, только начинавших развиваться курортных уголках ключом била пестрая, своеобразная, беззаботная жизнь дворян, приезжавших из далеких мест России и военных, прибывавших для лечения или отдыха из действующей армии. Не так далеко от группы Минеральных Вод происходили военные действия, направленные против горцев, боровшихся за свою независимость. В среде, окружавшей Мишеля Лермонтова, рассказывали и о войне, и о быте кавказских народов. Внимание наблюдательного ребенка не могли не привлекать фигуры «мирных» черкесов, часто появлявшихся на улицах; ведь об их-то сородичах и слышал он так много необычайного.

Мальчик, привыкший к спокойной, размеренной жизни в Тарханах, находился теперь среди иных людей, в иной обстановке. Здесь, при внимательном уходе бабушки, он быстро укрепил свое здоровье и жадно впитывал все новые впечатления.

Отправляясь на Кавказ, он захватил с собою альбом покойной матери, заключавший в себе стихи, вписанные ею и бабушкой. В этот альбом он вносил свои рисунки и памятки; сюжеты рисунков – изображение гор, черкесов, моря; под одним из рисунков сделана надпись: «M. L., июня 13-го дня, 1825 года, теплые воды»[6].

Здесь же, на 11-м году жизни, поэт испытал первую, детскую, но незабываемую любовь. Пять лет спустя он так описывал этот знаменательный эпизод:

«Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея 10 лет отроду.

Мы были большим семейством на водах Кавказских: бабушка, тетушки, кузины. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет девяти. Я ее видел там. Я не помню, хороша собою была она или нет. Но ее образ и теперь еще хранится в голове моей; он мне любезен сам не знаю почему. Один раз, я помню, я вбежал в комнату; она была тут и играла с кузинами в куклы: мое сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни об чем еще не имел понятия, тем не менее это была страсть сильная, хотя ребяческая – это была истинная любовь: с тех пор я еще не любил так. О! сия минута первого беспокойства страстей до могилы будет терзать мой ум. – И так рано… Надо мной смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице; я плакал потихоньку без причины, желал ее видеть; а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в комнату…

…Я не знаю, кто была она, откуда, и поныне, мне неловко как-то спросить об этом: может быть, спросят и меня, как я помню, когда они позабыли; или тогда эти люди, внимая мой рассказ, подумают, что я брежу; не поверят ее существованию – это было бы мне больно… Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденность – нет; с тех пор я ничего подобного не видал, или это мне кажется, потому что я никогда так не любил, как в тот раз. Горы Кавказские для меня священны»… (V, 343–349).

Воспоминание об этой встрече навсегда сохранилось в памяти поэта. С особенною силою оно отражено впоследствии в стихотворении «Как часто, пестрою толпою окружен». Предполагают, что эта девочка – Эмилия Александровна Шан-Гирей, с которой поэт вновь встретился в последний год жизни[7].

Есть сведения, что Лермонтова возили на Кавказские Минеральные Воды еще до 1825 года. Глухое упоминание об этом встречаем в воспоминаниях двоюродного брата и близкого друга поэта – А.П. Шан-Гирея: «Слыхал также, что он был с детства очень слаб здоровьем, почему бабушка возила его раза три на Кавказ к минеральным водам. Сам же начинаю его хорошо помнить с осени 1825 года»[8]. Вопрос этот пока остается недостаточно выясненным. В.А. Мануйлов указывает, что поэт в детстве был на Кавказе три раза – в 1818 г., 1820 и 1825 гг.[9]. В рукописях поэта, при упоминаниях о поездке на Кавказ в детстве, мы трижды встречаем одну и ту же дату – 1825 г. (запись о первой любви, подпись под рисунком в альбоме матери, стихотворение «Кавказ»).

В семье писательницы Е.И. Новиковой-Зариной сохранилось предание, относящееся ко времени поездки поэта на Кавказ в 1825 году. Отец писательницы состоял в то время помощником коменданта крепости Анапы. Арсеньева с внуком провела у Новиковых несколько дней. Об этом Е.И. слышала от своей матери, которая вспоминала о Лермонтове, как о резвом мальчике, который, к ужасу своей бабушки, вечно скрывался из глаз и то лазил на вышку, с которой сторожили днем и ночью неприятеля или ждали возвращения экспедиции, то дразнил любимую козочку Новиковых. Как раз в то время была взята в плен маленькая черкешенка (у нее еще голова порублена была), и девочка не расставалась с белой козочкой. Потом козочка прижилась в крепости и бегала за маленьким Лермонтовым на каланчу – вверх и вниз. А бабушка его Елизавета Алексеевна с матерью в это время варили варенье.[10]

Если связывать посещения Арсеньевой семьи Новиковых с крепостью Анапой, то рассказ представляется недостоверным, так как этот пункт лежал совершенно в стороне от тракта, по которому в ту пору совершались переезды из центральной России на Кавказские Минеральные Воды.

А.П. Шан-Гирей передает о своей встрече с Лермонтовым на Кавказе следующее:

«…Сам же начинаю его хорошо помнить с осени 1825 г. Покойная мать моя была родная и любимая племянница Елизаветы Алексеевны, которая и уговаривала ее переехать с Кавказа, где мы жили, в Пензенскую губернию, и помогла купить имение в трех верстах от своего, а меня, из дружбы к ней, взяла к себе на воспитание вместе с Мишелем, как мы все звали Михаила Юрьевича.

Таким образом все мы вместе приехали осенью 1825 года из Пятигорска в Тарханы, и с этого времени мне живо помнится смуглый, с черными блестящими глазками Мишель, в зеленой курточке и с клоком белокурых волос надо лбом, резко отличавшихся от прочих, черных, как смоль».[11]

Бабушка, желая создать для внука подходящую обстановку, обучала его дома, со сверстниками, с которыми он делил часы досуга. Кроме Акима Шан-Гирея, в Тарханах года два воспитывались и двоюродные его братья со стороны отца – Николай и Михаил Пожогины-Отрошкевичи, два брата Юрьевых и другие. Одно время в Тарханах жило десять мальчиков. Одним из любимых развлечений детей были военные игры. «Старожилы в Тарханах помнили, что Миша, побывав на Кавказе, все им был занят, из воску лепил горы и черкесов и «играл в Кавказ».[12]

II. Кавказские мотивы М.Ю. Лермонтова 1828–1834 годов

Яркие, разнообразные впечатления, вынесенные из поездки на Кавказ в 1825 году, сыграли громадную роль в формировании и развитии раннего творчества Лермонтова.

Он стал систематически писать стихи с 1828 г., обращаясь преимущественно к жанру поэмы и лирики. Начиная с этой поры, кавказская тематика занимает очень видное место в его поэзии, и эта черта навсегда становится характерной для его литературной деятельности.

Несомненно, большое значение имело непосредственное знакомство юного поэта с этим краем; много любопытного ему приходилось слышать от Хостатовых, Столыпиных и других родственников, посещавших Кавказ. Но помимо того интерес к кавказским мотивам усиливался у Лермонтова под влиянием современной русской литературы и отчасти иностранной; при этом особенно велико было воздействие сочинений Пушкина, и в первую очередь – его «Кавказского пленника».

До Пушкина мотивы о Кавказе редко и поверхностно затрагивались в нашей литературе. Случайные упоминания об этой стране, тогда еще мало изученной, встречались в стихотворениях Ломоносова, Державина, Жуковского; Кавказу был посвящен роман В.Т. Нарежного «Черный год, или Горские князья», написанный в начале XIX в., но появившийся в свет после смерти автора, в 1829 г. Однако никто из наших писателей до Пушкина не уделял пристального внимания Кавказу, не отображал сколько-нибудь верно и метко своеобразия этого края – с его многочисленным населением, тысячелетней культурой и богатейшей природой. Со второй половины XVIII века многочисленные путешественники и ученые различных специальностей, русские и иностранные, проявляли серьезный интерес к Кавказу, посвящали ему целые монографии.

К Кавказу жадно устремляло свои взоры русское правительство, искавшее новых выгодных внутренних и морских рынков, желавшее эксплуатировать неисчерпаемые природные богатства этой страны, овладение которой давало к тому же возможность приблизиться к смежным странам Востока – Турции и Персии. В этих целях русские цари давно вели войны с горскими народами, насаждали крепости от моря до моря, посылали миссионеров.

«Кавказский пленник» Пушкина, появившийся в печати в 1822 г., – первое у нас крупное произведение, посвященное Кавказу. Глубокое содержание поэмы, ее злободневность (мотивы о Кавказской войне, о вольности), великолепные описания быта горцев и природы края, изумительное мастерство стиха создали этому произведению заслуженный успех. Поэма дала мощный толчок развитию кавказских мотивов в стихотворных и прозаических произведениях. В 20-х годах и в начале 30-х годов XIX в. с легкой руки Пушкина, создавшего, помимо названной поэмы, целый ряд других замечательных произведений, посвященных Кавказу, тематика о нем приобретает в нашей художественной литературе необычайную популярность.

Появилось немало подражаний поэме Пушкина – «Киргизский пленник» Н. Муравьева (1828 г.), «Сетование киргиз-кайсацкого пленника» П.М. Кудряшова (1828 г.), «Пленник Турции» Д. Комисарова (1830 г.), «Гребенский казак» А. Шидловского (1831 г.) и др. Увлечение мотивом о «пленниках» было так сильно, что вызвало пародийные поэмы – «Московский пленник» С. Соловьева (1829 г.) и «Калмыцкий пленник» Н. Станкевича и Н.А. Мельгунова (1831 г.). Очень популярны были также «черкесские» и тому подобные романсы, а также лирика описательного характера (кавказский пейзаж). В журналах и многочисленных альманахах 20–30-х годов прошлого столетия поэтические произведения такого рода занимают очень видное место. Наиболее выдающимися, после Пушкина, писателями, тяготевшими к Кавказу по общей направленности своего творчества и по обстоятельствам биографического характера, были Марлинский (Бестужев) – декабрист и Полежаев, по политическим причинам сосланные на Кавказ Николаем I. Марлинский упрочил в нашей литературе жанр романтической повести и очерка с кавказской тематикой; Полежаев ввел жанр бесфабульной батальной поэмы с резкими мотивами обличения захватнической политики царизма на Кавказе и реалистическими бытовыми сценами из военной жизни. За короткий промежуток времени, отделяющий поэму Пушкина «Кавказский пленник» от написания Лермонтовым первых поэм, русская литература обогатилась очень большим количеством художественных произведений, посвященных изображению быта различных кавказских народов, описанию кавказской природы, в изобилии содержащих местные географические названия, слова и выражения, заимствованные из горских языков, а также образы и мотивы, навеянные фольклором народов Северного Кавказа и Закавказья. Во многих из подобных произведений звучит симпатия к этим народам, стойко и мужественно боровшимся с царизмом за свободу отчизны.

Очень характерно для большинства писателей, говоривших о Кавказе, увлечение Байроном. Мотивы индивидуализма, неразделенной любви, скитальчества, обреченности, ухода от суетного, внешне блестящего, но по существу – ничтожного «света» в мир пышной природы, в общество людей, не испытавших на себе разлагающего влияния европейской «культуры», – в значительной степени восходят к байронизму. Из иностранных писателей, затрагивавших кавказскую тематику, следует назвать и Ксавье де-Местра, автора повести «Кавказские пленники», опубликованной в 1815 г.; в основу ее положен подлинный эпизод из истории Кавказской войны.

Упомянутая литература, несомненно, в значительной степени была известна юноше Лермонтову; она поддерживала в нем интерес к Кавказу, давала материал для различных его сюжетов и образов. Помимо

того, заметное влияние оказали на него писатели, не говорившие об этом крае, но близкие поэту по своему духу; к числу таких писателей надо прежде всего отнести Байрона, увлечение которым у Лермонтова было очень глубоко; однако он рано осознал самобытность своего творчества, сказав:

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник.
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой. (1832 г. I, 350)

Из русских и иностранных писателей Лермонтову в ту пору были близки Козлов, Батюшков, Вальтер Скотт и В. Гюго; наш поэт зачитывался их романами и стихами.

Основные мотивы поэзии Лермонтова развивались под сильным воздействием движения декабристов. Он принадлежал к поколению, которое формировало свое мировоззрение под влиянием декабризма; это проявлялось у него в напряженном интересе к гражданской тематике, насыщенной мотивами о вольности, мотивами осуждения крепостнического строя, образами сильных людей, борющихся с тиранией и жертвующих во имя этой борьбы личными радостями и привязанностями. Достаточно вспомнить такие замечательные его произведения, как поэма «Последний сын вольности», стихотворение «Жалобы турка», «Настанет год, России черный год», «Пир Асмодея», «Новгород», «10 июля 1830 г.»; аналогичные мотивы находим и в кавказских его произведениях.

Никто из русских классиков не посетил Кавказ в таком раннем возрасте и не полюбил его так глубоко, как Лермонтов.

За 5–6 лет раннего периода своего творчества он создает целый ряд поэм и лирических произведений, посвященных Кавказу. В самых первых из них очень заметно подражание любимым авторам, русским и иностранным; однако и здесь юный автор обнаруживает глубокую самостоятельность; он стремится внести в знакомые ему сюжетные положения нечто свое, он обнаруживает редкое для его юных лет умение овладеть и малыми, и большими стихотворными формами.

По собственному признанию поэта, он «начал марать стихи в 1828 году» (IV, 348). В этом году им написаны были две поэмы с кавказским сюжетом – «Черкесы» и «Кавказский пленник».

Для поэмы «Черкесы» «основанием послужили рассказы, переданные ему теткой его Хостатовой, постоянной жительницей окрестностей Пятигорья, женщиной, храбростью своею снискавшею известность даже на Кавказе».[13]

Этот прием – использование фактического, подлинного материала – характерен и для многих последующих произведений Лермонтова. Основной мотив «Черкесов» – описание героической, но напрасной попытки черкесского князя выручить из русского плена родного брата. Князь, герой поэмы, изображен человеком беззаветной храбрости и любящим брата; перед битвой он говорит своим узденям:

«Черкесы, мой народ военный,
Готовы будьте всякий час,
На жертву смерти – смерти славной
Не всяк достоин здесь из вас.
Взгляните: в крепости высокой
В цепях, в тюрьме мой брат сидит,
В печали, в скорби, одинокой,
Его спасу, иль мне не жить». (III, 13).

Большой отряд черкесов осаждает крепость русских, в которой томится пленник, но нападение их отбито, и сам князь погибает в бою.

Автор с глубокой симпатией говорит о горцах:

Черкесы поле покрывают,
Ряды как львы перебегают…
……
Ядро во мраке прожужжало,
И целый ряд бесстрашных пал.
……
Но вот несется
На лошади черкес лихой
Сквозь ряд штыков… (III, 16–17).

Главное место в поэме занимают описания природы и изображение битвы с черкесами; диалогическая речь, в противоположность всем последующим поэмам Лермонтова, здесь развита слабо: кроме небольшого монолога князя, автор дает лишь короткие реплики эпизодических персонажей. Не находим мы также в «Черкесах» и лирических песен, столь характерных для многих других его поэм. Для стиля этой поэмы характерен прием повторения:

Клянусь, клянуся целым светом (III, 14).

Или:

Там тихо ставни растворяют;
Там по улице гуляют… (III, 15).

Или:

Лишь только слышно: кто идет;
Лишь громко слушай раздается… (III, 18).

На создание «Черкесов» заметное влияние произвела поэма Пушкина «Кавказский пленник». Это подчеркивает и сам автор, украсив обложку рукописи «Черкесов» эпиграфом из «Кавказского пленника» Пушкина:

Подобно племени Батыя,
Изменит прадедам Кавказ,
Забудет брани вещий глас,
Оставит стрелы боевые…
…И к тем скалам, где крылись вы,
Подъедет путник без боязни;
И возвестят о вашей казни
Преданья темные молвы!..

Но одаренность автора ярко сказывается даже в этом полудетском сочинении. Изложение отличается стройностью. Для большинства поэм Лермонтова характерен романтический мотив; здесь этот мотив отсутствует. Главный предмет «Черкесов» – борьба горцев с русскими завоевателями; на первом плане – батальные картины; развязка поэмы глубоко драматическая: пленному черкесу не удалось вырваться на свободу из темницы; брат, пытавшийся освободить его, погибает в бою; отряд черкесов, понеся тяжелые потери, отступает. В соответствии с таким содержанием поэма выдержана в суровых тонах; сумрачный характер носят и описания природы: «в долинах всюду мертвый сон», «одето небо черной мглою», «в густом лесу видна поляна, чуть освещенная луной» и т. д.

Более глубока и сложна по содержанию поэма «Кавказский пленник». Основной замысел ее развит под влиянием одноименной поэмы Пушкина.

Литературные влияния на поэму Лермонтова очевидны, причем важно отметить, что эти влияния восходят к романтическим поэмам авторов, вообще имевшим большое значение в развитии ранней лермонтовской поэзии, – Пушкина, Байрона, Козлова, Марлинского; преобладающее место занимало здесь влияние Пушкина. Однако Лермонтов-отрок не только подражал любимым писателям; в «Кавказском пленнике», несмотря на явную зависимость от поэмы Пушкина, он дает много оригинального, он порою успешно преодолевает книжные влияния. Это видно и в изображении действующих лиц, и в общей концепции поэмы.

В обрисовке пленника много пушкинского; герой – одинокий скиталец, человек, пресыщенный светской жизнью, непостоянный, разочарованный. Образ горянки резко отличается от образа, созданного Пушкиным.

В пушкинской поэме пленник предлагает черкешенке уйти с ним:

«О друг мой! – русский возопил, –
Я твой навек, я твой до гроба.
Ужасный край оставим оба.
Беги со мной!»

Черкешенка, зная, что он любит другую, отказывается следовать за ним и кончает жизнь самоубийством; герой счастливо уходит из плена.

Лермонтов дает совершенно иную развязку. Его героиня – натура более решительная и смелая. Адаты старины не пугают ее. Она говорит русскому:

«Но ты сказал,
Что любишь, русский, ты другую.
.....
Забудь ее, готова я
С тобой бежать на край вселенной!
Забудь ее, люби меня,
Твоей подругой неизменной».

Пленник не может ответить ей взаимностью. Черкешенка помогает ему освободиться от цепей, но пленнику не пришлось вернуться на родину; отец черкешенки – новый персонаж, выведенный Лермонтовым, – убивает беглеца; дочь, как пушкинская героиня, бросается в реку и тонет; отец ее терзается угрызениями совести, не находя душевного покоя.

Мы видим, что юный поэт ищет новых сюжетных положений, по-своему обрисовывает характеры действующих лиц.

В этом произведении на первом плане изображение быта горцев. Лермонтов, как и Пушкин, дает картины их мирной и военной жизни. Образ черкешенки обрисован с большой теплотой. В поэму внесено много лирических мотивов; отметим описание игр черкешенок, черкесскую песню, картины природы.

В отличие от первой поэмы, Лермонтов насыщает поэму «Кавказский пленник» психологическими мотивами. Он подчеркивает, что героя угнетали особенно сильно два чувства: сознание того, что он превратился в раба, и тоска по родине; попутно он говорит, что ту же участь разделяли и многие другие пленники:

Но что за звук цепей тяжелых?
Зачем печаль сих пастухов?
Увы! то пленники младые...
.....
И нет к ним жалостных сердец!
Они в цепях, они рабами!
.....
Несчастные в чужом краю! (III, 22).

Разлука с родиной, лишение воли тяготят и героя поэмы; его преследует воспоминание о былой любви:

С товарищами – вспоминает
О милой той родной стране;
Грустит; но больше, чем оне...
Оставив там залог прелестный,
Свободу, счастье, что любил,
Пустился он в край неизвестный,
И... все в краю том погубил. (III, 30).

С развитием действия картина смягчается: черкешенка, тронутая участью героя, жалеет его, приносит ему еду, часто навещает его, а затем подготавливает его побег. В этой поэме автор шире пользуется диалогом; он вводит и монолог (строфа XXVI), и отрывистую речь, выразительно передающую переживания черкешенки, прощающейся с любимым человеком, не ответившим на ее пламенное чувство:

«Да!.. пленник... ты меня забудешь...
Прости!.. прости же... навсегда;
Прости! навек!.. Как счастлив будешь,
Ах!.. вспомни обо мне тогда...» и т. д. (III, 35).

Эмоциональность языка поэмы усиливается благодаря употреблению частых восклицаний, вопросительных оборотов, повторений. В этом отношении особенно типичны последние строки поэмы:

Отец! убийца ты ее;
Где упование твое?
Терзайся век! живи уныло!..
Ее уж нет. И за тобой

Повсюду призрак роковой.
Кто гроб ее тебе укажет?
Беги! ищи ее везде!!!
«Где дочь моя?» – и отзыв скажет:
Где?.. (III, 38).

Романтический стиль поэмы характеризуется такими выражениями, как «дума роковая», «бледный лик», «смертный холод», «призрак гробовой», «пуля роковая» и т.п.

Замечается интерес к национальной песне; поэт упоминает, что воины на досуге то беседуют, то «песнь горцев громко запоют» (III, 20); черкешенки «восточны песни напевали» (III, 21); одна из таких песен приведена полностью (III, 23).

Местный колорит передается введением таких слов и выражений, как «сакля», «аул», «шашка на ремнях наборных», «бурка», «кумыс» и др.

Эта поэма несравненно значительнее всех других поэм, написанных современниками Лермонтова под влиянием «Кавказского пленника» Пушкина. Стих здесь более уверенный и гибкий, чем в «Черкесах».

В 1829 и 1830 гг. Лермонтов пишет ряд стихотворений, навеянных воспоминанием о Кавказе.

В стихотворении «Черкешенка» (1829 г.) характерно выражение глубокой симпатии к горцам и их краю:

...Степей глухих народ счастливый,
И нравы тихой простоты!
.....
И мысль невольно улетает
Бродить средь милых, дальних скал.

В заключительной строфе – отзвук работы над замыслом о Демоне:

Так дух раскаяния, звуки
Послышав райские, летит
Узреть еще небесный вид... (I, 43).

Именно в этом году поэт написал первый вариант «Демона» (тогда еще не связанный с Кавказом).

В том же году написана «Грузинская песня» (I, 47–48); в приписке к ней автор дает пояснение: «Слышано мною что-то подобное на Кавказе». Основной мотив этой песни, выдержанной в стиле «жестокого романса», – ревность старого мужа-армянина к молодой жене-грузинке, увядавшей в его гареме; развязка романса трагическая: муж убивает преступную жену.

В 1830 г. кавказская тематика Лермонтова углубляется. Прошло пять лет со времени первой поездки на юг, но воспоминания о ней не тускнеют, они по-прежнему дороги поэту. Яркое выражение этих настроений находим в стихотворении «Кавказ» (I, 66), принадлежащем к числу его самых лучших ранних лирических произведений:

Хотя я судьбой на заре моих дней,
О, южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:
Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ.
В младенческих летах я мать потерял.
Но мнилось, что в розовый вечера час
Та степь повторяла мне памятный глас.
За это люблю я вершины тех скал,
Люблю я Кавказ.
Я счастлив был с вами, ущелия гор;
Пять лет пронеслось: все тоскую по вас.
Там видел я пару божественных глаз;
И сердце лепечет, воспомня тот взор:
Люблю я Кавказ!..

Многие поэты, посещавшие Кавказ, говорили о нем, как любознательные путешественники; для Лермонтова это как бы вторая родина. Уже в эти молодые годы поэт начал глубоко распознавать истинную сущность великосветской среды, с ее мишурным блеском, пустотой и лживостью; он задыхался в этом

обществе и клеймил презрением во многих стихотворениях («К глупой красавице», «Нищий», «На жизнь надеяться страшась» и др.). Ища забвения, ища новых, освежающих душу образов, поэт мечтает о Кавказе и связывает с ним в этом задушевном, прочувствованном стихотворении все, что наиболее дорого ему – песню отчизны, воспоминание о матери, воспоминание о детской любви.

В стихотворении «Кавказ» (I, 96) он выступает с обличением завоевательной политики царизма:

Кавказ! далекая страна!
Жилище вольности простой!
И ты несчастьями полна
И окровавлена войной!..

Упоминание о «вольности», о «свободе» характерно и для других стихотворений, написанных им в том же году и проникнутых революционными настроениями («Опять вы, гордые, восстали», «30 июля 1830 г.», «Предсказание», «Новгород» и др.).

Юный поэт, еще не известный стране, принадлежал к числу тех лучших ее сынов, которые не мирились с существующим строем, боролись с ним и предвидели его гибель.

В стихотворении «Крест на скале» развит мотив тоски по Кавказу; поэту хотелось бы вновь увидеть теснины, доступные лишь степному орлу, и назваться с бурею братом (V, 98). К тому же времени относится незавершенное стихотворение «Утро на Кавказе» (I, 97), являющееся первым наброском стихотворения «Синие горы Кавказа, приветствую вас».

В 1831 г. Лермонтовым написаны две поэмы – «Каллы» и «Аул Бастунджи», развивающие мотив борьбы с адатами кровной мести и закрепощения женщины.

В первой поэме описывается судьба юноши, весь род которого истреблен кровниками; старик-мулла, ревнитель дедовских обычаев, побуждает молодого Аджи отомстить врагам:

«На грозный подвиг ты назначен
Законом, клятвой и судьбой.
За все минувшие злодейства
Из обреченного семейства
Ты никого не пощади;
Ударил час их истребленья!
Возьми ж мои благословенья,
Кинжал булатный – и поди!»
Так говорил мулла жестокий,
И кабардинец черноокий
Безмолвно, чистя свой кинжал,
Уроку мщения внимал. (III, 164).

Он дал клятву беспощадно расправиться с врагами и исполнил ее, вырезав целую семью, но потом сам ужасается содеянному злу и убивает муллу, заставившего его пролить столько крови. Автор искусно завершает поэму двойной развязкой: молодая вдова муллы, не боясь теперь ревнивого мужа, «другого любит без боязни», а юный Аджи одиноко скитается в горах, всеми отвергнутый, сам чуждающийся людей и получивший прозвище «каллы» («убийца»). В черновом варианте герой поэта называется абреком:

И след Аджи простыл. Катился
За годом год, и вот в горах
Абрек чужой всем появился,
Вселяя суеверный страх.
.....
Никто
Не признавал в абреке друга (III, 577–578).

Поэма написана сжато, насыщена действием, развивающимся стремительно и энергично.

В поэме «Аул Бастунджи» Лермонтов обнаруживает еще большее художественное мастерство и поразительное для его юного возраста умение улавливать черты, глубоко характеризующие как быт горцев, так и природу их страны.

Основная тема этого произведения – страстный протест героя поэмы Селима, человека свободолюбивого, непреклонной воли, против старинных, стесняющих его личность обычаев. Селим полюбил молодую жену своего старшего брата Акбулата; юноша понимает, что и Зара, насильно выданная замуж, не любит пожилого

нелюбимого мужа; Зара втайне готова ответить на чувство Селима; она сильная натура, но все же не смеет идти против адатов, не соглашается бежать с Селимом. Откровенная беседа младшего брата со старшим, дерзкая попытка уговорить Акбулата уступить жену, не привела ни к чему. Селим борется и с семейными, и с общественными традициями, но одиночке-бунтарю такая борьба не под силу. В этой поэме большую роль также играет мулла, восстанавливающий против Селима старшего брата и все население аула. Селим, в отчаянии убивший Зару и поджегший саклю брата, предан проклятию и обречен на вечное изгнание.

Поэт очень искусно развивает сложную, исполненную драматизма фабулу, мастерски владеет и разговорной, и описательной речью. Ни в одной из ранее написанных кавказских поэм Лермонтова мы не встречаем так ярко и выпукло изображенных действующих лиц, как в «Ауле Бастунджи»; особенно удалась ему фигура Селима, этой могучей, глубокой, жаждущей борьбы и подвига натуры, родственной Измаил-Бею и Мцыри. Ни в одной из прежних поэм не достигает молодой автор такого мастерства в описании жизни горцев; об этом свидетельствует, например, замечательная строфа, знакомящая читателя с внешним видом и внутренним убранством сакли братьев:

Была их сакля меньше всех других,
И с плоской кровли мох висел зеленой.
Рядком блистали на стенах простых
Аркан, седло с насечкой вороненой,
Два башлыка, две шашки боевых,
Да два ружья, которых ствол граненый.
Едва прикрытый шерстяным чехлом.
Был закопчен в дыму пороховом. (III, 172).

С такою же лаконичностью, четкостью, превосходным знанием местного быта рисует поэт сборы горца в отъезд:

...Селим седлает верного коня,
Гребенкой медной гриву разбирая;
Кубанскою оправою звеня,
Уздечка блещет; крепко обвивая
Седло с конем, сцепились два ремня,
Стремена ровны; плетка шелковая
На арчаге мотается. Храпит,
Косится конь... пора, садись, джигид. (III, 178–179).

Поэма выдержана в романтическом стиле; яркое выражение этого стиля находим в описании наружности Зары (стр. 173–174), в бурном диалоге братьев (стр. 175–178), в пейзаже, в мотиве проклятия, которому предают Селима (стр. 187); об интересе поэта к фольклору горцев говорит как этот мотив, так и беглое упоминание о «диве»; герой говорит о себе:

И странствовал в пустыне одинок
И сумрачен, как див, дитя проклятья. (III, 181).

Сказания о «дивах», или «дэвах», широко распространены у горцев Северного Кавказа (например, у ингушей, чеченцев и грузин); они могли быть знакомы Лермонтову.

Однако автор не ограничивается приемами романтического письма. Он вносит в поэму и реалистические образы; отметим следующие:

Машук, склоняясь лысой головой,
Через струи Подкумка голубые,
Казалось, думал тяжкою стопой
Перешагнуть в поместия чужие.
С мечети слез мулла; аул дремал...
Лишь в крайней сакле огонек блистал. (III, 172).

Или:

Шумела буря. Ветром наклоненный
Скрипел полуразрушенный плетень. (III, 178).

Поэт вводит в свое произведение подлинные местные географические названия. Действие происходит в ауле, находившемся между Машуком и Бешту; упоминаются также Пятигорье, Подкумок. В основу поэмы могло быть положено одно из преданий, слышанных Лермонтовым на Кавказе.

В «Ауле Бастунджи» Лермонтов обнаруживает замечательное поэтическое мастерство. Блестяще написано «Посвящение», проникнутое глубоким лиризмом. Великолепны также описания природы, достаточно напомнить такие превосходные по богатству красок стихи, описывающие вечер:

...Было поздно. На долину
Туман ложился, как прозрачный дым,
И сквозь него, прорезав половину
Косматых скал, как буркою густым
Одетых мраком, дикую картину
Родной земли и неба красоту
Обозревал задумчивый Бешту. (III, 172).

В отличие от других ранних поэм, эта написана строфически (октавой). В композиции ее очень искусно применен прием повторения одной и той же строфы в начале поэмы и в конце:

Сгорел аул – и слух о нем исчез.
Его сыны рассыпаны в чужбине...
Лишь пред огнем, в туманный день, черкес
Порой об нем рассказывает ныне
При малых детях. И чужих небес
Питомец, проезжая по пустыне,
Напрасно молвит казаку: «скажи,
Но знаешь ли аула Бастунджи?» (III, 170, 188).

Поэма «Аул Бастунджи» является ярким показателем необычайно быстрого развития дарования Лермонтова.

Поэмы «Каллы» и «Аул Бастунджи» писались в бытность Лермонтова в Московском университете. Вторая из этих поэм тематически и во многих частностях связана с поэмой «Измаил-Бей», созданной годом позже (1832 г.).

Тяготение Лермонтова к Кавказу не ослабевало. В незаконченном произведении, написанном ритмической прозой, автор восторженно говорит:

Синие горы Кавказа, приветствую вас! вы взлелеяли детство мое; вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю об вас да об небе...
...Часто во время зари я глядел на снега и далекие льдины утесов...
...Как я любил твои бури, Кавказ! те пустынные громкие бури, которым пещеры как стражи ночей отвечают...
...Все, все в этом крае прекрасно. (I, 341–342).

Той же любовью к Кавказу проникнута и самая значительная из ранних поэм – «Измаил-Бей».

Творческая история этого замысла пока почти не освещена в литературе. Сам автор указывает на два обстоятельства, связанных с написанием «Измаил-Бея»: 1) на автобиографические мотивы и 2) на мотивы, будто бы сообщенные ему во время его пребывания на Кавказе.

Автобиографические мотивы звучат намеками в строках посвящения, обращенного к любимой девушке – В.А. Лопухиной:

Тобою полны счастья звуки,
Меня узнаешь ты в других!.. (III, 582).

Судя по этому высказыванию, автор, в известной степени, сближает себя с героем поэмы. Действительно, в судьбе и чувствах Измаила есть черты, роднящие его с поэтом:

Он материнской ласки не знавал...
Он для великих создан был страстей,
Он обладал пылающей душою... (III, 216).

...Еще ребенком он любил
Природы дикой пышные картины,
Разлив зари и льдистые вершины,
Блестящие на небе голубом;
Не изменилось только это в нем. (III, 256).

Автобиографическими настроениями полны первые строфы поэмы, в которых автор обращается с теплыми словами к седому Кавказу, для которого он «путник не чужой» (III, 191–192).

Однако, автобиографические мотивы имеют в поэме второстепенное значение. Основная тема произведения – мужественная, упорная борьба горцев с русскими завоевателями. Поэт говорит:

Старик-чеченец,
Хребтов Казбека бедный уроженец,
Когда меня чрез горы провожал,
Про старину мне повесть рассказал.
Хвалил людей минувшего он века,
Водил меня под камень Росламбека...
.....
Его рассказ, то буйный, то печальный,
Я вздумал перенесть на север дальный:
Пусть будет странен в нашем он краю,
Как слышал, так его передаю. (III, 193–194).

В основу поэмы Лермонтов положил много подлинных исторических эпизодов и глубоко правдивых бытовых черт. По-видимому, от бывалых кавказцев, из круга родственников и знакомых он слышал немало интересовавших его рассказов о кавказской войне, о мирной жизни горцев. Некоторые сведения он мог почерпнуть и из литературных источников. В журналах и газетах 20–30-х годов XIX в. чрезвычайно популярны были очерки о Кавказе, дававшие описание путешествий, нравов разноплеменных народов и его живописной природы. Наконец, автор ввел немало образов и сюжетных положений, созданных его могучим поэтическим гением.

До последнего времени эта поэма Лермонтова рассматривалась, по установившейся традиции, как романтическое произведение, насыщенное яркими бытовыми сценами и превосходными картинами природы.

Внимательное изучение источников, относящихся к эпохе, описываемой поэтом, показывает, что он во многих случаях опирался на конкретный фактический материал, исходил из воспроизведения в художественной форме событий, связанных с героической борьбой горцев Северного Кавказа за независимость в 20-х и начале 30-х годов прошлого века. «Измаил-Бей» тесно связан по тематике и стилю с более ранними поэмами автора, превосходя их глубиной замысла и стихотворным мастерством.

Проф. Висковатов справедливо указал на «большую близость поэмы «Аул Бастунджи» к поэме «Измаил-Бей».[14] Действительно, сходство между этими произведениями значительное: описание детства героев, мотив вражды братьев, изображение выползающей змеи, ряд бытовых черт (описание горского жилища), описание внешности героинь, носящих одно и то же имя Зара, и ряд других сходных подробностей указывает на несомненную зависимость творческого замысла «Измаил-Бея» от ранее написанной поэмы «Аул Бастунджи». Однако, по существу, это различные произведения, так как в «Ауле Бастунджи» на первом плане узко-бытовая тема – борьба с закоснелыми адатами, а в «Измаил-Бее» – политическая борьба горцев за независимость.

Поэма изобилует точными географическими названиями, показывающими, что главнейшие ее события происходят в Пятигорске, в восточной части Ингушии и в смежной (западной) части Чечни. Родина героя – те места,

Где по кремням Подкумок мчится,
Где за Машуком день встает,
А за крутым Бешту садится. (III, 195).

В поэме упоминаются также соседние с названными горами – Железная и Змеиная (III, 197). Вытесненные из родных мест черкесы уходят в пределы Чечни и селятся на берегу реки Аргуна; здесь и развиваются дальнейшие события, описываемые поэтом. Река Аргун (у поэта Аргуна) несколько раз упоминается в поэме (III, 214, 222, 252). У Лермонтова говорится также про «Оссаевское поле» (III, 241); здесь следует подразумевать равнину, по которой протекает река Асса, часто называвшаяся в начале XIX в. Оссай или Оссая.[15] Таким образом, главное действие в поэме происходит в пределах Чечено-Ингушии между реками Асса и Аргун.

Кроме того, поэт бегло говорит об Эльбрусе («И Шат подъемлется за ними с двумя главами снеговыми» – III, 201), Казбеке (III, 193), Кубани (III, 196). Порою как бы мимоходом брошенная деталь свидетельствует о превосходном знании поэтом местной обстановки. Отметим, например, стих – «Питомец смелый трамских табунов» (III, 247). В первой половине XIX в. на Кавказе славились породистостью кони завода Трама, абазинского старшины.[16] В поэме находим упоминание о различных горских народах: Измаил – черкес, Зара – лезгинка, старик, передающий рассказ обо всех событиях, – чеченец.

Прототипами некоторых персонажей «Измаил-Бея» являются исторические лица. На это до сих пор в лермонтовской литературе не указывалось. При описании детства героя поэт сообщает, что отец Измаила был гоним братом, «убийцею коварным, Бей-Булатом». (III, 216). Это не вымышленное и не случайно введенное имя; в материалах по истории Кавказской войны часто упоминается при изложении событий 20-х годов чеченский наездник Бей-Булат (или Бий-Булат) Таймазов. Ермолов в одном из донесений 1818 г., находясь в лагере на Сунже, сообщал, что Бей-Булат в этом районе наносил русским войскам наибольший вред.[17] Ранее он служил в русской армии, имел чин поручика, в 1829 г. вместе со многими старшинами перешел в русское подданство, причем отдал в аманаты своего сына.[18] Лермонтов мог слышать рассказы о Бей-Булате Таймазове. По историческим данным, он вел двойственную политику, переходя то на одну, то на другую сторону.

Бей-Булат Таймазов пользовался громадным влиянием на чеченские народные массы. С ним считались крупнейшие русские военные деятели, выражая ему свое почтение, пытаясь склонить его на свою сторону, смягчить остроту политических событий. Внешне сохраняя дружеские связи с русским командованием, он накапливал большие силы, искусно использовал авторитет духовенства и затем внезапно начал энергичные военные действия. Он вел сложную игру, не останавливаясь порой ни перед какими средствами.

Лермонтов говорит, что Бей-Булат преследовал родного брата. Поэт называет его «убийцею коварным».

В жизни Бей-Булата Таймазова известен следующий эпизод, характеризующий его в том же свете. Однажды русские власти подослали к нему двух наемных убийц. Они явились к нему темной ночью, и один из них сказал, что пришел из его родного аула. Услышав незнакомый голос, Бей-Булат заподозрил обман, опасность; он не вышел сам из комнаты, а выслал своего племянника. Едва тот вышел, как пал под ударами двух кинжалов. Бей-Булат тотчас выскочил, убил одного из врагов, а другого схватил сбежавшийся народ.

После этого Бей-Булат лично отправился к Ермолову с изъявлением примирения, но вскоре вновь начал открытые военные действия, стремительно нападая на русские отряды и укрепления. Подавление восстания, возглавленного Таймазовым, стоило русскому командованию громадных усилий. Эти события происходили в 1824–1826 годах. Впоследствии Бей-Булат ушел на западный фронт, а еще позже – уехал к анапскому паше и пользовался покровительством командующего на турецком фронте графа Паскевича.[19] В 1829 г. Бей-Булата видел на турецком фронте А.С. Пушкин, упоминающий об этом в «Путешествии в Арзрум»:

«Славный Бей-Булат, гроза Кавказа, приезжал в Арзрум с двумя старшинами черкесских селений, возмутившихся во время последних войн. Они обедали у графа Паскевича. Бей-Булат, мужчина лет 35, малорослый и широкоплечий. Он по-русски не говорит, или притворяется, что не говорит. Приезд его в Арзрум меня очень обрадовал: он был уже мне порукой в безопасном переезде через горы и Кабарду».[20]

Одним из главных действующих лиц поэмы «Измаил-Бей» является князь Росламбек, брат героя. До сего времени нигде не указывалось, что это тоже действительное лицо.

В обрисовке Лермонтова Росламбек – контрастное лицо по отношению к Измаил-Бею. Он изображен человеком энергичным, храбрым, но честолюбивым, завистливым и мстительным; он ведет двойную игру:

Черкес готовил дерзостный набег,
Союзники сбирались потаенно,
И умный князь, лукавый Росламбек,
Склонялся перед русскими смиренно,
А между тем с отважною толпой
Станицы разорял во тьме ночной.
И, возвратясь в аул, на пир кровавый
Он пленников дрожащих приводил,
И уверял их в дружбе, и шутил,
И головы рубил им для забавы. (III, 214–215).

В конце поэмы автор называет его «жестоким братом», «завистником вероломным» (III, 257).

Этой личности он противопоставляет благородного Измаил-Бея.

Сообщаем краткие сведения о подлинном Росламбеке.

В самом начале XIX в. в русском войске находился кабардинский князь Росламбек Мисостов, состоявший полковником в лейб-гвардии казачьем полку. Однажды он исчез из русского лагеря. Оказалось, что он ушел за Кубань вместе с подвластными ему аулами. Мотивами к этому послужила кровная месть за смерть родного племянника, убитого в одном из набегов на Линию. За ним была послана погоня – целый полк. За-

вязался бой, продолжавшийся трое суток; русские отступили. Вскоре Росламбек сам предложил заключить перемирие, говорил о своем раскаянии, беседовал с начальником русского отряда и заявил, что теперь, когда кровь пролита, он готов вернуться к русским. Он даже обещал помочь русским достать затонувшее в реке их орудие. К упомянутому им месту была выслана рота солдат и 35 казаков. Когда они, оставив на берегу оружие, спустились к реке в указанном месте, Росламбек подал условный знак засаде, и почти весь русский отряд был истреблен. Росламбек ушел в горы и стал одним из самых непримиримых абреков.[21]

Имя этого лица, национальность, черты характера послужили Лермонтову данными для создания образа старшего брата героя поэмы.

Для освещения образа героини этого произведения, Зары, мужественной воительницы, достойной спутницы Измаил-Бея, можно привести следующий эпизод из истории Кавказской войны.

В 1842 году в числе пленных близ селения Большой Яндырки с партией чеченцев была взята девушка, одетая в мужской костюм. Оказалось, что она уже более десяти лет участвовала в военных делах. Ее возили показать, в национальном воинском платье, Николаю I. Затем она была отправлена в крепость Грозную, где жила в большой нужде.[22]

Лермонтов мог слышать если не об этой девушке-воине (начало участия в войне которой относится к началу 30-х годов), то о других подобных случаях или во всяком случае о женщинах, сражавшихся в рядах своих отцов и братьев. В военных донесениях того времени очень часто сообщалось о таких случаях. Недаром поэт говорит:

Черкес удалый в битве правой
Умеет умереть со славой,
И у жены его младой
Спаситель есть – кинжал двойной. (III, 195).

Образ Зары – один из лучших в лермонтовской галерее женских образов – в значительной степени вырос на реальной почве.

Прототип самого Измаил-Бея нами пока не установлен, но в его облике и судьбе есть характерные для той эпохи черты. Знаменателен эпизод с передачей сына в аманаты. Измаил с детства тоже был аманатом; получил образование в Петербурге, служил офицером, принял христианство.

Взятие детей горцев в заложники широко практиковалось русскими властями в эпоху Кавказской войны. В материалах по истории этой войны и в записках путешественников, посещавших Кавказ в 20–30-х гг. XIX в., упоминания об аманатах весьма часты. Подобные случаи были известны и Лермонтову. Очень важно то обстоятельство, что у целого ряда писателей мы встречаем явные нотки сочувствия к судьбе горских заложников, томившихся в плену.

В книге Н.Н. (Нефедьев Николай) «Записки во время поездки из Астрахани на Кавказ и в Грузию в 1827 году» в описании Владикавказской крепости встречаем следующие строки: «В самой крепости есть небольшой садик и липовая аллея, заменяющая бульвар, где видел я гуляющих аманатов. Это маленькие дети владельцев или старшин разных горских народов, залог их верности».[23]

В одной из прокламаций генерала Ермолова к чеченцам указывалось на то, что в случае упорства горцев аманаты их будут содержаться под строгим арестом и отправляться в Россию, а селение их будет признано виновным. Аманатов же деревень, которым дано прощение, разрешается содержать лучше прежнего и не под арестом, давая им свободу сколько возможно, допуская к свиданию с родными.[24]

Нам известно, что дядя ингушского краеведа Ч.Э. Ахриева, Темурко Мисостович Ахриев, в 30-х годах XIX в. был взят заложником и впоследствии зачислен в гвардейский горский дивизион (в Варшаве). В 1845 г. он был произведен в офицеры и получил разрешение вернуться на родину.

В комментариях к поэме «Измаил-Бей» проф. Б.М. Эйхенбаум отмечает следующее: «Вполне возможно, что Лермонтов лично встречался с горцами, получившими образование в России и потом действовавшими на родине. Именно в 20–30-х годах такие случаи были нередки. Об одном из них рассказывает, например, В.П. Бурнашев. Н.И. Греч познакомил Бурнашева с Хан-Гиреем – горцем, который, подобно Измаилу, был послан отцом на воспитание в Россию к Ермолову и сделал карьеру на русской военной службе: был назначен флигель-адъютантом и произведен в полковники гвардии. (Лерм., соч., III, 584). В журнале «Северный архив» за 1828 год находим интересные строки: «Дети многих князьков, воспитанные в Петербурге, достигнув до зрелых лет, оставляли все выгоды, сопряженные с гражданской жизнью, и возвращались опять в свои отечественные вертепы».[25]

В Чечено-Ингушской АССР до сего времени бытует легенда, которую приходилось слышать нам еще в дооктябрьские годы, возводящая образ Измаил-Бея к исторической личности – одному из известных участников Кавказской войны по имени Бата Шамурзаев. В детском возрасте в 1819 г. Бата Шамурзаев был взят в плен; барон Розен оказал ему покровительство, заботился о его воспитании. Впоследствии его приблизил к себе наместник в Польше великий князь Константин Павлович. По фамильным преданиям, Бата пробыл в плену

15–16 лет, затем возвратился на родину, состоял переводчиком в действующей армии левого фланга; потом перешел на сторону Шамиля, быстро выдвинулся, как один из виднейших наибов, но, не поладив с имамом, вновь перешел на сторону русских, служил при князе Барятинском и умер в чине майора. Мысль о том, что с Шамурзаева, по-видимому, списан образ Измаил-Бея, высказывалась и в печати.[26]

Ряд подробностей из биографии Б. Шамурзаева внешне действительно напоминает нам эпизоды из жизни лермонтовского героя, но названный шамилевский наиб не является прототипом Измаила, так как он был взят в плен 9 или 10 лет в 1819 г., а возвратился на Кавказ лет 15–16 спустя, т. е. через 2–3 года после написания Лермонтовым поэмы «Измаил-Бей». Поэт мог слышать от современников о взятии Шамурзаева в плен и о воспитании его в военной среде; дальнейшие же важные события произошли или по написании Лермонтовым поэмы (возвращение Шамурзаева в Чечню в 1834 г. или 1835 г.), или даже после его смерти (переход Баты к Шамилю состоялся в 1842 году). Таким образом, отождествлять Измаила и Бату нельзя.

Сам поэт называет своего героя черкесом. В связи с этим небезынтересно отметить небольшой рассказ неизвестного автора «Черкес», опубликованный в «Невском альманахе» за 1829 г. Герой рассказа – молодой черкес по имени Чиккай, живший за Кубанью. Он хотел жениться на дочери узденя Фатьме. В одной из схваток с донскими казаками Чиккай был взят в плен, отвезен на дальний север в (Финляндию) и отдан в солдаты. Он заболел и был отправлен в госпиталь. «Болезнь его – тоска по родине, тоска о потере дикой свободы. Каждое утро он выходит на берег, одинок и печален, и просиживает здесь долгие часы». Его любимое занятие – петь песню о далекой родине; она начинается словами «В плену черкес! пропал черкес!»[27]. Эта песня, без указания автора, годом позже перепечатана в альманахе «Северный певец». Приводим из нее несколько строф:

…Погиб аул, два милых брата,
Погибла дева и друзья,
Мой лук тугой, мой конь крылатый,
Один остался я!
……
…Но где же все, чем в жизни сей
Черкес свободный наслаждался,
Чем он дышал, за что сражался?
За деву, вольность, кров, друзей!..
Беспечной радости обитель,
Быть может, меч или огонь
Занес туда казак губитель!
О!.. где крылатый конь?..[28]

Указанные нами документальные литературные данные с несомненностью показывают, что это произведение молодого поэта изобилует историческими и этнографическими эпизодами и деталями, весьма характерными для описываемой им эпохи. Ниже мы приводим еще ряд фактов, подтверждающих, что в основу поэмы положены подлинные события.

Главная тема, развитая в поэме, – героическая борьба горцев Северного Кавказа с русскими колонизаторами. Все симпатии автора – на стороне горцев:

Мила черкесу тишина,
Мила родная сторона,
Но вольность, вольность для героя
Милей отчизны и покоя. (III, 196).

Автор рисует яркие картины вынужденного переселения черкесов из родных пределов, с берегов Подкумка:

Стада теснились и шумели,
Арбы тяжелые скрипели,
Трепеща жены близ мужей
Держали плачущих детей,
Отцы их, бурками одеты,
Садились молча на коней
И заряжали пистолеты,
И на костре высоком жгли,
Что взять с собою не могли. (III, 195).

Изгнанники находят приют у гостеприимных чеченцев и строят новый аул на берегу Аргуна. Поэт подчеркивает мотив дружественных взаимоотношений различных горских народов:

Близ рубежа чужой земли
Аулы мирные цвели,
Гордились дружбою взаимной,
Там каждый путник находил
Ночлег и кров гостеприимный;
Черкес счастлив и волен был. (III, 194).

Приют у чеченцев находит и семья лезгина, отца Зары, героини поэмы (III, 205). Черкесский князь Росламбек накапливает силы для отпора завоевателям:

Уж Росламбек с брегов Кубани
Князей союзных поджидал;
Лезгинец, слыша голос брани,
Готовит стрелы и кинжал. (III, 196).

Упоминание Лермонтовым об объединенных военных действиях горских народов соответствует историческим данным; в описываемую им эпоху горские предводители действительно посылали к соседним и отдаленным народам Северного Кавказа своих представителей, а также и вооруженные отряды. Так, например, названный выше Бей-Булат, имя которого было известно Лермонтову, в 1825 году сносился с Кабардой, посылал туда партию воинов в 300 человек.

В отрядах самого Бей-Булата находились карабулаки и лезгины. В 1826 г. один из аварских ханов присылал к нему депутацию с предложением личных услуг и войска.[29]

Завязкой поэмы является возвращение младшего брата Росламбека из плена. Он был взят в заложники, когда ему минуло только четырнадцать лет. Получив образование на далеком севере, он служил в русской армии, принял христианство, начал забывать родной язык. Но север не стал его второй отчизной; Измаил навсегда и без сожаления покидает его и отдает все силы борьбе своих соотечественников за свободу. Его необычайная отвага, ум, энергия, беззаветная преданность родине быстро создают ему славу героя. Росламбек, любивший популярность, завидует брату, и между ними начинается глухая борьба, заканчивающаяся трагической гибелью Измаила, павшего от руки Росламбека:

Жестокий брат, завистник вероломный!
Ты сам наметил выстрел роковой;
Ты не нашел в горах руки наемной. (III, 257).

Поэма дышит страстным протестом против тех насилий и жестокостей, какие несли в горские земли царские войска. В беседе с русским офицером Измаил с гневом говорит:

«За что завистливой рукой
Вы возмутили нашу долю?
За то, что бедны мы и волю,
И степь свою не отдадим
За злато роскоши нарядной;
За то, что мы боготворим,
Что презираете вы хладно!
Не бойся, говори смелей:
Зачем ты нас возненавидел,
Какою грубостью своей
Простой народ тебя обидел?» (III, 227).

Действие лермонтовской поэмы совпадает с очень важным периодом истории Кавказской войны, относящимся к концу 20-х и началу 30-х гг. XIX в. В эту пору российское верховное командование, закончив войны с Персией (1826–1828 гг.) и Турцией (1828–1829 гг.), стало уделять усиленное внимание Кавказскому фронту, особенно его восточной части – Чечне и Дагестану; там, в связи с развитием мюридизма, борьба достигла большой напряженности. При этом помимо главных, непрекращавшихся военных действий в Чечне и Дагестане, завоеватели предпринимали систематические операции и в других горских областях Северного Кавказа. Эти операции бывали двух родов, а именно: 1) набеги, совершавшиеся в ближайшие

от русских военных поселений местности и требовавшие недолгого времени, рассчитанные на внезапность и быстроту нападения, и 2) экспедиции, имевшие более ответственные и широкие задачи, выполнявшиеся с помощью значительных сил, в течение большего времени. Как набеги, так и экспедиции сопровождались невероятными жестокостями и бесчинствами: горские поселки подвергались разгрому, жилища и пожитки местного населения ограблялись и поджигались жители, без различия возраста и пола, предавались смерти. К числу таких кровавых операций относятся, например, походы ген. Абхазова 1830 г. в Ингушию и в Северную Осетию; в своих донесениях этот сатрап лаконично сообщал о том, что им совершенно уничтожен целый ряд горских селений.[30]

Лермонтов, как один из самых передовых людей своего времени, разоблачает в своей поэме подобные действия царских войск. Особенно сильно написана им II строфа III части поэмы; приводим эту строфу полностью:

Горят аулы, нет у них защиты,
Врагом сыны отечества разбиты,
И зарево, как вечный метеор,
Играя в облаках, пугает взор.
Как хищный зверь, в смиренную обитель
Врывается штыками победитель;
Он убивает старцев и детей,
Невинных дев и юных матерей
Ласкает он кровавою рукою,
Но жены гор не с женскою душою:
За поцелуем вслед звучит кинжал, –
Отпрянул русский, – захрипел, – и пал!
«Отмсти, товарищ» и в одно мгновенье
(Достойное за смерть убийцы мщенье!)
Простая сакля, веселя их взор,
Горит, – черкесской вольности костер!.. (III, 235).

Таких резких, энергичных, негодующих стихов русская поэзия до Лермонтова не знала. В параллель им можно привести отрывки из статьи И. Дроздова «Начало деятельности Шамиля», в которой описывается разгром русскими войсками двух чеченских аулов в середине 30-х годов (т. е. всего несколькими годами позже событий, изображенных Лермонтовым): «Не взирая на весьма трудную местность, казаки быстро окружили аул, а не отстававшая от них пехота ворвалась в середину селения – и участь Энгелика была решена. Чеченцы, засев в саклях, стали отстреливаться; почти каждый дом, каждый двор приходилось брать штурмом и с трудом сломить упорство неприятеля. Спасавшиеся бегством из аула попадали под шашки казаков, остающиеся в ауле погибали под ударами штыков. Пощажены были те, которые сдались добровольно. К 8-ми часам утра от аула Энгелика осталась лишь груда сожженных саклей».

«Вслед за кавалерией Куринцы бросились на аул с фронта. Атака была произведена так быстро и неожиданно, что жители не успели приготовиться к отпору и скрыть свои семейства. Оправившись от охватившего их ужаса, ичкеринцы с бешенством отчаяния кидались на войска, но падали под ударами штыков и прикладов. Даже женщины и дети принимали участие в сопротивлении. Восходящее солнце осветило ужасную картину истребления Зандака, ужасную потому, что на этот раз не щадили ни женщин, ни детей».[31]

Мотив вольности пронизывает всю поэму; борьбе за вольность отдал все силы Измаил; этой же борьбе всю себя посвятила и Зара. Затаенная, глубокая любовь этих двух людей различной национальности (герой – черкес, героиня – лезгинка) прошла, как показывает автор, через все испытания. Как в упомянутой строфе поэмы, так и в ряде других мест поэт отмечает мужество и стойкость горянки. Образ Зары не случайное, а типическое явление. Благородство и героизм Измаила и Зары оттеняются автором контрастными по отношению к ним образами коварного, расчетливого Росламбека и русского офицера, преследующего личные цели.

В поэме описывается целый ряд эпизодов, связанных с событиями Кавказской войны, происходившими частью в Кабарде и большей частью – в Чечне; восстание, возглавляемое в Чечне Бей-Булатом, было подавлено в 1826 г. Ермоловым, но борьба горцев продолжалась на Кубани и Тереке.[32]

Особенно подробно описывает Лермонтов битву, в которой был убит личный враг Измаила – русский офицер. В этой упорной битве горцы проявили большую стойкость; но Измаил получил рану, выбыл из строя, и его отряд должен был отступить (III, 245–250). Автор упоминает, что в этом деле участвовали «ширванские полки» (III, 249). Это сражение происходило недалеко от берегов реки Аргун, о которой упоминает поэт (III, 252).

Многие подробности, поэтически описанные Лермонтовым, соответствуют подлинным фактам. В походе Ермолова в Чечню в 1826 г. принимал участие и ширванский полк. В конце января этого года к бере-

гам Аргуна из крепости Грозной был выслан сильный отряд в составе двух батальонов ширванского полка, роты егерей и 500 линейных казаков под начальством подполковника Ковалева. На русском берегу Аргуна был сожжен аул Чах-Кери. В это время подоспели силы горцев.

«В эту минуту вся чеченская сила обрушилась на ширванские батальоны. Бой завязался отчаянный. Орудиям приходилось действовать почти в упор, на расстоянии каких-нибудь 10–15 сажен, и действие картечи было поистине ужасно. Все офицеры, находившиеся в цепи, по словам Ермолова, должны были драться наравне с солдатами. Сами чеченцы говорили потом, что не помнят такой ожесточенной схватки».[33]

Эти данные являются ценными комментариями к батальным сценам поэмы Лермонтова, особенно к следующим стихам:

Все жарче бой; главы валятся
Под взмахом княжеской руки;
Спасая дни свои, теснятся,
Бегут в расстройстве казаки!
Но что ж? победа изменила.
Раздался вдруг нежданный гром,
Все в дыме скрылося густом:
И пред глазами Измаила
На землю с бешеных коней
Кровавой грудою костей
Свалился ряд его друзей.
Как град посыпалась картеча;
Пальбу услышав издалеча,
Направя синие штыки,
Спешат ширванские полки. (III, 249).

Этими же данными подтверждается правдивость описания Лермонтовым поединка Измаила с русским офицером (III, 248).

Поэт говорит, что жители некоторых черкесских аулов, вынужденные покинуть родину, переселились в Чечню (III, 214). Это исторически верно. Во время упомянутого похода Ермолова в Чечню был уничтожен, в числе других чеченских сел, Даут-Мартан, «вечный приют кабардинских абреков».[34]

Изображением событий на «Оссоевском поле» (то есть на равнине между реками Ассой и Аргуном) завершается фабула поэмы. В эпилоге автор говорит, что и после того борьба горцев продолжалась:

Прошло два года, все кипит война...
Везде, где враг бежит и льется кровь,
Видна рука и шашка Измаила. (III, 255).

Из личной мести Росламбек убивает брата, который не надолго пережил Зару, разделявшую с любимым человеком все опасности изгнания и боевой жизни.

Лермонтов обнаруживает прекрасное знакомство с горским бытом. Он не раз упоминает об обычае гостеприимства; напомним сцену приезда Измаила к старику-лезгину:

Кто здесь? – Я странник! – был ответ.
И больше спрашивать не хочет,
Обычай прадедов храня,
Хозяин скромный. Вкруг коня
Он сам заботится, хлопочет,
Он сам снимает весь прибор
И сам ведет его на двор. (III, 204).

С такою же заботливостью относится к случайному гостю хозяин при прощании с ним:

На пепелище огонек
Еще синел. Старик суровый
Его раздул, пшено сварил,
Сказал, где лучшая дорога,
И сам до ветхого порога
Радушно гостя проводил. (III, 210).

Обычай гостеприимства соблюдает при встрече с русским офицером и сам Измаил:

«Чего ты хочешь от меня?»
«Гостеприимства и защиты! –
Пришлец бесстрашно отвечал, –
Свой путь в горах я потерял…
……
Твоей я чести предаюсь!»
«Ты прав; на честь мою надейся!
Вот мой огонь: садись и грейся…» (IV, 226).

С. Броневский в известном сочинении «Новейшие географические и исторические известия о Кавказе» (1823 г.) приводит о гостеприимстве черкесов аналогичные подробности: «Вошедший в дом вступает во все права гостя, то есть под особенную защиту хозяина, пока со двора не съедет, причем подразумевается обязанность накормить гостя, дать покой и проводить его на безопасную дорогу или к ближайшему соседу благополучно. Приезд гостя есть приятное происшествие для всех домашних, доставляющее всякому свои заботы, кои отправляются с отменною услужливостью».[35]

Лермонтов, описывая первую встречу Измаила с Зарой, говорит, что девушка, подав ужин отцу и гостю, колебалась, уйти ей или остаться; наконец, не боясь гнева отца, решила остаться в той же комнате, чтобы присутствовать при беседе старших (III, 207).

В параллель этой сцене приводим следующие интересные данные об обычае гостеприимства у горцев.

«Является также с визитом дочь хозяина дома и всегда за нею приносят блюдо со свежими или сухими овощами, глядя по времени года; гость приглашает ее присесть, и по краткой беседе она удаляется. Подобные визиты делаются только родственникам или особо уважаемым лицам».[36]

Поэт упоминает о суде старейшин («И старцы с белыми власами судили распри молодых» – III, 194), о народных праздниках и развлечениях:

Дни мчатся. Начался байран.
Везде веселье, ликованье.
……
Уж скачка кончена давно;
Стрельба затихнула; темно. (III, 217–218).

С редким мастерством описывает Лермонтов национальный костюм и осанку лихого наездника – горца:

Кто ж этот путник? русский? нет.
На нем чекмень, простой бешмет,
Чело под шапкою косматой;
Ножны кинжала, пистолет
Блестят насечкой небогатой;
И перетянут он ремнем,
И шашка чуть звенит на нем;
Ружье, мотаясь за плечами,
Белеет в шерстяном чехле;
И как же горца на седле
Не различить мне с казаками? (III, 198).

Описывая боевое снаряжение черкесов, Лермонтов говорит не только об огнестрельном оружии, но и о старинных доспехах: Измаил в бою появляется «в броне железной» (III, 247, см. еще стр. 237, 242), на его голове шишак (III, 248; см. еще III, 253); Селим (Зара) носит звонкий колчан и лук (III, 245, 248). Эти подробности не дань романтическому стилю, а вполне реалистические черты. Тот же Броневский при описании одеяния черкесов сообщает следующее: «Без сабли, пистолета и кинжала никогда не отлучаются от двора; но в полном военном наряде вооружаются еще луком, колчаном со стрелами и ружьем, и, у кого есть, надевают на себя панцирь».[37]

С глубокою симпатией обрисовывает Лермонтов образ народного певца:

Вокруг огня, певцу внимая,
Столпилась юность удалая,
И старики седые в ряд
С немым вниманием стоят.

На сером камне, безоружен,
Сидит неведомый пришлец.
Наряд войны ему не нужен;
Он горд и беден – он певец!
Дитя степей, любимец неба,
Без злата он, но не без хлеба.
Вот начинает: три струны
Уж забренчали под рукою,
И живо, с дикой простотою
Запел он песню старины.

Черкесская песня, которую поет певец, развивает мотив о воле:

Много дев у нас в горах;
Ночь и звезды в их очах;
С ними жить завидна доля,
Но еще милее воля! (III, 218).

Героическим духом проникнута и песня Селима, прославляющая постоянство любви и отвагу:

Любви изменивший
Изменой кровавой,
Врага не сразивши,
Погибнет без славы;
Дожди его ран не обмоют,
И звери костей не зароют!
Месяц плывет
И тих и спокоен;
А юноша-воин
На битву идет! (Ш, 243).

Знакомство поэта с горским фольклором проявляется также в упоминании о злом духе, низвергнутом с неба и скованном в течение трех веков тяжкой цепью (III, 223). Этот мотив чрезвычайно популярен на Кавказе и известен в различных вариантах у многих горских народов.[38] Характерен также еще следующий образ:

Там разноцветною дугой,
Развеселясь, нередко дивы
На тучах строят мост красивый,
Чтоб от одной скалы к другой
Пройти воздушною тропой. (III, 217).

Дивы, или дэвы, также часто встречаются в эпосе народов Северного Кавказа и Закавказья.

Как художественное целое, поэма «Измаил-Бей» отличается очень высокими красотами языка и образов, искусным построением фабулы. Помимо главного мотива – борьбы горцев за родину, это произведение заключает в себе целый ряд других мотивов, насыщающих его сложным и динамично развивающимся действием: любовь Измаила и Зары, вражда братьев, вражда Измаила и русского офицера. Наиболее удачны образы Измаила, Зары и Росламбека. Картины мирного быта чередуются с батальными сценами. Вершин поэтического мастерства достигает Лермонтов в описании кавказской природы; по своей красочности, верности местного колорита и разнообразию они могут быть отнесены к числу высших достижений его поэзии; достаточно отметить такие шедевры, как XX строфа I части («Погас, бледнея, день осенний») и I строфа III части («Шумит Аргуна мутною волной»). Эти картины отличаются глубокой правдивостью. Очень верно изображает он впечатление, которое производят на неопытного путешественника отдаленные горы, кажущиеся, благодаря прозрачности воздуха, находящимися близко от наблюдателя:

Пред ним с оттенкой голубою,
Полувоздушною стеною
Нагие тянутся хребты;
Неверны, странны, как мечты,
То разойдутся, то сольются…

Уж час прошел, и двух уж нет.
Они над путником смеются,
Они едва меняют цвет.
Бледнеет путник от досады,
Конь непривычный устает… (III, 201–202).

То же подмечали многие путешественники, побывавшие на Кавказе. Например, в «Дорожных записках по Кавказскому краю 1841 года» П. Егоров сообщает, что, когда он ехал в Пятигорск, то ему чудилось, что горы находятся так близко, как говорится, хоть рукой достать, не далее как саженях в 100–200, но, по словам казака, они отстоят далее чем за тридцать верст; какой оптический обман![39] Тем же впечатлением делится П. Хицунов: «Не веришь глазам своим, сомневаешься, чтоб действительно то были горы; между тем очерки их делаются яснее и яснее, высота растет по обманчивым оптическим законам, и за 50 верст они кажутся отстоящими от вас не далее, как на 5 верст».[40] Оба автора описывают те же горы, которые изображает и Лермонтов.

Отдав в этой поэме значительную дань романтизму (ср., например, стихи 294–308, 501–520, 626–633, 1790–1814 и др.), автор в то же время обнаруживает большое тяготение к реализму, к простоте; отметим, например, следующие места:

Две сакли белые, простые,
Таятся мирно за холмом,
Чернеют крыши земляные,
С краев ряды травы густой
Висят зеленой бахромой…
…Широкий окружает двор
Из кольев и ветвей забор,
Уже нагнутый, обветшалый. (III, 204).

…Между кизиловых дерев
Аул рассыпан над рекою;
Стоит отдельно каждый кров,
В тени под дымной пеленою
Здесь в летний день, в полдневный жар,
Когда с камней восходит пар,
Толпа детей в траве играет,
Черкес усталый отдыхает;
Меж тем сидит его жена
С работой в сакле одиноко,
И песню грустную она
Поет о родине далекой… (III, 217).

Там, где кустарником покрыты,
Встают красивые граниты
Каким-то пасмурным венцом,
Есть поворот и путь, прорытый
Арбы скрипучим колесом. (III, 252).

Поэт вводит локальные выражения: «джяур» (стр. 196), «шайтан» (стр. 204), «чихирь» (стр. 205), «байран» (стр. 217), «уздень» (стр. 222), «джигит» (стр. 240). Речь его изобилует афоризмами; отметим, например, следующие:

Кто с гордою душою
Родился, тот не требует венца. (Стр. 194).

Не все судьба голубит нас,
Всему свой день, всему свой час. (Стр. 194).

Вольность, вольность для героя
Милей отчизны и покоя. (Стр. 196).

Так быстро скачет только тот,
За кем раскаяние мчится. (Стр. 201).

Бывают люди: чувства – им страданья;
Причуда злой судьбы – их бытие. (Стр. 224).

Пусть лик одежда изменяет:
Не взор – душа врага узнает. (Стр. 230).

Чем реже нас балует счастье,
Тем слаще предаваться нам
Предположеньям и мечтам. (Стр. 250).

Поэма в большей своей части написана четырехстопным ямбом, но автор во многих местах вводит пятистопный ямб; другим размером написаны вводные песни «Черкесская песня» (хорей) и «Песня Селима» (амфибрахий). Молодой поэт прекрасно владеет стихом, отличающимся гибкостью и музыкальностью. К печати она, однако, не была предназначена взыскательным автором и появилась в свет два года спустя после его смерти в «Отечественных записках» со следующим кратким пояснением от редакции:

«Все это произведение может служить фактом поэзии духа и характера Лермонтова. Тут читатели встретят в герое поэмы тот же колоссальный, типический образ, который с ранних лет был избранным, любимым идеалом и является потом во всех произведениях поэта, в котором Россия безвременно утратила, может быть, своего Байрона... Каждая строка, каждое слово такого поэта должно быть сохранено, как общее достояние современного общества и потомства, – и мы уверены, что, помещая «Измаил-Бея» в нашем журнале, делаем истинный подарок образованной части русской публики, хотя, по причинам, от нас не зависящим, мы и не могли напечатать вполне всю поэму».[41]

В последних словах редакция подразумевает цензурные сокращения; в поэме было опущено много отдельных мест и целые строфы (например, в I ч. – строфы 14, 15, 16, во II ч. – строфы 2 и 3, в III ч. – строфа 1); общее количество стихов, не пропущенных цензурою, более двухсот!

В поэме, несомненно, имеются отзвуки не только действительных событий, но и художественных произведений русских и иностранных авторов.

Указывают, например, влияние поэм Пушкина – «Кавказский пленник», «Цыганы», «Полтава». Сходство усматривается в фабульных положениях (романтический мотив в «Кавказском пленнике» Пушкина, ср. образы Измаила и Зары у Лермонтова).

Очень ценные высказывания об этой поэме находим в записях Л.Н. Толстого 1854 г.: «Я нашел начало Измаил-Бея весьма хорошим. Может быть, это показалось мне более потому, что я начинаю любить Кавказ хотя посмертной, но сильной любовью. Действительно, хорош этот край дикий, в котором так странно и поэтически соединяются две самые противоположные вещи: война и свобода».[42]

«Измаил-Бей» тесно связан со многими последующими произведениями Лермонтова. Прежде всего следует отметить могучий образ Измаила, весьма близкий к образам Арбенина, Мцыри, Печорина, Демона. Мотив о горце, в детстве попавшем в плен и мечтающем о возвращении на родину, с еще большим мастерством развит в «Мцыри». Наконец, не собираясь печатать «Измаил-Бея», автор воспользовался целым рядом имеющихся в нем образов для более поздних произведений. Укажем, например, такие стихи:

«Измаил-Бей»:

Еще небесное светило
Росистый луг не обсушило.
Со скал гранитных над путем
Склонился дикий виноградник,
Его серебряным дождем
Осыпан часто конь и всадник. (III. 197).

Там, где кустарником покрыты,
Встают красивые граниты
Каким-то пасмурным венцом,
Есть поворот и путь, прорытый
Арбы скрипучим колесом.

Оттуда кровы земляные,
Мечеть, белеющий забор,
Аргуны воды голубые,
Как под ногами, встретит взор! (III, 252).

Одно лишь светится окно. (III, 204).

Вдруг слышит выстрел – что такое? (III, 199).

...И снова
Садится на коня лихого. (III, 204).

«Хаджи Абрек» (1833–1834 гг.):

Еще ленивое светило
Росы холмов не осушило.
Со скал высоких над путем,
Склонился дикий виноградник;
Его серебряным дождем
Осыпан часто конь и всадник. (III, 268).

Есть поворот – и путь, прорытый
Арбы скрипучим колесом,
Там, где красивые граниты
Рубчатым сходятся венцом.
Оттуда он как под ногами
Смиренный различит аул... (III, 268).

«Боярин Орша» (1835–1836 гг.):

Одно лишь светится окно. (III, 283)

«Демон»:

Вдруг впереди мелькнули двое,
И больше – выстрел – что такое? (III, 462).

Увы! но никогда уж снова
Не сядет на коня лихова! (III, 464).

Замечательный образ ползущей змеи, знакомый нам по поэмам «Аул Бастунджи» (III, 170) и «Измаил-Бей» (III, 203), позже встречается в «Мцыри» (III, 448–449) и «Демоне» (III, 487). Кроме того, не были забыты и обе песни, введенные в поэму «Измаил-Бей»: «Черкесская песня» (III, 218–219) в новом варианте была перенесена в повесть «Бэла» (V, 197), а «Песня Селима» (III, 243) – в поэму «Беглец» (III, 361–362).

Необходимо отметить, что Лермонтов не ограничивался в большинстве случаев простым переносом ранних стихов в более зрелые произведения; часть стихов удовлетворяла его настолько, что он без существенных изменений вводил их в позднейшие свои создания; однако еще чаще он подвергал их глубокой переделке, меняя и стихотворный размер, и отдельные образы; для примера возьмем начало «Черкесской песни» из «Измаил-Бея».

Много дев у нас в горах;
Ночь и звезды в их очах;
С ними жить завидна доля,
Но еще милее воля!
Не женися, молодец,
Слушайся меня:
На те деньги, молодец,
Ты купи коня!

Ср. песню Казбича:

Много красавиц в аулах у нас,
Звезды сияют во мраке их глаз,
Сладко любить их – завидная доля;
Но веселей молодецкая воля.
Золото купит четыре жены,
Конь же лихой не имеет цены:
Он и от вихря в степи не отстанет,
Он не изменит, он не обманет.

Как мы видим, «Черкесская песня» при написании «Бэлы» была глубоко переработана автором. Сохранены основные мысли, оставлен целый ряд поэтических выражений; но изменен ритм стихотворения, и песне придана классическая лаконичность (вместо прежних 24 стихов поэт ограничился всего восемью строками). К сожалению, автограф поэмы «Измаил-Бей» пока не найден, и черновая работа поэта над этим произведением остается пока неизвестной.

К тому же 1832 г., помимо упомянутого выше стихотворения «Прощанье», относится отрывок, написанный в начале ритмической прозой, а затем переходящий в правильный стих, – «Синие горы Кавказа, приветствую вас!» (I, 341–342). Этот набросок представляет большой интерес. Поэт подчеркивает свою неизменную любовь к Кавказу – к его природе, к его вольнолюбивым обитателям. По основным мыслям и настроению названное произведение близко к «Посвящениям» поэм «Аул Бастунджи» (III, 168–169) и «Демон» (III, 530–531). Целый ряд образов этого отрывка мы находим в других произведениях Лермонтова различных лет. Укажем, например, следующие строки: «престолы природы» (ср. «Измаил-Бей»: «престолы вечные природы» – III, 192), «пустынные громкие бури, которым пещеры как стражи ночей? отвечают» (ср. «Аул Бастунджи»: «и, пробудясь от сна, как часовые, пещеры откликалися кругом» – III, 169), «воздух там чист, как молитва ребенка» (ср. «Княжна Мери»: «воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка» – V, 240). Выше мы отмечали, что к данному произведению близко раннее стихотворение «Утро на Кавказе» (I, 97).

Цикл произведений с кавказской тематикой, написанных Лермонтовым до первой ссылки, завершается поэмой «Хаджи Абрек», относящейся к 1833–1834 гг. Она была, помимо желания самого автора, передана в журнал «Библиотека для чтения» и напечатана в нем в 1835 г. (т. XI). Близкий родственник и друг поэта А.П. Шан-Гирей передает об этом следующие подробности: «С нами жил в то время дальний родственник и товарищ Мишеля по школе Николай Дмитриевич Юрьев, который, после тщетных стараний уговорить Мишеля печатать свои стихи, передал, тихонько от него, поэму «Хаджи Абрек» Сенковскому, и она, к нашему немалому удивлению, в одно прекрасное утро появилась напечатанною в «Библиотеке для чтения». Лермонтов был взбешен; по счастью, поэму никто не разбранил, напротив, она имела некоторый успех, и он стал продолжать писать, но все еще не печатать».[43]

По содержанию это произведение примыкает не к «Измаил-Бею», насыщенному политическими идеями, а к бытовым поэмам «Каллы» и «Аул Бастунджи». Основной мотив «Хаджи Абрека» – кровная месть; герой поэмы мстит князю Бей-Булату за убийство своего брата; он мог бы убить противника в поединке, но такую кару Хаджи считает малой:

«Это ль мщенье?
Что смерть! Ужель одно мгновенье
Заплатит мне за столько лет
Печали, грусти, мук?.. О нет!
Он что-нибудь да в мире любит:
Найду любви его предмет,
И мой удар его погубит!» (III, 273).

Узнав, что Бей-Булат похитил у одинокого старика-лезгина его прекрасную дочь Лейлу, Хаджи решается привести свое затаенное желание в исполнение; он разом отомстит Бей-Булату и как похитителю, и как убийце. Поэма, проникнутая романтикой, завершается кровавой развязкой: Лейла убита беспощадным Хаджи, отец ее умирает с горя, сам Хаджи и Бей-Булат погибают в поединке. Все произведение выдержано в суровых, мрачных тонах. Центральные образы Хаджи и Лейлы являются резко противоположными: Хаджи – жесток и мстителен, Лейла – резва и беспечна. Лучшие места в поэме – описательные мотивы: картины природы (III, 268, 275), пляска Лейлы (III, 271–272), бешеная скачка Хаджи, возвращающегося домой с мертвой головой лезгинки (III, 275–276).

В поэме нет точных указаний на то, где развивается главное действие. Родина старика – Дагестан (III, 272); он лезгин; гонимый бедствиями, он уединенно живет на чужбине, близ аула Джемата, где встречается с Хаджи. Судя по краткому описанию Лермонтова, это большое селение, расположенное на поляне, у подножья крутой горы. Слава о джематских удальцах гремит по всему Кавказу:

Велик, богат аул Джемат.
Он никому не платит дани;
Его стена – ручной булат;
Его мечеть – на поле брани.
Его свободные сыны
В огнях войны закалены. (III, 265).

Вопрос о том, с какой местностью связано действие поэмы, до сего времени вызывает разноречивые суждения. Так, Дьячков-Тарасов, описывая свою поездку по Карачаю, упоминает о развалинах аула Джемаата, воспетого Лермонтовым:

«Мы остановились на месте этого некогда знаменитого аула, населенного абреками из абхазского воинственного племени цебельдинцев, живущих по ту сторону гор и до 60-х годов упорно сопротивлявшихся русским. Лет 40–50 назад, говорит местное предание, аул посетил мор и унес большую часть жителей. Действительно, за Джемаатом мы увидели на другой день обширное кладбище, огороженное из чувства благочестия карачаевцами; версты на полторы мы видели кучи камней, остатки бывших саклей. Слава о джематских удальцах далеко распространилась». Один из местных жителей, князь Урусбиев, потеряв от страшной болезни двух сыновей, знаменитых джигитов, бросил это место и поселился близ Эльбруса. «По рассказам баталпашинского старожила, полковника Кузовлева, Урусбиевы посещали русский лагерь, и Лермонтов, живший «на линии» и в Пятигорске, мог слышать и от них кровавый сюжет своей поэмы. Что же касается разницы в произношении между тебердинским Джемаатом и лермонтовским Джематом, то ее легко объяснить условиями стиха: Лермонтов практиковал иногда стяжение двух гласных, например, Бешту вместо Бештау».[44]

Сведения, сообщаемые Дьячковым-Тарасовым, несомненно ценны; здесь важно не только конкретное указание на близость лермонтовского Джемата к действительному названию карачаевского аула, но и указание на то, что местные джигиты своей упорной борьбой с колонизаторами прославились далеко за пределами родины. Напомним стихи поэта:

Дела их громки по Кавказу,
В народах дальних и чужих,
И сердца русского ни разу
Не миновала пуля их. (III, 265).

Однако совершенно лишено основания предположение о том, что Лермонтов, будучи в действующей армии, мог услышать рассказ о Джемаате: поэт написал свою поэму, будучи в юнкерской школе.

Документация названия аула, упоминаемого в поэме Лермонтова, подтверждается и другим краеведом – В.М. Сысоевым в его монографии о Карачае. Автор подтверждает ряд сведений, сообщаемых Дьячковым-Тарасовым; он отмечает, что аул Джемат некогда находился близ впадения реки Джемата в реку Теберду; здесь был большой аул, но во время чумы или холеры большая часть населения вымерла, а оставшиеся жители разбежались, переселившись главным образом в Урусбиевский аул Терской области. По поводу мнения Дьячкова-Тарасова об отождествлении обоих аулов автор указывает, что Лермонтов называет своего героя черкесом и если что-нибудь заимствовал, то только одно название аула; описание же его не подходит к карачаевскому месту.[44a]

Существует мнение о том, что лермонтовская поэма приурочена к совершенно другому месту.

В.А. Гейман в своих воспоминаниях о событиях в Чечне сообщает следующее: «Проходя чрез развалины аула Чиркей, мы видели остатки огромных садов; вековые ореховые деревья свидетельствовали о былом богатстве разбежавшихся обитателей; каменные сакли представляли одни руины – последствие кровавой борьбы. Аул Чиркей воспет Лермонтовым:

«Велик, богат аул Джемат,
Он никому не платит дани…»[45]

Ту же мысль мимоходом высказывает и Потто, описывая события в Чечне: «До сих пор все наши попытки к овладению Черкеем оставались безуспешны, и это обстоятельство, питая народную гордость черкеевцев, создавало в горах целые легенды. Только про этот аул и мог сказать Лермонтов в своем «Хаджи Абреке»:

...Его свободные сыны
В огнях войны закалены.
Дела их громки по Кавказу,
В народах дальних и чужих,
И сердца русского ни разу
Не миновала пуля их.

Аул Черкей был взят в мае 1841 г.; Лермонтов в этой экспедиции не участвовал, так как находился в отпуску.[46]

Сближение Джемата с чеченским аулом Чиркеем (Черкеем) у обоих авторов ничем конкретно не аргументировано.

Наконец, высказывается предположение, что Лермонтов описывает в своей поэме дагестанский аул. Французский ученый Saint-Rene' Taillandier, характеризуя творчество поэта, бегло говорит о том, что Джемат находится в Дагестане.[47]

И.Е. Мысовский в брошюре «От Нальчика до Сухума» (Москва, 1928 г.) упоминает о том, что существует довольно распространенное мнение, будто в местности близ Теберды был когда-то аул Джемат, известный по лермонтовской поэме «Хаджи Абрек»; по мнению автора, это неправильно: поэма описывает жизнь лезгин, которые никогда здесь не имели аула (стр. 36).

Последние из приведенных нами суждений тоже не заключают в себе никаких определенных данных по интересующему нас вопросу. Как Taillandier, так и Мысовский имеют в виду то, что Лейла и ее отец – родом из Дагестана, но в поэме совершенно ясно говорится о том, что они являются в Джемате пришельцами, а герой поэмы назван поэтом черкесом («едет шагом черкес на борзом скакуне» – III, 268). В те годы черкесами называли нередко различных горцев, живших в центральной или западной части Северного Кавказа. Наиболее вероятным остается, по нашему мнению, предположение о том, что сюжет «Хаджи Абрека» приурочен к карачаевскому аулу Джемаату (Джемату).

Память о джемаатских удальцах до сего времени живет в народной памяти.

Один из научных сотрудников Ингушского Научного Музея сообщил нам текст карачаевской песни «Емина» (чума), записанной в сентябре 1936 г. в ауле Н. Теберда. В песне развит мотив глубокой скорби, вызванной воспоминанием о покинутом некогда из-за чумы ауле Джамагате (Джамаат) и о минувшей славе его джигитов. Приводим из этой песни несколько отрывков:

Мы вышли из своих узких ущелий.
После многих бедствий и странствований
Поселились в ущельи Теберды.
Здесь мы вспахали поля,
Посеяли пшеницу и ячмень,
Но судьба не дала пользоваться урожаем.
Всех нас настигло горе.
Пришла чума – посланник злого духа.
...Кто расскажет о нашей участи
Старикам ущелья Баксана?
Кто теперь будеть ездить на лошадях с товаром Мехера?
Остались жеребцы; чистить и ездить на них некому.
Келемета дочь угнала коров в Чегет-тюз.
Пока вернулись коровы, потеряли двух богатырей:
Урусбий улу джигит Эльмурзу и его брата Алхаза.
Умер Урусбий улу джигит Эльмурза.
...Кто теперь будет наблюдать за его вооружением?
Кто теперь так ловко будет пускать
Его железную стрелу в цель?
Умер славный Алхаз.
Кто теперь будет делать смелые походы?
Дым из хат не выходит.
Джемагатинских джигитов уже не стало.
Сын Атабия, богатырь Чапан
Умер, тоскуя по родине Баксан.
Кругом нет никого, одни горы.
Не у кого просить помощи.

По словам старика-колхозника М.М. Блимготова, передавшего эту песню, жители аула Джемагат вымерли от сильной чумной эпидемии. От этой же болезни умерли известные джигиты, братья Эльмурза и Алхаз. Уцелевшие жители ушли на Баксан, где основали общество Урусбиевых; это было 130 лет назад.

Эти фольклорные сведения представляют большой интерес, как отзвук тех мотивов, которые были известны и Лермонтову.

И.К. Ениколопов в своей работе «Пушкин на Кавказе» (Тбилиси, 1938 г.) высказывает беглое упоминание о том, что прообразом Хаджи Абрека Лермонтова является известный чеченский военный деятель Бей-Булат Таймазов (стр. 115). Никаких конкретных пояснений в развитие этого указания автор не дает.

По нашему мнению, более вероятным будет предположение о том, что имя Бей-Булата Таймазова, встречающееся в поэме «Измаил-Бей», могло вдохновить Лермонтова к созданию образа одноименного персонажа «Хаджи Абрека» – князя Бей-Булата, похитившего Лейлу и павшего в смертельной схватке с Хаджи.

В исторических источниках о Бей-Булате Таймазове мы встречаем следующий эпизод, несколько напоминающий сюжетную ситуацию Лермонтова.

Бей-Булат был кровником одного мирного кумыцкого князя по имени Салат-Гирей. Он убил отца этого князя и носил при себе его оружие. Девять лет спустя они встретились на узкой тропинке. По обычаю старины Бей-Булат должен был уступить дорогу старшему. Однако он не сделал этого. На требование посторониться Бей-Булат насмешливо сказал: «Я убил отца твоего и тебе грозит то же самое». Салат-Гирей выстрелил в него в упор, и пуля попала противнику прямо в сердце. Когда Бей-Булат падал с коня, Салат-Гирей успел еще разрубить ему череп. После этого он прискакал к русским властям и сообщил о случившемся. Ему грозила ссылка в Сибирь, но его спасло заступничество генерал-майора князя Бековича-Черкасского, сослуживца и любимца Ермолова. Это произошло в 1831 году.[48]

При частных расхождениях, этот эпизод имеет и сходство с лермонтовской фабулой (имя героя, мотив кровничества, гибель Бей-Булата в поединке).

В.П. Бурнашев, лично знавший Лермонтова, передал со слов С.Н. Глинки, будто бы А.С. Пушкин признавал поэму «Хаджи Абрек» и другие его стихи, напечатанные в «Библиотеке для чтения», «блестящим признаком высокого таланта». Тот же Бурнашев, ссылаясь на родственника Лермонтова Н.Д. Юрьева, передает, что Лермонтов незадолго до смерти Пушкина имел случай познакомиться с ним.[49] Необходимо, однако, отметить, что сведения о личном знакомстве величайших русских поэтов, встречающиеся в воспоминаниях некоторых их современников, совершенно лишены основания. В «Библиотеке для чтения» при жизни Пушкина было напечатано из лермонтовских произведений только одно – поэма «Хаджи Абрек». Экземпляр книжки этого журнала, в которой была помещена названная поэма Лермонтова, имелся в библиотеке А.С. Пушкина, но никаких высказываний его о творчестве Лермонтова мы не имеем. Вопросу о том, были ли знакомы друг с другом наши величайшие поэты, нами посвящена специальная статья.[50]

В современной печати поэма Лермонтова, тогда еще совершенно неизвестного писателя, не встретила отзывов. В среде родных поэта выступление его в печати было принято очень сочувственно. В октябре того же года бабушка писала ему: «Стихи твои, мой друг, я читала бесподобные, а всего лучше меня утешило, что тут нет нонешней модной неистовой любви, и невестка сказывала, что Афанасью (брату бабушки) очень понравились стихи твои и очень их хвалил... Стихи твои я больше десяти раз читала» (Л., V, 420).

Боденштедт в упомянутой выше статье отмечал сцену описания скачки Хаджи Абрека с головою Лейлы, причисляя ее к высочайшим красотам поэзии. Taillandier в названном сочинении сравнивает поэму Лермонтова по точности, стремительности и ужасающей логичности чувств с знаменитой новеллой «Матео Фальконе» П. Мериме.

III. Ссылка М.Ю. Лермонтова на Кавказ в 1837 году

Ссылка Лермонтова на Кавказ (1837 г.) связана с «делом о непозволительных стихах», написанных им по поводу трагической гибели Пушкина, затравленного царизмом. Стихотворение его «Смерть поэта» в рукописном виде получило очень широкое распространение; один экземпляр его списка, с надписью «Воззвание к революции», был кем-то из врагов автора отправлен Николаю I. Лермонтова арестовали и после следствия и приговора отправили в Нижегородский полк, находившийся тогда в Кахетии.

Биографические данные, знакомящие нас с пребыванием поэта на Кавказе в 1837 году, во многих отношениях крайне скудны и разноречивы. По официальным сведениям, которые имеются в одном из послужных его списков, он с 21 апреля по 29 сентября участвовал во многих военных операциях, происходивших на Черноморском побережье.[51] Однако это противоречит тому, что сообщает о себе сам поэт в письме к С.А. Раевскому (конец 1837 г.), выдержки из которого приводим ниже. По пути он заболел и для лечения направился в Пятигорск. Оттуда он писал М.А. Лопухиной (31 мая):

«В точности держу слово и посылаю вам, мой милый и дорогой друг, а также сестре вашей черкесские башмаки, которые обещал вам; их шесть пар, так что поделить их вы легко можете без ссоры; купил их,

как только отыскал. Я теперь на водах, пью и купаюсь, словом, веду жизнь настоящей утки. ...У меня здесь очень хорошее помещение; каждое утро из своего окна смотрю на всю цепь снеговых гор и на Эльбрус; вот и теперь, сидя за письмом к вам, я по временам кладу перо, чтобы взглянуть на этих великанов: так они прекрасны и величественны. Надеюсь порядком скучать все время, покуда останусь на водах, и хотя очень легко завести знакомства, однако я стараюсь избегать их. Ежедневно брожу по горам и уж от этого одного укрепил себе ноги; хожу постоянно: ни жара, ни дождь меня не останавливают. Вот вам мой образ жизни, милый друг; особенно хорошего тут нет, но... когда я выздоровлю и когда здесь будет государь, отправлюсь в осеннюю экспедицию»... (V, 543).

По поводу последних строк необходимо отметить, что на западном фронте в то время происходили решительные военные действия, которыми руководил командующий войсками Кавказской линии и Черноморья ген. Вельяминов. Военные операции, совершавшиеся там, заключались в построении новых укреплений и во вторжении в горские причерноморские земли. В действующий отряд входили в полном составе Тенгинский и Навагинский полки, а также отдельные части других полков. По воспоминаниям ветеранов, в войсках сохранились остатки преданий суворовского времени. «Вооружение, в особенности пехоты, было плохое. Старые кремневые ружья и на сто шагов стреляли неверно, дела решались рукопашным боем, штыком, и вообще выработалось презрение к огнестрельному оружию. Понятно, что этот порядок вещей и военная служба на Кавказе должны были прийтись по вкусу Лермонтову, ненавидевшему мелкие стеснения фрунтовой службы, испытанной им в Петербурге. Порядок и жизнь кавказская приходилась по нутру этой свободолюбивой натуре»...[52]

В то время на Кавказе ожидался приезд императора. В письме к бабушке (от 18 июля 1837 г.) поэт сообщал: «Эскадрон нашего полка, к которому барон Розен велел меня причислить, будет находиться в Анапе, на берегу Черного моря, при встрече государя, тут же, где отряд Вельяминова, и, следовательно, я с вод не поеду в Грузию» (V, 392).

Прибытие Николая I на Кавказ состоялось позже, и Лермонтов, оправившись после пребывания на водах, совершил продолжительные поездки по этому краю, который он так любил еще в детские годы. В конце того же года он делится новыми впечатлениями в письме к своему близкому другу С.А. Раевскому:

«С тех пор как выехал из России, поверишь ли, я находился до сих пор в беспрерывном странствовании, то на перекладной, то верхом; изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами; ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское даже...

Простудившись дорогой, я приехал на воды весь в ревматизмах; меня на руках вынесли люди из повозки, я не мог ходить – в месяц меня воды совсем поправили; я никогда не был так здоров, зато веду жизнь примерную; пью вино только когда где-нибудь в горах ночью прозябну, то приехав на место, греюсь... – Здесь кроме войны службы нету; я приехал в отряд слишком поздно, ибо государь нынче не велел делать вторую экспедицию, я слышал только два, три выстрела; зато два раза в моих путешествиях отстреливался; раз ночью мы ехали втроем из Кубы – я, один офицер из нашего полка и черкес (мирный, разумеется), – и чуть не попались шайке лезгин. – Хороших ребят здесь много, особенно в Тифлисе есть люди очень порядочные; а что здесь истинное наслаждение, так это татарские бани. – Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал, и везу с собой порядочную коллекцию; одним словом, я вояжировал. Как перевалился через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом; лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии как на блюдечке, и право я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства: для меня горный воздух – бальзам; хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит – ничего не надо в эту минуту: так сидел бы да смотрел целую жизнь.

Начал учиться по-татарски, язык, который здесь, и вообще в Азии, необходим, как французский в Европе – да жаль, теперь не доучусь, а впоследствии могло бы пригодиться. Я уже составлял планы ехать в Мекку, в Персию и проч., теперь остается только проситься в экспедицию в Хиву с Перовским. Ты видишь из этого, что я сделался ужасным бродягой, а право я расположен к этому роду жизни. Если тебе вздумается отвечать мне, то пиши в Петербург; увы, не в Царское Село; скучно ехать в новый полк, я совсем отвык от фронта и серьезно думаю выйти в отставку». (V, 393–394).

Это письмо полно чрезвычайно ценных сведений; мы узнаем из него о состоянии здоровья поэта, о посещении им различных мест Кавказа, о его любознательности, о его общении с новыми людьми, встречавшимися в пути, о высоком приливе бодрости, вызванном грандиозными красотами южной природы, о жадном желании поближе ознакомиться с жизнью местного населения (изучение татарского языка), о большой любви поэта запечатлевать наблюдения посредством не только записей, но и рисунков; характерны и последние строки, в которых звучит затаенное желание навсегда бросить военную службу и покинуть пределы «любезного» отечества, в котором он, как и недавно погибший Пушкин, задыхался. Многое из того, что видел и пережил Лермонтов в этих странствованиях, нашло вскоре или несколько позже яркое отображение в его поэтических произведениях.

Комментируя беглое упоминание о посещении Линии «от Кизляра до Тамани», отметим, что, будучи на Тереке, поэт познакомился с бытом гребенских казаков, посетил в Шелкозаводске имение своего родственника А.А. Хостатова,[53] а в Тамани случайно встретился с контрабандистами, что дало толчок к написанию одной из повестей, входящих в роман «Герой нашего времени».

Описание личных впечатлений, испытанных при подъеме на Крестовый перевал, вплелось впоследствии в повесть «Бэла». Лермонтов, как видно из перечня посещенных им мест, проехал по Северному Кавказу от моря до моря, затем побывал во многих местностях Грузии и Азербайджана. Как чуткий, разносторонний художник, он глубоко заинтересовался историческими памятниками Кавказа, жизнью и фольклором его многонационального населения, величественной природой края. Здесь же завязалось у него очень много знакомств, имевших для него немалое значение.

По-видимому, много интересного испытал поэт в Тбилиси («хороших ребят здесь много», «есть люди очень порядочные»). Там он мог встречаться с ссыльными декабристами, а также с грузинскими писателями. Ко времени пребывания в Тбилиси относится запись №24 в его творческих заметках, в которой упоминается о встречах поэта с одним из местных жителей по имени Геург (V, 357–358). Это крайне интересная подробность, на которую до сего времени не было обращено внимания. В названной краткой записи Лермонтова имеются следующие строки: «Я снял с мертвого кинжал для доказательства. Несем его к Геургу. Он говорит, что делал его русскому офицеру». Геург – знаменитый грузинский мастер холодного оружия.

В журнале «Северный архив» за 1828 год (ч. 35, №10, стр. 233) в описании Тбилиси находим любопытные сведения: «Грузинское оружие, особенно же сабли, в славе. Мастер Георг имеет от правительства привилегию на делание последних, и весьма славится своею работою. Клинки делают из тонкой железной и медной проволоки, которую чрезвычайно долго перековывают. Хорошая сабля должна рубить гвозди». Таким образом, имя в заметке Лермонтова не вымышленное и не случайное; очевидно, поэт описывал здесь какой-то подлинный и весьма драматический эпизод. Имя того же мастера позднее названо в черновом варианте начальных строк стихотворения «Поэт» (1839 г.):

В серебряных ножнах блистает мой кинжал,
Геурга старого изделье. (II, 198).

Поездка в Грузию дала Лермонтову богатейший материал для крупных и лирических произведений, на чем мы далее остановимся. В частности, очень характерен для него глубокий интерес к устному поэтическому творчеству различных народов Кавказа. Никто из наших писателей не знал так хорошо этот край, как Лермонтов; об этом свидетельствуют не только такие крупные и разнообразные по тематике произведения, как «Измаил-Бей», «Демон», «Герой нашего времени» или многочисленные стихотворения, но и различные беглые упоминания личных имен, местных названий или отдельных выражений. Боденштедт в упомянутой статье говорит следующее:

«Пусть назовут мне хоть одно из многочисленных толстых географических, исторических и других сочинений о Кавказе, из которого можно бы живее и вернее познакомиться с характеристическою природой этих гор и их населения, нежели из которой-нибудь поэмы Лермонтова, где место действия происходит на Кавказе».

Мысль о посещении различных стран Востока (Аравии, Персии, Хивы), высказанная в том же письме, введена им в роман «Герой нашего времени»; Печорин, расставаясь с Максимом Максимычем, говорит: «Еду в Персию – и дальше»... Это намерение было им осуществлено; предисловие к «Журналу Печорина» начинается фразой: «Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер» (V, 225, 228).

На обратном пути из Грузии, находясь во Владикавказе, Лермонтов встретился с проживавшим там В.В. Бобарыкиным, молодым офицером, которого поэт бегло знал по школе гвардейских прапорщиков. В.В. Бобарыкин принадлежал, по его личному признанию, к той части аристократической молодежи, которую великий поэт осудил в знаменитой «Думе». В своих воспоминаниях о Лермонтове он сообщает об этой встрече следующее:

«Однажды базарный пришел мне сказать, что какой-то проезжий офицер желает меня видеть. Я пошел в заезжий дом, где застал такую картину:

М.Ю. Лермонтов, в военном сюртуке, и какой-то статский (оказалось француз-путешественник) сидели за столом и рисовали, во все горло распевая: A moi la vie, a moi la vie, a moi la liberte.

Я до сих пор хорошо помню мотив этого напева, и если это кого-нибудь интересует, то я мог бы найти кого-нибудь, кто бы его положил на ноты. Тогда это меня несколько озадачило, а еще более озадачило, что Лермонтов, не пригласив меня сесть и продолжая рисовать, как бы с участием, но и не без скрываемого высокомерия, стал расспрашивать меня, как я поживаю, хорошо ли мне.

...О Лермонтове, как о поэте, я ничего еще не знал и даже не подозревал: таково было полученное мною направление... Все это, вместе с моею владикавказскою обстановкою, не могло не внушить мне некоторого чувства собственного достоинства, явно оскорбленного тем покровительственным тоном, с которым относился ко мне Лермонтов. А потому, ограничась кратким ответом, что мне живется не дурно, я спросил, что они

рисуют, и узнал, что в проезд через Дарьяльское ущелье, отстоящее от Владикавказа, как известно, в 20–40 верстах, француз на ходу, вылезши из перекладной телеги, делал croquis окрестных гор; а они, остановясь на станциях, совокупными стараниями отделывали и даже, кажется, иллюстрировали эти очертания.

На том разговор наш и кончился, – и я, пробыв несколько минут, ушел к себе».[54]

Особенно же знаменательны были для Лермонтова во время пребывания на Кавказе в 1837 году те многочисленные встречи с различными писателями и общественно-политическими деятелями, какие имели место на группе Минеральных Вод и в Ставрополе.

В Пятигорске поэт часто виделся с поэтом Н.М. Сатиным, бывшим товарищем по московскому Благородному пансиону. Сатин в это время лечился; посещая его, Лермонтов познакомился в его обществе с доктором Майером, прототипом Вернера в «Княжне Мери», и В.Г. Белинским. Сатин в 1834 г., одновременно с Герценом и Огаревым, с которыми у него были дружеские связи, подвергся ссылке; Герцена сослали в Пермь, Огарева в Пензенскую губернию, Сатина – в Симбирскую губернию. В 1837 г., по болезни, Сатину разрешили выехать на Кавказ.

Сатин в своих воспоминаниях сообщает, что поэт заходил к нему почти ежедневно после обеда отдохнуть и поболтать; он не любил говорить о своих литературных занятиях, не любил даже читать своих стихов, но зато охотно рассказывал о своей светской жизни.

«В одно из таких посещений, – говорит автор, – он встретился у меня с Белинским. Познакомились, и дело шло ладно, пока разговор вертелся на разных пустячках; они даже открыли, что оба уроженцы города Чембар (Пензенской губ.)

Но Белинский не мог долго удовлетворяться пустословием. На столе у меня лежал том записок Дидерота; взяв его и перелистав, он с удивлением начал говорить о французских энциклопедистах и остановился на Вольтере, которого именно он в то время читал. Такой переход от пустого разговора к серьезному разбудил юмор Лермонтова. На серьезные мнения Белинского он начал отвечать разными шуточками; это явно сердило Белинского, который начинал горячиться, – горячность же Белинского более и более возбуждала юмор Лермонтова, который хохотал от души и сыпал разными шутками.

– «Да я вот что скажу вам о вашем Вольтере, – сказал он в заключение, – если бы он явился теперь к нам в Чембары, то его ни в один порядочный дом не взяли бы в гувернеры».

Такая неожиданная выходка, впрочем, не лишенная смысла и правды, совершенно озадачила Белинского. Он в течение нескольких секунд посмотрел молча на Лермонтова, потом, взяв фуражку и едва кивнув головой, вышел из комнаты.

Лермонтов разразился хохотом. Тщетно я уверял его, что Белинский замечательно умный человек; он передразнивал Белинского и утверждал, что это недоучившийся фанфарон, который, прочитав несколько страниц Вольтера, воображает, что проглотил всю премудрость.

...Так встретились и разошлись в первый раз эти две замечательных личности. Через два или три года они глубоко уважали и ценили друг друга».[55]

К воспоминаниям Сатина надо относиться осторожно; они нам кажутся тенденциозными и не вполне достоверными. По-видимому, Лермонтов потому не говорил с Сатиным о своей литературной работе, что они не были близки. В обширной литературе о Белинском и Лермонтове нет, помимо сообщения Сатина, какого-либо источника, подтверждающего «ссору» великого критика и молодого гениального поэта при их первом знакомстве.

Необходимо пояснить, что к этому времени Белинский из печатных произведений Лермонтова мог знать только поэму «Хаджи Абрек» и стихотворение «Бородино»; последнее появилось в журнале «Современник» (т. VI, № 2). При краткости знакомства, великий критик из рукописных произведений Лермонтова, вполне вероятно, мог знать только стихотворение, вызванное кончиной Пушкина; Сатин подчеркивает, что поэт не любил говорить о своей литературной работе и читать свои стихи. Поэтому возможно, что подлинный облик Лермонтова был весьма неясен тогда для Белинского. Однако уже в следующем году, по поводу «Песни про купца Калашникова», напечатанной, под давлением цензуры, без указания автора, чуткий критик писал: «Не знаем имени автора этой песни, которую можно назвать поэмою, в роде поэм Кирши Данилова, но если это первый опыт молодого поэта, то не боимся попасть в лживые предсказатели, сказавши, что наша литература приобретет сильное и самобытное дарование».[56] Ту же поэму в 1839 г. он называет «замечательной»,[57] а по поводу баллады «Три пальмы» говорил в письмах: «Боже мой! Какой роскошный талант! Право, в нем таится что-то великое». Или: «На Руси явилось новое могучее дарование – Лермонтов».[58] Глубокую симпатию по отношению к Белинскому выразил и Лермонтов, о чем ярко свидетельствует знаменитая беседа этих двух замечательных писателей, состоявшаяся в 1840 г., накануне выезда Лермонтова во вторую ссылку.

В ту же пору поэт, выезжая из Пятигорска в Ставрополь, через посредство Сатина и доктора Майера познакомился со многими декабристами – В.М. Голицыным, С.И Кравцовым, В.Н. Лихаревым, Н.И. Лорером, М.А. Назимовым, М.М. Нарышкиным, А.И. Одоевским, А.Е. Розеном. Назимов впоследствии говорил о взаимоотношениях поэта с средой декабристов следующее:

«Лермонтов сначала часто захаживал к нам и охотно и много говорил с нами о разных вопросах личного, социального и политического мировоззрения. Сознаюсь, мы плохо друг друга понимали. Передать теперь, че-

рез сорок лет, разговоры, которые вели мы, невозможно. Но нас поражала какая-то словно сбивчивость, неясность его воззрений. Он являлся подчас каким-то реалистом, прилепленным к земле, без полета, тогда как в поэзии он реял высоко на могучих своих крыльях. Над некоторыми распоряжениями правительства, коим мы от души сочувствовали и о коих мы мечтали в нашей несчастной молодости, он глумился. Статьи журналов, особенно критические, которые являлись будто наследием лучших умов Европы и заживо задевали нас и вызывали восторги, что в России можно так писать, не возбуждали в нем удивления. Он или молчал на прямой запрос, или отделывался шуткой и сарказмом. Чем чаще мы виделись, тем менее клеилась серьезная беседа. А в нем теплился огонек оригинальной мысли – да, впрочем, и молод же он был еще!».[59]

«Князь А.И. Васильчиков рассказывал мне, – передает биограф поэта проф. Висковатов, – что хорошо помнит, как не раз Назимов, очень любивший Лермонтова, приставал к нему, чтобы он объяснил ему, что такое современная молодежь и ее направления, а Лермонтов, глумясь и пародируя салонных героев, утверждал, что «у нас нет никакого направления, мы просто собираемся, кутим, делаем карьеру, увлекаем женщин», он напускал на себя la fanfaronade du vice, и тем сердил Назимова. Глебову не раз приходилось успокаивать расходившегося декабриста, в то время как Лермонтов, схватив фуражку, с громким хохотом выбегал из комнаты и уходил на бульвар на уединенную прогулку, до которой он был охотник. Он вообще любил или шум и возбуждение разговора, хотя бы самого пустого, но тревожившего его нервы, или совершенное уединение».[60]

Отрывки из приведенных воспоминаний, при всей их краткости, свидетельствуют о том, что Лермонтов был близок к передовой общественности своего времени, глубоко интересовался вопросами социального и политического порядка. Назимов, говоря о сбивчивости и неясности воззрений поэта в ту пору, ссылается на то, что в товарищеских беседах он подчас бывал каким-то «реалистом, прилепленным к земле», а в поэзии «реял высоко на могучих своих крылах». Последнее утверждение свидетельствует о том, что Назимов и большинство других лиц того же общества недостаточно знали Лермонтова как поэта, выдвигали на первый план романтические его мотивы. Между тем в лучших произведениях того времени он также является реалистом и говорит о «земном»; достаточно напомнить, например, такие его замечательные произведения того же года, как «Смерть поэта», «Бородино», «Песня про купца Калашникова».

С одним из декабристов, А.И. Одоевским, Лермонтов был связан дружескими узами. Не известно точно, как часто и где именно, помимо Ставрополя, они встречались, но не подлежит сомнению то, что они были близки друг другу; на этом вопросе мы остановимся ниже, касаясь лирики Лермонтова конца 30-х годов. Не случайным оказалось также и знакомство с декабристом Лихаревым, участвовавшим впоследствии, одновременно с Лермонтовым, в боевых делах на левом фланге в 1840 году.

Будучи на Северном Кавказе, поэт встречался также с рядом других лиц, засвидетельствовавших это в своих воспоминаниях. Например, с А.М. Миклашевским, товарищем Лермонтова по Благородному пансиону и Юнкерской школе. Он сообщает, что они виделись в Пятигорске или Кисловодске у графини Ростопчиной. «В Кисловодске, – рассказывает Миклашевский, – я жил с двумя товарищами на одной квартире: князем Владимиром Ивановичем Барятинским – бывшим потом генерал-адъютантом, и князем Александром Долгоруким, погибшим на дуэли. К нам по вечерам заходил Лермонтов с общим нашим приятелем, хромым доктором Майером, о котором он в «Герое нашего времени» упоминает. Веселая беседа, споры и шутки долго, бывало, продолжались».[61] Миклашевский ошибается, говоря о том, будто бы в то время Лермонтов ухаживал за Эмилией Александровной Клингенберг (неверно называемой в этих воспоминаниях Верзилиной: Э.А. была падчерицей Верзилина); поэт познакомился с нею летом 1841 г.

«На Кавказе, – передает Е.П. Растопчина, – юношеская веселость уступила место у Лермонтова припадкам черной меланхолии, которая глубоко проникла в его мысли и наложила особый отпечаток на его поэтические произведения».[62]

А.П. Петров, приходившийся поэту родственником, в беглой заметке сообщает следующее: «В 1837 г., во время служения своего в Нижегородском драгунском полку, он находился в Ставрополе, перед приездом туда государя Николая Павловича; ежедневно навещая в это время отца моего, бывшего тогда начальником штаба, он совершенно родственно старался развлекать грусть его по кончине жены, приходившейся Лермонтову двоюродной теткой».[63]

Во второй половине сентября Николай I прибыл на Кавказ и выехал в Тбилиси, где 10 октября состоялся смотр четырем эскадронам Нижегородского драгунского полка. На следующий день был опубликован высочайший приказ, в котором упоминалось имя Лермонтова, получившего, после настоятельного ходатайства бабушки и В.А. Жуковского, назначение в Гродненский гусарский полк корнетом.[64]

21 октября В.А. Жуковский отметил в своем дневнике: «Пребывание в Новочеркасске. Прибытие государя в $^1/_2$ 11... Обед за маршальским столом. Рассказы о опасности государя. Прощение Лермонтова».[65]

25 ноября поэт был выключен из списков Нижегородского драгунского полка. В дневнике неизвестного кавказского офицера в записи от 14 декабря была сделана запись: «14. В Прохладной встретил я Лермонтова, едущего в С.-Петербург». (Л., V, 602). Перед отъездом, находясь в Ставрополе, Лермонтов обратился к своему родственнику П.И. Петрову за денежной помощью, которую тот ему оказал. Возвратясь в Петербург в январе 1838 года, поэт в письме от 1 февраля писал Петрову:

«Любезный дядюшка Павел Иванович,

Наконец, приехав в Петербург, после долгих странствований и многих плясок в Москве, я благословил, во-первых, всемогущего Аллаха, разостлал ковер отдохновения, закурил чубук удовольствия и взял в руки перо благодарности и приятных воспоминаний.

Бабушка выздоровела от моего приезда и надеется, что со временем меня опять переведут в лейб-гусары...

Ваше письмо я отдал в руки дядюшке Афанасью Алексеевичу, которого нашел в Москве. – Я в восторге, что могу похвалиться своею аккуратностью перед Вами, которые видели столько раз во мне противное качество или порок, как угодно.

Боюсь, что письмо мое не застанет вас в Ставрополе, но не знал, как вам адресовать в Москву, пускаюсь на удалую, и великий пророк да направит стопы почтальона.

С искреннейшей благодарностью за все ваши попечения о моем ветреном существе, имею честь прикладывать к сему письму 1050 рублей, которые вы мне одолжили» (Л., V, 394).

Упоминаемый в письме дядюшка – родной брат бабушки поэта, Афанасий Алексеевич Столыпин; Лермонтов очень любил его. Настоящее письмо, написанное так тепло, подтверждает свидетельство А.П. Петрова, приведенное выше, о близких родственных чувствах, какие поэт питал по отношению к семье Петровых. Со стороны стиля оно характерно искусным применением пародирования «восточной» манеры некоторых писателей того времени.

Заканчивая настоящую главу, отметим, что к тому же 1837 году относятся материалы о Лермонтове (воспоминания, письма), исходящие из семьи Н.С. Мартынова, впоследствии убившего поэта на дуэли, или из близкого к этой семье круга лиц; на них мы остановимся дальше.

IV. Кавказские мотивы в произведениях М.Ю. Лермонтова 1837–1839 гг.

1837 год был для Лермонтова очень знаменателен. Стихотворение «Смерть поэта», вызванное гибелью А.С. Пушкина, распространилось в рукописном виде по всей стране и создало автору большую известность. Надежды лучшей части общества увидеть в новом поэте крупное дарование оправдались после появления в печати замечательного стихотворения «Бородино». Несмотря на крайне неблагоприятные условия, препятствовавшие свободной творческой деятельности поэта, он в том же году, находясь на Кавказе, написал одно из своих самых выдающихся произведений – «Песню про купца Калашникова». В том же году Лермонтовым создан ряд классических стихотворений; из них некоторые навеяны кавказскими впечатлениями – «Кинжал», «Спеша на север из далека».

Мотивы о Кавказе звучат у поэта под впечатлением недавней длительной поездки и в последующие годы; к 1838 году относится стихотворение «Поэт»; в 1839 г. написаны «Дары Терека», «Памяти А.И. Одоевского» и поэма «Беглец». В эти же годы задуманы и закончены прозаические сочинения: сказка «Ашик-Кериб» (1837 г.) и роман «Герой нашего времени» (1838–1839 гг.). Наконец, находясь на Кавказе, Лермонтов приступил к коренной переработке поэмы «Демон», над которой он трудился с ранних юношеских лет. С Кавказом же связан ряд упомянутых выше писем. Все это свидетельствует о том, какое большое место по-прежнему занимают в творчестве Лермонтова кавказские мотивы. Пребывание на Кавказе в 1837 году дало толчок к написанию и более поздних произведений (например, «Мцыри» – 1840 год).

Как видно из приведенного перечня, сочинения Лермонтова, относящиеся к 1837–1839 гг., разнообразны и по тематике, и по жанрам. В некоторых стихотворениях глубоко звучат автобиографические мотивы. Так, стихотворение «Спеша на север из далека» (II, 36–37) отражает переживания поэта, направляющегося из ссылки на далекий север и с затаенной тревогой думающего о том, не забыт ли он друзьями и не пострадал ли кто-нибудь из них. Задушевное обращение к Казбеку – один из излюбленных поэтических приемов автора; вспомним аналогичные моменты в поэмах «Аул Бастунджи» («Тебе, Кавказ – суровый царь земли, – я снова посвящаю стих небрежный»), «Измаил-Бей» («Приветствую тебя, Кавказ седой»), посвящения к поэме «Демон» (III, 530–531). Образ величавого Казбека мы встречаем и в последующих произведениях – «Спор», «Демон»; точно так же повторяется у поэта в разных вариантах и упоминание о Дарьяле («Дары Терека», «Тамара», «Демон»). Отметим некоторые места, особенно тесно связанные с поэмой «Демон».

«Спеша на север из далека».

Тебе, Казбек, о страж востока
Принес я, странник, свой поклон.
Чалмою белою от века

Твой лоб наморщенный увит,
И гордый ропот человека
Твой гордый мир не возмутит. (II, 36).

«Демон».

...Казбек, Кавказа царь могучий,
В чалме и ризе парчевой. (III, 469).

И вечный ропот человека
Их вечный мир не возмутит. (III, 488).

Весьма характерны для поэта такие выражения, как «странник», «изгнанье» (ср. стихотворения «Нет, я не Байрон», «Тучи», «Дубовый листок»).

Надо отметить, что стихотворение «Спеша на север из далека» до последнего времени мало привлекалось для общей характеристики поэзии Лермонтова, для выяснения его мировоззрения. По давней традиции на первый план выдвигались обычно такие его лирические произведения, как «Дума», «И скучно и грустно», «Не верь себе» и другие, в которых сгущены пессимистические мысли. Между тем в данном стихотворении мы находим следующие дышащие необыкновенной теплотой строки, в которых говорится, что поэт не одинок, что в современном поколении он находит прекрасных, передовых людей, обществом которых он очень дорожил, утрата которых была бы для него тяжким ударом:

Найду ль там прежние объятья?
Старинный встречу ли привет?
Узнают ли друзья и братья
Страдальца, после многих лет?
Или среди могил холодных
Я наступлю на прах родной
Тех добрых, пылких, благородных,
Деливших молодость со мной? (II, 37).

Тем же доброжелательством, тем же тяготением к людям «добрым, пылким, благородным» проникнуто и стихотворение «Памяти А.И. Одоевского» (II, 53–55). Мы уже указывали, что Лермонтов лично знал этого поэта-декабриста; судя по признанию автора, их встречи были не эпизодичны:

Я знал его – мы странствовали с ним
В горах востока... и тоску изгнанья
Делили дружно.

Обрисовывая с большою задушевностью облик даровитого поэта, Лермонтов с негодованием говорит о ненавистном «высшем свете»:

И свет не пощадил – и бог не спас!
.....
Что за нужда!... Пускай забудет свет
Столь чуждое ему существованье:
Зачем тебе венцы его вниманья
И тернии пустых его клевет?
Ты не служил ему, ты с юных лет
Коварные его отвергнул цепи...

Это стихотворение созвучно стихотворению, посвященному Пушкину:

Зачем он руку дал клеветникам ничтожным?
...И прежний сняв венок, – они венец терновый,
Увитый лаврами, надели на него...
Отравлены его последние мгновенья
Коварным шепотом насмешливых невежд... (II, 16).

Близкий друг Герцена поэт Н.П. Огарев летом 1837 года находился на Кавказе; он лично знал Одоевского и встречался с ним в то время. Он впоследствии описал свои впечатления о кавказских встречах и подтверждает верность характеристики Одоевского, сделанной Лермонтовым: «Одоевский был, без сомнения, самый замечательный из декабристов, бывших в то время на Кавказе. Лермонтов списал его с натуры. Да, этот «блеск лазурных глаз, и детский звонкий смех, и речь живую» – не забудет никто из знавших его».[66] С самим Огаревым Лермонтову не пришлось встречаться, очевидно, потому, что Огарев тогда был сильно болен; в тех же воспоминаниях он говорит: «Летом 1837 года я жил в Пятигорске, больной, почти без движенья от ревматических болей в ногах».

В комментариях к стихотворению «Памяти А.И. Одоевского» проф. Б.М. Эйхенбаум отмечает, что у Лермонтова высказывания об Одоевском имеются и в других произведениях.[67]

Стихотворение «Кинжал» (II, 35) написано перед возвращением автора из ссылки. Поэт выражает в нем глубокую симпатию к народам Кавказа, боровшимся за родину с поработителями:

Задумчивый грузин на месть тебя ковал,
На грозный бой точил черкес свободный.

Основная мысль выражена в заключительных строках:

Да, я не изменюсь и буду тверд душой,
Как ты, как ты, мой друг железный.

Эта мысль сближает данное стихотворение со стихотворением «Поэт» (II, 41–42), в котором автор с таким мастерством и с такою силою сравнивает с надежным клинком могучее, гордое слово поэта. Образ кинжала – один из любимых у Лермонтова; мы встречаем его и в других лирических произведениях, например, в стих. «Как небеса, твой взор блистает» (II, 32), а также в поэмах – «Измаил-Бее» (III, 205), «Демоне» (II, 481) и др.

К числу лучших произведений, навеянных Кавказом, относится баллада «Дары Терека» (II, 50–52). Самое существенное то, что в «Дарах Терека» глубоко замечательны образы кавказской природы, так хорошо знакомой поэту, и, кроме того, явственно звучат отзвуки гребенских народных песен. Н. Мендельсон совершенно справедливо указал на то, что к лермонтовскому стихотворению близка песня гребенцов, опубликованная в «Терских Ведомостях» за 1868 год:

Ой ты батюшка, наш батюшка,
Быстрый Терек ты Горынич!
Про тебя лежит слава добрая,
Слава добрая, речь хорошая!
Ты прорыл-прокопал горы крутые,
    Леса темные;
Ты упал, Терек Горынич, во синее море,
    Во Каспийское;
И на устье ты выкатил бел горюч камень.
Тут и шли, прошли гребенские казаки со батальницы;
Что с той-то батальницы со турецкой;
Не дошедши они до белого камушка, становилися;
Становилися они дуван дуванили.
Что на каждого доставалося по пятьсот рублей,
Атаманушке с есаулами по тысяче;
Одного-то доброго молодца обдуванили:
Доставалась ему, добру молодцу, красная девица.
Как убор-то, прибор на красной девице – во пятьсот рублей,
Русая коса – во всю тысячу,
А самой-то красной девице – цены нетути.[68]

В нашей книге «Лермонтов и Л. Толстой» мы приводим еще следующие параллели из гребенских песен; в «Дарах Терека» поэт говорит, что убитый кабардинец был

В кольчуге драгоценной,
В налокотниках стальных;
Из Корана стих священный
Писан золотом на них.

В гребенской песне:

Надевали узденя-князья панцири трехколечные,
С налокотниками позлащенными.

У убитой молодой казачки – «светло-русая коса».
В гребенских песнях постоянно упоминается о русой косе красавиц-казачек:

Коса русая – во всю тысячу,
А самой-то красной девице цены нету-ка.
...Свою буйную головушку она чесала,
Она русую косыньку свою заплетала,
Все шелковую кисточку она вплетала.
...Ты коса, моя косынька, коса моя русая.
Немножечко еще косе красоваться:
Хочет меня родимый батюшка замуж отдать.[69]

Мы видим, что и образ горца с позолоченными налокотниками, и образ прекрасной казачки с русой косой навеяны поэту казачьими песнями, которые ему приходилось слышать во время поездок по Тереку.

Белинский дал чрезвычайно высокую оценку этой балладе Лермонтова.

«Дары Терека, – говорит он, – есть поэтическая апофеоза Кавказа. Только роскошная, живая фантазия греков умела так олицетворять природу, давать образ и личность ее немым и разбросанным явлениям. Нет возможности выписывать стихов из этой дивно-художественной пьесы, этого роскошного видения богатой, радужной, исполинской фантазии; иначе пришлось бы переписать все стихотворение. Терек и Каспий олицетворяют собою Кавказ, как самые характеристические его явления... Мы не назовем Лермонтова ни Байроном, ни Гете, ни Пушкиным; но не думаем сделать ему гиперболической похвалы, сказав, что такие стихотворения, как «Русалка», «Три пальмы» и «Дары Терека» можно находить только у таких поэтов, как Байрон, Гете и Пушкин».[70]

Известно, что поэма «Песня про купца Калашникова» была написана Лермонтовым в бытность его на Кавказе. А.А. Краевский сообщал И.М. Болдакову, что поэт писал ему с Кавказа, что, хотя его «Песней» и восторгаются, но не знают, что он набросал ее от скуки, чтобы развлечься во время болезни, не позволявшей ему выходить из комнаты.[71] Фольклористы указывают ряд конкретных параллелей к поэме Лермонтова из сборника Кирши Данилова «Древние российские стихотворения», из «Истории Государства Российского» Карамзина и других фольклорных источников (см. Л., III, 595–596). По нашему мнению, в этой «Песне» Лермонтова есть и отголоски гребенской поэзии. Отметим, например, следующие стихи из заключительной части поэмы:

Схоронили его за Москвой-рекой
На чистом поле промеж трех дорог,
Промеж Тульской, Рязанской, Владимирской... (III, 329).

Ср. отрывок из песни терских казаков:

Отслужил твой сын любимый службу верную царю;
Он нашел себе местечко в чистом поле на песку,
В чистом поле, при раздолье, между трех больших дорог:
Между Питерской, Московской и Кавказской столбовой.[72]

Выше упоминалось, что поэт, находясь на Кавказе, начал учиться татарскому языку. Это находит подтверждение в записи им сказки «Ашик-Кериб» с подзаголовком «татарская сказка» (V, 177–184). Данная сказка, повествующая о бедном страннике-певце (ашуге), вознагражденном за все испытанные им бедствия, близка была Лермонтову по теме (образ народного певца всегда вызывал у него глубокую симпатию); она чрезвычайно популярна на Кавказе и на Востоке. Близкий к лермонтовскому сюжету вариант был записан в селении Тирджан Шемахинского уезда Бакинской губернии.[73]

Сказка эта до сего времени пользуется большой известностью в Азербайджане. Она положена в основу азербайджанской оперы «Шах-Сенем» Р.М. Глиэра. Автор оперы сообщает следующие данные о ее создании и значении:

«Опера «Шах-Сенем» – одна из первых азербайджанских опер, в которых наиболее полно использованы богатства народной музыки и устного народного творчества.

Почти все использованные в опере напевы являются старинными азербайджанскими песнями.

Лучшие песни ашугов, народные сказания и легенды всегда были насыщены духом борьбы и дышали ненавистью к поработителям народа. Народ, лишенный свободы, пламенно воспевал ее в своих песнях и сказках. Используя сокровища народного эпоса, воскрешая образы легендарных героев, композитор ставил своей задачей воплотить в своем произведении этот пафос героизма и свободолюбия народа.

Сюжет и музыка оперы подсказали решение постановочных задач. Сюжетом оперы послужила народная сказка, отсюда и желание постановщика придать сказочную красочность всей постановке, сохранив при этом замечательные реалистические меткие характеристики, данные в сказке.

В опере противостоят две борющиеся силы. С одной стороны, богатый, властный восточный деспот Бахрам-бек со своей толпой окружающих его приближенных, с другой – бедный Ашиг-Гариб, отвергающий во имя свободного чувства все преграды, поставленные феодальным миром, гордо несущий свое звание народного певца... Торжествует искренняя неподкупная любовь, торжествует справедливость и воля к свободе, поддержанные народом».[74]

Остановив свой выбор для перевода азербайджанского мотива на русский язык, Лермонтов проявил большое поэтическое чутье, взяв не случайный, а широко распространенный сюжет и притом насыщенный идеями, направленными в защиту свободы народного певца, свободы женщины.

Сказка об Ашик-Керибе известна и в Турции. В турецком варианте имя героя Ашик-Гариб (у Лермонтова – Ашик-Кериб) означает «влюбленный странник», имя героини Маг-у-Альмипр (у Лермонтова – Магуль-Мегери) – «Луна и Солнце».[75] Профессор Созонович указал, что эта сказка очень популярна у турок и близка к былине про Добрыню Никитича и Алешу Поповича.[76] Вопросу о близости названной сказки к былине о Добрыне и Алеше Поповиче посвящена специальная статья профессора В.Ф. Миллера.[77]

В небольшой поэме «Беглец», названной автором «горской легендой» (III, 359–363), развит мотив о борьбе черкесов за независимость; малодушного Гаруна, в страхе покинувшего поле битвы, бесславно возвратившегося в родной аул, отталкивают все близкие: друг, любимая девушка и мать; всеми отринутый, он, «беглец свободы», кончает самоубийством.

В преданьях вольности остались
Позор и гибель беглеца.

Выше мы уже указывали, что песня девушки «Месяц плывет и тих и спокоен» является переработкой аналогичного мотива, ранее введенного в поэму «Измаил-Бей». Некоторые образы были подготовлены юношескими произведениями; например, стиху «И стал Гарун бледней луны» соответствует следующий ранний вариант: «Бледней луны сидел он недвижим» («Аул Бастунджи», III, 185). Образ, вставленный в начальный стих – «Гарун бежал быстрее лани» (III, 146, 359), в другой редакции был включен в поэму «Демон»: «Несется конь быстрее лани» (III, 463). Стих «Встал тихо месяц золотой» (III, 359) близок к стихам «Демона»:

Лишь только месяц золотой
Из-за горы тихонько встанет. (III, 465).

Указывалось на связь этого произведения Лермонтова с незавершенной поэмой Пушкина «Гасуб».[78] Поэма Пушкина появилась в печати в 1837 г. Сходство ее с «Беглецом» замечается в наличии горской среды и в мотиве проклятия. Отметим, что последний мотив был самостоятельно, в другом варианте, развит еще в поэме «Аул Бастунджи» (III, 187), написанной в 1831 г.

Не исключена возможность воздействия на замысел Лермонтова и горского фольклора.

В художественном отношении поэма «Беглец» очень ценна благодаря совершенству стиха, мастерству изображения глубоко драматических положений и большой сжатости изложения. В рамках краткого стихотворного повествования автор превосходно пользуется различными приемами передачи фабулы; здесь мы находим рассказ и от третьего, и от первого лица; в поэму введена лирическая песня, отличающаяся по ритму от основного стихотворного размера.

В 1839 г. Лермонтов заканчивает работу над своим величайшим прозаическим произведением – «Героем нашего времени». Роман этот, состоящий из пяти повестей, до выхода в свет отдельным изданием (1840 г.) был частично известен читателям, так как автор опубликовал в «Отечественных записках» в 1839 г. – «Бэлу» и «Фаталиста», в 1840 г. – «Тамань».

При напечатании «Фаталиста» редакция журнала подготавливала читателей к скорому появлению романа в отдельном издании следующим примечанием:

«С особенным удовольствием пользуемся случаем известить, что М.Ю. Лермонтов в непродолжительном времени издаст собрание своих повестей и напечатанных и ненапечатанных. Это будет новый прекрасный подарок русской литературе».[79] К этой же повести автор дал следующее краткое предисловие: «Предлагаемый здесь рассказ находится в заметках Печорина, переданных мне Максимом Максимычем. Не смею надеяться,

чтоб все читатели «Отечественных записок» помнили оба эти незабвенные для меня имени, и потому считаю нужным напомнить, что Максим Максимыч есть тот добрый штабс-капитан, который рассказал мне историю «Бэлы», напечатанную в 3-й книжке «Отечественных записок», а Печорин – тот самый молодой человек, который похитил Бэлу. Передаю этот отрывок из записок Печорина в том виде, в каком он мне достался».

К повести «Тамань» было дано примечание: «Еще отрывок из записок Печорина, главного лица в повести «Бэла», напечатанной в 3-й книжке «Отечественных записок» 1839 года».[80]

Печатая в журнале три повести, входящие в роман, автор совершенно не придерживался хронологической последовательности излагаемых в них событий. В самом романе отдельные его части тоже не расположены во временной последовательности. Мотивировку этого приема обстоятельно вскрывает в комментариях к роману проф. Б.М. Эйхенбаум, указывающий на то, что автор, сначала выступающий как герой (начало «Бэлы»), постепенно уступает свое место действительному своему герою; сначала мы узнаем о нем от Максима Максимыча, плохо разбирающегося в психологии своего приятеля; затем автор сам встречается с Печориным и сообщает читателю свои наблюдения, отчего герой становится ближе и понятнее («Максим Максимыч»); наконец, в «Журнале Печорина» устанавливаются непосредственные отношения между читателем и героем. Повести, составляющие «журнал», также расположены по принципу постепенного углубления: «Тамань» – новелла, показывающая поведение героя, но не дающая представления об его внутренней душевной жизни; «Княжна Мери» – дневник, раскрывающий эту душевную жизнь; «Фаталист» – своеобразный финал, подготавливающий гибель героя на примере чужой гибели – Вулича, являющегося своего рода двойником Печорина (Л., V, 483–484).

Если передавать основные события в строгой последовательности, то они, как указывает С. Дурылин, должны были бы быть расположены так:

Печорин за дуэль выслан из Петербурга на Кавказ. По дороге к месту новой службы он задерживается в Тамани, где происходит случай с контрабандистами («Тамань»). После какой-то военной экспедиции ему разрешают пользоваться водами в Пятигорске. За дуэль с Грушницким его отправляют в крепость, под начальство Максима Максимовича («Княжна Мери»). Отлучившись на две недели в казачью станицу, он переживает историю с фаталистом («Фаталист»). В крепости происходит его роман с Бэлой. Из крепости он перевелся в Грузию, возвращен был в Петербург, вновь очутился на Кавказе и, по дороге в Персию, встретился с Максимом Максимовичем и офицером – автором путевых записок («Максим Максимыч»). По возврате из Персии Печорин умер. (Предисловие к «Журналу Печорина»).[81]

Работа над «Героем нашего времени», по существу, выходит из пределов 1837–1839 гг. Центральный образ романа подготавливался в известной степени созданием целой галереи героев, более или менее родственных Печорину; вспомним Измаил-Бея, Вадима, Арбенина («Маскарад»). Конкретно образ Печорина обрисовывается в незаконченном романе «Княгиня Лиговская» (1836 г.), заключавшем в себе очень много автобиографического; действие в нем не связано с Кавказом. Из этого романа мы узнаем, что Печорин до 19 лет жил в Москве, в детстве обучался в пансионах, потом поступил в университет, которого не окончил. В Польскую кампанию он поступил в гусарский полк и участвовал в военных действиях. После взятия Варшавы перевелся в гвардию и жил в Петербурге; роман обрывается на описании событий, относящихся к тому времени, когда Печорину было 23 года.

Пребывание на Кавказе в 1837 г. дало автору обильный материал для его художественных замыслов, связанных и с новыми темами, и с прежними, в том числе с «Героем нашего времени». Лермонтов переносит своего героя на Кавказ, в иную географическую и общественную среду, вводит много лиц, которые не встречались в «Княгине Лиговской». В романе нашли отражение личные переживания, его наблюдения, вынесенные из поездок на Кавказ, и, наконец, различные литературные источники.

В дореволюционную пору особенно много придавали значения автобиографическим моментам, значение которых очень преувеличивалось; такие суждения приходилось слышать самому автору; в предисловии к роману, написанном в 1841 г., он отмечал, что некоторые читатели полагают, что «сочинитель нарисовал свой портрет» (V, 185–186). Лермонтов глубоко прав, указывая в том же предисловии на то, что его герой – «точно портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии». Произведение создано под непосредственным воздействием тех картин, какие приходилось видеть автору в разных уголках Кавказа – на группе Минеральных Вод, в глухих крепостях, захолустных городках; все это прошло через горнило большой творческой работы, в процессе которой им отбрасывалось все эпизодическое, а на первый план выдвигалось все типическое. Его роман содействовал укреплению в нашей литературе реалистического направления. Писатель задает вопрос: «Ежели вы верили в возможность существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не верите в действительность Печорина?... Довольно людей кормили сластями: у них от этого испортился желудок; нужны горькие лекарства, едкие истины» (V, 186). В черновых вариантах находим следующее меткое замечание, касающееся Печорина, – «это тип» (V, 461).

Остановимся на вопросе о прототипах лермонтовских персонажей. Современники поэта высказывали об этом много предположений, и в ряде случаев не без основания.

Прежде всего роман не лишен автобиографических черт. Личные мотивы сквозят в некоторых высказываниях Печорина; с жизнью автора связаны многие места, описанные им, – Пятигорск, его окрестности, Владикавказ, Военно-Грузинская дорога. В повести «Тамань» описан случай, происшедший с Лермонтовым в 1837 г., при его поездке на западный фронт.

«В эту поездку, – сообщает проф. Висковатов, – направляясь на черноморский берег Кавказа, Лермонтов должен был остановиться в Тамани в ожидании почтового судна, которое перевезло бы его в Геленджик. Тут поэт испытал странного рода столкновение с казачкою Царицихой, принявшей его за тайного соглядатая, желавшего накрыть контрабандистов, с которыми она имела сношения. Эпизод этот послужил поэту темою для повести «Тамань». В 1879 году описываемая в этой повести хата еще была цела, она принадлежала казаку Миснику и стояла невдалеке от нынешней пристани над обрывом».[82] Товарищ Лермонтова по юнкерской школе и по Гродненскому гусарскому полку Михаил Иванович Цейдлер в 1838 г., находясь в Тамани, случайно остановился в том самом домике, который описан в названной повести. В своих воспоминаниях Цейдлер описывает встречу с молодой красивой татаркой, ее мужем, который называл себя золотых дел мастером, но скорее походил на контрабандиста, и слепым мальчуганом. «Мне даже помнится, – говорит автор, – что когда я, возвратясь, рассказывал в кругу товарищей о моем увлечении соседкою, то Лермонтов пером начертил на клочке бумаги скалистый берег и домик, о котором я вел речь».[83]

О. Арканников в заметке «О пребывании М.Ю. Лермонтова в Тамани» сообщает со слов есаула в отставке С.З. П-ва, что последний, будучи 18-летним юношей, встречал в Тамани Лермонтова; когда появилась в печати повесть «Тамань», все узнали, кто ее автор. П-в знал девушку и дом, описанные Лермонтовым.[84] Подлинность эпизода, изложенного в «Тамани», отмечается также в рассказе 3-о, который слышал его от таманского 75-летнего старика в 1891 г. В этом рассказе передается, что контрабандистка с мужем лет 15–20 спустя после встречи с Лермонтовым выехали в Константинополь.[85]

Интересные разыскания о таманском эпизоде были сделаны В.В. Соколовым, умершим в 1919 г. и оставившим статью под заглавием «Лермонтов и Тамань».

На основании ознакомления с архивом семьи Савельевых, проживающих в Тамани, и опроса старожилов он установил, что Лермонтов в 1837 году жил в доме, который в то время принадлежал казаку Федору Миснику. Внук его Герасим сообщил В.В. Соколову, что его деда и отца по-уличному называли Царинныком («царина» – часть степи, оставшаяся под сенокос, или пастбище для скота, отсюда человек, стерегущий «царину», – «цариннык»). Мисник-дед занимался рыбной ловлей, имел баркасы, которыми за плату пользовались контрабандисты-татары, притон которых был тут же под кручей, на берегу моря. Одна из дочерей Федора Мисника жила здесь же, во дворе, в более новой хате, с приживалкой, старухой Червоной; она помогала контрабандистам, тем более что сама хозяйка сильно благоволила к одному из них. В этот-то дом молодой Цариннычки и попал Лермонтов. Мать Герасима во время ссоры с мужем очень часто корила его родственниками: тут все их грехи – отца, матери, а главным образом, сестры, которая жила внезаконно с татарином, воровала и даже чуть не убила заехавшего к ним офицера. Фамилии офицера она, конечно, не знала, но об этом не трудно было догадаться. Куда девался слепой и кто он был, Герасим не знал, тетка же его, «лермонтовская Ундина», вышла в конце концов замуж за солдата станицы Петровской Тельменя. В пояснении к этой статье А. Маркевич сообщает, что в 1926 г., будучи в Тамани, он проверял данные В.В. Соколова, и они оказались вполне точными.[86]

Приведенное сообщение вносит поправки в указания Цейдлера, называющего контрабандистку «татаркой», и проф. Висковатова, неправильно назвавшего казачку «Царицихой». Суммируя важнейшие сведения, приведенные Цейдлером, В.В. Соколовым и другими лицами, мы устанавливаем подлинность всех главных персонажей повести «Тамань» и верность обрисовки местной обстановки.

По свидетельству современников, близко знавших поэта, подлинные эпизоды описаны также в «Бэле» и «Фаталисте»; они связаны с личностью дяди Лермонтова – Акима Акимовича Хостатова. Проф. Висковатов сообщает следующее: «В основании рассказа «Бэла» лежит происшествие, бывшее с Хостатовым, у которого действительно жила татарка этого имени. Точно так же «Фаталист» списан с происшествия, бывшего с Хостатовым в станице Червленной». Дополнительно биограф поэта говорит: «По крайней мере эпизод, где Печорин бросается в хату пьяного рассвирепевшего казака, произошел с Хостатовым. Все это слышал я от Акима Павловича Шан-Гирея. Г. Хохряков говорит, что слышал от Св. Аф. Раевского, будто «Фаталист» истинное происшествие, в коем участвовал сам Лермонтов и Монго Столыпин. Едва ли это так.

Или же, быть может, оба друга были лишь свидетелями случая, изображенного в Вуличе, выстрелившем в себя».[87]

А.В. Мещерский указывал на то, что прототипом Печорина является родственник и друг поэта Столыпин (Монго), но конкретных данных в пользу этих предположений не имеется.[88] Лермонтов мог вводить в фабулу своего романа эпизоды из жизни Хостатова и других современников, но образ Печорина, как говорит сам автор, творчески создан из пороков его поколения в их полном развитии.

Н.М. Сатин, вспоминая о своих встречах с Лермонтовым, говорит: «Он писал тогда свою «Княжну Мери» и зорко наблюдал за встречающимися ему личностями. Те, которые были в 1837 г. в Пятигорске, вероятно, давно узнали и княжну Мери, и Грушницкого, и в особенности милого, умного и оригинального доктора Майера».[89]

Доктор Николай Васильевич Майер был незаурядной личностью по своему уму, образу жизни и политическим взглядам. Н.П. Огарев, неточно называя его Мейером, сообщает о нем ценные сведения. Он встречался с ним в Пятигорске в том же 1837 году. Необходимость труда заставила Майера служить, а склад ума заставил служить на Кавказе, где «не исчезал приют русского свободомыслия». Майер примкнул к кружку сосланных на Кавказ декабристов. «Он сделался необходимым членом этого кружка, где все его любили как брата. Его некрасивое лицо было невыразимо привлекательно. Волосы, остриженные под гребенку, голова широкая, так что лоб составлял тупой угол, небольшие глубокие глаза, бледный цвет лица, толстые губы, мундирный сюртук на дурно сложенном теле, одна нога короче другой, что заставляло его носить один сапог на толстой пробке и хромать... кажется, все это очень некрасиво, а между тем нельзя было не любить этого лица. Толстые губы дышали добротой, глубокие карие глаза смотрели живо и умно; но в них скоро можно было отыскать след той внутренней человеческой печали, которая не отталкивает, а привязывает к человеку; широкий лоб склонялся задумчиво; хромая походка придавала всему человеку особенность, с которою глаз не только свыкался, но и дружился. Вскоре Майер свел нас с декабристами».[90]

С большой теплотою отзывается о нем Г.И. Филипсон. По его воспоминаниям, Майер зимой жил в Ставрополе, а летом на Минеральных Водах. Он был небольшого роста, с огромной угловатой головой; волосы стриг под гребенку; имел неправильные черты лица, был худощав и хром. В его добрых и светлых глазах было столько симпатичного, в его разговоре было столько ума и души, что понятно, почему он внушал сильное и глубокое чувство некоторым замечательным женщинам. Характер его был неровный и вспыльчивый; этот характер и какой-то саркастический оттенок разговора навлекали иногда неприятности. Он был дружен с декабристами А. Бестужевым-Марлинским и С. Палицыным. За дружескую услугу, оказанную Бестужеву, он выдержал полгода под арестом в Темнолесской крепости. Он жил в одном доме с декабристом В. Голицыным. Оба любили парадоксы и горячо их отстаивали; спорам их не было конца.[91]

А.И. Дельвиг, встречавшийся на Кавказе с Лермонтовым и доктором Майером, отзывается о последнем, как о человеке замечательного ума и большого образования, и также подтверждает мнение о том, что он послужил прототипом образа Вернера.[92] Аналогичные данные находим в «Воспоминаниях кавказского офицера» (Москва, 1864 г. 1, 111). Это мнение поддерживает и биограф поэта проф. Висковатов (см. соч. Лерм. под его редакцией, VI, 264–266). Специальная статья по этому вопросу, под заглавием «Доктор Вернер» из «Героя нашего времени», написана М. Гершензоном. Автор отмечает, что внешний портрет Майера передан Лермонтовым поразительно верно, но писатель сильно окрасил доктора Вернера в печоринские краски. Вернер больше, чем приятель Печорина: это его брат по крови; но он гораздо слабее Печорина, он менее ценен и закончен.[93] По преданию, в бумагах Майера были письма Лермонтова; эти бумаги пропали во время Крымской войны, когда вдова доктора переезжала из Керчи в Таганрог.[94]

Совершенно бездоказательным остается указание М.Н. Лонгинова на то, что прототипом Вернера является будто бы доктор Кавказских Минеральных Вод Конради.[95]

Чрезвычайно разноречивы и неубедительны предположения о том, с кого списан грациозный образ княжны Мери. Наиболее распространенным во второй половине XIX века было мнение о том, что прототипом этого образа является Эмилия Александровна Шан-Гирей. Это мнение опровергалось самой Эмилией Александровной, сообщавшей в печати, что она познакомилась с поэтом в его последний приезд в Пятигорск, в 1841 г., то есть после появления в свет «Героя нашего времени».[96] Называют также ряд других имен – французскую писательницу О. де Гелль, Мартынову (сестру Н.С. Мартынова), Прянишникову, Иванову, Быховец, современницу Лермонтова – В., которую встречали в Пятигорске в 1881 г.[97]. Э.А. Шан-Гирей говорила, что прообразом Мери была девица Киньякова;[98] об этом же упоминает и проф. Висковатов: «Видели прототип княгини и княжны Лиговских в г-же Киньяковой с дочерью из Симбирска, лечившихся в Пятигорске» (соч. Лермонтова, VI, 352). Однако никакими конкретными данными подобные указания не подтверждались.

Не освещен в этом отношении и образ Веры. Э.А. Шан-Гирей бегло упоминает о том, что в Вере изображено подлинное лицо, имевшее влияние на все будущее поэта, но никогда не бывшее в Пятигорске.[99] Проф. Висковатов полагал, что прототипом этого образа отчасти была Варенька Лопухина, по мужу Бахметьева: «Симпатичный характер Вареньки Лопухиной раздвоен и представлен в двух типах. В типе Мери, каким он мог казаться в юные ее годы, и в Вере, каким сложился потом, любящим и убитым существом, прикованным к чуждому ей по развитию и уму человеку.

Недалекому Бахметьеву все казалось, что все, решительно все, читавшие «Героя нашего времени», узнавали его и жену его. К довершению сходства у Веры в романе Лермонтова характерная примета: родинка на щеке – у Вареньки была характерная родинка над бровью... Нам известен случай, когда старик Бахметьев на запрос, был ли он с женою на Кавказских водах, пришел в негодование и воскликнул: «Никогда я не был на Кавказе с женою! – это все изобрели глупые мальчишки. Я был с нею больною на водах за границей, а никогда не был в Пятигорске или там в дурацком Кисловодске».

Тот же автор далее указывает: «Самое распространенное мнение это то, что в Вере Лермонтов изобразил сестру Мартынова, за что и навлек негодование последнего и был им убит» (там же, стр. 288–289).

Эти высказывания слишком беглы, не документированы. А.П. Шан-Гирей, Э.А. Шан-Гирей, М.Н. Лонгинов и некоторые другие современники Лермонтова утверждали, что основанием к созданию типа Грушницкого послужил известный участник Кавказской войны Николай Павлович Колюбакин, прозванный «немирным» Колюбакиным, в отличие от его брата Михаила Петровича, называвшегося «мирным». Он отличался, по свидетельству историка Потто, «бешеною вспыльчивостью характера», трижды доводившей его до дуэлей. «Но как ни были ужасны вспышки его гнева, ему прощались все его чудачества и выходки за его высокую прямоту, сердечность, русское добродушие и готовность искупить свою вину перед каждым».[100] Проф. Висковатов сообщает, что Колюбакин «был в одно время с Лермонтовым на водах и отличался некоторою фатоватостью. Столкновений между ним и поэтом не было. Он даже был как-то разжалован в солдаты за дерзость, сказанную во время учения полковому командиру. Позднее этот задор утих, и наружу вышли славянское добродушие и хлебосольство. Колюбакин, будучи военным губернатором Кутаиса, пользовался общей любовью» (Висковатов, VI, 365).

Получив после ранения чин прапорщика, Колюбакин проживал в 1837 году на Кавказских Минеральных Водах. «К этому времени, – как рассказывает один из его биографов, – относится лечение его от раны на Пятигорских водах и знакомство с Лермонтовым; они не сошлись по эксцентричности своих натур, и поэт в «Герое нашего времени» набросал карикатурный силуэт Колюбакина в типе Грушницкого. Колюбакин знал это и добродушно прощал Лермонтову эту злую против себя выходку. Произведенный в офицеры, он перешел в Нижегородский драгунский полк, которым командовал известный в свое время генерал Безобразов». Колюбакин был близок к кружку, в который входили братья Бестужевы, Одоевский, Сангушко, Черкасов, Корнилович и другие; этот кружок назывался «Кружком несчастных».[101]

История создания типа Грушницкого требует дальнейших разысканий, но и приведенные сведения, по нашему мнению, дают нам право признать, что имя Н.П. Колюбакина не без основания связано с известным образом Лермонтова. Писатель, как мы видели, ввел в роман эпизоды из жизни Колюбакина – ранение, послужившее поводом к поездке на Кавказские Минеральные Воды, получение офицерского чина; сохранены и некоторые характерные черты того же лица – вспыльчивость, фатоватость, бретерство. Важно для нас, в частности, мнение А.П. Шан-Гирея, многие свидетельства которого о поэте отличаются большой достоверностью. Как художник-реалист, Лермонтов дополнил облик Грушницкого и другими чертами, часто наблюдавшимися им в среде военной молодежи того времени и углубленными с еще большим сатирическим оттенком в позднейшем очерке «Кавказец» (1841 год).

Совершенно прав проф. Висковатов, разъясняющий неосновательность мнения, будто образ Грушницкого списан с Н.С. Мартынова: «Слух, что Лермонтов изобразил в Грушницком Мартынова, совсем не верен и является вымыслом людей, желавших этим пояснить причину ненависти Мартынова к поэту. Драгунский капитан списан с армейского гусара Саланина. В полковнике Н. в рассказе «Максим Максимыч» изображен полковник Нестеров (тоже по словам Шан-Гирея)».[102] Петр Петрович Нестеров, начавший свою службу в 1823 г. унтер-офицером, перевелся впоследствии на Кавказ (в 1834 г.); в 1937 г. был назначен, в чине капитана, командиром Кавказского линейного № 6 батальона. Умер в 1854 г. По воспоминаниям современников, он был высоким, стройным и красивым офицером, добродушным и справедливым начальником. Это был человек с хорошими военными способностями, большой мастер жить с людьми, но плохой и чрезвычайно ленивый администратор. Его именем было названо укрепление, построенное им на реке Ассе.[103]

До последнего времени внимание лермонтоведов не привлекал один из замечательных героев романа – Казбич. Ценное, но весьма беглое указание о нем имеется в одной из статей Н. Лернера, сообщающего, что эта личность не выдумана: в «Русской Старине» за 1885 г. (июнь, стр. 173) М. Ольшевский упоминает о лихом наезднике, предводителе, шапсуге Казбиче.[104] Заинтересовавшись этим образом Лермонтова, мы собрали значительный материал, документирующий Казбича как историческую личность, хорошо известную поэту; приводим часть этих сведений.

Подлинное его имя – Кзильбеч, фамилия – Шеретлуков. В обиходной речи он назывался на левом фланге Казбичем. Шапсуг по происхождению, он с самых юных лет отличался поразительной неустрашимостью. В 20–30 годах прошлого века он выделился на западном фронте Кавказской войны, как один из самых энергичных и искусных в боевых действиях горских вождей. Он был высокого роста, имел громкий голос, «дерзкие ухватки». Он оказывал неотразимое влияние на народ. Его «бурная, беспечная, удалая жизнь среди битв и набегов», удача, всегда сопутствовавшая ему, воспевались еще при его жизни в народных песнях. Он участвовал в очень многих военных делах, предводительствуя отрядами, численность которых доходила до 5000 и более человек. Ареной его деятельности были берега Кубани. Его действия отличались крайней стремительностью. Он на протяжении долгих лет был участником многих больших и малых сражений, бывал ранен, но дожил до глубокой старости.

Так, например, в январе 1830 г. Казбич, во главе отряда в количестве до 5000 человек, перейдя Кубань, направился к станице Елизаветинской и встретился с отрядом казаков, которыми командовал генерал Бескровный. Сражение длилось с 6 часов утра до 2 часов дня; к Казбичу подошло подкрепление в количестве 2000 человек. Горцы отступили под натиском усиленной артиллерии. В том же месяце, предводительствуя

отрядом в 3000 человек, совместно со своим братом Батгиреем, Казбич развил успешные действия у Елизаветинского куреня. В июле того же года горские силы в количестве до 2500 конницы и до 1500 пехоты, под предводительством Казбича и его брата, выдержали на реке Шебш, где возводилось новое укрепление, упорный бой, продолжавшийся с 10 часов утра до $4^1/_2$ часов дня. В мае 1833 года Казбич с отрядом в 1000 черкесов пытался угнать табун лошадей, пасшихся у Анапы; предупрежденный об этом комендант крепости выслал сильный отряд с 4 пушками, и горцы отступили.

В апреле 1838 года начальник Георгие-Афипского укрепления сообщал в рапорте генералу Заводовскому о том, что черкесы, предводимые Казбичем, не давали покоя укреплению и часто нападали то на кашеваров, то на фуражиров, то на дроворубов и на охранявшие их команды и что такие нападения производились чуть ли не ежедневно, а иногда даже по несколько раз в день. В этих боях участвовали и сыновья Казбича; один из них был убит в 1823 году, другой, по имени Али-бей, был тяжело ранен в одной из битв в 1838 г.; в том же году был сильно ранен и сам Казбич. Русские власти жестоко платили горцам за свои потери, беспощадно истребляя и мирное население, и его имущество; так, после одного из походов в земли черкесов в 1838 году было сожжено до 4000 стогов сена и 300 стогов хлеба.

Под старость Казбич любил слушать песню, сложенную шапсугами и воспевавшую его дела и подвиги. Умер он от раны, полученной в набеге в 1839 году, оставив по себе долгую память. Суровая личность его так поразила воображение соплеменников, что в жарких сражениях с русскими он, долго спустя после смерти, не раз чудился черкесам на белом коне и в белой одежде; об этом существовало много рассказов.[105]

Имя Казбича очень часто встречается в официальных донесениях о военных действиях, происходивших на правом фланге с 1821 г. до 1839 г. Будучи чрезвычайно популярно на Северном Кавказе, оно могло быть известно Лермонтову еще в ранней юности; он должен был услышать о нем много рассказов во время поездки на правый фланг в 1837 г. Заинтересовавшись легендарной личностью Казбича, он, вероятно, собирал о нем сведения, и все это дало толчок к созданию высокохудожественного образа лихого наездника и удальца, историю которого передает Максим Максимыч. Необходимо, однако, отметить, что писатель изобразил его не как одного из видных горских военных деятелей, а как смелого наездника-одиночку, в характере которого есть черты, сходные с обликом подлинного Казбича. Быть может, Лермонтов не развил мотива о военных подвигах горского предводителя потому, что находился под давлением строжайшей цензуры; повесть «Бэла» писалась в промежутке между первой и второй ссылкой. Однако конкретное упоминание об историческом Казбиче мы встречаем у Лермонтова. Приведем следующие строки из этой повести:

– «А не слыхали ли вы, что сделалось с Казбичем? – спросил я.

– С Казбичем? А, право, не знаю… Слышал я, что на правом фланге у шапсугов есть какой-то Казбич, удалец, который в красном бешмете разъезжает шажком под нашими выстрелами и превежливо раскланивается, когда пуля прожужжит близко; да вряд ли это тот самый!..» (V, 219).

Здесь мы находим краткую, но меткую обрисовку действительного Казбича, шапсугского храбреца, прославившегося своими подвигами на правом фланге. Слова автора, относящиеся к Казбичу, как к персонажу эпизода с Бэлой, – «да вряд ли это тот самый», как будто говорят о том, что в повести два действующих лица, носящих одно и то же имя: одно – созданное творческим воображением писателя, другое, эпизодически называемое им, подлинное. Нам кажется, это художественный прием писателя, интригующий читателя и позволяющий ему немногими заключительными словами углубить и по-новому осветить в конце повести образ Казбича, обрисованный им с глубокой симпатией. По-видимому в начале повествования Лермонтов рисует ранний период жизни этого героя, а в конце – появление его на западном фронте.

Изучение творческой истории таких образов, как, например, Вернер, действующие лица «Тамани», Казбич, Грушницкий – представляет для нас большой интерес, так как оно близко знакомит нас с Лермонтовым как писателем-реалистом, опиравшимся при создании своих героев на подлинные, современные ему, исторические и бытовые данные, подвергавшиеся глубокой художественной переработке. Мы видим, что приемы автора были разнообразны. Эпизод, послуживший основанием к написанию «Тамани», очень точно воспроизводит действительно происшедшие события и местную обстановку; образы Вернера, Казбича, Грушницкого, сохраняя весьма характерные черты прототипов, в значительной мере дополнены существенными новыми чертами, привнесенными художником, рисовавшим, прежде всего, не портреты того или иного современного ему лица, а типы. Иногда он сохраняет настоящее имя описываемого лица (Казбич); в других случаях оставляет первую букву фамилии (полковник Н. – Нестеров) или заменяет подлинную фамилию вымышленной (Майер – Вернер). Можно предположить, что и в ряде других образов, введенных в роман, при последующих разысканиях будут прослежены черты, восходящие к конкретным лицам; не освещены в этом отношении такие важные для этого произведения персонажи, как княжна Мери, Максим Максимыч, Вулич.

Реалистические подробности вплетены писателем и в его описания кавказской природы, городков, станций Военно-Грузинской дороги, крепостей. Эти описания чрезвычайно верно и художественно воспроизводят то горный пейзаж, то окраины и окрестности Пятигорска или Тамани. Автор очень часто вводит местные названия; делает ссылки на книжные источники (упоминание о сочинении ученого Гамба в «Бэле»), на исторические данные (упоминание в той же повести об установлении Ермоловым каменного

креста на перевале Военно-Грузинской дороги). Многие лица указывают, что при описании дома, в котором жила Вера, Лермонтов имел в виду находившийся в Кисловодске дом Ребровых. Этот дом был известен поэту еще по детским воспоминаниям; он упоминается в труде проф. П. Савенко «Кавказские Минеральные Воды» (СПБ, 1828 г., стр. 183). К. Зеленецкий, посетивший лермонтовские места в 1852 г., говорит следующее: «Дом этот своим садом и флигелями представляет весьма красивый вид. Лермонтов, лет за 13 перед этим, поместил в нем развязку своего романа».[106]

В дневнике Печорина имеется упоминание о приезде на группу минеральных вод фокусника Апфельбаума: «На дверях ресторации явилась длинная афишка, извещающая почтеннейшую публику о том, что вышепоименованный удивительный фокусник, акробат, химик и оптик будет иметь честь дать великолепное представление сегодняшнего числа в восемь часов вечера в зале благородного собрания (иначе – в ресторации); билеты по два рубля с полтиной» (V, 289).

В той же статье К. Зеленецкого находим следующие любопытные строки, подтверждающие популярность такого рода развлечений на минеральных водах в 30–50 гг.:

«В Пятигорске, кроме театра, бывают еще представления заезжих фокусников, акробатов, приезжает семья тирольцев, известная, бывшая в Сибири. Но главное и общее – бульвар, по вечерам всегда полный гуляющими» (Стр. 62–63).

В своем романе Лермонтов дал непревзойденное яркое и конкретное изображение картин из жизни различных уголков Северного Кавказа, перенося действие то на станции Военно-Грузинской дороги, то в небольшие крепости (Владикавказ, крепость N, в которой Максим Максимыч познакомился с Печориным), то в горский аул, маленький глухой приморский Таманский порт, на группу минеральных вод, где ключом била своеобразная праздная жизнь «чающих движения воды», или в казачью станицу. Здесь нашли яркое отображение те впечатления и наблюдения, которые были вынесены писателем из его «беспрерывного странствования то на перекладной, то верхом», когда он «изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани» (V, 393).

Белинский в статьях и заметках о Лермонтове дал глубокий, проникновенный анализ его романа; особенно высоко гениальный критик оценил повести «Бэла», «Максим Максимыч» и «Тамань». «Герой нашего времени», по его словам, «обнаружил в Лермонтове такого же великого поэта в прозе, как и в стихах. Этот роман был книгой, вполне оправдывающей свое название. В ней автор является решителем важных современных вопросов. Его Печорин, как современное лицо, Онегин нашего времени. Обыкновенно наши поэты жалуются – может быть и не без основания – на скудость поэтических элементов в жизни русского общества; но Лермонтов в своем «Герое» умел и из этой бесплодной почвы извлечь богатую поэтическую жатву. Не составляя целого, в строгом художественном смысле, почти все эпизоды его романа образуют очаровательные поэтические миры. «Бэла» и «Тамань» в особенности могут считаться одними из драгоценнейших жемчужин русской поэзии, а в них еще остается сколько дивных подробностей и картин, в которых с такой отчетливостью обрисовано типическое лицо Максима Максимовича».[107]

Высокую оценку дает Белинский и образам горцев в изображении Лермонтова: «И с каким бесконечным искусством обрисован грациозный образ пленительной черкешенки. Она говорит и действует так мало, а вы живо видите ее перед глазами во всей определенности живого существа, читаете в ее сердце, проникаете все изгибы его... Характеры Азамата и Казбича – это такие типы, которые будут равно понятны и англичанину, и немцу, и французу, как понятны они русскому. Вот что называется рисовать фигуру во весь рост, с национальною физиономиею и в национальном костюме» (там же, 29).

С не меньшим восхищением говорит Белинский о замечательном стилистическом мастерстве Лермонтова. Он восторгается «Таманью»: «Это словно какое-то лирическое стихотворение, вся прелесть которого уничтожается одним выпущенным или измененным не рукою самого поэта стихом; она вся в форме; если выписывать, то только бы ее выписать всю от слова до слова» (стр. 37). Отмечая, что «Княжна Мери» в некоторых отношениях уступает совершенству других составных частей романа, великий критик указывает на мастерство языка этой повести: «Каждое слово в ней так глубоко знаменательно, самые парадоксы так поучительны, каждое положение так интересно, так живо обрисовано. Слог повести – то блеск молнии, то удар меча, то рассыпающийся по бархату жемчуг» (стр. 81).

Лермонтов широко пользуется в своем романе кавказским фольклором; напомним песни Бэлы (V, 193), Казбича (V, 197), контрабандистки (V, 234–235). В изложении эпизода о преследовании Казбича казаками с редким искусством выдержана манера горского народного сказа (V, 195–196). Писатель вводит также много русских пословиц и поговорок: «на роду написано» (V, 192), «в чужом пиру похмелье» (V, 197), «туда и дорога» (V, 200), «и был таков» (V, 204), «верно между ними черная кошка проскочила» (V, 210), «цап царап ее... да и тягу!» (V, 216) и др.

Очень умело передавая разговорный язык людей различной национальности и различного социального положения, автор вводит французские выражения (V, 243, 244, 245, 260, 262, 263, 267, 289), литературные цитаты из Грибоедова (V, 283), Пушкина (V, 244, 284), ссылки на изречения Цицерона (V, 248, 249), Тассо (V, 284), горские выражения или их перефразировку – «яман будет твоя баш-

ка» (V, 192), «якши» (V, 194), «йок» (V, 196), «кунак» (V, 199), «джигит» (V, 211), украинизмы (V, 230, 231), говор терских казаков (V, 319–320).

С замечательным мастерством владеет Лермонтов афористической речью; его язык изобилует меткими, лаконичными изречениями: «многие спокойные реки начинают шумливыми водопадами, а ни одна не скачет и не пенится до самого моря» (V, 271), «из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается» (V, 248), «в сердцах простых чувство красоты и величия природы сильнее, живее во сто крат, чем в нас, восторженных рассказчиках на словах и на бумаге» (V, 206), «самые счастливые люди – невежды» (V, 213), «радости забываются, а печали никогда» (V, 257), «о самолюбие! ты рычаг, которым Архимед хотел приподнять земной шар!» (V, 254).

«Герой нашего времени» нашел очень высокую оценку в высказываниях выдающихся русских писателей.

По словам Гоголя, «никто еще не писал у нас такою правильною, прекрасною и благоуханною прозою».[108]

А.В. Кольцов в 1840 г. писал Белинскому: «Тамань» Лермонтова чертовски поразила меня».[109] Л. Толстой вспоминал, что в возрасте от 14 до 21 года «Тамань» Лермонтова оказала на него «очень большое» влияние.[110] С.И. Дурылин сообщает, что, беседуя с Л. Толстым в 1909 г., он задал ему вопрос, какое из произведений русской прозы он считает совершеннейшим; писатель, нимало не колеблясь, назвал «Тамань».[111]

Д.В. Григорович в своих «Литературных воспоминаниях» посвящает «Тамани» следующие строки, разъясняющие значение упорной черновой работы классика при создании шедевра: «Возьмите повесть Лермонтова «Тамань»: в ней не найдешь слова, которое можно было бы выбросить или вставить; вся она от начала до конца звучит одним гармоническим аккордом; какой чудный язык, как легко, кажется, написано! Но загляните в первую рукопись: она вся перемарана, полна вставок, отметок на отдельных бумажках, наклеенных облатками в разных местах».[112]

Очень высокую оценку этому произведению давал и А.П. Чехов. В письме к Я. Полонскому в 1888 г. он говорил: «Может быть, я не прав, но лермонтовская «Тамань» и пушкинская «Капитанская дочка», не говоря уже о прозе других поэтов, прямо доказывают тесное родство сочного русского стиха с изящной прозой».[113] В одной беседе он сказал: «Я не знаю языка лучше, чем у Лермонтова. Я бы так сделал: взял его рассказ и разобрал бы, как разбирают в школах, – по предложениям, по частям предложения... Так бы и учился писать».[114]

При жизни автора роман «Герой нашего времени» вышел дважды – в 1840 г. и в 1841 г., вызвав большое количество отзывов как очень сочувственных (Белинский), так и враждебных (С.О. Бурачок, О.И. Сенковский, Н.Н. Греч).

Выступление реакционных критиков Белинский заклеймил еще при жизни Лермонтова следующими бичующими словами: «Относительно же того, что талант Лермонтова в такое короткое время успел нажить себе ожесточенных и непримиримых врагов, это также понятно. Разумеется, эти враги составляют ту часть публики, которая должна называться собственно «толпой»; ненависть этих господ очень понятна: поэзия Лермонтова для них – плод слишком нежный и деликатный, так что не может льстить их грубому вкусу, на который действует только слишком сладкое, как мед, слишком кислое, как огуречный рассол, и слишком соленое, как севрюжина. Эти господа чувствуют непреодолимую антипатию даже и к тем людям, которые восхищаются талантом Лермонтова, и они бранят их, как служители своих господ, которые устриц предпочитают солянке с перцем».[115]

V. М.Ю. Лермонтов на Кавказе в 1840–1841 годах

В 1838–1840 годах Лермонтов вырастает в крупнейшего писателя того времени. В печати появились такие замечательные его произведения, как «Дума», «Поэт», «Бэла», «Русалка», «Ветка Палестины», «Не верь себе», «Еврейская мелодия», «Три пальмы», «Фаталист», «Дары Терека», «Памяти А.И. Одоевского», «Узник», «Первое января», «И скучно и грустно», «Тамань» и другие. В феврале 1840 г. вышел в свет «Герой нашего времени». Осенью того же года был издан небольшим томиком сборник стихотворений и поэм. По поводу стихотворения «Дары Терека» Белинский писал 9-го февраля 1840 г.: «Итак, о Лермонтове. Каков его «Терек»? Черт знает – страшно сказать, а мне кажется, что в этом юноше готовится третий русский поэт, и что Пушкин умер не без наследника. Во 2 № «Отечественных записок» ты прочтешь его «Колыбельную песню казачки» – чудо! А это – «В минуту жизни трудную...»

«Как безумный, твердил я дни и ночи эту чудную молитву, – но теперь я твержу, как безумный, другую молитву: «И скучно и грустно!.. И некому руку подать...».[116]

Расширяются и упрочиваются литературные знакомства молодого поэта, над головой которого, однако, вновь стали сгущаться темные тучи. Он мечтал оставить военную службу, отдаться литературной деятельности, но даже в семейной среде не встречал сочувствия. Еще в начале 1839 года он писал А.А. Лопухину:

«Я три раза зимой просился в отпуск в Москву к вам, хоть на 14 дней – не пустили! Что, брат, делать! Вышел бы в отставку, да бабушка не хочет – надо же ей чем-нибудь пожертвовать. Признаюсь тебе, я с некоторого времени ужасно упал духом»... (Л, V., 401).

Направленность произведений Лермонтова, созданных после возвращения из первой ссылки, звучавших резким обличением николаевского режима («Дума», «Памяти А.И. Одоевского», «Не верь себе» и другие), была нетерпима для правительства, беспощадно и неуклонно преследовавшего малейшее проявление подобных идей. Нужен был только какой-нибудь внешний, как будто бы не носивший политического характера повод, чтобы отправить беспокойного и опасного поэта во вторую ссылку. Настроение Лермонтова и отношение к нему высшего общества метко охарактеризовано И.С. Тургеневым, встретившим его в конце декабря 1839 года дважды – в доме княгини Шаховской и под новый год, на балу, в зале Дворянского собрания.

«Внутренно Лермонтов, вероятно, скучал глубоко; он задыхался в тесной сфере, куда его втолкнула судьба. На бале Дворянского собрания ему не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки; одна маска сменялась другою, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза. Мне тогда же почудилось, что я уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчества».[117]

Проф. Висковатов, со слов Краевскрго и Соллогуба, передает следующий эпизод, имевший место на том же балу:

«Особенное внимание обращали на себя две дамы, одна в голубом, другая в розовом домино. Это были две сестры и, хотя было известно, кто они такие, то все же уважали их инкогнито и окружали почтением. Они то, вероятно, также заинтересованные молодым поэтом, и пользуясь свободою маскарада, проходя мимо него, что-то сказали ему. Не подавая вида, что ему известно, кто задел его словом, дерзкий на язык Михаил Юрьевич не остался в долгу, он даже прошелся с пышными домино, смущенно поспешившими искать убежища. Выходка молодого офицера была для них совершенно неожиданной, и казалась до невероятия дерзновенною». Особы, которых задел поэт, были, по-видимому, дочерьми царя. Поведение Лермонтова вызвало негодование графа Бенкендорфа, начавшего преследовать его.[118]

Повод к удалению Лермонтова из столицы скоро нашелся. Из-за дуэли с сыном французского посланника Эрнестом де Барантом, происшедшей в феврале 1840 г. и закончившейся для обоих противников без серьезных последствий, Лермонтов подвергся аресту, а затем высылке на Кавказ.

Во время пребывания поэта в заключении его посетил (16 апреля) В.Г. Белинский, имевший с ним длительную, многозначительную беседу; подробное описание ее, содержащее высокую, восторженную оценку Лермонтова, как художника и человека, дано им в письме к В.П. Боткину:

«Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного!.. Я с ним спорил, и мне отрадно было видеть в его рассудочном, охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь и людей семена глубокой веры в достоинство того и другого. Я это сказал ему – он улыбнулся и сказал: дай бог!».[119]

В том же месяце или в начале мая поэт выехал из Петербурга на юг. 9 мая в Москве, на именинах у Гоголя, он читал отрывки из поэмы «Мцыри», в то время еще не появившейся в печати. Из Москвы он выехал в последних числах мая. По пути он побывал в Новочеркасске, где прожил у генерала М.Г. Хомутова три дня и ежедневно бывал в театре. (Л., V, 404 – 405). 10 июня Лермонтов приехал в Ставрополь, где находилась главная квартира командующего Кавказской линией. Он был зачислен в отряд ген.-лейтенанта Галафеева, производивший военные операции в Чечне.

С 6 по 14 июля Лермонтов принимал участие в походе, сопровождавшемся частыми боями. Выйдя из крепости Грозной, отряд с 10-дневным провиантом и с полукомплектом запасных артиллерийских снарядов направился к Гойтинскому лесу, уничтожил аулы Урус-Мартан, Чурик-Рошни, Пешхой-Рошни, Хажи-Рошни (6–10 числа). 11 июля на реке Валерике произошел знаменитый бой, правдиво описанный поэтом в стихотворении «Валерик». В последующие дни (12–14 числа) он участвовал в делах при селении Ачхой, Чильчихи и при возвращении отряда в крепость Грозную.

Во время этих боевых действий Лермонтов проявил большое мужество и многократно подвергал свою жизнь смертельной опасности. Вынужденный, в силу тяготивших его обстоятельств, выступать против горцев, героически отстаивавших независимость родины, поэт в душе глубоко сочувствовал им. Военная служба давно стала ему чуждой. Во время краткого отдыха после военной экспедиции он из Пятигорска писал бабушке: «То, что вы мне пишете о словах Г. Клейнмихеля, я полагаю, еще не значит, что мне откажут отставку, если я подам; он только просто не советует; а чего мне здесь еще ждать? Вы бы хорошенько спросили только, выпустят ли, если я подам».

В этом же письме он просит о присылке ему книг – сборника повестей Ростопчиной, полного собрания сочинений Жуковского и Шекспира (в подлиннике). «Только, пожалуйста, поскорее; если это будет скоро, то здесь еще меня застанет» (28 июля; Л., V, 405).

Приведенные строки достаточно красноречиво говорят о том, в какую сторону были направлены интересы опального поэта. Он чувствовал себя в изгнании одиноким и писал в сентябре того же года А.А. Лопухину:

«Мой милый Алеша.

Я уверен, что ты получил письма мои, которые я тебе писал из действующего отряда в Чечне, но уверен также, что ты мне не отвечал, ибо я ничего о тебе не слышу письменно. Пожалуйста, не ленись: ты не можешь вообразить, как тяжела мысль, что друзья нас забывают. С тех пор, как я на Кавказе, я не получал ни от кого писем, даже из дому не имею известий. Может быть, они пропадают, потому что я не был нигде на месте, а мотался все время по горам с отрядом». В этом письме он сообщает некоторые подробности о сражений на реке Валерике (Л., V, 406).

С 26 сентября по 15 октября Лермонтов опять принимал участие в походе, направленном в Чечню. 10 октября, когда выбыл из строя Руфин Дорохов, Лермонтов принял от него начальство над охотниками, выбранными из всей кавалерии в количестве сорока человек. В донесениях об участии поэта в Шалинском лесу отмечались его боевые заслуги. Об этом походе Лермонтов писал тому же Лопухину, прибыв в крепость Грозную. О душевном состоянии поэта красноречиво говорят следующие строки:

«Писем я ни от тебя, ни от кого другого уже месяца три не получал. Бог знает, что с вами сделалось; забыли, что ли? или пропадают? Я махнул рукой. Мне тебе нечего много писать: жизнь наша здесь вне войны однообразна; а описывать экспедиции не велят» (Л., V, 407).

Упомянутый Руфин Иванович Дорохов, о котором Лермонтов говорит и в последнем, цитированном нами, письме, – сын известного участника Отечественной войны И.С. Дорохова. Он служил в нескольких полках и за недисциплинированность несколько раз был разжалован в рядовые. Р.И. Дорохов был приятелем Пушкина, который говорит о встрече с ним, происшедшей во Владикавказе, при возвращении поэта из Закавказья в Пятигорск («Путешествие в Арзрум», гл. V). Лермонтов встречался с Дороховым и в последующее время. Л. Толстой изобразил Дорохова в «Войне и мире» под именем Долохова.[120]

В конце октября и начале ноября Лермонтов снова находился в экспедиции, действовавшей в Чечне (при аулах Алды, Урус-Мартан и других), проявляя присущую ему энергию и отвагу.

Интересные сведения о боевой походной жизни поэта сообщает его сослуживец Константин Христофорович Мамацев, бывший в то время подпоручиком: «Я хорошо помню Лермонтова и как сейчас вижу его перед собою, то в красной канаусовой рубашке, то в офицерском сюртуке без эполет, с откинутым назад воротником и переброшенною через плечо черкесскою шашкой, как обыкновенно рисуют его на портретах. Он был среднего роста, с смуглым или загорелым лицом и большими карими глазами. Натуру его постичь было трудно. В кругу своих товарищей, гвардейских офицеров, участвовавших вместе с ним в экспедиции, он был всегда весел, любил острить, но его остроты часто переходили в меткие и злые сарказмы, не доставлявшие особого удовольствия тем, на кого они были направлены. Когда он оставался один или с людьми, которых любил, он становился задумчив, и тогда лицо его принимало необыкновенно выразительное, серьезное и даже грустное выражение; но стоило появиться хотя одному гвардейцу, как он тотчас же возвращался к своей банальной веселости, точно стараясь выдвинуть вперед одну пустоту светской петербургской жизни, которую он презирал глубоко. В эти минуты трудно было узнать, что происходило в тайниках его великой души. Он имел склонность и к музыке, и к живописи, но рисовал одни карикатуры, если чем интересовался – так это шахматною игрою, которой предавался с увлечением».[121]

Проф. Висковатов передает следующий эпизод, сообщенный ему бароном Паленом.

«Однажды вечером, во время стоянки, Михаил Юрьевич предложил некоторым лицам в отряде: Льву Пушкину, Глебову, Палену, Сергею Долгорукову, декабристу Пущину, Баумгартену и другим пойти поужинать за черту лагеря. Это было небезопасно и собственно запрещалось. Неприятель охотно выслеживал неосторожно удалявшихся от лагеря и либо убивал, либо увлекал в плен. Компания взяла с собою несколько денщиков, несших запасы, и расположилась в ложбинке за холмом. Лермонтов, руководивший всем, уверял, что наперед избрав место, выставил для предосторожности часовых и указывал на одного казака, фигура коего виднелась сквозь вечерний туман в некотором отдалении. С предосторожностями был разведен огонь, при чем особенно старались сделать его незаметным со стороны лагеря. Небольшая группа людей пила и ела, беседуя о происшествиях последних дней и возможности нападения со стороны горцев. Лев Пушкин и Лермонтов сыпали остротами и комическими рассказами, при чем не обошлось и без резких осуждений и скорее осмеяния разных всем присутствующим известных лиц. Особенно весел и в ударе был Лермонтов. От выходок его катались со смеху, забывая всякую предосторожность. На этот раз все обошлось благополучно. Под утро, возвращаясь в лагерь, Лермонтов признался, что видневшийся часовой был не что иное, как поставленное им наскоро чучело, прикрытое тонкою и старой буркой».[122]

Упомянутый барон Пален в том же году, за несколько дней до битвы при Валерике, набросал карандашом портрет поэта, изображенного в профиль, в летней измятой фуражке, с небольшими баками, которые он отпустил в походе.

Очень характерно для Лермонтова, что с людьми, которые находились под его непосредственным командованием, он обращался очень просто, ничем не подчеркивая превосходства своего формального

положения: ел с ними из одного котла, спал на голой земле. Старшие офицеры-аристократы, служившие в генеральном штабе, возмущались таким поведением поэта; не нравилось им и то, что он и одевался просто: ходил в белой холщовой шапке и канаусовой красной рубашке, которая глядела почерневшею из-под вечно расстегнутого сюртука, носившегося им без эполет. Зато Лермонтов пользовался любовью своих людей, не покидавших его в самые опасные моменты боя. О своем отряде поэт сам рассказывал А.А. Краевскому, которому он подарил свой кинжал. Этим кинжалом Лермонтов однажды отбивался от трех горцев, преследовавших его между Пятигорском и Георгиевским укреплением. Благодаря превосходству своего коня поэт ускакал от них. Только один его нагонял, но до кровопролития не дошло.[123]

В эпопее боевой жизни Лермонтова этого времени особенно знаменателен день Валерикского сражения (11 июля). По словам самого поэта, описавшего вкратце это сражение, с нашей стороны в бою участвовало 2000 пехоты, со стороны горцев – до 6000 (письмо к А.А. Лопухину, – Л., V, 406). Приводим выдержки из чернового «Журнала военных действий» отряда генерал-лейтенант Галафеева об этом деле:

«Отряд выступил из лагеря при дер. Гехи... Неприятель нигде не сопротивлялся; авангард беспрепятственно выступил в Гехинский лес... С приближением арьергарда бой в левой цепи разгорался все сильнее и сильнее... Выйдя на поляну, все войска заняли прежний свой боевой порядок и начали подаваться вперед.

Впереди виднелся лес, двумя клиньями подходящий с обеих сторон к дороге. Речка Валерик, протекая по самой опушке леса, в глубоких, совершенно отвесных берегах, пересекала дорогу в перпендикулярном направлении, делая входящий угол к стороне Ачхой. Правый берег был более открыт, по левому тянулся лес, который был около дороги прорублен на небольшой ружейный выстрел, так что вся эта местность представляла нечто в виде бастионного фронта с глубоким водяным рвом.

Подойдя к этому месту на картечный выстрел, артиллерия открыла огонь. Ни одного выстрела не сделано с неприятельской стороны, ни малейшего движения не было видно... Едва артиллерия начала сниматься с передков, как чеченцы со всех сторон открыли убийственный огонь против пехоты и артиллерии.

В одно мгновение войска были двинуты вперед с обеих сторон... Добежав до лесу, войска неожиданно остановлены были отвесными берегами реки Валерика и срубами из бревен, за двое суток вперед приготовленными неприятелем, откуда он производил смертоносный ружейный огонь... В лесу они сошлись с чеченцами лицом к лицу; огонь умолк на время, губительное холодное оружие заменило его.

...Должно отдать также справедливость чеченцам; они исполнили все, чтобы сделать успех наш сомнительным: выбор места, которое они укрепляли завалами в продолжение троих суток, неслыханный дотоле сбор в Чечне, в котором были мечиковцы, жители Большой и Малой Чечни, бежавших надречных и всех сунженских деревень, с каждого двора по одному человеку, удивительное хладнокровие, с которым они подпустили нас к лесу на самый верный выстрел, неожиданность для нижних чинов этой встречи – все это вместе могло бы поколебать твердость солдата и ручаться им за успех, в котором они не сомневались... Они в сем деле оставили на месте боя до 150 тел и множество оружия всякого рода. Потеря с нашей стороны в этот день состояла из убитых 6-ти обер-офицеров, 65 нижних чинов; раненых: двух штаб-офицеров, 15 обер-офицеров и 198 нижних чинов, контуженных 4 обер-офицеров и 46 нижних чинов; 29 убитых и 42 раненых лошадей».

В перечне отличившихся в этот день отмечается «необыкновенное рвение» многих лиц из старшего и младшего офицерского состава в том числе – «Тенгинского пехотного полка поручика Лермонтова» и 19 артиллерийской бригады прапорщика Вон-Ляр-Лярского, с которым они переносили все приказания войскам в самом тылу сражения в лесистом месте, что заслуживало особенного внимания, «ибо каждый куст, каждое дерево грозили всякому внезапною смертию».[124]

Галафеев об участии в этом бою Лермонтова доносил начальству следующее:

«Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов во время штурма неприятельских завалов на реке Валерике имел поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и уведомлять начальника отряда об ее успехах, что было сопряжено с величайшею для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами. Но офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отменным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы». Поэт был представлен к Владимиру 4-й степени с бантом, но корпусный командир заменил эту награду орденом Станислава 3-й степени ввиду того, что «поручик орденов не имеет».

Боевые заслуги Лермонтова отмечались в связи с его участием и в других военных операциях. За участие в экспедиции, состоявшейся в конце октября и в начале ноября, он был представлен к награде вторично, на этот раз к золотой сабле с надписью «За храбрость».[125] В правящих сферах ходатайства о награждении поэта неуклонно отклонялись.

Летом этого года, перед отправлением в последнюю экспедицию, Лермонтов совершил поездку на группу Минеральных Вод, а затем в Ставрополь, чтобы узнать в штабе командующего войсками о результатах своих хлопот об отпуске. Старшим адъютантом там оказался знакомый поэта по Московскому университету Я.И. Костенецкий. Он сообщил, что военный министр прислал по его делу командующему войсками генералу Граббе запрос; в этом запросе говорилось, что император, вследствие ходатайства бабки поручика Тенгинского полка Лермонтова об отпуске в Петербург для свидания с нею, приказал узнать о службе, поведении и об-

разе жизни означенного офицера. «Что же вы будете отвечать на это?» – спросил Лермонтов. По обыкновению в штабе, по некоторым бумагам, не требовавшим какой-либо особой отписки, писаря сами составляли черновики ответов; в эту категорию попал и запрос министра о Лермонтове. «А вот вам и ответ», – сказал, засмеявшись, Костенецкий и начал читать текст бумаги, подготовленный штабным писарем, в которой было сказано, что поручик Лермонтов «служит исправно, ведет жизнь трезвую и добропорядочную и ни в каких злокачественных поступках не замечен». Лермонтов расхохотался, услышав такую аттестацию, и просил нисколько не изменять ее выражений и этими же словами отвечать министру. После этого тотчас же был послан министру самый лестный отзыв, в ответ на который и был разрешен Лермонтову отпуск в Петербург.

Характерно, что и Костенецкий, как будто проявляя по отношению к Лермонтову, судя по этому эпизоду, некоторое сочувствие, в действительности был очень далек от него, не знал его интересов и причислял его к светским офицерам-щеголям, которые с высоты своего величия гордо смотрели на армейских офицеров и сходились с ними разве только в экспедициях, где, в свою очередь, с презрением на них смотрели и издевались над их аристократизмом. «К этой категории принадлежала большая часть гвардейских офицеров, ежегодно тогда посылаемых на Кавказ, и к этой же категории принадлежал и Лермонтов, который, сверх того, и по характеру своему не любил дружиться с людьми: он всегда был едок и высокомерен, и едва ли он имел хоть одного друга в жизни».[126]

В этих словах звучит неприкрытое недоброжелательное отношение к Лермонтову; отзыв Костенецкого и тенденциозен, и фактически совершенно не верен: у поэта были друзья, но они принадлежали к другой прослойке окружавшего его общества.

Нет сомнения в том, что было много причин, вследствие которых люди, подобные барону Россильону и Костенецкому, штабные офицеры-бюрократы, так недолюбливали Лермонтова: необыкновенная поэтическая одаренность его, беспощадный сарказм, направленный против пустоты и фразерства «золотой молодежи» и лиц, занимавших высокое положение, простое человеческое отношение к подчиненным. Он не сгибался под давлением николаевского режима, смело отстаивал независимость своих убеждений и своей личности, с глубокой симпатией шел навстречу людям, более или менее близким ему по духу. В этом отношении очень характерно его общение с ссыльными декабристами, что, разумеется, не могло не раздражать его недоброжелателей и врагов. Чрезвычайно ценен, например, следующий эпизод, сообщенный декабристам Н.И. Лорером, познакомившимся в ту пору с Лермонтовым.

Во время похода в Чечню в конце 1840 г. поэт сошелся с декабристом Владимиром Николаевичем Лихаревым, членом Южного Общества; из подпоручиков он был разжалован в солдаты и находился в одном отряде с Лермонтовым. По отзыву Лорера, «Лихарев был один из замечательнейших людей своего времени... Он отлично знал четыре языка и говорил и писал на них одинаково свободно, так что мог занять место первого секретаря при любом посольстве. Доброта души его была несравненна. Он всегда готов был не только делиться, но, что труднее, отдавать свое последнее. К сожалению, он страстно любил карточную игру и вообще рассеянную жизнь. В последнем деле, где он был убит, он был в стрелках с Лермонтовым, тогда высланным из гвардии. Сражение приходило к концу, и оба приятеля шли рука об руку, споря о Канте и Гегеле и часто, в жару спора, неосторожно останавливались. Но горская пуля метка, и винтовка редко дает промахи. В одну из таких остановок вражеская пуля поразила Лихарева в спину навылет, и он упал навзничь. Ожесточенная толпа горцев изрубила труп так скоро, что солдаты не поспели на выручку останков товарища-солдата».[127] Это случилось 11 июля 1840 г., в день сражения на реке Валерике.

Достоевский видел большое сходство между характерами Лермонтова и декабриста Лунина. «И тот и другой, – говорил он, – были страстные любители сильных ощущений, и подвергать себя опасности было для них необходимостью. Уж таковы были эти люди, и такова тогдашняя бесцветная жизнь, что натуры сильные и подвижные не выносили ее серенькой обыденности. Я уверен притом, что никто из них и не думал рисоваться».[128]

Будучи в Ставрополе и Пятигорске, Лермонтов встречался со многими декабристами. Интересные сведения об этом передает тот же Лорер. Отметим, что при первом свидании с поэтом он не сошелся с ним. Он откровенно говорит: «С первого шага нашего знакомства Лермонтов мне не понравился... До сих пор не могу отдать себе отчета, почему мне с ним было как-то неловко, и мы расстались вежливо, но холодно» (там же, 241). Но вскоре такое впечатление у Лорера рассеялось; он часто видел поэта в Пятигорске в среде гвардейских офицеров: «У Лермонтова я познакомился со многими из них, и с удовольствием вспоминаю теперь имена их: Алексей Столыпин (Монго), товарищ Лермонтова по школе и полку гвардии; Глебов, конногвардеец, с подвязанной рукой, тяжело раненый в ключицу; Тиран, лейб-гусар; Александр Васильчиков, чиновник при Гане для ревизии Кавказского Края, сын моего бывшего корпусного командира в гвардии; Сергей Трубецкой, Манзей и другие. Вся эта молодежь чрезвычайно любила декабристов вообще, и мы легко сошлись с ними на короткую ногу» (там же, 257).

Тогда же Лермонтов встречался с декабристом М.А. Назимовым, Л.С. Пушкиным, бароном А.И. Дельвигом, поэтом Дмитриевским, приехавшим из Тифлиса, И.А. Вревским, графом К. Ламбертом, Д.С. Бибиковым, другом декабристов доктором Майером, Сергеем Трубецким. С особенным уважением относился он к И.А. Вревскому (состоявшему тогда капитаном генерального штаба) и Назимову.[129]

Этот год был знаменателен в отношении быстрого роста известности Лермонтова. Выход в свет «Героя нашего времени», сборника стихотворений, появление статьи Белинского о названном романе – способствовали упрочению славы молодого писателя. В «Отечественных записках» появился ряд новых стихотворений Лермонтова. В рукописи у автора находились такие замечательные лирические произведения, как «Пленный рыцарь», «Есть речи», «Завещание», «Валерик», «Прощай, немытая Россия».

11-го декабря военный министр А.И. Чернышев сообщил командиру отдельного кавказского корпуса о том, что поручику Тенгинского полка Лермонтову разрешен отпуск в Петербург сроком на два месяца. 14 января отпускной билет был выдан, и в начале февраля поэт приехал в Петербург.

Он надеялся получить отставку, всецело заняться творческой работой, мечтал об основании журнала.

В литературной и товарищеской среде он был встречен очень радушно, но в правящих кругах враждебное отношение к нему не изменилось. В конце февраля он писал одному из своих знакомых, служивших на Кавказе, Д.С. Бибикову: «Я скоро еду опять к вам и здесь остаться у меня нет никакой надежды, ибо я сделал вот какие беды: приехав сюда в Петербург на половине масленицы, я на другой же день отправился на бал к г-же Воронцовой, и это нашли неприличным и дерзким. Что делать? Кабы знал, где упасть, соломку бы подостлал; обществом зато я был принят очень хорошо… Из Валерикского представления меня здесь вычеркнули…». Письмо заканчивается уведомлением о том, что он везет для общего обихода множество различных книг. (V, 407–408).

«Неприличие» и «дерзость» поведения Лермонтова заключались в том, что он, едва прибыв в столицу и не явившись, по форме, к начальству, отправился в обычном армейском мундире с короткими фалдами в аристократический дом – к графине Воронцовой-Дашковой, на балу у которой находился великий князь Михаил Павлович. Присутствие опального офицера на балу, на котором были члены императорской фамилии, послужило новым поводом к его травле. Настойчивые просьбы влиятельных друзей несколько смягчили отношение военных властей и графа Бенкендорфа к Лермонтову; поэт даже надеялся, что он, наконец, получит отставку, но надежды его не оправдались, и в конце апреля он должен был выехать на Кавказ.[130] Спутником поэта был родственник его А.А. Столыпин (Монго).

9 мая они прибыли в Ставрополь; в тот же день поэт писал Арсеньевой:

«Милая бабушка.

Я сейчас приехал только в Ставрополь и пишу к Вам; ехал я с Алексеем Аркадьевичем, и ужасно долго ехал, дорога была прескверная, теперь не знаю сам еще, куда поеду; кажется, прежде отправлюсь в крепость Шуру, где полк, а оттуда постараюсь на воды… Я все надеюсь, милая бабушка, что мне все-таки выйдет прощенье, и я могу выйти в отставку» (V, 409).

По приказу командующего войсками Лермонтов был прикомандирован к отряду, действовавшему на левом фланге, для участия в экспедиции.

Приехав в Георгиевскую крепость, поэт изменил первоначальное решение ехать в Темир-Хан-Шуру. Случайный дорожный спутник его, ремонтер Борисоглебского уланского полка П.И. Магденко передает о своей встрече с поэтом следующие подробности. Лермонтов, узнав, что в Пятигорске находятся общие знакомые – Верзилины и другие – предложил Столыпину поехать туда, а не в отряд. «Вот послушай, – сказал он, – бросаю полтинник, если упадет кверху орлом – едем в отряд; если решеткой – едем в Пятигорск. Согласен?» Столыпин молча кивнул головой. Полтинник был брошен и упал решеткой вверх. Лермонтов вскочил и радостно закричал: «в Пятигорск, в Пятигорск! позвать людей, нам уже запрягли!» Под проливным дождем прибыли в Пятигорск и остановились на бульваре в гостинице Найтаки.[131]

Это было 23 мая. Лермонтов тотчас же подал рапорт о болезни и ходатайствовал разрешить ему пользоваться минеральными водами. Хлопоты по этому вопросу затянулись. Поэт, настойчиво добивавшийся осуществления своего желания, представил 15 июня медицинское свидетельство о болезни и 23 числа получил от местного коменданта Ильяшенко разрешение остаться в Пятигорске на излечение. После этого он снял со Столыпиным на окраине города небольшой домик, принадлежавший В.И. Чиляеву. Квартира эта была очень скромна, внешний вид домика незатейливый. Домик был деревянный; стены его снаружи были вымазаны глиной и выбелены; крыша покрыта тростником, с одной трубой. Поблизости поселились лица, сыгравшие большую роль в последние дни жизни поэта – Н.С. Мартынов, М.Н. Глебов и князь А.И. Васильчиков.

Лермонтов имел в Пятигорске много знакомых, с которыми встречался на прогулках, пикниках и вечерах. Часто приходилось ему бывать в доме генерала-лейтенанта Петра Семеновича Верзилина; его супруга Мария Ивановна была радушной хозяйкой; три же дочери – Аграфена Петровна, Эмилия Александровна (дочь Марии Ивановны от первого брака) и Надежда Петровна пользовались большим вниманием военной молодежи.

По словам Эмилии Александровны, вышедшей впоследствии за родственника и близкого друга Лермонтова А.П. Шан-Гирея, она познакомилась с поэтом в мае того года; он часто сердил ее своими шутками, и они то ссорились, то снова мирились. Впоследствии молва создала легенду, будто Лермонтов изобразил Эмилию Александровну в образе княжны Мери.

Поэт встречался в это время с Л.С. Пушкиным, юнкером Бенкендорфом, князем Сергеем Трубецким, полковником Зельмиц, офицером Лисаневичем, Р. Дороховым, полковником С.Д. Безобразовым, поэтом Дмитриевским и другими лицами. По воспоминаниям Лорера, Лермонтов был душою этого общества.[132]

Будучи в Пятигорске, поэт встречался с членами «кружка шестнадцати», отрицательно относившегося к политике правительства и придворным кругам. С этим обществом поэт сблизился еще в 1836 году.[133]

С Н.С. Мартыновым, которого поэт знал еще по юнкерской школе, у него были приятельские отношения, но тесной дружбы между ними не было, да и не могло быть. Человек пустой и самолюбивый, он принадлежал к разряду тех людей, которых Лермонтов заклеймил в «Княжне Мери» (Грушницкий и его окружение) и в очерке «Кавказец».

В течение долгих лет документы из семейного архива Мартыновых цитировались в лермонтовской литературе наряду с другими вполне достоверными источниками.[134] Лишь в недавнее время поднят вопрос о том, что достоверность документов, опубликованных с целью реабилитировать Н.С. Мартынова, сомнительна.[135] Это мнение разделяем и мы. Материалы, исходящие из круга лиц, близких к Н.С. Мартынову, не внушают доверия как по фактическим несообразностям, так и по своему тенденциозно-враждебному тону, направленному против поэта.

Молодежь, в среде которой часто встречали Лермонтова, проводила время в различных развлечениях, и многим казалось, что поэт ничем как будто бы и не выделяется в этом обществе. «Где было Мартынову задумываться над Лермонтовым, как великим поэтом, – справедливо говорит проф. Висковатов, – когда люди, как товарищ поэта Арнольди, еще в 1884 году говорили, что все они в то время писали стихи не хуже Лермонтова».[136]

Лишь лица чуткие, ценившие его, как замечательного поэта, с восхищением следили за каждым новым его произведением, тревожились за его судьбу, с глубокой искренностью выражали восхищение перед его необычайным дарованием, видели в нем лучшую надежду России.

В.Г. Белинский писал В.П. Боткину в марте 1841 г.: «Лермонтов еще в Питере. Если будет напечатана его «Родина», то аллах-керим, что за вещь: пушкинская, т. е. одна из лучших пушкинских».[137] Когда стихотворение «Родина» появилось в «Отечественных записках» (в апреле того же года), редакция в той же книжке журнала, оповещая о скором выходе в свет второго издания «Героя нашего времени», сообщала: «Кстати о самом Лермонтове: он теперь в Петербурге и привез с Кавказа несколько новых прелестных стихотворений, которые будут напечатаны в «Отечественных записках». Тревоги военной жизни не позволяли ему спокойно и вполне предаться искусству, которое назвало его одним из славнейших жрецов своих, но замышлено им много и все замышленное превосходно. Русской литературе готовятся от него драгоценные подарки».[138]

В.Ф. Одоевский подарил Лермонтову альбом, сделав следующую надпись: «Поэту Лермонтову дается сия моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне ее сам и всю исписанную».[139]

В этот альбом Лермонтов внес на Кавказе такие жемчужины из своей лирики, как, например, «Сон», «Утес», «Тамара», «Свиданье», «Дубовый листок», «Выхожу один я на дорогу», «Морская царевна», «Пророк» и другие.

Е.П. Ростопчина поднесла поэту сборник своих стихотворений со следующей надписью: «Михаилу Юрьевичу Лермонтову в знак удивления к его таланту и дружбы искренней к нему самому».

А.С. Хомяков писал Н.М. Языкову в мае 1841 г.: «А вот еще жалко: Лермонтов отправлен на Кавказ за дуэль. Боюсь не убили бы. Ведь пуля дура, а он с истинным талантом, и как поэт и как прозатор».[140]

Перед такими людьми и сам поэт открывал свои заветные думы, делясь новыми творческими замыслами и выражая опасения, вызванные гнетущим действием суровой действительности. Ю.Ф. Самарин, видевший Лермонтова накануне его отъезда из Москвы, сообщал в одном из писем: «Я никогда не забуду нашего последнего свидания, за полчаса до его отъезда... Он говорил мне о своей будущности, о своих литературных проектах, и среди всего этого он проронил о своей скорой кончине несколько слов, которые я принял за обычную шутку с его стороны»...[141]

Свой протест, свою ненависть к современному государственному строю поэт выразил в знаменитом стихотворении «Прощай, немытая Россия» (II, 88), написанном в 1840 или 1841 году. П.И. Магденко сообщает, что когда он ехал в одном экипаже с Лермонтовым и Столыпиным из Георгиевской крепости в Пятигорск, то поэт говорил почти без умолку. «Говорил Лермонтов и о вопросах, касавшихся общего положения дел в России. Об одном высокопоставленном лице я услыхал от него тогда в первый раз в жизни моей такое жесткое мнение, что оно и теперь еще кажется мне преувеличенным».[142] Возможно, что речь шла о Николае I.

«Немытая Россия», в лице Николая I, графа Бенкендорфа, мстила Лермонтову всеми имеющимися средствами. После высылки поэта из столицы последовал приказ командующему войсками на кавказской линии и в Черномории «дабы поручик Лермонтов непременно состоял налицо во фронте и чтобы начальство отнюдь не осмеливалось ни под каким предлогом удалять его от фронтовой службы в своем полку».[143]

Некоторые предписания высших властей, носившие секретный характер, не были известны самому поэту, но и то, что он знал, с чем сталкивался лицом к лицу в действительности, достаточно ясно показывало ему, что он находится под постоянным бдительным оком императора и III Отделения. Лермонтов давно восстановил против себя и знать, которую он смело и гневно заклеймил в стихотворении, посвященном гибели Пушкина. «Приятель» поэта, граф Соллогуб, в своих «Воспоминаниях» откровенно признался, что он изобразил светское значение его под именем Леонина в повести «Большой свет», написанной по заказу великой княгини Марии Николаевны. Повесть эта была опубликована при жизни Лермонтова в «Отечественных записках» за 1840 год.[144] Она является пошлым пасквилем на великого поэта и с наглядностью

показывает, как единодушно действовали совместно с царским двором аристократы, ненавидевшие Лермонтова. Белинскому и самому Лермонтову эта повесть была известна, но, очевидно, они не заметили скрытого в ней враждебного смысла.[145]

Такое же враждебное отношение встретил поэт и в пятигорском обществе. Проф. Висковатов, описывая последние дни Лермонтова, сообщает: «Некоторые из влиятельных личностей из приезжающего в Пятигорск общества, желая наказать несносного выскочку и задиру, ожидали случая, когда кто-нибудь, выведенный им из терпения, проучит ядовитую гадину». К этим строкам автор дает следующее пояснение: «Выражение, которым клеймили поэта многие. Некоторые из современников и даже лиц, бывших тогда на водах, говоря о нем, употребляли эти выражения в беседе со мною».[146] Против Лермонтова натравливали офицера Лисаневича, над которым подшучивал поэт. Лисаневичу, который был одним из поклонников Надежды Петровны Верзилиной, через некоторых услужливых лиц было сказано, что терпеть насмешки Михаила Юрьевича не согласуется с честью офицера. Лисаневич указывал на то, что Лермонтов расположен к нему дружественно и в случаях, когда увлекался и заходил в шутках слишком далеко, сам первый извинялся перед ним и старался исправить свою неловкость. К Лисаневичу приставали, уговаривали вызвать Лермонтова на дуэль – проучить. «Что вы, – возражал Лисаневич, – чтобы у меня поднялась рука на такого человека!».[147] Находясь в столице или в глухой провинции, Лермонтов неизменно являлся предметом систематического преследования, которое стало принимать все более обостренные формы. Несомненно, не случайна ссора поэта с Мартыновым, являющаяся последним звеном в цепи этих интриг.

Живя в Пятигорске, Лермонтов бывал в домах Верзилина, генеральши Е.И. Мерлини, Озерских и других лиц, посещал Железноводск и другие окрестные места. По словам Лорера, «Лермонтов был душою общества». В таком маленьком городке, каким тогда был Пятигорск, он стал самым заметным лицом, приковавшим к себе внимание всех. По воспоминаниям поручика Куликовского, всякий раз, как поэт появлялся в публике, ему предшествовал шепот: «Лермонтов идет», и все сторонились, все умолкало, все прислушивались к каждому его слову, к каждому звуку его речи.[148]

В местном обществе поэт часто встречался с Николаем Соломоновичем Мартыновым, отставным майором Гребенского казачьего полка. Лермонтов знал его еще по юнкерской школе, посещая дом его родителей. Одной из его сестер он посвятил юношеское стихотворение «Мартыновой» (1831 г., т. II, 252). Находясь в Пятигорске, Мартынов обращал на себя общее внимание своим костюмом и манерами; носил черкеску необычного покроя, громадный кинжал, позировал, драпируясь в байронизм. Костенецкий сообщает о нем следующее: «Я служил в Ставрополе при штабе... К нам на квартиру почти каждый день приходил меньшой Мартынов. Это был очень красивый молодой гвардейский офицер, блондин, со вздернутым немного носом и высокого роста. Он был всегда очень любезен, весел, порядочно пел под фортепьяно романсы и полон надежд на свою будущность: он все мечтал о чинах и орденах и думал не иначе, как дослужиться на Кавказе до генеральского чина. После он уехал в Гребенский казачий полк, куда он был прикомандирован, и в 1841 году я увидел его в Пятигорске, но в каком положении! Вместо генеральского чина он был уже в отставке майором, не имел никакого ордена и из веселого и светского изящного молодого человека сделался каким-то дикарем: отрастил огромные бакенбарды, в простом черкесском костюме, с огромным кинжалом, в нахлобученной белой папахе, вечно мрачный и молчаливый! Какая была причина такой скорой с ним перемены, осталось мне неизвестным».[149] Мартынов писал очень посредственные стихи, не печатавшиеся при его жизни.[150]

В воспоминаниях лиц, пытавшихся, после его смерти, всячески реабилитировать его, он изображается в самом привлекательном свете: «Видно было, что это человек с силой и энергическим, замечательно твердым характером. Образован он был весьма хорошо, манеры вполне изящные. Это был джентльмен в полном смысле слова».[151] По поводу этой характеристики, сделанной Пирожковым, И. Арсеньев говорит: «Уверение г. Пирожкова, что Мартынов был человеком с смелым, энергическим характером едва ли верно: Мартынов, наоборот, был довольно бесхарактерный и всегда находился под чьим-либо посторонним влиянием».[152] Недалекость и мелочность Мартынова отмечает Е. Быховец, в письме которой от 5 августа 1841 года находим такие строки: «Этот Мартынов глуп ужасно, все над ним смеялись; он ужасно самолюбив; карикатуры его (то есть на него) беспрестанно прибавлялись. Лермонтов имел дурную привычку острить. Мартынов всегда ходил в черкеске и с кинжалом; он назвал при дамах M-r le Poignard и Sauvag'ом. Он тут ему сказал, что при дамах этого не смеет говорить, тем и кончилось. Лермонтов совсем не хотел его обидеть, а так посмеяться хотел, бывши так хорош с ним».[153]

Людей, склонных к фатовству, Лермонтов беспощадно осмеивал в своих произведениях. Напомним следующие черты, характеризующие Грушницкого: «Говорит он скоро и вычурно: он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, которых просто прекрасное не трогает и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект – их наслаждение; они нравятся романтическим провинциалкам до безумия... В их душе часто много добрых свойств, но ни на грамм поэзии... Он довольно остер: эпиграммы его часто забавны, но никогда не бывают метки и злы. Его цель – сделаться героем романа» (V, 242).

Те же свойства он подмечал в Мартынове, остроумно и зло осмеивал их.

Одним из любимых развлечений пятигорской молодежи было участие в заполнении страниц альбома, в который заносились записи и рисунки различного рода. Альбом этот хранился у приятеля поэта – Глебова. В лермонтовских рисунках Мартынов играл главную роль. Поэт изображал в карикатурном виде въезд Мартынова в Пятигорск и восхищенных красотою всадника дам; рисовал его человеком огромного роста, с громадным кинжалом от пояса до земли, объясняющимся с миниатюрной Надеждой Петровной Верзилиной, на поясе которой был маленький кинжальчик. Подсмеивался Лермонтов и над тем, что Мартынов был плохим ездоком. Рисовал в комическом виде поэт и самого себя, и других своих знакомых, но больше всего доставалось Мартынову, тип которого он довел до такой простоты, что рисовал характерную кривую линию да длинный кинжал, и каждый тотчас узнавал, кого он изображает. Обыкновенно наброски рассматривались в товарищеском кругу; составители не щадили ни себя, ни друзей; сердиться на шутки было неудобно, но некоторые рисунки показывались не всем, и это очень раздражало Мартынова.[154] Это не проходило бесследно и способствовало вспышке ссоры между Лермонтовым и «Мартышкой», как называл его поэт.

Внутренне Лермонтов задыхался в этой среде и глубоко страдал от затаенной скорби и одиночества.

8 июля молодежь устроила пикник и бал в гроте Дианы. Грот был украшен шалями, персидскими коврами, люстрами. Снаружи грота, на огромных деревьях аллей, прилегающих к площадке, на которой собрались танцевать, развесили более 2500 разноцветных фонарей. Над гротом поместили военный оркестр. Приглашенные собирались по билетам. Гостей угощали конфетками, фруктами, мороженым. Присутствовал и Лермонтов. Он казался очень веселым, много танцевал и шутил… Бал продолжался до утра. Декабрист Лорер, бывший на этом балу, говорит в своих воспоминаниях: «Кто думал тогда, кто мог предвидеть, что через неделю после такого веселого вечера настанет для многих или, лучше сказать, для всех нас, участников, горесть и сожаление!».[155]

Однако веселость Лермонтова была напускной. П.А. Гвоздев, поэт, разжалованный из юнкеров в солдаты и высланный на Кавказ за одно из своих сатирических стихотворений, давно лично знавший Лермонтова, рассказывал впоследствии, что поздно вечером 8 июля (т. е. тогда, когда справлялся пикник в гроте Дианы) он встретил поэта на пятигорском бульваре. Ночь была тихая и теплая. «Лермонтов был в странном расположении духа: то грустен, то вдруг становился он желчным и с сарказмом отзывался о жизни и обо всем его окружавшем. Между прочим, в разговоре он сказал: «Чувствую, мне очень мало осталось жить». Через неделю после того он дрался на дуэли, близ пятигорского кладбища, у подножия горы Машук».[156]

13 июля в доме Верзилиных вечером собралось большое общество. В числе гостей были Лермонтов, Мартынов, Глебов, Васильчиков, Л. Пушкин, Трубецкой, полковник Зельмиц с дочерьми и другие лица. Э.А. Шан-Гирей в своих воспоминаниях сообщает следующее: «Я не говорила и не танцевала с Лермонтовым, потому что и в этот вечер он продолжал свои поддразнивания. Тогда, переменив тон насмешки, он сказал мне: «M-lle Emili, je vous en prie, un tonr de valse seulement, pour la dernire'e fois de ma vie» – «Ну, уж так и быть, в последний раз, пойдемте». М.Ю. дал слово не сердить меня больше, и мы, провальсировав, уселись мирно разговаривать. К нам присоединился Л.С. Пушкин, который также отличался злоязычием, и принялись они вдвоем острить свой язык a qui miex miex. Несмотря на мои предостережения, удержать их было трудно. Ничего злого особенно не говорили, но смешного много; но вот увидели Мартынова, разговаривающего особенно любезно с младшей сестрой моей Надеждой, стоя у рояля, на котором играл князь Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и начал острить на его счет, называя его montagnard au grand poignard.

Надо же было так случиться, что, когда Трубецкой ударил последний аккорд, слово poignard раздалось по всей зале. Мартынов побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом; он подошел к нам и голосом весьма сдержанным сказал Лермонтову: «Сколько раз просил я вас оставить свои шутки при дамах», и так быстро отвернулся и отошел прочь, что не дал и опомниться Лермонтову, а на мое замечание «язык мой – враг мой» М.Ю. отвечал спокойно: Ce n'est rien, demain nous serons bons amis. Танцы продолжались, и я думала, что тем кончилась вся ссора. На другой день Лермонтов и Столыпин должны были ехать в Железноводск. После уже рассказывали мне, что, когда выходили от нас, то в передней же Мартынов повторил свою фразу, на что Лермонтов спросил: «Что же, на дуэль что ли вызовешь меня за это?» Мартынов ответил решительно «да», и тут же назначили день. Все старания товарищей к их примирению оказались напрасными».[157]

Нет сомненья в том, что лица, более или менее близко стоявшие к Лермонтову, не проявили ни чуткости, ни решительности в этом трагическом эпизоде. Дуэль не была предотвращена. На следующий день, действительно, поэт, лечившийся в Железноводске, совершил туда поездку, где встретился с Е. Быховец, которая потом вспоминала, что при всех Лермонтов был весел, а оставшись с нею вдвоем, «ужасно грустил».[158] Отправляясь в Железноводск, поэт посетил Лорера.

«В одно утро, – рассказывает Лорер, – я собирался идти к минеральному источнику, как к окну моему подъехал какой-то всадник и постучал в окно нагайкой. Обернувшись, я узнал Лермонтова и просил его слезть и войти, что он и сделал. Мы поговорили с ним несколько минут, и потом расстались, а я и не предчувствовал, что вижу его в последний раз… Дуэль его с Мартыновым уже была решена, и 15 июля он был убит».[159]

В тот же день, в 7 часов вечера, в окрестностях Пятигорска, у подошвы Машука состоялась дуэль. Секундантами были: у Лермонтова – А.И Васильчиков, у Мартынова – М.Н. Глебов. Присутствовали также Тру-

бецкой, Столыпин, Дорохов. Старожилы рассказывают, что 15 июля под вечер Дорохов много раз выезжал верхом на коне и что знавших этого человека его суетня поразила: «Что-нибудь да замышляется недоброе, если Дорохов так суетится!».[160]

«Нет никакого сомнения, – говорит проф. Висковатов, – что г. Мартынова подстрекали со стороны лица, давно желавшие вызвать столкновение между поэтом и кем-либо из не в меру щекотливых или малоразвитых личностей. Полагали, что «обуздание» тем или другим способом «неудобного» юноши-писателя будет принято не без тайного удовольствия некоторыми влиятельными сферами в Петербурге. Мы находим много общего между интригами, доведшими до гроба Пушкина и до кровавой кончины Лермонтова».[161]

Обстоятельства, при которых произошла дуэль, донельзя запутаны сбивчивыми, противоречивыми показаниями ее участников и лиц, близко стоявших к ним. Старались скрыть имена людей, замешанных в дуэли, ограничившись именами Мартынова, Васильчикова и Глебова, так как причастность к поединку должна была караться законом. Кроме того, Трубецкой хотел умолчать потому, что он приезжал из экспедиции на воды без разрешения.[162] Меньше всего заботы было проявлено к самому Лермонтову. Врача не было. Расстояние, разделявшее противников, было крайне мало – 10 шагов; таким образом, стрелять надо было почти в упор.[163]

Отмерив от барьера по 10 шагов, секунданты развели Лермонтова и Мартынова в разные стороны, условившись сходиться каждому на 10 шагов по команде «марш». А.И. Васильчиков рассказывает:

«Зарядили пистолеты. Глебов подал один Мартынову, а другой Лермонтову и скомандовали: «сходись». Лермонтов остался неподвижен и, взводя курок, поднял пистолет дулом вверх, заслонясь рукой и локтем по всем правилам опытного дуэлиста. В эту минуту, и в последний раз, я взглянул на него и никогда не забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло на лице поэта под дулом пистолета, уже направленного на него. Мартынов быстрыми шагами подошел к барьеру и выстрелил. Лермонтов упал, как будто его скосило на месте, не сделав движения ни взад, ни вперед, не успев даже захватить больное место, как это обыкновенно делают люди раненые или ушибленные. Мы подбежали. В правом боку дымилась рана, в левом – сочилась кровь, пуля пробила сердце и легкие. Хотя признаки жизни уже видимо исчезли, но мы решили позвать доктора».[164]

Разразилась гроза. По словам того же Васильчикова, он, Столыпин и Глебов остались у тела поэта, а Мартынов уехал к коменданту объявить о дуэли. Э.А. Шан-Гирей, напротив, сообщает, что при Лермонтове остался только Глебов, о чем он сам рассказывал ей. «Голова убитого поэта покоилась у него на коленях; темно, кони, привязанные, ржут, рвутся, бьют копытами о землю, молния и гром беспрерывно; необъяснимо страшно стало! И Глебов хотел осторожно спустить голову на шинель, но при этом движении Лермонтов судорожно зевнул. Глебов остался недвижим и так пробыл, пока приехали дрожки, на которых и привезли бедного Лермонтова на его квартиру».[165]

Известие о смерти Лермонтова тотчас облетело городок. Близкие, знакомые и любопытные на следующий день толпились в небольшой комнате. Поэта положили на стол, в чистой рубашке, головой к окну. Дамы приносили цветы. Художник Шведе снимал с убитого портрет масляными красками.

Декабрист Лорер сообщает крайне интересную подробность: «Я заметил, что прежде в Пятигорске не было ни одного жандармского офицера, но тут, бог знает, откуда их появилось множество, и на каждой лавочке отдыхало кажется по одному голубому мундиру. Они, как черные враны, почувствовали мертвое тело и нахлынули в мирный приют исцеления, чтобы узнать, отчего, почему, зачем, и потом доносить по команде, правдиво или ложно».[166]

В тот же день произвели вскрытие тела Лермонтова. Оно было произведено тем же врачом Барклаем де Толли, который за месяц назад выдал поэту медицинское удостоверение о необходимости лечиться на водах. В протоколе вскрытия указано, что Лермонтов от раны «мгновенно на месте поединка помер».[167]

Местное духовенство, очень враждебно относившееся к поэту, не желало участвовать в похоронах. Когда после колебаний протоиерей Александровский согласился, получив санкцию от следственной комиссии, хоронить Лермонтова, другой священник, Эрастов, унес с собою ключ от церкви, и собравшиеся на похороны должны были ожидать около двух часов. Погребение состоялось 17 июля. В Пятигорске, как указывает Лорер, нашлись представители всех полков, в которых служил Лермонтов: «Полковник Безобразов был представителем от Нижегородского драгунского полка, я – от Тенгинского пехотного, Тиран – от лейб-гусарского и А. Арнольди – от Гродненского гусарского. На плечах наших вынесли мы гроб из дому и донесли до уединенной могилы кладбища на покатости Машука. По закону священник отказывался было сопровождать останки поэта, но деньги сделали свое, и похороны совершены были со всеми обрядами христианина и воина. Печально опустили мы гроб в могилу, бросили со слезами на глазах горсть земли, и все было кончено».[168]

Люди, искренне расположенные к Лермонтову, были возмущены поведением Мартынова. Плац-майор Унтилов еще накануне похорон несколько раз выходил из квартиры Лермонтова к собравшимся на дворе и на улице, успокаивал и говорил, что «это не убийство», а честный поединок. «Были горячие головы, которые выражали желание мстить за убийство и вызвать Мартынова. Возбуждение вызвало затем и усиленную высылку молодежи из Пятигорска, по распоряжению начальника штаба Траскина».[169]

Началось следствие, носившее чисто формальный характер. Участники дуэли сговорились назвать причастными к ней только двух секундантов и Мартынова, которые и были арестованы. Им разрешалось сноситься друг с другом, сговариваться по каждому пункту опроса властей. Защитники Мартынова распространяли известие о том, что он не умел стрелять из пистолета и поэтому выстрел его объясняли простой случайностью. Это наивное и явно ложное мнение поддерживалось в печати после смерти самого Мартынова. По существу оно является нелепым, т. к. невозможно допустить, чтобы кадровый офицер, служивший в действующей армии, принимавший участие в боях, не умел обращаться с огнестрельным оружием! Висковатов сообщает, что ему известно участие Мартынова еще в одной дуэли в Вильне, где он тоже стрелял, как на дуэли с Лермонтовым: «Быстро подойдя к барьеру, он, прицелясь, повернул пистолет и выстрелил, что назвал «стрелять по-французски», и тоже попал в своего противника».

Лица, не любившие поэта, враждебно относившиеся к нему, были удовлетворены исходом дуэли. Священник Эрастов, много лет спустя, с открытой ненавистью отзывался о Лермонтове: «Вы думаете, все тогда плакали? Никто не плакал. Все радовались ... От насмешек его избавились. Он над каждым смеялся. Приятно, думаете, насмешки его переносить? На всех карикатуры выдумывал. Язвительный был».[170]

Один сановник говорил Висковатому: «В сущности он был препустой малый, плохой офицер и поэт неважный. В то время мы все писали такие стихи. Я жил с Лермонтовым в одной квартире, я видел не раз, как он писал. Сидит, сидит, изгрызет множество карандашей или перьев и напишет несколько строк. Ну, разве это поэт...».[171]

Многие современники сводили все к одной причине: виною будто бы был несносный характер Лермонтова.[172] Память поэта преследовалась цензурой; в печати сообщались глухие, краткие сведения о его кончине.

Наиболее откровенно и резко враждебное отношение к великому поэту было высказано Николаем I. Были попытки приписать императору сочувственный отзыв о нем, но есть целый ряд свидетельств о том, что в интимном семейном кругу царь, получив известие о смерти Лермонтова, сказал: «Собаке – собачья смерть»![173] Таков был приговор деспота, жертвой которого ранее были Рылеев, Пушкин, а после гибели Лермонтова – Шевченко и другие замечательные люди, боровшиеся с гнетом крепостничества, произволом «голубых мундиров».

Передовое же общество с величайшей скорбью встретило весть о трагической ранней смерти поэта, явившегося достойным продолжателем Пушкина.

Белинский с негодованием и горечью писал под свежим впечатлением этой вести поэту Н.Х. Кетчеру: «Лермонтов убит наповал – на дуэли. Оно и хорошо: был человек беспокойный, и писал хоть хорошо, но безнравственно, – что ясно доказано Шевыревым и Бурачком... Литература наша процветает, ибо явно начинает уклоняться от гибельного влияния лукавого запада – делается до того православною, что пахнет мощами и отзывается пономарским звоном, до того самодержавною, что состоит из одних доносов, до того народною, что не выражается иначе, как по-матерну.[174] В последней фразе «неистовый Виссарион» осмеивает систему царизма с ее лозунгами – «православие, самодержавие, народность».

В переписке, мемуарах и записках современников Лермонтова можно найти очень много отзывов, в которых отмечалась незаменимая утрата, понесенная нашей литературой. Ю.Ф. Самарин тогда же сообщил И.С. Гагарину: «Я Вам пишу, дорогой друг, под горьким впечатлением известия, которое я только что получил. Лермонтов убит на дуэли, на Кавказе, Мартыновым. Подробности тяжелы. Он выстрелил в воздух, а его противник убил его почти в упор. Эта смерть вслед за гибелью Пушкина, Грибоедова и многих других, наводит на самые грустные размышления... Что до меня лично, я чувствую большую пустоту. Я мало знал Лермонтова, но он, по-видимому, чувствовал дружеское расположение ко мне. Он был одним из тех людей, которых мне доставляла радость встречать, обегая глазами общество, меня окружающее».[175]

А.В. Кольцов сообщал в письме Белинскому: «Лермонтова убили до смерти, это старая новость; но меня она так сильно поразила, что до сей поры не выходит из думы.

И жаль, и досадно: только что покажется, хорошо не успеешь полюбить, – как его и нет. Много мы в нем потеряли, незаменимая потеря»![176] Глубоко прочувствованное стихотворение «На смерть Лермонтова» написал Огарев.[177] Я.П. Полонский в воспоминаниях о своих студенческих годах говорит: «Я был и поражен, и огорчен этой великой потерей, не для меня только, но и для всей России».[178] Аналогичные мысли высказывались и рядовыми лицами, понимавшими значение Лермонтова. Н.Ф. Туровский, лично знавший поэта и находившийся в то время в Пятигорске, занес в свой путевой дневник следующие строки (запись от 18 июля): «Какой ничтожный случай отнял у друзей веселого друга, у нас – лучшего поэта... Лермонтова уже нет, и новый, глубокий траур накинут на литературу русскую, если не европейскую».[179]

В январе 1842 года последовало высочайшее постановление по делу о дуэли Лермонтова: Васильчиков и Глебов получили прощение (первый во внимание к заслугам отца, а второй по уважению полученной на войне тяжелой раны), Мартынова присудили к церковному покаянию в Киеве.

В апреле того же года, по ходатайству Е.А. Арсеньевой перед высшей властью, тело ее внука было перевезено в село Тарханы и похоронено в фамильной усыпальнице, рядом с прахом его матери.

VI. Кавказские мотивы в произведениях М.Ю.Лермонтова 1840 и 1841 гг.

Белинский, давая общую характеристику поэзии Лермонтова, говорит следующее: «Свежесть благоухания, художественная роскошь форм, поэтическая прелесть и благородная простота образов, энергия, могучесть языка, алмазная крепость и металлическая звучность стиха, полнота чувства, глубокость и разнообразие идей, необъятность содержания – суть родовые характеристические приметы поэта Лермонтова и залог ее будущего великого развития». По его определению, поэзия Лермонтова – «совсем новое звено в цепи исторического развития нашего общества».[180]

Высокая оценка, данная великим критиком художественным произведениям Лермонтова последних лет, полностью применима и к кавказским его мотивам 1840–1841 годов. В эту пору им посвящено Кавказу значительное количество стихотворений, две поэмы – «Мцыри» и «Демон» и очерк «Кавказец». По глубине вложенных в них мыслей и блеску художественного мастерства почти все эти произведения принадлежат к жемчужинам мировой литературы.

Нельзя не удивляться мощи, неиссякаемости лермонтовского творчества. В очень краткий срок (полтора года!), в самых неблагоприятных условиях, – в промежутке между двумя ссылками, нередко в боевой или дорожной обстановке, – он создал большое количество произведений с разнообразнейшей тематикой, используя различные литературные жанры.

Некоторые стихотворения тесно связаны с личной жизнью поэта. К их числу относится знаменитое стихотворение «Прощай, немытая Россия» (II, 88), долго не входившее в собрание его сочинений, принадлежащее к числу самых замечательных образцов обличительной лирики. «В восьми строчках стихотворения, – говорит Д. Максимов, – вскрывается азиатская сущность социально-экономического строя крепостнической России («страна рабов, страна господ»), и ее некультурность («немытая Россия»), и вынужденная покорность народа («послушный им народ»), и инквизиторский произвол самодержавно-полицейской власти (последние три строки)».[181]

Под непосредственным впечатлением боевой обстановки написано стихотворение «Я к вам пишу» (II, 89), обычно называемое «Валерик». Написанное в форме «безыскусственного рассказа», как говорит сам автор, оно содержит описание известного сражения на реке Валерике, а также личные настроения, вызванные походной обстановкой, полной опасностей и тревог и затаенных дум, обращенных к любимой женщине – В.А. Лопухиной. Лирические приемы искусно переплетаются здесь с эпическими. По силе реализма, удивительной простоте и задушевности изложения, мастерству языка – это произведение превосходит все, что было написано ранее на темы о войне.

Будучи офицером, участвуя в описываемом бою, Лермонтов совершенно чужд националистических тенденций. Он с сочувствием говорит о горцах, упоминает, что от них «доставалося и нам». Его повествование ведется то в предельно лаконической форме (подготовка отряда к бою, удалая сшибка одиночных наездников – мюрида и гребенца, беседа с чеченцем Галубом), то дает развернутую картину рукопашного боя или смерти капитана. Язык отличается необыкновенной гибкостью; автор с одинаковым искусством владеет манерой речи, соответствующей стилю интимной любовной лирики (начало и конец стихотворения), пользуется народной речью («Савельич! Ой-ли. – Дай огниво». – «Эй вы, станичники, за ним!» – «Спасите, братцы. – Тащат в горы»). Здесь мы находим и классические афоризмы: «Вряд ли есть родство души», «В наш век все чувства, лишь на срок», «Жалкий человек. Чего он хочет!» и т. д. «Описание боя, – отмечает проф. Б.М. Эйхенбаум, – заключается у Лермонтова общим вопросом о смысле войны, свидетельствующим о его пацифистских настроениях. Пацифизм в условиях николаевской эпохи был явлением несомненно прогрессивным и выделял Лермонтова из той среды, к которой он принадлежал» (Л., II, 230).

Автобиографические мотивы заметны в стихотворениях «Свиданье» (II, 136–138) и «Дубовый листок» (II, 139–140). Первое из них, содержащее в себе замечательно колоритное описание своеобразной жизни Тбилиси и его природы, в некоторой степени связано с одним из прозаических набросков, начинающимся словами «Я в Тифлисе» (1837 г.), и с «Таманью».[182] «Дубовый листок» в иносказательной форме передает грустные размышления поэта-скитальца, поэта-изгнанника. Образ оторванного листка, являющегося игрушкой прихоти бури, унесшей его на чужбину, часто встречается в поэзии Лермонтова; ср.: «Так бури ток сухой листок мчит жертвой посреди степей» (I, 17), «Грозой оторванный листок» («Мцыри», III, 434) и многие другие его сочинения.

К 1841 г. относят цикл стихотворений, приписываемых Лермонтову и большей частью опубликованных П.К. Мартьяновым в его книге «Дела и люди века», СПБ., 1893 г., т. II. По нашему мнению, принадлежность их великому поэту очень сомнительна, и поэтому мы на них не останавливаемся. Почти все они приурочены, по преданиям, к последнему пребыванию поэта на группе Минеральных Вод. По сравнению с другими стихотворениями этого цикла (Л., II, 151–155), с большей вероятностью можно приписать Лермонтову известный экспромт, посвященный одной из сестер Верзилиных, – «Надежда Петровна».

В лирике 1840–1841 гг. имеются и фольклорные мотивы, к которым поэт всегда обнаруживал большое тяготение.

К 1840 г. относят написание Лермонтовым знаменитой «Казачьей колыбельной песни». Колыбельные песни – в образцах народной поэзии и в литературной обработке – интересовали поэта еще в самые юные годы; напомним такие его стихотворения, как «Баллада» («В избушке позднею порою», 1830 г. – I, 167), «Песня» («Что в поле за пыль пылит?», 1830 г. – запись народного мотива, I, 469–470); о колыбельной песне Лермонтов говорит в наброске сюжета о «Мстиславе Черном» (1831 г. – V, 354, 356), в «Вадиме» (1832 г. – V, 27).

Внимание поэта, как указывалось в печати, могли привлекать и литературные источники – Гоголь (образ матери-казачки) и Вальтер Скотт («Песня над колыбелью ребенка вождя»).[183] Однако у нас больше данных за то, что Лермонтов вдохновился мотивами гребенских песен, слышанных им на Тереке.

По рассказам самих казаков-старожилов, «Казачья колыбельная песня» была написана Лермонтовым в 1840 г., в походной обстановке, в станице Червленной. В сообщаемых ими сведениях есть частные неточности, но в основе этих данных, по нашему мнению, лежит подлинный эпизод, хотя и происшедший в другое время. Суммируем изустные сведения о написании «Песни».

Осенью 1840 г., после Валерикского боя, житель станицы Червленной Лука (Лукьян) Артемьевич Борискин, будучи рядовым казаком, находился в станичном правлении. Вечером к правлению подъехала почтовая перекладная телега, в которой сидел молодой пехотный офицер. Он подал подорожную и просил отвести ему квартиру. Борискин доставил его в хату казака Ефремова. Дома никого не было, кроме ребенка, спящего в колыбели (по другим вариантам поэт застал у колыбели хозяйку или ее сестру). Пока переносили вещи Лермонтова, тот набросал на клочке бумаги карандашом стихотворение, которое и прочел вслух Борискину. Передают, что девушка, качавшая ребенка, была Дунька Догадиха, известная красавица; баюкая сына сестры, она пела песни, интригуя гостя. Это, может быть, было единственным светлым пятном в безумной и бурной жизни Догадихи. Князь Гагарин, будучи хорунжим Гребенского полка, в 1846 г. был в станице Червленной и видел Дуньку, которой в то время было за 30 лет. Он говорит: «Я никогда не предполагал, что могу встретить между простыми казачками типы такой изящной красоты». Сестра ее, Степка, была возлюбленной гвардейца Вербицкого, друга Лермонтова.[184]

Эти изустные сведения, дошедшие до нас от разных лиц, заслуживают, по нашему мнению, серьезного внимания. П. Кулебякин слышал рассказ самого Борискина. Однако необходимо внести некоторые поправки фактического характера. Сопоставляя приведенные данные со временем появления в печати «Казачьей колыбельной песни» и пребывания поэта на Кавказе в 1840 г., мы убеждаемся в том, что после Валерикского сражения Лермонтов не мог написать это стихотворение, так как оно было опубликовано в «Отечественных записках» (1840 г., №2) в феврале; между тем битва на Валерике произошла 11 июля того же года, Лермонтов мог посетить станицу Червленную осенью того года, но его «Песня» появилась в печати еще ранее второй ссылки автора на Кавказ.

Придавая значение рассказам гребенских казаков о написании этого стихотворения, отличающимся, в основном, правдивостью и не противоречащим в других отношениях биографическим сведениям о Лермонтове, мы высказываем предположения о том, что изложенный эпизод относится к более ранней поре, а именно к 1837 году, когда поэт, по его же словам, находился «в беспрерывном странствовании, то на перекладной, то верхом; изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани»... (V, 393). Без сомнения, именно тогда Лермонтов заинтересовался фольклором гребенцов, о чем свидетельствует написанное после той же поездки стихотворение «Дары Терека» (1839 г.).

К сожалению, автографы обоих стихотворений не найдены, а это осложняет изучение вопроса о датировке «Песни».

Можно предположить, учитывая приведенные сведения, следующее. Считаясь с воспоминаниями казаков-червленцев, но внося в эти воспоминания фактическую поправку, полагаем, что поэт посетил упомянутую станицу осенью 1837 г., куда он прибыл, как говорят очевидцы, «на перекладной», по пути в Кизляр или на обратном пути из него. Там и была написана «Казачья колыбельная песня». В 1839 г. поэт работает над гребенскими мотивами, о чем свидетельствует стихотворение «Дары Терека», датированное автором этим годом и тогда же помещенное в №12 «Отечественных записок»; цензурная пометка – 14 декабря. Два месяца спустя появилась в печати «Казачья колыбельная песня», в №2 того же журнала (цензурная пометка – 14 февраля). Первая редакция ее, написанная в походной обстановке, могла теперь подвергнуться последней обработке; вероятно, это было выполнено автором почти одновременно с «Дарами Терека»; оба стихотворения связаны с воспоминанием о поездке к гребенцам, обвеяны духом их поэзии. Работал Лермонтов над обоими стихотворениями почти одновременно; об этом свидетельствует и малый срок, отделяющий появление одного от другого в печати: 14 декабря – 14 февраля. В 1840 г. поэт включил их в свой сборник («Стихотворения», цензурная пометка – 13 августа), поставив их почти рядом (между ними два стихотворения: «Памяти Одоевского» и «Первое января»).

Существует мнение, что «Казачья колыбельная песня» написана при других обстоятельствах; проф. Висковатов сообщает: «Графиня Берольдинген, дочь г-жи Гюгель, в письме ко мне от 15 июня 1884 года говорит, что Лермонтов написал это стихотворение на столе при получении известия о рождении сына

у ее матери (Гюгель)». Товарищ Лермонтова А.Л. Потапов передавал тому же Висковатову, что поэт гостил у него в имении «Семидубровном» (Воронежской губернии) в 1840 г. и там переложил на музыку эту «Песню».[185] Версия Берольдинген не подтверждается никакими конкретными пояснениями и не может быть, по нашему мнению, предпочтена первой, связывающей «Песню» с кавказской обстановкой.

По своему содержанию и стилю это стихотворение очень близко к гребенским песням. Приводим для примера одну из них:

Как у нас то было на тихом Дону,
Что у нас то было в зеленом саду,
Что под грушею было, грушею зеленою,
Под яблонью было, яблонью кудрявою,
На цветочках было на лазоревых,
На травушке было на шелковенькой,
На кроватушке было на тесовенькой,
На перинушке было на пуховенькой –
Что мать сына воспородила,
Что белою грудью мать сына вскормила,
Пеленала мать сына в пеленочку камчату,
Что качала мать сына в зыбочке кипарисовой.
Берегла то мать сына от ветра от вихоря,
Берегла то мать сына от солнышка от красного,
Берегла мать сына от сильных дождиков,
Не уберегла мать сына от службицы государевой.

Основной мотив и гребенской, и лермонтовской песни один и тот же; в обеих изображен трогательный образ казачки-матери, которая, нежно баюкая дитя, переживает глубокие затаенные муки, зная, что в будущем сын ее обречен на тяжелую, опасную военную службу. В нашей книге «Лермонтов и Л. Толстой» мы указываем на сходство названного стихотворения и с другими казачьими песнями (стр. 423–424), что свидетельствует о глубокой народности поэта.

Эту сторону поэзии Лермонтова отмечает Белинский. В письме к Боткину (16 апреля 1840 г.) он, упоминая о Лермонтове, спрашивает: «Что ты, Боткин, не скажешь мне ничего о его «Колыбельной песне»? Ведь чудо!»[186]. Восторженный отзыв о ней он дает в статье о стихотворениях Лермонтова; после анализа «Русалки», «Трех пальм» и «Даров Терека», которые, по его мнению, приравнивают их автора к таким поэтам, как Байрон, Гете и Пушкин, великий критик говорит:

«Не менее превосходна «Казачья колыбельная песня». Ее идея – мать; но поэт умел дать индивидуальное значение этой общей идее: его мать – казачка, и потому содержание ее колыбельной песни выражает собою особенности и оттенки казачьего быта. Это стихотворение есть художественная апофеоза матери: все, что есть святого, беззаветного в любви матери, весь трепет, вся нега, вся страсть, вся бесконечность кроткой нежности, безграничность бескорыстной преданности, какой дышит любовь матери, – все это воспроизведено поэтом во всей полноте. Где, откуда взял поэт эти простодушные слова, эту умилительную нежность тона, эти кроткие и задушевные звуки, эту женственность и прелесть выражения? Он видел Кавказ, – и нам понятна верность его картин Кавказа. Он не видал Аравии, и ничего, что могло бы дать ему понятие об этой стране палящего солнца, песчаных степей, зеленых пальм и прохладных источников, но он читал их описания: как же он так глубоко мог проникнуть в тайны женского и материнского чувства?».[187]

В письме к Белинскому от 28 апреля 1840 г. Кольцов говорил: «Казачья колыбельная песня» необычайно хороша.[188]

К циклу стихотворений Лермонтова, связанных с казачьим фольклором, относится в известной степени «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана», II, 127), написанный в 1841 году.

По свидетельству Г.К. Градовского, сюжет этого стихотворения был сообщен поэту офицером Шульцем, служившим на Кавказе и лично знавшим Лермонтова. Находясь в действующей армии, Шульц был в 1839 году ранен и среди убитых и раненых лежал весь день; потом его подобрали. Лермонтов заинтересовался, что тот переживал на поле битвы? Шульц сказал, что он чувствовал беспомощность, жажду под полуденными лучами солнца и в полузабытьи вспоминал о любимой девушке, родители которой не дали согласия на их брак. Через несколько дней поэт встретил Шульца и, поблагодарив его за сюжет, прочел ему стихотворение «Сон».[189] О своей встрече с Лермонтовым Шульц много лет спустя, уже будучи генералом, передавал и Бежецкому, которому он сообщил по памяти первоначальный вариант стихотворения, начинающегося следующими строками:

В долине Кавказа, где скалы
Толпою теснятся кругом,
Лежал он с зияющей раной,
На смерть пораженный врагом.[190]

В этом варианте – 40 строк. Оно является, как мы полагаем, одним из тех подражаний Лермонтову, которых немало имеется в литературе, но приписывается ему без основания.

Проф. Эйхенбаум отмечает своеобразное сюжетное построение «Сна»: «Замыкаясь, оно приводит к началу, образуя круг. Его можно назвать «зеркальным»: сон героя и героини – это как бы два зеркала, взаимно отражающие действительные судьбы каждого из них и возвращающие друг другу свои отражения» (Л., II, 252).

Не отрицая того, что сюжет «Сна» мог возникнуть под влиянием рассказа Шульца, мы допускаем и воздействие на поэта мотивов гребенских песен. В книге «Лермонтов и Л. Толстой» мы приводим в параллель следующие строки из одной песни:

...Ох, не отстать-то тоске-кручинушке
От сердечушка моего.
Как сегодняшнюю темную ноченьку
Мне мало спалось, –
Мне мало спалось, на белой заре много
Во сне виделось,
Во сне виделось: ох, будто б я, удал-добрый молодец,
Убитой на дикой степе лежу...
Ретивое мое сердечушко простреленное...[191]

И по настроению (чувство тоски), и по ряду образов (сон, «добрый молодец», лежащий одиноко в степи с простреленным сердцем) эта песня близка к мотиву Лермонтова.

На стихотворении Лермонтова «Сон» останавливается в своей диссертации об искусстве Н.Г. Чернышевский, давая этому произведению высокую оценку:

«Прекрасное есть проявление идеи, в одном отдельном предмете: потому случайности – необходимое свойство прекрасного. Так, идея «предсмертные грезы любящего – мысли о том, что его милая теперь инстинктивно чувствует свою потерю, что тяжело и ей теперь», должна принять, переходя в область прекрасного, например, такую форму: «В полдневный зной, в долине Дагестана»... (далее цитируется все стихотворение). Здесь все, с начала до конца, облечено формою случайности: и положение обоих лиц, и время, и место, и все подробности. Прекрасное всегда является в подобном виде».[192]

Интерес Лермонтова к кавказскому фольклору выразился в использовании им местных преданий, приуроченных к находящемуся в Дарьяльском ущелье замку «царицы Тамары». Развалины этого замка, расположенные на живописном, крутом утесе, величественная красота гор и быстро мчащихся буйных вод Терека издавна привлекали внимание путешественников и писателей. В кавказоведческой литературе упоминания об этом историческом памятнике очень часты. О нем говорит Пушкин в «Путешествии в Арзрум» и многие другие лица, посещавшие Дарьяльское ущелье ранее Лермонтова, который был там в 1837 году. Проезжая по Военно-Грузинской дороге, он мог слышать народные легенды, связанные с Дарьяльским замком; ему были доступны и книжные источники, напр., Гамба, автор описания путешествия по южной России, вышедшего в свет в 1826 году; имя этого французского ученого поэт упоминает в «Герое нашего времени» (V, 207).

Стихотворение «Тамара» (II, 134) принадлежит, наряду с «Русалкой» и «Морской царевной», к числу лучших баллад Лермонтова. В развитии ее глубоко драматической фабулы, в обрисовке демонического облика легендарной царицы, в описании замка и грозного ущелья поэт достигает поразительного мастерства.

В печати неоднократно указывалось, что это стихотворение не имеет отношения к грузинской царице Тамаре, воспетой Шота Руставели. В основу баллады Лермонтовым взяты кавказские сказания о княжне Дарье, будто бы приходившейся сестрой царице Тамаре и отличавшейся редкой красотой и в то же время необузданной жестокостью. Царица заточила ее в уединенный замок, куда Дарья завлекала и потом губила путников.

Литература по данному вопросу указана в комментариях к этому стихотворению проф. Эйхенбаумом (Л., II, 256–258). Замена имени легендарной Дарьи именем популярной царицы Тамары произведена не Лермонтовым, а народной традицией, связывающей с Тамарой многочисленные памятники старины. Поэту могли быть известны и литературные источники (см. те же комментарии).

К тому же 1841 году относится прекрасное лирическое стихотворение «Не плачь, не плачь, мое дитя», навеянное воспоминанием о Грузии, посещенной поэтом в 1837 году, и тематически несколько связанное с «Демоном», над последним вариантом которого автор тогда много работал (Л., II, 131, 253).

Тогда же были написаны незаконченные стихотворения – «Лилейной рукой поправляя» (II, 128) и «На бурке под тенью чинары» (II, 129).

Глубоко обобщающий характер носит стихотворение «Спор» (1841 г., II, 123–126). В нем поэт развивает ряд идей, из которых главные следующие: 1) появление на исторической арене России, выступающей на смену другим мировым странам (Персия, Египет, Аравия), 2) Кавказская война, 3) проникновение на Северный Кавказ промышленности, дающей человеку возможность покорить природу и использовать для себя ее богатейшие недра.

Проф. Эйхенбаум прав, указывая на то, что в «Споре», при сопоставлении его с «Валериком» и другими кавказскими произведениями, заметны противоречия, хотя в заключительных строках есть намек на то, что поэт скорее на стороне угрюмого Казбека (Л., II, 250).

Белинский сдержанно отнесся к этому стихотворению, признавая ценность поэтического мастерства автора: «Сколько роскоши в споре Казбека с Эльбрусом, хотя в целом мне и не нравится эта пьеса и хотя в ней есть стиха четыре плохих».[193]

По виртуозности стихотворной техники и по яркости описания природы «Спор», наряду со «Свиданием», принадлежит к числу самых замечательных лирических произведений Лермонтова. Описание грандиозной панорамы необъятного Востока отдельные страны которого обрисованы поэтом немногими, но самыми меткими, характерными чертами, не уступает аналогичной знаменитой картине, изображенной А. де Виньи в поэме «Моисей». Изумительно живописно, как и в «Бородине», передано движение войск, идущих в бой; здесь с редким мастерством автор пользуется аллитерацией и другими приемами словесно-художественной техники для создания музыкального впечатления. Лермонтов пользуется также приемами фольклорного сказа (олицетворение сил природы), применением сравнений, опирающихся на местную народную поэзию: «Шапку на брови надвинул» с примечанием: «Горцы называют шапкою облака, постоянно лежащие на вершине Кавказа».[194]

В эпическом жанре поэт тоже пишет классически прекрасные произведения, поражающие и глубиною содержания, и блеском формы. В эти годы, подводя итоги длительной работе над любимыми замыслами, он завершает поэмы «Мцыри» (1840 г.) и «Демон» (1841 г.).

Творческая история каждой из них продолжительна и сложна. Ранними вариантами сюжета о монастырском узнике являются поэмы «Исповедь» (1830 г.) и «Боярин Орша» (1835–1836 гг.). Этот сюжет мелькает и в юношеских черновых заметках (V, 351, №13). Не собираясь отдавать в печать поэмы «Исповедь» и «Боярин Орша», автор многие стихи из них перенес в «Мцыри»; один и тот же стихотворный размер сохранен и в последней редакции. Содержание «Мцыри», фабульное построение, система образов подверглись глубочайшей переделке. Изменено и место действия: сначала оно развивалось в Испании («Исповедь»), потом в древней Руси («Боярин Орша»), наконец, – в Грузии («Мцыри»). В первых двух произведениях события были связаны с феодальной порой, в «Мцыри» – перенесены в современную автору эпоху. С годами замысел ширился и принимал все более конкретные формы.

На создание «Мцыри» значительное влияние оказала поездка поэта в Грузию. Здесь в 1837 году он встретился близ Мцхета с одним старым монахом и, беседуя с ним, узнал, что он по происхождению горец; будучи в детском возрасте взят в плен Ермоловым, он заболел и был отдан в монастырь, из которого однажды пытался бежать; после одной такой попытки он сильно заболел и едва не умер; впоследствии он примирился со своей участью и привязался к одному старому монаху.[195] Эта канва сюжета также подверглась переработке.

По свидетельству А.Н. Муравьева, поэма «Мцыри» была окончена в Царском Селе: «В летний вечер я к нему зашел и застал его за письменным столом, с пылающим лицом и с огненными глазами, которые были у него особенно выразительны. «Что с тобою?» – спросил я. «Сядьте и слушайте», – сказал он, и в ту же минуту, в порыве восторга, прочел мне, от начала до конца, всю свою великолепную поэму «Мцыри» (послушник по-грузински), которая только что вылилась из-под его вдохновенного пера».[196]

Перед отъездом на Кавказ, на именинах у Гоголя (9 мая), в саду у Погодина, в кругу знакомых, среди которых было много писателей, присутствовал и Лермонтов. После обеда все разбрелись по саду маленькими кружками. С.Т. Аксаков, описывая этот день, передает: «Лермонтов читал наизусть Гоголю и другим, кто тут случились, отрывок из новой своей поэмы «Мцыри», и читал, говорят, прекрасно».[197]

Устами Мцыри поэт страстно протестует против колониальной политики царизма; он уверен, что

Быть бы мог в краю отцов
Не из последних удальцов. (III, 444).

Находясь в плену, он мечтал
Про милых ближних и родных,
Про волю дикую степей,
Про легких бешеных коней,
Про битвы чудные меж скал... (III, 447).

Он скорбит о том, что в стране чужой умрет «рабом и сиротой». Подобно героям «Исповеди» и «Боярина Орши», Мцыри обличает монахов, хоронящих себя в монастырях, принижающих человеческую личность, не знающих красоты природы и земных радостей, загубивших и его юную жизнь. Поэма направлена и против самодержавного строя в целом. Мцыри говорит:

Давным-давно задумал я
Взглянуть на дальние поля,
Узнать, прекрасна ли земля,
Узнать, для воли иль тюрьмы
На этот свет родимся мы. (II, 437).

Эти основные мотивы подчеркиваются приемом резких контрастов: могучий, смелый юноша противопоставляется дряхлому монаху, пышная природа Грузии – мрачным стенам монастыря; это впечатление усиливается введением в рассказ образов, исполненных красоты и движения (горный поток, змея, скользящая меж камней, молодая грузинка, напевающая песню, могучий барс). С исключительным мастерством изображает поэт смену различных настроений Мцыри, сначала упивающегося свободой, побеждающего барса, а затем убедившегося, что он заблудился и пришел к тому же монастырю, который хотел покинуть навсегда. Чудесные картины природы, картина борьбы с барсом, описание сна (23 строфа) – вершины мировой поэзии.

Романтический пафос, выразительная, взволнованная, гневная монологическая речь, энергический стих со сплошными мужскими рифмами превосходно оттеняют титанический образ героя поэмы. Это произведение встретило восторженную похвалу со стороны Белинского:

«Можно сказать без преувеличения, что поэт брал цветы у радуги, лучи у солнца, блеск у молнии, грохот у громов, гул у ветров, – что вся природа сама несла и подавала ему материалы, когда писал он эту поэму…

…Этот четырехстопный ямб с одними мужскими окончаниями, как в «Шильонском узнике», звучит и отрывисто падает, как удар меча, поражающего свою жертву. Упругость, энергия и звучное, однообразное падение его удивительно гармонируют с сосредоточенным чувством, несокрушимой силой могучей натуры и трагическим положением героя поэмы».[198]

Дань романтизму отдана им также в излюбленной поэме – «Демон», над созданием которой он работал, начиная с 1829 г. Известно несколько ранних вариантов этого произведения и заметок, не связанных с Кавказом (III, 491–529; V, 348, 354). Последний вариант (1841 г.) был задуман после поездки на Кавказ в 1837 г. Местные легенды, преимущественно грузинские, грандиозная природа юга вдохновили Лермонтова к написанию в новой редакции, приуроченной к Кавказу. Мотивы «демонизма» развиты также в различных других произведениях поэта – «Мой демон», (I, 49, 317–318), «Вадим» (V т.) и др. К сожалению, рукопись последней редакции поэмы до сих пор не найдена, и в разных изданиях Лермонтова даются различные варианты окончательного текста «Демона». К настоящему времени наиболее приемлемой является редакция Карлсруйских изданий поэмы 1856 и 1857 гг.; они вошли и в новейшее собрание сочинений, вышедшее в издательстве «Academia» (II). Не пропущенная цензурой при жизни автора поэма долго впоследствии печаталась в сокращенном виде; она распространялась в рукописных списках, в большом количестве ходивших по рукам в 40–50 гг. и в последующее время. В юбилейном 1914 году вновь ставился вопрос о пересмотре произведений Лермонтова, так как духовной цензуре не понравились стихи из «Демона» о Боге:

На нас не кинет взгляда:
Он занят небом, не землей.[199]

Богоборческий образ Демона, привлекавший внимание многих великих поэтов, получил в трактовке Лермонтова совершенно новое освещение и был заключен им в богатейшую фабульную канву.

Большую роль в истории последней редакции поэмы сыграли известные местные предания, приуроченные к различным районам Военно-Грузинской дороги, хорошо знакомой автору. Указание на то, что Лермонтову были известны подобные мотивы грузинского фольклора, мы находим в эпилоге поэмы:

На склоне каменной горы
Над Койшаурскою долиной
Еще стоят до сей поры
Зубцы развалины старинной.
Рассказов, страшных для детей,
О них еще преданья полны…

Как призрак, памятник безмолвный,
Свидетель тех волшебных дней,
Между деревьями чернеет.
Внизу рассыпался аул… (III, 486).

Проф. Висковатов в статье «Отражение кавказских преданий в поэзии Лермонтова» отмечает, что описанные развалины «замка Гудала» находятся на Арагве близ станции Гудаур; имя Гудала могло быть связано с Гуд-аулом и относящимися к нему преданиями о злом духе. По одному из этих преданий, горный дух полюбил девушку; она же любила юношу; он оказывал им покровительство, но когда их чистые отношения между ними изменились, он из ревности завалил их грудой камней. Близ того же аула Гуда находится монастырь, положение которого сходится с описанием Лермонтовым обители, укрывшей Тамару. Во льдах Казбека стоит церковь, о которой существует много легенд; их знал Лермонтов и воспользовался при описании храма, воздвигнутого праотцом Гудала; там и был положен прах Тамары. Лермонтову была известна и легенда о скованном духе («то горный дух, прикованный к пещере, стонет»).[200]

Наконец напомним, что поэтом чрезвычайно верно и ярко описано Дарьяльское ущелье. В поэме много местных географических названий: Казбек, Терек, Дарьял, Арагва, Койшаурская долина, Цинондалы («Синодал»), Карабах; местные слова – «чадра», «зурна», «чуха», «папах», «чингар».

Великолепные описания природы, прекрасные бытовые картины (пляска Тамары, похороны Тамары), искусно вплетенные в повествование мотивы кавказского фольклора, – все это придает поэме глубокое своеобразие; состязаясь с мировыми гениями, интересовавшимися сюжетом о скорбном отверженном духе, полюбившем земную женщину, Лермонтов создал подлинно самобытное произведение, расцвеченное утонченными романтическими красками, полное пламенных, смелых идей.

Образ мятежного Демона, «духа познанья», который называет себя «царем познанья и свободы», который презирает «глупцов и лицемеров», живущих в мире,

Где преступленья лишь, да казни,
Где страсти только мелкой жить,
Где не умеют без боязни
Ни ненавидеть, ни любить…

во многом сходен с образами Вадима, Измаил-Бея, Арбенина («Маскарад»), Печорина. Эти образы могучих, мятежных натур, умеющих и любить, и ненавидеть, ищущих для приложения своих «необъятных» сил широчайшего простора, не терпящих над собою чьего-либо гнета, люди железной воли, кипучей энергии, люди свободолюбивые, непримиримые враги пошлости и косности, – были страстным протестом против всей системы крепостнического строя. Этим героическим натурам, оттеняя их благородство и величие, трагизм их судьбы, поэт противопоставляет людей, наделенных чертами деспотизма, эгоизма, душевной мелочности и низости, как, например, Палицын, Звездич, Казарин, Грушницкий и другие. Иносказательный смысл «Демона» был подмечен гражданской и духовной цензурой, и поэма долго находилась под запретом, появляясь в печати, после смерти автора, в очень неполном виде, распространяясь в многочисленных списках; эти списки часто восходили к недостаточно авторитетной редакции, вследствие чего не могли дать читателям точного представления о последнем варианте излюбленного произведения Лермонтова.

Белинский в своих письмах и статьях неоднократно упоминает о «Демоне»; отмечая некоторые недочеты этого произведения, он с восторгом говорит о его блестящих достоинствах и относит его к крупнейшим созданиям Лермонтова. Анализируя поэму «Мцыри», он пишет в статье о сборнике стихотворений Лермонтова:

«Как жаль, что не напечатана другая поэма Лермонтова, действие которой совершается также на Кавказе и которая в рукописи ходит в публике, как некогда ходило «Горе от ума»: мы говорим о «Демоне». Мысль этой поэмы глубже, несравненно зрелее, чем мысль «Мцыри», и хотя исполнение ее отзывается некоторой незрелостью, но роскошь картин, богатство поэтического одушевления, превосходные стихи, высокость мыслей, обаятельная прелесть образов ставит ее несравненно выше «Мцыри» и превосходит все, что можно сказать в ее похвалу».[201]

В связи с запретом поэмы в печати Белинский сам списал для своей невесты, М.В. Орловой, всю поэму.[202] Переписывание поэмы и чтение ее в кругу близких лиц доставляло Белинскому глубокое наслаждение. Он писал об этом В.П. Боткину: «Демон» сделался фактом моей жизни, я твержу его другим, твержу себе, в нем для меня – миры истин, чувств, красот. Я его столько раз читал – и слушатели были так довольны»…[203]

В фабульном отношении «Демон» тоже имеет ряд черт, сближающих эту поэму с другими произведениями Лермонтова: мотив о трагической любви Демона и Тамары в значительной степени близок к аналогичным мотивам, развитым в «Вадиме» (Вадим и Ольга), «Маскараде» (Арбенин и Нина), «Герое нашего

времени» (Печорин и Бэла, Печорин и Мери, Печорин и Вера). Но это не механическое перенесение в различные рамки одной и той же сюжетной ситуации. В обрисовку образов Демона и Тамары, в изображение судьбы героев этой поэмы автор вносит новые черты; он вводит также и новые персонажи – отца Тамары и ее жениха, создает неповторимые картины великолепной природы Грузии, широко пользуется мотивами местного фольклора. Все это придает «Демону» глубоко индивидуальные особенности, как крупного, типично лермонтовского произведения.

Поэма полна трагизма: в цвете лет умирают Тамара и ее жених; Демон, погубив девушку, душа которой была соткана «из лучшего эфира», «проклял мечты безумные свои»; глубоко скорбит, потеряв любимую дочь, старый Гудал. И в то же время поэт указывает, что Демон не примирился с небом, остался таким же надменным и могучим, готовым продолжать борьбу, как и прежде. Явственно звучат мотивы глубокого оптимизма:

Внизу рассыпался аул,
Земля цветет и зеленеет;
И голосов нестройный гул
Теряется, – и караваны
Идут звеня издалека,
И низвергаясь сквозь туманы
Блестит и пенится река.
И жизнью вечно молодою,
Прохладой, солнцем и весною
Природа тешится шутя,
Как беззаботная дитя. (III, 486).

Читая эпилог «Демона», невольно вспоминаешь слова Белинского о самом поэте: «Я с ним спорил, и мне отрадно было видеть в его рассуждении, охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь и людей семена глубокой веры в достоинство того и другого. Я это сказал ему – он улыбнулся и сказал: дай бог!».[204]

Настроение, отраженное Лермонтовым в приведенных нами строках эпилога «Демона», приближается к настроению, которое с такою задушевностью и широтою восприятия сложных жизненных явлений выражено Пушкиным в его знаменитом стихотворении «Брожу ли я вдоль улиц шумных»:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

Как ни жесток был режим в «стране рабов, стране господ», Лермонтов, как и Пушкин, не мирился с ним, протестовал, боролся, мечтал о лучшей жизни.

В поэме «Демон» автор с одинаковым искусством пользуется и описательным приемом, и диалогической речью. Описание характеризуется у Лермонтова не статичностью, как у многих других писателей, а динамичностью. Описывая Дарьял, он изображает буйно мчащийся Терек, кружащихся в лазурной выси птиц, плывущие на север облака; рисуя обаятельный образ Тамары, дает замечательную картину ее пляски; с необыкновенным искусством очерчен облик юного «властителя Синодала», лихого наездника и отважного бойца; с изумительной четкостью и яркостью передана сцена стремительного бега коня, вынесшего из битвы тело князя; даже описывая руины замка Гудала, поэт оттеняет образ за образом, полные движения: люди исчезли, но в замке другие обитатели:

Жужжат, бегут во все концы.
Седой паук, отшельник новый,
Прядет сетей своих основы;
Зеленых ящериц семья
На кровле весело играет;
И осторожная змея
Из темной щели выползает
На плиту старого крыльца:
То вдруг совьется в три кольца,
То ляжет длинной полосою… (III, 487).

Поэма начинается и кончается изображением летящего Демона. Все в ней полно движения, смены ярких образов в красок.

Основным размером поэмы является излюбленный у Лермонтова четырехстопный ямб, но в первой части введен, в песне Демона, и хореический размер («На воздушном океане»...). Очень искусно пользуется поэт приемом повторения («Лишь только»... в песне Демона, «Клянусь...» в его же монологе и др.).

Поэма «Демон» – последняя дань романтизму, рамки которого уже были тесны для Лермонтова, все чаще обращавшегося к реалистическому письму. В незаконченной «Сказке для детей» (1839 г.), упоминая об образе Демона, он говорит:

...Он сиял
Такой волшебно-сладкой красотою,
Что было страшно... и душа тоскою
Сжималася – и этот дикий бред
Преследовал мой разум много лет...
Но я, расставшись с прочими мечтами,
И от него отделался – стихами. (III, 421).

О том же писал он и в одном из своих последних стихотворений:

Любил и я в былые годы,
В невинности души моей,
И бури шумные природы,
И бури тайные страстей.
Но красоты их безобразной
Я скоро таинство постиг,
И мне наскучил их несвязный
И оглушающий язык. (II, 117).

Ярким примером тяготения Лермонтова к реалистическим мотивам является его очерк «Кавказец» (1841 г.). Опубликование его предполагалось в альманахе «Наши», вышедшем в октябре 1841 г. Однако очерк не появился ни в этом альманахе, ни в «Иллюстрации», извещавшей своих читателей о том, что «Кавказец» появится на ее страницах в 1848 г.[205]. По-видимому, очерк не был напечатан из-за цензурных притеснений. Рукопись его пока не обнаружена. Копия была найдена Н.О. Лернером и опубликована в 1929 году.

Тематически «Кавказец» близок к «Герою нашего времени». Кавказские офицеры были хорошо знакомы Лермонтову; они выступали и в названном романе, и в «Валерике». Лаконичность и простота изложения, типичные для «Бэлы», «Максима Максимыча», «Фаталиста», «Валерика», нашли яркое выражение и в «Кавказце».

Этот очерк метко осмеивает офицеров, стремившихся на Кавказ из-за чинов, мечтавших о прекрасных казачках, черкешенках и восторгавшихся повестями Марлинского. Знакомясь с суровой повседневной служебной жизнью на Кавказе, они стареют; «грудь увешана крестами, а чины нейдут». Им хорошо известен быт горцев, они подражают им в костюме, обзаводятся настоящим кавказским оружием. «Но годы бегут, кавказцу уже 40 лет, ему хочется домой, и если он не ранен, то поступает иногда таким образом: во время перестрелки кладет голову за камень, а ноги выставляет на пенсион; это выражение там освящено обычаем». Он возвращается домой «и кончает дни свои в какой-нибудь крепости, где жена предохраняет его от гибельной для русского человека привычки». Кавказцы не настоящие больше кавказцы душою, чем телом: они занимаются археологическими открытиями, говорят о пользе торговли с горцами, об их покорении и образовании; послужив в Закавказье несколько лет, такой кавказец обыкновенно возвращается в Россию «с чином и красным носом» (V, 322–325).

Весь очерк выдержан в сатирическом духе; это подчеркивается такими выражениями, как, например, следующие: «отправлен туда (т. е. на Кавказ) на казенный счет с большими надеждами и маленькими чемоданами», «достал мохнатую шапку и черкесскую плеть на ямщика», «дорого заплатил за дрянной кинжал», «он думает поймать руками десятка два горцев, ему снятся страшные битвы, реки крови и генеральские эполеты», «легонько маракует по-татарски», «отставной герой позволяет себе прихвастнуть, выдумать небылицу», «обыкновенно возвращается в Россию с чином и с красным носом» и т. п. Вполне понятно, что и по содержанию, и по стилю такое произведение должно было возбудить недовольство цензурного начальства.

Тип «настоящего» старого кавказца дается автором во всесторонней обрисовке. Отмечая слабости и смешные стороны людей такой категории, Лермонтов указывает и привлекательные черты этого «полурусского, полуазиатского» существа. Он указывает, что кавказские ветераны дружат с мирными горцами, посещают их аулы; они любят простую жизнь, интересуются горской народной поэзией, изучают обычаи горцев. Лермонтов вводит характерные местные выражения: «шашка – настоящая гурда, кинжал – старый базалай.., лошадь – чистый шаллох». Отметим, что лошади завода Шалоха (в Малой Кабарде) издавна славились на Северном Кавказе.

Интерес Лермонтова к прозе в последние годы возрастал. У молодого писателя зрели новые большие замыслы. По авторитетному свидетельству Белинского, Лермонтов собирался написать цикл романов: «...Уже

кипучая его натура начала устраиваться, в душе пробуждалась жажда труда и деятельности, а орлиный взор спокойнее стал вглядываться в глубь жизни. Уже затевал он в уме, утомленном суетой жизни, создания зрелые; он сам говорил нам, что замыслил написать романтическую трилогию, три романа из трех эпох жизни русского общества (века Екатерины II, Александра I и настоящего времени), имеющие между собой связь и некоторое единство, по примеру Куперовской тетралогии, начинающейся «Последним из Могикан», продолжающейся «Путеводителем в пустыне» и «Пионерами» и оканчивающейся «Степями».[206]

По сведениям, сообщенным П.К. Мартьяновым, но не внушающим большого доверия, Лермонтов по дороге к месту дуэли с Мартыновым говорил Глебову о том, что он выработал план двух романов: «одного из времен смертельного боя двух великих наций, с завязкою в Петербурге, действиями в сердце России и под Парижем и развязкой в Вене, и другого – из Кавказской жизни, с Тифлисом при Ермолове, его диктатурой и кровавым усмирением Кавказа, Персидской войной и катастрофой, среди которой погиб Грибоедов».[207]

В последние годы, как мы отмечали выше, поэт усиленно хлопотал об отставке.

Он мечтал об основании журнала и часто говорил о нем с Краевским, брался к каждой книжке доставлять что-нибудь оригинальное.[208]

Этим замыслам не пришлось осуществиться. Лермонтов погиб в очень юном возрасте, но то, что он успел создать за такой малый срок, в такой неблагоприятной обстановке, является ценнейшим вкладом в русскую и мировую литературу. Кавказские мотивы, как мы показали, привлекали внимание поэта с самых ранних лет и занимают в его художественном наследии весьма большое место; им посвящены многие стихотворные и прозаические произведения, которые по своему содержанию близки к другим его произведениям различных лет. Белинский говорит, что «Кавказ взял полную дань с музы нашего поэта», что Кавказ стал его «поэтической родиной, пламенно любимой им».[209]

Кавказские мотивы показывают, что Лермонтов, как все подлинно гениальные писатели, обладал удивительным даром отзываться на явления, связанные с жизнью различных народов, разных эпох. С таким же мастерством, какое он показал в «Герое нашего времени», в «Валерике», «Демоне», в лирических пьесах («Тамара», «Свидание»), он писал и другие произведения, стоящие вне кавказской тематики; напомним «Песню про купца Калашникова», «Бородино», «Умирающего гладиатора», «Три пальмы».

Интерес к Кавказу нашел яркое отображение и в рисунках Лермонтова, с которыми мы знакомы по собранию их, принадлежащему Пушкинскому дому. Часть их воспроизведена в издании сочинений Лермонтова, выпущенных под редакцией проф. Д.И. Абрамовича (1910–1913 гг.) и проф. Б.М. Эйхенбаума (1936–1937 гг.). Излюбленные мотивы Лермонтова – горный пейзаж, типы горцев, батальные сцены, портреты современников. Наиболее удачны рисунки карандашом и пером, превосходно изображающие лихих наездников, поединки и сражения.

Кавказские мотивы, как мы указываем ниже, оказали большое влияние на развитие кавказских мотивов у русских, грузинских, армянских и многих других писателей.

Пребывание Лермонтова на Кавказе, особенно в 1837, 1840–1841 гг., сыграло очень большую роль в его жизни. Здесь он встретился со многими декабристами и с писателями, членами «кружка шестнадцати». В частности, встречи с такими лицами, как Белинский, А.И. Одоевский, Н.И. Лорер, д-р Майер, В.И. Лихарев, П.А. Гвоздев и другие, были знаменательны для поэта. В среде подобных людей, резко отличавшихся от Мартыновых и Васильчиковых, Лермонтов делился волновавшими его мыслями, мог говорить о своих творческих замыслах, личных переживаниях, об интересовавших его книгах.

Очень характерны такие факты, как выписка сочинений Шекспира в подлиннике, приобретение книг Лафатера и Галя. Чрезвычайно характерна подробность, на которую до последнего времени как-то не обращали внимания биографы поэта: Лорер сообщает, что декабрист Лихарев был убит в конце сражения, как раз в тот момент, когда он шел рука об руку с Лермонтовым, «споря о Канте и Гегеле». Интерес Лермонтова к философии – вопрос, совершенно пока не освещенный в литературе. Между тем философские проблемы глубоко интересовали поэта, находя отражения во многих лирических произведениях, поэмах (напр., в поэме «Сашка»), в «Герое нашего времени».

Пребывание Лермонтова на Кавказе оставило глубокий след в его жизни и творчестве еще потому, что именно здесь он сблизился с солдатами и казаками, разделяя с ними все трудности и тревоги, связанные с кочевой походной обстановкой. Тогда же он встречался и с мирными горцами. Один из них, черкес, сопровождал Лермонтова во время его поездки в Кубу. Он упоминает о кунаке Ганубе в стихотворении «Валерик». Будучи на Кавказе, он начал учиться татарскому языку, думая воспользоваться им при поездке на Восток, если бы удалось выйти в отставку. Современники свидетельствуют, что в «Герое нашего времени» многие лица списаны с натуры. Путешествие по Кавказу привлекало его и как рисовальщика. «Я снял на скорую руку, – говорит он, – виды всех примечательных мест, которые посещал, и везу с собою порядочную коллекцию» (V, 393).

Недаром в студенческие годы и позже он, обращаясь к Кавказу, называл себя его «сыном» и говорил:

На севере, в стране тебе чужой,
Я сердцем твой, – всегда и всюду твой!.. (III, 168, 580).

VII. Отзвуки кавказских мотивов М.Ю. Лермонтова в литературе и искусстве

Пушкин, Полежаев, Марлинский, Лермонтов и некоторые другие писатели первой половины XIX в., уделявшие Кавказу большое внимание, прекрасно знавшие его и посвятившие ему много произведений, способствовали упрочению кавказской тематики в современной им и последующей русской художественной литературе. Особенно большое воздействие в этом направлении оказал Лермонтов. Данный вопрос, чрезвычайно интересный и заслуживающий широкого изучения, до последнего времени затрагивался лермонтоведами эпизодически. Не ставя своей задачей в рамках настоящей работы подробно осветить эту тему, мы считаем необходимым остановиться на ряде конкретных примеров, частью почерпнутых в специальной литературе, частью – подмеченных нами самими.

Предварительно укажем, что отдельные ценные высказывания об отзвуках Лермонтова в русской литературе XIX в. можно найти в следующих источниках: в статье И.Н. Розанова «Отзвуки Лермонтова» (сб. «Венок М.Ю. Лермонтову», Москва – Петроград, 1914 г.), в монографии Н. Котляревского «Лермонтов» (Петроград, 1915 г., 5-е изд.), в комментариях к сочинениям Лермонтова, изданным под редакцией Б.М. Эйхенбаума. Ряд лирических произведений, навеянных кавказскими мотивами Лермонтова, имеется в сборнике «М.Ю. Лермонтов в русской поэзии», составленном В.В. Каллашем (Москва, 1914 г.).

Н.П. Огарев, очень высоко ценивший Лермонтова, написал под воздействием его стихотворения «Сон» («В полдневный жар»), как указано Н.П. Огаревым, превосходное стихотворение «В тиши ночной аккорд печальный».[210] В статье «Лермонтов и Огарев» нами приведен ряд параллелей, доказывающих заметное влияние кавказских лермонтовских образов на поэзию Огарева; приводим два примера.

Описывая развалины древнего Карфагена, Огарев рисует следующую картину:

Зеленой сетью плющ ползучий
Разросся мирно вкруг столбов,
И в час полдневного досуга
Понежиться на солнце юга
Из-под камней ползет змея,
Иль резвых ящериц семья.

Эти строки явно варьируют образ, встречающийся в кавказских поэмах Лермонтова:

И в час урочный молчаливо
Из-под камней ползет змея,
Играет, нежится лениво… («Измаил-Бей»).

…Змея
…Браздя рассыпчатый песок,
Скользила бережно; потом,
Играя, нежася на нем,
Тройным свивалася кольцом… («Мцыри»).

…Зеленых ящериц семья
На кровле весело играет,
И осторожная змея
Из темной щели выползает. («Демон»).

Без сомнения, «Таманью» Лермонтова (образом контрабандистки) вызвано превосходное стихотворение Огарева «У моря», изображающее девушку, ожидающую возвращения любимого человека, уехавшего на рыбную ловлю.[211]

Весьма характерно, однако, что ни одно из приведенных произведений не приурочено Огаревым к Кавказу; близко воспринимая образы Лермонтова, он не слепо подражал им, связывал их с другой обстановкой, давал им своеобразную трактовку.

В.И. Красов, современник Лермонтова, в небольшом стихотворении «Романс Печорина» дает беглую поэтическую обрисовку «Героя нашего времени»:

Как блудящая комета
Меж светил ничтожных света,
Проношуся я.

Их блаженства не ценил я;
Что любил, все погубил я.
    Знать, так создан я.
Годы бурей пролетели.
Я не понял верно цели,
    И была ль она?
Я б желал успокоенья…
Сила сладкого забвенья
    Сердцу не дана.
Пусть же рок меня встречает,
Жизнь казнит иль обольщает –
    Все уж мне равно.
Будь то яд или зараза,
Или бой в горах Кавказа.
    Я готов давно.[212]

Влияние Лермонтова отражено во многих стихотворениях Я.П. Полонского, в 40–50 гг. XIX в. жившего на Кавказе. Глубоко интересуясь лермонтовской поэзией, Полонский в кавказской обстановке еще более сроднился с духом лермонтовской поэзии. И.Н. Розанов отмечает ее отзвуки в следующих произведениях Полонского: «Келиот», «У двери», «Н. Грибоедовой», «Рассказ волны», «Кумир», «В потерянном раю», «Змея». И.Н. Розанов указывает, что гражданские мотивы Лермонтова мало влияли на Полонского; «Лермонтова он воспринимал главным образом не с идейной, а с художественной стороны»[213]. Воздействие Лермонтова видно также в стихотворениях Полонского «К Демону» и «На пути из-за Кавказа»; в последнем имеются следующие строки:

Погоняй! гаснет день за курганами,
С вышек молча глядят казаки –
Красный месяц встает за туманами,
Недалеко дрожат огоньки –
В стороне слышу карканье ворона –
Различаю впотьмах труп коня –
Погоняй, погоняй! тень Печорина
По следам догоняет меня.[214]

Эти строфы вызваны следующей сценой из «Княжны Мери»: «За несколько верст от Ессентуков я узнал близ дороги труп моего коня; седло было снято – вероятно проезжим казаком и, вместо седла, на спине его сидели два ворона. Я вздохнул и отвернулся»… (V, 311–312). Полонский особенно близок к Лермонтову в грузинских мотивах и в описании Военно-Грузинской дороги.

И.Н. Розанов справедливо указывает на то, что Полонский умел создавать стихотворения в духе Лермонтова, не пользуясь его выражениями. Примерами могут быть стихотворения «У двери» и «Орел и змея», не связанные с Кавказом.

Под явным воздействием «Мцыри» Лермонтова написана поэма А. Григорьева «Предсмертная исповедь»; образ героя, одиноко умирающего и изливающего заветные думы в длинном монологе, очень близок к образу «Мцыри»; заметное сходство видно и в стиле поэмы; приводим некоторые места:

Еще от детства, начал он,
Судьбою был я обречен
Страдать безвыходной тоской.
Тоской по участи иной,
И с верой пламенною звать
С небес на землю благодать.
И рано с мыслью свыкся я,
Что мы другого бытия
Глубоко-падшие сыны…
…Да, этой гордостью одной
Страдал я… Слабый и больной.
Ее я свято сохранил
И головы не преклонил
Ни перед чем…

...Я был один, один всегда,
Тогда ль, как в детские года
Подушку жарко обнимал
И ночи целые рыдал...[215]

Стихотворный размер, расположение рифмы, многие образы весьма близки к «Мцыри».

Раннее творчество И.С. Тургенева, как поэта и беллетриста, развивалось под сильным воздействием Лермонтова.

В 40-х годах один из критиков причислил молодого Тургенева к «поэтам школы Лермонтова»,[216] и это имело свои основания.

Сильное влияние «Мцыри» Лермонтова бросается в глаза при чтении поэмы Тургенева «Разговор» (1844 г.); сюжетная ситуация – разговор старика с юношей, многие образы и настроение, структура стиха – все очень близко к лермонтовской поэме; приводим ряд строк из названного произведения Тургенева:

Старик, ты прав, но ты жесток.
Послушай: каждый твой упрек
Неотразим... душа моя
Томится гневом и тоской,
И замирает, как змея
Под торжествующей пятой...
И стыдно мне: мои глаза
Сжигает едкая слеза...

В некоторых стихах есть и отзвуки «Демона» Лермонтова:

Клянусь я в этот страшный миг,
Клянусь я небом и землей,
Клянусь позором слез моих...[217]

Влияние «Героя нашего времени», как мы отмечаем ниже, заметно в повестях Тургенева «Бретер» и «Три портрета». Наконец, влияние Лермонтова (стихотворение «Спор») отражено в аллегорическом стихотворении в прозе Тургенева «Разговор» (1878 г.), сравнительный анализ этих произведений дан нами в книге «Лермонтов и Л. Толстой» (стр. 439–441).

Манера Лермонтова, как автора «Бэлы» и «Фаталиста», заметна также в превосходном рассказе Тургенева «Отчаянный» (1881 г.), действие которого частью происходит на Кавказе.[218] Образ Миши Полтева родствен Вуличу. Тургенев не мог знать «Кавказца» Лермонтова, но рассказ «Отчаянный» не утрачивает из-за этого большого значения для изучения образа лихого, бывалого кавказского офицера, рисующегося своей храбростью, так метко обрисованного Лермонтовым в упомянутом очерке. Полтев, несколько напоминающий Вулича, родствен, как тип, и «настоящему» кавказцу Лермонтова.

Несомненный интерес представляют художественные произведения лиц, хорошо знавших кавказскую жизнь эпохи 30–40 годов и общественное окружение Лермонтова. К их числу принадлежит писательница Е. Лачинова (Хамар-Дабанов), автор злободневного для начала 40-х годов романа «Проделки на Кавказе» (СПБ; 1844 г.). Роман этот, ставший в настоящее время библиографической редкостью, вышедший с эпиграфом «Не любо, не слушай, а лгать не мешай!», заключал в себе много нападок, направленных против кавказского командования и праздных посетителей группы Минеральных Вод.

Е. Хамар-Дабанов – псевдоним писательницы Екатерины Петровны Лачиновой (урожденной Шелашниковой), бывшей замужем за Николаем Емельяновичем Лачиновым, в 1839 году состоявшим генерал-интендантом отдельного Кавказского корпуса. Брат ее мужа, Евдоким Емельянович Лачинов, тоже служивший в армии, за прикосновенность к делу о декабристах был разжалован в солдаты и отправлен на Кавказ; впоследствии он выслужился в офицеры, в 1833 г., и вышел в отставку. В обществе таких лиц Лачинова могла узнать очень многое о кавказских военных деятелях и обывателях. Под вымышленными или действительными именами в романе выведены, как указывает Е.Г. Вейденбаум, начальник правого фланга генерал Г.Х. Засс, темиргоевский князь Джамбот Айтеков и другие подлинные лица. Военный министр Чернышев указал начальнику III отделения Л.В. Дуббельту, что «книга эта тем вреднее, что в ней – что строчка, то правда». Роман был изъят из обращения.[219]

До последнего времени книга Лачиновой не привлекалась к лермонтовской литературе, если не считать беглого упоминания Е.Г. Вейденбаума в указанной его работе о прототипе Грушницкого. Между тем, он во многих отношениях соприкасается с «Героем нашего времени» и с обществом, среди которого жил в последние годы Лермонтов. Здесь мы встречаем Льва Сергеевича Пушкина (майор Лев), имена пятигорских дам – Мерлини и Ребровой. Во второй части подробно описываются Кавказские Минеральные Воды,

упоминается имя содержателя гостиницы Найтаки; в гостинице Найтаки Лермонтов останавливался при последнем приезде в Пятигорск.

Лачинова намеренно подчеркивает связь своего романа с лермонтовским романом: в «Проделках на Кавказе» выведен адъютант Грушницкий. Он рисуется своей наружностью, у него «наглый взор». «Легко можно было заметить, что этот молодой человек дерзок в обращении, не по природному влечению, но по принятому образу поведения, основанному на расчете и на желании произвести особенное впечатление» (II, 72).

Лачинова остроумно мистифицирует читателя, указывая на то, что Лермонтов в своем романе изображал подлинные события, но несколько изменял, как художник, настоящую ситуацию. Грушницкий говорит:

«Вот однако же каковы люди! Желая моей смерти, они затмились до того, что не поняли всей тонкости Печорина. Как герой нашего времени, он должен быть глуп и хвастун; поэтому то он и поместил в своих записках поединок, которого не было. Что я за дурак, перед хромым лекарем, глупым комендантом и самим Печориным хвастать удальством!.. Мы просто с Печориным поссорились, должны были стреляться, комендант узнал и нас обоих выслали к своим полкам» (II, 73–74).

Автор, устанавливая преемственность по отношению к лермонтовскому роману, систематически вставляет различные детали, взятые из «Героя нашего времени»; особенно это заметно на тех страницах, где изображается Грушницкий. Лачинова отмечает, что Грушницкий окидывает взором окружающих, желая насладиться впечатлением произнесенных им слов (II, 72–73). Он склонен к бретерству, хочет вызвать на дуэль одного из офицеров, но тот с презрением отказывается от поединка с ним (II, 93–94). «Люди подобные Грушницкому, – говорит автор, – не убивают; им необходимо только производить эффект: в том все их честолюбие» (II, 86). Напомним для сравнения слова Лермонтова: «Он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, которых просто прекрасное не трогает и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект – их наслаждение»... (V, 242).

Упоминание о «хромом лекаре», приведенное выше (в словах Грушницкого), – очевидный намек на доктора Вернера, списанного Лермонтовым с Майера.

В главе «Закубанский Харамзаде» описывается разбойник Али-Карсис (Али-Хырсыз), лицо действительное, как указывает Вейденбаум. Этот мотив в некоторой степени созвучен мотиву о Казбиче в «Бэле». Настоящая глава была опубликована в «Библиотеке для чтения» под тем же заглавием, как повесть из черкесской жизни; в примечании редакции указывалось, что данное произведение принадлежит даровитой русской писательнице и является отрывком из ее романа «Проделки на Кавказе», который вскоре выйдет в свет.[220]

Общая направленность этого обличительного романа видна из следующего признания одного из персонажей, лекаря:

«Здесь между людей редко встретишь человека! Расчеты, честолюбие, желание – не заслужить, а выслужить награду, поглощают все истинные добродетели, порождают презрительную и постыдную искательность, обращающуюся в одно всеобщее сплетение лжи и каверз» (I, 111).

Роман этот является ценным комментарием к «Герою нашего времени» и «Кавказцу» Лермонтова. Не обладая высокими художественными качествами, он выгодно выделяется на фоне многих других кавказских повестей и романов, пропитанных запоздалой романтикой. Е. Лачинова вносит, вслед за Лермонтовым, реалистическую струю в кавказскую беллетристику. Ее полумемуарный роман не лишен, помимо литературного, и исторического значения.

Сильное влияние Лермонтова отражено в стихотворениях и поэмах К.П Белевича (1825–1890 гг.), служившего с конца 40-х годов в Тенгинском полку. Главные мотивы произведений Белевича – быт и фольклор горцев («Чеченец Берсан», «Лезгин Алли», «Дагестанка Буба», «Святое виденье»), эпизоды из истории Кавказской войны («Случай», «Валерик», «Песня про Архипа Осипова», «На Валерике»). В стихотворении «На смерть товарища» – отзвуки лермонтовского «Сна»; стихотворение «Спор» навеяно «Спором» Лермонтова, с сохранением того же размера:

В ратном стане за рекою,
  У шатра вдали
Воеводы меж собою
  Спор раз завели...

Отзвуки «Демона» имеются в поэме «Ночные полеты умершего героя». Описание Валерикского боя написано под впечатлением стихотворения Лермонтова на ту же тему, причем автор упоминает и о самом поэте (картина боя и смерть капитана); обращаясь к Лермонтову в конце стихотворения, автор говорит:

Как очевидец, мог сказать ты боле
  Того, что ты о нем воспел;
В дни испытанья, видно, поневоле
  Всего сказать ты не хотел!..

В художественном отношении произведения Белевича слабы, но все же они не лишены значения, как непосредственный отзвук эпохи, близкой к Лермонтову. Тому же автору принадлежит интересная статья «Кое-что о службе и смерти на Кавказе Марлинского и Лермонтова», написанная в 1868 г.[221]

Большую роль в развитии ранних кавказских произведений Л. Толстого – «Набег», «Встреча в отряде», «Казаки» – сыграли такие сочинения Лермонтова, как «Валерик», «Герой нашего времени», «Дары Терека», «Казачья колыбельная песня». Известно, что Л. Толстой, живя на Кавказе, перечитывал Лермонтова. Образы старых кавказцев, батальные сцены, описание природы, думы о контрасте между кровавой бойней и величественно красивой и спокойной картиной природы, интерес к фольклору и быту горцев и гребенцов – все это возникало и оформлялось под сильным воздействием Лермонтова. Формула Лермонтова – «Жалкий человек! чего он хочет»... («Валерик») варьируется неоднократно Л. Толстым – в «Набеге», а затем в «Войне и мире». Подробно на этом мы останавливались в книге «Лермонтов и Л. Толстой» (1914 г.).

Влияние Лермонтова заметно также на цикле кавказских новелл А.В. Дружинина: «Mademoiselle Jeanette» (1852 г.), «Легенда о кислых водах» (1854 г.), «Русский черкес» (1855 г.).[222] Описание праздного, флиртующего общества, живущего на «кислых водах», осмеяние увлечения помещика Махметова кавказской романтикой носят следы заметного воздействия «Княжны Мери».

Автор неоднократно упоминает имя Лермонтова, вводит его образы: «горец в косматой шапке», «бледный, изящный, похожий на девочку Печорин, у которого под армейскою пуговицею бьется петербургское сердце». Характерны также следующие строки: «Перед ним набегали волны Черного моря на синеющую степь, объятую серебряным венцом Кавказа, желтые уступы дагестанских скал, свешиваясь над песком бесплодной долины, сумрачно глядели на раненого юношу, которому, в лихорадочном забытье, грезился вечерний пир на севере и северные красавицы, увенчанные цветами»...[223] Здесь Дружинин вводит образы из стихотворения «Памяти А.И. Одоевского»:

Немая степь синеет, и венцом
Серебряным Кавказ ее объемлет...
...Рассказам волн кочующих внимая,
А море Черное шумит не умолкая. (II, 55).

Далее взяты образы из стихотворения Лермонтова «Сон». И.Н. Розанов отмечает так называемое «развенчивание» печоринского типа у писателей молодого поколения – у Тургенева («Бретер», «Три портрета» – 1846 г.), Авдеева («Тамарин», 1852 г.), Писемского («М-r Басманов», 1853 г.).

В Лучинове («Три портрета») Тургенев постарался дать героическую сторону этого типа, в Лучкове («Бретер») – его пошлую сторону. Менее интересными вариантами печоринского типа являются Бахтиаров («Тюфяк» Писемского), Мерич («Бедная невеста» Островского), Тарнеев («Встреча» Крестовского). Прекрасную вариацию, но не Печорина, а тургеневского Лучкова, дал впоследствии Чехов в образе Соленого («Три сестры»).[224]

Отзвуки кавказских мотивов Лермонтова находим в поэзии Некрасова. Они заметны в ранних его произведениях, носящих подражательный характер, например, в стихотворении «Горы»:

Передо мной Кавказ суровый,
Его дремучие леса
И цепи гор белоголовой
Угрюмо-дикая краса...

Еще заметнее воздействие романтической манеры Лермонтова в стихотворении Некрасова «Злой дух»:

Дух нечистый, дух порочный,
Как прокрался ты ко мне?
Для чего ты в час полночный
Здесь со мной наедине?
.....
Демон душу сторожит...
Дух коварный искушенья...[225]

Ср. в «Демоне» Лермонтова:

«Дух беспокойный, дух порочный,
Кто звал тебя во тьме полночной?»
.....
Злой дух коварно усмехнулся... (III, 472).

Отмеченные произведения Некрасова вошли в его сборник «Мечты и звуки» (1838–1839 гг.). Впоследствии поэт преодолевает увлечение кавказской романтикой и пишет пародийное стихотворение «Месть горца» (1850 г.).

Жанр пародий широко развит в лирике Некрасова; при этом он часто исходит от лермонтовских мотивов, противопоставляя им свою новую, сатирическую манеру. Напомним знаменитую «Колыбельную песню» (1846 г.), вызвавшую резкие отзывы реакционной печати и цензоров. В 1848 г. Фаддей Булгарин писал в своем доносе, направленном в III отделение, имея в виду «Колыбельную песню», «В дороге» и другие стихотворения: «Некрасов самый отчаянный коммунист»... «Он страшно вопиет в пользу революции»...[226]

Прием пародирования применяется Некрасовым и позднее; в стихотворении «Литераторы» (1865 г.) встречаем перефразировку слов Лермонтова из «Валерика»:

А третий посмотрел лукаво
И головою покачал![227]

Пародии Некрасова не были, разумеется, направлены против Лермонтова. Отталкиваясь от того или иного его мотива, связанного с Кавказом или не связанного (ср. его стихотворения «И скучно и грустно!», «Излеру»), Некрасов осмеивает то или иное общественное явление; острота его смеха подчеркивалась контрастом между знаменитейшими лирическими произведениями Лермонтова и публицистическим стилем пародий. Поэзия Лермонтова всегда была близка по духу Некрасову, и последний многому учился у него, развивая гражданские мотивы, выковывая свой скорбный, могучий стих. Близость Некрасова, как мастера стиха, к Лермонтову видна в примерах ораторского стиля, в некоторых описаниях; например, по ритму и расположению рифмы стихотворение «На Волге» в некоторой степени сходно с поэмой «Мцыри».

Б.М. Эйхенбаум отмечает, что ни одно стихотворение Лермонтова, кроме «Думы», не вызвало такого количества отголосков, отзвуков и пародий, как «Казачья колыбельная песня» (Л., V, 210).

Н.Г. Чернышевский вводит в предпоследнюю главу романа «Что делать?» цитаты из кавказских произведений Лермонтова, из стихотворения – «Много красавиц в аулах у нас» («Бэла»), из «Черкесской песни» («Измаил-Бей») и из «Песни Селима» («Измаил-Бей»), противопоставляя сентиментальным романсам мужественные горские песни о воле, о борьбе за свободу. Автор подчеркивает, что когда Вера Павловна начала петь под аккомпанимент рояля романс «Стонет сизый голубочек», то старалась «выводить ноты как можно визгливее», вызывая смех молодежи; затем, обращаясь к слушателям, она говорит:

«Не выходит – и прекрасно, что не выходит, это не должно выходить, выйдет другое, получше». – Она запела сильным, полным контральто песню Казбича, прославляющую «молодецкую волю». И далее, исполняя песню Селима («Месяц плывет»), описывающую отправление на бой джигита, которого любимая девушка напутствует словами:

«Мой милый, смелее
Вверяйся ты року» –

Вера Павловна, говоря тем же эзоповским языком, обращается к молодежи со словами: «В таких можно влюбляться, на таких можно жениться».[228]

Отзвуки кавказских произведений Лермонтова встречаем у многих поэтов второй половины XIX в. и начала XX в.

Так, герой повести Никитина «Дневник семинариста» пишет, упоминая о своем товарище Яблочкине: «Сколько он знает наизусть стихов! Перед моим отъездом сюда он читал мне поэму «Демон». Стихи необыкновенно музыкальны. Перед глазами одна за другой рисуются картины, когда их слушаешь; но впечатление, производимое целою поэмой, наводит на странные, неотразимые мысли!.. Что, если бы по окончании курса в семинарии удалось мне попасть в университет?»[229] Действие повести отнесено автором к сороковым годам, когда «Демон» был запрещен в печати и распространялся в многочисленных рукописных списках.

И.С. Тургенев в письме к К.К. Случевскому от 1 мая 1861 г. указывал ему: «Стихотворение, начинающееся с «На кургане, на зеленом» и размером и перебором разных строк напоминает лермонтовский разговор между Казбеком и Шатом».[230]

В поэме «Элоа» Случевский указывает на преемственную связь своего замысла с лермонтовским «Демоном»; Сатана говорит:

С тех пор как прикоснулся я к Тамаре
И с нею в небо ангела пустил,
Мне женщины не по сердцу бывали...

Влияние Лермонтова в «Элоа» заметно в содержании и многих деталях; приведем, в параллель к диалогам Демона и Тамары, следующую сцену из «Элоа»:

С а т а н а .
Люблю тебя и этою любовью,
Сам отрицаясь, ад я сокрушаю!
О, отвечай!

Э л о а .
На то господня благость.

С а т а н а .
Без благости! В меня любовью веет...
Скажи: люблю...

Э л о а .
Я полюблю тебя!

С а т а н а (*склоняясь подле нее на колени*).
Склоняюсь пред тобой всем мощным сонмом
Проклятий, шедших мне всегда вослед!
Служу тебе великим приношеньем
Всех отстраненных мной отныне бед!
Огонь блаженства мне туманит очи,
Ответь, дозволь!

Э л о а .
Мне не понять тебя!

Поэма, как и у Лермонтова, заканчивается разрывом злого духа с любимой девушкой; Сатана, увидев, что Элоа ускользает от него, проклинает ее, вновь остается одиноким и бросает вызов небу:

Вспылал мой ум ужасной жаждой!
И, как растопленный металл,
Бежит во мне по жиле каждой,
Зловещий грохот всех начал!
Вперед! И этот век проклятий,
Что на земле идет теперь, –
Тишайшим веком добрых братий
Почтет грядущий полузверь.[231]

В пародийном жанре написаны сатирические поэмы: Минаева «Демон», опубликованная в 1873 г., и М. Краснораменского «Казанский Демон и его проказы» (Казань, 1903 г., 4-ое изд.).

Лермонтов, как автор «Сна», «Валерика» и «Героя нашего времени», оказал заметное влияние на Гаршина, как автора рассказов из военной жизни («Четыре дня», «Из воспоминаний рядового Иванова»); это видно по сходству характерных образов (переживания тяжело раненного в стихотворении Лермонтова «Сон», в рассказе Гаршина «Четыре дня»), по трактовке темы о войне. Критика офицерской среды, начатая Лермонтовым, продолжена впоследствии Л. Толстым, Гаршиным, Куприным («Поединок»).

С кавказскими образами Лермонтова связаны некоторые стихотворения поэтов-символистов.

Стихотворение Брюсова «Кинжал» (1903 г.) является ответом на стихотворение Лермонтова «Поэт».

На лермонтовский мотив написано превосходное стихотворение Блока «Демон» (1910 г.); в нем поэт создает облик Демона под влиянием и Лермонтова, и его иллюстратора Врубеля; приводим из этого стихотворения некоторые строфы:

На дымно-лиловые горы
Принес я на луч и на звук
Усталые губы и взоры
И плети изломанных рук.
И в горном закатном пожаре,

В разливах синеющих крыл,
С любовью, с мечтой о Тамаре,
Я, горний, навеки без сил…
И снится – в далеком ауле,
У склона бессмертной горы,
Тоскливо к нам в небо плеснули
Капризные складки чадры.
Там стелется в пляске и плачет,
Пыль вьется и стонет зурна…
Пусть скачет жених – не доскачет!
Чеченская пуля верна.[232]

Лермонтов дорог и широчайшим массам народов СССР, он вдохновляет их поэтов и писателей.

Он был одним из любимейших авторов революционного народного поэта Осетии Коста Хетагурова, который, по случаю открытия памятника Лермонтову в Пятигорске, написал глубоко прочувствованное стихотворение «Перед открытием памятника М.Ю. Лермонтова». Выражая твердую уверенность в том, что горцы дождутся «желанной свободы», автор, обращаясь к родине, говорит:

Возлюби же его, как изгнанник поэт
Возлюбил твои мрачные скалы,
И почти, как святыню, предсмертный привет
Юной жертвы интриг и опалы.[233]

Это стихотворение не было тогда пропущено цензурой, о чем говорит сам автор много лет спустя в письме от 1 января 1900 г.: «За то я пойду к памятнику Лермонтова и продекламирую то стихотворение, которое я написал на его открытии. Оно не было напечатано, а между тем довольно интересное».[234] Влияние Лермонтова заметно в ряде лирических произведений Коста, в его поэмах «Плачущая скала» и «Фатима».

Ю. Веселовский в статье «Русское влияние в современной армянской литературе» приводит много примеров отзвуков лермонтовских мотивов в творчестве различных армянских писателей XIX–XX вв.

Поэт Шах-Азиз указывает, что произведения Лермонтова (например, «Герой нашего времени») всегда наводили его на много дум, действовали на него своим внутренним содержанием, давали известные мотивы и темы для разработки.[235]

Лермонтов был одним из наиболее излюбленных поэтов и армянского классика Ованеса Туманяна. Туманян восторженно отзывался об описаниях кавказской природы Лермонтова, проникнутых лирическими настроениями; особенно нравилось ему начало второй строфы из поэмы «Измаил-Бей» («Как я люблю, Кавказ мой величавый») и посвящения к поэме «Демон» («Тебе, Кавказ, суровый царь земли»). Влияние Лермонтова видно в поэме Туманяна «Отверженный закон».[236]

А. Исаакян, выдающийся армянский поэт, говорил: «Я не могу не признаться, что, еще начиная с детских лет, любимым поэтом моим был возвышенный, как Казбек, и глубокий, словно Дарьял, Лермонтов, творчеством которого часто вдохновлялся, а именно его лирическими стихотворениями, «Демоном» и «Мцыри» и особенно «Песней про купца Калашникова».[237]

Имя Лермонтова тесно связано и с грузинской поэзией XIX в. и начала XX в.

Лермонтовым очень интересовался гениальный лирик Н. Бараташвили, его современник. Бараташвили любил цитировать Лермонтова; у них был общий знакомый – К. Мамацев, школьный товарищ Бараташвили и сослуживец Лермонтова в 1840 г.[238] Созвучие с поэзией Лермонтова заметно в ряде стихотворений Бараташвили; например, его стихотворения «Чинара» и «Даривший мне радость» близки по основным мыслям, настроению и некоторым характерным образам (цветущая юная чинара, надменно слушающая говор волн Куры и веяние ветра; сухой лепесток сорванного цветка, унесенного ветром) к лермонтовскому «Дубовому листку».[239] Лермонтов привлекал глубокое внимание знаменитого грузинского поэта и прозаика И. Чавчавадзе. В его произведениях мы также находим мотивы, родственные лермонтовским. Отметим одно место в «Записках проезжающего» (1861 г.). Грузинский писатель описывает свои затаенные думы, вызванные возвращением на родину, во время переезда по Военно-Грузинской дороге:

«Как встречусь я с родиной, и как она встретит меня? – подумал я. – Что нового услышит от меня моя страна, и что она скажет мне? Кто знает, быть может, родина отвернется от меня, – от того, кто был пересажен на чужую почву и созрел на ней? А может, не отвернется и примет, поскольку во мне все же осталась закваска моей страны? И как мне быть, если страна моя откроется мне, поведает о своих тревогах, горестях, радостях, надеждах или о своей безнадежности, а я, позабывший ее язык, не пойму ее речи, ее слов? Может случиться и так, что она примет меня и прижмет к груди, как родное дитя, и станет жадно меня слушать. Найду ли я тогда в себе силы сказать родине близкое ей слово и этим словом озарить павшую

духом надеждой воскресения, безутешную – утешить, плачущей утереть слезы, труженице – облегчить ее труд и соединить те искорки, что тлеют и не могут не тлеть в каждом человеке? Хватит ли у меня сил? Хватит ли у меня сил произнести внятное ей слово?».[240]

Эти строки, превосходно передающие настроение писателя-странника, не знающего, как встретят его на родине, с которой он был надолго разлучен, сильно напоминают стихотворение Лермонтова «Спеша на север из далека» (1837 г.); здесь та же картина – возвращение на родину по Военно-Грузинской дороге одиноко едущего поэта, которого беспокоят те же мысли:

Но есть еще одно желанье!
Боюсь сказать! – душа дрожит!
Что если я со дня изгнанья
Совсем на родине забыт!
Найду ль там прежние объятья?
Старинный встречу ли привет?
Узнают ли друзья и братья
Страдальца после долгих лет?
Или среди могил холодных
Я наступлю на прах родной
Тех добрых, пылких, благородных,
Деливших молодость со мной? (II, 37).

К лермонтовским мотивам о кинжале («Поэт», «Кинжал») близко прекрасное стихотворение другого классика Грузии А. Церетели, «Кинжалу» (1905 г.); приводим его начало:

Я люблю тебя, кинжал –
Хоросанское железо!
Ты, кинжал, мне обещал
Вражьи путы перерезать.
Я точу тебя, кинжал,
Ржавчину с тебя снимаю.
Я хочу, чтоб ты сверкал,
Утешенья пробуждая.
Ты им службу сослужи,
В бой зови их за собою,
Ребра лезвий обнажив
Под железною рукою.
Люб мне, кто тебя ковал.
Он затратил труд не даром...
Бей, кинжал мой, наповал,
Чтобы мать врага рыдала...[241]

Напомним слова Лермонтова:

Люблю тебя, булатный мой кинжал,
Товарищ светлый и холодный.
Задумчивый грузин на месть тебя ковал,
На грозный бой точил черкес свободный.
.....
Ты дан мне в спутники, любви залог немой,
И страннику в тебе пример не бесполезный;
Да, я не изменюсь, и буду тверд душой,
Как ты, как ты, мой друг железный. (II, 35).

Размеры нашей работы не позволяют нам подробнее остановиться на вопросе о связи поэзии Лермонтова с последующей русской литературой и литературой народов СССР, но и приведенных примеров, мы полагаем, достаточно, чтобы показать, насколько близки были его кавказские мотивы многим поэтам и писателям XIX–XX вв. Мысли Лермонтова нередко давали толчок к созданию замечательных произведений поэтов и прозаиков новых поколений; изумительное мастерство Лермонтова, как художника слова, содействовало обогащению творческого опыта и русских писателей, и писателей братских народов, литература которых при царизме развивалась в труднейших условиях.

Точно так же вдохновлял Лермонтов, как певец Кавказа, многих композиторов и художников.

Песня рыбки из «Мцыри» положена на музыку Балакиревым, Даргомыжским, Аренским и Ипполитовым-Ивановым. На слова Лермонтова написаны романсы Балакирева «Сон», Н. Ладыженского «Грузинская песня» («Жила грузинка молодая»), Давыдова «Кинжал»; на мотив «Казачьей колыбельной песни» создано более 20 композиций различных авторов. Поэма «Демон» привлекла внимание композиторов Фитингофа-Шелля (опера «Тамара») и А.Г. Рубинштейна (опера «Демон»). На сюжет «Хаджи Абрека» написаны одноактные оперы А.Г. Рубинштейна и С.А. Траилина. Ряд лермонтовских мотивов вдохновил к написанию симфонических произведений Балакирева («Тамара»), Направника («Демон»), Сенилова («Мцыри»). Н.Ф. Христановичу принадлежит кантата «Демон» (семь картин для хора и оркестра), П.И. Бларамбергу – кантата на тот же сюжет для концертного исполнения. Наиболее выдающимися из этих произведений являются романсы Даргомыжского и Балакирева, популярная опера Рубинштейна «Демон», симфоническая картина Балакирева «Тамара».[242]

Кавказские сюжеты Лермонтова нашли отражение в рисунках и картинах различных художников – Зичи («Демон», «Герой нашего времени»), Врубеля («Демон», «Измаил-Бей»), А. Эберлинга («Демон») и др.

Достойную высокую оценку, подлинную широчайшую популярность Лермонтов получил только в послеоктябрьскую эпоху. Его сочинения в общедоступных и научных изданиях выходят в громадном количестве. За последние годы проведена большая работа по изучению литературного наследия великого поэта, его жизни, найдены новые его тексты (стихотворения, письма, очерк «Кавказец»), обнаружены неизвестные ранее архивные материалы. Растут кадры лермонтоведов.

Лермонтов был одним из излюбленных классиков В.И. Ленина. Об этом говорит в своих воспоминаниях Н.К. Крупская.

«Я привезла с собою в Сибирь, – рассказывает она, – Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Владимир Ильич положил их около своей кровати, рядом с Гегелем, и перечитывал их по вечерам вновь и вновь».[243]

Лермонтов очень близок советским писателям. Он был одним из любимых авторов, которыми М. Горький зачитывался еще в ранней юности. В повести «В людях» Горький нарисовал яркую сцену чтения «Демона» в среде рабочих:

«Однажды пожарный брандмейстер дал мне том Лермонтова, и вот я почувствовал силу поэзии, ее могучее влияние на людей.

Помню, уже с первых строк «Демона» Ситанов заглянул в книгу, потом – в лицо мне, положил кисть на стол и, сунув длинные руки в колени, закачался, улыбаясь. Под ним заскрипел стул.

– Тише, братцы, – сказал Ларионыч и, тоже бросив работу, подошел к столу Ситанова, за которым я читал. Поэма волновала меня мучительно и сладко, у меня срывался голос, я плохо видел строки стихов, слезы навертывались на глаза. Но еще более волновало глухое, осторожное движение в мастерской, вся она тяжело ворочалась, и точно магнит тянул людей ко мне. Когда я кончил первую часть, почти все стояли вокруг стола, тесно прислонившись друг к другу, обнявшись, хмурясь и улыбаясь.

– Читай, читай, – сказал Жихарев, наклоняя мою голову над книгой.

Я кончил читать, он взял книгу, посмотрел ее титул и, сунув подмышку себе, объявил:

– Это надо еще раз прочитать! Завтра опять прочитаешь. Книгу я спрячу.

Отошел, запер Лермонтова в ящик своего стола и принялся за работу. В мастерской было тихо, люди осторожно расходились к своим столам».[244]

Напомним, что М. Горький был очень большим почитателем Лермонтова. Он посвятил оценке его творчества ценные строки в курсе лекций по истории русской литературы, прочитанном в 1909 г. в Каприйской партийной школе. Здесь важно его указание на сущность лермонтовского пессимизма, который неправильно освещался многими прежними критиками и историками литературы.

«Пушкин еще любуется Онегиным, Лермонтов уже относится к своему герою полуравнодушно. Печорин близок ему, поскольку в Лермонтове есть черты пессимизма, но пессимизм в Лермонтове – действительное чувство, в этом пессимизме ясно звучит презрение к современности, отрицание ее, жажда борьбы, и тоска, и отчаяние от сознания одиночества, от сознания бессилия. Его пессимизм весь направлен на светское общество».[245]

Кавказские мотивы Лермонтова вызвали много отзвуков в лирике наших поэтов. Лермонтов очень близок советским поэтам.

Б. Пастернак посвятил ему первую книгу стихов, открывающуюся следующим стихотворением:

Приходил по ночам
В синеве ледника от Тамары,
Парой крыл намечал,
Где гудеть, где кончаться кошмару.
Не рыдал, не стяжал
Оголенных, исхлестанных в шрамах.
Уцелела плита
За оградой грузинского храма.

Как горбунья дурна,
Под решеткою тень не кривлялась.
У лампады зурна,
Чуть дыша, о княжне не справлялась.
Но сверканье рвалось
В волосах и, как фосфор, трещали.
И не слышал колосс,
Как седеет Казбек за печалью.
От окна на аршин,
Пробирая шерстины бурнуса,
Клялся льдами вершин:
Спи, подруга, лавиной вернуся.[246]

Ответом современного поэта на слова Лермонтова –

«Уж проходят караваны
Через те скалы,
Где носились лишь туманы
Да цари орлы» –

является стихотворение В. Азарова «Спор», развивающее мотив о полете над Кавказским хребтом авиатора, побеждающего в быстроте орла:

…На крыло самолета упала косая
Тень кавказского, черного, злого орла.
Этот хищник был рыжим огнем перемечен.
Поднебесье давил, устремляясь вперед,
Он кричал нам в лицо на орлином наречьи,
Понося авиаторов и самолет.
И тогда мы вошли в заповедное небо.
Уплывает теснина, как легкая грусть.
Стонет сердце, и горло становится немо,
С нами вздыбился рядом огромный Эльбрус.
А орел поднимался все выше и выше.
Я следил за отчаянным взмахом крыла.
Злая гордость глаза ему известью выжгла,
И до смерти его высота довела.
Мы открыли огромный провал Арарата,
Черноморья отборную, черную гроздь.
Так под звездною кромкой Кавказа крылатый,
Шел орла победивший заоблачный гость».[247]

Такие стихотворения, противопоставляющие лермонтовским образам образы советской эпохи, с ее героикой, с ее победами на социалистическом фронте, очень часто встречаются в современной лирике.

Лермонтовский Мцыри припоминается Н. Тихонову, описывающему в поэме «Дорога» картины грандиозного строительства в Грузии; обращаясь к одному из рабочих, автор спрашивает:

«Довольно, ты схвачен – сознайся,
Но ты ли грозу горячил?
Не ты ль опрокидывал барса?
И ямбу судьбу поручил?
Товарищ, не правда ль?»
Сказал он, вставая:
«Я в книге оправдан,
Но здесь – я не знаю.
Я долго в печати
Коптился и понял,
Что нужно начать мне
Иную погоню.

.....
Оставив подрясник
На белых страницах,
Я вышел из басни,
Чтоб здесь повториться.
Теперь, в отряхающем
Каменность мире –
Я снова – ломающий
Правила Мцыри».

К этому месту поэмы автор дает следующее примечание: «В Земо-Авчалах рядом со старинным монастырем, где жил лермонтовский Мцыри, ведутся работы по электрификации Куры. На работах заняты 1500 человек. Здесь можно встретить и послушников, убежавших из монастырей и сбросивших монашескую одежду». В том же произведении поэт упоминает о развалинах замка в Дарьяле, воспетого Лермонтовым.[248]

Образы Лермонтова варьируются в кавказских мотивах В. Маяковского, являющегося, как сказал товарищ Сталин, «лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи». В стихотворении «Владикавказ – Тифлис» Маяковский, описывая Дарьял, припоминает образы Лермонтова:

Стена –
и то
знакомое что-то.
В тахтах
вот этой вот башни –
Я помню:
я вел
Руставели Шотой
С царицей
с Тамарою
шашни.
А после
костями
хрустя,
Чтоб в пену
Тереку врыться.
Да что это!
Любовный пустяк!
И лучше
резвилась царица.

Лермонтову посвящено замечательное стихотворение Маяковского «Тамара и Демон» (1924 г.). Автор вновь выводит здесь легендарную царицу Тамару, владетельницу Дарьяльского замка, и искусно противопоставляет романтике, звучавшей около ста лет назад, образы и язык новой эпохи:

Я знаю мой голос:
паршивый тон,
Но страшен
силою ярой.
Кто видывал,
не усомнится, что
Я был бы услышан Тамарой.
.....
Сударыня!
Чего кипятитесь,
как паровоз?
Мы
общей лирики лента.
Я знаю давно вас, мне
много про вас
Говаривал
некий Лермонтов.

Он клялся,
что страстью
и равных нет…
Таким мне
мерещился образ твой.
Любви я заждался,
мне 30 лет.
Полюбим друг друга,
попросту.
Да так,
чтоб скала
распостелилась в пух.
От черта скраду
и от Бога я!
Ну, что тебе Демон?
Фантазия?
Дух!
К тому ж староват,
мифология.
Не кинь меня в пропасть,
будь добра.
От этой ли
струшу боли я?
Мне даже
пиджак не жаль ободрать,
а грудь и бока –
тем более.

Это стихотворение, в которое вплетены в новом освещении образы из произведений Лермонтова «Тамара» и «Демон», заканчивается сценой встречи обоих поэтов:

Сам Демон слетел,
подслушал
и стих,
и скрылся,
смердя в пустую.
К нам Лермонтов сходит,
презрев времена.
Сияет.
«Счастливая парочка». –
Люблю я гостей –
– Бутылку вина!
Налей гусару, Тамарочка![249]

Основная идея этого стихотворения выражена в словах: «Мы общей лирики лента», утверждающих, по признанию самого Маяковского, преемственную связь его творчества с лермонтовским.

Образы Лермонтова встречаются и в других произведениях Маяковского, например, в поэме «Человек»:

В бессвязный бред о демоне
растет моя тоска.

Эти стихи – отзвук «Сказки для детей» Лермонтова:

Кипя огнем и силой юных лет,
Я прежде пел про демона иного:
То был безумный, страстный детский бред. (Л., III, 420).

В пьесе «Баня» (II действие) пародируются слова из «Демона» Лермонтова:

После разных заседаний
нам не радость, не печаль,
нам в грядущем нет желаний,
нам, тарам, тарам, не жаль...[250]

Интерес к Лермонтову отражен в многочисленных повестях и стихотворениях различных авторов, развивающих биографические мотивы о поэте. Назовем стихотворения В. Рождественского «Лермонтов» (сб. «Большая Медведица», Ленинград, 1926 г.), М. Слободского «У Перкальской скалы» (сб. «Золотая зурна», Владикавказ, 1926 г.), книгу стихов Д. Петровского – «В гостях у Лермонтова» (Москва, 1936 г.), повести и романы: Павленко «Тринадцатая повесть» («Красная новь», 1929 г., II), Н.П. Гончаровой-Викторовой «Сказ о Лермонтове» (Ленинград, 1929 г.), С. Сергеева-Ценского – «Поэт и поэт», «Поэт и чернь», «Поэт и поэтесса» (эти три произведения, вышедшие отдельными изданиями, объединены автором в романе под общим заглавием «Мишель Лермонтов», Москва, 1933 г.), К. Большакова «Бегство пленных» (1929 г.). Имеются и пьесы на мотивы из жизни Лермонтова: драма Сергеева-Ценского «Поэт и чернь» (Москва, 1934 г.), Н. Лернера «Гибель Лермонтова» (Москва, 1934 г.), Н. Алибеговой «Маски» (Москва, 1938 г.). На лермонтовские сюжеты писались и киносценарии – «Бэла», «Княжна Мери» и другие.

Произведения Лермонтова имеются в переводах на различных языках народов СССР, в том числе – на языках народов Кавказа: грузинском, армянском, азербайджанском, осетинском, ингушском, карачаевском и других.

Лермонтов был одним из любимых писателей известного чеченского героя гражданской войны, пламенного большевика Асланбека Шерипова. В биографических сведениях о нем отмечается его высокий интерес к классикам. Когда он учился в реальном училище, то усиленно изучал писателей XIX–XX вв. «Больше десятка клеенчатых толстых тетрадей Асланбека сплошь исписано выдержками из классиков стихами и отрывками из Пушкина, Шевченко, Лермонтова и Некрасова. Лермонтова он особенно любил. Любимые стихи и поэмы Асланбек знал наизусть. В кругу друзей он часто декламировал «Измаил-Бея» Лермонтова, «Песнь о соколе» Горького, читал свои переводы народных песен».[251]

Когда-то кавказский край назывался «погибельным». Он был ареной длительных, кровопролитных войн, он был местом ссылок опасных для царизма людей. О судьбе народов Кавказа, героически боровшихся за национальную свободу на протяжении долгих десятилетий, скорбели лучшие поэты – Пушкин, Полежаев, Лермонтов, Шевченко, И. Чавчавадзе, Коста Хетагуров.

Теперь кавказский край стал неузнаваемым. Сто лет назад для него были характерны маленькие городки-крепости, обнесенные стенами с бойницами, окруженные рвом и валом; курортные поселки, в которых вели беспечную, праздную жизнь помещики и приезжавшие с фронта в тыл на отдых офицеры, глухие аулы и станицы. Передвижение между населенными пунктами было возможно лишь с «оказией», под охраной пушек и ружей, пеших и конных воинских частей. Почти нетронутыми лежали в недрах гор богатейшие природные сокровища, об использовании которых мечтал Лермонтов:

И железная лопата
В каменную грудь,
Добывая медь и злато,
Врежет страшный путь...

Поэт глубоко страдал от того, что «небо ясно, под небом места много всем», а люди режутся друг с другом, «как звери». Он восхищался жизнью вольнолюбивых горцев –

Близ рубежа чужой земли
Аулы мирные цвели,
Гордились дружбою взаимной;
Там каждый путник находил
Ночлег и пир гостеприимный;
Черкес счастлив и волен был.
Но пришли завоеватели, и вот –
Горят аулы, нет у них защиты,
Врагом сыны отечества разбиты...

Великий украинский революционный поэт Шевченко слал горцам горячий призыв –

Боритеся – поборете («Кавказ»).

Мужество и стойкость кавказских народов восхищали К. Маркса, сказавшего: «Народы, учитесь у них (черкесов), на что способны люди, желающие остаться свободными».[252]

Шли долгие годы. Пока существовал старый строй, положение трудящихся на Кавказе было все тем же.

Народный поэт Осетии, певец горской бедноты Коста Хетагуров писал:

Не верь, что я забыл родные наши горы,
Густой, безоблачный, глубокий небосвод,
Твои задумчиво-мечтательные взоры
И бедный наш аул, и бедный наш народ.
Нет, друг мой, никогда! Чем тягостней изгнанье,
Чем дальше я от вас, чем бессердечней враг,
Тем слаще и милей мне грезится свиданье
Со всем, мне дорогим, в моих родных горах...

Поэт верил, что должна наступить лучшая пора, и знал, что она будет куплена дорогой ценой – упорной борьбой:

Минуты сочтены... Повсюду бьют тревогу,
Уж брезжит луч зари, играя на штыках...[253]

Заветные мечты лучших, передовых людей, скорбевших о народной доле и лично много потерпевших при царизме, сбылись только после Великой Октябрьской социалистической революции, причем советская действительность оказалась более яркой и грандиозной, чем это грезилось нашим поэтам.

Ленинско-Сталинская национальная политика, Сталинская Конституция обеспечили народам СССР счастливую, полную широчайших творческих возможностей жизнь. Прежний край, бывший местом ссылки и векового гнета царизма, превратился в цветущую страну кипучей социалистической стройки. Прежние крепости и административно-бюрократические города стали столицами горских республик и автономных областей, имеющими крупные промышленные предприятия и высшие учебные заведения. «Романтические» провинциальные курорты, где прозябали «чающие движения воды», являются теперь великолепными здравницами всесоюзного значения, которыми пользуются стахановцы, герои труда, заслуженные деятели науки и искусства, рядовые представители советской интеллигенции. Отдаленные поднебесные аулы связаны с городами превосходными шоссейными путями, освещаются электричеством.

Как родное, звучит во всех концах Кавказа имя Лермонтова. С этим именем в нашем крае связаны многие места, особенно же близко приурочено оно к Пятигорску, с находящимися недалеко от него другими курортными уголками. Скромный домик, в котором жил перед кончиной великий поэт, превращен в литературный музей, привлекающий внимание всех посетителей Минераловодской группы. Здесь многое напоминает эпоху поэта, различные периоды его жизни, его бессмертного «Героя нашего времени». Все так же прекрасна воспетая поэтом природа. Припоминаются чудесные, полные бодрости, широкого, радостного восприятия жизни, строки Лермонтова:

«Шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа, а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы все синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльбрусом... Весело жить в такой земле!» (V, 240).

Приложения

Хронологическая канва пребывания М.Ю. Лермонтова на Кавказе

1818 год, 1820 год. Первые поездки Лермонтова на Кавказ.

1825 год. Лето. Лермонтов в Пятигорске.

1837 год (первая ссылка на Кавказ).

Февраля 27. Высочайший приказ о переводе лейб-гвардейского гусарского полка корнета Лермонтова прапорщиком в Нижегородский драгунский полк, стоящий на Кавказе (по делу о стихотворении «Смерть поэта»).

Мая 31. Письмо Лермонтова М.А. Лопухиной из Пятигорска о жизни на группе Минеральных Вод.

Июня 2. Лермонтов в Пятигорском госпитале.

Летом. Знакомство Лермонтова в Пятигорске с Н.М. Сатиным, В.Г. Белинским, доктором Н.В. Майером.

Июля 16. Поездка Лермонтова из Пятигорска в Железноводск.

Июля 18. Письмо Лермонтова к Е.А. Арсеньевой из Пятигорска о причислении к эскадрону Нижегородского полка в Анапе.

Июня 29 – сентябрь. Два пеших эскадрона Нижегородского драгунского полка находятся в рекогносцировке Кавказского хребта и Лезгинской линии.

Октября 11. Высочайший приказ о переводе Нижегородского драгунского полка прапорщика Лермонтова в лейб-гвардейский Гродненский гусарский полк корнетом.

Октября 21. Запись В.А. Жуковского в дневнике о пребывании в Новочеркасске: «Обед за маршальским столом. Рассказы о опасности государя. Прощение Лермонтова».

Осенью (во второй половине октября или ноября). Встреча Лермонтова, проезжавшего из Тбилиси, во Владикавказе с французским путешественником и В.В. Бобарыкиным.

Осенью или зимою. Письмо Лермонтова С.А. Раевскому о поездках по Кавказу: от Кизляра до Тамани, посещение Шуши, Кубы, Шемахи, Кахетии, Тбилиси, Военно-Грузинской дороги.

Ноября 25. Лермонтов выключен из списков Нижегородского драгунского полка.

Конец года. Пребывание Лермонтова, перед отъездом в Петербург, в Ставрополе, где он встречается с декабристами – В.Н. Лихаревым, Н.И. Лорером, М.А. Назимовым, М.М. Нарышкиным, А.И. Одоевским, А.Е. Розеном, В.М. Голицыным, С.И. Кривцовым.

Декабря 14. В дневнике неизвестного кавказского офицера запись: «В Прохладной встретил я Лермонтова, едущего в С.-Петербург».

Конец года. Отъезд Лермонтова с Кавказа в Петербург.

1840 год (вторая ссылка на Кавказ).

Февраля 13. Цензурное разрешение печатать роман «Герой нашего времени».

Апреля 13. Высочайший приказ о переводе лейб-гвардии гусарского полка поручика Лермонтова в Тенгинский пехотный полк, стоящий на Кавказе (по делу о дуэли с Э. Де Барантом).

Начало июня. Лермонтов заезжает на три дня в Новочеркасск к генералу М.Г. Хомутову, ежедневно бывает в театре.

Июня 10. Лермонтов приезжает в Ставрополь, на главную квартиру командующего Кавказскою линией.

Июня 17. Письмо Лермонтова из Ставрополя А.А. Лопухину о том, что он уже с неделю живет вместе с К.К. Ламбертом и на следующий день выезжает в действующий отряд, на левый фланг, в Чечню.

Июня 18. Лермонтов командирован на левый фланг Кавказской линии, для участия в экспедиции отряда под начальством ген.-лейт. Галафеева.

Июнь. Статья Белинского о «Герое нашего времени» в «Отечественных записках».

Июля 6. Отряд Галафеева, выступив из лагеря при крепости Грозной, переправился с рассветом по мосту через Сунжу и направился через ущелье Хан-Калу на деревню Большой Чечень.

Июля 7. Лермонтов с отрядом, после ночевки в Дуду-Юрте, через Б. Атагу направился к Чах-Гери. На пути перестрелки с чеченцами.

Июля 8. Отряд, в котором находился Лермонтов, выступил на рассвете из деревни Чах-Гери к Гойтинскому лесу. Штыковая атака Ахшпатой Гойта. Ночлег в лагере у деревни Урус-Мартан.

Июля 9. Лермонтов в лагере при Урус-Мартане. Уничтожение этой деревни. Перестрелка с чеченцами днем и ночью.

Июля 10. Переход отряда от Урус-Мартана к деревне Гехи. Сожжение деревень Чурик-Рошни, Пешхой-Рошни, Хажи-Рошни.

Июля 11. Отряд выступил из лагеря при деревне Гехи Бой на реке Валерике.

Во время боя Лермонтов наблюдает за действиями передовой штурмовой колонны и делает донесения начальнику отряда, что было связано «с величайшей опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами». Несмотря ни на какие опасности, Лермонтов исполнял возложенные на него поручения «с отменным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы».

Смерть декабриста В.Н. Лихарева в конце боя, во время беседы с Лермонтовым.

Июля 12. Лермонтов участвует в перестрелке при сожжении деревни Ачхой.

Июля 13. Лермонтов участвует в перестрелке при следовании отряда из лагеря на р. Натахы на левый фланг р. Сунжи.

Июля 14. Лермонтов участвует в перестрелке при следовании отряда от р. Сунжи в крепость Грозную.

Июля 19. Письмо Ю.Ф. Самарина к И.С. Гагарину о встречах с Лермонтовым в Москве весной 1840 г. и о проезде через Москву на юг всего «кружка шестнадцати».

Июля 28. Письмо Лермонтова Е.А. Арсеньевой из Пятигорска с просьбой выслать ему на Кавказ книгу Ростопчиной (сборник повестей «Очерки большого света»), сочинения Жуковского и Шекспира (в подлиннике); извещение о желании уйти в отставку.

Августа 13. Разрешение цензурой к печати сборника стихотворений Лермонтова.

Сентября 12. Лермонтов пишет из Пятигорска А.А. Лопухину о своем участии в бою при Валерике; сетование поэта на то, что с тех пор, как он находится на Кавказе, он ни от кого не получал писем, даже из дому; извещение о том, что он, после лечения на водах, опять едет в отряд, находящийся в Чечне.

Сентября 26. Лермонтов с отрядом Галафеева из крепости Грозной направляется через Хинкальское ущелье к Аргуну.

Сентября 29 и октября 3. Лермонтов, участвуя в делах, «обратил на себя особенное внимание отрядного начальника расторопностью, верностью взгляда и пылким мужеством».

Октября 10. Лермонтов принимает от юнкера Р. Дорохова, раненого в строю, командование над охотниками, выбранными из кавалерии в числе 40 человек.

Октября 12. Лермонтов на фуражировке за Шали участвует в стычках с чеченцами.

Октября 15. Лермонтов со своей командой участвует в стычках с чеченцами в Шалинском лесу при переправе через р. Аргун.

Октября 15. В Петербурге дан патент о пожаловании 6 декабря 1839 г. Лермонтову чина поручика гвардии.

Октября вторая половина. Письмо Лермонтова А.А. Лопухину об участии в 20-дневном походе по принятии командования отрядом охотников от Дорохова.

Октября 27. Лермонтов с отрядом Галафеева участвует в новой экспедиции в Чечне, отличается в рукопашном бою при ауле Алды.

Октября 28. При следовании отряда от аула Алды к аулу Урус-Мартан, взятому в этот же день, Лермонтов участвует в боях с чеченцами.

Октября 29. Лермонтов со своей командою действовал «с отличною храбростью и знанием военного дела».

Октября 30. При р. Валерике Лермонтов проявляет «новый опыт хладнокровного мужества», отрезав дорогу от леса сильной партии чеченцев.

Ноября 9–20. Лермонтов находился в экспедиции отряда Галафеева в Малой Чечне.

Ноября 11. Сообщение штаба войск Кавказской линии и Черномории командующему Тенгинским полком о прибытии Лермонтова в Ставрополь 11 июня и откомандировании 18 июня на левый фланг Кавказской линии.

Ноября 30. Сообщение того же штаба командующему Тенгинским полком об отправлении Лермонтова 18 июня к отряду ген.-лейт. Галафеева по распоряжению командующего войсками.

Декабря 9. Рапорт начальника 20-й пехотной дивизии ген.-лейт. Галафеева с приложением наградного списка и просьбой перевести Лермонтова «в гвардию тем же числом с отданием старшинства».

Декабря 11. Военный министр А.Н. Чернышев сообщает командиру отдельного Кавказского корпуса о том, что император по всеподданнейшей просьбе Арсеньевой, бабки поручика Тенгинского пехотного полка Лермонтова, повелеть соизволил: офицера сего, ежели он по службе усерден и в нравственности одобрителен, уволить к ней в отпуск в Петербург сроком на два месяца.

Декабря 24. Представление Лермонтова полковником Голицыным, командующим всею кавалериею отряда на левом фланге Кавказской линии, к награждению золотой саблей с надписью «За храбрость».

Декабря 31. Приказом но полку Лермонтов зачислен налицо в Тенгинском полку.

Рапорт начальника штаба отдельного Кавказского корпуса по поводу отпуска Лермонтова в Петербург.

1841 год (третья ссылка на Кавказ).

Января 14. Лермонтову выдан билет на двухмесячный отпуск.

Февраль. Статья Белинского о «Стихотворениях» Лермонтова в «Отечественных записках».

Конец февраля. Письмо Лермонтова к Д.С. Бибикову из Петербурга о том, что он 9 марта уезжает «заслуживать себе на Кавказе отставку» и что из Валерикского представления его вычеркнули; уведомление о том, что, отправляясь в отряд, он покупает сочинения Лафатера, Галя и «множество других книг».

Марта 1. Белинский пишет В.П. Боткину: «А каковы новые стихи Лермонтова? Он решительно идет в гору и высоко взойдет, если пуля дикого черкеса не остановит его в пути».

Марта 5. Рапорт командира отдельного Кавказского корпуса с просьбой наградить Лермонтова за участие в экспедиции в Малой Чечне с 27 октября по 6 ноября 1840 г.

Мая 9. Лермонтов приезжает в Ставрополь и прикомандирован к отряду, действующему на левом фланге Кавказа для участия в экспедиции.

Письмо Лермонтова Е.А. Арсеньевой из Ставрополя о намерении ехать в крепость Шуру, где полк, а оттуда на воды; выражение надежды получить отставку.

Мая 10. Письмо Лермонтова к С.Н. Карамзиной о приезде в Ставрополь и о том, что на следующий день он выезжает в экспедицию с А.А. Столыпиным; признание о том, что им «овладел демон поэзии», что он заполнил стихами половину записной книжки, подаренной В.Ф. Одоевским.

Мая середина. Встреча в Ставрополе с ремонтером Борисоглебского уланского полка П. Магденко.

Мая 20. А.С. Хомяков пишет Н.М. Языкову: «А вот еще жалко: Лермонтов отправлен на Кавказ за дуэль. Боюсь, не убили бы. Ведь пуля дура, а он с истинным талантом, и как поэт, в как прозатор».

Мая 23. Лермонтов прибыл в Пятигорск.

Мая 24. Рапорт пятигорского коменданта о болезни Лермонтова и ходатайство о разрешении ему пользоваться минеральными водами в Пятигорске.

Май. Лермонтов знакомится с Э.А. Шан-Гирей (падчерицей ген. Верзилина, урожденной Клингенберг).

Конец мая. Запись в домовой книге В.И. Чиляева: «С коллежского секретаря Александра Илларионовича, князя Васильчикова из С.-Петербурга, получено за три комнаты в старом доме 62 р. 50 к. сер., с капитана Алексея Аркадьевича Столыпина и поручика Михаила Юрьевича Лермонтова, из С.-Петербурга, получено за весь средний дом 100 руб. сер.»

Июня 8. Приказ начальника штаба войск Кавказской линии и Черноморья пятигорскому коменданту об отправлении поручика Лермонтова по назначению.

Июня 13. Рапорт Лермонтова командиру Тенгинского полка полковнику Хлюпину о болезни и о позволении ему пятигорским комендантом остаться в Пятигорске впредь до излечения.

Июня 15. Медицинское свидетельство, выданное Лермонтову лекарем пятигорского военного госпиталя Барклай-де-Толли.

Июня 18. Рапорт Лермонтова о болезни, представленный пятигорскому коменданту.

Июня 23. Рапорт пятигорского коменданта полковника Ильяшенко о ходатайстве Лермонтова разрешить ему вследствие нездоровья остаться в Пятигорске.

Июля 7. Отношение штаба войск Кавказской линии и Черноморья командиру Тенгинского пехотного полка с препровождением свидетельства, выданного поручику Лермонтову.

Июля 8. Пикник и бал в гроте Дианы Беседа Лермонтова с П.А. Гвоздевым. «Лермонтов был в странном расположении духа: то грустен, то вдруг становился он желчным и с сарказмом отзывался о жизни и обо всем его окружавшем».

Июля 13. Ссора Лермонтова с Мартыновым на вечере у Верзилиных.

Июля 14. Поездка Лермонтова в Железноводск.

Июля 15. Встреча Лермонтова с Е. Быховец в немецкой колонии Каррас. В 7 часов вечера дуэль Лермонтова с Мартыновым. Смерть Лермонтова.

Июля 16. Осмотр следственной комиссией места дуэли. Художник Шведе рисует портрет Лермонтова.

Июля 17. Медицинский осмотр тела Лермонтова. Похороны поэта в Пятигорске.

Июля 25. Рапорт коменданта Пятигорска о том, что Лермонтов убит на дуэли.

Августа 12. Высочайший приказ об исключении поручика Лермонтова из списков Тенгинского пехотного полка.

Октября 10. Рапорт коменданта Пятигорска командующему войсками Кавказской линии и Черноморья ген.-ад. Граббе о суде над Мартыновым и секундантами – Глебовым и Васильчиковым.

1842 год

Января 21. Министр внутренних дел Перовский извещает пензенского гражданского губернатора о высочайшем разрешении Е.А. Арсеньевой перевезти из Пятигорска тело внука ее М. Лермонтова в село Тарханы для погребения на фамильном кладбище.

Апреля 21. Тело Лермонтова привезено из Пятигорска в г. Чембар и того же числа – в село Тарханы.

Апреля 23. Лермонтов погребен на фамильном кладбище в Тарханах.

Примечание. В основу настоящей канвы взяты данные, имеющиеся в следующих источниках: М.Ю. Лермонтов «Полное собр. соч.», изд. Акад. наук, СПБ, 1913 г., т. V («Хронологическая канва для биографии М.Ю. Лермонтова»), Л. Семенов, «Новые документы о Лермонтове» («Горская мысль», Владикавказ, 1922 г., № 3); П.Е. Щеголев, «Книга о Лермонтове», Ленинград, 1929 г. вып. I и II; М.Ю. Лермонтов, «Полное собр. соч.», под ред. Б.М. Эйхенбаума, Москва – Ленинград, 1937 г., т. V («Хронологическая канва жизни М.Ю. Лермонтова», составленная В.А. Мануйловым); В.А. Мануйлов, «Жизнь Лермонтова», 1938 г., гл. II – «Детство» (рукопись).

Даты указаны по старому стилю.

Из материалов о пребывании М.Ю. Лермонтова на Кавказе

«Список посетителей и посетительниц Кавказских Вод в 1825 г.»*

В числе лиц, прибывших в 1825 г., упомянуты:

«54, 55, 56. Солыпины: Мария, Агафья и Варвара Александровны, Коллежского Ассесора Столыпина дочери из Пензы.

* В настоящем списке и в других извлечениях из лермонтовских источников сохраняются характерные особенности орфографии.

57, 58, 59, 60, 61, 62. Арсенева Елисавета Алексеевна вдова Поручица из Пензы, при ней внук Михайло Лермонтов, родственник ее Михайло Погожин, доктор Ансельм Левиз, учитель Иван Капа, Гувернерка Христина Ремер». (Стр. 260).

«99. Шенгерей Павел Петрович, отставной штабс-капитан, из Кизляра». (Стр. 263).

(«Отечественные записки», 1825 г., ч. 23, отд. «Смесь». Сведения присланы П.П. Свиньиным).

Высочайший приказ

«Его императорское величество в присутствии своем в г. Тифлисе октября 11 дня 1837 года, соизволил отдать следующий приказ: ...по кавалерии переводятся Нижегородского драгунского полка штабс-капитан Жерве лейб-гвардии в Драгунский полк поручиком и прапорщик Лермонтов лейб-гвардии в Гродненский гусарский полк корнетом».

(М.Ю. Лермонтов, V, 601).

Рапорт М.Ю. Лермонтова пятигорскому коменданту (18 июня 1841 г., № 132)

«Ваше высокоблагородие предписать мне №1000 изволили отправиться к месту моего назначения или, если болезнь моя того не позволит, в Георгиевск, чтобы быть зачисленному в тамошний госпиталь.

На что честь имею почтительнейше донести вашему высокоблагородию, что получив от вашего высокоблагородия позволение остаться здесь до излечения и так же получив от начальника штаба флигель-адьютанта полковника Траскина предписание, в коем он также дозволил мне остаться здесь, предписав о том донести полковому командиру полковнику Хлюпину и отрядному дежурству, и так как я уже начал пользование минеральными водами и принял 23 серных ванны, – то прервав курс, подвергаюсь совершенному расстройству здоровья, и не только не излечусь от своей болезни, но могу получить новые, для удостоверения в чем имею честь приложить свидетельство меня пользующего медика.

Осмеливаюсь при том покорнейше просить ваше высокоблагородие исходатайствовать мне у начальника штаба, флигель-адьютанта полковника Траскина позволение остаться здесь до совершенного излечения и окончания курса вод».

(«Исторический вестник», 1880 г., IV, 881–882)

Министерство Военное
Департамент Инспекторский
Отделение 3
Стол 1. «30 июня» 1841 года. №4859.

Милостивый государь
Евгений Александрович!

В представлении от 5-го минувшего марта № 458, ваше высокопревосходительство изволили ходатайствовать о награждении, в числе других чинов, переведенного 13-го апреля 1840 года за проступок л.-гв. из Гусарского полка в Тенгинский пехотный полк, поручика Лермонтова орденом св. Станислава 3-й степени за отличие, оказанное им в экспедиции противу горцев 1840 года.

Государь император, по рассмотрении доставленного о сем офицере списка, не изволил изъявить монаршего соизволения на испрашиваемую ему награду. – При сем его величество, заметив, что поручик Лермонтов при своем полку не находился, но был употреблен в экспедиции с особо-порученною ему казачьею командою, повелеть соизволил сообщить вам, милостивый государь, о подтверждении, дабы поручик Лермонтов непременно состоял налицо во фронте, и чтобы начальство отнюдь не осмеливалось ни под каким предлогом удалять его от фронтовой службы в своем полку.

О таковой монаршей воле имею честь вас уведомить.

Подлинное подписал Граф Клейнмихель.

(П.Е. Щеголев, «Книга о Лермонтове», II, 125–126).

Примечание. Настоящее отношение адресовано командиру отдельного Кавказского корпуса генералу Е.А. Головину, в ответ на представление им к награде Лермонтова за участие в экспедиции, действовавшей в М. Чечне с 27 октября по 6 ноября 1840 г. На наградном списке поэта командующим всей кавалерии на левом фланге полковником Голицыным была написана резолюция: «К золотой сабле с надписью за храбрость» (См.: Ракович, «Приложения», 32–33 стр.; Щеголев, «Книга о Лермонтове», II, 124–125). Ниже приводится рапорт начальника штаба отдельного Кавказского корпуса (от 18 августа 1841 г.) по этому же вопросу.

А. Меринский

«Лермонтов был брюнет с бледно-желтоватым лицом, с черными, как уголь глазами, взгляд которых, как он сам выразился о Печорине, был иногда тяжел. Невысокого роста, широкоплечий, он не был красив, но почему-то внимание каждого, и не знавшего, кто он, невольно на нем останавливалось.

Покойный П.А. Гвоздев, тоже его товарищ по юнкерской школе, бывший в то время на кавказских водах, рассказал мне о последних днях Лермонтова.

8-го июля он встретился с ним довольно поздно на пятигорском бульваре. Ночь была тихая и теплая. Они пошли ходить. Лермонтов был в странном расположении духа, – то грустен, то вдруг становился желч-

ным и с сарказмом отзывался о жизни и обо всем, его окружавшем. Между прочим в разговоре он сказал: «Чувствую – мне очень мало осталось жить». Через неделю после того он дрался на дуэли, близ пятигорского кладбища, у подошвы горы Машук.

Вовсе не желая к воспоминанию о смерти Лермонтова примешивать мелодраматизма, которого, при жизни своей, он не терпел, ненавидя всякие эффекты, я невольно должен передать одну подробность о его конце, сообщенную мне П.А. Гвоздевым. 15-го июля, с утра, еще над городом Пятигорском и горою Машук собиралась туча и, как нарочно, сильная гроза разразилась ударом грома в то самое мгновение, как выстрел из пистолета поверг Лермонтова на землю. Буря и ливень так усилились, что несколько минут препятствовали положить тело убитого в экипаж. Наконец, его привезли в Пятигорск. Гвоздев, услыхав о происшествии и не зная наверное, что случилось, в смутном ожидании, отправился на квартиру Лермонтова и там увидел окровавленный труп поэта. Над ним рыдал его слуга. Все там находившиеся были в большом смущении. Грустно и больно было видеть ему бездыханным того, чья жизнь так много обещала!»

(«Воспоминания о Лермонтове» – «Атеней», 1858 г., №48).

Примечание. Упоминаемый здесь Павел Александрович Гвоздев (1815–1851 гг.) – поэт; будучи в школе гвардейских подпрапорщиков, написал стихотворение – Ответ М.Ю. Лермонтову на его стихи «На смерть Пушкина», полное глубокого сочувствия Лермонтову. За дерзкий ответ одному из воспитателей был разжалован в солдаты и сослан на Кавказ; через год был произведен в офицеры и вышел в отставку. Лермонтов упоминал о Гвоздеве в одном из писем (соч. Л., V, 392. О Гвоздеве см. «Архив Раевских» – СПБ, 1909 г., II, 512–513; «Русская старина», 1896 г., X; В.В. Каллаш, «М.Ю. Лермонтов в русской поэзии», Москва, 1914 г., стр. 49–50).

Из протокола комиссии, осматривавшей место дуэли 16 июля 1841 г.:

«Это место отстоит на расстоянии от города Пятигорска верстах в четырех, на левой стороне горы Машухи, при ее подошве. Здесь пролегает дорога, ведущая в немецкую Николаевскую колонию. По правую сторону дороги образуется впадина, простирающаяся с вершины Машухи до самой ее подошвы, а по левую сторону дороги впереди стоит небольшая гора, отделившаяся от Машухи; между ними проходит в колонию означенная дорога. От этой дороги начинаются первые кустарники, кои, изгибаясь к горе Машухе, округляют небольшую поляну. Тут-то поединщики избрали место для стреляния».

(М.Ю. Лермонтов, «Полное собр. соч.», изд. Акад. наук, 1913 г., V, стр. CXX).

Его Императорскому Величеству № 1427 Июля
Пятигорского коменданта 16-го дня 1841 г.
Рапорт

Вашему Императорскому Величеству всеподданнейше доношу, что находящиеся в городе Пятигорске для пользования болезней кавказскими минеральными водами, уволенный от службы из Гребенского казачьего полка майор Мартынов и тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов, сего месяца 15-го числа в четырех верстах от города, у подошвы горы Машуки имели дуэль, на коей Мартынов ранил Лермонтова из пистолета в бок навылет, от каковой раны Лермонтов помер на месте. Секундантами были у них находящиеся здесь для пользования минеральными водами лейб-гвардии конного полка корнет Глебов и служащий во II-м отделении собственной Вашего Императорского Величества канцелярии титулярный советник князь Васильчиков; об этом происшествии производится законное следствие, а майор Мартынов, корнет Глебов и князь Васильчиков мною арестованы».

(П.Е. Щеголев, «Книга о Лермонтове», Ленинград, 1929 г., II, 228).

Реверс

Я нижеподписавшийся даю сей реверс Пятигорскому коменданту господину полковнику и кавалеру Ильяшенкову в том, что оставшиеся после убитого отставным майором Мартыновым на дуэле двоюродного брата моего Тенгинского Пехотного полка поручика Лермонтова поясненные в описи деньги две тысячи шестьсот десять рублей ассигнациями, разные вещи, две лошади и два крепостных человека Ивана Вертюкова и Ивана Соколова, я обязуюсь доставить в целости к родственникам его Лермонтова; – в противном же случае, предоставляю поступить со мною по законам.

Июля 28 дня 1841 года г. Пятигорск Нижегородского драгунского полка капитан Столыпин.

О том, что капитан Столыпин, оставшиеся после убитого поручика Лермонтова деньги, вещи, лошадей и крепостных людей доставит к родственникам Лермонтова, поручаем:

Нижегородского Драгунского полка командир – полковник (Подпись).

Камер-юнкер (Подпись).

(П.Е. Щеголев – «Книга о Лермонтове», Ленинград, 1929 г., II, 227–228).

Примечание. Подробная опись имущества Лермонтова, оставшегося после его кончины, опубликована в «Историческом вестнике» (1892 г., IV, 99–100) и в названном труде Щеголева, II, 224–227).

Из письма Ю.Ф. Самарина к И.С. Гагарину (Москва, 3 августа 1841 г.)

«Пишу вам, мой друг, под тяжким впечатлением только что полученного мною известия. Лермонтов убит Мартыновым на дуэли на Кавказе. Подробности ужасны. ОН ВЫСТРЕЛИЛ НА ВОЗДУХ, А ПРОТИВНИК УБИЛ ЕГО, СТРЕЛЯЯ ПОЧТИ В УПОР. Эта смерть, после смерти Пушкина, Грибоедова и других, наводит на очень грустные размышления.

...Собираются печатать его посмертные произведения. Мы снова увидим его имя там, где любили его отыскивать, снова прочтем еще несколько новых вдохновенных творений, всегда искренних, но как все последние его поэтические вещи, конечно грустных и вызывающих особенно скорбное чувство при воспоминании, что родник иссяк».

(«Новое слово», 1894 г., № 2, стр. 46–47).

М.Ф. Федоров

«Несмотря на то, что дуэль была при свидетелях, подробности о ней чрезвычайно разнообразны: одни говорят, что Лермонтов получил рану в правый бок навылет, упал, не успев выстрелить; другие говорят напротив, Лермонтов выстрелил первый и выстрелил вверх; Мартынов, будто бы, сказал на это: «я не пришел с тобой шутить», – и сделал выстрел, но пистолет осекся по случаю дождя; он вновь насыпал на полку пороху и вторым выстрелом, попав в грудь, положил Лермонтова на месте. Дуэль была во время сильной грозы, без медика, на случай раны; убитый, а может быть, еще живой Лермонтов, говорят, оставался без пособия часа три на месте; что барьер был отмерен на покатости горы и Лермонтов стоял выше Мартынова, – одним словом, все обвиняют секундантов, которые, если не могли отклонить дуэли, могли бы отложить, когда пройдет гроза».

(«Походные записки на Кавказе с 1835 по 1842 год», – «Кавказский сборник», Тифлис, III, 194).

Рапорт начальника штаба отдельного Кавказского корпуса командующему войсками на Кавказской линии и в Черномории, ген.-адьютанту и кавалеру Граббе (18 августа 1841 г.).

«Государь император, заметив в представлении корпусного командира от 5 минувшего марта № 548 с ходатайством о наградах, что переведенный 13 апреля 1840 года за проступок из лейб-гвардии Гусарского полка в Тенгинский пехотный полк поручик Лермонтов при своем полку не находился, но был употреблен в Чеченской экспедиции с особо порученною ему казачьего командою, повелеть соизволил сообщить г. корпусному командиру о подтверждении, дабы поручик Лермонтов непременно состоял на лицо на фронте, и чтобы начальство отнюдь не осмеливалось ни под каким предлогом удалять его от фронтовой службы в своем полку» («Русский архив», 1911 г., кн. IX, стр. 159).

Командующему войсками по Кавказской линии
и в Черномории г. генерал-адьютанту и кавалеру Граббе.
Пятигорского коменданта полковника Ильяшенкова
Рапорт.

По суду, произведенному в комиссии, учрежденной в гор. Пятигорске над подсудимыми: уволенным от службы из Гребенского казачьего полка майором Мартыновым, лейб-гвардии конного полка корнетом Глебовым и служащим в собственной Его Императорского Величества канцелярии титулярным советником князем Васильчиковым, открылось:

Сего года июля 15-го числа подсудимые эти и с ними Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов, по полудни в шесть с половиною часов, из квартир своих отправились по дороге, ведущей в Николаевскую колонию и, отъехав от города не более 4-х верст, остановились при подошве горы Машуки, между растущего кустарника, на поляне, где, привязав за деревья своих лошаде, и из них, корнет Глебов и князь Васильчиков, размерили вдоль по дороге барьер расстоянием на 15 шагов, поставив на концах оного свои фуражки, и отмерили еще от оных в обе стороны по 10-ти шагов, потом, зарядив пару пистолетов, отдали ссорившимся майору Мартынову и поручику Лермонтову; сии, пришед на назначенные места, остановились и потом, по сделанному знаку корнетом Глебовым, приблизясь к барьеру, майор Мартынов выстрелом своим ранил поручика Лермонтова, который в то же время от этой раны и помер, не успев даже произвести и выстрела по Мартынове.

Ссора у майора Мартынова с поручиком Лермонтовым, как из дела видно, произошла последний раз 13-го числа того месяца по выходе из дома генерал-майорши Верзилиной, которую хотя в оном никто из бывших в то время у ней гостей и не заметил, но это подтверждается собственным сознанием Мартынова и объяснениями князя Васильчикова и корнета Глебова, ибо Мартынов им неоднократно говорил, что поручик Лермонтов делал и наперед сего беспрерывные над ним насмешки и говорил разные колкости, а в последний раз Лермонтов решился сказать Мартынову, что он не вправе заставить его молчать, присовокупил к тому: «ты вместо угроз гораздо бы лучше сделал, если действовал; ты знаешь, что я от дуэлей никогда не отказываюсь». Почему и назначено было время дня дуэли и к оной были приглашены секундантами со стороны Мартынова корнет Глебов, а Лермонтова – князь Васильчиков.

Секунданты, хотя и употребляли все меры к примирению ссорящихся, но никак успеть в том не могли; а не дали они об этом знать местному начальству потому, что дали ссорящимся слово никому о том не говорить. Спрошенные под присягою крепостные люди поручика Лермонтова Илья и Ермолай Козловы, Иван Смирнов, майора Мартынова – Иван Вертюков и Иван Соколов, показали, что тот день, когда у господ их назначена была дуэль, они ничего не знали, куда и зачем поехали тоже не знают, а узнали об этом тогда, когда корнет Глебов приехал с места происшествия в квартиру и приказал из них Илье Козлову и Ивану Вертюкову ехать за телом Лермонтова, кои отправились туда и привезли оное в квартиру, во все же время соседственного квартирования их, они, Мартынов и Лермонтов, жили дружелюбно и ссоры никогда никакой между ними не было, а Иван Смирнов и Ермолай Козлов находились в тот день безотлучно в квартире и о происшествии сем не знали до тех пор, пока не было привезено в квартиру тело убитого Лермонтова; Иван же Соколов в это время находился в Железноводске.

За неимением о подсудимых майоре Мартынове и корнете Глебове формулярных списков, ни о летах, равно и службе видеть ничего нельзя, ибо таковые требуются комиссиею, отколь следует и по получении будут мною доставлены вслед за делом.

Титулярный советник князь Васильчиков от роду имеет 22 года, в службе с 1839 года, из российских князей, в походах и штурмах не бывал.

Военный суд, дело это производивший, согласно свода военно-уголовных постановлений части 5-й книги 1-й, статьями 392, 393 и 398, подсудимых майора Мартынова, корнета Глебова и титулярного советника князя Васильчикова приговорил к лишению чинов и прав состояния.

Я также соглашаюсь с приговором комиссии военного (суда) во всей его силе и потому судное о них дело, обще с пистолетами, имею честь представить на рассмотрение вашего превосходительства, докладывая при том, что издержанные презусом, ассесорами и аудиторами прогонные и суточные деньги, всего 154 рубля 72 $^1/_2$ копейки ассигнациями, взыскать с подсудимых. № 1260. Октября 10-го дня 1841 года. Г. Пятигорск.

Полковник Ильяшенков.

В должности адъютанта поручик Турдаковский.

(Ракович, «Тенгинский полк на Кавказе». Тифлис. 1900 г. «Приложения», стр. 34–35).

Примечание. В рапорте ошибочно крепостные люди Лермонтова названы принадлежащими Мартынову и наоборот.

Журналы и газеты 1841–1842 годов о смерти М.Ю. Лермонтова

«Одесский вестник»

«Здесь получено из Пятигорска прискорбное известие о кончине М.Ю. Лермонтова, одного из любимейших русских поэтов и прозаиков, последовавшей 15-го минувшего июля.

В бумагах его найдено несколько небольших, не конченных пьес» (1841 г., 2 августа, № 62, стр. 295).

...«Погода в Пятигорске стоит довольно хорошая. Сильные жары прохлаждаются порывами ветра. Маленькие дожди перепадали изредка. Но 15-го Июля, около 5-ти часов вечера, разразилась ужасная буря с молниею и громом: в это самое время, между горами Машукою и Бештау, скончался лечившийся в г. Пятигорске М.Ю. Лермонтов. С сокрушением смотрел я на привезенное сюда, бездыханное тело поэта... Кто не читал его сочинений, проникнутых тем глубоким лирическим чувством, которое находит отпечаток в душе каждого?»... (№ 63, стр. 299–301: статья А. Андреевского «Пятигорск и кавказские минеральные источники»).

Примечание. По поводу этого места статьи Андреевского В.Г. Белинский в рецензии на второе издание «Героя нашего времени» писал: «Нельзя без печального содрогания сердца читать этих строк». (Белинский, «Соч.», II, 916).

«**Библиотека для чтения»**

«Литература наша беспрерывно поносит новые потери, которые не вознаграждаются новыми приобретениями. Одни сходят с поприща, ища отдыха после трудов, другие умирают. Кончина Лермонтова, на кавказских водах, Лермонтова, который подавал столь блистательные надежды, должна огорчить всех любителей русской словесности. При нынешнем чрезвычайно ограниченном числе талантов, которые еще пишут, вся словесность наша по необходимости заключалась в журналах».

(1841 г., том 48, отд. VI, стр. 41, «Разные известия»).

Примечание. В «Библиотеке для чтения» в 1835 г. была напечатана поэма «Хаджи Абрек» (т. XI, август). В 1840 г. в том же журнале был помещен очень сочувственный отзыв О. Сенковского о сборнике стихотворений Лермонтова (т. XLIII, отд. VI, ноябрь, стр. 1–11).

В той же книжке «Библиотеки для чтения», где было помещено приведенное выше извещение о смерти поэта, появилась также статья А. Андреевского «Пятигорск и Кавказские Минеральные Воды в июне 1841», с извещением о кончине Лермонтова (отд. VII, отдел «Смесь», стр. 54–60); это несколько сокращенная редакция статьи того же автора, опубликованной в «Одесском Вестнике» за 1841 г.

«Литературная газета»

«Первая новость наша печальная. Русская литература лишилась одного из талантливейших своих поэтов. По известиям с Кавказа, в последних числах прошедшего месяца скончался там М.Ю. Лермонтов. Молодой поэт, столь счастливо начавший свое литературное поприще и со временем обещавший нам замену Пушкину, преждевременно нашел смерть. Нельзя не пожалеть, что столь свежий, своеобразный талант не достиг полного своего развития; от пера Лермонтова можно было ожидать многого».

(1841 г., 9 августа, № 89, стр. 356, отдел – «Литературные и театральные новости»).

Примечание. В «Литературной газете» в 1840 г. было напечатано стихотворение Лермонтова «И скучно и грустно» (№ 6), кроме того, в ней помещались в 1840–41 гг. отзывы о его произведениях.

«Северная пчела»

«15-го минувшего Июля скончался, в Пятигорске, наш молодой писатель, М.Ю. Лермонтов, подававший отечественной литературе блистательные надежды. В бумагах его, сказывают, найдено несколько недоконченных сочинений».

(1841 г., 19 августа, № 183, стр. 729, отд. «Внутренние известия»).

Примечание. В «Северной пчеле» за 1840–1841 гг. помещались отзывы о сочинениях Лермонтова.

«Сын отечества»

«Некролог:

Из Пятигорска получено прискорбное известие, что там скончался, пятнадцатого июля, известный поэт и прозаик М.Ю. Лермонтов. В бумагах его найдено несколько небольших, неоконченных пьес».

(1841 г., 23 августа, № 34, стр. 436, отд. «Разные известия»).

Примечание. В «Сыне отечества» за 1840–41 гг. помещались отзывы о сочинениях Лермонтова.

«Московитянин»

Кончина Лермонтова

«Еще утрата в Русской литературе!

Одна из прекрасных надежд ее, М.Ю. Лермонтов, скончался на Кавказе 15-го Июля. Давно ли мы радовались его расцветанию – и уже должны описывать потерю! Он был представителем самого младшего поколения Словесности нашей; бодро шел вперед; развитие его обещало много; Кавказ посылал ему новые вдохновения. Теперь все кончено.

Сердце обливается кровию, когда подумаешь, сколько прекрасных талантов погибает у нас безвременно!»

(1841 г., ч. V, отд. «Смесь»).

Примечание. В «Москвитянине» за 1841 г., при жизни поэта, было напечатано стихотворение «Спор» (ч. III, № 6, цензурная помета – 31 мая).

«Русский вестник»

«Михайло Юрьевич Лермонтов, стихи и проза которого давали столь большие надежды, сконч. на Кавказе, Июля 15-го».

(1842 г., № 1, отд. IV, «Некролог 1841 года», стр. 16).

Примечания

Ссылки на сочинения М.Ю. Лермонтова делаются по изданию, вышедшему под редакцией и с комментариями проф. Б.М. Эйхенбаума в пяти томах в 1936–1937 гг. (Москва – Ленинград, изд-во «Academia»).

1. Лермонтов, «Полное собр. соч.» под ред. проф. Висковатова, Москва. 1891 г., VI, 22, 24–25, 30.
2. Отечественные записки», 1825 г., ч. 23, отд. «Смесь», стр. 260, 263, 264, 268.
3. А. Нелюбин, «Полное описание Кавказских Минеральных Вод», СПБ, 1825 г., II, 644–649.
4. Проф. П. Савенко, «Кавказские Минеральные Воды», СПБ, 1828 г., стр. 183.

5. «Полярная звезда» на 1825 г., СПБ, стр. 235.
6. Н. Рыбкин, «Материалы к биографии Белинского и Лермонтова» («Исторический вестник», 1881 г., IX, 374–377).
7. «День», 1891 г., № 1171; Е.И. Яковкина, «По лермонтовским местам», Ворошиловск, 1938 г., стр. 19.
8. Шан-Гирей, «М.Ю. Лермонтов» («Русское обозрение», 1890 г., VIII). См. еще – соч. Лермонтова под ред. Висковатова, VI, стр. 22, примеч. 2; стр. 24, примеч. 1; соч. Лермонтова в изд. Академии наук, 1913 г., V, стр. XX.
9. В.А. Мануйлов, «Жизнь Лермонтова», 1938 г., гл. II (рукопись). Выражаем глубокую признательность автору, любезно предоставившему нам возможность ознакомиться с I – IV главами его весьма интересного труда.
10. Ф.Н., «Е.И. Зарина-Новикова» («Исторический вестник», 1914 г., VII, 225–226); Н. Константинов и Б. Рест, «Год рождения 1835-й» («Литературный Ленинград», 1935 г., № 46).
11. А.П. Шан-Гирей, назв. статья.
12. Соч. Лермонтова под ред. Висковатова, VI, 23–24.
13. Соч. Лермонтова под ред. Висковатова, II, 3.
14. «Русская мысль», 1883 г., II, 1–2.
15. С. Броневский, «Новейшие географические и исторические известия о Кавказе», Москва, 1823 г., II, 152.
16. То же, II, 134, 229–230.
17. «Акты, собранные Кавказской археографической комиссией», Тифлис, 1874 г., т. VI, ч. 1, стр. 485.
18. То же, Тифлис, 1878 г., т. VII, 890, 911–916, 918.
19. Потто, «Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях», СПБ, 1885, II, 144–148, 149–160, 187; см. еще «Кавказский сборник», Тифлис, X, 42,44,45, 57, 211, 219–220.
20. Пушкин, «Полное собр. соч.» в 6-ти томах, Москва – Ленинград, 1932 г., IV, 779–780.
21. Потто, то же, I, 691–694.
22. Е.В(ейденбаум) («Чеченская девица-кавалерист»). «Иллюстрированное прибавление к «Тифлисскому листку», 1899 г., № 4.
23. Н.Н. «Записки во время поездки из Астрахани на Кавказ и в Грузию в 1827 г.», Москва, 1829 г., стр. 85–86. С большой симпатией о детях-аманатах, содержавшихся во Владикавказской крепости, отзывается также А.С. Пушкин («Путешествие в Арзрум», гл. 1). См. еще аналогичные сведения в материалах, сообщаемых газетой «Тифлисские ведомости» за 1830 г.: «В крепости небольшой деревянный домик с железными решетками наполнен аманатами, данными горскими народами. Это оборванные грязные ребятишки, обреченные вечному невежеству, ибо во Владикавказе их ничему не учат, а содержат, как пленников» (№ 56: «Поездка из Москвы за Кавказ»).
24. «Кавказ, сб.», X, 223–224.
25. «Северный архив», 1828 г., ч. 34, №11, стр. 94 («Письма Х. Ш… к Ф. Булгарину или поездка на Кавказ»).
26. «Записки Терского общества любителей казачьей старины». Владикавказ, 1914 г., №4, стр. 49 (примечание).
27. «Черкес» («Невский альманах» на 1829 г., стр. 256–277).
28. «Северный певец», Москва, 1830 г., ч. II, 83–86.
29. Н.А. Волконский, «Война на восточном Кавказе с 1824 по 1834 г. в связи с мюридизмом». («Кавказский сборник», Тифлис, 1886 г., X, 156, 173, 183–185, 211).
30. «Акты, собранные Кавказ. археографическою комиссией», VII.
31. И. Дроздов, «Начало деятельности Шамиля» («Кавказ. сборник», Тифлис, 1899 г., XX, стр. 276, 283).
32. «Кавказ», 1862 г., №30; «Кавказский сборник», X, 219.
33. Потто, «Кавказская война», II, 181–182.
34. Там же, 183.
35. Броневский, назв. соч., II, 130.
36. «Кавказ», 1859 г., № 7 («О гостеприимстве у черкес»).
37. Броневский, назв. соч., II, 103.
38. В.Ф. Миллер, «Кавказские предания о великанах, прикованных к горам» («Журнал мин. нар. просвещения», 1883, 1).
39. «Русский инвалид», 1857 г., №249.
40. «Отечественные записки», 1841 г., XVII, 12.
41. «Отеч. записки», 1843 г., XXVII, 1–2; поэма напечатана на стр. 1–25. В этой же книжке журнала впервые опубликованы замечательные посмертные произведения Лермонтова: «Сон», «Тамара», «Утес», «Выхожу один я на дорогу».
42. Л.Н. Толстой, «Полное собр. соч.», под ред. В.Г. Черткова, Москва, 1936 г., VI, 279.
43. Русское обозрение», 1890 г., VIII, 737; см. еще – А. Меринский, «Воспоминание о Лермонтове» («Атеней», 1858 г., № 48, стр. 301).

44. Дьячков-Тарасов, «В горах большого и малого Карачая» («Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», Тифлис, 1900 г., XXVIII, 66–68). Здесь же помещен рисунок, изображающий местность, где когда-то находился аул Джемаат.
44а. В.М. Сысоев, «Карачай в географическом, бытовом и историческом отношении». Тифлис, 1913 г., стр. 112–113. (Отт. «Сб. матер. для описания местностей и племен Кавказа», т. 42).
45. В.А. Гейман, «1845 год» («Кавказ. сборник», Тифлис, 1879 г., III, 273).
46. Потто, «История 44-го драгунского Нижегородского полка», СПБ, 1894 г., IV, 116, 121, 125.
47. Saint-Rene' Taillandier «Allemagne et Russie». Paris, 1856 г. p 287.
48. Потто, «Кавказская война», II, 187–188.
49.В.П. Бурнашев, «М.Ю. Лермонтов в рассказах и воспоминаниях его гвардейских однокашников» («Русский архив», 1872 г., стр. 1826).
50. Л. Семенов, «М.Ю. Лермонтов», Москва, 1915 г.
51. См. соч. Лермонтова под ред. Висковатова, VI, 261–262, соч. Лермонтова в изд. Акад. наук, СПБ, 1913 г., V, стр. LXXXV–LXXXVI.
52. Соч. Лермонтова под ред. Висковатова, VI, 254.
53. Соч. Лермонтова под ред. проф. Висковатова, VI, 263.
54. В.В. Бобарыкин, «Три встречи с М.Ю. Лермонтовым» («Русский библиофил», 1915 г., №5, стр. 76).
55. «Из воспоминаний Н.М. Сатина» («Почин», сб. О-ва любителей российской словесности на 1895 г., Москва, стр. 23–241).
56. Белинский, «Сочинения» (изд. Павленкова, СПБ., 1900 г., I, 673).
57. «Отечественные записки», 1839 г., т. I, отд. VII, стр. 15.
58. Белинский, «Письма», СПБ, 1914 г., I, 336, 339.
59. Соч. Лермонтова под ред. Висковатова, VI, 303 – 304.
60. То же, стр. 304.
61. А.М. Миклашевский, «М.Ю. Лермонтов в заметках его товарища» («Русская старина», 1884 г., XII, 592).
62. A. Dumas, «Le Cancase», Leipzig, II, 258.
63. А. Петров («Русский архив», 1867 г., стр. 1175).
64. Лермонтов, V, 601.
65. В.А. Жуковский, «Дневники», СПБ., 1903 г., стр. 369.
66. Н. Огарев, «Кавказские воды» («Полярная звезда» за 1861 г., Лондон, № 6, стр. 348).
67. Лермонтов, II, 204–206.
68. «Венок М.Ю. Лермонтову», Москва, 1914 г., 194–195.
69. Л. Семенов, «Лермонтов и Л. Толстой», Москва, 1914 г., стр. 422.
70. Белинский, II, 133–134.
71. Соч. Лермонтова под ред. Болдакова, Москва, 1891 г., II, 408–409.
72. Сборник матер. для описания местностей и племен Кавказа», т. XVI, 345 (из песен станицы Ардонской).
73. «Сб. матер. для опис. местн. и племен Кавказа», 1882 г., т. XIII.
74. «Искусство азербайджанского народа». Москва – Ленинград, 1938 г., стр. 74–75 (Р.Л. Глиэр, «Шах-Сенем»).
75. Соч. Лермонтова под ред. Болдакова, I, 448.
76. Созонович, «К вопросу о западном влиянии на славянскую и русскую поэзию». Варшава, 1898 г., стр. 542–547.
77. В.Ф. Миллер, «Материалы для истории былинных сюжетов», I («Этнографическое обозрение», 1890 г., V, 110–115). См. еще его же «Кавказско-русские параллели» («Этногр. обозрение», 1891 г., № 4, стр. 3–7).
78. Соч. Пушкина в изд. Брокгауза и Ефрона, VI, 460.
79. «Отеч. записки», 1839 г., т. VI, № 11, стр. 146.
80. «Отеч. записки», 1840 г., т. VIII, № 2, стр. 144.
81. С.И. Дурылин, «Как работал Лермонтов», Москва, 1934 г., 113.
82. Соч. Лермонтова под ред. Висковатова, VI, 252.
83. М.Ц.(ейдле)р., «На Кавказе в 30-х годах» («Русский вестник», 1888 г., IX, 122–129).
84. «Русский архив», 1891 г., кн. III, 575.
85. «Новости», 1891 г., № 218.
86. В.В. Соколов, «Лермонтов и Тамань» («Известия Таврического о-ва истории, археологии и этнографии», Симферополь, 1928 г., II, 127–129).
87. Соч. Лермонтова под ред. Висковатова, VI, 263 (ср. стр. 365); см. еще – «Русская старина», 1887 г., X, 124–125.
88. А.В. Мещерский, «Из моей старины» («Русский архив», 1901 г., I, 106).
89. Сатин, назв. статья, 239.
90. Огарев, назв. статья, 345–346; см. еще стр. 353–367.

91. Г.И. Филипсон, «Воспоминания» («Русский архив», 1883 г., кн. 3, стр. 177–180).
92. А.И. Дельвиг, «Мои воспоминания», Москва, 1912 г., I, 304.
93. «Мир божий», 1900 г., XII, 231–239; см. то же в книге М. Гершензона «Образы прошлого», Москва, 1912 г.
94. «Архив Раевских», СПБ, 1909 г., II.
95. М.Н. Лонгинов, «М.Ю. Лермонтов» («Русская старина», 1873 г., III, 389).
96. Э. Шан-Гирей, «Воспоминания о Лермонтове» («Маяк», 1881 г., № 36, стр. 559); см. еще соч. Лермонтова под ред. Висковатова, II, 289, 353; «Терские ведомости», 1891 г., № 78 (заметка «Из Пятигорска»).
97. Соч. Лермонтова под ред. Висковатова, VI, 289, 352–353; «Т.Н. Грановский и его переписка», Москва, 1897 г., II, 128.
98. В. Д. К., «Воспоминание о Лермонтове» («Новое обозрение», 1891 г., № 2628).
99. Э.А. Шан-Гирей, «Воспоминание о Лермонтове» («Маяк», 1881 г., № 36, стр. 561).
100. Потто, «История 44-го Драгунского Нижегородского полка». СПВ, 1894 г., II, 60.
101. К.А. Бороздин, «Упразднение двух автономий» («Исторический вестник», 1885 г., I, 38–41). См. еще – М.Н Лонгинов, «Заметка о Лермонтове и некоторых его современниках» («Русская старина», 1879 г., III, 388); «Новое обозрение», 1891 г., № 2628 – В. Д. К., «Воспоминание о Лермонтове».
102. Соч. Лермонтова под ред. Висковатова, VI, 365.
103. «Русский биографический словарь», СПБ, 1914 г. («Нааке-Накенский»), стр. 254; Г.Н. Филипсон, «Воспоминания» («Русский архив», 1884 г., № 2, стр. 369).
104. Н. Лернер, «Оригинал одного из героев Лермонтова» («Нива», 1913 г., № 37, стр. 732). Доклад о наших разысканиях, касающихся образа Казбича и сюжетов поэм «Хаджи-Абрек» и «Измаил-Бей», сделан нами в заседании Лермонтовской комиссии при Институте литературы Академии наук СССР 28 марта 1939 г.
105. О Казбиче см. – Ф.А. Щербина, «История кубанского казачьего войска», Екатеринодар, 1913 г., II, 255, 256, 259–260, 272, 276–277, 278, 281, 282 и мн. др.; Потто, «Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях», СПБ, 1885 г., II, 626–628, 638 и др.
106. К. Зеленецкий, «Кавказские минеральные воды в 1852 году» («Москвитянин», 1853 г. II, отд. VI, 70). См. еще – соч. Лермонтова под ред. Висковатова, VI, 352; А.Л. Зиссерман, «Двадцать пять лет на Кавказе» («Русский архив», 1885 г., № 2, стр. 298).
107. Белинский, «Соч.», 2-е изд. Павленкова, СПБ, 1900 г. II, 915.
108. Гоголь, «Выбранные места из переписки с друзьями», гл. XXXI. (Сочинения, изд. 13, под ред. Н.С. Тихонравова, СПБ, 1896 г., V, 226).
109. Кольцов, «Полное собр. соч.», изд. Акад. наук, СПБ, 1909 г., стр. 212.
110. П.Н. Бирюков, «Л.Н. Толстой», Берлин, 1921 г., I, 150.
111. С.И. Дурылин, «Как работал Лермонтов», Москва, 1934 г., стр. 110.
112. «Русская мысль», 1893 г., № 26.
113. Альманах «Радуга», ПБ, 1922 г., стр. 292.
114. «Русская мысль», 1911 г., X, 46.
115. Белинский, «Соч.», II, 876.
116. Белинский, «Письма», СПБ, 1914 г., II, 31.
117. И.С. Тургенев, «Полное собр. соч.», СПБ, 1898 г., изд. Маркса, XII, 76.
118. Соч. Лермонтова под ред. Висковатова, VI, 315; Лермонтов, «Иллюстрированное полное собр. соч.» под ред. В.В. Каллаша, Москва, 1914 г., 1, стр. XXIX.
119. Белинский, «Письма», II, 108.
120. «Архив Раевских», II, 241–242.
121. Потто, «Былое К.Х. Мамацева» («Кавказ», 1897 г., № 235).
122. Соч. Лермонтова под ред. Висковатова, VI, 346–347.
123. То же, 342–344; Эсадзе, «История Гуниба и пленение Шамиля», Тифлис, 1909 г.
124. Л. Семенов, «К пребыванию М.Ю. Лермонтова на Кавказе в 1840 г.» («Изв. Сев.-Кавказ. Пед. Института», 1924 г., т. II). О сражении на р. Валерике см. Висковатов, «М.Ю. Лермонтов в действующем отряде ген. Галафеева, во время экспедиции в Малую Чечню» («Русская старина», 1884 г., I, 83–92), он же, «Речка смерти» («Исторический вестник», 1885 г., III, 473–483); соч. Лермонтова под ред. Висковатова, VI, 339–350; Янжул, «80 лет боевой и мирной жизни 20-ой артиллерийской бригады» (Тифлис, 1886 г., I, 402–405), Юров, «1840, 1841 и 1842 года на Кавказе» («Кавказ. сборник», Тифлис, 1886 г., X, 301–307); Лебединец, «М.Ю. Лермонтов в битвах с черкесами в 1840 г.» («Русская старина», 1891 г., VIII, 355–368); Ракович, «Тенгинский полк на Кавказе», Тифлис, 1900 г., 240–246 стр.; Эсадзе, «Штурм Гуниба и пленение Шамиля», Тифлис, 1909 г., стр. 112–115); К. Белевич, «Несколько картин из кавказской войны и нравов горцев», СПБ, 1910 г., стр. 188–189; «Кавказский сборник», Тифлис, 1912 г., т. XXXII, ч. I, 434–440; Л. Семенов, «Лермонтов и Л. Толстой», Москва, 1914 г., стр. 56–74, 428–431; он же, «К пребыванию М.Ю. Лермонтова на Кавказе в 1840 г.» («Изв. Сев. Кав. Пед. Института», Владикавказ, 1924 г., II) и др.

125. Эсадзе, назв. соч., 114; Ракович, «Тенгинский полк на Кавказе», приложения, стр. 32–33.
126. Костенецкий, «Воспоминание о Лермонтове» («Русская старина», 1875 г., IX, 60–63).
127. Н.И. Лорер, «Записки декабриста», Москва, 1931 г., стр. 255–256.
128. Соч. Лермонтова под ред. Висковатова, VI, 342–343.
129. То же, VI, 340; Лорер, стр. 257.
130. Соч. Лермонтова под ред. Висковатова, VI, 373–376.
131. П.А. Висковатов, «М.Ю. Лермонтов. Поездка в Пятигорск в июне 1841 г. Рассказ П.И. Магденко». («Русская старина», 1879, III, 525–530).
132. Лорер, 260; соч. Лермонтова под ред. Висковатова, VI, 394–397.
133. Лермонтов, II, 180–181, 197.
134. См. акад. изд. соч. Лермонтова, т. V, стр. CXV–CXV, 14, 15.
135. Лермонтов, V, 600–601.
136. Соч. Лермонтова под ред. Висковатова, VI, 409–410.
137. Белинский, «Письма», II, 227.
138. «Отеч. записки», 1841 г., т. XV, № 4.
139. Акад. изд. соч. Лермонтова, V, 36.
140. «Русский архив», 1884 г., III, 206.
141. «Новое слово», 1894 г., II, 47.
142. «Русская старина», 1899 г., III.
143. «Русский архив», 1911 г., IX, 159.
144. В.А. Соллогуб, «Воспоминания», Москва – Ленинград, 1931 г., стр. 376.
145. Белинский, «Письма», II, 109 (письмо к Боткину от 18 апреля, с упоминанием о Лермонтове).
146. Соч. Лермонтова под ред. Висковатова, VI, 408, курсив автора.
147. То же, 409.
148. Мартьянов, «Поэт М.Ю. Лермонтов по запискам и рассказам современников» («Всемирный труд», 1870 г., X, 602–603).
149. Костенецкий, «Воспоминания из моей студенческой жизни» («Русский архив», 1887 г., I, 114–115).
150. Стихотворения Мартынова опубликованы в следующих изданиях: С. Панчулидзев, «Сборник биографий кавалергардов», СПБ., 1908 г., стр. 103–106; Нарцов, «Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых», Тамбов, 1904 г., стр. 111–140; «Русский архив», 1914 г., XI, 388–409.
151. Письмо доктора Пирожкова («Нива», 1885 г., № 20, стр. 474).
152. И. Арсеньев, «Еще по поводу воспоминаний Раевского о Лермонтове» («Нива, 1885 г., № 27, стр. 647).
153. «Русская старина», 1892 г., III, 766–767.
154. Соч. Лермонтова под ред. Висковатова, VI, 403–404.
155. Лорер, «Записки», 258–260. См. еще – «Русская старина», 1892 г., III, 766–767 (письмо Е. Быховец); «Нива», 1885 г., №7, стр. 167–168 (В. Желиховская).
156. Меринский, «Воспоминание о Лермонтове», «Атеней», 1858 г., № 48, стр. 348.
157. Э.А. Шан-Гирей («Русский архив», 1889 г., II, 316–317). См. еще – соч. Лермонтова под ред. Висковатова, VI, 413–416; А.П. Шан-Гирей («Русское обозрение», 1890 г., VIII, 753); Щеголев, «Книга о Лермонтове», II, 201–204.
158. «Русская старина», 1892 г., III, 767–768.
159. Лорер, «Записки», 260. Исправляем в тексте ошибку Лорера, указывающего, что дуэль Лермонтова с Мартыновым состоялась 17 июля.
160. Соч. Лермонтова под ред. Висковатова, VI, 420–422.
161. То же, 418–419.
162. То же, 420, 423.
163. См. еще статью П.А. Ефимова – «Дуэль или убийство?! («Октябрь», 1938 г., VII, 210–216).
164. Васильчиков, «Дуэль и кончина Лермонтова» («Русский архив», 1872 г., I, 211–212).
165. Э.А. Шан-Гирей, «Воспоминание о Лермонтове и о предсмертном его поединке» («Русский архив», 1889 г., VI, 320).
166. Лорер, 262.
167. Соч. Лермонтова под ред. Висковатова, VI, 433.
168. Лорер, 262. См. еще – соч. Лермонтова под ред. Висковатова, VI, 433–434; Акад. изд. соч. Лермонтова, т. V, стр. CXXII.
169. Соч. Лермонтова под ред. Висковатова, VI, 434–435.
170. «Вестник Европы», 1914 г., III, 392–393.
171. «Русская старина», 1885 г., XV, 476.

172. См. отзыв сослуживца Лермонтова – А.И. Арнольди («Новое время», 1903 г., № 9760), воспоминания Н.М. Смирнова («Русский архив», 1882 г., II, 240–241).
173. «Русский архив». 1891 г., VII, 402, 1911 г., IX, 160 и др.
174. Белинский, «Письма», II, 256–257 (письмо от 3 августа 1841 года).
175. Щеголев, «Книга о Лермонтове», II, 239.
176. Кольцов, «Полное собр. соч.», изд. Акад. наук, СПБ, 1909 г., 258 (письмо от 23 октября 1841 г.).
177. Н.П. Огарев, «Стихотворения и поэмы» («Библиотека поэта»), 1937 г., I, 118–121.
178. Я.П. Полонский, «Мои студенческие воспоминания» («Ежемесячные литературные приложения» к журналу «Нива» на 1898 г., XII, 662).
179. «Русская старина», 1913 г., IX, 502.
180. Белинский, «Стихотворения Лермонтова» (II, 106–107).
181. Д. Максимов, «Лирика Лермонтова» («Литературная учеба», 1939 г., IV, 22).
182. Лермонтов, V, 259.
183. Лермонтов, II, 210.
184. П. Кулебякин, «Из местных воспоминаний о М.Ю. Лермонтове» («Терские ведомости», 1886 г., № 19); «Петербургская газета», 1886 г., № 63; «Терек», 1911 г., № 3980; Л. Семенов, «Лермонтов и Л. Толстой», 119, 423–424.
185. Соч. Лермонтова под ред. Висковатова, VI, 407–408.
186. Белинский, «Письма», II, 110.
187. Белинский, «Сочинения», II, 134.
188. Кольцов, изд. Акад. наук, 212.
189. Г.К. Градовский, «Шульц и Лермонтов» («Исторический вестник», 1902 г., XI, 476–477); то же в книге Градовского «Итоги», Киев, 1908 г., 366–367.
190. «Новое время», 1891 г., № 5522 (А. Бежецкий, «Сон»); перепечатано в газете «Кавказ», 1891 г., № 195).
191. Л. Семенов, «Лермонтов и Л. Толстой», 280.
192. Н.Г. Чернышевский, «Статьи по эстетике», Москва, 1938 г., стр. 158.
193. Белинский, «Письма», III, 121.
194. Лермонтов, II, 126.
195. П. Висковатов, «М.Ю. Лермонтов». Неизданное юношеское его стихотворение «Исповедь» («Русская старина», 1887 г., X, 124–125).
196. А.Н. Муравьев, «Знакомство с русскими поэтами», Киев, 1871 г., стр. 27.
197. С.Т. Аксаков, «История моего знакомства с Гоголем», Москва, 1890 г., стр. 35.
198. Белинский, «Соч.», II, 136.
199. См. нашу книгу «М.Ю. Лермонтов», Москва, 1915 г., стр. 45–48.
200. «Кавказ», 1881 г., № 203.
201. Белинский, «Сочинения», II, 137.
202. То же, стр. 278, 414.
203. То же, стр. 284.
204. Белинский, «Письма», II, 108.
205. См. сб. «Наши, списанные с натуры», СПБ., 1841 г., предисловие, стр. III; «Иллюстрация», 1847 г., № 48, стр. 386.
206. Белинский, «Соч.», II, 916.
207. П.К. Мартьянов, «Последние дня жизни поэта М.Ю. Лермонтова» («Исторический вестник», 1892 г., IV, 90).
208. Соч. Лермонтова под ред. Висковатова, VI, 368–369.
209. Белинский, «Соч.», II, 136–137.
210. «Венок М.Ю. Лермонтову», 242.
211. Л. Семенов, «М.Ю. Лермонтов», 222–224.
212. Каллаш, «М.Ю. Лермонтов в русской поэзии», 57; «Венок М.Ю. Лермонтову», 280–281.
213. «Венок М.Ю. Лермонтову», 255–258.
214. Полонский, «Стихотворения и поэмы», Ленинград, 1935 г., стр. 79.
215. «Финский вечер», СПБ, 1846 г., IX, 12, 14–15.
216. То же, 31.
217. Тургенев, «Полное собр. соч.», изд. Маркса, IX, 169–170.
218. То же, VIII, 367–370.
219. Е.Г. Вейденбаум, «Кавказские этюды», Тифлис, 1901 г., стр. 308–320.
220. «Библиотека для чтения», 1842 г., т. 54, стр. 117–160, 192.
221. К. Белевич, «Несколько картин из кавказской войны и нравов горцев», СПБ, 1910 г.

222. А.В. Дружинин, «Собрание сочинений», СПБ, 1865 г., I.
223. То же, стр. 184, 193.
224. «Венок М.Ю. Лермонтову», 281–287.
225. Некрасов, «Полное собр. стихотворений» (в одном томе), Ленинград, 1934 г., стр. 397–398.
226. То же, 471.
227. То же, 153.
228. Чернышевский, «Что делать?», Москва, 1929 г., 443–446.
229. Никитин, «Избранные произведения», Воронеж, 1934 г., 192.
230. «Щукинский сборник», Москва, 1907 г., вып. VII, 316–317.
231. Случевский, «Сочинения», СПБ, 1898 г., II, 227–230.
232. А. Блок, «Стихотворения» («Библиотека поэта», малая серия, 1938 г., II, 25–26).
233. Коста, «Стихи и поэмы», г. Орджоникидзе, 1938 г., стр. 26–27.
234. К. Хетагуров, соч., изд. 1909 г., Ростов-на-Дону, стр. 124.
Коста посвятил Лермонтову еще одно стихотворение, напечатанное в газете «Северный Кавказ», 1901 г., 2 августа («Зачем, поэт, зачем, великий гений»).
235. Ю. Веселовский, «Русское влияние в современной армянской литературе», Москва, 1909 г., стр. 13.
236. То же, 20–24.
237. То же, 25.
238. Н. Бараташвили, «Стихотворения», Москва, 1938 г., стр. 4, 74.
239. То же, стр. 52, 54.
240. И. Чавчавадзе, «Повести и рассказы», Москва, 1937 г., стр. 8–9.
241. А. Церетели, «Стихи и поэмы», Москва, 1936 г., стр. 113.
242. С.К. Булич, «Лермонтов и русская музыка» (акад. изд. соч. Лермонтова, V, 230–235).
243. Крупская, «Воспоминания о Ленине», Москва – Ленинград, 1931 г., стр. 187–188.
244. М. Горький, «В людях» (ГИЗ), Москва – Ленинград, 1928 г., стр. 201.
245. «А.М. Горький о М.Ю. Лермонтове» (газ. «Известия», 1937 г., № 49).
246. Б. Пастернак, «Две книги», Москва – Ленинград, 1927 г. («Памяти Демона», стр. 7).
247. Сб. «Молодой ленинградец», Москва, 1937 г., стр. 7–9.
248. Н. Тихонов, «Стихотворения и поэмы», Ленинград, 1938 г., стр. 401–402, 415.
249. Маяковский, «Собр. соч.», Москва, 1936 г., II, 79, 83–88.
250. Маяковский, 1, 178 (см. еще стр. 182); II, 152; III, 316; IV, 314.
251. Сб. «Героическая юность», Москва, 1938 г., стр. 22–23.
252. Маркс и Энгельс, IX, 533–534.
253. Коста, «Стихотворения и поэмы», 1938 г., стр. 66, 19.

Текст и примечания печатаются по источнику:
Семенов Л.П. Лермонтов на Кавказе. – Пятигорск: Орджоникидзевское краевое издательство, 1939.

К.Э. Штайн, Д.И. Петренко

Особенности метапоэтики М.Ю. Лермонтова

Метапоэтический текст М.Ю. Лермонтова имеет парадоксальное устройство и содержание, как и все произведения поэта. Он не написал ни одной статьи о творчестве, и все же метапоэтика М.Ю. Лермонтова необычайно богата. Это касается и поэзии, и прозы, и драматургии; замечания о творчестве имеются и в эпистолярии. Метапоэтика, или исследование автором собственного творчества, пронизывает все указанные типы текста, внедряется в них, переплетает тексты единой лентой метатекста, постоянно переходящего в метапоэтический текст.

Метатекст – это текст о тексте, реализованный через метатекстовые ленты. В нем могут содержаться некоторые комментарии, связанные с условиями и условностями речи, замечания о данном произведении. Метапоэтический текст – это развернутое исследование автором собственного творчества. Как правило, метатекст содержит метапоэтические данные, поэтому мы относим его к метапоэтике.

1. К особенностям метапоэтики М.Ю. Лермонтова следует отнести то, что у поэта нет специальных работ, посвященных творчеству, в то же время все произведения пронизаны осмыслением того, как они созданы, как строятся, какую роль в их организации играет язык и т.д.

2. Метапоэтика М.Ю. Лермонтова предстает как форма познания литературы и мира в целом, она характеризуется философским характером, что вообще свойственно русской литературе.

3. Особенность метапоэтики М.Ю. Лермонтова – связь ее с метафизикой, трансцендентным, тем, что С.Л. Франк называл «непостижимым».

4. Метапоэтика М.Ю. Лермонтова выражается в самопознании автора и его героев, имеет четкое вербальное выражение в виде разных типов текста, его фрагментов, оснащена соответствующей терминологией.

5. Метапоэтика М.Ю. Лермонтова напоминает гипертекст: фрагменты метапоэтического текста отсылают нас от поэзии к драматургии, от прозы к поэзии и драматургии.

6. Метапоэтика М.Ю. Лермонтова связана со стилем барокко, во многом обусловлена им, так как произведение в стиле барокко содержит и его описание, автор, комментируя произведение, располагается «внутри» текста.

7. Проспективно произведения барокко, в силу нахождения в них внутреннего комментария, апеллятивного сообщения, риторики в качестве основы для обращения к читателю, связаны и с произведениями авангарда и поставангарда, способны объяснять одно через другое.

8. Метапоэтика М.Ю. Лермонтова характеризуется антитетичностью, антиномичностью, присущими стилю барокко, ищущему причудливой гармонии.

9. Эмблематика барокко способствует усилению метапоэтических черт, так как эмблемы барокко имеют установку на отображение творческой индивидуальности писателя, поэта. Метапоэтика М.Ю. Лермонтова характеризуется эмблематичностью.

10. Метапоэтический текст М.Ю. Лермонтова реализуется с помощью гетерогенных метапоэтических текстов: прозы, поэзии, драматургии. Его реализация зависит от жанра произведения: так, в «Герое нашего времени» имеется относительно целостный метапоэтический сюжет – особое отдельное произведение о том, как был написан роман.

11. Во внешней форме текстов есть установка на то, что автор и герои будут описывать собственное творчество, они обозначены как литераторы или опосредованно связаны с литературой в своих пристрастиях и увлечениях.

12. В метапоэтике М.Ю. Лермонтова отражаются формы семиотической деятельности писателя, установка на преобразование естественной среды (живой жизни) в семиотическую (текст произведения).

13. Метапоэтика М.Ю. Лермонтова опирается на множество «языков», которыми оперирует писатель (вербальный язык, язык чувств, язык природы, язык «высших сил»).

14. Метапоэтика М.Ю. Лермонтова тяготеет к энциклопедической обширности. В ней заключено не только знание о литературе и творчестве, но и о мире и способах его познания.

15. Метапоэтический текст S-образно пронизывает тексты прозаических, поэтических, драматургических произведений, характеризуется динамически заданной многослойностью.

Обратимся к рассмотрению этих и других особенностей метапоэтики М.Ю. Лермонтова.

Как мы уже отмечали выше, у М.Ю. Лермонтова нет специальных работ, посвященных исследованию собственного творчества или творчества других поэтов и писателей, за исключением стихотворений, посвященных поэзии и творчеству. И все же в метапоэтике М.Ю. Лермонтова всегда отмечен и ярко выражен субъект, «автор» текста: это или лирический герой (поэзия), или автор-повествователь, или герой-рассказчик (Печорин), или автор-драматург. Значит, метапоэтический дискурс М.Ю. Лермонтова представлен разнородными текстовыми данностями, разножанровыми произведениями, связанными между собой сложным

условным метатекстом и метапоэтическим текстом, который следует эксплицировать для изучения. Многие противоречия в исследовании творчества М.Ю. Лермонтова будут сняты, если мы обратимся к принципам самопознания художника.

Но художественное творчество – это еще и коммуникация. «Речь, контакт – это наваждение Я, «обуреваемого» другими, – отмечает Э. Левинас. – Наваждение – это ответственность. <...> Речь – это братство и тем самым ответственность за Другого...» (8, с. 344). В этом наваждении-контакте открывается многое, в том числе секреты поэтического мастерства, индивидуальности художника. С особой откровенностью об этом говорил И.В. Гете:

У поэтов нет секретов,
А воздержанных поэтов
Не найти и днем с огнем;
То, чего не скажешь прозой, –
То само собой «под розой»
Мы – друзьям своим – сболтнем.
Где ты жил и где ты вырос,
Что ты выстрадал и вынес,
Им – забава и досуг;
Откровенья и намеки,
Совершенства и пороки –
Только в песнях сходят с рук.

1799. (Перевод О. Чухонцева)

В истории культуры не столь уж редки случаи, когда художник, осмысляя собственное творчество и стремясь объяснить другим полученные результаты, прибегает к логическому обоснованию собственной деятельности. Излагая мысли на бумаге или высказывая их в диспуте, он словно выходит навстречу тем из ученых, кто, в свою очередь, пытается осмыслить собственное мышление, понять движение познающего разума в широком контексте культуры. «Этот порыв, – как отмечает В.Л. Глазычев, – с двух сторон явен нам как своего рода поиск Абсолюта – той высшей гармонии, где словно исчезает грань между истиной и красотой, и они сливаются в едином понятии: прекрасное» (5, с. 331).

В примечании к процитированному тексту В.Л. Глазычева отмечается: «Историческая эволюция натурфилософского принципа от средневекового по форме великого синтеза знаний, содержащегося в «Божественной комедии» Данте, к механистическому синтезу XVII века дает для этой темы особенно много. Так, в позднеренессансный период Бенедетто Варка читал лекции о Данте во Флорентийской академии начиная с 1543 года. Лекции, читавшиеся уже не на университетской латыни, а на итальянском языке, содержали энциклопедию естественнонаучных сведений, привязанных к отрывкам из поэмы Данте. В формальном отношении Варка использовал традицию средневековых «толкований», беря, скажем, строфы 25-й главы «Чистилища», посвященные эмбриологии и воззрениям Аристотеля, и вводя в интерпретацию текста множество новых «эмпирических фактов», часть из которых мало отличалась от легенд «Физиолога» (там же). Здесь художник рассматривается как исследователь.

А.А. Потебня придавал литературе как форме и способу познания огромное значение, проницательно замечая, что наука и искусство взаимосвязаны уже посредством того, что наука проходит через форму слова, а слово – это, по мнению ученого, поэзия: «Наука раздробляет мир, чтобы сызнова сложить его в стройную систему понятий; но эта цель удаляется по мере приближения к ней, система рушится от всякого не вошедшего в нее факта, а число фактов не может быть исчерпано. Поэзия предупреждает это недостижимое аналитическое знание гармонии мира; указывая на эту гармонию конкретными своими образами, не требующими бесконечного множества восприятий, и заменяя единство понятия единством представления, она некоторым образом вознаграждает за несовершенство научной мысли и удовлетворяет врожденной человеку потребности видеть везде цельное и совершенное. Назначение поэзии – не только приготовлять науку, но и временно устраивать и завершать невысоко от земли выведенное ее здание. В этом заключается давно замеченное сходство поэзии и философии» (16, с. 180–181).

Русская литература, в том числе и творчество М.Ю. Лермонтова, важна в русской культуре как носитель философского знания. Многие философы отмечают эту особую миссию русской литературы. А.Ф. Лосев считал, что неблагоприятные условия для систематической разработки философских достижений в определенной степени имели место во всех странах Европы, «однако только в России существует такая острая нехватка философских систем. Наверное, в этом есть глубокий смысл. Причина этого не только во внешних условиях, но скорее прежде всего во внутреннем строении русского философского мышления» (14, с. 69).

А.Ф. Лосев утверждает, что художественная литература – это и есть настоящая русская философия. Русской философии чуждо стремление к абстрактной, чисто интеллектуальной систематизации взглядов,

для нее характерно внутреннее, интуитивное, мистическое познание сущего, которое может быть постигнуто только в символе, в образе, посредством силы воображения и внутренней жизненной подвижности: «В связи с этой «живостью» русской философской мысли находится тот факт, что художественная литература является кладезем самобытной русской философии. В прозаических сочинениях Жуковского и Гоголя, в творениях Тютчева, Фета, Льва Толстого, Достоевского, Максима Горького часто разрабатываются основные философские проблемы, само собой в их специфически русской, исключительно практической, ориентированной на жизнь форме. И эти проблемы разрешаются здесь таким образом, что непредубежденный и сведущий судья назовет эти решения не просто «литературными» или «художественными», но философскими и гениальными» (там же, с. 71).

М.Ю. Лермонтов здесь не назван, но сказанное особенно касается его творчества, так как в метапоэтике этого художника есть явные попытки исследовать рациональное и иррациональное в рефлексии лирического героя, раскрыть метафизический тип мышления Печорина, его порывы к трансцендентному. Но самое главное – это язык, способ выражения на путях познания истины – антиномический способ мышления («антиномистический монодуализм»), который в языковом плане выражается через единство взаимоисключающих определений, характеристик одного и того же предмета. Вспомним, что истинной метафизикой Г.В.Ф. Гегель считал мышление, которое постигает единство определений в их противоположности, тогда как мышление рассудочное постигает определения в раздельности и противопоставленности. Первый тип мышления состоит в соотношении друг с другом рефлексивных определений, и, «стало быть, в том, что каждое из них в своем понятии содержит другое; без знания этого нельзя, собственно говоря, сделать и шагу в философии» (4, с. 63).

Метапоэтика М.Ю. Лермонтова обусловлена его философским мышлением, связана с этикой, раскрывает парадокс мучительной рефлексии «Героя нашего времени»: Печорин опирается на понятие исходного существования Бога по отношению к не вмещающему Его миру, «никогда не показывающееся незапамятное прошлое, невыразимое в категориях Бытия и структуры, но Единое по ту сторону Бытия, выразить которое стремилась любая философия» (8, с. 331) и, добавим, русская литература.

Произведения М.Ю. Лермонтова можно рассматривать в качестве специфического способа художественного познания культуры, истории, философии, психологии человека в их живой целостности, непосредственной конкретности: интеллектуальность, дух исследования и эксперименты характерны для всего творчества М.Ю. Лермонтова. И в особенности это характерно для метапоэтики М.Ю. Лермонтова, которая выражается в его самопознании и самопознании его героев.

В процессе анализа философских посылок в метапоэтике М.Ю. Лермонтова мы делаем установку на ее философский характер и, зная, как близка русская философия к русской литературе, используем работы отечественных философов С.Л. Франка, П.А. Флоренского, А.Ф. Лосева и др., с тем чтобы объяснять одно через другое. В процессе такого анализа есть возможность достигнуть объективности в изучении метапоэтики М.Ю. Лермонтова, так как его произведения, как и впоследствии произведения русских философов, раскрывают путь осмысления «живым разумом» человека бытия и того, что является «непостижимым»: через самооткрывающуюся реальность, далее – трансцендирование вовнутрь, духовное бытие, а от него к «абсолютно непостижимому» – «святыне» или Божеству (см.: 18, с. 198). Можно предположить, что лермонтовские произведения, в первую очередь, «Герой нашего времени», «набрасывают» образ мыслей и путь рассуждений русских философов уже XX века, которые находились в диалоге со всей мировой философией.

Отметим еще один фактор, влияющий на метапоэтику М.Ю. Лермонтова, – причастность его произведений к стилю барокко (см.: 19). Исследователи отмечают, что барочный автор работает над своими книгами как «текстолог». Его «текстология» связана с заботой о «строении-переустроении своего произведения-объема». По А.В. Михайлову, личность в таких произведениях как бы совпадает с устроением и композицией произведения, которое своим бытием передает, или «шифрует», ее бытие. Вместе с произведением личность подвергается действию закономерностей вертикально-горизонтального складывания смысла целого. Личность обязана приобщиться к устроению целого, которое, как история, в свою очередь, причастно к структуре знания.

Неоднократно писалось об особом принципе свободной композиции в романе «Герой нашего времени». Построение романа связано с построением структуры личности героя, рождение героя происходит на наших глазах, его «приключения», жизненные коллизии обусловлены автобиографическим материалом, который перетекает, согласно логике опосредования, к общему, к формированию образа «Героя нашего времени». Личность неизбежно играет некоторую роль, облечена в маску, происходит личностное отчуждение, когда личность адекватна не просто своей самотождественности, но такой самотождественности, которая скрывается за ее преломлениями и отчуждениями. У М.Ю. Лермонтова такой эффект достигается тем, что повествование ведет не только автор, но и рассказчики (Максим Максимыч, Печорин). Это также характерно для барочного типа текста и обусловливает сложность метапоэтики М.Ю. Лермонтова.

Метапоэтика М.Ю. Лермонтова напоминает гипертекст, так как фрагменты данного текста отсылают нас от поэзии к драматургии, от прозы к поэзии и драматургии. Роман «Герой нашего времени» оказывается

главным текстом, собирающим другие тексты, ключевые слова различных текстов в единое целое, аналитически представленное, но являющееся тем не менее новым синтезом, предсказывающим и предопределяющим знание новейшего времени и новый тип строения текста – авангардистский и постмодернистский.

Метатекст и метапоэтический текст представляют разветвленные линии, постоянно инициирующие особые внутренние формы повествования. Текст «Героя нашего времени» – это двутекст, диалог, в котором рождается облик героя, стилистически обусловленный данным текстовым представлением. Метатекст дает нам рассказ о повествовании в структуре текста. Он переходит в метапоэтический текст, который представляет развернутые рассуждения о типе повествования, о характере произведения. Предисловия, введения, посвящения создают внешнюю форму, связаны со стихотворениями о поэте, поэзии, творчестве.

Редакторы первого тома («Лирика») собрания сочинений М.Ю. Лермонтова Т.П. Голованова и Б.В. Томашевский отмечают эту особенность текста М.Ю. Лермонтова: «В лирике Лермонтова нашли отражение все основные творческие интересы поэта, его идеологические и художественные искания, факты биографии и общественные явления эпохи. По стихотворениям Лермонтова видно, какие друзья и враги его окружали, какие события волновали мир, какие проблемы решались в области политической, философской и эстетической мысли, какие литературные авторитеты владели умами современников. Лермонтов не оставил в своем литературном наследии специальных критических статей, рецензий и теоретических трактатов. Но взгляды его на литературу, отдельные критические оценки и эстетические декларации нашли место в самих поэтических произведениях, насыщенных философской и публицистической мыслью. Лирика Лермонтова дает богатый материал для заключений об отношении поэта к творчеству декабристов и к Пушкину, к эстетике русских шеллингианцев и к Байрону, к народному творчеству и к реакционной журналистике в лице Булгарина и Сенковского.

По стихотворениям Лермонтова можно проследить эволюцию его литературных вкусов – от кратковременного интереса к поэзии «в древнем роде» до серьезной склонности к философскому направлению в литературе, от влечения к поэзии героического романтизма до обращения к литературе критического реализма» (6, с. 599–600).

Метапоэтические данные содержатся в произведениях М.Ю. Лермонтова, особенным образом связанных друг с другом: «Замысел многих лермонтовских произведений больших форм находил первоначальное выражение в стихотворениях. Так, работе над поэмой «Демон» предшествовало появление стихотворения «Мой демон», из «Думы» вырос «Герой нашего времени», женские образы в поэме «Сашка» были подготовлены серией стихотворений 1832 года. Многие эпизоды поэмы «Измаил-бей» сложились из предварительных поэтических «заготовок» – ранних стихотворений на кавказскую тему. Иногда Лермонтов целиком вводит текст стихотворений в другие произведения, например в драмы «Menschen und Leidenschaften», «Странный человек». В новом контексте эти стихотворения теряют свое значение интимных лирических признаний автора и становятся элементом характеристики того или иного действующего лица» (там же, с. 600–601).

Все это говорит о причастности творчества М.Ю. Лермонтова к стилю барокко с его отношением к тексту как к своду, снабженному разного типа комментариями автора. Ощущается и проекция в последующие стили – авангардизм и постмодерн, где оперирование готовыми текстами и цитирование их – одна из стилевых примет. Эвристическая заданность текстов М.Ю. Лермонтова выявляется в их внутреннем исследовательском характере, интуитивном прозрении новых форм художественного мышления (постнеклассического). Во многом это связано со стилем барокко, который впоследствии использовался в разработке поэтики авангарда. Интересно отметить и особое отношение авангардистов к творчеству М.Ю. Лермонтова.

В 1991 году в серии «Забытая книга» был переиздан роман К.А. Большакова «Бегство пленных, или История страданий и гибели поручика Тенгинского пехотного полка Михаила Лермонтова» (1916). К.А. Большаков был причастен к авангардистскому движению, регулярно сотрудничал в альманахах кубофутуристов и изданиях группы «Центрифуга». «В самом начале двадцатых годов, – пишет Н.А. Богомолов в предисловии к роману К.А. Большакова, – видимо, в 1922-м, поэтесса Варвара Монина, не входившая ни в какие литературные группы и тем самым лицо незаинтересованное, составила сборник «Посвящается Лермонтову», который так и остался неизданным, но его машинопись сохранилась. Сборник этот, конечно, далеко не полон, но обращает на себя внимание то, что среди поэтов, обращавшихся к впечатлениям от личности и поэзии Лермонтова, очень много принадлежавших к группе «Центрифуга»: И. Аксенов, Н. Асеев, С. Бобров, Б. Пастернак, а также близкий к «центрифугистам» Михаил Тейтельбаум, писавший под псевдонимом М. Тэ. Имени Большакова среди этих поэтов нет, но почти все его окружение так или иначе включало Лермонтова в пантеон близких себе поэтов.

Конечно, присутствие самого Лермонтова, тем и мотивов его поэзии в этих стихах чаще всего не достигает такой интенсивности, как, скажем, в «Грифельной оде» О. Мандельштама или поздних стихах Георгия Иванова, где «Выхожу один я на дорогу…» становится постоянной внутренней темой, откликается во всей структуре стихотворений, но тем не менее оно в высшей степени симптоматично. И симптоматично, что именно умеренные футуристы сделали имя и образ Лермонтова своим знаменем, постоянным элементом своего стиха: для них было принципиально важно опираться не на внешне уравновешенную, гармонизиро-

ванную поэзию пушкинской поры и всей «школы гармонической точности» (определение Л. Гинзбург), а на другой исток новейшей русской поэзии – открыто дисгармоничную лирику Лермонтова, в которой искались основания для утверждения собственной дисгармонии.

Если для кубофутуристов и продолжателей их традиций Лермонтов и Пушкин были не слишком-то различаемыми фигурами, полемически воспринимаемыми как два идентичных знака классической традиции (конечно, речь идет не об индивидуальном восприятии поэзии Лермонтова, скажем, Маяковским или Хлебниковым, а о литературной позиции целого течения), то для «центрифугистов» его имя могло стать опорой в собственном творчестве, могло помочь собственному самоутверждению. В предисловии к своему сборнику В. Монина зафиксировала примечательный факт: «Последние года замечательны тем, что не только специалисты по литературе и не только стихотворно-невежественная юбилейная масса, но впервые в таком количестве поэты отозвались исключительным пристрастием к имени: Лермонтов. Впервые, может быть, охватив XX веком весь его дух. Вот, например, что было сообщено Борисом Пастернаком перед чтением его неизд<анной> кн<иги> стихотв<орений> «Сестра моя жизнь» – (в Доме Печати, март <19>21 г.): «Из всех живущих я счел возможным только Лермонтову посвятить мою книгу, хотя и с ним в последнее время встречался редко».

Если для Маяковского Пушкин из «Юбилейного» и Лермонтов из «Тамары и Демона» в равной степени служат лишь объектами литературной игры, то для Пастернака и других поэтов «Центрифуги» он приобретает статус вечного современника, на опыт которого можно и нужно опираться при построении собственной поэтики, собственной картины мира. Уже в 1958 году Пастернак так раскрывал смысл своего посвящения книги «Сестра моя – жизнь»: «...то, что мы ошибочно принимаем за лермонтовский романтизм, в действительности, как мне кажется, есть не что иное, как стихийное, необузданное предвосхищение всего нашего субъективно-биографического реализма и предвестие поэзии и прозы наших дней. Я посвятил «Сестру мою жизнь» не памяти Лермонтова, а самому поэту, как если бы он еще жил среди нас, – его духу, до сих пор оказывающему глубокое влияние на нашу литературу» (2, с. 15–16).

И.П. Смирнов в работе «Художественный смысл и эволюция поэтических систем» (1977) отмечает корреляцию барокко и футуризма, считая, что хотя семиотические посылки барокко и футуризма были диаметрально противоположными, оба направления коррелировали по признаку «смешения вещей и знаков» (17, с. 120). Рассмотрев все особенности этой корреляции (пространственное время: категория времени пропитывается пространственными значениями; изображение с позиций движущегося наблюдателя, способного охватить взглядом все сущее; понятие причинности; приверженность к категории случайного; неразличение искусственных и естественных фактов: преобразование естественной среды в семиотическую; осмысление знака и объекта как изоморфных друг другу; ансамблевое строение текстов барокко и футуризма и др.), И.П. Смирнов особенно подробно останавливается еще на одном признаке, по которому идет корреляция: введение в корпус литературного произведения указаний на то, как оно построено, как развивается: «Иными словами, допускались только такие способы литературной коммуникации, которые демонстрировали изощренность писательских навыков, технический артистизм автора. Впрочем, окраска кодов, которым следовали художники барокко и футуризма, была разной. В свете говорившегося выше о специфике семиотических предпосылок барокко и футуризма понятно, почему в литературе XVII века код художественного сообщения был осознан как естественный, заранее данный автору, что нашло отражение в нормативности барочных риторик и поэтик, а в начале нашего столетия – как искусственный, утверждаемый самим писателем.

Рассекречивание кода велось с помощью различных средств. Величковский, например, предварял некоторые стихи описанием их формальной структуры. Д. Бурлюк графически выделял в стихах повторяющиеся созвучия (ср. графическую отмеченность анаграмм в поэзии барокко), а также «лейт-слова», то есть элементы глубинных семантических структур, к которым мог быть свернут текст. Читатели, таким образом, знакомились не только с литературным текстом, но и с процессом его производства. По убеждению Пастернака, «...лучшие произведения мира, повествуя о наиразличнейшем, на самом деле рассказывают о своем рождении...».

Код переходил из разряда умопостигаемых в разряд непосредственно наблюдаемых данностей. Снятие антитезы *сообщение – среда* могло, таким образом, превращать восприятие художественного высказывания из умственного акта в некоторое подобие физической деятельности и подчинять усвоение текста схеме *стимул – реакция*, лишенной каких бы то ни было посредующих звеньев. Поэтому литературное произведение получало черты апеллятивного сообщения, требующего от адресатов немедленного отклика: барокко канонизировало жанр просьб-посланий и проповедей, футуризм – агитационное искусство. Слово было оружием: эту метафору находим не только в известных стихах Маяковского, но и в недавно открытых поэтических «эпистолиях» так называемой «приказной» школы XVII в. (Петр Самсонов):

Шурмовати языком яко копием на ны поучаешъся,
крепко же и сами сопротив вас стати утверждаемъся.

Адресат литературной коммуникации моделировался как ее непосредственный участник: словесная ткань стихов была диалогизирована, пронизана риторическими оборотами; поэтической речи предназна-

чалось кратчайшим путем вовлекать слушателя в коммуникативный процесс. Мысль об исключительных правах, данных творцу знаковых ценностей, позволяла поэту барокко быть собеседником Бога и сильных мира сего, а поэту-футуристу – собеседником и учителем человечества (Маяковский, Хлебников)» (там же, с. 138–139). Эти посылки находим еще у М.Ю. Лермонтова, в особенности это касается одной из главных эмблем М.Ю. Лермонтова – кинжала, по аналогии с которым рассматривалось творчество. Обратим внимание на то, что поэт у М.Ю. Лермонтова – ритор, побуждающий своим словом к действию:

Отделкой золотой блистает мой кинжал;
Клинок надежный, без порока;
Булат его хранит таинственный закал –
Наследье бранного востока.
.....
Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы;
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.
Поэт. 1838

Можно говорить об общих связях барокко и новейших тенденций XX века. Речь идет не о внешних совпадениях, поверхностном сходстве. Многие установки и правила барочного искусства – аналитизм, метафоризм, сознательная языковая ориентированность – оказались впоследствии близкими самым разным художникам XX века: «Анализ теорий «барочного остроумия» дает не меньше, если не больше для понимания многих произведений XX века, чем знание современных манифестов, – пишет М.В. Лобанова. – Здесь солидарны самые разные художники: Пендерецкий, говорящий о барочных чертах своей оперы по Мильтену, А. Моравиа, увидевший в Феллини барочного художника, Д. Лигети, претворяющий традиции многохорности. Слово «барокко» было взято латиноамериканскими художниками для характеристики мирочувствования XX века, а А. Карпентьер назвал мир Южной Америки «миром барокко», ее литературу – «литературой барокко». Как показал XVII Всемирный конгресс латиноамериканистов, центральной проблемой для гуманитарного знания в этой отрасли на сегодня является соотношение барокко и необарокко.

Связи барокко и современности стали постоянной темой в исследованиях истории литературы. Парадоксальный, но во многом интересный подход продемонстрировала книга американского математика Д.Р. Хофстадтера, в которой изыскиваются аналогии между принципами современной логики, графики и музыки барокко. Отдельная тема – «Шютц и современная музыка». Разумеется, проблема «Барокко и XX век» – объект самостоятельной разработки. Один лишь вопрос «Бах и современность» мог бы стать предметом обширного исследования. Еще одна идея – аутентичность интерпретации – волнует и теоретиков и исполнителей: в искусстве XX века сложилась самостоятельная традиция адекватного истолкования искусства прошлого» (13, с. 19).

Исследование творчества М.Ю. Лермонтова, связанного со стилем барокко, во многом обретает устойчивость интерпретации в проекции в будущее, во внимании к исследованию собственного творчества, имеющему не внешне выраженный характер: автор в творчестве М.Ю. Лермонтова находится «внутри» собственного текста, многопланово комментирует его, что свойственно произведениям, написанным в стиле барокко, а впоследствии – авангардистским произведениям.

Многослойность лермонтовских текстов во многом обусловлена метатекстовыми и метапоэтическими лентами: метатекст имеет у М.Ю. Лермонтова метапоэтический характер. Метапоэтическая заданность текстов М.Ю. Лермонтова, пронизанность их рефлексией автора и героя-повествователя – это не только особенность текстов произведений, но и основа их построения, обусловливающая феноменологическую заданность текстов, ведущую к «прояснению» сущности «Героя нашего времени», а также лирического героя стихотворений, героев драматических произведений. Все это связано со стилем барокко, его метафорической и риторической природой, ведь к правилам барочного искусства относятся аналитизм, метафоризм, сознательная языковая ориентированность, введение в корпус литературного произведения указаний на то, как оно построено, то есть стилистически выраженная ориентированность на метапоэтические данные.

Метапоэтическая заданность текста М.Ю. Лермонтова во многом связана именно со стилем барокко, к которому причастно его творчество. Как было показано в нашей работе «Лермонтов и барокко», особенность стиля барокко и его новизна заключаются в полистилистике – объединении в одном пространстве текста нескольких стилей. Применительно к М.Ю. Лермонтову такая полистилистика объединяла романтизм, реализм, элементы ампира в едином метастиле – барокко. Барокко соединяет странность и норму, нарушение и особый канон, формирует связь литературного творчества с изобразительным искусством.

Мир М.Ю. Лермонтова основан на системе соответствий между поэтическим текстом, словом автора и повествованием рассказчика. Путь диалогической интерпретации – это и путь феноменологической заданности текста, «сознания о» тексте.

Что это означает? О том, о чем автор вопрошает в «Герое нашего времени», – рассказчики отвечают, повествуя; вопрошают и сами рассказчики. Повествование отличается интенциональной направленностью, дающей зримое представление о событиях и героях. Эта модель реализуется в системе всех повестей. В повести «Бэла» автор расспрашивает Максима Максимыча – «кавказца», который непременно должен знать какие-то «историйки», – тот рассказывает о Печорине и Бэле. В «Тамани» Печорин проявляет невероятное любопытство, подстрекая тем самым к действию «честных контрабандистов». В «Журнале Печорина», в «Княжне Мери» повествователь Печорин рассказывает о том, как он режиссирует спектакль, постановщиком которого сам является, провоцируя героев разыгрывать пьесу. В «Фаталисте» Печорин подстрекает Вулича к рефлексии над вопросами жизни и смерти, предугадывая, «прозревая» его судьбу.

Таким образом, **особенность метапоэтики «Героя нашего времени» в том, что в романе имеется относительно целостный метапоэтический сюжет – особое отдельное произведение о том, как был написан роман**.

Многомерное и многократное вопрошание способствует представлению о том, что произведение создается на наших глазах, происходит постоянное преобразование естественной среды (окружающего мира) в семиотическую (образную, художественную – повесть). Так, постепенно разворачивающийся диалог автора с Максимом Максимычем незаметно перетекает в формирование относительно самостоятельной повести «Бэла». Мы присутствуем внутри живого процесса рождения воображаемого мира этой повести. Внешние комментарии автора, Максима Максимыча, композиционные особенности (встреча с Максимом Максимычем, его рассказ) способствуют этим преобразованиям. Отсюда, с одной стороны, реалистические и романтические тенденции романа, с другой – барочные, связанные с причудливостью общего повествования, ведущие к сложному ансамблевому его строению – взаимодействию относительно самостоятельных по форме, структуре повестей.

Жизнь и театр, лицо и маска, неизбежность роли и естество – эти репрезентативные каноны барокко свойственны лермонтовскому тексту. Постановки, режиссерское участие, комментарии, игра на стереотипах светского общества, управление и манипуляция героями как марионетками – особенности барокко как гибкого и активного стиля, легко вступающего во взаимодействие с другими – романтизмом («Тамань»), реализмом («Журнал Печорина»). Одновременно «режиссирующий» общается с читателем, комментирует свои действия, разговоры, движение событий.

Сознательная языковая ориентированность упрятана у М.Ю. Лермонтова внутрь, но тем не менее ее можно сравнить с соотношением слова и музыки в стиле барокко, где на передачу слова нацелены многие жанры, в том числе опера. У М.Ю. Лермонтова все типы повествования, формы рождения героя даются в оболочке авторского слова, но не так, как, например, у Л.Н. Толстого, а «авторского» слова разных повествователей: самого автора, Максима Максимыча, Печорина. Возникает то актуализированное многоязычие, которое характерно для барокко. Слово при этом – часть риторики, возрождающей схоластические традиции, одновременно начало особого барочного синтаксиса текста.

Слово в стиле барокко – это еще и священное речение, источник проповеди, экзегетики. У М.Ю. Лермонтова слово дает возможность его героям не только управлять, манипулировать, режиссировать, но через множество экспериментов прорываться к трансцендентному, задавая вопросы об истинном назначении человека. Следует помнить об антитетичности, антиномичности стиля барокко, ищущего причудливой гармонии. Элементы нескольких систем (метапоэтические ленты, фрагменты, разные типы повествования) соотносятся друг с другом, соединяясь в причудливом единстве, особым способом сопрягая слово и образ. В эпоху барокко говорили о культуре готового слова, подчиненного риторической культуре. У М.Ю. Лермонтова имеется установка на готовое слово: и автор, и рассказчик опираются на некоторые известные в светском обществе стереотипы в процессе преобразования естественной среды в семиотическую – художественную. Это стереотипы обыденного поведения людей, светские манеры, формы речи, которые используются для того, чтобы художественный мир стал узнаваемым, обладал кодами и регистрами для раскодировки.

Герою М.Ю. Лермонтова интересны все ярусы бытия и иного, бытия и «ничто». Его герои – это обычные люди, экспериментаторы-философы, а также все небесные силы (ангелы, демоны). Странный, на первый взгляд, ряд. Г.В.Ф. Гегель отмечал, что отличительной чертой философии И. Канта является требование, чтобы «мышление само подвергало себя исследованию и установило, в какой степени оно способно к познанию» (3, с. 155). В определенной степени это характерно и для героев М.Ю. Лермонтова. Печорин постоянно пытается не только осмыслить окружающую действительность, но и старается проникнуть в трансцендентную реальность – реальность, недоступную нашей способности к познанию. Высшие вопросы, которые ставит герой, реализуются в антиномичной форме, характерной для метафизического типа мышления. Этим же отличается и мышление лирического героя М.Ю. Лермонтова.

Особенность метапоэтики М.Ю. Лермонтова – связь ее с метафизикой, трансцендентным, тем, что С.Л. Франк называл «непостижимым». Начала «непостижимого» М.Ю. Лермонтов (и его герои) пытается раскрыть в трех слоях бытия. Условно их можно соотнести со слоями феноменологической рефлексии философов: «...начало непостижимого мы пытаемся проследить в трех слоях бытия: 1) в окружающем нас

мире или – шире говоря – в том, что предстоит нам как предметное бытие и что нам надлежит проследить в самых его корнях и основах, 2) в нашем собственном бытии – как оно, с одной стороны, обнаруживается как «внутренняя жизнь» каждого из нас и как оно, с другой стороны, проявляется в отношении к внутренней жизни других людей и к более глубоко лежащей «духовной» основе нашей душевной жизни, и 3) в том слое реальности, который в качестве первоосновы и всеединства как-то объединяет и обосновывает оба эти различные и разнородные мира» (18, с. 198). Примечательно, что третий слой, дающий прорыв к трансцендентному, – результат взаимодействия двух первых и его естественный исход. Так, Печорин, осмысляющий бытие, приходит как к последней инстанции к вопрошанию к Богу. Он мыслит в сфере предметного бытия, то есть окружающей его действительности, постоянно осуждая «свет», проходит в этой рефлексии через самопознание, осмысляя свою внутреннюю жизнь, и в итоге приходит к поиску высшего начала в человеческом существовании, пытается проникнуть за его границы, даже если способом такого проникновения является смерть. И все это находит выражение в метапоэтике романа.

Обратим внимание на метаустановки романа. Практически все герои-повествователи – люди пишущие, имеющие некоторое отношение к литературе, связаны с авторством. Автор – литератор: «Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о Грузии» (12, с. 277), Печорин – автор дневника, Максим Максимыч – рассказчик, знаток «историек», даже «ундина», владеющая условным поэтическим языком (вспомним ее диалог с Печориным), – еще и певица, знающая народные песни. В разных семиотических срезах, на разных семиотических уровнях и в разных слоях текста автор, рассказчики осуществляют метапоэтическую рефлексию над собой, другими героями и текстом. Повествование в романе строится диалогически, метапоэтические вопросы и ответы на них автора, героев способствуют описанию того, как рождается произведение.

Если систематизировать сказанное выше, вырисовывается такая схема.

1. Предисловие ко всей книге – общая установка на контакт с читателем и комментарий к роману.

2. В повести «Бэла» порядок включения метаустановок таков: повествование автора – встреча с Максимом Максимычем – вопросы к нему автора – ответы Максима Максимыча – его рассказ о Печорине и Бэле. Повествование останавливается, прерывается новыми вопросами автора, действительность вмешивается в повествование. В ходе беседы конструируется образ Печорина.

3. В повести «Максим Максимыч» происходит дальнейшее метапоэтическое обоснование «являющегося» перед нами образа Печорина – автор становится обладателем записок (нового текста).

4. Далее текст явлен. Это «Журнал Печорина». Предисловие автора к журналу – развернутый метапоэтический текст, связанный с предыдущим предисловием.

5. В повести «Тамань» подслушивание и подглядывание Печорина, его вопросы к контрабандистам, их ответы создают общий метапоэтический рисунок данной повести, которую завершает образ паруса как одна из эмблем, связывающих роман с поэтическими текстами.

6. В «Княжне Мери» Печорин – режиссер и постановщик условной пьесы – преобразования жизни в текст-театр. Печорин владеет знанием о «свете», стереотипах, ролях, масках, манипулирует другими героями, одновременно комментируя свои действия. Герои действуют в соответствии с его интенциями.

7. В «Фаталисте» вопросы к героям, в частности к Вуличу, о провидении и судьбе сопровождаются ответами героев и соответствующими действиями, инициированными Печориным.

Все эти действия, в том числе и речевые, вопросы, ответы в конечном счете оказываются устремленными к высшей инстанции – Богу с тем, чтобы понять смысл теодицеи – добра и зла, их связи и зависимости, и того, что находится за пределами умопостигаемого, но тем не менее связанного с человеческим бытием.

Метапоэтически многомерно создаваемые образы, концентрирующие идею творчества М.Ю. Лермонтова, его поэзию, реализуются через эмблемы. Как известно, эмблема – особый жанр барочного искусства. Эмблема – это образно-знаковая схема слова, слово, связанное с его зрительностью, связь слова и вещи, наглядность слова. Экзегеза в барокко – уже в самой изобразительной схеме слова, она возвращает слово к буквальности, предметному значению, а это уже акт толкования. Далее мысль отправляется к слову в его культурно-историческом значении. Эмблема – это особая кодификация соотношения слова и образа, связанная с вещной, зрительной наглядностью. То, как мыслится эмблема, как мыслится слово и образ-схема, – это изображение, за которым стоит целый мир (см.: 15, с. 144–146). Вспомним фигурную поэзию С. Полоцкого, Ф. Прокоповича. С феноменологической точки зрения, это эйдетичность слова и, в целом, повествования.

А.В. Михайлов отмечает потребность изучения конкретной образно-мыслительной ткани барочных текстов при постоянном внимании к их самоосмыслению. Эмблема в научном понимании конца XX века – это конструкт, который сообщается с языком эпохи барокко, с языком ее самоуразумения, а потому и ее словоупотреблением. «Словоупотребление самой эпохи отвечало пониманию слова как начала или отправной точки экзегетического процесса и слова как начала или держателя зрительного образа» (там же, с. 151).

М.Ю. Лермонтов мыслит эмблематически, что и ведет к репрезентации принципа барокко – поэзия как живопись. Творчество М.Ю. Лермонтова, как и писателей барокко, предполагает погружение в поэтологическую тайну целого произведения. Помимо прочтения текста, нам необходимо прочитать конструкцию всего

замысла произведения. Писатель в эпоху барокко сознательно ставил перед собой задачу прозрачности своих поэтологических принципов, их надо только бережно и тщательно выявить. А.В. Михайлов отмечает: «Писатель в эту эпоху есть создание произведения, того, какое творится им же самим, он, если заострить эту ситуацию, есть произведение произведения, а в своей поэтике – произведение поэтики своего произведения. Сознательно ставя перед собой творческие задачи, писатель вследствие этого вторгается в известный круг поэтических возможностей, которые направляют его и направляются им. <...> В том же, что создалось, оказался заключенным... автор произведения; произведение во всяком случае сильнее его, и оно, так сказать, лучше автора знает себя. Эмблема же и есть та барочная смысловая форма, в которой отливаются такие образы и отливаются так, что писатель только соуправляет ими» (там же, с. 166).

Эмблема – это готовое слово, соединяющее в себе наглядность и понятийность. Оно триедино. К таким готовым словам, соединяющим в себе наглядность и понятийность, то есть к теоретически заданным образам, которые постоянно осмысляются и переосмысляются в творчестве М.Ю. Лермонтова, на наш взгляд, можно отнести несколько поэтологических образов: кинжал – эмблему поэзии; парус – эмблему героя-странника; могилу Оссиана как медиану этих образов, обращенную в прошлое и будущее, а также в вечность. К эмблематическим образам относятся и роли-эмблемы в «Герое нашего времени», которые можно назвать концептуальными персонажами, так как они несут определенную идею, тенденцию: Печорин как «герой времени», Грушницкий – романтический герой, Вернер – философ и врач, Мери – романтическая героиня, Вера – любовница и т.д. Ангелы, демоны – образы-эмблемы обитателей мира иррационального.

Эмблематичность усиливается по мере перехода автора или героя в рефлексии от одного слоя бытия к другому: от созерцаемого к умопостигаемому, трансцендентному.

Обращение художников, связанных со стилем барокко, к метафорам «мир-книга», «мир-театр», «мир – живописное полотно» свидетельствует, по мнению И.П. Смирнова, об усвоенном поэтикой барокко (впоследствии футуризма) неразличении искусственных и естественных фактов, семиотической и асемиотической материи. Думается, что эстетически значимым было все-таки преобразование асемиотической материи в семиотическую, так как барокко стремится к синтезу искусств, универсализации образов.

Смешению языков, стилей соответствует в барокко смешение жанров. Все это делается сознательно и опирается на высокий уровень абстрагирования текстов. Так, в музыке, по мнению М.Н. Лобановой, «основным конструктивным типом становится сочетание двух или нескольких родов, замкнутый жанр заменяется гибридом. Музыкальное барокко превозносит композиции, написанные «в смешанном роде» («in mixto genere»). Их достоинства отстаивает М. Преториус: «Кое-кто не придает значения тому, как важно, сочиняя песнопение, смешивать мотетную и мадригальную манеру. Я придерживаюсь иного мнения: полагаю, что такое смешение особенно благотворно для концертов и мотетов; а также служит и способствует грации, когда в начале помещено несколько весьма патетических и медленных размеров, а затем следуют быстрые клаузулы; то снова вмешивается медленное и важное, то опять сменяется быстрым» (13, с. 220).

Соотносительность мира с книгой, театром и – шире – со всевозможными формами семиотической деятельности являлась средством для создания поэтических метафор, но имела и более существенные последствия в культурной практике: «...создатели знаковых ценностей осознавали себя в роли устроителей жизни, активизировали дидактическую и агитационную функции искусства, – пишет И.П. Смирнов. – Если реальность отприродных фактов есть не что иное, как совокупность артефактов, то открывается возможность отождествить либо творца вселенной с художником, к чему склонялась барочная мысль, либо художника – с основателем мира и человеческого рода:

Я люблю ваш нескладный развалец,
Жадной проседи взбитую прядь.
Если даже вы в это выгрались,
Ваша правда, так надо играть.
Так играл пред землей молодою
Одаренный один режиссер,
Что носился как дух над водою
И ребро сокрушенное тер.
И, протискавшись в мир из-за дисков
Наобум размещенных светил,
За дрожащую руку артистку
На дебют роковой выводил.

Мейерхольдам

В конечном счете подход к миру как к результату семиотического процесса перерос в уверенность, что владение словом или другой разновидностью знаков дает право на управление событиями. В XVII веке эта вера укрепила Симеона Полоцкого в мысли о его апостольском предназначении; в начале нашего столетия

она же вызвала у Хлебникова убеждение, что он – «Председатель земного шара», привела Маяковского к образу тринадцатого апостола, заставила Крученых заявить: «Художник торжествует. Мир, созданный им, восторжествовал над человеческим». <…>

Подмена вещей знаками вынуждала писателей барокко считать материальное бытие иллюзорным (жизнь есть сон; «мир сей… лежит в прелести»), тогда как футуристы, скорее, были предрасположены к материализации иллюзий (ср. хотя бы сцену пожара в «Облаке в штанах»). Однако, преобразуя естественную среду в семиотическую или совершая обратную трансформацию, барокко и футуризм сходились в том, что проявляли равное внимание к превращениям одних состояний бытия в противоположные» (17, с. 133–134). Сходную картину мы видим у М.Ю. Лермонтова: Печорин пытается преобразовать жизнь в театр («Княжна Мери»), манипулировать другими людьми, заставить их действовать не по правилам логики, а вопреки ей (дуэль Печорина и Грушницкого, поступки Мери и т.д.), то есть сознательно трансформирует естественную среду «света» в семиотическую, что подчеркивает ее алогичность, абсурдность принципов жизни, манер, принятых в обществе законов.

У М.Ю. Лермонтова еще в «Вадиме» (1833–1834) есть замечания о том, что естественные законы природы подменены в обществе законами, выдуманными человеком. Таким образом, человек действует в мире искусственных законов, пренебрегая законами природы. Конфликт в человеческом мире, как правило, толкает людей «в объятия природы», которая расширяет горизонты бытия: «Кто из вас бывал на берегах светлой <Суры>? – кто из вас смотрелся в ее волны, бедные воспоминаньями, богатые природным, собственным блеском! – читатель! не они ли были свидетелями твоего счастия или кровавой гибели твоих прадедов!.. но нет!.. волна, окропленная слезами твоего восторга или их кровью, теперь далеко в море, странствует без цели и надежды или в минуту гнева расшиблась об утес гранитный! – Она потеряла дорогой следы страстей человеческих, она смеется над переменами столетий, протекающих над нею безвредно, как женщина над пустыми вздохами глупых любовников; – она не боится ни ада, ни рая, вольна жить и умереть, когда ей угодно; – сделавшись могилой какого-нибудь несчастного сердца, она не теряет своей прелести, живого, беспокойного своего нрава; и в ее погребальном ропоте больше утешений, нежели жалости. Если можно завидовать чему-нибудь, то это синим, холодным волнам, подвластным одному закону природы, который для нас не годится с тех пор, как мы **выдумали свои законы**» (12, с. 44–45). Законы природы действуют в большом мире, в большом времени, в большом пространстве, в структуре которого человеческое общество с его законами – аномальная среда. Семиотизированные законы природы, которым дана определенная мотивация человеком, конфликтуют с законами природы вообще. Действия Печорина актуализируют алогичность законов человеческого общества, абсурдизм устоев «света», придают этому знаковый характер, что выражается в метапоэтических комментариях.

В природе заключается апогей жизни, даже если в ее объятиях кто-то погибает. Природа, с ее естественными жизненными силами, дает жизнь всему: «Вадим стоял под густою липой, и упоительный запах разливался вокруг его головы, и чувства, окаменевшие от сильного напряжения души, растаяли постепенно, – и отвергнутый людьми, был готов кинуться в объятия природы; она одна могла бы утолить его пламенную жажду и, дав ему другую душу или новую наружность, поправить свою жестокую ошибку» (там же, с. 45). Напомним хорошо известный факт о творчестве М.Ю. Лермонтова, что именно гармония в природе дает человеку силы и способность «в небесах видеть Бога».

В произведениях М.Ю. Лермонтова есть мысль о множестве языков, которые находятся во взаимодействии, в том числе можно говорить о языке природы, который в лермонтовской метапоэтике действительно гармоничен. В метапоэтике М.Ю. Лермонтов приходит к абстрагированию самого высокого уровня, делая опору на многоязычие. Это многоязычие необычное, поэт, как семиотик, говорит о различных «языках», которые взаимодействуют, способствуют какой-то более высокой, чем только человеческой, коммуникации. Говорят не только люди, – впрочем, они вообще не понимают друг друга, – но и воды, птицы, звезды, ангелы, демоны и т.д. Преобразование коммуникативной деятельности в различных сферах (природной, сфере чувств, небесных сил и т.д.) ведется на основе перекодировки знаков вербального общения в знаки, связанные со взаимодействием в других сферах. Это и есть «языки», хотя, скорее, виды речевой деятельности, общения, в семиотическом смысле этого слова, когда естественная среда (например, звуки природы) приобретает в сознании автора знаковый характер, преобразуясь в семиотическую. Данные процессы маркируются метапоэтическими терминами: «**язык**», «**глагол**», «**слово**», «**голос**» («**глас**»). Это касается **языка людей**: «язык страстей» («Любил и я в былые годы…»); **«демонского», «ангельского» языка**: «…чувство в нем заговорило // Родным когда-то языком» («Демон»), «Я к состоянью этому привык, // Но ясно б выразить его не мог // Ни демонский, ни ангельский язык» («1831-го июня 11 дня»); **языка природы**: «язык природы», «голоса природы», «шепталась горная река», «глагол вод», «хоры легких птиц» («Демон»). В основе лежат антропоморфные метафоры с опорными лингвистическими терминами: «**язык**», «**говорить**», «**глагол**», а также музыкальными терминами: «**голос**», «**хор**». В целом, это напоминает пассионы И.С. Баха, музыку И. Гайдна, Г.Ф. Генделя с их величественным космическим звучанием, соотношением одиноких человеческих голосов и грандиозных хоров, устремленных к Творцу, прославляющих Его.

Термин «язык» используется в прямом смысле как орган речи, а также как средство общения, присущее тому или иному народу: «язык родной», «язык чужой», «язык русский». Речь может идти и об общих местах, о сходных для разных языков способах выражения. М.Ю. Лермонтов употребляет термин «всеобщий язык». Все это имеет отношение к миру человека.

И если б хоть минутный крик
Мне изменил – клянусь, старик,
Я б вырвал **слабый мой язык**.
Мцыри. 1839

Г о с т ь (другому)
Во всякой песни модной
Всегда слова такие есть,
Которых женщина не может произнесть.

2-й г о с т ь
К тому же слишком **прям и наш язык природный**
И к женским прихотям доселе не привык.

3-й г о с т ь
Вы правы; как дикарь, свободе лишь послушный,
Не гнется **гордый наш язык**,
Зато уж мы как гнемся добродушно.
Маскарад. 1835

И ближе путник подъезжает
И **чистым русским языком**:
«Казак, скажи мне, – вопрошает, –
Давно ли пусто здесь кругом?»
Измаил-бей. 1832

Рука, сомкнувшись, кверху поднялась,
И речь от синих губ оторвалась:
На клятву походила речь его,
Но в ней никто не понял ничего;
Она была **на языке родном** –
Но глухо пронеслась, как дальний гром!..
Литвинка. 1832

Зафир кивнул курчавой головою,
Блеснул, как рысь, очами, денег взял
Из белой ручки черною рукою;
Он долго у дверей стоял
И говорил все время, по несчастью,
На языке чужом, и тайной страстью
Одушевлен казался.
Сашка. 1835–1839

Прилично б было мне молчать о том,
Но я привык идти против приличий
И, говоря **всеобщим языком**,
Не жду похвал...
Сашка. 1835–1839

Широкое понятие родного языка, Родины:

Ты от земли своей отвык,
Ты позабыл ее **язык**...
Измаил-бей. 1832

Поэт относится с огромным уважением к языку как мощному средству человеческого общения, который тем не менее может оказаться «чужим», а также сложным и неподатливым материалом для создания художественного произведения.

Встречается понятие поэтического языка:

Твой стих, как Божий дух, носился над толпой
И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных.

Но скучен нам **простой и гордый твой язык**,
Нас тешат блестки и обманы…
Кинжал. 1837–1838

Язык как орган речи выступает не только в нейтральном значении, но и как язык «слабый», то есть не способный к выражению мыслей и чувств. «Природный язык», то есть язык – средство общения того или иного народа, характеризуется как «прямой» и «гордый». «Родной» язык связан с землей, на которой живет тот или иной народ. Поэтический язык осмысляется как язык «простой и гордый». Русский язык, в понимании лирического героя, особенно язык поэзии, хотя и является «простым и гордым», нуждается в усовершенствовании:

Когда же на Руси бесплодной,
Расставшись с ложной мишурой,
Мысль обретет **язык простой**
И **страсти голос** благородный?
Журналист, читатель и писатель. 1840

Используется обобщенное понятие языка, связанное уже с означиванием различных явлений, способов их выражения, применяется для обозначения страстей, чувств, любви, муки:

Любил и я в былые годы,
В невинности души моей,
И бури шумные природы
И бури тайные **страстей**.

Но красоты их безобразной
Я скоро таинство постиг,
И мне наскучил их несвязный
И **оглушающий язык.**
Из альбома С.Н. Карамзиной. 1841

Меж них завелся очень скоро
Немой, но внятный разговор.
Язык любви, язык чудесный,
Одной лишь юности известный,

Кому, кто раз хоть был любим,
Не стал ты **языком родным**?
Тамбовская казначейша. 1838

«Владимир (смотрит на нее несколько времени). Помните ли, давно, давно тому назад, я привез вам **стихи**, в которых просил защитить против **злословий света**… и вы обещали мне! С тех пор я вам верю, как богу! с тех пор я вас люблю, больше бога! О! каким голосом было сказано это: обещаю! и я тогда же в душе произнес клятву вечно любить вас… вечно! **на языке другого это слово мало значит**… но я поклялся любить вас вечно, поклялся самому себе; а клятва благородного человека неизменна как воля творца… Отвечайте мне, скажите мне одно не слишком холодное слово, солгите… и я буду… доволен. Что стоит одно слово?.. оно спасет человека от отчаяния» («Странный человек») (11, с. 333).

Кто много странствовал по свету,
Кто наблюдать его привык,
Кто затвердил **страстей** примету,
Кому известен их **язык**…
Измаил-бей. 1832

Она должна приветы нежных слов
Затверживать и ненависть, тоску
Учить **любви святому языку**;
Младую грудь к волненью принуждать…
Литвинка. 1832

Лишь иногда отрывистые речи,
Отзыв того, чем грудь была полна,
Блуждали на губах ее; но звуки
Яснее были слов… **И голос муки**
Мой Саша понял, **как язык родной**…
Сашка. 1835–1839

Он с новой грустью стал знаком;
В нем чувство вдруг **заговорило**
Родным когда-то языком.
Демон. 1841

Язык страсти характеризуется как «оглушающий», зато язык любви – это «святой», «чудесный», «родной» язык, голос муки – «язык родной». Для лирического героя М.Ю. Лермонтова характерно состояние муки. Любовь, в понимании М.Ю. Лермонтова, уже сама по себе – таинство: «Дающий и расточающий именно в силу этого становится обретающим. <…> Любимый открывается мне здесь, следовательно, не только как любящий, но и как источник любви, как сама любовь» (18, с. 495, 497). Именно в любви открывается человеку Бог.

Человек и его язык характеризуются М.Ю. Лермонтовым так:

Чем человек, сей царь над общим злом,
С коварным сердцем, с **ложным языком**?
Кладбище. 1830

Но что его на свете сохранит
От хитрой клеветы, от скучных наслаждений,
От истощительных страстей,
От **языка ласкателей развратных**…
Унылый колокола звон… 1830–1831

Язык, в понимании М.Ю. Лермонтова, – это и оружие:

Теперь, друзья, скажите напрямик,
Кого винить?.. По мне всего прекрасней
Сложить весь грех на черта, – он привык
К напраслине; к тому же **безопасней**
Рога и когти, чем иной язык…
Сашка. 1835–1839

Как видим, человеческий язык приобретает негативные формы характеристики, доходящие до сравнения его с рогатой нечистью.

Зато «язык богов» обозначается как язык любви:

Власы на нем, как смоль, черны,
Бледны всегда его уста,
Открыты ль, сомкнуты ль они:
Лиют без слов **язык богов**!..
Портреты. 1829

«Язык богов» как язык любви, трансцендентный язык противопоставлен «ложному» языку человека. Названы и другие типы трансцендентных языков – «ангельский» и «демонский»:

Я к состоянью этому привык,
Но ясно выразить его б не мог
Ни ангельский, ни демонский язык…
Они таких не ведают тревог,
В одном всё чисто, а в другом всё зло.
Лишь в человеке встретиться могло
Священное с порочным. Все его
Мученья происходят оттого.
1831-го июня 11 дня

Не выразил бы чувств моих в сей миг
Ни ангельский, ни демонский язык!..
Джюлио. 1830

Глядит! – и что же перед ним?
Глядит – уста оледенели,
И мысли зреньем овладели…
Не мог бы описать подобный миг
Ни ангельский, ни демонский язык!
Измаил-бей. 1832

«Ангельский» и «демонский» языки способны к высочайшим формам выражения, но они не достигают совершенства Божественного языка.

Кроме языка человека, а также трансцендентных языков как особых знаковых систем, обозначен еще один условный язык – язык природы. Гармоничный язык природы противопоставлен языку человека:

И снова я к земле припал,
И снова вслушиваться стал
К **волшебным, странным голосам**;
Они шептались по кустам,
Как будто речь свою вели
О тайнах неба и земли;
И все **природы голоса**
Сливались тут; не раздался
В торжественный хваленья час
Лишь человека гордый глас.
Мцыри. 1839

И Терек, прыгая, как львица
С косматой гривой на хребте,
Ревел, – и горный зверь, и птица,
Кружась в лазурной высоте,
Глаголу вод его внимали…
Демон. 1841

И блеск, и жизнь, и шум листов,
Стозвучный говор голосов,
Дыханье тысячи растений!
Демон. 1841

Кругом, в тени дерев миндальных,
Где ряд стоит крестов печальных,
Безмолвных сторожей гробниц,
Спевались хоры легких птиц.
Демон. 1841

Лишь дуновенье ветерка
Роптанье листьев приносило,
Да с темным берегом уныло
Шепталась горная река.
Демон. 1841

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу.
И звезда с звездою говорит.
1841

Это гармоничный, слаженный язык, проявляющий себя в космических масштабах, близкий к музыке («стозвучный говор голосов», «хоры легких птиц» и т.д.), язык, с помощью которого можно «внимать Богу», слышать «разговор звезд». Есть редкие моменты, когда человек и небесный мир с Творцом внимают человеку. Это высшие моменты познания Творца пророком, а также поэтом, который достигает пророческой миссии:

Завет предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная;
И **звезды слушают меня,**
Лучами радостно играя.
Пророк. 1841

Основываясь на этих откровениях поэта, можно идти за ним в познании Бога. Бог раскрывается здесь как «Бог-со-мной», как творческая любовь, реальность, которая всегда нечто большее, чем она сама, «именно объемлющая за пределами себя самой, и меня, ею творимого»: «Поэтому и сама моя любовь к Богу есть лишь рефлекс его любви ко мне или, вернее, рефлекс и обнаружение Его самого как любви. Даже мое темное искание Бога и беспомощная тоска по Богу есть обнаружение власти надо мной его любви, – ибо само искание, как было указано, предполагает уже обладание искомым (как и мое отвержение Бога, мое отрицание его, моя слепота в отношении его, подобно всем вообще формам и содержаниям моего внутреннего бытия и сознания, – есть обнаружение своеобразной формы его же присутствия и действия во мне; так что атеист, сущий – подобно всему вообще – только через Бога и отрицающий Бога, есть сам в этом смысле – как метко было кем-то сказано – «живой каламбур»). Моя любовь к Богу, мое стремление к нему возникают сами уже из моей «встречи» с Богом... как огонь, возгорающийся от искры огромного пламени» (18, с. 497–498).

Понятие языка в философском, а также в семиотическом смысле находим еще у древних философов. Очень точно, с определенной феноменологической заданностью язык в семиотическом смысле, и, в частности, зрительный язык, был рассмотрен Дж. Беркли в работе «Теория зрения, или зрительного языка» (1733). В ней дается концепция чувственного познания. Дж. Беркли пишет: «Идеи, которые наблюдаются связанными с другими идеями, рассматриваются как знаки, с помощью которых актуально невоспринимаемые чувствами вещи обозначаются или внушаются воображению, объектами чего они становятся и которое одно только и воспринимает их. И как звуки внушают (suggest) некоторые другие вещи, подобным же образом свойства [вещей] вызывают [сами] эти звуки. И вообще все знаки внушают обозначаемые ими вещи, причем не существует такой идеи, что она не представляла бы духу другой идеи, которая часто связывалась с ней. В определенных случаях знак может вызывать свой коррелят в виде образа, в других – в качестве действия или причины. Но там, где нет ни такого отношения сходства или каузальности, ни вообще какой-либо необходимой связи, две вещи, благодаря их простому сосуществованию, или две идеи, в силу того, что они воспринимались вместе, могут вызывать или обозначать одна другую, а их связь все это время будет случайной, поскольку именно связь, как таковая, и вызвала (causeth) это действие.

Большое число произвольно выбранных знаков, разнообразных и противоположных, составляет язык. Если такая произвольная связь устанавливается человеком, то это будет искусственный язык. Бесконечно разнообразны модификации света и звука, вследствие чего каждый из них способен давать неограниченное разнообразие знаков, и соответственно оба они используются для формирования языков; один – благодаря произвольному решению людей, другой – [благодаря решению] самого бога. Связь, устанавливаемая творцом природы, в обычном ходе вещей может быть с уверенностью названа «естественной», тогда как связь, созданную людьми, следует назвать «искусственной». И тем не менее это не мешает тому, чтобы одна была столь же случайной (arbitrary), как и другая. И в самом деле, существует не больше потребности представить или необходимости выводить осязаемые вещи из модификаций света, чем в языке заключать о смысле [сказанного] из звука. Но как существует связь между различными тонами и артикуляциями голоса и их раз-

нообразными значениями, так же обстоит дело и между различными видами света и их соответствующими коррелятами, или, другими словами, между идеями зрения и осязания» (1, с. 143–144).

Через понятие «язык» опосредуется естественное и искусственное. Язык природы и «природный» язык человека – опосредованный мир природы, естественный мир; язык любви, язык страстей, язык муки – опосредованные искусственные языки. Язык опосредует и опосредуется в силу знакового его характера. Язык как система знаков – коррелят мира вещей (в феноменологическом смысле – см.: 7).

У М.Ю. Лермонтова в рефлексии сближены познавательное и художественное. Художественное демонстрирует тайну тем, «что уподобляется знанию и миру как непременно включающему в себя тайну, непознанное и непознаваемое» (15, с. 120). Поэтика мира отражается в поэтике произведения, в том, «как сделан мир, в том, как делаются поэтические вещи, тексты, произведения» (там же). Эту иерархию мы видим и на примере языков: от языка человека к языку его чувств, далее к языку природы, которая являет себя в космических масштабах, а далее к инобытию, трансцендентной реальности, в которой говорят и демоны, и ангелы, и слышится голос Бога.

Как и другие произведения барокко, лермонтовский текст в широком смысле слова – это свод, ансамбль, сопряженный с целым мира. Он репрезентирует мир в его тайне.

Метапоэтика М.Ю. Лермонтова тяготеет к энциклопедической обширности. Для его произведений характерно наличие «второго дна» (там же, с. 121), того содержательного принципа, который не может быть уловлен читателями и доступен только научному анализу. В нем всегда имеется неявный слой, который задает строение всего целого. В случае с «Героем нашего времени» это метапоэтический слой произведения. А.В. Михайлов отмечает: «Произведение как конструируемая конфигурация пронизывается силами, перпендикулярными к движению по горизонтали, и эта сила весьма способствует раздроблению целого и на отдельные части, и на отдельные элементы знания: произведение как свод-объем (книга являет произведение) и как ставший зримым объем легко разнимается. Будучи сводом-объемом, произведение точно так же и собирается – из отдельного и разного. Его бытие уходит в вертикаль смыслов – которые толкуются, комментируются, окружаются экзегетическим ореолом и тем самым постоянно указывают на нечто высшее за своими собственными пределами, как книга указывает на мир» (там же, с. 123).

Литература барокко опиралась на множество готовых формул, основным казалось не собственно изобретение, а варьирование, таким образом, индивидуальное проявлялось в комбинировании общих мест, в их «подновлении» при помощи неожиданных сближений, столкновений знакомых традиционных представлений (см.: 13, с. 146). Они используются сознательно, их функционирование приобретает знаковый характер. Вариативная поэтика, комбинаторика – важные черты барокко. Это и важные черты романов М.Ю. Лермонтова, и в особенности «Героя нашего времени». Обратим внимание на следующие общие места, готовые формулы в романе.

1. Автор расспрашивает Максима Максимыча («кавказца»), зная, что в памяти его должна быть какая-нибудь «историйка».

2. Печорин следует за контрабандистами, зная, что в их поведении много необычного, таинственного, основанного на сокрытии, лжи. Много спрашивает.

3. Печорин, зная все стереотипы и ходы любовных коллизий в светском обществе, манипулирует людьми, комментирует эти манипуляции, вопрошает, расспрашивает, посылает вызовы судьбе.

4. Высшее познание – умение читать судьбу человека на основе каких-то общих знаков, провидеть, пророчествовать. В вопросах Вуличу, основанных на знании человека, через его действия подвергающий все рефлексии Печорин хочет узнать, как на это «отзовется» Всевышний.

Провидение, предсказывание, предугадывание – все это есть и в других текстах: лирике, драме, поэмах («Маскарад», «Демон», «Мцыри» и др.). Стиль понимается при этом как явление изображаемое, опосредованное знаковым характером различных языков, в том числе и языка художественного произведения. «Герой нашего времени» напоминает фугу. М.Н. Лобанова указывает, что музыканты барокко сравнивали фугу с логической операцией, спором, обсуждением идеи с разных сторон, в результате которого находится общий вывод (там же, с. 197).

Приемы, напоминающие технику «симультанного коллажа», оказываются возможными в условиях барочной поэтики «остроумия», ищущей связи между удаленными концептами, основанной на соединении несоединимого. Динамизм текстового пространства здесь доведен до предела. Феноменологическая заданность текста «Героя нашего времени» находит проявление в том, что авторское повествование и повествование героев развивается относительно самостоятельно, между повествованием автора и рассказчиков – метатекстовые и метапоэтические ленты, которые S-образно пронизывают повествования, принадлежащие к различным субъектам. Автор проявляет себя в вопрошании и моделировании ситуаций, ответы реализуют интенции, заданные автором. Структура романа имеет вертикальное гармоническое строение, основанное на идее повторяемости, характеризуется динамически заданной многослойностью.

Итак метапоэтика М.Ю. Лермонтова представляет собой сложный условный гетерогенный «текст», имеющий различные способы выражения. В «Герое нашего времени» он раскрывается через метапоэтический

сюжет, то есть внутреннее произведение о том, как создан роман. В других прозаических произведениях метапоэтический текст разворачивается в процессе комментирования автором текста и речевого поведения своих героев, в отступлениях, исторических комментариях и т.д. Многое из метапоэтики М.Ю. Лермонтова проясняется в эпистолярии, который мы также рассматриваем в системе прозаических текстов. Поэзия пронизана замечаниями по поводу создания стихов, языка поэзии, поэтического мастерства, есть и специальные произведения, посвященные поэзии, поэту и творчеству. В анализе метапоэтики поэзии мы исходим из системного соотношения этих произведений и фрагментов поэтических текстов. Метапоэтический текст поэм раскрывается через посвящения, вступления, метапоэтические комментарии внутри текста. Драматургический метапоэтический текст в наиболее значительном виде предстает в посвящениях, введениях, эпиграфах драматических произведений. Все вместе составляет весьма значительный текст М.Ю. Лермонтова о литературе, творчестве, который еще предстоит исследовать.

Литература

1. Беркли Дж. Теория зрения, или зрительного языка // Беркли Дж. Сочинения. – М., 1978. – С. 137–148.
2. Богомолов Н.А. Предисловие // Большаков К.А. Бегство пленных, или История страданий и гибели поручика Тенгинского пехотного полка Михаила Лермонтова. – М., 1991. – С. 5–22.
3. Гегель Г.В.Ф. Наука логики // Энциклопедия философских наук: В 3 т. – М., 1974. – Т. 1.
4. Гегель Г.В.Ф. Наука логики: В 3 т. – М., 1971. – Т. 2.
5. Глазычев В.Л. Гемма Коперника. – М., 1989.
6. Голованова Т.П. Комментарии // Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: В 4 т. – М., 1958. – Т. 1. – С. 597–722.
7. Гуссерль Э. Философия как строгая наука // Логос. – М., 1911. – Кн. 1. – С. 1–56.
8. Левинас Э. Ракурсы // Левинас Э. Избранное: Тотальное и Бесконечное. – М.–СПб., 2000. – С. 292–349.
9. Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: В 4 т. – Т. 1. Стихотворения 1828–1841 годов. – М.–Л., 1958–1959.
10. Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: В 4 т. – Т. 2. Поэмы. – М.–Л., 1958–1959.
11. Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: В 4 т. – Т. 3. Драмы. – М.–Л., 1958–1959.
12. Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: В 4 т. – Т. 4. Проза. Письма. – М.–Л., 1958–1959.
13. Лобанова М.Н. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики. – М., 1994.
14. Лосев А.Ф. Русская философия // Введенский А.И., Лосев А.Ф., Радлов Э.Л., Шпет Г.Г. Очерки истории русской философии. – Свердловск, 1991. – С. 67–95.
15. Михайлов А.В. Языки культуры. – М., 1997.
16. Потебня А.А. Мысль и язык // Потебня А.А. Слово и миф. – М., 1989. – С. 17–200.
17. Смирнов И.П. Художественный смысл и эволюция поэтических систем. – М., 1977.
18. Франк С.Л. Непостижимое // Франк С.Л. Сочинения. – М., 1990. – С. 181–559.
19. Штайн К.Э., Петренко Д.И. Лермонтов и барокко. – Ставрополь, 2007.

Текст печатается по источнику:

Штайн К.Э., Петренко Д.И. Особенности метапоэтики М.Ю. Лермонтова // Метапоэтика: Сборник статей научно-методического семинара «Textus»: В 2 ч. / Под редакцией д-ра филол. наук проф. К.Э. Штайн, канд. филол. наук Д.И. Петренко. – Ставрополь: Издательство Ставропольского государственного университета, 2010. – Вып. 2. – Ч. 1. – С. 12–33.

К.Э. Штайн, Д.И. Петренко

«Певец железа»

Эмблематичность текста М.Ю. Лермонтова и роль скрытого имени в его формировании раскрывает нам художник авангарда В. Хлебников. Он называет М.Ю. Лермонтова «певцом железа», давая направление поискам особого смысла, заложенного в его стихотворениях о поэзии. Для понимания космизма и барочной поэтики М.Ю. Лермонтова это очень важно, так как имя Михаил, которое скрыто обыгрывается в стихотворениях самого М.Ю. Лермонтова о поэзии, связано с «небесным» именем Архистратига Михаила. В поэзии М.Ю. Лермонтова этот образ визуализируется, многопланово обыгрывается его иконография, так что имя Михаил приобретает черты эмблемы, репрезентирующей творчество М.Ю. Лермонтова и органично раскрывающей связь «земного» и «небесного» в нем.

Раскодировка содержится в стихотворении В. Хлебникова «На родине красивой смерти – Машуке…» (октябрь, 1921), посвященного М.Ю. Лермонтову.

На родине красивой смерти – Машуке,
Где дула войскового дым
Обвил холстом пророческие очи,
Большие и прекрасные глаза,
И белый лоб широкой кости, –
Певца прекрасные глаза,
Чело прекрасной кости
К себе на небо взяло небо,
И умер навсегда
Железный стих, облитый горечью и злостью.
Орлы и ныне помнят
сраженье двух желез,
Как небо рокотало
И вспыхивал огонь.
Пушек облаков тяжелый выстрел
В горах далече прокатился
И отдал честь любимцу чести,
Сыну земли с глазами неба.
И молния синею веткой огня
Блеснула по небу
И кинула в гроб травяной
Как почести неба.
И загрохотал в честь смерти выстрел тучи
Тяжелых гор.
Глаза убитого певца
И до сих пор живут не умирая
В туманах гор.
И тучи крикнули: «Остановитесь,
Что делаете, убийцы?» – тяжелый голос прокатился.
И до сих пор им молятся,
Глазам,
Во время бури.
И были вспышки гроз
Прекрасны, как убитого глаза.
И луч тройного бога смерти
По зеркалу судьбы
Блеснул – по Ленскому и Пушкину, и брату в небесах.
Певец железа – он умер от железа.
Завяли цветы пророческой души.
И дула дым священником
Пропел напутственное слово,
А небо облачные почести
Воздало мертвому певцу.

И доныне во время бури
Горец говорит:
«То Лермонтова глаза».
Стоусто небо застонало,
Воздавши воинские почести,
И в небесах зажглись, как очи,
Большие серые глаза.
И до сих пор живут средь облаков,
И до сих пор им молятся олени,
Писателю России с туманными глазами,
Когда полет орла напишет над утесом
Большие медленные брови.
С тех пор то небо серое –
Как темные глаза.
<Октябрь 1921>

В последних строках стихотворения эмблематично запечатлен зрительный образ М.Ю. Лермонтова, его поэзии, воплощенный космически. Такие тексты мы относим к метапоэтическим, то есть текстам, в которых поэт исследует собственное творчество или творчество другого художника. Наша гипотеза, связанная со стихотворением В. Хлебникова, такова. В. Хлебников энциклопедически опирается в нем на множество текстов М.Ю. Лермонтова, в результате создает текст – самоинтерпретирующую систему, в которой исследует элементы моделирования лермонтовской самоинтерпретирующей системы творчества, то есть стихи Лермонтова о поэзии, в результате чего разворачиваются новые стратегии для анализа, исследования творчества М.Ю. Лермонтова.

Определим иерархию основных типов текста, на которой строится метапоэтический текст Велимира Хлебникова.

1. Поэтические тексты М.Ю. Лермонтова, и в первую очередь, стихотворение «Кинжал».
2. Живописные работы М.Ю. Лермонтова как тексты.
3. Биографические данные и образ жизни М.Ю. Лермонтова как текст (социофизический контекст).
4. Имя **Михаил** как концентрация творчества и стратегия интерпретации, указание на разгадку иконографического начала метапоэтических текстов М.Ю. Лермонтова.

Стихотворение «На родине красивой смерти – Машуке...» представляет собой тип сложнейшей многослойной поэтической системы. Несмотря на то, что в нем реализуются основные принципы творчества В. Хлебникова: мифопоэтическое начало, опора на космогонический миф, единство истории (подлинных событий) и поэтических вымыслов, современное мифотворчество и фольклорное начало и мн. др., – в нем сосредоточены и наиболее характерные черты поэтики Лермонтова.

Текст опирается на скрещение жанров. В нем есть элементы погребального гимна, притчи, жития, лирического стихотворения. Развернутый полисиндетон (союз «и») маркирует тип текста, характерный для притчевого, житийного начала: «**И** белый лоб... // **И** умер навсегда... // **И** вспыхивал огонь // **И** отдал честь... // **И** кинула в гроб травяной... // **И** загрохотал...» и т.д. Следует указать на то, что элементы полисиндетона, имеющего четко выраженный анафорический характер, актуализируют в целом два ряда понятий, связанных 1) со смертью героя стихотворения (Лермонтова); 2) с жизнью его в ином мировом измерении, осознаваемом и воспринимаемом другим поэтом – лирическим героем стихотворения. Ключевым словом-образом идентификации понятий первого ряда является слово-образ «**умер**» («**бог смерти**», «**гроб**», «**священник**»), словами-образами, идентифицирующими понятия второго ряда, являются лексемы «**живут**» (**глаза**) – «**до сих пор**». Таким образом осуществляется локализация временного начала в восприятии автора («**до сих пор**») и подчеркивается надмирное вневременное обитание Лермонтова через конкретизацию пространственных показателей («**небо**»).

Текст Хлебникова – это не только и не просто рефлексия над творчеством и судьбой М.Ю. Лермонтова, он вбирает их в себя, и все творчество в целом; сконцентрировано оно в тексте Хлебникова по опорным (ключевым) словам текстов М.Ю. Лермонтова – прочитан код, выявлен он другим художником, дающим возможность создать особые стратегии для интерпретации.

Прежде всего обратим внимание на полицитатность текста. Прямая цитата «**Железный стих**, **облитый горечью и злостью**»; «**любимцу чести**» – измененная цитата (Ленский Пушкина – «**невольник чести беспощадной**», Пушкин Лермонтова – «**невольник чести**» в «Смерти поэта», имена поэтов названы в тексте).

Стихотворный текст, сотканный из ключевых слов-образов, актуализирующих множество поэтических текстов М.Ю. Лермонтова, входящих в данный текст как микроцитаты (точечные цитаты), находится в языковых слоях (лексический, синтаксический слои) поэтического текста В. Хлебникова. Их наличие позволяет говорить об актуализации неязыковых слоев данного поэтического текста, одним из которых является мно-

гомерный и динамичный слой художественных артефактов – лермонтовских произведений. Мы относим их к когнитивным артефактам, то есть созданным произведениям, которые существуют во времени и пространстве и наряду с фреймами, картинами, видами, культурными схемами они функционируют в неязыковых слоях, опираясь на когнитивные структуры языковых слоев.

Слой артефактов является многомерным потому, что одно и то же слово актуализирует подвижное множество текстов (различные контексты их динамизируют). Часто это названия стихотворений М.Ю. Лермонтова: «Смерть» (1830), «Гроза» (1830), «Небо и звезды» (1831), «Бой» (1832), «Смерть Поэта» (1837), «Молитва» (1837), «Тучи» (1840), «Родина» (1841), «Пророк» (1841), «Утес» (1841) и др.

Многократно повторяются такие словаобразы, как «**очи**», «**глаза**», «**певец**», «**небо**», «**орел**», «**сраженье**», «**горы**», «**огонь**», «**выстрел**», «**туманы**», «**буря**», «**пророческий**», «**облака**», «**утес**» и др., которые отсылают к множеству хорошо известных текстов М.Ю. Лермонтова: «Русская мелодия» (1829), «Мой демон» (1829), «Кавказ» (1830), «Ночь I» (1830), «Ночь II» (1830), «Парус» (1832), «Смерть Поэта» (1837), «Бородино» (1837), «Кинжал» (1838), «Дары Терека» (1839), «Завещание» (1840), «На севере диком стоит одиноко…» (1841), «Спор» (1841), «Пророк» (1841) и мн. др. Все это призвано воссоздать поэтический мир М.Ю. Лермонтова с его космизмом (небо – земля), пространственной и временной бесконечностью. Оперирование не собственно языком как материалом произведения, а уже готовыми текстами, их активизация в неязыковых слоях – характерная черта футуристической поэтики, основы которой формировал сам Хлебников. Рефлексию над текстами Лермонтова, цитатный пуантилизм можно интерпретировать и с точки зрения теории «прибавочного элемента» К.С. Малевича, когда стилевые черты, образы, характерные для творчества какого-то художника, вносятся в другое произведение (см.: 10).

Таким образом, языковая ткань текста соткана на основе образной системы самого Лермонтова, при этом актуализированными оказываются словаобразы, связанные с **воинственной тематикой** – так интерпретируется происшедшая дуэль: «дула войскового дым», «сраженье двух желез», «пушек облаков тяжелый выстрел», «выстрел тучи», «певец железа – он умер от железа», «дула дым», «воинские почести».

Далее акцентируется словообраз «**глаз**» – «пророческие очи», «большие и прекрасные глаза», «певца прекрасные глаза», «сын земли с глазами неба», «глаза убитого певца // И до сих пор живут не умирая», «молятся глазам», «как убитого глаза», «то Лермонтова глаза», «зажглись, как очи, // Большие серые глаза», «писателю… с туманными глазами», «как темные глаза».

Множественные повторы связаны с образом **неба**: «к себе на небо взяло небо», «небо рокотало и вспыхивал огонь», «пушек облаков тяжелый выстрел», «сын земли с глазами неба», «молния синею веткою огня // Блеснула по небу», «как почести неба», «выстрел тучи», «тучи крикнули», «вспышки гроз», «луч тройного бога смерти», «по Ленскому и Пушкину», «небо облачные почести воздало», «небо застонало», «в небесах зажглись», «живут средь облаков», «то небо серое – как темные глаза». Образ неба соединяет предыдущие образы в одну **триаду**: **глаза** – **война** – **небо**.

Один из ключевых образов текста – **железо**, **железный** – имеет двойственную семантику – 'оружие' – 'стих': «дула войскового дым», «железный стих», «сраженье двух желез», «пушек облаков», «выстрел тучи», «певец железа – он умер от железа», «дула дым». Отсылка этого образа также двойственная – сражение на небе и на земле. Земное начало как раз и связано с образом железа.

Металлы, как отмечает В.Н. Топоров, «воплощают идеи вечности, войны, воинства», «геральдическими» металлами считаются серебро.., золото.., железо с черной поверхностью. <…> …железо символизирует **постоянство**, **жестокость**, **силу**, **упрямство**, **терпение**, **грубость**… <…> Железо в древнееврейской традиции – символ несчастья, рабства, выносливости, решительности. <…> Отмечается, что эпитет «железный» обладает рядом негативных коннотаций; ср. *железный век (худший из веков), железное дерево (виселица)* и ряд других мифологизированных мотивов, как-то: *железная маска, железная рука, железный крест* (курсив автора. – *К.Ш., Д.П.*) и т.п.» (14, с. 147).

В диссертации Н. Арлаускайте «Строение смыслового пространства текстов Велимира Хлебникова» (Вильнюс, 1998) отмечается, что «лексемы, называющие орган зрения, занимают центральное положение в смысловом поле глаз, являются его ядром, глаз регулярно метонимически замещает собой человека и любое тело; смысловая область глаз и сфера зрения занимают иерархически высокую позицию в мире, создаваемом текстами Хлебникова; и связан этот образ в них с космогонически отмеченными местами; связь глаза с космогонией укоренена во многих мифологиях; глаз отторгает зрительную силу от человека и, метонимически замещая его, участвует в круговороте **жизнь** – **смерть**, участие в этом круге носит оттенок жертвенности, а зрительная сила становится плодотворящей силой. Признаки глаза в текстах Хлебникова коррелируют с признаками архетипического героя; герой является родоначальником, основателем города, нового времени; религии, нового способа жизни (глаз устанавливает центр текстового пространства и организует его, определяет как основную ценность тайноведения» (2, с. 46).

Н. Арлаускайте отмечает также, что существует определенная аналогия между строением хлебниковского текстового пространства и культурнобиографического (социофизического) (там же, 49). Так же Хлебников оперирует и социофизическим пространством М.Ю. Лермонтова.

Пространство лермонтовских образов, сотканных из лирических текстов, выводит к другому текстовому пространству. Стих «**Обвил холстом пророческие очи**» обращает нас к портретам М.Ю. Лермонтова, и в частности к одному из автопортретов.

Автопортрет М.Ю. Лермонтова (1837–1838), где он написал себя на фоне Кавказских гор в форме офицера Нижегородского драгунского полка, изображает Лермонтова «в бурке, накинутой на куртку с красным воротником, с кавказскими газырями на груди; на кабардинском ремне с серебряным набором – черкесская шашка» (5, с. 166). И.А. Желвакова, комментирующая этот портрет в альбоме «Лермонтов: Картины. Акварели. Рисунки (1980)», рассматривает его как портрет поэта: «Портрет передает глубокий, напряженный мир поэта, его страдания, его душу. Автопортрет отвечает творческой личности Лермонтовапоэта, рано осознавшего свое предназначение. Он знал, что рожден для великих дел, свою миссию видел в роли поэта-пророка» (там же). На обороте паспарту поэта немецкая надпись г-жи Берольдинген, дочери А.М. Верещагиной, в которой соединяются двойственные роли Лермонтова: «Михаил Лермонтов, русский офицер и поэт, им самим рисованный» (там же).

Нет ничего удивительного в сближении разных типов текста – поэтического и акварели. Можно указать на следующие семантические посылки: объединение **топосов воинства и поэзии** (творчества) в текстах Лермонтова о поэзии в автопортрете. Знаками, кодифицирующими первый топос, являются военный костюм, кавказская шашка, которую он сжимает в руке, и использование словаобраза «кинжал» в текстах о поэзии, а также лексемы с «военной» семантикой: «**Товарищ светлый и холодный**, // **Задумчивый грузин на месть тебя ковал**, // **На грозный бой точил черкес свободный**» («Кинжал». 1838).

Интересно отметить, что в стихотворении «Кинжал» (1838) есть также автопортретотражение: некий двойник, образное скольжение, намек на обладателя кинжала:

Кинжал

Люблю тебя, **булатный мой кинжал**,
Товарищ **светлый и холодный**.
Задумчивый грузин на месть тебя ковал,
На грозный бой точил черкес свободный.

Лилейная рука тебя мне поднесла
В знак памяти, в минуту расставанья,
И в первый раз не кровь вдоль по тебе текла,
Но светлая слеза – жемчужина страданья.

И черные глаза, **остановясь на мне**,
Исполненны таинственной печали,
Как сталь твоя при трепетном огне,
То вдруг тускнели, **то сверкали**.

Ты дан мне в спутники, любви залог немой,
И страннику в тебе пример не бесполезный:
Да, я не изменюсь и буду **тверд душой**,
Как ты, **как ты**, **мой друг железный**.

1838

В клинке, как в зеркале, взгляд находит отражение. М.Н. Лобанова отмечает роль зеркала в поэтике барокко: «Зеркальное отражение, принцип симметрии также являются символами единства. Зеркало – излюбленный барочный образ, обладающий множеством смыслов. Изображение зеркала «обычно служит мотиву Vanitas. Оно связывается с представлениями о неизбежности смерти <…> Зеркало служит эмблемой самопознания и в то же время имеет мирское, чаще всего дидактическое значение. Образ зеркала в эмблематике легко сближается с образом сферы, подчиненным семантике вечности» (9, с. 127).

С образом «стали» мы встречаемся в «Герое нашего времени». Лермонтов пишет о глазах Печорина: «…об глазах я должен сказать еще несколько слов. <…> Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся! – Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей?.. Это признак или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения: то был **блеск**, **подобный блеску гладкой стали**, ослепительный, но холодный…» (8, с. 333).

Образ железа, стали несет и позитивную, и отрицательную семантику: «…я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их **я вышел тверд и холоден**, **как железо**, но утратил навеки

пыл благородных стремлений, лучший цвет жизни. И с той поры сколько раз уже я играл роль **топора в руках судьбы**! **Как орудье казни**, я упадал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаленья…» (там же, с. 438).

В поэме «Измаил-Бей» появляется образ глаз – «лезвеё кровавой стали»:

…и блистали
Как лезвеё кровавой стали
Глаза его – и в этот миг
Душа и ад – всё было в них.
1832

В поэме «Демон»:

Могучий **взор** смотрел ей в очи!
Он жег ее. Во мраке ночи
Над нею прямо он **сверкал**,
Неотразимый, **как кинжал**.
Увы! злой дух торжествовал!

Следует обратить внимание, что портрет в стихотворении «Кинжал» также акцентирует глаза («**черные**», «**исполненны таинственной печали**», «…**как сталь**», «**при трепетном огне**», «**тускнели**», «**сверкали**»).

Автопортретное сходство можно подтвердить данными современников М.Ю. Лермонтова: в «Лермонтовской энциклопедии» рассматривается вопрос иконографии Лермонтова, при этом указывается «изменчивая наружность поэта», «большие глаза». В воспоминаниях И.С. Тургенева отмечается: «Задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших неподвижно-темных глаз» (13, с. 428).

Все это важные вещи констатационного плана, внешне не связанные с интерпретацией текстов, но они наводят нас на мысль, что в данном случае параметры, заданные для интерпретации, связаны с определенной культурной схемой, которая ведет нас к имени **Михаил**. Михаил в переводе с еврейского значит 'кто яко Бог', или: 'кто равен Богу' (4, с. 250). По Писанию, он входит в сонм святых ангелов – «Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших» (там же). По данным религиозных текстов, Архистратиг Михаил – «начало», вождь небесных сил, служитель Божественной славы и наставник человеков. При богослужении церковь акцентирует преимущественно «**духовновоинственное** служение Архистратига Михаила во славу Божию и в защиту верных от искушений и зол». По преданию, при переходе через Иордан Архистратиг Михаил явился Иисусу Навину **с обнаженным мечом**. Архистратиг Михаил – Божественное украшение мира дольнего и его ограждение и утверждение. Церковь учит, что святой Архангел Михаил «крепостию Божественною **обходит всю землю от лютых**, изымая призывающим Божественное или его»; именует его «непостыдным предстателем верных, путеводителем и наказателем заблудших». «Как **воитель божий**, Михаил изображаем был древле попирающим ногами люцифера, держащим десницею **копие**, с белою на вершине хоругвию, а шуйцею – зеленую финиковую ветвь, как знамение победы» (там же, с. 258). Архангел Михаил – ангел смерти. Л.П. Семенов указывает на наличие в кавказском фольклоре большого количества легенд об ангелах смерти – Гавриириле и Михаиле (см.: Семенов Л.П. Лермонтов и Лев Толстой // Лермонтовский текст: Ставропольские исследователи о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова. Антология: В 2 т. – Ставрополь: СГУ, 2007. – Т. 1. – С. 90–91).

Как правило, в своих текстах Лермонтов не обыгрывает имя прямо; понятно, что ни Лермонтов, ни Хлебников, декодирующий тексты Лермонтова о поэзии, не видит в нем прямое воплощение Архистратига – скорее, через косвенную цитацию и структуру опорных элементов внутренней формы имени просматриваются черты судьбы. В стихотворении «Ветка Палестины» (1837) Лермонтов упоминает Архистратига Михаила с помощью перифразы «Божьей рати лучший воин», создавая его поэтический портрет:

Иль, Божьей рати лучший воин,
Он был, с безоблачным челом,
Как ты, всегда небес достоин
Перед людьми и божеством?..
1837

Говоря об имени **Михаил**, П.А. Флоренский отмечает: «Имя Архистратига Небесных сил, первое из **тварных** имен духовного мира, Михаил, самой этимологией своей указывает на **высшую меру духовности**, на особливую близость к **Вечному**: оно значит «Кто как Бог», или «Тот, кто как Бог». Оно означает, следовательно, наивысшую ступень Богоподобия. Это имя – **молниевой** быстроты и непреодолимой мощи, или энергии Божией в ее осуществлении, в ее посланничестве. Это – мгновенный и ничем не преодолимый огонь, кому – спасение, кому – гибель. Оно «исполнено ангельской крепости» (15, с. 631–632). И далее

П.А. Флоренский говорит о чертах, которые он как будто списал с личности Лермонтова: «По своей природе, имя Михаил – противоположность земной косности, с ее и враждебным, и благодетельным торможением порывов и устремлений. И, попадая на землю, это имя живет на ней как чуждое земле, к ней не приспособляющееся и не способное приспособиться. Михаил – одно из древнейших известных в истории имен. Но и за много тысяч лет своего пребывания на земле оно остается откровением на земле и не делается здесь своим… Этому имени трудно осуществлять себя в земных средах, слишком для него плотных. <…> Михаил чувствует себя незадачливым и винит в этом мир, косный и неотзывчивый, но, на самом деле, получающий от Михаила малодоступные ему, миру, импульсы <…> Попав с неба на землю, Михаил, светлый или темный ангел, одинаково жалуется, что земля – не небо, и не то не понимает, не то не хочет понять, что он уже не на небе и что земле свойственна законная и в общем порядке мироздания благодетельная тяжесть, плотность и вязкость. Между тем, Михаил требует эфира…» (там же, с. 632–633).

Вспомним:

И мысль **о вечности**, как великан,
Ум человека поражает вдруг…
1831-го июня 11 дня

Как часто **силой мысли** в краткий час
Я жил **века и жизнию иной**,
И о земле **позабывал**.
1831-го июня 11 дня

Поэт Д.Л. Андреев так и воспринимал М.Ю. Лермонтова – как вестника, посредника между земным и небесным. «Миссия Лермонтова – одна из глубочайших загадок нашей культуры. <…> …пронизывающий насквозь человеческую душу суровый и зоркий взор; глубокая религиозная натура, переключающая сомнение из плана даже философских суждений в план богоборческого бунта, – наследие древних воплощений этой монады в человечестве…» (1, с. 323).

Ранее Д.С. Мережковский в эссе «М.Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества» (1908–1909) связывает имя Лермонтова с деяниями Архистратига Михаила, представленными в «Откровении Святого Иоанна Богослова» (Апокалипсис. 12, 7–9), считая, что особенностью мистического опыта М.Ю. Лермонтова было «чувство незапамятной давности, древности – «веков бесплодных ряд унылый»,– воспоминание земного прошлого сливается у него с воспоминанием прошлой вечности, таинственные сумерки детства с еще более таинственным всполохом иного бытия, того, что было до рождения» (11, с. 359), что он был причастен к «тайне премирной»: «Произошла на небе война: Михаил и ангелы его воевали против Дракона; и Дракон и ангелы его воевали против них; но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий Дракон» (там же, с. 358–359).

Интересно отметить такую деталь, что образ Архистратига Михаила является значимым для эстетики барокко, особенно для темы Страшного суда. Можно привести любопытный пример – живописное произведение Яна Вермеера «Женщина с весами» (1660–1665). Молодая женщина с весами в руке «изображена на фоне полотна «Страшный суд». Стоит вспомнить, что в работах фламандских мастеров на эту тему в центре всегда изображалась фигура архангела Михаила с весами в руке. Так устанавливается невидимая связь, таинственно объединяющая сцену, изображенную Вермеером, с «контрмотивом», звучащим на картине, висящей на стене» (7, с. 208). Лермонтовский «Кинжал» и меч в руках архангела Михаила – то барочное соответствие, на основе которого М.Ю. Лермонтов и В. Хлебников сближают эти мотивы.

Биографические данные и социокультурный контекст в творчестве В. Хлебникова оказываются коррелирующими, поэтому внешне стихотворение «На родине красивой смерти – Машуке…» основано на точных биографических данных: дуэль, гроза, совпадение **имени**, **судьбы**, творчества в творчестве.

Отсюда огромную роль играет воссоздание **среды обитания**, **места**: «родина красивой смерти», «Машук», «небо», «орлы», «сражения», «огонь», «пушки», «горы», «молния», «тучи», «горцы», «утес».

Профессиональные качества обыгрываются двойственно: **поэт** – **живописец**, **военный** (**воин**): «дула войскового дым», «холст», «певец», «сражение желез», «огонь», «певец железа», «Ленский», «Пушкин», «пророческая душа», «мертвый певец».

Точно воспроизводятся **обстоятельства гибели**: «Машук», «дула дым», «небо рокотало», «молния блеснула» и т.д.

Итак, в ходе интепретации лермонтовских текстов В. Хлебников намечает корреляции между своим и Лермонтова мировидением, на основании чего можно предполагать, что М.Ю. Лермонтов, не рассматривающий в текстах свое имя как судьбу на поверхностном уровне текстов, тем не менее глубинно воспринимал свое назначение и судьбу, отталкиваясь от имени и его внутренней формы, активизируя архетипическое и мифологическое начало, которое лежит в его основе. Отсюда соединение воинства и поэзии в реальном

социофизическом контексте (тексте), в портретном (живописном, графическом) строе текстов, поэтических текстах, где лирический герой, в частности, герой стихотворений о поэте и поэзии, воспринимает «мерный» звук «могучих слов» призванным «воспламенять **бойца** для битвы», а образ **кинжала** – **меча** (символа жизни – смерти, креста в религии, с его помощью отсекается все недостойное и бесплодное) реализует категорический императив поэта в процессе духовного совершенствования.

Ты дан мне в спутники, любви залог немой,
И страннику в тебе пример не бесполезный:
Да, я не изменюсь и буду тверд душой,
Как ты, как ты, мой друг железный.
Кинжал. 1838

Есть и еще одно косвенное доказательство переклички образов М.Ю. Лермонтова и Архистратига Михаила. Лермонтовед В.А. Захаров в 1989 году в статье «Портрет», опубликованной в нашей местной газете «Ставропольская правда», пишет: «В Государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» в церкви, освященной в память св. Марии Египетской, в алтаре помещена большая икона Михаила Архангела, о которой П.А. Вырыпаев в книге «Лермонтов с нами» писал: «Михаил Архангел, лицо которого художником, видимо, писано с портрета Лермонтова, работы Будкина…». Эта икона была заказана бабушкой поэта своему крепостному живописцу вскоре после трагической гибели внука. Елизавета Алексеевна попросила придать облику святого, покровителя ее внука, лицо любимого ею Мишеля. Для образца и был взят портрет, висевший в то время еще у нее в доме. Икона была закончена. И в правом нижнем углу иконописец написал: «Обличие Архангела Михаила списано с портрета Лермонтова работы художн.» (6, с. 7). Икона объединила два образа, как всегда бывает у Лермонтова, антиномично (земное – небесное), но уже в варианте «разрешения» антиномии, так как Лермонтов уже земному миру не принадлежал.

Концентрация смыслов в текстах М.Ю. Лермонтова, идущая от имени, могла быть сознательной и подсознательной, а может быть, и бессознательной одновременно, но важно одно: не называя имени, и Лермонтов, и Хлебников идут от имени (а может, и наоборот, приходят к имени) как к «концентру» творчества Лермонтова. Следует обратить особое внимание на то, что этот путь интерпретации и творчества и жизни М.Ю. Лермонтова «разгадывает» другой художник – В. Хлебников. В данном случае разгадано «осуществление имени»: «…имя есть сила, семя, энергия, – пишет С.Н. Булгаков. – Оно формирует изнутри своего носителя: не он носит имя, которым называется, но в известном смысле оно его носит как внутренняя целепричина, энтелехия, по силе которой желудь развивается дубом, а зерно пшеницы колосом, хоть судьбы колосьев могут быть различны» (3, с. 131). С имяславческой философией В. Хлебников связан одной эпистемологической реальностью (структурой идей) начала XX века. В имени заложена инвариантная (стереотипная) семантическая и энергетическая структура первообраза, которая тем не менее варьируется, оказывая влияние на судьбу носителя имени и на его дело. Отсюда разгадка имени – это разгадка и судьбы и творчества. Имена, по Булгакову, – это «жилы, кости, хрящи, вообще части ономатического скелета человека». Имя «есть самое устойчивое в человеке, имеет жизнь, которую надо восстановить (левират), честь, которую можно защищать (дуэль), имеет вечную судьбу» (там же, с. 145).

И так как «имена человеческие написаны на небесах» (там же), они причастны к главному Имени, которое «превыше любого слова и любого познания, и вообще пребывает по ту сторону бытия и мышления» (12, с. 19). Возможно, поэтому в стихотворении В. Хлебникова называется фамилия Лермонтов, но не имя, как наиболее независимое от конкретного бытия человека, «растворенное» тем не менее в его делах, в данном случае в творчестве М.Ю. Лермонтова. Отсюда гармония вечного, заданного (устойчивого и стереотипного) и живой энергии имени, которой наполняется оно в осуществлении жизни и художественного творчества поэта. Невозможно, конечно, в осуществлении жизни и творчества как текста все свести к имени. Но в интерпретации творчества и Лермонтова, и Хлебникова (который, как известно, переименовал себя: Виктор – Велимир – и действовал далее в соответствии с этим переименованием), это одна из ипостасей нашего бесконечного приближения к языку и мышлению великих художников. При этом лучшим посредником в познании творчества одного поэта будет другой поэт. И, видимо, наиболее достоверные знания о творчестве – это данные метапоэтики, которая погружает нас в глубинные пласты не только сознательного, но и бессознательного в тексте и его интерпретации.

Литература

1. Андреев Д.Л. Русские боги. Стихотворения и поэмы. – М.: Современник, 1989.
2. Арлаускайте Н. Строение смыслового пространства текстов Велимира Хлебникова. – Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. – Вильнюс, 1998.

3. Булгаков С.Н. Философия имени // Булгаков С.Н. Первообраз и образ. Сочинения: В 2 т. – М. – СПб.: Искусство, 1999. – Т. 2.
4. Дебольский Г.С. Дни богослужения православной церкви: В 2 т. – М.: Отчий дом, 1996. – Т. 1.
5. Желвакова И.А. Пояснения в альбоме // Лермонтов: Картины. Акварели. Рисунки. – М: Изобразительное искусство, 1980.
6. Захаров В.А. Портрет // Ставропольская правда. – 1989. – № 234. – С. 7.
7. Кастриа Ф. Живопись барокко. Глубины души в беспредельности мира. – М.: Астрель, 2002.
8. Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени // Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: В 4 т. – М.: Академия наук СССР, 1958–1959. – Т. 4. – С. 275–474.
9. Лобанова М.Н. Западноевропейское музыкальное барокко: Проблемы эстетики и поэтики. – М.: Музыка, 1994.
10. Малевич К.С. О теории прибавочного элемента в живописи // Декоративное искусство. – 1988 – № 11. – С. 33–40.
11. Мережковский Д.С. М.Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества // М.Ю. Лермонтов: Pro et contra. – СПб.: Русский Христианский гуманитарный институт, 2002. – С. 348–386.
12. Св. Дионисий Ареопагит. Божественные имена. // Мистическое богословие. – Киев: Христианская благотворительно-просветительская ассоциация «Путь к истине», 1991. – С. 13–93.
13. Тер-Габриэлянц И.Г. Портреты // Лермонтовская энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1981. – С. 428–434.
14. Топоров В.Н. Металлы // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. – М.: Советская энциклопедия, 1982. – Т. 2. – С. 146–147.
15. Флоренский П.А. Имена. – М.: ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фолио, 1998.

Текст печатается по источнику:
Штайн К.Э., Петренко Д.И. Лермонтов и барокко. – Ставрополь: СГУ, 2007. – С. 318–334.

Ф.И. Джаубаева

Русские писатели и Кавказ

Кавказ – особое явление в географическом, культурном, языковом отношениях. Понять его, пожалуй, дано тем, кто прожил здесь очень много лет, успел сродниться с землей и людьми, населяющими эту землю. И тем не менее всегда интересно узнавать мнение тех людей, кто с Кавказом знаком, но мало, поверхностно, интересна и отрицательная позиция по отношению к нашему неспокойному краю, где на протяжении многих лет идут войны, возникают постоянные конфликты. Особую значимость представляет позиция русских писателей, которые на протяжении многих лет формировали общественное мнение по вопросам, касающимся Кавказа, жизни россиян в этом прекрасном и в то же время тревожном крае.

И сейчас Кавказ не оставляет никого равнодушным. С.В. Ястржембский пишет, что «события, происходившие на этой земле, всегда глубоко отзывались в душе русского народа. Благодаря нашей великой литературе, произведениям Пушкина и Грибоедова, Лермонтова и Толстого, мы со школьных лет воспитаны на кавказской тематике и на кавказских реалиях. <…> Сегодня мы гордимся мужественным и гостеприимным Кавказом. Мы любим лучшие традиции и обычаи горцев. Мы глубоко чтим культуру этой прекрасной земли. Буквально во всем Кавказ тесно и органически связан с прошлым и настоящим России. Он – часть российской истории»[1].

Кавказ – один из интереснейших регионов земного шара – издавна привлекал внимание путешественников, ученых, миссионеров. Периодом, знаменующим начало систематического, интенсивного изучения Кавказа и его этнографии, является XVIII век. Именно в это время русской Академией наук были организованы экспедиции и поездки отдельных ученых на Кавказ с целью сбора информации самого различного характера о землях и народах, их населяющих, и, конечно же, о языках.

Иоганн-Густав Гербер, немец, состоявший на русской службе с 1710 года, выполняя правительственное задание, в 1728 году был командирован на Кавказ, где он составил описание местности и населения. В частности, он описал социальную структуру и быт кабардинцев и чеченцев[2].

Павел Сергеевич Потемкин, один из видных русских военно-политических деятелей второй половины XVIII века, в 1782 году занял должность начальника Моздокской линии. Он стал инициатором ряда крупных правительственных мероприятий, в частности, организатором русской колонизации Северного Кавказа и наместничества на Кавказе, он же и стал в 1785 году первым наместником на Кавказе. Составленное Потемкиным «Краткое описание о кабардинских народах» получило значительное распространение в рукописном виде[3].

Иоганн-Антон Гюльденштедт, немец на русской службе, врач и естествоиспытатель, по поручению Академии наук совершил путешествие по Кавказу в 1770–1773 годах. Он побывал в районе Кизляра, в Кабарде, Осетии, Грузии. У Гюльденштедта мы встречаем всевозможные сведения о народах, живущих близ Кавказской линии: черкесах, абазах, ногайских татарах, балкарцах и карачаевцах, а также замечания общего характера о кистинах, ингушах и осетинах[4].

Петр-Симон Паллас, ученый-энциклопедист, натуралист и путешественник, в 1766 году был приглашен для научной работы в Россию и избран действительным членом Академии наук, по поручению которой в 1793–1794 годах предпринял путешествие в Астраханский край, на Северный Кавказ и в Крым. Паллас обладал глубокими познаниями в области ботаники, зоологии, палеонтологии, геологии, географии и других природоведческих дисциплин, в то же время он серьезно интересовался вопросами этнографии, археологии и экономики. Книга Палласа «Заметки о путешествии в южные наместничества Российского государства в 1793 и 1794 годах» содержит данные об адыгах, кабардинцах, абазинах, ногайцах, осетинах, ингушах, чеченцах и сванах[5].

Ян Потоцкий, известный польский ученый, почетный член Академии наук, в 1798 году совершил путешествие по Кавказу. «Путешествие в Астраханские и Кавказские степи» было опубликовано посмертно другом Потоцкого, немецким языковедом-ориенталистом Клапротом. Второй том этого сочинения содержит сведения об адыгах, кабардинцах, ногайцах, кумыках, чеченцах и ингушах.

В начале XIX века было совершено последнее предпринятое Академией наук и порученное иностранцу путешествие в целях изучения Кавказа – путешествие Генриха-Юлиуса Клапрота. В 1804 году он был приглашен русской Академией наук, где состоял сначала адъюнктом, а с 1807 года стал экстраординарным академиком. В том же году Клапрот был командирован на Кавказ для историко-филологических и этнографических исследований[6].

К первым десятилетиям XIX века относится создание и выход в свет двух кавказоведческих работ общего характера, внесших значительный вклад в этнографию Кавказа, – это сочинения С. Броневского и И. Дебу. Книга Броневского получила широкую известность, большое распространение и стала надолго главным источником сведений[7].

И.Б. Бларамберг, иностранец на русской службе, который пробыл на Кавказе более двух лет как инженер-топограф, предпринял попытку обобщить все сведения, дополнив их имеющимися в архивах данными и материалами, собранными лично во время пребывания на Кавказе[8].

Начиная с 1821 года материалы по этнографии Кавказа стали печатать: газета «Кавказ», «Отечественные записки», «Литературная газета», «Военный журнал», «Северная пчела», «Вестник Европы», «Пантеон», а также «Журнал Министерства внутренних дел». Отметим, что со многими из этих материалов высокообразованный и любознательный писатель А. Бестужев-Марлинский, очевидно, был знаком.

В 1848 году «Современник» возглавляемый Н.А. Некрасовым, напечатал повесть В.И. Даля «Рассказ лезгица Асана о похождениях своих», а в 1850 году – большую историко-этнографическую работу Я.И. Костенецкого «Аварская экспедиция 1837 года»[9]. В своих статьях Костенецкий стремился указать пути к дальнейшему углубленному изображению действительности в литературе.

В 40-х годах прошлого века в русской литературе утвердился реализм. Реализм XIX века в России и в странах Западной Европы шел по пути все большего познания жизни, точного и достоверного изображения повседневности, «обыкновенных» людей и событий. Перед русской реалистической литературой стояли задачи: все глубже проникать во внутренний мир человека, все шире охватывать социальную действительность, расширяя и «географические горизонты».

Во вступлении к сборнику «Физиология Петербурга» В.Г. Белинский сетовал на то, что «у нас совсем нет беллетрических произведений, которые бы в форме путешествий, поездок, очерков, рассказов, описаний знакомили и с различными частями беспредельной и разнообразной России...» Критик говорил: «Великороссия, Малороссия, Белоруссия, Новороссия, Финляндия, остзейские губернии, Крым, Кавказ, Сибирь – все это целые миры, оригинальные и по климату, и по природе, и по языкам и наречиям, и по нравам и обычаям, и особенно по смеси чисто русского элемента со множеством других элементов...»[10].

Экспедиции, поездки осуществляли высокообразованные русские офицеры, представители дворянства, ученые, врачи. В дневниковых записях, походных тетрадях они оставили ценные сведения о горном крае, они восхищались его первозданной природой, мужественными людьми, сочувствовали их борьбе за независимость, делали наблюдения этнографического характера, описывали местные обычаи, обряды, ритуалы, языки.

Если у монархов Кавказ вызывал честолюбивые и державно-строительные притязания, то поэтов он привлекал свободолюбивым нравом людей, красочностью пейзажей. Белоснежные вершины гор Кавказа внушали вольнолюбивые мысли А.А. Бестужеву-Марлинскому, А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову, Л.Н. Толстому и др. Теме Кавказа, борьбе горцев за независимость посвящены лучшие произведения этих и многих других русских поэтов и писателей. Они обращались в своем творчестве к быту горцев, горским характерам и обычаям.

К двадцатым годам XIX века в политике России происходит решительный поворот к распространению на Северный Кавказ военно-административной власти. Это вызвало сильное сопротивление значительной части местных феодалов и духовенства, в результате чего с 1818 года началась так называемая Кавказская война. И все стали назвать Кавказ «погибельным». Кавказ стал местом ссылки людей, неугодных царскому правительству, местом ссылки декабристов, среди которых начинало нарастать сочувствие к борьбе горцев за свободу.

* * *

А.А. Бестужев-Марлинский относится к писателям, наиболее хорошо знавшим Кавказ, и в этом основную роль, разумеется, сыграло его длительное пребывание в этих краях, его личное участие во многих событиях на Кавказе.

После разгрома восстания (14 декабря 1825 года на Сенатской площади) Бестужев добровольно отдает себя в руки властей. Бестужев был осужден по «первому разряду» виновности и приговорен к 20 годам каторжных работ, замененных ссылкой в Сибирь. Во время пребывания в Якутске (1827) А.А. Бестужев начинает усиленно знакомиться с местным краем, его бытом, языком, народным творчеством.

А.А. Бестужев обладал блестящими лингвистическими способностями. Ещё находясь в Якутске, он, как отмечает С.А. Венгеров, «…с большим увлечением предался изучению немецкого языка и чтению классиков всех стран и народов. Щеголь-ссыльный нарочно обрил голову, чтобы лишить себя возможности выходить из дому и чтобы ничего не мешало ему изучить «германизм», как он выражался. И действительно, он уже через месяц свободно читал Фауста и Валленштейна. Конечно, для таких поразительных успехов надо было обладать его изумительными лингвистическими и иными способностями и железною энергией»[11].

В начале 1829 года А.А. Бестужев обратился с ходатайством о направлении его в Кавказскую действующую армию и получил определение рядовым в Кавказский корпус. С августа 1829 года А. Бестужев служит на Кавказе. Уже будучи на Кавказе А. Марлинский ознакомился с достаточно популярной даже в те годы хроникой Мухаммеда Аваби из Акташа «Тарихи Дербент-наме», хотя не давал ей особо высокой оценки. Дербент-наме – повествование о Дербенте, смесь нелепых басен с историческими истинами: полупоэма, полусказка, очень старинная и весьма уважаемая[12].

А.В. Попов отмечает, что именно на Кавказе А. Бестужев принялся за изучение азербайджанского языка, сразу оценив его громадную роль в общении в разноплеменной и многоязычной среде. «С ним, – писал Бестужев, – как с французским в Европе, можно пройти из конца в конец всю Азию»[13].

Блестяще и разносторонне образованный майор татарской конницы Аббас Кули Ага Бакиханов, с которым Бестужев познакомился в Арзеруме, был наставником и руководителем Бестужева в изучении азербайджанского языка. Знакомство с живой разговорной речью, повседневное общение с коренными жителями Дербента не удовлетворяли Бестужева. Он начинает более глубоко изучать азербайджанский язык, сближается в Дербенте и Тифлисе с передовыми деятелями кавказских народов – А.К. Бакихановым и М.Ф. Ахундовым, поэму которого «На смерть Пушкина» переводит на русский язык[14].

В оценке национальной борьбы народов Кавказа и политики России на Востоке Бестужев, несомненно, стоял в это время на прогрессивных позициях. В Дербенте А.А. Бестужев с увлечением изучает восточную поэзию. В произведениях кавказского цикла А.А. Бестужева особый интерес представляют авторские примечания к тексту, которые носят познавательный характер и демонстрируют желание автора как можно ближе познакомить читателя России с Кавказом. Примечания, как правило, очень обширны. Бестужев-Марлинский настолько увлечен тем, о чем он пишет, что он как бы взахлеб хочет поделиться с окружающими своими познаниями, и рассказать при этом хочется как можно больше.

В авторских комментариях А.А. Бестужева-Марлинского мы находим много фактов, свидетельствующих о том, что он достаточно хорошо знал язык и историю Дагестана (разумеется, в пределах того, что он познал к тому времени): «Ласточки опередили своим приветным щебетаньем клич **муллы** над **мечетью**; но и **мулла** не поздняя птичка; он уж поет, ходя вокруг купола [Заметьте, что **мусульмане-шииты** не строят **минаретов у мечетей**, тогда как у суннитов **минарет** есть необходимость], склонив голову на ладонь: «Проснитесь, правоверные! Встаньте!»[15].

Примечания иногда полемичны. Писатель спорит с другими художниками слова или историками, если считает, что те ошибались в трактовке поведения горцев или в других каких-либо случаях. К примеру, описывая образ сидения у горцев, Бестужев-Марлинский ссылается на перевод Волынского летописца, выполненный Н.М. Карамзиным, и утверждает, что сидеть на корточках перед храмом для «азиатца» вовсе не так унизительно, как считал автор «Истории государства Российского»:

«Мужчины, собравшись в кружки, стоя, или **сидя на коленях** [Обыкновенный образ сиденья у азиатцев на улице или перед старшим. А потому Н.М. Карамзин очень ошибся, переведя слова Волынского летописца: «Зле те, Романе, на коленях пред ханом сидиши» – «Худо тебе, Роман, на коленях стоишь перед ханом». Конечно, сидеть на корточках было невесело для галицкого князя, но не так унизительно, как думает историк] или по двое и по трое прохаживались медленно кругом; старики курили табак из маленьких деревянных трубок; веселый говор разносился кругом, и порой возвышался над ним звон подков и крик: **качь, качь** (посторонись) от всадников, приготовляющихся к скачке»[16].

О прекрасном знании автором татарского языка свидетельствует то, что в примечаниях Бестужев дает достаточно полную лингвоэтнографическую справку. Объяснение азербайджанских и кумыкских слов, так часто встречающихся в текстах Бестужева, можно сказать, находится на уровне современной лингвистики.

Анализ микроэтнографических текстов (примечаний), взятых из произведений А.А. Бестужева, позволяет выделить **лингвистический** и **нелингвистический** типы текстов.

Лингвистическую информацию содержат внутритекстовые переводы слов: «Женщины без покрывал, в цветных платках, свернутых чалмою на голове, в длинных шелковых сорочках, стянутых короткими **архалуками** (тюника)...»; «Кони все равны, да не ровны те, кто на них ездит. Аммалат-бек мой **ага** (господин)»[17].

Нелингвистическую информацию содержат все маргиналии, связанные с комментированием фактов, событий, предметов. Эти комментарии обращены не к значениям, а к самим реалиям. Например, автор «Аммалата» дает довольно точную и развернутую энциклопедическую справку о слове **«нукер»**: «Двадцать **нукеров** [**Нукер** – общее имя для прислужников, но, собственно, это то же самое, что у древних шотландцев Henchman (прибедренник). Он всегда и везде находится при господине, служит ему за столом, режет и рвет руками жаркое и так далее] на лихих скакунах, в чухах, блестящих галунами, сдвинув шапки набекрень, скакали, избочась, сзади[18].

Интересно, что многим словам и выражениям Марлинский дает исторические объяснения, зачастую не опровергаемые и ныне. Объясняя слово «**шамхал**», автор «Аммалата» показывает прекрасные знания в области истории: «Всадники, которые доселе разговаривали с знакомыми, ступив на землю, или нестройно разъезжали в поле, вскочили на коней и понеслись навстречу поезда, спускающегося с горы: то был Аммалат-бек, племянник тарковского **шамхала**, со своею свитою. [Первые **шамхалы** были родственники и наместники халифов дамасских. Последний шамхал умер, возвращаясь из России, и с ним кончилось это бесполезное достоинство. Сын его, Сулейман-паша, владеет наследством просто, как частным имением]»[19].

О достаточно хорошем владении А.А. Бестужевым «татарским» языком, тюркскими языками неоднократно писалось в исследованиях. Об этом свидетельствует огромное количество азербайджанских и кумыкских слов, выражений, фольклорных текстов, использованных в его произведениях (а зачастую и переведенных самим писателем). Приведем фрагменты из произведений А.А. Бестужева, в которых используется речь горцев с комментариями и переводами автора:

«**Билян-адам-дюр, гаджи хаваи дегюль** (опытный человек, недаром путешествовал)», – говорили усы и бородки, когда тот без милосердия рубил языком головы кровопийцам, железоедам, разбойникам, кан-ичан, дамир-еян, гарамиляры...[20]. Да как грянешь из **падишах тапенджасындан** (или царского пистолета), так, где кучка лезгин была, одни крошки летят![21]. **Анасыны, бабасыны, атасынын эвельдакиляры батаим** (и мать, и отца, и предков отца этих чакалов утоплю я)!.. Что это они распелись словно тавлинские девки на **чикмасане** (на вечеринке) Улу-бея?[22].

В Дагестане Бестужев встречался со многими горскими учеными и поэтами. Жители Дербента, а Дербент считался «татарскими Афинами» за чистоту языка и мудрость его ученых, высоко оценивали познания Бестужева в азербайджанском и кумыкском языках. А.В. Попов пишет, что местные лингвисты часто обращались к писателю за переводом темных мест по вопросам грамматики и теории красноречия[23]. Среди ученых дагестанцев, общавшихся с Бестужевым, следует отметить Магомета Хандиева. Этот одаренный человек самостоятельно овладел русским языком, изучив русскую грамматику, составил азбуку аварского языка.

Важным фактором является речевое поведение А.А. Бестужева на Кавказе. В «Письмах из Дагестана» он писал: «Меня любят очень татары за то, что я **не чуждаюсь их обычаев**, **говорю их языком**»[24]. Об этом свидетельствует и очевидец, ссыльный Я. Костенецкий: «Когда Бестужев покидал Дербент, все городское население провожало его верхом и пешком верст за двадцать от города, до самой реки Самура, стреляя по пути из ружей, пуская ракеты, зажигая факелы, музыканты били в бубны и играли на своих инструментах, другие пели, плясали... и вообще вся толпа старалась всячески выразить свое расположение к любимому своему Искандер-Беку»[25].

Героями своих повестей он избирает горцев, описывает национальную культуру и нравы народов Кавказа. Видя героическую борьбу народов Кавказа за независимость, Марлинский восстает против правительственной политики покорения Кавказа, требует мира. Бестужев выступает в них как знаток истории нравов и обычаев, культуры Кавказа. Именно такие люди стали миротворцами, их поведение и до сих пор представляет собой пример культуры, в том числе и речевой, пример того, как надо строить диалог дружбы и культурного взаимодействия на Кавказе. Речевое поведение А.А. Бестужева-Марлинского на Кавказе нам интересно потому, что оно дает образец гражданского нравственного поведения, потому что язык – средство коммуникации. Человек, хорошо владеющий языком, знаниями о быте народов, может способствовать налаживанию дружеских отношений, укреплению мира и дружбы в этом многонациональном регионе.

* * *

Нельзя представить Кавказ, а также вхождение всего Кавказа и кавказских народов в мировую цивилизацию, в мировой культурный процесс без творчества русского поэта А.С. Пушкина.

Первой ссылке на Кавказ Пушкин подвергся в 1820 году за вольнолюбивые стихи. Второй – в 1829 году за публичное чтение трагедии «Борис Годунов» и за поэму «Гавриилиада». В апреле 1829 году Пушкин уезжает на Кавказ, где встречается с братом и некоторыми ссыльными декабристами, участвует в действиях русской армии. Плодом поездки Пушкина стали его очерки «Путешествие в Арзрум».

В.В. Вересаев отмечает, что в период первой ссылки на Кавказ А.С. Пушкин начал учить молдавский язык и успел составить себе маленький молдавский словарь[26].

По биографическим данным мы знаем, что этот период был одним из самых полезных для художника: он доучился английскому языку, выучился итальянскому, занимался испанским, пристрастился к приобретению книг и положил начало своей, впоследствии огромной, библиотеке.

Самым крупным событием художественной жизни Пушкина было создание и появление «Кавказского Пленника», которого он начал на Кавказе, а окончил в Каменке 1822 году. В поэме сам автор различает две части, по его мнению, плохо связанные между собою: описательно-этнографическую (лучше удавшуюся) и романтическо-психологическую.

Не случайно, ознакомившись с «Кавказским пленником», В.Г. Белинский отметил, что только поэма Пушкина в первый раз познакомила русское общество с Кавказом[27].

Ссылка на юг привела Пушкина в соприкосновение с живым Востоком. В его поэзии зарождаются и развиваются восточные мотивы. Цикл кавказских текстов поражает глубиной восприятия нового для него мира, такого непохожего на все то, с чем ему приходилось сталкиваться раньше. В «Путешествии в Арзрум» довольно ярко проявляются этнографические интересы Пушкина. Авторские ремарки русского писателя дают определенный объем этнографической информации. Приведем фрагмент из «Путешествия… »: «На днях посетил я калмыцкую кибитку (клетчатый плетень, обтянутый белым войлоком). Всё семейство собиралось завтракать. Котел варился посредине, и дым выходил в отверстие, сделанное в верху кибитки. Молодая калмычка, собою очень недурная, шила куря табак. Я сел подле нее. «Как тебя зовут?». – «Сколько тебе лет?» – «Десять и восемь». – «Что ты шьешь?» – «Портка». – «Кому?» – «Себя». – Она подала мне свою трубку и стала завтракать. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Она предложила мне свой ковшик. Я не хотел отказаться, и хлебнул, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-нибудь гаже. Я попросил чем-нибудь это заесть. Мне дали кусочек сушеной кобылятины; я был и тому рад»[28].

Объемную этнографическую информацию А.С. Пушкин передает посредством диалога, используя при этом достаточно большое количество экзотической лексики. В диалоге самой важной проблемой оказывается индивидуализация речей персонажей.

Во время своего путешествия по Кавказу А.С. Пушкин проявил интерес к географическим названиям, их объяснению, к топонимике. В авторских ремарках А.С. Пушкина, мы находим не только этнографические данные, но и топографические комментарии: «Медленность нашего похода (в первый день мы прошли только 15 верст), несносная жара, недостаток припасов, беспокойные ночлеги, наконец беспрерывный скрыл **нагайских ароб**, выводили меня из терпения»[29]; «Самое его название (**Тбилис-калар**) значит **Жаркий Город»**[30]); **«Арзрум** (**неправильно называемый Арзерум, Эрзрум, Эрзрон**) основан около 415 году, во время Феодосия Второго, и назван Феодосиополем. Никакого исторического воспоминания не соединяется с его именем»[31]; **«**Горы эти называются **Ак-Даг** (белые горы); они меловые»[32].

В произведениях кавказского цикла А.С. Пушкина часто встречаются наименования предметов культа мусульман: **Коран, алкоран: «**Мы пришли к дому Османа-Паши; нас ввели в открытую комнату, убранную очень порядочно, даже со вкусом, – на цветных окнах начертаны были надписи – взятые из **Корана»[33].**

Коран является основой нравственного кодекса и духовной культуры в исламе. На протяжении многих веков Коран – азбука нравственности для многих поколений, так как в нем сосредоточены моральные нормы жизнедеятельности человека, прошедшие испытания временем. Встречаются у Пушкина также наименованиями служителей ислама и культовых сооружений у мусульман: **имам, мулла, муэдзин, мечеть, минарет**: «Звучит уныло песнь муллы // В арбу впряженные волы // Стоят пред саклею печальной»[34].

Известно, что контакты между представителями различных этнических групп приводят обычно к взаимовлиянию духовной и материальной культуры, а также языков этих народов. В освоении тюркских (шире – восточных) слов большое значение имеют художественные произведения русских писателей. Здесь важно, входит ли в быт другого народа новая реалия и в какой степени владеет писатель языком того народа, о котором он пишет.

Б.А. Шатилов в книге «Пушкин» к характеристике персонажей подходит и как историк, и как писатель. Он отмечает, что А.С. Пушкин точным и простым языком раскрывает следы жестокой царской политики на Кавказе[35]. Вот фрагмент из «Путешествия в Арзрум»: «Черкесы нас ненавидят. Мы их вытеснили из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены»[36].

В «Путешествии…» Пушкин осуждает введенную Ермоловым систему аманатов – своеобразную систему заложников (детей черкесов отбирали у родителей и держали пленниками в крепости): «У ворот крепости встретил я жену и дочь заключенного осетинца. Они несли ему обед. Обе казались спокойны и смелы; однако ж, при моем приближении обе потупили голову и закрылись своими изодранными **чадрами.** В крепости видел я черкесских **аманатов,** резвых и красивых мальчиков. Они поминутно проказят, и бегают из крепости. Их держат в жалком положении. Они ходят в лохмотьях, полунагие, и в отвратительной нечистоте. На иных видел я деревянные колодки»[37].

На Кавказе Пушкин вел широкую культурную деятельность. Здесь и взаимодействие, и взаимовлияние двух культур: культуры русской и культуры горского народа. Об этом свидетельствуют некоторые факты из биографии поэта. Например, находясь в Тифлисе, где его знали и любили, он интересовался плясками грузин, слушал их песни, просил переводить ему на русский язык и записывал их. Образованные грузины и русские жители Тифлиса устроили в честь приезда поэта торжественный праздник за городом. Пушкин восхищал своих собеседников рассказами, остроумными каламбурами и сам восхищался заунывными персидскими песнями и бурными кавказскими плясками.

Современники Пушкина считали, что читающая Россия стала изучать Кавказ не по научным трудам, что она познакомилась с Кавказом, именно с этнографией Кавказа, с обычаями горцев через произведения Пушкина. Отношение Пушкина к горской культуре можно проследить почти во всех его произведениях. Особенно ярко и образно быт и обычаи горцев поэт раскрывает в «Путешествии в Арзрум»: «(**осетинские похороны**) Около сакли толпился народ. На дворе стояла арба, запряженная двумя волами. Родственники и друзья умершего съезжались со всех сторон и с громким плачем шли в саклю, ударяя себя в лоб. Женщины стояли смирно. Мертвеца вынесли на бурке. Положили его на арбу. Один из гостей взял ружье покойника, сдул с полки порох и положил его подле тела. Волы тронулись. Гости поехали следом. Тело должно было быть похоронено в горах, верстах в тридцати от аула»[38].

Пушкин описывал и обычаи гостеприимства. Причем он прекрасно понимал этническую разобщенность Кавказа, знал, какие народы и нации населяют Кавказе, кто такие осетины, кабардинцы. Другие путешественники и писатели, проезжающие через Кавказ, говорили – «черкесы» (все «черкесы» – от начала Кавказа, до самой Грузии.) Пушкин великолепно знал народности Кавказа. Объяснение этому тоже есть. Он хорошо изучил кавказоведческую литературу того времени. И доказать это несложно. Достаточно открыть опубликованные материалы по его библиотеке, собрание его книг и посмотреть, какие книги он читал, какие делал он подчеркивания, сопоставить, например, его высказывания в «Путешествии в Арзрум», рассказ об обычаях, например, с трудами Браневского, выдающегося русского ученого, с работами менее известных ученых, но знающих путешественников по Кавказу. И открывается такая картина: он приехал на Кавказ подготовленным. А почему? Потому, что обладал огромной культурой и понимал, что заслужить уважение к себе можно, только уважая другого. Г.П. Макогоненко, изучая творчество Пушкина, о «Путешествии…» написал: «На «Путешествии…» лежит печать времени его написания. Это «путевые записки», то есть деловая проза, документ, свидетельство об увиденном в далеком, мало знакомом крае России – Кавказе, точное описание жизни, быта, обычаев грузин и армян, рассказ о военных действиях русской армии»[39].

Александр Сергеевич Пушкин писал в «Путешествии в Арзрум», что существует три момента, которые могут решить проблему России и Кавказа. Это – разоружение горцев, но тут же сомневается в этом. Второй момент – торговые отношения, отрезать торговлю от восточных стран, привлечь к торговым отношениям с Россией. Но самое главное – духовное и культурное взаиморазвитие и взаимодействие. Пушкин вовлекает в свои размышления читателей, заставляет их думать о будущем России, доверительно делится с ними своими наблюдениями и сомнениями. И нам сейчас это особенно ценно, так как мы являемся свидетелями непрекращающейся драмы на Кавказе. Пушкин и другие писатели дают нам прекрасные уроки того, как надо вести себя Кавказе, в том числе и в процессе коммуникации, изучения языков и культур кавказских народов.

* * *

За свою короткую жизнь М.Ю. Лермонтов побывал на Кавказе трижды – в 1818, 1820 и 1825 годах. С детства видел черкесов в лохматых шапках и бурках, скачки джигитов, огненные пляски, хороводы, праздник байрама, слышал горские песни, легенды, предания[40]. В основу всех кавказских поэм и стихотворений Лермонтова легли эти первые, неизгладимые впечатления, виденный им в детстве край войны и свободы, подлинный сражающийся Кавказ.

Для М.Ю. Лермонтова Кавказ стал второй Родиной. С ранних лет, проявляя живой интерес к кавказским горцам, Лермонтов великолепно изучил их жизнь и обычаи и, конечно же, отобразил все это в произведениях кавказского цикла.

В 1837 году Лермонтов снова попадает на Кавказ, будучи сосланным за стихи на смерть А.С. Пушкина. Возмужавший человек, со сложившимися общественно-политическими взглядами, М.Ю. Лермонтов наблюдает быт и нравы кавказских народов, находясь в их среде. Знакомится с историей и поэзией и, как поэт и как участник войны, постигает Кавказ во всей совокупности прежних и новых впечатлений. Особое значение для Лермонтова имели встречи с кавказской интеллигенцией и сосланными на Кавказ декабристами. В Закавказье Лермонтов подружился с поэтом-декабристом А.И. Одоевским. В этом же году знакомится в Тифлисе с азербайджанским поэтом и драматургом Мирзой Фатали Ахундовым и семьей А.Г. Чавчавадзе[41].

В 1837 году Лермонтов писал С.А. Раевскому из Тифлиса: «Начал учиться по-татарски, язык, который здесь, и вообще в Азии, необходим, как французский в Европе, – да жаль, теперь не доучусь, а впоследствии могло бы пригодиться»[42]. В те годы «татарами» называли на Кавказе всех мусульман, а под «татарским» языком понимали, помимо собственного татарского, все тюркские языки, кумыкский, ногайский, карачаево-

балкарский. М.Ю. Лермонтов, по-видимому, понимал «татарский» язык еще шире или, во всяком случае, имел преувеличенное представление о его распространении. Так, в повести «Бэла» черкес Казбич то и дело употребляет «татарские» слова («йок» – не хочу, «Нет! Урус яман, яман!»); Максим Максимыч рассказывает, что «не один кабардинец», умильно поглядывая на его лошадь, приговаривал: «якши тхе, чек якши» (здесь только слово **тхе** (лошадь) – кабардинское, остальные – тюркизмы); наконец, Печорин полагает, что нанятая им духанщица, поскольку она «знает по-татарски», сумеет договориться с Бэлой (черкешенкой). Между тем ни черкесский, ни кабардинский не принадлежат к группе тюркских языков.

В Закавказье и частично на Северном Кавказе в начале XIX века широко распространенным языком торговли и межнационального общения был «татарский» (азербайджанский) язык. Известно, что М.Ю. Лермонтов был в Азербайджане, по мотивам азербайджанского фольклора написал сказку «Ашик-Кериб», в котором широко использованы тюркизмы: **ага, ана, бек, паша**, включая тюркские заимствования из арабского – **Аллах, ашик, мауля, селям алейкюм** и персидского – **караван-сарай, намаз.**

Заимствования способствуют обогащению языка и упорядочению лексической системы. Экзотизмы среди заимствованных слов представляют собой лексический пласт, единицы которого характеризуют специфические национальные особенности жизни разных народов и употребляются при описании действительности в художественном тексте.

В творчестве М.Ю. Лермонтова экзотическая лексика в своей основе является восточной (тюркской). В рассматриваемый период в России тюркоязычные народы называли татарами (иногда дифференцировали: казанские татары, крымские татары и т.д.). Лермонтов писал, что начал изучать «татарский язык», но не уточнил, какой именно.

Среди исследователей творчества М.Ю. Лермонтова нет единого толкования этого высказывания поэта. И.Л. Андроников, М.Г. Рафили, А.В. Попов, М.С. Михайлов и др. полагают, что Лермонтов под татарским языком имел в виду азербайджанский. Однако позже языковед В.И. Филоленко высказал иное мнение. Он писал, что «в эпоху Лермонтова под татарским языком понимали все тюркские языки Кавказа, а именно: кумыкский, ногайский, балкарский, карачаевский, азербайджанский»[44]. Далее В.И. Филоленко пишет: «…если принять во внимание, что некоторые восточные слова в произведениях Лермонтова могут быть отнесены к кумыкскому языку, что место действия «Бэлы» – крепость за Тереком у Каменного Брода, речь идет об укреплении на реке Аксае Таш-Кичу в Кумыкской плоскости на границе с Чечней, что М.М. рассказывает Печорину именно про кумыкскую свадьбу и что в лице князя, отца Бэлы, мы видим кумыкского князя, ибо у чеченцев не было феодальных княжеских родов, то можно предположить, что Лермонтов изучал кумыкский язык, называя его «татарским»[45].

Видимо, в период пребывания на Северном Кавказе Лермонтов как филологически одаренный человек вообще интересовался языками многоплеменного Кавказа и постепенно знакомился с распространенным «татарским» языком в том варианте, который был известен в каждой конкретной местности, где он пребывал, но планомерное изучение «татарского» языка он начал, несомненно, с азербайджанского языка, который функционировал не только в устной, но и в письменной форме, имел богатую литературную традицию, широко был известен как язык торговли и поэзии, наконец, носители азербайджанского языка составляли наибольшую часть тюркоязычного населения, проживающего в Закавказье и на Кавказе. Действительно, знание «татарского» (азербайджанского) языка «впоследствии могло бы пригодиться» Лермонтову, чтобы входить в контакт с различными тюркскими и нетюркскими народами этого региона.

Здесь уместно привести некоторые высказывания путешественников, ученых и миссионеров, относительно татарского (азербайджанского) языка. Например, интересные сведения об общественной функции азербайджанского языка находим в путевых заметках барона Августа фон Гекстгаузена: «Армяне сочиняют не на армянском, а на татарском языке разговора, ибо это есть язык сообщения, торговли и взаимного разумения между народами на юге Кавказа; в этом отношении его можно сравнить с французским языком в Европе. В особенности же он язык поэзии… знаменитейшие армянские поэты для большего распространения своих творений всегда употребляют татарский язык»[46].

П.А. Фалев, посланный в 1916 году Академией наук на Кавказ, тоже обратил внимание на распространенность азербайджанского языка в Закавказье: «На азербайджанском языке говорит население не только собственно Азербайджана, но и население нашего Закавказья»[47].

Один из русских миссионеров, как пишет А.В. Попов, свидетельствует о распространении татарского языка среди адыгейцев и чеченцев: «Татарский язык, к тому же хотя и не был родным племен Адыге и Чечни, но, как родственный с турецким, сильно был распространен среди них и сделался известным им со времени покорения Кавказа монголо-татарами, а в особенности со времени обращения их в мусульманство и вступления в постоянные непосредственные отношения с турками. Наконец, на татарском и осетинском языках существовала письменность, существовали даже готовые переводы некоторых священных, в особенности новозаветных книг и богослужебных…»[48].

Наконец, А.С. Пушкин в «Путешествии в Арзрум» с удивлением отмечает, что старик, живший у дороги, не знал ни русского, ни татарского языка: «Я стал стучаться в дверь. Вышел хозяин. Я попросил воды

сперва по-русски, а потом по-татарски. Он меня не понял. Удивительная беспечность! В тридцати верстах от Тифлиса и на дороге в Персию и Турцию он не знал ни слова ни по-русски, ни по-татарски»[49].

Изучение «татарского» язык дает возможность русскому писателю непосредственно общаться с кавказскими народами. Занятия Лермонтова татарским языком, определенным образом отразились и на языке его произведений кавказской тематики; наблюдается достаточно высокая частотность употребления восточных (тюркских) слов в произведениях русского писателя.

Проникновение экзотизмов в русский язык, как отмечают многие исследователи, – живой, развивающийся процесс. Опыт писателей классиков (А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого) учит, что экзотическую лексику следует вводить в литературные произведения осторожно, с разбором, помня слова А.С. Пушкина о том, что «истинный вкус состоит ... в чувстве соразмерностей и сообразности».

Степень владения М.Ю. Лермонтовым «татарским» языком едва ли выходит за рамки понимания общеупотребительной бытовой лексики. В числе используемых М.Ю. Лермонтовым тюркизмов встречаются также слова, относящиеся к глубинным слоям тюркской лексики, редко употребляемой при создании восточного колорита: **чауш** – слуга, стража, **чапра** – занавес, **шинди гёрурсез** – скоро узнаете.

Описывая природу Кавказа, жизнь людей, их обычаи и т.д., писатель, естественно, включал в свои произведения большое количество топонимов и этнонимов, встречаются также немало гидронимов:

У Казбека **с Шат-горою**
Был великий спор.
«Берегись!»– сказал **Казбеку**
Седовласый **Шат** [43]

Кавказ у М. Ю. Лермонтова не условный, а настоящий, кавказские произведения Лермонтова свидетельствуют о знании реального материала и стремлении на нем основываться в процессе создания произведения.

* * *

Исследование биографических данных подтверждает, что Л.Н. Толстой был, действительно, как называл его В.И. Ленин – «европейски образованным писателем»[50].

Решению Л.Н. Толстого ехать на Кавказ Б.М. Эйхенбаум дает такое объяснение: «Итак, решение ехать на Кавказ было подсказано традицией («старое известное средство»): кавказская война давала возможность всякому «мальчишке-шалопаю» отличиться и поправить свои дела. Брат Николай имел в виду, конечно, именно это; недаром Сергей называл Толстого «пустяшным малым». Однако результаты жизни на Кавказе получились совсем не традиционные: Толстой стал писателем»[51].

О Кавказе Россия знала очень мало. И, вероятно, молодой Толстой хотел восполнить этот пробел. Главная цель писателя – правдивое описание горской жизни. Поэтому на первом плане – изображение внешнего быта горцев, обычаев, а также описание жилища, одежды, пищи, обрядов, обычаев. Биограф Л.Н. Толстого П.И. Бирюков, определяя основной характер следовавших друг за другом периодов в жизни писателя, отметил, что одним из лучших периодов своей жизни сам Толстой считал время пребывания на Кавказе[52].

Учитывая конкретные социально-исторические отношения, сложившиеся между Россией и кавказскими народами к середине XIX века, Толстой признает прогрессивным присоединение Кавказа к России. Но он категорически против насильственного захвата Кавказа. Среди многочисленных представителей военного сословия в «Набеге» Толстой не показывает ни одного положительного лица. Скорее, герои напоминают заурядных смертных и к тому же откровенных мародеров: один из них ловит кур, которые «с кудахтаньем бьются около забора»; второй «хозяйничает на пчельнике»; третий «тащит куль муки и ковер»; четвертый «с радостным лицом выносит из сакли жестяной таз и какую-то тряпку...» и т.д. Главный «трофей», добытый в захваченном ауле, – это дряхлый старик-татарин, в глазах которого «ясно выражалось старческое равнодушие к жизни». Авторские симпатии и сочувствие – на стороне горцев. Автор восхищен мужеством и чувством достоинства, которые выражает старый горец.

Весной 1859 года, в год окончательного покорения Кавказа, в письме к А.А. Толстой писатель назвал «и мучительным, и хорошим» время, проведенное им на Кавказе[53]. Кавказская пора была одной из лучших в долгой жизни писателя. С.А. Толстая в своих воспоминаниях писала: «Он часто говорил мне, что лучшие воспоминания его жизни принадлежат Кавказу»[54].

В.Л. Величко отмечает: «Кавказ – огромная академия со всевозможными естественными лабораториями, открывающая наблюдателю и исследователю широкое поприще для самостоятельных выводов»[55]. Молодой Толстой хорошо сознавал это ещё до отъезда с Кавказа. Так, в письме от 5 декабря 1852 года он сообщал брату Сергею Николаевичу: «Признаюсь, что мне скучно жить здесь и часто бывает грустно, но Кавказ принес мне **огромную пользу**»[56].

Своими выдающимися произведениями на кавказские темы русский писатель показал путь для русско-кавказских культурных взаимосвязей. Произведения Толстого проникнуты историзмом. Кавказ прошел

многолетнее испытание русско-кавказской войны XIX века. Важную роль играли проблемы взаимоотношений России и кавказских народов. Огромное значение имело и создание правдивой картины исторического развития Кавказа.

Через язык, литературу, культуру Л.Н. Толстой пытается изменить отношение русского народа к народам Кавказа. Эта проблема актуальна и сейчас, так как слово «Кавказ» всегда ассоциируется с войной.

Писатель, находясь на Кавказе, вел своеобразную культурную деятельность. Анализируя произведения кавказского цикла, мы приходим к выводу, что Л.Н. Толстой раскрывал повседневную жизнь горцев, чтобы повлиять на представителей Российского государства, чтобы присоединение Кавказа шло мирным путем, а не захватническим. Действительно, зло порождает зло. Он был убежден, что, если бы в общей политике государства была установка на знание и понимание народов Кавказа, все обошлось бы без войны.

Использование экзотической лексики в текстах кавказского цикла является одним из блестящих художественных приемов. Анализ произведений Толстого свидетельствует о том, что он прекрасно знал язык кавказских горцев, обряды, обычаи и множество элементов быта. В свои произведения Толстой вводит не только слова-экзотизмы, но и обороты речи, характерные для данной местности. Толстой иногда как бы фотографирует действительность, дает натуралистические картины, вводя при этом в авторскую речь много экзотизмов, этнонимов. Они являются своеобразным стилистическим средством создания речевой среды, в которой обитают герои.

Как показывают примеры, в диалогах происходит фонетическое искажение заимствованных слов. Заимствованные слова придают речи персонажей определенную стилистическую окраску, делают тот или иной персонаж живым, колоритным, запоминающимся. Наибольшая выразительность и рельефность текстов Л.Н. Толстого достигается умелым применением лингвоэтнографических явлений в структуре самого произведения. Экзотическая лексика, умело подобранная Толстым, придает описаниям неповторимую выразительность. Наблюдения за употреблением заимствованных слов свидетельствуют о превосходном знании «татарского» языка. Экзотизмы являются средством индивидуализации речи персонажей, придают точность, рельефность, пластичность повествованию.

В произведениях кавказского цикла Л.Н. Толстого представлен богатый фактический материал традиционной культуры кавказских народов (фольклор, народная этика, речевое поведение горцев среди русских, религиозные календарные праздники, описание одежды, жилища, пищи, домашней утвари), связанный с этническим самосознанием.

В центре внимания находятся такие ценностные ориентиры, как отношение к своей, чужой культуре, проявление и поддержка национальных интересов. Л.Н. Толстой посредством языка становится проводником языковой политики на Кавказе. Описывая повседневность кавказских горцев, Толстой подчеркивает необходимость взаимопроникновения языка, культур и стилей жизни. На наш взгляд, анализ кавказских произведений Л.Н. Толстого показывает, что русский писатель выступает в качестве посредника, связующего интересы России и Кавказа. Иногда точка зрения горца становится точкой зрения самого писателя. Отметим интересный факт, когда Л.Н. Толстой рассуждает с точки зрения обычного горца, осуждая Хаджи-Мурата за измену. Толстой в письме к брату пишет: «Ежели захочешь **щегольнуть известиями с Кавказа**, то можешь **рассказывать**, что второе лицо после **Шамиля**, **некто Хаджи-Мурат**, на днях **передался** русскому правительству. Это был первый **лихач** (**джигит**) и **молодец** во всей **Чечне**, **а сделал подлость**»[57].

В данном фрагменте нам встречается авторская ремарка. Русский писатель использовал экзотизм **джигит** как синоним слова **лихач**, в результате получилось толкование слова. Подчеркивая достоинства горца (**джигита**), Толстой признает его поступок недопустимым, тем самым выражает свое отношение к захватнической войне. Н.К. Гудзий по этому поводу пишет: «Войны завоевательные никогда не увлекали его, и он осуждал их, как осуждал и те жестокости, с которыми они были связаны, но войны, которые Толстой считал оборонительными и потому справедливыми, неизменно вызывали у него патриотический подъем»[58].

Микроэтнографические тексты структурируют произведение, создают определенную гармонию текста. Внутри микротекста можно произвести внутреннюю, предметную (до мельчайших подробностей) классификацию жизни и быта кавказского горца. Создаваемая языком Л.Н. Толстого модель языковой картины Кавказа – это субъективный образ объективной реальности.

В систему организации текста органически входят кавказские этнонимы, топонимы, антропонимы, многие из которых в структуре текста выполняют не только номинативную, но и характерологическую функцию. Например, в небольшом фрагменте из «Хаджи-Мурата» встречаются топонимы, антропонимы и экзотизмы: «Пиши: родился в **Цельмесе, аул небольшой, с ослиную голову**, как у нас говорят в горах, – начал он. – Недалеко от нас, выстрела за два, **Хунзах**, где **ханы** жили. И наше семейство с ними близко было. Моя мать кормила старшего **хана**, **Абунунцал-Хана**, от этого я и стал близок к **ханам**. **Ханов** было трое: **Абунунцал-Хан**, **молочный брат моего брата Османа, Умма-Хан**, мой брат названый, и **Булач-Хан**, меньшой, тот, которого **Шамиль** бросил с кручи. Мне было лет пятнадцать, когда по **аулам** стали ходить **мюриды**. Они били по камням деревянными шашками и кричали: «**Мусульмане, хазават!**» **Чеченцы** все перешли к **мюридам**, и **аварцы** стали переходить к ним»[59].

Здесь же используется и кавказская поговорка. Поговоркам и пословицам в «Хаджи-Мурате» нельзя отказать в мудрости, но мудрость эта особого рода, она – восточная. Вот как говорит Хаджи-Мурат об ауле, в котором он родился: «Аул небольшой в ослиную голову, как у нас говорят в горах». Для Толстого фольклор являлся выражением национального самосознания народов Кавказа, проявлением высоких моральных качеств горцев, чистоты и искренности духовных, этических норм народа.

Чтобы экзотизмы были понятны русскому читателю, автор, как правило, поясняет их в комментариях. Но в некоторых случаях он в контексте описывает подробно назначение того или иного предмета и тем самым создает небольшой микроэтнографический текст в структуре повествования:

«На нем были сюртук без эполет, лезгинские широкие штаны, белая папашка с опустившимся пожелтевшим **курпеем** (**Курпей** на кавказском наречии значит овчина. – Примечание Л.Н. Толстого) и незавидная азиатская шашка череплечо. Беленький **маштачок** (**Маштак** на кавказском наречии значит небольшая лошадь. – Примечание Л.Н.Толстого), на котором он ехал, шел понуря голову, мелкой иноходью и беспрестанно взмахивал жиденьким хвостом» <…> «Дорога шла серединой глубокой и широкой **балки** (**Балка** на кавказском наречии значит овраг, ущелье)»[60].

«Офицеры верхами ехали впереди; иные, как говорится на **Кавказе**, **джигитовали** [**Джигит** – **по-кумыцки** значит храбрый; переделанное же на русский лад **джигитовать** соответствует слову «храбриться»], то есть, ударяя плетью по лошади, заставляли ее сделать прыжка четыре и круто останавливались, оборачивая назад голову; другие занимались песенниками, которые, несмотря на жар и духоту, неутомимо играли одну песню за другою». <…> «Сажен сто впереди пехоты, на большом белом коне, с конными **татарами**, ехал известный в полку за отчаянного храбреца и такого человека, который хоть кому правду в глаза отрежет, высокий и красивый офицер в азиатской одежде. На нем были черный **бешмет** с **галунами**, такие же **ноговицы**, новые, плотно обтягивающие ногу **чувяки** с **чиразами** [**Чиразы** значит галуны, на **кавказском** наречии], желтая **черкеска** и высокая, заломленная назад **папаха»**[61].

В произведениях Л.Н. Толстого Кавказ предстает и как арена исторической драмы. Кавказ был не только поэтизирован русской литературой XIX века, но и вполне серьезно и уважительно осваивался этнографически. В целом русская литература отказалась обслуживать интересы власти. С 1817 года Россия вела борьбу с разрозненными племенами. Солдаты назвали Кавказ «погибельным», хотя Кавказская война не помешала сближению воюющих народов. Напротив, образовался уникальный, почти необъяснимый культурный сплав.

Особый интерес представляют авторские примечания, которые носят познавательный характер и демонстрируют желание автора как можно ближе познакомить читателя России с экзотикой Кавказа.

Наблюдения над жизнью и бытом горцев, их нравами иллюстрировали представления о так называемом естественном человеке. Повседневность горской жизни: хозяйство, вооружение, психология, бесстрашие и жестокость, страстность горца, и многие другие стороны быта горцев описывались русскими писателями в свете реальной действительности.

Проблема взаимоотношений народов, взаимовлияния языков и культур – важнейшая и интереснейшая проблема, волнующая многие поколения. Таким образом, через язык, через литературу Л.Н. Толстой пытается изменить отношение русского народа к народам Кавказа. Эта проблема актуальна и сейчас, так как слово «Кавказ» всегда ассоциировалось с войной.

В целом, говоря о речевом поведении русских писателей на Кавказе, можно с полной уверенностью сказать, что они сформировали особую модель поведения элитарной языковой личности на Кавказе. В наши дни, когда Закавказье уже практически не является российским, когда на Северном Кавказе есть тенденции предать забвению положительное в русско-кавказских взаимоотношениях, гуманистические традиции русской литературы необычно актуализированы. Думается, что следует детально изучить речевое поведение русских писателей на Кавказе с целью использования этого примера в настоящем и будущем в процессе утверждения мира и дружбы в этом регионе.

Во многом с этой целью издан словарь экзотической лексики (Ставрополь, 2008), которую использовали русские писатели в своих произведениях, связанных с кавказской тематикой. Эти произведения никогда не станут просто историей. Подлинное искусство развивается во времени и пространстве, появляются новые грани соприкосновения его с реальностью. Примером этому является наше время, когда нужно вновь и вновь пересматривать характер и способы коммуникации русского и кавказских народов, и самое главное, находить решение проблем не через активизацию военных действий, а через культурный диалог, языковые и речевые контакты.

Примечания

1. Кавказ в сердце России: На вопросы современности ответы ищем в истории / Рос. гос. б-ка; Сост.: В.И. Десятерик, Вад. В. Дементьев; Предисловие С.В. Ястржембского. – М.: Пашков дом: Фонд им. И.Д. Сытина, 2000. – С.6–7.

2. Российский государственный военно-исторический архив, ф. ВУА, д. 18473.

3. Российский государственный военно-исторический архив, ф. ВУА, д. 18473.
4. Гюльденштедта И.А. Географическое и статистическое описание Грузии и Кавказа // Путешествия г-на академика И.А. Гюльденштедта через Россию и по Кавказским горам в 1770, 71, 72 и 73 годах. Спб., 1809.
5. Кавказский этнографический сборник. – М., 1955. Т. 1. – С. 285–286.
6. Кавказский этнографический сборник. – М., 1955. Т. 1. – С. 287.
7. Броневский С. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. М., 1823. Ч. 1–2., Дебу И. О Кавказской линии и присоединенном к ней Черноморском войске. – СПб., 1829.
8. Российский государственный военно-исторический архив, ф. ВУА, д. 18473.
9. «Современник», 1850, № 10–12. Отдельное издание: «Записки об Аварской экспедиции на Кавказе в 1837 году», 3 части, СПб., 1851.
10. В.Г. Белинский Полн. собр. соч., изд. АН СССР, т. VIII, М, 1955. – С. 376–377.
11. Венгеров С.А. / В кн. Попова А.В. Декабристы–литераторы на Кавказе. – Ставрополь, 1963. – С. 77.
12. Русские писатели. Биографический словарь. Справочник для учителя. Ред. коллегия: Д.С. Лихачев, С.И. Машинский, С.М. Петров, А.И. Ревякин (Сост. А.П. Спасибенко и Н.М. Гайденков). – М.: «Просвещение», 1971. – 728 с.
13. Попов А.В. Декабристы-литераторы на Кавказе. – Ставрополь, 1963. – С. 28.
14. Русские писатели. Биографический словарь. Справочник для учителя. Ред. коллегия: Д.С. Лихачев, С.И. Машинский, С.М. Петров, А.И. Ревякин (Сост. А.П. Спасибенко и Н.М. Гайденков.) – М.: Просвещение, 1971. – 728 с.
15. Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения. В 2-х т. – М.: Художественная литература, 1958. – Т. 2. Повести. Рассказы. Очерки. Стихотворения. Ред. П. Кочурин, 1958. – 742 с. – (Мулла-Нур, 315)
16. Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения. В 2-х т. – М.: Художественная литература, 1958. – Т. 2. Повести. Рассказы. Очерки. Стихотворения. Ред. П. Кочурин, 1958. – 742 с. – (Мулла-Нур, 454)
17. Бестужев–Марлинский А.А. Сочинения. В 2-х т. – М.: Художественная литература, 1958. – Т. 1. Повести. Рассказы. Очерки. Стихотворения. Статьи. Письма. Ред. П. Кочурин, 1958. – 742 с. – (Аммалат-Бек, 423).
18. Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения. В 2-х т. – М.: Художественная литература, 1958. – Т. 1. Повести. Рассказы. Очерки. Стихотворения. Статьи. Письма. Ред. П. Кочурин, 1958. – 742 с. – (Аммалат-Бек, 425).
19. Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения. В 2-х т. – М.: Художественная литература, 1958. – Т. 1. Повести. Рассказы. Очерки. Стихотворения. Статьи. Письма. Ред. П. Кочурин, 1958. – 742 с. – (Аммалат-Бек, 423).
20. Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения. В 2-х т. – М.: Художественная литература, 1958. – Т. 2. Повести. Рассказы. Очерки. Стихотворения. Ред. П. Кочурин, 1958. – 742 с. – (Мулла-Нур, 359).
21. Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения. В 2-х т. – М.: Художественная литература, 1958. – Т. 2. Повести. Рассказы. Очерки. Ред. П. Кочурин, 1958. – 631 с. – (Мулла-Нур, 362).
22. Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения. В 2-х т. – М.: Художественная литература, 1958. – Т. 2. Повести. Рассказы. Очерки. Стихотворения. Ред. П. Кочурин, 1958. – 742 с. – (Мулла-Нур, 363).
23. Попов А.В. Декабристы–литераторы на Кавказе. – Ставрополь, 1963. – С. 38.
24. Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения. В 2-х т. – М.: Художественная литература, 1958. – Т.2. Повести. Рассказы. Очерки. Стихотворения. Статьи. Письма. Ред. П. Кочурин, 1958. – 742 с. – (Письма из Дагестана, 52).
25. Трунов Д. Дорога к свету. – Махачкала, 1962. – С. 177–178.
26. Вересаев В.В. Пушкин в жизни: Сист. Свод подлинных свидетельств современников / Предисл. Дм. Урнова, Вл. Сайтанова; Вступит. Заметки к главам, дополнения и коммент. Вл. Сайтанова. – Мн.: Маст. літ., 1986. – 685 с. – С. 169.
27. Белинский В.Г. Избранные сочинения. – СПб., 1907. Т. 2. – С. 743.
28. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 17-ти т. – М.: Воскресенье, 1994–1997. Т. 8. – (Путешествие в Арзрум, 446).
29. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 17-ти т. – М.: Воскресенье, 1994–1997. Т. 8. – (Путешествие в Арзрум, 448).
30. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 17-ти т. – М.: Воскресенье, 1994–1997. Т. 8. – (Путешествие в Арзрум, 459).
31. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 17-ти т. – М.: Воскресенье, 1994–1997. Т. 8. – (Путешествие в Арзрум, 464).
32. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 17-ти т. – М.: Воскресенье, 1994–1997. Т. 8. – (Путешествие в Арзрум, 474).
33. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 17-ти т. – М.: Воскресенье, 1994–1997. Т. 8. – (Путешествие в Арзрум, 481).
34. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 17-ти т. – М.: Воскресенье, 1994–1997. Т. 5. – (Тазит, 73).
35. Шатилов Б.А. Пушкин. – М.: «Детская литература», 1969. – 254 с. – С. 122.

36. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 17-ти т. – М.: Воскресенье, 1994–1997. Т. 8. – (Путешествие в Арзрум, 449).
37. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 17-ти т. – М.: Воскресенье, 1994–1997. Т. 8. – (Путешествие в Арзрум, 450).
38. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 17-ти т. – М.: Воскресенье, 1994–1997. Т. 8. – (Путешествие в Арзрум, 450).
39. Макогоненко Г.П. Творчество А.С. Пушкина в 1830-е годы (1833–1836): Монография. Оформ. худож. А. Гасникова. – Л.: Художественная литература, 1982. – 464 с. – С. 320.
40. Русские писатели. Биографический словарь. Справочник для учителя. Ред. коллегия: Д.С. Лихачев, С.И. Машинский, С.М. Петров, А.И. Ревякин (Сост. А.П. Спасибенко и Н.М. Гайденков.) – М.: Просвещение, 1971. – 728 с.
41. Попов А.В. Лермонтов на Кавказе. – Ставрополь, 1954. – С. 114–117.
42. Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений. В 4-х т. – М.–Л.: Академия наук СССР, 1959. – Т.4. Проза. Письма. Ред. Б.М. Эйхенбаум. – 1959. – 826 с. – С. 541.
43. Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений. В 4-х т. – М.–Л.: Академия наук СССР, 1958. – Т. 1. Стихотворения. 1824–1841. Ред. Б.В. Томашевский. 1958. – 755 с. – (Спор, 110).
44. Филоленко В.И. Восточная лексика в произведениях М.Ю. Лермонтова.– В сб.: Вопросы современного русского языка и истории его развития. Научные труды Краснодарского государственного педагогического института. – Краснодар, 1966, вып. 54. – С. 193.
45. Филоленко В.И. Восточная лексика в произведениях М.Ю. Лермонтова. – В сб.: Вопросы современного русского языка и истории его развития. Научные труды Краснодарского государственного педагогического института. – Краснодар, 1966, вып. 54. – С. 193.
46. Закавказский край. Заметки о семейной и общественной жизни и отношениях народов, обитающих между Черным и Каспийским морями. Путевые впечатления и воспоминания барона Августа фон-Гекстгаузена. –СПб, 1857, ч. 2. – С. 52.
47. Фалев П.А. Отчет о поездке в Закавказье и в Азербайджан летом 1916 г. в связи с охраною памятников восточных древностей на Кавказском фронте. Известия АН (отдельный оттиск). – Петроград, 1917. – С. 171.
48. Попов А.В. Лермонтов на Кавказе. – Ставрополь: Ставропольское книжное изд-во, 1954. – С. 97.
49. Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 4-х т. – М.: Художественная литература, 1980. – С. 541.
50. Ленин В.И. Л.Н. Толстой и его эпоха. Полн. собр. соч., Т. 20. – С. 21.
51. Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой. Семидесятые годы. Монография. – Л., «Художественная литература», 1974. – 360 с. – С. 237.
52. Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого, т. 1. – М., 1923. – С. 104.
53. Толстой Л.Н. Собрание сочинений: В 22-х т. – М.: Художественное литература, 1978. Т. 18. – С. 525–526.
54. Толстая С.А. Материалы к биографии Л.Н. Толстого.– В кн. Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников, Т. 1. – С. 50.
55. Величко В.Л. Кавказ. Русское дело и междуплеменные вопросы. – М., 1900. – С. 9.
56. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Письма. Юбилейное издание. М.–Л.: ГИХЛ, 1934–1937. – Т. 59. – С.108.
57. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Письма. Юбилейное издание. М.–Л.: ГИХЛ, 1934–1937. – Т. 59. – С. 131.
58. Гудзий Н.К. Лев Николаевич Толстой (Из курса лекций по истории русской литературы XIX века). – М.: Изд-во Московского университета, 1952.– 112 с. – С. 23.
59. Толстой Л.Н. Собрание сочинений: В 22-х т. – М.: Художественное литература, 1978. – Т. 14. Повести и рассказы. 1903–1910. Коммент. М.Н. Бойко. – 1983. – 511 с. – (Хаджи-Мурат, 68).
60. Толстой Л.Н. Собрание сочинений: В 22-х т. – М.: Художественное литература, 1978. – Т. 14. Повести и рассказы. 1903–1910. Коммент. М.Н. Бойко. 1983. – 511 с. – (Хаджи-Мурат, 11).
61. Толстой Л.Н. Собрание сочинений: В 22-х т. – М.: Художественное литература, 1978. – Т. 14. Повести и рассказы. 1903–1910. Коммент. М.Н. Бойко. 1983. – 511 с. – (Хаджи-Мурат, 13).

Текст и примечания печатаются по источнику:
Экзотическая лексика в произведениях русских писателей о Кавказе: А.А. Бестужев-Марлинский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой. Опыт словаря / Сост., вступ. статья Ф.И. Джаубаевой. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2008. – С. 8–20.

М.С. Коршунов

«Теплая Сибирь»: Русские писатели в ссылке на Ставрополье

Кавказ! Страна гор, вечно покрытых льдами и снегами, поросших стройными соснами, восходящими по скалам к заоблачным вершинам. Край глубоких голубых, изумрудных, синих озер. Ты восхищал и Пушкина, и Лермонтова, и Льва Толстого… Твои бескрайние степи, славные плодородием, всегда привлекали завоевателей. Расположенный между Черным и Каспийским морями, Северный Кавказ столетиями был «проходным двором» народов. Здесь часто кипели войны, многолюдные города и села горели от рук жестоких армий арабов, монголов, турок, персов…

В первой половине XIX века на Кавказе шла война между горцами и российской армией. Этот неспокойный, но богатый край император Александр I, человек, как считают многие историки, мягкосердечный и либеральный, назвал, с долей мрачного юмора, «теплой Сибирью». Сам он, правда, сюда опальных не ссылал… Подверженный внезапным вспышкам гнева, незадолго до вторжения Наполеона в Россию в 1812 году собирался приговорить свою «правую руку» Михаила Сперанского (1772–1839) к расстрелу, но в размышлении зрелом переменил гнев на милость и сослал его в Нижний Новгород. Позже М.М. Сперанский стал генерал-губернатором Сибири (1819–1821). А Николай I назначил его начальником II Отделения Собственной Его Величества канцелярии. Сперанский составил Полный Свод Законов Российской империи, царь возвел его в графское достоинство (1836).

Юный Пушкин попал в опалу за «возмутительные» стихи, Александр I вознамерился сослать его в Сибирь, но за поэта заступились влиятельные друзья, и он был послан в Кишинев, позже переведен в Одессу. В 1820 году он побывал на Кавказе, лечился на минеральных водах, дважды проезжал через Ставрополь.

Умер Александр I. На престол вступил его младший брат, Николай I (1794–1855). Он разгромил декабристов, пятерых руководителей бунта приказал повесить, а 120 опальных сослал в Сибирь, затем некоторых перевел на Кавказ. Россия стала причудливым гибридом тюрем, казарм и канцелярий. Тогда Кавказ и стал «теплой Сибирью».

Декабристы – первая крупная группа ссыльных на Кавказ. Среди них – писатель Александр Бестужев (Марлинский), поэт князь Александр Одоевский… Некоторые декабристы оставили мемуары. Побывал в наших краях в период южной ссылки и А.С. Пушкин.

Счет студентов-изгнанников открыли участники «Сунгуровского дела». Напомним вкратце суть его. Некто Николай Сунгуров (1805 – после 1834), тамбовский помещик средней руки, приехал в Москву и начал привечать студентов Московского университета. Юношей привлекал обильный стол и шампанское хозяина. Гости все же чувствовали возможность провокаций. «Пиры» посещал и полицмейстер. Видимо, Сунгуров был действительно провокатором. Позже он представился студентам участником чуть ли не чудом сохранившейся в Москве организации декабристов, развернул фантастический план восстания в городе: поднять «чернь», разбить кабаки, захватить арсенал… Некоторые авторы считают, что Сунгуров создал из студентов тайное общество, хотя ни устава, ни программы не было принято. Все и ограничилось двумя беседами.

Один из пировавших донес жандармам. Сунгурова сослали в Сибирь, по дороге он скончался. Студентов Якова Костенецкого (1811–1885), Платона Антоновича (Войшина) (1812–1883) приговорили к «белому ремню» (отдали в солдаты) и послали на Кавказ. Другие «сунгуровцы» оказались в Оренбурге, нижними чинами.

Яков Костенецкий в своих воспоминаниях рассказывает, что шесть лет был солдатом Куринского полка, хотя имел высшее образование. Солдат-юрист привлек внимание командования, в 1839 году его произвели в офицеры и назначили адъютантом командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории, генерала графа Граббе. Служа в штабе, в Ставрополе, Яков Иваныч познакомился с Лермонтовым… Военная служба не очень нравилась ссыльному студенту, и в 1842 году он подал в отставку «по расстроенному здоровью», поселился в Черниговской губернии, в своей усадьбе Кибинцы-Липки.

Судьба Платона Александра Антоновича сложилась совсем по-другому. Сначала он тоже тянул солдатскую лямку. Назначенный адъютантом в штаб генерала П. Граббе, он вскоре перешел на службу к генералу Н.Н. Раевскому (1801–1843), другу Пушкина, командующему Черноморской линией крепостей, штаб которой находился в Керчи. Затем карьера Антоновича круто пошла в гору, в конце ее он стал бессарабским губернатором (Молдавия), затем попечителем Киевского учебного округа. Достиг чина тайного советника (в армии генерал-лейтенанта).

В том же 1839 году, когда ссыльные студенты стали офицерами, почтовая карета привезла в Ставрополь тяжело больного молодого человека. Он не мог ходить. Пригласил врача на дом. Состояние больного вызвало большие опасения медика. Через две недели больного отправили на лечение в Пятигорск.

Приезжий был титулярным советником Владимиром Игнатьевичем Соколовским, известным в 30-е годы XIX века поэтом (1808–1839). Ныне он оказался полузабытым. Но литературоведческий анализ показывает, что Соколовский во многом предвосхитил будущее развитие литературы. Он – основатель редкого в России литературного жанра о похождениях ловких авантюристов, плутовского романа, известного в Испании XVI века под именем пикареск, писал сатирические произведения, в поэмах можно отметить идеи космизма…

Судьба Владимира Игнатьевича во многом типична для вольнодумцев николаевской России. В 1834 году выпускник Московского университета Егор Машковцев получил звание действительного студента, задал друзьям небольшую пирушку. В компанию затесался полицейский шпик…

«Молодые люди перепились, дурачились, танцевали мазурку и между прочим спели известную песню Соколовского», – рассказывает А.И. Герцен в «Былом и думах», – «Русский император // В вечность отошел, // Ему оператор // Брюхо распорол»[1]. Полицейский провокатор, конечно, донес «куда следует». Студентов арестовали, привлекли их знакомых. Всех обыскали, нашли письмо с «неблагонадежными» мнениями. Соколовского привезли из Петербурга, он поехал в столицу «приискать место» службы… Под стражу в это время был взят и А.И. Герцен: полицейские сочли, что он «опасный вольнодумец», а его друг, поэт А.П. Огарев, – «фанатик». Начался судебный процесс «О лицах, певших в Москве пасквильные песни». Назначенная Николаем I судебная комиссия приговорила Соколовского к заключению в Шлиссельбургскую крепость «на бессрочное время». Герцена сослали в Пермь, вскоре перевели в Вятку (Киров), а Огарева – в имение отца, в Пензенскую губернию…

Заключение подорвало хрупкое здоровье Владимира Соколовского, и когда в 1838 году его перевели в Вологду, он уже тяжело болел. По просьбе поэта в мае 1839 года его перевезли в Кавказскую область, в Ставрополь. Гражданским губернатором Кавказской области (в 1847 году ее переименовали в Ставропольскую губернию) был в 1836–1839 году Алексей Васильевич Семенов (1799–1864), близкий к декабристам, но впоследствии отошедший от них и в восстании 14 декабря 1825 года участия не принимавший. Когда в 1837 году стали возникать губернские газеты, губернатор решил открыть печатный орган и в Ставрополе.

Будучи в ссылке в Вологде, Соколовский в 1838 основал газету, сплотил вокруг нее любителей литературы. Правда, их собрания не обходились без возлияний древнеримскому богу Вакху, иногда настоящих вакханалий. Возможно, губернатор А.В. Семенов, бывший декабрист, прочил Соколовского редактором газеты. Но после возвращения поэта «с вод» в Ставрополь его состояние стало безнадежным, и он умер в октябре 1839 года. Где похоронен, неизвестно…

Почти одновременно с Соколовским подвергся опале Михаил Лермонтов. В 1837 году его сослали за известную элегию «Смерть поэта», а в 1840 году – за дуэль с сыном французского посла де Барантом. Лермонтов был офицером, принял участие в военных действиях, например, в ожесточенном бою при речке Валерик в Чечне. Оказавшись летом 1841 года на лечении в Пятигорске в чуждом и враждебном ему «водяном обществе», среди людей пустых и тщеславных, он стал объектом интриг и вражды. И в результате нелепой ссоры с отставным майором Мартыновым, человеком глупым и бесхарактерным, погиб на дуэли… На примере Лермонтова мы видим, что цель опалы – вырвать человека из дружеского круга, из привычной социальной среды, выслать в «медвежий угол», в захолустье, изолировать, унизить. Иногда ссыльный, как растение, лишенное привычной почвы, чах и в конце концов погибал…

Этой кандально-ссыльной эпохе, 30-м годам XIX века, дал яркую и глубокую характеристику А.И. Герцен в «Былом и думах»: «Шутить либерализмом было опасно, играть в заговоры не могло прийти в голову.

…за **одно смело сказанное слово – годы ссылки, белого ремня** (солдатчины – *М.К.*), **а иногда и каземат**… (выделено мной – *М.К.*)»[2]. Об этом мы уже говорили на примере Якова Костенецкого и Платона Антоновича (Войшина), надевших белый солдатский ремень, и Владимира Соколовского, попавших сначала в каземат в Шлиссельбургскую крепость, а затем в ссылку в Вологду, позже, в 1839 году, в Ставрополь. Ссылали иногда без всякой «вины», просто, так сказать, в профилактических целях, подальше от родных мест. В числе таких сосланных «на всякий случай» оказался и Иосиф Викентьевич Бентковский (около 1811–1890).

Известный ставропольский краевед Г.Н. Прозрителев, автор самой обстоятельной и глубокой биографии Бентковского, сообщает, что Иосиф Викентьевич происходит из дворян Брескульского уезда Варшавской губернии. Гимназию окончил, по мнению автора биографии, в 30-х годах XIX века. В 1832 году началась военная служба Бентковского. Сначала он был солдатом, с 1833 года – унтер-офицером. В 1834 году переведен на Кавка в Навагинский полк, вскоре зачислен в Кавказский первый линейный батальон. В 1836 году он переведен в Ставропольский казачий полк и стал урядником (казачьим унтер-офицером. – *М.К.*). Так польский дворянин превратился в ставропольского казака. В Ставрополе было немало поляков. Самые известные имена: педагог Е.А. Нарбут, музыкант и композитор В.Д. Беневский, лесничий Пухальский. Недалеко от города расположен поселок Польский, основанный ссыльными. Бентковский продолжал служить в казаках и в 1848 году назначен начальником, позже выбирались атаманы Михайловской станицы (теперь город Михайловск. – *М.К.*).

Тем временем на Кавказе произошли большие изменения. В 1844 году Николай I учредил Кавказское наместничество. Руководить таким обширным богатым краем, где еще шла война, мог только очень умелый администратор. Этот пост император поручил князю М.С. Воронцову. Отличный полевой командир, но слабый полководец, а вот культура и образование были у него на первом месте.

В 1847 году создан Кавказский учебный округ, одновременно Кавказская область преобразована в Ставропольскую губернию, что дало местной администрации более широкие права. Еще в 1845 году в Ставрополе был создан театр, с 1 января 1859 года начала выходить первая газета «Ставропольские губернские ведомости». В октябре 1850 года назначен новый директор народных училищ губернии, прогрессивный педагог Я.М. Неверов (1810 или 1812–1893). В декабре 1852 года была открыта губернская общественная библиотека. В 1853 году появился первый музей. Ставрополь получил у кавказских офицеров и чиновников лестное имя «Париж Востока».

Как установил автор этих строк, в 1850 году И.В. Бентковский опубликовал в «Губернских ведомостях» свою первую статью о ставропольских храмах. Между прочим, Бентковский, бывший в молодости католиком, перешел в православие, но когда это произошло, неизвестно. До недавнего времени считалось, что дебют Бентковского в периодической печати произошел в «Ставропольских губернских ведомостях» в 1853 году, № 8, где он поместил статью «Практические замечания о болезни рогатого скота на Кавказе, называемой «чихирь». Как видим, это ошибка… В 1854 году Иосифа Викентьевича произвели в сотники (в пехоте – капитан), а 23 марта 1857 года он вышел в отставку…

В это время разразилась Крымская война, называемая западными историографами Восточной (1853–1856). Основные события развернулись на близком к Ставрополю Черном море. Почти год продолжалась оборона крепости – порта Севастополь. В сентябре 1855 года после героического сопротивления его пришлось оставить. Сказалось техническое преимущество английской и французской армии. В русской армии не хватало даже пороха. Но на Кавказе, где русские полки сражались с турками один на один, талантливый новый наместник, он же командующий войсками, Н.Н. Муравьев нанес противнику ряд крупных поражений и взял сильнейшую крепость Карс. Он получил почетную приставку к фамилии, став Муравьевым-Карским.

Война окончилась тяжелым Парижским миром (1856), Россия потеряла часть, правда, небольшую – Бессарабии. Но главное – лишилась права держать военный флот на Черном море. Поражение показало экономическую и политическую слабость России. Долго откладываемая отмена крепостного права стала неизбежной. После шестилетней подготовки оно было отменено 19 февраля 1861 года. Произошла модернизация всех сфер жизни. Ускорилось развитие промышленности и транспорта, произошли прогрессивные сдвиги даже в сельском хозяйстве, хотя здесь сказывались пережитки крепостного права. Развитие же науки, культуры, образования двинулось вперед семимильными шагами.

Одной из наук, которой на Ставрополье практически не занимались, была статистика. Во второй половине 50-х годов XIX века в Ставрополе при губернаторе Петре Брянчанинове возник статистический комитет. Секретарем его был первый ставропольский краевед, бывший преподаватель гимназии Петр Хицунов. Работал комитет на общественных началах и просуществовал недолго.

И.В. Бентковский, выйдя в отставку, энергично занялся литературной деятельностью. В 1860 году Иосифа Викентьевича избрали членом-корреспондентом статистического комитета, в 1862 году он стал его действительным членом, а 16 ноября 1871 года – секретарем. Почти двадцать лет Бентковский возглавлял статистический комитет. Комитет стал научным центром Ставрополья. Главная его заслуга – выпуск глубоких и содержательных статистических изданий, например, «Списка населенных мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года» или «Сборника исторических сведений о Ставропольской губернии».

В области истории развития просвещения большое значение имеет книга о создании гимназии святой Александры (с 1880): «Обзор XXVII-летней деятельности Ставропольского женского благотворительного общества святой Александры». Основные труды Бентковского напечатаны в сборниках статистического комитета. Много их в «Ставропольских губернских ведомостях», где Бентковский в 70–80-х годах XIX века был редактором «Неофициальной части». Встречаются его статьи в газете «Биржевые ведомости», в «Кубанском сборнике», где помещались «Труды Кубанского областного статистического комитета» (1883 год, том I). Есть его работы в «Экономической газете», в «Трудах Вольного императорского экономического общества».

Диапазон исследований Бентковского громаден. От эпидемии чумы в XVIII веке до коневодства, исследования о колонизации Северного Кавказа, строительстве крепости Моздок, виноградарстве, шелководстве, торговле, мелиорации. И.В. Бентковский предложил проекты проведения канала из Кубани в Егорлык, ирригации земель, писал о лесоводстве, ветеринарии, частном землевладении, крепостном праве, климатологии, хуторах, семейных разделах. И это далеко не все темы. **Бентковского с полным правом можно признать первым ставропольским энциклопедистом.** Однако его наследие до сих пор не собрано. Архив краеведа-энциклопедиста утрачен. Приведенный Г.Н. Прозрителевым в его статье список трудов Бентковского не полон. Основная часть статей, напечатанная в газете «Ставропольские губернские ведомости», для краеведа труднодоступна, потому что сама газета стала библиографической редкостью. Имя Бентковского постоянно упоминается в краеведческой литературе, но **не издано ни полного собрания сочинений, ни даже сборника избранных трудов**. Умер Иосиф Викентьевич в 1890 году. Смерть его ускорили неприязненные отношения с губернатором Никифораки. Губернатор, нередко проявлявший грубость, а порой и самодурство, был недоволен самостоятельностью Бентковского, тем, что он, по мнению губернатора, «лезет не в свое дело». Иосиф Викентьевич представил губернатору доклад о том, что волостные власти используют так называемые «темные суммы», до 500000 рублей ежегодно, предназначенные на «непредвиденные расходы», частично расхищая их. Губернатор грубо выругал Бентковского (тому было 79 лет), случился инсульт…

Отмена крепостного права, при всей ее незавершенности, ознаменовала новую эпоху в истории нашей страны. Историки обоснованно говорят о России дореформенной и пореформенной. При Николае I общественной жизни, а тем более общественного движения вообще не существовало. Студенческие кружки, правильнее говоря, сотоварищества Станкевича и Герцена не вышли за пределы Московского университета. Споры «западников» и «славянофилов» велись на квартире у А.П. Елагиной, матери известных славянофилов И.В. и П.В. Киреевских, иногда они дискутировали у московского богача – Дмитрия Свербеева. Заходили даже к Петру Чаадаеву, официально объявленному сумасшедшим. Но все эти стычки и споры считались салонными беседами или даже семейными застольями. Наверное, последними узкокружковыми дискуссиями остались беседы петрашевцев. Лекции Грановского стали не только московскими, но общероссийским общественным явлением.

Перед отменой крепостного права начал складываться антикрепостнический фронт. Но после реформы дворяне начинают постепенно отходить от оппозиционной общественной деятельности, на **первое место выходит разночинец**. Критика дворянской субкультуры, сословных предрассудков звучит в статьях Чернышевского и Добролюбова. Крайнюю позицию в литературоведческих дискуссиях занял критик Дмитрий Писарев, подвергший сомнениям достижения великих классиков литературы. Новое направление в общественном сознании формировал в 50-х годах XIX века «Колокол» Герцена. После отмены крепостничества «властителем дум» становится журнал «Современник» под редакцией публициста Н.Г. Чернышевского и поэта Н.А. Некрасова.

Поколение опальных разночинцев на Ставрополье открывает Герман Лопатин (1845–1918). Отец его Александр Никонович – типичный разночинец, сын мелкого чиновника Никона Никоновича, переведенного из Орла в Вятку. А.Н. Лопатин сделал большую карьеру, окончив курс в Казанском университете. Он довольно удачно преподавал, но в 1849 году неожиданно получил отставку. В 1850 году А.Н. Лопатин перевелся в Ставрополь, начав служить по министерству государственных имуществ. Его сопровождал успех, он получил высокие чины: сначала коллежского советника (полковника), а потом и статского советника (бригадного генерала, чином выше полковника, ниже генерал-майора). Это – высший чин, который можно было получить по выслуге лет. Отец подготовил своего первенца (в семье было 8 детей: четыре сына и четыре дочери) к поступлению сразу во второй класс гимназии, и 8 января 1855 года Герман Лопатин стал воспитанником Ставропольской гимназии. Директор гимназии, видный просветитель Я.М. Неверов, добился высокого уровня преподавания. Гимназия стала одной из самых интеллектуальных в стране. «Конкурсы на лучшее сочинение по отечественному языку и истории», введенные в 1851 году, показали не только высокий уровень знаний, но и умение их передать, прогрессивное мировоззрение их авторов. Неверов стал **основателем ставропольской интеллигенции**. В 40-х годах XIX века только один ставропольский гимназист поступил в Харьковский университет. Программа нашей гимназии не соответствовала требованиям, предъявляемым к абитуриентам. Поступающие на словесный (историко-филологический) факультет должны были сдавать экзамен по древнегреческому языку. Будущие медики должны были сдавать немецкий язык, востоковеды – сдавать испытания по арабскому (кораническому). Все эти предметы не изучались в гимназии.

«Положением о Кавказском учебном округе и учебных заведениях, оному подведомственных, от 18 декабря 1848 года, §57, предусмотрено: при Тифлисской и Ставропольской гимназии **учреждаются сверх положенных восьми общих, еще по два специальных класса для приготовления учеников к поступлению в университеты** (выделено мной. – *М.К.*) и для образования учителей в уездные училища и низшие классы гимназий, а равно и домашних учителей» («Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Царствование императора Николая I. Отделение второе, 1840–1855». СПб., 1864, стбц. 805).

Университетские классы начали действовать в 1852 году. И с этого времени ежегодно несколько гимназистов поступали в университеты и другие высшие учебные заведения. Те, кто родился на Кавказе, становились «кавказскими воспитанниками», получали стипендию и ряд льгот… Некоторые выпускники гимназии поступали в университеты, минуя подготовительный класс, например, харьковчане, будущий крупный историк Александр Трачевский и его старший брат Петр. Да и сам Герман Лопатин, который поступил в Санкт-Петербургский университет в 1862 году…

Уже в гимназии Герман прочел «Записки охотника» И.С. Тургенева. Тургенев, по выражению А.И. Герцена, стрелял в этой книге в крепостное право и на земле и влёт. Освобождение народа от этого «ярма» произошло совсем недавно, и уже в октябре 1861 года Герман Лопатин посвящает «Запискам охотника» свое конкурсное гимназическое сочинение. Читал Лопатин-гимназист и произведения Герцена, но какие именно, установить пока не удалось. Многое дали юноше беседы с молодыми врачами Владимиром Снигиревым (так в документах) и с Аполлоном Пупаревым, которые посещали гостеприимный дом Александра Никоновича Лопатина. Они оказали значительное влияние на развитие мировоззрения юноши. От них он узнал об общественном движении в странах Западной Европы, о социалистах и коммунистах. Правда, его наставники тоже не во всех тонкостях разбирались достаточно глубоко… Прочитал Герман, видимо, и роман Герцена «Кто виноват?». О нем в своем сочинении упоминал старший брат его одноклассника, будущий известный ставропольский адвокат Владимир Демьяновский.

В конце 1861 года пришло время сдавать выпускные экзамены. Герман сдал почти все предметы на «пять». Педагогический совет признал, что он имеет право получить золотую медаль (одну из первых в истории Ставропольской гимназии). Были отмечены глубокие знания выпускника по законоведению. Но для поступления в университет нужно было, чтоб в аттестате стояли оценки по латинскому и французскому языкам. Юноша подает директору прошение о намерении сдать дополнительные экзамены по этим предметам. Видимо, отец, высококвалифицированный педагог, помог сыну подготовиться. И вот последние экзамены сданы, аттестат получен, отец взял отпуск и решил везти сына в столичный университет. Поехали они необычным путем: из Ставрополя через калмыцкие степи в Царицын (Волгоград), вверх по Волге до Казани, где в университете учился отец, оттуда в Вятку (Киров), где А.Н. Лопатин родился, учился в гимназии, и через Нижний Новгород в Москву, откуда на новинке техники, по железной дороге, приехали в Петербург и поселились у брата А.Н. Лопатина, врача, служившего в медицинском департаменте министерства внутренних дел.

Отец и сын приехали в столицу в тревожное, «горячее» время. Совсем недавно, в мае 1862 года Петербург пылал в огне пожаров. Поджигателей не нашли, но поползли слухи, возможно, распущенные полицией, что «красного петуха» пустили студенты и вообще «нигилисты». На улицах начали хватать студентов и прочих подозрительных. Самого Германа чуть было не арестовал собственный дворник! Занятия в университете на естественном отделении, куда поступил Лопатин, начались с большим опозданием, только в октябре. Первокурсник Лопатин очень скоро ощутил «золотую посредственность» профессоров.

Об университете, о своей жизни в столице он подробно пишет старшей сестре Ольге (1843–1926). Письма эти – рассказ о взрослении, о жизни души, о становлении мировоззрения. Он пишет, что Герцен устарел, соглашается с реакционером Катковым, что лондонский изгнанник призывает неопытную молодежь к восстанию, а сам прячется за спиной лондонского полицейского. На самом деле Герцен отказался звать Русь «к топору», он стремился объединить все демократические силы… Находит студент-естественник ошибки в статьях Чернышевского, который приводит примеры из биологии, и не всегда удачно. А ведь 8 лет спустя именно сам Лопатин, рискуя свободой, попытается увезти из ссылки великого публициста. Письма первокурсника Лопатина, поразительный по откровенности документ, мы публикуем впервые…

В холодном чиновничьем Петербурге Герман чувствовал себя одиноко. К тому же юный студент попал в чужую для себя среду: его ближайший знакомый – жандарм, правда, по мнению самого Лопатина, очень добродушный! О своей тоске, о своем одиночестве Герман пишет зятю Александру Ильичу Лилову (1825–1890), кстати, однокашнику Добролюбова. Ольга вышла замуж за Лилова[3], преподавателя Ставропольской гимназии, в феврале 1863 года, и переписка с сестрой прервалась. Однако постепенно Лопатин сближается с прогрессивно настроенными студентами, а через них – с лицами, близкими к революционеру И.А. Худякову. Об участии Лопатина в петербургском подполье пишет историк Э.С. Виленская в своей книге «Революционное подполье в России (60-е годы XIX века)» (Издательство «Наука», Москва, 1965). Непосредственно к тайному обществу И.А. Худякова Герман Лопатин отношения не имел. Он преподавал физику в частной школе А.К. Европеус для девочек и взрослых девушек. Содержательница поддерживала обширные связи с деятелями революционного подполья Петербурга.

В апреле 1866 года москвич, член общества Ишутина, Дмитрий Каракозов стрелял в Александра II, но промахнулся. К следствию по «каракозовскому делу» привлекли несколько десятков человек. Доказать, что Лопатин участвовал в деятельности общества Худякова, которое являлось частью организации Ишутина в Москве, жандармам не удалось. «Прикосновенный» к «каракозовскому делу», Лопатин, недолго пробыв в заключении, вышел на свободу. Вскоре закончил курс в университете (1866), перед ним открылся путь в науку. Но ученым он не стал. Герман Лопатин поступил на службу в «Общество взаимного кредита», затем познакомился с москвичом Феликсом Волховским. Молодые люди подружились, между ними завязалась переписка. Они договорились создать нелегальное общество. Лопатин предложил назвать его «Рублевое общество»: вступительный взнос в него составлял один рубль. Предполагалось изучить жизнь крестьянства, потом создать в селах передвижные школы.

Герман Александрович, видимо, состоял под негласным полицейским надзором. Его письмо перехватили жандармы. Они решили разоблачить подпольщиков и арестовали Волховского и Лопатина. Хотя общество оказалось вполне безобидным, Германа Лопатина, ведшего себя на допросах «дерзко», пытавшегося ввести следователей в заблуждение, за неоткровенность решили сослать в Тифлис, где тогда служил его отец, ссыльному дали поступить на государственную службу. Пока суд да дело, отец А.Н. Лопатина получил перевод в Ставрополь на должность председателя казенной палаты. И в сентябре 1868 года Герман Александрович в сопровождении жандармов прибыл в наш город, представился губернатору Т.К. Властову (1827–1899) и получил назначение на должность младшего чиновника особых поручений при нем.

«Губернатор не теснил меня служебными обязанностями», – вспоминает Лопатин. Губернатор, высокообразованный человек, знаток древнегреческого языка и поэзии (сам грек по происхождению), ценил образование. В этом же 1868 году обратился через газету «Ставропольские губернские ведомости» с призывом поддержать губернскую библиотеку, стоявшую на краю банкротства. Приехавший молодой «универсант» (человек с университетским образованием), имевший свободное время, оказался, по мнению губернатора, подходящей кандидатурой на должность директора-администратора гимназии. Книги выдавала молодая девушка-библиотекарь. По уставу, гимназисты, девушки из женских училищ могли посещать библиотеку с разрешения родителей, а учащиеся духовной семинарии – с дозволения начальства. Но Лопатин не считался с запретами. Как он сам писал своему знакомому М. Негрескулу, зятю видного народника Петра Лаврова (1823–1900), он «принимает в библиотеку всех и дает им все». Чтобы избавить гимназистов и учащихся семинарии от преследований, Лопатин вел подложный журнал посещений читателей. Но журналы до нас не дошли… Поэтому установить, кто и когда побывал в читальном зале, невозможно… Библиотека из тихого читального зала для всех желающих ознакомиться с книгой или газетой начала постепенно превращаться в общественный центр.

В том же письме М. Негрескулу Герман Лопатин сообщает о столкновении с директором мужской гимназии Л.Л. Марковым. Директор требовал не допускать в библиотеку воспитанников, ссылаясь на секретный циркуляр. Но Лопатин ему отказал, требуя показать документ. Лев Марков его не предъявил, но обратился «по начальству», к попечителю Кавказского учебного округа: «Посещая не раз публичную библиотеку, я всегда находил в ней много наших воспитанников и еще более семинаристов. **Все они выбирали для чтения весьма пикантные вещи. На первом плане были, разумеется, журналы «Дело», «Искра»** и так далее **или книги вроде Добролюбова, Чернышевского, Михайлова**. Мне казалось всегда, что если в Ставропольской гимназии, хотя к счастью, **весьма редко, попадаются иногда молодые люди с превратным, так называемым отрицательным направлением, то причину эту надо искать положительно в здешней публичной библиотеке** (выделено мной. – *М.К.*)».[4] Сам Л. Марков вовсе не был отъявленным мракобесом и обскурантом. Он открыл в гимназии библиотеку, причем очень хорошую. Ею руководил преподаватель словесности видный просветитель М.В. Краснов (1841–1916). Вот что пишет об этой библиотеке воспитанник гимназии, будущий народоволец Адриан Михайлов (1853–1929): «Вновь назначенный директор решил бороться с «заразой крамолы» другим путем. Он подобрал серьезную библиотеку, куда попал даже «Вестник Европы»[5]

В другом месте автор воспоминаний более подробно рассказал о гимназической библиотеке: «Он (директор Л.Л. Марков[6]. – *М.К.*) организовал при гимназии библиотеку-читальню. Стены ее украсили **портреты общественных деятелей. Здесь были,** между прочим, **и Белинский, и Добролюбов. Произведения последнего допущены не были** (выделено везде мной. – *М.К.*). Их нам пришлось доставать на стороне».[7] Намек А. Михайлова легко понять. Запрещенные негласно произведения Чернышевского и Добролюбова, ряд журналов, также «нерекомендованных» для юношей, гимназисты, как свидетельствует сам Л.Л. Марков, доставали в общественной библиотеке, как раз когда директором был Герман Лопатин. Но наш знаменитый земляк не ограничивался тем, что допускал юных читателей к библиотечным фондам – он создал нелегальный кружок из студентов, исключенных из университетов за участие в «беспорядках». Полицейский пристав, часто посещавший библиотеку, в своем донесении сообщил, что видел в ней высланных студентов Динникова (Н.Я. Динника. – *М.К.*) и Миловидова.

Участник «Процесса 21-го» (1887) вместе с Лопатиным Макар Попов (не путать со ставропольским банкиром Макаром Поповым) был сослан в конце XIX века в Ставрополь, познакомился с бывшими члена-

ми кружка Лопатина. О широкой деятельности Лопатина среди молодежи Адриан Михайлов знал: «Он вел большие знакомства, имел большое влияние»... К сожалению, о библиотечном кружке нет подробных сведений. Ставрополец Павел Борнуковский в беседе с Макаром Поповым вспоминал, что Лопатин развивал своих молодых читателей, на многое им открыл глаза... Кружок существовал сравнительно недолго. Герман Александрович опасался, что его письмо может попасть в «чужие» руки. И оказалось, что боялся он не напрасно... Михаила Негрескула уже в ноябре 1869 года арестовали по «Нечаевскому делу», письмо Лопатина перехватили жандармы и узнали, что сосланный вознамерился бежать из Ставрополя.

Из Петербурга прибыла телеграмма с приказом взять Лопатина под стражу. Его арестовали, даже не поставив в известность губернатора Г.К. Властова, заключили в гарнизонную гауптвахту (находилась рядом с современным мемориальным комплексом «Крепостная стена»). Однако через несколько дней Герман Лопатин бежал среди бела дня. Переоделся казаком, купил лошадь и верхом добрался до Ростова-на-Дону, где уже действовала железная дорога... Узнав в столице, что известный философ и общественный деятель Петр Лавров томится в вологодском городке Кадникове, Герман Александрович тайно увозит ссыльного (1870), потом оба они эмигрируют в Париж... После Лопатин только однажды посещает Ставрополь, тайно и ненадолго... Еще до побега Лопатина в наш город прибыл сосланный его младший брат Всеволод (1847–1917) и целая группа «опальных» студентов. Ставрополь надолго становился прибежищем изгнанников.

«Кружковцы» Лопатина не стали вольнодумцами. К примеру, Николай Яковлевич Динник (1847–1917), сын чиновника Якова Дынника (так он значится в документах), пробыл в ссылке относительно недолго. Он получил прощение, был восстановлен в университете, окончил курс наук и вернулся в Ставрополь навсегда. Преподавал «естественную историю» в Ольгинской и Александровской женских гимназиях. Свободное время он посвящал науке. В воскресенье отправлялся на охоту... Приехав домой из собора из-под венца с молодой женой, он, оставив любимую дома, отправился на охоту... А летом, во время долгих вакаций совершал путешествия по Кавказу. Специализация его исследований была необыкновенно широка: орография (описание рельефа), зоология, ботаника, именно флористика, гляциология (изучение ледников). Его статьи – во многих газетах. Хребты и скалы он изучает пешком. Многое напоминает о нем, в том числе – гора Динника в районе Архыза, в хребте Абишира–Ахуба...

Миловидов, о котором пишет полицейский, – это не Владимир, известный в будущем ставропольский педагог (1847–1912), а его брат Михаил, позже также возвращенный в университет. Он получил диплом лекаря и стал военным врачом; также отошел от общественного движения. Некоторые гимназисты, по-видимому, лично не знакомые с Лопатиным, вошли в историю: народовольцы Адриан Михайлов (1853–1929), Михаил Фроленко (1849–1939).

А вот Яков Васильевич Абрамов (1853–1906), известный публицист, общественный деятель, возможно, лично был знаком с Лопатиным. О его детстве, юности известно немногое... Правда, в газете «Ставропольские губернские ведомости» промелькнуло объявление о том, что некий мещанин Абрамов продает дом на первой Воробьевской улице (верхняя часть улицы Дзержинского). Яков поступил в Ставропольскую классическую гимназию (дата неизвестна). Вот что пишет профессор С. Венгеров, со слов Я.В. Абрамова, в своем «Словаре российских писателей»[8]: «Гимназист поссорился со своим начальством и в шестом классе перешел (был вынужден перейти?) в духовную семинарию». Причина, по которой Абрамов вынужден был оставить гимназию, до сих пор не установлена. В Государственном архиве Ставропольского края, в жандармском фонде (188), опись 35, дело № 33, лист 210, хранится анонимное письмо от 1901 года, где есть такие строки: «В 70-х годах (XIX века. – *М.К.*) оно (тайное общество) **начало издавать журнал «Люцифер»** (выделено мной. – *М.К.*). О направлении и содержании его статей можно судить по тому обстоятельству, что литературные силы, принимавшие в нем участие, подписывались вымышленными именами из опасения ответственности. Так, **Петр Добротин** (выделено мной. – *М.К.*) писал под псевдонимом граф Парижский. Также принимал в нем участие **Я.В. Абрамов**, который с 70-х годов **пописывает до днесь в «Земле и воле»**, отлучаясь временами в Петербург». Тут существенная ошибка: «Земля и воля» – орган народовольцев, выходил с 25 октября 1878 года до 1 ноября 1879 года, в 1901 году не выходил. Отметим, что никаких доказательств существования «Люцифера» нет. Гимназист Петр Добротин окончил курс наук гимназии в 1878 году, о чем он писал в «Люцифере», неизвестно...

Абрамов закончил семинарию в 1877 году и поступил в Медико-хирургическую академию. Жизнь в столице значительно изменилась за полтора десятилетия, с тех пор как в нее приехал Герман Лопатин. В 1862 году – майские пожары в Петербурге, а затем арест Чернышевского и временное запрещение «Современника». Все эти события означали **конец первой революционной ситуации** (так названной В.И. Лениным), которую надо было бы назвать общественным подъемом.

Один из революционных кружков студентов, существовавший в это время, **«Земля и воля»**, историки называют его «Первой Землей и Волей». Кружок существовал с 1861 года, самораспустился в 1864 году. Выстрел Каракозова 6 апреля 1866 года, разгром кружков Ишутина и Худякова, о которых уже говорилось, а также попытка Лопатина и Волховского создать «Рублевое общество» – важные этапы в развитии общественного и революционного движения.

К концу 60-х годов вновь можно наблюдать первые признаки нового общественного движения. Прогрессивный мыслитель Петр Лавров, о котором уже упоминалось, в 1868–1869 годах издал «Исторические письма», в которых призывал образованную молодежь «отдать долг народу». Его призыв был услышан. Студенты и курсистки (студентки высших женских курсов) готовятся изучать народную жизнь, учить неграмотных, вести с крестьянами беседы, а затем – революционную агитацию. Весной 1874 года прогрессивная молодежь поехала в села, на Поволжье, близ столиц, в Псковскую и ряд центральных областей.

Народники, так называли себя участники «хождения в народ», вели агитацию среди крестьян. Наш земляк – народник Адриан Михайлов – вместе со своими друзьями взял в аренду землю на Кубани. Михайлов вместе со своим компаньоном пахал землю, ночуя в поле, вел агитацию. Убедить напарника в необходимости «бунтовать» ему не удалось…Такая же неудача постигла и все движение. Крестьяне не доверяли «городским», понятие о «социализме» было им чуждо, их более интересовали земля, «прирезки» к участку, сельскохозяйственный инвентарь, возможность собрать хороший урожай… За пределы своих хозяйственных забот редко когда выходили…

Народники-романтики надеялись найти в деревнях мужиков смелых, независимых, настоящих наследников Разина и Пугачева, готовых немедленно восстать против помещиков, даже против царя… Ведь один из главных идеологов народничества Михаил Бакунин (1814–1876), когда-то друг Белинского и Станкевича, доказывал, что русский крестьянин – прирожденный революционер… Забитые и неграмотные мужики нередко даже задерживали агитаторов и выдавали их полиции… Народники создавали кружки самообразования для рабочих в городах. Рабочие охотно в них занимались, но ехать в деревни, чтобы вести агитацию, не соглашалась. В ответ на «хождение в народ» правительство развернуло широкую кампанию террора. В 1874 году полиция арестовала более 1,5 тысяч человек, к лету 1875 года еще около тысячи студентов.

В 1875–1876 годах «хождение в народ», постепенно затухая, еще продолжалось. Но неудача стала очевидной – «движение обескровилось». Даже обер-прокурор Синода, будущий известный реакционер, удивлялся жестокости и бесцеремонности жандармов, которые повели это страшное дело по целой России, запутывали, раздували, разветвляли, **нахватали по невежеству, по низкому усердию множество людей совершенно даром**. Жандармы явно перестарались, число вообще невинных, непричастных было значительно. Следствие велось крайне жестоко: 93 человека покончили самоубийством, некоторые обвиняемые сошли с ума. Состоялось около 80 процессов, из них наиболее крупные – «процесс 183-х», или «большой процесс», и «процесс 50-ти». Часть представших перед судом пришлось оправдать. Но в целом приговоры оказались суровыми: многолетняя каторга, заключение в крепостные казематы, ссылка в места «весьма отдаленные» и места «не столь отдаленные», что считалось наказанием легким. Ссылка на родину уже не сопровождалась, как например, для Лопатина, представлением места для службы.

Неудача «хождения в народ» привела к необходимости поиска новых форм борьбы. В 1876 году центр движения – общество «Земля и воля» (новая «Земля и воля»). Землевольцы считали нужным заменить «летучую агитацию» длительным оседанием, поселением в деревнях для подготовки народа к революции… Товарищи-народники приняли Адриана Михайлова в головной (центральный) кружок «Земля и воля», а затем решил он отправиться в революционное поселение. Образовавшие его землевольцы-интеллигенты приезжали в деревню работать учителями, фельдшерами, волостными писарями. «Центром революционных поселений было назначено Поволжье, – вспоминает Адриан Михайлов, – с его революционным прошлым и отрицательным отношением к тогдашнему строю его населения, раскольников, крайних толков. Часть членов организации была уже там. Через несколько дней уехал и я».[9]

И «революционный поселенец» Адриан Михайлов, недавний студент-медик «с котомкой за плечами, в которой был самый необходимый кузнечный инструмент, обошел <…> правый и левый берег Волги в поисках ударного места, где население **готово к выступлению** (выделено мной. – *М.К.*). Выбор остановился на окрестностях Хвалынска, – пишет он. – Довольно значительная **деревня Елшанка предоставила мне бесплатно пустующую кузницу** (выделено мной. – *М.К.*), кузнеца давно уже не было, а нужда в нем была большая». «Закупил я там (в Хвалынске. – *М.К.*) уголь, железо и <…> привез все это в Елшанку. На следующий же день начал работу. Работы оказалось много… »[10] И Михайлов подробно описывает, как он вживался в деревенский быт и что он оказался нужным и востребованным. «До моего появления за всякими деревенскими кузнечными поделками ходили или ездили в город, теперь пошли ко мне. И у каждого самое неотложное дело. Каждому нужно сделать «сегодня же» <…>. Обидеть кого-нибудь, отложить на завтра было нельзя, и я долгий летний день (май, июнь, июль) **пробыл здесь, работал от зари до зари** (выделено мной. – *М.К.*)».[11]

Крестьяне все были самой крайней секты: «федосеевский толк», близкий к странникам, но как-то население не оказалось готовым к выступлению, к восстанию. Социализм никого не интересовал, а только кузнечные изделия… Трудоголик Михайлов не выдержал непосильного труда. «Надорвался парень», – сказал навестивший меня старик-начетчик, с которым я успел подружиться».[12] Самый «идейный сектант» тоже ничего не думал о революции. «И я уехал в Москву», – заключил свой рассказ о жизни в «революционном поселении» Михайлов…

Абрамов, поступивший в Медико-хирургическую академию, оказался после несколько сонного Ставрополя в кипящем Петербурге. Студенты обычно группировались, создавая землячества, и нередко совместно изучали нелегальную литературу. Так наш земляк Адриан Михайлов, поступивший в 1873 году в Московский университет в намерении стать врачом, вспоминает, что его друзья-первокурсники начали с изучения трудов австрийского экономиста Милля и статьи о нем Чернышевского, затем перешли к «Капиталу», перевод которого на русский язык в свое время начинал Герман Лопатин. Читал Михайлов с друзьями и работу Михаила Бакунина «Государственность и анархия», ряд других запрещенных авторов. Чтение студентами запрещенной литературы было явлением массовым. Юноши обменивались такими книгами, а это жандармы считали «распространением» запрещенной литературы.

В 1878 году Якова Абрамова привлекли к делу о распространении книг преступного содержания. Из Медико-хирургической академии его исключили, объявили «высочайший выговор» и отправили на родину в Ставрополь, что считалось самым легким наказанием.[13] Над Яковом Васильевичем установили негласный полицейский надзор. А он, приехав в Ставрополь, сблизился с сыновьями интендантского офицера Николаем и Владимиром Гомолицкими**.** Старший, Николай, учился в выпускном классе, Владимир был младше, окончил гимназию в 1884 году. К Гомолицким примкнули гимназисты-выпускники Николай Пламеневский, Василий Полюхов, а также Петр Добротин, получивший аттестат еще в 1878 году. Сначала кружок считался литературным, а затем под влиянием Н.И. Гомолицкого он стал приобретать антиправительственный характер. Гимназисты получали народническую газету «Земля и воля».

В 1879 году Абрамов женился на Людмиле Николаевне Благонравовой, дочери священника. Родилась Людмила в 1858 году, но где, пока неизвестно. Слушательница Бестужевских курсов в Петербурге, одного из первых высших женских учебных заведений. В сентябре 1879 года Людмила Николаевна находилась в Ставрополе, причем при обыске у нее был найден чемодан с запрещенной литературой. Дознание об этой литературе возникло 23 августа 1880 года, и Абрамова по повелению Александра II подвергли домашнему аресту на шесть недель и негласному полицейскому надзору на две недели. Вскоре, в декабре 1880 года, Абрамов получил разрешение жить в Петербурге (секретный надзор с него не сняли) и начал заниматься журналистикой. Он печатает в журнале «Слово» (1881, № 2) статью с характерным заголовком «Среди сектантов». В биографической статье в «Критико-биографическом словаре» профессора С.А. Венгерова говорится, что Яков Васильевич еще в гимназии корреспондировал в газеты. Но перечень этих материалов исследователям неизвестен…

…А в это время в столице происходили сенсационные события. Осенью 1878 года полиция разгромила центральный петербургский кружок «Земля и воля». К концу этого же года в результате масштабных преследований полицейские и жандармы ликвидировали почти все революционные поселения, их **осталось всего три.** Правительство объявило своим противникам **«белый террор»**. Александр II разделил страну между несколькими генерал-губернаторами и предоставил им фактически неограниченные полномочия, в том числе право утверждать (конфирмовать) смертные приговоры. Такое «экстралегальное» распоряжение, как выразился сам Александр II, привело к резкому росту произвола. Так, назначенный на должность одесского генерал-губернатора герой обороны Севастополя в Крымскую войну (1854–1855) генерал Тотлебен утвердил каторгу для несовершеннолетней девушки.

В ответ разразился **«красный террор»**. Петербургский градоначальник Трепов во время посещения тюрьмы разъярился из-за того, что арестованный студент Емельянов не снял перед ним головной убор, и приказал его высечь. Вера Засулич добилась приема у Трепова 24 января 1878 года и тяжело ранила его. Суд присяжных оправдал Засулич. Наш земляк Григорий Попко (он родился в Кубанской области Краснодарского края, затем окончил курс в Ставропольской духовной семинарии) в мае 1878 года убил в Киеве жандармского полковника Гейкинга, который добился высылки революционно настроенных студентов. Уже упомянутый Адриан Михайлов, один из руководителей «Земли и воли», участвовал в покушении на «самого» шефа жандармов генерала Мезенцева. Народник Сергей Кравчинский (Степняк-Кравчинский) заколол его кинжалом 4 августа 1878 года среди бела дня в самом центре Петербурга. Затем Кравчинский, сопровождавший его Баранников, скрываются на экипаже, запряженном рысаком Варваром, которым правит Адриан Михайлов. Эти террористические акты вызвали споры среди народников. Летом «Земля и воля» окончательно распалась на «Народную волю» и «Черный передел».

Программа «Народной воли» определяла цели ее членов: «По основным своим убеждениям мы социалисты и народники». Главными методами борьбы народовольцы по-прежнему считали агитацию и пропаганду среди крестьянства, но начали думать и о рабочих. Постепенно все большую роль играл террор. Организовались тайные группы, они подчинялись единому руководящему центру – «Исполнительному комитету». Групп насчитывалось около 50, и в их числе рабочие, студенческие, военные.

Большое влияние на их взгляды оказали взгляды русского «бланкиста» Петра Ткачева (1844–1885). Петр Никитич Ткачев считал, что сравнительно небольшая глубоко законспирированная группа заговорщиков может взять власть. Ткачев утверждал, что «царизм висит в воздухе». Это было явной утопией – огромная армия и развитый аппарат полиции защищали самодержавие! Однако без сплоченного ядра подполь-

щиков даже и думать о революции было бы невозможно. Но это ядро профессиональных революционеров **должно опираться на широкие круги сочувствующих.** Большевики сумели создать такую партию, что и стало одной из причин их победы в октябре 1917 года.

Герой повести М.А. Булгакова «Собачье сердце» профессор Преображенский, который был против террора **любой расцветки**: белого, красного или коричневого (кстати, о коричневом, фашистском, нацистском в 20-х годах XX века, когда писал свою повесть Булгаков, еще не знали), несомненно, был прав.

1 марта 1881 года народовольцы убили императора Александра II, который из Освободителя превратился в Вешателя. Революции, как ожидали народовольцы, не произошло. Напротив, они оказались в изоляции. Непосредственных участников покушения казнили. Многих революционеров присудили к длительным срокам заключения, среди них – наших земляков Адриана Михайлова, Михаила Фроленко. Позже Герман Лопатин пытался восстановить «Народную волю», но оказался в Шлиссельбургской крепости, причем пожизненно.

Отколовшаяся часть народников – «Черный передел», которая считала, что не нужно ускорять ход истории, предпочитала мирные способы борьбы, пропаганду, существовала недолго. Большинство вскоре арестовали, а четверо – Г. Плеханов, В. Засулич, Л. Дейч и Я. Стефанович – эмигрировали и в Женеве (Швейцария) создали группу «Освобождения труда» (1883 году), она стала первой марксистской организацией русских революционеров.

Народники-террористы и пропагандисты не исчерпали все движение. Ряд известных публицистов – Николай Михайловский, Василий Воронцов и Сергей Кривенко – стояли за эволюционный путь развития. Михайловский печатал свои статьи в журналах «Отечественные записки» и «Русское богатство». С 1876 года либеральные народники получили возможность высказаться в газете «Неделя».

Яков Абрамов, по сути дела, примкнул к либеральному народничеству и стал пропагандировать «теорию малых дел», которую прозвали «абрамовщиной». Либеральные народники считали, что условий для развития в России нет. Осенью 1879 года Михайловский напечатал статью, в ней он высказывает мнение, что капитализм насаждается сверху, «под горностаевой царской порфирой». Эти журналисты во многом опирались на взгляды Герцена и Чернышевского, считавших, что Россия может перейти к социализму через крестьянскую общину.

Абрамов занял особую позицию, обратив внимание на сектантов. «С 1881 года начал деятельно работать в «Слове», «Устоях», «Деле» и «Отечественных записках», – читаем в «Энциклопедическом словаре русского библиографического института «Гранат». – Он поместил в них ряд статей под псевдонимом «Федосеевец», касающихся различных сторон народной жизни, и особенно раскольников, в которых он видит людей, «ищущих правды», богато одаренных, с несколько болезненным идеализмом, который при мягком отношении не уходил бы в фанатизм и мистицизм, а влил бы здоровую живую струю в народную жизнь»[14].

А в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона»[15] находим характеристику Абрамова: «Автор многих статей о сектантах». Вот, к примеру, «Программа вопросов для собирания сведений о сектантах» («Слово», 1881 год, № 4 и 5), «Духоборцы» («Отечественные записки», 1883, № 1), «Хлудовщина» (там же, 1882, № 5), «Ищущий правды» (там же, № 9). Немало этнографических материалов, например, «Кавказские горцы» («Устои», 1884, № 4), «Сванетия и сваны» («Наблюдатель», № 5). Конечно, статьи о сектантах и раскольниках теперь не столь актуальны, но очерки о сословиях могут представлять интерес, скажем, «Забытое сословие (мещанство)» («Наблюдатель», 1885, № 1). Богатое литературное и публицистическое наследие Я.В. Абрамова нуждается в обобщении и изучении. В биобиблиографическом словаре «Деятели революционного движения» обобщен поздний период деятельности Я.В. Абрамова. «В начале 1890-х годов отошел от публицистики и писал по преимуществу, по вопросам образования. Состоял редактором газеты «Северный Кавказ». Умер в Ставрополе Кавказском в 1906 году»[16].

Хотя сейчас обширное творчество Я.В. Абрамова малоизвестно, оно по своему духу прогрессивно. Идейно примыкая к кругу либерального народнического публициста Николая Михайловского, Абрамов в конце жизни отходит от теории малых дел. Прогресс, как считал Николай Константинович и его последователи, состоит прежде всего в том, чтобы устранить отрицательные последствия крепостного права: крестьянское малоземелье, кабальные условия найма сельхозрабочих. Он требует уничтожить все то, что «безнравственно, несправедливо, вредно, неразумно».

Придавая огромное значение «тихой работе в земствах», Абрамов, создав «теорию малых дел», надеялся, что «малые дела» в будущем перерастут в «большие». Он добивался развития просвещения и здравоохранения. Яков Абрамов не дождался введения земства на Ставрополье, оно стало действовать лишь в 1913 году (вспомним, что в центральных губерниях оно введено в 1864 году). Хотя Абрамов непосредственно не занимался «тихой земской работой», но являлся активным общественным деятелем, в конце XIX и в начале XX века активно участвовал в заседаниях Ставропольской городской думы, будучи ее гласным (депутатом). После его смерти открылась Абрамовская начальная школа.

Либеральные народники, и Абрамов в их числе, отвергали революцию в принципе, поклонялись эволюции. Уповая на «разумный прогресс» и на правительство, которое будет проводить реформы в пользу народа, к чему пришли сторонники «теории малых дел», да и сам Абрамов, скажем, в области просвещения?

Результаты единственной в дореволюционное время переписи населения, проведенной 28 января 1897 года, показывают, насколько **низок был уровень грамотности** в России. Интересные данные приводит реферат В. Ивановича «Из итогов первой русской всеобщей переписи», опубликованный в журнале «Вестник воспитания» (1906, январь, №1, с. 38–55). В целом по России насчитывалось (в 1897 году) **125 миллионов 681 тысяча человек, из них грамотных (умеющих читать) лишь 26 миллионов 570 тысяч, то есть 21%** (округлено). Таким образом, **почти четыре пятых россиян не умели ни читать, ни писать!**

Среди мужчин грамотных 29%, а среди женщин – лишь 13%. А по возрастным группам самые грамотные, как и следует ожидать, **школьники и молодежь, 10–19 лет. Грамотных мальчиков и юношей 45,5%, а девочек и девушек лишь 22%.** Как видим, в самой высокой по образованию группе детей, по современным понятиям – школьников, среди мальчиков и юношей **неграмотных более половины**, а девочек и девушек 78 процентов, **почти четыре пятых**!

Наивысший рост грамотности в расчете на десятилетие – 6,7% для мужчин и 3,8% для женщин, **в среднем за пореформенный период – 4,1% среди мужчин и 3,8% для женщин.** Автор подсчитал, что для достижения всеобщей грамотности **среди мужчин нужно 180 лет, а для женщин более 280 лет!** Целая эпоха!

Кавказ среди территорий России занимает среднее место: грамотных мужчин здесь 18%, а женщин 6,0%; в городах умеющих читать: мужчин 42%, женщин 22%. В целом по городам России в наиболее грамотной возрастной группе 10–19-летних грамотных 72%.

По городам неграмотных мужчин почти 40%, а женщин даже 64%!

Наиболее грамотной губернией являлась Эстляндская (теперь республика Эстония) – 79,9%, а **в эстонских городах даже 81,3%.** Еще две прибалтийские губернии, Лифляндская и Курляндская (теперь республика Латвия), отставали незначительно, в интервале 70–73%.

Петербург отставал от Прибалтики: грамотных в нем 63%, а в Москве лишь 56%. В реферате российские губернии разделены на несколько групп, после Прибалтики и Польши наилучшее положении занимает среди наших соседей Черноморская (побережье Черного моря Краснодарского края).

А Ставропольская губерния – в предпоследней крупной группе из 37 губерний с уровнем грамотности от 10 до 20%. В ней же наши соседи – Кубанская и Терская казачьи области.

Вычисляя «срок достижения всеобщей грамотности при прежнем темпе ее прироста» на Кавказе, автор называет его: для мужчин 430 лет, а для женщин – 1180 лет! Автор реферата подсчитал, что в 1897 году «три четверти детей остаются у нас (в России. – ред.) за порогом народной школы» (с. 48). Чтобы «огромные кадры безграмотных детей ими не пополнялись, предполагается создать систему «начального образования в элементарных и высших народных школах **с общей продолжительностью учебного курса в восемь лет** (выделено мной. – *М.К.*)».

Находим мы и практические предложения: «…должно быть открыто еще **300 тысяч новых школ** (выделено мной. – *М.К.*), в которых могли бы найти себе место более **17 миллионов ныне безграмотных детей** школьного возраста». Есть в реферате сумма годового расхода на эти необходимые новые школы – 180 миллионов рублей.

В 1905 году под редакцией Н.А. Тройницкого опубликованы итоги переписи, изданные Центральным статистическим комитетом министерства внутренних дел. Среди них выпуск 67-й, посвященный Ставропольской губернии. В нем указано, что в нашей губернии в 1897 году проживало 873 тысячи человек, а в самом Ставрополе – 41 600 жителей. В губернии существовало всего два города: Ставрополь и небольшой, заштатный (не уездный) Святой Крест (теперь Буденновск).

Сельское население на Ставрополье составляло подавляющее большинство – 91,5%, а городское лишь 9,5%**. Грамотность обоего пола по всей губернии – 14% (сельского – 13%, а городского почти 30%)**. По-видимому, распространение грамотности в Святом Кресте было невелико. В Ставрополе грамотность достигла довольно высокого по тем временам уровня. **Мужчин, умеющих читать и писать, 53%, а женщин – 34%.** В губернском городе сравнительно много людей, имеющих образование выше элементарного: **мужчин 21%, а женщин даже 31%** (из числа грамотных). Объясняется такой высокий процент образованных женщин тем, что в городе действуют две женские гимназии. Ежегодно их оканчивали 50–60 выпускниц. Выбор профессий для девушек был узок: при Ольгинской гимназии существовал восьмой педагогический класс, выпускавший народных учительниц. Позже открылись бухгалтерские курсы при этой же гимназии… Выпускницам учиться дальше было негде. Ехать в столицы поступать на высшие женские курсы решались немногие…

В этом же выпуске указан уровень грамотности разных возрастных групп. Наивысший – у детей 10–14 лет в городах. Грамотных мальчиков здесь 60%, а девочек – 39%. В селах самый высокий уровень в возрасте 15–19 лет – 60% у мальчиков, а среди девочек – 41%.

Можно подсчитать, что **в Ставрополе грамотные составляют 61% детей школьного возраста. Не учится 2953 потенциальных ученика.**

Хотя уровень грамотности после отмены крепостного права в 1861 году значительно вырос, но **двукратный рост был совершенно недостаточен**.

Вот чем окончилась «теория малых дел», но польза от «тихой работы в земствах» была. Ставрополье, где земство ввели с большим опозданием, отставало от центральных губерний в развитии образования, в основном подмосковных и промышленных, но мало отличалось от Черноземного центра…

«Опальные», по составу своему, неоднородны. Ссыльных польских дворян как-то неловко назвать «опальными», рядом и сын ставропольского мещанина Абрамов, и юрист Прозрителев. Всех их сближает, что вообще-то они люди свободные, «немундирные» – отставной казачий офицер, публицист и адвокат. Независимые, не состоящие на официальной службе и даже в тех условиях почти тотальной полицейской слежки могли, до известной степени не оглядываясь на начальство, выражать свои взгляды. Заметим еще одну особенность: опальные ссыльные, вырванные из родной среды, чтобы изолироваться от родственников и единомышленников, не только обживаются на новом месте, привыкают к новому окружению, но **становятся видными общественными деятелями**.

Присяжного поверенного (адвоката) Григория Николаевича Прозрителева (1849–1933) в прямом смысле ссыльным, «опальным» в полной мере назвать трудно, но он был народником и долго состоял под негласным полицейским надзором. В Ставрополь его никто не ссылал. Он наш земляк, местный. Правда, его отец вскоре был переведен в Ейск, где служил судебным приставом. В это время сгорело здание Екатеринодарской гимназии, и ее перевели в Ейск. Директором гимназии в Ейске являлся В.Д. Терзиев, бывший инспектор Ставропольской. Его обвинили в казнокрадстве, но попечителем Кавказского учебного округа стал Я.М. Неверов, его директор. Преподавание в Ейской гимназии велось неплохо, по мнению словесника М.В. Краснова (около 1841–1915), вскоре переехавшего в Ставрополь и ставшего видным просветителем.

Прозрителев поступил в Московский университет. Это было время «хождения в народ». Студент-юрист Прозрителев в село не пошел, но в университете шумели молодые люди, обсуждали запрещенные книги. В аудиториях и коридорах о многом говорить было опасно, собирались на квартирах, постепенно отбирались единомышленники, создавались содружества (кружок все же предполагает постоянный состав и некоторое единое направление, а организация – обязательные для всех устав и программу).

В 1873 году окончен университет, заветный диплом получен. Но в руки полиции попалось несколько молодых людей – участников кружка Долгушина. Один из них, юнкер Гамов, показал, что Прозрителев посещал «тайные собрания». Однако Григорий Николаевич уже далеко: сразу после окончания университета он уехал за границу с семьей тайного советника Свечина, домашнего учителя его детей («Деятели революционного движения в России. Биобиблиографический словарь от предшественников декабристов до падения царизма»[17]). В Россию Прозрителев приехал в конце 1876 года и уже в январе 1877 года привлечен к следствию по обвинению в том, что оставил на хранение смотрителю (заведующему) училищем станицы Уманской Кубанской области (Краснодарский край) запрещенную литературу. Но в это время дела о хранении, о распространении нелегальной литературы как бы отошли на задний план. Жандармы посчитали, что улик против Прозрителева недостаточно, и в январе 1879 года дело о нем было прекращено.

Неугомонный пропагандист скрылся и решил создать «революционное поселение». Вместе с Александрой Николаевной Можаровой, урожденной фон Миних (около 1847–1920), открыл мелочную лавку в деревне под Москвой, а затем вместе с ней уезжает на Кавказ в Моздок, потом во Владикавказ и, наконец, поселяется в станице Старопавловской Терской области (теперь Кировский район Ставропольского края). Но просветительская работа Прозрителева и Можаровой среди терских казаков продолжается недолго. 25 июля 1880 года их арестовывают около Ставрополя. У Прозрителева найден паспорт на имя крестьянина Никонова. Прозрителев объяснил, что жил по подложному паспорту потому, что не мог найти себе работу, как привлеченный к дознанию по государственному преступлению. Дело передали в Екатеринодарский окружной суд. К счастью, по повелению царя 24 декабря 1880 года дело было прекращено.

В это время страну потрясла настоящая «охота» народовольцев на царя. Они совершили семь покушений на Александра II, и 1 марта 1881 года член «Народной воли» Гриневицкий смертельно ранил императора и… себя.

Освобожденный от судебного преследования, Григорий Николаевич оставался под полицейским надзором до 1897 года. С 10 сентября 1881 года, как свидетельствует газета «Ставропольские губернские ведомости» от 19 сентября №38, «действительный студент императорского Московского университета Григорий Прозрителев определяется кандидатом на судебные должности при Ставропольском окружном суде». А с 1 октября 1882 года «проживающему в городе Ставрополе Григорию Николаевичу Прозрителеву, по постановлению общего собрания отделений суда, постановленному **1 сентября сего года, дозволено быть частным поверенным по чужим делам, производящимся в том суде**, в чем выдано ему свидетельство на 2-ю половину текущего года». Новый присяжный поверенный (адвокат) стал активным общественным деятелем. Среди обществ наиболее известным стало «Общество для распространения грамотности в городе Ставрополе», деятельность которого в начале XX века распространилась на всю губернию.

В 1884 году Прозрителев добился разрешения выпускать частную газету. Она начала выходить в ноябре 1884 года под названием **«Северный Кавказ»**. Позже ее много лет редактировал адвокат Дмитрий Евсеев, в 90-х годах в ней сотрудничал первый осетинский поэт и драматург и публицист Коста Хетагуров

(в 70-х годах XIX века он учился в Ставропольской мужской гимназии). Участвовал в газете также Яков Абрамов. Газету запретили в 1906 году.

«Общество грамотности» в Ставрополе способствовало открытию двух начальных школ: одну на Софиевской площади (теперь район Медицинской академии), вторую на Варваринской площади (около средней школы №3). Велась лекционная работа, действовали воскресные школы, проводились юбилейные вечера.

26 мая 1898 года состоялся юбилейный вечер в память 50-летия со дня смерти В.Г. Белинского. За полвека споров утвердился авторитет великого критика. На этом литературно-музыкальном вечере и выступил с «Историческом очерком» Г.Н. Прозрителев. В нем, как сказано в газете «Северный Кавказ» от 26 мая (№62), докладчик «выяснил важное значение публицистической критики» Белинского «на рост общественного сознания». На вечере было решено создать новое просветительское учреждение. 19 июля 1898 года состоялось собрание «Общества грамотности», на котором обсуждалось предложение открыть библиотеку-читальню имени В.Г. Белинского («Северный Кавказ», 18 июня, №64). В отчете комитета общества («Северный Кавказ», 9 июля (№80) сказано, что на библиотеку-читальню В.Г. Белинского выделено 494 рубля 54 копейки. А в газете от 18 июля №84 сообщено, что «член комитета Г.Н. Прозрителев уступает под библиотеку свой дом на 2-ой Воробьевке» (теперь улица Морозова). Дом большой, в нем можно разместить не только читальный зал, но и книгохранилище, квартиру заведующей. Целый год библиотека имени Белинского находилась в доме Прозрителева, а в 1912 году переехала в небольшое здание во дворе Народного дома (теперь Краевой театр кукол).

Прозрителев большое внимание уделял краеведению, и особенно архивам, отношение к документам губернских учреждений в Ставрополе было не очень бережным. Ведомственные архивы хранились в тесных, холодных каморках. Многое уничтожалось, сжигалось или сдавалось в макулатуру, даже по служебным инструкциям. К тому же комиссии, которые выбраковывали документы, подлежащие уничтожению, тоже достаточно слабо разбирались в архивоведении. С горечью приходится отмечать, что в 30–40-х годах XX века, когда архивы состояли в ведении НКВД, «архивоведы в штатском» решили уничтожить громадный массив документов. К примеру, от дореволюционного фонда Ставропольского губернского правления осталась лишь... треть. Впрочем, сами жандармы не очень бережно относились к хранению старых документов: в начале XX века списали в макулатуру десятки пудов ценных источников XIX века. Прозрителев встречал на базарах важные документы, из них торговцы делали кулечки для конфет.

Став присяжным поверенным (адвокатом), Г.Н. Прозрителев вошел в среду ставропольской интеллигенции. В 70–80 годах XX века ее составляли, в основном, люди приезжие. Так, видную роль играл доктор Аполлон Пупарев, друг семьи Лопатиных с 50-х годов, когда Герман еще учился в гимназии. Кстати, в 1868 году его отца Александра Никоноровича перевели из Тифлиса (Тбилиси) в Ставрополь. Он возглавил Казенную палату, занимался и общественной деятельностью, будучи товарищем (заместителем) <управляющего> Комитетом Красного Креста, как раз во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов, приведшей к освобождению Болгарии от турецкого ига.

При Александре III Г.Н. Прозрителев занял позицию активного сопротивления реакции. Нет, он отошел от концепции «Земли и воли», не собирался вести агитацию среди крестьян и казаков за «черный передел». Он тем более не разделял установку на террор, не участвовал в подготовке покушения на царя... Прозрителев пошел другим путем. Газета «Северный Кавказ», которую он основал в 1884, до сих пор остается золотой жилой для краеведов. Материалы о развитии сельского хозяйства, промышленности, просвещения, медицины, культуры – все можно черпать с пожелтевших страниц «Северного Кавказа». Журналисты проводили прогрессивную точку зрения на происходящее. Может быть, в недалеком будущем выйдут в свет хрестоматии «Северного Кавказа», книги статей о развитии экономики, образования, культуры...

Одним из учреждений, объединяющих именно творческую интеллигенцию, был Губернский статистический комитет. Его значение намного возросло, когда его секретарем стал И.В. Бентковский. Г.Н. Прозрителев, будучи адвокатом, уделял большое внимание документам, активно собирал архивные памятники, он находил их даже на рынках. Заведующие архивами губернских учреждений списывали «старые дела» на макулатуру. Десятки пудов бумаги шли на рынок на обертку или ... просто сжигались. К примеру, из фонда 1008, где хранятся жандармские документы, все относящиеся к XIX веку проданы в макулатуру. На уничтожение отправили несколько возов документов!

Соединяя адвокатскую деятельность с собиранием документов, Георгий Николаевич Прозрителев сблизился с активными интеллигентами, занимающимися общественной работой. В период «контрреформ» о политической деятельности, конечно, нельзя было и мечтать. Ни партий, ни общественных движений, разумеется, не было. Год от года возникали общества, в первую очередь, благотворительные, но также сельскохозяйственное, плодоводства, огородничества, пчеловодства или, например, защиты животных, Общества помощи бедным... Почти во всех обществах Прозрителев принимал активное участие, жертвовал порой немалые суммы. Голодовки были печальным, но нередким явлением в дореволюционной России. В 1886 году разразилась эпидемия тифа и холеры на Северном Кавказе. Прозрителев предложил создать комитет для борьбы с болезнями и голодом. Он организовал сбор пожертвований, и при его участии в колокольне Ка-

занского кафедрального собора открылась бесплатная столовая на 300 человек. Надо написать солидный фолиант, чтобы обобщить участие Григория Николаевича в обществах 80-90-х годов.

Вот яркие эпизоды из газеты «Северный Кавказ» за 1899 год. Особое внимание газета уделяет Обществу содействия воспитанию и защите детей, где Прозрителев был председателем правления. Так, в №2 за 5 января находим объявление, что правление этого общества со 2 января устраивает выставку... В этом же номере подробное описание. Выставка вызвала немалый интерес; 6 января ее посетило 100 человек... Подробная характеристика дана в №4 (от 9 января). И далее в №5 находим информацию, что 10 января на ней побывало 180 человек.

В № 28 (от 6 марта) опубликована заметка, излагающая цели общества. Председатель правления Г. Прозрителев заявляет, что оно принимает на себя защиту детей и несовершеннолетних от всякого рода незаконных действий. О таковых рекомендуется сообщать председателю и его товарищу (заместителю. – *М.К.*), директору частной гимназии А.Т. Первушиной.

В 1898 году состоялся литературно-музыкальный вечер памяти В.Г. Белинского. Отмечая 50-летие со дня смерти, присутствующие решили открыть новую общедоступную библиотеку имени великого критика. И вот в №31 (за 13 марта) напечатана информация, что в 7 часов вечера состоится общее собрание членов «Общества для содействия распространению народного образования в городе Ставрополе» об извещении губернатора об открытии библиотеки имени В.Г. Белинского; Комитет сделает доклад об ассигновании денег на выписку книг и другие расходы.

И вот в номере 54 от 8-го мая находим редакционную статью «Ставрополь, 8 мая», которая начинается фразой: «Завтра состоится торжество открытия общедоступной библиотеки имени В.Г. Белинского». Тут же – краткая история подготовки ее открытия. За короткое время собрано 700 рублей. Судейский чиновник Бучен передает в библиотеку почти три тысячи книг, полученных от умершего землевладельца Шумлянского.

В следующем номере №55 (11 мая) помещено сообщение о том, что библиотека открылась в доме Прозрителева на Гимназической улице (теперь Морозова). Георгий Николаевич передал свой дом бесплатно на год.

Неугомонный Прозрителев думал о расширении деятельности общества защиты детей. Общество сняло в аренду здание бывшего юнкерского училища (в 60-х годах XX века здание снесено, и на этом месте построен Дом книги – угол улиц Жукова и Дзержинского).

19 апреля 1899 года общество содействия воспитанию и защиты детей открыло площадку для детских игр. Дети с родителями или воспитателями посещали ее бесплатно.

В №64 от 1 июня – приглашение «всех желающих обучаться поварскому искусству». В здании юнкерского училища открылась образцовая кухня на 15 учениц.

В №82 от 13 июля помещено объявление о площадке для детских игр, которая открыта для всех, бесплатно. Тут же – извещение об образцовой кухне, где будут учить кулинарному искусству девочек из бедных семей. В этом же номере – обращение от правления общества защиты детей от необходимости учреждения детских приютов для «бесприютных», по-современному – беспризорных.

Из заметки в следующем номере 83 от 15 июля узнаем, что детскую площадку с 19 апреля до 1 июля посетило 2970 детей. Газета призывает поддержать молодое общество и дать «возможность уйти от уличной пыли и провести хотя бы часть дня в хороших условиях» (№83, от 15 июля).

И вот в №86 от 22 июля заметка с просьбой «пожертвовать или дать на время одну или две швейные машины в мастерскую швейного дела». Сообщается также, что в мастерской только две швейные машины, а учениц – 40. Заметку подписала казначей Л.А. Рослякова.

Прозрителев сплотил в «детском обществе» женский коллектив: кроме заместительницы А.Т. Первушиной и казначея Л.А. Росляковой, была еще и начальница Епархиального женского училища (женской гимназии духовного направления) Добромыслова.

Все эти многотрудные обязанности сочетались с постоянно присутствующим интересом к краеведению. Григорий Николаевич сотрудничал с Иосифом Бентковским. После смерти выдающегося знатока местной жизни в 1891 году он продолжает участвовать в работе губернского статистического комитета.

Революция 1905–1907 года в Ставрополе ограничилась митингами и демонстрациями. Малочисленность, слабость и распыленность противников самодержавия, неосознанность главной цели установления республики привели к половинчатым результатам. Основным событием было аграрное движение в 1906 году, когда крестьяне восточных районов пытались захватить частные земли, но были подавлены силой артиллерии. В Пятигорске произошло восстание гарнизона, но солдаты не выдвинули политических требований. Рабочие-железнодорожники Минеральных Вод создали вооруженную дружину. Все эти выступления потерпели поражения.

Все же в 1906 году революция привела к возникновению представительного органа – Государственной Думы. А с 1907 года произошло невиданное раньше ускоренное развитие экономики, особенно промышленности... Произошли прогрессивные изменения в области науки, культуры, просвещения. Еще не завершилась революция, в феврале 1905 Прозрителева избрали членом Ставропольского губернского ста-

тистического комитета. Значение этого учреждения в начале XX века возросло неизмеримо. Под редакцией Прозрителева вышло 10 томов «Сборника сведений о Северном Кавказе», ценнейший краеведческий сборник, не теряющий до сих пор своего значения.

Но статистикой значение его не ограничилось. Прозрителев думал о сохранении документов прошлого, и по его инициативе встал вопрос о создании Ставропольской ученой архивной комиссии (СУАК). Состоялись заседания о необходимости создания СУАК в Статистическом комитете, было послано ходатайство о создании архивной комиссии в МВД, и 30 ноября 1905 года получено разрешение. Комиссия функционировала до августа 1920 года. Почти бессменно руководил ею Прозрителев. Объять его деятельность можно лишь в объемистой книге: не только архивоведение, но и археология стала выжным направлением ее деятельности.

Один из ярких фактов найден в газете «Северокавказский край» №322 от 27 апреля 1912 года, где опубликована довольно обстоятельная заметка «К работам Ставропольской архивной комиссии»: «Найден архив, лежавший десятки лет в сарае при городской полиции, рядом с пожарными конюшнями». Заметим, что и теперь, спустя почти столетие, там же, на Крепостной горке, расположена пожарная часть… Конечно, пожарных конюшен давно нет, с довоенных времен. Вместо них – гараж пожарных машин… Где же найден архив? Громадный сарай этот – в 12 аршин высоты и 18 длины был битком набит делами. «Дела» оказались с 1785 года и принадлежали разным упраздненным учреждениям. С 27 сентября прошлого года в помещении колокольни Кафедрального собора под непосредственным наблюдением и руководством председателя Ставропольской ученой архивной комиссии Г.Н. Прозрителева происходила разработка именно этого архива, представляющего очень ценный материал для истории нашего города и всего края. В архиве – масса книг и до 100000 всевозможных дел.

Мы читаем дальше и узнаем, что «отвратительное состояние, в котором находился этот архив, грозило его полным уничтожением». Спасение ценнейшего архива – заслуга Ставропольской ученой архивной комиссии и ее председателя. Рассказано и о том, что нелегко было перевезти эту массу загрязненных, прогнивших и покрытых пылью дел, над которыми десятки лет бесконтрольно хозяйничали мыши и крысы. Отмечено: «теперь он спасен и приведен в порядок, исторические документы, имеющие огромную ценность, теперь доступны для изучения». Действительно, и теперь, посещая архив, убеждаешься в богатстве его фондов… Хотя каждый исследователь всегда хочет большего…

Прозрителев не только спасал и собирал архивы, но издавал и редактировал «Труды Ставропольской ученой архивной комиссии». Вышло 8 выпусков. Участвовал в трудах и С.В. Фарфоровский. Тщательно работал Григорий Николаевич над трудами по истории Ставропольской губернии и города. Их более 200…

5 ноября 1906 года он создает музей Северного Кавказа. Музей вызывал большой интерес, газеты постоянно писали об экскурсиях, приезжающих из городов Кубани и других соседних территорий. Существовал в Ставрополе и городской музей, которым руководил коллега Прозрителева, нотариус Г.К. Праве. Архивовед и музеевед, много занимался раскопками, боролся с «кладоискателями», которые варварски уничтожали ценные археологические памятники. Также уделял внимание этнографии.

К рубежу революции 1917 года Прозрителев пришел одним из самых известных деятелей. Утверждают, что он вступил в кадетскую партию. А во время недолгого деникинского режима взаимодействовал с «белыми». После восстановления советской власти Георгий Николаевич возглавлял созданный им музей Северного Кавказа, состоял в губернской секции музеев и охраны памятников. Развернул деятельность в области архивоведения и археологии… Участвовал он в ряде археологических экспедиций. Велико наследие знаменитого краеведа. Часть рукописей до сих пор не опубликована, и есть надежда, что читатель наконец большинство из них увидит в нашей антологии.

Многое сделано людьми, попавшими в «опалу» и не по своей воле оказавшимися на Ставрополье. Среди них Прозрителев, умерший 21 ноября 1933 года, занимает почетное место. Опальные писатели, публицисты связывали Северный Кавказ с крупными научными, культурными центрами России, со столицей. Благодаря им многонациональный край Северный Кавказ шел в ногу со временем.

Примечания

1. Герцен А.И. «Былое и думы», соч. в 30 тт., том IX, с. 19, Москва.
2. Герцен А.И. Там же.
3. А.И. Лилов в 1868 году стал инспектором нашей гимназии, затем получил перевод в Тифлис, где стал инспектором, позже директором 2-й гимназии, умер в 1890 году.
4. Дронова Н.С. Школа Ставрополья за пятьдесят лет. К вопросу о развитии народного образования в крае // Революционные традиции и народное образование». Ставрополь, 1968, с. 21.
5. «Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат». Седьмое издание, том 40.
6. Лев Львович Марков назначен директором Ставропольской гимназии.

7. «Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат». Седьмое издание, том 40.
8. Первоначальное образование Яша получил под руководством отца, мещанина-самоучки.
9. «Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат». Седьмое издание, том 40.
10. Там же.
11. Там же.
12. Там же.
13. «Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала образованности до наших дней)» С.А. Венгерова, СПб., 1889, том I, с. 21.
14. 11-е издание, том первый, столбец 59. СПб, 1890, том 1, с. 41.
15. СПб., 1890, том I, с. 41.
16. Том второй. Семидесятые годы. Выпуск I, Москва, 1929, с. 2–3.
17. Том 2, выпуск 3, М., 1931, стбц. 1269.

Опальные: Русские писатели открывают Кавказ

Антология: В 3 т.

Том 1

Научные редакторы:
В.А. Шаповалов, К.Э. Штайн

Составление:
К.Э. Штайн, Д.И. Петренко

Подготовка текста
**К.Э. Штайн, Д.И. Петренко, Е.Н. Золоторева, Э.В. Пиванова,
В.П. Ходус, Т.С. Шевченко (ответственная за подготовку текста),
Ю.В. Пономарева, А.И. Темирболатова**

Корректор:
Б.Я. Альтус

Дизайн, обложка:
С.Ф. Бобылев

Верстка:
Е.Н. Золоторева, Д.И. Петренко